СОБРАНИЕ ПОВЕСТЕЙ И РАССКАЗОВ (1900-1911)



Джек ЛОНДОН

Jack London

Джек Лондон. Собрание повестей и рассказов (1900-1911)

Джек Лондон

Аннотация
Джек Лондон. Сын Волка. Сборник рассказов
- Белое Безмолвие
- Сын Волка
- На Сороковой Миле
- В далеком краю
- За тех, кто в пути
- По праву священника
- Мудрость снежной тропы
- Жена короля
  - I
  - II
  - III
- Северная Одиссея
  - I
  - II
  - III

Джек Лондон. Бог его отцов. Сборник рассказов
- Бог его отцов
  - I
  - II

III
Великая загадка
Встреча, которую трудно забыть
Сивашка
Человек со шрамом
Строптивый Ян
Мужество женщины
Там, где расходятся пути
Дочь Северного сияния
Там, где кончается радуга
I
II
III
Женское презрение
I
II
III
IV
V
Джек Лондон. Дети мороза. Сборник рассказов
В дебрях Севера
Закон жизни
Нам-Бок — лжец
Великий кудесник
Пришельцы из Солнечной Страны
Болезнь Одинокого Вождя

Киш, сын Киша
Смерть Лигуна
Светлокожая Ли Ван
Лига стариков
Лжек Лондон. Путешествие на «Ослепительном»
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
Глава I. БРАТ И СЕСТРА
Глава II. «РЕФОРМЫ ДРАКОНА»
Глава III. КРАСНЫЙ, БУРЫЙ И РЫЖИЙ
Глава IV. ПОБЕДИТЕЛЬ ПОПАДАЕТСЯ САМ
Глава V. ОПЯТЬ ДОМА
Глава VI. ЭКЗАМЕНЫ
Глава VII. ОТЕЦ И СЫН
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
Глава VIII. ФРИСКО-КИД И НОВИЧОК
Глава IX. НА БОРТУ «ОСЛЕПИТЕЛЬНОГО»
Глава X. СРЕДИ ПРИБРЕЖНЫХ ПИРАТОВ
Глава XI. КАПИТАН И ЕГО КОМАНДА
Глава XII. ДЖО ДЕЛАЕТ ПОПЫТКУ БЕЖАТЬ
Глава XIII. ПОДРУЖИЛИСЬ
Глава XIV. НА УСТРИЧНЫХ ОТМЕЛЯХ
Глава XV. ХОРОШИЕ МОРЯКИ НА СКВЕРНОЙ СТОЯНКЕ
Глава XVI. ЗАВЕТНАЯ ШКАТУЛКА ФРИСКО-КИДА
Глава XVII. ФРИСКО-КИД РАССКАЗЫВАЕТ

СВОЮ ПОВЕСТЬ
Глава XVIII. ДЖО ПРИНИМАЕТ НА СЕБЯ НОВУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Глава XIX. МАЛЬЧИШКИ ЗАДУМАЛИ БЕЖАТЬ
Глава XX. КРИТИЧЕСКИЕ МИНУТЫ
Глава XXI. ДЖО И ЕГО ОТЕЦ
Джек Лондон. Зов предков
I. К ПЕРВОБЫТНОЙ ЖИЗНИ
II. ЗАКОН ДУБИНЫ И КЛЫКА
III. ПЕРВОБЫТНЫЙ ЗВЕРЬ ВОСТОРЖЕСТВОВАЛ
IV. КТО ПОБЕДИЛ В БОРЬБЕ ЗА ПЕРВЕНСТВО
V. ТРУДЫ И ТЯГОТЫ ПУТИ
VI. ИЗ ЛЮБВИ К ЧЕЛОВЕКУ
VII. ЗОВ УСЛЫШАН
Джек Лондон. Мужская верность
Джек Лондон. Замужество Лит-Лит
Джек Лондон. Тысяча дюжин
Джек Лондон. История Джис-Ук
Джек Лондон. Гиперборейский напиток
Джек Лондон. Золотое дно
Джек Лондон. Батар
Джек Лондон. Осколок третичной эпохи
Джек Лондон. Голиаф
Джек Лондон. Золотой мак
Джек Лондон. •. ИГРА
Глава I

Глава II
Глава III
Глава IV
Глава V
Глава VI
ДЖЕК ЛОНДОН. «РАССКАЗЫ РЫБАЧЬЕГО ПАТРУЛЯ» (СБОРНИК РАССКАЗОВ)
Белые и желтые
«Король греков»
Набег на устричных пиратов
Осада «Ланкаширской королевы»
Уловка Чарли
Деметриос Контос
Желтый платок
Джек Лондон. Белый Клык
Часть первая
ГЛАВА ПЕРВАЯ. ПОГОНЯ ЗА ДОБЫЧЕЙ
ГЛАВА ВТОРАЯ. ВОЛЧИЦА
ГЛАВА ТРЕТЬЯ. ПЕСНЬ ГОЛОДА
Часть вторая
ГЛАВА ПЕРВАЯ. БИТВА КЛЫКОВ
ГЛАВА ВТОРАЯ. ЛОГОВИЩЕ
ГЛАВА ТРЕТЬЯ. СЕРЫЙ ВОЛЧОНОК
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ. СТЕНА МИРА
ГЛАВА ПЯТАЯ. ЗАКОН ДОБЫЧИ
Часть третья

ГЛАВА ПЕРВАЯ. ТВОРЦЫ ОГНЯ
ГЛАВА ВТОРАЯ. НЕВОЛЯ
ГЛАВА ТРЕТЬЯ. ОТЩЕПЕНЕЦ
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ. ПОГОНЯ ЗА БОГАМИ
ГЛАВА. ПЯТАЯ ДОГОВОР
ГЛАВА ШЕСТАЯ. ГОЛОД
Часть четвертая
ГЛАВА ПЕРВАЯ. ВРАГ
ГЛАВА ВТОРАЯ. СУМАСШЕДШИЙ БОГ
ГЛАВА ТРЕТЬЯ. ЦАРСТВО НЕНАВИСТИ
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ. ЦЕПКАЯ СМЕРТЬ
ГЛАВА ПЯТАЯ. НЕУКРОТИМЫЙ
ГЛАВА ШЕСТАЯ. НОВАЯ НАУКА
Часть пятая
ГЛАВА ПЕРВАЯ. В ДАЛЬНИЙ ПУТЬ
ГЛАВА ВТОРАЯ. НА ЮГЕ
ГЛАВА ТРЕТЬЯ. ВЛАДЕНИЯ БОГА
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ. ГОЛОС КРОВИ
ГЛАВА ПЯТАЯ. ДРЕМЛЮЩИЙ ВОЛК
Джек Лондон. Лунный лик
Джек Лондон. Рассказ укротителя леопардов
Джек Лондон. Местный колорит
Джек Лондон. Любительский вечер
Джек Лондон. Любимцы Мидаса
Джек Лондон. Золотой каньон
Джек Лондон. Планшетка

Джек Лондон. Тень и вспышка
Джек Лондон. До Адама
ГЛАВА I
ГЛАВА II
ГЛАВА III
ГЛАВА IV
ГЛАВА V
ГЛАВА VI
ГЛАВА VII
ГЛАВА VIII
ГЛАВА IX
ГЛАВА X
ГЛАВА XI
ГЛАВА XII
ГЛАВА XIII
ГЛАВА XIV
ГЛАВА XV
ГЛАВА XVI
ГЛАВА XVII
ГЛАВА XVIII
ЛЮБОВЬ К ЖИЗНИ
БУРЫЙ ВОЛК
ВСТРЕЧА В ХИЖИНЕ
ПУТЬ БЕЛОГО ЧЕЛОВЕКА
ИСТОРИЯ КИША
НЕОЖИДАННОЕ

ПУТЬ ЛОЖНЫХ СОЛНЦ
ТРУС НЕГОР
ДЖЕК ЛОНДОН. «ДОРОГА» (СБОРНИК РАССКАЗОВ)
- Признание
- Держись!
- Картинки
- «Сцапали»
- Исправительная тюрьма
- Бродяги, которые проходят ночью
- Бездомные мальчишки и бродячие коты
- Две тысячи бродяг
- «Быки»

ДЖЕК ЛОНДОН. «ПОТЕРЯВШИЙ ЛИЦО» (СБОРНИК РАССКАЗОВ)
- Потерявший лицо
- Поручение
- Меченый
- Костер
- Золотая Зорька
- Исчезновение Маркуса О'Брайана
- Шутка Порпортука

ДЖЕК ЛОНДОН. «КОГДА БОГИ СМЕЮТСЯ» (СБОРНИК РАССКАЗОВ)
- Когда боги смеются
- Отступник
- Безнравственная женщина

«Просто мясо»
Он их создал
А Чо
Держи на запад
Semper Idem
Нос для императора
«Френсис Спейт»
Любопытный отрывок
Кусок мяса
Джек Лондон. Лютый зверь
Глава первая
Глава вторая
Глава третья
Глава четвертая
Глава пятая
Глава шестая
Глава седьмая
Глава восьмая
Глава девятая
Глава десятая

Аннотация

Десять авторских сборников рассказов и шесть повестей.

Содержание:

1. Сын Волка (сборник) *(1900)*
2. Бог его отцов (сборник) *(1901)*
3. Дети мороза (сборник) *(1902)*
4. Путешествие на «Ослепительном» (повесть) *(1902)*
5. Зов предков (повесть) *(1903)*
6. Мужская верность (сборник) *(1904)*
7. Игра (повесть) *(1905)*
8. Рассказы рыбачьего патруля (сборник) *(1905)*
9. Белый Клык (повесть) *(1906)*
10. Лунный лик (сборник) *(1906)*
11. До Адама (повесть) *(1907)*
12. Любовь к жизни (сборник) *(1907)*
13. Дорога (сборник) *(1907)*
14. Потерявший лицо (сборник) *(1910)*
15. Когда боги смеются (сборник) *(1911)*
16. Лютый зверь (повесть) *(1911)*

Джек Лондон
Сын Волка
Сборник рассказов

Белое Безмолвие

— Кармен и двух дней не протянет.

Мэйсон выплюнул кусок льда и уныло посмотрел на несчастное животное, потом, поднеся лапу собаки ко рту, стал опять скусывать лед, намерзший большими шишками у нее между пальцев.

— Сколько я ни встречал собак с затейливыми кличками, все они никуда не годились, — сказал он, покончив со своим делом, и оттолкнул собаку. — Они слабеют и в конце концов издыхают. Ты видел, чтобы с собакой, которую зовут попросту Касьяр, Сиваш или Хаски, приключилось что-нибудь неладное? Никогда! Посмотри на Шукума: он...

Раз! Отощавший пес взметнулся вверх, едва не вцепившись клыками Мэйсону в горло.

— Ты что это придумал?

Сильный удар по голове рукояткой бича опрокинул собаку в снег; она судорожно вздрагивала, с клыков у нее капала желтая слюна.

— Я и говорю, посмотри на Шукума: Шукум маху не даст. Бьюсь об заклад, что не пройдет и недели, как он задерет Кармен.

— А я, — сказал Мэйлмют Кид, переворачивая

хлеб, оттаивающий у костра, — бьюсь об заклад, что мы сами съедим Шукума, прежде чем доберемся до места. Что ты на это скажешь, Руфь?

Индианка бросила в кофе кусочек льда, чтобы осела гуща, перевела взгляд с Мэйлмюта Кида на мужа, затем на собак, но ничего не ответила. Столь очевидная истина не требовала подтверждения. Другого выхода им не оставалось. Впереди двести миль по непроложенному пути, еды хватит всего дней на шесть, а для собак и совсем ничего нет.

Оба охотника и женщина придвинулись к костру и принялись за скудный завтрак. Собаки лежали в упряжке, так как это была короткая дневная стоянка, и завистливо следили за каждым их куском.

— С завтрашнего дня никаких завтраков, — сказал Мэйлмют Кид, — и не спускать глаз с собак; они совсем от рук отбились, того и гляди, набросятся на нас, если подвернется удобный случай.

— А ведь когда-то я был главой методистской общины и преподавал в воскресной школе!

И, неизвестно к чему объявив об этом, Мэйсон погрузился в созерцание своих мокасин, от которых шел пар. Руфь вывела его из задумчивости, налив ему чашку кофе.

— Слава богу, что у нас вдоволь чая. Я видел, как чай растет, дома, в Теннесси. Чего бы я теперь не дал за горячую кукурузную лепешку!.. Не горюй, Руфь, еще немного, и тебе не придется больше голодать, да и мокасины не надо будет носить.

При этих словах женщина перестала хмуриться, и глаза ее засветились любовью к ее белому господину — первому белому человеку, которого она встретила, первому мужчине, который показал ей, что в женщине можно видеть не только животное или вьючную скотину.

— Да, Руфь, — продолжал ее муж на том условном языке, единственно на котором они и могли объясняться друг с другом, — вот скоро мы выберемся отсюда, сядем в лодку белого человека и поедем к Соленой Воде. Да, плохая вода, бурная вода — словно водяные горы скачут вверх и вниз. А как ее много, как долго по ней ехать! Едешь десять снов, двадцать снов, сорок снов — для большей наглядности Мэйсон отсчитывал дни на пальцах, — и все время вода, плохая вода. Потом приедем в большое селение, народу много, все равно как мошкары летом. Вигвамы вот какие высокие — в десять, двадцать сосен!.. Эх!

Он замолчал, не находя слов, и бросил умоляющий взгляд на Мэйлмюта Кида, потом старатель-

но стал показывать руками, как это будет высоко, если поставить одну на другую двадцать сосен. Мэйлмют Кид насмешливо улыбнулся, но глаза Руфи расширились от удивления и счастья; она думала, что муж шутит, и такая милость радовала ее бедное женское сердце.

— А потом сядем в... в ящик, и — пифф! — поехали. — В виде пояснения Мэйсон подбросил в воздух пустую кружку и, ловко поймав ее, закричал: — И вот — пафф! — уже приехали! О великие шаманы! Ты едешь в Форт Юкон, а я еду в Арктик-сити — двадцать пять снов. Длинная веревка оттуда сюда, я хватаюсь за эту веревку и говорю: «Алло, Руфь! Как живешь?» А ты говоришь: «Это ты, муженек?» Я говорю: «Да». А ты говоришь: «Нельзя печь хлеб: больше соды нет». Тогда я говорю: «Посмотри в чулане, под мукой. Прощай!» Ты идешь в чулан и берешь соды сколько нужно. И все время ты в Форте Юкон, а я — в Арктик-сити. Вот они какие, шаманы!

Руфь так простодушно улыбнулась этой волшебной сказке, что мужчины покатились со смеху. Шум, поднятый дерущимися собаками, оборвал рассказы о чудесах далекой страны, и к тому времени, когда драчунов разняли, женщина уже успела увязать нарты, и все было готово,

чтобы двинуться в путь.

— Вперед, Лысый! Эй, вперед!

Мэйсон ловко щелкнул бичом и, когда собаки начали, потихоньку повизгивая, натягивать постромки, уперся в поворотный шест[1] и сдвинул с места примерзшие нарты. Руфь следовала за ним со второй упряжкой, а Мэйлмют Кид, помогший ей тронуться, замыкал шествие. Сильный и суровый человек, способный свалить быка одним ударом, он не мог бить несчастных собак и по возможности щадил их, что погонщики делают редко. Ииой раз Мэйлмют Кид чуть не плакал от жалости, глядя на них.

— Ну, вперед, хромоногие! — пробормотал он после нескольких тщетных попыток сдвинуть тяжелые нарты.

Наконец его терпение было вознаграждено, и, повизгивая от боли, собаки бросились догонять своих собратьев.

Разговоры смолкли. Трудный путь не допускает такой роскоши. А езда на Севере — тяжкий, убийственный труд. Счастлив тот, кто ценою молчания выдержит день такого пути, и то еще по проложенной тропе.

---

[1] notes: 1

Поворотный шест, или остол — толстый шест, с помощью которого направляют нарты.

Но нет труда изнурительнее, чем прокладывать дорогу. На каждом шагу широкие плетеные лыжи проваливаются, и ноги уходят в снег по самое колено. Потом надо осторожно вытаскивать ногу — отклонение от вертикали на ничтожную долю дюйма грозит бедой, — пока поверхность лыжи не очистится от снега. Тогда шаг вперед — и начинаешь поднимать другую ногу, тоже по меньшей мере на пол-ярда. Кто проделывает это впервые, валится от изнеможения через сто ярдов, даже если до того он не зацепит одной лыжей за другую и не растянется во весь рост, доверившись предательскому снегу. Кто сумеет за весь день ни разу не попасть под ноги собакам, тот может с чистой совестью и с величайшей гордостью забираться в спальный мешок; а тому, кто пройдет двадцать снов по Великой Северной Тропе, могут позавидовать и боги.

День клонился к вечеру, и подавленные величием Белого Безмолвия путники молча прокладывали себе путь. У природы много способов убедить человека в его смертности: непрерывное чередование приливов и отливов, ярость бури, ужасы землетрясения, громовые раскаты небесной артиллерии. Но всего сильнее, всего сокрушительнее— Белое Безмолвие в его бес-

страстности. Ничто не шелохнется, небо ярко, как отполированная медь, малейший шепот кажется святотатством, и человек пугается звука собственного голоса. Единственная частица живого, передвигающаяся по призрачной пустыне мертвого мира, он страшится своей дерзости, остро сознавая, что он всего лишь червь. Сами собой возникают странные мысли, тайна вселенной ищет своего выражения. И на человека находит страх перед смертью, перед богом, перед всем миром, а вместе со страхом — надежда на воскресение и жизнь и тоска по бессмертию — тщетное стремление плененной материи; вот тогда-то человек остается наедине с богом.

День клонился к вечеру. Русло реки делало тут крутой поворот, и Мэйсон, чтобы срезать угол, направил свою упряжку через узкий мыс. Но собаки никак не могли взять подъем. Нарты сползали вниз, несмотря на то, что Руфь и Мэйлмют Кид подталкивали их сзади. Еще одна отчаянная попытка; несчастные, ослабевшие от голода животные напрягли последние силы. Выше, еще выше — нарты выбрались на берег. Но тут вожак потянул упряжку вправо, и нарты наехали на лыжи Мэйсона. Последствия были печальные: Мэйсона сбило с ног, одна из собак упала, запу-

тавшись в постромках, и нарты покатились вниз по откосу, увлекая за собой упряжку.

Хлоп! Хлоп! Бич так и свистел в воздухе, и больше всех досталось упавшей собаке.

— Перестань, Мэйсон! — вступился Мэйлмют Кид. — Несчастная и так при последнем издыхании. Постой, мы сейчас припряжем моих.

Мэйсон выждал, когда тот кончит говорить, — и длинный бич обвился вокруг провинившейся собаки. Кармен — это была она — жалобно взвизгнула, зарылась в снег, потом перевернулась на бок.

То была трудная, тягостная минута для путников: издыхает собака, ссорятся двое друзей. Руфь умоляюще переводила взгляд с одного на другого. Но Мэйлмют Кид сдержал себя, хотя глаза его и выражали горький укор, и, наклонившись над собакой, обрезал постромки. Никто не проронил ни слова. Упряжки спарили, подъем был взят; нарты снова двинулись в путь. Кармен из последних сил тащилась позади. Пока собака может идти, ее не пристреливают, у нее остается последний шанс на жизнь: дотащиться до стоянки, а там, может быть, люди убьют лося.

Раскаиваясь в своем поступке, но из упрямства не желая сознаться в этом, Мэйсон шел впереди и

не подозревал о надвигающейся опасности. Они пробирались сквозь густой кустарник в низине. Футах в пятидесяти в стороне высилась старая сосна. Века стояла она здесь, и судьба веками готовила ей такой конец — ей, а, может быть, заодно и Мэйсону.

Он остановился завязать ослабнувший ремень на мокасине. Нарты стали, и собаки молча легли на снег. Вокруг стояла зловещая тишина, ни единого движения не было в осыпанном снегом лесу; холод и безмолвие заморозили сердце и сковали дрожащие уста природы. Вдруг в воздухе пронесся вздох; они даже не услышали, а скорее ощутили его как предвестника движения в этой неподвижной пустыне. И вот огромное дерево, склонившееся под бременем лет и тяжестью снега, сыграло свою последнюю роль в трагедии жизни. Мэйсон услышал треск, хотел было отскочить в сторону, но не успел он выпрямиться, как дерево придавило его, ударив по плечу.

Внезапная опасность, мгновенная смерть — как часто Мэйлмют Кид сталкивался с тем и другим! Еще дрожали иглы на ветвях, а он уже успел отдать приказание женщине и кинуться на помощь. Индианка тоже не упала без чувств и не стала проливать ненужные слезы, как это

сделали бы многие из ее белых сестер. По первому слову Мэйлмюта Кида она всем телом налегла на приспособленную в виде рычага палку, ослабляя тяжесть и прислушиваясь к стонам мужа, а Мэйлмют Кид принялся рубить дерево топором. Сталь весело звенела, вгрызаясь в промерзший ствол, и каждый удар сопровождался натужным, громким выдохом Мэйлмюта Кида.

Наконец, Кид положил на снег жалкие останки того, что так недавно было человеком. Но страшнее мучений его товарища была немая скорбь в лице женщины и ее взгляд, исполненный и надежды и отчаяния. Сказано было мало: жители Севера рано познают тщету слов и неоценимое благо действий. При температуре в шестьдесят пять градусов ниже нуля[2] человеку нельзя долго лежать на снегу. С нарт срезали ремни, и несчастного Мэйсона закутали в звериные шкуры и положили на подстилку из веток. Запылал костер; на топливо пошло то самое дерево, что было причиной несчастья. Над костром устроили примитивный полог: натянули кусок парусины, чтобы он задерживал тепло и отбрасывал его вниз, — способ, хорошо известный людям, кото-

---

[2] notes: 2
Температура везде дана по Фаренгейту

рые учатся физике у природы.

Те, кто не раз делил ложе со смертью, узнают ее зов. Мэйсон был страшным образом искалечен. Это стало ясно даже при беглом осмотре: перелом правой руки, бедра и позвоночника; ноги парализованы; вероятно, повреждены и внутренние органы. Только редкие стоны несчастного свидетельствовали о том, что он еще жив.

Никакой надежды, сделать ничего нельзя. Медленно тянулась безжалостная ночь. Руфь встретила ее со стоическим отчаянием, свойственным ее народу; на бронзовом лице Мэйлмюта Кида прибавилось несколько морщин. В сущности, меньше воего страдал Мэйсон, — он перенесся в Восточный Теннесси, к Великим Туманным Горам и вновь переживал свое детство. Трогательно звучала мелодия давно забытого южного города: он бредил о купании в озерах, об охоте на енота и набегах за арбузами. Для Руфи это были только невнятные звуки, но Кид понимал все, и каждое.слово отдавалось в его душе — так может сочувствовать только тот, кто долгие годы был лишен всего, что зовется цивилизацией.

Утром умирающий пришел в себя, и Мэйлмют Кид наклонился к нему, стараясь уловить его шепот:

— Помнишь, как мы встретились на Танане?.. Четыре года минет в ближайший ледоход... Тогда я не так уж любил ее, просто она была хорошенькая... вот и увлекся. А потом привязался к ней. Она была хорошей женой, в трудную минуту всегда рядом. А уж что касается нашего промысла, сам знаешь — равной ей не сыскать... Помнишь, как она переплыла пороги Оленьи Рога и сняла нас с тобой со скалы, да еще под градом пуль, хлеставших по воде? А голод в Нуклукайто? А как она бежала по льдинам, торопилась скорее передать нам вести? Да, Руфь была мне хорошей женой — лучшей, чем та, другая... Ты не знал, что я был женат? Я не говорил тебе? Да, попробовал раз стать женатым человеком... дома, в Штатах. Оттого-то и попал сюда. А ведь вместе росли. Уехал, чтобы дать ей повод к разводу. Она его получила.

Руфь — дело другое. Я думал покончить здесь со всем и уехать в будущем году вместе с ней. Но теперь поздно об этом говорить. Не отправляй Руфь назад к ее племени, Кид. Слишком трудно ей будет там. Подумай только: почти четыре года есть с нами бобы, бекон, хлеб, сушеные фрукты — и после этого опять рыба да оленина! Узнать более легкую жизнь, привыкнуть к ней, а потом

вернуться к старому. Ей будет трудно. Позаботься о ней, Кид... Почему бы тебе... да нет, ты всегда сторонился женщин... Я ведь так и не узнаю, что тебя привело сюда. Будь добр к ней и отправь ее в Штаты как можно скорее. Но если она будет тосковать по родине, помоги ей вернуться.

Ребенок... он еще больше сблизил нас, Кид. Хочу надеяться, что будет мальчик. Ты только подумай, Кид! Плоть от плоти моей. Нельзя, чтобы он оставался здесь.

А если девочка... нет, этого не может быть... Продай мои шкуры: за них можно выручить тысяч пять, и еще столько же у меня за Компанией. Устраивай мои дела вместе со своими. Думаю, что наша заявка себя оправдает... Дай ему хорошее образование... а главное, Кид, чтобы он не возвращался сюда. Здесь не место белому человеку.

Моя песенка спета, Кид. В лучшем случае — три или четыре дня. Вам надо идти дальше. Вы должны идти дальше! Помни, это моя жена, мой сын... Господи! Только бы мальчик! Не оставайтесь со мной. Я приказываю вам уходить. Послушайся умирающего!

— Дай мне три дня! — взмолился Мэйлмют Кид. — Может быть, тебе станет легче; еще неизвестно, как все обернется.

— Нет.

— Только три дня.

— Уходите!

— Два дня.

— Это моя жена и мой сын, Кид. Не проси меня.

— Один день!

— Нет! Я приказываю!

— Только один день! Мы как-нибудь протянем с едой; я, может быть, подстрелю лося.

— Нет!.. Ну ладно: один день, и ни минуты больше. И еще, Кид: не оставляй меня умирать одного. Только один выстрел, только раз нажать курок. Ты понял? Помни это. Помни!.. Плоть от плоти моей, а я его не увижу... Позови ко мне Руфь. Я хочу проститься с ней... скажу, чтобы помнила о сыне и не дожидалась, пока я умру. А не то она, пожалуй, откажется идти с тобой. Прощай, друг, прощай! Кид, постой... надо копать выше. Я намывал там каждый раз центов на сорок. И вот еще что, Кид...

Тот наклонился ниже, ловя последние, едва слышные слова — признание умирающего, смирившего свою гордость.

— Прости меня... ты знаешь за что... за Кармен.

Оставив плачущую женщину подле мужа,

Мэйлмют Кид натянул на себя парку[3] надел лыжи и, прихватив ружье, скрылся в лесу. Он не был новичком в схватке с суровым Севером, но никогда еще перед ним не стояла столь трудная задача. Если рассуждать отвлеченно, это была простая арифметика — три жизни против одной, обреченной. Но Мэйлмют Кид колебался. Пять лет дружбы связывали его с Мэйсоном — в совместной жизни на стоянках и приисках, в странствиях по рекам и тропам, в смертельной опасности, которую они встречали плечом к плечу на охоте, в голод, в наводнение. Так прочна была их связь, что он часто чувствовал смутную ревность к Руфи, с первого дня, как она стала между ними. А теперь эту связь надо разорвать собственной рукой.

Он молил небо, чтобы оно послало ему лося, только одного лося, но, казалось, зверь покинул страну, и под вечер, выбившись из сил, он возвращался с пустыми руками и с тяжелым сердцем. Оглушительный лай собак и пронзительные крики Руфи заставили его ускорить шаг.

Подбежав к стоянке, Мэйлмют Кид увидел, что индианка отбивается топором от окружившей

---

[3] notes: 3
Парка - верхняя меховая одежда.

ее рычащей своры. Собаки, нарушив железный закон своих хозяев, набросились на съестные припасы. Кид поспешил на подмогу, действуя прикладом ружья, и древняя трагедия естественного отбора разыгралась во всей своей первобытной жестокости. Ружье и топор размеренно поднимались и опускались, то попадая в цель, то мимо; собаки, извиваясь, метались из стороны в сторону, яростно сверкали глаза, слюна капала с оскаленных морд. Человек и зверь исступленно боролись за господство. Потом избитые собаки уползли подальше от костра, зализывая раны и обращая к звездам жалобный вой.

Весь запас вяленой рыбы был уничтожен, и на дальнейший путь в двести с лишком миль осталось не более пяти фунтов муки. Руфь снова подошла к мужу, а Мэйлмют Кид освежевал одну из собак, череп которой был проломлен топором, и нарубил кусками еще теплое мясо. Все куски он спрятал в надежное место, а шкуру и требуху бросил недавним товарищам убитого пса.

Утро принесло новые заботы. Собаки грызлись между собой. Свора набросилась на Кармен, которая все еще цеплялась за жизнь. Посыпавшиеся на них удары бича не помогли делу. Собаки взвизгивали и припадали к земле, но только

тогда разбежались, когда от Кармен не осталось ни костей, ни клочка шерсти.

Мэйлмют Кид принялся за работу, прислушиваясь к бреду Мэйсона, который снова перенесся в Теннесси, снова произносил несвязные проповеди, убеждая в чем-то своих собратьев.

Сосны стояли близко, и Мэйлмют Кид быстро делал свое дело: Руфь наблюдала, как он сооружает хранилище, какие устраивают охотники, желая уберечь припасы от росомах и собак. Он нагнул верхушки двух сосенок почти до земли и связал их ремнями из оленьей кожи. Затем, ударами бича смирив собак, запряг их в нарты и погрузил туда все, кроме шкур, в которые был закутан Мэйсон. Товарища он обвязал ремнями, прикрепив концы их к верхушкам сосен. Один взмах ножа — и сосны выпрямятся и поднимут тело высоко над землей.

Руфь безропотно выслушала последнюю волю мужа. Бедняжку не надо было учить послушанию. Еще девочкой она вместе со всеми женщинами своего племени преклонялась перед властелином всего живущего, перед муж-иной, которому не подобает прекословить. Кид не стал утешать Руфь, когда та напоследок поцеловала мужа, — ее народ не знает такого обычая, — а потом отвел

ее к передним нартам и помог надеть лыжи. Как слепая, она машинально взялась за шест, взмахнула бичом и, погоняя собак, двинулась в путь. Тогда он вернулся к Мэйсону, впавшему в беспамятство; Руфь уже давно скрылась из виду, а он все сидел у костра, ожидая смерти друга и моля, чтобы она пришла скорее.

Нелегко оставаться наедине с горестными мыслями среди Белого Безмолвия. Безмолвие мрака милосердно, оно как бы защищает человека, согревая его неуловимым сочувствием, а прозрачно-чистое и холодное Белое Безмолвие, раскинувшееся под стальным небом, безжалостно.

Прошел час, два — Мэйсон все не умирал. В полдень солнце, не показываясь над горизонтом, озарило небо красноватым светом, но он вскоре померк. Мэйлмют Кид встал, заставил себя подойти к Мэйсону и огляделся по сторонам. Белое Безмолвие словно издевалось над ним. Его охватил страх. Раздался короткий выстрел. Мэйсон взлетел ввысь, в свою воздушную гробницу, а Мэйлмют Кид, нахлестывая собак, во весь опор помчался прочь по снежной пустыне.

Сын Волка

Мужчина редко понимает, как много значит для него близкая женщина, — во всяком случае, он не ценит ее по-настоящему, пока не лишится семьи. Он не замечает тончайшего, неуловимого тепла, создаваемого присутствием женщины в доме; но едва оно исчезнет, в жизни его образуется пустота, и он смутно тоскует о чем-то, сам не зная, чего же ему недостает. Если его товарищи не более умудрены опытом, чем он сам, они с сомнением покачают головами и начнут пичкать его сильно действующими лекарствами. Но голод не отпускает — напротив, мучит все сильней; человек теряет вкус к обычному, повседневному существованию, становится мрачен и угрюм; и вот в один прекрасный день, когда сосущая пустота внутри становится нестерпимой, его, наконец, осеняет.

Когда такое случается с человеком на Юконе, он обычно снаряжает лодку, если дело происходит летом, а зимою запрягает своих собак — и устремляется на юг. Несколько месяцев спустя, если он одержим Севером, он возвращается сюда вместе с женою, которой придется разделить с

ним любовь к этому холодному краю, а заодно все труды и тяготы. Вот лишнее доказательство чисто мужского эгоизма! И тут поневоле вспоминается история, приключившаяся с Бирюком Маккензи в те далекие времена, когда Клондайк[4] еще не испытал золотой лихорадки и нашествия чечако[5] и славился только как место, где отлично ловится лосось.

В Бирюке Маккензи с первого взгляда можно было узнать пионера, осваивателя земель. На лицо его наложили отпечаток двадцать пять лет непрерывной борьбы с грозными силами, природы; и самыми тяжкими были последние два года, проведенные в поисках золота, таящегося под сенью Полярного круга. Когда щемящее чувство пустоты овладело Бирюком, он не удивился, так как был человек практический и уже встречал на своем веку людей, пораженных тем же недугом. Но он ничем не обнаружил своей болезни, только стал работать еще яростнее. Все лето он воевал с комарами и, разжившись снаряжением под долю в будущей добыче, занимался промывкой песка

---

[4] notes: 4

Клондайк — приток Юкона, где в 1896 году были найдены богатейшие россыпи золота.

[5] notes: 5

Чечако — новички.

в низовьях реки Стюарт. Потом связал плот из солидных бревен, спустился по Юкону до Сороковой Мили и построил себе отличную хижину. Это было такое прочное и уютное жилище, что немало нашлось охотников разделить его с Бирюком. Но он несколькими словами, на удивление краткими и выразительными, разбил вдребезги все их надежды и закупил в ближайшей фактории двойной запас провизии.

Как уже сказано, Маккензи был человек практический. Обычно, чего-нибудь захотев, он добивался желаемого и при этом по возможности не изменял своим привычкам и не уклонялся от своего пути. Тяжкий труд и испытания были Бирюку не в новинку, однако ему ничуть не улыбалось проделать шестьсот миль по льду на собаках, потом плыть за две тысячи миль через океан и, наконец, еще ехать добрую тысячу миль до мест, где он жил прежде, — и все это лишь затем, чтоб найти себе жену. Жизнь слишком коротка. А потому он запряг своих собак, привязал к нартам несколько необычный груз и двинулся по направлению к горному хребту, на западных склонах которого берет начало река Танана.

Он был неутомим в пути, а его собаки считались самой выносливой, быстроногой и неприхотли-

вой упряжкой на Юконе. И три недели спустя он появился в становище племени стиксов с верховий Тананы. Все племя пришло в изумление, увидев его. О стиксах с верховий Тананы шла дурная слава; им не раз случалось убивать белых из- за такого пустяка, как острый топор или сломанное ружье.

Но Бирюк Маккензи пришел к ним один, и во всей его повадке была очаровательная смесь смирения, непринужденности, хладнокровия и нахальства. Нужно большое искусство и глубокое знание психологии дикаря, чтобы успешно пользоваться столь разнообразным оружием; но Маккензи был великий мастер в этих делах и хорошо знал, когда надо подольститься, а когда метать громы и молнии.

Прежде всего он засвидетельствовал свое почтение вождю племени Тлинг-Тиннеху, преподнес ему несколько фунтов черного чаю и табаку и тем завоевал его благосклонность. Затем свел знакомство с мужчинами и девушками племени и в тот же вечер задал им потлач[6]. В снегу была вытоптана овальная площадка около ста футов в длину и двадцать пять в ширину. Посередине

---

[6] notes: 6

Потлач - пиршество, на котором хозяин оделяет гостей подарками.

развели огромный костер, по обе его стороны настлали еловых веток. Все племя высыпало из вигвамов, и добрая сотня глоток затянула в честь гостя индейскую песню.

За эти два года Бирюк Маккензи выучился языку индейцев — запомнил несколько сот слов, одолел гортанные звуки, затейливые формы и обороты, выражения почтительности, частицы и приставки. И вот он стал ораторствовать, подделываясь под их речь, полную первобытной поэзии, не скупясь на аляповатые красоты и корявые метафоры. Тлинг-Тиннех и шаман отвечали ему в том же стиле, потом он оделил мужчин мелкими подарками, вместе с ними распевал песни и показал себя искусным игроком в их любимой азартной игре «пятьдесят два».

Итак, они курили его табак и были очень довольны. Однако молодежь племени держалась по-иному — тут чувствовались и вызов и похвальба; и нетрудно было понять, в чем дело, — стоило прислушаться к хихиканью молодых девушек и грубым намекам беззубых старух. Они знавали не так уж много белых людей — Сыновей Волка, — но эти немногие преподали им кое-какие уроки.

При всей своей кажущейся беззаботности Бирюк Маккензи отлично это замечал. По правде

сказать, забравшись на ночь в спальный мешок, он все обдумал еще раз, обдумал с величайшей серьезностью и немало трубок выкурил, разрабатывая план кампании. Из всех девушек только одна привлекла его внимание, и не кто-нибудь, а сама Заринка, дочь вождя. Она резко выделялась среди своих соплеменниц; черты ее лица, фигура, осанка больше отвечали представлениям белого человека о красоте. Он добьется этой девушки, и возьмет ее в жены и назовет... да, он будет звать ее Гертрудой! Придя к этому решению, Маккензи повернулся на бок и уснул — истинный сын рода победителей.

Это была нелегкая задача, она требовала времени и труда, но Бирюк Маккензи действовал хитро, и вид у него при этом был самый беспечный, что совсем сбивало индейцев с толку. Он постарался доказать мужчинам, что он превосходный стрелок и бесподобный охотник, и все становище рукоплескало ему, когда он уложил лося выстрелом с шестисот ярдов. Однажды вечером он посетил вождя Тлинг-Тиннеха в его вигваме из лосиных и оленьих шкур; он хвастал без удержу и не скупился на табак. Не упустил он случая оказать ту же честь и шаману: он ведь хорошо понимал, как прислушивается племя к

слову колдуна, и хотел непременно заручиться его поддержкой. Но сей почтенный муж держался до крайности надменно, не пожелал сменить гнев на милость, и Маккензи уверенно занес его в список будущих противников.

Случая поговорить с Заринкой не представлялось, но Маккензи то и дело поглядывал на нее, давая понять, каковы его намерения. И она, разумеется, отлично поняла его, но из кокетства окружала себя целой толпой женщин всякий раз, как мужчины были далеко и Бирюк мог бы к ней подойти. Но он не торопился; притом он знал, что она поневоле думает о нем, — так пусть подумает еще денек-другой, это ему только на руку.

Наконец однажды вечером он решил, что настало время действовать; внезапно поднявшись, он вышел из душного, прокуренного жилища вождя и быстро прошел в соседний вигвам. Заринка по обыкновению сидела окруженная женщинами и молодыми девушками; все они были заняты делом: шили мокасины или расшивали бисером одежду. Маккензи встретили взрывом смеха, посыпались шуточки по адресу его и Заринки; но он без церемоний, одну за другой, вышвырнул женщин из вигвама прямо на снег, и они разбежались по становищу, чтобы всем рассказать о

случившемся.

Он весьма убедительно изложил Заринке все, что хотел сказать, на ее родном языке (его языка она не знала) и часа через два собрался уходить.

— Так, значит, Заринка пойдет жить в вигвам белого человека? Хорошо! Сейчас я поговорю с твоим отцом, может быть, он еще и не согласен. Я дам ему много даров, но пусть он не спрашивает лишнего. А вдруг он скажет «нет», говоришь ты? Что ж, хорошо! Заринка все равно пойдет в вигвам белого человека.

Он уже поднял шкуру, которой был завешен вход, но тут девушка негромко окликнула его, и он тотчас вернулся. Она опустилась на колени на устилавший пол медвежий мех; лицо ее сияло тем светом, каким светятся лица истинных дочерей Евы; она робко расстегнула тяжелый пояс Маккензи. Он смотрел на нее с недоумением, опасливо прислушиваясь к каждому шороху снаружи. Но следующий жест девушки рассеял его подозрения, и он улыбнулся, польщенный. Она достала из мешка, где лежало ее рукоделие, ножны из шкуры лося; на них были вышиты бисером яркие фантастические узоры. Вытащила большой охотничий нож Маккензи, почтительно поглядела на острое лезвие, осторожно потрогала

его пальцем и вложила в новые ножны. Потом надела их на пояс и сдвинула на обычное место — у левого бедра.

Право же, это было совсем как сцена из далекой старины: дама и ее рыцарь. Маккензи поднял девушку на ноги и коснулся усами ее алых губ — для нее это была незнакомая, чуждая ласка, ласка Волка. Так встретился каменный век с веком стали.

Когда Бирюк Маккензи с объемистым свертком под мышкой вновь появился на пороге шатра Тлинг-Тиннеха, вокруг чувствовалось необычайное оживление. Дети бегали по становищу, стаскивали сучья и хворост для потлача, болтовня женщин стала громче, молодые охотники сходились кучками и мрачно переговаривались, а из жилища шамана доносились зловещие звуки заклинаний.

Вождь сидел один со своей женой, смотревшей прямо перед собой тусклыми, остановившимися глазами, но Маккензи тотчас понял, что то, о чем он собирается говорить, тут уже известно. Он передвинул вышитые бисером ножны на самое видное место — в знак того, что обручение совершилось, и немедля приступил к делу.

— О Тлинг-Тиннех, могучий повелитель пле-

мени стиксов и всей страны Танана, властелин лосося и медведя, лося и оленя! Белого человека привела к тебе великая цель. Уже много лун жилище его пусто, и он одинок. Сердце его тоскует в тиши и томится о женщине — пусть сидит рядом с ним в его жилище, пусть встречает его, когда он возвращается с охоты, разводит огонь в очаге и готовит пищу. Белому человеку чудились странные вещи, он слышал топот маленьких мокасин и детские голоса. И однажды ночью ему было видение. Ворон — твой предок, великий Ворон, отец племени стиксов — явился ему и заговорил с ним. И вот что сказал Ворон одинокому белому человеку: «Надень мокасины, и стань на лыжи, и нагрузи свои нарты припасами для многих переходов и богатыми дарами, предназначенными вождю Тлинг-Тиннеху, ибо ты должен обратиться лицом в ту сторону, где прячется за край земли весеннее солнце, и держать путь в края, где охотится великий Тлинг-Тиннех. Туда привезешь ты щедрые подарки, и сын мой — Тлинг-Тиннех — станет тебе отцом. В его вигваме есть девушка, в которую я для тебя вдохнул дыхание жизни. Эту девушку возьмешь ты в жены». Так говорил великий Ворон, о вождь. Вот почему я кладу эти дары к твоим ногам. Вот почему я пришел взять

в жены твою дочь.

Старый вождь царственным жестом плотнее завернулся в свою меховую одежду, но медлил с ответом. В это время в шатер проскользнул мальчишка, сообщил, что вождя ждут на совет племени, и тотчас исчез.

— О белый человек, которого мы назвали Грозой Лосей, известный также под именем Волка и Сына Волка!

Мы знаем, ты происходишь из великого племени; мы горды тем, что ты был нашим гостем; но кета не пара лососю. Так и Волк не пара Ворону.

— Неверно! — воскликнул Маккензи. — Я встречал дочерей Ворона в лагерях Волка — у Мортимера, у Треджидго, у Бэрнеби, — в его жилище скво[7] вошла два ледохода назад; и я слышал, что есть еще и другие, хоть и не видел их собственными глазами.

— Ты говоришь правду, мой сын, но это дурные браки: все равно что брак воды с песком, снежинки с солнцем. А встречал ли ты человека по имени Мэйсон и его скво? Нет? Он первым из Волков пришел сюда, десять ледоходов тому назад. С ним был великан, могучий, как медведь

---

[7] notes: 7
Скво - женщина (на языках североамериканских индейцев)

гризли, и стройный, как побег ивы, с сердцем, точно полная луна летом. Так вот, его...

— Да это Мэйлмют Кид! — прервал Маккензи, узнав по описанию личность, хорошо известную всем на Севере.

— Это он, великан. Но видел ли ты когда-нибудь скво Мэйсона? Она родная сестра Заринки.

— Нет, вождь, я не видал ее, но слышал о ней. Далеко-далеко на Севере обрушилась под тяжестью лет вековая сосна и, падая, убила Мэйсона. Но любовь его была велика, и у него было много золота. Женщина взяла золото, взяла сына, которого оставил он ей, и пустилась в долгий путь, и через несчетное множество переходов прибыла в страну, где и зимой светит солнце... Там она живет до сих пор, там нет свирепых морозов, нет снега, летом в полночь не светит солнце, а зимой в полдень не царит мрак.

Тут их прервал второй гонец и сказал, что вождя требуют в совет. Вышвырнув его в снег, Маккензи мельком заметил раскачивающиеся фигуры вокруг огня, где собрался совет племени, услышал размеренное пение низких мужских голосов и понял, что шаман раздувает гнев в людях племени. Время не ждало. Маккензи обернулся к вождю.

— Слушай! — сказал он. — Я хочу взять твою дочь в жены. Смотри: вот табак, вот чай, много чашек сахару, вот теплые одеяла и большие, крепкие платки, а вот настоящее ружье, и к нему много патронов и много пороха.

— Нет, — возразил старик, силясь не поддаться соблазну огромного богатства, разложенного перед ним. — Сейчас собралось на совет мое племя. Оно не захочет, чтоб я отдал тебе Заринку.

— Но ведь ты вождь.

— Да, но юноши наши разгневаны, потому что Волки отнимают у них невест.

— Слушай, Тлинг-Тиннех! Прежде чем эта ночь перейдет, в день, Волк погонит своих собак к Восточным Горам и дальше — на далекий Юкон. И Заринка будет прокладывать путь его собакам.

— А может быть, прежде чем эта ночь достигнет середины, мои юноши бросят мясо Волка собакам, и кости его будут валяться под снегом, пока снег не растает под весенним солнцем.

Угроза в ответ на угрозу. Бронзово-смуглое лицо Маккензи залилось краской. Он возвысил голос. Старуха, жена вождя, до этой минуты остававшаяся бесстрастной зрительницей, попыталась проскользнуть мимо него к выходу. Пение оборвалось, послышался гул множества голосов;

Маккензи грубо отбросил старуху на ее ложе из шкур.

— Снова я взываю к тебе — слушай, о Тлинг-Тиннех! Волк умирает, сомкнув челюсти, и вместе с ним навсегда уснут десять сильнейших мужчин твоего племени, — а в мужчинах будет нужда, время охоты только начинается, и до начала рыбной ловли осталось не так уж много лун. И что пользы тебе от того, что я умру? Я знаю обычаи твоего народа: не много из моих богатств придется на твою долю. Отдай мне твою дочь — и все достанется тебе одному. И еще скажу тебе: сюда придут мои братья — их много, и они ненасытны, — и дочери Ворона станут рождать детей в жилищах Волка. Мое племя сильнее твоего. Такова судьба. Отдай мне дочь, и все эти богатства — твои.

Снаружи заскрипел под мокасинами снег. Маккензи вскинул ружье и расстегнул кобуры обоих револьверов на поясе.

— Отдай, о Тлинг-Тиннех!

— Но мой народ скажет «нет»!

— Отдай, и это богатство — твое. А с твоим народом я поговорю потом.

— Пусть будет, как хочет Волк. Я возьму дары, но помни, я тебя предупреждал.

Маккензи передал ему подарки, не забыв поднять предохранитель ружья, и дал в придачу ослепительно пестрый шелковый платок. Тут вошел шаман в сопровождении пяти или шести молодых воинов, но Маккензи дерзко растолкал их и вышел из шатра.

— Собирайся! — вместо приветствия коротко бросил он Заринке, проходя мимо ее вигвама, и поспешно стал запрягать собак.

Через несколько минут он явился на совет, ведя за собой свою упряжку; девушка шла бок о бок с ним. Он занял место в верхнем конце утоптанной площадки, рядом с вождем. Заринке он указал место слева от себя, на шаг позади, как ей и подобало. Притом в час, когда можно ждать недоброго, надо, чтобы кто-нибудь охранял тебя с тыла.

Справа и слева склонились к огню мужчины, голоса их слились в древней, полузабытой песне. Нельзя сказать, чтобы она была красива, эта песня, — вся из странных, неожиданных переходов, внезапных пауз, навязчивых повторений. Вернее всего, пожалуй, назвать ее страшной. В дальнем конце площадки с десяток женщин кружились перед шаманом в обрядовой пляске. И шаман гневно выговаривал тем, кто недостаточно самозабвенно отдавался исполнению обряда.

Наполовину окутанные распущенными черными, как вороново крыло, волосами, женщины медленно раскачивались взад и вперед, и тела их изгибались, покорные непрестанно меняющемуся ритму.

Странное это было зрелище, чистейший анахронизм. Дальше к югу был на исходе девятнадцатый век, истекали последние годы его последнего десятилетия, — а здесь процветал первобытный человек, тень доисторического пещерного жителя, забытый обломок Древности. Большие рыжие псы сидели рядом со своими одетыми в звериные шкуры хозяевами или дрались из-за места у огня, и отблески костра играли в их налитых кровью глазах, на влажных клыках. Дремучий лес, окутанный призрачным снежным покровом, спал непробудно, не тревожимый происходящим. Белое Безмолвие, на краткий миг отброшенное к дебрям, обступившим становище, словно готовилось вновь заполонить все; звезды дрожали и плясали в небе, как всегда в пору Великого Холода, и Полярные Духи раскинули по всему небосклону свои сияющие огненные одежды.

Бирюк Маккензи, смутно сознавая дикое величие этой картины, обвел взглядом ряды неподвижных фигур в меховых одеждах, вы-

сматривая, кого не хватает. На мгновение глаза его остановились на новорожденном младенце, мирно сосавшем обнаженную грудь матери. Было сорок градусов ниже нуля — семьдесят с лишним градусов мороза. Маккензи подумал о нежных женщинах своего народа и хмуро улыбнулся. И, однако, он, рожденный одною из тех нежных женщин, унаследовал то, что давало ему и его сородичам власть над сушей и морем, над животными и людьми во всех краях земли. Один против ста, в недрах арктической зимы, вдалеке от родных мест, чувствовал он зов этого наследия — волю к власти, безрассудную любовь к опасностям, боевой пыл, решимость победить или умереть.

Пение и пляски прекратились, и шаман разразился речью. Сложными и запутанными примерами из богатой мифологии индейцев он умело действовал на легковерных слушателей. Он говорил сильно и убедительно. Воплощению мирного созидательного начала — Ворону — он противопоставил Волка-Маккензи, заклеймив его как воплощение начала воинственного и разрушительного. Борьба этих начал не только духовная, борются и люди — каждый во имя

своего тотема[8]. Племя стиксов — дети Джелкса, Ворона, носителя прометеева огня; Маккензи — сын Волка, иными словами — дьявола. Пытаться приостановить эту извечную войну двух начал, отдавать дочерей племени в жены заклятому врагу — значит совершать величайшее предательство и кощунство. Самые резкие слова, самые гнусные оскорбления еще слишком мягки для Маккензи — ядовитого змея, коварно пытающегося вкрасться к ним в доверие, посланника самого сатаны. Тут слушатели глухо, грозно заворчали, а шаман продолжал:

— Джелкс всемогущ, братья мои! Не он ли принес на землю небесный огонь, чтобы мы могли согреться? Не он ли извлек солнце, месяц и звезды из их небесных нор, чтобы мы могли видеть? Не он ли научил нас бороться с духами Голода и Мороза? А ныне Джелкс разгневался на своих детей, и от племени осталась жалкая горсточка, и Джелкс не поможет им. Ибо они забыли его, они дурно поступают, и идут по дурным тропам, и вводят его врагов в свои вигвамы, и сажают у своего очага. И Ворон скорбит о злонравии своих

[8] notes: 8

Тотем — знак племени с изображением животного, растения или какого-либо элемента природы, которому оказывалось религиозное почитание.

детей. Но, когда они поймут глубину своего падения и докажут, что они вернулись к Джелксу, он выйдет из мрака им на помощь. О братья! Носитель Огня поведал шаману свою волю, — теперь выслушайте ее вы. Пусть юноши отведут девушек в свои вигвамы, а сами ринутся на Волка, и пусть их ненависть не ослабевает! Тогда женщины будут рождать детей, и народ Ворона станет многочисленным и могущественным. И Ворон выведет великие племена их отцов и дедов с Севера, и они будут сражаться с Волками, пока не превратят их в ничто, в пепел прошлогоднего костра, а сами снова станут властелинами всей страны. Так сказал Джелкс, Ворон!

Услышав эту весть о близком пришествии мессии, стиксы с хриплым воплем вскочили на ноги. Маккензи высвободил большие пальцы из рукавиц и ждал. Раздались крики: «Лис! Лис!» Они становились все громче; наконец один из молодых охотников выступил вперед и заговорил:

— Братья! Шаман сказал мудрые слова. Волки отнимают наших женщин, и некому рождать нам детей. Нас осталась горсточка. Волки отнимают у нас теплые меха и дают нам взамен злого духа, живущего в бутылке, и одежды, сделанные не из шкуры бобра или рыси, но из травы. И эти

одежды не дают тепла, и наши люди умирают от непонятных болезней. У меня, Лиса, нет жены. А почему? Дважды девушки, которые нравились мне, уходили в становище Волка. Вот и сейчас отложил я шкуры бобра, лося, оленя, чтобы завоевать благосклонность Тлинг-Тиннеха и взять в жены его дочь Заринку. И вот, смотрите, она встала на лыжи и готова прокладывать путь собакам Волка. И я говорю не за себя одного. То же самое мог бы сказать Медведь. Он тоже пожелал стать отцом детей Заринки и тоже приготовил много шкур, чтобы отдать Тлинг-Тиннеху. Я говорю за всех молодых охотников, у которых нет жен. Волки вечно голодны. И всегда они берут себе лучшие куски, а Воронам достаются жалкие остатки.

— Посмотрите, вот Гукла! — и Лис бесцеремонно ука-зал на одну из женщин; она была хромая. — Ноги ее искривлены, точно борта лодки. Она не может собирать дрова и хворост, не может носить за охотниками убитую дичь. Выбрали ее Волки?

— О! О! — вскричали собратья Лиса.

— Вот Мойри, — продолжал он. — Злой дух перекосил ей глаза. Даже младенцы пугаются, глядя на нее, и, говорят, сам медведь уступает ей дорогу. Выбрали ее Волки?

И снова грозный гул одобрения,

— А вот сидит Писчет. Она не слышит моих слов. Никогда она не слышала ни веселой беседы, ни голоса своего мужа, ни лепета своего ребенка. Она живет в Белом Безмолвии. Разве Волки хотя бы взглянули на нее? Нет! Им достается отборная добыча, нам — остатки. Братья, больше так быть не должно! Довольно Волкам рыскать у наших костров! Время настало!

Гигантское огненное полотнище северного сияния — пурпурное, зеленое, желтое пламя — затрепетало в небе, охватив его от края до края. И Лис, запрокинув голову и воздев руки к небесам, воскликнул:

— Смотрите! Духи наших предков восстали! Великие дела совершатся в эту ночь!

Он отступил, и другой молодой охотник нерешительно вышел вперед, подталкиваемый товарищами. Он был на голову выше всех остальных, широкая грудь обнажена, точно назло морозу. Он переминался с ноги на ногу, слова не шли у него с языка, он был застенчив и неловок. Страшно было смотреть на его лицо: когда-то его, видимо, изорвало, исковеркало каким-то чудовищной силы ударом. Наконец он гулко ударил себя кулаком в грудь, точно в барабан, и заговорил; голос его звучал глухо, как шум прибоя в пещере на

берегу океана.

— Я Медведь, Серебряное Копье и сын Серебряного Копья. Когда мой голос был еще звонок, как голос девушки, я убивал рысь, лося и оленя; когда он зазвучал, как крик росомахи в ловушке, я пересек Южные Горы и убил троих из племени Белой реки; когда он стал, как рев Чинука, я встретил медведя гризли — и я не уступил ему дороги.

Он помедлил, многозначительно провел ладонью по страшным шрамам на лице. Потом продолжал:

— Я не Лис. Язык мой замерз, как река. Я не умею красно говорить. Слов у меня немного. Лис говорит: «Великие дела совершатся в эту ночь». Хорошо! Речь его бежит с языка, точно река в половодье, но на дела он совсем не так щедр. Сегодня ночью я буду сражаться с Волком. Я убью его, и Заринка сядет у моего очага. Я, Медведь, сказал.

Настоящий ад бушевал вокруг, но Маккензи был тверд. Хорошо понимая, что ружье на таком близком расстоянии бесполезно, он незаметно передвинул вперед на поясе обе кобуры, готовясь пустить в дело револьверы, и спустил рукавицы так низко, что они теперь висели у него на пальцах. Он знал, что, если на него нападут все разом,

ему не на что надеяться, но, верный своей недавней похвальбе, намеревался умереть, сомкнув челюсти на горле врага. Но Медведь сдержал своих собратьев, отбросил самых пылких назад ударами страшного кулака. Буря начала стихать, и Маккензи мельком взглянул на Заринку. Это было великолепное зрелище. Стоя на лыжах, она вся подалась вперед, губы ее приоткрылись, ноздри трепетали — совсем тигрица перед прыжком. В больших черных глазах ее, устремленных на сородичей, был и страх и вызов. Все ее существо напряглось, как натянутая тетива, она даже дышать забывала. Она так и застыла, судорожно прижав одну руку к груди, стиснув в другой длинный бич. Но как только Маккензи взглянул на нее, Заринку словно отпустило. Напряженные мышцы ослабли, она глубоко вздохнула, выпрямилась и ответила ему взглядом, полным безграничной преданности.

Тлинг-Тиннех пытался заговорить, но голос его утонул в общем крике. И тут Маккензи выступил вперед. Лис открыл было рот, но тотчас шарахнулся назад, и пронзительный вопль застрял у него в глотке — с таким бешенством обернулся к нему Маккензи. Поражение Лиса было встречено взрывами хохота — теперь его соплеменники

готовы были слушать.

— Братья! — начал Маккензи. — Белый человек, которого вы называете Волком, пришел к вам с открытой душой. Он не станет лгать, подобно иннуиту. Он пришел как друг, как тот, кто хочет стать вам братом. Но ваши мужчины сказали свое слово, и время мирных речей прошло. Так слушайте: прежде всего ваш шаман — злой болтун и лживый прорицатель, и воля, которую он передал вам, — не воля Носителя Огня. Уши его глухи к голосу Ворона, он сам сочиняет коварные небылицы, и он обманул вас. Он бессилен. Когда вам пришлось убить и съесть своих собак и на желудке у вас была тяжесть от сыромятной кожи мокасин; когда умирали старики, и умирали старухи, и младенцы умирали у иссохшей груди матери; когда ваша земля была окутана тьмою и все живое гибло, точно лосось в осеннюю пору; да, когда голод обрушился на вас, — разве ваш шаман принес удачу охотникам? Разве он наполнил мясом ваши желудки? Опять скажу вам: шаман бессилен. Вот, я плюю ему в лицо!

Все были поражены этим кощунством, но никто не крикнул. Иные женщины перепугались, мужчины же в волнении ждали чуда. Все взоры обратились на двух главных героев происходяще-

го. Жрец понял, что настала решающая минута, почувствовал, что власть его колеблется, и уже готов был разразиться угрозами, но передумал: Маккензи занес кулак и шагнул к нему — свирепый, со сверкающими глазами. Шаман злобно усмехнулся и отступил.

— Что ж, поразила меня внезапная смерть? Сожгло меня молнией? Или, может, звезды упали с неба и раздавили меня? Тьфу! Я покончил с этим псом. Теперь я скажу вам о моем племени, могущественнейшем из племен, которое владычествует во всех землях. Сначала мы охотимся, как я, в одиночку. Потом охотимся стаями и, наконец, как оленьи стада, заполняем весь край. Те, кого мы берем в свои вигвамы, остаются в живых, остальных ждет смерть. Заринка красивая девушка, крепкая и сильная, она будет хорошей матерью Волков. Вы можете убить меня, но она все равно станет матерью Волков, ибо мои братья многочисленны, и они придут по следу моих собак. Слушайте, вот Закон Волка: если ты отнимешь жизнь у одного Волка, десятеро из твоего племени заплатят за это своей жизнью. Эту цену платили уже во многих землях, во многих землях ее еще будут платить.

Теперь я буду говорить с Лисом и с Медведем.

Видно, им приглянулась эта девушка. Так? Но смотрите — я купил ее! Тлинг-Тиннех опирается на мое ружье, и еще я дал за нее другие товары, которые лежат у его очага. И все-таки я буду справедлив к молодым охотникам. Лису, у которого язык пересох от долгих речей, я дам табаку — пять больших пачек. Пусть рот его вновь увлажнится, чтоб он мог всласть шуметь на совете. Медведю же — я горжусь знакомством с ним — я дам два одеяла, двадцать чашек муки, табаку вдвое больше, чем Лису; а если он пойдет со мной к Восточным Горам, я дам ему еще и ружье, такое же, как у Тлинг-Тиннеха. А если он не хочет? Что ж, хорошо! Волк устал говорить. Но он еще раз повторит вам Закон: если ты отнимешь жизнь у одного Волка, десятеро из твоего племени заплатят за это своей жизнью.

Маккензи улыбнулся и отступил на прежнее место, но на душе у него было неспокойно. Ночь была еще совсем темна. Девушка стала рядом с Маккензи и наскоро рассказывала, какие хитрости пускает в ход Медведь, когда дерется на ножах, и Маккензи внимательно слушал.

Итак, решено — они будут биться. Мигом десятки мокасин расширили утоптанную площадку вокруг огня. Не-мало тут было и разговоров о

поражении, которое у всех на глазах потерпел шаман; некоторые уверяли, что он еще покажет свою силу, другие вспоминали разные события минувшего и соглашались с Волком. Медведь выступил вперед, в руке у него был обнаженный охотничий нож русской работы. Лис обратил общее внимание на револьверы Маккензи, и тот, сняв свой пояс, надел его на Заринку и передал ей свое ружье. Она покачала головой в знак того, что не умеет стрелять: откуда женщине знать, как обращаться со столь драгоценным оружием.

— Тогда, если опасность придет сзади, крикни громко: «Муж мой!» Нет, вот так: «Муж мой!»

Он рассмеялся, когда она повторила незнакомое английское слово, ущипнул ее за щеку и вернулся в круг. Медведь превосходил его не только ростом, у него и руки были длиннее и нож длиннее на добрых два дюйма. Бирюку Маккензи случалось и прежде смотреть в глаза противнику, и он сразу понял, что перед ним настоящий мужчина; и, однако, он весь ожил при виде сверкнувшей стали, и, послушная зову предков, кровь быстрей побежала в его жилах.

Снова и снова противник отбрасывал его то к самому костру, то в глубокий снег, но снова и снова, шаг за шагом, как опытный боксер, Мак-

кензи отжимал его к центру. Никто не крикнул ему ни единого слова одобрения, тогда как его соперника подбадривали похвалами, советовали, предостерегали. Но Маккензи только крепче стискивал зубы, когда со звоном сталкивались лезвия ножей, и нападал или отступал с хладнокровием, которое рождается из сознания своей силы. Сперва он ощущал невольную симпатию к врагу, но это чувство исчезло перед инстинктом самосохранения, который, в свою очередь, уступил место жажде убийства. Десять тысяч лет цивилизации слетели с Маккензи, как шелуха, и он стал просто пещерным жителем, сражающимся из-за самки.

Дважды он достал Медведя ножом и ускользнул невредимый; но на третий раз, чтобы избежать удара, ему пришлось схватиться с Медведем вплотную — каждый свободной рукой стиснул руку другого, вооруженную ножом. И тут Маккензи почувствовал всю ужасающую силу соперника. Мышцы его мучительно свело, все связки и сухожилия готовы были лопнуть от напряжения... а лезвие русской стали все ближе, ближе... Он попытался оторваться от противника, но только ослабил свою позицию. Кольцо людей в меховых одеждах сомкнулось теснее, — ни-

кто не сомневался, что близок последний удар, и всем не терпелось его увидеть. Но приемом опытного борца Маккензи откачнулся в сторону и ударил противника головой. Медведь невольно попятился, потерял равновесие. Маккензи мгновенно воспользовался этим и, всей тяжестью обрушившись на Медведя, отшвырнул его за круг зрителей, в глубокий, неутоптанный снег. Медведь с трудом выбрался оттуда и ринулся на Маккензи.

— О муж мой! — зазвенел голос Заринки, предупреждая о близкой опасности.

Загудела тетива, но Маккензи уже успел пригнуться, — стрела с костяным наконечником, пролетев над ним, вонзилась в грудь Медведя, и тот тяжело упал, подминая под себя противника. Секунду спустя Маккензи был снова на ногах. Медведь лежал без движения, но по ту сторону костра шаман готовился пустить вторую стрелу.

Маккензи схватил тяжелый нож за конец лезвия, коротко взмахнул им. Сверкнув, как молния, нож пролетел над костром. Лезвие вонзилось шаману в горло по самую рукоятку, он зашатался и рухнул на пылающие уголья.

Клик! Клик! — Лис завладел ружьем Тлинг-Тиннеха и тщетно пытался загнать патрон в ствол, но

тотчас выронил ружье, услышав хохот Бирюка.

— Так, значит, Лис еще не научился обращаться с этой игрушкой? Стало быть, Лис пока еще женщина? Поди сюда! Дай ружье, я покажу тебе, что надо делать.

Лис колебался.

— Поди сюда, говорят тебе!

И Лис подошел, неловкий, как побитый щенок.

— Вот так и так — и все в порядке.

Патрон скользнул на место, щелкнул курок, Маккензи вскинул ружье к плечу.

— Лис сказал, что великие дела совершатся в эту ночь, и он говорил правду. Великие дела совершились, но их совершил не Лис. Что же, он все еще намерен взять Заринку в свой вигвам? Он желает пойти той тропой, которую проложили шаман и Медведь? Нет? Хорошо!

Маккензи презрительно отвернулся и вытащил свой нож из горла шамана.

— Может быть, кто-нибудь другой из молодых охотников этого хочет? Если так, Волк отправит их той же дорогой — по двое, по трое, пока ни одного не останется. Никто не хочет? Хорошо. Тлинг-Тиннех, второй раз я отдаю тебе это ружье. Если когда-нибудь ты отправишься на Юкон, знай, что в жилище Волка тебя всегда ждет место

у очага и вдоволь еды. А теперь ночь переходит в день. Я ухожу, но, возможно, я еще вернусь. И в последний раз говорю: помните Закон Волка!

Он подошел к Заринке, а они смотрели на него, как на какое-то сверхъестественное существо. Заринка заняла свое место впереди упряжки, и собаки пошли. Несколько минут спустя призрачный снежный лес поглотил их. И тогда стоявший неподвижно Маккензи, в свою очередь, стал на лыжи, готовый двинуться следом.

— Разве Волк забыл про пять больших пачек табаку?

Маккензи гневно обернулся к Лису, но тут же ему стало смешно.

— Я дам тебе одну маленькую пачку.

— Как будет угодно Волку, — скромно сказал Лис и протянул руку.

На Сороковой Миле

Вряд ли Большой Джим Белден думал, к чему приведет его вполне как будто безобидное замечание о том, какая «занятная штука» — ледяное сало. Не думал об этом и Лон Мак-Фэйн, заявив в ответ, что еще более занятная штука — донный лед; не думал и Беттлз, когда он сразу же заспорил, утверждая, что никакого донного льда не существует, — это просто вздорная выдумка вроде буки, которой пугают детей.

— И это говоришь ты, — закричал Лон, — который столько лет провел в этих местах! И мы еще столько раз ели с тобой из одного котелка!

— Да ведь это противоречит здравому смыслу, — настаивал Беттлз, — послушай-ка, ведь вода теплее льда...

— Разница невелика, если проломить лед.

— И все-таки вода теплее, раз она не замерзла. А ты говоришь, она замерзает на дне!

— Да ведь я про донный лед говорю, Дэвид, только про донный лед. Вот иногда плывешь по течению, вода прозрачная, как стекло, и вдруг сразу точно облако закрыло солнце — и в воде льдинки, словно пузырьки, начинают подни-

маться кверху; и не успеешь оглянуться, как уж вся река от берега до берега, от изгиба до изгиба по-белела, как земля под первым снегом. С тобой этого никогда не бывало?

— Угу, бывало, и не раз, когда мне случалось задремать на рулевом весле. Только лед всегда выносило из какого-нибудь бокового протока, пузырьками снизу он не поднимался.

— А наяву ты этого ни разу не видел?

— Нет. И ты не видел. Все это противоречит здравому смыслу. Каждый тебе скажет то же!

Беттлз обратился ко всем сидевшим вокруг печки, но никто не ответил ему, и спор продолжался только между ним и Лоном Мак-Фэйном.

— Противоречит или не противоречит, но то, что я тебе говорю, — это правда. Осенью прошлого года мы с Ситкой Чарли наблюдали такую картину, когда плыли через пороги, что пониже Форта Доверия. Погода была настоящая осенняя, солнце поблескивало на золотых лиственницах и дрожащих осинах, рябь на реке так и сверкала; а с севера уже надвигалась голубая дымка зимы. Ты и сам хорошо знаешь, как это бывает: вдоль берегов реку начинает затягивать ледяной кромкой, а кое-где в заводях появляются уже порядочные льдины; воздух какой-то звонкий и словно ис-

крится; и ты чувствуешь, как с каждым глотком этого воздуха у тебя жизненных сил прибывает. И вот тогда-то, дружище, мир становится тесным и хочется идти и идти вперед.

Да, но я отвлекся.

Так вот, значит, мы гребли, не замечая никаких признаков льда, разве только отдельные льдинки у водоворотов, как вдруг индеец поднимает свое весло и кричит: «Лон Мак-Фэйн! Посмотри-ка вниз! Слышал я про такое, но никогда не думал, что увижу это своими глазами!»

Ты знаешь, что Ситка Чарли, так же как и я, никогда не жил в тех местах, так что зрелище было для нас новым. Бросили мы грести, свесились по обе стороны и всматриваемся в сверкающую воду. Знаешь, это мне напомнило те дни, которые я провел с искателями жемчуга, когда мне приходилось видеть на дне моря коралловые рифы, похожие на цветущие сады. Так вот, мы увидели донный лед: каждый камень на дне реки был облеплен гроздьями льда, как белыми кораллами.

Но самое интересное было еще впереди. Не успели мы обогнуть порог, как вода вокруг лодки вдруг стала белеть, как молоко, покрываясь на поверхности крошечными кружочками, как бывает, когда хариус поднимается весной или когда

на реке идет дождь. Это всплывал донный лед. Справа, слева, со всех сторон, насколько хватало глаз, вода была покрыта такими кружочками. Словно лодка подвигалась вперед в густой каше, как клей, прилипавший к веслам. Много раз мне приходилось плыть через эти пороги и до того и после, но никогда я не видел ничего подобного. Это зрелище запомнилось мне на всю жизнь.

— Рассказывай! — сухо заметил Беттлз. — Неужели, ты думаешь, я поверю этаким небылицам? Просто у тебя в глазах рябило да воздух развязал язык.

— Так ведь я же своими глазами видел это; был бы Ситка Чарли здесь, он подтвердил бы.

— Но факты остаются фактами, и обойти их никак нельзя. Это противоестественно, чтобы сначала замерзала вода, которая дальше всего от воздуха.

— Но я своими глазами...

— Хватит! Ну что ты заладил одно и то же! — убеждал его Беттлз.

Но в Лоне Мак-Фэйне уже начинал закипать гнев, свойственный его вспыльчивой кельтской натуре:

— Так ты что ж, не веришь мне?!

— Раз уж ты так уперся, — нет; в первую очередь

я верю природе и фактам.

— Значит, ты меня обвиняешь во лжи? — угрожающе произнес Лон. — Ты бы лучше спросил свою жену, сивашку. Пусть она скажет, правду я говорю или кет.

Беттлз так и вспыхнул от злости. Сам того не сознавая, ирландец больно задел его самолюбие: дело в том, что жена Беттлза, по матери индианка, была дочерью русского торговца пушниной, и он с ней венчался в православной миссии в Нулато, за тысячу миль отсюда вниз по Юкону; таким образом, она по своему положению стояла гораздо выше обыкновенных туземных жен — сивашек. Это была тонкость, нюанс, значение которого может быть понятно только северному искателю приключений.

— Да, можешь понимать это именно так, — подтвердил Беттлз с решительным видом.

В следующее мгновение Лон Мак-Фэйн повалил его на пол, сидевшие вокруг печки повскакали со своих мест, и с полдюжины мужчин тотчас же очутились между противниками.

Беттлз поднялся на ноги, вытирая кровь с губ.

— Драться — это не ново. А не думаешь ли ты, что я с тобой за это рассчитаюсь?

— Еще никто никогда в жизни не обвинял меня

во лжи, — учтиво ответил Лон. — И будь я проклят, если я не помогу тебе расквитаться со мной любым способом.

— У тебя все тот же 38-55?

Лон утвердительно кивнул головой.

— Ты бы лучше достал себе более подходящий калибр. Мой револьвер понаделает в тебе дыр величиной с орех.

— Не беспокойся! Хотя у моих пуль рыльце мягкое, но бьют они навылет и выходят с другой стороны сплющенными в лепешку. Когда я буду иметь удовольствие встретиться с тобой? По-моему, самое подходящее место — это у проруби.

— Место неплохое. Приходи туда ровно через час, и тебе не придется долго меня дожидаться.

Оба надели рукавицы и вышли из помещения поста Сороковой Мили, не обращая внимания на уговоры товарищей. Казалось бы, началось с пустяка, но у людей такого вспыльчивого и упрямого нрава мелкие недоразумения быстро разрастаются в крупные обиды. Кроме того, в те времена еще не умели вести разработку золотоносных пластов зимой, и у жителей Сороковой Мили, запертых в своем поселке продолжительными арктическими морозами и страдающих от обжорства и вынужденного безделья, сильно

портился характер; они становились раздражительными, как пчелы осенью, когда ульи переполнены медом.

В Северной Стране тогда не существовало правосудия. Королевская конная полиция также была еще делом будущего. Каждый сам измерял обиду и сам назначал наказание, когда дело касалось его. Необходимость в совместных действиях против кого-либо возникала редко, и за всю мрачную историю лагеря Сороковой Мили не было случаев нарушения восьмой заповеди.

Большой Джим Белден сразу же устроил импровизированное совещание. Бирюк Маккензи занял председательское место, а к священнику Рубо был отправлен нарочный с просьбой помочь делу своим участием. Положение совещавшихся было двойственным, и они понимали это. По праву силы, которое было на их стороне, они могли вмешаться и предотвратить дуэль, однако такой поступок, вполне отвечая их желаниям, шел бы вразрез с их убеждениями. В то время как их примитивные законы чести признавали личное право каждого ответить ударом на удар, они не могли примириться с мыслью, что два таких добрых друга, как Беттлз и Мак-Фэйн, должны встретиться в смертельном поединке. Человек, не

принявший вызова, был, по их понятиям, трусом, но теперь, когда они столкнулись с этим в жизни, им хотелось, чтобы поединок не состоялся.

Совещание было прервано торопливыми шагами, скрипом мокасин на снегу и громкими криками, за которыми последовал выстрел из револьвера. Одна за другой распахнулись двери, и вошел Мэйлмют Кид, держа в руке дымящийся кольт, с торжествующим огоньком во взгляде.

— Уложил на месте. — Он вставил новый патрон и добавил: — Это твой пес, Бирюк.

— Желтый Клык? — спросил Маккензи.

— Нет, знаешь, тот, вислоухий.

— Черт! Да ведь он был здоров!

— Выйди и погляди.

— Да в конце концов так и надо было. Я и сам думал, что с вислоухим кончится плохо. Сегодня утром возвратился Желтый Клык и сильно покусал его. Потом Желтый Клык едва не сделал меня вдовцом. Набросился на Заринку, но она хлестнула его по морде своим подолом и убежала — отделалась изодранной юбкой да здорово вывалялась в снегу. После этого он опять удрал в лес. Надеюсь, больше не вернется. А что, у тебя тоже погибла собака?

— Да, одна, лучшая из всей своры — Шукум.

Утром он вдруг взбесился, но убежал не очень далеко. Налетел на собак из упряжки Ситки Чарли, и они проволокли его по всей улице. А сейчас две из них взбесились и вырвались из упряжки — как видишь, он свое дело сделал. Если мы что-нибудь не предпримем, весной не досчитаемся многих собак.

— И людей тоже.

— Это почему? Разве с кем-нибудь случилась беда?

— Беттлз и Лон Мак-Фэйн поспорили и через несколько минут будут сводить счеты внизу, у проруби.

Ему рассказали все подробно, и Мэйлмют Кид, привыкший к беспрекословному послушанию со стороны своих товарищей, решил взяться за это дело. У него быстро созрел план действий; он изложил его присутствующим, и они пообещали точно выполнить указания.

— Как видите, — сказал он в заключение, — мы вовсе не лишаем их права стреляться; но я уверен, что они сами не захотят, Когда поймут всю остроумную суть нашего плана. Жизнь — игра, а люди — игроки. Они готовы поставить на карту все состояние, если имеется хотя бы один шанс из тысячи. Но отнимите у них этот единственный

шанс, и они не станут играть. — Он повернулся к человеку, на попечении которого находилось хозяйство поста. — Отмерь-ка мне футов восемнадцать самой лучшей полудюймовой веревки. Мы создадим прецедент, с которым будут считаться на Сороковой Миле до скончания веков, — заявил он. Затем он обмотал веревку вокруг руки и вышел из дверей в сопровождении своих товарищей как раз вовремя, чтобы встретиться с главными виновниками происшествия.

— Какого черта он приплел мою жену? — заревел Беттлз в ответ на дружескую попытку успокоить его. — Это было ни к чему! — заявил он решительно. — Это было ни к чему! — повторял он, шагая взад и вперед в ожидании Лона Мак-Фэйна.

А Лон Мак-Фэйн с пылающим лицом все говорил и говорил: он открыто восстал против церкви.

— Если так, отец мой, — кричал он священнику, — если так, то я с легким сердцем завернусь в огненные одеяла и улягусь на ложе из горящих углей! Никто тогда не посмеет сказать, что Лона Мак-Фэйна обвинили во лжи, а он проглотил обиду, не шевельнув пальцем! И не надо, мне вашего благословения! Пусть моя жизнь была

беспорядочной, но сердцем я всегда знал, что хорошо и что плохо.

— Лон, но ведь это не сердце, — прервал его отец Рубо. — Это гордыня толкает тебя на убийство ближнего.

— Эх вы, французы! — ответил Лон. И затем, повернувшись, чтобы уйти, он спросил: — Скажите, если мне не повезет, вы отслужите по мне панихиду?

Но священник только улыбнулся в ответ и зашагал в своих мокасинах по снежному простору уснувшей реки.

К проруби вела утоптанная тропинка шириной в санный след, не более шестнадцати дюймов. По обеим сторонам ее лежал глубокий мягкий снег. Молчаливая вереница людей двигалась по тропинке; шагающий с ними священник в своем черном облачении придавал процессии какой-то похоронный вид. Был теплый для Сороковой Мили зимний день; свинцовое небо низко нависло над землей, а ртуть термометра показывала необычные для этого времени года двадцать градусов ниже нуля. Но это тепло не радовало. Ветра не было, угрюмые, неподвижно висящие облака предвещали снегопад, а равнодушная земля, скованная зимним сном, застыла в спокойном

ожидании.

Когда подошли к проруби, Беттлз, который, очевидно, по дороге мысленно переживал ссору, в последний раз разразился своим: «Это было ни к чему!» Дон Мак-Фэйн продолжал хранить мрачное молчание. Он не мог говорить: негодование душило его.

И все же, отвлекаясь от взаимной обиды, оба в глубине души удивлялись своим товарищам. Они полагали, что те будут спорить, протестовать, и это молчаливое непротивление больно задевало их. Можно было ожидать большего участия со стороны столь близких людей, и в душе у обоих поднималось смутное чувство обиды: их возмущало, что друзья собрались, словно на праздник, и без единого слова протеста готовы смотреть, как они будут убивать друг друга. Видно, не так уж дорожили ими на Сороковой Миле. Поведение товарищей приводило их в замешательство.

— Спиной к спине, Дэвид. На каком расстоянии будем стреляться — пятьдесят шагов или сто?

— Пятьдесят, — решительно ответил тот; это было сказано достаточно четко, хотя и ворчливым тоном.

Внезапно зоркий взгляд ирландца упал на веревку, небрежно обмотанную вокруг руки

Мэйлмюта Кида, и он мгновенно насторожился.

— А что ты собираешься делать с этой веревкой?

— Ну, вы, поторапливайтесь! —сказал Мэйлмют Кид, не удостоив его ответом, и взглянул на свои часы. — Я собрался было печь хлеб и не хочу, чтобы тесто село. Кроме того, у меня уже ноги мерзнут.

Остальные тоже начали выказывать нетерпение, каждый по-своему.

— Да, но зачем веревка, Кид? Она же совершенно новая, и уж, конечно, твои хлебы не такие тяжелые, чтобы их нужно было вытягивать веревкой?

В это время Беттлз оглянулся кругом. Отец Рубо прикрыл рукавицей рот: до него только сейчас начал доходить комизм положения.

— Нет, Лон, эта веревка предназначена для человека.

Мэйлмют Кид при желании мог говорить очень внушительно.

— Для какого человека? — Беттлза начинал интересовать разговор.

— Для второго.

— А кого ты подразумеваешь под этим?

— Послушай, Лон, и ты, Беттлз, тоже! Мы обсу-

дили эту вашу маленькую ссору и приняли одно решение. Мы знаем, что не имеем права запретить вам драться...

— Вот это верно!

— А мы и не собираемся. Но зато мы можем сделать — и сделаем — так, чтобы этот поединок оказался первым и последним в лагере на Сороковой Миле. Пусть это послужит уроком для каждого чечако на Юконе. Тот из вас, кто останется в живых, будет повешен на ближайшем дереве. А теперь приступайте!

Лон недоверчиво улыбнулся, затем лицо его оживилось:

— Отмеривай пятьдесят шагов, Дэвид; разойдемся и будем стрелять до тех пор, пока один из нас не свалится мертвым. Не посмеют они это сделать! Ты же знаешь, что это штучки нашего янки. Он просто хочет запугать нас!

Он двинулся вперед, самодовольно ухмыляясь, но Мэйлмют Кид остановил его:

— Лон! Давно ты меня знаешь?

— Давно, Кид.

— А ты, Беттлз?

— В июне, в половодье, будет пять лет.

— Был хоть один случай, чтобы я не сдержал свое слово? Может быть, вы хоть от других слы-

шали о таком случае?

Оба отрицательно покачали головой, стараясь в то же время понять, что скрывалось за его вопросами.

— Значит, на мое обещание можно положиться?

— Как на долговую расписку, — изрек Беттлз.

— Верное дело, не то что надежда на райское блаженство, — быстро подтвердил Лон Мак-Фэйн.

— Ну так слушайте! Я, Мэйлмют Кид, даю вам слово — а вы знаете, что это значит, — что тот из вас, кто останется в живых, будет повешен через десять минут после дуэли. — Он отступил назад, как, быть может, сделал Понтий Пилат, умыв руки.

Молча стояли люди Сороковой Мили. Небо нависло еще ниже, осыпая на землю кристаллическую морозную пыль — крошечные геометрические фигурки, прекрасные и эфемерные, как дыхание, которым тем не менее суждено было существовать до тех пор, пока солнце, возвращаясь, не пройдет половину своего северного пути. Как Беттлзу, так и Лону не раз приходилось отчаянно рисковать; однако, пускаясь в опасное предприятие, с проклятиями или шутками на языке, они

всегда сохраняли в душе неизменную веру в Счастливый Случай. Но на сей раз участие этого милостивого божества совершенно исключалось. Они вглядывались в лицо Мэйлмюта Кида, тщетно силясь разгадать его истинные намерения, но оно было непроницаемо, как у сфинкса. И по мере того как в тягостном молчании проходила минута за минутой, они все больше ощущали потребность сказать что-нибудь.

Собачий вой резко разорвал тишину; он доносился со стороны Сороковой Мили. Зловещий звук усиливался, наполняясь отчаянием и предсмертной тоской, и наконец замер.

— Черт возьми! — Беттлз поднял воротник своей теплой куртки и беспомощно оглянулся кругом.

— Выгодную игру ты затеял, Кид! — воскликнул Лон Мак-Фэйн. — Весь выигрыш заведению, и ни гроша игроку. Сам черт не сумел бы придумать такой штуки, и будь я проклят, если я пойду на это.

Когда обитатели Сороковой Мили взбирались по вырубленным во льду ступенькам на берег и пересекали улицу, направляясь к посту, можно было услышать приглушенные смешки и перехватить лукавые подмигивания, едва заметные под пушистыми от инея ресницами. Снова раз-

дался протяжный угрожающий вой собаки, за углом пронзительно взвизгнула женщина. Кто-то крикнул: «Вот он!» И в толпу стремительно врезался мальчик-индеец, а потом полдюжины перепуганных собак, которые мчались с такой быстротой, словно за ними гналась сама смерть. Им вслед пронесся Желтый Клык, ощетинив серую шерсть. Все, кроме янки, бросились бежать. Мальчик споткнулся и упал. Беттлз задержался ровно настолько, чтобы успеть схватить его за края меховой одежды, и вместе с ним бросился к высокой поленнице, куда успели забраться несколько его товарищей. Желтый Клык, преследуя одну из собак, уже возвращал ся быстрыми прыжками. Беглянка, совершенно обезумевшая от страха, сбила Беттлза с ног и бросилась по улице. Мэйлмют Кид быстро, не целясь, выстрелил в Желтого Клыка. Бешеный пес взвился и, перекувырнувшись в воздухе, упал на спину, но тут же вскочил и одним прыжком покрыл половину расстояния, отделявшего его от Беттлза.

Но второй роковой прыжок не состоялся. Лон Мак- Фэйн вскочил с поленницы, встретил Желтого Клыка на лету. Они покатились по земле; Лон схватил собаку за горло и удерживал ее морду вытянутой рукой на расстоянии. Зловонная

слюна брызнула ему в лицо. И вот тогда Беттлз, с револьвером в руке хладнокровно выжидавший удобного момента, решил исход поединка.

— Это была честная игра, Кид, — сказал Лон, поднимаясь на ноги и вытряхивая снег из рукавов, — и выигрыш достался мне по праву.

Вечером, в то время как Лон Мак-Фэйн, решив вернуться во всепрощающее лоно церкви, направлялся к хижине отца Рубо, Мэйлмют Кид и Маккензи вели длинный, но почти безрезультатный разговор.

— Неужели ты сделал бы это, — упорствовал Маккензи, — если бы они все-таки стрелялись?

— Был ли случай, чтобы я не сдержал свое слово?

— Нет, но не о том речь. Ты отвечай. Сделал бы ты это?

Мэйлмют Кид выпрямился.

— Знаешь, Бирюк, я сам все время спрашиваю себя об этом и...

— И что?

— И вот пока не могу найти ответа.

В далеком краю

Когда человек уезжает в далекие края, он должен быть готов к тому, что ему придется забыть многие из своих прежних привычек и приобрести новые, отвечающие изменившимся условиям жизни. Он должен расстаться со своими прежними идеалами, отречься от прежних богов, а часто и отрешиться от тех правил морали, которыми до сих пор руководствовался в своих поступках. Те, кто наделен особым даром приспособляемости, могут даже находить удовольствие в новизне положения. Но для тех, кто закостенел в привычках, приобретенных с детства, гнет изменившихся условий невыносим, — такие люди страдают душой и телом, не умея понять требований, которые предъявляет к ним иная среда. Эти страдания порождают дурные наклонности и навлекают на человека всевозможные бедствия. Для того, кто не может войти в новую жизненную колею, лучше сразу вернуться на родину; промедление будет стоить ему жизни.

Человек, распрощавшийся с благами старой цивилизации ради первобытной простоты и суровой юности Севера, может считать, что его

шансы на успех обратно пропорциональны количеству и качеству безнадежно укоренившихся в нем привычек. Он вскоре обнаружит, если только вообще способен на это, что материальные жизненные удобства еще не самое важное. Есть грубую и простую пищу вместо изысканных блюд, носить мягкие бесформенные мокасины вместо кожаной обуви, спать на снегу, а не на пуховой постели — ко всему этому в конце концов привыкнуть можно. Но самое трудное —это выработать в себе должное отношение ко всему окружающему и особенно к своим ближним. Ибо обычную учтивость он должен заменить в себе снисходительностью, терпимостью и готовностью к самопожертвованию. Так и только так он может заслужить драгоценную награду — истинную товарищескую преданность. От него не требуется слов благодарности — он должен доказать ее на деле, воздав добром за добро, короче, заменить видимость сущностью.

Когда весть об арктическом золоте облетела мир и людские сердца неудержимо потянуло к Северу, Картер Уэзерби распрощался со своим насиженным местом в конторе, где он работал клерком, перевел половину сбережений на имя жены, а на оставшиеся деньги купил себе все

необходимое для путешествия. В его натуре не было романтики — занятия коммерцией уничтожили в нем все подобные склонности, — ему просто надоело тянуть служебную лямку и захотелось отважиться на риск в надежде на то, что риск себя оправдает. Подобно многим другим глупцам, презревшим старые, испытанные дороги, которыми в течение долгих лет шли пионеры Севера, он в самом начале весны поспешил в Эдмонтон и там, на свое несчастье, примкнул к партии золотоискателей.

Не было ничего необычного в этой партии, за исключением ее планов. Даже конечной целью ее, как и всех подобных партий, был Клондайк. Но маршрут был выбран такой, что мог поставить в тупик даже самого отважного уроженца Северо-Запада, привыкшего к злоключениям. Даже Жак-Батист — сын индианки из племени чиппева и voyageur[9], издавший свой первый крик в вигваме из оленьих шкур, севернее шестьдесят пятой параллели, я умолкнувший, когда ему сунули в рот кусок сырого сала, даже Жак-Батист был поражен. Хотя он и продал этим людям свои услуги и согласился сопровождать их до вечных

[9] notes: 9

Профессиональный проводник, главным образом из канадских французов (франц.).

льдов, но и он зловеще покачал головой, когда спросили его совета.

В ту пору, должно быть, как раз восходила и несчастливая звезда Перси Катферта, ибо он также присоединился к этой компании аргонавтов[10]. Это был самый обыкновенный человек, чей счет в банке был столь же солиден, как и его образование, — а это уже немало. Он не имел никаких оснований пускаться в такое предприятие, ровно никаких, за исключением, может быть, того, что он страдал избытком сентиментальности. Он ошибочно принял эту свою черту за страсть к романтическим приключениям. Людям часто случается впадать в подобную ошибку и затем жестоко расплачиваться за нее.

Первые дни весны застали партию на Элк-ривер, и как только прошел лед, путешественники отправились вниз по течению. Это была целая флотилия — так как поклажи оказалось много, — сопровождаемая пестрой толпой метисов-проводников с женщинами и детьми. Изо дня в день люди трудились за веслами, воюя с москитами и прочей назойливой мошкарой, обливались

[10] notes: 10

Аргонавты — древнегреческие мифологические герои, отправившиеся в Колхиду за золотым руном на корабле «Арго»; смелые мореплаватели, искатели приключений.

потом и бранились, когда нужно было перетаскивать лодки волоком. Суровый труд обнажает человеческую душу до самых ее глубин, и, прежде чем партия миновала озеро Атабаска, каждый из членов экспедиции показал свою подлинную натуру.

Картер Уэзерби и Перси Катферт оказались лодырями и неисправимыми нытиками. Каждый из них жаловался на свои болезни и трудности больше, чем все остальные, вместе взятые. Не было случая, чтобы они добровольно взялись хотя бы за какое-нибудь дело. Чуть только являлась необходимость принести ведро воды, нарубить лишнюю охапку дров, перемыть и перетереть посуду или отыскать в груде вещей какой-нибудь неожиданно понадобившийся предмет, эти два бессильные отпрыска цивилизации немедленно обнаруживали у себя растяжение связок или волдыри на руках, требующие срочного лечения. Они первыми устраивались на ночлег, не закончив порученного им дела, и последними вставали утром, хотя требовалось еще до завтрака подготовить все к отъезду. Они первыми садились за еду и последними помогали приготовить пищу, первыми вылавливали лучший кусок и последними замечали, что прихватили порцию соседа. Если

им приходилось грести, они просто погружали весла в воду, предоставляя трудиться другим, а лодке самой плыть по течению. Они думали, что никто этого не замечает, но товарищи втихомолку проклинали их и начинали ненавидеть, а Жак-Батист открыто насмехался над ними и поносил их с утра до ночи, — правда, Жак-Батист не был джентльменом.

У Большого Невольничьего озера партия закупила собак и до отказа нагрузила лодки запасами вяленой рыбы и пеммикана. Тем не менее быстрое течение Маккензи легко подхватило их и понесло, вперед к Великой Бесплодной Земле. По пути они тщательно обследовали каждый мало-мальски обещающий ручеек, но золотой мираж по-прежнему ускользал от них все дальше на север. У Большого Медвежьего озера проводники, поддавшись извечному страху перед неизведанными землями, начали покидать золотоискателей. У Форта Доброй Надежды последние и самые отважные из них взялись за канаты и потащили свои лодки вверх по реке, которой они так недавно еще доверялись. Остался один только Жак-Батист, но разве он не поклялся сопровождать партию до вечных льдов?

Теперь путники постоянно обращались к своим

картам, составленным главным образом понаслышке. Они понимали,что надо спешить, так как летнее солнцестояние уже закончилось и снова надвигалась арктическая зима. Огибая берега залива, где Маккензи впадает в Северный Ледовитый океан, они вошли в устье реки Литтл-Пил. Затем начался трудный путь вверх по течению, и оба «никудышника» справлялись с работой еще хуже, чем прежде. Приходилось тянуть лодки канатом, передвигать их с помощью багра и весел, переправлять через пороги и перетаскивать волоком, и эти испытания внушили одному из них глубокое отвращение к рискованным затеям, а другому дали красноречивое доказательство того, что представляет собою оборотная сторона романтики. Однажды они взбунтовались и, несмотря на неистовую ругань Жака-Батиста, не тронулись с места. Метис избил обоих до крови и заставил работать. Для каждого из них то были первые побои в жизни.

Оставив свои лодки у истоков Литтл-Пил, путники провели остаток лета, совершая трудный переход через водораздел рек Маккензи и Уэст-Рэт. Последняя — приток реки Поркьюпайн, которая, в свою очередь, впадает в Юкон там, где этот великий водный путь с Севера пересекает

Полярный круг. Но зима опередила их, и однажды их плоты прибило ко льду, после чего они сразу же поспешили выгрузить свои вещи на берег. Ночью на реке образовывались заторы, льдины с треском раскалывались; к утру все оцепенело в мертвом сне.

— Мы, должно быть, не дальше четырехсот миль от Юкона, — заключил Слоупер, отмечая расстояние по карте ногтем большого пальца.

Совещание, на котором оба «никудышника» хныкали и жаловались на неудачу, подходило к концу,

— Когда-то тут был пост Компании Гудзонова залива. Теперь ничего нет, — сказал Жак-Батист, отец которого, состоявший на службе Пушной компании, совершил в давние времена путешествие по этим местам, после чего не досчитался двух пальцев на ноге.

— Да он не в своем уме! — раздался голос. — Разве здесь нет белых?

— Ни одного! — решительно заявил Слоупер. — Но когда мы выйдем к Юкону, то до Доусона останется миль пятьсот. Так что всего можно считать около тысячи миль.

Уэзерби и Катферт дружно заохали.

— За сколько же времени мы доберемся, Ба-

тист?

Метис на минуту задумался.

— Если все мы будем работать, как черти, и никто не выйдет из игры, то десять, двадцать, сорок, пятьдесят дней. А с этими младенцами, — он кивнул на обоих «никудышников», — даже не знаю. Может быть, когда сам ад замерзнет, а может быть, и никогда.

Люди, чинившие свои лыжи и мокасины, оставили работу. Кто-то окликнул по имени отсутствующего участника похода, и тот, выйдя из старой хижины неподалеку от костра, присоединился к остальным. Эта хижина была одной из многих загадок, таившихся среди необъятных просторов Севера. Кем и когда она была построена, никто не знал. Две могилы у входа, отмеченные высокими грудами камней, хранили, быть может, тайну ранних пришельцев. Но чья рука складывала эти камни?

Решительный момент настал. Жак-Батист перестал прилаживать упряжь и заставил упрямившуюся собаку лечь. Повар взглядом попросил помедлить и, бросив несколько кусков бекона в бурлящий котелок с бобами, приготовился слушать. Слоупер поднялся на ноги. Его фигура представляла разительный контраст с обоими

«никудышниками», сохранявшими вполне здоровый вид. Слабый, с болезненно желтым лицом, ибо совсем недавно прибыл из Южной Америки, вырвавшись из какой-то дыры, где свирепствовала лихорадка, он, однако, не потерял вкуса к странствиям и все еще был способен работать наравне с остальными. Веса в нем было не больше девяноста фунтов, даже если считать тяжелый охотничий нож; седеющие волосы свидетельствовали о том, что молодость его уже миновала. Сила молодых мускулов Уэзерби или Катферта в десять раз превышала его силу, и все же они не могли за ним угнаться. В течение целого дня он убеждал их решиться на тысячемильный переход, сулящий жесточайшие трудности, которые только может представить себе человек. Он был воплощением неутомимости своей расы, и древнее тевтонское упорство в соединении с сообразительностью и энергией янки поддерживало в нем силу духа.

— Те, кто намерен продолжать путь, как только река окончательно станет, пусть скажут «да».

— Да! — раздалось в ответ восемь голосов. Этим голосам суждено было не раз проклинать судьбу на протяжении многих сотен миль труднейшего пути.

— Кто против, пусть скажет «нет».

— Нет!

Первый раз оба «никудышника» пришли к единодушию, не поступаясь личными интересами каждого.

— Как же вы теперь будете решать? — воинственно спросил Уэзерби.

— По большинству голосов, по большинству голосов! — закричали остальные члены партии.

— Я знаю, что экспедиция может потерпеть неудачу, если вы не пойдете с нами, — вкрадчиво сказал Слоупер, — но я думаю, что если мы будем очень стараться, то уж как-нибудь обойдемся без вас. Что скажете, ребята?

В ответ раздался гул одобрения.

— Но послушайте, — нерешительно сказал Катферт, — а мне-то что делать?

— С нами ты идти не собираешься?

— Не-е-т.

— Ну так и делай что хочешь, черт возьми! В конце концов нас это не касается.

— А ты посоветуйся со своим дружком, — проговорил один уроженец Дакоты, указывая на Уэзерби. — Когда понадобится сварить обед или пойти за дровами, он, наверно, даст тебе хороший совет.

— Тогда будем считать, что все улажено, — заключил Слоупер. — Мы тронемся в путь завтра. Через пять миль сделаем остановку, чтобы окончательно все проверить и посмотреть, не забыли ли чего-нибудь.

Нарты заскрипели на окованных сталью полозьях, и собаки тронулись с места, медленно натягивая упряжь, в которой им суждено жить и умирать. Жак-Батист помедлил минуту возле Слоупера и бросил на хижину прощальный взгляд. Из трубы подымалась чуть заметная струйка дыма — это топилась юконская печь. Оба «никудышника», стоя на пороге, следили за отъезжающими.

Слоупер положил руку на плечо метиса.

— Жак-Батист, слышал ли ты когда-нибудь о котах из Килкении?

Тот отрицательно покачал головой.

— Так вот, дружище, раз в Килкении подрались два кота, да так подрались, что после драки только клочья шерсти остались! Ну так вот. Эти двое не любят работать. Они и не будут работать. Это уж наверняка. Они остаются в этой хижине вдвоем на всю зиму, долгую, черную зиму. Теперь понимаешь, почему я вспомнил про котов из Килкении?

Батист-индеец промолчал, Батист-француз в ответ пожал плечами, и все же это был красноречивый жест, заключавший в себе пророчество.

Первое время в хижине все шло хорошо. Грубые шутки товарищей заставили Уэзерби и Катферта понять взаимную ответственность; кроме того, для двух здоровых мужчин дела в конце концов было не так уж много. Избавление от грозного метиса, его карающей руки дало благотворные результаты. Вначале каждый из них старался превзойти другого, выполняя всякие мелкие работы с усердием, которому немало подивились бы их товарищи, совершавшие в это время долгий и трудный путь по Великой Северной Тропе.

Все тревоги теперь исчезли. Лес, подступавший к хижине с трех сторон, хранил неиссякаемый запас дров. В нескольких ярдах от дверей хижины спала река Поркьюпайн; достаточно было прорубить отверстие в ее зимнем покрове, чтобы иметь источник кристально чистой ледяной воды. Но вскоре они стали тяготиться даже этой несложной обязанностью, — прорубь постоянно замерзала, и нужно было снова и снова браться за топор. Неизвестные строители хижины сделали позади пристройку для хранения провизии. Здесь находилась большая часть оставленных экспе-

дицией запасов. Пищи было много, ее хватило бы человек на шесть, но продукты все больше были такие, что годились для поддержания сил и укрепления мышц, но едва ли могли служить лакомством. Правда, сахару было достаточно для двух взрослых мужчин, но эти двое мало чем отличались от детей: они очень скоро обнаружили, как вкусен напиток из горячей воды с сахаром, макали в него сухари и обильно поливали оладьи густым белым сиропом. Огромное количество сахара истреблялось также с кофе, чаем и особенно с сушеными фруктами. Сахар и стал причиной первой перебранки. А когда двое людей, вынужденных проводить все свое время вдвоем, и только вдвоем, начинают ссориться, — дело плохо.

Уэзерби любил всегда разглагольствовать о политике, тогда как Катферт, всегда предпочитавший спокойно стричь купоны, не вмешиваясь в государственные дела, или вовсе игнорировал подобные разговоры, или разражался едкими остротами. Но природная тупость мешала клерку оценить блестящую форму, в которую облекалась мысль Катферта, и тот злился, видя, что понапрасну тратит порох: он привык ослеплять слушателей блеском своего красноречия и очень

страдал от отсутствия аудитории. Он воспринимал это как личную обиду и в глубине души даже ставил своему товарищу в вину его скудоумие.

Если не считать совместной жизни, у них не было решительно ничего общего, ни одной точки соприкосновения. Уэзерби всю жизнь прослужил в конторе и, помимо конторской работы, ничего не знал и не умел делать. Катферт был магистром искусств, на досуге писал маслом и даже пробовал свои силы в литературе. Один принадлежал к низшим слоям общества, но считал себя джентльменом, а другой был джентльменом и сознавал себя таковым. Отсюда следует вывод, что можно быть джентльменом и не обладая элементарным чувством товарищества. Один был грубо-чувственной натурой, другой — эстетом; и бесконечные рассказы клерка о его любовных похождениях, являвшиеся по преимуществу плодом фантазии, действовали на утонченного магистра искусств, как зловоние из сточной канавы. Он считал клерка грязным животным, которому место в хлеву со свиньями, и прямо говорил ему об этом. В ответ Катферту сообщалось, что он «размазня» и «хам». Что в данном случае означало слово «хам», Уэзерби не смог бы объяснить ни за что на свете, но оно достигало цели, а

это в конце концов казалось самым главным.

Отчаянно фальшивя, Уэзерби часами распевал песенки вроде «Бандит из Бостона» или «Юнга-красавчик», так что в конце концов Катферт, который буквально плакал от ярости, не выдерживал больше и выбегал за дверь. Положение становилось безвыходным. Оставаться на морозе долго было невозможно, а в маленькой хижине размером десять на двенадцать, вмещавшей две койки и стол, им вдвоем было чересчур тесно. Для каждого из них само присутствие другого было уже личным оскорблением, и время от времени они впадали в угрюмое молчание, которое становилось все более длительным и глубоким, по мере того как шли дни. Во время этих периодов молчания они старались совершенно не замечать друг друга, но иногда не выдерживали и позволяли себе искоса брошенный взгляд или презрительную гримасу. И каждый в глубине души искренне удивлялся тому, как господь бог создал другого.

От безделья они не знали, куда девать время, и потому обленились еще больше. Ими овладело какое-то сонное оцепенение, которое они не в силах были с себя стряхнуть; необходимость выполнить самую незначительную работу при-

водила их в ярость. Однажды утром Уэзерби, зная, что сегодня его очередь готовить завтрак, выбрался из-под одеял и под храп своего товарища зажег светильник, а затем развел огонь в печке. Вода в котелках замерзла, и нечем было умыться. Но это его не смутило. Ожидая, пока лед в котелках растает, он нарезал ломтями бекон и нехотя принялся замешивать тесто для лепешек. Катферт исподтишка наблюдал за ним краем глаза. Дело кончилось бранью и крупной ссорой: было решено, что отныне каждый готовит завтрак сам для себя. Через неделю утренним омовением пренебрег и Катферт, что не помешало ему с большим аппетитом съесть завтрак, который он сам себе приготовил. Уэзерби только усмехнулся. После этого глупая привычка умываться по утрам была отменена навсегда.

Так как запас сахара и других вкусных вещей быстро истощался, каждый из них стал терзаться опасением, как бы другой не съел больше, и, для того чтобы не быть ограбленным, сам старался поглотить сколько можно. В этом соревновании пострадали не только запасы лакомств, но и те, кто их истреблял. Из-за отсутствия свежих овощей, а также неподвижного образа жизни у них началось худосочие и по телу пошла отврати-

тельная багровая сыпь. Но они упорно не хотели замечать опасности. Затем появились отеки, суставы стали пухнуть, кожа почернела, а рот и десны приобрели цвет густых сливок. Однако общая беда не сблизила их, напротив, каждый с тайным злорадством наблюдал за появлением зловещих симптомов цинги у другого.

Вскоре они совсем перестали следить за внешностью и забыли самые элементарные приличия. Хижина превратилась в настоящий свиной хлев; они не убирали постелей, не меняли хвойных подстилок и охотнее всего вовсе не вылезали бы из-под своих одеял, но это было невозможно: холод стоял невыносимый, и печка требовала много топлива. Волосы у них висели длинными спутанными прядями, лица заросли бородой, а одеждой погнушался бы даже старьевщик. Но их это не трогало. Они были больны, никто их не видел, и, кроме того, двигаться было слишком мучительно.

Ко всем этим бедам прибавилось новое страдание: страх Севера. Этот страх — неразлучный спутник Великого Холода и Великого Безмолвия, он порождение мрака черных декабрьских ночей, когда солнце скрывается на юге за горизонтом. Этот страх действовал на них по-разному, сооб-

разно натуре каждого. Уэзерби подпал под власть грубых суеверий. Его непрестанно преследовала мысль о тех, кто спал там, в забытых могилах. Это было какое-то наваждение. Они мерещились ему во сне, приходили из леденящего холода могилы, забирались к нему под одеяло и рассказывали о своей тяжкой жизни и предсмертных муках. Уэзерби содрогался всем телом, отстраняясь от их липких прикосновений, но они прижимались теснее, сковывая его своими ледяными объятиями, и нашептывали ему зловещие предсказания, и тогда хижина оглашалась воплями ужаса. Катферт ничего не понимал — они с Уэзерби давно уже перестали разговаривать — и, разбуженный криками, неизменно хватался за револьвер. Охваченный нервной дрожью, он садился на постели и сидел так, сжимая в руке оружие, наведенное на лежащего в беспамятстве человека. Катферт думал, что Уэзерби сходит с ума, и начинал опасаться за свою жизнь.

Его собственная болезнь выражалась в менее определенной форме. Неведомый строитель хижины укрепил на коньке крыши флюгер. Катферт заметил, что флюгер всегда обращен на юг, и однажды, раздраженный этим упорным постоянством, сам повернул его на восток. Он

наблюдал за ним с жадным вниманием, но ни одно дуновение ветра не потревожило флюгера. Тогда он повернул его к северу, поклявшись себе не дотрагиваться до него и ждать, пока не подует ветер. В неподвижности воздуха было что-то сверхъестественное, пугающее; часто Катферт среди ночи вставал посмотреть, не шевельнулся ли флюгер. Если бы он повернулся хотя бы на десять градусов! Но нет, он высился над крышей, неумолимый, как судьба. Постепенно он стал для Катферта олицетворением злого рока. Порой больное воображение уносило Катферта туда, куда указывал флюгер, в какие-то мрачные теснины, и ужас сковывал его. Он пребывал в стране невидимого и неведомого, и душа его, казалось, изнемогала под бременем вечности. Все здесь, на Севере, угнетало его: отсутствие жизни и неподвижность, мрак, бесконечный покой дремлющей земли, жуткое безмолвие, среди которого даже биение сердца казалось святотатством, торжественно вздымающийся лес, будто хранящий какую-то непостижимую, страшную тайну, которой не охватить мыслью и не выразить словом.

Мир, который он так недавно покинул, мир, где волновались народы и вершились важные дела, казался ему чем-то очень далеким. По временам

его обступали навязчивые воспоминания о картинных галереях, аукционных залах, широких людных улицах, о фраках, о светских обязанностях, о добрых друзьях и дорогих сердцу женщинах, которых он некогда знавал, но эти смутные воспоминания относились к другой жизни, которою он жил много веков назад, на какой-то другой планете. И фантасмагория становилась реальностью, окружавшей его сейчас. Стоя внизу под флюгером и устремив взор на полярное небо, он не мог поверить в то, что существует Юг, что в этот самый момент где-то кипит жизнь. Не было ни Юга, ни людей, которые рождались, жили, вступали в брак. За унылым горизонтом лежали обширные безлюдные пространства, а за ними расстилались другие пространства, еще более необъятные и пустынные. В мире не существовало стран, где светило солнце и благоухали цветы. Все это было лишь древней мечтой о рае. Солнечный Запад, напоенный пряными ароматами Востока, счастливая Аркадия[11] — благословенные острова блаженных! Ха-ха! Смех расколол пустоту, и Катферту стало не по себе от этого непривычного звука. Не было больше солнца.

[11] notes: 11

Аркадия — в идиллической поэзии страна, населенная пастухами, ведущими блаженное существование.

Была вселенная — мертвая, холодная, погруженная во тьму, и он единственный ее обитатель. Уэзерби? В такие мгновения он в счет не шел. Ведь это был Калибан[12], чудовищный призрак, прикованный к нему, к Катферту, на долгие века, кара за какое-то забытое преступление!

Он жил рядом со смертью и среди теней, подавленный сознанием собственного ничтожества, порабощенный слепой властью дремлющих веков. Величие окружающего страшило его. Оно было во всем, кроме него самого: в полном отсутствии ветра и движения, в необъятности снеговой пустыни, в высоте неба и в глубине безмолвия. А этот флюгер — о, если бы он только хоть чуть-чуть шевельнулся! Пусть бы грянули все громы небесные или пламя охватило лес! Пусть бы небеса разверзлись и наступил день страшного суда! Пусть бы хоть что-нибудь, хоть что-нибудь совершилось! Нет, ничего... Никакого движения. Безмолвие наполняло мир, и страх Севера ледяными пальцами сжимал ему сердце.

Однажды Катферт, точно новый Робинзон, заметил у самой реки след — слабый отпечаток заячьих лапок на свежевыпавшем снегу. Это

---

[12] notes: 12

Калибан — персонаж из пьесы Шекспира «Буря», получеловек-получудовище.

было для него откровением: значит, на Севере существует жизнь! Он пошел по следу, жадно вглядываясь в него. Забыв о своих распухших ногах, он пробирался сквозь снежные сугробы в волнений, порожденном каким-то нелепым предчувствием. Короткие сумерки погасли, и лес поглотил его, но он упорно продолжал идти все вперед и вперед, пока не иссякли последние силы и он в изнеможении не повалился в снег. И тогда, застонав, он проклял свое безрассудство, ибо понял, что след этот был плодом его воображения.

Поздним вечером он дотащился до хижины на четвереньках; щеки у него были отморожены, и ноги как-то странно онемели. Уэзерби злобно усмехнулся, но не предложил помочь. Катферт колол иголками пальцы на ногах и отогревал их у печки. Через неделю у него началась гангрена.

У клерка были свои заботы. Мертвецы все чаще выходили из могил и теперь уже почти не расставались с ним. Он со страхом ждал их появления, и дрожь пробирала его каждый раз, когда он проходил мимо заваленных камнями могил. Однажды ночью они пришли к нему, когда он спал, увлекли его за собой и заставили делать какую-то работу. В невыразимом ужасе проснулся он среди груды камней и, как безумный, бросился

назад в хижину. Но, вероятно, он пролежал там некоторое время, так как и у него оказались отмороженными ноги и щеки.

Иногда эта навязчивость мертвецов доводила его до бешенства, и он метался по хижине, размахивая топором и сокрушая все, что попадалось под руку. Во время этих сражений с призраками Катферт забивался под одеяла и следил за безумцем с револьвером в руке, готовый спустить курок, если тот подойдет слишком близко. Придя в себя после одного из таких припадков, клерк заметил наведенное на него дуло револьвера. В нем проснулись подозрения, и с этих пор он также пребывал в вечном страхе за свою жизнь. Они настороженно следили друг за другом, и каждый в тревоге оглядывался, если другому случалось проходить у него за спиной. Эти опасения превратились в манию, от которой они не могли избавиться даже во сне. Взаимный страх побуждал их, не сговариваясь, оставлять на ночь огонь в светильнике, с вечера заботливо заправив его жиром. Достаточно было одному пошевелиться, чтобы проснулся другой; их настороженные взгляды встречались, и оба дрожали от страха под своими одеялами, держа палец на взведенном курке.

Страх Севера, нервное напряжение и разрушительная болезнь привели к тому, что они потеряли всякий человеческий облик и стали похожи на затравленных зверей. Отмороженные щеки и носы почернели, пальцы на ногах начали отваливаться сустав за суставом. Каждое движение причиняло боль, но печь была ненасытна и обрекала на муки их истерзанные тела. Изо дня в день она, как Шейлок[13], требовала свой фунт мяса, и они через силу тащились в лес, чтобы кое-как нарубить дров. Однажды, отправившись в лес за сухим валежником, они неожиданно столкнулись в чаще. Два трупа вдруг оказались лицом к лицу. Страдания так изменили обоих, что они не узнали друг друга. С криком ужаса они вскочили и заковыляли прочь на своих искалеченных ногах, а потом, свалившись у дверей хижины, грызлись и царапались, как дикие звери, пока не обнаружили своей ошибки.

Но бывали дни, когда они приходили в себя. Во время одного из таких просветлений они поделили поровну сахар — главный предмет их ссор. Они хранили свои запасы в разных мешочках и

[13] notes: 13

Шейлок — персонаж комедии Шекспира «Венецианский купец»; алчный ростовщик.

ревниво оберегали их. Сахару оставалось всего несколько пригоршней, а они совсем перестали доверять друг другу. И вот однажды Катферт ошибся. Еле двигаясь, ослабевший от мучительной боли, он пополз в чулан с жестянкой в руке; голова его кружилась, глаза почти не видели, и он по ошибке принял мешочек Уэзерби за свой.

Это случилось в начале января. Солнце уже совершило половину своего зимнего пути и в полдень отбрасывало на северное небо косые полосы неверного желтоватого света. На следующий день после того, как произошла ошибка с сахаром, Катферт почувствовал себя лучше, бодрее телом и душой. К полудню, когда стало светлеть, он с трудом выбрался наружу, чтобы полюбоваться бледным сиянием, которое предвещало возвращение солнца. Уэзерби также почувствовал себя несколько лучше и выполз из хижины вслед за ним. Они уселись в снегу под неподвижным флюгером и стали ждать.

Вокруг царило безмолвие смерти. Когда природа так замирает где-нибудь в другом краю, ее неподвижность таит в себе сдержанное ожидание: кажется, вот-вот какой-то слабый звук нарушит напряженную тишину. Не то на Севере. Эти двое как будто вечно жили среди жуткого

молчания. Они не могли припомнить ни одной мелодии прошлого, не могли представить мелодий будущего. Сверхъестественная тишина существовала всегда. Это было спокойствие вечности.

Не отрывая глаз, они смотрели на север. Позади, за вздымающимся на юге горным хребтом, медленно двигалось невидимое солнце к зениту чужих небес. Единственные свидетели величественного зрелища, они наблюдали за тем, как постепенно разгоралась, в небе ложная заря. Бледное зарево становилось все ярче, меняя оттенки, переходя из оранжевого в пурпурный, а затем в шафранный цвет. Наконец, свет на небе стал настолько ярким, что Катферт подумал: «Вот сейчас совершится чудо, и солнце взойдет с севера!»

Внезапно, без всяких предвестий и переходов, картина резко изменилась. Краски исчезли с небосвода, свет погас. Они затаили дыхание, готовые разрыдаться. Но что это? Воздух наполнился искрящейся морозной пылью, и на снегу, протянувшись к северу, обозначились слабые очертания флюгера. Тень! Тень! Настал полдень. Они быстро повернули головы к югу. Над снежной грядою гор появился краешек золотого диска,

озарил их улыбкой на мгновение и снова исчез из вида.

Они взглянули друг на друга, и на глазах у них выступили слезы. Какое-то умиротворение снизошло на них. Они почувствовали неодолимое влечение друг к другу. Значит, солнце возвращается! Оно придет к ним завтра, и послезавтра, и во все последующие дни. И с каждым разом оно будет оставаться на небе все дольше, пока не настанет время, когда оно будет светить и днем и ночью и больше не исчезнет за горизонтом. Не станет больше ночи. Уйдет закованная в льды зима. Подуют ветры, и леса ответят им своим шумом. Землю омоет благословенный солнечный свет, и возродится жизнь. Они стряхнут с себя этот кошмарный сон и вместе, рука об руку, вернутся домой, на Юг. Бессознательно оба потянулись вперед, и руки их встретились — бедные, искалеченные руки!

Но надежде не суждено было осуществиться. Север есть Север, и человеческие сердца подчиняются здесь законам, которых люди, не путешествовавшие в далеких краях, никогда не смогут понять.

Час спустя Катферт поставил в печь сковородку с лепешками и начал раздумывать над тем, смо-

гут ли врачи вылечить его ноги, когда он вернется домой. Дом не казался теперь таким недосягаемым! Уэзерби рылся в кладовке. Вдруг оттуда донесся взрыв проклятий и так же внезапно утих. Клерк обнаружил, что у него украли сахар... И все же дело могло кончиться иначе, если бы как раз в эту минуту мертвецы не вышли из своих каменных могил и не забили ему брань обратно в глотку. Затем они тихонько вывели его из кладовой, которую он забыл закрыть. Конец драмы приближался: должно было свершиться то, о чем они нашептывали ему во сне. Призраки тихо, совсем тихо подвели его к куче дров и вложили в руки топор, затем помогли ему открыть дверь и — он был уверен в этом — сами заперли ее за ним, по крайней мере он слышал, как щелкнула задвижка. И он знал, что они за дверью, что они ждут, когда он сделает свое дело.

— Картер! Послушайте, Картер!

При взгляде на лицо клерка Перси Катферту стало не по себе, и он поспешил загородиться столом.

Картер Уэзерби подвигался вперед неторопливо и как бы неохотно; лицо его не выражало ни жалости, ни волнения. В нем была тупая сосредоточенность человека, который должен

сделать определенную работу и выполняет ее методически.

— Что с вами, Картер?

Клерк отступил на шаг, отрезая Катферту путь к двери, но не проронил ни слова.

— Послушайте, Картер, давайте же поговорим. Будьте благоразумны...

Магистр искусств с лихорадочной быстротой обдумывал положение. Ловким обходным движением он достиг койки, где у него лежал смит-и-вессен. Затем, не отрывая глаз от сумасшедшего, выхватил из-под подушки револьвер.

— Картер!

Вспышка огня ударила ему в лицо, но Уэзерби взмахнул своим оружием и бросился вперед. Топор глубоко вонзился в спину Катферта, и он сразу же перестал ощущать свои ноги. Затем клерк навалился на него, слабеющими пальцами сжимая ему горло. От удара Катферт выронил револьвер; задыхаясь и пытаясь высвободиться, он беспомощно шарил по одеялу в поисках оружия. И тут он вспомнил. Его рука скользнула к поясу клерка, где висел охотничий нож, и противники сплелись в последнем тесном объятии.

Перси Катферт чувствовал, как силы покидают его. Нижняя часть его тела словно онемела. Тело

Уэзерби давило на него своей тяжестью, он был пригвожден к месту, как медведь, попавший в капкан. Хижина наполнялась знакомым запахом: горели лепешки. Но не все ли равно? Они больше не понадобятся ему. А в кладовке осталось еще шесть полных чашек сахару, — если бы он знал все это раньше, не надо было бы так экономить в последние дни...

Повернется ли когда-нибудь флюгер? Может быть, он шевельнулся именно в этот миг? Очень возможно. Ведь показалось же сегодня солнце! Вот сейчас он пойдет и посмотрит. Нет, двинуться невозможно. Он не думал, что Уэзерби такой тяжелый.

Как быстро остывает хижина! Огонь, должно быть, потух. Холод все усиливается. Сейчас, наверное, уже ниже нуля, и дверь изнутри постепенно покрывается белым. Он этого не видит, но знает, потому что чувствует, как падает температура. Нижняя петля, вероятно, уже совсем обледенела. Узнают ли люди о том, что здесь произошло? Как отнесутся к этому его друзья? Вероятнее всего, прочтут заметку в газете за стаканом кофе и будут обсуждать ее потом где-нибудь в клубе. Он как будто слышал. «Бедняга Катферт, — говорили они. — Неплохой был, в сущности, малый». Катферт

усмехнулся этой похвале и отправился на поиски турецкой бани. На улицах кишит все та же толпа. Странно, что никто не замечает его мокасины из лосевой кожи и рваные шерстяные носки. Лучше, пожалуй, взять кэб. А после бани не худо было бы побриться. Нет, прежде он поест. Бифштекс, картофель и зелень — какое все свежее! А это что? Мед в сотах, прозрачный и благоухающий мед. Но зачем же так много? Ха-ха! Ему столько никогда не съесть... Почистить? Да, конечно. Он ставит ногу на ящик. Чистильщик сапог смотрит на него с удивлением, и он вспоминает о своих лосевых мокасинах и поспешно уходит.

Чу! Наверно, повернулся флюгер. Нет, это просто звенит в ушах. Звенит в ушах, только и всего. Лед, должно быть, поднялся до самой задвижки. Может быть, уже и верхняя петля обледенела. Между потолочными балками, в щелях, законопаченных мхом, начали появляться небольшие пятна изморози. Как медленно они растут! Нет! Не так уж медленно — вон еще одно появилось, а вон там еще. Два... три... четыре... Они появляются теперь так быстро, что не сосчитаешь. Вон там два сползлись вместе, и к ним присоединилось третье. Теперь уже нет больше отдельных пятен, они все слились, затянув потолок сплошной

пеленой.

Что ж! Он будет не один. Если когда-нибудь трубный глас нарушит безмолвие Севера, они вместе, рука об руку, предстанут перед престолом вечного судии. И бог их рассудит! Бог их рассудит...

Перси Катферт закрыл глаза и погрузился в сон.

За тех, кто в пути

— Лей еще!

— Послушай, Кид, а не слишком ли крепко будет? Виски со спиртом и так уж забористая штука, а тут еще и коньяк, и перцовка, и...

— Лей, говорят тебе! Кто из нас приготовляет пунш: ты или я? — Сквозь клубы пара видно было, что Мэйлмют Кид добродушно улыбается. — Вот поживешь с мое в этой стране, сынок, да будешь изо дня в день жрать одну вяленую лососину, тогда поймешь, что рождество раз в году бывает. А рождество без пунша все равно что прииск без крупинки золота!

— Уж это что верно, то верно! — подтвердил Джим Белден, приехавший сюда на рождество со своего участка на Мэйзи-Мэй. Всё знали, что Большой Джим последние два месяца питался только олениной. — А помнишь, какую выпивку мы устроили раз для племени танана? Не забыл, небось?

— Ну еще бы! Ребята, вы бы лопнули со смеху, если бы видели, как все племя передралось спьяну, а пойло-то было просто из перебродившего сахара да закваски Это еще до тебя было, — обра-

тился Мэйлмют Кид к Стэнли Принсу, молодому горному инженеру, жившему здесь только два года. — Понимаешь, ни одной белой женщины во всей стране, а Мэйсон хотел жениться. Отец Руфи был вождем племени танана и не хотел отдавать ее в жены Мэйсону, и племя не хотело. Трудная была задача! Ну. я и пустил в ход свой последний фунт сахару. Ни разу жизни не приготовлял ничего крепче! Ох, и гнались же они за нами и по берегу и через реку!

— Ну, а сама скво как? — спросил, заинтересовавшись, Луи Савой, высокий француз из Канады. Он еще в прошлом году на Сороковой Миле слышал об этой лихой выходке.

Мэйлмют Кид, прирожденный рассказчик, стал излагать правдивую историю этого северного Лохинвара[14]. И, слушая его, не один суровый искатель приключений чувствовал, как у него сжимается сердце от смутной тоски по солнечным землям Юга, где жизнь обещала нечто большее, чем бесплодную борьбу с холодом и смертью.

— Мы перешли Юкон, когда лед только что тронулся, — заключил Кид, — а индейцы на четверть

---

[14] notes: 14

Лохинвар — герой баллады Вальтера Скотта, похитивший свою возлюбленную, которую хотели выдать за другого.

часа отстали. И это нас спасло: лед шел уже по всей реке, путь был отрезан. Когда они добрались, наконец, до Нуклукайто, весь пост был наготове. А насчет свадьбы расспросите вот отца Рубо, он их венчал.

Священник вынул изо рта трубку и вместо ответа улыбнулся с отеческим благодушием, а все остальные, и протестанты и католики, энергично зааплодировали.

— А, ей-богу, это здорово! — воскликнул Луи Савой, которого, видимо, увлекла романтичность этой истории. — La petite[15] скво! Mon Mason brave![16] Здорово!

Когда оловянные кружки с пуншем в первый раз обошли круг, неугомонный Беттлз вскочил и затянул свою любимую застольную:

Генри Бичер совместно
С учителем школы воскресной
Дуют целебный напиток,
Пьют из бутылки простой;

Но можно, друзья, поклясться:

---

[15] notes: 15
Маленькая (франц.).

[16] notes: 16
Молодец, Мэйсон! (франц.).

Нас провести не удастся,
Ибо в бутылке этой
Отнюдь не невинный настой!

И хор гуляк с ревом подхватил:

Ибо в бутылке этой
Отнюдь не невинный настой!

Крепчайшая смесь, состряпанная Мэйлмютом Кидом, возымела свое действие: под влиянием ее живительного тепла развязались языки, и за столом пошли шутки, песни, рассказы о пережитых приключениях. Пришельцы из разных стран, они пили за всех и каждого. Англичанин Принс провозгласил тост за «дядю Сэма, скороспелого младенца Нового Света»; янки Беттлз — за королеву Англии «да хранит ее господь!»; а француз Савой и немец-скупщик Майерс чокнулись за Эльзас-Лотарингию.

Потом встал Мэйлмют Кид с кружкой в руке и, бросив взгляд на оконце, в котором стекло заменяла промасленная бумага, покрытая толстым слоем льда, сказал:

— Выпьем за тех, кто сегодня ночью в пути. За то, чтобы им хватило пищи, чтобы собаки их не сдали, чтобы спички у них не отсырели!

И вдруг они услышали знакомые звуки, щелканье бича, визгливый лай ездовых собак и скрип нарт, подъезжавших к хижине. Разговор замер, все ждали проезжего.

— Человек бывалый! Прежде заботится о собаках, а потом уж о себе, — шепнул Мэйлмют Кид Принсу. Щелканье челюстей, рычание и жалобный собачий визг говорили его опытному уху, что незнакомец отгоняет чужих собак и кормит своих.

Наконец в дверь постучали — резко, уверенно. Проезжий вошел. Ослепленный светом, он с минуту стоял на пороге, так что все имели возможность рассмотреть его. В своей полярной меховой одежде он выглядел весьма живописно: шесть футов роста, широкие плечи, могучая грудь. Его гладко выбритое лицо раскраснелось от мороза, брови и длинные ресницы заиндевели. Расстегнув свой капюшон из волчьего меха, он стоял, похожий на снежного короля, появившегося из мрака ночи. За вышитым бисером поясом, надетым поверх куртки, торчали два больших кольта и охотничий нож, а в руках, кроме неизбежного бича, было крупнокалиберное ружье новейшего образца. Когда он подошел ближе, то, несмотря на его уверенный, упругий шаг, все

увидели, как сильно он устал.

Наступившее было неловкое молчание быстро рассеялось от его сердечного: «Эге, да у вас тут весело, ребята!» — и Мэйлмют Кид тотчас пожал ему руку. Им не приходилось встречаться, но они знали друг друга понаслышке. Прежде чем гость успел объяснить, куда и зачем он едет, его познакомили со всеми и заставили выпить кружку пунша.

— Давно ли проехали здесь три человека на нартах, запряженных восемью собаками? —спросил он.

— Два дня тому назад. Вы за ними гонитесь?

— Да, это моя упряжка. Угнали ее у меня прямо из-под носа, подлецы! Два дня я уже выиграл, нагоню их на следующем перегоне.

— Думаете, без драки не обойдется? — спросил Белден, чтобы поддержать разговор, пока Мэйлмют Кид кипятил кофе и поджаривал ломти свиного сала и кусок оленины.

Незнакомец многозначительно похлопал по своим револьверам.

— Когда выехали из Доусона[17]?

— В двенадцать.

---

[17] notes: 17

Доусон — город в Северной Канаде у впадения Клондайка в Юкон. Центр золотоносного края.

— Вчера? —спросил Белден, явно не сомневаясь в ответе.

— Сегодня.

Пронесся шепот изумления: шутка ли, за двенадцать часов проехать семьдесят пять миль по замерзшей реке.

Разговор скоро стал общим, он вертелся вокруг воспоминаний детства. Пока молодой человек ел свой скромный ужин, Мэйлмют Кид внимательно изучал его лицо. Оно ему сразу понравилось: приятное, честное и открытое. Тяжелый труд и лишения успели оставить на нем свой след. Голубые глаза смотрели весело и добродушно во время дружеской беседы, но чувствовалось, что они способны загораться стальным блеском, когда ему приходится действовать, и особенно в решительную минуту. Массивная челюсть и квадратный подбородок говорили о твердом и неукротимом нраве. Однако наряду с этими признаками сильного человека в нем была какая-то почти женственная мягкость, выдававшая впечатлительную натуру.

— Так-то мы со старухой и поженились, — говорил Белден, заканчивая увлекательный рассказ о своем романе. — «Вот и мы, папа», — говорит она. А отец ей: «Убирайтесь вы к черту!» А потом обер-

нулся ко мне, да и говорит: «Снимай-ка, Джим, свой парадный костюм — до обеда надо вспахать порядочную полосу». Потом как прикрикнет на дочку: «А ты, Сэл, марш мыть посуду!» — и вроде всхлипнул и поцеловал ее. Я и обрадовался. А он заметил да как зарычит: «А ну, поворачивайся, Джим!» Я так и покатился в амбар.

— У вас и ребятишки остались в Штатах? — осведомился проезжий.

— Нет, Сэл умерла, не родив мне ни одного. Вот я и приехал сюда.

Белден рассеянно принялся раскуривать погасшую трубку, но потом опять оживился и спросил:

— А вы женаты, приятель?

Тот вместо ответа снял свои часы с ремешка, заменявшего цепочку, открыл их и передал Белдену. Джим поправил фитиль, плававший в жиру, критически осмотрел внутреннюю сторону крышки и, одобрительно чертыхнувшись про себя, передал часы Луи Савою. Луи, несколько раз повторив «ах, черт!», протянул их наконец Принсу, и все заметили, как у того задрожали руки и в глазах засветилась нежность. Часы переходили из одних мозолистых рук в другие. На внутренней стороне крышки была наклеена фо-

тография женщины с ребенком на руках — одной из тех кротких, привязчивых женщин, которые нравятся таким мужчинам.

Те, до кого еще не дошла очередь полюбоваться этим чудом, сгорали от любопытства, а те, кто его уже видел, примолки и задумались о прошлом. Этим людям не страшен был голод, вспышка цинги, смерть, постоянно подстерегавшая на охоте или во время наводнения, но сейчас изображение неизвестной им женщины с ребенком словно сделало их самих женщинами и детьми.

— Еще ни разу не видел малыша. Только из ее письма и узнал, что сын, — ему уже два года, — сказал проезжий, получив обратно свое сокровище. Он минуту-другую смотрел на карточку, потом захлопнул крышку часов и отвернулся, но не настолько быстро, чтобы скрыть набежавшую слезу.

Мэйлмют Кид подвел его к койке и предложил лечь.

— Разбудите меня ровно в четыре, только непременно! — Сказав, это, он почти тотчас же уснул тяжелым сном сильно уставшего человека.

— Ей-богу, молодчина! — объявил Принс. — Поспать три часа, проехав семьдесят пять миль на собаках, и снова в путь! Кто он такой, Кид?

— Джек Уэстондэйл. Он уже года три здесь. Работает как вол, а все одни неудачи. Я его до сих пор не встречал, но мне о нем рассказывал Ситка Чарли.

— Тяжело, верно, разлучиться с такой славной молодой женой и торчать в этой богом забытой дыре, где один год стоит двух.

— Уж такой упорный. Два раза здорово заработал на заявке, а потом все потерял.

Разговор этот был прерван шумными возгласами Беттлза. Волнение, вызванное снимком, улеглось. И скоро суровые годы изнуряющего труда и лишений были снова позабыты в бесшабашном веселье. Только Мэйлмют Кид, казалось, не разделял общего веселья и часто с тревогой поглядывал на часы; наконец, надев рукавицы и бобровую шапку, он вышел из хижины и стал рыться в кладовке.

Он не дождался назначенного времени и разбудил гостя на четверть часа раньше. Ноги у молодого великана совсем одеревенели, и пришлось изо всех сил растирать их, чтобы он мог встать. Пошатываясь, он вышел из хижины. Собаки были уже запряжены, и все готово к отъезду. Уэстондэйлу пожелали счастливого пути и удачи в погоне; отец Рубо торопливо благосло-

вил его и бегом вернулся в хижину: стоять при температуре семьдесят четыре градуса ниже нуля с открытыми ушами и руками не очень-то приятно!

Мэйлмют Кид проводил Уэстондэйла до дороги и, сердечно пожав ему руку, сказал:

— Я положил вам в нарты сто фунтов лососевой икры. Собакам этого запаса хватит на столько же, на сколько хватило бы полутораста фунтов рыбы. В Пелли вам еды для собак не достать, а вы, вероятно, на это рассчитывали.

Уэстондэйл вздрогнул, глаза его блеснули, но он слушал Кида, не перебивая.

— Ближе, чем у порогов Файв Фингерз, вы ничего не достанете ни для себя, ни для собак, а туда добрых двести миль. Берегитесь разводьев на Тридцатимильной реке и непременно поезжайте большим каналом повыше озера Ла-Барж—этим здорово сократите себе путь.

— Как вы узнали? Неужели дошли слухи?

— Я ничего не знаю, да и не хочу знать. Но упряжка, за которой вы гонитесь, вовсе не ваша. Ситка Чарли продал ее тем людям прошлой весной. Впрочем, он говорил, что вы честный человек, и я ему верю; лицо мне ваше нравится. И я видел... Черт вас возьми, поберегите слезы для

других и для своей жены... — Тут Кид снял рукавицы и вытащил мешочек с золотым песком.

— Нет, в этом я не нуждаюсь. — Слезы замерзли у Уэстондэйла на щеках, он судорожно пожал руку Мэйл-мюта Кида.

— Тогда не жалейте собак, режьте постромки, как только какая-нибудь свалится. Покупайте других, сколько бы они ни стоили. Их можно купить у порогов Файв Фингерз, на Литл-Салмон и в Хуталинква. Да смотрите не промочите ноги, — посоветовал Мэйлмют на прощание. — Не останавливайтесь, если мороз будет не сильнее пятидесяти семи градусов, но когда температура упадет ниже, разведите костер и смените носки.

Не прошло и четверти часа, как звон колокольчиков возвестил прибытие новых гостей. Дверь отворилась, и вошел офицер королевской северо-западной конной полиции в сопровождении двух метисов, погонщиков собак. Как и Уэстондэйл, все трое были вооружены до зубов и утомлены. Метисы, местные уроженцы, легко переносили трудный путь, но молодой полисмен совсем выбился из сил. Только упорство, свойственное людям его расы, заставляло его продолжать погоню; ясно было, что он не отступит, пока не свалится на дороге.

— Когда уехал Уэстондэйл? — спросил он. — Ведь он останавливался здесь?

Вопрос был излишний: следы говорили сами за себя.

Мэйлмют Кид переглянулся с Белденом, и тот, поняв, в чем дело, уклончиво ответил:

— Да уж прошло немало времени.

— Не виляй, приятель, говори начистоту, — предостерегающим, тоном сказал полицейский.

— Видно, он вам очень нужен! А что, он натворил что-нибудь в Доусоне?

— Ограбил Гарри Мак-Фарлэнда на сорок тысяч, обменял золото у агента Компании Тихоокеанского побережья на чек и теперь преспокойно получит в Сиэтле денежки, если мы его не перехватим! Когда он уехал?

По примеру Мэйлмюта Кида все старались скрыть свое волнение, и молодой офицер видел вокруг себя безучастные лица.

Он повторил свой вопрос, повернувшись к Принсу. Тот пробурчал что-то невнятное насчет состояния дороги, хотя ему и неприятно было лгать, глядя в открытое и серьезное лицо своего соотечественника.

Тут полицейский заметил отца Рубо. Священник солгать не мог.

— Уехал четверть часа тому назад, — сказал он. — Но он и собаки отдыхали здесь четыре часа.

— Четверть часа как уехал да еще отдохнуть успел! О господи!

Полисмен пошатнулся, чуть не теряя сознание от усталости и огорчения, и что-то пробормотал о том, что расстояние от Доусона покрыто за десять часов, и об измученных собаках.

Мэйлмют Кид заставил его выпить кружку пунша. Потом полисмен пошел к дверям и приказал погонщикам следовать за ним. Однако тепло и надежда на отдых были слишком заманчивы, и те решительно воспротивились. Киду был хорошо знаком местный французский диалект, на котором они говорили, и он настороженно прислушивался.

Метисы клялись, что собаки выбились из сил, что Бабетту и Сиваша придется пристрелить на первой же миле, да и остальные не лучше, и не мешало бы отдохнуть.

— Не одолжите ли мне пять собак? -— спросил полисмен, обращаясь к Мэйлмюту Киду.

Кид отрицательно покачал головой.

— Я дам вам чек на имя капитана Констэнтайна на пять тысяч. Вот документ: я уполномочен выписывать чеки по своему усмотрению.

Все тот же молчаливый отказ.

— Тогда я реквизирую их именем королевы!

Со скептической усмешкой Кид бросил взгляд на свой богатый арсенал, и англичанин, сознавая, что бессилен, снова повернулся к двери. Погонщики все еще спорили, и он набросился на них с руганью, называя их бабами и трусами. Смуглое лицо старшего метиса покраснело от гнева, он встал и кратко, но выразительно пообещал своему начальнику, что загонит насмерть головную собаку, а потом с удовольствием бросит его в снегу.

Молодой полисмен, собрав все силы, решительно пошел к двери, стараясь выказать бодрость, которой у него уже не было. Все поняли и оценили его стойкость. Но он не мог скрыть мучительной гримасы.

Полузамерзшие собаки скорчились на снегу, и поднять их было невозможно. Бедные животные скулили под сильными ударами бича. Только когда обрезали постромки Бабетты, вожака упряжки, удалось сдвинуть с места нарты и тронуться в путь.

— Ах он мошенник! Лгун!

— Черт его побери!

— Вор!

— Хуже индейца!

Все были явно возмущены: во-первых, тем, что их одурачили, а во-вторых, тем, что нарушена этика Севера, где главной доблестью человека считается честность.

— А мы-то еще помогли этому сукину сыну! Знать бы раньше, что он наделал!

Все глаза с упреком устремились на Мэйлмюта Кида. Тот вышел из угла, где устроил Бабетту, и молча разлил остатки пунша по кружкам для последней круговой.

— Мороз сегодня, ребята, жестокий мороз! — так странно начал он свою защитительную речь. — Всем вам приходилось бывать в пути в такую ночь, и вы знаете, что это значит. Загнанную собаку не заставишь подняться! Вы выслушали только одну сторону. Никогда еще не ел с нами из одной миски и не укрывался одним одеялом человек честнее Джека Уэстондэйла. Прошлой осенью он отдал сорок тысяч — все, что имел, — Джо Кастреллу, чтобы тот вложил их в какое-нибудь верное дело в Канаде. Теперь Джек мог бы быть миллионером. А знаете, что сделал Кастрелл? Пока Уэстондэйл оставался в Серкле, ухаживая за своим компаньоном, заболевшим цингой, Кастрелл играл в карты у Мак-Фарлэнда

и все спустил. На другой день его нашли в снегу мертвым. И все мечты бедняги Джека поехать зимой к жене и сынишке, которого он еще не видал, разлетелись в прах. Заметьте, он взял ровно столько, сколько проиграл Кастрелл, — сорок тысяч. Теперь он ушел. Что вы теперь скажете?

Кид окинул взглядом своих судей, заметил, как смягчилось выражение их лиц, и поднял кружку.

— Так выпьем же за того, кто в пути этой ночью! За то, чтобы ему хватило пищи, чтобы собаки его не сдали, чтобы спички его не отсырели. Да поможет ему господь! Пусть во всем ему будет удача, а...

— А королевской полиции — посрамление! — докончил Беттлз под грохот опустевших кружек.

По праву священника

Это рассказ о мужчине, который не умел ценить свою жену по достоинству, и о женщине, которая оказала ему слишком большую честь, когда назвала его своим мужем. В рассказе также участвует католический священник-миссионер, который славился тем, что никогда не лгал. Священник этот был неотделим от Юконского края, сросся с ним, те же двое оказались там случайно. Они принадлежали к той породе чудаков и бродяг, из которых одни взмывают вверх на волне золотой лихорадки, а другие плетутся у нее в хвосте.

Эдвин и Грэйс Бентам были из тех, что плелись в хвосте; клондайкская золотая лихорадка 97-го года уже давно спала: она прокатилась над могучей рекой и улеглась в голодном Доусоне. Юкон славно поработал и уснул под толстой, в три фута, ледяной простыней, а наши путники только успели добраться до порогов Файв Фингерз, откуда до Золотого Города оставалось еще много дней пути — и все на север!

Осенью здесь забивали скот в большом количестве, и после этого осталась порядочная куча

мясных отбросов. Трое спутников Эдвина Бентама и его жены, поглядев на кучу и наскоро прикинув кое-что в уме, почуяли возможность наживы и решили остаться. Всю зиму торговали они мороженными шкурами и костями, сбывая их владельцам собачьих упряжек. Они запрашивали скромную цену: всего лишь по доллару за фунт, разумеется, без выбора. А через шесть месяцев, когда возвратилось солнце и Юкон проснулся, они надели пояса, тяжелые от зашитого в них золотого песка, и пустились домой, в Южную Страну. Там они проживают и по сю пору, рассказывая всем о чудесах Клондайка, которого и в глаза не видывали.

Эдвин Бентам, лодырь по призванию, уж, верно, принял бы участие в мясной спекуляции, если б не его жена. Играя на тщеславии мужа, она внушила ему, что он принадлежит к тем незаурядным и сильным личностям, которым дано преодолеть все препятствия и добыть золотое руно. Почувствовав себя и в самом деле молодцом, он обменял свою долю костей и шкур на собаку с нартами и повернул лыжи на север. Само собой разумеется, Грэйс Бентам не отставала от него ни на шаг; больше того, уже после трех дней сурового пути они поменялись местами: женщина шла

впереди, а мужчина за ней следом по готовой лыжне. Конечно, стоило кому-нибудь показаться на горизонте, как порядок восстанавливался: мужчина шел впереди, женщина сзади. Таким образом, перед путниками, которые появлялись и исчезали, как привидения, на безмолвной тропе он сохранял свое мужское достоинство незапятнанным. Бывают и такие мужчины на свете!

Для нашего рассказа нет нужды углубляться в причины, побудившие этих двух людей произнести перед алтарем торжественную клятву. Достаточно того, что в жизни так бывает; а если мы будем слишком докапываться до сути подобных явлений, мы рискуем потерять нашу чудесную веру в то, что принято называть целесообразностью всего сущего.

Эдвин Бентам был мальчик, по какой-то оплошности природы наделенный наружностью взрослого мужчины; такие мальчики обычно с наслаждением терзают бабочек, прилежно обрывая им крылышки, и трясутся от страха, завидя какого-нибудь юркого смельчака-маль чишку, хотя бы и совсем малыша. За мужественными усами и статной фигурой, под поверхностным лоском культуры и светских манер скрывался эгоист и слюнтяй. Разумеется, он был принят в

обществе, состоял в различных клубах; он был из тех, что оживляют своим присутствием светские рауты и с неподражаемым жаром произносят очаровательные пошлости; из тех, что говорят громкие слова и хнычут от зубной боли; из тех, что, женившись на женщине, доставляют ей больше мук и страданий, чем самые коварные соблазнители и охотники до запретных наслаждений. Таких людей мы встречаем чуть ли не каждый день, но редко догадываемся об их подлинной сущности. Лучший способ (не считая брака) раскусить такого человека — это есть с ним из одного котла и укрываться одним одеялом в течение, скажем, недели — срок вполне достаточный.

В Грэйс Бентам прежде всего поражала девическая стройность; при более близком знакомстве перед вами раскрывалась душа, рядом с которой ваша собственная начинала казаться ничтожной и мелкой и которая вместе с тем была наделена всеми элементами вечной женственности. Такова была женщина, которая вдохновляла и ободряла своего мужа в его походе на Север, прокладывая ему дорогу, когда никто не видел, и втихомолку плача оттого, что она женщина и что ей не дано больше сил.

Так прошли эти столь несходные между собой люди весь путь до старого форта Селкерк и дальше — все сто миль унылой снежной пустыни до реки Стюарт. И вот на исходе короткого дня, когда мужчина бросился в снег и захныкал, как ребенок, женщина привязала его к нартам и, закусив губу от боли, помогла собаке дотащить его до хижины Мэйлмюта Кида. Хозяина не было дома, но оказавшийся там скупщик, немец Майерс, поджарил им огромные отбивные котлеты из оленины и приготовил постель из свежих сосновых ветвей.

Лейк, Ленгам и Паркер находились в большом волнении, да и было от чего.

— Эй, Сэнди! Послушай, ты можешь отличить филе от вырезки? Да иди же сюда, помоги мне!

Этот вопль о помощи исходил из кладовки позади хижины, где Ленгам безуспешно сражался с мороженой лосиной тушей.

— А я говорю: занимайся посудой и ни с места! — скомандовал Паркер.

— Послушай, Сэнди, будь другом, сбегай в поселок Миссури и займи у кого-нибудь корицы! — взывал Лейк.

— Скорей, скорей! Да что же ты... — Но тут в кладовке с грохотом посыпались ящики и куски

мороженого мяса, заглушив отчаянный призыв Ленгама.

— Послушай, Сэнди, что тебе стоит добежать до Миссури?..

— Оставь его, — перебил Паркер. — Не могу же я в самом деле месить тесто для лепешек, когда со стола не убрано!

Постояв с минуту в нерешительности, Сэнди вдруг сообразил, что он «человек» Ленгама, с виноватым видом бросил засаленное полотенце и поспешил к своему хозяину на выручку.

Эти многообещающие отпрыски богатых родителей устремились в Северную Страну за славой, предварительно набив себе карманы деньгами и прихватив каждый своего «человека» для услуг. Два другие «человека», к счастью для себя, находились в отлучке; их послали к верховьям Уайт-ривер на розыски каких-то мифических залежей золотоносного кварца. Поэтому Сэнди приходилось обслуживать трех дюжих молодцов, из которых каждый считал себя специалистом в области кулинарии. Уже дважды в это утро казалось, что вся компания распадется. Однако разрыва удалось избежать благодаря тому, что каждый из трех рыцарей кастрюльки согласился пойти на уступки. Наконец изысканный

обед, плод коллективных усилий, был готов. Джентльмены, чтобы устранить возможность недоразумений в будущем, уселись втроем играть в «разбойника»: победитель снаряжался в весьма ответственную командировку.

Это счастье выпало на долю Паркера. Расчесав волосы на прямой пробор, натянув рукавицы и надев шапку из медвежьего меха, он отправился к жилищу Мэйлмюта Кида. Вернулся же он оттуда в сопровождении Грэйс Бентам и самого Мэйлмюта Кида. Грэйс Бентам выразила свои сожаления по поводу того, что ее муж не может насладиться их гостеприимством, так как отправился осматривать россыпь у ручья Гендерсона; Мэйлмют Кид еле волочил ноги: он только что вернулся из похода по снежной целине вдоль реки Стюарт. Майерс отказался от приглашения, так как был поглощен новым экспериментом: он пытался заквасить тесто с помощью хмеля.

Ну что ж, с отсутствием мужа они могли примириться, тем более что женщина... Они не видели ни одной женщины целую зиму, и появление Грэйс Бентам предвещало новую эпоху в их жизни. Молодые люди в свое время окончили колледж, были настоящими джентльменами, и сейчас все трое тосковали по удовольствиям, которых так

долго были лишены. Грейс Бентам и сама, вероятно, испытывала такую же тоску; так или иначе, это была первая светлая минута после многих беспросветных недель.

Но только поставили на стол знаменитое блюдо, творение рук искусника Лейка, как раздался громкий стук в дверь.

— О! Мистер Бентам! Заходите, пожалуйста! —сказал Паркер, вышедший к дверям, чтоб посмотреть, кто пришел.

— Моя жена у вас? — грубо оборвал его гость

— Здесь, здесь! Мы просили Майерса передать, что ждем вас. — Озадаченный странным поведением гостя, Паркер пустил в ход свои самые бархатные интонации. — Что же вы не заходите? Мы так и ждали, что вы вот-вот появитесь, и поставили для вас прибор. Вы как раз поспели к первому блюду.

— Проходи же, милый Эдвин, — прощебетала Грэйс Бентам из-за стола.

Паркер посторонился, чтобы пропустить гостя.

— Я пришел за своей женой, — повторил Бентам, В его хриплом голосе послышались неприятные нотки убежденного собственника.

Паркер оторопел. С трудом удержавшись, чтобы не съездить невеже по физиономии, он так и

застыл в неловкой позе. Все встали. Лейк совсем растерялся и чуть было не спросил Грэйс: «Может быть, останетесь все-таки?»

Потом поднялся прощальный гул: «Очень любезно с вашей стороны...», «Как жаль...», «Ей-богу, с вами как-то веселее стало...», «Нет, право... я вам очень, очень благодарна...», «Счастливо добраться до Доусона» — и все в таком роде.

Под аккомпанемент этих слов жертву закутали в меховую куртку и повели на заклание. Дверь захлопнулась, и трое хозяев грустно уставились на покинутый гостями стол.

— Ч-черт! — В воспитании Ленгама имелись значительные пробелы, вследствие чего его лексикон был одно-образен и невыразителен. — Черт, — повторил он, смутно сознавая все несовершенство этого возгласа и тщетно пытаясь припомнить какое-нибудь более крепкое выражение.

Только умная женщина способна восполнить своими достоинствами многочисленные недостатки ничем не одаренного мужчины, своей железной волей поддержать его нерешительную натуру, вдохнуть в его душу свое честолюбие и подвигнуть его на великие дела. И только очень умная и очень тактичная женщина может

проявить при этом столько тонкости, чтобы мужчина, пожиная плоды ее усилий, поверил, что достиг всего сам, своими трудами.

Этого как раз и добивалась Грэйс Бентам. Не имея за душой ничего, кроме нескольких фунтов муки да двух-трех рекомендательных писем, она тотчас по прибытии в Доусон принялась усердно выталкивать своего большого младенца на авансцену. Это она растопила каменное сердце грубого невежи, который вершил судьбами в Компании Тихоокеанского побережья, и добилась у него кредита в счет будущих удач; однако все документы были оформлены на имя Эдвина Бентама. Это она таскала своего младенца по руслам рек, с одной отмели на другую, заставляя его проделывать головокружительные походы по скалистым берегам и горным кряжам; однако все говорили: «Что за энергичный малый этот Бентам!» Это она изучала местность по картам и беседовала с приисковыми старожилами и потом вбивала географические и топографические сведения в его пустую башку; а люди удивлялись тому, как быстро и досконально он узнал край со всеми его особенностями. «Конечно, — говорили они, — жена у него тоже молодчина». И лишь немногие, раскусив, в чем дело, жалели ее и воз-

давали ей должное.

Вся работа ложилась на Грэйс; все награды и похвалы доставались Эдвину. На Северо-Западной территории замужняя женщина не имеет права делать заявку или записывать на свое имя участок, будь то отмель, россыпь или кварцевая жила, поэтому Эдвину Бентаму пришлось пойти самому к уполномоченному по золоту и оформить заявку на 23-й горный участок, Французский холм, второй ряд. А к апрелю месяцу они уже намывали золота на тысячу долларов в день, и таким дням не видно было конца.

У подножия Французского холма протекал ручей Эльдорадо; и на одном из прибрежных участков стояла хижина Клайда Уортона. Пока еще он не намывал на тысячу долларов в день, но отвалы у него росли с каждым часом, и близилось время, когда в течение одной короткой недели в его желобах должны были осесть сотни тысяч долларов. Он часто сидел у себя в хижине, попыхивая трубкой и предаваясь чудесным грезам (а грезил он отнюдь не об отвалах, ни даже о полутонне золотого песка, хранившегося в громадном сейфе Компании Тихоокеанского побережья).

Между тем в хижине на склоне холма Грэйс Бентам мыла свою оловянную посуду и, погляды-

вая на участок под горой, тоже мечтала и тоже отнюдь не об отвалах и не о золотом песке. Эти двое то и дело попадались друг другу навстречу, и не удивительно: ведь тропинки, которые вели на их участки, пересекались, а кроме того, в северной весне есть что-то такое, что располагает людей к общению друг с другом. Однако ни единым взглядом, ни единой обмолвкой не позволили они себе обнаружить то, чем были переполнены их сердца.

Так было вначале. Но вот однажды Эдвин Бентам поднял руку на жену. Все мальчишки таковы: сделавшись одним из королей Французского холма, он возомнил о себе и позабыл все, чем был обязан своей жене. Узнав об этом в тот же день, Уортон подстерег Грэйс Бентам на тропинке и обратился к ней с несвязной, но горячей речью. Она была очень счастлива, хоть и не стала его слушать, и взяла с него обещание никогда не говорить ей подобных глупостей. Ее время еще не пришло.

Но вот солнце пустилось в обратный путь, на север, полночный мрак сменился стальным блеском рассвета, снег начал таять, через заледеневшие пороги вновь хлынула вода, и старатели приступили к промывке. Желтая глина и куски

горной породы дни и ночи напролет проходили по круто наклоненным желобам, оставляя щедрую награду сильным людям из Южной Страны. В эту-то горячую пору и пробил час для Грэйс Бентам.

Этот час наступает в жизни каждого, в жизни каждого мало-мальски живого человека. Иные ведь безгрешны не оттого, что так уж дорожат добродетелью, а просто по лени. Те же из нас, кому приходилось поддаваться искушению, знают, что это такое.

В то время как Эдвин Бентам стоял у стойки бара в Форксе и глядел на весы, на которых лежал его мешочек с золотым песком, — увы, сколько этого песка перекочевало уже через сосновую стойку! — в это самое время Грэйс Бентам спустилась с холма и проскользнула в хижину Клайда Уортона. Ждал ли ее Уортон в этот час или нет, не все ли равно? А вот если бы отец Рубо не увидел ее и не свернул в сторону с главной тропы, можно было бы избежать многих ненужных мучений и долгих месяцев томительного ожидания.

— Дитя мое...

— Погодите, отец Рубо! Я уважаю вас, хоть и не придерживаюсь вашей веры. Но я не позволю вам встать между этой женщиной и мной.

— Вы понимаете, на что вы идете?

— Понимаю ли я? Да если бы сам всемогущий господь бог явился ко мне вместо вас, чтобы ввергнуть меня в геенну огненную, я бы не отступил ни на шаг!

Уортон усадил Грэйс на табурет, а сам встал подле нее в воинственной позе.

— Сядьте вон на тот стул и молчите, — продолжал он, обращаясь к священнику. — Сейчас моя очередь; следующий ход будет ваш.

Отец Рубо вежливо поклонился и сел. Он был человек уступчивый и умел ждать. Придвинув себе другой табурет, Уортон сел рядом с Грэйс и стиснул ее руку в своей.

— Так ты любишь меня? Правда? И ты увезешь меня отсюда?

По лицу ее было видно, что ей хорошо и покойно с ним, что она наконец обрела приют и защиту.

— Ну конечно же, дорогая! Или ты забыла, что я тебе говорил?

— Но разве это возможно? Как же промывка?

— Стану я думать о промывке! Да я могу поручить это дело хотя бы вот отцу Рубо! Я могу попросить его доставить золотой песок Компании.

— И я его больше никогда не увижу!

— Какая потеря!

— Уехать... Нет, Клайд, я не могу! Не могу, понимаешь?

— Ну, успокойся же, милая! Конечно же, уедем. Положись во всем на меня. Вот только соберем кой-какие пожитки и сейчас же отправимся и...

— А если он сюда придет?

— Я переломаю ему все...

— Нет, нет! Клайд! Пожалуйста, без драки! Обещай же мне...

— Ну ладно. Я просто скажу рабочим, чтоб его выкинули с моего участка. Они видели, как он обходится с тобой, и сами не слишком-то любят его.

— Ах, нет, только не это! Не причиняй ему боли!

— Чего же ты хочешь? Чтобы я спокойно смотрел, как он тебя уведет?

— Н-нет, — сказала она полушепотом, нежно поглаживая его руку.

— Тогда предоставь действовать мне и ни о чем не беспокойся. Он останется цел, ручаюсь тебе! Он-то, небось, не задумывался, больно тебе или нет! В Доусон нам заезжать незачем; я дам туда знать, и кто- нибудь снарядит для нас лодку и

пригонит ее вверх по Юкону. А мы тем временем перевалим через кряж и спустимся на плотах по Индейской реке, навстречу им. Потом...

— Что ж потом?

Ее голова лежала у него на плече. Их голоса замирали, каждое слово было лаской. Священник начал беспокойно ерзать на стуле.

— А потом? — повторила она.

— Что же потом? Будем плыть вверх, вверх по течению, затем волоком через пороги Уайтхорс и Ящичное ущелье.

— А дальше?

— Дальше по реке Шестидесятимильной, потом пойдут озера, Чилкут, Дайя, а там — и Соленая Вода.

— Но, милый, я ведь не умею управляться с багром...

— Глупенькая! Мы возьмем с собой Ситку Чарли; он знает, где пройдет лодка и где устроить привал; к тому же он лучший товарищ в пути, какого я знаю, даром что индеец. От тебя потребуется лишь одно — сидеть в лодке, петь песни и разыгрывать Клеопатру да еще сражаться с крылатыми полчищами... Впрочем, нет, нам ведь повезло: комаров еще нет.

— Дальше, дальше что, о мой Антоний?

— А дальше — пароход, Сан-Франциско и весь белый свет! И мы больше никогда не вернемся в эту распроклятую дыру. Только подумай! Весь мир к нашим услугам — поезжай, куда хочешь! Я продам свою долю. Да знаешь ли ты, что мы богаты? Уолдвортский синдикат даст полмиллиона за мой участок, да у меня еще вдвое больше этого в сейфе Компании Тихоокеанского побережья и в отвалах. В тысяча девятисотом году мы с тобой съездим в Париж, на всемирную выставку. Мы можем поехать даже в Иерусалим, если ты только пожелаешь. Мы купим итальянское палаццо, и ты можешь там разыгрывать Клеопатру, сколько твоей душе будет угодно. Нет, ты у меня будешь Лукрецией[18], Актеей[19], кем тебе только захочется, моя дорогая! Только смотри не вздумай...

— Жена Цезаря должна быть выше подозрений!

— Разумеется, но...

— Но я не буду твоей женой, мой милый, да?

— Я не это хотел сказать.

---

[18] notes: 18

Лукреция — легендарная римлянка, подвергшаяся бесчестью со стороны Секста, сына царя Тарквиния Гордого. Лукреция заставила отца и мужа поклясться, что они отомстят насильнику, и заколола себя на их глазах.

[19] notes: 19

Актея — фаворитка римского императора Нерона (I в. н. э.).

— Но ты ведь будешь меня любить, как жену, и никогда, никогда... Ах, я знаю, ты окажешься таким же, как все мужчины. Я тебе надоем, и... и...

— Как не стыдно! Я...

— Обещай мне!

— Да! Да! Я обещаю!

— Ты так легко это говоришь, мой милый. Откуда ты знаешь? А я? Я так мало могу тебе дать, но это так много! Ах, Клайд! Обещай же, что ты не разлюбишь меня!

— Ну вот! Что-то ты рано начинаешь сомневаться. Сказано же: «Пока смерть не разлучит нас».

— Подумать только — эти самые слова я когда-то говорила... ему, а теперь...

— А теперь, мое солнышко, ты не должна больше об этом думать. Конечно же, я никогда-никогда...

Тут впервые их губы затрепетали в поцелуе. Отец Рубо, который все это время внимательно глядел в окно на дорогу, наконец не выдержал; он кашлянул и повернулся к ним.

— Ваше слово, святой отец!

Лицо Уортона пылало огнем первого поцелуя. В голосе его, когда он уступил свое место, звенели нотки торжества. Он ни на минуту не сомневался

в исходе. Не сомневалась и Грэйс — это было видно по улыбке, сиявшей на ее лице, когда она повернулась к священнику.

— Дитя мое, — начал священник, — сердце мое обливается кровью за вас. Ваша мечта прекрасна, но ей не суждено сбыться.

— Почему же нет, святой отец? Я ведь дала свое согласие.

— По неведенью, дитя мое! Вы не подумали о клятве, которую вы произнесли перед лицом господа бога, о клятве, которую вы дали тому, кого назвали своим мужем. Мой долг — напомнить вам о святости этой клятвы.

— А если я, сознавая всю святость клятвы, все равно намерена ее нарушить?

— Тогда бог...

— Который? У моего мужа свой бог, и этого бога я не желаю почитать. И, верно, таких богов немало.

— Дитя! Возьмите назад ваши слова! Ведь вы не хотели это сказать, правда? Я все понимаю. Мне самому пришлось пережить нечто подобное... — На мгновение священник перенесся в свою родную Францию, и образ другой женщины, с печальным лицом и глазами, исполненными тоски, заслонил ту, что сидела перед ним на табурете.

— Отец мой, неужели господь покинул меня? Чем я грешней других? Я столько горя вынесла с моим мужем; неужели и дальше страдать? Неужели я не имею права на крупицу счастья? Я не могу, я не хочу возвращаться к нему!

— Не бог тебя покинул, а ты покинула бога. Возвратись. Возложи свое бремя на него, и тьма рассеется. О дитя мое!..

— Нет, нет! Все это уже бесполезно. Я вступила на новый путь и уже не поверну обратно, что бы ни ожидало меня впереди. А если бог покарает меня, пусть, я готова. Где вам понять меня? Ведь вы не женщина.

— Мать моя была женщиной.

— Да, но...

— Христос родился от женщины.

Она ничего не ответила. Воцарилось молчание. Уортон нетерпеливо подергивал ус, не спуская глаз с дороги. Грэйс облокотилась на стол; лицо ее выражало решимость. Улыбка пропала. Отец Рубо решил испробовать другой путь.

— У вас есть дети?

— Ах, как я мечтала о них когда-то! Теперь же... Нет, у меня нет детей, и слава богу.

— А мать?

— Мать есть.

— Она вас любит?

— Да.

Она отвечала шепотом.

— А брат?.. Впрочем, это не важно, он мужчина. Сестра есть?

Дрожащим голосом, опустив голову, она произнесла:

— Да.

— Моложе вас? На много?

— На семь лет.

— Хорошенько ли вы взвесили все? Подумали ли вы о них? О матери? О сестре? Она стоит на самом пороге своей женской судьбы, и этот ваш опрометчивый поступок может роковым образом сказаться на ее жизни. Хватит ли у вас духа прийти к ней, посмотреть на ее свежее, юное личико, взять ее руку в свою, прижаться щекой к ее щеке?

Слова священника вызвали рой ярких образов в ее сознании.

— Не надо, не надо! — закричала она, съежившись, как собака, над которой занесли плеть.

— Рано или поздно вам придется взглянуть правде в лицо. Зачем же откладывать?

В глазах его светилось сострадание, но их она не видела; лицо же его, напряженное, нервно

подергивающееся, выражало непреклонность. Взяв себя в руки и с трудом удерживая слезы, она подняла голову.

— Я уеду. Они меня больше никогда не увидят и со временем забудут меня. Я сделаюсь для них все равно что мертвая... И... и я уеду с Клайдом... сегодня же...

Казалось, это был ее окончательный ответ. Уортон шагнул было к ним, но священник остановил его движением руки.

— Вы хотели иметь детей?

Молчаливый кивок.

— Вы молились о том, чтобы у вас были дети?

— Не раз.

— А сейчас вы подумали, что будет, если у вас появятся дети?

Отец Рубо бросил взгляд на мужчину, стоящего у окна.

Лицо женщины озарилось радостью; но в ту же минуту она поняла, что означал этот вопрос. Она подняла руку, как бы моля о пощаде, но священник продолжал:

— Представьте, что вы прижимаете к груди невинного младенца. Мальчика! К девочкам свет менее жесток. Да ведь самое молоко в вашей груди обратится в желчь! Как вам гордиться, как

радоваться вам на вашего сына, когда другие дети...

— О, пощадите! Довольно!

— За грехи родителей...

— Довольно! Я вернусь! — Она припала к ногам священника.

— Ребенок будет расти, не ведая зла, покуда в один прекрасный день ему не швырнут в лицо страшное слово...

— Господи! О господи!

Женщина в отчаянии опустилась на колени. Священник со вздохом поднял ее. Уортон хотел было подойти к ней, но она замахала на него рукой.

— Не подходи ко мне, Клайд! Я возвращаюсь к мужу! — Слезы так и струились по ее щекам, она не пыталась вытирать их.

— После всего, что было? Ты не смеешь! Я не пущу тебя!

— Не трогай меня! — крикнула она, отстраняясь от него и дрожа всем телом.

— Нет, ты моя! Слышишь! Моя!

Он резко повернулся к священнику.

— Какой же я дурак, что позволил вам читать тут проповеди! Благодарите бога, что на вас священный сан, а не то бы я... Да, да, я знаю,

вы скажете: право священника... Ну что ж, вы воспользовались им. А теперь убирайтесь подобру-поздорову, пока я не забыл, кто вы и что вы!

Отец Рубо поклонился, взял женщину за руку и направился с нею к дверям. Но Уортон загородил им дорогу.

— Грэйс! Ты ведь говорила, что любишь меня?

— Говорила.

— А сейчас ты любишь меня?

— Люблю.

— Повтори еще раз!

— Я люблю тебя, Клайд, люблю!

— Слышал, священник? — вскричал он. — Ты слышал, что она сказала, и все же посылаешь ее с этими словами на устах обратно к мужу, где ее ждет ад, где ей придется лгать всякую минуту своей жизни!

Отец Рубо вдруг втолкнул женщину во внутреннюю комнату и прикрыл за ней дверь.

— Ни слова!— шепнул он Уортону, усаживаясь на табурет и принимая непринужденную позу. — Помните: это ради нее, — прибавил он.

Раздался резкий стук в дверь, затем поднялась щеколда, и вошел Эдвин Бентам.

— Моей жены не видали? —спросил он после обмена приветствиями.

Оба энергично замотали головой.

— Я заметил, что ее следы ведут от нашей хижины вниз, — продолжал он осторожно. — Затем они видны на главной тропе и обрываются как раз у поворота к вашему дому.

Они выслушали его объяснения с полным безразличием.

— И я... я подумал, что...

— Что она здесь?! — прогремел Уортон.

Священник взглядом заставил его успокоиться.

— Вы видели, что ее следы ведут в эту хижину, сын мой? -

Хитрый отец Рубо! Еще час назад, когда шел сюда по той же самой дорожке, он позаботился затоптать следы.

— Я не стал разглядывать, я... — Кинув подозрительный взгляд на дверь, ведущую в другую комнату, он перевел его на священника. Тот покачал головой. Бентам все еще колебался.

Сотворив про себя коротенькую молитву, отец Рубо поднялся с табурета.

— Ну, если вы мне не верите... — Он двинулся к двери.

Священники не лгут. Эдвин Бентам часто слышал эту истину и не сомневался в непреложности

ее.

— Что вы, святой отец! — сказал он поспешно. — Просто я не пойму, куда это запропастилась моя жена, и подумал, что, может быть... Ах, верно, она пошла к миссис Стентон во Французское ущелье. Прекрасная погода, не правда ли? Слыхали новость? Мука подешевела — теперь фунт идет за сорок центов; и, говорят, чечако целым стадом двинулись вниз по реке. Однако мне пора. Прощайте!

Дверь захлопнулась. Они глядели в окно, вслед Эдвину Бентаму, который направился во Французское ущелье продолжать свои розыски.

Через несколько недель, как только спало июньское половодье, два человека сели в лодку, оттолкнулись от берега и набросили канат на плывущую в реке корягу; канат натянулся, и утлое суденышко поплыло вперед, как на буксире. Отец Рубо получил предписание покинуть верховья и вернуться к своей смуглой пастве в Минук. Там появились белые люди, и с их приходом индейцы забросили рыбную ловлю и стали усердно поклоняться известному божеству, нашедшему временное пристанище в несметных количествах черных бутылок. Мэйлмют Кид сопутствовал священнику, так как у него тоже

были кое-какие дела в низовьях.

Только один человек во всей Северной Стране знал Поля Рубо, не миссионера-священника, не «отца Рубо», а Поля Рубо, простого смертного. Этот человек был Мэйлмют Кид. Только перед ним отец Рубо забывал свой священнический сан и представал во всей своей духовной наготе. Что же в этом удивительного? Эти два человека знали друг друга. Разве они не делились последней рыбешкой, последней щепоткой табаку, последней и сокровеннейшей мыслью — то на пустынных просторах Берингова моря, то в убийственных лабиринтах Великой Дельты, то во время поистине ужасающего зимнего перехода от мыса Барроу к Поркьюпайн!

Отец Рубо, попыхивая своей видавшей виды трубкой, глядел на алый диск солнца, которое угрюмо нависло над северным горизонтом. Мэйлмют Кид завел часы. Была полночь.

— Не стоит унывать, друг! — Кид, очевидно, продолжал ранее начатый разговор. — Уж, верно, бог простит подобную ложь. Скажу я словами человека, который всегда знает, что сказать.

Если слово она проронила — молчанья
храни печать,

И клеймо презренной собаки тому, кто не мог молчать!

Если Герворд беда угрожает, а спасет ее море лжи, —

Лги, покуда язык не отсохнет, а имеющий уши жив.

Отец Рубо вынул трубку изо рта и задумался:

— Он хорошо сказал, ваш поэт, но не это меня сейчас мучает. И ложь и кара за нее в руке божьей, но... но...

— Но что же? Ваша совесть должна быть чиста.

— Нет, Кид. Сколько я ни думаю об этом, а факт остается фактом. Я все знал и все же заставил ее вернуться.

Звонкая песня зарянки раздалась на лесистом берегу, откуда-то из глубины донесся приглушенный зов куропатки, в затоне с громким плеском вошел в воду лось; два человека в лодке молча курили.

Мудрость снежной тропы

Ситка Чарли достиг недостижимого. Индейцев, которые не хуже его владели бы мудростью тропы, еще можно было встретить, но только один Ситка Чарли постиг мудрость белого человека, его закон, его кодекс походной чести. Все это ему далось, однако, не сразу. Ум индейца не склонен к обобщениям, и нужно, чтобы накопилось много фактов и чтобы факты эти часто повторялись, прежде чем он поймет их во всем их значении. Ситка Чарли с самого детства толкался среди белых. Когда же он возмужал, он решил совсем уйти от своих братьев по крови и навсегда связал свою судьбу с белыми. Но и тут, несмотря на все свое уважение, можно сказать, преклонение перед могуществом белых, над которым Ситка Чарли без конца размышлял, он долго еще не мог уяснить себе скрытую сущность этого могущества — закон и честь, и только многолетний опыт помог ему окончательно разобраться в этом. Поняв же закон белых, он, человек другой расы, усвоил его лучше любого белого человека. Так он, индеец, достиг недостижимого.

Все это породило в нем некоторое презрение к

собственному народу. Обычно он старался скрывать это презрение, но сейчас оно проявилось в многоязычном каскаде проклятий, обрушившемся на головы Ка-Чукте и Гоухи. Они стояли перед ним, точно две собаки, которым трусость мешает напасть, между тем как волчья сущность не позволяет спрятать клыки. Вид у обоих, да и у Ситки Чарли, тоже был такой, что краше в гроб кладут: кожа да кости, на скулах омерзительные струпья от жестоких морозов, местами потрескавшиеся, местами затянувшиеся, в глазах зловещий огонь, порожденный голодом и отчаянием. Когда люди дошли до подобного состояния, им нет дела до закона и чести; таким людям доверять нельзя. Ситка Чарли это знал, потому-то десять дней назад, когда было решено оставить кое-что из походного снаряжения, он и заставил их побросать ружья. Теперь во всем отряде оставалось всего лишь два ружья: одно у самого Ситки Чарли, другое у капитана Эппингуэлла.

— А ну-ка, разведите костёр, живо! — скомандовал Ситка Чарли, доставая драгоценную спичечную коробку и бересту.

Индейцы мрачно принялись собирать сухие сучья и валежник. Они были очень слабы, устраивали частые передышки и, наклоняясь

за сучьями, с трудом удерживались на ногах; их колени дрожали и стукались одно о другое, как кастаньеты. Каждый раз, доковыляв до костра, они останавливались, чтобы перевести дух, как тяжело больные или смертельно усталые люди. Взгляд их то тускнел, выражая тупое, терпеливое страдание, то загорался исступленной жаждой жизни, которая, казалось, вот-вот прорвется неистовым воплем, лейтмотивом всего сущего: «Я хочу жить! Я, я, я!»

Внезапно поднявшийся с юга ветерок больно щипал лицо и руки, а раскаленные иглы мороза проникали до самых костей, впиваясь в тело сквозь меховую одежду. Поэтому, когда костер разгорелся как следует и снег кругом него начал подтаивать, Ситка Чарли заставил своих товарищей помочь ему в устройстве защитного полога. Это было весьма примитивное сооружение, попросту говоря, обыкновенное одеяло, которое натянули с подветренной стороны костра примерно под углом в сорок пять градусов к земле. Полог этот все же защищал от пронизывающего ветра и отражал тепло, направляя его на сидящих вокруг костра. Затем, чтоб не сидеть прямо на снегу, индейцы набросали еловых ветвей. Выполнив эту работу, они занялись своими ногами.

Заледеневшие мокасины сильно истрепались в пути, острый лед речных заторов превратил их в лохмотья. Меховые носки были в таком же состоянии; когда же они оттаяли настолько, что их можно было стащить, обнажились мертвенно-бледные пальцы ног в разных стадиях обмороженности; они красноречиво поведали несложную историю похода.

Оставив Ка-Чукте и Гоухи сушить у костра обувь, Ситка Чарли повернул лыжи и пошел обратно по тропе. Он и сам был бы рад посидеть у костра и дать отдых своему измученному телу, но это было бы противно закону и чести. Он шагал по замерзшей равнине, в каждом шаге был словно вопль протеста, в каждом мускуле — призыв к бунту. Его нога то и дело ступала на хрупкий лед, только что затянувший промоины, и тогда нужно было не мешкая перепрыгивать на другую льдину. Смерть в таких местах бывает мгновенной и легкой; но Ситка Чарли не желал умирать.

Тревога, которая постепенно нарастала в нем, рассеялась, как только из-за поворота реки показались ковыляющие фигуры двух индейцев. Они с трудом волочили ноги и тяжело дышали, точно несли тяжелую ношу, хотя в их заплечных мешках было всего несколько фунтов клади. Ситка

Чарли набросился на индейцев с расспросами, и, видимо, их ответы успокоили его. Он поспешил дальше. Навстречу шли трое белых — двое мужчин вели под руки женщину. Они тоже брели, как пьяные, от усталости у них тряслись руки и ноги. Однако женщина старалась не слишком опираться на своих спутников и двигаться без их помощи. На лице Ситки Чарли мелькнула радость, когда он увидел ее. Миссис Эппингуэлл вызывала у него чувство глубокой симпатии и уважения. На своем веку он перевидал много белых женщин, но никогда еще ему не доводилось идти с какой-нибудь из них по снежной тропе. Когда капитан Эппингуэлл впервые заговорил с ним об этом рискованном предприятии, предложив ему принять участие в походе, индеец хмуро покачал головой. Он знал, что прокладывать новый путь через унылые просторы Северной Страны было делом, которое даже от мужчин требовало предельного напряжения сил. Услышав же, что их собирается сопровождать жена капитана, он решительно отказался от какого бы то ни было участия в этом предприятии. Добро бы это была индианка, но женщина из Южной Страны... нет, нет, все они неженки и белоручки, и такой поход им не под силу.

Но Ситка Чарли не знал, с кем он имеет дело. Еще пять минут тому назад он и в мыслях не имел согласиться. Но вот подошла она; ее чудесная улыбка околдовала его, ее четкая английская речь поразила его слух; она поговорила с ним по-деловому, не прибегая ни к просьбам, ни к уговорам, и Ситка Чарли тут же сдался. Если бы он прочел в ее глазах мольбу или вкрадчивость, если бы уловил в ее голосе малейшую дрожь, если бы почувствовал, что она рассчитывает на свое женское обаяние, Ситка Чарли оказался бы тверже стали, — но ее ясный пытливый взгляд, ее звонкий, решительный голос, ее полнейшая искренность и манера держаться с ним просто, как с равным, вскружили ему голову совершенно. Он почувствовал, что перед ним женщина особой породы, и уже в первые дни пути понял, отчего мужчины, родившиеся от подобных женщин, сделались повелителями морей и суши и отчего мужчины, рожденные женщинами его племени, не могли против них устоять. Неженка и белоручка — это она-то! Изо дня в день наблюдал он ее, усталую, измученную и все же несдающуюся, и повторял в уме эти слова: «Неженка и белоручка». Он смотрел, как с утра до ночи, не зная усталости, мелькают перед ним ее ноги, которым бы ходить

по утоптанным дорожкам в солнечных краях, не ведая ни ноющей боли от мокасин, ни ледяных поцелуев мороза; смотрел — и не мог надивиться. Она дарила всех своей приветливой улыбкой, для самого последнего носильщика находила словечко одобрения. Надвигалась полярная ночь, но упорство и решимость этой женщины, казалось, только возрастали с наступающей темнотой. Когда Гоухи и Ка-Чукте, которые хвастали, что знают дорогу, как собственный вигвам, признались в конце концов, что сбились с пути, среди проклятий, обрушившихся на них, один голос, голос женщины, поднялся в их защиту. В ту ночь она пела своим спутникам, и от ее песни позабылась усталость и вселилась новая надежда в их сердца. Когда съестные припасы стали подходить к концу и каждый крохотный кусок был на учете, она восстала против ухищрений своего мужа и Ситки Чарли, требуя, чтобы ей выделяли ровно столько же, сколько остальным, — ни больше, ни меньше.

Ситка Чарли гордился дружбой этой женщины. С ее появлением жизнь его стала богаче, он обрел новые горизонты. Сам себе наставник, он привык идти своим путем, ни на кого не оглядываясь. Он воспитал себя, опираясь на правила, которые сам

же и выработал, не прислушиваясь ни к чьим мнениям, кроме собственного. И вот впервые появилась какая-то сила извне и вызвала к жизни все лучшее, что в нем таилось. Взгляд одобрения этих ясных глаз, слово благодарности, произнесенное этим звонким голосом, неуловимое движение губ, складывающихся в эту изумительную улыбку, — и Ситка Чарли в течение долгих часов пребывал на седьмом небе. Она вдохновляла его, поднимала в собственных глазах; он научился гордиться тем, что так глубоко усвоил мудрость тропы. Он и миссис Эппингуэлл вдвоем поддерживали дух у приунывших товарищей.

Лица всех троих прояснились при виде Ситки Чарли — ведь он был их единственной опорой в пути. Как всегда, невозмутимый, привыкший скрывать под железной маской безразличия равно и радость и боль, Ситка Чарли осведомился об остальных членах отряда, сообщил, сколько осталось идти до костра, и продолжал свой путь. Вскоре ему попался навстречу индеец; он шел, прихрамывая, один и без поклажи; губы его были плотно сжаты, в глазах застыла боль: в его ноге в последней схватке со смертью еще пульсировала жизнь. Все, что можно было для него сделать, было сделано, но в конечном счете слабый и

неудачливый гибнет. Ситка Чарли видел, что дни индейца сочтены. Долго он все равно протянуть не мог, и Ситка Чарли, бросив на ходу несколько суровых слов утешения, пошел дальше. После этого ему повстречались еще два индейца — те, которым Ситка Чарли поручил вести Джо, четвертого белого человека в их отряде. Но они бросили его. Ситке Чарли было достаточно одного взгляда, чтобы понять по какой- то неуловимой свободе движений, что индейцы вышли из повиновения. И потому он не был застигнут врасплох, когда в ответ на приказ вернуться за белым в руках у индейцев сверкнули охотничьи ножи. Какое убогое зрелище — три слабых человеческих существа мерятся своими жалкими силенками среди просторов могучей природы! Двое были вынуждены отступить под ударами, которые наносил им третий прикладом ружья. Индейцы, как побитые собаки, поплелись обратно. А через два часа все они — Джо, поддерживаемый с двух сторон индейцами, и Ситка Чарли, замыкавший шествие — подошли к костру, где остальные члены отряда жались к огню под защитой полога.

Когда были проглочены скудные порции пресных лепешек, Ситка Чарли сказал:

— Несколько слов, друзья мои, прежде чем лечь

спать. — Он обратился к индейцам на их родном языке, так как уже сообщил белым содержание своей речи. — Несколько слов, друзья мои, для вашей же пользы, — может быть, они помогут вам сохранить вашу жизнь. Я дам вам закон, и тот, кто нарушит его, будет сам виновен в своей смерти. Мы перешли Горы Молчания и сейчас идем по верховьям реки Стюарт. Может быть, нам остался всего лишь один сон в пути, может быть, два-три или даже много снов, но так или иначе мы дойдем до людей с Юкона, у которых много еды. Так вот, мы должны соблюдать закон. Сегодня Ка-Чукте и Гоухи, которым я приказал прокладывать лыжню, забыли о том, что они мужчины, и убежали, как малые дети. Ну что ж, они забыли, забудем и мы на этот раз! Но отныне пусть они не забывают. Если же они снова забудут... — Тут он с нарочитой небрежностью погладил ствол ружья. — Завтра они понесут муку, и поведут белого человека Джо, и будут следить за тем, чтоб он не остался лежать на тропе. Я вымерил, сколько здесь чашек муки; если к вечеру пропадет хотя бы унция... Понятно? Кое-кто еще забыл сегодня: Оленья Голова и Три Лосося оставили белого человека Джо одного на снегу. Пусть и они не забывают больше. Как только

забрезжит день, они отправятся вперед прокладывать лыжню. Вы слышали закон — смотрите же не нарушайте его.

Как ни старался Ситка Чарли, ему не удавалось заставить свой отряд идти след в след. От Оленьей Головы и Трех Лососей, которые шли в авангарде, прокладывая лыжню, до замыкавших шествие Ка-Чукте, Гоухи и Джо он растянулся чуть не на милю. Каждый брел, падал, чтобы перевести дух, и снова вставал. Они подвигались вперед, напрягая остатки сил, то и дело останавливаясь, и всякий раз, когда они думали, что окончательно выдохлись, оказывалось, что каким-то чудом они все?* таки могут еще идти, что силы их не совсем еще иссякли. Всякий раз, упав, человек думал, что ему уже не встать, и, однако, он вставал, и падал снова и еще раз вставал. Человеческая воля побеждала изнемогающую плоть, но каждая одержанная победа таила в себе трагедию. Индеец с отмороженной ногой уже не шел, а полз на четвереньках. Он полз, почти не останавливаясь, ибо знал цену, которую мороз взыщет с него за передышку. Даже у миссис Эппингуэлл улыбка словно застыла на губах, и она смотрела вперед невидящим взглядом. Она часто останавливалась, прижимала к груди руку

в меховой рукавице: не хватало дыхания и кружилась голова.

Белый человек Джо находился по ту сторону страданий. Он уже не молил, чтоб его оставили в покое, и не взывал к смерти; он был кроток и ни на что не жаловался — бред избавил его от страданий. Ка-Чукте и Гоухи тащили его без всяких церемоний, награждая свирепыми взглядами, а иной раз и тумаками. Они считали себя жертвой величайшей несправедливости. Их сердца были полны страха и жгучей ненависти. Этот человек ослаб, так почему они должны тратить на него свои последние силы? Повиноваться означало для них верную смерть; взбунтоваться... Но тут они вспомнили Ситку Чарли, его закон, его ружье.

С наступлением сумерек Джо падал все чаще и чаще, и поднимать его становилось с каждым разом все тяжелее; они начали сильно отставать. Индейцы так ослабли под конец, что стали уже валиться в снег вместе с ним. А между тем на спине, за плечами — жизнь, тепло! В мешках с мукой заключалась животворящая сила. Не думать об этом было невозможно, и то, что случилось, должно было неминуемо случиться. Они устроили привал возле большой партии

сплавного леса, которую затерло льдами. Дрова — их было несколько тысяч кубических футов, — казалось, только и ждали спички. А совсем близко поблескивала в проруби вода. Ка-Чукте и Гоухи взглянули на дрова, затем на воду, потом посмотрели друг другу в лицо. Они не обменялись ни единым словом.

Гоухи разжег костер; Ка-Чукте наполнил жестянку водой и согрел ее на огне. Джо лепетал на непонятном языке о непонятных делах, творившихся в далеком, чуждом им краю. Размешав муку в тепловатой воде, они приготовили себе жидкую кашицу и выпили одну за другой несколько чашек. Они не подумали угостить Джо, но Джо не обижался; Джо ни на что больше не обижался. Он даже не обижался на свои мокасины, которые тихо тлели и дымились на угольках от костра.

Вокруг пирующих падал легкий искрящийся снег, падал мягко, ласково, обволакивая их плотной белой мантией. Много еще троп исходили бы они, если бы волею судеб не прекратился снегопад и небо не очистилось от туч. Каких-нибудь десять минут, и они были бы спасены! Оглянувшись, Ситка Чарли увидал столб дыма от костра и все понял. Он посмотрел вперед, туда, где шагали

самые стойкие, где шла миссис Эппингуэлл.

— Итак, друзья мои, вы опять забыли, что вы мужчины? Хорошо. Очень хорошо. Двумя ртами меньше.

С этими словами Ситка Чарли завязал мешок с остатками муки и пристегнул его к своему вещевому мешку. Затем он принялся изо всех сил толкать несчастного Джо, пока боль не вывела беднягу из блаженного оцепенения и не заставила его с трудом подняться на ноги. Ситка Чарли поставил его на лыжню, слегка подтолкнул, и Джо пошел. Индейцы попытались было улизнуть.

— Стой, Гоухи! И ты, Ка-Чукте! Или мука придала вашим ногам столько сил, что уж и быстрокрылый свинец вас не догонит? Закон не обманешь. Покажите же, что вы мужчины, и радуйтесь, что умираете сытыми. Встаньте рядом, спиной к бревнам!.. Ну!

Индейцы повиновались без слов, без страха, ибо человек страшится будущего, а не настоящего.

— У тебя, Гоухи, есть жена и дети и вигвам из оленьих шкур на земле племени чиппева. Как ты хочешь распорядиться ими?

— Узнай у капитана, что принадлежит мне, и отдай все моей жене — одеяла, бусы, табак и ящик, который издает чудные звуки, похожие

на разговор белого человека. Скажи, что я встретил смерть в пути, но не рассказывай, как это случилось.

— А ты, Ка-Чукте? У тебя ведь нет ни жены, ни детей...

— У меня есть сестра, жена агента фактории в Кошиме. Он бьет ее, ей плохо с ним. Дай ей все, что принадлежит мне по контракту, и скажи, чтобы возвращалась к своей родне. А если сам он тебе попадется и ты захочешь оказать мне услугу, — знай, что ему следовало бы умереть. Он ее бьет, и она его боится.

— Согласны ли вы принять законную смерть?

— Согласны.

— Прощайте же, дорогие друзья! Да попадут ваши души в теплое жилье, да воссядут они возле полных котлов!

С этими словами он вскинул ружье, и тишина огласилась многократным эхо. Едва умолкли последние раскаты, как в ответ издалека послышались ружейные выстрелы. Ситка Чарли вздрогнул. Выстрелов было несколько, а он знал, что во всем отряде только у одного человека, кроме него, имелось ружье. Кинув быстрый взгляд на тех, что недвижно лежали на снегу, он с горькой усмешкой подумал о мудрости тропы и быстро

зашагал навстречу людям с Юкона.

Жена короля
I

В те дни, когда Северная Страна была еще молодой, принятый в ней кодекс личных и гражданских добродетелей отличался простотой и краткостью. Когда бремя домашних забот становилось невмоготу, а унылое одиночество у вечернего камелька порождало могучий протест, искатель приключений из Южной Страны шел, за неимением лучшего, в индейский поселок, вносил установленную плату и брал себе в жены одну из дочерей племени. Для той, на кого падал его выбор, это было предвкушением райского блаженства, ибо надо признать, что белые мужья обходились с женами гораздо нежней и заботливей, чем индейцы. Белый мужчина оставался доволен сделкой, да и индейцам, по правде сказать, было не на что жаловаться. Продав дочь или сестру за несколько хлопчато-бумажных одеял и старенькое ружьишко и обменяв теплые меховые шкурки на жиденький ситчик и скверное виски, сын земли бодрым шагом шел навстречу смерти, которая подстерегала его то

в виде скоротечной чахотки, то какого-нибудь другого, столь же безошибочно действующего недуга, завезенного в его страну в числе прочих благ высшей цивилизации.

В эту-то эпоху аркадской простоты нравов Кел Галбрейт и странствовал по Северной Стране; в дороге он заболел и был вынужден остановиться где-то в районе Нижней реки. Его появление внесло приятное разнообразие в жизнь добрых сестер из миссии Святого Креста, которые приютили больного и принялись его лечить; они, конечно, и представить себе не могли, какой огонь пробегал по жилам больного от их ласковых забот, от каждого прикосновения нежных ручек. Странные мысли начали одолевать Кела Галбрейта, настойчивые, неотвязные. Тут-то и попалась ему на глаза воспитанница миссии Магдалина. Но он и вида не подал, решившись выждать до поры до времени. С наступлением весны он немного окреп, и, когда солнце стало вновь чертить свой огненный круг на небесах и земля ожила в радостном трепете, Кел Галбрейт, собравшись с силами, двинулся в путь.

Воспитанница миссии Магдалина была сирота. Ее белый отец, повстречавшись как-то раз на тропе с медведем, не проявил достаточного

проворства, и это стоило ему жизни. Мать ее — индианка, оставшись без мужчины, который пополнял бы ее зимние припасы, пошла на рискованный эксперимент: решила дожидаться нереста лососей, имея всего лишь пятьдесят фунтов муки да фунтов двадцать пять бекона. После этого осиротевшую Чук-Ра отправили на воспитание к добрым сестрам, которые и окрестили ее Магдалиной.

Но все же родня у Магдалины была, и самым близким по крови доводился ей дядюшка — беспутный человек, окончательно подорвавший себе здоровье с помощью напитка белых —виски. Он стремился общаться с богами каждый день своей жизни, иначе говоря, искал кратчайшую тропу к могиле. Когда же ему приходилось быть трезвым, он испытывал муки ада; Что такое совесть, он не знал. К этому-то старому бездельнику и явился Кел Галбрейт. Было сказано много слов, выкурено много табаку. Оба собеседника взяли на себя кое-какие обязательства, и дело кончилось тем, что почтенный язычник, уложив на дно лодки несколько фунтов вяленой лососины, отбыл по направлению к миссии Святого Креста.

Каких он надавал там обещаний, что он им наплел, обо всем этом миру не суждено узнать, ибо

сестры никогда не сплетничают. Известно лишь, что, когда он покинул миссию, у него на груди поблескивал медный крест, а в лодке с ним сидела Магдалина. В тот же вечер была сыграна великолепная свадьба, закончившаяся потлачем. После такого праздника индейцы, как водится, два дня не выходили на рыбную ловлю. Но Магдалина на следующее же утро распростилась с Нижней рекой и, сев с мужем в лодку, отправилась на Верхнюю реку в Низовьях Юкона. Магдалина оказалась хорошей женой, безропотно разделяла с мужем все житейские невзгоды и готовила ему пищу. Она держала его в узде, пока он не научился прикапливать золотой песок и работать засучив рукава. В конце концов он напал на жилу и выстроил себе домик в Серкле. Глядя на его счастливую семейную жизнь, люди испытывали невольную зависть и томление духа.

К этому времени Северная Страна вступила в полосу зрелости и приобщилась к радостям светской жизни. До сих пор Южная Страна посылала сюда своих сыновей; теперь же началось новое паломничество — паломничество дочерей Юга. Хотя дамы эти, строго говоря, не доводились тем белым мужчинам, которые приехали сюда раньше, ни женами, ни сестрами, им все же удалось

воздействовать на своих соотечественников и привить им хороший тон — как они его понимали. Жены из индианок больше не появлялись на балах, не кружились в добрых старых виргинских плясках или веселом танце «Дан Таккер». Со свойственным им стоицизмом, без жалоб и упреков, взирали они с порога своих хижин на владычество белых сестер.

Но вот неисчерпаемый Юг прислал из-за гор новое пополнение. На этот раз пришли женщины, которым было суждено править страной. Их слово стало законом, а закон их был крепок как сталь. Они косо смотрели на индейских жен, а белые женщины первого потока вдруг оробели и притихли. Нашлись среди мужчин малодушные, которые устыдились своих давних союзов с дочерями земли и стали с неудовольствием поглядывать на свое смуглое потомство; но были и другие, настоящие мужчины, те с гордостью хранили верность данному обету. Когда вошло в моду разводиться с индейскими женами, Кед Галбрейт не потерял мужества, зато он тотчас ощутил на себе тяжелую десницу женщин, которые пришли в страну позже всех, знали о ней меньше всех и тем не менее в ней властвовали безраздельно.

В один прекрасный день обнаружилось, что Верховья Юкона богаты золотом. Собачьи упряжки доставили эту весть к Соленой Воде; суда, везущие золото, переправили соблазнительную новость через Тихий океан; этим открытием гудели телеграфные провода и подводный кабель. И весь мир услышал о реке Клондайк и Юконской территории.

Все эти годы Кел Галбрейт прожил тихо и мирно. Он был хорошим мужем своей Магдалине, и брак их не остался бесплодным. Но постепенно им овладело чувство неудовлетворенности: он стал испытывать неясную тоску по общению с такими же, как он, по жизни, из которой был исключен; в нем стало расти смутное желание, появляющееся подчас у всякого мужчины, — желание вырваться на волю, вкусить радостей бытия. А между тем его ушей достигли фантастические легенды об этом удивительном Эльдорадо, заманчивые описания нового городка из палаток и хижин, невероятные рассказы о чечако, которые обрушились на этот край настоящей лавиной. Серкл опустел, жизнь города прекратилась. Мир — обновленный и прекрасный — переместился вверх по течению.

Кела Галбрейта потянуло в гущу событий, он хотел увидеть все собственными глазами. Поэтому,

как только закончились зимние промывочные работы, он положил сотню-другую фунтов золотого песку на большие весы Компании и взял чек на получение соответствующей суммы в Доусоне. Затем, поручив наблюдение за прииском Тому Диксону, поцеловав Магдалину на прощание и пообещав ей вернуться, когда появится первый лед, он сел на пароход и отправился вверх по течению.

Магдалина ждала. Она прождала его все три солнечных месяца. Она кормила собак, возилась с маленьким Келом, провожая короткое лето и глядя вслед уходящему солнцу, которое пустилось в свой долгий путь на юг. Кроме того, она много молилась так, как ее учили сестры Святого Креста. Наступила осень, на Юконе появился первый лед, короли Серкла возвращались на зимние работы, а Кела Галбрейта все не было. Должно быть, Том Диксон получил от него письмо, так как рабочие по его распоряжению привезли на нартах запас сухих сосновых дров на зиму. Компания, надо полагать, тоже получила письмо, так как прислала несколько собачьих упряжек с провизией самого отличного качества, уведомив Магдалину, что она может пользоваться у них неограниченным кредитом.

Виновником всех женских горестей испокон века принято считать мужчину; но тут как раз мужчины помалкивали, позволяя себе лишь время от времени крепкое словцо по адресу отсутствующего собрата, а женщины, вместо того чтобы следовать их примеру, поспешили довести до слуха Магдалины диковинные рассказы о делах и днях Кела Галбрейта. В этих рассказах фигурировала некая гречанка танцовщица; говорили, что для нее мужчины служили такой же забавой, как для детей мыльные пузыри. Магдалина была индианка и, кроме того, не имела подруги, к которой могла бы пойти за мудрым советом. Целый день она молилась и размышляла, а к вечеру, будучи женщиной решительной и энергичной, запрягла собак, привязала маленького Кела к нартам и двинулась в путь.

Юкон еще не стал, но с каждым днем прибрежный лед все рос, превращая реку в узенький мутный ручеек. Только тот, кому когда-либо доводилось пройти сто миль по ледяной кромке, а потом — еще двести по торосам уже замерзшей реки, в состоянии представить себе, что вынесла эта женщина, каких трудов и мучений стоил ей этот переход. Но Магдалина была индианка. И вот ночной порой в дверь Мэйлмюта Кида посту-

чали. Хозяин открыл дверь, накормил голодных собак, уложил в постель маленького крепыша и занялся женщиной, которая еле держалась на ногах от усталости. Пока она рассказывала ему свои приключения, он стянул с нее обледенелые мокасины и принялся колоть ей ноги острием ножа, что-бы проверить, насколько они обморожены.

В мужественной душе Мэйлмюта Кида было что-то нежное, женственное, благодаря чему самые свирепые собаки испытывали к нему доверие и самые суровые сердца раскрывались перед ним. Не то чтобы он добивался чьих-либо излияний — сердца раскрывались навстречу ему так же естественно, как раскрываются цветы навстречу солнцу. Говорили, что сам отец Рубо, священник, исповедовался ему, а уж простые смертные мужчины и женщины Северной Страны без конца толкались в его дверь — дверь, у которой щеколда никогда не закладывалась. Мэйлмют Кид в глазах Магдалины был человеком, который не мог ошибаться ни в словах, ни в поступках. Она знала его с самого детства, с того дня, когда стала жить среди соотечественников своего отца; и ей, полудикарке, представлялось, что в Мэйлмюте Киде сосредоточена вся мудрость веков, что его взору дано проникать сквозь завесу будущего.

В стране царили ложные идеалы. Нынешняя общественная мораль Доусона не совпадала с прежней, и буйный рост Северной Страны вызвал к жизни много дурного. Все это Мэйлмют Кид понимал; он знал также, что представляет собой Кел Галбрейт. Он знал, что одно необдуманное слово, сказанное впопыхах, подчас может причинить непоправимый вред, и к тому же ему хотелось хорошенько проучить этого человека, пристыдить его как следует. На другой день вечером он устроил у себя небольшое совещание, пригласив к себе молодого горного инженера Стенли Принса и Джека Харрингтона по прозванию «Счастливый Джек», с его скрипкой. В ту же ночь Беттлз, которому Мэйлмют Кид в свое время оказал неоценимую услугу, запряг собак Кела Галбрейта, привязал к нартам Кела Галбрейта-младшего и исчез с ними в темноте, в направлении реки Стюарт.

II

— Итак, раз, два, три, раз, два, три. В другую сторону. Нет, не так! Сначала, Джек! Смотрите, вот так! — Принс исполнил нужное па с изяществом человека, который привык дирижировать

котильоном.

— И-и-раз, два, три; раз, два, три. Обратно! Вот. Это уже лучше. Повторите. Да не смотрите на ноги! Раз, два, три, раз, два, три. Короче шаг! Вы ведь не собак погоняете! Попробуем еще раз. Вот! Хорошо! Раз, два, три, раз, два, три...

Принс и Магдалина кружились в бесконечном вальсе. Стол и стулья были отодвинуты к стене, чтоб было просторней танцевать. Мэйлмют Кид сидел на койке, уткнув подбородок в колени, и с интересом смотрел на танцующих. Джек Харрингтон сидел рядом с ним и вовсю пиликал на своей скрипке, стараясь подлаживаться к танцорам.

Это была смелая, неслыханная затея — то, что заду-мали эти трое мужчин, желая помочь женщине. Пожалуй, самым трогательным во всем была та серьезность, с какой они занимались своим делом. Магдалину натаскивали со всей строгостью, с какой готовят спортсмена к состязанию или приучают собаку ходить в упряжке. Впрочем, Магдалина представляла собой благодарный материал, так как в отличие от своих соплеменниц ей не приходилось в детстве носить тяжести и прокладывать путь по снежной целине. К тому же она была хорошо сложена,

подвижна, и в ней проглядывала какая-го робкая грация. Эту-то скрытую грацию они и пытались выявить и развить.

— Вся беда в том, что она с самого начала научилась танцевать неправильно, — говорил Принс приятелям, усадив свою запыхавшуюся ученицу на стол. — Она быстро схватывает, но было бы лучше, если б она совсем не умела танцевать. Кстати, Кид, я никак не пойму, откуда у нее эта манера? — Принс повторил своеобразное движение плеч и шеи, свойственное Магдалине во время ходьбы.

— Это что! Ее счастье, что она воспитывалась в миссии, — отвечал Мэйлмют Кид. — Это от привычки носить тяжести на спине, — пояснил он, — от ремешка, который затягивается на голове. У других индианок это еще заметнее. Ей же пришлось таскать тяжести только после того, как она вышла замуж да и то лишь на первых порах. Впрочем, они с мужем хлебнули горя: они ведь были на Сороковой во время голода.

— Как бы нам избавить ее от этой привычки?

— Сам не знаю. Разве что попробовать гулять с ней каждый день часа по два и следить за тем, как она держится при ходьбе? Хоть немножко да поможет. Верно, Магдалина?

Молодая женщина молча кивнула в ответ. Раз Мэйлмют Кид, который знает все на свете, так говорит, значит, так оно и есть. Вот и все.

Она подошла к ним, ей не терпелось продолжать прерванные занятия. Харрингтон внимательно разглядывал ее, как осматривают лошадь, по статям. Должно быть, он остался доволен осмотром, так как спросил с неожиданным воодушевлением:

— Так что же взял за вас этот старый оборванец, ваш дядька, а?

— Одно ружье, одно одеяло, двадцать бутылок виски. Ружье поломанное. — Последние слова она произнесла с презрением; видно, ее возмущало то, как низко ее оценили.

Она неплохо говорила по-английски, переняв все особенности речи своего мужа, но все же с некоторым акцентом, отличающим индейцев, с их характерным тяготением к причудливым гортанным звукам. Ее учителя занялись и этим и, кстати сказать, весьма успешно.

В следующий перерыв Принс обратил внимание своих товарищей еще на одно обстоятельство.

— Послушайте, Кид, — сказал он. — О чем мы с вами думали? Нельзя же в самом деле учиться

танцевать в мокасинах! Обуйте ее в туфельки да выпустите на паркет — тогда она вам покажет!

Магдалина приподняла ногу и стала с удивлением разглядывать свой бесформенный мокасин. В прежние годы она танцевала точно в такой обуви и в Серкле и на Сороковой Миле, и тогда это никого не смущало. Теперь же... ну, да Мэйлмют Кид знает, что годится, что нет.

Мэйлмют Кид, конечно, знал; кроме того, он обладал хорошим глазомером. Надев шапку и натянув рукавицы, он отправился с визитом к миссис Эппингуэлл, жене Клоува Эппингуэлла, крупного государственного чиновника. Как-то на губернаторском балу Кид заметил, какая изящная ножка у миссис Эппингуэлл. Кроме того, он знал, что миссис Эппингуэлл не только хороша собой, но и умна. Поэтому он не постеснялся обратиться к ней за небольшой услугой.

После возвращения Кида Магдалина на минутку удалилась в смежную комнату. Когда же она вышла, Принс чуть не подскочил от изумления.

— Черт возьми! — воскликнул он. — Кто бы мог подумать! Вот бесенок! Да у моей сестры... .

— Ваша сестра — англичанка, — перебил его Мэйлмют Кид, — и нога у нее английская. Между тем род, к которому принадлежит эта девушка,

отличается маленькой ногой. Мокасины лишь сделали ее ступню чуть пошире; а так как ей не приходилось в детстве бегать за собачьей упряжкой, нога ее не изуродована.

Но такое объяснение ничуть не умалило восторга Принса. Харрингтон же, человек практический, глядя на изящную узкую ступню с высоким подъемом, невольно вспоминал гнусный перечень: «Одно ружье, одно одеяло, двадцать бутылок виски».

Магдалина была женой короля, у которого сокровищ хватило бы на двадцать красоток, разодетых по последней моде, однако она никогда не носила иной обуви, кроме мокасин, сшитых из дубленой лосевой кожи. Она не без трепета посмотрела на свои ноги, обутые в белые атласные туфельки, но тут же прочла восторг, чисто мужское восхищение в глазах своих друзей. Лицо ее залилось горделивым румянцем. Ее опьянило это впервые испытанное чувство собственного обаяния, и она пробормотала с еще большим презрением, чем прежде:

— И одно ружье, поломанное.

Тренировки продолжались. Каждый день Мэйлмют Кид совершал с девушкой длительные прогулки, чтобы выправить ее осанку и

отучить ее от широкого, мужского шага. Риск, что ее узнают, был невелик, так как Кел Галбрейт и другие ветераны затерялись в многолюдной толпе новичков, нахлынувших в страну. К тому же изнеженные женщины Юга ввели обычай носить парусиновые маски, чтоб уберечь свои щеки от жгучих поцелуев северного мороза. Мать, повстречавшись на тропе с родной дочерью, закутанной в беличью парку, в маске, скрывающей лицо, прошла бы мимо, не узнав ее.

Учение между тем шло быстрыми шагами. Вначале, правда, дело подвигалось туговато, но за последнее время были достигнуты значительные успехи. Перелом наступил в тот вечер, когда Магдалина, примерив белые атласные туфельки, вдруг обрела себя. Чувство собственного достоинства было свойственно ей всегда. Теперь же в ней проснулась гордость дочери белого отца. До сих пор она ощущала себя чужой здесь, женщиной низшей расы, из прихоти купленной своим господином. Муж ей казался богом, которому почему-то вздумалось возвысить ее, недостойную, до своего божественного уровня. Она никогда не забывала — даже после того, как родился маленький Кел, — что не принадлежит к роду своего мужа. Муж ее был бог, женщины его рода — боги-

ни, и она не могла даже сравнивать себя с ними.

Говорят, что привычное становится обычным; потому ли, по другой ли какой причине, но в конце концов она раскусила белых искателей приключений и научилась оценивать их по достоинству.

Такого понимания она достигла не путем рассуждений — они были чужды ее уму, — но скорее всего вследствие женской проницательности, которой она отнюдь не была лишена. От Магдалины не укрылось откровенное восхищение ее друзей в тот вечер, когда она впервые надела белые атласные туфельки, и тогда же ей впервые явилась мысль о том, что сравнение с белой женщиной возможно. Правда, речь шла всего лишь о форме ноги, но невольно напрашивались и другие сравнения. Ореол, который до сих пор окружал ее белых сестер, развеялся, как только она применила к себе ту же мерку, с какой принято подходить к женщинам Юга. Она поняла, что они всего-навсего женщины. Почему же ей не занять такое же положение, какое занимали они? Она увидала, чего ей не хватает, а с сознанием собственных слабостей приходит сила. Она проявила столько упорства, что три ее наставника частенько просиживали до поздней ночи, дивясь

вечной загадке женщины.

Приближался День Благодарения. Время от времени Беттлз присылал весточку с берегов реки Стюарт, сообщая о здоровье маленького Кела. Скоро можно было ждать их обратно. Не раз, заслышав звуки вальса и ритмический топот ног, какой-нибудь случайный гость заглядывал в жилище Мэйлмюта Кида. Но он видел лишь Харрингтона, пиликающего на скрипке, и двух друзей, отбивающих такт ногой или оживленно обсуждающих спорное па. Магдалину же не видал никто: в этих случаях она всегда успевала проскользнуть в смежную комнату.

Как-то вечером к ним завернул Кел Галбрейт. В тот день Магдалина, получив приятную весточку с реки Стюарт, была в ударе; она превзошла себя и не только в походке, манере держаться и грации, но и в чисто женском кокетстве. Мужчины изощрялись в остротах, а она блестяще парировала их; опьяненная успехом и чувством собственного могущества, она с необычайной ловкостью то помыкала своими кавалерами, то, снисходя к ним, оказывала им благоволение. Совершенно инстинктивно все трое поддались обаянию — не красоты, не ума и не остроумия, а того неопределенного свойства женщины, которому

мужчины поклоняются, не зная, как его назвать. Вся комната ходила ходуном. Магдалина и Принс кружились в заключительном танце, Харрингтон подпускал невероятные коленца на скрипке, а Мэйлмют Кид в каком-то неистовстве схватил метлу и выделывал с ней дикие антраша.

Вдруг наружная дверь дрогнула от сильных ударов — и в ту же минуту заговорщики увидели, как приподнялась щеколда. Они знали, как действовать в таких случаях. Харрингтон продолжал играть. Магдалина ринулась в открытую дверь смежной комнаты. Метла полетела под койку, и, когда Кел Галбрейт и Луи Савой просунулись в дверь, Мэйлмют Кид носился по комнате в обнимку с Принсом, отплясывая неистовую шотландскую джигу.

Индейские женщины не имеют привычки лишаться чувств под влиянием сильных переживаний, но на этот раз Магдалина была весьма близка к обмороку. Скорчившись у двери, она битый час прислушивалась к глухому рокоту мужских голосов, похожему на отдаленный гром. Голос мужа, все особенности его речи переворачивали ей душу, как отзвук песни, слышанной в детстве; сердце у нее билось все сильнее, она почувствовала слабость в коленях и, наконец,

почти без памяти упала у двери.

Таким образом, она не видела и не слышала, как он уходил. И слава богу!

— Когда вы думаете вернуться в Серкл? — как бы между прочим спросил Мэйлмют Кид у Кела Галбрейта.

— Не знаю, право, — отвечал тот. — Во всяком случае, не раньше, чем река вскроется.

— А Магдалина?

Кел Галбрейт потупился и покраснел. Если бы Мэйлмют Кид не так хорошо знал человеческую породу, он бы почувствовал презрение к этому человеку. Но негодование Мэйлмюта Кида было направлено на тех белых пришелиц, которые, не довольствуясь тем, что вытеснили туземных женщин, внушили мужчинам нечистые помыслы и ложный стыд.

— А что ей сделается? — произнес король Серкла поспешно, как бы извиняясь. — Там, знаете, Том Диксон присматривает за моими делами, так он и о ней заботится.

Мэйлмют Кид положил ему руку на плечо, приглашая к молчанию. Они вышли на улицу. Волшебные огни северного сияния сверкали и переливались над их головами; внизу, у подножия холма, лежал спящий город. Откуда-то совсем

снизу раздался одинокий лай собаки. Король открыл было рот, чтобы заговорить, но Кид сжал ему руку. Лай повторился. Собаки, одна за другой, подхватили его, и вскоре ночная тишина огласилась многоголосым хором.

Тому, кто слышит эту жуткую песнь впервые, открывается главная и самая великая тайна Севера; а тому, кто слышал ее не раз, чудится в ней погребальный звон по несбывшимся надеждам. Это вопль мятущихся душ, ибо все наследие Севера, страдания многих поколений, вобрала в себя эта песня; всем, кто отбился от человеческого стада, она — и предостережение и реквием.

Прислушиваясь к замирающим стонам этой песни, Кел Галбрейт невольно вздрогнул. Кид читал у него в душе, как в книге; вместе с ним он переживал вновь томительные дни голода и недугов; вместе с ним он видел терпеливую Магдалину, без жалоб и сомнений разделявшую все опасности, все невзгоды. Картины, суровые и четкие, одна за другой проходили перед духовным взором Кела Галбрейта, и цепкие пальцы прошлого сдавили его сердце. Момент был острый. Мэйлмют Кид испытывал большое искушение тут же открыть свой главный козырь и разом выиграть игру. Но он готовил Галбрейту более

суровый урок и устоял перед искушением. Они пожали друг другу руки; снег жалобно заскрипел под украшенными бисером мокасинами: король спускался с холма.

Магдалина была разбита, растерянна; не осталось и следа от веселого бесенка, чей смех был так заразителен и чей румянец и сверкающий взгляд всего лишь час назад заставили ее наставников позабыть все на свете. Вялая, безучастная, она сидела на стуле в той же позе, в какой ее оставили Принс и Харрингтон. Мэйлмют Кид нахмурился. Это никуда не годилось. В предстоящей встрече с мужем ей надлежало держаться с величественным высокомерием. Она должна провести всю сцену, как настоящая белая женщина, иначе ее победа не будет победой. Он поговорил с ней строго, без обиняков, посвятив ее в тонкости мужской психологии, и она, наконец, поняла, какие все-таки простаки мужчины и отчего слово женщины для них закон.

Незадолго перед Днем Благодарения Мэйлмют Кид еще раз посетил миссис Эппингуэлл. Она произвела быструю ревизию своему гардеробу и нанесла продолжительный визит в мануфактурный склад Компании Тихо-океанского побережья, после чего отправилась вместе с Ки-

дом знакомиться с Магдалиной. Тут пошло такое, что и не снилось обитателям этого дома: шили, кроили, примеряли, подрубали, приметывали — словом, проделывали тысячи непонятных и удивительных операций, во время которых мужчин частенько изгоняли из дома; они были вынуждены искать пристанища за двойными дверьми ресторана. Они так часто шушукались за столом, их тосты были так загадочны, что завсегдатаям «Оперы» за всем этим стала мерещиться вновь открытая россыпь, сулившая неслыханные богатства, говорят, что несколько новичков и даже один ветеран держали наготове под стойкой бара свои походные мешки, с тем чтобы ринуться в путь при первом сигнале.

У миссис Эппингуэлл были поистине золотые руки, и, когда накануне праздника Магдалина предстала перед своими наставниками, те даже оробели. Принс укутал ее в канадское одеяло с шутливой почтительностью, в которой тем не менее сквозило больше почтительности, чем юмора; Мэйлмют Кид подал ей руку и почувствовал, что рискует забыть принятую на себя роль ментора. Харрингтон, который никак не мог выбросить из головы перечня, где фигурировало поломанное ружье, замыкал шествие и за все

время, что они спускались с холма в город, ни разу не раскрыл рта. Подойдя к зданию «Оперы» с черного хода, они сняли с Магдалины одеяло и расстелили его на снегу. Легко высвободив ноги из мокасин Принса, она ступила на одеяло новыми атласными туфельками. Маскарад был в разгаре. Магдалина на какое-то мгновение замялась, но ее друзья раскрыли дверь и втолкнули ее. Сами же, обежав вокруг дома, вошли с парадного подъезда.

III

— Где Фреда? — спрашивали ветераны, в то время как чечако с неменьшим жаром вопрошали, кто такая Фреда. Зал гудел. Имя это было у всех на устах. В ответ на расспросы чистеньких и аккуратненьких новичков, поденщики, поседевшие на приисках и гордые своим званием «стариков», либо вдохновенно врали — на это они были мастера! — либо, возмущенные невежеством желторотых, свирепо отмалчивались. Сюда съехалось чуть ли не сорок королей с Верховий и Низовий Юкона. Каждый из них был уверен, что ему удалось напасть на след, и каждый был готов поручиться за верность своих догадок желтым

песком своего королевства. Вскоре пришлось выделить человека в помощь весовщику, на чью долю выпала обязанность взвешивать мешочки с золотом; а рядом группа игроков, из тех, кто изучил во всех тонкостях законы, управляющие случаем, принялась записывать ставки и намечать фаворитов.

Которая же Фреда? Сколько раз казалось, что гречанка танцовщица обнаружена, сколько раз новое открытие порождало панику среди игроков, и букмекеры[20] заносили в свои книжечки новые заклады: люди страховались на всякий случай. Мэйлмюта Кида, встреченного восторженными возгласами пирующих — не было ни единого человека, кто бы не знал его в лицо, — тоже включили в общие поиски. Его острый глаз быстро схватывал особенности походки, а тонкий слух улавливал тембр голоса. Выбор Мэйлмюта Кида пал на красавицу, изображавшую собой «Северное сияние». Но даже его проницательный взор не мог обнаружить прекрасную гречанку. Общественное мнение склонялось в пользу «Русской княжны»: она была самой изящной маской на балу, а следовательно, она и была Фредой

[20] notes: 20
Букмекер — лицо, записывающее ставки при пари.

Молуф.

Во время кадрили поднялся радостный гул: Фреда нашлась! На прошлых балах, когда танцевали гран-рон, Фреда исполняла неподражаемое па собственного изобретения. И на этот раз, когда дошли до этой фигуры, «Русская княжна» вышла на середину, и все увидели те же своеобразные колебания стана, те же движения рук и ног. Только отгремел ликующий хор («Вот видишь?», «Я же, говорил!»), от которого задрожали стены, как вдруг оказалось, что «Северное сияние» и другая маска, «Полярный дух», с неменьшим искусством исполняли те же па. Когда же их примеру последовали две одинаковые маски, изображавшие «Солнечных зайчиков», и третья, «Снежная королева», — к весовщику пришлось приставить еще одного помощника.

В самый разгар веселья в зал морозным вихрем ворвался Беттлз, только что вернувшийся из похода. Он закружился в танце, и с его заиндевевших бровей во все стороны разлетались брызги, на неоттаявших усах засверкали всеми цветами радуги бриллианты, а с мокасин отскакивали звонкие льдинки, то и дело попадая ему под ноги. В Северной Стране привыкли веселиться без церемоний, — люди приисков и тропы уже давно

позабыли свою былую разборчивость; только в высших чиновных кругах еще придерживались кое-каких условностей. Здесь же кастовые различия не имели никакого значения. Миллионеры и нищие, погонщики собак и полисмены, подхватив дам, неслись по кругу, выкидывая самые диковинные коленца. Невзыскательные в своем веселье, буйные и неотесанные, они, однако, не были грубыми, напротив, их несколько неуклюжая галантность была под стать самой изысканной любезности.

В поисках гречанки Келу Галбрейту удалось занять место в той кадрили, в которой танцевала «Русская княжна»— публика постепенно приходила к убеждению, что это и была Фреда. Но после первого же танца с ней Кел Галбрейт был готов прозакладывать все свои миллионы, что это не Фреда, и больше того, что его рука когда-то уже обнимала эту талию. Он не мог вспомнить, где и когда это было, но чувство чего-то мучительно знакомого до такой степени завладело им, что он целиком занялся новой тайной. Мэйлмют Кид, вместо того чтобы помочь ему, только и делал, что уводил «княжну» и, танцуя с ней, с жаром шептал ей что-то на ухо. Усерднее же всех за «Русской княжной» ухаживал Джек Харрингтон. Он

даже отвел Кела Галбрейта в сторону и, закидав его самыми фантастическими предположениями насчет личности незнакомки, поделился с ним своим намерением завоевать ее сердце. Король из Серкла был задет за живое: мужчина по своей природе не однолюб, и Кел Галбрейт в своем новом увлечении позабыл и Магдалину и Фреду.

Скоро уже всюду заговорили, что «Русская княжна» вовсе не Фреда Молуф. Общий интерес к маске возрос. Предлагалась еще одна загадка: Фреду знали все; ее просто не могли обнаружить, а вот кто эта новенькая, не знал никто; женщины и те не могли определить, кто такая «Русская княжна», а уж они-то наперечет знали всех хороших танцорок в городе. Многие склонялись к мнению, что это дама из высших чиновных кругов, которой вздумалось подурачиться. Кое-кто утверждал, что она скроется до того, как начнут срывать маски. Другие с не меньшим жаром настаивали, что эта женщина — репортер канзасской газеты «Стар», прибывшая сюда со специальным заданием описать их всех (по девяносто долларов за столбец!). Весовщикам прибавилось работы.

Ровно в час все пары вышли на середину зала. Среди всеобщего восторга и смеха, беспечно-

го, как у детей, началась церемония срывания масок. Маски слетали одна за другой, вызывая бесконечные возгласы удивления. Сверкающее «Северное сияние» оказалось дюжей негритянкой, которая зарабатывала до пятисот долларов в месяц, стирая на местных жителей. У «Солнечных зайчиков» обнаружились усы, и все узнали в них двух братьев— королей Эльдорадо. Наибольший интерес в публике вызвала кадриль, в которой Кел Галбрейт танцевал с «Полярным духом», а Джек Харрингтон с «Русской княжной». Они медлили срывать маски. Кроме них, все уже открылись, а гречанки так и не нашли. Все взгляды были устремлены на эту четверку. Поощряемый криками толпы, Кел Галбрейт снял маску со своей визави. Показалось прелестное личико Фреды, и сверкнули ее блестящие глаза. Поднявшийся было гул тут же затих: все ожидали разрешения последней загадки: кто же такая «Русская княжна»? Лицо ее еще было скрыто. Джеку Харрингтону никак не удавалось снять с нее маску. Гости были вне себя от нетерпения. Харрингтону пришлось измять хорошенькое платьице незнакомки, и, наконец, маска слетела, В зале раздался настоящий взрыв. Каждый чувствовал себя одураченным. Оказалось, что они

всю ночь протанцевали с индианкой, а это было против правил!

Однако те, кто знал, в чем дело — а их было не так уж мало, — тотчас замолчали, и наступила полная тишина. Взбешенный Кел Галбрейт сердитым, крупным шагом прошел через всю залу и, подойдя к Магдалине, заговорил с ней на чинукском наречии. Сохраняя полнейшую невозмутимость, точно и не замечая, что является центром всеобщего внимания, она отвечала ему по-английски. Она не выказала ни страха, ни раздражения, и ее выдержка вызвала невольную улыбку у Мэйлмюта Кида. Король был озадачен и растерян: его жена, простая индианка, перещеголяла его в умении владеть собой.

— Пошли! — сказал он наконец. — Пошли домой.

— Прошу прощения, — ответила она, — но я обещала мистеру Харрингтону поужинать с ним. К тому же я ангажирована на танцы...

Харрингтон подал ей руку, чтобы увести, ничуть не заботясь о том, что ему при этом пришлось повернуться спиной к Галбрейту, правда, Мэйлмют Кид на всякий случай протиснулся поближе к ним. Король из Серкла был ошеломлен. Дважды его рука хваталась за пояс, и

дважды Мэйлмют Кид весь подбирался, готовясь к прыжку. Но удаляющаяся пара благополучно проследовала в столовую, где их ждали консервированные устрицы (по пять долларов порция). В толпе послышались вздохи облегчения, и все потянулись за ними. Фреда, надувши губки, вошла с Келом Галбрейтом; но у нее было доброе сердце и злой язычок, и она не преминула отравить ему удовольствие от устриц. Что именно она говорила ему, не важно, а важно то, что лицо у негр попеременно то краснело, то бледнело и что он несколько раз пустил, по своему адресу крепкое словцо!

Пирующие шумели вовсю, но как только Кел Галбрейт подошел к столику, за которым сидела его жена, все умолкли. После того, как тайна масок была разгадана, на весы снова посыпалось золото. На этот раз держали пари об исходе всей истории. Гости следили за главными героями, затаив дыхание. Голубые глаза Харрингтона были спокойны, но под свисавшей со стола скатертью он держал на колене смит-и-вессон. Магдалина подняла на мужа скучающий и равнодушный взор.

— Э-э... разрешите пригласить вас на мазурку? — спросил король, слегка запинаясь.

Жена короля взглянула на свою бальную книжечку и наклонила голову в знак согласия.

Северная Одиссея
I

Полозья пели свою бесконечную унылую песню, поскрипывала упряжь, позвякивали колокольчики на вожаках; но собаки и люди устали и двигались молча. Они шли издалека, тропа была не утоптана после недавнего снегопада, и нарты, груженные мороженой олениной, с трудом двигались по рыхлому снегу, сопротивляясь с настойчивостью почти человеческой. Темнота сгущалась, но в этот вечер путники уже не собирались делать привал. Снег мягко падал в неподвижном воздухе — не хлопьями, а маленькими снежинками тонкого рисунка. Было совсем тепло, каких-нибудь десять градусов ниже нуля, Майерс и Беттлз подняли наушники, а Мэйлмют Кид даже сиял рукавицы.

Собаки устали еще с полудня, но теперь они как будто набирались «новых сил. Самые чуткие из них стали проявлять беспокойство, нетерпеливо дергали постромки, принюхивались к воздуху и поводили ушами. Они злились на своих более флегматичных товарищей и подгоняли их,

покусывая сзади за ноги. И те, в свою очередь, тоже заражались беспокойством и передавали его другим. Наконец вожак передней упряжки радостно завизжал и, глубже забирая по снегу, рванулся вперед. Остальные последовали за ним. Постромки натянулись, нарты помчались веселее, и люди, хватаясь за поворотные шесты, изо всех сил ускоряли шаг, чтобы не попасть под полозья. Дневной усталости как не бывало; они криками подбодряли собак, и те отвечали им радостным лаем, во весь опор мчась в сгущающихся сумерках.

— Гей! Гей! — наперебой кричали люди, когда нарты круто сворачивали с дороги и накренялись набок, словно парусное суденышко под ветром.

И вот уже осталось каких-нибудь сто ярдов до освещенного, затянутого промасленной бумагой окошка, которое говорило об уюте жилья, пылающей юконской печке и дымящемся котелке с чаем. Но хижина оказалась занятой. С полсотни эскимосских псов угрожающе за-лаяли и бросились на собак первой упряжки. Дверь распахнулась, и человек в красном мундире северо-западной полиции, по колено утопая в снегу, водворил порядок среди разъяренных животных, хладнокровно и бесстрастно орудуя своим бичом.

Мужчины обменялись рукопожатиями; вышло так, что чужой человек приветствовал Мэйлмюта Кида в его же собственной хижине.

Стэнли Принс, который должен был встретить его и позаботиться о вышеупомянутой юконской печке и горячем чае, был занят гостями. Их было человек десять — двенадцать, самая разношерстная компания, и все они состояли на службе у королевы — одни в качестве блюстителей ее законов, другие в качестве почтальонов и курьеров. Они были разных национальностей, но жизнь, которую они вели, выковала из них определенный тип людей — худощавых, выносливых, с крепкими мускулами, бронзовыми от загара лицами, с бесстрашной душой и невозмутимым взглядом ясных, спокойных глаз. Эти люди ездили на собаках, принадлежащих королеве, вселяли страх в сердца ее врагов, кормились ее скудными милостями и были довольны своей судьбой. Они видели многое, совершали подвиги, жизнь их была полна приключений, но никто из них даже не подозревал об этом.

Они чувствовали себя здесь как дома. Двое из них растянулись на койке Мэйлмюта Кида и распевали песни, которые пели еще их предки-французы, когда впервые появились в

этих местах и стали брать в жены индейских женщин. Койка Беттлза подверглась такому же нашествию: трое или четверо voyageurs, закутав ноги одеялом, слушали рассказы одного из своих спутников, служившего под командой Вулзли[21], когда тот пробивался к Хартуму. А когда он кончил, какой-то ковбой стал рассказывать о королях и дворцах, о лордах и леди, которых он видел, когда Буффало Билл[22] совершал турне по столицам Европы. В углу два метиса, старые товарищи по оружию, чинили упряжь и вспоминали дни, когда на Северо-Западе полыхал огонь восстания и Луи Рейл[23] был королем.

То и дело слышались грубые шутки и еще более грубые остроты; о необыкновенных приключениях на суше и на воде говорилось как о чем-то

---

[21] notes: 21

Вулзли, Гарнет Джозеф (1833—1913) — английский военачальник, принимавший участие в подавлении народного восстания в Судане в 1884—1885 годах.

[22] notes: 22

Буффало Билл — прозвище американца Уильяма Фредерика Коди (1846—1917), популярного литератора, охотника, наездника, участника войн с индейцами. Буффало Билл организовал зрелищное предприятие вроде цирка, с которым разъезжал по Америке и Европе, давая представления на тему «Дикий Запад».

[23] notes: 23

Луи Рейл (1844—1885) — вождь восстаний метисов в Канаде в 1869 и 1885 годах.

повседневном и заслуживающем воспоминания только ради какого-нибудь острого словца или смешного происшествия. Принс был совершенно увлечен этими не увенчанными славой героями, которые видели, как творится история, но относились к великому и романтичному как к обыкновенным будням. Он с небрежной расточительностью угощал их своим драгоценным табаком, и в благодарность за такую щедрость разматывались ржавые цепи памяти и воскресали преданные забвению одиссеи.

Когда разговоры смолкли и путники, набив по последней трубке, стали развязывать спальные мешки, Принс обратился к своему приятелю, чтобы тот рассказал ему об этих людях.

— Ну, ты сам знаешь, что такое ковбой, — ответил Мэйлмют Кид, стаскивая мокасины, — а в жилах его товарища по койке течет кровь британца, это сразу заметно. Что касается остальных, то все они потомки coureurs du bois[24], и один бог ведает, какая там еще была примесь. Те двое, что

[24] notes: 24
Трапперы, охотники (франц.).

улеглись в дверях, чистокровные bois brules[25]. Обрати внимание на брови и нижнюю челюсть вон того юнца с шерстяным шарфом — сразу видно, что в дымном вигваме у его матери побывал шотландец. А этот красивый парень, который подкладывает себе под голову шинель, — француз-метис. Ты слышал, какой у него выговор? Он без особой симпатии относится к тем индейцам, что лежат с ним рядом. Дело в том, что когда метисы восстали под предводительством Рейла, чистокровные индейцы не поддержали их, и с тех пор они недолюбливают друг друга.

— Ну, а вон та мрачная личность у печки, кто это? Клянусь, он не говорит по-английски, за весь вечер не проронил ни слова.

— Ошибаешься. Английский он знает отлично. Ты обратил внимание на его глаза, когда он слушал? Я следил за ним. Но он здесь, видно, чужой. Когда разговор шел на диалекте, было ясно, что он не понимает. Я и сам не разберу, кто он такой. Давай попробуем доискаться... Подбрось-ка дров в печку, — громко сказал Мэйлмют Кид, в упор глядя на незнакомца.

---

[25] notes: 25

Буквально: горелое дерево (франц.); название первых французских поселенцев в Канаде, которые, особенно после перехода Канады к Англии, промышляли охотою в лесах.

Тот сразу повиновался.

— К дисциплине его где-то приучили, — вполголоса заметил Принс.

Мэйлмют Кид кивнул, снял носки и стал пробираться к печке, между растянувшимися на полу людьми; там он развесил свои мокрые носки среди двух десятков таких же промокших насквозь.

— Когда вы думаете попасть в Доусон? — спросил он, чтобы завязать разговор с незнакомцем.

Тот внимательно посмотрел на него, потом ответил;

— Туда, говорят, семьдесят пять миль? Если так, дня через два.

Он говорил с едва заметным акцентом, но свободно, не подыскивая слов.

— Бывали здесь раньше?

— Нет.

— Вы с северо-западных территорий?

— Да.

— Тамошний уроженец?

— Нет.

— Так откуда же вы родом, черт возьми? Видно, что вы не из этих. — Мэйлмют Кид кивнул в сторону всех расположившихся в хижине, включая и тех двух полисменов, что растянулись на койке Принса. — Откуда вы? Я видел раньше такие лица,

как ваше, но никак не припомню, где именно.

— А я знаю вас, — неожиданно сказал незнакомец, сразу же обрывая поток вопросов Мэйлмюта Кида.

— Откуда? Разве мы встречались?

— Нет. Мне говорил о вас священник в Пастилике, ваш компаньон. Это было давно. Спрашивал, знаю ли я Мэйлмюта Кида. Дал мне провизии. Я был там недолго. Он не рассказывал вам обо мне?

— Ах, так вы тот самый человек, который менял выдру на собак?

Незнакомец кивнул, выбил трубку и завернулся в меховое одеяло, дав понять, что он не расположен продолжать разговор. Мэйлмют Кид погасил светильник, и они с Принсом залезли под одеяло.

— Ну, кто же он?

— Не знаю. Не захотел разговаривать и ушел в себя, как улитка. Любопытнейший субъект. Я о нем кое-что слышал. Восемь лет тому назад он удивил все побережье. Какая-то загадка, честное слово! Приехал с Севера в самые лютые морозы и так спешил, точно за ним сам черт гнался. Было это за много тысяч миль отсюда, у самого Берингова моря. Никто не знал, откуда он, но, судя по

всему, его принесло издалека. Когда он брал провизию у шведа-миссионера в бухте Головина, вид у него был здорово измученный. А потом узнали, что он спрашивал, как проехать на юг. Из бухты он двинулся прямо через пролив Нортона. Погода была ужасная, пурга, буря, а ему хоть бы что. На его месте другой давно отправился бы на тот свет. В форт Сент-Майкл он не попал, а выбрался на берег у Пастилики, всего-навсего с двумя собаками и полумертвый от голода.

Он так торопился в путь, что отец Рубо снабдил его провизией, но собак не мог дать, потому что ждал моего приезда и должен был сам отправиться в путь. Наш Улисс знал, что значит путешествовать по Северу без собак, и несколько дней он рвал и метал. На нартах у него лежала груда отлично выделанных шкурок морской выдры — а мех ее, как известно, ценится на вес золота. В это время в Пастилике жил русский купец, скупой, как Шейлок, собак у него хоть отбавляй. Торговались они недолго, и когда наш чудак отправился на Юг, в упряжке у него бежал десяток свежих собак, а мистер Шейлок получил, разумеется, выдру. Я видел эти шкуры — великолепные! Мы подсчитали, и вышло, что каждая собака принесла тому купцу по крайней мере

пятьсот долларов чистой прибыли. Не думай, что мистер Улисс не знал цен на морскую выдру. Хоть он из индейцев, но по выговору видно, что жил среди белых.

Когда море очистилось от льда, мы узнали, что этот чудак запасается провизией на острове Нунивак. Потом он совсем исчез, и восемь лет о нем ничего не было слышно. Из каких краев теперь он явился, чем занимался и за-чем пришел? Индеец неизвестно где побывал. Привык, видно, к дисциплине. А это для индейца не совсем обычно. Еще одна загадка Севера, попробуй ее раскусить, Принс.

— Благодарю покорно! У меня и своих много, — ответил тот.

Мэйлмют Кид уже начал похрапывать, но молодой горный инженер лежал с открытыми глазами, всматриваясь в густой мрак и ожидая, когда утихнет охватившее его непонятное волнение. Потом он заснул, но его мозг продолжал работать, и всю ночь он блуждал по неведомым снежным просторам, вместе с собаками преодолевал бесконечные переходы и видел во сне людей, которые жили, трудились и умирали так, как подобает настоящим людям.

На следующее утро, задолго до рассвета, курье-

ры и полисмены выехали на Доусон. Но силы, которые стояли на страже интересов ее величества и распоряжались судьбами ее подданных, не давали курьерам отдыха. Неделю спустя они снова появились у реки Стюарт с грузом почты, которую нужно было доставить к Соленой Воде. Правда, собаки были заменены свежими, но ведь на то они и собаки.

Люди мечтали хотя бы о небольшой передышке. Кроме того, Клондайк был новым северным центром, и им хотелось пожить немного в этом Золотом Городе, где золотой песок льется, как вода, а в танцевальных залах никогда не прекращается веселье. Но, как и в первое свое посещение, они сушили носки и с удовольствием курили трубки. И лишь несколько смельчаков строили планы, как можно дезертировать, пробравшись через неисследованные Скалистые горы на восток, а оттуда по долине Маккензи двинуться в знакомые места, в страну индейцев чиппева. Двое-трое даже решили по окончании срока службы тем же путем возвращаться домой, заранее радуясь этому рискованному предприятию примерно так, как горожанин радуется воскресной прогулке в лес.

Странный незнакомец был, казалось, чем-то

встревожен и не принимал участия в разговорах. Наконец, он отозвал в сторону Мэйлмюта Кида и некоторое время вполголоса с ним разговаривал. Принс с любопытством наблюдал за ними; и загадка стала для него еще неразрешимее, когда оба надели шапки и рукавицы и вышли наружу. Вернувшись, Мэйлмют Кид поставил на стол весы для золота, отвесил шестьдесят унций золотого песка и пересыпал его в мешок незнакомца. Потом к совету был привлечен старший погонщик, и с ним тоже была заключена какая-то сделка. На следующий день вся компания отправилась вверх по реке, а владелец выдровых шкур взял с собою немного провизии и повернул обратно, по направлению к Доусону.

— Я положительно не понимаю, что все это значит, — сказал Мэйлмют Кид в ответ на вопросы Принса. — Бедняга твердо решил освободиться от службы. По-видимому, для него это очень важно, но причин он не объяснил. У них, как в армии: он обязался служить два года, а если хочешь уйти раньше срока, надо откупиться. Дезертировать и оставаться в здешних краях нельзя, а остаться ему почему-то необходимо. Он это еще в Доусоне надумал, но денег у него не было ни цента, а там его никто не знал. Я единственный человек, ко-

торый перекинулся с ним несколькими словами. Он поговорил с начальством и добился увольнения, в случае если я дам ему денег — в долг, разумеется. Обещал вернуть в течение года и, если я захочу, показать местечко, где уйма золота. Сам он и в глаза его не видел, но твердо уверен, что оно существует.

Когда мы вышли, он чуть не плакал. Просил, умолял, валялся передо мной на коленях, пока я не поднял его. Болтал какую-то чепуху, как сумасшедший. Клялся, что работал годами, чтобы дожить до этой минуты, и не перенесет разочарования. Я спросил, до какой минуты, но он не ответил. Сказал только, что боится, как бы его не послали на другой участок, откуда он только года через два попадет в Доусон, а тогда будет слишком поздно. Я в жизни не видал, чтобы человек так убивался. А когда я согласился дать ему взаймы, мне опять пришлось вытаскивать его из снега. Говорю: «Считайте, что вы меня взяли в долю». Куда там! И слышать не хочет! Стал клясться, что отдаст мне всю свою добычу, сулил такие сокровища, которые не снились и скупцу, и все такое прочее. А когда человек берет кого-нибудь в долю, потом ему бывает жалко поделиться даже половиной добычи. Нет, Принс, здесь что-то

кроется, помяни мое слово. Мы еще услышим о нем, если он останется в наших краях.

— А если нет?

— Тогда великодушию моему будет нанесен удар и плакали мои шестьдесят унций.

Уже снова настали холода и с ними долгие ночи. Уже солнце начало свою извечную игру в прятки у снежной линии горизонта на юге, а должник Мэйлмюта Кида все не объявлялся. Но однажды в тусклое январское утро перед хижиной Кида у реки Стюарт остановилось несколько тяжело нагруженных нарт. То был владелец выдровых шкур, а с ним человек той породы, которую боги теперь уже почти разучились создавать. Когда речь заходила об удаче, отваге, о сказочных россыпях, люди всегда вспоминали Акселя Гундерсона. Он незримо присутствовал на ночных стоянках, у костра, когда велись долгие беседы о мужестве, силе и смелости. А если разговор уже не клеился, то, чтобы оживить его, достаточно было назвать имя той, которая делила с Акселем Гундерсоном его судьбу.

Как уже было сказано, при сотворении Акселя Гундерсона боги вспомнили свое былое искусство и создали его по образу и подобию тех, кто рождался, когда мир был еще молод. Семи футов

росту, грудь, шея, руки и ноги великана. Лыжи его были длиннее обычных на добрый ярд, иначе им бы не выдержать эти триста фунтов мускулов и костей, облаченных в живописный костюм короля Эльдорадо. Его суровое, словно высеченное из камня лицо с нависшими бровями, тяжелым подбородком и немигающими светло-голубыми глазами говорило о том, что этот человек признает только один закон — закон силы. Заиндевевшие, золотистые, как спелая рожь, волосы, сверкая, словно свет во тьме, спадали на куртку из медвежьего меха. Когда Аксель Гундерсон шагал по узкой тропе впереди собак, в нем было что-то от древних мореплавателей. Он так властно постучал рукояткой бича в дверь Мэйлмюта Кида, как во время набега стучал некогда в запертые ворота замка какой-нибудь скандинавский викинг.

Обнажив свои белые, как у женщины, руки, Принс месил тесто, бросая время от времени взгляды на троих гостей — троих людей, каких не часто встретишь под одной крышей. Чудак, которого Мэйлмют Кид прозвал Улиссом, все еще интересовал молодого инженера; но еще больший интерес возбуждали в нем Аксель Гундерсон и его жена. Путешествие ее утомило, потому

что, с тех пор как ее муж наткнулся на золото в этой ледяной пустыне, она спокойно жила в уютном домике и эта жизнь изнежила ее. Теперь она отдыхала, прислонившись к широкой груди мужа, словно нежный цветок к стене, и лениво отвечала на добродушные шутки Мэйлмюта Кида. Мимолетные взгляды глубоких черных глаз этой женщины странно волновали Принса, ибо Принс был мужчина, здоровый мужчина, и в течение многих месяцев почти не видел женщин. Она была старше его, к тому же индианка. Но он не находил в ней ничего общего с теми скво, которых ему доводилось встречать. Она много путешествовала, побывала, как выяснилось из разговора, и на его родине, знала то, что знали женщины белой расы, и еще многое, чего им не дано знать. Она умела приготовить кушанье из вяленой рыбы и устроить постель в снегу; однако сейчас она дразнила их мучительно подробным описанием изысканных обедов и волновала воспоминаниями о всевозможных блюдах, о которых они уже успели забыть. Она знала повадки лося, медведя, голубого песца и земноводных обитателей северных морей, ей были известны тайны лесов и потоков, и она читала, как открытую книгу, следы, оставленные человеком,

птицей или зверем на тонком насте. Однако сейчас Принс заметил, как лукаво сверкнули ее глаза,- когда она увидела на стене правила стоянки. Эти правила, составленные неисправимым Беттлзом в те времена, когда молодая кровь играла в его жилах, были замечательны выразительным грубоватым юмором. Перед приездом женщин Принс обычно поворачивал надпись к стене. Но кто бы подумал, что эта индианка... Ну, теперь уж ничего не поделаешь.

Так вот она какая, жена Акселя Гундерсона, женщина, чье имя и слава облетели весь Север наравне с именем и славой ее мужа! За столом Мэйлмют Кид на правах старого друга поддразнивал ее, и Принс, преодолев смущение первого знакомства, тоже присоединился к не-му. Но она ловко защищалась в этой словесной перепалке, а муж ее, не отличавшийся остроумием, только одобрительно улыбался. Он гордился ею. Каждый его взгляд, каждое движение красноречиво говорили о том, какое большое место она занимает в его жизни. Владелец выдровых шкур ел молча, всеми забытый в этой оживленной беседе; он встал из-за стола прежде, чем остальные кончили есть, и вышел к собакам. Впрочем, и его спутникам пришлось вскоре надеть рукавицы и парки

и последовать за ним.

Уже несколько дней не было снегопада, и нарты легко, как по льду, скользили по накатанной юконской тропе. Улисс вел первую упряжку, со второй шли Принс и жена Акселя Гундерсона, а Мэйлмют Кид и златокудрый гигант вели третью.

— Мы идем наудачу, Кид, — сказал Аксель Гундерсон, — но я думаю, что дело верное. Сам он никогда там не был, но рассказывает много интересного. Показал мне карту, о которой я слышал в Кутнэе несколько лет тому назад. Мне бы очень хотелось взять тебя с собой. Да он какой-то странный, клянется, что бросит все, если к нам кто-нибудь присоединится. Но дай мне только вернуться, и я выделю тебе лучший участок рядом со своим и, кроме того, возьму тебя в половинную долю, когда начнет строиться город... Нет! Нет! — воскликнул он, не давая Киду перебить себя. — Это мое дело. Ум хорошо, а два лучше. Если все удастся, это будет второй Криппл[26]. Понимаешь, второй Криппл! Ведь там не россыпь, а кварцевая жила. И если взяться за

[26] notes: 26

Криппл-Крик — город в штате Колорадо, США. Центр золотоносного района. Здесь в 1891 году были найдены большие месторождения золота.

дело как следует, все достанется нам — миллионы и миллионы! Я слышал об этом месте раньше, да и ты тоже. Мы построим город... тысячи рабочих, прекрасные водные пути, пароходные линии... Займемся фрахтовым делом, пустим в верховья легкие суда... Может быть, проложим железную дорогу... Потом построим лесопильные заводы, электростанцию... будет у нас собственный банк, акционерное общество, синдикат... Только держи язык за зубами, пока я не вернусь!

Нарты остановились в том месте, где тропа пересекала устье реки Стюарт. Сплошное море льда тянулось к далекому неведомому востоку. От нарт отвязали лыжи. Аксель Гундерсон попрощался и двинулся вперед первым; его огромные канадские лыжи уходили на полярда в рыхлый снег и уминали его, чтобы собаки не проваливались. Жена Акселя Гундерсона шла за последними нартами, искусно справляясь с неудобными лыжами. Прощальные крики нарушили тишину, собаки взвизгнули, и владелец выдровых шкур вытянул бичом непокорного вожака.

Час спустя санный поезд казался издали черным карандашиком, медленно ползущим по огромному листу белой бумаги.

II

Как-то вечером, несколько недель спустя, Мэйлмют Кид и Принс решали шахматные задачи из какого-то старого журнала. Кид только что вернулся со своего участка на Бонанзе и отдыхал, готовясь к большой охоте на лосей. Принс тоже скитался почти всю зиму и теперь с наслаждением вкушал блаженный отдых в хижине.

— Загородись чёрным конем и дай шах королю... Нет, так не годится. Смотри, следующий ход...

— Зачем двигать пешку на две клетки? Ее можно взять на проходе, а слон вне игры.

— Нет, постой! Тут не защищено, и...

— Нет, защищено. Валяй дальше! Вот увидишь, что получится.

Задача была интересная. В дверь постучались дважды, и только тогда Мэйлмют Кид сказал: «Войдите!» Дверь распахнулась. Кто-то, пошатываясь, ввалился в комнату. Принс посмотрел на вошедшего и вскочил на ноги. Ужас, отразившийся на его лице, заставил Мэйлмюта Кида круто повернуться, и он, в свою очередь, тоже испугался, хотя видывал виды на своем веку. Странное

существо, ковыляя, приближалось к ним. Принс стал пятиться до тех пор, пока не нащупал гвоздь на стене, где висел его смит-и-вессон.

— Господи боже, кто это? — прошептал он.

— Не знаю. Верно, обмороженный и голодный, — ответил Кид, отступая в противоположную сторону. — Бе-регись! Может быть, он даже сумасшедший, — предостерег он Принса, закрыв дверь.

Странное существо подошло к столу. Яркий свет уд-рил ему прямо в глаза, и раздалось жуткое хихиканье, по-видимому, от удовольствия. Потом вдруг человек — потому что это все-таки был человек — отпрянул от стола, подтянул свои кожаные штаны и затянул песенку — ту, что поют матросы на корабле, вращая рукоятку ворота и прислушиваясь к гулу моря:

Корабль идет вниз по реке.
Налегай, молодцы, налегай!
Хочешь знать, как зовут капитана?
Налегай, молодцы налегай!
Джонатан Джонс из Южной Каролины,
Налегай, молодцы...

Песня оборвалась на полуслове, человек со

звериным рычанием бросился к полке с припасами и, прежде чем они успели его остановить, впился зубами в кусок сырого сала. Он отчаянно сопротивлялся Мэйлмюту Киду, но силы быстро оставили его, и он выпустил добычу. Друзья усадили его на табурет, он упал лицом на стол. Несколько глотков виски вернули ему силы, и он запустил ложку в сахарницу, которую Мэйлмют Кид поставил перед ним. После того как он пресытился сладким, Принс, содрогаясь, подал ему чашку слабого мясного бульона.

Глаза этого существа светились мрачным безумием; оно то разгоралось, то гасло с каждым глотком. В сущности говоря, в его изможденном лице не осталось ничего человеческого. Оно было обморожено, и виднелись еще не зажившие старые рубцы. Сухая, потемневшая кожа потрескалась и кровоточила. Его меховая одежда была грязная и вся в лохмотьях, мех с одной стороны подпален, а местами даже выжжен — видно, человек заснул у горящего костра.

Мэйлмют Кид показал на то место, где дубленую кожу срезали полосками, — ужасный знак голода.

— Кто вы такой? — медленно, отчетливо проговорил Кид.

Человек будто не слышал вопроса.

— Откуда вы пришли?

— Корабль плывет вниз по реке, — дрожащим голосом затянул незнакомец.

— Плывет, и черт с ним! — Кид тряхнул человека за плечи, пытаясь заставить его говорить.

Но человек вскрикнул, видимо, от боли, и схватился рукой за бок, потом с усилием поднялся, опираясь на стол,

— Она смеялась... и в глазах у нее была ненависть... Она... она не пошла со мной.

Он умолк и зашатался. Мэйлмют Кид крикнул, схватив его за руку:

— Кто? Кто не пошел?

— Она, Унга. Она засмеялась и ударила меня — вот так... А потом...

— Ну?

— А потом...

— Что потом?

— Потом он лежал на снегу тихо-тихо, долго лежал. Он и сейчас там.

Друзья растерянно переглянулись.

— Кто лежал на снегу?

— Она, Унга. Она смотрела на меня, и в глазах у нее была ненависть, а потом...

— Ну? Ну?

— Потом она взяла нож и вот так — раз-два. Она была слабая. Я шел очень медленно. А там много золота, в этом месте очень много золота...

— Где Унга?

Может быть, эта Унга умирала где-нибудь совсем близко, в миле от них. Мэйлмют Кид грубо тряс несчастного за плечи, повторяя без конца:

— Где Унга? Кто такая Унга?

— Она там... в снегу.

— Говори же! — И Кид крепко сжал ему руку.

— Я тоже... остался бы... в снегу... но мне... надо уплатить долг... Надо уплатить... Тяжело нести... надо уплатить... долг... — Оборвав свою бессвязную речь, он сунул руку в карман и вытащил оттуда мешочек из оленьей кожи.

— Уплатить долг... пять фунтов золотом... Мэйлмюту Киду... я...

Он упал головой на стол, и Мэйлмют Кид уже не мог поднять его.

— Это Улисс, — сказал он спокойно, бросив на стол мешок с золотым песком. — Видимо, Акселю Гундерсону и его жене пришел конец. Давай положим его на койку, под одеяло. Он индеец, выживет и кое-что нам порасскажет.

Разрезая на нем одежду, они увидели с правой стороны груди две ножевые раны.

III

— Я расскажу вам обо всем, как умею, но вы поймете. Я начну с самого начала и расскажу о себе и о ней, а потом уже о нем.

Человек подвинулся ближе к печке, словно боясь, что огонь, этот дар Прометея, вдруг исчезнет — так делают те, которые долго были лишены тепла. Мэйлмют Кид оправил светильник и поставил его поближе, чтобы свет падал на лицо рассказчика. Принс уселся на койку и приготовился слушать.

— Меня зовут Наас, я вождь и сын вождя, родился между закатом и восходом солнца на бурном море, в умиаке моего отца. Мужчины всю ночь работали веслами, а женщины выкачивали воду, которая заливала нас. Мы боролись с бурей. Соленые брызги замерзали на груди моей матери, и ее дыхание ушло вместе с приливом. А я, я присоединил свой голос к голосу бури и остался жить. Наше становище было на Акатане...

— Где, где? — спросил Мэйлмют Кид.

— Акатан — это Алеутские острова. Акатан далеко за Чигником, за Кардалаком, за Унимаком. Как я уже сказал, наше становище было на

Акатане, который лежит посреди моря на самом краю света. Мы добывали в соленой воде тюленей, рыбу и выдр; и наши хижины жались одна к другой на скалистом берегу, между опушкой леса и желтой отмелью, где лежали наши каяки. Нас было немного, и наш мир был очень мал. На востоке были чужие земли — острова вроде Акатана; и нам казалось, что мир — это острова, и мы привыкли к этой мысли.

Я отличался от людей моего племени. На песчаной отмели валялись гнутые брусья и покоробившиеся доски от большой лодки. Мой народ не умел делать таких лодок. И я помню, что на краю острова, там, где с трех сторон виден океан, стояла сосна — гладкая, прямая и высокая. Такие сосны редко растут в наших местах. Рассказывали, что как-то раз в этом месте, высадились два человека и пробыли там много дней. Эти двое приехали из-за моря на той лодке, обломки которой я видел на берегу. Они были белые, как вы, и слабые, точно малые дети в голодные дни, когда тюлени уходят и охотники возвращаются домой с пустыми руками. Я слышал этот рассказ от стариков и старух, а они от своих отцов и матерей. Вначале белым чужеземцам не нравились наши обычаи, но потом они привыкли к ним и окрепли,

питаясь рыбой и жиром, и стали свирепыми. Они построили себе по хижине, и они взяли себе в жены лучших женщин нашего племени, а потом у них появились дети. Так родился тот, кто стал отцом моего деда.

Я уже сказал, что был не такой, как другие люди моего племени, ибо в моих жилах текла сильная кровь белого человека, который появился из-за моря. Говорят, что до прихода этих людей у нас были другие законы. Но белые были свирепы и драчливы. Они сражались с нашими мужчинами, пока не осталось ни одного, кто осмелился бы вступить с ними в бой. Потом они стали нашими вождями, уничтожили наши старые законы и дали нам новые, по которым мужчина был сыном отца, а не матери, как было раньше. Они установили, что первенец получает все, что принадлежало его отцу, а младшие братья и сестры должны сами заботиться о себе. И они дали нам много других законов. Показали, как лучше ловить рыбу и охотиться на медведей, которых так много в наших лесах, и научили нас делать большие запасы на случай голода. И это было хорошо.

Но когда эти белые люди стали нашими вождями и не осталось среди нас людей, которые

могли бы им противиться, они начали ссориться между собой. И тот, чья кровь течет в моих жилах, пронзил своим копьем тело другого. Дети их продолжали борьбу, а потом дети их детей. Они враждовали между собой и творили черные дела и тогда, когда родился я, и наконец в обеих семьях осталось только по одному человеку, которые могли передать потомству кровь тех, кто был до нас. В моей семье остался я, в другой — девочка Унга, которая жила со своей матерью. Как-то ночью наши отцы не вернулись с рыбной ловли, но потом, во время большого прилива, их тела прибило к берегу, и они, мертвые, лежали на отмели, крепко сцепившись друг с другом.

И люди дивились на эту вражду, а старики говорили, что вражда эта будет продолжаться и тогда, когда и у Унги и у меня родятся дети. Мне говорили об этом, когда я был еще мальчишкой, и под конец я стал видеть в Унге врага, ту, чьи дети будут врагами моих детей. Я думал об этом целыми днями, а став юношей, спросил, почему так должно быть, и мне отвечали: «Мы не знаем, но так было при ваших отцах». И я дивился, почему те, которые придут за нами, обречены продолжать борьбу тех, кто уже ушел, и не видел в этом справедливости. Но люди племени говорили, что

так должно быть, а я был тогда еще юношей.

Мне говорили, что я должен спешить, чтобы дети мои были старше детей Унги и успели раньше возмужать. Это было легко, ибо я возглавлял племя и люди уважали меня за подвиги и обычаи моих отцов и за богатство. Любая девушка охотно пришла бы в мою хижину, но я ни одной не находил себе по сердцу. А старики и матери девушек торопили меня, говоря, что многие охотники предлагают большой выкуп матери Унги, и если ее дети вырастут раньше, они убьют моих детей.

Но я все не находил себе девушки по сердцу. И вот как-то вечером я возвращался с рыбной ловли. Солнце стояло низко, лучи его били прямо мне в глаза. Дул свежий ветер, и каяки[27] неслись по белым волнам. И вдруг мимо меня пронесся каяк Унги, и она взглянула мне в лицо. Ее волосы, черные, как туча, развевались, на щеках блестели брызги. Как я уже сказал, солнце било мне в глаза, и я был еще юношей, но тут я почувствовал, как кровь во мне заговорила, и мне все стало ясно. Унга обогнала мой каяк и опять посмотрела на меня — так смотреть могла одна Унга, — и я опять почувствовал, как кровь говорит во мне. Люди

[27] notes: 27
Каяк — небольшая кожаная лодка.

кричали нам, когда мы проносились мимо неповоротливых умиаков, оставляя их далеко позади. Унга быстро работала веслами, мое сердце было словно поднятый парус, но я не мог ее догнать. Ветер крепчал, море покрылось белой пеной, и, прыгая, словно тюлени по волнам, наши каяки скользили по золотой солнечной дороге.

Наас сгорбился на стуле, словно он опять, работая веслами, гнался по морю в своем каяке. Быть может, там, за печкой, виделся ему несущийся каяк и развевающиеся волосы Унги. Ветер свистел у него в ушах, и в ноздри бил соленый запах моря.

— Она причалила к берегу и, смеясь, побежала по песку к хижине своей матери. И в ту ночь великая мысль посетила меня — мысль, достойная того, кто был вождем народа Акатана. И вот, когда взошла луна, я направился к хижине ее матери и посмотрел на дары Яш-Нуша, сложенные у дверей, — дары Яш-Нуша, отважного охотника, который хотел стать отцом детей Унги. Были и другие, которые тоже складывали свои дары грудой у этих дверей, а потом уносили их назад нетронутыми, и каждый старался, чтобы его груда была больше чужой.

Я посмотрел на луну и звезды, засмеялся и пошел к своей хижине, где хранились мои богат-

ства. И много раз я ходил туда и обратно, пока моя груда не стала выше груды Яш-Нуша на целую ладонь. Там была копченая и вяленая рыба, и сорок тюленьих шкур, и двадцать котиковых, причем каждая шкура была перевязана и наполнена жиром, и десять шкур медведей, которых я убил в лесу, когда они выходили весной из своих берлог. И еще там были бусы, и одеяла, и пунцовые ткани, которые я выменял у людей, живущих на востоке, а те, в свою очередь, выменяли их у людей, живущих еще дальше на востоке. Я посмотрел на дары Яш-Нуша и засмеялся, ибо я был вождем Акатана, и мое богатство было больше богатства всех остальных юношей, и мои отцы совершали подвиги и устанавливали законы, навсегда оставив свои имена в памяти людей.

А когда наступило утро, я спустился на берег и краешком глаза стал наблюдать за хижиной матери Унги.

Дары мои стояли нетронутыми. И женщины хитро улыбались и тихонько переговаривались между собой. Я не знал, что подумать: ведь никто прежде не предлагал такого большого выкупа. И в ту ночь я прибавил много вещей, и среди них был каяк из дубленой кожи, который еще не спускали на воду. Но и на следующий день все оставалось

нетронутым, на посмешище людям. Мать Унги была хитра, а я разгневался за то, что она позорила меня в глазах моего народа. И в ту ночь я принес к дверям хижины много других даров, и среди них был мой умиак, который один стоил двадцати каяков. Наутро все мои дары исчезли.

И тогда я начал готовиться к свадьбе, и на потлач к нам пришли за угощением и подарками даже люди, жившие далеко на востоке. Унга была старше меня на четыре солнца, — так считаем мы годы. Я в ту пору еще не вышел из юношеских лет, но я был вождем и сыном вождя, и молодость не была помехой.

Но вот в океане показалось парусное судно, и оно приближалось с каждым порывом ветра. В нем, как видно, была течь — матросы торопливо откачивали воду насосами. На носу стоял человек огромного роста; он смотрел, как измеряли глубину, и отдавал приказания громовым голосом. У него были синие глаза — цвета глубоких вод, и грива, как у льва. Волосы у этого великана были желтые, словно пшеница, растущая на юге, или манильская пенька, из которой матросы плетут канаты.

В последние годы мы не раз видели проплывающие вдали корабли, но этот корабль первый

пристал к берегу Акатана. Пир наш был прерван, дети и женщины разбежались по домам, а мы, мужчины, схватились за луки и копья. Нос судна врезался в берег, но чужестранцы, занятые своим делом, не обращали на нас никакого внимания. Как только прилив спал, они накренили шхуну и стали чинить большую пробоину в днище. Тогда женщины опять выползли из хижин, и наше пиршество продолжалось.

С началом прилива мореплаватели отвели свою шхуну на глубокое место и пришли к нам. Они принесли с собой подарки и были дружелюбны. Я усадил их у костра и щедро преподнес им такие же подарки, как и другим гостям, ибо это был день моей свадьбы, а я был первым человеком на Акатане. Человек с львиной гривой тоже пришел к нам. Он был такой высокий и сильный, что, казалось, земля дрожит под тяжестью его шагов. Он долго и пристально смотрел на Унгу, сложив руки на груди — вот так, и не уходил, пока не зашло солнце и не зажглись звезды. Тогда он вернулся на свой корабль. А я взял Унгу за руку и повел ее к себе в дом. И все вокруг пели и смеялись, а женщины подшучивали над нами, как это всегда бывает на свадьбах. Но мы ни на кого не обращали внимания. Потом все разошлись по

домам и оставили нас вдвоем.

Шум голосов еще не успел затихнуть, как в дверях появился вождь мореплавателей. Он принес с собой черные бутылки, мы пили из них и развеселились. Ведь я был еще совсем юношей и все свои годы прожил на краю света. Кровь моя стала, как огонь, а сердце — легким, как пена, которая во время прибоя летит на прибрежные скалы. Унга молча сидела в углу на шкурах, и глаза ее были широко раскрыты от страха. Человек с гривой пристально и долго смотрел на нее. Потом пришли его люди с тюками и разложили передо мной богатства, равных которым не было на всем Акатане. Там были ружья, большие и маленькие, порох, патроны и пули, блестящие топоры, стальные ножи и хитроумные орудия и другие необыкновенные вещи, которых я никогда не видел. Когда он показал мне знаками, что все это — мое, я подумал, что это великий человек, если он так щедр. Но он показал мне также, что Унга должна пойти с ним на его корабль. Понимаете? Унга должна пойти с ним на его корабль! Кровь моих отцов закипела во мне, и я бросился на него с копьем. Но дух, заключенный в бутылках, отнял силу у моей руки, и человек с львиной гривой схватил меня за горло — вот так, и ударил голо-

вой об стену. И я ослабел, как новорожденный младенец, и ноги мои подкосились. Тогда тот человек потащил Унгу к двери, а она кричала и цеплялась за все, что попадалось ей на пути. Потом он подхватил ее своими могучими руками, и когда она вцепилась ему в волосы, он загоготал, как большой тюлень-самец во время случки.

Я дополз до берега и стал кричать, сзывая своих, но никто не решался выйти. Один Яш-Нуш оказался мужчиной. Но его ударили веслом по голове, и он упал лицом в песок и замер. Чужестранцы под звуки песни подняли паруса, и корабль их понесся, подгоняемый ветром.

Народ говорил, что это к добру, что не будет больше кровной вражды на Акатане. Но я молчал и стал ждать полнолуния. Когда оно наступило, я положил в свой каяк запас рыбы и жира и отплыл на восток. По пути мне попадалось много островов и много людей; и я, который жил на краю света, понял, что мир очень велик. Я объяснялся знаками. Но никто не видел ни шхуны, ни человека с львиною гривой, и все показывали дальше на восток. И я спал где придется, ел непривычную мне пищу, видел странные лица. Многие смеялись надо мной, принимая за сумасшедшего, но иногда старики повертывали лицо мое к

свету и благословляли, а глаза молодых женщин увлажнялись, когда я рассказывал о загадочном корабле, об Унге, о людях с моря.

И вот через суровые моря и бушующие волны я добрался до Уналяшки. Там стояли две шхуны, но ни одна из них не была той, которую я искал. И я поехал дальше на восток, и мир становился все больше, но никто не слышал о том корабле ни на острове Унимаке, ни на Кадиаке, ни на Атоньяке[28]. И вот однажды я прибыл в скалистую страну, где люди рыли большие ямы на склонах гор. Там стояла шхуна, но не та, что я искал, и люди грузили ее камнями, добытыми в горах. Это показалось мне детской забавой, — ведь камни повсюду можно найти; но меня накормили и заставили работать. Когда шхуна глубоко осела в воде, капитан дал мне денег и отпустил. Но я спросил его, куда он держит путь, и он указал на юг. Я объяснил ему знаками, что хочу ехать с ним; сначала он рассмеялся, но потом оставил меня на шхуне, так как у него не хватало матросов. Там я научился говорить на их языке, и тянуть канаты, и брать рифы на парусах во время шквала, и стоять на вахте. И в этом не было ничего

[28] notes: 28

Уналяшка, Унимак, Кадиак, Атоньяк — острова, расположенные к юго-западу от Аляски.

удивительного, ибо в жилах моих отцов текла кровь мореплавателей.

Я думал, что теперь, когда я живу среди белых людей, мне будет легко найти того, кого я искал. Когда мы достигли земли и вошли через пролив в порт, я ждал, что вот сейчас увижу много шхун — ну, столько, сколько у меня пальцев на руках. Но их оказалось гораздо больше, — как рыб в стае, и они растянулись на много миль вдоль берега. Я ходил с одного корабля на другой и всюду спрашивал о человеке с львиной гривой, но надо мной смеялись и отвечали мне на языках многих народов. И я узнал, что эти корабли пришли сюда со всех концов света.

Тогда я отправился в город и стал заглядывать в лицо каждому встречному. Но людей в городе было не счесть, — как трески, когда она густо идет вдоль берега. Шум оглушил меня, и я уже ничего не слышал, и голова моя кружилась от сутолоки. Но я продолжал свой путь — через страны, звеневшие песней под горячим солнцем, страны, где на полях созревал богатый урожай, где большие города были полны мужчин, изнеженных, как женщины, лживых и жадных до золота. А тем временем на Акатане мой народ охотился, ловил рыбу и думал, что мир мал, и был счастлив в

своем неведении.

Но взгляд, который бросила Унга, возвращаясь с рыбной ловли, преследовал меня, и я знал, что найду ее, когда настанет час. Она шла по тихим переулкам в вечерние сумерки и следовала за мной по тучным) полям, влажным от утренней росы, и глаза ее обещали то, что могла дать только Унга.

Я прошел тысячи городов. И люди, жившие в этих городах, то жалели меня и давали пищу, то смеялись, а некоторые встречали бранью. Но я, стиснув зубы, жил по чужим обычаям и видел многое, что было чуждо мне. Часто я, вождь и сын вождя, работал на людей грубых и жестких, как железо, — людей, которые добывали золото потом и кровью своих братьев. Но нигде я не получил ответа на свой вопрос о людях, которых искал, до тех пор, пока не вернулся к морю, как морж на лежбище. Это было уже в другом порту, в другой стране, которая лежит на Севере. И там я услышал рассказы о желтоволосом морском бродяге и узнал, что сейчас он в океане охотится за тюленями.

Я сел на охотничье судно вместе с ленивыми сивашами, и мы пустились по пути, не оставляющему следов, на север, где в то время шла охота

на тюленей. Мы провели не один томительный месяц на море и всюду расспрашивали о том, кого я искал, и слышали многое о нем, но самого его не встретили нигде.

Мы отправились дальше на север, к островам Прибылова, и били тюленей стадами на берегу, и приносили их еще теплыми на борт; и наконец на палубе стало так скользко от жира и крови, что нельзя было удержаться на ногах. За нами погнался корабль, который обстрелял нас из больших пушек. Мы подняли все паруса, так что наша шхуна стала зарываться носом в волны, и быстро скрылись в тумане.

Потом я слышал, что, пока мы в страхе спасались от преследования, желтоволосый морской бродяга высадился на островах Прибылова, пришел в факторию, и в то время, как часть его команды держала служащих взаперти, остальные вытащили из склада десять тысяч сырых шкур и погрузили на свой корабль. Это слухи, но я им верю. В своих скитаниях я никогда не встречал этого человека, но слава о нем и о его жестокости и отваге гремела по северным морям, так что, наконец, три народа, владевшие землями в тех краях, снарядили корабли в погоню за ним. Я слышал и об Унге, многие капитаны пели ей

хвалу, прославляя ее в своих рассказах. Она была всегда с ним. Говорили, что она переняла обычаи его народа и теперь счастлива. Но я знал, что это не так, — я знал, что сердце Унги рвется назад к ее народу, к песчаным берегам Акатана.

Прошло много времени, и я вернулся в гавань, которая служит воротами в океан, и там я узнал, что желтоволосый ушел охотиться на котиков к берегам теплой страны, которая лежит южнее русских морей. И я, ставший к тому времени настоящим моряком, сел на корабль вместе с людьми его крови и понесся следом за ним на охоту за котиками.

Немногие корабли отправлялись туда, но мы напали на большое стадо котиков и всю весну гнали его на север. И когда брюхатые самки повернули в русские воды, наши матросы испугались и стали роптать, потому что стоял сильный туман и шлюпки гибли каждый день. Они отказались работать, и капитану пришлось повернуть судно обратно. Но я знал, что желтоволосый бродяга ничего не боится и будет преследовать стадо вплоть до русских островов, куда не многие решаются заходить. И вот темной ночью я взял шлюпку, воспользовавшись тем, что вахтенный задремал, и поплыл один в теплую страну. Я держал курс на

юг и вскоре очутился в бухте Иеддо, где встретил много непокорных и отважных людей. Девушки Иошивары были маленькие, красивые и быстрые, как ртуть. Но я не мог там оставаться, зная, что Унга несется по бурным волнам к берегам Севера.

В бухте Иеддо собрались люди со всех концов света; у них не было родины, они не поклонялись никаким богам и плавали под японским флагом. И я отправился с ними к богатым берегам Медного острова, где наши трюмы доверху наполнились шкурами. В этом безлюдном море мы никого не встретили, пока не повернули обратно. Однажды сильный ветер рассеял туман, и мы увидели позади нас шхуну, а в ее кильватере дымящиеся трубы русского военного судна. Мы понеслись вперед на всех парусах, а шхуна нагоняла нас, делая три фута, пока мы делали два. И на корме шхуны стоял человек с львиной гривой и, схватившись за поручни, смеялся, гордясь своей силой. И Унга была с ним — я тотчас же узнал ее, — но когда пушки русских открыли огонь, он послал ее вниз. Как я уже сказал, шхуна делала три фута на два наших, и, когда налетала волна, можно было видеть ее днище. Я с проклятиями ворочал штурвалом, не оглядываясь на

грохочущие пушки русских. Мы понимали, что он хочет обогнать наше судно и уйти от погони, пока русские будут возиться с нами. У нас сбили мачты, и мы неслись по ветру, как раненая чайка, а он исчез на горизонте — он и Унга.

Что нам было делать? Свежие шкуры говорили сами за себя. Нас отвели в русскую гавань, а оттуда послали в пустынную страну, где заставили работать в соляных копях. И некоторые умерли там, а некоторые... остались жить.

Наас сбросил одеяло с плеч и обнажил тело, исполосованное страшными рубцами. То были, несомненно, следы кнута. Принс торопливо прикрыл его вновь: зрелище было не из приятных.

— Долго мы томились там. Иногда люди убегали на юг, но их неизменно возвращали назад. И вот однажды ночью мы — те, кто был из бухты Иеддо, — отняли ружья у стражи и двинулись на север. Кругом тянулись непроходимые болота и дремучие леса, и конца им не было видно. Настали холода, земля покрылась снегом, а куда нам идти, никто не знал. Долгие месяцы бродили мы по необъятным лесам — я всего не помню, потому что у нас было мало пищи, и часто мы ложились и ждали смерти. Наконец трое из нас достигли холодного моря. Один из троих был

капитан из Иеддо. Он знал, где лежат большие страны, и помнил место, где можно перейти по льду из одной страны в другую. И капитан повел нас туда. Сколько мы шли, не знаю, но это было очень долго, и под конец нас осталось двое. Мы дошли до места, о котором он говорил, и встретили там пятерых людей из того народа, что живет в этой стране; и у них были собаки и шкуры, а у нас не было ничего. Мы бились с ними на снегу, и ни один не остался в живых, и капитан тоже был убит, а собаки и шкуры достались мне. Тогда я пошел по льду, покрытому трещинами, и меня унесло на льдине и носило до тех пор, пока западный ветер не прибил ее к берегу. Потом была бухта Головина, Пастилик и священник. Потом — на юг, на юг, в теплые страны, где я уже был раньше.

Но море уже не давало большой добычи, и те, кто отправлялся на охоту за котиками, многим рисковали, а выгоды получали мало. Суда попадались редко, и ни капитаны, ни матросы ничего не могли сказать мне о тех, кого я искал. Тогда я ушел от беспокойного океана и пустился в путь по суше, где растут деревья, стоят дома и горы и ничто не меняет своих мест. Я много где побывал и научился многому, даже читать книги и

писать. И это было хорошо, ибо я думал, что Унга тоже, верно, научилась этому и что когда-нибудь, когда придет наш час, мы... вы понимаете?.. когда придет наш час...

Так я скитался по свету, словно маленькая рыбачья лодка, которая, поднимая парус, оказывается во власти ветров. Но глаза и уши мои были всегда открыты, и я держался поближе к людям, которые много путешествовали, ибо, думалось мне, нельзя забыть тех, кого я искал. Наконец, я встретил человека, только что спустившегося с гор. Он принес с собой камни, в которых блестели кусочки золота — большие, как горошины. Он слышал о них, он встречал их, он знал их. Они богаты, рассказывал этот человек, и живут там, где добывают золото.

Это была далекая дикая страна, но я добрался и туда и увидел лагерь в горах, где люди работали день в ночь, не видя солнца. Но час мой еще не настал. Я прислушивался к тому, что говорят люди. Он уехал — они оба уехали в Англию, говорили кругом, и будут искать там богатых людей, чтобы образовать компанию. Я видел дом, в котором они жили; он был похож на те дворцы, какие бывают в Старом Свете. Ночью я забрался в дом через окно: мне хотелось посмотреть,

что тот человек дал ей. Я бродил из комнаты в комнату и думал, что так, должно быть, живут только короли и королевы, — так хорошо там было! И все говорили, что он обращался с ней, как с королевой, хотя и недоумевали, откуда эта женщина родом, — в ней всегда чувствовалась иная кровь, и она была не похожа на женщин Акатана. Да, она была королева. Но я был вождь и сын вождя, м я дал за нее неслыханный выкуп мехами, лодками и бусами.

Но зачем так много слов? Я стал моряком, и мне были ведомы пути кораблей. И я отправился в Англию, а потом в другие страны. Мне часто приходилось слышать рассказы о тех, кого я искал, и читать о них в газетах, но догнать их я не мог, потому что они были богаты и быстро переезжали с места на место, а я был беден. Но вот их настигла беда, и богатство рассеялось, как дым. Сначала газеты много писали об этом, а потом перестали; и я понял, что они вернулись обратно, туда, где много золота в земле.

Обеднев, они скрылись куда-то, и я скитался из поселка в поселок и, наконец, добрался до Кутнэя, где напал на их след. Они были здесь и ушли, но куда? Мне называли то одно место, то другое, а некоторые говорили, что они отправились на

Юкон. И я побывал во всех этих местах и под конец почувствовал великую усталость оттого, что мир так велик.

В Кутнэе мне пришлось долго идти по тяжелой тропе, пришлось и голодать, и мой проводник — метис с Северо-запада — не вынес голода. Этот метис незадолго до того побывал на Юконе, пробравшись туда никому неведомым путем через горы, и теперь, почувствовав, что час его близок, он дал мне карту и рассказал о некоем тайном месте, поклявшись своими богами, что там много золота.

В то время люди ринулись на Север. Я был беден. Я нанялся погонщиком собак. Остальное вы знаете. Я встретил их в Доусоне. Она не узнала меня. Ведь там, на Акатане, я был еще юношей, а она с тех пор прожила большую жизнь! Где ей было вспомнить того, кто заплатил за нее неслыханный выкуп.

Дальше? Дальше ты помог мне откупиться от службы. Я решил сделать все по-своему. Долго пришлось мне ждать, но теперь, когда он был у меня в руках, я не спешил. Говорю вам, я хотел сделать все по-своему, ибо я вспомнил всю свою жизнь, все, что видел и выстрадал, вспомнил холод и голод в бесконечных лесах у русских

морей.

Как вы знаете, я повел Гундерсона и Унгу на восток, куда многие уходили и откуда не многие возвращались. Я повел их туда, где вперемешку с костями, осыпанное проклятиями лежит золото, которое людям не суждено было унести. Путь был долгий, и идти по неутоптанной тропе было нелегко. Собак у нас было много, и ели они много. Нарты не могли поднять всего, что нам требовалось до наступления весны. А вернуться назад мы должны были прежде, чем вскроется река. По дороге мы устраивали хранилища и оставляли там часть припасов, чтобы уменьшить поклажу и не умереть с голода на обратном пути. В Мак-Квещене жили трое людей, и одно хранилище мы устроили неподалеку от их жилья, другое — в Мэйо, где была разбита стоянка охотников из племени пелли, пришедших сюда с юга через горный перевал. Потом мы уже не встречали людей; перед нашими глазами была только спящая река, недвижный лес и Белое Безмолвие Севера.

Как я уже сказал, путь наш был долгий и дорога трудная. Случалось, что, прокладывая тропу для собак, мы за день делали не больше восьми-десяти миль, а ночью засыпали как убитые. И ни разу спутникам моим не пришло в голову, что я Наас,

вождь Акатана, решивший отомстить за обиду.

Теперь мы оставляли уже немного запасов, а ночью я возвращался назад по укатанной тропе и прятал их в другое место, так, чтобы можно было подумать, будто хранилища разорили росомахи. К тому же на реке много порогов, и бурный поток подмывает снизу лед. И вот на одном таком месте у нас провалилась упряжка, которую я вел, но он и Уйга решили, что это несчастный случай. А на провалившихся нартах было много припасов и везли их самые сильные собаки.

Но он смеялся, потому что жизнь била в нем через край. Уцелевшим собакам мы давали теперь очень мало пищи, а затем стали выпрягать их одну за другой и бросать на съедение остальным.

— Возвращаться будем налегке, без нарт и собак, — говорил он, — и станем делать переходы от хранилища к хранилищу.

И это было правильно, ибо провизии у нас осталось мало; и последняя собака издохла в ту ночь, когда мы добрались до места, где были кости и проклятое людьми золото.

Чтобы попасть в то место, находящееся среди высоких гор — карта оказалась верной, — нам пришлось вырубать ступени в обледенелых скалах. Мы думали, что за горами будет спуск в

долину, но кругом расстилалось беспредельное заснеженное плоскогорье, а над ним поднимались к звездам белые скалистые вершины. А посреди плоскогорья был провал, казалось, до самого сердца земли. Не будь мы моряками, у нас закружилась бы голова. Мы стояли на краю пропасти и смотрели, где можно спуститься вниз. С одной стороны— только с одной стороны — скала уходила вниз не отвесно, а с наклоном, точно палуба, накренившаяся на волне. Я не знаю, как это получилось, но это было так.

— Это преддверие ада, — сказал он. — Сойдем вниз.

И мы спустились.

На дне провала стояла хижина, построенная кем-то из бревен, сброшенных сверху. Это была очень старая хижина; люди умирали здесь в одиночестве, и мы прочли их последние проклятия, в разное время нацарапанные на кусках бересты. Один умер от цинги; у другого компаньон отнял последние припасы и порох и скрылся; третьего задрал медведь; четвертый пробовал охотиться и все же умер от голода.

Так кончали все, они не могли расстаться с золотом и умирали. И пол хижины был усыпан не нужным никому золотом, как в сказке!

Но у человека, которого я завел так далеко, была бесстрашная душа и трезвая голова.

— Нам нечего есть, — сказал он. — Мы только посмотрим на это золото, увидим, откуда оно и много ли его здесь. И сейчас же уйдем отсюда, пока оно не ослепило нас и не лишило рассудка. А потом мы вернемся, захватив с собою побольше припасов, и все золото будет нашим.

И мы осмотрели мощную золотоносную жилу, которая прорезывала скалу сверху донизу, измерили ее, вбили заявочные столбы и сделали зарубки на деревьях в знак наших прав. Ноги у нас подгибались от голода, к горлу подступала тошнота, сердце колотилось, но мы все- таки вскарабкались по громадной скале наверх и двинулись в обратный путь.

Последнюю часть пути нам пришлось нести Унгу. Мы сами то и дело падали, но в конце концов добрались до первого хранилища. Увы — припасов там не было. Я так ловко сделал, что он подумал, будто всему виной росомахи, и обрушился на них и на своих богов с проклятиями. Но Унга не теряла мужества, она улыбалась, взяв его за руку, и я должен был отвернуться, чтобы овладеть собой.

— Мы проведем ночь у костра, — сказала она,

— и подкрепимся мокасинами.

И мы отрезали по нескольку полос от мокасин и варили эти полосы чуть ли не всю ночь, — иначе их было бы не разжевать. Утром мы стали думать, как быть дальше. До следующего хранилища было пять дней пути, но у нас не хватило бы сил добраться до него. Нужно было найти дичь.

— Мы пойдем вперед и будем охотиться, — сказал он.

— Да, — повторил я, — мы пойдем вперед и будем охотиться.

И он приказал Унге остаться у костра, чтобы не ослабеть совсем. А мы пошли. Он на поиски лося, а я туда, где у меня была спрятана провизия. Но съел я немного, боясь, как бы они не заметили, что у меня прибавилось сил. Возвращаясь ночью к костру, он то и дело падал. Я тоже притворялся, что очень ослабел, и шел, спотыкаясь, на своих лыжах, словно каждый мой шаг был последним. У костра мы опять подкрепились мокасинами.

Он был выносливый человек. Дух его до конца поддерживал тело. Он не жаловался и думал только об Унге. На второй день я пошел за ним, чтобы не пропустить его последней минуты. Он часто ложился отдыхать. В ту ночь он был близок к смерти. Но наутро он опять пошел дальше, бор-

моча проклятия. Он был как пьяный, и несколько раз мне казалось, что он не сможет идти. Но он был сильным из сильных, и душа его была душой великана, ибо она поддерживала его тело весь день. Он застрелил двух белых куропаток, но не стал их есть. Куропаток можно было бы съесть сырыми, не разводя костра, и они сохранили бы ему жизнь. Но его мысли были с Унгой, и он пошел обратно к стоянке. Вернее, не пошел, а пополз на четвереньках по снегу. Я приблизился к нему и прочел смерть в его глазах. Он мог бы еще спастись, съев куропаток. Но он отшвырнул ружье и понес птиц в зубах, как собака. Я пошел рядом с ним. И в минуты отдыха он смотрел на меня и удивлялся, что я так легко иду. Я понимал это, хотя он не мог выговорить ни слова, — его губы шевелились беззвучно. Как я уже сказал, он был сильный человек, и в сердце моем проснулась жалость. Но я вспомнил всю свою жизнь, вспомнил голод и холод в бесконечных лесах у русских морей. Кроме того, Унга была моя: я заплатил за нее неслыханный выкуп шкурами, лодками и бусами.

Так мы пробирались через белый лес, и безмолвие угнетало нас, как тяжелый морской туман. И вокруг носились призраки прошлого. Мне

виделся желтый берег Акатана, каяки, возвращающиеся домой с рыбной ловли, и хижины на опушке леса. Я видел людей, которые дали законы моему народу и были его вождями, — людей, чья кровь текла в моих жилах и в жилах жены моей, Унги. И Яш-Нуш шел рядом со мной, в волосах у него был мокрый песок, и он все еще не выпускал из рук сломанного боевого копья. Я знал, что решительная минута близка и словно видел обещание в глазах Унги.

Как я сказал, мы пробирались через лес, и, наконец, дым костра защекотал нам ноздри. Тогда я наклонился над Гундерсоном и вырвал куропаток у него из зубов.

Он повернулся на бок, глядя на меня удивленными глазами, и рука его медленно потянулась к ножу, который висел у него на поясе. Но я отнял нож, смеясь ему прямо в лицо. И даже тогда он ничего не понял. А я показал ему, как я пил из черных бутылок, показал, как я складывал груду даров на снегу, и все, что случилось в ночь моей свадьбы. Я не произнес ни слова, но он все понял и не испугался. Губы его насмешливо улыбались, а в глазах была холодная злоба, у него, казалось, прибавилось сил, когда он узнал меня. Идти нам оставалось недолго, но снег был глубокий, и он

едва тащился. Раз он так долго лежал без движения, что я перевернул его и посмотрел ему в глаза. Жизнь то угасала в них, то снова возвращалась. Но когда я отпустил его, он снова пополз. Так мы добрались до костра. Унга бросилась к нему. Его губы беззвучно зашевелились! Он показывал на меня. Потом вытянулся на снегу... Он и сейчас лежит там.

Я не сказал ни слова до тех пор, пока не изжарил куропаток. А потом заговорил с Унгой на ее языке, которого она не слышала много лет. Унга выпрямилась — вот так, глядя на меня широко открытыми глазами, — и спросила, кто я и откуда знаю этот язык.

— Я Наас, — сказал я.

— Наас? — крикнула она. — Это ты? — и подползла ко мне ближе.

— Да, — ответил я. — Я Наас, вождь Акатана, последний из моего рода, как и ты — последняя из своего рода.

И она засмеялась. Да не услышать мне еще раз такого смеха! Душа моя сжалась от ужаса, и я сидел среди Белого Безмолвия, наедине со смертью и с этой женщиной, которая смеялась надо мной.

— Успокойся, — сказал я, думая, что она бредит.

— Подкрепись, и пойдем. Путь до Акатана долог.

Но Унга спрятала лицо в его желтую гриву и смеялась так, что, казалось, еще немного, и само небо обрушится на нас. Я думал, что она обрадуется мне и сразу вернется памятью к прежним временам, но таким смехом никто не выражает свою радость.

— Идем! — крикнул я, крепко беря ее за руку. — Нам предстоит долгий путь во мраке. Надо торопиться!

— Куда? — спросила она, приподнявшись, и перестала смеяться.

— На Акатан, — ответил я, надеясь, что при этих словах лицо ее сразу просветлеет.

Но оно стало похожим на его лицо: та же насмешливая улыбка, та же холодная злоба в глазах.

— Да, — сказала она, — мы возьмемся за руки и пойдем на Акатан. Ты и я. И мы будем жить в грязных хижинах, питаться рыбой и тюленьим жиром, и наплодим себе подобных, и будем гордиться ими всю жизнь. Мы забудем о большом мире. Мы будем счастливы, очень счастливы! Как это хорошо! Идем! Надо спешить. Вернемся на Акатан.

И она провела рукой по его желтым волосам

и засмеялась недобрым смехом. И обещания не было в ее глазах.

Я сидел молча и дивился нраву женщин. Я вспомнил, как он тащил ее в ночь нашей свадьбы и как она рвала ему волосы — волосы, от которых теперь не могла отнять руки. Потом я вспомнил выкуп и долгие годы ожидания. И я сделал так же, как сделал тогда он, поднял ее и понес. Как и в ту ночь, она отбивалась, словно кошка, у которой отнимают котят. Я обошел костер и отпустил ее. И она стала слушать меня. Я рассказал ей обо всем, что случилось со мной в чужих морях и краях, о моих неустанных поисках, о голодных годах и о том обещании, которое она дала мне первому. Да, я рассказал обо всем, даже о том, что случилось между мной и им в этот день. И, рассказывая, я видел, как в ее глазах росло обещание, манящее, как утренняя заря. И я прочел в них жалость, женскую нежность, любовь, сердце и душу Унги. И я снова стал юношей, ибо взгляд ее стал взглядом той Унги, которая смеялась и бежала вдоль берега к материнскому дому. Исчезли мучительная усталость, и голод, и томительное ожидание. Час настал. Я почувствовал, что Унга зовет меня склонить голову ей на грудь и забыть все. Она раскрыла мне объятия, и я бросился к ней. Но

вдруг ненависть зажглась у нее в глазах, и рука потянулась, к моему поясу. И она ударила меня ножом, вот так — раз, два.

— Собака! — крикнула Унга, толкая меня в снег. — Собака! — Ее смех звенел в тишине, когда она ползла к мертвецу.

Как я уже сказал, Унга два раза ударила меня ножом, но рука ее ослабела от голода, а мне не суждено было умереть. И все же я хотел остаться там и закрыть глаза в последнем долгом сне рядом с теми, чьи жизни сплелись с моей и кто вел меня по неведомым тропам. Но надо было вернуть долг, и я не мог думать о покое.

А путь был долгий, холод свирепый, и пищи у меня было мало. Охотники из племени пелли, не напав на лосей, наткнулись на мои запасы. То же самое сделали трое белых в Мак-Квещене, но они лежали бездыханные в своей хижине, когда я проходил мимо. Что было потом, как я добрался сюда, нашел пищу, тепло — не помню, ничего не помню.

Замолчав, он жадно потянулся к печке. Светильник отбрасывал на стену страшные блуждающие тени.

— Но как же Унга?! — воскликнул Принс, потрясенный рассказом.

— Унга? Она не стала есть куропатку. Она лежала, обняв мертвеца за шею и зарывшись лицом ему в волосы. Я придвинул горячие сучья ближе, чтобы ей было теплее, но она отползла. Я развел еще один костер, с другой стороны, но и это ничему не помогло, — ведь она отказывалась от еды. И вот так они и лежат там на снегу.

— А ты? — спросил Мэйлмют Кид.

— Я не знаю, что мне делать. Акатан мал, я не хочу возвращаться туда и жить на краю света. Да и зачем мне жить? Пойду к капитану Констэнтайну, и он наденет на меня наручники. А потом мне набросят веревку на шею — вот так, и я крепко усну, крепко... А впрочем... не знаю.

— Послушай, Кид! — возмутился Принс. — Ведь это же убийство!

— Молчи! — строго сказал Мэйлмют Кид. — Есть вещи выше нашего понимания. Как знать, кто прав, кто виноват? Не нам судить.

Наас подвинулся к огню еще ближе. Наступила глубокая тишина, и в этой тишине перед мысленным взором каждого из них пестрой чередой проносились далекие видения.

Джек Лондон
Бог его отцов
Сборник рассказов

Бог его отцов
I

Повсюду расстилались дремучие, девственные леса — место действия шумных фарсов и безмолвных драм. С первобытной жестокостью велась здесь борьба за существование. Сюда, в самое сердце Страны на Краю Радуги, еще не пришли британцы и русские, и американское золото не скупило еще громадных ее просторов. Волчьи стаи еще преследовали по пятам стада оленей, отбивая отяжелевших самок или ослабевших и терзая жертвы с той же безжалостностью, как тысячи поколений до них. Немногочисленные туземцы еще подчинялись своим вождям и почитали шаманов, изгоняли злых духов, сжигали ведьм, сражались с соседями и пожирали их с таким аппетитом, который делал честь желудкам победителей. Клонился к исходу каменный век. А по неведомым тропам, через пустыни, не обозначенные на картах, уже шли предвестники стального века— сыны белокурой голубоглазой и неукротимой расы. То случайно, то намеренно, по двое, по трое приходили они неизвестно откуда,

сражались и умирали или уходили неизвестно куда. Шаманы слали проклятия на их головы, вожди созывали воинов, и камень схватывался со сталью, но напрасно. Словно вода из какого-то огромного водоема, просачивались они сквозь угрюмые чащи и горные перевалы, легкие лодки их заходили в дальние протоки, и мокасины прокладывали тропы для собачьих упряжек. То были сыны великого и могучего племени, и их было много, но этого не знали пока закутанные в шкуры обитатели Северной страны. Сколько невоспетых пришельцев бились до последнего и умирали под холодным блеском северного сияния, так же, как бились и умирали их братья в раскаленных песках пустынь или в дышащих смертоносными испарениями джунглях, так же, как будут биться и умирать те, которые придут за ними, пока в назначенный час не обретет это великое племя своей судьбы.

Время приближалось к двенадцати. Горизонт на севере был залит алым свечением; оно бледнело к западу и сгущалось на востоке, обозначая положение невидимого полночного солнца. Сумерки так неприметно переходили в зарю, что ночь исчезала, умирающий день встречался с нарождающимся, и оттого временами на

небе словно было два солнечных диска. Ржанка только что робко прощебетала свою вечернюю песенку, а зарянка уже зычно приветствовала наступающее утро. С острова посреди Юкона доносилась крикливая перебранка диких гусей, и будто в ответ над замершей гладью несся с берега насмешливый хохот полярной гагары.

В тихой заводи несколькими рядами стояли выделанные из березовой коры каноэ[29]. Копья с плоскими костяными наконечниками, стрелы с таким же оперением, стянутые оленьими жилами луки, плетеные верши — все указывало на то, что шел нерест лосося. На берегу среди крытых шкурами вигвамов и развешанной для вяления рыбы слышны были голоса. Парни состязались в ловкости и заигрывали с девушками; почтенные скво, лишенные этих радостей — поскольку выполнили свое назначение в жизни, обзаведясь потомством, — сучили веревки из стеблей стелющихся трав и сплетничали. Тут же возились и дрались голые ребятишки, катались по земле с огромными темно-рыжими собаками.

Поодаль, на приличном расстоянии от становища виднелись две палатки. Это был лагерь белого

---

[29] notes: 29

Каноэ — легкая, выдолбленная из целого ствола дерева лодка.

человека — уж самый выбор места убедительно свидетельствовал о том. Отсюда в случае необходимости удобно было вести обстрел становища, расположенного в сотне ярдов, возвышение и открытое пространство позволяли держать оборону при нападении, и, наконец, крутой, ярдов в двадцать склон позади давал возможность быстро отступить к лодкам. В одной из палаток плакал больной ребенок, и мать баюкала его колыбельной. Снаружи у догорающего костра беседовали двое.

— Да, я почитаю церковь, как преданный сын. Так почитаю, что днем бегу от нее, а ночью грежу о расплате. А что вы хотите? — в голосе метиса послышались гневные нотки. — Родом я с Красной реки. Отец у меня был белый — такой же, как и вы. Только вы янки, а он англичанин и сын джентльмена. А мать моя была индианка, дочь одного вождя, и я стал настоящим мужчиной. Да, не сразу скажешь, какая кровь в моих жилах — ведь я жил среди белых, как равный, и в груди у меня бьется сердце отца. И вот я встретил девушку, белую девушку, которая благосклонно поглядывала на меня. Отец ее, француз по крови, имел много земли и лошадей, и его очень уважали там. «Ты не в своем уме», — сказал он ей, узнав

обо мне, и долго убеждал ее и сильно гневался.

Но она была в своем уме, и скоро мы уже стояли перед пастором. Но еще раньше у него побывал отец и наговорил там всяких нехороших слов, пообещал что-нибудь, я уж не знаю. Так что пастор заупрямился и не захотел сделать так, чтобы мы жили друг с другом. Церковь не захотела благословить меня при рождении, и церковь отказалась разрешить мне жениться, и из-за нее руки мои обагрены кровью.

Вот почему я почитаю церковь. Потом я ударил лживого пастора по лицу, мы вскочили на быстрых лошадей и поскакали с ней к форту Пьер, где жил добрый священник. Но вслед за нами бросился ее отец, и братья, и еще какие-то люди, которых он подговорил. И мы дрались прямо на скаку, пока я не выбил троих из седла, а остальные не повернули обратно к форту. Тогда мы отправились на восток, и скрылись среди холмов и лесов, и жили там вместе. Но мы не были женаты, — вот что сделала ваша добрая церковь, которую я почитаю, как послушный сын.

Женщины — странные существа, и ни один мужчина не в силах понять их. Один из тех, кого я вышиб из седла, был ее отец; он упал, и ехавшие сзади растоптали его.

Мы оба видели, как все случилось, но я забыл бы об этом, но она забыть не могла. И вот в вечерней тишине, после охоты, это приходило и стояло между нами, всю долгую безмолвную ночь, когда загорались звезды и мы должны были бы слиться в одно. И так было всегда. Она никогда не заговаривала о случившемся, но оно будто сидело у костра, и мы были как чужие. Я знаю, она хотела забыть все, но мысли одолевали, — я видел это по глазам и ощущал в ее дыхании.

Потом она родила мне ребенка, девочку, и умерла. А я пошел к племени своей матери, чтобы ребенок мог кормиться у женской груди и жить. Но с рук у меня еще не смылась кровь убитых мною, в этом была виновата церковь. И вот однажды за мной приехала конная полиция, но мой дядька, который в то время был вождем племени, спрятал меня и дал лошадей и еды. Я взял девочку, и мы поехали далеко, к Гудзонову заливу, где было мало белых, и они ни о чем не спрашивали. Там я нанялся на работу в Компании, был охотником, проводником, погонщиком собак, пока моя дочь не стала женщиной — высокой, стройной и приятной на вид.

Вы знаете здешнюю долгую и беспросветную зиму, она вызывает разные мысли и толкает на

дурные поступки. Так вот, был там главный агент — наглый и черствый человек. И не из таких, кто нравится женщинам. Но ему приглянулась моя дочь, которая стала женщиной. Матерь божья! Однажды он отправил меня в длительную поездку на собаках, оказалось, для того, чтобы... ну, вы понимаете. Черствый, бессердечный человек. А она была почти белая, и душа у нее была белая, и такая хорошая женщина... Словом, она умерла.

В ту ночь, когда я возвратился, стоял жестокий мороз. Я пробыл в пути много месяцев, и собаки еле тащили, когда я подъезжал к форту. Индейцы и метисы как-то странно смотрели на меня и молчали, и тут мне стало страшно, не знаю, почему. Но я ничего не спрашивал, накормил собак и сам плотно поел, как человек, которому предстоит тяжелая работа. И только потом я потребовал, чтобы мне сказали, в чем дело. У них не хватало духу: боялись, как бы я чего не сделал в ярости. И все же они рассказали слово за словом, шаг за шагом ту печальную историю и сильно дивились, что я молчу.

Выслушав, я отправился к дому агента и был спокойнее, чем сейчас, когда вспоминаю это. Агент испугался и позвал на помощь, но люди не одобряли его поступок и считали, что он дол-

жен ответить за него. Тогда агент убежал в дом пастора. Я пошел туда. Пастор вышел на порог и стал увещевать меня, говоря, что человек во гневе должен молить бога наставить его на путь истинный. Я сказал, что отцовское горе и возмущение давало мне право пройти, а он отвечал: только через мой труп, — и принялся молиться. Так церковь снова встала у меня на пути, она всегда стояла у меня на пути. Я перешагнул через пастора и отправил агента туда, где он встретит мою дочь, туда, где живет его бог, недобрый бог, бог белых людей.

О случившемся сообщили на ближайший пост, за мной была устроена погоня, и мне пришлось скрыться. Я отправился на восток, мимо Большого Невольничьего, вниз по Макензи, дошел до вечных льдов, перевалил Снежные Скалы, вышел к Большой Излучине Юкона и спустился сюда. Вы первый человек из племени моего отца, кого я встретил за все эти дни. И пусть вы будете последним! Те люди, в становище — моего племени, они просты и бесхитростны. Они научились уважать и почитать меня. Мое слово для них закон, и шаманы послушны мне, ибо боятся, как бы я не навредил им. Так вот, когда я говорю за них, я говорю и за себя. Оставьте нас в покое!

Уходите отсюда! Если вы останетесь у наших костров, следом придет ваша церковь, придут ваши священники и боги. И знайте: каждого белого, кто придет в мое становище, я заставлю отречься от его бога. Но вы первый, и с вами я не поступлю так. Однако вы должны уйти и уйти быстро.

— Я не могу отвечать за всех своих братьев, — отвечал второй собеседник, в раздумье набивая трубку. Речь Хэя Стокарда была иногда столь же медлительна, сколь быстры его действия, но только иногда.

— Но я знаю ваше племя, — отвечал другой. — А вы и такие, как вы, прокладываете тропу остальным. Придет время, и они завладеют этим краем, но меня в то время уже не будет. Я слышал, они вышли к истокам Великой Реки, а далеко в низовьях — русские.

Хэй Стокард быстро поднял голову: то было нечто новое в географии. Люди Компании Гудзонова залива в форте Юкон иначе представляли путь реки, считая, что она течет к Северному Океану.

— Так, значит, Юкон впадает в Берингово море? — спросил он.

— Не знаю, но там, в низовьях, русские, много русских. Можете поехать туда и посмотреть сами,

можете вернуться к своим братьям, но пока шаманы и воины послушны мне, вы не подниметесь по Коюкуку. Это говорю я, Батист, по прозвищу Рыжий. Слово мое — закон, ибо я глава этого племени.

— А если я не поеду туда, где русские, и не вернусь к своим братьям, что тогда?

— Тогда вы отправитесь туда, где живет ваш бог, недобрый бог, бог белых людей.

Из-за горизонта на севере, словно роняя кровавые капли, выкатилось багровое солнце. Батист поднялся, кивнул и пошел назад, в становище. По земле стлались густо-красные тени, где-то пела зарянка.

Хэй Стокард докурил трубку, и в дыму костра виделись ему дальние истоки Коюкука, неведомой полярной реки, которая кончала здесь свой долгий путь, вливая воды в мутное течение Юкона. Если верить тому умирающему матросу, который спасся после кораблекрушения и прошел пешком весь край, если о чем-нибудь говорила бутылка с зернами золота, что припрятана у него в мешке, то где-то там, вверх по реке, в обители вечной зимы таится Сокровищница Севера. Но у ворот, преграждая ему путь, стоит страж — Батист по прозвищу Рыжий, человек, забывший, что в жи-

лах его половина английской крови.

— Утрясется! — решил Хэй Стокард; раскидав догорающие угли, он встал и потянулся, беспечно глядя на вспыхнувший пламенем горизонт.

II

Хэй Стокард крепко выругался. Его жена подняла голову от кастрюль и, следуя глазами за его взглядом, внимательно посмотрела на реку. Индианка с Теслина, она тем не менее отлично знала, что означают те односложные и выразительные английские словечки. Любое происшествие — от самого незначительного, когда соскакивает ремень с лыж, до внезапной смертельной опасности— она привыкла мерять тем, насколько оглушительна и красочна была брань, срывавшаяся с уст ее мужа. Поэтому сейчас она поняла, что дело серьезно. Длинное каноэ скользило вниз по течению, направляясь к крохотной бухточке у лагеря; на веслах играли лучи закатного солнца. Хэй Стокард пристально всматривался. Три человека слаженно работали веслами, ритмично покачиваясь взад и вперед, но Стокард видел только одного, с красным платком, повязанным вокруг головы.

— Билл! — позвал он. — Эй, Билл!

Из палатки, волоча ноги и пошатываясь, вышел высокий здоровяк; он тер глаза и позевывал. Но как только он увидел каноэ, сон у него как рукой сняло.

— Да это же тот проклятый священник, клянусь Мафусаилом![30]

Хэй Стокард мрачно кивнул головой, потянулся было к ружью, но, очевидно, передумал и пожал плечами.

— Пристрелить его на месте, и дело с концом, — предложил Билл. — Иначе он нам все дело испортит.

Стокард не решился на эту крайнюю меру; отвернувшись, он знаком приказал жене продолжать работу и позвал товарища с берега. Пока двое индейцев привязали лодку в бухточке, белый в своем немыслимом, бросающемся в глаза головном уборе поднялся на берег.

— Как и апостол Павел, говорю: мир вам и милость господня!

Слова священника были встречены угрюмым молчанием.

— Привет и тебе, Хэй Стокард, богохульник и

---

[30] notes: 30
Мафусаил — библейский патриарх, якобы проживший 969 лет.

филистимлянин[31]. В сердце твоем жажда богатства, в сознании твоем дьявольские помыслы, в палатке твоей женщина, с которой ты прелюбодействуешь. И все же я, Стэрджес Оуэн, посланец божий, призываю тебя в этой пустыне покаяться в грехах своих и очиститься от скверны.

— Поберегите-ка порох, отец мой, — раздраженно прервал Хэй Стокард. — Вам понадобятся все ваши запасы и еще сверх того. Здесь Рыжий Батист.

Он махнул рукой в сторону индейского становища, где стоял метис и пристально всматривался, пытаясь разглядеть, кто же были эти незнакомцы. Приказав своим людям разбить палатку, Стэрджес Оуэн, носитель света веры и посланец божий, стал спускаться по склону. Стокард последовал за ним.

— Послушайте, — начал он, взяв миссионера за плечо и повернув к себе. — Вы дорожите своей шкурой?

— Жизнь моя в руке божьей, а я лишь тружусь в его виноградниках, — отвечал тот торжественно.

— Э, бросьте! Хотите принять мученический венец?

---

[31] notes: 31

Филистимляне — древний народ, населявший южную часть восточного побережья Средиземного моря.

— Если на то его воля.

— Ну, это не трудно, не волнуйтесь, но прежде я дам вам совет. Можете последовать ему или нет. Но если вы останетесь здесь, преждевременная кончина прервет ваши труды. И погибнете не только вы один, но и ваши люди, и Билл, и моя жена...

— Дочь дьявола, которой не дано услышать слово истины.

— ...и я. Вы навлечете беду не только на себя, а на всех нас. Помните, мы зимовали вместе в прошлом году? Я знаю, что вы неплохой человек, но... недалекий. Если вы считаете своим долгом обращать язычников, — ваше дело. Но будьте же хотя немного разумны в средствах! Этот человек, Батист, не индеец. Он нашей породы, упрямый как бык, я таким не бываю, и ярый фанатик по-своему, как и вы. И если вы двое сойдетесь, хлопот не оберешься, я не желаю быть замешанным в это дело, понимаете, не желаю! Так что послушайте моего совета и уезжайте. Если спуститесь вниз, то встретите там русских. Среди них есть, конечно, православный священник, и вас в безопасности переправят к Берингову морю — Юкон, между прочим, впадает туда, — а затем уже нетрудно добраться до цивилизованного мира. Послушайте

меня и уезжайте как можно скорее!

— Тому, у кого в сердце бог, а в руке евангелие, не страшны козни ни человеческие, ни дьявольские, — решительно отвечал миссионер. — Я должен увидеть этого человека и вступить в единоборство с ним. Вернуть заблудшую овцу в лоно церкви больше чести, чем обратить тысячу язычников. Того, кто погряз в пороке, легче вывести на стезю добродетели. Вспомните тарсиняна Савла, который пошел в Дамаск, дабы отвести христиан в Иерусалим. По дороге явился ему спаситель, и услышал он голос, говорящий: «Савл, Савл, что ты гонишь меня?» И тут Савл, он же и Павел, прозрел и исполнился благодати и многие души спас потом. Так же, как и ты, о святой Павел, я тружусь в виноградниках господа нашего, готовый претерпеть ради него горести и испытания, насмешки и глумление, удары и наказания. Эй вы, — крикнул он своим гребцам, — принесите-ка мешочек с чаем и котелок воды. Да не забудьте тот кусок оленины и сковороду!

Когда люди священника, недавно обращенные им самим в истинную веру, поднялись на берег, вся троица упала на колени и, хотя в руках у них и на спине было снаряжение, воздала хвалу всевышнему за помощь в долгом пути и благопо-

лучное прибытие. Хэй Стокард смотрел на них с насмешливым неодобрением: торжественность и таинство молитвы уже ничего не говорили его суровому сердцу. Там, у становища, Батист по прозвищу Рыжий узнал знакомые позы и вспомнил ту, которая делила с ним в горах и лесах ложе под звездами, и свою девочку, которая покоилась сейчас где-то у холодного Гудзонова залива.

III

— Черт побери, Батист, и не думай об этом! Выброси из головы. Согласен, что этот человек глупец и никому не принесет пользы, и все-таки я не могу, понимаешь, не могу не встать на его сторону.

Хэй Стокард помолчал, стараясь выразить словами свое простое понимание законов чести.

— Он и мне самому порядком надоел, Батист, и немало причинял разных хлопот. Но неужели ты не понимаешь, что он моего племени, белый... и... Нет, да будь он даже негром, не смог бы я пожертвовать им ради спасения собственной шкуры.

— Пусть будет так, —отвечал Батист. —Я предложил тебе самому сделать выбор. Скоро я приду со своими шаманами и воинами и либо убью

тебя, либо заставлю отречься от твоего бога. Отступись, оставь священника и уезжай с миром! Иначе твоя тропа оборвется здесь. Мой народ, вплоть до малых детей, против вас. Смотри, ребятишки уже угнали твои лодки.

Он показал на реку. Голые мальчишки подплыли к лодкам, отвязали их и погнали к середине течения. Отплыв на расстояние ружейного выстрела, они забрались в каноэ, взялись за весла и стали грести к становищу.

— Отдай священника — и получишь лодки обратно. Ну, решай! Но не спеши.

Стокард покачал головой. Взгляд его упал на женщину с Теслина с его сыном на руках, и сердце его дрогнуло, но тут он поднял глаза на человека, стоящего перед ним.

— Меня не пугает это, — начал Стэрджес Оуэн. — Господь милостив, я готов один отправиться в лагерь нечестивца. Еще не поздно. Вера движет скалы. Может быть, мне удастся спасти его душу даже в свой последний час.

— Навалиться на негодяя и связать его, — яростно шептал Билл на ухо своему товарищу, пока миссионер схватился в словесной дуэли с язычником. — Сделать его заложником и пристрелить, если они затеют драку.

— Нет, — ответил Стокард. — Я дал слово, что его не тронут. Таковы законы войны, Билл. Он ведь с нами поступил по справедливости, предупредил и все такое... Нет, черт возьми, я не могу нарушить слова.

— А он сдержит свое, уж будь уверен.

— Не сомневаюсь. Но я не хочу, чтобы какой-то метис вел более честную игру, чем я. Послушай, а почему бы нам не сделать так, как он предлагает? Оставим ему священника, и дело с концом.

— Н-нет, — пробормотал Билл.

— Что, духу не хватает?

Билл покраснел и прекратил разговор.

Батист ждал окончательного решения. Стокард подошел к нему.

— Слушай меня, Батист. Я пришел в твое становище, намереваясь пробраться к истокам Коюкука. Я не сделал ничего дурного. В сердце у меня не было зла. Нет и сейчас. Потом приехал этот священник. Не я привел его сюда. Он пришел бы так или иначе. Он моего племени, и я не могу оставить его в беде. И не оставлю. Ты понимаешь, что взять нас нелегко. Твое становище замрет и опустеет, как после голода. Я знаю, что мы погибнем, но немало и твоих воинов...

— Зато оставшиеся будут жить в мире, и в уши

им не будет лезть слово чужих богов и болтовня чужих свя-щенников.

Оба пожали плечами и разошлись; Батист пошел к себе в становище.

Миссионер призвал своих индейцев, и троица принялась усердно молиться. Стокард и Билл стали рубить сосны неподалеку, сооружая из них укрытие. Уложив уснувшего ребенка на шкуры, теслинка по мере сил помогала мужчинам. Скоро лагерь был укреплен с трех сторон наваленными деревьями, а крутой спуск позади исключал возможность нападения с реки. Когда приготовления в лагере были закончены, Стокард и Билл вышли из-за укрытия и стали расчищать склон от растущего кое-где кустарника. Из становища доносился грохот военных барабанов и завывания шаманов, призывающих воинов к сражению.

— Туго придется, если они будут наступать перебежками, — сказал Билл, когда они, с топорами на плечах, возвращались в лагерь.

— И станут ждать темноты, когда трудно стрелять.

— Ну что ж, начнем первые.

Бросив топор, Билл взял винтовку и устроился поудобнее. Среди индейцев выделялся высокий шаман. Билл взял его на мушку.

— Все готовы? — спросил он.

Стокард открыл патронный ящик, усадил жену так, чтобы она могла заряжать в укрытии ружья, и подал команду. Высокий шаман грохнулся наземь. На какое-то мгновение все стихло, затем послышались яростные крики, на склон, не долетев до лагеря, обрушилась туча стрел.

— Хотел бы посмотреть на того парня, — заметил Билл, посылая новый патрон. Кажется, я ему прямо в лоб засадил.

— Нет, не поможет, — угрюмо качал головой Стокард.

Батисту, очевидно, удалось успокоить наиболее воинственных своих соплеменников, и следствием выстрела была не атака при дневном свете, а поспешное отступление индейцев из становища, вне зоны огня.

Охваченный христианским рвением, порожденным мыслями о боге, Стэрджес Оуэн отважился было немедленно идти в лагерь нечестивца, равно готовый узреть чудо или принять муки. Но, пока велись переговоры, пыл его поутих, и в нем заговорило его естество. Надежду на вечное спасение сменил физический страх перед смертью, любовь к богу уступила место любви к жизни. И то не было чем-то незнакомым. Он давно замечал

за собой эту слабость, и сейчас она снова одолевала его. Нередко он пытался побороть постыдное чувство, но всякий раз оно брало верх. Однажды, вспоминал Стэрджес Оуэн, когда другие отчаянно работали веслами, пытаясь спастись ото льда, что с грохотом ломился вниз по течению, в ту крайнюю минуту вселенского хаоса, он бросил весло и стал молить бога о милосердии. Воспоминание было не из приятных. Достойно стыда, что плоть его возобладала над духом. Но как хотелось жить, как хотелось жить! Он не мог отказаться от жизни. Именно любовь к жизни побудила отдаленных его предков увековечить себя в потомках, из-за любви к жизни ему тоже назначено увековечить себя. Мужество Стэрджеса Оуэна, если это вообще можно было назвать мужеством, было порождением фанатизма. А мужество Стокарда или Билла уходило корнями в какие-то устойчивые идеалы. Они ничуть не меньше любили жизнь, нет, но они больше чтили традиции своей расы, их тоже страшила смерть, но они были достаточно смелы, чтобы не покупать жизнь ценой позора.

Миссионер поднялся: его обуяла мысль о самопожертвовании. Он даже забрался на баррикаду, чтобы отправиться в лагерь противника, но в ту

же минуту рухнул вниз жалкой бесформенной массой и запричитал:

— Да будет воля всевышнего! Кто я такой, чтобы преступать заветы его? Еще до сотворения мира был записан в книге судеб порядок вещей. Неужели мне, ничтожному червю, суждено вычеркнуть из той книги хоть строку? Боже, как слаб дух мой, и на то твоя воля!

Билл нагнулся, поставил священника на ноги и молча тряхнул его. Это не помогло, и Билл, отпустив этот дрожащий и всхлипывающий человеческий комок, повернулся к двум индейцам. Те, очевидно, нисколько не были напуганы и с живостью готовились к предстоящей схватке.

Стокард, о чем-то вполголоса говоривший с теслинкой, посмотрел на священника.

— Приведи-ка его сюда, —приказал он Биллу.

— Ну вот что, — начал он, когда священника подвели к нему, — сделайте нас мужем и женой. Да поторапливайтесь! — Затем, словно извиняясь, добавил:— Неизвестно, чем все кончится, Билл, так что я решил привести в порядок свои делишки.

Женщина беспрекословно подчинилась воле своего белого господина. Для нее церемония не имела никакого смысла. По ее понятиям она была

женой Хэя Стокарда с того самого первого дня. В качестве свидетелей выступили новообращенные индейцы. Священник то и дело запинался, но Билл, не мешкая, приходил ему на помощь. Стокард подсказывал невесте, что нужно говорить, и когда дошло до слов «и в радости, и в горе», соединил большой и указательный пальцы и надел воображаемое кольцо ей на палец.

— Поцелуй невесту! — громовым голосом приказал Билл, и Стэрджес Оуэн вынужден был повиноваться.

— А теперь окрестите ребенка, — потребовал Хэй Стокард.

— И чтоб все как полагается, — заметил Билл.

— Полное снаряжение для нового пути, — объяснил отец, беря мальчика из рук матери. — Знаешь, пошел я однажды к Порогам, все с собой взял, кроме соли. Туго пришлось — никогда не забуду! Так что лучше быть готовым, если предстоит поход. Между нами, Билл, я не знаю, понадобится ли это там, но хуже не будет.

Младенца окропили водой из чашки и уложили в укромный уголок. Мужчины, разложив костер, стали готовиться к ужину.

Солнце, склоняясь к западу, спешило на север. Небо в той стороне горело кроваво-красным пла-

менем. Тени удлинялись, сгущались сумерки, в темных чащобах леса замирала жизнь. Даже дикие гуси на островке кончили свою крикливую перебранку и сделали вид, что укладываются на покой. И только индейцы за становищем не унимались, они исступленно колотили в барабаны и горланили воинственные песни. Но вот солнце закатилось, угомонились, и они. Спустилось полночное безмолвие. Стокард приподнялся на колени и выглянул из-за укрытия. Заплакал ребенок и отвлек его внимание. Мать подошла к мальчугану, но тот уже спал. Стояла глубокая, казалось навек, тишина. И в ту же минуту зычно прокричала зарянка. Ночь прошла.

Поле заливал кипящий человеческий поток. Зазвенели луки, запели стрелы. В ответ резко хлопали ружья. Брошенное чьей-то уверенной рукой копье пригвоздило к месту теслинку как раз в тот момент, когда она наклонилась над ребенком. Стрела на излете, проскочив щель в баррикаде, вонзилась в плечо миссионеру.

Горстка людей не могла отбить нападение. Пространство между баррикадой и атакующими было завалено трупами, но индейцев все прибывало, они стремительно неслись вперед, и баррикаду захлестнуло точно огромной океан-

ской волной. Стэрджес Оуэн бросился бежать к палатке, а остальных посбивал с ног, похоронил нарастающий людской прилив. И только Стокард держался на ногах, раскидывая визжащих индейцев, словно щенят. Ему даже удалось поднять топор. Кто-то схватил ребенка за ногу, вытащил его из-под матери и, размахнувшись, ударил о бревна. Стокард топором размозжил индейцу череп и стал пробивать себе дорогу. Он был окружен яростной толпой, осыпавшей его градом копий и стрел. Из-за горизонта выкатилось солнце, и фигуры индейцев зловеще покачивались в алых лучах. Дважды они наваливались на Стокарда, когда он не успевал после сильного удара вытащить топор, и оба раза он стряхивал их с себя. Индейцы падали, и он шагал по их телам, и ноги его разъезжались в лужах крови. Наконец индейцы в испуге отступили, и Стокард оперся на топор, чтобы перевести дух.

— Клянусь, ты настоящий мужчина! — воскликнул подошедший Батист. — Отрекись от своего бога и останешься жить.

Ослабевшим от усталости голосом, но с полным достоинством Стокард проклятиями выразил свой решительный отказ.

— Посмотрите-ка на эту бабу! — сказал метис,

когда к нему подвели Стэрджеса Оуэна.

Не считая царапины на плече, священник был невредим, но глаза его бегали от страха. Помутневший взгляд его упал на величественную фигуру богохульника Стокарда; несмотря на многочисленные раны, тот твердо стоял на ногах, вызывающе опираясь на топор, — спокойный, неукротимый, недосягаемый. И тут миссионер несказанно позавидовал человеку, который способен был так безмятежно сойти к темным вратам смерти. Да, именно этот человек, а не он, Стэрджес Оуэн, вылеплен был по образу и подобию Христа. И священник смутно ощутил проклятие предков, привычную слабость, которая досталась ему от прошлого, и почувствовал горькую обиду на созидательную силу — как бы она ни представлялась ему, — которая сотворила его, ее слугу, таким немощным. Даже человека с более сильной волей эта горечь и обстоятельства заставили бы сделаться отступником; для Стэрджеса Оуэна это было неизбежностью. В страхе перед человеческой злобой он пренебрежет гневом господним. Его научили служить всевышнему, но оставили в роковую минуту. Ему дали веру, но без убежденности, ему дали дух, но не волю. Это было несправедливо.

— Где же теперь твой бог? — спросил метис.

— Я не знаю. — Стэрджес Оуэн стоял прямо, не шелохнувшись, будто ученик на уроке закона божьего.

— Так, значит, у тебя нет бога?

— У меня был бог.

— А сейчас?

— Нет.

Стокард смахнул кровь со лба и засмеялся. Миссионер посмотрел на него удивленно, точно сквозь сон. И ему показалось, что он отдаляется, что между ним и этим человеком пролегла бесконечность. И в том, что случилось, что должно было неизбежно случиться, он уже не принимал участия. Он стал зрителем, наблюдающим за событиями на расстоянии, да, да, на расстоянии.

До него как из тумана донеслись слова Батиста:

— Хорошо. Отпустите этого человека, и чтоб ни один волос не упал с его головы. Пусть уезжает с миром. Дайте ему каноэ и еды. Пусть отправляется туда, где русские, и расскажет их священникам о Батисте по прозвищу Рыжий, в чьей стране нет бога.

Миссионера отвели к берегу; он помедлил там, чтобы увидеть развязку трагедии. Метис повер-

нулся к Хэю Стокарду.

— Бога нет, — сказал он.

Стокард лишь рассмеялся в ответ. Один из молодых воинов поднял копье.

— Так у тебя есть бог?

— Да! Бог моих отцов.

Он поудобнее перехватил рукоятку топора, но тут Батист подал знак, и копье вонзилось пленнику в грудь. Миссионер видел, как костяной наконечник прошел насквозь, как Стокард, все еще смеясь, качнулся и рухнул вперед, как сломалось древко копья. Потом Стэрджес Оуэн прыгнул в лодку и погреб вниз по течению, чтобы поведать русским о Батисте по прозвищу Рыжий, в чьей стране не было бога.

Великая загадка

Поистине, миссис Сейзер промелькнула на небосклоне Доусона подобно метеору. Она прибыла весной, на собаках, с проводниками из канадских французов, ослепительно блеснула на один короткий месяц и уехала вверх по реке, как только сошел лед. Весь Доусон, которому так не хватает женского общества, был ошеломлен столь внезапным отъездом, и местная аристократия огорчалась и расстраивалась по этому поводу до тех самых пор, пока не разразилась золотая лихорадка в Номе и новая сенсация не затмила старую. Ибо Доусон пришел в восторг от миссис Сейзер и принял ее с распростертыми объятиями. Она была мила, очаровательна и притом вдова, поэтому за нею сразу стали увиваться чуть ли не все короли Эльдорадо, должностные лица, искатели приключений из младших сыновей состоятельных семейств — все, кто стосковался по шелесту женского платья.

Горные инженеры с уважением вспоминали ее мужа, покойного полковника Сейзера; представители промышленных кругов почтительно отзывались о его сделках и хватке: ведь

он считался одним из крупнейших воротил в американской горной промышленности и, быть может, еще более крупным в английской. Чего ради из всех женщин на свете именно его вдова явилась в эти края? Это была великая загадка. Но обитатели Севера — народ практический, они вполне разумно презирают отвлеченные рассуждения и признают только факты. А для многих из них Карен Сейзер оказалась весьма существенным фактом. Она же смотрела на вещи по-другому, о чем свидетельствуют категоричность и быстрота, с какими она весь этот месяц отвечала на бесконечные предложения руки и сердца. И вот она исчезла, а с нею исчез факт, и осталась только загадка.

Однако Случай милостиво дал ключ к разгадке. Последняя жертва миссис Сейзер, Джек Кофрэн, понапрасну положивший к ее ногам свое сердце и участок в пятьсот футов на Бонанзе, всю ночь напролет шатался с горя по кабакам в самой разношерстной компании. Среди ночи он невзначай столкнулся с Пьером Фонтэном, — а это был не кто иной, как старший проводник Карен Сейзер. Столкнувшись, они узнали друг друга, выпили и под конец оба порядком опьянели.

— Что? — бормотал уже под утро Пьер Фонтэн.

— Чего ради мадам Сейзер явилась в ваши края? А вы у нее самой спросите. Ничего я не знаю; только знаю, что она все спрашивает про одного человека. «Пьер, — говорит, — вы мне его найдите, и я дам вам много денег, тысячу долларов дам, только найдите этого человека». «Какого человека?» «Ах, да. Его зовут... как это... Дэвид Пэйн. Да, мсье, Дэвид Пэйн». Все время это имя у нее па языке. И я все ищу его, ищу, бегаю, как собака, нигде его не видать, черт бы его побрал. Ну и тысячи долларов не видать.

Что? А, да. Один раз приезжали люди из Серкла. Так они его знают. Сказали, он на Березовом ручье. А мадам что? Мадам сказала: «Bon![32]» — и вся так и просияла. И говорит мне: «Пьер, — говорит, — запрягайте собак. Мы сейчас же едем. Если найдем его, я дам вам две тысячи долларов». А я говорю: «Да-да, сейчас же! Allons, madame![33]».

А про себя думаю: «Ну, две тысячи у меня в кармане. Экий я молодец!» А потом приехали еще какие-то из Серкла и говорят: «Нет, этот Дэвид Пэйн недавно уехал в Доусон». Так мы с мадам туда и не поехали, в Серкл.

---

[32] notes: 32
Прекрасно (франц.).

[33] notes: 33
Едемте, мадам! (франц.).

Да, мсье. Тогда мадам мне говорит: «Пьер, — говорит, — купите лодку, — и дает мне пятьсот долларов. — Завтра, — говорит, — мы едем вверх по реке». «Да, хорошо, мадам, завтра едем вверх по реке». И этот каналья Ситка Чарли содрал с меня за лодку пятьсот долларов. Черт бы его побрал.

Джек Кофрэн не стал держать эту новость про себя, и на другой же день весь Доусон думал и гадал, кто такой Дэвид Пэйн и какое отношение он имеет к Карен Сейзер. Но в тот же день, как и говорил Пьер Фонтэн, миссис Сейзер со своими канадцами двинулась, держась восточного берега, по направлению к Клондайк-сити, пересекла реку и, идя вдоль западного берега, чтобы не напороться на скалы, скрылась среди бесчисленных островков.

— Да, мадам, это то самое место и есть. Первый, второй, третий остров ниже устья реки Стюарт. Вот это третий остров.

С этими словами Пьер Фонтэн уперся багром в берег и поставил лодку поперек течения. Лодка ткнулась носом в прибрежные камни, один из канадцев ловко выскочил на берег и привязал ее.

— Минутку, мадам, я только взгляну.

Фонтэн скрылся за гребнем скалы, и оттуда донесся многоголосый собачий лай. Он тотчас

вернулся.

— Да, мадам, хижина здесь. Я посмотрел. Того человека нет дома. Но очень далеко он не мог уйти и очень надолго — тоже, раз собак не взял. Он скоро вернется, будьте уверены.

— Помогите мне выйти, Пьер. Я измучилась в вашей лодке. Неужели вы не могли устроить меня поудобнее?

Карен Сейзер поднялась из своего мехового гнездышка посреди лодки и выпрямилась, высокая, гибкая. Но хоть в обычной, родной ей обстановке она выглядела хрупкой и нежной, как лилия, этой кажущейся хрупкости никак не соответствовала сила, с какой она оперлась на руку Пьера своей не по-женски крепкой рукой, легко выскочила из лодки и, уверенно ступая стройными, сильными ногами, быстро взобралась по отвесному склону. В этой изящной, прекрасно сложенной женщине таились редкая энергия и выносливость.

Хоть она и одолела подъем с такой небрежной легкостью, на щеках ее показался румянец и сердце билось чаще обычного. Она подошла к хижине с каким-то почтительным любопытством, и румянец на ее щеках разгорелся еще ярче.

— Поглядите-ка, — сказал Пьер, указывая на

щепки у поленницы. — Дрова свежие, дня два, может, три, как наколоты.

Миссис Сейзер кивнула. Она попыталась заглянуть в крошечное оконце, но хоть промасленная бумага и про-пускала свет, разглядеть сквозь нее ничего не удавалось. Потерпев неудачу, миссис Сейзер подошла к двери, приподняла было тяжелый засов, собираясь войти, но передумала. Потом вдруг опустилась на одно колено и поцеловала грубо обтесанный порог. Если Пьер и заметил это, он не подал виду и потом ни с кем никогда не делился этим воспоминанием. Но в следующее мгновение один из канадцев, мирно раскуривавший трубку, вздрогнул, заслышав необычно грозный окрик своего начальника.

— Эй, Легуар! Сделай там сиденье помягче, — приказал Пьер. — Побольше медвежьих шкур, побольше одеял, черт побери!

Но вскоре это гнездышко пришлось разорить: большую часть мехов и одеял перенесли наверх, на берег, и там в ожидании уютно расположилась миссис Сейзер. Опершись на локоть, она смотрела на широкую, убегающую вдаль ленту Юкона. Над горами, вздымавшимися вдалеке, на противоположном берегу, небо было затянуто дымом невидимых отсюда лесных пожаров, и сквозь

эту пелену едва пробивались лучи солнца, слабо освещая землю и отбрасывая неверные тени. Куда ни глянь — до самого горизонта поросшие елью острова, темные воды, скалистые хребты, изрезанные ледниками, — дикая, первобытная пустыня. Ничто здесь не говорило о присутствии человека, ни единый звук не нарушал безмолвия. Весь край, казалось, был скован какой-то неведомой силой, окутан задумчивой тайной безграничных просторов. Быть может, именно от этого миссис Сейзер стало не по себе: она поминутно меняла позу, смотрела то вверх, то вниз по реке, пристально вглядывалась в угрюмые берега, стараясь разглядеть едва заметные устья дальних притоков. Примерно через час команде было велено выйти на берег и разбить лагерь для ночлега, но Пьер остался охранять свою хозяйку.

Долго они сидели молча.

— Ага, вот он, — шепнул Пьер, внимательно смотревший вверх по реке, туда, где она огибала остров.

По течению скользило каноэ, то с правого борта, то с левого поблескивало весло. Двое — на корме мужчина, на носу женщина — гребли, мерно раскачиваясь в такт взмахам весел. Миссис Сейзер не обращала внимания на женщину, пока они

не подплыли совсем близко и уже нельзя было не заметить ее своеобразной красоты. Куртка из лосиной шкуры, причудливо расшитая бисером, подчеркивала линии ее стройной фигуры, живописно повязанный яркий шелковый платок наполовину скрывал густые иссиня-черные волосы. Но мельком взглянув на лицо этой женщины, словно отлитое из красноватой бронзы, миссис Сейзер уже не могла оторваться от него. Огромные черные, чуть раскосые глаза смотрели прямо и пристально из-под тонко очерченных, красиво изогнутых бровей. Хотя скулы заметно выступали, щеки все же мягко круглились, в складке тонких губ была и сила и нежность. Что-то в этом лице говорило о древней монгольской крови, словно спустя много веков в нем проступили черты забытых предков. Это впечатление усиливал и нос с горбинкой, с тонкими подвижными ноздрями, и то дикое, орлиное, что чувствовалось не только в лице, но во всем облике этой женщины. Это был татарский тип, облагороженный до степени идеала, — счастливо то индейское племя, которое раз в двадцать поколений порождает такую совершенную красоту!

Широкими, сильными взмахами весел гребцы круто повернули легкую лодку, поставили ее

поперек течения и мягко пристали к берегу. Еще мгновение — и женщина уже стояла на краю откоса и, перехватывая руками веревку, тащила наверх четверть туши только что убитого лося. Затем к ней присоединился мужчина, и вдвоем быстрыми, сильными рывками, они втянули каноэ на откос. Собаки вились вокруг, скуля и повизгивая; женщина наклонилась приласкать их, и тут взгляд мужчины упал на миссис Сейзер, стоявшую невдалеке. Он посмотрел, бессознательно провел рукой по глазам, словно не веря им, и снова посмотрел.

— Карен, — сказал он просто, подойдя к ней и протягивая руку. — Сперва я решил, что вы мне померещились. Этой весной я одно время страдал снежной слепотой, и с тех пор глаза иногда шутят со мной такие шутки.

Румянец миссис Сейзер стал еще ярче, и ее сердце больно сжалось, она была готова ко всему, только не к этой бесстрастно протянутой руке, но она овладела собой и крепко пожала его руку.

— Вы же знаете, Дэйв, я часто грозилась приехать и уже давно приехала бы, но... но...

— Но я не звал, — засмеялся Дэвид Пэйн и посмотрел вслед индианке, скрывшейся в хижине.

— Нет, я понимаю, Дэйв... на вашем месте я, на-

верно, поступила бы так же. Но, видите, я здесь.

— Что ж, остается сделать еще несколько шагов, во-ти в дом и поужинать, — сказал он весело, не замечая или делая вид, что не замечает, призывной нотки в ее голосе. — Вы, наверно, устали. Куда вы направляетесь? Вверх? Значит, зимовали в Доусоне? Или приехали совсем недавно? Это ваш лагерь? — Он взглянул на канадцев, собравшихся у костра на берегу, и придержал дверь, давая миссис Сейзер пройти. — Я приехал сюда прошлой зимой по льду из Серкла и на время устроился тут. Копаюсь понемножку на ручье Гендерсона; если толку не будет, осенью попытаю удачи на реке Стюарт.

— Вы не очень изменились за это время? — спросила она вдруг, пытаясь перевести разговор на более личные темы.

— Немного меньше жирку, пожалуй, немного больше мускулов. А вы как находите?

Но она только пожала плечами; в полутьме она старалась разглядеть индианку, которая уже развела огонь и жарила толстые куски лосиного мяса, переложенные тонкими ломтиками копченого свиного сала.

— Долго вы пробыли в Доусоне? — Он строгал обрубок молодой березы, который понемногу

превращался в грубое топорище, и говорил, не поднимая головы.

— О, всего несколько дней, — ответила она, следя глазами за индианкой и почти не расслышав вопроса. — Что вы сказали? В Доусоне? Да месяц пробыла и счастлива, что выбралась оттуда. В Арктике мужчины довольно примитивны, знаете ли, и слишком энергично проявляют свои чувства.

— Иначе и быть не может, когда живешь поближе к земле. Условности оставляешь дома вместе с пружинным матрацем. Но вы вовремя надумали уехать. Вы покинете эти края до появления комаров, вы этого не испытали и даже не можете оценить, как вам повезло.

— Да, наверно. Но расскажите же о себе. Как вы живете? Кто тут еще живет поблизости? Или совсем никого нет?

Спрашивая, она наблюдала, как индианка толчет на плоском камне перед очагом завернутые в грубую мешковину кофейные зерна. С упорством и ловкостью, свидетельствующими о нервной системе столь же первобытной, как и этот способ работы, она растирала зерна тяжелым осколком кварца. Дэвид Пэйн заметил взгляд гостьи, и тень улыбки скользнула по его губам.

— Были и соседи, — ответил он. — Несколько человек с Миссури и двое корнуэльцев, но они нанялись к одному золотоискателю на Эльдорадо.

Миссис Сейзер бросила задумчивый и испытующий взгляд на женщину у очага.

— Но индейцев тут, конечно, сколько угодно?

— Все давным-давно уже перебрались в Доусон. Ни одного индейца не осталось во всей округе. Только вот Винапи — она из племени коюкук, они живут примерно за тысячу миль вниз по реке.

Миссис Сейзер внезапно почувствовала головокружение, правда, любезная улыбка не померкла на ее губах, но лицо собеседника вдруг ушло куда-то бесконечно далеко и бревенчатые стены хижины заплясали вокруг, как пьяные. Но тут ее пригласили к столу, и за ужином она понемногу пришла в себя. Она говорила мало — главным образом о природе и о погоде, он же пустился в пространное описание разницы между мелкими шурфами в Низовьях и глубокими зимними разработками в Верховьях.

— Вы не спрашиваете, зачем я приехала на Север?— сказала она. — Конечно, вы и сами это знаете. — Они уже вышли из-за стола, и Дэвйд Пэйн снова принялся за свое топорище. — Вы получили мое письмо?

— Последнее? Должно быть, нет. Скорее всего, оно странствует по Березовому ручью или валяется в хижине какого-нибудь торговца на Нижней реке. С почтой тут у нас из рук вон плохо, ни порядка, ни системы, ни...

— Не будьте же таким деревянным, Дэйв! Помогите мне! — Теперь она говорила резко, властным тоном, как будто прошлое давало ей на это право. — Почему вы ничего не спрашиваете обо мне? О наших общих знакомых? Неужели вас больше не интересует внешний мир? Вам известно, что мой муж умер?

— Неужели? Это очень печально. Когда же?..

— Дэвид! — Она готова была расплакаться с досады, но оттого, что она, наконец, дала себе волю, вложив в этот возглас и обиду и упрек, ей стало немного легче. — Вы вообще получали мои письма? Ведь, наверное, получали, хоть и не ответили ни разу!

— Я не получил последнего, в котором вы, очевидно, сообщали о смерти мужа. Вполне возможно, что и еще какие-нибудь письма затерялись, но некоторые я получил. Я... мм... я читал их вслух в назидание Винапи... Чтобы, знаете, показать ей, до чего испорчены ее белые сестры. И полагаю... мм... что это пошло ей на пользу. Как

по-вашему?

Она не стала отвечать на колкость.

— Вы угадали, — продолжала она, — в последнем письме, которого вы не получили, я писала о смерти полковника Сейзера. Это было год назад. И я писала, что, если вы не приедете ко мне, я приеду сюда, к вам. Я не раз обещала приехать — и вот приехала.

— Какие обещания?

— А в прежних письмах?

— Да, вы обещали, но ведь я не просил обещаний и не отвечал на них, — они были односторонними. Так что я не знаю ничего об этих обещаниях. Но мне известно другое обещание, которое, может быть, и вы припоминаете. Это было очень давно. — Он уронил топорище на пол и поднял голову. — Очень, очень давно, но я все прекрасно помню — день, час, каждую мелочь. Мы с вами были в саду, полном цветущих роз, в саду вашей матушки. Все вокруг распускалось, цвело, и у нас в сердце тоже была весна. Я обнял вас — это случилось впервые — и поцеловал в губы. Вы не припоминаете?

— Не надо, Дэйв, не говорите! Я помню все, и мне так стыдно! Сколько я плакала потом! Знали бы вы, как я страдала...

— Тогда вы обещали мне — да, и еще тысячу раз повторили это в те чудесные дни... Каждый ваш взгляд, каждое прикосновение руки, каждое слово, которое слетало с ваших уст, — все было обещанием. А потом — как бы это сказать? — потом появился другой. Он был стар, годился вам в отцы, и притом далеко не красавец, но, как говорится, порядочный человек. Он не совершал ничего дурного, не нарушал буквы закона и был вполне респектабелен, а кстати, у него была и кое-какая собственность: несколько жалких рудников — десятка два, но это, конечно, неважно; и еще он владел кое-какой землей, и занимался деловыми операциями, и стриг купоны. Он...

— Но ведь было и другое, — прервала она. — Я вам говорила. Меня заставили... денежные обстоятельства... нужда... мои родные... неприятности. Вы же знали, как все отвратительно сложилось. Я ничего не могла поделать. Я не хотела этого. Меня принесли в жертву или я сама себя принесла в жертву, — назовите это, как хотите. Но боже мой, Дэйв, я должна была отказаться от вас! Вы несправедливы ко мне. Подумайте, что мне пришлось пережить.

— Вы не хотели? Вас заставили? Нет на земле такой силы, которая могла бы вас заставить, ко-

торая могла бы толкнуть вас в постель того или иного мужчины.

— Но я все время любила вас, — защищалась она.

— Я не умел измерять любовь вашими мерками. Я до сих пор не умею. Они мне не понятны.

— Но ведь это было тогда. А теперь...

— Мы с вами говорили о человеке, которого вы сочли подходящим мужем для себя. Что это был за человек? Чем он очаровал вас? Какие неотразимые достоинства вы в нем нашли? Правда, это был золотой мешок, всемогущий золотой мешок. Он знал цену деньгам. Великий мастер наживать сто на сто. Он не блистал умом, но превосходно разбирался во всяких подлостях, при помощи которых можно перекачивать чужие деньги в свой карман. И закон смотрел на это сквозь пальцы. За такие дела не судят, и наша христианская мораль одобряет их. В глазах общества он не был дурным человеком. Но в ваших глазах, Карен, и в моих — в наших глазах, когда мы встречались в розовом саду, что он был такое?

— Вы забываете, что он умер.

— Это ничего не меняет. Что он был?. Огромное, толстое, грубое животное, глухое к песне, слепое к красоте, лишенное души. Он ожирел от лени,

обрюзг, и толстый живот выдавал его обжорство.

— Но ведь он умер. А теперь речь идет о нас... о нас! Слышите? Вы правы, я была неверна, я согрешила. Хорошо. А разве вам не в чем покаяться? Пусть я нарушила обещание, а вы? Тогда, в розовом саду, вы говорили, что ваша любовь навсегда. Где же она теперь?

— Она здесь! — горячо воскликнул он и ударил себя в грудь кулаком. — Она всегда была здесь.

— И то была великая любовь, невозможно любить сильнее, — продолжала она. — Так вы говорили в розовом саду, и, однако, ваша любовь не делает вас ни добрым, ни великодушным, не помогает вам простить меня теперь, когда я плачу здесь у ваших ног!

Дэвид Пэйн колебался. Губы его беззвучно шевелились, он не знал, что сказать. Она заставила его обнажить свое сердце и высказать ту правду, которую он скрывал от самого себя. И как она была хороша, озаренная пламенем своего чувства!.. Она воскрешала старые воспоминания, иную жизнь. Он отвернулся, чтобы не видеть ее, но она обошла кругом и снова стала перед ним.

— Посмотри на меня, Дэйв! Посмотри на меня! Я все та же, несмотря ни на что. И ты все тот же, пойми. Мы не изменились.

Ее рука легла ему на плечо, и он уже готов был обнять ее, — но вдруг чиркнула спичка, и этот резкий, неожиданный звук привел его в себя. Винапи, не обращая на них внимания, зажгла светильник. Ее лицо внезапно выступило из мрака, и золотые отсветы пламени придали царственный блеск ее бронзовой красоте.

— Вы сами видите, это невозможно, — простонал он, мягко отстраняя светловолосую женщину. — Это невозможно, — повторил он. — Невозможно.

— Я не девочка, Дэйв, и у меня нет детских иллюзий, —сказала она, не решаясь, однако, вновь приблизиться к нему. — Я женщина и все понимаю. Мужчина есть мужчина. Таков здешний обычай. Меня это не удивляет. Я угадала все с первого взгляда. Но ведь это только так, вы же не по-настоящему женаты?

— У нас на Аляске не задаются подобными вопросами, — беспомощно возразил он.

— Я знаю, но...

— Что ж, да — это только юконский брак, не более того.

— И детей нет?

— Нет.

— И не...

— Нет, нет, ничего такого... Но все равно это невозможно.

— Нет, возможно. — Она снова была рядом, ее рука легко, нежно коснулась его загорелой руки. — Я прекрасно знаю здешние обычаи. Мужчины всегда так делают. Им вовсе не по вкусу оставаться тут на всю жизнь, отрезанными от мира; что ж, они через Компанию Тихоокеанского побережья выписывают женщине провизию на год, дают ей немного денег, и она довольна. Пройдет год, а там... — она пожала плечами. — Так вот и с нею. Мы обеспечим ее через Компанию всем необходимым не на один год, а до конца ее жизни. Чем она была до того, как вы ее подобрали? Дикарка, полуживотное; летом питалась рыбой, зимой — лосиным мясом, в хорошие времена ела до отвала, в плохие — умирала с голоду. Если бы не вы, она такой бы и осталась. Появились вы — и ее жизнь стала лучше. Вы уедете — но она будет жить в достатке, много лучше, чем если бы вовсе не встретила вас.

— Нет, нет, — возразил он. — Это несправедливо.

— Но поймите же, Дэйв. В ее жилах течет другая кровь. Она человек другой расы. Она родилась здесь, на этой земле, вросла в нее корнями. Она

родилась дикаркой и дикаркой умрет, а мы — вы и я, — мы принадлежим к господствующей расе, мы соль земли и ее хозяева! Мы созданы друг для друга. Самый властный зов — зов крови, и мы с вами одной крови. Так велят и разум и чувство. Ваш собственный инстинкт требует этого. Вы не можете это отрицать. Вы не можете забыть о своем долге перед вашими предками. Ваш род существует тысячи, сотни тысяч лет, и с вами он не может прекратиться. Не должен! В вас течет кровь ваших предков. Инстинкт сильнее воли. Вы сын своей расы и должны подчиниться ее зову. Дэйв, уедем отсюда! Мы еще молоды, и жизнь так хороша. Уедем!

Тут он заметил на пороге Винапи, которая шла кормить собак, и несколько раз беспомощно покачал головой. Но рука Карен обвилась вокруг его шеи, и ее щека прижалась к его щеке. И в этот миг он ощутил страшную тяжесть безотрадной жизни — тщетная борьба с грозными силами природы, беспросветные годы, когда подолгу приходилось терпеть холод и голод, жизнь грубая, примитивная, жестокая, и эта сосущая пустота в душе, которую не могло заполнить полуживотное существование. И вот рядом — соблазн, заставляющий вспомнить о том, что есть иные, яркие

и теплые края, музыка, свет и радость, соблазн, вновь воскрешающий прошлое. Дэвид Пэйн бессознательно всматривался в это прошлое. Хоровод лиц проносился перед ним, мелькали забытые картины, нахлынули воспоминания о часах веселья, обрывки песен, взрывы смеха...

— Едем, Дэйв, едем! У меня денег хватит на двоих. Путь открыт. — Она окинула взглядом убогую хижину. — У меня хватит на двоих. Мир — у наших ног, все радости ждут нас. Едем! Едем!

Она уже была в его объятиях, она вся дрожала, и он крепче прижал ее к себе. Потом он поднялся... но тут, едва слышное сквозь толстые бревенчатые стены, до его слуха донеслось рычанье голодных грызущихся собак и резкие крики усмирявшей их Винапи. И другая картина внезапно встала перед ним. Схватка в лесу... огромный, страшный гризли с перебитыми лапами... рычанье собак и резкие крики Винапи, натравливающей их на медведя... и он сам в гуще схватки, задыхающийся, обессиленный, пытается отстранить от себя багровую смерть... Собаки с перебитым хребтом, со вспоротым брюхом воют в бессильной муке, катаясь по снегу, девственная белизна его багровеет, осквернённая кровью человека и зверя... медведь свиреп и неодолим, вот сейчас перегры-

зет последнюю нить, связывающую его, Пэйна, с жизнью. И, наконец, Винапи в самой гуще этого чудовищного клубка, с разметавшимися волосами, со сверкающими глазами — воплощенная ярость, — снова и снова вонзает в тело зверя длинный охотничий нож... Пот выступил на лбу Пэйна. Он стряхнул обвивавшие его женские руки и, шатаясь, отступил к стене. И Карен, понимая, что настала решительная минута, но не в силах угадать, что в нем происходит, почувствовала: все, чего она достигла, ускользает от нее.

— Дэйв, Дэйв! — воскликнула она. — Я не отдам тебя! Не отдам! Если ты не хочешь уехать, мы останемся. Я останусь с тобой. Ты для меня дороже всего на свете. Я буду тебе настоящей северной женой. Буду стряпать тебе, кормить твоих собак, прокладывать для тебя тропу, ходить с тобой на веслах. Я все могу. Поверь, я сильная.

Он и не сомневался в этом сейчас, глядя на нее и отстраняя ее от себя, но лицо его стало мрачным, неумолимым, а глаза — холодными, как лед.

— Я расплачусь с Пьером и его людьми и отпущу их. Я останусь с тобой — все равно, благословит священник наш брак или нет; я пойду с тобой сейчас же, куда хочешь. Дэйв, Дэйв! Послушай меня! Ты говоришь, я согрешила тогда перед тобой — и

это правда; дай же мне исправить это, искупить мою вину. Пусть тогда я не умела мерить любовь правильной мерой, теперь я научилась этому, ты увидишь.

Она опустилась на пол и, всхлипывая, обняла его колени.

— И ведь ты любишь меня, любишь. Подумай, сколько лет я ждала и мучилась! Тебе не понять...

Он наклонился и поднял ее.

— Слушайте, — решительно сказал он, открывая дверь, и почти силой вывел Карен из хижины. — Это невозможно. Тут приходится думать не только о нас двоих. Вы должны уехать. Счастливого пути вам. От Шестидесятой Мили дорога будет тяжелее, но у вас превосходная команда, она оправится. Давайте попрощаемся.

Она уже овладела собой, и все-таки в ее глазах, об-ращенных к нему, мелькнул последний, слабый проблеск надежды.

— А если... если Винапи... — голос ее задрожал, она не договорила.

Но он понял, что она хотела сказать.

— Да, — ответил он. И тотчас, пораженный чудовищностью этой мысли, продолжал:— Об этом нечего и думать. Совершенно невероятно. На это

незачем надеяться.

— Поцелуйте меня, — шепнула она, вспыхнув. Потом повернулась и пошла прочь.

— Снимайтесь с лагеря, Пьер, — сказала она проводнику, который один бодрствовал, дожидаясь ее возвращения. — Нам надо ехать.

При свете костра его зоркие глаза подметили боль в ее лице, но он выслушал странное приказание, как будто в этом не было ничего необычного.

— Хорошо, мадам, — спокойно сказал он. — Куда? К Доусону?

— Нет, — ответила она почти непринужденно. — Вверх по реке. На юг. В Дайю.

И он напустился на своих людей, которые спали, завернувшись в одеяла, пинками и бранью поднял их на ноги и заставил приняться за работу; его пронзительные, требовательные окрики разносились по всему лагерю. В два счета легкая палатка миссис Сейзер была свернута, котелки и сковородки собраны, одеяла сложены, и люди, шатаясь под тяжестью ноши, двинулись к лодке. Миссис Сейзер, стоя на берегу, ждала, пока погрузят багаж и приготовят ей местечко поудобнее.

— Мы обогнем остров, — объяснял ей Пьер, разматывая длинный буксирный канат. — Потом

двинемся по тому протоку, там течение потише. Я думаю, все будет прекрасно.

Его чуткое ухо уловило шорох сухой прошлогодней травы под чьими-то быстрыми шагами, и он оглянулся. К ним шла индианка, окруженная ощетинившимися псами. Миссис Сейзер сразу заметила, что лицо ее, остававшееся бесстрастным все время, пока они были в хижине, теперь ожило и горело гневом,

— Что вы сделали моему мужу? — коротко спросила Винапи. — Он лежит на койке, у него лицо совсем плохое. Я говорю: «Что с тобой, Дэйв? Ты больной?» Но он не говорит ничего. Потом говорит: «Ты хорошая, Винапи, ты иди. Я скоро буду здоров». Что вы сделали с моим мужем?.. Я думаю, вы плохая женщина.

Мисоис Сейзер с любопытством смотрела на эту дикарку, которая остается с ним, тогда как она — она должна уйти одна в ночную тьму.

— Я думаю, вы плохая женщина, — повторила Вина-пи. Медленно, старательно она подбирала одно к одному чуждые слова чужого ей языка. — Я думаю, лучше вам уйти. Не приходить больше. Вы как думаете? У меня один муж. Я индианка. Вы американка. Вы красивая. Вы найдете много мужчин. У вас глаза голубые, как небо. Кожа

такая белая, мягкая.

Она подняла руку и бронзовым пальцем потрогала нежную щеку американки. Честь и слава Карен Сейзер — она даже не вздрогнула. Пьер нерешительно шагнул было к ним, но она сделала ему знак не подходить, хотя ее сердце втайне преисполнилось благодарности к нему.

— Ничего, Пьер, —сказала она. — Идите, пожалуйста.

Он почтительно отступил, чтобы не слышать их разговора, и остановился, ворча что-то про себя и прикидывая, сколько прыжков отделяют их от него.

— Белая, мягкая, как маленький ребенок. — Винапи потрогала другую щеку миссис Сейзер и опустила руку. — Скоро придут комары. Кожа пойдет пятнами, будет больно, вскочат пузыри — у-у, какие! Будут болеть — у, как! Много комаров, много пузырей. Я думаю, лучше вам уходить теперь, пока комаров нет. Вот эта дорога, — она показала вниз по течению, — в Сент-Майкл. Та дорога, — и она показала вверх по течению, — в Дайю. Вам лучше в Дайю. Прощайте.

То, что сделала затем миссис Сейзер, безмерно удивило Пьера. Она вдруг обняла индианку, поцеловала ее и расплакалась.

— Береги его! — воскликнула она. — Береги его!

Потом сбежала вниз, к реке, крикнула, обернувшись:

«Прощай!» — и прыгнула в лодку. Пьер последовал за ней и оттолкнулся от берега. Он взялся за рулевое весло и подал знак. Легуар затянул старую французскую песню, в смутном свете звезд канадцы, точно череда призраков, низко сгибаясь, двинулись по берегу; натянулся канат, весло врезалось в черную воду — и лодка исчезла в ночи.

Встреча, которую трудно забыть

Счастливчик Ла Перл бежал по снегу, всхлипывая, задыхаясь и проклиная свою судьбу, Аляску, Ном, карты и человека, которого он только что прикончил ударом ножа. Горячая кровь уже застыла у него на пальцах, а перед глазами все еще стояла страшная картина: уцепившийся за край стола и медленно оседающий на пол человек, раскатившиеся во все стороны фишки, разбросанные карты, охватившая всех присутствующих дрожь, запнувшиеся на полуслове банкометы, замерший звон монет, испуганные лица, бесконечное мгновение общего молчания, а затем — страшный, леденящий душу рев — призыв к мести, который заставил его бежать и поднял на ноги разъяренный город.

«Все черти из преисподней сорвались с цепей!» — усмехнулся он, ныряя в непроглядную тьму и держа путь к берегу.

Из распахнутых дверей вырывался свет, люди выбегали из палаток, хижин и танцевальных залов и устремлялись в погоню за преступником. Крики людей и лай собак терзали его слух и заставляли ускорить бег. Он мчался все дальше

и дальше. Шум за спиной постепенно слабел, а ярость погони сменилась озлоблением на тщетность и бесцельность поисков. Только чья-то легкая тень бесшумно и неотступно следовала за ним. Оглядываясь, он видел эту тень, которая то вытягивалась расплывчатым силуэтом на укутанном белой пеленой снега открытом пространстве, то растворялась в более густых тенях, отбрасываемых какой-нибудь хижиной или вытащенной на берег лодкой.

Счастливчик Ла Перл глухо выругался, но как женщина, с дрожью в голосе, выдававшей крайнюю усталость, и нырнул еще глубже в лабиринт ледяных глыб, палаток и старательских шурфов. Он налетал на какие-то туго натянутые веревки и груды снаряжения, спотыкался о бессмысленно расставленные ограждения и нелепо вколоченные колья, то и дело падая на обледенелые отвалы и штабеля сплавного леса. Голова у него кружилась, сердце болезненно трепетало в груди, дыхания не хватало, и временами ему казалось, что он сумел уйти от погони. Тогда он замедлял бег, но из мрака вновь появлялась та же тень и заставляла его мчаться дальше с нечеловеческой скоростью. Внезапно быстрая мысль обожгла его мозг, оставив за собой холодок суеверия. Ему,

игроку, настойчивость тени показалась дурным знаком. Безгласная, неумолимая, неотвратимая, она представилась ему воплощением рока, который ждет последнего круга, чтобы подытожить все выигрыши и проигрыши. Счастливчик Ла Перл верил в те редкие минуты озарения, когда разум, вырвавшись за пределы времени и пространства, свободный, возвышается над вечностью и читает свое будущее в открытой книге Случая. Он не сомневался, что именно такое мгновение наступило сейчас; поэтому, когда он повернул прочь от побережья и побежал по заснеженному перелеску, его не испугало то, что тень приблизилась и приняла более четкие очертания. Подавленный собственным бессилием, он остановился на белой поляне и круто обернулся. Правая рука его выскользнула из рукавицы, и в бледном свете звезд засверкал револьвер.

— Не стреляйте. У меня нет оружия.

Тень превратилась в живого человека. При звуке человеческого голоса колени Счастливчика Ла Перла задрожали, и он почувствовал под ложечкой приступ облегчения.

Возможно, все произошло бы по-другому, если бы у Эри Брэма в тот вечер, когда он сидел в «Эльдорадо» и видел, как произошло убийство, был

бы при себе револьвер. Этим же обстоятельством объясняется и то, что ему пришлось впоследствии совершить длительное путешествие по Большой Тропе в обществе совсем неподходящего товарища. Но так или иначе, он был вынужден повторить:

— Не стреляйте. Вы же видите, у меня нет оружия.

— Тогда какого черта вы гонитесь за мной? — спросил игрок, опуская револьвер.

Эри Брэм пожал плечами.

— Это не имеет значения. Я хочу, чтобы вы пошли со мной.

— Куда?

— В мою лачугу на краю лагеря.

Но Счастливчик Ла Перл не двинулся с места и, призвав в свидетели всех богов, лишь посмеялся над безумием Эри Брэма.

— Кто вы такой? — наконец спросил он. — За кого вы меня принимаете? Думаете, я сам полезу в петлю?

— Меня зовут Эри Брэм, — просто ответил второй, — а моя лачуга вот там, на краю лагеря. Я не знаю, кто вы, но вы вытрясли душу из живого тела — у вас на рукаве до сих пор кровь. На вас, словно на второго Каина, ополчился род челове-

ческий, и вам негде преклонить голову. У меня же есть лачуга...

— Если вам дорога ваша собственная жизнь, замолчите, — перебил его Счастливчик Ла Перл, — иначе я для полноты картины сделаю из вас второго Авеля. Я сделаю это, клянусь вам! Ваша лачуга меня не спасет, за мной гонятся тысячи людей, они рыщут повсюду! Прочь бы отсюда, уйти, убежать! Грязные свиньи! Так и хочется повернуть обратно и прикончить парочку-другую, будь они прокляты! Одна жаркая, живая схватка, и я покончу с этим делом! Жизнь — грязная игра, и мне она осточертела!

Он испуганно замолчал, осознав все свое одиночество, и Эри Брэм поспешил воспользоваться минутой слабости. Этот человек не отличался особым красноречием, и речь, которую он повел, была самой длинной в его жизни, если не считать той, какую он произнес много позже и в другом месте.

— Именно поэтому я и сказал вам про свою лачугу. Я могу спрятать вас так, что никому и в голову не придет искать там, а еды у меня сколько угодно. Иначе вам не уйти. Собак у вас нет, снаряжения — тоже, море замерзло, ближайший форт — Сент-Майкл, и весть о вас дойдет туда и

через перевал, в Анвик, раньше, чем вы сами доберетесь. У вас нет ни единого шанса на спасение! Переждите, пока уляжется буря. Через месяц, а то и меньше, про вас и не вспомнят: они будут заняты возвращением в Йорк и разными другими делами. Вы удерете из-под самого их носа, и никто не заметит этого. У меня свои представления о справедливости. Я последовал за вами из «Эльдорадо» сюда совсем не для того, чтобы поймать вас или отдать на растерзание толпе. У меня свои представления, и они не имеют ничего общего с их намерениями.

Он замолчал, увидев, что убийца вытащил из кармана молитвенник. При желтоватом мерцании северного сияния, разлившегося в северо-восточной стороне неба, Счастливчик Ла Перл заставил Эри Брэма обнажить голову и, положив руки на священную книгу, поклясться в правдивости своих слов. Эту клятву Эри Брэм не намеревался нарушить и не нарушил.

У дверей лачуги игрок на мгновение замедлил шаг, удивляясь странному поведению человека, вдруг пожелавшего спасти его, и все еще сомневаясь в нем.

При тусклом свете свечи он успел заметить, что в лачуге довольно уютно и никого посторон-

них нет. И пока хозяин готовил кофе, он быстро свернул себе сигарету. Тепло расслабило его мускулы, и он, приняв небрежный вид, откинулся на спинку стула и стал внимательно изучать лицо Эри сквозь затейливые кольца дыма. Это было лицо человека сильного, но умеющего быть сдержанным и не проявлять свою силу по пустякам. Глубокие морщины напоминали скорее шрамы, а в суровых чертах его не было даже намека на добросердечие или покладистость. Из-под кустистых бровей холодно сверкали серые глаза. Над впалыми щеками уродливо нависали высокие скулы. Подбородок свидетельствовал о слепом упрямстве, а узкий лоб — о том, что в случае необходимости обладатель его бывал и безжалостен. Голос и все черты его физиономии — нос, губы и линии морщин на лбу были довольно грубыми. Это было лицо человека, который привык жить в одиночестве, не прислушиваясь к чужому мнению и ни у кого не ища поддержки, человека, которому по ночам приходилось бороться с одолевавшими его мыслями, но по утрам он вставал с таким видом, что никто не мог догадаться об этих мыслях. Он был человеком ограниченным, но целеустремленным, и Счастливчик — натура широкая, но легкомысленная — не был в состо-

янии разобраться в нем. Если бы Эри пел, когда ему было весело, или вздыхал, когда грустно, Счастливчик мог бы еще понять его, расшифровать его загадочные черты и распознать душу, что скрывалась за ними.

— Помогите-ка мне, мистер, — приказал Эри, когда с кофе было покончено. — Нужно подготовиться на случай появления непрошеных гостей.

Счастливчик назвал хозяину свое имя и умело взялся за дело. Топчан Эри располагался у стены в дальнем конце лачуги. Это было довольно примитивное сооружение из бревен, поверх которых был настлан мох. В ногах торчали неровные концы этих бревен. С той стороны, которая прилегала к стене, Эри снял мох и вытащил три бревна. Концы их он отпилил и снова положил на место, так, чтобы край оставался неровным.

Счастливчик принес из кладовой несколько мешков муки и сложил их на пол у стены, под топчаном. Эти мешки Эри застелил двумя длинными корабельными мешками, а сверху — мохом в несколько слоев и одеялами. На них и должен был покоиться Счастливчик, укрытый с головы до ног шкурами, и никому и в мысли бы не пришло, что под топчаном кто-то есть.

В течение нескольких недель власти произво-

дили тщательные обыски, которые не миновали ни единой хижины, ни единой палатки в Номе, но Счастливчик остался цел и невредим в своем потайном убежище. По правде говоря, никто и не обращал особого внимания на лачугу Эри Брэма, ибо люди и представить себе не могли, что там скрывается убийца Джона Рэндолфа. Обыски кончались, и Счастливчик слонялся без дела по хижине, раскладывал бесконечный пасьянс и выкуривал бесчисленное количество сигарет. Несмотря на непостоянство своего характера, общительность и склонность к веселой беседе, он быстро привык к неразговорчивому Эри. И если уж они разговаривали, то только о намерениях преследователей, о состоянии дорог и ценах на собак, да и об этих вещах они беседовали редко и немногословно.

Счастливчик принялся было за создание системы, которая обеспечивала бы выигрыш в картежной игре, и на протяжении долгих часов и дней он тасовал и сдавал карты, тасовал и сдавал, многократно записывая различные комбинации, снова тасовал карты и снова сдавал их. Но в конце концов даже это занятие опостылело ему, и, уронив голову на стол, он уносился в мечтах в шумные игорные дома Нома, где посменно, даже

ночью лихорадочно трудились банкометы и сторожа, а шарик рулетки никогда не переставал вращаться. В такие минуты он особенно остро ощущал свое одиночество и незадачливость и долго сидел неподвижно, уставив немигающий взор в одну точку. А иногда бурлившая в нем ожесточенность находила выход в страстных взрывах негодования: жизнь частенько гладила его против шерстки, и ему не по душе было ее прикосновение.

— Жизнь — грязная игра, — любил он повторять, и каждый раз эта фраза вызывала у него новый поток жалоб. —У меня никогда не было шанса на выигрыш, — сетовал он. — Меня одурачили еще при рождении и обманывали даже на материнском молоке. Видать, матери довелось играть краплеными картами, и я родился как свидетельство ее проигрыша.

Но разве она имела право винить меня в своем проигрыше и смотреть на меня, как на битую карту? А ведь она поступала именно так, да, да, именно так. Почему она не дала мне возможность хоть разок сорвать кон? Почему не сделали этого другие? И зачем только я приехал в Сиэтл? Для чего валялся на палубе, перебираясь в Ном, и жил там, как свинья? Зачем я заглянул в «Эль-

дорадо»? Ведь я шел к Большому Питу и забрел туда лишь за спичками. Почему у меня самого не было спичек? Почему мне захотелось курить? Вот видите, как все, каждая мелочь, словно карта к карте, складывалось против меня! Ставлю мешок золота, которого у меня никогда не было, что так было задумано еще до моего рождения. Еще до моего рождения, — вот почему. Вот почему Джон Рэндолф назначил ставку и одновременно передвинул фишки. Поделом ему, будь он проклят! Мог бы попридержать свой язык и дать мне возможность испытать мой шанс? Он знал, что я сумею сорвать банк. Почему я не совладал с собой? Почему? Почему? Почему?

И Счастливчик Ла Перл катался по полу, тщетно взывая к своей судьбе.

Во время таких приступов отчаяния Эри обычно бывал нем и недвижим, и лишь серые глаза его становились тусклыми, и взор их мутнел, словно свидетельствуя об отсутствии всякого интереса к излияниям Ла Перла.

Счастливчик прекрасно понимал, что между ним и Эри не было ничего общего, и не раз удивлялся, почему Брэм спас его.

Однако время ожидания подходило к концу. У людей даже жажда крови не может устоять

перед жаждой золота. Убийство Джона Рэндолфа уже стало достоянием истории города. Если бы убийца объявился, жители Нома, несомненно, побросали бы свои дела, дабы свершить акт правосудия, но поиски Счастливчика Ла Перла более не представлялись им задачей первостепенного значения. На дне ручьев лежало золото, песок на взморье еще не был лишен своей ценности, а когда море освободится ото льда, люди, порядком нагрузив заплечные мешки, отправятся в те края, где буквально за бесценок можно скупить все блага земные.

И вот однажды вечером Счастливчик помог Эри Брэму запрячь собак в нарты, и они отправились по заснеженной тропе на юг. Собственно говоря, не строго на юг, ибо у форта Сент-Майкл они свернули от побережья на восток, перевалили через кряж и у Анвика съехали на Юкон, оказавшись на многие сотни километров выше его устья. Они мчались на северо-восток, мимо Куюкука, Тананы и Минука, дважды пересекли Полярной круг, обогнув Великую Излучину у форта Юкон, и по равнине направились на юг. Это было утомительное путешествие, и Счастливчик недоумевал, почему Эри отправился вместе с ним, пока тот не сказал, что у него в Игле есть

участки, где работают люди. Игл находился почти на самой границе — в нескольких милях от него над казармами форта Кьюдахи развевался британский флаг. Затем пошли Доусон, Пелли, Файв Фингерз, Уинди-Арм, Олений Перевал, Линдермен, Чилкут и Дайя.

На следующее утро, после того, как миновали Игл, они встали рано. Это была их последняя общая стоянка, здесь им предстояло расстаться. На сердце у Счастливчика было легко. Все вокруг уже предвещало весну, и даже дни становились длиннее. Теперь он должен был держать путь по территории Канады. Свобода была рядом, возвращалось солнце, и с каждым новым днем он приближался к настоящей жизни. Мир был велик, и будущее снова представлялось ему в ярком свете. Он весело насвистывал во время завтрака и напевал легкую песенку, пока Эри запрягал собак и укладывался. Но когда все было готово и Счастливчик собрался пуститься в путь, Эри подтащил к костру оставшееся полено и уселся на нем.

— Вы слышали когда-нибудь о Тропе Дохлых Лошадей?

Взгляд его стал задумчивым. Счастливчик покачал головой, внутренне негодуя на задержку.

— Иногда бывают встречи, которые трудно

забыть, — негромко и не спеша продолжал Эри. — Именно такая встреча произошла у меня с одним человеком на Тропе Дохлых Лошадей. Многим стоила жизни переправа снаряжения через Снежный Перевал в 1897 году — недаром тропе дали такое название. С первыми же морозами лошади дохли, как мухи, и от Скагуэйя до Беннета лежали целые горы падали. Кони гибли в Скалистых горах, травились на кряже и подыхали от голода на Озерах. Они теряли тропу, от которой и было только что название, срывались с нее, тонули в реке вместе с поклажей и разбивались об огромные валуны. Они калечили ноги в расселинах скал и ломали хребет, опрокидываясь под тяжестью навьюченных на них тюков, вязли в топях, захлебывались в липкой тине или распарывали себе брюхо, натыкаясь в болотах на остатки бревенчатых настилов. Люди загоняли лошадей до смерти, а когда лошади падали, возвращались на побережье и покупали новых. Некоторые хозяева даже не брали на себя труд прикончить несчастных животных и бросали их на произвол судьбы, срывая с них лишь седла да подковы. Сердца людей, которые прошли по Тропе Дохлых Лошадей и не погибли, превратились в камень, люди озверели.

Именно там я и встретил человека с сердцем и терпением Христа. Это был хороший, частный человек. На привалах он спешил снять поклажу со спин лошадей, чтобы животные тоже могли отдохнуть. Он платил по сотне, а то и больше долларов за центнер корма для них. Он укрывал их натертые спины своими одеялами, в то время как у лошадей, принадлежавших другим хозяевам, под седлами гноились глубокие раны. Когда подковы стирались, люди гнали несчастных животных до тех пор, пока копыта их не превращались в кровоточащие лохмотья. Он же мог истратить последний доллар на подковные гвозди. Я знаю это, потому что мы укрывались одним одеялом, ели из одной миски и стали братьями на той самой тропе, где люди теряли разум и умирали, проклиная бога. Как бы он ни уставал, он всегда находил время ослабить уздечку или затянуть подпругу, и часто глаза его наполнялись слезами, когда он смотрел на все это безбрежное море страданий. На перевале в горах, где животные лезли вверх, становясь на дыбы и тщетно пытаясь упереться в скалу передними ногами, совсем как кошка, когда она взбирается на стену, вся дорога была устлана скелетами сорвавшихся с кручи лошадей. И вот в этом кромешном аду

он подбодрял животных словом и лаской, следя, пока не пройдет весь караван. И если какая-нибудь лошадь падала, он задерживал движение, ожидая, когда она поднимется, и никто не осмеливался ему перечить в эти минуты.

В конце перехода один человек, который загнал с полсотни лошадей, вздумал было купить новых; мы взглянули на него и перевели взор на своих лошадок — горных пони из Восточного Орегона. Он предлагал пять тысяч долларов — у нас в ту пору в кармане не было ни гроша, — но мы вспомнили о ядовитой траве на склонах кряжа, перевал в горах, и человек, который считался моим братом, не проронив ни слова, отделил своих лошадей, потом посмотрел на меня, и мы поняли друг друга: я отогнал его лошадей, он — моих, и мы перестреляли их всех до единой, в то время как негодяй, который загубил пятьдесят животных, надрывался от крика, ругая нас на чем свет стоит. Так вот, тот человек, которого я на Тропе Дохлых Лошадей привык считать своим кровным братом...

— Тот человек был Джон Рэндолф, — криво усмехаясь, закончил за него Счастливчик.

Эри кивнул головой.

— Рад, что вы поняли, — сказал он.

— Я готов, — заявил Счастливчик, и лицо его снова помрачнело. — Приступим к делу да только побыстрей.

Эри Брэм поднялся на ноги.

— Всю свою жизнь я верил в бога. Я уверен, что бог справедлив. Я знаю, что сейчас он смотрит сверху, решая нашу судьбу. Я знаю, он хочет, чтобы моя правая рука исполнила его волю. И до того сильна моя вера в него, что я готов стреляться с вами на равных условиях, и пусть всевышний вершит свой суд.

При этих словах сердце Счастливчика встрепенулось от радости. Он ничего не ведал о боге, которому поклонялся Эри, но верил в Случай, который с тех пор, как он ночью бежал по берегу через сугробы, ни разу не отказал ему в помощи.

— Но у нас только один револьвер, — возразил он.

— Будем стрелять по очереди, — ответил Эри, вынимая барабан из кольта Ла Перла и рассматривая его.

— А карты решат, кому стрелять первому!

При мысли об игре на душе у Счастливчика потеплело, и он с молчаливого одобрения Эри вынул из кармана колоду карт. Случай и сейчас поможет ему, в этом он не сомневался. Он думал

о том, что солнце снова светит ему, когда снимал карту, чтобы решить, кому сдавать, и задрожал от радости, увидев, что сдавать ему. Он перетасовал колоду, сдал, и Эри открыл валета пик. Они начали играть. У Эри не было ни одного козыря, а у него на руках туз и двойка. Жизнь снова улыбалась ему, когда они отмерили пятьдесят шагов.

— Если господь удержит карающую десницу и вы убьете меня, тогда берите собак и снаряжение. У меня в кармане вы найдете оформленную купчую, — сказал Эри и, расправив плечи и выпрямившись, остановился на краю пятидесятиметровой дорожки, глядя прямо в лицо противнику.

Счастливчик зажмурился, отвернувшись от солнца, омывающего своим светом океан, и прицелился. Он не спешил. Дважды, когда порыв весеннего ветра сотрясал макушки сосен, он опускал оружие. Потом он опустился на одно колено, стиснул обеими руками револьвер и выстрелил. Эри сделал шаг вперед, вскинул руки, закачался на месте и упал в снег. Но Счастливчик понял, что пуля прошла слишком далеко от сердца, иначе его противник не сумел бы сделать и шага.

Когда Эри, превозмогая боль, с трудом поднялся на ноги и потребовал револьвер, Счастливчика

охватило желание выстрелить еще раз. Но он тотчас отбросил эту мысль. Случай и так был весьма благосклонен к нему, рассуждал он, и, если он сейчас попытается смошенничать, потом придется расплачиваться. Нет, он будет играть честно. Кроме того, Эри серьезно ранен и вряд ли способен удержать в руках тяжелый кольт и взять верный прицел.

— Ну, так где же сейчас ваш бог? — усмехнулся он, передавая раненому револьвер.

— Бог еще не сказал последнего слова, — ответил Эри. — Приготовьтесь к тому, чтобы выслушать его.

Счастливчик стал к Брэму лицом, но, желая уменьшить площадь попадания, повернулся боком. Эри шатался как пьяный, выжидая минуты затишья между порывами ветра. Револьвер был слишком тяжел, он опасался, что не удержит его, как и надеялся Счастливчик. Зажав кольт, он поднял руку над головой и затем стал медленно опускать ее вперед. И в тот момент, когда мушка револьвера оказалась на уровне левой стороны груди Счастливчика, Эри спустил курок. Счастливчик не сделал ни единого движения, но сразу потускнела и погасла мечта о веселом Фриско, а когда вдруг почернел залитый солнечным светом

снег под ногами, игрок в последний раз почти шепотом послал проклятие Случаю, в партии с которым он так жестоко ошибся.

Сивашка

— Будь я мужчиной... — В ее словах не было ничего обидного, но двое мужчин в палатке успели заметить жгучее презрение, сверкнувшее в черных глазах.

Томми, моряк-англичанин, был явно задет, но старый рыцарь Дик Хамфриз, рыбак из Корнуэлла и одно время американский лососевый магнат, улыбнулся ей с обычным добродушием. Женщины занимали слишком большое место в его грубоватом сердце, и он не придавал значения их, как он выражался, «фокусам!» и не сердился, когда узость умственного кругозора мешала им охватить всю картину в целом. Как бы то ни было, оба они ничего не ответили, эти двое мужчин, которые три дня назад приютили у себя в палатке полузамерзшую женщину, отогрели ее, накормили и заставили индейцев-носильщиков вернуть ей вещи. Для этого пришлось заплатить немало долларов и сверх того прибегнуть к демонстрации силы: Дик Хамфриз, прищурясь, держал их на мушке винчестера, пока Томми распределял между ними плату, руководствуясь собственными соображениями. Вообще-то гово-

ря, случай был пустячный, но он много значил для женщины, которая пыталась — и это было безумием — проявлять самостоятельность в Клондайке, обезумевшем от золотой лихорадки 1897 года. Мужчинам хватало собственных забот, и к тому же они не одобряли женщин, пытавшихся самостоятельно справиться с трудностями арктической зимы.

— Будь я мужчиной, я бы знала, что делать, — повторила Молли — та, чьи глаза сверкали жгучим презрением; и в голосе ее прозвучало все упорство, накопленное пятью поколениями американцев.

Наступило молчание. Томми сунул сковороду с сухарями в юконскую печку и подбросил дров. Под его загаром разливалась алая волна, и когда он нагнулся, можно было заметить, что шея его побагровела. Дик, как ни в чем не бывало, продолжал сшивать трехгранной парусной иглой разорвавшиеся ремни — он был слишком добродушен, чтобы его могла смутить буря женского гнева, грозившая вот-вот разразиться в палатке, содрогавшейся под напором ветра.

— Ну, и будь вы мужчиной, так что? — ласково спросил он. Игла застряла в сырой коже, и он на мгновение прервал работу.

— Будь я мужчиной, я надела бы ремни и пошла бы за багажом. Я бы не стала валяться в палатке, когда Юкон того и гляди замерзнет, а вещи еще на перевале. А вы... вы, мужчины, сидите здесь сложа руки и боитесь какого-то дождика. Я вам прямо скажу: янки скроены из другого материала. Они пробивались бы сейчас в Доусон, даже если бы им пришлось идти по колено в адском пламени. Ну, а вы, вы... Ах, будь я мужчиной!

— А я рад, милочка, что вы не мужчина, — заметил Дик Хамфриз, обмотав суровой ниткой кончик иглы и не-сколькими ловкими рывками протащив ее сквозь ремень.

Порыв ураганного ветра звучно шлепнул по палатке, и по тонкому брезенту с веселой злостью забарабанила ледяная крупа. Дым не смог вырваться наружу и повалил из печки, заполнив палатку едким запахом сырых еловых дров.

— О, черт! Почему женщина не может быть благоразумной? — Томми вынырнул из дымных глубин и поглядел на Молли покрасневшими, слезящимися глазами.

— А почему мужчина не может доказать, что он мужчина?

Томми вскочил на ноги с ругательством, которое привело бы в ужас более изнеженную

женщину, рывком раз-вязал узлы и откинул дверь палатки.

Все трое выглянули наружу. Открывшееся перед ними зрелище никак нельзя было назвать веселым. На переднем плане ютилось несколько промокших насквозь палаток, а за ними потоки воды неслись со склона к бурлящему пеной ущелью. По нему стремительно мчалась вздувшаяся горная речка. Карликовые ели, тут и там цепляющиеся корнями за тонкий слой почвы, говорили о близости леса. На противоположном склоне за косой сеткой ливня можно было различить смутные очертании свинцово-белого ледника. И у них на глазах под действием какого-то подземного толчка огромная глыба медленно отделилась от него и обрушилась в долину; этот тяжелый рокот на мгновение заглушил вой бури. Молли невольно попятилась.

— Смотри, ты, женщина! Смотри хорошенько! Три мили против ураганного ветра до Кратерного озера, через два ледника, по скользким уступам, по колено в воде... Смотри же ты, женщина-янки! Смотри: вон они, твои мужчины-янки. — Томми яростно махнул рукой в сторону жмущихся к земле палаток. — Они там все янки, все до единого. Так что же, идут они к Доусону? Хоть один из них

надел ремни? И ты хочешь учить нас, мужчин, нашему делу? Смотри, говорю тебе!

Еще одна гигантская ледяная глыба с грохотом скатилась в долину. Ветер бил внутрь палатки, надувал ее, и, казалось, она вот-вот оборвет веревки и, как огромный пузырь, взлетит в воздух. Вокруг них завивались струи дыма, а ледяная крупа впивалась им в лицо. Томми поспешно застегнул дверь и снова принялся возиться с печкой. Дик Хамфриз бросил починенные ремни в угол и закурил трубку. Даже Молли была на несколько минут укрощена.

— Но ведь там мои платья! — всхлипнула она, поддаваясь женской слабости. — Они лежат сверху и будут испорчены. Вот увидите!

— Не надо расстраиваться, — вмешался Дик, когда последнее жалобное слово замерло в воздухе, — не надо расстраиваться, милочка! Я так стар, что гожусь вам в дяди. У меня дочка постарше вас. Когда мы доберемся до Доусона, я накуплю вам тряпок, сколько захотите. Даже если мне придется потратить на них последний доллар.

— Когда мы доберемся до Доусона? — Ее голос снова стал ядовито-насмешливым. — Да вы заживо сгниете по дороге или утонете в грязной луже. Эх, вы... англичане!

В последнее слово она вложила всю свою злость. Если уж оно не подействует на этих мужчин, значит, их вообще ничем не проймешь. Шея у Томми вновь побагровела, но он только крепче стиснул зубы. В глазах Дика появилось мечтательное выражение. Он имел перед товарищем то преимущество, что когда-то был женат на белой женщине.

При некоторых обстоятельствах кровь пяти поколений коренных американцев оказывается не таким уж удобным наследием: например, когда приходится жить под одной крышей с представителями родственной нации. Эти люди были англичанами. На море и на суше поколения ее предков в течение двух веков били поколения их предков, и так будет всегда. Традиции расы требовали, чтобы их поддержали. Правда, она была лишь современной женщиной, но в ней жило великое прошлое. Не просто Молли Трэвис надевала сейчас резиновые сапоги, плащ и багажные ремни — призрачные руки десятков тысяч предков затягивали ремни и застегивали пряжки, воля этих предков заставила ее решительно сжать губы и сдвинуть брови. Она, Молли Трэвис, собиралась посрамить этих англичан. Они, эти бесчисленные тени, утверждали их

общее первенство в мире.

Мужчины ее не удерживали. Дик предложил было ей взять его зюйдвестку, потому что ее плащ промокнет под этим ливнем, как бумажный. Но она, отстаивая свою независимость, так презрительно фыркнула, что он больше не вынимал трубки изо рта, пока Молли не застегнула дверь палатки снаружи и не зашлепала по залитой водой тропе.

— Как по-твоему, получится у нее что-нибудь? — Выражение лица Дика никак не вязалось с его равнодушным тоном.

— Получится? Если у нее и хватит сил добраться до склада, все равно она ошалеет от холода и боли. Да еще в такой ветер! Ты же сам знаешь, каково это, Дик. Ведь тебе приходилось огибать мыс Горн против ветра. Ты знаешь, каково это — лежать на бом-брам-рее в самую бурю, когда по тебе хлещет град, снег, замерзшая парусина, так что хочется бросить все и разреветься в голос. До платьев ли тут? Да она не отличит узла с юбками от промывочного таза или от чайника.

— Ты, значит, думаешь, что нам не надо было ее пускать?

— Ну уж нет! Черт возьми, Дик, если бы мы ее задержали, у нас до самого Доусона была бы не

жизнь, а сущий ад! Беда в том, что больно уж она смела. Это немножко пособьет с нее спесь.

— Да, — согласился Дик, — гордости у нее хоть отбавляй. Ну а все-таки она молодец. Дура, конечно, что отправилась в такой путь, но куда лучше этих баб, которые сами шагу ступить не могут. Она той же породы, что и наши матери, Томми, и нечего попрекать ее смелостью. Вскормить настоящего мужчину может лишь настоящая женщина. А для того чтобы быть настоящей женщиной, не только юбка нужна. Тигры родятся у тигриц, а не у коров.

— Так что же, значит, потакать им, когда на них дурь находит?

— А почему бы и нет? Острый нож, когда сорвется, поранит глубже, чем тупой, но это еще не значит, что надо затупить его острие о кабестан[34].

— Нож-то ножом, но если говорить о женщинах, я их предпочитаю без такого острия.

— А ты-то что об этом знаешь? — спросил Дик.

— Кое-что, — и Томми, пододвинувшись ближе к огню, взял мокрые чулки Молли, растянул их на своих коленях и начал сушить.

---

[34] notes: 34

Кабестан — вал, на который наматывается канат или цепь, прикрепленные другим концом к грузу.

Дик с досадой взглянул на него, порылся в ее сумке и тоже уселся перед печкой, подставив теплому воздуху мокрые юбки и кофты.

— А ведь ты говорил, что никогда не был женат, — сказал он.

— Разве? Да я и не был женат... то есть... нет, черт побери, я был женат! И лучшей жены ни у кого в мире не было!

— Сорвалась с причала? — Дик взмахнул рукой, подразумевая бесконечность.

— Да, — отозвался Томми и, помолчав, добавил: — От родов.

Бобы на передней конфорке забурлили, и Томми отодвинул кастрюлю в сторону. Затем он занялся сухарями, потыкал в них щепкой и тоже отставил, накрыв сырой тряпкой. Дик, как свойственно людям такого закала, ничем не выдавал своего любопытства и молча ждал.

— Совсем не такая, как Молли. Сивашка.

Дик понимающе кивнул.

— Не такая заносчивая и своевольная, но уж не бросит тебя ни в какой беде. Веслом работала не хуже мужчины и голодала терпеливо, как Иов. Проберется на нос шлюпа, когда его волной заливает, и спустит парус, точно заправский матрос. Мы как-то отправились искать золото

к Теслину. За озером Серпрайз и Литл Йеллоу Хэд. Провиант кончился, и мы ели собак. Собаки кончились, и мы ели постромки, мокасины и шкуры. И хоть бы раз пожаловалась, хоть бы раз захныкала! Она меня предупреждала: «Береги провиант!», но когда он кончился, никаких «я же говорила». «Ничего, Томми, — повторяет она изо дня в день, а сама от слабости едва может лыжу поднять, и ноги у нее стерты в кровь. — Ничего, лучше голодать и быть твоей женщиной, Томми, чем каждый день пировать на потлаче и быть женой вождя Джорджа». Джордж, он был вождем чилкутов и очень на нее зарился.

Хорошие это были деньки. Я, когда сюда попал, видный был парень. Смылся с китобоя «Полярная звезда» в Уналашке и добрался до Ситхи на шлюпе охотника за выдрами, с отработкой за проезд. Сдружился там со Счастливчиком Джеком. Знаешь его?

— Он присматривал в Колумбии за моими лососевыми ловушками, — ответил Дик. — Бесшабашный такой парень, не дурак выпить и за красоткой ухлестнуть?

— Он самый. Года два я был его компаньоном — торговали мы спиртом, одеялами и всяким таким товаром. Ну, а лотом я купил себе шлюп

и, чтобы не подрывать ему торговлю, перебрался в Джуно. Там я и встретил Киллисну — сам-то я ее Тилли называл. Увидел ее на празднике, когда скво плясали на берегу. Вождь Джордж уже скупил все шкуры у стиксов за перевалом и вернулся из Дайи с половиной своего племени. Сивашей собралось на пляску видимо-невидимо, а я был единственным белым. Меня почти никто не знал, кроме тех, с кем я встречался около Ситхи, но я много, про них наслышался от Счастливчика Джека.

Разговаривали они на чинукском наречии, не знали, что я его очень даже хорошо понимаю; особенно две девчонки, которые сбежали из миссии Хейнса, на том конце Линн-канала. Смазливые девчонки, и я уж подумывал к ним пришвартоваться, да только бойки они были на язык, что твои сороки. Уж такое острие — дальше некуда! Как я был там человек новый, начали они перемывать мне косточки, не соображая, что я понимаю каждое их словечко.

Ну, я виду не подал, а стал плясать с Тилли, и чем больше мы плясали, тем больше друг другу нравились. «Ищет себе женщину», — говорит одна девчонка, а другая задрала нос и отвечает: «Найдет он, как же! Женщины сами ищут

мужчин!» И тут все охотники и скво, которые кругом стояли, давай ухмыляться, и хихикать, и повторять ихние шуточки. «А он мальчик хорошенький», — говорит первая. Оно, конечно, был я тогда совсем мальчишка на вид, но уж давно работал наравне с мужчинами, и очень эти её слова меня задели. «Пляшет с девушкой вождя Джорджа, — верещит вторая. — Вот сейчас Джордж отшлепает его веслом и заставит убраться подальше». Вождь Джордж до тех пор все хмурился, а тут засмеялся и стал хлопать себя по коленям. Он был мужик дюжий и пустить в ход весло не постеснялся бы.

«Кто они такие?» — спрашиваю я Тилли, пока мы вертелись в джиге. Только она мне их назвала, я вспомнил все, что мне говорил о них Счастливчик Джек. Я знал о них всю подноготную, даже такие вещи, о которых их собственное племя не слышало. Но я знай держу язык за зубами и все пляшу с Тилли. А они отпускают свои шуточки, и кругом стоит хохот. «Погоди чуток, Томми, говорю я себе, — погоди чуток».

Вот я и выжидал до конца пляски, а вождь Джордж уже притащил весло, чтобы со мной расправиться. Когда мы остановились, гляжу, они ждут, что вот начнется потеха. Но я взял да

и пошел прямо в толпу. Тут девчонки из миссии такое отпустили, что я, хоть и зол был, еле-еле удержался от смеха. А потом как дам им жару! «Кончили?» — спрашиваю. Видел бы ты, какие у них сделались рожи, когда я пошел чесать на чинукском наречии! Я уж не останавливался. Я им все рассказал: и они кто такие и вся их родня — папаши, мамаши, сестры, братья — никого и ничего не забыл. Все их грязные делишки, и какие они подлости устраивали, и как в дураках оставались. Ну и хлестал я их — без всякой пощады! Вся команда сгрудилась вокруг. Им еще не приходилось слышать, чтобы белый вот так ругался на их языке. Все хохотали, кроме девчонок из миссии. Даже вождь Джордж забыл про весло. А может, просто опасался пустить его в ход — как бы тоже чего не услышать!

А девчонки: «Ох, не надо, Томми, — кричат, а у самих слезы по щекам льются. — Пожалуйста, не надо! Мы будем хорошими. Правда, Томми, правда!» Но я-то их знал и спуску им не дал. И только тогда замолчал, когда они уж на коленях стали меня просить. Я поглядел на вождя Джорджа, но он все не мог решить, связываться со мной или нет, и просто засмеялся, хоть и не больно весело.

Ну, ладно. Когда я в тот вечер прощался с Тилли,

я ей сказал, что пробуду здесь еще с недельку и хотел бы почаще с ней видеться. Они там в этих делах притворяться не умеют, и по лицу было видно, как она обрадовалась, потому что была она во всем честная. Да, такую девушку поискать! И понятно, почему она так понравилась вождю Джорджу. Ну, только со мной он тягаться не мог, и я перебежал ему дорогу. Я-то хотел сразу забрать ее на шлюп и уплыть на юг, к Врангелю, пока дело не забудется, а он пусть себе посвистывает. Но так просто это не вышло. Жила она с дядей. Был он ей вроде опекун и совсем помирал от чахотки или еще какой-то грудной болезни. То ему становилось лучше, то хуже, а она его бросать не хотела, пока он жив. Ну, я перед отъездом пошел в ихний вигвам посмотреть, долго ли он протянет,, но старикан уже давно обещал ее вождю Джорджу, и как он меня увидел, у него сразу горлом кровь пошла от злости.

«Приезжай за мной, Томми», — сказала она, когда мы прощались на берегу. «Ладно, — отвечаю, — как только позовешь». И стал я ее целовать по-нашему, по-белому, пока она вся не затряслась, как осиновый лист. А я до того голову потерял, что чуть было не пошел своими руками отправить ее дядюшку в дальний путь.

Ну, поплыл я к Врангелю, мимо бухты Святой Марии; добрался даже до островов Королевы Шарлотты: торговал, возил виски — чем только не занимался! Подходила зима, начинались морозы, и я уже вернулся в Джуно, когда получил от нее весточку. «Приходи, — говорит мне парень, которого она послала. — Киллисну говорит: приходи сейчас». «Что там еще приключилось?» — спрашиваю. «Вождь Джордж, — говорит он, — потлач. Киллисну делать свой жена».

Эх, и погодка же была! С севера во всю мочь дует таку, вода замерзает, чуть попадет на палубу, а мы со старым шлюпом прем против ветра сто миль до Дайи. Когда я отчалил, со мной был матрос — индеец с Дугласа. Но на полдороге его смыло за борт. Я повернул оверштаг и три раза прошел по этому месту — никаких следов.

— Наверное, его сразу скрутило от холода, — заметил Дик, прерывая рассказ и вешая одну из юбок Молли поближе к печке. — Он и утонул, как свинцовое грузило.

— Я тоже так подумал. Дальше я, значит, поплыл один и добрался до Дайи поздним вечером, чуть не помирая от усталости и голода. Был прилив, и я подвел шлюп к самому берегу в устье. А по

реке нельзя было продвинуться ни на дюйм[35], потому как пресная вода уже замерзла. Фалы[36] и блоки совсем оледенели, так что я побоялся спускать грот и кливер. Ну, сперва проглотил я пинту[37] своего груза, а потом бросил все как есть, чтобы легче отчалить было, закутался в одеяло и пошел прямо к становищу. Гляжу, устраивают они большой праздник. Чилкуты явились все до одного, со всеми собаками, младенцами и лодками. А еще Собачьи уши, Малые лососи и индейцы из миссий. Чуть не полтысячи собралось их праздновать свадьбу Тилли — и на двадцать миль кругом ни одного белого.

Никто меня не узнал, потому что у меня голова была закутана в одеяло. Шагая через кучи собак и малышей, я пробрался в первые ряды. На большой поляне уже разгребли сугробы, разожгли костры, а снег утоптали так, что он стал крепче портландского цемента. Совсем рядом, вижу, стоит Тилли, вся в красном сукне и бусах, а против нее — вождь Джордж и его старейшины. Ихнему

---

[35] notes: 35
Дюйм — мера длины, равная 2,54 сантиметра.

[36] notes: 36
Фал — веревка, при помощи которой поднимают паруса.

[37] notes: 37
Пинта — мера жидкости, около 0,5 литра.

шаману помогали колдуны других племен, и такую они чертовщину развели, что меня мороз по коже подирал. И тут я вдруг подумал: «Посмотрела бы на меня сейчас моя ливерпульская родня!» А потом вспомнил белокурую Гусси — когда я вернулся из первого плавания, пришлось мне вздуть ее брата, потому что он не хотел, чтобы за его сестрой увивался простой матрос. И вот так, вспоминая Гусси, смотрел я на Тилли. «До чего же странно свет устроен, — думаю. — Попадает человек в такие передряги, какие его матери и не снились, когда он ей грудь сосал».

Ну, ладно. Когда они совсем расшумелись, забили в барабаны из моржовой шкуры, а шаманы начали вопить вовсю, я, значит, шепчу: «Ты готова?» Черт! Не вздрогнула, не посмотрела на меня, даже бровью не повела! «Я знала, — отвечает тихо, не торопясь, как спокойный весенний прилив. — Где?» «Под обрывом, у края Льда, — шепчу. — Беги, когда скажу».

Я тебе говорил, что собак там было — не сосчитать? Ну, так их было — не сосчитать. Куда ни глянь — всюду лежат. А ведь что они такое — ручные волки, и больше ничего. Когда порода ухудшается, они их случают с дикими в лесу. А уж дерутся эти псы! Рядом с носком моего мокасина

лежал один такой зверюга, а у пятки — другой. Я схватил одного за хвост и разом так крутанул, что только хрустнуло. Пес — лязг зубами, да только я на то место, где была моя рука, бросил за шиворот второго, и прямо ему в пасть. «Беги!» — кричу я Тилли. Ну, ты знаешь, как они дерутся. И минуты не прошло, их уже целая сотня по земле катается, рычат, рвут друг друга зубами; ребятишки и скво бегут кто куда, и все становище словно взбесилось! Тилли незаметно улизнула, и я за ней. Но тут я оглянулся, и дьявол подбил меня на одну штуку: бросил я одеяло и пошел назад.

К этому времени собак уже растащили, толпа помаленьку приходила в себя. Только все, конечно, перемешались и потому еще не заметили, что Тилли нет. «Здорово, — говорю я и трясу вождя Джорджа за руку. — Пусть чаще подымается дым от твоих потлачей, а стиксы к весне добудут много мехов».

Разрази меня бог, Дик, до чего же он обрадовался, когда меня увидел, — ведь его взяла, и он женится на Тилли. Как тут не похвастать? На всех становищах уже слышали, что она мне нравилась, ну, и ему, конечно, лестно: пусть все видят, как он меня побил. Без одеяла меня сразу узнали, и вся команда начала скалить зубы и хихикать.

Весело им было, но я их еще больше развеселил — притворился, будто ничего не знаю.

«Что за шум? — спрашиваю. — Кто тут женится?»

«Вождь Джордж», — говорит шаман, а сам ему кланяется.

«Да ведь у него уже есть две жены».

«А он еще одну берет. Три будет», — и снова ему кланяется.

«А!»— говорю и отворачиваюсь, будто мне совсем не интересно.

Но это им пришлось не до вкусу, и они давай кричать; «Киллисну! Киллисну!»

«Ну и что — Киллисну?» — спрашиваю.

«Киллисну — жена вождя Джорджа, — вопят, — Киллисну— жена!»

Я подпрыгнул и посмотрел на вождя Джорджа. А он кивнул головой и весь напыжился.

«Не быть ей твоей женой, — говорю я грозно и повторяю. — Не быть твоей женой». А он прямо почернел от злости и начал нащупывать свой нож.

«Эй, — кричу и становлюсь в позу, — большое колдовство! Глядите на меня, глядите!»

Тут я стянул свои рукавицы, засучил рукава и давай пальцами по-всякому шевелить!

«Киллисну! — кричу. — Киллисну! Киллисну!»

Я, значит, колдую, и стало им не по себе. Смотрят на меня во все глаза: где уж тут заметить, что Тилли-то давно упорхнула! Я еще три раза позвал Киллисну, потом подождал и еще три раза позвал. Таинственно так, чтобы совсем их напугать. Вождь Джордж никак не мог понять, что я задумал, и хотел было все дело прекратить, но шаманы ему вроде сказали: вот, мол, мы посмотрим, что он сделает, а потом побьем его своим колдовством. А кроме того, был он суеверен не хуже остальных и тоже, верно, побаивался волшебства белых.

Тут я опять стал звать Киллисну, да так тонко и так долго, словно волк завыл, — все женщины прямо затряслись, и мужчины тоже.

«Смотрите, — я прыгнул вперед и ткнул пальцем в кучку скво (женщин-то всегда провести легче), — смотрите!..» А потом стад палец поднимать, будто слежу за летящей птицей. И поднимаю его все выше, выше и слежу взглядом, пока не исчезла она в небе.

«Киллисну, — говорю, а сам смотрю на вождя Джорджа и опять на небо указываю, — Киллисну».

Провалиться мне на этом месте, Дик, ведь они

поверили! Чуть не половина своими глазами видела, как Тилли исчезала, в воздухе. Те, кто пил мое виски в Джуно, небось, видывали вещи и почуднее! Почему бы мне и не сотворить такой штуки, раз уж я продаю злых духов, закупоренных в бутылки? Тут бабы как завизжат! И все стали перешептываться. Я скрестил руки на груди, задрал голову, и они все от меня попятились. Чувствую, пора уходить. «Хватайте его!» — вопит вождь Джордж. Человека три бросилось ко мне, но я повернулся и давай пальцами шевелить, будто собираюсь послать их за Тилли, а потом показал на небо. Тут уж никто из них не согласился бы до меня дотронуться, ни за какое богатство. Вождь Джордж им приказывает, а они ни с места. Тогда он сам на меня бросился, но я опять стал колдовать, и у него тоже духу не хватило.

«Ну-ка, пускай ваши шаманы сотворят такое чудо, как я сейчас, — говорю, — пусть снимут Киллисну с неба, куда я ее послал». — Но колдуны знали, что они могут, а что нет. «Пусть ваши женщины приносят вам сыновей столько, сколько лососи мечут икры, — говорю, а сам поворачиваюсь, чтобы уйти, — и пусть ваш тотем никогда не упадет, и пусть дым ваших костров подымается вечно».

Но если бы они видели, как я рванулся к шлюпу, едва отошел подальше, они бы подумали, что мое колдовство гонится за мной по пятам. Тилли, чтобы согреться, обколола лед, и можно было отплыть сию же минуту. Черт! Ну, и неслись же мы! А таку воет нам в спину, а ледяные волны то и дело перекатываются через борт. Все люки задраены, я за штурвалом, Тилли скалывает лед, — плыли мы так чуть не до рассвета. Наконец я выбросил шлюп на отмель у острова Поркьюпайн. Выбрались мы на берег. От холода зуб на зуб не попадает, одеяла промокли насквозь, а Тилли сушит спички у себя на груди.

Так что я, пожалуй, кое-что об этом знаю, Дик. Семь лет были мы мужем и женой, и в бурю, и в штиль. А потом она умерла в самый разгар зимы. Умерла от родов на чилкэтской фактории. Она держала мою руку до самого конца, а иней полз вверх по двери и густо ложился на окно. Снаружи волк воет, и Безмолвие. Внутри смерть и Безмолвие. Ты никогда не слышал Безмолвия, Дик? И не дай тебе бог услышать его, когда ты будешь сидеть рядом с умирающим. А я слышал. Когда дыхание ревет, как пароходный гудок в тумане, а сердце гремит, словно прибой на камнях...

Сивашкой была она, Дик, но настоящей женщи-

ной. Стойкой и честной, Дик, стойкой и честной. А перед смертью она сказала: «Береги мою перину, Томми, хорошенько береги». Я говорю: ладно. Тогда она открыла глаза, и видно, что больно ей невыносимо. «Я была тебе хорошей женой, Томми, и ты обещай... обещай мне... — у нее точно слова в горле застревали, — что второй раз женишься на белой. Только не на сивашке, Томми. Теперь в Джуно много белых женщин. Я знаю. Твои люди зовут тебя «мужем скво», твои женщины отворачиваются от тебя на улице, и ты не ходишь к ним в дом, как другие мужчины. А почему? Твоя жена — сивашка. Разве не так? А это нехорошо. Вот почему я умираю. Обещай мне. Поцелуй меня в знак, что ты обещаешь».

Я ее поцеловал, и она задремала, а сама шепчет: «Это хорошо». А в последнюю минуту, когда я ухо прямо ей к губам прижал, чтобы расслышать, она сказала: «Береги, Томми, береги мою перину...» Вот так она умерла от родов, там, на чилкэтской фактории.

Палатка дрогнула и вся прогнулась под напором урагана. Дик снова набил трубку, а Томми заварил чай и отставил его в сторону до возвращения Молли.

А как же та, в чьих глазах сверкало презрение, в

чьих жилах струилась кровь янки? Ничего не видя, падая, карабкаясь на четвереньках, задыхаясь от ветра, она возвращалась к палатке. Буря рвала и трепала большой мешок на ее плечах. Непослушными руками она стала дергать завязки, но открыли дверь Томми и Дик. Тогда она собрала всю свою гордость для последнего усилия, шатаясь, вошла в палатку и тут же в полуобмороке повалилась на пол.

Томми расстегнул ремни и оттащил мешок в угол. Когда он взялся за него, раздалось звяканье кастрюль и сковородок. Дик, наливавший в кружку виски, остановился и подмигнул ему. Томми подмигнул в ответ. Он одними губами произнес слово «платья», но Дик предостерегающе помотал головой.

— Вот что, милочка, — сказал он после того, как Молли выпила виски и немного пришла в себя. — Это все высохло. Переоденьтесь-ка. Мы пойдем укрепим палатку. Потом крикните нам, мы вернемся и будем обедать. Позовите, когда будете готовы.

— Разрази меня бог, Дик, это затупит ей острие до самого Доусона, — пробормотал сквозь смех Томми, когда они, скорчившись, прижались к подветренной стене палатки.

— Но это — лучшее, что в ней есть, — ответил Дик, втягивая голову в плечи, потому что из-за угла вылетел настоящий залп ледяной крупы. — Это есть и в тебе и во мне, Томми, и это — наследие наших матерей.

Человек со шрамом

Джекоба Кента всю жизнь одолевала алчность. Эта болезнь развила в нем постоянную недоверчивость, и у него настолько испортился характер, что с ним очень неприятно было иметь дело. Он отличался крайним упорством и неповоротливостью ума и вдобавок ко всему был лунатиком.

Кент чуть не с колыбели работал ткачом, пока клондайкская лихорадка не проникла в его кровь и не оторвала его от станка. Хижина Кента стояла на полпути между постом Шестидесятой Мили и рекой Стюарт, и путешественники, обычно проезжавшие здесь по дороге в Доусон, сравнивали Джекоба Кента с бароном-разбойником, засевшим у себя в замке и взимающим пошлину с караванов, которые проходят по запущенным дорогам в его владениях. Чтобы придумать такое сравнение, нужно было обладать кое-какими познаниями в истории. А не столь образованные золотоискатели с берегов реки Стюарт характеризовали Кента в более примитивных выражениях, в которых преобладали крепкие эпитеты.

Кстати сказать, хижина была вовсе не его. Ее построили за несколько лет перед тем два золото-

искателя, которые пригнали к этому месту плот с лесом. Золотоискатели эти были люди весьма гостеприимные, и даже потом, когда хижина уже пустовала, путники, знавшие дорогу к ней, обычно старались добраться сюда до наступления ночи. Это было очень удобно, так как сберегало труд и время, нужное для того, чтобы разбить лагерь. Существовало даже неписаное правило, по которому каждый ночевавший в хижине оставлял для следующего изрядную вязанку дров. Редкую ночь здесь не собирался десяток-другой людей. Джекоб Кент это приметил и, воспользовавшись тем, что хижина не имела хозяина, самовольно вселился в нее. С тех пор усталые путники должны были платить вымогателю по доллару с головы за право переночевать на полу. Джекоб Кёнт сам взвешивал золотой песок, которым ему платили, и неукоснительно жульничал при этом. Мало того, он сумел так поставить дело, что временные постояльцы рубили для него дрова и носили воду. Это был чистейший разбой, но жертвы Кента, народ добродушный и незлобивый, ненавидя его, не мешали ему все же творить беззакония и наживаться на их.

В один апрельский день Кент сидел у своей хижины, наслаждаясь ранним теплом весеннего

солнца, и поглядывал на дорогу, как хищный паук, высматривающий новых жертв для своей паутины. Внизу, раскинувшись меж берегов на добрых две мили в ширину, лежал Юкон — настоящее море льда, уходившее вдаль, на север и на юг, двумя большими излучинами. По его неровной поверхности проходил санный путь, проложенная в снегу узкая тропа в полтора фута шириной и в две тысячи миль длиной. Каждый линейный фут этого пути слышал больше проклятий, чем любая другая дорога во всем христианском мире и за его пределами.

Джекоб Кент был сегодня в прекрасном настроении. В эту ночь он побил рекорд: продал свое гостеприимство не более и не менее как двадцати восьми посетителям. Конечно, было очень неудобно, и четверо из них до утра храпели на полу у самой его койки. Но зато мешок с золотым песком заметно прибавился в весе. Этот мешок с хранившимся в нем блестящим желтым сокровищем был и величайшей радостью и в то же время величайшим мучением в жизни Кента. В его тесном пространстве вмещались небо и ад. Так как в однокомнатной хижине, естественно, невозможно было укрыть что-нибудь от чужих глаз, то Кента постоянно терзал страх, что его

ограбят. Этим бородатым головорезам ничего не стоит утащить мешок! Кенту постоянно снилось, как крадут его сокровище, и он просыпался, измученный кошмаром. Этот сон преследовал его так часто, что он очень хорошо запомнил лица разбойников, в особенности лицо их атамана, бронзовое от загара и со шрамом на правой щеке. Этот молодец снился ему чаще всех; из страха перед ним Кент, встав поутру, придумывал для своего мешка десятки потайных мест внутри хижины и снаружи. Перепрятав свое сокровище, он вздыхал с облегчением и несколько ночей спал спокойно, а потом опять во сне застигал человека со шрамом в тот момент, когда тот уносил заветный мешок. Очнувшись в самый разгар борьбы с вором, Кент тотчас вскакивал с постели и переносил мешок в новое, более надежное убежище. Нельзя сказать, чтобы он был вполне во власти своих галлюцинаций. Но он верил в предчувствия и в передачу мыслей на расстоянии; и грабители представлялись ему астральными телами реальных, живых людей, которые в это самое время, находясь где-то в другом месте, мысленно посягают на его богатство. Тем не менее Джекоб Кент продолжал обирать людей, которые искали у него приюта, но каждая

новая унция золота, попадавшая в его мешок, усиливала его мучения.

Он сидел у хижины, греясь на солнце, — и вдруг вскочил, пораженный неожиданной мыслью. Высшей радостью для него было беспрестанно взвешивать и перевешивать накопленный им золотой песок. Но это удовольствие несколько омрачалось одним обстоятельством, которого он до сих пор не мог устранить. Его весы были слишком малы; на них можно было взвешивать не больше полутора фунтов (то есть восемнадцати унций) зараз, а у него было накоплено уже примерно в три с третью раза больше. Никак не удавалось взвесить все золото сразу, и Кенту казалось, что это лишает его возможности увидеть свое сокровище во всем его великолепии. А без этого радость обладания наполовину уменьшалась. Да, Кент чувствовал, что пустяковая помеха каким-то образом умаляла не только значение, но и самый факт обладания золотом. И сейчас он вскочил с места именно потому, что его вдруг осенила идея, как разрешить эту задачу.

Он внимательно оглядел дорогу и, убедившись, что на ней никого не видно, вошел в хижину. Вмиг убрал все со стола, поставил на него весы, на одну чашку положил гирьки весом в пятна-

дцать унций и уравновесил их золотым песком на другой чашке. Заменив потом гирьки золотом, он получил уже тридцать унций, точно взвешенных, потом эти тридцать унций ссыпал на одну чашку и уравновесил их новой порцией песка. Таким образом, все его золото оказалось на весах. Пот лил с него градом, он дрожал от восторга, от безмерного упоения. Это не помешало ему тщательно вытрясти из мешка все до последней крупинки. Он тряс его над весами до тех пор, пока равновесие не было нарушено и одна из чашек не опустилась на стол. Чтобы снова уравновесить ее, он положил на другую чашку гирьку в одну двадцатую унции и пять песчинок золота. Он стоял, откинув назад голову, и смотрел как зачарованный на весы. Мешок опустел, но теперь он знал, что на этих весах можно взвесить любое количество золота, от мельчайшей крупинки до множества фунтов. Маммона[38] впустила свои острые когти в сердце Кента.

Заходящее солнце проникло в открытую дверь и ярко осветило весы с их желтым грузом. Драгоценные холмики, подобные золотистым грудям бронзовой Клеопатры, горели в его лучах мягким

---

[38] notes: 38
Маммона — бог иаживы в Древней Сирии.

светом. Время и пространство перестали существовать.

— Ого! Убей, меня бог, если у вас тут не наберется золота на нисколько гиней!

Джекоб Кент круто обернулся и одновременно протянул руку к своей двустволке, лежавшей наготове. Но, увидев лицо непрошеного гостя, он отступил назад, совершенно ошеломленный. То было лицо Человека со Шрамом!

Вошедший с любопытством посмотрел на него.

— Ну, ну, не бойтесь, — сказал он, успокоительно помахивая рукой. — Я не трону ни вас, ни ваше проклятое золото.

Чудак вы! Право, чудак! — добавил он раздумчиво, заметив, что по лицу Кента текут струйки пота и колени у него трясутся. — Чего же вы молчите, как воды в рот набрали? — продолжал он, пока Кент тяжело переводил дух. — Язык, что ли, проглотили? Или беда какая с вами стряслась?

— Где это вас так? — с трудом выговорил наконец Кент, указывая дрожащим пальцем на страшный шрам, пересекавший щеку гостя,

— Это мой товарищ-матрос угодил мне в лицо свайкой от грот-бом-брамселя. А впрочем, какое вам дело до моего шрама, хотел бы я знать? Мешает он вам? Может, он не по вкусу таким

привередникам, как вы? У вас-то физиономия в порядке — ну и радуйтесь!

— Нет, нет, — возразил Кент с вымученной улыбкой, тяжело опускаясь на табурет. — Просто мне интересно...

— Видели вы когда-нибудь такой шрам? — свирепо допрашивал его тот.

— Нет, не видал.

— Ну что, красота, верно?

— Верно, верно, — одобрительно закивал головой Кент, стараясь умилостивить странного посетителя. Но он никак не ожидал, что его попытка быть любезным вызовет такую бурю.

— Ах ты, треска вонючая, швабра ты этакая! Так, по-твоему, самое страшное уродство, каким господь бог когда-либо клеймил человеческое лицо, — красота? Это как же понимать, ты...

Тут вспыльчивый сын моря разразился градом фантастических ругательств, в которых поминались боги, черти, чудовища, люди и все степени их родства. Он выпаливал их с такой бешеной энергией, что Джекоб Кент просто остолбенел. Он весь съежился и поднял руки, словно защищаясь от ударов. У него был такой пришибленный вид, что Человек со Шрамом вдруг остановился, не докончив великолепной заключительной тирады,

и оглушительно захохотал.

— Солнце совсем доконало санную дорогу, — сказал он сквозь последние взрывы смеха. — И мне остается только надеяться, что ты будешь рад провести время в компании человека с такой рожей, как у меня. Разведи-ка пары в твоей кочегарке, а я пойду распрягу и накормлю собак. Принеси побольше дров, не стесняйся, дружище, их в лесу сколько угодно, а кому же, как не тебе, работать топором, — у тебя для этого достаточно времени. Кстати притащи и ведро воды. Да живее поворачивайся, не то я тебя, ей-богу, в порошок сотру!

Неслыханное дело! Джекоб Кент разводил огонь, колол дрова, носил воду и всячески прислуживал своему постояльцу.

Джим Кардиджи еще в Доусоне наслышался рассказов о беззакониях, которые творил этот Шейлок в придорожной хижине. Да и потом, на пути от Доусона, он повстречал много жертв Кента, и каждый из этих людей своими жалобами добавлял что-нибудь к списку его прегрешений. И вот Джим, который, как все моряки, любил озорную шутку, попав в хижину Кента, решил припугнуть и «осадить» ее хозяина. Было совершенно ясно, что это ему удалось даже в большей

мере, чем он ожидал, но он не догадывался, какую роль сыграл в этом его шрам. Однако он видел, что внушает Кенту панический ужас, и решил использовать это без зазрения совести, подобно тому, как нынешние торговцы стараются извлечь как можно больше барыша из попавшего к ним в руки ходкого товара.

— Лопни мои глаза, если ты не расторопный парень! — сказал он с восхищением, склонив набок голову и наблюдая за хлопотавшим хозяином. — Зря ты в золотоискатели полез! Тебе сам бог велел трактир держать. Я много слышал разговоров о тебе по всей реке, но никак не думал, что ты такой молодчина.

Джекобу Кенту страшно хотелось разрядить в него свое ружье, но магическое влияние шрама было слишком сильно. Он видел перед собой живого, подлинного Человека со Шрамом, того самого, кого так часто рисовало ему воображение в роли грабителя, похищающего его сокровища. Так вот он во плоти и крови, тот человек, что являлся ему во сне, тот, кто столько раз замышлял украсть его золото! Другого вывода быть не могло! Человек со Шрамом явился теперь сюда в своем телесном воплощении именно для того, чтобы ограбить его, Кента! А этот шрам! Кент не

мог оторвать от него глаз, как не мог бы остановить биение собственного сердца. Несмотря на все усилия воли, взгляд его возвращался к лицу матроса так же неуклонно, как магнитная стрелка поворачивается к полюсу.

— Что это тебе мой шрам покою не дает? — вдруг загремел Джим Кардиджи — он в это время расстилал на полу свои одеяла и случайно, подняв глаза, встретил напряженный взгляд Кента. — А если уж он тебя так беспокоит, самое лучшее убрать кливер, погасить огни и залечь спать. Не топчись на месте, слушай, что тебе говорят, швабра ты этакая, не то, видит бог, я тебе всю носовую часть вдребезги разнесу!

Кент был в таком страхе, что ему пришлось три раза дунуть на светильник, чтобы погасить его. Он поспешно залез под одеяло, даже не сняв мокасин.

Матрос улегся на свое жесткое ложе на полу и скоро смачно захрапел, а Кент все лежал, уставясь в темноту и одной рукой сжимал дробовик. Он решил не смыкать глаз всю ночь, потому что ему не удалось запрятать подальше свои пять фунтов золота, и они так и лежали в патронном ящике у его изголовья.

Несмотря на все старания, он в конце концов

все же задремал, но и во сне золото лежало у него на душе тяжелым грузом. Не усни он нечаянно в таком беспокойном состоянии, им не овладел бы во сне демон лунатизма и Джиму Кардиджи не пришлось бы на другое утро возиться с промывочным тазом.

Огонь в очаге после тщетной борьбы наконец погас, а мороз проник в хижину сквозь мох в щелях между бревнами и выстудил ее. Собаки под окном перестали выть и, свернувшись клубком, уснули в снегу. Им снился рай, где сколько угодно вяленой рыбы, где нет ни погонщиков, ни бичей. В хижине гость лежал неподвижно, как колода, а хозяин беспокойно ворочался, одолеваемый странными видениями. Около полуночи он вдруг откинул одеяло и встал с койки. Любопытно, что все дальнейшее он проделал, ни разу не чиркнув спичкой. Оттого Ли, что было темно, или оттого, что он боялся увидеть страшный шрам на щеке матроса, но он не открывал глаз и так, ощупью, подняв крышку патронного ящика, всыпал обильный заряд в дуло своего дробовика, умудрившись не просыпать ни крупинки, забил его сверху двойным пыжом, затем убрал все на место и снова лег.

Джекоб Кент проснулся, как только на затя-

нутое промасленной бумагой оконце легли голубовато-серые пальцы рассвета. Опершись на локоть, он поднял крышку патронного ящика и заглянул внутрь. То, что он там увидел, или, вернее, то, чего он уже не увидел, оказало на него действие весьма неожиданное, принимая во внимание его нервозность. Он посмотрел на спавшего матроса, тихонько закрыл ящик и перевернулся на спину. Лицо его выражало необычайное спокойствие. Ни один мускул на этом лице не дрогнул, незаметно было ни следа волнения, ни замешательства. Кент долго лежал и размышлял, а когда поднялся, то стал действовать спокойно, хладнокровно, не торопясь и не производя никакого шума.

Как раз над головой спящего Джима Кардиджи в потолке торчал крепкий деревянный колышек, вбитый в балку. Джекоб Кент осторожно накинул на него веревку в полдюйма толщиной, спустив вниз оба ее конца. Один конец он обвязал вокруг пояса, на другом сделал петлю. Потом взвел курок и положил ружье так, чтобы оно было у него под рукой, рядом, с кучей ремней из лосиной кожи. Усилием воли заставив себя взглянуть на шрам, он надел петлю на шею спящего матроса и, откинувшись всем телом назад, туго затянул ее. И

в ту же минуту, схватив ружье, он прицелился в Джима.

Джим Кардиджи проснулся, задыхаясь, и ошеломленно уставился на торчавшие прямо перед ним два стальных дула.

— Где оно? — спросил Кент, немного ослабив веревку.

— Ах ты, треклятый...

Кент опять откинулся назад, и натянувшаяся веревка сдавила Джиму глотку.

— Ты, чертова... шва... хрр...

— Где оно? —повторил Кент.

— Что? — выговорил Кардиджи, как только ему удалось перевести дух.

— Золото.

— Какое золото?— в полном недоумении спросил матрос.

— Отлично знаешь, какое: мое.

— Да я его и в глаза не видел. Что я тебе, сейф, что ли? Какое мне до него дело! Откуда я могу знать, где оно, твое золото?

— Можешь ты знать или не можешь, а я тебе не дам вздохнуть, пока не скажешь. И попробуй только пальцем шевельнуть, мигом башку прострелю.

— Силы небесные! — прохрипел Кардиджи,

когда веревка снова натянулась.

Кент на мгновение отпустил ее, и матрос, как будто невольно вертя головой, умудрился немного растянуть петлю и передвинуть ее так, чтобы веревка приходилась как раз под подбородком.

— Ну? — спросил Кент, ожидая признания.

Но Кардиджи только усмехнулся.

— Валяй, валяй вешай меня, кабатчик проклятый!

Тогда, как и предвидел Джим, драма превратилась в комедию. Кардиджи был тяжелее Кента, и Кент, как он ни откидывался и ни выгибался, не мог поднять матроса на воздух.

Несмотря на его отчаянные усилия, ноги матроса все не отрывались от пола, а петля под подбородком служила ему дополнительной опорой.

Видя, что повесить Джима не удастся, Кент продолжал натягивать веревку с твердым намерением либо медленно удавить его, либо заставить сказать, куда он девал золото. Однако Человек со Шрамом упорно не желал быть удавленным. Прошло пять, десять, пятнадцать минут — и наконец Кент в отчаянии опустил своего пленника на пол.

— Ну что ж, — сказал он, утирая пот, — не

хочешь висеть, так я тебя застрелю. Видно, некоторым людям не судьба быть повешенными.

Кардиджи нужно было выиграть время.

— Ты этой возней только пол в комнате испортишь, — начал он. — Слушай, Кент, я тебе вот что скажу. Давай-ка пораскинем мозгами и вместе обсудим дело. У тебя пропал золотой песок. Ты говоришь, что я знаю, куда он девался, а я тебе говорю, что не знаю. Давай разберемся и наметим план действий...

— Силы небесные! — перебил Кент, ехидно передразнивая матроса. — Нет уж, действовать в этом доме буду я один, а ты можешь наблюдать и «разбираться». Но попробуй только шелохнуться, и я тебя продырявлю, клянусь богом!

— Ради моей матери...

— Помилуй ее господь, если она тебя любит... Ах, вот ты как! — Кент приставил холодное дуло ко лбу матроса, уловив какое-то движение с его стороны. — Лежи смирно! Только шевельнись — и тебе конец...

Задача была не из легких, если принять во внимание, что Кенту приходилось все время держать палец на курке, но Кент недаром был когда-то ткачом; не прошло и нескольких минут, как он связал матроса по рукам и по ногам. После этого

он выволок его из хижины и положил у стены в том месте, откуда Джим мог видеть реку и смотреть, как солнце поднимается к зениту.

— Даю тебе срок до полудня, а там...

— Что?

— А там отправишься прямехонько в ад. Но если скажешь, где золото, я тебя продержу здесь до тех пор, пока мимо не проедет полицейский отряд!

— Господи помилуй, вот так положение! Да что же это в самом деле? Я невинен, как ягненок, а ты совсем спятил, ничего не соображаешь и хочешь ни за что ни про что меня укокошить. Ах ты старый пират! Ах ты...

Джим Кардиджи облегчил душу залпом ругательств, превзойдя на этот раз самого себя. Джекоб Кент вынес из хижины табуретку, чтобы расположиться поудобнее. Истощив весь свой запас всевозможных словосочетаний, матрос затих и принялся усиленно размышлять, а глаза его неотступно следили за солнцем, которое с неуместной быстротой поднималось с востока. Собаки Джима, удивленные тем, что их так долго не запрягают, сбежались к нему. Беспомощное состояние хозяина их встревожило. Животные чувствовали, что с ним что-то неладно, но не

понимали, что именно, и метались вокруг, жалобным воем выражая ему сочувствие.

— Пошли вон! — прикрикнул на собак матрос, извиваясь, как червяк, в тщетной попытке отогнать их. И вдруг он почувствовал, что лежит на краю какого-то обрыва. Как только собаки разбежались, он стал думать: что это может быть за обрыв, которого ему не видно? И скоро пришел к правильному заключению. Человек от природы ленив, рассуждал про себя Джим. Он делает только то, что абсолютно необходимо. Строя хижину, он должен покрыть крышу землей. И земля берется, конечно, где-нибудь поблизости. Очевидно, он, Джим, лежит на краю ямы, из которой брали землю при постройке хижины Кента. Это обстоятельство, если суметь его использовать, может продлить ему жизнь. И Джим сосредоточил все свое внимание на ремнях, которыми он был связан.

Руки у него были стянуты за спиной, и снег под ними начинал таять. А Джим знал, что сырая лосиная кожа легко растягивается, И, стараясь делать это незаметно, он все больше и больше растягивал ремни на руках.

В то же время он жадно следил глазами за тропой, и когда вдали, со стороны Шестидесятой

Мили, на белом фоне ледяного затора показалось на миг темное пятнышко, он бросил тревожный взгляд на солнце. Оно уже почти дошло до зенита.

Черное пятно на тропе то появлялось, взлетая на торосы, то скрывалось в провалах между ними. Но матрос не решался открыто смотреть в ту сторону, боясь возбудить подозрения Кента. Раз, когда Кент вдруг поднялся и стал внимательно глядеть на реку, у Кардиджи сердце замерло от страха. Но в этот момент нарты, запряженные собаками, мчались по участку тропы, скрытому за ледяным затором, и их не было видно, так что опасность миновала.

— Я добьюсь, что тебя повесят за такие штучки, — грозил Кардиджи, стараясь отвлечь внимание Кента. — И ты будешь гореть в аду, вот помяни мое слово!

— Слушай! — крикнул он опять, подождав немного. — Ты веришь в привидения?

Кент вздрогнул, и Джим, почувствовав, что он на верном пути, продолжал:

— Привидение ведь является человеку, который не сдержал слова. Так что не вздумай отправить меня на тот свет раньше восьми склянок, то есть я хотел сказать — до двенадцати часов, потому что,

если ты это сделаешь, я буду после смерти являться тебе. Слышишь? Повесь меня одной минутой или хотя бы одной секундой раньше времени, и я обязательно буду тебе являться, клянусь богом!

Джекоб Кент, видимо, был в нерешительности, но в разговор с Джимом не вступал.

— Какой у тебя хронометр? Откуда ты знаешь, что он показывает верное время? На какой вы здесь долготе? — приставал к нему матрос, тщетно надеясь вырвать у своего палача лишних несколько минут.

— Как у тебя часы поставлены, по Казармам или по часам Компании? Помни, если ты это сделаешь до того, как пробьет двенадцать, я не успокоюсь на том свете. Честно тебя предупреждаю: я вернусь. А если время у тебя не точное, как ты узнаешь, когда будет ровно двенадцать? Как ты это узнаешь, вот что меня интересует!

— Не беспокойся, отправлю тебя на тот свет вовремя, — ответил Кент. — У меня есть солнечные часы.

— Никуда не годится! Стрелка может иметь отклонение на тридцать два градуса!

— Все точно выверено.

— А как ты выверял? По компасу?

— Нет. По Полярной звезде.

— Правда?

— Правда.

Кардиджи застонал и украдкой бросил взгляд на реку. Нарты уже одолевали подъем на расстоянии какой-нибудь мили от хижины, и собаки бежали легко, большими скачками.

— Далеко еще тень от черты?

Кент подошел к примитивным солнечным часам.

— В трех дюймах, — объявил он после внимательного исследования.

— Вот что, ты крикни: «Восемь склянок», — прежде чем выстрелить. Хорошо?

Кент согласился, и некоторое время оба молчали. Ремни на руках матроса постепенно растягивались, и он начал сдвигать их с кистей вниз, к пальцам.

— Далеко еще до черты?

— Остался один дюйм.

Матрос осторожно задвигался, стараясь убедиться что он сможет в нужный момент скатиться вниз, и снял с рук первый оборот ремней.

— Сколько осталось?

— Полдюйма.

Тут Кент услыхал скрип полозьев и оглянулся. Ездок лежал на нартах плашмя, собаки мчались

во весь дух прямо к хижине. Кент быстро повернулся и поднял ружье к плечу.

— Восьми склянок еще нет! — запротестовал Кардиджи. — Раз так, я непременно буду тебе являться!

Джекоб Кент одну минуту колебался. Он стоял у солнечных часов, шагах в десяти от своей жертвы. Человек на нартах, должно быть, заметил, что у хижины происходит что-то необычное; он встал на колени, и его бич яростно засвистел над спинами собак.

Тень надвинулась на черту, Кенг прицелился.

— Готовься! — торжественно скомандовал он. — Восемь скля...

Но на какую-нибудь долю секунды раньше, чем он договорил, Кардиджи скатился в яму. Кент не выстрелил и кинулся к обрыву. Бах! — ружье выпалило прямо в лицо матросу в тот момент, когда он поднимался с земли. Но из дула не показалось дыма; зато сбоку, у приклада, вспыхнуло яркое пламя, и Джекоб Кент упал на землю...

Собаки взлетели на берег и протащили нарты по его телу, а ездок соскочил в ту минуту, когда Джим Кардиджи, выпростав из ремней руки, лез из ямы.

— Джим! — узнав его, воскликнул приезжий.

— Что случилось?

— Что случилось? Ничего. Просто я иногда проделываю такие небольшие упражнения для укрепления здоровья. Что случилось? Ах ты, олух проклятый! Развяжи меня сейчас же, не то я тебе покажу, что случилось! Живее, или я твоей башкой буду палубу драить!

— Уф! — вздохнул он, когда приезжий принялся работать своим карманным ножом. — Я и сам хотел бы знать, в чем тут дело. Может быть, ты мне это объяснишь, а?

Кент был уже мертв, когда они перевернули его на спину. Его ружье, шомпольное, старинного образца, лежало рядом. Ствол отделился от приклада, у правого курка зияла трещина с рваными краями длиною в несколько дюймов. Матрос, заинтересованный, поднял ружье. Из трещины брызнула сверкающая струя золотого песка. Тут только Джима Кардиджи осенила смутная догадка.

— Убей меня бог на этом самом месте! — заорал он. — Ну и номер! Так вот где было его проклятое золото! А ну-ка, Чарли, тащи сюда таз, да поживее, черт возьми!

Строптивый Ян

Ибо нет закона, ни божьего, ни людского, К северу от пятьдесят третьей.

Ян царапался и лягался, катаясь по земле. Он молча, сосредоточенно отбивался от своих противников руками и ногами. Двое из них наседали на него, покрикивая друг на друга. Но коренастый волосатый детина не хотел сдаваться. Третий человек вдруг взвыл от боли. Ян укусил его за палец.

— Да угомонись ты, Ян! — проговорил, тяжело дыша, Рыжий Билл и сдавил ему шею. — Дай нам повесить тебя тихо и мирно.

Но Ян не выпускал пальца изо рта и, перекатившись в угол палатки, угодил в кастрюли и сковороды.

— Это не по-джентльменски, — урезонивал его мистер Тэйлор, приноравливаясь к движениям головы Яна и следуя за своим пальцем. — Вы убили мистера Гордона, почтеннейшего и храбрейшего из джентльменов, которые когда-либо ездили с упряжкой. Вы убийца, без всяких признаков чести.

— Да и плохой товарищ, — вмешался Рыжий

Билл, — иначе дал бы себя повесить без шума и крика. А ну-ка, Ян, будь молодцом! Не утруждай нас понапрасну. Повесим в два счета, и дело с концом.

— Так держать! — заорал моряк Лоусон. — Втиснуть его башку в горшок и задраить.

— Но мой палец, сэр? — запротестовал мистер Тэйлор.

— Так вытаскивай свой палец! Вечно путаешься под ногами!

— Но позвольте, мистер Лоусон, палец-то мой в пасти у этой твари! Он и так уж почти отгрыз его.

— На другой галс! — предостерегающе крикнул Лоусон.

Яну удалось приподняться, и четверка дерущихся перекатилась к другому краю палатки, в груду шкур и одеял. Они перемахнули через лежавшего недвижимо человека. Из огнестрельной раны на его затылке сочилась кровь.

Все это произошло потому, что на Яна накатило бешенство, — то бешенство, которое вдруг охватывает человека, когда он ковыряет жесткую землю и влачит свои дни в первобытной дикости, в то время как перед его глазами встают тучные долины родины и ему чудится запах сена, травы,

цветов и свежевспаханной земли. В течение пяти суровых лет Ян трудился в поте лица своего. На реке Стюарт на Сороковой Миле, в Серкле, на Коюкуке, Коцебу взрыхлял он неустанно и упорно золотоносную пашню. А теперь в Номе пожинал плоды трудов своих. Это был не Ном золотых отмелей и драгоценного песка, а Ном 1897 года, когда еще не было ни Анвика, ни Эльдорадо. Джон Гордон был янки, и ему следовало бы лучше знать людей. Но Гордон бросил неосторожное слово в ту минуту, когда налитые кровью глаза Яна горели и он в ярости скрежетал зубами. Вот почему в палатке запахло порохом и один человек лежал бездыханный, а другой бился, словно пойманная крыса, и не хотел, чтобы его повесили тихо и мирно, как это предлагали ему товарищи.

— Разрешите вам заметить, мистер Лоусон, прежде чем продолжать потасовку, не мешало бы заставить эту гадину разжать зубы. Он мой палец и не откусывает и изо рта его не выпускает. Он хитрый, как змея, сэр. Поверьте мне, как змея!

— А вот мы сейчас возьмем топор, — гаркнул моряк, — сейчас возьмем топор!

Он втиснул лезвие топора между зубами Яна, рядом с пальцем мистера Тэйлора, и нажал. Ян тяжело дышал носом и фыркал, как кит, но не

уступал.

— Так держать. Пошло, пошло!

— Благодарю вас, сэр. Какое огромное облегчение! — И мистер Тэйлор тут же принялся ловить свою жертву за дрыгающие ноги.

Но в Яне росло бешенство. Он был весь в крови, изрыгал проклятия. На губах у него показалась пена. Терпение и выдержка, которые он проявлял последние пять лет, внезапно обернулись адской злобой. Задыхаясь и обливаясь потом, вся четверка моталась из стороны в сторону, как чудовищный осьминог, поднимающийся из морских глубин. Светильник перевернулся и погас, залитый жиром. Полдневные сумерки едва проникали через отверстие в парусине.

— Опомнись, Ян, ради бога! — взмолился Рыжий Билл. — Не убивать же мы тебя собрались! Мы тебе ничего плохого не сделаем, повесим, только и всего, а ты крутишься и черт знает что выкидываешь! Нет, вы подумайте! Сколько миль вместе проделали, а он вот как с нами обходится! Не ждал я от тебя таких штук, Ян!

— Довольно ходить вокруг да около! Держи его за ноги, Тэйлор! Поднимайте его!

— Слушаю, мистер Лоусон. Как только я крикну, наваливайтесь на него.

Кентуккиец стал ощупью искать Яна в темноте.

— Вот теперь самое время, сэр.

Драка разгорелась с новой силой. И четыре тела общим весом в четверть тонны обрушились на парусиновые стенки палатки. Колья вылетели, веревки оборвались, и палатка упала. Дерущиеся барахтались в складках грязной парусины.

— Тебе же самому хуже, — продолжал Рыжий Билл, сдавливая большими пальцами волосатую глотку, обладатель которой лежал под ним. — Ты и так наделал нам хлопот, а тут еще убирай полдня после того, как мы повесим тебя.

— Будьте любезны, отпустите меня, сэр! — прохрипел мистер Тэйлор.

Рыжий Билл выругался, разжал руки, и оба стали выкарабкиваться из-под парусины. В тот же миг Ян отпихнул моряка и кинулся бежать по снегу.

— Эй вы, черти ленивые! Бак! Брайт! Возьми его, возьми его! — гремел Лоусон, бросаясь вдогонку за беглецом.

Бак, Брайт и вся свора собак обогнали его и скоро настигли убийцу.

Все это было бессмысленно. Бессмысленно было Яну убегать, бессмысленно было остальным

его преследовать. С одной стороны простиралась снежная пустыня, с другой — замерзшее море. Без пищи и крова он все равно не мог бы уйти далеко. И оставалось лишь спокойно ждать, пока голод и холод не погонят его обратно в палатку, что неминуемо должно было случиться. Но эти люди плохо соображали: безумие коснулось и их. А пролитая кровь возбудила в них кровожадность, мутную и горячую. «Мне отмщение, и аз воздам», — сказал господь. Но он предписал это для стран юга, где людские страсти размякают в горячих лучах солнца. А на севере люди привыкли стоять сами за себя, полагая, что молитва действительна только при наличии крепких мускулов. Они слышали, что бог вездесущ, но он на полгода набрасывал покров темноты на их страну, и они не могли найти его. И люди шли ощупью во мраке, и не удивительно, что подчас они могли усомниться в пригодности десяти заповедей.

Ян бежал, не разбирая пути, не думая над тем, куда его несут ноги, — им владела одна мысль: жить! Бак взлетел серым комком — мимо! Ян в бешенстве ударил-его и оступился. Тут Брайт рванул Яна за куртку и повалил в снег. Жить! Жить! Люди, собаки смешались в живой клубок. Ян дрался так же яростно, как и в палатке. Пальцами

левой руки, которой он охватил шею Лоусона, схватил он собаку за шиворот, и, чем больше та рвалась, тем сильнее душил он злосчастного моряка. Правую руку он запустил в шевелюру Рыжего Билла, а в самом низу, под всеми ними, лежал мистер Тэйлор и не мог пошевельнуться. У Яна была мертвая хватка. Безумие придало ему силы. И вдруг без всякой видимой причины Ян разжал обе руки, перевернулся и преспокойно лег на спину. Противники в замешательстве отшатнулись от него. Ян злобно оскалился.

— Друзья, — сказал он, все еще усмехаясь, — вы просили, чтоб я был вежлив, и вот я вежлив. Что вам от меня надо?

— Вот и хорошо, Ян. Спокойствие прежде всего, — поддакнул Рыжий Билл. — Я так и знал, что ты скоро придешь в себя. Немножко спокойствия, и мы мигом обделаем это дельце.

— Какое дельце? Чего вы хотите?

— Вздернуть тебя. Твое счастье, что я мастер своего дела. В Штатах мне не раз приходилось заниматься этим. Чисто сработаю.

— Вздернуть? Меня?

— Ну да.

— Ха-ха, какой глупость! Ну, дай мне руку, Билл! Вот встану, и вешай, пожалуйста.

Он с трудом поднялся на ноги и осмотрелся по сторонам.

— Герр готт![39] Вы только послушайть, он меня пофесить! Ха-ха-ха! Нет, нет! Так не будет!

— Нет будет, швабра ты эдакая! — насмешливо сказал Лоусон, обрезая постромку от саней и с зловещей медлительностью завязывая на ней петлю. —Сегодня состоится суд Линча.

— Погодить немножко, — сказал Ян, пятясь от уготованной ему петли. — Я хочу вас спросить и сделать большой предложение. Кентукки, ты знаешь, что такое суд Линча?

— Да, сэр. Это заведено свободными людьми и джентльменами. Обычай этот старый и всеми уважаемый. Под судейской мантией может скрываться корыстолюбие, правосудие же Линча не связано с судебными издержками. Повторяю, сэр, — никаких судебных издержек. Закон можно купить и продать, но в этой просвещенной стране правосудие свободно, как воздух, которым мы дышим, сокрушительно, как виски, которое мы пьем, быстро, как...

— Короче! Пусть выкладывает, что ему нужно, — вмешался Лоусон, прерывая этот поток крас-

---

[39] notes: 39
Господи боже (Herr Gott)! (нем.).

норечия.

— Скажи мне, Кентукки, один человек убифает другой человек, судья Линч казнит его?

— Если улики достаточно вески, — да, сэр.

— А улик столько, что и на десятерых хватит, —добавил Рыжий Билл.

— Не мешай, Билл, я поговорить с тобой потом. Теперь я спрашивал другой вещь. Кентукки, если судья Линч не пофесит тот человек, что тогда?

— Если судья Линч не повесит человека, этот человек считается свободным и руки его — чистыми от крови. И далее, сэр, наша великая и славная конституция гласит: нельзя два раза подвергать опасности жизнь человека за одно и то же преступление, или что-то в этом роде.

— И нельзя его стрелять или бить палкой по голова? Или еще что-нибудь делать с ним?

— Ни в коем случае, сэр.

— Карашо! Вы слышать, что говориль Кентукки, пустые ваши башки? Теперь я поговорить с Биллом. Билл знает свой дело и пофесит как нельзя лучше.

— Не извольте беспокоиться! Только не мешай, и сам спасибо скажешь. Я своего дела мастер.

— Твой голофа понимает, Билл, что один и что два. И что один и два — это три. Так?

Билл кивнул.

— И когда у тебя две вещь, это не три вещь. Так? Теперь слушай внимательно: чтоб пофесить, надо три вещь. Первый вещь — человек. Ладно, я есть человек. Второй вещь — веревка. У Лоусона веревка. Ладно. Третий вещь —надо иметь, куда привязать веревка. Погляди кругом. Не имеете, куда привязать веревка! Ну, что высказать на это?

Машинально они окинули взглядом снега и льды. Перед ними расстилалась бесконечная равнина, гладкая, лишенная резких очертаний, пустынная, унылая, однообразная. Море, покрытое льдами, плоское побережье, отлогие холмы вдали, и на всем— ровная снежная пелена.

— Ни тебе дерева, ни утеса, ни хижины, ни даже телеграфного столба! — простонал Рыжий Билл. — Ничего подходящего, на чем бы вздернуть детину пяти футов ростом, так чтобы у него пятки не упирались в землю. Ну, что тут сделаешь? — Он с вожделением посмотрел на ту часть тела Яна, которая находится между головой и плечами. — Ну, что ты тут сделаешь? — грустно повторил он, обращаясь к Лоусону. — Бросай веревку! Не для того, видно, бог сотворил эту землю, чтобы на ней люди жили. Это факт.

Ян торжествующе ухмыльнулся.

— Ну, я пойду в палатка, покурить.

— Вроде как ты и прав, Билл, — проговорил Лоусон, — но ты просто болван — вот тебе еще один факт. Даром, что я моряк, а научу вас, сухопутных крыс. О блоках слыхали?

Моряк быстро принялся за дело. Из склада припасов, куда они еще осенью спрятали лодку, он откопал пару длинных весел. Потом связал их почти под прямым углом, как раз у лопастей, и сделал глубокие отверстия в снегу, там, куда предполагалось воткнуть рукоятки весел. У места скрепления он привязал две веревки, один конец прикрепил к прибрежной льдине, а другой протянул Рыжему Биллу.

— Вот, сынок, держи, растяни его.

И Ян увидел, к своему ужасу, как воздвигается его виселица.

— Нет, нет! — закричал он, отступая назад и сжимая кулаки. — Так не надо! Я не хочу фисеть! Вы пустые башки! Выходите, я отколочу вас всех! Я не дамся! Я сдохну раньше, чем вы меня пофесить!

Моряк предоставил двум другим схватить беснующегося Яна. Сцепившись, они катались по снегу, словно запечатлевая трагедию человече-

ских страстей на белом покрове, накинутом на тундру природой. Как только из этого клубка высовывалась нога или рука Яна, Лоусон мигом набрасывал на нее веревку, и, как Ян ни отбивался, ни царапался, ни ругался, его все же мало-помалу связали и поволокли к неумолимому блоку, распяленному на снегу, точно гигантский циркуль. Рыжий Билл накинул петлю, приладив узел как раз у левого уха Яна, Мистер Тэйлор и Лоусон ухватились за свободный конец веревки, готовые по первому слову поднять виселицу. Билл медлил, любуясь тонкостью своей работы.

— Герр готт! Смотрите!

И такой ужас был в голосе Яна, что они бросили все и обернулись.

Упавшая палатка поднялась, стенки ее ходили ходуном, и в надвигающихся сумерках она, словно привидение, шла на них, покачиваясь, как пьяная. В следующий миг Джон Гордон нащупал отверстие в парусине и вылез наружу.

— Какого дья... — Юн осекся на полуслове, увидав то, что происходит. — Стойте, я жив! — закричал он в гневе, подходя к ним.

— Дозвольте мне поздравить вас с вашим избавлением от смерти, мистер Гордон, — пролепетал мистер Тэйлор. — На волосок от нее были, сэр.

— К черту поздравления! Я мог бы сдохнуть и сгнить по вашей милости!

И Джон Гордон разразился потоком выразительной брани, крепкой, состоящей из одних лишь эпитетов и восклицаний.

— Меня только оглушило, — продолжал он, когда отвел душу. — Ты когда-нибудь глушил скотину перед убоем, Тэйлор?

— Да, сэр, не раз случалось в родной стороне.

— Ну вот, так было и со мной. Пуля царапнула затылок, оглушила меня и больше ничего.

Он обернулся к связанному.

— Вставай, Ян! Проси прощения, иди я изобью тебя до бесчувствия. А вы не мешайтесь!

— Не буду просить! Ты меня развяжи, и я тебе показать! — ответил строптивый Ян, над которым все еще властвовал дьявол. — А когда я тебя отколотить, так и тем болфанам буду всыпать одному за другим.

Мужество женщины

Волчья морда с грустными глазами, вся в инее, раздвинув края палатки, просунулась внутрь.

— Эй, Сиваш! Пошел вон, дьявольское отродье! — закричали в один голос обитатели палатки. Беттлз стукнул собаку по морде оловянной миской, и голова мгновенно исчезла. Луи Савой закрепил брезентовое полотнище, прикрывавшее вход, и, опрокинув ногой горячую сковороду, стал греть над ней руки.

Стоял лютый мороз. Двое суток тому назад спиртовой термометр, показав шестьдесят восемь градусов ниже нуля, лопнул, а становилось все холоднее и холоднее; трудно было сказать, сколько еще продержатся сильные морозы. Только господь бог может заставить в этакую стужу отойти от печки. Бывают смельчаки, которые отваживаются выходить при такой температуре, но это обычно кончается простудой легких; человека начинает душить сухой, скрипучий кашель, который особенно усиливается, когда поблизости жарят сало. А там, весной или летом, отогрев мерзлый грунт, вырывают где-нибудь могилу. В нее опускают труп и, прикрыв его свер-

ху мхом, оставляют так, свято веря, что в день страшного суда сохраненный морозом покойник восстанет из мертвых цел и невредим. Скептикам, которые не верят в физическое воскресение в этот великий день, трудно рекомендовать более подходящее место для смерти, чем Клондайк. Но это вовсе не означает, что в Клондайке так же хорошо и жить.

В палатке было не так холодно, как снаружи, но и не слишком тепло. Единственным предметом, который мог здесь сойти за мебель, была печка, и люди откровенно льнули к ней. Пол в палатке был наполовину устлан сосновыми ветками; под ними был снег, а поверх них лежали меховые одеяла. В другой половине палатки, где снег был утоптан мокасинами, в беспорядке валялись котелки, сковороды и прочее снаряжение полярного лагеря. В раскаленной докрасна печке громко трещали дрова, но уже в трех шагах от нее лежала, глыба льда, такого крепкого и сухого, словно его только что вырубили на речке. От притока холодного воздуха все тепло в палатке поднималось вверх. Над самой печкой, там, где труба выходила наружу через отверстие в потолке, белел кру-жок сухого брезента, дальше, был круг влажного брезента, от которого шел

пар, а за ним — круг сырого брезента, с которого капала вода; и, наконец, остальная часть потолка палатки и стены ее были покрыты белым, сухим, толщиною в полдюйма слоем инея.

— О-о-о! О-ох! О-ох! — застонал во сне юноша, лежавший под меховыми одеялами. Его худое, изможденное лицо обросло щетиной. Не просыпаясь, он стонал от боли все громче и мучительнее. Его тело, наполовину высунувшееся из-под одеял, судорожно вздрагивало и сжималось, как будто он лежал на ложе из крапивы.

— Ну-ка, переверните парня! — приказал Беттлз. — У него опять судороги.

И вот шестеро товарищей с готовностью подхватили больного и принялись безжалостно вертеть его во все стороны, мять и колотить, пока не прошел припадок.

— Черт бы побрал эту тропу! — пробормотал юноша, сбрасывая с себя одеяла и садясь на постели. — Я рыскал по всей стране три зимы подряд — мог бы уж, кажется, закалиться! А вот попал в этот проклятый, край и оказался каким-то женоподобным афинянином, лишенным и крупицы мужественности!

Он подтянулся поближе к огню и стал свертывать, сигарету.

— Не подумайте, что я люблю скулить! Нет, я все могу вынести! Но мне просто стыдно за себя, вот н все... Прошел несчастных тридцать миль — и чувствую себя таким разбитым, словно рахитичный молокосос после пятимильной прогулки за город! Противно!.. Спички у кого-нибудь есть?

— Не горячись, мальчик! — Беттлз протянул больному вместо спичек горящую головешку и продолжал отеческим тоном: — Тебе это простительно — все проходят через это. Устал, измучен! А разве я забыл свое первое путешествие? Не разогнуться? Бывало, напьешься из проруби, а потом целых десять минут маешься, пока на ноги встанешь. Все суставы трещат, все кости болят, так, что с ума можно сойти. А судороги? Бывало, так скрючит, что весь лагерь полдня бьется, чтобы меня распрямить! Хоть ты и новичок, а молодец, парень с характером! Через какой-нибудь год ты всех нас, стариков, за пояс заткнешь. Главное — сложение у тебя подходящее: нет лишнего жира, из-за которого многие здоровенные парни отправлялись к праотцам раньше времени.

— Жира?

— Да, да. У кого на костях много жира и мяса; тот тяжелее переносит дорогу.

— Вот уж не знал!

— Не знал? Это факт, можешь не сомневаться. Этакий великан может сделать что-нибудь только с наскоку, а выносливости у него никакой. Самый непрочный народ! Только у жилистых, худощавых людей крепкая хватка — во что вцепятся, того у них не вырвешь, как у пса кость! Нет, нет, толстяки для этого не годятся.

— Верно ты говоришь, — вмешался в разговор Луи Савой. — Я знал одного детину, здорового, как буйвол. Так вот, когда столбили участки у Серного ручья, он туда отправился с Лоном Мак-Фэйном. Помните Лона? Маленький рыжий такой ирландец, всегда ухмылялся. Ну, шли они, шли — весь день и всю ночь шли. Толстяк выбился из сил и начал ложиться на снег, щупленький ирландец толкает его, колотит, а тот ревет, ну, совсем как ребенок. И так всю дорогу Лон тащил его и подталкивал, пока они не добрались до моей стоянки. Три дня он провалялся у меня под одеялами. Я никогда не думал, что мужчина может оказаться такой бабой. Вот что делает с человеком жирок!

— А как же Аксель Гундерсон? — спросил Принс. На молодого инженера великан-скандинав и его трагическая смерть произвели сильное впечатление. — Он лежит где-то там... — И Принс неопределенно повел рукой в сторону таинствен-

ного востока.

— Крупный был человек, самый крупный и самый храбрый из всех, кто когда-либо приходил сюда с берегов Соленой Воды и охотился на лосей, — согласился Беттлз. — Но он — то исключение, которое подтверждает правило. А помнишь его жену, Унгу? Килограммов пятьдесят всего весила. Одни мускулы, ни унции лишнего жира! А мужества у нее было еще больше, чем у него. И эта женщина все вынесла и заботилась только о нем. Ни на том, ни на этом свете не было ничего такого, чего бы она не сделала для него.

— Ну что ж, она любила его, — возразил инженер.

— Да разве в этом дело! Она...

— Послушайте, братья, — вмешался Ситка Чарли, сидевший на ящике со съестными припасами. — Вы тут толковали о лишнем жире, который делает слабыми больших, здоровых мужчин, о мужестве женщин и о любви; и ваши речи были прекрасны. И вот я вспомнил одного мужчину и одну женщину, которых я знавал в те времена, когда этот край был молод, а костры редки, как звезды на небе. Мужчина был большой и здоровый, но, должно быть, ему мешало то, что ты назвал лишним жиром. Женщина была ма-

ленькая, но сердце у нее было большое, больше бычьего сердца мужчины. И у нее было много мужества. Мы шли к Соленой Воде, дорога была трудная, а нашими спутниками были жестокий мороз, глубокие снега и мучительный голод. Но эта женщина любила своего мужа могучей любовью — только так можно назвать такую любовь.

Ситка замолчал. Отколов топором несколько кусков льда от глыбы, лежавшей рядом, он бросил их в стоявший на печке таз для промывки золота, — так они получали питьевую воду. Мужчины придвинулись ближе, а больной юноша тщетно пытался сесть поудобнее, чтобы не ныло сведенное судорогами тело.

— Братья, — продолжал Ситка, — в моих жилах течет красная кровь сивашей, но сердце у меня белое. Первое — вина моих отцов, а второе — заслуга моих друзей. Когда я был еще мальчиком, печальная истина открылась мне. Я узнал, что вся земля принадлежит вам, что сиваши не в силах бороться с белыми и должны погибнуть в снегах, как гибнут медведи и олени. Да, и вот я пришел к теплу, сел среди вас, у вашего очага, и стал одним из вас. За свою жизнь я видел многое. Я узнал странные вещи и много дорог исходил с людьми разных племен. Я стал судить о людях

и о делах их так, как вы, и думать по-вашему. Поэтому, если я говорю сурово о каком-нибудь белом, я знаю: вы не обидитесь на меня. И когда я хвалю кого-нибудь из племени моих отцов, вы не скажете: «Ситка Чарли — сиваш, его глаза видят криво, а язык нечестен». Не так ли?

Слушатели глухим бормотаньем подтвердили, что они согласны с ним.

— Имя этой женщины было Пассук. Я честно купил ее у ее племени, которое жило на побережье, у одного из заливов с соленой морской водой. Сердце мое не лежало к этой женщине, и моим глазам не было приятно глядеть на нее; ее взгляд всегда был опущен, и она казалась робкой и боязливой, как всякая девушка, брошенная в объятия чужого человека, которого она никогда до того не видела. Я уже сказал, что ей не было места в моем сердце, но я собирался в далекий путь, и мне нужен был кто-нибудь, чтобы кормить моих собак и помогать мне грести во время долгих переходов по реке. Ведь одно одеяло может прикрыть и двоих, и я выбрал Пассук.

Говорил ли я вам, что в то время я состоял на службе у правительства? Поэтому меня взяли на военный корабль вместе с нартами, собаками и запасом провизии; со мной была и Пассук. Мы по-

плыли на север, к зимним льдам Берингова моря, и там нас высадили — меня, Пассук и собак. Как слуга правительства, я получил деньги, карты мест, на которые до тех пор не ступала нога человеческая, и письма. Письма были запечатаны и хорошо защищены от непогоды, я должен был доставить их на китобойные суда, которые стояли, затертые льдами, около великой Маккензи. Другой такой большой реки нет на свете, если не считать наш родной Юкон, отца всех рек.

Но это все не так важно, потому что то, о чем я хочу рассказать, не имеет отношения ни к китобойным судам, ни к суровой зиме, которую я провел на берегах Маккензи. Весной, когда дни стали длиннее, после оттепели, мы с Пассук отправились на юг, к берегам Юкона. Это было тяжелое, утомительное путешествие, но солнце указывало нам путь. Край этот, как я уже сказал, был тогда еще совсем пустынный, и мы плыли вверх по течению, работая то багром, то веслами, пока не добрались до Сороковой Мили. Приятно было снова увидеть белые лица, и мы вы-садились на берег.

Та зима была очень сурова. Наступили холод и мрак, а вместе с ними пришел и голод. Агент Компании выдал всего по сорок фунтов муки и

двадцать фунтов сала на человека. Бобов не было вовсе. Собаки постоянно выли, а у людей подводило животы, и лица их прорезали глубокие морщины. Сильные слабели, слабые умирали. В поселке свирепствовала цинга.

Однажды вечером мы пришли на склад и при виде пустых полок еще сильнее почувствовали пустоту в желудке; мы тихо беседовали при свете очага, потому что свечи были припрятаны для тех, кто дотянет до весны. И вот решено было, что надо послать кого-нибудь к Соленой Воде, чтобы сообщить о том, как мы тут бедствуем. При этом все головы повернулись в мою сторону, а глаза людей смотрели на меня с надеждой: все знали, что я опытный путешественник.

— До миссии Хейнса на берегу моря семисот миль, — сказал я, — и весь путь нужно прокладывать на лыжах. Дайте мне ваших лучших собак и запасы лучшей пищи, и я пойду. Со мной пойдет Пассук.

Люди согласились. Но тут встал Длинный Джефф, здоровый, крепкий янки. Речь его была хвастлива. Он сказал, что и он тоже отличный путешественник, что он словно создан для ходьбы на лыжах и вскормлен молоком буйволицы. Он сказал, что пойдет со мною, и если я погибну

в дороге, то он дойдет до миссии и исполнит поручение. Я тогда был молод и плохо знал янки. Откуда я мог знать, что хвастливые речи — первый признак слабости, а те, кто способен на большие дела, держат язык за зубами. И вот мы взяли лучших собак и запас еды и отправились в путь втроем: Пассук, Длинный Джефф и я.

Всем вам приходилось прокладывать тропу по снежной целине, работать поворотным шестом и пробираться через ледяные заторы, поэтому я не буду много рассказывать вам о трудностях пути. Скажу только, что иногда мы проходили десять миль в день, а иногда — тридцать, но чаще все-таки десять. Лучшая еда, которую нам дали с собой, была не так уж хороша, и, кроме того, нам пришлось экономить ее с первого же дня пути. А лучшие собаки едва держались на ногах, и мы с большим трудом заставляли их тащить нарты. Когда мы достигли Уайт-ривер, у нас из трех упряжек осталось уже только две, а ведь мы прошли всего двести миль! Правда, нам не пришлось ничего потерять: издохшие, собаки попали в желудки тех, которые еще были живы.

Ни человеческого голоса, ни струйки дыма нигде до тех пор, пока мы не пришли в Пелли. Там я рассчитывал пополнить наши запасы, а также

оставить Длинного Джеффа, который ослабел в пути и все время хныкал. Но склады фактории в Пелли были почти пусты; агент Компании сильно кашлял и задыхался, глаза его блестели от лихорадки. Он показал нам пустую хижину миссионера и его могилу, заваленную камнями, чтобы собаки не могли вырыть его труп. Мы встретили там группу индейцев, но среди них уже не было ни детей, ни стариков; и нам стало ясно, что не многие из оставшихся доживут до весны.

Итак, мы отправились дальше с пустым желудком и тяжелым сердцем. До миссии Хейнса оставалось еще пятьсот миль пути среди вечных снегов и безмолвия. Было самое темное время года, и даже в полдень солнце не озаряло южного горизонта. Но ледяных заторов стало меньше, идти было легче. Я непрестанно подгонял собак, и мы шли почти без передышки. Как я и предполагал, нам все время приходилось, идти на лыжах. А от лыж сильно болели ноги, и на них появились незаживающие трещины и раны. С каждым днем эти болячки причиняли нам все больше мучений. И вот однажды утром, когда мы надевали лыжи, Длинный Джефф заплакал, как ребенок. Я послал его прокладывать дорогу для

меньших нарт, но он, чтоб было полегче, снял лыжи. Из-за этого дорога не утаптывалась, его мокасины делали большие углубления в снегу, собаки проваливались в них. Собаки были так худы, что кости выпирали под шкурой, им было очень тяжело двигаться. Я сурово выбранил Джеффа, и он обещал не снимать лыж, но не сдержал слова. Тогда я ударил его бичом, и уж после этого собаки больше не проваливались в снег. Джефф вел себя, как ребенок; мучения в пути и то, что ты назвал лишним жиром, сделали его ребенком.

А Пассук? В то время как мужчина лежал у костра и плакал, она стряпала, по утрам помогала мне запрягать собак, а вечером распрягать их. Это Пассук спасала наших собак. Она всегда шагала на лыжах впереди, утаптывая им дорогу. Пассук... что вам сказать! Я тогда принимал все это как должное и не задумывался ни над чем. Голова моя была занята другим, и к тому же я был молод и мало знал женщин. И только позднее, вспоминая это время, я понял, какая у меня была жена.

Джефф теперь был только обузой. У собак и так не хватало сил, а он украдкой ложился на нарты, когда оказывался позади. Пассук сама взялась вести упряжку, и Джеффу совсем было нечего делать. Каждое утро я честно выдавал ему его

порцию еды, и он один уходил вперед, а мы собирали вещи, грузили нарты и запрягали собак. В полдень, когда солнце дразнило нас, мы его догоняли — он брел, плача, и слезы замерзали у него на щеках — и шли дальше. Ночью мы делали привал, откладывали порцию еды для Джеффа и расстилали его меховое одеяло. Мы разводили большой костер, чтобы ему было легче заметить нас. И через несколько часов он приходил, хромая, съедал с жалобными причитаниями свою порцию и засыпал. Так повторялось каждый день. Этот человек не был болен — он просто устал, измучился и ослабел от голода. Но ведь Пассук и я тоже устали, измучились и ослабели от голода, а между тем выполняли всю работу, — он же не работал. Но все дело, видно, было в том лишнем жире, о котором говорил брат Беттлз; а ведь мы всегда честно оставляли ему его порцию еды.

Раз мы встретили на дороге двух призраков, странствовавших среди Белого Безмолвия, — мужчину и мальчика. Они были белые. На озере Ле-Барж начался ледоход, и все их имущество унесло, только на плечах у каждого было по одеялу. Ночью они разводили костер и лежали скрючившись подле него до утра. У них еще осталось немного муки, и они мешали ее с теплой

водой и пили. Мужчина показал мне восемь чашек муки — все, что у них осталось, а до Пелли, где уже тоже начался голод, было еще двести миль. Путники рассказали нам, что с ними шел индеец и они честно делились с ним; но он не мог поспеть за ними. Я не поверил тому, что они честно делились с индейцем, — почему же он тогда отстал от них?

Я не мог дать им ничего. Они пытались украсть у нас самую жирную собаку (которая тоже была очень худа), но я пригрозил им револьвером и велел убираться. И они ушли, эти два призрака, качаясь, как пьяные, — ушли в Белое Безмолвие, по направлению к Пелли.

Теперь у меня оставалось только три собаки и одни нарты; и собаки были кожа да кости. Когда мало дров, огонь горит плохо и в хижине холодно, — так было и с нами. Мы ели очень мало, и потому мороз сильно донимал нас; лица у нас были обморожены и почернели так, что родная мать не узнала бы нас. Ноги сильно болели. По утрам, когда мы трогались в путь, я едва сдерживал крик — такую боль причиняли лыжи. Пассук, не разжимая губ, шла впереди и прокладывала дорогу. А янки все стонал и хныкал.

В Тридцатимильной реке течение быстрое, оно

подмыло лед в некоторых местах, и нам попадалось много промоин и трещин, а иногда и сплошь вода. И вот однажды мы, как обычно, догнали Джеффа, который ушел раньше и теперь отдыхал. Нас разделяла вода. Он-то обошел ее кругом, по кромке льда, но для нарт кромка была слишком узкой. Мы нашли полосу еще крепкого льда. Пассук пошла первой, держа в руках шест на тот случай, если она провалится. Пассук весила мало, лыжи у нее были широкие, и она благополучно перешла, затем позвала собак. Но у собак не было ни шестов, ни лыж, они провалились, и тёчение сейчас же подхватило их. Я крепко ухватился за нарты сзади и удержал их, но постромки оборвались, и собак затянуло под лед. Собаки очень отощали, но все же я рассчитывал на них, как на недельный запас еды, — и вот их не стало!

На следующее утро я разделил весь небольшой остаток провизии на три части и сказал Длинному Джеффу, пусть он идет с нами или остается — как хочет, мы теперь пойдём налегке и потому быстро. Он начал кричать и жаловаться на больные ноги и на всякие невзгоды и упрекал меня в том, что я плохой товарищ. Но ведь ноги у Пассук и у меня тоже болели, еще больше, чем у него, потому что мы прокладывали путь собакам;

и нам тоже было трудно. Длинный Джефф клялся, что он умрет, а дальше не двинется. Пассук молча взяла меховое одеяло, а я котелок и топор, и мы собрались идти. Но женщина посмотрела на порцию, отложенную для Джеффа, и сказала: «Глупо оставлять еду этому младенцу. Ему лучше умереть». Я покачал головой и сказал: «Нет, товарищ всегда останется товарищем». Тогда Пассук напомнила мне о людях на Сороковой Миле, — там были настоящие мужчины, и их было много, и они ждали от меня помощи. Когда я опять сказал «нет», она выхватила револьвер у меня из-за пояса, и Длинный Джефф отправился к праотцам задолго до положенного ему срока, — как тут говорил брат Беттлз. Я бранил Пассук, но она не выказала никакого раскаяния и не была огорчена. И в глубине души я сознавал, что она права.

Ситка Чарли замолчал и снова бросил несколько кус-ков льда в стоявший на печке таз. Мужчины молчали, по их спинам пробегал озноб от заунывного воя собак, которые словно жаловались на страшный мороз.

— Каждый день нам на пути попадались потухшие костры, где прямо на снегу ночевали те два призрака, и я знал, что не раз мы будем радовать-

ся такому ночлегу, пока доберемся до Соленой Воды. Затем мы встретили третий призрак — индейца, который тоже шел к Пелли. Он рассказал нам, что мужчина и мальчик обделили его едой, и вот уже три дня, как у него нет муки. Каждую ночь он отрезал куски от своих мокасин, варил их и ел. Теперь от мокасин уже почти ничего не осталось. Индеец этот был родом с побережья и говорил со мной через Пассук, которая понимала его язык. Он никогда не был на Юконе и не знал дороги, но все же шел туда. Как далеко это? Два сна? Десять? Сто? Он не знал, но шел к Пелли. Слишком далеко было возвращаться назад, он мог идти только вперед.

Он не просил у нас пищи, потому что видел, что нам самим приходится туго. Пассук смотрела то на индейца, то на меня, как будто не зная, на что решиться, словно куропатка, у которой птенцы попали в беду. Я повернулся к ней и сказал:

— С этим человеком нечестно поступили. Дать ему часть наших запасов?

Я видел, что в глазах ее блеснула радость, но она долго смотрела то на него, то на меня, ее рот сурово и решительно сжался, и, наконец, она сказала:

— Нет. До Соленой Воды еще далеко, и смерть

подстерегает нас по дороге. Пусть лучше она возьмет этого чужого человека я оставит в живых моего мужа Чарли.

И индеец ушел в Белое Безмолвие по направлению к Пелли.

А ночью Пассук плакала. Я никогда прежде не видел ее слез. И это было не из-за дыма от костра, так как дрова были совсем сухие. Меня удивила ее печаль, и я подумал, что мрак и боль сломили ее мужество.

Жизнь — странная вещь. Много я думал, долго размышлял о ней, но с каждым днем она кажется мне все более непонятной. Почему в нас такая жажда жизни? Ведь жизнь — это игра, из которой человек никогда не выходит победителем. Жить — это значит тяжко трудиться и страдать, пока не подкрадется к нам старость, и тогда мы опускаем руки на холодный пепел остывших костров. Жить трудно. В муках рождается ребенок, в муках старый человек испускает последний вздох, и все наши дни полны печали и забот. И все же человек идет в открытые объятия смерти неохотно, спотыкаясь, падая, оглядываясь назад, борясь до последнего. А ведь смерть добрая. Только жизнь причиняет страдания. Но мы любим жизнь и ненавидим смерть. Это очень странно!

Мы разговаривали мало, Пассук и я. Ночью мы лежали в снегу как мертвые, а по утрам продолжали свой путь — все так же молча, как мертвецы. И все вокруг нас было мертво. Не было ни куропаток, ни белок, ни зайцев — ничего. Река была безмолвна под своим белым покровом. Даже сок застыл в деревьях. И мороз был такой, как сейчас. Ночью звезды казались близкими и большими, они прыгали и танцевали; днем же солнце дразнило нас до тех пор, пока нам не начинало казаться, что мы видим множество солнц; воздух сверкал и искрился, а снег был, как алмазная пыль. Кругом не было ни костра, ни звука — только холод и Белое Безмолвие. Мы потеряли счет времени и шли точно мертвые. Наши глаза были устремлены в сторону Соленой Воды, наши мысли были прикованы к Соленой Воде, а ноги сами несли нас к Соленой Воде. Мы останавливались у самой Такхины — и не узнали ее. Наши глаза смотрели на пороги Уайт Хорс — и не видели их. Наши ноги ступали по земле Каньона — и не чувствовали этого. Мы ничего не чувствовали. Часто мы падали в снег, но, даже падая, смотрели в сторону Соленой Воды.

Кончились последние запасы еды, которую мы все время делили поровну, — и Пассук падала

чаще и чаще. И вот около Оленьего перевала силы изменили ей. Утром мы лежали под нашим единственным одеялом и не трогались в путь. Мне хотелось остаться там и встретить смерть рука об руку с Пассук, потому что я стал старше и начал понимать, что такое любовь женщины. До миссии Хейнса оставалось еще восемьдесят миль, и вдали, над лесами, великий Чилкут поднимал истерзанную бурями вершину.

И вот Пассук заговорила со мной — тихо, касаясь губами моего уха, чтобы я мог слышать ее. Теперь, когда она уже не боялась моего гнева, она стала изливать передо мной душу, говорила мне о своей любви и о многом другом, чего я раньше не понимал.

Она сказала:

— Ты мой муж, Чарли, и я была тебе хорошей женой. Я разжигала твой костер, готовила тебе пищу, кормила твоих собак, работала веслом, прокладывала путь и никогда не жаловалась. Я никогда не говорила, что в вигваме моего отца было теплее или что у нас на Чилкате было больше еды. Когда ты говорил, я слушала. Когда ты приказывал, я повиновалась. Не так ли, Чарли?

И я ответил:

— Да, это так.

Она продолжала:

— Когда ты впервые пришел к нам на Чилкат и купил меня, даже не взглянув, как покупают собаку, и увел с собой, сердце мое восстало против тебя и было полно горечи и страха. Но с тех пор прошло много времени. Ты жалел меня, Чарли, как добрый человек жалеет собаку. Сердце твое оставалось холодно, и в нем не было места для меня; но ты всегда был справедлив ко мне и поступал, как должно поступать. Я была с тобой, когда ты совершал смелые дела и шел навстречу большим опасностям. Я сравнивала тебя с другими мужчинами и видела, что ты лучше многих из них, что ты умеешь беречь свою честь и слова твои мудры, а язык правдив. И я стала гордиться тобой. И вот наступило такое время, когда ты заполнил мое сердце и все мои мысли были только о тебе. Ты был для меня как солнце в разгар лета, когда оно движется по золотой тропе и ни на час не покидает неба. Куда бы ни обратились мои глаза, я везде видела свое солнце. Но в твоем сердце, Чарли, был холод, в нем не было места для меня.

И я ответил:

— Да, это было так. Сердце мое было холодно, и в нем не было места для тебя; но так было раньше.

Сейчас мое сердце подобно снегу весной, когда возвращается солнце. В моем сердце все тает, в нем шумят ручьи, все зеленеет и цветет. Слышатся голоса куропаток, пение зорянок, и звенит музыка, потому что зима побеждена, Пассук, и я узнал любовь женщины.

Она улыбнулась и крепче прижалась ко мне. А затем сказала:

— Я рада.

После этого она долго лежала молча, тихо дыша, прильнув головой к моей груди. Потом она прошептала:

— Мой путь кончается здесь, я устала. Но я хочу еще кое-что рассказать тебе. Давным-давно, когда я была девочкой, я часто оставалась одна в вигваме моего отца на Чилкате, потому что мужчины уходили на охоту, а женщины и мальчики возили из лесу убитую дичь. И вот однажды, весной, я была одна и играла на шкурах. Вдруг большой бурый медведь, только что проснувшийся от зимней спячки, отощавший и голодный, всунул голову в вигвам и прорычал: «У-ух!» Мой брат как раз в эту минуту пригнал первые нарты с охотничьей добычей. Он выхватил из очага горящие головни и отважно вступил в борьбу с медведем, а собаки,, прямо в упряжи, волоча нарты за собой,

повисли на медведе. Был большой бой и много шума. Они повалились в огонь, раскидали шкуры и опрокинули вигвам. В конце концов медведь испустил дух, но палец моего брата остался у него в пасти, следы медвежьих когтей остались на лице мальчика. Заметил ли ты, что у индейца, который шел по направлению к Пелли, на той руке, которую он грел над огнем, не было большого пальца?.. Это был мой брат. Но я отказала ему в еде, и он ушел в Белое Безмолвие без еды.

Вот, братья мои, какова была любовь Пассук, которая умерла в снегах Оленьего перевала. Это была большая любовь! Ведь женщина пожертвовала своим братом ради мужчины, который тяжелым путем вел ее к горькому концу. Любовь ее была так сильна, что она пожертвовала собой. Прежде чем в последний раз закрыть глаза, Пассук взяла мою руку и просунула ее под свою беличью парку. Я нащупал у ее пояса туго набитый мешочек — и понял все. День за днем мы поровну делили наши припасы до последнего куска, но она съедала только половину. Вторую половину она прятала в этот мешочек для меня.

Пассук сказала:

— Вот и конец пути для Пассук; твой же путь, Чарли, не кончен, он ведет дальше, через великий

Чилкут, к миссии Хейнса на берегу моря. Он ведет дальше и дальше, к свету многих солнц, через чужие земли и неведомые воды; и на этом пути тебя ждут долгие годы жизни, почет и великая слава. Он приведет тебя к жилищам многих женщин, хороших женщин, но никогда ты не встретишь большей любви, чем была любовь Пассук.

И я знал, что она говорит правду. Безумие охватило меня. Я отбросил туго набитый мешочек и поклялся, что мой путь окончен и я останусь с ней. Но усталые глаза Пассук наполнились слезами, и она сказала:

— Среди людей Ситка Чарли всегда считался честным и каждое его слово было правдиво. Разве он забыл о своей чести сейчас, что говорит ненужные слова у Оленьего перевала? Разве он забыл о людях на Сороковой Миле, которые дали ему свою лучшую пищу, своих лучших собак? Пассук всегда гордилась своим мужем. Пусть он встанет, наденет лыжи и двинется в путь, чтобы Пассук могла по-прежнему им гордиться.

Когда ее тело стало остывать в моих объятиях, я встал, нашел туго набитый мешочек, надел лыжи и, шатаясь, двинулся в путь. В коленях я ощущал слабость, голова кружилась, в ушах стоял шум, а перед глазами вспыхивали искры.

Забытые картины детства проплывали передо мной. Я сидел у кипящих котлов на потлаче, я пел песни и плясал под пенке мужчин и девушек, под звуки барабана из моржовой кожи, а Пассук держала меня за руку и шла все время рядом со мной. Когда я засыпал, она будила меня. Когда я спотыкался и падал, она поднимала меня. Когда я забредал в глубокие снега, она выводила меня на дорогу. И вот, как человек, лишившийся разума, который видит странные видения, потому что голова его легка от вина, я добрался до миссии Хейнса на берегу моря.

Ситка Чарли встал и вышел, откинув полы палатки. Был полдень. На юге, заливая ярким светом гряду Гендерсона, висел холодный диск солнца. По обе стороны от него сверкали ложные солнца. Воздух был подобен паутине из блестящего инея, а впереди, около дороги, сидел пес с заиндевевшей шерстью и, закинув морду кверху, жалобно выл.

Там, где расходятся пути

Грустно мне, грустно мне этот город покидать,
Где любимая живет.

Швабская народная песня.

Человек, напевавший песню, нагнулся и добавил воды в котелок, где варились бобы. Потом он выпрямился и стал отгонять дымящейся головешкой собак, которые вертелись у ящика с провизией. У него было открытое лицо, голубые веселые глаза, золотистые волосы, и от всего его облика веяло свежестью и здоровьем.

Тонкий серп молодого месяца виднелся над заснеженным лесом, который плотной стеной окружал лагерь и отделял его от остального мира. Мерцающие звезды, казалось, плясали в ясном, морозном небе. На юго-востоке едва заметный зеленоватый свет предвещал северное сияние. У костра лежали двое. Их ложе составляли сосновые ветки, толстым шестидюймовым слоем разостланные на снегу и покрытые медвежьей шкурой. Одеяла были откинуты в сторону. Парусиновый навес, натянутый между двумя

деревьями под углом к земле в сорок пять градусов, служил защитой от ветра и одновременно задерживал тепло от огня и отбрасывал его вниз на медвежью шкуру. На нартах, у самого костра, сидел еще один человек и чинил мокасины. Справа куча мерзлого песка и примитивный ворот указывали, что они упорно целые дни трудились, нащупывая жилу. Слева четыре пары воткнутых в снег лыж говорили о способе передвижения, которым пользовались люди за пределами лагеря.

Волнующе и странно звучала простая швабская песня под холодными северными звездами. Она вселяла беспокойство в сердца людей, отдыхавших у костра после утомительного трудового дня, и вызывала в них щемящую боль и острую, как голод, тоску по далекому солнечному Югу.

— Да замолчи ты ради бога, Зигмунд! — взмолился один из лежавших у костра; он прятал в складках медвежьей шкуры свои до боли сжатые кулаки.

— А почему, Дэйв Верц, я должен молчать, если мне хочется петь? — отозвался Зигмунд. — Может, у меня сердце радуется!

— А потому, что не с чего радоваться. Посмотри вокруг. Подумай, что за жизнь ведем мы уже целый год: питаемся черт знает чем и работаем,

как лошади.

Золотоволосый Зигмунд спокойно посмотрел на побелевших от инея собак и белый пар от дыхания людей.

— Не вижу, почему бы мне не радоваться? — засмеялся он. — Не так уж все плохо. Мне нравится. Ты говоришь, еда плохая. Ну... — Он согнул в локте руку и погладил свои мощные бицепсы. — А насчет того, что живем мы здесь по-скотски, так зато наживаемся по-царски. Жила дает по двадцать долларов с каждой промывки, а в ней еще будет верных восемь футов. Да тут второй Клондайк — и все мы это знаем. Вон Джим Хоз рядом с тобой, он-то понимает, ну, и не жалуется. А посмотри на Хичкока: чинит себе мокасины, словно старуха, и на стену не лезет: знает, что надо потерпеть. А у тебя вот не хватает выдержки — не можешь спокойно поработать до весны, ведь тогда мы будем богаты, как крезы. Хочется скорее попасть домой, в Штаты? А мне, думаешь, не хочется? Я там родился. Но я могу ждать, потому что каждый день на дне нашего промывочного лотка золото желтеет, словно масло в маслобойке. А ты хнычешь, как ребенок, — подай тебе сейчас же, чего тебе хочется. Нет, уж, по-моему, лучше петь.

Через год, через год, как созреет вино-

град,
Ворочусь я в кран родной.
Если ты еще верна,
Назову тебя женой.

Через год, через год, как окончится мой срок,
Назову тебя женой,
Если ты была верна,
Я навеки буду твой.

Собаки ощетинились и с глухим ворчанием придвинулись ближе к костру. Послышалось мерное поскрипывание лыж и шипящий звук от скольжения по снегу, словно кто-то просеивал сахарный песок. Зигмунд оборвал песню и с проклятиями стал, отгонять собак. В свете костра показалась закутанная в меха девушка-индианка; она сбросила лыжи, откинула капюшон своей беличьей парки и приблизилась к людям у огня.

— Здорово, Сипсу! — приветствовали ее Зигмунд и двое лежавших на медвежьей шкуре, а Хичкок молча подвинулся, чтоб уступить место рядом на нартах.

— Ну, как дела, Сипсу? — спросил он на каком-то жаргоне — смеси ломаного английского языка

с испорченным чинукским наречием. — Что, в поселке все еще голод? И ваш колдун все еще не нашел причины, почему так мало попадается дичи и лось ушел в другие края?

— Да, твоя, правда, дичи очень мало; нам скоро придется есть собак. Но колдун нашел причину этого зла; завтра он принесет жертву, которая снимет заклятие с племени.

— А кто будет жертвой? Новорожденный младенец или какая-нибудь несчастная дряхлая старуха, которая стала обузой и от которой рады избавиться?

— Нет, на этот раз он рассудил по-другому. Боги очень сердятся, и поэтому жертвой должен быть не кто иной, как дочь вождя племени, — Сипсу.

— Ах ты черт! — проговорил Хичкок.

Он произнес это веско, с расстановкой, тоном, в котором слышалось и удивление и раздумье.

— Наши пути теперь расходятся, — спокойно продолжала она. — И я пришла, чтобы мы еще раз посмотрели друг на друга. В последний раз.

Она принадлежала к первобытному миру, и обычаи, по которым она жила, тоже были первобытное. Она привыкла принимать жизнь такой, как она есть, и считала человеческие жертвоприношения в порядке вещей. Силы, которые

управляли сменой ночи, и дня, разливом вод и морозами, силы, которые заставляли распускаться почки и желтеть листья, — эти силы бывали порой разгневаны, и нужны были жертвы, чтобы склонить, их к милосердию. Их воля проявлялась по-разному: человек тонул во время половодья, проваливался сквозь предательский лед, погибал в мертвой хватке медведя или изнурительная болезнь настигала его у собственного очага — и он кашлял, выплевывая кусочки легких, пока жизнь не уходила вместе с последним дыханием. Иногда же боги соглашались принять человеческую жизнь в жертву, а шаман умел угадывать их желания и никогда не ошибался в выборе. Все было просто. Разными путями приходила смерть, но в конце концов все сводилось к одному — к велению непостижимых и всемогущих сил.

Но Хичкок принадлежал к другому, более развитому миру. Обычаи этого мира не отличались ни такой простотой, ни такой непреложностью. Поэтому Хичкок сказал:

— Нет, Сипсу, это неправильно. Ты молода и полна жизни. Ваш колдун болван, он сделал плохой выбор. Этому не бывать.

Она улыбнулась и ответила:

— Жизнь жестока. Когда-то она создала нас: од-

ного с белой кожей, а другого — с красной. Затем она сделала так, что пути наши сошлись, а теперь они расходятся вновь. И мы не в силах изменить это. Однажды, когда боги тоже были разгневаны, твоя братья пришли к нам в деревню. Их было трое — сильные белые люди. Они тогда сказали, как ты: «Этому не бывать!» Но они погибли, все трое, а это все-таки совершилось.

Хичкок кивнул ей в знак того, что он понял, потом обернулся к товарищам и, повысив голос, сказал:

— Слышите, ребята? Там, в поселке, видно, все с ума посходили. Они собираются убить Сипсу. Что вы на это скажете?

Хоз и Верц переглянулись и промолчали. Зигмунд опустил голову и гладил овчарку, прижимавшуюся к его ногам. Он привез ее издалека и очень заботился о ней. Секрет был в том, что, когда он уезжал на Север, собаку подарила ему на прощание та самая девушка, о которой он часто думал и чей портрет в маленьком медальоне,- спрятанном у него на груди, вдохновлял его песни.

— Ну, что же вы скажете? — повторил Хичкок.

— Может, это еще и не так, — не сразу ответил Хоз, — может, Сипсу преувеличивает.

— Я не об этом вас спрашиваю! — Хичкок видел их явное нежелание отвечать, и кровь бросилась ему в лицо от гнева. — Я спрашиваю: если окажется, что это так, можем мы это допустить? Что мы тогда сделаем?

— По-моему, нечего нам вмешиваться, — заговорил Верц. — Даже если все это так, сделать мы ничего не можем. У них так принято, так велит их религия; и это совсем не наше дело. Нам бы намыть побольше золотого песку и поскорее выбраться из этой проклятой дыры. Здесь могут жить только дикие звери. И эти краснокожие — тоже зверье и ничего больше. Нет, с нашей стороны это был бы крайне опрометчивый шаг.

— Я тоже так думаю, — поддержал его Хоз. — Нас тут четверо, а до Юкона триста миль, и ближе ни одного белого человека не встретишь. Так что же мы можем сделать против полусотни индейцев? Если мы поссоримся с ними, нам придется убираться отсюда, а станем драться — нас попросту уничтожат. Кроме того, мы ведь напали на жилу, и, черт возьми, я, например, не собираюсь ее бросать.

— Правильно! — отозвался Верц.

Хичкок нетерпеливо обернулся к Зигмунду, который напевал вполголоса:

Через год, через год, как созреет виноград,

Ворочусь я в край родной.

— Что ж, Хичкок, — проговорил он наконец, — я согласен с остальными. Если индейцы — а их там верных полсотни — решили убить ее, так что же мы-то можем сделать? Навалятся все разом, и нас как не бывало. А что толку? Девчонка все равно останется у них в руках. Нет, идти против местных обычаев можно, только когда сила на твоей стороне.

— Но сила-то ведь на нашей стороне, — прервал его Хичкок. — Четверо белых стоят четырехсот индейцев. И надо же подумать о девушке.

Зигмунд задумчиво погладил собаку.

— А я и думаю о девушке. Глаза у нее голубые, как летнее небо, и смеющиеся, как море. И волосы светлые, как у меня, и заплетены они в толстые косы. Она ждет меня там, в солнечной стране. Она ждет давно, и теперь, когда цель моя уже близка, я не хочу рисковать.

— А я бы на твоем месте не мог спокойно смотреть в ее голубые глаза; мне бы все время мерещились черные глаза той, которая погибла из-за моей трусости, — язвительно сказал Хичкок.

Великодушный и справедливый по натуре, он привык поступать бескорыстно, не вдаваясь в рассуждения и не задумываясь о последствиях.

Зигмунд покачал головой.

— Ты сумасшедший, Хичкок, но я из-за тебя глупостей делать не стану. Надо рассуждать трезво и считаться с фактами. Я сюда не развлекаться приехал. А самое главное — все равно наше вмешательство ничему не поможет. Если все, что она говорит, правда, — ну что ж, остается только пожалеть ее. Таков обычай племени, а что тут оказались мы — это чистая случайность. Они делали так тысячу лет назад, и сделают теперь, и будут делать и впредь, до скончания веков. Это люди чуждого нам мира, да и девушка тоже. Нет, я решительно на стороне Верца и Хоза, и...

Собаки зарычали и сбились в кучу. Зигмунд прервал свою речь и прислушался: из темноты доносилось поскрипывание множества лыж. В освещенном круге у костра показались несколько одетых в шкуры индейцев — высокие, решительные, безмолвные. Их тени зловеще плясали на снегу. Один их них, шаман, обращаясь к Сипсу, проговорил что-то гортанным голосом. Его лицо было грубо размалевано, на плечи накинута волчья шкура, открытая пасть скалила зубы над его

лбом. Остальные хранили молчание. Молчали и золотоискатели. Сипсу поднялась и надела лыжи.

— Прощай же, друг! — сказала она Хичкоку.

Но человек, сидевший рядом с ней на нартах, не пошевелился. Он даже не поднял головы, когда индейцы один за другим стали исчезать в темноте.

В отличие от многих мужчин, приезжавших в те края, Хичкок никогда не испытывал желания завязать близкие отношения с женщинами Севера. Он всюду чувствовал себя как дома и одинаково относился ко всем людям, так что взгляды его не были бы помехой, если бы подобное желание у него возникло. Но до сих пор оно просто не возникало. А Сипсу? Он любил болтать с ней у костра, но относился к ней не как мужчина к женщине, а скорее как взрослый к ребенку; это было естественно для человека его склада хотя бы потому, что их дружба немного скрашивала однообразие этой безрадостной жизни. Однако, несмотря на то, что он был до мозга костей янки и вырос в Новой Англии, в нем текла горячая кровь и некоторое рыцарство было ему не чуждо. Деловая сторона жизни порой казалась ему лишенной смысла и противоречила самым глу-

боким устремлениям его души.

Он сидел молча, опустив голову, чувствуя, что в нем пробуждается какая-то стихийная сила, более могучая, чем он сам, великая сила его предков. Время от времени Хоз и Верц искоса поглядывали на него с легким, но все же заметным беспокойством. Зигмунду тоже было не по себе. Все они знали, что Хичкок очень сильный человек. В этом они не однажды имели случай убедиться за время их совместной жизни, полной всяких опасностей. Потому они теперь с любопытством и некоторым страхом ждали, что он станет делать.

Но он все молчал. Время шло, и костер уже почти догорел. Верц потянулся, зевнул и сказал, что, пожалуй, пора и спать. Тогда Хичкок встал и выпрямился во весь рост.

— Будьте вы прокляты, жалкие трусы! Я вас больше знать не хочу! — Он произнес это спокойно, но в каждом слове чувствовалась сила и непреклонная воля. — Довольно! Давайте рассчитаемся. Можете это сделать, как вам будет удобнее. Мне принадлежит четвертая доля в заявке. Это указано в наших контрактах. Мы намыли унций тридцать золота. Давайте сюда весы, и мы его разделим. Ты, Зигмунд, отмерь мне четвертую часть всех припасов. Четыре собаки мои.

Но мне нужно еще столько же. За них я оставлю свою долю снаряжения и инструментов. Кроме того, добавлю свои семь унций золота и ружье с патронами. Идет?

Трое мужчин отошли в сторону. Пошептавшись между собой, они вернулись. Зигмунд заговорил от лица всех:

— Вот что, Хичкок, мы поделимся с тобой честно. Ты получишь одну четвертую часть, ни больше и ни меньше, — и делай с ней что хочешь. А собаки нам и самим нужны. Поэтому можешь взять только четырех. Что же касается твоей доли в снаряжении и инструментах, то нужны они тебе — бери, не нужны — оставь. Это уж твое дело.

— Значит, все по букве закона, — усмехнулся Хичкок. — Ну что ж, я согласен. И давайте поскорее. Я тут ни одной лишней минуты оставаться не желаю. Мне противно смотреть на вас.

Больше не было произнесено ни слова. После того как раздел совершился, Хичкок уложил на нарты свои скромные пожитки, отобрал и запряг четырех собак. Он не притронулся к снаряжению, зато бросил на нарты полдюжины собачьих постромок и вызывающе поглядел на своих товарищей, ожидая возражений с их стороны. Но они только пожали плечами и потом молча смотрели

ему вслед, Пока он не скрылся в лесу.

По глубокому снегу полз человек. Справа и слева от него чернели крытые оленьими шкурами вигвамы индейцев. Порой то тут, то там голодные собаки принимались выть или озлобленно рычали друг на друга. Одна из них приблизилась к ползущему человеку. Он замер. Собака подошла ближе, понюхала воздух и осторожно сделала еще несколько шагов, пока ее нос не коснулся странного предмета, которого не было здесь до наступления темноты. Тогда Хичкок, ибо это был он, внезапно приподнялся; мгновение — и его рука, с которой он заранее снял рукавицу, стиснула мохнатое горло собаки. И смерть настигла ее в этой стальной хватке. Когда человек пополз дальше, собака осталась на снегу под звездами со сломанной шеей.

Хичкок дополз до вигвама вождя. Он долго лежал на снегу, прислушиваясь к голосам и стараясь определить, где именно находится Сипсу. Очевидно, там находилось много людей, и, судя по доносившемуся шуму, все они были в большом волнении.

Наконец он различил голос девушки и, обогнув вигвам, оказался рядом с ней, так что их разделяла лишь тонкая оленья шкура. Разгребая снег,

Хичкок постепенно подсунул под нее голову и плечи. Когда он почувствовал теплый воздух жилища, то приостановился и стал ждать. Он ничего не видел и боялся пошевельнуться. Слева от него, очевидно, находилась кипа шкур. Он почувствовал это по запаху, но все же для большей уверенности осторожно ощупал ее. Его лица слегка коснулся край чьей-то меховой одежды. Он был почти уверен, что это Сипсу, но все-таки ему хотелось, чтобы она ещё раз заговорила.

Он слышал, как вождь и шаман о чем-то горячо спорили, а где-то в углу плакал голодный ребенок. Хичкок повернулся на бок и осторожно приподнял голову, все так же слегка касаясь лицом меховой одежды. Он прислушался к дыханию. Это было дыхание женщины. И он решил рискнуть.

Осторожно, но довольно крепко он прижался к ней и почувствовал, как она вздрогнула. Он замер в ожидании. Чья-то рука скользнула по его голове, ощупала курчавые волосы, затем тихонько повернула его лицо кверху — и в следующее мгновение он встретился глазами с Сипсу.

Она была совершенно спокойна. Непринужденно изменив позу, она облокотилась на кипу шкур и поправила свою одежду так, что совершенно

скрыла его. Затем, и снова как бы случайно, она склонилась над ним, опустила голову, и ухо ее слегка прижалось к его губам.

— Как только выберешь подходящую минуту, — прошептал он, — уходи из поселка, иди в направлении ветра прямо к тому месту, где ручей делает поворот. Там, у сосен, будут мои собаки и нарты, готовые для дороги. Сегодня ночью мы отправимся в путь — к Юкону. Мы должны будем ехать очень быстро, поэтому хватай первых попавшихся собак и тащи их к ручью.

Сипсу отрицательно покачала головой, но ее глаза радостно заблестели, — она была горда тем, что этот человек пришел сюда ради нее. Подобно всем женщинам своего народа, она считала, что ее судьба — покоряться мужчине. Хичкок властно повторил: «Ты придешь!» И хотя она не ответила, он знал, что его воля для нее — закон.

— О постромках не беспокойся, — добавил он. — И поторапливайся. День прогоняет ночь, и время не ждет.

Спустя полчаса Хичкок стоял у своих нарт и пытался согреться, притопывая ногами и хлопая себя по бедрам. И тут он увидел Сипсу; она тащила за собой двух упирающихся собак, при виде которых собаки Хичкока пришли в воинствен-

ное настроение, и ему пришлось пустить в ход рукоятку бича, чтобы их утихомирить. Поселок находился с наветренной стороны, и малейший звук мог обнаружить их присутствие.

— Запрягай их ближе к нартам, — приказал он, когда она набросила постромки на приведенных собак. — Мои должны быть впереди.

Но когда она сделала это, выпряженные собаки Хичкока накинулись на чужаков, и, хотя Хичкок попытался усмирить их прикладом ружья, поднялся шум и, нарушая тишину ночи, разнесся по спящему поселку.

— Ну, теперь собак у нас будет больше чем достаточно, — мрачно заметил он и достал привязанный к нартам топор. — Запрягай тех, которых я буду швырять тебе, да хорошенько присматривай за упряжкой.

Он сделал несколько шагов вперед и занял позицию между двух сосен. Из поселка доносился лай собак, он ждал их приближения. Вскоре на тусклой снежной равнине показалось быстро растущее темное пятно. Это была собака. Она шла большими ровными прыжками и, подвывая по-волчьи, вела всю свору. Хичкок притаился в тени. Как только собака поравнялась с ним, он быстрым движением схватил ее передние лапы,

и она, перевернувшись через голову, уткнулась в снег. Затем он нанес ей точно рассчитанный удар пониже уха и бросил ее Сипсу. Пока она надевала на собаку упряжь, Хичкок, вооруженный топором, сдерживал натиск всей своры, — клубок косматых тел с горящими глазами и сверкающими зубами бесновался у самых его ног. Сипсу работала быстро. Как только с первой собакой было покончено, Хичкок рванулся вперед, схватил и оглушил еще одну и тоже бросил ее девушке. Это повторилось трижды. Когда в упряжке оказался десяток рычащих псов, он крикнул: «Довольно!»

Из поселка уже спешила толпа. Впереди бежал молодой индеец. Он врезался в стаю собак и стал колотить их направо и налево, стараясь пробраться к тому месту, где стоял Хичкок. Но тот взмахнул прикладом ружья — и молодой индеец упал на колени, а затем опрокинулся навзничь. Бежавший сзади шаман видел это.

Хичкок приказал Сипсу трогаться. Едва она крикнула «Чук!», как обезумевшие собаки рванулись вперед, и Сипсу с трудом удержалась на нартах. Очевидно, боги были сердиты на шамана, ибо именно он оказался в эту минуту на дороге. Вожак наступил ему на лыжи, шаман упал, и вся упряжка вместе с нартами пронеслась по нему.

Но он быстро вскочил на ноги, и эта ночь могла бы кончиться иначе, если бы Сипсу длинным бичом не нанесла ему удар по лицу. Он все еще стоял посреди дороги, покачиваясь от боли, когда на него налетел Хичкок, бежавший за нартами. В результате этого столкновения познания первобытного теолога относительно силы кулака белого человека значительно пополнились. Поэтому, когда он вернулся в жилище вождя и принялся ораторствовать в совете, он был очень зол на всех белых людей.

— Ну, лентяи, вставайте! Пора! Завтрак будет готов прежде, чем вы успеете надеть ваши мокасины.

Дэйв Верц откинул медвежью шкуру, приподнялся и зевнул. Хоз потянулся, обнаружил, что отлежал руку, и стал сонно растирать ее.

— Интересно, где Хичкок провел эту ночь? — спросил он, доставая свои мокасины. За ночь они задеревенели, и он, осторожно ступая в носках по снегу, направился к костру, чтобы оттаять обувь. — Слава богу, что он ушел. Хотя, надо признаться, работник он был отличный.

— Да. Только уж очень любил все по-своему поворачивать. В этом его беда. А Сипсу жалко. Она, что, ему действительно так нравилась?

— Не думаю. Для него тут все дело в принципе. Он считал, что это неправильно, — ну, и, конечно же, неправильно, только это еще не причина нам вмешиваться и всем отправиться на тот свет раньше времени.

— Да, принципы — вещь неплохая, но все хорошо в свое время; когда отправляешься на Аляску, то принципы лучше оставлять дома. А? Правильно я говорю? — Верц присоединился к своему товарищу и тоже стал отогревать у костра мокасины. — Ты как считаешь: мы должны были вмешаться?

Зигмунд отрицательно покачал головой. Он был очень занят: коричневатая пена грозила перелиться через край кофейника, и пора уже было переворачивать сало на сковородке. Кроме того, он думал о девушке со смеющимися, как море, глазами и тихонько н&певал.

Его товарищи с улыбкой перемигнулись и замолчали. Хотя было уже около семи, до рассвета оставалось еще не меньше трех часов. Северное сияние погасло, и в ночной темноте лагерь представлял собой островок света; фигуры трех людей отчетливо вырисовывались на фоне костра. Воспользовавшись наступившим молчанием, Зигмунд повысил голос и запел последний куп-

лет своей старой песни:

Через год, через год, как созреет виноград.

Оглушительный ружейный залп разорвал тишину ночи. Хоз охнул, сделал движение, словно пытался выпрямиться, и тяжело осел на землю. Верц, уронив голову, опрокинулся на бок, потом захрипел, и кровь черной струей хлынула у него из горла. А золотоволосый Зигмунд с неоконченной песней на губах взмахнул руками и упал поперек костра.

Зрачки шамана потемнели от злости, и настроение у него было не из лучших. Он поссорился с вождем из-за ружья Верца и потребовал из мешка с бобами больше, чем ему полагалось. Кроме того, он забрал себе медвежью шкуру, что вызвало ропот среди остальных мужчин племени. В довершение всего он вздумал было убить собаку Зигмунда — ту, что подарила девушка с Юга, — но собаке удалось убежать, а он свалился в шурф и, задев за чан, вывихнул плечо. Когда лагерь был полностью разграблен, индейцы вернулись в свои жилища, и ликованию женщин не было конца. Вскоре в их краях появилось стадо лосей, и охотников посетила удача. Слава шамана еще

больше возросла, стали даже поговаривать, что он советуется с богами.

Когда все ушли, овчарка вернулась в разоренный лагерь, и всю ночь и весь следующий день она выла, оплакивая, у мерших. Потом она исчезла. Но прошло немного лет, и индейцы-охотники стали замечать, что у лесных волков на шерсти появились необычные светлые пятна, каких они не видели до той поры ни у одного волка.

— Вы... как это говорится... лентяй! Вы, лентяй, хотите стать моим мужем? Напрасный старанья. Никогда, о нет, никогда не станет моим мужем лентяй!

Так Джой Молино заявила без обиняков Джеку Харрингтону; ту же мысль, и не далее как накануне, она высказала Луи Савою, только в более банальной форме н на своем родном языке.

— Послушайте, Джой...

— Нет, нет! Почему должна я слушать лентяй? Это очень плохо — ходить за мной по пятам, торчать у меня в хижина и не делать никаких дел. Где вы возьмете еда для famille?[40] Почему у вас нет зольотой песок? У других польный карман.

— Но я работаю, как вол, Джой. День изо дня рыскаю по Юкону и по притокам. Вот и сейчас я только что вернулся. Собаки так и валятся с ног. Другим везет — они находят уйму золота. А я... нет мне удачи.

— Ну да! А когда этот человек — Мак-Кормек, ну тот, что имеет жена-индианка, — когда он

---

[40] notes: 40
Семья (франц.).

открыл Кльондайк, почему вы не пошел? Другие пошел. Другие стал богат.

— Вы же знаете, я был далеко, искал золото у истоков Тананы, — защищался Харрингтон. — И ничего не знал ни об Эльдорадо, ни о Бонанзе. А потом было уже поздно.

— Ну, это пусть. Только вы... как это... сбитый с толк.

— Что такое?

— Сбитый с толк. Ну, как это... в потемках. Поздно не бывает. Тут, по этот ручей, по Эльдорадо, есть очень богатый россыпь. Какой-то человек застольбил и ушел. Никто не знает, куда он девался. Никогда больше не появлялся он тут. Шестьдесят дней никто не может получить бумага на этот участок. Потом все... целый уйма людей... как это... кинутся застольбить участок. И помчатся, о, быстро, быстро, как ветер, помчатся получать бумага. Один станет очень богат. Один получит много еда для famille.

Харрингтон не подал виду, как сильно заинтересовало его это сообщение.

— А когда истекает срок? — спросил он. — И где этот участок?

— Вчера вечером я говорила об этом с Луи Савой, — продолжала она, словно не слыша его

вопроса. — Мне кажется, участок будет его.

— К черту Луи Савоя!

— Вот и Луи Савой сказал вчера у меня в хижине. «Джой, — сказал он, — я сильный. У меня хороший упряжка. У меня хороший дыханье. Я добуду этот участок. Вы тогда будете выходить за меня замуж?» А я сказала ему... я сказала...

— Что же вы сказали?

— Я сказала: «Если Луи Савой победит, я буду стать его женой».

— А если он не победит?

— Тогда Луи Савой... как это по-вашему... тогда ему не стать отцом моих детей.

— А если я выйду победителем?

— Вы — победитель? — Джой расхохоталась. — Ни-когда!

Смех Джой Молино был приятен для слуха, даже когда в нем звучала издевка. Харрингтон не придал ему значения. Он был приручен уже давно. Да и не он один. Джой Молино терзала подобным образом всех своих поклонников. К тому же она была так обольстительна сейчас — жгучие поцелуи мороза разрумянили ей щеки, смеющийся рот был полуоткрыт, а глаза сверкали тем великим соблазном, сильней которого нет на свете, — соблазном, таящимся только в

глазах женщины. Собаки живой косматой грудой копошились у ее ног, а вожак упряжки — Волчий Клык — осторожно положил свою длинную, морду к ней на колени.

— Ну а все же, если я выйду победителем? — настойчиво повторил Харрингтон.

Она посмотрела на своего поклонника, потом снова перевела взгляд на собак.

— Что ты скажешь, Вольчий Клык? Если он сильный и получит бумага на участок, может быть, мы согласимся стать его женой? Ну, что ты скажешь?

Волчий Клык навострил уши и глухо заворчал на Харрингтона.

— Хольодно, — с женской непоследовательностью сказала вдруг Джой Модино, встала и подняла свою упряжку.

Ее поклонник невозмутимо наблюдал за ней. Она задавала ему загадки с первого дня их знакомства, и к прочим его достоинствам с той поры прибавилось еще терпение.

— Эй, Вольчий Клык! — воскликнула Джой Молино, вскочив на нарты в ту секунду, когда они тронулись с места. — Эй-эй! Давай!

Не поворачивая головы, Харрингтон краем глаза следил, как ее собаки свернули на тропу,

проложенную по замерзшей реке, и помчались к Сороковой Миле. У развилки, откуда одна дорога уходила через реку к форту Кьюдахи, Джой Молино придержала собак и обернулась.

— Эй, мистер Лентяй! — крикнула она: — Вольчий Клык говорит: — да... если вы побеждать!

Все это, как обычно бывает в подобных случаях, каким-то образом получило огласку, и население Сороковой Мили, долго и безуспешно ломавшее себе голову, на кого из двух последних поклонников Джой Молино падет ее выбор, строило теперь догадки, кто из них окажется победителем в предстоящем состязании, и яростно заключало пари. Лагерь раскололся на две партии, и каждая старалась помочь своему фавориту прийти к финишу первым. Разгорелась ожесточенная борьба за лучших во всем крае собак, ибо в первую голову от собак, от хороших упряжек, зависел успех. А он сулил немало. Победителю доставалась в жены женщина, равной которой еще не родилось на свет, и в придачу золотой прииск стоимостью по меньшей мере в миллион долларов.

Осенью, когда разнеслась весть об открытиях, сделанных Мак-Кормеком у Бонанзы, все — и в том числе жители Серкла и Сороковой Мили — ринулись вверх по Юкону; все, кроме тех, кто,

подобно Джеку Харрингтону и Луи Савою, ушел искать золото на запад. Лосиные пастбища и берега ручьев столбили подряд, без разбору. Так, случайно, застолбили и малообещающий с виду ручей Эльдорадо. Олаф Нелсон воткнул на берегу колышки на расстоянии пятисот футов один от другого, без промедления отправил по почте свою заявку и так же без промедления исчез. Ближайшая приисковая контора, где регистрировались участки, помещалась тогда в полицейских казармах в форте Кьюдахи — как раз через реку напротив Сороковой Мили. Лишь только пронесся слух, что Эльдорадо — настоящее золотое дно, кому-то сейчас же удалось разнюхать, что Олаф Нелсон не дал себе труда спуститься вниз по Юкону, чтобы закрепить за собой свое приобретение. Уже многие жадно поглядывали на бесхозяйный участок, где, как всем было известно, на тысячи тысяч долларов золота ждало только лопаты и промывочного лотка. Однако завладеть участком никто не смел. По неписаному закону, старателю, застолбившему участок, давалось шестьдесят дней на то, чтобы оформить заявку, и пока не истечет этот срок, участок считался неприкосновенным. Об исчезновении Олафа Нелсона уже знали все кругом, и десятки золотоискателей

готовились вбить заявочные столбы и помчаться на своих упряжках в форт Кьюдахи.

Но Сороковая Миля выставила мало претендентов. После того, как весь лагерь направил свои усилия на то, чтобы обеспечить победу либо Джеку Харрингтону, либо Луи Савою, никому даже не пришло на ум попытать счастья в одиночку. От участка до приисковой конторы считалось не менее ста миль, и на этом пути решено было расставить по три сменных упряжки для каждого из фаворитов. Последний перегон являлся, понятно, решающим, и для этих двадцати пяти миль ретивые добровольцы старались раздобыть самых сильных собак. Такая лютая борьба разгорелась между двумя партиями и в такой они вошли азарт, что цены на собак взлетели неслыханно высоко, как никогда еще не бывало в истории этого края. И не мудрено, если эта борьба еще крепче приковала все взоры к Джой Молино. Ведь она была не только причиной этих треволнений, но и обладательницей самой лучшей упряжной собаки от Чилкута до Берингова моря. Как вожак, или головной, Волчий Клык не знал себе равных. Тот, чью упряжку повел бы он на последнем перегоне, мог считать себя победителем. На этот счет ни у кого не было сомнений. Но на Сороковой Миле чу-

тьем понимали, что можно и чего нельзя, и никто не потревожил Джой Молино просьбой одолжить собаку. Каждая сторона утешала себя тем, что не только фавориту, но и противнику не придется воспользоваться таким преимуществом.

Однако мужчины — каждый в отдельности и все вкупе — устроены так, что часто доходят до могилы, оставаясь в блаженном неведении всей глубины коварства, присущего другой половине рода человеческого, и по этой причине мужское население Сороковой Мили оказалось неспособным разгадать дьявольские замыслы Джой Молино. Все признавались впоследствии, что недооценили эту чернокую дочь северного сияния, чей отец промышлял мехами в здешних краях еще в ту пору, когда им и не снилось, что они тоже нагрянут сюда, и чьи глаза впервые взглянули на мир при холодном мерцании полярных огней. Впрочем, обстоятельства, при которых появилась на свет Джой Молино, не помешали ей быть женщиной до мозга костей и не ограничили ее способности понимать мужскую натуру. Мужчины знали, что она ведет с ними игру, но им и в голову не приходило, как глубоко продумана эта игра, как она искусна и хитроумна. Они принимали в расчет лишь те карты, которые Джой

пожелала им открыть, и до последней минуты пребывали в состоянии приятного ослепления, а когда она пошла со своего главного козыря, им оставалось только подсчитать проигрыш.

В начале недели весь лагерь провожал Джека Харрингтона и Луи Савоя в путь. Соперники выехали с запасом на несколько дней — им хотелось прибыть на участок Олафа Нелсона загодя, чтобы немного отдохнуть и дать собакам восстановить силы перед началом гонок. По дороге они видели золотоискателей из Доусона, уже расставлявших сменные упряжки на пути, и получили возможность убедиться, что никто не поскупился на расходы в погоне за миллионом.

Дня через два после их отъезда Сороковая Миля начала отправлять подставы — сначала на семьдесят пятую милю пути, потом на пятидесятую и, наконец, — на двадцать пятую. Упряжки, предназначавшиеся для последнего перегона, были великолепны — все собаки как на подбор, и лагерь битый час, при пятидесятиградусном морозе, обсуждал и сравнивал их достоинства, пока, наконец, они не получили возможности тронуться в путь. Но тут, в последнюю минуту, к ним подлетела Джой Молино на своих нартах. Она отозвала в сторону Лона Мак-Фэйна, правив-

шего харрингтоновской упряжкой, и не успели первые слова слететь с ее губ, как он разинул рот с таким остолбенелым видом, что важность полученного им сообщения стала очевидна для всех. Он выпряг Волчьего Клыка из ее нарт, поставил во главе харрингтоновской упряжки и погнал собак вверх по Юкону.

— Бедняга Луи Савой! — заговорили кругом.

Но Джой Молино вызывающе сверкнула черными глазами и повернула нарты назад к отцовской хижине.

Приближалась полночь. Несколько сот закутанных в меха людей, собравшихся на участке Олафа Нелсона, предпочли шестидесятиградусный мороз и все треволнения этой ночи соблазну натопленных хижин и удобных коек. Некоторые из них держали наготове свои колышки и своих собак под рукой. Отряд конной полиции капитана Констэнтайна получил приказ быть на посту, дабы все шло по правилам. Поступило распоряжение: никому не ставить столбы, пока последняя секунда этого дня не канет в вечность. На Севере такой приказ равносилен повелению Иеговы,

— ведь пуля дум-дум[41] карает так же мгновенно и безвозвратно, как десница божья. Ночь была ясная и морозная. Северное сияние зажгло свои праздничные огни, расцветив небосклон гигантскими зеленовато-белыми мерцающими лучами, притушившими свет звезд. Волны холодного розового блеска омывали зенит, а на горизонте рука титана воздвигла сверкающие арки. И, потрясенные этим величественным зрелищем, собаки поднимали протяжный вой, как их далекие предки в незапамятные времена.

Полисмен в медвежьей шубе торжественно шагнул вперед с часами в руке. Люди засуетились у своих упряжек, поднимая собак, распутывая и подтягивая постромки. Затем соревнующиеся подошли к меже, сжимая в руках колышки и заявки. Они уже столько раз переступали границы участка, что могли бы теперь сделать это с закрытыми глазами. Полисмен поднял руку. Скинув с плеч лишние меха и одеяла, в последний раз подтянув пояса, люди замерли в ожидании.

— Приготовиться!

Шестьдесят пар рукавиц сдернуто с рук; столько же пар обутых в мокасины ног покрепче

[41] notes: 41

Дум-дум — разрывные пули с надпиленной металлической оболочкой, причиняющие тяжелые ранения.

уперлось в снег.

— Пошли!

Все ринулись с разных сторон на широкое пустое пространство участка, вбивая колышки по углам и посредине, где надлежало поставить две центральные заявки, потом опрометью бросились к своим нартам, поджидавшим их на замерзшей глади ручья. Все смешалось — движения, звуки; все слилось в единый хаос. Нарты сталкивались; ощетинившись, оскалив клыки, упряжка с визгом налетала на упряжку. Образовавшаяся свалка создала затор в узком русле ручья. Удары бичей сыпались на спины животных и людей без разбора. И в довершение неразберихи вокруг каждого гонщика суетилась кучка приятелей, старавшихся вызволить его из свалки. Но вот, силой проложив себе путь, одни нарты за другими стали вырываться на простор и исчезать во мраке между угрюмо нависших берегов.

Джек Харрингтон предвидел заранее, что давки не миновать, и ждал у своих нарт, пока не уляжется суматоха. Луи Савой, зная, что его соперник даст ему сто очков вперед по части езды на собаках, ждал тоже, решив следовать его примеру. Крики уже затихли вдали, когда они пустились

в путь, и, пройдя миль десять вниз до Бонанзы, нагнали остальные упряжки, которые шли гуськом, но не растягиваясь. Возгласов почти не было слышно, так как на этом отрезке пути нечего было и думать вырваться вперед: ширина нарт — от полоза до по-лоза — равнялась шестнадцати дюймам, а ширина проторенной дороги — восемнадцати. Этот санный путь, укатанный вглубь на добрый фут, был подобен желобу. По обеим сторонам его расстилался пушистый, сверкающий снежный покров. Стоило кому-нибудь, пытаясь обогнать другие нарты, сойти с пути, и его собаки неминуемо провалились бы по брюхо в рыхлый снег и поплелись бы со скоростью улитки. И люди замерли в своих подскакивавших на выбоинах нартах и выжидали. На протяжении пятнадцати миль вниз по Бонанзе и Клондайку до Доусона, где они вышли к Юкону, никаких изменений не произошло. Здесь их уже ждали сменные упряжки. Но Харрингтон и Савой расположили свои подставы двумя-тремя милями дальше, решив, если потребуется, загнать первую упряжку насмерть. Воспользовавшись сутолокой, воцарившейся при смене упряжек, они оставили позади добрую половину гонщиков. Когда нарты вынесли их на широкую грудь Юкона, впереди

шло не более тридцати упряжек. Здесь можно было помериться силами. Осенью, когда река стала, между двумя мощными пластами льда осталась быстрина шириной в милю. Она совсем недавно оделась льдом, и он был твердым, гладким и скользким,, как паркет бального зала. Лишь только полозья нарт коснулись этого сверкающего льда, Харрингтон привстал на колени, придерживаясь одной рукой за нарты, и бич его яростно засвистел над головами собак, а неистовая брань загремела у них в ушах. Упряжки растянулись по ледяной глади, и каждая напрягала силы до предела. Но мало кто на всем Севере умел так высылать собак, как Джек Харрингтон. Его упряжка сразу начала вырываться вперед, но Луи Савой прилагал отчаянные усилия, чтобы не отстать, и его головные собаки бежали, едва не касаясь мордами нарт соперника.

Где-то на середине ледяного пути вторые подставы вынеслись с берега им навстречу. Но Харрингтон не замедлил бега своих собак. Выждав минуту, когда новая упряжка поравнялась с ним, он, гикнув, перескочил на другие нарты, с ходу наддав жару собакам. Гонщик подставы кубарем полетел с нарт. Луи Савой и тут во всем последовал примеру своего соперника. Брошен-

ные на произвол судьбы упряжки заметались из стороны в сторону, на них налетели другие, и на льду поднялась страшная кутерьма. Харрингтон набирал скорость. Луи Савой не отставал. У самого конца ледяного поля их нарты начали обходить головную упряжку. Когда они снова легли на узкий санный путь, проторенный в пушистых снежных сугробах, они уже вели гонку, и Доусон, наблюдавший за ними при свете северного сияния, клялся, что это была чистая работа.

Когда мороз крепчает до шестидесяти градусов, надо или двигаться, или разводить огонь, иначе долго не про-тянешь. Харрингтон и Савой прибегли теперь к старинному способу — «бегом и на собаках». Соскочив с нарт, они бежали сзади, держась за лямки, пока кровь, сильнее забурлив в жилах, не изгоняла из тела мороз, потом прыгали обратно на нарты и лежали на них, пока опять не промерзали до костей. Так — бегом и на собаках — они покрыли второй и третий перегоны. Снова и снова, вылетев на гладкий лед, Луи Савой принимался нахлестывать собак, и всякий раз его попытки обойти соперника оканчивались неудачей. Растянувшись позади на пять миль, остальные участники состязания силились их нагнать, но безуспешно, ибо одному

Луи Савою выпала в этих гонках честь выдержать убийственную скорость, предложенную Джеком Харрингтоном.

Когда они приблизились к подставе на Семьдесят Пятой Миле, Лон Мак-Фэйн пустил своих собак. Их вел Волчий Клык; и как только Харрингтон увидел вожака, ему стало ясно, кому достанется победа. На всем Севере не было такой упряжки, которая могла бы теперь побить его на этом последнем перегоне. А Луи Савой, заметив Волчьего Клыка во главе харрингтоновской упряжки, понял, что проиграл, и послал кому-то сквозь зубы проклятия, какие обычно посылают женщинам. Но все же он решил биться до последнего, и его собаки неотступно бежали в вихре снежной пыли, летящей из-под передних нарт. На юго-востоке занялась заря; Харрингтон, и Савой неслись вперед: один преисполненный радостного, другой горестного изумления перед поступком Джой Молино.

Вся Сороковая Миля вылезла на рассвете из-под своих меховых одеял и столпилась у края санного пути. Он далеко был виден отсюда — на несколько миль вверх по Юкону, до первой излучины. И путь через реку к финишу у форта Кьюдахи, где ждал охваченный нетерпением приисковый

инспектор, тоже был весь как на ладони. Джой Молино устроилась несколько поодаль, но ввиду столь исключительных обстоятельств никто не позволил себе торчать у нее перед глазами и загораживать ей чуть приметно темневшую на снегу полоску тропы. Таким образом, перед нею оставалось свободное пространство. Горели костры; и золотоискатели, собравшись у огня, держали пари, закладывая собак и золотой песок. Шансы Волчьего Клыка стояли необычайно высоко.

— Идут! — раздался с верхушки сосны пронзительный крик мальчишки-индейца.

У излучины Юкона на снегу появилась черная точка, и сейчас же следом за ней — вторая. Точки быстро росли, а за ними начали возникать другие — на некотором расстоянии от первых двух. Мало-помалу все они приняли очертания нарт, собак и людей, плашмя лежавших на нартах.

— Впереди Волчий Клык! — шепнул лейтенант полиции Джой Молино.

Она ответила ему улыбкой, не тая своего интереса.

— Десять против одного за Харрингтона! — воскликнул какой-то король Березового ручья, вытаскивая свой мешочек с золотом.

— Королева... она не очень щедро платит вам?

— спросила Джой Молино лейтенанта.

Тот покачал головой.

— Есть у вас зольтой песок? Как много? — не унималась Джой.

Лейтенант развязал свой мешочек. Одним взглядом она оценила его содержимое.

— Пожалуй, тут... да, сотни две тут будет, верно? Хорошо, сейчас я дам вам... как это... подсказка. Принимайте пари. — Она загадочно улыбнулась.

Лейтенант колебался. Он взглянул на реку. Оба передних гонщика, стоя на коленях, яростно нахлестывали собак, Харрингтон шел первым.

-— Десять против одного за Харрингтона! — орал король Березового ручья, размахивая своим мешочком перед носом лейтенанта.

— Принимайте пари! — подзадоривала лейтенанта Джой.

Он повиновался, пожав плечами в знак того, что уступает не голосу рассудка, а ее чарам. Джой ободряюще кивнула.

Шум стих. Ставки прекратились.

Накреняясь, подскакивая, ныряя, словно утлые парусники в бурю, нарты бешено мчались к ним. Луи Савой все еще не отставал от Харрингтона, но лицо его было мрачно: надежда покинула его. Харрингтон не смотрел ни вправо, ни влево. Рот

его был плотно сжат. Его собаки бежали ровно, ни на секунду не сбиваясь с ритма, ни на йоту не отклоняясь от пути, а Волчий Клык был поистине великолепен. Низко опустив голову, ничего не видя вокруг и глухо подвывая, вел он своих товарищей вперед.

Сороковая Миля затаила дыхание. Слышен был только хрип собак да свист бичей.

Внезапно звонкий голос Джой Молино нарушил тишину:

— Эй-эй! Вольчий Клык! Вольчий Клык!

Волчий Клык услыхал. Он резко свернул в сторону — прямо к своей хозяйке. Вся упряжка ринулась за ним, нарты накренились и, став на один полоз, выбросили Харрингтона в снег. Луи Савой вихрем пролетел мимо. Харрингтон поднялся на ноги и увидел, что его соперник мчится через реку к приисковой конторе. В эту минуту он невольно услышал разговор у себя за спиной.

— Он? Да, он очень хорошо шел, — говорила Джой Молино лейтенанту. — Он... как это говорится... задал темп. О да, он отлично задал темп.

Там, где кончается радуга
I

Было две причины, в силу которых Малыш из Монтаны сбросил свои кожаные ковбойские штаны да мексиканские шпоры и отряс с ног своих пыль айдахских ранчо. Во-первых, это случилось потому, что степенная, трезвая и морально устойчивая цивилизация, докатившаяся до скотоводческих ранчо Запада, искоренила первобытную непосредственность их обитателей, и облагороженное общество с холодным неодобрением взирало на подвиги Малыша и ему подобных. Во-вторых, потому, что в один из моментов невероятного подъема цивилизованная раса взяла и перенесла свою границу на несколько тысяч миль севернее, и таким образом зрелое общество, проявив бессознательную предусмотрительность, предоставило обширное поле деятельности для своего подрастающего поколения. Почти вся новая территория была, правда, бесплодной, но все же несколько сотен тысяч квадратных миль вечной мерзлоты давали по крайней мере возможность свободно вздох-

нуть тем, кто задыхался дома.

Одним из них был Малыш из Монтаны. Направляясь к побережью, он проявил изрядную поспешность, которую, по-видимому, могли объяснить следовавшие за ним по пятам помощники шерифа. Благодаря скорее нахальству, чем наличию звонкой монеты, ему посчастливилось попасть на корабль в одном из портов залива Пьюджет Саунд и выжить после морокой болезни и отвратительной пищи, выпадающих на долю палубных пассажиров.

Он весь пожелтел и был измотан, но по-прежнему неукротим, когда одним весенним днем высадился в Дайе. Осведомившись о ценах на собак, провиант и снаряжение и узнав о таможенных вымогательствах двух соперничающих правительств[42], он быстро сообразил, что Север является чем угодно, но только не Меккой для бедняка. И стал искать ту самую благодатную почву, на которой быстро и без труда можно было бы вырастить богатый урожай.

Между побережьем и перевалами скопилось несколько тысяч ревностных пилигримов. Этих-то пилигримов и взялся обрабатывать Малыш.

---

[42] notes: 42
Два соперничающих правительства — правительства США и Канады.

Для начала он открыл игорный дом в хижине, сколоченной из сосновых досок. Но вскоре неприятности заставили его прикрыть лавочку и навострить лыжи. Потом он скупил подковные гвозди и пустил их в обращение наряду с законным платежным средством, придав каждой четверке гвоздей покупательную способность одного доллара, пока вдруг не прибыло около сотни бочек гвоздей, что подорвало коммерцию и вынудило его с убытком продать свои запасы.

После этого он обосновался в Шип Кэмпе, буквально за день сколотил из носильщиков артель и поднял стоимость переноски каждого фунта груза на десять центов. В знак благодарности носильщики охотно посещали его заведение, где играли в фараон и рулетку; там их так же охотно принимали и жульническим путем лишали заработанных денег. Но вскоре он со своими делишками стал невыносим. И вот однажды ночью носильщики ворвались к Малышу в хижину, подожгли ее, поделили банк и отправили его в путь-дорожку с пустыми карманами.

Неудачи преследовали Малыша. Он договорился с некими субъектами относительно переброски спиртного через границу по нехоженым тропам, но потерял своих проводников-индей-

цев, и первая же партия товара попала в руки конной полиции. Множество других неприятностей ожесточило его и ввергло в такое буйство, что в течение двадцати четырех часов он наводил ужас на обитателей поселка у озера Беннет, отмечая свое прибытие туда. Но потом золотоискатели собрались с духом и, навалившись на него всем скопом, приказали ему убираться, пока цел. Малыш уважал подобные скопища и не замедлил подчиниться, притом с такой поспешностью, что нечаянно вскочил в чужую собачью упряжку. Это было равносильно конокрадству в краях с более умеренным климатом, поэтому Малыш гнал во весь опор, пересек, избегая людных мест, Беннет, спустился вниз по Тагишу и сделал первый привал, лишь отмахав не менее сотни миль к северу.

А тут как раз пришла весна, и многие из именитых граждан Доусона по последнему льду двинулись на юг. Встречаясь и беседуя с ними, Малыш запоминал их имена и имущественное положение. У него была хорошая память и богатое воображение; что же касается правдивости, то она не входила в число его добродетелей

II

Жители Доусона всегда с нетерпением ожидали новостей. Завидев сани Малыша, несущиеся вниз по Юкону, они высыпали на лед, чтобы встретить его.

Нет, газет у него нет, он не знает, повешен ли уже Дюран и кто выиграл матч в день Благодарения; он не слышал, началась ли война между Соединенными Штатами и Испанией[43], он понятия не имеет, кто такой Дрейфус[44]. О'Брайен?.. Неужели они ничего не слышали? О'Брайен утонул на Уайтхорсе; из всей партии спасся только Ситка Чарли. Джо Лэдью? Отморозил обе ноги, и ему ампутировали их в Файв Фингерз. Джек Дэлтон? Погиб со своими ребятами во время взрыва котла на пароходе «Морской Лев». Беттлз?

---

[43] notes: 43

Война между Соединенными Штатами и Испанией (1898) — империалистическая война, в результате которой США установили контроль над Кубой, Филиппинами и другими испанскими владениями.

[44] notes: 44

Дрейфус, Альфред (1859—1935) — французский офицер, еврей по национальности, ложно обвиненный в шпионаже (1894). Дело Дрейфуса вышло за рамки судебного процесса. Оно переросло в борьбу прогрессивных сил против реакции. Невиновность Дрейфуса была доказана, и он был реабилитирован в 1906 году.

Попал в кораблекрушение на «Картаджине», в Сеймурском проходе, из трехсот пассажиров спаслось только двадцать. Билл из Свифтуотера? Провалился под лед на озере Ла-Барж вместе с шестью певичками из «Оперы», которых сопровождал. Губернатор Уолш? Пропал без вести вместе со своими спутниками и восемью санями на Тридцатой Миле. Деверо? А кто такой Деверо? А, курьер! Застрелен индейцами на озере Марш.

И тут началось. Новости передавались из уст в уста. Мужчины теснились вокруг Малыша, расспрашивая о своих друзьях и компаньонах. Когда их вытесняли другие, они молчали, слишком ошеломленные, чтобы ругаться. К тому времени, когда Малыш из Монтаны дошел до берега, его уже окружило несколько сотен закутанных в меха золотоискателей. Когда он проходил Казармы, то был уже во главе огромной процессии. У «Оперы» его окружила возбужденная толпа, причем все рвались к нему, чтобы расспросить о товарищах. И каждый приглашал его выпить. Никогда еще Клондайк так широко не раскрывал объятий, встречая чечако.

Доусон бурлил. Никогда еще за всю его историю не случалось столько несчастий разом. Погибли все более или менее заметные личности, от-

правившиеся весной на юг. Народ высыпал из своих хижин. С ручьев и из ущелий прибегали люди и в тревоге разыскивали человека, который рассказал обо всех этих несчастьях. Безутешная жена Беттлза, в жилах которой была половина русской крови, сидела у очага, раскачиваясь взад и вперед и посыпая белым пеплом свои черные как смоль волосы. Над Казармами мрачно хлопал приспущенный флаг. Доусон оплакивал своих покойников.

Ничем не объяснить, почему Малыш затеял все это. Разве только тем, что просто уж он уродился таким вралем. Пять дней он сеял семена горя и отчаяния и целых пять дней был в центре внимания всего Клондайка. В лучших домах городка ему предлагали кров и стол. В салунах его ожидала бесплатная выпивка. Перед ним заискивали. Высшие чиновники лично посещали его, надеясь получить новые сведения. Константайн и другие офицеры устроили в честь Малыша прием в Казармах.

Но вот в один прекрасный день правительственный курьер Деверо остановил усталых собак перед конторой приискового инспектора. Умер? Да кто это выдумал? Дайте ему кусок жареного лосиного мяса, и он покажет им, какой

он мертвый. Что? Да губернатор Уолш в лагере у Литл-Салмон, а О'Брайен собирается прибыть сюда с первой же водой. Умер? Дайте ему кусок мяса, и он покажет им.

И Доусон снова загудел. Флаг над Казармами взвился на верхушку мачты, а жена Беттлза умылась и вырядилась в новое платье. Общество тонко намекнуло, что Малышу хорошо бы испариться и не портить пейзажа. И Малыш испарился, причем, по обыкновению, на чужой упряжке.

Доусон ликовал, когда он понесся вниз по Юкону, и желал ему счастливо добраться туда, куда в конце концов попадают закоснелые грешники. Минутой позже владелец собак спохватился, побежал жаловаться Константайну, и тот выделил ему в помощь полицейского.

III

Малыш из Монтаны спешил в Серкл. Под полозьями крошился последний лед. Воспользовавшись тем, что дни стали длиннее, он гнал собак с раннего утра до поздней ночи. Он почти не сомневался, что владелец упряжки преследует его по пятам, и хотел достичь американской

территории до того, как тронется лед. На третий день стало ясно, что он проиграл эту гонку с весной. Юкон напрягался, готовясь сбросить с себя ледяные оковы. Приходилось делать большие крюки, потому что дорогу часто преграждали большие полыньи и разводья, в которых бурлила вода. Лед ходил ходуном, с громом раскалывался и расходился. Сквозь трещины и бесчисленные полыньи хлестала вода и заливала поверхность льда. Когда Малыш подъезжал к избушке лесорубов, стоявшей на краю какого-то острова, собаки совсем выбились из сил и скорее плыли, чем бежали. Обитатели избушки приветствовали его с кислым видом, но он распряг собак и принялся готовить еду.

Дональд и Дэйви являли собой типичный пример никчемных людей, какие встречаются в северных краях. Уроженцы Канады, горожане шотландского происхождения, они необдуманно оставили свои конторки, взяли со счета свои сбережения и отправились искать золото в Клондайк. И теперь, хлебнув горя, они узнали Север без романтического покрова.

Голодные, павшие духом, тоскующие по родине, они подрядились заготавливать дрова для пароходов Компании Тихоокеанского побережья,

и им обещали по окончании работы обеспечить бесплатный проезд домой. Не учитывая возможности ледохода, они и тут показали свою никчемность, выбрав для жилья этот остров. Даже Малыш, имевший смутное представление о ледоломе на большой реке, осмотрелся с сомнением и стал бросать завистливые взгляды на дальний берег, высокие утесы которого сулили защиту от всех льдов Севера.

Поев и накормив собак, он закурил трубку и вышел из хижины, чтобы ознакомиться с обстановкой. Этот остров, как и прочие его речные братья, возвышался к восточной оконечности, и именно здесь Дональд и Дэйви построили свою хижину и сложили много штабелей дров. Дальний берег лежал в миле от острова, тогда как между ближним берегом и островом протекала протока ярдов в сто шириной. Малыш испытывал искушение взять собак и бежать с острова, но, вглядевшись пристальней, он обнаружил, что по льду стремительно несся поток воды. Ниже по течению река поворачивала резко на запад, и на этой излучине виднелось множество островков.

«Вон там и будет затор», — подумал Малыш.

Полдюжины упряжек, направлявшихся, очевидно, к Доусону, плескаясь в ледяной воде,

приближались к островной косе. Езда по реке была уже не только опасной, она стала почти невозможной, и путешественники едва выбрались на тропу, ведущую к избушке дровосеков. Один из вновь прибывших совсем ослеп от снега и беспомощно волочился за санями. Это были крепкие молодые ребята, в грубых одеяниях, усталые, однако Малыш, встречавший подобного рода людей и раньше, сразу понял, что они — не его поля ягода.

— Хэлло! Как там дорога на Доусон? — спросил у Малыша передний, скользнув взглядом по Дональду и Дэйви.

Встреча в такой глуши обычно не сопровождается церемониями. Разговор вскоре стал общим, все обменивались новостями о том, что происходило в верховьях и низовьях Юкона. Но красноречие приехавших вскоре иссякло, потому что они зимовали в Минуке, на тысячу миль ниже по течению, где вообще ничего не случалось. Малыш, напротив, недавно прибыл с берега океана, и они, разбив лагерь, забросали его вопросами о мире, от которого были отрезаны в течение двенадцати месяцев.

Вдруг страшный скрежет покрыл рев реки. Все бросились на берег. Вода быстро прибывала и, да-

вя на лед сверху и снизу, отрывала его от берега. Льдины ломались прямо на глазах, и в воздухе стоял непрерывный треск, сухой и резкий, как перестрелка в ясный морозный день.

Со стороны Доусона два человека гнали собачью упряжку по свободной от воды полоске льда. Они с ходу врезались в мчавшийся по льду поток воды и стали барахтаться в нем. Льдина, на которой они находились мгновением раньше, раскололась и вздыбилась. В пролом хлынула вода и залила их до самого пояса, накрыла сани и потащила запутавшихся в упряжи собак. Люди остановились, чтобы помочь собакам. Они торопливо шарили под водой сведенными от стужи руками, рубя ножами постромки. Затем они стали пробиваться сквозь бушующий поток воды и мелкого льда к берегу, перепрыгивая с одной льдины на другую. К ним уже спешил Малыш из Монтаны.

— Черт побери, да это же Малыш! — воскликнул человек, которого Малыш вытащил на берег и поставил на ноги. На нем был красный мундир конной полиции. Он насмешливо поднял руку, отдавая честь.

— У меня есть ордер на ваш арест, Малыш, — продолжал он, вытаскивая измочаленную

бумажонку из нагрудного кармана. — Надеюсь, что вы будете вести себя спокойно.

Малыш посмотрел на беснующуюся реку и пожал плечами, а полицейский, проследив его взгляд, осклабился.

— Где собаки? — спросил его спутник.

— Джентльмены, — перебил его полицейский, — это мой товарищ, его зовут Джек Сазерленд, он владелец двадцать второго участка на Эльдорадо...

— Уж не тот ли Сазерленд, который окончил университет в девяносто втором году? — перебил его ослепший от снега человек из Минука, направившись к нему неверными шагами.

— Он самый. — Сазерленд пожал ему руку. — А кто вы?

— О, я окончил гораздо позже, но я помню вас еще с первого курса. Вы тогда уже писали диссертацию. Ребята! — позвал он, полуобернувшись. — Это Сазерленд, Джек Сазерленд. Когда-то он был защитником в университетской сборной. А ну, подходите, золотоискатели, знакомьтесь! Сазерленд, это Гринвич, играл полусреднего два сезона тому назад.

— Да, я читал об этой игре, — сказал Сазерленд, пожимая руку. — И я помню, как вы нажимали,

чтобы забить первый гол.

Сквозь дубленую кожу Гринвича проступил темный румянец. Он неуклюже отступил, чтобы пропустить вперед другого товарища.

— А это Мэттьюз, кончил Беркли. Тут у нас есть еще и восточные красавчики, они тоже здесь околачиваются. Идите сюда, принстонцы! Знакомьтесь, Сазерленд, Джек Сазерленд!

Они окружили его плотным кольцом, повели в лагерь, снабдили сухой одеждой и влили в него множество кружек крепкого чая.

Дональд и Дэйви, на которых никто не обращал внимания, вернулись в избушку и засели за еженощную игру в крибедж. Малыш с полицейским вошли следом за ними.

— А теперь переоденься в сухое, — сказал Малыш, доставая из мешка свои нехитрые пожитки. — Думаю, тебе придется даже спать со мной.

— Да ты, я вижу, парень неплохой, — сказал полицейский, натягивая носки Малыша. — Жаль, да ничего не поделаешь. Я должен доставить тебя обратно в Доусон. На одно надеюсь: может, они с тобой не слишком круто обойдутся.

— Это будет нескоро. — Загадочная усмешка скривила губы Малыша. — Пока мы еще сидим на месте. И если уж я стронусь с места, то вниз по

течению. Боюсь, что и тебе того же не миновать.

— Я пока не сошел с ума.

— Выйдем-ка отсюда, я покажу тебе кое-что. Эти идиоты, — Малыш ткнул большим пальцем через плечо в сторону двух шотландцев, — сваляли дурака, поселившись здесь. Набей сначала трубку. Это хороший табак. Кури, пока есть время. Теперь не очень раскуришься.

Малыш вместе с удивленным полицейским вышел из избушки. Дональд и Дэйви бросили карты и последовали за ними. Люди из Минука, заметив, что Малыш показывает на что-то, подошли поближе.

— Что случилось? — спросил Сазерленд.

— Ничего особенного, — небрежно произнес Малыш. — Просто заваривается каша, которой не расхлебать. Поглядите на ту излучину. Вот где будет затор. И там, вверх по реке, тоже будет затор. Миллионы тонн льда наворотит. Сначала прорвет вверху, а внизу затор останется и тогда... рраз!

Он выразительно махнул рукой, как бы стирая остров с лица земли.

— Миллионы тонн, — добавил он задумчиво.

— А что будет с дровами? — спросил Дэйви.

Малыш повторил свой жест, и Дэйви завопил:

— Столько месяцев трудились! Не может быть! Нет, нет, парень, этого не может быть! Это шутка. Ну, скажи, скажи, что это шутка! — умолял он.

Но Малыш только усмехнулся и, повернувшись, пошел прочь, а Дэйви вскочил на поленницу и в неистовстве стал отбрасывать дрова подальше от берега.

— Помоги, Дональд! — кричал он. — Неужели ты не можешь помочь? Ведь мы столько работали! И как мы теперь попадем домой!

Дональд схватил его за руку и стал трясти, но тот вырвался.

— Разве ты не слышал? Миллионы тонн, они сметут начисто весь остров.

— Возьми себя в руки, приятель, — сказал Дональд. — Ты просто немного расстроен.

Дэйви упал ничком на дрова. Дональд крадучись вернулся в избушку, пристегнул два пояса с деньгами, свой и Дэйви, и побежал к самой высокой части острова, где стояла огромная сосна, возвышавшаяся над другими деревьями.

Люди у избушки слышали, как звенит его топор, и усмехались. Гринвич вернулся с другой стороны острова и доложил, что они отрезаны. Перейти протоку было невозможно. Слепой из Минука затянул песню, а остальные подхватили.

Скажи мне: правда ли это?
Жду от тебя я ответа.
Кажется мне, что он врет.
Скажи мне: правда ли это?

— Так шутить грешно, — стонал Дэйви, подняв голову и наблюдая, как они приплясывают под косыми лучами солнца. — И мои дрова пропадут.

«Скажи мне, правда ли это?» — слышалось ему в ответ.

Шум на реке неожиданно прекратился. Наступила странная тишина. Вода быстро и бесшумно поднялась футов на двадцать, отрывая лед от берега. Громадные белые глыбы стали мягко тереться о кромку берега. Низкая часть острова была уже затоплена. Затем течение легко понесло лед. По мере того, как убыстрялось его движение, возрастал шум, и вскоре весь остров сотрясался и вздрагивал от ударов ломающихся льдин. Притиснутые к берегу тяжеленные глыбы весом в сотни тонн взлетали в воздух, как горошины.

Ледяное столпотворение усилилось, и, чтобы услышать друг друга, людям приходилось кричать. Временами с боковой протоки доносился грохот, покрывавший речной шум. Остров содрогнулся от соприкосновения с громадной льдиной.

Она выползла на берег, стесав под корень десяток сосен, потом, ворочаясь из стороны в сторону, подняла свое грязное основание и навалилась на избушку, срезав, словно гигантский нож, часть берега и деревья. Казалось, льдина только слегка задела угол избушки, но бревна легко, как спички, вышли из пазов, и вся постройка развалилась, словно карточный домик.

— Какая работа пропала! Как мы теперь попадем домой! — вопил Дэйви. Малыш и полицейский стаскивали его с поленницы.

— Всему свое время. Попадешь куда надо, — проворчал полицейский, дав ему затрещину и отшвырнув подальше от опасного места.

С верхушки сосны Дональд увидел, как ледяная глыба смахнула дрова и понеслась по течению. Как бы насытившись разрушениями, вода со льдом быстро спала до прежнего уровня и стала замедлять свой бег. Шум тоже немного поутих, и все услышали Дональда, который кричал со своего насеста, чтобы они посмотрели вниз по течению. Как и следовало ожидать, у островков на повороте начал образовываться затор, лед громоздился в большой барьер, протянувшийся от берега до берега. Река стала.

Вода прибывала до тех пор, пока не покрыла

весь остров. Люди были уже по колено в воде, а собаки плыли к развалинам избушки. Тут вода вдруг остановилась, и уже не было заметно, чтобы она поднималась или опускалась.

Малыш покачал головой.

— Наверху тоже затор, потому вода и не прибывает.

— Теперь все дело в том, какой затор прорвет прежде, — добавил Сазерленд.

— Точно, — подтвердил Малыш. — Если верхний затор прорвет первым, нам крышка. Все сметет.

Люди из Минука молча отвернулись, но вскоре в тишине поплыли звуки «Эй, Рамски», а потом «Оранжевого и черного». Малыш и полицейский присоединились к певшим, быстро схватывая мотивы все новых и новых песен.

— Дональд, ну почему ты не хочешь помочь?

Дэйви рыдал у подножия дерева, на которое вскарабкался его товарищ.

— О Дональд, почему ты не поможешь мне? — умолял Дэйви. Он тщетно пытался вскарабкаться по скользкому стволу, руки его кровоточили.

Но Дональд, не отрываясь, смотрел на верхний затор и вдруг дрожащим от страха голосом закричал:

— Господи, вот оно...

Стоя по колена в ледяной воде, люди из Минука, Малыш и полицейский взялись за руки и запели во весь голос грозный «Боевой гимн республики»[45]. Но слова его потонули в налетевшем реве.

И тут Дональду довелось стать свидетелем зрелища, увидеть которое и остаться в живых не может никто. Белая стена обрушилась на остров. Деревья, люди, собаки были сметены, как будто десница господня прошлась по лику природы. Дональд видел все это, потом высокий насест качнулся, и его с силой швырнуло в ледяной ад.

[45] notes: 45

«Боевой Гимн республики» — американская песня, на писанная писательницей Джулией Уорд Хоу в 1862 году.

Женское презрение
I

Случилось так, что пути Фреды и миссис Эппингуэлл сошлись. Надо сказать, что Фреда была молодая танцовщица, гречанка, точнее, она хотела, чтобы ее считали гречанкой, но для многих вопрос об ее происхождении оставался нерешенным, так как классические черты Фреды казались слишком энергичными, а в иные, правда, редкие, минуты в глазах ее вспыхивали дьявольские огни, что вызывало еще больше сомнений в ее национальности. Лишь немногие — да и то лишь мужчины — удостоились видеть эти огни, но тот, кто видел, уже не забудет их до конца жизни. Сама Фреда ничего не рассказывала о себе, и когда она была спокойна, и вправду казалось, будто есть в ней что-то эллинское. Во всем крае от Чилкута до Сент-Майкла не было мехов более роскошных, чем у Фреды, и ее имя не сходило с мужских уст. А миссис Эппингуэлл была женой капитана, тоже звездой первой величины, и орбита ее охватывала самое избранное общество Доусона — общество тех, кого непосвященные

прозвали «службистами». Ситка Чарли однажды путешествовал на собаках вместе с миссис Эппингуэлл — в год жестокого голода, когда жизнь человека стоила дешевле чашки муки, — и он ставил эту женщину выше всех других. Ситка Чарли был индеец; он судил со своей, примитивной точки зрения; но в поселках, расположенных неподалеку от Полярного круга, слову его верили и приговор его не оспаривали.

Обе женщины были неотразимыми завоевательницами и покорительницами мужчин — каждая в своем роде. Миссис Эппингуэлл правила в своем собственном доме, в Казармах, набитых младшими сыновьями знатных семейств, а также в высших кругах полиции, администрации и суда. Фреда правила в городе; но мужчины, подвластные ей, были все те же, кого миссис Эппингуэлл поила чаем и кормила консервами в своем бревенчатом доме на склоне холма. Эти две женщины были так же далеки одна от другой, как Северный полюс от Южного; и хотя они, вероятно, кое-что слышали друг о друге, а может быть, и хотели узнать побольше, но никогда не высказывали своего желания. И жизнь текла бы спокойно, если бы не появилось новое лицо — некая очаровательная экс-натур-

щица, прибывшая в Доусон по первому льду на превосходных собаках и в ореоле космополитической известности. Венгерка со звучным и нашумевшим именем Лорэн Лиснаи ускорила начало сражения, и по ее вине миссис Эппингуэлл спустилась со склона и проникла во владения Фреды, а Фреда со своей стороны покинула город, чтобы посеять смятение и замешательство на губернаторском балу.

События эти для Клондайка — пожалуй, уже история, но лишь очень немногие в Доусоне знали их подоплеку; а кто не знал, тот не мог понять до конца ни жену капитана, ни гречанку-танцовщицу. И если теперь все имеют возможность оценить их по достоинству, то это заслуга Ситки Чарли. Главные факты предлагаемого повествования записаны с его слов. Трудно допустить, что сама Фреда удостоила бы своей откровенностью какого-то бумагомарателя или что миссис Эппингуэлл соблаговолила бы рассказать о том, что произошло. Возможно, конечно, но маловероятно.

II

По-видимому, Флойд Вандерлип был сильным человеком; судя по рассказам о первых годах его жизни, его не смущали ни тяжелая работа, ни грубая пища. В опасности он был настоящий лев, и когда ему однажды пришлось сдерживать натиск пяти сотен изголодавшихся людей, он смотрел на сверкающий прицел своего ружья с таким хладнокровием, какое мало кто способен сохранить в подобную минуту. Была у него одна слабость, но, порожденная, в сущности, избытком силы, она, следовательно, вовсе не была слабостью. Все свойства его характера были ярко выражены, но плохо уравновешены. И вот получилось так, что хотя Флойд Вандерлип был от природы влюбчив, но влюбчивость дремала в нем в течение всех тех лет, когда он питался только олениной и вяленой рыбой и рыскал по обледенелый хребтам в поисках сказочных золотых россыпей. Когда он наконец поставил заявочный столб и центральные вехи на одном из богатейших золотоносных участков Клондайка, влюбчивость его стала просыпаться; когда же он занял надлежащее место в обществе как всеми

признанный король Бонанзы, она проснулась совсем и овладела им. И тут он внезапно вспомнил об одной девушке, оставшейся в Соединенных Штатах, и проникся уверенностью, что она его ждет и что жена — очень приятное приобретение для мужчины, который живет за шестьдесят третьим градусом северной широты. Итак, он сочинил надлежащее послание, приложил к нему аккредитив на сумму, достаточную для покрытия всех расходов невесты, включая покупку приданого и содержание компаньонки, и послал все это в адрес некоей Флосси. Флосси? Нетрудно было догадаться, что она собой представляет! Так или иначе, послав письмо, он выстроил удобный домик на своем участке, купил дом в Доусоне и сообщил знакомым о том, что скоро женится.

Тут-то и сказалась неуравновешенность Флойда. Ждать невесту было скучно, а его так долго дремавшее сердце не соглашалось ни на какие отсрочки. Флосси должна была скоро приехать, но Лорэн Лиснаи уже приехала. И дело заключалось не только в том, что Лорэн Лиснаи уже приехала, но и в том, что ее международная известность несколько поизносилась и Лорэн была теперь уже не так молода, как в те времена, когда позировала в студиях венценосных художниц-любительниц,

а кардиналы и принцы оставляли в ее передней свои визитные карточки. Да и денежные ее дела были расстроены. Пожив в свое время полной жизнью, она теперь задумала атаковать какого-нибудь короля Бонанзы, чье богатство было бы так велико, что не укладывалось в шестизначное число. Как заслуженный вояка, устав от долгих лет службы, ищет спокойного местечка, так и она приехала на Север, чтобы выйти замуж. И вот однажды она бросила взгляд на Флойда Вандерлипа, когда он покупал для Флосси столовое белье в лавке Компании Тихоокеанского побережья, и этот взгляд сразу все и решил.

Холостяку прощают многое такое, что общество немедленно поставит ему на вид, если он опрометчиво свяжет себя семейными узами. Так случилось и с Флойдом Вандерлипом. Скоро должна была приехать Флосси, и потому, когда Лорэн Лиснаи промчалась по главной улице на его собаках, это вызвало разговоры. Когда же в Доусоне появилась некая журналистка — корреспондент газеты «Канзас-сити Стар», Лорэн ее сопровождала и видела, как та фотографирует золотые прииски Вандерлипа на речке Бонанзе и как рождается очерк на шесть газетных столбцов. В те дни обеих дам угощали царскими обедами

в доме, выстроенном для Флосси, за столом, который был покрыт скатертью, купленной для Флосси. Начались визиты, прогулки, пирушки, кстати сказать, ничуть не выходившие из рамок благопристойности, и вот мужчины начали резко осуждать все это, а женщины ехидствовать. Только миссис Эппингуэлл ничего не хотела слышать. До нее, правда, доходил отдаленный гул сплетен, но она была склонна верить хорошим отзывам о людях и не слушать дурных, а потому и не обращала внимания на пересуды.

Иное дело — Фреда. У нее не было оснований жалеть мужчин, но в силу каких-то причуд сердце ее тянулось к женщинам... к женщинам, жалеть которых у нее было еще меньше оснований. И вот сердце Фреды потянулось к Флосси, уже начавшей свой долгий путь на суровый Север, где ее, быть может, и не ждали больше. Застенчивая, привязчивая девушка, с хорошенькими пухлыми губками немного вялого рта, с пушистыми светлыми волосами, с глазами, в которых сияло непритязательное веселье и бесхитростная радость жизни, — вот какой Фреда рисовала себе Флосси. Но ей представлялась и другая Флосси — с посиневшим от мороза, укутанным до самых глаз лицом, устало бредущая за собаками. И вот одна-

жды во время танца Фреда улыбнулась Флойду Вандердипу.

Немного найдется на свете мужчин, которых не взволновала бы улыбка Фреды. И Флойд Вандерлип не принадлежал к их числу. Благосклонность очаровательной экс-натурщицы Лорэн Лиснаи заставила его взглянуть на себя по-новому, а расположение гречанки-танцовщицы подтвердило эту переоценку, — он почувствовал себя «интересным мужчиной». Очевидно, думал он, у него есть какие-то глубоко скрытые достоинства, и обе женщины подметили их. Сам Флойд хорошенько не знал, что это за тайные достоинства, но у него было смутное ощущение, что они существуют, и вот он возгордился. Мужчина, способный заинтересовать двух таких женщин, не может быть заурядным человеком. Когда-нибудь на досуге он попробует разобраться в этих своих достоинствах, думал он, но пока он просто возьмет то, что ему даруют боги. И тут в голове у Флойда закопошилась мелкая мыслишка: да чем же, черт побери, приглянулась ему Флосси? И он стал горько раскаиваться в том, что вызвал ее. Конечно, о женитьбе на Фреде не может быть и речи. Прииски его — самые богатые на Бонанзе, он занимает видное положение в обществе и

несет перед ним некоторую ответственность за свои поступки. А вот Лорэн Лиснаи — это как раз такая женщина, какая ему нужна. Она когда-то жила широко; она может стать достойной хозяйкой его дома и придать блеск его долларам.

Но Фреда улыбнулась ему и продолжала улыбаться, и он стал проводить много времени в ее обществе. И вот в один прекрасный день она тоже пронеслась по главной улице на его собаках, а экс-натурщица призадумалась и во время следующей встречи с Флойдом Вандерлипом ослепила его рассказами о своих принцах и кардиналах и разных случаях из придворной жизни, действующими лицами в которых были короли, аристократы и она сама. Кроме того, она показала ему письма на элегантной бумаге, которые начинались обращением «Моя милая Лорэн», кончались словами «любящая Вас» и были подписаны именем некоей ныне здравствующей и царствующей королевы. А он в душе удивлялся, как это столь высокая особа снисходит до того, чтобы потратить хоть минуту на разговоры с ним. Но она вела игру умно, сравнивала его со всеми этими знатными призраками, которые по большей, части были плодом ее воображения, и сравнивала так, что сравнения оказывались в его

пользу, а у Флойда Вандерлипа голова шла кругом от восхищения самим собой и снисходительной жалости ко всему миру, который так долго не замечал его достоинств. Фреда действовала более искусно. Если она кому-нибудь льстила, никто об этом не догадывался. Если ей приходилось унижаться, никто не замечал ее унижения. Если мужчина чувствовал ее благосклонность, то это чувство внушалось ему так тонко, что он при всем желании не мог бы сказать, почему и как оно возникло. Итак, Фреда все больше завораживала Флойда Вандерлипа и каждый день каталась на его собаках.

И тут-то миссис Эппингуэлл совершила ошибку. О Флойде Вандерлипе стали говорить все громче и определеннее, сплетая его имя с именем танцовщицы, и все это дошло до миссис Эппингуэлл. Она тоже представила себе, как Флосси теперь час за часом бредет в мокасинах по бесконечному пути, и вот Флойда Вандерлипа стали приглашать на чашку чая в дом на склоне холма, и приглашать часто. У него прямо дух захватило, и он опьянел от самолюбования. Никогда еще мужчина не становился жертвой подобного коварства. Три женщины— и какие женщины! — боролись за его душу, пока четвертая спешила

предъявить свои права на нее.

Впрочем, расскажем о миссис Эппингуэлл и ее ошибке. Миссис Эппингуэлл сначала осторожно поговорила обо всем с Ситкой Чарли, у которого гречанка однажды купила собак. Но миссис Эппингуэлл не называла имен. О женщине, которой увлекся Флойд Вандерлип, она сказала только: «Эта... э... ужасная особа». — а Ситка Чарли повторил: «Эта... э... ужасная особа», — подразумевая экс-натурщицу. И он согласился с миссис Эппингуэлл, что очень дурно со стороны женщины отбивать жениха у невесты.

— Ведь она совсем девочка, Чарли, — сказала миссис Эппингуэлл, — наверное, очень молоденькая. И вот она приедет на чужбину и очутится тут совсем одна, без единого друга. Надо что-то предпринять.

Ситка Чарли обещал помочь и ушел, раздумывая о том, что за скверная баба эта Лорэн Лиснаи и как благородны миссис Эппингуэлл и Фреда, если они принимают близкое участие в судьбе какой-то неведомой им Флосси.

Надо сказать, что миссис Эппингуэлл была женщина с открытой душой. Ситка Чарли однажды шел с ней через Горы Молчания и потом прославил ее своими рассказами об ее ясном,

испытующем взгляде, ясном, звучном голосе и совершенной искренности и прямоте. Губы ее как-то сами собой складывались для приказания, и она привыкла всегда говорить начистоту. Но с Флойдом Вандерлипом она на это не решалась, так как узнала ему цену; зато она не побоялась спуститься в город к Фреде. Она среди бела дня спустилась с холма и подошла к дому танцовщицы. Миссис Эппингуэлл и ее муж, капитан, стояли выше пустых пересудов. Она считала необходимым увидеть эту женщину своими глазами и по-говорить с нею и не находила в этом ничего зазорного. И вот она целых пять минут простояла в снегу, на шестидесятиградусном морозе, перед домом молодой гречанки, ведя переговоры с горничной, после чего получила удовольствие выслушать, что ее не впустят в этот дом, и вернулась к себе в гневе, переживая это оскорбление. «Кем она себя считает, эта женщина, что отказывается принять меня?» — спрашивала себя миссис Эппингуэлл. Можно было подумать, что они переменились ролями, что миссис Эппингуэлл — простая танцовщица, которую жена капитана не захотела принять. А ведь приди Фреда к ней на холм, — все равно с какой целью, — она, миссис Эппингуэлл, радушно приняла

бы ее, и они посидели бы вместе у камина, как равная с равной, и поговорили бы по душам. Она нарушила общепринятые условности и унизила себя, но к подобным нарушениям она относилась не так, как другие женщины, которые жили внизу, в городе. А теперь ей было стыдно, что она сама подвергла себя такому посрамлению, и в душе она осуждала Фреду.

Но Фреда этого не заслуживала. Миссис Эппингуэлл снизошла до встречи с ней, отщепенкой, а Фреда, строго соблюдавшая традиции своего прежнего положения, не допустила этой встречи. Она готова была боготворить такую женщину, как миссис Эппингуэлл, и не было бы для нее большей радости, чем принять ее в своем доме и посидеть с нею — просто посидеть, хоть часок, но она уважала миссис Эппингуэлл и уважала себя, хотя ее не уважал никто, — вот это и помешало ей уступить своему самому горячему желанию.

Она еще не совсем опомнилась от недавнего визита миссис Мак-Фи, жены священника, обрушившейся на нее с целым вихрем увещеваний и угроз, и просто не могла представить себе, чем вызван визит жены капитана. Она не знала за собой никакой особенной провинности, и уж, конечно, женщина, стучавшаяся на этот раз в ее двери,

не думала о спасении ее души. Так зачем же она приходила? Как ни велико было вполне законное любопытство Фреды, она ожесточилась сердцем и, гордая, как горды все те, кому гордиться нечем, теперь вся дрожала в своей комнате, как девушка после первой ласки возлюбленного. Если миссис Эппингуэлл страдала, поднимаясь к себе на гору, то и Фреда страдала, лежа ничком на кровати, с сухими глазами и пересохшими губами.

Миссис Эппингуэлл хорошо знала человеческую природу. Она стремилась понять все. Ей было нетрудно отойти от мироощущения цивилизованных людей и посмотреть на вещи с точки зрения дикаря. Она понимала, что у голодного пса и голодающего человека есть нечто общее, и могла предугадать поступки того и другого в сходных обстоятельствах. Для нее женщина всегда оставалась женщиной, все равно, была ли она одета в царскую порфиру, или в отрепья нищенки; а Фреда была женщина. Миссис Эппингуэлл не удивилась бы, если бы ее впустили в дом танцовщицы и встретили, как равную; не удивилась бы и в том случае, если бы ее приняли с показной надменностью женщин, лишенных истинной гордости. Но то, что произошло, было неожиданно и неприятно. Значит, она не поняла

точки зрения Фреды. И хорошо, что не поняла. Есть такие точки зрения, которые можно понять, лишь пройдя через тяжкие муки самоуничижения, и, конечно, лучше для мира, что женщины, подобные миссис Эппингуэлл, не могут понять все. Нельзя понять, что значит испачкаться, не погрузив руки в густой деготь, а он очень липкий; однако многие охотно проделывают этот эксперимент. Впрочем, все это несущественно, если не считать того, что миссис Эппингуэлл огорчилась, а молодая гречанка воспылала к ней еще большей любовью.

III

И так все шло в течение месяца: миссис Эппингуэлл старалась уберечь Флойда Вандерлипа от чар греческой танцовщицы, пока не прибудет Флосси; Флосси преодолевала милю за милей своего томительного пути; Фреда изо всех сил боролась с экс-натурщицей; экс-натурщица напрягала каждый свой нерв, чтобы завладеть добычей; а Флойд Вандерлип, весьма довольный собой, сновал между ними, как челнок, воображая себя вторым Дон-Жуаном.

Он сам был повинен в том, что Лорэн Лиснаи

наконец подцепила его. Пути мужчины к сердцу женщины подчас настолько удивительны, что их нелегко понять; но пути женщины к сердцу мужчины уж вовсе непостижимы; а значит, неосторожен был бы пророк, осмелившийся предсказывать, как развернутся события в жизни Флойда Вандерлипа в течение ближайших суток. Быть может, он был увлечен экс-натурщицей потому, что она была красивым животным; быть может, она пленила его воображение своей болтовней о дворцах и принцах Старого Света; как бы там ни было, она ослепила Флойда Вандерлипа, жизнь которого сложилась в дикой глуши, и он наконец поддался на ее уговоры спуститься вместе с ней по Юкону и под шумок обвенчаться на Сороковой Миле. Придя к этому решению, он купил собак у Ситки Чарли — когда путешествует такая женщина, как Лорэн Лиснаи, одной упряжкой не обойдешься, — а затем уехал в верховья Бонанзы, чтобы сделать распоряжения по надзору за приисками на время своего отсутствия.

Он объяснил, хотя довольно туманно, что собаки нужны ему для подвоза бревен с лесопилки к промывочным желобам, и тут-то Ситка Чарли и проявил свою смекалку. Он согласился достать собак к указанному числу; но как только Флойд

Вандерлип отбыл в верховья Бонанзы, Чарли в большом волнении прибежал к Лорэн Лиснаи. Известно ли ей, куда уехал мистер Вандерлип? Он, Ситка Чарли, обязался поставить этому джентльмену большую партию собак к определенному числу, но бессовестный торговец немец Майерс заранее скупил всех собак и теперь придерживает их. Ему, Ситке Чарли, необходимо увидеться с мистером Вандерлипом и сообщить, что по вине бессовестного немца он на целую неделю запоздает с поставкой собак. Так она знает, куда он уехал? Вверх по Бонанзе? Прекрасно! Ситка Чарли немедленно бросится вдогонку и предупредит его, что, к сожалению, вышла задержка. Как она сказала? Собаки потребуются мистеру Вандерлипу в пятницу вечером? Их обязательно надо доставить к этому времени? Вот незадача! Но всему виной бессовестный немец; это он взвинтил цены. Они вскочили до пятидесяти долларов за собаку, и если Ситка купит их так дорого, он потерпит убыток. Ведь неизвестно, согласится ли мистер Вандерлип заплатить дороже, чем было условлено. Она уверена, что согласится? И, как друг мистера Вандерлипа, она даже сама доплатит разницу? Он ничего не будет иметь против? Очень любезно с ее стороны так защищать его

интересы. Итак, в пятницу вечером? Прекрасно! Собаки будут.

Час спустя Фреда узнала, что бегство влюбленных назначено на пятницу; узнала также, что Флойд Вандерлип уехал в верховья Бонанзы, а значит, руки у нее связаны. В пятницу утром приехал по льду Деверо, правительственный курьер, доставлявший депеши от губернатора. Вместе с депешами он привез вести о Флосси. Он проезжал мимо ее стоянки на Шестидесятой Миле, сказал он, люди и собаки в хорошем состоянии, и Флосси, несомненно, приедет в субботу. Услышав это, миссис Эппингуэлл почувствовала большое облегчение. Флойд Вандерлип сейчас далеко, в верховьях Бонанзы, думала она, и раньше, чем гречанка успеет снова завладеть им, его невеста будет уже здесь. Но в тот же день громадный сенбернар миссис Эппингуэлл, доблестно оборонявший переднее крыльцо, подвергся нападению десятка изголодавшихся в дороге, рыщущих в поисках пищи собак, которые сшибли его с ног. В течение полуминуты он был погребен под грудой косматых тел, пока его не высвободили двое здоровенных мужчин, вооруженных топорами. Промедли они хоть две минуты, сенбернар, вероятно, был бы разорван на куски и каждый из

нападающих унес бы свою долю в брюхе, но дело обернулось иначе, и сенбернара успели только поранить. Призвали Ситку Чарли, и тому пришлось особенно повозиться с правой передней лапой, которая пробыла в чужой пасти на какую-то часть секунды дольше, чем было можно. Когда индеец перед уходом надевал рукавицы, разговор зашел о Флосси и, естественно, перекинулся на «эту... э... ужасную особу». Ситка Чарли случайно обмолвился, что она собирается нынче ночью уехать вниз по Юкону вместе с Флойдом Вандерлипом, и, кроме того, намекнул, что в это время года всякое может случиться в дороге.

Тогда миссис Эппингуэлл начала осуждать Фреду еще суровее. Она написала записку и отправила ее Флойду Вандерлипу с посыльным, который должен был ждать адресата в устье Бонанзы. Другой посыльный с запиской от Фреды ждал его в том же стратегическом пункте. Итак, Флойд Вандерлип, лихо прокатившись на собаках вниз по Бонанзе при свете угасающего дня, получил обе записки сразу. Записку Фреды он разорвал. Нет, к Фреде он не поедет. В этот вечер он будет занят более важными делами. Кроме того, о Фреде вообще не может быть и речи. Но миссис Эппингуэлл! Он исполнит ее

последнее желание — точнее, воспользуется последней возможностью исполнить ее желание — и встретится с нею на губернаторском балу, чтобы выслушать то, что она хочет ему сказать. Судя по тону записки, дело идет о чем-то очень важном, а вдруг... он мечтательно улыбнулся, но так и не додумал промелькнувшей мысли. Черт побери, ну и везет ему с женщинами! Швырнув на снег клочки записки, он погнал собак вскачь к своему дому. Бал был костюмированный. Флойд Вандерлип должен был извлечь костюм, который он надевал два месяца назад на балу в «Опере», надо было также побриться и поесть. Вот почему из всех заинтересованных лиц только он не знал о том, что Флосси уже совсем близко.

— Пригони собак к проруби, что за больницей, ровно в полночь. Да смотри не подведи, — приказал он Ситке Чарли, который зашел доложить, что до полного комплекта не хватает только одной собаки, но и та будет доставлена примерно через час. — Вот мешок. А весы тут. Отвесь себе песку сам, сколько полагается, и не приставай ко мне. Мне нужно готовиться к балу.

Ситка Чарли отвесил свое вознаграждение и удалился, унося с собой письмо к Лорэн Лиснаи, содержание которого, как он догадался, каса-

лось встречи у проруби за больницей ровно в полночь.

IV

Дважды посылала Фреда гонцов в Казармы, где танцы были уже в разгаре, и дважды они возвращались, не получив ответа. Тогда Фреда поступила так, как могла поступить лишь она, — закуталась в свои меха, надела маску и сама поехала на бал. Надо сказать, что у «службистов» был обычай — правда, не оригинальный, — который они соблюдали уже давно. Это был весьма мудрый обычай, так как он оберегал их жен и дочерей от нежелательных встреч и обеспечивал строгий отбор развлекающегося общества. Всякий раз, как устраивался маскарад, выбирали комиссию, единственной обязанностью которой было стоять у входной двери и заглядывать под маску каждого входящего без исключений. Мужчины обычно не стремились заниматься подобным делом, но всегда выбор падал как раз на тех, которые этого меньше всего хотели. Священник плохо знал в лицо горожан и недостаточно разбирался в их общественном положении, а потому не мог решить, кого можно впустить, а

кого нельзя. Так же плохо были осведомлены и некоторые другие достойные джентльмены, которые ничего так не жаждали, как послужить обществу. Миссис Мак-Фи готова была даже рискнуть спасением своей души, чтобы попасть в эту комиссию, и однажды ей это удалось, но в тот вечер у нее под носом прошмыгнули три маски, которые успели натворить дел, раньше чем были разоблачены. После этого случая в комиссию стали выбирать только людей осмотрительных, хотя они соглашались крайне неохотно.

В этот вечер у двери стоял Принс. На него нажали, и он еще не успел опомниться от удивления, что согласился занять этот пост, рискуя потерять половину своих друзей только для того, чтобы угодить другой половине. Трое-четверо из тех, кого он отказался впустить, были людьми, с которыми он познакомился на приисках или в дороге, и все они были славные ребята, хоть и не совсем подходящие для такого избранного общества. И Принс уже начал подумывать, как бы ему поскорее удрать со своего поста, как вдруг в освещенный подъезд впорхнула женщина. Фреда! Он мог поклясться, что это она, даже если бы не узнал ее мехов: ведь ему была так хорошо знакома эта посадка головы. Кто-кто, но чтобы Фреда явилась

сюда, этого он никак не ожидал. Он думал, что она умнее и не захочет так опозориться — выслушать отказ в приеме или, если ей удастся проскользнуть на бал неузнанной, изведать всю тяжесть женского презрения. Он покачал головой, не заглянув под маску, — он слишком хорошо знал эту женщину, чтобы ошибиться. Но она подошла совсем близко, быстро приподняла черную шелковую маску и так же быстро опустила ее. Принс лишь мельком увидел ее лицо, но это мгновение показалось ему бесконечным. Недаром говорили, что Фреда играет мужчинами, как ребенок мыльными пузырями. Никто не произнес ни слова. Принс сделал шаг в сторону, а спустя не-сколько минут люди слышали, как он горячо, но бессвязно просил освободить его от обязанностей, которые он выполнял недобросовестно.

Женщина, гибкая, тонкая, но, должно быть, сильная — так четки и ритмичны были ее движения, — то останавливалась около одной группы гостей, то оглядывала другую, беспрерывно лавируя в толпе. Мужчины узнавали ее меха и удивлялись, — как раз те мужчины, которых следовало бы избрать в комиссию, охранявшую вход; но им не хотелось поднимать шум. Другое дело — женщины. У них вообще лучше развита память

на фигуру и осанку, и они сразу догадались, что эта гостья не принадлежит к их кругу; не видывали они и таких мехов. Но вот миссис Мак-Фи, выйдя из зала, где уже были накрыты столы для ужина, уловила сквозь прорези шелковой маски сверкающий, ищущий взгляд и вздрогнула. Напрягая память, она силилась вспомнить, где она видела эти глаза, и перед нею возник живой образ гордой и мятежной грешницы, которую она, жена священника, однажды безуспешно пыталась обратить на путь истинный во славу божью.

И вот сия добродетельная матрона, обуреваемая пылким и праведным гневом, пустилась по свежему следу, а след привел ее к миссис Эппингуэлл и Флойду Вандерлипу. Миссис Эппингуэлл только что улучила время побеседовать с Вандерлипом. Она решила, что, раз Флосси так близко, надо говорить начистоту, и у нее уже готово было сорваться с губ краткое язвительное назидание, как вдруг их беседа была нарушена третьим лицом. Женщина в мехах немедленно завладела Флойдом Вандерлипом, предварительно сказав: «Простите, пожалуйста», — а миссис Эппингуэлл, — отметив, что она произнесла эти слова с приятным иностранным акцентом, — вежливым наклонением головы разрешила им обоим отой-

ти в сторону.

Тут-то и опустилась карающая десница миссис Мак- Фи и сорвала черную маску с недоумевающей женщины. Прекрасное лицо и сверкающие глаза — вот что увидели любопытные, но немые свидетели этой сцены, а свидетелями были все. Флойд Вандерлип растерялся. Положение складывалось такое, что мужчина, знающий себе цену, обязан был что-то предпринять немедленно, а Флойд растерялся. Он только беспомощно оглядывался кругом. Миссис Эппингуэлл была озадачена. Она ничего не могла понять. Миссис Мак-Фи необходимо было как-то объяснить свой поступок, и она не преминула это сделать.

— Миссис Эппингуэлл, — проверещал ее по-кельтски пронзительный голос, — позвольте мне иметь удовольствие представить вам Фреду Молуф. Мисс Фреду Молуф, если не ошибаюсь.

Фреда невольно обернулась. Теперь, когда лицо ее было открыто, ей казалось, словно во сне, что она стоит обнаженная в окружении горящих глаз и скрытых масками лиц. Казалось, будто стая голодных волков обступила ее и вот-вот ринется на нее. А может быть, кто- нибудь и жалеет ее, подумала она и при этой мысли ожесточилась. Нет, пусть уж лучше презирают. Она была сильна

духом, эта женщина, и хотя охота за намеченной жертвой завела ее в самую гущу волчьей стаи, а рядом стояла сама миссис Эппингуэлл, она и не подумала отказаться от своей добычи.

И тут миссис Эппингуэлл совершила непонятный поступок. Так вот, думала она, какова эта Фреда, танцовщица и погубительница мужчин; женщина, которая ее не приняла. Но в то же время миссис Эппингуэлл так ясно понимала, какой стыд терзает это властное сердце, как будто обнажена была она сама. Возможно, в ней заговорило свойственное англосаксам нежелание бороться с неравным противником, возможно, — желание укрепить свои собственные силы в борьбе за этого мужчину, а может быть, и то и другое, но так или иначе она поступила весьма неожиданно. Как только зазвучал тонкий, дрожащий от злорадства голос миссис Мак-Фи и Фреда невольно обернулась, миссис Эппингуэлл взглянула на нее, сняла свою маску и наклонила голову в знак согласия на знакомство.

Лишь одно мгновение смотрели друг на друга эти две женщины, но, как и Принсу у входа, им оно показалось бесконечным. Одна — искрометная, со сверкающими глазами, загнанная и ожесточившаяся, заранее страдающая, заранее

возмущенная неминуемым презрением, насмешками, оскорблениями, которые сама же навлекла на себя, — прекрасный пылающий, клокочущий вулкан плоти и духа. А другая — холодноватая, спокойная, ясная, сильная сознанием своей безупречности, уверенная в себе, чувствующая себя совершенно непринужденно, бесстрастная, невозмутимая, — статуя, изваянная из холодного мрамора. Если между ними и была пропасть, миссис Эппингуэлл просто не пожелала ее заметить. Ей не надо было ни перекидывать мост, ни спускаться с высот, чтобы подойти к Фреде; она всем своим видом показывала, что считает ее равной себе. Спокойно давала понять, что прежде всего обе они женщины. И тем привела в бешенство Фреду. Этого бы не случилось, будь Фреда попроще, но душа у нее была чувствительный инструмент и потому могла проникнуть в чужую душу до самых сокровенных ее глубин. «Что же вы не отдергиваете подола своего платья, чтобы оно не коснулось меня? — готова была она крикнуть в то бесконечное мгновение. — Оскорбляйте меня, оплевывайте — это лучше, милосердней, чем поступать так!» Она дрожала. Ноздри ее раздулись и затрепетали, но она взяла себя в руки, кивком ответила на кивок миссис Эппингуэлл и

повернулась к Вандерлипу.

— Уйдем, Флойд, — сказала она просто. — Вы мне нужны сейчас.

— Какого дья... — вспыхнул он вдруг, но вовремя проглотил конец фразы. Куда к черту подевалась его находчивость? Надо же было попасть в такое дурацкое положение! Он откашлялся, крякнул, в нерешительности поднял широкие плечи и с мольбой устремил глаза на обеих женщин.

— Одну минутку, простите, но можно мне сначала поговорить с мистером ВандерлипомУ

Тихий голос миссис Эппингуэлл напоминал флейту, но в интонациях его звучала твердая воля.

Флойд взглянул на миссис Эппингуэлл с благодарностью. Уж он-то охотно поговорит с нею.

— Простите, — сказала Фреда, — на это уже нет времени. Он должен уйти со мной сейчас же.

Эти вежливые фразы легко слетали с ее губ, но она улыбнулась в душе: такими невыразительными, такими слабыми они показались ей. Гораздо лучше было бы закричать громким голосом.

— Но, мисс Молуф, кто вы такая, что позволяете себе распоряжаться мистером Вандерлипом и руководить его поступками?

Флойд просиял, почувствовав облегчение, и

одобрительно кивнул. Миссис Эппингуэлл, безусловно, поможет ему выпутаться. На этот раз Фреда столкнулась с достойной соперницей.

— Я... я... — замялась было Фреда, но ее женский ум сразу же подсказал ей правильную тактику, — а вы кто такая, что позволили себе задать подобный вопрос?

— Кто я такая? Я миссис Эппингуэлл и...

— Ну да, конечно! — резко перебила ее Фреда. — Вы жена капитана, и, следовательно, у вас есть муж — капитан. А я всего лишь танцовщица. На что вам этот человек?

— Неслыханная дерзость! — Миссис Мак-Фи заволновалась и уже приготовилась к бою, но миссис Эп-пингуэлл взглядом заставила ее замолчать и приступила к новой атаке:

— Мисс Молуф, по-видимому, имеет на вас какие-то права, мистер Вандерлип, и так спешит, что не может уделить мне даже нескольких секунд вашего времени, поэтому я вынуждена обратиться непосредственно к вам. Можно мне поговорить с вами наедине, теперь же?

Миссис Мак-Фи щелкнула зубами. Наконец-то найден выход из постыдного положения.

— Да, э... то есть, конечно, с удовольствием... — пролепетал Флойд Вандерлип. — Конечно,

конечно, — добавил он, оживляясь при мысли о своем грядущем освобождении.

Мужчины — это всего только стадные позвоночные, приручeнные и одомашненные, и все последующее объясняется, вероятно, тем, что гречанка в свое время управлялась и с более дикими представителями этой породы двуногих. Она повернулась к Вандерлипу, и дьявольские огни вспыхнули в ее сверкающих глазах, — казалось, это укротительница в осыпанном блестками платье смотрит на льва, который, себе на беду, вообразил, будто он свободен в своих действиях. И зверь в мужчине завилял хвостом, как под ударом хлыста.

— То есть, э... мы поговорим с вами потом. Завтра, миссис Эппингуэлл, да, да, завтра. Это самое я и хотел сказать.

Флойд утешал себя тем, что, если он здесь останется, будет еще хуже. А кроме того, он должен спешить на свидание у проруби за больницей. Но черт побери! Оказывается, как плохо он знал Фреду! Вот сногсшибательная женщина!

— Будьте любезны отдать мне мою маску, миссис Мак-Фи.

Миссис Мак-Фи на сей раз не смогла выговорить ни слова, но маску вернула.

— Спокойной ночи, мисс Молуф. — Миссис Эппингуэлл, даже побежденная, вела себя, как королева.

Фреда тоже сказала «спокойной ночи», хотя едва поборола в себе желание обхватить руками колени этой женщины и молить ее о прощении... нет, не о прощении, а о чем-то другом, чего она себе не представляла ясно, но тем не менее жаждала.

Флойд Вандерлип хотел было взять ее под руку, но ведь она выхватила добычу из самой гущи этой волчьей стаи, и то чувство, что побуждало царей древности привязывать побежденных к своей колеснице, побудило ее направиться к выходу в одиночестве, а Флойд Вандерлип поплелся за ней следом, стараясь вернуть себе душевное равновесие.

V

Было очень холодно. Дорога петляла, идти пришлось не менее четверти мили; и пока они шли к дому танцовщицы, смерзавшееся дыхание припушило инеем брови и волосы Фреды, а у Флойда так обледенели его пышные усы, что больно было слово вымолвить. При зеленоватом свете

северного сияния видно было, что в термометре, висевшем снаружи у двери, замерзла ртуть. Сотни собак выли тоскливым хором, жалуясь равнодушным звездам на свои вековечные обиды и моля их о сострадании. Воздух был совершенно неподвижен. Этим собакам негде было укрыться от холода, не было тут укромного места, куда бы они могли забиться. Мороз проникал всюду, а они лежали под открытым небом, время от времени потягиваясь, расправляя натруженные в дороге мускулы и подвывая протяжным волчьим воем.

Хозяйка и гость заговорили не сразу. Пока горничная снимала с Фреды меха, Флойд Вандерлип подбрасывал дрова в огонь, а когда горничная ушла в другую комнату, он все еще старался оттаять свои заиндевевшие усы, склонясь над железной печкой. Покончив с этим, он свернул сигарету и принялся лениво разглядывать Фреду сквозь кольца душистого дыма. Она украдкой покосилась на часы. До полуночи оставалось еще полчаса. Как задержать его? Сердится он на нее или нет? В каком он настроении? Как ей вести себя с ним? Не то чтобы она сомневалась в себе. Нет, нет. Пока Ситка Чарли да и Деверо тоже не сделают того, что им поручено, она задержит Флойда, хотя бы под угрозой револьвера.

Много было способов его задержать, и, взвешивая их, Фреда прониклась еще большим презрением к этому человеку. Она положила голову на руку, и перед нею промелькнуло ее собственное девичество, окончившееся так печально, трагически; и она даже чуть было не решила рассказать о нем Флойду с тем, чтобы ее судьба послужила ему назиданием. О боже! Только тварь еще более низменную, чем двуногое животное, не растрогала бы эта повесть, рассказанная так, как ее сумела бы рассказать Фреда, но... черт с ним! Не стоит он этого; не стоит тех мук, которые причинит Фреде этот рассказ. Свеча стояла за ее спиной, и, пока Фреда думала о своем прошлом — и священном для нее и постыдном, — Флойд любовался ее розовым ушком. Подметив это, она сразу поняла, как ей надо себя вести, и повернулась к Флойду профилем. А профиль этот был отнюдь не самой ничтожной из прелестей Фреды. Она, конечно, не могла изменить ни своего лица, ни своей фигуры, да и не нуждалась в этом: они были прекрасны; но она внимательно изучила их уже давно и при случае была не прочь показать их с самой выгодной стороны. Свеча начала мигать. Все движения Фреды были исполнены врожденной грации, и все же, снимая

нагар с красного фитиля, окруженного желтым пламенем, она постаралась сделать это с особым, подчеркнутым изяществом. Потом она снова положила голову на руку и на этот раз устремила на Флойда задумчивые глаза. А какой мужчина останется равнодушным, когда красивая женщина смотрит на него такими глазами!

Фреда не спешила начать разговор. Если Флойд не спешит — пожалуйста, она не станет его торопить. А он чувствовал себя превосходно, услаждая свои легкие табаком и поглядывая на нее. Здесь было уютно и тепло, а там, у проруби, начиналась тропа, по которой ему вскоре предстояло ехать в морозной тьме. Надо было бы рассердиться на Фреду за сцену, которую она устроила, но он почему-то ничуть не сердился. Да и не было бы никакой сцены, не вмешайся эта Мак-Фи. Будь он губернатором, он обложил бы налогом ее и ей подобных, да и всех вообще святош и попов, брал бы с них по сто унций золотого песка в квартал. Фреда, безусловно, вела себя, как настоящая дама... и ни в чем не уступила миссис Эппингуэлл. Он и не знал, какая у нее выдержка, у этой девчонки. Вандерлип неторопливо рассматривал ее, время от времени встречаясь с ней глазами, но он не мог догадаться, что в этом глубоко серьезном

взгляде таится еще более глубокая насмешка. И, черт возьми, до чего шикарно она одета! Интересно, почему она так смотрит на него? Может быть, ей тоже хочется выйти за него замуж? Очень возможно; не одна она этого хочет. Что ж, у нее, конечно, есть преимущество перед другими — красота. И она молода, моложе Лорэн Лиснаи. Ей, вероятно, года двадцать три — двадцать четыре, никак не больше двадцати пяти. И она никогда не разжиреет. Сразу видно. А про Лорэн этого не скажешь. Та, бесспорно, раздобрела с тех времен, когда была натурщицей. Ладно! Дай только выехать, уж он заставит ее растрясти жир. Велит ей стать на лыжи и уминать снег перед упряжкой. Это — верное средство, действует безотказно. Но вдруг мысли его унеслись далеко, во дворец на берегу Средиземного моря, где само небо располагает к лени... Во что же там превратится Лорэн? Ни мороза, ни странствий, ни голодовок, которые здесь, на Севере, время от времени разнообразят жизнь, а Лорэн будет все стареть и стареть и с каждым днем нагуливать все больше жира. А эта девушка, эта Фреда... Он вздохнул, невольно жалея, что родился не в Турции, где разрешено многоженство, и снова вернулся к действительности — на Аляску.

— Ну? — проговорил он.

Обе стрелки часов стояли вертикально, показывая полночь, и ему давно уже пора было отправиться к проруби.

— Ох! — вздрогнула Фреда, и так соблазнительно, что привела Флойда в полнейшее восхищение. Когда мужчина уверился, что женщина прямотаки забылась, глядя на него, он должен быть исключительно хладнокровным субъектом, чтобы крепко держать в руках шкоты и, зорко глядя вперед, идти по волнам правильным курсом.

— Я только что спрашивал себя, зачем вы хотели меня видеть, — сказал Флойд, придвигая свой стул к столу, поближе к ней.

— Флойд, — начала она, пристально глядя ему в глаза, — я устала от всего этого. Я хочу уехать. Не могу я тут сидеть и дожидаться, пока река вскроется. Если я не уеду теперь, я умру. Непременно умру. Я хочу бросить все это и уехать, уехать немедленно.

С немым призывом она прикрыла ладонью его руку, а та повернулась, и рука Фреды оказалась в плену. «Ну вот, — подумал он, — еще одна вешается на шею. А Лорэн пускай себе померзнет немножко у проруби, ничего ей от этого не сделается».

— Ну? — начала на этот раз Фреда мягко и тревожно.

Не знаю, что сказать, — поспешил он ответить, добавив про себя, что события развиваются быстрей, чем можно было ожидать. — Фреда, я бы ничего лучшего не желал. Вам это хорошо известно. — Он крепко сжал ее руку — ладонь к ладони.

Фреда кивнула. Чего же удивляться, что она презирает всю эту породу!

— Но дело в том, что я... я помолвлен. Вы об этом, конечно, знаете. И невеста моя едет сюда, чтобы выйти за меня замуж. Не знаю, почему мне взбрело в голову сделать ей предложение, но ведь это случилось давно, когда я был еще зеленым юнцом.

— Я хочу уехать отсюда, все равно куда, — продолжала она, не обращая внимания на препятствие, которое он воздвиг и за которое извинялся. — Я перебрала в уме всех мужчин, которых знаю, и пришла к заключению, что... что...

— Я самый подходящий из всех?

Она улыбкой поблагодарила его за то, что он избавил ее от неприятной необходимости сделать признание. Свободной рукой он притянул ее голову к себе на плечо, и на него пахнуло ароматом

ее волос. Ладонь другой его руки как бы слилась с ладонью Фреды, и он почувствовал, что у них один общий пульс и он бьется: стук- стук-стук... Это нетрудно объяснить данными физиологии, но мужчине, который впервые познакомился с этим явлением, оно кажется чудом. Флойд Вандерлип чаще сжимал рукоятки лопат, чем женские руки, и потому неожиданное ощущение показалось ему необычайно странным и сладостным. А когда Фреда, не поднимая головы с его плеча, немного повернулась; так что волосы ее коснулись его щеки, а глаза, большие, близкие, мягко сияющие и... да, и нежные, встретились с его глазами, — кого надо было винить в том, что он совершенно потерял власть над собой? Он изменил Флосси, так почему же не изменить и Лорэн? Если женщины бегают за ним, из этого еще вовсе не следует, что он должен спешить с выбором. У него куча денег, и Фреда как раз такая девушка, которая может придать им блеск. Это будет жена всем на зависть. Но не надо спешить. Поосторожнее!

— Вы, кажется, не очень расположены жить во дворцах, правда? — спросил он.

Она покачала головой.

— А мне одно время хотелось, но я на днях

призадумался и решил, что от такой жизни обязательно растолстеешь, обленишься, размякнешь.

— Да, это приятно на время, но быстро надоедает, наверное, — поспешила она рассеять его сомнения. — Мир хорош, но жизнь должна быть многогранной. Какое-то время работать, бороться со стихиями, а потом отдыхать где-нибудь. Уехать в южные моря на яхте, посмотреть Париж; зиму проводить в Южной Америке, лето, в Норвегии, несколько месяцев в Англии...

— В хорошем обществе?

— Непременно, в самом лучшем, а потом — хейхо! — на собаках, на нартах, к берегам Гудзонова залива! Разнообразие — вот что нужно. Такой сильный человек, как вы, полный жизни, энергии, не мог бы и года выдержать во дворце. Это хорошо для неженок, а вы не созданы для такой жизни. Вы мужчина, настоящий мужчина.

— Вы так думаете?

— Тут и думать не о чем. Я это знаю. А вы заметили, как вам легко увлечь женщину?

Его наивное недоверие было неподражаемо!

— Очень легко! А почему? Потому, что вы настоящий мужчина. Вы умеете задеть самые потаенные струны женского сердца. К вам хочется прильнуть потому, что вы такой мускулистый,

сильный и отважный. Словом, потому, что вы действительно мужчина.

Она взглянула на часы. Прошло полчаса после назначенного срока. Ситке Чарли она разрешила задержаться не более чем на тридцать минут, так что теперь уже не имело значения, когда приедет Деверо. Ее дело было сделано. Она подняла голову, рассмеялась самым искренним смехом, высвободила свою руку и, поднявшись, позвала горничную:

— Алиса, подайте мистеру Вандерлипу его парку. А рукавицы на подоконнике у печки.

Флойд ничего не мог понять.

— Благодарю вас за любезность, Флойд. Вы очень милы, что уделили мне столько времени, и я это ценю. Когда выйдете отсюда, поверните налево — это самый короткий путь к проруби. Спокойной ночи. Я иду спать.

Флойд Вандерлип в крепких словах высказал свое изумление и разочарование. Алиса не любила слушать мужскую ругань и потому бросила парку на пол, а рукавицы на парку. Тогда Флойд кинулся к Фреде, а она не успела скрыться в соседней комнате, так как споткнулась о парку и упала. Он грубо схватил ее за руку и поднял. Но она только расхохоталась. Она не боялась

мужчин.

Хуже того, что они с нею сделали, они сделать не могли. А ведь она все-таки выдержала — разве нет?

— Перестаньте! — вырвалось у нее наконец. — А впрочем, — она взглянула на свою плененную руку, — я передумала и решила пока не ложиться спать. Усаживайтесь поудобнее и не будьте смешным. Вопросы есть?

— Да, сударыня, и, кроме того, нам надо свести счеты. — Он все еще не выпускал ее руки. — Что вам известно о проруби? Что вы имели в виду, когда... впрочем, нет, об этом после. Сначала ответьте на первый вопрос.

— Да ничего особенного не известно. У Ситки Чарли там назначено свидание с одной особой, которую вы, вероятно, знаете, и он просил меня попридержать вас немного, из боязни, что столь опытный сердцеед, как вы, может это свидание испортить. Вот и все. Теперь они уже уехали, добрых полчаса назад...

— Куда? Вниз по Юкону, и без меня? Да ведь он индеец!

— Вы же знаете, что о вкусах не спорят, особенно о вкусах женщин.

— Но я-то в какое положение попал! Четыре

тысячи долларов я ухлопал на собак да упустил неплохую бабенку — и ничего не получу взамен. Кроме вас, — добавил он, спохватившись, — и, значит, вы мне достались дешево.

Фреда передернула плечами.

— Собирайтесь! Я пойду попрошу кого-нибудь одолжить мне две упряжки собак, и мы выедем немедленно.

— Простите, но я сейчас пойду спать.

— Укладывайте свои вещи, и советую вам не противиться. Хотите вы спать или нет, но когда я пригоню собак, будь я проклят, если вы не сядете на нарты. Может быть, вы меня дурачили, но со мной шутки плохи. Я ловлю вас на слове. Понятно?

Он с такой силой сжал ее запястье, что ей стало больно, однако она улыбнулась, внимательно прислушиваясь к шуму на дворе. Зазвенели колокольчики собачьей упряжки, мужской голос крикнул «хо!», чьи-то нарты завернули за угол и подъехали к дому.

— Ну, а теперь вы позволите мне лечь спать?

И Фреда распахнула дверь. В комнату ворвалась стужа, и в свете северного сияния на порог нерешительно ступила женщина в обтрепавшейся за дорогу меховой одежде, окутанная до колен

клубами пара. Она сняла шарф, которым ее лицо было закрыто до самых глаз, и стояла, моргая, ослепленная светом свечи. Флойд Вандерлип подался вперед.

— Флойд! — радостно и с облегчением крикнула женщина и устало шагнула ему навстречу.

Что ему было делать, как не расцеловать эту охапку мехов? А «охапка» была очень хорошенькая, и она прижалась к нему, утомленная, но счастливая.

— Как ты хорошо сделал, что послал за мной мистера Деверо со свежими собаками! — проговорила «охапка». — Если бы не он, я бы добралась только завтра.

Флойд растерянно посмотрел на Фреду и вдруг прозрел.

— Очень любезно со стороны Деверо, что он согласился поехать, — сказал он.

— Тебе не терпелось увидеть меня поскорее, правда, милый? — И Флосси прижалась к нему еще крепче.

— Да, я уже начал нервничать, — признался он бойко и, приподняв ее, понес к выходу.

В эту же самую ночь совершенно необъяснимый случай произошел с преподобным Джеймсом Брауном, миссионером, который жил несколько-

ми милями ниже по течению Юкона — жил среди аборигенов, наставляя их на путь истинный, тот путь, который ведет в рай белого человека. Его разбудил незнакомый индеец, который вручил его попечению не только душу, но и тело какой-то неизвестной женщины, а сам быстро уехал. Женщина была полная, красивая, сердитая, и в гневе с губ ее слетали нехорошие слова. Достойный миссионер был шокирован: ведь он был еще молод, и присутствие женщины в его доме могло показаться предосудительным его простодушной пастве; к счастью, незнакомка ушла пешком в Доусон, как только стало рассветать.

А спустя много времени, когда наступило лето, пришел черед быть шокированным Доусону; местное население, собравшись на берегу Юкона в честь некоей виндзорской леди королевских кровей, приветствовало Ситку Чарли, когда он появился на реке и, взмахнув сверкающим на солнце веслом, первым пересек линию финиша. В этот день состязаний миссис Эппингуэлл, которая уже успела узнать многое и о многом изменить свое мнение, увидела Фреду в первый раз после памятного бала-маскарада. «При всех, заметьте», как выразилась миссис Мак-Фи, «не проявив никакого внимания и уважения к нравственным

устоям общества», она подошла к танцовщице и протянула ей руку. Сначала, как вспоминают очевидцы, гречанка отшатнулась; потом они обе что-то сказали друг другу, и Фреда, великолепная Фреда, не выдержала и расплакалась на плече жены капитана. Доусону не дано было знать, в чем провинилась миссис Эппингуэлл перед какой-то гречанкой-танцовщицей, но она попросила прощения у Фреды при всех, а это было неприлично.

Не следует забывать о миссис Мак-Фи. Она взяла каюту на первом же пароходе, который шел по Юкону. С собой она прихватила теорию, которую разработала в бессонные часы долгих темных ночей; она убеждена,, что Север потому не способствует духовному росту, что там слишком холодно. Жителей ледяного дома нельзя устрашить огнями ада. Это утверждение, быть может, голословно, но такова теория миссис Мак-Фи.

Джек Лондон
Дети мороза
Сборник рассказов

В дебрях Севера

Далеко за чертой последних, реденьких рощиц и чахлой поросли кустарника, в самом сердце Бесплодной Земли, куда суровый север, как принято думать, не допускает ничего живого, после долгого и трудного пути вдруг открываются глазу громадные леса и широкие, веселые просторы. Но люди только теперь узнают об этом. Исследователям случалось проникать туда, но до сих пор ни один из них не вернулся, чтобы поведать о них миру.

Бесплодная Земля... Она и в самом деле бесплодна, эта унылая арктическая равнина, заполярная пустыня, хмурая и неласковая родина мускусного быка и тощего тундрового волка. Такой и представилась она Эвери Ван-Бранту: ни единого деревца, ничего радующего взор, только мхи да лишайники — словом, непривлекательная картина. Такой по крайней мере она оставалась до тех пор, пока он не достиг пространства, обозначенного на карте белым пятном, где неожиданно увидел роскошные хвойные леса и встретил селения неизвестных эскимосских племен. Был у него замысел (с расчетом на славу) нарушить одно-

образие этих белых пятен на карте и испещрить их обозначениями горных цепей, низин, водных бассейнов, извилистыми линиями рек; поэтому он особенно радовался неожиданно открывшейся возможности нанести на карту большой лесной пояс и туземные поселения.

Эвери Ван-Брант, или, именуя его полным титулом, профессор геологического института Э. Ван-Брант, был помощником начальника экспедиции и начальником отдельного ее отряда; этот отряд он повел обходом миль на пятьсот вверх по притоку Телона и теперь во главе его входил в одно из таких неизвестных поселений. За ним брели восемь человек; двое из них были канадские французы-проводники, остальные — рослые индейцы племени кри из Манитоба-Уэй. Он один был чистокровным англосаксом, и кровь, энергично пульсировавшая в его жилах, понуждала его следовать традициям предков. Клайв и Гастингс[46], Дрэйк и Рэлей[47], Генгист

[46] notes: 46

Клайв, Роберт (1725—1774) и Гастингс, Уоррен (1732—1818) — английские колонизаторы, известные своей захватнической политикой в Индии (XVIII век).

[47] notes: 47

Дрэйк, Френсис (1540—1596) и Рэлей, Уолтер (1552—1618)— английские мореплаватели, совершавшие во второй половине XVI века дерзкие налеты на испанские колонии в Америке. Их морские экспедиции способствовали колониальным захватам Англии.

и Горса[48] незримо шли вместе с ним. Первым из своих соотечественников войдет он в это одинокое северное селение; при этой мысли его охватило ликование, и спутники заметили, что усталость его вдруг прошла и он бессознательно ускорил шаг.

Жители селения пестрой толпой высыпали навстречу: мужчины шли впереди, угрожающе сжимая в руках луки и копья, женщины и дети боязливо сбились в кучку сзади. Ван-Брант поднял правую руку в знак мирных намерений — знак, понятный всем народам земли, и эскимосы ответили ему таким же мирным приветствием. Но тут вдруг, к его досаде, из толпы выбежал какой-то одетый в звериные шкуры человек и протянул ему руку с привычным возгласом: «Хелло!» У него была густая борода, бронзовый загар покрывал его щеки и лоб, но Ван-Брант сразу признал в нем человека своей расы.

— Кто вы? — спросил он, пожимая протянутую руку. — Андрэ?[49]

---

[48] notes: 48

Генгист и Горса — легендарные вожди древних саксов; им приписывается завоевание Британии (V век).

[49] notes: 49

Андрэ, Соломон Август (1854—1897) — шведский исследователь, погибший при попытке достичь Северного полюса на воздушном шаре.

— Кто это — Андрэ? — переспросил тот.

Ван-Брант пристальнее всмотрелся в него.

— Черт возьми! Вы здесь, видно, немало прожили.

— Пять лет, — ответил бородатый, и в глазах его мелькнул огонек гордости. — Но пойдем поговорим. Пусть они располагаются по соседству, — добавил он, перехватив взгляд, брошенный Ван-Брантом на его спутников. — Старый Тантлач позаботится о них. Идем же.

Он двинулся вперед быстрым шагом, и Ван-Брант последовал за ним через все селение. В беспорядке, там, где позволяла неровная местность, были разбросаны чумы, крытые лосиными шкурами. Ван-Брант окинул их опытным взглядом и сделал подсчет.

— Двести человек, не считая малолетних, — объявил он.

Бородатый молча кивнул головой.

— Примерно так. А я живу вот здесь, на отлете; тут, понимаете, более уединенно. Садитесь. Я охотно поем вместе с вами, когда ваши люди что-нибудь приготовят. Я забыл вкус чая... Пять лет не пил, не помню, как он и пахнет. Табак есть у вас? А! Спасибо! И трубка найдется? Вот славно! Теперь бы спичку — и посмотрим, потеряло ли

это зелье свою прелесть?

Он чиркнул спичкой, с бережливой осторожностью лесного жителя охраняя ее слабый огонек, точно этот огонек был единственный на всем свете, и сделал первую затяжку. Некоторое время он сосредоточенно задерживал в себе дым, потом медленно, как бы смакуя, выпустил его сквозь вытянутые губы. Выражение его лица смягчилось, взгляд стал мечтательно-туманным. Он откинулся назад, вздохнул всей грудью, блаженно, с глубоким наслаждением и проговорил:

— Здорово! Прекрасная вещь!

Ван-Брант сочувственно усмехнулся.

— Так вы говорите — пять лет?

— Пять лет. — Он вздохнул снова. — Человек — существо любопытное, и потому вам, разумеется, хотелось бы знать, как это получилось, — положение и правда довольно-таки странное. Но рассказывать, в сущности, нечего. Я отправился из Эдмонтона поохотиться на мускусного быка, и меня постигли неудачи, так же как Пайка и многих других; спутники мои погибли, я потерял все свои припасы. Голод, лишения — обычная история, я с грехом пополам уцелел и вот чуть не на четвереньках приполз к этому Тантлачу.

— Пять лет, — тихо проговорил Ван-Брант, как

бы соображая, что было пять лет назад.

— Пять лет минуло в феврале. Я переправился через Большое Невольничье озеро в начале мая...

— Так вы — Фэрфакс? — перебил его Ван-Брант.

Тот кивнул утвердительно.

— Постойте... Джон, если не ошибаюсь, Джон Фэрфакс?

— Откуда вы знаете? — лениво спросил Фэрфакс, поглощенный тем, что пускал кверху кольца дыма.

— Газеты были тогда полны сообщениями о вас. Преванш...

— Преванш! — Фэрфакс вдруг оживился и сел. — Он пропал где-то в Туманных Горах...

— Да, но он выбрался оттуда и спасся.

Фэрфакс снова откинулся на спину, продолжая пускать колечки.

— Рад слышать, — сказал он задумчиво. — Преванш— молодец парень, хоть и с заскоками. Значит, он выбрался? Так, так, я рад...

Пять лет... Мысль -Ван-Бранта все возвращалась к этим словам, и откуда-то из глубины памяти вдруг всплыло перед ним лицо Эмили Саутвэйт. Пять лет... Косяк диких гусей с криком пролетел над головой, но, заметив чумы и людей, быстро

повернул на север, навстречу тлеющему солнцу. Ван-Брант скоро потерял их из виду. Он вынул часы. Был час ночи. Тянувшиеся к северу облака пламенели кровавыми отблесками, и темно-красные лучи, проникая в лесную чащу, озаряли ее зловещим светом. Воздух был спокоен и недвижим, ни одна иголка на сосне не шевелилась, и малейший шорох разносился кругом отчетливо и ясно, как звук рожка. Индейцы и французы-проводники поддались чарам этой тишины и переговаривались между собою вполголоса; даже повар и тот невольно старался поменьше греметь сковородой и котелком. Где-то плакал ребенок, а из глубины леса доносился голос женщины и, как тонкая серебряная струна, звенел в погребальном напеве:

— О-о-о-о-о-о-а-аа-а-а-аа-а-а! О-о-о-о-о-о-ааа-аа...

Ван-Брант вздрогнул и нервно потер руки.

— Итак, меня сочли погибшим? — неторопливо процедил его собеседник.

— Что ж... ведь вы так и не вернулись; и ваши друзья...

— Скоро меня забыли, — засмеялся Фэрфакс неприятным, вызывающим смехом.

— Почему же вы не ушли отсюда?

— Отчасти, пожалуй, потому, что не хотел, а

отчасти вследствие не зависящих от меня обстоятельств. Видите ли, Тантлач, вождь этого племени, лежал со сломанным бедром, когда я сюда попал, — у него был сложный перелом. Я вправил ему кость и вылечил его. Я решил пожить здесь немного, пока не наберусь сил. До меня Тантлач не видел ни одного белого, и, конечно, я показался ему великим мудрецом, потому что научил людей его племени множеству полезных вещей. Между прочим, я обучил их началам военной тактики; они покорили четыре соседних племени — чьих поселений вы еще не видели — и в результате стали хозяевами всего края. Естественно, они получили обо мне самое высокое понятие, так что, когда я собрался в путь, они и слышать не захотели о моем уходе. Что и говорить, они были очень гостеприимны! Приставили ко мне двух стражей и стерегли меня день и ночь. Наконец, Тантлач посулил мне кое-какие блага — так сказать, в награду; а мне, в сущности, было все равно — уйти или оставаться, — вот я и остался.

— Я знал вашего брата во Фрейбурге. Я — Ван-Брант.

Фэрфакс порывисто привстал и пожал ему руку.

— Так это вы старый друг Билли! Бедный Билли! Он часто говорил мне о вас... Однако удивительная встреча — в таком месте! — добавил он, окинув взглядом весь первобытный пейзаж, и на мгновение прислушался к заунывному пению женщины. — Все никак не успокоится — мужа у нее задрал медведь.

— Животная жизнь! — с гримасой отвращения заметил Ван-Брант. — Я думаю, что после пяти лет такой жизни цивилизация покажется вам заманчивой? Что вы на это скажете?

Лицо Фэрфакса приняло безразличное выражение.

— Ох, не знаю. Эти люди хотя бы честны и живут по своему разумению. И притом удивительно бесхитростны. Никаких сложностей: каждое простое чувство не приобретает у них тысячу и один тончайший нюанс. Они любят, боятся, ненавидят, сердятся или радуются — и выражают это просто, естественно и ясно, — ошибиться нельзя... Может быть, это и животная жизнь, но по крайней мере так жить — легко. Ни кокетства, ни игры в любовь. Если женщина полюбила вас, она не замедлит вам это сказать. Если она вас ненавидит, она вам это тоже скажет, и вы вольны поколотить ее за это, но, так или иначе, она точно

знает, чего вы хотите, а вы точно знаете, чего хочет она. Ни ошибок, ни взаимного непонимания. После лихорадки, какой то и дело заболевает цивилизованный мир, в этом есть своя прелесть. Вы согласны?..

— Нет, это очень хорошая жизнь, — продолжал он, помолчав, — по крайней мере для меня она достаточно хороша, и я не ищу другой.

Ван-Брант в раздумье опустил голову, и на его губах заиграла чуть заметная улыбка. Ни кокетства, ни игры в любовь, ни взаимного непонимания... Видно, и Фэрфакс никак не успокоится потому только, что Эмили Саутвэйт тоже в некотором роде «задрал медведь». И довольно симпатичный медведь был этот Карлтон Саутвэйт.

— И все-таки вы уйдете со мной, — уверенно сказал Ван-Брант.

— Нет, не уйду.

— Нет, уйдете.

— Повторяю вам, жизнь здесь слишком легка. — Фэрфакс говорил убежденно. —Я понимаю их, они понимают меня. Лето и зима мелькают здесь, как солнечные лучи сквозь колья ограды, смена времен года подобна неясному чередованию света и тени — и время проходит, и жизнь про-

ходит, а потом... жалобный плач в лесу и мрак. Слушайте!

Он поднял руку, и снова звенящий вопль скорби нарушил тишину и покой, царившие вокруг. Фэрфакс тихо стал вторить ему.

— О-о-о-о-о-о-а-аа-а-а-а-аа-аа! О-о-о-о-о-о-а-аа-а-а, — пел он. — Вот, слушайте! Смотрите! Женщины плачут. Погребальное пение. Седые кудри патриарха венчают мою голову. Я лежу, завернутый в звериные шкуры во всем их первобытном великолепии. Рядом со мной положено мое охотничье копье. Кто скажет, что это плохо?

Ван-Брант холодно посмотрел на него.

— Фэрфакс, не валяйте дурака! Пять лет такой жизни сведут с ума хоть кого — и вы явно находитесь в припадке черной меланхолии. Кроме того, Карлтон Саутвэйт умер.

Ван-Брант набил и закурил трубку, искоса наблюдая за собеседником с почти профессиональным интересом. Глаза Фэрфакса на мгновение вспыхнули, кулаки сжались, он привстал, но потом весь словно обмяк и опустился на место в молчаливом раздумье.

Майкл, повар, подал знак, что ужин готов. Ван-Брант, тоже знаком, велел повременить. Тишина гнетуще действовала на него. Он принялся

определять лесные запахи: вот — запах прели и перегноя, вот — смолистый аромат сосновых шишек и хвои и сладковатый дым от множества очагов... Фэрфакс два раза поднимал на него глаза и снова опускал, не сказав ни слова; наконец он проговорил:

— А... Эмили?

— Три года вдовеет. И сейчас вдова.

Снова водворилось длительное молчание; в конце концов Фэрфакс прервал его, сказав с наивной улыбкой:

— Пожалуй, вы правы, Ван-Брант. Я уйду с вами.

— Я так и думал. — Ван-Брант положил руку на плечо Фэрфакса. — Конечно, наперед знать нельзя, но мне кажется... в таких обстоятельствах... ей уже не раз делали предложения...

— Вы когда собираетесь отправиться в путь? —перебил Фэрфакс.

— Пусть люди немного отоспятся. А теперь пойдем поедим, а то Майкл уже, наверно, сердится.

После ужина индейцы и проводники завернулись в одеяла и захрапели, а Ван-Брант с Фэрфаксом остались посидеть у догорающего костра. Им было о чем поговорить — о войнах, о политике, об экспедициях, о людских делах и

событиях в мире, об общих друзьях, о браках и смертях — об истории этих пяти лет, живо интересовавшей Фэрфакса.

— Итак, испанский флот был блокирован в Сант-Яго[50], — говорил Ван-Брант; но тут мимо него вдруг бесшумно прошла какая-то молодая женщина и остановилась возле Фэрфакса. Она торопливо глянула ему в лицо, затем обратила тревожный взгляд на Ван-Бранта.

— Дочь вождя Тантлача, в некотором роде принцесса, — пояснил Фэрфакс, невольно покраснев. — Короче говоря, одна из причин, заставивших меня здесь остаться. Тум, это Ван-Брант, мой друг.

Ван-Брант протянул руку, но женщина сохранила каменную неподвижность, вполне соответствовавшую всему ее облику. Ни один мускул не дрогнул в ее лице, ни одна черточка не смягчилась. Она смотрела ему прямо в глаза пронизывающим, пытливым, вопрошающим взглядом.

— Она ровно ничего не понимает, — рассмеялся Фэрфакс. — Ведь ей еще никогда не приходилось ни с кем знакомиться. Значит, вы говорите, ис-

---

[50] notes: 50

Сант-Яго — город и порт на Кубе — место жестокого боя во время войны 1898 года.

панский флот был блокирован в Сант-Яго?

Тум села на землю, рядом с мужем, застыв, как бронзовая статуя, только ее блестящие глаза по-прежнему пытливо и тревожно перебегали с лица на лицо. И Ван- Бранту, продолжавшему свой рассказ, стало не по себе под этим немым, внимательным взглядом. Увлекшись красочным описанием боя, он вдруг почувствовал, что эти черные глаза насквозь прожигают его, — он начинал запинаться, путаться, и ему стоило большого труда восстановить ход мыслей и продолжать рассказ. Фэрфакс, отложив трубку и обхватив колени руками, напряженно слушал; нетерпеливо торопил рассказчика, когда тот останавливался, — перед ним оживали картины мира, который, как ему казалось, он давно забыл.

Прошел час, два, наконец Фэрфакс неохотно поднялся.

— И Кронье[51] некуда было податься! Но погодите минутку, я сбегаю к Тантлачу, — он уже, наверно, ждет, и я сговорюсь, что вы придете к нему после завтрака. Вам это удобно?

Он скрылся за соснами, и Ван-Бранту ничего не оставалось делать, как глядеть в жаркие глаза

---

[51] notes: 51

Кронье, Петр Арнольд (1835—1911) — бурский военачальник, участник бурской войны (1899—1902), сдался англичанам в 1900 году.

Тум. Пять лет, думал он, а ей сейчас не больше двадцати. Удивительное создание! Обычно у эскимосок маленькая плоская пуговка вместо носа, а вот у этой нос тонкий и даже с горбинкой, а ноздри тонкие и изящного рисунка, как у красавиц более светлой расы, — капля индейской крови, уж будь уверен, Эвери Ван-Брант. И, Эвери Ван-Брант, не нервничай, она тебя не съест; она всего только женщина, к тому же красивая. Скорее восточного, чем местного типа. Глаза большие и довольно широко поставленные, с чуть заметной монгольской раскосостью. Тум, ты же аномалия! Ты здесь чужая, среди этих эскимосов, даже если у тебя отец эскимос. Откуда родом твоя мать? Или бабушка? О Тум, дорогая, ты красотка, холодная, застывшая красотка с лавой аляскинских вулканов в крови, и, прошу тебя, Тум, не гляди на меня так! Он засмеялся и встал. Ее упорный взгляд смущал его.

Какая-то собака бродила среди мешков с провизией. Он хотел прогнать ее и отнести мешки в более надежное место, пока не вернется Фэрфакс. Но Тум удержала его движением руки и встала прямо против него.

— Ты? — сказала она на языке Арктики, почти одинаковом у всех племен от Гренландии до

мыса Барроу. — Ты?

Смена выражений на ее лице выразила все вопросы, стоявшие за этим «ты»: и откуда он взялся, и зачем он здесь, и какое отношение он имеет к ее мужу — все.

— Брат, — ответил он на том же языке, широким жестом указывая в сторону юга. — Мы братья, твой муж и я.

Она покачала головой.

— Нехорошо, что ты здесь.

— Пройдет один сон, и я уйду.

— А мой муж? — спросила она, вся затрепетав в тревоге.

Ван-Брант пожал плечами. Ему втайне было стыдно за кого-то и за что-то, и он сердился на Фэрфакса. Он чувствовал, что краснеет, глядя на эту дикарку. Она всего только женщина, но этим сказано все — женщина. Снова и снова повторяется эта скверная история — древняя, как сама Ева, и юная, как луч первой любви.

— Мой муж! Мой муж! Мой муж! — твердила она неистово; лицо ее потемнело, и из глаз глянула на него вечная, беспощадная женская страсть, страсть Женщины- Подруги.

— Тум, — заговорил он серьезно по-английски, — ты родилась в северных лесах, питалась ры-

бой и мясом, боролась с морозом и голодом и в простоте души прожила все свои годы. Но есть много вещей, вовсе не простых, которых ты не знаешь и понять не можешь. Ты не знаешь, что значит жажда другой, легкой и далекой жизни, ты не можешь понять, что значит тосковать по прекрасной женщине. А та женщина прекрасна, Тум, она благородно-прекрасна. Ты была женой этого человека и отдала ему все свое существо, но ведь оно маленькое, простенькое, твое существо. Слишком маленькое и слишком простенькое, а он — человек другого мира. Ты его никогда не понимала, и тебе никогда его не понять. Так предопределено свыше. Ты держала его в своих объятиях, но ты никогда не владела его сердцем, сердцем этого чудака с его фантазиями о смене времен года и мечтами о покое в дикой глуши. Мечта, неуловимая мечта — вот чем он был для тебя. Ты цеплялась за человека, а ловила тень, отдавалась мужчине и делила ложе с призраком. Такова была в древности участь всех дочерей смертных, чья красота приглянулась богам. О Тум, Тум, не хотел бы я быть на месте Джона Фэрфакса в бессонные ночи грядущих лет, в те бессонные ночи, когда вместо светлых, как солнце, волос женщины, покоящейся с ним рядом,

ему будут мерещиться темные косы подруги, покинутой в лесной глуши Севера!

Тум хоть и не понимала, но слушала с таким пристальным вниманием, как будто ее жизнь зависела от его слов. Однако она уловила имя мужа и по-эскимосски крикнула:

— Да! Да! Фэрфакс! Мой муж!

— Жалкая дурочка, как мог он быть твоим мужем?

Но ей непонятен был английский язык, и она подумала, что ее вышучивают. Ее глаза вспыхнули немым, безудержным гневом, и Ван-Бранту даже почудилось, что она, как пантера, готовится к прыжку.

Он тихо выругал себя, но вдруг увидел, что пламя гнева угасло в ее глазах и взгляд стал лучистым и мягким — молящий взгляд женщины, которая уступает силе и мудро прикрывается броней собственной слабости.

— Он мой муж, — сказала она кротко. — Я никогда другого не знала. Невозможно мне знать другого. И невозможно, чтобы он ушел от меня.

— Кто говорит, что он уйдет от тебя? — резко спросил Ван-Брант, теряя терпение и в то же время чувствуя себя обезоруженным.

— Ты должен сказать, чтобы он не уходил от ме-

ня, — ответила она кротко, удерживая рыдания.

Ван-Брант сердито отбросил ногой угли костра и сел.

— Ты должен сказать. Он мой муж. Перед всеми женщинами он мой. Ты велик, ты силен, а я — посмотри, как я слаба. Видишь, я у твоих ног. Тебе решать мою судьбу. Тебе...

— Вставай!

Резким движением он поднял ее на ноги и встал сам.

— Ты — женщина. И не пристало тебе валяться на земле, а тем более в ногах у мужчины.

— Он мой муж.

— Тогда — да простит господь всем мужьям! — вырвалось у Ван-Бранта.

— Он мой муж, — твердила она уныло, умоляюще.

— Он брат мой, — отвечал Ван-Брант.

— Мой отец — вождь Тантлач. Он господин пяти селений. Я прикажу, и из всех девушек этих пяти селений тебе выберут лучшую, чтобы ты остался здесь с твоим братом и жил в довольстве.

— Через один сон я уйду.

— А мой муж?

— Вот он идет, твой муж. Слышишь?

Из-за темных елей донесся голос Фэрфакса,

напевавшего веселую песенку.

Как черная туча гасит ясный день, так его песня согнала свет с ее лица.

— Это язык его народа, — промолвила Тум, — язык его народа...

Она повернулась гибким движением грациозного молодого животного и исчезла в лесу.

— Все в порядке! — крикнул Фэрфакс, подходя. — Его королевское величество примет вас после завтрака.

— Вы сказали ему? — спросил Ван-Брант.

— Нет. И не скажу, пока, мы не будем готовы двинуться в путь.

Ван-Брант с тяжелым чувством посмотрел на своих спящих спутников.

— Я буду рад, когда мы окажемся за сотню миль отсюда.

Тум подняла шкуру, завешивавшую вход в чум отца. С ним сидели двое мужчин, и все трое с живым интересом взглянули на нее. Но она вошла и тихо, молча села, обратив к ним бесстрастное, ничего не выражающее лицо. Тантлач барабанил костяшками пальцев по древку копья, лежавшего у него на коленях, и лениво следил за солнечным лучом, пробившимся сквозь дырку в шкуре и радужной дорожкой пронизавшим сумрак чума.

Справа из-за плеча вождя выглядывал Чугэнгат, шаман. Оба были стары, и усталость долгих лет застилала их взор. Но против них сидел юноша Кин, общий любимец всего племени. Он был быстр и легок в движениях, и его черные блестящие глаза испытующе и с вызовом смотрели то на того, то на другого.

В чуме царило молчание. Только время от времени в него проникал шум соседних жилищ и издали доносились едва слышные, словно то были не голоса, а их тени, тонкие, визгливые крики дерущихся мальчишек. Собака просунула голову в отверстие, по-волчьи поблескивая глазами. С ее белых, как слоновая кость, клыков стекала пена. Она заискивающе поскулила, но, испугавшись неподвижности человеческих фигур, нагнула голову и, пятясь, поплелась назад. Тантлач равнодушно поглядел на дочь.

— Что делает твой муж, и как ты с ним?

— Он поет чужие песни, — отвечала Тум. — И у него стало другое лицо.

— Вот как? Он говорил с тобой.

— Нет, но у него другое лицо и другие мысли в глазах, и он сидит с Пришельцем у костра, и они говорят, и говорят, и разговору этому нет конца.

Чугэнгат зашептал что-то на ухо Тантлачу, и

Кин, сидевший на корточках, так и рванулся вперед.

— Что-то зовет его издалека, — рассказывала Тум, — и он сидит и слушает и отвечает песней на языке своего народа.

Опять Чугэнгат зашептал, опять Кин рванулся, и Тум умолкла, ожидая, когда отец ее кивком головы разрешит ей продолжать.

— Тебе известно, о Тантлач, что дикие гуси и лебеди и маленькие озерные утки рождаются здесь, в низинах. Известно, что с наступлением морозов они улетают в неведомые края. Известно и то, что они всегда возвращаются, когда у нас встает солнце и реки очищаются ото льда. Они всегда возвращаются туда, где родились, чтобы снова могла зародиться новая жизнь. Земля зовет их, и они являются. И вот теперь моего мужа тоже зовет земля — земля, где он родился, — и он решил ответить на ее зов. Но он мой муж. Перед всеми женщинами он мой.

— Хорошо это, Тантлач? Хорошо? — с отдаленной угрозой в голосе спросил Чугэнгат.

— Да, хороша! — вдруг смело крикнул Кин. — Наша земля зовет к себе своих детей, и всякая земля зовет к себе своих детей. Как дикие гуси и лебеди и маленькие озерные утки слышат зов,

так услышал зов и этот чужестранец, который слишком долго жил среди нас и который теперь должен уйти. И есть еще голос рода. Гусь спаривается с гусыней, и лебедь не станет спариваться с маленькой озерной уткой. Нехорошо, если бы лебедь стал спариваться с маленькой озерной уткой. И нехорошо, когда чужестранцы берут в жены женщин из наших селений. Поэтому я говорю, что этот человек должен уйти к своему роду, в свою страну.

— Он мой муж, — ответила Тум, — и он великий человек.

— Да, он великий человек. — Чугэнгат живо поднял голову, как будто к нему вернулась часть его былой юношеской силы. — Он великий человек, и он сделал мощной твою руку, о Тантлач, и дал тебе власть, и теперь твое имя внушает страх всем кругом, страх и благоговение. Он очень мудр, и нам большая польза от его мудрости. Мы обязаны ему многим — он научил нас хитростям войны и искусству защиты селений и нападения в лесу; он научил нас, как держать совет, и как сокрушать силой слова, и как клятвой подкреплять обещание; научил охоте на дичь и уменью ставить капканы и сохранять пищу; научил лечить болезни и перевязывать раны, полученные в

походах и в бою. Ты, Тантлач, был бы теперь хромым стариком, если бы чужестранец не пришел к нам и не вылечил тебя. Если мы сомневались и не знали, на что решиться, мы шли к чужестранцу, чтобы его мудрость указала нам правильный путь, и его мудрость всегда указывала нам путь, и могут явиться новые сомнения, которые только его мудрость поможет разрешить, — и потому нам нельзя отпустить его. Худо будет, если мы отпустим его.

Тантлач продолжал барабанить по древку копья, и нельзя было понять, слышал он речь Чугэнгата или нет. Тум напрасно всматривалась в его лицо, а Чугэнгат как будто весь съежился и согнулся под бременем лет, снова придавившим его.

— Никто не выходит за меня на охоту! — Кин с силой ударил себя в грудь. — Я сам охочусь для себя. Я радуюсь жизни, когда выхожу на охоту. Когда я ползу по снегу, выслеживая лося, я радуюсь. И когда натягиваю тетиву, вот так, изо всех сил, и беспощадно, и быстро, и в самое сердце пускаю стрелу, — я радуюсь. И мясо зверя, убитого не мной, никогда не бывает мне так сладко, как мясо зверя, которого убил я сам. Я радуюсь жизни, радуюсь своей ловкости и силе, радуюсь, что я

сам все могу, сам добываю, что мне нужно. И ради чего жить, как не ради этого? Зачем мне жить, если в самом себе и в том, что я делаю, мне не будет радости? Я провожу свои дни на охоте и рыбной ловле оттого, что в этом радость для меня, а проводя дни на охоте и рыбной ловле, я становлюсь ловким и сильным. Человек, сидящий у огня в чуме, теряет ловкость и силу. Он не чувствует себя счастливым, вкушая пищу, добытую не им, и жизнь не радует его. Он не живет. И потому я говорю: хорошо, если чужестранец уйдет: Его мудрость не делает нас мудрыми. Мы не стремимся приобретать сноровку, зная, что она есть у него. Когда нам нужно, мы обращаемся к его сноровке. Мы едим добытую им пищу, но она не сладка нам. Мы сильны его силой, но в этом нет отрады. Мы живем жизнью, которую он создает для нас, а это — не настоящая жизнь. От такой жизни мы жиреем и делаемся, как женщины, и боимся работы, и теряем уменье сами добывать все, что нам нужно. Пусть этот человек уйдет, о Тантлач, чтоб мы снова стали мужчинами! Я — Кин, мужчина, и я сам охочусь для себя!

Тантлач обратил на него взгляд, в котором, казалось, была пустота вечности. Кин с нетерпением ждал решения, но губы Тантлача не шевелились,

и старый вождь повернулся к своей дочери.

— То, что дано, не может быть отнято, — заговорила она быстро. — Я была всего только девочкой, когда этот чужестранец, ставший моим мужем, впервые пришел к нам. Я не знала мужчин и их обычаев, и мое сердце было как сердце всякой девушки, когда ты, Тантлач, ты, и никто другой, позвал меня и бросил меня в объятия чужестранца. Ты, и никто другой, Тантлач; и как меня ты дал этому человеку, так этого человека ты дал мне. Он мой муж. Он спал в моих объятиях, и из моих объятий его вырвать нельзя.

— Хорошо бы, о Тантлач, — живо подхватил Кин, бросив многозначительный взгляд на Тум, — хорошо бы, если бы ты помнил то, что дано, не может быть отнято.

Чугэнгат выпрямился.

— Неразумная юность говорит твоими устами, Кин. Что до нас, о Тантлач, то мы старики, и мы понимаем. Мы тоже глядели в глаза женщин, и наша кровь кипела от непонятных желаний. Но годы нас охладили, и мы поняли, что только опытом дается мудрость и только хладнокровие делает ум проницательным, а руку твердой, и мы знаем, что горячее сердце бывает слишком горячим и склонным к поспешности. Мы знаем,

что Кин был угоден твоим очам. Мы знаем, что Тум была обещана ему в давние дни, когда она была еще дитя. Но пришли новые дни, и с ними пришел чужестранец, и тогда мудрость и стремление к пользе велели нам нарушить обещание, — и Тум была потеряна для Кина.

Старый шаман помолчал и посмотрел в лицо молодому человеку.

— И да будет известно, что это я, Чугэнгат, посоветовал нарушить обещание.

— Я не принял другой женщины на свое ложе, — прервал его Кин. — Я сам смастерил себе очаг, и сам варил пищу, и скрежетал зубами в одиночестве.

Чугэнгат движением руки показал, что он еще не кончил.

— Я старый человек, и разум — источник моих слов. Хорошо быть сильным и иметь власть. Еще лучше отказаться от власти, если знаешь, что это принесет пользу, В старые дни я сидел по правую руку от тебя, о Тантлач, мой голос в совете значил больше других, и меня слушались во всех важных делах. Я был силен и обладал властью. Я был первым человеком после Тантлача. Но пришел чужестранец, и я увидел, что он искусен, и мудр, и велик. И было ясно, что раз он искуснее и мудрее

меня, то от него будет больше пользы, чем от меня. И ты склонил ко мне ухо, Тантлач, и послушал моего совета, и дал чужестранцу власть, и место по правую руку от себя, и дочь свою Тум. И наше племя стало процветать, живя по новым законам новых дней, и будет процветать дальше, если чужестранец останется среди нас. Мы старики с тобой, о Тантлач, и это дело ума, а не сердца. Слушай мои слова, Тантлач! Слушай мои слова! Пусть чужестранец остается!

Наступило долгое молчание. Старый вождь размышлял с видом человека, убежденного в божественной непогрешимости своих решений, а Чугэнгат, казалось, погрузился мыслью в туманные дали прошлого. Кин жадными глазами смотрел на женщину, но она не замечала этого и не отрывала тревожного взгляда от губ отца. Пес снова сунулся под шкуру и, успокоенный тишиной, на брюхе вполз в чум. Он с любопытством обнюхал опущенную руку Тум, вызывающе насторожив уши, прошел мимо Чугэнгата и лег у ног Тантлача. Копье с грохотом упало на землю, собака испуганно взвыла, отскочила в сторону, лязгнула в воздухе зубами и, сделав еще прыжок, исчезла из чума.

Тантлач переводил взгляд с одного лица на

другое, долго и внимательно изучая каждое. Потом он с царственной суровостью поднял голову и холодным и ровным голосом произнес свое решение:

— Чужестранец остается. Собери охотников. Пошли скорохода в соседнее селение с приказом привести воинов. С Пришельцем я говорить не стану. Ты, Чугэнгат, поговоришь с ним. Скажи ему, что он может уйти немедленно, если согласен уйти мирно. Но если придется биться, — убивайте, убивайте, убивайте всех до последнего, но передай всем мой приказ: нашего чужестранца не трогать, чужестранца, который стал мужем моей дочери. Я сказал.

Чугэнгат поднялся и заковылял к выходу. Тум последовала за ним; но когда Кин уже нагнулся, чтобы выйти, голос Тантлача остановил его:

— Кин, ты слышал мои слова, и это хорошо. Чужестранец остается. Смотри, чтоб с ним ничего не случилось.

Следуя наставлениям Фэрфакса в искусстве войны, эскимосские воины не бросались дерзко вперед, оглашая воздух криками. Напротив, они проявляли большую сдержанность и самообладание, двигались молча, переползая от прикрытия к прикрытию. У берега реки, где узкая полоса

открытого пространства служила относительной защитой, залегли люди Ван-Бранта — индейцы и французы. Глаза их не различали ничего, и ухо только смутно улавливало неясные звуки, но они чувствовали присутствие живых существ в лесу и угадывали приближение неслышного, невидимого врага.

— Будь они прокляты, — пробормотал Фэрфакс, — они и понятия не имели о порохе, а я научил их обращению с ним.

Эвери Ван-Брант рассмеялся, выколотив свою трубку, запрятал ее подальше вместе с кисетом и попробовал, легко ли вынимается охотничий нож из висевших у него на боку ножен.

— Увидите, — сказал он, — мы рассеем передний отряд, и это поубавит им прыти.

— Они пойдут цепью, если только помнят мои уроки.

— Пусть себе! Винтовки на то и существуют, чтобы сажать пулю за пулей! А! Вот славно! Первая кровь! Лишнюю порцию табаку тебе, Лун.

Лун, индеец, заметил чье-то выставившееся плечо и меткой пулей дал знать его владельцу о своем открытии.

— Только б их раззадорить, — бормотал Фэрфакс, — только б раззадорить, чтобы они рвану-

лись вперед.

Ван-Брант увидел мелькнувшую за дальним деревом голову; тотчас грянул выстрел, и эскимос покатился на землю в смертельной агонии. Майкл уложил третьего. Фэрфакс и прочие тоже взялись за дело, стреляя в каждого неосторожно высовывавшегося эскимоса и по каждому шевелившемуся кусту. Пятеро эскимосов нашли свою смерть, перебегая незащищенное болотце, а десяток полег левее, где деревья были редки. Но остальные шли навстречу судьбе с мрачной стойкостью, продвигаясь вперед осторожно, обдуманно, не торопясь и не мешкая.

Десять минут спустя, идя почти вплотную, они вдруг остановились; всякое движение замерло, наступила зловещая, грозная тишина. Только видно было, как чуть шевелятся, вздрагивая от первых слабых дуновений ветра, трава и листья, позолоченные тусклым, бледным утренним солнцем. Длинные тени легли на землю, причудливо перемежаясь с полосами света. Невдалеке показалась голова раненого эскимоса, с трудом выползавшего из болотца. Майкл навел уже на него винтовку, но медлил с выстрелом. Внезапно, по невидимой линии фронта, слева направо, пробежал свист и туча стрел прорезала воздух.

— Готовься! — скомандовал Ван-Брант, и в его голосе зазвучала новая, металлическая нотка. — Пли!

Эскимосы разом выскочили из засады. Лес вдруг дохнул и весь ожил. Раздался громкий клич, и винтовки с гневным вызовом рявкнули в ответ. Настигнутые пулей эскимосы падали на бегу, но их братья неудержимо, волна за волной, катились через них. Впереди, мелькая между деревьями, мчалась с развевающимися волосами Тум, размахивая на бегу руками и перепрыгивая через поваленные стволы. Фэрфакс прицелился и чуть не нажал спуск, как вдруг узнал ее.

— Женщина! Не стрелять! — крикнул он. — Смотрите, она безоружна.

Ни индейцы, ни Майкл и его товарищ, ни Ван-Брант, посылавший пулю за пулей, не слышали его. Но Тум, невредимая, неслась прямо вперед, за одетым в шкуры, охотником, вдруг откуда-то вынырнувшим со стороны. Фэрфакс разил пулями эскимосов, бежавших справа и слева, и навел винтовку на охотника. Но тот, видимо, узнав его, неожиданно метнулся в сторону и вонзил копье в Майкла. В ту же секунду Тум обвила рукой шею мужа и, полуобернувшись, окриком и жестом как бы отстранила толпу нападавших. Десятки

людей пронеслись мимо, на какое-то краткое мгновение Фэрфакс замер перед ее смуглой, волнующей, победной красотой, и рой странных видений, воспоминаний и грез всколыхнул глубины его существа. Обрывки философских догм старого мира и этических представлений нового, какие-то картины, поразительно отчетливые и в то же время мучительно бессвязные, проносились в его мозгу: сцены охоты, лесные чащи, безмолвные снежные просторы, сияние бальных огней, картинные галереи и лекционные залы, мерцающий блеск реторт, длинные ряды книжных полок, стук машин и уличный шум, мелодии забытой песни, лица дорогих сердцу женщин и старых друзей, одинокий ручей на дне глубокого ущелья, разбитая лодка на каменистом берегу, тихое поле, озаренное луной, плодородные долины, запах сена...

Воин, настигнутый пулей, попавшей ему между глаз, по инерции сделал еще один неверный шаг вперед и, бездыханный, рухнул на землю. Фэрфакс очнулся. Его товарищи, — те, что еще оставались в живых, — были оттеснены далеко назад, за деревья. Он слышал свирепые крики охотников, перешедших врукопашную, коловших и рубивших своим оружием из моржовой

кости. Стоны раненых поражали его, как удары. Он понял, что битва кончена и проиграна, но традиции расы и расовая солидарность побуждали его ринуться в самую гущу схватки, чтобы по крайней мере умереть среди себе подобных.

— Мой муж! Мой муж! — кричала Тум. — Ты спасен!

Он рвался из ее рук, но она тяжким грузом повисла на нем и не давала ему ступить ни шагу.

— Не надо, не надо! Они мертвы, а жизнь хороша!

Она крепко обхватила его за шею и цеплялась ногами за его ноги; он оступился и покачнулся, напряг все силы, чтобы выпрямиться и устоять на ногах, но снова покачнулся и навзничь упал на землю. При этом он ударился затылком о торчащий корень, его оглушило, и он уже почти не сопротивлялся. Падая вместе с ним, Тум услышала свист летящей стрелы и, как щитом, закрыла его своим телом, крепко обняв его и прижавшись лицом и губами к его шее.

Тогда, шагах в десяти от них, из частого кустарника, вышел Кин. Он осторожно осмотрелся. Битва затихала вдали, и замирал крик последней жертвы. Никого не было видно. Он приложил стрелу к тетиве и взглянул на тех двоих. Тело

мужчины ярко белело между грудью и рукой женщины. Кин оттянул тетиву, прицеливаясь. Два раза он спокойно проделал это, для верности, и тогда только пустил костяное острие прямо в белое тело, казавшееся особенно белым в объятиях смуглых рук Тум, рядом с ее смуглой грудью.

Закон жизни

Старый Коскуш жадно прислушивался. Его зрение давно угасло, но слух оставался по-прежнему острым, улавливая малейший звук, а мерцающее под высохшим лбом сознание было безучастным к грядущему. А, это пронзительный голос Сит-Кум-То-Ха; она с криками бьет собак, надевая на них упряжь. Сит-Кум-То-Ха — дочь его дочери, но она слишком занята, чтобы попусту тратить время на дряхлого деда, одиноко сидящего на снегу, всеми забытого и беспомощного. Пора сниматься со стоянки. Предстоит далекий путь, а короткий день не хочет помедлить. Жизнь зовет ее, зовут заботы, которых требует жизнь, а не смерть. А он так близок теперь к смерти.

Мысль эта на минуту ужаснула старика, и он протянул руку, нащупывая дрожащими пальцами небольшую кучку хвороста возле себя. Убедившись, что хворост здесь, он снова спрятал руку под изношенный мех и опять стал вслушиваться.

Сухое потрескивание полузамерзшей оленьей шкуры сказало ему, что вигвам вождя уже убран, и теперь его уминают и скатывают в удобный тюк.

Вождь приходился ему сыном, он был рослый и сильный, глава племени и могучий охотник. Вот его голос, понукающий медлительных женщин, которые собирают пожитки. Старый Коскуш напряг слух. В последний раз он слышит этот голос. Сложен вигвам Джихоу и вигвам Тускена! Семь, восемь, десять... Остался, верно, только вигвам шамана. Вот теперь принялись и за него. Коскуш слышал бормотание шамана, укладывавшего свой вигвам на нарты. Захныкал ребенок; женщина стала утешать его, напевая что-то тихим гортанным голосом. Это маленький Ку-Ти, подумал старик, капризный ребенок и слабый здоровьем. Может быть, он скоро умрет, и тогда в мерзлой земле тундры выжгут яму и набросают сверху камней для защиты от росомах. А впрочем, не все ли равно? В лучшем случае проживет еще несколько лет и будет ходить чаще с пустым желудком, чем с полным. А в конце концов смерть все равно дождется его — вечно голодная и самая голодная из всех.

Что там такое? А, это мужчины увязывают нарты и туго затягивают ремни. Он слушал, — он, который скоро ничего не будет слышать. Удары бича со свистом сыпались на собак. Слышишь, завыли! Как им ненавистен трудный путь! Уходят!

Нарты за нартами медленно скользят в тишину. Ушли. Они исчезли из его жизни, и он один встретит последний, тяжкий час. Нет, вот захрустел снег под мокасинами. Рядом стоял человек; на его голову тихо легла рука. Как добр к нему сын! Он вспомнил, других стариков, их сыновья уходили вместе с племенем. Его сын не таков. Старик унесся мыслями в прошлое, но голос молодого человека вернул его к действительности.

— Тебе хорошо? — спросил сын.

И старик ответил:

— Да, мне хорошо.

— Около тебя есть хворост, — продолжал молодой, — костер горит ярко. Утро серое, мороз спадает. Скоро пойдет снег. Вот он уже идет.

— Да, он уже идет.

— Люди спешат. Их тюки тяжелы, а животы подтянуло от голода. Путь далек, и они идут быстро. Я ухожу. Тебе хорошо?

— Мне хорошо. Я словно осенний лист, который еле держится на ветке. Первое дуновение ветра — и я упаду. Мой голос стал как у старухи. Мои глаза больше не показывают дорогу ногам, а ноги отяжелели, и я устал. Все хорошо.

Довольный Коскуш склонил голову и сидел так, пока не замер вдали жалобный скрип снега;

теперь он знал, что сын уже не услышит его призыва. И тогда рука его поспешно протянулась за хворостом. Только эта вязанка отделяла его от зияющей перед ним вечности. Охапка сухих сучьев была мерой его жизни. Один за другим сучья будут поддерживать огонь, и так же, шаг за шагом, будет подползать к нему смерть. Когда последняя ветка отдаст свое тепло, мороз примется за дело. Сперва сдадутся ноги, потом руки, и под конец оцепенеет тело. Голова его упадет на колени, и он успокоится. Это легко. Умереть суждено всем.

Коскуш не жаловался. Такова жизнь, и она справедлива. Он родился и жил близка к земле, и ее закон для него не нов. Это закон всех живых существ. Природа немилостива к отдельным живым существам. Ее внимание направлено на виды, расы. На большие обобщения примитивный ум старого Коскуша был не способен, но это он усвоил твердо. Примеры этому он видел повсюду в жизни. Дерево наливается соками, распускаются зеленые почки, падает желтый лист — и круг завершен. Но каждому живому существу природа ставит задачу. Не выполнив ее, оно умрет. Выполнит — все равно умрет. Природа безучастна: покорных ей много, но вечность суждена не покорным, а покорности. Племя Коскуша

очень старо. Старики, которых он помнил, еще когда был мальчиком, помнили стариков до себя. Следовательно, племя живет, оно олицетворяет покорность всех своих предков, самые могилы которых уже давно забыты. Умершие не в счет; они только единицы. Они ушли, как тучи с летнего неба. И он тоже уйдет. Природа безучастна. Она поставила жизни одну задачу, дала один закон. Задача жизни — продолжение рода, закон ее — смерть. Девушка — существо, на которое приятно посмотреть. Она сильная, у нее высокая грудь, упругая походка, блестящие глаза. Но задача этой девушки еще впереди. Блеск в ее глазах разгорается, походка становится быстрее, она то смела с юношами, то робка и заражает их своим беспокойством. И она хорошеет день ото дня; и, наконец, какой-нибудь охотник берет ее в свое жилище, чтобы она работала и стряпала на него и стала матерью его детей. Но с рождением первенца красота начинает покидать женщину, ее походка становится тяжелой и медленной, глаза тускнеют и меркнут, и одни лишь маленькие дети с радостью прижимаются к морщинистой щеке старухи, сидящей у костра. Ее задача выполнена. И при первой угрозе голода или при первом длинном переходе ее оставят, как оставили его,

— на снегу, подле маленькой охапки хвороста. Таков закон жизни.

Коскуш осторожно положил в огонь сухую ветку и вернулся к своим размышлениям. Так бывает повсюду и во всем. Комары исчезают при первых заморозках. Маленькая белка уползает умирать в чащу. С годами заяц тяжелеет и не может с прежней быстротой ускакать от врага. Даже медведь слепнет к старости, становится неуклюжим и в конце концов свора визгливых собак одолевает его. Коскуш вспомнил, как он сам бросил своего отца в верховьях Клондайка, — это было той зимой, когда к ним пришел миссионер со своими молитвенниками и ящиком лекарств. Не раз облизывал Коскуш губы при воспоминании об этом ящике, но сейчас у него во рту уже было слюны. В особенности вспоминался ему «болеутолитель». Но миссионер был обузой для племени, он не приносил дичи, а сам ел много, и охотники ворчали на него. В конце концов он простудился на реке около Мэйо, а потом собаки разбросали камни и подрались из-за его костей.

Коскуш снова подложил хворосту в костер и еще глубже погрузился в мысли о прошлом. Во время Великого Голода старики жались к огню и роняли с уст туманные предания Старины о том,

как Юкон целых три зимы мчался, свободный ото льда, а потом стоял замерзший три лета. В этот голод Коскуш потерял свою мать. Летом не было хода лосося, и племя с нетерпением дожидалось зимы и оленей. Зима наступила, но олени не пришли вместе с ней. Такое никогда не бывало даже на памяти стариков. Олени не пришли, и это был седьмой голодный год. Зайцы не плодились, а от собак остались только кожа да кости. И дети плакали и умирали в долгой зимней тьме, умирали женщины и старики, и из каждых десяти человек только один дожил до весны и возвращения солнца. Да, вот это был голод!

Но он видел и времена изобилия, когда мяса было столько, что оно портилось, и разжиревшие собаки совсем обленились, — времена, когда мужчины смотрели на убегающую дичь и не убивали ее, а женщины были плодовиты, и в вигвамах возились и ползали мальчики и девочки. Мужчины стали тогда заносчивы и чуть что вспоминали прежние ссоры. Они перевалили через горы на юг, чтобы истребить племя пелли, и на запад, чтобы полюбоваться на потухшие огни племени танана. Старик вспомнил, что еще мальчиком он видел в год изобилия, как волки задрали лося. Зинг-Ха лежал тогда вместе с ним

на снегу, — Зинг-Ха, который стал потом искусным охотником, и кончил тем, что провалился в полынью на Юконе. Ему удалось выбраться из нее только до половины— так его и нашли через месяц примерзшим ко льду.

Так вот — лось. Он и Зинг-Ха пошли в тот день поиграть в охоту, подражая своим отцам. На замерзшей реке они наткнулись на свежий след лося и на следы гнавшихся за ним волков.

— Старый, — сказал Зинг-Ха, умевший лучше разбирать следы. — Старый. Отбился от стада. Волки отрезали его от братьев и теперь не выпустят.

Так оно и было. Таков волчий обычай. Днем и ночью, без отдыха, они будут с рычаньем преследовать его по пятам, щелкать зубами у самой его морды и не отстанут от него до конца. Кровь закипела у обоих мальчиков. Конец охоты — на это стоит посмотреть.

Сгорая от нетерпения, они шли все дальше и дальше, и даже он, Коскуш, не обладавший острым зрением и навыками следопыта, мог бы идти вперед с закрытыми глазами — так четок был след. Он был совсем свежий, и они на каждом шагу читали только что написанную мрачную трагедию погони. Вот здесь лось остановился. Во

все стороны на расстоянии в три человеческих роста снег был истоптан и взрыт. Посредине глубокие отпечатки разлатых копыт лося, а вокруг более легкие следы волков. Некоторые, пока их собратья бросались на жертву, видимо, отдыхали, лежа на снегу. Отпечатки их туловищ были так ясны, словно это происходило всего лишь минуту тому назад. Один волк попался под ноги обезумевшей жертве и был затоптан насмерть. Куча костей, чисто обглоданных, подтверждала это.

Они снова замедлили ход своих лыж. Вот здесь тоже происходила отчаянная борьба. Дважды опрокидывали лося наземь, — как свидетельствовал снег, — и дважды он сбрасывал своих противников и снова поднимался на ноги. Он уже давно выполнил свою задачу, но жизнь была дорога ему. Зинг-Ха сказал: «Никогда не бывало, чтобы раз опрокинутый лось снова встал на ноги». Но этот встал.

Когда потом они рассказывали об этом шаману, он счел это чудом и каким-то предзнаменованием.

Наконец, они подошли к тому месту, где лось хотел подняться на берег и скрыться в лесу. Но враги насели на него сзади, и он стал на дыбы и опрокинулся навзничь, придавив двух из них.

Они так и остались лежать в снегу, не тронутые своими собратьями, ибо погоня близилась к концу. Еще два места битвы мелькнули мимо, одно вслед за другим. Теперь след покраснел от крови и плавный шаг крупного зверя стал неровным и спотыкающимся. И вот они услышали первые звуки битвы — не громогласный хор охоты, а короткий отрывистый лай, говоривший о близости волчьих зубов к бокам лося. Держась против ветра, Зинг-Ха полз на животе по снегу, а за ним полз Коскуш, — тот, кому предстояло с годами стать вождем своего племени. Они отвели в сторону ветви молодой ели и выглянули из-за них. И увидели самый конец битвы.

Зрелище это, подобно всем впечатлениям, юности, до сих пор было еще свежо в памяти Коскуша, и конец погони стал перед его потускневшим взором так же ярко, как в те далекие времена. Коскуш изумился этому, ибо в последующие дни, будучи вождем мужей и главой совета, он совершил много великих деяний — даже если не говорить о чужом белом человеке, которого он убил ножом в рукопашной схватке, — и имя его стало проклятием в устах людей племени пелли.

Долго еще Коскуш размышлял о днях своей юности, и, наконец, костер стал потухать, и мороз

усилился. На этот раз он подбросил в огонь сразу две ветки, и теми, что остались, точно измерил свою власть над смертью. Если бы Сит-Кум-То-Ха подумала о деде и собрала охапку побольше, часы его жизни продлились бы. Разве это так трудно? Но ведь Сит-Кум-То-Ха всегда была беззаботная, а с тех пор как Бобр, сын сына Зинг-Ха, впервые бросил на нее взгляд, она совсем перестала чтить своих предков. А впрочем, не все ли равно? Разве он в дни своей резвой юности поступал по-иному?

С минуту Коскуш вслушивался в тишину. Может быть, сердце его сына смягчится и он вернется назад с собаками и возьмет своего старика отца вместе со всем племенем туда, где много оленей с тучными от жира боками?

Коскуш напряг слух, его мозг на мгновение приостановил свою напряженную работу. Ни звука — тишина. Посреди полного молчания слышно лишь его дыхание. Какое одиночество! Чу! Что это? Дрожь пошла у него по телу. Знакомый протяжный вой прорезал безмолвие. Он раздался где-то близко. И. перед незрячими глазами Коскуша предстало видение: лось, старый самец, с истерзанными, окровавленными боками и взъерошенной гривой, гнет книзу большие

ветвистые рога и отбивается ими из последних сил. Он видел мелькающие серые тела, горящие глаза, клыки, слюну, стекающую с языков. И он видел, как круг неумолимо сжимается все тесней и тесней, мало-помалу сливаясь в черное пятно посреди истоптанного снега.

Холодная морда ткнулась ему в щеку, и от этого прикосновения мысли его перенеслись в настоящее. Он протянул руку к огню и вытащил головешку. Уступая н-следственному страху перед человеком, зверь отступил с протяжным воем, обращенным к собратьям. И они тут же ответили ему, и брызжущие слюной волчьи пасти кольцом сомкнулись вокруг костра. Старик прислушался, потом взмахнул головешкой, и фырканье сразу перешло в рычанье; звери не хотели отступать. Вот один подался грудью вперед, подтягивая за туловищем и задние лапы, потом второй, третий; но ни один не отступил назад. Зачем цепляться за жизнь? — спросил Коскуш самого себя и уронил пылающую головню на снег. Она зашипела и потухла. Волки тревожно зарычали, но не двигались с места. Снова Коскуш увидел последнюю битву старого лося и тяжело опустил голову на колени. В конце концов не все ли равно? Разве не таков закон жизни?

Нам-Бок — лжец

— Байдарка, правда, байдарка! Байдарками в ней человек! Глядите, как неуклюже он ворочает веслом!

Старая Баск-Ва-Ван приподнялась на коленях, дрожа от слабости и волнения, и посмотрела в море.

— Нам-Бок всегда неуклюже работал веслом, — пробормотала она в раздумье, прикрыв ладонью глаза от солнца и глядя на сверкающую серебром поверхность во-ды. — Нам-Бок всегда был неуклюжий. Я помню...

Но женщины и дети громко расхохотались, и в их хохоте слышалась добродушная насмешка; голос старухи затих, и только губы шевелились беззвучно.

Кугах оторвался от своей работы (он был занят резьбой по кости), поднял голову и посмотрел туда, куда указывал взгляд Баск-Ва-Ван. Да, это была байдарка, и она шла к берегу, хотя временами ее и относило далеко в сторону. Сидевший в ней греб решительными, но неумелыми движениями и приближался медленно, словно сознательно ставя лодку вдоль волны. Голова Кугаха снова

склонилась над работой: на моржовом бивне он вырезал спинной плавник такой рыбы, какие никогда не плавали ни в одном море.

— Это, наверно, мастер из соседнего селения. Хочет посоветоваться со мной, как вырезывать на кости разные изображения, — сказал он наконец. — Но он неуклюжий человек. Никогда он не научится.

— Это Нам-Бок, — повторила старая Баск-Ва-Ван. — Неужели я не узнаю своего сына? — раздраженно выкрикнула она. — Говорю вам: это Нам-Бок.

— Ты это говорила каждое лето, — ласково стала увещевать ее одна из женщин. — Чуть только море очистится ото льда, ты садилась на берегу и целыми днями смотрела в море; и про всякую лодку ты говорила: «Это Нам-Бок». Нам-Бок умер, о Баск-Ва-Ван, а мертвые не возвращаются. Невозможно, чтобы мертвый вернулся.

— Нам-Бок! — закричала старуха так громко и пронзительно, что все с удивлением оглянулись на нее.

Она с трудом встала на ноги и заковыляла по песку. По дороге она споткнулась о лежавшего на солнышке младенца, мать бросилась унимать его и пустила вслед старухе грубые ругательства, но та не обратила на нее внимания. Ребятишки,

обгоняя ее, помчались к берегу, а когда байдарка, едва не опрокинувшись из-за неловкости гребца, подъехала ближе, за ребятишками потянулись и женщины. Кугах отложил моржовый клык в сторону, и тоже пошел, тяжело опираясь на свою дубинку, а за ним по двое и по трое двинулись мужчины.

Байдарка повернулась бортом, и ее непременно захлестнуло бы прибоем, если б один из голых юнцов не вбежал в воду и не вытащил ее за нос далеко на песок. Человек поднялся и пытливо оглядел стоявших перед ним жителей селения. Грязная и изношенная полосатая фуфайка свободно облегала его широкие плечи, шея по-матроссски была повязана красным бумажным платком. Рыбачья шапка на коротко остриженной голове, грубые бумажные штаны и тяжелые сапоги дополняли его наряд.

Несмотря на все это, он был удивительным явлением для рыбаков с дельты великого Юкона: всю жизнь перед глазами у них было Берингово море, и они видели только двух белых — переписчика населения и заблудившегося католического священника. Они были народ бедный — ни золота в их земле не было, ни ценных мехов на продажу, поэтому белые и близко не подходили к их берегу.

К тому же в этой стороне моря тысячелетиями скоплялись наносы горных пород Аляски, так что корабли садились на мель, даже еще не увидав земли. Вследствие этого болотистое побережье с глубокими заливами и множеством затопляемых островков никогда не посещалось большими кораблями белых людей, и рыбачье племя не имело понятия об их существовании.

Кугах-Резчик внезапно побежал, зацепился за собственную дубинку и упал.

— Нам-Бок! — закричал он отчаянно, стараясь подняться. — Нам-Бок, унесенный морем, вернулся!

Мужчины и женщины попятились, ребятишки обратились в бегство, прошмыгнув между ног взрослых. Один Опи-Куон, как и подобает старшине селения, проявил храбрость. Он вышел вперед и долго и внимательно разглядывал пришельца.

— Это в самом деле Нам-Бок, — сказал он наконец, и женщины, поняв по его голосу, что сомнений больше нет, завыли от суеверного ужаса и отступили еще дальше.

Губы пришельца нерешительно раскрылись, и смуглый кадык задвигался, словно силясь вытолкнуть застревавшие слова.

— Ля-ля, это Нам-Бок! — бормотала Баск-Ва-Ван, заглядывая ему в лицо. — Я всегда говорила, что Нам- Бок вернется.

— Да, Нам-Бок вернулся.

На этот раз говорил сам Нам-Бок; он перешагнул через борт и стоял одной ногой на суше, другой — на байдарке. Опять его горло напряглось, и видно было, что он с трудом подыскивает забытые слова. И когда он их наконец выговорил, они были странны на слух, и гортанные звуки сопровождались каким-то причмокиванием.

— Привет, о братья, — сказал он, — братья тех лет, когда я жил среди вас и попутный ветер еще не унес меня в море.

Он ступил на песок и другой ногой, но Опи-Куон замахал на него руками.

— Ты умер, Нам-Бок, — сказал он.

Нам-Бок рассмеялся.

— Взгляни, какой я толстый.

— Мертвые не бывают толстыми, — согласился Опи-Куон. — Ты хорошо упитан, но это странно. Еще ни один человек, ушедший с береговым ветром, не возвращался по пятам лет.

— Я возвратился, — просто ответил Нам-Бок.

— Тогда, быть может, ты тень. Проходящая тень Нам-Бока, который был. Тени возвращаются.

— Я голоден. Тени не едят.

Но Опи-Куон был смущен и в мучительном сомнении провел рукой по лбу. Нам-Бок тоже был смущен; он обводил глазами лица стоявших перед ним рыбаков и не видел в них привета. Мужчины и женщины шепотом переговаривались между собой. Дети робко жались за спины старших, а собаки, ощетинившись, скалили морды и подозрительно нюхали воздух.

— Я родила тебя, Нам-Бок, и кормила тебя грудью, когда ты был маленький, — жалостливо молвила Баск- Ва-Ван, подходя ближе. — И тень ты или не тень, я и теперь дам тебе поесть.

Нам-Бок шагнул было к ней, но испуганные и угрожающие возгласы заставили его остановиться. Он сказал на непонятном языке что-то очень похожее на «о черт!» и добавил:

— Я человек, а не тень.

— Что можно знать, когда дело касается неведомого? — спросил Опи-Куон отчасти у самого себя, отчасти обращаясь к своим соплеменникам. — Сейчас мы есть, но один вздох — и нас нет. Если человек может обратиться в тень, то почему тень не может обратиться в человека? Нам-Бок был, и его нет. Это мы знаем, но мы не знаем, Нам-Бок ты или его тень?

Нам-Бок откашлялся и ответил так:

— В давно прошедшие времена, Опи-Куон, отец твоего отца ушел и возвратился по пятам лет. И ему не отказали в месте у очага. Говорили... — Он значительно помолчал, и все замерли, ожидая, что он скажет. — Говорили, — повторил он внушительно, рассчитывая на эффект своих слов, — что Сипсип, его жена, принесла ему двоих сыновей после его возвращения.

— Но он не вверялся береговому ветру, — возразил Опи-Куон. — Он ушел в глубь суши, а это так уж положено, что по суше человек может ходить сколько угодно.

— Так же точно и по морю. Но не в том дело. Говорили... будто отец твоего отца рассказывал удивительные истории о том, что он видел.

— Да, он рассказывал удивительные истории.

— Мне тоже есть что порассказать, — хитро заявил Нам-Бок. И, заметив колебания слушателей, добавил: — Я привез и подарки.

Он достал из своей лодки шаль дивной мягкости и окраски и набросил ее на плечи матери. У женщин вырвался дружный вздох восхищения, а старая Баск-Ва-Ван стала щупать и гладить рукой яркую ткань, напевая от восторга, как ребенок.

— У него есть что рассказать, — пробормотал

Кугах.

— И он привез подарки, — откликнулись женщины.

Опи-Куон видел, что его соплеменникам не терпится послушать чудесные рассказы, да и его самого разбирало любопытство.

— Улов был хороший, — сказал он рассудительно, — и жира у нас вдоволь. Так пойдем, Нам-Бок, попируем.

Двое мужчин взвалили байдарку на плечи и понесли ее к костру. Нам-Бок шел рядом с Опи-Куоном, прочие жители селения следовали за ними, и только несколько женщин задержались на минутку, чтобы любовно потрогать шаль.

Пока шел пир, разговору было мало, зато много любопытных взглядов украдкой было брошено на сына Баск-Ва-Ван. Это стесняло его, но не потому, что он был скромного нрава, а потому, что вонь тюленьего жира лишила его аппетита; ему же во что бы то ни стало хотелось скрыть это обстоятельство.

— Ешь, ты голоден, — приказал Опи-Куон, и Нам- Бок, закрыв глаза, сунул руку в горшок с тухлой рыбой.

— Ля-ля, не стесняйся. Тюленей этот год было много, а сильные мужчины всегда голодны.

И Баск-Ва-Ван обмакнула в жир особенно отвратительный кусок рыбы и, закапав все кругом, нежно протянула его сыну.

Однако некоторые зловещие симптомы скоро оповестили Нам-Бока, что желудок его не так вынослив, как в былые времена, и он в отчаянии поспешил набить трубку и закурить. Люди шумно ели и наблюдали за ним. Не многие из них могли похвастаться близким знакомством с этим драгоценным зельем, хотя оно порой попадало к ним — понемножку и самого скверного сорта — от северных эскимосов в обмен на другие товары. Кугах, сидевший рядом с ним, дал ему понять, что и он не прочь бы разок затянуться, и в промежутке между двумя кусками рыбы вложил в рот янтарный мундштук и принялся посасывать его вымазанными жиром губами. Увидев это, Нам-Бок дрожащей рукой схватился за живот и отвел протянутую обратно трубку. Пусть Кугах оставит трубку себе, сказал он, потому что он с самого начала намеревался почтить его этим подношением. И все стали облизывать пальцы и хвалить щедрость Нам-Бока.

Опи-Куон поднялся.

— А теперь, о Нам-Бок, пир кончен, и мы хотим послушать об удивительных вещах, которые ты

видел.

Рыбаки захлопали в ладоши и, разложив около себя свою работу, приготовились слушать. Мужчины строгали копья и занимались резьбой по кости, а женщины соскабливали жир с котиковых шкур и разминали их и шили одежду нитками из сухожилий. Нам-Бок окинул взглядом всю эту картину и не увидел в ней той прелести, какую, по воспоминаниям, ожидал найти. В годы своих скитаний он с удовольствием рисовал себе такую именно картину, но сейчас, когда она была перед его глазами, он чувствовал разочарование. Убогая и жалкая жизнь, думалось ему; она не идет ни в какое сравнение с жизнью, к которой он теперь привык. Все-таки кое-что он им расскажет, он приоткроет им глаза, — и при этой мысли глаза у него заблестели.

— Братья, — начал он с благодушным самодовольством человека, готовящегося поведать о своих подвигах. — Братья, когда много лет назад я ушел от вас, было позднее лето и погода стояла такая точно, какая обещает быть сейчас. Вы все помните тот день: чайки летали низко, с суши дул сильный ветер, и я не мог одолеть его на своей байдарке. Я плотно затянул покрышку, чтобы вода не попала внутрь, и всю ночь боролся

с бурей. А утром земли уже не было видно — одно море — и ветер с суши по-прежнему крепко держал меня в руках и гнал перед собой. Три раза ночь сменялась бледным рассветом, а земли все не было видно, и береговой ветер все не отпускал меня. И когда наступил четвертый день, я был как безумный. Я не мог работать веслом, потому что ослабел от голода, а голова моя кружилась и кружилась — так меня мучила жажда. Но море уже утихло, и дул теплый южный ветер, и когда я посмотрел вокруг, то увидел такое зрелище, что подумал, не сошел ли я и вправду с ума.

Нам-Бок остановился, чтобы вытащить волоконце лососины, застрявшее в зубах, а окружавшие его мужчины и женщины ждали, бросив работу и вытянув шеи.

— Это была лодка, большая лодка. Если все лодки, какие я когда-либо видел, сложить в одну лодку, она все- таки не будет такой большой.

Послышались возгласы сомнения, и Кугах, насчитывавший много лет жизни, покачал головой.

— Если б каждая байдарка была все равно что песчинка, — продолжал утверждать Нам-Бок, — и если б байдарок было столько, сколько есть песчинок на этом берегу, и то из них не состави-

лась бы такая большая лодка, какую я увидал на четвертый день. Это была очень большая лодка, и называлась она шхуна. Я увидел, что эта чудесная лодка, эта большая шхуна идет прямо на меня, а на ней люди...

— Стой, о Нам-Бок! — воскликнул Опи-Куон. — Какие это были люди? Большие люди?

— Нет, они были, как ты и я.

— Большая лодка шла быстро?

— Да.

— Лодка была большая, люди маленькие, — отметил для точности эти данные Опи-Куон. — И люди гребли длинными веслами?

Нам-Бок усмехнулся.

— Весел не было вовсе, — сказал он.

Разинутые рты открылись еще шире, и наступила продолжительная тишина. Опи-Куон попросил у Кугаха трубку и несколько раз задумчиво затянулся. Одна из молодых женщин нервно хихикнула, чем навлекла на себя гневные взгляды.

— Значит, весел не было? — тихо спросил Опи-Куон, возвращая трубку.

— Южный ветер дул сзади, — пояснил Нам-Бок.

— Но ветер гонит лодку медленно.

— У шхуны были крылья — вот так.

Он набросал на песке схему мачт и парусов, и мужчины, столпившись вокруг, стали изучать ее. Дул резкий ветер, и для большей наглядности Нам-Бок схватил за концы материнскую шаль и растянул ее, так что она надулась, как парус. Баок-Ва-Ван бранилась и отбивалась, но ветер подхватил ее и потащил по берегу; шагах в десяти, еле дыша, она упала на кучу прибитых морем щепок. Мужчины крякали с понимающим видом, но Кугах вдруг откинул назад свою седую голову.

— Хо! Хо! — расхохотался он. — Одна глупость, эта твоя большая лодка! Чистая глупость! Игрушка ветра! Куда ветер, туда и она. В такой лодке не знаешь, к какому берегу пристанешь, потому что она плывет всегда по ветру, а ветер дует куда ему вздумается, и никому не известно, в какую сторону он подует сейчас.

— Да, это так, —- важно подтвердил Опи-Куон. — По ветру идти легко, но, когда ветер противный, человеку приходится сильно бороться; а раз весел у этих людей на большой лодке не было, значит, они вовсе не могли бороться.

— Очень им нужно было бороться! — сердито воскликнул Нам-Бок. — Шхуна идет и против ветра.

— А что, ты говорил, заставляет шх... шх... шхуну двигаться? — спросил Кугах, ловко одолев незнакомое слово.

— Ветер, — последовал нетерпеливый ответ.

— Ветер заставляет шх... шх... шхуну двигаться против ветра? — Тут старый Кугах без стеснения подмигнул Опи-Куону и под общий смех продолжал: — Ветер дует с юга, а шхуну гонит на юг. Ветер дует против ветра. Ветер дует сразу и в ту и в другую сторону. Это очень просто. Мы поняли, Нам-Бок. Мы все поняли.

— Ты глупец!

— Уста твои говорят правду, — ответил Кугах кротко. — Я слишком долго не мог понять самую простую вещь.

Лицо Нам-Бока помрачнело, и он быстро проговорил какие-то слова, которых раньше они никогда не слыхали. Все снова принялись кто резать по кости, кто очищать шкуры, но он крепко сжал губы, чтобы не вырвались у него слова, которым все равно никто не поверит.

— Эта шх... шх... шхуна, — невозмутимо спросил Кугах, — она была сделана из большого дерева?

— Она была сделана из многих деревьев, — отрезал Нам-Бок. — Она была очень большая.

Он опять угрюмо замолчал, а Опи-Куон подтолк-

нул Кугаха, который в недоверчивом изумлении покачал головой и прошептал:

— Удивительное дело.

Нам-Бок попался на удочку.

— Это еще что, — сказал он легкомысленно, — а вот посмотрели бы вы на пароход. Во сколько раз байдарка больше песчинки, во сколько раз шхуна больше байдарки, во столько раз пароход больше шхуны. К тому же пароход сделан из железа. Он весь железный.

— Нет, нет, Нам-Бок, — воскликнул старшина, — как это может быть? Железо всегда идет ко дну. Вот послушай: у старшины соседнего селения я выменял нож, и вчера нож выскользнул у меня из рук и сразу пошел вниз, в самую глубь моря. Всему есть закон. У каждой вещи свой закон. Мы знаем. Больше того: мы знаем, что для всех одинаковых вещей закон один, и потому для всего железного закон тоже один. Так что, отрекись от своих слов, Нам-Бок, чтоб мы не потеряли к тебе уважения.

— Но это так, — стоял на своем Нам-Бок. — Пароход весь железный, а не тонет.

— Нет, нет, этого не может быть.

— Я видел своими глазами.

— Это противно природе вещей.

— Но скажи мне, Нам-Бок, — перебил Кугах, опасаясь как бы рассказ на этом не прекратился. — Скажи мне, как эти люди находят дорогу в море, если не видно берега?

— Солнце показывает им дорогу.

— Но как?

— У старшины шхуны есть такая штука, через которую смотрят на солнце, и вот в полдень он берет ее, и смотрит, и заставляет солнце сойти с неба на край земли.

— Но это колдовство! — ошеломленный таким святотатством, закричал Опи-Куон. Мужчины в ужасе подняли руки, женщины заголосили. — Это гнусное колдовство! Очень нехорошо отклонять великое солнце от его пути: оно прогоняет ночь и дает нам тюленей, лососину и тепло.

— Что из того, что это колдовство? — грубо спросил Нам-Бок. — Я тоже смотрел сквозь эту вещь на солнце и заставлял солнце сходить с неба.

Сидевшие поблизости поспешно отодвинулись, а одна женщина накрыла лицо ребенка, лежавшего на руках, чтобы не упал на него взгляд Нам-Бока.

— Что же было на утро четвертого дня, о Нам-Бок? — осторожно напомнил Кугах. — На утро четвертого дня, когда шх... шх... шхуна погналась

за тобой?

— У меня так мало оставалось сил, что я не мог уйти от нее. И вот меня взяли на борт, влили в горло воду и дали хорошую пищу. Братья мои, вы видели только двух белых людей. А на шхуне люди все были белые, и было их столько, сколько у меня пальцев на руках и ногах. И когда я увидел, что они добры, я осмелел и решил все запоминать, чтобы потом рассказать вам, что я видел. И они научили меня своей работе, и кормили хорошей пищей, и отвели мне место для сна.

И мы день за днем плыли по морю, и каждый день старшина стаскивал солнце с неба и заставлял его говорить, где мы находимся. И когда море бывало милостиво, мы охотились на котиков, и я очень удивлялся, потому что эти люди выбрасывали мясо и жир и оставляли себе только шкуры.

Опи-Куон скривил рот и готов уже был высмеять подобную расточительность, но Кугах толчком заставил его молчать.

— Потом наступило трудное время — солнце ушло и мороз стал больно жечь кожу; и тогда старшина повернул шхуну на юг. Долгие дни плыли мы на юг и на восток, ни разу не увидав земли, и вот уже стали приближаться к селению, откуда все они были родом...

— Почем они знали, что приближаются? — спросил Опи-Куон, который больше не в силах был сдержать себя. — Ведь земли не было видно.

Нам-Бок метнул на него яростный взгляд.

— Разве я не сказал, что старшина спускал солнце с неба?

Но Кугах успокоил Опи-Куона, и Нам-Бок продолжал:

— Так вот, я говорю, когда мы стали приближаться к тому селению, разразилась сильная буря, и в темноте мы были беспомощны, так как не знали, где находимся...

— Ты только что говорил, что старшина знал...

— Молчи, Опи-Куон! Ты дурак и не понимаешь. Я говорю, в темноте мы были беспомощны, и вдруг сквозь рев бури я услыхал шум прибоя. И тотчас мы обо что-то ударились, и я очутился в воде и поплыл. Берег был скалистый, и скалы тянулись на много миль, и только в одном месте была узенькая песчаная полоска, но мне суждено было выбраться из бурунов. Другие, должно быть, разбились о скалы, потому что ни одного из них не оказалось на берегу, кроме старшины, — я узнал его только по кольцу на пальце.

Когда наступил день и я убедился, что от шхуны ни-чего не осталось, я обратил свой взгляд на

сушу и пошел в глубь ее, чтобы добыть себе пищу и увидеть человеческие лица. Когда я подошел к жилью, то меня впустили и дали поесть, потому что белые люди добры, а я выучился говорить на их языке. И дом, в который я попал, был больше, чем все дома, построенные нами, и больше тех, что до нас строили себе наши отцы.

— Велик же был этот дом, — сказал Кугах, скрывая свое недоверие под видом изумления.

— И на постройку его пошло много деревьев, — в тон ему подхватил Опи-Куон.

— Этот дом — еще пустяки, — пренебрежительно пожал плечами Нам-Бок. — Как наши дома малы по сравнению с ним, так этот дом был мал по сравнению с теми, что я увидел потом.

— А люди там тоже были большие?

— Нет, люди были, как ты и я, — отвечал Нам-Бок. — Я срезал себе палку, чтобы было удобно ходить, и, помня, что я обо всем должен рассказать вам, братья, на каждого из живших в этом доме я сделал на своей палке по зарубке. И я прожил там много дней и работал, и за это мне давали деньги, — вы не знаете, что это такое, но это очень хорошая вещь.

Потом я ушел с этого места и отправился еще дальше. По дороге я встречал много народа и стал

делать на палке зарубки поменьше, чтобы всем хватило места. И вдруг я увидел что-то совсем удивительное. На земле передо мной лежала железная полоса толщиной в мою руку, а через широкий шаг от нее лежала другая железная полоса...

— Значит, ты стал богатым человеком, — заключил Опи-Куон, — потому что железо дороже всего на свете. Из этих полос получилось бы много ножей.

— Но это железо было не мое.

— Это была находка, и она принадлежит тому, кто нашел.

— Нет. Эти полосы положили белые люди. Кроме того, полосы эти такие длинные, что ни один человек не мог бы их унести, такие длинные, что, сколько я ни смотрел, конца им не видел.

— Нам-Бок, не слишком ли это много железа? — предостерегающе заметил Опи-Куон.-

— Да, мне самому трудно было поверить, хотя они лежали перед моими глазами; но глаза меня не обманывали. Я стоял и смотрел и вдруг услышал... — Он быстро повернулся к старшине. — Опи-Куон, ты знаешь, как ревет разгневанный морской лев? Представь себе, столько морских львов, сколько волн в море, и представь себе, что

все эти морские львы соединились в одного льва, — и вот если б заревел такой лев, то рев его был бы подобен тому, который я услышал.

Рыбаки в изумлении громко вскрикнули, а у Опи- Куона отвисла челюсть.

— И вдалеке я увидел чудовище, равное тысяче китов. Оно было одноглазое, и изрыгало дым, и оглушительно фыркало. У меня от страха задрожали ноги, но я побежал по тропинке между железными полосами. А оно приближалось с быстротой ветра, это чудовище; и только я успел отскочить в сторону, как оно обдало мне лицо своим горячим дыханием...

Опи-Куон овладел собой, челюсть его стала на место, и он спросил:

— А потом? Что же было потом, о Нам-Бок?

— Потом оно промчалось по железным полосам мимо и не причинило мне вреда; а когда ноги у меня перестали трястись, оно уже исчезло из вида. И в той стороне это — самое обыкновенное дело. Этих чудовищ не боятся даже женщины и дети, и люди заставляют их там работать.

— Как мы заставляем работать наших собак? — спросил Кугах, и глаза его недоверчиво блеснули.

— Да, как мы заставляем работать наших со-

бак.

— А как разводятся эти... эти чудовища? — поинтересовался Опи-Куон.

— Они не разводятся вовсе. Люди искусно делают их из железа и кормят камнями и поят водой. Камни превращаются в огонь, вода — в пар, а этот пар и есть дыхание их ноздрей и...

— Хватит, хватит, о Нам-Бок, — прервал его Оци-Куон. — Расскажи нам о других чудесах. Мы устали от таких, которых мы не понимаем.

— Вы не понимаете? — в отчаянии вскричал Нам- ок.

— Нет, не понимаем, — уныло откликнулись и мужчины и женщины. — Мы не можем понять.

Нам-Бок подумал о сложных машинах, которые разом и жнут и молотят, и о машинах, показывающих изображения живых людей, и о машинах, из которых исходят человеческие голоса, — и ему стало ясно, что его народ ни за что этого не поймет.

— А если я скажу вам, что я ездил по стране на таком железном чудовище? — спросил он с горечью.

Опи-Куон развел руками, не пытаясь скрыть свое недоверие.

— Говори, говори. Говори, что хочешь. Мы

слушаем.

— Так вот, я поехал на железном чудовище и дал за это деньги...

— Ты же сказал, что его кормят камнями.

— Я ведь сказал тебе, глупец, что деньги — это такая вещь, о которой ты понятия не имеешь. Итак, я поехал на этом чудовище через всю страну и проезжал мимо многих селений, пока не приехал в большое селение на морском заливе. Дома там поднимали свои крыши к самым звездам небесным, и мимо них тянулись облака, и везде было полно дыма. И шум в этом селении был — как шум бурного моря, а народу было столько, что я бросил свою палку и перестал и думать о том, чтобы делать зарубки.

— Если бы ты делал маленькие зарубки, — укоризненно заметил Кугах, — ты мог бы рассказать нам все в точности.

— Если бы я делал маленькие зарубки! — вне себя накинулся на него Нам-Бок. — Слушай, Кугах, ты, который только и умеешь, что царапать на кости! Если б я делал даже самые маленькие зарубки, то не хватило бы не только той палки, но и двадцати палок, — нет, не хватило бы всех бревен, которые выбросил прибой на берег между этим селением и соседним. И если б всех вас с

женщинами и детьми было в двадцать раз больше и если б у каждого было по двадцати рук и в каждой руке палка и нож, все равно невозможно было бы сделать зарубки на всех людей, которых я видел, — так много их было и так быстро проходили они мимо меня.

— На всем свете не может быть столько народа, — возразил Опи-Куон, ибо он был ошеломлен и не мог охватить умом таких громадных количеств.

— А что ты знаешь обо всем свете и о том, как он велик? — спросил Нам-Бок.

— Но не может быть столько народа в одном месте.

— Кто ты такой, чтобы решать, что может быть и чего не может быть?

— Да ведь ясно, что в одном месте не может быть столько народа. Их лодки запрудили бы все море, так что негде было бы повернуться. И каждый день они вылавливали бы из моря всю рыбу — и все равно на всех бы ее не хватало.

— Казалось бы, так оно и должно быть, — ответил Нам-Бок, заканчивая беседу. — И, однако, это правда. Я видел все собственными глазами и потому бросил свою палку.

Он зевнул во весь рот и поднялся.

— Я приплыл издалека. День был долгий, и я

устал. Сейчас я лягу спать, а завтра мы еще поговорим о том, что я видел.

Баск-Ва-Ван боязливо заковыляла вперед и гордясь своим удивительным сыном и в то же время испытывая перед ним благоговейный ужас. Она привела его в свою хижину и уложила на жирный вонючий мех. Но мужчины остались у костра, чтобы держать совет, и на этом совете долго шептались и спорили.

Прошел час и другой — Нам-Бок спал, а разговор у костра все продолжался. Вечернее солнце склонялось к северу и в одиннадцать часов остановилось почти прямо на севере. Тогда старшина и резчик по кости покинули совет и разбудили Нам-Бока. Он, мигая со она, взглянул им в лица и повернулся на другой бок. Но Опи-Куон беззлобно, но решительно начал трясти его за плечи, пока тот совсем не пришел в себя.

— Ну-ну, Нам-Бок, вставай! — приказал он. — Пора!

— Опять есть? — вскричал Нам-Бок. — Нет, я не голоден. Ешьте сами и дайте мне спать.

— Пора уходить! — заревел Кугах.

Но Опи-Куон был не так резок.

— Ты в паре со мной ходил на байдарке, когда мы были мальчиками, — сказал он. — Мы вместе

первый раз вышли на охоту за тюленями и вытаскивали лососей из западни. И ты возвратил меня к жизни, Нам-Бок, когда море сомкнулось над моей головой и меня стало затягивать под черные скалы. Вместе мы голодали, и дрогли от холода, и заползали вдвоем под одну шкуру, и лежали рядом, тесно прижавшись друг к дружке. Из-за всего этого, из-за того, что я дружил с тобой, мне очень жалко, что ты возвратился к нам таким необыкновенным лжецом. Мы ничего не понимаем, и головы у нас кружатся от всего, что ты рассказал. Это, нехорошо, и в совете было много толков. И мы решили, что ты должен уйти, чтобы не смущать нас и не туманить нам разум необъяснимыми вещами.

— Все вещи, о которых ты говорил, — это тени, — подхватил Кугах. — Ты принес их из мира теней и в мир теней должен возвратить их. Твоя байдарка готова, и люди племени ждут. Они не уснут спокойно, пока ты не уйдешь.

Нам-Бок растерянно смотрел на старшину, но не перебивал его.

— Если ты Нам-Бок, — говорил Опи-Куон, — то ты поразительный и опасный лжец; если ты тень Нам-Бока, то ты говорил о тенях, а живым людям не годится знать то, что касается теней.

Мы думаем, что большое селение, о котором ты нам рассказал, — это жилище теней. Там витают души мертвых; ибо мертвых много, а живых мало. Мертвые не возвращаются. Ни один мертвый еще не вернулся, ты первый с твоими удивительными рассказами. Не подобает мертвым возвращаться, и если мы это допустим, нам грозит большая беда.

Нам-Бок хорошо знал свой народ и понимал, что решение совета непреложно. Поэтому он покорно пошел к берегу, где его посадили в его байдарку и в руку сунули весло. Отбившийся от стаи дикий гусь одиноко кричал где-то над морем, и волны с глухим плеском накатывались на песок. Мутные сумерки нависли над землей и водою, а на севере слабо тлело тусклое солнце, окутанное кроваво-красным туманом. Чайки летали низко. Дул резкий и холодный береговой ветер, и черные, клубящиеся тучи предвещали непогоду.

— Из моря ты вышел, — точно произнося заклинание, нараспев проговорил Опи-Куон, — и обратно в море уходишь. Так восстановится равновесие вещей и все придет в законный порядок.

Баск-Ва-Ван, прихрамывая, подошла поближе и закричала:

— Благословляю тебя, Нам-Бок, ибо ты вспомнил меня!

Но Кугах, оттолкнув байдарку от берега, сорвал шаль с плеч старухи и кинул ее Нам-Боку.

— Мне холодно в долгие зимние ночи, — жалобно простонала она, — мороз так и пробирает старые кости.

— Эта вещь — тень, — ответив резчик, — а тень тебя не согреет.

Нам-Бок встал, чтобы ветер донес его слова до нее.

— О Баск-Ва-Ван, мать, родившая меня! — воскликнул он. — Слушай слова Нам-Бока, твоего сына. В байдарке хватит места для двоих, и он хочет, чтобы ты ушла с ним. Там, куда он держит путь, вдоволь и рыбы и жира. Мороз туда не приходит, и жизнь там легка, и железные вещи работают за человека. Пойдем со мной, о Баск-Ва-Ван!

Она колебалась, а байдарку тем временем относило от берега; тогда, собрав силы, она крикнула высоким, дребезжащим голосом:

— Я стара, Нам-Бок, и скоро отойду в жилище теней. Но мне не хочется уходить раньше, чем пришел мой срок. Я стара, Нам-Бок, и мне страшно.

Луч света брызнул на сумрачное море и озарил лодку и человека сиянием пурпура и золота. Рыбаки притихли, и только слышался шум ветра да крики низко летавших чаек.

Великий кудесник

В поселке было неладно. Женщины без умолку тараторили высокими, пронзительными голосами. Мужчины хмурились и недоверчиво косились по сторонам, и даже собаки в беспокойстве бродили кругом, смутно чуя тревожный дух, овладевший всем поселком, и готовясь умчаться в лес при первом внешнем признаке беды. Недоверие носилось в воздухе. Каждый подозревал своего соседа и при этом знал, что и его подозревают. Дета и те присмирели, а маленький Ди-Йа, виновник всего происшедшего, получив основательную трепку сперва от Гунии, своей матери, а потом и от отца, Боуна, забился под опрокинутую лодку на берегу и мрачно взирал оттуда на мир, время от времени тихонько всхлипывая.

А в довершение несчастья шаман Скунду был в немилости, и нельзя было прибегнуть к его всем известному колдовскому искусству, чтобы обнаружить преступника. С месяц тому назад, когда племя собиралось на потлач в Тонкин, где Чаку-Джим спускал все накопленное за двадцать лет, шаман Скунду предсказал попутный южный ветер. И что же? В назначенный день поднялся

вдруг северный ветер, да такой сильный, что из трех лодок, первыми отчаливших от берега, одну захлестнуло волной, а две другие вдребезги разбились о скалы, и при этом утонул ребенок. Скунду потом объяснял, что при гадании вышла ошибка — не за ту веревку дернул. Но люди не стали его слушать; щедрые приношения мясом, рыбою и мехами сразу прекратились, и он заперся в своем доме, проводя дни в посте и унынии, как думали все, на самом же деле — питаясь обильными запасами из своего тайника и размышляя о непостоянстве толпы.

У Гунии пропали одеяла. Отличные были одеяла, на редкость толстые и теплые, и она особенно хвалилась ими еще потому, что достались они ей почти задаром. Ти-Куон из соседнего поселка был просто дурень, что так дешево уступил их. Впрочем, она не знала, что эти одеяла принадлежали убитому англичанину — тому самому, из-за которого так долго торчал у берега американский полицейский катер, а шлюпки с него шныряли и рыскали по самым потайным проливам и бухточкам. Вот Ти-Куон и поспешил избавиться от этих одеял, опасаясь, как бы кто-нибудь из племени не сообщил о происшествии властям, но Гуния не знала этого и продолжала хвалиться своей

покупкой. А оттого, что все женщины завидовали ей, слава о ее одеялах возросла сверх всякой меры и, выйдя за пределы поселка, разнеслась по всему аляскинскому побережью от Датч-Харбор до бухты св. Марии. Всюду прославляли ее тотем, и, где бы ни собирались мужчины на рыбную ловлю или на пиршество, только и было разговоров, что об одеялах Гунии, о том, какие они толстые и теплые. Пропали они самым необъяснимым и таинственным образом.

— Я только что разостлала их на припеке у самого дома, — в тысячный раз жаловалась Гуния своим сестрам по племени тлинкетов. — Только что разостлала и отвернулась, потому что Ди-Йа, этот дрянной воришка, задумав полакомиться сырым тестом, сунул голову в большой железный чан, упал туда и увяз, так что только ноги его раскачивались в воздухе, точно ветви дерева на ветру. И не успела я вытащить его из чана и дважды стукнуть головою о дверь, чтобы образумить, гляжу — одеяла исчезли.

— Одеяла исчезли! — подхватили женщины испуганным шепотом.

— Большая беда, — сказала одна.

— Такие одеяла! — сказала другая.

— Мы все огорчены твоей бедой, Гуния, —при-

бавила третья.

Но в душе все женщины радовались тому, что этих злосчастных одеял, предмета всеобщей зависти, не стало.

— Я только что разостлала их на припеке, — начала Гуния в тысячу первый раз.

— Да, да, — прервал ее Боун, которому уже надоело слушать. — Но в поселке чужих не было. И потому ясно, что человек, беззаконно присвоивший одеяла, принадлежит к нашему племени.

— Не может этого быть, о Боун! — негодующим хором отозвались женщины. — Нет среди нас такого.

— Значит, тут колдовство, — невозмутимо заключил Боун, не без лукавства глянув на окружающих его женщин.

— Колдовство! — При этом страшном слове женщины притихли, и каждая опасливо покосилась на соседок.

— Да, — подтвердила Гуния, в минутной вспышке злорадства выдавая свой мстительный нрав. — И уже послана лодка с сильным гребцом за Клок-Но-Тоном. С вечерним приливом он будет здесь.

Народ стал расходиться, и по селению пополз страх. Из всех возможных бедствий колдовство

было самым страшным. Дьявол мог вселиться в любого — мужчину, женщину или ребенка, и никому не дано было знать об этом. Против сил невидимых и неуловимых умели бороться одни лишь шаманы, а из всех шаманов в округе самым грозным был Клок-Но-Тон, живший в соседнем поселке. Никто чаще его не обнаруживал злых духов, никто не подвергал своих жертв более ужасным пыткам. Как-то раз он даже обнаружил дьявола, который вселился в трехмесячного младенца, — и очень упорный это был дьявол; чтобы изгнать его, понадобилось целую неделю продержать ребенка на ложе из шипов и колючек. Тело после этого выбросили в море, но волны снова и снова прибивали его к берегу, точно предрекая беду; и только когда двое сильных мужчин утонули поблизости в час отлива, оно уплыло и больше не возвращалось.

И вот за этим Клок-Но-Тоном послала Гуния. Уж лучше бы свой шаман, Скунду, был при деле. Он обычно не прибегал к таким крутым мерам, и однажды ему случилось изгнать двух дьяволов из тела мужчины, который потом прижил семерых здоровых детей. Но Клок-Но-Тон! При одной мысли о нем у людей сжималось сердце от зловещего предчувствия, и каждому чудилось, что

на него устремлены подозрительные взгляды, да и сам он уже смотрел подозрительным взглядом на остальных. Так чувствовали себя все, кроме Симэ, но Симэ был безбожник и неминуемо должен был кончить дурно, хотя до сих пор ему все сходило с рук.

— Хо! Хо! — смеялся он. — Дьяволы! Да ведь сам Клок-Но-Тон хуже всякого дьявола, другого такого по всей земле тлинкетов не найти.

— Ах ты глупец! Вот он явится скоро со всеми своими заклинаниями и наговорами. Придержи лучше язык, не то как бы не приключилось с тобой недоброе и счет твоих дней не стал бы короче.

Так сказал Ла-Лах, прозванный Обманщиком, но Симэ только засмеялся в ответ.

— Я — Симэ, не знающий страха, не боящийся тьмы. Я сильный человек, как и мой покойный отец, и у меня ясная голова. Ведь ни ты, ни я, никто из нас не видел своими глазами духов зла...

— Но Скунду видел их, — возразил Ла-Лах. — И Клок-Но-Тон тоже. Это мы знаем.

— А ты почему знаешь, сын глупца? — загремел Симэ, и его толстая бычья шея побагровела от прилива крови.

— Я слышал это из их собственных уст — по-

тому и знаю.

Симэ фыркнул:

— Шаман — только человек. Разве не могут его слова быть Лживы, точно так же как твои и мои? Тьфу, тьфу! И еще раз тьфу! Вот что мне все твои шаманы с их дьяволами вместе! Вот что! И вот что!

И, прищелкивая пальцами на все стороны, Симэ пошел прочь, а толпа боязливо и почтительно расступилась перед ним.

— Добрый охотник и искусный рыболов, но человек дурной, — сказал один.

— И все же ему во всем удача, — откликнулся другой.

— Что ж, стань и ты дурным, и тебе тоже будет во всем удача, — через плечо бросил ему Симэ. — Если б мы все были дурными, нечего было бы делать шаманам. Пфф! Все вы, как малые дети, боящиеся темноты.

Когда в час вечернего прилива лодка, привезшая Клок-Но-Тона, пристала к берегу, Симэ все так же вызывающе смеялся и даже отпустил какую-то дерзкую шутку, увидев, что шаман споткнулся, выходя на берег. Клок-Но-Тон сердито посмотрел на него и, не сказав ни слова приветствия, с гордым видом направился прямо к дому

Скунду, минуя толпу ожидающих.

Что произошло во время этой встречи, осталось неизвестным людям племени, потому что они почтительно теснились поодаль и даже говорили шепотом, покуда оба великих кудесника совещались между собой.

— Привет тебе, Скунду! — буркнул Клок-Но-Тон не слишком уверенно, видимо, не зная, какой прием ему будет оказан.

Он был исполинского роста и башней высился над тщедушным Скунду, чей тоненький голосок прозвучал в ответ, точно отдаленное верещание сверчка.

— И тебе привет, Клок-Но-Тон, — сказал тот. — Да озарит нас светом твое прибытие.

— Но верно ли... — Клок-Но-Тон замялся.

— Да, да, — нетерпеливо прервал его маленький шаман. — Верно, что для меня настали плохие дни; иначе я не стал бы благодарить тебя за то, что ты явился делать мое дело.

— Мне очень жаль, друг Скунду...

— А я готов радоваться, Клок-Но-Тон.

— Но я отдам тебе половину того, что получу.

— О нет, добрый Клок-Но-Тон, — воскликнул Скунду, подняв руку в знак протеста. — Напротив, отныне я раб твой и должник и до конца своих

дней буду счастлив служить тебе.

— Как и я...

— Как и ты сейчас готов мне служить.

— В этом не сомневайся. Но скажи, ты, значит, считаешь, что эта кража одеял у женщины Гунии трудное дело?

Спеша нащупать почву, приезжий шаман допустил ошибку, и Скунду усмехнулся едва заметной слабой усмешкой, ибо он привык читать в мыслях людей и все люди казались ему ничтожными.

— Ты всегда умел действовать круто, — сказал он. — Не сомневаюсь, что вор станет тебе известен в самое короткое время.

— Да, в самое короткое время, стоит мне только взглянуть. — Клок-Но-Тон снова замялся. — Не было ли тут кого-нибудь чужого? — спросил он.

Скунду покачал головой.

— Взгляни! Не правда ли, превосходная вещь?

Он указал на покрывало, сшитое из тюленьих и моржовых шкур, которое гость стал разглядывать с затаенным любопытством.

— Мне оно досталось при удачной сделке.

Клок-Но-Тон кивнул, внимательно слушая.

— Я получил его от человека по имени Ла-Лах. Это ловкий человек, и мне не раз приходила мысль...

— Ну? — не сдержал своего нетерпения Клок-Но- Тон.

— Мне не раз приходила мысль. — Скунду голосом поставил точку и, помолчав немного, прибавил: — Ты умеешь круто действовать, и твое прибытие озарит нас светом, Клок-Но-Тон.

Лицо Клок-Но-Тона повеселело.

— Ты велик, Скунду, ты шаман из шаманов. Я буду помнить тебя вечно. А теперь я пойду. Так, говоришь ты, Ла-Лах ловкий человек?

Скунду вновь усмехнулся своею слабой, едва заметной усмешкой, затворил за гостем дверь и запер ее на двойной засов.

Когда Клок-Но-Тон вышел из дома Скунду, Симэ чинил лодку на берегу и оторвался от работы только для того, чтобы открыто, на виду у всех, зарядить свое ружье и положить его рядом с собою.

Шаман отметил это и крикнул:

— Пусть все люди племени соберутся сюда, на это место! Так велю я, Клок-Но-Тон, умеющий обнаруживать дьявола и изгонять его.

Клок-Но-Тон прежде думал созвать народ в дом Гунии, но нужно было, чтобы собрались все, а он не был уверен, что Симэ повинуется приказанию; ссоры же ему заводить не хотелось. Этот Симэ

из тех людей, с которыми лучше не связываться, особенно шаманам, рассудил он.

— Пусть приведут сюда женщину Гунию, — приказал Клок-Но-Тон, озираясь вокруг свирепым взглядом, от которого у каждого холодок пробегал по спине.

Гуния выступила вперед, опустив голову и ни на кого не глядя.

— Где твои одеяла?

— Я только что разостлала их на солнце, и вот — оглянуться не успела, как они исчезли, — плаксиво затянула она.

— Ага!

— Это все вышло из-за Ди-Йа.

— Ага!

— Я больно прибила его за это и еще не так прибью, потому что он навлек на нас беду, а мы бедные люди.

— Одеяла! — хрипло прорычал Клок-Но-Тон, угадывая ее намерение сбить цену, которую предстояло уплатить за ворожбу. — Говори про одеяла, женщина! Твое богатство известно всем.

— Я только что разостлала их на солнце, — захныкала Гуния, — а мы бедные люди, у нас ничего нет.

Клок-Но-Тон вдруг весь напружился, лицо его

исказила чудовищная гримаса, и Гуния попятилась. Но в следующее мгновение он прыгнул вперед с такой стремительностью, что она пошатнулась и рухнула к его ногам. Глаза, у него закатились, челюсть отвисла. Он размахивал руками, неистово колотя по воздуху; все его тело извивалось и корчилось, словно от боли. Это было похоже на эпилептический припадок. Белая пена показалась у него на губах, конвульсивные судороги сотрясали тело.

Женщины затянули жалобный напев, в забытьи раскачиваясь взад и вперед, и мужчины тоже один за другим поддались общему исступлению. Только Симэ еще держался. Сидя верхом на опрокинутой лодке, он насмешливо глядел на то, что творилось кругом, но голос предков, чье семя он носил в себе, звучал все более властно, и он бормотал самые страшные проклятия, какие только знал, чтобы укрепить свое мужество. На Клок-Но-Тона страшно было глядеть. Он сбросил с себя одеяло, сорвал всю одежду и остался совершенно нагим, в одной только повязке из орлиных когтей на бедрах. Он скакал и бесновался в кругу, оглашая воздух дикими воплями, и его длинные черные волосы развевались, точно сгусток ночной мглы. Но неистовство Клок-Но-

Тона подчинено было какому-то грубому ритму, и когда все кругом подпали под власть этого ритма, когда все тела уже раскачивались в такт движениям шамана и все голоса вторили ему, — он вдруг остановился и сел на землю, прямой и неподвижный, вытянув вперед руку с длинным, похожим на коготь, указательным пальцем. Долгий, словно предсмертный стон пронесся в толпе, — съежившись, дрожа всем телом, люди следили за грозным пальцем, медленно обводившим круг. Ибо с ним шла смерть, и те, кого он миновал, оставались жить и, переведя дух, с жадным вниманием следили, что будет дальше.

Наконец с пронзительным криком шаман остановил зловещий палец на Ла-Лахе. Тот затрясся, словно осиновый лист, уже видя себя мертвым, свое имущество разделенным, свою жену замужем за своим братом. Он хотел заговорить, оправдаться, но язык у него прилип к гортани и от нестерпимой жажды пересохло во рту. Клок-Но-Тон, свершив свое дело, казалось, впал в полузабытье; однако он слушал с закрытыми глазами, ждал: вот сейчас раздастся знакомый крик — великий крик мести, слышанный им десятки и сотни раз, когда после его заклинаний люди племени, точно голодные волки, бросались

на трепещущую жертву. Однако все было тихо; потом где-то хихикнули, в другом месте подхватили — и пошло и пошло, пока оглушительный хохот не потряс все кругом.

— Что это? — крикнул шаман.

— Хо! Хо! — смеялись в ответ. — Твоя ворожба не удалась, Клок-Но-Тон!

— Все же знают! — запинаясь, выговорил Ла-Лах. — На восемь долгих месяцев я уходил на лов тюленей с охотниками из племени сивашей и только сегодня вернулся домой и узнал о покраже одеял.

— Это правда! — дружно откликнулась толпа. — Когда одеяла Гунии пропали, его не было в поселке.

— И я ничего не заплачу тебе, потому что твоя ворожба не удалась, — заявила Гуния, которая уже успела подняться на ноги и чувствовала себя обиженной комическим оборотом дела.

Но у Клок-Но-Тона перед глазами неотступно стояло лицо Скунду с его слабой, едва заметной усмешкой, и в ушах у него звучал тоненький голос, похожий на отдаленное верещание сверчка: «Я получил его от человека по имени Ла-Лах, и мне не раз приходила мысль... Ты умеешь круто действовать, и твое прибытие озарит нас све-

том».

Оттолкнув Гунию, он рванулся вперед, и толпа невольно расступилась перед ним. Симэ со своей лодки выкрикнул ему вслед обидную шутку, женщины хохотали ему в лицо, со всех сторон сыпались насмешки, но он, ни на что не обращая внимания, бежал со всех ног к дому Скунду. Добежав, он стал ломиться в дверь, колотил в нее кулаками, выкрикивал страшные проклятия. Но ответа не было, и только в минуты затишья из-за двери слышался голос Скунду, бормочущий заклинания. Клок-Но-Тон бесновался, точно одержимый, и, наконец, схватив огромный камень, хотел высадить дверь, но тут в толпе прошел угрожающий ропот. И Клок-Но-Тон вдруг подумал о том, что он один среди людей чужого племени, уже лишенный своего величия и силы. Он увидел, как один человек нагнулся и подобрал с земли камень, за ним и другой сделал то же, — и животный страх охватил шамана.

— Не тронь Скунду, он настоящий кудесник, не то, что ты! — крикнула какая-то женщина.

— Убирайся лучше домой, — с угрозой посоветовал какой-то мужчина.

Клок-Но-Тон повернулся и стал спускаться к берегу, изнывая в душе от бессильной ярости и

с тревогой думая о своей незащищенной спине. Но ни один камень не полетел ему вслед. Дети, кривляясь, вертелись у него под ногами, хохот и насмешки неслись вдогонку — но и только. И все же, лишь когда лодка вышла в открытое море, он, наконец, вздохнул свободно и, встав во весь рост, разразился потоком бесплодных проклятий по адресу поселка и его обитателей, не забыв особо выделить Скунду — виновника его позора.

А на берегу толпа ревела, требуя Скунду. Все жители поселка собрались у его дверей, настойчиво и смиренно взывая к нему, и, наконец, маленький шаман показался на пороге и поднял руку.

— Вы мои дети, и потому я прощаю вам, — сказал он. — Но это в последний раз. То, чего вы все хотите, будет дано вам, ибо я уже проник в тайну. Сегодня ночью, когда луна зайдет за грани мира, чтобы созерцать великих умерших, пусть все соберутся в темноте к дому Гунии. Там имя преступника откроется всем, и он понесет заслуженную кару. Я сказал.

— Карой ему будет смерть, — воскликнул Боун, — потому что он навлек на нас не только горести, но и позор!

— Да будет так! — отвечал Скунду и захлопнул дверь.

— И теперь все разъяснится и вновь наступит у нас мир и порядок, — торжественно провозгласил Ла-Лах.

— И все по воле маленького человечка Скунду? — насмешливо спросил Симэ.

— По воле великого кудесника Скунду, — поправил его Ла-Лах.

— Племя глупцов — вот кто такие тлинкеты! — Симэ звучно шлепнул себя по ляжке. — Просто удивительно, как это взрослые женщины и сильные мужчины дают себя дурачить разными выдумками и детскими сказками.

— Я человек бывалый, — возразил Ла-Лах. — Я путешествовал по морям и видел знамения и разные другие чудеса и знаю, что все это правда. Я — Ла-Лах...

— Обманщик...

— Так зовут меня некоторые, но я справедливо прозван и Землепроходцем.

— Ну, я не такой бывалый человек... — начал Симэ.

— Вот и придержи язык, — обрезал его Боун, и они разошлись в разные стороны, недовольные друг другом.

Когда последний серебристый луч скрылся за гранью мира, Скунду подошел к толпе, сгрудив-

шейся у дома Гунии. Он шел быстрым, уверенным шагом, и те, кому удалось разглядеть его в слабом мерцании светильника, увидели, что он явился с пустыми руками, без масок, трещоток и прочих принадлежностей колдовства. Только под мышкой он держал большого сонного ворона.

— Приготовлен ли хворост для костра, чтобы все увидели вора, когда он отыщется? — спросил Скунду.

— Да, — ответил Боун, — хворосту достаточно.

— Тогда слушайте все, ибо я буду краток. Я принес с собою Джелкса, ворона, которому открыты все тайны и ведомы все дела. Я посажу эту черную птицу в самый черный угол дома Гунии и накрою большим черным горш-ком. Светильник мы погасим и останемся в темноте. Все будет очень просто. Каждый из вас по очереди войдет в дом, положит руку на горшок, подержит столько времени, сколько потребуется, чтобы глубоко вздохнуть, снимет и уйдет. Когда Джелкс почувствует руку преступника так близко от себя, он, наверно, закричит. А может быть, и как-нибудь иначе явит свою мудрость. Готовы ли вы?

— Мы готовы, — был многоголосый ответ.

— Тогда начнем. Я буду каждого выкликать по имени, пока не переберу всех, мужчин и жен-

щин.

Первым было названо имя Ла-Лаха, и он тотчас же вошел в дом. Все напряженно вслушивались, и в тишине было слышно, как скрипят у него под ногами шаткие половицы. Но и только. Джелкс не крикнул, не подал знака. Потом наступила очередь Боуна, ибо ничего нет невероятного в том, что человек припрятал собственные одеяла с целью навлечь позор на соседей. За ним пошла Гуния, потом другие женщины и дети, но ворон оставался безмолвным.

— Симэ! — выкрикнул Скунду. — Симэ! — повторил он.

Но Симэ не двигался с места.

— Что ж ты, боишься темноты? — задорно спросил Ла-Лах, гордый тем, что его невиновность уже доказана.

Симэ фыркнул:

— Да меня смех берет, как погляжу на все эти глупости. Но я все же пойду, не из веры в чудеса, а в знак того, что не боюсь.

И он твердым шагом вошел в дом и вышел, посмеиваясь, как всегда.

— Вот погоди, придет твой час, умрешь, когда и ждать не будешь, — шепнул ему Ла-Лах в порыве благородного негодования.

— Да уж наверно, — легкомысленно отвечал безбожник. — Немногие из нас умирают в своей постели из-за шаманов и бурного моря.

Уже половина жителей поселка благополучно прошла через испытание, и в толпе нарастало беспокойство, еще усиливавшееся оттого, что приходилось его подавлять. Когда осталось совсем немного людей, одна молодая женщина, беременная первым ребенком, не выдержала и забилась в припадке.

Наконец, наступила очередь последнего, а ворон все молчал. Последним был Ди-Йа. Значит, преступник — он. Гуния заголосила, воздев руки к небу, остальные попятились от злополучного мальчугана. Ди-Йа был едва жив от страха, ноги у него подкашивались, и, входя, он запнулся о порог и чуть не упал. Скунду втолкнул его и захлопнул за ним дверь. Прошло немало времени, но ничего не было слышно, кроме всхлипываний мальчика. Потом донесся скрип его удаляющихся шагов, потом наступила полная тишина, потом шаги снова стали приближаться. Дверь отворилась настежь, и он вышел. Ничего не случилось, а испытывать больше было некого.

— Разожгите костер, — приказал Скунду.

Яркое пламя взметнулось вверх и осветило

лица, еще искаженные недавним страхом и в то же время недоуменные.

— Опять ничего не вышло, — хриплым шепотом воскликнула Гуния.

— Да, — подтвердил Боун. — Скунду становится стар, и нам нужен новый шаман.

— Где же мудрость всеведущего Джелкса? — хихикнул Симэ на ухо Ла-Лаху.

ЛагЛах растерянно потер рукой лоб и ничего не ответил.

Симэ вызывающе выпятил грудь и подскочил к маленькому шаману:

— Хо! Хо! Говорил я, что все это ни к чему не приведет!

— Может быть, может быть, — смиренно отвечал Скунду. Так может показаться всякому, кто несведущ в чудесах.

— Тебе, например, — дерзко вставил Симэ.

— Может быть, даже и мне. — Скунду говорил совсем тихо, и веки его медленно, очень медленно опускались, пока совсем не прикрыли глаза. — Но осталось еще одно испытание. Пусть все, мужчины, женщины и дети поднимут руки над головой — быстро, разом, все!

Таким неожиданным явилось это приказание, и настолько властным тоном было оно отдано,

что все повиновались беспрекословно. Все руки взлетели в воздух.

— Теперь пусть каждый посмотрит на руки остальных, — скомандовал Скунду. — Всех остальных, так, чтобы...

Но взрыв хохота, в котором прозвучала и угроза, заглушил его слова. Все глаза остановились на Симэ. У всех руки были измазаны сажей, и только у него одного ладони остались чистыми, не замаранные прикосновением к горшку Гунии.

В воздухе пролетел камень и угодил ему в щеку.

— Это неправда! — заревел он. — Неправда! Я не трогал одеял Гунии.

Второй камень рассек ему кожу на лбу, третий просвистел над самой головой. Великий крик мести разнесся далеко кругом, люди шарили по земле, ища, чем бы кинуть в провинившегося. Симэ пошатнулся и упал на колени.

— Я пошутил! Только пошутил! — закричал он. — Я взял их, только чтоб пошутить.

— Куда ты девал их? — Визгливый, пронзительный голос Скунду точно ножом прорезал общий шум.

— Они у меня дома, в большой связке шкур, что висит под самой крышей, — послышался ответ.

— Но я только хотел пошутить, я...

Скунду наклонил голову, и на него обрушился град камней. Жена Симэ плакала, уткнув голову в колени; но маленький его сынишка, хохоча и взвизгивая, бросал камни вместе с остальными.

Гуния уже возвращалась, переваливаясь под тяжестью драгоценных одеял. Скунду остановил ее.

— Мы бедные люди, и у нас ничего нет, — захныкала она. — Не обижай нас, о Скунду.

Толпа отступила от вздрагивающего под грудой камней Симэ, и все взгляды обратились на маленького шамана.

— Разве я когда-нибудь обижал моих детей, добрая Гуния? — отвечал ей Скунду, протягивая руку к одеялам. — Не такой я человек, и в доказательство я не возьму с тебя ничего, кроме этих одеял.

— Мудр ли я, дети мои? — спросил он, обращаясь к толпе.

— Поистине ты мудр, о Скунду! — ответили все в один голос.

И он скрылся в темноте с одеялами на плечах и сонным Джелксом под мышкой.

Пришельцы из Солнечной Страны

Манделл — это заброшенное селение на берегу Полярного моря. Оно невелико, и жители его миролюбивы, более миролюбивы, чем соседние племена. В Мэнделле мало мужчин и много женщин, и поэтому там в обычае благодетельная полигамия; женщины усердно рожают, и рождение мальчика встречается радостными криками. И живет там Ааб-Ваак, чья голова постоянно опущена набок, словно шея устала и наотрез отказалась исполнять свою обязанность.

Причина всего — и миролюбия, и полигамии, и опущенной набок головы Ааб-Ваака — восходит к тем отдаленным временам, когда в бухте Мэнделл бросила якорь шхуна «Искатель» и когда Тайи, старшина селения, задумал быстро обогатиться. Люди племени мэнделл, которое родственно по крови живущему к западу Голодному племени, по сей день, понизив голос, рассказывают о минувших событиях. И когда заходит о них речь, дети подсаживаются ближе и удивляются безумству тех, которые могли бы быть их предками, если бы не вступили они в борьбу с жителями Солнечной Страны и не окончили бы так печаль-

но своих дней.

Все началось с того, что шесть человек с «Искателя» сошли на берег; они взяли множество вещей — словно намеревались надолго обосноваться в Мэнделле — и устроились в хижине Нига. Они щедро расплачивались за помещение мукой и сахаром, но Нига был огорчен, ибо его дочь Мисэчи решилась разделить свою судьбу, стол и ложе с Пришельцем-Биллом, начальником отряда белых людей.

— Она стоит большого выкупа, — жаловался Нига собравшемуся у костра совету, когда белые пришельцы спали. — Она стоит большого выкупа, потому что у нас много мужчин и мало женщин, и охотники дают высокую цену за жен. Уненк предлагал мне только что сделанный каяк и ружье, которое он выменял у Голодного племени. Вот что мне было предложено, а теперь она ушла, и я ничего не получу.

— Я тоже предлагал выкуп за Мисэчи, — беззлобно проворчал кто-то, и у костра показалось широкое жизнерадостное лицо Пило.

— Да, ты тоже, — подтвердил Нига. — Были еще и другие. Отчего так беспокойны жители Солнечной Страны? — сердито спросил он. — Отчего они не остаются у себя на родине? Жители Страны

Снегов не ходят в Солнечную Страну.

— И спроси, зачем они приезжают к нам! — раздался голос из темноты, и к костру протиснулся Ааб-Ваак.

— Верно! Зачем они приезжают! — воскликнуло множество голосов, и Ааб-Ваак сделал рукою знак, призывая к тишине. — Люди не станут рыть землю без надобности, — начал он. — Я вспоминаю китобоев, они тоже родом из Солнечной Страны, и их корабль погиб во льдах. Вы все помните, как они явились к нам в разбитых лодках, а когда настали морозы и земля покрылась снегом, отправились на запряженных собаками нартах к югу. Вы помните, как, ожидая морозов, один из них начал копать землю, за ним еще двое, затем трое, пока не стали копать все. Вы помните, как они при этом спорили и ссорились. Мы не знаем, что они нашли в земле, потому что не позволяли нам следить за собой. После, когда они уехали, мы тоже искали, но ничего не нашли. Но у нас земли много, и всей они не могли перекопать.

— Ты прав, Ааб-Ваак, ты прав! — кричали все,

— И вот я думаю, — заключил он свою речь, —что один житель Солнечной Страны рассказал другому, и они приехали к нам рыть землю.

— Но как могло случиться, что Пришелец-Билл говорит на нашем языке? —спросил маленький, иссохший старик охотник. — Пришелец-Билл, которого наши глаза никогда не видали?

— Пришелец-Билл бывал прежде в Стране Снегов, — отвечал Ааб-Ваак. — Иначе он бы не знал языка племени Медведя, а их речь очень похожа на речь Голодного племени, а Голодное племя говорит на том же языке, что и мы, мэнделлы. У племени Медведя побывало много жителей Солнечной Страны, у Голодного племени их было мало, а в Мэнделле не было никого, кроме китобоев и тех белых, что спят сейчас в жилище Нига.

— Сахар у них очень хорош, — заметил Нига. — И мука тоже очень хороша.

— У них много богатств, — добавил Уненк. — Вчера я был у них на судне и видел много хитроумных железных вещей, ножи, оружие, а также муку, сахар и много-много всяких удивительных припасов.

— Это правда, братья! — Тайи поднялся, радуясь мысли, что племя уважает и прислушивается к его словам. — Они очень богаты, эти пришельцы из Солнечной Страны. При этом они очень глупы. Судите сами! Они без опаски являются к нам, не заботясь о своем огромном богатстве. Они спо-

койно спят, а нас много, и мы не знаем страха.

— Может быть, и они храбрые воины и тоже не знают страха? — возразил маленький старик охотник.

Тайи негодующе посмотрел на него.

— Нет, непохоже. Они живут на юге, в Солнечной Стране, и изнежены, как и их собаки. Вы помните собаку китобоев? Наши псы загрызли ее на другой же день, потому что она была изнежена и не могла сопротивляться. В, той стране греет солнце, и жизнь легка, мужчины там похожи на женщин, а женщины — на детей.

Слушатели одобрительно закивали, а женщины еще больше вытянули шеи.

— Говорят, что они хорошо обращаются со своими женщинами и их женщины не работают, — захихикала здоровая, крепкая Ликита, дочь самого Тайи.

— Не хочешь ли ты пойти по следам Мисэчи? — сердито крикнул ее отец и повернулся к соплеменникам. — Вот видите, братья, каков обычай жителей Солнечной Страны! Они смотрят на наших женщин и уводят одну за другой. Мисэчи ушла, лишив Нига законного выкупа; теперь хочет уйти Ликита, и захотят уйти все, а мы останемся ни с чем. Я говорил с охотником

из племени Медведя, и я знаю, что это так. Среди нас находятся мужчины из Голодного племени — пусть они тоже скажут, правдивы ли мои слова.

Шестеро охотников из Голодного племени подтвердили, что это так, и наперебой принялись рассказывать о жителях Солнечной Страны и их обычаях. Ворчали молодые охотники, подыскивающие себе жен, ворчали старики, желающие получите богатый выкуп за дочерей, и ропот становился громче и явственнее.

— Они очень богаты, и у них много удивительных железных вещей, много ножей и ружей, — подливал масла в огонь Тайи, и мечта о быстром обогащении начинала казаться ему близкой к осуществлению.

— Ружье Пришельца-Билла я возьму себе, — заявил неожиданно Ааб-Ваак.

— Нет, я возьму его! — заорал Нига. — Пусть оно послужит выкупом за Мисэчи.

— Тише, о братья! — Тайи жестом успокоил собравшихся. — Пусть женщины и дети удалятся в свои хижины. Это беседа мужей, пусть ее слышат только уши мужчин.

— Ружей хватит на всех, — сказал он, когда женщины нехотя удалились. — Я не сомневаюсь, что каждый получит по два ружья, йе говоря уже

о муке, сахаре и других вещах. Это очень нетрудно. Шестеро жителей Солнечной Ограны будут убиты сегодня ночью в хижине Нига. Завтра мы мирно поедем на шхуну выменивать товары и, улучив удобный момент, перебьем их братьев. А вечером устроим пиршество и станем веселиться и делить добычу. Самый бедный будет иметь больше, чем имел когда-либо богатый. Слова мои мудры, не правда ли, братья?

В ответ раздался гул одобрения, и началась подготовка к нападению. Шесть охотников из Голодного племени, как и подобает жителям богатого селения, были вооружены винтовками и в изобилии снабжены боевыми припасами. Но у жителей Мэнделла ружей было мало, да и те в большинстве случаев никуда не годились, а пороха и пуль почти совсем не было. Зато они имели несметное количество стрел с костяными наконечниками, копий и стальных ножей русской и американской работы;

— Действовать надо тихо, — наставлял Тайи, — окружите хижину плотным кольцом, чтобы жители Солнечной Страны не могли прорваться. Затем ты, Нига, и шестеро молодых охотников вползут потихоньку внутрь. Ружей брать не надо — они могут неожиданно выстрелить, но вложи-

те всю силу рук в ножи.

— И не причините вреда Мисэчи — она стоит большого выкупа,— хрипло прошептал Нига.

Нападающие ползком окружали хижину Нига, а поодаль притаились женщины и дети — им хотелось посмотреть, как расправятся с пришельцами. Короткая августовская ночь сменялась рассветом, так что можно было различить подкрадывающихся к хижине шестерых юношей и Нига. Передвигаясь на четвереньках, они пробрались в длинный проход, ведущий в хижину. Тайи поднялся и довольно потер руки. Все шло хорошо. Люди поднимали головы с земли, и прислушивались. Каждый по-своему рисовал себе сцену, разыгравшуюся внутри: спящие пришельцы, взмахи ножей, мгновенная смерть во мраке.

Вдруг громкий крик жителя Солнечной Страны разорвал тишину, потом раздался выстрел. В хижине поднялся шум. Не теряя времени, мэнделлы бросились вперед. Сидевшие внутри открыли стрельбу, и атакующие, стиснутые в узком проходе, были беспомощны. Передние пытались отступить, спрятаться от изрыгавших огонь ружей, а находившиеся сзади напирали, чтобы схватиться врукопашную. Пули, пущенные из крупнокалиберных винтовок образца 1890 года,

выводили из строя по шести человек сразу, и сени, битком набитые взбудораженными беспомощными людьми, напоминали мясной ряд на рынке. Пришельцы стреляли, не целясь, толпа редела, как под пулеметным огнем, и никто не мог устоять перед этим смертоносным ливнем.

— Никогда такого не бывало! — задыхаясь, говорил охотник из Голодного племени. — Я только заглянул туда— мертвые лежали, словно тюлени на льду после охоты.

— Не говорил ли я вам, что они хорошие воины? — пробормотал старик охотник.

— Этого следовало ожидать, — отвечал Ааб-Ваак. — Мы попали в западню, которую сами устроили.

— Вы глупцы! — бранился Тайи. — И сыны глупцов! Зачем полезли туда? Лишь Нига и шести юношам нужно было попасть внутрь хижины. Я хитрее жителей Солнечной Страны, но вы нарушаете приказания, и моя мудрость теряет силу и остроту!

Люди молчали, устремив взгляды на хижину, казавшуюся таинственной громадой на фоне рассветного неба. Через отверстие в крыше медленно поднимался ружейный дымок, растворяясь в неподвижном воздухе, и время от времени про-

ползал со стонами раненый.

— Пусть каждый спросит ближайшего о Нига и шести юношах, — приказал Тайи.

Через некоторое время пришел ответ:

— Нига и шести юношей больше нет.

— И многих других нет! — заплакала сзади какая-то женщина.

— Больше добычи достанется тем, что остались, — мрачно утешал Тайи и, повернувшись к Ааб-Вааку, добавил: — Ступай, принеси побольше тюленьих шкур, наполненных жиром. Пусть охотники обольют жиром стены хижины. И скажи, чтобы они поторопились разжечь пламя, пока жители Солнечной Страны не проделали в стенах отверстий для ружей.

Не успел он договорить, как сквозь глину, которой были обмазаны щели между бревнами, просунулось дуло винтовки, и один из воинов Голодного племени схватился рукой за бок и высоко подпрыгнул. Вторая пуля пробила ему грудь, и он рухнул на землю. Тайи и остальные рассыпались во все стороны, спасаясь от огня. Ааб-Ваак торопил людей, несших шкуры с жиром. Избегая бойниц, проделанных в стенах хижины, они вылили жир на сухие бревна, принесенные рекою Мэнделл из южных лесов. Уненк подбежал

с горящей головней, и пламя взвилось вверх. Прошло некоторое время, но осажденные не подавали никаких признаков жизни; нападающие держали наготове оружие, следя за работой огня.

Тайи радостно потирал руки: пламя с треском охватило всю постройку.

— Теперь мы их поймали, братья! Они в ловушке.

— Никто не посмеет отнять у меня ружье Пришельца-Билла, — объявил Ааб-Ваак.

— Никто, кроме него самого, — пропищал старый охотник. — Гляди, вот он!

Защищенный опаленным, почерневшим одеялом, выскочил из пылающей хижины человек громадного роста, а за ним следовали тоже покрытые одеялами Мисэчи и пятеро остальных жителей Солнечной Страны. Воины Голодного племени попытались было остановить их поспешным нестройным залпом, а мэнделлы пустили тучу стрел и копий. Пришельцы сбросили на бегу горящие одеяла, и атакующие увидели, что у каждого за плечами была небольшая сумка с боевыми припасами. Из всего снаряжения было решено, видимо, спасти только это. Они плотной группой прорвались через кольцо врагов и побежали к высокой скале, черневшей в полумиле

от селения.

Тайи привстал на одно колено и, взяв на мушку бежавшего позади жителя Солнечной Страны, спустил курок; раздался выстрел, и тот упал лицом вперед, попытался подняться и снова упал. Не обращая внимания на град стрел, один из его товарищей побежал обратно, нагнулся над ним и поднял к себе на плечи. Но их уже нагоняли мэнделлы, и метко брошенное копье пронзило раненого. Он вскрикнул, и когда товарищ опустил его на землю, зашатался и упал. Тем временем Пришелец-Билл и трое других остановились и встретили свинцом приближающихся копьеносцев. Пятый, нагнулся над сраженным товарищем, пощупал ему сердце, а затем хладнокровно обрезал ремни у сумки и встал, захватив припасы и винтовку.

— Ну и глупец же он! — воскликнул Тайи и прыгнул вперед, чтобы вырвать ружье у раненого воина Голодного племени.

Его собственная винтовка засорилась, так что воспользоваться ею было невозможно; он закричал, чтобы кто-нибудь бросил копье в убегающего под прикрытие выстрелов жителя Солнечной Страны.

Маленький старик охотник поднял копье для

броска, откинулся назад и метнул оружие.

— Клянусь Волком, прекрасный удар! —похвалил его Тайи, когда бегущий свалился; торчавшее меж лопаток копье медленно раскачивалось.

Вдруг старик закашлялся и сел. На губах у него по-казалась красная капелька, потом кровь хлынула изо рта. Он снова закашлялся, в груди раздался странный свист.

— Они не знают страха и хорошие воины, — хрипел он, хватаясь руками за землю. — Глядите! Вот идет Пришелец-Билл!

Тайи поднял глаза. Четверо мэнделлов и один из воинов Голодного племени копьями добивали пытавшегося подняться на колени пришельца из Солнечной Страны. Но в то же мгновение четверо из них были сражены пулями. Пятый, пока невредимый, схватил обе винтовки, но, поднявшись, завертелся волчком от раны в руку; вторая пуля успокоила его, а третья сразила насмерть. Секундой позже Пришелец-Билл стоял над товарищем и, срезав сумку, подобрал винтовки.

Тайи видел, как падали его соплеменники, и им овладело некоторое сомнение, и он решил пока лежать тихо и наблюдать. Мисэчи зачем-то побежала назад к Пришельцу-Биллу, но прежде чем ей удалось добраться до него, выскочил вперед Пило

и обхватил ее руками. Он пытался поднять ее на плечи, а она вцепилась в него, стала колотить и царапать ему лицо. Затем Мисэчи подставила Пило ногу, и оба упали на землю. Когда им удалось подняться, Пило обхватил ее одной рукой за шею и крепко сдавил, не давая возможности двигаться. Опустив лицо и подставив под удары голову с шапкой волос, он медленно увлекал ее прочь. Тогда-то и подоспел к ним Пришелец-Билл, Возвращавшийся с оружием павших товарищей. Мисэчи увидела его и напрягла все силы, чтобы удержать врага на месте. Билл размахнулся и на бегу ударил винтовкой Пило. Тайи видел, как Пило, словно пораженный падающей звездой, сполз на землю, а пришелец из Солнечной Страны и дочь Нига бросились бежать к своему отряду.

Небольшая группа мэнделлов под предводительством одного из воинов Голодного племени бросилась на отступающих, но будто растаяла под огнем противника.

Тайи подавил вздох и шепнул:

— Как иней на утреннем солнышке!

— Я говорил, что они хорошие воины, — слабо прошептал истекающий кровью старик охотник. — Я знаю. Слышал о них. Они морские пираты и охотники за тюленями; они стреляют быстро

и точно попадают в цель— таков их обычай и ремесло.

— Как иней на утреннем солнышке! — повторял Тайи, прячась за умирающим стариком и выглядывая лишь время от времени.

Сражение прекратилось: ни один из мэнделлов не осмеливался наступать, а положение было таково, что и отступать было поздно — слишком близко подошли они к противнику. Трое попытались спастись бегством, но один из них упал с перебитой ногой, второго прострелили навылет, а третий, корчась, свалился на краю селения. Манделлы прятались по низинкам и зарывались в землю на открытом месте, а жители Солнечной Страны обстреливали долину.

— Не двигайся, — просил Тайи, когда к нему подполз Ааб-Ваак. — Не двигайся, друг Ааб-Ваак, иначе ты навлечешь на нас смерть.

— Смерть ко многим уже пришла, — рассмеялся Ааб- Ваак, — значит, каждому достанется больше богатства, ты сам это говорил. Мой отец вон за тем камнем, он уже задыхается, а дальше, скрючившись от боли, лежит брат. Но их доля будет моей долей, и это хорошо.

— Да, мой Ааб-Ваак. То же самое говорил и я, но прежде чем делить, надо заполучить богатства, а

жители Солнечной Страны еще живы.

Пуля ударилась о скалу и, отскочив рикошетом, просвистела у них над головой. Тайи дрожа пригнулся, а Ааб-Ваак усмехнулся и попытался проследить глазами за ее полетом.

— Так быстро летят, что их не видишь, — заметил он.

— Многие из наших погибли, — продолжал Тайи.

— Но многие остались, — прозвучал ответ. — Теперь они припадают к земле, ибо узнали, как нужно сражаться. Кроме того, они очень рассержены на пришельцев. Когда мы убьем на корабле всех жителей Солнечной Страны, здесь, на суше, останутся только четверо. Может быть, пройдет много времени, пока мы их убьем, но в конце концов это совершится.

— Как мы отправимся на корабль, если мы не можем двинуться с места? — спросил Тайи.

— Пришелец-Билл и его братья заняли очень неудобное место, — пояснил Ааб-Ваак. — Мы можем окружить их со всех сторон, но это не годится. Они попытаются отойти под прикрытие скалы и ждать, пока братья с корабля не придут к ним на помощь.

— Их братья не сойдут с корабля на сушу! Я

сказал.

Тайи приободрился, и когда пришельцы из Солнечной Страны поступили так, как он предполагал, — отступили к скале, — у него снова стало легко на душе.

— Нас осталось всего трое! — жаловался воин Голодного племени, когда все собрались для совета.

— Значит, каждый из вас получит по три ружья вместо двух, — гласил ответ Тайи.

— Мы хорошо дрались.

— Да, и если случится, что останутся в живых только двое, то каждый получит по шести ружей. Поэтому деритесь хорошо.

— А если ни один из них не останется в живых? — коварно прошептал Ааб-Ваак.

— Тогда ружья получим мы с тобой, — шепнул в ответ Тайи.

Чтобы как-то задобрить воинов Голодного племени, Тайи назначил одного из них вожаком отряда, который должен был отправиться на корабль. В отряд вошли две трети взрослых мужчин племени мэнделлов; нагруженные шкурами и другими предметами торговли, они двинулись к берегу, милях в двенадцати от селения. Остальные разместились широким полукольцом вокруг

земляной насыпи, устроенной Биллом и его товарищами. Тайи быстро оценил положение и послал своих людей копать небольшие траншеи.

— Они не скоро разберутся в случившемся, — объяснил он Ааб-Вааку, — мысли их будут заняты работой, я они перестанут горевать о смерти близких или бояться за себя. Ночью мы подползем ближе, и наутро жители Солнечной Страны увидят, что мы рядом.

В полдень в жару мэнделлы сделали перерыв и подкрепились принесенной женщинами сухой рыбой и тюленьим жиром. Некоторые требовали забрать припасы, которые пришельцы из Солнечной Страны оставили в хижине Нига, но Тайи отказался делить их до возвращения отряда, посланного на корабль. Все строили догадки насчет исхода дела, но в это время с моря донесся глухой взрыв. Те, кто обладал острым зрением, разглядели густое облако дыма, которое, однако, быстро рассеялось: по уверениям некоторых, дым был как раз в том месте, где стоял корабль жителей Солнечной Страны. Тайи решил, что это был выстрел большого ружья. Ааб-Ваак ничего не утверждал, но думал, что это какой-то сигнал. Но как бы там ни было, что-то случилось, говорил он.

Пять-шесть часов спустя на широкой, тянувшейся к морю равнине показался человек, и все женщины и дети бросились к нему навстречу. Это был Уненк, раненный, в разорванной одежде, выбившийся из сил. Кровь струилась со лба. Левая рука у него была изуродована и висела как плеть. Но самым страшным казался какой-то дикий блеск в его глазах, и женщины не знали, что и думать.

— Где Пишек? — плаксиво спросила одна старуха,

— А Олитли? А Полак? А Ма-Кук? —раздались крики.

Уненк не отвечал, он, шатаясь, пробирался сквозь взбудораженную толпу к Тайи. Старуха заголосила, и женщины одна за другой подхватили ее причитания. Мужчины выползли из траншей и окружили Тайи, даже жители Солнечной Страны взобрались на насыпь по-смотреть, что случилось.

Уненк остановился, вытер кровь с лица и осмотрелся. Он пытался заговорить, но губы слиплись от жажды. Ликита подала ему воды, он пробормотал что-то и принялся пить.

— Было ли сражение? — спросил наконец Тайи. — Хорошее сражение?

— Хо! Хо! Хо! — Уненк так неожиданно и жутко расхохотался, что все замолкли. — Никогда еще не бывало такого сражения! Так говорю я, Уненк, победитель зверей и воинов. Я хочу сказать мудрые слова, пока я не забыл. Жители Солнечной Страны хорошо сражаются и учат нас сражаться. Если нам придется долго с ними биться, мы станем великими воинами, такими же, как они, иначе мы погибнем. Хо! Хо! Хо! Вот была битва!

— Где наши братья? — Тайи тряс его, пока Уненк не вскрикнул от боли.

— Братья? Их больше нет.

— А где Пом-Ли? — воскликнул воин Голодного племени. — Сын моей матери Пом-Ли? .

— Пом-Ли нет, — монотонно отвечал Уненк.

— А пришельцы из Солнечной Страны? — спросил Ааб-Ваак.

— Пришельцев из Солнечной Страны тоже нет.

— А корабль пришельцев из Солнечной Страны, их вещи, оружие и богатства? — допытывался Тайи.

— Нет ни корабля, ни богатств, ни оружия, ни вещей, — был неизменный ответ.— Нет никого. Нет ничего. Остался один я.

— Ты сошел с ума!

— Возможно, — невозмутимо отвечал Уненк. — От того, что я видел, можно лишиться рассудка.

Тайи замолчал, и все ждали, пока Уненк заговорит сам и расскажет о случившемся.

— Мы не брали с собой винтовок, о Тайи! — начал он наконец. — Никаких ружей, братья, только ножи, охотничьи луки и копья. На каяках по двое и по трое мы перебрались на корабль. Пришельцы из Солнечной Страны были нам рады. Мы разложили наши шкуры, а они вынесли товары для обмена, и все шло хорошо. А Пом-Ли ждал, ждал, пока солнце поднялось высоко над головой и они сели за еду. Тогда он издал воинственный клич, и мы напали на них. Никогда еще не бывало такой битвы, и никогда воины не сражались так храбро. Мы перебили половину пришельцев, прежде чем они успели прийти в себя от неожиданности, но остальные обратились в дьяволов. Каждый из них бился за десятерых, и все они бились как дьяволы. Трое стали спиной к мачте, вокруг них многие пали мертвыми, прежде чем нам удалось их убить. У некоторых были двуглазые ружья, и они стреляли быстро и точно. А один стрелял из большого ружья, из которого сразу вылетало множество маленьких пуль. Вот, глядите!

Уненк показал свое простреленное ухо.

— Но я, Уненк, подкрался сзади и всадил копье ему в спину. И мы перебили их всех, — всех, кроме начальника. Он остался один, мы окружили его, но он громко закричал и вырвался, отбросив пять или шесть воинов. Потом он побежал вниз, внутрь корабля. Затем, когда богатства уже принадлежали нам и оставалось убить лишь начальника внизу, тогда раздался такой грохот, словно выстрелили сразу все ружья на свете. Я, как птица, взлетел на воздух. Все наши живые братья и все мертвые пришельцы из Солнечной Страны, маленькие каяки, большой корабль, ружья и богатство — все взлетело на воздух. Я, Уненк, говорю вам, и только я остался в живых!

Глубокая тишина воцарилась среди собравшихся. Тайи испуганно посмотрел на Ааб-Ваака, но ничего не сказал. Даже женщины были слишком потрясены, чтобы оплакивать погибших.

Уненк горделиво оглянулся вокруг.

— Я один остался, — повторил он.

Но в этот миг с насыпи раздался выстрел, и пуля попала в грудь Уненка. Он качнулся, и на лице у него отразилось изумление. Он задыхался, губы исказились в мучительной усмешке. Плечи опустились, колени подгибались. Он встряхнулся,

словно пытаясь отогнать сон, и выпрямился. Но плечи опускались, колени подгибались, и Уненк медленно, очень медленно опустился на землю.

От того места, где залегли пришельцы из Солнечной Страны, была добрая миля, и вот смерть легко перешагнула это расстояние. Раздался дикий крик, в котором была и жажда мести и бессмысленная, животная жестокость. Тайи и Ааб-Ваак старались удержать соплеменников, но те оттеснили их и кинулись на приступ. Со стороны укрепления не раздалось ни единого выстрела, и, пробежав полпути, многие остановились, напуганные таинственной тишиной, и стали ждать. Более смелые продолжали мчаться вперед, но пришельцы не подавали признаков жизни. Шагах в двухстах атакующие замедлили бег и разбились на группы, а пройдя еще с сотню шагов, остановились и, заподозрив недоброе, стали совещаться.

Вдруг насыпь окутали клубы дыма, и мэнделлы рассыпались во все стороны, словно брошенная кем-то горсть камешков. Четверо упали, затем еще четверо, затем — еще и еще, пока не остался один, да и тот помчался назад, и пули свистели ему вслед. Это был Нок, молодой быстроногий и высокий охотник, и бежал он так, как ему ни-

когда не приходилось бегать. Как птица, несся он по открытому месту, и прыгал, и пригибался, и петлял. С насыпи дали залп, потом стреляли попеременно, а Нок снова пригибался, а распрямившись, снова мчался к своим. Наконец пальба прекратилась вовсе, как будто пришельцы отказались от мысли подстрелить беглеца, и Нок мало-помалу перестал беречься и побежал по прямой. Тогда-то из-за укрытия прозвучал одинокий выстрел. Нок подпрыгнул, упал, подскочил, как мяч, и свалился замертво.

— Что на свете быстрее крылатого свинца? — горестно размышлял Ааб-Ваак.

Тайи проворчал что-то и отвернулся. Сражение окончилось, и необходимо было заняться более важными делами.

В живых оставались сорок своих воинов и один воин из Голодного племени, причем некоторые были ранены, а четырех пришельцев из Солнечной Страны нельзя было сбросить со счетов.

— Мы не выпустим их из укрытия, — оказал он, — а когда они ослабеют от голода, мы перебьем их, как детей.

— Но зачем нам биться? — спросил Олуф, молодой воин. — Богатства жителей Солнечной Страны больше нет, осталось лишь то, что нахо-

дится в хижине Нига, совсем мало.

Он замолк, услышав свист пули, пролетевшей у него над головой.

Тайи презрительно рассмеялся.

— Пусть это будет ответом. Что же нам делать с этими сумасшедшими, которые не желают умирать?

— Как неразумно! — сетовал Олуф, вслушиваясь в свист пуль. — Зачем они сражаются, эти пришельцы из Солнечной Страны? Отчего не желают умирать? Они, безумцы, не хотят понять, что они конченые люди. И нам только хлопоты.

— Прежде мы сражались за богатство, теперь мы сражаемся за жизнь, — кратко заключил Ааб-Ваак.

Ночью в траншеях была рукопашная схватка и стрельба, а наутро мэнделлы увидели, что из хижины Нига исчезли вещи жителей Солнечной Страны. Пришельцы их унесли — при дневном свете были явственно видны их следы. Олуф взобрался на скалу, чтобы сбросить на головы врагов камни, но скала выступала над рвом, и он вместо камней осыпал их ругательствами и угрожал страшными пытками. Пришелец-Билл отвечал ему на языке племени Медведя, а Тайи, высунувшийся из окопа, получил пулю в плечо.

Потекли страшные дни и долгие ночи; мэнделлы, подкапываясь все ближе и ближе к скале, постоянно спорили, не лучше ли дать жителям Солнечной Страны возможность убраться восвояси. Но они боялись пришельцев, а женщины принимались голосить, как только заходила речь об освобождении врагов. Довольно для них жителей Солнечной Страны, больше они их видеть не желают. Непрестанно раздавался свист пуль, и так же непрестанно возрастал список погибших. Утром, на заре, вдруг раздавался слабый треск выстрела, и на дальнем краю селения какая-нибудь женщина, взмахнув руками, падала мёртвая; в жаркий полдень воины, засев в окопе, прислушивались к свисту пуль, и кто-нибудь из них узнавал смерть; в серых вечерних сумерках пули, попадая в землю, вздымали песок и комья глины. По ночам далеко разносились жалобные причитания женщин: «Оаа- оо-аа-оаа-оо-аа!»

Предсказание Тайи исполнилось: среди пришельцев из Солнечной Страны начался голод. Однажды ночью разыгралась ранняя осенняя буря, и один из них прокрался мимо окопов и выкрал много сушеной рыбы. Но вернуться он не успел, и когда солнце взошло, он спрятался где-то в селении. Ему пришлось защищаться; его окру-

жили плотным кольцом мэнделлы, четверых он убил из револьвера и, прежде чем его успели схватить, застрелился сам, чтобы избежать мучений.

Событие опечалило всех. Олуф спрашивал:

— Если один заставил нас так дорого заплатить за свою смерть, сколько же придется заплатить за смерть оставшихся?

Как-то на насыпи показалась Мисэчи и подозвала трех собак, бродивших поблизости; это была еда, жизнь и отсрочка расплаты. Отчаяние охватило племя, и на голову Мисэчи посыпались проклятия.

Дни текли. Солнце спешило к югу, ночи становились длиннее, чувствовалось приближение морозов. А жители Солнечной Страны все еще держались в своем укрытии. Воины падали духом от постоянного напряжения и неудач, а Тайи часто погружался в глубокие размышления. Наконец, он приказал собрать все имеющиеся в селении шкуры и кожи и связать их в большие цилиндрические тюки, под прикрытием которых можно было подползти к противнику.

Приказ был дан, когда короткий осенний день уже клонился к вечеру. Воины с трудом, шаг за шагом, перекатывали большие тюки. Пули стукались о них, но не могли пробить, и воины

завывали от радости. Но наступил вечер, и Тайи, будучи уверен в успехе, отозвал их обратно в траншеи.

Утром мэнделлы двинулись в решительное наступление. Из-за укрытия пришельцев не раздавалось ни звука. Промежутки между тюками медленно сокращались, по мере того как круг смыкался. За сто шагов от прикрытия тюки оказались совсем близко друг от друга, так что воины могли шепотом передать приказ Тайи остановиться. Враги не подавали никаких признаков жизни. Мэнделлы долго и пристально всматривались, но не обнаружили никакого движения. Потом они снова поползли, толкая перед собой тюки, и на расстоянии пятидесяти ярдов маневр был повторен. Снова тишина. Тайи покачал Головой, и даже Ааб-Ваак заколебался. Снова был дан приказ продолжать наступление, и они поползли дальше, пока сплошной вал из шкур не окружил со всех сторон укрытие врагов.

Тайи оглянулся назад — женщины и дети сгрудились позади в траншеях. Потом поглядел вперед, на безмолвное укрытие врага. Воины нервничали, и он приказал каждому второму двигаться вперед. Тюки покатились, теперь двойной цепью, пока снова не соприкоснулись друг с

другом. Тогда Ааб-Ваак пополз один, толкая свой тюк. Когда тот уткнулся в насыпь, Ааб-Ваак остановился и стал прислушиваться. Затем он кинул в ров противника несколько больших камней и, наконец, с великими предосторожностями поднялся и заглянул внутрь.

Там он увидел стреляные гильзы, начисто обглоданные собачьи кости и лужу под расщелиной в скале, откуда капала вода. Это было все. Жители Солнечной Страны исчезли.

Шепотки о колдовстве, недовольные возгласы и мрачные взгляды воинов показались Тайи предвестием каких- то ужасных событий.

Но в этот момент Ааб-Ваак обнаружил вдоль уступа скалы следы, и Тайи облегченно вздохнул.

— Пещера! — воскликнул Тайи. — Они предвидели мою хитрость и удрали в пещеру!

Подножие скалы было прорезано узкими подземными ходами, которые начинались на полпути между рвом и тем местом, где траншеи подступали к скале. Туда-то и последовали мэнделлы с громкими криками и, добравшись до отверстия в земле, обнаружили, что именно отсюда вылезли жители Солнечной Страны и забрались в пещеру, находившуюся в скале, футах

в двадцати от земли.

— Теперь дело сделано, — потирая руки, сказал Тайи. — Передайте, чтобы все радовались, потому что теперь жители Солнечной Страны в ловушке. Молодые воины вскарабкаются наверх и заложат отверстие камнями, и тогда Пришелец-Билл, его братья и Мисэчи обратятся от голода в тени и умрут во мраке с проклятиями на устах.

Слова старшины были встречены криками восторга: Хауга, последний из воинов Голодного племени, пополз вверх по крутому склону и нагнулся над отверстием в скале. В этот миг раздался глухой выстрел, а когда он в отчаянии ухватился за скользкий уступ, — второй. Руки у него разжались, он скатился вниз, к ногам Тайи и, дрогнув несколько раз, подобно гигантской медузе, выброшенной на берег, затих.

— Мог ли я знать, что они великие и неустрашимые бойцы? — спросил, словно оправдываясь, Тайи, вспомнив мрачные взгляды и недовольные возгласы воинов.

— Нас было много, и мы были счастливы, — смело заявил один из воинов. Другой нетерпеливой рукой ощупывал копье.

Но Олуф прикрикнул на них и заставил умолкнуть.

— Слушайте меня, братья! Есть другой вход в пещеру. Еще мальчиком я нашел его, играя на скале. Он скрыт в камнях, им никогда не пользовались, и никто о нем не знает. Ход этот очень узок, и придется долго ползти на животе, пока доберешься до пещеры. Ночью мы тихонько вползем и нападем на пришельцев с тыла. Завтра же у нас будет мир, и мы никогда больше не станем ссориться с жителями Солнечной Страны.

— Никогда больше! Никогда! — хором воскликнули измученные воины. Тайи присоединился к общему хору.

Помня о близких, которые погибли, и вооружившись камнями, копьями и ножами, толпа женщин и детей собралась ночью под скалой у выхода из пещеры. Ни один пришелец из Солнечной Страны не мог надеяться спуститься невредимым с высоты двадцати с лишним футов. В селении оставались только раненые, а все боеспособные мужчины — их было тридцать человек — шли за Олуфом к потайному ходу в пещеру. Ход находился на высоте ста футов над землей, и лезть приходилось с выступа на выступ, по грудам камней, рискуя вот-вот сорваться. Чтобы камни от неосторожного движения не скатились вниз, люди взбирались вверх по од-

ному. Олуф поднялся первым и, тихо позвав следующего, исчез в проходе. За ним последовал второй воин, потом третий и так далее, пока не остался один Тайи. Он слышал сигнал последнего воина, но им внезапно овладело сомнение, и он решил выждать. Спустя полчаса он поднялся на скалу и заглянул в проход. Там царил непроглядный мрак, но Тайи чувствовал, как узок проход. Страх оказаться погребенным заживо заставил Тайи содрогнуться, и он не мог решиться. Все погибшие, начиная от Нига, его собрата, до Хауга, последнего воина Голодного племени, словно обступили его, но он предпочел остаться с ними, чем спуститься в чернеющий проход. Он долго сидел неподвижно и вдруг почувствовал на щеке прикосновение чего-то мягкого и холодного — то падал первый снег. Наступил туманный рассвет, затем пришел яркий день, и лишь тогда услыхал он доносившийся из прохода негромкий стон, который приближался, становился явственнее. Он соскользнул с края, опустил ноги на первый выступ и стал ждать.

Тот, кто стонал, двигался медленно, но после многих остановок добрался наконец до Тайи, и последний понял, что это не был житель Солнечной Страны. Он протянул руку и там, где полагается

быть голове, нащупал плечо ползущего на локтях человека. Голову он нашел потом: она свисала набок, и затылок касался земли.

— Это ты, Тайи? — сказал человек. — Это я, Ааб-Ваак, беспомощный и искалеченный, как плохо пущенное копье. Голова у меня волочится по земле; без твоей помощи мне не выбраться отсюда.

Тайи влез в проход и прислонил Ааб-Ваака спиною к стене, но голова у того свисала, и он стонал и жаловался.

— Ой-ой, ой-ой! — плакался Ааб-Ваак. — Олуф забыл, что Мисэчи тоже знала этот ход. Она показала его жителям Солнечной Страны, и они поджидали нас у конца прохода. Я погиб, у меня нет сил. Ой-ой!

— А проклятые пришельцы из Солнечной Страны, они погибли в пещере? — спросил Тайи.

— Откуда я мог знать, что они поджидают нас? — стонал Ааб-Ваак. — Мои братья ползли впереди, и из пещеры не доносился шум схватки. Как я мог знать, отчего нет шума схватки? И прежде чем я узнал, две руки стиснули мне шею так, что я не мог крикнуть и предупредить моих братьев. Затем еще две руки схватили меня за голову, а еще две — за ноги. Так меня и поймали трое пришельцев из Солнечной Страны. Они держали

мне голову и за ноги повернули мое тело. Они свернули мне шею так же, как мы свертываем головы болотным уткам.

— Но мне не суждено было погибнуть, — продолжал Ааб-Ваак, и в голосе его послышалась гордость. —Я один остался. Олуф и все остальные лежат в ряд, и головы у них повернуты, и лицо там, где должен быть затылок. На них нехорошо смотреть. Когда жизнь вернулась ко мне, я увидел наших братьев при свете факела, оставленного пришельцами из Солнечной Страны. Ведь я лежал вместе со всеми.

— Неужели? Неужели? — повторял Тайи, слишком потрясенный, чтобы говорить.

Тут он услышал голос Пришельца-Билла и вздрогнул.

— Это хорошо, — говорил тот. — Я искал человека со сломанной шеей, и вот чудо! Встречаю Тайи. Брось-ка ружье вниз, Тайи, чтобы я слышал, как оно стукнется о камни.

Тайи повиновался, и Пришелец-Билл выполз из отверстия в скале. Тайи с изумлением глядел на чужестранца. Он очень похудел, был измучен и покрыт грязью, но глубоко запавшие глаза горели, как угли.

— Я голоден, Тайи, — сказал Билл. — Очень

голоден.

— Я пыль под твоими ногами, — отвечал Тайи. — Твое слово для меня закон. Я приказывал людям не сопротивляться тебе. Я советовал...

Но Пришелец-Билл, не слушая, повернулся и крикнул своим товарищам:

— Эй, Чарли! Джим! Берите с собой женщину и выходите!

— Мы хотим есть, — сказал Билл, когда его товарищи и Мисэчи присоединились к нему.

Тайи заискивающе потер руки.

— Наша пища скудна, но все, что мы имеем, твое.

— Затем мы по снегу отправимся на юг, — продолжал Пришелец-Билл.

— Пусть ничто дурное не коснется вас и путь по-кажется легким.

— Путь долог. Нам понадобятся собаки и много пищи.

— Лучшие наши собаки — твои, и вся пища, какую они смогут везти.

Пришелец-Билл подошел к краю уступа и приготовился к спуску.

— Но мы вернемся, Тайи. Мы вернемся и проведем много дней в твоей стране.

Так они отправились по снегу на юг, Прише-

лец-Билл, его братья и Мисэчи. А на следующий год в бухте Мэнделл бросил якорь «Искатель-2». Немногие мэнделлы, те, кто остался в живых, потому что были ранены и не могли ползти в пещеру, стали под началом жителей Солнечной Страны копать землю. Они забросили охоту и рыбную ловлю и получают теперь каждый день плату за работу и покупают муку, сахар, ситец и другие вещи, которые ежегодно привозит из Солнечной Страны «Искатель-2».

Этот прииск, как и многие другие в Северной Стране, разрабатывается тайно; ни один белый человек, не имеющий отношения к Компании (Компания — это Билл, Джим и Чарли), не знает, где на краю Полярного моря затерялось селение Мэнделл. Ааб-Ваак, у которого голова свисает набок, стал прорицателем и проповедует младшему поколению смирение, за что и получает пенсию от Компании. Тайи назначен десятником на прииске. Теперь он разработал новую теорию насчет жителей Солнечной Страны.

— Живущие там, где ходит солнце, не изнеженные, — частенько говорит он, покуривая трубку и наблюдая, как день постепенно сменяется ночью. — Солнце вливается им в тело, и кровь их закипает от желаний и страстей. Они всегда горят и

поэтому не знают поражений. Они не знают покоя, ибо в них сидит дьявол. Они разбросаны по всей земле и осуждены вечно трудиться, страдать и бороться. Я знаю. Я Тайи.

Болезнь Одинокого Вождя

Эту историю рассказали мне два старика. Когда спала жара — это было в полночь, — мы сидели в дыму костра, защищавшего нас от комаров, и то и дело яростно давили тех крылатых мучителей, которые, не страшась дыма» хотели полакомиться нашей кровью. Справа от нас, футах в двадцати, у подножия рыхлого откоса, лениво журчал Юкон. Слева, над розоватым гребнем невысоких холмов, тлело дремотное солнце, которое не знало сна в эту ночь и обречено было не спать еще много ночей.

Старики, которые вместе со мною сидели у костра и доблестно сражались с комарами, были Одинокий Вождь и Мутсак — некогда товарищи по оружию, а ныне дряхлые хранители преданий старины. Они остались последними из своего поколения и не пользовались почетом в кругу молодых, выросших на задворках приисковой цивилизации. Кому дороги предания и легенды в наши дни, когда веселье можно добыть из черной бутылки, а черную бутылку можно добыть у добрых белых людей за несколько часов работы или завалящую шкуру! Чего стоят все страшные

обряды и таинства шаманов, если каждый день можно видеть, как живое огнедышащее чудовище — пароход, наперекор всем законам, кашляя и отплевываясь, ходит вверх и вниз по Юкону! И что проку в родовом достоинстве, если всех выше ценится у людей тот, кто больше срубит деревьев или ловчее управится с рулевым колесом, ведя судно в лабиринте протоков между островами!

В самом деле, прожив слишком долго, эти два старика — Одинокий Вождь и Мутсак — дожили до черных дней, и в новом мире не было им ни места, ни почета. Они тоскливо ждали смерти, а сейчас рады были раскрыть душу чужому белому человеку, который разделял их мучения у осаждаемого мошкарой костра и внимательно слушал рассказы о той давно минувшей поре, когда еще не было пароходов.

— И вот выбрали мне девушку в жены, — говорил Одинокий Вождь. Его голос, визгливый и пронзительный, то и дело срывался на сиплый, дребезжащий басок; только успеешь к нему привыкнуть, как он снова взлетает вверх тонким дискантом, — кажется, то верещит сверчок, то квакает лягушка.

— И вот выбрали мне девушку в жены, — говорил он. — Потому что отец мой, Каск-Та-Ка, Выдра,

гневался на меня за то, что я не обращал свой взгляд на женщин. Он был вождем племени и был уже стар, а из всех его сыновей я один оставался в живых, и только через меня мог он надеяться, что род его продлится в тех, кому еще суждено явиться на свет. Но знай, о белый человек, что я был очень болен; и если меня не радовали ни охота, ни рыбная ловля и мясо не согревало моего желудка, — мог ли я заглядываться на женщин, или готовиться к свадебному пиру, или мечтать о лепете и возне маленьких детей?

— Да, —вставил Мутсак. — Громадный медведь обхватил Одинокого Вождя лапами, и он боролся, пока у него не треснул череп и кровь не хлынула из ушей.

Одинокий Вождь энергично кивнул.

— Мутсак говорит правду. Прошло время, я исцелился, но в то же время и не исцелился. Потому что, хотя рана затянулась и больше не болела, здоровье не вернулось ко мне. Когда я ходил, ноги подо мной подгибались, а когда я смотрел на свет, глаза наполнялись слезами. И когда я открывал глаза, вокруг меня все кружилось; а когда я закрывал глаза, моя голова кружилась, и все, что я когда-либо видел, кружилось и кружилось у меня в голове. А над глазами у меня так сильно

болело, как будто на мне всегда лежала какая-то тяжесть или голову мне сжимал туго стянутый обруч. И речь у меня была медленной, и я долго ждал, пока на язык придет нужное слово. А если я не ждал, то у меня срывалось много всяких слов и язык мой болтал глупости. Я был очень болен, и когда отец мой, Выдра, привел девушку Кэсан...

— Молодую и сильную девушку, дочь моей сестры, — перебил Мутсак. — С сильными бедрами, чтобы рожать детей, стройная и быстроногая была Кэсан. Ни одна девушка не умела делать таких мокасин, как она, а веревки, которые она плела, были самыми прочными. И в глазах у нее была улыбка, а на губах смех, и нрава она была покладистого; и она не забывала, что дело мужчины — приказывать, а женщины — повиноваться.

— Так вот, я был очень болен, — продолжал Одинокий Вождь. — И когда отец мой, Выдра, привел девушку Кэсан, я сказал, что лучше бы они готовили мне погребение, чем свадьбу. Тогда лицо, отца моего почернело от гнева, н он сказал, что со мною поступят по моему желанию, и, хотя я еще жив, мне будут готовить погребение, как если бы я уже умер...

— Не думай, что таков обычай нашего народа, о белый человек, — прервал Мутсак. — Знай, то,

что сделали с Одиноким Вождем, у нас делают только с мертвыми. Но Выдра уж очень гневался.

— Да, — сказал Одинокий Вождь. — Отец мой, Выдра, говорил коротко, но решал быстро. И он приказал людям племени собраться перед вигвамом, где я лежал. А когда они собрались, он приказал им оплакивать его сына, который умер...

— И они пели перед вигвамом песню смерти. О-о-о- о-о-о-о-о-гаа-а-их-клу-кук, их-клу-кук, — затянул Мутсак, так великолепно воспроизводя песню смерти, что у меня мурашки побежали по спине.

— В вигваме, где я лежал, — рассказывал дальше Одинокий Вождь, — мать моя, вымазав лицо сажей и посыпав голову пеплом, принялась оплакивать меня, как умершего, потому что так приказал мой отец. И вот моя мать, Окиакута, громко оплакивала меня, била себя в грудь и рвала на себе волосы, а вместе с нею и Гуниак, моя сестра, и Сината, сестра моей матери, и такой они подняли шум, что я почувствовал жестокую боль в голове, и мне казалось — теперь я уже непременно умру.

А старики племени столпились около меня и рассуждали о пути, по которому пойдет моя душа.

Один говорил о дремучих бесконечных лесах, в которых с плачем блуждают погибшие души и где, быть может, придется вечно блуждать и мне. Другой рассказывал о больших быстрых реках с дурной водой, где воют злые духи и протягивают свои извивающиеся руки, чтобы схватить за волосы и потащить на дно. И тут все сошлись на том, что для переправы через эти реки мне надо дать с собою лодку. А третий говорил о бурях, каких не видел ни один живой человек, когда звезды дождем падают с неба, и земля разверзается множеством пропастей, и все реки выходят из берегов. Тогда те, что сидели вокруг меня, воздели руки и громко завопили, а те, что были снаружи, услышали и завопили еще громче. Они считали меня мертвецом, и сам я тоже считал себя мертвецом. Я не знал, когда я умер и как это произошло, но я твердо знал, что я умер.

И моя мать, Окиакута, положила возле меня мою парку из беличьих шкурок. Потом она положила парку из шкуры оленя-карибу, и дождевое покрывало из тюленьих кишок, и муклуки для сырой погоды, чтобы душе моей было тепло и она не промокла во время своего долгого пути. А когда упомянули о крутой горе, густо поросшей колючками, она принесла толстые мокасины,

чтобы легче было ступать моим ногам.

Потом старики заговорили о страшных зверях, которых мне придется убивать, и тогда молодые положили возле меня мой самый крепкий лук и самые прямые стрелы, мою боевую дубинку, мое копье и нож. А потом они заговорили о мраке и безмолвии великих пространств, в которых будет блуждать моя душа, и тогда моя мать завыла еще громче и посыпала себе еще пепла на голову.

Тут в вигвам потихоньку, робея, вошла девушка Кэсан и уронила маленький мешочек на вещи, приготовленные мне в путь. И я знал, что в маленьком мешочке лежали кремень, и огниво, и хорошо высушенный трут для костров, которые душе моей придется разжигать. И были выбраны одеяла, чтобы меня завернуть. А также отобрали рабов, которых надо было убить, чтобы душа моя имела спутников. Рабов было семеро, потому что отец мой был богат и могуществен, и мне, его сыну, подобало быть погребенным со всеми почестями. Этих рабов захватили мы в войне с мукумуками, которые живут ниже по Юкону. Сколка, шаман, должен был убить их на рассвете, одного за другим, чтобы их души отправились вместе с моей странствовать в Неведомое. Они должны были нести мои вещи и лодку, пока мы

не дойдем до большой быстрой реки с дурной водой. В лодке им не хватило бы места, и, сделав свое дело, они не пошли бы дальше, а остались бы, чтобы вечно выть в темном дремучем лесу.

Я смотрел на прекрасные теплые одежды, на одеяла, на боевые доспехи, думал о том, что для меня убьют семерых рабов, — в конце концов я стал гордиться своим погребением, зная, что многие должны мне завидовать. А тем временем отец мой, Выдра, сидел угрюмый и молчаливый. И весь день и всю ночь люди пели песню смерти и били в барабаны, и казалось, что я уже тысячу раз умер.

Но утром отец мой поднялся и заговорил. Всем известно, сказал он, что всю жизнь он был храбрым воином. Все знают также, что почетнее умереть в бою, чем лежа на мягких шкурах у костра. И раз я, его сын, все равно должен умереть, так лучше мне пойти на мукумуков, и пусть меня убьют. Так я завоюю себе почет и сделаюсь вождем в обители мертвых, и не лишится почета отец мой, Выдра. Поэтому он приказал подготовить вооруженный отряд, который я поведу вниз по реке. А когда мы встретимся с мукумуками, я должен, отделившись от отряда, пойти вперед, словно готовясь вступить в бой, и тогда меня

убьют.

— Нет, ты только послушай, о белый человек! — вскричал Мутсак, не в силах дольше сдерживаться. — В ту ночь шаман Сколка долго шептал что-то на ухо Выдре, и это он сделал так, что Одинокого Вождя послали на смерть. Выдра был очень стар, а Одинокий Вождь — его единственный сын, и Сколка задумал сам стать вождем племени. Одинокий Вождь все еще был жив, хотя весь день и всю ночь у его вигвама пели песню смерти, и потому Сколка боялся, что он не умрет. Это Сколка, своими красивыми словами о почете и доблестных делах говорил языком Выдры.

— Да, — подхватил Одинокий Вождь. — Я знал, что Сколка во всем виноват, но это меня не трогало, потому что я был очень болен. У меня не было сил гневаться и не хватало духу произносить резкие слова; и мне было все равно, какой смертью умереть, — я хотел только, чтобы с этим было скорей покончено. И вот, о белый человек, собрали боевой отряд. Но в нем не было ни испытанных воинов, ни людей, умудренных годами и знаниями, а всего лишь сотня юношей, которым еще мало приходилось сражаться. И все селение собралось на берегу реки, чтобы проводить нас. И мы пустились в путь под ликующие возгласы

и восхваление моих доблестей. Даже ты, о белый человек, возликовал бы при виде юноши, отправляющегося в бой, хотя бы и на верную смерть.

И мы отправились — сотня юношей, в том числе и Мутсак, потому что он тоже был молод и неискушен. По приказанию моего отца, Выдры, мое каноэ привязали с одной стороны к каноэ Мутсака, а с другой — к каноэ Канакута. Так было сделано для того, чтобы мне не грести и чтобы я сохранил силу и, несмотря на болезнь, мог достойно умереть. И вот мы двинулись вниз по реке.

Я не стану утомлять тебя рассказом о нашем пути, который не был долгим. Неподалеку от селения мукумуков мы встретили двух их воинов в каноэ, которые, завидев нас, пустились наутек. Тогда, как приказал мой отец, мое каноэ отвязали, и я совсем один поплыл вниз по течению. А юноши, как приказал мой отец, остались, чтобы увидеть, как я умру, и по возвращении рассказать, какой смертью я умер. На этом особенно настаивали отец мой Выдра и шаман Сколка, и они пригрозили жестоко наказать тех, кто ослушается.

Я погрузил весло в воду и стал громко насмехаться над удиравшими воинами. Услышав мои обидные слова, они в гневе повернули головы

и увидели, что отряд не тронулся с места, а я плыву за ними один. Тогда они отошли на безопасное расстояние и, разъехавшись в стороны, остановились так, что мое каноэ должно было пройти между ними. И я с копьем в руке, распевая воинственную песню своего племени, стал приближаться к ним. Каждый из двух воинов бросил в меня копье, но я наклонился, и копья просвистели надо мной, и я остался невредим. Теперь все три каноэ шли наравне, и я метнул копье в воина справа: оно вонзилось ему в горло, и он упал навзничь в воду.

Велико было мое изумление — я убил человека. Я повернулся к воину слева и стал грести изо всех сил, чтобы встретить смерть лицом к лицу; и его второе копье задело мое плечо. Тут я напал на него, но не бросил копье, а приставил острие к его груди и нажал обеими руками. А пока я напрягал все силы, стараясь вонзить копье поглубже, он ударил меня по голове раз и еще раз лопастью весла.

И даже когда копье пронзило его насквозь, он снова ударил меня по голове. Ослепительный свет сверкнул у меня перед глазами, и я почувствовал, как в голове у меня что-то треснуло, — да, треснуло. И тяжести, что так долго давила мне

на глаза, не стало, а обруч, так туго стягивавший мне голову, лопнул. И восторг охватил меня, и сердце мое запело от радости.

«Это смерть», — подумал я. И еще я подумал, что умереть хорошо. Потом я увидел два пустых каноэ и понял, что я не умер, а опять здоров. Удары по голове, нанесенные мне воином, исцелили меня. Я знал, что убил человека; запах крови привел меня в ярость, — и я погрузил весло в грудь Юкона и направил свое каноэ к селению мукумуков. Юноши, оставшиеся позади, громко закричали. Я оглянулся через плечо и увидел, как пенится вода под их веслами...

— Да, вода пенилась под нашими веслами, — сказал Мутсак, — потому что мы не забыли приказания Выдры и Сколки, что должны собственными глазами увидеть, какой смертью умрет Одинокий Вождь. В это время какой-то молодой мукумук, плывший туда, где были расставлены ловушки для лососей, увидел приближающегося к их селению Одинокого Вождя и сотню воинов, следовавших за ним. И он сразу же кинулся к селению, чтобы поднять тревогу. Но Одинокий Вождь погнался за ним, а мы погнались за Одиноким Вождем, потому что должны были увидеть, какой смертью он умрет. Только

у самого селения, когда молодой мукумук прыгнул на берег, Одинокий Вождь поднялся в своем каноэ и со всего размаху метнул копье. И копье вонзилось в тело мукумука выше поясницы, и он упал лицом вниз.

Тогда Одинокий Вождь выскочил на берег, держа в руке боевую дубинку, и, испустив боевой клич, ворвался в деревню. Первым встретился ему Итвили, вождь племени мукумуков. Одинокий Вождь ударил его по голове своей дубинкой, и он свалился мертвым на землю. И, боясь, что мы не увидим, какой смертью умрет Одинокий Вождь, мы, сотня юношей, тоже выскочили на берег и поспешили за ним в селение. Но мукумуки не поняли наших намерений и подумали, что мы пришли сражаться, — и тетивы их луков зазвенели, и засвистели стрелы. И тогда мы забыли, для чего нас послали, и набросились на них с нашими копьями и дубинками, но так как мы застали их врасплох, то тут началось великое избиение...

— Своими руками я убил их шамана! — воскликнул Одинокий Вождь, и его изборожденное морщинами лицо оживилось при воспоминании о том далеком дне, — Своими руками я убил его — того, кто был более могучим шаманом, чем Сколка, наш шаман. Каждый раз, когда я схваты-

вался с новым врагом, я думал: «Вот пришла моя смерть»; но каждый раз я убивал врага, а смерть не приходила. Казалось, так сильно было во мне дыхание жизни, что я не мог умереть...

— И мы следовали за Одиноким Вождем по всему селению, — продолжил рассказ Мутсак. — Как стая волков, мы следовали за ним — вперед, назад, из конца в конец, до тех пор, пока не осталось ни одного мукумука, способного сражаться. Тогда мы согнали вместе всех уцелевших — сотню рабов-мужчин, сотни две женщин и множество детей, потом развели огонь, подожгли все хижины и вигвамы и удалились. И это был конец племени мукумуков.

— Да, это был конец племени мукумуков, — с торжеством повторил Одинокий Вождь. — А когда мы пришли в свое селение, люди дивились огромному количеству добра и рабов, а еще больше дивились тому, что я все еще жив. И пришел отец мой, Выдра, весь дрожа от радости при мысли о том, что я совершил. Ибо он был стар, а я был последним из его сыновей, оставшимся в живых. И пришли все испытанные в боях воины и люди, умудренные годами и знаниями, и собралось все наше племя. И тогда я встал и голосом, подобным грому, приказал шаману Сколке подойти

ближе...

— Да, о белый человек! — воскликнул Мутсак голосом, подобным грому, от которого подгибались колени и людей охватывал страх.

— А когда Сколка подошел ближе, — рассказывал дальше Одинокий Вождь, — я сказал, что я умирать не собираюсь. И еще я сказал, что нехорошо обманывать злых духов, которые поджидают по ту сторону могилы. И потому я считаю справедливым, чтобы душа Сколки отправилась в Неведомое, где она будет вечно выть в темном, дремучем лесу. И я убил его тут же, на месте, перед лицом всего племени. Да, я, Одинокий Вождь, собственными руками убил шамана Сколку перед лицом всего племени. А когда послышался ропот, я громко крикнул...

— Голосом, подобным грому, — подсказал Мутсак.

— Да, голосом, подобным грому, я крикнул: «Слушай, мой народ! Я, Одинокий Вождь, умертвил вероломного шамана. Я единственный из людей прошел через врата смерти и вернулся обратно. Мои глаза видели то, чего никому не дано увидеть. Мои уши слышали то, что никому не дано услышать. Я могущественнее шамана Сколки. Я могущественнее всех шаманов. Я более

великий вождь, чем отец мой, Выдра. Всю свою жизнь он воевал с мукумуками, а я уничтожил их всех в один день. Как бы одним дуновением ветра я уничтожил их всех. Отец мой, Выдра, стар, шаман, Сколка, умер, а потому я буду и вождем и шаманом. С этого дня я буду для тебя, о мой народ, и вождем и шаманом. Если кто-нибудь не согласен с моими словами, пусть выйдет вперед!

Я ждал, но никто вперед не вышел. Тогда я крикнул: «Хо! Я отведал крови! Теперь несите мясо, потому что я голоден. Разройте все ямы со съестными припасами, принесите рыбу из всех вершей, и пусть будет великое пиршество. Пусть люди веселятся и поют песни, но не погребальные, а свадебные. И пусть приведут ко мне девушку Кэсан. Девушку Кэсан, которая станет матерью детей Одинокого Вождя!»

Услышав мои слова, отец мой, Выдра, который был очень стар, заплакал, как женщина, и обнял мои колени. И с этого дня я стал вождем и шаманом. И был мне большой почет, и все люди нашего племени повиновались мне.

— До тех пор, пока не появился пароход, — вставил Мутсак.

— Да, — сказал Одинокий Вождь. — До тех пор, пока не появился пароход.

Киш, сын Киша

— И вот я даю шесть одеял, двойных и теплых; шесть пил, больших и крепких; шесть удзоновских ножей, острых и длинных; два челнока работы Могума, великого мастера вещей; десять собак, сильных и выносливых в упряжке, и три ружья; курок одного сломан, но это — хорошее ружье, и его еще можно починить.

Киш замолчал и оглядел круг пытливых, сосредоточенных лиц. Наступило время великой рыбной ловли, и он просил у Гноба в жены дочь его, Су-Су. Это было у миссии св. Георгия на Юконе, куда собрались все племена, жившие за сотни миль. Они пришли с севера, юга, востока и запада, даже из Тоцикаката и с далекой Тананы.

— Слушай, о Гноб! Ты вождь племени танана, а я — Киш, сын Киша, вождь тлунгетов. Поэтому, когда чрево твоей дочери выносит мое семя, между нашими племенами наступит дружба, великая дружба, и танана и тлунгеты будут кровными братьями на долгие времена. Я сказал и сделаю то, что сказал. А что скажешь об этом ты, о Гноб?

Гноб важно кивнул головой. Ни одна мысль не отражалась на его обезображенном, изрытом

морщинами лице, но глаза сверкнули, как угли, в узких прорезях век, когда он сказал высоким, надтреснутым голосом:

— Но это еще не все.

— Что же еще? — спросил Киш. — Разве не настоящую цену предлагаю я? Разве в племени танана была когда-нибудь девушка, за которую давали бы так много? Назови мне ее.

Насмешливый шепот пробежал по кругу, и Киш понял, что он опозорен в глазах всех.

— Нет, нет, мой добрый Киш, ты не понял меня. — И Гноб, успокаивая его, поднял руку. — Цена хорошая. Это настоящая цена. Я согласен даже на сломанный курок. Но это еще не все. А человек каков?

— Да, да, каков человек? — злобно подхватил весь круг.

— Говорят, — опять задребезжал пронзительный голос Гноба, — говорят, что Киш не ходит путями отцов. Говорят, что он блуждает во мраке в поисках чужих богов и что он стал трусом.

Лицо Киша потемнело.

— Это ложь! — крикнул он. — Киш никого не боится.

— Говорят, — продолжал старый Гноб, — что он прислушивается к речам белого человека из

Большого Дома, что он преклоняет голову перед богом белого человека, что бог белого человека не любит крови.

Киш опустил глаза, и руки его судорожно сжались. В кругу насмешливо захохотали, а знахарь и верховный жрец племени, шаман Мадван, зашипел что-то на ухо Гнобу. Потом он нырнул из освещенного пространства вокруг костра в темноту, вывел оттуда стройного мальчика и поставил его лицом к лицу с Кишем, а Кишу вложил в руку нож.

Гноб наклонился вперед.

— Киш! О Киш! Осмелишься ли ты убить человека? Смотри! Это мой раб Киц-Ну. Подними на него руку, о Киш, подними на него свою сильную руку!

Киц-Ну дрожал, ожидая удара. Киш смотрел на мальчика, и в мыслях у него пронеслись возвышенные поучения мистера Брауна, и он ясно увидел перед собой пламя, полыхающее в аду мистера Брауна. Нож упал на землю. Мальчик вздохнул и вышел из освещенного круга, и колени у него дрожали. У ног Гноба лежал огромный пес, который скалил клыки, готовый броситься на мальчика. Но шаман оттолкнул животное ногой, и это навело Гноба на новую мысль.

— Слушай, о Киш! Что бы ты сделал, если б с тобой поступили вот так? — И с этими словам Гноб поднес Белому Клыку кусок вяленой рыбы, но когда собака потянулась за подачкой, он ударил ее по носу палкой. — И после этого, о Киш, поступил бы ты вот так?

Припав к земле, Белый Клык лизал руку Гноба.

— Слушай! — Гноб встал, опираясь на руку Мадвана. — Я очень стар; и потому, что я очень стар, я скажу тебе вот что: твой отец Киш был великий человек, и он любил слушать, как поет в бою тетива, а мои глаза видели, как он метал копье и как головы его врагов слетали с плеч. Но ты не таков. С тех пор как ты, отрекшись от Ворона, поклоняешься Волку, ты стал бояться крови и хочешь, чтобы и народ твой боялся ее. Это нехорошо. Когда я был молод, как Киц-Ну, ни одного белого человека не было во всей нашей стране. Но они пришли, эти белые люди, один за другим, и теперь их много. Это — неугомонное племя. Насытившись, они не хотят спокойно отдыхать у костра, не думая о том, откуда возьмется мясо завтра. Над ними тяготеет проклятие, они обречены вечно трудиться.

Киш был поражен. Он смутно вспомнил рассказ мистера Брауна о каком-то Адаме, жившем

давным-давно. Значит, мистер Браун говорил правду.

— Белые люди путешествуют повсюду и накладывают руки на все, что видят, а видят они многое. Их становится все больше и больше; и если мы будем бездействовать, они захватят всю нашу страну, и в ней не останется места для племен Ворона. Вот почему мы должны бороться с ними, пока ни одного из них не останется в живых. Тогда нам будут принадлежать все пути и все земли, и, может быть, наши дети и дети наших детей станут жить в довольстве и разжиреют. И когда настанет время Волку и Ворону меряться силами, будет великая битва, но Киш не пойдет сражаться вместе со всеми и не поведет за собой свое племя. Вот почему мне не годится отдавать ему дочь в жены. Так говорю я, Гноб, вождь племени танана.

— Но белые люди великодушны и могущественны, — ответил Киш. — Белые люди научили нас многому. Белые люди дали нам одеяла, ножи и ружья, которых мы не умели делать. Я помню, как мы жили до их прихода. Я еще не родился тогда, но мне рассказывал об этом отец. На охоте нам приходилось близко подползать к лосям, чтобы вонзить в них копье. Теперь у нас есть ружье

белого человека, и мы убиваем зверя на таком расстоянии, на каком не слышно даже крика ребенка. Мы ели рыбу, мясо и ягоды, — больше нечего было есть, — и мы ели все без соли. Найдется ли среди вас хоть один, кто захочет теперь есть рыбу и мясо без соли?

Эти слова убедили бы многих, если б Мадван не вскочил с места, прежде чем Киш кончил говорить.

— Ответь мне сначала на один вопрос, Киш. Белый человек из Большого Дома говорит тебе, что убивать нельзя. Но разве мы не знаем, что белые люди убивают? Разве мы забыли великую битву на Коюкуке или великую битву у Нуклукайто, где трое белых убили двадцать человек из племени тоцикакатов? И неужели ты думаешь, что мы забыли тех троих из племени тана-нау, которых убил белый человек Мэклрот? Скажи мне, о Киш, почему шаман Браун учит тебя, что убивать нельзя, а все его братья убивают?

— Нет, нет, нам не нужно твоего ответа, — пропищал Гноб, пока Киш мучительно думал, как ответить на этот трудный вопрос. — Все очень просто. Твой добрый Браун хочет крепко держать Ворона, пока другие будут ощипывать его. — Голос Гноба зазвучал громче. — Но пока останется

хоть один человек из племени танана, готовый нанести удар, или хоть одна девушка, способная родить мальчика, перья Ворона будут целы.

Гноб обернулся к высокому, крепкому юноше, сидящему у костра.

— А что скажешь ты, Макамук, брат Су-Су?

Макамук поднялся. Длинный шрам пересекал его лицо, и верхняя губа у него кривилась в постоянной усмешке, которая так не вязалась со свирепым блеском его глаз.

— Сегодня, — начал он, хитро избегая ответа, — я проходил мимо хижины торговца Мэклрота. И в дверях я увидел ребенка, который улыбался солнцу. Ребенок посмотрел на меня глазами Мэклрота и испугался. К нему подбежала мать и стала его успокаивать: Его мать — Зиска, женщина, из племени тлунгетов.

Слова его заглушил рев ярости, но Макамук заставил всех замолчать, театрально подняв руку и показывая на Киша пальцем.

— Так вот как! Вы, тлунгеты, отдаете своих женщин и приходите к нам, к танана. Но наши женщины нужны нам самим, Киш, потому что мы должны вырастить мужчин, много мужчин, к тому дню, когда Ворон схватится с Волком.

Среди возгласов одобрения раздался пронзи-

тельный голос Гноба:

— А что скажешь ты, Носсабок, любимый брат Су-Су?

Носсабок был высокий и стройный юноша-индеец с тонким, орлиным носом и высоким лбом, но одно веко у него подергивалось, словно он многозначительно подмигивал. И сейчас, когда юноша поднялся, веко дернулось и закрыло глаз. Но на этот раз никто не засмеялся, глядя на Носсабока. Лица у всех были серьезны.

— Я тоже проходил мимо хижины торговца Мэклрота, — зажурчал его нежный, почти девичий голос, так похожий на голос сестры, — и я видел индейцев. Они обливались потом, и ноги дрожали от усталости. Говорю вам: я видел индейцев; они стонали под тяжестью бревен, из которых торговец Мэклрот строит себе склад. И собственными глазами я видел, как они кололи дрова, которыми шаман Браун будет топить свой Большой Дом в долгие морозные ночи. Это женская работа, танана никогда не будут ее делать. Мы готовы породниться с мужчинами, но тлунгеты не мужчины, а бабы!

Наступило глубокое молчание. Все устремили глаза на Киша. Он внимательным взглядом обвел людей, сидящих в кругу.

— Так, — сказал он бесстрастно. — Так, — снова повторил он. Потом повернулся и, не сказав больше ни слова, скрылся в темноте.

Пробираясь среди ползающих по земле детей и злобно рычащих собак, Киш прошел все становище из конца в конец и увидел женщину, которая сидела за работой у костра. Она плела лесу из волокон, содранных с корней дикой лозы. Киш долго следил, как ее проворные руки приводили в порядок спутанную массу волокон. Приятно было смотреть, как эта девушка, крепкая, с высокой грудью и крутыми бедрами, созданными для материнства, склоняется над работой. Ее бронзовое лицо отливало золотом в мерцающем свете костра, волосы были цвета воронова крыла, а глаза блестели, словно самоцветы.

— О Су-Су! — наконец сказал он. — Ты когда-то ласково смотрела на меня, и те дни были совсем недавно...

— Я смотрела на тебя ласково, потому что ты был вождем тлунгетов, — быстро ответила она, — потому что ты был такой большой и сильный.

— А теперь?

— Но это было ведь давно, тогда, когда мы занимались рыбной ловлей, — поспешно добавила Су-Су, — до того, как шаман Браун научил тебя

дурному и повел тебя по чужому пути.

— Но я же говорил тебе, что...

Она подняла руку, и этот жест сразу напомнил Кишу ее отца.

— Я знаю, какие слова готовы слететь с твоих уст, о Киш! И я отвечаю тебе. Так повелось, что рыба в воде и звери в лесу рождают себе подобных. И это хорошо. Так повелось и у женщин. Они должны рождать себе подобных, и даже девушка, пока она еще девушка, чувствует муки материнства и боль в груди, чувствует, как маленькие ручонки обвиваются вокруг ее шеи. И когда это чувство одолевает ее, тогда она тайно выбирает себе мужчину, который сможет быть отцом ее детей. Так чувствовала и я, когда смотрела на тебя и видела, какой ты большой и сильный. Я знала, что ты охотник и воин, способный добывать для меня пищу, когда я буду есть за двоих, и защищать меня, когда буду бессильна. Но это было до того, как шаман Браун пришел в нашу страну и научил тебя...

— Но это неправда, Су-Су! Я слышал от него только добрые слова...

— Что нельзя убивать? Я знала, что ты это скажешь. Тогда рождай таких, как ты сам, таких, кто не убивает, но не приходи с этим к танана, ибо

сказано, что скоро наступит время, когда Ворон схватится с Волком. Не мне знать, когда это будет, это — дело мужчин; но я должна родить к этому времени воинов, и это я знаю.

— Су-Су, — снова заговорил Киш, — выслушай меня...

— Мужчина побил бы меня палкой и заставил бы слушать себя, — с презрительным смехом сказала Су-Су. — А ты... вот, возьми! — Она сунула ему в руки пучок волокон. — Я не могу отдать Кишу себя, но вот это пусть он возьмет. Это ему подходит. Это — женское дело.

Киш отшвырнул пучок, и кровь бросилась ему в лицо, и потемнела его бронзовая кожа.

— И еще я скажу тебе, — продолжала Су-Су. — Есть старый обычай, которого не чуждался ни твой отец, ни мой. С того, кто пал в бою, победитель снимает скальп. Это очень хорошо. Но ты, который отрекся от Ворона, должен сделать больше: ты должен принести мне не скальпы, а головы — две головы, и тогда я дам тебе не пучок волокон, а расшитый бисером пояс, и ножны, и длинный русский нож. Тогда я снова ласково посмотрю на тебя, и все будет хорошо.

— Так, — задумчиво сказал Киш. — Так...

Потом повернулся и исчез в темноте.

— Нет, Киш! — крикнула она ему вслед. — Не две головы, а по крайней мере три!

Но Киш не изменял своей новой вере: жил безупречно и заставлял людей своего племени следовать заповедям, которым учил его священник Джексон Браун. Все время, пока продолжалась рыбная ловля, он не обращал внимания на людей танана, не слушал ни оскорблений, ни, насмешек женщин других племен. После лова Гноб со своим племенем, запасшись вяленой и копченой рыбой, отправился на охоту в верховья реки Танана. Киш смотрел, как они собирались в путь, но не пропустил ни одной службы в миссии, где он постоянно молился и пел в хоре густым, могучим басом.

Преподобного Джексона Брауна приводил в восторг этот густой бас, и он считал Киша самым надежным из всех обращенных. Однако Мэклрот сомневался в этом; он не верил в обращение язычников и не считал нужным скрывать свое мнение. Но мистер Браун был человек широких взглядов, и однажды долгой осенней ночью он с таким жаром доказывал свою правоту, что в конце концов торговец в отчаянии воскликнул:

— Провалиться мне на этом месте, Браун, но если Киш продержится еще два года, я тоже стану

ревностным христианином!

Не желая упускать такой случай, мистер Браун скрепил договор мужественным рукопожатием, и теперь от поведения Киша зависело, куда отправится после смерти душа Мэклрота.

Однажды, когда на землю уже лег первый снег, в миссию св. Георгия пришла весть. Человек из племени танана, приехавший за патронами, рассказал, что Су-Су обратила свой взор на отважного молодого охотника Ни-Ку, который положил большой выкуп за нее у очага старого Гноба. Как раз в это время его преподобие Джексон Браун встретил Киша на лесной тропе, ведущей к реке. В упряжке Киша шли лучшие его собаки, на нартах лежала новая большая пара лыж.

— Куда ты держишь путь, о Киш? Не на охоту ли?— спросил мистер Браун, подражая речи индейцев.

Киш несколько мгновений пристально смотрел ему в глаза, потом тронул собак. Но, пройдя несколько шагов, он обернулся, снова устремил внимательный взгляд на миссионера и ответил:

— Нет, я держу путь прямо в ад!

На небольшой поляне, глубоко зарывшись в снег, словно пытаясь спастись от безотрадного одиночества, ютились три жалких вигвама.

Дремучий лес подступал к ним со всех сторон. Над ними, скрывая ясное голубое небо, нависала тусклая, туманная завеса, обещающая снег. Ни ветра, ни звука — ничего, кроме снега и Белого Безмолвия. Даже обычной суеты не было на этой стоянке, ибо охотникам удалось выследить стадо оленей-карибу и охота была удачной. И вот после долгого поста пришло изобилие, и охотники крепко спали средь бела дня в своих вигвамах из оленьих шкур.

У костра перед одним из вигвамов стояли пять пар лыж, и у костра сидела Су-Су. Капюшон беличьей парки был крепко завязая вокруг шеи, но руки проворно работали иглой с продернутой в нее жилой, нанося последние замысловатые узоры на кожаный пояс, отделанный ярко-пунцовой тканью.

Где-то позади вигвамов раздался пронзительный собачий лай и тотчас же стих. В вигваме захрипел и застонал во сне ее отец. «Дурной сон, — подумала она и улыбнулась. — Отец стареет, не следовало ему давать эту последнюю лопатку, он и так много съел».

Она нашила еще одну бусину, закрепила жилу узлом и подбросила хворосту в огонь. Потом долго смотрела на костер и вдруг подняла голову,

услышав на жестком снегу скрип мокасин.

Перед ней, слегка сгибаясь под тяжестью ноши, стоял Киш. Ноша была завернута в дубленую оленью кожу. Он небрежно сбросил ее на снег и сел у костра. Долгое время они молча смотрели друг на друга.

— Ты прошел долгий путь, о Киш, — наконец сказала Су-Су, — долгий путь от миссии святого Георгия на Юконе.

— Да, — рассеянно ответил Киш, разглядывая пояс и прикидывая на глаз его размер. — А где же нож? — спросил он.

— Вот. — Она вынула нож из-под парки, и обнаженное лезвие сверкнуло при свете огня. — Хороший нож.

— Дай мне! — повелительным тоном сказал Киш.

— Нет, о Киш, — засмеялась Су-Су. — Может быть, не тебе суждено носить его.

— Дай мне! — повторил он тем же голосом. — Мне суждено носить его.

Су-Су кокетливо повела глазами на оленью шкуру и увидела, что снег под ней медленно краснеет.

— Это кровь, Киш? — спросила она.

— Да, это кровь. Дай же мне пояс и длинный

русский нож.

И Су-Су вдруг стало страшно, а вместе с тем радостное волнение охватило ее, когда Киш вырвал у нее из рук пояс. Она нежно посмотрела на него и почувствовала боль в груди и прикосновение маленьких ручек, обнимающих ее за шею.

— Пояс сделан для худого человека, — мрачно сказал Киш, втягивая живот и застегивая пряжку на первую прорезь,

Су-Су улыбнулась, и глаза ее стали еще ласковее. Опять она почувствовала, как нежные ручки обнимают ее за шею. Киш был красивый, а пояс, конечно, слишком тесен: ведь он сделан для более худого человека. Но не все ли равно? Она может вышить еще много поясов.

— А кровь? — спросила она, загораясь надеждой. — Кровь, Киш? Ведь это... это... головы?

— Да.

— Должно быть, они только что сняты, а то кровь замерзла бы.

— Сейчас не холодно, а кровь свежая, совсем свежая...

— О Киш! — Лицо ее дышало радостью. — И ты принес их мне?

— Да, тебе.

Он схватил оленью шкуру за край, тряхнул ее,

и головы покатились на снег.

— Три? — в исступлении прошептал он. — Нет, по меньшей мере четыре.

Су-Су застыла от ужаса. Вот они перед ней: тонкое лицо Ни-Ку, старое, морщинистое лицо Гноба, Макамук, вздернувший, словно в усмешке, верхнюю губу, и, наконец, Носсабок, как всегда, многозначительно подмигивающий. Вот они перед ней, освещенные пламенем костра, и вокруг каждой из них расползалось пятно алого цвета.

Растаявший у огня снежный наст осел под головой Гноба, и, наклонившись, как живая, она покатилась к ногам Су-Су. Но девушка сидела, не шелохнувшись, Киш тоже сидел, не двигаясь; его глаза, не мигая, в упор смотрели на нее.

Где-то в лесу сосна уронила на землю тяжелый ком снега, и эхо глухо прокатилось по ущелью. Но они по- прежнему сидели молча. Короткий день быстро угасал, и тьма уже надвигалась на стоянку, когда Белый Клык подбежал к костру. Он выжидательно остановился — не прогонят ли его, потом подошел ближе. Ноздри у Белого Клыка дрогнули, шерсть на спине встала дыбом. Он безошибочно пошел на запах и, остановившись у головы своего хозяина, осторожно обнюхал ее и лизнул лоб длинным красным языком. Затем

лег на землю, поднял морду к первой тускло загоревшейся на небе звезде и протяжно, по-волчьи завыл.

Тогда Су-Су пришла в себя. Она взглянула на Киша, который обнажил русский нож и пристально смотрел на нее. Лицо Киша было твердо и решительно, и в нем Су- Су прочла свою судьбу. Отбросив капюшон парки, она открыла шею и поднялась. Долгим, прощальным взглядом окинула опушку леса, мерцающие звезды в небе, стоянку, лыжи в снегу — последним долгим взглядом окинула все, чем она жила. Легкий ветерок откинул в сторону прядь ее волос, и с глубоким вздохом она повернула голову и подставила ветру открытое лицо.

Потом Су-Су подумала о детях, которые уже никогда не родятся у нее, подошла к Кишу и сказала:

— Я готова!

Смерть Лигуна

Кровь за кровь, род за род.

Закон племени тлинкет.

— Слушай теперь о смерти Лигуна...

Рассказчик замолк, точнее, сделал паузу и многозначительно взглянул на меня. Я посмотрел бутылку на свет костра, отметил пальцем, сколько нужно оставить, и передал ему — разве моим собеседником не был Палитлум по прозвищу Пьяница. Много историй услышал я от этого неграмотного книжника и давно уже ждал, чтобы он поведал мне о временах Лигуна: он один хорошо помнил те времена.

Он откинул назад голову и пробормотал что-то, потом послышалось бульканье, и на неровной поверхности утеса, где мы сидели, заплясала чудовищная человеческая тень с громадной опрокинутой бутылкой в руке. Палитлум оторвался от бутылки, причмокнул и грустно поглядел вверх, на небо, где играли тусклые отблески северного сияния.

— Удивительный напиток, — сказал он. — Холодный, как вода, и горячий, как огонь. Пьющему

он придает силу и у пьющего отнимает силу. Стариков он превращает в юношей, а юношей в стариков. Усталого он заставляет встать и идти вперед, а бодрого погружает в сон. Мой брат, обладавший сердцем кролика, выпил этого напитка и убил четырех врагов. Мой отец был подобен матерому волку, который то и дело скалит клыки и огрызается; но когда он выпил, то побежал от врага и был убит выстрелом в спину. Очень удивительный напиток.

— Это «Три Звездочки», не то, что та бурда, которой они полощут свои желудки, — отвечал я, указывая вниз, где за зияющей черной пропастью виднелись огни костров на берегу — крохотные огоньки, придающие ощущение реальности окружающему.

Палитлум вздохнул и покачал головой:

— Поэтому-то я и здесь, с тобою.

Тут он кинул на бутылку и на меня такой красноречивый взгляд, который лучше всяких слов говорил о его нескрываемой страсти.

— Нет, — сказал я, пряча бутылку. — Расскажи о Лигуне. О «Трех Звездочках» мы поговорим после.

— Бутылка полна, а я ничуть не устал, — нагло клянчил он. — Дай, я приложу ее к губам и

расскажу тебе о великих подвигах Лигуна и его последних днях.

— У пьющего он отнимает силу, — передразнил я его, — и бодрого погружает в сон.

— Ты мудр, — отвечал он без гнева и обиды. — Ты мудр, как и все твои братья. Бодрствуешь ты или спишь, «Три Звездочки» всегда при тебе, но я никогда не видел, чтобы ты был пьян. Вы забираете себе золото, скрытое в наших горах, и рыбу, что плавает в наших морях, а Палитлум и братья Палитлума роют для тебя золото, и ловят рыбу, и рады, когда ты с высоты своей мудрости соизволишь им приложиться к «Трем Звездочкам».

— Я собрался послушать о Лигуне, — нетерпеливо сказал я. — Ночь коротка, а завтра предстоит трудный путь. — Я зевнул и сделал вид, будто хочу встать, но Палитлум встревожился и, не мешкая, приступил к рассказу.

— В годы старости Лигун хотел, чтобы между племенами царствовал мир. В молодости он был первым среди воинов и вождем над всеми вождями Островов и Проливов. Всю жизнь он провел в схватках. Ни у кого нет на теле столько ран, сколько у него, от стрел с костяными наконечниками, и свинцовых пуль, и железных ножей. Он имел трех жен и от каждой жены по два сына; но

все сыновья его, от первенца до самого младшего, погибли, сражаясь рядом с ним. Неугомонный, как медведь-плешак, он рыскал по всей стране, до Уналяшки и Мелкого моря на севере, забирался к югу до островов Королевы Шарлотты и, говорят, прошел с кейками до дальнего залива Пьюджет Саунд, где убивал твоих братьев в их крепких домах.

Но, как я уже говорил, на старости лет он решил установить мир между племенами. Не потому, что он стал трусом или его слишком тянуло к теплому местечку у очага и полному котелку пищи. Он мог убивать так же коварно и жестоко, как самые кровожадные, он стягивал пояс в голодные дни, как самые молодые, и пускался в путь по бурным морям и опасным тропам, как самые отважные. Но вот из-за его деяний и в наказание за них его увезли на военном судне в твою страну, о Борода, пришелец из Бостона, и прошло много лет, прежде чем он вернулся, и я тогда был уже не мальчик, но еще не стал мужчиной. И Лигун, оставшийся бездетным на старости лет, привязался ко мне и приобщал меня к своей мудрости.

«Сражаться хорошо, о Палитлум, — говаривал он...» Д-а, Борода, в те дни меня звали не Палитлумом, а Оло, Вечно-Голодным. Пить я стал после.

«Так вот, сражаться хорошо, — говорил Лигун, — но это глупо. Я своими глазами видел, что в стране людей из Бостона жители не сражаются друг с другом, и потому они сильны. Благодаря своей силе они приходят сюда, на Острова и Проливы, и мы — что дым костра или морской туман перед ними. Поэтому я говорю тебе, что сражаться очень хорошо, но глупо».

Поэтому-то Лигун, который был первым среди воинов, теперь громче всех заговорил о мире. Он был величайшим из вождей и самым богатым и, дожив до глубокой старости, он задал потлач. Никогда еще на свете не бывало такого пира. Вдоль берега стояли пятьсот каноэ, и в каждом приехало не менее десяти мужчин и женщин. На пир явились восемь племен; приехали все, от дряхлых стариков до новорожденных младенцев. Прослышав о пире Лигуна, прибыли, не побоявшись долгого пути, и мужчины из отдаленных племен, и путешественники, и золотоискатели. Семь дней они набивали себе желудки яствами и напитками. Он подарил восемь тысяч одеял. Я хорошо знаю это, ибо кто, как не я, вел счет гостям и рассаживал их соответственно роду и заслугам каждого. Раздав все, Лигун остался ни с чем, зато имя его было у всех на устах, и другие вожди

скрипели зубами, завидуя его величию и славе.

Пользуясь тем, что слово его было законом, Лигун проповедовал мир; он ездил на все потлачи, празднества и собрания, чтобы говорить о мире. Случилось так, что мы, Лигун и я, поехали на большой пир к Ниблаку, вождю речного племени скутов, жившему недалеко от племени стикинов. Лигун был уже очень дряхл, и смерть его близка. Он кашлял от холода и от дыма костра, и нередко изо рта у него шла кровь, и мы думали, что он вот-вот умрет.

«Нет, — сказал он однажды, когда изо рта показалась кровь, — лучше умереть, когда кровь льется из-под ножа и слышится звон оружия и запах пороха, а люди громко вскрикивают, пораженные холодной сталью или быстрым свинцом!». Было видно, о Борода, что сердце Лигуна еще жаждало сражений.

От чилкатов до скутов путь не близкий, и мы много дней провели в каноэ. Пока люди склонялись над веслами, я сидел у ног Лигуна и слушал его поучения. Мне незачем говорить тебе о Законе, Борода, ибо знаю, что ты в Законе очень сведущ. Но все же я скажу тебе: Закон — кровь за кровь, род за род. Лигун подробно разъяснил мне его. Вот его слова:

«Знай, о Оло, что не велика честь убить человека, который ниже тебя. Убивай тех, кто стоит выше, и тогда заслужишь почет, соответствующий их положению. Если из двух противников прольешь кровь менее знатного, то уделом твоим будет позор, и даже женщины будут смеяться, проходя мимо. Я говорил уже, что хорошо жить в мире, но помни, Оло: если придется убивать, следуй Закону».

— Таков обычай племени тлинкет, — как бы оправдываясь, заметил Палитлум, а я подумал о воинах и убийцах своей Западной Страны и ничуть не удивился обычаю племени тлинкет.

— Итак, мы прибыли на пир к вождю скутов Ниблаку, — продолжал Палитлум. — Празднество было почти столь же великое, как потлач Лигуна. Были на нем и наши чилкаты, и индейцы из племени ситха, и стикины, соседи скутов, и врэнгелы, и гунаа. Были сэндоуны и такосы из бухты Хотон, их соседи, оки, с пролива Дугласа, люди с реки Наас, тонгасы с севера Диксона и, наконец, кейки с острова Куприянова. Затем были сиваши из Ванкувера, кассиары с Золотых Гор, теслины и даже стиксы с далекого Юкона.

Это было замечательное празднество. Но первым делом должна была состояться встреча

вождей с Ниблаком, чтобы выпив кваса, забыть прежние распри. Мы научились приготовлять квас у русских — так сказал мне отец, а ему говорил это его отец. Но в квас Ниблак добавил сахару, муки, сушеных яблок и хмеля, и получился хороший и крепкий напиток для мужчин. Не такой хороший, как «Три Звездочки», о Борода, но все же очень хороший.

Квас был только для вождей, а вождей собралось человек двадцать. Так как Лигун был очень стар и пользовался большим почетом, мне разрешено было войти вместе с ним, чтобы он мог опираться на мое плечо, и я бы помогал ему садиться и вставать. У входа в дом Ниблака — а дом был сложен из бревен и очень большой — вожди, по обычаю, оставляли свои копья, ружья и ножи. Ты знаешь, о Борода, как напитки горячат кровь, и вновь вспыхивают старые обиды, и голова и рука начинают действовать быстро! Я заметил, что Лигун взял с собой два ножа; один он оставил у двери, а второй спрятал под одеяло, так что его можно было легко достать. Другие вожди поступили так же, и я боялся того, что должно произойти.

Вожди чинно расселись большим кругом. Я стоял рядом с Лигуном. В середине помещался

бочонок с квасом, и раб разносил напиток. Сначала Ниблак произнес речь; в ней говорилось о дружбе и было много красивых слов. Затем он подал знак, и раб зачерпнул квасу и подал чашу, как это полагалось, Лигуну, ибо он был знатнейшим из собравшихся. Лигун выпил все до последней капли, и я помог ему встать, чтобы и он мог сказать речь.

Он нашел добрые слова для всех племен и вождей, похвалил щедрость Ниблака, устроившего такое пышное торжество, посоветовал, по обыкновению, всем жить в мире и в конце сказал, что квас очень хорош.

После него выпил Ниблак, ибо он был самый старший после Лигуна, а за ним по старшинству и знатности, пили и остальные вожди. Каждый из них говорил дружелюбные слова и хвалил квас, пока чаша не обошла круг.

Все ли я рассказал? Нет, не все, о Борода! Последний из них, худощавый, похожий на кошку вождь с молодым лицом и дерзкими глазами, мрачно выпил свою долю, затем плюнул на землю и не сказал ни слова.

Не сказать, что квас хорош, — оскорбление, плюнуть на землю — тяжкое оскорбление. И он осмелился на это. Было известно, что он вождь

стиксов с Юкона, но больше о нем ничего не знали.

Да, это было тяжкое оскорбление. Но заметь, о Борода, что оскорбление было нанесено не Ниблаку, хозяину пира, а самому знатному из вождей, сидевших в кругу — таков обычай. А самым знатным был Лигун. Все разом замолчали. Глаза были устремлены на него: что он сделает? Но Лигун не шелохнулся. Его высохшие уста не дрогнули, ноздри не раздулись, и веки не опустились. Но я видел, как потемнело его лицо, как темнеют лица у стариков в тягостные дни голодных зим, когда плачут женщины и дети хнычут, когда нет мяса и нет надежды его получить. И тем же печальным взглядом смотрел сейчас Лигун.

Настала мертвая тишина. Можно было подумать, что кругом сидят мертвецы, если бы вожди не ощупывали для верности ножей, спрятанных в складках одеял, и если бы каждый из них не оглядывал испытующим взглядом своих соседей. Я был тогда совсем юношей, но я понял, что такое случается лишь раз за всю жизнь.

Вождь стиксов встал — все, не отрываясь, следили за ним — и подошел к Лигуну.

«Я — Опитса, Нож», — сказал он.

Но Лигун ничего не ответил и даже не посмот-

рел на него — он не мигая смотрел в землю.

«Ты — Лигун, — сказал Опитса. — Ты убил многих воинов. А я еще жив».

Лигун молча подал мне знак, и я помог ему подняться. Лигун выпрямился, он был похож тогда на вековую сосну, голую и седую, но все еще способную устоять под натиском бури и тяжестью снега. Он смотрел вперед немигающим взглядом, но казалось, и не видел Опитса и не слышал его слов.

Опитса славно с ума сходил от злости и приплясывал на негнущихся ногах перед Лигуном, как обычно делают, когда хотят показать свое презрение. Затем он затянул песню о своем величии и о величии своего племени, и песня его была полна нападок на племя чилкатов и на Лигуна. Завывая и пританцовывая, он сбросил с себя одеяло и, выхватив нож, стал вертеть им перед лицом Лигуна. И песня, что он пел, была Песнью Ножа.

В хижине слышно было только пение Опитса; вожди сидели молча, как мертвецы, и блеск ножа как будто вы-зывал ответные искры в их глазах. Лигун тоже не произнес ни слова. Он знал, что смерть его близка, и не боялся ее. Нож пел свою песню и приближался к Лигуну, но тот смотрел перед собой немигающими глазами и не откло-

нялся ни вправо, ни влево, ни назад.

Опитса два раза ударил его ножом в лоб, и кровь брызнула из раны. Тогда-то Лигун подал мне знак поддержать его и помочь ему пойти. И он презрительно рассмеялся в лицо Опитса, по прозвищу Нож, отодвинул его в сторону, как отодвигают нависшую над тропой ветку, и прошел мимо.

И я понял, что Лигун считал позором пролить кровь Опитса перед лицом более знатных вождей. Я вспомнил Закон и понял, что Лигун собирается следовать Закону. Но самым знатным после него был Ниблак, потому и направился Лигун к Ниблаку, опираясь о мое плечо. С другой стороны за него уцепился Опитса, слишком незначительная персона, чтобы столь великий вождь, как Лигун, осквернил его кровью свои руки. И хотя нож Опитса снова и снова кусал тело Лигуна, тот и бровью не повел. Так мы трое подошли к испуганному, завернувшемуся в одеяло Ниблаку.

И тут вспыхнули былые обиды и вспомнились забытые раздоры. Брат Ламука, вождя кейков, когда-то утонул в дурных водах Стикина, и племя стикинов не принесло выкуп одеялами, как полагалось по обычаю. Поэтому Ламук вонзил свой длинный нож прямо в сердце Клок-Куца, вождя стикинов. А Катчахук вспомнил ссору своих со-

родичей с реки Наас с тонгасами, живущими на севере Диксона, и убил их вождя выстрелом из револьвера, и поднялся большой шум. Всех охватила жажда крови, и вождь убивал вождя или сам падал от руки другого. И каждый старался ранить ножом или выстрелом из револьвера Лигуна, ибо тот, кому удалось бы убить его, стал бы знаменитым и покрыл себя неувядаемой славой. Они накинулись на него, как волки на лося, но их было так много, что они мешали друг другу, и каждому приходилось сражаться с другими, чтобы пробить себе дорогу к Лигуну, и вокруг была страшная свалка.

А Лигун подвигался медленно, не спеша, словно впереди у него было еще много-много лет. Казалось, он уверен, что ему удастся исполнить Закон, прежде чем погибнет сам. Он шел медленно, ножи вонзались в него, и он был залит кровью. Хотя никто не собирался меня трогать, ибо я был лишь юношей, но ножи все же попали в меня и обжигали горячие пули. А Лигун все еще опирался на мое сильное плечо, и Опитса вертелся вокруг, и мы трое подвигались вперед. Когда мы остановились перед Ниблаком, тот испугался и накрыл голову одеялом. Племя скутов всегда отличалось трусостью.

Гулзуг, рыболов, и Кадишан, охотник, сцепились, отстаивая честь своих племен. Они яростно боролись и в схватке сбили Опитса и его стали топтать ногами. Брошенный кем-то нож попал в горло Скульпина, вождя племени ситхов; он взмахнул руками, пошатнулся и, падая, увлек меня за собой.

Лежа на земле, я видел, как Лигун склонился над Ниблаком, сорвал с его головы одеяло и повернул лицо к свету. Лигун не спешил. Кровь слепила ему глаза, и он протер их тыльной стороной ладони. Еще раз убедившись, что перед ним Ниблак, он провел ножом по его горлу, как охотник проводит ножом по горлу трепещущей косули. Затем он выпрямился и, слегка покачиваясь, запел Песню Смерти. Тогда Скульпин, тот самый, что сбил меня, с земли выстрелил в него из револьвера. Лигун зашатался и упал, как падает сосна в объятия ветра...

Палитлум замолчал. Его заблестевшие от воспоминаний глаза были устремлены в огонь, и щеки пылали.

— Ну, а ты, Палитлум? — спросил я. — Что сделал ты?

— Я? Я помнил Закон и убил Опитса по прозвищу Нож, и это было очень хорошо. И я вытащил

нож Лигуна из горла Ниблака и убил Скульпина, опрокинувшего меня на землю. Я был еще юношей, и любой убитый мною вождь возвеличивал меня. Лигун был мертв, я был не нужен ему, и я действовал ножом, выбирая самых знатных из оставшихся в живых вождей.

Палитлум порылся в складках своей одежды, достал обшитые бисером ножны и вытащил из них нож. Нож был самодельный, кое-как сработанный из пилы, — такие можно найти у стариков в любом селении на Аляске.

— Это нож Лигуна? — спросил я.

Палитлум кивнул головой.

— Я дам тебе за него десять бутылок с «Тремя Звездочками».

Палитлум медленно перевел на меня взгляд

— Я слаб, как вода, и податлив как женщина. Мой желудок пропитан квасом, самогоном и «Тремя Звездочками». Зрение у меня ослабело, слух потерял остроту, а сила обратилась в жир. Никто меня не уважает, и зовут Палитлум-Пьяница. Но на потлаче у Ниблака, вождя скутов, я заслужил почет, и память об этом пире и память о Лигуне мне дорога. И если бы ты все море превратил в «Три Звездочки» и предложил мне, я ножа бы не отдал. Я — Палитлум-Пьяница, но я был Оло,

Вечно-Голодным, который поддерживал своей молодой силой Лигуна.

— Ты великий человек, Палитлум, — сказал я, — и я уважаю тебя.

Палитлум протянул руку.

— Отдай мне за рассказ «Три Звездочки», которые спрятал у себя, — попросил он.

И когда я повернулся, то увидел на неровной поверхности скалы чудовищную тень человека с громадной опрокинутой бутылкой в руке.

Светлокожая Ли Ван

— Солнце опускается, Каним, и дневной жар схлынул!

Так сказала Ли Ван мужчине, который спал, накрывшись с головой беличьим одеялом; сказала негромко, словно знала, что его надо разбудить, но страшилась его пробуждения. Ли Ван побаивалась своего рослого мужа, столь непохожего на всех других мужчин, которых она знала.

Лосиное мясо зашипело, и женщина отодвинула сковородку на край угасающего костра. В то же время она поглядывала на обоих своих гудзонских псов, а те жадно следили за каждым ее движением, и с их красных языков капала слюна. Громадные косматые звери, они сидели с подветренной стороны в негустом дыму костра, спасаясь от несметного роя мошкары. Но как только Ли Ван отвела взгляд и посмотрела вниз, туда, где Клондайк катил меж холмов свои вздувшиеся воды, один из псов на брюхе подполз к костру и ловким кошачьим ударом лапы сбросил со сковороды на землю кусок горячего мяса. Однако Ли Ван заметила это краешком глаза, и пес, получив удар поленом по носу, отскочил, щелкая

зубами и рыча.

— Эх ты, Оло, — засмеялась женщина, водворив мясо на сковородку и не спуская глаз с собаки. — Никак наесться не можешь, а все твой нос виноват — то и дело в беду попадаешь.

Но тут к Оло подбежал его товарищ, и вместе они взбунтовались против женщины. Шерсть на их спинах и загривках вздыбилась от ярости, тонкие губы искривились и приподнялись, собравшись уродливыми складками и угрожающе обнажив хищные клыки. Дрожали даже их сморщенные ноздри, и псы рычали с волчьей ненавистью и злобой, готовые прыгнуть на женщину и свалить ее с ног.

— И ты тоже, Баш, строптивый, как твой хозяин, — все норовишь укусить руку, которая тебя кормит! Что лезешь не в свое дело? Вот тебе, получай!

Ли Ван решительно размахивала поленом, но псы увертывались от ударов и не собирались отступать. Они разделились и стали подбираться к ней с разных сторон, припадая к земле и рыча. К этой борьбе, в которой человек утверждает свое господство над собакой, Ли Ван привыкла с самого детства — с тех пор как училась ходить в родном вигваме, ковыляя от одного вороха шкур

до другого, — и потому знала, что близится опасный момент. Баш остановился, напружив тугие мускулы, изготовившись к прыжку, Оло еще подползал, выбирая удобное место для нападения.

Схватив две горящие головни за обугленные концы, женщина смело пошла на псов. Оло попятился, а Баш прыгнул, и она встретила его в воздухе ударом своего пылающего оружия. Раздался пронзительный визг, остро запахло паленой шерстью и горелым мясом, и пес повалился в грязь, а женщина сунула головню ему в пасть. Бешено огрызаясь, пес отскочил в сторону и, сам не свой от страха, отбежал на безопасное расстояние. Отступил и Оло, после того как Ли Ван напомнила ему, кто здесь хозяин, бросив в него толстой палкой. Не выдержав града головешек, псы наконец удалились на самый край полянки и принялись зализывать свои раны, повизгивая и рыча.

Ли Ван сдула пепел с мяса и села у костра. Сердце ее билось не быстрее, чем всегда, и она уже позабыла о схватке с псами — ведь подобные происшествия случались каждый день. А Каним не только не проснулся от шума, но захрапел еще громче.

— Вставай, Каним, — проговорила женщина.

— Дневной жар спал, и тропа ожидает нас.

Беличье одеяло шевельнулось, и смуглая рука откинула его. Веки спящего дрогнули и опять сомкнулись.

— Вьюк у него тяжелый, — подумала Ли Ван, — и он устал от утреннего перехода.

Комар ужалил ее в шею, и она помазала незащищенное место мокрой глиной, отщипнув кусочек от комка, который лежал у нее под рукой. Все утро, поднимаясь на перевал в туче гнуса, мужчина и женщина обмазывали себя липкой грязью, и грязь, высыхая на солнце, покрывала лицо глиняной маской. От движения лицевых мускулов маска эта отваливалась кусками, и ее то и дело приходилось подновлять, так что она была где толще, где тоньше, и вид у нее был престранный.

Ли Ван стала тормошить Канима осторожно, но настойчиво, пока он не приподнялся и не сел. Прежде всего он посмотрел на солнце и, узнав время по этим небесным часам, опустился на корточки перед костром и жадно набросился на мясо. Это был крупный индеец, в шесть футов ростом, широкогрудый и мускулистый, с более проницательным, более умным взглядом, чем у большинства его соплеменников. Глубокие

складки избороздили лицо Канима и, сочетаясь с первобытной суровостью, свидетельствовали о том, что этот человек с неукротимым нравом упорен в достижении цели и способен, если нужно, быть жестоким с противником.

— Завтра, Ли Ван, мы будем пировать. — Он начисто высосал мозговую кость и швырнул ее собакам. — Мы будем есть оладьи, жаренные на свином сале, и сахар, который еще вкуснее...

— Оладьи? — переспросила она, неуверенно произнося незнакомое слово.

— Да, — ответил Каним снисходительно, — и я научу тебя стряпать по-новому. В этом ты ничего не смыслишь, как и во многом другом. Ты всю жизнь провела в глухом уголке земли и ничего не знаешь. Но я, — он выпрямился и гордо окинул ее взглядом, — я — великий землепроходец и побывал всюду, даже у белых людей; и я сведущ в их обычаях и в обычаях многих народов. Я не дерево, которому от века назначено стоять на одном месте, не ведая, что творится за соседним холмом; ибо я, Каним-Каноэ, создан, чтобы бродить повсюду, и странствовать, и весь мир исходить вдоль и поперек.

Женщина смиренно склонила голову.

— Это правда. Я всю жизнь ела только рыбу,

мясо и ягоды и жила в глухом уголке земли. И я не знала, что мир так велик, пока ты не похитил меня у моего племени и я не стала стряпать тебе пищу и носить вьюки по бесконечным трапам. — Она вдруг взглянула на него:

— Скажи мне, Каним, будет ли конец нашей тропе?

— Нет, — ответил он. — Моя тропа, как мир: у нее нет конца. Моя тропа пролегает по всему миру, и я странствую с тех пор, как встал на ноги, и буду странствовать, пока не умру. Быть может, и отец мой и мать моя умерли — не знаю, ведь я давно их не видел, но мне все равно. Мое племя похоже на твое. Оно всегда живет на одном и том же месте, далеко отсюда, но мне нет дела до него, ибо я — Каним-Каноэ.

— А я, Ли Ван, тоже должна брести по твоей тропе, пока не умру, хоть я так устала?

— Ты, Ли Ван, моя жена, а жена идет по тропе мужа, куда бы та ни вела. Это закон. А если такого закона нет, так это станет законом Канима, ибо Каним сам создает законы для себя и своих.

Ли Ван снова склонила голову, так как знала лишь один закон: мужчина — господин женщины.

— Не спеши, — остановил ее Каним, когда

она принялась стягивать ремнями свой вьюк со скудным походным снаряжением, — солнце еще горячо, а тропа идет под уклон и удобна для спуска.

Женщина послушно опустила руки и села на прежнее место.

Каним посмотрел на нее с задумчивым любопытством.

— Ты никогда не сидишь на корточках, как другие женщины, — заметил он.

— Нет, — отозвалась она. — Это неудобно. Мне это трудно; так я не могу отдохнуть.

— А почему ты во время ходьбы ставишь ступни не прямо, а вкось?

— Не знаю. Должно быть, потому, что ноги у меня не такие, как у других женщин.

Довольный огонек мелькнул в глазах Канима, и только.

— Как и у всех женщин, волосы у тебя черные, но разве ты не знаешь, что они мягкие и тонкие, мягче и тоньше, чем у других?

— Знаю, — ответила она сухо; ей не нравилось, что он так спокойно разбирает ее недостатки.

— Прошел год с тех пор, как я увел тебя от твоих родичей, а ты все такая же робкая, все так же боишься меня, как и в тот день, когда я впервые

взглянул на тебя. Отчего это?

Ли Ван покачала головой.

— Я боюсь тебя, Каним. Ты такой большой и странный. Но и до того, как на меня посмотрел ты, я боялась всех юношей. Не знаю... не могу объяснить... только мне почему-то казалось, что я не для них... как будто...

— Говори же, — нетерпеливо понукал он, раздраженный ее нерешительностью.

— ...как будто они не моего рода.

— Не твоего рода? — протянул он. — А какого же ты рода?

— Я не знаю, я... — Она в замешательстве покачала головой. — Я не могу объяснить словами то, что чувствовала. Я была какая-то странная. Я была не похожа на других девушек, которые хитростью приманивали юношей. Я не могла вести себя так. Мне это казалось чем-то дурным, нехорошим.

— Скажи, а твое первое воспоминание... о чем оно? — неожиданно спросил Каним.

— О Пау-Ва-Каан, моей матери.

— А что было раньше, до Пау-Ва-Каан, ты помнишь?

— Нет, ничего не помню.

Но Каним, не сводя с нее глаз, словно проник в

глубину ее души и в ней прочел колебание.

— Подумай, Ли Ван, подумай хорошенько! — угрожающе проговорил он.

Женщина замялась, глаза ее смотрели жалобно и умоляюще; но его воля одержала верх и сорвала с губ Ли Ван вынужденное признание.

— Да ведь это были только сны, Каним, дурные сны детства, тени небывшего, неясные видения, от каких иногда скулит собака, задремавшая на солнцепеке.

— Поведай мне, — приказал он, — о том, что было до Пау-Ва-Каан, твоей матери.

— Все это я позабыла, — не сдавалась она. — Девочкой я грезила наяву, днем, с открытыми глазами, но когда я рассказывала другим о том, какие странные вещи видела, меня поднимали на смех, а, дети пугались и бежали прочь. Когда же я стала рассказывать Пау-Ва-Каан свои сны, она меня выбранила, сказала, что это дурные сны, а потом прибила. Должно быть, это была болезнь, вроде падучей у стариков, но с возрастом она прошла, и я перестала грезить. А теперь... не могу вспомнить. — Она растерянно поднесла руку ко лбу. — Они где-то тут, но я не могу их поймать, разве что...

— Разве что... — повторил Каним, требуя про-

должения.

— Разве что одно видение... Но ты будешь смеяться надо мной, такое оно нелепое, такое непохожее на правду.

— Нет, Ли Ван. Сны — это сны. Может быть, они — воспоминания о тех жизнях, которые мы прожили раньше. Вот я, например, был когда-то лосем. Я уверен, что некогда был лосем, — сужу по тому, что видел и слышал во сне.

Как ни старался Каним скрыть свое возрастающее беспокойство, это ему не удавалось, но Ли Ван ничего не заметила: с таким трудом подыскивала она слова, чтобы описать свой сон.

— Я вижу покрытую снегом поляну среди деревьев, — начала она, — и на снегу след человека, который из последних сил прополз тут на четвереньках. Я вижу и самого человека на снегу, и мне кажется, что он где-то совсем близко. Он не похож на обыкновенных людей: лицо его обросло волосами, густыми волосами, а волосы, и на лице и на голове, желтые, как летний мех у ласки. Глаза у него закрыты, но вот они открываются и начинают искать что-то. Они голубые, как небо, и наконец они находят мои глаза и перестают искать. И рука его движется медленно, словно она очень слабая, и я чувствую...

— Ну, — хрипло прошептал Каним. — Что же ты чувствуешь?

— Нет, нет! — поспешно выкрикнула она. — Я ничего не чувствую. Разве я сказала «чувствую»? Я не то хотела сказать. Не может быть, чтобы я это хотела сказать. Я вижу, я только вижу, и это все, что я вижу: человек на снегу, и глаза у него, как небо, а волосы, как мех ласки. Я видела это много раз и всегда одно и то же — человек на снегу...

— А себя ты не видишь? — спросил Каним, подаваясь вперед и пристально глядя на нее. — Видишь ли ты себя рядом с этим человеком на снегу?

— Как могу я видеть себя рядом с тем, чего нет? Ведь я существую!

Он с облегчением выпрямился, и величайшее торжество мелькнуло в его взгляде, но он отвел глаза от женщины, чтобы она ничего не заметила.

— Я объясню тебе, Ли Ван, — сказал он уверенно. — Все это сохранилось в твоей памяти от прежней жизни, когда ты была птичкой, маленькой пташкой. Тут нет ничего удивительного. Я когда-то был лосем, отец моего отца после смерти стал медведем, это сказал шаман, а шаманы не лгут. Так мы переходим из жизни в жизнь по

Тропе Богов, и лишь богам все ведомо и понятно. То, что нам снится и кажется, — это только воспоминания, и собака, что скулит во сне на солнцепеке, конечно, видит и вспоминает то, что некогда происходило. Баш, например, когда-то был воином. Я уверен, что он был воином.

Каним кинул псу кость и поднялся.

— Вставай, будем собираться. Солнце еще печет, но прохлады ждать нечего.

— А какие они, эти белые люди? — осмелилась спросить Ли Ван.

— Такие же, как и мы с тобой, — ответил он, — разве что кожа у них посветлее. Ты увидишь их раньше, чем. угаснет день.

Каним подвязал меховое одеяло к своему полуторастафунтовому вьюку, обмазал лицо мокрой глиной и присел отдохнуть, ожидая, пока Ли Ван навьючит собак. Оло съежился при виде палки в ее руках и безропотно дал привязать себе на спину вьюк весом в сорок с лишним фунтов. Но Баш не выдержал — взвизгнул и зарычал от обиды и ярости, когда ненавистная ноша коснулась его спины. Пока Ли Ван туго стягивала ремни, он, ощетинившись, скалил зубы, то косясь на нее, то оглядываясь, и волчья злоба горела в этих взглядах. Каним сказал, посмеиваясь:

— Я же говорил, что когда-то он был великим воином! Эти меха пойдут по дорогой цене, — заметил он, надев головной ремень и легко подняв свой вьюк с земли. — Белые люди хорошо платят за такой товар. Им самим охотиться некогда, да и холода они не выносят. Скоро мы будем пировать, Ли Ван; такой пир зададим, какого ты не видывала ни в одной из своих прежних жизней.

Она пробормотала что-то, выражавшее признательность и благодарность мужу за его доброту, надела на себя лямки и согнулась под тяжестью вьюка.

— В моей следующей жизни я хотел бы родиться белым человеком, — добавил Каним и мерно зашагал вниз по тропе, которая круто спускалась в ущелье.

Собаки шли за ним следом, а Ли Ван замыкала шествие. Но мысли ее унеслись далеко — на восток, за Ледяные Горы, в глухой уголок земли, где протекало ее детство. Она вспомнила, что еще тогда ее считали какой-то странной, смотрели на нее, как на больную. Что ж, она действительно грезила наяву, и ее бранили и били за те необычайные видения, о которых она рассказывала.

Однако с годами это прошло. Но не совсем. Правда, эти видения уже не тревожили ее, когда

она бодрствовала, но когда спала, появлялись вновь, хоть она и стала взрослой женщиной; и по ночам ее мучили кошмары — какие-то мелькающие образы, смутные, лишенные всякого смысла. Разговор с Канимом взбудоражил ее, и в течение всего извилистого пути по горному склону она вспоминала об этих причудливых порождениях своих снов.

— Передохнем, — сказал Каним на полпути, когда они перешли русло главного протока.

Он прислонил свою ношу к выступу скалы, снял головной ремень и сел. Ли Ван подсела к нему, а собаки, тяжело дыша, растянулись подле них на земле. У их ног журчал холодный, как лед, горный ручей, но вода в нем была мутной, грязной, словно после оползней.

— Отчего это? — спросила Ли Ван.

— Тут белые роются в земле. Прислушайся! — Каним поднял руку, и она услышала звон кирок и заступов и людские голоса. — Золото свело их с ума, и они работают без передышки — все ищут и ищут его. Что такое золото? Оно желтое, лежит в земле, и люди им очень дорожат. Кроме того, оно — мерило цены.

Но блуждающий взгляд Ли Ван остановился на чем-то, и она уже не слушала. Немного ниже того

места, где они сидели, виднелся сруб, полузакрытый молодым ельником, и нависшая над ним земляная крыша. Дрожь охватила Ли Ван, и все ее призрачные видения ожили и лихорадочно заплясали в мозгу.

— Каним, — прошептала она, вся во власти тревожного предчувствия. — Каним, что это такое?

— Вигвам белого человека, в котором он ест и спит.

Ли Ван задумчиво взглянула на сруб, сразу оценила его достоинства и снова задрожала от непонятного волнения, которое он вызвал в ней.

— Наверное, там тепло и в мороз,1— громко прогово-рила она, чувствуя, что с ее губ вот-вот слетят какие-то странные звуки. Что-то заставляло ее произнести их, но она молчала, и вдруг Каним сказал:

— Это называется хижина.

Сердце у Ли Ван екнуло. Да, да, вот эти самые звуки! Именно это слово! Она испуганно огляну-лась кругом. Почему это слово ей знакомо, если она никогда его не слышала? Как это объяснить? И тут она с ужасом и восторгом впервые поняла, что сны ее — не бессмысленный бред.

«Хижина, — повторяла она про себя, — хижина, хижина». Ее затопил поток бессвязных видений,

закружилась голова; казалось, сердце вот-вот разорвется. Какие-то тени и очертания вещей в непонятной связи мелькали и вихрем кружились над ней, и тщетно пыталась она ухватить их и осмыслить. Она чувствовала, что в этих сумбурных видениях — ключ к тайне; если бы только ухватить его — тогда все станет ясным и простым...

О Каним! О Пау-Ва-Каан! О призраки и тени — что же они такое?

Она повернулась к Каниму, безмолвная и трепещущая, одержимая своими безумными неотвязными видениями. До ее слабеющего сознания доносились только ритмичные звуки чудесной мелодии, летящие из хижины.

— Хм! Скрипка! — снисходительно уронил Каним.

Но она не слышала его: в блаженном возбуждении ей казалось, что наконец-то все становится ясным. «Вот-вот! Сейчас!» — думала она. Внезапно глаза ее увлажнились, и слезы потекли по щекам. Тайны начинали раскрываться, а ее одолевала слабость. Если бы только она могла совладать с собой! Если бы... но вдруг земля выгнулась и сжалась, а горы закачались на фоне неба, и Ли Ван вскочила с криком: «Папа! Папа!» Завертелось

солнце, потом сразу наступила тьма, и Ли Ван, пошатнувшись, ничком рухнула на скалу.

Вьюк был так тяжел, что она могла сломать себе позвоночник; поэтому Каним осмотрел ее, облегченно вздохнул и побрызгал на нее водой из ручья. Она медленно пришла в себя, задыхаясь от рыданий, и наконец села.

— Плохо, когда солнце припекает голову, — заметил он.

— Да, — отозвалась она, — плохо; да и вьюк меня замучил.

— Мы скоро остановимся на ночлег, чтобы ты смогла отоспаться и набраться сил, — сказал он мягко. — И чем быстрее мы тронемся в путь, тем раньше ляжем спать.

Ли Ван, ничего не ответив, послушно встала и, пошатываясь, отошла поднимать собак. Сама того не заметив, она сразу зашагала в ногу с мужем, а когда они проходили мимо хижины, затаила дыхание. Но из хижины уже не доносилось ни звука, хотя дверь была открыта и железная труба выбрасывала дым.

В излучине ручья они набрели на мужчину, белокожего и голубоглазого, и на мгновение перед Ли Ван встал образ человека на снегу. Но лишь на мгновение, так она ослабела и устала от всего

пережитого. Все же она с любопытством оглядела белого мужчину и вместе с Канимом остановилась посмотреть на его работу. Наклонно держа в руках большой таз, старатель вращал его, промывая золотоносный песок, и, в то время как они наблюдали за ним, он ловким неожиданным взмахом выплеснул воду, и на дне таза широкой полосой сверкнуло желтое золото.

— Очень богатый ручей, — сказал жене Каним, когда они двинулись дальше. — Когда-нибудь я найду такой же и сделаюсь большим человеком.

Чем ближе они подходили к самому богатому участку долины, тем чаще встречались люди и хижины. И наконец перед путниками открылась широкая картина разрушения и опустошения. Повсюду земля была взрыта и разбросана, как после битвы титанов. Кучи песка перемежались с огромными зияющими ямами, канавами, рвами, из которых был вынут весь грунт, до коренной породы. Ручей еще не прорыл себе глубокого русла, и воды его — где запруженные, где отведенные в сторону, где низвергающиеся с отвесных круч, где медленно стекающие во впадины и низины, где поднятые на высоту громадными колесами — без устали работали на человека. Лес на горах был вырублен; оголенные склоны сплошь изрезаны

и пробиты длинными деревянными желобами и пробными шурфами. И повсюду чудовищным муравьиным полчищем сновали выпачканные глиной грязные, растрепанные люди, которые то спускались в ямы, выкопанные ими, то вылезали на поверхность, то, как огромные жуки, ползали по ущелью, трудились, обливаясь потом, у куч золотоносного песка, вороша и перетряхивая их, и кишели всюду, куда хватал глаз, до самых вершин, и все рыли, и рушили, и кромсали тело земли.

Ли Ван была испугана и потрясена этой невиданной кутерьмой.

— Поистине эти люди безумны, — сказала она Каниму.

— Удивляться нечему, — отозвался он. — Золото, которое они ищут, — великая сила. Самая большая на свете.

Долго пробирались они через этот хаос, порожденный алчностью: Каним — внимательный и сосредоточенный, Ли Ван — вялая и безучастная. Она понимала, что тайны чуть было не раскрылись, что они вот-вот раскроются, но первое потрясение утомило ее, и она покорно ждала, когда свершится то, что должно было свершиться. На каждом шагу у нее возникали новые и новые

впечатления, и каждое служило глухим толчком, побуждавшим к действию ее измученный мозг. В глубине ее существа рождались созвучные отклики, восстанавливались давно забытые и даже во сне не вспоминавшиеся связи, и все это она сознавала, но равнодушно, без любопытства; и хотя на душе у нее было неспокойно, но не хватало сил на умственное напряжение, необходимое для того, чтобы осмыслить и понять эти переживания. Поэтому она устало плелась вслед за своим господином, терпеливо ожидая того, что непременно — в этом она была уверена — должно было где-то как-то произойти.

Вырвавшись из-под власти человека, ручей, весь грязный и мутный после работы, которую его заставили проделать, наконец вернулся на свой древний проторенный путь и заструился, лениво извиваясь среди полян и перелесков, по долине, расширявшейся к устью. В этих местах золота уже не было, и людям не хотелось тут задерживаться — их манило вдаль. И здесь-то Ли Ван, остановившись на миг, чтобы подогнать палкой Оло, услышала женский смех, нежный и серебристый.

Перед хижиной сидела женщина, белолицая и румяная, как младенец, и весело хохотала в

ответ на слова другой женщины, стоявшей в дверях. Заливаясь смехом, она встряхивала шапкой темных мокрых волос, высыхавших под теплой лаской солнца.

На мгновение Ли Ван остановилась как вкопанная. И вдруг ей показалось, будто что-то щелкнуло и ослепительно вспыхнуло в ее сознании — словно разорвалась завеса. И тогда исчезли и женщины перед хижиной, и сама хижина, и высокий ельник, и зубчатые очертания горных хребтов, и Ли Ван увидела в сиянии другого солнца другую женщину, которая тоже расчесывала густые волны черных волос и пела песню. И Ли Ван слушала слова этой песни, и понимала их, и вновь была ребенком. Она была потрясена этим видением, в котором слились все ее прежние беспокойные видения; и вот тени и призраки встали на свои места, и все сделалось ясным, простым и реальным. Множество разных образов теснилось в ее сознании — странные места, деревья, цветы, люди, — и она видела их и узнавала.

— Когда ты была птичкой, малой пташкой, — сказал Каним, устремив на нее горящие глаза,

— Когда я была малой пташкой, — прошептала она так тихо, что он вряд ли услышал, и, склонив голову, стянутую ремнем, снова мерно зашагала

по тропе. Но она знала, что солгала.

И как ни странно, все реальное стало теперь казаться ей нереальным. Переход длиной в милю и разбивка лагеря на берегу потока промелькнули как в бреду. Как во сне, она жарила мясо, кормила собак, развязывала вьюки и пришла в себя лишь тогда, когда Каним принялся набрасывать перед нею планы новых странствий.

— Клондайк, — говорил он, — впадает в Юкон, огромную реку; она больше, чем Маккензи, а Маккензи ты знаешь. Итак, мы с тобой спустимся до Форта Юкон. На собаках в зимнее время это будет двадцать снов. Потом мы пойдем вдоль Юкона на запад — это сто или двести снов, не знаю точно. Это очень далеко. И тогда мы подойдем к морю. О море ты ничего не знаешь, так что я расскажу тебе про него. Как озеро обтекает остров, так море обтекает всю землю; все реки впадают в него, и нет ему ни конца ни края. Я видел его у Гудзонова залива, и я должен увидеть его с берегов Аляски. И тогда, Ли Ван, мы с тобой сядем в огромную лодку и поплывем по морю или же пойдем пешком по суше на юг, и так пройдет много сотен снов. А что будет потом, я не знаю; знаю только, что я, Каним-Каноэ, странник и землепроходец!

Она сидела и слушала, и страх вгрызался в ее

сердце, когда она думала о том, что обречена затеряться в этих бескрайных пустынях.

— Тяжелый это будет путь, — только и проронила она и смиренно уткнула голову в колени.

Но вдруг ее осенила чудесная мысль — такая, что Ли Ван даже вспыхнула. Она спустилась к потоку и отмыла с лица засохшую глину. Когда рябь на воде улеглась, Ли Ван внимательно всмотрелась в свое отражение. Но солнце и ветер сделали свое дело: кожу ее, обветренную, загорелую, нельзя было и сравнить с детски-нежной кожей той белой женщины. А все-таки это была чудесная мысль, и она продолжала волновать Ли Ван и тогда, когда она юркнула под меховое одеяло и улеглась рядом с мужем.

Она лежала, устремив глаза в синеву неба, выжидая, когда муж уснет первым глубоким сном. Когда он заснул, она медленно и осторожно выползла из-под одеяла, подоткнула его под спящего и выпрямилась. При первом же ее шаге Баш угрожающе заворчал. Ли Ван шепотом успокоила его и оглянулась на мужа. Каним громко храпел. Тогда Ли Ван повернулась и быстро, бесшумно побежала назад по тропе.

Миссис Эвелин Ван-Уик только что собралась лечь в постель. Отягощенная обязанностями,

которые возлагало на нее общество, богатство, беспечальное вдовье положение, она отправилась на Север и устроилась в уютной хижине на окраине золотоносного участка. Здесь она при поддержке и содействии своей подруги и компаньонки мисс Миртл Гиддингс играла в опрощение, в жизнь, близкую к природе, и с утонченной непосредственностью отдавалась своему увлечению первобытным.

Она старалась отмежеваться от многих поколений, воспитанных в избранном обществе, и стремилась к земле, от которой оторвались ее предки. Кроме того, она частенько вызывала в себе мысли и желания, которые, по ее мнению, были не чужды людям каменного века, и как раз в эту минуту, убирая волосы на ночь, тешила свое воображение сценами палеолитической любви. Главными декорациями и аксессуарами в этих сценах были пещерные жилища и раздробленные мозговые кости; фигурировали в них также свирепые хищные звери, волосатые мамонты и драки на ножах — грубых, зазубренных, кремневых ножах; но все это порождало блаженные переживания. И вот в тот самый миг, когда Эвелин Ван- Уик бежала под темными сводами дремучего леса, спасаясь от слишком пылкого

натиска косолобого, едва прикрытого шкурой поклонника, дверь хижины распахнулась без стука, и на пороге появилась одетая в шкуру дикая, первобытная женщина.

— Боже мой!

Одним прыжком, который сделал бы честь пещерной женщине, мисс Гиддингс отскочила в безопасное место — за стол. Но миссис Ван-Уик не отступила. Заметив, что незнакомка очень взволнованна, она быстро оглянулась и убедилась, что путь к ее койке свободен, а там под подушкой лежал большой кольт.

— Привет тебе, о женщина с чудесными волосами, — сказала Ли Ван.

Но сказала она это на своем родном языке, том языке, на котором говорили только в одном глухом уголке земли, и женщины не поняли ее слов.

— Не сбегать ли за помощью? — пролепетала мисс Гиддингс.

— Да нет, она, кажется, безобидное существо, эта несчастная, — возразила миссис Ван-Уик. — Посмотри только на ее меховую одежду. Какая рваная, совсем износилась, но в своем роде уникум. Я куплю ее для своей коллекции. Дай мне, пожалуйста, мешок, Миртл, и приготовь весы.

Ли Ван следила за ее губами, но слов не разбирала, и тут впервые она в беспокойстве и смятении почувствовала, что им не понять друг друга.

И, страдая от своей немоты, она широко раскинула руки и крикнула:

— О женщина, ты моя сестра!

Слезы текли по ее щекам, — так страстно тянулась она к этим женщинам, и голос срывался от горя, которого она не могла выразить словами. Мисс Гиддингс задрожала, и даже миссис Ван-Уик разволновалась.

— Я хочу жить так, как живете вы. Ваш путь — это мой путь, и пусть наши пути сольются. Мой муж — Каним-Каноэ, он большой и непонятный, и я боюсь его. Его тропа пролегает по всей земле, и нет ей конца; а я устала. Моя мать была похожа на тебя: у нее были такие же волосы и такие же глаза. И тогда мне было хорошо жить, и солнце грело меня.

Она смиренно опустилась на колени и склонила голову к ногам миссис Ван-Уик. Но миссис Ван-Уик отшатнулась, испуганная силой этого порыва.

Ли Ван выпрямилась и, задыхаясь, пыталась что-то сказать. Но с ее немых губ не могли слететь слова, нужные для того, чтобы выразить, как

остро она чувствует, что эти женщины — одного с нею племени.

— Торговля? Ты торговать? — спросила миссис Ван- Уик, переходя на тот ломаный язык, которым в таких случаях пользуются люди, принадлежащие к цивилизованным нациям.

Дотронувшись до обтрепанной меховой одежды Ли Ван, чтобы объяснить ей свои намерения, миссис Ван- Уик насыпала в котелок золотоносного песку, помешала его, потом зачерпнула пригоршню золотого порошка, и он заструился между ее пальцами, соблазнительно сверкая желтым блеском. Но Ли Ван видела только эти пальцы, белые, как молоко, точеные, изящные, суживающиеся к ногтям, похожим на какие-то розовые драгоценные камни. Она поднесла к руке белой женщины свою руку, натруженную, огрубелую, и заплакала.

Но миссис Ван-Уик ничего не поняла.

— Золото, — внушала она незнакомке. — Хорошее золото! Ты торговать? Ты менять то на это? — И опять прикоснулась к одежде Ли Ван. — Сколько? Ты продавать? Сколько? — настаивала она, поглаживая мех против ворса и нащупывая прошитые жилой стежки шва.

Но Ли Ван была и нема и глуха, она не пони-

мала, что ей говорят. Неудача сломила ее. Как заставить этих женщин признать ее своей соплеменницей? Ведь она-то знает, что они одной породы, что они сестры по крови. Глаза Ли Ван тревожно блуждали по занавескам, по женским платьям на вешалке, по овальному зеркалу и изящным туалетным принадлежностям на полочке под ним. Вид всех этих вещей терзал ее, ибо она когда-то уже видела подобные им, и когда смотрела на них теперь, губы ее сами складывались для слов, которые рвались из груди. И вдруг что-то словно вспыхнуло в ее мозгу, и вся она подобралась. Надо успокоиться. Надо взять себя в руки, потому что теперь ее непременно должны понять, а не то... И, вся содрогаясь от подавленных рыданий, она овладела собой.

Ли Ван положила руку на стол.

— Стол, — произнесла она ясно и отчетливо. — Стол, — повторила она.

Она взглянула на миссис Ван-Уик, и та одобрительно кивнула. Ли Ван пришла в восторг, но усилием воли опять сдержала себя.

— Печка, — продолжала она. — Печка.

С каждым кивком миссис Ван-Уик волнение Ли Ван возрастало. То запинаясь, то с лихорадочной поспешностью, смотря по тому, медленно или

быстро восстанавливались в памяти забытые слова, она передвигалась по хижине, называя предмет за предметом. И, наконец, остановилась, торжествующе выпрямившись, подняв голову, гордая собой, ожидая признания.

— Кошка, — сказала миссис Ван-Уик, со смехом отчеканивая слова внятно и раздельно, как воспитательница в детском саду. — «Ви-жу-кошка-съе-ла-мы-шку».

Ли Ван серьезно кивнула головой. Наконец-то они начали понимать ее, эти женщины! От этой мысли темный румянец заиграл на ее бронзовых щеках, она улыбнулась и еще резче закивала головой.

Миссис Ван-Уик оглянулась на свою компаньонку.

— Должно быть, нахваталась английских слов в какой-нибудь миссионерской школе и пришла похвалиться.

— Ну конечно, — фыркнула миссис Гиддингс. — Вот глупая! Только спать нам не дает своим хвастовством!

— А мне все-таки хочется купить ее куртку; хоть она и поношенная, но работа хорошая — превосходный экземпляр. — И она снова повернулась к Ли Ван. — Менять то на это? Ты! Менять? Кольцо?

А? Сколько тебе?

— Может, ей больше хочется получить платье или еще что-нибудь из вещей, — подсказала мисс Гиддингс.

Миссис Ван-Уик подошла к Ли Ван и знаками попыталась объяснить, что хочет променять свой капот на ее куртку. И, чтобы получше втолковать ей это, взяла ее руку и, положив ее на свою пышную грудь, прикрытую кружевами и лентами, стала водить пальцами Ли Ван по ткани, чтобы та могла на ощупь убедиться, какая она мягкая. Но капот, небрежно сколотый драгоценной брошкой в виде бабочки, распахнулся и открыл крепкую белую грудь, не знавшую прикосновения младенческих губок.

Миссис Ван-Уик невозмутимо застегнула капот, но Ли Ван громко крикнула и, рывком распахнув свою кожаную куртку, обнажила грудь, такую же белую и крепкую, как и у миссис Ван-Уик. Бормоча ,что-то нечленораздельное и размахивая руками, она старалась убедить этих женщин в своем родстве с ними.

— Полукровка, — заметила миссис Ван-Уик. — Так я и думала — можно догадаться по волосам.

Мисс Гиддингс презрительно махнула рукой.

— Гордится белой кожей отца. Противно! Дай

ей что- нибудь, Эвелин, и выгони ее вон.

Но миссис Ван-Уик вздохнула:

— Бедняжка! Хотелось бы помочь ей.

За стеной под чьей-то тяжелой поступью хрустнул гравий. Дверь хижины широко распахнулась, и вошел Каним. Мисс Гиддингс взвизгнула, решив, что ей сию минуту конец. Но миссис Ван-Уик спокойно взглянула на индейца.

— Чего тебе нужно? — спросила она.

— Как поживаешь? — вкрадчиво, но уверенно ответил Каним, показывая пальцем на Ли Ван. — Это моя жена.

Он протянул руку к Ли Ван, но та отстранила ее.

— Говори, Каним! Скажи им, что я...

— Дочь Пау-Ва-Каан? А зачем? Какое им до этого дело? Лучше я расскажу им, какая ты плохая жена, — бегаешь от мужа, когда сон смыкает ему глаза.

И вновь он протянул к ней руку, но Ли Ван отбежала к миссис Ван-Уик и упала к ее ногам в страстной мольбе, пытаясь обхватить руками ее колени. Миссис Ван-Уик отшатнулась и выразительно посмотрела на Канима — в этом взгляде было разрешение увести женщину. Он взял Ли Ван под мышки и поставил на ноги. В

исступлении она старалась вырваться из его рук, а он изо всех сил тащил ее к выходу, и оба они, сцепившись, кружили по комнате.

— Пусти, Каним, — рыдала она.

Но он так крепко сжал ей запястье, что она перестала бороться.

— Малая пташка помнит лишнее и от этого попадает в беду... — начал Каним.

— Я знаю! Знаю! — прервала его Ли Ван. — Я вижу человека на снегу — так ясно, как никогда еще не видела. И он тащит меня, малого ребенка, на спине. И все это было до Пау-Ва-Каан и тех лет, когда я жила в глухом уголке земли.

— Да, ты знаешь, — отозвался он, толкая ее к выходу. — Но ты пойдешь со мной вниз по Юкону и забудешь.

— Никогда не забуду! Пока моя кожа останется белой, всегда буду помнить!

Она неистово вцепилась в дверной косяк и с последним призывом впилась глазами в миссис Ван-Уик.

— Ну, так я заставлю тебя забыть, я, Каним-Каноэ.

И он оторвал ее пальцы от двери и повлек ее за собой на тропу.

Лига стариков

В Казармах судили человека, речь шла о его жизни и смерти. Это был старик индеец с реки Белая Рыба, впадающей в Юкон пониже озера Ла-Барж. Его дело взволновало весь Доусон, и не только Доусон, но и весь Юконский край на тысячу миль в обе стороны по течению. Пираты на море и грабители на земле, англосаксы издавна несли закон покоренным народам, и закон этот подчас был суров. Но тут, в деле Имбера, закон впервые показался и мягким и снисходительным. Он не предусматривал такой кары, которая с точки зрения простой арифметики соответствовала бы совершенным преступлениям. Что преступник заслуживает высшей меры наказания, в этом не могло быть никаких сомнений; но, хотя такой мерой была смертная казнь, Имбер мог поплатиться лишь одной своей жизнью, в то время как на его совести было множество жизней.

В самом деле, руки Имбера были обагрены кровью стольких людей, что точно сосчитать его жертвы оказалось невозможно. Покуривая трубку на привале в пути или бездельничая у печки, жители края прикидывали, сколько же

приблизительно людей загубил этот старик. Все, буквально все эти несчастные жертвы были белыми, — они гибли и поодиночке, и по двое, и целыми группами. Убийства были так бессмысленны и беспричинны, что долгое время они оставались загадкой для королевской конной полиции, даже тогда, когда на реках стали добывать золото и правительство доминиона прислало сюда губернатора, чтобы заставить край платить за свое богатство.

Но еще большей загадкой казалось то, что Имбер сам пришел в Доусон, чтобы отдать себя в руки правосудия. Поздней весной, когда Юкон ревел и метался в своих ледяных оковах, старый индеец свернул с тропы, проложенной по льду, с трудом поднялся по береговому от-косу и, растерянно мигая, остановился на главной улице. Все, кто видел его появление, заметили, что он был очень слаб. Пошатываясь, он добрался до кучи бревен и сел. Он сидел здесь весь день, пристально глядя на бесконечный поток проходивших мимо белых людей. Многие с любопытством оглядывались, чтобы еще раз посмотреть на него, а кой у кого этот старый сиваш со странным выражением лица вызывал даже громкие замечания. Впоследствии десятки людей вспоминали, что

необыкновенный облик индейца поразил их, и они до конца дней гордились своей проницательностью и чутьем на все необыкновенное.

Однако настоящим героем дня оказался Маленький Диккенсен. Маленький Диккенсен явился в эти края с радужными надеждами и с пачкой долларов в кармане; но вместе с содержимым кармана растаяли и надежды, и, чтобы заработать на обратный путь в Штаты, он занял должность счетовода в маклерской конторе «Холбрук и Мэйсон». Как раз напротив конторы «Холбрук и Мэйсон» и лежала куча бревен, на которой уселся Имбер. Диккенсен заметил его, глянув в окно, перед тем как отправиться завтракать, а позавтракав и вернувшись в контору, он опять глянул в окно: старый сиваш по-прежнему сидел на том же месте.

Диккенсен то и дело поглядывал в окно, — потом он тоже гордился своей проницательностью и чутьем на необыкновенное. Маленький Диккенсен был склонен к романтике, и в неподвижном старом язычнике он увидел некое олицетворение народа сивашей, с непроницаемым спокойствием взирающего на полчища англосаксонских захватчиков.

Часы шли за часами, а Имбер сидел все в той же

позе, ни разу не пошевельнувшись, и Диккенсен вспомнил, как однажды посреди главной улицы остановились нарты, на которых вот так же неподвижно сидел человек; мимо него взад и вперед сновали прохожие, и все думали, что человек просто отдыхает, а потом, когда его тронули, оказалось, что он мертв и уже успел окоченеть — замерз посреди уличной толчеи. Чтобы труп выпрямить — иначе он не влез бы в гроб, — его пришлось тащить к костру и оттаивать. Диккенсена передернуло при этом воспоминании.

Немного погодя Диккенсен вышел на улицу выкурить сигару и проветриться, и тут-то через минуту появилась Эмили Трэвис. Эмили Трэвис была особой изысканной, утонченной, хрупкой и одевалась она — будь это в Лондоне или в Клондайке — так, как подобало дочери горного инженера, обладателя миллионов. Маленький Диккенсен положил свою сигару на выступ окна и приподнял над головой шляпу.

Минут десять они спокойно болтали, но вдруг Эмили Трэвис посмотрела через плечо Диккенсена и испуганно вскрикнула. Диккенсен поспешно оглянулся и сам вздрогнул от испуга. Имбер перешел улицу и, точно мрачная тень, стоял совсем близко, впившись недвижными глазами

в девушку.

— Чего тебе надо? — храбро спросил Маленький Диккенсен нетвердым голосом.

Имбер, проворчав что-то, подошел вплотную к Эмили Трэвис. Он внимательно оглядел ее всю, с головы до ног, как бы стараясь ничего не пропустить. Особый интерес у него вызвали шелковистые каштановые волосы девушки и румяные щеки, покрытые нежным пушком, точно крыло бабочки. Он обошел ее вокруг, не отрывая от нее оценивающего взгляда, словно изучал стати лошади или устройство лодки. Вдруг он увидел, как лучи заходящего солнца просвечивают сквозь розовое ухо девушки, и остановился, заинтересованный. Потом он снова принялся осматривать ее лицо и долго, пристально вглядывался в ее голубые глаза. Опять проворчав что-то, он положил ладонь на руку девушки чуть пониже плеча, а другой своей рукою согнул ее в локте. Отвращение и удивление отразилось на лице индейца, с презрительным ворчанием он отпустил руку Эмили. Затем издал какие-то гортанные звуки, повернулся к девушке спиной и что-то сказал Диккенсену.

Диккенсен не мог понять, что он говорил, и Эмили Трэвис засмеялась. Имбер, хмуря брови,

обращался то к Диккенсену, то к девушке, но они лишь качали головами. Он уже хотел отойти от них, как девушка крикнула:

— Эй, Джимми! Идите сюда!

Джимми приближался с другой стороны улицы. Это был рослый неуклюжий индеец, одетый по обычаю белых людей, в огромной широкополой шляпе, какие носят короли Эльдорадо. Запинаясь и словно давясь каждым звуком, он стал говорить с Имбером. Джимми был родом ситха; на языке племен, живущих в глубине страны, он знал лишь самые простые слова.

— Он от племя Белая Рыба, — сказал он Эмили Трэвис. — Я понимай его язык не очень хорошо. Он хочет видать главный белый человек.

— Губернатора, — подсказал Диккенсен.

Джимми обменялся с человеком из племени Белая Рыба еще несколькими словами, и лицо его приняло озабоченное и недоуменное выражение.

— Я думаю, ему надо капитан Александер, — заявил Джимми. — Он говорит, он убил белый человек, белый женщина, белый мальчик, убил много-много белый человек. Он хочет умирать.

— Вероятно, сумасшедший, — сказал Диккенсен.

— Это что есть? — спросил Джимми.

Диккенсен, будто протыкая себе череп, приставил ко лбу палец и с силой покрутил им.

— Может быть, может быть, — сказал Джимми, поворачиваясь к Имберу, все еще требовавшему главного белого человека.

Подошел полисмен из королевской конной полиции (в Клондайке она обходилась без коней) и услышал, как Имбер повторил свою просьбу. Полисмен был здоровенный детина, широкий в плечах; с мощной грудью и стройными, крепкими ногами; как ни высок был Имбер, полисмен на полголовы был выше его. Глаза у него были холодные, серые, взгляд твердый, в осанке чувствовалась та особая уверенность в своей силе, которая идет от предков и освящена веками. Великолепная мужественность полисмена еще более выигрывала от его молодости — он был совсем еще мальчик, и румянец на его гладких щеках вспыхивал с такой же быстротой, как на щеках юной девушки.

Лишь на полисмена и смотрел теперь Имбер. Какой- то огонь сверкнул в глазах индейца, как только он заметил на подбородке юноши рубец от удара саблей. Своей высохшей рукой он прикоснулся к бедру полисмена и ласково провел по

его мускулистой ноге. Костяшками пальцев он постучал по его широкой груди, потом ощупал плотные мышцы, покрывавшие плечи юноши, словно кираса. Вокруг них уже толпились любопытные прохожие — золотоискатели, жители гор, пионеры девственных земель — все сыны длинноногой, широкоплечей расы. Имбер переводил взгляд с одного на другого, потом что-то громко сказал на языке племени Белая Рыба.

— Что он говорит? — спросил Диккенсен.

— Он сказал — все эти люди как один, как эта полисмен, — перевел Джимми.

Маленький Диккенсен был мал ростом, и потому он пожалел, что задал такой вопрос в присутствии мисс Трэвис. Полисмен посочувствовал ему и решил прийти на помощь.

— А пожалуй, у него что-то есть на уме. Я отведу его к капитану. Скажи ему, Джимми, чтобы он шел со мной.

Джимми снова стал давиться, а Имбер заворчал, но вид у него был весьма довольный.

— Спросите-ка его, Джимми, что он говорил и что думал, когда взял меня за руку?

Это сказала Эмили Трэвис, и Джимми перевел вопрос и получил ответ:

— Он говорил, вы не трусливый.

При этих словах Эмили Трэвис не могла скрыть своего удовольствия.

— Он говорил, вы не скукум, совсем не сильный, такой нежный, как маленький ребенок. Он может разорвать вас руками на маленькие куски. Он очень смеялся, очень удивлялся, как вы можете родить такой большой, такой сильный мужчина, как эта полисмен.

Эмили Трэвис нашла в себе мужество не опустить глаз, но щеки ее зарделись. Маленький Диккенсен вспыхнул, как маков цвет, и совершенно смутился. Юное лицо полисмена покраснело до корней волос.

— Эй, ты, шагай, — указал он резко, раздвигая плечом толпу.

Так Имбер попал в Казармы, где он добровольно и полностью признался во всем и откуда больше уже не вышел.

Имбер выглядел очень усталым. Он был стар и ни на что не надеялся, и это было написано на его лице. Он уныло сгорбился, глаза его потускнели; волосы у него должны были быть седыми, но солнце и непогода так выжгли и вытравили их, что они свисали бесцветными, безжизненными космами. К тому, что происходило вокруг, он не проявлял никакого интереса. Комната была бит-

ком набита золотоискателями и охотниками, и зловещие раскаты их низких голосов отдавались у Имбера в ушах, точно рокот моря под сводами береговых пещер.

Он сидел у окна, и его безразличный взгляд то и дело останавливался на расстилавшемся перед ним тоскливом пейзаже. Небо затянуло облаками, сыпалась сизая изморось. На Юконе началось половодье. Лед уже прошел, и река заливала город. По главной улице туда и сюда плыли в лодках никогда не знающие покоя люди. То одна, то другая лодка сворачивала с улицы на залитый водой плац перед Казармами; потом, подплыв ближе, скрывалась из вида, и Имбер слышал, как она с глухим стуком наталкивалась на бревенчатую стену, а люди через окно влезали в дом. Затем было слышно, как эти люди, хлюпая ногами по воде, проходили нижним этажом и поднимались по лестнице. Сняв шляпы, в мокрых морских сапогах, они входили в комнату и смешивались с ожидавшей суда толпой.

И пока все эти люди враждебно разглядывали его, довольные тем, что он понесет свое наказание, Имбер смотрел на них и думал об их обычаях и порядках, об их недремлющем Законе, который был, есть и будет до скончания веков — в хоро-

шие времена и в плохие, в наводнение и в голод, невзирая на беды, и ужас, и смерть. Так казалось Имберу.

Какой-то человек постучал по столу; разговоры прекратились, наступила тишина. Имбер взглянул на того, кто стучал по столу. Казалось, этот человек обладал властью, но Имбер почувствовал, что начальником над всеми и даже над тем, кто постучал по столу, был другой, широколобый человек, сидевший за столом чуть подальше. Из-за стола поднялся еще один человек, взял много тонких бумажных листов и стал их громко читать. Перед тем как начать новый лист, он откашливался, а закончив его, слюнявил пальцы. Имбер не понимал, что говорил этот человек, но все другие понимали, и видно было, что они сердятся. Иногда они очень сердились, а однажды кто-то выругал его, Имбера, коротким гневным словом, но человек за столом, постучав пальцем, приказал ослушнику замолчать.

Человек с бумагами читал бесконечно долго. Под его скучный, монотонный голос Имбер задремал, и когда чтение кончилось, он спал глубоким сном. Кто-то окликнул его на языке племени Белая Рыба, он проснулся и без всякого удивления увидел перед собой лицо сына своей сестры

— молодого индейца, который уже давно ушел из родных мест и жил среди белых людей.

— Ты, верно, не помнишь меня, — сказал тот вместо приветствия.

— Нет помню, — ответил Имбер. — Ты — Хаукан, ты давно ушел от нас. Твоя мать умерла.

— Она была старая женщина, — сказал Хаукан.

Имбер уже не слышал его ответа, но Хаукан потряс его за плечо и разбудил снова.

— Я скажу тебе, что читал этот человек, — он читал обо всех преступлениях, которые ты совершил и в которых, о глупец, ты признался капитану Александеру. Ты должен подумать и сказать, правда это все или неправда. Так тебе приказано.

Хаукан жил у миссионеров и научился у них читать и писать. Сейчас он держал в руках те самые тонкие листы бумаги, которые прочитал вслух человек за столом, — в них было записано все, что сказал Имбер с помощью Джимми на допросе у капитана Александера. Хаукан на-чал читать. Имбер послушал немного, на лице его вы-разилось изумление, и он резко прервал его:

— Это мои слова, Хаукан, но они идут с твоих губ, а твои уши не слышали их.

Хаукан самодовольно улыбнулся и пригладил

расчесанные на пробор волосы.

— Нет, о Имбер, они идут с бумаги. Мои уши не слыхали их. Слова идут с бумаги и через глаза попадают в мою голову, а потом мои губы передают их тебе. Вот откуда они идут.

— Вот откуда они идут. Значит, они на бумаге? — благоговейным шепотом спросил Имбер и пощупал бумагу, со страхом глядя на покрывавшие ее знаки. — Это великое колдовство, а ты, Хаукан, настоящий кудесник.

— Пустяки, пустяки, — небрежно сказал молодой человек, не скрывая своей гордости.

Он наугад взял один из листов бумаги и стал читать:

— «В тот год, еще до ледохода, появился старик с мальчиком, который хромал на одну ногу. Их я тоже убил, и старик сильно кричал...»

— Это правда, — прервал задыхающимся голосом Имбер. — Он долго, долго кричал и бился, никак не хотел умирать. Но откуда ты это знаешь, Хаукан? Тебе, наверно, сказал начальник белых людей? Никто не видел, как я убил, а рассказывал я только начальнику.

Хаукан с досадой покачал головой.

— Разве я не сказал тебе, о глупец, что все это написано на бумаге?

Имбер внимательно разглядывал испещренный чернильными значками лист.

— Охотник смотрит на снег и говорит: вот тут вчера пробежал заяц, вот здесь, в зарослях ивняка, он присел и прислушался, а потом испугался чего-то и побежал; с этого места он повернул назад, тут побежал быстро-быстро и делал большие скачки, а тут вот еще быстрее бежала рысь; здесь, где ее следы ушли глубоко в снег, рысь сделала большой-большой прыжок, тут она настигла зайца и перевернулась на спину; дальше идут следы одной рыси, а зайца уже нет. Как охотник глядит на следы на снегу и говорит, что тут было то, а тут это, так и ты глядишь на бумагу и говоришь, что здесь то, а там это и что все это сделал старый Имбер?

— Да, это так, — ответил Хаукан. — А теперь слушай хорошенько и попридержи свой бабий язык, пока тебе не прикажут говорить.

И Хаукан долго читал Имберу его показания, а тот молча сидел, уйдя в свои мысли. Когда Хаукан смолк, Имбер сказал ему:

— Все это мои слова, и верные слова, Хаукан, но я стал очень стар, и только теперь мне вспоминаются давно уже забытые дела, о которых надо знать начальнику. Слушай. Раз из-за Ледяных Гор

пришел человек, у него были хитрые железные капканы: он охотился за бобрами на реке Белая Яыба. Я убил его. Потом были еще три человека на реке Белая Рыба, которые искали золото. Их я тоже убил и бросил росомахам. И еще у Файв Фингерз я убил человека, — он плыл на плоту, и у него было припасено много мяса.

Когда Имбер умолкал на минуту, припоминая, Хаукан переводил его слова, а клерк записывал. Публика довольно равнодушно внимала этим бесхитростным рассказам, из которых каждый представлял собою маленькую трагедию, до тех пор, пока Имбер не рассказал о человеке с рыжими волосами и косым глазом, которого он сразил стрелой издалека.

— Черт побери, — произнес один из слушателей в передних рядах, горе и гнев звучали в его голосе. У него были рыжие волосы. — Черт побери, — повторил он, —да это же мой брат Билл!

И пока шел суд, в комнате время от времени раздавалось гневное «черт побери», — ни уговоры товарищей, ни замечания человека за столом не могли заставить рыжеволосого замолчать.

Голова Имбера опять склонилась на грудь, а глаза словно подернулись пеленой и перестали видеть окружающий мир. Он ушел в свои

размышления, как может размышлять лишь старость о беспредельной тщете порывов юности.

Хаукан растолкал его снова.

— Встань, о Имбер. Тебе приказано сказать, почему ты совершил такие преступления и убил этих людей, а потом пришел сюда в поисках Закона.

Имбер с трудом поднялся на ноги и, шатаясь от слабости, заговорил низким, чуть дрожащим голосом, но Хаукан остановил его.

— Этот старик совсем помешался, — обратился он по-английски к широколобому человеку. — Он, как ребенок, ведет глупые речи.

— Мы хотим выслушать его глупые речи, — заявил широколобый человек. — Мы хотим выслушать их до конца, слово за словом. Ясно тебе?

Хаукану было ясно. Имбер сверкнул глазами — он догадался, о чем говорил сын его сестры с начальником белых людей. И он начал свою исповедь — необычайную историю темнокожего патриота, которая заслуживала того, чтобы ее начертали на бронзовых скрижалях для будущих поколений. Толпа затихла, как завороженная, а широколобый судья, подперев голову рукой, слушал будто самую душу индейца, душу всей его расы. В тишине звучала лишь гортанная речь

Имбера, прерываемая резким голосом переводчика, да время от времени раздавался, подобно господнему колоколу, удивленный возглас рыжеволосого: «Черт побери!»

— Я — Имбер, из племени Белая Рыба, — переводил слова старика Хаукан; дикарь проснулся в нем, и налет цивилизации, привитой миссионерским воспитанием, сразу рассеялся, как только ухо его уловило в речи Имбера знакомый ритм и распев. — Мой отец был Отсбаок, могучий воин. Когда я был маленьким мальчиком, теплое солнце грело нашу землю и радость согревала сердца. Люди не гнались за тем, чего не знали, не слушали чужих голосов, обычаи отцов были их обычаями. Юноши с удовольствием глядели на девушек, а девушек тешили их взгляды. Женщины кормили грудью младенцев, и чресла их были отягчены обильным приплодом. Племя росло, и мужчины в те дни были мужчинами. Они были мужчинами в дни мира и изобилия, мужчинами оставались в дни войны и голода.

В те времена было больше рыбы в воде, чем ныне, и больше дичи в лесу. Наши собаки были волчьей породы, им было тепло под толстой шкурой, и они не страшились ни стужи, ни урагана. И мы сами были такими же, как собаки, — мы тоже

не страшились ни стужи, ни урагана. А когда люди племени пелли пришли на нашу землю, мы убивали их, и они убивали нас. Ибо мы были мужчинами, мы, люди племени Белая Рыба; наши отцы и отцы наших отцов сражались с племенем пелли и установили границы нашей земли.

Я сказал: бесстрашны были наши собаки, бесстрашны были и мы сами. Но однажды пришел к нам первый белый человек. Он полз по снегу на четвереньках — вот так. Кожа его была туго натянута, под кожей торчали кости. Мы никогда не видали такого человека, и мы удивлялись и гадали, из какого он племени и откуда пришел. Он был слаб, очень слаб, как маленький ребенок, и мы дали ему место у очага, подостлали ему теплые шкуры и накормили его, как кормят маленьких детей.

С ним пришла собака величиной с трех наших собак, она была тоже очень слаба. Шерсть у этой собаки была короткая и плохо грела, а хвост обморожен, так что конец у него отвалился. Мы накормили эту странную собаку, обогрели ее у очага и отогнали наших собак, иначе те разорвали бы ее.

От оленьего мяса и вяленой лососины к человеку и собаке понемногу вернулись силы, а

набравшись сил, они растолстели и осмелели. Человек стал говорить громким голосом и смеяться над стариками и юношами и дерзко смотрел на девушек. А его собака дралась с нашими собаками, и, хотя шерсть у нее была мягкая и короткая, однажды она загрызла трех наших собак.

Когда мы спрашивали этого человека, из какого он племени, он говорил: «У меня много братьев» — и смеялся нехорошим смехом. А когда он совсем окреп, он ушел от нас, и с ним ушла Нода, дочь вождя. Вскоре после этого у нас ощенилась одна сука. Никогда мы не видали таких щенков — они были большеголовые, с сильными челюстями, с короткой шерстью и совсем беспомощные. Мой отец Отсбаок был могучий воин; и я помню, что, когда он увидел этих беспомощных щенков, лицо его потемнело от гнева, он схватил камень — вот так, а потом так — и щенков не стало. А через два лета после этого вернулась Нода и принесла на руках маленького мальчика.

Так оно и началось. Потом пришел второй белый человек с короткошерстыми собаками, он ушел, а собак оставил. Но он увел шесть самых сильных наших собак, за которых дал Ку-Со-Ти, брату моей матери, удивительный пистолет — шесть раз подряд и очень быстро стрелял этот

пистолет. Ку-Со-Ти был горд таким пистолетом и смеялся над нашими луками и стрелами, он называл их женскими игрушками. С пистолетом в руке он пошел на медведя. Теперь все знают, что не годится идти на медведя с пистолетом, но откуда нам было знать это тогда? И откуда мог знать это Ку-Со-Ти? Он очень смело пошел на медведя и быстро выстрелил в него из пистолета шесть раз подряд, а медведь только зарычал и раздавил грудь Ку-Со-Ти, как будто это было яйцо, и, как будто мед из пчелиного гнезда, растекся на земле его мозг. Он был умелый охотник, а теперь некому стало убивать дичь для его скво и детей. И мы все горевали, и мы сказали так: «Что хорошо для белых людей, то для нас плохо». И это правда. Белых людей много, белые люди толстые, а нас из-за них стало мало, и мы отощали.

И пришел третий белый человек, у него было много-много всякой удивительной пищи и всякого добра. Он сторговал у нас в обмен на эти богатства двадцать самых сильных наших собак. Он увел за собой, сманив подарками и обещаниями, десять наших молодых охотников, и никто не мог сказать, куда они ушли. Говорят, они погибли в снегах Ледяных Гор, где не бывал ни один человек, или на Холмах Безмолвия — за

краем земли. Так это или не так, но племя Белой Рыбы никогда не видало больше этих собак и молодых охотников.

Еще и еще приходили белые люди, приносили подарки и уводили с собой наших юношей. Иногда юноши возвращались назад, и мы слушали их удивительные рассказы о тяготах и опасностях, которые им пришлось испытать в далеких землях, что лежат за землей племени пелли, а иногда юноши и не возвращались. И мы сказали тогда: «Если белые люди ничего не боятся, так это потому, что их много, а нас, людей Белой Рыбы, мало, и наши юноши не должны больше уходить от нас». Но юноши все-таки уходили, уходили и девушки, и гнев наш рос.

Правда, мы ели муку и соленую свинину и очень любили пить чай; но если у нас недоставало чаю, это*было очень плохо, — мы становились скупы на беседу и скоры на гнев. Так мы начали тосковать о вещах, которые белые люди привозили, чтобы торговать с нами. Торговать! Торговать! Мы только и думали, что о торговле! Однажды зимой мы отдали всю убитую дичь за часы, которые не шли, за тупые пилы и пистолеты без патронов. А потом наступил голод, у нас не было мяса, и четыре десятка людей умерло, не

дождавшись весны.

«Теперь мы ослабели, — говорили мы, — племя пелли нападет на нас и захватит нашу землю». Но беда пришла не только к нам, пришла она и к племени пелли — там тоже люди ослабели и не могли воевать с нами.

Мой отец Отсбаок, могучий воин, был тогда очень стар и очень мудр. И он сказал вождю такие слова: «Посмотри, наши собаки никуда не годятся. У них уже нет густой шерсти, они утратили свою силу, они не могут ходить в упряжке и околевают от мороза. Давай убьем их, оставим одних только сук волчьей породы, а их отвяжем и отпустим на ночь в лес, чтобы они там спарились с дикими волками. И у нас опять будут сильные собаки с теплой шкурой».

И вождь послушался этих слов, и скоро племя Белой Рыбы прославилось своими собаками, лучшими во всем краю. Но только собаками — не людьми. Лучшие наши юноши и девушки уходили от нас с белыми людьми неведомо куда по дальним тропам и рекам. Девушки возвращались, как возвратилась Нода, хворыми и состарившимися, или не возвращались вовсе. А если возвращались юноши, то они недолго сидели у наших очагов. В своих странствиях они

научились дурным речам и дерзким замашкам, пили дьявольское питье и день и ночь играли в карты; и по первому зову белого человека они вновь уходили в неведомые страны. Они забыли о долге уважения к старшим, никому не оказывали почета, они глумились над нашими старыми обычаями и смеялись в лицо и вождю и шаманам.

Я сказал, что мы, люди племени Белая Рыба, стали слабыми и немощными. Меха и теплые шкуры мы отдавали за табак, виски и одежду из тонкой бумажной ткани, в которой мы дрожали от холода. На нас напал кашель, болели мужчины и женщины, они кашляли и обливались потом всю ночь напролет, а охотники, выйдя в лес, харкали на снег кровью. То у одного, то у другого шла горлом кровь, и от этого люди быстро умирали. Детей женщины рождали редко, и дети рождались хилые и хворые. Белые люди принесли нам и другие непонятные болезни, о которых мы никогда не слыхали. Мне говорили, что эти болезни называются оспой и корью, — мы гибли от них, как гибнут в тихих протоках лососи, когда они осенью кончат метать икру и им больше незачем жить.

И вот самое удивительное: белые люди прино-

сили нам смерть, все их обычаи вели к смерти, смертельно было дыхание их ноздрей, а сами они не знали смерти. У них и виски, и табак, и собаки с короткой шерстью; у них множество болезней: и оспа, и корь, и кашель, и кровохарканье; у них белая кожа, и они боятся стужи и урагана; у них глупые пистолеты, стреляющие шесть раз подряд. И, несмотря на все свои болезни, они жиреют и процветают, они наложили свою тяжелую руку на весь мир и попирают все народы. А их женщины, нежные, как маленькие дети, такие хрупкие на вид и такие крепкие на самом деле, — матери больших и сильных мужчин. И выходит, что изнеженность, и болезни, и слабость обертываются силой, могуществом и властью. Белые люди либо боги, либо дьяволы — я не знаю. Да и что могу я знать, я, старый Имбер из племени Белая Рыба? Я знаю одно: их невозможно понять, этих белых людей, землепроходцев и воинов.

Я сказал, что дичи в лесах становилось меньше и меньше. Это правда, что ружье белого человека — очень хорошее ружье и бьет далеко, но какая польза в ружье, если нет дичи? Когда я был мальчиком, на земле племени Белая Рыба лось попадался на каждом холме, а сколько каждый год приходило оленей-карибу — этого

не сосчитать. Теперь же охотник может идти по тропе десять дней, и ни один лось не порадует его глаз, а оленей-карибу, которых раньше было не сосчитать, теперь не стало вовсе. Я говорю: хоть ружье и бьет далеко, но мало от него пользы, если нечего бить.

И я, Имбер, думал об этом, видя, как погибает племя Белая Рыба, погибает племя пелли и все остальные племена края, — они погибали, как погибла в лесах дичь. Я думал долго. Я беседовал с шаманами и мудрыми стариками. Чтобы людской шум не мешал мне думать, я уходил из селения подальше в лес, а чтобы тяжесть желудка не давила на меня и не притупляла мое зрение и слух, я перестал есть мясо. Долго я просиживал в лесу, забывая о сне, мои глаза ожидали знака, а мои чуткие уши старались уловить слово, которое должно было все разрешить. Один я выходил темной ночью на берег реки, где стонал ветер и плакала вода — там, среди деревьев, я хотел встретить тени старых мудрецов, умерших шаманов и просить у них совета.

И в конце концов мне явилось видение — отвратительные собаки с короткой шерстью, — и я понял, что мне делать. По мудрости Отсбаока, моего отца и могучего воина, наши собаки сохра-

нили в чистоте свою волчью породу, и у них были теплые шкуры и хватало силы для того, чтобы ходить в упряжке. И вот я вернулся в селение и сказал свое слово воинам. «Белые люди — это племя, очень большое племя, — сказал я. — В их земле не стало больше дичи, и они пришли на нашу землю, чтобы присвоить ее. Они сделали нас слабыми; и мы гибнем. Они очень жадные люди. И вот на нашей земле уже не стало дичи, и, если мы хотим жить, нам надо сделать с ними то же, что мы сделали с их собаками».

И я сказал еще много слов, я предлагал драться. А люди Белой Рыбы слушали меня, и один сказал одно, а другой другое, кое-кто говорил совсем глупые слова, и ни от одного воина не услышал я слов отваги и войны. Юноши были трусливы и слабы, как вода, но я заметил, что в глазах молчаливо сидящих стариков вспыхнул огонь. И вечером, когда селение уснуло, тайком я позвал стариков в лес и там снова беседовал с ними. И мы пришли к согласию, мы вспомнили дни нашей юности, дни изобилия, и радости, и солнца, когда наша земля была свободна. Мы назвали друг друга братьями, мы дали слово строго хранить тайну и великой клятвой поклялись очистить нашу землю от злого племени, которое пришло к нам. Теперь ясно,,

что это было глупо, но как мы могли это знать тогда — мы, старики племени Белая Рыба?

И чтобы подать пример другим и воодушевить их, я совершил первое убийство. Я залег на берегу Юкона и дождался там каноэ с белыми людьми. В нем сидели двое, и когда они увидели, что я встал и поднял руку, они изменили направление и стали грести к берегу. Но как только человек, сидевший на носу, поднял голову, чтобы узнать, чего мне нужно от него, моя стрела пронеслась по воздуху и впилась ему прямо в горло, и он узнал тогда, чего мне от него нужно. Другой человек, тот, что сидел на корме и правил, не успел приложить к плечу ружье, как я пронзил его своим копьем, два копья у меня еще оставалось.

— Это первые, — сказал я подошедшим ко мне старикам. — Немного погодя мы объединим всех стариков всех племен, а потом и тех юношей, у которых есть еще в руках сила, и дело пойдет быстрее.

Потом мы бросили убитых белых людей в реку. А их каноэ — это было очень хорошее каноэ — мы сожгли, сожгли и все вещи, какие были в каноэ. Но прежде мы осмотрели эти вещи, а они были в кожаных сумках, и нам пришлось их распарывать ножами. В сумках было очень много бумаг

— вроде тех, которые ты читал, о Хаукан, — и все они покрыты знаками; мы дивились на эти знаки и не могли понять их. Теперь я стал мудрее и понимаю их: это, как ты сказал мне, — слова человека...

Едва Хаукан перевел рассказ об убийстве двух человек в каноэ, как наполнявшая комнату толпа заволновалась и зажужжала.

— Это почта, которая пропала в девяносто первом году! — раздался чей-то голос. — Ее везли Питер Джеймс и Дилэни; их обоих в последний раз видел Мэттьюз у озера Ла-Барж.

Клерк усердно записывал, и к истории Севера прибавилась новая глава.

— Мне осталось сказать немного, — медленно произнес Имбер. — На бумаге есть все, что мы совершили. Мы, старики, — мы не понимали, что делали. Храня тайну, мы убивали и убивали; мы убивали хитро, ибо прожитые годы научили нас делать свое дело не спеша, но быстро. Однажды пришли к нам белые люди, они глядели на нас сердитыми глазами и говорили нам бранные слова, шести нашим юношам они заковали руки в железо и увели их с собой. Тогда мы поняли, что мы должны убивать еще хитрее и еще больше. И мы, старики, один за другим уходили вверх и

вниз по реке в неведомые края. Для такого дела требовалась смелость. Хотя мы были стары и уже ничего не боялись, все же страх перед далекими, чужими краями — великий страх для стариков.

Так мы убивали — не торопясь и с большой хитростью. Мы убивали и на Чилкуте и у Дельты, на горных перевалах и на морском берегу — везде, где только разбивал свою стоянку или прокладывал тропу белый человек. Да, белые люди умирали, но для нас это было бесполезно. Они все приходили и приходили из-за гор, их становилось все больше и больше, а нас, стариков, оставалось все меньше. Я помню, у Оленьего перевала разбил стоянку один белый человек. Этот человек был очень маленького роста, и три наших старика напали на него, когда он спал. На следующий день я наткнулся и на этого белого и на стариков. Из всех четверых еще дышал один лишь белый человек, и у него даже хватило силы, пока он не умер, изругать и проклясть меня.

Так вот и было: сегодня погибнет один старик, а завтра другой. Иногда, уже спустя много времени, к нам доходила весть о смерти кого-нибудь из наших, а иногда и не доходила. А старики других племен были слабы и трусливы и не хотели помогать нам. Итак, сегодня погибал один старик,

завтра другой, — и вот остался только я. Я, Имбер, из племени Белая Рыба. Мой отец был Отсбаок, могучий воин. Теперь уже нет племени Белая Рыба. Я последний старик этого племени. А юноши и молодые женщины ушли с нашей земли — кто к племени пелли, кто к племени Лососей, а больше всего — к белым людям. Я очень стар и очень устал, я напрасно боролся с Законом, и ты прав, Хаукан, — я пришел сюда в поисках Закона.

— Ты поистине глупец, о Имбер, — сказал Хаукан.

Но Имбер уже не слышал, погрузившись в свои видения. Широколобый судья тоже был погружен в видения: перед его взором величественно проходила вся его раса — закованная в сталь, одетая в броню, устанавливающая законы и определяющая судьбы других народов. Он видел зарю ее истории, встающую багровыми отсветами над темными лесами и простором угрюмых морей. Он видел, как эта заря разгорается кроваво-красным пламенем, переходя в торжественный, сияющий полдень, видел, как за склоном, тронутым тенью, уходят в ночь багряные, словно кровью пропитанные пески... И за всем этим ему мерещился Закон, могучий и беспощадный, непреложный и грозный, более сильный, чем те ничтожные

человеческие существа, которые действуют его именем или погибают под его тяжестью, — более сильный, чем он, судья, чье сердце просило о снисхождении.

Лжек Лондон
Путешествие на «Ослепитель-ном»

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
Глава I. БРАТ И СЕСТРА

Залитый солнцем песчаный берег Тихого океана, шумевшего прибоем гигантских валов, остался у них позади. Выбежав на дорогу, они вскочили на свои велосипеды, сразу дали быстрый ход и вскоре окунулись в зеленые аллеи загородного парка.

Их было трое — трое мальчишек-подростков в ярких свитерах. Они покатили по велосипедной дорожке с таким шиком, как обыкновенно любят ездить все мальчишки в ярких свитерах, рискуя ежеминутно переступить черту дозволенной скорости. Пожалуй, можно было сказать, что они уже и переступили эту черту. Так думал и конный полисмен, следивший за порядком в парке, но он не был полностью в этом уверен и потому ограничился лишь предостережением, брошенным вдогонку, когда они пролетели мимо. Предостережение в первую минуту подействовало, но, как всегда водится у мальчишек в ярких свитерах, было мгновенно забыто ими на ближайшем же повороте дорожки.

Стрелою вылетев из ворот Гольдонгэтского парка, они повернули в сторону Сан-Франциско и так отчаянно понеслись под гору, что встреченные пешеходы оборачивались и некоторое время с тревогой глядели им вслед. По городским улицам яркие свитеры неслись, сворачивая то влево, то вправо, чтобы избежать крутых подъемов, а когда крутой пригорок объехать было нельзя, они пускались наперегонки: кто первый взлетит наверх.

Того, который мчался впереди и был инициатором состязаний на подъемах, товарищи называли Джо. Они играли в игру «следуй за вожаком», и Джо, самый смелый и самый веселый мальчик из этой компании, был вожаком. Впрочем, когда они въехали в Западное предместье и помчались мимо огромных богатых особняков, смех Джо стал уже не таким громким, раздавался все реже, и он как-то невольно стал держаться позади товарищей. На перекрестке улиц Лагуна и Валлей товарищи Джо свернули вправо.

— До свиданья, Фред! — крикнул Джо, поворачивая руль налево. — Всего хорошего, Чарли!

— Вечером увидимся! — крикнули они в ответ.

— Нет, я не приду.

— Непременно приходи! — просили его това-

рищи.

— Нет, нет! Мне надо зубрить! До свиданья!

Когда он остался один, лицо его стало серьезно, а глаза затуманились какой-то неопределенной тревогой. Он принялся насвистывать самым решительным образом, но свист его постепенно замирал, стал еле слышным и оборвался окончательно, когда он подъехал к большому двухэтажному дому.

— Джо, это ты?

Джо остановился в нерешительности перед дверью, ведущей в библиотеку. Он знал, что Бесси там; она старательно готовит уроки, наверное, уже заканчивает их; она всегда управляется до обеда, а скоро уже обед.

Он же до своих уроков еще не дотрагивался! Все это раздосадовало его.

Подумать только, сестренка на два года моложе, а в одном классе с ним; мало того, учится куда лучше, чем он, и эта мысль была для него просто невыносима. Не то чтобы он был так уж туп. Он отлично знает, что он не туп. Но все как-то выходит — и неизвестно почему, — что мысли его вечно отвлекаются в сторону, и он почти никогда не успевает приготовить уроки.

— Джо, да войди же сюда, пожалуйста! — Едва

слышная жалобная нотка прозвучала на этот раз в голосе Бесси.

— Ну, чего тебе надо? — сказал он, порывисто отодвигая портьеру.

Он произнес эти слова довольно грубо, но сразу же пожалел об этом, взглянув на маленькую, тоненькую девочку, смотревшую на него печальными глазами из-за громадного письменного стола, заваленного книгами. Она сидела с карандашом и тетрадкой в руках, съежившись в огромном кресле, в котором совершенно терялась ее хрупкая фигурка.

— Ну что, сестричка? — спросил он более мягким тоном, подходя к ней.

Она схватила его руку, прижала к своей щеке и прильнула к нему.

— Что с тобой, милый Джо? — спросила она шепотом. — Скажи мне, пожалуйста.

Он ничего не ответил. Смешно, в самом деле, исповедоваться перед маленькой сестренкой, хотя бы у нее отметки и были лучше, чем у него. Ему казалось смешным и то, что эта маленькая девочка серьезно добивается узнать, что у него на душе.

«Однако какая нежная у нее щечка! — думал он в то время, когда она, ласкаясь, водила ще-

кой по его руке. — А все-таки как бы поскорее высвободить руку и покончить со всеми этими глупостями! Только бы не обидеть ее, — ведь он хорошо знает по опыту, как легко обижаются девочки».

Она разогнула его сжатые пальцы и поцеловала в ладонь. Точно розовый лепесток упал ему в руку. Этим поцелуем Бесси давала понять, что настаивает на своем вопросе.

— Со мной ровно ничего, — решительно объявил он. И затем, казалось бы, ни с того ни с сего, вдруг добавил: — Отец!.. — Его тревога отразилась теперь в ее глазах.

— Но ведь папа такой добрый, такой хороший, Джо, — пролепетала она. — Почему ты не слушаешься его? Ведь он не много от тебя требует, а если и требует, то ради твоей же собственной пользы. Ведь ты гораздо умнее других мальчиков. Если бы ты занялся уроками, хоть чуточку!

— Вот, вот! Пошли нравоучения! — вспыхнул он, выдергивая руку. — Теперь и ты еще будешь мне читать нотации? Скоро очередь дойдет до повара и конюха.

Он засунул руки в карманы и мысленно представил себе безотрадное, мрачное будущее, с бесконечными выговорами от бесчисленных

наставников.

— Ты за этим звала меня? — спросил он, поворачиваясь к выходу.

Она снова схватила его за руку.

— Нет, нет, не за этим; но мне показалось, что тебя тревожит что-то, и я подумала… я… — Голосок ее оборвался, и она, немного помолчав, добавила: — Я хотела сказать тебе, что мы собираемся на прогулку в Окленд, в горы, по ту сторону залива, в эту субботу.

— Кто это «мы»?

— Мартель Хэйс…

— А, эта мямля! — перебил он.

— Она вовсе не мямля! — с жаром возразила Бесси. — Она самая милая девочка из всех, кого я знаю.

— Не очень убедительный довод, принимая во внимание круг твоих знакомых девочек… Дальше. Кто там еще?

— Пирль Сэйтер и ее сестра Элис, и Джесси Хильбон, и Сэди Френч, и Эдна Кродерс. Вот и все девочки.

Джо презрительно фыркнул.

— А кто из мальчиков?

— Морис и Феликс Клемент, Дик Скофильд, Бэрт Лейтон и…

— Довольно с меня и этих. Все до одного — кисейные барышни!

— Я… я хотела пригласить тебя, Фреда и Чарли, — сказала она дрожащим голосом. — Я затем и позвала тебя, чтобы пригласить всех вас…

— А что вы там собираетесь делать?

— Погулять, нарвать полевых цветов — дикие маки уже в цвету, — потом закусить где-нибудь на красивой лужайке… и… и…

— И вернуться домой, — договорил он.

Бесси кивнула. Джо снова засунул руки в карманы и зашагал взад и вперед по комнате.

— Компания девчонок, — сказал он резко, — и их планы! Нет, это не по мне.

Она закусила дрожащие губы и, стараясь не расплакаться, спросила:

— А ты бы что хотел?

— Я бы лучше с Фредом и Чарли отправился куда-нибудь и сделал бы что-нибудь, ну, что-нибудь такое…

Он замолчал и посмотрел на нее. Бесси терпеливо ждала, что он скажет дальше. Но Джо ощущал полнейшее бессилие выразить словами обуревавшие его чувства и стремления; все его тревоги и неудовлетворенность вообще поднялись в нем и охватили все существо.

— О, ты не можешь меня понять! — сказал он горячо. — Ты не можешь меня понять! Ты — девочка. Ты любишь опрятность и аккуратность, похвальное поведение и круглые пятерки. Тебя не манят опасные приключения и все такое... Тебе не нравятся живые и смелые мальчики; они тебе кажутся грубыми, неотесанными; тебе нравятся прилизанные мямли в белых воротничках и чистеньких костюмчиках, которые специально остаются в классе на большой перемене, чтобы учительница погладила их по головке и похвалила за то, что они хорошо учатся. Милые мальчики, у которых никогда не бывает никаких неприятностей; они мечтают только о приятных прогулках с букетиками и закусочками в обществе таких же миленьких девочек. О, я прекрасно знаю таких паинек, они боятся собственной тени, и в них не больше храбрости, чем в любой овце. И действительно — это овцы! Ну, а я тебе не овечка, вот и все! И на пикник ваш я ехать не хочу и не поеду.

Темные глазки Бесси наполнились слезами, губы задрожали. Это еще больше раздражило его. Что за несносные создания — эти упрямые девчонки! Вечно дуются, вечно хнычут, вечно суются не в свое дело. У них положительно чего-то

не хватает.

— Слова нельзя сказать, чтобы ты не заревела, — сказал он примирительно. — Я же ничего не сказал обидного, сестричка. Право, ничего. Я…

Он растерянно остановился и взглянул на нее. Она всхлипывала и вздрагивала, готовая разрыдаться. Крупные слезы текли у нее по щекам.

— Ох, уж мне эти девчонки! — сказал он с сердцем и решительно вышел из комнаты.

Глава II. «РЕФОРМЫ ДРАКОНА»

Через несколько минут Джо, все еще раздраженный, вошел в столовую. Он упорно молчал за столом, хотя отец, мать и Бесси вели оживленный разговор. Свирепо уткнувшись в тарелку, Джо думал: «Вот мы какие! Разливаемся, плачем, а минуту спустя улыбаемся и хохочем. Наш брат этого не понимает. Будьте уверены, что если бы нас что-нибудь могло довести до слез, то мы несколько суток ходили бы как повешенные. Все девчонки притворщицы, такая уж у них повадка. Они не чувствуют и сотой доли того, о чем говорят, когда плачут. Разумеется, нет. Должно быть, они хнычут так часто потому, что им это нравится. Они любят терзать людей, особенно нас, ребят.

Потому-то они и вмешиваются в наши дела».

Предаваясь глубокомысленным размышлениям, он в то же время с аппетитом ел и отдал должную дань всем блюдам, ибо, согласитесь сами, трудно не почувствовать здорового аппетита, промчавшись на велосипеде от Клиф-Хауза до Западного предместья через весь загородный парк.

Отец по временам искоса поглядывал на сына. Джо этого не замечал, но Бесси хорошо это видела. Мистер Бронсон — человек средних лет — был хорошо скроен и крепко сшит, несколько, правда, тяжеловат, но не тучен. У него было энергичное угловатое лицо с квадратным подбородком и резкими чертами, но веселые глаза светились мягко, а складки у рта выражали не суровость, а скорее склонность к юмору.

Поразительное сходство между отцом и сыном бросалось в глаза. У обоих был широкий лоб и выдающийся подбородок, а глаза, несмотря на разницу лет, были сходны, как две пары горошин, вынутых из одного и того же стручка.

— Как твои дела, Джо? — спросил мистер Бронсон своего сына в конце обеда.

Со стола уже убирали, и все собирались встать.

— Не знаю, — беспечно ответил Джо и потом прибавил: — У нас завтра экзамены, тогда будет

видно.

— Куда теперь направляешься? — спросила мать, когда он повернулся к дверям.

Это была высокая, стройная женщина с карими глазами, как у Бесси, и с такими же, как у нее, мягкими движениями.

— Иду в свою комнату, — ответил Джо. — Заниматься, — добавил он.

Мать нежно провела рукой по его волосам, наклонилась к нему и поцеловала. Мистер Бронсон улыбнулся поощрительно ему вслед, и Джо взбежал по лестнице на верхний этаж с твердым решением погрузиться с головой в книжку и сдать завтрашний экзамен во что бы то ни стало.

Войдя в свою комнату, он запер дверь, уселся за свой удобный письменный стол и окинул взглядом разложенные на столе учебники.

Он решил начать с истории, так как экзамены должны были начаться с нее. Он раскрыл книгу на загнутой странице и начал читать:

— «Вскоре после введения реформ Дракона между Афинами и Мегарой разгорелась война из-за острова Саламина, на который оба города заявляли свои права».

Ну, это запомнить нетрудно. Но что из себя представляли эти реформы Дракона? Надо их

повторить.

Он снова погрузился в книгу, пробегая глазами пройденные страницы, но тут взор его, оторвавшись от книги, упал на принадлежности для игры в бейсбол, лежавшие на стуле, — на металлическую сетчатую маску и перчатку.

«Мы бы ни за что не проиграли игру на прошлой неделе, если бы Фред не промахнулся. Он какой-то разиня! Правда, ему ничего не стоит поймать сотню трудных мячей один за другим, но в решительную минуту он всегда растеряется из-за сущего пустяка. Надо было выпустить его в поле, а у первой базы поставить Джонса. Только Джонс чересчур горячился. Он поймает любой мяч, как бы это ни было трудно, но никогда не угадаешь, что он будет делать с мячом дальше».

Джо, вздрогнув, вдруг очнулся от раздумий.

— Нечего сказать, так выучишь историю! — Он снова углубился в книгу:

— «Вскоре после введения реформ Дракона…»

Три раза прочитав эту фразу, он вспомнил наконец, что не прочитал еще ничего о самих реформах Дракона.

В дверь постучали. Он яростно стал перелистывать страницы, не обращая внимания на стук.

Стук назойливо повторился, и из-за двери до-

несся тоненький голосок Бесси:

— Джо, дорогой!

— Чего тебе? — спросил он и, не дожидаясь ответа, прибавил: — Нельзя. Я занят!

— Я пришла узнать, не могу ли я помочь тебе, — сказала она. — Я уже все сделала и думала…

— Ну, разумеется, ты уже все сделала! — проворчал он. — Ты всегда все успеваешь сделать!

Джо схватился обеими руками за голову, чтобы не отрывать глаз от книги. Но эта маска для бейсбола не давала ему покоя. Чем больше он старался вникнуть в историю, тем назойливее лезла в голову мысль о лежащей на стуле маске и о всех тех играх, в которых она принимала участие.

— Нет, так дело не пойдет!

Он перевернул открытый учебник, положил его на стол вверх корешком и подошел к стулу. Схватив маску и перчатку, он швырнул их под кровать с такой силой, что маска отскочила от стены.

— «Вскоре после введения реформ Дракона между Афинами и Мегарой разгорелась война…»

«Маска отлетела от стены, — подумал Джо. — Интересно, далеко ли она отлетела. Может, ее видно? Нет, он не будет смотреть. Какое ему до этого дело? Ведь это же не история. А все-таки…»

Джо взглянул поверх книжки и увидел маску, которая вынунулась наполовину из-под кровати. Так этого оставить нельзя. Пока эта маска торчит перед глазами, он не может заниматься.

Он встал, вытащил ее из-под кровати, торжественно пронес через комнату, подошел к стенному шкафу, сунул ее туда и запер дверцы. Теперь с ней покончено. Можно будет позаниматься.

Он снова уселся за книжку.

— «Вскоре после введения реформ Дракона между Афинами и Мегарой разгорелась война из-за острова Саламина, на который оба города заявляли свои права…»

Все бы это хорошо, если бы только знать, в чем состояли эти реформы Дракона. Слабый отблеск заката проник в комнату. Откуда этот отблеск? Джо выглянул в окно. Заходящее солнце окрашивало длинными лучами низкие, легкие облака, игравшие теплыми пурпурными тонами. Красноватый отблеск падал на землю.

Джо перевел глаза с облаков вниз на бухту. Ветер с моря затих с наступлением вечера, и неподалеку от форта Пойнт какая-то запоздавшая рыбачья лодка тихо входила в порт, пользуясь последними вздохами ветерка. Немного дальше

буксирное судно, выпуская клубы дыма, выводило в море трехмачтовую шхуну. Взор Джо обратился к видневшемуся вдали берегу округа Марин. Линия берега уже стушевалась в надвигавшейся темноте, и длинные тени ползли вверх по холмам на гору Тамальпэс, четко вырисовывавшуюся на фоне заката.

О, если бы он, Джо Бронсон, плыл на этой рыбачьей лодке с богатым морским уловом! Или на этой шхуне, направляющейся прямо в сторону заходящего солнца в неведомые страны! Вот это жизнь, вот это — дело! Быть чем-нибудь на этом свете. А он торчит в душной комнате и забивает себе голову рассказами о людях, исчезнувших с лица земли за тысячи лет до его рождения.

Джо рванулся прочь от окна, будто вырываясь из каких-то цепких рук, удерживавших его там, решительно понес свой стул вместе с книгой в самый дальний угол комнаты и уселся спиной к окну.

Но спустя минуту — так ему показалось, он очутился снова у окна, предаваясь сладким мечтам. Он и сам не знал, как это вышло. Последнее, что он помнил, был подзаголовок «Реформы Дракона и его конституция», который он нашел наконец где-то там, на правой странице учебника, и за-

тем, очевидно, как лунатик, который бродит во сне и ничего об этом не помнит, он подошел к окну. Неизвестно, сколько времени он простоял тут. Рыбачья лодка, которую он сначала заметил у форта Пойнт, теперь уже доползла до верфи Мейгса. Отсюда можно заключить, что времени с тех пор прошло не менее часа. Солнце давно уже закатилось; торжественные сумерки упали на океан, и над гребнем Тамальпэса заблистали первые бледные звездочки.

Джо вздохнул, отвернулся и побрел было в свой угол, как вдруг услыхал долгий, пронзительный свист. Это Фред! Джо снова вздохнул. Свист повторился. Затем к нему присоединился новый свист. Это Чарли!

Они поджидают его за углом, счастливые ребята!

Ну, нет, сегодня им его не дождаться! Свистки запели дуэтом. Джо тяжело вздохнул и заерзал на своем стуле. Нет, они не дождутся его сегодня, упорно твердил он себе, приподнимаясь, однако же, с места. Ему никак нельзя уйти, пока он не узнает наконец, что такое реформы Дракона. Но та самая сила, которая тянула его к окну, теперь заставила его подойти к столу, положить учебник истории поверх других учебников, отпереть

дверь и выйти в переднюю. Джо сам не помнил, как он все это сделал. Он попытался вернуться, но тут ему пришло в голову, что он может выйти на самое короткое время, а потом ничто не помешает ему прийти назад и закончить свое дело. Всего на несколько минут, — давал он мысленное обещание, спускаясь с лестницы. Джо шел все быстрее и быстрее и под конец уже перепрыгивал через две ступеньки на третью. Кое-как надев впопыхах кепку, он стремглав вылетел через боковую дверь. И, прежде чем он добежал до угла, все реформы Дракона провалились куда-то в далекое прошлое вместе с самим Драконом, а предстоящие завтра экзамены отодвинулись так же далеко в туманное будущее.

Глава III. КРАСНЫЙ, БУРЫЙ И РЫЖИЙ

— Что вы затеваете? — спросил Джо у Фреда и Чарли.

— Будем пускать воздушных змеев, — ответил Чарли. — Идем скорее, нам надоело тебя дожидаться.

Все трое пошли по улице в ту сторону, где холм круто обрывался вниз и откуда видно было как на ладони всю Юнион-стрит, расстилавшуюся

далеко под ними. Этот квартал назывался у них Преисподней, и такое название как нельзя более подходило к нему; самих же себя они прозвали Горцами.

Спуск Горцев в Преисподнюю считался у них предприятием весьма смелым.

Пускание змеев по всем правилам науки составляло любимое занятие трех удалых Горцев. Им ничего не стоило запустить в облака сразу шесть или восемь змеев на бечевке длиною с целую милю. Однако им часто приходилось пополнять свой запас змеев, потому что, когда, случалось, оборвется бечевка, или свихнется и заковыляет какой-нибудь змей, волоча за собою все остальные, или внезапно затихнет ветер, то змеи их падали в Преисподнюю, а оттуда уж их возвратить было нельзя нипочем: там, внизу, жили юные пираты и разбойники, принадлежащие к такому племени, которое отличалось весьма своеобразными понятиями о праве собственности.

Каждый раз после аварии какого-нибудь змея, запущенного Горцами, на следующий день можно было видеть, как этот же самый змей взвивался на бечевке, ведущей прямо к жилищу кого-либо из обитателей Преисподней. И обитате-

ли Преисподней, которые были людьми бедными и были лишены возможности овладеть всеми правилами науки запуска змея, стали обнаруживать большие успехи в искусстве управления ими с тех пор, как этим делом начали заниматься их соседи Горцы.

Забава Горцев доставляла также немалую выгоду одному старому инвалиду-матросу, который умел чрезвычайно искусно мастерить отличные змеи благодаря своим познаниям по части воздушных течений и парусов. Он жил в ветхой лачуге возле самого берега, откуда мог следить своими тусклыми, старческими глазами за приливом и отливом, за прибывающими и удаляющимися судами, припоминая минувшее время, когда он сам плавал на корабле.

Добраться до его лачуги можно было, только спустившись в Преисподнюю, куда и направились наши три молодца. Они часто ходили туда днем за змеями, но сегодня в первый раз отважились идти вечером, считая такое путешествие

— и не без основания — весьма рискованным.

Преисподняя представляла собою не что иное, как тесный квартал городской бедноты, в котором ютилось самое пестрое, разноплеменное население, жившее в нищете, бог весть чем и ко-

пошившееся в непроходимой грязи. Было еще не поздно, когда мальчики пробирались через этот квартал к своему поставщику-инвалиду. С ними не приключилось никаких неприятностей, и они шли, не обращая внимания на вызывающие позы и отпускаемые по их адресу насмешливые словечки попадавшихся навстречу уличных мальчишек.

Отставной моряк делал такие змеи, которые не только превосходно летали, но были вдобавок складными, и их можно было весьма удобно носить с собой.

Мальчики накупили целую кучу складных змеев. Каждый из них завернул свою покупку особо. Затем свертки были крепко стянуты бечевками. Взяв свои покупки под мышку, они тронулись в обратный путь.

— Берегитесь здешних ребят, — посоветовал им старый матрос на прощание, — смотрите в оба; их у нас тут немало под вечер шатается по улицам.

— Мы не боимся! — отвечал Чарли. — Коли надо, постоим за себя.

Привыкшие к просторным и тихим улицам верхней части города, путники наши были оглушены и смущены гвалтом этого тесного и смрадного человеческого муравейника. Им

казалось, что они пробираются через какие-то чудовищные густые заросли. Они шли все рядом, плечо к плечу, в лабиринте узких улочек, как бы защищая друг друга и сторонясь этой чуждой им, дикой среды. То и дело натыкались они на детей, которые шныряли повсюду и попадались им под ноги. Простоволосые, несчастные женщины перекликались между собой, сидя на своих крылечках, или сновали взад и вперед, неся в руках свои скудные покупки. Воздух был насыщен тяжелым запахом рыбы и гнилых овощей. Дюжие мужчины, сутулясь, неуклюжей походкой проходили мимо, и среди всей этой суматохи и толкотни осторожно пробирались тщедушные оборванные девчонки с ведрами пенящегося пива в руках. Слышался громкий разноязычный говор, резкие выкрики, брань. Квартал этот гудел, как огромный человеческий улей, каковым он и был в действительности.

— Фу! Скорее бы выбраться отсюда, — сказал Фред.

Он произнес это шепотом; Джо и Чарли только кивнули в ответ. Им было не до разговоров, и они прибавили шагу, насколько позволяла толпа, испытывая состояние, знакомое путешественникам, заблудившимся в опасных и диких местах.

И на самом деле все кругом дышало враждебностью. По-видимому, обитателей квартала раздражало присутствие этих чистеньких мальчиков из аристократической части города. Их то и дело задирали маленькие ребятишки, скалившие зубы с напускной храбростью и готовые обратиться в бегство при малейшем намеке на потасовку. А другие мальчуганы шли за ними шумной свитой, становясь смелее по мере того, как число их увеличилось.

— Не связывайтесь, пожалуйста, с ними, — уговаривал товарищей Джо. — Не обращайте на них никакого внимания. Мы скоро выберемся отсюда.

— Как бы не так! — глухо промолвил Фред. — Погляди-ка сюда, мы попались.

На перекрестке, к которому они подходили, стояли четыре или пять подростков примерно одного с ними возраста. На эту группу падал свет от уличного фонаря. У одного из мальчуганов из-под шапки выбивались кирпично-красные кудри. Очевидно, это был Симпсон Красный, атаман прославленной шайки, неоднократно уже врывавшейся к ним на Гору и наводившей панику на юных джентльменов, которые моментально рассыпались по домам, в то время как их

перепуганные папаши и мамаши бросались к телефонам звонить в полицию.

При виде этой компании ребятишки, гнавшиеся за Горцами по пятам, задали стрекача — обстоятельство малоуспокоительное само по себе, — но друзья наши продолжали храбро идти вперед.

Рыжий мальчуган отделился от группы и загородил им дорогу. Они попробовали обойти его, но он вытянул руку, задержав их.

— Чего вы тут шляетесь? — сердито сказал он. — Какого черта вам здесь надо?

— Мы идем домой, — спокойно ответил Фред.

Красный метнул глазами на Джо.

— А что у тебя под мышкой? — спросил он.

Джо крепился и молчал.

— Идем! — дернул он за руку Фреда, стараясь прошмыгнуть мимо Красного.

Но тот неожиданно ударил Джо кулаком по лицу и выдернул сверток со змеями.

Джо с криком ярости набросился на обидчика, забыв всякую осторожность.

Предводитель шайки никак не ожидал, что его атакуют на его собственной территории. Он отступил, крепко держа сверток и не зная, на что решиться — вступить в драку или улизнуть

вместе с добычей. Желание завладеть свертком победило, и он кинулся со всех ног бежать по узкому переулку.

Джо сознавал, что находится в самом сердце вражеского стана, но чувство собственности и оскорбленного достоинства толкнуло его броситься в погоню по горячему следу.

Фред и Чарли побежали за Джо, который значительно опередил их, а за ними бросились остальные, давая на ходу призывные свистки, очевидно, служившие сигналом для сбора всей шайки. Скоро со всех сторон стали доноситься ответные свистки, и уже десятка два темных фигурок настигали Фреда и Чарли, которые бежали что было сил, стараясь не упустить из виду своего быстроногого товарища.

Красный Симпсон подался в сторону пустыря, рассчитывая на лазейки, сбивающие с толку того, кто незнаком с местностью: на спасительные дыры в заборах и стенах, навесы, низкие крыши, проходные дворы и темные закоулки.

Но Джо ухитрился догнать Красного вовремя. Они сцепились и, рухнув на землю, катались по грязи, не выпуская друг друга из цепких рук. Когда Фред, Чарли и мчавшаяся за ними банда добежали до этого места, противники уже стояли

на ногах, сердито глядя друг на друга.

— Чего тебе надо? — говорил Красный угрожающим голосом. — Чего тебе надо, хотел бы я знать, а?

— Отдай моих змеев! — ответил Джо.

Но Симпсон сам был большим любителем змеев. И сообщение, что в свертке змеи, его весьма обрадовало.

— В таком случае давай драться. Кто победит — тому и змеи, — объявил он.

— Почему это драться? — горячился Джо. — Они мои, и все тут. — Его негодование показывало только, что он не имел ни малейшего понятия о тех воззрениях на право собственности, которые усвоило местное население. Банда ребят, волчьей стаей столпившаяся позади своего вожака, завыла и замяукала хором.

— Почему это драться? — повторил Джо.

— Потому что я так хочу! — ответил Симпсон. — А что я хочу, то закон. Понял?

Но Джо не понял. Он отказывался понимать, каким образом воля Красного Симпсона могла быть законом в городе Сан-Франциско или в какой-либо части этого города. Чувство чести и порядочности было в нем сильно задето, и его охватил боевой задор.

— Ты мне сейчас же отдашь моих змеев, слышишь! — грозно скомандовал он, протягивая руку за свертком.

Но Симпсон спрятал сверток за спину.

— Да ты знаешь ли, кто я? — спросил он. — Я — Симпсон Красный, и я никому не позволю говорить со мной таким тоном!

— Да отвяжись ты от него, — шепнул Чарли на ухо своему другу. — Чего горячиться из-за нескольких змеев. Плюнь на это дело. Уйдем отсюда.

— Это мои змеи, — медленно сказал Джо, упрямо наклонив голову. — Это мои змеи, и я их получу обратно.

— Но нельзя же тебе драться со всей этой сворой, — вмешался Фред, — даже если ты его одолеешь, они ведь все накинутся на тебя.

Толпа сорванцов, наблюдавшая за этими переговорами, которые велись шепотом, истолковала их по-своему, в том смысле, что Джо испугался, и снова взвыла на все голоса.

— Струсил, струсил! — завизжали и завопили эти юные головорезы. — Как же, он воспитанный! Боится изорвать костюмчик! Что скажет тогда мамаша?

— Заткнитесь! — скомандовал предводитель, и

шайка перестала орать.

— Ты мне отдашь змеев? — решительно спросил Джо, выступая вперед.

— А ты согласен драться? — ответил Симпсон вопросом на вопрос.

— Я согласен, — ответил Джо.

— Бой! Бой! — снова взвыла шайка.

— А я буду судьей, — пробасил кто-то сзади, — извольте драться честно, по правилам.

Все оглянулись на человека, который незаметно подошел к толпе ребят и выступил со своим заявлением.

При свете электрического фонаря, горевшего на углу, они разглядели здорового, широкоплечего парня в рабочей одежде. Обут он был в грубые башмаки. Узкий черный ремень стягивал широкие брюки; на голове была черная, засаленная фуражка. Лицо его было запачкано угольной пылью, а из раскрытого ворота синей рубашки, сшитой из простой материи, выступала крепкая шея и мускулистая грудь.

— А кто ты такой? — огрызнулся Симпсон, — недовольный посторонним вмешательством.

— Не твое дело! — отрезал незнакомец. — А впрочем, если вы непременно хотите это знать, я кочегар с китайского парохода, и повторяю,

буду вашим судьей и буду следить за тем, чтобы вы дрались честно. Это дело мое. А ваше дело — драться, и притом честно. Ну, начинайте и не вздумайте затягивать это дело до утра.

Появление кочегара ободрило трех друзей, но Симпсону и его компании пришлось не по сердцу.

После непродолжительного совещания с членами своей шайки Симпсон отдал сверток одному из своих товарищей и выступил вперед.

— Подходи! — крикнул он, сбрасывая куртку.

Джо передал Фреду свою и подскочил к Красному. Оба подняли кулаки и стали друг против друга. Симпсон молниеносно нанес сильный удар и ловким движением уклонился от ответного удара. Джо сразу же оценил искусство противника, но это обстоятельство только еще больше раззадорило его и пробудило в нем решимость во что бы то ни стало добиться победы.

Благодаря присутствию кочегара компания ограничивалась одними только подбадривающими возгласами по адресу Красного и насмешками по адресу Джо. Противники кружили, нападали, отскакивали и поочередно наносили друг другу жестокие удары. Они держались совершенно поразному. Джо стоял прямо, высоко подняв голову

и твердо упираясь в землю широко расставленными ногами. Симпсон же весь сжался так, что голова его почти вся ушла в плечи. Он вертелся волчком, скакал, прыгал и пускал в ход множество неожиданных трюков, изумлявших Джо.

Схватка продолжалась с четверть часа. Оба запыхались, но Джо устал гораздо меньше, чем Симпсон. На Симпсоне отзывались, очевидно, вредное влияние курения табака, плохое питание и нездоровые условия жизни — он дышал тяжело и прерывисто. Хотя вначале благодаря своему искусству он и сумел порядочно отдубасить Джо, но под конец устал, и удары его стали заметно слабее. С отчаяния он стал прибегать к таким приемам, которые, хотя и не назовешь бесчестными, в то же время нельзя назвать и достойными. Он наносил быстрый удар и тут же валился в ноги противнику. Джо не мог бить лежачего и должен был отходить. А Красный вскакивал на ноги и опять проделывал то же самое.

Наконец Джо, которому это порядком надоело, сообразил, что надо делать. Он рассчитал момент и нанес Красному ответный удар по голове как раз тогда, когда тот начал падать. Симпсон свалился, но на этот раз уже в ту сторону, куда его послал кулак Джо. Он перевернулся и попробовал

встать, но ему удалось подняться лишь наполовину; с трудом переводя дыхание, он застонал.

Товарищи стали его подбадривать, и он еще раза два попытался встать, но почувствовал, что не может продолжать борьбу. Он был оглушен и измучен.

— Сдаюсь, — прохрипел он. — Побит.

Банда присмирела, подавленная поражением своего вожака.

Джо выступил вперед.

— Потрудитесь отдать мне этих змеев, — сказал он, обращаясь к мальчугану, державшему сверток.

— Как бы не так! — ввязался другой представитель шайки, загораживая от Джо его собственность. У него были тоже ярко-рыжие волосы.

— Сначала тебе придется подраться еще и со мной.

— Не вижу никакой надобности! — резко сказал Джо. — Победа за мной, значит, дело кончено.

— Ну, нет, не кончено. Я — Симпсон Бурый, родной брат Красного. Понимаешь?

Джо обогащался все новыми сведениями по части обычаев обитателей Преисподней.

— Ладно, становись! — произнес он решительно, выведенный из терпения вопиющей

несправедливостью этих странных обычаев.

Бурый, бывший на год моложе старшего брата, оказался нечестным противником, и благодушному кочегару, стоявшему на страже «правил», понадобилось не раз вмешаться, пока наконец и второй представитель рода Симпсонов не растянулся на поле битвы и не признал себя побежденным.

На этот раз Джо протянул руку за змеями в полной уверенности, что он их получит. Не тут-то было! Между ним и его собственностью вырос новый и опять-таки рыжий противник. Не трудно было догадаться, что и этот мальчуган принадлежит к прославленному роду Симпсонов. Он был как бы последним изданием старших братьев, отличаясь от них несколько более жидким телосложением. Лицо у него было покрыто веснушками, очень заметными при электрическом свете.

— Ты не получишь своих змеев, пока не стукнешься со мной, — пропищал он тоненьким голоском. — Я — Симпсон Рыжий, и ты не можешь считать себя победителем нашей семьи, пока не одолеешь еще и меня.

Банда пришла в дикий восторг, и Рыжий стащил с себя рваный пиджачишко, готовясь к бою.

— Готовься! — крикнул он, обращаясь к Джо.

У Джо болели все суставы, из носу капала кровь, раскроенная губа вздулась, рубашка была растерзана. Вдобавок он очень устал и тяжело переводил дыхание.

— Сколько вас еще, Симпсонов? — спросил он. — Мне пора домой, а если вас в семье еще много народу, то с вами не покончишь и за ночь.

— Я самый последний и самый лучший, — ответил Рыжий. — Побьешь меня — получишь змеев. Будь уверен.

Хотя младшему представителю рода недоставало силы и сноровки старших братьев, но зато у него были ухватки дикой кошки, от которых Джо приходилось солоно. Порой ему казалось, что он не выдержит, не устоит перед порывами крошечного, но буйного вихря; все же он не поддавался и крепился изо всех сил. Его вдохновляла мысль, что он бьется за принцип, подобно предкам своим, которые тоже боролись за идею. Ему казалось, что на карту поставлена честь Горы и что он, как представитель Горы, должен грудью постоять за эту честь.

И он продолжал держаться и противостоял молниеносным налетам шустрого, но неопытного мальчишки до тех пор, пока этот последний

Симпсон не выдохся окончательно от своих собственных чрезмерных усилий и, опрокинутый на землю, не признал, что семья Симпсонов впервые потерпела поражение.

Глава IV. ПОБЕДИТЕЛЬ ПОПАДАЕТСЯ САМ

Но трем нашим Горцам вскоре пришлось убедиться, что все в этом квартале было очень ненадежно.

Джо не успел еще заполучить своих змеев обратно, как вдруг его изумленному взору представилась неожиданная картина: все его враги, в том числе и кочегар, ударились в паническое бегство.

Так же как детвора исчезла мгновенно при появлении шайки Симпсона, так, в свою очередь, и шайка Симпсона исчезла при появлении какой-то новой, наводящей ужас, хищной банды. Остолбеневший от удивления Джо услышал отчаянные крики беглецов: «Рыбаки! Рыбаки!» Он и сам не прочь был удрать, но так устал от последней схватки, что не мог двинуться с места. Фреда и Чарли сильно подмывало улизнуть от новой напасти, испугавшей даже доблестного

кочегара и таких сорванцов, какие были в шайке Симпсона, но они не могли покинуть своего товарища. На пустыре показались темные фигуры; одни из них обступили трех наших друзей, другие бросились в погоню за беглецами. Раздирающие вопли красноречиво свидетельствовали о том, что некоторые из беглецов были настигнуты, и когда преследователи вернулись, они волокли за собой огрызавшегося Симпсона Красного, злополучного атамана шайки, который все еще крепко держал в руках сверток со змеями.

Джо с любопытством глядел на новых мародеров. Это были молодые люди в возрасте от семнадцати до двадцати трех лет, с типично хулиганской внешностью. На некоторых лицах была написана такая злоба, что при виде их мороз подирал по коже.

Двое из этих молодцов крепко схватили за руки Джо. Фред и Чарли тоже очутились в плену.

— Эй, вы! — рявкнул властным голосом вожак этой банды. — Мы тут разберем вас по-своему. В чем дело? Ты, красная рожа, отвечай! Что вы тут делали?

— Я ничего не делал! — плаксиво простонал Симпсон.

— На то похоже! — Вожак повернул голову

Красного на свет фонаря. — Кто это тебя так размалевал? — спросил он.

Красный кивнул на Джо, которого тотчас вытащили вперед.

— Из-за чего вы тут сцепились?

— Из-за змеев, моих собственных змеев, — смело сказал Джо. — Он хотел их у меня отнять. Они и сейчас у него под мышкой.

— Ага, он их сцапал, да? Эй, ты, краснорожий, у нас здесь не полагается воровать! Понял! У тебя никогда не было ничего своего. Выкладывай сверток. Живо!

Вожак еще крепче сжал тщетно вырывавшегося Красного Симпсона, и тот, заревев от бессильной ярости, выпустил наконец добычу.

— Что у тебя там под мышкой? — спросил вдруг вожак, внезапно обращаясь к Фреду и выдергивая у него сверток. — Еще змеи, а? Целая фабрика змеев, — заметил он в заключение, отбирая последний сверток у Чарли. Затем, приосанившись, протянул тоном беспристрастного судьи, собирающегося вынести приговор: — Теперь нам предстоит решить, какому наказанию надлежит подвергнуть этих трех молодцов.

— За что же это? — вспыхнул Джо. — За то, что нас грабили?

— Нет, не за это, совсем не за это, — вежливо возразил вожак банды, — а за то, что вы тут таскаетесь с вашими змеями, смущаете народ и учиняете скандалы. Это непозволительное бесчинство, это вещь непростительная, да, да, непростительная.

Воспользовавшись тем обстоятельством, что всеобщее внимание было направлено в сторону Горцев, Красный вдруг вывернулся из своего пиджака, оставив его в руках стражей, вильнул в сторону и стрелой бросился бежать через пустырь к той самой лазейке, через которую он собирался улизнуть, когда его ловил Джо. Два-три человека махнули за ним через забор и пустились во всю мочь догонять его.

На задворках яростно залаяли и завыли собаки, каблуки застучали по ящикам и навесам. Потом послышался шумный всплеск, как будто опрокинулась целая бочка с водой. Несколько минут спустя Рыбаки, побежавшие за Красным, вернулись мокрые и пристыженные.

Они попали под холодный душ, который им устроил этот коварный мальчишка. Теперь он вызывающе кричал откуда-то сверху, вероятно, с крыши.

Это курьезное происшествие, видимо, смути-

ло предводителя банды Рыбаков, и как раз в ту минуту, когда он опять собирался обратиться к Джо, Чарли и Фреду, с улицы донесся особый, протяжный свист, очевидно, сигнал к отступлению, поданный стоявшим на страже парнем. Тотчас вслед за этим сигналом примчался и сам парень.

— Быки! — крикнул он, еле переводя дух.

Джо оглянулся и увидел двух приближавшихся полицейских в касках, с карманными электрическими фонарями на груди, которые горели, как яркие звезды.

— Надо удирать, — шепнул он своим товарищам.

Но шайка, уже обратившаяся в бегство, загораживала им дорогу впереди, а сзади приближались полицейские. Поэтому им пришлось броситься в сторону лазейки Красного Симпсона. Полисмены побежали за ними, крича, чтобы они остановились.

Молодые ноги отличаются резвостью, особенно когда их подгоняет страх, и потому наши друзья успели перескочить через забор и бросились сломи голову бежать через лабиринт задних дворов. Полисмены же оказались людьми осмотрительными. Очевидно, у них был уже опыт по части лазеек подобного рода, и они благоразумно

прекратили погоню, как только наткнулись на первый забор.

Здесь уже не было никаких фонарей, и мальчики, спотыкаясь, двигались в темноте ощупью; тут уж они струсили не на шутку.

На каком-то дворе, сплошь заваленном пустыми корзинами и ящиками, они беспомощно бродили с четверть часа. Куда бы они не сунулись, они везде натыкались на бесконечные груды ящиков. Чтобы выбраться из этой западни, пришлось вскарабкаться на крышу сарая; но оттуда они опять попали на какой-то двор, сплошь заваленный пустыми клетками для кур.

Потом они наткнулись на тот самый бочонок, из которого Симпсон Красный окатил водой гнавшихся за ним Рыбаков. Приспособление отличалось простым, но удивительно остроумным устройством. В том месте, где в заборе была выломлена доска, был прилажен длинный рычаг, с таким расчетом, что его непременно зацепишь, когда пролезаешь в щель. Этот рычаг был пружиной ловушки. Стоило его задеть, как он сдвигал с места тяжелый булыжник, который удерживал в равновесии приспособленный наверху бочонок с водой; бочонок опрокидывался и выливал все свое содержимое на голову того, кто

задевал рычаг.

Ребята внимательно осмотрели это хитроумное устройство и по достоинству его оценили. К счастью для них, бочонок был уже опрокинут, иначе им тоже пришлось бы принять холодный душ, поскольку шедший впереди Джо задел за рычаг.

— Наверное, это Симпсонов двор, — тихо сказал Джо.

— Конечно, его, — решил Фред, — или кого-нибудь из его шайки.

Чарли предостерегающе схватил и того и другого за рукав.

— Тише! Что там такое? — прошептал он.

Ребята присели на корточки и притаились. Слышно было, как кто-то ходит по двору. Потом послышался шум льющийся воды. Было похоже, что кто-то наливает воду в ведро из водопроводного крана. И опять застучали шаги, на этот раз они приближались прямо к ним. Наши друзья, затаив дыхание, пригнулись еще ниже. Темная фигура прошла совсем близко от них и влезла на ящик, который стоял у забора. Это был сам Симпсон Красный, приводивший в готовность свое приспособление. Ребята ясно слышали, как он устанавливал рычаг и булыжник, как он поставил опять бочонок на место и вылил в него два

ведра воды. Когда он спрыгнул с ящика и пошел опять за водой, Джо подскочил к нему и, подставив ему ножку, повалил его и прижал к земле.

— Не вздумай орать! — проговорил он. — Слушай, что я тебе скажу.

— А, это ты? — сказал Красный с облегчением. Миролюбивое настроение, прозвучавшее в его голосе, ободрило ребят. — Что вы тут делаете?

— Мы ищем выход, — сказал Джо, — и хотим отсюда выбраться как можно скорее. Помни, нас тут трое, а ты один.

— Ладно, ладно, — перебил Красный. — Я вас сейчас проведу прямохонько. На вас я вовсе не злюсь. Идите за мной, и я вас мигом выведу.

Несколько минут спустя все четверо, преодолев высокий забор, очутились в темном, глухом переулке.

— Идите по переулку прямо, дойдете до улицы, — сказал Симпсон, — а там повернете направо, пройдете два квартала, свернете опять направо, потом пройдете еще три квартала и там попадете на Юнион-стрит. Трала-ла!

Ребята распрощались со своим проводником и пошли по переулку. Вдогонку они получили совет:

— В другой раз, когда пойдете сюда, змеев

оставьте дома.

Глава V. ОПЯТЬ ДОМА

Следуя указаниям Красного Симпсона, они вышли на Юнион-стрит и без дальнейших злоключений добрались до своей Горы. Оттуда они еще раз взглянули вниз: до них доносился непрерывный гул густо населенного места.

— Я никогда больше туда не пойду, никогда в жизни, — сурово вымолвил Фред. — Интересно, что случилось дальше с кочегаром?

— Хорошо еще, что мы унесли оттуда целыми свои шкуры, — философски-успокоительно заметил Джо.

— Ну, частичку мы оставили там, особенно ты, — сказал Чарли со смехом.

— Что верно, то верно, — согласился Джо. — Но дома меня ждут еще большие неприятности. Покойной ночи, друзья!

Как он и предполагал, боковая дверь была заперта. Он обошел кругом и через окно, как вор, влез в столовую.

Проходя на цыпочках через большой зал по направлению к лестнице, он вдруг столкнулся с отцом, который выходил из библиотеки. Оба

были необычайно удивлены этой встречей и остановились как вкопанные.

Джо чуть не поддался истерическому приступу смеха, вообразив ту картину, которую видит в данную минуту его отец.

Но вид у него в действительности был хуже, чем рисовало его воображение. Мистер Бронсон видел перед собой мальчугана, всего покрытого грязью, с багрово-синими подтеками на лице, с распухшим носом, с огромной шишкой на лбу, с рассеченной и вздувшейся губой, с исцарапанными щеками и в разорванной по пояс рубашке.

— Что это значит, сударь? — с трудом выговорил наконец мистер Бронсон.

Джо молчал. Ну как уложить в короткий ответ всю длинную вереницу ночных приключений? Их пришлось бы перечислить все до одного по порядку, чтобы объяснить то жалкое состояние, в котором он теперь находился.

— У тебя что, отнялся язык? — с оттенком нетерпения спросил мистер Бронсон.

— Я… я…

— Ну, ну, продолжай, — ободрял его отец,

— Я… я был внизу… в Преисподней… — с усилием вымолвил Джо.

— Признаюсь, этому легко можно поверить.

Да, да, в самом деле, я вижу, что твое показание заслуживает полного доверия. — Мистер Бронсон прибегал к строгим интонациям, но ему стоило величайшего труда удержаться на этот раз от улыбки. — Полагаю, что ты разумеешь под этим названием не местопребывание грешников, а скорее какую-либо определенную часть города Сан-Франциско. Не так ли?

Джо показал рукой вниз в направлении Юнион-стрит и сказал:

— Это там, внизу.

— А кто придумал такое название?

— Я, — ответил Джо таким тоном, как будто признавался в тяжелом преступлении.

— Очень метко, и доказывает, что у тебя есть воображение. Трудно, в самом деле, придумать что-нибудь лучшее. Ты, наверное, хорошо успеваешь в школе по английскому?

Эта похвала не доставила Джо особенного удовольствия, так как английский язык был единственным предметом, за который ему не приходилось краснеть.

И в то время, как он стоял олицетворением безмолвного несчастья, мистер Бронсон смотрел на него сквозь призму собственного детства с такой любовью и пониманием, каких Джо и не

подозревал.

— Однако сейчас тебе не до разговоров. Тебе нужна ванна, примочки, пластырь и холодные компрессы, — сказал мистер Бронсон. — Ступай к себе в спальню. Тебе нужно выспаться хорошенько. Имей в виду, что завтра у тебя все тело будет болеть и ныть.

Часы пробили час ночи, когда Джо натянул на себя одеяло. И в ту же минуту — такое у него было ощущение — его разбудило негромкое, но настойчивое постукивание, которое, казалось, длилось бесконечно. Выведенный из терпения надоедливым стуком, он открыл наконец глаза и приподнялся.

В окно врывался потоками свет солнечного утра. Джо потянулся, собираясь зевнуть, но боль словно пронзила все его мускулы, и его руки упали вниз гораздо скорее, чем они поднимались кверху. Он вскрикнул от боли, посмотрел на руки с тупым удивлением и тут же вспомнил происшествия вчерашней ночи.

Постукивание возобновилось.

— Слышу, слышу! Который час?

— Восемь, — донесся из-за двери голосок Бесси. — Восемь часов, одевайся скорее, если не хочешь опоздать в школу.

— Бог мой! — Он поспешно спрыгнул с постели и, застонав от острой боли во всем теле, медленно и осторожно опустился на стул. — Почему же ты не разбудила меня раньше? — спросил он.

— Папа велел дать тебе поспать.

Из груди Джо вырвался легкий стон. Потом взор его упал на учебник истории. Тут он уже застонал совсем по-иному.

— Хорошо! — крикнул он. — Иди! Я сейчас спущусь. — И действительно, через минуту он уже спускался вниз по лестнице, но с такими предосторожностями и гримасами, которые сильно удивили бы Бесси, если бы она за ним в это время понаблюдала. Встреча их произошла в столовой. При виде Джо у Бесси вырвался крик ужаса, и она подбежала к нему.

— Что с тобой, Джо? — спросила она дрожащим голосом. — Что случилось?

— Ничего, — процедил Джо сквозь зубы, посыпая сахаром кашу.

— Как ничего?.. — начала было Бесси.

— Отстань, пожалуйста, — оборвал он ее. — Я опоздал, и мне надо поскорее позавтракать.

Миссис Бронсон в эту минуту выразительно посмотрела на дочь, и Бесси сразу послушно вышла из комнаты, крайне озадаченная всем этим.

Джо обрадовался, что мать выслала сестру и что сама она воздерживается от каких-либо замечаний по поводу его растерзанного вида. Отец, наверное, рассказал ей вчера обо всем.

Джо знал по опыту, что мать не станет беспокоить его расспросами, и был ей очень благодарен за это.

Ему было неловко. Он спешил скорее покончить со своим завтраком, чувствуя, что мать как-то тревожно ухаживает за ним.

Она всегда относилась к нему с нежной лаской, но на этот раз он отметил, что она поцеловала его с каким-то особенным чувством, когда он выходил из дому, размахивая книгами на ремне. Он заметил, уже заворачивая за угол, что она все еще смотрит ему вслед из окна.

Впрочем, чувства и мысли Джо больше всего были заняты сейчас своим собственным больным телом. Каждый шаг ему обходился дорого. Он страдал и от ран и от яркого блеска отражаемых асфальтом солнечных лучей, резавших подбитые глаза, но больше всего от боли в суставах и мускулах. Он никогда не представлял себе, что мускулы могут одеревенеть до такой степени. Решительно каждый мускул отказывался работать. Пальцы распухли так, что двигать ими было почти невоз-

можно; руки — от кисти до локтя — ужасно ныли. Вероятно, оттого, думал Джо про себя, что вчера пришлось, загораживая лицо и тело от ударов, подставлять под них локти. Интересно бы знать, как себя чувствует теперь Симпсон Красный, — и мысль о том, что они испытывают одинаковые страдания, вызвала у Джо чувство товарищеской симпатии к этому юному головорезу.

На школьном дворе все взоры обратились в сторону Джо. Ребята толпились вокруг него с благоговейным страхом, и даже одноклассники и друзья выказывали ему подчеркнутое уважение, какого он раньше никогда не замечал.

Глава VI. ЭКЗАМЕНЫ

Ясно было, что Фред и Чарли уже успели распустить слух о ночных похождениях в Преисподней, о сражении с представителями рода Симпсонов и о столкновении с бандой Рыбаков. Джо почувствовал немалое облегчение, когда в девять часов раздался звонок, возвещавший начало занятий. Он вошел в класс, сопровождаемый восхищенными взорами школьников. Джо заметил, что девочки тоже смотрели на него, но с такой робостью и страхом, как будто видели перед собой

самого Даниила, выходящего из Львиного рва, или Давида после его единоборства с Голиафом.

Положение героя очень стесняло Джо, и он был бы рад, если бы ребята хотя бы для разнообразия отводили от него глаза.

Не успел он это подумать, как взгляды всех школьников уже обратились в другую сторону.

Ученикам роздали бумагу, и учительница мисс Уилсон, строгая молодая особа, очевидно, представлявшая себе земной шар чем-то вроде огромного холодильника и потому вечно кутавшаяся в шерстяной платок и накидку, из которых не вылезала даже в самые жаркие дни, поднялась со стула и написала на классной доске очень явственно, так, чтобы было видно всем, римскую цифру I.

Все глаза, а их насчитывалось в классе ровно пятьдесят пар, жадно вперились в ее руку, терпеливо выжидая, что за этим последует, и в классе воцарилась мертвая тишина.

Внизу под римской цифрой I она написала: (а) В чем состояли реформы Дракона? (б) Почему один из афинских ораторов выразился о них, что они были написаны «не чернилами, а кровью»?

Сорок девять голов наклонились над партами, и сорок девять перьев заскрипели по бумаге.

Один только Джо продолжал держать голову прямо; глаза его смотрели на доску столь безучастно, что мисс Уилсон, оглянувшись через плечо после того, как рука ее медленно вывела следующую цифру II, остановилась на минуту и пристально посмотрела на него. Затем написала: (а) Каким образом война между Афинами и Мегарой из-за острова Саламина вызвала законы Солона? (б) Чем отличались законы Солона от законов Дракона?

Она снова оглянулась на Джо. Он смотрел все так же тупо.

— В чем дело, Джо? — спросила она. — У вас нет бумаги?

— Нет, благодарю вас, есть, — ответил он и угрюмо принялся чинить карандаш. Он очинил его превосходно. Потом отточил острее. Затем с неистощимым терпением начал отделывать самый кончик карандаша и добился того, что сделал его еще тоньше. Звук перочинного ножика, скоблившего графит, отвлекал пишущих и заставлял их озираться с недоумением. Джо этого не замечал. Возня с карандашом, казалось, поглощала все его внимание, а мысли были одинаково далеко и от карандаша и от древней истории.

— Без сомнения, всем вам известно, что экзаме-

национные работы пишутся чернилами. — Мисс Уилсон обращалась ко всему классу, но смотрела на одного Джо, который усердно продолжал свое занятие.

Отточенный на диво кончик карандаша, к сожалению, сломался, и Джо снова принялся скрести графит.

— Я боюсь, Джо, что вы мешаете товарищам! — воскликнула мисс Уилсон, выведенная наконец из терпения.

Джо оставил карандаш, сложил перочинный ножик и снова пустым взглядом уставился на доску. Что же он может сказать о Драконе, Солоне и всех этих грехах? Ясно, что он провалился, вот и все. Незачем ему и читать остальные вопросы. Не стоит писать, даже если бы он и мог что-нибудь ответить на некоторые из них. Все равно провалился.

Кроме того, и писать-то больно. И смотреть на доску больно, и закрыть глаза больно, и даже думать больно.

Сорок девять перьев продолжали неумолчно скрипеть, торопясь поспеть за мисс Уилсон, которая испещряла доску все новыми и новыми вопросами, а он, Джо, слушал этот скрип и следил за выраставшими на доске строками, чувствуя

себя глубоко несчастным. Голова у него болела, шишки на голове ныли, и он потерял всякую власть над своими мыслями.

Воспоминания о вчерашней ночи назойливо преследовали его, точно чудовищный кошмар. Он старался смотреть на мисс Уилсон, которая теперь уселась за свой стол, а видел перед собой наглую физиономию Красного Симпсона.

Все его усилия сосредоточить свое внимание на учительнице ни к чему не привели. Джо чувствовал себя больным, разбитым и ни на что не способным. Провал неминуем. И когда наконец после долгого томительного ожидания листы были собраны, его лист оказался совершенно чистым: на нем была написана только его фамилия, название предмета и дата.

После короткого перерыва были розданы новые листы бумаги, и начался экзамен по арифметике. Джо даже не потрудился прочесть задачу.

В нормальном состоянии он, пожалуй, и справился бы как-нибудь с этой задачей, но сегодня, когда все его тело отчаянно ныло и так болела голова, об этом нечего было и думать. Он закрыл лицо руками и стал ждать звонка. Подняв голову, чтобы взглянуть на часы, он встретился глазами с Бесси, которая с тревогой смотрела на него со

своей парты. Это только прибавило ко всему еще чувство досады. И что она взялась надоедать ему? Чего ей беспокоиться? Она-то наверняка выдержит. Ну и пусть оставит его в покое! Он сердито взглянул на сестру и снова закрыл лицо руками. Так он и сидел, пока не раздался полуденный звонок. Джо опять подал чистый лист бумаги и вышел из класса вместе с товарищами.

Фред, Чарли и Джо любили завтракать на воздухе в особом укромном уголке школьного двора. Но сегодня это излюбленное ими местечко почему-то понравилось очень многим, и там столпилась целая куча завтракающих школьников. Джо поглядывал на них кисло. Его настроение слишком не соответствовало положению увенчанного героя. У него раскалывалась голова, и к тому же не давала покоя мысль о провале на экзаменах, которые должны были продолжаться и после полудня.

Он был сердит на Фреда и Чарли. Они трещали, как сороки, о ночных своих похождениях (признавая, впрочем, главные заслуги в победе над противником за Джо) и как-то чересчур покровительственно обращались со своими восхищенными товарищами. Попытки заставить его самого разговориться не увенчались успехом.

От вопросов товарищей он отделывался нечленораздельным мычанием или лаконическим ответом: «да» или «нет».

Больше всего на свете ему хотелось сейчас остаться одному, уйти куда-нибудь подальше, повалиться на траву и позабыть обо всех своих невзгодах. Он встал, чтобы отойти от товарищей, но за ним увязались человек пять или шесть. У него было сильное желание обернуться и крикнуть, чтобы они оставили его в покое. Но гордость не позволяла ему этого сделать. Чувство отчаяния и отвращения ко всему охватило Джо. И вдруг смелая мысль пронеслась у него в голове. Зачем ему сидеть тут, когда он знает, что экзамена выдержать не сможет? Зачем подвергать себя лишней пытке?

Лучезарная мысль увлекла его, и он принял решение.

Он пошел прямо к школьным воротам и вышел на улицу. Удивленные товарищи остановились, а он продолжал идти как ни в чем не бывало и скоро, повернув за угол, скрылся из виду. Он шел куда глаза глядят, пока не очутился у остановки трамвая. Из трамвая в это время выходил народ. Джо забрался в вагон и сел в самом углу. Он не заметил, как доехали до конечного пункта, и

очнулся только тогда, когда трамвай стал заворачивать по кругу назад. Джо соскочил с площадки и увидел перед собой большое здание пароходной пристани. Значит, он проехал, ничего не слыша и ничего не замечая, через самый центр делового квартала Сан-Франциско. Джо взглянул на башенные часы пристани. Они показывали десять минут второго — еще можно попасть на местный пароход, отчаливавший в четверть второго. Это обстоятельство подтолкнуло его взять билет.

Не имея ни малейшего представления о том, куда идет пароход, Джо взял билет, заплатив за него десять центов, взошел на палубу и через несколько минут уже пересекал бухту, направляясь в красивый городок Окленд.

Часом позже, все так же ничего не замечая и ничего не соображая, он сошел с парохода и очутился на оклендской пристани. С того места, где он сидел, прислонившись воспаленной головой к какому-то столбу, ему видны были палубы нескольких небольших парусных судов.

Гуляющая публика останавливалась посмотреть на них, и скоро они заинтересовали и Джо.

Их было четыре, и Джо со своего места мог разобрать их названия. На корме одного из судов, стоявшего как раз перед ним, красовалась выве-

денная большими зелеными буквами надпись: «Привидение». Три других назывались «Каприз», «Королева устриц» и «Летучий Голландец».

В средней части каждого судна возвышалась каюта с печной трубой на крыше; из трубы «Привидения» поднимался дымок. Дверцы каюты «Привидения» стояли настежь открытые, а часть крыши была отодвинута, так что Джо мог разглядеть внутренность каюты и хлопотавшего около печки парня лет девятнадцати-двадцати, в высоких морских сапогах, синих штанах и темной шерстяной фуфайке. Засученные по локоть рукава открывали крепкие руки с бронзовым загаром; такого же цвета было и лицо парня.

Оттуда доносился и щекотал обоняние приятный запах кофе, смешанный с запахом вареных бобов. Парень поставил на плиту сковородку и, выждав, пока сковорода нагрелась, растопил на ней ломтики сала, а затем кинул туда толстый кусок бифштекса.

Во время работы он разговаривал со своим компаньоном, который черпал ведром морскую воду и поливал ею кучи наваленных на палубе устриц.

Закрыв устриц мокрыми мешками, товарищ вошел в каюту и сел за обед вместе с поваром.

Это зрелище задевало струны романтической натуры Джо. Вот это жизнь, эти люди действительно живут, свободно дышат на широком водном просторе, под открытым небом; солнце, ливень, ветер, бушующее море — их родная стихия.

А он, бедняга, томится вместе с полсотней таких же, как он, несчастных, ежедневно просиживая часами в душной комнате, набивая голову всяким хламом! Эти люди живут счастливо и беззаботно, дышат полной грудью, гребут на шлюпках и ходят под парусами, варят сами себе пищу и, наверное, переживают такие приключения, о которых им, школьникам, и во сне не снится.

Джо вздохнул. Он чувствовал себя созданным именно для такой вольной жизни, а не для школьной науки. Учение совершенно не по нем.

Экзамены он провалил, тогда как Бесси, без сомнения, возвращается теперь домой торжествующая, выдержав экзамены, все до одного, самым блистательным образом.

О, какое невыносимое создалось положение! Отец ошибся, определив его в школу. Хорошо учиться тем, у кого есть охота к учению. Ясно, что у него нет ни малейшей склонности к наукам. Разве нельзя достичь чего-нибудь в жизни помимо

школы? Сколько известно случаев, когда, начав со службы простым матросом, люди становились хозяевами целых флотилий, вершили большие дела и заносили свои имена на страницы истории! Почему бы и ему не стать в ряд с ними?

Джо закрыл глаза и почувствовал себя глубоко несчастным; когда же он раскрыл их вновь, то сообразил, что он спал и что солнце уже близко к закату.

Он вернулся домой, когда уже стемнело, и прошел прямо к себе в комнату, не встретив никого из домашних. Растянувшись между прохладными простынями, он облегченно вздохнул, утешая себя тем, что как-никак, а от истории он все же отделался.

Но затем мелькнула неприятная мысль, что теперь потянется длинное полугодие и что через шесть месяцев ему предстоит опять сдавать экзамен по истории.

Глава VII. ОТЕЦ И СЫН

На следующее утро, после завтрака, Джо позвали к отцу в библиотеку, и он вошел туда, испытывая почти радостное чувство оттого, что томительное ожидание тяжелого разговора кон-

чилось. Мистер Бронсон стоял у окна и наблюдал за стайкой шумно чирикавших воробьев, слетавшихся в одно место. Джо тоже подошел к окну и увидел барахтавшегося на траве птенчика, который делал невероятные усилия встать на слабые ножки и каждый раз смешно опрокидывался навзничь. Он вывалился из гнезда, свитого в розовых кустах под окном, и оба родителя птенчика были ужасно встревожены этим приключением.

— Вот какие бывают прыткие птенчики, — заметил мистер Бронсон с грустной улыбкой, обращаясь к сыну. — Смотри, как бы с тобой не случилось чего-нибудь подобного. Я боюсь, друг мой, что дела твои принимают плохой оборот. Я ожидал этого кризиса, наблюдая целый год за тем, как ты халатно относишься к учению и постоянно стараешься отлынивать от занятий в погоне за разными приключениями.

Он сделал паузу, как бы выжидая ответа, но Джо молчал.

— Я тебе предоставил полную свободу. Я верю в свободу, верю в то, что только такое воспитание развивает лучшие душевные качества. А потому я не донимал тебя нравоучениями и ни в чем не стеснял тебя. Я требовал от тебя немного, и ты мог распоряжаться своим временем, как угодно.

Словом, я положился вполне на твою добросовестность и самостоятельность, твердо веря, что здравый смысл удержит тебя от дурного поведения и заставит по крайней мере сносно учиться. Но я обманулся в тебе. Как же теперь нам быть? Неужели ты хочешь, чтобы я наложил на тебя какую-нибудь узду? Чтобы я стал контролировать твое поведение? Чтобы я заставлял тебя заниматься насильно?

Вот тут у меня лежит письмо, — продолжал мистер Бронсон снова, после небольшой паузы. Он взял со стола конверт и вынул оттуда листок бумаги.

Джо узнал твердый, упрямый почерк учительницы мисс Уилсон, и у него екнуло сердце.

Отец начал читать:

«В течение последнего полугодия сын ваш отличался крайней небрежностью и безразличным отношением к занятиям и потому на экзамене обнаружил полную неподготовленность. Он не мог ответить ни слова на заданные вопросы ни по истории, ни по арифметике и сдал совершенно чистые листы. Экзамены по этим предметам проходили утром. На остальные, после полудня, он даже не явился».

Мистер Бронсон остановился и поглядел на

сына.

— Где ты был после полудня? — спросил он.

— Я был в Окленде, — лаконично ответил Джо, не упомянув даже в свое оправдание о том, что у него страшно болела голова и ломило все тело.

— То есть, что называется, прогулял, не так ли?

— Так, сэр, — ответил Джо.

— Накануне вечером, вместо того чтобы готовиться к экзаменам, ты ушел из дому и затеял драку с какими-то хулиганами. Я не упрекнул тебя в то время ни словом. И собирался совсем выкинуть из головы это происшествие, если бы ты как следует выдержал экзамены.

Джо чувствовал, что ему решительно нечего на это сказать, но он чувствовал также и то, что отец неспособен его понять и что разговор этот ни к чему не приведет.

— Все дело портят твоя беспечность и неумение сосредоточиться. Тебе, я вижу, недостает строгой дисциплины, которую я до сих пор не решился тебе навязывать. Но с некоторых пор я стал подумывать о том, не лучше ли отдать тебя в какое-нибудь военное учебное заведение с жесткой дисциплиной и неукоснительным расписанием на все двадцать четыре часа в сутки.

— Ах, отец, ты не понимаешь, ты не можешь по-

нять! — вырвалось наконец у Джо. — Я стараюсь учиться, я стараюсь изо всех сил, но почему-то — сам не знаю почему — у меня ничего не выходит. Может быть, я неудачник, или я совершенно неспособен к учению. Меня тянет на волю. Я хочу видеть жизнь… Военная школа не по мне, я бы лучше хотел уйти в море, где я мог бы что-нибудь делать и чем-нибудь быть.

Мистер Бронсон ласково посмотрел на сына и проговорил:

— Ты можешь надеяться что-нибудь сделать и чем-нибудь стать только посредством учения.

Джо безнадежно махнул рукой.

— Я сочувствую тебе и понимаю тебя, но ты еще мальчик и смахиваешь на того воробушка под окном, которого мы наблюдали. Если ты неспособен заставить себя заниматься уроками дома, ты не сможешь выполнить и ту задачу, которую тебе поставит жизнь, когда ты выйдешь на самостоятельную дорогу. Но когда ты окончишь школу, я согласен отпустить тебя на некоторое время на все четыре стороны, до поступления в университет.

— Отпусти меня сейчас, — порывисто сказал Джо.

— Нет, погоди, теперь еще рано. Ты еще не опе-

рился как следует. Твои взгляды и идеалы еще недостаточно сформировались и окрепли.

— Но я не смогу учиться, — сказал Джо с угрожающей ноткой в голосе. — Я знаю, что я не смогу учиться.

Мистер Бронсон взглянул на часы и собрался уходить.

— Я еще подумаю о тебе. Не знаю, что лучше: сразу ли отдать тебя в военное училище или попробовать еще раз оставить тебя в школе.

В дверях мистер Бронсон на минутку остановился и оглянулся на сына.

— Я не сержусь на тебя, Джо, помни это, — проговорил он. — Я только сильно огорчен и расстроен. Подумай как следует о том, что я тебе сейчас говорил, а вечером скажи мне, что ты намереваешься делать.

Отец ушел. Джо услыхал, как за ним захлопнулась парадная дверь.

Он сел в кресло и закрыл глаза. Военное училище! Он боялся подобных учреждений, как зверь западни! Нет, он ни за что не пойдет туда! Что же касается школы… Тут он глубоко вздохнул. Ему дали подумать до вечера. Но откладывать до вечера незачем. Он уже и теперь знает, что ему надо делать. Джо вскочил с кресла, надвинул на

лоб фуражку и с решительным видом вышел из дому. Он докажет отцу, что сумеет выполнить свою жизненную задачу, думал он, уходя. Да, он ему докажет! Пока он дошел до школы, план его уже созрел окончательно. Оставалось только привести его в исполнение. Была большая перемена. Он прошел в класс и собрал свои книги. Никто не обратил на него внимания.

Проходя обратно через двор, он неожиданно наткнулся на Фреда и Чарли.

— В чем дело? — остановил его Чарли.

— Ни в чем, — буркнул Джо.

— Что ты делаешь?

— Несу книги домой, как видишь. А ты что думал?

— Ну, ну! — вмешался Фред. — Что за секреты, рассказывай, что с тобой приключилось? Почему ты не хочешь сказать?

— Вы это скоро узнаете! — произнес многозначительно Джо, более многозначительно, чем хотел.

Он повернулся спиной к изумленным друзьям и поспешил уйти, боясь сказать лишнее. Придя домой, он прошел прямо в свою комнату и начал приводить все в порядок. Снял с себя и аккуратно повесил в шкаф новый костюм, переоделся в

другой, похуже. Вынул из комода смену белья, достал две рубашки, полдюжины носков и носовых платков, расческу и зубную щетку.

Завернув все это в бумагу и туго затянув бечевкой, он полюбовался на сверток. Потом подошел к письменному столу и вынул из потайного ящика свои сбережения за несколько месяцев, образовавшие сумму в несколько долларов. Он копил эти деньги к празднику 4 июля, но теперь опустил их в карман без малейшего сожаления и колебания.

После этого он уселся за стол, подвинул к себе блокнот и написал следующую записку:

«Не ищите меня и, пожалуйста, не беспокойтесь обо мне. Я неудачник и отправляюсь в морское плавание. За себя постоять сумею. Когда-нибудь я вернусь, и тогда все вы будете мною гордиться. Прощайте, папа, мама и Бесси.

Джо».

Он положил записку на видное место, сунул сверток под мышку, окинул комнату прощальным взглядом и вышел.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ
Глава VIII. ФРИСКО-КИД И НОВИЧОК

Фриско-Кид чувствовал себя отвратительно; он испытывал сильное раздражение и недовольство. Мальчуганы, удившие рыбу с пристани и поглядывавшие на него с нескрываемой завистью, никоим образом не могли бы заподозрить в нем подобное настроение. Правда, они были одеты лучше и чище, и у них были матери и отцы, но зато он живет с моряками, на вольном просторе, жизнь его полна приключений, товарищи его — настоящие взрослые люди, а у них жизнь течет тоскливо и однообразно, по строго заведенному порядку. Юные рыболовы не замечали, что Фриско-Кид, в свою очередь, с не меньшей завистью смотрит на них и вздыхает как раз о тех самых условиях жизни, которые им казались невыносимыми. Мир приключений манил их, как пение сладкогласной сирены, и навевал им смутные мечты о дальних странах и славных подвигах. А Фриско-Кид в это же самое время предавался грезам о тихом семейном очаге и мечтал о том, в чем судьба ему отказала, — о братьях, сестрах, о

советах отца и нежных материнских объятиях.

Он сердито нахмурился, спустился с крыши каюты «Ослепительного», где лежал, лениво развалясь на солнечном припеке, и сбросил с себя тяжелые резиновые сапоги.

Потом он уселся на узенькой бортовой палубе и опустил ноги в прохладную морскую воду.

«Вот это называется свобода», — думали про себя наблюдавшие за ним мальчуганы. Их особенно пленяли эти огромные морские сапоги, которые доходили чуть не до бедер и пристегивались к поясу. Они не знали, что Фриско-Кид не имел такой собственности, как ботинки, и потому носил старые сапоги Пит-ле-Мэра, которые ему были велики на три номера. Кроме того, мальчуганы не могли представить, до чего мучительно было таскать на себе эту заманчивую обувь в жаркий летний день.

Хотя Фриско-Кид всегда досадовал на этих мальчишек, глазевших на него с таким восхищением, но сегодня недовольство его вызывалось другой причиной.

Экипаж «Ослепительного» был не в полном составе: нужен был еще один человек, а то Киду приходилось работать за двоих. Он не прочь быть за повара, мыть палубу и качать воду, но он

терпеть не мог чистить кастрюли и мыть посуду. Он считал, что имеет право быть избавленным от подобной работы, с которой успешно мог бы справиться любой молокосос; а ведь он умеет управляться с парусами, выбирать якорь, стоять на руле и подходить к причалу.

— Полундра! — Пит-ле-Мэр, или Француз-Пит, капитан «Ослепительного», владыка и хозяин Фриско-Кида, швырнул сверху какой-то сверток в кокпит и спустился на палубу, держась за снасти по правому борту.

— Сюда! Живей! — крикнул он парнишке, которому принадлежал сверток. Тот что-то замешкался на пристани. С того места, где стоял мальчуган, до палубы шлюпа было сверху вниз добрых футов пятнадцать, и он не мог достать рукой до стального бакштага, по которому надо было спускаться на палубу.

— Ну! Раз, два, три! — отсчитал Француз с добродушной улыбкой капитана, которому только что удалось завербовать недоставшего ему матроса.

Мальчик подался вперед всем своим корпусом и ухватился за бакштаг. Несколько мгновений спустя он уже стоял на палубе с обожженными от сильного трения ладонями.

— Кид, это наш новый матрос. Честь имею представить!

Капитан Француз-Пит осклабился, наклонил голову и затем отступил шага на два.

— Митсэ-эр Шо Бронсон, — добавил он в виде пояснения.

Оба мальчика с минуту молча рассматривали друг друга. Они, очевидно, были сверстниками, но новичок казался с виду более здоровым и сильным.

Фриско-Кид протянул ему руку, и они обменялись рукопожатием.

— Так ты намерен податься на море? — спросил он.

Джо Бронсон кивнул головой и, с любопытством осмотревшись кругом, сказал:

— Да, я думаю немного поплавать по заливу, а потом, когда освоюсь с этим делом, уйду в море в баке.

— В чем?

— В баке — это то место, которое занимают матросы, — пояснил Джо застенчиво и краснея за свое, быть может, не совсем правильное произношение.

— О, на баке! Ты кое-что, видно, смыслишь в морском деле?

— Да… нет… то есть знаю кое-что только из книг.

Фриско-Кид свистнул высокомерно, повернулся на каблуках и отправился в каюту.

«Уйдет в море, — посмеивался он про себя, разводя огонь и принимаясь готовить ужин, — да еще на баке — и воображает, что это очень приятно».

Тем временем Француз-Пит, как радушный хозяин, залучивший к себе почетного гостя, водил новичка по шлюпу и давал ему объяснения. Он расточал при этом столько любезностей, что Фриско-Кид, высунувшись из люка, чтобы позвать их к ужину, чуть не прыснул со смеху.

Джо Бронсон давно не ужинал с таким удовольствием. Пища была простая, но вкусная, а соленый воздух и судовая обстановка обостряли аппетит. Маленькая каюта отличалась чистотой и уютностью; в ней все было очень удобно расставлено, так что не пропадало даром ни одного уголка. Стол был привешен на петлях к стенке, и доска его опускалась только во время еды.

По обеим сторонам помещались две койки, которые во время еды служили скамьями. Одеяла были свернуты валиком, и обедающие садились с краю на гладких досках. Вечером каюту освещала

висячая морская лампа с блестящим медным резервуаром, а днем свет проникал в нее через иллюминаторы — четыре круглых боковых оконца из массивного стекла. Возле дверей с одной стороны стояли плита и ящик для дров, с другой — шкаф для посуды. На передней стенке висели две винтовки и двустволка. Из-под свернутых одеял на койке Француза-Пита торчала ременная перевязь и два револьвера в кобурах.

Джо чувствовал себя как во сне. Бесчисленное множество раз мерещились ему подобные сцены; но ведь теперь он не спит, а видит все это наяву, и ему казалось, будто бы он уже давным-давно знаком с этими двумя сотоварищами. Француз-Пит весело улыбался, поглядывая на него со своего места за столом. По правде сказать, у капитана была мерзкая физиономия, но Джо казалось, что он видит перед собой мужественное, загорелое лицо, обветренное и огрубевшее от непогоды и бурь. Фриско-Кид, уписывая за обе щеки, рассказывал про последний шторм, который пришлось выдержать «Ослепительному», и Джо проникался все возрастающим уважением к этому юноше, который так долго жил на море и, видимо, так хорошо его знает.

А капитан усердно потягивал вино стакан за

стаканом; на лице у него выступили красные пятна, он растянулся на койке поверх одеял и скоро захрапел.

— Ложись-ка лучше и поспи часика два, — сказал приветливо Фриско-Кид, указывая Джо его койку. — Наверное, эту ночь нам придется подежурить.

Джо послушно лег, но долго еще не мог заснуть. Он лежал и смотрел на висевший в каюте будильник, дивясь быстрой смене событий за последние двенадцать часов. Не далее как нынче утром он был простым школьником, а теперь он уже матрос на борту «Ослепительного» и отправляется неизвестно куда.

Он сразу вырос в своих собственных глазах лет на пять: ему как будто не пятнадцать, а целых двадцать лет, и он чувствовал себя настоящим мужчиной, да еще вдобавок моряком. Ему хотелось бы показаться Чарли и Фреду. Ну да они и так скоро о нем услышат! Он ясно видел эту картину: Чарли и Фред говорят о нем, окруженные толпою любопытных мальчишек. «Кто, кто?» — будут спрашивать те. «О, Джо Бронсон, он ушел в море! Мы с ним были закадычными друзьями».

Джо с гордостью представил себе подобную сцену. Потом у него слегка защемило в груди

при мысли о матери и ее тревоге, но, вспомнив отца, он опять зачерствел. Нельзя сказать, что отец — плохой человек: он славный и добрый, но решительно неспособен понять его, Джо, и вообще душу мальчика. Вот в чем беда. Еще сегодня утром он говорил, что мир — это не площадка для тенниса и что мальчики, которые смотрят на жизнь легкомысленно, часто попадают впросак и рады бывают поскорее вернуться домой. Ну, он-то, Джо Бронсон, хорошо знает, что свет полон тяжелой работы и суровых испытаний, но знает также, что некоторые права есть и у них, мальчишек, и нельзя обращаться с ними, как с рабами. Он покажет отцу, что сумеет постоять за себя; во всяком случае, ничто ему не помешает написать домой письмо, когда он получше освоится с новой жизнью.

Глава IX. НА БОРТУ «ОСЛЕПИТЕЛЬНОГО»

Легкий толчок прервал его грезы. К «Ослепительному» бесшумно подошел какой-то ялик, и Джо удивился, что не слышал стука весел в уключинах. Вслед за тем два человека перескочили через комингс кокпита и вошли в каюту.

— Они тут дрыхнут, черт побери! — выругался первый вошедший, сдергивая одеяло с Фриско-Кида одной рукой и доставая бутылку с вином другой.

Сонный Пит поднял голову и пробормотал приветствие.

— А это кто такой? — спросил Кокни (так звали первого вошедшего), облизывая усы и стаскивая Джо с постели. — Пассажир?

— Нет, нет, — торопливо ответил Француз-Пит. — Это наш новый юнга. Славный парень.

— Хороший или плохой, а ему придется держать язык за зубами, — буркнул другой пришелец, до сих пор молчавший, окидывая Джо свирепым взглядом.

— А какую ему дадут часть из добычи? — спросил первый. — Мы с Биллом любим вести дело начистоту.

— На долю «Ослепительного» полагается третья часть. Остальное мы поделим между собой поровну. Пять человек — пять частей, — вполне справедливо.

Француз-Пит горячо доказывал, что «Ослепительный» имеет право на экипаж из трех человек, и призывал Фриско-Кида в свидетели. Но последний счел за лучшее уклониться от спора и

занялся приготовлением кофе.

Из всей этой тарабарщины Джо уловил только то, что спор разгорелся почему-то из-за его особы. Под конец Француз-Пит настоял на своем, и вновь прибывшие уступили ему после долгих препирательств. Напившись кофе, все отправились на палубу.

— Стой тут, в кокпите, и не попадайся им на глаза, — шепнул Фриско-Кид своему новому приятелю. — Я научу тебя обращаться со снастями и всему прочему потом, на досуге. А теперь нам не до того.

Чувство благодарности охватило Джо, он понял инстинктивно, что из всех этих людей в случае необходимости ему поможет только Фриско-Кид и что лишь на него одного можно положиться. К Французу-Питу у Джо уже появилась какая-то антипатия. Чем вызывалась она, он не мог бы объяснить, но живо ощущал ее.

Вдруг заскрипели блоки; в темноте над головой у Джо взвился огромный парус. Билл отдал носовой швартов, Кокни проделал то же самое с кормовым, Фриско-Кид поставил кливер, а Француз-Пит укрепил румпель. «Ослепительный», подхваченный ветром, слегка накренясь, плавно понесся к самой середине бухты. Джо слышал,

как они говорили о том, что нельзя зажигать отличительные огни, что надо быть начеку; но из всего этого он мог понять только, что речь идет о нарушении какого-то навигационного закона.

Береговые огни Окленда остались позади. Темные силуэты кораблей у причалов стали все чаще сменяться неясными очертаниями болотистых топей, и Джо догадался, что они направляются к бухте Сан-Франциско. Ветер набегал с севера слабыми порывами, и «Ослепительный» бесшумно рассекал воды залива.

— Куда мы идем? — спросил Джо у Кокни, желая завязать с ним дружеский разговор и вместе с тем удовлетворить свое любопытство.

— Мы идем с компаньоном Биллом за грузом на его фабрику, — небрежно ответил тот.

Джо подумал, что для владельца фабрики Билл выглядел довольно странно, но промолчал, сознавая, что в этом новом для него мире может столкнуться с еще более удивительными явлениями.

Немного погодя ему приказали пойти в каюту и погасить лампу. «Ослепительный» повернул к северному берегу. Все молчали; только Билл и капитан изредка перешептывались. Наконец, судно поставили против ветра и осторожно спу-

стили кливер и грот.

— Якорь до грунта! — шепотом скомандовал Француз-Пит Фриско-Киду, который прошел на нос и отдал якорь на короткой цепи.

Ялик «Ослепительного» и маленькую шлюпку, доставившую обоих незнакомцев, подвели к борту.

— Пригляди за этим юнцом, как бы он не нашумел, — произнес вполголоса Билл, спускаясь за своим товарищем в маленькую шлюпку.

— Грести умеешь? — спросил Фриско-Кид, когда все трое уселись в ялик.

Джо утвердительно кивнул головой.

— Так берись за весла и не стучи.

Фриско-Кид сел за другую пару весел, а Француз-Пит взялся за руль. Джо заметил, что весла были обмотаны плетенкой, а уключины обтянуты кожей.

Все заранее было предусмотрено, и шума быть не могло, разве что при неловком взмахе, но Джо упражнялся в гребле на озере Мерит и хорошо владел веслами. Они шли следом за первой лодкой, вдоль длинного мола. Несколько судов с ярко горящими якорными огнями стояли у самого мола, но шлюпки держались поодаль, вне освещенной полосы. По команде Фриско-Кида,

произнесенной шепотом, Джо сложил весла. Затем обе шлюпки бесшумно, точно привидения, пристали к отлогому берегу, и путешественники осторожно выбрались на сушу.

Джо последовал за другими. Дойдя до насыпи, футов в двадцать высоты, они вскарабкались на нее. По насыпи пролегало узкое железнодорожное полотно, по обе стороны которого навалены были огромные кучи заржавленного железного лома. Эти кучи, пересеченные рельсами, тянулись по всем направлениям, а вдали виднелись смутные очертания какого-то огромного здания, похожего на фабрику. Пришельцы стали забирать лом и перетаскивать его на отмель. Француз-Пит, схватив Джо за руку и приказав еще раз не шуметь, велел ему делать то же самое. Они сваливали железо на берегу, а Фриско-Кид подбирал его и переносил в шлюпки. Нагрузив сначала одну, он принялся грузить другую. По мере того как шлюпки оседали от тяжести, он все дальше отводил их от берега на более глубокое место.

Джо работал вместе с другими не покладая рук, но чувство недоумения не покидало его: что за странная работа? К чему вся эта таинственность и необычайная осторожность? И вдруг страшное подозрение пронеслось в его мозгу, но как раз в

эту минуту с берега донесся крик совы. Удивившись присутствию совы в таком неподобающем месте, Джо опять нагнулся подбирать железо, как вдруг из темноты выскочил человек и внезапно осветил его потайным фонарем. Ослепленный ярким светом, Джо откачнулся в сторону — блеснул револьвер, и грохнул выстрел. Джо сообразил, что стреляют в него и что ему надо бежать. При всем желании нельзя же было оставаться на месте и пытаться давать объяснения этому сумасшедшему, у которого в руке еще дымился револьвер. Он опрометью кинулся к берегу, налетел на другого человека с потайным фонарем, который выбежал ему навстречу из-за кучи железа, и сбил этого человека с ног.

Тут Джо пустился вниз по откосу, но человек быстро вскочил на ноги и открыл по нему пальбу.

Добежав до берега, Джо бросился в воду и скоро добрался до ялика. Француз-Пит и Фриско-Кид, опередившие Джо, уже сидели там, один на передних веслах, другой на задних, и спокойно ожидали его прибытия. Ялик стоял носом к морю. Они держали весла наготове, но не трогались с места, несмотря на то, что с берега по ним открыли стрельбу. Другая шлюпка стояла ближе к

берегу и осела на грунт. Билл старался столкнуть ее с места и звал Кокни на помощь; но Кокни совершенно потерял голову от страха и, барахтаясь в воде, шел за Джо. Не успел Джо взобраться на корму, как и тот полез вслед за ним. Эта лишняя тяжесть чуть было не опрокинула и без того сильно перегруженный ялик. Он накренился, через борт плеснула вода. В это время с берега дали новый залп; на этот раз пули просвистели совсем близко.

Пальба подняла тревогу. Со стоявших у мола судов послышались окрики. На молу засновали тени, вдали заливался полицейский свисток.

— Пошел прочь! — крикнул Фриско-Кид. — Ты нас ко дну пустить хочешь, я вижу! Иди, помоги товарищу!

Но у Кокни от страха отнялся и язык и ноги, только слышно было, как его зубы выбивали дробь.

— Вышвырните этого полоумного! — властно сказал Француз-Пит, продолжавший сидеть на носу. В это мгновение пуля перебила у него весло, и он спокойно достал и вложил в уключину запасное.

— Ну-ка, помоги, Джо! — крикнул Фриско-Кид.

Джо понял что от него требуется, они разом

схватили охваченного ужасом Кокни и выкинули его за борт.

Две-три пули шлепнулись в воду около того места, где Кокни вынырнул на поверхность, как раз вовремя, ибо в это самое время подъехал Билл, которому удалось наконец сдвинуть шлюпку, и он моментально выхватил товарища из воды.

— Вперед! — скомандовал Француз-Пит, и два-три сильных взмаха весел вынесли их из-под пуль. Обе шлюпки исчезли во мраке.

Но утлый ялик зачерпнул так много воды, что каждую минуту ему грозила опасность затонуть. Двое продолжали грести, а Джо, по приказу Француза, стал выбрасывать за борт железо. Это спасло их на время. Но в тот момент, когда они подошли к борту «Ослепительного», ялик от толчка накренился и, хлебнув воды, перевернулся, пустив ко дну остаток железа. Джо и Фриско-Кид вынырнули рядом и вскарабкались вместе на судно, волоча за собой пойманную ими привязь ялика. Француз-Пит был уже на борту и помог им взобраться.

К тому времени, когда они кончили возиться с яликом, подъехал и Билл со своим товарищем. Работа закипела, и Джо не успел оглянуться, как грот и кливер взвились и «Ослепительный»,

снявшись с якоря, понесся по заливу. Когда судно поравнялось с тем местом на берегу, где начинались болота, Билл и Кокни распрощались с ними и отошли на своем ялике.

Француз-Пит забрался в каюту и на разных языках проклинал свою судьбу, ища утешения на дне бутылки.

Глава X. СРЕДИ ПРИБРЕЖНЫХ ПИРАТОВ

Подул свежий ветер, когда они отошли от берега, и «Ослепительный» так сильно накренился, что его подветренный борт зарылся в воду до самого кокпита. Вывесили отличительные огни. Фриско-Кид стоял на руле, а Джо сидел возле него и размышлял над событиями этой ночи.

Факты говорили сами за себя, и обмануться в их значении было нельзя. У Джо раскрылись глаза, и в голове его зародились самые мрачные мысли. Положим, что он натворил дел, но это случилось с ним по неведению; он боялся не столько за прошлое, сколько за будущее. Он попал в компанию воров и разбойников, в общество прибрежных пиратов, о подвигах которых он уже кое-что слышал. Теперь же он знает о них столько, что

легко мог бы засадить их в тюрьму. Джо хорошо понимал, что это заставит их держать ухо востро и что отныне они будут зорко следить, как бы он не сбежал от них. Но он все-таки улизнет при первой же возможности.

На этом месте размышления его были прерваны налетевшим шквалом. «Ослепительный» сильно качнуло, и по палубе прокатилась волна. Фриско-Кид ловко повернул судно к ветру и одновременно потравил грота-шкот. Потом он стал брать рифы, все время работая один, так как Француз-Пит оставался внизу, а Джо не сумел бы помочь ему в этом деле.

Шквал, едва не опрокинувший «Ослепительный», продолжался недолго, но он предвещал непогоду, и скоро бурные порывы ветра стали налетать с севера один за другим. Ветер рвал и трепал паруса с такой силой, что казалось изорвет их в клочья. Бушующие волны подкидывали судно. Небо и море — все смешалось, но, однако, даже неопытный глаз Джо уловил в этой разбушевавшейся стихии какой-то порядок.

Фриско-Кид, как заметил Джо, твердо знал, что и как нужно делать. Глядя на него, Джо постиг ту великую истину, незнание которой погубило немало людей, — он понял, как важно для

каждого знать истинную меру своих сил и способностей.

Фриско-Кид знал, на что он способен, и потому действовал уверенно. Он все время сохранял полное хладнокровие и самообладание, работал быстро и точно, без малейшего промаха. Каждый риф-сезень крепился им намертво. Могли произойти другие случайности, но тех узлов, которые он завязывал, наверное, не сорвал бы никакой последующий шквал, хотя бы их было сорок.

Кид позвал Джо на нос, чтобы тот помог ему обтянуть парус. Оставалось взять единственный риф на кливере, но это уже было нетрудно. Через минуту мальчики уже вернулись в кокпит.

По указанию Фриско-Кида Джо обтянул также полотнище кливера и, зайдя в каюту, опустил примерно на фут выдвижной киль.

Борьба со стихией разогнала мрачные мысли Джо. Подражая товарищу, он сохранял полное хладнокровие и толково и быстро исполнял все его приказания. Они совместно противопоставляли свои слабые силы натиску бурной стихии и совместно победили ее.

Джо вернулся к тому месту, где его товарищ стоял на руле, держа в руках румпель; он гордился им и собою. А когда он прочел в глазах Фриско-

Кида молчаливое одобрение, то покраснел, как девушка, услыхавшая первый обращенный к ней комплимент. Однако тут же внезапно спохватился, что ведь перед ним стоит, собственно говоря, вор, самый обыкновенный вор, и, вспомнив об этом, он невольно отшатнулся.

Ему еще ни разу не приходилось соприкасаться с грязной изнанкой жизни. Избранные авторы его библиотеки все наперебой прославляли честность и прямодушие и воспитывали в нем отвращение к преступности. Он отвернулся от Фриско-Кида и отошел в сторону. Но Фриско-Кид не заметил эту внезапную перемену его настроения: он был слишком занят своим делом.

Однако Джо удивлялся самому себе. Мысль о том, что Фриско-Кид — вор, тяготила его, но сам Фриско-Кид не внушал ему ни малейшего отвращения. Наоборот, что-то тянуло его к этому парню. Он не мог разобраться в своих чувствах. Если бы он был немного постарше, то, наверное, понял бы, что его привлекают прекрасные черты характера юноши: его хладнокровие, самостоятельность и благодушие. Но Джо этого не понимал и винил самого себя, что не в состоянии преодолеть свою симпатию к Фриско-Киду; стыдясь своей слабости, он все более и более

поддавался горячему чувству дружеского расположения к этому юному пирату.

— Подтяни-ка ялик фута на два, на три! — крикнул Фриско-Кид, который успевал следить за всем.

Ялик тащился за шлюпом на слишком длинной привязи, и ему приходилось плохо. Он то отставал, туго натягивая трос, то кидался вперед, ослабляя его, и метался из стороны в сторону, рискуя ежеминутно зарыться носом в высокие пенистые гребни расходившихся волн. Джо перелез через комингс кокпита на скользкую корму и направился к битенгу, к которому был привязан ялик.

— Держись! — крикнул Кид. Налетел сильный порыв ветра, и «Ослепительный» резко накренился.

— Отпусти конец, оставь только один оборот на битенге и подтягивай!

Для новичка работа была не из легких. Джо отпустил весь трос, кроме последнего оборота, и, удерживая его одной рукой вокруг битенга, другой рукой стал подтягивать. Но в эту минуту ялик волной отбросило в сторону, трос сильно дернуло, он выскользнул из рук и стал уходить за борт. Джо судорожно ухватился за его упол-

зающий конец, но его самого потянуло вниз по покатой палубе.

— Брось! Отпусти конец! — крикнул Кид.

Джо выпустил конец, и хорошо сделал, а то бы и сам очутился за бортом. Ялик стал отходить от кормы. Сконфуженный Джо робко оглянулся на своего товарища, ожидая получить от него выговор. Но Фриско-Кид только широко улыбнулся.

— Не беда, — сказал он. — За борт не свалился — и ладно. Лучше потерять ялик, чем человека, я так считаю. К тому же я сам виноват: нельзя было поручать новичку это дело. Впрочем, ничего страшного не случилось, ялик еще от нас не ушел. Иди-ка в каюту, опусти киль еще фута на два, а потом вернешься сюда и будешь делать то, что я скажу. Но только не спеши. Делай все не торопясь, но наверняка.

Джо опустил киль и, вернувшись в кокпит, по указанию Фриско-Кида стал у кливер-шкота.

— Право на борт! — крикнул Фриско-Кид, всей тяжестью тела наваливаясь на румпель. — Отдай кливер-шкот! Вот так! Теперь помоги мне с грота-шкотом!

Вместе они проворно подтянули зарифленный грот.

Джо работал с воодушевлением. «Ослепитель-

ный», как породистый конь, повернулся на киле и стал носом против ветра. Паруса и снасти отчаянно затрепались и забили мелкую дробь.

— Подтяни кливер-шкот!

Джо подтянул его: передний парус надулся, и судно повернуло на другой галс. В результате этого маневра койка, на которой лежал Француз-Пит, оказалась с наветренной стороны, его стряхнуло на пол каюты, где он и продолжал лежать в пьяном отупении.

Удерживая румпель спиной, чтобы судно не свернуло с курса, пока они не достигнут того места, где должен был остаться ялик, Фриско-Кид взглянул на Француза с отвращением и пробормотал:

— Собака! Хоть ко дну пойдем, и то не очухается!

Два раза им пришлось менять галс, чтобы попасть на прежнее место. Наконец Джо различил впереди с наветренной стороны в темноте, освещенной одними звездами, качавшийся на волнах ялик.

— Успеем, — промолвил Фриско-Кид, направляя «Ослепительный» прямо к ялику и постепенно замедляя ход. — Лови!

Джо свесился за борт, поймал ныряющий трос

и мигом закрепил его за битенг. После этого они повернули шлюп на прежний курс.

Джо было очень неловко, что он причинил столько беспокойства, но Фриско-Кид незамедлил утешить его.

— О, это сущие пустяки! — сказал он. — Со всяким это случается, кто начинает. Только другие забывают, как им солоно приходилось вначале, и выходят из себя при малейшем промахе новичка. Нет, я не из таких. Раз, помню…

И он начал рассказывать про свои неудачи, когда еще совсем глупым мальчишкой он впервые очутился в плавании, и про то, как его строго за все наказывали. Он накинул ходовой конец талей грота-шкота на шейку румпеля, и они оба уселись под прикрытием кокпита, тесно прижавшись плечом к плечу.

— Что это за место? — спросил Джо, когда они проносились мимо маяка, мигавшего на скалистом мысу.

— Остров Гот-Айленд. На нем, по ту сторону, находятся морская учебная станция для кадетов и минный склад. Там отлично ловится треска. Мы обойдем этот островок с подветренной стороны и станем на якоре под защитой острова Эйнджел-Айленд, где находится карантин. Потом, когда

Француз-Пит протрезвится, он нам укажет, куда идти, а теперь ты можешь спуститься в каюту и немного вздремнуть. Я управлюсь без тебя.

Джо отрицательно покачал головой. Он был слишком возбужден, чтобы спать. Да и как тут заснуть, когда «Ослепительный» ныряет, как чайка, и взбивает своим носом целые облака брызжущей пены! Платье на Джо почти высохло, и он предпочел остаться на палубе и любоваться развертывающейся перед ним картиной.

Огни Окленда исчезли из виду, оставив лишь бледный отблеск на фоне неба; а с южной стороны показались огни Сан-Франциско, то взбирающиеся по холмам, то сбегающие в долины и растянувшиеся на много миль бесконечной вереницей.

Различив большое здание пристани и телеграфную вышку, Джо мог уже легко ориентироваться в панораме города. Где-то там, среди этого лабиринта света и теней, затерялся отцовский дом, в котором, быть может, и сейчас вздыхают о нем и тревожатся; и там же сладко почивает его сестричка Бесси, которая, сойдя утром к чаю, удивится, что его нет. Джо вздохнул. Забрезжило утро. Потом голова его потихоньку свесилась на плечо Фриско-Кида, и он заснул крепким сном.

Глава XI. КАПИТАН И ЕГО КОМАНДА

— Ну, проснись! Пора становиться на якорь.

Джо, вздрогнув, открыл глаза, с недоумением озираясь по сторонам; сон отшиб ему память, и он не сразу вернулся к действительности. Ветер к утру затих. Море еще волновалось, но «Ослепительный» спокойно шел под защитой скалистого острова. Небо было ясное, и воздух дышал крепительной свежестью раннего утра.

Легкая рябь весело искрилась под лучами восходящего солнца. С южной стороны виднелся остров Алкатраз-Айленд, с высот которого, увенчанных орудиями, доносились звонкие переливы трубы, игравшей утреннюю зорю. На западе сияли Золотые Ворота, соединяющие Тихий океан с заливом Сан-Франциско. Туда вместе с приливом на всех парусах торжественно входил корабль.

Картина была поразительная.

Протерев глаза от сна, Джо залюбовался открывшимся перед ним видом, но Фриско-Кид оторвал его от этого занятия и послал на нос готовиться к отдаче якоря.

— Разбери саженей пятьдесят цепи, — приказал ему Фриско-Кид, — и стой наготове.

Он осторожно замедлял ход судна, поворачивая его к ветру и одновременно потравливая кливер-шкот.

— Отдай кливер-фал, выбирай нирал!

Джо уже освоился с этим маневром за ночь и теперь справился с ним превосходно.

— Ну отдай якорь! Осторожнее! Живо! Ну!

Цепь побежала с поразительной быстротой, и «Ослепительный» остановился. Фриско-Кид вернулся к товарищу, они вместе спустили грот, убрали его и закрепили сезнями.

— Вот тебе ведро, — сказал Фриско-Кид. — Вымой палубу. Да почище. Вот щетка. Не брезгуй этим делом. Чтобы все заблестело! Когда кончишь мыть, вычерпай воду из ялика. За эту ночь у него разошлись немного пазы. А я пойду готовить завтрак.

Скоро струйки воды весело зажурчали по палубе, а из каюты потянуло приятным дымком, предвещавшим вкусный завтрак. То и дело Джо отрывался от своей работы и поднимал голову, чтобы полюбоваться расстилавшейся перед ним чудесной картиной. Она пленила бы и всякого другого на его месте. Поэтический восторг охватил его душу, и он чувствовал бы себя совершенно счастливым, если бы не мысль о том, что за люди

его товарищи. Эта последняя досадная мысль и противное зрелище валявшегося на полу пьяницы-капитана отравляли чарующую прелесть раннего утра. Его оскорбляла грубая действительность, но он не чувствовал себя подавленным ею, наоборот, она закаляла его сильный характер. В нем крепло стремление быть чистым и строгим к самому себе, чтобы не уронить себя в своих собственных глазах. Он оглянулся кругом и вздохнул. Почему это люди не остаются честными и правдивыми? Ему жаль было расставаться с этой новой привлекательной жизнью; но ночные похождения сильно подействовали на него и, чтобы не изменить себе самому, надо было бежать во что бы то ни стало.

Тут Фриско-Кид позвал его к завтраку. Кид показал себя таким же прекрасным поваром, как и опытным моряком, и Джо поспешил воздать должную дань вкусным блюдам, состоявшим из маисовой каши со сгущенным молоком, бифштекса и жареного картофеля. За этим следовали кофе и отличный французский хлеб со сливочным маслом.

Они угощались вдвоем: Француза-Пита невозможно было добудиться. Он что-то мычал, не открывая глаз, а затем снова начинал храпеть.

— Он пьет запоем, — пояснил Фриско-Кид, когда Джо, убрав посуду, вышел на палубу. — Иной раз продержится с месяц, а то не выдержит и недели. В пьяном виде он то раздобрится, то начнет бушевать; лучше всего в это время оставлять его в покое и не попадаться под руку. Не перечь ему ни в чем, а то, пожалуй, еще наживешь беды.

— Давай купаться, — прибавил он, переводя разговор на более интересную тему. — Плавать умеешь?

Джо кивнул головой.

— Что это такое? — спросил он, готовясь прыгнуть в воду и указывая на огороженное место на островке, где раскиданы были какие-то домики и палатки.

— Карантин. На китайских пароходах прибывает много больных оспой. Всех больных тут задерживают до тех пор, пока доктора не признают их безопасными в отношении заразы. На этот счет там такие строгости, что беда. Дело в том… — Бух! Если бы Фриско-Кид не оборвал начатой фразы, кинувшись в воду со всего размаха, это избавило бы Джо от больших неприятностей.

Но он, к сожалению, оборвал на полуслове, и Джо нырнул вслед за ним.

— А знаешь что, — заговорил Фриско-Кид спустя

полчаса, уцепившись за ватерштаг и собираясь вылезать из воды. — Давай наловим рыбы к обеду. А потом завалимся спать, наверстаем за эту ночь. Что ты на это скажешь?

Они стали карабкаться на палубу и устроили состязание: кто скорей. Джо сорвался и опять полетел в воду. Когда он наконец выбрался, то увидел, что его приятель уже приготовил две лесы с большими крючками и тяжелыми грузилами и маленький бочонок соленых сардин.

— Это приманка, — сказал Фриско-Кид. — Надо насаживать на крюк целую штуку. Здесь рыба неразборчивая, она глотает и приманку и крючок, а потом может и уйти — на эти штучки она способна. Кто первый поймает рыбу, тот освобождается от чистки. Весь улов чистит проигравший.

Оба грузила стали быстро опускаться и вымотали по семьдесят футов лесы, пока не достали дна. Как только свинчатка коснулась дна, Джо почувствовал, что клюнуло. Потянув лесу, он взглянул на товарища и увидел, что тот, очевидно, тоже поймал здоровенную рыбу.

Завязалось энергичное состязание. Ребята вошли в азарт: мокрая леса вилась по палубе кольцами. Но Фриско-Кид был более искусный, и

его рыба первою полетела в кокпит. Джо вытянул трехфунтовую треску, но чуть-чуть позже Кида. Тем не менее он был в восторге. Этакую рыбину удалось выудить собственными руками! Он таких еще и не видывал. Обе снасти опять полетели за борт, и скоро мальчики снова вытащили двух больших рыб. Вот это улов! Джо до того разошелся, что, казалось, готов был опустошить весь залив, но Фриско-Кид его остановил.

— Довольно, здесь хватит рыбы обеда на три, — заявил он, — к чему изводить ее даром? Потом, чем больше наловишь, тем больше тебе будет чистки. Возьмись-ка за нее сразу, а я пойду спать.

Глава XII. ДЖО ДЕЛАЕТ ПОПЫТКУ БЕЖАТЬ

Джо, в сущности, был доволен, что проиграл и что ему пришлось заняться чисткой рыбы: это помогало ему привести в исполнение некоторый план, пришедший ему в голову во время купания. Он бросил последнюю вычищенную рыбу в ведро с водой и оглянулся кругом. Карантин находился от них на расстоянии какой-нибудь полумили, и видно было, как на берегу шагает часовой взад

и вперед. Войдя в каюту, Джо прислушался к тяжелому дыханию спящих. Чтобы достать свой узелок с одеждой, ему нужно было пройти очень близко от Кида, и он решил оставить узелок. Вернувшись наверх, Джо осторожно подвел ялик к борту, захватил пару весел, спустился в него и потихоньку отчалил.

Сначала он греб очень робко, боясь из-за лишней спешки наделать шума. Но потом, по мере того как увеличивалось расстояние между ним и «Ослепительным», он стал грести смелее. На полпути Джо оглянулся. Теперь успех обеспечен, так как он видел, что, если даже его спохватятся, «Ослепительный» все равно не успеет отрезать его от берега, где он очутится под защитой солдата в мундире армии Соединенных Штатов.

В эту минуту со стороны карантина раздался выстрел, но Джо сидел спиной к берегу и не потрудился даже обернуться. За первым выстрелом грянул второй, и пуля шлепнулась в воду около его весла. На этот раз он обернулся. Часовой, стоявший на берегу, наводил дуло прямо на него и готовился выстрелить в третий раз.

Джо опешил. Берег, а с ним и спасение были совсем близко, но там стоит этот солдат армии Соединенных Штатов и по какой-то непостижимой

причине упорно палит в него. Завидев направленное на него дуло, Джо поспешно затормозил лодку, и часовой опустил винтовку.

— Я хочу выйти на берег! По очень важному делу! — закричал ему Джо.

Человек в мундире покачал головой.

— Очень важно, говорю вам. Можно?

При этом он бросил беглый взгляд в сторону «Ослепительного». Пальба, очевидно, разбудила Француза-Пита, так как грот был поднят, и шлюп как раз в этот момент снялся с якоря, и кливер заполоскал на ветру.

— Нельзя! — прокричал солдат. — Тут оспа!

— Но мне надо! — крикнул Джо с отчаянием, подавляя подступившие к горлу рыдания и поднимая весла.

— Тогда я буду стрелять, — невозмутимо отвечал часовой, вскидывая винтовку на прицел.

Джо быстро взвесил создавшееся положение. Островок довольно большой. Пожалуй, дальше на нем нет часовых. Лишь бы только где-нибудь высадиться, а там пускай арестуют, пускай заразится оспой — все лучше, чем оставаться с пиратами.

Он повернул под прямым углом направо и навалился на весла. Дуга прибрежной полосы была

довольно растянута, и до ближайшего пункта, где он мог бы подойти к берегу, было сравнительно далеко. Будь он моряком, он направился бы как раз в противоположную сторону, чтобы поставить погоню против ветра. Теперь же, с попутным ветром, «Ослепительный» легко мог его догнать.

Но положение еще не определилось. Слабый ветерок то набегал, то стихал, и в зависимости от этого шлюп то приближался к ялику, то отставал от него. Вдруг ветер засвежел, и парусник подобрался к своей жертве ярдов на сто, но потом опять наступило затишье, и парус «Ослепительного» лениво заболтался из стороны в сторону.

— А, поганец, ты наш ялик затеял украсть! — заорал Француз-Пит, хватаясь за ружье. — Сдавайся живо! Или я тебя застрелю, как собаку! — Он отлично сознавал, что не посмеет стрелять на виду у часового, хотя бы и через голову мальчика.

Но Джо не могло прийти в голову, что это пустая угроза, ибо он, ни разу в жизни не нюхавший пороха, за последние двадцать четыре часа уже два раза попадал под огонь. «Была не была!» — подумал он и приналег еще сильнее на весла, меж тем как Француз-Пит метался в бессильной ярости, угрожая беглецу всевозможными пытками, лишь только его поймает. А тут еще на беду

Фриско-Кид взбунтовался.

— Попробуйте только застрелите его, я вас живо отправлю на виселицу!

— вступился он грозно. — Вы бы лучше отпустили его. Он славный малый и честный, и эта наша с вами грязная жизнь не по нем.

— И ты тоже! — взвизгнул капитан, окончательно выходя из себя. — Я и тебя прихлопну, подлая крыса!

С этими словами он ринулся на юношу, но Фриско-Кид пустился удирать от него, перебегая от кокпита к бушприту и от бушприта к кокпиту. Тут ветер рванул парус, и Француз-Пит оставил одного молодого ради другого. Подскочив к румпелю и потравив шкот — ветер был попутный, — он направил шлюп прямо на Джо. Последний сделал было еще одно отчаянное усилие, но, убедившись, что ему не уйти, сложил весла. Француз-Пит отпустил грота-шкот, обогнул остановившийся ялик и выхватил из него Джо.

— Отмалчивайся! — шепнул Фриско-Кид ему на ухо, в то время как разъяренный Француз привязывал ялик. — Не отвечай ему ничего. Пусть говорит, что хочет, не обращай внимания. Так с ним лучше всего.

Но англосаксонская кровь вскипела в Джо, и он

не вытерпел.

— Слушайте, мистер Француз-Пит, или как вас там еще называют, — начал он, — поймите хорошенько, что я намерен от вас уйти и уйду. Так лучше потрудитесь меня высадить на берег сами. И сейчас же. Если вы этого не сделаете, я засажу вас в тюрьму. Это верно, как то, что меня зовут Джо Бронсон.

Фриско-Кид испугался за Джо. Капитан онемел. Каково! Этот мальчишка, этот щенок позволяет себе оскорблять его на борту его собственного судна! Неслыханная дерзость! Он понимал, что поступает противозаконно, удерживая мальчика у себя против его воли, но в то же время боялся и отпустить его: слишком много знал этот парень о шлюпе и о том, чем они занимались.

Утверждая, что он может засадить капитана в тюрьму, Джо высказал неприятную истину. Французу ничего не оставалось, как попробовать запугать его.

— Эге, так вот оно что! — Его пронзительный голос неистово зазвенел.

— Тогда ты и сам попадешься! Ты греб вчера ночью на лодке? Отвечай! Ты воровал железо, да? Ты убегал от погони, да? И после всего этого ты еще мне угрожаешь тюрьмой? Каков мальчик, а?

— Но ведь я же не знал, — возразил Джо.

— Ха, ха! Забавно! Расскажите-ка это судье, доставь ему это удовольствие, — он засмеется тебе в лицо!

— Говорю, что я не знал, — повторил Джо с достоинством. — Мне и в голову не приходило, что я затесался в воровскую компанию.

Фриско-Кид вздрогнул, услышав этот эпитет, и если бы Джо в это время взглянул на него, то увидел бы на его лице выступившую яркими пятнами краску.

— А теперь, когда я это узнал, — продолжал Джо, — я хочу, чтобы меня высадили на берег. Я не знаю законов, но умею различать, что правильно, а что нет; и я готов отвечать за то, что я сделал, перед любым судом Соединенных Штатов. Пусть хоть все судьи соберутся, если на то пошло! Вы же, небось, суда боитесь, как черт ладана.

— Ах, так! Очень хорошо. Да ты сам подлый воришка…

— Я не вор! Не смейте меня так называть! — Джо задрожал, но не от страха, а от негодования, и лицо его побледнело.

— Воришка! — повторил Пит язвительно.

— Вы лжете!

Джо предвидел, какой взрыв произведут эти

слова, и потому не особенно удивился, что из глаз его вдруг посыпались искры и голова загудела, как котел, когда он спустя минуту поднимался на ноги.

— Ну-ка, повтори еще раз, что ты сказал! — прорычал Француз-Пит, снова замахиваясь кулаком.

От сознания своего бессилия слезы подступили к глазам Джо, но он не потерял самообладания и гордо ответил:

— Вы лжете, я не вор. Вы можете меня убить, если хотите, но я все-таки повторяю, что вы лжете.

— Руки прочь! — Фриско-Кид бросился на капитана, как кошка, и отпихнул его в сторону, спасая приятеля от второго удара. — Оставьте парня в покое, говорят вам! — продолжал он, быстрым движением выхватывая тяжелый железный румпель и становясь между ними. — Хватит! Что вы, одурели, что ли, не видите, на кого напали! Он говорит сущую правду и твердо будет стоять на своем. Вы его можете укокошить, но ничего от него не добьетесь. Руку, приятель!

Он обернулся в сторону Джо, и они обменялись дружеским рукопожатием.

— Ты парень горячий и, как видно, не робкий.

Француз-Пит скривил рот, изобразив на лице что-то вроде улыбки, но злобно горевшие глаза

выдавали его. Он пожал плечами и сказал:

— А! Вот что! Не желает, чтобы я называл его ласкательными именами. Ха, ха! Это же шутка. Моряки любят пошутить. Что называется, простим друг друга и забудем. Ну, так, что ли, а?

Он тоже протянул было руку Джо, но не дождался ответного жеста.

Фриско-Кид выразил одобрение кивком головы, а Француз-Пит пошел в каюту, пожимая плечами и криво улыбаясь.

— Потравите шкоты и направляйтесь к мысу Хантерс-Пойнт! — крикнул он снизу. — А я нынче состряпаю вам такой обед, что оближете пальчики. Француз-Пит — знаменитый кок!

— Он таковский: сразу станет добреньким и берется сам за стряпню, когда хочет помириться, — сказал Фриско-Кид, надевая румпель на голову руля и выполняя данное ему приказание. — Но верить ему нельзя!

Джо ответил молчаливым кивком. Ему было не до разговоров. Он весь дрожал от пережитых волнений и проверял самого себя, так ли он вел себя, как подобает, но совесть ни в чем не упрекала его.

Глава XIII. ПОДРУЖИЛИСЬ

С Тихого океана подул свежий полуденный ветерок. Остров Энджел-Айленд скоро скрылся из виду, и навстречу бороздившему волны «Ослепительному» плыла береговая линия Сан-Франциско. Скоро они очутились в самом центре рейда, проходя мимо кораблей, собравшихся здесь со всех концов света. Потом они пересекли фарватер, по которому сновали в обе стороны местные пароходы, совершавшие рейсы между Оклендом и Сан-Франциско. Один из пароходов прошел очень близко от них, и пассажиры его столпились у борта, чтобы полюбоваться аккуратным маленьким шлюпом с двумя мальчиками в кокпите. Джо с завистью вглядывался в лица этих людей. Все они едут к себе домой, а он — он сам не знает, куда его несет по воле какого-то Француза-Пита. Он чуть было не решился позвать на помощь — нет, это было бы безрассудно. Он отвернулся и задумался, поглядывая на окутанный дымкой город, о странных особенностях жизни на море.

Фриско-Кид незаметно следил за ним и за его мыслями, которые видел насквозь.

— Там твои родные живут? — спросил он внезапно, указывая рукой на город.

Джо вздрогнул, удивившись догадке товарища.

— Да, — промолвил он просто.

— Расскажи что-нибудь о них.

Джо кратко описал свой дом и родных. Но Фриско-Киду этого показалось мало, и он начал задавать множество вопросов. Он интересовался малейшими подробностями, в особенности всем, что касалось миссис Бронсон и Бесси. Больше всего он интересовался Бесси. Он засыпал Джо вопросами о его сестре.

Иные из них показались Джо такими наивными и неожиданными, что он не мог удержаться от улыбки.

— Ну, а теперь ты расскажи мне о своих, — сказал Джо, воспользовавшись наступившей паузой.

Фриско-Кид как-то сразу приутих и нахмурился. Лицо его сделалось строгим. Он сидел молча и лениво болтал ногами, устремив тупой взгляд на верхушку мачты, где, собственно, разглядывать было нечего.

— Ну, — поощрял его Джо.

— У меня нет родных, нет дома. — Он с трудом выдавил из себя эти слова и стиснул зубы.

Джо почувствовал, что нечаянно задел больное место Кида, и попробовал загладить неловкость.

— Ну, расскажи тогда про твой прежний дом.

Он не подозревал, что на свете есть мальчики, у которых никогда не было родного очага, и бессознательно еще больше бередил рану товарища.

— У меня никогда не было дома.

— О! — Джо был до того поражен, что отбросил всякую щепетильность.

— А сестры у тебя есть?

— Нет!

— А мать?

— Я был так мал, когда она умерла, что не могу ее вспомнить.

— А отец?

— Я почти не видел его. Он ушел в море, в общем, пропал куда-то.

— О-о! — Джо не знал, что сказать. Наступило тягостное молчание, прерываемое журчанием воды у форштевня. К счастью, как раз в это время Пит вышел на смену, стал у руля и послал их обедать.

Мальчики почувствовали облегчение, а за обедом, который капитан приготовил действительно очень вкусно, они уже болтали совершенно непринужденно. После обеда Фриско-Кид опять

сменил Пита, и капитан уселся за стол. Пока он ел, Джо вымыл посуду и прибрал в каюте. Потом они все трое сошлись на корме, и капитан, очевидно, желая восстановить добросердечные отношения, разговорился и очень занимательно стал рассказывать про жизнь ловцов жемчуга в южных морях.

За этими разговорами день прошел незаметно. Город Сан-Франциско остался далеко позади, они уже обогнули мыс Хантерс-Пойнт и теперь быстро подвигались вперед вдоль берега Сан-Матео.

На берегу Джо заметил группу велосипедистов, огибавших утес по дороге к Сан-Бруно, и живо представил себе, как он сам недавно катался на велосипеде по той же дороге. Это было месяца два назад, не больше, но ему казалось, что это происходило когда-то давным-давно: так много с тех пор было пережито.

Вечером после ужина они подходили уже к болотам, за которыми раскинулся город Редвуд-Сити. Ветер спал с закатом солнца, и «Ослепительный» двигался довольно тихо. Вдали показался другой шлюп; он шел прямо на них с замиравшим попутным ветерком.

Фриско-Кид объявил сразу, что это «Северный Олень». Француз-Пит, внимательно вглядевшись

в судно, согласился с ним. Он, видимо, чрезвычайно обрадовался этой встрече.

— Им командует Красный Нельсон, — сообщил Фриско-Кид своему приятелю.

— Ужасный человек. Я всегда побаиваюсь его при каждой встрече. Они там, наверное, задумали какое-нибудь крупное дело. В таких случаях они всегда приглашают Француза-Пита, он большой мастер на всякие штуки.

Джо кивнул головой и с любопытством стал рассматривать приближавшееся судно. Оно было немного больше «Ослепительного», но одинаковой конструкции, то есть с главным расчетом на скорость хода. Парус был огромный, как на гоночной яхте, на нем виднелись три ряда рифсезней на случай сильного ветра. На палубе все было пригнано к месту — нигде ничего лишнего. Как бегучий, так и стоячий такелаж находился в образцовом порядке.

«Северный Олень» приближался медленно в сгущавшихся сумерках и стал на якорь неподалеку от них.

Француз-Пит, последовав примеру Нельсона, стал на якорь и немедленно отправился к нему на ялике.

Мальчики в ожидании его возвращения растя-

нулись на крыше каюты.

— Тебе такая жизнь по душе? — нарушил молчание Джо.

Приятель повернулся к нему на локте.

— Как сказать, и по душе и не совсем по душе. Свежий воздух, море, свобода и все прочее — это хорошо; но мне не нравится… — он замялся немного, — но мне противно воровать.

— Так почему бы тебе не бросить это?

Джо боялся признаться самому себе, до чего полюбился ему этот мальчуган, и он почувствовал непреодолимое желание вывести его на хорошую дорогу.

— Я и брошу все это, как только найду другое занятие.

— А почему не сейчас? — спросил Джо.

«Теперь самое время, — стучало в мозгу Джо. — И если он действительно хочет уйти, то как жаль, что не решается на это сразу».

— А куда я пойду? Что я буду делать? На белом свете нет никого, кто бы мне помог. Я уже однажды пробовал и получил хороший урок! Поневоле призадумаешься, прежде чем опять сунешься пытать счастье очертя голову.

— А я, как только выберусь отсюда, пойду прямо домой. Пожалуй, выходит, что отец был прав. А

почему бы нам не отправиться вместе?

Последние слова Джо сказал, не подумав, они вырвались у него бессознательно, и Фриско-Кид отлично понял это.

— Ты сам не знаешь, что говоришь, — ответил он. — Ведь надо же придумать такое! Чтобы я пошел с тобой! Ну, а что скажет на это твой отец и все остальные? Как он на меня будет смотреть? На что я ему сдался?

У Джо сердце болезненно сжалось. Он испугался, что под влиянием минутного настроения сделал предложение, быть может, и в самом деле слишком рискованное. Трезво взглянув на дело, он попробовал представить себе мистера Бронсона, отечески принимающего в свой дом проходимца без роду, без племени, вроде Фриско-Кида.

Нет, об этом, конечно, и думать нечего!.. И, забыв про свои собственные невзгоды, он принялся усердно ломать голову, стараясь изыскать какой-нибудь другой способ избавить Фриско-Кида от этой постылой жизни.

— Он, пожалуй, сдаст меня в полицию, — продолжал развивать свою мысль Фриско-Кид, — или отправит в приют для беспризорных. А мне лучше умереть, чем жить в приюте. А потом я тебе

должен признаться, Джо, что я слеплен из другого теста, нежели ты, и ты это отлично понимаешь. Я бы почувствовал себя вроде рыбы на сухом берегу. Нет, придется подождать маленько, прежде чем уходить отсюда. Ну, а тебе, разумеется, дорога одна: отправляться прямехонько домой. При первом же удобном случае я тебя ссажу, а потом уж как-нибудь полажу с капитаном.

— Ну уж нет! — горячо возразил Джо. — Если я и сбегу, то устрою это так, чтобы ты из-за меня не пострадал. Выбрось, пожалуйста, из головы эту затею. Я-то уйду, об этом нечего беспокоиться, а вот как бы устроить, чтобы и ты ушел со мной вместе? Давай убежим как-нибудь вдвоем, а там будь, что будет!.. Не станем загадывать далеко вперед. Что ты на это скажешь?

Фриско-Кид покачал головой и, устремив взгляд на звездное небо, отдался мечтам о хорошей жизни, которая волею судеб для него недоступна. Джо замолчал, погрузившись в глубокую думу. Жизнь уже не казалась ему такой простой штукой, какой он представлял ее раньше.

Невнятный гул голосов долетел к ним с палубы «Северного Оленя», с берега неслись звуки церковного колокола, а летняя ночь медленно окутывала их своей теплой мглой.

Глава XIV. НА УСТРИЧНЫХ ОТМЕЛЯХ

Мир исчез из сознания, и время остановилось: ребята уснули.

Хриплый голос Француза-Пита разбудил мальчиков и вернул к трезвой действительности.

— Эй, вы там! Шевелитесь! — заорал он во все горло. — Сниматься! Эй, Шо! Отдавай сезни! Кид! Кливер! Поворачивайтесь! Живо!

Джо растерялся было в темноте, не зная как следует названия снастей и где их искать; но все же сумел быстро отвязать сезни, и когда он их сбросил в кокпит, его позвали поднимать грот. Выбрали якорь, поставили кливер, свернули канаты и привели все в порядок, после чего вернулись на корму.

— Отлично, отлично! — одобрил Француз-Пит, когда Джо спрыгнул в кокпит. — Великолепно! Из тебя выйдет хороший моряк, да, да!

Фриско-Кид поднял крышку с одного из ящиков кокпита и вопросительно взглянул на капитана.

— Да, да, — ответил моряк, — выставляйте огни!

Фриско-Кид вытащил зеленый и красный фонари, зажег их в каюте, и потом вместе с Джо они

пошли вывешивать их на правый и левый борт.

— Они еще не решаются, — произнес Фриско-Кид полушепотом.

— На что? — спросил Джо.

— Да на то крупное дело, которое затевается и о котором я тебе говорил. Дело, видно, отчаянное, и Француз-Пит боится рискнуть. Красный Нельсон отправился бы хоть сейчас, да сам он смыслит мало и выжидает, пока Пит согласится.

— Куда же мы теперь? — спросил Джо.

— Не знаю, должно быть, за устрицами, на отмели, судя по направлению.

На этот раз все обошлось без приключений. Ночной ветер, попутный и ровный, держался около часу, затем стих и перешел в неустойчивый ветерок, дувший порывами то с одной, то с другой стороны. Француз-Пит стоял на руле, а Джо и Фриско-Кид иногда подбирали или травили шкоты. Джо никак не мог понять, как это капитан угадывает направление. Ему казалось, что они должны неминуемо заблудиться в окутывающей их непроглядной тьме.

Густой туман надвинулся со стороны океана и, хотя клубился поверху, не спускаясь на поверхность воды, но закрывал от них звезды, лишая их последнего слабого света.

Однако Француз-Пит инстинктивно угадывал направление и на вопрос удивленного Джо похвастался, что он берет «верхним чутьем».

— Я чую течение, ветер и скорость, — добавил он. — Я даже чувствую, когда близко земля. Честное слово! Как это выходит, не знаю сам. Знаю только, что чувствую землю, как будто рука моя тянется, тянется и, вытянувшись на несколько миль, достает до земли, и я дотрагиваюсь до нее и узнаю, что она лежит там.

Джо недоверчиво посмотрел на Фриско-Кида.

— Правда, — подтвердил тот. — Как поживешь на море лет пять — десять, так научишься узнавать землю чутьем. А у кого обоняние острое, тот и по запаху ее узнает.

Прошло около часа, и Джо догадался по лицу и движениям капитана, что они приближаются к цели своего путешествия. Француз-Пит держался начеку и упорно вглядывался в темноту, как будто выжидая чего-то с минуты на минуту.

Как ни приглядывался Джо, он ничего не мог различить в черной мгле.

— Пощупай дно шестом, Кид, — приказал Француз-Пит. — Я думаю, что пора.

Фриско-Кид отвязал от крыши каюты длинный тонкий шест и, став на узенькой бортовой палубе,

погрузил один конец шеста в воду.

— Футов пятнадцать, — сказал он.

— А что на дне?

— Ил.

— Обожди немного и попробуй опять.

Минут через пять шест был опущен снова.

— Двенадцать футов, на дне ракушки!

Француз-Пит потер руки с довольным видом.

— Отлично, отлично! — приговаривал он. — Я всегда попадаю на место. Старика не проведешь! Да, да!

Фриско-Кид продолжал работать шестом и докладывать результаты разведки, а Джо все не мог надивиться глубине их познаний по части морского дна.

— Десять футов — ракушки, — монотонно докладывал Кид. — Одиннадцать — ракушки. Четырнадцать — мягко. Шестнадцать — ил. Нету дна.

— Ага, фарватер, — заметил Француз при последнем известии.

Несколько минут «не было дна», а затем вдруг раздался возглас Фриско-Кида:

— Восемь футов — твердо!

— Стоп! — скомандовал Француз-Пит. — Бегом на нос, Шо, и спусти кливер, а ты, Кид, приготовь

к отдаче якорь.

Джо нашел кливер-фал и быстро спустил парус.

— Отдавай! — раздалась команда, и якорь пошел ко дну, которое оказалось на очень незначительной глубине.

Фриско-Кид вытравил за борт еще несколько футов цепи и закрепил ее. Потом убрали паруса, навели порядок, спустились вниз и легли спать.

Было шесть часов утра, когда Джо проснулся и вышел в кокпит взглянуть на погоду. За ночь поднялся сильный ветер, и море разбушевалось. «Ослепительный» качало и подбрасывало на волнах и то и дело неистово дергало на якорной цепи. Чтобы устоять на ногах, Джо ухватился обеими руками за гик, который был у него над головой. День выдался пасмурный, небо заволокло тяжелыми свинцовыми тучами, проносившимися нескончаемой чередой.

Джо искал глазами берег. Он лежал милях в полутора от «Ослепительного». Это была длинная низкая песчаная полоса, о которую разбивался прибой. За нею тянулись унылые болота, а вдали виднелись холмы Контра-Коста.

Взглянув в другую сторону, Джо весьма удивился, заметив на расстоянии какой-нибудь сотни

ярдов небольшой шлюп, нырявший на якоре. Он стоял у них с наветренной стороны. На корме его Джо разобрал надпись «Летучий Голландец». Это было одно из тех самых суденышек, которые видел Джо около городской пристани Окленда. Немного левее от него колебалось на волнах «Привидение», а дальше еще с полдюжины парусников.

— Ну что, моя правда?

Джо оглянулся.

Француз-Пит вылез из каюты и торжествовал, наблюдая раскрывшуюся перед ним панораму.

— То-то и оно-то! Говорил я вам, что? Нет, старый не промахнется. Я вижу ночью, как кошка. О! Я свое дело знаю.

— А что, как погода? Разыграется шторм или нет? — раздался голос Фриско-Кида из каюты, где он разводил огонь.

Француз-Пит минуты две всматривался испытывающим взором в небо и море.

— Может, разыграется, а может, и нет, — нерешительно заявил он. — Готовь завтрак поживее, а там попробуем закинуть сеть.

Повсюду над каютами показались дымки, свидетельствовавшие о приготовлении завтрака. На «Ослепительном» с завтраком покончили скоро

и тотчас же поставили парус на один только риф и приготовились сняться с якоря.

Джо разбирало сильное любопытство. Очевидно, они находятся среди устричных отмелей. Но как же они ухитряются ловить на дне устриц, да еще в такую погоду? Впрочем, он скоро понял. Откинув настил кокпита, капитан вытащил две треугольные стальные рамы. Он привязал крепкий трос к кольцу, нарочно для этой цели вделанному в вершину каждого треугольника. Прилежащие к этой вершине стороны треугольника — прутья в дюйм толщиной и до четырех футов длиной — расходились почти под прямым углом. Нижняя сторона треугольника, являвшаяся основанием драги, состояла из полосы стали в ярд длиной, усаженной рядом длинных и острых стальных зубьев. Ко всем трем сторонам этой металлической рамы прилажена была в виде большого мешка крепкая рыболовная сеть, назначение которой, как легко догадался Джо, состояло в том, чтобы забирать устриц, которые загребались со дна зубьями драги.

Закрепив тросы обеих драг, их закинули — одну по правую, другую по левую сторону судна. Когда драги опустились на самое дно и растянули до конца привязь, они заметно стали задерживать

ход судна. Джо прикоснулся к вытянувшемуся струной тросу и по нему ясно чувствовал толчки и царапанье драги о дно.

— Вытаскивай! — скомандовал Француз-Пит.

Ребята ухватились за трос и вытащили драгу. Сеть была полна ила, тины и мелких устриц, среди которых попадались и крупные.

Содержимое вывалили на палубу, а пустую драгу опять закинули в воду. Крупные раковины отобрали и сложили в кокпит, остальные вышвырнули обратно. Отдыхать было некогда, предстояло опорожнить вслед за тем и другую сеть, а отсортировав добычу, надо было вытащить обе драги, чтобы дать возможность Французу-Питу повернуть «Ослепительный» на другой галс. Вся флотилия занималась тем же делом. Некоторые парусники подходили к ним очень близко, и пираты обменивались приветствиями и перебрасывались отрывистыми словами и грубыми шутками. Но работа была не из легких: не прошло и часа, как Джо начал выбиваться из сил от непривычного напряжения. У него ломило спину; руки были порезаны до крови от неосторожного обращения с острыми раковинами.

— Отлично, отлично! — подбадривал его Француз-Пит. — У тебя дело идет на лад, ты скоро и

этому научишься.

Джо кисло улыбался: он сейчас думал только об отдыхе и обеде. Порою вытаскивались мало наполненные драги, и мальчики могли передохнуть немного и обменяться словечком.

— Вот это Спаржевый остров, — заметил Фриско-Кид, указывая на берег.

— По крайней мере, он слывет под этим названием у рыбаков и моряков-каботажников. А местные жители называют его островом Бей-Фарм. — Он показал немного правее. — А повыше — Сан-Леандро. Отсюда не видно, но он в той стороне.

— Ты там был? — спросил Джо.

Фриско-Кид кивнул головой и позвал его вытащить драгу.

— Эти отмели никому не принадлежат, — продолжал он, — их называют заброшенными отмелями, и пираты появляются здесь, притворяясь, что занимаются ловлей.

— Почему притворяясь?

— Да потому что они пираты и потому что им гораздо выгоднее ловить устриц на частных отмелях. — Он повел рукою на восток и юго-восток. — Частные отмели в той стороне, и если сегодня не будет шторма, то вся флотилия дви-

нется туда ночью.

— А что, если шторм?

— Что ж, тогда от набега придется отказаться, а Француз-Пит будет бесноваться, вот и все. Он терпеть не может, когда погода расстраивает его затеи. Но ветер не унимается, а хуже ничего не может быть, как если шторм застигнет у юго-восточных берегов. Пит, пожалуй, заупрямится, а лучше было бы нам убраться подобру-поздорову, не дожидаясь шторма.

Сначала погода как будто стала лучше. Резкий зюйд-вест заметно приутих, и около полудня, когда они стали на якорь, чтобы пообедать, из-за туч выглянуло солнце.

— Все это так, — сказал Фриско-Кид пророческим тоном, — но я недаром поплавал по заливу. Шторм только готовится к натиску и сорвется неожиданно.

— Я думаю, ты прав, Кид, — согласился Француз-Пит, — но «Ослепительный» отсюда не уйдет все равно. Прошлый раз мы ушли, а ночь выдалась чудесная. На этот раз будем ждать. Так, что ли, а?

Глава XV. ХОРОШИЕ МОРЯКИ НА СКВЕРНОЙ СТОЯНКЕ

В течение всего остального дня «Ослепительный» отчаянно плясал на якоре, но к вечеру волнение несколько улеглось. Поэтому все собравшиеся на отмель пираты, следуя примеру Француза-Пита, решили попробовать отстояться, пустив в ход запасные якоря.

Француз-Пит заставил обоих мальчиков сесть в ялик, и они, рискуя ежеминутно опрокинуться, завезли и сбросили второй якорь под прямым углом к первому. После этого Пит стал вытравливать якорную цепь и канат второго якоря до тех пор, пока «Ослепительный» не отнесло назад футов на сто, и он спокойно не закачался на волнах.

Джо, укрывшись в кокпите, наблюдал дикую пляску волн. Устричные отмели лежали в открытой бухте, и ветер, гулявший здесь на двенадцатимильном вольном просторе, нападал на суда так неистово, что казалось, вот-вот сорвет мачты. Когда надвинулись сумерки, с наветренной стороны замелькало белое пятнышко; оно

приближалось, вырастало, и наконец обозначился огромный парус «Северного Оленя».

— Ах, будь ты неладен! — выругался Француз-Пит, выбегая из каюты. — Когда-нибудь, о, когда-нибудь он нарвется, верьте моему слову! С ним сделается вот этак: крак и пуф! И нет тебе ни Нельсона, ни «Северного Оленя»! Ах, шут его подери!

Джо вопросительно посмотрел на Фриско-Кида.

— Да, это правда, — произнес Фриско-Кид. — Надо было бы Нельсону взять один риф. Два еще лучше. А он распустил паруса так, как будто за ним гонятся дьяволы. Это уже чересчур; зачем поступать так опрометчиво, когда в этом нет ни малейшей нужды? Я с ним плавал и хорошо знаю его повадки.

«Северный Олень» взмыл на пенистом гребне, как птица, и летел прямо на них.

— Ты не бойся, — сказал Фриско-Кид, — он нас не заденет; он только хочет хвастнуть удальством.

Джо кивнул и, не отрываясь, широко открытыми глазами смотрел на эту захватывающую дух картину.

«Северный Олень» взвился на дыбы, носом к

небу, оголив весь форштевень; потом кинулся вниз и, вынырнув из пучины, пронесся стрелой мимо «Ослепительного» на расстоянии менее фута.

На руле стоял Нельсон. Промелькнув мимо шлюпа, он весело захохотал и махнул рукой Французу-Питу, возмущенному его выходкой.

Очутившись позади «Ослепительного», великолепное судно повернуло так круто, что казалось, будто оно опрокинулось; но потом оно выпрямилось и как бешеное понеслось новым курсом. Затем стало у них на траверзе. Видно было, как спустился кливер, как якорь полетел за борт и как судно закачалось взад и вперед, а парус заполоскал по ветру, и как вслед за первым якорем бухнулся и второй на порядочном расстоянии от первого.

Парус спустили мигом; свернули и убрали его, казалось, прежде, чем якоря успели забрать за дно.

— Бравый моряк, слов нет; моряк, каких мало!

У Француза-Пита глаза засверкали от восхищения. Фриско-Кид тоже любовался им.

— Как на яхте! — проговорил он, спускаясь в каюту. — Просто как на яхте, даже еще лучше!

К ночи ветер снова грозно завыл и к одинна-

дцати часам достиг такой силы, что Фриско-Кид объявил наступление шторма.

На «Ослепительном» спал только Кид. Француз-Пит ежеминутно выходил на палубу. Еще раза два он потравливал канат и цепь. Джо лежал, свернувшись клубочком под своим одеялом, и прислушивался к реву бури, тщетно пытаясь заснуть. Не то чтобы он боялся, но как заснуть непривычному человеку при таком адском треске и грохоте и при такой неистовой качке! Трудно даже представить себе, как это может судно выкидывать такие колена и оставаться целым. «Ослепительного» так качало, что казалось, вот-вот шлюп опрокинется. Порой он подскакивал и с оглушительным треском снова падал на волны. При этом казалось, что дно его разлетается вдребезги. Порой его так трепало на якоре, что «Ослепительный» визжал, кряхтел и стонал, как будто от боли во всех своих деревянных суставах.

Фриско-Кид проснулся и с улыбкой поглядел на приятеля.

— Это называется, по-ихнему, отстаиваться, — сказал он. — А вот погляди, что будет дальше, когда на рассвете двинемся. Наверняка несколько шлюпов выбросит на берег, вот увидишь.

И, повернувшись на другой бок, он моментально заснул опять. Джо позавидовал ему.

В начале четвертого Француз-Пит завозился на носу судна. Джо выглянул наружу, желая узнать, что он там делает, и при неверном свете бешено раскачивавшегося морского фонаря увидел, что капитан вытащил две запасные бухты каната и привязывает их к якорным канатам, чтобы удлинить их.

В половине пятого Француз-Пит развел огонь, а в пять позвал мальчиков к завтраку. Напившись кофе, они вылезли в кокпит, чтобы посмотреть на страшную картину шторма. Серое утро слабо озаряло клокотавшие волны. Спаржевый Остров различить было трудно, но зато ясно слышен был грохот прибоя у его берегов. Когда совсем рассвело, они увидели, что за ночь их снесло на целые полмили.

Остальные суда также были снесены.

«Северный Олень» стоял почти рядом с ними, «Каприз» находился на сто ярдов позади, а под ветром билось неподалеку от берега еще штук пять устричных шлюпов.

— Двух не хватает, — сказал Фриско-Кид, вооружившись биноклем и осматривая побережье.

— А! Один тут! — воскликнул он и, всмотрев-

шись пристальнее, добавил:

— Это шлюп «Поди-Спрашивай». От него скоро ничего не останется: его разобьет в щепы. Надеюсь, команда успела выбраться на берег.

Француз-Пит посмотрел в бинокль, а за ним и Джо. Ясно видно было, как барахтается в бурунах несчастное судно, а на берегу копошатся люди, составлявшие его экипаж.

— А где же «Привидение»? — спросил Француз Кида.

Фриско-Кид тщетно искал его глазами у берегов, но, повернувшись с биноклем к морю, отыскал его там при свете наступающего дня. Оно преспокойно покачивалось в полумиле от них с наветренной стороны.

— Бьюсь об заклад, что его оттащило за ночь не более чем на сто футов, — сказал Фриско-Кид. — Должно быть, там очень хорошая якорная стоянка.

— Иль, — авторитетно изрек Француз-Пит. — Оно напало на полосу илистого дна. Но если его снесет с этой полоски пиши пропало! Якоря у него слишком легки и годятся только для илистого дна. Я не раз советовал им завести якоря потяжелей, они только посмеивались. Но когда-нибудь они пожалеют, что не послушались меня,

старика, будьте уверены!

Один из шлюпов, стоявших с подветренной стороны, поднял парус и отправился воевать с морем, пытаясь выбраться на простор из этого страшного места. Они следили за ним некоторое время. Он метался, как поплавок, и подвигался вперед чрезвычайно медленно. Француз-Пит оторвал мальчиков от этого зрелища.

— Пора и нам! — крикнул он. — За дело! Два рифа! Надо выбраться отсюда побыстрее!

Только было взялись они за работу, как вдруг услышали предостерегающий окрик.

Оглянувшись, они увидели бешено несущееся на них «Привидение».

Француз-Пит прыгнул на нос, как кошка, выхватил из-за пояса нож и одним взмахом перерезал канат запасного якоря. Оставшись на одной цепи, «Ослепительный» отпрянул в сторону, и как раз вовремя, потому что вслед за этим «Привидение» пронеслось кормой вперед по тому самому месту, где только что стоял «Ослепительный».

— Как? Оно сорвалось с четырех якорей! — вскричал Джо, указывая на четыре каната, которые свисали с носа «Привидения» и вытянулись почти горизонтально.

— На двух из них драги, — усмехнулся Фриско-

Кид. — А вот дело дошло и до печки.

И действительно, на палубе «Привидения» появились два парня, которые выбросили за борт обмотанную концом каната камбузную плиту.

— Фью!.. Посмотрите на Нельсона. Он взял риф. Верный знак, что пришел настоящий шторм! — прокричал Кид.

«Северный Олень» приближался к ним, вздымая целые облака пены, подставляя грудь под удары волн, гордо выдерживая натиск шторма, точно какое-то великолепное морское животное.

Красный Нельсон махнул им рукой, проходя за кормой, а спустя четверть часа, когда они выбирали единственный оставшийся у них якорь, он переменил галс и лихо прошелся у них с наветренной стороны.

Француз-Пит, любуясь красавцем, зловеще приговаривал:

— В один прекрасный день случится… пуф — и кончено дело! Поверьте.

Минуту спустя «Ослепительный» поднял кливер, и началась упорная, ожесточенная и опасная борьба с бушующим у берегов морем. Джо изумлялся, как такое маленькое суденышко может выдержать хотя бы одну минуту этот бешеный натиск разъяренной стихии.

Но мало-помалу судно отходило от берега и от полосы прибоя на более глубокое место. Отойдя на некоторое расстояние, потравили немного шкот, и «Ослепительный» направился искать защиты за скалистой стеной мола Аламеды, лежавшего в нескольких милях пути. Там они увидели мирно стоявшего на якоре «Северного Оленя». И туда же вскоре пришли, одно за другим, все остальные суда флотилии, кроме «Привидения», которое, очевидно, выбросило на берег, чтобы составить компанию «Поди-Спрашивай».

К полудню ветер как-то сразу прекратился и стало совсем по-летнему тихо и тепло.

— Что-то подозрительно, — заметил Фриско-Кид, когда сумерки спустились над морем и Француз-Пит отправился на ялике к Нельсону в гости.

— О чем ты? — спросил его Джо.

— О чем? О погоде. Затишье что-то слишком внезапное. Буря еще не выдохлась, а она не угомонится до тех пор, покуда не выдохнется окончательно. Жди с минуты на минуту, что она опять вдруг завоет. Она только притаилась, шельма, — вот увидишь.

— Куда мы пойдем отсюда? — спросил Джо. — Опять за устрицами?

Фриско-Кид нерешительно качнул головой.

— Не знаю, что выдумает Пит. Ему не повезло с железом, не повезло с устрицами; он теперь до того раздосадован, что может выкинуть самую отчаянную штуку. Меня нисколько не удивит, если он отправится с Нельсоном в Редвуд-Сити, где затевается то крупное и рискованное дело, о котором я уж тебе говорил.

— Ну, я не намерен участвовать в нем никоим образом, — решительно заявил Джо.

— Разумеется! — согласился Фриско-Кид. — Они будут орудовать вместе с Нельсоном и его людьми. Народу немало. Обойдутся без тебя.

Глава XVI. ЗАВЕТНАЯ ШКАТУЛКА ФРИСКО-КИДА

После этого разговора ребята провалялись еще около часа на крыше каюты. Затем Фриско-Кид, ни слова не говоря, сошел вниз и зажег лампу. Джо слышал, как он там что-то раскапывал, а немного погодя Фриско-Кид тихонько позвал его. Войдя в каюту, Джо увидел, что друг его сидит в уголке, на коленях держит раскрытую шкатулку, а в руках — бережно сложенную страничку из иллюстрированного журнала.

— Похожа она на эту картинку? — спросил Фриско-Кид, разглаживая печатный листок и поднося его к глазам Джо.

Картинка изображала двух девочек и мальчика, собравшихся, очевидно, где-то на чердаке и о чем-то договаривающихся. Девочка, которая говорила, стояла лицом к зрителю, а другие двое сидели к нему спиной.

— Кто? — спросил Джо, недоуменно переводя глазами с картинки на Фриско-Кида.

— Твоя… твоя сестра… Бесси?

Слова эти он произнес заикаясь и с какой-то робкой почтительностью и благоговением.

Джо на минуту совершенно опешил. Он не понимал, какую связь имеет эта картинка с его сестрой. Да и вообще девчонки все такие глупые, что на разговоры о них не стоило тратить времени.

«А он краснеет», — подумал Джо, замечая, что лицо Фриско-Кида покрылось легким румянцем. Ему стало смешно, и он с трудом удержался, чтобы не расхохотаться.

— Нет, нет, не надо! Только не смейся! — вскричал Фриско-Кид, вырывая листок из рук Джо и укладывая его обратно в шкатулку дрожащими руками. — Я думал… я… думал, что ты поймешь

и… и…

Губы у него задрожали, на глаза стали наворачиваться слезы, и он поспешно отвернулся.

Джо сел с ним рядом и обнял его. Движение это было чисто инстинктивное, безотчетное. Неделей раньше ему показалось бы невероятно глупым и сентиментальным обнимать друга за плечи, но сейчас это было в высшей степени просто и естественно. Он не понимал, почему, но чувствовал, что это выражение симпатии с его стороны было чрезвычайно важно для Фриско-Кида.

— Расскажи все, и я пойму, — настаивал он.

— Нет, нет, ты этого не поймешь. Ты не можешь этого понять.

— Пойму, уверяю тебя. Говори!

Фриско-Кид проглотил комок, стоявший у него в горле от волнения, и покачал головой.

— Не сумею. Я чувствую, но словами выразить не умею.

Джо погладил его по плечу, и Фриско-Кид продолжал:

— Ну, так вот. Видишь ли, я так мало знаю о жизни на суше, о людях и все такое. У меня не было ни братьев, ни сестер, ни товарищей. Я мучился одиночеством, но не понимал этого. Мне чего-то вот тут не хватало. — Он указал на грудь. — Ты

когда-нибудь чувствовал голод, острый голод? Так вот это самое чувствовал и я. Только голод какой-то особенный; я и сам не знал, что это. Но раз как-то — это было очень давно — мне попался журнал с этой картинкой с двумя девочками и мальчиком, которые о чем-то между собой разговаривают. И я подумал, как хорошо было бы так сидеть с ними вместе! И я стал думать о них, о чем они говорят, что делают; и вдруг у меня блеснуло в уме, и я понял, в чем дело. Я понял, что меня мучает одиночество.

Но больше всего я думал об этой девочке, которая смотрит оттуда прямо в глаза. Я думал о ней все время, и она стояла передо мной, как живая. Видишь ли, я хорошо понимал, что на самом-то деле ее нет, но в то же время верил, что она живет. Когда я думал о людях, о труде и тяжелой жизни, я знал, что эти люди не настоящие, а только в моих мыслях; но когда я думал о ней, то нет… Сам не знаю… Я не могу этого объяснить.

Джо вспомнил, как он сам много раз фантазировал, рисуя в воображении различные приключения на суше и на море, и сочувственно кивнул головой. Это, по крайней мере, он вполне понимал.

— Все это, конечно, глупости, но подружить-

ся с такой вот девочкой казалось мне высшим счастьем на свете. Все это было давно; я был еще маленьким мальчишкой — тогда Красный Нельсон и окрестил меня Фриско-Кидом. С тех пор так меня и зовут. Но я никогда не расставался со своей картинкой и постоянно вынимал ее и рассматривал. И когда случалось, что я поступал нечестно, то мне было совестно глядеть на нее. Ну, а потом, когда я подрос, я уже по-другому стал смотреть на все это. «А что, Кид, — думал я про себя, — что, если бы ты встретил такую вот девочку, что бы она подумала о тебе? Могла бы она хоть капельку полюбить тебя, стать твоим другом?» И тогда мне хотелось стать лучше, и я давал себе обещание измениться, что-то такое сделать, чтобы она, или такие, как она, не постыдились бы знакомства со мной.

Из-за этого я выучился читать. Из-за этого я и бежал. Грамоте меня научил маленький грек Ники Перрата. И только когда я научился читать, я узнал и понял, что заниматься пиратством — это очень плохо. Попал на эту дорогу с тех пор, как помню себя; все, кого я знал, занимались этим. Но когда я понял, что это плохо, то сбежал от них и думал, что навсегда. Ну, об этом и о том, как я снова вернулся к пиратам, я расскажу когда-ни-

будь после.

Конечно, это потому, что я все время думал о ней тогда, мне казалось, что она живая. Да и теперь кое-когда так кажется. Но вот сейчас, во время нашего разговора, я понял вот что. Я понял, что, думая о ней, я думал просто о другой, лучшей, более чистой жизни, о которой я все время мечтаю. Если бы я мог жить такой настоящей жизнью, то я, наверное, узнал бы и таких девочек и других людей вроде тебя. И вот я стал думать о твоей сестре и о тебе, а почему, не знаю сам. А ты, наверно, много знаешь девочек, правда?

Джо кивнул головой.

— Так расскажи мне о них что-нибудь; все равно что, — добавил он, заметив колебание во взгляде своего товарища.

— О, пожалуйста, это легко, — храбро начал Джо. Он понял, до некоторой степени, чего не хватало этому юноше, и ему казалось совсем нетрудно удовлетворить его желание. — Начать с того, что они похожи… Гм! Ну да, что они похожи на… на девочек… вот именно… на девочек… — Он запнулся и почувствовал, что сказать ничего не может.

Фриско-Кид терпеливо ждал, все его лицо выражало напряженное внимание.

Джо добросовестно мобилизовал все свои умственные способности и весь запас своих сведений.

Перед ним промелькнул целый ряд девочек, с которыми он учился в школе, — сестер школьных товарищей и сестриных подруг; худеньких и пухленьких, высоких и низеньких, голубоглазых и черноглазых, брюнеток и блондинок, с завитушками и без завитушек, — словом, целая процессия девочек всевозможного вида. Но что о них можно сказать? Решительно ничего. Если бы еще он сам был девчонкой, а то ведь нет.

— Все девчонки одинаковы, — заключил он с отчаянием в голосе. — Они все на один манер и ничем не отличаются от тех, которых ты сам знаешь.

— Но я не знаю ни одной.

Джо свистнул…

— И никогда не знал?

— Одну я знал — Карлотту Джиспарди. Но она не умела говорить по-английски, а я не умел по-итальянски. Она умерла. Ну да ладно! Оставим это. Видно, ты знаешь о них столько же, сколько и я, хоть я и не знал ни одной.

— А я наверняка знаю больше твоего о морских приключениях, — отпарировал Джо.

Оба мальчика весело расхохотались. Но разговор этот заставил Джо призадуматься. Ему вдруг стало ясно, что он не ценил, как должно, тех благ, которые выпали на его долю. Хотя дом, мать и отец уже стали значить больше для него с некоторых пор, но о сестре и друзьях он как-то не думал. Он никогда не ценил их по-настоящему, пронеслось у него в голове, но отныне… да, отныне будет иначе!

Тут раздался резкий голос Француза-Пита, звавшего их, и ребята выбежали на палубу.

Глава XVII. ФРИСКО-КИД РАССКАЗЫВАЕТ СВОЮ ПОВЕСТЬ

— Поднять грот, выбрать якорь! — крикнул Пит. — Идем за «Оленем» и без огней!

— Отдавай сезни, живо! — командовал Фриско-Кид. — Теперь выбирай дирик-фал — вон тот конец, — отдай его с нагеля. И не торопись, выбирай наравне со мной. Так! Теперь крепи! Расправим после. Беги на корму и подбери гроташкот! Поставь румпель на место!

Парус внезапно наполнился ветром, «Ослепительный» дрогнул, рванулся вперед, как

нетерпеливая лошадь, и начал дергать якорную цепь, пока якорь не отцепился от илистого дна и не выпустил шлюп на свободу.

— Брось шкот! Сюда, ко мне! Помоги выбрать цепь! Приготовься поднять кливер! — Фриско-Кид преобразился: от мечтательного мальчика с драгоценной картинкой не осталось и следа — на палубе распоряжался строгий и властный моряк. Он перебежал на корму и одновременно с тем, как кливер, поднятый Джо, заполоскал на ветру, повернул судно на другой галс.

В эту минуту во мраке, как огромная летучая мышь, пронесся мимо них «Северный Олень».

— Ну уж мне эти мальчишки! Вы тут целую ночь собираетесь провозиться, я вижу, а? — крикнул Француз-Пит с раздражением.

С борта «Северного Оленя» донесся грубый голос Красного Нельсона:

— Не мели вздора, французик, ведь Кида вышколил я! Этот малый не промах!

У «Северного Оленя» был более быстрый ход, чем у «Ослепительного»; он нарочно убавил паруса, и мальчики не теряли его из виду. Ветер дул с запада и постепенно усиливался. Небо начали застилать быстро мчавшиеся густые облака. Фриско-Кид закинул голову и посмотрел вверх.

— К утру здорово засвежеет, — сказал он. — Как я и предсказывал.

Прошло несколько часов. Подойдя к Сан-Матео, оба судна остановились и отдали якоря на расстоянии не более одного кабельтова от берега. В море вдавалась небольшая пристань. Неподалеку от нее колыхалась маленькая яхта.

На судах, как обычно, все было приготовлено к быстрому отплытию. В одну минуту по данному знаку можно было поднять якоря и поставить паруса. Оба ялика бесшумно отчалили от борта «Северного Оленя». Красный Нельсон уступил одного человека из своей команды Французу-Питу. На каждом ялике сидело по два человека.

Нельзя сказать, чтобы физиономии этих людей производили приятное впечатление, — по крайней мере у Джо вид этих свирепых, мрачно-суровых лиц вызывал невольную дрожь. Капитан «Ослепительного» опоясался ременным поясом с двумя револьверами в кобурах и уложил в ялик ружье и крепкие двухшкивные тали. Затем он поднес каждому соучастнику по стакану вина, и все они выпили в темной каюте за успех экспедиции. Красный Нельсон тоже был вооружен, а у его людей на бедрах висели матросские ножи. Они осторожно разместились в яликах, стараясь

не производить ни малейшего шума. Француз-Пит уселся последним; он приказал мальчикам соблюдать полную тишину в его отсутствие и не затевать никаких фокусов.

— Вот был бы прекрасный случай для тебя, Джо, если бы только они оставили нам ялик, — прошептал Фриско-Кид, когда шлюпки скрылись в тумане.

— А почему бы нам не уйти на «Ослепительном?» — последовала неожиданная реплика. — Поднять паруса — и след простыл! Пока они там спохватятся!

Фриско-Кид колебался. Дух товарищества давал себя знать. Грешно подводить товарища в опасную минуту.

— Не совсем хорошо, мне кажется, покинуть их в беде на берегу, — сказал он. — Конечно, — поспешил он добавить, — я отлично понимаю, что они затеяли скверную штуку; но помнишь ту первую ночь, когда ты бежал по воде к ялику, а сзади пощелкивали? Мы ведь тебя не бросили!

Джо поневоле пришлось согласиться, но у него блеснула новая мысль.

— Но ведь они пираты, воры, преступники. Они нарушают закон, а мы с тобой не хотим быть преступниками. Кроме того, мы их вовсе не бросаем

в беде. У них остается «Северный Олень», — кто им мешает удрать на нем, а в темноте они нас не разыщут.

— Идет! — сказал Фриско-Кид. Хотя он и согласился, но все-таки это было ему совсем не по душе: как никак, дело пахло предательством.

Они ползком пробрались на нос и начали поднимать грот. Ради сбережения времени в крайнем случае можно было не выбирать якорь, а обрезать канат. Но чуть только скрипнули шкивы, как из окружающей темноты донеслось до них предостережение:

— Тсс! — а вслед за тем полушепотом: — Перестаньте!

Присмотревшись в том направлении, откуда слышался голос, они различили белевшее в темноте лицо человека, следившего за ними с борта соседнего шлюпа.

— Э! Да это юнга с «Оленя». Давай дальше!

Но как только опять скрипнули блоки, раздалось вторичное предупреждение, и в новом тоне:

— Сказано: бросьте фалы, а то всыплю вам горячих!

Угроза эта сопровождалась щелканьем взводимого курка. На этот раз Фриско-Кид неохотно

повиновался и с ворчанием направился назад в кокпит.

— Не горюй, еще немало представится случаев, — шепнул он в утешение Джо. — А Француз-Пит хитер! Сообразил, что ты захочешь убежать, и приставил сторожа.

С берега не доносилось ни звука. Неизвестно было, что там проделывали пираты и как шли их дела. Ни одна собака не лаяла, нигде не видно было ни одного огонька. Но воздух казался насыщенным тревогой, и ночная тишина точно таила в себе всевозможные ужасы. Нервы мальчиков были натянуты. Они сидели в кокпите, тесно прижавшись друг к другу, и ждали.

— Ты хотел рассказать мне, как ты бежал, — заговорил Джо, — и почему ты вернулся обратно?

Фриско-Кид принялся потихоньку рассказывать, наклонившись к уху товарища:

— Видишь ли, когда я вздумал уйти, у меня не было никого, решительно никого, кто бы мне мог помочь. Я понимал, что единственным выходом для меня было выбраться на берег и подыскать такую работу, которая дала бы мне возможность учиться. Я решил, что в деревне будет легче найти такую работу, чем в городе. Ну я и удрал от Красного Нельсона. Я был тогда на «Северном

Олене». Однажды ночью, когда мы стояли на Аламедских устричных отмелях, я выбрался на берег и дал стрекача. Нельсон меня не поймал. Я бежал куда глаза глядят, только бы подальше от берега. Местные жители все были фермеры-португальцы. Никто из них не дал мне работы. Впрочем, время-то я выбрал неподходящее — зима была. Видишь, как я много смыслил о жизни на суше. С двумя или тремя долларами в кармане отправился я дальше в глубь страны, все искал работу, а еду покупал у лавочников — хлеб, сыр и все такое. Работы нигде не мог найти. Ночевал на улице, без одеяла, было очень холодно, и я всегда радовался, когда наступало утро. Но хуже всего было то, что на меня смотрели, как на бродягу, подозрительно, — все, кого я встречал, и нисколько этого не скрывали. Случалось, и даже травили собаками. Казалось, для меня нет места на суше. Скоро деньги мои вышли все до последнего цента.

Пришлось голодать. Но тут как раз меня арестовали.

— Арестовали? За что же?

— Да так себе, ни за что. За то, что живу. Как-то ночью я зарылся в стог сена: там все-таки потеплее спать, — а тут появился полицейский и

арестовал меня за бродяжничество. Сначала они думали, что я убежал из дому, и повсюду дали знать о моих приметах. Сколько я ни твердил им, что у меня нет никаких родных, они мне долго не верили.

А потом, когда прошло много времени и никто не объявился, чтобы взять меня, судья отправил меня в приют для беспризорных в Сан-Франциско.

Фриско-Кид замолчал и некоторое время внимательно присматривался и прислушивался, нет ли какого-нибудь движения на берегу. Но там царили мрак и тишина; слышен был только шум ветра.

— Я думал, что сдохну в этом приюте. Это было все равно, что тюрьма. Нас держали под замком, как арестантов. Но все бы ничего, если бы ребята там были хорошие. А то самые паршивые уличные мальчишки. Они только врали да ябедничали. Смелости в них ни капельки не было, а о честности и понятия не имели. Мне там понравилось только одно — это книги. О, я читал запоем и прочел их целую кучу. Но ведь этого одного мало! Мне хотелось свободы, солнца, запаха моря! И что я сделал? За что они меня послали в тюрьму вместе с этим сбродом? Я же ничего плохого не

хотел; наоборот, я хотел стать лучше, хотел сделаться человеком — и вот что я за это получил. Понимаешь ли, тогда я был еще слишком глуп и наивен, чтобы разобраться во всем этом.

Иногда мне мерещились сверкающие на солнце волны, белые паруса, «Северный Олень», рассекающий воду, — и меня охватывала такая тоска, что я не находил себе места и сам был не свой. А тут ребята приставали ко мне со всякими мерзостями, и я со злости задавал им иногда такую трепку! За это меня наказывали и сажали в карцер. Ну, я не выдержал и сбежал оттуда. Выходит, не было мне места на суше. И я поступил к Французу-Питу и вернулся к прежней жизни. Вот и все. Но я еще раз попробую, когда буду постарше и сумею найти для себя подходящее дело. Я это сделаю непременно.

— Ты уйдешь со мной, — сказал Джо самым решительным тоном, кладя ему руку на плечо. — Вот что ты сделаешь. А насчет…

Бац! — грянул с берега выстрел. Бац! Бац! Оживленная перестрелка не умолкала. Послышался чей-то раздирающий вопль, кто-то стал звать на помощь. Оба мальчика моментально вскочили, подняли паруса и приготовили все к немедленному отплытию. Юнга на «Северном Олене» сделал

то же самое. Человек на яхте, разбуженный выстрелами, выставил было из люка испуганное лицо, но, увидев два незнакомых шлюпа, тотчас же скрылся. Напряженное ожидание кончилось; настало время действовать.

Глава XVIII. ДЖО ПРИНИМАЕТ НА СЕБЯ НОВУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Якорную цепь укоротили до последней возможности: она висела отвесно. «Ослепительный» стоял в полной готовности. Оставалось поднять кливер и дать ход. Фриско-Кид и Джо внимательно смотрели на берег. Крики умолкли, но замелькали огни. До их ушей донесся с берега скрип блоков талей, и они услышали грубый голос Красного Нельсона, дававшего команду: «Спускай!.. Бросай!.. Отваливай!..»

— Француз-Пит забыл смазать блок, — заметил Фриско-Кид.

— Чего они там копаются! — крикнул юнга, сидевший на крыше каюты «Северного Оленя», вытирая пот с лица после тяжелой работы: ему одному пришлось поднимать большой парус.

— У них-то, как видно, все в порядке, — откликнулся Фриско-Кид.

— А у тебя все готово?

— Да, все готово.

— Эй, вы! — крикнул человек с яхты, не высовывая, однако, на этот раз головы. — Лучше бы вы убрались отсюда.

— А вы бы лучше помалкивали да посиживали в своей конуре, — последовал ответ. — Мы сами сумеем позаботиться о себе, а вы заботьтесь о своей шкуре.

— Если бы я мог только выбраться отсюда, уж и показал бы я вам!

— Считайте за счастье, что вы не можете выбраться! — отвечал ему юнга с «Оленя», и человек на яхте замолчал.

— А вот и они! — воскликнул вдруг Фриско-Кид.

Два ялика вынырнули из темноты и подошли к борту.

По голосу Француза-Пита легко было догадаться, что между пиратами происходят какие-то пререкания.

— Нет, нет, — кричал он. — Грузите на «Ослепительный». У «Северного Оленя» ход быстрей. Он удерет из-под носу, и лови ветра в поле. Нечего там! Грузи на «Ослепительный»!

— Ну да ладно, пусть будет по-твоему. Разделим

после. Поторапливайся! Живо наверх, молодцы! И тащите! У меня рука сломана.

Матросы Нельсона выскочили из лодки, спустили в нее веревки, и все, кроме Джо, ухватились за них и стали тащить. Крики людей где-то у берега, всплеск весел, скрип блоков, хлопанье парусов — все это красноречиво свидетельствовало о том, что на берегу спешно налаживают погоню.

— Ну, — командовал Красный Нельсон, — разом! Смотри, осторожней! Не упускать, а то ялик не выдержит! Пошло! Тяни! Еще! Еще раз! Закинь конец, отдохните!

Хотя подняли только до половины, но все уже изнемогли от чрезмерного напряжения и обрадовались передышке. Джо взглянул через борт, желая узнать, что за тяжесть они поднимают, и различил неясные очертания небольшого канцелярского сейфа.

— За дело! Все вместе! — опять раздался голос Нельсона. — Одним махом, ребята! Хо-хо! Еще раз! Ну еще! Так! Готово!

Запыхавшись и еле переводя дух, они втащили сейф на палубу, перекинули его через комингс и спустили в кокпит. Распахнув дверцы каюты, проволокли его по настилу и поставили рядом с колодцем выдвижного киля. Красный Нельсон

взобрался следом за остальными и распоряжался установкой. Левая рука его беспомощно болталась, а с кончиков пальцев капала кровь. Но он, по-видимому, не обращал на это никакого внимания, и его, казалось, нисколько не беспокоила та человеческая буря, которую он поднял на берегу и которая, судя по долетавшим звукам, угрожала разразиться над ними ежеминутно.

— Держите курс на Золотые Ворота, — сказал он Французу-Питу, собираясь уходить. — Я постараюсь держаться поблизости; но если я в темноте потеряю вас из виду, то встретимся утром у Фараллоновых островов.

Он прыгнул в ялик вслед за своими матросами и весело крикнул, помахивая здоровой рукой:

— А потом в Мексику, ребята, в Мексику, там тепло!

Как раз в тот момент, когда «Ослепительный» снялся с якоря и, качнувшись, двинулся вперед, за кормой показался темный парус, почти уже наседавший на ялик, шедший у «Ослепительного» на буксире. Кокпит судна преследователей был переполнен людьми, разразившимися ругательствами при виде пиратов.

У Джо мелькнула мысль кинуться на нос и перерезать фалы, чтобы «Ослепительный» по-

пался в плен. Ведь он, Джо, ни в чем не виноват и нисколько не боится суда, как он и говорил Питу. Однако мысль о Фриско-Киде остановила его. Джо хотел уйти от пиратов вместе с Кидом, но вовсе не с тем, чтобы запрятать его в тюрьму. Таким образом, опасность грозившая Фриско-Киду, заставила Джо горячо пожелать, чтобы «Ослепительному» удалось уйти от погони.

Гнавшееся за ними судно, пытаясь обойти «Ослепительный», описало дугу и при этом наткнулось впотьмах на яхту, стоявшую на якоре. Человек, находившийся на ней, полагая, что это пираты и ему пришел конец, заорал благим матом, выскочил на палубу и бросился за борт. Суматоха, вызванная столкновением, и спасение утопавшего затормозили погоню. Тем временем Француз-Пит и мальчики успели скрыться в ночной темноте.

«Северный Олень» давно уже исчез из виду. «Ослепительный» вышел в открытое море и, подгоняемый свежим ветерком, быстро мчался по легкой зыби. Не прошло и часу, как с правой стороны показались огни мыса Хантерс-Пойнт. Фриско-Кид сошел вниз варить кофе, а Джо остался на палубе. Он смотрел на всплывавшее зарево огней Сан-Франциско и думал о том, куда они

теперь направятся. Мексика! Как? Неужели они пустятся в океан на этой скорлупе! Быть не может! Представление о путешествии по океану у него связывалось лишь с пароходами и кораблями. Он начинал сожалеть о том, что не перерезал фалов. Ему очень хотелось задать несколько вопросов Питу, но только он собрался раскрыть рот, как этот достойный муж приказал ему идти в каюту пить кофе и спать. Джо и Фриско-Кид улеглись, а Француз-Пит остался один наверху. «Ослепительный» шел по заливу, направляясь в сторону открытого моря. Раза два капитану послышался шум волн, разбиваемых о форштевень, а один раз он заметил с подветренной стороны судно, быстро переменившее галс при виде «Ослепительного». Но темнота благоприятствовала Французу, и подозрительный парус скоро исчез и не появлялся более.

Чуть только рассвело, капитан разбудил мальчиков, и они выползли на палубу с заспанными лицами. Утро выдалось холодное, серое; ветер предвещал близкий шторм.

Джо немало удивился, увидев перед собой белые палатки карантина на острове Энджел Айленд. Сан-Франциско выделялся туманным пятном на южном горизонте. Ночь медленно та-

яла. Француз-Пит держал курс на Ракун-Стрейтс и внимательно всматривался в нырявшую на расстоянии полумили позади них шлюп-яхту.

— Думают поймать «Ослепительный», кажется, да? Ну, посмотрим. — И он повернул шлюп на другой галс, взяв курс прямо на Золотые Ворота. Яхта двинулась следом. Джо стал наблюдать за ней. Она шла почти параллельным курсом и заметно нагоняла их.

— Но ведь так они нас живо догонят! — вскричал он.

Француз-Пит засмеялся.

— Как бы не так! Они отстают; мы уходим. Они удирают от ветра, а мы выходим на ветер. О! Погоди, увидишь!

— Они идут быстрее нашего, — вставил Фриско-Кид. — Но мы держим ближе к ветру. В конце концов мы их обгоним, даже если они осмелятся перейти бар. Но я не думаю, чтобы они на это решились. Смотри, смотри!

Впереди виднелись огромные, грохочущие, пенистые валы океана. Среди бушующих волн входила в гавань, то подкидываемая на гребень гороподобной волны, то низвергаемая в бездну, каботажная паровая шхуна, нагруженная лесом.

Захватывающее зрелище величавой борьбы

человека со стихией пленило Джо. Забыв об опасности, он замер на месте; глаза его широко раскрылись, ноздри раздувались от восхищения. Француз-Пит облачился в дождевик и надел зюйдвестку. Джо тоже получил такой же костюм. Потом они вместе с Кидом пошли по приказанию капитана закрепить как следует на месте сейф. Джо во время работы увидел выгравированное на сейфе золотыми буквами название фирмы: «Бронсон и Тейт». Как?! Неужели этот сейф принадлежит его отцу? Неужели это собственность мистера Бронсона и его компаньона? Фриско-Кид, прибивавший к настилу каюты последнюю планку, оторвался от своего дела и взглянул на надпись.

— Вот так фунт!.. — протянул он шепотом. — Это твоего отца?

Джо молча кивнул в ответ. Теперь все было ясно, как на ладони. Оии тогда ходили в Сан-Андреас, где разрабатываются обширные каменоломни его отца. По всей вероятности, в сейфе лежат деньги, ассигнованные на выдачу жалованья рабочим и служащим, которых там было больше тысячи человек.

— Молчи! — шепнул он. — Ни слова!

Фриско-Кид кивнул головой в знак согласия.

— Француз-Пит читать не умеет, а Красный Нельсон не знает твоей фамилии. Но беда в том, что ведь они взломают его при первой возможности и деньги между собой поделят. Что ты тут сделаешь?

— Посмотрим!

Джо решил отстаивать собственность своего отца всеми силами. Она, наверное, пропала бы, если бы его не было здесь. Но так как он здесь, то, значит, имеются некоторые шансы спасти ее. Пусть эти шансы сомнительны, но все же теперь они есть. Джо почувствовал на плечах своих бремя новой ответственности.

Несколько дней тому назад у него не было никаких других забот, кроме заботы о себе самом. Но затем, приняв близко к сердцу участь Фриско-Кида, он как-то подсознательно взял на себя ответственность за его будущность; потом, еще более неуловимыми путями, он пришел к осознанию своих обязанностей перед домом, перед сестрой и друзьями. И, наконец, совершенно неожиданно так сложились обстоятельства, что ему необходимо теперь постоять за интересы отца. Это был призыв к его мужеству и смелости. И он всем сердцем откликнулся на этот призыв. Что бы ни сулило будущее, в себе он уверен. И эта его

уверенность в силу каких-то таинственных законов еще более увеличивала его решимость. Он впервые смутно отдал себе отчет в той жизненной истине, что уверенность родит уверенность, а сила — силу.

Глава XIX. МАЛЬЧИШКИ ЗАДУМАЛИ БЕЖАТЬ

— Начинается! — закричал Француз-Пит.

Оба мальчика выбежали в кокпит. «Ослепительный» переступал бар океана. Перед ними вздымался огромный пенистый вал футов в сорок высотой, на мгновение закрывший от них ветер и грозивший расплющить крошечное суденышко, как яичную скорлупу. У Джо захватило дух. Момент был критический. Француз-Пит повернул шлюп прямо на волну. «Ослепительный» взлетел по ее крутому уклону, повис на головокружительной высоте и низвергнулся в пучину. Маневрируя таким образом, чтобы между налетевшими валами дать возможность парусу наполниться ветром, и направляя шлюп прямо навстречу поднимающейся волне, они прошли опасный отрезок пути.

Шлюп нырял и выскакивал из пучины с лег-

костью поплавка, только один раз волна чуть не захлестнула суденышко.

Джо забыл и о себе и обо всем на свете. А! Вот это жизнь! Вот это настоящая деятельность! Это не похоже на то дряблое существование, которое он так долго влачил. Матросы встречного парохода, столпившиеся на мокрой палубе, заваленной лесом, приветственно махали зюйдвестками, и даже капитан, стоявший на мостике, восхищался дерзким суденышком.

— Посмотрите-ка, посмотрите! — Француз-Пит указывал на корму.

Преследователи, как видно, струсили. Шлюп-яхта заметалась из стороны в сторону, не решаясь переступить через грозный порог. «Ослепительный» ушел от погони.

Лоцманский бот, спасаясь от надвигавшейся бури, промчался мимо, как испуганная птица, и так стремительно обогнал пароход, что, казалось, тот стоит на месте.

Получасом позднее «Ослепительный», выбравшись из бурунов, плавно скользил по длинной тихоокеанской волне. Скорость ветра увеличилась, и пришлось взять рифы. Но потом опять распустили паруса и понеслись правым галсом на Фараллоны, до которых было миль около

тридцати. После завтрака они увидели «Северного Оленя», лежавшего в дрейфе; его сносило на юго-запад. Штурвал был закреплен неподвижно, и на палубе не видно было ни души.

Француз-Пит возмущался такой беспечностью.

— Черт его знает, что он делает, этот Красный Нельсон! Забубенная голова: ему все нипочем! Ничего не боится. Уж напорется он когда-нибудь!

Им пришлось три раза обойти вокруг «Северного Оленя» и кричать хором во все горло по ветру. Наконец, появились люди на палубе. На «Олене» быстро поставили паруса, и обе скорлупы двинулись вперед, в безграничные просторы Тихого океана.

Фриско-Кид объяснил Джо, что необходимо уйти как можно дальше от берегов, пока еще не обрушился на них бешеный шторм. Иначе их отнесет к берегам Калифорнии. Когда пройдет шторм и наступит затишье, можно будет подойти к какому-нибудь берегу и запастись водой и провиантом. Хорошо, что он, Джо, не страдает морской болезнью. Последнее обстоятельство поднимало престиж юного строптивого моряка и в глазах капитана — Пит тоже похвалил его за это.

— Знаешь что, — шепнул Фриско-Кид своему товарищу, когда они готовили обед, — давай нынче ночью скрутим Пита…

— Как так?

— Ну да, скрутим — и только. А потом выставим огни и направимся к берегу, зайдем в первый попавшийся порт, только бы избавиться о Красного Нельсона.

— Да, — задумался Джо, — план этот был бы хорош, если бы я мог все это сделать один. Но чтобы ты помогал мне… нет, с твоей стороны это было бы предательством по отношению к Французу-Питу.

— Вот что мы сделаем: я берусь тебе помочь, если ты мне пообещаешь одну вещь, — сказал Фриско-Кид. — Француз-Пит взял меня к себе, когда я бежал из приюта и умирал с голоду, и мне некуда было деваться. Было бы нечестно с моей стороны отплатить ему за это тюрьмой. Твой отец не захотел бы, чтобы ты нарушил свое слово, ведь правда?

— Нет, разумеется, нет. — Джо отлично было известно, как свято соблюдал отец свое слово.

— Так ты должен пообещать, и отец твой должен постараться, чтобы Пит не попал в тюрьму.

— Прекрасно. Ну, а ты-то куда же? Неужели

опять с ним на «Ослепительном»?

— О, обо мне беспокоиться нечего! Кому я нужен? Я уже не маленький и в своем деле набил руку настолько, что могу поступить на службу матросом. Заберусь куда-нибудь на край света и начну новую жизнь.

— В таком случае перестанем об этом говорить, вот и все.

— О чем — об этом?

— О твоем предложении насчет Пита и прочем.

— Нет, нет! Это решено и подписано.

— Послушай, я говорю серьезно. Я ни в коем случае не пойду на это. Если ты, со своей стороны, не дашь мне обещания, то я предпочту идти в Мексику.

— Какое обещание?

— Вот какое: с той минуты, как мы вступим на землю, ты целиком подчиняешься мне. Ведь ты сам говорил, что не имеешь никакого представления о жизни на суше. А уж я сговорюсь с отцом, я знаю, ты познакомишься с подходящими людьми, будешь учиться, получишь какую-нибудь специальность и станешь работать где-нибудь. Это ведь лучше, чем оставаться пиратом или идти в матросы.

Хотя Фриско-Кид и молчал, но выражение лица юноши выдавало его отношение к этой заманчивой перспективе.

— И, кроме того, не забывай, что ты будешь иметь на это полное право,

— продолжал настаивать Джо. — Ты будешь помогать мне и тем самым поможешь отцу вернуть деньги. Таким образом, он становится твоим должником.

— Ну, это я не люблю. Я презираю людей, которые помогают в беде только за плату.

— Замолчи, пожалуйста! Ты не знаешь, во что обойдется моему отцу сыскной розыск! Ну, обещай же, и кончено дело! А когда я все устрою и тебе вдруг что-нибудь не понравится, ты всегда сможешь уйти обратно в море. Ну, согласен?

Они ударили по рукам и занялись обсуждением рискованного плана.

Но шторм, налетевший с северо-запада, разрушил все замыслы друзей и приготовил «Ослепительному» иную участь. После обеда пришлось взять вторые рифы, хотя буря еще не разыгралась в полную силу. Океан бушевал; волны громоздились, как горы, казавшиеся непомерно огромными и страшными с низкой палубы шлюпа.

С обоих шлюпов могли видеть друг друга только в те минуты, когда им случалось одновременно очутиться на гребне волны. Порой волны заплескивали в кокпит и перекатывались через крышу каюты. Джо поручено было откачивать воду помпой.

В четвертом часу Французу-Питу удалось подать знак «Северному Оленю», что «Ослепительный» ложится в дрейф и становится на плавучий якорь. Последний представлял собой просторный брезентовый мешок, отверстие которого поддерживалось раскрытым посредством связанных треугольником металлических стержней. К ним были привязаны буксирные тросы по принципу воздушного змея. Таким образом, воде противопоставлялась наибольшая противодействующая поверхность, и благодаря этому шлюп держался все время носом против ветра и волны — самое безопасное положение для судна во время шторма. Красный Нельсон махнул рукой, давая знать, что понял сигнал и согласен.

Пит взялся сам сбросить якорь, приказав Фриско-Киду повернуть вовремя руль и поставить судно против ветра.

Капитан, с трудом удерживаясь на скользкой палубе, выжидал подходящего момента.

Но как раз в ту минуту, когда «Ослепительный» очутился на гребне громадной волны и выпрямился на ровный киль, налетел бешеный порыв ветра. Напор на паруса и снасти был так велик, что они не выдержали. Раздался треск. Талрепы, ванты, мачта, кливер, грот, блоки, плавучий якорь и сам Пит — все грохнулось за борт. Каким-то чудом капитан уцелел. Он успел ухватиться за ватерштаг и дотянулся до бушприта. Мальчики подбежали и втащили его на палубу. Красный Нельсон, заметив крушение, переложил руль и бросился к ним на выручку.

Глава XX. КРИТИЧЕСКИЕ МИНУТЫ

Француз-Пит остался цел и невредим. Но мешок плавучего якоря был поврежден: его проткнуло насквозь гафелем, обрушившимся вместе с мачтой. Обломки, бившиеся о борт судна, отклоняли шлюп от прямого направления навстречу волнам, и положение становилось опасным.

— Прощай, старина «Ослепительный»! Теперь уж мы больше не будем протирать с тобой ветру глаза. Не будем обгонять щегольские господские яхты и сбивать с джентльменов спесь.

Так слезно причитал капитан, стоя в кокпите

и окидывая печальное зрелище помутившимся взором. Даже Джо, который сильно его недолюбливал, почувствовал к нему жалость в эту минуту. Жестокий порыв ветра сорвал гребень волны и обрушил его на беспомощное судно-калеку.

— Неужели нельзя спасти его? — растерянно проговорил Джо.

Фриско-Кид отрицательно покачал головой.

— А сейф?

— И думать нечего! Никакое судно не отважится подойти близко к нашему борту за все золото Соединенных Штатов. Придется еще поломать голову над тем, как бы нам-то уцелеть.

Набежала другая волна и разбила вдребезги о корму уже давно перед тем захлебнувшийся ялик. Вдруг над ними из вершины водяного холма вырос парус «Северного Оленя».

Джо в ужасе отшатнулся: казалось, судно рухнет им на голову. Но в следующее мгновение оно провалилось в бездну, и они увидели его далеко внизу под собою. Подобные минуты не забываются. Картина была поразительная. «Олень» трепетал, весь окутанный белоснежной пеной, зарываясь в воду по самый кокпит. Брызги стояли облаком в воздухе и придавали картине фантастический вид. Один из матросов, каким-то

чудом удерживаясь на палубе, старался отвязать отяжелевший от воды ялик. Юнга, перегнувшись через коминг кокпита и изо всех сил вцепившись в него, протягивал ему нож. Третий матрос стоял на руле, заставляя судно уклоняться под ветер. Рядом с ним стоял Красный Нельсон. Зюйдвестку с головы у него сорвало, и рыжие кудри мокрыми прядями разметались по лицу. Рука была на перевязи. Вся его осанка дышала неукротимой отвагой и силой. Глаза сияли восторженным блеском. Джо внезапно проникся благоговейным уважением к этому человеку. Какими огромными дарами наделила его природа и как жаль, что они расточаются им на ветер! Пират и разбойник! В это мгновение извечная истина жизни как бы озарила сознание Джо он постиг тайну успеха и причину неудач. Жизнь вдруг распахнула перед ним свою заветную книгу, и он мог читать ее страницы. Из таких характеров, как у Красного Нельсона, создаются герои; такие люди обладают тем, чего ему недостает: умением выбирать, расчетливостью, трезвым самообладанием — словом, всеми теми качествами, о которых ему отец столько раз «читал проповеди».

Все эти мысли молнией промелькнули у него в голове. Между тем «Северный Олень», подбро-

шенный кверху огромным валом, со свистом пролетел у них мимо самого носа с подветренной стороны.

— Ох, отчаянная голова! — воскликнул Пит, с восхищением наблюдая за маневрами шлюпа. — Он норовит перекинуть парус на другой галс. Он погибнет и нас всех потопит. Вот, вот, поворачивает! О сумасбродный безумец!

Но время не терпит, и Красный Нельсон решился рискнуть. Улучив момент, он перекинул парус и пошел с попутным ветром к «Ослепительному».

— Вот он, близко! Готовься, прыгай! — крикнул товарищу Фриско-Кид.

«Северный Олень» пронесся мимо кормы, накренясь так низко, что иллюминаторы его каюты зарылись в воду. Казалось, столкновение неминуемо. Но капризом волны его откинуло в сторону. Видя, что маневр не удается. Красный Нельсон моментально придумал другой.

Крутой поворот руля мигом повернул летевшего на них «Оленя», и он подставил свой нависший гик к самому борту «Ослепительного». Ближе всех был Француз-Пит. Надо было ловить момент. Француз прыгнул, как кошка, и уцепился за него обеими руками. «Северный Олень» подхватил

его и понесся вперед, окуная добычу в каждую волну, но Пит крепко держался и подбирался к борту все ближе и ближе, пока наконец не очутился в кокпите. Красный Нельсон в эту минуту уже поворачивал, собираясь повторить тот же самый ход.

— Твоя очередь, — сказал Фриско-Кид, обращаясь к Джо.

— Нет, прыгай ты, — ответил Джо.

— Но я все-таки более опытный моряк, — настаивал Кид.

— Плавать я мастер тоже, — возражал ему Джо.

Чем бы кончился спор, неизвестно, но быстрая смена событий сделала всякое соглашение излишним. «Северный Олень» уже несся назад, накренившись под таким углом, что казалось вот-вот опрокинется. Картина была необыкновенная. В ту же минуту шторм разразился с неистовой силой. Ветер взревел и пригладил косматые гребни. Океан закипел. «Северный Олень» пропал из виду: его заслонила чудовищная волна. Волна прокатилась, но шлюп не показывался: его уже не было.

Испуганным взором опешивших мальчиков предстала пустыня бушующих волн. Они озира-

лись, не веря глазам: «Северного Оленя» нигде не было видно. Они остались одни, покинутые на произвол разъяренной стихии.

— Упокой, господи, их грешные души! — торжественно произнес Фриско-Кид.

Джо был так потрясен катастрофой, что не мог издать ни единого звука.

— Судно опрокинулось и ключом пошло ко дну: на нем было очень много балласта, — пробормотал Фриско-Кид. Затем он добавил: — А теперь нам надо думать о своем спасении. Этот взрыв был последней вспышкой шторма. Но когда он начинает стихать, волны становятся еще выше. Давай действовать, только держись покрепче, чтобы не снесло. Надо поставить шлюп носом прямо к волне.

Вооружившись ножами, они рядышком осторожно подвигались к тому месту, где перепутанные обломки и обрывки снастей отчаянно колотились о борт. Фриско-Кид руководил опасной работой. Джо исполнял его приказания, как бывалый моряк. Ежеминутно обоих мальчиков захлестывало водой и кидало из стороны в сторону. Они постарались привязать главную массу обломков к носовому битенгу, а затем, барахтаясь и захлебываясь в воде, принялись резать и

рубить спутавшиеся шкоты, фалы, штаги и тали. Кокпит быстро наполнялся водой. Приходилось торопиться, чтобы идти откачивать воду. Наконец им удалось очистить все; оставалось только справиться с такелажем подветренной стороны. Фриско-Кид отсек фалы. Остальное доделал шторм. «Ослепительный» сразу переменил положение и развернулся носом к волнам.

Немного передохнув, обрадованные первой удачей, мальчики перебрались в кокпит, где воды уже было по колено и дощатый настил каюты всплыл. Достав ведра из кормового ящика, они стали усердно вычерпывать воду. Работа была страшно неблагодарная, вода снова и снова заливала шлюп, но они продолжали упорно делать свое дело, и когда наступила ночь, «Ослепительный» уже спокойно покачивался на импровизированном плавучем якоре и мог похвалиться тем, что и помпы его снова действовали. Как верно предсказал Фриско-Кид, буря начала выдыхаться, хотя ветер, изменив направление, все еще был довольно крепким.

— Если он только не сдаст, — сказал Фриско-Кид, говоря про западный ветер, — то завтра нас отнесет к берегам Калифорнии. Остается сидеть сложа руки и ждать.

Разговор не клеился. Оба были подавлены гибелью товарищей и страшно изнурены; сидели молча, прижавшись друг к другу, содрогаясь от холода и чувства заброшенности. Промокшие до костей, они оставались в чем были, так как им не во что было переодеться. Все решительно: пища, одеяла, белье — было насквозь пропитано морской водой. Ночь тянулась бесконечно долго. Порой они забывались дремотой, но, засыпая, поминутно вздрагивали и будили друг друга.

Наконец рассвело, они огляделись. Ветер и волны угомонились, и «Ослепительный», несомненно, вышел из борьбы победителем. Берег оказался ближе, чем они предполагали, и сквозь дымку серого утра виднелись смутные очертания прибрежных скал. С восходом солнца они разглядели желтую песчаную отмель, окаймленную белой пеной, а позади нее — трудно было поверить этому счастью — обозначались громоздившиеся дома и дымившие трубы какого-то города.

— Санта-Крус! — закричал Фриско-Кид. — Мы избегнем бурунов.

— Значит, сейф спасен? — спросил Джо.

— Разумеется! Правда, для больших судов этот рейд неудобен, но мы с помощью этого ветерка

попадем прямо в устье реки Сан-Лоренцо. Там есть нечто вроде маленького озера и пристань. Вода как зеркало, и глубина в рост человека. Однажды мне здесь пришлось побывать с Красным Нельсоном. За дело! К завтраку будем там.

Вытащив из ящика запасной канат, он связал его мертвым узлом с канатом импровизированного плавучего якоря и перенес на корму, где и прикрепил к кормовому битенгу. После этого он отвязал канат от носового битенга, и шлюп повернулся сначала боком, а потом кормой к волнам и стал носом к берегу.

Из двух запасных весел и двух мокрых одеял мальчики соорудили мачту и парус. Установив все как следует, Джо отвязал тянувшиеся на буксире остатки рангоута, и Фриско-Кид взялся за румпель.

Глава XXI. ДЖО И ЕГО ОТЕЦ

— Ну что, капитан? — спросил Фриско-Кид, управившись со швартовыми и закрепив шлюп у маленькой пристани. — Что вы теперь прикажете делать?

Джо посмотрел на него вытаращенными глазами.

— Как это… Я? В чем дело?

— Ты же теперь капитан! Разве мы не добрались до суши? Отныне я подчиняюсь твоей команде. Что прикажете делать?

Джо понял наконец и скомандовал:

— Свистать всех наверх к завтраку!.. Впрочем, нет, подожди немного.

Сойдя вниз, он отыскал узелок, в котором находились деньги, захваченные им из дому, потом запер на ключ дверь каюты, и они отправились в город искать ресторан. За завтраком Джо набросал в уме предстоящий план действий и сообщил его Фриско-Киду.

Справившись в кассе о том, когда отходит в Сан-Франциско утренний поезд, он взглянул на часы.

— Как раз время, — сказал он Фриско-Киду. — Держи дверь каюты на замке и не пускай никого на борт. Вот тебе деньги. Обедай и ужинай в ресторане. Высуши одеяло и ночуй в кокпите. Я приеду завтра. И смотри не пускай никого в каюту. До свиданья!

Пожав наскоро руку приятеля, он поспешил на вокзал.

Контролер, проверявший билеты, посмотрел на него с удивлением. Да и понятно: ему редко приходилось видеть пассажиров в морских

сапогах и зюйдвестках. Но Джо не обратил на это внимания. Он даже не заметил удивленного взгляда контролера и сразу углубился в чтение газеты, которую он купил на вокзале. Его внимание привлек интересный заголовок:

С л е д ы п о т е р я н ы

Буксирный пароход «Морская королева», зафрахтованный Бронсоном и Тейтом, вернулся после бесплодных поисков у побережья Хедса. Он не обнаружил никаких следов дерзких пиратов, похитивших в Сан-Андреас во вторник ночью сейф, принадлежащий указанной фирме. Смотритель Фараллонского маяка заявил, что в среду утром заметил два шлюпа, выходивших в открытое море во время начинавшейся бури. Полагают, что пираты погибли вместе со своей преступной добычей. Носятся слухи, что в ящике, кроме десяти тысяч долларов золотом, находились также весьма важные документы.

Пробежав эту заметку, Джо вздохнул с облегчением. Ясно, что в ту страшную ночь никакого убийства не произошло, иначе репортер непременно упомянул бы об этом факте. Точно так же очевидно, что никому еще не известно о его собственном местопребывании, иначе сенсационная новость облетела бы все газеты.

На городском вокзале в Сан-Франциско публика оглядывалась на мальчика в странном костюме, нанимавшего кеб. Но Джо не стеснялся нисколько, он очень спешил: надо было застать отца в конторе, пока тот еще не отправился домой завтракать.

Рассыльный мальчик сердито посмотрел на Джо, когда тот влетел в прихожую и потребовал, чтобы о нем доложили мистеру Бронсону. Вызванный им старший клерк тоже не сразу узнал Джо.

— Неужели вы меня не узнаете, мистер Виллис?

Мистер Виллис вторично оглядел бесцеремонного незнакомца.

— До это же Джо Бронсон! Подумать только! Откуда же это вас принесло? Войдите, ваш отец у себя в кабинете.

Мистер Бронсон перестал диктовать секретарю и оглянулся.

— Привет! Где это ты пропадал? — обратился он к сыну.

— Я был в плавании, — отвечал застенчиво Джо, не зная, в сущности, чего ему ожидать, и нервно теребя свою зюйдвестку.

— Небольшая прогулка? Да? Хорошо провел

время?

— Да так себе. — Джо подметил веселые искорки в глазах отца и понял, что ему бояться нечего. — Недурно, говоря относительно.

— Относительно?

— Ну да. Вернее сказать, могло бы кончиться плохо, а между тем вышло как нельзя лучше.

— Интересно. Присядь-ка! — Мистер Бронсон обратился к секретарю: — Можете идти, мистер Браунд, и… сегодня вы мне больше не понадобитесь.

Джо был тронут простотой и непринужденностью оказанного ему приема и чуть не заплакал. Отец держал себя так, как будто ничего не случилось. Можно было подумать, что Джо вернулся домой после каникул или после деловой поездки.

— Ну, теперь продолжай, Джо, рассказывай! Ты начал так загадочно, что заинтриговал меня в высшей степени.

Джо уселся и рассказал все, что было, все решительно, начиная с вечера понедельника и до последнего часа сегодняшнего утра. Он передал все подробности, даже все свои разговоры с Фриско-Кидом и сообщил те планы, которые строил на его счет. Лицо у Джо разгорелось, он рассказы-

вал с жаром. Мистер Бронсон молча, с огромным интересом слушал его и только иногда задавал ему тот или другой вопрос.

— Таким образом, — сказал Джо в заключение, — вы теперь видите, что все вышло очень хорошо.

— Все это так, — задумчиво произнес мистер Бронсон. — Может быть, да, а может быть, и нет.

— Почему нет?

Джо испытывал острое разочарование. Сомнительное одобрение отца задело его за живое. Ему казалось, что спасение сейфа заслуживало более уверенной оценки с его стороны.

Ясно было, что мистер Бронсон отлично понимал настроение сына, так как он добавил следующее:

— Что касается сейфа, поздравляю тебя, мой друг! Ты молодец! Мы с мистером Тейтом истратили уже пятьсот долларов на его розыски. Вернуть сейф было настолько важно, что мы назначили пять тысяч долларов вознаграждения тому, кто найдет его, и не далее как нынче утром обсуждали вопрос об увеличении этой суммы. Однако… — Мистер Бронсон поднялся с места, и ласково положил руку на плечо-мальчика. — На свете есть вещи подороже и поважнее золота и

всех бумаг, его заменяющих. Что ты скажешь относительно тебя самого — вот в чем вопрос. Уступил бы ты будущие возможности твоей жизни за миллион долларов?

Джо покачал головой.

— Вот в том-то и дело! Ни за какие деньги в мире нельзя купить жизни человеческой, и никакими деньгами нельзя искупить дурно проведенной жизни: деньги не способны украсить, наполнить и выпрямить жизнь того, кто себя искалечил, кто испортил свою жизнь. Что ты скажешь относительно себя самого? Как отразятся все эти приключения на твоей собственной жизни, Джо? Успокоился ты на этом или завтра же или послезавтра снова уйдешь из дому пробовать свои силы в жизни? Понимаешь ты или нет? Неужели, Джо, ты можешь допустить хотя бы на минуту, что я могу поставить на одну доску сокровище жизни сына и какой-нибудь жалкий сейф? И могу ли я сказать, пока не покажет время, что эта прогулка привела к самым лучшим результатам и послужила тебе на пользу? Подобный эксперимент может одинаково повести и к худу и к добру. Один доллар вполне заменит другой: они похожи как две капли воды, и их много на свете, но другого Джо нет, и никто не мог бы заменить

мне вот этого! Ты не согласен, Джо? Ты все еще не понимаешь меня?

Голос мистера Бронсона чуть дрогнул, и Джо зарыдал так, как будто сердце его разрывалось на части. До сих пор он не понимал своего отца и не понимал той боли, которую он ему причинял, не говоря уже о матери и сестре. Но за последние четверо суток в нем произошел перелом. Он яснее взглянул на жизнь и на человеческие отношения. Он стал говорить отцу о тех наглядных уроках, которые получил за это время. Он рассказал ему о своих выводах из бесед с Фриско-Кидом, из столкновения с Французом-Питом, о том неизгладимом впечатлении, какое произвела на него картина гибели «Северного Оленя» и Красного Нельсона, проглоченных океаном.

И мистер Бронсон внимательно слушал и, в свою очередь, понял сына.

— Но как же насчет Фриско-Кида, отец? — спросил Джо, закончив свое повествование.

— Гм… Судя по твоим словам, он мальчик весьма энергичный, и из него выйдет толк. — Мистер Бронсон прищурился, утаивая блеснувшую в его глазах искорку. — Я полагаю, что он сумеет стать на ноги и без нашей помощи.

— Сэр?! — Джо не верил своим ушам.

— Дело вот в чем. В настоящее время он должен получить от нас половину обещанной суммы, другая половина принадлежит тебе. Вы ведь оба позаботились о том, чтобы сейф не очутился на дне Тихого океана, и если бы вы подождали немного, то мы с мистером Тейтом повысили бы сумму вознаграждения.

— О! — Джо начинал понимать. — Что касается меня, то я просто отказываюсь от своей доли, и только. Но что до другой части… это не совсем то, чего хочет Фриско-Кид. Ему нужны друзья… и… и… хоть вы этого и не сказали, но друзья дороже денег, и их не купишь за деньги. Ему нужны друзья и возможность учиться, а не две с половиной тысячи долларов.

— Не лучше ли будет предоставить выбор ему самому?

— О нет! Об этом мы уже договорились с ним.

— Договорились?

— Да, договорились. Он был моим капитаном на море, а я буду его капитаном на суше. Теперь он у меня под командой.

— Итак, ты выступаешь в качестве его поверенного при настоящих переговорах? Хорошо. Я вношу предложение. Две с половиной тысячи долларов остаются у меня на хранение и будут

выданы по его первому требованию. О твоей доле мы потолкуем после. Затем он пройдет испытательный срок для пробы, скажем, годовой, поступив на службу в нашу контору. Ты можешь взять на себя руководство его учебными занятиями, ибо я уверен, что теперь ты будешь учиться прилежнее. Или же он будет посещать вечернюю школу. А затем, если после испытательного срока он окажется на высоте положения, я возьму на себя заботу о его образовании, так же как о твоем. Все это будет зависеть от него самого. Ну, господин поверенный, что вы скажете относительно моих предложений, касающихся интересов вашего клиента?

— Я скажу, что охотно принимаю их.

Отец и сын обменялись крепким рукопожатием.

— А что ты намерен теперь делать, Джо?

— Прежде всего пошлю телеграмму Фриско-Киду, а потом побегу домой.

— В таком случае подожди немного: я позвоню в Сан-Андреас и сообщу мистеру Тейту приятную новость, а потом отправимся домой вместе.

— Мистер Виллис! — сказал мистер Бронсон, уходя из конторы. — Андреасовский сейф отыскался, и мы по этому случаю будем сегодня

праздновать. Будьте любезны сообщить нашим клеркам, что они свободны на сегодняшний день. Ах, да, — обернулся он, входя в лифт, — не забудьте, пожалуйста, отпустить и рассыльного мальчика.

Джек Лондон
Зов предков

I. К ПЕРВОБЫТНОЙ ЖИЗНИ

Древние бродячие инстинкты
Перетирают цепь привычки и веков,
И, просыпаясь от глубокой спячки,
Вновь дикий зверь выходит из оков

Бэк не читал газет и потому не знал, что надвигается беда — и не на него одного, а на всех собак с сильными мышцами и длинной, теплой шерстью, сколько их ни было от залива Пюджет до Сан-Диего. И все оттого, что люди, ощупью пробираясь сквозь полярный мрак, нашли желтый металл, а пароходные и транспортные компании раструбили повсюду об этой находке, — и тысячи людей ринулись на Север. Этим людям нужны были собаки крупной породы, сильные, годные для тяжелой работы, с густой и длинной шерстью, которая защитит их от морозов.

Бэк жил в большом доме, в солнечной долине Санта-Клара. Место это люди называли «усадьбой судьи Миллера». Дом стоял в стороне от дороги, полускрытый за деревьями, и сквозь ветви виднелась только веранда, просторная и тенистая, окружавшая дом со всех сторон. К дому вели

посыпанные гравием дорожки, они вились по широким лужайкам под стройными тополями, ветви которых сплетались между собой. Территория за домом была еще обширнее. Здесь находились большие конюшни, где хлопотала добрая дюжина конюхов и их подручных, тянулись ряды увитых диким виноградом домиков для прислуги и строго распланированная сеть всяких надворных построек, а за ними зеленели виноградники, пастбища, плодовые сады и ягодники. Была тут и насосная установка для артезианского колодца и большой цементный плавательный бассейн, где сыновья судьи купались каждое утро, а в жаркую погоду и днем.

И все это обширное поместье было царством Бэка. Здесь он родился, здесь прожил все четыре года своей жизни. Конечно, были тут и другие собаки. В таком большом поместье их не могло не быть, но они в счет не шли. Они появлялись и исчезали, жили в тесных конурах или влачили незаметное существование где-то в глубине дома, вот как Туте, японский мопсик, или Изабель, мексиканская собачка совсем без шерсти, нелепые существа, которые редко высовывали нос на вольный воздух и появлялись в саду или во дворе. Кроме того, была в усадьбе целая компания

фокстерьеров — десятка два, не меньше, — и они грозно лаяли на Тутса и Изабель, когда те смотрели на них из окон, находясь под защитой армии служанок, вооруженных половыми щетками и швабрами.

Но Бэк не был ни комнатной собачкой, ни дворовым псом. Вся усадьба была в его распоряжении. Он плавал в бассейне и ходил на охоту с сыновьями судьи. Он сопровождал его дочерей, Молли и Алису, когда они в сумерки или ранним утром отправлялись на прогулку. В зимние вечера он лежал у ног судьи перед пылающим камином в библиотеке. Он катал на спине внучат судьи или кувыркался с ними в траве и оберегал их во время смелых и чреватых опасностями вылазок до самого фонтана на заднем дворе и даже еще дальше, туда, где начинался выгон и ягодники. Мимо фокстерьеров он шествовал с высокомерным видом, а Тутса и Изабель попросту не замечал, ибо он был королем, властителем над всем, что ползало, бродило и летало в поместье судьи Миллера, включая и его двуногих обитателей.

Отец Бэка, Элмо, огромный сенбернар, был когда-то неразлучным спутником судьи, и Бэк обещал стать достойным преемником отца. Он

был не такой громадиной, как тот, весил только сто сорок фунтов, так как мать его, Шеп, была шотландская овчарка. Но и сто сорок фунтов веса, если к ним еще прибавить то чувство собственного достоинства, которое рождается от хорошей жизни и всеобщего уважения, дают право держать себя по-королевски. Четыре года — с самого раннего щенячьего возраста — Бэк вел жизнь пресыщенного аристократа, был преисполнен гордости и даже несколько эгоцентричен, как это иногда бывает со знатными господами, живущими в своих поместьях уединенно, вдали от света. Но Бэка спасало то, что он не стал избалованной комнатной собакой. Охота и тому подобные развлечения на свежем воздухе не давали ему разжиреть, укрепляли мускулы. А купание в холодной воде закаляло его и сохраняло здоровье.

Так жил пес Бэк до той осени 1897 года, когда открытие золота в Клондайке привлекло на холодный Север людей со всех концов света. Бэк ничего об этом не знал, ибо не читал газет. Не знал он также, что дружба с Мануэлем, одним из подручных садовника, не сулит ему ничего доброго. За Мануэлем водился большой порок: страсть к китайской лотерее. К тому же у этого азартного игрока была одна непобедимая слабость — он

верил в свою систему, и потому было совершенно ясно, что он погубит свою душу. Чтобы играть по системе, нужны деньги, а жалованья младшего садовника едва хватало на нужды его жены и многочисленного потомства.

В памятный день предательства Мануэля судья Миллер уехал на собрание общества виноделов, а мальчики были заняты устройством спортивного клуба, поэтому никто не видел, как Мануэль и Бэк прошли через сад, отправляясь (так думал Бэк) на обыкновенную прогулку. И только один-единственный человек видел, как они пришли на маленький полустанок «Колледж-парк», где поезд останавливался по требованию. Человек этот потолковал о чем-то с Мануэлем, потом зазвенели деньги, переданные из рук в руки.

— Ты что же это, доставляешь товар без упаковки? — ворчливо заметил незнакомец, и Мануэль обвязал шею Бэка под ошейником сложенной вдвое толстой веревкой.

— Затянешь покрепче, так, чтобы у него дух перехватило, тогда не вырвется, — сказал Мануэль, а тот, чужой, в ответ что-то утвердительно промычал.

Бэк со спокойным достоинством позволил надеть себе на шею веревку. Правда, это было

для него ново, но он привык доверять знакомым людям, признавая, что они умнее его. Однако, когда концы веревки оказались в руках чужого, он угрожающе заворчал. Он просто выражал недовольство, в гордости своей воображая, что это будет равносильно приказанию. К его удивлению, веревку вдруг стянули так туго, что он чуть не задохся. В мгновенном порыве бешенства он кинулся на обидчика, но тот опередил его: крепко сжал ему горло и ловким движением опрокинул на спину. Веревка безжалостно душила Бэка, но он, высунув язык, тяжело и шумно дыша всей могучей грудью, отчаянно боролся с человеком. Никогда еще никто так грубо не обращался с ним, и никогда в жизни он не был так разгневан! Однако силы скоро ему изменили, глаза остекленели, и он уже ничего не сознавал, когда подошел поезд и двое мужчин швырнули его в товарный вагон.

Очнувшись, он прежде всего смутно почувствовал боль в языке. Затем, ощутив тряску и услышав хриплый вой паровоза на переезде, Бэк понял, где находится. Он так часто путешествовал с судьей, что не мог не узнать ощущений, связанных с ездой в багажном вагоне. Он открыл глаза. В них пылал неукротимый гнев плененного короля. Похититель хотел схватить его за

горло, но Бэк на этот раз оказался проворнее. Он вцепился зубами ему в руку, и челюсти его не размыкались, пока он опять не лишился чувств, придушенный веревкой.

— Припадочный он! — пояснил человек, пряча свою окровавленную руку от проводника, который заглянул в вагон, услышав шум борьбы. — Хозяин приказал мне везти его в Фриско. Там есть какой-то первоклассный собачий доктор, который берется его вылечить.

События этой ночи похититель Бэка излагал позднее в задней комнатке портового кабака в Сан-Франциско со всем красноречием, на какое был способен.

— И всего-то-навсего я получаю за это полсотни, — жаловался он. — Знал бы, так и за тысячу наличными не взялся бы!

Рука у него была обернута пропитанным кровью носовым платком, а правая штанина разодрана от колена до самого низу.

— А тот парень сколько взял за это дело? — поинтересовался кабатчик.

— Сотню. Ни за что не соглашался взять меньше!

— Итого, значит, сто пятьдесят, — сказал кабатчик. — А пес этих денег стоит, головой ручаюсь!

Похититель развернул платок и стал осматривать свою прокушенную руку.

— Только бы не оказался бешеный… А то еще помрешь…

— Не бойся, от этого не помрешь. Тебе на роду написано болтаться на виселице! — пошутил кабатчик.

Потом добавил:

— Ну-ка, подсоби мне немного, а потом потащишься дальше.

Ошеломленный, полузадушенный, страдая от нестерпимой боли в горле, Бэк все-таки пытался дать отпор своим мучителям. Но его каждый раз валили на пол и душили веревкой, пока не удалось распилить и снять с него массивный медный ошейник. После этого они сняли и веревку и втолкнули Бэка в решетчатый ящик, похожий на клетку.

В этой клетке он пролежал всю томительную ночь, распираемый гневом и оскорбленной гордостью. Он не мог понять, что все это значит. Чего им от него надо, этим чужим людям? Зачем они заперли его в тесную клетку? Бэк недоумевал, его угнетало смутное предчувствие грозящей ему беды. Несколько раз он вскакивал, услышав грохот открываемой двери, — он надеялся, что это

пришел судья или хотя бы мальчики, но всякий раз видел перед собой только опухшую физиономию кабатчика, который заглядывал в сарай, освещая его неверным огоньком сальной свечки. И радостный лай, уже рвавшийся из глотки Бэка, переходил в свирепое рычание.

Впрочем, кабатчик его не трогал. И только утром пришли четверо мужчин и подняли ящик. «Вот еще новые мучители», — подумал Бэк, потому что это были какие-то подозрительные люди, лохматые и оборванные. И он бесновался, рычал на них сквозь решетчатую стенку. Но они только смеялись и тыкали его палками. Он хватал палки зубами, пока не сообразил, что именно этого от него и добиваются. Тогда он угрюмо лег и лежал спокойно, пока ящик переносили в фургон.

И вот Бэк в своей клетке начал переходить из рук в руки. Сначала им занялись служащие транспортной конторы, его погрузили в другой фургон и повезли дальше. Затем, вместе с целой грудой ящиков и посылок, отправили на паром. С парома он попал на большой железнодорожный вокзал; и наконец его опять водворили в товарный вагон.

Два дня и две ночи вагон тащился за пронзительно гудевшим паровозом. И два дня и две ночи

Бэк ничего не ел и не пил. Взбешенный, он на заботы проводников отвечал рычанием, а они, в отместку, стали дразнить его. Когда он кидался к решетке, весь дрожа, с пеной у рта, они хохотали и потешались над ним, рычали и лаяли, как паршивые дворняги, мяукали, размахивали руками перед его носом и кукарекали. Бэк понимал, что это очень глупо, — но тем оскорбительнее это было для его достоинства, и гнев его рос и рос. Голод еще можно было терпеть, но он жестоко страдал от жажды, и она доводила его до исступления. При его чувствительности и восприимчивости дурное обращение не могло не повлиять на него, и он заболел. У него была высокая температура, к этому прибавилось еще воспаление горла и языка, распухших и сожженных жаждой.

Одно его радовало: на шее больше не было веревки. Пока она была, это давало его врагам немалое преимущество. Ну, а теперь, когда ее нет, он им покажет! Больше им не удастся надеть на него веревку! Это он решил твердо. Двое суток он ничего не ел и не пил, и за эти двое суток мучений в нем накопилось столько злобы, что незавидная участь ожидала того, кто первый его заденет. Глаза у Бэка были налиты кровью, он превратился в настоящего дьявола. Сейчас сам

судья не узнал бы его, так он переменился за эти дни, и проводники вздохнули с облегчением, когда наконец избавились от него, выгрузив его в Сиэтле.

Четверо носильщиков со всякими предосторожностями перенесли ящик с Бэком из фургона во дворик, окруженный высоким забором. Навстречу вышел плотный мужчина в красном вязаном свитере с сильно растянутым воротом и, взяв у возчика книгу, расписался в получении. «Новый мучитель», — решил Бэк и свирепо кинулся к решетке. Человек в свитере, мрачно усмехнувшись, вошел в дом и принес оттуда топор и дубинку.

— Неужто хотите его выпустить? — удивился возчик.

— Конечно, — ответил человек в свитере и вогнал топор в стенку ящика.

Все четыре носильщика моментально бросились врассыпную и заняли безопасные позиции на высоком заборе в ожидании предстоящего интересного зрелища.

Бэк бросался на трещавшую под топором стенку, грыз ее зубами, налегал на нее всем телом, воюя с нею. Где топор ударял снаружи, там пес, то рыча, то воя, атаковал дерево изнутри. Он делал

бешеные усилия поскорее выбраться из клетки, а человек в красном свитере был полон спокойной решимости выпустить его оттуда.

— Ну, красноглазый дьявол! — сказал он, когда отверстие расширилось настолько, что Бэк мог протиснуться в него. И, бросив топор, взял в правую руку дубину.

Бэк в этот миг действительно был страшен, как дьявол: и весь ощетинился и подобрался для прыжка, в налитых кровью глазах был безумный блеск, изо рта бежала пена. Уже он готовился обрушить на человека все сто сорок фунтов своего тела с яростью, дошедшей до предела, оттого что столько времени приходилось ее сдерживать. Он взвился в воздух и хотел мертвой хваткой вцепиться в своего врага, но в это самое мгновение получил такой удар, который на лету отбросил его назад. Щелкнув зубами от мучительной боли, Бэк перевернулся в воздухе и упал ударившись о землю боком и спиной. Он ни разу в жизни не был бит палкой — и растерялся. С рычанием, в котором слышался жалобный визг, он вскочил и опять хотел кинуться на обидчика, но второй удар свалил его. Теперь он уже понимал, что виновата во всем дубинка, но в своей ярости забыл об осторожности. Раз десять он бросался, — и

всякий раз дубинка останавливала его на лету и валила наземь.

После одного особенно жестокого удара Бэк еле поднялся. Он был так ошеломлен, что не мог больше бороться. Он шатался, из носа, пасти и ушей текла кровь, и его красивая шерсть была испачкана кровавой слюной. Человек в красном свитере подошел к нему и хладнокровно, не спеша нанес ему страшный удар по морде. Вся боль, которую до си пор перенес Бэк, была ничто в сравнении с этой. Зарычав, он опять кинулся на мучителя. Но тот, переложив дубину из правой руки в левую, спокойно схватил его за нижнюю челюсть и завертел им с такой силой, что Бэк описал полный круг в воздухе, потом полукруг — и грохнулся на землю головой и грудью.

Еще раз прыгнул Бэк на человека, но тот нанес ему сокрушительный удар, который умышленно приберег напоследок. Бэк свалился совершенно разбитый и оглушенный.

— Вот молодчина! — в восторге крикнул один из зрителей на заборе. — Этот любого пса усмирит!

— По-моему, безопаснее каждый день, а по воскресеньям и два раза взламывать кассы, чем иметь дело с этим псом, — заметил возчик, взби-

раясь на козлы, и погнал лошадей.

К Бэку вернулось сознание, но, совсем обессилев, он лежал на том же месте, где упал, и следил глазами за человеком в красном свитере.

— Отзывается на кличку «Бэк», — вслух сказал тот, читая письмо кабатчика из Сан-Франциско, извещавшее об отправке ящика с живым грузом. — Ну, Бэк, голубчик, — продолжал он весело, — пошумели мы с тобой, погорячились, а теперь лучше всего забудем об этом. Ты будешь знать свое дело, я — свое. Будешь послушной собакой — и все пойдет как по маслу, а вздумаешь буянить, так я из тебя дух вышибу. Понял?

Говоря это, он бесстрашно гладил голову, которую только что так беспощадно молотил, и хотя Бэк невольно ощетинивался при каждом его прикосновении, но терпел, не протестуя. Человек в свитере принес ему воды, и он жадно напился, а потом с такой же жадностью глотал роскошное угощение — сырое мясо, хватая его кусок за куском из рук нового хозяина.

Он был побежден (он это понимал), но не покорен и не сломлен. Он понял раз навсегда, что человек, вооруженный дубиной, сильнее его, и полученный урок запомнил на всю жизнь. Эта дубина была для него откровением. Она ввела его

в мир, где царит первобытный закон. И Бэк быстро усвоил этот закон. Ему открылась жестокая правда жизни, но она его не запугала: в нем уже пробуждалась природная звериная хитрость.

Время шло. Привозили других собак в таких же ящиках или приводили на веревке. Одни были очень послушны и тихи, другие бесновались и выли, как Бэк вначале. И на глазах у Бэка человек в красном свитере укрощал всех до единой, покоряя своей власти. Бэк наблюдал эту зверскую муштровку, и все крепче и крепче внедрялась в его сознание открытая им истина: человек с дубиной — законодатель, хозяин, которому нужно повиноваться, хотя и не обязательно любить его. И Бэк, повинуясь, никогда не ластился к хозяину, не вилял хвостом и не лизал ему руку, как это делали не раз у него на глазах побитые собаки. Видел он также, как одна собака, не желавшая ни смириться, ни подчиниться, в конце концов была убита.

Время от времени приходили чужие люди, толковали о чем-то с хозяином сердито или заискивающе. И когда после таких разговоров из их рук в руки хозяина переходили деньги, эти люди уводили с собой одну или несколько собак. Бэк задавал себе вопрос, куда же они уходят, ибо они

никогда больше не возвращались. Будущее так сильно страшило его, что он каждый раз радовался, когда покупатели выбирали не его.

Но в конце концов наступил и его черед. Пугавшее его будущее явилось в лице высохшего, морщинистого человечка, который говорил на ломаном английском языке и то и дело разражался какими-то странными, резкими восклицаниями, смысл которых был непонятен Бэку.

— Sacredam, — крикнул он, когда взгляд его упал на Бэка. — Вот это пес! Первоклассный пес! Ого! А сколько?

— Всего три сотни. Просто даром отдаю, — быстро ответил человек в красном свитере. — Не станешь же ты торговаться да артачиться, Перро? Деньги ведь не твои, а казенные.

Перро только ухмыльнулся. Ввиду необычайного спроса на собак, цены на них были бешеные, так что сумма, запрошенная за такую великолепную собаку, как Бэк, не показалась ему чрезмерной.

Канадское правительство не разорится на этой покупке, а его почта должна перевозиться быстро. Перро знал толк в собаках и с одного взгляда определил, что такие собаки, как Бэк, встречаются одна на тысячу. «Даже одна на десять

тысяч», — мысленно поправил он себя.

Бэк видел, как деньги перешли из рук в руки, и не удивился, когда морщинистый человечек забрал с собой его и добродушного ньюфаундленда Кэрли. Больше Бэк никогда не видел человека в красном свитере. А когда он и Кэрли смотрели с палубы парохода «Нарвал» на исчезавший вдали Сиэтл, они не знали, что больше никогда не увидят и теплый юг.

Перро увел их обоих вниз и передал темнокожему великану, которого звали Франсуа. У Перро, канадского француза, кожа была смуглая, но у Франсуа вдвое темнее, потому что Франсуа был метис. Бэк впервые видел людей этой породы (впоследствии ему пришлось встречать много таких), и, хотя он не полюбил их, он честно отдавал им должное и научился их уважать. Он скоро убедился, что Перро и Франсуа — люди справедливые, спокойные, что наказывают они только за дело, без всякого пристрастия, и отлично знают все собачьи повадки, так что их никакая собака не проведет.

На пароходе Бэка и Кэрли поместили вместе с двумя другими собаками. Одна была большая, снежно-белая, ее вывез с острова Шпицбергена капитан китобойного судна, а позднее она

сопровождала геологическую экспедицию в Бесплодную Землю. Это был пес очень ласковый, но коварный, он способен был ласкаться и в то же время готовить другому какую-нибудь пакость: так он при первой же общей кормежке стянул у Бэка часть его порции. Бэк кинулся на него, чтобы наказать за это, но Франсуа опередил его: бич свистнул в воздухе и обрушился на вора. Бэку оставалось только подобрать свою кость.

Он увидел, что Франсуа поступает справедливо, и с этих пор проникся уважением к метису.

Другой пес не ластился ни к кому и не вызывал ни в ком симпатии, но зато и не делал попыток воровать еду у новичков. Он был сурового, угрюмого нрава и ясно дал понять Кэрли, что желает только одного: чтобы его не задевали, а кто его заденет, тому плохо придется. Этот пес — его звали Дэйв — только ел и спал, а когда не спал, то все позевывал, и ничто решительно его не интересовало. Даже когда «Нарвал» проходил залив королевы Шарлотты и качался, вставал на дыбы, метался, как бешеный, а Бэк и Кэрли чуть с ума не сошли от страха, Дэйв только с недовольным видом поднимал иногда голову и, едва удостоив их равнодушным взглядом, зевал, потом снова засыпал.

Дни и ночи пароход весь дрожал, сотрясаемый неутомимой и ритмичной, как пульс, работой винта. Один день был похож на другой, но Бэк замечал, что становится все холоднее. Наконец однажды утром стук винта затих, и на «Нарвале» поднялась суета. Бэк, как и другие собаки, почуял царившее вокруг волнение и понял, что предстоит какая-то перемена. Франсуа взял их всех на сворку и вывел на палубу. Ступив на ее холодную поверхность, Бэк почувствовал, что его лапы погрузились в какую-то кашу, очень похожую на белую грязь. Он зафыркал и отскочил назад. Такая же белая каша падала сверху. Бэк отряхнулся, но она все сыпалась и сыпалась на него. Он с любопытством понюхал ее, потом лизнул языком. Она обжигала, как огонь, и сразу таяла на языке. Это поразило Бэка, он лизнул опять — с тем же результатом. Вокруг загоготали, и ему почему-то стало стыдно, хотя он не понимал, над чем эти люди смеются. Так Бэк впервые увидел снег.

II. ЗАКОН ДУБИНЫ И КЛЫКА

Первый день на берегу в Дайе показался Бэку жутким кошмаром. Здесь беспрестанно чтонибудь поражало и пугало: Его внезапно из центра цивилизации перебросили в какой-то первобытный мир. Окончилось блаженное и ленивое существование под солнцем юга, когда он только слонялся без дела и скучал. Здесь не было ни отдыха, ни покоя, и ни на миг Бэк не чувствовал себя в безопасности. Здесь все было в движении и действии, царила вечная сумятица, и каждую минуту грозило увечье или смерть. В этом новом мире следовало постоянно быть начеку, потому что и собаки и люди совсем не были похожи на городских собак и людей. Все они были дикари и не знали других законов, кроме закона дубины и клыка.

Никогда раньше Бэк не видел, чтобы собаки дрались между собой так, как здешние: это были настоящие волки, и первый же опыт послужил Бэку незабываемым уроком. Правда, в первой драке он не участвовал, иначе он не вышел бы из нее живым и не пришлось бы ему воспользоваться этим уроком. Жертвой пал не он, а Кэрли.

Их обоих оставили около бревенчатой хижины, где помещалась лавка. Кэрли добродушно, как всегда, стала заигрывать с рослым и сильным псом, который был величиной с крупного волка, но все же вдвое меньше Кэрли. И вдруг, без всякого предупреждения, — быстрый, как молния, скачок, щелканье зубов, похожее на лязг железа, столь же быстрый обратный прыжок — и морда у Кэрли оказалась разодранной от глаз до пасти.

Такая была у этих собак волчья повадка — напасть и тотчас отскочить. Но этим дело не кончилось. Тотчас примчались тридцать, а то и сорок лаек и окружили дерущихся безмолвным и настороженным кольцом. Бэк сперва не понял, чего они с таким безмолвным напряжением ждут, почему так жадно облизываются. Кэрли бросилась на своего противника, а тот снова укусил ее и отскочил. Второй ее наскок он встретил грудью и так ловко отразил его, что Кэрли не устояла на ногах. Только того и ждали наблюдавшие за дракой собаки. Подняться Кэрли уже не удалось: с визгом и рычанием они сгрудились вокруг нее, и, скуля в предсмертной муке, Кэрли исчезла под кучей мохнатых тел.

Все это произошло так внезапно и так неожиданно, что Бэк совершенно растерялся. Он видел,

как шпицбергенский пес высунул красный язык, — это он так смеялся. Видел, как Франсуа, размахивая топором, бросился в самую гущу свалки. Трое мужчин, схватив дубины, быстро помогли ему разогнать собак. Через две минуты после того, как Кэрли упала, последний из нападавших был отогнан прочь. Но Кэрли лежала на залитом кровью, истоптанном снегу мертвая, разорванная чуть не в клочья. А темнокожий метис стоял над ней и отчаянно ругался.

Эта картина часто потом вспоминалась Бэку и тревожила его даже во сне. Так вот какова жизнь! В ней нет места честности и справедливости. Кто свалился, тому конец. Значит, надо держаться крепко! Шпиц снова высунул язык и засмеялся, и с этой минуты Бэк, возненавидел его жестокой, смертельной ненавистью.

Не успел Бэк опомниться после трагической гибели Кэрли, как его ждало новое потрясение: Франсуа надел на него ременную упряжь, похожую на ту, которую в его родном поместье конюхи надевали на лошадей. И как там работали запряженные лошади, так ему пришлось работать здесь. Он повез Франсуа на нартах в окаймлявший долину лес за дровами. То, что его заставляли ходить в упряжке, больно ранило его

самолюбие, но у нею хватило ума не бунтовать. Он переломил себя и постарался работать хорошо, хотя все это было для него ново и странно.

Франсуа был строг, требовал, чтобы его слушались немедленно, и добивался этого при помощи своего бича. Кроме того, при всяком промахе Бэка Дэйв, опытный коренник, хватал его зубами за ляжки. Вожаком в их упряжке был Шпиц, такой же опытный ездовой пес, как Дэйв, и если ему не удавалось цапнуть Бэка, когда тот сбивался с ноги, он сердито и укоризненно рычал на него или ловко направлял его куда следовало, налегая на постромки всей тяжестью своего тела. Бэку ученье давалось легко, и под совместным руководством своих двух товарищей и Франсуа он делал поразительные успехи. Раньше чем они вернулись в лагерь, он уже знал, что крик «хо!» означает «остановись», а по команде «марш» следует бежать вперед; что на поворотах надо умерять бег, а когда нарты с грузом летят под гору — держаться подальше от коренника.

— Все три собаки очень хороши, — сказал Франсуа по возвращении, увидев Перро. — Этот Бэк здорово работает! Я его очень скоро вышколю.

Днем Перро, которому надо было спешно везти правительственную почту, привел еще двух со-

бак, Билли и Джо. Эти чистокровные лайки были от одной матери, но отличались друг от друга, как день от ночи. Единственным недостатком Билли было разве его чрезмерное добродушие, а Джо, напротив, был угрюм, замкнут и раздражителен. Он постоянно ворчал и злобно смотрел на всех.

Бэк встретил Билли и Джо по-товарищески, Дэйв не обратил на них никакого внимания, а Шпиц немедленно атаковал одного, потом другого. Билли сначала примирительно завилял хвостом. Увидев, однако, что миролюбие тут не поможет, он хотел бежать, да не успел. Острые зубы Шпица впились ему в бок и он взвыл, но и тут не воинственно, а жалобно и умоляюще. Зато Джо, с какой бы стороны Шпиц ни пытался на него напасть, всякий раз поворачивался к нему, весь ощетинившись и заложив назад уши. Он грозно рычал и с невероятной быстротой щелкал зубами, а глаза у него сверкали, как у дьявола; это было воплощение враждебности и вместе с тем ужаса. Вид его был до того страшен, что Шпицу пришлось отказаться от намерения проучить его. Чтобы скрыть свое поражение, он опять накинулся на безответного, все еще жалобно скулившего Билли и загнал его на самый конец лагеря.

К вечеру Перро добыл себе еще одну ездовую

собаку, старую, поджарую лайку с длинным и гибким телом. Морда у нее была вся в боевых шрамах и рубцах, и уцелел только один глаз. Но этот единственный глаз сверкал дерзким, вызывающим мужеством, которое внушало всем невольное уважение. Кличка пса была Соллекс, то есть Сердитый. Он, как и Дэйв, ничего от других не требовал, ничего не ждал и никому спуску не давал. И когда он неторопливо и важно подошел к остальным, даже Шпиц не посмел его задирать. У Соллекса была одна слабость, и Бэк, на свою беду, первый открыл ее: кривой пес не любил, чтобы к нему подходили со стороны слепого глаза. Именно такую неприятность причинил ему ничего не подозревавший Бэк и догадался о своей неучтивости только тогда, когда Соллекс, круто обернувшись, кинулся на него и прогрыз ему плечо на три дюйма, до самой кости. После этого Бэк никогда больше не подходил к Соллексу с запретной стороны, и Соллекс его никогда больше не трогал. Новый знакомец, как и Дэйв, видимо, желал только одного: чтобы его не беспокоили. Впрочем, Бэк скоро убедился, что и тот и другой одержимы еще иным, более высоким стремлением.

В первую же ночь перед Бэком встал важный

вопрос о ночлеге. Палатка, в которой горела свеча, так заманчиво светилась среди снежной равнины. Казалось вполне естественным, что его место там. Но когда он вошел, Перро и Франсуа встретили его ругательствами и швыряли в него всякой утварью до тех пор, пока он не очнулся от растерянности и позорно бежал из палатки на мороз. Дул резкий ветер и больно сек тело, особенно безжалостно впиваясь в раненое плечо. Бэк лег на снег и пытался уснуть, но скоро мороз поднял его на ноги. В безутешном отчаянии бродил он между палатками, ища себе местечка потеплее и не находя его. То здесь, то там свирепые псы набрасывались на него, но он, ощетинившись, грозно рычал на них (этому тоже он быстро научился), и они оставляли его в покое.

Наконец его осенило: надо пойти обратно и посмотреть, где устроились на ночлег собаки из его упряжки. Но, к своему удивлению, он не нашел ни одной! Они куда-то исчезли. Опять Бэк пошел бродить по обширному лагерю, ища их повсюду, но вернулся ни с чем. Уж не в палатке ли они? Нет, этого не может быть, — ведь вот его, Бэка, прогнали оттуда! Так куда же они девались? Весь дрожа, опустив хвост, он одиноко и бесцельно кружил около палатки. Вдруг снег

под его передними лапами подался, и он чуть не провалился куда-то. Под ногами у него что-то зашевелилось. В страхе перед неведомым и невидимым Бэк отбежал, ворча, шерсть у него встала дыбом. Но тихое дружеское повизгивание быстро успокоило его, и он вернулся к тому же месту на разведку. Ноздрей его коснулась струя Теплого воздуха: уютно свернувшись клубочком, под снегом в ямке лежал Билли. Он заискивающе тявкал, ерзал, вилял хвостом, доказывая этим свои добрые намерения и расположение к Бэку, и, чтобы его подкупить, рискнул даже лизнуть его в морду теплым и влажным языком.

Еще один урок: значит, вот как здесь спасаются от холода! Бэк уже уверенно выбрал себе местечко и после долгой возни и больших усилий вырыл нору в снегу. Через минуту в яме стало тепло от его тела, и он уснул. После долгого, трудного дня он спал крепко и сладко, хотя по временам ворчал и лаял во сне, мучимый дурными снами.

Разбудил его только утром шум просыпавшегося лагеря. В первую минуту он не мог понять, где находится. Ночью шел снег и совершенно засыпал его в яме. Сплошная масса снега давила, напирала со всех сторон. И на Бэка вдруг напал страх, страх дикого зверя перед западней. То было

признаком, что в нем заговорили инстинкты далеких предков, ибо этот цивилизованный, даже не в меру цивилизованный пес в жизни своей не знал, что такое западня, и не должен был бы ее бояться. А между тем тело его судорожно сжималось, шерсть на шее и плечах встала дыбом, и он с диким рычанием выскочил из ямы, прямо на свет ослепительного утра, взметнув вокруг целое облако искрящегося снега. Но тут он увидел перед собой лагерь на белой равнине и сообразил, где он, сразу вспомнил все, что с ним произошло с того дня, как он отправился на прогулку с Мануэлем, и до вчерашней ночи, когда он вырыл себе в снегу нору для ночевки.

Франсуа приветствовал его криком.

— Ну, что я говорил? — воскликнул он, обращаясь к Перро. — Этот Бэк мигом всему выучивается!

Перро с серьезным видом кивнул головой. Он был курьером канадского правительства, возил почту, важные бумаги, и ему нужны были самые лучшие собаки. Поэтому он был особенно доволен, что удалось купить такую собаку, как Бэк.

Не прошло и часа, как он купил еще трех ездовых собак для своей упряжки, так что всего их теперь было девять, а еще через четверть часа

они уже были запряжены и мчались по снежной дороге к Дайскому каньону. Бэк радовался перемене, и хотя работа была тяжелая, он не чувствовал к ней отвращения. Его сначала удивил азарт, который проявляли все его товарищи, но потом этот азарт заразил и его. А всего удивительнее была перемена, происшедшая с Дэйвом и Соллексом. Казалось, упряжь преобразила их — это были сейчас совсем другие собаки. Всю вялость и невозмутимое равнодушие с них как рукой сняло. Откуда взялись прыть и энергия! Они из кожи лезли, стараясь, чтобы вся упряжка бежала хорошо, и бесновались, когда возникала задержка или замешательство среди собак. Казалось, труд этот был высшим выражением их существа, в нем была вся их жизнь и единственная радость.

Дэйв был коренником, а впереди, между ним и Соллексом, впрягли Бэка. Остальные собаки бежали перед ними гуськом, а во главе всех — вожак Шпиц.

Бэка поместили между Дэйвом и Соллексом нарочно, для того чтобы они обучали его. Он оказался способным учеником, а они — хорошими учителями, которые сразу исправляли его промахи, добиваясь послушания при помощи

своих острых зубов. Дэйв был пес справедливый и разумный. Он никогда напрасно не обижал Бэка, но зато, когда Бэк этого заслуживал, не упускал случая куснуть его, а бич Франсуа в этих случаях еще подбавлял свое, так что Бэк пришел к заключению, что подтянуться и избегать промахов выгоднее, чем огрызаться. Раз во время короткой остановки он запутался в постромках и задержал отправление. Дэйв и Соллекс дружно напали на него и здорово проучили. Это еще усилило кавардак, но зато Бэк потом очень старался не путать постромки: к концу дня он уже так хорошо справлялся с своими обязанностями, что учителя почти перестали кусать его. Бич Франсуа все реже щелкал над его головой, а Перро даже почтил его особым вниманием: одну за другой поднял его лапы и заботливо осмотрел их.

Переход, который они сделали за первый день, оказался тяжелым. Они шли вверх по каньону через Овечий Лагерь, мимо Весов и границы леса, шли через ледники и снежные сугробы высотой в несколько сот футов, перевалили через великий Чилкут, который тянется между солеными и пресными водами и, как грозный страж, охраняет подступы к печальному, пустынному Северу. Они благополучно проделали весь путь по целой цепи

замерзших озер в кратерах потухших вулканов и поздно ночью добрались до большого лагеря у озера Беннет, где тысячи золотоискателей строили лодки, готовясь к весеннему ледоходу. Тут Бэк вырыл себе нору в снегу и уснул сном утомленного праведника, но выспаться не удалось, — его очень скоро извлекли из ямы и во мраке морозной ночи запрягли в нарты вместе с другими собаками.

В тот день они прошли сорок миль, так как дорога была укатана. Зато на другой день и в течение еще многих дней они вынуждены были сами прокладывать себе тропу в снегу, сильно уставали и шли медленнее. Обычно Перро шагал впереди упряжки и утаптывал снег своими лыжами, чтобы собакам легче было бежать, а Франсуа поворотным шестом направлял нарты. По временам они с Перро менялись местами, но это бывало не часто. Перро торопился, и притом он считал, что лучше Франсуа умеет определять на глаз толщину льда, а это было очень важно, так как осенний лед был еще очень ненадежен. В местах, где течение быстрое, его и вовсе не было.

Изо дня в день (казалось, им конца не будет, этим дням) Бэк шел в упряжке. Привал делали всегда лишь с наступлением темноты, а едва

только небо начинало светлеть, нарты уже мчались дальше, оставляя позади милю за милей. И опять только вечером, в темноте, разбивали лагерь; собаки получали свою порцию рыбы и зарывались в снег, чтобы поспать. У Бэка аппетит был волчий. Его дневной паек состоял из полутора фунтов вяленой лососины, а ему этого хватало на один зуб. Он никогда не наедался досыта и постоянно испытывал муки голода. А между тем другие собаки, весившие меньше и более приспособленные к такой жизни, получали только по фунту рыбы и умудрялись как-то сохранять бодрость и силы.

Бэк очень скоро перестал привередничать, как когдато дома, на Юге. У него была привычка есть не спеша, разборчиво, но он скоро заметил, что его товарищи, быстро покончив со своими порциями, таскали у него недоеденные куски. Уберечь свой паек ему не удавалось, — в то время как он сражался с двумя или тремя ворами, его рыба исчезала в пасти других. Тогда он стал есть так же быстро, как они. Голод до такой степени мучил его, что он готов был унизиться до кражи. Он наблюдал, как это делают другие, и учился у них. Приметив, что Пайк, один из новичков, хитрый притворщик и вор, ловко стащил ломтик

грудинки у Перро, когда тот отвернулся, Бэк на другой день проделал тот же маневр и, схватив весь кусок грудинки, удрал Поднялась страшная суматоха, но он остался вне подозрений, а за его преступление наказали Даба, растяпу, который всегда попадался.

Эта первая кража показала, что Бэк способен выжить и в суровых условиях Севера. Она свидетельствовала об его умении приспособляться к новой обстановке Не будь у него такой способности, ему грозила бы скорая и мучительная смерть. Кроме того, кража была началом его морального падения. Все его прежние нравственные понятия рушились, в беспощадно жестокой борьбе за существование они были только лишней обузой. Они были уместны на Юге, где царил закон любви и дружбы, — там следовало уважать чужую собственность и щадить других. А здесь, на Севере, царил закон дубины и клыка, и только дурак стал бы здесь соблюдать честность, которая мешает жить и преуспевать.

Конечно, Бэк не рассуждал так — он попросту инстинктивно приноровлялся к новым условиям. Никогда в жизни он не уклонялся от борьбы, даже когда силы были неравны. Однако палка человека в красном свитере вколотила ему бо-

лее примитивные, но жизненно необходимые правила поведения. Пока Бэк оставался цивилизованной собакой, он готов был умереть во имя своих идей морального порядка — скажем, защищая хлыст для верховой езды, принадлежащий судье Миллеру. Теперь же его готовность пренебречь этими идеями и спасать собственную шкуру показывала, что он возвращается в первобытное состояние. Воровал он не из любви к искусству, а подчинясь настойчивым требованиям пустого желудка. Он грабил не открыто, а потихоньку, со всякими предосторожностями, ибо уважал закон дубины и клыка. Словом, он делал все то, что делать было легче, чем не делать.

Он развивался (или, вернее, дичал) очень быстро. Мускулы у него стали крепкими, как железо, и он теперь был нечувствителен ко всякой обыкновенной боли. Он получал хорошую закалку, и внешнюю и внутреннюю. Есть он мог всякую пищу, хотя бы самую противную и неудобоваримую. И желудок его извлекал из съеденного все, что было в нем питательного, до последней крупицы, а кровь разносила переработанную пищу в самые отдаленные уголки тела, вырабатывая из нее крепчайшую и прочнейшую ткань. У Бэка было превосходное зрение и тонкое обоняние, а слух

достиг такой остроты, что он даже во сне слышал самый тихий звук и распознавал, что этот звук возвещает — спокойствие или опасность. Он научился выгрызать лед, намерзавший у него между пальцами, и когда ему хотелось пить, а вода в водоеме была покрыта толстым слоем льда, он умел пробивать его своими сильными передними лапами. Но самой примечательной была способность Бэка чуять ветер — он предугадывал его направление за целую ночь вперед. И в совершенно тихие вечера он выкапывал себе нору под деревом или на берегу в таком месте, что, если потом налетал ветер, его нора всегда оказывалась с подветренной стороны, и в ней было тепло и уютно.

Все это Бэк постигал не только опытом — в нем всколыхнулись давно заглохшие первобытные инстинкты. А то, что он унаследовал от многих поколений прирученных предков, наоборот, отмирало. Смутными, невнятными голосами заговорила в нем далекая юность его рода, то время, когда дикие собаки стаями рыскали по девственным лесам и, загоняя добычу, убивали ее. И Бэк скоро научился пускать в ход когти и зубы, у него появилась быстрая волчья хватка. Так именно дрались его забытые предки. Оживало в

нем далекое прошлое, и те старые повадки, что были наследственными в его роде и передавались из поколения в поколение, теперь стали его повадками. Он усвоил их без всяких усилий, не видя в них ничего нового и удивительного, как будто они всегда были ему свойственны. И когда в тихие холодные ночи Бэк поднимал морду к звездам и выл протяжно и долго, по-волчьи, — это его предки, давно обратившиеся в прах, выли в нем, как выли они на звезды веками. В вое Бэка звучали те же самые ноты — в нем изливалась тоска и все чувства, рожденные в душе тишиной, мраком и холодом.

Так, словно в доказательство того, что все мы — марионетки в руках природы, древняя песнь предков рвалась из груди Бэка, и он постепенно возвращался к истокам своего рода. А случилось это потому, что люди на Севере нашли желтый металл, и еще потому, что подручный садовника, Мануэль, получал жалованье, которого едва хватало на нужды жены и ватаги отпрысков, маленьких копий его самого.

III.
ПЕРВОБЫТНЫЙ ЗВЕРЬ ВОСТОРЖЕСТВОВАЛ

Первобытный зверь был еще силен в Бэке, и в жестоких условиях новой жизни он все более и более торжествовал над всем остальным. Но это оставалось незаметным. Пробудившаяся в Бэке звериная хитрость помогала ему сдерживать свои инстинкты. К тому же необходимость приспособляться к новой обстановке держала его в постоянном напряжении и требовала таких усилий, что он не только не бунтовал и не лез в драку, но по возможности избегал всяких стычек. В его поведении заметна стала некоторая осторожность и осмотрительность. Он не был склонен к стремительным и опрометчивым действиям. И хотя между ним и Шпицем разгорелась смертельная вражда и ненависть, он никогда не проявлял раздражения и никогда первый не задевал своего врага.

Шпиц же, наоборот, не упускал случая показать зубы — вероятно, потому, что он угадывал в Бэке опасного соперника. Он из кожи лез, постоянно

старяясь раздразнить Бэка и затеять драку, которая, несомненно, окончилась бы смертью одного из них. Такая схватка едва не произошла уже в самом начале пути, помешал только непредвиденный случай. Однажды, уже к концу дня, нарты остановились на берегу озера Ле-Барж, в не защищенной от ветра унылой местности. Метель, темнота и сильный ветер, который, словно раскаленным ножом, сек кожу, вынудили людей поискать места для привала. Трудно было выбрать место хуже. За ними стеной поднималась отвесная скала, и пришлось Перро и Франсуа развести костер и разостлать свои спальные мешки прямо на льду озера. Палатку они бросили в Дайе, чтобы путешествовать налегке. Собрав немного хвороста, занесенного сюда водой во время разлива, они разожгли костер, но огонь только растопил лед вокруг и погас, так что ужинать пришлось в темноте.

Бэк вырыл себе нору под самой скалой, укрывавшей его от ветра. В этом убежище было так уютно и тепло, что он очень неохотно вылез оттуда, когда Франсуа стал раздавать собакам рыбу, разогрев ее предварительно над огнем. Когда Бэк, съев свою порцию, вернулся на старое место, оказалось, что оно занято. Угрожающее ворчание

возвестило ему, что захватчик — Шпиц. До тех пор Бэк избегал стычек со своим врагом, но тут он уже не выдержал. В нем заговорил зверь. Он кинулся на Шпица с яростью, неожиданной для них обоих, а в особенности для Шпица, который привык думать, что его соперник — крайне трусливый пес и спасают его только сила и вес.

Удивился и Франсуа, когда они, сцепившись, выкатились из разоренного логова. Но он сразу угадал причину ссоры.

— Ага! — закричал он Бэку. — Так его! Задай ему хорошенько, этому паршивому вору!

Шпиц рвался в бой. Он выл от ярости и нетерпения, вертясь вокруг Бэка и ожидая удобного момента для наскока. Бэк был в таком же возбуждении и, тоже соблюдая осторожность, описывал круги вокруг Шпица. Но тут произошло нечто неожиданное, помешавшее этому бою за первенство. Он состоялся лишь значительно позднее, когда уже было пройдено много миль тяжкого, утомительного пути.

Голос Перро, выкрикивавшего ругательства, звучные удары дубиной по костлявой спине и резкие крики боли послужили как бы сигналом к поднявшейся затем адской сумятице. Лагерь внезапно ожил и закишел мохнатыми телами.

Это добрая сотня голодных собак, учуяв запах лагеря, примчалась сюда из какой-то ближней индейской деревни.

В то время как Бэк и Шпиц вступили в драку, эти непрошеные гости забрались в лагерь, а когда Перро и Франсуа прибежали с дубинами, разъяренные собаки кинулись на них. Запах еды доводил их до безумия. Перро, увидев, что один пес уже сунул морду в ящик с провизией, обрушил на его худые бока свою тяжелую дубину. Ящик опрокинулся — и в тот же миг изголодавшиеся животные набросились на хлеб и грудинку и стали грызться из-за них. Тут уже дубины заработали вовсю. Собаки выли и визжали под градом ударов, но продолжали яростно драться из-за добычи и не отошли, пока не сожрали все до последней крошки.

Тем временем все собаки Перро в испуге вылезли из своих ям. Свирепые пришельцы немедленно напали на них. Никогда еще Бэк не видел таких собак. У них можно было пересчитать все ребра. Это были настоящие скелеты, обтянутые грязными шкурами. Глаза у них горели, с клыков текла пена; обезумевшие от голода, они были страшны, неодолимы. В первой же схватке ездовые собаки были отброшены к скале. На Бэка напали сразу

три чужих пса и в один миг изгрызли ему плечи и морду. Шум стоял ужасающий. Билли, как всегда, жалобно скулил. Дэйв и Соллекс, покрытые ранами, истекавшие кровью, мужественно сражались бок о бок. Джо кусался, как бешеный. Он впился зубами в переднюю ногу одной из чужих собак и прогрыз кость. А хитрый Пайк впрыгнул на искалеченного пса и сразу сломал ему шею. Бэк вцепился в горло своему противнику, который с пеной у рта наскочил на него. Кровь хлынула и забрызгала его всего. Вкус теплой крови во рту еще сильнее разъярил Бэка. Он кинулся на другую собаку, но в тот же миг почувствовал, что чьи-то зубы вонзились ему в шею. Это Шпиц предательски напал на него сбоку. Перро и Франсуа, очистив от нападающих часть лагеря, кинулись выручать своих собак. При их появлении буйная лавина голодного зверья откатилась назад, и Бэк стряхнул повисшего на нем Шпица. Но затишье длилось несколько секунд. Перро и Франсуа убежали — им нужно было спасать съестные припасы, — и собаки индейцев снова напали на их упряжку. С храбростью отчаяния Билли прорвался сквозь кольцо осатаневших врагов и побежал по льду озера. За ним по пятам ринулись Пайк и Даб, а потом и все остальные собаки Перро. В тот

момент, когда Бэк уже хотел впрыгнуть на лед, он уголком глаза заметил, что Шпиц мчится к нему с явным намерением сбить его с ног. Если бы Бэк упал, он очутился бы под ногами гнавшейся за ними своры и гибель его была бы неминуема. Но он напряг все силы, отбросил Шпица и помчался вслед за другими по озеру.

Через некоторое время все девять собак упряжки собрались вместе и укрылись в лесу. За ними больше никто не гнался, но они были в самом плачевном состоянии. У каждой оказалось не менее четырех-пяти ран, а некоторые пострадали очень тяжело. У Даба была сильно повреждена задняя нога, у Долли (собака, которая была куплена в Дайе и попала в их упряжку последней) на шее зияла страшная рана, Джо лишился глаза, а добряк Билли визжал и скулил всю ночь, — у него ухо было изодрано в клочья. На рассвете они через силу поплелись обратно на стоянку и увидели, что мародеры исчезли. Франсуа и Перро были вне себя. Добрая половина провианта оказалась уничтоженной. Мало того, голодные псы изгрызли даже ремни и брезентовые покрышки. Все, что хоть мало-мальски могло сойти за съедобное, не миновало их зубов. Они сожрали мокасины Перро из лосиной кожи, выгрызли большие

куски из ременной упряжи, и даже бич Франсуа стал короче на два фута. Погонщик оторвался от унылого созерцания его и стал осматривать израненных собак.

— Ай-ай-ай, детки! — сказал он тихо. — Как вы искусаны! А вдруг вы теперь взбеситесь! Ч-черт! Ведь все могут взбеситься! Как думаешь, Перро?

Курьер в тревоге покачал головой. До Доусона было еще четыреста миль, — не хватало только, чтобы собаки взбесились! После двух часов усиленной работы и смачной ругани упряжь была приведена в порядок, и собаки, несмотря на ноющие раны, помчали нарты дальше, с мучительными усилиями одолевая самую трудную часть пути. Нигде еще им не приходилось так туго, как на этом перегоне.

Тридцатимильная река ничуть не замерзла. Ее бурное течение спорило с морозом, и только в тихих заводях держался лед. Шесть дней изматывающих усилий потребовалось, чтобы пройти эти ужасные тридцать миль. Каждый шаг грозил смертью и собакам и людям. Двадцать раз Перро, исследовавший дорогу, проваливался под лед. Спасал его только длинный шест, — он держал его таким образом, что шест всякий раз при падении ложился поперек полыньи. Мороз все крепчал,

термометр показывал пятьдесят градусов ниже нуля; и после каждого такого купания Перро приходилось разводить костер и высушивать одежду, чтобы уберечься от смертельной простуды.

Но его ничто не пугало. Именно потому, что он бы такой бесстрашный, его назначили правительственным курьером. Перро шел на какой угодно риск и, решительно подставляя морозу свое худое, морщинистое лицо, боролся со всякими трудностями изо дня в день, с рассвета до темноты.

Он шагал вдоль неприветных берегов реки по кромке льда, хотя лед трещал и подавался под ногами и на нем страшно было хоть на миг остановиться. Вскоре нарты вместе с Дэйвом и Бэком провалились в воду, собаки чуть не захлебнулись, и их вытащили полумертвыми. Для спасения их жизни пришлось разжечь костер. Они были покрыты толстой ледяной корой, и, для того чтобы она оттаяла, Франсуа и Перро заставили их бегать вокруг костра так близко к огню, что он опалял на них шерсть.

В другой раз провалился Шпиц и потащил за собой всю упряжку вплоть до Бэка. Бэк напряг силы, чтобы удержаться на льду, и стал пятиться, упираясь передними лапами в скользкий край

полыньи, хотя лед кругом трещал и ломался. К счастью, за Бэком был впряжен Дэйв, и он тоже изо всех сил пятился назад, а за нартами стоял Франсуа и тянул их на себя так, что у него суставы трещали.

А однажды кромка льда у берега проломилась и впереди и позади нарт. Оставался только один путь к спасению — отвесная скала. Перро каким-то чудом взобрался на нее, пока Франсуа, стоя внизу, молил бога, чтобы это чудо свершилось. Связав вместе ремни, постромки, всю имевшуюся у них упряжь в длинную веревку, они втащили всех собак одну за другой на вершину скалы. Последним полез Франсуа, когда и нарты и вся поклажа были подняты наверх. Потом начались поиски места, где бы можно было снова спуститься вниз. В конце концов спустились при помощи той же веревки, и ночь застала их уже опять на реке. За этот день они прошли всего четверть мили.

К тому времени, как дошли до Хуталинква, где лед был уже крепкий, Бэк совсем измучился. В таком же состоянии были и остальные собаки. Тем не менее Перро решил наверстать потерянное время и гнал их вперед и вперед. В первый день они сделали тридцать пять миль и очути-

лись у Большого Лосося. На второй день прошли еще тридцать пять, до Малого Лосося, на третий — сорок миль и уже приближались к порогам Пяти Пальцев.

У Бэка ноги были не такие крепкие и выносливые, как у собак Севера. С тех пор как последний из его диких предков был приручен пещерным человеком или обитателем свайных построек, собаки его породы, поколение за поколением, становились все более изнеженными. Бэк целый день плелся, прихрамывая и терпя мучительную боль в ногах, а вечером на стоянке падал на землю, как мертвый. Даже голод не мог поднять его с места, когда раздавали рыбу, и Франсуа приходилось относить ему его порцию. Тот же Франсуа каждый вечер после ужина полчаса растирал ему лапы и пожертвовал верхней частью своих мокасин, сшив Бэку мокасины на все четыре лапы. Это очень облегчило страдания собаки. Даже сморщенное лицо Перро расплылось в улыбку, когда раз утром Франсуа забыл надеть Бэку эти мокасины, а Бэк лег на спину и просительно махал в воздухе всеми четырьмя лапами, не желая тронуться в путь, пока его не обуют. Постепенно лапы у него огрубели, закалились, и износившиеся к тому времени мокасины были выброшены.

Однажды утром, на стоянке у Пелли, когда запрягали собак, совершенно неожиданно взбесилась Долли, у которой до этого дня не замечали никаких подозрительных признаков. Она вдруг завыла по-волчьи, таким жутким, душераздирающим воем, что у других собак от страха шерсть встала дыбом, и бросилась прямо к Бэку. Бэк в первый раз в жизни видел взбесившуюся собаку и потому не знал, что ее надо бояться. Тем не менее он в инстинктивном ужасе бросился бежать от нее. Он летел прямо вперед, а на расстоянии одного прыжка за ним гналась Долли, тяжело и шумно дыша, и с морды у нее капала пена. Бэка гнал вперед ужас, а Долли — бешенство, и ни она не могла настичь его, ни он — убежать от нее. Бэк, нырнув в чащу кустарника, выбежал на нижний конец острова, переплыл через какой-то пролив, загроможденный льдинами, выбрался на другой остров, потом на третий. Описав круг, он вернулся к главному руслу реки и в панике помчался по льду. Не оглядываясь, он все время слышал за собой, на расстоянии одного прыжка, ворчание Долли. Когда он пробежал таким образом четверть мили, он услышал зов Франсуа и повернул назад. Задыхаясь, с трудом ловя ртом воздух, он бежал к Франсуа все так же, на один

скачок впереди Долли. Вся надежда была на то, что погонщик спасет его. Франсуа держал наготове топор, и когда Бэк пролетел мимо, топор обрушился на голову взбесившейся Долли.

Без сил, еле переводя дух, Бэк доковылял до нарт, но тут Шпиц, воспользовавшись его беспомощностью, наскочил на него и, не встретив сопротивления, вцепился в него зубами. Он в двух местах прокусил мясо до самой кости и расправлялся с Бэком, пока не подоспел Франсуа. Бич свистнул над головой Шпица, и Бэк имел удовольствие видеть, как его враг получил такую трепку, какой еще ни разу не задавали ни одной из собак упряжки.

— Вот дьявол этот Шпиц! — сказал Перро. — Он когда-нибудь загрызет Бэка.

— Ничего, в Бэке сидит не один, а два дьявола! — отозвался Франсуа. — Я за ним наблюдаю все время, и знаешь, что я тебе скажу? В один прекрасный день он так озвереет, что разжует твоего Шпица и выплюнет на снег. Уж ты мне поверь!

С этих пор между Бэком и Шпицем шла открытая война. Шпиц, вожак и признанный глава всей упряжки, видел в этом странном южанине угрозу своему первенству. Странным Бэк казался ему оттого, что до сих пор ни одна из собак Юга,

которых Шпиц знавал множество, не могла тягаться с местными ни на лагерных стоянках, ни в пути. Все эти пришельцы с Юга были слишком изнежены и погибали от непосильной работы, морозов, голода. Бэк был единственным исключением. Он все выдержал, он приспособился к новой жизни и преуспевал, не уступая северянам в силе, свирепости и храбрости. Притом он был властолюбив, а дубинка человека в красном свитере, выбив из него прежнюю безрассудную отвагу и запальчивость, сделала его особенно опасным противником. Он был необыкновенно хитер и, стремясь к первенству, умел выжидать удобного случая с той терпеливой настойчивостью, которая отличает дикарей.

Бой за первенство неизбежно должен был произойти, и Бэк хотел этого. Он хотел этого потому, что такая у него была натура, и потому, что им всецело овладела та непостижимая гордость, которая побуждает ездовых собак до последнего вздоха не сходить с тропы, с радостью носить свою упряжь и умирать с горя, если их выгонят из упряжки. Эта гордость просыпалась и в Дэйве, когда его впрягали на место коренника, она заставляла Соллекса тянуть нарты, напрягая все силы. Она воодушевляла всех собак, когда

приходило время отправляться в путь, и преображала угрюмых и раздражительных животных в полных энергии, честолюбивых и неутомимых тружеников. Эта гордость подстегивала их в течение всего дня и покидала только вечером, на привале, уступая место мрачному беспокойству и недовольству. Вожак Шпиц именно из этой профессиональной гордости кусал тех собак, которые сбивались с ноги и путались в постромках или прятались по утрам, когда нужно было впрягаться. Из того же чувства гордости Шпиц боялся, как бы Бэка не поставили вожаком вместо него, а Бэк стремился стать вожаком.

Бэк теперь открыто добивался места вожака. Он становился между Шпицем и лентяями, которых тот хотел наказать, и делал это умышленно. Както ночью выпало много снега, и утром ленивый и жуликоватый Пайк не пришел к нартам. Он спрятался в вырытую им нору глубоко под снегом, и Франсуа тщетно искал и звал его. Шпиц был в бешенстве. Он метался по лагерю, обнюхивая и раскапывая каждое подозрительное место, и рычал так свирепо, что Пайк, слыша это рычание, дрожал от страха в своем убежище.

Однако, когда его наконец извлекли оттуда и Шпиц налетел на него с намерением задать ему

трепку, Бэк вдруг с не меньшей яростью бросился между ними. Это был такой неожиданный и ловкий маневр, что Шпиц, отброшенный назад, не устоял на ногах. Пайк, противно дрожавший от малодушного страха, сразу ободрился, увидев такой открытый мятеж, и напал на поверженного вожака. Да и Бэк, уже позабывший правила честного боя, тоже бросился на Шпица. Но тут уже Франсуа, хотя его все это и позабавило, счел своей обязанностью восстановить справедливость и изо всей силы стегнул Бэка бичом. Это не оторвало Бэка от распростертого на снегу противника, и тогда Франсуа пустил в ход рукоятку бича. Оглушенный ударом Бэк отлетел назад, и долго еще бич гулял по нему, а Шпиц тем временем основательно отделал многогрешного Пайка.

В последующие дни, пока они шли к Доусону, Бэк продолжал вмешиваться всякий раз, когда Шпиц наказывал провинившихся собак. Но делал он это хитро — только тогда, когда Франсуа не было поблизости. Замаскированный бунт Бэка послужил как бы сигналом к неповиновению, и дисциплина в упряжке все более и более падала. Устояли только Дэйв и Соллекс, остальные собаки вели себя все хуже и хуже. Все пошло вкривь и вкось. Ссорам и грызне не было конца. Атмосфера

все сильнее накалялась — и этому виной был Бэк. Из-за него Франсуа не знал покоя, все время опасаясь, что они со Шпицем схватятся не на жизнь, а на смерть. Погонщик понимал, что рано или поздно это непременно случится. Не раз он по ночам вылезал из спального мешка, заслышав шум драки и боясь, что это дерутся Бэк с вожаком.

Однако пока случая к этому не представлялось, и когда в один хмурый день они наконец прибыли в Доусон, великое сражение все еще было впереди.

В Доусоне было множество людей и еще больше собак, и Бэк видел, что все собаки работают. Повидимому, здесь это было в порядке вещей. Целый день длинные собачьи упряжки проезжали по главной улице, и даже ночью не утихал звон бубенцов. Собаки везли бревна для построек, и дрова, и всякие грузы на прииски. Они выполняли всю ту работу, какую в долине Санта-Клара выполняли лошади. Попадались между ними и южане, но большинство были псы местной породы, потомки волков. С наступлением темноты неизменно в девять, в двенадцать и в три часа ночи они заводили свою ночную песнь, жуткий и таинственный вой. И Бэк с удовольствием присоединял к нему свой голос.

В такие ночи, когда над головой ледяным заревом горело северное сияние или звезды от холода плясали в небе, а земля цепенела и мерзла под снежным покровом, эта собачья песнь могла показаться вызовом, брошенным самой жизнью, если бы не ее минорный тон, ее протяжные и тоскливые переливы, похожие на рыдания. Нет, в ней звучала скорее жалоба на жизнь, на тяжкие муки существования. То была старая песнь, древняя, как их порода на земле, одна из первых песен юного мира в те времена, когда все песни были полны тоски. Она была проникнута скорбью бесчисленных поколений, эта жалоба, так странно волновавшая Бэка. Вместе с чужими собаками он стонал и выл от той же муки бытия, от которой выли его дикие предки, от того же суеверного ужаса перед тайной холода и ночи. И то, что отзвуки этой древней тоски волновали Бэка, показывало, как безудержно он сквозь века мирной оседлой жизни у очага человека возвращается назад к тем диким, первобытным временам, когда рождался этот вой.

Через семь дней после прихода в Доусон они вновь спустились по крутому берегу на лед Юкона и двинулись в обратный путь, к Дайе и Соленой Воде. Перро вез теперь почту еще более

срочную, чем та, которую он доставил в Доусон. Притом он уже вошел в азарт и решил поставить годовой рекорд скорости. Целый ряд обстоятельств благоприятствовал этому. Собаки после недельного отдыха восстановили свои силы и были в хорошем состоянии. Тропа, проложенная ими в снегу, была уже хорошо укатана другими путешественниками. И к тому же на этой дороге в двух-трех местах полиция открыла склады провианта для собак и людей, так что они могли выехать в обратный путь налегке.

В первый же день они прошли пятьдесят миль вверх по Юкону, а к концу второго уже приближались к Пелли, но такая замечательная скорость стоила Франсуа немалых хлопот и волнений. Бунт, поднятый Бэком, нарушил слаженность упряжки. Собаки уже не бежали дружно, все как одна. Поощренные заступничеством Бэка за бунтовщиков, они частенько озорничали. Шпица больше не боялись так, как следовало бояться вожака. Прежний страх перед ним исчез, и не только Бэк, но и другие собаки теперь не признавали его первенства. Раз вечером Пайк украл у Шпица половину рыбины и, под защитой Бэка, тут же сожрал ее. В другой раз Даб и Джо напали на Шпица, предупредив заслуженную

ими трепку. И даже добряк Билли утратил долю своего добродушия и повизгивал далеко не так заискивающе, как прежде. А Бэк — тот всякий раз, как проходил мимо Шпица, ворчал и грозно ощетинивался. И вообще он вел себя настоящим забиякой и любил нахально прогуливаться перед самым носом Шпица.

Падение дисциплины сказалось и на отношениях между другими собаками. Они грызлись чаще прежнего, и по временам лагерь превращался в настоящий ад. Только Дэйв и Соллекс вели себя, как всегда, хотя и они стали беспокойнее, — их порядком раздражала эта беспрерывная грызня вокруг. Франсуа ругался непонятными словами, в бессильном гневе топал ногами и рвал на себе волосы. Бич его постоянно свистел над спинами собак, но толку от этого было мало. Стоило Франсуа отвернуться — и все начиналось снова. Он защищал Шпица, а Бэк — всех остальных. Франсуа отлично знал, что всему виной Бэк, а Бэк понимал, что погонщик это знает. Но пес был так хитер, что уличить его было невозможно. Он хорошо работал в упряжке, потому что это стало для него удовольствием. Но еще большее удовольствие ему доставляло исподтишка вызвать драку между товарищами и потом замести следы.

Однажды на привале у устья Тэхкины Даб вечером, после ужина, вспугнул зайца, но не успел его схватить. Мигом вся свора кинулась в погоню за добычей. В ста ярдах от лагеря была станция северо-западной полиции, где держали полсотни собак, и они все приняли участие в охоте. Заяц пробежал по льду реки и, свернув на замерзший ручеек, мчался дальше, легко прыгая по глубокому снегу, а собаки, более тяжелые, проваливались на каждом шагу. Бэк бежал впереди всей своры из шестидесяти собак, огибая одну излучину за другой, но догнать зайца не мог. Он распластался на бегу и визжал от вожделения. Его великолепное тело в мертвеннобелом свете луны стремительно мелькало в воздухе. И, как белый призрак морозной ночи, заяц так же стремительно летел впереди.

Те древние инстинкты, что в известную пору года гонят людей из шумных городов в леса и поля убивать живых тварей свинцовыми шариками, теперь проснулись в Бэке, и в нем эта кровожадность и радость умерщвления были бесконечно более естественны. Он мчался впереди всей своры в бешеной погоне за добычей, за этим живым мясом, чтобы впиться в него зубами, убить и в теплую кровь погрузить морду до самых глаз.

Есть экстаз, знаменующий собою вершину жизни, высшее напряжение жизненных сил. И парадоксально то, что экстаз этот есть полнота ощущения жизни и в то же время — полное забвение себя и всего окружающего. Такой самозабвенный восторг приходит к художникутворцу в часы вдохновения. Он охватывает воина на поле брани, и воин в упоении боя разит без пощады. В таком именно экстазе Бэк во главе стаи, с древним победным кличем волков, гнался за добычей, мчавшейся впереди в лунном свете. Экстаз этот исходил из неведомых ему самому недр его существа, возвращая его в глубину времен. Жизнь кипела в нем, вставала бурным разливом, и каждый мускул, каждая жилка играли, были в огне, и радость жизни претворялась в движение, в эту исступленную скачку под звездами по мертвой, застывшей от холода земле.

Шпиц, хладнокровный и расчетливый даже в моменты самого буйного азарта, отделился от стаи и побежал наперерез зайцу через узкую косу, вокруг которой речка делала поворот. Бэк этого не заметил: он, огибая излучину, видел только мелькавший впереди белый призрак зайца. Вдруг другой белый призрак, побольше первого, прыгнул с береговой кручи прямо на

дорогу перед зайцем. Это был Шпиц. Заяц не мог повернуть назад. Шпиц еще на лету вонзил зубы ему в спину, и заяц крикнул, как кричит в муке человек. Услышав этот вопль Жизни, которая в разгаре своем попала в железные объятия Смерти, вся свора, бежавшая за Бэком, дико взвыла от восторга.

Молчал только Бэк. Не останавливаясь, он налетел на Шпица, да так стремительно, что не успел схватить его за горло. Они упали и покатились, взметая снег. Шпиц первый вскочил на ноги — так быстро, словно и не падал, — укусил Бэка за плечо и прыгнул в сторону. Челюсти его дважды сомкнулись мертвой хваткой, как железные челюсти капкана, он отскочил, чтобы лучше разбежаться для прыжка, и зарычал, вздернув верхнюю губу и оскалив зубы.

Бэк почувствовал, что настал решительный миг, что эта схватка будет не на жизнь, а на смерть. Когда они, заложив назад уши, с рычанием кружили друг около друга, настороженно выжидая удобного момента для нападения, Бэку вдруг показалось, что все это ему знакомо, что это уже было когда-то: белый лес кругом, белая земля, и лунный свет, и упоение боя. В белом безмолвии вокруг было что-то призрачное. Ни малейшего

движения в воздухе, ни шелеста, не дрожал на дереве ни один засохший лист, и только пар от дыхания собак медленно поднимался в морозном воздухе.

Эти плохо приручeнные потомки волков быстро покончили с зайцем и теперь в напряженном, безмолвном ожидании окружили кольцом сражающихся. Глаза у всех горели, пар из раскрытых пастей медленно поднимался вверх. И вся эта картина из каких-то первобытных времен не была для Бэка ни новой, ни странной. Казалось, что так было всегда, что это в порядке вещей.

Шпиц был опытным бойцом. На своем пути от Шпицбергена через всю Арктику и Канаду и Бесплодную Землю он встречал всевозможных собак и всех их одолевал и подчинял себе. Ярость его была страшна, но никогда не ослепляла его. Обуреваемый жаждой терзать и уничтожать, он, однако, ни на миг не забывал, что и противником его владеет такая же страсть. Никогда он не нападал, не подготовившись встретить ответный натиск. Никогда не начинал атаки, не обеспечив себе заранее успеха.

Тщетно Бэк пытался вонзить зубы в шею этого громадного белого пса. Как только он нацеливался клыками на незащищенное место, его

встречали клыки Шпица. И клык ударялся о клык, морды у обоих были в крови, а Бэку все никак не удавалось обмануть бдительность врага. Он разгорячился и ошеломил Шпица вихрем внезапных натисков. Снова и снова нацеливался он на снежно-белое горло, в котором биение жизни слышалось так близко, но Шпиц всякий раз, укусив его, отскакивал. Тогда Бэк пустил в ход другой маневр: делая вид, что хочет вцепиться Шпицу в горло, он внезапно отдергивал назад голову и, извернувшись, ударял Шпица плечом, как тараном, стараясь повалить его. Но Шпиц успевал укусить его в плечо и легко отскакивал в сторону.

Шпиц был еще совершенно невредим, а Бэк обливался кровью и дышал тяжело. Схватка становилась все ожесточеннее. Окружившие их кольцом собаки в полном молчании ждали той минуты, когда кто-нибудь из двух упадет, и готовились доконать побежденного. Когда Бэк запыхался, Шпиц от обороны перешел к наступлению и не давал ему передышки. Бэк уже шатался. Один раз он даже упал — и все шестьдесят собак в тот же миг вскочили на ноги. Но Бэк одним прыжком взлетел с земли, и весь круг снова застыл в ожидании.

У Бэка было то, что и человека и зверя делает великим: воображение. В борьбе он слушался инстинкта, но и мозг его не переставал работать. Он бросился на врага, как будто намереваясь повторить прежний маневр — удар плечом, но в последний момент припал к земле и вцепился в левую переднюю ногу Шпица. Захрустела сломанная кость, и белый пес оказался уже только на трех ногах. Трижды пробовал Бэк повалить его наземь, потом, пустив в ход тот же маневр, перегрыз ему правую переднюю ногу.

Несмотря на боль и беспомощное состояние, Шпиц делал бешеные усилия удержаться на ногах. Он видел безмолвный круг собак, их горящие глаза, высунутые языки и серебряный пар от их дыхания, поднимавшийся вверх. Кольцо все теснее сжималось вокруг него, а он не раз видывал прежде, как такое кольцо смыкалось вокруг побежденного в схватке. На этот раз побежденным оказался он.

Участь его была решена. Бэк был беспощаден. Милосердие годилось только для более мягкого климата. Он готовился нанести окончательный удар. Собаки придвинулись уже так близко, что он ощущал на своих боках их теплое дыхание. За спиной Шпица он видел припавшие к земле,

подобравшиеся для прыжка тела, глаза, жадно следившие за каждым его движением. Наступила пауза. Все собаки замерли на месте, словно окаменев. Только Шпиц весь дрожал и шатался, ощетинившись, грозно рыча, будто хотел испугать надвигавшуюся смерть. Но вот Бэк кинулся на него — и тотчас отскочил. На этот раз удар плечом сделал свое дело.

Шпиц упал. Темное кольцо собак сомкнулось в одну точку на озаренном луной снегу, и Шпиц исчез. А Бэк стоял и глядел, как победитель. Это стоял торжествующий первобытный зверь, который убил и наслаждался этим.

IV. КТО ПОБЕДИЛ В БОРЬБЕ ЗА ПЕРВЕНСТВО

Ну, что я говорил? Разве не правда, что в этом Бэке сидят два дьявола? Так выражал свои чувства Франсуа на другое утро, обнаружив, что Шпиц исчез, а Бэк весь в ранах. Он подтащил Бэка к костру и при свете огня показал Перро его бока и спину.

— Этот Шпиц дерется, как дикий зверь, — сказал Перро, осматривая зияющие раны и укусы.

— А Бэк — как два зверя! — отпарировал Франсуа — Ну. Да теперь у нас дело пойдет на лад. Не будет Шпица, так и дракам конец.

Пока Перро укладывал и грузил на нарты все их пожитки, погонщик запрягал собак. Бэк подошел к месту вожака, где всегда впрягали Шпица. Франсуа, не обращая на него внимания, подвел к этому столь желанному месту Соллекса; он считал его наиболее подходящим для роли вожака. Но Бэк в ярости набросился на Соллекса, отогнал его и стал на место Шпица.

— Ну и ну! — воскликнул Франсуа, от восторга хлопнув себя по бедрам. — Посмотрите-ка на Бэка!

Загрыз Шпица и теперь хочет стать вожаком.

— Пошел вон, разбойник! — прикрикнул он на Бэка, но тот стоял как ни в чем не бывало.

Франсуа схватил его за шиворот и, хотя пес грозно зарычал, оттащил в сторону, а на место вожака опять поставил Соллекса. Тому это явно не понравилось: видно было, что старый пес боится Бэка. Франсуа был упрям и настоял на своем, но, как только он отвернулся, Бэк опять прогнал Соллекса, и тот отошел очень охотно.

Тут уже Франсуа рассердился.

— Вот я тебя сейчас проучу! — крикнул он и, убежав, вернулся с тяжелой дубиной.

Бэк вспомнил человека в красном свитере и медленно отступил. Больше он не пытался отогнать Соллекса, когда того опять поставили впереди. Но он кружил около на таком расстоянии, чтобы его не могла достать дубинка. Злобно и обиженно ворча, он все время не сводил глаз с дубинки, чтобы успеть увернуться, если Франсуа швырнет ею в него: он уже по опыту знал, как действует эта штука.

Погонщик занялся своим делом и крикнул Бэка только тогда, когда до него дошла очередь, собираясь поставить его на старое место, перед Дэйвом. Бэк попятился на несколько шагов. Фран-

суа двинулся к нему, но пес отбежал еще дальше. Это повторялось несколько раз, и наконец Франсуа бросил дубинку, думая, что Бэк боится ее. Но дело было не в дубинке, — Бэк открыто бунтовал, добиваясь места вожака. Оно принадлежало ему по праву, он его заслужил и не соглашался на меньшее.

Перро поспешил на помощь Франсуа. Битый час они вдвоем гонялись за Бэком, швыряли в него палками, но он увертывался от них. Они проклинали его, и его родителей, и прародителей, и всех еще не явившихся на свет потомков до самых отдаленных поколений, и каждый волосок на его шкуре, и каждую каплю крови в его жилах. А Бэк на ругань отвечал рычанием и не подпускал их близко. Он не пытался убежать, но кружил вокруг стоянки, ясно давая понять людям, что, если его желание будет исполнено, он станет опять послушен.

Франсуа наконец сел на снег и почесал затылок. Перро посмотрел на часы и чертыхнулся. Время шло, им следовало выехать еще час назад. Франсуа опять почесал затылок, покачал головой и смущенно ухмыльнулся, глядя на курьера. А тот в ответ пожал плечами, как бы признавая, что они побеждены.

Тогда Франсуа подошел к Соллексу и кликнул Бэка. Бэк засмеялся по-своему, по-собачьи, — но все еще держался на приличном расстоянии. Франсуа выпряг Соллекса и поставил его на прежнее место. Вся упряжка стояла уже в полной готовности, выстроившись сплошной вереницей. Для Бэка теперь уже не оставалось другого места, кроме места вожака впереди. Франсуа снова позвал его, а Бэк снова засмеялся, но все не шел на зов.

— Брось-ка дубинку! — скомандовал Перро.

Франсуа послушался, и тогда только Бэк подошел с торжествующим видом и стал во главе упряжки. На него надели постромки, освободили примерзшие нарты, и они вмиг вылетели на реку, а мужчины на лыжах бежали рядом.

Погонщик Франсуа и раньше был высокого мнения о Бэке, утверждая, что в нем сидят два черта, но не прошло и дня, как он убедился, что недооценивал эту собаку. Бэк сразу же вошел в роль вожака и сообразительностью, быстротой и решительностью превосходил даже Шпица, лучшего вожака, какого когда-либо видел Франсуа.

Но всего замечательнее было его умение подчинять себе других. Он заставил всех собак своей упряжки выполнять его требования. Дэйв и Сол-

лекс ничего не имели против нового вожака. Их дело было трудиться, тащить нарты, не жалея сил, и пока им не мешали, они на все были согласны. Пусть бы вожаком поставили хоть Билли, лишь бы он поддерживал порядок! Но остальные собаки за последнее время отбились от рук и теперь были очень удивлены строгостью, с какой Бэк призвал их к порядку. Лодырь Пайк, занимавший в упряжке место позади Бэка, раньше налегал на ремни только в такой мере, в какой это было неизбежно, и ни капельки сильнее. Но теперь Бэк подбадривал его частой и энергичной трепкой, и с первого дня Пайк стал работать так усердно, как никогда в жизни. А угрюмый Джо в первый же вечер на стоянке был основательно наказан — это никогда не удавалось даже Шпицу. Бэк навалился на него всей своей тяжестью и трепал до тех пор, пока тот не перестал огрызаться и не заскулил, прося пощады.

Вся упряжка сразу стала работать лучше. Восстановилась былая слаженность движений, и опять все собаки неслись в своих постромках словно слитые в одну. У порогов Ринк Рэпидс Перро прикупил еще двух канадских лаек. Тика и Куну. Бэк выдрессировал их так быстро, что Франсуа только ахал и диву давался.

— Днем с огнем не сыщешь другого такого пса, как этот Бэк! — твердил он. — За такого и тысячу долларов отдать не жалко, ей-богу! Скажешь нет, Перро?

Перро соглашался. Он уже к тому времени превысил рекорд скорости и превышал его все больше день ото дня. Дорога была в прекрасном состоянии, твердая, хорошо укатанная, не было на ней свежего, рыхлого снега, который так затрудняет езду. Притом было не очень холодно. Температура, упав до пятидесяти градусов ниже нуля, оставалась все время на этом уровне. Перро и Франсуа, чередуясь, то ехали на нартах, то шли на лыжах, а собаки неслись галопом, делая остановки только изредка.

Тридцатимильная река оделась уже довольно крепким льдом, и они за один день сделали перегон, который на пути в Доусон отнял у них десять дней. Потом они пролетели без остановок шестьдесят миль от озера Ле-Барж до порогов Белой Лошади. Через озера Марш, Тагиш и Беннет (семьдесят миль) собаки мчались с такой быстротой, что тому из двух мужчин, чья очередь была идти на лыжах, приходилось следовать за нартами, держась за привязанную к ним веревку. И наконец в последний вечер второй недели они

прошли через Белый перевал и стали спускаться к морю, туда, где мерцали огни Скагуэя и стоявших на причале судов.

Это был рекордный пробег. В течение двух недель они проезжали в среднем по сорок миль в день. Целых три дня Перро и Франсуа, гордо выпятив грудь, прогуливались по главной улице Скагуэя, и со всех сторон на них сыпались приглашения выпить, а их упряжка была постоянно окружена восторженной толпой ценителей и скупщиков ездовых собак.

Но вскоре несколько бандитов с Запада сделали попытку обчистить город, а за эти подвиги их так изрешетили пулями, что они стали похожи на перечницы, — и публика занялась новой сенсацией. А там Перро получил официальное распоряжение. Узнав о нем, Франсуа подозвал Бэка, обхватил его обеими руками и заплакал. И это было последнее прощание Бэка с Франсуа и Перро. Как раньше другие люди, они навсегда исчезли из его жизни.

Его и остальных собак передали какому-то шотландцу-полукровке, и вместе с десятком других собачьих упряжек они пустились снова в тот же утомительный путь — к Доусону. Теперь уже они не шли налегке, и не до рекордов им было. Нет,

они трудились без отдыха изо дня в день, тянули нарты с тяжелой кладью. Это был почтовый обоз, он вез вести со всех концов земли людям, искавшим золото под сенью Северного полюса.

Бэку это не нравилось, но он работал хорошо из той же профессиональной гордости, что воодушевляла Дэйва и Соллекса, и следил, чтобы все его товарищи, гордились они своей работой или нет, делали ее добросовестно. Жизнь шла однообразно, как заведенная машина. Один день был как две капли похож на другой. По утрам в определенный час повара принимались за дело. Разводили костры, готовили завтрак. Потом одни грузили на нарты палатки и все остальное, другие запрягали собак. В путь трогались примерно за час до того, как ночь начинала мутнеть, что было предвестником зари. По вечерам делали привал. Люди ставили палатки, кололи дрова и ломали сосновые ветки для подстилки, приносили воду или лед поварам. Затем кормили собак. Для Бэка и его товарищей это было самым радостным событием дня. Впрочем, приятно было и потом, съев свою порцию рыбы, послоняться без дела часок-другой среди других собак, которых здесь было больше сотни. Между ними были опасные драчуны, но после трех сражений Бэка с самыми

свирепыми авторитет его был признан, и стоило ему только ощетиниться и оскалить зубы, как все уступали ему дорогу.

Больше всего, пожалуй, Бэк любил лежать у костра. Поджав под себя задние лапы, вытянув передние и подняв голову, он задумчиво смотрел в огонь. В такие минуты вспоминался ему иногда большой дом судьи Миллера в солнечной долине Санта-Клара, цементный бассейн, где он плавал, бесшерстная мексиканка Изабель и японский мопсик Туте. Но чаще думал Бэк о человеке в красном свитере, о гибели Кэрли, о великой битве со Шпицем и о тех вкусных вещах, которые он ел когда-то или мечтал поесть. Он не тосковал по родине. Страна солнца стала для него смутным и далеким воспоминанием, которое его не волновало. Гораздо большую власть над ним имели воспоминания о другой жизни, далекой жизни предков. Благодаря им многое, чего он никогда раньше не видел, казалось ему знакомым. А инстинкты (они тоже были не чем иным, как отголосками жизни предков), не просыпавшиеся в нем раньше, теперь ожили и властно заговорили.

По временам, когда он так лежал у костра и сонно щурился на огонь, ему начинало казаться,

что это пламя какого-то иного костра, у которого он грелся когда-то, и видел он подле себя не повара-метиса, а совсем другого человека. У этого другого ноги были короче, а руки длиннее, мускулы — как узловатые веревки, а не такие гладкие и обросшие жиром. Волосы у него были длинные и всклокоченные, череп скошен от самых глаз к темени. Человек этот издавал странные звуки и, видно, очень боялся темноты, потому что то и дело всматривался в нее, сжимая в руке, свисавшей ниже колена, палку с привязанным к ней на конце большим камнем. Он был почти голый — только на спине болталась шкура, рваная и покоробленная огнем. Но тело его было покрыто волосами, и на груди и плечах, на тыльной стороне рук и на ляжках волосы были густые, как мех. Человек стоял не прямо, а наклонив туловище вперед и согнув ноги в коленях. И в теле его чувствовалась какая-то удивительная упругость, почти кошачья гибкость и напряженность, как у тех, кто живет в постоянном страхе перед видимыми и невидимыми опасностями.

Иногда этот волосатый человек сидел у костра на корточках и дремал, низко свесив голову. Локти он тогда упирал в колени, руками закрывал голову, как от дождя. А за костром, в темноте,

светилось множество раскаленных угольков, и всегда парами, всегда по два: Бэк знал, что это глаза хищных зверей. Он слышал, как трещали кусты, сквозь которые они продирались, слышал все звуки, возвещавшие их приближение.

И когда Бэк лежал на берегу Юкона и грезил, лениво глядя в огонь, эти звуки и видения другого мира тревожили его так, что шерсть у него вставала дыбом и он начинал тихо повизгивать или глухо ворчать. Тогда повар-метис кричал: «Эй, Бэк, проснись!» — и видения куда-то исчезали, перед глазами снова вставал реальный мир, и Бэк поднимался, зевая и потягиваясь, словно он на самом деле только что проснулся.

Дорога была трудная, груз тяжелый, работа изматывала собак. Они отощали и были в самом жалком состоянии, когда добрались наконец до Доусона. Им следовало бы отдохнуть дней десять или хотя бы неделю. Но два дня спустя они уже спускались от Казарм вниз, на лед Юкона, с грузом писем. Собаки были утомлены, погонщики ворчали, и в довершение всего каждый божий день шел снег. По этому мягкому, неутоптанному настилу идти было трудно, больше терлись полозья и тяжелее было собакам тащить нарты. Но люди хорошо справлялись со всеми трудностями

и усердно заботились о собаках.

Каждый вечер, разбив лагерь, погонщики первым делом занимались собаками. Собаки получали ужин раньше, чем люди, и никто из погонщиков не залезал в спальный мешок, пока не осмотрит лапы своих собак. Все-таки силы собак таяли. За эту зиму они уже прошли тысячу восемьсот миль, весь утомительный путь таща за собой тяжело нагруженные нарты. А тысяча восемьсот миль подкосят и самую крепкую, выносливую собаку. Бэк пока не сдавался, заставлял работать других и поддерживал дисциплину в своей упряжке, но и он тоже был сильно переутомлен. Билли все ночи напролет скулил и стонал во сне, Джо был мрачнее мрачного, а к Соллексу просто опасно было подходить не только со стороны слепого, но и со стороны зрячего глаза.

Но больше всех измучился Дэйв. С ним творилось что-то неладное. Он стал раздражителен и угрюм; как только располагались на ночлег, он сразу отрывал себе ямку и забирался в нее — туда погонщик и приносил ему еду. С той минуты, как его распрягали, и до утра, когда опять нужно было впрягаться, Дэйв лежал пластом. Иногда в пути, дернувшись от сильного толчка внезапно остановившихся нарт или напрягаясь, чтобы

сдвинуть их с места, он жалобно стонал.

Погонщик не раз осматривал его, но не мог понять, что с ним. Наконец этим заинтересовались все остальные погонщики. Они обсуждали вопрос и за едой и перед сном, выкуривая последнюю трубку, а однажды вечером устроили настоящий консилиум. Дэйва привели к костру и ощупывали и мяли так усердно, что он несколько раз взвыл от боли. Сломанных костей не обнаружили и так ничего не выяснили. Должно быть, у него что-то болело внутри.

К тому времени, как они добрались до Кассьярской отмели, Дэйв уже так ослабел, что то и дело падал. Шотландец дал сигнал остановиться и выпряг его, а на место коренника поставил ближайшую собаку, Соллекса. Он хотел дать Дэйву роздых, позволить ему бежать на свободе, без упряжки, за нартами. Но Дэйв, как ни был он болен и слаб, не хотел мириться с тем, что его отстранили от работы. Когда снимали с него постромки, он ворчал и рычал, а увидев Соллекса на своем месте, которое он занимал так долго, горестно завыл. Гордость его возмутилась, и смертельно больной Дэйв всячески протестовал против того, что его заменили другим.

Когда нарты тронулись, он побежал сбоку, ны-

ряя в рыхлом снегу, и все время старался цапнуть Соллекса или бросался на него и пробовал повалить в снег по другую сторону тропы; он делал попытки втиснуться в упряжку между Соллексом и нартами и все время скулил, визжал и лаял от боли и досады. Шотландец пробовал отгонять его бичом, но Дэйв не обращал внимания на обжигавшие кожу удары, а у погонщика совести не хватило хлестать его сильнее. Пес не желал спокойно бежать за нартами по наезженной дороге, где бежать было легко, и продолжал упорно нырять в мягком снегу. Скоро он совсем выбился из сил и упал. Лежа там, где свалился, он тоскливым воем провожал длинную вереницу нарт, мчавшихся мимо него.

Потом, собрав остаток сил, Дэйв кое-как тащился вслед, пока обоз не сделал остановки. Тут Дэйв добрел до своего прежнего места и стал сбоку около Соллекса. Его погонщик отошел к другим нартам — прикурить от трубки соседа. Через минуту он вернулся и дал сигнал к отправке. Собаки двинулись как-то удивительно легко, без всякого усилия — и вдруг все с беспокойством повернули головы и остановились. Погонщик тоже удивился: нарты не двигались с места. Он кликнул товарищей взглянуть на это диво. Оказалось, что

Дэйв перегрыз обе постромки Соллекса и уже стоял прямо перед нартами, на своем старом месте.

Он молил взглядом, чтобы ею не гнали. Погонщик был озадачен. Товарищи его стали толковать о том, как собакам обидно, когда их изгоняют из упряжки, хотя эта работа их убивает. Вспоминали всякие случаи, когда собаки, которые по старости или болезни уже не могли работать, издыхали от тоски, если их выпрягали. Общее мнение было таково, что раз уж Дэйву все равно издыхать, надо пожалеть его и дать ему умереть со спокойной душой на своем месте у нарт.

Дэйва снова впрягли в нарты, и он гордо потащил их, как прежде, хотя временами невольно стонал от приступов какой-то боли внутри. Несколько раз он падал, и другие собаки волокли его дальше в постромках. А однажды нарты наехали на него, и после этого Дэйв хромал на заднюю ногу.

Все-таки он крепился, пока не дошли до стоянки. Погонщик отвел ему место у костра. К утру Дэйв так ослабел, что идти дальше уже не мог. Когда пришло время запрягать, он с трудом подполз к своему погонщику, судорожным усилием встал на ноги, но пошатнулся и упал. Потом медленно пополз на животе к тому месту, где на его

товарищей надевали постромки. Он вытягивал передние лапы и толчком подвигал свое тело вперед на дюйм-два, потом опять и опять проделывал то же самое. Но силы скоро ему изменили, и, уходя, собаки видели, как Дэйв лежал на снегу, тяжело дыша и с тоской глядя им вслед. А его унылый вой долетал до них, пока они не скрылись за прибрежным лесом.

За лесом обоз остановился. Шотландец медленно зашагал обратно, к только что покинутой стоянке. Люди все примолкли. Скоро издали донесся пистолетный выстрел. Шотландец поспешно возвратился к саням, защелкали бичи, весело залились колокольчики, и нарты помчались дальше. Но Бэк знал, и все собаки знали, что произошло там, за прибрежным лесом.

V. ТРУДЫ И ТЯГОТЫ ПУТИ

Через тридцать дней после отъезда из Доусона почтовый обоз во главе с упряжкой Бэка прибыл в Скагуэй. Собаки были изнурены и измучены вконец. Бэк весил уже не сто сорок, а сто пятнадцать фунтов. Собаки меньшего веса похудели еще больше, чем он. Симулянт Пайк, всю жизнь ловко надувавший погонщиков, теперь хромал уже не притворно, а понастоящему. Захромал и Соллекс, а у Даба была вывихнута лопатка, и он сильно страдал.

Лапы у всех были ужасно стерты, утратили всю свою подвижность и упругость и ступали так тяжело, что тело сотрясалось и собаки уставали вдвойне. Все дело было в этой смертельной усталости. Когда устаешь от короткого чрезмерного усилия, утомление проходит через какиенибудь два-три часа. Но тут была усталость от постепенного и длительного истощения физической энергии в течение многих месяцев тяжкого труда. У собак уже не осталось никакого запаса сил и никакой способности к их восстановлению: силы были использованы все до последней крупицы, каждый мускул, каждая жилка, каждая

клеточка тела смертельно утомлены. Да и как могло быть иначе? Менее чем за пять месяцев собаки пробежали две с половиной тысячи миль, а на протяжении последних тысячи восьмисот отдыхали всего пять дней. Когда обоз пришел в Скагуэй, видно было, что они просто валятся с ног. Они с трудом натягивали постромки, а на спусках едва могли идти так, чтобы нарты не наезжали на них.

— Ну, ну, понатужьтесь, бедные вы мои хромуши! — подбадривал их погонщик, когда они плелись по главной улице Скагуэя. — Уже почти доехали, скоро отдохнем как следует. Да, да, долго будем отдыхать!

Люди были в полной уверенности, что остановка здесь будет долгая. Ведь и они прошли на лыжах тысячу двести миль, отдыхали за все время пути только два дня и по справедливости и логике вещей заслуживали основательного отдыха. Но в Клондайк понаехало со всего света столько мужчин, а на родине у них осталось столько женщин, возлюбленных, законных жен и родственниц, не поехавших в Клондайк, что тюки с почтой грозили достигнуть высоты Альпийского хребта. Рассылались и всякие правительственные распоряжения.

И вот собак, ставших негодными, приказано было заменить новыми и снова отправляться в путь. Выбывших из строя собак нужно было сбыть с рук, и, поскольку доллары, как известно, гораздо ценнее собак, последних спешно распродавали.

Только в те три дня, что они отдыхали в Скагуэе, Бэк и его товарищи почувствовали, как они устали и ослабели. На утро четвертого дня пришли двое американцев из Штатов и купили их вместе с упряжью за бесценок. Эти люди называли друг друга Хэл и Чарльз. Чарльз был мужчина средних лет со светлой кожей и бесцветными слезящимися глазами, с усами, лихо закрученными, словно для того, чтобы замаскировать вялость отвислых губ. Хэлу на вид было лет девятнадцать или двадцать. За поясом у него торчали большой кольт и охотничий нож. Этот пояс, набитый патронами, был самой заметной частью его особы. Он свидетельствовал о юности своего хозяина, зеленой, неопытной юности. Оба эти человека были явно не на месте в здешней обстановке, и зачем они рискнули ехать на Дальний Север, оставалось одной из тех загадок, которые выше нашего понимания.

Бэк слышал, как эти двое торговались с правительственным агентом, видел, как они передали

ему деньги, и понял, что шотландец и все остальные погонщики почтового обоза уходят из его жизни навсегда, как ушли Перро и Франсуа, как до них ушли другие. Когда его и остальных собак упряжки пригнали в лагерь новых хозяев, Бэк сразу приметил царившие здесь грязь и беспорядок. Палатка была раскинута только наполовину, посуда стояла немытая, все валялось где попало. Увидел он здесь и женщину. Мужчины звали ее Мерседес. Она приходилась женой Чарльзу и сестрой Хэлу, — видимо, это была семейная экспедиция.

Бэк с тяжелым предчувствием наблюдал, как они снимают палатку и нагружают нарты. Они очень усердствовали, но делали все бестолково. Палатку свернули каким-то неуклюжим узлом, который занимал втрое больше места, чем следовало. Оловянную посуду уложили немытой. Мерседес все время суетилась, мешала мужчинам и трещала без умолку, то читая им нотации, то давая советы. Когда мешок с одеждой уложили на передок нарт, она объявила, что ему место не тут, а позади. Мешок переложили, навалили сверху несколько других, но тут Мерседес обнаружила вдруг какие-то забытые вещи, которые, по ее мнению, следовало уложить именно в этот

мешок, — и пришлось опять разгружать нарты.

Из соседней палатки вышли трое мужчин и наблюдали за ними, ухмыляясь и подмигивая друг другу.

— Поклажи у вас дай боже! — сказал один из них. — Конечно, не мое дело вас учить, но на вашем месте я не стал бы тащить с собой палатку.

— Немыслимо! — воскликнула Мерседес, с кокетливым ужасом всплеснув руками. — Что я буду делать без палатки?

— На дворе весна, холодов больше не будет, — возразил сосед.

Мерседес решительно покачала головой, а Чарльз с Хэлом взвалили на нарты последние узлы поверх горы

всякой клади.

— Думаете, свезут? — спросил один из зрителей.

— А почему же нет? — отрывисто возразил Чарльз.

— Ладно, ладно, это я так… — добродушно сказал тот, спеша замять разговор. — Просто мне показалось, что нарты у вас малость перегружены.

Чарльз повернулся к нему спиной и стал затягивать ремни старательно, но очень неумело.

— Конечно, ничего, — подхватил другой сосед. — Собаки могут целый день бежать с этакой штукой позади.

— Безусловно! — отозвался Хэл с ледяной вежливостью и, взяв в одну руку бич, другой ухватился за поворотный шест.

— Ну! Пошли! — крикнул он и взмахнул бичом. — Вперед!

Собаки рванулись, напряглись, но тут же остановились. Им не под силу было сдвинуть нарты с места.

— Ленивые скоты! — крикнул Хэл. — Вот я вас! — Он поднял бич и хотел стегнуть собак.

Но вмешалась Мерседес. С криком: «Не смей, Хэл!» — она схватилась за бич и вырвала его из рук брата.

— Бедные собачки! Дай слово, что ты в дороге не будешь их обижать, иначе я шагу отсюда не сделаю!

— Много ты понимаешь! — огрызнулся Хэл: — Не знаешь, как надо обращаться с собаками, так не суйся! Они ленивы, вот и все, только кнута и слушаются. Спроси у кого хочешь. Ну, вот хотя бы у этих людей!

Мерседес с мольбой посмотрела на соседей. На ее красивом лице было написано отвращение, —

она не могла видеть, как мучают животных.

— В этих собаках, если уж хотите знать, еле душа держится, — сказал один из мужчин, отвечая на ее взгляд. — Они совсем измотаны, вот в чем дело. Им отдых нужен.

— Какой там отдых к чертовой матери! — проворчал безусый Хэл.

А Мерседес, услышав, как он чертыхается, горестно вздохнула. Однако в ней сильны были родственные чувства, и она поспешно выступила на защиту брата.

— Не обращай внимания, — сказала она ему решительно. — Это наши собаки, и делай с ними, что считаешь нужным.

Снова бич Хэла обрушился на собак. Они налегли на ремни, уперлись лапами в накатанный снег и, почти распластавшись, напрягли все силы. Но нарты удерживали их, словно якорь. После двух попыток собаки остановились, тяжело дыша. Бич бешено свистел в воздухе, и за собак снова вступилась Мерседес. Она стала на колени подле Бэка и со слезами на глазах обняла его за шею.

— Бедные вы, бедные собачки! — воскликнула она жалостливо. — Ну, почему вы не хотите постараться? Ведь тогда вас не будут бить!

Бэку Мерседес не понравилась, но он был слиш-

ком измучен, чтобы дать отпор. Ее ласки он принял, как принимал все неизбежные неприятности этого дня.

Один из зрителей, который наблюдал все это, стиснув зубы и с трудом удерживая гневные слова, не выдержал наконец и заговорил:

— На вас мне, откровенно говоря, наплевать, но собак жалко. И потому я вам скажу, что надо делать, чтобы помочь им. У вас полозья накрепко примерзли. Отбейте лед. Навалитесь всем телом и качайте нарты вправо и влево, пока не сдвинете их с места.

Сделали третью попытку. На этот раз Хэл, вняв дельному совету, сбил лед и оторвал от земли примерзшие полозья. Перегруженные и громоздкие нарты медленно поползли вперед, а Бэк и его товарищи под градом ударов с отчаянными усилиями тянули их. В ста ярдах от стоянки дорога делала поворот и круто спускалась к главной улице. Удержать тяжело нагруженные нарты на таком спуске мог бы лишь опытный погонщик, но никак не Хэл. На повороте нарты опрокинулись, и половина клади высыпалась на дорогу, так как ремни были слабо затянуты. Собаки и не подумали остановиться. Легкие теперь нарты, лежа на боку, прыгали за ними. А они бежали,

обозленные жестоким обращением и тем, что их заставили везти такой тяжелый груз. Бэк словно взбесился. Он мчался со всех ног, и вся упряжка мчалась за ним. Тщетно Хэл орал: «Стоп! Стоп!» — они его не слушали. Он поскользнулся и упал. Опрокинутые нарты перелетели через него, и собаки понеслись по главной улице Скагуэя, рассыпая, на потеху зрителям, остатки поклажи.

Какие-то сердобольные горожане остановили собак и стали собирать упавшие с нарт пожитки. При этом они не скупились на советы. Хэлу и Чарльзу было сказано, что, если они хотят как-нибудь доехать до Доусона, надо бросить половину клади и удвоить число собак. Хэл, его сестра и зять слушали советы неохотно. Они поставили палатку и принялись сортировать свое имущество. Выбросили банки с консервами, насмешив этим людей, так как на Великой Северной Тропе консервы — самое желанное, о чем только может мечтать путешественник.

— А одеял тут у вас — на целую гостиницу! — заметил один из тех, кто помогал Хэлу и Чарльзу, в душе потешаясь над ними. — Половины и то слишком много. Вам надо их сбыть с рук. Палатку бросьте, да и всю посуду тоже — кто это будет ее мыть в дороге? Господи помилуй, вы что думали?

Что будете разъезжать здесь в пульмановских вагонах?

Так по указанию опытных людей безжалостно выбрасывалось все лишнее. Мерседес даже заплакала, когда содержимое ее вещевого мешка вытряхнули на землю и стали отбрасывать в сторону одну часть туалета за другой. Плакала вообще — и плакала над каждой выброшенной вещью отдельно. Обхватив руками колени, она в неутешном горе качалась взад и вперед. Она твердила, что и шагу не сделает дальше не только ради одного, а хотя бы ради дюжины Чарльзов. Она взывала ко всем и каждому, но в конце концов утерла слезы и принялась выбрасывать даже такие предметы, которые были совершенно необходимы в дороге. Покончив с собственным мешком, она стала разбирать вещи спутников и в своем азарте прошлась по ним как смерч.

После всех трудов на нартах осталась только половина поклажи, но и та была с гору. Вечером Чарльз и Хэл пошли покупать собак и привели их шесть, не местных, а привозных. Теперь в упряжке было уже четырнадцать собак — шесть из первой упряжки Перро, Тик и Куна, купленные им перед рекордным пробегом, да шесть новых. Впрочем, эти новые, привозные собаки, хотя их

уже дрессировали раньше, немногого стоили. Среди них было три гладкошерстных пойнтера и один ньюфаундленд, а две собаки представляли какую-то неопределенную помесь. Новички, видимо, были еще совсем неопытны. Бэк и другие старые собаки смотрели на них презрительно. Бэк сразу показал им, чего нельзя делать, но никак ему не удавалось научить их тому, что нужно было делать. Им не нравилась работа ездовой собаки. Пойнтеры и ньюфаундленд были совершенно сломлены духом, запуганы чуждой им обстановкой дикого Севера и жестоким обращением. А у двух дворняг вообще души не было, им можно было сломать только кости.

Так как беспомощные новички никуда не годились, а старая упряжка выбилась из сил, пройдя почти — без передышки две с половиной тысячи миль, то ничего хорошего нельзя было ожидать. Но Хэл и Чарльз были настроены радужно и полны гордости. Как же, теперь у них все на славу — шутка сказать, в упряжке четырнадцать собак! Они видели, как люди отправляются через перевал к Доусону, как возвращаются оттуда — и ни у одного из этих путешественников не было столько собак!

А между тем путешественники по Арктике

имели серьезные основания не впрягать в одни нарты четырнадцать собак: ведь на одних нартах невозможно уместить провизию для такого количества собак. Но Хэл и Чарльз этого не знали. Они все рассчитали карандашом на бумаге: столько-то собак, столько-то корма на собаку, столько-то дней в пути, — итого… Карандаш гулял по бумаге, а Мерседес смотрела через плечо мужа и с авторитетным видом кивала головой — все было так просто и ясно.

Назавтра, поздним утром, Бэк повел длинную собачью упряжку по улице Скагуэя. Ни он, ни другие собаки не проявляли никакой резвости и энергии. Они вышли в путь смертельно усталые. Бэк уже четыре раза проделал путь между Соленой Водой и Доусоном, и его злило, что ему, усталому, заезженному, опять надо пускаться в такой трудный путь. Не по душе это было ему, не по душе и другим собакам. Новые собаки всего боялись, а старые и опытные не питали никакого доверия к своим нынешним хозяевам.

Бэк смутно понимал, что на этих двух мужчин и женщину нельзя положиться. Они ничего не умели, и с каждым днем становилось очевиднее, что они ничему не научатся. Все они делали спустя рукава, не соблюдали порядка и дисциплины.

Полвечера у них уходило на то, чтобы кое-как разбить лагерь, и пол-утра — на сборы в путь, а нарты они нагружали так беспорядочно и небрежно, что потом весь день то и дело приходилось останавливаться и перекладывать багаж. В иные дни они не проходили и десяти миль, а бывало и так, что вовсе не могли тронуться с места. Никогда они не проходили в день и половины того расстояния, которое путешественники на Севере принимают за среднюю норму, когда рассчитывают, какой запас пищи надо брать для собак.

С самого начала было ясно, что Хэлу и Чарльзу не хватит в пути корма для собак. А они еще к тому же перекармливали их и тем самым приближали катастрофу. Привозные собаки, не приученные хронической голодовкой довольствоваться малым, были ужасно прожорливы. А так как местные, вконец измученные, шли медленно, то Хэл решил, что обычная норма питания недостаточна, и удвоил ее. К тому же Мерседес, со слезами в красивых глазах, дрожащим голосом упрашивала его дать собакам побольше, а когда Хэл не слушался, она крала из мешков рыбу и тайком подкармливала их. Но Бэк и его товарищи нуждались не столько в пище, сколько в отдыхе. И хотя они бежали не быстро, тяжесть груза, кото-

рый они тащили, сильно подтачивала их силы.

А потом к этому прибавился и голод. В один прекрасный день Хэл сделал открытие, что половина корма для собак уже съедена, тогда как пройдено всего только четверть пути, а достать в этих местах корм ни за какие деньги невозможно. Тогда он урезал дневные порции ниже нормы и решил, что надо ехать быстрее. Сестра и зять с ним согласились. Но ничего из этого не вышло: слишком перегружены были нарты и слишком неопытны люди. Давать собакам меньше еды было проще всего, но заставить их бежать быстрее они не могли, а так как по утрам из-за нерасторопности хозяев в путь трогались поздно, то много времени пропадало даром. Эти люди не умели подтянуть собак, не умели подтянуться и сами.

Первым свалился Даб. Незадачливый воришка, который всегда попадался и получал трепку, был тем не менее добросовестным работником. Так как его вывихнутую лопатку не вправили и не давали ему роздыха, ему становилось все хуже, и в конце концов Хэл пристрелил его из своего большого кольта. На Севере все знают, что собаки, привезенные из других мест, погибают от голода, если их посадить на скудный паек местных лаек. А так как Хэл и этот паек урезал наполовину,

то все шесть привозных собак в упряжке Бэка неминуемо должны были погибнуть. Первым околел ньюфаундленд, за ним — все три пойнтера. Упорнее их цеплялись за жизнь две дворняги, но и они в конце концов погибли.

К этому времени три путешественника утратили всю мягкость и обходительность южан. Развеялось романтическое очарование путешествия по Арктике, действительность оказалась чересчур суровой. Мерседес перестала плакать от жалости к собакам, — теперь она плакала только от жалости к себе и была поглощена ссорами с мужем и братом. Ссориться они никогда не уставали. Раздражительность, порожденная невзгодами, росла вместе с этими невзгодами, переросла и далеко опередила их. Эти двое мужчин и женщина не обрели того удивительного терпения, которому Великая Северная Тропа учит людей и которое помогает им в трудах и жестоких страданиях оставаться добрыми и приветливыми. У новых хозяев Бэка не было и капли такого терпения. Они коченели от холода, у них все болело: болели мускулы, кости, даже сердце. И оттого они стали сварливыми, и с утра до ночи грубости и колкости не сходили у них с языка.

Как только Мерседес оставляла Чарльза и Хэла

в покое, они начинали ссориться между собой. Каждый был глубоко уверен, что он делает большую часть работы, и при всяком удобном случае заявлял об этом. А Мерседес принимала сторону то мужа, то брата, — и начинались бесконечные семейные сцены. Заведут, например, спор, кому из двоих, Чарльзу или Хэлу, нарубить сучьев для костра, — и тут же начнут ни к селу ни к городу поминать всю родню, отцов, матерей, дядей, двоюродных братьев и сестер, людей, которые находятся за тысячи миль, и даже тех, кто давно в могиле. Было совершенно непонятно, какое отношение к рубке сучьев для костра имеют, например, взгляды Хэла на искусство или пьесы, которые писал его дядя по матери. Тем не менее к спору все это приплеталось так же часто, как и политические убеждения Чарльза. И какая связь между длинным языком сестры Чарльза и разжиганием костра на Юконе — это было ясно одной лишь Мерседес, которая разражалась потоком комментариев на эту тему, а кстати уже высказывалась относительно некоторых других неприятных особенностей мужниной родни. Тем временем костер не разжигался, приготовления к ночлегу не делались, собаки оставались ненакормленными.

У Мерседес был особый повод для недовольства — претензии чисто женского свойства. Она была красива, изнеженна, мужчины всегда рыцарски ухаживали за ней. А теперь обращение с ней мужа и брата никак нельзя было назвать рыцарским! Мерседес привыкла ссылаться всегда на свою женскую беспомощность. Чарльза и Хэла это возмущало. Но она протестовала против всяких покушений на то, что считала самой основной привилегией своего пола, и отравляла им жизнь. Она устала, она чувствовала себя больной и потому, не жалея больше собак, все время ехала на нартах. Однако это слабое и прелестное создание весило сто двадцать фунтов — весьма солидное прибавление к тяжелой поклаже, которую приходилось тащить ослабевшим и голодным собакам. Мерседес целыми днями не слезала с нарт — до тех пор, пока собаки не падали без сил и нарты не останавливались. Чарльз и Хэл уговаривали ее слезть и идти на лыжах, просили, умоляли, а она только плакала и докучала богу многословными жалобами на их жестокость к ней.

Раз мужчины ссадили ее с нарт, но они тут же пожалели об этом и закаялись впредь делать что-либо подобное. Мерседес, как капризный ребенок, стала нарочно хромать и села на дороге.

Мужчины пошли дальше, а она не тронулась с места. Пройдя три мили, они вынуждены были вернуться за ней, снять часть груза и силой посадить ее снова на нарты.

Собственные страдания делали этих трех людей равнодушными к страданиям собак. Хэл считал, что закалка — вещь необходимая, но эту свою теорию применял больше к другим. Сперва он пробовал проповедовать ее сестре и зятю, но, потерпев неудачу, стал дубинкой вколачивать ее собакам. К тому времени, как они дошли до Пяти Пальцев, запасы собачьего провианта кончились, и какая-то беззубая старуха индианка согласилась дать им несколько фунтов мороженой лошадиной шкуры в обмен на кольт, который вместе с длинным охотничьим ножом украшал пояс Хэла. Шкура эта, содранная полгода назад с павшей от голода лошади какого-то скотовода, была весьма жалким суррогатом пищи. От мороза она стала подобна листовому железу, а когда собака с трудом проглатывала кусок, он и после того, как оттаял, был совсем непитателен и только раздражал желудок.

Терпя все это, Бэк, словно в каком-то тяжелом кошмаре, плелся во главе упряжки, тянул нарты, насколько хватало сил, а когда силы изменяли,

падал и лежал, пока его не поднимали на ноги дубинкой или бичом. Его прекрасная длинная шерсть утратила всю густоту и блеск. Она свалялась и была грязна, и во многих местах, где дубинка Хэла разрезала кожу, на ней запеклась кровь. Мускулы его превратились в какие-то узловатые волокна, и он настолько исхудал, что под дряблой кожей, висевшей складками, резко выступали все ребра и кости. Это могло надорвать любое сердце, но сердце у Бэка было железное, как давно доказал человек в красном свитере.

Не в лучшем состоянии, чем Бэк, были и остальные собаки. Они превратились в ходячие скелеты. Их осталось теперь семь, включая и Бэка. Они были так измучены, что уже стали нечувствительны к ударам бича и дубинки. Боль от побоев ощущалась ими как-то тупо, и они все видели и слышали словно издалека. Это были уже полумертвые существа, попросту мешки с костями, в которых жизнь едва теплилась. На остановках они раньше, чем их распрягут, падали без сил тут же, у дороги; и казалось, что последняя искорка жизни в них угасла. Когда же на них обрушивались удары дубинки или бича, эта искра чуть-чуть разгоралась, и они, с трудом поднявшись, брели дальше.

Наступил день, когда и добряк Билли упал и не мог уже встать. Револьвера у Хэла больше не было, и он прикончил Билли ударом топора по голове, затем снял с трупа упряжь и оттащил его в сторону от дороги. Бэк все это видел, и другие собаки видели, и все они понимали, что то же самое очень скоро будет с ними. На другой день околела "Куна, и осталось их теперь только пятеро: Джо, такой замученный, что не мог уже даже огрызаться, Пайк, хромающий калека, который утратил всю свою хитрость и плутоватость, одноглазый Соллекс, все еще преданный делу и затосковавший оттого, что у него уже не хватало сил тащить нарты. Тик, который никогда еще не ходил так далеко, как этой зимой, и которого били чаще и сильнее, потому что он был самый неопытный из всех, и Бэк, все еще занимавший место вожака, но уже неспособный поддерживать дисциплину и не пытавшийся даже это делать. От слабости он брел, как слепой, и, различая все словно сквозь туман, не сбивался с тропы только потому, что ноги привычно нащупывали дорогу.

Стояла чудесная весна, но ни люди, ни собаки не замечали ее. Что ни день, солнце вставало раньше и позже уходило на покой. В три часа уже светало, а сумерки наступали только в девять

часов вечера. И весь долгий день ослепительно сияло солнце. Призрачное безмолвие зимы сменилось весенним шумом пробуждавшейся жизни. Заговорила вся земля, полная радости возрождения; все, что в долгие месяцы морозов было недвижимо, как мертвое, теперь ожило и пришло в движение. В соснах поднимался сок. На ивах и осинах распускались почки. Кусты одевались свежей зеленью. По ночам уже трещали сверчки, а днем копошилось, греясь на солнышке, все, что ползает и бегает по земле. В лесах перекликались куропатки, стучали дятлы, болтали белки, заливались певчие птицы, а высоко в небе кричали летевшие косяками с юга дикие гуси, рассекая крыльями воздух.

С каждого холмика бежала вода, звенела в воздухе музыка невидимых родников. Все кругом оттаивало, шумело, качалось под весенним ветром, спешило жить. Юкон стремился прорвать сковывавший его ледяной покров. Он размывал лед снизу, а сверху его растапливало солнце. Образовались полыньи, все шире расползались трещины во льду, и уже тонкие пласты его, отколовшись, уходили в воду. А среди всего этого разлива весны, бурного биения и трепета просыпающейся жизни, под слепящим солнцем

и лаской вздыхающего ветра, брели, словно навстречу смерти, двое мужчин, женщина и собаки.

Собаки падали на каждом шагу. Мерседес плакала и не слезала с нарт, Хэл ругался в бессильной ярости, в слезящихся глазах Чарльза застыла печаль.

Так дошли они до стоянки Джона Торнтона у устья Белой реки. Как только остановили нарты, собаки свалились, как мертвые. Мерседес, утирая слезы, смотрела на Джона Торнтона. Чарльз присел на бревно отдохнуть. Садился он с трудом, очень медленно — тело у него словно одеревенело.

Разговор начал Хэл. Джон Торнтон отделывал топорище, выстроганное им из березового полена. Он слушал, не отрываясь от работы, и лишь время от времени вставлял односложную реплику или давал столь же лаконичный совет — только тогда, когда его спрашивали: он знал эту породу людей и не сомневался, что советы его не будут выполнены.

— Там, наверху, нам тоже говорили, что дорога уже ненадежна, и советовали не идти дальше, — сказал Хэл в ответ на предостережение Торнтона, что идти сейчас по льду рискованно. — Уверяли,

что нам уже не добраться до Белой реки, — а вот добрались же!

Последние слова сказаны были с иронией и победоносной усмешкой.

— И правильно вам советовали, — заметил Джон Торнтон. — Лед может тронуться с минуты на минуту. Разве только дурак рискнет идти сейчас через реку — дуракам, известно, везет. А я вам прямо говорю: я не стал бы рисковать жизнью и не двинулся бы по этому льду даже за все золото Аляски.

— Ну еще бы, ведь вы не дурак, — бросил Хэл. — А мы все-таки пойдем дальше, к Доусону. — Он взмахнул бичом. — Вставай, Бэк! Ну! Вставай, тебе говорят! Марш вперед!

Торнтон строгал, не поднимая глаз. Он знал: бесполезно удерживать сумасбродов от сумасбродств. И в конце концов в мире ничего не изменится, если станет двумя-тремя дураками меньше.

Но собаки не вставали, несмотря на окрики. Они давно уже дошли до такого состояния, что поднять их можно было только побоями. Бич засвистал тут и там, делая свое жестокое дело. Джон Торнтон сжал зубы. Первым с трудом поднялся Соллекс. За ним Тик, а за Тиком, визжа

от боли, Джо. Пайк делал мучительные усилия встать. Приподнявшись на передних лапах, он упал раз, упал другой и только в третий ему наконец удалось встать. А Бэк даже и не пытался. Он лежал неподвижно там, где упал. Бич раз за разом впивался ему в тело, а он не визжал и не сопротивлялся. Торнтон несколько раз как будто порывался что-то сказать, но молчал. В его глазах стояли слезы. Хэл продолжал хлестать Бэка. Торнтон встал, в нерешимости заходил взад и вперед.

В первый раз Бэк отказывался повиноваться, и этого было достаточно, чтобы привести Хэла в ярость. Он бросил бич и схватил дубинку. Но и град новых, еще более тяжелых ударов не поднял Бэка на ноги. Он, как и другие собаки, мог бы еще через силу встать, но в отличие от них сознательно не хотел подниматься. У него было смутное предчувствие надвигающейся гибели. Это чувство обреченности родилось еще тогда, когда он тащил нарты на берег, и с тех пор не оставляло Бэка. Целый день он ощущал под ногами тонкий и уже хрупкий лед и словно чуял близкую беду там, впереди, куда сейчас снова гнал его хозяин. И он не хотел вставать. Он так исстрадался и до того дошел, что почти не чувствовал боли от ударов. А они продолжали сыпаться, и последняя

искра жизни уже угасала в нем. Бэк умирал. Он чувствовал какое-то странное оцепенение во всем теле. Ощущение боли исчезло, он только смутно сознавал, что его бьют, и словно издалека слышал удары дубины по телу. Но, казалось, это тело не его и все это происходит где-то вдалеке.

И тут совершенно неожиданно Джон Торнтон с каким-то нечленораздельным криком, похожим больше на крик животного, кинулся на человека с дубинкой. Хэл повалился навзничь, словно его придавило подрубленное дерево. Мерседес взвизгнула. Чарльз смотрел на эту сцену все с той же застывшей печалью во взгляде, утирая слезящиеся глаза, но не вставал, потому что тело у него словно одеревенело.

Джон Торнтон стоял над Бэком, стараясь овладеть собой. Бушевавший в нем гнев мешал ему говорить.

— Если ты еще раз ударишь эту собаку, я убью тебя! — сказал он наконец, задыхаясь.

— Собака моя, — возразил Хэл, вставая и вытирая кровь с губ. — Убирайся, иначе я уложу тебя на месте. Мы идем в Доусон!

Но Торнтон стоял между ним и Бэком и вовсе не обнаруживал намерения «убраться». Хэл выхватил изза пояса свой длинный, охотничий нож.

Мерседес вопила, плакала, хохотала, словом, была в настоящей истерике. Торнтон ударил Хэла топорищем по пальцам и вышиб у него нож. Хэл попытался поднять нож с земли, но получил второй удар по пальцам. Потом Торнтон нагнулся, сам поднял нож и разрезал на Бэке постромки.

Вся воинственность Хэла испарилась. К тому же ему пришлось заняться сестрой, которая свалилась ему на руки, вернее на плечи, и он рассудил, что Бэк им ни к чему — все равно издыхает и тащить сани не сможет.

Через несколько минут нарты уже спускались с берега на речной лед. Бэк услышал шум отъезжающих нарт и поднял голову. На его месте во главе упряжки шел Пайк, коренником был Соллекс, а между ними впряжены Джо и Тик. Все они хромали и спотыкались. На нартах поверх клади восседала Мерседес, а Хэл шел впереди, у поворотного шеста. Позади плелся Чарльз.

Бэк смотрел им вслед, а Торнтон, опустившись подле него на колени, своими жесткими руками бережно ощупывал его, проверяя, не сломана ли какая-нибудь кость. Он убедился, что пес Только сильно избит и страшно истощен голодовкой. Тем временем нарты уже отъехали на четверть мили. Человек и собака наблюдали, как они

ползли по льду. Вдруг на их глазах задок нарт опустился, словно нырнув в яму, а шест взвился в воздух вместе с ухватившимся за него Хэлом. Донесся вопль Мерседес. Затем Бэк и Торнтон увидели, как Чарльз повернулся и хотел бежать к берегу, но тут весь участок льда под ними осел, и все скрылось под водой — и люди и собаки. На этом месте зияла огромная полынья. Ледяная дорога рушилась.

Джон Торнтон и Бэк посмотрели друг другу в глаза.

— Ах, ты, бедняга! — сказал Джон Торнтон. И Бэк лизнул ему руку.

VI. ИЗ ЛЮБВИ К ЧЕЛОВЕКУ

Когда в декабре Джон Торнтон отморозил ноги, товарищи устроили его поудобнее на стоянке и оставили тут, пока не поправится, а сами ушли вверх по реке заготовлять бревна, которые они сплавляли в Доусон Торнтон еще немного хромал в то время, когда спас Бэка, но с наступлением теплой погоды и эта легкая хромота прошла А Бэк все долгие весенние дни лежал на берегу, лениво смотрел, как течет река, слушал пение птиц, гомон весны, и силы постепенно возвращались к нему.

Сладок отдых тому, кто пробежал три тысячи миль. И, по правде говоря, в то время как заживали раны, крепли мускулы, а кости снова обрастали мясом, Бэк все больше и больше разленивался. Впрочем, тут все бездельничали — не только Бэк, но и сам Торнтон, и Скит, и Ниг — в ожидании, когда придет плот, на котором они отправятся в Доусон. Скит, маленькая сука из породы ирландских сеттеров, быстро подружилась с Бэком — еле живой, он неспособен был отвергнуть ее ласки и заботы. Скит, как и некоторые другие собаки, обладала инстинктивным

уменьем врачевать раны и болезни. Как кошка вылизывает своих котят, так она вылизывала и зализывала раны Бэка. Каждое утро, выждав, пока Бэк поест, она выполняла свои добровольные обязанности, и в конце концов он стал принимать ее заботы так же охотно, как заботы Торнтона. Ниг, помесь ищейки с шотландской борзой, тоже настроенный дружелюбно, но более сдержанный, был громадный черный пес с веселыми глазами и неисчерпаемым запасом добродушия.

К удивлению Бэка, эти собаки ничуть не ревновали к нему хозяина и не завидовали ему. Казалось, им передалась доброта и великодушие Джона Торнтона. Когда Бэк окреп, они стали втягивать его в веселую возню, в которой иной раз, не удержавшись, принимал участие и Торнтон.

Так Бэк незаметно для себя совсем оправился и начал новую жизнь. Впервые он узнал любовь, любовь истинную и страстную. Никогда он не любил так никого в доме судьи Миллера, в солнечной долине Санта-Клара. К сыновьям судьи, с которыми он охотился и ходил на далекие прогулки, он относился по-товарищески, к маленьким внучатам — свысока и покровительственно, а к самому судье — дружески, никогда не роняя при этом своего величавого достоинства. Но только

Джону Торнтону суждено было пробудить в нем пылкую любовь, любовь-обожание, страстную до безумия.

Торнтон спас ему жизнь — и это уже само по себе что-нибудь да значило. А кроме того, этот человек был идеальным хозяином. Другие люди заботились о своих собаках лишь по обязанности и потому, что им это было выгодно. А Торнтон заботился о них без всякого расчета, как отец о детях, — такая уж у него была натура. Мало того, он никогда не забывал порадовать собаку приветливым и ободряющим словом, любил подолгу разговаривать с ними (он называл это «поболтать»), и беседы эти доставляли ему не меньшее удовольствие, чем им. У Торнтона была привычка хватать Бэка обеими руками за голову и, упершись в нее лбом, раскачивать пса из стороны в сторону, осыпая его при этом всякими бранными прозвищами, которые Бэк принимал как ласкательные. Для Бэка не было большей радости, чем эта грубоватая ласка, сопровождаемая ругательствами, и когда хозяин так тормошил его, сердце у него от восторга готово было выскочить. Как только Торнтон наконец отпускал его, он вскакивал, раскрыв пасть в улыбке, и взгляд его был красноречивее слов, горло сжималось

от чувств, которых он не мог выразить. А Джон Торнтон, глядя на него, застывшего на месте, говорил с уважением: «О господи! Этот пес — что человек, только говорить не умеет!..»

Бэк выражал свою любовь способами, от которых могло не поздоровиться. Он, например, хватал зубами руку Торнтона и так крепко сжимал челюсти, что на коже долго сохранялся отпечаток его зубов. Но хозяин понимал, что эта притворная свирепость — только ласка, точно так же, как Бэк понимал, что ругательными прозвищами его наделяют от избытка нежности.

Чаще всего любовь Бэка проявлялась в виде немого обожания. Хотя он замирал от счастья, когда Торнтон трогал его или разговаривал с ним, он сам не добивался этих знаков расположения. В противоположность Скит, которая, подсовывая морду под руку Торнтона, тыкалась в нее носом, пока он не погладит ее, или Нигу, имевшему привычку лезть к хозяину и класть свою большую голову к нему на колени, Бэк довольствовался тем, что обожал его издали. Он мог часами лежать у ног Торнтона, с напряженным вниманием глядя ему в лицо и словно изучая его. Он с живейшим интересом следил за каждой переменой в этом лице, за каждым мимолетным его выражением.

А иногда ложился подальше, сбоку или позади хозяина, и оттуда наблюдал за его движениями. Такая тесная близость создалась между человеком и собакой, что часто, почувствовав взгляд Бэка, Торнтон поворачивал голову и молча глядел на него. И каждый читал в глазах другого те чувства, что светились в них.

Еще долгое время после своего спасения Бэк беспокоился, когда не видел вблизи Торнтона. С той минуты, как Торнтон выходил из палатки и пока он не возвращался в нее, пес ходил за ним по пятам. У Бэка здесь, на Севере, уже несколько раз менялись хозяева, и он, решив, что постоянных хозяев не бывает, боялся, как бы Торнтон не ушел из его жизни, как ушли Перро и Франсуа, а потом шотландец. Даже во сне этот страх преследовал его, и часто, просыпаясь, Бэк вылезал, несмотря на ночной холод, из своего убежища, пробирался к палатке и долго стоял у входа, прислушиваясь к дыханию хозяина.

Однако, несмотря на великую любовь К Джону Торнтону, которая, казалось, должна была оказать на Бэка смягчающее и цивилизующее влияние, в нем не заглохли склонности диких предков, разбуженные Севером. Верность и преданность — черты, рождающиеся под сенью

мирных очагов, были ему свойственны, но наряду с этим таились в нем жестокость и коварство дикаря. Это больше не была собака с благодатного Юга, потомок многих прирученных поколений — нет, это был первобытный зверь, пришедший из дикого леса к костру Джона Торнтона. Великая любовь к этому человеку не позволяла Бэку красть у него пищу, но у всякого другого, во всяком другом лагере он крал бы без зазрения совести, тем более что благодаря своей звериной хитрости мог проделывать это безнаказанно.

Морда его и тело хранили во множестве следы собачьих зубов, и в драках с другими собаками он проявлял и теперь такую же свирепость и еще большую изобретательность, чем раньше. Скит и Ниг были смирные и добрые собаки, с ними он не грызся, — кроме того, это ведь были собаки Джона Торнтона. Но если подвертывался чужой пес все равно, какой породы и силы, то он должен был немедленно признать превосходство Бэка, иначе ему предстояла схватка не на жизнь, а на смерть с опасным противником. Бэк был беспощаден. Он хорошо усвоил закон дубины и клыка и никогда не давал никому потачки, никогда не отступал перед врагом, стремясь во что бы то ни стало уничтожить его. Этому он научился от Шпица,

от драчливых полицейских и почтовых собак. Он знал, что середины нет — либо он одолеет, либо его одолеют, и щадить врага — это признак слабости. Милосердия первобытные существа не знали. Они его принимали за трусость. Милосердие влекло за собой смерть. Убивай или будешь убит, ешь или тебя съедят — таков первобытный закон жизни. И этому закону, дошедшему до него из глубины времен, повиновался Бэк.

Он был старше того времени, в котором жил, той жизни, что шла вокруг. В нем прошлое смыкалось с настоящим, и, как мощный ритм вечности, голоса прошлого и настоящего звучали в нем попеременно, — это было как прилив и отлив, как смена времен года. У костра Джона Торнтона сидел широкогрудый пес с длинной шерстью и белыми клыками. Но за ним незримо теснились тени всяких других собак, полуприрученных и диких. Они настойчиво напоминали о себе, передавали ему свои мысли, смаковали мясо, которое он ел, жаждали воды, которую он пил, слушали то, что слушал он, и объясняли ему звуки дикой лесной жизни. Они внушали ему свои настроения и порывы, подсказывали поступки, лежали рядом, когда он спал, видели те же сны и сами являлись ему во сне.

И так повелителен был зов этих теней, что с каждым днем люди и их требования все больше отходили в сознании Бэка на задний план. Из глубины дремучего леса звучал призыв, таинственный и манящий, и, когда Бэк слышал его, он испытывал властную потребность бежать от огня и утоптанной земли туда, в чащу, все дальше и дальше, неведомо куда, неведомо зачем.

Да он и не раздумывал, куда и зачем: зову этому невозможно было противиться. Но когда Бэк оказывался в зеленой сени леса, на мягкой, нехоженой земле, любовь к Джону Торнтону всякий раз брала верх и влекла его назад, к костру хозяина.

Только Джон Торнтон и удерживал его. Все другие люди для Бэка не существовали. Встречавшиеся в дороге путешественники иногда ласкали и хвалили его, но он оставался равнодушен к их ласкам, а если кто-нибудь слишком надоедал ему, он вставал и уходил. Когда вернулись компаньоны Торнтона, Ганс и Пит, на долгожданном плоту, Бэк сперва не обращал на них ровно никакого внимания, а позднее, сообразив, что они близки Торнтону, терпел их присутствие и снисходительно, словно из милости, принимал их любезности. Ганс и Пит были люди такого же склада, как Джон

Торнтон, — люди с широкой душой, простыми мыслями и зоркими глазами, близкие к природе. И еще раньше, чем они доплыли до Доусона и ввели свой плот в бурные воды у лесопилки, они успели изучить Бэка и все его повадки и не добивались от него той привязанности, какую питали к ним Ниг и Скит.

Но к Джону Торнтону Бэк привязывался все сильнее и сильнее. Торнтон был единственный человек, которому этот пес позволял во время летних переходов навьючивать ему на спину кое-какую поклажу. По приказанию Торнтона Бэк был готов на все. Однажды (это было в ту пору, когда они, сделав запасы провизии на деньги, вырученные за сплавленный лес, уже двинулись из Доусона к верховьям Тананы) люди и собаки расположились на утесе, который отвесной стеной высился над голой каменной площадкой, лежавшей на триста футов ниже. Джон Торнтон сидел у самого края, а Бэк — с ним рядом, плечо к плечу. Вдруг Торнтону пришла в голову шальная мысль, и он сказал Гансу и Питу, что сейчас проделает один опыт.

— Прыгай, Бэк! — скомандовал он, указывая рукой вниз, в пропасть.

В следующее мгновение он уже боролся с Бэком,

изо всех сил удерживая его на краю обрыва, а Ганс и Пит оттаскивали их обоих назад, в безопасное место.

— Это что-то сверхъестественное! — сказал Пит, когда все успокоились и отдышались.

Торнтон покачал головой.

— Нет, это замечательно, но и страшно, скажу я вам! Верите ли, меня по временам пугает преданность этого пса.

— Да-а, не хотел бы я быть на месте человека, который попробует тебя тронуть при нем! — сказал в заключение Пит, кивком головы указывая на Бэка.

— И я тоже, клянусь богом! — добавил Ганс.

Еще в том же году в Серкле произошел случай, показавший, что Пит был прав. Раз Черный Бартон, человек злого и буйного нрава, затеял ссору в баре с каким-то новичком, незнакомым еще с местными нравами, а Торнтон, по доброте душевной, вмешался, желая их разнять. Бэк, как всегда, лежал в углу, положив морду на лапы и следя за каждым движением хозяина. Бартон неожиданно размахнулся и изо всей силы нанес удар. Торнтон отлетел в сторону и устоял на ногах только потому, что схватился за перила, отгораживавшие прибавок.

Зрители этой сцены услышали не лай, не рычание — нет, это был дикий рев. В одно мгновение Бэк взвился в воздух и нацелился на горло Бартона. Тот инстинктивно вытянул вперед руку и этим спас себе жизнь. Но Бэк опрокинул его и подмял под себя. В следующий момент он оторвал зубы от руки Бартона и снова сделал попытку вцепиться ему в горло. На этот раз Бартон заслонился не так удачно, и Бэк успел прокусить ему шею. Тут все, кто был в баре, кинулись на помощь и пса отогнали. Однако все время, пока врач возился с Бартоном, стараясь остановить кровь, Бэк расхаживал вокруг, свирепо рыча, и пытался опять подобраться к Бартону, но отступал перед целым частоколом вражеских палок.

На состоявшемся тут же на месте собрании золотоискателей решено было, что пес имел достаточно оснований рассердиться, и Бэк был оправдан. С тех пор он завоевал себе громкую известность, и имя его повторялось во всех поселках Аляски.

Позднее, осенью того же года, Бэк, уже при совершенно иных обстоятельствах, спас жизнь Торнтону. Трем товарищам нужно было провести длинную и узкую лодку через опасные пороги у Сороковой Мили. Ганс и Пит шли по берегу,

тормозя движение лодки при помощи пеньковой веревки, которую они зацепляли за деревья, а Торнтон сидел в лодке, действуя багром и выкрикивая распоряжения тем, кто был на берегу. Бэк тоже бежал берегом вровень с лодкой. Он не сводил глаз с хозяина и проявлял сильное волнение.

В одном особенно опасном месте, где из воды торчала целая гряда прибрежных скал, которые выдавались далеко в реку, Ганс отпустил канат, и пока Торнтон багром направлял лодку на середину реки, он побежал берегом вперед, держа в руках конец веревки, чтобы подтягивать лодку, когда она обогнет скалы. Лодка, выбравшись, стремительно понеслась вниз по течению. Ганс, натянув веревку, затормозил ее, но сделал это слишком круто. Лодка от толчка перевернулась и двинулась к берегу дном кверху, а Торнтона увлекло течением к самому опасному месту порогов, где всякому пловцу грозила смерть.

В тот же миг Бэк прыгнул в воду. Проплыв ярдов триста в бешено бурлившей воде, он догнал Торнтона и, как только почувствовал, что Торнтон ухватился за его хвост, поплыл к берегу, изо всех сил загребая мощными лапами… Но он подвигался медленно: плыть в этом направле-

нии мешало необычайно быстрое течение. Ниже зловеще ревела вода — там бурный поток разлетался струями и брызгами, ударяясь о скалы, торчавшие из воды, как зубья огромного гребня. У начала последнего, очень крутого порога вода засасывала со страшной силой, и Торнтон понял, что ему не доплыть до берега. Он налетел на одну скалу, ударился о другую, потом его с сокрушительной силой отшвырнуло на третью. Выпустив хвост Бэка, он уцепился за ее скользкую верхушку обеими руками и, стараясь перекричать рев воды, скомандовал:

— Марш, Бэк! Вперед! Течение несло Бэка вниз, он тщетно боролся с ним и не мог повернуть обратно. Услышав дважды повторенный приказ хозяина, он приподнялся из воды и высоко задрал голову, словно хотел в последний раз на него поглядеть, затем послушно поплыл к берегу. Пит и Ганс вытащили его из воды как раз в тот момент, когда он уже совсем обессилел и начал захлебываться.

Ганс и Пит понимали, что висеть на скользкой скале, которую перехлестывает стремительный поток, Торнтон сможет только каких-нибудь три-четыре минуты. И они со всех ног пустились бежать берегом к месту, значительно выше того,

где висел посреди реки на скале Торнтон. Добежав, они обвязали Бэка веревкой так, чтобы она не стесняла его движений и не душила его, затем столкнули его в воду. Бэк поплыл смело, но не прямо посредине реки. Он увидел свой промах слишком поздно: когда он поравнялся с Торнтоном и мог бы уже несколькими взмахами лап одолеть расстояние до скалы, течение пронесло его мимо.

Ганс тотчас дернул за веревку, как будто Бэк был не собака, а лодка. От внезапного толчка Бэк ушел под воду и так под водой и оставался, пока его тянули к берегу. Когда его подняли наверх, он был еле жив, и Ганс с Питом стали поспешно откачивать его и делать ему искусственное дыхание. Бэк встал и снова упал. Но вдруг слабо донесся голос Торнтона, и хотя слов они не расслышали, но поняли, что помощь нужна немедленно, иначе он погибнет. Голос хозяина подействовал на Бэка, как электрический ток. Он вскочил и помчался по берегу, а за ним Ганс и Пит. Они бежали к тому месту, где Бэка в первый раз спустили в воду.

Опять обвязали его веревкой, и он поплыл, но теперь уж прямо на середину реки. Бэк мог оплошать один раз, но не два. Ганс постепенно разматывал и спускал веревку, следя, чтобы

она была все время натянута, а Пит расправлял ее. Бэк плыл, пока не оказался на одной линии с Торнтоном. Тут он повернул и со скоростью курьерского поезда ринулся к нему. Торнтон увидел его, и, когда Бэк, подхваченный сильным течением, со всего размаху ударился о него телом, как таран, Торнтон обеими руками обхватил его косматую шею. Ганс натянул веревку, обернув ее вокруг ствола дерева, и Бэк с Торнтоном ушли под воду. Задыхаясь, захлебываясь, волочась по каменистому дну и ударяясь о подводные камни и коряги, по временам всплывая, причем то Бэк оказывался под Торнтоном, то Торнтон под Бэком, они в конце концов добрались до берега.

Торнтон, очнувшись, увидел, что лежит вниз лицом поперек бревна, выброшенного рекой, а Ганс и Пит усердно откачивают его, двигая взад и вперед. Он прежде всего отыскал глазами Бэка. Бэк лежал как мертвый, и над его безжизненным телом выл Ниг, а Скит лизала его мокрую морду и закрытые глаза. Сам весь израненный и разбитый, Торнтон, придя в себя, стал тотчас тщательно ощупывать тело Бэка и нашел, что у него сломаны три ребра.

— Ну, значит решено, — объявил он. — Мы остаемся здесь.

И они остались и прожили там до тех пор, пока у Бэка не срослись ребра настолько, что он мог идти дальше.

А зимой в Доусоне Бэк совершил новый подвиг, быть может, не столь героический, но принесший ему еще большую славу. Подвиг этот пришелся весьма кстати, ибо он доставил его трем хозяевам то снаряжение, в котором они нуждались, чтобы предпринять давно желанное путешествие на девственный восток, куда еще не добрались никакие золотоискатели.

Началось с разговора в баре «Эльдорадо»: мужчины стали хвастать любимыми собаками. Бэк благодаря своей известности был мишенью нападок, и Торнтону пришлось стойко защищать его. Не прошло и получаса, как один из собеседников объявил, что его собака может сдвинуть с места нарты с грузом в пятьсот фунтов и даже везти их. Другой похвастал, что его пес свезет и шестьсот фунтов; третий — что семьсот.

— Это что! — сказал Джон Торнтон. — Мой Бэк сдвинет с места и тысячу.

— И пройдет с такой кладью хотя бы сто ярдов? — спросил Мэттьюсон, один из королей золотых приисков, тот самый, что уверял, будто его собака свезет семьсот фунтов.

— Да, сдвинет нарты и пройдет сто ярдов, — спокойно подтвердил Джон Торнтон.

— Ладно, — сказал Мэттьюсон с расстановкой, внятно, так, чтобы все его услышали. — Держу пари на тысячу долларов, что ему этого не сделать. Вот деньги. — И он бросил на прилавок мешочек с золотым песком, толщиной в болонскую колбасу.

Никто не откликнулся на этот вызов. Заявление Торнтона все приняли за пустое хвастовство. Торнтон почувствовал, что кровь бросилась ему в лицо: он и сам не знал, как это у него сорвалось с языка. Сможет ли Бэк двинуть нарты с кладью в тысячу фунтов? Ведь полтонны! Чудовищность этой цифры вдруг ужаснула Торнтона. Он очень верил в силу Бэка и часто думал, что тот мог бы свезти любой груз. Но ни разу не приходило ему в голову проверить это, а тут глаза целого десятка людей устремлены на него, все молчат и ждут! К тому же ни у него, ни у Ганса и Пита не было тысячи долларов.

— У меня тут, на улице, стоят нарты с мукой, двадцать мешков, по пятьдесят фунтов в каждом, — продолжал Мэгтьюсон с бесцеремонной настойчивостью. — Так что ни за чем остановки не будет.

Торнтон не отвечал. Он не знал, что сказать. Он смотрел то на одною, то на другого рассеянно, как человек, который не может собрать мыслей. Взгляд его вдруг остановился на лице Джима О'Брайена, местного богача, с которым они когда-то были товарищами. Это словно послужило толчком и подсказало Торнтону решение, которое раньше ему и в голову не приходило.

— Можешь одолжить мне тысячу? — спросил он почти шепотом.

— Конечно, — ответил О'Брайен; и на прилавок рядом с мешочком Мэттьюсона тяжело шлепнулся второй увесистый мешочек с золотым песком. — Хотя не верится мне, Джон, что твой пес сможет проделать такую штуку.

Все, кто был в «Эльдорадо», высыпали на улицу, чтобы не пропустить интересное зрелище За карточными столами не осталось никою, все игроки вышли тоже, чтобы посмотреть, кто выиграет пари, да и самим побиться об заклад. Несколько сот человек в меховой одежде полукругом обступили нарты на небольшом расстоянии. Нарты Мэттьюсона с грузом в тысячу фунтов муки стояли здесь уже часа два на сильном морозе (термометр показывал шестьдесят градусов ниже нуля), и полозья крепко примерзли к плотно укатанному

снегу. Любители пари предлагали неравные заклады — два против одного, утверждая, что Бэк нарт не сдвинет. Возник казуистический спор: как понимать фразу «двинуть нарты»? О'Брайен полагал, что Торнтон имеет право сбить лед с полозьев и освободить их, а Бэк должен только после этого сдвинуть их с места. Мэттьюсон же настаивал, что по условию пари Бэк должен сам двинуть нарты так, чтобы примерзшие полозья оторвались от земли. Большинство свидетелей пари решили спор в пользу Мэттьюсона, и ставки против Бэка повысились до трех против одного.

Однако желающих принять пари не нашлось: никто не верил, что Бэк может совершить такой подвиг. Было ясно, что Торнтон дал себя втянуть в весьма рискованное пари. Он и сам, глядя сейчас на эти нарты и их упряжку из десяти собак, свернувшихся на снегу, все более сомневался в возможности такого подвига. А Мэттьюсон ликовал.

— Три против одного! — закричал он. — Ставлю еще тысячу, Торнтон! По рукам, что ли?

На лице Торнтона ясно выражались мучившие его опасения, но в нем уже заговорил тот боевой задор, который выше всяких расчетов и глух ко всему, кроме шума битвы, — задор, для которого

нет невозможного. Он подозвал Ганса и Пита. У них кошельки были совсем тощие, и все трое с трудом наскребли двести долларов. В последнее время им — не везло, эти двести долларов составляли весь их капитал. Но они без малейшего колебания поставили эти деньги против шестисот долларов Мэттьюсона.

Десять собак Мэттьюсона выпрягли и к нартам поставили Бэка в его собственной упряжи. Царившее вокруг возбуждение передалось и ему, он чутьем угадывал, что нужно сделать для Джона Торнтона что-то очень важное. Шепот восхищения послышался в толпе, когда люди увидели это великолепное животное. Бэк был в прекрасном состоянии — ни единой унции лишнего жира, и те сто пятьдесят фунтов, которые он весил, представляли собой сто пятьдесят фунтов мужественной силы. Его густая шерсть лоснилась, как шелк. На шее и плечах она напоминала гриву и, даже когда он был спокоен, топорщилась при малейшем его движении, словно от избытка жизненных сил. Казалось, каждый ее волосок заряжен энергией. Широкая грудь и мощные передние ноги были пропорциональны размерам всего тела, а мускулы выступали под кожей тугими клубками. Люди подходили и, щупая эти

мускулы, объявляли, что они железные. Ставки против Бэка снизились до двух против одного.

— Молодчина он у вас, сэр, молодчина! — пробормотал один из новой династии королей СкукумБенча. — Даю вам за него восемьсот — до испытания, сэр, заметьте! Восемьсот на руки — и беру его такого, как он есть.

Торнтон отрицательно потряс головой и подошел к Бэку.

— Нет, отойдите от него! — запротестовал Мэттьюсон. — Дайте ему свободу, тогда это будет честная игра.

Толпа притихла, слышались только отдельные голоса, тщетно предлагавшие пари два против одного. Все признавали, что Бэк — великолепная ездовая собака, но двадцать мешков муки, по пятьдесят фунтов каждый, слишком убедительно громоздились перед глазами, и зрители не решались развязать кошельки.

Торнтон опустился на колени около Бэка, обнял его голову обеими руками и прижался к нему щекой. Сегодня он не стал его шутливо трясти, тормошить, как делал обычно, не бормотал любовно всякие ругательные прозвища. Нет, он только шепнул ему что-то на ухо.

— Если любишь меня, Бэк… Если любишь…

— вот что он шепнул ему. И Бэк заскулил от едва сдерживаемого нетерпения.

Окружающие с любопытством наблюдали эту сцену.

В ней было что-то загадочное — это походило на заклинание. Когда Торнтон поднялся, Бэк схватил зубами его руку, подержал ее в закрытой пасти и потом медленно, неохотно выпустил. Это было его ответом без слов, так он по-своему выражал любовь к хозяину.

Торнтон отошел довольно далеко назад.

— Ну, Бэк! — скомандовал он.

Бэк натянул постромки, потом отпустил их на несколько дюймов. Это был его обычный прием.

— Пошел! — раздался голос Торнтона, как-то особенно четко и резко прозвучавший среди напряженного молчания.

Бэк качнулся вправо, пригнулся, словно ныряя, натянул постромки и внезапно, рывком, остановил на ходу стопятидесятифунтовую массу своего тела. Кладь на нартах дрогнула, под полозьями что-то звонко захрустело.

— Ну! — крикнул опять Торнтон.

Бэк повторил тот же маневр, на этот раз дернув влево. Хруст перешел в громкий треск, нарты закачались, и полозья со скрипом сползли на

несколько дюймов в сторону. Нарты освободились от льда, приковывавшего их к месту.

Люди невольно притаили дыхание.

— Теперь марш!

Команда Торнтона грянула, как пистолетный выстрел. Бэк рванулся вперед, сильно натянув постромки. Все его тело подобралось в страшном усилии, мускулы выперли узлами и ходили под шерстью, как живые. Широкой грудью он почти припал к земле, голову вытянул вперед, а ноги летали как бешеные, прорезая на крепко укатанном снегу параллельные борозды. Нарты качались и дрожали и уже наполовину сдвинулись с места. Вдруг Бэк поскользнулся одной лапой, и кто-то в толпе громко ахнул. Но нарты уже стремительно задергались и, больше не застревая на месте, толчками двинулись вперед — сперва на полдюйма… потом на дюйм… еще на два. Толчки заметно выравнивались, и когда нарты, преодолев наконец инерцию, набрали скорость, Бэк подхватил их и повез.

Люди тяжело переводили дух, не сознавая, что за минуту перед тем они не дышали. А Торнтон бежал за нартами, подгоняя Бэка отрывистыми, веселыми криками. Расстояние было вымерено заранее, и когда Бэк подбегал к вязанке дров,

положенной там, где кончались сто ярдов, раздались восторженные крики. Они перешли в рев, когда Бэк, пробежав мимо вязанки, остановился по команде Торнтона. Все бесновались от восторга, даже Мэттьюсон. Полетели в воздух шапки, рукавицы. Люди пожимали друг другу руки, не разбирая, кто перед ними — знакомый или незнакомый, и все восклицания сливались в какой-то бессвязный галдеж.

А Торнтон стоял на коленях перед Бэком и, припав лбом к его лбу, тряс и качал его. Те, кто выбежал вперед, слышали, как он ругал Бэка. Он ругал его долго и с наслаждением, любовно и нежно.

— Поразительно, сэр! Поразительно! — бормотал король Скукум-Бенча. — Даю вам за него тысячу, целую тысячу, сэр. Ну, хотите тысячу двести?

Торнтон встал. Глаза у него были мокры, и он не пытался скрыть слезы, которые струились по его щекам.

— Нет, сэр, — сказал он королю Скукум-Бенча. — Нет, не хочу. Убирайтесь вы к черту, сэр! Это все, что я могу вам посоветовать.

Бэк схватил зубами руку Торнтона. Торнтон опять стал трясти его. Зрители, движимые одним

и тем же чувством, отступили на почтительное расстояние, и больше не нашлось нескромных людей, которые позволили бы себе нарушить этот разговор.

VII. ЗОВ УСЛЫШАН

Когда Бэк за пять минут заработал Джону Торнтону тысячу шестьсот долларов, тот смог уплатить кое-какие долги и двинуться вместе со своими компаньонами к востоку на поиски затерянной золотой россыпи, легенда о которой была так же стара, как история этого края. Многие искали ее, немногие нашли, а большинство искавших не вернулось из своего путешествия. Сказочная россыпь была причиной многих трагедий и окружена тайной. Никому не было известно, кто первый открыл ее. Даже самые древние легенды об этом не упоминали. Люди знали только, что на том месте стояла старая, полуразвалившаяся хижина. Некоторые золотоискатели в свой смертный час клялись, что видели и хижину и россыпь, и в доказательство показывали самородки, которым не было равных на всем Севере. Однако среди живых не осталось ни одного человека, которому удалось добыть что-либо из этой сокровищницы, а мертвые были мертвы. И Джон Торнтон, Пит и Ганс, взяв с собой Бэка и еще полдюжины собак, двинулись на восток по неисследованной дороге, надеясь дойти

туда, куда не дошли другие люди и собаки. Они прошли семьдесят миль вверх по Юкону, затем повернули налево, по реке Стюарт, миновали Мэйо и Мак-Квещен и продолжали путь до того места, где река Стюарт превращается в ручеек и вьется вокруг высоких скал горного хребта, идущего вдоль всего материка.

Джон Торнтон немногого требовал от людей и природы. Пустынные, дикие места его не страшили С щепоткой соли в кармане и ружьем за плечами он забирался в лесную глушь и бродил, где вздумается и сколько вздумается. Он жил, как индеец, никогда и никуда не спешил и во время своих странствий добывал себе пищу охотой. А если дичи не попадалось, он с тем же спокойствием индейца продолжал путь в твердой уверенности, что рано или поздно набредет на нее. И во время великого путешествия на восток их меню состояло из добытого охотой свежего мяса, поклажа на нартах — главным образом из снаряжения и необходимых орудий, а программа была составлена на неограниченное время.

Бэк беспредельно наслаждался такой жизнью — охотой, рыбной ловлей, блужданием по новым, незнакомым местам. Они то по нескольку недель подряд шли и шли, то целыми неделями отды-

хали, разбив где-нибудь лагерь, и тогда собаки бездельничали, а люди, взрывая мерзлую землю или породу, без конца промывали ее в лотках у костра, ища в ней золота. Иногда они голодали, иногда роскошествовали — все зависело от того, много ли по дороге попадалось дичи и удачна ли бывала охота Подошло лето, и люди и собаки, навьюченные поклажей, переплывали на плоту голубые горные озера, спускались или поднимались по течению незнакомых рек в утлых челноках, выпиленных из стволов деревьев.

Проходили месяцы, а они все бродили среди диких просторов этой неисследованной земли, где не было людей, но где когда-то побывали люди, если верить легенде о покинутой хижине. Переходили горные хребты, разделявшие реки, и не раз их здесь застигали снежные бураны. Дрожали от холода под полуночным солнцем на голых вершинах, между границей лесов и вечными снегами. Спускались в теплые долины, где тучами носилась мошкара, и в тени ледников собирали спелую землянику и цветы, которые могли соперничать красотой с лучшими цветами Юга. Осенью они очутились в волшебной стране озер, печальной и безмолвной, где, должно быть, когда-то водилась дичь, но теперь не было нигде

и признака жизни — только холодный ветер свистел, замерзала вода в укрытых местах да меланхолически журчали волны, набегая на пустынный берег.

И вторую зиму проходили они, ища давно исчезнувшие следы людей, которые побывали здесь до них Однажды они набрели на тропинку, проложенную в дремучем лесу. Это была очень старая тропинка — и они вообразили, что заброшенная хижина где-то совсем близко. Но тропинка начиналась неведомо где и кончалась неведомо где — и оставалось загадкой, кто и для чего протоптал ее.

В другой раз они наткнулись на остатки разрушенного временем охотничьего шалаша, и между клочьями истлевших одеял Джон Торнтон нашел длинноствольное кремневое ружье. Он знал, что ружья этого типа выпускала Компания Гудзонова залива в первые годы всеобщей тяги на северо-запад. Тогда за одно ружье давали такой же высоты тюк плотно уложенных бобровых шкурок. Больше среди развалин не нашлось ничего, что напоминало бы о человеке, который некогда построил этот шалаш и оставил между одеялами свое ружье.

Снова наступила весна, и после долгих стран-

ствий они в конце концов нашли не легендарную покинутую хижину, а поверхностную россыпь в широкой долине, где было столько золота, что оно, как желтое масло, оседало на дне промывочного лотка. Три товарища не стали продолжать поиски. Здесь они за день намывали на тысячи долларов чистого золотого песка и самородков, а работали каждый день. Золото насыпали в мешки из лосиных шкур, по пятьдесят фунтов в мешок, и мешки укладывали штабелями, как дрова, перед шалашом, который они сплели себе из еловых веток. Поглощенные своим тяжелым трудом, они не замечали, как летит время. Дни пролетали, как сон, а груды сокровищ все росли и росли.

Собакам делать было решительно нечего — только время от времени приносить дичь, которую настреляет Торнтон, и Бэк целыми часами лежал в задумчивости у огня. В эти часы безделья ему все чаще представлялся коротконогий волосатый человек. И, жмурясь на огонь, Бэк в своем воображении бродил с этим человеком в другом мире, который смутно вспоминался ему.

В этом другом мире, видимо, царил страх. Наблюдая за волосатым человеком, когда тот спал у костра, уткнув голову в колени и обняв ее рука-

ми, Бэк замечал, что спит он беспокойно, часто вздрагивает во сне, а просыпаясь, боязливо вглядывается в темноту и подбрасывает сучья в огонь. Если они ходили по берегу моря, где волосатый собирал раковины и тут же съедал их содержимое, глаза его шныряли по сторонам, ища, не таится ли где опасность, а ноги готовы были при первом тревожном признаке вихрем мчаться прочь. По лесу они пробирались бесшумно — впереди волосатый, за ним Бэк. И оба всегда были настороже, уши у обоих шевелились и ноздри вздрагивали, потому что у человека слух и чутье были такие же тонкие, как у Бэка Волосатый умел лазить по деревьям так же быстро, как бегать по земле. Хватаясь то за одну ветку, то за другую, он перепрыгивал иногда расстояние в десять — двенадцать футов между одним деревом и другим, балансируя в воздухе и никогда не срываясь. На деревьях он чувствовал себя так же свободно, как на земле. Бэку вспоминались ночи, когда он сторожил под деревом, на котором спал волосатый человек, крепко уцепившись руками за ветви.

И сродни этим видениям, в которых являлся Бэку волосатый человек, был зов, по-прежнему звучавший из глубин темного леса. Он вселял в Бэка сильную тревогу, вызывал непонятные же-

лания. Бэк испытывал какую-то смутную радость, и беспокойство, и буйную тоску неведомо о чем. Иногда он бежал в лес, откуда ему слышался этот зов, искал его там, как нечто осязаемое, и лаял то тихо, то воинственно, смотря по настроению Он тыкался носом в холодный лесной мох или сырую землю, покрытую высокой травой, и фыркал от блаженства, вдыхая их запах. Или часами, словно притаившись в засаде, лежал за поваленными бурей стволами, обросшими древесной губкой, и, наставив уши, широко раскрыв глаза, ловил каждый звук, каждое движение вокруг. Быть может, лежа тут, он подстерегал тот неведомый зов, не дававший ему покоя. Он и сам не знал, зачем он все это делает: он повиновался чему-то, что было сильнее его, и делал все безотчетно.

Он был теперь весь во власти непобедимых инстинктов. Иногда лежит в лагере и дремлет разнеженный теплом, — и вдруг поднимет голову, насторожит уши, как будто напряженно прислушиваясь, затем вскакивает и мчится все дальше и дальше, часами носится по лесу или на просторе открытых равнин. Он любил бегать по дну пересохших речек, следить за жизнью леса. Целыми днями лежал в кустах, откуда можно было наблюдать за куропатками, которые важно

прохаживались по траве или, хлопая крыльями, перелетали с места на место. Но больше всего нравилось Бэку бегать в светлом сумраке летних ночей и слушать сонный, глухой шепот леса, читать звуки и приметы, как человек читает книгу, искать, искать то таинственное, чей зов он слышал всегда, и наяву и во сне.

Раз ночью он со сна испуганно вскочил, широко раскрыв глаза, дрожащими ноздрями втягивая воздух. Вся шерсть на нем встала дыбом и ходила, как волны под ветром. Из леса доносился зов, такой внятный, как никогда. Это был протяжный вой, и похожий и непохожий на вой ездовых собак. Бэку он показался знакомым — да, он уже слышал его когда-то! В несколько прыжков пробежал он через спящий лагерь, бесшумно и быстро помчался в лес. Когда вой стал слышен уже где-то близко, Бэк пошел тише, соблюдая величайшую осторожность. Наконец он подошел к открытой поляне и, выглянув из-за деревьев, увидел большого тощего волка, который выл, задрав морду кверху.

Бэк не произвел ни малейшего шума, но волк почуял его и перестал выть. Он нюхал воздух, пытаясь определить, где враг. Весь подобравшись и вытянув хвост палкой, Бэк, крадучись, вышел

на поляну, с необычной для него настороженностью переставляя лапы. В каждом его движении была и угроза и одновременно дружественное предложение мира. Именно так встречаются хищники лесов. Но волк, увидев Бэка, обратился в бегство. Бэк большими скачками помчался вслед, охваченный бешеным желанием догнать его. Он загнал его в ложе высохшего ручья, где выход загораживали сплошные заросли кустарника. Волк заметался, завертелся, приседая на задние лапы, как это делали Джо и другие собаки, когда их загоняли в тупик. Он рычал и, ощетинившись, непрерывно щелкал зубами.

Бэк не нападал, а кружил около волка, всячески доказывая свои мирные намерения. Но волк был настроен подозрительно и трусил, так как Бэк был втрое крупнее его и на целую голову выше. Улучив момент, серый бросился бежать, и опять началась погоня. Порой Бэку удавалось снова загнать его куда-нибудь, и все повторялось сначала. Волк был очень истощен, иначе Бэку не так-то легко было бы догнать его. Он бежал, а когда голова Бэка оказывалась уже у его бока, начинал вертеться на месте, готовый защищаться, но при первой же возможности снова бросался бежать.

В конце концов упорство Бэка было возна-

граждено. Волк, убедившись в безобидности его намерений, обернулся, и они обнюхались. Установив таким образом дружеские отношения, они стали играть, но с той напряженной и боязливой осторожностью, под которой дикие звери таят свою свирепость. Поиграв с Бэком, волк побежал дальше легкой рысцой, всем своим видом давая понять, что он куда-то спешит и приглашает Бэка следовать за ним.

Они побежали рядом в густом сумраке, сначала вверх по речке, по тому ущелью, на дне которого она протекала, потом через мрачные горы, где она брала начало.

По противоположному склону водораздела они спустились на равнину, где были большие леса и много речек, и этими лесами они бежали и бежали дальше. Проходили часы, уже и солнце стояло высоко в небе, и заметно потеплело. Бэк был в диком упоении. Теперь он знал, что бежит рядом со своим лесным братом именно туда, откуда шел властный зов, который он слышал во сне и наяву. В нем быстро оживали какие-то древние воспоминания, и он отзывался на них, как некогда отзывался на ту действительность, призраками которой они были. Да, все то, что было сейчас, происходило уже когда-то, в том, другом мире,

который смутно помнился ему: вот так же он бегал на воле, и под ногами у него была нехоженая земля, а над головой — необъятное небо.

Они остановились у ручья, чтобы напиться, и тут Бэк вспомнил о Джоне Торнтоне. Он сел. Волк опять пустился было бежать туда, откуда, несомненно, шел зов, но, видя, что Бэк не двигается с места, вернулся, потыкался носом в его нос и всячески пробовал подстегнуть его. Но Бэк отвернулся от него и медленно двинулся в обратный путь. Чуть не целый час его дикий собрат бежал рядом и тихо визжал. Потом он сел, поднял морду к небу и завыл. Этот унылый вой Бэк, удаляясь, слышал еще долго, пока он не замер вдали.

Джон Торнтон" обедал, когда Бэк влетел в лагерь и кинулся к нему. Безумствуя от любви, он опрокинул хозяина на землю, наскакивал на него, лизал ему лицо, кусал его руку — словом, «валял дурака», как Джон Торнтон называл это, а хозяин, в свою очередь, ухватив пса за голову, тормошил его и любовно ругал последними словами.

Двое суток Бэк не выходил за пределы лагеря и неотступно следил за Торнтоном. Он ходил за ним по пятам, сопровождал его на прииск, смотрел, как он ест, как вечером залезает под одеяла и утром вылезает из-под них. Но прошли эти двое

суток — и зов из леса зазвучал в ушах Бэка еще настойчивее и повелительнее, чем прежде. Он опять забеспокоился, его преследовали воспоминания о веселых долинах по ту сторону гор, о лесном брате, о том, как они бежали рядом среди необозримых лесных просторов. Он снова стал убегать в лес, но дикого брата больше не встречал. Как ни вслушивался Бэк долгими ночами, он не слышал его унылого воя.

Он стал по нескольку дней пропадать из лагеря, ночуя где придется. И однажды он перебрался через знакомый водораздел и снова попал в страну лесов и рек. Здесь он бродил целую неделю, напрасно ища свежих следов дикого брата. Он питался дичью, которую убивал по дороге, и все бежал и бежал легкими, длинными скачками, ничуть не уставая. Он ловил лососей в большой реке, которая где-то далеко вливалась в море, и у этой же реки он загрыз черного медведя. Медведь, так же как и Бэк, ловил здесь рыбу и, ослепленный комарами, бросился бежать к лесу, страшный в своей бессильной ярости. Несмотря на его беспомощность, схватка была жестокой и окончательно пробудила дремавшего в Бэке зверя. Через два дня он вернулся на то место, где лежал убитый им медведь, и увидел, что с

десяток росомах дерутся из-за этой добычи. Он расшвырял их, как мякину, а две, не успевшие убежать, остались на месте, навсегда лишенные возможности драться.

Бэк становился кровожадным хищником, который, чтобы жить, убивает живых и один, без чужой помощи, полагаясь лишь на свою силу и храбрость, торжествует над враждебной природой, выживает там, где может выжить только сильный. Это сознание своей силы пробудило в нем гордость. Она проявлялась во всех его движениях, сквозила в игре каждого мускула, о ней выразительнее всяких слов говорили все его повадки, и, казалось, гордость эта даже придавала новый блеск и пышность его великолепной шерсти. Если бы не коричневые пятна на морде и над глазами да белая полоска шерсти на груди, его можно было бы принять за громадного волка. От отца сенбернара он унаследовал свои размеры и вес, но все остальное было от матери овчарки. Морда у него была длинная, волчья, только больше, чем у волка, а череп, хотя шире и массивнее, формой тоже напоминал череп волка.

Он обладал чисто волчьей хитростью, коварной хитростью дикого зверя. А кроме того, в нем соединились ум овчарки и понятливость

сенбернара. Все это в сочетании с опытом, приобретенным в суровейшей из школ, делало Бэка страшнее любого зверя, рыщущего в диких лесах. Этот пес, питавшийся только сырым мясом, был теперь в полном расцвете сил, и жизненная энергия била в нем через край. Когда Торнтон гладил его по спине, шерсть Бэка потрескивала под его рукой, словно каждый ее волосок излучал скрытый в нем магнетизм. Все в нем, каждая клеточка тела и мозга, каждая жилка и каждый нерв, жило напряженной жизнью, действовало с великолепной слаженностью, в полном равновесии. На все, что он видел и слышал, на все, что требовало отклика, Бэк откликался с молниеносной быстротой. Собаки северных пород быстро — нападают и быстро защищаются от нападения, но Бэк делал это вдвое быстрее их. Увидит движение, услышит звук — и реагирует на них раньше, чем другая собака успела бы сообразить, в чем дело. Бэк воспринимал, решал и действовал одновременно. Эти три момента — восприятие, решение, действие, — как известно, следуют друг за другом. Но у Бэка промежутки между ними были так ничтожны, что, казалось, все происходило сразу. Мускулы его были заряжены жизненной энергией, работали быстро и точно, как стальные

пружины. Жизнь, ликующая, буйная, разливалась в нем мощным потоком, — казалось, вот-вот этот поток в своем неудержимом стремлении разорвет его на части, вырвется наружу и зальет весь мир.

— Другой такой собаки на свете нет и не было! — сказал однажды Джон Торнтон товарищам, наблюдая Бэка, который шествовал к выходу из лагеря.

— Да, когда его отливали, форма, наверное, лопнула по всем швам и больше не употреблялась, — сострил Пит.

— Ей-богу, я сам так думаю, — подтвердил Ганс.

Они видели, как Бэк выходил из лагеря, но не видели той мгновенной и страшной перемены, которая происходила в нем, как только лес укрывал его от людских глаз. В лесу он уже не шествовал важно, там он сразу превращался в дикого зверя и крался бесшумно, как кошка, мелькая и скрываясь между деревьями, подобно легкой тени среди других теней леса. Он умел везде найти себе укрытие, умел ползти на животе, как змея, и, как змея, внезапно нападать и разить. Он ловко вытаскивал куропатку из гнезда, убивал спящего зайца и ловил на лету

бурундуков, на секунду опоздавших взобраться на дерево. Не успевали уплыть от него и рыбы в незамерзающих водах, и даже бобров, чинивших свои плотины, не спасала их осторожность. Бэк убивал не из бессмысленной жестокости, а для того, чтобы насытиться. Он любил есть только то, что убивал сам. В его поведении на охоте заметно было иногда желание позабавиться. Например, ему доставляло большое удовольствие подкрадываться к белке и, когда она уже почти была у него в зубах, дать ей, смертельно перепуганной, взлететь на верхушку дерева.

К осени в лесу появилось много лосей, — они проходили медленно, перекочевывая на зимовку в ниже расположенные долины, где было не так холодно. Бэк уже затравил раз отбившегося от стада лосенка, но ему хотелось более крупной добычи, и однажды он наткнулся на нее в горах у истока речки. Целое стадо лосей — голов двадцать — пришло сюда из района лесов и рек, и вожаком у них был крупный самец ростом выше шести футов. Он был уже разъярен, и более грозного противника Бэку трудно было и пожелать. Лось покачивал громадными рогами, которые разветвлялись на четырнадцать отростков. В его маленьких глазках светилась бешеная злоба, и,

увидев Бэка, он заревел от ярости.

В боку у лося, близко к груди, торчала оперенная стрела, и оттого-то он был так зол. Инстинкт, унаследованный Бэком от предков, охотившихся в лесу в первобытные времена, подсказал ему, что прежде всего надо отбить вожака от стада. Задача была не из легких. Пес лаял и метался перед лосем на таком расстоянии, чтобы его не могли достать громадные рога и страшные скошенные копыта, которые одним ударом вышибли бы из него дух. Не имея возможности повернуть спину к этому клыкастому чудовищу и уйти, лось окончательно рассвирепел. В приступах ярости он то и дело наступал на Бэка, но тот ловко увертывался, притворяясь беспомощным и тем раззадоривая лося и заманивая его все дальше. Но всякий раз, как старый лось отделялся от стада, два-три молодых самца атаковали Бэка, давая раненому вожаку возможность вернуться.

Есть у хищников особое терпение, неутомимое, настойчивое, упорное, как сама жизнь, которое помогает пауку в паутине, змее, свернувшейся кольцом, пантере в засаде замирать неподвижно на бесконечные часы. Терпение это проявляет все живое, когда охотится за живой пищей. Его проявлял теперь и Бэк, забегая сбоку и за-

державая стадо, дразня молодых самцов, пугая самок с лосятами, доводя раненого вожака до бессильного бешенства. Это продолжалось целых полдня. Бэк словно раздваивался, атакуя со всех сторон, окружая стадо каким-то вихрем угроз, снова и снова отрезая свою жертву, как только ей удавалось вернуться к стаду, истощая терпение преследуемых, у которых его всегда меньше, чем у преследователей.

К концу дня, когда солнце стало клониться к закату (осень вступила в свои права, темнело рано, и ночь длилась уже шесть часов), молодые лоси все менее и менее охотно отходили от стада, чтобы помочь своему вожаку. Зима приближалась, им надо было спешить вниз, в долины, а тут никак не удавалось отделаться от этого неутомимого зверя, который задерживал их. К тому же опасность грозила не всему стаду, не им, молодым, а только жизни одного старого лося, и, так как им собственная жизнь была дороже, они в конце концов готовы были пожертвовать вожаком.

Наступили сумерки. Старый лось стоял, понурив голову, и смотрел на свое стадо: самок, которых он любил, лосят, которым был отцом, самцов, которых подчинил себе. Смотрел, как

они торопливо уходили в угасающем свете дня. Он не мог уйти с ними, потому что перед его носом плясало безжалостное клыкастое чудовище и не давало ему идти. В нем было весу больше полутонны, он прожил долгую, суровую жизнь, полную борьбы и лишений, и вот его ожидала смерть от зубов какого-то существа, которое едва доходило ему до массивных узловатых колен!

С этого момента Бэк ни днем, ни ночью не оставлял свою добычу, не давал раненому лосю ни минуты покоя. Он не позволял ему пощипать листьев или побегов молодых берез и верб, не давал напиться из ручейков, которые они переходили, и лось не мог утолить сжигавшую его жажду. Часто он в отчаянии пускался бежать. Бэк не пытался его остановить, но спокойно бежал за ним по пятам, довольный ходом этой игры. Когда лось стоял на одном месте, Бэк ложился на землю; когда же тот пытался поесть или попить, он яростно наскакивал на него.

Большая голова лося с ветвистыми, как деревья, рогами клонилась все ниже, он плелся все медленнее. Теперь он подолгу стоял, опустив морду к земле, с вяло повисшими ушами, и у Бэка было больше времени для того, чтобы сбегать напиться или отдохнуть. Когда он, тяжело дыша

и высунув красный язык, лежал, не спуская глаз с громадного лося, ему казалось, что все окружающее принимает какой-то иной облик. Он чувствовал: в мире вокруг происходит что-то новое. Казалось, вместе с лосями сюда незримо пришли и какие-то другие живые существа. Лес, и вода, и воздух словно трепетали от их присутствия. Об этом говорили Бэку не глаза его, не слух, не обоняние, а какое-то внутреннее, безошибочное чутье. Он не видел и не слышал ничего необычного, но он знал, что в окружающем мире произошла перемена, что где-то рыщут какие-то странные существа. И он решил исследовать мир вокруг, когда доведет до конца дело, которым сейчас занят.

Наконец на исходе четвертого дня он доконал-таки старого лося. Целый день и целую ночь он оставался около своей добычи, отъедался, отсыпался и бродил вокруг. Потом, отдохнув и восстановив силы, он вспомнил о Джоне Торнтоне и легким галопом помчался к лагерю. Он бежал много часов, ни разу не сбившись с запутанной дороги, направляясь прямо домой по незнакомой местности так уверенно, что мог посрамить человека с его компасом.

По дороге Бэк все сильнее и сильнее чуял вокруг

что-то новое, тревожное. Повсюду шла теперь какая-то иная жизнь, чем та, какую он наблюдал здесь все лето. И говорило об этом Бэку уже не только таинственное внутреннее чутье. Нет, об этом щебетали птицы, об этом болтали между собой белки, даже ветерок нашептывал ему это. Бэк несколько раз останавливался и, усиленно нюхая свежий утренний воздух, чуял в нем весть, которая заставляла его бежать быстрее. Его угнетало предчувствие какой-то беды, которая надвигалась или, может быть, уже случилась. И когда он пересек последний водораздел и спустился в долину, где находился лагерь, он побежал тише, соблюдая осторожность.

Пробежав три мили, он наткнулся на свежие следы, и шерсть у него на затылке зашевелилась. Следы вели прямо к лагерю, к Джону Торнтону! Бэк помчался быстрее и еще бесшумнее. Все чувства в нем были напряжены, он остро воспринимал многочисленные мелкие подробности, которые рассказали ему многое, но не все до конца. Нюхом чуял он, что по тропе, по которой он бежал, до него прошли какие-то люди. Что-то зловещее таил в своем молчании затихший лес. Примолкли птицы, попрятались все белки, одна только попалась на глаза Бэку: ее серенькое бле-

стящее тельце прильнуло к серой поверхности сухого сука так плотно, что казалось частью его, каким-то наростом на дереве.

Бэк несся легко и бесшумно, как тень, и вдруг морда его быстро повернулась в сторону, словно направленная какой-то посторонней силой. Он пошел на новый, незнакомый запах и в кустах увидел Нига. Пес лежал на боку мертвый. Видимо, он дополз сюда и тут испустил дух. В каждом боку у него торчало по оперенной стреле.

Пройдя еще сто ярдов, Бэк наткнулся на одну из ездовых собак, купленных Торнтоном в Доусоне. Собака в предсмертных муках корчилась на земле, у самой тропинки, и Бэк обошел ее, не останавливаясь. Из лагеря глухо доносились голоса, то затихая, то усиливаясь, — то был монотонный ритм песни. Бэк прополз на животе до конца просеки и тут нашел Ганса, лежащего ничком и утыканного стрелами, как дикобраз. В эту самую минуту, глянув в сторону, где раньше стоял их шалаш из еловых веток, Бэк увидел зрелище, от которого у него вся шерсть поднялась дыбом. Его охватил порыв неудержимой ярости. Сам того не сознавая, он зарычал громко, грозно, свирепо. В последний раз в жизни страсть в нем взяла верх над хитростью и рассудком. Бэк потерял голову,

и этому виной была его великая любовь к Джону Торнтону.

Ихеты, плясавшие вокруг остатков шалаша, вдруг услышали страшный рык мчавшегося на них зверя, какого они никогда еще не видели. Бэк, как живой ураган, яростно налетел на них, обезумев от жажды мщения. Он кинулся на того, кто стоял ближе всех (это был вождь ихетов), и разорвал ему горло зубами так, что из вены фонтаном брызнула кровь. Когда индеец упал, Бэк, не трогая его больше, прыгнул на следующего и ему тоже перегрыз горло. Ничто не могло его остановить. Он ринулся в толпу, рвал, терзал, уничтожал, не обращая внимания на стрелы, сыпавшиеся на него. Он метался с такой непостижимой быстротой, а индейцы сбились в такую тесную кучу, что они своими стрелами поражали не его, а друг друга. Один молодой охотник метнул в Бэка копье, но оно угодило в грудь другому охотнику — и с такой силой, что острие прошло насквозь и вышло на спине. Тут ихетов охватил панический ужас, и они бросились бежать в лес, крича, что на них напал злой дух.

Бэк действительно казался воплощением дьявола, когда гнался за ними по пятам, преследуя их между деревьями, как оленей. Роковым был

этот день для ихетов. Они рассеялись по всем окрестным лесам, и только через неделю те, кто уцелел, собрались далеко в долине и стали считать потери.

А Бэк, устав гнаться за ними, вернулся в опустевший лагерь. Он нашел Пита на том месте, где его застали сонного и убили раньше, чем он успел вылезть из-под одеял. Земля вокруг хранила свежие следы отчаянной борьбы Торнтона, и Бэк обнюхал их, эти следы, все до последнего. Они привели его к берегу глубокого пруда. На самом краю его головой и передними лапами в воде лежала верная Скит, не оставившая хозяина до последней минуты. Пруд, тинистый и мутный от промывки руды, хорошо скрывал то, что лежало на дне. А лежал там Джон Торнтон: Бэк проследил его шаги до самой воды, и обратных следов нигде не было видно.

Весь день Бэк сидел у пруда или беспокойно бродил по лагерю. Он знал, что такое смерть: человек перестает двигаться, потом навсегда исчезает из жизни живых. Он понял, что Джон Торнтон умер, что его нет и не будет, и ощущал какую-то пустоту внутри. Это было похоже на голод, но пустота причиняла боль, и никакой пищей ее нельзя было заполнить. Боль забывалась

только в те минуты, когда он, остановившись, смотрел на трупы ихетов. Тогда в нем поднималась великая гордость — никогда еще он так не гордился собой! Ведь он убил человека, самую благородную дичь, убил по закону дубины и клыка. Он с любопытством обнюхивал мертвецов. Оказывается, человека убить очень легко! Легче, чем обыкновенную собаку. Без своих стрел и копий и дубин они не могут равняться силой с ним, Бэком! И, значит, впредь их бояться нечего, когда у них в руках нет стрел, копья или дубинки.

Наступила ночь, высоко над деревьями взошла полная луна и залила землю призрачным светом. И в эту ночь, печально сидя у пруда, Бэк ясно почувствовал, что в лесу идет какая-то новая для него жизнь. Он встал, насторожил уши, понюхал воздух. Издалека слабо, но отчетливо донесся одинокий вой, затем к нему присоединился целый хор. Вой слышался все громче, он приближался с каждой минутой. Снова Бэк почувствовал, что слышал его когда-то в том, другом, мире, который жил в глубине его памяти. Он вышел на открытое место и прислушался. Да, это был тот самый зов, многоголосый зов! Никогда еще он не звучал так настойчиво, не манил так, как сейчас, и Бэк готов был ему повиноваться. Джон Торнтон

умер. Последние узы были порваны. Люди с их требованиями и правами более не существовали для Бэка.

Охотясь за живой добычей, волчья стая, так же как индейцы, шла вслед за перекочевывавшими лосями и, пройдя край лесов и рек, ворвалась в долину Бэка. Серебристым потоком хлынула она на поляну, купавшуюся в лунном свете, а посреди поляны стоял Бэк, неподвижный, как изваяние, и ждал. Этот громадный и неподвижный зверь внушал волкам страх, и только после минутной нерешимости самый храбрый из них прыгнул к Бэку. С быстротой молнии Бэк нанес удар и сломал ему шейные позвонки. Некоторое время он стоял так же неподвижно, как прежде, а за ним в агонии катался по земле умирающий волк. Еще три волка один за другим пытались напасть на него — и все отступили, обливаясь кровью, с разорванным горлом или плечом.

Наконец вся стая бросилась на Бэка. Волки лезли на него, толпясь и мешая друг другу в своем нетерпении овладеть добычей. Но изумительное проворство и ловкость выручили Бэка. Вертясь во все стороны на задних лапах, действуя зубами и когтями, он отбивался одновременно от всех нападающих. Чтобы помешать им зайти с тыла,

ему пришлось отступить. Он пятился, пока не миновал пруд и не очутился в русле высохшей речки.

Дальше он наткнулся на высокий откос и, двигаясь вдоль него, добрался до глубокой выемки, где хозяева его брали песок для промывки. Тут он был уже защищен с трех сторон, и ему оставалось только отражать натиск врагов спереди.

Он делал это так успешно, что через полчаса волки отступили в полном смятении. Они тяжело дышали, высунув языки. Их белые клыки резко белели в лунном свете. Одни прилегли, подняв морды и навострив уши. Другие стояли, следя за Бэком. А некоторые лакали воду из пруда. Большой и тощий серый волк осторожно вышел вперед. Он явно был настроен дружелюбно — и Бэк узнал того дикого собрата, с которым он бегал по лесу целые сутки. Волк тихонько повизгивал, и, когда Бэк ответил ему тем же, они обнюхались.

Затем подошел к Бэку и другой, старый волк, весь в рубцах от драк. Бэк сначала оскалил зубы, но потом обнюхался и с ним. После этой церемонии старый волк сел, поднял морду к луне и протяжно завыл. Завыли и все остальные. Бэк узнал тот зов, что тревожил его долгими ночами.

И он тоже сел и завыл. Когда все затихли, он вышел из своего укрытия, и стая окружила его, обнюхивая наполовину дружески, наполовину враждебно. Вожаки опять завыли и побежали в лес. Волки бросились за ними, воя хором. Побежал и Бэк рядом со своим диким собратом. Бежал и выл.

На этом можно было бы и кончить рассказ о Бэке.

Прошло немного лет, и ихеты стали замечать, что порода лесных волков несколько изменилась. Попадались волки с коричневыми пятнами на голове и морде, с белой полоской на груди. Но еще удивительнее было то, что, по рассказам ихетов, во главе волчьей стаи бегал Дух Собаки. Они боялись этой собаки, потому что она была хитрее их. В лютые зимы она крала их запасы, утаскивала из их капканов добычу, загрызала их собак и не боялась самых храбрых охотников.

Рассказывали еще более страшные вещи: иногда охотники, уйдя в лес, не возвращались больше в стойбище, а некоторых находили потом мертвыми, с перегрызенным горлом, и вокруг на снегу видны были следы лап крупнее волчьих.

Осенью, когда ихеты отправляются в погоню за лосями, одну долину они всегда обходят. И

лица их женщин омрачает печаль, когда у костра начинаются рассказы о том, как Злой Дух явился в эту долину, избрав ее своим убежищем.

Ихеты не знают, что летом в эту долину забегает один лесной зверь. Это крупный волк с великолепной шерстью, и похожий и непохожий на других волков. Он приходит один из веселых лесных урочищ и спускается в долину, на полянку между деревьями. Здесь лежат истлевшие мешки из лосиных шкур, и течет из них на землю золотой поток, а сквозь него проросли высокие травы, укрывая золото от солнца.

Здесь странный волк сидит в задумчивости некоторое время, воет долго и уныло, потом уходит.

Не всегда он приходит сюда один. Когда наступают долгие зимние ночи и волки спускаются за добычей в долины, его можно увидеть здесь во главе целой стаи. В бледном свете луны или мерцающих переливах северного сияния он бежит, возвышаясь громадой над своими собратьями, и во все могучее горло поет песнь тех времен, когда мир был юн, — песнь волчьей стаи.

Джек Лондон
Мужская верность

— Знаешь что, разыграем в кости.

— Идет, — ответил другой и повернулся к индейцу, чинившему лыжи в углу хижины. — Эй, Билбидем, сбегай-ка к Олсону и скажи, что мы просим одолжить нам игральные кости.

Эта неожиданная просьба среди разговора о жалованье рабочим, о топливе и о провизии удивила Билбидема. Кроме того, час был еще ранний, а ему не приходилось видеть, чтобы белые — во всяком случае такие, как Пентфилд и Хатчинсон, — садились за кости или карты, не покончив с делами. Однако, как и полагалось настоящему индейцу с Юкона, он ничем не выдал своего удивления и, натянув рукавицы, вышел из хижины.

Хотя шел уже девятый час, было еще темно, и хижина освещалась сальной свечой, стоявшей на сосновом столе среди хаоса немытых оловянных тарелок. Свеча была воткнута в бутылку из-под виски, на длинном горлышке которой миниатюрным ледником застыло сало от бесчисленных свечей. В единственной комнатушке хижины

царил такой же беспорядок, как и на столе. У задней стены виднелись нары с двумя неубранными постелями.

Лоренс Пентфилд и Корри Хатчинсон были миллионерами, хотя никто не догадался бы об этом по их внешнему виду. В них не было ничего необычного — они легко сошли бы за своих в любом лагере мичиганских лесорубов. Но снаружи, во мраке, на дне зияющих ям, десятки людей, получавших по пятнадцати долларов в день, дробили каменные пласты, а другие крутили вороты, поднимая из шурфов породу, песок и золото. Каждый день золота добывалось на тысячи долларов, и все оно принадлежало Пентфилду и Хатчинсону, которые числились среди богатейших королей Бонанзы.

Тишину, наступившую после ухода Билбидема, нарушил Пентфилд. Он сдвинул в кучу грязные тарелки и на освободившемся месте стал выбивать пальцами дробь. Хатчинсон снял нагар с коптившей свечи и задумчиво растер его между большим и указательным пальцами.

— Черт побери, если бы мы могли уехать оба! — воскликнул он неожиданно. — И спорить было бы не о чем.

Пентфилд хмуро посмотрел на него.

— Если бы не твое проклятое упрямство, спорить и не пришлось бы. Тебе надо только сложить вещи и уехать. Я присмотрю за делом, а поеду в будущем году.

— Почему мне? Меня никто не ждет...

— А родные? — жестко прервал его Пентфилд.

— А тебя ждут, — продолжал Хатчинсон. — Ты знаешь, о ком я говорю.

Пентфилд угрюмо пожал плечами.

— Она подождет.

— Но она уже два года ждет.

— Ничего, еще год ее не состарит.

— Ведь это будет уже три года! Только подумай, старина: три года здесь, на краю света, в этой проклятой дыре! — Хатчинсон с отчаянием взмахнул рукой.

Он был на несколько лет младше своего компаньона — ему было не больше двадцати шести. На его лице застыло выражение тоски, тоски человека, тщетно жаждущего того, чего он давно лишен. И та же тоска, то же отчаяние было на лице Пентфилда, в его сгорбленных плечах.

— Мне вчера снилось, что я у Зинкенда, — сказал он. — Музыка, звон стаканов, гул голосов, женский смех, а я заказываю яйца — да, сэр, яйца: и крутые, и всмятку, и яичницу, и омлет — и

уплетаю так, что подавать не успевают.

— А я бы заказал салат, — алчно перебил Хатчинсон, — и большой бифштекс с зеленью, с молодым луком и редиской, чтобы на зубах хрустело.

— Я бы это все заказал после яиц, если бы не проснулся, — вздохнул Пентфилд.

Он поднял с пола видавшее виды банджо и рассеянно потрогал струны. Хатчинсон вздрогнул и тяжело вздохнул.

— Брось! — закричал он с неожиданной яростью, когда Пентфилд начал наигрывать веселый мотив. — С ума можно сойти. Невыносимо.

Пентфилд бросил банджо на нары и продекламировал:

Выдав тайную тоску, пою я так:
Память, пытка — я, я — город на заре,
Я — все то, о чем напомнить может фрак.

Его товарищ тяжело уронил голову на руки. Пентфилд снова монотонно забарабанил по столу. Затем его внимание привлек громкий треск двери. На ней белой пеленой оседал иней. Пентфилд тихо запел:

Стада в хлевах, и в море вновь

Из рек ушел лосось;
Когда б с тобой, моя любовь,
Побыть мне довелось.

Потом снова наступило молчание, нарушенное приходом Билбидема, который бросил на стол игральные кости.

— Большой холод, — сказал он. — Олсон говорил мне, вчера Юкон замерзал.

— Слышишь, старик? — вскричал Пентфилд, хлопая Хатчинсона по плечу. — Кто выиграет, тот завтра в это время будет уже на пути в благословенный край!

Он весело встряхнул стаканчик с костями.

— Как играем?

— Простой покер, — ответил Хатчинсон. — Бросай.

Пентфилд с грохотом столкнул со стола посуду и бросил кости. Оба поспешно наклонились. Не было ни одной пары, а самым крупным очком была пятерка.

— Пустышка! — ахнул Пентфилд.

После долгих размышлений он собрал в стаканчик все пять костей.

— На твоем месте я бы оставил пятерку, — заметил Хатчинсон.

— Ну нет. Вот посмотришь, что сейчас будет! — сказал Пентфилд и выбросил кости.

Снова ни одной пары. На этот раз счет шел от двойки до шестерки.

— Опять пустышка! — простонал Пентфилд. — И не бросай, Корри. Ты уже выиграл.

Его товарищ молча собрал кости, погремел ими в стаканчике, широким движением выбросил на стол и увидел, что у него тоже выпала пустышка с шестеркой.

— Во всяком случае, ничья, но мне нужно что-нибудь получше, — сказал он и, собрав четыре кости, оставил шестерку. — Вот и конец тебе.

Но на столе лежали двойка, тройка, четверка и пятерка — снова пустышка, такая же, как у Пентфилда.

Хатчинсон вздохнул.

— Такое бывает раз в сто лет, — сказал он.

— Раз в миллион лет, — отозвался Пентфилд, быстро собрал кости и бросил их. Выпали три пятерки; он долго встряхивал стаканчик и наконец при повторном броске был вознагражден еще одной. Хатчинсон, казалось, потерял всякую надежду.

Но у него сразу же выпали три шестерки. В глазах его партнера появилась неуверенность, а

в его взгляде вновь вспыхнула надежда. Еще одна шестерка — и он отправится по льду к Соленой Воде, в Штаты. Он встряхнул стаканчик, хотел выбросить, заколебался и продолжал встряхивать.

— Давай! Давай! Не тяни! — резко крикнул Пентфилд. Стараясь сохранить хладнокровие, он так крепко вцепился в край стола, что у него согнулись ногти.

Кости покатились. На столе лежала шестерка. Они, не шевелясь, глядели на нее. Наступило долгое молчание. Хатчинсон украдкой посмотрел на своего партнера, который, перехватив его взгляд, криво улыбнулся, пытаясь казаться равнодушным.

Хатчинсон вскочил на ноги и рассмеялся. Смех был нервный и смущенный. В этой игре выиграть было тяжелее, чем проиграть. Хатчинсон подошел к своему другу, но тот яростно на него набросился:

— Заткнись, Корри! Я знаю все, что ты скажешь, — что предпочтешь остаться, чтоб ехал я, и все такое. Так что помолчи. Тебя ждут родные в Детройте, и этого довольно. И потом ты можешь сделать для меня то, ради чего, собственно, я хотел ехать.

— То есть?..

Пентфилд в его глазах прочел то, что он не договорил, и ответил:

— Да, вот именно. Ты можешь привезти ее сюда ко мне. Свадьба будет в Доусоне, а не в Сан-Франциско, вот и вся разница.

— Ты с ума сошел! — запротестовал Корри Хатчинсон. — Как это я ее повезу? Она мне не сестра, не родственница, я с ней даже не знаком. Сам понимаешь, что нам ехать вместе не совсем удобно. Мы-то с тобой знаем, что все было бы в порядке, но подумай, что об этом скажут другие!

Пентфилд глухо выругался, послав «других» в область менее морозную, чем Аляска.

— Вот если бы ты слушал, а не лез бы сразу со своим благородством, — продолжал его компаньон, — ты бы понял, что самое правильное при данных обстоятельствах — это мне отпустить тебя в этом году. Следующего года ждать всего только год, а тогда я смогу отвести душу.

Пентфилд покачал головой, хотя было видно, что он с трудом противится соблазну.

— Ничего не выйдет, Корри, старина. Я ценю твою доброту, но ничего не выйдет. Я бы не мог там сидеть спокойно, зная, что ты тут надрываешься вместо меня!

Вдруг его осенила какая-то мысль. Он кинулся

к нарам, переворошил в спешке всю постель, извлек наконец блокнот и карандаш, уселся за стол и начал быстро и уверенно писать.

— Ну вот, — сказал он, сунув записку в руку своего компаньона. — Доставь только по адресу, и все устроится.

Хатчинсон прочитал записку и положил ее.

— Откуда ты знаешь, что этот братец согласится поехать в нашу дыру? — усомнился он.

— Он согласится ради меня и ради сестры, — настаивал Пентфилд. — Видишь ли, он неженка, и я не хотел, чтобы она ехала с ним одним. А если рядом будешь ты, можно ничего не опасаться. Как только выберешься, поезжай во Фриско и объясни ей все. Оттуда отправляйся на Восток к своим. А весной заедешь за ними. Она наверняка тебе сразу понравится. Вот погляди, чтобы узнать ее при встрече.

С этими словами он открыл крышку часов и показал фотографию, приклеенную внутри. Корри Хатчинсон смотрел, и в его глазах росло восхищение.

— Ее зовут Мэйбл, — продолжал Пентфилд. — Я уж заодно объясню тебе, как найти их дом. Когда приедешь во Фриско, возьми кеб и скажи: «К дому Холмса, Мирдон-авеню». Можно, впрочем,

обойтись и без Мирдон-авеню. Всякий извозчик знает, где живет судья Холмс.

И знаешь что, — вновь начал Пентфилд после паузы, — неплохо было бы, если бы ты мне кое-что купил, ну... ну...

— То, что нужно семейному человеку, — докончил Хатчинсон с улыбкой.

Пентфилд смущенно улыбнулся в ответ.

— Вот-вот! Салфетки и скатерти, простыни и наволочки и прочее. Сервиз получше Ведь ей нелегко будет освоиться тут. Можешь отправить все пароходом через Берингово море. И еще, пожалуй... Что ты скажешь насчет рояля?

Хатчинсон горячо одобрил эту мысль. Он уже забыл о своих протестах, и возложенная на него миссия все больше и больше увлекала его.

— Ей-богу, Лоренс, — заявил он, когда разговор закончился и оба встали, — доставлю с шиком! Возьму на себя и стряпню и собак, а братцу останется только заботиться о ее удобствах и делать для нее то, что я забуду, хотя я, черт побери, забывать ничего не собираюсь.

На следующий день Лоренс Пентфилд в последний раз пожал руку своему другу и долго смотрел, как он и его упряжка спешили по замерзшему Юкону вверх, к Соленой Воде, в широкий мир.

Пентфилд вернулся на прииск в Бонанзе, где теперь стало гораздо тоскливее, и мужественно встретил долгую зиму. Надо было заниматься делом — следить за рабочими, руководить разведкой капризной жилы, — но работа не увлекала его. И никакая работа не увлекала его, пока на холме за прииском не начала расти новая бревенчатая хижина. Это была замечательная хижина, добротно построенная, разделенная на три удобные комнаты. Каждое бревно было тщательно обтесано — дорогая прихоть, если плотникам приходится платить по пятнадцати долларов в день. Но Пентфилда не пугали никакие расходы, когда дело касалось дома, предназначенного для Мэйбл Холмс. Он занимался постройкой хижины и пел:

Когда б с тобой, моя любовь,
Побыть мне довелось.

Кроме того, он повесил над столом календарь и каждое утро начинал с того, что вычеркивал день и пересчитывал, сколько еще дней остается до весны, когда его компаньон примчится по льду Юкона.

Пентфилд никому не позволял ночевать в новой хижине — это тоже была прихоть: до приезда

Мэйбл хижина должна была оставаться такой же новой, как ее свежеобтесанные балки. И когда постройка была закончена, Пентфилд повесил на дверях замок. Никто, кроме самого Пентфилда, не входил туда, а он оставался там часами, и когда выходил, на лице его была странная нежность, а глаза светились тепло и радостно.

В декабре пришло письмо от Корри Хатчинсона. Он только что познакомился с Мэйбл Холмс. Она оказалась именно такой, какой должна быть жена Лоренса Пентфилда, писал Корри. Он был в полном восторге, и это письмо заставило сердце Пентфилда забиться быстрее. Теперь письма приходили одно за другим, а порою, если почта задерживалась, даже по два или по три зараз. И все они были об одном и том же: Корри только что вернулся от Холмсов, или Корри собирается к Холмсам, или Корри сейчас у Холмсов. Он, казалось, не торопился покинуть Сан-Франциско и даже не упоминал о поездке в Детройт.

Лоренсу Пентфилду начинало казаться, что его компаньон слишком уж долго задерживается в обществе Мэйбл Холмс, забывая о своих родных. Временами Пентфилд ловил себя на том, что это его тревожит. Но он слишком хорошо знал Мэйбл и Корри, чтобы тревожиться всерьез.

Письма Мэйбл, в свою очередь, были полны Корри. С другой стороны, когда речь заходила о ее приезде и о свадьбе в Доусоне, в них сквозила робость и нерешительность. Пентфилд отвечал весело, подшучивая над ее опасениями, которые, как ему казалось, были порождены скорее страхом перед лишениями и опасностями, чем девичьей застенчивостью.

Но томительное ожидание и третья бесконечная зима начинали сказываться на нем. Руководство работами и разведка жилы не могли скрасить монотонность его существования, и в конце января Пентфилд зачастил в Доусон, где можно было на время забыться за игорным столом. Он выигрывал, так как мог позволить себе роскошь проиграть, и выражение «везет, как Пентфилду» вошло в обиход у игроков в фараон.

Удача не покидала его до середины февраля. Трудно сказать, когда она изменила бы ему, потому что после одной крупной игры он больше не брал карт в руки.

На этот раз игра шла в «Опере», и в течение часа каждая карта Пентфилда выигрывала. В перерыве, пока банкомет тасовал колоду, владелец стола Ник Инвуд вдруг сказал:

— Между прочим, Пентфилд, кажется, ваш

компаньон времени даром не теряет?

— Да, Корри умеет развлекаться, — ответил Пентфилд. — Особенно когда он это заслужил.

— Дело вкуса, конечно, — рассмеялся Ник Инвуд, — но, по-моему, развлекаться и жениться — не совсем одно и то же.

— Корри женился? — недоверчиво воскликнул Пентфилд, не сумев скрыть своего удивления.

— Именно, — ответил Инвуд. — Это напечатано в газете из Фриско, которая пришла с утренней почтой.

— Ну, а кто же она? — поинтересовался Пентфилд с терпеливой невозмутимостью человека, знающего, что его разыгрывают и что в любую минуту может раздаться взрыв смеха.

Ник Инвуд вытащил газету из кармана и стал просматривать ее, заметив:

— У меня на имена память плохая, но как будто Мэйбл... Мэйбл... ага, вот: Мэйбл Холмс, дочь какого-то судьи Холмса ..

Лоренс Пентфилд и бровью не повел, хотя в душе лихорадочно гадал, известно ли кому-нибудь на Севере это имя. Он спокойно обвел взглядом слушателей, ожидая, что кто-нибудь выдаст себя, но их лица выражали только обыкновенное любопытство. Тогда он повернулся к Инвуду и

сказал спокойным, ровным тоном:

— Ник, вот эти пятьсот долларов берутся доказать, что в газете ничего подобного нет.

Тот посмотрел на него с недоуменной улыбкой.

— Нет, голубчик, мне ваши деньги не нужны.

— Я так и думал! — насмешливо бросил Пентфилд и, повернувшись к столу, поставил на две карты.

Ник Инвуд покраснел и, как будто не доверяя себе, внимательно перечитал коротенькую заметку, а затем резко повернулся к Лоренсу Пентфилду.

— Послушайте, Пентфилд, — взволнованно и торопливо заговорил он. — Я этого так оставить не могу.

— Чего этого? — грубо переспросил Пентфилд.

— По-вашему, я солгал?

— Ничего подобного. По-моему, вы просто глупо пошутили.

— Вы ставите, джентльмены? — вмешался банкомет.

— Но я же вам говорю, что это правда! — настаивал Инвуд.

— А я уже вам говорил, что у меня есть пятьсот долларов, которые берутся доказать, что в газете

этого нет.

И Пентфилд бросил на стол тяжелый мешок с золотым песком.

— Не нужны мне ваши деньги, но раз вы настаиваете... — С этими словами Инвуд сунул газету Пентфилду.

Пентфилд смотрел и не мог заставить себя поверить. Он скользнул взглядом по заголовку «С Севера мчался младой Лохинвар[52]» и пробежал заметку; перед его глазами мелькнули рядом имена Мэйбл Холмс и Корри Хатчинсона. Тогда он заглянул на первую страницу — газета была из Сан-Франциско.

— Деньги ваши, Инвуд, — сказал он с коротким смешком. — Если уж мой компаньон начнет, одному богу известно, где он остановится.

Затем Пентфилд вернулся к заметке и медленно прочел ее, слово за словом. Сомнений больше не было. Корри Хатчинсон действительно женился на Мэйбл Холмс. «Один из королей Бонанзы, — говорилось в заметке о новобрачном, — компаньон Лоренса Пентфилда (еще не забытого обществом Сан-Франциско), владеющий вместе с ним многими богатствами Клондайка». А даль-

---

[52] notes: 52
Лохинвар — один из героев поэмы «Мармион» Вальтера Скотта.

ше, в конце, он прочел: «Говорят, что мистер и миссис Хатчинсон на некоторое время уедут на Восток, в Детройт, но свой настоящий медовый месяц они проведут в путешествии по сказочному Клондайку».

— Я вернусь. Сохраните мне место, — сказал Пентфилд, поднимаясь и забирая мешок, который тем временем успел побывать на весах и вернулся к владельцу облегченный на пятьсот долларов.

Пентфилд вышел на улицу и купил газету из Сиэтла. В ней были те же факты, только более кратко изложенные. Несомненно, Корри и Мэйбл поженились. Он вернулся в «Оперу» и, заняв свое место, предложил играть без ограничения ставки.

— Я вижу, вам нужен размах, — засмеялся Ник Инвуд, кивая банкомету. — Я собирался было сходить на склады Компании, но, пожалуй, останусь. Покажите-ка, на что вы способны.

И Лоренс Пентфилд показал: после двухчасовой отчаянной игры банкомет откусил кончик свежей сигары, чиркнул спичкой и объявил, что банк сорван. Пентфилд выиграл сорок тысяч. Он пожал руку Нику Инвуду и заявил, что эта его игра — последняя.

Никто не знал, никто не догадывался, что ему был нанесен удар — и тяжелый удар. Внешне он совсем не изменился. Всю неделю он занимался делами, как обычно, но в субботу ему на глаза попалась портлендская газета с описанием свадебной церемонии. Тогда он оставил прииск на попечение одного из друзей и отправился на собаках вверх по Юкону. Он двигался по дороге к Соленой Воде, а потом свернул на Белую реку. Через пять дней он увидел лагерь местных индейцев. Вечером был устроен пир, и Пентфилд сидел на почетном месте, рядом с вождем. На следующее утро он погнал собак назад к Юкону, но теперь он был не один. Молодая скво кормила в этот вечер его собак и помогала ему приготовить ночлег. В детстве ее помял медведь, и она прихрамывала. Звали ее Лашка. Сперва она боялась чужого белого, который явился из Неведомого и взял ее в жены, не сказав ей ни слова, даже не взглянув на нее, а теперь увозил в Неведомое.

Но в отличие от большинства индейских девушек, которых выбирают себе в подруги белые Севера, Лашке посчастливилось: в Доусоне связавший их языческий брак был подтвержден священником по обрядам белых. Из Доусона, где все казалось Лашке чудесным сном, Пентфилд

отвез ее на прииск в Бонанзу и водворил в новой хижине на холме.

Сенсацию произвело не то, что Лоренс Пентфилд разделил ложе и кров с индианкой, а то, что он узаконил это сожительство брачной церемонией. Церковный брак? Этого никто не мог понять. Но Пентфилда оставили в покое — местное общество было терпимо ко всяким причудам, если только они не шли ему во вред. Пентфилд даже не потерял доступа в дома, где были белые хозяйки: свадебная церемония не позволяла относиться к нему просто как к белому, сожительствующему с индианкой, его нельзя было упрекнуть в безнравственности, хотя многие мужчины не одобряли его выбор.

Писем из Сан-Франциско больше не было. Шесть нарт с почтой погибли у Большого Лосося. Кроме того, Пентфилд знал, что новобрачные должны уже быть в Клондайке и что их свадебное путешествие близится к концу, то путешествие, о котором он мечтал в течение двух томительных лет. От этой мысли у него горько кривились губы, но он скрывал свои чувства и только становился добрее к Лашке.

Прошел март, и уже близился конец апреля, когда однажды утром Лашка попросила разреше-

ния съездить к сивашу Питу, хижина которого была в нескольких милях ниже по речке. Жена Пита, индианка с реки Стюарт, прислала сказать, что у нее заболел ребенок, а Лашка, поистине созданная для материнства, глубоко верила в свои познания по части детских болезней и была всегда готова нянчить чужих детей, пока судьба не послала ей своего.

Пентфилд запряг собак и, усадив Лашку на нарты, отправился вниз по руслу Бонанзы. В воздухе пахло весной. Мороз уже не обжигал, как прежде, и, хотя земля была еще покрыта снегом, шорохи и журчание воды говорили о том, что железная хватка зимы слабеет. Местами тропа была залита водой, и приходилось объезжать полыньи. Как раз у такого места, где не могли разъехаться двое нарт, Пентфилд услышал звон приближающихся колокольчиков и остановил собак.

Из-за изгиба реки появилась усталая упряжка собак, тянувших тяжело нагруженные нарты. Что-то в фигуре мужчины, погонявшего собак, показалось Пентфилду знакомым. За нартами шли две женщины. Пентфилд снова перевел взгляд на погонщика — это был Корри. Пентфилд стоял и ждал. Он был рад, что Лашка с ним. Более удачную встречу было бы трудно устроить и нарочно,

подумал он. Ожидая, он старался представить, что они скажут, что они могут сказать. Ему говорить было незачем: объяснять должны были они, и он был готов выслушать их объяснения.

Когда упряжки поравнялись, Корри заметил его и остановил собак.

— Здорово, старина! — воскликнул он и протянул руку.

Пентфилд пожал ее холодно и молча. Тем временем подошли женщины, и во второй он узнал Дору Холмс. Он пожал ей руку, сняв меховую шапку, и повернулся к Мэйбл. Она сделала движение навстречу, красивая и сияющая, но как будто растерялась при виде его протянутой руки. Он собирался сказать: «Здравствуйте, миссис Хатчинсон», — но слова «миссис Хатчинсон» почему-то застряли у него в горле, и он только пробормотал:

— Здравствуйте.

Положение получилось настолько неприятное и неловкое, что он мог быть доволен. Мэйбл была смущена и взволнована. Дора, которую, видимо, захватили в качестве посредницы, заговорила:

— Послушайте, Лоренс, что случилось?

Не дав ему ответить, Корри потянул его за рукав и отвел в сторону.

— Слушай, старина, что это значит? — спросил он шепотом, указывая глазами на Лашку.

— А собственно говоря, Корри, какое тебе дело? — насмешливо сказал Пентфилд.

Но Корри продолжал настаивать:

— Что эта скво делает на твоих нартах? Хорошую задачу ты мне задал — объяснить это им. Надеюсь, однако, что какое-то объяснение есть? Кто она? Чья это скво?

И вот тут Лоренс Пентфилд нанес свой удар. Нанося его, он почувствовал прилив спокойного удовлетворения, которое, казалось, до некоторой степени искупало причиненное ему зло.

— Это моя скво, — сказал он. — Миссис Пентфилд, с вашего разрешения.

У Корри Хатчинсона перехватило дыхание. Пентфилд отвернулся от него и подошел к женщинам. Лицо Мэйбл было тревожным, и она, казалось, не была склонна разговаривать. Он как ни в чем не бывало обратился к Доре:

— Как прошло путешествие? Очень мерзли на стоянках?

А как себя чувствует миссис Хатчинсон? — спросил он затем, бросив взгляд на Мэйбл.

— Глупыш вы милый! — воскликнула Дора, обнимая и тормоша его. — Значит, вы тоже прочли?

Так вот почему вы себя так странно держали!

— Я... я не понимаю... — пробормотал он.

— В следующем номере дали поправку, — болтала Дора. — Нам и в голову не приходило, что этот выпуск попадется вам на глаза. В других газетах все было правильно. Но, конечно, именно этот злосчастный листок попался вам в руки.

— Постойте, о чем вы говорите? — перебил Пентфилд. Его сердце сжалось от неожиданного страха. Он почувствовал себя на краю пропасти.

А Дора все не умолкала:

— Знаете, когда стало известно, что Мэйбл и я уезжаем в Клондайк, в «Еженедельнике» напечатали, что с нашим отъездом на Мирдон-авеню станет густо, — что, конечно, означало «пусто».

— Так, значит ..

— Я миссис Хатчинсон, — ответила Дора. — А вы-то думали, что это Мэйбл?

— Именно так, — медленно проговорил Пентфилд. — Теперь я понял. Репортер перепутал имена, а газеты в Сиэтле и Портленде перепечатали, как было.

Он замолчал. Мэйбл снова повернулась к нему, и он увидел, что она ждет. Корри с большим интересом рассматривал рваный носок своего мокасина, а Дора искоса поглядывала на невозму-

тимое лицо сидевшей на нартах Лашки. Лоренс Пентфилд смотрел прямо перед собой в безнадежное будущее, где он видел только упряжку собак, себя и рядом — хромую Лашку.

Затем он заговорил, очень просто, глядя в глаза Мэйбл:

— Простите. Мне и в голову не приходила такая ошибка. Я думал, что вы вышли за Корри. Там, на нартах, миссис Пентфилд...

Мэйбл Холмс бессильно повернулась к сестре — казалось, на нее внезапно обрушилось все утомление тяжелого пути. Дора подхватила ее. Корри Хатчинсон все еще не мог оторвать взгляд от своих мокасин.

Пентфилд посмотрел на него, на обеих женщин и пошел к нартам.

— Надо ехать: ребенок Пита не может ждать нас весь день, — сказал он Лашке.

Длинный бич свистнул, собаки натянули постромки, нарты дернулись и помчались вперед.

— Слушай, Корри! — крикнул Пентфилд, обернувшись. — Ты можешь занять старую хижину. Она теперь пустует. Я построил новую на холме.

Джек Лондон
Замужество Лит-Лит

Перевод Михаила Чехова

Когда Джон Фокс явился в страну, где виски так замерзает, что большую часть года этот напиток можно употреблять в качестве пресс-папье, то у него не было никаких идеалов и иллюзий, которые обычно мешают успеху искателей приключений. Родившись и получив воспитание в пограничной с Соединенными Штатами местности, он явился в Канаду с примитивным складом ума и с элементарно простыми взглядами на вещи, что сулило ему немедленный успех в его новой карьере. Из простого служащего, перевозившего в лодке путешественников и перетаскивавшего на своей спине их багаж через перешейки, он быстро поднялся в Компании Гудзонова залива до заведующего факторией и стал во главе торговой организации в форте Ангела.

Здесь, опять-таки благодаря своей первобытной простоте, он женился на туземке и, чтобы не нарушать своего супружеского счастья, держался как можно дальше от беспокойных и тщетных

мечтаний, которые портят жизнь более разборчивым людям, мешают им заниматься делом и в конце концов подчиняют их себе. Он жил довольный собой, весь отдавшись порученному ему делу, и наконец заслужил самый лестный отзыв за свою работу в Компании. Как раз в это время умерла его жена, ее родственники потребовали от него ее тело и повесили его в жестяном сундуке на вершине дерева, по обычаю их племени.

Покойная жена оставила ему двух сыновей, и когда Компания повысила его по службе, ему пришлось отправиться с ними еще дальше к северу, в глухие трущобы Северо-Восточной территории, в те места, которые носят название Син Рок, где ему надлежало стать во главе новой, еще более значительной организации по добыванию мехов. Здесь он провел в полном одиночестве и тоске несколько месяцев. Ему очень не нравилась внешность местных индейских девушек, но он сокрушался о своих подраставших сыновьях, которым не хватало заботливого ухода матери. Тогда его взгляд остановился на Лит-Лит.

— Лит-Лит… ну… она — Лит-Лит! — так в отчаянии описывал он ее своему главному клерку Александру Мак-Лину.

Мак-Лин еще хранил в свежести свое шот-

ландское воспитание («оно не высохло еще за его барабанной перепонкой», как выражался по-своему Джон Фокс), и ему не могли казаться привлекательными свадебные обычаи той страны. Однако он ровно ничего не имел против того, чтобы его начальник загубил свою бессмертную душу, собственно потому, что, в свою очередь почувствовав зловещее влечение к той же Лит-Лит, он втайне был доволен, что загубит свою душу не он сам, а его начальник.

Не было ничего удивительного в том, что строгая шотландская душа Мак-Лина находилась в опасности растаять от солнечного блеска глаз Лит-Лит. Она была красива, стройна, как тростник, без тяжеловесности и неуклюжести, свойственных большинству индейских женщин. Свое имя «Лит-Лит» она получила в детстве, так как всегда порхала, как бабочка, переносясь с места на место, отличалась веселым характером и была так же смешлива, как и подвижна.

Лит-Лит была дочерью Снитшейна, видного вождя племени, и метиски-матери. К этому вождю и пришел Джон Фокс в один летний день, чтобы начать переговоры о Лит-Лит. Фокс сидел с вождем перед его юртой, в облаке жужжавших комаров; они беседовали обо всем, что находи-

лось под солнцем, или, по крайней мере, обо всем, что было под солнцем в Северной стране, — за исключением одного: сватовства. А Джон Фокс специально пришел к нему именно затем, чтобы сделать предложение. Снитшейн знал это, и Джон Фокс знал, что тот знает, но оба тщательно избегали об этом говорить. Это считалось утонченной индейской хитростью. На самом же деле говорило лишь о первобытной простоте.

Часы шли за часами, а Фокс и Снитшейн покуривали свои нескончаемые трубки, поглядывая друг на друга с великолепным артистическим простодушием. В полдень мимо них с невинным равнодушием прошли к реке Мак-Лин и его собрат по службе Мак-Тэвиш. А когда они через час шли обратно, то Фокс и Снитшейн все еще церемонно разговаривали, на этот раз уже о свойствах и качествах пороха и свиной грудинки, которые были только что получены Компанией для продажи. Между тем Лит-Лит, догадавшись о намерениях Фокса, подползла к стенке юрты изнутри и, приподняв ее нижний край, украдкой поглядывала на двух мастеров слова, вокруг которых облаками носились комары. Она покраснела, и глаза ее радостно заблестели от гордости, что ее руки добивается такой знатный человек, как сам

начальник фактории (который в представлении индейцев был первым после Господа Бога); она сгорала от женского любопытства как можно скорее и ближе узнать, что он за человек. Яркий солнечный свет, отраженный снегом, дым лагерей и северные вьюги сделали его лицо смуглым, как красная медь; ее отец был такого же цвета, а она — светлее. Она была чуточку довольна этим, а еще более радовалась тому, что начальник фактории был высок ростом и крепок, хотя и боялась немного его большой черной бороды, которая казалась ей такой странной.

Она была очень юна и не знала мужчин. Семнадцать раз она видела, как солнце появлялось на юге и затем пропадало за линией неба, и семнадцать раз была свидетельницей того, как оно снова появлялось и плыло по небу, а ночь становилась все короче, пока не наступал сплошной день. И все эти годы ее ревниво охранял Снитшейн, который всегда стоял между нею и всеми женихами, с неудовольствием выслушивал молодых охотников, когда они домогались ее руки, и отказывал одному за другим, точно Лит-Лит была бесценна. Снитшейн был корыстолюбив. Он как бы вложил в Лит-Лит свой главный капитал. Она представляла такую ценность, что он

надеялся получить не обычные, а неисчислимые проценты.

Получив своего рода монастырское воспитание, согласно обычаям племени, она с девичьим беспокойством глядела теперь из своей засады на человека, который, без сомнения, явился сюда за ней, — на своего будущего мужа, который будет учить ее всему, чему еще не могла научить ее сама жизнь, на своего владыку, каждое слово которого сделается для нее законом и который будет теперь руководить ее действиями и поступками до последних дней ее жизни.

Но, поглядывая из-за приподнятого края юрты, краснея и дрожа перед странной судьбой, которая ее ожидала, она была очень разочарована тем, что день уже кончался, а начальник фактории и ее отец все еще говорили возвышенные слова, касавшиеся совсем других вопросов и не имевшие ровно никакого отношения к сватовству. А когда солнце стало спускаться все ниже и ниже к северу и наступила полночь, Фокс стал проявлять определенное намерение уйти домой. Как только он собрался уходить, сердце Лит-Лит упало; оно сейчас же забилось вновь, когда он вдруг задержался и сделал полуоборот на каблуках.

— Кстати, Снитшейн, — сказал он, — я хотел бы

обзавестись женщиной, которая стирала бы мне белье и обшивала меня.

Снитшейн откашлялся и указал ему на старую, беззубую Ванидани.

— Нет, нет, — возразил Фокс. — Я хочу найти жену. Я уже давно подумываю об этом, и меня сейчас осенила мысль, что именно ты должен мне в этом помочь.

Снитшейн, казалось, заинтересовался, и начальник фактории счел нужным вернуться, точно это случилось само собой и невзначай, чтобы поговорить на новую, неожиданно пришедшую ему в голову тему.

— Катту? — предложил Снитшейн.

— Нет, она одноглазая, — возразил Фокс.

— Ляска?

— У нее расходятся коленки, когда она выпрямляется. Между ее коленями может проскочить Кипе — самая большая твоя собака.

— Сенати? — невозмутимо продолжал индеец.

Но Джон Фокс вспыхнул.

— Что ты меня дурачишь? — воскликнул он с притворным гневом. — Что я, старик, что ли? Зачем ты мне навязываешь старух? Или я беззубый? Хромой? Слепой? Или, по-твоему, я такой бедняк, что ни одна красивая девушка не пожелает меня

полюбить? Смотри! Я стою во главе здешней фактории, богат и знатен, в моих руках власть в этой местности. Мои слова заставляют всех вас трепетать и повиноваться!

Снитшейну эти слова очень понравились, хотя на его лице сфинкса ничего не отразилось. Он провел фактора за нос и заставил его первым начать разговор. Будучи существом, мыслящим примитивно, Снитшейн мог вместить в своей голове только одну мысль, зато обладал способностью разработать ее гораздо полнее, чем, например, Джон Фокс. Хотя Джон Фокс и недалеко ушел от него в своей первобытности, но был все-таки гораздо сложнее его, и потому мог охватывать иногда несколько идей сразу. Однако он скоро утомлялся и от одной из них, тогда как вождь индейцев проводил свою линию до конца.

Снитшейн спокойно продолжал перечислять перед Джоном Фоксом предлагаемых им девушек, но все они одна за другой, как только он произносил их имена, отвергались фактором в специальных для каждой из них выражениях. Затем фактор снова поднялся и собрался уходить домой. Снитшейн следил за тем, как он уходит, без малейшей попытки задержать его, и в конце концов увидел, что тот остановился.

— Нет, подумай только! — крикнул ему Джон Фокс. — Ведь мы оба забыли твою Лит-Лит! Не подошла ли бы она мне?

Снитшейн встретил это предложение с совершенно равнодушным видом, но в душе задрожал от радости. Это была победа. Сделай фактор, уходя, еще хоть один шаг вперед, и Снитшейн сам предложил бы ему свою Лит-Лит, но… фактор шага не сделал и проиграл.

Подойдет ли Лит-Лит Фоксу или нет — Снитшейн не дал определенного ответа и тем заставил белого человека ускорить переговоры.

— Ладно! — стал вслух обдумывать положение Фокс. — Хочешь добиться — пробуй.

И громко крикнул издали:

— Хочешь за Лит-Лит десять одеял и три фунта табаку первого сорта?

Снитшейн ответил таким жестом, по которому можно было судить, что все одеяла в мире и весь табак вселенной не смогли бы вознаградить его за потерю Лит-Лит и за все ее неисчислимые добродетели. А когда фактор стал настаивать, чтобы он сказал свою цену, он холодно потребовал за дочь пятьсот одеял, десять ружей, пятьдесят фунтов табаку, двадцать кусков красной материи, десять бутылок рома, музыкальный ящик, по-

кровительство со стороны фактора и место у его семейного очага.

Джона Фокса едва не хватил удар от такой цены, и следствием этого было снижение количества одеял до двухсот и полное устранение из реестра права на пребывание у семейного очага — совершенно неслыханная вещь при браках белых людей с дочерьми индейцев. В конце концов, после трех часов торговли, они ударили по рукам. Снитшейн получал за Лит-Лит сотню одеял, пять фунтов табаку, три ружья и бутылку рома, включая и доброе покровительство фактора.

Джон Фокс все же, по его собственному мнению, передал за девушку десять одеял и одно ружье. И когда он возвращался домой — солнце уже три часа ярко блистало на северо-востоке, — ему было обидно и досадно, что Снитшейн обошел его.

Усталый, с видом победителя, Снитшейн отправился спать и застал Лит-Лит на месте преступления: она не успела выскочить из юрты.

Он многозначительно кашлянул.

— Ты видела, — сказал он. — Ты слышала все. Теперь тебе ясно, что твой отец — великий мудрец. Я устроил для тебя счастливое замужество. Запомни же мои слова и старайся следовать им. Иди, когда я прикажу тебе идти; приходи, когда

я прикажу приходить, и мы разжиреем от богатства этого большого белого человека, который глуп в своих делах.

На следующий день на складах не производилось никакой торговли. К великому удовольствию Мак-Лина и Мак-Тэвиша, Фокс откупорил перед завтраком бутылку виски, приказал дать собакам двойную порцию еды и надел свои лучшие мокасины. Шли приготовления к потлачу. Так называется у индейцев пиршество, и Джон Фокс решил ознаменовать свой брак с Лит-Лит таким потлачем, который вполне соответствовал бы ее красоте. В полдень все племя собралось на попойку. Мужчины, женщины, дети и даже собаки ели до отвала, и не было ни одного человека, даже среди случайных посетителей и проходивших мимо охотников из других, соседних племен, который не получил бы вещественного доказательства, что жених действительно очень богат.

Вся в слезах и дрожа, как лист, Лит-Лит была одета своим бородатым женихом в новое ситцевое платье, в мокасины, шитые бисером; он же набросил ей на черные как смоль волосы шелковый платок, повязал ей шею красным шарфом, вдел в уши медные серьги, дал несколько колец и повесил на нее множество различных дешевых

украшений, в том числе часы. Снитшейн едва мог владеть собой при виде всех этих подарков, но все же улучил момент и отвел дочь в сторону от гостей.

— Не в эту ночь и не в следующую, — начал он многозначительно, — но придет ночь, когда я буду кричать на берегу как ворон. Тогда ты встань, брось своего большого мужа, который глуп, и беги ко мне.

И, заметив по ее лицу, как она огорчилась, что ей придется расстаться с выпавшей на ее долю такой удивительно счастливой новой жизнью, он торопливо продолжал:

— Ничего, ничего. Твой бывший муж, который попросту дурак, придет поплакать у моей юрты. Тогда и ты тоже должна будешь поплакать; ты скажешь, что тебе живется у него плохо, что тебе многое у него не нравится и что тебя продешевили и ты больше не желаешь быть его женой до тех пор, пока он не даст еще табаку, еще одеял и еще много кой-чего другого для твоего бедного старика-отца Снитшейна. Запомни хорошенько — когда я ночью позову тебя с берега реки криком ворона, ты сейчас же должна прибежать ко мне.

Лит-Лит склонила голову, ибо ослушаться отца было для нее опасно. Она это хорошо знала. К

тому же он просил ее о таком пустяке, как эта коротенькая разлука с фактором, для которого ее возвращение составит большую радость. Она вернулась к гостям, а когда полночь стала близка, фактор разыскал ее и увел к себе среди шуток и прибауток, которые отпускали по их адресу старые индианки.

Лит-Лит скоро пришла к убеждению, что ее замужняя жизнь с главой торгового предприятия была даже лучше, чем она представляла себе. Теперь ей не нужно было таскать воду и дрова и прислуживать привередливым мужчинам своего племени. В первый раз в жизни она могла валяться в постели до самого завтрака. А какая постель! Чистая, мягкая и удобная, какой у нее никогда не было. А пища! Белая мука и испеченные из нее сухарики, горячие пироги и хлеб, да притом еще по три раза в день, — одним словом, все, что только ни захотела бы она. Такая расточительность казалась ей прямо невероятной.

Вдобавок ко всему этому фактор оказался добрым и предупредительным. Он уже схоронил одну жену и знал, когда нужно ехать с опущенными поводьями, а когда следует натянуть их.

— Лит-Лит здесь хозяйка, — многозначительно объявил он за столом на следующее после

свадьбы утро. — Как она скажет, так и будет. Понимаете?

И Мак-Лин и Мак-Тэвиш сразу это поняли. Они по опыту знали, что у их начальника рука была тяжелая.

Но Лит-Лит не злоупотребляла своим положением. До мелочей подражая во всем своему мужу, она немедленно принялась ухаживать за его подраставшими сыновьями, предоставляя им всевозможные удобства и свободу в той же мере, в какой он предоставлял свободу ей. Дети хвалили за это свою новую мать во всеуслышание; Мак-Лин и Мак-Тэвиш тоже подавали за нее свои голоса; и фактор задрал нос кверху от радости своей брачной жизни, пока, наконец, молва о ее добродетелях и о том, как доволен ею муж, не сделалась достоянием всех жителей в районе Син Рока.

Тем временем Снитшейн, которому не давали спать мечты о неисчислимых доходах, пришел, наконец, к решению, что пора действовать.

Вечером на десятый день после свадьбы Лит-Лит была разбужена карканьем ворона и поняла, что это Снитшейн поджидал ее на берегу реки. Переживая счастье, она позабыла о своем обещании, и теперь ее охватил детский страх перед

отцом. Некоторое время она пролежала в постели, дрожа от страха, не желая идти и в то же время боясь оставаться. Под конец фактор одержал молчаливую победу: его доброта, крепкие мускулы и квадратная челюсть успокоили ее, и она решила пренебречь зовом Снитшейна.

Но наутро она встала напуганная и, принявшись за свои дела, каждую минуту боялась, что вот-вот за ней придет ее отец. День тянулся долго, и она успокоилась. Побранив вслух Мак-Лина и Мак-Тэвиша за какие-то мелкие упущения по службе, Джон Фокс помог ей набраться храбрости. Она решила ни на минуту не выпускать его из виду, и, когда последовала за ним в амбар и увидела там, как он переворачивал и перебрасывал с места на место громадные тюки товаров, точно пуховые подушки, она вдруг почувствовала себя в безопасности и решила не слушаться отца. Она была в амбаре первый раз — а Син Рок был главным распределительным пунктом для целой сети отделений Компании, — и ее поразило громадное количество товаров, которые она увидела на складе. Вид всего этого и представление о той нищете, которую она пережила в юрте у Снитшейна, отбросили в сторону все ее сомнения. Разговор с пасынком еще больше укрепил ее в

принятом решении.

— Белый отец хорош? — спросила она его, и мальчик тотчас же ответил, что лучше его отца нет никого на свете.

В эту ночь ворон закаркал снова. В следующую ночь его карканье стало еще настойчивее. Оно разбудило фактора, который прислушался, а затем громко крикнул:

— Ну его к черту!

И Лит-Лит спокойно засмеялась у себя под одеялом.

Ранним ясным утром Снитшейн явился со зловещим видом, и его усадили завтракать в кухне вместе со старухой Ванидани. Он отказался есть с женщиной и несколько позже нашел своего зятя в магазине в самый разгар торговли. Он сказал, что, узнав, каким сокровищем оказалась его дочь, пришел дополучить с фактора еще несколько одеял, табаку и ружей, в особенности ружей. Он полагал, что его обсчитали, и пришел требовать справедливости. Но у фактора не оказалось ни лишних одеял, ни лишней справедливости. К тому же до него дошли слухи о том, что Снитшейн уже побывал у миссионера в Три Форксе, который убедил его, что такие браки неугодны небу и что долг отца — потребовать свою дочь обратно.

— Теперь я добрый христианин, — сказал в заключение Снитшейн, — и хочу, чтобы моя дочь была в раю.

Ответ фактора был короток и ясен. Он схватил своего тестя за шиворот и вышвырнул его без всяких разговоров за дверь.

Но Снитшейн, как змея, проскользнул через кухню в большую жилую комнату к Лит-Лит.

— Может быть, ты крепко спала последнюю ночь, когда я вызывал тебя к реке? — спросил он ее с мрачным видом.

— Нет, я просыпалась и слышала, — ответила она. Сердце у нее колотилось и готово было разорваться на части, но она овладела собой и продолжала: — И в другую ночь я слышала, и еще в первую…

А затем, полная своим великим счастьем и боясь, как бы у нее не отняли его, она вдруг с жаром и вдохновеньем заговорила о правах и положении женщины — первая лекция о новой женщине, прочитанная за 53-м градусом северной широты.

Но она даром метала свой бисер. Снитшейн пребывал еще в темноте веков. Когда она остановилась, чтобы передохнуть, он сказал с угрозой:

— Сегодня ночью я опять закаркаю, как ворон.

В эту минуту в комнату вошел фактор и во второй раз помог Снитшейну отыскать дорогу домой в юрту.

Ночью ворон каркал более настойчиво, чем обыкновенно. Всегда спавшая очень чутко, Лит-Лит слышала его и улыбалась. Джон Фокс беспокойно ворочался во сне. Затем он проснулся и еще беспокойнее заерзал на постели. Он заворчал, зафыркал, стал ругаться и кончил тем, что вскочил с кровати, вышел в соседнюю комнату, снял со стены охотничье ружье, которое оставалось заряженным дробью с тех пор, как его брал беззаботный Мак-Тэвиш.

Фактор тихонько вышел из форта и направился к реке. Карканье прекратилось. Он лег в высокую траву и стал выжидать. Прохладный воздух был пропитан окружающей его красотой, фактор положил под голову руку и задремал. А затем и заснул.

Шагах в пятидесяти от него и спиной к нему, опустив голову на колени, точно так же спал Снитшейн, ласково убаюканный тишиной и спокойствием ночи. Прошел час, а затем он проснулся и, подняв голову, стал потрясать ночной воздух горловыми криками, подражая карканью ворона.

Фактор встрепенулся, но не внезапно, как пробуждается обыкновенно дикарь, а как цивилизованный человек, с постепенным переходом от сна к бодрствованию. В сумеречной мгле он увидел в траве какой-то темный предмет и прицелился в него. Карканье раздалось во второй раз, и тогда он спустил курок. Кузнечики прекратили свое стрекотанье, птицы перестали перекликаться, и карканье ворона прервалось и замерло в наступившей тишине.

Тогда Джон Фокс побежал посмотреть, во что он стрелял. Его пальцы нащупали копну жестких волос, и он круто повернул лицо Снитшейна кверху и посмотрел на него при свете звезд. Он знал, что дробь рассыпается веером при выстреле из охотничьего ружья с расстояния в пятьдесят шагов, и потому не сомневался, что только задел Снитшейну плечи и ту часть тела, которая находится ниже спины. И Снитшейн знал, что фактор знает это, но не подал вида.

— Что ты тут делаешь? — крикнул ему фактор. — Почему твои старые кости не в постели?

Снитшейн гордо выпрямился перед ним, невзирая на боль от дроби, засевшей у него под кожей.

— Старые кости не могут больше спать, — торжественно ответил он. — Я оплакиваю свою дочь,

потому что моя дочь Лит-Лит хотя еще и жива, но душой уже умерла и, без сомнения, отправится в ад белого человека.

— Так ты лучше поплачь вон там, подальше от берега, чтобы тебя не было слышно в форте, — проворчал Джон Фокс, поворачиваясь к нему спиной, — а то ты так громко ревешь, что никому не даешь спать по ночам.

— Сердце мое болит, — продолжал Снитшейн, — дни и ночи мои черны от печали.

— Черны, как ворон? — сказал Джон Фокс.

— Черны, как ворон, — ответил Снитшейн.

И с тех пор больше не повторялось карканье ворона на берегу. Лит-Лит с каждым днем полнеет и очень счастлива. У сыновей Джона Фокса от первой жены, прах которой мирно покоится на вершине дерева, появились сестры. Старый Снитшейн никогда не заходит в форт и по целым часам тонким старческим голосом жалуется на неблагодарность всех детей вообще и своей дочери Лит-Лит в частности. Он исполнен горечи от сознания, что его так нагло провели и что даже сам Джон Фокс отказывается от своего прежнего заявления, будто бы он переплатил за Лит-Лит десять одеял и одно ружье.

1903

Джек Лондон
Тысяча дюжин

Перевод Михаила Чехова.

Дэвид Расмунсен отличался настойчивостью и, подобно многим великим людям, был человеком одной идеи. Поэтому, когда по всему свету раззвонили о находке золота на Севере, он решил заработать там кое-что на продаже яиц и всю свою энергию употребил на выполнение этого предприятия. Он все высчитал до последней мелочи, и предприятие сулило ему большие доходы. В Доусоне яйца продавались по пяти долларов за дюжину, и это было достаточной предпосылкой для того, чтобы начать дело. Отсюда неопровержимо вытекало, что только за одну тысячу дюжин яиц в этом царстве золота можно было получить пять тысяч долларов.

С другой стороны, надо было принять в расчет и издержки, и он добросовестно вычислил их, так как был человеком осторожным, практически-прозорливым, со здравым умом и трезвым духом, никогда не согревавшимся фантазией. Считая по пятнадцати центов за дюжину на месте, сумма

на покупку всех яиц будет составлять сто пятьдесят долларов — просто пустяк в сравнении с тем колоссальным барышом, который можно получить при продаже. И если предположить даже с самым невероятным преувеличением, что перевозка этих яиц и самого себя потребует восьмисот пятидесяти долларов, то все-таки останется чистого дохода четыре тысячи. Когда будет продано последнее яйцо, мешок Дэвида Расмунсена наполнится золотым песком.

— Вот видишь, Альма, — высчитывал он перед своей женой, а в это время вся столовая была завалена чуть не до потолка картами, официальными путеводителями и спутниками по Аляске, — видишь, настоящие расходы начнутся только с Дайэ. В первом классе проезд туда стоит пятьдесят долларов. Теперь: от Дайэ до озера Линдерман носильщики-индейцы возьмут за кладь по двенадцати центов за фунт, это составит двенадцать долларов за сотню, или сто двадцать за тысячу. Предположим, я повезу полторы тысячи фунтов; за них возьмут с меня сто восемьдесят долларов — ну, пусть будет двести! Я уже говорил с одним приезжим из Клондайка, и он сообщил мне, что там можно купить лодку для перевозки яиц за триста долларов. Он же говорил мне, что я смогу

захватить двух пассажиров и взять с каждого за переезд по полутораста долларов, что вполне окупит расход на покупку лодки. К тому же эти пассажиры помогут мне в пути править лодкой. Затем… впрочем, все. Выгружать на берег буду в Доусоне. А ну-ка, сколько теперь всего вышло?

— Пятьдесят долларов от Сан-Франциско до Дайэ, двести от Дайэ до озера Линдерман, пассажиры оплатят лодку, итого двести пятьдесят долларов, — ответила жена.

— Добавь сюда еще сотню на костюм и дорожные расходы, — весело продолжал он. — Остается пятьсот на непредвиденные расходы. А какие же могут быть непредвиденные расходы?

Альма пожала плечами и подняла брови. Если эта громадная Северная страна способна поглотить ее мужа с тысячью дюжин яиц, то, конечно, соответственно должны быть и непредвиденные расходы. Она подумала об этом, но не сказала ничего. Она слишком хорошо знала Дэвида Расмунсена, чтобы осмелиться возражать.

— Принимая в соображение всякие задержки в пути, удвоим время! Итого, значит, понадобится два месяца. Ты только подумай об этом, Альма! Четыре тысячи в два месяца! А тут работаешь, не разгибая спины, за какие-нибудь сто долларов в

месяц! Да-с, тогда мы развернемся, в каждой комнате у нас будет гореть газ, мы оденемся, доходы с нашего дома будут окупать все налоги, страховку и воду, кое-что останется еще и на удовольствия. И кто знает, быть может, это для меня случай выдвинуться и стать миллионером! Ну, скажи, Альма, тебе не кажется, что я человек все-таки очень умеренный в своих желаниях?

И Альма не смела думать иначе. Ведь ее родственник, хотя, правда, отдаленный, которого все считали легкомысленным и ни к чему не способным и держали в черном теле, вдруг возвратился из этой волшебной Северной страны, привезя с собой золотого песка на сто тысяч долларов, не говоря уже о том, что оказался собственником половины тех приисков, на которых этот песок был добыт.

Поставщик Дэвида Расмунсена был немало удивлен, когда застал его у себя в лавке взвешивавшим яйца на весах, стоявших на прилавке, да и сам Расмунсен удивился не менее его, когда узнал, что дюжина яиц весит полтора фунта, — следовательно, во всей тысяче дюжин яиц будет тринадцать центнеров весу! Ого-го! Куда же теперь девать одежду, постельные принадлежности, посуду, не говоря уже о съестных припасах,

которыми, весьма возможно, придется запасаться по пути? Все его расчеты, таким образом, оказывались неверными, и он собрался было приняться за новые вычисления, как вдруг его осенила блестящая идея: взвесить яйца помельче.

«Будут они велики или малы, — подумал он, — от этого дюжина яиц не станет полдюжиной».

И вот оказалось, что в дюжине маленьких яиц было весу фунт с четвертью. После этого по всему Сан-Франциско забегали надоедливые комиссионеры, и все торговые фирмы и кооперативы были поставлены в тупик от такого внезапного спроса на яйца, и притом на такие, дюжина которых весила бы не более одного фунта с четвертью.

Расмунсен заложат свой дом за тысячу долларов, отправил супругу к ее родственникам, бросил службу и поехал на Север. Чтобы не выйти из своего бюджета, он пошел на компромисс и взял билет второго класса, ехать в котором, вследствие наплыва пассажиров, было хуже, чем в третьем. К концу лета, бледный и разбитый, он выгрузился вместе со своими яйцами на берегу моря в Дайэ. Но ему не удалось отдохнуть здесь, чтобы восстановить свои силы. Первое же свидание с Чилкутской конторой по перевозке грузов ужаснуло его, и холодок пробежал у него

по спине. С него потребовали по сорока центов за каждые двадцать восемь миль, и пока он торговался и не соглашался, цена поднялась до сорока трех. Пятнадцать худощавых индейцев принялись было грузить его ящики на подводы, но опять сбросили их на землю ввиду того, что какой-то богач из Скагуэя, в грязной рубашке и рваных штанах, потерявший лошадей на Белом перевале и теперь делавший последние отчаянные попытки попасть к себе через Чилкут, предложил им по сорока семи.

Расмунсен был тверд, как кремень, и нашел носильщиков по пятидесяти центов, которые через два дня доставили в целости его яйца к озеру Линдерман. Но ведь пятьдесят центов за фунт — это составляет уже по тысяче долларов за тонну, и, таким образом, его полторы тысячи долларов, предназначенные на расходы, пришли уже к концу, и он бродил по берегу, испытывая муки Тантала при виде того, как ежедневно снаряженные лодки отправлялись одна за другой в Доусон. А затем беспокойство вдруг овладело всем тем местом, где строились лодки. Люди неистово заработали с раннего утра и до позднего вечера, напрягая все свои силы, и с безумной поспешностью стали конопатить, вколачивать гвозди и

просмаливать лодки. Объяснение этому нетрудно было найти. С каждым днем снеговая линия все ниже и ниже спускалась с голых, безжизненных склонов горных масс, заморозки следовали за заморозками, неся с собой снег и крупу, а в заводях и тихих местах уже стал появляться ледок, который с каждым часом становился все крепче. Каждое утро изможденные трудом люди обращали свои бледные лица в сторону озера, чтобы посмотреть, не идет ли лед, потому что появление льда предвещало гибель их надеждам — надеждам на то, что они успеют проскользнуть по быстрой реке, соединяющей озера, раньше, чем начнется ледостав.

Разочаровало Расмунсена также и то, что он наткнулся на трех конкурентов в яичном деле. Правда, один из них, маленький немец, уже разорился и с потерянным видом вез обратно свой непроданный товар. У двух же других лодки были почти готовы, и они ежедневно взывали к богу торговцев и купцов, чтобы он удержал еще хоть на один денек железную длань погоды. Но железная длань опускалась ниже и ниже. Люди стали замерзать в снежных буранах, уже разражавшихся над Чилкутом, и Расмунсен не замедлил отморозить себе пальцы на ногах. Ему,

впрочем, посчастливилось получить место для себя и для своего груза в только что спущенной на воду лодке, но с него потребовали за это двести долларов, а у него этих денег не было.

— Я думаю, что вам лучше было бы подождать, — сказал швед-судостроитель, который давно уже освоился с клондайкскими порядками и мог считаться здесь человеком вполне осведомленным. — Подождите немного, и я построю для вас великолепный бот.

С таким ничем не гарантированным обещанием Расмунсен вернулся пешком к озеру Кратер и там случайно наткнулся на двух газетных корреспондентов, которые ехали из Стон-Хауза и уже умудрились растерять весь свой несложный багаж.

— Да-с, — заговорил он с ними не без важности. — Я привез на Линдерман тысячу дюжин яиц. Мой бот скоро будет готов. Вы только подумайте, как мне повезло! А ведь лодки сейчас нарасхват! Теперь за них потребуют уйму денег…

Услышав эти слова, корреспонденты ухватились за него, замахали перед его глазами бумажными долларами, зазвенели золотом, прося его захватить их с собою. Но он и слышать об этом не хотел. Они стали его умолять, и, наконец,

он всемилостивейше согласился взять их с собой за плату по триста долларов с каждого. Тогда они вручили ему вперед задаток. И пока они писали в свои почтенные органы корреспонденции о добром самаритянине с его грузом в двенадцать тысяч яиц, этот добрый самаритянин уже спешил обратно к шведу на озеро Линдерман.

— Эй, вы! — крикнул он ему, побрякивая золотом, полученным от корреспондентов, и жадными глазами поглядывая на уже готовую лодку. — Я беру ее!

Швед только тупо посмотрел на него и отрицательно покачал головой.

— Сколько вам предложил мой предшественник? Триста! Хорошо, вот вам четыреста.

Он стал совать шведу в руки деньги, но тот повернулся к нему спиною.

— Это не пройдет… — ответил он. — Я уже сговорился… Вы должны подождать.

— Хотите шестьсот? Это мое последнее слово. Хотите — берите, хотите — нет. Скажите ему, что передумали.

Швед погрузился в размышления.

— Ладно… — сказал он наконец.

И когда Расмунсен уходил от него, то слышал, как швед старался с помощью немногих

известных ему английских слов объяснить присутствовавшим, почему он передумал.

Где-то на трудном переходе около Глубокого озера немец поскользнулся и сломал себе ногу; распродав свои яйца по доллару за дюжину, он нанял на вырученные деньги носильщиков-индейцев, и они понесли его на руках в Дайэ. Но зато на следующее утро, когда Расмунсен вместе со своими корреспондентами отправился, наконец, в далекий путь, два других его конкурента следовали за ним по пятам.

— Сколько везете? — крикнул один из них, маленький, худощавый уроженец Новой Англии, со своей лодки.

— Тысячу дюжин! — горделиво ответил ему Расмунсен.

— Ого! Но держу пари, что я гораздо больше выручу за свои восемьсот, чем вы за всю вашу тысячу!

Корреспонденты предложили Расмунсену для пари деньги, но он отказался. Тогда уроженец Новой Англии предложил пари другому конкуренту, загорелому сыну морей, бывшему раньше матросом, который обещал им всем показать, как надо править лодкой в опасных случаях. А этот опасный случай он сам же навлек на

свою голову, поставив большой брезентовый четырехугольный парус, благодаря которому при каждом прыжке по волнам нос у его лодки глубоко зарывался в воду. Он вышел из озера Линдерман первым, но сразу же напоролся перегруженной лодкой на камни, торчавшие из белой пены у начала пролива, соединяющего оба озера. Расмунсен и уроженец Новой Англии, у которого также были на борту два пассажира, предпочли выгрузить свой багаж на берег, перенести кладь на своих плечах по суше, а пустые лодки перетянуть через быстрину прямо в озеро Беннет.

Это было узкое и глубокое озеро, в двадцать пять миль длиной, представлявшее узкое ущелье между горами, сквозь которое, не переставая ни на минуту, дули жесточайшие ветры. Расмунсен расположился привалом на песчаном берегу у самого входа в озеро, где было уже много людей и лодок, отправлявшихся на Север, прямо в самые зубы полярной зимы. Когда он проснулся рано утром, с юга дул резкий ледяной ветер, который становился еще резче от соприкосновения с покрытыми снегом горами и ледниками, и этот южный ветер был холоднее всякого северного. Но день был ясный, и Расмунсен увидел, что уроженец Новой Англии уже отчалил, подняв

свой парус, и огибал ближайший мыс. Вслед за ним лодка за лодкой стали отправляться в путь, и корреспонденты были вне себя от радости.

— Мы догоним его еще до Оленьего перевала, — убеждали они Расмунсена и кончили тем, что сами побежали ставить парус.

Таким образом, и «Альма» впервые на своем веку забороздила своим носом начавшую уже застывать поверхность озера.

Расмунсен всю свою жизнь боялся воды, но теперь налег на руль, сморщив при этом лицо и стиснув крепко зубы. Его тысяча дюжин яиц была в лодке, перед его глазами, заботливо укрытая багажом корреспондентов, и тем не менее у него вставали неотвязные опасения за его уютный домик и за проклятую закладную в тысячу долларов.

Было адски холодно. То и дело ему приходилось вытаскивать из воды руль и заменять его запасным, а его пассажиры сбивали с руля лед. Куда бы ни залетали брызги, они тотчас же превращались в лед, и погружавшийся в воду бушприт покрылся ледяными сосульками. «Альма» с трудом пробиралась по волнам, пока, наконец, на дне ее не стали расходиться швы, и корреспондентам пришлось теперь, забыв о всяких пари,

скалывать лед на дне лодки и выбрасывать его за борт. Но медлить нельзя было. Началась безумная игра вперегонки с надвигавшейся зимой. Лодки неслись с отчаянной быстротой.

— Т-т-т-тепперь уж нам не остановиться! — пробормотал один из корреспондентов, дрожа от холода больше, чем от страха. — Даже если бы пришлось погибнуть…

— Верно, — отвечал другой и, чтобы подбодрить Расмунсена, скомандовал ему: — Держите на середину, старина!

Расмунсен ответил гримасой, казавшейся идиотской на обмерзшем лице. Берега, закованные в ледяную броню, были покрыты белой пеной; нужно было для безопасности держаться середины озера, избегая по возможности крупных волн. Спустить парус значило дать волнам опрокинуть лодку, а самим утонуть в ледяной воде. Они проходили мимо лодок, прибитых к скалам, а один раз увидели, как небольшое суденышко, шедшее позади них с двумя пассажирами, потерпело аварию в бурунах: его завертело и перевернуло вверх дном.

— Г-глядите в оба, старина! — крикнул, стуча зубами, корреспондент.

Расмунсен осклабился обмерзшими губами

и застывшей рукой приналег на руль. Набегавшие волны били в широкую корму «Альмы» с такой силой, что проталкивали ее далеко вперед, причем парус выпячивался в обратную сторону, освободившись от ветра, и хлопал в воздухе. Расмунсену приходилось напрягать все свои силы, чтобы осадить лодку. Улыбка застыла у него на лице, и корреспондентам жутко было на него смотреть. Они с шумом пронеслись мимо огромного камня, торчавшего из воды ярдах в ста от берега. С его омываемой волнами вершины им дико кричал какой-то человек, стараясь перекричать рев непогоды. Но «Альма» скользнула мимо, и вскоре скала эта стала казаться маленьким пятнышком среди бушевавших вокруг нее волн.

— А ведь это янки из Новой Англии! — вдруг воскликнул один из корреспондентов. — А где же матрос?

Расмунсен поглядел через плечо на видневшийся вдалеке четырехугольный парус. Он заметил, как парус подпрыгивал на серой поверхности озера, и чуть не целый час затем наблюдал, как он все вырастал и вырастал. Значит, матрос спасся и теперь старается наверстать потерянное время.

Оба корреспондента перестали скалывать лед и стали следить за матросом. Двадцать миль по

озеру Беннет уже остались позади, — достаточное пространство для того, чтобы волны могли разгуляться на просторе и подскакивать чуть не до самых небес! Точно морской бог, погружаясь в воду и взлетая, мимо них промчался матрос. Громадный парус, казалось, поднимал его лодку на гребни волн и затем бросал со всего размаха в разверзшуюся пучину.

— И волны его не берут!

— П-п-подождите, он еще нырнет!

И почти в этот момент черный брезентовый парус вдруг исчез из глаз за громадной волной. Затем прокатилась новая волна и еще волна, но лодка больше не показывалась. «Альма» промчалась мимо. На поверхности были видны плававшие в беспорядке весла и ящики. Высунулась из воды чья-то рука, затем показалась лохматая голова.

Некоторое время все молчали. Когда же близко вырисовался противоположный берег озера, то волны стали хлестать через борт с такой настойчивостью, что корреспонденты перестали скалывать лед и начали вычерпывать воду ведрами. Не помогло и это, и потому после долгих и громких препирательств с Расмунсеном они самовольно принялись выбрасывать багаж за борт.

Мука, ветчина, консервы, фасоль, одеяла, печка, канаты, всякие мелочи — одним словом, все, что только подвернулось под руку, полетело в воду. Лодка тотчас же почувствовала облегчение, стала меньше зачерпывать воду и получила некоторую устойчивость.

— Не троньте! — строго крикнул Расмунсен, когда они взялись за верхний ящик с яйцами.

— Подите к черту! — последовал ответ диким, дрожащим голосом.

За исключением своих заметок, негативов и фотографических аппаратов, корреспонденты пожертвовали уже всем своим достоянием. Поэтому один из них наклонился, вцепился в ящик с яйцами и стал развязывать веревку.

— Бросьте! Говорят вам, не троньте!

Расмунсен вытащил револьвер и, налегая локтем на руль, прицелился. Корреспондент в это время стоял на поперечной банке[53], покачиваясь вперед и назад, лицо его было искажено безмолвным гневом.

— Боже мой!.. — вдруг воскликнул другой корреспондент, покатившись на дно лодки.

Пока корреспондент спорил с Расмунсеном,

---

[53] notes: 53
Банка — сиденье для гребцов на шлюпке.

«Альма» была подхвачена огромной волной и закружилась. Парус захлопал, рея сорвалась, ударила спорившего корреспондента по спине и сбросила его в воду. Мачта тоже рухнула за борт, увлекая за собой парус. Лодка сбилась с курса, ее стали заливать волны, и Расмунсен, схватив ведро, бросился вычерпывать воду.

В следующие за тем полчаса несколько других небольших лодок, таких же размеров, как у Расмунсена, тоже попали в бурун, охваченные паникой. А затем вдруг откуда-то появилась десятитонная баржа, и лодкам грозила опасность столкнуться с ней.

— Дай дорогу! — завопил Расмунсен. — Дай дорогу!

Но низкий борт лодки уже коснулся тяжелой баржи, и оставшийся в живых корреспондент улучил момент и вскарабкался на нее. Расмунсен, как кошка, переполз по ящикам с яйцами к носу «Альмы» и закоченевшими от холода пальцами стал связывать обрывки веревок.

— Проходи живей! — заорал ему рыжебородый человек с баржи.

— У меня здесь тысяча дюжин яиц! — закричал ему в ответ Расмунсен. — Возьмите меня на буксир. Я заплачу вам!

— Проходи живей! — проревели хором с баржи.

Громадный пенистый гребень налетел сзади, перекатился через баржу и чуть не потопил «Альму». Люди на барже заволновались и бросились к парусам, осыпая проклятиями лодчонку. Расмунсен, отвечая ругательствами, принялся вычерпывать воду. Упавшие мачта и парус, точно морской якорь, кое-как удерживали его лодку и давали ему возможность бороться с волнами.

Три часа спустя, озябший, обессиленный, но все еще продолжая вычерпывать воду, он добрался, наконец, до обледеневшего берега близ Оленьего перевала. Два человека — правительственный курьер и какой-то метис-коммерсант — выволокли его на песок, спасли его груз и помогли ему вытащить «Альму» на берег. Они прибыли сюда из Питерборо и дали ему на ночь убежище в своей палатке, вокруг которой завывал ветер. На следующее утро они отправились далее, а он предпочел остаться около своих яиц и не поехал с ними. После этого слава о нем, как об обладателе тысячи дюжин яиц, стала распространяться по всему краю. Золотоискатели, которым удалось проехать далее еще до полного ледостава, сообщили о его предстоящем прибытии. Седовласые

старожилы Сороковой Мили и Сёркл-Сити, хилые люди с испорченными зубами и расстроенными желудками, при одном его имени невольно вспоминали те далекие дни, когда они ели цыплят и зелень. Дайэ и Скагуэя заинтересовались его существованием и от всякого вновь прибывшего требовали сведений, где именно он находится, а Доусон — этот золотой Доусон, давно уже забывший вкус омлета, — волновался и беспокоился и требовал от каждого, даже случайно прибывшего посетителя хоть одного словечка о человеке, везущем яйца.

Расмунсен об этом ничего не знал. На следующий после аварии день он кое-как починил «Альму» и отправился далее. С озера Тагиш ему навстречу задул жестокий восточный ветер, но он достал весла и мужественно приналег на них, хотя его постоянно относило течением назад, и ему приходилось непрерывно скалывать с бортов лодки лед. Как это и полагается в той стране, в Уинди Арм он был выброшен на берег; на озере Тагиш его три раза заливало водою и прибивало к берегу, а на озере Марш затерло льдами. «Альма» окончательно потерпела крушение среди льдин, но яйца все-таки остались невредимыми. Расмунсен все их перетащил по льду, один, за две мили

от берега и там закопал в укромном местечке, на которое потом, много лет спустя, указывали знавшие об этом люди.

Теперь между ним и целью его путешествия — Доусоном — оставалось еще пятьсот миль, а водный путь был уже скован льдом. Но с выражением особой решимости на лице Расмунсен бросил все и отправился назад по озерам пешком. Что он перенес на этом длинном переходе, не имея при себе ничего, кроме легкого одеяла, топора и горсти бобов, обыкновенному смертному понять не дано. Только тот, кто хоть раз был захвачен метелью на Чилкуте, или искатель приключений, затерявшийся за Полярным кругом, могли бы это понять. По пути врач отнял ему два отмороженных пальца на ноге, и все-таки он не падал духом, и мы видим его сначала в качестве судомойки на пароходе «Павона» по пути к Пюджет-Саунд, а затем в качестве кочегара на почтовом пакетботе по пути в Сан-Франциско.

Теперь это был уже угрюмый, нечесаный человек, когда его снова увидели ковылявшим по натертому полу Народного банка, куда он явился, чтобы совершить вторую закладную на свой несчастный дом. Его впалые щеки просвечивали сквозь давно небритую бороду, и глубоко прова-

лившиеся глаза светились холодным блеском. Его руки, огрубевшие от непривычной работы и от влияния непогоды, были черными от грязи и угольной пыли. Все время он говорил только о яйцах, льдинах, ветре и волнах; но когда ему отказались выдать под дом более одной тысячи, то он стал лепетать какие-то бессвязные слова, главным образом о цене на собак, о стоимости корма для них и о таких вещах, как лыжи, полярная обувь и сани. Ему прибавили пятьсот долларов сверх второй тысячи, чего, в сущности, не стоил его дом, и вздохнули с облегчением, когда, наконец, он подписал закладную и вышел из банка.

Две недели спустя он опять перебирался через Чилкут, но на этот раз уже на трех санях, по пяти собак в упряжке. Передними санями он правил сам, а на остальных сидели два индейца. На озере Марш они откопали из-под снега яйца и погрузили их на подводы. Но далее не было санного пути. Расмунсен оказался первым, двинувшимся в этом году к Северу на санях; на его долю выпало проложить по снегу первый след и устранить с пути навороченные во время ледостава глыбы. Он часто замечал позади себя дымки чьих-то лагерей, тонкими струйками поднимавшиеся кверху в неподвижном воздухе, и удивлялся,

почему другие путники не присоединяются к нему, чтобы ехать вместе. Но он был здесь чужим и ничего не понимал. Не понимал он и сопровождавших его индейцев, когда они старались ему что-то объяснить. Они считали путь очень утомительным, но когда пробовали возражать хозяину и отказывались утром сниматься с лагеря, то он принуждал их к этому, угрожая револьвером.

Когда он провалился сквозь лед близ Белого Коня и вновь отморозил себе ногу, еще не совсем зажившую от прежнего обморожения, то индейцы стали питать надежду, что на этот раз он сляжет. Но он пожертвовал своим одеялом и, обмотав им ногу так плотно и толсто, что она стала походить на ведро, все-таки продолжал свой путь на передних санях. Это было тяжелое мученичество, и индейцы прониклись к нему уважением, хотя тайком от него постукивали себя пальцами по лбу и многозначительно покачивали головой. Один раз ночью они попытались бежать от него, но посланные им вдогонку пули заставили индейцев вернуться. После этого чилкутские дикари сговорились убить его; но он спал всегда чутко, как заяц, одним глазом. Поэтому, спал ли он или бодрствовал, им одинаково не представлялось случая исполнить свое намерение. Часто

они старались втолковать ему, что означали дымки, поднимавшиеся в тылу, но он не понимал их и стал относиться к ним еще подозрительнее, чем раньше. И когда они сердились и начинали выказывать неповиновение, то всякий раз он охлаждал их горячие головы тем, что выхватывал револьвер и направлял на них дуло.

Так пробирался он вперед — с индейцами, замыслявшими заговор, с одичавшими собаками, среди трудностей пути, надрывавших сердце. Он вел постоянную борьбу с индейцами, чтобы удержать их при себе; сражался с собаками, чтобы отогнать их от яиц; вел борьбу со льдинами, холодами и с болью в ноге, которая мешала ему двигаться. Едва успевала зарубцеваться его рана, как мороз вновь растравлял и разъедал ее, воспаление увеличивалось, и опухоль стала, наконец, величиной с кулак… По утрам, когда он ступал на ногу, голова у него кружилась от боли, и он едва не падал в обморок; но позднее, среди дня, боль утихала, чтобы возобновиться, когда останавливались на ночлег и он пытался заснуть. И все-таки он, бывший до тех пор простым счетоводом и всю свою жизнь просидевший за конторкой, находил в себе мужество выдерживать все это до тех пор, пока совсем не загнал своих индейцев и не

замучил окончательно собак. Ему и в голову не приходило, как много он работал и сколько ему приходилось страдать. Он был человеком идеи, и раз он уверовал в нее, то всецело отдался в ее власть. Его сознание было приковано к Доусону и к тысяче дюжин яиц, и эти два представления его «я» соединяло в одну золотую точку: пять тысяч долларов. Только об этом и мог думать. Во всем остальном он действовал, как автомат. Он был ко всему безучастен. Все, что он делал, исполнялось им с точностью заведенной машины; так же работала и его голова. Поэтому выражение его лица окаменело, и индейцы стали побаиваться его, этого странного бледнолицего человека, который сумел превратить их в рабов и заставил быть соучастниками его безумных поступков.

На озере Ле-Бардж погода резко переменилась. Холод дошел до высшего предела на нашей планете; термометр показывал шестьдесят с лишним градусов ниже нуля. Работая все время с открытым ртом, чтобы легче было дышать, Расмунсен простудил свои легкие, и весь остаток пути его мучил сухой, лающий кашель, который был для него особенно невыносим, когда на стоянках приходилось дышать дымом костра или когда нужно было сверх меры напрягаться. На реке Тридца-

той Мили он наткнулся вдруг на полынью, на которой только кое-где виднелись ненадежные ледяные переходы, да у самых берегов держался еще узенький ледок, обманчивый и коварный. Рассчитывать на эти узкие полосы льда было нельзя, но он не желал ни с чем считаться, все еще пуская в ход револьвер, когда индейцы отказывались ему повиноваться. По ледяным переходам, присыпанным снегом, еще можно было кое-как перебираться, если принять меры предосторожности, и вот стали переправляться по ним на лыжах, держа в руках длинные палки, чтобы в случае провала удержаться на них и не утонуть. Перейдя сами, манили к себе собак. И при одном из таких переходов, когда вместо льда оказалась замаскированная выпавшим снегом полынья, один из индейцев погиб в ней. Он быстро пошел ко дну, и стремительным потоком его унесло под лед.

В эту же ночь, воспользовавшись тем, что светила луна, сбежал от Расмунсена и другой его индеец. Напрасно Расмунсен нарушал молчание ночи выстрелами из револьвера: это выходило у него быстро, но не очень метко. Тридцать шесть часов спустя индеец прибежал к полицейскому посту у реки Большого Лосося. А затем

переводчик так докладывал своему удивленному начальству.

— Там… там… там какой-то странный человек… как это по-вашему?.. Ну, человек, лишившийся головы! Как? Да, да! Сумасшедший, сумасшедший! Вот именно! Все, понимаете ли, говорит про яйца, яйца, яйца… Он скоро придет сюда.

И действительно, через несколько дней явился туда и сам Расмунсен. Трое саней у него были привязаны друг к другу гуськом, и все собаки впряжены в одну общую упряжь. Так ехать было неудобно, и в тех местах, где дорога была плоха, ему приходилось каждые сани в отдельности выволакивать собственными силами, для чего требовалось очень много времени, не говоря уже о геркулесовых усилиях. Казалось, что он не слушал, когда полицейское начальство сообщало ему, что его индеец уже ушел по направлению к Доусону и, вероятно, находится теперь на перевале, на полпути между Селкерком и Стюартом. Не заинтересовался он и тем, что сама полиция расчистила перед ним путь вплоть до самого Пелли, потому что уже привык относиться ко всем превратностям судьбы, благоприятным и дурным, с фаталистической покорностью. Но когда ему сообщили, что в Доусоне голод усилил-

ся до невероятных размеров, он вдруг широко улыбнулся, тотчас же запряг собак и двинулся в дальнейший путь.

Но только на этой последней стоянке и объяснилась для него тайна появлявшихся позади него на горизонте дымков. Когда было объявлено у Большого Лосося, что дорога уже накатана полицией до самого Пелли, то дымки позади сейчас же исчезли. Этого известия только и ожидали. Согнувшись около своего одинокого костра, Расмунсен с грустью увидел, как мимо него стали пролетать одни сани за другими. Первыми промчались курьер и метис, которые помогли ему выбраться на берег озера Беннет; затем на двух санях почта, направлявшаяся в Сёркл-Сити; а потом потянулись всякого рода люди, ехавшие в Клондайк. Все эти люди и собаки были сыты и здоровы, тогда как у Расмунсена собаки были истощены до такой степени, что походили на скелеты, обтянутые кожей. Люди, от костров которых шел в свое время дымок, продвигались вперед не спеша, только через два дня на третий, и берегли свои силы для того, чтобы сразу же ринуться в путь, как только полиция наладит дорогу; он же, не зная этого, каждый день то проваливался, то карабкался наверх, с трудом продвигаясь вперед,

и понапрасну терзал и обессиливал своих собак.

Сам он по-прежнему оставался неукротимым. Все эти сытые, свежие люди любезно благодарили его за то, что он для общей пользы потратил столько усилий, прокладывая путь, — благодарили его горячо, но все же не скрывали от него своих улыбок во все лицо и не скупились на насмешки; и теперь, когда он понял, в чем дело, ему оставалось только молчать. Он даже не испытывал горечи. Да и стоило ли? Ведь факт остается фактом, а идея — идеей. Ведь и сам он и его тысяча дюжин яиц были все-таки здесь; а там, вдалеке, ждал Доусон.

Да, задача его нисколько не изменилась.

У Малого Лосося вышла вся провизия для собак; они забрались в его личные запасы и съели их целиком; начиная с Селкерка, ему пришлось поддерживать свои силы одними бобами, грубыми и тяжелыми для желудка, и у него каждые два часа так схватывало живот, что он корчился от боли. Хотя правительственный агент в Селкерке и прибил на дверях почты объявление, гласившее о том, что в течение двух лет ни одному пароходу не удалось из-за льда подняться вверх по Юкону, и потому цена на съестные припасы поднялась выше всякой меры, тем не менее он предложил

Расмунсену произвести с ним обмен: за каждое яйцо он предлагал ему по чашке муки. Расмунсен ответил отказом и отправился далее. Где-то на задворках ему удалось купить замороженную лошадиную шкуру для своих собак. Лошади были ободраны еще чилкутскими погонщиками, а остатки от туш и отбросы были употреблены в пищу индейцами. Он и сам попробовал было пожевать эту кожу, но шерсть от нее стала застревать у него в ранках, которыми был усеян весь его рот от бобов, и он принужден был отказаться от этой пищи.

Здесь, в Селкерке, ему пришлось столкнуться с первыми беглецами из Доусона, напуганными голодом, а затем они стали попадаться ему на пути уже целыми толпами; у всех был жалкий, изможденный вид.

— Нечего есть! — говорили все они в один голос. — Нечего есть, и достать негде! Каждый бережет последнюю крошку для себя самого. Мука — по два доллара за фунт, и негде ее купить.

— А яйца?

Кто-то ответил:

— По доллару за штуку, да где их взять-то?

Расмунсен произвел быстрые вычисления.

— Двенадцать тысяч долларов! — сказал он

вслух.

— Вы о чем? — переспросил его собеседник.

— Так, ничего… — ответил он и погнал собак вперед.

Когда он прибыл к реке Стюарт, в восьмидесяти милях от Доусона, у него пало сразу пять собак, а остальные еле передвигали ноги. Он и сам едва тащился, напрягая последние свои силы. И все-таки он делал по десяти миль в день. Его лицо и нос, много раз отмороженные, стали темно-кровавого цвета. На него было жутко смотреть. Большой палец, отделенный в рукавице от прочих пальцев, был тоже отморожен и причинял ему сильнейшую боль. На ноге оставалась по-прежнему повязка, и странная боль появилась в голени.

На Шестидесятой Миле кончилась последняя порция бобов, которые он давно уже ел по счету, и все-таки он упорно отказывался от яиц. Ему совершенно не приходило в голову, что он мог их есть, и он шел, спотыкаясь и падая, все вперед и вперед. У Индейской реки какой-то добродетельный старожил подкрепил, наконец, и его самого, и его собак свежей олениной, а в местечке Энсли он почувствовал полную уверенность в том, что с лихвою вознаградит себя за все свои

испытания, так как, находясь в пяти часах пути от Доусона, он узнал, что сможет получить по доллару с четвертью за каждое привезенное им с таким трудом яйцо.

С сильно бьющимся сердцем и дрожащими коленями он стал подниматься на крутой берег, на котором были расположены бараки Доусона. Но собаки так устали, что он принужден был дать им немного передохнуть, а сам в изнеможении оперся на палку. Какой-то статный мужчина вразвалку проходил мимо него в громадной медвежьей шубе. Он с любопытством поглядел на него, затем остановился и изучающим взглядом окинул собак и трое привязанных друг к другу саней.

— Что вы везете? — спросил он.

— Яйца, — хрипло ответил Расмунсен голосом, немногим отличавшимся от шепота.

— Яйца? Да что вы говорите? Неужели?

От радости он даже запрыгал на месте, как сумасшедший, а затем пустился в какой-то воинственный пляс.

— И все это одни только яйца? — переспросил он.

— Одни яйца.

— Значит, вы и есть тот самый человек, везу-

щий яйца, о котором здесь так много говорили?

Он ходил вокруг Расмунсена и оглядывал его со всех сторон.

— Нет, вправду, — допытывался он, — вы действительно тот самый человек?

Расмунсен не знал точно, о ком его спрашивали, но, предполагая, что речь шла именно о нем, подтвердил это. Человек немного успокоился.

— А почем вы рассчитываете их здесь продавать? — спросил он с осторожностью.

Расмунсен сразу приосанился.

— По полтора доллара, — ответил он.

— Идет, — тотчас согласился человек. — Отсчитывайте дюжину!

— Я… я ведь это полтора доллара за штуку, — смутился Расмунсен.

— Ну, разумеется! Я не глухой, слышал. Давайте две дюжины. Вот вам в уплату золотой песок!

Человек вытащил здоровенный мешок с золотом, величиною с добрую колбасу, и небрежно постучал им о палку. Расмунсен вдруг почувствовал странную дрожь в желудке, щекотанье в ноздрях и едва мог преодолеть в себе желание сесть и заплакать. Но вокруг стала собираться любопытная толпа, и со всех сторон посыпались требования на яйца. У него не было весов, но

человек в медвежьей шубе добыл их откуда-то и любезно стал развешивать золото, в то время как Расмунсен отпускал товар. Началась толкотня, поднялся крик. Каждый желал купить поскорее. И когда возбуждение достигло высшей точки, Расмунсен положил ему конец. Так дальше, по его мнению, продолжаться не могло. В том, что все они так охотно разбирали у него яйца, непременно должно было скрываться нечто, чего он еще не знал. Поэтому, думал он, будет гораздо умнее, если он сперва немного отдохнет, а потом справится с базарными ценами. Быть может, яйца здесь продаются и по два доллара за штуку. Во всяком случае, теперь он уже знал, что дешевле полутора долларов за штуку продавать яйца не следует.

— Стой! — воскликнул он, когда сотни две было распродано. — Больше продажи не будет! Я очень утомился. Мне надо найти себе комнату, и тогда — милости просим, пожалуйте!

Ропот пронесся по толпе, но человек в медвежьей шубе поддержал Расмунсена. Двадцать четыре замороженных яйца уже болтались в его просторных карманах, и его не интересовало, будут ли сыты остальные жители города или нет. Кроме того, он видел, что Расмунсен действитель-

но еле держался на ногах.

— Комната сдается вон там, направо, за вторым углом от Монте-Карло, — указал он ему, — с окошком из бутылочных донышек. Она не моя, но я могу распоряжаться ею. Цена — десять долларов в сутки, дешевле дешевого. Въезжайте прямо в нее, а я вас потом навещу. Так не забудьте же — с окном из бутылочного стекла! Тру-ля-ля! — послышался затем его голос. — Пойду полакомиться яичками и помечтать о родине!

По пути к указанной комнате Расмунсен вспомнил, что ему очень хочется есть, и закупил для себя немного провизии в лавочке Северо-Американского торгово-промышленного кооператива, купил говядины у мясника и запасся сушеной лососиной для собак. Комнату он разыскал без затруднения, оставил собак в упряжи, а сам поскорее развел огонь и стал варить кофе.

— Полтора доллара за штуку... — рассуждал он вслух, не бросая своего дела, и все повторял и повторял свои вычисления. — А всего тысяча дюжин — это составит восемнадцать тысяч долларов!

Не успел он кинуть на раскаленную сковородку свой бифштекс, как дверь отворилась. Он обернулся. Это был человек в медвежьей шубе. Он

вошел с решительным видом, как бы для того, чтобы выполнить определенное дело, но, как только взглянул на Расмунсена, тотчас же выражение неловкости появилось у него на лице.

— Видите ли… — начал он. — Видите ли…

И не договорил. Расмунсен подумал, что он пришел требовать с него квартирную плату!

— Видите ли… Э, да черт вас побери совсем, — ваши яйца протухли!

Эти слова ошеломили Расмунсена. Ему почудилось, будто кто-то нанес оглушительный удар в переносицу. Стены завертелись и запрыгали у него перед глазами. Он протянул руку, чтобы за что-нибудь ухватиться, и опустил ее прямо на плиту. Острая боль и запах горелого мяса привели его в себя.

— Я вижу, что вы хотите получить обратно деньги… — сказал он медленно, шаря в кармане, чтобы достать оттуда кошелек.

— Мне не нужны ваши деньги, — ответил человек, — но не найдется ли у вас других яиц, посвежее?

Расмунсен покачал головою.

— Нет, уж лучше возьмите обратно ваши деньги, — предложил он. Но человек отказался и направился к выходу.

— Я еще приду к вам, — сказал он, — а вы тем временем разберите ваш товар, — может быть, там что-нибудь и найдется!

Расмунсен вкатил в комнату чурбан и стал вынимать яйца. Это он делал вполне спокойно. Затем он взял топор и каждое яйцо стал разрубать на две части. Все половинки он внимательно осматривал, а затем бросал на пол. Сначала он брал яйца для пробы из каждого ящика отдельно, а затем стал опоражнивать ящики подряд. Куча на полу все росла и росла. Кофе давно уже перекипел, и дым от сгоревшего бифштекса наполнил комнату. Расмунсен разрубал каждое яйцо без исключения, делал это монотонно и неутомимо, пока, наконец, последний ящик не оказался пустым. Кто-то постучался к нему в дверь раз и другой и вошел.

— Ну и картина!.. — воскликнул гость и огляделся вокруг себя. Разрубленные яйца стали уже оттаивать, и от них пошел отвратительный смрад, который становился все гуще и сильнее.

— Должно быть, это с ними случилось на пароходе, — сделал предположение вошедший.

Расмунсен посмотрел на него долгим, пристальным взглядом.

— Я Муррей, Джим Муррей, — отрекомендовал-

ся вошедший. — Меня здесь знают все. Я только что услышал, что ваши яйца протухли, и вот хочу предложить вам двести долларов за все. Они не так питательны для собак, как лососина, но все же пригодятся.

Казалось, Расмунсен окаменел. Он не двинулся с места.

— Идите к черту! — выговорил он, наконец, в тяжелом горе.

— Да вы рассудите! Ведь никто, кроме меня, не предложит вам такой цены за эту гадость, и лучше вам взять хоть что-нибудь, чем ничего. Двести долларов. Ну, сколько же вы хотите?

— Идите к черту!.. — тихо повторил Расмунсен. — Оставьте меня одного.

Муррей, не спуская с него глаз, осторожно попятился.

Расмунсен вышел вслед за ним и выпряг из саней собак. Он бросил им лососину, которую только что для них купил, и стал кольцами навертывать себе на руку ремень от упряжи. Затем он возвратился в комнату и запер за собою дверь на щеколду. Дым от сгоревшего мяса ел ему глаза. Он встал на скамейку, перекинул ремень через балку и измерил длину ремня глазами. Ему показалось, что ремень короток, и он поставил на

скамейку стул и влез на него. Он сделал на конце ремня петлю и просунул в нее голову. Другой конец он привязал покрепче. Затем оттолкнул стул ногой.

1904

Джек Лондон
История Джис-Ук

Перевод Мих. Чехова

Бывают самоотречения и самоотречения. Но в сущности своей они построены одинаково. Вся суть заключается лишь в том, что и мужчины и женщины жертвуют самым дорогим для них всегда в пользу чего-нибудь еще более дорогого. Иначе не бывает. Так было, когда Авель приносил в жертву лучшее от плодов и стад своих. Эти плоды и эти животные были для него дороже всего на свете, но он жертвовал ими только потому, что ждал от Бога еще большего. Так было и с Авраамом, когда он собирался принести в жертву своего сына Исаака. Исаак был для него очень дорог, но Бог, в неисповедимых путях своих, казался для него еще дороже. Возможно, что Авраам сделал это и из страха, но так это или не так, а биллионы людей решили, что он любил Бога, потому и хотел ему услужить.

А с тех пор, как решили, что любовь — страдание и что отрекаться от себя — значит страдать, необходимо признать, что Джис-Ук, эта простая

смуглая метиска, умела любить по-настоящему. Она не знала священной истории и не умела читать, она никогда не слыхала об Авеле или Аврааме и, не получив воспитания в Институте св. Креста, не имела понятия о моавитянке Руфи, которая из любви к чужестранке-свекрови отреклась даже от своего Бога. Джис-Ук знала только одну причину самоотречения — это удар судьбы, подобно тому, как голодная собака отказывается от украденной ею кости под ударом палки. И все-таки, когда пришло для нее время, она показала себя способной подняться на такую высоту, какая не снилась представителям господствующих рас, и отреклась с истинным величием.

Так вот позвольте рассказать историю Джис-Ук, представляющую также историю некоего Нейла Боннера, его жены Китти и двух его детей. Правда, Джис-Ук была темнокожей метиской, но она не была индианкой и не была также и эскимоской. Судя по переходившим из уст в уста преданиям, жил когда-то на Юконе некий индеец из племени тойятов, по имени Сколкз, который всю свою молодость провел в скитаниях по Великой Дельте, где обитают индейцы-иннуиты и где он сошелся с женщиной по имени Оляйли. Эта Оляйли происходила от отца иннуита и матери эскимоски. А

от Сколкза и Оляйли произошла Хэли, в которой таким образом была половина крови тойятской, четверть иннуитской и четверть эскимосской.

Эта Хэли была бабушкой Джис-Ук.

Затем Хэли, в которой текла кровь трех племен и которая ничего не имела против дальнейших примесей, сошлась с русским звероловом-меховщиком по имени Шпак, известным русским только за неимением другого, более точного определения, ибо отец Шпака был уроженец южнославянских провинций и был сослан в каторжные работы в Сибирь. Там он работал в ртутных рудниках и сбежал на Дальний Север, где сошелся с Зимбой из остяцкого племени; она-то и стала матерью Шпака — будущего дедушки Джис-Ук.

Не попадись этот Шпак еще в юности в плен к поморам Северного Ледовитого океана, которые влачили тогда жалкое существование, он не сделался бы впоследствии дедушкой Джис-Ук, и нам не пришлось бы рассказывать эту историю. Но его действительно взяли в плен эти самые поморы, а от них ему удалось потом сбежать на Камчатку и на норвежском китобое перебраться в Балтийское море. Вскоре за тем он появился в Петербурге, и не прошло и нескольких лет, как

он отправился на Дальний Восток тем же самым скорбным путем, каким полвека назад с кровью и потом шествовал его отец. Но Шпак был свободным человеком и состоял теперь на службе в Великой Российской меховой компании. По делам своей новой службы он забирался все далее и далее на восток, пока, наконец, не пересек Берингова моря и не попал в Русскую Америку; здесь, в Пастилике, в области Великой Дельты Юкон, он и сошелся с Хэли, которая, как было сказано выше, стала впоследствии бабушкой Джис-Ук. От этой связи произошла девочка Тукесан.

По распоряжению Компании Шпак совершил большое путешествие в несколько сот миль на простой лодке по Юкону, до самого поста Нулато. Хэли и маленькую Тукесан он захватил с собой. Это было в 1850 году, и в том же году прибрежные индейцы напали на пост Нулато и стерли его с лица земли. Здесь нашли свой конец Шпак и Хэли. В эту ужасную ночь Тукесан исчезла без вести. До нынешнего дня индейцы-тойяты уверяют, будто это не они произвели погром, но как бы то ни было, а факт остается фактом: девочка Тукесан выросла в их среде.

Тукесан была замужем два раза, за двумя родными братьями-тойятами, от которых у нее не

было детей. Это приводило в смущение всех остальных женщин племени, и они покачивали головами, и никто потом не захотел жениться на ней, боясь, что от нее не будет потомства. Но в это самое время, за несколько сот миль оттуда, в Форте Юкон появился некий человек, по имени Спайк О'Брайен. Форт Юкон принадлежал Компании Гудзонова залива, а Спайк О'Брайен был одним из ее служащих. Он был там на хорошем счету, но держался того мнения, что служба была не в его характере, и скоро осуществил свое намерение расстаться с ней, своевольно бросив место. Понадобился бы целый год, чтобы через длинную цепь постов возвратиться в Йоркскую факторию на Гудзоновом заливе. Но так как все эти посты принадлежали той же Компании, он пришел к заключению, что все равно ее лап ему не миновать. Таким образом, ему оставалось только одно — бежать вниз по Юкону. Правда, ни одному белому человеку не удавалось спуститься по Юкону до его устья, и ни одному белому человеку не было достоверно известно, куда впадает эта река: в Берингово море или же в Ледовитый океан; но Спайк О'Брайен был кельтом, и желание испытать новые опасности побуждало его идти все дальше и дальше вперед.

Через несколько недель, разбитый, голодный, полумертвый от речной лихорадки, он, наконец, уткнулся носом своей лодки в оттаявший берег у становища тойятов и тотчас же лишился чувств. Он прожил среди тойятов несколько недель, набираясь сил, и увидел Тукесан, которую нашел довольно привлекательной. Как отец Шпака, который прожил многие годы среди сибирских инородцев, Спайк О'Брайен мог бы надолго застрять здесь и, может быть, даже сложить свои кости среди тойятов, но жажда приключений, все еще не оставлявшая его, не дала ему успокоиться здесь навсегда. Как он пробрался когда-то из Йоркской фактории до Форта Юкон, так, первый из людей, он мог бы дойти и от Форта Юкон до самого моря и этим стяжал бы себе честь открытия нового северо-восточного пути по суше. Поэтому он стал спускаться вниз по реке и действительно открыл этот путь, но никто об этом никогда не узнал, и никто не воспел этого открытия. В следующие за тем годы он содержал в Сан-Франциско номера для приезжающих матросов, и, несмотря на то что он рассказывал о своих похождениях только правду, все принимали его за отъявленного лгуна. Но у Тукесан, которая считалась бесплодной, родился от него ребенок. Это и

была Джис-Ук. Я нарочно привел такую длинную родословную этой девочки, чтобы показать, что она не была ни индианкой, ни эскимоской, ни иннуиткой, а также для того, чтобы показать, как трудно иногда найти те корни, откуда происходит тот или иной человек.

Может быть, из-за этой смешанной крови, из-за этой наследственности от многих рас Джис-Ук выросла удивительной красавицей. В ней были смягчены черты всех рас, и она могла бы ввести в заблуждение любого этнолога. Необыкновенная грация была ее отличительной чертой. Ее кельтское происхождение проявлялось больше в ее характере, в склонности к фантазии, но не во внешности. Разве только кровь у нее благодаря этому происхождению была несколько горячее, а лицо менее смугло, и тело более нежно; но это могло быть ею унаследовано и от Шпака, по кличке Толстяк, который, в свою очередь, унаследовал цвет своей кожи от южнославянских прародителей. Как бы то ни было, она была красавица; у нее были большие блестящие черные глаза — глаза метисок, выразительные и нежные, и тонкая гибкая фигурка. Джис-Ук знала, что в ее жилах течет кровь белой расы, и это заставляло ее гордиться. Во всем же прочем — и по своему

воспитанию, и по взглядам на жизнь — она была вполне тойяткой-индианкой.

Однажды зимой, когда Джис-Ук была молодой девушкой, в ее жизнь вторгся некто Нейл Боннер. Но это произошло против его воли. И то, что он появился здесь, в этих краях, было тоже против его желания. Он не поладил со своим отцом, который занимался только тем, что стриг купоны да выращивал розы, и с матерью, которая слишком любила светскую жизнь. Он не был порочен, но человек с сытым желудком и без всяких определенных занятий всегда будет нуждаться в том, чтобы куда-нибудь расходовать свою энергию. И таким-то человеком и был Нейл Боннер. Он использовал свою энергию в таких размерах, что, когда это перешло, наконец, всякие границы, его отец, Нейл Боннер-старший, спохватился, в ужасе вылез из-под розовых кустов и посмотрел на сына более внимательно. Отец написал другу детства, с которым обыкновенно совещался относительно купонов и роз, и оба они решили сообща участь Нейла Боннера-младшего. В виде пробы Нейл Боннер-младший должен был уехать куда-нибудь подальше от искушений, отвыкнуть от своих безобидных безумств и научиться жить так, как жили его почтенные родители и их по-

чтенный друг.

Когда они порешили на этом, молодому Нейлу пришлось со стыдом покаяться во многом, после чего судьбу его устроили уже без него. Оба друга детства были крупными акционерами Канадской пароходной компании. Эта Компания располагала целым флотом речных и океанских пароходов и, кроме того, владела почти всеми морями и землями, которые на географических картах остаются обыкновенно неокрашенными. Эта Канадская пароходная компания отправила молодого Нейла Боннера на Север, именно в эти незакрашенные места, чтобы он там посодействовал развитию дел Компании и научился походить на своего отца.

— Пять лет простой жизни, ближе к земле и подальше от искушений, сделают из него человека, — сказал Нейл Боннер-старший и затем снова скрылся в кустах роз.

Нейл-младший стиснул зубы, взял себя в руки и принялся за дело. Как подчиненный, он добросовестно исполнял все возлагавшиеся на него поручения и скоро заслужил одобрение начальства. Работа не нравилась ему, но все-таки помогала ему не сойти с ума.

В первый год он желал смерти. Во второй стал

роптать на Бога; третий год он и роптал на Бога, и молил о смерти, и наконец, заболев нервным расстройством, поссорился со своим начальником. Он был признан в этой ссоре правым, но виноватый начальник все-таки доконал его, отправив в ссылку в такие отдаленные места, в сравнении с которыми его прежнее местожительство могло считаться раем. Но он отправился туда, не сказав ни слова, потому что Север уже успел сделать из него человека.

На незакрашенных местах географической карты иногда встречаются маленькие кружочки, похожие на букву «о», и около этих кружочков, с той или другой стороны их, напечатаны названия — форт Гамильтон, становище Янана, Двадцатая Миля, — заставляющие думать, что эти белые места сплошь покрыты городами и селениями. Но на самом деле это не так. Двадцатая Миля, очень похожая на все остальные пункты, представляет простой деревянный дом, сколоченный из бревен, с комнатами для приезжающих во втором этаже. Длинный сарай из бревен построен на заднем дворе, как и несколько служб. Задний двор не огорожен ничем и простирается до самого горизонта и даже несколько далее — до бесконечности. Никаких других домов там нет,

хотя иногда за милю или две вниз по Юкону на зимние стоянки приходят индейцы-тойяты. Такова Двадцатая Миля, один из щупалец этого многоногого спрута — Канадской пароходной компании. Здесь ее агент со своим помощником ведут меновую торговлю, выменивая иногда золотой песок у случайных золотоискателей. Здесь тот же агент со своим помощником горько тоскуют всю зиму по весне, а когда приходит весна, они с проклятиями переселяются на крышу, потому что, вскрываясь, Юкон заливает дом. Вот сюда-то на четвертом году своей службы на Севере и был сослан Нейл Боннер.

Он вступил на свободное место после предыдущего агента, который предусмотрительно оставил свой пост, покончив с собой — «ввиду тяжелых местных условий», как донес об этом его оставшийся помощник, хотя тойяты, бывшие там на становище, и придерживались другого мнения. Помощник, оставшийся здесь, был узкоплечим, слабогрудым человеком, с лицом, как у трупа, и с провалившимися щеками, которых не смогла закрыть его редкая черная борода. Он сильно кашлял — вероятно, от легочной чахотки, и в глазах у него светился дикий горячечный бред, свойственный больным в последней ста-

дии туберкулеза. Звали его Эмос Пентли. Он не понравился Боннеру с первого же взгляда, хотя и возбуждал в нем чувство жалости своим безнадежным положением. Они как-то не сошлись, эти двое, оба осужденные оставаться вдвоем, лицом к лицу с холодом, молчанием и темнотой длинной арктической зимы.

Боннер пришел к заключению, что Эмос немного «не в себе», и оставил его в покое, делая все домашние работы и за себя, и за него, за исключением варки пищи. Но Эмос не переставал бросать на него злобные взгляды, полные необъяснимой ненависти. Это было большим горем для Боннера, потому что улыбка такого же существа, как он сам, ласковое слово или сочувствие товарища по несчастью значили бы для него очень много. И едва наступила зима, он стал понимать, что с таким сожителем, как его помощник, предшественник его имел полное основание наложить на себя руки. Было очень тоскливо на Двадцатой Миле. Мрачная пустыня простиралась до самого горизонта. Снег покрывал все кругом белой пеленой, как саван. Дни стояли ясные и морозные, термометр упорно показывал от сорока до пятидесяти градусов ниже нуля по Цельсию. Затем, обычно через несколько недель, погода

сменялась. Мельчайшие частицы влаги, заключавшиеся в атмосфере, образовывали плотные серые бесформенные облака; становилось теплее, термометр поднимался к двадцати градусам ниже нуля. Влага превращалась в крупу, которая, падая на землю, походила на мелкий сахар или на сыпучий песок, скрипевший под ногами. После этого опять становилось ясно и холодно, пока вновь не собиралось в воздухе достаточного количества влаги, чтобы снова покрыть землю белым одеялом. Вот и все перемены. Больше не случалось ничего. Ни бурь, ни ливней — ничего, кроме механически осаждавшейся влаги. Самыми крупными событиями в тоскливые зимние недели были неожиданные скачки температуры, повышавшейся иногда до пятнадцати градусов ниже нуля. Но в отместку за это следовавший потом мороз так сковывал землю, что ртуть замерзала в градуснике, а спиртовой термометр две недели показывал ниже семидесяти и затем лопался. И тогда нельзя было даже сказать, сколько градусов мороза. Следующим событием, монотонным в своей постепенности, было удлинение ночей, пока день не сокращался до того, что становился узенькой полоской света между двумя темными пространствами на горизонте.

Нейл Боннер был общественным человеком. Самые глупости его, за которые он теперь так дорого расплачивался, были результатом его слишком большой общительности. А здесь на четвертом году своей ссылки он увидел себя наедине с угрюмым, бессловесным существом, в мрачном взгляде которого светилась ненависть, настолько же горькая, насколько и необоснованная. И Боннер, для которого беседа и дружба были необходимы как воздух, бродил тенью, испытывая танталовы муки при воспоминании о прежней жизни. Днем он ходил с плотно сжатыми губами и с мрачным выражением лица, ночью ломал себе руки, ворочался на постели и громко рыдал, как дитя: он вспоминал своего начальника и целые часы проклинал его. Проклинал он и Бога. Но Бог понимает все. Он не смог бы найти в своем сердце упреков для тех слабых смертных, которые богохульствуют на Аляске.

Сюда-то, на торговый пункт на Двадцатой Миле, и пришла Джис-Ук, чтобы купить муки, ветчины, бус и ярко-красной материи для своих рукоделий. Приходила она на этот пункт много раз и, сама того не зная, всякий раз оставляла одинокого человека еще более одиноким, заставляя его обнимать пустоту во сне. Когда она впервые

пришла в магазин, он долго смотрел на нее, как жаждущий смотрит в колодец, полный воды. И она сама, получившая в наследство кровь от Спайка О'Брайена, улыбнулась ему — не как подчиненное племя улыбается господствующей расе, а как женщина улыбается мужчине. Произошло неизбежное, только он не хотел этого замечать и всеми силами сопротивлялся неудержимому влечению. А она? Она была только Джис-Ук, дикарка, простая женщина из племени тойятов.

Она часто приходила в магазин за покупками, усаживалась там у громадной печи и болтала на ломаном английском языке с Нейлом Боннером. И он стал поджидать ее прихода. Когда она не приходила, он беспокоился и тосковал. Иногда он заставлял себя не думать о ней и встречал ее холодно, с решимостью, которая смущала и задевала ее, хотя она и догадывалась, что эта строгость была напускной. Но в большинстве случаев он встречал ее радостно, и тогда все шло хорошо, среди улыбок и смеха. А Эмос Пентли, задыхаясь, как рыба, выброшенная на песок, глухо кашлял, посматривал на них и злобно ухмылялся. Он любил жизнь, а был осужден на скорую смерть, и душа его содрогалась, когда он видел других людей, способных жить. Поэтому он возненавидел

Боннера, для которого вся жизнь была впереди и глаза которого загорались радостью всякий раз, как он встречался с Джис-Ук. А сам Эмос? Да одна мысль об этой девушке могла превратить его кровохарканье в кровоизлияние.

Джис-Ук, обладавшая простым умом и не умевшая судить о сложностях жизни, читала, однако, мысли Эмоса Пентли, как открытую книгу. Не стесняясь, она предостерегала Боннера; но соображения более высшего порядка заслоняли от Боннера опасность, и он смеялся над тревогой Джис-Ук. Для него Эмос был несчастный, жалкий человек, с каждым днем все ближе подходивший к могиле. Много выстрадав сам, Боннер легко находил оправдание и для других.

Однажды утром, когда холод был невыносим, Боннер позавтракал и отправился на склад. Джис-Ук была уже там, розовая от мороза. Она покупала мешок муки. Несколько минут спустя Боннер вышел вместе с ней, чтобы помочь ей привязать мешок к саням. Наклонившись, он вдруг почувствовал в затылке странную боль и во всем теле такое ощущение, как будто он лишается чувств. И когда он в последний раз перекинул через мешок веревку и попытался затянуть ее потуже, сердце в нем сжалось, и он повалился

на землю. Дрожа всем телом, запрокинув голову назад, напрягая все члены, изгибаясь в дугу, с перекошенным ртом — он был похож на человека, у которого в пытке отрывали член за членом. Не издавая ни малейшего звука, Джис-Ук стояла возле него. Он судорожно схватил ее за обе руки, и все время, пока продолжались конвульсии, она не была в состоянии помочь ему. Спустя некоторое время схватки утихли, и он лежал слабый, в полуобморочном состоянии, с холодным потом, выступившим у него на лбу, и с пеной у рта.

— Скорее! — бормотал он странным, придушенным голосом. — Скорее! Домой.

Он попытался ползти к двери на четвереньках, но Джис-Ук подняла его, и с ее помощью он кое-как двинулся вперед. Как только он вошел в магазин, припадок повторился, он выскользнул из рук девушки и стал кататься в судорогах по полу. Вошел Эмос и с любопытством посмотрел на него.

— О, Эмос! — воскликнула она в ужасе. — Ведь он умрет, да?

Но Эмос только пожал плечами и продолжал смотреть на Боннера. Тело Боннера стало вялым, напряженные мускулы ослабели, и на лице появилось успокоение.

— Скорее! — проговорил он сквозь все еще сжатые зубы; рот его уже искривился от нового приступа судорог и от усилия подавить их. — Скорее, Джис-Ук! Давай сюда лекарства! Не бойся! Тащи меня!

Она знала, где находится ящик с лекарствами, и туда, в дальний угол комнаты, за печку, потащила за ноги корчившегося больного. Как только судороги прекратились, он слабыми руками стал рыться в ящике. Он видел, как издыхали собаки с такими же симптомами, какие были теперь у него, и знал, что ему нужно было делать. Он достал пузырек с хлоралгидратом, но пальцы были слишком слабы и слишком дрожали, чтобы он мог его откупорить. Пока Джис-Ук помогала Боннеру, с ним случился новый припадок. Когда он прекратился, флакон был уже открыт. Боннер заглянул девушке в ее большие черные глаза и прочел в них то, что обыкновенно мужчина читает в глазах любящей женщины. Приняв высшую дозу лекарства, он лег на спину и ждал, пока не кончился следующий припадок, а затем приподнялся и в бессилии оперся на локоть.

— Слушай, Джис-Ук! — сказал он очень медленно, точно сознавая, что нужно торопиться, и в то же время не решаясь спешить. — Делай, что

я тебе скажу. Оставайся около меня и не трогай меня. Теперь я должен лежать спокойно, но ты не отходи от меня.

Челюсти его стали сжиматься, лицо искривилось и стало подергиваться от боли. Он употреблял все усилия, чтобы преодолеть конвульсии.

— Не уходи, — продолжал он. — Не позволяй и Эмосу уходить. Слышишь? Эмос тоже должен оставаться здесь!

Она кивнула ему. У него опять начались конвульсии, которые постепенно становились слабее и слабее, реже и реже. Джис-Ук стояла, склонившись над ним, помня его приказания и не смея к нему прикоснуться. Один раз Эмос поднялся в беспокойстве с места и хотел уйти в кухню, но она остановила его быстрым, пламенным взглядом, и после этого, несмотря на одолевавшую его одышку и удушающий кашель, он уже не решался трогаться с места.

Боннер заснул. Полоска света на небе, обозначавшая день, погасла. Эмос, с которого Джис-Ук ни на минуту не спускала глаз, зажег керосиновую лампу. Наступил вечер. Сквозь окно, выходившее на север, видно было, как небеса осветились северным сиянием, которое то вспыхивало, меняя цвета, то погасало, и снова наступала темнота.

Нейл Боннер проснулся. Прежде всего он посмотрел, здесь ли Эмос, а затем улыбнулся Джис-Ук и попытался подняться. Все тело у него одеревенело и болело, и он жалко улыбался, ощупывая себя и надавливая пальцами на мускулы, точно для того, чтобы убедиться, насколько все было еще в исправности. Затем его лицо приняло важное и деловое выражение.

— Джис-Ук, — сказал он, — возьми свечку. Сходи в кухню. Там еще осталась пища на столе — сухарики, горошек с ветчиной и кофе в кастрюле на плите. Принеси все это сюда. Принеси также стакан воды и виски. Бутылка там, на полочке в шкафу. Не забудь же о виски!

Он выпил рюмку виски и затем стал тщательно разбирать в ящике медикаменты, отыскивая необходимые склянки и баночки. Затем он принялся за исследование пиши, стараясь произвести хотя бы самый грубый анализ. Когда-то в высшей школе он изучал химию и потому сумел кое-как повести свое исследование при помощи имевшихся под рукой материалов. Он добился своего. К кофе не было подмешано ничего, к горошку тоже. Ему оставалось подвергнуть тщательному исследованию сухарики. Совершенно ничего не понимавший в химии Эмос наблю-

дал за его работой с упрямым любопытством. Но Джис-Ук, которая питала к мудрости белого человека безграничное доверие и которая не только не понимала, но и сознавала в себе это свое непонимание, старалась больше смотреть на его лицо, чем на руки.

Боннер все еще не хотел допустить возможности отравления, пока не дошел до конечного результата. Для своих исследований он употреблял вместо пробирки простой аптекарский пузырек, смотрел его на свет и наблюдал за изменениями, которые медленно, но верно должна была произвести брошенная им в раствор соль. Он не говорил ничего, но добился, наконец, того, чего ожидал. Все время не спускавшая с него глаз Джис-Ук тоже заметила нечто, что заставило ее тигрицей броситься на Эмоса и с удивительной ловкостью и силой опрокинуть его к своим ногам. Она вытащила из ножен свой нож, замахнулась, и он сверкнул при свете лампы. Эмос застонал. Но Боннер вмешался, и нож опустился.

— Ты хорошая девушка, Джис-Ук, — крикнул он ей. — Но не надо этого! Брось его!

Она послушалась, отпустила Эмоса, хотя и не без безмолвного протеста во взгляде. Он повалился на пол. Боннер толкнул его ногой, с которой

все еще не мог стащить сапога.

— Вставайте, Эмос! — скомандовал он. — Укладывайте свои вещи и сегодня же вечером — марш отсюда!

— Что вы хотите сказать? — запротестовал Эмос.

— Я хочу сказать, что вы покушались отравить меня, — сказал Нейл Боннер все так же холодно, не изменяя тона. — Я хочу сказать, что вы отравили и Бердсола, хотя Компании и донесли, что он сам покончил с собой. Вы накормили меня стрихнином. Чем вы погубили его — я не знаю. Но я не желаю, чтобы вас судили. Вы и так дышите на ладан. Но мы не можем оставаться здесь вдвоем, и вы должны отсюда немедленно уехать. До ближайшего поста, до Святого Креста, всего двести миль. Если вы будете осторожны и не будете слишком торопиться, то легко их проедете. Я снабжу вас пищей, дам вам сани и трех собак. Все равно вы будете и там как в тюрьме, потому что выбраться из этих мест вам невозможно. Со своей стороны я могу пообещать вам только одно. Вы — почти покойник. Тем лучше. До весны я буду молчать и ни о чем не сообщу Компании, а вы тем временем постарайтесь поскорее умереть. А теперь — живее вон отсюда!

— Тебе бы лечь в постель! — настаивала Джис-Ук, когда Эмос уже утонул во мраке ночи. — Ты совсем больной, Нейл.

— А ты хорошая девушка, — ответил он. — Вот тебе моя рука! Но и тебе пора домой.

— Я не нравлюсь тебе, — сказала она просто.

Он улыбнулся, помог ей одеться и вывел ее за дверь.

— Слишком нравишься, Джис-Ук, — ответил он нежно. — Слишком!

После этого полярная темная ночь показалась ему еще темнее. Ему стало чудиться, что он недооценил присутствия в своем доме даже этого мрачного, умиравшего Эмоса, хотя Эмос и оказался убийцей. И на всей Двадцатой Миле так безнадежно одиноко! Он сел за стол и написал агенту форта Гамильтон, жившему за триста миль вверх по реке, письмо следующего содержания:

> «Умоляю вас, Прентис, пришлите ко мне хоть одну живую душу человеческую».

Шесть недель спустя индеец привез ему ответ. Этот ответ был довольно характерен:

«Не жизнь, а черт знает что. Отморозил себе обе

ноги. Сам жажду души человеческой. Прентис».

К довершению беды, почти все тойяты снялись со своего становища и уехали на охоту за лосями. Джис-Ук тоже отправилась с ними. Находясь от Нейла Боннера на далеком расстоянии, она, казалось, стала для него еще ближе, так как в своем воображении он до мельчайших подробностей представлял себе, как она едет на собаках и что делает на остановках. Нехорошо быть одиноким. Часто Боннер с непокрытой головой выскакивал на двор и в полном отчаянии начинал грозить кулаком в сторону узкой полоски света, которая показывалась на южном горизонте. И в тиши холодных ночей он вставал с постели, выходил на мороз и с громкими криками набрасывался на тишину, как будто она была чем-нибудь осязаемым или могла чувствовать, как он страдал; или же он будил спавших собак и заставлял их выть и лаять без конца. Он даже попробовал сдружиться с собакой и ввел в комнату лохматого пса, стараясь убедить себя в том, что это не собака, а тот новый человек, которого должен был командировать к нему Прентис. Он сделал для него на ночь постель, заставлял своего гостя садиться за стол и есть, как человек, но животное, мало отличавшееся от волка, сопротивлялось,

забилось в темный угол, укусило его за ногу и в конце концов было избито им и изгнано.

Затем его охватило стремление все олицетворять. Все предметы, которые до сих пор окружали его, получили в его воображении человеческие свойства. Он стал называть их по именам, воображать их живыми. Он создал для себя первобытный Пантеон, воздвиг жертвенник солнцу и сжигал на нем свиное сало и ветчину; на неогороженном дворе, около длинного сарая, он сделал из снега черта, над которым издевался и которому строил рожи, когда ртуть в термометре опускалась ниже обычного уровня. Все это была игра, конечно. Он и сам старался убедить себя в том, что это игра, и повторял ее, чтобы получить в этом еще большую уверенность, не зная того, что сумасшествие обычно проявляется в игре воображения.

Однажды в зимний полдень неожиданно приехал миссионер-иезуит, отец Шампро. Боннер бросился к нему навстречу и затащил его к себе, повис у него на шее и долго плакал, пока, наконец, и сам священник не прослезился из сострадания к одиночеству Боннера. После этого Боннер впал в безумное веселье, устроил изобильное пиршество и клялся всем святым, что ни под каким

видом не отпустит своего дорогого гостя. Но отец Шампро спешил по какому-то неотложному делу на Соленое озеро и на следующее же утро уехал, увозя с собой угрозы Боннера, что если он, Боннер, покончит с собой, то его кровь падет на голову иезуита.

Угроза эта была близка к осуществлению, как вдруг вернулись с охоты тойяты. Они привезли с собой много мехов, и на Двадцатой Миле начался торг, поднялась суматоха. Пришла опять Джис-Ук за бусами, красным ситцем и за другими вещами, и Боннер ожил. Неделю он сторонился ее, а под конец, как-то вечером, когда она собралась уходить от него, он не устоял. Но она обиделась на его холодность, и то самолюбие, которое побудило когда-то ее отца Спайка О'Брайена отправиться на открытие северо-восточного прохода по суше, сказалось и в ней.

— Я ухожу, — сказала она. — Прощай, Нейл. Но он загородил ей дорогу.

— Нет, ты не уйдешь! — возразил он.

И когда она повернула к нему лицо, на котором вдруг вспыхнула радость, он не спеша и вполне серьезно склонился к ней, как если бы она была его святыней, и поцеловал ее в губы. Тойяты не знали, что такое поцелуй в губы, но она поняла

и обрадовалась.

С приходом Джис-Ук все как-то сразу повеселело. Она была великолепна в своем счастье, сделавшись источником бесконечных радостей. Элементарная работа ее ума и наивные вопросы и поступки доставляли постоянное развлечение сверхцивилизованному человеку. Не только она сама служила утешением в его одиночестве, но и ее первобытность обновляла в нем его уже начавшую утомляться душу. Было так, как если бы он, после долгих блужданий, наконец успокоился и обрел себе отдых на груди матери-земли. Короче, он нашел в Джис-Ук юность мира — юность, силу и радость.

И чтобы дополнить все то, в чем он нуждался, и чтобы они с Джис-Ук не слишком заглядывались друг на друга, вдруг неожиданно приехал некий Сэнди Макферсон, развеселый человек, вечно посвистывавший во время пути и распевавший песни на стоянках. Иезуит Шампро нарочно заехал к нему в его стоянку, милях в двухстах вверх по Юкону, в самый подходящий момент, чтобы предать земле тело внезапно скончавшегося его сотрудника. Отправляясь далее, патер сказал Макферсону:

— Сын мой, теперь вы обречены на одиноче-

ство. — Сэнди печально поник головой. — На Двадцатой Миле, — продолжал патер, — живет тоже одинокий человек. Вы необходимы друг другу.

Таким образом Сэнди сделался третьим желанным членом семьи на Двадцатой Миле, братом женщины и мужчины, которые жили здесь. Он водил с собою Боннера на лосей и на волков, а Боннер, в свою очередь, доставал с полки истрепанный и затасканный том Шекспира и знакомил его с произведениями великого поэта, пока, наконец, Сэнди не стал разговаривать со своими собаками, когда они отказывались слушаться его, в ямбических пентаметрах[54]. В долгие вечера они играли в карты, разговаривали и вели споры обо всем на свете, в то время как Джис-Ук важно восседала в кресле, штопая их носки и починяя платье.

Настала весна. Солнце возвратилось с юга. Земля переменила свое скучное одеяние на веселый, улыбающийся наряд. Повсюду засмеялся солнечный свет, и жизнь стала манить к себе. Потянулись длинные благоуханные дни, а ночи

[54] notes: 54

Ямб — двусложная стопа, с ударением на втором слоге. Пентаметр — пятистопный размер стиха, особенно часто встречающийся в греческой латинской поэзии.

исчезали. Река напрягла свою грудь, и рев пароходов огласил пустыню. Появились новые лица, новые вести. На Двадцатую Милю приехал новый помощник, а Сэнди Макферсон отправился с экспедицией на исследование Койокука. Пришли письма, журналы и газеты. Получил их и Нейл Боннер, и Джис-Ук забеспокоилась: она поняла, что его родственники заговорили с ним по воздуху через весь мир.

Без особого потрясения он принял весть, что умер отец. Это было последнее письмо, продиктованное отцом в последнюю минуту перед смертью, в котором он в ласковых выражениях прощался с сыном навсегда. Пришли и официальные письма от Компании, в одном из которых ему любезно предлагали сдать должность своему помощнику и разрешали на продолжительное время отпуск на родину. Длиннейшая казенная бумага из окружного суда сообщала ему бесконечный список процентных бумаг и разных закладных, движимого и недвижимого имущества, рент, которые перешли по завещанию от его отца к нему. И еще маленькое, изящное письмо с сургучной печатью и с монограммой, полученное им от разбитой горем и горячо любимой матери, умоляло его поскорее вернуться домой.

Нейл Боннер не долго раздумывал, и как только пароход «Юконский колокол» с пыхтеньем причалил к берегу на обратном пути к Берингову морю, он сел на него и отправился в путь со старой, но вечно новой ложью о том, что скоро вернется.

— Я вернусь, Джис-Ук, — уверял он, целуя ее на сходнях парохода, — вернусь раньше, чем выпадет первый снег.

Он не только обещал, но — как и большинство людей при таких обстоятельствах — сам верил в свои обещания. Своему новому заместителю, Джону Томпсону, он отдал приказ оказывать безграничный кредит его жене Джис-Ук. Кроме того, бросив последний взгляд с палубы «Юконского колокола» на берег, он увидел несколько человек, таскавших бревна; он сам выбрал эти бревна и приказал выстроить самый уютный дом, какой только когда-либо существовал здесь на целую тысячу миль вокруг. Этот дом предназначался для Джис-Ук и для него самого… когда он возвратится, прежде чем выпадет первый снег, ибо он глубоко верил в то, что он действительно возвратится. Джис-Ук была дорога ему, не говоря уже о том, что Север ожидало золотое будущее. С доставшимися ему от отца деньгами он именно

здесь рассчитывал упрочить свою судьбу. Его манили честолюбивые мечты. Со своим четырехлетним стажем и с помощью дружественного содействия Компании он рассчитывал завоевать всю Аляску. Он вернется, как только устроит дела своего отца, которого никогда не знал, и утешит мать, которую забыл.

Возвращение Нейла Боннера с Дальнего Севера произвело большое впечатление. Для него, как для блудного сына, зажглись все костры и были зарезаны все ягнята, и он принял это как должное. Он не только загорел и возмужал, но стал совершенно новым человеком. Он знал теперь жизнь, умел быть серьезным и давал себе отчет во всем. Его прежние собутыльники очень удивились, когда он отказался продолжать прежние похождения, а старый друг его отца радостно потирал руки и скоро сделался авторитетом в делах обращения нагрешившей молодежи на истинный путь.

Четыре года ум Нейла Боннера бездействовал. То новое, что он приобрел за это время, было незначительно, но зато он научился искусству отбора. Он, так сказать, очистился от всего пошлого и излишнего. В городе, в светской обстановке, годы проходили для него совершенно незамет-

но, а там, в дикой пустыне, у него оставалось достаточно времени, чтобы привести в порядок пережитое. Он отказался навсегда от поверхностных суждений, и вместо них появилась склонность к глубоким обобщениям. Что касается цивилизации, то он уехал с одним пониманием ее, а вернулся с другим.

Ощутив по-настоящему запах земли и повидав ее собственными глазами, он понял истинное значение цивилизации со всею ее бесполезностью. Он усвоил себе простую философию. Нравственная жизнь — вот религия. Исполнение долга — вот культ. Каждый должен жить нравственно и уметь исполнять свой долг, чтобы получить возможность работать. Спасение в труде. Работать же не покладая рук, чтобы делать жизнь все более изобильной, — значит находиться в равновесии с порядком вещей и с мировой волей. Он раньше знал только город. Но его прикосновение к земле сообщило ему более тонкое ощущение цивилизации, и теперь цивилизация стала для него еще дороже. День за днем жители города становились для него ближе и ближе, и светская жизнь засасывала его больше и больше. Аляска стала отходить на задний план и скоро потускнела в памяти. Затем он встретился с Китти Шэйрон

— девушкой его круга и одинакового воспитания, с нею рука об руку пошел по жизненному пути и в конце концов забыл тот день, когда первый снег выпадает на Юконе.

Джис-Ук переехала в свой новый большой деревянный дом и промечтала в нем три золотых летних месяца. Затем настала осень, очень короткая в тех местах. Воздух стал прозрачным и острым, дни ясными и короткими. Река потекла ленивее, и тоненький ледок стал появляться у берегов. Все перелетные существа отправились на юг, и в стране снова воцарилось молчание. Залетали в воздухе первые снежинки, и последний возвращавшийся домой пароход зашлепал колесами по воде, пробиваясь сквозь сало, поползшее по реке. Затем появились льдины, пока, наконец, Юкон весь не покрылся льдом. А когда река стала, коротенькие дни окончательно исчезли в надвинувшейся темноте.

Новый агент, Джон Томпсон, стал подсмеиваться над Джис-Ук, но она верила в то, что случилось что-нибудь на море или на реке. Нейл Боннер мог где-нибудь задержаться между Чилкутским перевалом и Сент-Майкелем, потому что люди, путешествующие в это время года, всегда застревают во льдах, когда оставляют судно и

пересаживаются на сани, чтобы в продолжение долгих часов ехать на собаках.

Но ни с той, ни с другой стороны на Двадцатой Миле не появлялось саней. И с плохо скрываемой радостью Джон Томпсон сообщил Джис-Ук, что Боннер не вернется никогда, и грубо предложил ей вместо него себя. Джис-Ук засмеялась ему в лицо и ушла в свой просторный дом. С наступлением глубокой зимы, когда умирает надежда и жизнь начинает терять ценность, Джис-Ук вдруг узнала, что кредит ее в магазине исчерпан. Это были штуки Томпсона, и он потирал себе руки, расхаживая взад и вперед от двери к прилавку и посматривая с вожделением на дом Джис-Ук. Ждать он умел. Но она продала своих собак вместе с упряжью проходившим мимо золотоискателям и стала забирать товар за наличные деньги. А когда Томпсон перестал отпускать ей покупки даже и за наличные, то индейцы-тойяты стали покупать для нее все необходимое и приносить ей покупки на дом по ночам.

В феврале пришла первая почта по льду, и Томпсон вслух прочитал в газете, вышедшей в свет еще пять месяцев назад, в отделе сообщений о браках, что Нейл Боннер женился на Китти Шэйрон. Джис-Ук стояла у отворенной двери,

когда он посреди двора читал это известие; она горделиво засмеялась и не поверила. В марте она произвела на свет мальчика, маленький кусочек новой жизни, и не могла на него нарадоваться. В этот же час годом позже Нейл Боннер сидел у другой постели, радуясь другой новой жизни, которая появилась от него на свет.

Снег сошел с земли, и лед тронулся на Юконе. Солнце поднималось все выше. Деньги, вырученные за собак, были израсходованы, и Джис-Ук ушла обратно к своему племени. Оче Иш, искусный охотник, предложил снабжать ее и ее ребенка дичью и ловить для нее лососей, если она выйдет за него замуж. И Аймего, и Хех Ио, и Уай Нуч — все молодые охотники-индейцы делали ей такие же предложения. Но она предпочла оставаться в одиночестве и добывать себе пропитание сама. Она занялась шитьем мокасин, курток и рукавиц — необходимых на Севере вещей, которые украшала красивыми вышивками из блесток и конских волос. Она продавала их золотоискателям, наплыв которых в эту страну с каждым годом увеличивался. И ей не только удавалось зарабатывать себе на пропитание, которое всегда было у нее в изобилии и хорошего качества, но она еще откладывала кое-что на

черный день и в одно прекрасное утро на том же пароходе «Юконский колокол» укатила неизвестно куда.

На Сент-Майкеле она поступила в кухарки. Служащие Компании заглядывались на красивую женщину и на ее удивительного ребенка, не задавая ей вопросов, и она ничего не рассказывала. Но перед самым прекращением навигации по Берингову морю она оплатила свой проезд на простой шхуне, возвращавшейся с промыслов на юг. В эту зиму ее видели в услужении у капитана Маркхэйма в Уналяшке, а весной она снова отправилась на юг до Ситки на шлюпке, перевозившей спирт. Позже ее видели в Метлакатле, близ форта св. Марии, наконец, в Пенхендле, где она работала на консервной фабрике во время сезонного хода лосося. С наступлением осени, когда сивашские рыбаки стали собираться домой в Пюджет-Саунд, она уехала вместе с ними и еще какими-то двумя семействами на большом баркасе. Вместе с ними же она подвергла себя всем случайностям опасного перехода вдоль Аляски и канадских берегов, пока не добралась, наконец, до пролива Хуан-де-Фука и не высадилась вместе с мальчиком на молу в Сиэтле.

Здесь, под сильным ветром на перекрестке,

она встретила Сэнди Макферсона, который ей страшно удивился и, когда она рассказала ему все, пришел в большое негодование, не такое, впрочем, большое, какое бы его охватило, если бы он узнал о Китти Шэйрон. Но Джис-Ук ему о ней не заикнулась, так как все еще не верила в женитьбу Нейла. Видя в поступке Боннера низкую измену, Сэнди старался отговорить Джис-Ук от поездки в Сан-Франциско, так как был уверен, что Боннер проживал именно там. Однако, потерпев в этом неудачу, он помог ей, купил ей железнодорожный билет и проводил ее, все время улыбаясь и бормоча себе в бороду:

— Черт знает что такое!

С шумом и громом, сквозь дневной свет и темноту, прыгая по рельсам от зари до зари, попадая в зимние снега и спускаясь из них в летние долины, проносясь по краям бездн, взбираясь на крутизну, пронизывая горы, Джис-Ук и ее мальчуган мчались на юг. Джис-Ук не боялась ехать на железном коне, не поразила ее и величественная цивилизация народа Нейла Боннера. Наоборот, казалось, что она иного и не ожидала от той богоподобной расы, представитель которой держал ее в своих объятиях. Шумный вихрь жизни в Сан-Франциско, с его бесчисленными судами, из-

рыгающими дым фабриками, с громом и лязгом набережных, не смутил ее. Она сразу постигла, как жалка и убога была жизнь на ее родине и как ничтожно было ее тойятское становище, состоявшее из кожаных юрт. Она посмотрела на своего мальчика, который цеплялся за ее руку, и изумилась тому, что родила его от такого человека.

Она уплатила извозчику пять монеток и взошла на ступени парадного крыльца дома Нейла Боннера. Косоглазая японка несколько минут тщетно расспрашивала ее, а затем ввела в дом и исчезла. Джис-Ук осталась в передней, которая ее простому воображению показалась гостиной — местом, куда тщеславные хозяева снесли все свои фамильные драгоценности, с наивной целью щегольнуть ими и привести в удивление посетителей. Стены и потолок были облицованы красным деревом. Пол был так гладко натерт, что походил на лед, и она нарочно стала на разостланную шкуру, чтобы иметь более прочную точку опоры. Громадный камин, показавшийся ей чем-то необыкновенным, зиял в стене. Поток света, смягченного цветными стеклами, прорезал воздух и озарял белую мраморную фигуру.

Она рассмотрела все это и увидела новые чудеса, когда косоглазая девушка провела ее через

другую комнату, которую ей удалось только окинуть взглядом, в третью. Обе эти комнаты по своему убранству далеко оставляли за собою роскошную переднюю. Джис-Ук стало казаться, что в этом доме бесконечное количество таких комнат. Они были просторны, высоки, в них было много воздуха. В первый раз с тех пор, как она попала в цивилизованный мир белого человека, ею стало овладевать чувство некоторого страха. Нейл, ее Нейл жил в этом доме, дышал этим воздухом и спал здесь по ночам! Все то, что было теперь перед ее глазами, нравилось ей, но за всей этой красотой она чувствовала мудрость и искусство.

Это было конкретное выражение силы в образах красоты, той силы, которую она безошибочно угадывала.

Затем вошла дама величественного вида, с короной роскошных волос, которые светились, точно золотое солнце. Когда она приближалась, Джис-Ук казалось, что звуки музыки проносятся над тихой поверхностью воды. Ее шуршавшее платье звучало, как песнь, ее тело под ним гармонически отвечало этому шуршанью. Джис-Ук сама была неотразима для мужчин. И Оче Иш, и Аймего, и Хех Ио, и Уай Нуч, не говоря уже о Нейле Боннере, о Джоне Томпсоне и о многих-многих

других бледнолицых, заглядывались на нее и чувствовали на себе ее силу. Но она смотрела на большие голубые глаза и светло-розовую кожу этой женщины, которая вышла теперь к ней навстречу, и оценивала ее взглядом женщины, ставя себя на место мужчин. И, вообразив себя мужчиной, которому предоставлялся бы выбор между ней и этой дамой, она сразу почувствовала себя ничтожной в сравнении с этим блестящим, изысканным созданием природы.

— Вы хотите видеть моего мужа? — спросила ее дама.

Джис-Ук обомлела, услышав ее плавный мелодичный голос, который никогда не надрывался резким криком на полудиких собак, не портил себя горловым индейским наречием, не делался хриплым от ветров, морозов и едкого дыма костров.

— Нет, — ответила Джис-Ук, не сразу подыскивая слова по-английски. — Я хочу видеть Нейла Боннера.

— Он мой муж, — засмеялась дама.

Значит, это была правда! Джон Томпсон не лгал ей в тот хмурый февральский день, когда она гордо засмеялась и захлопнула дверь перед его носом. И как когда-то она пригнула Эмоса Пентли

к своему колену и замахнулась на него ножом, так и теперь она вдруг почувствовала, как что-то властное вдруг толкнуло ее броситься на эту женщину и вырвать из ее нежного тела жизнь. Но Джис-Ук тотчас же одумалась, ничем не выдала себя, и Китти Боннер так и не догадалась, что в эту секунду она была на волосок от смерти.

Джис-Ук кивнула в знак того, что поняла, и Китти Боннер объяснила ей, что Нейла ждут с минуты на минуту. Затем обе они сели на смешные удобные кресла, и Китти старалась занять разговором странную посетительницу, а Джис-Ук силилась поддерживать беседу.

— Вы знали моего мужа на Севере? — спросила Китти.

— Да, — ответила Джис-Ук. — Я стирала на него белье. — И ее английский язык сразу стал ужасным.

— А это ваш мальчик? У меня тоже есть дочурка.

Китти приказала привести свою дочь, и, пока дети знакомились, их матери заговорили о материнстве вообще и пили чай из таких маленьких хрупких чашечек, что Джис-Ук казалось, что вот-вот чашечка разломится в ее пальцах на куски. Никогда она не видала таких тоненьких и краси-

вых чашек. В уме она сравнивала их с женщиной, разливавшей чай, и, в противоположность им, перед ней вырастали выдолбленные тыквы и деревянная посуда ее тойятской деревни и неуклюжие кружки на Двадцатой Миле; с этими кружками она сравнивала себя. И вся загадка разъяснялась перед нею просто, именно этою самой обстановкой и этими самыми преимуществами. Она потерпела поражение. Нашлась женщина, которая будет лучше, чем она, рождать и выращивать детей Нейла Боннера. Как народ этой женщины своими качествами превосходил ее племя, так и Китти превосходила Джис-Ук. Обе они стремились к завоеванию мужчины, как мужчины стремятся к завоеванию всего мира. Она созерцала светло-розовую нежную кожу Китти Боннер, и ей приходил на ум медно-красный цвет ее собственного лица. Она переводила взгляд со своей загорелой руки на ее белую: одна была покрыта мозолями от бича и от весла, а другая была изящна и мягка, как у новорожденного младенца. И, заглянув Китти Боннер в глаза, Джис-Ук, невзирая на эту очевидную мягкость и бившую в глаза слабость, увидела в них ту же самую властность, какая светилась в глазах у всех представителей расы Нейла.

— Да ведь это Джис-Ук! — вдруг раздался голос Нейла Боннера, входившего в комнату.

Он сказал это спокойно, даже с некоторым оттенком радости в голосе, подошел к ней, взял ее за обе руки и пожал их. Но в глазах у него светилась тревога, и Джис-Ук поняла ее.

— Здравствуй, Нейл! — воскликнула она. — Да ты здесь очень поправился!

— Очень, очень приятно, Джис-Ук! — ласково ответил он, все еще тайком поглядывая на Китти и стараясь по какому-нибудь ничтожному признаку догадаться, что произошло между этими двумя женщинами без него. Но он отлично знал свою супругу и был уверен, что если бы и произошло между ними что-либо нехорошее, то она не подала бы виду.

— Не нахожу слов, чтобы выразить, как я рад тебя видеть, — продолжал он. — Но что случилось? Вероятно, удалось открыть месторождение золота? Ты когда сюда приехала?

— О, я приехала только сегодня, — заговорила она на ломаном английском языке с горловым акцентом. — Я ничего не открыла, Нейл. Ты знаешь капитана Маркхэйма в Уналяшке? Я долго служила у него в кухарках. Нужны были деньги. Много денег. Очень захотелось приехать сюда,

повидать, как живет белый человек. Очень хорошо живет белый человек, очень хорошо!

Ее английский язык приводил его в смущение, так как Сэнди и он приложили в свое время много усилий, чтобы научить ее говорить правильнее, и она казалась им тогда способной ученицей. А теперь она опять, видимо, поддалась влиянию своего племени. На лице у нее было ее всегдашнее бесхитростное выражение. Очевидно, у Джис-Ук не было никакого намерения уколоть его или упрекнуть. Китти смотрела на мужа по-прежнему без всякого смущения — и это стало сбивать его с толку. Что же, наконец, между ними произошло? Было ли что-нибудь сказано лишнее? Не догадалась ли его жена?

Пока он ломал себе голову над этими вопросами и пока Джис-Ук, в свою очередь, решала свалившуюся на ее голову задачу — никогда еще он не казался ей таким красивым и величественным, — наступило продолжительное молчание.

— Только подумать, что вы знали моего мужа на Аляске! — ласково сказала Китти.

Знала!.. Джис-Ук с гордостью бросила взгляд на своего мальчика, которого она родила ему, и его глаза непроизвольно последовали за ее взглядом к окну, где играли дети. Ему показалось, что же-

лезный круг вдруг сковал ему голову. Колени у него задрожали, и сердце запрыгало в груди. Его мальчик! А он ни разу даже о нем и не подумал!

Маленькая Китти Боннер, похожая на крошечную фею, порхавшую на воздушном лугу, с розовыми щечками и голубыми веселыми глазками, протягивала ручки и выпячивала губки, чтобы поцеловать мальчугана. А мальчик, худенький, ловкий, загорелый и черноволосый, одетый в звериную шкуру, холодно отвергал ее любезности, выпрямившись и застыв в неподвижной позе, с той особенной красотой, которою отличаются дети диких народов. Чужой в непонятной для него стране, он, не испугавшись и не растерявшись, походил на неприрученного зверька, молчаливого и державшегося настороже, его черные глазки перебегали от лица к лицу, спокойные, пока все было спокойно, но если бы представилась хоть малейшая опасность, он тотчас же бросился бы в бой и стал бы царапаться и кусаться.

Контраст между мальчиком и девочкой был поразительный, но не вызывал сожаления. В мальчике так и била наружу физическая сила, доказывавшая его происхождение от Шпака, Спайка О'Брайена и Боннера. В чертах мальчика, тонких, как на камее, и почти классических по

своей строгости, проглядывала властность его отца и деда и того неизвестного человека, который под кличкою Толстяка был взят в плен поморами и сбежал от них на Камчатку.

Нейл Боннер все еще никак не мог овладеть своим волнением, заглушить его и не дать ему вырваться наружу, хотя лицо его радостно и благодушно улыбалось, как это бывает при встрече с друзьями.

— Это твой мальчик, Джис-Ук? — спросил он. И, повернувшись к Китти, продолжал: — Прелестный мальчуган! С такими руками, как у него, он нигде не пропадет!

Китти утвердительно кивнула ему.

— Как твое имя? — спросила она у мальчугана.

Маленький дикарь сверкнул на нее глазами и долго смотрел ей в лицо, как бы стараясь догадаться, зачем она его спрашивала об этом.

— Нейл, — ответил он свободно, убедившись, что ему нечего опасаться.

— Это он по-индейски, — тотчас же вмешалась его мать, стараясь поскорее выдумать что-нибудь, чтобы загладить неловкость. — По-индейски «Нейл» — значит «пистон». Когда он был совсем маленьким, то очень любил, как они стреляют. И все просил пистонов. Он все кричал: «Нейл,

Нейл!» Так я и прозвала его Нейлом. Вот и зову его так до сих пор.

Никогда еще Нейл Боннер не слышал таких приятных для него слов, как эта ложь, срывавшаяся с уст Джис-Ук. Она была для него ключом ко всему, и он знал теперь, что Китти Боннер ничего не было известно.

— А кто его отец? — продолжала расспрашивать Китти. — Должно быть, очень красивый человек.

— О да! — последовал ответ. — Его отец замечательный человек. Еще бы!

— Ты знавал его, Нейл? — поинтересовалась Китти.

— Что? Ах да, да!.. И даже очень близко!.. — ответил Нейл и тотчас же мысленно перенесся на Двадцатую Милю, представив себя в полном одиночестве, в глубоком молчании, одного со своими мыслями.

Здесь могла бы и закончиться история Джис-Ук, но необходимо вознаградить Джис-Ук за самоотречение. Когда она вернулась на Север и поселилась опять в своем доме, то Джон Томпсон узнал вскоре, что Канадская Компания нашла способ отделаться от его услуг и дала ему отставку. А затем новый агент и все сменявшие

его впоследствии получили распоряжение, что женщина по имени Джис-Ук должна снабжаться беспрепятственно необходимыми для нее предметами, в чем бы и в каких бы количествах она их ни потребовала, и что все это она должна получать совершенно бесплатно, без всякого проведения по книгам. Далее, Компания должна была выплачивать женщине по имени Джис-Ук ежегодную пенсию в пять тысяч долларов.

Когда мальчик подрос, отец Шампро взял его на воспитание, и не прошло нескольких месяцев, как Джис-Ук стала регулярно получать письма из иезуитской коллегии в Мериленде. Затем эти письма стали приходить из Италии, а еще позже из Франции. В конце концов на Аляску вернулся некий отец Нейл, который много совершил добра для своей страны, любил свою мать и так далеко пошел, что занял высокое положение в своем ордене.

Джис-Ук была еще совсем молодой женщиной, когда вернулась к себе на Север, и мужчины по-прежнему заглядывались на нее и искали ее руки. Но она жила строго, и никто никогда не говорил о ней ничего, кроме хорошего. Некоторое время она провела у сестер Святого Креста, которые научили ее читать и писать и сообщили ей кое-что

из медицины. После этого она опять вернулась в свой дом, собрала вокруг себя девочек и молодых девушек из тойятской деревни и стала их учить, как нужно жить на свете. И в этом ее доме, построенном для нее ее мужем, Нейлом Боннером, не было ни протестантизма, ни католичества, но миссионеры всех исповеданий относились к нему с одинаковым уважением. Двери этого дома были всегда открыты для всех, и усталые золотоискатели и утомившиеся от длинного пути на собаках проезжие нарочно сворачивали в сторону от реки или от тракта, чтобы хоть немного отдохнуть и обогреться у очага Джис-Ук.

А там, на юге, в Соединенных Штатах, Китти Боннер до сих пор удивляется, почему ее муж так интересуется просвещением Аляски и жертвует на это дело крупные суммы. И хотя она часто подсмеивается над ним и даже иногда порицает его, но втайне, в глубине души, еще больше гордится им.

1904

Джек Лондон
Гиперборейский[55] напиток

Перевод Михаила Чехова (1925).

Правдивость Томаса Стивенса была неопределенной математической величиной *x*, а его воображение равнялось воображению среднего человека, возведенному в энную степень; но во всяком случае, совершенно несомненно одно: никогда не сказал он ничего, что можно было бы назвать явной ложью. Он, быть может, играл с понятием вероятности или же доходил в своих рассказах до крайнего предела возможностей, но никогда в его повествованиях не бывало случая, чтобы все затейливое здание рассказа вдруг треснуло и провалилось. Ни одна душа не станет отрицать, что он знал Север как свои пять пальцев. Многие свидетели могут подтвердить, что он был действительно выдающимся путешественником и собственными ногами прошел неисследованные пустыни. Что касается моих личных

[55] notes: 55

Гиперборейцы — сказочный народ северных стран, не знавший ни болезней, ни ссор и отличавшийся долголетием (жили до 10 тысяч лет).

сведений о нем, то я могу сказать, что знаком с людьми, которые видели его везде, а главным образом около самых крайних пределов той страны, которая носит название «Неведомого». Например, Джонсон, бывший курьер Компании Гудзонова залива, однажды дал ему приют у себя в одной из факторий Лабрадора, пока не отдохнули собаки и Стивенс не уехал дальше. Затем Мак-Мэхон, агент Аляскинской Коммерческой компании, встретился с ним как-то в Порт-Голланде и позднее — на самых дальних островах Алеутского архипелага. Было неоспоримо, что он участвовал в одной из самых ранних геодезических экспедиций правительства Соединенных Штатов, и история определенно указывает на то, что он работал и для Восточного Союза, когда этот последний пытался провести свою телеграфную линию в Европу через Аляску и Сибирь. Наконец, среди свидетелей его путешествий был еще и некий Джо Ламсон, капитан китобойного судна, которое, будучи затерто льдами у устья реки Маккензи, вдруг неожиданно приняло к себе на борт Стивенса, пришедшего к капитану за табаком.

Вот эта последняя черточка и доказывает неопровержимо, что приходил действительно Томас Стивенс, а не кто-либо иной. Его потреб-

ность в табаке никогда не прекращалась и не ослабевала. Еще до нашего близкого знакомства с ним я научился приветствовать его одной рукой, а другой протягивать ему кисет с табаком. Но в ту ночь, когда я встретился с ним в кабачке Джона О'Брайена в Доусоне, он уже так накурился пятидесятицентовых сигар, что вместо кисета попросил у меня кошелек с золотым песком. В это время мы с ним стояли у игорного стола, и он тотчас же поставил самую большую ставку.

— Пятьдесят, — сказал он.

Банкомет в знак согласия кивнул. Карта выиграла, он передал мне мой же собственный кошелек, потребовал расчета и потянул меня к кассе, где кассир небрежно отсыпал ему пятьдесят долларов золотым песком.

— А теперь выпьем, — сказал он.

И потом у стойки, поставив стакан, продолжал:

— Этот напиток мне почему-то напомнил сейчас одну хмельную штуку, которую я когда-то пил в Таттарате. Нет, нет, вы этого места не знаете! Его нет даже на картах. Но оно все-таки существует у Ледовитого океана. Там живет около пятисот забытых Богом душ, которые женятся, выходят замуж и время от времени умирают. Все исследо-

ватели как-то проглядели их, и на карте тысяча восемьсот девяностого года вы не найдете даже следов этого местечка. Однажды там затерло во льдах китобойное судно, и его команда, выбравшись на берег по льду, двинулась дальше в южном направлении и исчезла бесследно, никто никогда о ней не слыхал больше… А хороший тогда у нас с Мусу был напиток, — прибавил он немного спустя, слегка вздохнув.

Я сразу же понял, что за этим вздохом таились великие дела и смелые приключения. Поэтому я увлек его в уголок между рулеткой и игорным столом и стал ожидать, когда оттает у него язык.

— У меня было только одно возражение против Мусу, — начал он, задумчиво покачав головой, — одно-единственное. Мусу — это индеец, живший где-то далеко на Чиппеване. Но вся беда в том, что он любил болтать насчет Священного Писания. Одну зиму он жил с бродягой, канадским французом, который в свое время готовился в священники, и потому голова Мусу была забита разными чудесами, диспутами, разрешениями грехов и еще всякой всячиной, которой он и сам не понимал. Если бы не это, он был бы отличным парнем, весьма полезным и в пути, и у костра.

Тяжеленько нам пришлось тогда, и измучи-

лись мы порядком, когда натолкнулись на этот самый Таттарат! Во время густого тумана, при переправе через трещину, образовавшуюся во льду, мы потеряли всю нашу упряжь и всех собак и явились с подтянутыми животами. Одежда на нас превратилась в клочья. В таком виде мы доползли кое-как до становища. Особенно нам там не удивились, потому что у всех еще были на памяти китобои, и нам предоставили для жилья самую гнусную юрту во всем становище, а для того, чтобы мы не умерли с голоду, дали гниющие отбросы. Но что меня больше всего поразило, так это то, что жители совершенно не общались с нами. Но Мусу объяснил мне, в чем дело.

— Их шаман — *сик-туммтум*, — сказал он.

Это значит, что шаман у них то же, что знахарь-колдун. Он из зависти приказал своему народцу не иметь с нами никаких сношений. Из того немногого, чему он был свидетелем у проходивших мимо китобоев, он понял, что наша раса и умнее и сильнее его народа. Ну, он и стал действовать так, как подобало шаману.

И еще раньше, чем я доскажу вам всю эту историю, вы убедитесь, что мой индеец был прав.

— У этого народца есть закон, — сказал Мусу, — который гласит: «Кто ест мясо, тот должен

охотиться». О, хозяин! Попались мы с тобою в ловушку к этому племени! Эти люди хотят, чтобы мы так же, как и они, умели натягивать лук и бросать копье, а мы этого не умеем. Поэтому шаман и вождь их племени Туммазук положили в сердце своем и решили в умах своих, что мы должны работать на них вместе с бабами, таскать на своих плечах убитых зверей и прислуживать их охотникам.

— И это очень несправедливо, — ответил я, — мы с тобой лучшие люди, чем эти, блуждающие в темноте. К тому же мы должны еще отдохнуть и хорошенько подкрепиться: путь наш на юг долог, а слабые идти не могут.

— Но у нас нет ничего, — возразил он, оглядываясь на прогнившие стропила нашей юрты и с отвращением нюхая воздух, отравленный тухлым тюленьим мясом. — На такой еде далеко не уедешь. У нас ничего нет, кроме этой бутылки «напитка, убивающего горести». Поневоле придется покориться и превратиться в дровосеков и водоносов. Но и в таком грязном месте, как это, все-таки могут найтись хорошие вещи. Только они не для нас. О, хозяин, никогда еще мой нос не обманывал меня; он и на этот раз привел меня к запасам, спрятанным в их юртах в меховых

мешках. Это запасы несчастных китобоев, и они достались немногим! Так, у женщины Инсукук, которая живет в конце становища, рядом с хижиной вождя, много сахара и муки и даже патоки, как мне сказали мои глаза: лицо женщины было измазано патокой. А в юрте у вождя Таммазука я видел чай. Я собственными глазами видел, как этот старый боров, причмокивая, пил его. А у шамана целый ящик кое-чего с этикеткой «звездочка» и два ящика превосходного табаку. А у нас что? Ничего! Ровно ничего!

Я был подавлен сообщением о табаке шамана и ничего не ответил. Тогда Мусу, видимо, одушевленный каким-то желанием, нарушил молчание:

— И еще есть там Тукеликета, дочь храброго охотника и богатого человека. Подходящая девушка. Да, действительно очень хорошая девушка!

В ту же ночь, пока Мусу храпел, я усиленно обдумывал положение, для меня была невыносима мысль о том, что вблизи есть табак и я не могу его выкурить. Мусу сказал правду: у нас действительно ничего не было. Но наутро я принял решение и сказал Мусу:

— Выйди за становище и достань мне какую-

нибудь кость, пустую внутри и искривленную наподобие гусиной шеи. Иди с самым беззаботным видом, но зорко смотри во все горшки, кастрюли и прочие кухонные принадлежности, которые подвернутся тебе по пути. Помни одно, что я обладаю великой мудростью белого человека, и делай то, что я сказал тебе, быстро и уверенно.

Пока он ходил, я поставил на середину юрты лампу, которая служила нам для приготовления пищи и которую мы наливали китовым жиром. Потом я отшвырнул в сторону истертые меха, служившие нам постелью. Я разобрал ружье Мусу, отложа в сторону ствол, но так, чтобы он был у меня под рукой, и стал вить из дикой конопли, которую женщины собирают в летнюю пору, длинный фитиль. Скоро вернулся Мусу с такой костью, как я ему приказал, и с известием, что в юрте у Туммазука имеется полупудовый бидон из-под керосина и большой медный чайник. Я его похвалил за это и сказал, что теперь еще не время. Когда же приблизилась ночь, я обратился к нему:

— У этого вождя Туммазука имеются медный чайник и керосиновый бидон.

Тут я вложил ему в руку гладко отшлифован-

ный морским прибоем булыжник.

— Становище притихло, — продолжал я, — и звезды мерцают. Пойди тихонько влезь в юрту к вождю и изо всех сил ударь его этим камнем по животу. И пусть мясо и добрая еда грядущих дней вложат силы в твою десницу! Поднимутся рев и крики, и сбежится все становище. Но ты не бойся. Спрячься в темном углу юрты. А когда приблизится к тебе женщина по имени Инсукук, та, что обмазала себе лицо патокой, то ударь также и ее. Не забудь ударить и всех тех, у кого есть мука, и кто подвернется тебе под руку. А потом закричи во весь голос, точно от боли, и скажи, что и тебя кто-то ударил камнем по животу. Таким образом мы достигнем славы и великих богатств и получим ящик с этикеткой «звездочка» И табак первого сорта и твою Тукеликету, которая действительно самая подходящая для тебя девица.

Он отправился выполнять это поручение, а я терпеливо ожидал его возвращения в своем хлеву, и табак стал представляться мне близким и доступным. Среди ночи вдруг раздался крик, перешедший затем в бешеный рев, от которого, казалось, могли бы прийти в содрогание небеса. Я схватил бутылку с «напитком, убивающим горести» и выбежал из юрты. Слышался невероятный

шум, женщины стонали и вопили, Туммазук и женщина Инсукук катались по земле от боли, и с ними были еще и некоторые другие, в том числе и Мусу. Я отшвырнул в сторону тех, кто валялся у меня под ногами, и приставил горлышко бутылки к губам Мусу. Он тотчас же почувствовал облегчение и перестал кричать от боли. После этого и все остальные, получившие удар камнем по животу, с громкими воплями обратились ко мне с мольбами о бутылке. Но я произнес им речь и, прежде чем они попробовали виски, уже успел отнять у Туммазука его медный чайник и керосиновый бидон, у женщины Инсукук — ее сахар и патоку, а у остальных страдальцев — достаточное количество муки.

Шаман злобно посматривал на людей, ползавших от виски у моих ног, хотя и плохо скрывал охватившее его самого изумление. Но я высоко держал свою голову, а Мусу кряхтел под тяжестью добычи, следуя за мною по направлению к нашей юрте.

Тут я принялся за работу. Я размешал три кружки муки и пять кружек патоки в медном чайнике Туммазука и прибавил к этой смеси двадцать кружек воды. Затем я поместил этот чайник у лампы, чтобы смесь могла закиснуть и чтобы там

началось брожение от тепла. Мусу понял, в чем дело, и заявил, что моя мудрость превосходит человеческое понимание и является даже большей, чем мудрость Соломона, о котором он слышал как о самом умном человеке в древности. Я поставил керосиновый бидон над лампой и к его горлышку приделал трубку, а в трубку вставил кость, похожую на гусиную шею. Я послал Мусу на двор наколоть льду, а сам соединил ствол от ружья с гусиной шеей, а затем обложил льдом, который принес Мусу, середину ствола. У конца ствола, там, где кончалось ледяное кольцо, я поместил небольшой горшок. Когда смесь перебродила, на что понадобилось два дня, я перелил ее в бидон из-под керосина и зажег под ним те фитили из конопли, которые предварительно приготовил.

Когда все было готово, я позвал Мусу.

— Пойди, — сказал я, — к старейшинам этого становища, передай им привет и проси их пожаловать к нам в юрту, чтобы вместе со мной попировать и забыть в эту ночь обо всем на свете.

Мой напиток весело шипел, когда приглашенные, откидывая край юрты, стали вползать в мое жилище. Я сидел у аппарата и терпеливо обкладывал льдом ствол от ружья. И вот из казен-

ной части ствола стал вдруг капать в железный горшок напиток — кап-кап-кап… ну, словом, получился напиток *хуч*. Но они никогда раньше не видали, как он делается, и только хихикали, а я в это время расхваливал им достоинства этого напитка. Пока я говорил, в глазах у шамана вдруг засветилась зависть, а когда я кончил, то усадил его рядом с Туммазуком и женщиной Инсукук. Им первым я дал выпить моего напитка: глаза их замаслились, а желудок почувствовал теплоту; от недоверия они быстро перешли к восторгу и стали упрашивать меня налить им еще и еще. Когда первая партия основательно выпила, я принялся за вторую. Туммазук стал рассказывать, как он убил белого медведя, и так замахнулся кулаком, что чуть не положил на месте сидевшего рядом с ним брата своей матери. Но никто не обратил на это внимания. Женщина Инсукук стала громко рыдать о своем давным-давно погибшем во льдах сыне, а шаман изрекал магические заклинания и пророчества. Так шло и дальше, и к утру все они валялись на земле, объятые глубоким, крепким сном, и, видимо, находились в общении со своими божествами.

А дальше все понятно само собой, не так ли? Слух о моем волшебном напитке широко рас-

пространился с необычайной быстротой. Он показался всем поистине чудесным. Не хватало слов, чтобы описать все чудеса, которые он производил. Он утолял боль, утишал горе, оживлял воспоминания о минувшем, тусклые лица делал живыми и забытые сны превращал в действительность. Это был огонь, горевший в крови, огонь, не опалявший тела. Он расширял сердца, выпрямлял спины и делал людей богатыми. Он раскрывал тайны грядущего, посылал видения и заставлял изрекать пророчества. От него люди преисполнялись мудрости, и нераскрытые тайны становились ясными — словом, не было конца чудесам, которые совершал мой напиток, и со всех сторон слышались мольбы дать испробовать его. Мне приносили в дар лучшие меха, самую редкую дичь, самых сильных собак, но я скупо расходовал на этих людей свой хуч, и осчастливленными бывали только те, кто приносил мне патоку, сахар и муку. И около меня стали скапливаться такие запасы, что я приказал моему Мусу устроить нечто вроде погреба и складывать их туда, так как в юрте у нас не было места. Не прошло и трех дней, как Туммазук оказался банкротом. Шаман, который после первой ночи напивался только наполовину, все время следил за каждым

моим движением и продержался больше недели на ногах. Что же касается женщины Инсукук, то не прошло и десяти дней, как она разорилась совсем, истощила на нас все свои запасы и еле доплелась к себе домой.

Но скоро Мусу стал жаловаться.

— О хозяин, — сказал он, — у нас теперь большие богатства, состоящие из сахара и муки, но стены нашей юрты пропускают холод, наша одежда ветха, а меха, на которых мы спим, облезли. Желудок мой хочет такого мяса, запах которого не оскорблял бы звезд, и чаю, которым упивается Туммазук; велика потребность также и в табаке, которым завладел шаман Нивак, желающий стереть нас с лица земли. У меня много муки, сахар меня уже не радует, сердце мое болит, и ложе мое пусто.

— Уймись, Мусу, — отвечал я, — ты глуп и несообразителен. Будь осторожен и жди: мы все получим от них. Только не старайся хватать все сразу: захватишь много, и в конце концов у тебя не останется ничего. В сравнении с мудрым белолицым ты еще дитя. Молчи и наблюдай, и я покажу тебе, как поступают мои братья по ту сторону моря: они успели сосредоточить в своих руках все земные богатства, называя это «обде-

лывать дела». А что ты смыслишь в делах?

Однако на следующий день он прибежал ко мне, едва переводя дыхание.

— О хозяин! — воскликнул он. — Странная вещь происходит сейчас в юрте у шамана Нивака! Мы погибли. Так нам и не удалось одеться в теплые меха и покурить вкусного табаку, и все это из-за твоей жадности к патоке и муке. Пойди к шаману и убедись лично, а я останусь здесь и послежу за напитком.

Я отправился в юрту Нивака, и что я увидел там! Оказалось, что он устроил свой собственный аппарат по точному образцу моего. При виде меня он с трудом мог скрыть свое торжество. Он был хитрый человек, сон его в моей юрте был не особенно глубок.

Но меня это нисколько не смутило, потому что я кое-что знал, и, вернувшись к себе в юрту, стал успокаивать Мусу и сказал ему:

— К счастью, у этих людей существует право собственности. Пользуясь их уважением к собственности, давай-ка пока что отдыхать, а потом мы введем у них новые законы, которых другие народы добились только путем тяжких трудов и страданий.

Но Мусу плохо понимал меня, пока шаман не

явился к нам и не потребовал с горящими глазами и с угрозой в голосе, чтобы я продал ему часть своих запасов.

— Смотри, — кричал он, — во всем становище не осталось больше ни муки, ни патоки! Ты хитрым способом выманил их у моего народа, который, правда, узнал напиток и спал на лоне богов, но зато теперь ничего не имеет, кроме распухших лиц и трясущихся колен, да еще жажды, которую никак не может утолить. Это плохо с твоей стороны, а так как мой голос имеет власть среди них, то не мешало бы тебе с нами сделать обмен, чтобы наши патока и мука возвратились от тебя к нам.

И я ответил:

— Добрую речь сказал ты, и мудрость обитает у тебя на устах. Будем меняться. За столько-то вот муки и столько-то патоки ты дашь мне ящик с этикеткой «звездочка» и два ящика табаку.

Мусу застонал, а когда сделка была заключена, он стал меня упрекать.

— Теперь из-за твоего безумства, — сказал он, — мы пропали. Нивак сам сделает хуч, и когда настанет время, он прикажет своему народу употреблять хуч только его приготовления, а не наш. Таким образом мы будем побеждены, наши

товары останутся у нас, наша юрта будет пуста, и ложе Мусу — холодно и одиноко!

А я ответил:

— Говорю тебе и клянусь телом Волка, что дурак и ты, и твой отец, и дураками будут твои дети до самого отдаленного потомства. Мудрость твоя хуже, чем отсутствие всякого ума, и глаза твои слепы; ты не можешь видеть то «дело», о котором я говорил, но о котором ты ничего не ведаешь. Иди, сын тысячи дураков, и пей тот хуч, который Нивак варит в своей юрте, и благодари своих богов, что около тебя есть мудрость белого человека, старающегося умягчить то ложе, на котором ты будешь лежать. Иди! И когда ты упьешься, то вернись ко мне, чтобы по запаху твоих губ я мог судить о крепости того напитка, который ты пил.

Через два дня Нивак прислал привет и приглашение прийти к нему в его юрту. Мусу пошел, а я остался дома. И песенка моего аппарата все еще звучала у меня в юрте, а воздух был густ от табачного дыма, потому что я курил табак, полученный от шамана. В этот вечер у меня не было никакой торговли, и никто не приходил ко мне, за исключением Ангейта, молодого охотника, который еще доверял мне. Затем вернулся Мусу.

От хохота он не мог произнести ни слова, и глаза его блестели.

— Ты великий человек! — воскликнул он. — Ты великий человек, о, хозяин, и из-за величия своего ты не осудишь Мусу, твоего слугу, часто сомневающегося и не могущего тебя понять!

— Ну, как там теперь? Удалось ли тебе выпить как следует? И крепко ли сейчас спят в юрте у шамана Нивака?

— Нет, — ответил он, — все они сердиты и еще твердо стоят на ногах, и вождь их Туммазук вцепился своими большими пальцами Ниваку в горло и поклялся костями своих предков, что никогда больше не посмотрит на его лицо. Слушай! Когда я пришел к Ниваку в юрту, то жидкость кипела и пенилась, и пар, как и у тебя, превращался в жидкость от соприкосновения со льдом и стекал капля за каплей сквозь дуло ружья в горшок. Нивак дал нам пить, но напиток оказался совсем не таким, как у тебя: он не жег языка и не разъедал глаз; это была простая вода. Мы стали пить и пили, насколько хватало у нас сил, — и все-таки оставались с холодными сердцами и с хмурыми лицами. Нивак смутился и нахмурился. Он посадил отдельно от всех других Туммазука и Инсукук и предложил им пить, пить и пить. И

они пили, пили и пили — и оставались серьезными и холодными, пока, наконец, разгневанный Туммазук не встал и не потребовал от Нивака обратно меха и чай, которые он уплатил ему за напиток. И Инсукук тоже стала кричать тонким и злым голосом. И все собравшиеся потребовали обратно все, что они дали за напиток, и начались крики и ссора.

— Этот собачий сын думает, что я кит! — воскликнул Туммазук, приподняв кожаную завесу и пролезая ко мне в юрту. Лицо его потемнело от гнева, и брови нахмурились. — Он наполнил меня водой, как рыбий пузырь, так что я чуть не лопаюсь, и из-за той тяжести, что сейчас болтается во мне, едва могу ходить. Знаю я его! Я выпил сколько мог. Никогда раньше не пил я столько, и все же глаза мои не в тумане, колени держат меня, и голова вполне ясна!

— Шаман не сумел отправить нас на лоно богов! — жаловался народ, вваливаясь в юрту. — И только в твоем обиталище мы можем испытать это блаженство.

Я, смеясь в душе, предложил всем им хуч, и гости тотчас же развеселились. Все дело было в том, что в ту муку, которую я продал Ниваку, я подмешал большое количество соды, которую

выманил у женщины Инсукук. Как же могла забродить у него мука, когда сода не давала тесту закиснуть? Или как мог его хуч быть настоящим хучем, если в нем не было хмеля?

С этого вечера богатства потекли к нам рекой! У нас были и меха, и женские рукоделия, и чай от вождя, и громадное количество мяса. Однажды Мусу весьма спутанно рассказал мне историю Иосифа в Египте, и благодаря этому рассказу у меня зародилась идея. Я использовал ее, и скоро половина всего племени работала на меня, устраивая погреба для хранения мяса. Из всей добычи, которую удавалось племени приносить с охоты, львиная доля поступала в мое распоряжение, и я складывал ее про запас в погреба. Мусу тоже не зевал. Он сделал из березовой коры колоду игральных карт и научил Нивака играть в «железную дорогу». Отец Тукеликеты был также вовлечен им в эту игру, и в один прекрасный день Мусу выиграл у него дочь, а затем на следующий же день переехал в юрту шамана, которая была самой лучшей во всем становище. Падение шамана было окончательно, так как он проиграл решительно все, что у него было, даже барабаны из моржовой кожи, инструменты для магических заклинаний — словом, все: и чужое и

свое. В конце концов он превратился в простого дровосека и водоноса, и Мусу помыкал им. А Мусу сам стал теперь выдавать себя за шамана или за какого-то первосвященника и благодаря своему превратному толкованию Священного Писания создал новых богов и стал производить заклинания перед какими-то странными алтарями.

Я был этим весьма доволен, так как находил, что хорошо, когда церковь и государство идут рука об руку; впрочем, что касается государства, то у меня были некоторые свои планы. События складывались именно так, как я ожидал. Хорошее расположение духа и улыбающиеся липа совершенно исчезли из нашего становища. Все были мрачны и раздражительны. И днем и ночью происходили драки, ссоры, крики и брань. Карты Мусу вышли вторым изданием, и жители становища с азартом играли друг с другом. Туммазук ужаснейшим образом избил жену, за нее заступился брат его матери и исколотил Туммазука моржовым клыком. Это произошло ночью. На крики вождя сбежалось все становище, и Туммазук был опозорен окончательно в глазах своего народа. Среди такого рода развлечений совсем позабыли об охоте, и в поселке начался голод. Ночи были длинны и темны, а без

дичи нельзя было купить у нас хуча, и против вождя начался ропот. Это как раз и было мне нужно. Когда все основательно наголодались, я собрал все становище, произнес большую речь, сыграл роль патриарха и накормил голодных. Мусу точно так же произнес речь. Благодаря ей и главным образом тому, что я накормил их, меня провозгласили вождем. Мусу, с которым говорили боги и передавали через него людям свои веления, помазал меня китовым жиром на царство и, не вникнув в сущность церемонии, слишком густо меня измазал. После этого мы оба объяснили собравшимся новую для них теорию божественного происхождения царской власти.

Затем была роздана усиленная порция хуча и мяса, и народ охотно подчинился новому режиму.

Таким образом, я воссел на трон, облачился в пурпур и управлял народом. Я мог бы и посейчас быть королем, если бы у меня не вышел весь запас табаку и если бы Мусу не оказался большим жуликом. Он стал заглядываться на Эзанетук, старшую дочь Туммазука, но я строго запретил ему смотреть на нее.

— О брат! — говорил мне Мусу. — Ты счел нужным даровать новые учреждения этому народу,

и я слушал тебя и удивлялся твоей мудрости. Ты управляешь народом по Богом данному тебе праву, а я, со своей стороны, по данному Богом праву женюсь.

Я заметил, что он стал называть меня «братом», рассердился и топнул на него ногой, но он убежал и три дня занимался заклинаниями, в которых принял участие весь народ без исключения; а потом, якобы по божественному повелению, провозгласил у нас многоженство. Однако он установил число жен в соответствии с имущественным цензом. Благодаря своему достатку он извлек из этого постановления наибольшие выгоды. Я не мог не восхищаться им, хотя для меня и было ясно, что жажда власти стала кружить ему голову и что он теперь не успокоится до тех пор, пока вся власть и все богатства не перейдут в его руки. Он раздулся от гордости, забыл, что я возвысил его, и решил погубить меня.

Но мне было интересно наблюдать все это. Этот прощелыга по-своему понимал эволюцию первобытного общества. Я получал от монополии на хуч определенные доходы, которыми теперь перестал делиться с Мусу. Он подумал немного и выработал систему обложения в пользу служителя Бога: он учредил «десятину», произ-

носил проповеди насчет упитанных тельцов и усиленно коверкал всякие тексты из Священного Писания для подкрепления своих доводов. Я смотрел сквозь пальцы и на это, но когда он ввел нечто вроде подоходно-поимущественного налога, я потерял терпение и возмутился. К сожалению, я сделал то, что ему было нужно, и к чему он и вел все. Он обратился к народу, а народ, завидовавший моему богатству и к тому же и сам основательно обложенный разными поборами, поддержат его.

— Почему все мы должны платить, — спросили они у меня, — а ты один нет? Разве не голос Бога говорит устами нашего шамана Мусу?

Конечно, мне пришлось покориться, но я поднял цену на хуч. Мусу, со своей стороны, ни на шаг не отстал от меня и повысил налоги.

Между нами началась открытая война. Я попытался привлечь на свою сторону Нивака и Туммазука, но Мусу был хитрый; он создал духовные чины и возвел Нивака и Туммазука в высокий сан. Перед ним встала проблема власти, и он стал разрешать ее так, как она часто разрешалась и до него. В этом был виноват я. Я сделал ошибку. Мне самому нужно было бы сделаться шаманом, а его сделать вождем; но я слишком

поздно увидел ошибку, и теперь борьба между духовной и светской властью, несомненно, должна была кончиться моим поражением. Борьба между мной и Мусу продолжалась, но очень скоро перевес перешел на одну сторону. Народ помнил, что Мусу помазал меня на царство, и для него было ясно, что источник моей власти лежал не во мне, а в Мусу. Лишь немногие верные, из которых главным был Ангейт, держались еще моей стороны. Мусу возглавлял господствующую партию и распространял слухи, что будто бы я намерен свергнуть его и заставить всех поклоняться моим богам, богам ложным. И в этом умный негодяй предвосхитил мою мысль: я как раз намеревался отречься от своей королевской власти и начать борьбу с духовной властью духовным же мечом. Мусу запугал народ неправедностью моих богов, особенно одного из них, которого он назвал Коммер-ция, и сорвал весь мой план.

А тут как раз случилось, что мне понравилась Клукту, младшая дочь Туммазука, и я ей тоже понравился. Я обратился к ее отцу с предложением, но бывший вождь наотрез отказал мне — хотя и взял с меня выкуп за невесту — и сказал, что эта девушка оставлена им для Мусу. Это переходило всякие границы. Взбешенный, я шел к юрте,

чтобы задушить Мусу собственными руками, но вдруг вспомнил, что у меня вышел весь табак, засмеялся и повернул к себе домой.

На следующий день Мусу занялся заклинаниями и стал так ревностно рассказывать всем о чуде с пятью хлебами и рыбами, что оно скоро приобрело характер пророчества. Я же понял, что Мусу украдкою кивал на мои скрытые мясные запасы. Народ тоже понял эту притчу превратно, и так как Мусу не настаивал на том, чтобы все отправились на обычную охоту, то большинство осталось дома, и в этот вечер охотники принесли только двух-трех оленей.

Увидев, что у меня иссякли не только табак, но и мука и сахар, я стал, в свою очередь, измышлять новые планы. Кроме того, я считал себя обязанным показать, что такое мудрость белого человека, и навлечь какое-нибудь бедствие на голову Мусу, разжиревшего от той власти, которую я же доставил ему. Я пробрался ночью к своим складам и так основательно поработал над ними, что все собаки в становище на следующий день едва двигались от лени. Никто не заметил моей проделки, и я таким образом поступал каждую ночь. Собаки становились все толще и толще, а люди все худели и худели. Все начинали ворчать

и требовали от Мусу исполнения пророчества, но он все еще сдерживал их, ожидая, чтобы голод возрос до крайних пределов. До самой последней минуты ему даже и в голову не приходило, какую штуку я сыграл с моими складами для мяса.

Когда все было готово, я послал Ангейта и других своих немногих приверженцев, которых тайно хорошо кормил, оповестить все становище о предстоящем народном собрании. Все племя собралось на утоптанную площадку перед моей юртой. Всех манили к себе мои мясные склады. Пришел и Мусу и стал против меня, в самом центре образовавшегося круга. Он, видимо, подозревал, что я что-то замыслил против него, и был готов при первой же опасности броситься на меня и убить. Но я встал и при всем народе приветствовал его.

— О благословенный богами Мусу, — начал я. — Ты, вероятно, дивишься тому, что я собрал этот народ, и, без сомнения, готов на быстрые слова и быстрые поступки вследствие тех многих глупостей, которые я совершил. Но теперь я прозрел. Говорят, что, кого боги захотят погубить, у того отнимают разум. И я действительно был безумцем. Я противился твоей воле, смеялся над твоей властью и совершил много злых и безрас-

судных дел. Но вчера мне явилось видение, и я понял всю греховность своих путей. Ты стоял передо мною, как путеводная звезда, с открытым челом, и я сердцем своим понял твое величие. Я уверился, что тебя слушают боги. Я вспомнил, что все добрые дела, какие я когда-либо совершил, были сделаны мною только по милости Мусу и по изволению богов…

— Да, дети мои! — воскликнул я, обратившись к народу. — Все, что я совершил праведного, и все, что сотворил доброго, — все это произошло по советам Мусу. Когда я слушал его, все шло хорошо, а когда закрывал свои уши и глаза и действовал сообразно своему безумию, получалось одно безумие. По совету Мусу я сделал запасы мяса и в дни скудости кормил им голодных. Только по его милости вы меня сделали вождем. А что я совершил своего за все это время? Позвольте мне покаяться: я ничего не сделал. Голова моя кружилась от власти, и я вообразил, что я больше, чем Мусу. И смотрите, до чего я дошел! Все правление мое было неправедным, и боги стали гневаться на меня. Какое горе! Вы исхудали от голода, груди у матерей высохли и лишились молока, и дети теперь кричат по ночам. Мое сердце окаменело от вражды к Мусу, и я не знаю уже, что надлежит

теперь предпринимать и каким образом можно помочь вам.

При этих словах многие из слушателей закивали и засмеялись, наклоняясь друг к другу. Я понял, что они перешептываются между собою о пяти хлебах и о рыбе, и поспешил продолжать свою речь.

— Итак, — крикнул я, — видение убедило меня в безумии моих поступков и в мудрости Мусу, в моей негодности ни к чему и в талантах Мусу. А поэтому, отказавшись от всяких безумств, я хочу просить у вас прощения и исправить все содеянное мною зло. Я бросил свои неправедные взгляды на Клукту; она, увы, оказалась предназначенной для Мусу. Хотя я и уплатил за нее Туммазуку выкуп, но я недостоин ее, и она из юрты отца своего перейдет в юрту к Мусу. Может ли луна светить, когда на небе солнце? Пусть же Туммазук удержит у себя уплаченный мною выкуп, и пусть эта девушка достанется в подарок Мусу, которого боги благословили на то, чтобы быть ее законным господином!..

А так как я приобрел свои богатства неправедно и пользовался неразумно своим положением, чтобы угнетать вас, дети мои, я дарю Мусу свой керосиновый бидон и гусиную шейку, а также

и ружейный ствол и вот этот медный чайник в придачу. Как видите, я после этого не смогу больше приобретать для себя богатства, и когда вы вновь почувствуете желание пить хуч, то Мусу утолит вашу жажду и не будет брать с вас за это никакой платы. Ибо он великий человек, и боги говорят его устами!..

Умягчилось сердце мое, и я раскаялся в безумии моем. Я глуп и происхожу от глупых людей; я раб злого бога по имени Ком-мер-ция; я видел ваши пустые животы и не знал, чем их наполнить, — неужели же я могу быть вождем и восседать превыше тебя, Мусу, и править народом на его погибель? Мусу давно уже состоит вашим шаманом, он мудрее всех людей, и только он один сумеет управлять вами мягкой рукой и справедливо. А посему я отрекаюсь от власти и передаю мое право вождя Мусу — он один только знает, как напитать вас теперь, когда нигде нет ни кусочка мяса.

Когда я сказал все это, то началось хлопанье в ладоши, и народ закричал: «Клоше! Клоше!» — что значит «хорошо». Я заметил по глазам Мусу, что он был изумлен и озабочен, не понимая, в чем дело, он снова трепетал перед мудростью белого человека.

Таким образом я исполнил все желания Мусу и даже предупредил некоторые из них, и он хорошо понимал, что теперь неподходящее время для того, чтобы возбуждать против меня народ.

Я объявил во всеуслышание, что хотя аппарат и переходит в собственность Мусу, но все наличное количество хуча должно быть немедленно же предоставлено народу. Мусу попытался было протестовать против этого, так как до сих пор мы никому не давали больше одной чарки, но народ закричал: «Клоше, клоше!» — и устроил празднество у самой моей юрты. Пока они бесчинствовали снаружи от ударившего им в голову спирта, я внутри юрты держал с Ангейтом и с остальными верными мне людьми совет. Я объяснил им, каждому в отдельности, то, что они должны были выполнить, и научил их тем словам, которые они должны были говорить. После этого я незаметно выскользнул из юрты и отправился к тому месту в лесу, где у меня были припрятаны двое доверху нагруженных саней, в которые были впряжены лучшие собаки. Весна была близка, и снег покрылся настом, так что время для пути на юг было самое подходящее. Кроме того, у меня вышел весь табак. Здесь я стал поджидать, так как бояться мне было нечего. Ес-

ли бы они даже и бросились за мной, то не смогли бы догнать, так как их собаки были слишком неповоротливы и толсты, а сами они от голода слишком слабы и худы. Кроме того, я полагал, что их возбуждение будет такого порядка, что против него нетрудно будет заранее принять соответствующие меры.

Сначала прибежал ко мне один мой приверженец, затем другой.

— О хозяин! — воскликнул первый из них, едва переводя дух от волнения. — В становище великое смятение, и никто не может ничего понять. Все перепились, и один стал стрелять из лука, а другие передрались между собой. Никогда еще не бывало у нас такой беды!

А второй сказал:

— Я поступил так, как ты велел мне. Я шептал хитрые слова в уши и возбуждал воспоминания о прошлом. Женщина Инсукук уже сокрушается о своей бедности, вспоминая о том богатстве, которое ей некогда принадлежало. А Туммазук считает себя снова вождем, а народ по-прежнему голоден и бестолково мечется взад и вперед.

Третий же сказал:

— Нивак уже ниспроверг алтари, воздвигнутые Мусу, и начал творить заклинания перед богами

своих отцов. Все люди вспоминают о богатстве, которое раньше текло к ним в рот и которого теперь уже нет у них. Эзанетук, которую обуяла ревность, подралась с Клукту, и по этому поводу было много шума; затем, так как они дети одной и той же матери, обе они сцепились с Тукеликетой. Наконец, все трое бросились на Мусу, пока он в ужасе не выбежал из юрты. И люди стали глумиться над ним, потому что мужчина, который не может справиться с женщинами, — дурак.

После них стал говорить Ангейт:

— О хозяин, великая напасть обрушилась на Мусу. Я успешно нашептывал им в уши то, что ты приказал мне, и весь народ стал подступать к Мусу, говоря, что все они голодны, и требуя исполнения пророчества. И начался громкий крик: «Ильтвилли! Ильтвилли!» («Мяса!») Мусу закричал на своих женщин, которые все еще неистовствовали под влиянием вина и гнева, чтобы они замолчали, и повел все племя к твоим складам, приказал открыть их, брать мясо и есть. А склады оказались пустыми. Никакого мяса в них не было. Народ стоял в безмолвии, испуганный, и тогда я возвысил свой голос. «О Мусу! — воскликнул я. — Где же обещанное тобою мясо? Что оно здесь было, этому мы свидетели.

Или мы не охотились? Или не таскали его сюда на своих плечах? И неужели один человек мог все это съесть? А мы не видим здесь ни шкур, ни перьев, ни шерсти. Где же все мясо, о Мусу? Ты слушаешь богов, ответь же нам: где это мясо?» И народ стал кричать: «Где мясо? Где же мясо?» И все стали шептаться, склоняя головы один к другому. Я ходил между ними и говорил им страшные слова о неведомых вещах, о покойниках, которые встают из гробов, ходят, как тени, и, натворив разных бед, уходят обратно в могилы. Наконец весь народ заорал от страха. Все столпились в кучу, как малые дети, боящиеся темноты. Тогда Нивак обратился к ним с увещаниями, обвиняя во всем Мусу. Когда он кончил, разъяренная толпа схватила копья и моржовые клыки, камни с берега и дубины. Но Мусу убежал домой, и так как он не пил хуча, они не смогли его поймать: они падали один на другого и с трудом поднимались на ноги. И теперь еще они воют перед юртой Мусу, а его женщины воют внутри юрты, и что говорит Мусу — в этом адском шуме нельзя разобрать.

— О Ангейт, — одобрил я его, — ты хорошо поступил! Возьми же теперь пустые сани и тощих собак и поезжай как можно скорее к юрте Мусу, и прежде чем все эти пьяные люди поймут, в чем

дело, брось его в сани и привези ко мне.

Я ждал и давал добрые советы моим верным слугам, пока, наконец, не вернулся Ангейт. Мусу оказался в санях, и по царапинам на его лице я увидел, что его женщины хорошо расправились с ним. Он тотчас же скатился с саней и повалился передо мною прямо в снег.

— О господин! — воскликнул он. — Ты, наверное, простишь своего верного слугу Мусу за все то зло, которое он сделал! Ты — великий человек! Я знаю, ты меня простишь!

— Ну-ка, Мусу, назови меня братом! — засмеялся я, поднимая его на ноги ударом сапога в бок. — А теперь говори: обещаешь ли ты повиноваться мне всегда?

— Да, хозяин! — захныкал он в ответ. — Всегда!

— Тогда ложись поперек этих саней, вот так. — Я взял в руки длинную плеть. — Теперь направь лицо твое вниз, к земле. И поскорее, так как сейчас мы двинемся на юг.

И когда Мусу лег так, как я ему сказал, я стал мерно опускать плеть, напоминая ему при каждом ударе о зле, которое он причинил:

— Это тебе за непослушание вообще! Раз! А это за каждое твое непослушание в частности! Два! Это за Эзанетук! А это для блага твоей души! Это

за твое прекрасное управление! А это за Клукту! Это за Богом данные тебе права! А это за твой подоходный налог и за твои хлебы и рыб! Это за все твое непослушание! А это, наконец, чтобы ты впредь был осторожен и разумен! А теперь прекрати свое хныканье и вставай! Живо напяливай лыжи, иди вперед и протаптывай снег для собак. Жарь! Быстро!

Томас Стивенс тихонько улыбнулся себе в ус, закурил пятую сигару и пустил кудрявые колечки дыма к потолку.

— Ну а как же с этим народом в Таттарате? — спросил я. — Жестоко было бросить всех голодными!

Он засмеялся, пустил два колечка дыма к потолку и ответил:

— А разве я им не оставил откормленных собак?

1900

Джек Лондон
Золотое дно

Казалось бы, что рассказ из жизни золотоискателей, — причем более правдивый, чем вы думаете, — должен быть рассказом о неудачах и разочарованиях. Впрочем, все зависит от того, как смотреть на вещи. Кинку Митчеллу и Хутчину Биллу, например, слово «неудача» показалось бы слишком мягким. А что у них сложилось весьма определенное мнение на этот счет, известно всем и всякому на Юконе.

Осенью 1896 года два товарища вышли на восточный берег Юкона и вытащили из поросшего мхом тайника узкую канадскую байдарку. Вид у них был не слишком привлекательный. Худые, изможденные и оборванные, возвращались они после целого лета разведывательных работ — лета полуголодного и полного лишений. Тучи комаров звенели над ними, окружая, словно нимбом, их головы. Лица их были покрыты густым слоем голубоватой глины. Они держали наготове по комку этой сырой глины, нашлепывая свежие кусочки на те места, где она, высыхая, отвалива-

лась. Жалоба и раздражение, прорывавшиеся в голосе, да преувеличенная резкость всех движений и жестов говорили о беспокойных ночах и бесплодной борьбе с крылатыми полчищами.

Течение подтолкнуло нос байдарки, и она оторвалась от берега.

— Эти комары меня в гроб вгонят! — простонал Кинк Митчелл.

— Не унывай, парень, мы уже почти на месте, — отвечал Хутчину Билл с деланой бодростью, отчего его замогильный голос звучал особенно уныло. — Через сорок минут мы причалим к Сороковой Миле, и тогда… А, черт!

Придерживая одной рукой весло, он звонко шлепнул себя другой по шее и, неистово ругаясь, наложил кусок свежей глины на ужаленное место. Кинку Митчеллу было не до смеха. Глядя на товарища, он обмазал толстым слоем глины собственную шею.

Они переехали Юкон и, легко взмахивая веслами, пустились вниз по течению, вдоль западного берега. Через сорок минут они обогнули островок и поплыли, почти касаясь берега левым бортом. Перед ними внезапно возник поселок Сороковая Миля. Разогнувшись и перестав грести, они глядели на открывшуюся панораму. Они вгляды-

вались в нее долго и внимательно, предоставив лодке плыть по течению, и лица их выражали недоумение, постепенно переходившее в ужас. Ни струйки дыма над поселком, а ведь в нем было несколько сот бревенчатых хижин. Не слышно было ни свиста топора, с размаху врезающегося в дерево, ни скрежета пилы, ни стука молотка. У лавки не видно было ни собак, ни людей, которые обычно слонялись тут. Ни одного парохода, ни одной лодки, ни одного плота даже не видно было у берега. Хоть бы какое-нибудь суденышко на реке, хоть бы малейший признак жизни в селении!

— Похоже, что тут архангел Гавриил протрубил в свою трубу, а мы с тобой опоздали явиться, — заметил Хутчину Билл.

Он сказал это так равнодушно, словно в том, что они увидели, не было ничего необычайного. А Кинк Митчелл ответил ему в тон так же небрежно, точно и он не испытывал никакого смятения.

— А может, все сделались баптистами, забрали лодки и решили ехать на страшный суд по реке? — сказал он, подхватывая шутку товарища.

— Мой старик был баптист, — продолжал Хутчину Билл, — и уверял, что водой туда на сорок тысяч миль ближе, чем сушей.

Шутка кончилась, они пристали к берегу, вы-

шли из лодки и взобрались на крутой откос. Когда они очутились на пустынных улицах, им стало жутко. Над поселком мирно светило солнце, легкий ветерок хлопал канатом флагштока перед закрытыми дверьми дансинга «Каледония». Звенели комары, пели зорянки, а голодные воробьи прыгали меж хижин в поисках пищи. Но ни малейшего признака человеческой жизни не было во всем селении.

— Смерть как пить хочется! — сказал Хутчину Билл, бессознательно понижая голос до хриплого шепота.

Его товарищ только молча кивнул в ответ, словно боясь услышать звук собственного голоса в этой тишине. Так брели они в тревожном молчании, пока вдруг не увидели распахнутую дверь. Над дверью, во всю длину фасада, тянулась грубо размалеванная вывеска с надписью: «Монте-Карло». А у двери, надвинув шляпу на глаза, откинувшись назад вместе со стулом, сидел какой-то человек и грелся на солнце. Это был старик патриархального вида с длинными белыми волосами и длинной белой бородой.

— Да это никак старый Джим Каммингз! Видно, и он, вроде нас с тобой, опоздал на страшный суд, — сказал Кинк Митчелл.

— Не слыхал, должно быть, как архангел Гавриил дудел в трубу, — предположил Хутчину Билл. — Эй, Джим! Проснись! — окликнул он старика.

Тот встал со стула, припадая на одну ногу, и, моргая спросонья глазами, машинально забормотал:

— Чего вам налить, джентльмены? Чего вам налить?

Они вошли за ним в дом и стали рядом у длинной стойки, за которой некогда полдюжины расторопных буфетчиков еле поспевали обслуживать посетителей. В большом зале, всегда таком оживленном и шумном, стояла унылая кладбищенская тишина. Не побрякивали фишки, ударяясь друг о друга, не катились с легким жужжанием бильярдные шары. Столы для игры в рулетку и фараон были накрыты чехлами и казались могильными плитами. Из соседней комнаты, танцевального зала, не доносились веселые женские голоса.

Старый Джим Каммингз взял трясущимися руками стопку и стал ее вытирать, а Кинк Митчелл выводил свои инициалы на пыльной стойке.

— Где же девушки? — крикнул Хутчину Билл делано веселым голосом.

— Уехали, — отвечал старый буфетчик голосом таким же слабым и дряхлым, как он сам, и таким же дрожащим, как его руки.

— Где Бидуэлл и Барлоу?

— Уехали.

— А Суитуотер Чарли?

— Уехал.

— А его сестра?

— Тоже.

— Ну, а твоя дочь Салли с малышом?

— Уехали, все уехали…

Старик печально покачал головой и рассеянно принялся переставлять запыленные бутылки.

— Да куда же их всех понесло, черт возьми? — взорвался, наконец, Кинк Митчелл. — Чума, что ли, их отсюда выгнала?!

— Так вы ничего не знаете? — старик тихонько хихикнул. — Все уехали в Доусон!..

— Это еще что такое? — спросил Билл. — Ручей, местечко или, может, какой-нибудь новый кабак?

— Неужто вы о Доусоне не слыхали? — Старик опять хихикнул. — Да ведь это целый город, побольше нашей Сороковой! Да, сэр, побольше Сороковой Мили.

— Вот уж восьмой год я болтаюсь в этих краях, —

с расстановкой произнес Билл, — а, признаюсь, впервые слышу про такой город. Вот что, налейка мне еще виски. Я прямо-таки обалдел от твоих новостей, ей-богу! Где же, к примеру, находится этот Доусон?

— Да у самого устья Клондайка, в низине, — пояснил старый Джим. — А сами-то вы где пропадали все лето?

— Мало ли где! — сердито буркнул Кинк Митчелл. — Мы были там, где комаров столько, что, если хочешь взглянуть на солнце, чтобы узнать, который час, приходится запускать в небо палкой. Верно я говорю, Билл?

— Верно, верно, — подтвердил Билл. — Кстати, об этом самом Доусоне, Джим, — расскажи, с чего все началось?

— Да вот набрели на ручей, Бонанзой называется, где в каждом лотке остается целая унция золота. А до самой жилы еще и не добрались.

— А кто же это набрел?

— Кармак.

При этом имени друзья обменялись взглядом, выражавшим крайнюю досаду, и многозначительно подмигнули друг другу.

— Сиваш Джордж! — фыркнул Хутчину Билл.

— Живет с индианкой! — презрительно усмех-

нулся Кинк Митчелл.

— Воображаю, что он мог найти! Вот уж ради чего не стоит трепать мокасины!

— И я так думаю, — сказал Кинк. — Лодырь, какого свет не видал, — для себя и то лосося не поймает. Недаром он с индейцами путается. Наверное, и его чумазый зятек, — как его, Скукум Джим, что ли, — в доле с ним?

Старый буфетчик кивнул.

— Это еще что, вся Сороковая в доле, кроме меня да двух-трех калек.

— И пьянчужек, — добавил Кинк Митчелл.

— А вот нет! — с жаром возразил старик.

— Ставлю всем по стакану виски, если и Хонкинс потащился за ним! — сказал Билл громко и уверенно.

Лицо старого Джима просияло.

— Вот и проиграл, Билл! Виски за тобой.

— Как же этой старой губке удалось выбраться из Сороковой Мили? — спросил Митчелл.

— Очень просто: связали, да и бросили в лодку, — объяснил старый Джим. — Вошли прямо сюда, вытащили его из этого самого кресла в углу, да еще трех пьянчужек выволокли из-под рояля. Говорю вам, весь наш поселок целиком вышел на Юкон и понесся к Доусону, точно сам черт за

ними гнался. Женщины, дети, грудные младенцы — все! Ко мне подходит Бидуэлл и говорит: «Ты, говорит, Джим, присмотри тут за „Монте-Карло“, а я ухожу». А я ему: «А Барлоу где?» — «Уехал, говорит, и я еду. Беру запас виски — и за ним следом». Сказал, да что есть духу к лодке и давай как бешеный работать багром, даже не спросил меня, согласен ли я. Вот я и сижу здесь. Четвертый день никому не наливал виски. Вы первые.

Товарищи переглянулись.

— Черт побери мои пуговицы! — воскликнул Хутчину Билл. — Похоже, что мы с тобой из тех молодцов, которые приходят с вилками вместо ложек, а супа — море разливанное.

— Да, Билл, просто руки опускаются! — заметил Кинк Митчелл. — Как тебе нравится этот поход лодырей, пьяниц и пустозвонов!

— И охотников до скво, — прибавил Билл.

— Ни одного порядочного старателя во всей своре! Порядочные старатели, вроде нас с тобой, — продолжал он назидательным тоном, — все трудятся в поте лица на Березовом ручье. А среди всей этой компании, что понеслась в Доусон, нет ни одного порядочного старателя. И вот тебе мое слово: я шагу не сделаю ради этой Кармаковой находки. Пусть мне покажут цвет тамошнего

золота, прежде чем я сдвинусь с места.

— Правильно! — согласился Митчелл. — Давайка выпьем еще по стаканчику!

Вспрыснув свое решение, они вытащили байдарку на берег, перенесли вещи к себе в хижину и принялись варить обед. Но постепенно ими стало овладевать беспокойство. Они привыкли к безмолвию пустынных просторов, но могильная тишина, царившая в поселке, раздражала их. Они ловили себя на том, что все время напрягают слух в надежде услышать знакомые звуки, ожидая, как выразился Билл, что «вот-вот что-то затарахтит, ан ничего и не тарахтит». Они снова прошлись по пустынным улицам до «Монте-Карло», выпили еще по стаканчику и побрели к пароходной пристани, где лишь плескалась вода, набегая на берег, да изредка выскакивал из реки лосось, сверкая чешуей на солнце.

Присев в тени перед лавкой, они вступили в разговор с чахоточным лавочником, — он страдал частыми кровохарканиями и потому не решился уехать со всеми. Билл и Кинк поведали ему, что намерены засесть дома и отдыхать после напряженной летней работы. С настойчивостью, в которой сквозила и боязнь, что им не поверят, и желание вызвать собеседника на спор, они

распространялись о том, как будут наслаждаться бездельем. Но лавочник слушал их совершенно равнодушно. Он все переводил разговор на новую россыпь, открытую на Клондайке, и они никак не могли сбить его с этой темы. Ни говорить, ни думать ни о чем другом он не мог. Наконец, Хутчину Билл не выдержал и вскочил.

— Черт бы подрал этот ваш Доусон! — крикнул он в сердцах.

— Вот именно, — поддержал Кинк Митчелл, внезапно оживившись. — Послушать вас, так там и впрямь настоящее дело, а не просто поход желторотых новичков да всяких пустозвонов!

В это время на реке показалась длинная узкая лодка. Она шла против течения у самого берега. Три человека стояли в ней, преодолевая быстрое течение с помощью длинных багров.

— Партия из Серкла, — сказал лавочник. — А я их ожидал не раньше полудня! Ведь Сороковая ближе к Доусону на сто семьдесят миль… Ишь, молодцы, не теряют времени даром!

— А мы будем сидеть себе спокойно да поглядывать, как они проходят, — сказал Билл самодовольно.

Не успел он сказать ато, как появилась вторая лодка, а за ней, на небольшом расстоянии, еще

две. К этому времени первая лодка поровнялась с сидевшими на берегу. Отвечая на приветствия, путники не переставали работать баграми, и, как ни медленно продвигалась их лодка, все же через полчаса она скрылась из виду.

А снизу продолжали прибывать одна за другой, бесконечной вереницей, все новые лодки. Билл и Кинк следили за ними с нарастающим беспокойством. Они украдкой бросали друг на друга пытливые взгляды, и когда их глаза встречались, смущенно отводили их в сторону. Наконец, они посмотрели друг другу прямо в лицо.

Кинк раскрыл было рот, чтобы сказать что-то, но, утратив внезапно дар слова, так и остался с открытым ртом, уставившись на товарища.

— Вот именно, — сказал Билл.

Смущенно ухмыляясь, они, точно по молчаливому уговору, поднялись и пошли прочь. Они постепенно ускоряли шаг, так что к хижине подошли уже совсем бегом.

— Шутка сказать, сколько народу… Нельзя терять ни минуты… — захлебываясь, говорил Кинк, одной рукой всовывая банку с закваской в кастрюлю для варки бобов, а другой подхватывая сковороду и кофейник.

— Еще бы!.. — отвечал Билл придушенным

голосом; он засунул голову и плечи в одежный мешок, где хранилось теплое белье и носки. — Кстати, не позабудь соду, Кинк, она на полке, в углу за печкой.

Через полчаса они уже спускали байдарку и грузились под насмешливые разглагольствования лавочника на тему о человеческой слабости и заразительности «золотой лихорадки». Однако, когда Билл и Кинк спустили длинные багры в воду и, упираясь ими о дно, стали толкать лодку против течения, лавочник крикнул им вслед:

— До скорого, ребята! Желаю вам удачи! Да не забудьте застолбить парочку участков на мою долю…

Они энергично закивали в ответ, испытывая прилив жалости к бедняге, которому волей-неволей приходилось оставаться здесь.

Кинк и Билл шагали так, что пот лил с них градом. Согласно исправленному и дополненному на Дальнем Севере варианту священного писания, удача доставалась легконогим, заявки — сильным, а плоды их трудов, в виде платы за аренду приисков, — королевской казне. Кинк и Билл оба принадлежали к разряду легконогих и сильных. Быстрым, широким шагом, приводившим в отчаяние двух новичков, тщетно пытавшихся поспеть

за ними, передвигались они по раскисшей тропе. Позади, до самого Доусона (откуда старатели, побросав лодки, передвигались дальше пешком), шагали передовые партии из Серкла. Еще на реке Кинку и Биллу удалось обогнать все лодки; достигнув доусонского затона, они на длину своей байдарки обогнали первую лодку, а затем, на суше, оставили ее пассажиров далеко позади.

— Ого! Пыль столбом, да и только! — засмеялся Хутчину Билл, смахивая едкий пот со лба и оглядываясь на пройденный путь.

Из-за деревьев на тропу вынырнуло трое мужчин. Еще двое следовало за ними по пятам, а на некотором расстоянии показались мужчина и женщина.

— Не мешкай же, Киик! Поддай жару!

Билл ускорил шаг, а Митчелл все еще оглядывался назад.

— Ну и скачут же они, черт возьми!

— А этот уже доскакался, — сказал Билл, указывая на обочину дороги.

Там, тяжело дыша, в крайнем изнеможении лежал на спине человек. Лицо его было страшно, глаза налиты кровью и подернуты стеклянной пленкой, — казалось, он находился при последнем издыхании.

— Чечако! — буркнул Кинк Митчелл, и в этом слове выразилось все презрение ветерана к новичку, который, отправляясь на прииски, запасается искусственными дрожжами, не довольствуясь содой для приготовления лепешек.

Верные традициям золотоискателей, оба компаньона намеревались идти вниз по течению от первого участка и сделать заявку подальше. Увидев, однако, знак на дереве: «81-й нижний», что означало: на целых восемь миль ниже первой найденной россыпи, они передумали. Они прошли эти восемь миль в два часа. Это был неслыханный, убийственный темп при такой трудной дороге. На пути им то и дело попадались десятки людей, лежавших в изнеможении у дороги. Дойдя до первого участка, который был назван «Находкой», они так и не смогли толком разузнать что-нибудь о верхнем течении. У индейца Скукума Джима, который приходился Кармаку зятем, было смутное представление, что весь ручей уже поделен вплоть до третьей мили. Когда же Кинк и Билл увидели знаки, отмечавшие границы 79-го верхнего участка, расположенного на восьмой миле вверх по течению, они скинули свои походные мешки и сели покурить. Все их усилия оказались напрасными! Бонанза была вся

захвачена, от устья и до самых истоков.

— Живого места не оставили! — жаловался Билл вечером, когда они, вернувшись к «Находке», жарили бекон и варили кофе на печке у Кармака. — Кряж — и тот поделили.

— А вы попытайте вон ту лужицу, — предложил им Кармак на другое утро.

«Та лужица» была широким ручьем, который вливался в Бонанзу подле участка «7-й верхний». Товарищи выслушали совет с величавым презрением приисковых ветеранов к человеку, сожительствующему с индианкой, и, вместо того чтобы последовать этому совету, провели весь день на Адамовом ручье, сулившем, по их мнению, больше возможностей. Но и там повторилась та же история — заявки тянулись до самого горизонта.

Три дня Кармак настойчиво повторял свой совет, и три дня они встречали этот совет презрением. На четвертый день, однако, так как податься было решительно некуда, они решили обследовать «ту лужицу». Они знали, что там почти не было заявок, но и сами не испытывали ни малейшего желания ставить там заявочный столб. Они отправились туда главным образом для того, чтобы дать выход своему раздражению.

К этому времени они уже стали циниками и полнейшими скептиками. Они издевались и насмехались над всем решительно, задирая каждого новичка-чечако, который им попадался.

На номере двадцать третьем заявки кончились. Дальше вверх по течению ручей был свободен.

— Лосиный выгон! — фыркнул Кинк Митчелл.

Но Билл торжественно отмерил пятьсот футов вдоль берега и сделал зарубки на деревьях, чтобы обозначить границы участка. На доске от свечного ящика он сделал надпись и прибил ее к дереву в центре участка:

СЕЙ ЛОСИНЫЙ ВЫГОН ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ В ПОЛЬЗОВАНИЕ ЖЕЛТОРОТЫМ ЧЕЧАКО И ШВЕДАМ

Билл Рейдер

Кинк прочел надпись и одобрил ее?

— Точь-в-точь мои мысли! Пожалуй, и я подпишусь.

И объявление украсилось подписью Чарльза Митчелла.

В тот день много суровых старательских лиц озарилось усмешкой при виде этого образца приискового остроумия; он пришелся вполне им по вкусу.

— Ну, как та лужица? — спросил Кармак, когда

они вернулись в лагерь.

— К черту лужицы! — ответил Хутчину Билл. — Мы с Кинком решили отправиться на розыски Золотого Дна. Вот только отдохнем малость — и двинемся.

«Золотым Дном» называли легендарный ручей, мечту золотоискателя; говорили, будто там на дне такой мощный слой золота, что промывку гравия приходится делать в желобах. Однако за немногие дни отдыха, которые приятели позволили себе перед тем, как отправиться в путь, произошло одно событие, заставившее их несколько изменить свои планы. Событием этим было знакомство со шведом Ансом Гендерсоном.

Анс Гендерсон лето проработал по найму на прииске Миллер, что за Шестидесятой Милей; к концу лета его, в числе сотен других бездомных бродяг, подхваченных вихрем золотой горячки, прибило к берегам Бонанзы. Это был высокий, сухопарый мужчина с длинными, как у первобытного человека, руками. Его корявые, заскорузлые от работы ладони были вместительны, как суповые тарелки. Движения его были неторопливы, речь медлительна, и в голубых глазах, таких же светлых, как его соломенные волосы, дремала, казалось, неземная мечта, никому не понятная, и

меньше всего ему самому. Вероятно, это впечатление мечтателя он производил благодаря своей чрезвычайной, можно сказать нелепой, наивности. Таково во всяком случае было мнение о нем людей заурядных, а Кинк Митчелл и Хутчину Билл были люди заурядные.

Приятели провели день в гостях, судача и болтая то в одной хижине, то в другой, а вечером сошлись в большой палатке, где временно обосновалось «Монте-Карло». Здесь золотоискатели расправляли свои усталые косточки, потягивая скверное виски по доллару стакан. Так как единственной валютой был золотой песок, а взвешивали его всегда «с походом», то стаканчик виски обходился даже несколько дороже доллара. Билл и Кинк не пили. Их воздержность объяснялась главным образом легкостью их общего мешочка, который не выдержал бы частых экскурсий на весы.

— Знаешь, Билл, мне, кажется, удалось подцепить на удочку одного чечако и сторговать у него мешок муки, — весело возвестил Митчелл.

Билл обрадовался. Раздобыть харч было нелегко, и у них было мало запасов для предстоящей экспедиции к Золотому Дну.

— Мука идет по доллару фунт, — ответил он. —

Интересно, как это ты умудришься расплатиться за нее.

— Очень просто: уступлю половину нашего участка.

— Какого участка? — удивился Билл и тут же, вспомнив участок, который они предоставили «чечако и шведам», протянул: — А-а…

— А я бы не стал скупиться, — прибавил он. — Отдавай заодно весь участок, пусть знает нашу доброту!

Кинк мотнул головой.

— Он тогда еще, пожалуй, сдрейфит и пойдет на попятный. Я ему внушил, будто наш участок считается богатым и мы уступаем половину лишь оттого, что нам дозарезу нужно запасать харч. Когда уж мы договоримся окончательно, можно будет подарить ему все это сокровище.

— А ну как кто-нибудь принял всерьез наше объявление и цапнул участок? — возразил Билл. Но было ясно, что мысль обменять участок на мешок муки ему понравилась.

— Да нет, участок никем не занят, — уверил его Кинк. — Он там числится за номером двадцать четыре. Чечако приняли все за чистую монету и начали занимать участки с того места, где кончается наш. Уже и на кряж забрались. Я толковал

тут с одним парнем, он только что оттуда, еле ноги волочит от усталости.

Тут-то они впервые услышали медлительную, с запинкой, речь Анса Гендерсона.

— Мне нравится это место, — говорил он буфетчику. — Я думаю сделать заявку.

Компаньоны переглянулись, и через несколько минут удивленный и благодарный швед пил скверное виски с двумя незнакомцами, чьи сердца не ведали слабости. Но как ни крепки были их сердца, а голова у шведа оказалась еще крепче. Мешочек с золотым песком совершил уже несколько рейсов на весы, всякий раз сопровождаемый заботливым взглядом Кинка Митчелла, а у Анса Гендерсона никак не развязывался язык. Огонь неземной мечты мерцал в его глазах, голубых, как море в летний день, но не виски, которое он поглощал с такой удивительной легкостью, а рассказы о золоте, о пробных промывках зажигали этот огонь. Оба компаньона были шумно веселы, но в душе близки к отчаянию.

— Да ты не стесняйся, приятель, — икая, сказал Билл и хлопнул Анса Гендерсона по плечу. — Пей еще! Мы сегодня справляем день рождения Кинка. Это мой друг Кинк, Кинк Митчелл. А тебя как зовут?

Швед ответил, и рука Билла с размаху опустилась на спину Кинка, который с притворным смущением улыбался, как подобает виновнику торжества. Анс Гендерсон повеселел и в первый раз за весь вечер поставил им обоим по стакану виски. Позже, когда роли переменились, осторожный и бережливый швед проявил необычайную щедрость. Мешочек, из которого он уплатил за угощение, имел весьма солидный вид. «Пожалуй, потянет на восемьсот долларов», — мысленно прикинул Кинк, метнув рысий взгляд на мешочек. Вдохновленный этим, он улучил минутку и переговорил с глазу на глаз с Бидуэллом, хозяином палатки и скверного виски.

— Послушай, Бидуэлл, — сказал он с той дружеской доверчивостью, с какой один ветеран обращается к другому, — подсыпь-ка в мой мешочек долларов пятьдесят на денек-другой, а уж мы в долгу не останемся, Билл и я.

Рейсы мешочка на весы участились, и веселье по случаю появления на свет Кинка стало еще более буйным. На радостях Кинк затянул было традиционную песенку золотоискателей о Генри Бичере, но сбился и, чтоб скрыть замешательство, снова угостил всю компанию. Даже Бидуэлл почтил новорожденного, раза два угостив всех, так

что и Билл и Кинк были уже порядком навеселе, когда у Анса Гендерсона только начали тяжелеть веки да понемногу развязываться язык.

Билл расчувствовался и становился все откровеннее. Он поведал все свои печали и заботы хозяину, всему свету вообще и Ансу Гендерсону в частности. Для этой роли ему не понадобился даже актерский талант: скверное виски делало свое дело. Он проникся великой жалостью к себе и Кинку и, когда стал рассказывать, как из-за недостатка провизии они вынуждены продать половину своего ценнейшего участка, заплакал неподдельными слезами. Сам Кинк умилялся, слушая его.

— Сколько же вы думаете взять? — спросил Анс Гендерсон, и алчный огонь вспыхнул в его глазах.

Билл и Кинк не расслышали вопроса, и Гендерсону пришлось повторить его. Они явно уклонялись от ответа. Швед все больше распалялся. Покачиваясь всем корпусом, держась руками за стойку, он жадно вслушивался в каждое слово, которым они обменивались, театральным шепотом споря и совещаясь в сторонке, продавать ли им участок вообще и какую запросить за него цену.

— Двести… ик… пятьдесят, — наконец, объявил Билл. — Только мы так думаем, что не стоит нам, пожалуй, продавать участок.

— И правильно, черт побери, думаете, если хотите знать мое мнение, — поддержал его Бидуэлл.

— Вот именно, — прибавил Кинк. — Мы не благотворительное общество, чтобы раздавать добро направо и налево, — подходи, кто хочет, швед ли, белый ли, все едино!

— Мы еще выпьем, я думаю, — сказал Анс Гендерсон, икнув и мудро обрывая деловой разговор, с тем чтобы возобновить его в более благоприятную минуту.

Тут-то, в целях приближения этой благоприятной минуты, и пошел в ход его мешочек, курсируя взад-вперед между задним карманом его брюк и весами. Кинк и Билл упирались, но в конце концов начали поддаваться на его уговоры. Наступила очередь шведа проявить некоторую сдержанность. Сильно пошатываясь и уцепившись за Бидуэлла, чтобы не упасть, он спросил его:

— Как вы думаете, с ними можно иметь дело, с этими людьми?

— Еще бы! — ответил Бидуэлл с жаром. — Я их

сто лет знаю. Надежные ребята. Когда они продают участок, они продают участок. Это вам не торговцы воздухом.

— Я думаю покупать, — объявил Анс Гендерсон двум товарищам, подходя к ним нетвердой походкой.

Но к этому времени он уже был весь во власти мечты и выдвинул требование: все или ничего! Хутчину Билл не на шутку огорчился. Он разразился целой тирадой по поводу свинской жадности чечако и шведов; в продолжение своей речи он несколько раз засыпал, и его голос переходил в какое-то неясное бормотанье, а голова опускалась на грудь. Однако, получив пинок от Кийка или Бидуэлла, он встряхивался и выпускал свежий заряд ругани и проклятий.

Все это время Анс Гендерсон оставался невозмутим. С каждым новым выпадом Билла ценность участка возрастала в глазах шведа. Столь явное нежелание владельцев уступить участок могло означать только одно, и он почувствовал величайшее облегчение, когда Хутчину Билл с громким храпом свалился на пол и можно было заняться его более сговорчивым партнером.

Кинк Митчелл оказался покладистым малым, хотя и хромал немного в арифметике. Обливаясь

горючими слезами, он соглашался либо продать половину участка за двести пятьдесят долларов, либо весь за семьсот пятьдесят. Тщетны были все старания Анса Гендерсона и Бидуэлла развеять его ошибочные представления о действиях с дробями. Кинк плакал и причитал, обливая слезами стойку и плечи собеседников, но ничто не поколебало его твердого убеждения в том, что если половина стоит двести пятьдесят долларов, то две половины должны стоить втрое дороже.

Наконец — и надо сказать, что даже Бидуэлл лишь смутно помнил, как именно кончилась эта ночь, — был заключен договор, по которому Билл Рейдер и Чарльз Митчелл отказывались от всех притязаний на участок, именуемый «24-й Эльдорадо», — так с легкой руки какого-то оптимиста-чечако стал называться ручей.

После того как Кинк подписался под договором, они принялись втроем расталкивать Билла. Он долго раскачивался над документом, держа перо в руке, и с каждым его движением в глазах Анса Гендерсона то вспыхивали, то исчезали отблески волшебных видений. Когда, наконец, драгоценная подпись скрепила договор и песок перешел из мешочка в мешочек, он вздохнул всей грудью и растянулся под столом, где и проспал сном

праведника до самого утра.

Наступил день, хмурый и холодный; швед проснулся в плохом настроении. Бессознательно рука его потянулась к заднему карману, чтоб ощупать мешочек с песком. Чрезвычайная легкость мешочка встревожила его. Воспоминания прошедшей ночи постепенно зашевелились у него в мозгу. Звуки хриплых голосов окончательно разбудили его. Открыв глаза, он выглянул из-под стола. Два каких-то золотоискателя говорили между собой. Они поднялись раньше всех, вернее же всего, и вовсе не ложились, проведя всю ночь в пути. Они громко выражали свое мнение по поводу совершенной и возмутительной негодности ручья Эльдорадо. Все больше волнуясь, Анс Гендерсон стал шарить в карманах и нащупал договоры на участок «24-й Эльдорадо».

А через десять минут кто-то уже тормошил Хутчину Билла и Кинка Митчелла, которые спали, завернувшись в одеяла. Над ними стоял швед с безумными глазами и тыкал им в нос бумажкой, исписанной каракулями и усеянной кляксами.

— Я думаю взять свои деньги обратно, — бормотал он. — Я думаю взять их обратно.

В глазах у него блестели слезы, в горле клокотали рыдания. Он стоял на коленях, наклонившись

над ними, умоляя и уговаривая, и по его щекам струились слезы. Билл и Кинк не смеялись. Не такие уж они бессердечные люди.

— Первый раз в жизни встречаю человека, который идет на попятный и скулит после заключения сделки, — сказал Билл. — И должен заметить, что это даже как-то странно!

— Вот именно! — сказал Кинк Митчелл. — Купить участок на приисках — все равно что купить лошадь. Обратно не принимается.

Изумление их было совершенно искренним. Сами они никогда не позволили бы себе скулить по поводу уже заключенной сделки, и поэтому не могли простить подобное малодушие другому.

— Бедный чечако, — пробурчал Хутчину Билл, глядя вслед Ансу Гендерсону, который уныло шагал вперед по дороге.

— Но ведь мы еще не дошли до Золотого Дна, — весело напомнил Кинк Митчелл.

К вечеру того же дня, закупив по баснословным ценам на золото Анса Гендерсона муки и бекона, они зашагали по кряжу в направлении к ручьям, протекавшим между Клондайком и Индейской рекой.

А через три месяца, в разгар снежной метели, оба возвращались по тому же кряжу и попали

на тропу, ведущую к участку «24-й Эльдорадо». Совершенно случайно забрели они сюда. Они и не думали разыскивать свою старую заявку. Из-за снежного бурана ничего нельзя было разглядеть, и только когда они уже очутились на своем бывшем участке, метель немного поутихла, и они увидели отвал, на котором стоял деревянный ворот. Ворот вращал какой-то человек. Они видели, как он поднял ведро с гравием и наклонил его над отвалом. Они увидели также другого человека, который наполнял лоток гравием. Человек этот смутно напомнил им кого-то. У него были длинные руки и волосы цвета соломы. Но только что они стали к нему подходить, как он повернулся, подхватил лоток и стремглав побежал в хижину. Поспешность его была понятна: на нем не было шапки, и хлопья снега попадали за шиворот. Билл и Кинк бросились вслед за ним и вошли в хижину. Он стоял у печки на коленях и в кадке с водой промывал содержимое лотка.

Он слышал, что кто-то вошел в дом, но был слишком поглощен и не обратил на них внимания. Они встали позади и смотрели через его плечо. Ловким круговым движением он встряхивал лоток, время от времени останавливаясь, чтобы вытащить самые крупные куски гравия

пальцами. Вода в кадке была мутная, и они не могли разглядеть, что было в лотке. Но вдруг человек резким движением поднял из кадки лоток и выплеснул из него воду. На дне показалась желтая гуща, похожая на масло в маслобойке.

Хутчину Билл проглотил слюну. Ему и не снилось, чтобы пробная промывка могла дать столько золота!..

— Неплохой улов, приятель, — сказал он охрипшим голосом. — Сколько тут будет, по-твоему?

Анс Гендерсон отвечал, не поднимая головы:

— Я думаю, будет пятьдесят унций.

— Так ты, должно быть, страшно богат?

Все еще не поднимая головы, поглощенный извлечением мельчайших крупиц гравия, Анс Гендерсон ответил:

— Я думаю, у меня тысяч пятьсот долларов.

— Ого! — сказал Хутчину Билл, и в голосе его слышалось почтение.

— Вот именно, Билл, — ого! — сказал Кинк Митчелл.

Они тихонько вышли из хижины и закрыли за собой дверь.

1903 г.

Джек Лондон
Батар

Батар был сущий дьявол. Так говорили о нем на всем Севере. «Исчадием ада» называли его многие люди, а его хозяин, Черный Леклер, дал ему позорную кличку «Батар». Черный Леклер тоже был сущий дьявол, и пес оказался ему под пару. Есть поговорка: столкнутся два дьявола — быть беде. Это неизбежно. И это стало тем более неизбежно, как только Батар столкнулся с Черным Леклером. Они познакомились, когда Батар был тощим и голодным щенком с угрюмыми глазами, и знакомство их началось с укуса и рычанья, потому что у Леклера была привычка по-волчьи вздергивать верхнюю губу, оскаливая белые острые зубы. И он вздернул губу и злобно сверкнул глазами, когда протянул руку и вытащил Батара из кучки копошившихся щенят. Человек и щенок, очевидно, сразу разгадали друг друга, потому что Батар, недолго думая, впился своими маленькими клыками в руку Леклера, а Леклер сдавил ему горло большим и указательным пальцами и стал хладнокровно душить его до тех пор, пока

тот чуть не простился со своей молодой жизнью.

— Sacredam[56], — пробормотал француз, стряхивая кровь, хлынувшую из раны, и глядя вниз на щенка, который, задыхаясь, валялся в снегу.

Леклер повернулся к Джону Хемлину, хозяину лавки на посту Сикести-Майл.

— Вот за что он мне понравится. Сколько за него, эй вы, м'сье? Сколько? Я купить его сейчас, я его купить немедленно.

И Леклер купил щенка и дал ему позорную кличку «Батар», потому что возненавидел его лютой ненавистью. Целых пять лет странствовали они по всему Северу — от Сикести-Майл и дельты Юкона до верховьев Пелли, и добрались даже до реки Пийс, впадающей в озеро Атабаску, и до Большого Невольничьего озера. Оба они прослыли отпетыми разбойниками, и о них ходила такая дурная слава, какой еще не заслужил ни один человек и ни один пес.

Батар не знал своего отца — вот почему он получил такую кличку[57], — но Джон Хемлин знал, что отцом Батара был громадный лесной волк. Мать свою Батар смутно помнил: это была

---

[56] notes: 56
Sacredam — французское ругательство, соединенное с английским.

[57] notes: 57
Батар (batard, франц.) — ублюдок.

драчливая, распутная эскимосская сука, с лукавыми глазами, большелобая и широкогрудая, живучая, как кошка, мастерица на всякие проделки и пакости. Верность и преданность были ей несвойственны. Ни в чем нельзя было на нее положиться; разве только ее коварство не вызывало сомнений, а любовные похождения в диких лесах говорили об извращенности ее натуры. Много пороков и много сил было у родителей Батара, а он был плотью от плоти их и костью от кости, и все это досталось ему в наследство. А потом появился Черный Леклер, который наложил свою тяжелую руку на этот крохотный комочек трепещущей жизни и принялся мять его, и давить, и кулачить, пока щенок не стал огромным злобным псом, способным на любые каверзы, дышащим ненавистью, мрачным, лукавым, как черт. Будь у него хороший хозяин, Батар мог бы сделаться обыкновенной работящей упряжной собакой, но этого не случилось: Леклер только развил в нем врожденную порочность.

История Батара и Леклера — это история войны, ожесточенной пятилетней войны, и их первая встреча была ее вещим прологом. Надо сказать, что всему виной был Леклер, ибо он ненавидел сознательно и разумно, а голенастый щенок

ненавидел слепо, инстинктивно и непоследовательно. Сначала в жестокости Леклера не было ничего утонченного (это пришло позже); все ограничивалось грубым обращением и побоями. Как-то раз, избивая Батара, Леклер повредил ему ухо. Мускулы были порваны, ухо повисло и болталось, как тряпка, напоминая Батару о его мучителе. И пес ничего не забыл.

Его щенячье отрочество прошло под знаком бессмысленных мятежей. Батара постоянно задирали, а он давал сдачи, потому что это было в его характере. Но его нельзя было покорить. Пронзительно визжа от боли под ударами бича и палки, он всякий раз норовил дать отпор вызывающим рычанием

— угрозой его озлобленной, жаждущей мщения души, а это неизменно влекло за собой новые пинки и побои. Но он унаследовал от матери ее цепкую живучесть. Ничто его не брало. В несчастьях он расцветал, в голодовку толстел, а ожесточенная борьба за жизнь развила в нем сверхъестественную сообразительность. Он был скрытен и хитер, как его мать, эскимосская сука, свиреп и храбр, как его отец, волк.

Быть может, потому, что он был сыном волка, он никогда не скулил. Щенячья привычка тявкать

прошла у него так же, как прошла косолапость, и он стал угрюмым и замкнутым. Он нападал быстро, без предупрежденья, на брань отвечал рычаньем, на удар укусом, изливал неутолимую ненависть, злобно скаля зубы, но никогда, как бы тяжко он ни страдал, не удавалось Леклеру заставить его взвыть от страха или боли. Эта неукротимость только разжигала злобу Леклера и подстрекала его на новые издевательства.

Если Леклер давал Батару полрыбы, а другим собакам по-целой, Батар отнимал у них рыбу. Он добирался до запасов пищи, оставленных путниками на дорожных стоянках, совершал много других пакостей и стал под конец грозой всех собак и их хозяев. Когда Леклер однажды избил Батара и приласкал Бабетту, — Бабетту, которая работала вдвое хуже, чем Батар, — тот повалил ее в снег и раздробил ей заднюю ногу своими могучими челюстями так, что Леклеру пришлось застрелить собаку.

Так Батар в кровавых драках подчинил себе всех своих товарищей по упряжке, установил для них законы пути и кормежки и заставил их подчиняться этим законам.

За пять лет он только раз услышал доброе слово, только раз ощутил ласковое прикосновение руки

и не понял, что это такое. Он подскочил, словно дикий зверь, — каким он и был в действительности, — и челюсти его сомкнулись во мгновение ока. Тот, кто сказал ему доброе слово и ласково погладил его, был миссионер из Санрайза, новичок в этих местах. После этого случая он шесть месяцев не писал писем домой, а врачу пришлось проехать двести миль по льду из Мак-Куэсчона, чтобы спасти его от заражения крови.

Люди и собаки подозрительно настораживались, когда Батар появлялся в их лагерях и поселках. Люди при встрече с ним угрожающе заносили ногу для пинка, а собаки ощетинивались и показывали клыки. Как-то раз один человек ударил Батара ногой, а пес стремительной волчьей хваткой стиснул ему икру челюстями, как стальным капканом, и вонзил в нее зубы до кости. Человек твердо решил прикончить его тут же, но Черный Леклер бросил на него зловещий взгляд и кинулся разнимать врагов с охотничьим ножом в руках. Убить Батара… ах, sacredam! — это удовольствие Леклер приберегает для себя. Когда-нибудь он его получит, или же… э, все равно! Кто может знать заранее. Так или иначе, задача будет разрешена.

Ведь каждый из них стал для другого задачей,

которую предстояло разрешить. Каждый вздох одного был вызовом и угрозой для другого. Ненависть связала их так, как никогда не могла бы связать любовь. Леклер упрямо ждал того дня, когда покоренный Батар будет, угодливо повизгивая, пресмыкаться у его ног. А Батар... Леклер знал, что у Батара на уме, и не раз видел это в его глазах. И так ясно он это видел, что то и дело оглядывался назад, если Батар был у него за спиной.

Люди удивлялись, почему Леклер отказывается продать пса, даже за большие деньги.

— Вот укокошишь его в один прекрасный день, и пропадут твои денежки,

— сказал однажды Джон Хемлин, когда Леклер ударил Батара ногой и тот, задыхаясь, валялся в снегу, и никто не знал, сломаны у него ребра или нет, и не решался подойти посмотреть.

— Эт-то, — сухо проговорил Леклер, — эт-то мое дело, м'сье.

И еще люди удивлялись, почему Батар не сбежит от своего хозяина. Этого они никак не могли понять. А Леклер понимал. Он долго жил в глуши, не слыша человеческой речи, и научился понимать голоса ветра и бури, вздохи ночи, шепоты рассвета и шум дня. Он смутно слышал, как растут растения, как сок струится в дереве, как

лопаются почки. И он знал еле уловимый язык всего живого — кролика в ловушке, угрюмого ворона, что рассекает воздух крыльями, оленя, что бродит в лунном свете, волка, что скользит, как серая тень, в час между сумерками и ночною тьмой. И с ним Батар говорил ясно и напрямик. Леклер отлично понимал, почему Батар не убегает от него, и все чаще оглядывался на пса.

В минуты злобы Батар являл собой мало приятное зрелище. Не раз бросался он на Леклера, пытаясь вцепиться ему в горло, но неизменно падал в снег, весь дрожа, оглушенный рукояткой бича, который у Леклера всегда был наготове.

Так Батар научился терпеливо ждать своего часа. Однажды, когда он уже достиг полной зрелости и был в расцвете сил, ему показалось, что этот час настал. Он был тогда крупным широкогрудым псом с могучими мускулами, и шея у него от головы до плеч обросла густой щетинистой шерстью — точь-в-точь, как у чистокровного волка. Леклер спал, закутавшись в меха, когда Батар решил, что время приспело. Он стал осторожно подкрадываться к хозяину, опустив голову до земли, прижав здоровое ухо и ступая бесшумно, по-кошачьи. Батар дышал тихо, очень тихо, и, только подкравшись вплотную к спящему, под-

нял голову. Он замер и с минуту смотрел, как на покрытой бронзовым загаром бычьей шее, обнаженной и жилистой, мерно бьется пульс в лад с глубоким ровным дыханием. Он смотрел, и слюна текла у него по клыкам, капая с языка, и в эту минуту он вспомнил свое отвисшее ухо, несчетные побои, нестерпимые обиды и без звука ринулся на спящего.

Леклер проснулся от боли, когда клыки вонзились ему в горло и, как зверь, — да он и в самом деле был зверем, — проснулся с ясной головой и сразу все понял. Он обеими руками стиснул шею Батара и, выкатившись из-под мехов, пытался подмять под себя пса. Но тысячи предков Батара некогда хватали за горло бесчисленных лосей и оленей и валили их на землю, и он унаследовал опыт своих предков. Когда Леклер придавил его всей своей тяжестью, Батар подогнул задние лапы и стал рвать ему когтями грудь и живот, раздирая в клочья кожу и мускулы. А потом, почувствовав, что тело человека дернулось и приподнялось над ним, он вцепился ему в горло. Другие упряжные собаки с рычанием сгрудились вокруг них, и Батар, задыхаясь и теряя сознание, понял, что им не терпится вонзить в него зубы. Но не они волновали Батара, а человек, — человек,

навалившийся на него, и Батар рвал, и трепал, и грыз своего врага из последних сил. Леклер душил его обеими руками, и вот грудь Батара судорожно вздулась, ловя воздух, глаза остекленели и остановились, челюсти медленно разжались, и между ними показался черный распухший язык.

— Ну что? Bon![58] Дьявол ты этакий, — прохрипел Леклер, захлебываясь кровью, заливавшей ему рот и горло, и отбрасывая от себя бесчувственного пса.

И Леклер с руганью отогнал прочь собак, кинувшихся на Батара. Они отступили назад, присели широким кругом, готовые каждую минуту вскочить, и принялись облизываться, а шерсть у них на загривках встопорщилась и стала дыбом.

Батар быстро пришел в себя и, услышав голос Леклера, с трудом поднялся и стоял, едва держась на ногах.

— А-а-а! Ты, дьявол! — зашипел Леклер. — Я тебе задать, я тебе буду всыпать досыта, клянусь бог!

Воздух, как вино, обжег пустые легкие Батара, и пес подпрыгнул, норовя вцепиться прямо в лицо человеку, но промахнулся, и челюсти его захлопнулись с металлическим лязгом. Враги

---

[58] notes: 58
Bon (франц.) — хорошо.

катались на снегу, и Леклер бешено молотил пса кулаками куда попало. Но вот они расцепились и начали кружить то в одну сторону, то в другую, не спуская глаз друг с друга. Леклер мог бы вытащить свой нож. У его ног лежало ружье. Но в нем проснулся и буйствовал зверь. Эт-то он сделает своими руками… и зубами. Батар метнулся вперед, но Леклер сшиб его ударом кулака, бросился на него и прокусил ему плечо до кости.

Первобытная драма в первобытных декорациях, — сцена, какие, быть может, разыгрывались в пору дикой юности мира. Поляна в дремучем лесу, круг скалящих зубы полудиких собак, а в середине два зверя: сцепившись, они кусаются и рычат, мечутся в бешенстве, задыхаются, стонут, обезумев от ярости, и в страстной жажде убийства остервенело рвут друг друга когтями.

Но вот Леклер, изловчившись, хватил Батара кулаком по затылку, сшиб его и на минуту оглушил. Тогда он вскочил на пса и, подпрыгивая, принялся топтать его ногами, словно стараясь вдавить в землю. Он переломил Батару задние ноги и только тогда остановился передохнуть.

— А-а-а! А-а-а! — ревел Леклер, бессильно потрясая кулаком, так как гортань и горло отказались ему служить, и он не мог вымолвить ни слова.

Но Батар был неукротим. Он валялся в снегу, беспомощный, и все-таки пытался зарычать, но не мог, и только его верхняя губа слегка подергивалась и вздрагивала. Леклер пнул его ногой, а пес схватил хозяина за щиколотку обессилевшими челюстями, но даже не прокусил ему кожи.

Тогда Леклер поднял бич и принялся хлестать Батара с такой яростью, словно решил рассечь его на куски, и с каждым ударом бича он выкрикивал:

— На этот раз я тебя обломать! А? Клянусь бог! Я тебя обломать!

Наконец он ослабел и, почти лишившись чувств от потери крови, съежился и рухнул рядом со своей жертвой, а когда жаждущие мести собаки подползли к ним вплотную, он, теряя последние остатки сознания, навалился всем телом на Батара, чтобы защитить его от их клыков.

Это произошло неподалеку от Санрайза, и несколько часов спустя миссионер, открывая дверь Леклеру, с удивлением заметил, что Батара нет среди упряжных собак. Он удивился еще больше, когда Леклер, сбросив с нарт полость, схватил Батара в охапку и, шатаясь, перешагнул порог. Оказалось, что врач из Мак-Куэсчона, бродяга по натуре, заехал к миссионеру поболтать

о том, о сем, и они оба хотели было осмотреть раны Леклера.

— Merci, non[59], — отказался тот. — Вы сначала лечить собаку… Издохнуть?.. Нет, нельзя. Я буду его обломать. Вот почему он не надо издохнуть.

Леклер выжил, и врач говорил, что это исключительный случай, а миссионер назвал это чудом, но он так ослабел за время болезни, что весной схватил лихорадку и опять слег в постель. Батар был совсем плох, но сила жизни в нем преодолела все. Кости его задних ног срослись, и за те несколько недель, что он лежал, скрученный ремнями, на полу, к нему вернулось здоровье. А к тому времени, когда Леклер совсем оправился и, с желтым лицом, еле передвигая ноги, стал выходить из дома погреться на солнце, Батар уже вернул себе главенство над своими сородичами и покорил не только товарищей по упряжке, но и собак миссионера.

Ни один мускул у него не дрогнул, ни один волос не пошевельнулся, когда Леклер, пошатываясь, впервые вышел из дома, опираясь на руку миссионера, и медленно, с необычайной осторожностью, опустился на трехногий табурет.

---

[59] notes: 59
Merci, non (франц.) — спасибо, не надо.

— Bon! — проговорил он. — Bon! Хорошее солнце!

И он вытянул свои исхудалые руки, купая их в солнечном тепле.

Но вот взгляд Леклера упал на пса, и прежний огонь загорелся у него в глазах. Он притронулся к руке миссионера.

— Mon pere[60], эт-тот Батар — дьявол. Вы принести мне один пистолет, чтобы я мог пить солнце спокойно.

И с этих пор Леклер каждый день сидел на солнце у порога. Ни разу он не вздремнул, а пистолет всегда лежал у него на коленях. Каждый день Батар прежде всего проверял, на месте ли пистолет. При виде его он слегка вздергивал губу в знак того, что ему все понятно, а Леклер тоже вздергивал губу, ухмыляясь в ответ. Как-то раз миссионер обратил на это внимание.

— Господи боже! — проговорил он. — Можно подумать, что этот пес все понимает!

Леклер негромко рассмеялся.

— Смотрите, mon pere, что я сейчас буду говорить, то он слушать.

И Батар, словно в подтверждение его слов, чуть

---

[60] notes: 60
Mon pere (франц.) — отец мой.

заметно навострил здоровое ухо, стараясь не пропустить ни звука.

— Я сказать «убью»!

Батар глухо заворчал, шерсть взъерошилась у него на загривке, и все мускулы напряглись в ожидании.

— Я поднимать пистолет, вот так.

И, превращая слово в дело, Леклер навел пистолет на Батара.

Батар метнулся в сторону и, одним прыжком отскочив за угол дома, скрылся из виду.

— Господи боже! — повторил миссионер.

Леклер горделиво осклабился.

— Но почему он не убежит от вас?

Леклер пожал плечами — излюбленный жест французов, выражающий все, что угодно, начиная от полного неведения до глубочайшего понимания.

— Так почему же вы его не убьете?

Леклер снова пожал плечами.

— Mon pere, — ответил он, помолчав, — время еще не наступить. Он — дьявол. Когда-нибудь я его обломать, так и вот так — на кусочки. Когда-нибудь. Bon!

Настал день, когда Леклер собрал своих собак и в плоскодонной лодке отправился вниз по

течению до Форти-Майл, потом до Поркьюпайна, а там поступил на службу в Тихоокеанскую коммерческую компанию и большую часть года занимался изысканиями. Затем он поднялся вверх по Койокуку до покинутого жителями поселка Арктик-сити и вернулся по Юкону, плывя вниз по течению от лагеря до лагеря. И за эти долгие месяцы Батар прошел суровую школу. Он подвергался многим пыткам, в частности — пытке голодом, пытке жаждой, пытке огнем и самой страшной из всех — пытке музыкой.

Как и все его сородичи, он не любил музыки. Она жестоко терзала его, раздражала каждый его нерв и как бы разрывала на части все его существо. Слушая ее, он выл протяжным волчьим воем, — как волки воют на звезды в морозные ночи. Он не мог удержаться. Это была его единственная слабая сторона в борьбе с Леклером, и это был его позор. Леклер, напротив, страстно любил музыку, — так же страстно, как хмель. И если его душа жаждала проявить себя вовне, она обычно избирала один из этих двух способов, но чаще всего — оба. Когда же Леклер был пьян и в мозгу его звучали неспетые песни, в нем пробуждался дремлющий демон, и душа его находила свое высшее проявление в пытке Батара.

— Теперь мы будем иметь немножко музыка, — говорил он. — А? Как думаешь, Батар?

Он играл только на старой губной гармонике, которую бережно хранил и терпеливо чинил, но она была лучшее, что ему удалось купить, и из ее серебряных трубок Леклер извлекал зловещие диссонирующие звуки, каких никто никогда не слыхал. Тогда у Батара сжималось горло и, стиснув зубы, он пятился назад, дюйм за дюймом, в самый дальний угол хижины. А Леклер с толстой палкой под мышкой все играл и играл, надвигаясь на пса шаг за шагом, дюйм за дюймом, пока тому уже некуда было отступать.

Сначала Батар весь съеживался, стараясь занимать как можно меньше места, и припадал к полу, но музыка звучала все ближе и ближе, и тогда он невольно вставал на задние лапы, прижавшись спиной к бревенчатой стене, и махал передними, словно отгоняя от себя набегающие волны звуков. Он не разжимал зубов, но мускулы его резко сокращались, по телу пробегали судороги, и весь он дрожал и корчился в немой муке. Он уже не мог владеть собой, и челюсти его судорожно разжимались, а из пасти вырывались гортанные вибрирующие звуки, такие глухие, что человеческий слух не мог уловить их тона.

Ноздри Батара раздувались, шерсть на загривке вставала дыбом, и, выпучив глаза, он в бессильной ярости испускал протяжный волчий вой. Этот вой плавно и стремительно повышался, нарастая, переходил в громкий душераздирающий вопль, потом горестно замирал… Потом снова порыв вверх, октава за октавой… Разрывается сердце… И вот беспредельная скорбь и тоска притупляются, погасают, поникают и медленно им приходит конец.

Это был сущий ад. И казалось, будто Леклер, всезнающий, как сатана, нащупывает каждый нерв, каждую струну души Батара и протяжными стонами своей музыки, ее дрожащими томительными звуками заставляет пса изливать всю его тоску до последней капли. Это было страшно, и целые сутки после этого Батар не мог прийти в себя, вздрагивал от самых обычных звуков и шарахался от своей собственной тени, но, несмотря ни на что, так же деспотически и жестоко обращался с другими упряжными собаками. И он не давал ни малейшего повода думать, что дух его сломлен. Он только становился все более угрюмым и замкнутым и все ждал своего часа с непостижимым терпением, которое начало удивлять и тяготить даже самого Леклера. Пес

часами лежал недвижно перед огнем, глядя в упор на хозяина, и ненависть к нему тлела в его озлобленных глазах.

Нередко человеку казалось, будто он нащупал самую сущность жизни, ту непобедимую сущность, что низвергает с неба ястреба, как крылатую молнию, что гонит грузного серого гуся из жарких стран в холодные, что заставляет мечущего икру лосося мчаться две тысячи миль по бурному разливу Юкона. В такие мгновения его охватывала жажда проявить свою собственную непобедимую сущность и, возбужденный хмелем, дикой музыкой и ненавистью к Батару, он предавался бесшабашному разгулу и противопоставлял миру свою ничтожную силу, бросая вызов всему, что было, есть и будет.

— Тут что-то есть, — говорил он, когда изливавшиеся в звуках музыки безумства его души касались тайных струн существа Батара и вызывали у пса протяжный, мрачный вой. — Я вытягивать эт-то обеими руками, вот так и так. Ха! Ха! Эт-то смешно! Эт-то очень смешно! Священник распевать псалмы, женщины молиться, мужчины ругаться, птички делать «чирик-чирик», Батар, он делать «йоу-йоу», и все эт-то одно и то же. Ха! Ха!

Отец Готье, достойный пастырь, однажды начал было увещевать Леклера, угрожая ему неминуемой карой в аду. И с тех пор закаялся.

— Эт-то, может быть, и так, mon pere, — возразил Леклер. — А я думать, я пройти через ад и там буду щелкать на всех зубами, как щелкать хвойные ветки в огонь. Правда?

Но все плохое кончается, так же как и все хорошее, пришел конец и Черному Леклеру. Летом он отправился по мелководью из Мак-Дугалла в Санрайз. Из Мак-Дугалла он выехал вместе с Тимоти Брауном, а в Санрайз приехал один. Стало известно, что, перед тем как отчалить, они повздорили. Десятитонный колесный пароходик «Лиззи», вышедший на сутки позже, обогнал Леклера на три дня. А Леклер явился в Санрайз с простреленным навылет плечом и рассказал целую историю, где было все — и засада, и выстрелы, и убийство.

В Санрайзе нашли золото, и многое там переменилось. Туда хлынули сотни золотоискателей, потоки виски, профессиональные игроки, и миссионер увидел, что страница его жизни, посвященная обращению индейцев в христианство, стерта начисто. Когда индианки занялись варкой бобов и топкой печей для одиноких золотоискателей, а индейцы — меной своих теплых мехов на

черные бутылки и сломанные часы, миссионер слег в постель, несколько раз произнес: «Господи боже!» и в грубо сколоченном длинном ящике отбыл туда, где ему предстояло дать свой последний отчет. Тогда игроки в рулетку и «фараон» перенесли свои столы в дом миссии, и стук фишек и звон стаканов раздавались там от утренней зари до вечерней и от вечерней до утренней.

Тимоти Браун был очень популярен среди этих северных искателей приключений. В одном лишь можно было его упрекнуть: он был вспыльчив и драчлив; впрочем, эти мелкие недостатки с лихвой искупались его добротой и щедростью. Но ничто не искупало грехов Черного Леклера. Он поистине был «черен», о чем свидетельствовали многие его всем памятные деяния, и все так же дружно ненавидели Леклера, как любили Тимоти Брауна. Поэтому жители Санрайза наложили на плечо Леклера антисептическую повязку и потащили его на суд Линча.

Для них все было ясно. Леклер повздорил с Тимоти Брауном в Мак-Дугалле. Из Мак-Дугалла он выехал вместе с Тимоти Брауном. В Санрайз приехал без Тимоти Брауна. Приняв во внимание его пороки, все пришли к единодушному заключению, что он убил Тимоти Брауна. Леклер со

своей стороны подтверждал факты, приведенные его судьями, но опровергал сделанные из них выводы и объяснял все по-своему.

Он и Тимоти Браун отъехали на двадцать миль от Санрайза. Они плыли в лодке, отталкиваясь шестами. Лодка шла вдоль скалистого берега. Вдруг раздались два выстрела. Тимоти Браун вывалился из лодки в воду и пошел ко дну, пуская красные пузыри. Так погиб Тимоти Браун. Он, Леклер, бросился на дно лодки, чувствуя острую боль в плече. Он лежал очень тихо, но по временам посматривал на берег. Немного погодя два индейца высунули головы из-за прикрытия и вышли на берег, таща на плечах челнок из березовой коры. Когда они спускали его на воду, Леклер выстрелил. Он попал в одного индейца, и тот рухнул в реку, как Тимоти Браун. Другой упал на дно челнока, затем челнок и лодка понеслись вниз по течению, обгоняя друг друга. Вскоре они подплыли к месту, где река делилась на два рукава, и челнок обогнул остров с одной стороны, а лодка с другой. Леклер больше не видел челнока; в Санрайз он приехал один. Да, судя по тому, как подпрыгнул индеец в челноке, он, Леклер, несомненно, попал в него. Вот и все.

Этому показанию не поверили. Леклеру дали

десять часов отсрочки, а «Лиззи» послали вниз по течению на поиски. Десять часов спустя «Лиззи», посапывая, вернулась в Санрайз. Ей ничего не удалось узнать. Показания Леклера не подтвердились. Ему посоветовали сделать завещание, так как в Санрайзе у него был прииск, стоивший пятьдесят тысяч долларов, а здешние люди любили не только устанавливать законы, но и соблюдать их.

Леклер пожал плечами.

— Но вот что, — сказал он, — маленькая… как это вы называть — милость… да, вот именно, маленькая милость. Я давать свои пятьдесят тысяч долларов церкви, я давать свой эскимосский пес Батар черту. Маленькая милость. Сперва вы вешать его, а потом вы вешать меня. Эт-то хорошо, да?

И правда, хорошо, согласились они, если «исчадие ада» проложит для своего хозяина путь через последний перевал. Заседание суда перенесли на берег реки, где стояла большая одинокая ель. Лежебок Чарли сделал петлю на конце толстой веревки, надел ее Леклеру на шею и затянул. Потом Леклеру связали руки за спиной и помогли стать на ящик из-под сухарей. Свободный конец веревки перекинули через ветки, натянули и

завязали узлом. Оставалось только выбить ящик из-под ног, чтобы тело закачалось в воздухе.

— А теперь собаку, — сказал Уэбстер Шоу, бывший горный инженер. — Вешать ее придется тебе, Лежебок.

Леклер осклабился. Лежебок откусил жевательного табака, сделал скользящую петлю и не спеша принялся наматывать веревку на руку. Раз или два он отрывался от этого занятия, чтобы смахнуть с лица особенно назойливых комаров. Все отмахивались от комаров, кроме Леклера, и над его головой они толклись маленьким облачком. Даже Батар, растянувшийся на земле, отгонял их передними лапами от глаз и морды.

Но пока Лежебок ждал, когда Батар поднимет голову, тишину нарушил далекий крик, и все увидели, что кто-то бежит из Санрайза по низине, размахивая руками. Это был лавочник.

— П-постойте, ребята, — проговорил он, еле переводя дух, и, отдышавшись, начал: — Только что явились Маленький Сэнди и Бернадотт. Высадились ниже по течению и пришли пешком напрямик. Привели с собой Бобра. Захватили его в челноке, в дальней протоке. У Бобра две пулевые раны. Другой был Клок-Катс — тот, что изувечил свою скваy и смылся.

— Как? А я что говорить? Как? — ликующе закричал Леклер. — Эт-то он! Я знать, что я говорить правду.

— Вот что; надо нам проучить этих проклятых сивашей, — промолвил Уэбстер Шоу. — Они разжирели и обнаглели, и нам придется их осадить. Соберите-ка всех индейцев и вздерните Бобра для примера. Вот какая у нас будет программа. Идем послушаем, что он скажет в свою защиту.

— Эй, м'сье! — закричал Леклер, когда толпа хлынула в Санрайз и стала скрываться из виду в сумерках. — Я тоже очень хотеть посмотреть на спектакль.

— Мы тебя развяжем, когда вернемся, — крикнул ему Уэбстер Шоу, оглянувшись. — А пока поразмысли о своих грехах и путях провидения. Это тебе пойдет на пользу, спасибо нам скажешь.

Как и все люди со здоровыми нервами, привыкшие к опасностям и научившиеся терпению, Леклер приготовился ждать долго, иначе говоря, примирился с мыслью об этом. Но тело его не могло примириться с неудобным положением: веревка принуждала Леклера стоять вытянувшись. Стоило чуть-чуть ослабить мускулы ног, как шершавая веревочная петля врезалась ему в шею; если же он выпрямлялся, плечо начинало

сильно болеть. Он выпятил нижнюю губу и дул кверху, стараясь отогнать комаров от глаз. Но даже в таком неприятном положении было чем утешиться: ведь есть расчет немного потерпеть, если удалось вырваться из лап смерти. Жаль только, что ему не придется посмотреть, как будут вешать Бобра.

Так он рассуждал мысленно, пока взгляд его не упал на Батара, который дремал, растянувшись на земле и положив голову на передние лапы. И тогда рассуждения кончились. Леклер начал внимательно присматриваться к Батару, стараясь понять, действительно ли он спит или только притворяется спящим. Бока Батара мерно приподнимались, но Леклер чутьем угадывал, что дышит он немного быстрее, чем обычно дышит спящий, и что все в нем до последнего волоска насторожилось, как нельзя насторожиться во сне, который всегда расковывает тело. Леклер охотно отдал бы свой прииск в Санрайзе, лишь бы знать наверное, что собака действительно спит, и когда у него случайно хрустнули суставы, он быстро и виновато взглянул на Батара, ожидая, что тот встрепенется. В этот миг Батар не встрепенулся, но несколько минут спустя он встал, медленно и лениво потянулся и внимательно оглянулся

кругом.

— Sacredam, — процедил сквозь зубы Леклер.

Убедившись, что поблизости никого нет, Батар сел, скривил верхнюю губу, — казалось, будто он улыбается, — посмотрел вверх на Леклера и начал облизываться.

— Я видеть мой конец, — проговорил человек и сардонически расхохотался.

Батар подошел ближе. Его искалеченное ухо болталось, здоровое вытянулось в струнку. Игриво склонив голову набок, он стал приближаться мелкими танцующими шажками. Потом тихонько потерся о ящик, и тот сдвинулся с места. Леклер осторожно переминался с ноги на ногу, стараясь сохранить равновесие.

— Батар, — проговорил он спокойным голосом, — берегись. Я тебя убью.

Услышав знакомое слово, Батар зарычал и толкнул ящик сильнее. Потом он встал на задние лапы, а передними с силой уперся в верхнюю часть ящика. Леклер хотел было пнуть его ногой, но веревка врезалась ему в шею и так резко оборвала его движение, что он чуть не потерял равновесия.

— Хай-йа! Пошел! Вперед! — заорал он.

Батар отступил футов на двадцать с таким

сатанински лукавым видом, что Леклер не мог ошибиться в его намерениях. Он вспомнил, как пес много раз разбивал ледяную корку на проруби, подпрыгивая и бросаясь на нее всем телом, и, вспомнив это, понял, что тот замышляет. Батар повернулся кругом и замер. Он оскалил свои белые зубы, — и Леклер осклабился в ответ, — потом взметнулся вверх и всей своей тяжестью рухнул на ящик.

Четверть часа спустя Лежебок Чарли и Уэбстер Шоу, возвращаясь, различили в сумраке страшный маятник, качающийся из стороны в сторону. Подбежав ближе, они увидели мертвое человеческое тело и вцепившееся в него живое существо, которое извивалось на нем, трясло его, рвало и качалось вместе с ним.

— Хай-йа! Прочь ты, исчадие ада! — завопил Уэбстер Шоу.

Батар только злобно сверкнул на него глазами и угрожающе зарычал, но не разжал челюстей.

Лежебок Чарли вытащил револьвер, но руки у него дрожали, словно от холода, и он не решился выстрелить.

— Возьми ты, — сказал он, протянув револьвер товарищу.

Уэбстер Шоу коротко рассмеялся, прицелился

псу в лоб между горящими глазами и нажал курок. Тело Батара дернулось, забилось в судороге о землю и вдруг обмякло. Но его стиснутые челюсти так и не разжались.

Джек Лондон
Осколок третичной эпохи

Я с самого начала умываю руки. Не я, а он все это сочинил, и я не собираюсь отвечать за его рассказ. Заметьте, я делаю эти предварительные оговорки, чтобы никто не усомнился в моей честности. Я женат, достиг кое-какого положения, и, чтобы не опорочить доброе имя людей, чье уважение я имел честь заслужить, и не повредить нашим детям, я не вправе рисковать, как когда-то, с юношеским легкомыслием и беспечностью утверждая то, в чем не уверен. Итак, повторяю, я умываю руки, снимаю с себя всякую ответственность за этого Нимрода, могучего охотника, этого нескладного, веснушчатого, голубоглазого Томаса Стивенса.

Теперь, когда я все выложил и чист перед самим собою и перед всеми нашими потомками, сколько бы мне их жена ни подарила, я могу себе позволить быть великодушным. Не скажу дурного слова о том, что рассказал мне Томас Стивенс, более того, я вообще оставлю свое мнение при себе. Если меня спросят, почему, я могу лишь

ответить, что у меня нет на этот счет никакого мнения. Я много раз думал, взвешивал, оценивал, но, право слово, так ни к чему и не пришел, а все потому, что далеко мне до Томаса Стивенса. Если он говорил правду — хорошо, если неправду — тоже хорошо. Ибо кто может подтвердить его слова? Или опровергнуть? Я выхожу из игры, ну, а маловеры могут поступить, как поступил в свое время я: разыщите упомянутого Томаса Стивенса и потолкуйте с ним обо всем, что я надеюсь вам рассказать. Вы спросите, где его найти? Пожалуйста, где-нибудь между пятьдесят третьим градусом северной широты и полюсом и между восточными берегами Сибири и западной оконечностью Лабрадора — в любом месте, где водится дичь. Он, без сомнения, где-то там, место вполне определенное, даю вам честное благородное слово человека, который заботится о своем будущем, а потому не лукавит и держится подальше от греха.

Может, Томас Стивенс и великий выдумщик, но не могу не сказать, что он забрел в мой лагерь в тот самый час, когда я сидел один и думал, что от тех мест, где можно встретить цивилизованного человека, меня отделяет тысяча миль. При виде человека, первого за долгие, томительные

месяцы, я едва не вскочил и не обнял его (а я вовсе не склонен к бурным проявлениям чувств), для него же в этом посещении не было, кажется, ничего удивительного. Он просто забрел на огонек, поздоровался по обычаю охотников и бродяг и, отодвинув в одну сторону мои лыжи, в другую — собак, расчистил себе место у очага. «Заглянул одолжить щепотку соды, — сказал он, — а заодно поинтересоваться, нет ли у вас хоть немного доброго табаку». Он вынул старую трубку, тщательно, набил ее и, глазом не моргнув, отсыпал половину золотистых сухих завитков из моего кисета в свой. Да, табачок был хорош! Не испытывая ни малейших угрызений совести, он блаженно затянулся, а я глядел на него, и мое сердце курильщика радовалось.

Охотник? Зверолов? Старатель? Он пожал плечами. Нет, просто бродит здесь вокруг. Недавно побывал у Большого Невольничьего, подумывает прогуляться на Юкон. В Кошимской фактории говорили о россыпях на Клондайке, и он решил поглядеть, чем дело пахнет.

Я заметил, что он называет Клондайк по старинке, на местный лад Рекой Северного оленя — привычка гордых старожилов, не желающих, чтоб их смешивали с чечако и прочими неженка-

ми. Но у него это получилось так непосредственно и просто, что не уязвляло, и я простил его. Он сказал, что, пока не перевалил кряж и не спустился к Юкону, ему, пожалуй, не худо бы еще заглянуть в форт Доброй Надежды.

Надо сказать, что форт Доброй Надежды далеко на севере, за Полярным кругом, куда редко ступает нога человека, и когда среди ночи к вам невесть откуда является этакий бродяга, подсаживается к огню и сыплет такими словечками, как «прогуляться» на Юкон и «заглянуть» в форт Доброй Надежды, самое время встать и протереть глаза. И я огляделся: увидел брезент, защиту от ветра, под ним сосновые сучья, на которых я на ночь расстилал меховые одеяла, увидел мешки с провизией, фотографическую камеру, пар от дыхания псов, что улеглись вокруг костра, а в вышине — гигантское полотнище северного сияния, раскинувшееся в небе с юго-востока на северо-запад. Я вздрогнул. Есть в ночах Севера какое-то колдовство, которое пробирает до костей, словно лихорадка на болотах. Не успеешь оглянуться, как ты уже в его власти и повержен наземь. Потом я взглянул на свои лыжи, они лежали плашмя, крест-накрест там, где он их бросил. Увидел я и кисет. По крайней мере половины моего солид-

ного запаса курева как не бывало. Все сомнения рассеялись. Стало быть, мне не померещилось.

Верно, нечеловеческие лишения свели его с ума, подумал я, в упор глядя на гостя, как видно, это одна из жертв золотой лихорадки — из тех, что давно забыли родной дом и бродят, как неприкаянные, по бескрайним и бесплодным просторам. Ну что ж, пусть его болтает, пока, быть может, его омраченное сознание не прояснится. Как знать, вдруг при звуке человеческой речи он придет в себя.

И вот я старался втянуть его в разговор, и вскоре он к моему изумлению со знанием дела заговорил о дичи, о зверье и их повадках. Оказывается, он подстрелил однажды сибирского волка на крайнем западе Аляски и серну в самом сердце Скалистых гор. Он знает местечки, где по сей день бродит последний бизон, он преследовал по пятам стотысячное стадо чем-то испуганных карибу и спал на зимней тропе мускусного быка на Бесплодных землях.

И, слушая эти рассказы, я переменил мнение о нем (в первый раз, но отнюдь не в последний) и решил, что передо мной сама правдивость. Не знаю, почему, но мне вздумалось рассказать ему историю, услышанную от человека, прожившего

в этих краях так долго, что он уже не мог не привирать. Он уверял, что на крутых откосах горы св. Илии водится огромный медведь, который никогда не спускается ниже, на более отлогие склоны. И вот бог так создал, приспособил этого зверя, что обе его правые лапы — передняя и задняя — на фут короче левых. И вы, конечно, согласитесь, что это очень удобно..

От первого лица, в настоящем времени я пустился рассказывать, как самолично охотился на этого редкого зверя, для пущего правдоподобия сдобрил местным колоритом, приукрасил все, как полагается, и поглядывал на своего слушателя в надежде, что мой рассказ ошеломит его.

Ничуть не бывало. Усомнись он, я бы его простил. Заспорь он, скажи, что такая охота не опасна, — ведь зверь не может повернуться и побежать в другую сторону, — возрази он хоть слово, и я крепко пожал бы его руку, руку честного человека. Но ничуть не бывало. Он фыркнул, поглядел на меня и снова фыркнул; потом воздал должное моему табаку, положил ногу мне на колени и предложил пощупать мокасины. То были муклуки, какие носят аляскинские эскимосы, — сшитые сухожилиями, не украшенные ни бисером, ни какой-либо другой отделкой. Но

шкура, из которой они были сшиты, — вот что меня поразило. Толщиной добрых полдюйма, она напоминала моржовую, но на этом сходство кончалось, ибо ни один морж не может похвастать такой удивительной шерстью. Сбоку, на лодыжках, она почти вся вытерлась оттого, что он изо дня в день продирался сквозь снег и кустарник, но сзади и сверху, в местах, более защищенных, была черная, без блеска и необыкновенно густая. Я с трудом разобрал мех, чтобы поглядеть на великолепный подшерсток, которым отличаются звери Севера, но его не оказалось. Зато шерсть была необычайной длины. В самом деле, на уцелевших, не вытершихся островках она достигала добрых семи, а то и восьми дюймов.

Я поглядел на своего гостя, и он убрал ногу и спросил:

— Ну как, у вашего медведя тоже такая шкура?

Я покачал головой.

— Не видал такой ни у одного зверя ни на море, ни на суше, — чистосердечно признался я.

Толщина шкуры и длина шерсти озадачили меня.

— Это шкура мамонта, — сказал он самым будничным голосом.

— Чепуха! — воскликнул я не в силах сдержать

свое неверие. — Дорогой мой, мамонт давным-давно исчез с лица земли. По окаменелым остаткам, обнаруженным в земле, и по замерзшему скелету, который сибирское солнце сочло нужным вытопить из самой толщи ледника, мы знаем, что некогда это животное существовало, но мы знаем также, что до наших дней оно не дожило. Наши исследователи…

— Ваши исследователи? — нетерпеливо прервал он. — Тьфу! Хилое племя. И слышать о них не хочу. Но скажи мне, человече, что знаешь ты о мамонте и его повадках!

Тут явно что-то кроется, и я закинул удочку — порывшись в памяти, стал выкладывать все, что знал о мамонтах. Прежде всего я подчеркнул, что это животное доисторическое, и выставил в поддержку все имеющиеся в моем распоряжении факты. Я сослался на песчаные отмели сибирских рек, где в изобилии находят остатки скелетов мамонта, упомянул огромные количества мамонтовой кости, закупленной у эскимосов Торговой компанией Аляски, поведал, что мне и самому довелось выкопать два бивня, один шести футов, другой — восьми, в золотоносном песке на притоках Клондайка.

— И все эти ископаемые остатки, — заключил

я, — мы находим в наносных породах, отлагавшихся в давние времена.

— Помню, еще парнишкой я видел окаменелый арбуз, — тут Томас Стивенс фыркнул (ужасно противно он фыркал). — Значит, хоть некоторые фантазеры и воображают, будто они выращивают и едят арбузы, а на самом деле никаких арбузов давным-давно не существует.

— А чем бы они питались? — продолжал я, не обращая внимания на этот ребяческий довод, не имеющий отношения к делу. — Чтобы прокормить таких исполинов, земля должна родить щедро и безотказно. Нигде на Севере не найдешь такого изобилия. Следовательно, мамонт не может существовать в наши дни.

— Я прощаю вам полную неосведомленность о полярных землях, вы ведь еще молоды и мало путешествовали, но в одном я готов с вами согласиться. Мамонтов больше нет. Откуда я знаю? Вот этой рукой я убил последнего мамонта.

Так вещал Нимрод, могучий охотник. Я швырнул в собак головешкой, приказал им прекратить адский вой и ждал. Уж, конечно, этот редкостный враль не утерпит и отплатит мне за медведя с горы св. Илии.

— Дело было так, — начал он наконец, вы-

держав подобающую случаю паузу, — однажды разбил я лагерь…

— Где именно? — прервал я.

Он махнул рукой куда-то на северо-восток, где простирались неведомые безбрежные просторы, — мало кто отваживался вступать на ту землю и почти никто не вернулся оттуда.

— Разбил я лагерь, и Клуч вертелась тут же. Красивая была собака, лучше и не найти в наших краях. Отец ее был чистокровный мейлмют из Пастилика на Беринговом море, а мать я ей тоже выбрал с толком — лучшую суку из тех, что разводят у Гудзонова залива. Отличная была помесь, можете мне поверить. Так вот, в тот самый день, помню, Клуч принесла мне щенят от дикого волка; из них выросли бы отличные псы — серые, длинноногие, широкогрудые и на редкость выносливые. Слыхали вы что-нибудь подобное? Я вывел новую породу и каких только не строил планов!

Стало быть, она благополучно разрешилась, все честь по чести. Я сидел на корточках и разглядывал щенят — семь крепких слепых зверенышей, как вдруг позади раздался рев, точно в медные трубы затрубили. Что-то налетело, будто шквал, и не успел я подняться, как меня сбило с ног и

я уткнулся в землю носом. И тут я услыхал, как охнула Клуч — прямо как человек, когда его стукнешь кулаком в живот. Можете биться об заклад, что я лежал тихо, только чуть повернул голову и увидел, что надо мной нависла какая-то огромная туша. Потом мне снова открылось голубое небо, и я поднялся на ноги. И успел увидеть, как волосатая живая гора скрылась в зарослях на краю прогалины. Мелькнул толстый, толщиной с меня, торчащий хвост. Через мгновение у меня перед глазами был только широченный пролом в чаще, но еще слышен был гул, будто удалялся ураган: трещали вырываемые с корнем кусты, с грохотом ломались и падали деревья.

Я кинулся за ружьем. Оно было положено на землю, под дулом был чурбан

— чтоб не загрязнилось. Теперь от ложа остались одни щепки, ствол был искривлен, затвор сплющен. Потом я поискал глазами Клуч и… и что, по-вашему, увидел?

Я покачал головой.

— Гореть мне у сатаны на сковородке, если от нее хоть что-нибудь осталось! И Клуч и семь крепких слепых зверенышей исчезли все до единого. На том месте в мягком грунте оказалась скользкая, кровавая вмятина — добрый ярд в

поперечнике, а по краям жалкие клочки шерсти.

Я отмерил на снегу три фута, описал круг и поглядел на Нимрода.

— Чудище было длиной в тридцать футов, а ростом в двадцать, — пояснил он, — а в каждом бивне шесть раз по три фута. Я и сам глазам своим не поверил. Может, мне все почудилось, но как же сломанное ружье и пролом в чаще? А Клуч со щенками, куда они девались? Господи, да меня и сейчас в жар бросает, как вспомню Клуч! Ведь это была новая Ева! Прародительница нового племени. И вот дикий, взбесившийся мамонт, точно второй потоп, снес их с лица земли! Право слово, земля, пропитанная кровью, взывала к небесам. Понятно, я схватил топор и кинулся в погоню.

— Топор? — в полнейшем восторге воскликнул я, представив себе эту картину. — С топором на огромного мамонта тридцати футов в длину и двадцати…

Нимрод тоже развеселился и даже прыснул от удовольствия.

— Помереть можно со смеху, а? — воскликнул он. — Хороша история? Я сам потом сколько раз смеялся, но тогда мне было не до смеху. Я совсем рассвирепел из-за ружья и из-за Клуч. Нет, вы только подумайте! Сгинула новенькая с иголочки

порода, ее еще и в списки не занесли и патента мне не дали. Щенята и прозреть не успели, и бумаги на них не выправили, а их уже уничтожили! Что ж, ладно. Жизнь полна разочарований, и это правильно. Мясо вкусней, когда проголодаешься, а постель мягче после тяжелой дороги.

Так вот, схватил я топор, и припустился за зверем, и гнался за ним по пятам. Но когда он повернул назад и помчался вверх по долине, я остановился, чтобы перевести дух. И насчет еды я вам заодно кое-что объясню. Там, в горах, причудливо все устроено. Счету нет маленьким тесным ущельям, и все одинаковые, как близнецы, а стены крутые, отвесные. В устье долины всегда узкий проход, пробитый ледниками или талыми водами. Только через него и можно проникнуть в долину, но эти проходы все узкие, один уже другого. Так вот о еде — вы ведь путешественник и, наверное, тонули в грязи под проливными дождями на островах у берегов Аляски, туда, поближе к Ситке. И знаете, какие там леса и травы, густые, сочные — джунгли да и только. Ну, и в этих долинах то же самое. Земля жирная, плодородная, папоротник и всякие там травы кое-где выше головы. Летом три дня из четырех льет дождь, и жратвы хватит на тысячу мамонтов, а уж о

мелкой дичи для человека и говорить нечего.

Да, так ближе к делу. У выхода из долины я совсем задохнулся и бросил погоню. И стал я раскидывать умом, и едва я перевел дух, гнев мой разгорелся вовсю, и я уже знал, что не успокоюсь, пока не отведаю жареной ноги мамонта. И еще знал, что теперь не миновать Skookum mamook puka puk.

— Прошу прощения, что говорю по-чинукски, я хотел сказать: не миновать большой драки. Так вот, устье моей долины было очень узкое, а стены совсем крутые, и с одной стороны нависла огромная глыба весом в сотни две тонн, и не просто нависла, а качалась — такие еще называют маятниками. Как раз то, что нужно. Я сбегал в лагерь, все время оглядываясь, не вылез ли мамонт из долины, и прихватил патроны. Но что в них толку, ружье-то разбито. Так что я открыл гильзы, высыпал порох под этот самый камень и подложил бикфордов шнур. Заряд был невелик, но валун лениво качнулся и ухнул вниз, загородив проход, только и осталась щель, чтобы течь ручью. Теперь зверь был мой.

— Как это ваш? — засомневался я. — Где это видано, чтобы человек убил мамонта топором? Да и вообще чем бы то ни было?

— Разве я не сказал вам, что прямо взбесился от злости? — ответил задетый за живое Нимрод. — Да, я был зол из-за Клуч и ружья. И разве я не охотник? И разве мне не интересно поохотиться на такую невиданную дичь? А вы говорите, топор! Тьфу! Да он мне вовсе и не понадобился. Это была такая охота, какая случалась, наверное, только, когда мир был молод и пещерный человек охотился с каменным топором. Ну, и от моего топора было не больше толку, чем от каменного. Но разве не правда, что человек способен пройти больше собаки и лошади, верно? Что он выносливей, потому что куда умней?

Я кивнул.

— И что же?

Но я, кажется, уже понял и ждал продолжения.

— Если обойти всю мою долину кругом, получалось миль пять. Устье завалено. Выбраться ему некуда. Этот мамонт оказался зверем не из храбрых и теперь был в моей власти. Я снова припустился за ним в погоню, вопил, как дьявол, забрасывал его камнями, трижды заставил обежать долину, а потом отправился ужинать. Понимаете, в чем штука? Гонки! Человек и мамонт! Ипподром, а вместо судей солнце, луна и звезды.

Я убил на это два месяца, но своего добился. И это вам уже не анекдот. Я гнал его круг за кругом, сам бежал по внутренней дорожке, наспех закусывал вяленым мясом и икрой лосося, а между забегами ухитрялся вздремнуть минутку-другую. Бывало, конечно, что он с отчаяния нет-нет да и взбунтуется и повернет на меня. Тогда я мчался к ручью, где земля была мягкая, и клял на чем свет стоит окаянного зверя и всех его предков и подзадоривал подойти поближе, но он был слишком умен, знал, что может завязнуть в грязи. Однажды он загнал меня к отвесной скале, и я заполз в глубокую расщелину и затаился. Всякий раз, как он тянулся ко мне хоботом, я колотил его топором, пока он от ярости не поднимал такой рев, что у меня прямо лопались барабанные перепонки. Он знал, что я попался, а достать меня не мог, это его бесило. Но он был не дурак. Понимал, что, пока я в щели, ему ничего не грозит, и решил не выпускать меня оттуда. И он был совершенно прав, только вот о припасах не подумал. Поблизости не оказалось ни пищи, ни воды, ясное дело, он не мог долго держать осаду. Часами сторожил он у расщелины и хлопал огромными, как одеяло, ушами, отгоняя москитов. Потом его одолевала жажда, и он начинал трубить так, что земля

дрожала, и поносил меня, как только мог. Это он хотел нагнать на меня страху, решив, что я достаточно напугался, он тихонько пятился и пытался улизнуть к ручью. Иногда я давал ему отойти почти к самой воде — она была всего в сотне-другой ярдов — и тогда выскакивал, и он тотчас с грохотом мчался назад, обвал да и только. Но скоро он разгадал мою хитрость и переменил тактику. Понял роль времени, так сказать. Ни словечком не предупредив, он, как сумасшедший, мчался к ручью, рассчитывая обернуться прежде, чем я сумею удрать. В конце концов он страшно изругал меня, снял осаду и неторопливо зашагал к воде.

Это был единственный раз, когда он взял надо мной верх, но после этих трех дней гонка не прекращалась ни на час. Шесть дней кряду шли эти гонки без всяких правил — делай все, что тебе по вкусу, — но ему-то все это было совсем не по вкусу. Одежда моя разорвалась в клочки, чинить ее было некогда, так что под конец я бегал нагишом, как дитя природы, с топором в одной руке и с булыжником в другой. Я не останавливался ни ночью, ни днем, лишь изредка на минутку вздремнешь в какой-нибудь расщелине. Что до мамонта, он худел прямо на глазах — потерял самое малое несколько тонн — и стал нервный,

как засидевшаяся в девках учительница. Стоило мне подойти к нему и крикнуть или кинуть в него издали камнем, и он сразу подскочит и весь задрожит, точно пугливый жеребенок. А потом опять как припустится, хвост и хобот выставит, косится на меня через плечо, глаза так и горят, а уж ругает меня, уж клянет — на все корки. Бесстыжий был зверь, разбойная душа и богохульник.

Но под конец он угомонился и только все хныкал и скулил, как дитя малое. Он совсем пал духом и стал жалкий, несчастный. Этакая гора, а трясется, как студень. Начались у него сердцебиения, его качало, как пьяного, и он валился наземь, сбив ноги в кровь. А то, бывало, бежит и плачет. Боги, и те смилостивились бы над ним, вы бы тоже не удержались от слез, никто не удержался бы. На него было жалко смотреть — такой огромный и такой несчастный, но я только больше ожесточился в сердце своем и прибавил шагу. Наконец я совсем загонял его, и он свалился — в отчаянии, задыхаясь, мучимый голодом и жаждой. Видя, что он не в силах пошевельнуться, я перерезал ему сухожилия и потом чуть не весь день врубался в него топором, а он сопел и всхлипывал, пока я не врубился так глубоко, что он затих. Да, он был тридцати футов в длину, двадцати ростом,

а между бивнями можно было гамак подвесить и спать в свое удовольствие. Правда, я выжал из него все соки, а все же он был недурен на вкус, и одних ног, зажаренных целиком, хватило бы на год. Я провел там всю зиму.

— А где эта долина? — поинтересовался я.

Он махнул рукой куда-то на северо-восток и сказал:

— Хорош у вас табачок. Изрядную долю его я унесу в кисете, а воспоминание о нем сохраню до самой смерти. В знак того, как высоко я ценю вашу любезность, разрешите взамен ваших мокасин поднести вам эти муклуки. Это память о Клуч и семи слепых щенятах. А кроме того, они напоминают о событии, какого не знала история: об уничтожении последнего представителя самого древнего и самого раннего на земле звериного племени. А муклукам сносу не будет.

Вручив мне муклуки, он выбил трубку, пожал мне на прощание руку и исчез в снежной пустыне. Вы, конечно, не забыли, что я с самого начала снял с себя всякую ответственность за эту историю, а всем маловерам я советую посетить Смитсоновский институт. Если они представят соответствующие рекомендации и приедут в урочное время, их, без сомнения, примет профес-

сор Долвидсон. Муклуки теперь хранятся у него, и он подтвердит если не то, каким образом они были добыты, то уж, во всяком случае, какой на них пошел материал. Он авторитетно утверждает, что они сшиты из шкуры мамонта, и с ним соглашается весь ученый мир. Чего же вам еще надо?

Джек Лондон
Голиаф[61]

Перевод Михаила Чехова (редакция 1925 г.)

В 19… году, утром 3 января жители Сан-Франциско прочитали в местных газетах любопытное письмо, которое получил Вальтер Бессет и которое, очевидно, было написано каким-нибудь шутником. Вальтер Бессет был одним из королей промышленности на западе Соединенных Штатов и принадлежал к той небольшой группе лиц, которая фактически управляла судьбами целой нации, хотя имена этих лиц были почти неизвестны публике. Будучи такой влиятельной личностью, Бессет получал бесчисленное количество писем, но это письмо так отличалось от всех других писем подобного рода, что он, вместо того чтобы бросить его в корзину, передал письмо репортеру. В конце письма стояла подпись «Голиаф», а в постскриптуме значился адрес: «Остров Пальгрэйв». Оно было следующего содержания:

---

[61] notes: 61

Голиаф — по библейскому сказанию, знаменитый филистимлянский великан, убитый в единоборстве из пращи Давидом.

«Мистеру Вальтеру Бессету.

Милостивый государь!

Я приглашаю вас вместе с девятью вашими коллегами, королями промышленности, прибыть ко мне на остров для обсуждения вопроса о переустройстве общества на более разумных началах. До сих пор развитие общества шло по слепому, бесцельному, ложному пути. Наступило время для перемен. Человек уже вышел из первобытного состояния и подчинил себе природу, но он до сих пор не создал себе разумного общественного порядка. Человек в наши дни является таким же рабом своего глупого общества, как тысячи лет назад он был рабом природы.

Существуют две теории, на основании которых человек может создать новое общество и воспользоваться им как разумным и сильным орудием в стремлении к достижению счастья и веселья.

Первая теория выставляет положение, что правительство не может быть лучше и умнее того народа, который выбирает это правительство, что реформы и пре-

образования должны исходить от самого народа, что, поскольку отдельные личности становятся лучше и умнее, постольку и правительство становится лучше и умнее — словом, что большинство народа должно сделаться лучше и умнее, тогда и правительство сделается лучше и умнее. Реакционные политические взгляды, грубая животность и тупое невежество всякой человеческой толпы обнаруживают всю ложь этой теории. В толпе общий уровень познания и доброты находится в зависимости от наименее сознательных и наиболее грубых членов этой толпы. С другой стороны, во время бури на море тысяча пассажиров вручают свою судьбу мудрости и благоразумию капитана. В этом случае он является самым разумным среди них, обладая наибольшим опытом.

Другая теория выставляет положение, что большинство народа не является пионерами, что оно подчиняется существующему порядку, что правительство, которое является представителем большинства, воплощает только его слабость, его ничтожество, его грубую сторону,

что правительство не является слугой народа, но что народ является рабом правительства — словом, не народ влияет на правительство, а правительство — на народ, и что правительство есть и всегда было тупым и страшным чудовищем.

Я лично склоняюсь на сторону второй теории. К тому же я не обладаю терпением. В течение жизни многих тысяч поколений, начиная с первых общественных групп наших предков-дикарей, правительство всегда было чудовищем. В наши дни угнетенные массы менее веселы и радостны, чем когда бы то ни было. Несмотря на завоевание человеком природы, прекрасный мир омрачен человеческими страданиями, болезнями и нуждой.

Поэтому я решил вмешаться в дела человечества и намерен временно стать капитаном мирового корабля. Я обладаю познаниями и широким взглядом искусного эксперта. У меня также есть достаточно силы.

Мне должны во всем повиноваться. Народы всего мира должны будут исполнять

мои приказания и так составлять свои правительства, чтобы они были творцами веселья и счастья. Эти образцовые правительства, которые я имею в виду, не будут делать людей счастливыми, разумными и благородными посредством указов, но они дадут народу возможность самому стать счастливым, разумным и благородным.

Я сказал все, что нужно. Я пригласил вас и девять ваших коллег на совещание со мной. 3 марта яхта „Энергон“ выйдет из Сан-Франциско. Вам предлагается прибыть на яхту накануне вечером. Все это говорится вполне серьезно. Миру необходима на время сильная рука. Этой сильной рукой являюсь я. Если вы не обратите внимания на мое приглашение, вас ожидает смерть.

Говоря откровенно, я не надеюсь, что вы примете мое приглашение, но ваша смерть за непослушание заставит послушаться тех, кого я приглашу после вас. Таким образом, ваша смерть не будет бесцельной. И, пожалуйста, запомните, что мне чужда глупая сентиментальность во взгляде на ценность человеческой жизни. Я всегда помню о тех бесчисленных миллиардах людей, которые будут наслаждаться счастьем и радостью в том прекрасном грядущем, которое ожидает их.

Голиаф».

Опубликование этого письма не возбудило любопытства даже среди местного населения. Быть может, лицо читателя озарялось улыбкой при чтении его, но было ясно, что оно написано каким-нибудь любителем шуток и не заслуживает того, чтобы о нем говорить. Интерес к этому пробудился лишь на следующее утро. Благодаря телеграммам, распространившим весть об этом письме по всей Америке, а также вследствие пронырливости газетных репортеров стали известны имена остальных девяти королей про-

мышленности, которые, получив подобные же письма, сочли их настолько незначительными, что не хотели опубликовывать. Но интерес к этому случаю скоро заглох бы совершенно, если бы один карикатурист в остроумной карикатуре не изобразил Голиафа в виде претендента на президентский пост. Вслед за этой карикатурой появилась песня, которую американцы распевали повсюду и у которой был такой припев:

Не зевайте, не зевайте
Вас поймает Голиаф.

Прошло несколько недель, и об этом случае все забыли. Забыл о нем и Вальтер Бессет. Но 22 февраля он был вызван к телефону инспектором порта.

— Я хотел только сообщить вам, — сказал инспектор, — что в наш порт прибыла яхта «Энергон» и бросила якорь возле дамбы номер семь.

Что произошло в ту ночь, Вальтер Бессет никогда не рассказывал. Известно только, что он отправился на автомобиле в порт, где сел на баркас, доставивший его на борт странной яхты. Известно также, что когда он через три часа вернулся на берег, то немедленно отправил пачку телеграмм своим девяти коллегам, получившим,

как и он, письма от Голиафа. Все эти телеграммы были следующего содержания:

«Яхта „Энергон“ прибыла. Тут что-то есть. Советую явиться».

Телеграмма вызвала лишь общий смех по адресу Бессета. Она была опубликована, и популярная песенка о Голиафе возродилась и сделалась еще более популярной. Голиафа и Бессета изображали на бесчисленных рисунках и карикатурах, причем Голиафа рисовали в виде водяного, оседдавшего Бессета. Смех раздавался в клубах и общественных собраниях, звучал в передовицах газет и превращался в гомерический хохот в юмористических еженедельниках. Но многим, особенно компаньонам Бессета, было не до смеха, так как они начинали сомневаться в здравом рассудке Бессета.

Бессет не любил долго возиться с одним делом, и, послав вторую пачку телеграмм своим коллегам, которая тоже была встречена смехом, он замолчал.

Последний раз он телеграфировал:

«Я вас умоляю — приезжайте. Если вам дорога жизнь — приезжайте».

Поручив дела на время своего отсутствия компаньону, вечером 2 марта Бессет был уже на борту «Энергона». Яхта снялась с якоря на следующее утро. И в то же утро все газеты в городе напечатали экстренный выпуск.

Голиаф сдержал свое слово. Девять королей промышленности, не принявших его предложения, постигла смерть. Самые опытные в стране врачи, вскрывавшие тела убитых миллионеров, сообщили, что смерть последовала от какого-то быстрого разложения тканей тела, но врачи не осмелились заявить, что короли промышленности убиты. И еще меньше они были склонны прийти к заключению, что миллионеры «пали от руки неизвестных». Смерть была слишком загадочной и поставила врачей в тупик. Их вера в науку была поколеблена.

В своих ученых книгах они не могли отыскать ни малейшего намека на то, как анонимное лицо с острова Пальгрэйв могло убить бедных джентльменов.

Однако одно обстоятельство выяснилось очень скоро, а именно, что остров Пальгрэйв не миф. Он обозначен на карте и прекрасно известен всем мореплавателям. Находится он на сто шестидесятом градусе западной долготы, как раз в том

месте, где его пересекает десятый градус северной широты, и всего лишь в нескольких милях от островка Дианы. Подобно островам Мидвэй и Фаннин, остров Пальгрэйв одинок и по своему образованию принадлежит к коралловым островам. Кроме того, он необитаем. Капитан судна, производивший его обследование в 1887 году, в своем докладе писал, что на острове находится несколько родников и что он имеет хорошую естественную гавань, подход к которой, однако, связан с большой опасностью. Вот все, что было известно об этой ничтожной пылинке земли, которой суждено было со временем приковать к себе внимание всего мира.

Голиаф хранил молчание до 24 марта. Но в этот день утренние газеты напечатали второе его письмо, копию которого получили десять главных политиков Соединенных Штатов, выдающиеся вожди политического мира, которых принято называть «государственными мужами». Письмо это гласило:

«Милостивый государь!

Я не намерен тратить слов понапрасну. Мне должны повиноваться. Вы можете считать это приглашением или прика-

зом, но, если вы хотите еще шагать по земле и веселиться, вы должны быть на борту яхты „Энергон“ в гавани Сан-Франциско не позже 5 апреля. Я желаю, чтобы вы приняли участие в конференции о переустройстве общества на более разумных началах, которая состоится на острове Пальгрэйв.

Во избежание недоразумений я скажу вам, что всецело предан своей теории. Но я хочу, чтобы эта теория оказалась приложимой к жизни, и поэтому приглашаю вас для совместной работы. В этой моей теории я орудую с массами, а отдельные жизни являются для меня пешками. Я имею дело с тысячами и миллионами жизней. Я стремлюсь к установлению на Земле счастья и радости, и те, кто будет стоять на пути к этой цели, должны погибнуть. Эта работа — не простая игра. Нашу планету в настоящее время населяет более полутора тысяч миллионов человек. Что значит ваша отдельная жизнь по сравнению с этими жителями? По моей теории — ничто. И еще помните, что за мною сила. Помните, что я осно-

вываюсь на науке и что одна жизнь или миллион жизней для меня ничего не значат, когда я думаю о тех миллиардах миллиардов человеческих жизней, которым еще предстоит жить на Земле. Чтобы они могли пользоваться счастьем и радостью, я теперь должен перестроить общество, и ваша мизерная жизнь — ничто по сравнению с этими миллиардами жизней.

Кто обладает силой, тот может повелевать себе подобными. Благодаря той военной выдумке, которая известна под названием „фаланга“, Александр Македонский завоевал немалую часть земли[62]. Благодаря химическому изобретению, известному под названием „порох“, Кортес с несколькими сотнями головорезов покорил империю Монтесумы. У меня тоже есть собственное изобретение. В течение каждого столетия делается не

[62] notes: 62

Фаланга — плотно сомкнутый строй тяжеловооруженной пехоты в виде четырехугольника из нескольких рядов. Фаланга была известна древним грекам задолго до Александра Македонского. Построение фаланги было улучшено отцом Александра, Филиппом. В руках гениального полководца и политика Александра Македонского (356–323 до н. э.) фаланга была лишь одним из орудий, которым он умело пользовался для достижения своих целей.

менее полдюжины важных открытий и изобретений. Я сделал важное открытие, которое даст мне возможность овладеть целым миром. Я буду пользоваться этим открытием не для коммерческих целей или эксплуатации, а для блага всего человечества. Для достижения этой цели мне нужна помощь, услужливые и послушные помощники, и у меня достаточно силы, чтобы заставить людей служить мне. Я избираю кратчайший путь, хотя и не спешу. Я не смешиваю быстроты с поспешностью.

Побуждения материального характера послужили развитию человека из дикаря в полуварвара, каким он является сегодня. Эти побуждения были очень полезны в развитии человечества, но они уже сделали свое дело, и их место в мусорном ящике. Конечно, ваше мнение несходно с моим, но я не вижу причин, почему вы не должны принять участия в том, чтобы выбросить этот анахронизм в мусорный ящик. Я должен сообщить вам, что уже наступило время, когда человек может получать пищу и жилище

без всяких усилий, так же свободно, легко и просто, как воздух. Это станет возможным благодаря моему открытию и той силе, которую это открытие дало мне. И раз пища, одежда и жилище сделаются легкодоступными всем, стремление к материальным выгодам исчезнет из мира навсегда. Побуждения высшего рода — эстетические и художественные — захватят человечество и сделают прекрасными тело человека, его ум и дух. Тогда во всем мире настанет время счастья и радости. Это будет царство всеобщего счастливого смеха.

Ваш в ожидании этого дня

Голиаф».

И все-таки никто не хотел верить. Десять политиков находились в Вашингтоне и не имели возможности убедиться, как убедился Бессет, и никто из них не позаботился отправиться в Сан-Франциско. А Голиафа газеты провозгласили вторым Томом Лаусоном с его панацеей[63] от всех

[63] notes: 63

Панацея — у древних греков — богиня-целительница. У средневековых алхимиков — мнимое средство против всех болезней; отсюда панацея — средство против всяких зол и болезней.

бед. Нашлись еще специалисты по душевным болезням, которые после исследования писем Голиафа заявили, что он просто сумасшедший.

Яхта «Энергон» прибыла в гавань Сан-Франциско 5 апреля, и Бессет сошел на берег. Но «Энергон» не снялся с якоря на следующий день, так как ни один из приглашенных политических деятелей не явился, чтобы отправиться на конференцию на остров Пальгрэйв. Однако в тот же день во всех городах Америки газетчики надрывали глотки, выкрикивая сенсационное сообщение: «Экстренный выпуск. Смерть десяти политических вождей».

Яхта, мирно стоявшая на якоре в гавани Сан-Франциско, сделалась центром общего внимания. Ее окружала целая флотилия лодок и баркасов, а пароходики сновали беспрестанно между яхтой и берегом. В то время как толпа не допускалась на яхту, представителям власти и даже репортерам разрешалось всходить на борт «Энергона». Городской голова Сан-Франциско и начальник полиции сообщили, что на яхте нет ничего подозрительного, а портовая администрация заявила, что необходимые документы в полном порядке. Газеты были заполнены описаниями яхты и снимками с нее.

Команда, как сообщали газеты, состояла главным образом из скандинавов — белокурых, голубоглазых шведов, суровых норвежцев, тупоумных финнов, — и в малой доле американцев и англичан. Писали, что команде совершенно несвойственна какая бы то ни было живость, проворство, что она состоит из грузных мужчин, в высшей степени прямых, честных и серьезных, но странно печальных. Они казались людьми без нервов и страха, как будто ими управляла какая-то сверхъестественная сила. Капитан — американец с широким, открытым лицом и грустными глазами — изображался в газетах как «печальный гусь» (герой-пессимист юмористических журналов).

Некоторые капитаны признали в «Энергоне» яхту «Скэд», принадлежавшую некогда нью-йоркскому яхт-клубу. При проверке оказалось, что действительно яхта «Скэд» исчезла бесследно несколько лет назад. Продавший ее агент заявил, что покупатель был также агентом, которого он никогда не встречал до покупки и не видел после нее. Яхта была перестроена заново на корабельных верфях Деффи в Нью-Джерси и надлежащим образом зарегистрирована под новым названием. И затем «Энергон» бесследно и таинственно

исчез.

Тем временем Бессет сходил с ума, или, по крайней мере, так говорили его друзья и дельцы, с которыми ему приходилось иметь дело. Он совершенно забросил свои дела и заявил, что будет работать над переустройством общества. Это, несомненно, служило доказательством его ненормальности. С репортерами он был скуп на слова и говорил, что не может опубликовать сведений о том, что он видел на острове Пальгрэйв, но уверял, что все это очень серьезно, что это серьезнее всего, что когда-либо случалось на Земле. В заключение он заявил, что весь мир находится накануне переворота, — к добру или ко злу, он не мог сказать, но, во всяком случае, был совершенно уверен в том, что переворот неизбежен. Что же касается его личных дел и интересов, то он послал их к черту. Он теперь понял нечто важнейшее, и больше ему ничего не надо.

Все это время происходил усиленный обмен телеграммами между местными властями и министерствами военных и внутренних дел в Вашингтоне. Было вынесено тайное решение проникнуть на борт «Энергона» и арестовать капитана, предъявив ему, как предложил главный государственный советник, обвинение в

убийстве десяти государственных мужей. Многие лица видели, как однажды после полудня из гавани отошел баркас с представителями власти, держа курс по направлению к «Энергону», но ни этого баркаса, ни находившихся на нем людей больше никто никогда не видел. Правительство хотело обойти молчанием это событие, но семьи без вести пропавших распространили слухи о нем среди публики, чем, конечно, не преминули воспользоваться газеты, подхватывавшие различные версии и предположения.

После этого правительство решило прибегнуть к крайним мерам. Дредноуту «Аляска» был отдан приказ захватить странную яхту, а если это оказалось бы почему-либо невозможным, то потопить ее.

Все это происходило втайне, но многотысячные толпы скопившихся на берегу и в гавани людей были свидетелями того, что произошло в тот день.

Дредноут развел пары и медленно подвигался к «Энергону». На расстоянии мили от него дредноут взорвался — просто взорвался, больше ничего — и быстро пошел ко дну. На поверхности плавало лишь несколько обломков, за которые хватались погибающие. Между спасшимися на-

ходился молодой лейтенант, заведовавший на «Аляске» беспроволочным телеграфом. На него сразу набросились репортеры, и он рассказал следующее:

— Не успела «Аляска» пройти и полпути, как с «Энергона» нами была получена телеграмма. Она была передана в общепринятых международных условных знаках и предупреждала «Аляску» не подходить ближе чем на полмили. Я немедленно сообщил об этом капитану. Не знаю, что было дальше, знаю только, что «Энергон» два раза предупреждал нас, и что минут через пять после второго предупреждения произошел взрыв.

Капитан «Аляски» погиб вместе с дредноутом, и поэтому нельзя было получить более подробных сведений.

Вслед за этим «Энергон» немедленно снялся с якоря и ушел в море. Газеты подняли невообразимый шум. Правительство обвиняли в трусости и нерешительности, на него нападали за то, что оно не могло справиться с простой увеселительной яхтой и с сумасшедшим, называющим себя Голиафом, и требовали принятия решительных мер. В печати был поднят страшный вопль по поводу гибели стольких человеческих жизней, и особенно оплакивалась преждевременная кон-

чина десяти государственных мужей.

На это немедленно последовал ответ Голиафа. В сущности, ответ последовал так быстро, что эксперты беспроволочного телеграфа заявили, что ответ ни в коем случае нельзя было послать по беспроволочному телеграфу и что, следовательно, Голиаф находился не на острове Пальгрэйв, а где-то поблизости. Письмо Голиафа было доставлено в бюро информации печати мальчиком-курьером, которому это было поручено на улице. Голиаф писал:

> «Что значат несколько ваших ничтожных жизней? В ваших безумных войнах вы губите миллионы жизней, совершенно об этом не думая. В вашей братоубийственной борьбе из-за золота вы убиваете бесчисленное множество детей, женщин и мужчин, и вы победоносно называете подобную бойню „индивидуализмом“. Я называю это анархией. Я должен прекратить это безумное массовое уничтожение человеческих жизней. Я не хочу войны и убийств, я хочу радости и веселья, но те из вас, кто будет стоять на пути к общему счастью и радости, будут убиты.

Ваше правительство хочет изобразить дело так, что „Аляска“ погибла от случайной причины. Так знайте же, что она погибла по моему приказанию. В течение нескольких ближайших месяцев все военные суда на всех морях будут взорваны, и все народы разоружатся. Крепости будут срыты с лица земли, армии распущены, и войны на Земле прекратятся навсегда. У меня хватит для этого сил. Все страны будут покорены мною, но после покорения наступит всеобщий мир.

Голиаф».

«Необходимо немедленно взорвать на воздух этот проклятый остров Пальгрэйв!» — вопили передовицы газет. Правительство было того же мнения и отдало приказ флоту быть готовым. Вальтер Бессет выступил с протестом, но его быстро заставили замолчать, пригрозив сумасшедшим домом. Голиаф хранил молчание. Против острова Пальгрэйв были выпущены огромные морские силы — азиатская эскадра, южнотихоокеанская эскадра, северотихоокеанская эскадра, эскадра Карибского моря и половина североатлантической эскадры. Две последних

прибыли через Панамский канал.

«Имею честь донести, что мы завидели остров Пальгрэйв вечером 29 апреля, — писал капитан броненосца „Северная Дакота“ Джонсон военному министру. — Азиатская эскадра запоздала и прибыла только утром 30 апреля. Немедленно же состоялось совещание адмиралов, на котором было решено повести атаку на следующее утро. Истребитель „Быстрый“ тайно обследовал остров и донес, что на нем не видно никаких военных приспособлений. В гавани находилось лишь несколько торговых пароходов, да на берегу виднелась небольшая деревушка, которую в одно мгновение можно было уничтожить огнем.

Было решено, что все суда, построившись боевым порядком, направятся к острову и на расстоянии трех миль откроют ураганный огонь, поддерживая его все время, пока не подойдут к острову вплотную. С острова мы все время получали по беспроволочному телеграфу предупреждения не подходить ближе чем на

десять миль, но этим предупреждениям не придавалось никакого значения.

„Северная Дакота“ не могла принять участия в этой атаке по причине происшедшей накануне незначительной поломки в машине. Утром первого мая стояла ясная и тихая погода. Дул легкий юго-восточный ветерок. „Северная Дакота“ находилась от острова в двенадцати милях. По данному сигналу все эскадры полным ходом двинулись на остров со всех сторон. Радиотелеграф все время получал с острова предупреждения. Суда перешли границу, указанную Голиафом, и ничего не случилось. Я следил в бинокль за происходящим. На расстоянии пяти и четырех миль от острова суда шли благополучно. На расстоянии трех миль „Нью-Йорк“, находившийся во главе эскадры, открыл огонь. Другие суда не стреляли. Одно за другим они начали взрываться у нас на глазах. Некоторые повернули обратно, чтобы избежать страшной участи, но им не удалось спастись. Истребитель „Стрела“ успел отойти от острова почти на десять миль, но и

он взлетел на воздух. Он был последним. „Северной Дакоте“ не было причинено никакого вреда, и, так как поломка была исправлена, я в ту же ночь отдал приказ взять курс на Сан-Франциско».

Если мы скажем, что Соединенные Штаты были поражены, то этим обнаружим лишь слабость и бедность нашего языка. Весь мир был поражен. Это было что-то беспримерное, неслыханное. Человеческий ум не мог ничего понять. Достижения и завоевания человеческого ума становились глупой шуткой, чудовищной насмешкой, если какой-то сумасшедший с одинокого острова, владевший простой яхтой и небольшой деревушкой, оказался в состоянии уничтожить один из величайших флотов, составлявший гордость всего мира.

Каким образом он это мог сделать? Никто ничего не знал. Ученые вопили, плакали и посыпали пеплом главу. Они ничего не могли понять. Военные эксперты десятками кончали самоубийством. Могучий военный аппарат, придуманный и взлелеянный ими, становился тонкой паутиной, которую рвал на части какой-то сумасшедший. Их разум не мог этого постигнуть.

Подобно колдуну, покоряющему дикаря непостижимым для него магическим фокусом, Голиаф своей таинственной силой покорил мир. Но как он это делал? Это был ужасный вопрос, стоявший перед миром и пугавший его.

Но не весь мир был поражен. Было одно исключение — островная империя Япония. Опьяненная успехом, глубоко веря в свою восходящую звезду, смеясь над крушением науки и гордясь своей расой, Япония готовилась к войне. Флот Америки был уничтожен. Воинственные предки из могилы обращали свои взоры на Японию и призывали ее к войне. Ниспосланный самим Богом благоприятный момент наступил. Микадо на деле должен был победить дракона Голиафа и стать земным богом.

Морские военные чудовища Японии были спущены с цепи. Завоевать Филиппинские острова было так же легко, как легко ребенку сорвать цветок. Чтобы добраться до Гавайских островов, Панамы и Тихоокеанского побережья, потребовалось немного времени. Соединенные Штаты были охвачены паникой; образовалась сильная партия, требовавшая мира на каких угодно условиях. Во время всей этой тревоги в Сан-Франциско прибыл «Энергон», и Голиаф еще раз обратился с

письмом к народу. При входе «Энергона» в залив Сан-Франциско взорвалось несколько пороховых погребов, и взрывами были разрушены укрепления на берегу. Красивый фейерверк представился глазам зрителей, когда взрывались подводные мины у Золотых Ворот. Послание Голиафа к народу Сан-Франциско было напечатано во всех газетах.

> «Вы хотите мира? Вы его получите. Я уже говорил об этом раньше. Но и вы должны меня оставить в покое. Не трогайте моего „Энергона“. Если вы хоть чем-нибудь повредите ему, в Сан-Франциско не останется камня на камне.

Пусть все граждане-друзья соберутся завтра на холмах, что спускаются к морю. Приходите с музыкой, смехом и цветами. Устройте праздник в честь грядущего нового века. Будьте на этих холмах, как дети, и будьте очевидцами гибели войны. Не забудьте же присутствовать при этом зрелище. Последний раз вы увидите то, что отныне можно будет видеть лишь в музеях древности. Приходите. Это будет день радости и веселья.

Голиаф».

Какое-то безумие носилось в воздухе. Народу представлялось, что Бог и его законы повергнуты в прах, хотя небо и оставалось еще на месте. Порядок и закон исчезли с лица земли, хотя солнце все еще изливало свою благодать, ветер играл листвою деревьев, и цветы издавали благоухание. Это было поразительно. Было чудом, что вода все еще течет в сторону уклона. Все устои человеческого разума и человеческих достижений рассыпались прахом. Одна только вещь оставалась устойчивой — это Голиаф, сумасшедший с острова Пальгрэйв.

На следующий день все население Сан-Фран-

циско пестрой веселой гурьбой отправилось на холмы, спускавшиеся к морю. Впереди толпы шли оркестры.

Море застилало густое облако дыма, выходившего из труб сотни вражеских военных судов, выстроившихся против беззащитных, беспомощных Золотых Ворот. Хотя, впрочем, не совсем беззащитных, потому что в Золотые Ворота прошел «Энергон», маленькая белая игрушка, качавшаяся, как соломинка, на морских волнах. Но японцы были осторожны. Их суда в тридцать и сорок тысяч тонн приостановили ход милях в шести от Золотых Ворот, неуклюже маневрируя, в то время как небольшие суда-разведчики шли прямо к Золотым Воротам, разрезая морские волны, точно акулы. Но рядом с «Энергоном» и они казались огромными. «Энергон» казался мечом архангела Михаила, а они — властителями ада.

Народ Сан-Франциско, собравшийся на холмах, не видел взмаха меча. Таинственно, невидимо он прорезал воздух и нанес такой удар, какого еще не видал мир. Население Сан-Франциско увидело только, как японский флот в полтора миллиона тонн взлетел к небу, а затем в виде огненного дождя посыпался в море. Все было кончено в пять минут. На море остался один «Энергон»,

как игрушка, качавшийся на разбушевавшихся волнах.

Голиаф обратился к микадо и его министрам. Это была обыкновенная телеграмма, отправленная по кабелю из Сан-Франциско капитаном «Энергона», но ее было вполне достаточно, чтобы Япония немедленно очистила Филиппины и убрала остатки своего флота с моря.

Сомневающаяся Япония была обращена. Она почувствовала силу Голиафа. И она покорно подчинилась, когда Голиаф приказал ей по частям разобрать свои военные суда и использовать металл для полезных предметов. Во всех портовых доках, мастерских, литейных заводах тысячи желтолицых ремесленников превращали военные чудовища в мириады полезных предметов, как, например, плуги (Голиаф особенно настаивал на плугах), автомобили, принадлежности для мостов, телефона и телеграфа, рельсы, локомотивы и все, что нужно для железных дорог.

Следующий призыв Голиафа относился к десяти выдающимся ученым Соединенных Штатов. На этот раз все явились без малейшего промедления. Ученые оказались до смешного исполнительными. Некоторые из них приехали в Сан-Франциско задолго до назначенного

времени. Они отплыли на «Энергоне» 15 июня и возвратились с острова Пальгрэйв 6 июля. Большие наряды полиции охраняли их от репортеров. В одном официальном интервью, которое было разрешено правительством, они заявили, что не видели Голиафа, но говорили с ним и кое-что узнали. Им не было разрешено ясно изложить, что они видели и слышали, но они заявляли, что в мире произойдет полная революция.

Голиаф сделал необыкновенное открытие, которое отдавало на его милость весь мир, и хорошо еще, что Голиаф был милостив.

Ученые мужи специальным поездом проследовали прямо в Вашингтон, где они в течение многих дней совещались с представителями правительства, в то время как народ изнывал от нетерпения в ожидании результатов.

Но результатов совещания пришлось ждать очень долго. Из Вашингтона президент давал приказы в разные страны. Все держалось в тайне. Изо дня в день в Вашингтон являлись депутации от банкиров, железнодорожных магнатов, королей промышленности и разных государственных чиновников и сенаторов. Эти депутации оставались в Вашингтоне. Прошло несколько недель, а затем с 25 августа началось знаменитое опубликова-

ние постановлений. Конгресс и сенат работали вместе с президентом, а верховные судьи утверждали их постановления. Финансовые тузы и короли промышленности на все давали свое согласие. Прежде всего была объявлена война капиталистам — хозяевам всей страны, и повсеместно введено военное положение. Президент был облечен высшей властью.

По всей стране был запрещен детский труд. Был опубликован декрет, а армии отдан приказ поддержать его, если потребуется, вооруженной силой. Затем в тот же день на фабриках и заводах были рассчитаны все женщины, а все мелкие предприятия, эксплуатировавшие рабочих, закрыты.

— Ну, теперь пропали наши барыши! — вопили мелкие хозяйчики.

«Глупцы, — отвечал им Голиаф. — Разве жизнь заключается в барышах? Бросьте вашу торговлю и погоню за барышами».

— Но кто же купит наши предприятия? — продолжали они вопить.

«Разве жизнь заключается в том, чтобы продавать и покупать? — отвечал Голиаф. — Не нужно продавать. Передайте правительству свои предприятия, и правительство создаст правильную и

регулярную организацию производства».

На следующий день был опубликован декрет о передаче в руки правительства всех фабрик, заводов, рудников, железных дорог и земель.

Национализация средств производства и распределения пошла быстрым темпом. Некоторые капиталисты пытались организовать сопротивление. Их моментально арестовывали и отправляли на остров Пальгрэйв. Возвратившись оттуда, они во всем соглашались с правительством. Впоследствии в этих экскурсиях на остров Пальгрэйв не было необходимости. Когда кто-нибудь сопротивлялся, ему заявляли: «Так приказал Голиаф», — а это означало: ты должен немедленно повиноваться.

Короли промышленности были поставлены во главе предприятий. Оказалось, что инженеры, например, работали для правительства с таким же успехом, как раньше для частных владельцев, и что люди с большими творческими силами не могли насиловать свою природу. Они не могли отказаться от проявления своего творчества, как краб не может не ползать, а птица — не летать. Поэтому все силы человека, которые тратились прежде для достижения эгоистического благополучия, теперь прилагались к труду для блага

всего общества.

Совместными усилиями пяти-шести главных инженеров-железнодорожников удалось организовать единую железнодорожную сеть в государстве, оказавшуюся в высшей степени продуктивной. Инженеры не были железнодорожными магнатами с Уолл-стрит[64], но они были раньше слугами магнатов с Уолл-стрит.

Уолл-стрит замерла. Прекратились купля, продажа и спекуляция. Никто ничего не продавал и не покупал. Нечем было спекулировать.

— Заставьте биржевых игроков работать, — сказал Голиаф, — пусть они учатся полезным ремеслам. Дайте также работу и разным приказчикам, коммивояжерам и агентам.

И тысячи и десятки тысяч бесполезных прежде посредников и паразитов занялись полезным делом. Четыреста тысяч праздных джентльменов, живших раньше на свои «доходы», теперь стали работать. Кроме того, на всяких высоких постах было много бесполезных людей, которых немедленно выгнали работавшие вместе с ними их прежние сотрудники. К этим господам принадлежали и профессиональные политиканы,

---

[64] notes: 64
Уолл-стрит — улица в Нью-Йорке, где находится биржа.

привыкшие только интриговать да брать взятки. Теперь взяточничество прекратилось. Так как больше не существовало частных интересов, для которых необходимы особые привилегии, законодателям никто не предлагал взяток, и они впервые начали издавать законы для народа. В результате во главе законодательства стали самые честные, самые способные люди в стране.

Благодаря такой разумной организации общества были достигнуты поразительные результаты. Во всем государстве был проведен восьмичасовой рабочий день, но производство увеличилось. Несмотря на то что государство много тратило сил на постоянные улучшения и нововведения, а также на приведение в порядок всего того хаоса, который остался от прежнего строя, производство увеличилось в два-три раза. Люди начали питаться, одеваться и пользоваться предметами роскоши в большем размере, чем раньше, и все-таки потребление не могло угнаться за производством. Рабочий возраст был установлен от 18 до 48 лет. Восьмичасовой рабочий день был заменен семичасовым, а затем, по прошествии нескольких месяцев, пятичасовым.

В то же время начали обнаруживаться кое-какие указания на то, как действовал Голиаф, чтобы

взять управление миром в свои руки. То здесь, то там выявлялась какая-нибудь мелочь, приоткрывавшая завесу. События, которые на первый взгляд, казалось, не имели никакого отношения друг к другу, теперь соединялись и кое-что объясняли в прошлом. Вспоминали о случаях кражи чернокожих в Африке, о заключенных контрактах с китайскими и японскими кули, которые затем бесследно исчезли, о набегах на одинокие острова Южных морей, жители которых куда-то увозились. Говорили о тех яхтах и торговых пароходах, которые приобретались какими-то таинственными лицами и затем исчезали, причем добавляли, что суда, которые возили китайцев, японцев и африканцев, имели кое-что общее с исчезнувшими яхтами и пароходами. Явился вопрос: каким образом Голиаф достиг такой силы? Эксплуатацией труда всех этих украденных им рабочих?

Предполагали, что это был труд тех, кто жил в деревушке на острове Пальгрэйв. Благодаря их труду можно было купить яхты и пароходы и дать возможность агентам Голиафа проникать во все слои общества и выполнять его волю. Но какие же предметы производились этими людьми, дав возможность Голиафу накопить богатство и все

то, что ему было необходимо для осуществления его планов? Газеты заявляли, что это был радий, и радиит, и радиозол, и аргазий, и аргит, и таинственный голит (который играет теперь такую важную роль в металлургии). То были новые соединения, открытые в первом десятилетии XX века и нашедшие себе широкое применение в науке и промышленности во втором десятилетии.

Говорили, что те суда, которые возят фрукты между Гавайскими островами и Сан-Франциско, принадлежит Голиафу. Это было лишь предположение, основанное на том, что владельца этих судов не знали, так как во главе их стояли простые агенты. А раз не было хозяина у этих судов, значит, они принадлежали Голиафу.

Все эти предположения оказались правильными, как показало будущее. Через несколько лет все рабочие Голиафа стали известны Международному Правительству, которое оказало им великие почести и назначило пенсию. В это же время печать молчания была снята с уст агентов и высших комиссаров, и некоторые из них поведали очень многое об организации и методах Голиафа. Но те, что руководили разрушением, остались немы навсегда. Кто выполнял по приказу Голиафа убийства высокопоставленных

лиц, осталось неизвестным; убийства производились при помощи той утонченной и тогда еще таинственной силы, которую открыл Голиаф и которую он назвал «энергон».

Но в то время об энергоне, которому было суждено перевернуть весь мир, еще никто не знал. Знал о нем только Голиаф, и это была его тайна. Даже те его помощники, которые были вооружены этим средством и которые с яхты «Энергон» уничтожили могущественный военный флот, взорвав на военных судах пороховые погреба, даже они не знали, что это было за средство и как оно изготовлялось. Они только знали об одном из его многочисленных применений, которому их научил Голиаф. Теперь уже прекрасно известно, что радий, радиит, радиозол и другие химические соединения были побочными продуктами при добывании Голиафом энергона из солнечных лучей; но в то время никому еще не было известно, что такое энергон, и Голиаф продолжал держать весь мир в благоговейном ужасе.

В декабре 19… года Голиаф выпустил свое знаменитое «рождественское послание», некоторые выдержки из которого мы здесь приводим:

«До сих пор я больше всего внимания

уделял Соединенным Штатам, хотя в то же время старался не допустить войн и между другими народами. Но не я ввел разумный общественный строй в Соединенных Штатах. Я только старался помочь народу ввести у себя такой строй. И в настоящее время в Соединенных Штатах гораздо больше веселья, радости и смеха, чем раньше, и в то же время больше разумности. Пищу, одежду и жилище все получают уже не при помощи прежнего анархического метода, но почти без всякого труда. Особенно ценно, что народ Соединенных Штатов сам достиг этого. Я повторяю: он достиг этого сам. Моя помощь выразилась лишь в том, что я вселил страх смерти в сердца небольшого числа лиц, находившихся на высоких постах и мешавших торжеству разума и радостной жизни. Страх смерти заставил их сойти с дороги и дать возможность людям проявить свой разум и свои знания для разумного общественного устройства.

В настоящем году я намерен заняться и другими странами света. Я наполню стра-

хом смерти сердца высокопоставленных лиц всех народов.

И они принуждены будут последовать примеру Соединенных Штатов — сойти с дороги и очистить место для разумного общественного устройства. Все народы пойдут по тому пути, на который вступили Соединенные Штаты.

И когда все нации полностью станут на этот путь, я преподнесу им подарок. Но сначала они сами должны расчистить себе путь. Они должны наглядно показать, что современный человеческий разум и знание, соединенные с той механической силой, которая находится в распоряжении человека, вполне могут создать общество на таких началах, что пища, одежда и жилище будут обеспечены человеку почти без труда, что труд уменьшится до трех часов в день и что радость, веселье и смех воцарятся во всем мире. И когда это будет достигнуто не моими усилиями, а разумом человечества, тогда я подарю человечеству новый способ применения механической энергии. Это и есть мое изобретение. Энергон

— это новая сила. Это не что иное, как космическая энергия, заключающаяся в солнечных лучах. Когда человечество овладеет ею, оно заставит ее производить работу для всего мира. Тогда больше не будет ни громадных армий, ни шахтеров, губящих свою жизнь в недрах земли, ни пропитанных сажей кочегаров, ни засаленных механиков. Все смогут тогда носить белые платья, если это им будет нравиться. Труд сделается игрой, и молодые и старые будут радостны и веселы, как дети, вся жизнь будет радостью. Люди будут стремиться к достижениям в других, нематериальных областях, проявляя свои силы в живописи, поэзии, вообще в искусстве, в играх и в разумных спортивных состязаниях. Они будут вступать в соревнование друг с другом не ради презренного металла и материальных побуждений, но ради той радости, которую им доставят сила и крепость их тела и утонченность и изящество их духа. Все сделаются кузнецами общего счастья, и труд людей будет состоять в том, чтобы ковать радость и смех на звонкой нако-

вальне жизни.

И еще одно слово о ближайшем будущем. В день Нового года все нации разоружатся, военные флоты будут превращены в полезные суда, крепости уничтожены, и армии распущены.

Голиаф».

В день Нового года весь мир разоружился. Были распущены по домам бесчисленные миллионы солдат, матросов и рабочих, которые находились в постоянных армиях, флотах, в многочисленных арсеналах, на военных заводах и фабриках. Эти бесчисленные миллионы людей, равно как и пожиравший огромные средства военный аппарат, содержались усиленным трудом рабочих всего мира. Все они принялись за полезное дело, и освобожденный великан-труд первый раз за всю историю человечества вздохнул свободно.

До сих пор девяносто процентов всех преступлений были преступлениями против частной собственности. С уничтожением частной собственности и с организацией промышленности на таких началах, что каждому был открыт широкий доступ к труду, преступления против собственности прекратились! Полицейские силы

повсеместно сокращались. Не было причин для преступлений, и люди изменились вместе с изменением жизненных условий. Небольшое число преступников было помещено в больницы, где их подвергли особому лечению, а врожденные, безнадежные преступники были отделены от остального общества. Также и судебные учреждения во всех странах постепенно уменьшались в своем размере. Девяносто пять процентов всех гражданских дел до сих пор состояли из споров из-за собственности: споры из-за имущества, тяжбы, духовные завещания, нарушение контрактов и сделок, банкротства и т. д. С исчезновением частной собственности исчезли и все эти судебные процессы. Суды превратились в тени, в какие-то привидения, в пережиток времен анархии — до появления Голиафа.

19… год был веселым годом в мировой истории. Сильной рукой Голиаф правил миром. Короли и императоры производили экскурсии на остров Пальгрэйв, где им показывали чудеса энергона, и с ужасом смерти в душе возвращались они в свои страны и отрекались и от тронов, и от корон, и от наследственных прав.

Когда Голиаф обращался к политикам (так называемым государственным мужам), они

повиновались — или… умирали. Он диктовал мировые реформы, разгонял непослушные парламенты, а денежные тузы и короли промышленности, пытавшиеся устраивать заговоры, погибали от руки его агентов.

«Прошло время для глупостей, — говорил он. — Вы — анахронизм. Вы стоите на пути человечества. Отправляйтесь в мусорный ящик!»

Тем, кто протестовал — а таких было много, — он говорил:

«Теперь не время для болтовни. Вас не переслушаешь и за сто лет. Вы болтали в прошлом. А у меня нет для этого времени. Прочь с дороги!»

За исключением прекращения войн и составления в общих чертах плана дальнейших работ, Голиаф ничего не сделал. Запугав страхом смерти всех тех, кто занимал высокие посты и мешал прогрессу, Голиаф дал возможность освобожденному разуму лучших общественных мыслителей проявить себя во всей полноте. Голиаф предоставил этим мыслителям всю громадную работу по переустройству общества. Он хотел, чтобы они доказали, что в состоянии это сделать, и они доказали. Только благодаря их усилиям и их работе навсегда было покончено с сифилисом. Благодаря им и несмотря на многочисленные

протесты со стороны чувствительных людей, все те, у кого оказались в опасной форме врожденные духовные или физические недостатки, были изолированы от остального общества, и им не разрешалось вступать в брак.

Голиаф совершенно не был причастен к учреждению института изобретений. Эта мысль родилась почти одновременно в умах многих тысяч мыслителей. Время уже созрело для осуществления этой идеи, и везде появились замечательные институты изобретений. Впервые изобретательность человеческого ума была направлена на то, чтобы упростить и облегчить жизнь, а не на то, чтобы побольше получить денег. Такие работы, как содержание в чистоте дома, мытье окон и посуды, удаление пыли, стирка белья, благодаря различным техническим изобретениям были упрощены, а затем стали легко и быстро выполняться машинами. Теперь мы даже не можем себе представить ту грязную и рабскую обстановку, в которой жили люди до того времени.

Мысль о едином международном правительстве была другой мыслью, одновременно родившейся в умах многих тысяч людей. Осуществление этой идеи для многих явилось неожиданностью, но еще большей неожиданностью

для разных кротких протестантов-социологов и биологов было то, что неопровержимые факты опрокинули учение Мальтуса[65]. Несмотря на то что у людей было много досуга, что их пища, одежда и жилище были во много раз лучше, чем раньше, что они обладали огромными возможностями для развития своего тела и духа, несмотря на все это, рождаемость пала, и пала поразительно. Люди перестали рождать, как животные. И еще важнее было то, что рождающиеся были крепче и красивее, чем раньше. Учение Мальтуса было заброшено в мусорный ящик, как выразился бы Голиаф.

Голиаф предсказывал, что человеческий разум с механической энергией к его услугам сможет совершать чудеса. Так и случилось. Недовольство почти исчезло с лица земли. Обыкновенно ворчунами бывают старики; но когда общество, после того, как кончался установленный срок рабочих лет, отстраняло стариков от работы, давая им в то же время возможность жить в тех же услови-

[65] notes: 65

Роберт Мальтус — английский экономист (1766–1834). Главный его труд — «Опыт о народонаселении», в котором он пытался установить так называемый закон народонаселения, согласно которому население Земли имеет склонность возрастать в геометрической прогрессии, в то время как средства пропитания могут расти лишь в арифметической. Этим несоответствием Мальтус пытался объяснить все социальные беды. Несостоятельность учения Мальтуса была доказана в свое время.

ях, что и раньше, — громадное большинство не делалось теперь ворчунами. Им на старости лет было гораздо лучше при новом строе, они пользовались большим спокойствием и большим комфортом, чем в то время, когда были молоды и должны были тяжело трудиться при прежнем строе. Более молодое поколение быстро освоилось с новыми порядками, а дети совсем не знали ничего о тяжком прошлом.

Счастья на Земле стало во много раз больше, чем раньше. Жизнь стала повсеместно радостной и разумной. Даже старые глупые профессора социологии, всеми силами противившиеся вначале введению нового порядка, теперь замолчали. Их вознаграждение было во много раз больше, чем раньше, причем им не приходилось тяжело работать. Они усердно занялись исправлением учебников по социологии. Правда, изредка встречались остатки прошлого, существа с большими зубами и огромными когтями, которые жалели о том «индивидуализме», когда можно было есть мясо и пить кровь своих ближних; но на таких людей смотрели как на больных и отправляли их в клиники. Небольшое число их, однако, оказалось неизлечимым, и таких пришлось изолировать и запретить им вступать в брак. Таким

образом, после них не оставалось потомства, которое могло бы унаследовать их атавистические свойства.

С течением времени Голиаф отказался от управления миром. Ему нечем было управлять. Мир управлялся само собой, и делалось это без всяких трений и потрясений.

В 1937 году Голиаф преподнес миру давно обещанный им подарок в виде энергона. Голиаф придумал тысячи применений энергона и сделал это достоянием всех. Но институты изобретений нашли еще многие тысячи применений. На самом деле, как сознался сам Голиаф в своем письме в марте 1938 года, институты изобретений разъяснили ему несколько особенностей энергона, которые были непонятны ему самому. С введением применения энергона двухчасовой рабочий день был уменьшен почти до нуля. Труд действительно сделался игрой, как предсказывал Голиаф. И так велика была производительность человека благодаря разумному применению энергона, что самый скромный гражданин пользовался благами земли в гораздо большей степени, чем самый привилегированный при прежнем строе.

Но никто никогда не видел Голиафа, и люди начали просить своего спасителя показаться им.

Хотя мир высоко ценил Голиафа за изобретение энергона, но еще больше ценили этого мыслителя за его широкий кругозор, за его социальные идеи. Его считали сверхчеловеком, сверхчеловеком науки, и люди страстно желали увидеть его.

Наконец, в 1940 году, победив свои колебания, Голиаф покинул остров Пальгрэйв и 6 июня прибыл в Сан-Франциско. Мир в первый раз увидел его лицо. И мир был разочарован. Воображение людей создало из Голиафа героическую фигуру. Его считали необыкновенным человеком, каким-то полубогом, перевернувшим всю планету. Завоевания Александра Македонского, Цезаря и Наполеона казались детской игрой в сравнении с его достижениями.

На набережную Сан-Франциско вступил старичок небольшого роста, лет шестидесяти пяти, хорошо сохранившийся, со свежим цветом лица и с небольшой лысиной. Он был близорук и носил очки. Когда он снимал очки, его смешные голубые глаза светились, как у ребенка, выражая какое-то удивление. Иногда они блестели, и на лице появлялись гримасы, как будто Голиаф смеялся над той огромной шуткой, которую он разыграл в мире, сделав человечество, против его воли, счастливым и радостным.

У Голиафа было много слабостей, и это трудно было соединить с представлением о нем как о сверхчеловеке науки и как о тиране мира. Он любил сладкое, и ему очень нравился соленый миндаль. Он всегда носил с собой пакетик с миндалем, говоря, что организм его требует именно миндаля. Но самой большой его слабостью была боязнь кошек. У него всегда было непреодолимое отвращение к этим домашним животным. Однажды он упал в обморок во время речи во Дворце Братства, когда кошка управляющего дворцом вошла на трибуну и стала тереться о его сапог.

Как только он показался миру, немедленно была установлена его личность. Прежние его друзья без особенного труда узнали в нем некоего Персиваля Штульца, американского немца, который в 1898 году работал на машиностроительном заводе и в течение двух лет состоял секретарем Международного братства машинистов. В 1901 году, когда ему было двадцать пять лет, он поступил на специальные научные курсы в Калифорнийском университете и служил в то же время агентом по так называемому страхованию жизни. О нем в университете сохранились воспоминания, которыми нельзя было особенно похвастаться. Профессора особенно отмечают

его рассеянность. Нет сомнения, что уже тогда в его голове бродили великие идеи, которые он впоследствии осуществил.

То, что он назвал себя Голиафом и облекся в таинственность, было просто шуткой с его стороны, как он впоследствии заявлял. В образе Голиафа или чего-нибудь в том же духе он был в состоянии поразить воображение людей и перевернуть весь мир, как он говорил, но как Персиваль Штульц, с небольшими бакенбардами, в очках и весом пятьдесят девять кило, он не мог бы перевернуть даже зернышка соленого миндаля.

Однако мир быстро оправился от своего разочарования внешностью Голиафа и его прошлой жизнью. Мир знал и почитал его как величайшего человека всех веков и любил его ради его самого. Любил его за смешные близорукие глаза, за его неподражаемые гримасы, за его простоту, душевность, товарищеское отношение к людям, за его склонность к соленому миндалю и за его отвращение к кошкам.

И теперь в чудесном городе Азгарде поднимается к небу в честь Голиафа величественный памятник, перед которым пирамиды и все древние, обрызганные кровью, монументы кажутся карликами. И на этом памятнике, как всем из-

вестно, прибита огромная бронзовая доска, на которой написано следующее осуществившееся пророчество:

> «Все сделаются кузнецами общего счастья, и труд людей будет состоять в том, чтобы ковать радость и смех на звонкой наковальне жизни».

Джек Лондон
Золотой мак

У меня есть маковое поле.

Это значит, что по милости божьей и по благорасположению издателей, я имею возможность каждый месяц платить джентльмену духовного звания известную сумму золотом, за что он дает мне право на обладание известным клочком макового поля. Это поле горит по краям холма Пьемонта. Внизу лежит весь мир. Неподалеку, за серебристыми водами залива, дымит своими трубами Сан-Франциско, расположенный на многочисленных холмах, словно второй Рим. Гора Тамалпайс могучим плечом упирается в небо, а на полпути находятся Золотые Ворота, где любят собираться морские туманы. С макового поля наше зрение часто улавливает блестящую синеву Тихого океана и те многочисленные пароходы, которые без конца приходят и уходят.

— Наше маковое поле будет доставлять нам много радости, — сказала Бесси.

— Да, — отвечал я. — И как нам будут завидовать горожане, которые будут приходить к нам,

и как они будут радоваться, отправляясь домой с большими букетами в руках.

— Но эту дрянь надо убрать, — прибавил я, указывая па бесчисленные навязчивые вывески, оставленные последним арендатором, на которых красовалась следующая надпись:

«Частная собственность. Проход воспрещается.»

Неужели мы должны запрещать горожанам проходить по земле только потому, что они не имеют счастья быть с нами знакомы?

— Как я ненавижу подобные вещи, — сказали Бесси, — эти надменные символы власти.

— Они — позор для человеческой природы, — отвечал я.

— Своим отвратительным видом они портят весь прекрасный пейзаж, — заметила она.

— Надо будет убрать эту мерзость, — резко произнес я.

Мы с Бесси мечтали о том времени, когда зацветет мак. Мы ожидали этого момента со всем нетерпением, свойственным городским людям, которые давно хотели обладать куском земли, но не могли осуществить своих желаний.

Я забыл упомянуть, что рядом с маковым нолем находился небольшой сельский домик, в котором

мы решили покончить с городскими традициями и зажить более свободной, здоровой жизнью.

Первые цветы, появившиеся среди пшеницы, были оранжевого и золотистого цвета, и это доставило нам такую радость, что мы бегали и суетились, точно опьяненные, и в десятый, сотый раз указывали друг другу на эти цветы, любуясь их красотой.

Среди глубокого молчания мы внезапно разражались смехом, то вдруг нам становилось стыдно, и мы незаметно друг от друга уходили, чтобы полюбоваться своим сокровищем наедине. Но когда цветы разлились но пшенице широкой полной и горели огнем, мы и смеялись, и громко пели, и плясали, и хлопали в ладоши, и были как сумасшедшие.

Но вот явились варвары. Во время набега я как раз намылил лицо, собираясь бриться, н, держа бритву перед собой, взглянул в окно на свое любимое поле. В отдаленном конце я увидел мальчика и девочку, которые быстро рвали желтые цветы.

«Ах, какая прелесть доставлять детям радость своими цветами, — подумал я. — Их радость будет моей радостью. Пусть дети рвут цветы все лето».

«Но… только маленькие дети, — прибавил я, подумав, — и притом они должны рвать с даль-

него конца».

Последняя мысль пришла мне на ум при виде цветов под самым окном.

Я занялся бритьем, а так как оно всегда захватывает все мое внимание, я ни разу не посмотрел в окно, пока не окончил. Взглянув затем в окно, я изумился.

На первый взгляд перед окном было как-будто знакомое место. Вот стоит целый ряд сосен по одну сторону, вот магнолия в полном цвету, пот у изгороди, точно залитые кровью японские айвы. Да, это было мое поле. Но куда девалась настоящая волна цветов мака, так нежно качавших своими головками у меня под окном?

Набросив куртку, я выбежал на двор. Вдали я увидел два огромных шара, оранжевого и желтого цвета, которые быстро катились в противоположную от моего поля сторону.

— Джонни, — обратился я к девятилетнему сыну моей сестры, — если ты увидишь детой, которые будут рвать мак на нашем поле, то ты подойди к ним и спокойно, мягко скажи, что этого делать нельзя.

Наступили теплые дни, н опять цветы заиграли на моем поле. Однажды за цветами явилась девочка соседа, мать которой просила Бесси

разрешить ей нарвать букет. Но мне это было неизвестно н, когда я увидел ее среди цветов, я сильно закричал:

— Девочка! Девочка!

Бедная девочка, спотыкаясь, бросилась наутек, а я пошел к Бесси, чтобы сказать ей об этом случае. Она рассказала мне, в чем дело, и сейчас же отправилась к матери девочки с «объяснением». Но и до сего дня девочка избегает встречи со мной, а ее мать уже никогда не будет так сердечна со мной, как раньше.

Наступили хмурые, мрачные дни, дул резкий, холодный ветер, и беспрестанно, изо дня в день, накрапывал дождь. Горожане сидели по домам, как крысы во время наводнения, и, когда прояснилась погода, как крысы выползли из своих конур и явились в Пьемонт, чтобы согреться в благодатных лучах солнца. Целые толпы их производили набеги на мое поле, безжалостно вытаптывали пшеницу и рвали маки прямо с корнями.

— Придется вывесить объявление, что ходить здесь воспрещается, — сказал я жене.

— Да, — отвечала Бесси со вздохом,-мне кажется, что это необходимо.

Прошло несколько дней, и опять со вздохом она

обратилась ко мне:

— Знаешь, милый, твои вывески, как видно, ничего не помогают. Люди, повидимому, совсем разучились читать в такие дни.

Я вышел на террасу. Городская нимфа, в легком летнем платье и модной шляпке, остановилась перед только что прибитой мною доской с объявлением и внимательно его читала. Видно было, что она что-то обдумывала. Она была высокого роста, но, несмотря на это, на четвереньках пролезла под изгородью и, встав на ноги, начала рвать цветы. Я направился к ней, вежливо с ней поговори, и она ушла.

После этого я прибил еще несколько объявлений.

Было время, много лет тому назад, когда эти холмы сплошным ковром были усеяны маковыми цветами. Несмотря на многочисленные травы, боровшиеся с маком за существование, его стремление «жить» удерживало равновесие. Но городские люди явились новой разрушительной силой, равновесие было нарушено, и мак почти весь погиб. Так как горожане срывали те цветы, у которых были самые высокие стебли и самые крупные головки, и так как по закону природы однородное порождает однородное, то мак с

высокими стеблями и большими головками не созревал до семян, вырождался и исчезал, и на холмах оставались одни низкорослые, захиревшие маки. И они были не только захиревшими и низкорослыми, но и встречались очень редко. Изо дня и день, из года в год городской люд охотился за маками по холмам Пьемонта, и теперь уже только изредка можно было встретить бывшую когда-то гордость и красу этого растения в виде мизерных, быстро роняющих цвет, мелких цветов, похожих на детей бедных рабочих кварталов наших городов, быстро, не по своей воле, прошивающих свое детство и стареющихся.

Но мак в моем огороде благоденствовал. Он не только имел защиту от варваров, но и от птиц. Много лет тому назад огород был засеян пшеницей, которая ежегодно осыпалась и всходила, так как урожая не снимали, и дальнозорким певчим трудно было отыскивать зерна мака среди пшеницы. Кроме того, пробивая себе путь к солнечному свету через густую пшеницу, стебли мака становились с каждым годом толще и выше, а цветы имели даже более величественный вид, чем их предки, росшие на открытом месте.

Поэтому горожане, бродя по пустим холмам и смотря на мое горящее цветами поле, сильно под-

давались соблазну н, надо сказать, так же сильно впадали в соблазн. Но их падение было меньше, чем падение моих любимцев. Так как пшеница задерживала в себе росу, а сверху ее согревало солнышко, то почва была мягкой, а в таком случае гораздо было легче выдернуть мак со стеблем, чем сломать самый стебель. Горожане, как и все люди, имеют склонность следовать но пути наименьшего сопротивления, и, выдергивая цветок вместе со стеблем, они в тоже время выдергивали много почек, уничтожая всю будущую красоту нераспустившихся цветов.

Один горожанин, — джентльмен с белыми руками и хитрыми глазами, — особенно старался доставить мне удовольствие. За его частые посещения мы прозвали его «надоеда». Когда мы с террасы умоляли его, чтобы он не рвал цветов, он обыкновенно медленно и как будто нехотя направлялся изгороди, прекрасно симулируя, что он совершенно ничего не слышит. Чтобы увеличить впечатление своей симуляции, он время-от-времени все так же нехотя и небрежно нагибался и срывал цветок. Таким образом, прибегая к обману, он лишал нас возможности прогнать его и спасал себя от такого позора, но он появлялся все чаще и чаще и всегда уходил с

награбленной добычей.

Нехорошо принадлежать к горожанам. В этом мое убеждение. Есть что-то в самом образе жизни делающее городского человека слепым и глухим, или по крайней мере, всегда было так с теми, с которыми мне пришлось вежливо беседовать и указывать им на объявления, так как ни один из горожан по видел этих бьющих в глаза объявлений, а те, к которым я обращался с террасы, слышали мой голос, быть может, только один из пятидесяти. Я также открыл, что отношение горожан к цветам аналогично отношению голодного человека к пище. Как умирающий с голода человек не может понять того, что пять золотников мяса для него лучше, чем пять фунтов, так и они не понимают, что букет из трех-четырех цветков, в котором зеленые листья и золотые головки блестит своей красотой, гораздо лучше букета из сотни поломанных и помятых цветов.

Не меньшим злом, чем эти люди, не умеющие ценить цветы, являются те, которые рвут их у меня для продажи. Целые орды молодых пройдох налетают на мое маковое поле, чтобы потом кричать на улицах: «Маки из Калифорнии, — пять центов букет».

Несмотря на всю мою предосторожность, мно-

гие из них зарабатывают по доллару и больше в день. С особенной горечью вспоминаю я одну орду. Несколько мальчишек, желая раньше узнать, нет ли в доме собаки, обратились на кухню с просьбой дать им воды. Когда они пили, их предупредили не рвать цветов. Кивнув головой и вытерев рты, они вышли из кухни. Выйдя наружу, они набросились на цветы прямо под самым окном. Расставив руки во всю ширину, они понеслись но огороду, рвали и ломали все, что ни попадалось им на пути, таща за собой целый хвост маков со стеблями. Они прошли через самую середину поля до самого его конца. Я кричал на них изо всей силы, по они мчались с быстротой вихря и вскоре скрылись из виду. Никогда никакой ураган не мог бы произвести подобного разрушения, и ни одни пират не мог бы совершить такого преступления в открытом море.

Однажды я ушел удить рыбу, и в мое отсутствие за цветами явилась женщина. Так как мольбы и увещания с террасы на нее не производили никакого впечатления, Бесси послала девочку сказать, чтобы она перестала рвать цветы. Женщина продолжала рвать, как ни в чем не бывало. Тогда Бесси пошла сама. Но женщина

заявила, что ей неизвестно, кому принадлежит эта земля, и потребовала у Бесси документальных доказательств тому, что это действительно ее собственность.

Сказав это, она спокойно продолжала свое занятие. Она была очень большого роста и имела воинственный вид, а Бесси была обыкновенной женщиной и совершенно не имела склочности к кулачной расправе. Нарвав столько, сколько она в состоянии была донести, и сказав: «Желаю всего лучшего», женщина величественно поплыла домой.

— Народ, действительно, сделался хуже за последние годы, — сказала Бесси усталым голосом, когда мы сидели с ней после обеда в моем кабинете.

Следующий день показал, что она была права.

— Посмотрите, вон идет женщина с девочкой, и, кажется они идут прямо на наше поле, — сказала Мэй, девушка при доме.

Я вышел на террасу и стал ожидать их приближения. Они миновали сосны и взошли на маковое поле. Как только они сорвали по цветку, я закричал на них. Они находились от меня саженях в пятнадцати. Женщина и девочка услышали мои голос и посмотрели в мою сторону.

— Будьте любезны, не рвите цветов, — повторил я.

Они на минуту приостановились, как бы обдумывая, что делать. Затем женщина тихим голосом что-то сказала девочке, оно повернулись ко мне спилами и принялись за свою убийственную работу. Я начал кричать во всю глотку, но они, повидимому, совершенно оглохли. Я продолжал так ужасно кричать, что девочка начинала боязливо оглядываться, но женщина продолжала рвать, и мне было слышно, как, она подбодряла девочку.

Я попомнил о своем свистке-сирене, которым я иногда вызывал Джонни, мальчика моей сестры это был ужасный свисток, который мог разбудить мертвого, и я дул в него изо всей мочи, но женщина и девочка продолжали рвать, стоя ко мне спиной.

Я ничего по имею против вступления и кулачный бой с мужчиной, но мне никогда не приходилось иметь дело с женщиной, но, тем не менее, эта женщина, подстрекавшая девочку, бросала мне вызов.

Я бросился в дом и выбежал обратно с ружьем. Сильно волнуясь, крича и страшно нервничая, я начал целиться и женщину. Девочка, громко

вскрикнув, убежала под защиту сосен, но женщина спокойно продолжала рвать цветы. Я думал, что она, увидев меня с ружьем, пустится бежать, но так как она стояла на месте, то положение становилось затруднительным. Я стоял перед этой женщиной и неистовствовал, точно разъяренный бык, которому преграждали дорогу, но она не обращала на меня ни малейшего внимания. Я не мог ей не подчиниться, сознавая, насколько глупо и смешно было мое положение, и опустил ружье.

Подойдя ко мне шагов на шесть, они соблаговолила взглянуть на меня. Я растерялся и покраснел до корня волос. Быть может, я в самом деле напугал ее (я иногда стараюсь убедить себя, что это было именно так), или же у нее пробудилась ко мне жалость. Но как бы то ни было, она с большим спокойствием, даже, я бы сказал, с величием вдруг решила удалиться, унося с собой громадные букеты золотистых цветов.

Том не менее, с этого времени я решил беречь свои легкие и начал пользоваться ружьем. Я также пришел к некоторым новым выводам. Чтобы совершить грабеж, женщины полагаются на свой пол. Мужчины относятся к собственности с большим уважением, чем женщины. Мужчины менее

настойчивы и своих преступлениях. Женщины меньше боятся оружия, чем мужчины.

Грабеж все еще продолжался. Сирена и ружье помогали мало. Горожане были неустрашимы, и я заметил, что многие из них начинали посещать меня по несколько раз. Что им было до того, что их часто прогоняли, если каждый раз им удавалось благополучно унести награбленное.

Прогоняя одно и то же лицо несколько раз, начинаешь иногда чувствовать, что способен на человекоубийство. А раз в вас уже пробудилось это чувство, то вы уже обречены, вы стоите на краю пропасти. Не один раз я поднимал ружье, чтобы пристрелить кого-нибудь из моих обидчиков. Во сне я убивал их десятками и трупы бросал в овраг. С каждым днем мне все больше и больше хотелось выстрелить кому-нибудь из них в ноги, и эта мысль не оставляла меня ни на минуту. Я уже видел перед собой виселицу и, когда я стоял под ней с веревкой на шее, передо мной развертывалось страшное будущее моих детей, сносящих стыд и позор. Я начал бояться за себя. Бесси ходила с озабоченным лицом и наедине умоляла моих друзей, чтобы они уговорили меня на время уехать из дому.

Но вдруг в последний момент мне пришла

в голову мысль: не прибегнуть ли мне к конфискации? Если горожане увидят, что их труд, пропадает даром, то набеги прекратятся естественным образом.

Эта мысль спасла меня.

Первый, кто явился после этого за маками, был мужчина. Я уже ожидал его и — о, радость! — то был сам «надоеда». Он приступил к делу с полной уверенностью, что все будет так, как раньше. Я взял небрежно ружье под руку и направился к нему.

— Извините, что беспокою вас, — сказал я самым вежливым образом, — но те цветы, что вы нарвалы, мне нужны самому.

Он безмолвно посмотрел на меня. Повидимому, я имел страшный вид. С оружием в руках и с изысканной вежливостью на устах, я чувствовал себя Черной Бородой, Джемс-Джемсом, Джеком Шепердом, Робин Гудом и целым поколением других известных разбойников.

— Пожалуйста, пожалуйста, — сказал я несколько резко, — поверьте, что мне очень неприятно беспокоить вас, но эти маки должны остаться у меня.

В рассеянности я улыбнулся и поднял ружье. Это сразу подействовало на джентльмена. Не

говоря ни слова, он подал мне цветы и зашагал к изгороди. Но его походка уже не была небрежной, и по дороге он не стал срывать цветов. По его глазам я видел, что я ему не понравился, и его спина, посылала мне укор, пока он проходил по полю и пока не скрылся из виду.

Больше я его не видел.

С этого дня мой дом наводнен маками. Все вазы и стеклянные банки заполнены ими. Они горят огнем на всех окнах, столах, карнизах, по всем комнатам. Я дарю огромные букеты своим друзьям, а милые горожане собирают для меня все новые и новые.

— Присядьте на минутку, — говорю я уходящему гостю.

И мы сидим и беседуем на террасе в тени и прохладе, а ненасытные городские создания усердно рвут мой мак и проливают пот под палящими лучами солнца. И когда я замечаю, что они уже начинают изнывать под тяжестью своей ноши, я беру ружье, отправляюсь к ним и освобождаю их от тяжести. Таким образом я пришел к убеждению, что всякое положение имеет свои выгодные стороны.

До сих пор конфискация была успешной, но я забыл об одном, а именно: о громадном коли-

честве городского люда. Хотя старые грешники больше не являлись, но зато каждый день приходили новые, и передо мной встала титаническая задача воспитания людей огромного города, и я знал, что для этого не хватит моего макового поля. В то время, когда я отбирал у них цветы, я имел обыкновение давать им объяснение своего поступка, но затем я отказался от этого. Это была напрасная трата слов. Они не могли меня понять. Одной особе, назвавшей меня скрягой, я сказал:

— Сударыня, вас никто не обижает. Если бы я не оберегал этих цветов вчера и позавчера, и изо дня в день, они давно были бы уничтожены городскими ордами и вам не пришлось бы их видеть в глаза. Маки, которыми вы не можете воспользоваться сегодня, это те маки, которых я не дал сорвать вчера и позавчера. Поэтому поверьте, что я у вас ничего не отнимаю.

— Но ведь цветы в настоящее-то время есть, — сказала сна, плотоядно окидывая взглядом красиво горевшие на солнце маки.

— Я заплачу вам за них, — сказал один господин в другой раз. (Я только что освободил его от нескольких букетов).

Не знаю — почему, но мне вдруг сделалось стыдно. Быть может потому, что его слова вдруг

дали мне понять, что мои цветы обладали не только эстетической, но и денежной ценностью. Очевидная скаредность с моей стороны так поразила меня, что я тихо сказал:

— Я не продаю маков. Вы можете взять себе эти букеты.

Но в конце недели мне опять пришлось встретиться с этим господином.

— Я заплачу вам за них, — опять сказал он.

— Да, — отвечал я, — вы можете мне за них заплатить. Пожалуйста, — двадцать долларов.

Он вздохнул, испытующе посмотрел на меня, вздохнул еще раз, молча положил маки на землю и с печальным видом удалился.

Но высшую степень дерзости, по обыкновению, должна была проявить женщина. Когда я не взял платы и потребовал у нее сорванные цветы, она отказалась отдать их.

— Я сама собирала эти букеты, — отвечала она, — а время — деньги. Заплатите мне за труд и забирайте цветы.

Ее лицо пылало негодованием и, несмотря на красоту, было сурово и решительно. И вот мы стояли друг против друга: я — мужчина диких холмов, и она — обыкновенная городская женщина, и хотя я совершенно не имею склонности

входить в подробности, но с удовольствием должен отметить, что маки, в конце концов, украшали мою столовую, а женщина отправилась в город, не получив платы за свой труд. Все-таки эти маки были мои.

— Это — божьи цветы, — заявила мне однажды одна молодая демократка, пораженная тем, что я не допускал горожан рвать мои маки. И недели две она смертельно ненавидела меня. Я всячески старался встретиться с ней, чтобы объясниться. И, наконец, мне это удалось. Я описал ей историю мака, как Метерлинк описал жизнь пчелы. Я рассмотрел этот вопрос с биологической, психологической и социологической точек зрения. Я был возбужден, горел, как в горячке, и когда окончил, она заявила, что теперь она на моей стороне, но в глубине души я чувствовал, что она просто пожалела меня.

Я отправился к своим друзьям искать утешения. Мне нужно было оправдание. Этот вопрос сделался для меня вопросом первостепенной важности, и мне нужно было добиться, что я прав. Я чувствовал, что мне придется объясняться со всеми моими друзьями, хотя прекрасно знал, что тот, кто оправдывается, — потерянный человек.

Я должен был рассказать историю с маком

десятки раз. Я рассказывал ее с мельчайшими подробностями. Я увеличил ее и расширил. Говорил до хрипоты, и когда больше не мог уже говорить, мне видно было, что они скучают. В ответ они говорили мне разные нелепости, утешали меня, говорили то, что совершенно к делу не относилось, но все это было не то. Меня душила злоба, и, в конце концов, я порвал со своими друзьями.

Я лежу на диване в доме и ожидаю случайных гостей. Я искусно подхожу к своему вопросу, начинаю пространно говорить и в то же время пристально слежу за выражением лица своих посетителей. Как только я замечаю выражение неодобрения, я мечу на их головы стрелы своего гнева. Я целыми часами сражаюсь со всяким, кто говорит мне, что я неправ. Я объясняю и объясняю без конца, но никто меня не понимает. Я сделался более жестоким в своем осуждении предательского городского люда.

Я не нахожу больше ни цели, ни удовольствия в том, чтобы отбирать у моих обидчиков цветы. Это тяжелая обязанность, утомительное и неприятное занятие.

Мои друзья при встрече со мной в городе искоса поглядывают на меня и о чем-то шепчутся между собой. Редко кто из них теперь заходит ко мне.

Они меня боятся. Я сделался раздражительным, разочарованным человеком, и весь свет моей жизни словно ушел от меня в это горящее огнем маковое поле.

Вот какой ценой приходится платить за обладание собственностью.

Джек Лондон

•

ИГРА

Глава I

Перед ними на полу были разостланы ковры всех цветов и узоров; на двух, брюссельских, они уже с самого начала остановили свой выбор, но манили и другие — яркие, пышные; трудно было не поддаться соблазну, однако высокая цена отпугивала. Заведующий отделом оказал им честь — сам занимался с ними; впрочем, она отлично знала, что делал он это ради одного Джо, — недаром мальчишка-лифтер даже рот разинул и, пока они подымались на верхний этаж, не сводил с него восхищенного взгляда. С таким же благоговением смотрели на Джо ребята и подростки, когда ей случалось проходить с ним по улицам своего квартала, в западной части города.

Заведующего отделом позвали к телефону, и борьба между желанием купить ковер понаряднее и страхом истратить слишком много денег уступила в ее душе место другим, более тревожным мыслям.

— Не могу понять, Джо, что ты в этом находишь хорошего, — сказала она негромко, но настойчиво, видимо, продолжая недавний, ни к чему не приведший спор.

Его полудетское лицо омрачилось, но только на одно мгновение, и тут же снова просияло нежностью. Он был очень молод, почти мальчик, а она почти девочка — два юных создания на пороге жизни, выбирающие ковры для украшения своего гнездышка.

— Стоит ли волноваться? — сказал он. — Ведь это в последний раз, в самый, самый последний раз.

Он улыбнулся ей, но она подметила невольно вырвавшийся у него едва уловимый вздох сожаления, и сердце ее сжалось; из чисто женской потребности нераздельно владеть своим возлюбленным она боялась его пристрастия к тому, что было ей непонятно, а в его жизни занимало такое большое место.

— Ты же знаешь, встреча с О'Нейлом оплатила последний взнос за дом моей матери, — продолжал он. — С этой заботой покончено. А за сегодняшнюю встречу с Понтой я получу приз — сто долларов, понимаешь, целых сто долларов! Это пойдет нам на устройство.

Она отмахнулась от денежных расчетов.

— Но ты любишь этот свой ринг. Почему?

Он был не мастер выражать мысли словами. На работе руки заменяли ему слова, а на ринге за него

говорило его тело, игра мускулов, — словами же он не мог объяснить, почему его так неудержимо влечет на ринг. Однако он попытался это сделать и нерешительно, сбивчиво начал говорить о том, что он испытывает во время состязания, особенно в минуты наивысшего напряжения и подъема.

— Могу тебе сказать только одно, Дженевьева: лучше нет, как стоять на ринге и знать, что противник у тебя в руках. Вот он нацеливается, то правой, то левой, а ты каждый раз закрываешься, увертываешься. А потом так дашь ему, что он зашатается и обхватит тебя и не пускает, а судья оторвет его, и тогда ты можешь покончить с ним, а публика вопит, себя не помня, и ты знаешь, что победил, что дрался честно, по всем правилам, а победил потому, что лучше умеешь драться. Понимаешь, я…

Он запнулся, испуганный собственным многословием и страхом, промелькнувшим в глазах Дженевьевы. Слушая Джо, она пристально вглядывалась в него, и на ее лице все сильнее проступало выражение мучительной тревоги. Описывая ей эти величайшие минуты своей жизни, Джо мысленно видел перед собой сраженного его ударом противника, огни ринга, бешено аплодирующих зрителей, — и Дженевьева чув-

ствовала, что Джо уходит от нее, унесенный потоком этой непонятной ей жизни. Против этого грозного, неудержимого потока бессильна была вся ее беззаветная любовь. Тот Джо, которого она знала, отступил, растворился, пропал. Исчезло милое мальчишеское лицо, ласковый взгляд, изогнутая линия рта с приподнятыми уголками. Перед ней было лицо взрослого мужчины, лицо, словно отлитое из стали, застывшее и неумолимое; губы сомкнулись, как стальные створки капкана, широко раскрытые глаза глядели холодно и зорко, отсвечивая стальным блеском. Это было лицо мужчины, а она знала только лицо юноши. Таким она видела его впервые.

Ей стало страшно, и все же она смутно почувствовала, что гордится им. Его мужественность — мужественность самца-победителя — не могла не взволновать ее женское естество, не могла не разбудить в ней извечное стремление женщины найти надежного спутника жизни, опереться о каменную стену мужской силы. Она не понимала страсти, владевшей им, но знала, что даже любовь не излечит его; тем сладостней была мысль, что ради нее, ради их любви он сдался, уступил ее желанию, отказался от любимого дела и сегодня выступает на ринге в последний раз.

— Миссис Силверстайн говорит, что терпеть не может бокса, что ничего хорошего в нем нет, — сказала Дженевьева. — А она женщина умная.

Он снисходительно улыбнулся, пряча уже не раз испытанную обиду: больно было сознавать, что Дженевьева отвергает именно то в его натуре и в его жизни, чем он сам больше всего гордился. На ринге он достиг успеха, славы, достиг своими силами, ценой напряженного труда, и именно это и только это он с гордостью положил к ногам Дженевьевы, когда добивался ее любви, когда предложил ей всего себя — все, что в нем было лучшего. В своем мастерстве боксера он видел величайший и прекраснейший залог мужественности, какого ни один мужчина не мог бы предъявить, и это, по его мнению, давало ему право домогаться Дженевьевы и обладать ею. Но она не поняла его тогда и теперь не понимала, и он только удивлялся: что же она нашла в нем, почему удостоила его своей любви?

— Миссис Силверстайн просто дуреха и старая брюзга, — сказал он беззлобно. — Что она понимает? Поверь мне, в этом спорте очень много хорошего. И для здоровья полезно, — добавил он, подумав. — Посмотри на меня. Ведь я должен жить очень чисто, если хочу быть в форме.

Я живу чище, чем миссис Силверстайн или ее старик и вообще все, кого ты знаешь. Я соблюдаю режим: душ, обтирание, тренировка, здоровая пища, — все по часам, и никакого баловства. Я не пью, не курю — словом, не делаю ничего такого, что могло бы повредить мне. Да я живу чище, чем ты, Дженевьева… — Заметив, что она обиженно поджала губы, он поспешил добавить: — Честное слово! Я же говорю не про мыло с водой, а вот посмотри. — Он бережно, но крепко сжал ее руку повыше локтя. — Ты вся мягкая, нежная. Не то, что я. На, пощупай.

Он прижал кончики ее пальцев к своему бицепсу, такому твердому, что она сморщилась от боли.

— И весь я такой, — снова заговорил он. — Твердый и упругий. Это я называю чистый. Каждая жилка, каждая капля крови, каждый мускул — все чисто до самых костей, и кости чистые. Это не то, что просто вымыть кожу водой и мылом, это значит быть чистым насквозь. Уверяю тебя, я это чувствую, ощущаю всем телом. Когда я утром просыпаюсь и иду на работу, вся кровь моя, все жилки мои точно кричат, что они чистые. Ах, если бы ты знала…

Он умолк, оборвав на полуслове, окончательно

смущенный столь необычным для него потоком красноречия. Никогда еще он не выражал свои мысли с таким волнением, но и столь серьезных причин для волнения у него никогда не было. Ведь Дженевьева неодобрительно отозвалась о боксе, усомнилась в достоинствах самой Игры, прекраснее которой для Джо не было ничего на свете до самого того дня, когда он случайно забрел в кондитерскую Силверстайна и образ Дженевьевы внезапно вошел в его жизнь, затмив все остальное. Он уже понимал, хоть и смутно, что есть какое-то непримиримое противоречие между женщиной и призванием, между любимым делом и тем, чего женщина требует от мужчины. Но он не умел делать обобщающих выводов. Он видел только вражду между реальной, живой Дженевьевой и великой, вдохновляющей, но бесплотной Игрой. Обе они восставали друг против друга, обе предъявляли на него права: он разрывался между ними, но окончательного выбора не делал и беспомощно плыл по течению.

Дженевьева слушала взволнованные слова Джо, пристально глядела на него и невольно любовалась его чистым лицом, ясными глазами, гладкой и нежной, точно девичьей, кожей. Она не могла не признать убедительности его дово-

дов, но это только сердило ее. Она безотчетно ненавидела эту его Игру за то, что она отрывала от нее Джо, похищала какую-то часть его. Это была соперница, которую она не могла постичь. Она не понимала, в чем ее обаяние. Если бы речь шла о какой-нибудь другой девушке, все было бы ясно, на помощь ей пришли бы знание, догадка, проницательность. Но здесь был враг неосязаемый, непостижимый; она ничего о нем не знала и боролась с ним ощупью, в потемках. Она чувствовала, что в словах Джо есть доля правды, и от этого враг казался еще более грозным.

Внезапно Дженевьеву охватило горестное сознание своего бессилия; она хотела, чтобы Джо безраздельно принадлежал ей, этого требовала ее женская природа, а он отстранялся, выскальзывал из объятий, которыми она тщетно пыталась удержать его. От жалости к самой себе слезы выступили у нее на глазах, губы задрожали, и сразу поражение обернулось победой: всемогущая Игра отступила перед неотразимой силой женской слабости.

— Не надо, Дженевьева, не плачь, — просил он покаянно, хотя каяться ему было не в чем. Его мужской ум отказывался понять ее горе, но она плакала — и все остальное забылось.

Она улыбнулась ему сквозь слезы, в ее глазах он прочел прощение, и, хотя он не знал за собой вины, сердце его растаяло. Он хотел сжать ее локоть, но она отняла руку и чинно выпрямилась. Однако улыбка ее засияла еще ярче.

— А вот и мистер Клаузен, — сказала она и, с чисто женским искусством скрывая волнение, взглянула на заведующего отделом сухими, ясными глазами.

— Вы, верно, заждались меня, Джо? — сказал заведующий, подвижной, румяный человечек с маленькими веселыми глазками и густыми, солидными бакенбардами. — Ну, так как же? — оживленно заговорил он. — На чем вы остановились? Нравится вам этот ковер? Миленький узор, не правда ли? Да, да, я все понимаю. Сам обзаводился домиком, когда получал всего четырнадцать долларов в неделю. Но ведь хочется самое лучшее для своего гнездышка, верно? Ну, конечно, еще бы! А ведь всего-то на семь центов дороже. И опять-таки, имейте в виду, дорогую вещь всегда выгодней покупать, чем дешевую. Знаете что, Джо, — заведующий в порыве великодушия доверительно понизил голос, — я пойду вам навстречу, но это только для вас: я готов скинуть пять центов. Но очень, очень прошу, —

добавил он с видом заговорщика, — никому не говорите, сколько вы заплатили.

После того, как Джо и Дженевьева, посовещавшись, объявили о своем решении, заведующий сказал:

— Все будет запаковано, обшито и доставлено вам на дом, это, само собой, входит в оплату. Ну, а когда новоселье? Скоро вы расправите крылышки и улетите? Завтра? Уже завтра! Чудесно, чудесно!

Он от восторга закатил глаза, потом с отеческой нежностью улыбнулся им.

Джо сдержанно отвечал на вопросы заведующего, а Дженевьева слегка покраснела; им обоим этот разговор показался неуместным. Не потому, что он нарушал мещанские представления о приличиях, но он касался их личных, сокровенных чувств; против поведения заведующего восставали стыдливость и целомудрие, присущие рабочему человеку, когда он стремится к достойной жизни и нравственной чистоте.

Мистер Клаузен проводил их до лифта, сладко улыбаясь и поглядывая на них с благосклонным умилением, меж тем как все приказчики, словно по команде, поворачивали голову и смотрели вслед стройной фигуре Джо.

— А сегодняшняя встреча, Джо? — озабоченно спросил мистер Клаузен, пока они дожидались лифта. — Как ваше самочувствие? Справитесь?

— Конечно, — ответил Джо. — Самочувствие отличное.

— В самом деле? Превосходно! Я, видите ли, подумал было… накануне свадьбы, и все такое… ха! ха!.. можно и сдать немного… нервы опять-таки. Ничего удивительного, сам был женихом когда-то. Но вы в форме? Ну ясно, незачем и спрашивать, и так видно… Ха! ха! Ну, желаю удачи, сынок! Не сомневаюсь в успехе, ни капельки не сомневаюсь. Ваша возьмет!

— До свидания, мисс Причард, — обратился он к Дженевьеве, галантно подсаживая ее в лифт. — Не забывайте нас. Всегда буду вам рад, искренне рад.

— Все называют тебя «Джо», — укоризненно сказала она, спускаясь с ним в лифте. — Почему не «мистер Флеминг»? По-моему, это как-то даже неприлично.

Но он задумчиво смотрел на мальчишку-лифтера и, видимо, не слышал ее.

— Что с тобой, Джо? — спросила она с той нежной лаской в голосе, которая всегда обезоруживала его.

— Так, ничего, — ответил он. — Просто я думал о том, как мне хотелось бы…

— Хотелось бы… чего? — Голос ее звучал вкрадчиво, а глаза глядели так проникновенно, что никто не устоял бы перед ее взором, но Джо все еще смотрел в сторону.

Потом, решительно взглянув ей в лицо, он проговорил:

— Мне хотелось бы, чтобы ты хоть раз увидела меня на ринге.

Она с отвращением передернула плечами, и его лицо омрачилось. Ее кольнула мысль, что соперница стала между ними и увлекает Джо прочь от нее.

— Я… я бы с удовольствием… — торопливо проговорила она, делая над собой усилие и пытаясь выказать ему то горячее сочувствие, которым женщина побеждает даже сильнейших мужчин и которое заставляет их доверчиво класть голову на женскую грудь.

— Правда? Ты согласна?

Джо пристально посмотрел ей в глаза. Дженевьева поняла его волнение: он словно бросал ей вызов, измерял силу ее любви.

— Это была бы самая счастливая минута моей жизни, — сказал он просто.

Что заставило Дженевьеву принять это внезапное решение? Прозорливость любящего сердца, желание выказать Джо то участие, которого он у нее искал, потребность увидеть соперницу лицом к лицу, дабы понять, в чем ее сила? Или, быть может, властный зов неведомого мира вторгся в тесные пределы ее однообразной, будничной жизни? Так или иначе, но она почувствовала прилив неведомой доселе отваги и сказала так же просто, как и он:

— Согласна.

— Я не думал, что ты согласишься, а то, пожалуй, не рискнул бы просить тебя, — сознался он, когда они вышли из магазина.

— А разве нельзя? — спросила она с тревогой, боясь, как бы ее решимость не остыла.

— Да нет, я могу это устроить. Но я никак не думал, что ты согласишься. Никак не думал, — все еще не оправившись от изумления, повторил он, уже подсадив ее в трамвай и доставая из кармана мелочь на билеты.

Глава II

В рабочей среде, к которой принадлежали и Дженевьева и Джо, они были своего рода аристократами. Они сумели сохранить душевное здоровье и чистоту вопреки окружавшим их убожеству и грязи. Чувство собственного достоинства, тяга к благопристойному, более утонченному укладу жизни заставляли их чуждаться людей своего круга. Они не легко заводили знакомства, и ни он, ни она никогда не имели близкого, закадычного друга, с которым делишься всем. А между тем оба они были общительного нрава и не сходились ни с кем только потому, что дружба с людьми казалась им несовместимой с чистотой и добропорядочностью.

Трудно было бы найти другую работницу, которая жила бы такой замкнутой, обособленной от внешнего мира жизнью, как Дженевьева. Грубость, даже жестокость окружающей среды не коснулись ее. Она видела лишь то, что хотела видеть, — а хотела она видеть только хорошее, — и уверенно, без всяких усилий избегала всего уродливого и пошлого. К уединению она привыкла с малых лет Дженевьева была единственным

ребенком в семье, и вместо того, чтобы играть и резвиться на улице с соседскими детьми, она ухаживала за больной матерью. Отец, конторский служащий, слабогрудый, худосочный, был человек очень добрый и большой домосед, так как по врожденной робости всегда чуждался людей. Благодаря ему в их маленьком семействе всегда царили мир и ласковое внимание друг к другу.

В двенадцать лет Дженевьева осиротела. Прямо с похорон отца она пошла к Силверстайнам и поселилась в их квартире над кондитерской; старики обходились с ней хорошо, кормили и одевали, а она помогала им за прилавком. Силверстайны особенно дорожили Дженевьевой потому, что она могла сидеть в лавке по субботам, когда их вера запрещала им работать.

И здесь, в этой тихой лавчонке, протекли шесть лет ее отрочества. Знакомых у нее почти не было. Подруг Дженевьева не заводила: она так и не встретила девушки, с которой ей хотелось бы сойтись. Гулять по вечерам с парнями своего квартала, как это делали все девчонки, едва им минет пятнадцать лет, она тоже не желала. «Вот кукла надутая», — говорили про нее девушки, но все же относились к Дженевьеве с уважением, хотя и недолюбливали ее за красоту и высоко-

мерие. «Персик», — называли ее молодые люди, но лишь вполголоса и когда поблизости не было подружек, чей гнев они боялись навлечь на себя; никому из них и в голову не приходило знакомиться с Дженевьевой, — они смотрели на нее с благоговейным трепетом, как на высшее существо, наделенное таинственным очарованием и для них недосягаемое.

Дженевьева и в самом деле была красавица. Коренная американка, она, как это иногда случается в рабочей среде, неожиданно расцвела, словно прелестный редкостный цветок, чудом выросший на скудной, негостеприимной почве. Все в ней было прелестно: и нежный румянец, благодаря которому она заслужила прозвище «персик», и правильные, точеные черты, и девичья грация. Голос у нее был тихий, движения неторопливые, держалась она просто и с большим достоинством; обладая врожденным вкусом, она умела принарядиться, и все, что бы она ни надела, казалось красивым и шло ей. И при том она была очень женственна, кротка и привязчива, и в ней уже угадывалось тлеющее пламя любви будущей жены и матери. Но эти затаенные чувства долгие годы дремали в ее душе, дожидаясь появления избранника.

И вот однажды, жарким субботним днем, в кондитерскую Силверстайна зашел Джо поесть мороженого. Дженевьева не обратила на него внимания, так как была занята с другим покупателем; мальчуган лет шести-семи стоял перед прилавком и, боясь ошибиться в выборе, сосредоточенно изучал разложенные под стеклом чудеса кондитерского искусства, увенчанные соблазнительной надписью: «Пяток за пять центов».

Она слышала, как вошедший сказал: «Мороженое с содовой, пожалуйста», и спросила: «Какого мороженого вы хотите?», не видя лица посетителя. Вообще не в ее обычае было присматриваться к молодым людям. Ей чудилось в них что-то странное и непонятное. Взгляды их почему-то смущали ее, и они ей не нравились: она находила их грубыми и неотесанными. Об этой стороне жизни она еще никогда не задумывалась. Молодые парни, которых ей приходилось видеть, ничем не привлекали ее, она просто не замечала их. Словом, если бы Дженевьеву спросили, для чего на земле существуют мужчины, она не нашлась бы, что ответить.

Накладывая в стаканчик мороженое, она случайно взглянула на Джо, и ей сразу понравилось его лицо. Почти в то же мгновение он посмотрел

на нее, и она, опустив глаза, подошла к сифону с содовой. Наполняя бокал, Дженевьева опять невольно оглянулась на молодого человека, но только на одну секунду, потому что взгляд его искал ее взгляда, а на лице было написано столь неподдельное восхищение, что Дженевьева поспешила отвернуться.

Ее удивило, что какой-то чужой мужчина может так понравиться ей. «Хорошенький мальчик», — подумала она простодушно, безотчетно пытаясь отмахнуться от притягательной силы, которую трудно было объяснить одной приятной наружностью. «Впрочем, нет, он вовсе не хорошенький», — сказала она себе, когда, поставив перед ним мороженое и получив в уплату серебряную монетку, в третий раз встретилась с ним глазами. Запас слов ее был невелик, и она не слишком хорошо умела их подбирать, но, вглядевшись в энергичное, мужественное лицо молодого человека, она поняла, что «хорошенький» не то слово.

«Значит, он красивый», — догадалась она, снова опуская глаза под его взглядом. Но всех мужчин, которые были хороши собой, называли красивыми, и это слово тоже не понравилось ей. Однако, как бы его ни назвать, смотреть на него было

приятно, и Дженевьева не без досады заметила, что ей стоит усилий не глядеть в его сторону.

А Джо? Никогда еще не видел он такой красивой девушки, как эта продавщица за прилавком. Будучи более сведущ в законах природы, чем Дженевьева, он, не задумываясь, ответил бы на вопрос, для чего на земле существуют женщины, однако в своем представлении о мире он не отводил им никакого места. Он так же мало задумывался о женщинах, как Дженевьева о мужчинах. Но теперь он задумался об одной из них, и эта женщина была Дженевьева. Ему и не снилось, что женщина может быть так прекрасна; словно зачарованный, смотрел он на Дженевьеву, но когда их взгляды встречались, ему становилось не по себе и хотелось отвернуться, но она сама мгновенно опускала глаза.

Когда же она наконец медленно подняла ресницы и поглядела на него в упор, он первый отвел глаза, и щеки его залила краска. Если Дженевьева и испытывала некоторое смущение, она ничем не выдала себя. Правда, сердце у нее замирало от какого-то нового, еще никогда не изведанного чувства, но внешне она сохраняла обычную невозмутимость. Джо, напротив, был явно растерян и трогательно неловок.

Ни он, ни она не знали, что такое любовь, и только чувствовали неодолимое желание смотреть друг на друга. Оба были смущены и взволнованы, их неудержимо влекло друг к другу, словно два химических элемента, стремящихся к соединению. Джо долго сидел над стаканом с мороженым, вертел в руках ложечку, краснел и бледнел, не в силах уйти; она говорила с ним тихим голосом, скромно опуская глаза, и совсем околдовала его.

Но нельзя же до бесконечности сидеть над стаканом с мороженым, а спросить еще порцию он не решился. Итак, он ушел и зашагал по улице, ничего не видя вокруг, точно лунатик, а она осталась в лавке, грезя наяву. Дженевьева промечтала весь день до вечера и поняла, что влюбилась. С Джо было иначе. Он знал только, что ему хочется еще раз увидеть ее, посмотреть ей в лицо. Ни о чем другом он не думал, да и это, в сущности, было не мыслью, а лишь смутным, неосознанным желанием.

Но желания этого Джо побороть не мог. День и ночь оно томило его; тесная кондитерская и девушка за прилавком неотступно стояли у него перед глазами. Он старался отогнать это видение. Ему было и страшно и стыдно зайти еще раз в кон-

дитерскую. Он хитрил с самим собой и утешался тем, что он «не дамский угодник». Не раз и не два — десятки раз твердил он про себя эти слова, но все было тщетно: не прошло и пяти дней, как он вечером, после работы, снова заглянул в кондитерскую Силверстайна. Он постарался войти очень свободно и естественно, но видно было, что ноги ему не повинуются, и только огромным усилием воли он заставил себя переступить порог. Робость, неловкость сковали его еще сильнее, чем в первое посещение. Дженевьева, напротив, казалась такой же спокойной, как всегда, хотя сердце у нее бешено колотилось. У Джо язык прилип к гортани, он едва мог выговорить: «Пожалуйста, мороженое с содовой». Отчаянно торопясь, то и дело поглядывая на часы, он проглотил свою порцию и обратился в бегство.

Дженевьева чуть не заплакала от обиды. Какая жалкая награда за четыре дня ожидания! А ведь она уже знала, что полюбила его. Конечно, он славный мальчик, очень даже славный, но неужели он не мог посидеть еще немножко? А Джо не успел дойти до угла, как его снова потянуло к ней. Ему захотелось еще раз увидеть ее. Он сначала не задумывался над тем, влюблен ли он. Любовь? Это когда парни и девушки вместе гуляют. А он… Но

тут желание видеть Дженевьеву подсказало ему, что именно этого и нужно добиваться. Он хочет быть с ней, смотреть на нее, а когда же это можно сделать лучше, как не во время прогулки вдвоем? Так вот почему молодежь гуляет парочками! И чем ближе подходила суббота, тем чаще у него мелькала эта мысль. Раньше он думал, что такие прогулки просто условность, что-то вроде обряда, который предшествует бракосочетанию. Теперь он понял более глубокий смысл этого обычая, сам стремился перенять его, — следовательно, он был влюблен. Итак, оба они пришли к одному и тому же выводу, и кончилось это так, как только и могло кончиться: к великому изумлению всего квартала, Дженевьева вышла на прогулку в сопровождении Джо.

Оба они были скупы на слова, и потому сближение их протекало медленно. На его ухаживания она отвечала сдержанно, и только глаза ее сияли любовью. Впрочем, она стыдливо погасила бы и этот предательский огонек, если бы знала, что он красноречивее слов выдает ее чувства. Не скоро начали они называть друг друга «дорогой», «любимая» — такое обращение казалось им чудовищно нескромным; да и позднее Джо и Дженевьева, не в пример другим влюбленным,

не злоупотребляли признаниями в любви. Долгое время они довольствовались тем, что гуляли вдвоем по вечерам или сидели на скамейке в городском саду. Говорили они мало; им случалось по часу не перемолвиться ни словом, — они только глядели друг другу в глаза, не испытывая при этом ни робости, ни тревоги, потому что при слабом свете звезд не могли прочесть во взглядах ничего, что нарушило бы их душевный покой.

Ни один рыцарь не мог бы оказывать своей даме больше внимания, чем Джо оказывал Дженевьеве. Когда они шли по улице, он неуклонно держался края тротуара, — где-то он слышал, что так полагается, — а перейдя на другую сторону улицы, тотчас обходил Дженевьеву сзади и опять шел с краю. Он носил ее свертки и однажды, когда они гуляли в ненастную погоду, даже взял у нее из рук зонтик. Он не знал, что существует обычай посылать даме своего сердца цветы, и вместо цветов посылал фрукты. В фруктах он видел пользу: они вкусные. О цветах он ни разу не подумал, пока не увидел розу в ее волосах. Он не мог оторвать глаз от бледно-алого цветка, потому что он украшал головку Дженевьевы, потому что она сама выбрала его и воткнула в волосы. Это заставило его пристально разглядывать розу, и он

вдруг увидел, сколько в ней красоты. Она, в свою очередь, восхитилась искренним восхищением, с каким он смотрел на цветок, любовный трепет с новой силой охватил их благодаря бледной розе в ее волосах. Отныне не было более страстного любителя цветов, чем Джо. И он сделал открытие, изобрел новый знак рыцарского внимания: послал Дженевьеве пучок фиалок. Это была его собственная идея. Он никогда не слышал о том, чтобы мужчины посылали женщинам цветы, до сих пор он думал, что цветы нужны только для украшения комнат да на похоронах. Он чуть ли не ежедневно посылал Дженевьеве цветы в полном убеждении, что до него такая мысль никому не приходила в голову и это открытие по праву принадлежит ему одному.

Он боготворил Дженевьеву, благоговел перед ней, и она с не меньшим благоговением принимала его любовь. Для него она была сама чистота, само добро, святая святых, которую страшно оскорбить даже чрезмерным обожанием. Никого равного ей он не знал. Она ничем не походила на других девушек. Ему и в голову не приходило, что она может иметь что-нибудь общее с его сестрами или с чьей-либо сестрой. Она была больше, чем красивая девушка, больше, чем женщина.

Она… словом, она была Дженевьева — существо высшей породы, неповторимое чудо творения.

Почти так же смотрела и Дженевьева на своего возлюбленного. Правда, ей случалось в каких-нибудь мелочах осуждать его — в то время как он в своем слепом преклонении никогда не осмеливался даже судить о ней, — но когда она думала о нем, все мелочи забывались и он казался ей совершенством; в нем заключался весь смысл ее жизни, и ради него она готова была умереть, как готова была жить для него. В пылких мечтах она видела себя умирающей, жертвующей жизнью ради него, и своей смертью она выказала бы ему всю силу своей любви, лучше, полнее, чем она могла это сделать в жизни.

Любовь их была как пламя и как утренняя роса. Желаний они почти не знали, — это казалось им кощунством. О физической близости, к которой могла бы привести их любовь, они не смели и помыслить. Но их безотчетно влекло друг к другу, они познали радость легкого прикосновения к руке или к плечу, мимолетного рукопожатия, беглого поцелуя, волнующей ласки ее волос на щеке, ее пальцев, откидывающих его кудри со лба. Все это они испытали, и, хотя не могли бы объяснить почему, но в этой потребности коснуться друг

друга, приласкать друг друга им смутно чудилось что-то греховное.

Иногда Дженевьеве хотелось обнять Джо, прижаться к нему, дать полную волю своей любви, но каждый раз ее удерживал благочестивый страх. В такие минуты ее мучило сознание, что в ней гнездится какой-то неведомый ей, но тяжкий грех. Конечно, дурно, очень дурно, что ей хочется броситься на шею своему возлюбленному. Ни одна уважающая себя девушка на это не решится, такие желания недостойны женщины. К тому же, если бы она это сделала, что бы он подумал о ней? Стоило ей только вообразить себе такую ужасную картину, как она внутренне вся съеживалась и корчилась, сгорая от тайного стыда.

Но и Джо не избежал непонятных ему порывов, и самым непонятным из них было острое желание причинить Дженевьеве боль. Когда он долгим и извилистым путем завоевал наконец право обнять свою подругу за талию, он только усилием воли заставил себя не сжать ее изо всех сил, так, чтобы она закричала от боли. Жестокая потребность причинить кому-нибудь боль была чужда ему. Даже на ринге он никогда не наносил удара с такой целью: там он был участником Игры, и от него требовалось сделать так, чтобы

противник упал и в течение десяти секунд не мог подняться на ноги. Джо никогда не бился только из желания причинить боль. Правда, это оказывалось неизбежным для достижения цели, однако сама цель была иной. Но здесь, сидя рядом с любимой, Джо испытывал желание сделать ей больно. Почему, когда он двумя пальцами охватывал ее запястье, ему хотелось сдавить его так, чтобы хрустнули кости? Этого он не мог понять и сокрушался о том, что где-то в недрах его души таятся жестокие инстинкты, о которых он и не подозревал.

Однажды, прощаясь с ней, он обнял ее и порывисто прижал к себе. Испуганный и жалобный возглас Дженевьевы образумил его, и он разжал руки; ему было очень стыдно, но вопреки стыду его пронизывала дрожь неизъяснимого счастья. То же испытала и Дженевьева. Когда Джо сдавил ее своими сильными руками, первым и самым острым ощущением была физическая боль, но боль эта показалась ей сладостной; и опять она почувствовала раскаяние: она знала, что согрешила, хотя не понимала, чем она грешна и почему считает себя грешницей.

Очень скоро, почти в самом начале их знакомства, старик Силверстайн застал в своей

кондитерской Джо и в изумлении вытаращил на него глаза. А после ухода юноши миссис Силверстайн дала волю своим материнским чувствам и разразилась проклятиями по адресу боксеров вообще и Джо Флеминга в частности. Тщетно Силверстайн пытался унять разгневанную супругу: ведь она только и могла, что изливать свой гнев, в удел ей достались все материнские чувства, но материнских прав она не имела.

Дженевьева, ошеломленная потоком брани, лившимся из уст старой еврейки, не вслушивалась в ее обвинения и проклятия, — она поняла только одно, и это открытие сразило ее: ее возлюбленный не кто иной, как Джо Флеминг, знаменитый боксер! Это было отвратительно, немыслимо, это было так нелепо, что она отказывалась верить! Ее Джо, с ясными глазами, с нежным румянцем на щеках, мог оказаться кем угодно, но только не боксером. Она никогда не видела этих людей, но в ее представлении между ними и Джо не было решительно ничего общего. Дженевьева всегда думала, что боксер — грубое животное с глазами тигра и низким, как у обезьяны, лбом. Разумеется, она слышала о Джо Флеминге, — кто же в Уэст-Окленде не знал его? Но ей никогда не приходило на ум, что это

и есть ее Джо.

Когда Дженевьева опомнилась после первого страшного удара, она услышала истерический крик миссис Силверстайн: «Нашла себе компанию — профессиональный боксер!» Потом супруги Силверстайн заспорили: муж говорил, что Джо завоевал громкую славу, а жена возражала, что слава бывает разная — и добрая и дурная.

— Джо — хороший мальчик, — настаивал Силверстайн, — он зарабатывает много денег и бережет их.

— Что ты мне рассказываешь! — кричала миссис Силверстайн. — Много ты знаешь! Уж лучше молчал бы! Сам бросаешь деньги на этих паршивых боксеров! Откуда ты знаешь, какой он? Нет, ты скажи, откуда?

— А вот знаю, — стойко отвечал старик. Дженевьева впервые видела, чтобы он осмелился возражать жене, если та разбушуется. — Когда отец его умер, Джо пошел работать на склад к Хэнсену. А в семье, кроме Джо, еще шестеро детей. И мальчик был для них вместо отца. Он работал и работал. И хлеб и мясо им покупал и за квартиру платил. По субботам приносил домой десять долларов. Потом Хэнсен положил ему двенадцать долларов. И что же делал Джо? Все

приносил домой матери. И все работал и работал. Хэнсен положил ему двадцать долларов. Что же делает Джо? Приносит деньги домой. Маленькие братья и сестры ходят в школу, имеют хорошее платье, кушают мясо и хлеб, а мать никаких забот не знает, и в глазах у нее радость, и она гордится своим сыном Джо, потому что он очень хороший мальчик.

А какой он красавец, как сложен! Ах ты, боже ж ты мой! Он сильнее быка, проворней тигра, а голова ясная, холодная как лед, глаза быстрые, все видят, так и стреляет ими. Он бился с парнями на складе Хэнсена, а потом с парнями из магазина. А потом дрался в клубе и нокаутировал Спайдера — в один момент, раз — и готово! Приз — пять долларов! И что же он сделал? Принес деньги домой и отдал матери.

Он стал часто выступать в клубах; все призы брал: десять долларов, пятьдесят, сто долларов… И что же он сделал, как ты думаешь? Бросил службу у Хэнсена? Начал кутить с приятелями? Ничего подобного! Он хороший мальчик: работает, как работал, а вечером бокс в клубе. И вот он мне говорит. «Силверстайн, — говорит, — чего ради я плачу за квартиру?» Что я ему ответил, это неважно, но он пошел и купил хорошенький

домик для своей матери. И все работал и работал у Хэнсена, а по вечерам выступал в клубе, чтобы оплатить домик. Купил сестрам рояль, купил ковры на стены, повесил картины. И еще скажу: он честный боксер, он ставит на самого себя. Это хороший знак, если боксер ставит на самого себя, вот тогда-то и надо делать на него ставку…

Но тут миссис Силверстайн застонала от ужаса и отвращения ко всякому азарту, а ее муж, спохватившись, что собственное красноречие завело его слишком далеко, принялся клятвенно уверять разъяренную супругу, что он в большом выигрыше.

— И этим я обязан Джо Флемингу, — заключил он. — Я всегда ставлю на него и всегда выигрываю.

Но Дженевьева и Джо самой природой были созданы друг для друга, и ничто, даже это страшное открытие, не могло разлучить их. Тщетно Дженевьева пыталась ожесточиться против Джо. Она боролась со своей любовью, а не с ним, и ей самой было удивительно, что она находит тысячу причин, оправдывающих Джо, и что он все так же дорог ей; и она, как истая женщина, решила войти в его жизнь, повернуть его судьбу по-своему. Их совместное будущее рисовалось ей

в радужном свете; и она не замедлила одержать первую блестящую победу: Джо уступил ее просьбам и дал слово отказаться от бокса!

А Джо, как истый мужчина, одержимый любовной мечтой, стремясь к обладанию бесценным, неземным предметом своих желаний, не устоял перед Дженевьевой. И все же даже в ту минуту, когда он давал ей слово, он смутно, в самой глубине души, чувствовал, что не сможет отречься от Игры: где-то, когда-то, вероятно, не скоро, но он непременно вернется к ней. И перед его мысленным взором мгновенно промелькнули мать, братья и сестры, их многочисленные нужды, дом, который постоянно требует покраски и побелки, налоги и обложения, дети, которых родит ему Дженевьева, и сумма его жалованья на складе Хэнсена. Но он тотчас отогнал от себя эту пугающую картину, отмахнулся, как всегда бывает в таких случаях, от предостерегающего голоса рассудка; он видел одну только Дженевьеву, чувствовал только, что его влечет к ней, что всем существом своим он жаждет ее любви, и он беспечно подчинился ее воле, а она так же беспечно присвоила себе власть над его жизнью и действиями.

Ему было двадцать лет, ей — восемнадцать,

юная чета, созданная для продолжения рода, оба цветущие, крепкие, с румянцем здоровья на щеках; и когда они вместе выходили гулять, то даже в незнакомой воскресной толпе на берегу бухты все взоры обращались на них. Мужественная красота Джо не уступала ее девичьей прелести; ее грация была под стать его силе, изящество и нежность сложения — его стройной, мускулистой фигуре. Не одна женщина, стоявшая много выше Джо на общественной лестнице, заглядывалась на его открытое, простодушное лицо с широко расставленными ярко-синими глазами. Сам он не замечал этих взоров, не видел их почти матерински-ласкового призыва, но Дженевьева видела и понимала; и при мысли, что он принадлежит ей, что он в ее власти, бурная радость охватывала ее. Нельзя сказать, чтобы Джо не замечал взглядов, которые мужчины бросали на Дженевьеву, — эти взгляды даже сердили его, но сама Дженевьева несравненно лучше, нежели он, понимала их смысл.

Глава III

Дженевьева надела щегольские ботинки Джо на тонкой подошве и, заливаясь смехом, вытянула ноги, а Лотти, тоже весело хохоча, нагнулась, чтобы подвернуть ей штанины. Лотти, сестра Джо, была посвящена в их тайну; это она уговорила мать пойти в гости к соседям, и теперь весь дом был в их распоряжении. Обе девушки спустились вниз на кухню, где их поджидал Джо. Он вскочил, увидев Дженевьеву, и лицо его просияло любовью и счастьем.

— Скорей, Лотти, подбери ей юбку, — крикнул он. — Надо поторапливаться. Так хорошо, сойдет. Видны будут только края брюк; пальто все прикроет. Сейчас посмотрим, как это получится. Я взял пальто у Криса. Славный малый! А уж ловок, ой-ой! Маленький такой, проворный, — болтал Джо, надевая на Дженевьеву пальто; оно доходило ей до пят, но сидело на ней отлично, точно на нее было сшито.

Джо нахлобучил ей на голову кепку и поднял воротник. Он был так широк, что доходил до края кепки, и под ним исчезли волосы Дженевьевы. Когда Джо застегнул верхнюю пуговицу, концы

воротника закрыли щеки, рот и подбородок Дженевьевы, и, только приглядевшись, можно было различить затененные козырьком глаза и чуть белевший нос. Она прошлась по комнате, но и при ходьбе из-под пальто виднелись лишь края штанин.

— Азартный игрок, не пропускающий ни одной встречи. Схватил насморк и кутается, чтобы не заболеть, — смеясь, говорил Джо, любуясь делом своих рук. — А у тебя много денег с собой? Я держу десять против шести. Хочешь поставить шесть?

— А это на кого? — спросила Дженевьева.

— На Понту, конечно, — с обидой в голосе ответила Лотти, давая понять, что тут никаких сомнений быть не может.

— Хорошо, — кротко сказала Дженевьева, — только я ничего в этом не смыслю.

На этот раз Лотти промолчала, но по ее лицу было видно, что замечание Дженевьевы тоже показалось ей обидным. Джо посмотрел на часы и объявил, что пора отправляться. Лотти обняла брата и крепко поцеловала в губы; потом она поцеловалась с Дженевьевой. Джо обнял сестру за талию, и она проводила их до калитки.

— Что это значит — десять против шести? — спросила Дженевьева, когда они вышли на улицу;

шаги их гулко отдавались в морозном воздухе.

— Это значит, что я фаворит, — ответил Джо. — Вот зрители на ринге и держат пари на десять долларов, что я выиграю встречу, а другие держат пари на шесть долларов, что я проиграю.

— Но если ты фаворит и все уверены, что ты выиграешь, то почему же держат пари против тебя?

— На то и состязание, — засмеялся Джо. — Мнения расходятся. А кроме того, всегда есть надежда на меткий удар, на непредвиденный случай. Мало ли что может быть, — добавил он серьезно.

Она в страхе обхватила его руками и прижала к себе, словно хотела защитить от опасности, но он весело засмеялся.

— Погоди, погоди, сама увидишь. Ты только не пугайся вначале. Первые раунды будут свирепые. Это сильная сторона Понты. Он напористый, просто не человек, а вихрь, так и молотит кулаками и побеждает противника в первых раундах. Так он нокаутировал многих боксеров, которые выше его по классу. Мое дело — выдержать его натиск, только и всего. А потом он выдохнется. И вот тут-то я возьмусь за него. Следи хорошенько, ты поймешь, когда я начну наступать. Он от меня не уйдет.

Они подошли к стоявшему на темном углу зданию, где, судя по вывеске, помещался спортивный клуб; на самом же деле здесь устраивались только состязания по боксу под наблюдением полицейских властей. Джо, оставив Дженевьеву, первым вошел в подъезд, она последовала за ним.

— Только не вынимай рук из карманов, — предостерег ее Джо, — и все сойдет отлично. Каких-нибудь две минуты.

— Он со мной, — сказал Джо швейцару, разговаривавшему с полисменом, И швейцар и полисмен дружески кивнули Джо, не обратив никакого внимания на его спутника.

— Они не догадались. И никто не догадается, — шепнул Джо, когда они подымались по лестнице на второй этаж. — А если кто что-нибудь и подумает, то все равно ради меня будет молчать. Да и как узнать, кого я привел? Сюда, вот сюда!

Он отворил дверь в тесную комнату — что-то вроде конторы, — усадил Дженевьеву на пыльный стул с продавленным сиденьем и ушел. Через несколько минут он вернулся в длинном купальном халате и парусиновых башмаках. Дженевьева, дрожа от страха, прильнула к нему. Он нежно обнял ее одной рукой.

— Не бойся, Дженевьева, — сказал он ободряюще. — Я все уладил. Никто не узнает.

— Я за тебя боюсь, Джо, — проговорила Дженевьева. — Мне все равно, что будет со мной. Я боюсь за тебя.

— Все равно, что будет с тобой? А я думал, именно это тебя тревожит!

Он смотрел на нее с изумлением, пораженный этим новым, ярчайшим свидетельством величия женской души, хотя Дженевьева уже не раз восхищала его чуткостью и глубиной своих чувств, С минуту он не мог вымолвить ни слова, потом проговорил, запинаясь от волнения:

— За меня боишься? И тебе все равно, что могут про тебя подумать? Ни о чем, кроме меня, не заботишься? Ни о чем?

Громкий стук в дверь и зычный окрик — «Где ты там прохлаждаешься!» — вернули Джо к действительности.

— Скорей, Дженевьева, поцелуй меня еще раз, — прошептал он проникновенно. — Сегодня моя последняя встреча, и я буду биться, как еще никогда не бился: ведь ты увидишь меня на ринге!

Минуту спустя, все еще чувствуя на губах прикосновение его горячих губ, Дженевьева

очутилась в кучке суетящихся молодых людей; никто, казалось, не замечал ее. Некоторые были без пиджаков, в рубашках с засученными рукавами. Окружив Дженевьеву, они вместе с ней вошли в зал через задние двери и медленно зашагали по боковому проходу.

Полутемный зрительный зал, сильно смахивавший на сарай, был переполнен; в густых клубах табачного дыма лишь смутно виднелись люди и предметы. Дженевьева подумала, что она сейчас задохнется. В зале стоял глухой гул мужских голосов, в который врывались пронзительные крики мальчишек — продавцов афиш и содовой воды. Кто-то предлагал пари — десять против шести — за Джо Флеминга. Голос звучал монотонно, безнадежно, как показалось Дженевьеве, и она с гордостью сказала себе: еще бы, кто же решится ставить против ее Джо!

Но не одна гордость за Джо волновала ее. Воображение у нее разыгралось, когда она проникла в этот вертеп, куда женщины не допускались. Что могло быть увлекательней такого приключения? Все здесь неизведанно, таинственно, страшно. К тому же она впервые в жизни отважилась на такой дерзкий поступок, впервые переступила узкие границы благопристойности, установлен-

ные самым беспощадным из тиранов — судом кумушек рабочего квартала. Дженевьеве стало жутко, жутко за себя, хотя минуту назад она думала только о Джо.

Дженевьева не заметила, как дошла до другого конца зала и, поднявшись на несколько ступенек, очутилась в маленькой боксерской уборной. Здесь тоже было полно мужчин, и Дженевьева решила, что все они так или иначе причастны к Игре. Тут Джо покинул ее. Но не успела она испугаться за свою дальнейшую судьбу, как один из ее спутников грубовато сказал: «Эй ты, иди за мной!» Протиснувшись следом за ним к двери, она увидела, что еще один телохранитель идет позади.

Они проходили по каким-то подмосткам, где зрители сидели в три ряда, и тут Дженевьева впервые бросила взгляд на ринг. Она шла на одном уровне с площадкой, и так близко, что могла бы коснуться рукой натянутых вокруг нее канатов. Пол был покрыт брезентом. За рингом и по обе стороны его Дженевьева, словно в тумане, увидела переполненный зал.

Комната, из которой она вышла, упиралась в один из углов ринга. Пробравшись вместе со своим проводником по рядам, она вошла в такую

же тесную каморку, примыкавшую к противоположному углу ринга.

— Сиди тут смирно и жди, когда я приду за тобой, — сказал молодой человек, указывая на отверстие, проделанное в стене.

Глава IV

Она кинулась к глазку и увидела прямо перед собой ринг. Он весь был как на ладони. И только кусок зрительного зала не попадал в ее поле зрения. Над площадкой ярко горел пучок газовых рожков. На подмостках, вдоль которых она только что пробиралась, в первом ряду сидели люди с карандашами и блокнотами, и Дженевьева поняла, что это репортеры местных газет; один из них жевал резинку. Остальные два ряда занимали пожарники из ближайшей пожарной части и несколько полисменов в форме. В середине первого ряда, между двумя репортерами, сидел совсем еще молодой начальник полиции. Дженевьева с удивлением узнала в одном из зрителей по ту сторону ринга мистера Клаузена. Белый, румяный, с внушительными бакенбардами, он чинно сидел у самого ринга, в первом ряду. Несколькими местами дальше, в том же ряду, она увидела красное от волнения, морщинистое лицо Силверстайна.

Под жидкие аплодисменты публики несколько молодых людей без пиджаков пролезли под канатом с ведерками, бутылками, полотенцами

и прошли через площадку в угол наискосок от Дженевьевы. Один из них сел на табурет и прислонился спиной к канатам. На нем был плотный белый свитер, на голых ногах парусиновые башмаки. Другая группа молодых людей заняла угол прямо перед Дженевьевой. Раздались дружные аплодисменты, и, приглядевшись, она узнала Джо: он сидел на стуле в том же купальном халате, и его коротко остриженные каштановые кудри приходились на расстоянии метра от ее глаз.

Молодой человек с пышной шевелюрой и в высоченном крахмальном воротничке, облаченный в черную пару, вышел на середину ринга и поднял руку.

— Просим почтеннейшую публику не курить, — сказал он.

Просьба была встречена громким ропотом и свистом. И Дженевьева с возмущением заметила, что все преспокойно продолжают дымить. Мистер Клаузен выслушал предупреждение распорядителя, держа в руках зажженную спичку, и как ни в чем не бывало закурил сигару. Дженевьева почувствовала к нему острую ненависть. Как может ее Джо драться в таком дымище? Ей и то нечем дышать, а она ведь просто сидит, не двигаясь.

Распорядитель подошел к Джо. Тот встал; купальный халат соскользнул с него, и Джо вышел на середину ринга обнаженный, в одних парусиновых башмаках и в коротких белых трусах. Дженевьева потупилась. Она была одна, никто не мог видеть ее, и все же она вся вспыхнула от жгучего стыда, увидев наготу своего возлюбленного. Но тут же взглянула опять, хоть совесть и мучила ее: ведь ясно, что видеть его таким — грешно. И волнение, поднявшееся в ней, и страстный порыв, толкавший ее к нему, — конечно, это грех. Но то был сладостный грех, и, отвергнув правила общепринятой морали, она не отводила глаз от своего возлюбленного. Изначальный инстинкт, первородный грех, вся могучая природа властно заявляли о себе. Словно зазвучали тихие голоса матерей минувших тысячелетий и первый крик еще не рожденных младенцев. Но этого она не знала, знала только, что она грешница, и с гордо поднятой головой приняла отважное решение сбросить с себя все оковы и до дна испить чашу греха.

Она никогда не задумывалась о человеческом теле, скрытом под одеждой. Тело существовало в ее представлении только как лицо и руки. Дитя цивилизации, облачившей человека в одежды,

она без одежды не мыслила человека. Людская порода была для нее породой одетых двуногих, с голым лицом, голыми руками и поросшей волосами головой. Когда она думала о Джо, перед ней тотчас возникал образ ее возлюбленного: кудрявый юноша с нежным девичьим румянцем, синими глазами — и, конечно, в одежде. А теперь он, божественно прекрасный, стоял почти обнаженный, в ослепительном белом свете. И Дженевьева внезапно подумала, что бог всегда рисовался ей в обличье обнаженного, полускрытого в тумане существа. Эта мысль, сближавшая ее возлюбленного с всевышним, показалась ей кощунственной, еретической, и она испугалась ее, как самого тяжкого греха.

Вкус Дженевьевы был воспитан на олеографиях, но врожденное чувство прекрасного подсказало ей, что перед глазами у нее истинное чудо красоты. Ей всегда нравилась наружность Джо, но эта наружность была неразрывно связана в ее представлении с одеждой, и Дженевьеве казалось, что Джо так привлекателен потому, что хорошо одевается. Ей и не снилось, какая совершенная красота может скрываться под одеждой. Это открытие ошеломило ее. Кожа у Джо была белая, как у женщины, и несравненно более

гладкая, шелковистая, почти без растительности. Это Дженевьева заметила; всем остальным: изяществом линий, гармоничностью мускулистого, хорошо развитого тела — она лишь безотчетно любовалась. Весь облик Джо дышал чистотой и грацией. Озаренное улыбкой лицо, точеное, словно камея, казалось еще более юным, чем всегда.

Джо улыбался потому, что распорядитель положил ему руку на плечо и, повернув его лицо к публике, сказал:

— Рекомендую: Джо Флеминг, краса и гордость Уэст-Окленда.

Зрители бешено захлопали. Раздались громкие крики, восторженные возгласы.

— Джо! Наш Джо! — неслось со всех концов зала.

Джо вернулся в свой угол. Никогда еще не казался он Дженевьеве столь не похожим на боксера. У него такие кроткие глаза, ни во взгляде, ни и выражении рта нет ничего свирепого, зверского, а телом он слишком хрупок, и кожа нежная, гладкая, а лицо совсем мальчишеское, доброе и одухотворенное. Ее неискушенный глаз не замечал мощной грудной клетки, широких ноздрей, глубокого дыхания, вздувшихся бугров мышц под атласной кожей, — не видел всех этих

тайников подспудных сил, созданных, чтобы служить разрушению. Он представлялся ей фарфоровой статуэткой, с которой нужно обращаться бережно, любовно, потому что от одного грубого прикосновения она может разбиться вдребезги.

Джон Понта, после того как два его секунданта с трудом стащили с него белый свитер, тоже вышел на середину ринга. И Дженевьева содрогнулась от ужаса, взглянув на него. Вот это боксер! Зверь с низким, как у обезьяны, лбом, с крошечными глазами под насупленными косматыми бровями, с приплюснутым носом, толстогубым, угрюмым ртом. Дженевьева со страхом смотрела на его квадратную нижнюю челюсть, бычий загривок, на прямые, коротко остриженные волосы, похожие, казалось ей, на жесткую кабанью щетину. Вот где грубость и жестокость — свирепое первобытное варварство. Кожа, смуглая почти до черноты, была покрыта на груди и плечах порослью, курчавой, как собачья шерсть. Широкая грудь, мощные ноги, непомерно вздувшиеся мышцы — в этом не было ни намека на красоту и гармонию. Он как бы весь состоял из бугров, узлов и шишек; от избытка физической силы тело его утратило человеческий облик.

— Джон Понта из спортивного клуба Уэст-

бэй, — сказал распорядитель.

Публика холодно приветствовала его. Симпатии зрителей были явно на стороне Джо.

— Валяй! Съешь его, Понта! Съешь! — крикнул чей-то голос в наступившей тишине.

Во всех концах зала раздались насмешливые возгласы, презрительные замечания. Понта злобно оскалил зубы и, повернувшись, прошел в свой угол. Он и не мог рассчитывать на теплый прием у публики, безотчетно питавшей к нему неприязнь, — слишком явно проступали в нем черты первобытной дикости; это было животное, лишенное всего духовного, неспособное мыслить — опасное чудовище, внушавшее страх, как внушает страх тигр или змея, — место которому в железной клетке, а не на воле.

И Понта понимал, что зрители против него. Как затравленный зверь, окруженный охотниками, он медленно обвел ненавидящим взглядом лица своих врагов. От этого взгляда маленький Силверстайн, восторженно выкрикивавший имя Джо, скорчился, будто его опалило огнем, и язык прилип у него к гортани. Дженевьева видела это. И когда глаза Понты встретились с ее глазами, она тоже отшатнулась и вся съежилась. В следующее мгновение Понта остановил свой взгляд на

Джо. Дженевьеве казалось, что Понта нарочно разжигает в себе ненависть. Джо посмотрел на противника ясным мальчишеским взором, но лицо у него стало суровым.

Распорядитель вывел на середину еще одного молодого человека, без пиджака, с приветливым, добродушным лицом.

— Рекомендую: Эдди Джонс, судья предстоящего состязания, — сказал распорядитель.

— Эдди! Наш Эдди! — кричали зрители, дружно аплодируя судье, который, как отметила Дженевьева, тоже, видимо, был любимцем публики.

Противники с помощью своих секундантов уже натягивали перчатки. Один из секундантов Понты прошел в угол Джо и проверил его перчатки, прежде чем Джо надел их. По знаку судьи оба противника вышли на середину ринга, за ними — секунданты. Джо и Понта оказались лицом к лицу, между ними — судья. Секунданты стояли, положив руки друг другу на плечи и вытянув шеи. Судья что-то говорил, и все внимательно слушали.

Потом группа распалась, и распорядитель снова вышел вперед.

— Вес Джо Флеминга — сто двадцать восемь, — объявил он, — Джона Понты

— сто сорок. Бой продолжается до тех пор, пока одна рука свободна, и при выходе из клинча противники должны соблюдать осторожность. Напоминаем публике, что бой будет вестись до окончательного результата. Наш клуб не признает состязаний вничью.

Распорядитель, согнувшись, пролез под канатом и соскочил с площадки. Секунданты тоже ушли из своих углов, унося с собой табуреты и ведра. На ринге остались только оба противника и судья. Раздался удар гонга. Противники быстро вышли на середину. На одну секунду их правые руки сошлись в мнимом рукопожатии. И сразу же Понта начал с ожесточением наносить удары правой и левой, но Джо уклонился, отскочив назад. Словно камень, пущенный из пращи, Понта снова налетел на Джо.

Бой начался. Дженевьева следила за ним, судорожно прижав руку к груди. Этот град ударов, проворство и ожесточение, с каким Понта наносил их, приводили ее в ужас. Она была уверена, что он искалечит Джо. По временам она не видела лица Джо, его заслоняли быстро мелькавшие перчатки, но она слышала гулкие удары, — и каждый раз у нее от страха тошнота подступала к горлу. Она не знала, что это просто боксерская

перчатка стукается о перчатку или о плечо, не причиняя вреда.

Вдруг картина боя изменилась: противники крепко держали друг друга в объятиях; ни тот, ни другой не наносил ударов. Дженевьева догадалась, что это и есть «клинч», о котором говорил ей Джо. Понта старался вырваться, Джо не выпускал его. Судья крикнул: «Разойтись!» Джо хотел отступить, но Понте удалось высвободить руку, и Джо, чтобы увернуться от удара, снова обхватил противника. Но на этот раз его перчатка была прижата ко рту и подбородку Понты, и когда судья вторично крикнул: «Разойтись!», — Джо запрокинул противнику голову и отскочил от него.

В течение нескольких кратких мгновений Дженевьеве ничто не мешало видеть возлюбленного. Его левая нога была слегка выдвинута вперед, корпус и колени чуть согнуты, голова опущена, и приподнятые плечи прикрывали ее. Руки он держал перед собой, готовый и к защите и к нападению. Все мускулы его были напряжены, — и Дженевьева видела, как при каждом движении они, словно живые, свиваются клубком и перекатываются под белой кожей.

Понта снова наступал, и Джо приходилось туго. Он еще ниже пригнулся, как бы сжался весь,

и стойко принимал удары, подставляя плечи, локти, руки. Удары градом сыпались на него, и Дженевьеве казалось, что ему ни за что не уйти живым. Но он стоял под ударами, отражая их плечом или перчаткой, то откидываясь назад, то клонясь вперед, словно дерево, раскачиваемое ветром. Только услышан аплодисменты и бурные крики зала: «Молодец, Джо! Держись!» — и увидев, как Силверстайн, не помня себя от восторга, едва не вскочил со стула, Дженевьева поняла, что Джо не только не грозит гибель, а, напротив, он держится хорошо. Но Понта не отступал, и свирепый вихрь его ударов лишь в редкие мгновения не заслонял от Дженевьевы ее возлюбленного.

Глава V

Прозвучал гонг. Дженевьеве казалось, будто бой длился не менее получаса, но, по рассказам Джо, она знала, что прошло всего три минуты. Секунданты Джо, проскочив под канатами на площадку, бегом уводили его в угол для блаженной минуты отдыха. Один из них, присев перед Джо на корточки и держа на коленях его ноги, изо всех сил растирал ему икры. Джо сидел на стуле, далеко запрокинув голову, положив вытянутые руки на канат, и глубоко дышал всей грудью. Рот его был широко раскрыт, и двое секундантов махали перед ним полотенцами; еще один секундант вытирал ему лицо и грудь, и нашептывал что-то на ухо.

Едва закончились эти манипуляции, занявшие всего несколько мгновений, как снова раздался гонг; секунданты, подхватив свои ведра и полотенца, шмыгнули под канаты, а Джо и Понта уже сходились на середине площадки. Дженевьева никогда не думала, что минута может быть такой краткой. У нее даже мелькнула мысль, что отдых сократили нарочно, и она на секунду заподозрила что-то неладное, сама не зная что.

Понта нападал так же яростно, как в первом раунде, работая правой и левой, и Джо, хотя и успешно отражал удары, но все же не смог устоять и отступил на несколько шагов; чтобы не потерять равновесия, он невольно вскинул одну руку и слегка приподнял голову. Понта прыгнул на него, словно тигр, целя в незащищенный подбородок противника. Но Джо сделал движение, словно ныряя, и кулак Понты прошел над его затылком. Едва Джо выпрямился, Понта направил на него такой прямой удар левой, который должен был перебросить Джо за канаты. Но Джо опять на какую-то долю секунды опередил противника и успел пригнуться, — кулак Понты скользнул по лопатке Джо и повис в воздухе. Понта повторил удар правой, но Джо опять увернулся и благополучно вошел в клинч.

Дженевьева с облегчением перевела дух; она чувствовала слабость во всем теле, ей едва не сделалось дурно. Публика восторженно аплодировала. Силверстайн, стоя, орал и размахивал руками, как бесноватый. И даже мистер Клаузен выражал свое восхищение, во всю мочь крича что-то в ухо соседу.

Но вот противники вышли из клинча, и бой возобновился. Джо закрывался, отступал, скользил

по площадке, увертываясь от ударов, выдерживая стремительный натиск противника. Сам он редко наносил удары, ибо у Понты был зоркий глаз и он умел защищаться не хуже, чем нападать. У Джо не было никаких шансов сломить чудовищную силу Понты, — все надежды он возлагал на то, что Понта в конце концов сам выдохнется.

Однако Дженевьеву удивляло, почему ее возлюбленный только защищается. Ей даже стало досадно: она хотела, чтобы Джо отомстил этому зверю, который так свирепо нападает на него! Но в ту минуту, когда она уже готова была рассердиться, Джо изловчился и с силой ударил Понту в челюсть. Удар был сокрушительный, голова Понты запрокинулась, и на губах у него выступила кровь. Зрители приветствовали удачу Джо оглушительным ревом, и Понта разозлился. Не помня себя от бешенства, он ринулся на Джо. Все прежние его наскоки были ничто по сравнению с этим неистовым ураганом. Джо уже не пытался ответить ударом на удар: ему понадобились все его силы, чтобы выдержать вызванную им бурю, и он едва успевал отражать нападение, увертываться от ударов и искать передышки и спасения в клинче.

Но и в клинче не было полного отдыха и

безопасности. Нужно было неустанно и зорко следить за противником, а в выходе из клинча таилась еще большая угроза. Дженевьева даже чуть улыбнулась, глядя, как крепко Джо прижимается к Понте; она не понимала, для чего это нужно, пока Понта, прежде чем Джо успел к нему прилипнуть, не нанес удар снизу вверх и кулак его чуть не пришелся по подбородку Джо. В следующем клинче, когда Дженевьева уже вздохнула свободно, считая, что Джо в безопасности, Понта, перегнувшись через его плечо, занес правую руку и с размаху опустил кулак на поясницу Джо. Зрители охнули в тревоге за своего любимца, а Джо молниеносно стиснул локти противника, чтобы предотвратить второй такой удар.

Опять раздался гонг, и после минутного отдыха бой возобновился. Джо даже не успел выйти из своего угла, как Понта через всю площадку кинулся на него. Там, где Джо получил удар в поясницу, на белой коже ярко алело пятно; оно было большое — величиной с перчатку Понты, и Дженевьева с тоской смотрела на этот багровый след, не в силах отвести глаза. Уже в следующем клинче Понта повторил свой убийственный удар в область почек. После этого Джо был настороже, и почти всегда ему удавалось избежать удара,

нажимая перчаткой на подбородок Понты и запрокидывая ему голову, но раньше, чем кончился раунд, Понта трижды повторил этот прием, и каждый раз бил по тому же уязвимому месту.

Прошел еще один минутный перерыв и еще один раунд, который не дал преимуществ ни тому, ни другому противнику. В начале пятого раунда Джо, прижатый в углу, сделал вид, что идет на клинч. Но в последний миг, когда Понта приготовился обхватить его, он слегка отклонился назад и ударил Понту в незащищенное место — под ложечку, ударил с молниеносной быстротой четыре раза подряд, правой и левой. Удары, видимо, были сокрушительные, потому что Понта зашатался, отпрянул, руки у него повисли, плечи опустились, — казалось, он сейчас перегнется пополам и рухнет. Увидев, что противник раскрылся, Джо, не давая ему передышки, ударил его в губы, потом размахнулся, целя в челюсть, но промазал — удар пришелся по щеке, и Понта отлетел в сторону.

Публика неистовствовала. Все вскочили на ноги, хлопали, кричали. Дженевьева слышала возгласы: «Крышка Понте, крышка!», — и ей казалось, что сейчас наступит желанный конец. Она тоже была вне себя, от ее обычной кротости

и добросердечия не осталось и следа: она ликовала при каждом убийственном ударе, который наносил ее возлюбленный.

Однако силы Понты далеко еще не были исчерпаны. Теперь уже не он наступал на Джо, а Джо, как тигр, преследовал его. Еще раз он нацелился в подбородок Понты, но тот уже успел оправиться и увернулся. Кулак Джо повис в воздухе. И так велика была сила инерции, что Джо отлетел в сторону, описав пол-оборота. Понта мгновенно нанес удар левой по незащищенной шее противника. Руки Джо бессильно повисли, он качнулся вперед, назад и упал навзничь. Судья, наклонившись над ним, стал громко отсчитывать секунды, сопровождая счет взмахами правой руки.

В зале стояла мертвая тишина. Понта повернулся было к публике, ожидая заслуженного одобрения, но никто не нарушил гробового молчания. Гнев охватил Понту. Это было несправедливо: стоило противнику нанести удар или увернуться от удара, весь зал аплодировал; а он, Понта, который с самого начала захватил инициативу, не удостоился ни единого хлопка.

Глаза Понты злобно сверкнули, и, подобравшись, он подскочил к своему поверженному врагу. Пригнувшись над ним и занеся правую

руку, он ждал, когда Джо начнет подниматься, чтобы обрушить на него удар. Судья, продолжая отбивать счет правой рукой, левой оттолкнул Понту. Тот попробовал обойти его, но судья шел за ним, отталкивая его и не подпуская к распростертому на полу Джо.

— Четыре, пять, шесть, — отсчитывал судья. Джо, повернувшись, лег ничком и попытался встать на колени. Сначала он согнул одну ногу, опираясь обеими руками в пол, потом стал подтягивать другую.

— Счет! Выжди счет! — раздались голоса из зала.

— Не спеши! Выжди счет! — предостерегающе крикнул стоявший возле ринга секундант Джо. Дженевьева быстро взглянула на него: лицо молодого парня было очень бледно, он бессознательно шевелил губами, считая секунды вместе с судьей:
— Семь, восемь, девять…

Девятая секунда истекла, судья в последний раз оттолкнул Понту, и Джо поднялся на ноги, готовый к защите. Он был слаб, но спокоен, очень спокоен. Понта набросился на него с ужасающей силой, нанеся один за другим два удара — прямой и снизу вверх. Джо отразил оба удара, увернулся от третьего, сделал шаг в сторону, чтобы избе-

жать четвертого, но Понта новым градом ударов загнал его в угол. Джо явно слабел, колени у него подгибались, он едва стоял на ногах. Понта прижал его к канатам — больше отступать было некуда. Передохнув для верности, Понта сделал выпад левой и всю свою силу вложил в удар правой. Но Джо вошел в клинч, и это спасло его.

Понта отчаянно вырывался; он хотел прикончить врага, которого уже считал побежденным, но Джо вцепился в него и не отпускал; как только Понте удавалось хоть немного освободиться. Джо снова обхватывал его.

— Разойтись! — скомандовал судья. Джо еще крепче сжал противника.

— Заставьте его! Почему, черт возьми, вы не оттащите его? — задыхаясь, крикнул Понта судье. Тот снова скомандовал противникам разойтись. Но Джо не подчинился, зная, что этим не нарушает правил. С каждым мгновением силы его восстанавливались, мысли прояснялись, туман перед глазами рассеивался. Раунд еще только начался, и ему надо было во что бы то ни стало продержаться ближайшие три минуты.

Судья одной рукой схватил за плечо Джо, другой Понту и силой заставил их разойтись, протиснувшись между ними. Оторвавшись, Понта прыгнул

на Джо, словно хищный зверь на свою добычу. Но Джо закрылся, отразил удар и снова вошел в клинч. Опять Понта старался вырваться, опять Джо не выпускал его, и судья разнял их. И опять Джо, увернувшись от удара, вошел в клинч.

Дженевьева понимала, что пока Джо в клинче, он в безопасности. Так почему же судья разнимает их? Это бесчеловечно. Когда Эдди Джонс скомандовал «разойтись!», она с ненавистью смотрела на его круглое добродушное лицо и, привстав на стуле, так судорожно сжимала руки, что ногти больно впивались в ладонь. Весь раунд, все три томительно долгие минуты противники только и делали, что обхватывали друг друга и по команде судьи расходились. Ни разу Понте не удалось нанести последний, решающий удар. Он обезумел от ярости, чувствуя свое бессилие перед явно ослабевшим и почти побежденным противником. Достаточно одного удара, одного-единственного — и он не может нанести его! Опыт и хладнокровие спасли Джо от поражения. Едва держась на ногах, с затуманенным сознанием, он изо всех сил цеплялся за противника и не отпускал его, пока не чувствовал нового прилива сил. Когда Понта, доведенный до исступления, попытался было приподнять Джо и бросить его

наземь, из зала донесся пронзительный голос Силверстайна:

— Ты бы еще укусил его!

В зале стояла такая тишина, что эти язвительные слова услышали все. Они разрядили напряжение, и зрители, только что пережившие тревогу за своего любимца, так и покатились со смеху. Хохотали громко, неудержимо, с истерическими взвизгиваниями. Даже Дженевьеву рассмешила шутка Силверстайна, и ее страх за Джо немного рассеялся, но она чувствовала слабость и дурноту: все, что происходило на ринге, внушало ей ужас.

— Укуси его! Укуси! — кричали голоса из зала. — Отгрызи ему ухо! Слышишь, Понта? Иначе ты его не возьмешь! Съешь его! Съешь! Чего ты ждешь?

Под градом насмешек Понта начал терять самообладание. Чем больше он свирепел, тем хуже дрался. Он пыхтел, всхлипывал, даром тратил силы; выдержка и здравый смысл изменили ему, и он тщетно пытался возместить их ужасающей силой своих ударов. Он уже ни о чем не думал — им владела слепая жажда уничтожить врага; в клинче он встряхивал Джо, словно терьер, поймавший крысу, и с ожесточением вырывался,

стараясь высвободить руки. А Джо между тем невозмутимо держал его и не отпускал. Судья самоотверженно и честно старался их разнять. Это была нелегкая задача — пот лил с него ручьем. Ему приходилось пускать в ход всю свою силу, чтобы разнять противников, и не успевал он развести их, как Джо снова входил в клинч и все нужно было начинать сызнова. Напрасно Понта пытался увернуться от цепких рук Джо. Он не мог держаться в отдалении от противника: чтобы нанести удар, надо было приблизиться к нему, — и каждый раз Джо опрокидывал его расчеты и замыкал в кольцо клинча.

Скорчившись на стуле перед глазком, прорезанным в стене тесной уборной, Дженевьева тоже чувствовала себя обманутой в своих надеждах. В этом беспощадном смертном бою она была заинтересованной стороной. Ведь один из противников — ее возлюбленный, ее Джо. И вот зрителям все ясно и понятно, а ей — нет. Тайна Игры не открылась ей. Дженевьева не постигла ее чар. Напротив, она стала для нее еще большей загадкой. Чем объяснить ее власть над людьми? Какую прелесть мог находить Джо в этом грубом напряжении вздувшихся мышц, в ожесточенных схватках, свирепых ударах, причиняющих

мучительную боль? Неужели это лучше, чем то, что может дать ему она, — покой, довольство, светлую, тихую радость? За право владеть его сердцем, его помыслами она предлагает дары более щедрые и более драгоценные, чем сулит ему Игра, — но он пленяется обеими: прижимает ее к груди, а сам и не смотрит на нее, прислушиваясь к зову искусительницы, чье таинственное обаяние непонятно ей.

Прозвучал гонг. Раунд кончился клинчем в углу Понты. Молодой бледный секундант тут же вскочил на площадку, подхватил Джо на руки и бегом понес его в противоположный угол; все секунданты принялись лихорадочно растирать ему ноги, хлопать его по животу, оттягивать трусы, чтобы он мог глубже дышать. Впервые видела Дженевьева, как дышат животом, и подумала, что никогда она не дышала так глубоко, так прерывисто, даже если ей случалось бежать за трамваем. Потом она почувствовала острый, резкий запах: к лицу Джо приложили губку, пропитанную нашатырным спиртом, и он вдыхал его, чтобы освежить голову. Он прополоскал рот и горло, пососал ломтик лимона, и все это время секунданты, как одержимые, обмахивали его полотенцами, вгоняя кислород ему в легкие, что-

бы кровь очистилась и обновленная потекла по жилам в предстоящей схватке. Его разгоряченное тело обтирали мокрыми губками, а на голову лили воду из бутылок.

Глава VI

Гонг возвестил начало шестого раунда, и противники выступили из своих углов; капли воды еще поблескивали на их коже. Понта так стремительно кинулся вперед, что они сошлись не на середине ринга, а ближе к углу Джо. Понта рассчитывал доконать противника, пока тот еще не совсем оправился. Но Джо выдержал испытание. Он опять был полон сил, и с каждой секундой силы прибывали. Он отразил первый натиск противника, потом сам нанес ему такой удар, что Понта отлетел назад. Джо сделал движение, словно хотел настичь его, но отказался от этого намерения и спокойно принял вихрь ударов, которым Понта ответил на его удар.

Бой протекал, как и вначале: Джо защищался, Понта нападал. Но Понта был недоволен, — он не чувствовал себя хозяином положения; в любой момент, как бы свиреп ни был его натиск, противник мог нанести ответный удар. Джо приберегал силы. На десять ударов Понты он отвечал одним, но его удар почти всегда попадал в цель. Понта был сильнее Джо в нападении, однако одолеть его не мог, а редкие, но искусные удары

Джо говорили о том, что он опасный противник. Понта понял это и стал сдержаннее. Он уже не решался, как в первых раундах, очертя голову набрасываться на Джо, стремясь уничтожить его одним ударом.

Картина боя менялась на глазах. Зрители сразу заметили перемену, и даже Дженевьева поняла это, когда начался девятый раунд. Джо перешел в наступление. Теперь в клинче не Понта, а он наносил противнику убийственные удары в поясницу. Он делал это только раз за один клинч, но зато с сокрушительной силой и в каждом клинче. Выходя из клинча, он наносил Понте удар снизу под ложечку, или боковой удар в челюсть, или прямой в губы. Но как только Понта делал поползновение обрушить на него вихрь ударов, он отскакивал от противника и закрывался.

Так прошло еще два раунда, потом еще один; силы Понты явно убывали, хотя и очень медленно. Задача Джо состояла теперь в том, чтобы измотать противника — не одним ударом и не десятком, а нанося удар за ударом, долго, до бесконечности, пока огромный запас сил Понты не иссякнет. Джо не давал ему передышки, он теснил Понту шаг за шагом, и слышно было, как его выдвинутая вперед левая нога пристукивает

по жесткому брезенту. Потом он прыжком тигра кидался на противника, наносил удар или несколько ударов и, молниеносно отскочив, снова надвигался на Понту. Когда Понта, в свою очередь, переходил к нападению, Джо тщательно закрывался, а потом опять уверенно наступал на противника, пристукивая выдвинутой вперед левой ногой.

Понта медленно, но неуклонно слабел. Никто уже не сомневался в исходе состязания.

— Джо! Наш Джо! — кричали зрители, выражая молодому боксеру свою любовь и восхищение.

— Даже совестно пари выигрывать! — издевалась публика.

— Что же ты не съешь его, Понта? А ну-ка, съешь!

Когда очередной раунд кончился, секунданты Понты с удвоенной энергией принялись за него. Их твердая вера в его чудовищную силу и выносливость поколебалась. Дженевьева следила за их лихорадочной работой, прислушиваясь в то же время к советам, которые молодой бледный секундант давал Джо.

— Не торопись, — говорил он. — Понта выдохся, это верно, но ты не торопись. Я знаю его: у него до самого конца наготове удар. Я видел, как его

били, и казалось, ему крышка — но он держит последний удар про запас. Помню, Микки Салливен совсем загонял его: нокдаун за нокдауном, шесть раз подряд, а потом раскрылся. Понта ударил его в челюсть, и только через две минуты Микки открыл глаза и спросил, что случилось. Так что следи за ним и будь осторожен, не зарывайся. Я ставил на тебя, но еще не считаю, что деньги у меня в кармане.

Понту поливали водой. Когда прозвучал гонг, один из секундантов опрокинул бутылку над его головой. Понта пошел на середину ринга, а секундант последовал за ним, держа над ним перевернутую вверх дном бутылку. Судья закричал на секунданта, и тот убежал с ринга, уронив по дороге бутылку, она покатилась по полу, из нее лилась вода, и судья пинком ноги выбросил ее за канат.

За все время боя Дженевьева ни разу не видела у Джо того выражения, которое промелькнуло на его лице утром, в мебельном магазине, когда он говорил ей о боксе. В некоторых раундах лицо у него было совсем юное, мальчишеское. В те минуты, когда Понта наносил ему самые мучительные удары, оно становилось серым, угрюмым, а позднее, когда он отчаянно цеплялся

за противника, чтобы только выиграть время, его лицо казалось ей грустным. Но теперь он уже не опасался противника: инициатива перешла к нему. И тут Дженевьева увидела его лицо боксера. Увидела — и содрогнулась. Как он далек от нее! Она думала, что знает его, знает до конца, что он в ее власти, — но это лицо, как будто отлитое из стали, эти губы, твердые, как сталь, эти глаза, отсвечивающие стальным блеском, были чужие. «Точно бесстрастное лицо карающего ангела с печатью божьего веленья на челе», — подумала Дженевьева.

Понта сделал попытку возобновить натиск первых раундов, но Джо остановил его ударом в челюсть. Настойчиво, неумолимо, не давая противнику ни секунды передышки, Джо преследовал его. К концу тринадцатого раунда Джо загнал Понту в угол. Понта защищался, но Джо сильным ударом поставил Понту на колени; на десятой секунде он поднялся и сделал попытку войти в клинч, но Джо встретил его четырьмя ударами под ложечку, и, когда прозвучал гонг, Понта, задыхаясь, повалился на руки своим секундантам.

Джо побежал через весь ринг к своему углу.

— Вот теперь моя возьмет, — сказал он своему

секунданту.

— Да, сейчас ты его хорошо потрепал, — ответил тот. — Теперь помочь ему может только случай. Но все же будь осторожен.

Джо наклонился вперед, слегка согнув колени, и замер в позе бегуна, ожидающего сигнала к старту. Как только раздался гонг, он в два прыжка очутился в углу Понты, который только вставал с табурета, окруженный своими секундантами. И здесь, среди секундантов, Джо свалил его ударом правой. Как только Понта вынырнул из хаоса ведерок, табуретов и секундантов, Джо вторично сшиб его с ног. И еще в третий раз Понта растянулся на толу, так и не выбравшись из своего угла.

И тут-то Джо, наконец, превратился в неистовый вихрь. Дженевьева помнила его слова: «Следи хорошенько, ты поймешь, когда я начну наступать». Зрители тоже это поняли. Весь зал был на ногах, из всех глоток неслись неистовые вопли. Слушая этот кровожадный рев толпы, Дженевьева подумала, что точно так, должно быть, воют голодные волки. Теперь, когда она уже не сомневалась в победе своего возлюбленного, в ее сердце нашлось место и для жалости к Понте.

Тщетно пытался он оградить себя от ударов, отражать их, увертываться, входить в клинч.

Джо не давал ему пощады. Нокдаун следовал за нокдауном. Понта падал на брезент навзничь и боком, получал удары и в клинче и в отрыве — мощные, убийственные удары, от которых туманился мозг и мышцы теряли упругость. Джо загонял его в угол и снова выгонял оттуда, опрокидывал на канаты, ждал, пока он выпрямится, и снова опрокидывал. Понта молотил руками по воздуху, с размаху опускал кулак и попадал в пустоту. Ничего человеческого не осталось в нем, — это был дикий зверь, разъяренный, ревущий, затравленный. Он падал на колени, тут же, шатаясь, поднимался, не ожидая десятой секунды, но Джо одним ударом отбрасывал его на канаты.

Весь избитый, измученный, едва держась на ногах, судорожно ловя ртом воздух, задыхаясь и хрипя, с остекленевшим взглядом, Понта метался по рингу, все еще пытаясь поразить противника. Он был смешон и в то же время почти велик в своем упорном стремлении драться до конца, не признавать себя побежденным.

И вдруг — Джо поскользнулся на мокром брезенте. Налитые кровью глаза Понты заметили это, и он понял, что есть еще надежда. В ту же секунду, собрав остатки сил, он нанес молние-

носный, точный удар — снизу в подбородок. Джо упал навзничь. Дженевьева видела, как, падая, обмякло его тело, и услышала глухой стук, когда он затылком ударился о покрытый брезентом пол.

Шум и крики в зрительном зале мгновенно смолкли. Судья, склонившись над распростертым телом, отсчитывал секунды. Понта сделал несколько неверных шагов в сторону и рухнул на колени. Он с трудом поднялся и, повернувшись к залу, обвел зрителей горящим ненавистью взглядом. Ноги у него дрожали, колени подгибались, дыхание с хрипом вырывалось из груди. Он зашатался, качнулся назад и, ощупью схватившись за канат, чтобы не упасть, повис на нем, согнувшись, в полном изнеможении, низко опустив голову, потеряв власть над своим телом. Судья отсчитал роковые десять секунд и указал рукою на Понту: это означало, что победа осталась за ним.

В публике не раздалось ни одного хлопка, и Понта, словно пресмыкающееся, прополз под канатом; секунданты подхватили его под руки и повели через зал по боковому проходу. Джо по-прежнему лежал без движения. Секунданты подняли его, понесли в угол и посадили на табурет. Кое-кто из зрителей стал взбираться

на площадку, но полисмены, уже очутившиеся здесь, грубо сгоняли их.

Дженевьева смотрела на все это в глазок. Она не была сильно встревожена. Ее возлюбленный потерпел поражение, для него это большое разочарование, и она сочувствовала ему, — но и только. Может быть, так даже лучше. Игра предательски обманула его, — тем вернее он будет принадлежать ей одной. Она знала от Джо, что такое нокаут: иногда нокаутированный боксер не сразу приходит в себя. Но тут она услышала, что секунданты требуют врача, и сердце ее сжалось от страха.

Секунданты унесли Джо с ринга, и Дженевьева уже не могла видеть их в свой глазок. Потом дверь распахнулась, и в комнату вошли несколько мужчин: они внесли Джо и положили его на пыльный пол; голову ему поддерживал один из секундантов. Никто, по-видимому, не удивился, застав здесь Дженевьеву. Она подошла к Джо и опустилась возле него на колени. Веки его были опущены, рот приоткрыт. Она взяла его за руку и приподняла ее. Рука была очень тяжелая и такая безжизненная, что Дженевьева испугалась. Она вскинула глаза и посмотрела на секундантов и других мужчин, стоящих вокруг. Казалось, все эти

люди чего-то боятся. Только один не был испуган — он ругался вполголоса, неистово, с ожесточением. Потом Дженевьева оглянулась и увидела, что рядом с ней стоит Силверстайн; он тоже казался испуганным. Он ласково положил ей руку на плечо и участливо сжал его.

От этого участия ей стало страшно. Мысли путались. Кто-то вошел, и все перед ним расступились. Вошедший сердито сказал:

— Уходите! Все уходите! Очистить комнату!

Несколько человек молча повиновались.

— Кто вы такой? — резко обратился он к Дженевьеве. — Да это девушка, черт возьми!

— Ничего, пусть останется, это его невеста, — сказал молодой человек, в котором Дженевьева узнала своего проводника.

— А вы? — запальчиво спросил вошедший у Силверстайна.

— Я с ней, — упрямо ответил старик.

— Это ее хозяин, — объяснил молодой человек. — Все в порядке, я же сказал.

Врач недовольно крякнул и опустился на колени, потом провел рукой по влажной голове Джо, опять крякнул и поднялся на ноги.

— Мне здесь делать нечего, — сказал он, — пошлите за скорой помощью.

Все, что было дальше, казалось Дженевьеяе дурным сном. Вероятно, она лишилась чувств, иначе зачем бы Силверстайну поддерживать ее, обняв одной рукой? Вместо лиц она видела вокруг себя какие-то расплывчатые пятна; до ее слуха долетали обрывки разговора. Молодой человек, служивший ей проводником, упомянул о репортерах.

— Твое имя попадет в газеты, — услышала она голос Силверстайна, донесшийся откуда-то издалека, и, на мгновение очнувшись, она протестующе покачала головой.

Появились какие-то новые лица. Джо вынесли на носилках. Силверстайн застегнул на ней мужское пальто и поднял широкий воротник. Она почувствовала на лице ночную прохладу и увидела над собой ясные, холодные звезды. Ее куда-то втиснули, посадили. Рядом с ней сидел Силверстайн. Джо тоже был здесь: он лежал на носилках, раздетый, прикрытый одеялом. Еще был здесь человек в синем мундире, он что-то сочувственно говорил ей, но она не понимала его слов. Цокали копыта лошадей, и ее уносило куда-то в темную ночь.

Потом опять был свет, звучали голоса, и пахло йодоформом. «Должно быть, — подумала она, —

это больница, вот операционный стол и врачи». Они осматривали Джо. Один из них, темноглазый, с черной бородкой, похожий на иностранца, выпрямился и сказал другому врачу:

— В жизни не видел ничего подобного. Вся задняя часть черепа.

Губы у нее были горячие и сухие. Горло сжимали мучительные спазмы. Но почему она не плачет? Она должна заплакать, она знала, что так нужно. Вот Лотти стоит по другою сторону узкой койки (это была новая картина ее дурного сна) и плачет. Кто-то что-то говорил о коматозном состоянии, о смертельном исходе. Это говорил не тот доктор, с черной бородой, а другой. Но не все ли равно кто? А который теперь час? Словно в ответ на ее немой вопрос за окнами забелел тусклый свет зари.

— Сегодня должна была состояться наша свадьба, — сказала она Лотти.

— Молчи! Молчи! — всхлипнула сестра Джо и, закрыв лицо руками, заплакала навзрыд.

Итак, всему конец: и коврикам, и мебели, и уютному гнездышку; конец свиданиям и прогулкам под звездным небом, счастью любить и быть любимой. Какое чудовище эта Игра, которой она не могла понять! Она с ужасом думала о ее

власти над душами мужчин, о ее злых шутках и предательстве, о непостижимом соблазне, который таится в этой опасной, жестокой и буйной Игре. Из-за нее так жалок удел женщины: она не может заполнить всю жизнь мужчины, для него она только забава, мимолетное развлечение; женщине он дарит свою ласку и нежные заботы, сердечные порывы и минуты счастья, но свои дни и ночи, все устремления, работу ума и работу мышц, самые упорные усилия и самый напряженный труд, всю свою жизненную силу он отдает желанной Игре.

Силверстайн помог ей встать. Она не сопротивлялась. Сон все еще сковывал ее. Старик взял ее под руку и повел к двери.

— Что же ты не поцелуешь его? — вскрикнула Лотти, а в ее темных скорбных глазах вспыхнул гневный укор.

Дженевьева покорно склонилась над бездыханным телом и прижала губы к еще теплым губам Джо. Дверь отворилась перед ней, и она прошла в другую комнату. Там стояла миссис Силверстайн и смотрела на нее сердитым взглядом; когда она увидела, что Дженевьева в мужском платье, в глазах ее вспыхнули мстительные огоньки.

Силверстайн умоляюще глядел на грозную

супругу, но она дала волю своему негодованию:

— Ну, что я тебе говорила? Что? Так нет же, захотелось ей боксера! Вот теперь тебя пропишут во всех газетах! Застали на ринге в мужском платье! Ах ты, бесстыдница! Ах ты, дрянь ты этакая! Ах ты…

Но голос у нее сорвался, слезы полились из глаз, и, протянув толстые руки, неуклюжая, смешная, вся светясь материнской святой любовью, она подошла к безмолвной Дженевьеве и прижала ее к груди. Прерывисто, невнятно шептала она какие-то ласковые слова, тихонько раскачиваясь взад и вперед, поглаживая плечо девушки своей большой тяжелой рукой.

ДЖЕК ЛОНДОН «РАССКАЗЫ РЫБАЧЬЕГО ПАТРУЛЯ» (СБОРНИК РАССКАЗОВ)

Белые и желтые

Залив Сан-Франциско так огромен, что штормы, которые свирепствуют, для океанского судна подчас страшнее, чем самая яростная погода на океане. Какой только рыбы нет в этом заливе, и какие только рыбачьи суденышки с командой из лихих удальцов на борту не бороздят его воды! Существует много разумных законов, призванных оберегать рыбу от этого пестрого сброда, и специальный рабочий патруль следит, чтобы эти законы неукоснительно соблюдались. Бурная и переменчивая судьба выпала на долю патрульных: часто терпят они поражение и отступают, не досчитавшись кого-нибудь из своих, но еще чаще возвращаются с победой, уложив браконьера на месте преступления — там, где он незаконно закинул свои сети.

Самыми отчаянными среди рыбаков были, пожалуй, китайские ловцы креветок. Креветки обычно ползают по дну моря несметными полчищами, но, добравшись до пресной воды, сразу поворачивают назад. Китайцы, пользуясь промежутками между приливом и отливом, забрасывают на дно стальной кошельковый

невод, креветки заползают в него, а оттуда попадают прямехонько в котел с кипящей водой. Собственно говоря, ничего плохого в этом нет, да вот беда: ячейки у сетей до того мелкие, что даже крошечные, едва вылупившиеся мальки, длиной меньше четверти дюйма, и те не могут сквозь них пролезть. К чудесным берегам мыса Педро и мыса Пабло, где стоят поселки китайских рыбаков, просто невозможно было подступиться: там грудами валялась гниющая рыба, и воздух был отравлен ее зловонием. Против такого бессмысленного истребления рыбы и призван был бороться рыбачий патруль.

Мне было шестнадцать лет, я отлично умел управлять парусным судном и знал залив, как свои пять пальцев, когда мой шлюп «Северный олень» зафрахтовала рыболовная компания и я должен был временно стать одним из помощников патрульных. Немало повозившись в Верхней бухте и впадающих в нее реках с греческими рыбаками, которые чуть что пускают в ход ножи и дают себя арестовать только под дулом револьвера, мы были рады отправиться в Нижнюю бухту на усмирение бесчинствующих ловцов креветок.

Нас было шестеро на двух судах, и, чтобы не вызвать подозрений, мы вышли с вечера и бро-

сили якорь под прикрытием крутого берега мыса Пиноль. Едва на востоке забрезжил рассвет, мы снялись с якоря и, взяв круто к береговому бризу, пересекли залив, держа на мыс Педро. Вокруг не было видно ни зги, над самой водой стлался холодный утренний туман, и мы, чтобы не продрогнуть вконец, пили горячий кофе. Кроме того, нам приходилось заниматься пренеприятным делом — вычерпывать воду, так как «Северный олень» по непонятной причине дал порядочную тень. Мы провозились чуть ли не всю ночь, перетаскивая балласт и осматривая пазы, но, сколько ни бились, ничего не нашли. А вода все прибывала, и мы волей-неволей принялись ее вычерпывать, согнувшись в три погибели в тесном кокпите.

Напившись кофе, трое из нас перешли на другой парусник с реки Колумбия — на нем раньше ловили лососей, — а трое остались на «Северном олене». Оба судна шли борт о борт, пока из-за горизонта не показалось солнце. Его горячие лучи разогнали непроглядный туман, и перед нашими глазами, словно на картине, предстала целая флотилия китайских джонок, растянувшаяся широким полукругом, между концами которого насчитывалось добрых три мили, причем каждая

джонка была пришвартована к буйку ставного невода. Но на джонках — ни души, ни малейших признаков жизни.

Мы сразу смекнули, в чем дело. Дожидаясь отлива, когда легче будет поднять со дна тяжелые сети, китайцы улеглись спать в своих джонках. Это было нам на руку, и мы живо разработали план нападения.

— Пусть каждый из твоих ребят прыгнет в джонку, — шепнул мне Ле Грант с речного парусника. — А к третьей джонке пришвартуйся ты сам. Мы поступим точно так же, и провалиться мне на этом месте, если мы не захватим по крайней мере шесть джонок.

Мы разделились. Я положил «Северного оленя» на другой галс, обогнул одну из джонок с подветренного борта, взял грот к ветру и, теряя скорость, прошел мимо кормы джонки, почти вплотную к ней и притом так медленно, что один из патрульных без труда спрыгнул в нее. Тогда я отвел «Северного оленя» в сторону, забрал ветер и направил шлюп к соседней джонке.

До сих пор все было тихо, но вот на первой джонке, захваченной парусником с реки Колумбия, грянул пистолетный выстрел, потом снова послышался крик.

— Все пропало! Это они предупреждают своих, — сказал Джордж, стоявший рядом со мной в кокпите.

Мы были уже в самой гуще джонок, где тревога распространялась с непостижимой быстротой. На палубы выскакивали сонные полуголые китайцы. Над тихой водой пронеслись предостерегающие крики и проклятия, кто-то громко затрубил в раковину. Я видел, как справа от нас главный на джонке обрубил топором швартовы и бросился помогать команде ставить огромный, диковинный парус. Но слева, на другой джонке, китайцы еще только высовывали головы наружу, и я, повернув шлюп, подошел к ней так, чтобы Джорджи мог спрыгнуть на палубу.

Теперь уже все джонки обратились в бегство. Кроме парусов, они пустили в ход длинные весла и рассыпались по всему заливу. Я остался один на «Северном олене» и лихорадочно высматривал добычу. Первая моя попытка оказалась очень неудачной, потому что китайцы выбрали шкоты, и джонка быстро оставила меня за кормой. При этом она встала к ветру на целых полрумба круче, чем «Северный олень», так что я невольно почувствовал уважение к суденышку, которое казалось мне таким неуклюжим. Махнув на нее рукой, я

переменил галс, вытравил грота-шкот и пошел фордевинд прямо на джонки, которые были у меня с подветренного борта, чтобы использовать таким образом свое преимущество.

Джонка, на которую я нацелился, беспорядочно заметалась, но когда я описал плавную дугу, чтобы взять ее на абордаж, избежав резкого столкновения, она вдруг переменила галс и, забрав ветер, ринулась прочь, а хитрые азиаты, налегая на весла, подбодряли себя дружными криками. Однако я был готов к этому маневру: не теряя ни секунды, я привел шлюп к ветру, положил руль на наветренный борт и навалился на румпель всем телом, на ходу выбирая обеими руками грота-шкот, чтобы по возможности ослабить удар. Два весла с правого борта джонки переломились, и наши суда столкнулись с громким треском. Бушприт «Северного оленя», словно гигантская рука, протянувшись вперед, сорвал с джонки неуклюжую мачту вместе с пузатым парусом.

На джонке раздался яростный вопль, от которого кровь застыла у меня в жилах. Здоровенный китаец, чья голова была повязана желтым шелковым платком, а злобное лицо усеяно оспинами, уперся багром в нос моего шлюпа, чтобы оттолкнуться от него. Я отдал кливер-фал и, выждав,

пока «Северного оленя» отнесло немного назад, спрыгнул на джонку с концом в руках и пришвартовался к ней. Щербатый китаец с желтым платком на голове угрожающе шагнул ко мне, но я сунул руку в карман брюк, и он остановился в нерешительности. Оружия у меня не было, но китайцы, наученные горьким опытом, опасаются этого кармана, и я надеялся таким образом удержать самого главаря и его отчаянных людей на почтительном расстоянии.

Я приказал ему отдать носовой якорь, на что он ответил: «Моя не понимай». То же самое твердили все остальные, и хотя я объяснял им знаками, что нужно сделать, они упорно отказывались меня понимать. Видя, что пререкаться бесполезно, я сам пошел на нос, размотал канат и отдал якорь.

— Вот вы, четверо, марш на шлюп! — крикнул я и объяснил на пальцах, что четверо должны последовать за мной, а пятый останется на джонке. Желтый Платок колебался, но я повторил приказ свирепым тоном (хотя на самом деле я не так уж сильно рассвирепел) и снова сунул руку в карман. Желтый Платок струхнул и, бросая на меня злобные взгляды, повел трех своих людей на «Северного оленя». Я тотчас отдал швартовы и, не поднимая кливера, направил шлюп к джонке,

на которую спрыгнул Джордж. Подойдя к ней, я вздохнул свободнее, потому что теперь нас стало двое, да к тому же у Джорджа на крайний случай был револьвер. С этой джонкой мы поступили точно так же, как и с первой, — четверых китайцев взяли на шлюп, а одного оставили стеречь судно.

Затем мы взяли еще четверых китайцев с третьей джонки. К этому времени речной парусник тоже захватил двенадцать пленников и, перегруженный подошел к нам. Как на грех, суденышко было такое маленькое, что патрульные, зажатые в толпе китайцев, едва могли шевельнуться и в случае бунта оказались бы бессильными против своих пленников.

— Выручайте, друзья, — сказал Ле Грант.

Я оглядел своих пленников, которые сгрудились в каюте или залезли на крышу рубки.

— Троих мы, пожалуй, можем взять, — сказал я.

— Бери уж четверых для ровного счета, — попросил Ле Грант. — А мне отдай Билла (Билл — это третий патрульный с «Северного оленя»). Нам тут повернуться негде, так что ежели случится попасть в переделку, один патрульный против двух китайцев будет в самый раз.

Так мы и сделали, после чего Ле Грант поднял парус, и его судно пошло по заливу к устью заболоченной реки Сан-Рафаэль. Я поставил кливер и двинулся следом. Город Сан-Рафаэль, где мы должны были сдать пленников властям, был связан с заливом длинной и извилистой рекой, судоходной только во время прилива. Теперь прилив кончался, близился отлив, и нужно было спешить, чтобы не дожидаться целых полдня следующего прилива.

Но чем выше поднималось солнце, тем слабее дул береговой бриз — теперь он налетал лишь слабыми, замирающими порывами. Судно Ле Гранта шло на веслах и вскоре оставило нас далеко позади. Несколько китайцев стояли в кокпите, у люка каюты, и один раз, перегнувшись через поручни кокпита, чтобы выбрать кливершкот, я почувствовал, как кто-то быстро ощупал мой карман. Я и вида не подал, что обратил на это внимание, но уголком глаза заметил, как на лице у Желтого Платка промелькнуло злорадство: он убедился, что пугавший его карман пуст.

А тут еще на беду, гоняясь за джонками, мы позабыли вычерпать из шлюпа воду, и теперь она начала заливать кокпит. Китайцы указывали на воду пальцами и вопросительно поглядывали

на меня.

— Да, — сказал я. — Наша скоро пойдет ко дну, если твоя не черпай воду. Понимай?

Нет, они «не понимай», во всяком случае, они энергично трясли головами, хотя при этом весьма красноречиво переговаривались на своем тарабарском языке. Я поднял три или четыре доски, достал из рундука пару ведер и с помощью самых недвусмысленных жестов велел китайцам приниматься за дело. Но они, рассмеявшись мне в лицо, преспокойно вернулись в каюту или снова полезли на крышу рубки.

Смех китайцев не предвещал ничего хорошего. В нем звучала угроза, подкрепляемая злобными взглядами. Желтый Платок, убедившись, что я безоружен, совсем обнаглел и расхаживал среди пленников, настойчиво подбивая их на что-то.

Скрывая свою досаду, я спустился в кокпит и сам стал вычерпывать воду. Но едва я взялся за ведро, как у меня над головой просвистел гик, судно резко легло на другой галс, грот наполнился ветром, и шлюп дал крен. Это задул морской бриз. Джордж был самой настоящей сухопутной крысой, так что мне пришлось бросить ведро и снова взяться за румпель. Ветер дул прямо со стороны замкнутого высокими горами мыса Педро и

поэтому был шквалистый и коварный: паруса то наполнялись, то без толку полоскались на реях.

От Джорджа не было никакого толку — в жизни я еще не встречал более беспомощного человека. Кроме всего прочего, у него была еще чахотка, и я знал, что, если заставить его вычерпывать воду, у него может пойти горлом кровь. А вода все прибывала, медлить было нельзя. Я снова приказал китайцам взяться за ведра. Они дерзко расхохотались, и те, что стояли в каюте по щиколотку в воде, начали громко переговариваться со своими соплеменниками, сидевшими на крыше.

— Вынь-ка свою пушку да заставь их поработать, — сказал я Джорджу.

Но он только покачал головой, и мне стало ясно, что он струсил. Китайцы не хуже меня поняли это, и наглость их стала просто невыносимой. Они взломали в каюте ящик с провизией, а те, что сидели на крыше рубки, спрыгнули вниз, и все вместе стали лакомиться нашими галетами и консервами.

— Наплевать нам на это, — сказал Джордж дрожащим голосом.

Меня душил бессильный гнев.

— Если они выйдут из повиновения, будет поздно. Лучше сразу поставить их на место.

А вода все поднималась, и порывы ветра — первые вестники устойчивого бриза — становились все сильней и сильней. Наши пленники, покончив с недельным запасом провизии, едва затихал ветер, дружно перебегали от одного борта к другому, шлюп раскачивался и прыгал по воде, как яичная скорлупка. Желтый Платок подошел ко мне и, указывая на берег мыса Педро, где находилась его деревня, объяснил, что, если я поверну туда и высажу их на берег, они готовы вычерпывать воду. В каюте вода уже поднялась до уровня коек, простыни намокли. В кокпите глубина ее достигла целого фута. И все же я наотрез отказался. На лице Джорджа отразилось разочарование.

— Будь же мужчиной, не то они выбросят нас за борт, — сказал я ему. — Дай-ка сюда револьвер, так оно вернее.

— Вернее всего было бы высадить их на берег, — малодушно отозвался он. — Право, у меня нет никакой охоты утонуть из-за горстки паршивых китайцев.

— А у меня, право, нет никакой охоты сдаваться на милость горстки паршивых китайцев, только бы не утонуть! — с жаром воскликнул я.

— Но ведь ты пустишь «Северного оленя» ко дну, а вместе с ним и нас,

— заскулил он. — Не понимаю, что тут хорошего…

— На вкус, на цвет товарища нет! — отрезал я.

Он промолчал, но я видел, что его бьет дрожь. Угрозы китайцев и неуклонно прибывавшая вода лишили его последних остатков мужества, и я знал, что под влиянием страха он не остановится ни перед чем, лишь бы спасти свою шкуру. Я перехватил тоскливый взгляд, брошенный им на маленький ялик, который шел на буксире за кормой шлюпа, и как только утих очередной порыв ветра, подтянул ялик к борту. В глазах Джорджа блеснула надежда; но прежде, чем он угадал мое намерение, я проломил тонкое дно топором, и ялик осел глубоко в воду.

— Уж если тонуть, так вместе, — сказал я. — Давай сюда револьвер, и я живо заставлю их вычерпать воду.

— Но ведь их так много! — захныкал он. — Нам с ними не справиться.

Я с негодованием повернулся к нему спиной. Парусник Ле Гранта давно уже скрылся за маленьким архипелагом, известным под названием архипелага Марин, и ждать от него помощи было нечего. Желтый Платок развязно подошел ко мне, вода в кокпите лизала ему ноги. Мне не нравился

его вид. Под приятной улыбкой, которую он старался изобразить на лице, я угадывал недобрый умысел. Я так грозно приказал ему остановиться, что он повиновался.

— Ни шагу дальше! — крикнул я. — Не смей подходить ко мне.

— Почему так говоришь? — недовольно спросил он. — Моя знает английский много-много.

— Знает по-английски! — воскликнул я с горечью. Ясное дело, он прекрасно понял все, что произошло между Джорджем и мной. — Врешь, ничего ты не знаешь!

Он осклабился во весь рот.

— Нет, моя знает много-много. Моя — честный китаец.

— Ладно, — сказал я. — Знаешь, так знай. Давай вычерпывай воду, а потом будешь разговаривать.

Он покачал головой и кивнул на своих товарищей.

— Никак нельзя. Плохой люди, очень плохой, да, да…

— Ни с места! — крикнул я, заметив, что он сунул руку за пазуху и изготовился к прыжку.

Обескураженный, он вернулся в каюту и стал там что-то лопотать: видно, держал совет со

своими. «Северный олень» глубоко осел в воду, отяжелел и почти не слушался руля. При малейшем волнении он неизбежно пошел бы ко дну; но ветер был слабый, он едва морщил водную гладь.

— Послушай, нам лучше бы повернуть к берегу, — заявил вдруг Джордж, и по его тону я понял, что страх придал ему решимости.

— Ни за что! — отозвался я.

— Я тебе приказываю! — сказал он с угрозой в голосе.

— Мне приказано доставить пленников в Сан-Рафаэль, — отозвался я.

Мы почти кричали, и китайцы, услышав перебранку вылезли на палубу.

— Повернешь ты к берегу или нет?

С этими словами Джордж направил на меня револьвер, — этот трус побоялся пустить его в ход против китайцев, а теперь грозил им товарищу!

Словно молния вспыхнула в густом мраке — так ясно увидел я все, что ожидает меня из-за постыдной трусости Джорджа; позорное возвращение без пленников, встреча с Ле Грантом и другими товарищами, жалкие оправдания… Преследуя браконьеров, мы рисковали жизнью, и вот теперь добытая с таким трудом победа ускользает прямо

из рук. Краешком глаза я видел, что китайцы столпились у люка и бросают на нас торжествующие взгляды. Врете, не бывать по-вашему!

Я быстро присел и рукой резко отвел дуло револьвера, так, что пуля просвистела у меня высоко над головой. Стиснув одной рукой запястье Джорджа, я другой вцепился в револьвер. Желтый Платок со своими людьми бросился на меня. Наступил решительный момент. Собрав все силы, я резко толкнул Джорджа и, вырвав револьвер, отшвырнул Джорджа от себя. Он упал под ноги Желтому Платку, тот споткнулся, и они оба провалились в дыру там, где я поднял доски. В то же мгновение я направил на китайцев револьвер, и обезумевшие пленники сразу съежились и отступили.

Но вскоре я понял, что одно дело — стрелять в нападающих и совсем другое — в людей, которые просто-напросто отказываются повиноваться. А повиноваться они и не думали. Я грозил им револьвером, а они молча сидели в затопленной каюте и на крыше рубки, не двигаясь с места.

Так прошло минут пятнадцать. «Северный олень» оседал все глубже и глубже, ветра не было, и грот беспомощно полоскал. А потом я увидел, как со стороны мыса Педро на нас двинулась

какая-то темная полоса. Это подул устойчивый бриз, которого я так ждал. Я окликнул китайцев и указал им на темную полосу. Они ответили мне радостными воплями. Тогда я указал им на парус и на воду, затопившую шлюп, и знаками объяснил, что, когда ветер наполнит парус, мы опрокинемся. Но они нагло скалили зубы, прекрасно зная, что я могу привести шлюп к ветру и вытравить грота-шкот, чтобы обезветрить паруса и избежать катастрофы.

Но я уже принял решение. Выбрав фут или два грота-шкота, я навалился на румпель спиной. Теперь я мог одной рукой управлять парусом, а другой держать револьвер. Темная полоса все надвигалась, и я видел, как китайцы с плохо скрытой тревогой поглядывают то на нее, то на меня. Сейчас должно решиться, у кого достанет разума, воли и упорства не дрогнуть перед лицом смерти.

Вот ветер налетел на шлюп. Грота-шкот натянулся, блоки затрещали, гик изогнулся, парус наполнился ветром, и «Северный олень» стал крениться все круче и круче. Вот уже в воду погрузились поручни подветренного борта, затем иллюминаторы каюты, и вода хлынула в кокпит. Шлюп накренился так сильно, что людей в каюте

швыряло вповалку на подветренную койку, они корчились там в воде, и те, кто оказался внизу, едва не захлебнулись.

А ветер все свежел, и «Северный олень» почти лег на бок. Я уже думал было, что спасения нет: еще один такой порыв — и шлюп опрокинется. Пока я, не отпуская грота-шкот, колебался, не прекратить ли борьбу, китайцы сами запросили пощады. Их крики прозвучали для меня сладостной музыкой. Только теперь, но ни секундой раньше я привел шлюп к ветру и вытравил грота-шкот. «Северный олень» медленно выпрямился, однако сидел он так глубоко, что я слабо верил в возможность его спасти.

Китайцы ринулись в кокпит и рьяно принялись вычерпывать воду ведрами, горшками, кастрюлями — всем, что подвернулось под руку. Какое это было чудесное зрелище — вода, стекающая за борт! Наконец «Северный олень», подгоняемый ветром, вновь гордо и величественно заскользил по воде, и в самый последний миг, проскочив илистую отмель, вошел в устье реки.

Дух китайцев был сломлен, они стали такими шелковыми, что, завидев Сан-Рафаэль, сами высыпали на палубу, держа наготове швартовы, и впереди всех — Желтый Платок. Ну, а что ка-

сается Джорджа, то это была последняя облава. Такая работа ему не по нутру, объяснил он нам, куда лучше служить в какой-нибудь конторе на берегу. И мы вполне с ним согласились.

«Король греков»

Рыбачьему патрулю ни разу не удалось задержать Большого Алека. Он хвастался, что никто не сумеет поймать его живым, а из прошлого этого человека было известно, что все попытки взять его мертвым терпели неудачу. Рассказывали также, что по крайней мере двое из патрульных, пытавшихся взять его мертвым, поплатились жизнью. При этом никто так систематически и умышленно не нарушал закона о рыбной ловле, как Большой Алек.

Его прозвали Большим Алеком за исполинское телосложение. Рост его достигал шести футов и трех дюймов, и соответственно этому он был широкоплеч и широкогруд. У него были могучие, крепкие, как сталь, мускулы, а о его недюжинной силе среди рыбаков ходили многочисленные легенды. Смелость и неукротимость духа не уступали его физической силе, благодаря чему ему дали еще одно прозвище — «Король греков». Рыбаки, большинство которых были греки, относились к нему с почтением и слушались, как вожака. Он и был их вожаком, защищал их интересы, лез за них в драку, вырывал из лап закона,

если они попадались, и так их объединил, что в беде они горой стояли за него и друг за друга.

Рабочий патруль не раз попытался поймать Большого Алека, но поскольку ни одна попытка не увенчалась успехом, от этой затеи в конце концов отказались; естественно, что когда разнесся слух о его приходе в Беншинию, мне не терпелось увидеть этого героя. Только он появился, как первым делом, действуя, по обычаю, нагло, сам нашел нас.

В ту пору мы с Чарли Ле Грантом служили под начальством патрульного, которого звали Кармингтел, и все трое находились на «Северном олене», готовясь к очередному переходу, когда к нам пожаловал Большой Алек. Кармингтел наверняка встречался с ним прежде, ибо они подали друг другу руки, как добрые знакомые. На нас с Чарли Алек даже не взглянул.

— Я пришел сюда месяца на два — ловить осетров, — сказал он Кармингтелу.

Взгляд его вызывающе блеснул, и мы заметили, что наш патрульный опустил глаза.

— Хорошо, Алек, — ответил Кармингтел тихим голосом. — Не буду тебе докучать. Пойдем в каюту, там поговорим, — добавил он.

Когда они вошли туда и заперли за собой дверь,

Чарли выразительно подмигнул мне. Я был еще юнцом, плохо разбирался в людях и в поступках иных из них, поэтому намека не понял. Чарли не стал объяснять, хотя я почувствовал в этом деле что-то неладное.

Оставив их совещаться, мы, по предложению Чарли, пересели в ялик и отправились к Старой пароходной пристани, где стоял плавучий дом Большого Алека. Это была барка, маленькая, но вместительная, столь же необходимая рыбакам Верхнего залива, как сети и лодки. Нам обоим любопытно было взглянуть на барку Большого Алека, ибо молва гласила, что она была ареной многих ожесточенных схваток и вся изрешечена пулями.

Мы обнаружили следы дыр, заделанных деревянными пробками и сверху закрашенных, но их оказалось не так много, как я ожидал. Чарли, заметив мое разочарование, засмеялся и, желая меня утешить, рассказал доподлинную историю одного рейда, предпринятого к плавучему дому Короля греков с целью захватить его владельца, предпочтительно живым, а в крайнем случае — мертвым. После шестичасового боя патрульные отступили в поврежденных лодках, потеряв одного убитым и трое ранеными. Вернувшись на

следующее утро с подкреплением, они от барки Большого Алека застали только причальные сваи. Сама барка на многие месяцы была спрятана в Сьюисанские камыши.

— Но почему его не повесили за убийство? — спросил я. — Соединенные Штаты, мне думается, достаточно сильны, чтобы привлечь его к ответственности.

— Он сам отдался в руки властей, и был суд, — ответил Чарли. — Дело это обошлось ему в пятьдесят тысяч долларов, а выиграл он его на всяких процессуальных уловках с помощью лучших адвокатов штата. Все греки, рыбачившие на реке, внесли в это свою лепту. Большой Алек обложил их налогом и собрал его, как заправский король. Соединенные Штаты, может, и всемогущи, мой мальчик, но факт остается фактом: Большой Алек — король, у которого на территории Соединенных Штатов есть и владения и подданные.

— А что ты сделаешь, когда он начнет ловить здесь осетров? Ведь ловить-то он будет «китайской лесой».

— Поживем — увидим, — пожав плечами, загадочно ответил Чарли.

«Китайская леса» — это хитроумное устройство, изобретенное народом, именем которого оно

названо. Над самым дном, на высоте, начиная от шести дюймов и до фута, с помощью простой системы поплавков, грузил и якорей подвешивают тысячи крючков, каждый на отдельной лесе. Крючок и есть самое примечательное в этой снасти. На нем нет обычной зазубрины, ее заменяет длинный конусообразный конец, острый, как игла. Крючки висят лишь в нескольких дюймах один от другого, и когда такая бахрома из тысячи крючков протянута над самым дном почти на тысячу пятьсот футов, она создает грозную преграду идущей по низу рыбе.

Такая рыба, как осетр, всегда идет, взрывая носом дно, словно свинья, поэтому его часто и называют «рыба-свинья». Уколовшись о первый же крючок, которого он коснулся, осетр в испуге бросается в строну и натыкается на десяток других крючков. Тогда он начинает отчаянно метаться, и крючок за крючком вонзаются в его нежное тело; крючки крепко держат злосчастную рыбу со всех сторон, пока она окончательно не выбьется из сил. Так как ни один осетр не может прорваться сквозь такую снасть, в законе о рыбной ловле ее именуют капканом, а поскольку этот способ ловли ведет к истреблению осетров, он признан незаконным. Мы ничуть не сомневались, что

Большой Алек поставит именно такую снасть, подло и открыто попирая закон.

После визита Короля греков прошло несколько дней, в течение которых мы с Чарли зорко следили за ним. Свою барку он перетащил на буксире с Соланской пристани в большую бухту у Тернерской верфи. Эта бухта считалась излюбленным местом осетров, и мы были уверены, что как раз здесь Король греков и разовьет свою деятельность. В часы прилива и отлива вода неслась в бухте, как по мельничному лотку, так что поднимать, опускать и ставить «китайскую лесу» можно было только во время малой воды; поэтому в промежутки между приливом и отливом мы с Чарли попеременно наблюдали за бухтой с пристани.

На четвертый день, лежа на солнышке за балкой, я увидел, что от дальнего берега отошел ялик и направился к бухте. В тот же миг бинокль оказался у моих глаз, и я стал следить за каждым движением ялика. В нем находились двое, и, хотя нас разделяла добрая миля, в одном из них я увидел Алека. И не успел еще ялик вернуться обратно к берегу, как я окончательно убедился в том, что грек поставил свою снасть.

— Большой Алек поставил «китайскую лесу» в

бухте у Тернерской верфи,

— в тот же день доложил Чарли Ле Грант Кармантелу.

На лице патрульного мелькнула досада, он рассеянно сказал «да?», и только.

Сдерживая гнев, Чарли закусил губу, круто повернулся и вышел.

— Ну как, сынок, рискнем? — спросил он меня вечером, когда мы, надраив палубы «Северного оленя», собрались ложиться спать.

Дыхание у меня захватило, и я лишь кивнул головой.

— Так вот, — глаза Чарли загорелись решимостью, — мы сами, я и ты, поймаем Большого Алека, придется нам это сделать, хочет Кармантел или нет. Согласен? — И после паузы добавил: — Дело нелегкое, но мы, пожалуй, справимся.

— Конечно, справимся, — с горячностью подтвердил я.

— Обязательно справимся, — сказал и Чарли.

Мы обменялись рукопожатием и пошли спать.

Да, мы взяли на себя нелегкую задачу. Чтобы обвинить человека в браконьерстве, нужно было застать его на месте преступления, задержать и захватить все улики: крючки, снасти и рыбу. Это означало, что мы должны поймать Короля

греков в открытом море, где он увидит нас еще на подходе и не преминет подготовить одну из тех «теплых» встреч, какими славился.

— Нам его не провести, — сказал как-то утром Чарли. — Но если подойти борт к борту, наши силы сравняются. Ничего другого не остается, как попробовать. Пошли, сынок!

Мы отправились на паруснике с реки Колумбия, которым уже пользовались в облаве на китайцев — ловцов креветок. Стояла малая вода, и, обогнув Соланскую пристань, мы увидели Большого Алека за работой: он обходил свою снасть и выбирал рыбу.

— Поменяемся местами! — скомандовал Чарли. — Веди прямо на его корму, будто мы идем к верфи.

Я взялся за румпель, а Чарли сел на среднюю банку, положив рядом револьвер.

— Если он начнет стрелять, — предостерег Чарли, — ложись прямо на дно и правь оттуда так, чтобы видна была только рука.

Я кивнул, и мы смолкли; лодка мягко скользила по воде и подходила к Королю греков все ближе и ближе. Мы видели его уже совсем отчетливо, видели, как он вылавливает багром осетров и кидает их в лодку, а его помощник двигается вдоль

снасти, очищая крючки, прежде чем снова забросить их в воду. Но мы были от них еще в пятистах ярдах, когда великан рыбак нас окликнул.

— Эй вы! Что вам здесь надо? — закричал он.

— Не останавливайся, — прошептал Чарли, — будто не слышишь.

Следующие несколько мгновений были очень тревожными. С каждой секундой мы все ближе подходили к нему, а он смотрел на нас в упор, пронизывая взглядом.

— Убирайтесь, коли вам дорога жизнь! — вдруг крикнул он, словно поняв, кто мы и зачем явились. — Не то вам не уйти отсюда живыми!

Он приложил карабин к плечу и прицелился в меня.

— Ну, уберетесь? — потребовал он.

Чарли разочарованно вздохнул.

— Поворачивай, — шепнул он мне, — на этот раз все.

Я бросил руль, ослабил шкот, и наша лодка повернула на пять-шесть румбов. Большой Алек не спускал с нас глаз и вернулся к работе, лишь когда мы были уже далеко.

— Лучше оставьте Большого Алека в покое, — сердито сказал Карминтел в тот же вечер.

— Так он уже жаловался тебе, — многозначи-

тельно спросил Чарли.

Карминтел густо покраснел.

— Лучше оставьте Большого Алека в покое, говорю я вам, — повторил он.

— Он опасный человек, и нет никакого расчета с ним связываться.

— Конечно, — сдержанно отозвался Чарли, — я слышал, что большой расчет оставить его в покое.

Это был уже прямой вызов Карминтелу, и по выражению его лица мы видели, что удар попал в цель. Ни для кого не было тайной, что Король греков столь же охотно дает взятки, как и вступает в драку, и за последние годы не один патрульный столковывался с ним за деньги.

— Ты хочешь сказать… — запальчиво начал Карминтел, но Чарли оборвал его:

— Я ничего не хочу сказать. Ты слышал, что я сказал, а коли на воре шапка горит…

Он пожал плечами, а Карминтел, не в силах произнести ни слова, бросил на него яростный взгляд.

— Чего нам не хватает, так это смекалки, — сказал однажды Чарли, после того, как мы однажды попытались подкрасться к Королю греков в предрассветном сумраке и, на свою беду, были

обстреляны.

После этого я много дней ломал себе голову, стараясь придумать способ, с помощью которого двоим удалось бы поймать в открытом море третьего, умеющем обращаться с оружием и никогда с ним не расстающегося. Всякий раз в малую воду Большой Алек нагло, открыто, средь бела дня ловил осетров своей китайской снастью. Особенно обидно было сознавать, что все рыбаки от Бенишии до Валлехо знают, как безнаказанно он оставляет нас в дураках. Не давал нам покоя и Карминтел, то и дело гонявший нас в Сан-Пабло, где бесчинствовали ловцы сельдей, так что на Короля греков почти не оставалось времени. Но жена и дети Чарли жили в Бенишии, там была наша штаб-квартира, и мы постоянно туда возвращались.

— Вот что мы можем сделать, — сказал я спустя несколько недель, в течение которых мы так ничего и не добились. — Подождем малой воды, а когда Алек заберет рыбу и отправится на берег, войдем в бухту и захватим его снасть. Ему понадобятся деньги и время, чтобы сделать новую, а дальше мы сообразим, как захватить и ту. Уж если не удастся его поймать, так хоть собьем с него спесь. Понял?

Чарли понял и сказал, что это неплохая мысль. Мы не упустили возможности, и с наступлением малой воды, когда Король греков собрал рыбу и пошел к берегу, мы в своем паруснике двинулись в путь. По береговым знакам мы знали, где должна находиться снасть, и не сомневались, что легко отыщем ее. Прилив только начался; мы подошли к тому месту, где, по нашим предположениям, была протянута снасть, и отдали якорь. Вытравив столько каната, сколько требовалось, чтобы якорь едва касался грунта, мы медленно тянули его за собой, пока он не зацепился за снасть и лодка не замерла в неподвижности.

— Есть! — крикнул Чарли. — Иди сюда и помоги тащить.

Вдвоем мы тянули веревку, пока не показался якорь с осетровой снастью, зацепившейся за одну из его лап. Десятки страшных на вид крючков заблестели перед нами, когда мы освобождали якорь, но только мы направились вдоль снасти, к противоположному концу, чтобы вытащить ее, как нас остановил резкий удар по лодке. Мы оглянулись, но, ничего не увидев, вернулись к своей работе. Через минуту раздался еще такой же удар, и планшир между мной и Чарли разлетелся в щепы.

— Уж больно на пулю похоже, сынок, — раздумчиво сказал Чарли. — Это стреляет Большой Алек. У него бездымный порох, — заключил он, внимательно оглядев берег в миле от нас. — Вот почему мы не слышали выстрелов.

Я тоже посмотрел на берег, но не заметил и следа Короля греков; тот, видимо, прятался за скалой, в бухточке, тогда как мы были совсем на виду. Третья пуля ударилась о воду, отскочила рикошетом и, со свистом пролетев над нашими головами, упала в воду позади нас.

— Пожалуй, нам лучше убраться отсюда, — спокойно заметил Чарли. — Ты как думаешь, сынок?

Я тоже был того же мнения и сказал:

— Черт с ней, с этой лесой!

Мы подняли шпринтовый парус и тронулись с места. Стрельба тут же прекратилась, и мы ушли с неприятным сознанием, что Большой Алек смеется над нами.

Мало того, на следующий день, когда мы осматривали на рыбацкой пристани сети, он не постеснялся издеваться и зубоскалить на наш счет в присутствии всех рыбаков. Чарли прямо почернел от гнева, но сдержался и только пообещал Большому Алеку, что рано или поздно

упечет его в тюрьму. Король греков стал похваляться, что ни один рыбачий патруль не поймал его и никогда не поймает, а рыбаки поддакивали ему, утверждая, что это истинная правда. Они так распалились, что казалось, вот-вот начнется потасовка, но Большой Алек своей королевской властью усмирил их.

Смеялся над Чарли и Кармингел, отпуская язвительные замечания и всячески досаждая ему. Однако Чарли не проявил гнева и по секрету сказал мне, что все равно поймает Большого Алека, если даже придется гоняться за ним до конца своих дней.

— Не знаю как, но сделать я это сделаю, — заявил он. — Это так же верно, как то, что меня зовут Чарли Ле Грант. Не бойся, в свой час верная мысль непременно придет.

Действительно, в свой час она пришла, и пришла тогда, когда мы меньше всего ждали. Целый месяц мы неустанно ходили вверх и вниз по реке, бороздили вдоль и поперек залива, и у нас не было свободной минуты, чтобы заняться рыбаком, который китайской лесой ловил осетров в бухте у Тернерской верфи.

Как-то в полдень, неся патрульную службу, мы подошли к Селбийскому плавильному заводу,

и тут нам наконец представился наш долгожданный случай. Он явился в облике никем не управляемой яхты, ибо все пассажиры ее страдали от морской болезни. Конечно, едва ли можно было ждать, что мы распознаем в ней нашего спасителя. То была большая яхта-шлюп, совсем беспомощная, так как дул почти штормовой пассат, а на борту не было ни одного умелого матроса.

С Селбийской пристани мы с беспечным любопытством наблюдали за неуклюжими попытками поставить яхту на якорь и столь же неуклюжими попытками спустить лодку и отправиться в ней на берег. Весьма жалкого вида человек в грязных парусиновых штанах, чуть не утопив свою лодчонку в бурном море, передал нам фалинь и с трудом выбрался на пристань. Он шатался так, как будто земля под ним ходила ходуном, и рассказывал нам о своей беде, то есть, собственно, о том, что произошло с яхтой. Единственного опытного матроса, человека, от которого они все зависели, отозвали телеграммой в Сан-Франциско, и они попытались продолжить путь одни. Справиться с крепким ветром и волнением в бухте Сан-Пабло оказалось им не под силу. Все больны, никто ничего не знает и не умеет делать;

вот они и подошли к плавильне, чтобы оставить здесь яхту или найти кого-нибудь, кто отвел бы ее Банишию. Словом, не знаем ли мы моряков, которые согласились бы отвезти яхту в Бенишию?

Чарли взглянул на меня. «Северный олень» спокойно стоял на якоре. Мы были свободны от патрульной службы до полуночи. Дул попутный ветер, мы могли бы добраться до Бенишии часа за два, побыть несколько часов на берегу и вернуться сюда вечерним поездом.

— Все будет в порядке, капитан, — сказал Чарли неудачливому яхтсмену, вяло улыбнувшемуся, когда его назвали капитаном.

— Я только владелец яхты, — пояснил он.

Мы доставили его на яхту куда лучшим манером, чем это сделал он, переправляясь на берег, и убедились собственными глазами, до чего беспомощны были пассажиры. Их было там человек двенадцать, мужчины и женщины, и все они так страдали от морской болезни, что даже не ожевились при нашем появлении. Яхту отчаянно качало, и едва ее владелец ступил на палубу, как свалился, разделив участь всех остальных. Ни один из пассажиров не был в состоянии оказать помощь, поэтому нам с Чарли пришлось вдвоем разбирать запутанный такелаж, ставить парус и

поднимать якорь.

Путешествие было беспокойным, хотя и недолгим. Каркинезский пролив представлял собой мешанину бурлящей пены и густого тумана, но мы стремительно проскочили сквозь них и, опережая ветер, понеслись вперед, в то время, как большой грот попеременно то окунал, то подбрасывал в небо свой гик. Но люди этого не замечали. Они ничего не замечали. Двое или трое, включая владельца яхты, растянулись в кубрике, вздрагивая всякий раз, когда яхта взлетала на гребень волны, а потом падала вниз, в бездну, и время от времени с тоской посматривая на берег. Остальные лежали вповалку среди подушек на полу в каюте. Иногда оттуда доносился стон, но большей частью они были немы и неподвижны, как покойники.

Но вот показалась Тернерская верфь, и Чарли проскользнул в бухту, так как там было тише. Уже виднелась и Бенишия, и мы шли по сравнительно спокойной воде, как вдруг впереди, прямо у нас на пути, заплясало пятнышко

— ялик. Стояла малая вода. Мы с Чарли переглянулись. Ни слова не было сказано, но яхта повела себя удивительным образом, то и дело меняя направление и рыская, словно у штурвала стоял

совсем зеленый новичок. Моряку нашлось бы над чем посмеяться. Со стороны казалось, будто через весь залив во весь дух несется взбесившаяся яхта и лишь временами ее сдерживает чья-то рука, тщетно пытаясь направить в Бенишию.

Владелец, позабыв о своей морской болезни, с тревогой смотрел на нас. Пятнышко — ялик — на нашем пути все росло, мы могли уже разглядеть склонившихся над накинутой на крюйс осетровой снастью Большого Алека и его приятеля, которые прервали работу, чтобы над нами посмеяться. Чарли надвинул зюйдвестку на глаза, и я последовал его примеру, хотя не догадывался, что он затеял и как собирается осуществить свою затею.

Вспенивая воду и держась на траверзе ялика, мы подошли к нему так близко, что по ветру до нас донеслись голоса Короля греков и его помощника, ругавших нас со всем презрением, какое истые моряки испытывают к любителям, особенно если те ведут себя, как последние идиоты.

Словно грозовой шквал, мы пронеслись мимо рыбаков, но ничего не случилось. Взглянув на мое разочарованное лицо, Чарли усмехнулся и крикнул:

— На грота-шкот, к повороту!

Он переложил руль на борт, и яхта послушно сделала поворот. Грота-шкот ослаб и опустился, вслед за гиком пролетел над нашими головами и с треском растянулся на ракс-бугеле. Яхта сильно накренилась, почти легла на бок; страшный вопль донесся из каюты: это больных пассажиров прокатило через всю каюту и швырнуло вповалку на койки правого борта.

Но нам было не до них. Завершив свой маневр, яхта с полоскающимися парусами двинулась против ветра и встала на ровный киль. Мы снова понеслись вперед; ялик был теперь прямо перед нами. Я увидел, как Большой Алек бросился за борт, а его помощник ухватился за наш бушприт. Тут мы наскочили на ялик, раздался треск, потом еще толчки и удары, когда ялик очутился под нашим днищем.

— Теперь его карабину крышка, — пробормотал Чарли, бросившись на палубу, чтобы взглянуть, нет ли Большого Алека где-нибудь за кормой.

Ветер и волны быстро остановили наше движение вперед, и нас стало относить туда, где мы только что видели ялик. Черноволосая голова и смуглое лицо грека высунулось из воды чуть ли не рядом, и мы втащили его на борт. Он ничего не подозревал и был страшно зол на «любителей»,

которые столь неуклюжим маневром чуть не утопили его, заставив глубоко нырнуть и долго оставаться под водой, чтобы не разбиться о киль.

В следующую минуту, к великому ужасу и изумлению владельца яхты, Чарли уже сидел верхом на Короле греков, а я помогал вязать его сезенью. Владелец яхты возбужденно запрыгал вокруг нас, требуя объяснений, но к этому времени приятель Алека сполз с бушприта на корму и заглядывал через поручни в кубрик, силясь понять, что творится. Чарли тут же обхватил его за шею и уложил на спину рядом с Большим Алеком.

Разбитый ялик лениво покачивался невдалеке; я привел в порядок паруса, а Чарли стал править к ялику.

— По этим людям тюрьма плачет, — пояснил Чарли взбешенному владельцу.

— Они злостные браконьеры. Вы видели, что мы накрыли их на месте преступления, и вас, конечно, вызовут в суд штата, как свидетеля.

Тем временем мы поравнялись с яликом, за которым тянулась оборвавшаяся снасть. Чарли вытянул на борт футов сорок или пятьдесят ее вместе с молодым осетром, так и застрявшим в путанице острых крючков, потом отхватил этот кусок снасти своим ножом и бросил в кубрик

рядом с пленниками.

— А вот и вещественное доказательство, улика номер один, — продолжал Чарли. — Глядите внимательно, чтобы опознать на суде, и запомните время и место, где преступники были пойманы.

Вскоре, перестав рыскать и кружиться во все стороны, мы торжественно шли к Бенишии. Король греков, связанный по рукам и ногам, лежал в кубрике, наконец-то оказавшись пленником рыбачьего патруля.

Набег на устричных пиратов

Мы с Чарли Ле Грантом, видимо, одинаково считали, что из всех патрульных, под началом которых нам довелось в разное время служить, лучшим был Нейл Партингтон. Человек честный и отважный, он относился к нам чисто по-дружески, хотя и требовал точного выполнения всех своих приказаний, и ни при одном другом начальнике мы не знали такой свободы, какую предоставлял нам Нейл, в чем вы сами убедитесь, прочитав этот рассказ.

Его семья жила в Окленде, что стоит на Нижней бухте, милях в шести по заливу от Сан-Франциско. Однажды, когда мы патрулировали возле мыса Педро, где китайцы ловят креветок, Нейл получил известие, что его жена заболела. Не прошло и часа, как «Северный олень», подгоняемый крепким норд-остом, уже мчался к Окленду. Мы вошли в оклендский порт и отдали якорь, а потом, в те дни, пока Нейл находился на берегу, подтягивали на «Северном олене» такелаж, тщательно проверяли балласт, скребли палубы и приводили судно в полный порядок.

Покончив с работой, мы начали томиться от

безделья. Болезнь жены Нейла оказалась опасной, перелома ждали лишь через неделю, и это вынуждало нас стоять на приколе. Мы с Чарли околачивались в доках, подыскивая, чем бы заняться, как вдруг на оклендской городской пристани наткнулись на устричную флотилию. Это были по большей части ладные, чистенькие шлюпки, быстроходные и надежные в штормовую погоду, и мы уселись на край причала, чтобы получше их разглядеть.

— Неплохой, видать, улов! — заметил Чарли, указывая на устриц, сложенных по величине в три кучи на палубе каждой шлюпки.

Разносчики, примостив свои тележки у борта причала, отчаянно торговались с рыбаками, и из переговоров я узнал продажную цену устриц.

— В этой шлюпке долларов на двести груза, никак не меньше, — подсчитал я. — Хотел бы я знать, сколько времени понадобилось, чтобы его добыть.

— Дня три-четыре, — ответил Чарли. — Недурной заработок на двоих: двадцать пять долларов в день на каждого!

Шлюпка, которая привлекла наше внимание, называлась «Призрак» и стояла как раз под нами. В ее команде было двое. Один — приземистый,

широкоплечий детина с чрезвычайно длинными, точно у гориллы, руками; второй, напротив, был высокого роста, хорошо сложен, с ясными голубыми глазами и шапкой черных волос. Это сочетание цвета глаз и волос было столь поразительно и необычно, что мы с Чарли задержались на причале дольше, чем предполагали.

И хорошо сделали. Рядом с нами остановился тучный пожилой мужчина, по виду и одежде крупный торговец, и тоже принялся глядеть вниз на палубу «Призрака». Он, казалось, был чем-то рассержен и чем больше смотрел, тем больше злился.

— Это мои устрицы, — сказал он наконец. — Я уверен, что мои. Вы учинили ночью набег на мои отмели и обокрали меня.

Верзила и коротышка с «Призрака» посмотрели вверх.

— Здорово, Тафт! — с наглой развязностью сказал коротышка (из-за своих длинных рук он получил на заливе прозвище «Сороконожка»). — Здорово, Тафт, — повторил он столь же развязно. — На что теперь разворчался?

— Это мои устрицы, говорю я вам. Вы их украли с моих отмелей.

— Уж больно ты умник, — насмешливо отозвал-

ся Сороконожка. — Ишь ты, так сразу и распознал, что устрицы твои?

— Насколько мне известно, — вмешался Верзила, — устрица всегда устрица, где ее ни найти, они вроде одинаковые во всем заливе и, между прочим, на всем белом свете тоже. Мы не хотим ссориться с вами, мистер Тафт, мы только хотим, чтобы вы не возводили на нас поклеп, рассказывая всем, что это ваши устрицы и что мы воры и грабители, если у вас нет на то доказательств.

— Голову даю на отсечение, что это мои устрицы, — прохрипел мистер Тафт.

— Докажите, — потребовал Верзила, которого, как мы потом узнали, за то, что он великолепно плавал, окрестили «Дельфином».

Мистер Тафт беспомощно пожал плечами. Конечно, он не мог доказать, как бы ни был в этом уверен, что устрицы принадлежат ему.

— Я бы не пожалел и тысячи долларов, чтобы засадить вас за решетку! — крикнул он. — Я бы дал по пятьдесят долларов с головы тому, кто поймал бы вас и уличил всех до единого!

Взрыв хохота прокатился по лодкам; другие пираты прислушивались к разговору.

— От устриц больше дохода, — отрезал Дельфин.

Разгневанный мистер Тафт повернулся и ушел. Краешком глаза Чарли проследил, куда он идет. Через несколько минут, когда мистер Тафт свернул за угол, Чарли лениво поднялся, я за ним, и мы побрели в противоположную сторону.

— Бегом! Живо! — прошептал Чарли, едва мы скрылись из вида устричной флотилии.

Мы мгновенно изменили курс и, прячась за углами, кружили по боковым улицам до тех пор, пока впереди не замаячила внушительная фигура мистера Тафта.

— Я хочу потолковать с ним насчет награды, — объяснил мне Чарли, когда мы догоняли владельца устричных отмелей. — Нейл пробудет тут еще целую неделю, и почему бы нам за это время не подзаработать немного? Что ты на это скажешь?

— Разумеется, разумеется, — подтвердил мистер Тафт, после того как Чарли представился и сообщил о нашем намерении. — Эти воры ежегодно обкрадывают меня на тысячи долларов, и, чтобы разделаться с ними, я не пожалею денег, да, сэр, не пожалею. Как я уже говорил, я дам по пятьдесят долларов с головы и считаю, что это дешево. Они ограбили мои отмели, сорвали опознавательные знаки, запугали сторожей, а в

прошлом году одного убили. Доказать ничего не удалось. Все делается под покровом ночи. Сторож был убит, но улик никаких. Сыщики ничего не нашли. Никто не может справиться с этими людьми. Ни одного из них нам не удалось арестовать. Так вот, мистер… Как, вы сказали, вас зовут?

— Ле Грант, — ответил Чарли.

— Так вот, мистер Ле Грант. Я чрезвычайно обязан вам за предложенную помощь. И буду рад, очень рад, всячески содействовать вам. Мои сторожа и лодки в вашем распоряжении. В любое время приходите в мою контору в Сан-Франциско или звоните по телефону за мой счет. Не жалейте денег. Я оплачу расходы, какие бы они ни были, конечно, в пределах благоразумия. Положение становится невыносимым, и необходимо наконец что-то предпринять, чтобы выяснить, кто хозяин устричных отмелей: я или эта банда головорезов.

— Теперь пойдем к Нейлу, — сказал Чарли после того, как мы проводили мистера Тафта к сан-францисскому поезду.

Нейл Партингтон не только не препятствовал нам осуществить свое рискованное намерение, но даже оказал большую помощь. Мы с Чарли ничего не смыслили в ловле устриц, а его голова

была энциклопедией всяких сведений в этом вопросе. Притом не позднее чем через час он доставил нам парнишку-грека, который знал на зубок все ходы и выходы устричного пиратства.

К слову говоря, не мешает пояснить, что в рыбачьем патруле мы с Чарли были вроде добровольцев. Нейл Партингтон как штатный патрульный получал определенное жалованье, тогда как мы с Чарли, всего лишь помощники, получали только то, что нам удавалось заработать, то есть некоторый процент со штрафов, налагаемых на уличенных нами нарушителей законов рыбной ловли, и вознаграждение, если нам подвертывался случай его заслужить. Мы предложили Нейлу поделиться с ним деньгами, которые надеялись получить у мистера Тафта, но он и слышать об этом не хотел. Он сказал, что счастлив помочь людям, которые так много сделали для него.

Мы долго держали военный совет и наметили такой план действий. На Нижней бухте меня и Чарли не знали в лицо, но «Северный олень» был всем известен как патрульное судно, поэтому решили, что я и парнишка-грек — его звали Николас — отправимся к острову Аспарагус на другой, не вызывающей подозрений лодке и присоединимся к устричной флотилии. Зная

по описанию Николаса расположение отмелей и способы набега, мы могли рассчитывать, что застигнем пиратов во время кражи устриц и сумеем задержать их. Чарли, сторожа и наряд полицейских будут ждать нас на берегу и в нужную минуту придут на помощь.

— У меня есть на примете такая лодка, — сказал Нейл в заключение. — На том берегу в Тибуроне стоит старый-престарый шлюп. Ты и Николас переправитесь туда на пароме, наймете его за гроши и прямо оттуда поплывете к отмелям.

— Ни пуха ни пера, мальчики! — сказал Нейл на прощание два дня спустя. — Помните, что это опасные люди, и будьте начеку.

Нам с Николасом действительно удалось зафрахтовать шлюп совсем задаром. Поднимая парус, мы со смешками порешили, что он еще древнее и хуже, чем нам описали. Это было большое плоскодонное судно с транцевой кормой и парусным вооружением шлюпа, неуклюжее и ненадежное в управлении. Мачта его была перекошена, снасть не натянута, паруса ветхи, а бегучий такелаж почти весь сгнил. Оно мерзко воняло каменноугольным дегтем, которым было замарано от носа до кормы и от крыши каюты до выдвижного киля. И в довершение на обоих

его бортах из конца в конец огромными белыми буквами было выведено: «Каменноугольная смола „Мэгги“.

В пути из Тибурона до острова Аспарагус, куда мы прибыли на следующий день, все обошлось без происшествий, хотя смеху было много. Флотилия устричных хищников, состоявшая из порядочного числа шлюпок, стояла на якоре у так называемых «Заброшенных отмелей». Наша «Мэгги», с легким ветерком за кормой, хлюпая, вклинилась между шлюпками пиратов, и они высыпали на палубу, чтобы посмотреть на нас. Нам с Николасом удалось раскусить нрав нашей посудины, и мы старались вести ее как можно более неумело.

— Это еще что? — воскликнул кто-то.

— Назови, как хочешь, — отозвался другой.

— Бьюсь об заклад, что это и есть ноев ковчег, — сострил Сороконожка с палубы «Призрака».

— Эй, да это же клипер! — крикнул еще один шутник. — В какой порт изволите следовать?

Мы не обращали внимания на насмешки и, прикидываясь неопытными новичками, делали вид, будто всецело заняты нашей «Мэгги». Я обогнул «Призрак» с наветренной стороны, а Николас побежал вперед отдать якорь. Все видели,

что наша цепь спуталась в клубок и якорь не мог достать дна. И на глазах у всех мы ужасно долго возились, силясь вытравить цепь. Как бы то ни было, нам вполне удалось обмануть пиратов, которых наши затруднения приводили в неистовый восторг.

Цепь не желала распутываться. Под градом насмешек и язвительных советов мы отошли назад и наскочили на «Призрак», бушприт которого врезался в наш грот и проткнул дыру величиной с амбарную дверь. Сороконожка и Дельфин корчились от смеха на палубе, предоставив нам справляться на свой страх и риск. В конце концов мы справились, хотя действовали очень неумело. Мы высвободили якорную цепь, но вытравили ее футов на триста, хотя глубина под нами едва достигала десяти футов. Это дало нам возможность двигаться по окружности шестьсот футов диаметром, и в этом круге «Мэгги» могла зацепить, по крайней мере, половину флотилии.

Суда стояли вплотную друг к другу на коротких тросах, и поскольку погода была тихой, устричные пираты громко запротестовали против того, что мы по невежеству вытравили якорную цепь на столь недопустимо большую длину. Они не только протестовали, но и вынудили нас выбрать

ее, оставив лишь только тридцать футов.

Полагая, что они достаточно уверились в нашей неопытности, мы с Николасом спустились в каюту, чтобы поздравить друг друга и приготовить ужин. Только мы поели и вымыли посуду, как к борту «Мэгги» подошел ялик, и по палубе затопали тяжелые сапоги. Потом над люком появилось омерзительное лицо Сороконожки, и он в сопровождении Дельфина спустился в каюту. Не успели они сесть на койку, как подошел второй ялик, потом третий, пока, наконец, в каюте не собралась вся флотилия.

— Где вы стянули эту старую лохань? — спросил малорослый, волосатый, похожий на мексиканца мужчина со злыми глазами.

— Нигде не стянули, — в тон ему ответил Николас, поддерживая в пиратах подозрение, что мы действительно украли «Мэгги». — А если и стянули, так что из этого?

— Ничего, только не очень я одобряю ваш вкус, — с издевкой усмехнулся тот, что походил на мексиканца. — Я бы сгнил на берегу, но не польстился бы на лоханку, которая сама у себя путается под ногами.

— А откуда нам было знать, не испытав ее? — спросил Николас с таким невинным видом,

что все покатились со смеху. — А как вы ловите устриц? — быстро добавил он. — Нам нужно целую гору устриц, для этого мы и пришли сюда, целую гору.

— А для чего они вам понадобились? — осведомился Дельфин.

— Раздарить друзьям, на что еще, — нашелся Николас. — Для этого они, должно быть, нужны и вам.

Ответ вызвал новый взрыв смеха; гости становились все благодушнее, и мы уже не сомневались, что они ничуть не подозревают, кто мы такие и зачем явились.

— Не тебя ли я видел на днях на Оклендской пристани? — вдруг спросил меня Сороконожка.

— Меня, — смело ответил я, хватая быка за рога. — Я следил за вами и прикидывал, есть ли нам расчет ввязаться в это дело. Я решил, что это выгодная работа, вот мы и взялись за нее. Конечно, — поспешил я добавить,

— если вы не против.

— Скажу вам раз и навсегда, — заявил он. — Придется вам поднатужиться и добыть себе шлюпку получше. Мы не допустим, чтоб нас срамили этаким вот корытом. Ясно?

— Как божий день! — ответил я. — Продадим

немного устриц и снарядимся, как положено.

— Что ж, если вы покажете себя правильными людьми, — продолжал Сороконожка, — топайте с нами. Но ежели нет, — голос его стал суровым и угрожающим, — каюк. Попомните это. Ясно?

— Как божий день, — ответил я.

Еще несколько минут пираты таким же манером поучали и запугивали нас, а потом разговор принял общий характер, и из него мы узнали об их намерении ограбить отмели той же ночью. Через час, когда хищники собрались уходить, нам было предложено участвовать в набеге. «Чем больше народу, тем веселее», — сказал кто-то.

— Ты заметил этого малого, смахивающего на мексиканца? — спросил Николас, когда они удалились на свои шлюпки. — Его зовут Бэрчи. Он из банды «Бесшабашная жизнь», а тот, что с ним, Скиллинг. Они оба выпущены на поруки под залог в пять тысяч долларов.

Я слышал о банде «Бесшабашная жизнь» — шайке хулиганов и преступников, терроризировавших нижние кварталы Окленда; две трети из них постоянно сидели в местной тюрьме за разные преступления, начиная от лжесвидетельства и жульничества с бюллетенями во время выборов и кончая убийством.

— Вообще-то они не занимаются кражей устриц, — продолжал Николас. — И явились сюда лишь поозорничать да подзаработать. Но за ними надо следить в оба.

В одиннадцать часов, когда мы сидели в кубрике, уточняя подробности нашего плана, до нас вдруг донеслись со стороны «Призрака» мерные удары весел. Мы подтянули свой ялик, бросили туда несколько мешков и поплыли к «Призраку». Там мы застали лодки в полном сборе, ибо пираты решили напасть на отмели скопом. К моему удивлению, в том месте, где мы отдали якорь на десять футов, теперь глубина едва достигала одного фута. Была пора большого прилива июньского полнолуния, а так как до конца отлива оставалось еще полтора часа, то я знал, что к наступлению малой воды наша якорная стоянка окажется на суше. Отмели мистера Тафта находились на расстоянии трех миль, и мы долго в полном молчании шли в кильватере остальных лодок, порой застревая на мели или задевая дно веслом. В конце концов мы сели на илистый грунт, покрытый водой не больше, чем на два дюйма. Дальше лодки плыть не могли. Однако пираты мгновенно оказались за бортом, и, толкая и подтягивая свои плоскодонные ялики,

мы неуклонно двигались вперед.

Полную луну временами закрывали высокие облака, но пираты шли с уверенностью людей, не раз проделывавших этот путь. С полмили мы тащили свои лодки по илу, потом снова сели в них и вошли в глубокий канал, по обе стороны которого высились поблескивающие устрицами отмели. Наконец-то мы достигли места, где собирают устриц. С одной из отмелей нас окликнули двое сторожей и велели убираться. Сороконожка, Дельфин, Бэрчи и Скиллинг вышли вперед и двинулись прямо на сторожей. Мы вместе с остальными — нас было не менее тридцати человек в пятнадцати лодках — поплыли вслед за ними.

— Убирайтесь-ка отсюда, пока целы, — угрожающе сказал Бэрчи, — не то мы всадим в ваши лодки столько свинца, что они даже в патоке не удержатся на плаву!

Перед столь превосходящими силами сторожа благоразумно отступили и направили свою лодку вдоль канала к берегу. По нашему плану им полагалось отступить.

Мы втащили лодки носом на край большой отмели, разбрелись во все стороны и стали собирать устриц в мешки. Время от времени заволаки-

вавшие луну облака редели, и мы ясно видели перед собой крупных устриц. Мешки наполнялись мгновенно, их тотчас уносили в лодки, а оттуда брали другие. Мы с Николасом, не набирая много устриц, то и дело возвращались к лодкам, но всякий раз наталкивались на кого-нибудь из пиратов, шедших туда или обратно.

— Не тужи, — сказал Николас. — Чего спешить? Чем дальше придется ходить за устрицами, тем больше времени понадобится, чтобы относить мешки. Тогда они будут оставлять полные мешки прямо на месте, чтобы во время прилива приплыть за ними на лодках.

Прошло добрых полчаса, вода уже начала прибывать, и вот тут-то все и началось. Оставив хищников за работой, мы украдкой пробрались к лодкам и, бесшумно столкнув их одну за другой в воду, быстро составили неуклюжую флотилию. В ту минуту, когда мы сталкивали последний ялик, наш собственный, подошел один из пиратов. Это был Бэрчи. Быстрым взглядом он вмиг оценил положение и кинулся на нас, но мы, сильно оттолкнувшись, ушли вперед, и он упал в воду. Выбравшись на отмель, он тотчас поднял крик, предупреждая об опасности.

Мы гребли изо всех сил, но с таким количеством

лодок на буксире двигались медленно. С отмели хлопнул выстрел, второй, третий, и началась самая настоящая канонада. Пули так и шлепались вокруг нас, но густые облака застлали луну, и в мутной тьме стрельба была беспорядочной. В нас могли попасть разве только ненароком.

— Был бы у нас маленький паровой катер, — задыхаясь, прошептал я.

— Хоть бы луна больше не показывалась, — тяжело дыша, отозвался Николас.

Мы шли медленно, но каждый удар весел уводил нас все дальше и дальше от отмели и приближал к берегу. Наконец стрельба стихла, и, когда луна вновь вышла из облаков, мы были уже вне опасности. Вскоре нас окликнули с берега, и две адмиралтейские шлюпки, каждая с тремя гребцами на веслах, понеслись нам навстречу. Чарли радостно улыбался и, пожимая нам руки, кричал:

— Молодцы! Молодцы оба!

Мы подвели флотилию к берегу, и сразу же я, Николас и один из сторожей сели на весла в адмиралтейскую шлюпку, а Чарли на корму. Две другие шлюпки последовали за нами, и, поскольку луна теперь светила ярко, мы без труда отыскали устричных пиратов на дальней отме-

ли. Но стоило нам подойти ближе, как пираты открыли стрельбу из своих револьверов, и мы живо отступили на безопасную позицию.

— Нам спешить некуда, — сказал Чарли. — Вода прибывает быстро, и, когда она подступит к горлу, им уже будет не до стрельбы.

Мы сушили весла, ожидая, пока прилив сделает свое дело. Положение пиратов становилось отчаянным: после большого отлива вода стремительно, как по мельничному лотку, неслась назад, и даже лучший в мире пловец не одолел бы против течения трех миль пути. Путь к бегству в сторону берега отрезали мы, ибо наши лодки стояли между берегом и отмелями. Вода меж тем быстро заливала отмели и через несколько часов неминуемо должна была покрыть пиратов с головой.

Было удивительно тихо; в искрящемся белом свете луны мы наблюдали за пиратами в бинокль и рассказывали Чарли о нашем плавании на «Мэгги». Наступил час, потом два часа ночи; хищники, стоя по пояс в воде, столпились на самой высокой отмели.

— Вот доказательство того, как важна смекалка, — говорил Чарли. — Сколько лет Тафт старался заполучить их, но он лез напролом, и ничего у

него не получалось. А мы поработали головой…

Тут до меня донесся едва слышный плеск, и, подняв руку в знак молчания, я обернулся и показал на рябь, которая медленно расходилась по воде большими кругами. Это произошло не более чем в пятидесяти футах от нас. Мы замерли, ожидая, что будет дальше. Через минуту вода раздалась футах в шести от нас, и в свете луны показалась черная голова и белое плечо. Человек удивленно фыркнул, шумно выпустил воздух, и тотчас голова и плечо скрылись под водой.

Несколькими ударами весел мы ушли вперед и поплыли по течению. Четыре пары глаз впились в водную гладь, но так и не увидели кругов на воде, ни черной головы, ни белого плеча.

— Это Дельфин, — сказал Николас. — Его и днем-то не очень поймаешь.

Без четверти три пираты проявили первые признаки слабости. Мы услышали крики о помощи и сразу узнали голос Сороконожки, а когда подошли поближе, в нас уже больше не стреляли. Положение Сороконожки было воистину отчаянным. Чтобы легче было устоять против течения, хищники держались друг за друга и над водой были только их головы да плечи, а так как ноги Сороконожки не доставали дна, он буквально

висел на своих приятелях.

— Ну, ребята, — весело сказал Чарли, — вот вы и попались! Теперь вам не уйти. Если будете сопротивляться, оставим вас здесь, и вода вас прикончит. Но если будете послушными, мы возьмем вас на борт, каждого по очереди, и все будут спасены. Что вы на это скажете?

— Ладно, — хором просипели пираты, стуча зубами от холода.

— Тогда подходите поодиночке и сперва малорослые.

Первым взяли на борт Сороконожку, он пошел охотно, хотя и стал было протестовать, когда полицейский надевал ему наручники. Вторым втащили Бэрчи, который от долгого пребывания в воде присмирел и стал совсем покорным. Приняв на борт десятерых, мы отошли, и пираты полезли во вторую шлюпку. Третьей досталось только девять пленников, а весь улов насчитывал двадцать девять человек.

— А Дельфина вы так и не поймали, — торжествующе заявил Сороконожка, словно бегство Дельфина основательно умалило наш успех.

— Зато видели, — засмеялся Чарли. — Плыл, фыркая, к берегу и хрюкал, как боров.

В устричный склад мы привели с берега крот-

кую и дрожащую от озноба банду пиратов. На стук Чарли дверь широко распахнулась, и нас обдало волной приятного тепла.

— Можете высушить здесь свою одежду и выпить горячего кофе, — возвестил Чарли, когда все ввалились в дом.

А там, у огня, с кружкой дымящегося кофе в руках, мирно сидел Дельфин. Мы с Николасом одновременно взглянули на Чарли. Он весело рассмеялся.

— Результат смекалки, — сказал он. — Когда что-нибудь видишь, надо осмотреть со всех сторон, иначе что толку? Я видел берег и потому оставил там двоих полицейских — пусть приглядывают. Вот и вся недолга.

Осада «Ланкаширской королевы»

Вероятно, самым трудным в практике нашей рыбачьей патрульной службы был тот случай, когда нам с Чарли Ле Грантом пришлось в течение двух недель держать в осаде большое четырехмачтовое английское судно. Под конец это дело превратилось для нас в настоящую математическую задачу, и только чистая случайность позволила нам благополучно решить ее.

Разделавшись с устричными пиратами, мы вернулись в Окленд, но прошло еще две недели, прежде чем миновала опасность для жены Нейла Партингтона и она оправилась от болезни. Итак, в общей сложности, лишь через месяц наш «Северный олень» вновь появился в Бенишии. Без кота мышам раздолье: за этот месяц рыбаки совсем от рук отбились и стали беззастенчиво нарушать закон. Огибая мыс Педро, мы заметили признаки оживления среди ловцов креветок, а по заливу Сан-Пабло шныряло немало рыбачьих баркасов с Верхнего залива, владельцы которых, завидев нас, спешили вытащить из воды свои сети и поднять паруса.

Все это, конечно, не могло не вызвать подозре-

ний. Мы тут же приступили к расследованию, и в первой же и единственной лодке, что нам удалось захватить, оказалась сеть, которой ловля сельди запрещена. По закону расстояние в петле от узла до узла должно быть не меньше семи с половиной дюймов, меж тем как в сети, захваченной нами, узлы находились один от другого на расстоянии трех дюймов. Это было злостным нарушением закона, и мы арестовали двух находившихся в лодке рыбаков. Одного из них Нейл Партингтон взял на «Северного оленя», где тот должен был помочь нашему патрульному вести судно, а мы с Чарли, забрав второго с собой, ушли вперед на задержанном баркасе.

Меж тем сельдяная флотилия что есть духу понеслась к берегам Петалумы, и на всем пути через залив Сан-Пабло мы не увидели больше ни одного рыбака. Наш пленник, бронзовый от загара бородач грек, угрюмо сидел на своей сети, а мы вели его судно. То был новенький баркас с реки Колумбии для ловли лососей, видимо, впервые в плавании, и управлять им было одно удовольствие. Наш пленник не произносил ни слова и, казалось, не замечал нас даже тогда, когда Чарли расхваливал его баркас, так что вскоре мы потеряли к нему всякий интерес, решив, что

он крайне необщительный человек.

Мы прошли Каркинезский пролив и свернули в бухту у Тернерской верфи, где море было спокойнее. Там в ожидании груза пшеницы нового урожая стояло несколько английских парусников с железным корпусом, и там же, на том самом месте, где был задержан Большой Алек, мы внезапно наткнулись на ялик с двумя итальянцами, оснащенный «китайской лесой» для ловли осетров. Это явилось полной неожиданностью как для них, так и для нас: не успели они опомниться, как мы уже были рядом. У Чарли едва хватило времени привестись к ветру и подвернуть к ним. Я побежал вперед и бросив конец, приказав, не мешкая, закрепить его. Один из итальянцев стал заматывать его на нагель, а я поспешил убрать наш парус. Баркас рванулся назад, потащив за собой ялик.

Чарли пошел на нос, намереваясь перепрыгнуть на захваченное судно, но, когда я ухватился за трос, чтобы подтащить ялик поближе, итальянцы отдали конец. Нас тут же начало сносить под ветер, меж тем как они, достав две пары весел, повели свое легкое суденышко против ветра. Этот маневр сперва обескуражил нас, ибо мы не могли надеяться догнать их на веслах в своей

большой, тяжело нагруженной лодке. И вдруг на помощь пришел наш пленник. Его черные глаза засверкали, лицо загорелось от сдержанного волнения, когда он опустил выдвижной киль и, одним прыжком очутившись на носу, поставил парус.

— Не зря говорят, что греки не любят итальянцев, — смеясь, заметил Чарли и бросился на корму к румпелю.

Никогда прежде я не видел, чтобы один человек так страстно желал поймать другого, как наш пленник во время этой погони. Он был так возбужден, что его глаза, казалось, вот-вот вылезут из орбит, а ноздри неестественно трепетали и раздувались. Чарли правил рулем, а он — парусом; и, хотя Чарли был скор и проворен, как кошка, грек с трудом сдерживал свое нетерпение.

Итальянцы были отрезаны от берега — их отделяла, самое меньшее, добрая миля пути. Если бы они попытались держать прямо к берегу, то мы, идя за ними при боковом ветре, догнали бы их прежде, чем они прошли восьмую часть этого расстояния. Нет, они были слишком благоразумны, чтобы сделать такую попытку, и продолжали энергично грести против ветра вдоль правого борта большого судна под названием «Лан-

каширская королева». За кораблем в сторону противоположного берега тянулась открытая полоса воды шириною в добрых две мили. Идти туда они тоже не осмеливались, ибо мы неминуемо догнали бы их. Так что, когда они достигли носа «Ланкаширской королевы», им не оставалось ничего другого, как обогнуть его и направиться вдоль левого борта к корме, идя, таким образом, по ветру и оставляя преимущество за нами.

Мы в своем баркасе, держа круто к ветру, легли на другой галс и срезали нос кораблю. Чарли переложил руль под ветер, и мы пошли по левому борту «Королевы»; грек, ухмыляясь от удовольствия, потравил шкот. Итальянцы уже успели пройти половину длины корабля, но крепкий попутный бриз гнал нас куда быстрее, чем они могли двигаться на веслах. Мы подходили все ближе и ближе, и я, перейдя на нос, уже приготовился было зацепить ялик, как вдруг он нырнул под широкую корму «Ланкаширской королевы».

Погоня, собственно, началась сначала. Итальянцы шли на веслах по правому борту корабля, а мы, держа в крутой бейдевинд, постепенно уходили от «Королевы», пытаясь выбраться на ветер. Потом ялик юркнул под нос корабля и пошел по его левому борту, а мы легли на другой

галс, срезали нос кораблю и по ветру пустились за ними вдогонку. И снова только я потянулся к ялику, как он нырнул под корму корабля и был таков. И так мы делали круг за кругом, и каждый раз итальянцам удавалось, правда, едва-едва, ускользнуть от опасности.

Тем временем экипаж корабля узнал о том, что происходит, и мы увидели над собой длинный ряд зрителей, с интересом следивших за погоней. Всякий раз, когда мы упускали ялик у кормы, они орали от восторга и бросались к противоположному борту «Ланкаширской королевы», чтобы насладиться тем, как мы будем гнаться за яликом против ветра. Они забрасывали нас и итальянцев остротами и советами и так разозлили нашего грека, что он по крайней мере раз в каждом круге угрожающе потрясал кулаком. Они уже стали ждать этого жеста и встречали его бурным весельем.

— Как в настоящем цирке! — крикнул один из них.

— А еще сомневаются, есть ли на море ипподром! А это что, если не ипподром? — подтвердил второй.

— Шестидневные бега, ежели вам угодно, — возвестил третий. — Кто говорит, что итальяшки

не выиграют?

На следующем повороте против ветра грек предложил Чарли поменяться местами.

— Позвольте мне вести лодку, — попросил он. — Уж я-то догоню их. Я их наверняка поймаю.

То был удар по профессиональной гордости Чарли, ибо он не раз хвалился своим умением вести парусное судно. Тем не менее он передал румпель пленнику и занял его место у паруса. Мы сделали еще три круга, и грек убедился, что не может выжать из своего баркаса большей скорости, чем это делал Чарли.

— Бросьте эту затею, — посоветовал сверху один из матросов.

Грек свирепо нахмурился и потряс кулаком на прежний манер. Меж тем моя голова лихорадочно работала, и в конце концов меня осенила неплохая идея.

— Сделаем еще один круг, Чарли, — сказал я.

И когда мы легли на другой галс и снова пошли против ветра, я привязал кусок троса к небольшому четырехлапому крюку, который лежал на дне баркаса. Второй конец я прикрепил к носовому рыму и, спрятав крюк, стал ждать случая пустить его в ход. Ялик снова ушел под ветер к левому борту «Ланкаширской королевы», и

мы опять пустились по ветру вдогонку за яликом. Мы подходили к итальянцам все ближе, и я сделал вид, будто, как прежде, хочу поймать их. Корма ялика находилась от нас не более чем в шести футах, когда итальянцы, вызывающе засмеявшись, юркнули под корму корабля. В это мгновение я неожиданно выпрямился и метнул крюк. Расчет оказался верным, крюк зацепился за планшир ялика, и канат, натянувшись, вытащил маленькое суденышко из его убежища прямо к носу нашего баркаса.

Сверху, где столпились матросы, донесся стон сожаления, тут же сменившийся криками восторга, ибо один из итальянцев достал длинный складной нож и перерезал канат. Но мы уже вытянули их из безопасного места, и Чарли, сидевший у шкота на корме, наклонился вперед и ухватился за корму ялика. Все это произошло в одну секунду: в то мгновение, когда первый итальянец отсекал канат, а Чарли уцепился за ялик, второй итальянец ударил его веслом по голове. Чарли выпустил добычу и, оглушенный ударом, свалился на дно нашей лодки, итальянцы же налегли на весла и исчезли за кормой корабля.

Грек, действуя одновременно румпелем и шкотом, продолжал погоню вокруг «Ланкашир-

ской королевы», а я занялся Чарли, на голове у которого выросла ужасная шишка. Наши зрители-матросы неистовствовали от восторга, и все, как один, подбадривали удиравших итальянцев. Чарли сел и, прижав руку к голове, недоуменно осмотрелся.

— Теперь-то уж я ни за что не позволю им уйти, — наконец сказал он, доставая револьвер.

Когда мы делали следующий круг, он пригрозил итальянцам своим оружием, но они продолжали невозмутимо грести, сохраняя превосходный темп и не обращая ни малейшего внимания на оружие.

— Если вы не остановитесь, я буду стрелять! — сурово крикнул Чарли.

Однако угроза не возымела действия; они отказались капитулировать даже тогда, когда несколько пуль пронеслось в непосредственной близости от них. Им не хуже нас было известно, что Чарли не станет стрелять в безоружных людей, и они по-прежнему упорно кружили вокруг корабля.

— В таком случае мы их загоняем! — воскликнул Чарли. — Они у нас попляшут! Мы из них все жилы вытянем!

Итак, погоня продолжалась. Еще двадцать раз

мы заставили итальянцев обойти «Ланкаширскую королеву» и наконец увидели, что даже их железные мускулы сдают. Они уже выбивались из сил, и еще несколько кругов доконали бы их, если бы дело не приняло новый оборот. Всякий раз, идя против ветра, они имели перед нами преимущество, так что, когда они подходили к середине «Ланкаширской королевы», мы были только у ее носа. В последний раз обогнув нос, мы увидели, что итальянцы быстро поднимаются по трапу, неожиданно спущенному с корабля. Этот ход был подстроен матросами, очевидно, с согласия капитана, ибо, когда мы подошли, трап был уже поднят, а ялик качался высоко в воздухе на судовых шлюпбалках.

Последовавший разговор с капитаном был короток и ясен. Капитан категорически запретил нам подниматься на борт «Ланкаширской королевы» и наотрез отказался выдать итальянцев. К этому времени Чарли был так же взбешен, как и наш грек. Он не только потерпел неудачу в долгой и нелепой погоне, но вдобавок был оглушен ударом по голове, нанесенным улизнувшими от нас браконьерами.

— Пусть меня повесят, — решительно заявил он, стукнув кулаком по ладони другой руки, —

если эти двое удерут от нас! Я буду караулить их здесь до конца отпущенных мне дней, а если за это время не поймаю их, обещаю, что все равно умру не раньше, чем сцапаю их, не будь я Чарли Ле Грант.

Так началась осада «Ланкаширской королевы», сохранившаяся в анналах истории как самих рыбаков, так и рыбачьего патруля. Когда «Северный олень» после бесплодного преследования сельдяной флотилии вернулся в Бенишию, Чарли попросил Нейла Партингтона выслать нам свою лососевую лодку, погрузив в нее одеяла, провизию и печку. Обмен лодками произошел перед заходом солнца, и мы попрощались с нашим греком, которому предстояло сесть в Бенишии в тюрьму за то, что он нарушил закон. Мы с Чарли после ужина и до рассвета попеременно несли четырехчасовые вахты. Этой ночью рыбаки не делали попыток удрать, но с корабля была выслана на берег лодка с разведывательной целью.

На другой день мы наладили регулярную осаду и уточнили свой план, не забыв о собственных удобствах. Хорошую службу нам сослужил док под названием Соланская пристань, находившийся чуть пониже Бенишии. Оказалось, что «Ланкаширская королева», берег у Тернерской

верфи и Соланская пристань составляют углы большого равнобедренного треугольника. Одна сторона треугольника — расстояние от корабля до берега, которое могли бы покрыть итальянцы, равняется другой его стороне — расстоянию от Соланской пристани до берега, которое нам предстояло пройти так, чтобы не позволить итальянцам высадиться на берег. Но поскольку парусник идет намного быстрее гребного судна, то можно было разрешить итальянцам пройти половину их стороны треугольника, прежде чем пуститься в погоню по своей стороне. Если бы мы дали им возможность пройти больше половины пути, они добрались бы до берега раньше нас; опять-таки, пустись мы вдогонку, прежде чем они пройдут половину пути, им удастся укрыться от нас на корабле.

Мы заметили что воображаемая линия, проведенная от конца пристани к ветряной мельнице, стоявшей немного дальше к берегу, делит ровно пополам ту сторону треугольника, по которой должны были идти к берегу итальянцы. Эта линия помогла нам определить, как далеко можно позволить уйти, прежде чем пуститься в погоню. День за днем мы следили в бинокль, как итальянцы неторопливо гребли к точке на полпути, и

стоило им выйти на одну линию с мельницей, как мы мигом вскакивали в свою лодку и ставили парус. Но, увидев что мы готовы к погоне, они поворачивали и медленно шли назад к «Ланкаширской королеве», зная, что нам их не догнать.

На случай штиля, когда парусная лодка была бы бесполезна, у нас стоял наготове ялик, оснащенный веслами с вогнутыми лопастями. Но в те дни, когда ветер падал, мы были вынуждены покидать пристань, как только итальянцы отходили от корабля. Ночью же нам приходилось патрулировать в непосредственной близости от корабля, и тогда мы с Чарли несли вахту, сменяя друг друга каждые четыре часа. Однако итальянцы предпочитали для побега день, и наши ночные бдения были напрасны.

— Больше всего меня бесит, — сказал как-то Чарли, — то, что мы лишены заслуженного сна, меж тем как эти наглецы-браконьеры безмятежно спят по ночам. Но они мне заплатят за все! — пригрозил он. — Я их продержу на этом корабле до тех пор, пока капитан не взыщет с них за квартиру и харчи! Это так же верно, как то, что осетр не сом!

Нам предстояло решить мучительно трудную задачу. Пока мы были начеку, итальянцы не

могли удрать; но и нам не удалось бы поймать их, пока они соблюдают осторожность. Чарли совсем извелся, ломая себе голову над решением этой задачи, однако на сей раз его смекалка ему изменила. Видимо, не было иного выхода, как терпеливо ждать. Это была игра, и выиграть ее мог тот, у кого окажется больше терпения. Приятели итальянцев на берегу придумали целую систему сигнализации, с помощью которой легко переговаривались с ними, что особенно раздражало нас и ни на минуту не позволяло ослабить осаду. Кроме того, на Соланской пристани постоянно вертелись два или три подозрительного вида рыбака и шпионили за нами. Но нам ничего другого не оставалось, как, по словам Чарли, «скрывать свои муки за улыбкой». Меж тем осада отнимала все наше время и не давала возможности заняться чем-нибудь другим.

Дни шли, но положение не менялось. Не потому, что итальянцы не делали никаких попыток его изменить. Как-то ночью их приятели с берега даже вышли на ялике в море, чтобы обмануть нас и помочь тем бежать. Попытка эта не удалась только потому, что блоки талей у шлюпбалок были плохо смазаны. Нас отвлек от погони за незнакомым яликом скрип шлюпбалок, и мы вер-

нулись к «Ланкаширской королеве» в ту самую минуту, когда итальянцы спускали свой ялик на воду. На следующую ночь в темноте возле нас сновало целых шесть яликов, но мы прилипли к борту корабля, как пиявки, тем самым сорвав план рыбаков, так что под конец они разозлились и почем зря стали осыпать нас бранью. Чарли, сидя на дне лодки, смеялся про себя.

— Это хорошая примета, сынок, — сказал он мне. — Когда люди начинают браниться, значит, они потеряли терпение, а потеряв терпение, они вскоре теряют и голову. Помяни мое слово, если только мы продержимся, в один прекрасный день они забудут осторожность, и тогда им крышка.

Но они не забывали осторожность, и Чарли признался, что это тот случай когда все приметы врут. Терпение итальянцев, казалось, не уступало нашему, и столь же однообразно протекала вторая неделя осады, как вдруг проснулась дремавшая смекалка Чарли, и он придумал одну хитрость.

В Бенишию приехал новый, незнакомый рыбакам патрульный Питер Бойлен, и мы сделали его участником нашего плана. По мере сил своих мы старались сохранить нашу затею в тайне, но приятели итальянцев на берегу что-то заподозрили

и велели осажденным глядеть в оба.

В ту ночь, когда мы намеревались осуществить свою уловку, я и Чарли в гребной лодке, как обычно, заняли свое место у борта «Ланкаширской королевы». После того как совсем стемнело, Питер Бойлен вышел в море в неустойчивой, утлой лодчонке, такой, какую можно подхватить и унести под мышкой. Услышав, что он подходит, шумно ударяя веслами по воде, мы отошли на небольшое расстояние в темноту и остановились. Поравнявшись с «Ланкаширской королевой», Питер лихо окликнул стоявшего на вахте у якоря матроса и, спросив его, где стоит «Шотландский вождь» — другое судно, ожидавшее груза пшеницы, — по неловкости опрокинул свою лодчонку. Человек, стоявший на вахте, сбежал по трапу вниз и вытащил Питера из воды. А ему только этого и нужно было; теперь он надеялся попасть на корабль, где в каюте он согреется и высушит одежду. Однако капитан негостеприимно держал его на нижней ступеньке трапа; ноги его болтались в воде, и он так дрожал от холода, что мы не вытерпели, вышли из темноты и взяли его в нашу лодку. Шуточки и насмешки проснувшейся команды звучали в наших ушах как угодно, только не сладостно, даже оба итальянца влезли

на поручень и смеялись над нами заливчато и злобно.

— Ничего, — сказал мне Чарли так тихо, что только один я расслышал, — я очень рад, что мы не смеемся первыми. Мы прибережем свой смех к концу, не правда ли, сынок?

Потом он похлопал меня по плечу, но мне показалось, что в его голосе больше решимости, чем надежды.

Мы могли, конечно, заручиться помощью полиции и взойти на борт английского корабля по распоряжению властей. Но в инструкции Рыболовной комиссии было сказано, что патрульные должны избегать осложнений, и, вмешайся высшие власти, наш случай мог бы кончиться международным конфликтом.

Вторая неделя осады подходила к концу, но не было видно никаких признаков перемены обстановки. Все же утром четырнадцатого дня положение изменилось, при этом самым неожиданным и удивительным образом как для нас, так и для людей, которых мы так жаждали поймать.

Мы с Чарли возвращались к Соланской пристани, как обычно, проведя ночь в дозоре у борта «Ланкаширской королевы».

— Эй! — воскликнул Чарли в изумлении. — Во

имя разума и здравого смысла скажи мне: что это? Видел ли ты когда-нибудь такое чудное судно?

Да, было чему поучиться, ибо на причале стоял баркас, подобного которому я и в самом деле никогда не встречал. Его, собственно, нельзя было назвать баркасом, но он походил на баркас больше, чем на какое-либо другое судно. Он был длиною в семьдесят футов, но очень узок и почти без всяких надстроек, отчего казался меньше, чем был в действительности. Сделан он был весь из стали и выкрашен в черный цвет. На середине высились в ярд на значительном расстоянии одна от другой с наклоном к корме три дымовые трубы; нос же, длинный и острый, как нож, свидетельствовал о том, что судно строили с расчетом на большую скорость. Проходя мимо кормы, мы прочитали написанное на борту мелкими буквами: «Стрела».

Мы с Чарли сгорали от любопытства. Через несколько минут мы уже были на борту и беседовали с механиком, который стоял на палубе и любовался восходом солнца. Он охотно удовлетворил наше любопытство, и мы скоро узнали, что «Стрела» пришла поздно вечером из Сан-Франциско, что этот переход можно считать пробным и что судно принадлежит Сайлесу Тей-

ту, молодому миллионеру с калифорнийских рудников, который помешан на быстроходных яхтах. Потом заговорили о турбинных двигателях, о применении пара, об отсутствии поршней, штоков и кривошипов — словом, о таких вещах, в которых я ничего не смыслил, так как знал только парусные суда. Однако последние слова механика я отлично понял.

— Хотите верьте, хотите нет, но мощность «Стрелы» — четыре тысячи лошадиных сил, а скорость — сорок пять миль в час! — с гордостью заключил он.

— Повторите это, дружище! Повторите! — взволнованно воскликнул Чарли.

— Четыре тысячи лошадиных сил и сорок пять миль в час! — добродушно усмехаясь, повторил механик.

— Где ее владелец? — воскликнул Чарли. — Могу я потолковать с ним?

— Боюсь, что нет, — покачав головой, ответил механик. — Он еще спит.

В эту минуту на палубу поднялся молодой человек в синей куртке и, пройдя к корме, стал глядеть на небо.

— Вот это и есть мистер Тейт, — сказал механик.

Чарли пошел на корму и заговорил с ним; он что-то с жаром рассказывал, и по выражению лица молодого владельца судна можно было судить, что рассказ его забавляет. Видимо, он спросил, какая глубина воды у берега возле Тернерской верфи, ибо я увидел, как Чарли жестами объяснял ему. Несколько минут спустя Чарли вернулся в превосходном настроении.

— Пошли, сынок, — сказал он мне. — Пошли на пристань. Теперь уж мы их не выпустим!

Нам здорово повезло в том, что мы сразу покинули «Стрелу», ибо почти тут же появился один из шпионивших за нами рыбаков. Мы с Чарли заняли свое обычное место на причале возле нашей лодки, чуть впереди от «Стрелы», откуда было удобно наблюдать за «Ланкаширской королевой». До девяти часов все было спокойно, потом мы увидели, что итальянцы отошли от корабля и по своей стороне треугольника направились к берегу. Чарли сидел с самым невозмутимым видом, но не успели они покрыть и четверти расстояния, как он взволнованно прошептал:

— Сорок пять миль в час… Им нет спасения… Они наши!

Итальянцы медленно гребли и уже были почти на одной линии с ветряной мельницей. В эту

минуту мы обычно вскакивали в свою лодку и ставили парус; двое в ялике, ожидая, что мы и сейчас так поступим, видимо, удивились нашему бездействию.

Когда они оказались точно на линии с мельницей, на одинаковом расстоянии от берега и от корабля, ближе к берегу, чем мы позволяли им подойти до сих пор, у них возникли подозрения. Мы следили за ними в бинокль и увидели, как они встали в своем ялике, пытаясь догадаться, что мы собираемся делать. Озадачен был и шпион, сидевший рядом с нами на причале. Он не мог понять, почему мы не трогаемся с места. Итальянцы подошли еще ближе, снова поднялись и стали пристально всматриваться в берег, словно думая, что мы там спрятались. Тут на берегу появился какой-то человек и замахал платком, давая понять, что путь свободен. Тогда итальянцы решились. Они налегли на весла и ринулись вперед, но Чарли все еще выжидал. Только когда они прошли три четверти расстояния от «Ланкаширской королевы» и до берега осталось немногим больше четверти мили, Чарли хлопнул меня по плечу и крикнул:

— Попались! Попались!

Мы пробежали несколько шагов, отделявших

нас от «Стрелы», и прыгнули к ней на борт. В одно мгновение были отданы носовые и кормовые концы, и «Стрела» стремительно понеслась вперед. Шпионивший за нами рыбак, который остался на пристани, выхватил револьвер и, не переводя дыхания, пять раз выстрелил в воздух. Итальянцы поняли, что их предостерегают, и, как безумные, пустились наутек.

Но если сказать, что они удирали, как безумные, то какими словами можно описать наше движение? Мы буквально летели. С такой дикой скоростью мы рассекали воду, что за бортом с двух сторон вздымались лавины, которые, пенясь, разбегались тремя могучими вертикальными волнами, а с кормы на нас алчно наседал огромный гребенчатый вал, готовый, казалось, в любую секунду обрушиться на судно и уничтожить его. «Стрела» дрожала, трепетала, рычала, как живое существо. Ветер, который мы поднимали, был подобен урагану — урагану со скоростью в сорок пять морских миль в час. Мы не могли повернуться к нему лицом и едва переводили дыхание. Он относил выходивший из жерл труб дым прямо назад под прямым углом к движению судна. Мы мчались со скоростью экспресса. «Мы прямо-таки неслись стрелой», — говорил потом

Чарли, и вряд ли подберешь слова, которые более точно описали бы скорость нашего движения.

Что касается итальянцев в ялике, то мне казалось, что мы нагнали их, едва успев отойти от пристани. Конечно, пришлось умерить ход задолго до того, как мы подошли к ним; но все равно «Стрела» вихрем пронеслась мимо, и мы были вынуждены повернуть назад, описав дугу между ними и берегом. Итальянцы напряженно гребли, приподнимаясь над банкой при каждом ударе весел, до той самой минуты, когда мы промчались мимо них и они узнали нас с Чарли. Это их совершенно обескуражило, и от их воинственности и следа не осталось. Они мрачно вытащили свои весла из воды и позволили себя арестовать.

— Все это так, Чарли, — сказал Нейл Партингтон, когда мы потом на пристани поведали ему о нашей победе, — но я не понимаю, в чем проявилась твоя хваленая смекалка на этот раз.

Однако Чарли остался верен своему коньку.

— Смекалка? — переспросил он, указывая на «Стрелу». — Взгляни-ка на это судно! Ты только взгляни! Уж если изобретение такого судна не результат смекалки, тогда что это такое, хотел бы я знать? Конечно, — добавил он, — на этот раз смекалка не моя, но свое дело она сделала.

Уловка Чарли

Быть может, свой самый смешной и в то же время самый опасный подвиг наш рыбачий патруль совершил в тот день, когда мы одним махом захватили целую ораву разъяренных рыбаков.

Чарли называл эту победу богатым уловом, и хотя Нейл Партингтон говорил о хитрой уловке, я думаю, Чарли не видел тут разницы, считая, что оба слова означают «выловить», «захватить». Но будь то уловка или улов, а эта схватка с рыбаками стала для них настоящим Ватерлоо, ибо то было самое тяжелое поражение, какое когда-либо нанес им рыбачий патруль, — и поделом: ведь они открыто и нагло нарушали закон.

Во время так называемого «открытого сезона» рыбаки имеют право ловить лососей, сколько им посчастливится встретить или сколько влезет в их лодки. Однако с одним существенным ограничением. С заката солнца в субботу и до восхода в понедельник ставить сети не разрешается. Таково мудрое постановление Рыболовной комиссии, ибо во время нереста необходимо дать лососям возможность подниматься в реку, где они мечут икру. И этот закон, кроме одного единственно-

го раза, всегда строго соблюдался греческими рыбаками, ловившими лососей для консервных заводов и продажи на рынке.

Как-то в воскресное утро приятель Чарли сообщил нам по телефону из Коллинсвиля, что весь рыбачий поселок вышел в море и ставит сети. Мы с Чарли тотчас вскочили в лодку и отправились на место происшествия. С легким попутным ветерком мы прошли Каркинезский пролив, пересекли Сьюисанскую бухту, обогнули маяк Шип-Айленд и увидели всю рыболовецкую флотилию за работой.

Но прежде всего позвольте мне объяснить, каким способом они ловили рыбу. Они ставили так называемые «жаберные сети». Это простые сети с ромбовидными петлями, в которых расстояние между узлами должно быть не больше семи с половиной дюймов. Такие сети бывают от пятисот до семисот и даже восьмисот футов длины, а ширина их всего несколько футов. Они не закрепляются на одном месте, а плывут по течению, причем верхний край держится на воде с помощью поплавков, а нижний тянут ко дну свинцовые грузила.

Благодаря такому устройству сеть стоит вертикально поперек течения и пропускает в реку

только самую мелкую рыбешку. Лососи плывут обычно поверху и попадают головой в петли, но из-за своей толщины они не могут проскользнуть сквозь сеть, а назад их не пускают жабры, которые цепляются за петли. Чтобы поставить такую сеть, нужны всего два рыбака: один гребет, а другой, стоя на корме, осторожно закидывает сеть в воду. Растянув всю сеть поперек реки, рыбаки привязывают один ее конец к лодке и плывут вместе с ней по течению.

Когда мы приблизились к нарушившим закон рыболовам — их сети были заброшены на расстоянии двухсот — трехсот ярдов друг от друга, а река, насколько хватал глаз, была сплошь усеяна лодками, — Чарли сказал:

— Одно досадно, парень, что у меня не тысяча рук, чтобы захватить их сразу. А так больше одной лодки нам не поймать: пока мы будем с ней возиться, остальные выберут сети и удерут.

Мы подошли поближе, но не заметили ни беспокойства, ни суматохи, которые неизменно вызывало наше появление. Напротив, все лодки спокойно оставались возле своих сетей, и рыбаки не обращали на нас ни малейшего внимания.

— Странно, — пробормотал Чарли. — Может, они нас не узнали?

Я ответил, что этого быть не может, и Чарли согласился со мной. Перед нами растянулась целая флотилия, которой управляли люди, как нельзя лучше знавшие нас, а между тем они смотрели на нашу лодку так равнодушно, как будто мы были какой-нибудь шаландой с сеном или увеселительной яхтой.

Однако картина несколько изменилась, когда мы направили свою лодку и стали потихоньку грести к берегу. Но остальные рыбаки по-прежнему не проявляли никаких признаков беспокойства.

— Право, забавно, — заметил Чарли. — Во всяком случае, мы можем конфисковать сеть.

Мы убрали парус, схватили конец сети и принялись тянуть ее в лодку. Но стоило нам взяться за сеть, как мимо нас просвистела пуля и щелкнула по воде, а вдали раздался ружейный выстрел. Уплывшие на берег рыбаки стреляли в нас. Мы снова взялись за сеть, и снова просвистела пуля, на этот раз угрожающе близко. Чарли зацепил конец сети за уключину и сел. Выстрелы прекратились. Но только он взялся за сеть, опять началась стрельба.

— Ничего не попишешь, — сказал он, выбрасывая за борт конец сети. — Вам, ребята, видно, сеть

нужна больше, чем нам, так получайте ее.

И мы поплыли к следующей лодке: Чарли хотел выяснить, действительно ли перед нами организованное нарушение закона.

Когда мы подошли поближе, сидевшие в лодке рыбаки тоже отвязали свою сеть и двинулись к берегу, а первые двое вернулись и привязали лодку к брошенной нами сети. Но только мы взялись за вторую сеть, на нас опять посыпались пули, и стрельба прекратилась, лишь когда мы отступили; у третьей лодки повторилась та же история.

Потерпев полное поражение, мы прекратили свои попытки, поставили парус, легли на длинный наветренный галс и двинулись обратно в Бенишию. Прошло еще несколько воскресений, и каждый раз рыбаки открыто нарушали закон. Без помощи вооруженных солдат мы ничего не могли с ними поделать. Рыбакам пришлась по душе их новая выдумка, и они пользовались ею вовсю, а мы не знали, как справиться с ними.

К этому времени Нейл Партингтон вернулся из Нижней бухты, где пробыл несколько недель. С ним был и Николас, юноша-грек, который участвовал в набеге на устричных пиратов, и они оба решили помочь нам. Мы тщательно обдумали план действий и договорились, что они устроят

засаду на берегу и, когда мы с Чарли начнем вытаскивать сети, захватят рыбаков, которые выйдут из лодки и начнут нас обстреливать.

План был очень хорош. Даже Чарли его одобрил. Однако греки оказались куда хитрее, чем мы думали. Они нас опередили, устроили сами засаду на берегу и захватили в плен Нейла и Николаса, а когда мы с Чарли попытались забрать сети, вокруг нас засвистели пули, как и прошлый раз. Нам снова пришлось отступить, и тогда рыбаки тотчас отпустили Нейла и Николаса. Они вернулись к нам очень сконфуженные, и Чарли безжалостно высмеял их. Но Нейл тоже не остался в долгу и язвительно спрашивал у Чарли, куда девалась его хваленая смекалка и как это он до сих пор ничего не придумал.

— Дай срок, придумаю, — обещал Чарли.

— Все может быть, — соглашался Нейл, — но боюсь, что к тому времени лососей совсем не останется и твоя смекалка будет ни к чему.

Нейл Партингтон, весьма раздосадованный происшедшим, снова отправился в Нижнюю бухту, прихватив с собой Николаса, а мы с Чарли снова остались одни. Это значило, что воскресная ловля будет идти своим чередом, по крайней мере, до тех пор, пока Чарли не осенит какая-нибудь

счастливая идея. Я тоже ломал себе голову, стараясь придумать, как бы изловить греков, и мы составляли тысячу планов, которые на поверку никуда не годились.

Греки же ходили, задрав нос, хвастались направо и налево своей победой, и это еще больше унижало нас. Вскоре мы заметили, что среди рыбачьего населения наш авторитет явно упал. Мы были побеждены, и рыбаки потеряли к нам уважение. А с потерей уважения начались и дерзости. Чарли прозвали «Старой бабой», а меня окрестили «Сосунком». Положение становилось невыносимым, и мы чувствовали, что должны нанести грекам решительный удар, дабы вновь поднять свой авторитет на прежнюю высоту.

Как-то утром нам наконец пришла в голову счастливая мысль. Мы были на пристани, где останавливаются речные пароходы, и увидели толпу грузчиков и зевак, теснившихся вокруг какого-то парня с заспанным лицом, в высоких морских сапогах, который развлекал их, рассказывая о своих злоключениях. Этот рыболов-любитель, по его словам, ловил возле Беркли рыбу для продажи на местном рынке. Беркли находится в Нижней бухте, за тридцать миль от Бенишии. Прошлой ночью он закинул

сеть и незаметно задремал на дне своей лодки. Проснулся он уже утром и, когда продрал глаза, увидел, что его лодка тихонько стукается о причал пароходной пристани в Бенишии, а перед ним торчит пароход «Апаш», и двое матросов снимают обрывки его сети с пароходного колеса. Словом, когда он заснул, фонарь на его лодке потух, и «Апаш» прошел прямо по его сети. Хотя сеть и разорвалась в клочья, однако она накрепко зацепилась за колесо и тридцать миль тащила лодку за собой.

Чарли подтолкнул меня локтем в бок. Я сразу понял его мысль, но возразил:

— Мы не можем нанять пароход.

— Я и не собираюсь, — ответил он. — Но давайка сходим на Тернерскую верфь. У меня есть одна мыслишка, авось, она нам пригодится.

И мы отправились на верфь, а там Чарли повел меня к «Мэри-Ребекке», вытащенной из воды на слип для чистки и ремонта. Мы оба хорошо знали эту плоскодонную посудину, она поднимала сто сорок тонн груза, а такой большой парусности не было ни у одной шхуны во всем заливе.

— Как дела, Оле? — крикнул Чарли здоровенному шведу в синей рубашке, который смазывал усы грота-гафеля свиным жиром.

Оле что-то промычал и продолжал дымить трубкой, не отрываясь от работы. Капитану шхуны, которая ходит по заливу, приходится работать не покладая рук, не меньше своих матросов.

Оле Эриксен подтвердил догадку Чарли: как только ремонт будет закончен, «Мэри-Ребекка» отправится вверх по реке Сан-Хоакин в Стоктон за грузом пшеницы. Тогда Чарли высказал свою просьбу, но Оле Эриксен решительно покачал головой.

— Всего один крюк, один крепкий крюк, — уговаривал Чарли.

— Нет, это я не могу, — отвечал Оле Эриксен. — «Мэри-Ребекка» с такой крюк будет цеплять каждый чертов миль. Я не желал потерять «Мэри-Ребекка». Это все, что я имел.

— Да нет же, — уверял его Чарли. — Мы просунем конец крюка сквозь дно и закрепим его внутри гайкой. Когда мы покончим с нашим делом, нам останется только спуститься в трюм, вывинтить гайку и вытолкнуть крюк. Потом мы вставим в отверстие деревянную затычку, и твоя шхуна будет в полном порядке.

Оле Эриксен долго упирался, но мы угостили его хорошим обедом и в конце концов уломали.

— Ну, валяйте, разрази вас гром! — сказал он,

стукнув огромным кулачищем себя по ладони. — Но поторопитесь с этот крюк. «Мэри-Ребекка» пошел на воду сегодня в ночь.

Была суббота, и Чарли следовало поспешить. Мы отправились в кузницу при верфи, где по указанию Чарли нам выковали огромный, сильно изогнутый стальной крюк. Затем мы поскорее вернулись к «Мэри-Ребекке». Чуть позади большого килевого колодца, через который проходит выдвижной киль, мы пробуравили дыру. Я вставил в нее снаружи крюк, а Чарли изнутри прочно закрепил его гайкой. Когда мы кончили работу, крюк торчал на фут из днища шхуны. Он был изогнут в виде серпа, но еще круче.

К вечеру «Мэри-Ребекка» была спущена на воду, и все приготовления к отплытию закончены. Чарли и Оле пристально всматривались в вечернее небо, стараясь угадать, будет ли завтра ветер: без хорошего бриза наш план был обречен на провал. Они оба пришли к заключению, что все приметы предсказывают сильный западный ветер — не обычный дневной бриз, а почти шторм, который уже начал разыгрываться.

Наутро их предсказания подтвердились. Солнце ярко светило, но в Каркинезском проливе завывал штормовой ветер, и «Мэри-Ребекка» вы-

шла под двумя рифами на гроте и одним на фоке. В проливе и в Сьюисанской бухте нас сильно потрепало, но вскоре мы вошли в более защищенное место, и стало тише, хотя ветер по-прежнему хорошо наполнял паруса.

Миновав маяк Шип-Айленд, мы отдали рифы; по распоряжению Чарли большой рыбачий стаксель был изготовлен к подъему, а грота-топсель, пришнурованный у топа мачты, был разобран так, что мы могли поставить его в любую минуту.

Мы быстро шли фордевинд, неся паруса бабочкой, стаксель на правом борту и грот на левом, и вскоре увидели впереди флотилию рыбаков. Как и в то воскресенье, когда им удалось впервые провести нас, вся река, насколько хватало глаз, была усеяна их лодками и сетями. У правого берега они оставили узкий проход для судов, а вся остальная поверхность воды была сплошь покрыта широко растянутыми сетями. Нам, конечно, следовало бы войти в этот проход, но Чарли стоявший у руля, направил «Мэри-Ребекку» прямо на сети. Однако это не вызвало тревоги среди рыбаков, ибо суда, идущие вверх по реке, ставят обычно на конце киля так называемые «башмаки», которые скользят по сетям, не зацепляя их.

— Готово дело! — крикнул Чарли, когда мы быстро пересекли длинный ряд поплавков, отмечавших край сети. На одном конце этого длинного ряда плавал маленький бочонок — буек, а на другом была лодка с двумя рыбаками. Бочонок и лодка вдруг начали быстро сближаться, а рыбаки, увидев, что мы тащим их за собой, принялись громко кричать. Две-три минуты спустя мы зацепили вторую сеть, а за ней третью и, двигаясь посредине флотилии, цепляли на крюк одну сеть за другой.

Потрясенные рыбаки смотрели на нас в полном смятении. Как только мы цепляли сеть, оба ее конца, буек и лодка, сближались и неслись за нашей кормой; и вся эта стая лодок и буйков мчалась за нами с такой головокружительной быстротой, что рыбаки едва успевали управляться с лодками, стараясь не разбиться друг о друга. Греки орали что есть мочи, требуя, чтобы остановили судно; они думали, что это веселая шутка подвыпивших матросов, им и в голову не приходило, что на шхуне рыбачий патруль.

Даже одну сеть тащить нелегко, и Чарли с Оле Эриксеном решили, что, несмотря на попутный ветер, «Мэри-Ребекке» не справиться больше чем с десятью сетями. Поэтому, подцепив десяток

сетей и волоча за собой десять лодок с двадцатью рыбаками, мы свернули влево, оставив позади флотилию, и направились в Коллинсвиль.

Мы ликовали. Чарли так гордо стоял у руля, как будто вел домой победившую на гонках яхту. Два матроса, составлявшие весь экипаж «Мэри-Ребекки», потешались и скалили зубы. Оле Эриксен потирал свои руки с детской радостью.

— Я думал, ваш рыбачий патруль никогда не имел такой удача, как на шхуне Оле Эриксена, — сказал он, как вдруг за кормой хлопнул выстрел, прожужжала пуля, чиркнула по свежевыкрашенной обшивке каюты и, ударившись о гвоздь, со свистом отскочила в сторону.

Для Оле Эриксена это было уж слишком. Увидев, что ему испортили новенькую обшивку, он вскочил и погрозил рыбакам кулаком; но тут вторая пуля угодила в стенку каюты, в шести дюймах от его головы, и он поскорей растянулся на палубе, укрывшись за бортом.

У всех рыбаков были ружья, и теперь они принялись палить все разом. Мы попрятались кто куда, даже Чарли пришлось бросить штурвал. Если бы не тяжелые сети за кормой, мы наверняка попали бы в руки разъяренных рыбаков. Но сети, прочно зацепившиеся за днище «Мэри-Ребекки»,

тащили ее корму на ветер и она по-прежнему держала курс, хотя и не очень точно.

Лежа на палубе, Чарли мог дотянуться до нижних спиц рулевого колеса, но управлять шхуной таким способом было крайне неудобно. Тут Оле Эриксен припомнил, что в трюме у него лежит большой стальной лист. Это был кусок бортовой обшивки «Нью-Джерси»: пароход недавно потерпел крушение возле Золотых ворот, и «Мэри-Ребекка» принимала участие в его спасении.

Двое матросов, Оле и я осторожно проползли по палубе и притащили тяжелый лист наверх, а затем поставили его на корме, как щит, загородив штурвал от рыбаков. Пули щелкали и звенели, ударяясь о гудевший, как колокол, щит, но Чарли только посмеивался в своем укрытии и спокойно правил рулем. И так мы мчались вперед: за кормой — орава вопивших от ярости греков, впереди — Коллинсвиль, а вокруг рой свистевших пуль.

— Оле, — сказал вдруг Чарли упавшим голосом, — я не знаю, что нам теперь делать.

Оле лежал на спине у самого борта и усмехался, глядя в небо; он повернулся на бок и взглянул на Чарли.

— Я думал, мы будем идти в Коллинсвиль, как хотел раньше, — ответил он.

— Но мы не можем там остановиться, — простонал Чарли. — Я никак не ожидал, что мы не сможем остановиться.

Широкое лицо Оле Эриксена выразило полную растерянность.

Увы, это была правда. За спиной у нас осиное гнездо, а остановиться в Коллинсвиле — значит сунуть в это гнездо голову.

— У каждого чертова грека ружье, — весело сказал один из матросов.

— Да еще нож в придачу, — отозвался второй.

Теперь уже застонал Оле Эриксен.

— И зачем только шведский человек, как я, совать свой нос в чужие дела, будто обезьяна! — пробормотал он про себя.

Пуля щелкнула по корме и пролетела над правым бортом, жужжа, как разозленная пчела.

— Остается только пристать к берегу, бросить «Мэри-Ребекку» и удрать,

— сказал веселый матрос.

— Бросать «Мэри-Ребекку»? — воскликнул Оле Эриксен с непередаваемым ужасом в голосе.

— Дело ваше, — отозвался тот. — Только я хотел бы оказаться за тысячу миль отсюда, когда эти парни взберутся на борт. — И он указал на беснующихся греков, которых мы продолжали

тащить за собой.

Мы как раз поравнялись с Коллинсвилем и, вспенивая воду, прошли так близко от пристани, что до нее можно было добросить камень.

— У меня одна надежда, что ветер продержится, — сказал Чарли, украдкой поглядывая на наших пленников.

— А что нам ветер? — уныло спросил Оле. — Скоро река нельзя пройти, и тогда… тогда…

— Тогда мы заберемся в глухие места и попадем в лапы грекам, — добавил веселый матрос, пока Оле раздумывал над тем, что случится когда мы дойдем до истока реки.

Мы подошли к тому месту, где река расходилась на два рукава. Налево было устье реки Сакраменто, а направо устье реки Сан-Хоакин. Веселый матрос прополз вперед и перебросил фок, а Чарли взял право руля и мы свернули направо — в устье реки Сан-Хоакин. Попутный ветер, который гнал нас вперед на ровный киль, теперь задул справа по борту, и «Мэри-Ребекка» так резко накренилась влево, что, казалось, вот-вот опрокинется.

Но мы все же мчались вперед, а рыбаки неслись за нами. Стоимость их сетей была значительно выше штрафов, которые с них брали за нарушение законов о рыбной ловле, и потому, хотя им

ничего не стоило отвязать свои лодки и удрать, они на этом ничего бы не выгадали. Кроме того, они не бросали своих сетей инстинктивно, как моряк не бросает своего корабля. Но главное, в них все росла жажда мести, и мы могли быть уверены, что они последуют за нами хоть на край света, если нам вздумается тащить их в такую даль.

Стрельба прекратилась, и мы отважились выглянуть за корму, посмотреть, что делают наши пленники. Их лодки следовали за нами на разных расстояниях друг от друга, но четыре передних выравнялись и шли рядом. Передняя лодка, видно, бросила с кормы конец той, что шла за ней. Лодки ловили концы, отделялись от своих сетей и подтягивались друг к другу, пока не стали в одну линию. Однако мы шли с такой скоростью, что произвести этот маневр было очень нелегко. Порой, несмотря на все усилия, им не удавалось подтянуться ни на дюйм, но иногда они двигались довольно быстро.

Когда четыре лодки сблизились настолько, что из одной в другую мог перебраться человек, из трех задних лодок перешло в переднюю по одному греку, и каждый захватил с собой ружье. Таким образом в передней лодке собралось пять

человек, и мы сразу поняли, что они намеревают-ся взять нас на абордаж. Но, чтобы осуществить свое намерение, им надо было изрядно потру-диться: приходилось подтягиваться за веревку с поплавками, все время перехватывая руки. И все же, хотя они двигались очень медленно и часто останавливались передохнуть, им удавалось по-тихоньку подбираться к нам все ближе и ближе.

Чарли улыбался, глядя на их усилия.

— Поставь-ка топсель, Оле! — сказал он.

Под свист пуль шнуровка на топе мачты была разорвана, шкот и галс оттянуты втугую, и «Мэ-ри-Ребекка», сильно накренившись, понеслась еще быстрей.

Но греки не сдавались. Не в силах при такой скорости подтягивать лодку вручную, они сняли блоки со своих парусов и соорудили то, что моря-ки называют «хваттали». Один из рыбаков, лежа на носу лодки, свешивался как можно дальше за борт и, пока товарищи держали его за ноги, прикреплял блок к натянутому краю сети. Затем они все вместе тянули за тали, пока блоки не сходились, и снова повторяли этот маневр.

— Придется отдать стаксель! — сказал Чарли.

Оле Эриксен посмотрел на дрожавшую от на-пряжения «Мэри-Ребекку» и покачал головой.

— Тогда вылетят мачты, — сказал он.

— А иначе мы вылетим со шхуны, — возразил Чарли.

Оле с тревогой взглянул на мачты, потом на лодку с вооруженными греками и согласился.

Пятеро греков столпились на носу — место опасное, когда лодка идет на буксире. Я наблюдал, что станется с их лодкой, когда мы поставим большой рыбачий стаксель: он несравненно больше марселя и ставится только при легком бризе. Когда «Мэри-Ребекка» стремительно рванулась вперед, лодка зарылась носом в воду, а люди, цепляясь друг за друга, как безумные, бросились на корму, спасая лодку от гибели.

— Это охладит им пыл! — заметил Чарли, но я видел, что он с тревогой следит за ходом «Мэри-Ребекки», которая несла гораздо больше парусов, чем ей было под силу.

— Следующая остановка — Антиох! — возвестил веселый матрос на манер железнодорожного кондуктора. — А за ней Мериуэзер.

— Поди-ка сюда поскорей, — позвал меня Чарли.

Я подполз к нему и стал рядом под защитой стального листа.

— Засунь руку мне в карман и достань запис-

ную книжку, — сказал он. — Так. Теперь вырви чистый листок и напиши то, что я скажу.

И я написал:

«Позвоните в Мериуэзер шерифу, констеблю или судье. Сообщите, что мы идем к ним. Пусть они поднимут на ноги весь город и вооружат людей. Пусть приведут всех на пристань и встречают нас, иначе нам каюк».

— Теперь сложи бумажку, привяжи к свайке и стой тут наготове, чтобы бросить ее на берег. Я сделал все, как он сказал. Тем временем мы подошли к Антиоху. Ветер выл в наших снастях, и «Мэри-Ребекка», почти опрокинувшись на бок, неслась вперед, как быстроходное океанское судно. Моряки на берегу Антиоха, увидев, что мы поставили марсель и стаксель — безрассудный маневр при таком ветре, — поспешили на пристань и стояли у причала, стараясь понять, в чем дело.

Не убавляя хода, мы подошли так близко к берегу, что любой из нас мог бы спрыгнуть на пристань. Тут Чарли дал мне знак, и я бросил свайку. Она громко стукнулась о дощатый настил, отскочила на пятнадцать — двадцать футов и была подхвачена пораженными зрителями.

Все это произошло в мгновение ока, в следу-

ющий миг Антиох остался позади, и мы уже неслись по Сан-Хоакину к Мериуэзеру, лежавшему в шести милях вверх по течению. Река повернула на восток, и мы снова мчались по ветру, поставив паруса бабочкой и перекинув стаксель на правый борт.

Оле Эриксен, казалось, погрузился в глубокое отчаяние. Чарли и двое матросов, напротив, не теряли надежды и, видимо, не без основания. В Мериуэзере жили главным образом углекопы, и можно было ожидать, что в воскресный день все они в городе. К тому же углекопы никогда не питали особой любви к греческим рыбакам, и мы могли быть уверены, что они окажут нам горячую поддержку.

Мы напряженно всматривались в даль, стараясь разглядеть город, и, как только увидели его, почувствовали огромное облегчение. Причалы были черны от народа. Подойдя поближе, мы увидели, что люди все прибывают, спускаясь бегом по главной улице, с ружьями в руках или за плечом. Чарли оглянулся на рыбаков, и в глазах его мелькнуло самодовольство победителя, какого я прежде не замечал. Греки были ошеломлены, увидев толпу, и попрятали свои ружья.

Мы убрали топсель и стаксель, потравили гро-

та-фал и, поравнявшись с главной пристанью, перекинули грот. «Мэри-Ребекка» повернулась к ветру, лодки пленных рыбаков описали за ней широкую дугу и, когда мы, замедлив ход, отдали концы и пришвартовали к пристани, догнали нас. Мы причалили под радостные крики возбужденных углекопов.

У Оле Эриксена вырвался вздох облегчения.

— Я уже думал, никогда не увижу своя жена, — сознался он.

— Почему? Нам не грозила никакая опасность, — возразил Чарли.

Оле недоверчиво поглядел на него.

— Конечно, не грозила, — подтвердил Чарли. — Мы могли в любую минуту выбросить крюк, что я сейчас и сделаю, и греки забрали бы свои сети.

Он спустился в трюм с гаечным ключом. Когда греки вытащили сети и привели лодки в порядок, мы передали их с рук на руки отряду вооруженных граждан, и они проследовали в тюрьму.

— Я, кажется, валял большой дурак, — сказал Оле Эриксен.

Но он изменил свое мнение, когда восхищенные жители города столпились на борту, чтобы пожать ему руку, а несколько бойких репортеров принялись фотографировать «Мэри-Ребекку» и

ее капитана.

Деметриос Контос

Из того, что я рассказывал о греках-рыбаках, не следует думать, что все они были преступниками. Отнюдь нет. Это были суровые люди, которые жили обособленными колониями и в борьбе со стихиями добывали свой хлеб насущный. Они не признавали закона и, считая его насилием и произволом, не понимали, зачем он нужен. Особенно тираническим казался им закон о рыбной ловле. И в нас, рыбачьих патрульных, они, естественно, видели своих врагов.

Мы угрожали их жизни и мешали добывать пропитание, что, в сущности, одно и то же. Мы конфисковали их браконьерские сети и снасти, изготовление которых стоили денег и требовало несколько недель работы. Много раз в году, а порой и целый сезон мы запрещали им ловить рыбу, лишая заработка, какой они могли бы иметь, если бы нас не существовало. А когда они попадались нам в руки, мы предавали их суду, где с них взимали большой денежный штраф. Вот почему они нас ненавидели и радовались случаю нам отомстить. Патрульный — такой же естественный враг рыбака, как собака — кошки,

а змея — человека.

Но пусть читатель не думает, что рыбаки умели только люто ненавидеть; нет, они были способны и на благородные поступки, в доказательство чего я и хочу рассказать историю о Деметриосе Контосе. Деметриос Контос жил в Валлехо. После Большого Алека он был самым сильным, самым отважным и самым влиятельным человеком среди греков. Он ничем не беспокоил нас и вряд ли когда-нибудь столкнулся бы с нами, не обзаведись он новой лодкой для ловли лососей. Она-то и явилась причиной всех бед. Деметриос сделал ее по собственному образцу, слегка изменив очертания обычной лососевой лодки.

К его великому восторгу оказалось, что новая лодка очень быстроходна, быстроходнее всех лодок в заливе и впадающих в него реках. И когда нам с помощью «Мэри-Ребекки» удалось хорошенько припугнуть рыбаков, занимавшихся ловлей лососей в воскресенье, он послал в Бенишию вызов, который передал нам один из местных рыбаков. Смысл вызова был такой: в следующее воскресенье Деметриос Контос выйдет из Валлехо, закинет сеть на самом виду у Бенишии и будет ловить лососей, а патрульный Чарли Ле Грант пусть придет и поймает его, если сможет.

Разумеется, мы с Чарли тогда ничего не знали о новой лодке Контоса. Наша же собственная была довольно быстроходной, и мы не боялись помериться силой с любой другой.

Настало воскресенье. Слух о вызове не замедлил распространиться: рыбаки и моряки Бенишии все, как один, пришли на пароходную пристань, так что она стала похожа на центральную трибуну во время футбольного матча. Мы с Чарли были настроены весьма скептически, но, увидев на пристани такую толпу, поняли, что Деметриос Контос полез на рожон не зря.

После полудня, когда морской бриз набрал силу, на горизонте показался парус судна, идущего на фордевинд. Футах в двадцати от пристани судно сделало поворот, и перед толпой предстал Деметриос Контос. Театральным жестом, словно рыцарь перед состязанием на турнире, он приветствовал восхищенных зрителей, встретивших его возгласами одобрения, и остановился в двухстах ярдах от берега. Потом он опустил парус, лег в дрейф по ветру и стал закидывать сеть. Он закинул ее не всю, а футов пятьдесят, не больше, однако нас с Чарли, как громом, поразила наглость рыбака. Тогда мы еще не знали — это стало нам известно позже, — что сеть была

старой и негодной. Она могла задержать рыбу, но сколько-нибудь значительный улов разорвал бы ее на куски.

— Признаться, я ничего не понимаю, — пожав плечами, заметил Чарли. — Пусть он закинул всего пятьдесят футов сети, что из этого? Ему все равно ее не вытащить, если мы двинемся за ним. И зачем он вообще явился сюда и нагло попирает закон у нас на глазах? Да еще у самого города, в котором мы живем.

В голосе Чарли послышались нотки обиды, и он несколько минут продолжал горячо возмущаться бесстыдством Деметриоса Контоса.

Тем временем человек, о котором шла речь, сидел развалившись на корме своей лодки и следил за поплавками. Когда в жаберную сеть попадается большая рыба, поплавки, приходя в движение, тотчас дают об этом знать. По-видимому, так случилось и сейчас, потому что Деметриос вдруг вытянул из воды футов двенадцать сети и, прежде чем бросить в лодку, поднял кверху крупного с блестящей чешуей лосося. Зрители на пристани наградили его троекратным ура. Тут уж Чарли не вытерпел.

— Пошли, сынок! — обратился он ко мне.

Не теряя времени, мы вскочили в свою лодку и

поставили парус. Толпа громко закричала, предостерегая Деметриоса, и когда мы стремительно понеслись вперед, то увидели, как он отсек свою сеть длинным ножом. Парус на его лодке был мигом поднят и вскоре заполоскал на ветру в солнечном свете. Рыбак бросился к корме, выбрал шкоты и лег на длинный галс курсом к холмам Контра Коста.

К этому времени мы были уже не больше чем в тридцати футах от его кормы. Чарли ликовал. Он знал, что наша лодка быстроходна, и не сомневался, что мало найдется людей, способных сравниться с ним в умении вести лодку. Он был уверен, что мы поймаем Деметриоса, и я разделял его уверенность. Однако судьба, видимо, решила иначе.

Дул попутный ветер. Мы мягко скользили по воде, но Деметриос не спеша все больше и больше удалялся от нас. Он не только шел быстрее, но держал к ветру на какую-то долю румба круче, чем мы. Это особенно поразило нас, когда он сделал поворот, минуя холмы Контра Коста, и, пройдя мимо нас на другом галсе, оказался на добрую сотню футов впереди с наветренной стороны.

— Вот это да! — воскликнул Чарли. — Одно из двух: либо его лодка чудо из чудес, либо к наше-

му килю привязали пятигаллонный бочонок с каменноугольной смолой!

Третьей причины, видимо, быть не могло. А к тому времени, когда Деметриос прошел мимо Саномских холмов, расположенных по другую сторону залива, мы так безнадежно отстали, что Чарли велел мне потравить шкот, и мы двинулись назад, к Бенишии. Когда мы, возвратившись, ставили нашу лодку на прикол, рыбаки с пароходной пристани осыпали нас градом насмешек. Мы с Чарли ушли, чувствуя себя в дураках, ибо когда считаешь, что у тебя отличная лодка и ты умеешь ее вести, а является кто-то другой и обставляет тебя, это не может быть ударом по самолюбию.

Несколько дней Чарли был как во сне; потом, как и в прошлый раз, нам сообщили, что в следующее воскресенье Деметриос Контос повторит свое представление. Чарли мигом пробудился. Вытащив нашу лодку из воды, он очистил и заново выкрасил днище, что-то изменил в конструкции выдвижного киля, переосновал бегучий такелаж и почти всю ночь под воскресенье шил новый, намного больший, чем прежде, парус. Чарли сделал его таким большим, что понадобился добавочный балласт, и мы уложили на дно нашей лодки старый железный рельс весом почти в

пятьсот фунтов.

Пришло воскресенье, а вместе с ним явился и Деметриос Контос, чтобы вновь открыто, средь бела дня, нарушить закон. Опять дул послеполуденный бриз, и опять Деметриос Контос забросил футов сорок или пятьдесят своей гнилой сети и, подняв парус, ушел у нас из-под носа. Рыбак предвидел ход Чарли: его парус, к задней шкаторине которого он добавил целое полотнище, был поднят выше прежнего.

До холмов Контра Коста мы прошли почти вровень, не обгоняя и не отставая друг от друга. Но, повернув к Сономским холмам, заметили, что почти при равной скорости движения Деметриос взял чуть-чуть более круто к ветру, чем мы. А ведь Чарли вел нашу лодку с предельной ловкостью и искусством и выжимал из нее больше, чем обычно.

Конечно, ничто не мешало Чарли вытащить револьвер и выстрелить в Деметриоса, но мы давно убедились, что стрелять в убегающего человека, совершившего какой-нибудь незначительный проступок, противно нашей натуре. К тому же между патрульными и рыбаками существовало нечто вроде негласного уговора: мы не стреляем в них, когда они удирают, а они, в свою очередь,

не оказывают нам сопротивления, если удается их задержать. Деметриос Контос уходил от нас, а нам не оставалось ничего другого, как изо всех сил стараться его догнать; с другой стороны, окажись наша лодка более быстроходной или веди мы ее лучше, чем Деметриос свою, он, если бы нам удалось задержать его, наверняка не оказал бы нам никакого сопротивления.

При огромном парусе и резвившемся в Каркинезском проливе сильном ветре наше плавание было, как говорится, рискованным. Нам приходилось быть все время начеку, следить, чтобы нас не опрокинуло, и пока Чарли стоял на руле, я держал в руках грота-шкот, обернув его всего один раз вокруг нагеля, готовый в любую секунду отдать его. У Деметриоса, который вел свой парусник один, руки были все время заняты.

Однако наша попытка его догнать оказалась тщетной. От природы сообразительный, он сумел соорудить лодку, оказавшуюся удачней нашей. И хотя Чарли шел не хуже, а то и чуть лучше Деметриоса, лодка его во многом уступала лодке грека.

— Трави шкот! — скомандовал Чарли, и когда наша лодка легла на фордевинд, до нас донесся уничтожающий смех Деметриоса.

— Бесполезное это дело, — качая головой, заме-

тил Чарли. — У Деметриоса лодка лучше нашей. Если он попытается еще раз повторить свое представление, нам придется в ответ придумать что-нибудь новое.

На этот раз выручила моя смекалка.

— А что если в следующее воскресенье я один пущусь в погоню за Деметриосом, — предложил я в среду. — А ты будешь ждать его возвращения на пристани в Валлехо?

Чарли подумал минутку, потом хлопнул себя по колену.

— Прекрасная мысль! Ты начинаешь шевелить мозгами. Должен сказать, это делает честь твоему учителю. Только не загони его чересчур далеко, — продолжал он, — а то, вместо того чтобы вернуться домой в Валлехо, он двинет в залив Сан-Пабло, а я так и буду дурак дураком стоять на пристани и ждать его.

В четверг у Чарли нашлось возражение против моего плана.

— Все будут знать, что я отправился в Валлехо, и, можешь не сомневаться, узнает и Деметриос. Как ни жаль, но от твоей затеи придется отказаться.

Довод был вполне веским, и остаток дня я ходил как в воду опущенный. Однако ночью мне

вдруг показалось, что я нашел выход, и, полный нетерпения, я разбудил крепко спавшего Чарли.

— Ну, — промычал он, — что случилось? Дом горит?

— Нет, — ответил я, — у меня в голове горит. Слушай! В воскресенье мы с тобой будем болтаться на пристани Бенишии, пока на горизонте не покажется парусник Деметриоса. Это усыпит подозрение. Когда же парусник подойдет ближе, ты не спеша побредешь в сторону города. Рыбаки решат, что ты побежден и признал свое поражение.

— Пока подходяще, — вставил Чарли, когда я остановился, чтобы перевести дух.

— И даже очень подходяще, — с гордостью продолжал я. — Так, значит, ты не спеша двинешься в сторону города, но как только скроешься из виду людей, стоящих на пристани, дашь ходу прямо к Дэну Мелони. Возьмешь его кобыленку и что есть духу помчишься по проселочной дороге в Валлехо. Дорога там хорошая, и ты доберешься до Валлехо раньше, чем Деметриос, которому придется все время идти против ветра.

— Утром я первым делом договорюсь насчет кобылы, — отозвался Чарли, безоговорочно приняв мой план.

Однако, только я успел как следует заснуть, он сам разбудил меня.

— Послушай, сынок, — посмеиваясь в темноте, сказал он, — не кажется ли тебе, что гоняться за браконьером верхом — дело не совсем привычное для рыбачьего патруля?

— На то и существует смекалка, — ответил я. — Ты сам постоянно твердишь: «Постарайся напасть на верную мысль раньше, чем твой противник, и победа будет за тобой».

— Ха! Ха! — смеялся Чарли. — Уж если на этот раз верная мысль вместе с кобылой не побьют Деметриоса, значит, я не ваш покорный слуга Чарли Ле Грант.

— Только сумеешь ли ты один управиться с лодкой? — спросил он в пятницу. — Не забудь, что парус у нас огромный.

Я так горячо убеждал его в своем мастерстве, что он больше не заговаривал об этом до субботы, когда предложил мне снять целое полотнище с задней шкаторины. Вероятно, на моем лице было написано столь сильное разочарование, что он не стал настаивать. Я и в правду так гордился своим учением вести парусную лодку, что мне прямо до безумия хотелось выйти в море одному и под большим парусом стрелой мчаться по Каркинез-

скому проливу в погоне за удирающим греком.

Как всегда, в воскресенье Деметриос Контос был тут как тут. У рыбаков уже вошло в привычку собираться на пароходной пристани, чтобы приветствовать его появление и посмеяться над нашим поражением. Деметриос спустил парус в нескольких сотнях ярдов от пристани и закинул свои обычные пятьдесят футов прогнившей сети.

— Сдается мне, эта забава будет продолжаться до тех пор, пока его ветхая сеть не порвется окончательно, — проворчал Чарли с расчетом быть услышанным кое-кем из греков.

— Тогда я дам ему мою, — быстро и не без коварства отозвался один из них.

— Незачем, — ответил Чарли, — у меня самого найдется завалящая сеть. Он сможет ее получить, если придет ко мне и попросит.

Греки ответили веселым смехом, ибо могли себе позволить добродушно шутить с человеком, которого так здорово околпачивали.

— Ну, пока, сынок, — минутой позже обратился ко мне Чарли. — Пожалуй, двинусь в город к Мелони.

— Можно мне взять лодку? — спросил я.

— Как хочешь, — ответил он и, круто повернув-

шись, медленно побрел прочь.

Деметриос вытащил из сети двух крупных лососей, и я вскочил в лодку. Рыбаки столпились вокруг, весело настроенные, и, когда я стал поднимать парус, засыпали меня всевозможными шутливыми советами. Они даже предлагали друг другу заключить пари, что я непременно поймаю Деметриоса, а двое из них, разыгрывая роль судейских чиновников, пресерьезно просили позволения отправиться вместе со мной, чтобы посмотреть, как я это сделаю.

Но я не торопился: я тянул время, чтобы дать Чарли возможность добраться до Валлехо. Делая вид, будто мне не нравится, как стоит парус, я слегка подтянул снасть, с помощью которой удерживается верхний конец гафеля. Только, когда по моим расчетам Чарли уже побывал у Дэна Мелони и сел верхом на его кобылку, я отошел от пристани и поставил парус по ветру. Сильный порыв ветра, наполнив парус, сразу резко накренил судно, и добрых два ведра воды попало в лодку. Такой пустяк, как этот, всегда может случиться с легким судном даже у опытного матроса, тем не менее, хотя я мгновенно потравил шкот и выровнял лодку, по моему адресу поднялась буря насмешливых рукоплесканий, словно я совер-

шил невесть какой грубый промах.

Когда Деметриос увидел, что в рыбачьей патрульной лодке только один человек, да и тот мальчишка, он решил поиздеваться надо мной. Идя коротким галсом — я шел прямо за ним, отставая на неполных тридцать футов, — он несколько ослабил шкот и вернулся к пристани. И тут, делая короткие галсы, он стал кружиться, вертеться, вспарывать носом лодки воду, к великому восторгу симпатизирующих ему зрителей. Я все время шел за ним и смело проделывал все, что делал он, даже, когда он, идя на фордевинд, перекинул парус на другой борт — опаснейший маневр при таком большом парусе и таком сильном ветре.

Он рассчитывал, что крепкий бриз и сильное отливное течение, которые подняли на море страшное волнение, доведут меня до беды. Но я был в ударе и никогда в жизни не вел лодку лучше, чем в этот день. Меня можно было сравнить с точно выверенным механизмом, мозг делал свое дело; я, казалось, предугадывал тысячи мелочей, которые опытный моряк обязан принимать во внимание в любую секунду.

Вместо меня беда постигла Деметриоса. Что-то разладилось в выдвижном киле его лодки, заело

в корпусе, и он не выдвигался до отказа. В минуту передышки, которой Деметриос добился путем какой-то хитроумной уловки, он стал торопливо возиться с выдвижным килем, стараясь сбить его вниз. Но времени у него было слишком мало, и пришлось снова взяться за руль и парус.

Выдвижной киль, видимо, сильно его обеспокоил. Ему было уже не до игры со мной, и, делая длинные галсы, он двинулся к Валлехо. К моей радости, на первом галсе я увидел, что могу держать к ветру чуть круче, чем он. Вот когда бы ему пригодился лишний человек в лодке; ведь я шел за ним на расстоянии каких-нибудь нескольких футов, и он не отважился бросить руль, чтобы перебраться на середину лодки и опустить выдвижной киль!

Лишившись возможности приводить к ветру так круто, как прежде, он стал слегка потравливать шкот и идти полнее, стараясь меня обогнать. Я позволил ему это сделать, пока сам пытался выиграть ветер, чтобы настигнуть Деметриоса. Но, когда я подошел к нему совсем близко, он прикинулся, будто ложится на другой галс. Я стремительно рыскнул к ветру, чтобы опередить Деметриоса, но с его стороны было лишь ловко проделанным трюком. Он взял прежний курс,

мне же пришлось торопливо наверстывать потерянное расстояние.

Деметриос явно оказался искуснее меня, когда дело дошло до маневрирования. Много раз он был уже почти у меня в руках, но всякий раз ему удавалось провести меня и ускользнуть. К тому же ветер крепчал, и наши руки ни секунды не знали покоя, иначе нас неминуемо опрокинуло бы в море. Что до моей лодки, то она держалась на плаву только благодаря лишнему балласту. Я сидел, скорчившись, одной рукой держа руль, а другой шкот. А поскольку шкот был всего один раз обернут вокруг нагеля, он при каждом порыве ветра вырывался у меня из рук. В такие минуты парус терял ветер, и я, конечно, отставал. Утешением служило лишь то, что с лодкой Деметриоса происходило то же самое.

Сильный отлив, проносясь по Каркинезскому проливу навстречу ветру, вздымал могучие, сердитые волны, которые непрерывно бились о борт судна. Я промок до нитки, и даже мой парус был мокрешенек вплоть до шкаторины. Один раз мне удалось ловким маневром нагнать Деметриоса, и моя лодка ударилась носом в среднюю часть его судна. Как мне нужен был в эту минуту помощник! Только было кинулся вперед, чтобы

прыгнуть к нему в лодку, как он веслом отпихнул мою лодку и оскорбительно рассмеялся прямо мне в лицо.

Мы уже находились в устье Каркинезского пролива, в очень опасной полосе. Здесь пролив Валлехо и Каркинезский стремительно неслись навстречу друг другу. Через Валлехо текли воды реки Напа и огромного берегового отлива, а через Каркинезский пролив мчались воды Сьюисанской бухты и рек Сакраменто и Сан-Хоакин. И там, где эти чудовищные потоки сталкивались, возникала страшная быстрина. В довершение всех бед, ветер дул в сторону бухты Сан-Пабло со скоростью пятнадцати узлов, обрушивая на быстрину громады волн.

Враждующие течения метались во всех направлениях, сталкиваясь, образуя водовороты, воронки и ключи, а сердитые волны, вздымаясь, захлестывали наши лодки как с наветренной, так и с подветренной стороны. И сквозь всю сумятицу беспорядочно, словно доведенные до безумия в своем движении, с грохотом неслись гигантские, кипучие валы из бухты Сан-Пабло.

Я так же неистовствовал, как бушующее море. Лодка шла великолепно; она стремительно мчалась вперед сквозь этот хаос, подобно скаковой

лошади, преодолевая все препятствия. Все мое существо было полно неуемной радости. Огромный парус, вой ветра, бушующие волны, лодка, то и дело ныряющая в воду, и я, пигмей, не больше, чем пятнышко среди этих взбунтовавшихся стихий, подчиняю их своей воле, лечу сквозь них и над ними, торжествующий, победоносный!

И в ту минуту, когда я, словно герой-победитель, мчался вперед, раздался страшный треск, и лодка мгновенно стала. Меня швырнуло вперед, и я упал на дно лодки. Когда я вскочил на ноги, передо мной мелькнуло что-то зеленоватое, замшелое, и я сразу понял, что это затонувшая свая — бич мореплавателей. Никто не огражден от такого несчастья. Разбухшую от воды и плавающую у самой поверхности сваю невозможно увидеть и обойти в бушующем море.

Видимо, раздробило весь нос лодки, так как через несколько секунд она уже наполовину была полна воды. Добавили воды и волны, и она пошла ко дну, увлекаемая тяжелым балластом. Все это случилось так быстро, что я запутался в парусе, и меня втянуло под лодку. Когда я с великим трудом выбрался на поверхность, полузадохнувшийся — мои легкие, казалось, вот-вот лопнут, — весел уже не было. Должно быть, их

смыло бесноватой волной. Я видел, что Деметриос Контос оглядывается из своей лодки, и услыхал его насмешливый, полный мстительной злобы голос: он что-то ликующе кричал! Он продолжал свой путь, покинув меня на верную гибель.

Мне ничего другого не оставалось, как ради своего спасения плыть вперед — в этой сумятице вопрос жизни и смерти решали какие-то секунды. Набрав побольше воздуху и энергично работая обеими руками, я ухитрился скинуть свои тяжелые морские сапоги и куртку. Но легко сказать — набрать воздуху; я быстро понял, что вся трудность не в том, чтобы плыть, а в том, чтобы дышать.

Меня швырнуло из стороны в сторону, на меня обрушивались высокие, увенчанные белыми гребнями валы Сан-Пабло, душили вздымавшиеся волны, хлеща в глаза, нос, рот. Страшные воронки всасывали мои ноги и тянуло вниз с тем, чтобы в следующий миг высоко подбросить вместе с кипящей ключом водой, и тут же — не успевал я перевести дух — огромная вспененная волна накрывала меня с головой.

Долго все это выдержать было невозможно. Я вдыхал больше воды, чем воздуха, и почти все время находился под водой. Рассудок начинал

мне изменять, голова отчаянно кружилась. Я боролся за жизнь судорожно, инстинктивно и был почти уже в беспамятстве, как вдруг почувствовал, что меня схватили за плечи и втащили в лодку.

Некоторое время я лежал на банке лицом вниз, вода лилась у меня изо рта. Потом, все еще едва живой, я повернулся посмотреть, кто был моим спасителем. На корме, придерживая одной рукой парус, а другой руль, ухмыляясь и добродушно кивая мне, сидел Деметриос Контос. Сперва, рассказывал он попозже, он решил было бросить меня на произвол судьбы, но добро в его душе вступило в борьбу со злом, одержало победу и приказало вернуться ко мне.

— Тебе лучше? — спросил он.

Мне удалось изобразить на губах нечто вроде «да», однако говорить я еще не мог.

— Ты вел лодку очень хорошо, — сказал он. — Как настоящий мужчина.

Похвала в устах Деметриоса Контоса была для меня, конечно, очень лестной, и я оценил ее по достоинству, хотя в ответ сумел только кивнуть головой.

На этом наш разговор кончился, так как я был занят тем, что приходил в себя, а он возился с

лодкой. Добравшись до пристани в Валлехо, Деметриос Контос привязал лодку и помог мне выбраться из нее. И вот, когда мы с ним стояли на пристани, из-за натянутых сетей вышел Чарли и положил руку на плечо Деметриоса.

— Он спас мне жизнь, Чарли, — запротестовал я. — И по-моему его не следует арестовывать.

На лице Чарли отразилась растерянность, но она исчезла, как только он принял решение.

— Ничем не могу помочь, сынок, — мягко ответил он. — Я не в праве нарушить свой долг, а мой прямой долг — арестовать его. Нынче воскресенье, а в лодке у него два лосося, которых он только что поймал. Как иначе мне поступить?

— Но он спас мне жизнь, — твердил я, не находя другого довода.

Лицо Деметриоса Контоса почернело от ярости, когда он услышал решение Чарли. Он чувствовал, что с ним поступили несправедливо. Добро в его душе восторжествовало, он проявил великодушие, спас беспомощного врага, а в благодарность его ведут в тюрьму.

Чарли и я дулись друг на друга, когда возвращались в Бенишию. Я придерживался духа закона, а не буквы; Чарли же отстаивал именно букву. Как он ни раскидывал умом, другого выхода

ему не представлялось. Закон ясно гласил, что в воскресенье ловля лосося запрещена. Он служил патрульным, и следить за строгим выполнением закона было его долгом. И толковать тут больше не о чем. Он выполнил свой долг, и совесть его чиста. Тем не менее мне все это казалось несправедливым и было очень жаль Деметриоса Контоса.

Через два дня мы явились в Валлехо на суд. Мне пришлось выступить свидетелем. Самой ненавистной из всех обязанностей, какие мне довелось выполнить в своей жизни, была необходимость, стоя на свидетельском месте, дать присягу, что я видел, как Деметриос Контос поймал двух лососей, тех самых, с которыми Чарли задержал его.

Деметриос нанял себе адвоката, но дело его было безнадежным. Присяжные удалились только на пятнадцать минут и вынесли решение: да, виновен. Судья приговорил Деметриоса к уплате штрафа в сто долларов или к пятидесяти дням тюремного заключения.

Чарли подошел к секретарю суда.

— Я уплачу этот штраф, — заявил он, выкладывая на стол пять золотых монет каждая по двадцать долларов. — Это единственный выход,

сынок, — пробормотал он, поворачиваясь ко мне.

Слезы выступили у меня на глазах, когда я крепко стиснул ему руку.

— Я уплачу… — начал я.

— Свою половину? — прервал он меня. — Конечно, а как же иначе?

Тем временем Деметриос узнал от адвоката, что и ему заплатил Чарли.

Деметриос подошел к Чарли пожать ему руку; вся его горячая южная кровь бросилась ему в лицо. Не желая, чтобы его превзошли в великодушии, он настаивал, что сам уплатит штраф и вознаграждение адвокату, и очень рассердился, когда Чарли не согласился на его требование.

Этот поступок Чарли гораздо больше, чем все то, что мы делали до сих пор, убедил рыбаков в более глубоком, чем они полагали, значении закона. Чарли очень выиграл в их глазах; кое-что досталось и на мою долю — меня похвалили как паренька, который умеет вести парусную лодку. Деметриос Контос никогда больше не нарушал закона, он стал добрым другом и не раз заглядывал в Бенишию поболтать с нами.

Желтый платок

— Конечно, не мое это дело, дружище, — сказал Чарли, — а только зря ты надумал устроить последнюю облаву. Тебе не раз доводилось попадать в опасные переплеты, иметь дело с опасными людьми, и ты остался целехонек, — вот будет обида, если с тобой под конец что стрясется.

— Но как же обойтись без последней облавы? — возразил я с юношеской самонадеянностью. — Сам знаешь, все имеет конец. А раз так, какая-нибудь из моих облав должна быть последней, тут уж ничего не поделаешь.

Чарли заложил ногу за ногу, откинулся на спинку стула и погрузился в раздумье.

— Твоя правда, — сказал он наконец. — Но почему бы тебе не считать последней облаву на Деметриоса Контоса? Ты вернулся с этого дела живым и здоровым, хоть и принял хорошую ванну, ну и... и... — Тут он замолчал, а немного погодя заговорил снова: — Словом, я никогда не прощу себе, если с тобой теперь приключится какая беда.

Я посмеялся над страхами Чарли, но не смог устоять перед уговорами этого человека, который

горячо меня любил, и согласился считать, что последняя облава уже позади. Два года мы были с ним неразлучны, а теперь я уходил из рыбачьего патруля, чтобы вернуться в город и закончить образование. Я скопил довольно денег, чтобы не знать нужды три года, пока не окончу среднюю школу, и, хотя до начала учебного года было еще много времени, я решил хорошенько подготовиться к приемным экзаменам.

Я уложил свои пожитки в матросский сундучок и собрался было ехать поездом в Окленд, как вдруг в Бенишии появился Нейл Партингтон. Он собирался срочно вести «Северного оленя» в Нижнюю бухту и по дороге должен был зайти в Окленд. Нейл жил в этом городе, и до окончания школы я собирался поселиться у него, а потому он предложил мне перенести на борт шлюпа мой сундучок, чтобы плыть вместе.

Я перенес сундучок, а на исходе дня мы отдали швартовы и подняли парус. Была осень, погода стояла коварная. Устойчивый морской бриз, который дул летом каждый день, сменился капризными порывистыми ветрами, небо заволокли тучи, так что трудно было предсказать, сколько продлится наше плавание. Мы тронулись в путь с началом отлива, и, когда шли

через Каркинезский пролив, я бросил долгий, прощальный взгляд на Бенишию и на пристань у Тернерской верфи, где мы когда-то осадили «Ланкаширскую королеву» и захватили Большого Алека, Короля греков. А у выхода из пролива я с большим интересом осмотрел то место, где всего несколько дней назад непременно утонул бы, если б не благородный порыв Деметриоса Контоса.

Впереди, над заливом Сан-Пабло, стлался непроницаемый туман, и через несколько минут «Северный олень» уже шел вслепую в сырой мгле. Но у Чарли нюх был безошибочный, и он уверенно вел шлюп. Он признался нам, что сам не знает, как это ему удается; каким-то чудом он все точнейшим образом принимал в расчет: ветер, течение, расстояние, время, дрейф, скорость хода.

— Кажется, туман рассеивается, — заметил Нейл Партингтон, после того, как мы несколько часов плыли наугад. — Как, по-твоему, Чарли, где мы теперь?

Чарли взглянул на часы.

— Сейчас шесть. Отлив продлится еще три часа, — сказал он ни с того ни с сего.

— Но где мы все-таки? — настаивал Нейл.

Чарли подумал немного и ответил:

— Отлив малость снес нас в сторону, но если туман рассеется, а на это очень похоже, вы увидите, что мы не дальше, чем в тысяче миль от пристани Мак-Нира.

— Пожалуй, ты мог бы быть малость поточнее, — хмуро буркнул Нейл.

— Извольте, — отозвался Чарли. — До нее не меньше четверти мили и никак не больше полумили, — уверенно заключил он.

Ветер свежел, под его порывами туман стал понемногу рассеиваться.

— Пристань вон там, — сказал Чарли, указывая в ту сторону, откуда дул ветер.

Мы все трое стали напряженно вглядываться в туман, как вдруг «Северный олень» с треском натолкнулся на что-то и остановился. Мы бросились на нос и увидели, что наш бушприт запутался в такелаже какого-то суденышка с короткой и толстой мачтой. Как оказалось, мы врезались в стоявшую на якоре китайскую джонку.

Когда мы прибежали на нос, пятеро китайцев, словно потревоженные пчелы, выползли из тесной каюты, протирая заспанные глаза.

Первым на палубе появился рослый, могучий человек, — мне сразу бросились в глаза его щербатое лицо и желтый шелковый платок на

голове. Это был мой старый знакомый Желтый Платок, тот самый китаец, которого мы год назад арестовали за незаконный лов креветок. Тогда он чуть не пустил «Северного оленя» ко дну, да и сейчас мы едва не утонули из-за того, что он грубо нарушил правила навигации.

— Послушай, ты, желторожая обезьяна, какого черта ты торчишь тут на самом фарватере и не подаешь никаких сигналов? — возмущенно крикнул Чарли.

— Какого черта? — преспокойно отозвался Нейл. — А взгляните-ка получше.

Мы поглядели туда, куда показывал Нейл, и увидели, что трюм джонки почти полон только что выловленных креветок. А среди креветок было многое множество крохотных рыбешек величиной от четверти дюйма. Желтый Платок поднял свою сеть до начала прилива, снова забросил ее и под покровом тумана нагло стоял на якоре, дожидаясь малой воды, чтобы поживиться еще раз.

— Ну и ну! — Нейл почесал в затылке. — Сколько времени ловлю браконьеров, чего только не перевидал, но чтобы нарушитель сам шел в руки, такого еще не бывало. Послушай, Чарли, что нам теперь с ними делать?

— Отведем их на буксире в Сан-Рафаэль, вот и все, — сказал Чарли и повернулся ко мне. — Оставайся на джонке, приятель, я брошу тебе буксирный конец. Если ветер не переменится, мы успеем проскочить прежде, чем река обмелеет, переночуем в Сан-Рафаэле, а в Окленде будем завтра к полудню.

С этими словами Чарли и Нейл вернулись на «Северный олень», и мы тронулись в путь, ведя джонку на буксире. Я встал и, приняв командование захваченным судном, правил им с помощью допотопного румпеля, приводившего в движение дырявый, как решето, руль, сквозь который так и струилась вода.

Тумана как не бывало, и мы увидели, что Чарли правильно определил наше местонахождение. Пристань Мак-Нира была в какой-то полумиле от нас. Держась западного берега, мы обогнули мыс Педро и прошли мимо китайских поселков, где поднялся страшный переполох, когда рыбаки увидели, что их джонку ведет на буксире шлюп рыбачьего патруля.

Береговой ветер был порывист и неустойчив, мы бы предпочли, чтобы он посвежел. Река, по которой нам предстояло пройти до Сан-Рафаэля, где мы предполагали сдать пленников властям,

протекает через бесконечные болота, идти по ней в пору отлива очень трудно, а по малой воде — и вовсе невозможно.

Теперь вода убыла почти наполовину, и следовало поторапливаться. Но тяжелая джонка мертвым грузом тащилась позади шлюпа.

— Вели этим кулям поставить парус! — наконец крикнул Чарли. — Мне вовсе не улыбается сидеть на мели до самого утра.

Я передал этот приказ Желтому Платку, а тот хриплым голосом что-то скомандовал своим людям. Он был сильно простужен и весь сотрясался от судорожного кашля, глаза его налились кровью. Вид у него поэтому был еще свирепее обычного, и, когда он бросил на меня злобный взгляд, я вздрогнул, вспомнив, как в прошлый раз был из-за него на волосок от гибели.

Его команда неохотно взялась за фалы, и косой диковинный парус коричневого цвета взвился на мачте. Ветер был попутный, и, когда Желтый Платок выбрал шкот, джонка устремилась вперед, а буксирный канат ослабел. Как ни быстроходен был «Северный олень», джонка оказалась еще быстроходнее; чтобы не столкнуться со шлюпом, я взял курс чуть круче к ветру. Но джонка не потеряла скорости и через несколько минут оказалась

на наветренном траверзе шлюпа. Буксирный канат теперь натянулся под прямым углом к обоим судам, — просто смешно было смотреть.

— Отдай буксир! — крикнул я.

Чарли колебался.

— Не бойся! — настаивал я. — Все будет в полном порядке. Мы проскочим реку, не меняя галса, а вы идите следом до самого Сан-Рафаэля.

Чарли отдал буксир, и Желтый Платок велел одному из своих людей выбрать канат. Уже смеркалось, и я смутно видел впереди устье реки, а когда мы вошли в нее, едва мог разглядеть берега.

«Северный олень» остался позади, лавируя по узкому, извилистому руслу. Но все-таки Чарли был рядом, и я ничуть не боялся своих пятерых пленников; правда, в темноте следить за ними было трудно, и поэтому я переложил револьвер из брюк в боковой карман куртки, откуда его легче достать.

Один только Желтый Платок внушал мне некоторый страх, и, как вы скоро сами убедитесь, он знал это и не преминул этим воспользоваться. Он сидел в нескольких шагах от меня, у наветренного борта. Я едва различал в темноте его фигуру, но от меня не укрылось, что он медленно, почти

незаметно пододвигается ко мне. Я не спускал с него глаз. Держа румпель левой рукой, я правой нащупал в кармане револьвер.

Вот он пододвинулся еще на несколько дюймов, и я уже открыл было рот, чтобы крикнуть: «Назад!» — как вдруг кто-то большой и тяжелый навалился на меня со стороны подветренного борта. Это был один из китайцев. Он зажал мне рот и так стиснул мою правую руку, что я не мог вытащить ее из кармана. Конечно, я вырвался и освободил бы руку или позвал на помощь, но в ту же секунду Желтый Платок набросился на меня.

Упав на дно джонки, я отчаянно сопротивлялся, но — увы — вскоре я был связан по рукам и ногам, а рот мне накрепко заткнули каким-то тряпьем, — как оказалось потом, ситцевой рубашкой. Китайцы так и оставили меня лежать на дне. Шепотом отдавая команды, Желтый Платок взялся за руль. Вспомнив, где мы находимся, и увидев, как переставили парус, который смутно вырисовывался надо мной на фоне звездного неба, я понял, что джонку направили в маленький заболоченный затон.

Через несколько минут мы пристали к берегу, и парус бесшумно соскользнул с мачты. Китайцы притихли, как мыши. Желтый Платок сел на

дно джонки рядом со мной, и я почувствовал, что он с трудом сдерживает надсадный, сухой кашель. Прошло минут семь или восемь, и я услышал голос Чарли: это наш шлюп проходил мимо затона.

— Просто слов нет, как я счастлив, что мальчик благополучно отслужил свое в рыбачьем патруле, — говорил он Нейлу, и я отчетливо слышал каждое его слово.

Нейл сказал что-то, чего я не расслышал, и Чарли продолжал:

— Мальчишка стал форменным моряком, и если он, кончив школу, поучится еще морскому делу и начнет ходить в дальние рейсы, клянусь богом, из него со временем выйдет отличный капитан, которому можно будет доверять любое судно.

Все это, разумеется, было для меня очень лестно, но я в эту минуту лежал на дне джонки с кляпом во рту, связанный своими же пленниками, а голоса друзей замирали вдали. «Северный олень» уходил все дальше к Сан-Рафаэлю, и, должен признаться, положение мое не очень-то располагало к мечтам о светлом будущем. Вместе с «Северным оленем» исчезла моя последняя надежда. Я не знал, что меня ждет: эти китайцы

— народ особенный, и, насколько мне известен их характер, они едва ли обойдутся со мной по справедливости.

Выждав еще несколько минут, китайцы снова подняли свой косой парус, и Желтый Платок повел джонку к устью реки Сан-Рафаэль. Вода все убывала, и выйти из устья было нелегко. Я надеялся, что он сядет на мель, но ему удалось благополучно вывести джонку в залив.

После этого китайцы затеяли горячий спор, и я чувствовал, что спорят из-за меня. Желтый Платок был в ярости, но остальные четверо не менее яростно ему противились. Было совершенно ясно, что он хотел прикончить меня, а его товарищи боялись ответственности. Я достаточно знал китайцев и был убежден, что только страх удерживает их от расправы со мной. Но я никак не мог понять, в чем заключается их план, который они предлагали взамен кровожадного плана Желтого Платка.

Нетрудно догадаться, что я пережил в эти минуты, когда жизнь моя висела на волоске. Спор вскоре перешел в ссору, после чего Желтый Платок сорвал с руля тяжелый румпель и бросился ко мне. Но четверо китайцев преградили ему дорогу и стали отнимать у него румпель. В конце

концов они вчетвером одолели своего главаря, и он, недовольный, вернулся на корму, а вслед ему понеслась отборная ругань.

Вскоре китайцы убрали парус, и джонка медленно пошла на веслах. Потом я почувствовал, как она мягко ткнулась носом в ил. Трое китайцев в высоких резиновых сапогах спрыгнули за борт, а двое других перебросили меня через поручни. Желтый Платок подхватил меня за ноги, два его товарища — за плечи, и они зашлепали по вязкому илу. Но вот шаги их стали уверенней и тверже: как видно, они вышли на берег. Вскоре я понял, где мы находимся, — не иначе, как на одном из островков крошечного скалистого архипелага Марин, расположенного неподалеку от устья реки Сан-Рафаэль.

Выйдя с затопляемой во время прилива илистой отмели на берег, китайцы довольно бесцеремонно швырнули меня на землю. Желтый Платок со злобой пнул меня в бок, и все трое пошли назад к джонке. Через несколько секунд я услышал, как взвился на мачте и затрепетал под напором ветра парус, пока китайцы выбирали шкот. Потом все смолкло, и я остался один. У меня не было другого выхода, как собственными силами выпутываться из беды.

Я вспомнил, как ловко, как-то по-особому извиваясь и корчась, освобождаются от веревок фокусники, но, сколько я ни извивался и ни корчился, тугие узлы ничуть не ослабли. Однако, катаясь по берегу, я наткнулся на кучу пустых раковин, — должно быть, какая-нибудь компания яхтсменов пекла здесь на костре моллюсков. В голове у меня блеснула счастливая мысль. Руки мои были связаны за спиной; зажав в кулаке раковину, я покатился к ближним скалам.

После долгих поисков я нашел наконец узкую трещину и вставил в нее раковину. Края у раковины были острые, и я попытался перерезать ею веревку, которой были связаны мои руки. Но хрупкая раковина сломалась, как только я неосторожно нажал на нее. Пришлось мне снова добираться до кучи раковин. На этот раз я захватил их столько, сколько мог удержать в обеих руках. Я сломал их видимо-невидимо, изрезал себе все руки, ноги мои от напряжения свела судорога.

Я остановился, чтобы передохнуть, и вдруг услышал над заливом знакомый голос. Это Чарли искал меня. Из-за кляпа во рту я не мог отозваться и в бессильной ярости лежал на берегу, а он прошел на веслах мимо острова, и вскоре голос

его замер вдали.

Я снова принялся за дело, и через полчаса мне удалось наконец перерезать веревку. Все остальное было проще простого. Освободив руки, я мигом развязал путы на своих ногах и вытащил изо рта кляп. Потом я обежал весь берег и удостоверился, что я действительно на острове, а не где-нибудь на материке. Да, это был один из островов архипелага Марин, окаймленный песчаным пляжем и целым болотом вязкого ила. Мне оставалось одно: ждать рассвета и не поддаваться холоду — для Калифорнии ночь выдалась на редкость студеная, ветер пронизывал до самых костей, и меня била дрожь.

Чтобы согреться, я обежал вокруг острова раз десять кряду и столько же раз вскарабкался на скалистую гряду. Это не только меня согрело, но и сослужило мне в последствии хорошую службу. Бегая по острову, я вдруг подумал: а не выронил ли я что-нибудь, когда катался в песке? Обшарив карманы, я не нашел ни револьвера, ни складного ножа. Револьвер у меня, конечно, отобрал Желтый Платок, а нож, должно быть, затерялся где-то в песке.

Я принялся его искать, как вдруг снова послышался скрип уключин. Сначала я подумал, что

это Чарли, но сразу же спохватился: ведь Чарли не стал бы плыть молча. Мрачные предчувствия вдруг охватили меня. Архипелаг Марин глухой и пустынный; едва ли кому вздумается плыть сюда глубокой ночью. А вдруг это Желтый Платок? Скрип уключин стал слышнее. Лодка, по-видимому, ялик, как я определил по частым ударам весел, ткнулась в ил шагах в пятидесяти от берега. Я услышал сухой, надсадный кашель, и сердце у меня упало. Это был Желтый Платок. Чтобы товарищи не помешали ему свести со мной счеты, он украдкой выбрался из своего поселка и приплыл сюда в одиночку.

Мысли вихрем закружились у меня в голове. Я безоружен и беспомощен на маленьком глухом островке, и желтый дикарь, остерегаться которого у меня есть все основания, явился сюда для расправы со мной. Худшего положения не придумаешь, и я невольно бросился в воду или, вернее, в ил, только бы не оставаться на острове. Когда Желтый Платок зашагал к берегу по илистому болоту, я пошел в обратную сторону, стараясь попасть след в след, по дороге, проторенной китайцами, когда они несли меня на остров, а потом возвращались к своей джонке.

Желтый Платок, уверенный, что я лежу свя-

занный по рукам и ногам на прежнем месте, нисколько не остерегался: ил громко чавкал у него под ногами. Благодаря этому, пока он шел, я успел удалиться от берега шагов на пятьдесят. После этого я лег прямо в болото.

Ил был холодный и липкий, я весь дрожал, но боялся встать на ноги, зная, что глаза у китайца острые. Он направился прямехонько на то место, где оставил меня, и я даже пожалел, что не могу видеть, какую рожу он скорчит, не найдя меня там. Но мне было не до потехи, у меня от холода зуб на зуб не попадал.

Что он сделал дальше, я мог только догадываться, так как почти ничего не видел при бледном свете звезд. Но я был уверен, что первым делом он обошел весь остров и убедился, что никакие другие лодки к берегу не приставали. Всякое судно неизбежно оставило бы след в иле.

Удостоверившись, что я никак не мог уплыть с острова, он пустился на поиски. Наткнувшись на кучу раковин, он стал одну за другой чиркать спички и пошел по моему следу. При каждой вспышке мне было ясно видно его зловещее лицо. От запаха горящей серы у него першило в горле, и от его надсадного кашля я дрожал еще пуще, не смея шелохнуться в холодном иле.

Обилие следов его озадачило. Однако вскоре он, как видно, сообразил, что я где-нибудь у берега, сделал несколько шагов по направлению ко мне, присел на корточки и долго всматривался во мрак. Нас разделяло не более пятнадцати футов, и, догадайся он зажечь спичку, мне бы несдобровать.

Но он вернулся на берег и, чиркая спичками, полез на скалистую гряду. Близкая опасность заставила меня искать спасения. Не рискуя встать во весь рост, так как Желтый Платок наверняка услышал бы мои шаги, я стал передвигаться ползком. По-прежнему держась следа, оставленного китайцами, я полз так до самой воды. Очутившись на глубине трех футов, я пошел вброд вдоль берега.

Вдруг у меня мелькнула мысль: вот бы найти ялик, на котором приплыл Желтый Платок, и удрать. Но он как будто угадал мое намерение, спустился на берег и поспешил к ялику, чтобы проверить, на месте ли он. Пришлось повернуть обратно. То вброд, по горло в воде, то вплавь, без единого всплеска я отдалился на добрую сотню футов от того места, куда раньше причалила джонка. Потом я снова забрался в ил и лег ничком.

Желтый Платок опять вышел на берег, обшарил весь остров и вернулся к куче раковин. Я словно читал его мысли. Наверняка он рассуждал так: ни одна душа не может попасть на остров или покинуть его, не оставив в иле следов. А между тем он нашел только две цепочки следов — одна вела от ялика, а другая — от того места, где стояла джонка. На острове меня нет. Значит, я ушел по какому-нибудь из двух следов. Он только что ходил к своему ялику и убедился, что меня там нет и там, значит, я мог уйти только по следу, который вел от джонки. Он решил проверить это предположение и пошел через ил, зажигая на ходу спички.

Дойдя до того места, где я залег в первый раз, он остановился: должно быть, увидел вмятину от моего тела. Потом по моему следу он вошел в воду, но сразу потерял его — да и мудрено было видеть следы на глубине трех футов. Вместе с тем, так как отлив еще не кончился, он легко нашел ямину, оставленную в иле джонкой. Всякое другое судно, если бы оно причалило к острову, непременно оставило бы такой след. А раз его нет, — ясно, я схоронился где-нибудь в иле.

Но искать темной ночью в огромном болоте человека — все равно, что искать иголку в стоге

сена, и китаец понял бесполезность своей затеи. Он вернулся на остров и некоторое время рыскал по берегу. Я весь продрог, и лишь надежда, что он махнет на меня рукой, придавала мне силы. Наконец он сел в свой ялик и отчалил от острова. Но тут меня охватили сомнения. А вдруг это западня? Вдруг он уплыл только для того, чтобы выманить меня на берег?

Чем больше я думал об этом, тем больше мне казалось, что, отчаливая, он слишком громко ударял по воде веслами. И я остался лежать в холодном иле. Меня била дрожь, поясницу невыносимо ломило, и мне понадобилось все мое мужество, чтобы, несмотря ни на что, не двинуться с места.

По счастью я не вышел из своего убежища, а через час смутно различил на берегу какую-то движущуюся тень. Я стал пристально вглядываться в темноту, но прежде чем мне удалось что-либо увидеть, слух мой уловил знакомый надсадный кашель. Оказывается, Желтый Платок тайком причалил к острову с другой стороны и теперь крался вдоль берега, надеясь захватить меня врасплох.

После этого я еще не один час пролежал в илистом болоте, боясь выйти на берег, хотя Желтый

Платок не подавал больше никаких признаков жизни. Порой мне казалось, что я не выдержу и умру от холода. Мне и не снились такие ужасные страдания. Я до того окоченел, что в конце концов даже перестал дрожать. Зато мои мускулы и кости начали нестерпимо ныть — это была настоящая пытка. Прилив давно уже начался, и я, спасаясь от воды, фут за футом двигался к берегу. Полная вода наступила в три часа ночи, и я полуживой выполз на берег; если бы Желтый Платок набросился теперь на меня, я не смог бы и пальцем шевельнуть.

На мое счастье, его здесь не было. Он плюнул на меня и вернулся в свой поселок на мыс Педро. Но я все равно был в плачевном состоянии и в любую минуту мог отдать богу душу. Я не в силах был стоять на ногах, а тем более ходить. Моя одежда, насквозь пропитанная илом, леденила тело. Казалось, мне никогда не удастся ее снять. Пальцы онемели и не гнулись, силы оставили меня, и я провозился целый час, прежде чем стянул с себя башмаки. Я не мог разорвать кожаные шнурки, а развязать их было чертовски трудно. Несколько раз я принимался бить застывшими руками о камни, чтобы хоть немного разогнать кровь. По временам я был уверен, что вот-вот умру.

Наконец — казалось, прошла целая вечность — мне удалось раздеться догола. Вода была в двух шагах, я дополз до нее и смыл с себя ил. Но я не мог встать, не мог ходить, а лежа без движения, наверняка бы замерз. Оставалось только одно: ценой невыносимой боли ползать медленно, как улитка, взад и вперед по берегу. Я ползал так до изнеможения, а когда на востоке забрезжил рассвет, совсем выбился из сил. Небо порозовело, золотой шар солнца поднялся над горизонтом, и его лучи осветили мое недвижимое тело на куче раковин.

Потом, как во сне, я увидел знакомый парус — это «Северный олень», подгоняемый свежим утренним ветерком, выскользнул из устья реки Сан-Рафаэль. Сон мой то и дело обрывался. Многого я совсем не помню. Помню только, как появился парус, как «Северный олень» отдал якорь в нескольких футах от берега, и маленькая шлюпка отвалила от борта, как гудела в кают-компании печурка, раскаленная докрасна, а я лежал, с головы до ног закутанный в одеяла, только плечи и грудь были обнажены, и Чарли немилосердно растирал их, а Нейл Партингтон поил меня горячим, как огонь, кофе, обжигая мне рот и горло.

Но несмотря ни на что, скажу я вам, это было

чертовски приятно. Когда мы пришли в Окленд, я уже снова глядел молодцом, хотя Чарли и Нейл боялись, что я схватил воспаление легких, а миссис Партингтон первые полгода после того, как я начал учиться в школе, все ждала, что вот-вот у меня начнется скоротечная чахотка.

Время летит быстро. Кажется, только вчера мне было шестнадцать лет и я плавал на шлюпе рыбачьего патруля. А ведь сегодня утром я прибыл из Китая на баркентине «Жнец», капитаном которой я теперь стал. Завтра утром я зайду на ней в Окленд, чтобы повидать Нейла Партингтона и его семью, а потом — в Бенишию к Чарли Ле Гранту вспомнить старые добрые времена. Впрочем, нет, пожалуй, в Бенишию мне ходить незачем. Ведь вскоре состоится свадьба, на которой мне суждено сыграть не последнюю роль. Невесту зовут Алиса Партингтон, а поскольку Чарли обещал быть шафером, придется ему самому приехать в Окленд.

Джек Лондон
Белый Клык

Часть первая
ГЛАВА ПЕРВАЯ
ПОГОНЯ ЗА ДОБЫЧЕЙ

Темный еловый лес стоял, нахмурившись, по обоим берегам скованной льдом реки. Недавно пронесшийся ветер сорвал с деревьев белый покров инея, и они, черные, зловещие, клонились друг к другу в надвигающихся сумерках. Глубокое безмолвие царило вокруг. Весь этот край, лишенный признаков жизни с ее движением, был так пустынен и холоден, что дух, витающий над ним, нельзя было назвать даже духом скорби. Смех, но смех страшнее скорби, слышался здесь — смех безрадостный, точно улыбка сфинкса, смех, леденящий своим бездушием, как стужа. Это извечная мудрость — властная, вознесенная над миром — смеялась, видя тщету жизни, тщету борьбы. Это была глушь — дикая, оледеневшая до самого сердца Северная глушь.

И все же что-то живое двигалось в ней и бросало ей вызов. По замерзшей реке пробиралась упряжка ездовых собак. Взъерошенная шерсть их заиндевела на морозе, дыхание застывало в

воздухе и кристаллами оседало на шкуре. Собаки были в кожаной упряжи, и кожаные постромки шли от нее к волочившимся сзади саням. Сани без полозьев, из толстой березовой коры, всей поверхностью ложились на снег. Передок их был загнут кверху, как свиток, чтобы приминать мягкие снежные волны, вставшие им навстречу. На санях стоял крепко притороченный узкий, продолговатый ящик. Были там и другие вещи: одежда, топор, кофейник, сковорода; но прежде всего бросался в глаза узкий продолговатый ящик, занимавший большую часть саней.

Впереди собак на широких лыжах с трудом ступал человек. За санями шел второй. На санях, в ящике, лежал третий, для которого с земными трудами было покончено, ибо Северная глушь одолела, сломила его, так что он не мог больше ни двигаться, ни бороться. Северная глушь не любит движения. Она ополчается на жизнь, ибо жизнь есть движение, а Северная глушь стремится остановить все то, что движется. Она замораживает воду, чтобы задержать ее бег к морю; она высасывает соки из дерева, и его могучее сердце коченеет от стужи; но с особенной яростью и жестокостью Северная глушь ломает упорство человека, потому что человек — самое мятежное

существо в мире, потому что человек всегда восстает против ее воли, согласно которой всякое движение в конце концов должно прекратиться.

И все-таки впереди и сзади саней шли два бесстрашных и непокорных человека, еще не расставшиеся с жизнью. Их одежда была сшита из меха и мягкой дубленой кожи. Ресницы, щеки и губы у них так обледенели от застывающего на воздухе дыхания, что под ледяной коркой не было видно лица. Это придавало им вид каких-то призрачных масок, могильщиков из потустороннего мира, совершающих погребение призрака. Но это были не призрачные маски, а люди, проникшие в страну скорби, насмешки и безмолвия, смельчаки, вложившие все свои жалкие силы в дерзкий замысел и задумавшие потягаться с могуществом мира, столь же далекого, пустынного и чуждого им, как и необъятное пространство космоса.

Они шли молча, сберегая дыхание для ходьбы. Почти осязаемое безмолвие окружало их со всех сторон. Оно давило на разум, как вода на большой глубине давит на тело водолаза. Оно угнетало безграничностью и непреложностью своего закона. Оно добиралось до самых сокровенных тайников их сознания, выжимая из него, как сок из винограда, все напускное, ложное, всякую склонность

к слишком высокой самооценке, свойственную человеческой душе, и внушало им мысль, что они всего лишь ничтожные, смертные существа, пылинки, мошки, которые прокладывают свой путь наугад, не замечая игры слепых сил природы.

Прошел час, прошел другой. Бледный свет короткого, тусклого дня начал меркнуть, когда в окружающей тишине пронесся слабый, отдаленный вой. Он стремительно взвился вверх, достиг высокой ноты, задержался на ней, дрожа, но не сбавляя силы, а потом постепенно замер. Его можно было принять за стенание чьей-то погибшей души, если б в нем не слышалось угрюмой ярости и ожесточения голода.

Человек, шедший впереди, обернулся, поймал взгляд того, который брел позади саней, и они кивнули друг другу. И снова тишину, как иголкой, пронзил вой. Они прислушались, стараясь определить направление звука. Он доносился из тех снежных просторов, которые они только что прошли.

Вскоре послышался ответный вой, тоже откуда-то сзади, но немного левее.

— Это ведь они за нами гонятся, Билл, — сказал шедший впереди. Голос его прозвучал хрипло и неестественно, и говорил он с явным трудом.

— Добычи у них мало,— ответил его товарищ.— Вот уже сколько дней я не видел ни одного заячьего следа.

Путники замолчали, напряженно прислушиваясь к вою, которыгй поминутно раздавался позади них.

Как только наступила темнота, они повернули собак к елям на берегу реки и остановились на привал. Гроб, снятый с саней, служил им и столом и скамьей. Сбившись в кучу по другую сторону костра, собаки рычали и грызлись, но не выказывали ни малейшего желания убежать в темноту.

— Что-то они уж слишком жмутся к огню,— сказал Билл.

Генри, присевший на корточки перед костром, чтобы установить на огне кофейник с куском льда, молча кивнул. Заговорил он только после того, как сел на гроб и принялся за еду.

— Шкуру свою берегут. Знают, что тут их накормят, а там они сами пойдут кому-нибудь на корм. Собак не проведешь.

Билл покачал головой:

— Кто их знает!

Товарищ посмотрел на него с любопытством.

— Первый раз слышу, чтобы ты сомневался в их уме.

— Генри,— сказал Билл, медленно разжевывая бо-

бы, — а ты не заметил, как собаки грызлись, когда я кормил их?

— Действительно, возни было больше, чем всегда,—подтвердил Генри.

— Сколько у нас собак, Генри?

— Шесть.

— Так вот… — Билл сделал паузу, чтобы придать больше веса своим словам. — Я тоже говорю, что у нас шесть собак. Я взял шесть рыб из мешка, дал каждой собаке по рыбе. И одной не хватило, Генри.

— Значит, обсчитался.

— У нас шесть собак, — безучастно повторил Билл. — Я взял шесть рыб. Одноухому рыбы не хватило. Мне пришлось взять из мешка еще одну рыбу.

— У нас всего шесть собак, — стоял на своем Генри.

— Генри,— продолжал Билл, — я не говорю, что все были собаки, но рыба досталась семерым.

Генри перестал жевать, посмотрел через костер на собак и пересчитал их.

— Сейчас там только шесть, — сказал он.

— Седьмая убежала, я видел, — со спокойной на-

стойчивостью проговорил Билл. — Их было семь.

Генри взглянул на него с состраданием и сказал:

— Поскорее бы нам с тобой добраться до места.

— Это как же понимать?

— А так, что от этой поклажи, которую мы везем, ты сам не свой стал, вот тебе и мерещится бог знает что.

— Я об этом уж думал, — ответил Билл серьезно. — Как только она побежала, я сразу взглянул на снег и увидел следы; потом сосчитал собак — их было шесть. А следы — вот они. Хочешь взглянуть? Пойдем — покажу.

Генри ничего ему не ответил и молча продолжал жевать. Съев бобы, он запил их горячим кофе, вытер рот рукой и сказал:

— Значит, по-твоему, это…

Протяжный тоскливый вой не дал ему договорить. Он молча прислушался, а потом закончил начатую фразу, ткнув пальцем назад, в темноту:

— …это гость оттуда? Билл кивнул.

— Как ни вертись, больше ничего не придумаешь. Ты же сам слышал, какую грызню подняли собаки.

Протяжный вой слышался все чаще и чаще, издалека доносились ответные завывания,—

тишина превратилась в сущий ад. Вой несся со всех сторон, и собаки в страхе сбились в кучу так близко к костру, что огонь чуть ли не подпаливал им шерсть.

Билл подбросил хвороста в костер и закурил трубку.

— Я вижу, ты совсем захандрил, — сказал Генри.

— Генри… — Билл задумчиво пососал трубку. — Я все думаю, Генри: он куда счастливее нас с тобой. — И Билл постучал пальцем по гробу, на котором они сидели — Когда мы умрем, Генри, хорошо, если хоть кучка камней будет лежать над нашими телами, чтобы их не сожрали собаки.

— Да ведь ни у тебя, ни у меня нет ни родни, ни денег,— сказал Генри. — Вряд ли нас с тобой повезут хоронить в такую даль, нам такие похороны не по карману.

— Чего я никак не могу понять, Генри, это — зачем человеку, который был у себя на родине не то лордом, не то вроде этого и ему не приходилось заботиться ни о еде, ни о теплых одеялах, — зачем такому человеку понадобилось рыскать на краю света, по этой богом забытой стране?..

— Да. Сидел бы дома, дожил бы до старости, — согласился Генри.

Его товарищ открыл было рот, но так ничего и не сказал. Вместо этого он протянул руку в темноту, стеной надвигавшуюся на них со всех сторон. Во мраке нельзя было разглядеть никаких определенных очертаний; виднелась только пара глаз, горящих, как угли.

Генри молча указал на вторую пару и на третью. Круг горящих глаз стягивался около их стоянки. Время от времени какая-нибудь пара меняла место или исчезала, с тем чтобы снова появиться секундой позже.

Собаки беспокоились все больше и больше и вдруг, охваченные страхом, сбились в кучу почти у самого костра, подползли к людям и прижались к их ногам. В свалке одна собака попала в костер; она завизжала от боли и ужаса, и в воздухе запахло паленой шерстью. Кольцо глаз на минуту разомкнулось и даже чуть-чуть отступило назад, но как только собаки успокоились, оно снова оказалось на прежнем месте.

— Вот беда, Генри! Патронов мало!

Докурив трубку, Билл помог своему спутнику разложить меховую постель и одеяло поверх еловых веток, которые он еще перед ужином набросал на снег. Генри крякнул и принялся развязывать мокасины.

— Сколько у тебя осталось патронов? — спросил он.

— Три, — послышалось в ответ. — А надо бы триста. Я бы им показал, дьяволам!

Он злобно погрозил кулаком в сторону горящих глаз и стал устанавливать свои мокасины перед огнем.

— Когда только эти морозы кончатся! — продолжал Билл. — Вот уже вторую неделю все пятьдесят да пятьдесят градусов. И зачем только я пустился в это путешествие, Генри! Не нравится оно мне. Не по себе мне как-то. Приехать бы уж поскорее, и дело с концом! Сидеть бы нам с тобой сейчас у камина в форте Мак-Гэрри, играть в криббедж... Много бы я дал за это!

Генри проворчал что-то и стал укладываться. Он уже задремал, как вдруг голос товарища разбудил его:

— Знаешь, Генри, что меня беспокоит? Почему собаки не накинулись на того, пришлого, которому тоже досталась рыба?

— Уж очень ты стал беспокойный, Билл, — послышался сонный ответ. — Раньше за тобой этого не водилось. Перестань болтать, спи, а утром встанешь как ни в чем не бывало. Изжога у тебя, оттого ты и беспокоишься.

Они спали рядом, под одним одеялом, тяжело дыша во сне. Костер потухал, и круг горящих глаз, оцепивших стоянку, смыкался все теснее и теснее.

Собаки жались одна к другой, угрожающе рычали, когда какая-нибудь пара глаз подбиралась слишком близко. Вот они зарычали так громко, что Билл проснулся. Осторожно, стараясь не разбудить товарища, он вылез из-под одеяла и подбросил хвороста в костер. Огонь вспыхнул ярче, и кольцо глаз подалось назад.

Билл посмотрел на сбившихся в кучу собак, протер глаза, вгляделся попристальнее и снова забрался под одеяло.

— Генри! — окликнул он товарища. — Генри! Генри застонал, просыпаясь, и спросил:

— Ну, что там?

— Ничего, — услышал он, — только их опять семь. Я сейчас пересчитал.

Генри встретил это известие ворчанием, тотчас же перешедшим в храп, и снова погрузился в сон.

Утром он проснулся первым и разбудил товарища. До рассвета оставалось еще часа три, хотя было уже шесть часов утра. В темноте Генри занялся приготовлением завтрака, а Билл свернул

постель и стал укладывать вещи в сани.

— Послушай, Генри, — спросил он вдруг, — сколько, ты говоришь, у нас было собак?

— Шесть.

— Вот и неверно! — заявил он с торжеством.

— Опять семь? — спросил Генри.

— Нет, пять. Одна пропала.

— Что за дьявол! — сердито крикнул Генри, и, бросив стряпню, пошел пересчитать собак.

— Правильно, Билл, — сказал он. — Фэтти сбежал.

— Улизнул так быстро, что и не заметили. Пойди-ка сыщи его теперь.

— Пропащее дело, — ответил Генри. — Живьем слопали. Он, наверное, не один раз взвизгнул, когда эти дьяволы принялись его рвать.

— Фэтти всегда был глуповат, — сказал Билл.

— У самого глупого пса все-таки хватит ума не идти на верную смерть.

Он оглядел остальных собак, быстро оценивая в уме достоинства каждой.

— Эти умнее, они такой штуки не выкинут.

— Их от костра и палкой не отгонишь, — согласился Билл. — Я всегда считал, что у Фэтти не все в порядке.

Таково было надгробное слово, посвященное

собаке, погибшей на Северном пути, — и оно было ничуть не скупее многих других эпитафий погибшим собакам, да, пожалуй, и людям.

ГЛАВА ВТОРАЯ
ВОЛЧИЦА

Позавтракав и уложив в сани свои скудные пожитки, Билл и Генри покинули приветливый костер и двинулись в темноту. И тотчас же послышался вой — дикий, заунывный вой; сквозь мрак и холод он долетал до них отовсюду. Путники шли молча. Рассвело в девять часов.

В полдень небо на юге порозовело — в том месте, где выпуклость земного шара встает преградой между полуденным солнцем и страной Севера. Но розовый отблеск быстро померк. Серый дневной свет, сменивший его, продержался до трех часов, потом и он погас, и над пустынным безмолвным краем опустился полог арктической ночи.

Как только наступила темнота, вой, преследовавший путников и справа, и слева, и сзади, послышался ближе; по временам он раздавался так близко, что собаки не выдерживали и начинали метаться в постромках.

После одного из таких припадков панического страха, когда Билл и Генри снова привели упряжку в порядок, Билл сказал:

— Хорошо бы они на какую-нибудь дичь напали и оставили нас в покое.

— Да, слушать их малоприятно,—согласился Генри. И они замолчали до следующего привала.

Генри стоял, нагнувшись, над закипающим котелком с бобами и подкладывал туда колотый лед, когда за его спиной вдруг послышался звук удара, возглас Билла и пронзительный визг. Он выпрямился и успел разглядеть только неясные очертания какого-то зверя, промчавшегося по снегу и скрывшегося в темноте. Потом Генри увидел, что Билл не то с торжествующим, не то с убитым видом стоит среди собак, держа в одной руке палку, а в другой хвост вяленого лосося.

— Половину все-таки утащил! — крикнул он.— Зато я всыпал ему как следует. Слышал визг?

— А кто это? — спросил Генри.

— Не разобрал. Могу только сказать, что ноги, и пасть, и шкура у него имеются, как у всякой собаки.

— Ручной волк, что ли?

— Волк или не волк, только, должно быть, действительно ручной, если является прямо к

кормежке и хватает рыбу.

Этой ночью, когда они сидели после ужина на ящике, покуривая трубки, круг горящих глаз сузился еще больше.

— Хорошо бы они стадо лосей где-нибудь спугнули и оставили нас в покое, — сказал Билл.

Его товарищ пробормотал что-то не совсем любезное, и минут двадцать они сидели молча: Генри —уставившись на огонь, а Билл—на круг горящих глаз, светившийся в темноте, совсем близко от костра.

— Хорошо было бы сейчас подкатить к Мак-Гэрри… — снова начал Билл.

— Да брось ты свое «хорошо бы», перестань мыть! — не выдержал Генри. — Изжога у тебя, вот ты и скулишь. Выпей соды — сразу полегчает, и мне с тобою будет веселее.

Утром Генри разбудила отчаянная брань. Он поднялся на локте и увидел, что Билл стоит среди собак у разгорающегося костра и с искаженным от бешенства лицом яростно размахивает руками.

— Эй! — крикнул Генри. — Что случилось?

— Фрог убежал, — услышал он в ответ.

— Быть не может!

— Говорю тебе, убежал.

Генри выскочил из-под одеяла и кинулся к

собакам.

Внимательно пересчитав их, он присоединил свой голос к проклятиям, которые его товарищ посылал по адресу всесильной Северной глуши, лишившей их еще одной собаки.

— Фрог был самый сильный во всей упряжке, — закончил свою речь Билл.

— И ведь смышленый! — прибавил Генри.

Такова была вторая эпитафия за эти два дня.

Завтрак прошел невесело; оставшуюся четверку собак запрягли в сани. День этот был точным повторением многих предыдущих дней. Путники молча брели по снежной пустыне. Безмолвие нарушал лишь вой преследователей, которые гнались за ними по пятам, не показываясь на глаза. С наступлением темноты, когда погоня, как и следовало ожидать, приблизилась, вой послышался почти рядом; собаки дрожали от страха, метались и путали постромки, еще больше угнетая этим людей.

— Ну, безмозглые твари, теперь уж никуда не денетесь, — с довольным видом сказал Билл на очередной стоянке.

Генри оставил стряпню и подошел посмотреть. Его товарищ привязал собак по индейскому способу, к палкам. На шею каждой собаки он

надел кожаную петлю, к петле привязал толстую длинную палку — вплотную к шее; другой конец палки был прикреплен кожаным ремнем к вбитому в землю колу. Собаки не могли перегрызть ремень около шеи, а палки мешали им достать зубами привязь у кола.

Генри одобрительно кивнул головой.

— Одноухого только таким способом и можно удержать. Ему ничего не стоит перегрызть ремень — все равно что ножом полоснуть. А так к утру все целы будут.

— Ну еще бы! — сказал Билл. — Если хоть одна пропадет, я завтра от кофе откажусь.

— А ведь они знают, что нам нечем их припугнуть, — заметил Генри, укладываясь спать и показывая на мерцающий круг, который окаймлял их стоян-ку. — Пальнуть бы в них разок-другой — живо бы уважение к нам почувствовали. С каждой ночью псе ближе и ближе подбираются. Отведи глаза от огня, вглядись-ка в ту сторону. Ну? Видел вон того?

Оба стали с интересом наблюдать за смутными силуэтами, двигающимися позади костра. Пристально всматриваясь туда, где в темноте сверкала пара глаз, можно было разглядеть очертание зверя. По временам удавалось даже

заметить, как эти звери переходят с места на место.

Возня среди собак привлекла внимание Билла и Генри. Нетерпеливо повизгивая, Одноухий то рвался с привязи в темноту, то, отступая назад, с остервенением грыз палку.

— Смотри, Билл, — прошептал Генри.

В круг, освещенный костром, неслышными шагами, боком, проскользнул зверь, похожий на собаку. Он подходил трусливо и в то же время нагло, устремив все внимание на собак, но не упуская из виду и людей. Одноухий рванулся к пришельцу, насколько позволяла палка, и нетерпеливо заскулил.

— Этот болван, кажется, ни капли не боится, — тихо сказал Билл.

— Волчица, — шепнул Генри. — Теперь я понимаю, что произошло с Фэтти и с Фрогом. Стая выпускает ее как приманку. Она завлекает собак, а остальные набрасываются и сжирают их.

В огне что-то затрещало. Головня откатилась в сторону с громким шипением. Испуганный зверь одним прыжком скрылся в темноте.

— Знаешь, что я думаю, Генри? — сказал Билл.

— Что?

— Это та самая, которую я огрел палкой.

— Можешь не сомневаться, — ответил Генри.

— Я вот что хочу сказать, — продолжал Билл, — видно, она привыкла к кострам, а это весьма подозрительно.

— Она знает больше, чем полагается знать уважающей себя волчице, — согласился Генри. — Волчица, которая является к кормежке собак, — бывалый зверь.

— У старика Виллэна была когда-то собака, и она ушла вместе с волками, — размышлял вслух Билл. — Кому это знать, как не мне? Я подстрелил ее в стае волков на лосином пастбище у Литл-Стика. Старик Виллан плакал, как ребенок. Говорил, что целых три года ее не видел. И все эти три года она бегала с волками.

— Это не волк, а собака, и ей не раз приходилось есть рыбу из рук человека. Ты попал в самую точку, Билл.

— Если мне только удастся, я ее уложу, и она будет не волк и не собака, а просто падаль, — заявил Билл. — Нам больше нельзя собак терять.

— Да ведь у тебя только три патрона, — возразил ему Генри.

— А я буду целиться наверняка, — последовал ответ. Утром Генри снова разжег костер и занялся приготовлением завтрака под храп товарища.

— Уж больно ты хорошо спал, — сказал он, поднимая его ото сна. — Будить тебя не хотелось.

Еще не проснувшись как следует, Билл принялся за еду. Заметив, что его кружка пуста, он потянулся за кофейником. Но кофейник стоял далеко, возле Генри.

— Слушай, Генри, — сказал он с мягким упреком, — ты ничего не забыл?

Генри внимательно огляделся по сторонам и покачал головой. Билл протянул ему пустую кружку.

— Не будет тебе кофе, —объявил Генри.

— Неужели весь вышел? — испуганно спросил Билл.

— Нет, не вышел.

— Боишься, что у меня желудок испортится?

— Нет, не боюсь.

Краска гнева залила лицо Билла.

— Так в чем же тогда дело, объясни, не томи меня, — сказал он.

— Спэнкер убежал, — ответил Генри. Медленно, с видом полнейшей покорности судьбе Билл повернул голову и, не сходя с места, пересчитал собак.

— Как это случилось? — безучастно спросил он. Генри пожал плечами.

— Не знаю. Должно быть, Одноухий перегрыз ему ремень. Сам-то он, конечно, не мог это сделать.

— Проклятая тварь! — медленно проговорил Билл, ничем не выдавая кипевшего в нем гнева. — У себя ремень перегрызть не мог, так у Спэнкера перегрыз.

— Ну, для Спэнкера теперь все жизненные тревоги кончились. Волки, наверно, уже переварили его, и теперь он у них в кишках. — Такую эпитафию прочел Генри третьей собаке. — Выпей кофе, Билл.

Но Билл покачал головой.

— Ну, выпей, — настаивал Генри, подняв кофейник. Билл отодвинул свою кружку.

— Будь я проклят, если выпью! Сказал, что не буду, если собака пропадет, — значит, не буду.

— Прекрасный кофе! — соблазнял его Генри.

Но Билл не сдался и позавтракал всухомятку, сдабривая еду нечленораздельными проклятиями по адресу Одноухого, сыгравшего с ними такую скверную шутку.

— Сегодня на ночь привяжу их всех поодиночке, — сказал Билл, когда они тронулись в путь.

Пройдя не больше ста шагов, Генри, шедший впереди, нагнулся и поднял какой-то предмет,

попавший ему под лыжи. В темноте он не мог разглядеть, что это такое, но узнал на ощупь и швырнул эту вещь назад, так что она стукнулась о сани и отскочила прямо к лыжам Билла.

— Может быть, тебе это еще понадобится, — сказал Генри.

Билл ахнул. Вот все, что осталось от Спэнкера, — палка, которая была привязана ему к шее.

— Начисто сожрали, — сказал Билл. — И даже ремней на палке не оставили. Здорово же они проголодались, Генри… Чего доброго, еще и до нас с тобой доберутся.

Генри вызывающе рассмеялся.

— Правда, волки никогда за мной не гонялись, но мне приходилось и хуже этого, а все-таки жив остался. Десятка назойливых тварей еще недостаточно, чтобы доконать твоего покорного слугу, Билл!

— Посмотрим, посмотрим… — зловеще пробормотал его товарищ.

— Ну вот, когда будем подъезжать к Мак-Гэрри, тогда и посмотришь.

— Не очень-то я на это надеюсь, — стоял на своем Билл.

— Ты просто не в духе, и больше ничего, — решительно заявил Генри. — Тебе надо хины

принять. Вот дай только до Мак-Гэрри добраться, я тебе вкачу хорошую дозу.

Билл проворчал что-то, выражая свое несогласие с таким диагнозом, и погрузился в молчание.

День прошел, как и все предыдущие.

Рассвело в девять часов. В двенадцать горизонт на юге порозовел от невидимого солнца, и наступил хмурый день, который через три часа должна была поглотить ночь.

Как раз в ту минуту, когда солнце сделало слабую попытку выглянуть из-за горизонта, Билл вынул из саней ружье и сказал:

— Ты не останавливайся, Генри. Я пойду взглянуть, что там делается.

— Не отходи от саней! — крикнул ему Генри. — Ведь у тебя всего три патрона. Кто его знает, что может случиться…

— Ага! Теперь ты заскулил? — торжествующе спросил Билл.

Генри промолчал и пошел дальше один, то и дело беспокойно оглядываясь назад в пустынную мглу, где исчез его товарищ.

Час спустя Билл догнал сани, сократив расстояние напрямик.

— Широко разбрелись, — сказал он, — повсюду рыщут, но и от нас не отстают. Видно, увере-

ны, что мы от них не уйдем. Решили потерпеть немного, не хотят упускать ничего съедобного.

— То есть им кажется, что мы не уйдем от них, — подчеркнул Генри.

Но Билл оставил эти слова без внимания.

— Я некоторых видел — тощие! Наверно, давно им ничего не перепадало, если не считать Фэтти, Фрога и Спэнкера. А стая большая, съели и не почувствовали. Здорово отощали. Ребра, как стиральная доска, и животы совсем подвело. Одним словом, дошли до крайности. Того и гляди всякий страх забудут, а тогда держи ухо востро!

Через несколько минут Генри, который шел теперь за санями, издал тихий предостерегающий свист.

Билл оглянулся и спокойно остановил собак. За поворотом, который они только что прошли, по их свежим следам бежал поджарый пушистый зверь. Принюхиваясь к снегу, он бежал легкой, скользящей рысцой. Когда люди остановились, остановился и он, вытянув морду и втягивая вздрагивающими ноздрями доносившиеся до него запахи.

— Она. Волчица, — сказал Билл.

Собаки лежали на снегу. Он прошел мимо них к товарищу, стоявшему около саней. Оба стали

разглядывать странного зверя, который уже несколько дней преследовал их и уничтожил половину упряжки.

Выждав и осмотревшись, зверь сделал несколько шагов вперед. Он повторял этот маневр до тех пор, пока не подошел к саням ярдов на сто, потом остановился около слей, поднял морду и, поводя носом, стал внимательно следить за наблюдавшими за ним людьми. В этом взгляде было что-то тоскливое, напоминавшее взгляд собаки, но без тени собачьей преданности. Это была тоска, рожденная голодом, жестоким, как волчьи клыки, безжалостным, как стужа.

Для волка зверь был велик, и, несмотря на его худобу, видно было, что он принадлежит к самым крупным представителям своей породы.

— Ростом фута два с половиной, — определил Генри. — И от головы до хвоста наверняка около пяти будет.

— Не совсем обычная масть для волка, — сказал Билл. — Я никогда рыжих не видал. А этот какой-то красновато-коричневый.

Билл ошибался. Шерсть у зверя была настоящая волчья. Преобладал в ней серый волос, но легкий красноватый оттенок, то исчезающий, то появляющийся снова, создавал обманчивое впе-

чатление — шерсть казалась то серой, то вдруг отливала рыжинкой.

— Самая настоящая ездовая лайка, только покрупнее, — сказал Билл. — Того и гляди хвостом завиляет.

— Эй ты, лайка! — крикнул он. — Подойди-ка сюда… Как там тебя зовут!

— Да она ни капельки не боится, — засмеялся Генри. Его товарищ крикнул громче и погрозил зверю кулаком, однако тог не проявил ни малейшего страха и только еще больше насторожился. Он продолжал смотреть на них все с той же беспощадной голодной тоской. Перед ним было мясо, а он голодал. И если бы у него только хватило смелости, он кинулся бы на людей и сожрал их.

— Слушай, Генри, — сказал Билл, бессознательно понизив голос до шепота. — У нас три патрона. Но ведь ее можно убить наповал. Тут не промахнешься. Трех собак как не бывало, надо же положить этому конец. Что ты скажешь?

Генри кивнул головой в знак согласия.

Билл осторожно вытащил ружье из саней, поднял было его, но так и не донес до плеча. Волчица прыгнула с тропы в сторону и скрылась среди елей. Друзья посмотрели друг на друга. Генри многозначительно засвистал.

— Эх, не сообразил я! — воскликнул Билл, кладя ружье на место. — Как же такой волчице не знать ружья, когда она знает время кормежки собак! Говорю тебе, Генри, во всех наших несчастьях виновата она. Если бы не эта тварь, у нас сейчас было бы шесть собак, а не три. Нет, Генри, я до нее доберусь. На открытом месте ее не убьешь, слишком умна. Но я ее выслежу. Я подстрелю эту тварь из засады.

— Только далеко не отходи, — предупредил его Генри. — Если они на тебя всей стаей набросятся, три патрона тебе помогут, как мертвому припарки. Уж очень это зверье проголодалось. Смотри, Билл, попадешься им!

В эту ночь остановка была сделана рано. Три собаки не могли везти сани так быстро и так подолгу, как это делали шесть; они заметно выбились из сил. Билл привязал их подальше друг от друга, чтобы они не перегрызли ремней, и оба путника сразу легли спать. Но волки осмелели и ночью не раз будили их. Они подходили так близко, что собаки начинали бесноваться от страха, и, для того чтобы удерживать осмелевших хищников на расстоянии, приходилось то и дело подкладывать сучья в костер.

— Моряки рассказывают, будто акулы любят

плавать за кораблями, — сказал Билл, забираясь под одеяло после одной из таких прогулок к костру. — Так вот, волки — это сухопутные акулы. Они свое дело получше нас с тобой знают и бегут за нами вовсе не для моциона. Попадемся мы им, Генри. Вот увидишь, попадемся.

— Ты, можно считать, уже попался, если столько говоришь об этом, — отрезал его товарищ. — Кто боится порки, тот все равно что выпорот, а ты все равно что у волков на зубах.

— Они приканчивали людей и получше нас с тобой, — ответил Билл.

— Да перестань ты скулить! Сил моих больше нет!

Генри сердито перевернулся на другой бок, удивляясь тому, что Билл промолчал. Это на него не было похоже, потому что резкие слова легко выводили его из себя. Генри долго думал об этом, прежде чем заснуть, но в конце концов веки его начали слипаться, и он погрузился в сон с такой мыслью: «Хандрит Билл. Надо будет растормошить его завтра».

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

ПЕСНЬ ГОЛОДА

Поначалу день сулил удачу. За ночь не пропало ни одной собаки, и Генри с Биллом бодро двинулись в путь среди окружающего их безмолвия, мрака и холода. Билл как будто не вспоминал о мрачных предчувствиях, тревоживших его прошлой ночью, и даже изволил подшутить над собаками, когда на одном из поворотов они опрокинули сани. Все смешалось в кучу. Перевернувшись, сани застряли между деревом и громадным валуном, и, чтобы разобраться во всей этой путанице, пришлось распрягать собак. Путники нагнулись над санями, стараясь поднять их, как вдруг Генри увидел, что Одноухий убегает в сторону.

— Назад, Одноухий! — крикнул он, вставая с колен и глядя собаке вслед.

Но Одноухий припустил еще быстрее, волоча по снегу постромки. А там, на только что пройденном ими пути, его поджидала волчица. Подбегая к ней, Одноухий навострил уши, перешел на легкий мелкий шаг, потом остановился. Он глядел на нее внимательно, недоверчиво, но с жадностью. А она скалила зубы, как будто улыбаясь ему вкрадчивой улыбкой, потом сделала несколько

игривых прыжков и остановилась. Одноухий пошел к ней все еще с опаской, задрав хвост, навострив уши и высоко подняв голову.

Он хотел было обнюхать ее, но волчица подалась назад, лукаво заигрывая с ним. Каждый раз, как он делал шаг вперед, она отступала назад. И так, шаг за шагом, волчица увлекала Одноухого за собой, все дальше от его надежных защитников — людей. Вдруг как будто неясное опасение остановило Одноухого. Он повернул голову и посмотрел на опрокинутые сани, на своих товарищей по упряжке и на подзывающих его хозяев. Но если что-нибудь подобное и мелькнуло в голове у пса, волчица вмиг рассеяла всю его нерешительность: она подошла к нему, на мгновение коснулась его носом, а потом снова начала, играя, отходить все дальше и дальше.

Тем временем Билл вспомнил о ружье. Но оно лежало под перевернутыми санями, и, пока Генри помог ему разобрать поклажу, Одноухий и волчица так близко подошли друг к другу, что стрелять на таком расстоянии было рискованно.

Слишком поздно понял Одноухий свою ошибку. Еще не догадываясь, в чем дело, Билл и Генри увидели, как он повернулся и бросился бежать назад, к ним. А потом они увидели штук двена-

дцать тощих серых волков, которые мчались под прямым углом к дороге, наперерез Одноухому. В одно мгновение волчица оставила всю свою игривость и лукавство—с рычанием кинулась она на Одноухого. Тот отбросил ее плечом, убедился, что обратный путь отрезан, и, все еще надеясь добежать до саней, бросился к ним по кругу. С каждой минутой волков становилось все больше и больше. Волчица неслась за собакой, держась на расстоянии одного прыжка от нее.

— Куда ты? — вдруг крикнул Генри, схватив товарища за плечо.

Билл стряхнул его руку.

— Довольно! — сказал он. — Больше они ни одной собаки не получат!

С ружьем наперевес он бросился в кустарник, окаймлявший речное русло. Его намерения были совершенно ясны: приняв сани за центр круга, по которому бежала собака. Билл рассчитывал перерезать этот круг в той точке, куда погоня еще не достигла. Среди бела дня, имея в руках ружье, отогнать волков и спасти собаку было вполне возможно.

— Осторожнее, Билл! — крикнул ему вдогонку Генри. — Не рискуй зря!

Генри сел на сани и стал ждать, что будет даль-

ше. Ничего другого ему не оставалось. Билл уже скрылся из виду, но в кустах и среди растущих кучками елей то появлялся, то снова исчезал Одноухий. Генри понял, что положение собаки безнадежно. Она прекрасно сознавала опасность, но ей приходилось бежать по внешнему кругу, тогда как стая волков мчалась по внутреннему, более узкому. Нечего было и думать, что Одноухий сможет настолько опередить своих преследователей, чтобы пересечь их путь и добраться до саней. Обе линии каждую минуту могли сомкнуться. Генри знал, что где-то там, в снегах, заслоненные от него деревьями и кустарником, в одной точке должны сойтись стая волков, Одноухий и Билл.

Все произошло быстро, гораздо быстрее, чем он ожидал. Раздался выстрел, потом еще два — один за другим, и Генри понял, что заряды у Билла вышли. Вслед за тем послышались визги и громкое рычание. Генри различил голос Одноухого, взвывшего от боли и ужаса, и вой раненого, очевидно, волка.

И все. Рычание смолкло. Визг прекратился. Над безлюдным краем снова нависла тишина.

Генри долго сидел на санях. Ему незачем было идти туда: все было ясно, как будто встреча Бил-

ла со стаей произошла у него на глазах. Только один раз он вскочил с места и быстро вытащил из саней топор, но потом снова опустился на сани и хмуро уставился прямо перед собой, а две уцелевшие собаки жались к его ногам и дрожали от страха.

Наконец он поднялся — так устало, как будто мускулы его потеряли всякую упругость, — и стал запрягать. Одну постромку он надел себе на плечи и вместе с собаками потащил сани. Но шел он недолго и, как только стало темнеть, сделал остановку и заготовил как можно больше хвороста; потом накормил собак, поужинал и постелил себе около самого костра.

Но ему не суждено было насладиться сном. Не успел он закрыть глаза, как волки подошли чуть ли не вплотную к огню. Чтобы разглядеть их, уже не нужно было напрягать зрение. Тесным кольцом окружили они костер, и Генри совершенно ясно видел, как одни из них лежали, другие сидели, третьи подползали на брюхе поближе к огню или бродили вокруг него. Некоторые даже спали. Они свертывались на снегу клубочком, по-собачьи, и спали крепким сном, а он сам не мог теперь сомкнуть глаз.

Генри развел большой костер, так как он знал,

что только огонь служит прем радой между его телом и клыками голодных волков. Обе собаки сидели у ног своего хозяина — одна справа, другая слева — в надежде, что он защитит их; они выли, взвизгивали и принимались исступленно лаять, если какой-нибудь волк подбирался к костру ближе остальных. Заслышав лай, весь круг приходил в движение, волки вскакивали со своих мест и порывались вперед, нетерпеливо воя и рыча, потом снова укладывались на снегу и один за другим погружались в сон.

Круг сжимался все теснее и теснее. Мало-помалу, дюйм за дюймом, то один, то другой волк ползком подвигался вперед, пока все они не оказывались на расстоянии почти одного прыжка от Генри. Тогда он выхватывал из костра головни и швырял ими в стаю. Это вызывало поспешное отступление, сопровождаемое разъяренным воем и испуганным рычанием, если пущенная меткой рукой головня попадала в какого-нибудь слишком смелого волка.

К утру Генри осунулся, глаза у него запали от бессонницы. В темноте он сварил себе завтрак, а в девять часов, когда дневной свет разогнал волков, принялся за дело, которое обдумал в долгие ночные часы. Он срубил несколько молодых

елей и, привязав их высоко к деревьям, устроил помост, затем, перекинув через него веревки от саней, с помощью собак поднял гроб и установил его там, наверху.

— До Билла добрались и до меня, может, доберутся, но вас-то, молодой человек, им не достать, — сказал он, обращаясь к мертвецу, погребенному высоко на деревьях.

Покончив с этим, Генри пустился в путь. Порожние сани легко подпрыгивали за собаками, которые прибавили ходу, зная, как и человек, что опасность минует их только тогда, когда они доберутся до форта Мак-Гэрри. Теперь волки совсем осмелели: спокойной рысцой бежали они позади саней и рядом, высунув языки, поводя тощими боками. Волки были до того худы — кожа да кости, только мускулы проступали, точно веревки, — что Генри удивлялся, как они держатся на ногах и не валятся в снег.

Он боялся, что темнота застанет его в пути. В полдень солнце не только согрело южную часть неба, но даже бледным золотистым краешком показалось над горизонтом. Генри увидел в этом доброе предзнаменование. Дни становились длиннее. Солнце возвращалось в эти края. Но как только приветливые лучи его померкли, Генри

сделал привал. До полной темноты оставалось еще несколько часов серого дневного света и мрачных сумерек, и он употребил их на то, чтобы запасти как можно больше хвороста.

Вместе с темнотой к нему пришел ужас. Волки осмелели, да и проведенная без сна ночь давала себя знать. Закутавшись в одеяло, положив топор между ног, он сидел около костра и никак не мог преодолеть дремоту. Обе собаки жались вплотную к нему. Среди ночи он проснулся и в каких-нибудь двенадцати футах от себя увидел большого серого волка, одного из самых крупных во всей стае. Зверь медленно потянулся, точно разленившийся нес, и всей пастью зевнул Генри прямо в лицо, поглядывая на него, как на свою собственность, как на добычу, которая рано или поздно достанется ему.

Такая уверенность чувствовалась в поведении всей стаи. Генри насчитал штук двадцать волков, смотревших на него голодными глазами или спокойно спавших на снегу. Они напоминали ему детей, которые собрались вокруг накрытого стола и ждут только разрешения, чтобы наброситься на лакомство. И этим лакомством суждено стать ему! «Когда же волки начнут свой пир?» — думал он.

Подкладывая хворост в костер, Генри заметил, что теперь он совершенно по-новому относится к собственному телу. Он наблюдал за работой своих мускулов и с интересом разглядывал хитрый механизм пальцев. При свете: костра он несколько раз подряд сгибал их, то поодиночке, то все сразу, то растопыривал, то быстро сжимал в кулак. Он приглядывался к строению ногтей, пощипывал кончики пальцев, то сильнее, то мягче, испытывая чувствительность своей нервной системы. Все это восхищало Генри, и он внезапно проникся нежностью к с воему телу, которое работало так легко, так точно и совершенно. Потом он бросал боязливый взгляд на волков, смыкавшихся вокруг костра все тес нее, и его, словно громом, поражала вдруг мысль, что это чудесное тело, эта живая плоть есть не что иное, как мясо — предмет вожделения прожорливых зверей, которые разорвут, раздерут его своими клыками, утолят им свой голод так же, как он сам не раз утолял голод мясом лося и зайца.

Он очнулся от дремоты, граничившей с: кошмаром, и увидел перед собой рыжую волчицу. Она сидела в каких-нибудь шести футах от костра и тоскливо поглядывала на человека. Обе собаки скулили и рычали у его ног, но волчица словно

и не замечала их. Она смотрела на человека, и в течение нескольких минутой отвечал ей тем же. Вид у нее был совсем не свирепый. В глазах ее светилась страшная тоска, но Генри знал, что тех ка эта порождена таким же страшным голодом. Он был пищей, и вид этой пищи возбуждал в волчице вкусовые ощущения. Пасть ее была разинута, слюна капала на снег, и она облизывалась, предвкушая поживу.

Безумный страх охватил Генри. Он быстро протянул руку за головней, но не успел дотронуться до нее, как волчица отпрянула назад: видимо, она привыкла к тому, чтобы в нее швыряли чем попало. Волчица огрызнулась, оскалив белые клыки до самых десен, тоска в ее глазах сменилась такой кровожадной злобой, что Генри вздрогнул. Он взглянул на свою руку, заметил, с какой ловкостью пальцы держали головню, как они прилаживались ко всем ее неровностям, охватывая со всех сторон шероховатую поверхность, как мизинец, помимо его воли, сам собой отодвинулся подальше от горячего места — взглянул и в ту же минуту ясно представил себе, как белые зубы волчицы вонзятся в эти тонкие, нежные пальцы и разорвут их. Никогда еще Генри не любил своего тела так, как теперь,

когда существование его было столь непрочно.

Всю ночь Генри отбивался от голодной стаи горящими головнями, засыпал, когда бороться с дремотой не хватало сил, и просыпался от визга и рычания собак. Наступило утро, но на этот раз дневной свет не прогнал волков. Человек награсно ждал, что его преследователи разбегутся. Они по-прежнему кольцом оцепляли костер и смотрели на Генри с такой наглой уверенностью, что он снова лишился мужества, которое вернулось было к нему вместе с рассветом.

Генри тронулся в путь, но едва он вышел из-под защиты огня, как на него бросился самый смелый волк из стаи; однако прыжок был плохо рассчитан, и волк промахнулся. Генри спасся тем, что отпрыгнул назад, и зубы волка щелкнули в нескольких дюймах от его бедра.

Вся стая кинулась к человеку, заметалась вокруг неш, и только горящие головни отогнали ее на почтителнчие расстояние.

Даже при дневном свете Генри не осмеливался отойти от огня и нарубить хвороста. Шагах в двадцати от саней стояла громадная засохшая ель. Он потратил половину дня, чтобы растянуть до нее цепь костров, все время держа наготове для своих преследователей несколько горящих

веток. Добравшись до цели, он огляделся вокруг, высматривая, где больше хвороста, чтобы свалить ель в ту сторону.

Эта ночь была точным повторением предыдущей, с той только разницей, что Генри почти не мог бороться со сном. Он уже не просыпался от рычания собак. К тому же они рычали не переставая, а его усталый, погруженный в дремоту мозг уже не улавливал оттенков в их голосах.

И вдруг он проснулся, будто от толчка. Волчица стояла совсем близко. Машинально он ткнул головней в ее оскаленную пасть. Волчица отпрянула назад, воя от боли, а Генри с наслаждением вдыхал запах паленой шерсти и горелого мяса, глядя, как зверь трясет головой и злобно рычит уже в нескольких шагах от него.

Но на этот раз, прежде чем заснуть, Генри привязал к правой руке тлеющий сосновый сук. Едва он закрывал глаза, как боль от ожога будила его. Так продолжалось несколько часов. Просыпаясь, он отгонял волков горящими головнями, подбрасывал в огонь хвороста и снова привязывал сук к руке. Все шло хорошо; но в одно из таких пробуждений Генри плохо затянул ремень, и, как только глаза его закрылись, сук выпал у него из руки.

Ему снился сон. Форт Мак-Гэрри. Тепло, уютно.

Он играет в криббедж с начальником фактории. И ему снится, что волки осаждают форт. Волки воют у самых ворот, и они с начальником по временам отрываются от игры, чтобы прислушаться к вою и посмеяться над тщетными усилиями волков проникнуть внутрь форта. Потом — какой странный сон ему снился! — раздался треск. Дверь распахнулась настежь. Волки ворвались в комнату. Они кинулись на него и на начальника. Как только дверь распахнулась, вой стал оглушительным, он уже не давал ему покоя. Сон принимал какие-то другие очертания. Генри не мог еще понять, какие, и понять это ему мешал вой, не прекращающийся ни на минуту.

А потом он проснулся и услышал вой и рычание уже наяву. Волки всей стаей бросились на него. Чьи-то клыки впились ему в руку. Он прыгнул в костер и, прыгая, почувствовал, как острые зубы полоснули его по ноге. И вот началась битва. Толстые рукавицы защищали его руки от огня, он полными горстями расшвыривал во все стороны горящие угли, и костер стал под конец чем-то вроде вулкана.

Но это не могло продолжаться долго. Лицо у Генри покрылось волдырями, брови и ресницы были опалены, ноги уже не терпели жара.

Схватив в руки по головне, он прыгнул ближе к краю костра. Волки отступили. Справа и слева — всюду, куда только падали угли, шипел снег: и по отчаянным прыжкам, фырканью и рычанию можно было догадаться, что волки наступали на них. Расшвыряв головни, человек сбросил с рук тлеющие рукавицы и принялся топать по снегу ногами, чтобы остудить их. Обе собаки исчезли, и он прекрасно знал, что Они послужили очередным блюдом на том затянувшемся пиру, который начался с Фэтти и в один из ближайших дней, может быть, закончится им самим. — А все-таки до меня вы еще не добрались! — крикнул он, бешено погрозив кулаком голодным зверям. Услышав его голос, стая заметалась, дружно зарычала, а волчица подступила к нему почти вплотную и уставилась на него тоскливыми, голодными глазами. Генри принялся обдумывать новый план обороны. Разложив костер широким кольцом, он бросил на тающий снег свою постель и сел на ней внутри этого кольца. Как только человек скрылся за огненной оградой, вся стая окружила ее, любопытствуя, куда он девался. До сих пор им не было доступа к огню, а теперь они расселись около него тесным кругом и, как собаки, жмурились, зевали и потягивались в непривычном для них

тепле. Потом волчица уселась на задние лапы, подняла голову и завыла. Волки один за другим подтягивали ей, и наконец вся стая, уставившись мордами в звездное небо, затянула песнь голода.

Стало светать, потом наступил день. Костер догорал. Хворост подходил к концу, надо было пополнить запас. Человек попытался выйти за пределы огненного кольца, но волки кинулись ему навстречу. Горящие головни заставляли их отскакивать в стороны, но назад они уже не убегали. Тщетно старался человек прогнать их. Убедившись наконец в безнадежности своих попыток, он отступил внутрь горящего кольца, и в это время один из волков прыгнул на него, но промахнулся и всеми четырьмя лапами угодил в огонь. Зверь взвыл от страха, огрызнулся и отполз от костра, стараясь остудить на снегу обожженные лапы.

Человек, сгорбившись, сидел на одеяле. По безвольно опущенным плечам и поникшей голове можно было понять, что у него больше нет сил продолжать борьбу. Время от времени он поднимал голову и смотрел на догорающий костер. Кольцо огня И тлеющих углей кое-где уже разомкнулось, распалось на отдельные костры. Свободный проход между ними все увеличивал-

ся, а сами костры уменьшались.

— Ну, теперь вы до меня доберетесь, — пробормотал Генри. — Но мне все равно, я хочу спать…

Проснувшись, он увидел между двумя кострами прямо перед собой волчицу, смотревшую на него пристальным взглядом.

Спустя несколько минух, которые показались ему часами, он снова поднял голову. Произошла какая-то непонятная перемена, настолько непонятная для него, что он сразу очнулся. Что-то случилось. Сначала он не мог понять, что именно. Потом догадался: волки исчезли.

Только по вытоптанному кругом снегу можно было судить, как близко они подбирались к нему.

Волна дремоты снова охватила Генри, голова его упала на колени, но вдруг он вздрогнул и проснулся.

Откуда-то доносились людские голоса, скрип полозьев, нетерпеливое повизгивание собак. От реки к стоянке между деревьями подъезжало четверо нарт. Несколько человек окружили Генри, скорчившегося в кольце угас-сающего огня. Они расталкивали и трясли его, стараясь привести в чувство. Он смотрел на них, как пьяный, и бормотал вялым, сонным голосом:

— Рыжая волчица… приходила к кормежке собак… Сначала сожрала собачий корм… потом собак… А потом Билла…

— Где лорд Альфред? — крикнул ему в ухо один из приехавших, с силой тряхнув его за плечо.

Он медленно покачал головой.

— Его она не тронула… Он там, на деревьях… у последней стоянки.

— Умер?

— Да. В гробу, — ответил Генри.

Он сердито дернул плечом, высвобождаясь от наклонившегося над ним человека.

— Оставьте меня в покое, я не могу… Спокойной ночи…

Веки Генри дрогнули и закрылись, голова упала на грудь. И как только его опустили на одеяло, в морозной тишине раздался громкий храп.

Но к этому храпу примешивались и другие звуки. Издали, еле уловимый на таком расстоянии, доносился вой голодной стаи, погнавшейся за другой добычей, взамен только что оставленного ею человека.

Часть вторая
ГЛАВА ПЕРВАЯ
БИТВА КЛЫКОВ

Волчица первая услышала звуки человеческих голосов и повизгивание ездовых собак, и она же первая отпрянула от человека, загнанного в круг угасающего огня. Неохотно расставаясь с уже затравленной добычей, стая помедлила несколько минут, прислушиваясь, а потом кинулась следом за волчицей.

Во главе стаи бежал крупный серый волк, один из ее вожаков. Он-то и направил стаю по следам волчицы, предостерегающе огрызаясь на более молодых своих собратьев и отгоняя их ударами клыков, когда они отваживались забегать вперед. И это он прибавил ходу, завидев впереди волчицу, медленной рысцой бежавшую по снегу.

Волчица побежала рядом с ним, как будто место это было предназначено для нее, и уже больше не удалялась от стаи. Вожак не рычал и не огрызался на волчицу, когда случайный скачок выносил ее вперед, — напротив, он, по-видимому, был очень расположен к ней, потому что старался

все время бежать рядом. А ей это не нравилось, и она рычала и скалила зубы, не гподпуская его к себе. Иногда волчица не останавливалась даже перед тем, чтобы куснуть его за плечо. В таких случаях вожак не выказывал никакой злобы, а только отскакивал в сторону и делал несколько неуклюжих скачков, всем своим видом и поведением напоминая сконфуженного влюбленного простачка.

Это было единственное, что мешало ему управлять стаей. Но волчицу одолевали другие неприятности. Справа от нее бежал тощий старый волк, серая шкура которого носила следы многих битв. Он все время держался справа от волчицы. Объяснялось это тем, что у него был только один глаз, левый. Старый волк то и дело теснил ее, тыкаясь своей покрытой рубцами мордой то в бок ей, то в плечо, то в шею. Она встречала его ухаживания лязганьем зубов, так же как и ухаживание вожака, бежавшего слева, и, когда оба они начинали приставать к ней одновременно, ей приходилось туго: надо было рвануть зубами обоих, в то же время не отставать от стаи и смотреть себе под ноги. В такие минуты оба волка угрожающе рычали и скалили друг на друга зубы. В другое время они бы подрались, но сейчас даже любовь

и соперничество уступали место более сильному чувству — чувству голода, терзающего всю стаю.

После каждого такого отпора старый волк отскакивал от строптивого предмета своих вожделений и сталкивался с молодым, трехлетним волком, который бежал справа, со стороны его слепого глаза. Трехлеток был вполне возмужалый и, если принять во внимание слабость и истощенность остальных волков, выделялся из всей стаи своей силой и живостью. И все-таки он бежал так, что голова его была вровень с плечом одноглазого волка. Лишь только он отваживался поров-няться с ним (что случалось довольно редко), старик рычал, лязгал зубами и тотчас же осаживал его на прежнее место. Однако время от времени трехлеток отставал и украдкой втискивался между ним и волчицей. Этот маневр встречал двойной, даже тройной отпор. Как только волчица начинала рычать, старый волк делал крутой поворот и набрасывался на трехлетка. Иногда заодно со стариком на него набрасывалась и волчица, а иногда к ним присоединялся и вожак, бежавший слева.

Видя перед собой три свирепые пасти, молодой волк останавливался, оседал на задние лапы и, весь ощетинившись, показывал зубы.

Замешательство во главе стаи неизменно сопровождалось замешательством и в задних рядах. Волки натыкались на трехлетка и выражали свое недовольство тем, что злобно кусали его за ляжки и за бока. Его положение было опасно, так как голод и ярость обычно сопутствуют друг другу. Но безграничная самоуверенность молодости толкала его на повторение этих попыток, хотя они не имели ни малейшего успеха и доставляли ему лишь одни неприятности.

Попадись волкам какая-нибудь добыча — любовь и соперничество из-за любви тотчас же завладели бы стаей, и ома рассеялась бы. Но положение ее было отчаянное. Волки отощали от длительной голодовки и подвигались вперед гораздо медленнее обычного. В хвосте, прихрамывая, плелись слабые — самые молодые и старики. Сильные шли впереди. Вес они походили скорее на скелеты, чем на настоящих волков. И все-таки в их движениях — если не считать тех, кто прихрамывал, — не было заметно ни усталости, ни малейших усилий. Казалось, что в мускулах, выступавших у них на теле, как персики, таится неиссякаемый запас мощи. За каждым движением стального мускула следовало другое движение, за ним третье, четвертое — и гак без

конца.

В тот день волки пробежали много миль. Они бежали и ночью. Наступил следующий день, а они все еще бежали. Оледеневшее мертвое пространство. Нигде ни малейших признаков жизни. Только они одни и двигались в этой застывшей пустыне. Только в них была жизнь, и они рыскали в поисках других живых существ, чтобы растерзать их — и жить, жить!

Волкам пришлось пересечь не один водораздел и обрыскать гге один ручей в низинах, прежде чем поиски их увенчались успехом. Они встретили лосей. Первой их добычей был крупный лось-самец. Это была жизнь. Это было мясо, и его не защищали ни таинственный костер, ни летающие головни. С раздвоенными копытами и ветвистыми рогами волкам приходилось встречаться не впервые, и они отбросили свое обычное терпение и осторожность. Битва была короткой и жаркой. Лося окружили со всех сторон. Меткими ударами тяжелых копыт огг распарывал волкам животы, пробивал черепа, громадными рогами ломал им кости. Лось подминал их под себя, катаясь по снегу, но он был обречен на гибель, и в конце концов ноги у него подломились. Волчица с остервенением впилась ему в горло, а зубы

остальных волков рвали его на части — живьем, не дожидаясь, пока он затихнет и перестанет отбиваться.

Еды было вдоволь. Лось весил свыше восьмисот фунтов — по двадцати фунтов на каждую волчью глотку. Если волки с поразительной выдержкой умели поститься, то не менее поразительна была и быстрота, с которой они гожирали пищу, и вскоре от великолепного, полного сил животного, столкнувшегося несколько часов назад со стаей, осталось лишь несколько разбросанных по снегу костей.

Теперь волки подолгу отдыхали и спали. На сытый желудок самцы помоложе начали ссориться и драться, и что продолжалось весь остаток дней, предшествовавших распаду стаи. Голод кончился. Волки дошли до богатых дичью мест; охотились они по-прежнему всей стаей, но действовали уже с большей осторожностью, отрезая от небольших лосиных стад, попадавшихся им на пути, стельных самок или старых больных лосей.

И вот наступил день в этой стране изобилия, когда волчья стая разбилась на две. Волчица, молодой вожак, бежавший слева от нее, и Одноглазый, бежавший справа, повели свою половину

стаи на восток, к реке Маккензи, и дальше, к озерам. И эта маленькая стая тоже с каждым днем уменьшалась. Волки разбивались на пары — самец с самкой. Острые зубы соперника то и дело отгоняли прочь какого-нибудь одинокого волка.И наконец волчица, молодой вожак, Одноглазый и дерзкий трехлеток остались вчетвером.

К этому времени характер у волчицы окончательно испортился. Следы ее зубов имелись у всех троих ухаживателей. Но волки ни разу не ответили ей тем же, ни разу не попробовали защищаться. Они только подставляли плечи под самые свирепые укусы волчицы, повиливали хвостом и семенили вокруг нее, стараясь умерить ее гнев. Но если к самке волки проявляли кротость, то по отношению друг к другу они были сама злоба. Свирепость трехлетка перешла все границы. В одну из очередных ссор он подлетел к старому волку с той стороны, с которой теп ничего не видел, и на клочки разорвал ему ухо. Но седой одноглазый старик призвал на помощь против молодости и силы всю свою долголетнюю мудрость и весь свой опыт. Его вытекший глаз и исполосованная рубцами морда достаточно красноречиво говорили о том, какого рода был этот опыт. Слишком много битв пришлось ему

пережить на своем веку, чтобы хоть на одну минуту задуматься над тем, как следует поступить сейчас.

Битва началась честно, но нечестно кончилась. Трудно было бы заранее судить о ее исходе, если б к старому вожаку не присоединился молодой; вместе они набросились на дерзкого трехлетка. Безжалостные клыки бывших собратьев вонзались в него со всех сторон. Позабыты были те дни, когда волки вместе охотились, добыча, которую они вместе убивали, голод, одинаково терзавший их троих. Все это было делом прошлого. Сейчас ими владела любовь — чувство еще более суровое и жестокое, чем голод.

Тем временем волчица — причина всех раздоров — с довольным видом уселась на снегу и стала следить за битвой. Ей это даже нравилось. Пришел ее час, — что случается редко, — когда шерсть встает дыбом, клык ударяется о клык, рвет, полосует податливое тело, — и все это только ради обладания ею.

И трехлеток, впервые в своей жизни столкнувшийся с любовью, поплатился за нее жизнью. Оба соперника стояли над его телом. Они смотрели на волчицу, которая сидела на снегу и улыбалась им. Но старый волк был мудр — мудр в делах любви

не меньше, чем в битвах. Молодой вожак повернул голову зализать рану на плече. Загривок его был обращен к сопернику. Своим единственным глазом старик углядел, какой удобный случай представляется ему. Кинувшись стрелой на молодого волка, он полоснул его клыками по шее, оставив на ней длинную, глубокую рану и вспоров вену, и тут же отскочил назад.

Молодой вожак зарычал, но его страшное рычание сразу перешло в судорожный кашель. Истекая кровью, кашляя, он кинулся на старого волка, но жизнь уже покидала его, ноги подкашивались, глаза застилал туман, удары и прыжки становились все слабее и слабее. А волчица сидела в сторонке и улыбалась. Зрелище битвы вызывало в ней какое-то смутное чувство радости, ибо такова любовь в Северной глуши, а трагедию ее познает лишь тот, кто умирает. Для тех же, кто остается в живых, она уже не трагедия, а торжество осуществившегося желания.

Когда молодой волк вытянулся на снегу, Одноглазый гордой поступью направился к волчице. Впрочем, полному торжеству победителя мешала необходимость быть начеку. Он простодушно ожидал резкого приема и так же простодушно удивился, когда волчица не показала ему зубов,

— впервые за все это время его встретили так ласково. Она обнюхалась с ним и даже принялась прыгать и резвиться, совсем как щенок. И Одноглазый, забыв свой почтенный возраст и умудренность опытом, тоже превратился в щенка, пожалуй, даже еще более глупого, чем волчица.

Забыты были и побежденные соперники и повесть о любви, кровью написанная на снегу. Только раз вспомнил об этом Одноглазый, когда остановился на минуту, чтобы зализать раны. И тогда губы его злобно задрожали, шерсть на шее и на плечах поднялась дыбом, когти судорожно впились в снег, тело изогнулось, приготовившись к прыжку. Но в следующую же минуту все было забыто, и он бросился вслед за волчицей, игриво манившей его в лес.

А потом они побежали рядом, как добрые друзья, пришедшие наконец к взаимному соглашению. Дни шли, а они не расставались — вместе гонялись за добычей, вместе убивали ее, вместе съедали. Но потом волчицей овладело беспокойство. Казалось, она ищет что-то и никак не может найти. Ее влекли к себе укромные местечки под упавшими деревьями, и она проводила целые часы, обнюхивая запорошенные снегом рассели-

ны в утесах и пещеры под нависшими берегами реки. Старого волка все это нисколько не интересовало, но он покорно следовал за ней, а когда эти поиски затягивались, ложился на снег и ждал ее. Не задерживаясь подолгу на одном месте, они пробежали до реки Маккензи и уже не спеша отправились вдоль берега, время от времени сворачивая в поисках добычи на небольшие притоки, но неизменно возвращаясь к реке. Иногда им попадались другие волки, бродившие обычно парами; но ни та, ни другая сторона не выказывала ни радости при встрече, ни дружелюбных чувств, ни желания снова собраться в стаю. Встречались на их пути и одинокие волки. Это были самцы, которые охотно присоединились бы к Одноглазому и его подруге. Но Одноглазый не желал этого, и стоило только волчице стать плечо к плечу с ним, ощетиниться и оскалить зубы, как навязчивые чужаки отступали, поворачивали вспять и снова пускались в свой одинокий путь.

Как-то раз, когда они бежали лунной ночью по затихшему лесу, Одноглазый вдруг остановился. Он задрал кверху морду, напружил хвост и, раздув ноздри, стал нюхать воздух. Потом поднял переднюю лапу, как собака на стойке. Что-то встревожило его, и он продолжал при-

нюхиваться, стараясь разгадать несущуюся по воздуху весть. Волчица потянула носом и побежала дальше, подбодряя своего спутника. Все еще не успокоившись, он последовал за ней, но то и дело останавливался, чтобы вникнуть в предостережение, которое нес ему ветер.

Осторожно ступая, волчица вышла из-за деревьев на большую поляну. Несколько минут она стояла там одна. Потом весь насторожившись, каждым своим волоском излучая безграничное недоверие, к ней подошел Одноглазый. Они стали рядом, продолжая прислушиваться, всматриваться, поводить носом.

До их слуха донеслись звуки собачьей грызни, гортанные голоса мужчин, пронзительная перебранка женщин и даже тонкий жалобный плач ребенка. С, поляны им были видны только большие, обтянутые кожей вигвамы, пламя костров, которое поминутно заслоняли человеческие фигуры, и дым, медленно поднимающийся н спокойном воздухе. Но их ноздриуловили множество запахов индейского поселка, говорящих о вещах, совершенно непонятных Одноглазому и знакомых волчице до мельчайгггих подробностей. Волчицу охватило странное беспокойство, и она продолжала принюхиваться все с большим и

большим наслаждением. Но Одноглазый все еще сомневался. Он нерешительно тронулся с места и выдал этим свои опасения. Волчица повернулась, ткнула его носом в шею, как бы успокаивая, потом снова стала смотреть на поселок. В ее глазах светилась тоска, но это уже не была тоска, рожденная голодом. Она дрожала от охватившего ее желания бежать туда, подкрасться ближе к кострам, вмешаться в собачью драку, увертываться и отскакивать от неосторожных шагов людей.

Одноглазый нетерпеливо топтался возле нее; но вот прежнее беспокойство вернулось к волчице, она снова почувствовала неодолимую потребность найти то, что гак долго искала. Она повернулась и, к большому облегчению Одноглазого, побежала в лес, под прикрытие деревьев.

Бесшумно, как тени, скользя в освещенном луной лесу, они напали на тропинку и сразу уткнулись носом в снег. Следы на тропинке были совсем свежие. Одноглазый осторожно двиг алея вперед, а его подруга следовала за ним по пятам. Их широкие лапы с толстыми подушками мягко, как бархат, ложились на снег. Но вот Одноглазый увидел что-то белое на такой же белой снежной глади. Скользящая поступь Одноглазого скрадывала быстроту его движений, а теггерь он

припустил еще быстрее. Вгтереди него мелькало какое-то неясное белое гтятно.

Они с волчицей бежали по узкой прогалине, окаймленной по обеим сторонам зарослью молодых елей и выходившей на залитую луной поляну. Старый волк настигал мелькавшее перед ним пятнышко. Каждый его прыжок сокращал расстояние между ними. Вот оно уже совсем близко. Еще один прыжок — и зубы волка вопьются в него. Но прыжка этого так и не гтоследовало. Белое пятно, оказавшееся зайцем, взлетело высоко в воздух прямо над головой Одноглазого и стало подпрыгивать и раскачиваться там, наверху, не касаясь земли, точно танцуя какой-то фантастический танец. С испуганным фырканьем Одноглазый отскочил назад и, припав на снег, грозно зарычал на этот страшный и непонятный предмет. Однако волчица преспокойно обошла его, примерилась к прыжку и подскочила, стараясь схватить зайца. Она взвилась высоко, но промахнулась и только лязгнула зубами. За первым прыжком последовали второй и третий.

Медленно поднявшись, Одноглазый наблюдал за волчицей. Наконец ее промахи рассердили его, он подпрыгнул сам и, ухватив зайца зубами, опустился на землю вместе с ним. Но в ту же минуту

сбоку послышался какой-то подозрительный шорох, и Одноглазый увидел склонившуюся над ним молодую елку, которая готова была вот-вот ударить его. Челюсти волка разжались; оскалив зубы, он метнулся от этой непонятной опасности назад, в горле его заклокотало рычание, шерсть встала дыбом от ярости и страха. А стройное деревце выпрямилось, и заяц снова заплясал высоко в воздухе.

Волчица рассвирепела. Она укусила Одноглазого в плечо, а он, испуганный этим неожиданным наскоком, с остервенением полоснул ее зубами по морде. Такой отпор, в свою очередь, оказался неожиданностью для волчицы, и она накинулась на Одноглазого, рыча от негодования. Тот уже понял свою ошибку и попытался умилостивить волчицу, но она продолжала кусать его. Тогда, оставив все надежды на примирение, Одноглазый начал увертываться от ее укусов, пряча голову и подставляя под ее зубы то одно плечо, то другое.

Тем временем заяц продолжал плясать в воздухе. Волчица уселась на снегу, и Одноглазый, боясь теперь своей подруги еще больше, чем таинственной елки, снова сделал прыжок. Схватив зайца и опустившись с ним на землю, он уставил-

ся своим единственным глазом на деревце. Как и прежде, оно согнулось до самой земли. Волк съежился, ожидая неминуемого удара, шерсть на нем встала дыбом, но зубы не выпускали добычи. Однако удара не последовало. Деревце так и осталось склоненным над ним. Стоило волку двинуться, как елка тоже двигалась, и он ворчал на нее сквозь стиснутые челюсти; когда он стоял спокойно, деревце тоже не шевелилось, и волк решил, что так безопаснее. Но теплая кровь зайца была такая вкусная!

Из этого затруднительного положения Одноглазого вывела волчица. Она взяла у него зайца и, пока елка мрожающе раскачивалась и колыхалась над ней, спокойно отгрызла ему голову. Елка сейчас же выпрямилась и больше не беспокоила их, заняв подобающее ей вертикальное положение, в котором дереву положено расти самой природой. А волчица с Одноглазым поделили между собой добычу, пойманную для них этим таинственным деревцем.

Много попадалось им таких тропинок и прогалин, где зайцы раскачивались высоко в воздухе, и волчья пара обследовала их все. Волчица всегда была первой, а Одноглазый шел за ней следом, наблюдая и учась, как надо обкрадывать западни.

И наука эта впоследствии сослужила ему хорошую службу.

ГЛАВА ВТОРАЯ
ЛОГОВИЩЕ

Два дня и две ночи бродили волчица и Одноглазый около индейского поселка. Одноглазый беспокоился и трусил, а волчицу поселок чем-то притягивал, и она никак не хотела уходить. Но однажды утром, когда в воздухе, совсем неподалеку от них, раздался выстрел и пуля ударила в дерево всего в нескольких дюймах от головы Одноглазого, волки уже больше не колебались и пустились в путь длинными ровными прыжками, быстро увеличивая расстояние между собой и опасностью.

Они бежали недолго — всего дня три. Волчица все с большей настойчивостью продолжала свои поиски. Она сильно отяжелела за эти дни и не могла быстро бегать. Однажды, погнавшись за зайцем, которого в обычное время ей ничего не стоило бы поймать, она вдруг оставила погоню и прилегла на снег отдохнуть. Одноглазый подошел к ней, но не успел он тихонько коснуться носом ее шеи, как она с такой яростью укусила

его, что он упал на спину и, являя собой весьма комическое зрелище, стал отбиваться от ее зубов. Волчица сделалась еще раздражительнее, чем прежде; но Одноглазый был терпелив и заботлив, как никогда.

И вот наконец волчица нашла то, что искала. Нашла в нескольких милях вверх по течению небольшого ручья, летом впадавшего в Маккензи; теперь, промерзнув до каменистого дна, ручей затих, превратившись от истоков до устья в сплошной лед. Волчица усталой рысцой бежала позади Одноглазого, ушедшего далеко вперед, и вдруг приметила, что в одном месте высокий глинистый берег нависает над ручьем. Она свернула в сторону и подбежала туда. Буйные весенние ливни и тающие снега размыли узкую трещину в береге и образовали там небольшую пещеру.

Волчица остановилась у входа в нее и внимательно оглядела наружную стену пещеры, потом обежала ее с обеих сторон до того места, где обрыв переходил в пологий скат. Вернувшись назад, она пошла в пещеру через узкое отверстие. Первые фута три ей пришлось ползти, потом стены раздались вширь и ввысь, и волчица вышла на небольшую круглую площадку футов шести в диаметре. Головой она почти касалась потолка.

Внутри было сухо и уютно. Волчица принялась обследовать пещеру, а Одноглазый стоял у входа и терпеливо наблюдал за ней. Опустив голову и почти касаясь носом близко сдвинутых лап, волчица несколько раз перевернулась вокруг себя, не то с усталым вздохом, не то с ворчанием подогнула ноги и растянулась на земле, головой ко входу. Одноглазый, навострив уши, посмеивался над ней, и волчице было видно, как кончик его хвоста добродушно ходит взад и вперед на фоне светлого пятна — входа в пещеру. Она прижала свои острые уши, открыла пасть и высунула язык, всем своим видом выражая полное удовлетворение и спокойствие.

Одноглазому хотелось есть. Он заснул у входа в пещеру, но сон его был тревожен. Он то и дело просыпался и, навострив уши, прислушивался к тому, что говорил ему мир, залитый ярким апрельским солнцем, играющим на снегу. Лишь только Одноглазый начинал дремать, до ушей его доносился еле уловимый шепот невидимых ручейков, и он поднимал голову, напряженно вслушиваясь в эти звуки. Солнце снова появилось на небе, и пробуждающийся Север слал свой призыв волку. Все вокруг оживало. В воздухе чувствовалась весна, под снегом зарождалась жизнь,

деревья набухали соком, почки сбрасывали с себя ледяные оковы.

Одноглазый беспокойно поглядывал на свою подругу, но она не выказывала ни малейшего желания подняться с места. Он посмотрел по сторонам, увидел стайку пуночек, вспорхнувших неподалеку от него, приподнялся, но, взглянув еще раз на волчицу, лег и снова задремал. До его слуха донеслось слабое жужжание. Сквозь дремоту он несколько раз обмахнул лапой морду — потом проснулся. У кончика его носа с жужжанием вился комар. Комар был большой, — вероятно, он провел всю зиму в сухом пне, а теперь солнце вывело его из оцепенения. Волк был не в силах противиться зову окружающего мира; кроме того, ему хотелось есть.

Одноглазый подполз к своей подруге и попробовал убедить ее подняться. Но она только огрызнулась на него. Тогда волк решил отправиться один и, выйдя на яркий солнечный свет, увидел, что снег под ногами проваливается и путешествие будет делом не легким. Он побежал вверх по замерзшему ручью, где снег в тени деревьев был все еще твердый. Побродив часов восемь, Одноглазый вернулся затемно, еще голоднее прежнего. Он не раз видел дичь, но не мог

поймать ее. Зайцы легко скакали по таявшему насту, а он проваливался и барахтался в снегу.

Какое-то смутное подозрение заставило Одноглазого остановиться у входа в пещеру. Оттуда доносились странные слабые звуки. Они не были похожи на голос волчицы, но вместе с тем в них чудилось что-то знакомое. Он осторожно вполз внутрь и услышал предостерегающее рычание своей подруги. Это не смутило Одноглазого, но заставило все же держаться в некотором отдалении; его интересовали другие звуки — слабое, приглушенное повизгивание и плач.

Волчица сердито заворчала на него. Одноглазый свернулся клубком у входа в пещеру и заснул. Когда наступило утро и в логовище проник тусклый свет, волк снова стал искать источник этих смутно знакомых звуков. В предостерегающем рычании волчицы появились новые нотки: в нем слышалась ревность, — и это заставляло волка держаться от нее подальше. И все-таки ему удалось разглядеть, что между ногами волчицы, прильнув к ее брюху, копошились пять маленьких живых клубочков; слабые, беспомощные, они тихо повизгивали и не открывали глаз на свет. Волк удивился. Это случалось не в первый раз в его долгой и удачливой жизни, это слу-

чалось часто, и все-таки каждый раз он заново удивлялся. Волчица смотрела на него с беспокойством. Время от времени она тихо ворчала, а когда волк, как ей казалось, подходил слишком близко, это ворчание становилось грозным. Инстинкт, опережающий у всех матерей-волчиц опыт, смутно подсказывал ей, что отцы могут съесть свое беспомощное потомство, хотя до сих пор она не знала такой беды. И страх заставлял ее гнать Одноглазого от порожденных им волчат.

Впрочем, волчатам ничто не грозило. Старый волк, в свою очередь, почувствовал веление инстинкта, перешедшего к нему от его отцов. Не задумываясь над ним, не противясь ему, он ощутил это веление всем своим существом и, повернувшись спиной к своему новорожденному потомству, отправился на поиски пищи.

В пяти-шести милях от логовища ручей разветвлялся, и оба его рукава под прямым углом поворачивали к горам. Волк пошел вдоль левого рукава и вскоре наткнулся на чьи-то следы. Обнюхав их и убедившись, что следы совсем свежие, он припал на снег и взглянул в том направлении, куда они вели. Потом не спеша повернулся и побежал вдоль правого рукава. Следы были гораздо крупнее его собственных, — и он знал, что там,

куда они приведут, надежды на добычу мало.

Пробежав с полмили вдоль правого рукава, волк уловил своим чутким ухом какой-то скрежещущий звук. Подкравшись ближе, он увидел дикобраза, который, встав на задние лапы, точил зубы о дерево. Одноглазый осторожно подобрался к нему, не надеясь, впрочем, на удачу. Так далеко на севере дикобразы ему не попадались, но он знал этих зверьков, хотя за всю свою жизнь ни разу не; попробовал их мяса. Однако опыт научил волка, что бывает в жизни счастье или удача, и он продолжал подбираться к дикобразу. Трудно угадать, чем кончится эта встреча, ведь исхода борьбы с живым существом никогда нельзя знать заранее.

Дикобраз свернулся клубком, растопырив во все стороны спои длинные острые иглы, и нападение стало теперь невозможным. В молодости Одноглазый ткнулся однажды мордой в такой же вот безжизненный с виду клубок игл и неожиданно получил удар хвостом но носу. Одна игла так и осталась торчать у него в носу, причиняя жгучую боль, и вышла из раны только через несколько недель. Он лег, приготовившись к прыжку и держа нос на расстоянии целого фута от хвоста дикобраза. Замерев на месте, он

ждал. Кто знает? Все может быть. Вдруг дикобраз развернется. Вдруг представится случай ловким ударом лапы распороть нежное, ничем не защищенное брюхо.

Но через полчаса Одноглазый поднялся, злобно зарычал на неподвижный клубок и побежал дальше.

Слишком часто приходилось ему в прошлом караулить дикобразов — вот так же, без всякого толка, чтобы сейчас тратить на это время. И он побежал дальше г го правому рукаву ручья. День подходил к концу, а его поиски все еще не увенчались успехом.

Проснувшийся инстинкт отцовства управлял волком. Он знал, что пищу надо найти во что бы то ни стало. В полдень ему попалась белая куропатка. Он выбежал из зарослей кустарника и очутился нос к носу с этой глупой птицей. Она сидела на пне, в каком-нибудь футе от его морды. Они увидели друг друга одновременно. Птица испуганно взмахнула крыльями, но волк ударил ее лапой, сшиб на землю и схватил зубами как раз в тот миг, когда она заметалась по снегу, пытаясь взлететь на воздух. Как только зубы Одноглазого вонзились в нежное мясо, ломая хрупкие кости, челюсти его заработали. Потом он вдруг

вспомнил что-то и пустился бежать к пещере, прихватив куропатку с собой.

Пробежав еще с милю своей бесшумной поступью, скользя, словно тень, и внимательно приглядываясь к каждому новому береговому изгибу, он опять наткнулся на следы все тех же больших лап. Следы удалялись в ту сторону, куда лежал и его путь, и он приготовился в любую минуту встретить обладателя этих лап.

Волк осторожно высунул голову из-за скалы в том месте, где ручей круто поворачивал, и его зоркий глаз заприметил нечто такое, что заставило его сейчас же прильнуть к земле. Это был тот самый зверь, который оставил большие следы на снегу, — крупная самка-рысь. Она лежала перед свернувшимся в тугой клубок дикобразом в той же позе, в какой рано утром лежал перед таким же дикобразом и сам волк. Если раньше Одноглазого можно было сравнить со скользящей тенью, то теперь это был призрак той тени, осторожно огибающий с подветренной стороны безмолвную, неподвижную мару — дикобраза и рысь.

Волк лег на снег, положив куропатку рядом с собой, и сквозь иглы низкорослой сосны стал пристально следить за игрой жизни, развертывающейся у него на глазах, — за рысью и

дикобразом, которые хоть и притаились, но были полны сил и отстаивали каждый свое существование. Смысл же этой игры заключался в том, что один из ее участников хотел съесть другого, а тот не хотел быть съеденным.

Старый волк тоже принимал участие в этой игре из своего прикрытия, надеясь, а вдруг счастье окажется на его стороне и он добудет пищу, необходимую ему, чтобы жить.

Прошло полчаса, прошел час; все оставалось по-прежнему. Клубок игл сохранял полную неподвижность, и его легко можно было принять за камень; рысь превратилась в мраморное изваяние; а Одноглазый— тот был точно мертвый. Однако все трое жили такой напряженной жизнью, напряженной почти до ощущения физической боли, что вряд ли когда-нибудь им приходилось чувствовать в себе столько сил, сколько они чувствовали сейчас, когда тела их казались окаменелыми.

Одноглазый подался вперед, насторожившись еще больше. Там, за сосной, произошли какие-то перемены. Дикобраз в конце концов решил, что враг его удалился. Медленно, осторожно стал он расправлять свою непроницаемую броню. Его не тревожило ни малейшее подозрение. Колю-

чий клубок медленно-медленно развернулся и начал выпрямляться. Одноглазый почувствовал, что рот у него наполняется слюной при виде живой дичи, лежавшей перед ним, как готовое угощение.

Еще не успев развернуться до конца, дикобраз увидел своего врага. И в это мгновение рысь ударила его.

Удар был быстрый, как молния. Лапа с крепкими когтями, согнутыми, как у хищной птицы, распорола нежное брюхо и тотчас же отдернулась назад. Если бы дикобраз развернулся во всю длину или заметил врага на какую-нибудь десятую долю секунды позже, лапа осталась бы невредимой, но в то мгновение, когда рысь отдернула лапу, дикобраз ударил ее сбоку хвостом и вонзил в нее свои острые иглы.

Все произошло одновременно—удар, ответный удар, предсмертный визг дикобраза и крик огромной кошки, ошеломленной болью. Одноглазый привстал, навострил уши и вытянул хвост, дрожащий от волнения. Рысь дала волю своему нраву. Она с яростью набросилась на зверя, причинившего ей такую боль. Но дикобраз, хрипя, взвизгивая и пытаясь свернуться в клубок, чтобы спрятать вывалившиеся из распоротого брюха

внутренности, еще раз ударил хвостом. Большая кошка снова взвыла от боли и с фырканьем отпрянула назад; нос ее, весь утыканный иглами, стал похож на подушку для булавок. Она царапала его лапами, стараясь избавиться от этих жгучих, как огонь, стрел, тыкалась мордой в снег, терлась о ветки и прыгала вперед, назад, направо, налево, не помня себя от безумной боли и страха.

Не переставая фыркать, рысь судорожно дергала своим коротким хвостом, потом мало-помалу затихла. Одноглазый продолжал следить за ней и вдруг вздрогнул и ощетинился: рысь с отчаянным воем взметнулась высоко в воздух и кинулась прочь, сопровождая каждый свой прыжок пронзительным визгом. И только тогда, когда она скрылась и визги ее замерли вдали, Одноглазый решился выйти вперед. Он ступал с такой осторожностью, как будто весь снег был усыпан иглами, готовыми каждую минуту вонзиться в мягкие подушки на его лапах. Дикобраз встретил появление волка яростным визгом и лязганьем зубов. Он ухитрился кое-как свернуться, но это уже не был прежний непроницаемый клубок: порванные мускулы не повиновались ему, он был разорван почти пополам и истекал кровью.

Одноглазый хватал пастью и с наслаждением

глотал окровавленный снег. После такой закуски голод его только усилился; но он недаром пожил на свете,— жизнь научила его осторожности. Надо было выждать время. Он лег на снег перед дикобразом, а тот скрежетал зубами, хрипел и тихо повизгивал. Несколько минут спустя Одноглазый заметил, что иглы дикобраза мало-помалу опускаются и по всему его телу пробегает дрожь. Потом дрожь сразу прекратилась. Длинные зубы лязгнули в последний раз, иглы опустились, тело обмякло и больше уже не двигалось.

Робким, боязливым движением лапы Одноглазый растянул дикобраза во всю длину и перевернул его на спину. Все обошлось благополучно. Дикобраз был мертв. После внимательного осмотра волк осторожно взял свою добычу в зубы и побежал вдоль ручья, волоча ее по снегу и повернув голову в сторону, чтобы не наступать на колючие иглы. Но вдруг он вспомнил что-то, бросил дикобраза и вернулся к куропатке. Он не колебался ни минуты, он знал, что надо сделать: надо съесть куропатку. И, съев ее, Одноглазый побежал туда, где лежала его добыча.

Когда он втащил свою ношу в логовище, волчица осмотрела ее, подняла голову и лизнула волка в шею. Но сейчас же вслед за тем она чегонько

зарычала, отгоняя его от волчат, — правда, на этот раз рычание было не такое уж злобное, в нем слышалось скорее извинение, чем угроза. Инстинктивный страх перед отцом ее потомства постепенно пропадал. Одноглазый вел себя, как и подобало волку-отцу, и не проявлял беззаконного желания сожрать малышей, произведенных ею на свет.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ
СЕРЫЙ ВОЛЧОНОК

Он сильно отличался от своих братьев и сестер. Их шерсть уже принимала рыжеватый оттенок, унаследованный от матери-волчицы, а он пошел весь в Одноглазого. Он был единственным серым волчонком во всем помете. Он родился настоящим волком и очень напоминал отца, с той лишь разницей, что у него было два глаза, а у отца — один.

Глаза у серого волчонка только недавно открылись, а он уже хорошо видел. И даже когда глаза у него были еще закрыты, чувства обоняния, осязания и вкуса уже служили ему. Он прекрасно знал своих двух братьев и двух сестер. Он поднимал с ними неуклюжую возню, подчас уже переходив-

шую в драку, и его горлышко начинало дрожать от хриплых звуков, предвестников рычания. Задолго до того, как у него открылись глаза, он научился по запаху, осязанию и вкусу узнавать волчицу — источник тепла, пищи и нежности. И когда она своим мягким, ласкающим языком касалась его нежного тельца, он успокаивался, прижимался к ней и мирно засыпал.

Первый месяц его жизни почти весь прошел во сне; но теперь он уже хорошо видел, спал меньше и мало-помалу начинал знакомиться с миром. Мир его был темен, хотя он не подозревал этого, так как не знал никакого другого мира. Волчонка окружала полутьма, но глазам его не приходилось приспосабливаться к иному освещению. Мир его был очень мал, он ограничивался стенами логовища; волчонок не имел никакого понятия о необъятности внешнего мира, и поэтому жизнь в таких тесных пределах не казалась ему тягостной.

Впрочем, он очень скоро обнаружил, что одна из стен его мира отличается от других, — там был выход из пещеры, и оттуда шел свет. Он обнаружил, что эта стена не похожа на другие, еще задолго до того, как у него появились мысли и осознанные желания. Она непреодолимо влекла

к себе волчонка еще в ту пору, когда он не мог видеть ее. Свет, идущий оттуда, бил ему в сомкнутые веки, и его зрительные нервы отвечали на эти теплые искорки, вызывавшие такое приятное и вместе с тем странное ощущение. Жизнь его тела, каждой клеточки его тела, жизнь, составляющая самую его сущность и действующая помимо его воли, рвалась к этому свету, влекла его к нему, так же как сложный химический состав растения заставляет его поворачиваться к солнцу.

Еще задолго до того, как в волчонке забрезжило сознание, он то и дело подползал к выходу из пещеры. Сестры и братья не отставали от него. И в эту пору их жизни никто из них не забирался в темные углы у задней стены. Свет привлекал их к себе, как будто они были растениями; химический процесс, называющийся жизнью, требовал света; свет был необходимым условием их существования, и крохотные щенячьи тельца тянулись к нему, точно усики виноградной лозы, не размышляя, повинуясь только инстинкту. Позднее, когда в каждом из них начала проявляться индивидуальность, когда у каждого появились желания и сознательные побуждения, тяга к свету только усилилась. Они непрестанно ползли и тянулись к нему, и матери приходилось

то и дело загонять их обратно.

Вот тут-то волчонок узнал и другие особенности своей матери, помимо ее мягкого, ласкающего языка.

Настойчиво порываясь к свету, он убедился, что у матери есть нос, которым она в наказание может отбросить его назад; затем он узнал и лапу, умевшую примять его к земле и быстрым, точно рассчитанным движением перекатить в угол. Так он впервые испытал боль и стал избегать ее, сначала просто не подвергая себя такому риску, а потом научившись увертываться и удирать от наказания. Это уже были сознательные поступки — результат появившейся способности обобщать явления мира. До сих пор он увертывался от боли бессознательно, так же бессознательно, как и лез к свету. Но теперь он увертывался от нее потому, что знал, что такое боль.

Он был очень свирепым волчонком. И такими же были его братья и сестры. Этого и следовало ожидать. Ведь он был хищником и происходил из рода хищников, питавшихся мясом. Молоко, которое он сосал с первого же дня своей едва теплившейся жизни, вырабатывалось из мяса; и теперь, когда ему исполнился месяц и глаза его уже целую неделю были открыты, он тоже начал

есть мясо, наполовину пережеванное волчицей для ее пяти подросших детенышей, которым теперь не хватало молока.

С каждым днем серый волчонок становился все злее и злее. Рычание получалось у него более хриплым и громким, чем у братьев и сестер, припадки щенячьей ярости были страшнее. Он первый научился ловким ударом лапы опрокидывать их навзничь. И он же первый схватил другого волчонка за ухо и принялся теребить и таскать его из стороны в сторону, яростно рыча сквозь стиснутые челюсти. И уж конечно, он больше всех других волчат причинял беспокойство матери, старавшейся отогнать свой выводок от выхода из пещеры.

Свет с каждым днем все сильнее и сильнее манил к себе серого волчонка. Он поминутно пускался в странствования по пещере, стремясь к выходу из нее, и так же поминутно его оттаскивали назад. Правда, он не знал, что это был выход. Он не подозревал о существовании разных входов и выходов, которые ведут из одного места в другое. Он вообще не имел понятия о существовании других мест, а о способах добраться туда и подавно. Поэтому выход из пещеры казался ему стеной — стеной света. Чем солнце было для

живущих на воле, тем для него была эта стена — солнцем его мира. Она притягивала его к себе, как огонь притягивает бабочку. Он беспрестанно стремился добраться туда. Жизнь, быстро растущая в нем, толкала его к стене света. Жизнь, таившаяся в нем, знала, что это единственный путь в мир — путь, на который ему суждено ступить. Но сам он ничего не знал об этом. Он не знал, что внешний мир существует.

У этой стены света было одно странное свойство. Его отец (а волчонок уже признал в нем одного из обитателей своего мира — похожее на мать существо, которое спит ближе к свету и приносит пищу) — его отец имел обыкновение проходить прямо сквозь далекую светлую стену и исчезать за ней. Серый волчонок не мог понять этого. Мать не позволяла ему приближаться к светлой стене, но он подходил к другим стенам пещеры, и всякий раз его нежный нос натыкался на что-то твердое. Это причиняло боль. И после нескольких таких путешествий обследование стен прекратилось. Не задумываясь, он принял исчезновение отца за его отличительное свойство, так же как молоко и мясная жвачка были отличительными свойствами матери.

В сущности говоря, серый волчонок не умел

мыслить, во всяком случае так, как мыслят люди. Мозг его работал в потемках. И все-таки его выводы были не менее четки и определенны, чем выводы людей. Он принимал вещи такими, как они есть, не утруждая себя вопросом, почему случилось то-то или то-то. Достаточно было знать, что это случилось. Таков был его метод познания окружающего мира. И поэтому, ткнувшись несколько раз подряд носом в стены пещеры, он примирился с тем, что не может проходить сквозь них, не может делать то, что делает отец. Но желания разобраться в разнице между отцом и собой никогда не возникало у него. Логика и физика не ггринимали участия в формировании его мозга.

Как и большинству обитателей Северной глуши, ему рано пришлось испытать чувство голода. Наступили дни, когда отец перестал приносить мясо, когда даже материнские соски не давали молока. Волчата повизгивали и скулили и большую часть времени проводили во сне; потом на них напало голодное оцепенение. Не было уже возни и драк, никто из них не приходил в ярость, не пробовал рычать; и путешествия к далекой белой стене прекратились. Они спали, и жизнь, чуть теплившаяся в них, мало-помалу гасла.

Одноглазый совсем потерял покой. Он рыскал повсюду и мало спал в логовище, которое стало теперь унылым и безрадостным. Волчица тоже оставила свой выводок и вышла на поиски корма. В первые дни после рождения волчат Одноглазый не раз наведывался к индейскому поселку и обкрадывал заячьи силки, но как только снег растаял и реки вскрылись, индейцы ушли дальше, и этот источник пищи иссяк.

Когда серый волчонок немного окреп и снова стал интересоваться далекой белой стеной, он обнаружил, что население его мира сильно уменьшилось. У него осталась всего лишь одна сестра. Остальные исчезли. Как только силы вернулись к нему, он стал играть, но играть в одиночестве, потому что сестра не могла ни поднять головы, ни шевельнуться. Его маленькое тело округлилось от мяса, которое он ел теперь, а для нее пища ггрипгла слишком поздно. Она все время спала, и искра жизни в ее маленьком тельце, похожем на обтянутый кожей скелет, мерцала все слабее и слабее и наконец угасла.

Потом наступило время, когда Одноглазый перестал появляться сквозь стену и исчезать за ней; место, где он спал у входа в пещеру, опустело. Это случилось в конце второй, менее свирепой

голодовки. Волчица знала, почему Одноглазый не вернулся в логовище, но не могла рассказать серому волчонку о том, что ей пришлось увидеть.

Отправившись за добычей вверх по левому рукаву ручья, туда, где жила рысь, она напала на вчерашний след Одноглазого. И там, где следы кончились, она нашла его самого — вернее, то, что от него осталось. Все кругом говорило о недавней схватке и о том, что, выиграв эту схватку, рысь ушла к себе в нору. Волчица отыскала эту нору, но, судя по многим признакам, рысь была там, и волчица не решилась войти к ней.

После этого волчица перестала охотиться на левом рукаве ручья. Она знала, что у рыси в норе есть детеныши и что сама рысь славится своей злобой и неустрашимостью в драках. Трем-четырем волкам ничего не стоит загнать на дерево фыркающую, ощетинившуюся рысь; однако совсем иное дело встретиться с ней с глазу на глаз, особенно когда знаешь, что за спиной у нее голодный выводок.

Но Северная глушь есть Северная глушь, и материнство есть материнство,— оно не останавливается ни перед чем как в Северной глуши, так и вне ее; и неминуемо должен был настать день, когда ради своего серого детеныша волчица от-

важится пойти по левому рукаву к норе в скалах, навстречу разъяренной рыси.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ
СТЕНА МИРА

К тому времени, когда мать стала оставлять пещеру и уходить на охоту, волчонок уже постиг закон, согласно которому ему запрещалось приближаться к выходу из логовища. Закон этот много раз внушала ему мать, толкая его то носом, то лапой, да и в нем самом начинал развиваться инстинкт страха. За всю свою короткую жизнь в пещере он ни разу не встретил ничего такого, что могло испугать его, — и все-таки он знал, что такое страх. Страх перешел к волчонку от отдаленных предков, через тысячу тысяч жизней. Это было наследие, полученное им непосредственно от Одноглазого и волчицы; но и к ним, в свою очередь, оно перешло через все поколения волков, бывших до них. Страх — наследие Северной глуши, и ни одному зверю не дано от него избавиться или променять его на чечевичную похлебку!

Итак, серый волчонок знал страх, хотя и не понимал его сущности. Он, вероятно, примирился с ним, как с одной из преград, которые ставит

жизнь. А в том, что такие преграды существуют, ему уже пришлось убедиться: он испытал голод и, не имея возможности утолить его, наткнулся на преграду своим желаниям. Плотные стены пещеры, резкие толчки носом, которыми наделяла его мать, сокрушительный удар ее лапы, неутоленный голод выработали в нем уверенность, что не все в мире дозволено, что в жизни существует множество ограничений и запретов. И эти ограничения и запреты были законом. Повиноваться им — значило избегать боли и всяких жизненных осложнений.

Волчонок не размышлял обо всем этом так, как размышляют люди. Он просто разграничил окружающий мир на то, что причиняет боль, и то, что боли не причиняет, и, разграничив, старался избегать всего, причиняющего боль, то есть запретов и преград, и пользоваться только наградами и радостями, которые дает жизнь.

Вот почему, повинуясь закону, внушенному матерью, повинуясь неведомому закону страха, волчонок держался подальше от выхода из пещеры. Выход все еще казался ему светлой белой стеной. Когда матери в пещере не было, он большей частью спал, а просыпаясь, лежал тихо и сдерживал жалобное повизгивание, которое

щекотало ему горло и рвалось наружу.

Проснувшись однажды, он услышал у белой стены непривычные звуки. Он не знал, что это была росомаха, которая остановилась у входа в пещеру и, трепеща от собственной дерзости, осторожно принюхивалась к идущим оттуда запахам. Волчонок понимал только одно: звуки были непривычные, странные, а значит, неизвестные и страшные, — ведь неизвестное было одним из основных элементов, из которых складывался страх.

Шерсть на спине у волчонка встала дыбом, но он молчал. Почему он догадался, что в ответ на эти звуки надо ощетиниться? У него не было такого опыта в прошлом, — и все же так проявлялся в нем страх, которому нельзя было найти объяснения в прожитой

жизни. Но страх сопровождался еще одним инстинктивным желанием — желанием притаиться, спрятаться. Волчонка охватил ужас, но он лежал без звука, без движения, застыв, окаменев, — лежал, как мертвый. Вернувшись домой и учуяв следы росомахи, его мать зарычала, бросилась в пещеру и с необычной для нее нежностью принялась лизать и ласкать волчонка. И волчонок понял, что ему удалось избежать сильной боли.

Но в нем действовали и другие силы, главной из которых был рост. Инстинкт и закон требовали от него повиновения, а рост требовал неповиновения. Мать и страх заставляли держаться подальше от белой стены, но рост есть жизнь, а жизни положено вечно тянуться к свету, — и никакими преградами нельзя было остановить волну жизни, поднимавшейся в нем, поднимавшейся с каждым съеденным куском мяса, с каждым глотком воздуха. И наконец страх и послушание были отброшены в сторону напором жизни, и в один прекрасный день волчонок неверными, робкими шагами направился к выходу из пещеры.

В противоположность другим стенам, с которыми ему приходилось сталкиваться, эта стена, казалось, отступала все дальше и дальше, по мере того как он приближался к ней. Испытующе вытянув вперед свой маленький нежный нос, он ждал, что натолкнется на твердую поверхность, но стена оказалась такой же прозрачной и проницаемой, как свет. Волчонок вошел в то, что мнилось ему стеной, и погрузился в составляющее ее вещество.

Это сбивало его с толку: ведь он полз сквозь что-то твердое! А свет становился все ярче и ярче.

Страх гнал волчонка назад, но крепнущая жизнь заставляла идти дальше. А вот и выход из пещеры. Стена, внутри которой, как ему мнилось, он находился, неожиданно отошла неизмеримо далеко. От яркого света стало больно глазам, он ослеплял волчонка; внезапно раздвинувшееся пространство кружило ему голову. Глаза понемногу привыкали к яркому свету и приноравливались к увеличившемуся расстоянию между предметами. Сначала стена отодвинулась так далеко, что потерялась из виду. Теперь он снова разглядел ее, но она отступила вдаль и выглядела уже совсем по-другому. Стена стала пестрой: в нее входили деревья, окаймляющие ручей, и гора, возвышающаяся позади деревьев, и небо, которое было еще выше горы.

На волчонка напал ужас. Неизвестных и грозных вещей стало еще больше. Он съежился у входа в пещеру и стал смотреть на открывшийся перед ним мир. Как страшно! Все неизвестное казалось ему враждебным. Шерсть у него на спине встала дыбом; он оскалил зубы, пытаясь издать яростное, устрашающее рычание. Крошечный испуганный звереныш бросал вызов и грозил всему миру.

Однако все обошлось благополучно. Волчонок

продолжал смотреть и от любопытства даже позабыл, что надо рычать, забыл даже про свой испуг. Жизнь, крепнущая в нем, на время победила страх, и страх уступил место любопытству. Волчонок начал различать то, что было у него перед глазами: открытую часть ручья, сверкающего на солнце, засохшую сосну около откоса и самый откос, поднимающийся прямо к пещере, у входа в которую он примостился.

До сих пор серый волчонок жил на ровной поверхности, ему еще не приходилось испытывать ушибы от падений — да он и не знал, что такое падение, — поэтому он смело шагнул прямо в воздух. Задние ноги у него задержались на выступе у входа в пещеру, так что он упал головой вниз. Земля больно стукнула его по носу, он жалобно тявкнул и тут же вслед за этим покатился кубарем по откосу. На него напал панический страх. Неизвестное наконец овладело им, оно держало его в своей власти и готовилось причинить ему невыносимую боль. Жизнь, крепнущая в нем, снова уступила место страху, и он завизжал, как завизжал бы всякий перепуганный щенок.

Неизвестное грозило ему; он еще не мог понять — чем, и выл и визжал, не переставая. Это было куда хуже, чем лежать, замирая от страха, когда

неизвестное только промелькнуло мимо него. Теперь оно завладело им целиком. Молчание ничему не поможет. Кроме того, теперь его терзал уже не страх, а ужас.

Но откос становился все более пологим, а у его подножия росла трава. Скорость падения уменьшилась. Остановившись наконец, волчонок отчаянно взвыл, потом заскулил протяжно и жалобно; а вслед за тем, как ни в чем не бывало, точно ему уже тысячу раз приходилось заниматься своим туалетом, принялся слизывать приставшую к бокам сухую глину.

Покончив с этим, он сел и осмотрелся по сторонам — так же, как это сделал бы первый человек, попавший с Земли на Марс. Волчонок пробился сквозь стену мира, неизвестное выпустило его из своих объятий, и он остался невредимым. Но первый человек на Марсе встретил бы гораздо меньше необычного для себя, чем волчонок здесь на земле. Без всякого предварительного знания, без всякой подготовки он очутился в роли исследователя совершенно незнакомого ему мира.

Теперь, когда страшная неизвестность отпустила волчонка на свободу, он забыл обо всех ее ужасах. Он испытывал лишь любопытство ко всему, что его окружало. Он осмотрел траву под

собой, кустик брусники чуть подальше, ствол засохшей сосны, которая стояла на краю полянки, окруженной деревьями. Белка выбежала из-за сосны прямо на волчонка и привела его в ужас.

Он припал к земле и зарычал. Но белка перепугалась еще больше; она быстро вскарабкалась на дерево и, очутившись в безопасности, сердито зацокала оттуда.

Это придало волчонку храбрости, и хотя дятел, с которым ему пришлось вслед за тем встретиться, заставил его вздрогнуть, он уверенно продолжал свой путь. Уверенность эта возросла до такой степени, что, когда какая-то дерзкая птица подскочила к волчонку, он, играя, протянул к ней лапу. В ответ на это птица больно клюнула его в нос; он весь сжался и завизжал. Птица испугалась его визга и тут же упорхнула.

Волчонок учился. Его маленький, слабый мозг хоть и бессознательно, но сделал вывод. Вещи бываю! живые и неживые. И живых вещей надо остерегаться. Неживые всегда остаются на месте, а живые двигаются, и никогда нельзя знать заранее, что они могут сделать. От них надо ждать всяких неожиданностей, с ними надо быть начеку.

Волчонок шагал неуклюже, он то и дело наты-

кался на что-нибудь. Ветка, которая, казалось, была так далеко, задевала его по носу или хлестала по бокам; земля была неровная. Он спотыкался, ушибал нос, лапы. Мелкие камни выскальзывали у него из-под ног, лишь только он наступал на них. И наконец волчонок понял, что не все неживые вещи находятся в состоянии устойчивого равновесия, как его пещера, и что маленькие неживые вещи гораздо чаще падают и переворачиваются, чем большие. С каждой своей ошибкой волчонок узнавал все больше и больше. Чем дальше он шел, тем тверже становился его шаг. Он приспосабливался. Он учился рассчитывать свои движения, приноравливаться к своим физическим возможностям, измерять расстояние между различными предметами, а также между ними и собой.

Удача всегда сопутствует новичкам. Рожденный, чтобы стать охотником (хотя сам он и не знал этого), волчонок напал на дичь сразу около пещеры, в первую же свою вылазку на свет божий. Искусно спрятанное гнездо куропатки попалось ему только вследствие его же собственной неловкости: он свалился на него. Он попробовал пройтись по стволу упавшей сосны; гнилая кора подалась под его ногами, и он с отчаянным виз-

гом сорвался с круглого ствола, упал на куст и, пролетев сквозь листву и ветви, очутился прямо в гнезде, где сидели семь птенцов куропатки.

Птенцы запищали, и волчонок сначала испугался; потом, увидев, что они совсем маленькие, он осмелел. Птенцы двигались. Он примял одного лапой, и тот затрепыхался еще сильнее. Волчонку это очень понравилось. Он обнюхал птенца, взял его в рот. Птенец бился и щекотал ему язык. В ту же минуту волчонок почувствовал голод. Челюсти его сомкнулись, птичьи косточки хрустнули, и он почувствовал на языке теплую кровь. Кровь оказалась очень вкусной. В зубах у него была дичь, такая же дичь, какую ему приносила мать, только гораздо вкуснее, потому что она была живая. Волчонок съел птенца и остановился только тогда, когда покончил со всем выводком. Вслед за тем он облизнулся, точно так же, как это делала его мать, и стал выбираться из куста.

Его встретил крылатый вихрь. Стремительный натиск и яростные удары крыльев ослепили, ошеломили волчонка. Он уткнулся головой в лапы и завизжал. Удары посыпались с новой силой. Куропатка-мать была вне себя от ярости. Тогда волчонок разозлился. Он вскочил с рычанием и начал отбиваться лапами, потом запустил свои

мелкие зубы в крыло птицы и принялся что есть силы дергать и таскать ее из стороны в сторону. Куропатка рвалась, ударяя его другим крылом. Это была первая схватка волчонка. Он ликовал. Он забыл весь свой страх перед неизвестным и уже ничего не боялся. Он рвал и бил живое существо, которое наносило ему удары. Кроме того, это живое существо было мясо. Волчонком овладела жажда крови. Он только что уничтожил семь маленьких живых существ. Сейчас он уничтожит большое живое существо. Он был слишком поглощен дракой и слишком счастлив, чтобы ощущать свое счастье. Он весь дрожал от возбуждения, которого до сих пор ему никогда не приходилось испытывать. Он не выпускал крыла и рычал сквозь стиснутые зубы. Куропатка вытащила его из куста. Когда же она попыталась втащить его туда обратно, он выволок ее на открытое место. Птица кричала и била его свободным крылом, а перья ее разлетались по воздуху, как снежные хлопья. Волчонок уже не помнил себя от ярости, воинственная кровь предков поднялась и забушевала в нем. Сам того не ощущая, волчонок жил в эти минуты полной жизнью. Он выполнял предназначенную ему роль, делал то дело, для которого был рожден, — убивал добычу и дрался,

прежде чем убить ее. Он оправдывал свое существование, выполняя высшее назначение жизни, потому что жизнь достигает своих вершин в те минуты, когда все ее силы устремляются на осуществление поставленных перед ней целей.

Наконец птица перестала бороться. Волчонок все еще держал ее за крыло. Они лежали на земле и смотрели друг на друга. Он попробовал яростно и угрожающе зарычать. Куропатка клюнула его в нос, и без того болевший. Волчонок вздрогнул, но не выпустил крыла. Птица клюнула его еще и еще раз. Он завизжал и попятился, не сообразив, что вместе с крылом потащит за собой и птицу. Град ударов посыпался на его многострадальный нос. Воинственный пыл волчонка погас. Выпустив добычу, он со всех ног пустился в бесславное бегство на другую сторону поляны и лег там возле кустарника, тяжело дыша, высунув язык и жалобно повизгивая. И вдруг предчувствие неминуемой беды сжало ему сердце. Неизвестное со всеми своими ужасами снова обрушилось на волчонка. Он инстинктивно отпрянул под защиту куста. На него пахнуло ветром, и большое крылатое тело в зловещем молчании пронеслось мимо: ястреб, ринувшийся на волчонка из поднебесья, промахнулся.

Пока волчонок лежал под кустом и, мало-помалу приходя в себя, начинал боязливо выглядывать оттуда, на другой стороне поляны из разоренного гнезда выпорхнула куропатка, — горе утраты заставило ее забыть о крылатой молнии небес. Но волчонок все видел, и это послужило ему предостережением и уроком. Он видел, как ястреб камнем упал вниз, пронесся над землей, почти задевая траву крыльями, вонзил когти в куропатку, пронзительно вскрикнувшую от смертельной боли и ужаса, и взмыл ввысь, унося ее с собой.

Волчонок долго не выходил из своего убежища. Он познал многое. Живые существа — это мясо, они приятны на вкус. Но большие живые существа причиняют боль. Надо есть маленьких — таких, как птенцы куропатки, а с большими, как сама куропатка, лучше не связываться. И все же его самолюбие было ущемлено. Ему вдруг захотелось еще раз схватиться с большой птицей, — жаль, что ястреб унес ее. А может быть, найдутся другие куропатки? Надо пойти поискать.

Волчонок спустился по отлогому берегу к ручью. Воды он до сих пор еще не видал. На первый взгляд она была вполне надежная, ровная. Он смело шагнул вперед и, визжа от страха, пошел ко дну, прямо в объятия неизвестного. Стало

холодно, у него перехватило дыхание. Вместо воздуха, которым он привык дышать, в легкие хлынула вода. Удушье сдавило ему горло, как смерть. Для волчонка оно было равносильно смерти. Он не знал, что такое смерть, но, как и все жители Северной глуши, боялся ее. Она была для него олицетворением самой страшной боли. В ней таилась самая сущность неизвестного, совокупность всех его ужасов. Это была последняя, непоправимая беда, которой он страшился, хоть и не мог представить ее себе до конца.

Волчонок выбрался на поверхность и всей пастью глотнул свежего воздуха. На этот раз он не пошел ко дну. Он ударил всеми четырьмя лапами, словно это было для него самым привычным делом, и поплыл. Ближний берег находился в каком-нибудь ярде от волчонка, но он вынырнул спиной к нему и, увидев дальний, сейчас же устремился туда. Ручей был узкий, но как раз в этом месте разливался широкой заводью.

На середине волчонка подхватило и понесло вниз по течению, прямо на маленькие пороги, начинавшиеся там, где русло снова сужалось. Плыть здесь было трудно. Спокойная вода вдруг забурлила. Волчонок то выбивался на поверхность, то уходил с головой под воду. Его кидало

из стороны в сторону, переворачивало то на бок, то на спину, ударяло о камни. При каждом таком ударе он взвизгивал, и по этим визгам можно было сосчитать, сколько подводных камней попалось ему на пути.

Ниже порогов, где берега снова расширялись, волчонок попал в водоворот, который легонько отнес его к берегу и так же легонько положил на отмель. Он выкарабкался из воды и лег. Его знакомство с внешним миром продолжалось. Вода была неживая и все-таки двигалась!

Кроме того, на первый взгляд она казалась твердой, как земля, на самом же деле твердости в ней не было и в помине. И волчонок пришел к выводу, что вещи не всегда таковы, какими кажутся. Страх перед неизвестным, бывший не чем иным, как унаследованным от предков недоверием к окружающему миру, только усилился после столкновения с действительностью. Отныне в нем на всю жизнь укоренится это недоверие к внешнему виду вещей. И, прежде чем довериться им, он постарается узнать, каковы они на самом деле.

В этот день волчонку было суждено испытать еще одно приключение. Он вдруг вспомнил, что у него есть мать, и почувствовал, что она нужна

ему больше всего на свете. От всех перенесенных испытаний у него устало не только тело — устал и мозг. За всю предыдущую жизнь мозгу его не приходилось так работать, как за один этот день. К тому же волчонку захотелось спать. И он отправился на поиски пещеры и матери, испытывая гнетущее чувство одиночества и полной беспомощности.

Пробираясь сквозь кустарник, волчонок вдруг услышал пронзительный свирепый крик. Перед глазами у него промелькнуло что-то желтое. Он увидел метнувшуюся в кусты ласку. Ласка была маленькая, и волчонок не испугался ее. Потом у самых своих ног он увидел живое существо, совсем крохотное,— это был детеныш ласки, который, так же как и волчонок, убежал из дому и отправился путешествовать. Крохотная ласка хотела было юркнуть в траву. Волчонок перевернул ее на спину. Ласка пискнула — голос у нее был скрипучий. В ту же минуту перед глазами у волчонка снова пронеслось желтое пятно. Он услышал свирепый крик, что-то сильно ударило его по голове, и острые зубы ласки-матери впились ему в шею.

Пока он с визгом и воем пятился назад, ласка подбежала к своему детенышу и скрылась с ним

в кустах. Боль от укуса все еще не проходила, но боль от обиды давала себя чувствовать еще сильнее, и волчонок сел и тихо заскулил. Ведь ласка-мать была такая маленькая, а кусалась так больно! Волчонок еще не знал, что маленькая ласка — один из самых свирепых, мстительных и страшных хищников Северной глуши, но скоро ему предстояло узнать это.

Он еще не перестал скулить, когда ласка-мать снова появилась перед ним. Она не бросилась на него сразу, потому что теперь ее детеныш был в безопасности. Она приближалась осторожно, так что он мог рассмотреть ее тонкое, змеиное тельце и высоко поднятую змеиную головку. В ответ на резкий, угрожающий крик ласки шерсть на спине у волчонка поднялась дыбом, он зарычал. Она подходила все ближе и ближе. И вдруг прыжок, за которым он не мог уследить своим неопытным глазом, — тонкое желтое тело на одну секунду исчезло из его поля зрения, и ласка вцепилась ему в горло, глубоко прокусив шкуру.

Волчонок рычал, отбивался, но он был очень молод, это был его первый выход в мир, и поэтому рычание его перешло в визг, и он уже не дрался, а старался вырваться из зубов ласки и убежать. Но ласка не отпускала волчонка. Продолжая висеть

у него на шее, она добиралась до вены, где пульсирует жизнь. Ласка любила кровь и предпочитала сосать ее прямо из горла — средоточия жизни.

Серого волчонка ждала верная гибель, и рассказ о нем остался бы ненаписанным, если бы из-за кустов не выскочила волчица. Ласка выпустила его и метнулась к горлу волчицы, но, промахнувшись, вцепилась ей в челюсть. Волчица взмахнула головой, как бичом, зубы ласки сорвались, и она взлетела высоко в воздух. Не дав тонкому желтому тельцу даже опуститься на землю, волчица подхватила его на лету, и ласка встретила свою смерть на ее острых зубах.

Новый прилив материнской нежности послужил наградой волчонку. Мать радовалась еще больше, чем сын. Она легонько подкидывала его носом, зализывала ему раны. А потом оба они поделили между собой кровопийцу-ласку, съели ее, вернулись в пещеру и легли спать.

ГЛАВА ПЯТАЯ
ЗАКОН ДОБЫЧИ

Волчонок развивался с поразительной быстротой. Два дня он отдыхал, а затем снова отправился путешествовать. В этот свой выход он встретил

молодую ласку, мать которой была съедена с его помощью, и позаботился, чтобы детеныш отправился вслед за матерью. Но теперь он уже не плутал и, устав, нашел дорогу к пещере и лег спать. После этого волчонок каждый день отправлялся на прогулку и с каждым разом заходил все дальше и дальше.

Он привык точно соразмерять свою силу и слабость, соображая, когда надо проявить отвагу, а когда — осторожность. Оказалось, что осторожность следует соблюдать всегда, за исключением тех редких случаев, когда уверенность в собственных силах позволяет дать волю злобе и жадности.

При встречах с куропатками волчонок становился сущим дьяволом. Точно так же не упускал он случая ответить злобным рычанием на трескотню белки, которая попалась ему впервые около засохшей сосны. И один только вид птицы, напоминавшей ему ту, что клюнула его в нос, почти неизменно приводил его в бешенство.

Но бывало и так, что волчонок не обращал внимания даже на птиц, и это случалось тогда, когда ему грозило нападение других хищников, которые так же, как он, рыскали в поисках добычи. Волчонок не забыл ястреба и, завидев его

тень, скользящую по траве, прятался подальше в кусты. Лапы его больше не разъезжались на ходу в разные стороны, — он уже перенял от матери ее легкую, бесшумную походку, быстрота которой была неприметна для глаза.

Что касается охоты, то удачи его кончились с первым же днем. Семь птенцов куропатки и маленькая ласка — вот и вся добыча волчонка. Но жажда убивать крепла в нем день ото дня, и он лелеял мечту добраться когда-нибудь до белки, которая своей трескотней извещала всех обитателей леса о его приближении. Но белка с такой же легкостью лазала по деревьям, с какой птицы летали по воздуху, и волчонку оставалось только одно: незаметно подкрадываться к ней, пока она была на земле.

Волчонок питал глубокое уважение к своей матери. Она умела добывать мясо и никогда не забывала принести сыну его долю. Больше того — она ничего не боялась. Волчонку не приходило в голову, что это бесстрашие — плод опыта и знания. Он думал, что бесстрашие есть выражение силы. Мать была олицетворением силы; и, подрастая, он ощутил эту силу и в более резких ударах ее лапы и в том, что толчки носом, которыми мать наказывала его прежде, заменились

теперь свирепыми укусами. Это тоже внушало волчонку уважение к матери. Она требовала от него покорности, и чем больше он подрастал, тем суровее становилось ее обращение с ним.

Снова наступил голод, и теперь волчонок уже вполне сознательно испытывал его муки. Волчица совсем отощала в поисках пищи. Проводя почти все время на охоте и большей частью безуспешно, она редко приходила спать в пещеру. На этот раз голодовка была недолгая, но свирепая. Волчонок не мог высосать ни капли молока из материнских сосков, а мяса ему уже давно не перепадало.

Прежде он охотился ради забавы, ради того удовольствия, которое доставляет охота, теперь же принялся за это по-настоящему, и все-таки ему не везло. Но неудачи лишь способствовали развитию волчонка. Он с еще большей старательностью изучал повадки белки и прилагал еще больше усилий к тому, чтобы подкрасться к ней незамеченным. Он выслеживал полевых мышей и учился выкапывать их из норок, узнал много нового о дятлах и других птицах. И вот наступило время, когда волчонок уже не забирался в кусты при виде скользящей по земле тени ястреба. Он стал сильнее, опытнее, чувствовал в себе боль-

шую уверенность. Кроме того, голод ожесточил его. Теперь он садился посреди поляны на самом видном месте и ждал, когда ястреб спустится к нему. Там, над ним, в синеве неба летала пища — пища, которой так настойчиво требовал его желудок. Но ястреб отказывался принять бой, и волчонок забирался в чащу, жалобно скуля от разочарования и голода.

Голод кончился. Волчица принесла домой мясо. Мясо было необычное, совсем не похожее на то, которое она приносила раньше. Это был детеныш рыси, уже подросший, но не такой крупный, как волчонок. И все мясо целиком предназначалось волчонку. Мать уже успела утолить свой голод, хотя сын ее и не подозревал, что для этого ей понадобился весь выводок рыси. Не подозревал он и того, какой отчаянный поступок пришлось совершить матери. Волчонок знал только одно: молоденькая рысь с бархатистой шкуркой была мясом; и он ел это мясо, наслаждаясь каждым проглоченным куском.

Полный желудок располагает к покою, и волчонок прилег в пещере рядом с матерью и заснул. Его разбудил ее голос. Никогда еще волчонок не слыхал такого страшного рычания. Возможно, за всю свою жизнь его мать никогда не рычала

страшнее. Но для такого рычания повод был, и никто не знал этого лучше, чем сама волчица. Выводок рыси нельзя уничтожить безнаказанно.

В ярких лучах полуденного солнца волчонок увидел самку-рысь, припавшую к земле у входа в пещеру. Шерсть у него на спине поднялась дыбом. Ужас смотрел ему в глаза, — он понял это, не дожидаясь подсказки инстинкта. И если бы даже вид рыси был недостаточно грозен, то ярость, которая послышалась в ее хриплом визге, внезапно сменившем рычание, говорила сама за себя.

Жизнь, крепнущая в волчонке, словно подтолкнула его вперед. Он зарычал и храбро занял место рядом с матерью. Но его позорно оттолкнули назад. Низкий вход не позволял рыси сделать прыжок, она скользнула в пещеру, но волчица ринулась ей навстречу и прижала ее к земле. Мало что удалось волчонку разобрать в этой схватке. Он слышал только рев, фырканье и пронзительный визг. Оба зверя катались по земле; рысь рвала свою противницу зубами и когтями, а волчица могла пускать в ход только зубы.

Волчонок подскочил к рыси и с яростным рычанием вцепился ей в заднюю ногу. Тяжестью своего тела он, сам того не подозревая, мешал ее движениям и помогал матери. Борьба приняла

новый оборот: сражающиеся подмяли под себя волчонка, и ему пришлось разжать зубы. Но вот обе матери отскочили друг от друга, и рысь, прежде чем снова сцепиться с волчицей, ударила волчонка своей могучей лапой, разорвала ему плечо до самой кости и отбросила его к стене. Теперь к реву сражающихся прибавился жалобный плач. Но схватка так затянулась, что у волчонка было достаточно времени, чтобы наплакаться вдоволь и испытать новый прилив мужества. И к концу схватки он снова вцепился в заднюю ногу рыси, яростно рыча сквозь сжатые челюсти.

Рысь была мертва. Но и волчица ослабела от полученных ран. Она принялась было ласкать волчонка и лизать ему плечо, но потеря крови лишила ее сил, и весь этот день и всю ночь она пролежала около своего мертвого врага, не двигаясь и еле дыша. Следующую неделю, выходя из пещеры только для того, чтобы напиться, волчица еле передвигала ноги, так как каждое движение причиняло ей боль. А потом, когда рысь была съедена, раны волчицы уже настолько зажили, что она могла снова начать охоту.

Плечо у волчонка все еще болело, и он еще долго ходил прихрамывая. Но за это время его отношение к миру изменилось. Он держался

теперь с большей уверенностью, с чувством гордости, незнакомой ему до схватки с рысью. Он убедился, что жизнь сурова; он участвовал в битве; он вонзил зубы в тело врага и остался жив. И это придало ему смелости, в нем появился даже задор, чего раньше не было. Он перестал робеть и уже не боялся мелких зверьков, но неизвестное с его тайнами и ужасами по-прежнему властвовало над ним и не переставало угнетать его.

Волчонок стал сопровождать волчицу на охоту, много раз видел, как она убивает дичь, и сам принимал участие в этом. Он смутно начинал постигать закон добычи. В жизни есть две породы: его собственная и чужая. К первой принадлежит он с матерью, ко второй — все остальные существа, обладающие способностью двигаться. Но и они, в свою очередь, не едины. Среди них существуют не хищники и мелкие хищники — те, кого убивают и едят его сородичи; и существуют враги, которые убивают и едят его сородичей или сами попадаются им. Из этого разграничения складывался закон. Цель жизни — добыча. Сущность жизни — добыча. Жизнь питается жизнью. Все живое в мире делится на тех, кто ест, и тех, кого едят. И закон этот говорил: ешь, или съедят тебя самого. Волчонок не мог ясно и четко сфор-

мулировать этот закон и не пытался сделать из него вывод. Он даже не думал о нем, а просто жил согласно его велениям.

Действие этого закона волчонок видел повсюду. Он съел птенцов куропатки. Ястреб съел их мать и хотел съесть самого волчонка. Позднее, когда волчонок подрос, ему захотелось съесть ястреба. Он съел маленькую рысь. Мать-рысь съела бы волчонка, если бы сама не была убита и съедена. Так оно и шло. Все живое вокруг Волчонка жило согласно этому закону, крохотной частицей которого являлся и он сам. Он был хищником. Он питался только мясом, живым мясом, которое убегало от него, взлетало на воздух, карабкалось по деревьям, пряталось под землю или вступало с ним в бой, а иногда и обращало его в бегство.

Если бы волчонок умел мыслить, как человек, он, возможно, пришел бы к выводу, что жизнь — это неутомимая жажда насыщения, а мир — арена, где сталкиваются все те, кто, стремясь к насыщению, преследует друг друга, охотится друг за другом, поедает друг друга; арена, где льется кровь, где царит жестокость, слепая случайность и хаос без начала и конца.

Но волчонок не умел мыслить, как человек, и не обладал способностью к обобщениям. Поста-

вив себе какую-нибудь одну цель, он только о ней и думал, только ее одной и добивался. Кроме закона добычи, в жизни волчонка было множество других, менее важных законов, которые все же следовало изучим, и, изучив, повиноваться им. Мир был полон неожиданностей. Жизнь, играющая в волчонке, силы, управляющие его телом, служили ему неиссякаемым источником счастья. Погоня за добычей заставляла его дрожать от наслаждения. Ярость и битвы приносили с собой одно удовольствие. И даже ужасы и тайны неизвестного помогали ему жить.

Кроме этого, в жизни было много других приятных ощущений. Полный желудок, ленивая дремота на солнышке— все это служило волчонку наградой за его рвение и труды, а рвение и труды сами по себе доставляли ему радость. И волчонок жил в ладу с окружающей его враждебной средой. Он был полон сил, он был счастлив и гордился собой.

Часть третья
ГЛАВА ПЕРВАЯ
ТВОРЦЫ ОГНЯ

Волчонок наткнулся на это совершенно неожиданно. Все произошло по его вине. Осторожность — вот что было забыто. Он вышел из пещеры и побежал к ручью напиться. Причиной его оплошности, возможно, было еще и то, что ему хотелось спать. (Вся ночь прошла на охоте, и волчонок только что проснулся.) Но ведь дорога к ручью была ему так хорошо знакома! Он столько раз бегал по ней, и до сих пор все сходило благополучно.

Волчонок спустился по тропинке к засохшей сосне, пересек полянку и побежал между деревьями. И вдруг он одновременно увидел и почуял что-то незнакомое. Перед ним молча сидели на корточках пять живых существ, — таких ему еще не приходилось видеть. Это была первая встреча волчонка с людьми. Но люди не вскочили, не оскалили зубов и не зарычали на него. Они не двигались и продолжали сидеть на корточках, храня зловещее молчание.

Не двигался и волчонок. Повинуясь инстинкту,

он, не раздумывая, кинулся бы бежать от них, но впервые за всю его жизнь в нем внезапно возникло другое, совершенно противоположное чувство: волчонка объял трепет. Сознание собственной слабости и ничтожества лишило его способности двигаться. Перед ним были власть и сила, неведомые ему до сих ггор.

Волчонок никогда еще не видел человека, но инстинктивно понял все его могущество. Где-то в глубине его сознания возникла уверенность, что это живое существо отвоевало себе право первенства у всех остальных обитателей Северной глуши. На человека сейчас смотрела не одна пара глаз — на него уставились глаза всех предков волчонка, круживших в темноте около бесчисленных зимних стоянок, приглядывавшихся издали, из-за густых зарослей, к странному двуногому существу, которое слало властителем над всеми другими живыми существами. Волчонок очутился в плену у своих предков, в плену благоговейного страха, рожденного вековой борьбой и опытом, накопленным поколениями. Это наследие подавило волка, который был всего-навсего волчонком. Будь он постарше, он бы убежал. Но сейчас он припал к земле, скованный страхом и готовый изъявить ту покорность, с которой

его отдаленный предок шел к человеку, чтобы погреться у разведенного им костра.

Один из индейцев встал, подошел к волчонку и нагнулся над ним. Волчонок еще ниже припал к земле. Неизвестное обрело наконец плоть и кровь, приблизилось к нему и протянуло руку, собираясь схватить его. Шерсть у волчонка поднялась дыбом, губы дрогнули, обнажив маленькие клыки. Рука, нависшая над ним, на минуту задержалась, и человек сказал со смехом:

— Вабам вабиска им пит та! (Смотрите! Какие белые клыки!)

Остальные громко рассмеялись и стали подзадоривать индейца, чтобы он взял волчонка. Рука опускалась все ниже и ниже, а в волчонке бушевали два инстинкта: один внушал, что надо покориться, другой толкал на борьбу. В конце концов волчонок пошел на сделку с самим собой. Он послушался обоих инстинктов: покорялся до тех нор, пока рука не коснулась его, а потом решил бороться и схватил ее зубами. И сейчас же вслед за тем удар по голове свалил его на бок. Всякая охота бороться пропала. Волчонок превратился в покорного щенка, сел на задние лапы и заскулил. Но человек, которого он укусил за руку, рассердился. Волчонок получил второй

удар по голове и, поднявшись на ноги, заскулил еще громче прежнего.

Индейцы рассмеялись, и даже тот, с укушенной рукой, присоединился к их смеху. Все еще смеясь, они окружили волчонка, продолжавшего выть от боли и ужаса.

И вдруг он насторожился. Индейцы тоже насторожились. Волчонок узнал этот голос и, издав последний протяжный вопль, в котором звучало скорее торжество, чем горе, смолк и стал ждать появления матери — своей неустрашимой, свирепой матери, которая умела сражаться с противниками, умела убивать их и никогда ни перед кем не трусила. Волчица приближалась с громким рычанием: она услыхала крики своего детеныша и бежала к нему на помощь.

Волчица бросилась к людям. Разъяренная, готовая на все, она являла собой малоприятное зрелище, но волчонка ее спасительный гнев только обрадовал.

Он взвизгнул от счастья и кинулся ей навстречу, а люди быстро отступили на несколько шагов назад. Волчица стала между своим детенышем и людьми. Шерсть на ней поднялась дыбом, в горле клокотало яростное рычание, губы и нос судорожно подергивались.

И вдруг один из индейцев крикнул:

— Кичи!

В этом возгласе слышалось удивление. Волчонок почувствовал, как мать съежилась при звуке человеческого голоса.

— Кичи! — снова крикнул индеец, на этот раз резко и повелительно.

И тогда волчонок увидел, как волчица, его бесстрашная мать, припала к земле, коснувшись ее брюхом, и завиляла хвостом, повизгивая и прося мира. Волчонок ничего не понял. Его охватил ужас. Он снова затрепетал перед человеком. Инстинкт говорил ему правду. И мать подтвердила это. Она тоже выражала покорность людям.

Человек, сказавший «Кичи», подошел к волчице. Он положил ей руку на голову, и волчица еще ниже припала к земле. Она не укусила его, да и не собиралась это делать. Те четверо тоже подошли к ней, стали ощупывать и гладить ее, но она не протестовала. Волчонок не сводил глаз с людей. Их рты издавали громкие звуки. В этих звуках не было ничего угрожающего. Волчонок прижался к матери и решил смириться, но шерсть у него на спине все-таки стояла дыбом.

— Что же тут удивительного? — заговорил один из индейцев. — Отец у нее был волк, а мать

собака. Ведь браг мой привязывал ее весной на три ночи в лесу! Значит, отец Кичи был Волк.

— С тех пор как Кичи убежала, Серый Бобр, прошел целый год, — сказал другой индеец.

— И тут нет ничего удивительного, Язык Лосося, — ответил Серый Бобр. — Тогда был голод, и собакам не хватало мяса.

— Она жила среди волков, — сказал третий индеец.

— Ты прав, Три Орла, — усмехнулся Серый Бобр, дотронувшись до волчонка, — и вот доказательство твоей правоты.

Почувствовав прикосновение человеческой руки, волчонок глухо зарычал, и рука отдернулась назад, готовясь ударить его. Тогда он спрятал клыки и покорно приник к земле, а рука снова опустилась и стала почесывать у него за ухом и гладить его по спине.

— Вот доказательство твоей правоты, — повторил Серый Бобр. — Кичи — его мать. Но отец у него был волк. Поэтому собачьего в нем мало, а волчьего много. У него белые клыки, и я дам ему кличку Белый Клык. Я сказал. Это моя собака. Разве Кичи не принадлежала моему брату? И разве брат мой не умер?

Волчонок, получивший имя, лежал и слушал.

Люди продолжали говорить. Потом Серый Бобр вынул нож из ножен, висевших у него на шее, подошел к кусту, и вырезал палку. Белый Клык наблюдал за ним. Серый Бобр сделал на обоих концах палки по зарубке и обвязал вокруг них ремни из сыромятной кожи. Один ремень он надел на шею Кичи, подвел ее к невысокой сосне и привязал второй ремень к дереву.

Белый Клык пошел за матерью и улегся рядом с ней. Язык Лосося протянул к волчонку руку и опрокинул его на спину. Кичи испуганно смотрела на них. Белый Клык почувствовал, как страх снова охватывает его. Он не удержался и зарычал, но кусаться уже не посмел. Рука с растопыренными крючковатыми пальцами стала почесывать ему живо! и перекатывать с боку на бок. Лежать на спине с задранными вверх ногами было глупо и унизительно. Кроме того, Белый Клык чувствовал себя совершенно беспомощным, и все его существо восставало против такого унижения. Но что тут поделаешь? Если этот человек захочет причинить ему боль, он в его власти. Разве можно отскочить в сторону, когда все четыре ноги болтаются в воздухе? И все-таки покорность взяла верх над страхом, и Белый Клык ограничился тихим рычанием. Рычания

он не смог подавить, но человек не рассердился и не ударил его по голове. И, как это ни странно, Белый Клык испытывал какое-то необъяснимое удовольствие, когда рука человека гладила его по шерсти взад и вперед. Перевернувшись на бок, он перестал рычать. Пальцы начали скрести и почесывать у него за ухом, и от этого приятное ощущение только усилилось. И когда наконец человек погладил его в последний раз и отошел, Белый Клык окончательно приободрился. Ему предстояло еще не один раз испытан, страх перед человеком, но дружеские отношения между ними зародились в эти минуты.

Спустя немного Белый Клык услышал приближение каких-то странных звуков. Он быстро догадался, что звуки эти исходят от людей. На тропинку вереницей вышло все индейское племя, перекочевывавшее на новое место. Их было человек сорок — мужчин, женщин, детей, сгибавшихся под тяжестью лагерного скарба. С ними шло много собак; и все собаки, кроме щенят, тоже были нагружены разной поклажей. Каждая собака несла на спине мешок с вещами фунтов в двадцать, — тридцать весом.

Белый Клык никогда еще не видал собак, но сразу почувствовал, что они мало чем отличают-

ся от его собственной породы. Учуяв волчонка и его мать, собаки сейчас же доказали, как незначительна эта разница. Началась свалка. Весь ощетинившись, Белый Клык рычал и огрызался на окружившие его со всех сторон разверстые собачьи пасти; собаки попалили волчонка, но он не переставал кусать и рвать их за ноги и за брюхо, чувствуя в то же время, как собачьи зубы впиваются ему в тело. Поднялся оглушительный лай. Волчонок слышал рычание Кичи, рванувшейся ему на подмогу, слышал крики людей, удары палок и визг собак, которым доставались эти удары.

Через несколько секунд волчонок снова был на ногах. Он увидел, что люди отгоняют собак палками и камнями, защищая, спасая его от свирепых клыков этих существ, которые все же чем-то отличались от волчьей породы. И хотя волчонок не мог ясно представить себе такого отвлеченного понятия, как справедливое возмездие, тем не менее он по-своему почувствовал справедливость человека и признал в нем существо, которое устанавливает закон и следит за его выполнением. Оценил он также способ, которым люди заставляю! подчиняться своим законам. Они не кусались и не пускали в ход когтей, как

все прочие звери, а использовали силы неживых предметов. Неживые предметы подчинялись их воле: камни и палки, брошенные этими странными существами, летали по воздуху, как живые, и наносили собакам чувствительные удары.

Власть эта казалась Белому Клыку необычайной, божественной властью, она выходила за пределы всего мыслимого. Белый Клык по самой природе своей не мог даже подозревать о существовании богов, в лучшем случае он чувствовал, что есть вещи непостижимые. Но благоговение и трепет, которые ему внушали люди, были сродни тому благоговению и трепету, которые ощутил бы человек при виде божества, мечущего с горной вершины молнии на землю.

Но вот последняя собака отбежала в сторону, суматоха улеглась, и Белый Клык принялся зализывать раны, размышляя о своем первом приобщении к стае и о своем первом знакомстве с ее жестокостью. До сих пор ему казалось, что вся их порода состоит из Одноглазого, матери и его самого. Они трое стояли особняком.

Но вдруг, совершенно внезапно, обнаружилось, что есть еще много других существ, принадлежащих, очевидно, к его породе. И где-то в глубине сознания у волчонка появилось чувство обиды на

своих собратьев, которые, едва завидев его, воспылали к нему смертельной ненавистью. Кроме того, он негодовал, что мать привязали к палке, хотя это и было сделано руками высшего существа. Тут попахивало капканом, неволей. Но что волчонок мог знать о капкане, о неволе? Свободу бродить, бегать, лежать, когда заблагорассудится, он унаследовал от предков. Теперь движения волчицы ограничивались длиной палки, и та же самая палка ограничивала и движения волчонка, потому что он еще не мог обойтись без матери.

Волчонку это не нравилось, и когда люди поднялись и отправились в путь, он окончательно остался недоволен такими порядками, потому что какое-то маленькое человеческое существо взяло в руки палку, к которой была привязана Кичи, и повело ее за собой, как пленницу, а за Кичи побрел и Белый Клык, очень смущенный и обеспокоенный всем происходящим.

Они отправились вниз по речной долине, гораздо дальше тех мест, куда заходил в своих скитаниях Белый Клык, и дошли до самого конца ее, где речка впадала в Маккензи. На берегу стояли пироги, поднятые на высокие шесты, лежали решетки для сушки рыбы. Индейцы разбили здесь стоянку. Белый Клык с удивлением осмат-

ривался вокруг себя. Могущество людей росло с каждой минутой. Он уже убедился в их власти над свирепыми собаками. Эта власть говорила о силе. Но еще больше изумляла Белого Клыка власть людей над неживыми предметами, их способность изменять лицо мира. Это было самое поразительное. Вот люди установили шесты для вигвамов; тут, собственно, не было ничего примечательного, — это делали те же самые люди, которые умели бросать камни и палки. Однако, когда шесты обтянули кожей и парусиной и они стали вигвамами, Белый Клык окончательно растерялся.

Больше всего его поражали огромные размеры вигвамов. Они росли повсюду с чудовищной быстротой, словно какие-то живые существа. Они занимали почти все поле зрения. Он боялся их. Вигвамы зловеще маячили в вышине, и когда ветер пробегал по стоянке, вздувая на них парусину и кожу, Белый Клык в страхе припадал к земле, не сводя глаз с этих громад и готовясь отскочить в сторону, как только они начнут валиться на него.

Но скоро Белый Клык привык к вигвамам. Он видел, что женщины и дети входят и выходят оттуда без всякого вреда для себя, что собакам тоже

хочется проникнуть внутрь, но люди прогоняют их с бранью и швыряют камни им вслед. К концу дня Белый Клык оставил Кичи и осторожно подполз к ближайшему вигваму. Его подстрекала любознательность — потребность учиться жить, действовать и набираться опыта. Последние несколько шагов, отделявших его от стены вигвама, Белый Клык полз мучительно долго и осторожно. События этого дня уже подготовили его к тому, что неизвестное имеет склонность проявлять себя самым неожиданным, самым невероятным образом. Наконец его нос коснулся парусины. Белый Клык ждал, что будет. Ничего… все обошлось благополучно. Тогда он понюхал это страшное вещество, пропитанное запахом человека, взял его зубами и слегка потянул к себе. Опять все обошлось благополучно, хотя парусиновая стена и дрогнула. Он потянул еще раз. Стена заколыхалась. Ему это очень понравилось. Он тянул все сильнее и сильнее, пока вся стена не пришла в движение. Тогда в вигваме послышался резкий окрик индианки, и Белый Клык опрометью бросился к Кичи. Но с тех пор он перестал бояться высоких вигвамов.

Не прошло и пяти минут, как Белый Клык снова убежал от матери. Она была привязана к колыш-

ку, вбитому в землю, и не могла пойти за своим детенышем. К волчонку с воинственным видом приближался щенок гораздо старше и кругнее его. Щенка звали Лип-Лип, как это узнал позднее Белый Клык. Он уже был искушен в боях и слыл большим забиякой среди своих собратьев.

Белый Клык признал в щенке существо своей породы, к тому же на вид совсем неопасное, и, не ожидая от него никаких враждебных действий, приготовился оказать ему дружеский прием. Но как только незнакомец оскалил зубы и весь подобрался, Белый Клык тоже подобрался и тоже оскалил зубы. Ощетинившись и грозно рыча, волчонок и щенок стали кружить друг за другом, готовьте ко всему. Это продолжалось довольно долго, и Белому Клыку такая игра начинала нравиться. И вдруг Лип-Лип сделал стремительный прыжок, рванул волчонка зубами и отскочил в сторону. Укус пришелся как раз в то плечо, которое все еще болело у Белого Клыка после схватки с рысью, болело глубоко, около самой кости. Белый Клык взвыл от неожиданности и боли, но тут же с яростью кинулся на Лип-Липа и впился в него зубами.

Но Лип-Лип недаром родился в индейском поселке и недаром участвовал в стольких драках со

щенками. Новичку пришлось плохо от его мелких острых зубов, и он с визгом постыдно бежал пол, защиту матери. Это была первая схватка Белого Клыка с Лип-Липом, и таких схваток им предстояло много, потому что они с первой же встречи почувствовали глубокую врожденную ненависть друг к другу, которая приводила к непрестанным столкновениям.

Кичи ласково облизывала своего детеныша и старалась удержать его около себя, но любопытство Белого Клыка было ненасытно. Несколько минут спустя он снова отправился на разведку и натолкнулся на человека, которого звали Серым Бобром. Присев на корточки, Серьги Бобр делал что-то с сухим мохом и палками, разложенными возле него на земле. Белый Клык подошел поближе и стал наблюдать за ним. Серый Бобр издал какие-то звуки, в которых, как показалось Белому Клыку, не было ничего враждебного, и он подошел еще ближе.

Женщины и дети подносили Серому Бобру палки и сучья. По-видимому, готовилось что-то интересное. Любопытство Белого Клыка так разгорелось, что он подошел к Серому Бобру вплотную, забыв, что перед ним находится грозное человеческое существо. И вдруг он увидел,

что из-под рук Серого Бобра над сучьями и мохом поднимается что-то странное, похожее на туман. Потом из этого тумана, крутясь и извиваясь, возникло что-то живое, красное, как солнце в небе. Белый Клык не подозревал о существовании огня. Но огонь притягивал его к себе, как когда-то в пещере в дни младенчества его притягивал свет. Он подполз поближе, услышал над собой смех Серого Бобра и понял, что и в этих звуках нет ничего враждебного. Потом Белый Клык коснулся пламени носом и одновременно высунул язык.

В первую секунду он оцепенел. Притаившись среди сучьев и моха, неизвестное вцепилось ему в нос. Белый Клык отпрянул от огня, разразившись отчаянным визгом. Услышав этот визг, Кичи с рычанием рванулась вперед, насколько позволяла палка, и заметалась в бессильной ярости, чувствуя, что не может помочь сыну. Но Серый Бобр смеялся, хлопая себя по бедрам, и рассказывал всем о случившемся, и все тоже громко смеялись. А Белый Клык, усевшись на задние лапы, визжал и визжал и казался таким маленьким и жалким среди окружающих его людей.

Это была самая сильная боль, какую ему пришлось испытать. Живое существо, возникшее под руками Серого Бобра и похожее цветом на солн-

це, обожгло ему нос и язык. Белый Клык скулил, скулил не переставая, и каждый его вопль люди встречали новым взрывом смеха. Он попробовал лизнуть нос, но прикосновение; обоженного языка к обожженному носу только усилило боль, и он завыл еще отчаянней, еще тоскливей.

А потом ему стало стыдно. Он понял, почему люди смеются. Нам не дано знать, каким образом некоторые животные понимают, что такое смех, и догадываются, что мы смеемся над ними. Вот это и произошло с Белым Клыком, и ему стало стыдно, когда люди подняли его на смех. Он повернулся и убежал, но убежать его заставила не боль от ожогов, а смех, потому что смех проникал глубже и ранил сильнее, чем огонь. Белый Клык кинулся к матери, бесновавшейся на привязи, к единственному в мире существу, которое не смеялось над ним.

Наступили сумерки, вслед за ними пришла ночь, а Белый Клык не отходил от Кичи. Нос и язык у него по-прежнему болели, но ему не давало успокоиться другое, еще более сильное чувство. Его охватила тоска. Он ощущал какую-то пустоту в себе, он томился по тишине и миру, царившим у ручья и в родной пещере. Жизнь стала слишком беспокойной. Тут было слишком много человече-

ских существ — мужчин, женщин, детей, — все они шумели и раздражали его. Собаки непрестанно ссорились, рычали, грызлись. Спокойное одиночество, которое он знал раньше, кончилось. Здесь даже самый воздух был насыщен жизнью. Она жужжала и гудела вокруг Белого Клыка, не умолкая ни на минуту. Новые звуки смущали и тревожили его, заставляя все время ждать новых событий.

Белый Клык наблюдал за людьми, которые ходили между вигвамами, исчезали, снова появлялись. Подобно тому как человек взирает на им же сотворенных богов, Белый Клык взирал на окружающих его людей. Они были для него высшими существами. Он видел во всех их деяниях ту же чудотворную силу, которой человек наделяет бога. Они обладали непостижимым, безграничным могуществом. Они были властелинами живого и неживого мира; они держали в повиновении все, что способно двигаться, и сообщали движение неподвижным вещам; из сухого моха и палок они творили жизнь, которая больно жгла и цветом своим напоминала солнце. Они творили огонь! Они были боги!

ГЛАВА ВТОРАЯ
НЕВОЛЯ

Каждый новый день приносил Белому Клыку — что-нибудь новое. Пока мать сидела на привязи, он бегал по всему поселку, исследуя, изучая его и набираясь опыта. Он быстро ознакомился с повадками человеческих существ, но такое близкое знакомство не вызвало в нем пренебрежения к ним. Чем больше он узнавал людей, тем больше убеждался в их могуществе. Человек испытывает душевную боль, когда его богов ниспровергают и когда алтари, воздвигнутые его руками, рушатся, но волку и дикой собаке такая боль неведома. В противоположность человеку, боги которого — это легкая дымка мечты, никогда не обретающая реальности, это призраки, наделенные добротой и силой, это взлеты его я в царсгво духа, — в противоположность человеку волк и дикая собака, пригревшиеся у разведенного человеком костра, видят, что их боги облечены в плоть и кровь, что они осязаемы, занимают определенное место в пространстве и добиваются своих целей, оправдывают свое назначение в жизни, подчиняясь

закону времени. Вера в таких богов дается легко, ее ничто не может поколебать. От такого бога никуда не уйдешь. Вот он стоит во весь рост, с палкой в руке — всесильный, гневный и добрый. В нем тайна и могущество, облеченные плотью, которая истекает кровью, когда ее рвут, и которая на вкус ничем не хуже любого другого мяса.

Так было и с Белым Клыком. Человеческие существа казались ему богами, несомненными и вездесущими богами. И он покорился им, так же как покорилась его мать Кичи, едва только она услышала свое имя из их уст. Он уступал им дорогу. Когда они подзывали его — он подходил, когда прогоняли прочь — поспешно убегал, когда грозили—припадал к земле, потому что за каждым их желанием была сила, которая проявлялась при помощи кулака и палки, летающих по воздуху камней и обжигающих болью ударов бича.

Белый Клык принадлежал людям, как принадлежали им все собаки. Его поступки зависели от их велений. Его тело они вольны были искалечить, растоптать или пощадить. Этот урок Белый Клык запомнил быстро, но дался он ему не легко, — слишком многое в его натуре восставало против того, с чем ему приходилось сталкиваться на каждом шагу. И вместе с тем незаметно для

самого себя Белый Клык начинал постигать прелесть новой жизни, хотя привыкать к ней было и трудно и неприятно. Он отдал свою судьбу в чужие руки и снял с себя всякую ответственность за собственное существование. Уже одно это служило ему наградой, потому что опираться на другого всегда легче, чем стоять одному. Но все это случилось не сразу — за один день нельзя отдаться человеку и душой и телом. Белый Клык не мог отречься от наследия предков, не мог забыть Северную глушь. Бывали дни, когда он выходил на опушку леса и стоял там, прислушиваясь к зовам, влекущим его вдаль. И с таких прогулок он возвращался беспокойный, встревоженный, жалобно и тихо повизгивая, ложился рядом с Кичи и лизал ей морду своим быстрым, пытливым язычком.

Белый Клык быстро изучил жизнь индейского поселка. Он узнал, как несправедливы и жадны взрослые собаки при раздаче мяса и рыбы. Убедился, что мужчины справедливы, дети жестоки, а женщины добры и от них скорее, чем от других, можно получить кусок мяса или кость. А после двух или трех стычек с матерями щенят Белый Клык понял, что с этими фуриями лучше не связываться, — чем дальше от них держаться, тем

будет спокойнее.

Но больше всех ему отравлял жизнь Лип-Лип. Он был старше и сильнее его. Белый Клык не избегал драк с ним, но всегда терпел поражение. Такой противник был ему не по силам. Лип-Лип преследовал свою жертву всюду. Стоило Белому Клыку отойти от матери, и забияка был тут как тут, ходил за ним по пятам, рычал, привязывался к нему и, если людей поблизости не было, лез в драку. Эти стычки доставляли Лип-Липу громадное: удовольствие, потому что он всегда выходил из них победителем. Но то, что было для Лип-Липа самым большим наслаждением в жизни, приносило Белому Клыку лишь одни страдания.

Однако запугать Белого Клыка было не так легко. Он терпел поражение за поражением, но не смирялся. И все-таки эта вечная вражда начинала сказываться на нем. Он стал злобным и угрюмым. Свирепость была свойственна ему как волку, а бесконечные преследования еще больше ожесточали его. То добродушное, веселое, юное, что было в нем, не находило себе выхода. Он никогда не играл и не возился со своими сверстниками: Лип-Лип не допускал этого. Стоило Белому Клыку появиться среди щенят, как Лип-Лип подлетал к нему, затевал ссору и в конце концов прогонял

его прочь.

Вскоре почти все щенячье, что было в Белом Клыке, исчезло, и он стал казаться гораздо старше своего возраста. Лишенный возможности давать выход своей энергии в игре, он ушел в себя и стал развиваться умственно. В нем появилась хитрость, а времени, чтобы обдумать свои проделки, у него было достаточно. Так как ему мешали получать свою долю мяса и рыбы во время общей кормежки собак, он сделался ловким вором. Приходилось самому заботиться о себе, и Белый Клык ухитрялся промышлять еду так искусно, что стал настоящим бичом для индианок. Он шнырял по всему поселку, знал, где что происходит, все видел и слышал, применялся к обстоятельствам и всячески избегал встреч со своим заклятым врагом.

Еще в первые дни своей жизни в поселке Белый Клык сыграл злую шутку с Лип-Липом и вкусил сладость мести. Он заманил его прямо в пасть свирепой Кичи примерно тем же способом, каким она когда-то заманивала собак и уводила их от людской стоянки на съедение волкам. Спасаясь от Лип-Липа, Белый Клык побежал не напрямик, а стал кружить между вигвамами. Бегал он хорошо, быстрее любого щенка его возраста и быстрее

самого Лип-Липа. Но на этот раз он не особенно торопился и подпустил своего преследователя на расстояние всего только одного прыжка от себя.

Возбужденный погоней и близостью жертвы, Лип-Лип оставил всякую осторожность и забыл, где находится. Когда он вспомнил об этом, было уже поздно. На всем бету обогнув виг вам, он с размаху налетел прямо на Кичи, лежавшую на привязи. Лип-Лип взвыл от ужаса. Хоть Кичи и была привязана, но отделаться от нее оказалось не так-то легко. Она сбила его с ног, чтобы он не мог убежать, и впилась в него зубами.

Откатившись наконец от волчицы в сторону, Лип-Лип с трудом поднялся, весь взлохмаченный, побитый и телесно и морально. Шерсть на нем торчала клочьями в тех местах, где по ней прошлись зубы Кичи. Он раскрыл пасть и разразился протяжным, душераздирающим щенячьим воем. Но Белый Клык не дал ему даже повыть как следует. Он кинулся на своего врага и рванул его за заднюю ногу. Куда девалась былая воинственность щенка! Лип-Лип пустился наутек, а его жертва гналась за ним по пятам и не отстала до тех пор, пока ее мучитель не добежал до своего вигвама. Тут на выручку Лип-Липу подоспели индианки, и Белый Клык, превратившийся в

разъяренного дьявола, отступил только под градом сыпавшихся на него камней.

Настал день, когда Серый Бобр отвязал Кичи, решив, что теперь она уже не убежит. Белый Клык ликовал, видя мать на свободе. Он с радостью отправился бродить с ней по всему поселку и, пока Кичи была близко, Лип-Лип держался от Белело Клыка на почтительном расстоянии. Белый Клык даже ощетинивался и подходил к нему с воинственным видом, но Лип-Лип не принимал вызова. Он был неглуп и решил подождать с отмщением до тех пор, пока не встретится с Белым Клыком один на один.

В тот же день Кичи и Белый Клык вышли на опушку леса неподалеку от поселка. Белый Клык постепенно, шаг за шагом, уводил туда мать, и, когда она остановилась на опушке, он попробовал завлечь ее дальше. Ручей, логовище и спокойный лес манили к себе Белого Клыка, и ему хотелось, чтобы мать ушла вместе с ним. Он отбежал на несколько шагов, остановился и посмотрел на нее. Она стояла не двигаясь. Белый Клык жалобно заскулил и, играя, стал бегать среди кустов, потом вернулся, лизнул мать в морду и снова отбежал. Но она продолжала стоять на месте. Белый Клык смотрел на нее, и казалось, что настойчивость и

нетерпение вселились вдруг в волчонка и затем медленно покинули его, когда Кичи повернула голову и посмотрела на поселок.

Даль звала Белого Клыка. И мать слышала этот зов. Но еще яснее она слышала зов огня и человека, зов, на который из всех зверей откликается только волк — волк и дикая собака, ибо они братья.

Кичи повернулась и медленно, рысцой побежала обратно. Поселок держал ее в своей власти крепче всякой привязи. Невидимыми, таинственными путями боги завладели волчицей и не отпускали ее от себя. Белый Клык сел в тени березы и тихо заскулил. Пахло сосной, нежные лесные ароматы наполняли воздух, напоминая Белому Клыку о прежней вольной жизни, на смену которой пришла неволя. Но Белый Клык был всего-навсего щенком, и зов матери доносился до него яснее, чем зов Северной глуши или человека. Он привык полагаться на нее во всем. Независимость была еще впереди. Белый Клык встал и грустно поплелся в поселок, но по дороге раза два остановился и поскулил, прислушиваясь к зову, который все еще летел из лесной чащи.

В Северной глуши мать и детеныш недолго живут друг подле друга, но люди часто сокращают и

этот короткий срок. Так было и с Белым Клыком. Серый Бобр задолжал другому индейцу, которого звали Три Орла. А Три Орла уходил вверх по реке Маккензи на Большое Невольничье озеро. Кусок красной материи, медвежья шкура, двадцать патронов и Кичи пошли в уплату долга. Белый Клык увидел, как Три Орла взял его мать к себе в пирогу, и хотел последовать за ней. Ударом кулака Три Орла отбросил его обратно на берег. Пирога отчалила. Белый Клык прыгнул в воду и поплыл за ней, не обращая внимания на крики Серого Бобра. Белый Клык не внял даже голосу человека — так боялся он разлуки с матерью.

Но боги привыкли, чтобы им повиновались, и разгневанный Серый Бобр, спустив на воду пирогу, поплыл вдогонку за Белым Клыком. Настигнув беглеца, он вытащил его за загривок из воды и, держа в левой руке, задал ему хорошую трепку. Белому Клыку попало как следует. Рука у индейца была тяжелая, удары были рассчитаны точно и сыпались один за другим.

Под градом этих ударов Белый Клык болтался из стороны в сторону, как испортившийся маятник. Самые разнообразные чувства волновали его. Сначала он удивился, потом на него напал страх, и он начал взвизгивать от каждого удара.

Но страх вскоре сменился злобой. Свободолюбивая натура заявила о себе — Белый Клык оскалил зубы и бесстрашно зарычал прямо в лицо разгневанному божеству. Божество разгневалось еще больше. Удары посыпались чаще, стали тяжелее и больнее.

Серый Бобр не переставал бить Белого Клыка, Белый Клык не переставал рычать. Но это не могло продолжаться вечно, кто-то должен был уступить, и уступил Белый Клык. Страх снова овладел им. В первый раз в жизни человек бил его по-настоящему. Случайные удары палкой или камнем казались лаской по сравнению с тем, что ему пришлось испытать сейчас. Белый Клык сдался и начал визжать и выть. Сначала он взвизгивал от каждого удара, но скоро страх его перешел в ужас, и визги сменились непрерывным воем, не совпадающим с ритмом побоев. Наконец, Серый Бобр опустил правую руку. Белый Клык продолжал выть, повиснув в воздухе, как тряпка. Хозяин, по-видимому, остался доволен этим и швырнул его на дно пироги. Тем временем пирогу отнесло вниз по течению. Серый Бобр взялся за весло. Белый Клык мешал ему грести. Серый Бобр злобно толкнул его ногой. В этот миг свободолюбие снова дало себя знать в Белом Клы-

ке, и он впился зубами в ногу, обутую в мокасин.

Предыдущая трепка была ничто в сравнении с той, которую ему пришлось вынести. Гнев Серого Бобра был страшен, и Белого Клыка обуял ужас. На этот раз Серый Бобр пустил в ход тяжелое весло, и, когда Белый Клык очутился на дне пироги, на всем его маленьком теле не было ни одного живого места. Серый Бобр еще раз ударил его ногой. Белый Клык не бросился на эту ногу. Неволя преподала ему еще один урок: никогда, ни ггри каких обстоятельствах, нельзя кусать бога — твоего хозяина и повелителя; тело бога священно, и зубы таких, как Белый Клык, не смеют осквернять его. Это считалось, очевидно, самой страшной обидой, самым страшным проступком, за который не было ни пощады, ни снисхождения.

Пирога причалила к берегу, но Белый Клык не шевельнулся и продолжал лежать, повизгивая и дожидаясь, когда Серый Бобр изъявит свою волю. Серый Бобр пожелал, чтобы Белый Клык вышел из пироги, и швырнул его на берег так, что тот со всего размаху ударился боком о землю. Дрожа всем телом, Белый Клык встал и заскулил. Лип-Лип, который наблюдал за происходящим с берега, кинулся, сшиб его с ног и впился в него зубами. Белый Клык был слишком беспомощен и

не мог защищаться, и ему бы несдобровать, если бы Серый Бобр не ударил Лип-Липа ногой так, что тот взлетел высоко в воздух и шлепнулся на землю далеко от Белого Клыка.

Такова была человеческая справедливость, и Белый Клык, несмотря на боль и страх, не мог не почувствован, признательность к человеку. Он послушно поплелся за Серым Бобром через весь поселок к его вигваму. И с того дня Белый Клык запомнил, что право наказывать боги оставляют за собой, а животных, подвластных им, этого права лишают.

В ту же ночь, когда в поселке все стихло, Белый Клык вспомнил мать и загрустил. Но грустил он так громко, что разбудил Серого Бобра, и тот побил его. После этого в присутствии богов он тосковал молча и давал волю своему горю тогда, когда выходил один на опушку леса.

В эти дни Белый Клык мог бы внять голосу прошлого, который звал его обратно к пещере и ручью, но память о матери удерживала его на месте. Может быть, она вернется в поселок, как возвращаются люди после охоты. И Белый Клык оставался в неволе, поджидая Кичи.

Подневольная жизнь не так уж тяготила Белого Клыка. Многое в ней его интересовало. События в

поселке следовали одно за другим. Странным поступкам, которые совершали боги, не было конца, а Белый Клык всегда отличался любопытством. Кроме того, он научился ладить с Серым Бобром. Послушание, строгое, неукоснительное послушание требовалось от Белого Клыка, и, усвоив это, он не вызывал гнева у людей и избегал побоев.

А иногда случалось даже, что Серый Бобр сам швырял Белому Клыку кусок мяса и, пока тот ел, не подпускал к нему других собак. И такому куску не было цены. Он один был почему-то дороже, чем десяток кусков, полученных из рук женщин. Серый Бобр ни разу не погладил и не приласкал Белого Клыка. И, может быть, его тяжелый кулак, может быть, его справедливость и могущество или все это вместе влияло на Белого Клыка, но в нем начинала зарождаться привязанность к угрюмому хозяину.

Какие-то предательские силы незаметно опутывали Белого Клыка узами неволи, и действовали они так же безошибочно, как палка или удар кулаком. Инстинкт, который издавна гонит волков к костру человека, развивается быстро. Развивался он и в Белом Клыке. И хотя его теперешняя жизнь была полна горестей, поселок становился ему все дороже и дороже. Но сам он не подозре-

вал этого. Он чувствовал только тоску по Кичи, надеялся на ее возвращение и жадно тянулся к прежней свободной жизни.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ
ОТЩЕПЕНЕЦ

Лип-Лип до такой степени отравлял жизнь Белому Клыку, что тот становился злее и свирепее, чем это полагалось ему от природы. Свирепость была свойственна его нраву, но теперь она перешла всякие границы. Он был известен своей злобой даже людям. Каждый раз, когда в поселке слышался лай, собачья грызня или женщины поднимали крик из-за украденного куска мяса, никто не сомневался, что виновником всего этого был Белый Клык. Люди не старались разобраться в причинах такого поведения. Они видели только следствия, и следствия эти были дурные. Белый Клык слыл пронырой, вором и зачинщиком всех драк; разгневанные индианки обзывали его волком, предрекали ему плохой конец, а он, слушая все это, зорко следил за ними и каждую минуту готов был увернуться от удара палкой или камнем.

Белый Клык чувствовал себя отщепенцем среди

обитателей поселка. Все молодые собаки следовали примеру Лип-Липа. Между ними и Белым Клыком было какое-то различие. Может быть, собаки чуяли в нем другую породу и питали к нему инстинктивную вражду, которая всегда возникает между домашней собакой и волком. Как бы то ни было, но они присоединились к Лип-Липу. И, объявив Белому Клыку войну, собаки имели достаточно поводов, чтобы не прекращать ее. Все они до одной познакомились с его острыми зубами, и, надо отдать ему справедливость, он воздавал своим врагам сторицей. Многих собак он мог бы одолеть один на один, но такой возможности не представлялось.

Начало каждой драки служило сигналом для всех молодых собак, они сбегались со всего поселка и набрасывались на Белого Клыка.

Вражда с собачьей сворой научила его двум важным вещам: отбиваться сразу от всей стаи и, имея дело с одним противником, наносить ему возможно большее количество ран в кратчайший срок. Не упасть, устоять среди осаждающих его со всех сторон врагов — значило сохранить жизнь, и Белый Клык постиг эту науку в совершенстве. Он умел держаться на ногах не хуже кошки. Даже взрослые собаки могли сколько угодно теснить

его, — Белый Клык подавался назад, подскакивал, ускользал в сторону, и все же ноги не изменяли ему и твердо стояли на земле.

Перед каждой дракой собаки обычно соблюдают некий ритуал: рычат, прохаживаются друг перед другом, шерсть у них встает дыбом. Белый Клык обходился без этого. Всякая задержка грозила появлением всей собачьей стаи. Дело надо делать быстро, а затем удирать. И Белый Клык не показывал своих намерений. Он кидался в драку без всякою предупреждения и начинал кусать и рвать своего противника, не дожидаясь, пока тот приготовится. Таким образом, он научился наносить собакам тяжелые раны. Кроме того. Белый Клык понял, что важно застать врага врасплох, надо напасть неожиданно, распороть ему плечо, изорвать в клочья ухо, прежде чем он опомнится, — и тогда дело наполовину сделано.

Он убедился, что собаку, застигнутую врасплох, ничего не стоит сбить с ног, а тогда самое уязвимое место у нее на шее будет незащищенным. Белый Клык знал, где находится это место. Знание это досталось ему по наследству от многих поколений волков. И, нападая, он придерживался такой тактики: во-первых, подстерегал собаку, когда она была одна; во-вторых, налетал на нее

неожиданно и сбивал с ног; и, в-третьих, вцеплялся ей в горло.

Белый Клык был еще молод, и его неокрепшие челюсти не могли наносить смертельных ударов, но все же не один щенок бегал по поселку со следами его зубов на шее. И как-то раз, поймав одного из своих врагов на опушке леса, он все же ухитрился перекусить ему горло и выпустил из него дух. В тот вечер поселок заволновался. Его проделку заметили, весть о ней дошла до хозяина издохшей собаки, женщины, припомнили Белому Клыку все его кражи, и около жилища Серого Бобра собралась толпа народу. Но он решительно закрыл вход в вигвам, где отсиживался преступник, и отказался выдать его своим соплеменникам.

Белого Клыка возненавидели и люди и собаки. Он не знал ни минуты покоя. Каждая собака скалила на нет о зубы, каждый человек на него замахивался. Сородичи встречали его рычанием, боги — проклятиями и камнями. Он держался все время начеку, каждую минуту был готов напасть, отразить нападение или увернуться от удара. Он действовал стремительно и хладнокровно: сверкнув клыками, кидался на противника или с грозным рычанием отскакивал назад.

Что до рычания, то рычать он умел пострашнее собак — и старых и молодых. Цель рычания — предостеречь или испугать врага; и надо хорошо разбираться в том, когда и при каких обстоятельствах следует пускать в ход такое средство. И Белый Клык знал это. В свое рычание он вкладывал всю ярость и злобу, все, чем только мог устрашить врага. Вздрагивающие ноздри, вставшая дыбом шерсть, язык, красной змейкой извивающийся между зубами, прижатые уши, горящие ненавистью глаза, подергивающиеся губы, оскаленные клыки заставляли призадуматься многих собак. Когда Белого Клыка застигали врасплох, ему было достаточно секунды, чтобы обдумать гглан действий. Но часто пауза эта затягивалась, противник отказывался от драки, и рычание Белого Клыка сплошь и рядом давало ему возможность отступить с почетом даже при стычках со взрослыми собаками.

Изгнав Белого Клыка из стаи, объявив ему войну, молодые собаки тем самым поставили себя лицом к лицу с его злобой, ловкостью и силой. Дело обернулось так, что теперь враги Белого Клыка и сами ни на шаг не могли отойти от стаи. Он не допускал этого. Молодые собаки каждую минуту ждали его нападения и не решались

бегать поодиночке. Всем им, за исключением Лип-Липа, приходилось держаться стаей, чтобы общими усилиями отбиваться от своего грозного противника. Отправляясь в одиночестве к реке, щенок или шел на верную смерть, или оглашал весь поселок пронзительным визгом, улепетывая от выскочившего из засады волчонка.

Но Белый Клык продолжал мстить собакам даже после того, как они запомнили раз и навсегда, что им надо держаться всем вместе. Он нападал на собак, заставая их поодиночке; они нападали на него всей сворой. Стоило собакам завидеть Белого Клыка, как они дружно кидались за ним в погоню, и в таких случаях его спасали только быстрые ноги. Но горе тому псу, который, увлекшись, обгонял своих товарищей! Белый Клык на всем ходу поворачивался к преследователю, несущемуся впереди стаи, и бросался на него. Это случалось часто, потому что возбужденные погоней собаки забывали обо всем на свете, а Белый Клык всегда сохранял хладнокровие. То и дело оглядываясь назад, он готов был в любую минуту сделать на всем бегу крутой поворот и кинуться на слишком рьяного преследователя, отделившегося от своих товарищей.

В молодых собаках живет непреодолимая

потребность играть, и враги Белого Клыка удовлетворяли эту потребность, превращая войну с ним в увлекательную забаву. Охота за волчонком стала для них самым любимым развлечением — правда, развлечением не шуточным и подчас смертельно опасным. А Белый Клык, с которым никто из собак не мог сравниться быстротой ног, в свою очередь, не останавливался перед риском. В те дни, когда надежда на возвращение Кичи еще не покидала Белого Клыка, он часто заманивал собачью стаю в соседний лес. Но собакам не удавалось догнать его там. По тявканью и вою Белый Клык определял, где они находятся; сам же он бежал молча, тенью скользя между деревьями, как это делали его отец и мать. Кроме того, связь его с Северной глушью была теснее, чем у собак; он лучше понимал все ее тайны и хитрости. Чаще всего Белый Клык прибегал к такой уловке: переплывал ручей, запутывал свои следы и спокойно отлеживался где-нибудь в лесных зарослях, прислушиваясь к лаю потерявших его преследователей.

Вызывая и у своих собратьев и у людей только одну ненависть и вечно враждуя со всеми, Белый Клык развивался быстро, но односторонне. При такой жизни в нем не могли зародиться ни доб-

рые чувства, ни потребность в ласке. Обо всем этом он не имел ни малейшего понятия. Повинуйся сильному, угнетай слабого— кот закон, который руководил им, Серый Бобр — божество, он наделен силой, поэтому Белый Клык повиновался ему. Но собаки — те, которые моложе и меньше его ростом, слабы, и их надо уничтожать.

В Белом Клыке развивались все те качества, которые Помогали ему противостоять опасности, часто грозившей его жизни. Стальные мускулы выступали на его худом, гибком теле, как веревки. В проворстве и хитрости с ним не мог сравниться никто; он бегал быстрее, был беспощаднее в драках, выносливее, злее, ожесточеннее и умнее всех остальных собак. Белый Клык должен был стать таким, иначе он не уцелел бы в той враждебной среде, в которую привела его жизнь.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ
ПОГОНЯ ЗА БОГАМИ

Осенью, когда дни стали короче и в воздухе уже чувствовалось приближение холодов, Белому Клыку представился случай вырваться на свободу. Уже несколько дней в поселке царила

суматоха. Индейцы разбирали летние вигвамы и готовились выйти на осеннюю охоту. Белый Клык зорко следил за этими приготовлениями, и, когда вигвамы были разобраны, а вещи погружены в пироги, он понял все. Пироги одна за другой начали отчаливать от берега, и часть их уже скрылась из виду.

Белый Клык решил остаться и при первой же возможности улизнул из поселка в лес. Переплыв ручей, который уже затягивался льдом, он запутал свои следы. Потом забрался поглубже в чащу и стал ждать. Время шло. Он успел несколько раз заснуть, проснуться и снова заснуть. Его разбудил голос Серого Бобра. Потом послышались и другие голоса — жены хозяина, принимавшей участие в поисках, и Мит-Са — сына Серою Бобра.

Белый Клык задрожал от страха, услышав свою кличку, но устоял и не вышел из лесу, хотя что-то подстрекало его откликнуться на зов хозяина. Вскоре голоса замерли вдали, и тогда он выбрался из кустарника, довольный, что побег удался. Наступали сумерки. Белый Клык резвился между деревьями, радуясь свободе. И вдруг его охватило чувство одиночества. Он сел, тревожно прислушиваясь к лесной тишине: ни звука, ни движения… Это показалось ему подозрительным,

его подстерегала какая-то неведомая опасность. Он всматривался в смутные очертания высоких деревьев, в густые тени между ними, где мог притаиться любой враг.

Потом ему стало холодно. Теплой стеньг вигвама, около которой он всегда грелся, здесь не было. Он сидел, поочередно поджимая то одну, то другую переднюю лапу, потом прикрыл их своим пушистым хвостом, и в эту минуту перед ним пронеслось видение. В этом не было ничего странного: перед его глазами встали знакомые картины. Он снова увидел поселок, вигвамы, пламя костров. Он услышал пронзительные голоса женщин, грубый бас мужской речи, лай собак. Белый Клык проголодался и вспомнил куски мяса и рыбы, которые ему перепадали от людей. Но сейчас его окружала тишина, сулившая не еду, а опасность.

Неволя изнежила Белого Клыка. Зависимость от людей лиггтила его части силы. Он разучился добывать себе корм. Над ним спускалась ночь. Его зрение и слух, привыкшие к шуму и движению поселка, к непрерывному чередованию звуков и картин, не находили себе работы. Ему нечего было делать, нечего слушать, не на что смотреть. Он старался уловить хоть малейший шорох или

движение. В этом безмолвии и неподвижности природы таилась какая-то страшная опасность.

И вдруг Белый Клык вздрогнул. Что-то громадное и бесформенное пронеслось у него перед глазами. На землю легла тень дерева, освещенною выглянувшей из-за облаков луной. Успокоившись, он тихо заскулил, но, вспомнив, что это может привлечь к нему притаившегося где-нибудь врага, смолк.

Дерево, схваченное ночным морозом, громко скрипнуло у него над головой. Белый Клык взвыл и, не чуя под собой ног от ужаса, опрометью кинулся к поселку. Он чувствовал непреодолимую потребность в людском обществе, в загците, которую оно дает. В его ноздрях стоял запах дыма от костров, в угпах звенели голоса и крики. Он выбежал из лесу на залитую луной поляну, где не было ни теней, ни мрака, но глаза его не увидели знакомого поселка. Он забыл, что люди ушли оттуда.

Белый Клык остановился как вкопанный. Бежать было некуда. Он грустно бродил по опустевшему становищу, обнюхивая кучи мусора и хлама, оставленного богами. Теперь его обрадовал бы даже камень, брошенный какой-нибудь рассерженной женщиной, даже тяжелая рука

Серого Бобра, а Лип-Липа и всю рычащую, трусливую свору собак он встретил бы с восторгом.

Он побрел к тому месту, где стоял прежде вигвам Серого Бобра, сел посредине и поднял морду к луне. Спазмы сжимали ему горло; пасть у него раскрылась, и одиночество, страх, тоска по Кичи, все прошлые горести и предчувствие грядущих невзгод и страданий — все это вылилось в протяжном, тоскливом вое. Это выл волчий вой, впервые вырвавшийся из груди Белого Клыка.

С наступлением утра его страхи исчезли, но чувство одиночества только усилилось. Вид заброшенного становища, в котором еще так недавно кипела жизнь, наводил на него тоску. Долго раздумывать ему не пришлось: он повернул в лес и побежал вдоль берега реки. Он бежал весь день, не давая себе ни минуты отдыха. Казалось, он может бежать вечно. Его сильное тело не знало утомления. И даже когда утомление все-таки пришло, выносливость, доставшаяся ему от предков, продолжала гнать его все дальше и дальше.

Там, где река протекала между крутыми берегами, Белый Клык бежал в обход, по горам. Ручьи и речки, впадавшие в Маккензи, он переплывал или переходил вброд. Часто ему приходилось

бежать по узкой кромке льда, намерзшей около берега; тонкий лед ломался, и, проваливаясь в ледяную воду, Белый Клык не раз бывал на волосок от гибели. И все это время он ждал, что вот-вот нападет на след богов в том месте, где они причалят к берегу и направятся в глубь страны.

По уму Белый Клык превосходил многих своих собратьев, и все-таки мысль о другом береге реки Маккензи не приходила ему в голову. Что, если след богов выйдет на ту сторону? Этого он не мог сообразить. Вероятно, позднее, когда Белый Клык набрался бы опыта в странствиях, повзрослел, научился бы отыскивать следы вдоль речных берегов, он допустил бы и эту возможность. Такая зрелость ждала его в будущем. Сейчас же он бежал наугад, принимая в расчет только один берег Маккензи.

Белый Клык бежал всю ночь, натыкаясь в темноте на препятствия и преграды, которые замедляли его бег, но не отбивали охоты двигаться дальше. К середине второго дня, через тридцать часов, его железные мускулы стали сдавать, поддерживало только напряжение воли. Он ничего не ел почти двое суток и совсем обессилел от голода. Сказывались на нем и непрестанные погружения в ледяную воду. Его великолепная

шкура была вся в грязи, широкие подушки на лапах кровоточили. Он начал прихрамывать —сначала слегка, потом все больше и больше. В довершение всего небо нахмурилось и пошел снег — мокрый, тающий снег, который прилипал к его разъезжавшимся лапам, заволакивал все вокруг и скрывал неровности почвы, затрудняя и без того мучительную дорогу.

В эту ночь Серый Бобр решил сделать привал на дальнем берегу реки Маккензи, потому что путь к местам охоты шел втом направлении. Но незадолго до темноты Клу-Куч, жена Серого Бобра, приметила на ближнем берегу лося, который подошел к реке напиться. И вот, не подойди лось к берегу, не сбейся Мит-Са из-за метели с правильного курса, Клу-Куч не заметила бы лося. Серый Бобр не уложил бы его метким выстрелом из ружья, и все дальнейшие события сложились бы совершенно по-иному. Серый Бобр не сделал бы привала на ближнем берегу реки Маккензи, а Белый Клык, пробежав мимо, или погиб бы, или попал бы к своим диким сородичам и остался бы волком до конца своих дней.

Наступила ночь. Снег повалил сильнее, и Белый Клык, спотыкаясь, прихрамывая и тихо повизгивая на ходу, напал на свежий след. След

был настолько свеж, что Белый Клык сразу узнал его. Заскулив от нетерпения, он повернул от реки и бросился в лес. До ушей его донеслись знакомые звуки. Он увидел пламя костра, Клу-Куч, занятую стряпней. Серого Бобра, присевшего на корточки и жевавшего кусок сырого сала. У людей было свежее мясо!

Белый Клык ожидал расправы. При мысли о ней шерсть у него на спине встала дыбом. Потом он, крадучись, двинулся вперед. Он боялся ненавистных ему побоев и знал, что их не миновать. Но он знал также, что будет греться около огня, будет пользоваться покровительством богов, встретит общество собак, хоть и враждебное ему, но все же общество, которое способно удовлетворить его потребность в близости к живым существам.

Белый Клык ползком приближался к костру. Серый Бобр увидел его и перестал жевать сало. Белый Клык пополз еще медленнее; чувство унижения и покорности давило его, заставляя пресмыкаться перед человеком. Он полз прямо к Серому Бобру, все замедляя и замедляя движение, как будто ползти ему с каждым дюймом становилось труднее, и, наконец, лег у ног хозяина, которому предался отныне добровольно душой и телом. По собственному желанию подошел

он к костру человека и признал над собой человеческую власть. Белый Клык дрожал, ожидая неминуемого наказания. Рука поднялась над ним. Он весь съежился, готовясь принять удар. Но удара не последовало.

Белый Клык украдкой взглянул вверх. Серый Бобр разорвал сало на две части. Серый Бобр протягивал ему кусок сала! Осторожно и недоверчиво Белый Клык понюхал его, а потом потянул к себе. Серый Бобр велел дать Белому Клыку мяса и, пока он ел, не подпускал к нему других собак. Благодарный и довольный, Белый Клык улегся у ног своего хозяина, глядя на жаркое пламя костра и сонно щурясь. Он знал, что утро застанет его не в мрачном лесу, а на привале, среди богов, которым он отдавал всего себя и от воли которых теперь зависел.

ГЛАВА ПЯТАЯ ДОГОВОР

В середине декабря Серый Бобр отправился вверх по реке Маккензи. Мит-Са и Клу-Куч поехали вместе с ним. Сани Серого Бобра везли собаки, которых он выменял или взял взаймы у соседей. Во вторые сани, поменьше, были впряжены мо-

лодые собаки, и ими правил Мит-Са. Упряжка и сани больше походили на игрушечные, но Мит-Са был в восторге: он чувствовал, что исполняет настоящую мужскую работу. Кроме того, он учился управлять собаками и натаскивать их, и щенки тоже привыкали к упряжи. Сани Мит-Са шли не пустые, а везли около двухсот фунтов всякого скарба и провизии.

Белому Клыку приходилось и раньше видеть ездовых собак, и, когда его самого в первый раз запрягли в сани, он не противился этому. На шею ему надели набитый мохом ошейник, от которого шли две лямки к ремню, перекинутому поперек груди и через спину; к этому ремню была привязана длинная веревка, соединявшая его с санями.

Упряжка состояла из семи собак. Всем им исполнилось по девять-десять месяцев, и только одному Белому Клыку было восемь. Каждая собака шла на отдельной веревке. Все веревки были разной длины, и разница между ними измерялась длиной корпуса собаки. Соединялись они в кольце на передке саней. Передок был загнут кверху, чтобы сани — берестяные, без полозьев — не зарывались в мягкий, пушистый снег. Благодаря такому устройству тяжесть самих

саней и поклажи распределялась на большую поверхность. С той же целью — как можно более равномерного распределения тяжести — собак привязывали к передку саней веером, и ни одна из них не шла по следу другой.

У веерообразной упряжки было еще одно преимущество: разная длина веревок мешала собакам, бегущим сзади, кидаться на передних, а затевать драку можно было только с той соседкой, которая шла на более короткой веревке. Однако тогда нападающий оказывался нос к носу со своим врагом и, кроме того, подставлял себя под удары бича погонщика. Но самое большое преимущество этой упряжки заключалось в том, что, стараясь напасть на передних собак, задние налегали на постромки, а чем быстрее катились сани, тем быстрее бежала и преследуемая собака. Таким образом, задняя никогда не могла догнать переднюю. Чем быстрее бежала одна, тем быстрее удирала от нее другая и тем быстрее бежали все остальные собаки. В результате всего этого быстрее катились и сани. Вот такими хитрыми уловками человек и укреплял свою власть над животными.

Мит-Са, очень похожий на отца, унаследовал от него и мудрость. Он давно уже заметил, что

Лип-Лип не дает прохода Белому Клыку; но тогда у Лип-Липа были свои хозяева, и Мит-Са осмеливался только исподтишка бросать в него камнем. А теперь Лип-Лип принадлежал Мит-Са, и, решив отомстить ему за прошлое, Мит-Са привязал его на самую длинную веревку. Таким образом, Лип-Лип стал вожаком, ему как будто оказали большую честь, — но на самом деле чести в этом было мало, потому что забияку и главаря всей стаи Лип-Липа ненавидели и преследовали теперь все собаки.

Так как Лип-Лип был привязан на самую длинную веревку, собакам казалось, что он удирает от них. Им были видны только его задние ноги и пушистый хвост, а это далеко не так страшно, как вставшая дыбом шерсть и сверкающие клыки. Кроме того, зрелище бегущей собаки вызывает в других собаках уверенность, что она убегает именно от них и что ее надо во что бы то ни стало догнать.

Как только сани тронулись, вся упряжка погналась за Лип-Липом, и эта погоня продолжалась весь день. На первых порах оскорбленный Лип-Лип то и дело порывался кинуться на своих преследователей, но Мит-Са каждый раз хлестал его по голове тридцатифутовым бичом, свитым

из вяленых оленьих кишок, и заставлял вернуться на место. Лип-Лип не побоялся бы схватиться со всей упряжкой, однако бич был куда страшнее, — и ему не оставалось ничего другого, как натягивать веревку и уносить свои бока от зубов товарищей.

Ум индейца неистощим на хитрости. Чтобы усилить вражду всей упряжки к Лип-Липу, Мит-Са стал отличать его перед другими собаками, возбуждая в них ревность и ненависть к вожаку. Мит-Са кормил его мясом в присутствии всей своры и никому другому мяса не давал. Собаки приходили в ярость. Они метались вокруг Лип-Липа, пока он ел, но близко подходить не осмеливались, так как Мит-Са стоял возле него с бичом в руке. А когда мяса не было, Мит-Са отгонял упряжку подальше и делал вид, что кормит Лип-Липа.

Белый Клык принялся за работу охотно. Покорившись богам, он в свое время проделал гораздо более длинный путь, чем остальные собаки, и гораздо глубже, чем они, постиг всю тщетность сопротивления воле богов. Кроме того, ненависть, которую питали к нему все собаки, уменьшала их значение в его глазах и увеличивала значение человека. Он не нуждался в обществе своих

собратьев: Кичи была почти забыта, и верность богам, власть которых признал над собой Белый Клык, служила ему чуть ли не единственным способом выражать свои чувства. И Белый Клык усердно работал, слушался приказаний и подчинялся дисциплине. Он трудился честно и охотно. Честность в труде присуща всем прирученным волкам и прирученным собакам, а Белый Клык был наделен этим качеством в полной мере.

Белый Клык общался и с собаками, но это общение выражалось во вражде и ненависти. Он никогда не играл с ними. Он умел драться — и дрался, воздавая сторицей за все укусы и притеснения, которые ему пришлось вынести в те дни, когда Лип-Лип был главарем стаи. Теперь Лип-Лип главенствовал над ней лишь тогда, когда бежал на конце длинной веревки впереди своих товарищей и подскакивающих по снегу саней. На стоянках Лип-Лип держался поближе к Мит-Са, Серому Бобру и Клу-Куч, не решаясь отойти от богов, потому что теперь клыки всех собак были направлены против него и он испытал на себе всю горечь вражды, которая приходилась раньше на долю Белого Клыка.

После падения Лип-Липа Белый Клык мог бы сделаться вожаком стаи, но он был слишком

угрюм и замкнут для этого. Товарищи по упряжке получали от него только одни укусы, в остальном он словно не замечал их. При встречах с ним они сворачивали в сторону, и ни одна, даже самая смелая, собака не решалась отнять у Белого Клыка его долю мяса. Напротив, они старались как можно скорее проглотить свою долю, боясь, как бы он не отнял ее. Белый Клык хорошо усвоил закон: притесняй слабого и подчиняйся сильному. Он торопливо съедал брошенный хозяином кусок, и тогда — горе той собаке, которая еще не кончила есть. Грозное рычание, оскаленные клыки — и ей оставалось только изливать свое негодование равнодушным звездам, пока Белый Клык доканчивал ее долю.

Время от времени го одна, то другая собака поднимала бунт против Белого Клыка, но он быстро усмирял их. Он ревниво оберегал свое обособленное положение в стае и нередко брал его с бою. Но такие схватки бывали непродолжительны. Собаки не могли тягаться с ним. Он наносил раны противнику, не дав ему опомниться, и собака истекала кровью, еще не успев как следует начать драку.

Белый Клык так же, как и боги, поддерживал среди своих собратьев суровую дисциплину. Он

не давал им никаких поблажек и требовал безграничного уважения к себе. Между собой собаки могли делать все что угодно. Это его не касалось. Белый Клык следил только за тем, чтобы собаки не посягали на его обособленность, уступали ему дорогу, когда он появлялся среди стаи, и признавали его господство над собой. Стоило какому-нибудь смельчаку принять воинственный вид, оскалить зубы или ощетиниться, как Белый Клык кидался на него и без всякой жалости доказывал ему ошибочность его поведения.

Он был свирепым тираном, он правил с железной непреклонностью. Слабые не знали пощады от него.

Жестокая борьба за существование, которую ему пришлось вести с раннего детства, когда вдвоем с матерью, одни, без всякой помощи, они бились за жизнь, преодолевая враждебность Северной глуши, не прошла бесследно. При встречах с сильнейшим противником Белый Клык вел себя смирно. Он угнетал слабого, но зато уважал сильного. И когда Серый Бобр встречал на своем долгом пути стоянки других людей, Белый Клык ходил между чужими взрослыми собаками тихо и осторожно.

Прошло несколько месяцев, а путешествие Се-

рого Бобра все еще продолжалось. Долгая дорога и усердная работа в упряжке укрепили силы Белого Клыка, и умственное развитие его, видимо, завершилось. Окружающий мир был познан им до конца. И он смотрел на него мрачно, не питая по отношению к нему никаких иллюзий. Мир этот был суров и жесток, в нем не существовало ни тепла, ни ласки, ни привязанностей.

Белый Клык не чувствовал привязанности даже к Серому Бобру. Правда, Серый Бобр был богом, но богом жестоким. Белый Клык охотно признавал его власть над собой, хотя власть эта основывалась на умственном превосходстве и на грубой силе. В натуре Белого Клыка было нечто такое, что шло навстречу этому господству, иначе он не вернулся бы из Северной глуши и не доказал бы этим своей верности богам. В нем таились еще никем не исследованные глубины. Добрым словом или ласковым прикосновением Серый Бобр мог бы проникнуть в эти глубины, но Серый Бобр никогда не ласкал Белого Клыка, не сказал ему ни одного доброго слова. Эи> было не и его обычае. Превосходство Серого Бобра основывалось на жестокости, и с такой же жестокостью он повелевал, отправляя правосудие при помощи палки, наказуя преступление физической болью

и воздавая по заслугам не лаской, а тем, что воздерживался от удара.

И Белый Клык не подозревал о том блаженстве, которым может наградить рука человека. Да он и не любил человеческих рук: в них было что-то подозрительное. Правда, иногда эти руки давали мясо, но чаще всего они ггричиняли боль. От них надо было держаться подальше, они швыряли камни, размахивали палками, дубинками, бичами, они могли бить и толкать, а если и прикасались, то лишь затем, чтобы ущипнуть, дернуть, вырвать клок шерсти. В чужих поселках он узнал, что детские руки тоже умеют причинять боль. Какой-то малыш однажды чуть не выколол ему глаз. После этого Белый Клык стал относиться к детям с большой подозрительностью. Он просто не пыносил их. Когда те подходили и протягивали к нему свои руки, не сулившие добра, он вставал и уходил.

В одном из поселков на берегу Большого Невольничьего озера Белому Клыку довелось уточнить преподанный ему Серым Бобром закон, согласно которому нападение на богов считается непростительным грехом. По обычаю всех собак во всех поселках, Белый Клык отправился на поиски пищи. Он увидел мальчика, который раз-

рубал топором мерзлую тушу лося. Кусочки мяса разлетались в разные стороны. Белый Клык остановился и стал подбирать их. Мальчик бросил топор и схватил увесистую дубинку. Белый Клык отскочил назад, еле успев увернуться от удара. Мальчик побежал за ним, и он, незнакомый с поселком, кинулся в проход между вигвамами и очутился в тупике перед высоким земляным валом.

Деваться было некуда. Мальчик загораживал единственный выход из тупика. Подняв дубинку, он сделал шаг вперед. Белый Клык рассвирепел. Его чувство справедливости было возмущено, он весь ощетинился и встретил мальчика грозным рычанием. Белый Клык хорошо знал закон: все остатки мяса, например, кусочки мерзлой туши лося, принадлежат собаке, которая их находит; он не сделал ничего дурного, не нарушил никакого закона, и все-таки мальчик собирался побить его. Белый Клык сам не знал, как это случилось. Он сделал это в припадке бешенства, и все произошло так быстро, что его противник тоже ничего не успел понять. Мальчик вдруг растянулся на снегу, а зубы Белого Клыка ггрокусили ему руку, державшую дубинку.

Но Белый Клык знал, что закон, установленный

богами, нарушен. Вонзивший зубы в священное тело одного из богов должен ждать самого страшного наказания. Он убежал под защиту Серого Бобра и сидел, съежившись, у его ног, когда укушенный мальчик и вся его семья явились требовать возмездия. Но они ушли ни с чем; Серый Бобр стал на защиту Белого Клыка. То же сделалали Мит-Са и Клу-Куч. Прислушиваясь к перебранке людей и наблюдая за тем, как они гневно машут руками, Белый Клык начинал понимать, что для его проступка есть оправдание. И таким образом он узнал, что боги бывают разные: они делятся на его богов и на богов чужих; и это далеко не одно и то же. От своих богов следует принимать все—и справедливость и несправедливость. Но он не обязан сносить несправедливость чужих богов, он вправе мстить за нее зубами. И это также было законом.

В тот же день Белый Клык познакомился с новым законом еще ближе. Собирая хворост в лесу, Мит-Са натолкнулся на компанию мальчиков, среди которых был и потерпевший. Произошла ссора. Мальчики набросились на Мит-Са. Ему приходилось плохо. Удары сыпались на него со всех сторон. Белый Клык сначала просто наблюдал за дракой — это дело богов, это его не

касается. Но потом он сообразил, что ведь бьют Мит-Са, одного из его собственных богов. И то, что он сделал вслед за этим, он сделал не рассуждая. Порыв бешеной ярости бросил его в самую середину свалки. Пять минут спустя мальчики разбежались с поля битвы, и многие из них оставили на снегу кровавые следы, говорившие о том, что зубы Белого Клыка не бездействовали. Когда Мит-Са рассказал в поселке о случившемся, Серый Бобр велел дать Белому Клыку мяса. Он велел дать ему много мяса. И Белый Клык, насытившись, лег у костра и заснул, твердо уверенный в том, что понял закон правильно.

Вслед за этим Белый Клык усвоил закон собственности и то, что собственность хозяина надо охранять. От защиты тела бога до защиты его имущества был один шаг, и Белый Клык этот шаг сделал. То, что принадлежало богу, следовало защищать от всего мира, не останавливаясь даже перед нападением на других богов. Но поступок этот, святотатственный сам по себе, всегда сопряжен с большой опасностью. Боги всемогущи, и собаке трудно тягаться с ними; и все-таки Белый Клык научился безбоязненно давать им отпор. Чувство дома побеждало в нем страх, и в конце концов вороватые боги решили оставить имуще-

ство Серого Бобра в покое.

Белый Клык скоро понял, что вороватые боги трусливы и, заслышав тревогу, сейчас же убегают. Кроме того (как он убедился на опыте), промежуток времени между поднятой тревогой и появлением Серого Бобра бывал обычно очень короткий. И он понял также, что вор убегает не потому, что боится его, Белого-Клыка, а потому, что боится Серого Бобра. Учуяв вора, Белый Клык не поднимал лая — да он и не умел лаять, — он кидался на непрошеного гостя и, если удавалось, впивался в него зубами. Угрюмость и необщительность помогли Белому Клыку стать надежным сторожем при хозяйском добре, и Серый Бобр всячески поощрял его в этом. И в конце концов Белый Клык стал еще злее, еще неукротимее и окончательно замкнулся в себе.

Месяцы шли один за другим, и время все больше и больше скрепляло договор между собакой и человеком. Этот договор еще в незапамятные времена был заключен первым волком, пришедшим из Северной глуши к человеку. И, подобно всем своим предшественникам — волкам и диким собакам, Белый Клык сам выработал условия этого договора. Они были очень просты. За поклонение божеству он отдал свою свободу. От бога

Белый Клык получил общение с ним, покровительство, корм и тепло. Взамен он сторожил его имущество, защищал его тело, работал на него и покорялся ему.

Если у тебя есть бог, ему надо служить. И Белый Клык служил своему богу, повинуясь чувству долга и благоговейного страха. Но он не любил его. Он не знал, что такое любовь, и никогда не испытывал этого чувства. Кичи стала далеким воспоминанием. Кроме того, отдавшись человеку, Белый Клык не только порвал с Северной глушью и со своими сородичами, но подчинился и такому условию договора, которое не позволило бы ему покинуть бога и пойти за Кичи, даже если бы он встретил ее. Преданность человеку стала законом для Белого Клыка, и закон этот был сильнее любви к свободе, сильнее кровных уз.

ГЛАВА ШЕСТАЯ
ГОЛОД

Весна была уже не за горами, когда длинное путешествие Серого Бобра кончилось. В один из апрельских дней Белый Клык, которому к этому времени исполнился год, снова вернулся в старый поселок, и там Мит-Са снял с него упряжь.

Хотя Белый Клык еще не достиг полной зрелости, все же после Лип-Липа он был самым крупным из годовалых щенков.

Унаследовав свой рост и силу от отца-волка и от Кичи, он почти сравнялся со взрослыми собаками, но уступал им в крепости сложения. Тело у него было поджарое и стройное; в драках он брал скорее увертливостью, чем силой; шкура серая, как у волка. И по виду он казался самым настоящим волком. Кровь собаки, перешедшая к нему от Кичи, не оставила следов на его внешнем облике, но характер его складывался не без ее участия.

Белый Клык бродил по поселку, с чувством спокойного удовлетворения узнавая богов, знакомых ему еще до путешествия. Встречал он здесь и щенят, тоже подросших за что время, и взрослых собак, которые теперь уже не казались ему такими большими и страшными. Белый Клык почти перестал бояться их и прогуливался среди своры с непринужденностью, доставлявшей ему на первых порах большое удовольствие.

Был здесь и старый седой Бэсик, которому раньше требовалось только оскалить зубы, чтобы прогнать Белого Клыка за тридевять земель. В прежние дни Бэсик не раз заставлял Белого

Клыка убеждаться в собственном ничтожестве, но теперь тот же Бэсик помог ему оценить происшедшие в нем самом перемены. Бэсик старел, дряхлел, а Белый Клык был молод, и сил у него прибывало с каждым днем.

Перемена во взаимоотношениях с собаками стала ясна Белому Клыку вскоре после возвращения в поселок. Люди разделывали тушу только что убитого лося. Он получил копыто с частью берцовой кости, на которой было довольно много мяса. Убежав от дерущихся собак подальше в лес, чтобы его никто не видел, Белый Клык принялся за свою добычу. И вдруг на него налетел Бэсик. Еще не успев как следует сообразить, в чем дело, Белый Клык дважды полоснул старого пса зубами и отскочил в сторону. Остолбенев от такой дерзкой и стремительной атаки, Бэсик бессмысленно уставился на Белого Клыка, а кость со свежим мясом лежала между ними.

Бэсик был стар и уже испытал на себе отвагу той самой молодежи, которую раньше ему ничего не стоило припугнуть. Как это ни было горько, но волей-неволей обиды приходилось глотать, призывая на помощь всю свою мудрость, чтобы не сплоховать перед молодыми собаками. В прежние дни справедливый гнев заставил бы

его кинуться на дерзновенного юнца, но теперь убывающие силы не позволяли отважиться на такой поступок. Весь ощетинившись, он грозно поглядывал на Белого Клыка, а тот, вспомнив свой былой страх, съежился, словно маленький щенок, и уже прикидывал мысленно, как бы ему отступить с возможно меньшим позором.

Тут-то Бэсик и совершил ошибку. Удовольствуйся он грозным и свирепым видом — все сошло бы хорошо. Приготовившийся к бегству Белый Клык отступил бы, оставив кость ему. Но Бэсик не захотел ждать. Решив, что победа осталась за ним, он сделал шаг вперед и понюхал кость. Белый Клык слегка ощетинился. Даже сейчас можно было спасти положение. Продолжай Бэсик стоять с высоко поднятой головой, грозно поглядывая на противника, Белый Клык в конце концов удрал бы. Но ноздри Бэсику щекотал запах свежего мяса, и, не удержавшись, он схватил кость.

Этого Белый Клык не смог перенести. Господство над товарищами по упряжке было еще свежо в его памяти, и он уже не мог совладать с собой, глядя, как другая собака пожирает принадлежащее ему мясо. По своему обыкновению он кинулся на Бэсика, не дав тому опомниться. После первого же укуса правое ухо у старого пса повисло

клочьями. Внезапность нападения ошеломила его. Но немедленно вслед за этим и с такой же внезапностью последовали еще более печальные события: Бэсик был сбит с ног, на шее его зияла рана. Не дав старику подняться, молодая собака дважды рванула его за плечо. Стремительность нападения была поистине ошеломляющей. Бэсик кинулся на Белого Клыка, но зубы его только яростно щелкнули в воздухе. В следующую же минуту нос у Бэсика оказался располосованным, и он, шатаясь, отступил прочь.

Положение круто изменилось. Над костью стоял грозно ощетинившийся Белый Клык, а Бэсик держался поодаль, готовясь в любую минуту отступить. Он не осмеливался затеять драку с молодым, быстрым, как молния, противником. И снова, с еще большей горечью, Бэсик почувствовал приближающуюся старость. Его попытка сохранить достоинство была поистине героической. Спокойно повернувшись спиной к молодой собаке и лежавшей на земле кости, как будто и то и другое совершенно не заслуживало внимания, он величественно удалился. И только тогда, когда Белый Клык уже не мог видеть его, Бэсик лег на землю и начал зализывать свои раны.

После этого случая Белый Клык окончательно

уверовал в себя и возгордился. Теперь он спокойно расхаживал среди взрослых собак, стал не так уступчив. Не то чтобы он искал поводов для ссоры, далеко нет, — он требовал внимания к себе. Он отстаивал свои права и не хотел отступать перед другими собаками. С ним приходилось считаться, вот и все. Никто не смел пренебрегать им. Это участь щенят, и мириться с такой участью приходилось всей упряжке, щенки сторонились взрослых собак, уступали им дорогу, а иногда были вынуждены отдавать им свою долю мяса. Но необщительный, одинокий, угрюмый, грозный, чуждающийся всех Белый Клык был принят как равный в среду взрослых собак. Они быстро поняли, что его надо оставить в покое, не объявляли ему войны и не делали попыток завязать с ним дружбу. Белый Клык платил им тем же, и после нескольких стычек собаки убедились, что такое положение дел устраивает всех как нельзя лучше.

В середине лета с Белым Клыком произошел неожиданный случай. Пробегая своей бесшумной рысцой в конец поселка, чтобы обследовать там новый вигвам, поставленный, пока он уходил с индейцами на охоту за лосем, Белый Клык наткнулся на Кичи. Он остановился и посмотрел на

нее. Он помнил мать смутно, все-таки помнил, а Кичи забыла сына. Грозно зарычав, она оскалила на него зубы, и Белый Клык вспомнил все. Детство и то, о чем говорило это рычание, предстало перед ним. До встречи с богами Кичи была для Белого Клыка центром вселенной. Старые чувства вернулись и овладели им. Он подскочил к матери, но она встретила его оскаленной пастью и распорола ему скулу до самой кости. Белый Клык не понял, что произошло, и растерянно попятился назад, ошеломленный таким приемом.

Но Кичи была не виновата. Волчицы забывают своих волчат, которым исполнился год или больше года. Гаки Кичи забыла Белого Клыка. Он был для нее незнакомцем, чужаком, и выводок, которым она обзавелась за это время, давал ей право враждебно относиться к таким незнакомцам.

Один из ее щенков подполз к Белому Клыку. Сами того не зная, они приходились друг другу сводными братьями. Белый Клык с любопытством обнюхал щенка, за что Кичи еще раз наскочила на него и располосовала ему морду. Белый Клык попятился еще дальше. Все старые воспоминания, воскресшие было в нем, снова умерли и превратились в прах. Он смотрел на Кичи, которая лизала своего детеныша и время

от времени поднимала голову и рычала. Теперь Кичи была не нужна Белому Клыку. Он научился обходиться без нее и забыл, чем она была дорога ему. В его мире не осталось места для Кичи, так же как и в ее мире не осталось места для Белого Клыка.

Воспоминаний как не бывало — он стоял растерянный, ошеломленный всем случившимся. И тут Кичи метнулась к нему в третий раз, прогоняя его с глаз долой. Белый Клык покорился. Кичи была самка, а по закону, установленному его породой, самцы не должны драться с самками. Он ничего не знал об этом законе, он постиг его не на основании жизненного опыта, — этот закон был подсказан ему инстинктом, тем самым инстинктом, который заставлял его выть на луну, на ночные звезды, бояться смерти и неизвестного.

Месяцы шли один за другим. Сил у Белого Клыка все прибавлялось, он становился крупнее, шире в плечах, а характер его развивался по тому пути, который предопределяли наследственность и окружающая среда. Белый Клык был создан из материала, мягкого, как глина, и таившего в себе много всяких возможностей. Среда лепила из этой глины все, что ей было угодно, придавая ей любую форму. Так, не подойди Белый Клык на

огонь, зажженный человеком, Северная глушь сделала бы из него настоящего волка. Но боги даровали ему другую среду, и из Белого Клыка получилась собака, в которой было много волчьего, и все-таки это была собака, а не волк.

И вот под влиянием окружающей обстановки податливый материал, из которого был сделан Белый Клык, принял определенную форму. Это было неизбежно. Он становился все угрюмее, злее, он сторонился своих собратьев. И они поняли, что с ним лучше жить в мире, чем враждовать, а Серый Бобр день ото дня все больше и больше ценил его.

Но возмужалость не освободила Белого Клыка от одной слабости: он не терпел, когда над ним смеялись. Человеческий смех выводил его из себя. Люди могли смеяться между собой над чем угодно, и он не обращал на это внимания. Но стоило кому-нибудь засмеяться над ним, как он приходил в ярость: степенная, полная достоинства собака неистовствовала до нелепости. Смех так озлоблял ее, что она превращалась в сущего дьявола. И горе тем щенкам, которые попадались Белому Клыку в эти минуты! Он слишком хорошо знал закон, чтобы вымещать злобу на Сером Бобре; Серому Бобру помогали палка и ум, а у щенков

не было ничего, кроме открытого пространства, которое и спасало их, когда перед ними появлялся Белый Клык, доведенный смехом до бешенства.

Когда Белому Клыку пошел третий год, индейцев, живших на реке Маккензи, постиг голод. Летом не ловилась рыба. Зимой олени ушли со своих обычных мест. Лоси попадались редко, зайцы почти исчезли. Хищные животные гибли. Изголодавшись, ослабев от голода, они стали пожирать друг друга. Выживали только сильные. Боги Белого Клыка всегда промышляли охотой. Старые и слабые среди них умирали один за другим. В поселке стоял плач. Женщины и дети уступали свою жалкую долю еды отощавшим, осунувшимся охотникам, которые рыскали по лесу в тщетных поисках дичи.

Голод довел богов до такой крайности, что они ели мокасины и рукавицы из сыромятной кожи, а собаки съедали свою упряжь и даже бичи. Кроме того, собаки ели друг друга, а боги ели собак. Сначала покончили с самыми слабыми и менее ценными. Собаки, оставшиеся в живых, видели все это и понимали, что их ждет такая же участь. Те, что были посмелее и поумнее, покинули костры, разведенные человеком, около которых теперь шла бойня, и убежали в лес, где их ждала

голодная смерть или волчьи зубы.

В это тяжелое время Белый Клык тоже убежал в лес. Он был более приспособлен к жизни, чем другие собаки,— сказывалась школа, пройденная в детстве. Особенно искусно выслеживал он маленьких зверьков. Он мог часами следить за каждым движением осторожной белки и ждать, когда она решится слезть с дерева на землю; при этом он проявлял такое громадное терпение, которое ни в чем не уступало мучившему его голоду. Белый Клык никогда не торопился. Он выжидал до тех пор, пока можно было действовать наверняка, не боясь, что белка опять удерет на дерево. Тогда, и только тогда, Белый Клык с молниеносной быстротой выскакивал из своей засады, как снаряд, никогда не пролетающий мимо намеченной цели — мимо белки, которую не могли спасти ее быстрые ноги.

Но хотя охота на белок обычно кончалась удачей, одно обстоятельство мешало Белому Клыку наедаться досыта: белки попадались редко, и ему волей-неволей приходилось охотиться на более мелкую дичь. По временам голод так мучил его, что он не останавливался даже перед тем, чтобы выкапывать мышей из норок. Не погнушался он и вступить в бой с лаской, такой же голодной, как

он сам, но в тысячу раз более свирепой.

Когда голод донимал Белого Клыка особенно жестоко, он подкрадывался поближе к кострам богов, но вплотную к ним не подходил. Он бегал по лесу, избегая встреч с богами, и обкрадывал силки, когда в них изредка попадалась дичь. Однажды он даже обворовал силок на зайца, поставленный Серым Бобром, а Серый Бобр в это время шел, пошатываясь, по лесу и то и дело садился отдыхать, еле переводя дух от слабости.

Как-то раз Белый Клык наткнулся на молодого волка, изможденного и еле державшегося на ногах. Если бы Белый Клык не был так голоден, он, вероятно, отправился бы дальше с ним и в конце концов примкнул бы к волчьей стае, но сейчас ему не оставалось ничего другого, как погнаться за волком, задрать и съесть его.

Судьба, казалось, благоприятствовала Белому Клыку. Всякий раз, когда недостаток в пище ощущался особенно остро, он находил какую-нибудь добычу. Счастье не изменило ему даже в те дни, когда сил совсем не стало, — ни разу за это время он не попался на глаза более крупным хищникам. Однажды, подкрепившись рысью, которой хватило на целых два дня, Белый Клык встретился с волчьей стаей. Началась долгая, жестокая пого-

ня, но Белый Клык был крепче волков и в конце концов убежал от них. И не только убежал, а описал большой круг и, вернувшись назад, напал на одного из своих изможденных преследователей.

Вскоре Белый Клык покинул эти места и отправился в долину, на свою родину. Разыскав прежнее логовище, он встретил там Кичи. Кичи тоже покинула негостеприимные костры богов и, как только ей пришла пора щениться, вернулась в пещеру. К тому времени, когда около пещеры появился Белый Клык, из всего выводка Кичи остался лишь один волчонок, но и он доживал последние дни,— молодой жизни трудно было уцелеть в такой голод.

Прием, который Кичи оказала своему взрослому сыну, нельзя было назвать теплым. Но Белый Клык отнесся к этому равнодушно. Не нуждаясь больше в матери, он невозмутимо отвернулся от нее и побежал вверх по ручью. На левом его рукаве Белый Клык нашел логовище рыси, с которой некогда ему пришлось сразиться вместе с матерью. Здесь, в заброшенной норе, он лег и отдыхал весь день.

Ранним летом, когда голодовка уже подходила к концу, Белый Клык встретил Лип-Липа, который, так же как и он, убежал в лес и влачил там

жалкое существование. Белый Клык встретил его совершенно неожиданно. Огибая с противоположных сторон выступ крутого берега, они одновременно выбежали из-за высокой скалы и столкнулись нос к носу. Оба замерли, испуганные такой встречей, и уставились друг на друга.

Белый Клык был в прекрасном состоянии. Всю эту неделю он очень удачно охотился и ел много, а последней своей добычей был сыт до отвала. Но стоило ему только увидеть Лип-Липа, как шерсть у него на спине встала дыбом. Он ощетинился совершенно непроизвольно — это внешнее проявление злобы в прошлом сопутствовало каждой встрече с забиякой Лип-Липом. Гак было и теперь: завидев своего врага. Белый Клык ощетинился и зарычал на него. Ни одна минута не пропала даром. Вес было сделано быстро, в одно мгновение. Лип-Лип попятился назад, но Белый Клык сшибся с ним плечо к плечу, сбил его с ног, опрокинул на спину и впился зубами в его жилистую шею. Лип-Лип бился в предсмертных судорогах, а Белый Клык похаживал вокруг, не сводя с него глаз. Затем он снова пустился в путь и исчез за крутым поворотом берега.

Вскоре после этого Белый Клык выбежал на опушку леса и по узкой прогалине спустился к

реке Маккензи. Он забегал сюда и раньше, но тогда на этом берегу было пусто, а сейчас тут виднелся поселок. Белый Клык остановился и, не выходя из-за деревьев, стал осматриваться. Звуки и запахи показались ему знакомыми. Это был старый поселок, перебравшийся на другое место, но в его звуках и запахах чувствовалось что-то новое. Не слышно было ни воя, ни плача. Эти звуки творили о довольстве. И когда Белый Клык услышал сердитый женский голос, он понял, что так сердиться можно только на сытый желудок. В воздухе пахло рыбой — значит, в поселке была пища. Голод кончился. Он смело вышел из лесу и побежал прямо к хозяйскому вигваму. Самого хозяина не было дома, но Клу-Куч встретила Белого Клыка радостными криками, дала ему целую свежую рыбину, и он лег и стал ждать возвращения Серого Бобра.

Часть четвертая
ГЛАВА ПЕРВАЯ
ВРАГ

Если в натуре Белого Клыка была заложена хоть малейшая возможность сблизиться с представителями его породы, то возможность эта безвозвратно погибла нос ле того, как он стал вожаком упряжки. Собаки возненавидели его; возненавидели за то, что Мит-Са подкидывал ему лишний кусок мяса; возненавидели за все те действительные и воображаемые преимущества, которыми он пользовался; возненавидели за то, что он всегда бежал в голове упряжки, доводя их до бешенства одним видом своего пушистого хвоста и быстро мелькающих ног.

И Белый Клык проникся к собакам точно такой же острой ненавистью. Роль вожака не доставляла ему ни малейшего удовольствия. Он через силу мирился с тем, что ему приходится убегать от заливающихся лаем собак, которые в течение трех лет находились под его властью. Но с этим надо было мириться, иначе ему грозила гибель, а жизни, бившей в нем ключом, гибнуть не хо-

телось. Лишь только Мит-Са трогал с места, вся упряжка с яростным лаем кидалась в погоню за Белым Клыком.

Защищаться он не мог: стоило ему повернуть голову к собакам, как Мит-Са хлестал его по морде бичом. Белому Клыку не оставалось ничего другого, как мчаться вперед. Отражать хвостом и задними ногами нападение неси завывающей своры он не мог, — таким оружием нельзя обороняться против множества безжалостных клыков. И Белый Клык несся вскачь, каждым прыжком насилуя свою природу и унижая свою гордость, а бежать гак приходилось целый день.

Такое насилие над собой не проходит безнаказанно. Если волос, выросший на теле, заставить расти в глубь кожи, он будет причинять мучительную боль. То же самое происходило и с Белым Клыком. Всем своим существом он стремился разделаться с собаками, преследующими его по пятам, но волю богов нарушать было нельзя, тем более что воля их подкреплялась ударами тридцатифутового бича, свитого из оленьих кишок. И Белый Клык терпел все это, затаив в себе такую ненависть и злобу, на какую только был способен его свирепый и неукротимый нрав.

Если какое-нибудь живое существо и можно

было назвать врагом своих собратьев, то это относилось именно к Белому Клыку. Он никогда не просил пощады, и сам никого не щадил. Раны и шрамы не сходили у него с тела, а собаки, в свою очередь, не расставались с отметинами его зубов. В противоположность многим вожакам, кидавшимся под защиту богов, как только собак распрягали, Белый Клык пренебрегал такой защитой. Он безбоязненно разгуливал по стоянке, ночью расправляясь с собаками за все то, что приходилось терпеть от них днем. В те времена, когда Белый Клык еще не был вожаком, его теперешние товарищи по упряжке обычно старались не попадаться ему на дороге. Теперь положение изменилось. Погоня, длившаяся с утра и до вечера, сознание, что весь день Белый Клык убегал от них, находился в их власти, — все это не позволяло собакам отступать перед ним. Стоило ему появиться среди стаи, сейчас же начиналась драка. Его прогулки по стоянке сопровождались рычанием, грызней, визгом. Самый воздух, которым он дышал, был насыщен ненавистью и злобой, и это лишь усиливало ненависть и злобу в нем самом.

Когда Мит-Са приказывал упряжке остановиться, Белый Клык слушался его окрика. На первых

порах эта остановка вызывала замешательство среди собак, все они набрасывались на ненавистного вожака. Но тут дело принимало совсем другой оборот: размахивая бичом, на помощь Белому Клыку приходил Мит-Са. И собаки поняли наконец, что, если сани останавливаются по приказанию Мит-Са, вожака лучше не трогать. Но если Белый Клык останавливался самовольно, значит, над ним можно было чинить расправу.

Вскоре Белый Клык перестал останавливаться без приказания. Такие уроки усваиваются быстро. Да Белый Клык и не мог не усваивать их, иначе он не выжил бы в той суровой среде, которую уготовила ему жизнь.

Но для собак эти уроки пропадали даром — они не оставляли его в покое на стоянках. Дневная погоня и яростный лай, в который упряжка вкладывала всю свою ненависть к вожаку, заставляли ее забывать то, что было предыдущей ночью; на следующую ночь урок повторялся, но к утру от него не оставалось и следа. Кроме того, вражду собак к Белому Клыку питало еще одно немаловажное обстоятельство: они чувствовали в нем иную породу, и этого было вполне достаточно, чтобы противопоставить их друг другу.

Так же как и Белый Клык, все они были приру-

ченные волки, но за ними стояло уже несколько прирученных поколений. Многое, чем наделяет волка Северная глушь, было уже утеряно, и для собак в Северной глуши таилась лишь неизвестность, вечная угроза и вечная вражда. Но внешность Белого Клыка, все его повадки и инстинкты говорили о крепкой связи с Северной глушью; он был символом и олицетворением ее. И поэтому, скаля на него зубы, собаки тем самым охраняли себя от гибели, таившейся в сумраке лесов и во тьме, со всех сторон обступавшей костры человека.

Впрочем, один урок собаки заучили твердо: надо держаться вместе. Белый Клык был слишком опасным противником, и никто не решался встретиться с ним один на один. Собаки нападали на него всей сворой, иначе он разделался бы с ними за одну ночь. И Белому Клыку не удавалось разделаться ни с одним из своих врагов. Он сбивал противника с ног, но стая сейчас же набрасывалась на него, не давая ему прокусить собаке горло. При малейшем намеке на ссору вся упряжка дружно ополчалась на своего вожака. Собаки постоянно грызлись между собой, но стоило только кому-нибудь из них затеять драку с Белым Клыком, как все прочие ссоры мигом

забывались.

Однако загрызть Белого Клыка они не могли при всем свезем старании. Он был слишком подвижен для них, слишком грозен и умен. Он избегал тех мест, где можно было попасть в ловушку, и всегда ускользал, когда свора старалась окружить его кольцом. А о том, чтобы сбить Белого Клыка с ног, не могла помышлять ни одна собака. Ноги его с таким же упорством цеплялись за землю, с каким сам он цеплялся за жизнь. И поэтому в той нескончаемой войне, которую Белый Клык вел со стаей, сохранить жизнь и удержаться на ногах — были для него понятия равнозначные, и никто не знал этого лучше, чем он сам.

Итак, Белый Клык стал непримиримым врагом своим собратьев — врагом волков, которые пригрелись у костра, разведенного человеком, и изнежились под спасительною сенью человеческого могущества. Таким сделала его жизнь. Он объявил кровную месть всем собакам и мстил так жестоко, что даже Серый Бобр, в котором было достаточно ярости и дикости, не мот надивиться злобе Белого Клыка. «Нет другой такой собаки!» — говорил Серый Бобр. И индейцы из чужих поселков подтверждали его слова, вспоминая, как Белый Клык расправлялся с их собаками.

Белому Клыку было около пяти лет, когда Серый Бобр снова взял его с собой в длинное путешествие, и в поселках у Скалистых Гор, вдоль рек Маккензи и Поркьюпайн, вплоть до самого Юкона, долго помнили расправы Белого Клыка с собаками. Он упивался своей местью. Чужие собаки не ждали от него ничего плохого, им не приходилось встречаться с противником, который нападал бы так внезапно. Они не знали, что имеют дело с врагом, убивающим, как молния, с одного удара. Собаки В чужих поселках подходили к Белому Клыку с вызывающим видом, а он, не теряя времени на предварительные церемонии, кидался на них стремительно, словно развернувшаяся стальная пружина, хватал за горло и убивал противника, не дав ему опомниться от изумления.

Белый Клык стал опытным бойцом. Он дрался расчетливо, никогда не тратил сил понапрасну, не затягивал борьбы. Он налетал и, если случалось промахнуться, сейчас же отскакивал назад. Как и все волки. Белый Клык избегал длительного соприкосновения с противником. Он не выносил этого. Такое соприкосновение — таило в себе опасность и приводило его в бешенство. Он хотел быть свободным, хотел твердо держаться

на ногах. Северная глушь не выпускала Белого Клыка из своих цепких объятий и утверждала свою власть над ним. Отчужденность с самого раннего детства от общества ему подобных только усилила в нем это стремление к свободе. Непосредственная близость к противнику таила в себе какую-то угрозу, Белый Клык подозревал здесь ловушку, и страх перед этой ловушкой не покидал его.

Чужие собаки не могли тягаться с ним. Белый Клык увертывался от их клыков; он расправлялся с ними и убегал невредимый. Правда, нет правила без исключения. Бывало и так, что на Белого Клыка налетало сразу несколько противников и он не успевал убежать от них, а иногда ему здорово влетало и от какой-нибудь одной собаки. Но это случалось редко. Белый Клык стал таким искусным бойцом, что выходил с честью почти из всех драк.

Он обладал еще одним достоинством — умением правильно рассчитывать время и расстояние. Делалось это, разумеется, совершенно бессознательно. Просто его никогда не подводило зрение, и весь его организм, слаженный лучше, чем у других собак, работал точно и быстро; координация сил умственных и физических была совершеннее,

чем у них. Когда зрительные нервы передавали мозгу Белого Клыка движущееся изображение, его моя без всякого усилия определял пространство и время, необходимое для того, чтобы это движение завершилось. Таким образом, он мог увернуться от прыжка собаки или от ее клыков и в то же время использовать каждую секунду, чтобы самому броситься на противника. Но воздавать ему хвалу за это не следует,— природа одарила его более щедро, чем других, вот и все.

Было лето, когда Белый Клык попал в форт Юкон. В конце зимы Серый Бобр пересек водораздел между Маккензи и Юконом и всю весну проохотился на западных отрогах Скалистых Гор. А когда река Поркьюпайн очистилась ото льда, Серый Бобр сделал пирогу и спустился вниз по ней к месту слияния ее с Юконом, как раз под самым Полярным кругом. Здесь стоял форт Компании Гудзонова залива. В форте было мною индейцев, много съестных припасов, — повсюду царило небывалое оживление. Было лето 1898 года, и золотоискатели тысячами двигались вверх по Юкону, к Доусону и на Клондайк. До цели путешествия им оставались еще сотни миль, а между тем многие из них находились в нуги уже год; меньше пяти тысяч миль не сделал никто, а

некоторые приехали сюда с другого конца света.

В форте Юкон Серый Бобр сделал остановку. Слухи о золотой лихорадке достигли и его ушей, и он привез с собой несколько тюков с мехами и один тюк с рукавицами и мокасинами. Серый Бобр никогда не отважился бы пуститься в такой далекий путь, если б его не привлекла сюда надежда на большую наживу. Но то, что Серый Бобр увидел здесь, превзошло все его ожидания. В самых своих безудержных мечтах он рассчитывал выручить от продажи мехов сто процентов, а убедился, ЧТО можно выручить и тысячу. И, как истинный индеец, Серый Бобр принялся за дело не спеша, решив просидеть здесь хоть до осени, только бы не просчитаться и не продешевить.

В форте Юкон Белый Клык впервые увидел белых людей. Рядом с индейцами они казались ему существами другой породы — богами, власть которых опиралась на еще большее могущество. Эта уверенность пришла к Белому Клыку сама собой; ему не надо было напрягать свои мыслительные способности, чтобы убедиться в могуществе белых богов. Он только чувствовал его, но чувствовал с необычайной силой. Вигвамы, построенные индейцами, казались ему когда-то свидетельством величия человека, а

теперь его поражал громадный форт и дома из толстых бревен. Все это говорило о могуществе. Белые боги обладали силой. Власть их простиралась дальше власти прежних богов Белого Клыка, среди которых самым могущественным существом был Серый Бобр. Но и Серый Бобр казался ничтожеством по сравнению с белокожими богами.

Разумеется, Белый Клык только чувствовал все это и не отдавал себе ясного отчета в своих ощущениях. Но животные действуют чаще всего на основании именно таких ощущений; и каждый поступок Белого Клыка объяснялся теперь уверенностью в могуществе белых богов. Он относился к ним с большой опаской. Кто знает, какого неведомого ужаса и какой новой беды можно ждать от них? Белый Клык с любопытством наблюдал за белыми богами, но боялся попадаться им на пути. Первые несколько часов он довольствовался чем, что настороженно следил за ними издали, но потом, увидев, что белые боги не причиняют никакого вреда своим собакам, подошел поближе.

В свою очередь, Белый Клык привлекал к себе всеобщее внимание: его сходство с волком сразу же бросалось в глаза, и люди показывали на него

друг другу пальцами. Это заставило Белого Клыка насторожиться. Лишь только кто-нибудь подходил к нему, он скалил зубы и отбегал в сторону. Людям так и не удавалось дотронуться до него рукой — и хорошо, что не удавалось.

Вскоре Белый Клык узнал, что очень немногие из этих богов — всего человек десять — постоянно живут в форте. Каждые два-три дня к берегу приставал пароход (еще одно великое доказательство всемогущества белых людей) и по нескольку часов стоял у причала. Боги приезжали и снова уезжали на пароходах. Казалось, людям этим нет числа. В первые же два дня Белый Клык увидел их столько, сколько не видел индейцев за всю свою жизнь. И каждый день они приезжали, ходили по форту и снова уезжали вверх по реке.

Но если белые боги были всемогущи, то собаки их ничего не стоили. Белый Клык быстро убедился в этом, столкнувшись с теми, что сходили на берег вместе со своими хозяевами. Вес они были не похожи одна на другую. У одних были короткие, слишком короткие ноги; у других — длинные, слишком длинные. Вместо густого меха их покрывала короткая шерсть, а у некоторых и шерсти почти не было. И ни одна из этих собак не умела драться.

Питая ненависть ко всей своей породе, Белый Клык считал себя обязанным вступать в драку и с этими собаками. После нескольких стычек он проникся к ним глубочайшим презрением: они оказались неуклюжими, беспомощными и старались одолеть Белого Клыка одной силой, тогда как он брал сноровкой и хитростью. Собаки кидались на него с лаем. Белый Клык прыгал в сторону. Они теряли его из виду, и тогда он налетал на них сбоку, сбивал плечом с ног и вцеплялся им в горло.

Часто укус этот бывал смертельным, и его противник бился в грязи под ногами индейских собак, которые только и ждали той минуты, когда можно будет броситься всей стаей и разорвать чужака на куски. Белый Клык был мудр. Он уже давно знал, что боги гневаются, когда кто-нибудь убивает их собак. Белые боги не составляли исключения. Поэтому, свалив противника с ног и прокусив ему горло, он отбегал в сторону и позволял стае доканчивать начатое им дело. В это нремя белые люди подбегали и обрушивали свой гнев на стаю, а Белый Клык выходил сухим из воды. Обычно он стоял в стороне и наблюдал, как его собратьев бьют камнями, палками, топорами и всем, что только попадалось людям под руку.

Белый Клык был мудр.

Но ею собратья тоже кое-чему научились: они поняли, что самая потеха начинается в ту минуту, когда пароход пристает к берегу. Вот собаки сбежали с парохода, и две-три из них мгновенно оказались растерзанными. Тогда люди загоняют остальных обратно и принимаются за жестокую расправу. Однажды белый человек, на глазах у которого разорвали его сеттера, выхватил револьвер. Он выстрелил шесть раз подряд, и шесть собак из стаи повалились замертво. Это было еще одно проявление могущества белых людей, надолго запомнившееся Белому Клыку.

Белый Клык упивался всем этим, он не жалел своих собратьев, а сам ухитрялся оставаться в таких стычках невредимым. На первых порах драки с собаками белых людей просто развлекали его, потом он принялся за это по-настоящему. Другого дела у него не было. Серый Бобр занялся торговлей, богател. И Белый Клык слонялся по пристани, поджидая вместе со сворой беспутных индейских собак прибытия пароходов. Как только пароход причаливал к берегу, начиналась потеха. К тому времени, когда белые люди приходили в себя от неожиданности, собачья свора разбегалась в разные стороны и ожидала

следующего парохода.

Однако Белого Клыка нельзя было считать членом собачьей своры. Он не смешивался с ней, держался В стороне, никогда не терял своей независимости, и собаки даже побаивались его. Правда, он действовал с ними заодно. Он затевал ссору с чужаком и сбивал его с ног. Тогда собаки кидались и приканчивали чужака, а Белый Клык сейчас же удирал, предоставляя своре получать наказание от разгневанных богов.

Для того чтобы затеять такую ссору, не требовалось большого труда. Белому Клыку стоило только показаться на пристани, когда чужие собаки сходили на берег, — и этого было достаточно, они кидались на него. Так повелевал им инстинкт. Собаки чуяли в Белом Клыке Северную глушь, неизвестное, ужас, вечную угрозу; чуяли в нем то, что ходило, крадучись, во мраке, окружающем человеческие костры, когда они, подобравшись к этим кострам, отказывались от своих прежних инстинктов и боялись Северной глуши, покинутой и преданной ими. От поколения к поколению передавался собакам этот страх перед Северной глушью. Северная глушь грозила гибелью, но их повелители дали им право убивать все живое, что приходит оттуда. И, воспользовавшись этим

правом, они защищали себя и богов, допустивших их в свое общество.

И поэтому выходцам с Юга, сбепжшим по сходням на берег Юкона, достаточно было увидеть Белого Клыка, чтобы почувствовать непреодолимое желание кинуться и растерзать его. Среди приезжих собак попадались и городские, но инстинктивный страх перед Северной глушью сохранился и в них. На представшего перед ними средь бела дня зверя, похожего на волка, они смотрели не только своими глазами, — они смотрели на Белого Клыка глазами предков, и память, унаследованная от всех предыдущих поколений, подсказывала им, что перед ними стоит волк, к которому порода их питает извечную вражду.

Все это доставляло удовольствие Белому Клыку. Если одним своим видом он заставляет собак кидаться в драку, тем лучше для него и тем хуже для них. Они чуяли в Белом Клыке свою законную добычу, и точно гак же относился к ним и он.

Недаром Белый Клык впервые увидел дневной свет в уединенном логовище и в первых же своих битвах имел таких противников, как белая куропатка, ласка и рысь. И недаром его раннее детство было омрачено враждой с Лип-Липом и со всей стаей молодых собак. Сложись его жизнь

по-иному — и он сам был бы иным. Не будь в поселке Лип-Липа, Белый Клык подружился бы с другими щенками, был бы больше; похож на собаку и с большей терпимое чью относился бы к своим собратьям. Будь Серый Бобр мягче и добрее, он сумел бы пробудить в нем чувство привязанности и любви. Но все сложилось по-иному. Жизнь круто обошлась с Белым Клыком, и он стал угрюмым, замкнутым, злобным зверем — врагом своих собратьев.

ГЛАВА ВТОРАЯ
СУМАСШЕДШИЙ БОГ

Белых людей в форте Юкон было немного. Все они уже давно жили здесь, называли себя «кислым тестом» и очень гордились этим. Тех, кто приезжал сюда из других мест, старожилы презирали. Люди, сходившие с парохода на берег, были новичками и назывались «чечако». Новички сильно недолюбливали свое прозвище. Они замешивали тесто на сухих дрожжах, и это проводило резкую грань между ними и старожилами, которые ставили хлеб на закваске, потому что дрожжей у них не было.

Но все это — между прочим. Жители форта

презирали приезжих и радовались всякий раз, когда у тех случалась какая-нибудь неприятность. Особенное удовольствие доставляли им расправы Белого Клыка и всей бесчинствующей своры с чужими собаками. Как только пароход подходил, старожилы форта спешили на берег, чтобы не прозевать потехи. Они предвкушали развлечение не меньше индейских собак и, конечно, сейчас же оценили ту роль, какую играл в этих драках Белый Клык.

Но был среди старожилов один человек, которому эта забава доставляла особенное удовольствие. Заслышав гудок приближающегося парохода, он со всех ног пускался к берегу, а когда драка заканчивалась и свора собак разбегалась в разные стороны, человек этот медленно уходил с пристани, всем своим видом выражая глубокое сожаление. Часто, когда изнеженная южная собака с предсмертным воем падала на землю и погибала, раздираемая на клочки налетевшей на нее сворой, человек этот кричал и прыгал от восторга. И каждый раз он завистливо поглядывал на Белого Клыка.

Старожилы форта прозвали этого человека «Красавчиком». Настоящего его имени никто не знал, и в здешних местах он был известен как

Красавчик Смит. Правда, красивого в нем было мало; поэтому, вероятно, ему и дали такое прозвище. Он был на редкость уродлив. Создавая его, природа поскупилась. Он был низкорослый, а на его щуплом теле сидела неправильной формы, удлиненная голова. В детстве, еще до того как за ним укрепилось новое прозвище, «Красавчик», сверстники звали его «Гвоздиком».

Затылок у Смита был совершенно приплюснутый, лоб низкий и несуразно широкий. А потом природа вдруг расщедрилась и наделила Красавчика Смита вылупленными глазами, к тому же расставленными так широко, что между ними могла бы поместиться еще одна пара глаз. Чтобы как-нибудь заполнить оставшееся свободное пространство, природа дала ему тяжелую нижнюю челюсть, которая выдавалась вперед и чуть ли не лежала у него на груди, а может быть, это только так казалось, ибо шея у Красавчика Смита была слишком тонка для такой громоздкой ноши.

Нижняя челюсть придавала его лицу выражение свирепой решительности, но в эту решительность как-то не верилось, — возможно, потому, что челюсть была слишком уж велика и массивна. Другими словами, никакой решительности в натуре Красавчика Смита не было и в помине.

Он слыл повсюду за презренного, жалкого труса. Для полноты картины следует упомянуть, что зубы у него были длинные и желтые, а оба клыка вылезали наружу из-под тонких губ. На глаза у природы, видимо, не хватило краски, она соскребла для них все остатки со своей палитры — и получилось нечто мутно-желтое. То же самое можно сказать и про жидкие волосы, которые клочьями торчали у него на голове и на скулах, напоминая растрепанный ветром сноп соломы.

Короче говоря, Красавчик Смит был урод, но винить в этом его самого не следует. Таким уж человек появился на свет божий. Он стряпал на жителей форта, мыл посуду и исполнял всякую черную работу. В форте к нему относились терпимо и даже снисходительно, как к существу, которому не повезло в жизни. Кроме того, Красавчика Смита побаивались. От такого злобного труса можно было получить и пулю в спину и стакан кофе с отравой. Но ведь кому-нибудь нужно было заниматься стряпней, а Красавчик Смит, несмотря на все его недостатки, знал свое дело.

Таков был человек, который восхищался отчаянной удалью Белого Клыка и мечтал завладеть им. Красавчик Смит начал заигрывать с Белым Клыком. Тот не обращал на это никакого вни-

мания. Когда заигрывания стали настойчивее, Белый Клык скалил на Красавчика Смита зубы, ощетинивался и убегал. Этот человек не нравился ему. Белый Клык чуял в нем что-то злое и ненавидел его, боясь его протянутой руки и вкрадчивого голоса.

Добро и зло воспринимаются простым существом очень просто. Добро есть нее то, что прекращает боль, что несет с собой свободу и удовлетворение. Поэтому добро приятно. Зло же ненавистно, потому что оно приносит беспокойство, опасность, страдание. Как над гнилым болотом поднимается туман, так и от уродливого тела и грязной душонки Красавчика Смита веяло чем-то дурным, нездоровым. Бессознательно, словно с помощью шестого чувства, Белый Клык угадывал, что этот человек таит в себе зло, грозит гибелью и что его надо ненавидеть.

Белый Клык был дома, когда Красавчик Смит впервые зашел на стоянку Серого Бобра. Еще задолго до появления Красавчика Смита, по одному звуку ею шагов, Белый Клык понял, кто идет к ним, и ощетинился. Хоть ему было и очень удобно лежать, но лишь только этот человек подошел ближе, он сейчас же поднялся и бесшумно, как настоящий волк, отбежал в сторону. Белый Клык

не знал, о чем шел разговор с этим человеком у Серою Бобра, он видел только, что хозяин разговаривает с ним. Во время беседы Красавчик Смит показал на Белою Клыка пальцем, и тот зарычал, как будто эта рука была не на расстоянии пятидесяти футов от него, а опускалась ему на спину. Красавчик Смит захохотал, и Белый Клык решил скрыться в лес и, убегая, все оглядывался назад, на разговаривавших людей.

Серый Бобр отказался продать собаку. Он разбогател, у него все есть. Кроме того, лучшей ездовой собаки и лучшего вожака нигде не сыщешь — ни на Маккензи, ни на Юконе. Белый Клык мастер драться. Разорвать собаку ему ничего не стоит — все равно что человеку прихлопнуть комара. (Глаза у Красавчика Смита заблестели при этих словах, и он с жадностью облизал свои тонкие губы.) Нет, Серый Бобр ни за какие деньги не продаст Белого Клыка.

Но Красавчик Смит хорошо знал индейцев. Он стал часто наведываться к Серому Бобру и каждый раз приносил за пазухой бутылку. Виски обладает одним могучим свойством — оно возбуждает жажду. И такая жажда появилась у Серого Ковра. Его нутро требовало все больше и больше этой жгучей жидкости, и, потеряв с

непривычки к ней власть над собой, он был готов на что угодно, лишь бы раздобыть эту жидкость. Деньги, вырученные от продажи мехов, рукавиц и мокасин, начали таять. Их становилось все меньше и меньше, и чем больше пустел мешок, в котором они хранились у Серого Бобра, тем он становился беспокойнее.

Наконец все ушло — и деньги, и товары, и спокойствие. У Серого Бобра осталась только жажда, которая росла с каждой минутой. И тогда Красавчик Смит снова завел речь о продаже Белого Клыка; но на этот раз цена определялась уже не долларами, а бутылками виски, и Серый Бобр прислушался к предложению более внимательно.

— Сумеешь поймать — собака твоя, — было его последнее слово.

Бутылки перешли к нему, но через два дня Красавчик Смит сам сказал Серому Бобру:

— Поймай собаку.

Вернувшись как-то вечером домой, Белый Клык со вздохом облегчения улегся около вигвама. Страшного белого бога не было. За последние дни он все больше и больше приставал к Белому Клыку, и тот предпочел на это время совсем уйти из дому. Он не знал, какую опасность таят в себе

руки этого человека, он только чуял что-то недоброе и решил держаться от них подальше.

Как только Белый Клык улегся, Серый Бобр, пошатываясь, подошел к нему и обвязал ремень вокруг его шеи. Потом Серый Бобр сел рядом с Белым Клыком, держа в одной руке конец ремня. В другой он держал бутылку и то и дело прикладывался к ней, и тогда Белый Клык слышал бульканье.

Так прошел час, и вдруг до ушей Белого Клыка донес лист, звуки чьих-то шагов. Он различил их первый и, догадавшись, кто идет, весь ощетинился. Серый Бобр сидел и клевал носом. Белый Клык осторожно потянул ремень из рук хозяина, но ослабевшие пальцы сжались крепче, и Серый Бобр проснулся.

Красавчик Смит подошел к вигваму и остановился рядом с Белым Клыком. Тот глухо зарычал на это страшное существо, не сводя глаз с его рук. Одна рука вытянулась вперед и стала упускаться над его головой. Белый Клык зарычал громче. Рука продолжала медленно опускатьс я, а Белый Клык, злобно глядя на нее и уже задыхаясь от яростного рычания, все ниже и ниже припадал к земле. И вдруг его зубы сверкнули, как у змеи, и с резким металлическим звуком лязгнули в

воздухе. Рука отдернулась вовремя. Красавчик Смит испугался и рассвирепел. Серый Бобр ударил Белого Клыка по голове, и тот снова покорно лег на землю. Белый Клык следил за каждым движением обоих людей. Он увидел, что Красавчик Смит ушел и вскоре вернулся с увесистой палкой. Серый Бобр передал ему ремень. Красавчик Смит шагнул вперед. Ремень натянулся. Белый Клык все еще лежал. Серый Бобр ударил его несколько раз, заставляя подняться с места. Белый Клык повиновался и прыгнул прямо на чужого человека, который хотел увести его с собой. Тот ждал этого нападения и ударом палки свалил Белого Клыка на землю, остановив его прыжок на полпути. Серый Бобр засмеялся и одобрительно закивал головой. Красавчик Смит снова потянул за ремень, и Белый Клык, оглушенный ударом, с трудом поднялся на ноги.

Он не повторил своего прыжка. Одного такого удара было достаточно, чтобы убедить его, что белый бог не зря держит палку в руках. Белый Клык был мудр и видел всю тщету борьбы с неизбежностью. Поджав хвост и не переставая глухо рычать, он поплелся за Красавчиком Смитом, а тот не спускал с него глаз и держал палку наготове.

Придя в форт, Красавчик Смит крепко привя-

зал Белого Клыка и улегся спать. Белый Клык прождал час, а потом принялся за ремень и через какие-нибудь десять секунд очутился на свободе. Он не тратил времени понапрасну: ремень был перерезан наискось чисто, как ножом. Оглядевшись по сторонам, Белый Клык ощетинился и зарычал. Потом повернулся и побежал к вигваму Серого Бобра. Он не был обязан повиноваться этому чужому и страшному богу. Он отдал всего себя Серому Бобру, и никто другой, кроме Серого Бобра, не мог владеть им.

Все предыдущее повторилось, нос некоторой разницей. Серый Бобр снопа привязал его и утром отвел к Красавчику Смиту. Вот тут-то Белый Клык и ощутил эту разницу. Красавчик Смит задал ему трепку. Белому Клыку, крепко привязанному на этот раз, не оставалось ничего другого, как метаться в бессильной ярости и сносить наказание. Красавчик Смт пустил в ход палку и хлыст, и таких побоев Белому Клыку не приходилось испытывать еще ни разу в жизни. Даже та порка, которую когда-то давно ему задал Серый Бобр, была пустяком по сравнению с тем, что пришлось вынести теперь.

Красавчик Смит испытывал наслаждение. Он жадно глядел на свою жертву, и глаза его заго-

рались тусклым огнем, когда Белый Клык выл от боли и рычал после каждого удара палкой или хлыстом. Красавчик Смит был жесток, как бывают жестоки только трусы. Покорно снося от людей удары и брань, он вымещал свою злобу на слабейших существах. Все живое любит власть, и Красавчик Смит не представлял собою исключения: не имея возможности властвовать над равными себе, он пользовался беззащитностью животных. Но Красавчика Смита не следует винить за это. Уродливое тело и низкий интеллект были даны ему от рождения, а жизнь обошлась с ним сурово и не выправила его.

Белый Клык знал, почему его бьют. Когда Серый Бобр надел ремеиь ему на шею и передал привязь Красавчику Смиту, Белый Клык понял, что его бог приказывает ему идти с этим человеком. И когда Красавчик Смит посадил его на привязь в форте-, он понял, что тог приказывает ему остаться здесь. Следовательно, он нарушил волю обоих богов и заслужил наказание. Ему приходилось и раньше видеть, как собак, убежавших от нового хозяина, били так же, как били сейчас его. Белый Клык был мудр, но в нем жили силы, перед которыми отступала и сама мудрость. Одной из этих сил была верность. Белый Клык не любил

Серого Бобра -— и все же хранил верность ему наперекор его воле, его гневу. Он ничего не мог с собой поделать. Таким он был создан. Верность была достоянием породы Белого Клыка, верность отличала его от всех других животных, верность привела волка и дикую собаку к человеку и позволила им стать его товарищами. После избиения Белого Клыка оттащили обратно в форт, и на этот раз Красавчик Смит привязал его по индейскому способу — с палкой. Но отказываться от своего божества нелегко, и Белый Клык испытал это на себе. Серый Бобр был для него богом, и он продолжал цепляться за Серого Бобра против его воли. Серый Бобр предал и отверг Белого Клыка, но это ничего не значило. Недаром же Белый Клык отдался Серому Бобру душой и телом. Узы, связывающие его с хозяином, было не так легко порвать. И ночью, когда весь форт спал, Белый Клык принялся грызть палку, к которой его привязали. Палка была сухая и твердая и так близко примыкала к шее, что он с трудом, после мучительного напряжения мускулов, дотянулся до нее зубами, а для того, чтобы перегрызть привязь, ему понадобилось несколько часов терпеливейшей работы. До него ни одна собака не делала ничего подобного, но Белый Клык сделал это и

рано утром убежал из форта с болтавшимся на шее огрызком палки. Белый Клык был мудр. И будь он только мудр, он не пришел бы к Серому Бобру, уже два раза предавшему его. Но мудрость сочеталась в нем с верностью — он прибежал домой, и хозяин предал его в третий раз. Снова Белый Клык позволил надет ь себе ремень па шею, и снова за ним пришел Красавчик Смит. И на этот раз Белому Клыку досталось еще больше. Серый Бобр безучастно смотрел, как белый человек взмахиваем хлыстом. Он не пытался защитить собаку. Она уже не принадлежала ему. Когда избиение кончилось, Белый Клык был чуть жив. Изнеженная южная собака не вынесла бы таких побоев, но Белый Клык вынес. Его закалила суровая жизненная школа. Он был слишком жизнеспособен, и его хватка за жизнь была сильнее, чем у других собак. Но сейчас Белый Клык еле дышал. Он не мог даже шевельнуться, Красавчику Смиту пришлось подождать с полчаса, прежде чем вести его домой. А потом Белый Клык встал, пошатываясь, и, ничего перед собой не видя, поплелся за Красавчиком Смитом в форт.

На этот раз его посадили на цепь, которую нельзя было перегрызть. Он старался вырвать скобу, вбитую в бревно, но все его усилия были тщетны.

Через несколько дней разорившийся Серый Бобр протрезвился и отправился в долгий путь по реке Поркьюпайн на Маккензи. Белый Клык остался в форте Юкон и перешел в полную собственность) к сумасшедшему, потерявшему человеческий облик существу. Но что знает собака о сумасшествии? Для Белого Клыка Красавчик Смит стал богом — страшным, но все же богом. Это был сумасшедший бог, но Белый Клык не знал, что такое сумасшествие; он знал только, что надо подчиняться воле этого человека и исполнять все его прихоти и капризы.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ
ЦАРСТВО НЕНАВИСТИ

В руках сумасшедшего бога Белый Клык превратился в дьявола. Устроив в дальнем конце форта загородку, Красавчик Смит посадил Белого Клыка на цепь и принялся дразнить его и доводить до бешенства мелкими, но мучительными нападками. Он очень скоро обнаружил, что Белый Клык не выносит, когда над ним смеются, и обычно заканчивал свои пытки взрывами оглушительного хохота. Издеваясь над Белым Клыком, бог показывал на него пальцем. В эти минуты собака

теряла всякую власть над собой и в припадках ярости, обуревавшей ее, казалась более бешеной, чем Красавчик Смит.

До сих пор Белый Клык чувствовал вражду — правда, свирепую вражду — только к существам одной с ним породы. Теперь он стал врагом всего, что видел вокруг себя. Издевательства Красавчика Смита доводили его до такого озлобления, что он слепо и безрассудно ненавидел всех и вся. Он возненавидел свою цепь, людей, глазевших на него сквозь перекладины загородки, приходивших вместе с людьми собак, на злобное рычание которых он ничем не мог ответить. Белый Клык ненавидел даже доски, из которых была сделана его загородка. Но прежде всего и больше всего он ненавидел Красавчика Смита.

Обращаясь так с Белым Клыком, Красавчик Смит преследовал определенную цель. Однажды около загородки собралось несколько человек. Красавчик Смит вошел к Белому Клыку, держа в руке палку, и снял с него цепь. Как только хозяин вышел, Белый Клык заметался по загородке из угла в угол, стараясь добраться до глазевших на него людей. Белый Клык был великолепен в своей ярости. Полных пяти футов в длину и двух с половиной в вышину, он весил девяно-

сто фунтов — гораздо больше любого взрослого волка. Массивный корпус собаки он унаследовал от матери, причем на теле его не было и следов жира. Мускулы, кости, сухожилия — и ни унции лишнего веса, как и подобает бойцу, который находится в прекрасной фррме.

Дверь в загородку снова приоткрылась. Белый Клык остановился. Происходило что-то непонятное. Дверь открылась шире. И вдруг к нему втолкнули большую собаку. Дверь тотчас же захлопнулась. Белый Клык никогда не видел такой породы (это был мастиф), но размеры и свирепый вид незнакомца ничуть не смутили его. Он видел перед собой не дерево, не железо, а живое существо, на котором можно было сорвать злобу. Сверкнув клыками, он прыгнул на мастифа и располосо вал ему шею. Мастиф замотал головой и с хриплым рычанием ринулся на Белого Клыка. Но Белый Клык скакал из стороны в сторону, ухитряясь увертываться и ускользать от противника, и в то же время успевал рвать его клыками и снова отпрыгивать назад.

Зрители кричали, аплодировали, а Красавчик Смит, дрожа от восторга, не отрывал жадного взгляда от Белого Клыка, расправлявшегося с противником Грузный, неповоротливый мастиф был

обречен с самого начала, и схватка кончилась тем, что Красавчик Смит палкой отогнал Белого Клыка, а мастифа, полумертвого, выволокли наружу. Затем проигравшие уплатили пари, и в руке Красавчика Смита зазвенели деньги.

С этого дня Белый Клык уже с нетерпением ждал той минуты, когда вокруг его загородки снова соберется толпа. Это предвещало драку, а драка стала теперь для него единственным способом проявлять свою сущность. Сидя взаперти, затравленный, обезумевший от ненависти, он находил исход для этой ненависти только тогда, когда хозяин впускал к нему в загородку собаку. Красавчик Смит, видимо, умел рассчитывать силы Белого Клыка, потому что Белый Клык всегда выходил победителем из таких сражений. Однажды к нему впустили одну за другой трех собак. Потом, через несколько дней, — только что пойманного взрослого волка. А в третий раз ему пришлось драться с двумя собаками сразу. Из всех его драк это была самая отчаянная, и хотя он уложил обоих своих противников, но к концу побоища и сам еле дышал.

Осенью, когда выпал первый снег и по реке потянулось сало, Красавчик Смит взял место для себя и для Белого Клыка на пароходе, отправляв-

шемся вверх по Юкону в Доусон. Слава о Белом Клыке прокатилась повсюду. Он был известен под кличкой «бойцового волка», и поэтому около его клетки на палубе всегда толпились любопытные. Он рычал и кидался на зрителей или же лежал неподвижно и с холодной ненавистью смотрел на них. Разве эти люди не заслуживали его ненависти? Белый Клык никогда не задавал себе такого вопроса. Он знал только одно это чувство и весь отдавался ему. Жизнь стала для него адом. Как и всякий дикий зверь, попавший в руки к человеку, он не мог сидеть взаперти. А ему приходилось терпеть неволю.

Зеваки глазели на Белого Клыка, совали палки сквозь решетку; он рычал, а они смеялись над ним. Эти люди будили в нем такую ярость, какой не предполагала наделить его и сама природа. Однако природа дала ему способность приспосабливаться. Там, где другое животное погибло бы или смирилось, Белый Клык применялся к обстоятельствам и продолжал жить, не ломая своего упорства. Возможно, что дьяволу в образе Красавчика Смита в конце концов и удалось бы сломить Белого Клыка, но пока что все его старания были тщетны.

Если в Красавчике Смите сидел дьявол, то и

Белый Клык не уступал ему в этом, и оба дьявола вели нескончаемую войну друг против друга. Прежде у Белого Клыка хватало благоразумия на то, чтобы покориться человеку, который держит палку в руке; теперь же это благоразумие его оставило. Ему достаточно было увидеть Красавчика Смита, чтобы прийти в бешенство. И когда они сталкивались и палка загоняла Белого Клыка в угол клетки, он и тогда не переставал рычать и скалить зубы. Унять его было невозможно. Красавчик Смит мог бить Белого Клыка как угодно и сколько угодно — тот не сдавался. Лишь только хозяин прекращал избиение и уходил, вслед ему слышался вызывающий рев или же Белый Клык кидался на прутья клетки и выл от бушевавшей в нем ненависти.

Когда пароход прибыл в Доусон, Белого Клыка свели на берег. Но и в Доусоне он жил по-прежнему на виду у всех, в клетке, постоянно окруженный зеваками. Красавчик Смит вые мнил напоказ своего «бойцового волка», и люди платили по пятидесяти центов золотым песком, чтобы поглядеть на него. У Белого Клыка не было ни минуты покоя. Если он спал, его будили, поднимали с места палкой. Зрители хотели получить полное удовольствие за свои деньги. А для того, чтобы

сделать зрелище еще более занимательным, Белого Клыка постоянно держали в состоянии бешенства.

Но хуже всего была та атмосфера, в которой он жил. На него смотрели как на страшного, дикого зверя, и это отношение людей проникало к Белому Клыку сквозь прутья клетки. Каждое их слово, каждое движение убеждало его в том, насколько страшна людям его ярость. Это лишь подливало масла в огонь, и свирепость Белого Клыка росла с каждым днем. Вот еще одно доказательство податливости материала, из которого он был сделан, — доказательство его способности применяться к окружающей среде.

Красавчик Смит не только выставил Белого Клыка напоказ, он сделал из него и профессионального бойца. Когда являлась возможность устроить бой, Белого Клыка выводили из клетки и вели в лес, за несколько миль от города. Обычно это делалось ночью, чтобы избежать столкновения с местной конной полицией. Через несколько часов, на рассвете, появлялись зрители и собака, с которой ему предстояло драться. Белому Клыку приходилось встречать противников всех пород и всех размеров. Он жил в дикой стране, и люди здесь были дикие, а собачьи бои обычно конча-

лись смертью одного из участников.

Но Белый Клык продолжал сражаться, и, следовательно, погибали его противники. Он не знал поражений. Боевая закалка, полученная с детства, когда Белому Клыку приходилось сражаться с Лип-Липом и со всей стаей молодых собак, сослужила ему хорошую службу. Белого Клыка спасала твердость, с которой он держался на ногах. Ни одному противнику не удавалось повалить его. Собаки, в которых еще сохранилась кровь их далеких предков — волков, пускали в ход свой излюбленный боевой прием: кидались на противника прямо или неожиданным броском сбоку, рассчитывая ударить его в плечо и опрокинуть навзничь. Гончие, лайки, овчарки, ньюфаундленды — все испробовали на Белом Клыке этот прием и ничего не добились. Не было случая, чтобы Белый Клык потерял равновесие. Люди рассказывали об этом друг другу и каждый раз надеялись, что его собьют с ног, но он неизменно разочаровывал их.

Белому Клыку помогала его молниеносная быстрота. Она давала ему громадный перевес над противниками. Даже самые опытные из них еще не встречали такого увертливого бойца. Приходилось считаться и с неожиданностью его

нападения. Все собаки обычно выполняют перед дракой определенный ритуал — скалят зубы, ощетиниваются, рычат, и все собаки, которым приходилось драться с Белым Клыком, бывали сбиты с ног и прикончены прежде, чем вступали в драку или приходили в себя от неожиданности. Это случалось так часто, что Белого Клыка стали придерживать, чтобы дать его, противнику возможность выполнить положенный ритуал и даже первым броситься в драку.

Но самое большое преимущество в боях давал Белому Клыку его опыт. Белый Клык понимал толк в драках, как ни один его противник. Он дрался чаще их всех, умел отразить любое нападение, а его собственные боевые приемы были гораздо разнообразнее и вряд ли нуждались в улучшении.

Время шло, и драться приходилось все реже и реже. Любители собачьих боев уже потеряли надежду подыскать Белому Клыку достойного соперника, и Красавчику Смиту не оставалось ничего другого, как выставлять его против волков. Индейцы ловили их капканами специально для этой цели, и бой Белого Клыка с волком неизменно привлекал толпы зрителей. Однажды удалось раздобыть где-то взрослую самку-рысь, и на этот

раз Белому Клыку пришлось отстаивать в бою свою жизнь. Рысь не уступала ему ни в быстроте движений, ни в ярости и пускала в ход и зубы и острые когти, тогда как Белый Клык действовал только зубами.

Но после схватки с рысью бои прекратились. Белому Клыку уже не с кем было драться — никто не мог выпустить на него достойного противника. И он просидел в клетке до весны, а весной в Доусон приехал некто Тим Кинен, по профессии картежный игрок. Кинен привез с собой бульдога — первого бульдога, появившегося на Клондайке. Встреча Белого Клыка с этой собакой была неизбежна, и для некоторых обитателей города предстоящая схватка между ними целую неделю служила главной темой разговоров.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ
ЦЕПКАЯ СМЕРТЬ

Красавчик Смит снял с него цепь и отступил назад.

И впервые Белый Клык кинулся в бой не сразу. Он стоял как вкопанный, навострив уши, и с любопытством всматривался в странное существо, представшее перед ним. Он никогда не видел

такой собаки. Тим Кинен подтолкнул бульдога вперед и сказал:

— Взять его!

Приземистый, неуклюжий пес проковылял на середину круга и, моргая глазами, остановился против Белого Клыка.

Из толпы закричали:

— Взять его, Чероки! Всыпь ему как следует! Взять, взять его!

Но Чероки, видимо, не имел ни малейшей охоты драться. Он повернул голову, посмотрел на кричавших людей и добродушно завилял обрубком хвоста. Чероки не боялся Белого Клыка, просто ему было лень начинать драку. Кроме того, он не был уверен, что с собакой, стоявшей перед ним, надо вступать в бой. Чероки не привык встречать таких противников и ждал, когда к нему приведут настоящего бойца.

Тим Кинен вошел в круг и, нагнувшись над бульдогом, стал поглаживать его против шерсти и легонько подталкивать вперед. Эти движения должны были подзадорить Чероки. И они не только подзадорили, но и разозлили его. Послышалось низкое, приглушенное рычание. Движения рук человека точно совпадали с рычанием собаки. Когда руки подталкивали Чероки вперед, он на-

чинал рычать, потом умолкал, но на следующее прикосновение отвечал тем же. Каждое движение рук, поглаживавших Чероки против шерсти, заканчивалось легким толчком, и так же, словно голчком, из горла у него вырывалось рычание.

Белый Клык не мог оставаться равнодушным ко всему этому. Шерсть на загривке и на спине поднялась у него дыбом. Тим Кинен подтолкнул Чероки в последний раз и отступил назад. Пробежав по инерции несколько шагов вперед, будьдо! не остановился и, быстро перебирая своими кривыми лапами, выскочил на середину круга. В эту минуту Белый Клык кинулся на него. Зрители восхищенно вскрикнули. Белый Клык с легкостью кошки в один прыжок покрыл все расстояние между собой и противником, с тем же кошачьим проворством рванул его зубами и отскочил в сторону.

На толстой шее бульдога, около самого уха, показалась кровь. Словно не заметив этого, даже не зарычав, Чероки повернулся и побежал за Белым Клыком. Подвижность Белого Клыка и упорство Чероки разожгли страсти толпы. Зрители заключали новые пари, увеличивали ставки. Белый Клык прыгнул на бульдога еще и еще раз, рванул его зубами и отскочил в сторону невредимым, а

этот необычный противник продолжал спокойно и как бы деловито бегать за ним, не торопясь, но и не замедляя хода. В поведении Чероки чувствовалась какая-то определенная цель, от которой его ничто не могло отвлечь.

Все его движения, все повадки были проникнуты этой целью. Он сбивал Белого Клыка с толку. Никогда в жизни не встречалась ему такая собака. Шерсть у нее была совсем короткая, кровь показывалась на ее мягком теле от малейшей царапины. И где пушистый мех, который так мешает в драках? Зубы Белого Клыка без всякого труда впивались в податливое тело бульдога, который, судя по всему, совсем не умел защищаться. И почему он не визжит, не лает, как делают все собаки в таких случаях? Если не считать глухого рычания, бульдог терпел укусы молча и ни на минуту не прекращал погони за противником.

Чероки нельзя было упрекнуть в неповоротливости. Он вертелся и сновал из стороны в сторону, но Белый Клык все-таки ускользал от него. Чероки тоже был сбит с толку. Ему еще ни разу не приходилось драться с собакой, которая не подпускала бы его к себе. Желание сцепиться друг с другом до сих пор всегда было обоюдным. Но эта собака все время держалась на расстоянии,

прыгала взад и вперед и увертывалась от него. И, даже рванув Чероки зубами, она сейчас же разжимала челюсти и отскакивала прочь.

А Белый Клык никак не мог добраться до горла своего противника. Бульдог был слишком мал ростом; кроме того, выдающаяся вперед челюсть служила ему хорошей защитой. Белый Клык бросался на него и отскакивал в сторону, ухитряясь не получить ни одной царапины, а количество ран на теле Чероки все росло и росло. Голова и шея у него были располосованы с обеих сторон, из ран хлестала кровь, но Чероки не проявлял ни малейших признаков беспокойства. Он все так же упорно, так же добросовестно гонялся за Белым Клыком и за все это время остановился всего лишь раз, чтобы недоуменно посмотреть на людей и помахать обрубком хвоста в знак своей готовности продолжать драку.

В эту минуту Белый Клык налетел на Чероки и, рванув его за ухо, и без того изодранное в клочья, отскочил в сторону. Начиная сердиться, Чероки снова пустился в погоню, бегая внутри круга, который описывал Белый Клык, и стараясь вцепиться мертвой хваткой ему в горло. Бульдог промахнулся на самую малость, и Белый Клык, вызвав громкое одобрение толпы, спас себя

только тем, что сделал неожиданный прыжок в противоположную сторону.

Время шло. Белый Клык плясал и вертелся около Чероки, то и дело кусая его и сейчас же отскакивая прочь. А бульдог с мрачной настойчивостью продолжал бегать за ним. Рано или поздно, а он добьется своего и, схватив Белого Клыка за горло, решит исход боя. Пока же ему не оставалось ничего другого, как терпеливо переносить все нападения противника. Его короткие уши повисли бахромой, шея и плечи покрылись множеством ран, и даже губы у него были разодраны и залиты кровью,— и все это наделали молниеносные укусы Белого Клыка, которых нельзя было ни предвидеть, ни избежать.

Много раз Белый Клык пытался сбить Чероки с ног, но разница в росте была слишком велика между ними. Чероки был коренастый, приземистый. И на этот раз счастье изменило Белому Клыку. Прыгая и вертясь юлой около Чероки, он улучил минуту, когда противник, не успев сделать крутой поворот, отвел голову в сторону и оставил плечо незащищенным. Белый Клык кинулся вперед, но его собственное плечо пришлось гораздо выше плеча противника, он не смог удержаться и со всего размаху перелетел

через его спину. И впервые за всю боевую карьеру Белого Клыка люди стали свидетелями того, как «бойцовый волк» не сумел устоять на ногах. Он извернулся в воздухе, как кошка, и только это помешало ему упасть навзничь. Он грохнулся на бок и в следующее же мгновение опять стоял на ногах, но зубы Чероки же впились ему в горло.

Хватка была не совсем удачная, она пришлась слишком низко, ближе к груди, но Чероки не разжимал челюстей Белый Клык заметался из стороны в сторону, пытаясь стряхнуть с себя бульдога. Эта волочащаяся за ним тяжесть доводила его до бешенства. Она связывала его движения, лишала его свободы, как будто он попал в капкан. Его инстинкт восставал против этого. Он не помнил себя. Жажда жизни овладела им. Его тело властно требовало свободы. Мозг, разум не участвовали в этой борьбе, отступив перед слепой тягой к жизни, к движению — прежде всего к движению, ибо в нем и проявляется жизнь.

Не о танавливаясь ни на секунду, Белый Клык кружился, прыгал вперед, назад, силясь стряхнуть пятидесятифунтовый груз, повисший у него на шее А бульдогу было важно только одно: не разжимать челюстей. Изредка, когда ему удавалось на одно мгновение коснуться лапами

земли, он пытался сопротивляться Белому Клыку и тут же описывал круг в воздухе, повинуясь каждому движению обезумевшего противника. Чероки поступал так, как велел ему инстинкт. Он знал, что поступает правильно, что разжимать челюсти нельзя, и по временам вздрагивал от удовольствия. В такие минуты он даже закрывал глаза и, не считаясь с болью, позволял Белому Клыку крутить себя то вправо, то влево. Все это не имело значения. Сейчас Чероки важно было одно: не разжимать зубов, и он не разжимал их.

Белый Клык перестал метаться, только окончательно выбившись из сил. Он уже ничего не мог сделать, ничего не мог понять. Ни разу за всю его жизнь ему не приходилось испытывать ничего подобного. Собаки, с которыми он дрался раньше, вели себя совершенно по-другому. С ними надо было действовать так: вцепился, рванул зубами, отскочил, вцепился, рванул зубами, отскочил. Тяжело дыша, Белый Клык полулежал на земле. Не разжимая зубов, Чероки налегал на него всем телом, пытаясь повалить навзничь. Белый Клык сопротивлялся и чувствовал, как челюсти бульдога, словно жуя его шкуру, передвигаются все выше и выше. С каждой минутой они приближались к горлу. Бульдог действовал расчетливо: стараясь

не упустить захваченного, он пользовался малейшей возможностью захватить больше. Такая возможность предоставлялась ему, когда Белый Клык лежал спокойно, но лишь только тот начинал рваться, бульдог сразу сжимал челюсти.

Белый Клык мог дотянуться только до загривка Чероки. Он запустил ему зубы повыше плеча, но перебирать ими, как бы жуя шкуру, не смог — этот способ был не знаком ему, да и челюсти его не были приспособлены для такой хватки. Он судорожно рвал Чероки зубами и вдруг почувствовал, что положение их изменилось. Чероки опрокинул его на спину и, все еще не разжимая челюстей, ухитрился встать над ним. Белый Клык согнул задние ноги и, как кошка, начал рвать когтями своего врага. Чероки рисковал остаться с распоротым брюхом и спасся только тем, что прыгнул в сторону, под прямым углом к Белому Клыку.

Высвободиться из его хватки было немыслимо. Она сковывала с неумолимостью судьбы. Зубы Чероки медленно передвигались вверх, вдоль вены. Белого Клыка оберегали от смерти только широкие складки кожи и густой мех на шее. Чероки забил себе всю пасть его шкурой, но это не мешало ему пользоваться малейшей возможно-

стью, чтобы захватить ее еще больше. Он душил Белого Клыка, и дышать тому с каждой минутой становилось все труднее и труднее.

Борьба, по-видимому, приближалась к концу. Те, кто ставил на Чероки, были вне себя от восторга и предлагали чудовищные пари. Сторонники Белого Клыка приуныли и отказывались поставить десять против одного и двадцать против одного. Но нашелся один человек, который рискнул принять пари в пятьдесят против одного. Это был Красавчик Смит. Он вошел в круг и, показав на Белого Клыка пальцем, стал презрительно смеяться над ним. Это возымело свое действие. Белый Клык обезумел от ярости. Он собрал последние силы и поднялся на ноги. Но стоило ему заметаться по кругу с пятидесятифунтовым грузом, повисшим у него на шее, как эта ярость уступила место ужасу. Жажда жизни снова овладела им, и разум в нем погас, подчиняясь велениям тела. Он бегал по кругу, спотыкаясь, падая и снова поднимаясь, взвивался на дыбы, вскидывал своего врага вверх, и все-таки все его попытки стряхнуть с себя цепкую смерть были тщетны.

Наконец Белый Клык опрокинулся навзничь, и бульдог сразу же перехватил зубами еще выше и, забирая его шкуру пастью, почти не давал ему

перевести дух. Гром аплодисментов приветствовал победителя, из толпы кричали: «Чероки! Чероки!» Бульдог рьяно завилял обрубком хвоста. Но аплодисменты не помешали ему. Хвост и массивные челюсти действовали совершенно независимо друг от друга. Хвост ходил из стороны в сторону, а челюсти все сильнее и сильнее сдавливали Белому Клыку горло.

И тут зрители отвлеклись от этой забавы. Вдали послышались крики погонщиков собак, звон колокольчиков. Все, кроме Красавчика Смита, насторожились, решив, что нагрянула полиция. Но на дороге вскоре показались двое мужчин, бежавших рядом с нартами. Они направлялись не из города, а в город, возвращаясь, по всей вероятности, из какой-нибудь разведочной экспедиции. Увидев собравшуюся толпу, незнакомцы остановили собак и подошли узнать, что тут происходит.

Один из них был высокий молодой человек; его гладко выбритое лицо раскраснелось от быстрого движения на морозе. Другой, погонщик, был ниже ростом и с усами.

Белый Клык прекратил борьбу. Время от времени он начинал судорожно биться, но теперь всякое сопротивление было бесцельно. Безжа-

лостные челюсти бульдога все сильнее сдавливали ему горло, воздуху не хватало, дыхание его становилось все прерывистее. Чероки давно прокусил бы ему вену, если бы его зубы с самого начала не пришлись так близко к груди. Он перехватывал ими все выше, подбираясь к горлу, но на это уходило много времени, к тому же пасть его была вся забита толстыми складками шкуры Белого Клыка.

Тем временем зверская жестокость Красавчика Смита вытеснила в нем последние остатки разума. Увидев, что глаза Белого Клыка уже заволакивает пеленой, он понял, что бой проигран. Словно сорвавшись с цепи, он бросился к Белому Клыку и начал яростно бить его ногами. Зрители закричали, послышался свист, но тем дело и ограничилось. Не обращая внимания на эти протесты, Красавчик Смит продолжал бить Белого Клыка. Но вдруг в толпе произошло какое-то движение: высокий молодой человек пробирался вперед, бесцеремонно расталкивая всех направо и налево. Он вошел в круг как раз в ту минуту, когда Красавчик Смит заносил правую ногу для очередного удара; перенеся всю тяжесть на левую, он находился в состоянии неустойчивого равновесия. В это мгновение молодой человек с

сокрушительной силой ударил его кулаком по лицу. Красавчик Смит не удержался и, подскочив в воздухе, рухнул на снег.

Молодой человек повернулся к толпе.

— Трусы! — закричал он.— Мерзавцы!

Он не помнил себя от гнева, того гнева, которым загорается только здравомыслящий человек. Его серые глаза сверкали стальным блеском. Красавчик Смит встал и боязливо двинулся к нему. Незнакомец не понял его намерения. Не подозревая, что перед ним отчаянный трус, он решил, что Красавчик Смит хочет драться, и, крикнув: «Мерзавец!», вторично опрокинул его навзничь. Красавчик Смит сообразил, что лежать на снегу безопаснее, и уже не делал больше попыток подняться на ноги.

— Мэтт, помогите-ка мне! — сказал незнакомец погонщику, который вместе с ним вошел в круг.

Оба они нагнулись над собаками. Мэтт приготовился оттащить Белого Клыка в сторону, как только Чероки ослабит свою мертвую хватку. Молодой человек стал разжимать зубы бульдогу. Но все его усилия были напрасны. Стараясь разомкнуть ему челюсти, он не переставал повторять вполголоса: «Мерзавцы!»

Зрители заволновались, и кое-кто уже начи-

нал протестовать против такого непрошеного вмешательства. Но стоило незнакомцу поднять голову и посмотреть на толпу, как протестующие голоса смолкли.

— Мерзавцы вы этакие! — крикнул он снова и принялся за дело.

— Нечего и стараться, мистер Скотт. Так мы их никогда не растащим,— сказал наконец Мэтт.

Они выпрямились и осмотрели сцепившихся собак.

— Крови вышло немного,— сказал Мэтт,— до горла еще не успел добраться.

— Того и гляди доберется,— ответил Скотт.— Видали? Еще выше перехватил.

Волнение молодого человека и его страх за участь Белого Клыка росли с каждой минутой. Он ударил Чероки по голове—раз, другой. Но это не помогло. Чероки завилял обрубком хвоста в знак того, что, прекрасно понимая смысл этих ударов, он все же исполнит свой долг до конца и не разожмет челюстей.

— Помогите кто-нибудь! — крикнул Скотт, в отчаянии обращаясь к толпе.

Но ни один человек не двинулся с места. Зрители начинали подтрунивать над ним и засыпали его целым градом язвительных советов.

— Всуньте ему что-нибудь в пасть,— посоветовал Мэтт.

Скотт схватился за кобуру, висевшую у него на поясе, вынул револьвер и попробовал просунуть дуло между сжатыми челюстями бульдога. Он старался изо всех сил, слышно было, как сталь скрипит о стиснутые зубы Чероки. Они с погонщиком стояли на коленях, нагнувшись над собаками.

Тим Кинен шагнул в круг. Подойдя к Скотту, он тронул его за плечо и проговорил угрожающим тоном:

— Не сломайте ему зубов, незнакомец.

— Не зубы, так шею сломаю,— ответил Скотт, продолжая всовывать револьверное дуло в пасть Чероки.

— Говорю вам, не сломайте зубов!—еще настойчивее повторил Тим Кинем.

Но если он рассчитывал запугать Скотта, это ему не удалось.

Продолжая орудовать револьвером, Скотт поднял голову и хладнокровно спросил:

— Ваша собака?

Тим Кинен буркнул что-то себе под нос.

— Тогда разожмите ей зубы.

— Вот что, друг любезный,— со злобой загово-

рил Тим,— это не так просто, как вам кажется. Я не знаю, что тут делать.

— Тогда убирайтесь,— последовал ответ,— и не мешайте мне. Видите, я занят.

Тим Кинен не уходил, но Скотт уже не обращал на нею никакого внимания. Он кое-как втиснул бульдогу дуло между зубами и теперь старался просунуть его дальше, чтобы оно вышло с другой стороны.

Добившись этого, Скотт начал осторожно, потихоньку разжимать бульдогу челюсти, а Мэтт тем временем освобождал из его пасти складки шкуры Белого Клыка.

— Держите свою собаку! — скомандовал Скотт Тиму.

Хозяин Чероки послушно нагнулся и обеими руками схватил бульдога.

— Ну! — крикнул Скотт, сделав последнее усилие. Собак растащили в разные стороны. Бульдог отчаянно сопротивлялся.

— Уведите его,— приказал Скотт, и Тим Кинен увел Чероки в толпу.

Белый Клык попытался встать — раз, другой. Но ослабевшие ноги подогнулись под ним, и он медленно повалился на снег. Его полузакрытые глаза потускнели, нижняя челюсть отвисла, язык

вывалился наружу… Задушенная собака. Мэтт осмотрел его.

— Чуть жив, — сказал он, — но дышит все-таки. Красавчик Смит встал и подошел взглянуть на Белого Клыка.

— Мэтт, сколько стоит хорошая ездовая собака? — спросил Скотт.

Погонщик подумал с минуту и ответил, не поднимаясь с колен:

— Триста долларов.

— Ну, а такая, на которой живого места не осталось? — И Скотт ткнул Белого Клыка ногой.

— Половину, — решил погонщик. Скотт повернулся к Красавчику Смиту.

— Слышали вы, зверь? Я беру у вас собаку и плачу за нее полтораста долларов.

Он открыл бумажник и отсчитал эту сумму. Красавчик Смит заложил руки за спину отказываясь взять протянутые ему деньги.

— Не продаю, — сказал он.

— Нет, продаете, — заявил Скотт, — потому что я покупаю. Получите деньги. Собака моя.

Все еще держа руки за спиной, Красавчик Смит попятился назад. Скотт шагнул к нему и замахнулся кулаком.

Красавчик Смит втянул голову в плечи.

— Собака моя… — начал было он.

— Вы потеряли все права на эту собаку, — перебил его Скотт. — Возьмете деньги или мне ударить вас еще раз?

— Хорошо, хорошо, — испуганно забормотал Красавчик Смит. — Но вы меня принуждаете. Этой собаке цены нет. Я не позволю себя грабить. У каждого человека есть свои права.

— Верно, — ответил Скотт, передавая ему деньги. — У всякого человека есть свои права. Но вы не человек, а зверь.

— Дайте мне только вернуться в Доусон, — пригрозил ему Красавчик Смит, — там я найду на вас управу.

— Посмейте только рот открыть, я вас живо из Доусона выпровожу! Поняли?

Красавчик Смит пробормотал что-то невнятное.

— Поняли? — крикнул Скотт, рассвирепев.

— Да,— буркнул Красавчик Смит, попятившись от него.

— Как?

— Да, сэр,— рявкнул Красавчик Смит.

— Осторожнее! Он кусается! — крикнул кто-то, и в толпе захохотали.

Скотт повернулся к Красавчику Смиту спиной

и подошел к погонщику, который все еще возился с Белым Клыком.

Кое-кто из зрителей уже уходил, другие собирались кучками, поглядывая на Скотта и переговариваясь между собой.

К одной из этих групп подошел Тим Кинен.

— Что это за птица? — спросил он.

— Уидон Скотт, — ответил кто-то.

— Какой такой Уидон Скотт?

— Да инженер с приисков. Он среди здешних заправил свой человек. Если не хочешь нажить неприятностей, держись от него подальше. Ему сам начальник приисков друг-приятель.

— Я сразу понял, что это важная персона, — сказал Тим Кинен. — Нет, думаю, с таким лучше не связываться.

ГЛАВА ПЯТАЯ
НЕУКРОТИМЫЙ

— Нет! Ничего тут не поделаешь! — безнадежным тоном сказал Уидон Скотт.

Он опустился на ступеньку и посмотрел на погонщика, который так же безнадежно пожал плечами.

Оба перевели взгляд на Белого Клыка. Весь

ощетинившись и злобно рыча, он рвался с цепи, стараясь добраться до собак, выпряженных из нарт. Собаки же, получив изрядное количество наставлений от Мэтта — наставлений, подкрепленных палкой, понимали, что с Белым Клыком лучше не связываться.

Сейчас они лежали в сторонке и, казалось, совершенно забыли о его существовании.

— Да-а, он волк, а волка не приручишь, — сказал Уидон Скотт.

— Кто его знает? — возразил Мэтт. — Может, в нем от собаки больше, чем от волка. Но в чем я уверен, с того меня уж не собьешь.

Погонщик замолчал и с таинственным видом кивнул в сторону Лосиной горы.

— Ну, не заставляйте себя просить, — резко проговорил Скотт, так и не дождавшись продолжения, — выкладывайте, в чем дело.

Погонщик ткнул большим пальцем через плечо, показывая на Белого Клыка.

— Волк он или собака — это не важно, а только его пробовали приручить.

— Быть того не может!

— Я вам говорю — пробовали. Он и в упряжке ходил. Вы посмотрите поближе. У него стертые места на груди.

— Правильно, Мэтт! До того как попасть к Красавчику Смиту, он ходил в упряжке.

— А почему бы ему не походить в упряжке и у нас?

— А в самом деле! — воскликнул Скотт.

Но появившаяся было надежда сейчас же угасла, и он сказал, покачивая головой:

— Мы его держим уже две недели, а он, кажется, еще злее стал.

— Давайте спусгим его с цепи — посмотрим, что получится, — предложил Мэтт.

Скотт недоверчиво взглянул на него.

— Да, да! — продолжал Мэтт. — Я знаю, что вы это уже пробовали, так попробуйте еще раз, только не забудьте взять палку.

— Хорошо, но теперь я поручу это вам.

Погонщик вооружился палкой и подошел к сидевшему на привязи Белому Клыку. Тот следил за палкой, как лев следит за бичом укротителя.

— Смотрите, как на палку уставился, — сказал Мэтт. — Это хороший признак. Значит, пес не так уж глуп. Не посмеет броситься на меня, пока я с палкой. Не бешеный же он в конце концов.

Как только рука человека приблизилась к шее Белого Клыка, он ощетинился и с рычанием припал к земле. Не спуская глаз с руки Мэтта, он в то

же время следил за палкой, занесенной над его головой. Мэтт быстро отстегнул цепь с ошейника и шагнул назад.

Белому Клыку не верилось, что он очутился на свободе. Многие месяцы прошли с тех пор, как им завладел Красавчик Смит, и за все это время его спускали с цепи только для драк с собаками, а потом опять сажали на привязь.

Что ему было делать со своей свободой? А вдруг боги снова замыслили какую-нибудь дьявольскую штуку?

Белый Клык сделал несколько медленных, осторожных шагов, каждую минуту ожидая нападения. Он не знал, как вести себя, настолько непривычна была эта свобода. На всякий случай лучше держаться подальше от наблюдающих за ним богов и отойти за угол хижины. Так он и сделал, и все обошлось благополучно.

Озадаченный этим, Белый Клык вернулся обратно и, остановившись футах в десяти от людей, настороженно уставился на них.

— А не убежит? — спросил новый хозяин. Мэтт пожал плечами.

— Рискнем! Риск — благородное дело.

— Бедняга! Больше всего он нуждается в человеческой ласке, — с жалостью пробормотал Скотт

и вошел в хижину. Он вынес оттуда кусок мяса и швырнул его Белому Клыку. Тот отскочил в сторону и стал недоверчиво разглядывать кусок издали.

— Назад, Майор! — крикнул Мэтт, но было уже поздно.

Майор кинулся к мясу, и в ту минуту, когда кусок уже был у него в зубах, Белый Клык налетел и сбил его с ног. Мэтт бросился к ним, но Белый Клык сделал свое дело быстро. Майор с трудом привстал, и кровь, хлынувшая у него из горла, красной лужей расползлась по снегу.

— Жалко Майора, но поделом ему, — поспешно сказал Скотт.

Но Мэтт уже занес ногу, чтобы ударить Белого Клыка. Быстро один за другим последовали прыжок, лязг зубов и громкий крик боли.

Свирепо рыча, Белый Клык отполз назад, а Мэтт нагнулся и стал осматривать свою прокушенную ногу.

— Цапнул все-таки, — сказал он, показывая на разорванную штанину и нижнее белье, на котором расплывался кровавый круг.

— Я же говорил вам, что это безнадежно, — упавшим голосом проговорил Скотт. — Я об этой собаке много думал, не выходит она у меня из

головы. Ну что ж, ничего другого не остается.

С этими словами он нехотя вынул из кармана револьвер и, осмотрев барабан, убедился, что пули в нем есть.

— Послушайте, мистер Скотт, — взмолился Мэтт, — чего только этой собаке не пришлось испытать! Нельзя же требовать, чтобы она сразу превратилась в ангелочка. Дайте ей срок.

— Полюбуйтесь на Майора, — ответил Скотт. Погонщик взглянул на искалеченную собаку. Она валялась на снегу в луже крови и была, по-видимому, при последнем издыхании.

— Поделом ему. Вы же сами так сказали, мистер Скотт. Позарился на чужой кусок — значит, спета его песенка. Этого следовало ожидать. Я и гроша ломаного не дам за собаку, которая отдаст свой корм без боя.

— Ну, а вы сами, Мэтт? Собаки собаками, но всему должна быть мера.

— И мне поделом, — не сдавался Мэтт. — За что, спрашивается, я его ударил? Вы же сами сказали, что он прав. Значит, не за что было его бить.

— Мы сделаем доброе дело, застрелив эту собаку, — настаивал Скотт. — Нам ее не приручить!

— Послушайте, мистер Скотт. Дадим ему, бедняге, показать себя. Ведь он черт знает что вытерпел,

прежде чем попасть к нам. Давайте попробуем. А если он не оправдает нашего доверия, я его сам застрелю.

— Да мне вовсе не хочется его убивать, — ответил Скотт, пряча револьвер. — Пусть побегает на свободе, и посмотрим, чего от него можно добиться добром. Вот я сейчас попробую.

Он подошел к Белому Клыку и заговорил с ним мягким, успокаивающим голосом.

— Возьмите палку на всякий случай! — предостерег его Мэтт.

Скотт отрицательно покачал головой и продолжал говорить, стараясь завоевать доверие Белого Клыка.

Белый Клык насторожился. Ему грозила опасность. Он загрыз собаку этого бога, укусил его товарища. Чего же теперь ждать, кроме сурового наказания? И все-таки он не смирился. Шерсть на нем встала дыбом, все тело напряглось, он оскалил зубы и зорко следил за человеком, приготовившись ко всякой неожиданности. В руках у Скопа не было палки, и Белый Клык подпустил его к себе совсем близко. Рука бога стала опускаться над его головой. Белый Клык съежился и припал к земле. Вот где таится опасность и предательство! Руки богов с их непререкаемой властью

и коварством были ему хорошо известны. Кроме того, он по-прежнему не выносил прикосновения к своему телу. Он зарычал еще злее и пригнулся к земле еще ниже, а рука все продолжала опускаться. Он не хотел кусать эту руку и терпеливо переносил опасность, которой она грозила, до тех пор, пока мог бороться с инстинктом — с ненасытной жаждой жизни.

Уидон Скотт был уверен, что всегда успеет вовремя отдернуть руку. Но тут ему довелось испытать на себе, как Белый Клык умеет разить с меткостью и стремительностью змеи, развернувшей свои кольца.

Скотт вскрикнул от неожиданности и схватил прокушенную правую руку левой рукой. Мэтт громко выругался и подскочил к нему. Белый Клык отполз назад, весь ощетинившись, скаля зубы и угрожающе поглядывая на людей. Теперь уж, наверное, его ждут побои, не менее страшные, чем те, которые приходилось выносить от Красавчика Смита.

— Что вы делаете? — вдруг крикнул Скотт. А Мэтт уже успел сбегать в хижину и появился на пороге с ружьем в руках.

— Ничего особенного, — медленно, с напускным спокойствием проговорил он. — Хочу сдержать

свое обещание. Сказал, что застрелю собаку, значит, застрелю.

— Нет, не застрелите.

— Нет, застрелю! Вот смотрите.

Теперь настала очередь Уидона Скотта вступиться за Белого Клыка, как вступился за него несколько минут назад укушенный Мэтт.

— Вы сами предлагали испытать его, так испытайте! Мы же только начали, нельзя сразу бросать дело. Я сам виноват. И… посмотрите-ка на него!

Глядя на них из-за угла хижины, Белый Клык рычал с такой яростью, что кровь стыла в жилах, но ярость его вызывал не Скотт, а погонщик.

— Ну что ты скажешь! — воскликнул Мэтт.

— Видите, какой он понятливый! — торопливо продолжал Скотт. — Он не хуже нас с вами знает, что такое огнестрельное оружие. С такой умной собакой стоит повозиться. Оставьте ружье.

— Ладно. Давайте попробуем. — И Мэтт прислонил ружье к штабелю дров. — Да нет! Вы только полюбуйтесь на него! — воскликнул он в ту же минуту.

Белый Клык успокоился и перестал ворчать.

— Попробуйте еще раз. Следите за ним.

Мэтт взял ружье — и Белый Клык снова зарычал. Мэтт отошел от ружья — Белый Клык

спрятал зубы.

— Ну, еще раз. Это просто интересно!

Мэтт взял ружье и стал медленно поднимать его к плечу. Белый Клык сразу же зарычал, и рычание его становилось все громче и громче по мере того, как ружье поднималось кверху. Но не успел Мэтт навести на него дуло, как он отпрыгнул в сторону и скрылся за углом хижины. На прицеле у Мэтта был белый снег, а место, где только что стояла собака, опустело.

Погонщик медленно отставил ружье, повернулся и посмотрел на своего хозяина.

— Правильно, мистер Скотт. Пес слишком умен. Жалко его убивать.

ГЛАВА ШЕСТАЯ
НОВАЯ НАУКА

Увидев приближающегося Уидона Скотта, Белый Клык ощетинился и зарычал, давая этим понять, что не потерпит расправы над собой. С тех пор как он прокусил Скотту руку, которая была теперь забинтована и висела на перевязи, прошли сутки. Белый Клык помнил, что боги иногда откладывают наказание, и сейчас ждал расплаты за свой проступок. Иначе не могло и

быть. Он совершил святотатство: впился зубами в священное тело бога, притом белокожего бога. По опыту, который остался у него от общения с богами, Белый Клык знал, какое суровое наказание грозит ему.

Бог сел в нескольких шагах от него. В этом еще не было ничего страшного — обычно они наказывают стоя. Кроме того, у этого бога не было ни палки, ни хлыста, ни ружья, да и сам Белый Клык находился на свободе. Ничто его не удерживало — ни цепь, ни ремень с палкой, и он мог спастись бегством прежде, чем бог успеет встать на ноги. А пока что надо подождать и посмотреть, что будет дальше.

Бог сидел совершенно спокойно, не делая попыток встать с места, и злобный рев Белого Клыка постепенно перешел в глухое ворчание, а потом и ворчание смолкло. Тогда бог заговорил, и при первых же звуках его голоса шерсть на загривке у Белого Клыка поднялась дыбом, в горле снова заклокотало. Но бог продолжал говорить все так же спокойно, не делая никаких резких движений. Белый Клык рычал в унисон с его голосом, и между словами и рычанием установился согласный ритм. Но речь человека лилась без конца. Он говорил так, как еще никто никогда не говорил с

Белым Клыком. В мягких, успокаивающих словах слышалась нежность, и эта нежность находила какой-то отклик в Белом Клыке. Невольно, вопреки всем предостережениям инстинкта, он почувствовал доверие к своему новому богу. В нем родилась уверенность в собственной безопасности — в том, в чем ему столько раз приходилось разубеждаться при общении с людьми.

Бог говорил долго, а потом встал и ушел. Когда же он снова появился на пороге хижины, Белый Клык подозрительно осмотрел его. В руках у него не было ни хлыста, ни палки, ни оружия. И здоровая рука его не пряталась за спину. Он сел на то же самое место в нескольких шагах от Белого Клыка и протянул ему мясо. Навострив уши, Белый Клык недоверчиво оглядел кусок, ухитряясь смотреть одновременно и на него и на бога, и приготовился отскочить в сторону при первом же намеке на опасность.

Но наказание все еще откладывалось. Бог протягивал ему еду — только и всего. Мясо как мясо, ничего страшного в нем не было. Но Белый Клык все еще сомневался и не взял протянутого куска, хотя рука бога подвигалась все ближе и ближе к его носу. Боги мудры — кто знает, какое коварство таится в этой безобидной с виду подачке? По свое-

му прошлому опыту, особенно когда приходилось иметь дело с женщинами, Белый Клык знал, что мясо и наказание сплошь и рядом имели между собой тесную и неприятную связь.

В конце концов бог бросил мясо на снег, к ногам Белого Клыка. Тот тщательно обнюхал подачку, не глядя на нее, — глаза его были устремлены на бога. Ничего плохого не произошло. Тогда он взял кусок в зубы и проглотил его. Но и тут все обошлось благополучно. Бог предлагал ему другой кусок. И во второй раз Белый Клык отказался принять его из рук, и бог снова бросил мясо на снег. Так повторилось несколько раз. Но наступило время, когда бог отказался бросить мясо. Он держал кусок и настойчиво предлагал Белому Клыку взять подачку у него из рук.

Мясо было вкусное, а Белый Клык проголодался. Мало-помалу, с бесконечной осторожностью, он подошел ближе и наконец решился взять кусок из человеческих рук. Не спуская глаз с бога, Белый Клык вытянул шею и прижал уши, шерсть у него на загривке встала дыбом, в горле клокотало глухое рычание, как бы предостерегающее человека, что шутки сейчас неуместны. Белый Клык съел кусок, и ничего с ним не случилось. И так мало-помалу он съел все мясо, и все-таки

с ним ничего не случилось. Значит, наказание откладывалось.

Белый Клык облизнулся и стал ждать, что будет дальше. Бог продолжал говорить. В голосе его слышалась ласка — то, о чем Белый Клык не имел до сих пор никакого понятия. И ласка эта будила в нем неведомые до сих пор ощущения. Он почувствовал странное спокойствие, словно удовлетворялась какая-то его потребность, заполнялась какая-то пустота в его существе. Потом в нем снова проснулся инстинкт, и прошлый опыт снова послал ему предостережение. Боги хитры: трудно угадать, какой путь они выберут, чтобы добиться своих целей.

Так и есть! Коварная рука тянется все дальше и дальше и опускается над его головой. Но бог продолжает говорить. Голос его звучит мягко и успокаивающе. Несмотря на угрозу, которую таит в себе рука, голос внушает доверие. И, несмотря на всю мягкость голоса, рука внушает страх. Противоположные чувства и ощущения боролись в Белом Клыке. Казалось, он упадет замертво, раздираемый на части враждебными силами, ни одна из которых не получала перевеса в этой борьбе только потому, что он прилагал неимоверные усилия, чтобы обуздать их.

И Белый Клык пошел на сделку с самим собой: он рычал, прижимал уши, но не делал попыток ни укусить Скотта, ни убежать от него. Рука опускалась. Расстояние между ней и головой Белого Клыка становилось все меньше и меньше. Вот она коснулась вставшей дыбом шерсти. Белый Клык припал к земле. Рука последовала за ним, прижимаясь плотнее и плотнее. Съежившись, чуть ли не дрожа, он все еще сдерживал себя. Он испытывал муку от прикосновения этой руки, насиловавшей его инстинкты. Он не мог забыть в один день все то зло, которое причинили ему человеческие руки. Но такова была воля бога, и он делал все возможное, чтобы заставить себя подчиниться ей.

Рука поднялась и снова опустилась, лаская и гладя его. Так повторилось несколько раз, но стоило только руке подняться, как поднималась и шерсть на спине у Белого К\ыка. И каждый раз, как рука опускалась, уши его прижимались к голове и в горле начинало клокотать рычание. Белый Клык рычал, предупреждая бога, что готов отомстить за боль, которую ему причинят. Кто знает, когда наконец обнаружатся истинные намерения бога! В любую минуту его мягкий, внушающий такое доверие голос может перейти

в гневный крик, а эти нежные, ласкающие пальцы сожмутся, как тиски, и лишат Белого Клыка всякой возможности сопротивляться наказанию.

Но слова бога были по-прежнему ласковы, а рука его все так же поднималась и снова касалась Белого Клыка, и в этих прикосновениях не было ничего враждебного. Белый Клык испытывал двойственное чувство. Инстинкт восставал против такого обращения, оно стесняло его, шло наперекор его стремлению к свободе. И все-таки физической боли он не испытывал. Наоборот, чти прикосновения были даже приятны. Мало-помалу рука бога передвинулась к его ушам и стала осторожно почесывать их; приятное ощущение как будто даже усилилось. Но страх не оставлял Белого Клыка; он все так же настораживался, ожидая чего-то недоброго и испытывая попеременно то страдание, то удовольствие, в зависимости от того, какое из этих чувств одерживало в нем верх.

— Ах, черт возьми!

Эти слова вырвались у Мэтта. Он вышел из хижины с засученными рукавами, неся в руках таз с грязной водой, и только хотел выплеснуть ее на снег, как вдруг увидел, что Уидон Скотт ласкает Белого Клыка.

При первых же звуках его голоса Белый Клык отскочил назад и свирепо зарычал.

Мэтт посмотрел на своего хозяина, неодобрительно и сокрушенно покачав головой.

— Вы меня извините, мистер Скотт, но, ей-богу, в вас сидят по крайней мере семнадцать дураков, и каждый орудует на свой лад.

Уидон Скотт улыбнулся с видом превосходства, встал и нагнулся над Белым Клыком. Он ласково заговорил с ним, потом медленно протянул руку и снова начал гладить его по голове. Белый Клык терпеливо сносил это поглаживание, но смотрел он — смотрел во все глаза— не на того, кто его ласкал, а на Мэтта, стоявшего в дверях хижины.

— Может быть, из вас и получился первоклассный инженер, мистер Скотт,— разглагольствовал погонщик,— но, я считаю, вы многое утратили в жизни: вам бы следовало в детстве удрать из дому и поступить в цирк.

Белый Клык зарычал, услышав голос Мэтта, но на этот раз уже не отскочил от руки, ласково гладившей его по голове и по шее.

И это было началом конца прежней жизни, конца прежнего царства ненависти. Для Белого Клыка нача лась новая, непостижимо прекрасная жизнь. В этом деле от Уидона Скотта требовалось

много терпения и ума. А Белый Клык должен был преодолеть веления инстинкта, пойти наперекор собственному опыту, отказаться от всего, чему научила его жизнь.

Прошлое не только не вмещало всего нового, что ему пришлось узнать теперь, но Опровергало это новое. Короче говоря, от Белого Клыка требовалось неизмеримо большее умение разбираться в окружающей обстановке, чем то, с которым он пришел из Северной глуши и добровольно подчинился власти Серого Бобра. В то время он был всего-навсего щенком, еще не сложившимся, готовым принять любую форму под руками жизни. Но теперь все шло по-иному. Прошлая жизнь обработала Белого Клыка слишком усердно; она ожесточила его, превратила в свирепого, неукротимого бойцового волка, который никого не любил и не пользовался ничьей любовью. Переродиться — значило для него пройти через полный внутренний переворот, отбросить все прежние навыки,— и это требовалось от него теперь, когда молодость была позади, когда гибкость была утрачена и мягкая ткань приобрела несокрушимую твердость, стала узловатой, неподатливой, как железо, а инстинкты раз и навсегда установили потребности и законы поведения.

И все-таки новая обстановка, в которой очутился Белый Клык, опять взяла его в обработку. Она смягчала в нем ожесточенность, лепила из него иную, более совершенную форму. В сущности говоря, все зависело от Уидона Скотта. Он добрался до самых глубин натуры Белого Клыка и лаской вызвал к жизни все те чувства, которые дремали и уже наполовину заглохли в нем. Так Белый Клык узнал, что такое любовь. Она заступила место склонности — самого теплого чувства, доступного ему в общении с богами.

Но любовь не может прийти в один день. Возникнув из склонности, она развивалась очень медленно. Белому Клыку нравился его вновь обретенный бог, и он не убегал от него, хотя все время оставался на свободе. Жить у нового бога было несравненно лучше, чем в клетке у Красавчика Смита; кроме того, Белый Клык не мог обойтись без божества. Чувствовать над собой человеческую власть стало для него необходимостью. Печать зависимости от человека осталась на Белом Клыке с тех далеких дней, когда он покинул Северную глушь и подполз к ногам Серого Бобра, покорно ожидая побоев. Эта неизгладимая печать снова была наложена на него, когда он во второй раз вернулся из Северной глуши после

голодовки и почувствовал запах рыбы в поселке Серого Бобра.

И Белый Клык остался у своего нового хозяина, потому что он не мог обходиться без божества и потому что Уидон Скоп был лучше Красавчика Смита. В знак преданности он взял на себя обязанности сторожа при хозяйском добре. Он бродил вокруг хижины, когда ездовые собаки уже спали, и первому же запоздалому гостю Скотта пришлось отбиваться от него палкой до тех пор, пока на выручку не прибежал сам хозяин. Но Белый Клык вскоре научился отличать воров от честных людей, понял, как много значат походка и поведение.

Человека, который твердой поступью шел прямо к дверям, он не трогал, хотя и не переставал зорко следить за ним, пока дверь не открывалась и благонадежность посетителя не получала подтверждения со стороны хозяина. Но тот, кто пробирался крадучись, окольными путями, стараясь не попасться на глаза, — тот не знал пощады от Белого Клыка и пускался в поспешное и позорное бегство.

Уидон Скотт задался целью вознаградить Белого Клыка за все то, что ему пришлось вынести, вернее — искупить грех, в котором человек был

повинен перед ним. Это стало для Скотта делом принципа, делом совести. Он чувствовал, что люди остались в долгу перед Белым Клыком и долг этот надо выплатить, — и поэтому он старался проявлять к Белому Клыку как можно больше нежности. Он взял себе за правило ежедневно и подолгу ласкать и гладить его.

На первых порах эта ласка вызывала у Белого Клыка одни лишь подозрения и враждебность, но мало-помалу он начал находить в ней удовольствие. И все-таки от одной своей привычки Белый Клык никак не мог отучиться: как только рука человека касалась его, он начинал рычать и не умолкал до тех пор, пока Скотт не отходил. Но в этом рычании появились новые нотки. Посторонний не расслышал бы их, для него рычание Белого Клыка оставалось по-прежнему выражением первобытной дикости, от которой у человека кровь стынет в жилах. С той дальней поры, когда Белый Клык жил с матерью в пещере и первые приступы ярости овладевали им, его горло огрубело от рычания, и он уже не мог выразить свои чувства по-иному. Тем не менее чуткое ухо Скотта различало в этом свирепом реве новые нотки, которые только одному ему чуть слышно говорили о том, что собака испытывает

удовольствие.

Время шло, и любовь, возникшая из склонности, все крепла и крепла. Белый Клык сам начал чувствовать это, хотя и бессознательно. Любовь давала знать о себе ощущением пустоты, которая настойчиво, жадно требовала заполнения. Любовь принесла с собой боль и тревогу, которые утихали только от прикосновения руки нового бога. В эти минуты любовь становилась радостью — необузданной радостью, пронизывающей все существо Белого Клыка. Но стоило богу уйти, как боль и тревога возвращались и Белого Клыка снова охватывало ощущение пустоты, ощущение голода, властно требующего утоления.

Белый Клык понемногу находил самого себя. Несмотря на свои зрелые годы, несмотря на жесткость формы, в которую он был отлит жизнью, в характере его возникали все новые и новые черты. В нем зарождались непривычные чувства и побуждения. Теперь Белый Клык вел себя совершенно по-другому. Прежде он ненавидел неудобства и боль и всячески старался избегать их. Теперь все стало иначе: ради нового бога Белый Клык часто терпел неудобства и боль. Так, например, по утрам, вместо того чтобы бродим, в поисках пищи или лежать где-нибудь в укром-

ном уголке, он проводил целые часы на холодном крыльце, ожидая появления Скотта. Поздно вечером, когда тот возвращался домой, Белый Клык оставлял теплую нору, вырытую в сугробе, ради того, чтобы почувствовать прикосновение дружеской руки, услышать приветливые слова. Он забывал о еде — даже о еде, — лишь бы побыть около бога, получить от него ласку или отправиться вместе с ним в город.

И вот склонность уступила место любви. Любовь затронула в нем такие глубины, куда никогда не проникала склонность. За любовь Белый Клык платил любовью. Он обрел божество, лучезарное божество, в присутствии которого он расцветал, как растение под лучами солнца. Белый Клык не умел проявлять свои чувства. Он был уже немолод и слишком суров для этого. Постоянное одиночество выработало в нем сдержанность. Его угрюмый нрав был результатом долголетнего опыта. Он не умел лаять и уже не мог научиться приветствовать своего бога лаем. Он никогда не лез ему на глаза, не суетился и не прыгал, чтоб доказать свою любовь, никогда не кидался навстречу, а ждал в сторонке, — но ждал всегда. Любовь эта граничила с немым, молчаливым обожанием. Только глаза, следив-

шие за каждым движением хозяина, выдавали чувства Белого Клыка. Когда же хозяин смотрел на него и заговаривал с ним, он смущался, не зная, как выразить любовь, завладевшую всем его существом.

Белый Клык начинал приспосабливаться к поной жизни. Так он понял, что собак хозяина трогать нельзя. Но его властный характер заявлял о себе; и собакам пришлось убедиться на деле в превосходстве своего нового вожака. Признав его власть над собой, они уже не доставляли ему хлопот. Стоило Белому Клыку появиться среди стаи, как собаки уступали ему дорогу и покорялись его воле.

Точно так же он привык и к Мэтту, как к собственности хозяина. Уидон Скотт сам очень редко кормил Белого Клыка, эта обязанность возлагалась на Мэтта, — и Белый Клык понял, что пища, которую он ест, принадлежит хозяину, поручившему Мэтту заботиться о нем. Тот же самый Мэтт попробовал как-то запрячь его в нарты вместе с другими собаками. Но эта попытка потерпела неудачу, и Белый Клык покорился только тогда, когда Уидон Скотт сам надел на него упряжь и сам сел в нарты. Он понял: хозяин хочет, чтобы Мэтт правил им так же, как и другими собаками.

У клондайкских нарт, в отличие от саней, на которых ездят на Маккензи, есть полозья. Способ запряжки здесь гоже совсем другой. Собаки бегут гуськом в двойных постромках, а не расходятся веером. И здесь, на Клондайке, вожак действительно вожак. На первое место ставят самую понятливую и самую сильную собаку, которой боится и слушается вся упряжка. Как и следовало ожидать, Белый Клык вскоре занял это место. После многих хлопот Мэтт понял, что на меньшее тот не согласится. Белый Клык сам выбрал себе это место, и Мэтт, не стесняясь в выражениях, подтвердил правильность его выбора после первой же пробы. Бегая целый день в упряжке, Белый Клык не забывал и о том, что ночью надо сторожить хозяйское добро. Таким образом, он верой и правдой служил Скотту, и у того во всей упряжке не было более ценной собаки, чем Белый Клык.

— Если уж вы разрешите мне высказать свое мнение, — заговорил как-то Мэтт, — то доложу вам, что с вашей стороны было очень умно дать за эту собаку полтораста долларов. Ловко вы провели Красавчика Смита, уж не говоря о том, что и по физиономии ему съездили.

Серые глаза Уидона Скотта снова загорелись гневом, и он сердито пробормотал: «Мерзавец!»

Поздней весной Белого Клыка постигло большое горе: внезапно, без всякого предупреждения, хозяин исчез. Собственно говоря, предупреждение было, но Белый Клык не имел опыта в таких делах и не знал, чего надо ждать от человека, который укладывает свои вещи в чемоданы. Впоследствии он вспомнил, что укладывание вещей предшествовало отъезду хозяина, но тогда у него не зародилось ни малейшего подозрения. Вечером Белый Клык, как всегда, ждал его прихода. В полночь поднялся ветер; он укрылся от холода за хижиной и лежал там, прислушиваясь сквозь дремоту, не раздадутся ли знакомые шаги. Но в два часа ночи беспокойство выгнало его из-за хижины, он свернулся клубком на холодном крыльце и стал ждать дальше.

Хозяин не приходил. Утром дверь отворилась, и на крыльцо вышел Мэтт. Белый Клык тоскливо посмотрел на погонщика: у него не было другого способа спросить о том, что ему так хотелось знать. Дни шли за днями, а хозяин не появлялся. Белый Клык, не знавший до сих пор, что такое болезнь, заболел. Он был плох, настолько плох, что Мэтту пришлось в конце концов взять его в хижину. Кроме того, в своем письме к хозяину Мэтт приписал несколько строк о Белом Клыке.

Получив письмо в Сёркле, Уидон Скотт прочел следующее:

«Проклятый волк отказывается работать. Ничего не ест. Совсем приуныл. Собаки не дают ему проходу. Хочет знать, куда вы девались, а я не умею растолковать ему. Боюсь, как бы не сдох».

Мэтт писал прайду. Белый Клык затосковал, перестал есть, не отбивался от налетавших на нет собак. Он лежал в комнате на полу около печки, потеряв всякий интерес к еде, к Матту, ко всему на свете. Мэтт пробовал говорить с ним ласково, пробовал кричать — ничего не действовало: Белый Клык поднимал на него потускневшие глаза, а потом снова ронял голову на передние лапы.

Но однажды вечером, когда Мэтт сидел за столом и читал, шепотом бормоча слова и шевеля губами, внимание его привлекло тихое повизгивание Белого Клыка. Белый Клык встал с места, навострил уши, глядя на дверь, и внимательно прислушивался. Минутой позже Мэп услышал шаги. Дверь отворилась, и вошел Уидон Скотт. Они поздоровались. Потом Скотт огляделся по сторонам.

— А где волк? — спросил он и увидел его.

Белый Клык стоял около печки. Он не бросился вперед, как это сделала бы всякая другая собака,

а стоял и смотрел на своего хозяина.

— Черт возьми! — воскликнул Мэтт. — Да он хвостом виляет!

Уидон Скотт вышел на середину комнаты и подозвал Белого Клыка к себе. Белый Клык не прыгнул к нему навстречу, но сейчас же подошел на зов. Движения его сковывала застенчивость, но в глазах появилось какое-то новое, необычное выражение: чувство глубокой любви засветилось в них.

— На меня, небось, ни разу так не взглянул, пока вас не было, — сказал Мэтт.

Но Уидон Скотт ничего не слышал. Присел на корточки перед Белым Клыком, он ласкал его — почесывал ему за ушами, гладил шею и плечи, нежно похлопывал по спине. А Белый Клык тихо рычал в ответ, и мягкие нотки слышались в его рычании яснее, чем прежде.

Но это было не все. Каким образом радость помогла найти выход глубокому чувству, рвавшемуся наружу? Белый Клык вдруг вытянул шею и сунул голову хозяину под мышку; и, спрягавшись так, что на виду оставались одни только уши, он уже не рычал больше и прижимался к хозяину все теснее и теснее.

Мужчины переглянулись. У Скотта блестели

глаза.

— Вот поди ж ты! — воскликнул пораженный Мэтт. Потом добавил: — Я всем да говорил, что это не волк, а собака. Полюбуйтесь на него!

С возвращением хозяина, научившего его любви, Белый Клык быстро пришел в себя. В хижине он провел всего две ночи и день, а потом вышел на крыльцо. Собаки уже успели забыт о его доблести, у них осталось в памяти, что за последнее время Белый Клык был слаб и болен, — и как только он появился на крыльце, они кинулись на него со всех сторон.

— Ну и свалка! — с довольным видом пробормотал Мэтт, наблюдавший эту сцену с порога хижины. — Нечего с ними церемониться, волк! Задай им как следует. Ну, еще, еще!

Белый Клык не нуждался в поощрении. Приезда мобимого хозяина было вполне достаточно — чудесная буйная жизнь снова забилась в его жилах. Он дрался, находя в драке единственный выход для своей радости. Конец мог быть только один — собаки разбежались, потерпев поражение, и вернулись обратно лишь с наступлением темноты, униженно и кротко заявляя Белому Клыку о своей покорности.

Научившись прижиматься к хозяину головой,

Белый Клык частенько пользовался этим новым способом выражения своих чувств. Это был предел, дальше которого он не мог идти. Голову свою он оберегал больше всего и не выносил, когда до нее дотрагивались. Так велела ему Северная глушь: бойся капкана, бойся всего, что может причинить боль. Инстинкт требовал, чтобы голова оставалась свободной. А теперь, прижимаясь к хозяину, Белый Клык по собственной воле ставил себя в совершенно беспомощное положение. Он выражал этим беспредельную веру, беззаветную покорность хозяину и как бы говорил ему: «Отдаю себя в твои руки. Поступай со мной, как знаешь».

Однажды вечером, вскоре после своего возвращения, Скотт играл с Мэттом в криббедж на сон грядущий.

— Пятнадцать и два, пятнадцать и четыре, и еще двойка… — подсчитывал Мэтт, как вдруг снаружи послышались чьи-то крики и рычание.

Переглянувшись, они вскочили из-за стола.

— Волк дерет кого-то! — сказал Мэтт. Отчаянный вопль заставил их броситься к двери.

— Посветите мне! — крикнул Скотт, выбегая на крыльцо.

Мэтт последовал за ним с лампой, и при свете ее они увидели человека, навзничь лежавшего

на снегу. Он закрывал лицо и шею руками, пытаясь защититься от зубов Белого Клыка. И это была не лишняя предосторожность: не помня себя от ярости, Белый Клык старался во что бы то ни стало добраться зубами до горла незнакомца; от рукавов куртки, синей фланелевой блузы и нижней рубашки у того остались одни клочья, а искусанные руки были залиты кровью.

Скотт и погонщик разглядели все это в одну секунду. Скотт схватил Белого Клыка за шею и оттащил назад. Белый Клык рвался с рычанием, но не кусал хозяина и после его резкого окрика быстро успокоился.

Мэтт помог человеку встать на ноги. Поднимаясь, тот отнял руки от лица, и, увидев зверскую физиономию Красавчика Смита, пшонщик отскочил назад как ошпаренный. Щурясь на свету, Красавчик Смит огляделся по сторонам. Лицо у него перекосило от ужаса, как только он взглянул на Белого Клыка.

В ту же минуту погонщик увидел, что на снегу что-то лежит. Он поднес лампу поближе и подтолкнул носком сапога стальную цепь и толстую палку.

Уидон Скотт понимающе кивнул головой. Они не произнесли ни слова. Погонщик взял Красав-

чика Смита за плечо и повернул к себе спиной. Все было понятно. Красавчик Смит припустил во весь дух.

А хозяин гладил Белого Клыка и говорил:

— Хотел увести тебя, да? А ты не позволил? Так, так, значит, просчитался этот молодчик!

— Он, небось, подумал, что на него вся преисподняя кинулась, — ухмыльнулся Мэтт.

А Белый Клык продолжал рычать; но мало-помалу шерсть у него на спине улеглась, и мягкая нотка, совсем было потонувшая в этом злобном рычании, становилась все слышнее и слышнее.

Часть пятая
ГЛАВА ПЕРВАЯ
В ДАЛЬНИЙ ПУТЬ

Это носилось в воздухе. Белый Клык почувствовал беду еще задолго до того, как она дала знать о своем приближении. Весть о грядущей ггеремене какими-то неведомыми путями дошла до него. Предчувствие зародилось в нем по вине богов, хотя он и не отдавал себе отчета в том, как и почему это случилось. Сами того не подозревая, боги выдали свои намерения собаке, и она уже не ггокидала крыльца хижины и, не входя в комнату, знала, что люди что-то затевают.

— Послушайте-ка! — сказал как-то за ужином погонщик.

Уидон Скотт прислушался. Из-за двери доносилось тихое тревожное поскуливание, похожее скорее на сдерживаемый плач. Потом стало слышно, как Белый Клык обнюхивает дверь, желая убедиться в том, что бог его все еще тут, а не исчез таинственным образом, как в прошлый раз.

— Чует, в чем дело,— сказал погонщик.

Уидон Скотт почти умоляюще взглянул на Мэтта, но слова его не соответствовали выражению глаз.

— На кой черт мне волк в Калифорнии? — спросил он.

— Вот и я то же самое говорю, — ответил Мэтт. — На кой черт вам волк в Калифорнии?

Но эти слова не удовлетворили Уидона Скотта; ему показалось, что Мэтт осуждает его.

— Наши собаки с ним не справятся, — продолжал Скотт. — Он их всех перегрызет. И если даже я не разорюсь окончательно на одни штрафы, полиция все равно отберет его у меня и разделается с ним по-своему.

— Настоящий бандит, что и говорить! — подтвердил погонщик.

Уидон Скотт недоверчиво взглянул на него.

— Нет, это невозможно, — сказал он решительно.

— Конечно, невозможно, — согласился Мэтт. — Да вам придется специального человека к нему приставить.

Все колебания Скотта исчезли. Он радостно кивнул. В наступившей тишине стало слышно, как Белый Клык тихо поскуливает, словно сдерживая плач, и обнюхивает дверь.

— А все-таки здорово он к вам привязался, — сказал Мэтт.

Хозяин вдруг вскипел:

— Да ну вас к черту, Мэтт! Я сам знаю, что делать.

— Я не спорю, только…

— Что «только»? — оборвал его Скотт.

— Только… — тихо начал погонщик, но вдруг осмелел и не стал скрывать, что сердится: — Чего вы так взъерошились? Глядя на вас, можно подумать, что вы так-таки и не знаете, что делать.

Минуту Уидон Скотт боролся с самим собой, а потом сказал уже гораздо более мягким тоном:

— Вы правы, Мэтт. Я сам не знаю, что делать. В том-то вся и беда… — И, помолчав, добавил: — Да нет, было бы чистейшим безумием взять собаку с собой.

— Я с вами совершенно согласен, — ответил Мэтт, но его слова и на этот раз не удовлетворили хозяина.

— Каким образом он догадывается, что вы уезжаете, вот чего я не могу понять! — как ни в чем не бывало продолжал Мэтт.

— Я и сам этого не понимаю, — ответил Скотт, грустно покачав головой.

А потом наступил день, когда в открытую дверь

хижины Белый Клык увидел, как хозяин укладывает вещи в тот самый проклятый чемодан. Хозяин и Мэтт то и дело уходили и приходили, и мирная жизнь хижины была нарушена. У Белого Клыка не осталось никаких сомнений. Он уже давно чуял беду, а теперь понял, что ему грозит: бог снова готовится к бегству. Уж если он не взял его с собой в первый раз, то, очевидно, не возьмет и теперь.

Этой ночью Белый Клык поднял вой — протяжный волчий вой. Белый Клык выл, подняв морду к безучастным звездам, и изливал им свое горе так же, как в детстве, когда, прибежав из Северной глуши, он не нашел поселка и увидел только кучку мусора на том месте, где стоял прежде вигвам Серого Бобра.

В хижине только что легли спать.

— Он опять перестал есть, — сказал со своей койки Мэтт.

Уидон Скотт пробормотал что-то и заворочался под одеялом.

— В тот раз тосковал, а уж теперь, наверное, сдохнет.

Одеяло на другой койке опять пришло в движение.

— Да замолчите вы! — крикнул в темноте Скотт.

— Заладили одно, как старая баба!

— Совершенно справедливо, — ответил погонщик, и у Скотта не было твердой уверенности, что тот не подсмеивается над ним втихомолку.

На следующий день беспокойство и страх Белого Клыка только усилились. Он следовал за хозяином по пятам, а когда Скотт заходил в хижину, торчал на крыльце. В открытую дверь ему были видны вещи, разложенные на полу. К чемодану прибавились два больших саквояжа и ящик. Мэтт складывал одеяла и меховую одежду хозяина в брезентовый мешок. Белый Клык заскулил, глядя на эти приготовления.

Вскоре у хижины появились два индейца. Белый Клык внимательно следил, как они взвалили вещи на плечи и спустились с холма вслед за Мэттом, который нес чемодан и брезентовый мешок. Вскоре Мэтт вернулся. Хозяин вышел на крыльцо и позвал Белого Клыка в хижину.

— Эх ты, бедняга! — ласково сказал он, почесывая ему за ухом и гладя по спине. — Уезжаю, старина. Тебя в такую даль с собой не возьмешь. Ну, порычи на прощанье, порычи, порычи как следует.

Но Белый Клык отказывался рычать. Вместо этого он бросил на хозяина грустный, пытливый

взгляд и спрягал голову у него под мышкой.

— Гудок! — крикнул Мэтт.

С Юкона донесся резкий вой пароходной сирены.

— Кончайте прощаться! Да не забудьте захлопнуть переднюю дверь! Я выйду через заднюю. Поторапливайтесь!

Обе двери захлопнулись одновременно, и Скотт подождал на крыльце, пока Мэтт выйдет из-за угла хижины. За дверью слышалось тихое повизгиванье, похожее на плач. Потом Белый Клык стал глубоко, всей грудью втягивать воздух, уткнувшись носом в порог.

— Берегите его, Мэтт, — говорил Скотт, когда они спускались с холма. — Напишите мне, как ему тут живется.

— Обязательно, — ответил погонщик. — Стойте!.. Слышите?

Он остановился. Белый Клык выл, как воют собаки над трупом хозяина. Глубокое горе звучало в этом вое, переходившем то в душераздирающий плач, то в жалобные стоны, то опять взлетавшем вверх в новом порыве отчаяния.

Пароход «Аврора» первый в этом году отправлялся из Клондайка, и палубы его были забиты пассажирами. Тут толпились люди, которым по-

везло в погоне за золотом, люди, которых золотая лихорадка разорила, — и все они стремились уехать из этой страны, так же как в свое время стремились попасть сюда.

Стоя около сходней, Скотт прощался с Мэттом. Погонщик уже хотел сойти на берег, как вдруг глаза его уставились на что-то в глубине палубы, и он не ответил на рукопожатие Скотта. Тот обернулся: Белый Клык сидел в нескольких шагах от них и тоскливо смотрел на своего хозяина.

Мэтт чертыхнулся вполголоса. Скотт смотрел на собаку в полном недоумении.

— Вы заперли переднюю дверь? Скоп кивнул головой и спросил:

— А вы заднюю?

— Конечно, запер! — горячо ответил Мэтт.

Белый Клык с заискивающим видом прижал уши, но продолжал сидеть в сторонке, не пытаясь подойти к ним.

— Придется увести его с собой.

Мэтт сделал два шага по направлению к Белому Клыку; тот метнулся в сторону. Погонщик бросился за ним, но Белый Клык проскользнул между ногами пассажиров. Увертываясь, шныряя из стороны в сторону, он бегал по палубе и не давался Мэтту.

Но стоило хозяину заговорить, как Белый Клык покорно подошел к нему.

— Сколько времени кормил его, а он меня теперь и близко не подпускает! — обиженно пробормотал погонщик. — А вы хоть бы раз покормили с того первого дня! Убейте меня — не знаю, как он догадался, что хозяин — вы.

Скотт, гладивший Белого Клыка, вдруг нагнулся и показал на свежие порезы на его морде и глубокую рану между глазами.

Мэтт провел рукой ему по брюху.

— А про окно-то мы с вами забыли! Глядите, все брюхо изрезано. Должно быть, разбил стекло и выскочил.

Но Уидон Скотт не слушал, он быстро обдумывал что-то. «Аврора» дала последний гудок. Провожающие юропливо сходили на берег. Мэтт снял платок с шеи и хотел взять Белого Клыка на привязь. Скотт схватил его за руку.

— Прощайте, Мэтт! Прощайте, дружище! Вам, пожалуй, не придется писать мне про волка… Я… я…

— Что? — вскрикнул погонщик. — Неужели вы…

— Вот именно. Спрячьте свой платок. Я вам сам про него напишу.

Мэтт задержался на сходнях.

— Он не перенесет климата! Вам придется стричь его в жару!

Сходни втащили на палубу, и «Аврора» отвалила от берега. Уидон Скотт помахал Мэтту на прощанье и повернулся к Белому Клыку, стоявшему рядом С ним.

— Ну, теперь рычи, негодяй, рычи, — сказал он, глядя на доверчиво прильнувшего к его ногам Белого Клыка и почесывая ему за ушами.

ГЛАВА ВТОРАЯ
НА ЮГЕ

Белый Клык сошел с парохода в Сан-Франциско.

Он был потрясен. Представление о могуществе всегда соединялось у него с представлением о божестве. И никогда еще белые люди не казались ему такими чудодеями, как сейчас, когда он шел по скользким тротуарам Сан-Франциско. Вместо знакомых бревенчатых хижин по сторонам высились громадные здания. Улицы были полны всякого рода опасностей — колясок, карет, автомобилей, рослых лошадей, впряженных в огромные фургоны, — а среди них двигались

страшные трамваи, непрестанно грозя Белому Клыку пронзительным звоном и дребезгом, напоминавшим визг рыси, с которой ему приходилось встречаться в северных лесах.

Все вокруг говорило о могуществе. За всем этим чувствовалось присутствие властного человека, утвердившего свое господство над миром вещей. Белый Клык был ошеломлен и подавлен этим зрелищем. Ему стало страшно. Сознание собственного ничтожества охватило гордую, полную сил собаку, как будто она снова превратилась в щенка, прибежавшего из Северной глуши к поселку Серого Бобра. А сколько богов здесь было! От них у Белого Клыка рябило в глазах. Уличный грохот оглушал его, он терялся от непрерывного потока и мелькания вещей. Он чувствовал, как никогда, свою зависимость от хозяина и шел за ним по пятам, стараясь не упускать его из виду.

Город пронесся кошмаром, но вое поминание о нем долюе время преследовало Белого Клыка во сне. В тот же день хозяин посадил его на цепь в угол багажного вагона, среди груды чемоданов и сундуков. Здесь всем распоряжался коренастый, очень сильный бог, который с грохотом двигал сундуки и чемоданы, втаскивал их в вагон, громоздил один на другой или же швырял за дверь,

где их подхватывали другие боги.

И здесь, в этом кромешном аду, хозяин покинул Белого Клыка, — по крайней мере Белый Клык считал себя покинутым до тех пор, пока не учуял рядом с собой хозяйских вещей и, учуяв, стал на стражу около них.

— Вовремя пожаловали, — проворчал коренастый бог, когда часом позже в дверях появился Уидон Скотт. — Эта собака дотронуться мне не дала до ваших чемоданов.

Белый Клык вышел из вагона. Опять неожиданность! Кошмар кончился. Он принимал вагон за комнату в доме, который со всех сторон был окружен городом. Но за этот час город исчез. Грохот его уже не лез в уши. Перед Белым Клыком расстилалась веселая, залитая солнцем, спокойная страна. Но удивляться этой перемене было некогда. Белый Клык смирился с ней, как смирялся со всеми чудесами, сопутствовавшими каждому шагу богов.

Их ожидала коляска. К хозяину подошли мужчина и женщина. Женщина протянула руки и обняла хозяина за шею… Это враг! В следующую же минуту Уидон Скоп вырнался из ее объятий и схватил Белого Клыка, который рычал и бесновался вне себя от ярости.

— Ничего, мама! — говорил Скотт, не отпуская Белого Клыка и стараясь усмирить его. — Он думал, что вы хотите меня обидеть, а этого делать не разрешается. Ничего, ничего. Он скоро все поймет.

— А до тех пор я смогу выражать свою любовь к сыну голько тогда, когда его собаки не будет поблизости, — засмеялась миссис Скоп, хотя лицо ее побелело от страха.

Она смотрела на Белого Клыка, который все еще рычал и, весь ощетинившись, не сводил с нее глаз.

— Он скоро все поймет, вот увидите, — должен понять! — сказал Скотт.

Он начал ласково говорить с Белым Клыком и, окончательно успокоив его, крикнул строгим голосом:

— Лежать! Тебе говорят!

Белому Клыку уже были знакомы эти слова, и он повиновался приказанию, хоть и неохотно.

— Ну, мама!

Скоп протянул руки, не сводя глаз с Белого Клыка.

— Лежать! — крикнул он еще раз.

Белый Клык ощетинился, привстал, но сейчас же опустился на месю, не переставая наблюдать

за враждебными действиями незнакомых богов. Однако ни женщина, ни мужчина, обнявший вслед за ней хозяина, не сделали ему ничего плохого. Незнакомцы и хозяин уложили вещи в коляску, сели в нее сами, и Белый Клык побежал следом за пей, время си времени подскакивая вплотную к лошадям и словно предупреждая их, что он не позволит причинить никакого вреда богу, которого они так быстро везут по дороге.

Через четверть часа коляска въехала в каменные ворота и покатила по аллее, обсаженной густым, переплетающимся наверху орешником. За аллеей по обе стороны расстилался большой луг с видневшимися на нем кое-где могучими дубами. Подстриженную зелень луга оттеняли золотисто-коричневые, выжженные солнцем поля; еще дальше были холмы с пастбищами на склонах. В конце аллеи, на невысоком пригорке, стоял дом с длинной верандой и множеством окон.

Но Белый Клык не успел как следует рассмотреть все это. Едва только коляска въехала в аллею, как на него с разгоревшимися от негодования и злобы глазами налетела овчарка. Белый Клык оказался отрезанным от хозяина. Весь ощетинившись и, как всегда, молча, он приготовился нанести ей сокрушительный удар, но удара этого

так и не последовало. Белый Клык остановился на полдороге как вкопанный и осел на задние лапы, стараясь во что бы то ни стало избежать соприкосновения с собакой, которую минуту тому назад он хотел сбить с ног. Это была самка, а закон его породы охранял ее от таких нападений. Напасть на самку — значило бы для Белого Клыка не больше не меньше, как пойти против велений инстинкта.

Но самке инстинкт говорил совсем другое. Будучи овчаркой, она питала бессознательный страх перед Северной глушью, и особенно перед таким ее обитателем, как волк. Белый Клык был для овчарки волком, исконным врагом, грабившим стада еще в те далекие времена, когда первая овца была поручена заботам ее отдаленных предков. И поэтому, как только Белый Клык остановился, отказавшись от драки, овчарка сама бросилась на него. Он невольно зарычал, почувствовав, как острые зубы впиваются ему в плечо, но все-таки не укусил овчарку, а только смущенно попятился назад, стараясь обежать ее сбоку. Однако все его старания были напрасны — овчарка не давала ему проходу.

— Назад, Колли! — крикнул незнакомец, сидевший в коляске.

Уидон Скотт засмеялся.

— Ничего, отец. Это хороший урок Белому Клыку. Ему ко многому придется привыкать. Пусть начинает сразу. Ничего, обойдется как-нибудь.

Коляска удалялась, а Колли все еще преграждала Белому Клыку путь. Он попробовал обогнать ее и, свернув с дороги, кинулся через лужайку, но овчарка бежала по внутреннему кругу, и Белый Клык всюду натыкался на ее оскаленную пасть. Он повернул назад, К другой лужайке, но она и здесь обогнала его.

А коляска увозила хозяина. Белый Клык видел, как она мало-помалу исчезает за Деревьями. Положение было безвыходное. Он попробовал описать еще один круг. Овчарка не отставала. Тогда Белый Клык на всем ходу повернулся к ней. Он решился паевой испытанный боевой прием — ударил ее в плечо и сшиб с ног. Овчарка бежала так быстро, что удар этот не только свалил ее на землю, но заставил по инерции перевернуться несколько раз подряд. Пытаясь остановиться, она загребала когтями землю и громко выла от негодования и оскорбленной гордости.

Белый Клык не стал ждать. Путь был свободен, а ему только это и требовалось. Не переставая тявкать, овчарка бросилась за ним вдогонку. Он

взял напрямик, а уж что касается умения бегать, так тут овчарка могла многому поучиться у него. Она мчалась с истерическим лаем, собирая все свои силы для каждого прыжка, а Белый Клык несся вперед молча, без малейшего напряжения и, словно призрак, скользил по траве.

Обогнув дом, Белый Клык увидел, как хозяин выходит из коляски, остановившейся у подъезда. В ту же минуту он понял, что на него готовится новое нападение. К нему неслась шотландская борзая. Белый Клык хотел оказать ей достойный прием, но не смог остановиться сразу, и борзая уже была почти рядом. Она налетела на него сбоку. От такого неожиданною удара Белый Клык со всего размаху кубарем покатился по кемле. А когда он вскочил на ноги, вид его был страшен: уши, прижатые вплотную к голове,судорожно подергивающиеся губы и нос, клыки, лязгнувшие в каком-нибудь дюйме от горла борзой.

Хозяин бросился на выручку, но он был слишком далеко от них, и спасителем борзой оказалась овчарка Колли. Подбежав как раз в ту минуту, когда Белый Клык готовился к прыжку, она не позволила ему нанести смертельный удар противнику. Колли налетела, как шквал. Чувство оскорбленного достоинства и справедливый гнев

только разожгли в овчарке ненависть к этому выходцу из Северной глуши, который ухитрился ловким маневром провести и обогнать ее и вдобавок вывалял в песке. Она кинулась на Белого Клыка под прямым углом в тот миг, когда он метнулся к борзой, и вторично сшибла его с ног.

Подоспевший к этому времени хозяин схватил Белого Клыка, а отец хозяина отозвал собак.

— Нечего сказать, хороший прием здесь оказывают несчастному волку, приехавшему из Арктики, — говорил Скотт, успокаивая Белого Клыка. — За всю «вою жизнь он только раз был сбит с ног, а здесь его опрокинули дважды за какие-нибудь полминуты.

Коляска отъехала, а из дому вышли новые незнакомые боги. Некоторые из них остановились на почтительном расстоянии от хозяина, но две женщины подошли и обняли его за шею. Белый Клык начинал понемногу привыкать к этому враждебному жесту. Он не причинял никакого вреда хозяину, а в словах, которые боги произносили при этом, не чувствовалось ни малейшей угрозы. Незнакомцы попытались было подойти к Белому Клыку, но он предостерегающе зарычал, а хозяин подтвердил его предостережение словами. Белый Клык жался к ногам хозяина, и тот

успокаивал его, ласково поглаживая по голове.

По команде: «Дик! На место!» — борзая взбежала по ступенькам и легла на веранде, все еще рыча и не спуская глаз с пришельца. Одна из женщин обняла Колли за шею и принялась ласкан, и гладить ее. Но Колли никак не могла успокоиться и, возмущенная присутствием волка, скулила, в полной уверенности, что боги совершают ошибку, допуская его в свое общество.

Боги поднялись на веранду. Белый Клык шел за хозяином по пятам. Дик зарычал на нею. Белый Клык ощетинился и ответил ему тем же.

— Уведите Колли в дом, а эти двое пусть подерутся, — сказал отец Скотта. — После драки они станут друзьями.

— Тогда, чтобы доказать свою дружбу Дику, Белому Клыку придется выступить в роли главного плакальщика на ею похоронах, — засмеялся хозяин.

Отец недоверчиво посмотрел сначала на Белою Клыка, потом на Дика и в конце концов на сына

— Ты думаешь, что?.. Уидон кивнул головой.

— Вы угадали. Ваш Дик отправится на тот свет через минуту, самое большее — через две. Он повернулся к Белому Клыку.

— Пойдем, волк. Видно, в дом придется увести

не Колли, а тебя.

Белый Клык осторожно поднялся по ступенькам и прошел всю веранду, подняв хвост, не сводя глаз с Дика и в то же время готовясь к любой неожиданности, которая могла встретить его в доме. Но ничего страшного там не было. Войдя в комнаты, он тщательно обследовал все углы, по-прежнему ожидая, что ему грозит опасность. Потом с довольным ворчанием улегся у ног хозяина, не переставая следить за всем, что происходило вокруг, и готовясь каждую минуту вскочить с места и вступить в бой с теми ужасами, которые, как ему казалось, таились в этой западне.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ
ВЛАДЕНИЯ БОГА

Переезды с места на место заметно развили в Белом Клыке умение приспосабливаться к окружающей среде, дарованное ему от природы, и укрепили в нем сознание необходимости такого приспособления. Он быстро свыкся с жизнью в Сиерра-Вистс — так называлось поместье судьи Скотта. Никаких серьезных недоразумений с собаками больше не было. Здесь, на Юге, собаки

знали обычаи богов лучше, чем он, и в их глазах существование Белою Клыка уже оправдывалось тем фактом, что боги разрешили ему войти в свое жилище. До с их пор Колли и Дику никогда не приходилось сталкиваться с волком, но раз боги допустили его к себе, им обоим не оставалось ничего другого, как подчиниться.

На первых порах отношение Дика к Белому Клыку не могло не быть несколько настороженным, но вскоре он примирился с ним, как с неотъемлемой принадлежностью Сиерра-Висты. Если бы все зависело от одного Дика, они стали бы друзьями, но Белый Клык не чувствовал необходимости в дружбе. Он требовал, чтобы собаки оставили его в покое. Всю жизнь он держался особняком от своих собратьев и не имел ни малейшего желания нарушать теперь этот порядок пещей. Дик надоедал ему своими приставаниями, и он, рыча, прогонял его прочь. Еще на Севере Белый Клык понял, что хозяйских собак трогать нельзя, и не забывал этого урока и здесь. Но он продолжал настаивать на своей обособленности и замкнутости и до такой степени игнорировал Дика, что этот добродушный пес оставил все попытки завязать дружбу с волком и в конце концов уделял ему внимания не больше, чем

коновязи около конюшни.

Но с Колли дело обстояло несколько иначе. Смирившись с тем, что боги разрешили волку жить в доме, она все же не видела в этом достаточных оснований для тою, чтобы совсем оставить, его в покое. В памяти у Колли стояли бесчисленные преступления, совершенные волком и его родичами против ее предков. Набеги на овчарни нельзя забыть ни за один день, ни за целое поколение, они взывали к мести. Колли не смела нарушить волю богов, подпустивших к себе Белого Клыка, но это не мешало ей отравлять ему жизнь. Между ними была вековая вражда, и Колли взялась непрестанно напоминать об этом Белому Клыку.

Воспользовавшись преимуществами, которые давал ей пол, она всячески изводила и преследовала его. Инстинкт не позволял ему нападать на Колли, но оставаться равнодушным к ее настойчивым приставаниям было просто невозможно. Когда овчарка кидалась на нею, он подставлял под ее острые зубы свое плечо, покрытое густой шерстью, и величественно отходил в сторону; если это не помогало, с терпеливым и скучающим видом начинал ходить кругами, пряча от нее голову. Впрочем, когда она все же ухит-

рялась вцепиться ему в заднюю ногу, отступать приходилось гораздо поспешнее, уже не думая о величественности. Но в большинстве случаев Белый Клык сохранял достойный и почти торжественный вид. Он не замечал Колли, если только это было возможно, и старался не попадаться ей на глаза, а увидев или заслышав ее поблизости, вставал с места и уходил.

Белый Клык много чему должен был научиться в Сиерра-Висте. Жизнь на Севере была проста по сравнению со здешними сложными делами. Прежде всего ему пришлось познакомиться с семьей хозяина, но это было для него не в новинку. Мит-Са и Клу-Куч принадлежали Серому Бобру, ели добытое им мясо, грелись около его костра и спали под его одеялами; точно так же и все обитатели Сиерра-Висты принадлежали хозяину Белого Клыка.

Но и тут чувствовалась разница, и разница довольно значительная. Сиерра-Виста была куда больше вигвама Серого Бобра. Белому Клыку приходилось сталкиваться здесь с очень многими людьми. В Сиерра-Висте был судья Скотт со своей женой. Потом там были две сестры хозяина — Бэт и Мэри. Была жена хозяина — Элис и наконец его дети — Уидон и Мод, двое малышей четырех

и шести лет. Никто не мог рассказать Белому Клыку о всех этих людях, а об узах родства и человеческих взаимоотношениях он ничего не знал, да и никогда не смог бы узнать. И все-таки он быстро понял, что все эти люди принадлежат его хозяину. Потом, наблюдая за их поведением, вслушиваясь в их речь и интонацию голосов, он мало-помалу разобрался и степени близости каждого из обитателей Сиерра-Висты к хозяину, почувствовал меру расположения, которым он дарил их. И соответственно всему этому Белый Клык и сам стал относиться к новым богам: то, что ценил хозяин, ценил и он; то, что было дорого хозяину, надлежало всячески охранять и ему самому.

Так обстояло дело с хозяйскими детьми. Всю свою жизнь Белый Клык не терпел детей, боялся и не переносил прикосновения их рук: он не забыл детской жестокости и тирании, с которыми ему приходилось сталкиваться в индейских поселках. И когда Уидогг и Мод в первый раз подошли к нему, он предостерегающе зарычал и злобно сверкнул глазами. Удар кулаком и резкий окрик хозяина заставили Белого Клыка подчиниться их ласкам, хотя он не переставал рычать, пока крошечные руки гладили его, и в этом рычании

не слышалось ласковой нотки. Позднее, заметив, что мальчик и девочка дороги хозяину, он позволял им гладить себя, уже не дожидаясь удара и резкого окрика.

Все же проявлять свои чувства Белый Клык не умел. Он покорялся детям хозяина с откровенной неохотой и переносил их приставания, как переносят мучительную операцию. Если они уж очень надоедали ему, он вставал и с решительным видом уходил прочь. Но вскоре Уидон и Мод расположили к себе Белого Клыка, хотя он все еще никак не выказывал своею отношения к ним. Он никогда не подходил к детям сам, но уже не убегал от них и ждал, когда они подойдут. А потом взрослые стали замечать, что при виде детей в глазах Белого Клыка появляется довольное выражение, которое уступало место чему-то вроде легкой досады, как только они оставляли его для других игр.

Много нового пришлось постичь Белому Клыку, но на все это потребовалось время. Следующее место после детей Белый Клык отводил судье Скотту. Объяснялось это двумя причинами: во-первых, хозяин, очевидно, очень ценил его, во-вторых, судья Скотт был человек сдержанный. Белый Клык любил лежать у его ног, когда су-

дья читал газету на просторной веранде. Взгляд или слово, изредка брошенные в сторону Белого Клыка, говорили ему, что судья Скотт замечает его присутствие и умеет дать почувствовать это без всякой навязчивости. Но так бывало, когда хозяин куда-нибудь уходил. Стоило только ему показаться, и весь остальной мир переставал существовать для Белого Клыка.

Белый Клык позволял всем членам семьи Скотта гладить и ласкать, себя, но ни к кому из них он не относился так, как к хозяину. Никакие ласки не могли вызвать любовных ноток в его рычании. Как ни старались родные Скотта, никому из них не удалось заставить Белого Клыка прижаться к себе головой. Этим выражением безграничного доверия, подчинения и преданности Белый Клык удостаивал одного Уидона Скотта. В сущности говоря, остальные члены семьи были для него не чем иным, как хозяйской собственностью.

Точно так же Белый Клык очень рано почувствовал разницу между членами семьи хозяина и слугами. Слуги боялись его, а он, со своей стороны, воздерживался от нападений на этих людей только потому, что считал их тоже хозяйской собственностью. Между ними и Белым Клыком поддерживался нейтралитет, и только. Они вари-

ли обед для хозяина, мыли посуду и исполняли всякую другую работу, точно так же как на Клондайке все это делал Мэтт. Короче говоря, слуги входили необходимой составной частью в жизненный уклад Сиерра-Висты.

Много нового пришлось узнать Белому Клыку и за пределами поместья. Владения хозяина были широки и обширны, но и они имели свои границы. Около Снерра-Висты проходило шоссе. За ним начинались общие владения всех богов — дороги и улицы. Личные же их владения стояли за изгородями. Все это управлялось бесчисленным множеством законов, которые диктовали Белому Клыку его поведение, хотя он и не понимал языка богов и мог знакомиться с их законами только на основании собственного опыта. Он действовал сообразно своим инстинктам до тех пор, пока не сталкивался с одним из людских законов. После нескольких таких столкновений Белый Клык постигал закон и больше никогда не нарушал его.

Но сильнее всего действовали на Белого Клыка строгие нотки в голосе хозяина и наказующая рука хозяина. Белый Клык любил своею бога беззаветной любовью, и его строгость причиняла ему такую боль, какой не могли причинить ни Серый Бобр, ни Красавчик Смит. Их побои были

ощутимы только для тела, а дух, гордый, неукротимый дух Белого Клыка продолжал бушевать. Удары нового хозяина были чересчур слабы, чтобы причинить боль, и все-таки они проникали глубже. Хозяин выражал свое неодобрение Белому Клыку и этим уязвлял его в самое сердце.

В сущности говоря, Белому Клыку не так уж часто попадало от хозяина. Хозяйского голоса было вполне достаточно; по этому голосу Белый Клык судил, правильно он поступает или нет, к нему приноравливал свое поведение, поступки. Этот голос был для него компасом, по которому он направлял свой путь, компасом, который помотал ему знакомиться с новой страной и новой жизнью.

На Севере единственным прирученным животным была собака. Все остальные жили на воле и являлись законной добычей каждой собаки, если только она могла с ней справиться. Раньше Белому Клыку часто приходилось промышлять охотой, и ему было невдомек, что на Юге дело обстоит по-иному. Убедился он в этом в самом начале своего пребывания в долине Санта-Клара. Гуляя как-то рано утром около дома, он вышел из-за утла и наткнулся на курицу, убежавшую с птичьего двора. Вполне понятно, что ему захо-

телось съесть ее. Прыжок, сверкнувшие зубы, испуганное кудахтанье — и отважная путешественница встретила свой конец. Курица была хорошо откормленная, жирная и нежная на вкус; Белый Клык облизнулся и решил, что еда попалась неплохая.

В тот же день он набрел около конюшни еще на одну заблудшую курицу. На выручку ей прибежал конюх. Не зная нрава Белого Клыка, он захватил с собой для устрашения тонкий хлыстик. После первого же удара Белый Клык оставил курицу и бросился на человека. Его можно было бы остановить палкой, но не хлыстом. Второй удар, встретивший его на середине прыжка, он принял молча, не дрогнув от боли. Конюх вскрикнул, шарахнулся назад от прыгнувшей ему на грудь собаки, уронил хлыст, схватился за шею руками. В результате рука его была располосована от локтя вниз до самой кости.

Конюх страшно перепугался. Его ошеломила не столько злоба Белого Клыка, сколько то, что он бросился молча, не залаяв, не зарычав. Все еще не отнимая искусанной и залитой кровью руки от лица и горла, конюх начал отступать к сараю. Не появись на сцене Колли, ему бы несдобровать. Колли спасла конюху жизнь, так же как в свое

время она спасла жизнь Дику. Не помня себя от ярости, овчарка кинулась на Белого Клыка. Она оказалась умнее слишком доверчивых богов. Все ее подозрения оправдались: это грабитель! Он снова принялся за свои старые проделки! Он неисправим!

Конюх убежал на конюшню, а Белый Клык начал отступать перед свирепыми зубами Колли, кружась и подставляя под ее укусы то одно, то другое плечо. Но Колли продолжала донимать его, не ограничиваясь на этот раз обычным наказанием. Ее волнение и злоба разгорались с каждой минутой, и в конце концов Белый Клык забыл все свое достоинство и удрал в поле.

— Он не будет охотиться на кур, — сказал хозяин, — но сначала мне нужно застать его на месте преступления.

Случай представился два дня спустя, но хозяин даже не предполагал, каких размеров достигнет это преступление. Белый Клык внимательно следил за птичьим двором и его обитателями. Вечером, когда куры уселись на насест, он взобрался на груду недавно привезенного сена, перепрыгнул оттуда на крышу курятника, перелез через ее гребень и соскочил на землю. Секундой позже в курятнике началось смертоубийство.

Утром, когда хозяин вышел на веранду, глазам его предстало любопытное зрелище: конюх выложил на траве в один ряд пятьдесят зарезанных белых леггорнов. Скотт тихо засвистал, сначала от удивления, потом от восторга. Глазам его предстал также и Белый Клык, который не выказывал ни малейших признаков смущения или сознания собственной вины. Он держался очень горделиво, как будто и в самом деле совершил поступок, достойный всяческих похвал. При мысли о предстоящей ему неприятной задаче хозяин сжал губы: затем он резко заговорил с безмятежно настроенным преступником, и в голосе его — голосе бога — слышался гнев. Больше того: хозяин ткнул Белого Клыка носом в зарезанных кур и ударил его кулаком.

С тех пор Белый Клык уже не совершал налетов на курятник. Куры охранялись законом, и Белый Клык понял это. Вскоре хозяин взял его с собой на птичий двор. Как только живая птица засновала чуть ли не под самым носом у Белого Клыка, он сейчас же приготовился к прыжку. Это было вполне естественное движение, но голос хозяина оставил его остановиться. Они пробыли на птичьем дворе с полчаса. И каждый раз, когда Белый Клык, поддаваясь инстинкту, бросался за

птицей, голос хозяина останавливал его. Таким образом он усвоил еще один закон и тут же, не выходя из этого птичьего царства, научился не замечать его обитателей.

— Такие охотники на кур неисправимы, — грустно покачивая головой, проговорил за завтраком судья Скотт, когда сын рассказал ему об уроке, преподанном Белому Клыку. — Стоил им только повадиться на птичий двор и попробовать вкус крови… — И он снова с грустью покачал головой.

Но Уидон Скотт не соглашался с отцом.

— Знаете, что я сделаю? — сказал он наконец. — Я запру Белого Клыка на курятнике на целый день.

— Что же будет с курами! — запротестовал отец.

— Больше того, — продолжал сын, — за каждую задушенную курицу я плачу золотой доллар.

— На папу тоже надо наложить, какой-нибудь штраф, — вмешалась Бэт.

Сестра поддержала ее, и все сидевшие за столом хором одобрили это предложение. Судья не стал возражать.

— Хорошо! — Уидон Скотт на минуту задумался. — Если к концу дня Белый Клык не тронет ни

одного куренка, за каждые десять минут, проведенные им на птичьем дворе, вы скажете ему совершенно серьезным и торжественным голосом, как в суде во время оглашения приговора: «Белый Клык, ты умнее, чем я думал».

Выбрав такие места, где их не было видно, все члены семьи приготовились наблюдать за событиями. Но им пришлось потерпеть сильное разочарование. Как только хозяин ушел со двора, Белый Клык лег и заснул. Потом проснулся и подошел к корыту напиться. На кур он не обращал ни малейшего внимания — они для него не существовали. В четыре часа он прыгнул с разбега на крышу курятника, соскочил на землю по другую сторону и степенной рысцой побежал к дому. Он усвоил новый закон. И судья Скотт, к великому удовольствию всей семьи, собравшейся на веранде, торжественным голосом сказал шестнадцать раз подряд: «Белый Клык, ты умнее, чем я думал».

Но многообразие законов очень часто сбивало Белого Клыка с толку и повергало его в немилость. В конце концов он твердо уяснил себе, что нельзя трогать и кур, принадлежащих другим богам. То же самое относилось к кошкам, кроликам и индюшкам. Откровенно говоря, после первого

ознакомления с этим законом у него создалось впечатление, что все живые существа неприкосновенны. Перепелки вспархивали на лугу из-под самого его носа и улетали невредимыми. Белый Клык дрожал всем телом, но все же смирял в себе инстинктивное желание схватить птицу. Он повиновался воле богов.

Но вот однажды ему пришлось увидеть, как Дик спугнул на лугу зайца. Хозяин тоже видел это и не только не вмешивался, но даже подстрекал Белого Клыка присоединиться к погоне. Таким образом, Белый Клык узнал, что новый закон не распространяется на зайцев, и в конце концов усвоил его целиком. С домашними животными надо жить в мире. Если дружба с ними не ладится, то нейтралитет следует поддерживать во всяком случае. Но другие животные — белки, перепела и зайцы, не порвавшие связи с лесной глушью и не покорившиеся человеку, — законная добыча каждой собаки. Боги защищали только ручных животных и не позволяли им враждовать между собой. Боги были властны в жизни и смерти своих подданных и ревниво оберегали эту власть.

Жизнь в Сиерра-Висте была далеко не так проста, как на Севере. Цивилизация требовала от Белого Клыка прежде всего власти над самим

собой и выдержки — той уравновешенности, которая неосязаема, словно паутинка, и в то же время тверже стали. Жизнь здесь была тысячелика, и Белый Клык соприкасался с ней во всем ее многообразии. Так, когда ему приходилось бежать вслед за хозяйской коляской по городу Сан-Хосе или ждать хозяина на улице, жизнь текла мимо него глубоким, необъятным потоком, непрестанно требуя мгновенного приспособления к своим законам и почти всегда заставляя его заглушать в себе все естественные порывы.

В городе он видел мясные лавки, в которых прямо перед носом висело мясо. Но трогать его не разрешалось. В домах, куда заходил хозяин, были кошки, которых тоже следовало оставлять в покое. А собаки встречались повсюду, и драться с ними было нельзя, хоть они рычали на него. Кроме того, по тротуарам сновало бесчисленное множество людей, чье внимание он привлекал к себе. Люди останавливались, показывали на него друг другу, разглядывали его со всех сторон, заговаривали с ним и, что было хуже всего, трогали его руками. Приходилось терпеливо выносить прикосновение чужих рук, но терпением Белый Клык уже успел запастись. Он сумел даже преодолеть свою неуклюжую застенчивость и с

высокомерным видом принимал все знаки внимания, которыми наделяли его незнакомые боги. Они снисходили до него, и он отвечал им тем же. И все же в Белом Клыке было что-то такое, что препятствовало слишком фамильярному обращению с ним. Прохожие гладили его по голове и отправлялись дальше, довольные собственной смелостью.

Но Белому Клыку не всегда удавалось отделаться так легко. Когда хозяйская коляска проезжала предместьями Сан-Хосе, мальчишки, попадавшиеся на пути, встречали его камнями. Белый Клык знал, что догнать их и разделаться с ними как следует нельзя. Приходилось поступать вопреки инстинкту самосохранения, и он, заглушая в себе голос инстинкта, становился мало-помалу совсем ручной, цивилизованной собакой.

И все же такое положение дел не совсем удовлетворяло Белою Клыка, хоть он и не знал, что такое беспристрастие и честность. Но каждое живое существо до известной степени обладает чувством справедливости, и Белому Клыку трудно было примириться с тем, что ему не позволяют защищаться от этих мальчишек.

Он забыл, что договор, заключенный между ним и богами, обязывал последних заботиться о

нем и охранять его. И вот однажды хозяин выскочил из коляски с хлыстом в руках и как следует проучил сорванцов. После этого они перестали бросаться камнями, и Белый Клык все понял и почувствовал полное удовлетворение. Вскоре Белому Клыку пришлось испытать другой подобный же случай. Около салуна, мимо которого он пробегал по дороге в город, всегда слонялись три пса, взявшие себе за правило бросаться на него. Зная, чем кончаются все схватки Белого Клыка с собаками, хозяин неустанно втолковывал ему закон, запрещающий драки. Белый Клык хорошо усвоил этот закон и, пробегая мимо салуна на перекрестке, всегда попадал в очень неприятное положение. Его злобное рычание сейчас же отгоняло всех трех собак на приличную дистанцию, но они продолжали свою погоню издали, лаяли, оскорбляли его. Так продолжалось довольно долгое время. Посетители салуна даже поощряли собак и как-то раз совершенно открыто натравили их на Белого Клыка. Тогда хозяин остановил коляску.

— Взять их!—сказал он Белому Клыку.

Белый Клык не поверил собственным ушам. Он посмотрел на хозяина, посмотрел на собак. Потом еще раз бросил на хозяина вопросительный и

тревожный взгляд.

Тот кивнул головой.

— Возьми их, старик! Задай им как следует!

Белый Клык отбросил все колебания. Он повернулся и молча кинулся на врагов. Те не отступили. Началась свалка. Собаки лаяли, рычали, лязгали зубами. Вставшая столбом пыль заслонила поле битвы. Но через несколько минут две собаки уже бились на дороге н предсмертных судорогах, а третья бросилась наутек. Она перепрыгнула канаву, проскочила сквозь изгородь и убежала в ноле. Белый Клык мчался за ней совершенно бесшумно, как настоящий волк, не уступая волку и в быстроте, и на середине поля настиг и прикончил ее.

Это тройное убийство положило конец его неладам с чужими собаками. Слух о происшествии разнесся по всей долине, и люди стали следить за тем, чтобы их собаки не приставали к бойцовому волку.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ
ГОЛОС КРОВИ

Месяцы шли один за другим. Еды на Юге было вдоволь, работы от Белого Клыка не требова-

ли, и он вошел в тело, благоденствовал и был счастлив. Юг стал для Белого Клыка не только географической точкой — он жил на Юге жизни. Человеческая ласка согревала его, как солнце, и он расцветал, словно растение, посаженное в добрую почву.

И все-таки между Белым Клыком и собаками чувствовалась какая-то разница. Он знал все законы даже лучше своих собратьев, которым не приходилось жить в других условиях, и соблюдал их с большей точностью, — и тем не менее свирепость не изменяла ему, как будто Северная глушь все еще держала его в своей власти, как будто волк, живший в нем, только задремал на время.

Белый Клык не дружил с собаками. Он всегда был одиночкой и намеревался держаться в стороне от своих собратьев и впредь. С первых лет своей жизни, омраченных враждой с Лип-Липом и со всей сворой щенков, и за те месяцы, которые ему пришлось провести у Красавчика Смита, Белый Клык возненавидел собак. Жизнь его уклонилась от нормального течения, и он сблизился с человеком, отдалившись от своих сородичей.

Кроме того, на Юге собаки относились к Белому Клыку с большой подозрительностью: он будил в них инстинктивный страх перед Северной

глушью, и они встречали его лаем и рычанием, в котором слышалась ненависть. Он же, со своей сгороны, понял, что кусать их совсем необязательно. Оскаленные клыки и злобно вздрагивающие губы действовали безошибочно и останавливали почти любую разъяренную собаку.

Но жизнь послала Белому Клыку испытание, и этим испытанием была Колли. Она не давала ему ни минуты покоя. Закон не обладал для нее такой же непреложной силой, как для Белого Клыка, и Колли противилась всем попыткам хозяина заставить их подружиться. Ее злобное, истеричное рычание неотвязно преследовало Бело-го Клыка: Колли не могла простить ему историю с курами и была твердо уверена в преступности всех его намерений. Она находила вину там, где ее еще и не было. Она отравляла Белому Клыку существование, следуя за ним по пятам, как полисмен, и стоило ему только бросить любопытный взгляд на голубя или курицу, как овчарка поднимала яростный, негодующий лай. Излюбленный способ Белого Клыка отделаться от нее заключался в том, что он ложился на землю, опускал голову на передние лапы и притворялся спящим. В таких случаях она всегда терялась и сразу умолкала.

За исключением неприятностей с Колли, все

остальное шло гладко. Белый Клык научился сдерживать себя, твердо усвоил законы. В характере его появились положительность, спокойствие, философское терпение. Среда перестала быть враждебной ему. Предчувствия опасности, угрозы боли и смерти как не бывало. Мало-помалу исчез и ужас перед неизвестным, подстерегавшим его раньше на каждом шагу. Жизнь стала спокойной и легкой. Она текла ровно, не омрачаемая ни страхами, ни враждой.

Ему не хватало снега, но сам он не понимал этого. «Кик затянулось лето!» — подумал бы, вероятно, Белый Клык, если бы мог так подумать. Потребность и снеге была смутная, бессознательная. Точно так же в летние дни, когда солнце жгло безжалостно, он испытывал легкие приступы тоски по Северу. Но тоска эта проявлялась только в беспокойстве, причины которого оставались неясными ему самому.

Белый Клык никогда не отличался экспансивностью. Он прижимался головой к хозяину, ласково ворчал и только такими способами выражал свою любовь. Но вскоре ему пришлось узнать и третий способ. Он не мог оставаться равнодушным, когда боги смеялись. Смех приводил его в беггенство, заставлял терять рассудок от

ярости. Но на хозяина Белый Клык не мог сердиться, и, когда тот начал однажды добродушно подшучивать и смеяться над ним, он растерялся. Прежняя злоба поднималась в нем, но на этот раз ей приходилось бороться с любовью. Сердиться он не мог, — что же ему было делать? Он старался сохранить величественный вид, но хозяин захохотал громче. Он набрался еще больше величия, а хозяин все хохотал и хохотал. В конце концов Белый Клык сдался. Верхняя губа у него дрогнула, обнажив зубы, и глаза загорелись не то лукавым, не то любовным огоньком. Белый Клык научился смеяться.

Научился он и играть с хозяином: позволял валить себя с ног, опрокидывать на спину, проделывать над собой всякие шутки, а сам притворялся разъяренным, весь ощетинивался, рычал и лязгал зубами, делая вид, что хочет укусить хозяина. Но до этого никогда но доходило: его зубы щелкали в воздухе, не задевая Скотта. И в конце такой возни, когда удары, толчки, лязганье зубами и рычание становились все сильнее и сильнее, человек и собака вдруг отскакивали в разные стороны, останавливались и смотрели друг на друга. А потом так же внезапно — будто солнце вдруг проглянуло над разбушевавшимся

морем — они начинали смеяться. Игра обычно заканчивалась тем, что хозяин обнимал Белого Клыка за шею, а тот заводил свою ворчливо-нежную любовную песенку.

Но, кроме хозяина, никто не осмеливался поднимать такую возню с Белым Клыком. Он не допускал этого. Стоило кому-нибудь другому покуситься на его чувство собственного достоинства, как угрожающее рычание и вставшая дыбом шерсть убивали у этого смельчака всякую охоту поиграть с ним. Если Белый Клык разрешал хозяину такие вольности, это вовсе не значило, что он расточает свою любовь направо и палено, как обыкновенная собака, готовая возиться и играть с кем угодно. Он любил только одного человека и отказывался разменивать спою любовь.

Хозяин много ездил верхом, и Белый Клык считал своей первейшей обязанностью сопровождать его в такие прогулки. На Севере он доказывал свою верность людям тем, что ходил в упряжи, но на Юте никто не ездил на нартах, и здешних собак не нагружали тяжестями. Поэтому Белый Клык всегда был при хозяине во время его поездок, найдя в этом новый способ для выражения своей преданности. Ему ничего не стоило бежать так хоть целый день. Он бежал без малей-

шего напряжения, не чувствуя усталости, ровной волчьей рысью и, проделав миль пятьдесят, все так же резво несся впереди лошади.

Эти поездки хозяина дали Белому Клыку возможность научиться еще одному способу выражения своих чувств, и замечательно то, что он воспользовался им только два раза за всю свою жизнь. Впервые это случилось, когда Уидон Скотт добивался от горячей чистокровной лошади, чтобы она позволяла ему открывать и закрывать калитку, не сходя с седла, Раз за разом он подъезжал к калитке, пытаясь закрыть ее за собой, но лошадь испуганно пятилась назад, шарахалась в сторону. Она горячилась все больше и больше, взвивалась на дыбы, а когда хозяин давал ей шпоры и заставлял опустить передние ноги, начинала бить задом. Белый Клык следил за ними с возрастающим беспокойством и под конец, не имея больше сил сдерживать себя, подскочил к лошади и злобно и угрожающе залаял на нее.

После случая с лошадью он часто пытался лаять, и хозяин поощрял его попытки, но сделать это ему удалось еще только один раз, причем хозяина в то время не было поблизости. Поводом к этому послужили следующие события: хозяин скакал верхом по полю, как вдруг лошадь метнулась

в сторону, испугавшись выскочившего из-под самых ее копыт зайца, споткнулась, хозяин вылетел из седла, упал и сломал ногу. Белый Клык рассвирепел и хотел было вцепиться провинившейся лошади в горло, но хозяин остановил его.

— Домой! Ступай домой! — крикнул он, удостоверившись, что нога сломана.

Белый Клык не желал оставлять его одного. Хозяин хотел написать записку, но не нашел в карманах ни карандаша, ни бумаги. Тогда он снова приказал Белому Клыку бежать домой.

Белый Клык тоскливо посмотрел на него, сделал несколько шагов, вернулся и тихо заскулил. Хозяин заговорил с ним ласковым, но серьезным тоном; Белый Клык насторожил уши, с мучительным напряжением вслушиваясь в слова.

— Не смущайся, старик, ступай домой, — говорил Уидон Скотт. — Ступай домой и расскажи там, что случилось. Домой, волк, домой!

Белый Клык знал слово «домой» и, не понимая остального, все же догадался, о чем говорит хозяин. Он повернулся и нехотя побежал по полю. Потом остановился в нерешительности и посмотрел назад.

— Домой! — раздалось строгое приказание, и на этот раз Белый Клык повиновался.

Когда он подбежал к дому, все сидели на веранде, наслаждаясь вечерней прохладой. Белый Клык был весь в пыли и тяжело дышал.

— Уидон вернулся, — сказала мать Скотта.

Дети встретили Белого Клыка радостными криками и кинулись ему навстречу. Он ускользнул от них в дальний конец веранды, но маленький Уидон и Мод загнали его в угол между качалкой и перилами. Он зарычал, пытаясь вырваться на свободу. Жена Скотта испуганно посмотрела в ту сторону.

— Все-таки я в постоянной тревоге за детей, когда они вертятся около Белого Клыка, — сказала она. — Только и ждешь, что в один прекрасный день он бросится на них.

Белый Клык с яростным рычанием выскочил из ловушки, свалив мальчика и девочку с ног. Мать подозвала их к себе и стала утешать и уговаривать оставить Белого Клыка в покое.

— Волк всегда останется волком, — заметил судья Скотт. — На него нельзя полагаться.

— Но он не настоящий волк, — вмешалась Бэт, вставая на сторону отсутствующего брата.

— Ты полагаешься на слова Уидона, — возразил судья. — Он думает, что в Белом Клыке есть собачья кровь, но ведь это только его предположение.

А по виду...

Судья не закончил фразы. Белый Клык остановился перед ним и яростно зарычал.

— Пошел на место! На место! — строго проговорил судья Скотт.

Белый Клык повернулся к жене хозяина. Она испуганно вскрикнула, когда он схватил ее зубами за платье и, потянув к себе, разорвал легкую материю.

Тут уж Белый Клык стал центром всеобщего внимания. Он стоял, высоко подняв голову, и вглядывался в лица людей. Горло его подергивалось судорогой, но не издавало ни звука. Он силился как-то выразить то, что рвалось в нем наружу и не находило себе выхода.

— Уж не взбесился ли он? — сказала мать Уидона. — Я говорила Уидону, что северная собака не перенесет теплого климата.

— Он того и гляди заговорит! — воскликнула Бэт. В эту минуту Белый Клык обрел дар речи и разразился оглушительным лаем.

— Что-то случилось с Уидоном, — с уверенностью сказала жена Скотта.

Все вскочили с места, а Белый Клык бросился вниз по ступенькам, оглядываясь назад и словно приглашая модей следовать за собой. Он лаял

второй и последний раз в жизни и добился, что его поняли.

После этого случая обитатели Сиерра-Висты стали лучше относиться к Белому Клыку, и даже конюх с искусанной рукой признал, что Белый Клык умный пес, хоть он и волк. Судья Скотт тоже придерживался этой точки зрения и, к всеобщему неудовольствию, приводил в доказательство своей правоты описания и таблицы, взятые из энциклопедии и различных книг по зоологии.

Дни шли один за другим, щедро заливая долину Санта-Клара солнечными лучами. Но с приближением зимы, второй его зимы на Юге, Белый Клык сделал странное открытие, — зубы Колли перестали быть такими острыми: ее игривые, легкие укусы уже не причиняли боли. Белый Клык забыл, что когда-то овчарка отравляла ему жизнь, и, стараясь отвечать ей такой же игривостью, проделывал это до смешного неуклюже.

Однажды Колли долго носилась но лугу, а потом увлекла Белого Клыка за собой в лес. Хозяин собирался покататься до обеда верхом, и Белый Клык знал об этом: оседланная лошадь стояла у подъезда. Белый Клык колебался. Он чувствовал в себе нечто такое, что было сильнее всех познанных им законов, сильнее всех привычек,

сильнее любви к хозяину, сильнее воли к жизни. И когда овчарка куснула его и побежала прочь, он оставил свою нерешительность, повернулся и последовал за ней. В тот день хозяин ездил один, а Белый Клык бегал по лесу бок о бок с Колли, — так же, как много лет назад в безмолвной северной чаще его мать Кичи бегала с Одноглазым.

ГЛАВА ПЯТАЯ
ДРЕМЛЮЩИЙ ВОЛК

Приблизительно в это же время в газетах появились сообщения о смелом побеге из сан-квентинской тюрьмы одного заключенного, славившегося своей свирепостью. Это была натура, исковерканная с самого рождения и не получившая ни малейшей помощи от окружающей среды, натура, являвшая собой поразительный пример того, во что может обратиться человеческий материал, когда он попадает в безжалостные руки общества. Это было животное, — правда, животное в образе человека, но тем не менее иначе как хищником его нельзя было назвать. В сан-квентинской тюрьме он считался неисправимым. Никакое наказание не могло сломить его упорство. Он был способен бунтовать до послед-

него издыхания, не помня себя от ярости, но не мог жить побитым, покоренным. Чем яростнее бунтовал он, тем суровее общество обходилось с ним, и эта суровость только разжигала его злобу. Смирительная рубашка, голод, побои не достигали своей цели, а ничего другого Джим Холл не получал от жизни. Так обращались с Джимом Холлом с самого раннего детства, проведенного им в трущобах Сан-Франциско, когда он был мягкой глиной, готовой принять любую форму в руках общества.

В третий раз отбывая срок заключения в тюрьме, Джим Холл встретил там сторожа, который был почти таким же зверем, как и он сам. Сторож всячески преследовал его, оклеветал перед смотрителем, и Джима лишили последних тюремных поблажек. Вся разница между Джимом и сторожем заключалась лишь в том, что сторож носил при себе связку ключей и револьвер, а у Джима Холла были только голые руки да зубы. Но однажды он бросился на сторожа и вцепился зубами ему в горло, как дикий зверь в джунглях.

После этого Джима Холла перевели в одиночную камеру. Он прожил в ней три года. Пол, стены и потолок камеры были обиты железом. За все это время он ни разу не вышел из нее, ни разу не

увидел неба и солнца. Вместо дня в камере стояли сумерки, вместо ночи — черное безмолвие. Джим Холл был заживо погребен в железной могиле. Он не видел человеческою лица, не обменялся ни с кем ни словом. Когда ему просовывали пищу, он рычал, как дикий зверь. Он ненавидел весь мир. Он чем выть от ярости день за днем, ночь за ночью, потом замолкал на недели и месяцы, не издавая ни звука в этом черном безмолвии, проникавшем ему в самую душу.

А потом как-то ночью он убежал. Смотритель уверял, что это немыслимо, но тем не менее камера была пуста, а на пороге ее лежал убитый сторож. Еще два трупа отмечали путь преступника через тюрьму к наружной стене, — всех троих Джим Холл убил голыми руками, чтобы ничего не было слышно.

Сняв с убитых сторожей оружие, Джим Холл скрылся в горы. Голову его оценили в крупную сумму золотом. Алчные фермеры гонялись за ним с ружьями. Ценой его крови можно было выкупить закладную или послать сына в колледж. Граждане, воодушевившиеся чувством долга, вышли на Холла с ружьями в руках. Свора ищеек мчалась по его кровавым следам. А ищейки закона, состоявшие на жалованье у общества,

звонили по телефону, слали телеграммы, заказывали специальные поезда, ни днем, ни ночью не прекращая своих розысков.

Время от времени Джим Холл попадался на глаза своим преследователям, и тогда люди геройски шли ему навстречу или кидались от него врассыпную, к великому удовольствию всей страны, читавшей об этом в газетах за завтраком. После таких стычек убитых и раненых развозили по больницам, а их места занимали другие любители охоты на человека.

А затем Джим Холл исчез. Ищейки тщетно рыскали по его следам. Вооруженные люди задерживали ни в чем не повинных фермеров и требовали, чтобы те удостоверили свою личность. А жаждавшие получить выкуп за голову Холла десятки раз находили в горах его труп.

Все это время газеты читались и в Сиерра-Висте, но не столько с интересом, сколько с беспокойством. Женщины были перепуганы. Судья Скотт хорохорился и подшучивал над ними,— впрочем, без всяких оснований, так как незадолго до того, как он вышел в отставку, Джим Холл предстал перед ним в суде и выслушал от него свой приговор. И там же, в зале суда, перед всей публикой Джим Холл заявил, что настанет день, когда ОН

отомстит судье, вынесшему этот приговор.

На этот раз Джим Холл был невиновен. Его осудили неправильно. В воровском мире и среди полицейских это называлось «закатать в тюрьму».

Джима Холла «закатали» за преступление, которого он не совершал. Приняв во внимание две прежние судимости Джима Холла, судья Скоттдал ему пятьдесят лет тюрьмы.

Судья Скотт не знал многих обстоятельств дела, не подозревал он и того, что стал невольным соучастником сговора полицейских, что показания были подстроены и извращены, что Джим Холл не был причастен к преступлению. А Джим Холл со своей стороны не знал, что судья Скотт действовал по неведению. Джим Холл был уверен, что судья Скотт прекрасно обо всем осведомлен и, вынося этот чудовищный по своей несправедливости приговор, действует рука об руку с полицией. И поэтому, когда судья Скотт огласил приговор, осуждающий Джима Холла на пятьдесят лет жизни, мало чем отличающейся от смерти, Джим Холл, ненавидевший мир, который гак круто обошелся с ним, вскочил со своего места и бесновался от ярости до тех пор, пока его враги, одетые в синие мундиры, не повалили его

на пол. Он считал судью Скотта краеугольным камнем обрушившейся на него твердыни несправедливости и грозил ему местью. А потом Джима Холла заживо погребли в тюремной камере… и он убежал оттуда.

Обо всем этом Белый Клык ничего не знал. Но между ним и женой хозяина, Элис, существовала тайна. Каждую ночь, после того как вся Сиерра-Виста отходила ко сну, Элис вставала с постели и впускала Белого Клыка на всю ночь в холл. А так как Белый Клык не был комнатной собакой и ему не полагалось спать в доме, то рано утром, до того как все встанут, Элис тихонько сходила вниз и выпускала его во двор.

В одну такую ночь, когда весь дом покоился во сне, Белый Клык проснулся, но продолжал лежать тихо. И так же тихо он повел носом и сразу поймал несшуюся к нему по воздуху весть о присутствии в доме незнакомого бога. До его слуха доносились звуки шагов. Белый Клык не залаял. Это было не в его обычае. Незнакомый бог ступал очень тихо, но еще тише ступал Белый Клык, потому что на нем не было одежды, которая шуршит, прикасаясь к телу. Он двигался бесшумно. В Северной глуши ему приходилось охотиться за пугливой дичью, и он знал, как важно заслать

ее врасплох.

Незнакомый бог остановился у лестницы и стал прислушиваться. Белый Клык замер. Он стоял, не шевелясь, и ждал, что будет дальше. Лестница вела в коридор, где были комнаты хозяина и самых дорогих для него существ. Белый Клык ощетинился, но продолжал ждать молча. Незнакомый бог поставил ногу на нижнюю ступеньку; он стал подниматься вверх по лестнице…

И в эту минуту Белый Клык кинулся. Он сделал это без всякого предупреждения, даже не зарычал. Тело его взвилось в воздух и опустилось прямо на спину незнакомому богу. Белый Клык повис у него на плечах и впился зубами ему в шею. Он повис на незнакомом боге всей своей тяжестью и в одно мгновение опрокинул его навзничь. Оба рухнули на пол. Белый Клык отскочил в сторону, но как только человек попытался встать на ноги, он снова кинулся на него и снова запустил зубы ему в шею.

Обитатели Сиерра-Висты в страхе проснулись. По шуму, доносившемуся с лестницы, можно было подумать, что там сражаются полчища дьяволов. Раздался револьверный выстрел, за ним второй, третий. Кто-то пронзительно вскрикнул от ужаса и боли. Потом послышалось громкое ры-

чание. И все эти звуки сопровождал звон стекла и грохот опрокидываемой мебели.

Но шум замер так же внезапно, как и возник. Все это длилось не больше трех минут. Перепуганные обитатели дома столпились на верхней площадке лестницы. Снизу, из темноты, доносились булькающие звуки, будто воздух выходил пузырьками на поверхность воды. По временам бульканье переходило в шипение, чуть ли не в свист. Но и эти звуки быстро замерли, и во мраке слышалось только тяжелое дыхание, словно кто-то мучительно ловил ртом воздух.

Уидон Скотт повернул выключатель, и потоки света залили лестницу и холл. Потом он и судья Скотт осторожно спустились вниз, держа наготове револьверы. Впрочем, осторожность их оказалась излишней: Белый Клык уже сделал свое дело. Посреди опрокинутой и переломанной мебели лежал на боку человек, лицо его было прикрыто рукой. Уидон Скотт нагнулся, убрал руку и повернул человека лицом вверх. Зияющая на горле рана не оставляла никаких сомнений относительно причины его смерти.

— Джим Холл!—сказал судья Скотт.

Отец и сын многозначительно переглянулись, затем перевели взгляд на Белого Клыка. Он тоже

лежал на боку. Глаза у него были закрыты, но, когда люди наклонились над ним, он приподнял веки, силясь взглянуть вверх, и чуть шевельнул хвостом. Уидон Скоп погладил его, и в ответ на эту ласку он тихонько зарычал. Но рычание прозвучало чуть слышно и сейчас же оборвалось. Веки у Белого Клыка дрогнули и закрылись, все тело как-то сразу обмякло, и он вытянулся на полу.

— Кончено твое дело, бедняга, — пробормотал хозяин.

— Ну, это мы еще посмотрим, — заявил судья и пошел к телефону.

— Откровенно говоря, у нею один шанс на тысячу, — сказал хирург, полтора часа провозившись около Белого Клыка.

Первые солнечные лучи, глянувшие в окна, побороли электрический спет. Вся семья, кроме детей, собралась около хирурга, чтобы послушать, что он скажет о Белом Клыке.

— Перелом задней ноги, — продолжал тот. — Три сломанных ребра и по крайней мере одно из них прошло в легкое. Большая потеря крови. Возможно, что имеются и другие внутренние повреждения, так как, по-видимому, его топтали ногами. Я уже не говорю о том, что все три пули прошли навылет. Да нет, один шанс на тысячу

— это, пожалуй, слишком оптимистично. У него нет и одного на десять тысяч.

— Но нельзя терять и этого шанса! — воскликнул судья Скотт. — Я заплачу любые деньги! Надо сделать просвечивание — все, что понадобится… Уидон, телеграфируй сейчас же в Сан-Франциско доктору Никольсу. Вы не обижайтесь, доктор, мы вам верим, но для этой собаки надо сделать все, что можно.

— Ну, разумеется, разумеется! Я понимаю, собака этого заслуживает. За ней надо ухаживать, как за человеком, как за больным ребенком. И следите за температурой. Я загляну в десять часов.

И за Белым Клыком ухаживали действительно как за человеком. Дочери судьи с негодованием отвергли предложение вызвать сиделку и взялись за это дело сами. И Белый Клык вырвал у жизни тот единственный шанс, в котором ему отказал хирург.

Но не следует осуждать хирурга за его ошибку. До сих пор ему приходилось лечить и оперировать изнеженных цивилизацией людей, потомков многих изнеженных поколений. По сравнению с Белым Клыком все они казались хрупкими и слабыми и не умели цепляться за жизнь. Белый Клык был выходцем из Северной

глуши, которая никому не позволяет изнежиться и быстро уничтожает слабых. Ни у его матери, ни у его отца, ни у многих поколений их предков не было и признаков изнеженности. Северная глушь наградила Белого Клыка железным организмом и живучестью, и он цеплялся за жизнь и духом и телом с тем упорством, которое в былые времена было свойственно каждому живому существу.

Прикованный к месту, лишенный возможности даже шевельнуться из-за тугих повязок и гипса, Белый Клык долгие недели боролся со смертью. Он подолгу спал, видел множество снов, и в мозгу его нескончаемой вереницей проносились видения Севера. Прошлое ожило и обступило Белого Клыка со всех сторон. Он снова жил в логовище с Кичи; дрожа всем телом, подползал к ногам Серого Бобра, выражая ему свою покорность; спасался бегством от Лип-Липа и завывающей своры щенков.

Белый Клык снова бегал по безмолвному лесу, охотясь за дичью в дни голода; снова видел себя во главе упряжки; слышал, как Мит-Са и Серый Бобр щелкают бичами и кричат: «Раа! Раа!», когда сани въезжают в ущелье и упряжка сжимается, как веер, на узкой дороге. День за днем прошла перед ним жизнь у Красавчика Смита и бои, в

которых он участвовал. В эти минуты он скулил и рычал, и люди, сидевшие около него, говорили, что Белому Клыку снится дурной сон.

Но мучительнее всего был один повторяющийся кошмар: Белому Клыку снились трамваи, которые с грохотом и дребезгом мчались на него, точно громадные, пронзительно воющие рыси. Вот Белый Клык, притаившись, лежит в кустах, поджидая той минуты, когда белка решится наконец спуститься с дерева на землю. Вот он прыгает на свою добычу… Но белка мгновенно превращается в страшный трамвай, который громоздится над ним, как гора, угрожающе визжит, грохочет и плюет на него огнем. Так же было и с ястребом. Ястреб камнем падал на него с неба и превращался на лету все в тот же трамвай. Белый Клык видел себя в загородке у Красавчика Смита. Кругом собирается толпа, и он знает, что скоро начнется бой. Он смотрит на дверь, поджидая своего противника. Дверь распахивается, и страшный трамвай летит на него. Такой кошмар повторялся день за днем, ночь за ночью, и каждый раз Белый Клык испытывал ужас во сне.

Наконец в одно прекрасное утро с него сняли последнюю гипсовую повязку, последний бинт. Какое это было торжество! Вся Сиерра-Виста со-

бралась около Белого Клыка. Хозяин почесывал ему за ухом, а он пел свою ворчливо-ласковую песенку. «Бесценный Волк» — назвала его жена хозяина. Это новое прозвище было встречено восторженными криками, и все женщины стали повторять: «Бесценный Волк! Бесценный Волк!»

Он попробовал было подняться на ноги, сделал несколько безуспешных попыток и упал. Выздоровление так затянулось, что мускулы его потеряли упругость и силу. Ему было стыдно своей слабости, как будто он провинился в чем-то перед богами. И, сделав героическое усилие, он встал на все четыре лапы, пошатываясь из стороны в сторону.

— Бесценный Волк! — хором воскликнули женщины.

Судья Скоп бросил на них торжествующий взгляд.

— Вашими устами глаголет истина! — сказал он.— Я твердил об этом все время. Ни одна собака не могла бы сделать того, что сделал Белый Клык. Он — волк.

— Бесценный Волк, — поправила его миссис Скотт.

— Да, Бесценный Волк, — согласился судья. — И отныне я только так и буду называть его.

— Ему придется сызнова учиться ходить, — сказал врач. — Пусть сейчас и начинает. Теперь уже можно. Выведите его во двор.

И Белый Клык вышел во двор, а за ним, словно за августейшей особой, почтительно шли все обитатели Сиерра-Висты. Он был очень слаб и, дойдя до лужайки, лег на траву и несколько минут отдыхал.

Затем процессия двинулась дальше, и малопомалу с каждым шагом мускулы Белого Клыка наливались силой, кровь быстрее и быстрее бежала по жилам. Дошли до конюшни, и там около ворот лежала Колли, а вокруг нее резвились на солнце шестеро упитанных щенков.

Белый Клык посмотрел на них с недоумением. Колли угрожающе зарычала, и он предпочел держаться от нее подальше. Хозяин подтолкнул к нему ногой ползавшего по траве щенка. Белый Клык ощетинился, но хозяин успокоил его. Колли, которую сдерживала Бэт, не спускала с Белого Клыка настороженных глаз и рычанием предупреждала, что успокаиваться еще рано.

Щенок подполз к Белому Клыку. Тот навострил уши и с любопытством оглядел его. Потом они коснулись друг друга носами, и Белый Клык почувствовал, как теплый язычок щенка лизнул его

в щеку. Сам не зная, почему так получилось, он тоже высунул язык и облизал щенку мордочку.

Боги встретили это рукоплесканиями и криками восторга. Белый Клык удивился и недоуменно посмотрел на них. Потом его снова охватила слабость; он опустился на землю и, поглядывая на щенка, нагнул голову набок. Остальные щенки тоже подползли к нему, к великому неудовольствию Колли, и Белый Клык с важным видом позволял им карабкаться себе на спину и скатываться на траву.

Рукоплескания смутили его и заставили почувствовать былую неловкость. Но вскоре это прошло. Щенки продолжали свою возню, а Белый Клык лежал на солнышке и, полузакрыв глаза, медленно погружался в дремоту.

Джек Лондон
Лунный лик

Джон Клеверхауз имел лунообразное лицо. Вам, вероятно, знаком этот тип людей с широко расставленными скулами, с подбородком и лбом, исчезающими в щеках и тем еще более подчеркивающими безупречную шаровидность физиономии, с широким, приплюснутым носиком, отстоящим на равном расстоянии от всех точек окружности и похожим на лепное украшение в центре потолка. Может быть, за это я и возненавидел его: он оскорблял мой взор, и я был твердо уверен, что земля невыразимо тяготится его присутствием. Может быть, моя матушка когда-то слишком загляделась на луну, причем сделала это и в неурочный час, и с ненадлежащей стороны.

Как бы там ни было, но я ненавидел Джона Клеверхауза. Он не сделал мне ничего, что общество могло бы признать дурным или вредным, решительно ничего. Зло, которое он причинял мне, было более глубокого и сложного свойства, настолько сложного, что оно почти не поддается

словесному определению. В известный период нашей жизни все мы, без исключения, испытываем нечто подобное. Мы встречаем человека, о существовании которого до этого времени и не подозревали, и все же в первую минуту, в первый же момент мы говорим: «Этот человек мне не нравится!»

Почему он нам не нравится? Ах, да мы и сами не знаем — почему, мы знаем только, что он противен нам, и больше ничего. Вот то же чувство я испытывал к Джону Клеверхаузу.

Какое право имел этот человек быть счастливым? А между тем видно было, что он счастлив, что он оптимист. Он всегда был весел и всегда смеялся. Все на свете было прекрасно, по его мнению, черт бы его побрал! Меня мучительно оскорбляло то, что он счастлив! Другие люди могли смеяться сколько угодно, меня это ничуть не беспокоило. Я и сам умел смеяться, пока не встретил Джона Клеверхауза.

О, этот смех! Он раздражал и бесил меня, как не раздражало и не бесило ничто другое под солнцем. Ужасный, отвратительный смех гнался за мной повсюду, преследовал, схватывал меня, как клещами, и не выпускал. Я слышал его во сне и наяву. Фальшивый и дребезжащий, словно

огромная терка, безжалостно царапал он струны моего сердца. На рассвете смех доносился ко мне через поля и нарушал мои чудесные утренние грезы. И в томительные полуденные часы, когда сонно повисала зелень, птицы забирались в глубь леса и вся природа замирала от зноя, я слышал это невыносимое «ха-ха-ха! хо-хо-хо!», которое нагло поднималось к небу и, казалось, затмевало блеск солнца. И в темные ночи с того перекрестка, где Джон Клеверхауз поворачивал к своему дому, доносился до меня все тот же проклятый раскатистый хохот, он будил меня, заставлял содрогаться и стискивать кулаки, глубоко вонзая ногти в ладони.

Однажды ночью я тихонько загнал его скот на его же поле, а утром снова услышал раскатистый смех.

— Ну, это ничего! — говорил он. — Каждая скотина ищет, где лучше. Нельзя же бранить ее за то, что она выбрала пастбище пожирнее!

У него была собака Марс, прекрасное, огромное животное, полугончая, полуищейка. Марс был его лучшим другом, с ним он никогда не разлучался. Но я воспользовался подходящим случаем, заманил собаку и угостил ее стрихнином. Это не произвело на Джона Клеверхауза ни малейшего

впечатления. Он по-прежнему смеялся искренно и весело, и по-прежнему лицо его напоминало полную луну.

Тогда я поджег его стога и скирды хлеба, а на следующее утро — это было воскресенье — я встретил его, как всегда радостного, смеющегося.

— Куда это вы идете? — спросил я, увидев его на перекрестке.

— За форелями, — ответил он, и при этом лицо его сияло, как полнолуние. — Я обожаю форелей.

Ну, скажите, существовал ли на свете другой, более невыносимый человек?! Весь собранный им хлеб сгорел, и я знал, что добро его не застраховано. Ему угрожал голод, предстояла отчаянная зима, а он как ни в чем не бывало отправляется за форелями, — потому что, изволите ли видеть, он «обожает их». Если бы горе хоть сколько-нибудь, хоть чуточку изогнуло его брови или удлинило и сделало его лицо менее похожим на луну, если бы единственный раз в жизни он сбросил с лица отвратительную улыбку, я уверен, что простил бы ему факт его существования. Но нет! Казалось, под ударами судьбы он становился все беззаботнее.

Я оскорбил его. Он поднял на меня удивленный взор.

— Вы хотите, чтобы я дрался с вами? Зачем? — медленно спросил он и сейчас же расхохотался. — Какой вы смешной человек! Хо-хо! Вы хотите уморить меня! Хе-хе-хе! Хо-хо-хо!

Ну что мне было с ним делать? Это окончательно вывело меня из себя. Клянусь кровью Иуды, я всеми силами моей души ненавидел его. Да еще эта фамилия! Что за идиотская фамилия! Клеверхауз. Почему — Клеверхауз? Я бесконечное число раз задавал себе этот вопрос. Я многое простил бы ему, если бы его звали Смитом, Брауном или Джонсом, но почему он Клеверхауз? Нет, вы только прислушайтесь, как звучит эта фамилия! Повторите ее несколько раз про себя. Клеверхауз! Ну, имеет ли право на жизнь человек, которого так зовут? Я спрашиваю вас. «Нет!» — отвечаете вы. «Нет!» — заявляю и я.

Я решил пустить в ход закладную на его ферму: после недавнего пожара он, конечно, не в состоянии будет уплатить долг, — таков был мой вывод. И вот я нашел омерзительного агента, беспощадного скрягу и передал ему закладную. Я действовал не лично, а через этого агента. Агент назначил ему срок для уплаты только несколько дней. Не больше того числа дней, которое назначает закон, поверьте мне, было дано Джону

Клеверхаузу на то, чтобы очистить помещение и вывезти свой скарб. После того как ему это объявили, я выскочил на дорогу, чтобы взглянуть на него, так как знал, что он прожил на этом месте почти двадцать лет. Но при виде меня он подмигнул своими тарелкообразными глазами, и по лицу его разлилось сияние, которое сделало его больше, чем когда-либо, похожим на полную луну.

— Ха-ха-ха! — расхохотался он. — Ну и выкинул же мой малец штуку! Слышали вы что-либо подобное? Он играл у реки, как вдруг на него обвалилась земля с высокого берега и совершенно засыпала его. «О, папочка! — закричал мальчишка. — Меня совсем затерло!»

Он замолчал и словно приглашал меня принять участие в его адском веселье.

— Я не вижу тут ничего смешного! — сказал я и почувствовал, что меняюсь в лице.

Он с удивлением взглянул на меня, но через мгновение лицо его вновь озарилось проклятым ясным светом, делающим его похожим на сияющую луну, и снова послышался оглушительный хохот.

— Хо-хо-хо! Это страшно смешно! Неужели вы не понимаете, до чего это смешно! Хо-хо-хо! Хе-хе-

хе! Вот странный человек! Не понимает веселых вещей! Вы подумайте, вот река…

Но я резко повернулся к нему спиной и торопливо удалился. Чаша моего терпения была переполнена. «Черт побери! — подумал я. — Необходимо положить этому конец». Взобравшись на самую вершину холма, я все еще слышал его гнусный хохот, поднимавшийся к небесам.

Я горжусь тем, что всегда и все делаю в высшей степени аккуратно. Когда я задумал убить Джона Клеверхауза, я решил это сделать так, чтобы мне не пришлось стыдиться содеянного. Я ненавижу неумелость, а равно и жестокость. Мне всегда казалось отвратительным убивать человека простым ударом кулака — фи, какая гадость! Мне нисколько не улыбалось и застрелить Джона Клеверхауза (ах, эта фамилия!), или зарубить его саблей, или размозжить ему череп дубиной. В мои планы входило не только покончить с ним «чисто» и художественно, но проделать все так, чтобы впоследствии против меня не было ни единой улики.

Я всецело отдался этой мысли, и после недели глубокого размышления мой план был готов. Я купил пятимесячного ньюфаундленда, самку, и занялся его тренировкой. Если бы кто-нибудь

стал следить за моей работой, он заметил бы, что при дрессировке меня занимала больше всего одна вещь — поноска. Я учил собаку, которую назвал Беллоной, приносить мне из воды все, что я бросал туда, и не только приносить, но приносить немедленно, ни в коем случае не играть и не забавляться с вещами. Самое главное заключалось в том, чтобы научить собаку ни перед чем не останавливаться и как можно скорее приносить брошенные в воду предметы. Я убегал от собаки и заставлял ее, с палкой в зубах, догонять меня. Это было чудесное животное, которое так увлекалось игрой, что давало мне полную уверенность в близкой победе.

Затем при первом удобном случае я подарил Беллону Джону Клеверхаузу. Я знал, что делал, так как был предупрежден о маленькой слабости моего врага, которой он постоянно поддавался.

— Нет, этого быть не может! — воскликнул он, когда я передал ему конец привязи. — Неужели вы это всерьез?

И в ту же минуту он широко осклабился, и на его лунообразном лице показалась характерная гнусная улыбка.

— А мне почему-то всегда казалось, что вы недолюбливаете меня, — объяснил он. — Но как

мне приятно убедиться теперь, что я ошибался.

И с этими словами он буквально схватился за бока от неудержимого хохота.

— Как ее зовут? — удалось ему спросить между двумя пароксизмами смеха.

— Беллона, — ответил я.

— Ха-ха-ха! — расхохотатся он. — Вот странное имя!

Я стиснул зубы, потому что мое терпение подходило к концу, но все же мне удалось процедить:

— Разве вы не знаете? Ведь это жена Марса.

При этих моих словах лунный свет начал заливать его лицо, и он снова разразился хохотом.

— Ах, моя покойная собака! Значит, это вдова теперь! Хо-хо-хо!

Он долго еще хохотал мне вслед, и я слышал его сатанинский смех даже тогда, когда поднялся на холм.

Прошло около недели, и однажды, в субботу вечером, я встретил Джона Клеверхауза.

— Если не ошибаюсь, вы в понедельник уезжаете? — спросил я. Он кивнул и усмехнулся.

— Значит, вам не удастся теперь поесть форелей, которых вы «обожаете»? — снова осведомился я.

Но он не обратил внимания на мой ирониче-

ский тон.

— Ну, отчего же, — ответил он. — Я как раз завтра собираюсь на рыбную ловлю.

Таким образом, мое предположение подтвердилось, и я в восторге вернулся домой. На следующий день, рано утром, я увидел его проходящим мимо меня с веревочной сеткой и мешком за плечами. Беллона следовала за ним по пятам. Я прекрасно знал, куда он направляется, а потому, не теряя времени, пересек поле и пробрался через густой кустарник на самую верхушку холма. Стараясь не терять его из виду, я прошел около двух миль, пока не вышел на своего рода естественный амфитеатр, образуемый холмами, откуда вытекала крохотная речушка; она быстро бежала по ущелью, а затем останавливалась отдохнуть в большой каменной котловине. Здесь и должно было все разыграться. Я уселся на самом гребне горы, откуда мог все великолепно видеть, и закурил трубку.

Прошло несколько минут, и я увидел тяжело ступающего Джона Клеверхауза, вышедшего к реке. Беллона неотступно следовала за ним, и видно было, что и собака и ее хозяин находятся в самом прекрасном настроении. Поминутно короткий резкий лай собаки сливался с грудными

нотами хохота моего врага.

Подойдя к озеру, Джон Клеверхауз сбросил на землю сеть и мешок и вынул из кармана нечто похожее на толстую свечку. Но я-то отлично знал, что это был «гигант», большой динамитный патрон, — этим способом он ловил форелей, производя с помощью динамита взрыв под водой и оглушая рыбу. Он плотно окутал патрон ватой, привязан к палке, приготовил фитиль, поджег его и бросил снаряд в воду.

Точно стрела, полетела Беллона к воде. Я едва сдержал себя, чтобы не завизжать от восторга. Джон Клеверхауз стал звать собаку, но без всякого результата. Он бросал в нее палками и камнями, но собака продолжала упорно плыть по направлению к «гиганту»; доплыла до него, схватила палку зубами и направилась к берегу. Тогда впервые Джон Клеверхауз понял, какая страшная опасность угрожает ему, и бросился бежать. Но, как я и предполагал и что входило в мой план, Беллона, выбравшись на берег, бросилась вслед за ним. Ну, доложу я вам, была потеха! Я уже упоминал, что маленькое озеро лежало в котловине, своего рода амфитеатре. Выше этого места и ниже ручей можно было перейти, перепрыгивая с камня на камень. И вот

по этим-то камням стали взад и вперед, вверх и вниз метаться Джон Клеверхауз и Беллона. Я бы никогда не поверил, что такой неуклюжий и неповоротливый человек мог так проворно бегать. Но, несмотря на всю его ловкость, он не мог ускользнуть от Беллоны, и в конце концов она догнала его. Он все еще мчался изо всех сил, как вдруг Беллона уткнулась носом в его ноги. В тот же миг вырвалось пламя, показался дым, раздался адский взрыв, и на том месте, где еще минуту назад стояли человек и собака, не осталось ничего, кроме большой воронкообразной ямы на земле. «Смерть от несчастного случая во время противозаконной рыбной ловли». Вот как формулировал свое заключение судебный следователь. Я полагаю, что имею полное право гордиться тем «чистым» и артистическим способом, которым я покончил с моим злейшим врагом. Я не проявил ни неумения, ни жестокости, и мне кажется, что краснеть мне ни в коем случае не приходится, — в этом вы согласитесь со мной. Горное эхо больше не повторяет проклятого хохота Джона Клеверхауза, и его жирное лунообразное лицо больше не раздражает меня… Теперь мои дни спокойны, и сон мой крепок по ночам.

1906

Джек Лондон
Рассказ укротителя леопардов

Глаза его неизменно хранили мечтательное отсутствующее выражение, и это, в связи с печальным, мягким, как у девушки, голосом, говорило о какой-то глубокой и безысходной меланхолии. Он был укротителем леопардов, но по его внешнему виду никак нельзя было этого предположить. Повсюду, где бы он ни проживал, его профессиональная обязанность заключалась в том, что в присутствии многочисленной публики он входил в клетку с леопардами и щекотал нервы этой публике путем разнообразных опасных фокусов с хищными зверями, причем вознаграждение, получаемое им от директора, всегда было пропорционально страху, испытываемому зрителями.

Как я уже заметил, он нисколько не походил на укротителя. Это был узкогрудый и узкоплечий человек довольно анемичного[66] вида, который, казалось, всегда был подавлен не столько безыс-

[66] notes: 66
Анемичный — малокровный.

ходным горем, сколько мягкой и сладостной печалью, тяжесть которой он тоже нес мягко и нежно.

В течение целого часа я пытался выудить у него какой-нибудь интересный рассказ, но в конце концов пришел к заключению, что он абсолютно лишен фантазии. Если верить ему, то ничего романтичного, рискованного, отважного и страшного не было в его профессии. Ничего, кроме серого однообразия и беспредельной скуки.

Львы? О да! С ними ему тоже приходилось иметь дело. Это чепуха! Самое главное — быть всегда трезвым. Любой человек с обыкновенной палочкой в руках может укротить льва. Он лично однажды в полчаса укротил льва. Надо уметь вовремя ударить его по носу и, когда лев опускает голову, умело отставить ногу. Когда же лев нацеливается на ногу, надо быстро отвести ее назад и снова ударить его по носу. Вот и все!

С тем же мечтательным выражением в глазах и говоря мягким голосом, он показал мне свои рубцы и шрамы. У него было много ран; одну он получил совсем недавно. Разъярившаяся тигрица ударила его лапой по плечу и разодрала мясо до самой кости. Я увидел аккуратно заштопанное место на пиджаке, куда пришелся отчаянный

удар. Правая рука от пальцев до локтя так пострадала от когтей и клыков, что казалось, будто она побывала в молотилке.

— Но все это пустяки, — сказал он мне. — Вот только старые раны надоедают в дождливую погоду. С ними приходится возиться…

Вдруг его лицо прояснилось, точно он вспомнил что-то очень интересное, и я сразу понял, что ему так же хочется рассказать какую-то историю, как мне послушать.

— Я думаю, вам уже не раз приходилось слышать рассказы об укротителе львов, которого ненавидел какой-нибудь враг его?

Он помолчал и с задумчивым видом поглядел на больного льва, лежавшего в клетке напротив.

— У него зубы болят, — пояснил он мне. — Ну, так вот, слушайте! Самый шикарный номер одного укротителя заключался в том, что он вкладывал голову в пасть льва. Человек, ненавидевший его, терпеливо посещал каждое представление в надежде, что рано или поздно лев загрызет укротителя. Человек этот следовал за цирком по всей стране. Годы шли; он старел, старел укротитель львов, старел и лев. И, наконец, в один прекрасный день враг дождался своего: он увидел, как лев сомкнул челюсти так, что не потребовалось

помощи врача, — чистая была работа!

Рассказчик поглядел на свои ногти с таким видом, который можно было бы назвать критическим, если бы в нем не сквозило столько безысходной печали.

— Да, — вдруг заговорил он, — вот это я называю терпением, и это вполне в моем духе. Но это не было в духе одного парня, которого я тоже в свое время знавал. Это был маленький, худенький французик, который занимался жонглерством и шпагоглотанием.

Он называл себя де Биллем, и у него была прелестная женка. Она работала на трапеции и всего лучше проделывала номер, который заключался в том, что она падала с трапеции под самой крышей в сетку, причем во время падения успевала несколько раз перекувыркнуться в воздухе. Здорово она делала это!

Де Вилль был вспыльчив и быстр на руку; рука его по быстроте не уступала лапе тигра. Однажды один из наших наездников назвал его пожирателем лягушек, а может быть, и как-нибудь похуже. Тогда де Вилль загнал обидчика в угол, к деревянной доске, в которую жонглер обычно втыкал свои бесчисленные ножи, и стал бросать ножи вокруг него так быстро, что несчастный не

успел опомниться, как, в присутствии публики, был пригвожден к доске массой ножей; они не впились в тело, но пришпилили к доске одежду, а в некоторых местах задели и кожу.

Клоунам долго пришлось выдергивать ножи, чтобы освободить несчастного. Об этом стало известно всем нашим, и никто больше не осмеливался задевать де Билля или приставать к его жене. А надо вам сказать, что была она довольно легкомысленная штучка, и если бы не страх перед де Биллем…

Но у нас работал один паренек, по фамилии Уэллос; этот ничего на свете не боялся. Он был укротителем львов и тоже проделывал трюк с головой в пасти льва. Он мог бы проделывать это с любым львом, но предпочитал Августа, старого, очень добродушного льва, на которого всегда можно было положиться.

Как я сказал вам, Уэллос — мы все звали его Король Уэллос — не боялся ничего на свете: ни мертвых, ни живых! Это был отчаянный парень, В свое время он действительно был «королем». Однажды он напился вдребезги пьян, и многие не побоялись заключить пари, что он все-таки положит свою голову в пасть Августу и даже не пустит в ход хлыста. Так оно и было. Мадам де Вилль…

Позади нас раздались крики и шум; мой приятель неторопливо оглянулся. За нами стояла клетка, разделенная пополам. В одной половине находилась обезьяна, которая все время кривлялась и прыгала у прутьев решетки, и вдруг просунула лапу в соседнее отделение, где проживал огромный серый волк. Тот мгновенно схватил ее.

Лапа вытягивалась все больше и больше, словно она была резиновая, и товарищи несчастной обезьяны подняли неимоверный визг. Вокруг не оказалось ни одного служителя, так что укротителю леопардов пришлось встать, сделать шага два вперед и ударить волка по носу легонькой палочкой — укротитель никогда не расставался с ней. Затем он с печальной, извиняющейся улыбкой вернулся на место и продолжал так, как будто никакого перерыва не было.

— …смотрела на Уэллоса, а Уэллос смотрел на нее, а де Вилль весьма мрачно смотрел на обоих. Мы предостерегали Уэллоса, но все было напрасно. Он смеялся над нами, смеялся и над де Биллем, которого как-то даже сунул головой в кадку с клейстером. Видно было по всему, что ищет ссоры с ним. От клейстера у де Билля был страшно забавный вид. Я долго возился с ним, помогая

ему отмыться и отчиститься. Он был холоден и ничем не грозил Уэллосу. Но я заметил злобный огонек в его глазах и вспомнил, что точно такой же огонек я часто видел в глазах хищных зверей. Я счел своим долгом сказать Уэллосу последнее предупреждение. Он рассмеялся, но все-таки стал с тех пор меньше глядеть в сторону мадам де Вилль.

Так прошло несколько месяцев. Ничего не случилось, и я уже начал было питать надежду, что и впредь ничего не случится. Мы тем временем двигались все дальше на запад и остановились, наконец, в Сан-Франциско. Все, что я сейчас вам расскажу, произошло во время дневного представления, когда цирк был переполнен женщинами и детьми. Мне понадобился Рыжий Денни, главный конюх, который взял у меня карманный нож и не отдал.

Проходя мимо одной из уборных, я заглянул в нее через дырку в парусине, чтобы узнать, нет ли там моего Денни. Его не было, но как раз против моего глаза сидел Король Уэллос, в трико, ожидая своего номера в клетке со львами. Он с любопытством следил за ссорой двух акробатов. Все остальные, находившиеся в уборной, тоже следили за ссорой — все, за исключением де Бил-

ля, с нескрываемой ненавистью и пристально смотревшего на Уэллоса, который был слишком увлечен ссорой, чтоб обращать внимание на де Билля.

Но я все видел через дырочку в парусине. Де Вилль вынул из кармана носовой платок, сделал вид, будто бы вытирает им пот с лица (день действительно был очень жаркий), и в это же время обошел Уэллоса сзади. Он только взмахнул платком — и пошел к двери, где остановился и бросил быстрый взгляд назад. Этот взгляд потряс меня: вместе с ненавистью я прочел в нем торжество.

«Де Вилль задумал что-то недоброе, — сказал я себе, — за ним надо последить». И я с облегчением вздохнул, когда увидел, что де Вилль вышел из помещения цирка и вскочил в вагон электрического трамвая, который должен был доставить его в город. Через несколько минут я вышел на арену цирка, где наконец нашел Денни. Наступила очередь Уэллоса с его опасным номером в клетке льва — номером, который всегда производил сильное, впечатление на публику. Уэллос почему-то был в очень плохом настроении и так разъярил своих львов, что те подняли отчаянный рев, — за исключением, конечно, Августа, который был слишком стар, жирен и ленив, чтобы

раздражаться из-за чего-либо.

Под конец Уэллос ударом бича поставил старого льва на колени, и тот со своим обычным равнодушным видом раскрыл огромную пасть, в которую укротитель всунул свою голову. Вдруг челюсти Августа сомкнулись, издав странный звук, — и все было кончено…

Прежняя нежная и грустная улыбка появилась на лице укротителя леопардов, а глаза снова приняли отсутствующее выражение.

— Вот так и погиб Король Уэллос! — сказал он низким печальным тоном. — Когда всеобщее возбуждение немного улеглось, я воспользовался первой подходящей минутой, нагнулся над покойником и понюхал его голову… и чихнул.

— Так это… был… — спросил я, задыхаясь от волнения.

— Это был нюхательный табак! — ответил он. — Де Вилль посыпал табаком голову Уэллоса, когда проходил мимо него. У старого Августа никаких злых намерений не было. Он просто чихнул.

1906

Джек Лондон
Местный колорит

— Не понимаю, почему бы вам не использовать свой огромный запас сведений, — сказал я ему, — тем более что, не в пример большинству, у вас есть дар выражать свои мысли. Ваш стиль…

— Подходит для газетных статей, — вежливо подсказал он.

— Ну да. Вы могли бы неплохо зарабатывать.

Он рассеянно сплел пальцы, пожал плечами и, видимо не желая продолжать этот разговор, коротко ответил:

— Я пробовал. Невыгодное занятие.

— Вот, например, один раз мне заплатили, и статья была напечатана, — добавил он, помолчав. — Но после этого меня в награду засадили на два месяца в Хобо.

— Хобо? — переспросил я с недоумением.

— Да, Хобо. — Подыскивая слово для определения, он машинально скользил глазами по корешкам томов Спенсера на полке. — Хобо, дорогой мой, это название тех камер в городских и окружных тюрьмах, где содержатся бродяги,

пьяницы, нищие и прочие мелкие нарушители закона, подонки общества. Само слово это, «хобо», довольно красивое и имеет свою историю. «Hautbois» — вот как оно звучит по-французски. «Haut» означает «высокий», а «bois» — «дерево». В английском языке оно превратилось в «hautboy» — гобой, деревянный духовой инструмент высокого тона. Помните, как сказано у Шекспира в «Генрихе IV»:

Футляр от гобоя был Просторным дворцом для него.

Но — обратите внимание, как поразительно вдруг меняется значение слова — по другую сторону океана, в Нью-Йорке, «hautboy» — «хо-бой», как произносят англичане, становится прозвищем для ночных метельщиков улиц. Возможно, что в этом до известной степени выразилось презрение к бродячим певцам и музыкантам. Ведь ночной метельщик — это пария, жалкий, всеми презираемый человек, стоящий вне касты. И вот в своем следующем воплощении это слово — последовательно и логически — уже относится к бездомному американцу, бродяге. Но в то время как другие исказили лишь смысл слова, бродяга изуродовал и его форму: и «хо-бой» правратился в «хобо». И теперь громадные каменные и кирпич-

ные камеры с двух— и трехярусными нарами, куда закон имеет обыкновение заточать бродяг, называют «хобо». Любопытно, не правда ли?

Я сидел, слушал и в душе восхищался этим человеком с энциклопедическим умом, этим обыкновенным бродягой, Лейтом Клэй-Рэндольфом, который чувствовал себя у меня в кабинете, как дома, очаровывал гостей, собиравшихся за моим скромным столом, затмевал меня блеском своего ума и изысканными манерами, тратил мои карманные деньги, курил мои лучшие сигары, выбирал себе галстуки и запонки из моего гардероба, проявляя при этом самый изощренный и требовательный вкус.

Он медленно подошел к книжным полкам и раскрыл книгу Лориа «Экономические основы общества».

— Я люблю беседовать с вами, — сказал он. — Вы достаточно образованы, много читали, а ваше «экономическое толкование» истории, как вы это называете, — это было сказано с насмешкой, — помогает вам выработать философский взгляд на жизнь. Но ваши социологические теории страдают из-за отсутствия у вас практических знаний. Вот я знаком с литературой — извините меня — побольше, чем вы, но при этом знаю

и жизнь. Я наблюдал ее в чистом виде, трогал руками, вкусил ее плоть и кровь и, будучи человеком мыслящим, не поддался ни страстям, ни предрассудкам. Все это необходимо для ясного понимания жизни, а как раз этого-то опыта вам и не хватает. А, вот по-настоящему интересное место. Послушайте!

И он прочитал мне вслух отрывок из книги, которая была у него в руках, сопровождая текст, по своему обыкновению, критикой и комментариями, проще излагая смысл запутанных и тяжеловесных периодов, освещая со всех сторон трактуемую тему. Он приводил факты, мимо которых автор прошел, не заметив их, подхватывал упущенную автором нить рассуждения, превращал контрасты в парадоксы, а парадоксы — в понятные и лаконично сформулированные истины, — короче, ярким блеском своего ума озарял скучные, сухие и туманные рассуждения автора.

Много времени прошло с тех пор, как Лейт Клэй-Рэндольф (обратите внимание на эту двойную фамилию) постучался в дверь кухни Айдлвильда и растопил сердце Гунды. Гунда была также холодна, как снег на ее родных норвежских горах, но иногда, немного оттаяв, могла позволить каким-нибудь бродягам с приличной внешно-

стью посидеть на заднем крыльце нашего дома и истребить все черствые корки и оставшиеся от обеда котлеты. Но то, что оборванцу, пришельцу из мрака ночи, удалось вторгнуться в священные пределы ее кухонного королевства и задержать обед, потому что она устраивала ему местечко в самом теплом углу, было таким неожиданным явлением, что даже Фиалочка пришла посмотреть. Ах, эта Фиалочка с ее нежным сердцем и всегдашней отзывчивостью! В течение пятнадцати долгих минут Лейт Клэй-Рэндольф пробовал на ней действие своих чар (я в это время размышлял, покуривая сигару), — и вот она порхнула ко мне в кабинет и в туманных выражениях заговорила о каком-то костюме, который я уже не ношу и который мне, якобы, больше не понадобится.

— Да, да, конечно, он мне не нужен, — сказал я, имея в виду старый темно-серый костюм с отвисшими карманами, в которых я постоянно таскал книги, — те книги, что не раз были причиной моих неудач в рыбной ловле.

— Но я посоветовал бы тебе, дорогая, сначала починить карманы, — добавил я.

Лицо Фиалочки вдруг омрачилось.

— Да нет же, — сказала она, — я говорила о черном костюме.

— Как о черном? — Я не верил своим ушам. — Ведь я очень часто ношу его. Я даже собирался надеть его сегодня вечером.

— У тебя есть еще два хороших костюма, лучше этого, и ты же знаешь, милый, что этот мне никогда не нравился, — поспешила добавить Фиалочка. — Кроме того, он уже лоснится и…

— Лоснится?!

— Ну, скоро залоснится, все равно. А этот человек, право, достоин уважения. Он такой симпатичный, так хорошо воспитан. Я уверена, что он…

— Видал лучшие дни?

— Вот именно. На улице сейчас ужасно холодно и сыро, а его одежда совсем изношена. У тебя ведь много костюмов…

— Пять, — поправил я, — считая и темно-серый с отвисшими карманами.

— А у него ни одного. И нет своего угла, нет ничего…

— Нет даже Фиалочки, — сказал я, обнимая ее, — именно поэтому он достоин жалости и всяких даров. Отдай ему костюм, дорогая, или нет, постой, дай ему не черный, а мой самый лучший костюм. Надо же хоть чем-нибудь утешить беднягу.

— Какой ты милый! — И Фиалочка, очаровательно улыбнувшись, пошла к двери. — Ты просто ангел!

И это после семи лет супружеской жизни! Я все еще восторгался этим, когда она вернулась с робким и заискивающим выражением лица.

— Знаешь… Я дала ему одну из твоих белых сорочек. На нем такая ужасная ситцевая рубашка, а в сочетании с твоим костюмом это будет выглядеть просто нелепо. И потом… его башмаки так стоптаны, пришлось дать ему твои старые с узкими носками…

— Старые?!

— Но ведь ты сам говорил, что они ужасно жмут.

Фиалочка всегда сумеет найти оправдание своим поступкам.

При таких обстоятельствах Лейт Клэй-Рэндольф впервые появился в Айдлвильде — и я понятия не имел, надолго ли это. И впоследствии я никогда не знал, когда и надолго ли он появится у нас: он был подобен блуждающей комете. Иногда он приезжал, бодрый и опрятно одетый, от каких-то видных людей, с которыми был в таких же приятельских отношениях, как и со мной. А иногда, усталый и оборванный, он прокрадывался в дом

по садовой дорожке, заросшей шиповником, явившись откуда-то из Монтаны или из Мексики. А когда страсть к бродяжничеству снова овладевала им, он, ни с кем не простившись, исчезал в тот огромный таинственный мир, который называл «Дорогой».

— Я не могу покинуть ваш дом, не поблагодарив вас за щедрость и доброту, — сказал он мне в тот вечер, когда впервые надел мой новый черный костюм.

А я, признаюсь, был поражен, когда, оторвавшись от газеты, увидел перед собой очень приличного, интеллигентного джентльмена, который держал себя непринужденно и с достоинством. Фиалочка была права. Он, конечно, видал лучшие дни, если черный костюм и белая сорочка могли так преобразить его. Я невольно поднялся с кресла, чтобы приветствовать его как равного. Именно тогда я впервые поддался чарам Лейта Клэй-Рэндольфа. Он ночевал в Айдлвильде и в ту ночь и в следующую, провел у нас много дней и ночей. Этого человека нельзя было не полюбить. Сын Анака, Руфус Голубоглазый, известный также под плебейским прозвищем «Малыш», носился с ним по дорожке, заросшей шиповником, до самого дальнего конца сада, играл в индейцев,

с дикими воплями скальпируя Лейта в углу сеновала, а однажды, с чисто фарисейским рвением, хотел даже распять его на чердачной балке. Уже за одну дружбу с Сыном Анака Фиалочка должна была бы полюбить Лейта, если бы уже давно не полюбила его за его другие достоинства. Что касается меня, пусть скажет вам Фиалочка, как часто в дни его отсутствия я задавал себе вопрос, когда же вернется Лейт, наш любимый Лейт.

И все же мы по-прежнему ничего не знали об этом человеке. Нам было лишь известно, что он родился в Кентукки. Его прошлое было покрыто тайной, и он никогда не говорил о нем. Он был горд тем, что рассудок его никогда не поддавался влиянию чувств. Мир представлялся ему рядом неразрешенных загадок. Как-то раз, когда он бегал вокруг дома, держа на плечах Сына Анака, я попытался уличить его в искреннем проявлении чувств и поставил ему это на вид. Но он возражал: разве, испытывая физическое удовольствие от близости ребенка, не разгадываешь одну из загадок жизни?

Он и сам был для нас загадкой. Часто в беседах он мешал неизвестный нам воровской жаргон с трудными техническими терминами; он то казался типичным преступником по разговору,

выражению лица и манерам, то вдруг перед вами появлялся культурный и благовоспитанный джентльмен или философ и ученый. Иногда в нем чувствовались какие-то порывы искренности, настоящего чувства, но они исчезали раньше, чем я мог их уловить. Иногда мне казалось, что он всегда носит маску, и только по легким признакам под ней угадывался тот человек, которым Лейт был раньше. Но маска никогда не снималась, и подлинного Лейта мы не знали.

— Как же это случилось, что вы получили два месяца тюрьмы за попытку приобщиться к журналистике? — спросил я. — Оставьте Лориа в покое и расскажите.

— Что ж, если вы настаиваете…

Он сел, закинув ногу за ногу, и с усмешкой начал:

— В городе, который я не назову, в чудесном, красивом городе с населением в пятьдесят тысяч, где мужчины становятся рабами ради денег, а женщины — ради нарядов, мне раз пришла в голову одна идея. Я имел еще тогда приличный вид, но карманы мои были пусты. И вот я вспомнил одну свою статью, в которой когда-то пытался примирить Канта со Спенсером. Конечно, вряд ли это было возможно, но… область научной

сатиры…

Я с нетерпением махнул рукой, он прервал свои рассуждения.

— Я просто хотел описать вам мое умственное состояние в то время, чтобы вам стало ясно, чем был вызван мой поступок, — объяснил он. — Итак, в мозгу у меня родилась идея написать статью в газету. Но какую тему может выбрать бродяга? «О непримиримости противоречий между Полицейским и Бродягой», например. Я отправился в редакцию газеты. Лифт вознес меня к небесам, где цербер в лице анемичного юноши-курьера охранял двери редакции. Взглянув на него, я сразу понял: у этого мальчишки-ирландца, во-первых — туберкулез, во-вторых — он обладает огромной силой воли и энергией, в-третьих — жить ему осталось не больше года.

— Бледнолицый юноша, — сказал я, — молю тебя, укажи мне путь в «святая-святых», к его редакторскому величеству.

Он удостоил меня только презрительным взглядом и с бесконечной скукой в голосе сказал:

— Если вы насчет газа, обратитесь к швейцару. Эти дела нас не касаются.

— Нет, моя белоснежная лилия, мне нужен редактор.

— Какой редактор? — огрызнулся он, как молодой бультерьер. — Театральный? Спортивный? Светской хроники? Воскресного выпуска? Еженедельного? Ежедневного? Отдела местных новостей? Телеграмм? Какой редактор вам нужен?

Этого я и сам не знал. И поэтому на всякий случай торжественно объявил:

— Самый главный.

— Ах, Спарго! — фыркнул он.

— Конечно, Спарго, — убежденно ответил я. — А кто же еще?

— Давайте вашу карточку, — сказал он.

— Какую такую карточку?

— Визитную карточку. Постойте, да вы по какому делу?

И анемичный цербер смерил меня таким наглым взглядом, что я, протянув руку, приподнял его со стула и легонько постучал по его впалой груди, чем вызвал слабый астматический кашель. Но он продолжал смотреть на меня не мигая, с задором воробья, зажатого в руке.

— Я — посол Времени, — загудел я могильным голосом. — Берегись, не то тебе придется плохо.

— Ах, как страшно! — презрительно усмехнулся он.

Тогда я ударил посильнее. Он задохнулся и побагровел.

— Ну, что вам нужно? — прошипел он, переведя дух.

— Мне нужен Спарго. Единственный в своем роде Спарго.

— Тогда отпустите меня. Я пойду доложить.

— Нет, мой дорогой. — Я взял его мертвой хваткой за воротник. — Меня не проведешь, понятно? Я пойду с тобой.

Лейт с минуту задумчиво созерцал длинный столбик пепла на своей сигаре, потом повернулся ко мне.

— Ах, Анак, вы не знаете, какое это наслаждение разыгрывать шута и грубияна. Правда, у вас-то, наверно, ничего бы не вышло, если бы вы и попробовали. Ваше пристрастие к жалким условностям и чопорные понятия о приличии никогда не позволят вам дать волю любому своему капризу, дурачиться, не боясь последствий. Конечно, на это способен лишь человек другого склада, не почтенный семьянин и гражданин, уважающий закон.

Но вернемся к моему рассказу. Мне удалось, наконец, узреть самого Спарго. Этот огромный, жирный и краснолицый субъект с массив-

ной челюстью и двойным подбородком сидел, обливаясь потом (ведь был август), за своим письменным столом. Когда я вошел, он разговаривал с кем-то по телефону, или, точнее, ругался, но успел окинуть меня внимательным взглядом. Повесив трубку, он выжидательно повернулся ко мне.

— Вы, я вижу, много работаете, — сказал я.

Он кивнул головой, ожидая, что будет дальше.

— А стоит ли? — продолжал я. — Что это за жизнь, если вам приходится работать в поте лица? Что за радость так потеть? Вот посмотрите на меня. Я не сею, не жну…

— Кто вы такой? Что надо? — внезапно прорычал он грубо, огрызаясь, как пес, у которого хотят отнять кость.

— Весьма уместный вопрос, сэр, — признал я. — Прежде всего — я человек; затем — угнетенный американский гражданин. Меня бог не покарал ни специальностью, ни профессией, ни видами на будущее. Подобно Исаву, я лишен чечевичной похлебки. Мой дом — весь мир, а небо заменяет мне крышу над головой. Я не имею собственности, я санкюлот, пролетарий, или, выражаясь простыми словами, доступными вашему пониманию, — бродяга.

— Что за черт!..

— Да, дорогой сэр, бродяга — то есть человек, идущий путями непроторенными, отдыхающий в самых неожиданных и разнообразных местах…

— Довольно! — заорал он. — Что вам нужно?

— Мне нужны деньги.

Он вздрогнул и нагнулся к открытому ящику, где, должно быть, хранил револьвер. Но затем опомнился и зарычал:

— Здесь не банк.

— А у меня нет чека, чтобы предъявить к оплате. Но, сэр, зато у меня есть одна идея, которую, с вашего позволения и при вашей любезной помощи, я могу превратить в деньги. Короче говоря, как вам улыбается статья о бродягах, написанная живым, настоящим бродягой? Жаждут ли подобной статьи ваши читатели? Домогаются ли они ее? Могут ли они обойтись без нее?

На мгновенье мне показалось, что его хватит апоплексический удар, но он быстро взял себя в руки и заявил, что ему даже нравится мое нахальство. Я поблагодарил и поспешил заверить его, что мне самому оно тоже нравится. Тогда он предложил мне сигару и сказал, что, пожалуй, со мной стоит иметь дело.

— Но учтите, — сказал он, сунув мне в руки пачку бумаги и карандаш, который вытащил из

жилетного кармана, — учтите, что я не потерплю в своей газете никакой возвышенной философии и разных там заумных рассуждений, к которым у вас, я вижу, есть склонность. Дайте местный колорит, прибавьте, пожалуй, сентиментальности, но без выкриков о политической экономии, социальных слоях и прочей чепухе. Статья должна быть деловой, острой, с перцем, с изюминкой, сжатой, интересной, — поняли?

Я понял и немедленно занял у него доллар.

— Не забудьте про местный колорит, — крикнул он мне вдогонку, когда я был уже за дверью.

И вот, Анак, именно местный колорит меня и погубил.

Анемичный цербер ухмыльнулся, когда я подошел к лифту.

— Что, выгнали в шею?

— Нет, бледнолицый юноша, нет! — сказал я, с триумфом помахивая пачкой бумаги. — Не выгнали, а дали заказ. Месяца через три я буду здесь заведовать отделом хроники и тогда тебя выгоню в три шеи.

Лифт остановился этажом ниже, чтобы захватить двух девиц, и тогда этот парень подошел к перилам и попросту, без лишних слов, послал меня к чертовой матери. Впрочем, мне понравился

этот юноша. Он обладал мужеством и бесстрашием и знал не хуже, чем я, что смерть скоро схватит его костлявыми руками.

— Но как вы могли, Лейт, — воскликнул я, представляя себе этого чахоточного мальчика, — как вы могли так варварски обойтись с ним?

Лейт сухо засмеялся.

— Мой дорогой, сколько раз я должен объяснять вам, в чем ваша слабость? Над вами тяготеет ортодоксальная сентиментальность и шаблонные эмоции. И кроме того — ваш темперамент! Вы просто не способны судить здраво. Что такое этот бледнолицый цербер? Угасающая искра, жалкая пылинка, слабый, умирающий организм. Один щелчок, одно дуновение — и нет его. Ведь это только пешка в великой игре, которая называется жизнью. Он даже не загадка. Как нет никакой загадки в мертворожденном ребенке, так нет ее и в умирающем. Их все равно что не было на земле. И мой цербер так же мало значит. Да, кстати о загадках…

— А что же местный колорит? — напомнил я ему.

— Да, да, — ответил он, — не давайте мне отвлекаться. Итак, я принес бумагу на товарную станцию (это ради местного колорита), усел-

ся, свесив ноги, на лесенке товарного вагона и начал строчить. Конечно, я постарался написать статью с блеском, с остроумием, сдобрил ее неопровержимыми нападками на городскую администрацию и моими обычными парадоксами на социальные темы, достаточно конкретными, чтобы взбудоражить среднего читателя. С точки зрения бродяги, полиция этого города никуда не годилась, и я решил открыть глаза добрым людям. Ведь легко доказать чисто математически, что обществу обходятся гораздо дороже аресты, суд и тюремное заключение бродяг, чем обходилось бы содержание их в качестве гостей в течение такого же срока в лучшем городском отеле. Я приводил цифры и факты, указывая, какие средства тратятся на жалованье полиции, на проездные расходы, судебные и тюремные издержки. Мои доводы были чрезвычайно убедительны. И ведь это была чистая правда. Я излагал их с легким юмором, который вызывал смех, но и больно жалил. Основное обвинение, которое я выдвигал против существующей системы, заключалось в том, что власти обжуливают и грабят бродяг. На те большие деньги, которые общество тратит, чтобы изъять их из своей среды, они могли бы купаться в роскоши, вместо того чтобы прозябать

за тюремной решеткой. Я доказывал цифрами, что бродяга мог бы не только жить в лучшем отеле, но и курить двадцатипятицентовые сигары и позволить себе ежедневную чистку ботинок за десять центов, — и все же это стойло бы налогоплательщикам меньше, чем его пребывание в тюрьме. И, как доказали последующие события, именно эти доводы более всего взволновали налогоплательщиков.

Одного из полицейских я списал прямо с натуры; не забыл упомянуть и некоего Сола Гленхарта, самого гнусного полицейского судью на всем нашем материке (этот вывод я сделал на основании обширного материала). Он был хорошо известен всем местным бродягам, а его гражданские «доблести» были не только небезызвестны, но вызывали бурное негодование в массах городского населения. Конечно, я не называл ни имен, ни мест и портрет судьи нарисовал в безличной, «собирательной» манере, однако не могло возникнуть никаких сомнений в конкретности его, ибо я сумел сохранить «местный колорит».

Естественно, так как я сам был бродягой, моя статья в основном была горячим протестом против бесчеловечного обращения с нашим братом. Поразив налогоплательщиков до глубины души,

или, вернее, до глубины их кошельков, я подготовил почву, а затем уже принялся бить на чувства. Поверьте мне, статья была написана прекрасно. А красноречие какое! Вот послушайте заключительную часть:

«Скитаясь по дорогам под недремлющим оком Закона, мы никогда не забываем, что находимся за бортом; что наши пути никогда не сходятся с путями общества; что Закон относится к нам далеко не так, как он относится к другим людям. Бедные, заблудшие души, молящие о корке хлеба, мы сознаем нашу беспомощность и наше ничтожество. И вслед за одним многострадальным собратом по ту сторону океана мы можем лишь сказать: „Мы горды тем, что гордости не знаем“. Мы забыты людьми, забыты богом. О нас помнят только гарпии правосудия, которые превращают наши слезы и вздохи в блестящие, сверкающие доллары».

Надо вам сказать, портрет судьи Сола Гленхарта вышел действительно хорош. Сходство было поразительное, несомненное, и я не жалел фраз вроде: «эта жирная гарпия с крючковатым носом»; «этот греховодник, грабитель с большой дороги, одетый в судейский мундир»; «человек,

зараженный нравами Тендерлойна[67], человек, у которого чувства чести меньше, чем у воров»; «он обделывает темные делишки вместе с акулами-стряпчими и заточает в вонючие камеры несчастных, которые не могут подкупить его», и прочее и прочее. Моя статья была написана слогом студента-второкурсника, слог этот никак не подошел бы для диссертации на тему: «Прибавочная стоимость» или «Ошибки марксизма», но это именно то, что любила наша публика.

— Гм! — буркнул Спарго, когда я сунул ему в руки мою статью. — Ну и быстрота. Вы работали, видно, бешеным аллюром, приятель.

Я устремил гипнотизирующий взгляд на его жилетный карман, и он немедленно дал мне одну из своих превосходных сигар, которую я закурил, пока он пробегал мою статью. Два или три раза он бросал на меня испытующий взгляд, но ничего не сказал до тех пор, пока не кончил читать.

— Бойкое у вас перо! Где вы работали раньше? — спросил он.

— Это мой первый опыт. — Я притворно улыбнулся, дрыгая ногой и разыгрывая смущение.

— Не врите. Какое жалованье вы потребуете?

---

[67] notes: 67
Тендерлойн — район кабаков в Нью-Йорке.

— Нет, нет, — ответил я, — мне не нужно жалованья, сэр, благодарю покорно. Я свободный и обездоленный американский гражданин, и никогда никто не посмеет утверждать, что мое время принадлежит ему.

— Кроме Закона, — хихикнул он.

— Кроме Закона, — согласился я.

— Откуда вы узнали, что я веду кампанию против местной полиции? — спросил он отрывисто.

— Я этого не знал, но мне стало известно, что вы готовитесь к этому. Вчера утром одна сердобольная женщина подала мне три сухаря, огрызок сыра и кусок черствого шоколадного торта, причем все это было завернуто в последний помер «Клариона», где я заметил нечестивое ликование по поводу того, что кандидат в начальники полиции, которого поддерживает ваша газета «Каубелл», провалился. Из того же источника я узнал, что муниципальные выборы на носу, и сделал выводы. Появление нового и порядочного мэра повлечет за собой перемены в полиции, а значит, и появление нового начальника полиции, то есть кандидата «Каубелла», следовательно, вашей газете следует выступить на сцену.

Он встал, пожал мне руку и опустошил свой

набитый сигарами жилетный карман. Я спрятал сигары, продолжая курить полученную прежде.

— Вы мне подойдете! — сказал он восторженно. — Ваш материал будет нашим первым выстрелом. И вы еще немало таких выстрелов сделаете! Сколько лет я ищу такого человека, как вы! Поступайте к нам в редакцию.

Но я отрицательно покачал головой.

— Соглашайтесь! — энергично убеждал он меня. — Не ломайтесь! Для моей газеты вы нужный человек. Она жаждет вас, домогается вас и не может обойтись без вас. Ну как, решено?

Так он долго наседал на меня, но я был тверд, как скала, и через полчаса Спарго сдался.

— Помните, — сказал он, — если вы перемените свое решение, я всегда готов вас принять. Где бы вы ни были тогда — телеграфируйте, и я немедленно вышлю вам деньги на проезд.

Я поблагодарил его и попросил уплатить за статью.

— О, у нас существует строгий порядок, — сказал он. — Вы получите гонорар в первый четверг после того, как статья будет напечатана.

— В таком случае мне придется пока попросить у вас…

Он взглянул на меня и улыбнулся.

— Лучше выдать сразу, а?

— Конечно, — ответил я. — Предпочитаю получить наличными без всяких формальностей.

И я получил тридцать долларов и отчалил, то есть удалился.

— Бледнолицый юноша, — сказал я церберу, — вот теперь меня действительно вытурили. (Он слабо усмехнулся.) И, в знак моего искреннего уважения к тебе, получай… (его глаза сверкнули, и он торопливо поднял руку, чтобы предохранить голову от ожидаемого удара)… этот маленький подарок, на память.

Я хотел сунуть ему в руку пятидолларовую монету, но, как он ни был ошеломлен, он проворно отдернул руку.

— Не надо мне этого дерьма! — огрызнулся он.

— Теперь ты мне нравишься еще больше, — сказал я, добавляя еще пять долларов. — Ты просто молодец! Но тебе непременно придется принять это.

Он отступил, ворча, но я обхватил его за шею и сунул десять долларов ему в карман. Однако, едва лифт тронулся, обе монеты звякнули о крышу кабины и скатились в пролет. К счастью, дверь лифта не была закрыта, и я, протянув руку, успел поймать их. Мальчишка-лифтер выпучил глаза.

— Это у меня такая привычка, — сказал я, кладя деньги в карман.

— Какой-то тип уронил их сверху, — шепнул он, все еще не оправившись от изумления.

— Возможно, — согласился я.

— Давайте я верну их ему, — предложил он.

— Глупости!

— Лучше отдайте, — пригрозил он, — или я остановлю лифт.

— Еще чего!

Тут он действительно остановил лифт между этажами.

— Молодой человек, — сказал я, — у тебя есть мать? (Он сразу стал серьезен, как бы жалея о своей выходке; и тогда, чтобы окончательно убедить его, я с величайшей старательностью начал засучивать правый рукав.) Ты приготовился к смерти? (Я пригнулся, как бы готовясь к нападению.) Мгновенье, одно короткое мгновенье, отделяет тебя от вечности. (При этом я сжал правую руку в кулак и приподнял ногу.) Молодой человек, молодой человек, через тридцать секунд я вырву твое сердце из груди и услышу, как ты будешь вопить в аду.

Это подействовало. Мальчишка быстро нажал кнопку, лифт полетел вниз, и я вмиг очутился

на улице. Вы видите, Анак, я никак не могу отделаться от привычки везде оставлять о себе яркое воспоминание. Меня никогда не забывают…

Не успел я дойти до угла, как услышал за собой знакомый голос:

— Здорово, Пепел! Ты куда?

Это был Чикаго Хват, — нас с ним вместе когда-то сняли с товарного поезда в Джеконсвилле. «Глаза пеплом засыпало, вот мы и не видали, как они подобрались», — объяснял он потом, и после этого случая за мной осталась кличка «Пепел».

— На юг, — ответил я. — Как поживаешь, Хват?

— Паршиво. Быки ощерились.

— А где ребята?

— В малине. Я провожу тебя.

— Кто хозяин?

— Я. И ты это запомни.

Слова жаргона сыпались с губ Лейта, и мне пришлось прервать его.

— Переведите, пожалуйста. Не забудьте, что я иностранец.

— Ах, да, — весело ответил он, — Хват сказал, что ему не везет, потому что «быки», то есть полицейские, преследуют его. Я поинтересовался, где та банда, с которой он сейчас бродит, и он обещал проводить меня к ним. «Хозяин» — значит вожак

банды. Хват претендовал на это звание. Ну, так вот, Хват и я подошли к опушке рощи за городом, где на берегу журчащего ручейка живописно расположилась группа здоровенных молодцов.

— Эй, ребята, поднимайтесь! — обратился к ним Хват. — Я привел Пепла, надо оказать ему честь.

Его слова означали, что следует немедленно отправиться в город и настрелять там денег, чтобы достойно отпраздновать мое возвращение после целого года отсутствия. Но тут я вытащил свой гонорар, и Хват немедленно отрядил несколько человек за выпивкой. Честное слово, Анак, это была попойка, и по сей день памятная всем хобо. Просто удивительно, какое количество напитков можно купить на тридцать долларов, и столь же удивительно, какое количество пива, дешевого вина и виски могут выпить двадцать мужчин. Это была грандиозная оргия под открытым небом, настоящая картина первобытного свинства. Для меня есть что-то привлекательное в пьяном человеке; и если бы я стоял во главе какого-нибудь учебного заведения, я бы непременно учредил кафедру изучения психологии пьяниц, с обязательными практическими занятиями. Это дало бы больше, чем любые книги и лаборатории.

Увы, мне не суждено было осуществить свою

мечту, потому что спустя шестнадцать часов, то есть на следующее утро, вся наша компания была арестована превосходящими силами полиции и препровождена в тюрьму. После завтрака, часов в десять, всех нас, двадцать человек, приунывших и вялых, привели в суд. Здесь, в пурпурных судейских доспехах, восседал сам Сол Гленхарт, человек с крючковатым носом, как у наполеоновского орла, и маленькими блестящими глазками.

— Джон Амброз! — выкрикнул клерк, и Чикаго Хват с ловкостью бывалого человека быстро вскочил.

— Бродяжничество, ваша честь! — объяснил судебный пристав, и его честь, не удостоив арестованного и взглядом, буркнул:

— Десять дней.

Чикаго Хват сел.

Судебная процедура продолжалась с точностью часового механизма: пятнадцать секунд на человека, четыре человека в минуту. Бродяги вставали и садились, как марионетки, клерк выкликал фамилии, пристав называл статью, судья изрекал приговор — и все. Просто, не правда ли? Красота!

Чикаго Хват подтолкнул меня:

— А ну, поговори с ними, Пепел. Ты ведь умеешь.

Я отрицательно покачал головой.

— Разыграй их, — настаивал он, — сочини что-нибудь! Ребятам это понравится. А потом сможешь носить нам табак, пока мы не выйдем на волю.

— Клэй-Рэндольф! — выкрикнул клерк.

Я встал, но в это время за судебным столом произошла какая-то заминка. Клерк что-то нашептывал судье, а пристав ехидно улыбался.

— Вы, оказывается, журналист, мистер Рэндольф? — любезно спросил его честь.

Этот вопрос застал меня врасплох, потому что в бурном ходе событий я уже успел забыть и «Каубелл» и свою статью, — и теперь увидел себя на краю ямы, которую сам себе вырыл.

— Давай, давай, выкручивайся, — бормотал мне Хват.

— Нет, все кончено, остается только горько плакать, — простонал я в ответ.

Хват, ничего не знавший о моей статье, был очень удивлен.

— И да и нет, ваша честь, — ответил я судье. — Немного пишу, когда удается получить работу.

— Вы, насколько я знаю, проявляете большой

интерес к местным делам. (Тут его честь взял со стула утренний выпуск «Каубелла» и пробежал глазами мою статью.) Колорит хорош, — заметил он, многозначительно поглядев на меня, — картины превосходны, написаны широкими мазками, в сарджентовской манере. А вот этот… этот судья, которого вы описываете… Это все взято из жизни, как я понимаю?

— О, далеко не все, ваша честь, — ответил я. — Это так… собирательный образ… так сказать тип…

— Но тут особенно чувствуется местный колорит, сэр, явно местный колорит.

— Это уже прибавлено потом, — объяснил я.

— Значит, этот судья не списан с натуры, как можно было бы думать?

— Нет, ваша честь.

— Ага! Значит, просто пример безнравственного судьи?

— Более того, ваша честь, — храбро сказал я. — Это символическая фигура.

— Которой впоследствии придали местный колорит? Ха! А разрешите полюбопытствовать, сколько вы получили за эту работу?

— Тридцать долларов, ваша честь.

— Гм, хорошо! — Его тон резко переменился. —

Молодой человек, местный колорит — опасная вещь. Признаю вас виновным в злоупотреблении им и приговариваю к тридцати дням лишения свободы, которые могут быть заменены штрафом в тридцать долларов.

— Увы! — сказал я. — Эти тридцать долларов я прокутил вчера.

— Приговариваю еще к тридцати дням дополнительного заключения за растрату своего достояния.

— Следующее дело! — сказал его честь клерку.

Хват был ошеломлен.

— Вот так так! — прошептал он. — Ничего не понимаю! Все наши получили по десять дней, а ты шестьдесят. Вот так так!

Лейт зажег спичку, раскурил потухшую сигару и открыл книгу, лежавшую у него на коленях.

— Вернемся к прежнему разговору, — сказал он, — не находите ли вы, Анак, что, хотя Лориа разбирает особенно тщательно вопрос о распределении прибыли, тем не менее он упустил один важный фактор, а именно…

— Да, — рассеянно сказал я, — да.

Джек Лондон
Любительский вечер

Мальчик у лифта многозначительно улыбнулся. Когда он поднимал ее наверх, он обратил внимание на блеск ее глаз и румянец щек. Маленькая кабинка, казалось, вся наполнилась лучистой теплотой от ее решимости и энергии. А теперь, когда они опускались вниз, та же кабинка была холодна, как ледник. У девушки исчезли блеск глаз и румянец щек. Она хмурила брови, и тот крохотный кусочек глаза, который мальчик мог видеть, был холоден и отливал сталью.

О, он прекрасно знал все эти симптомы! Он был очень наблюдателен и знал эту черту за собой, точно так же, как знал, что рано или поздно он тоже сделается репортером. Обязательно репортером! А в ожидании он терпеливо изучал жизнь, которая неустанным потоком стремилась вниз по лифту этого восемнадцатиэтажного небоскреба. Он весьма сочувственно открыл перед девушкой дверцу своей кабинки и некоторое время следил за ней, когда она шла по улице.

Какая-то особая крепость была в ее походке, и в

этой крепости сказывалась привычка прикасаться чаще к земле, нежели к городской мостовой. Крепость эта была очень утонченного свойства — в ней чувствовалась изящная упругость, мужественность, и можно было с уверенностью сказать, что девушка унаследовала ее от нескольких поколений борцов, людей, которые долго и упорно работали головой и руками. Эти дальние предки помогали из туманного прошлого девушке и закаляли ее дух в борьбе за устройство ее жизни. Но сейчас она была раздражена и самолюбие ее страдало.

— Я догадываюсь, что вы хотите мне сказать, — с доброй улыбкой, но очень решительно прервал редактор ее довольно длинное вступление, когда она, наконец, удостоилась лицезреть его. — Да, вы сказали мне все, что нужно, — продолжал он бессердечно (по крайней мере, теперь, когда она снова все мысленно переживала, она была уверена, что редактор разговаривал с ней самым бессердечным образом). — Вы никогда до сих пор не занимались газетным делом. Вы совершенно неопытны, недисциплинированны, не знаете даже азов ремесла. Вы, вероятно, кончили высшую школу. Возможно даже, что вы побывали в нормальной школе или колледже. Вы были очень

сильны в английском языке. Ваши приятельницы восторгались тем, как чудесно вы пишете, как красиво, литературно, и так далее, и так далее. Вы решили, что можете заняться газетным делом, и вот пожаловали теперь ко мне. Ну, так вот — мне очень неприятно заявлять вам это, но никаких свободных вакансий у нас нет. Если бы вы только знали, сколько чающих…

— Но раз у вас никогда нет вакансий, — в свою очередь перебила она его, — как же у вас устроились те, кто в настоящее время работает? Как я могла бы доказать и показать вам, на что я способна, если мне не суждено попасть в число избранных?

— А это уже зависит от вас самой сделать себя необходимой, — был суровый ответ. — Сделайте себя необходимой — вот и все!

— Но как же мне сделать это, если нет подходящего случая?

— Найдите этот случай!

— Но каким образом? — настаивала она и в то же время подумала весьма нелестно об умственных способностях редактора.

— Каким образом? Ну, знаете, это уже ваше дело, а не мое! — решительно сказал он и встал в знак того, что аудиенция окончена. — Дорогая

моя, я должен сказать вам, что за одну последнюю неделю у меня перебывало восемнадцать молодых девиц, желавших поступить к нам в редакцию, и у меня нет свободного времени, чтобы обучать каждую аспирантку[68] в отдельности. Те функции, которые я выполняю здесь, гораздо сложнее обязанностей инструктора из школы журналистики.

Она вскочила в вагон трамвая и, пока ехала, сотни раз мысленно переживала эту сцену объяснения с редактором.

«Но каким образом? — повторяла она про себя и снова задавала себе этот вопрос, когда взбежала на третий этаж, где жила вместе с сестрой. — Каким образом?»

Она была очень упряма, как настоящая шотландка, несмотря на то, что давно рассталась с родиной. Она должна найти способ проявить свои способности, — упорно твердила она себе, — это необходимо. Они с сестрой приехали из маленького захолустного городка с тем, чтобы пробить себе дорогу. Джон Уаймен был бедный фермер. Последнее время его дела шли совсем плохо, и стесненные обстоятельства вынудили

---

[68] notes: 68
Аспирант — кандидат на должность.

Эдну и Летти начать самостоятельную жизнь. Год преподавания в школе и вечерние занятия стенографией и машинописью показались им вполне достаточным багажом, чтобы двинуться из родной провинции в большой город с надеждами на счастливый случай. Однако надежды не оправдались. «Счастливый случай» не приходил. В городе было множество неопытных стенографисток и машинисток, а они ничего не могли предложить, кроме своей собственной неопытности.

Тайной мечтой Эдны было сделаться журналисткой. Она надеялась найти место переписчицы и постепенно выяснить, какой отрасли газетной работы она может посвятить себя. Но место переписчицы не попадалось ни для нее, ни для Летти. Крохотный запас денег, привезенный ими с собой, быстро таял, а плата за комнату не уменьшалась, и печь все с тою же жадностью пожирала уголь. В настоящее время они жили на последние гроши.

— Но здесь живет Макс Ирвин! — сказала Летти, опять возвращаясь к наболевшему вопросу. — Это журналист с очень известным именем. Сходи, повидайся с ним, Эдна. Он все знает и, я уверена, с удовольствием тебе объяснит, как начать.

— Я не знакома с ним, — заметила Эдна.

— Ты не знакома с ним точно так же, как с тем редактором, у которого ты была сегодня.

— Да… — протянула с ноткой уступчивости Эдна. — Но все-таки это не одно и то же.

— По-моему, нет большой разницы между ним и теми мужчинами и женщинами, которых ты будешь интервьюировать, когда выйдешь в настоящие журналистки, — подбодрила Летти сестру.

— С такой точки зрения я на этот вопрос не смотрела, — согласилась Эдна. — В сущности, ты права. Какая разница между тем, чтобы интервьюировать Макса Ирвина для какой-нибудь газеты, и тем, чтобы интервьюировать того же Макса Ирвина для себя лично? Я могу посмотреть на это как на практику, и больше ничего. Я сейчас схожу и поищу его адрес в справочнике.

— Знаешь, Летти! — возвратившись, заявила она с решительным видом. — Я уверена, что при первом же подходящем случае я сумею написать именно так и именно то, что нужно. Я чувствую, что во мне есть эта самая жилка. Не знаю только, понимаешь ли ты, что я хочу сказать?

Но Летти поняла и кивнула.

— Интересно, какой он, этот Ирвин? — задумчиво спросила она.

— Я поставлю целью во что бы то ни стало проинтервьюировать его, — заявила Эдна. — В течение сорока восьми часов все будет сделано.

Летти захлопала в ладоши.

— Это хорошо! — воскликнула она. — Это газетная жилка! Но проделай-ка все в двадцать четыре часа! Тогда ты будешь совсем молодцом.

— …и мне неприятно, что я беспокою вас, — закончила Эдна свою вступительную речь, обращаясь к Максу Ирвину, знаменитому военному корреспонденту и ветерану-журналисту.

— Что вы! Что вы! — с умоляющим видом замахал тот рукой. — Вы совершенно не беспокоите меня! Если вы не будете говорить сама за себя, кто же тогда станет говорить за вас? Я прекрасно понимаю, в каком вы сейчас положении. Вы хотите сделаться сотрудницей «Интеллидженсера», хотите сделаться сразу и немедленно, хотя и не имеете предварительной подготовки и практики. Первым делом позвольте осведомиться, имеется ли у вас объект, на котором вы могли бы испытать свой талант? Тут, в городе, проживают с десяток лиц, одна строка о которых раскроет

перед вами все сезамы[69]. После этого от вас одной, от вашей ловкости зависит — победить или пасть. Вот вам, например, сенатор Лонгбридж, или же Клаус Инскип, трамвайный король, или Лейн, или Мак-Чесней…

Он выдержал паузу.

— Но я ведь ровно никого из них не знаю, — уныло произнесла Эдна.

— Да в этом нет никакой необходимости! Не знаете ли вы кого-нибудь, кто знал бы их? Или же кого-нибудь, кто знает кого-нибудь, кто знает их?

Эдна покачала головой.

— Тогда нам нужно что-нибудь придумать, — весело сказал Макс Ирвин, — вам надо что-нибудь изобрести самой. Ну, давайте подумаем!

Он замолчал и задумался, наморщив лоб и закрыв глаза. Она не отрывала от него взгляда, внимательно изучая его лицо, как вдруг его голубые глаза широко раскрылись, он весь просиял.

— Готово! Но нет, подождите еще минутку!

И в продолжение минуты он, казалось, изучал ее, изучал до тех пор, пока под его взглядом ее щеки не покрылись густым румянцем.

---

[69] notes: 69

Сезам — в арабской сказке из «Тысяча и одной ночи» — волшебное слово, открывающее вход в пещеру сокровищ.

— Да, — сказал он наконец с загадочным видом, — вам придется этим заняться, хотя я еще не знаю, насколько это удастся вам. Во-первых, вы благодаря этому сумеете проявить талант, который, возможно, имеется у вас, а во-вторых — то, что вы преподнесете читателям «Интеллидженсера», будет им в тысячу раз приятнее и интереснее, чем всякие сведения о сенаторах и магнатах всего мира. Дело заключается в том, чтобы провести любительский вечер в «Лупсе».

— Я... я не совсем понимаю вас, — сказала Эдна. — Что это за «Лупс»? И что такое любительский вечер?

— Да, я забыл, что вы из провинции. Но тем лучше, если только, конечно, в вас есть настоящая журналистская жилка. Это будет ваше первое впечатление, а первое впечатление, как известно, самое сильное, непосредственное и безошибочное, свежее и яркое. «Лупс» — так называется одно увеселительное место. Находится почти в конце города, близ парка. Там имеется игрушечная железная дорога, искусственные озера, оркестры, театр, дикие животные, кинематограф и так далее, и так далее. Большинство людей отправляются туда, чтобы посмотреть животных и поразвлечься, а остальные зрители присутствуют

там с единственной целью — следить за веселящейся публикой. Чисто демократическое, очень живое, веселое варьете[70] на вольном воздухе. Вот что такое «Лупс».

Он помолчал и продолжал:

— Но вы должны обратить главное внимание на театр. Там ставятся водевили, в которых участвует несметное количество исполнителей — жонглеры, акробаты, гимнасты, танцовщики и танцовщицы, певцы-солисты, певцы-хористы, имитаторы и прочее, и прочее. Все эти исполнители — профессиональные артисты, для которых работа здесь является единственным источником дохода. Многие из них получают превосходный гонорар. Большинство из них — народ бродячий, кочевой, который работает там, где имеется свободная вакансия. Сегодня артист у Обермана, завтра в «Орфеусе», затем в «Лувре», «Альказаре» и так далее, и так далее. Значительная часть их изъездила всю территорию нашего государства. В общем, жизнь у них довольно занятная, работа оплачивается хорошо, и потому желающих посвятить себя этой профессии всегда много.

Теперь администрация «Лупса» в погоне за

---

[70] notes: 70

Варьете — театр легкого жанра с разнообразной программой.

популярностью выдумала так называемые «любительские вечера». Два раза в неделю, после того как профессиональные артисты закончат свое представление, сцена отдается любителям. Публика является высшим судьей искусства артистов-любителей, — по крайней мере, считает себя таковым, что, в сущности, одно и то же. Зрители платят за это денежки; эта забава им очень нравится, и администрация театра прекрасно зарабатывает на этом. Но, видите ли, вся штука заключается в следующем фокусе: эти любители — в действительности не любители. За все выступления они получают плату. В лучшем случае их можно характеризовать как «профессионалов-любителей». Ясно, что администрация театра нигде не найдет таких дураков, которые пожелали бы бесплатно выйти на потеху и осмеяние публики, быть иногда мишенью всевозможных острот и издевательств. Так вот в чем заключается ваша работа, которая, предупреждаю вас, требует сильных и здоровых нервов. Вам надо два раза подряд выступить на этих «любительских вечерах» — по средам и субботам, кажется, — и написать ваши впечатления для воскресного номера «Интеллидженсера».

— Но… но… — заикаясь, начала Эдна, — я… я…

Максу Ирвину нетрудно было уловить слезы и разочарование в ее голосе.

— Я понимаю вас, — мягко начал он. — Вы, конечно, ждали чего-то другого, более интересного и привлекательного. Но мы все так начинаем. Вспомните-ка про того адмирала королевского флота, который в юности мыл палубу и чистил ручки дверей. Вы обязаны пройти всю трудную школу ученичества или сейчас же бросьте все. Ну что? Как решили?

Резкость, с какой был поставлен этот вопрос, ошеломила ее. Пока Эдна колебалась, она заметила, как тень разочарования прошла по его лицу.

— В конце концов, смотрите на это как на испытание, — сказал он. — Правда, испытание тяжелое, но тем лучше. Теперь как раз время взяться вам за дело. Ну, что же? Беретесь?

— Я попытаюсь, — тихо произнесла она и подумала о том, какие прямолинейные, резкие и торопливые все те люди, с какими ей пришлось встретиться в этом большом городе.

— Отлично! — сказал Макс Ирвин. — Когда я начинал мою карьеру, мне приходилось писать об омерзительных, скучных и противных вещах. Долго пришлось сидеть на этой работе, прежде чем я перешел, наконец, на полицейскую и бра-

коразводную хронику. Но я упорно работал, шел к своей цели и, как видите, ни на что жаловаться не смею. Вы гораздо счастливее — вы начинаете с работы для воскресного приложения. Конечно, и это не очень приятно, но что же делать, беритесь и за это. Покажите, на что вы способны, а там все остальное приложится. Потом вы получите более ответственную работу, которая повлечет за собой и более ответственное положение, и более высокую плату. Ну а теперь извольте отправляться в «Лупс» и проделать все то, что я вам наметил.

— Но в качестве кого или чего мне выступить? — неуверенно спросила Эдна.

— В качестве кого? Ну, это совсем пустяки! Петь умеете? Нет? Тем лучше. Там вовсе не требуется голоса. Визжите, пищите, делайте все, что вам заблагорассудится. За это вы получаете деньги и обязаны вызывать возмущение публики отвратительным исполнением тех или иных номеров. Имейте в виду следующее: после исполнения номера вам необходимо обзавестись каким-нибудь покровителем, который состоял бы при вас в течение всего вечера. Не бойтесь никого. Болтайте, морочьте им голову. Двигайтесь между любителями, толкайте, задевайте, изучайте, фотографируйте в памяти. Усвойте себе

все особенности их атмосферы, все переливы красок, погрузитесь в «Лупс» с головой… Вы там, на месте выясните себе, что делать и с чего начать. Опишите затем свои впечатления. Это и будет то, чего хочет читатель.

Будьте строги к своему стилю. Пусть фраза ваша будет сильна, конкретна, выразительна, образна. Избегайте общих мест и расплывчатости. Делайте отбор. Схватите наиболее яркое, а на остальное не обращайте внимания, и у вас будет картина. Если вы найдете должное словесное обрамление этой картине, то «Интеллидженсер» будет ваш! И вот что еще советую вам. Просмотрите несколько старых номеров этой газеты и постарайтесь разобраться в общем тоне помещенных рассказов. Содержание вашего очерка сначала изложите в заголовке, затем последует самый рассказ, а в заключении вы снова дайте краткое резюме всего. Если у них в газете будет мало места, они смогут сделать сокращения в середине рассказа, оставив заключение, и очерк ваш не потеряет формы. Пока довольно моих наставлений. Об остальном подумайте сами.

Оба одновременно встали со своих мест. Эдна почти восторженно смотрела на этого человека, который сыпал меткие, быстрые замечания и

умело разъяснял ей все то, чего она не знала и что так жадно хотела узнать.

— И помните, мисс Уаймен! Если вы человек честолюбивый, то не можете ограничить свою цель и стремление такими статеечками. Избегайте рутины. Помните, что такая работа носит всегда несколько трюковый характер. Владейте ею и ни в коем случае не давайте ей овладеть вами. Но эту форму вы во что бы то ни стало должны осилить, потому что, если она вам не дастся, вы никогда не создадите ничего лучшего. Короче говоря, вложите в это маленькое дело всю свою индивидуальность, рассмотрите его внутри, снаружи, с боков, сверху, снизу, но оставайтесь вне его, выше его, оставайтесь сама собою: помните это неукоснительно. А теперь позвольте пожелать вам удачи!

Они вместе дошли до дверей и обменялись крепким рукопожатием.

— И вот еще что, — прервал он ее, когда она благодарила его, — прежде чем вы сдадите статью, принесите мне просмотреть ее, — может быть, две-три поправки будут не лишними.

Эдна нашла хозяина «Лупса».

Это был довольно мрачного вида, полный, тяжелый мужчина с массивной нижней челюстью,

с необыкновенно густыми бровями, не выпускавший изо рта сигары. Звали его Саймс — Эрнст Саймс.

— Какое ваше амплуа? — резко спросил он, прежде чем она успела изложить свое предложение.

— Лирическая певица, солистка, сопрано, — быстро ответила она, вспомнив наставления Ирвина.

— Как фамилия? — спросил Саймс, даже не удостаивая ее взглядом.

Эдна на мгновение запнулась. Она так стремительно ринулась в это приключение, что даже не подумала обзавестись сценическим именем.

— Какое-нибудь имя есть у вас?.. Сценическое имя? — нетерпеливо воскликнул Саймс.

— Нэн Белейн, — придумала она в один миг, — Белейн.

— Готово. Вам выступать в среду и в субботу.

Он нацарапал ее фамилию в своей записной книжке.

— А сколько я буду получать? — осведомилась новая артистка.

— По два с половиной доллара. За два выступления — пять. Выплата по первым понедельникам после второго выступления.

И, не сочтя нужным сказать обычное «до свидания», он повернулся к ней спиной и снова погрузился в газету, от которой она оторвала его своим приходом.

Эдна явилась в среду вечером очень рано. Она пришла вместе с Летти и принесла свой несложный театральный костюм: простой платок и старая юбка, выпрошенные у поденщицы, и седой парик, взятый напрокат у костюмера за плату в двадцать пять центов за вечер. После долгих размышлений она остановилась на роли старой ирландки, поющей горестные песни по случаю отъезда ее единственного сына.

Несмотря на то что они пришли рано, театральная машина работала уже вовсю. На сцене шло представление, оркестр играл, а публика время от времени аплодировала. Любителей набралось такое множество, что они попадались на каждом шагу, наполняли кулисы, проходы, даже часть сцены, всем мешали, становились у всех на дороге. Особенно досаждали они профессионалам, которые, как и следовало ожидать, считали себя несравненно выше и поэтому смотрели на любителей как на париев и обращались с ними грубо и надменно. Эдна попала в водоворот. Ее немилосердно толкали, но это нисколько не мешало

ей самым внимательным образом наблюдать за тем, что происходило вокруг нее, в то время как она, прижимая к груди свой сверток с платьем, искала уборную.

После долгих поисков Эдна, наконец, нашла уборную, занятую тремя любительницами, которые ссорились из-за единственного зеркала. Наряд Эдны был так прост, что переодевание отняло у нее всего несколько минут, и она тотчас же оставила это трио, которое заключило временное перемирие для того, чтобы обменяться замечаниями по поводу нее. Летти неотступно была при сестре, и, призвав на помощь невероятное терпение и упорство, они, наконец, добрались до какой-то кулисы, откуда кое-как могли видеть сцену.

Маленький, черненький, юркий и изящный человечек во фраке и цилиндре выделывал какие-то неторопливые па и подпевал себе тонким голоском. По многим признакам можно было судить, что песнь его патетического характера. Когда голос, казалось, совсем изменил ему, какая-то громадная женщина с копной светлых волос на голове грубо протискалась между Эдной и Летти, наступила им на ноги и с презрительным видом растолкала их.

— Уж эти дурацкие любительницы! — прошипела она, проходя мимо них, и через минуту была уже на сцене и отвешивала грациозные поклоны публике, в то время как маленький черненький человек все еще вытанцовывал свои замысловатые па.

— Здравствуйте, девицы!

Это приветствие, ласково произнесенное над ухом Эдны, заставило ее несколько податься в сторону от неожиданности. Гладко выбритое, луноподобное лицо посылало ей самую добродушную улыбку на свете. По наряду соседа можно было заключить, что он готовится изобразить типичного босяка, несмотря на отсутствие неизбежных бакенбард.

— Ну, это чепуха! Приклеить их — дело одной секунды! — объяснил он, заметив легкое недоумение в глазах Эдны. — От них страшно потеешь! — продолжал он свое объяснение, размахивая бутафорскими бакенбардами. — А у вас какое амплуа? — спросил он, рассматривая Эдну.

— Лирическая певица, сопрано, — ответила Эдна, стараясь проявить как можно больше развязности и уверенности.

— А зачем надо вам проделывать это? — бесцеремонно спросил он.

— А так, шутки ради! — в том же тоне отозвалась она.

— Как только мои глаза остановились на вас, я тотчас же понял все. Послушайте, барышня, а не работаете ли вы для газеты, а?

— За всю мою жизнь я видела только одного редактора газеты, — сказала она, — и надо вам сказать… мы с ним сразу не поладили.

— Вы что, за работой пришли к нему?

Эдна беспечно кивнула, тщетно пытаясь найти предлог, чтобы переменить тему разговора.

— Что же он сказал вам?

— Сказал, что за одну неделю у него перебывало восемнадцать барышень, таких же, как я.

— Что называется, сразу заморозил, так, что ли? — Молодой человек с лунообразным лицом расхохотался и ударил себя по бедрам. — Как видите, мы тоже не лишены наблюдательности. Воскресные газеты страшно хотят напечатать что-нибудь насчет «любительских вечеров», но нашему хозяину это не очень улыбается. При одной мысли об этом у него глаза на лоб вылезают.

— А ваше амплуа какое? — спросила девушка.

— Мое? Сегодня я — босяк, трамп. Разве вы не знаете, я — Чарли Уэлш.

Она поняла, что это имя должно было сразу ска-

зать ей все, но могла только вежливо ответить:

— Ах, вот как!

Она чуть-чуть не рассмеялась, увидев, как разочарованно вытянулось лицо ее собеседника, а затем приняло недовольное выражение, и он грубовато сказал:

— Не может быть, чтобы вы находились здесь и никогда не слышали о Чарли Уэлше! Или вы слишком молоды и неопытны! Ведь я единственный, единственный настоящий любитель на это амплуа. Вы, наверное, видели меня! Я выступаю всюду. При желании я легко мог бы сделаться профессионалом, но играть в качестве любителя гораздо выгоднее.

— Но что это за «единственный»? — осведомилась Эдна. — Мне интересно знать, что это такое.

— Конечно, конечно, — очень галантно отвечал Чарли. — Я сейчас дам вам самые исчерпывающие сведения. Единственный — это несравненный, неподражаемый. Это тот, кто исполняет свой номер лучше всякого другого. Вот и все! Поняли?

Эдна поняла.

— Чтобы еще лучше вразумить вас, — продолжал он, — я попрошу вас бросить взгляд на меня. Я — единственный настоящий любитель, который

знает, может и умеет все! Сегодня я изображаю босяка. Имейте в виду, что изображать, будто ты неумело играешь, гораздо труднее, чем в самом деле играть. Любительское искусство — самое настоящее, самое высокое искусство. Я все умею, начиная с чтения монологов до характерных танцев в голландских пантомимах. Помните же: я — Чарли Уэлш, единственный, неподражаемый Чарли Уэлш.

И таким образом, в то время как маленький черненький человечек и дородная светловолосая женщина исполняли свои изящные танцы, а затем сменились другими профессионалами, Чарли Уэлш посвящал Эдну во все характерные особенности театральной жизни, снабжал ее самой разнообразной и превосходной информацией, которую девушка старательно складывала в своей памяти для воскресного номера «Интеллидженсера».

— Ах, вот и он! — вдруг воскликнул Чарли. — Его светлость ищет вас. Вам первой выступать — вы начинаете программу. Не обращайте внимания на публику, когда выйдете на сцену. Доведите свой номер до конца, что бы они там ни делали.

В этот момент Эдна почувствовала, как ей изменяет журналистское честолюбие, и она готова

была отдать все на свете за то, чтобы очутиться где-нибудь в другом месте. Но режиссер отрезал ей отступление. Она ясно слышала вступительную музыку оркестра и по наступившей тишине поняла, что публика ждет ее выхода.

— Ну! Иди же! — прошептала над ее ухом Летти и ободряюще пожала ей руку. С противоположной стороны она услышала решительный голос Чарли Уэлша:

— Да не робейте, чего там!

Но у нее было такое ощущение, будто ноги ее приросли к полу и никак не могут оторваться. Она бессильно прислонилась к ближайшей стене. Оркестр снова сыграл вступительную фразу, и из публики вдруг послышался голос, отчетливо прокричавший:

— Загадочная картинка! Ищите Нэн!

По театру прокатился оглушительный хохот, и Эдна отскочила назад. Но в ту же минуту могучая рука режиссера опустилась на ее плечо и быстрым, сильным толчком выдвинула ее вперед, к рампе. Публика ясно увидела эту руку, сразу поняла, что разыгралось за кулисами, и аплодисментами приветствовала решительность режиссера. В зале воцарился такой шум, что звуки оркестра потонули в нем. Эдна заме-

тила следующее интересное явление: смычки с большим усердием ходили по скрипкам, но ни единого звука не было слышно. При таких условиях она никоим образом не могла начать своего номера и потому, подбоченившись и напрягая слух, терпеливо ждала, пока публика, наконец, угомонится, — она не знала, что эти крики и шум — любимейший прием местной аудитории для смущения исполнителей.

Но Эдна уже овладела собой. Она успела осмотреть весь зрительный зал, от верхнего до нижнего яруса, увидела безграничное море смеющихся лиц, услыхала непрерывный хохот, и ее шотландская кровь заставила ее стать холодной и спокойной. Оркестр старался по-прежнему, но все так же не было слышно ни звука, и тогда Эдна придумала следующее: в свою очередь, не издавая ни единого звука, она стала шевелить губами, жестикулировать, покачиваться из стороны в сторону — словом, проделывать все то, что полагается певице на сцене. Желая заглушить голос Эдны, публика начала еще более неистовствовать и шуметь, но девушка с невозмутимым спокойствием продолжала свою пантомиму. Казалось, так будет тянуться до бесконечности, как вдруг вся аудитория, словно по уговору, за-

молчала, желая услышать певицу, и внезапно убедилась в шутке, которую та сыграла с ней. На одно мгновение в зале воцарилась абсолютная тишина. Слышны были только звуки оркестра и видны беззвучно шевелящиеся губы исполнительницы. Окончательно убедившись в хитрости Эдны, публика разразилась оглушительными аплодисментами и тем признала полную победу любительницы. Этот момент Эдна сочла наиболее подходящим для своего ухода. Она отвесила поклон, быстро убежала со сцены и очутилась в объятиях Летти.

Самое ужасное миновало, и весь остаток вечера она провела среди любителей и профессионалов, беседовала, слушала, наблюдала, доискивалась значения многочисленных явлений, с которыми она столкнулась впервые, и мысленно все записывала. Чарли Уэлш продолжал свою роль гида и добровольного ангела-хранителя и делал это так удачно, что к концу вечера Эдна считала себя начиненной всем необходимым для статьи. Но она условилась с директором театра, что выступит у него два раза, и ее самолюбие требовало, чтобы она выполнила обещание. Кроме того, в течение нескольких промежуточных дней между обоими выступлениями при составлении статьи у нее

возникли некоторые сомнения, и ей необходимо было проверить свои первые впечатления. Вот почему в субботу вечером она снова очутилась в «Лупсе» со своим костюмом и со своей Летти.

Директор, казалось, ждал Эдну и вздохнул с облегчением, увидав ее. Он поспешил к ней навстречу и отвесил такой почтительный поклон, что ей стало смешно. Когда директор кланялся, она заметила через его плечо ироническую усмешку на губах Чарли Уэлша.

Но сюрпризы еще только начинались. Директор деликатно попросил Эдну познакомить его с ее сестрой, после чего чрезвычайно мило побеседовал с обеими и все время держал себя выше всяких похвал. Он дошел до того, что отвел Эдне отдельную уборную, к неописуемой досаде трех леди, с которыми она познакомилась в первый вечер. Эдна ничего не понимала до тех пор, пока не встретилась в коридоре с Чарли Уэлшем, который пролил свет на загадочное поведение Саймса.

— Алло! — приветствовал он девушку. — Что, вышли уже на вольную дорогу и теперь все как по маслу пошло?

Она ответила ему ясной улыбкой.

— А все это потому, что он принимает вас за

репортершу, — пояснил Чарли. — Ну и забавно было смотреть, как он лебезил перед вами. А теперь скажите мне честно: вы и вправду репортерша?

— Ведь я уже говорила вам про мой опыт с редакциями газет, — ответила она, — я вполне честна была тогда, честна и теперь.

Но Чарли Уэлш недоверчиво покачал головой.

— Впрочем, это не так важно! — сказал он. — Но если вы репортерша, то, когда будете писать, катните этак строчки две-три и на мой счет. А если вы не репортерша, то... и не надо! Вот и все! Вы мне и так нравитесь. Скажу вам только одно: не пристали вы к нашему двору, не ваше это дело!

После того как она исполнила свой номер с темпераментом настоящей любительницы, директор возобновил наступление. Наговорив ей кучу любезностей, он, наконец, перешел к интересующему его вопросу.

— Позвольте надеяться, что вы ничего дурного о нас не скажете? — спросил он весьма многозначительно. — Ведь вы тоже находите, что у нас все обстоит как нельзя лучше, не так ли?

— О, — с самым невинным видом ответила она, — вам теперь не удастся убедить меня выступить еще раз! Я знаю, что, кажется, понравилась

и вам и публике, но клянусь вам, что я не в силах больше… не могу никак!

— Позвольте, позвольте, ведь вы знаете, о чем я говорю, — перешел он на свой прежний грубый тон.

— Нет, нет, я никак не могу! — продолжала Эдна. — Пребывание в вашем театре действует мне на нервы.

Он окинул ее недоверчивым взглядом и прекратил свой допрос. Но в понедельник утром, когда она, согласно условию, пришла за расчетом, он, в свою очередь, удивил ее.

— Тут, очевидно, вышло какое-то недоразумение, — нагло солгал он. — Если не ошибаюсь, мы с вами говорили только об оплате проезда. Мы всем платим только за проезд. Кто же платит любителям за выступления? Если бы утвердилась подобная система, то вся наша игра потеряла бы всякий смысл. Нет, Чарли Уэлш обманул вас — вот и все! Он не получает ни цента за свои выступления. Повторяю, ни один любитель ничего не получает. Смешно и думать об этом. Но все же пятьдесят центов я могу вам дать — за ваш проезд и за проезд вашей сестры. И, — прибавил он очень сладко, — позвольте вам от имени администрации «Лупса» выразить благодарность

за ваши милые и удачные выступления.

Эдна в тот же день отправилась, как обещала, к Максу Ирвину со своей статьей, переписанной на машинке. Пробегая ее, старый журналист время от времени покачивал головой и поддерживал беглый огонь метких, отрывистых замечаний.

— Хорошо. Верно. Подмечено правильно. Психология чудесная. Хорошая мысль. Схвачено как следует. Превосходно. Сильно. Метко. Живо. Картинно, очень картинно. Превосходно. Превосходно.

И, прочитав последнюю строчку, он, протягивая руку, сказал:

— Милая мисс Уаймен, поздравляю вас! Должен вам сказать, что вы превзошли мои ожидания, хотя, признаюсь, они были немалы. Вы — журналистка, самая настоящая журналистка! У вас есть хватка — то, что для этого дела требуется. Я нисколько не сомневаюсь, что «Интеллидженсер» примет вашу статью. А если он не примет, то возьмут другие газеты. Позвольте, — воскликнул он в следующее мгновение, и лицо его приняло озабоченное выражение, — почему вы не коснулись платы за выступления любителей? Ведь вы помните, я специально подчеркнул вам эту особенность «любительских вечеров».

— Нет, этого нельзя допустить, — сердито произнес он, когда она объяснила ему, как расплатился с ней Саймс. — Вы должны получить гонорар. Но как бы устроить это? Давайте подумаем.

— Ах, мистер Ирвин, не стоит, — сказала она. — Вы и без того достаточно потрудились для меня. Позвольте мне воспользоваться вашим телефоном, я поговорю с ним. Может быть, он согласится теперь уплатить мне.

Он освободил для нее место за своим столом, и она взяла трубку.

— Чарли Уэлш болен, — начала она, когда ее соединили с театром. — Что? Что?.. Нет. Я не Чарли Уэлш. Чарли Уэлш болен, и его сестра хочет узнать, может ли она явиться в контору, чтобы получить за него гонорар?

— Скажите сестре Чарли Уэлша, что Чарли Уэлш собственной персоной был сегодня в конторе и получил все, что ему причиталось, — последовал грубый и резкий, как обычно, ответ Саймса.

— Прекрасно, — продолжала Эдна. — А теперь Нэн Белейн желает узнать, может ли она сегодня вечером явиться с сестрой в контору и получить гонорар, причитающийся Нэн Белейн?

— Что он сказал? Что он сказал? — с волнением восклицал Макс Ирвин, когда Эдна повесила

трубку.

— Он сказал, что Нэн Белейн слишком много причиняет ему беспокойства, что она может явиться сегодня вечером с сестрой, получить гонорар и навсегда распрощаться с «Лупсом».

— Позвольте, еще одно слово, — прервал ее Ирвин, когда она благодарила его в дверях, как и в первый свой визит. — Теперь, когда вы доказали мне свои права на звание журналистки, окажите мне честь и разрешите дать вам рекомендательное письмо в редакцию «Интеллидженсера».

1903

Джек Лондон
Любимцы Мидаса

Уэд Этшелер умер — умер от собственной руки. Сказать, что его смерть явилась полной неожиданностью для нашей небольшой компании, в которой он всего чаще бывал, было бы неверно. Однако отчетливой мысли о таком конце у нас не было, — мы были подготовлены какими-то подсознательными путями.

Прежде чем случилась эта смерть, мысль о ней была далека от нас, но в ту самую минуту, когда мы узнали, что Уэд Этшелер покончил с собой, нам показалось, что мы уже давно предчувствовали его кончину и были уверены, что иначе и быть не могло. Так сказать, методом обратного анализа, вспомнив его тяжелое душевное состояние, мы легко объяснили себе этот факт. Я пишу «тяжелое душевное состояние» и подчеркиваю это выражение. Молодой, красивый, вполне обеспеченный материально в качестве правой руки известного магната, «короля трамвая» Эбена Хэля, Уэд Этшелер, казалось, ни на что не мог пожаловаться. И тем не менее мы видели,

как под воздействием какого-то неведомого и всепоглощающего горя его гладкий, чистый лоб избороздился морщинами. Мы видели, как его густые черные кудри поредели и посеребрились, словно молодые побеги под палящим солнцем в засуху. Все мы помним, как посреди самого шумного веселья, которого за последнее время он все чаще искал, им вдруг овладевали рассеянность и мрачное настроение. Без всякой внешней причины глаза его тускнели, лоб морщился, лицо судорожно подергивалось. Он стискивал руки и, казалось, боролся с какой-то неведомой нам опасностью.

Он никогда не говорил нам о своем горе, а мы не позволяли себе быть нескромными и не расспрашивали его. Да это ни к чему и не привело бы. Если бы он и поделился с нами своими муками, если бы даже мы знали все, ни наша помощь, ни наши силы не отвратили бы страшного события.

С тех пор как умер Эбен Хэль, при котором Этшелер состоял в качестве доверенного и ответственного секретаря (он был, в сущности, приемным сыном Хэля и полноправным компаньоном), он не появлялся больше среди нас. Как я узнал теперь, он перестал встречаться с нами не потому, что наше общество наскучило ему.

Нет — его горе было так велико, что он просто боялся нарушить наше веселое настроение, а с другой стороны — он не был уверен, что найдет утешение в нашей компании. В то время мы не понимали некоторых обстоятельств, так как было опубликовано завещание Эбена Хэля, который назначал Уэда единственным наследником своего многомиллионного богатства и в специальном примечании оговорил, что право Уэда распоряжаться этим богатством ничем не ограничивается. Родственники покойного не получили ни единого цента наличными и ни единой акции. Кроме того, общее удивление вызвал тот пункт завещания, где говорилось, что семья покойного — вдова и дети — может получать деньги только от Уэда Этшелера, — ему предоставляется право назначать суммы выдач по своему усмотрению. Если бы в семье Хэля царил разлад или дети огорчали его какими-нибудь пороками, то в этом странном завещании можно было бы усмотреть какой-нибудь смысл. Но семейное счастье Эбена Хэля вошло у нас в поговорку, и много пришлось бы потрудиться тому чудаку, который пожелал бы найти более здоровую, чистую и прекрасную молодежь, чем его сыновья и дочери… Если бы еще его жена… Но кто же не знает, что эта ред-

кая женщина слыла у нас под прозвищем Мать Гракхов.

Разумеется, в продолжение нескольких дней все говорили об этом необъяснимом завещании. Однако возбужденная обывательщина была разочарована, когда узнала, что никакого процесса не предвидится и что никто не собирается оспаривать прав Этшелера.

Но едва лишь Эбен Хэль упокоился в своем замечательном мраморном мавзолее, как не стало и Уэда Этшелера… Сообщение об этом напечатано в сегодняшних утренних газетах. А я только что получил от него по почте письмо, отправленное, очевидно, незадолго до того, как он бросился в объятия вечности. Письмо это, которое сейчас лежит передо мной, представляет собственноручно написанный им рассказ, дополненный газетными вырезками и копиями с писем (оригиналы этих писем, поясняет он, переданы им в руки полиции). Меня лично он просит предупредить и предостеречь наше общество от страшной и дьявольской опасности и опубликовать подробности тех трагических происшествий, которые — без всякой вины Уэда — были связаны с ним.

Я опубликовываю это письмо со всеми приложениями.

Удар разразился в августе 1899 года. Я только что возвратился после моего летнего отдыха. В то время мы ничего не знали. Мы еще не приучили наше воображение к восприятию таких страшных возможностей. Мистер Хэль распечатал письмо, прочел его и со смехом бросил на мой письменный стол. Просмотрев его, я в свою очередь расхохотался и сказал:

— Какая глупая шутка! И весьма дурного вкуса вдобавок!

Дорогой Джон, я посылаю тебе точную копию этого странного послания…

«Канцелярия „Л. М.“

Августа 17, 1899 года.

Мистеру Эбену Хэлю, Денежному Королю.

Дорогой сэр! Предлагаем вам реализовать известную часть вашего имущества с тем, чтобы выручить наличными деньгами двадцать миллионов долларов. Эту сумму мы просим вас уплатить нам или же нашим агентам. Благоволите обратить внимание на то, что мы никоим образом не намерены торопить вас.

Вы можете, если найдете для себя более удобным, уплатить нам деньги в десять, пятнадцать или же двадцать сроков, но предваряем вас, что меньше одного миллиона зараз мы не можем принять.

Убедительно просим вас, любезный мистер Хэль, верить нам, что никакие дурные чувства к вам в данном случае не руководят нами. Мы принадлежим к тому интеллигентному пролетариату, число членов которого увеличилось особенно сильно в последние годы девятнадцатого столетия. Всестороннее изучение экономических наук вынудило нас выступить на поприще, которое заключает в себе очень много первоклассных достоинств и, прежде всего, дает возможность производить крупные и выгодные операции, не имея основного капитала. До сих пор мы работали вполне успешно, и, позволяем себе надеяться, что и с вами нам удастся завязать приятные отношения, которые вполне удовлетворят нас.

Просим вас отнестись с должным вниманием к изложению нашей тактики. В основе современной социальной системы

лежит право собственности. И это право индивидуума владеть своей собственностью покоится, как показали последние весьма тщательные исследования, исключительно и безусловно на силе. Одетые в кольчугу рыцари Вильгельма Завоевателя[71] поделили между собой Англию только с помощью обнаженного меча. Мы уверены, вы согласитесь с нами, что подобное положение сохраняет свою силу в отношении всех феодальных владений. С изобретением паровых машин, вызвавших промышленную революцию, появился капиталистический класс в современном значении этого слова. Капиталисты чрезвычайно быстро взяли верх над прежней аристократией. Рыцари промышленности очень ловко завладели собственностью потомков рыцарей войны. Ум, а не мускулы играет теперь первую роль в борьбе за существование. Но подобное положение вещей тоже зиждется на силе. Перемена произошла лишь в качественном отношении. Преж-

[71] notes: 71

Вильгельм Завоеватель (ок. 1027–1087) — английский король, ведший многочисленные войны.

ние феодальные бароны грабили мир огнем и мечом. Современные же денежные бароны эксплуатируют мир тем, что поработили все мировые экономические силы, которые и стали работать для их пользы. Победа остается за тем, кто сильнее в интеллектуальном отношении.

Мы, „Л. М.“ (Любимцы Мидаса[72]), не желаем оставаться на положении наемных рабов. Мощные тресты и промышленные организации (к которым принадлежите вы) препятствуют нам занять то место, на какое мы имеем право благодаря нашим способностям. Почему? А только потому, что у нас нет капитала. Мы принадлежим к „обиженным“, но мы одарены первоклассным умом и лишены всяких этических и социальных предрассудков. В качестве наемных рабов, которые должны начинать работу рано и заканчивать ее поздно, как бы экономно мы ни жили, нам не удалось бы и в шестьдесят лет (да и в двадцать раз по шестьдесят лет) скопить доста-

[72] notes: 72

Мидас — легендарный фригийский царь, обладавший роковым даром превращать в золото все, к чему прикасался.

точно денег, чтобы успешно бороться с современными могущественными капиталистическими объединениями. Тем не менее мы решили выступить на арену. Мы бросаем отважный вызов мировому капиталу. Хочет он бороться или не хочет, все равно — бороться ему придется.

Мистер Хэль, наши интересы настоятельно заставляют нас требовать от вас двадцать миллионов долларов. Хотя мы и даем вам известный срок для реализации ваших ценностей, но все же предлагаем вам не очень затягивать выплату денег. Если вам угодно принять наши условия, потрудитесь поместить соответственное объявление в отделе происшествий в газете „Морнинг блэзер“. Совместно с вами мы выработаем затем план получения причитающихся с вас денег. Всего лучше будет, если вы назначите для этого какой-либо день до первого октября. Если же наше условие будет отвергнуто вами, то с целью доказать вам, что наши намерения вполне серьезны, мы убьем человека на Восточной Тридцать Девятой улице. Это будет рабочий. Этого человека вы

не знаете, а равно не знаем его и мы. Вы представляете собой силу в современном обществе. Мы тоже представляем силу — силу новую. Без гнева и злобы мы вступаем с вами в бой. Если вам будет угодно серьезно разобраться в нашем предложении, то вы согласитесь, что оно чисто делового характера. Вы — верхний жернов, мы — нижний, и эта человеческая жизнь, попадая между нами, неизбежно должна быть сокрушена. Вы можете спасти эту жизнь, если своевременно согласитесь на наши условия.

Некогда жил король, проклятие которого заключалось в том, что все, к чему он прикасался, превращалось в золото. Его именем мы воспользовались как нашим официальным именем. Надо думать, что в свое время, желая избавить себя от подражателей, мы заявим на него авторские права.

С совершенным уважением

Любимцы Мидаса».

Милый Джон, вы легко представляете себе, в какое веселое настроение привело нас подоб-

ное письмо. Нельзя было отрицать, что идея довольно остроумна, но мы, разумеется, не могли отнестись серьезно к такому забавному предложению. Мистер Хэль сказал, что сохранит письмо как литературный курьез, и сунул его в какой-то ящик своего бюро. Нужно ли прибавлять, что мы через несколько дней совершенно забыли о письме. Но представьте себе наше изумление, когда, разбирая утром первого октября полученную почту, мы наткнулись на следующее письмо:

«Канцелярия „Л. М.“
Октября 1, 1899 года.
Мистеру Эбену Хэлю, Денежному Королю.

Милостивый государь! Вашу жертву постигла та судьба, которая была ей предназначена. Час тому назад на Восточной Тридцать Девятой улице убит рабочий ударом ножа в сердце. В то время как вы будете читать это письмо, его тело будет перенесено в морг. Сходите и полюбуйтесь делом ваших рук.

Если к четырнадцатому октября вы, придерживаясь своей прежней тактики, не выполните наших требований, то с

той же целью — доказать серьезность наших намерений, мы убьем полисмена на углу Польк-стрит и Клермонт-авеню или вблизи этих мест.

С сердечным приветом

Любимцы Мидаса».

Мистер Хэль снова рассмеялся. Его голова была всецело занята предстоящей крупной сделкой с чикагским синдикатом, которому он хотел продать все свои железные дороги в этом городе, и поэтому он продолжал диктовать стенографистке, не удостоив письма серьезным вниманием. Но не знаю почему, письмо это произвело на меня очень тяжелое впечатление. «А что, если все это не шутка?» — спросил я себя и схватил утреннюю газету.

Я наткнулся именно на то, что мне было надо. Как и подобало незначительному существу из низшего класса, ему было посвящено всего несколько строк, загнанных куда-то в угол, рядом с объявлением о каком-то аптекарском снадобье. Заметка гласила:

«Сегодня утром, в начале шестого, на Восточной Тридцать Девятой улице убит ударом ножа в сердце рабочий Пат

Лескаль, направлявшийся на завод. Неизвестный убийца скрылся. Полиция еще не выяснила причин этого злодеяния».

— Это невозможно! — воскликнул Эбен Хэль, когда я прочел ему заметку. Но видно было, что событие произвело на него сильное впечатление, потому что после обеда, всячески обвиняя себя в том, что обращает слишком большое внимание на такие пустяки, он попросил меня навести в полиции справку о положении вещей. К моему большому удовольствию, в участке полицейского инспектора меня буквально подняли на смех, но все же я добился от них обещания, что в ночь на 14 октября на углу Польк-стрит и Клермонт-авеню будет поставлен усиленный патруль. Затем мы забыли об этом инциденте. Так прошли две недели, когда почта принесла нам следующее послание:

«Канцелярия „Л. М.“
Октября 15, 1899 года.
Мистеру Эбену Хэлю, Денежному Королю.

Многоуважаемый сэр! Ваша вторая жертва пала в назначенное нами время. Мы нисколько не торопимся, но, чтобы усилить давление на вас, мы отныне станем убивать еженедельно. А для того, чтобы избежать нежелательного вмешательства полиции, мы будем извещать вас об убийстве либо одновременно с событием, либо чуть-чуть раньше. В надежде, что вы находитесь в полном здравии, просим принять уверение в полном уважении.

Любимцы Мидаса».

Мистер Хэль немедленно схватил газету и после недолгих поисков прочел следующее:

ВОЗМУТИТЕЛЬНОЕ УБИЙСТВО

«Джозеф Донагю, специально назначенный вчера ночью на дежурство на Одиннадцатом участке, убит наповал выстрелом в голову. Убийство совершено при полном свете уличных фонарей, на углу Польк-стрит и Клермонт-авеню. Устои нашего общества окончательно подгнили, если охранители его мира и

спокойствия гибнут подобным образом, чуть ли ни на виду у всех. До сих пор полиции не удалось получить ни малейших указаний на то, кем и почему был убит Джозеф Донагю».

Мистер Хэль еще не успел прочесть этой заметки, как к нам явился сам полицейский инспектор в сопровождении двух лучших сыщиков. Тревога ясно читалась на их лицах, и по всему было видно, что они взволнованы не на шутку. Несмотря на то что факты были крайне немногочисленны и просты, мы совещались очень долго, всячески разбирая трагическое происшествие. Уходя, полицейский инспектор уверил нас, что им будут приняты чрезвычайные меры и что преступники будут непременно схвачены и понесут должную кару. В то же самое время он заявил, что не мешает поставить несколько человек для личной охраны как мистера Хэля, так и меня. Кроме того, несколько человек были размещены вокруг дома и служб. Спустя неделю, в час пополудни мы получили следующую телеграмму:

«Канцелярия „Л. М.“
Октября 21, 1899 года.
Мистеру Эбену Хэлю, Денежному Ко-

ролю.

Многоуважаемый сэр! Нам крайне неприятно убедиться в том, что вы совершенно не понимаете нас. Мы узнали, что вы окружили себя лично и свой дом вооруженными людьми. Очевидно, вы принимаете нас за самых обыкновенных преступников, способных напасть на вас и силой забрать двадцать миллионов. Смеем уверить вас, что, предполагая это, вы крайне далеки от понимания наших истинных намерений.

Если вам угодно будет более трезво вдуматься в положение вешей, то вы, конечно, легко поймете, что ваша жизнь крайне дорога нам. Не бойтесь! Ни в каком случае мы не причиним вам никакого вреда. Напротив, вся наша тактика заключается именно в том, чтобы охранять вашу жизнь и оберегать вас от всякого зла. Ваша смерть ровно ничего не может дать нам. Если бы она была нам нужна, то, будьте уверены, мы давно покончили бы с вами. Хорошенько подумайте над этим, мистер Хэль! Как только вы согласитесь выдать нам требуемые деньги, все

ваши беспокойства и волнения кончатся. Поэтому мы усиленно рекомендуем вам как можно скорее рассчитать сыщиков и сократить ненужные расходы.

Через десять минут после получения вами этой телеграммы в Брентвуд-парке будет задушена молодая девушка — нянька. Тело ее можно будет найти в кустах за дорожкой, влево от музыкальной эстрады.

С сердечным приветом

Любимцы Мидаса».

В тот же миг мистер Хэль подбежал к телефону и предупредил полицейского инспектора о готовящемся убийстве. Инспектор ответил, что сейчас же дал знать в главное полицейское управление и одновременно послал полисменов в Брентвуд-парк. Ровно через пять минут он снова позвонил нам и уведомил, что тело, еще теплое, найдено в указанном месте. В тот же вечер все газеты пестрели крупными заголовками о новом Джеке-душителе. Газеты описывали неслыханную жестокость преступника и упрекали полицию в полной нераспорядительности. Мы снова заперлись с инспектором, который заклинал нас

держать все в глубокой тайне, уверяя, что успех дела зависит от нашего молчания.

Как вам известно, мистер Хэль был железный человек. Он ни за что на свете не хотел сдаваться. Ах, Джон! Это было страшно, это было ужасно — таинственное нечто, темная, грозная, неизвестная сила! Мы не могли бороться, не могли строить никаких планов, и нам оставалось только сидеть сложа руки и ждать… И каждую неделю, так же регулярно, как всходило солнце на небе, к нам приходило сообщение о смерти какого-нибудь человека — мужчины или женщины, виновного или совершенно невинного, — убитого нами, именно нами, так, будто мы убили его нашими собственными руками. Стоило мистеру Хэлю произнести только одно слово, и эта бойня немедленно прекратилась бы. Но суровым и жестким стало его сердце — он ждал, и все глубже становились морщины на его лице, суровее глядели глаза, мрачнее сжимались губы, лицо старилось с каждым днем, с каждым часом. Нужно ли, Джон, говорить вам о том, что я лично переживал в этот страшный период? Вам стоит посмотреть приложенные письма и телеграммы «Любимцев Мидаса», а также вырезки из газет, чтобы составить себе должное представление о много-

численных убийствах этих злодеев.

Вы, вероятно, обратите внимание на то, что «Любимцы Мидаса» часто предупреждали Хэля об интригах его врагов и секретных операциях его конкурентов. Казалось, «Любимцы Мидаса» все время держат руку на пульсе всего делового и финансового мира. Они весьма часто обладали сведениями, которых наши агенты никоим образом не могли получить. Между прочим, своевременно сделанное ими предупреждение спасло мистеру Хэлю пять миллионов долларов. А в другой раз они послали нам телеграмму, предупреждая о готовящемся покушении на моего патрона со стороны анархиста. Мы арестовали этого человека, когда он явился к нам, и передали его в руки полиции. У него нашли изрядную порцию нового взрывчатого вещества, вполне достаточную для взрыва целого броненосца.

Мы упорствовали. Мистер Хэль держал себя молодцом и ни за что не хотел уступить. Он стал тратить по сто тысяч в неделю на тайную полицию. Были призваны на помощь многочисленные пинкертоны[73] и «специальные сыскные агентства», к которым присоединились тысячи

[73] notes: 73

Пинкертоны — сыщики (по имени Пинкертона — героя многих детективных рассказов и романов).

лиц, числящихся у нас на службе. Они находили тысячи улик. Сотни людей по их указанию были арестованы. Тысячи других были взяты на подозрение, но ничего серьезного не было обнаружено. «Любимцы Мидаса» чуть ли не каждый день меняли свои способы общения с нами. Каждый агент, являвшийся к нам с поручением от их имени, немедленно подвергался аресту, но всегда неизменно оказывалось, что это были совершенно невинные люди, которые сами не знали, что делают и чье поручение исполняют. В последний день декабря мы получили следующее письмо:

«Канцелярия „Л. М.“
Декабря 31, 1899 года.
Мистеру Эбену Хэлю, Денежному Королю.

Многоуважаемый сэр! Применяя все ту же тактику, — с которой, смеем надеяться, вы уже достаточно ознакомились, — мы решили выдать сегодня пропуск из этой юдоли слез полицейскому инспектору Байингу, с которым, благодаря нам, вы так близко в последнее время сошлись. В этот час, как обыкновенно, он находится в своем кабинете. В тот момент, как вы

просматриваете наше письмо, он испускает последнее дыхание.

С сердечным приветом

Любимцы Мидаса».

Я бросил письмо и побежал к телефону. Можете представить мою радость, когда я услышал бодрый голос инспектора. Но, продолжая говорить с ним, я вдруг услышал, как его голос начинает замирать, как слова сменяются отчаянным хрипом. С ужасом я услышал затем стук падающего на пол тела. Какой-то чужой голос окликнул меня, передал привет от «Любимцев Мидаса» и повесил трубку. С быстротой молнии я соединился с центральной полицией и просил начальника немедленно послать людей в кабинет инспектора Байинга. Я продолжал стоять у телефона, и через несколько минут мне сообщили, что инспектора нашли плавающим в луже крови, при последнем издыхании. Не было никаких свидетелей, и никто не мог дать ни малейших указаний, как все произошло.

После этого мистер Хэль довел свои расходы на тайную полицию до четырех миллионов в неделю. Он решил во что бы то ни стало выйти победителем из этой страшной игры. Сумма

наград, назначенных за поимку преступников, достигла десяти миллионов. Вы имеете приблизительное представление о его богатстве и поэтому можете понять, как широко он поставил дело. Он все время утверждал, что в данном случае ему всего дороже принцип, а не деньги сами по себе, и все его поступки вполне подтверждали и подчеркивали благородство его намерений. Бьиа призвана в помощь полиция всех крупных городов. Мало того, в дело вмешалось правительство Соединенных Штатов, и вопрос получил общегосударственное значение. Были ассигнованы значительные средства из государственных фондов, и одновременно была объявлена мобилизация всех правительственных агентов. Но все напрасно. «Любимцы Мидаса» продолжали свою страшную работу с прежней регулярностью и последовательностью, которой, казалось, ничто не могло помешать.

И в то время как мистер Хэль напрягал последние силы в борьбе, он не мог забыть о той крови, которая была на его руках. Конечно, с внешней стороны он ни в чем не был виноват, и обвинять его в убийстве не отважился бы самый строгий состав присяжных, — и все же известная доля вины в смерти того или иного гражданина лежала

на нем. Ему достаточно было сказать одно слово — и бойня кончилась бы. Он заявил, что тут речь идет о неприкосновенности и безопасности всего общества, что дело вовсе не в том, что тот или иной трус постыдно сбежит со своего поста, и что справедливость требует, чтобы малая часть принесла себя в жертву ради большинства, ради всего остального человечества. И все же кровь была на нем, и он чувствовал это и с каждым днем становился все угрюмее и удрученнее. Он как бы прикрывал своих соучастников, которые безжалостно убивали грудных младенцев, детей, взрослых, пожилых, стариков, причем эти ужасные убийства происходили не только в нашем городе, но и по всей стране.

Как-то раз в середине февраля, когда мы сидели в библиотеке, раздался сильный стук в дверь. Я подошел к двери, открыл ее и нашел на ковре в коридоре письмо:

«Канцелярия „Л. М.“
Февраля 15, 1900 года.
Мистеру Эбену Хэлю, Денежному Королю.

Многоуважаемый сэр! Неужели ваша душа не возмущается той страшной кро-

вавой жатвой, которая является делом ваших рук? Быть может, мы несколько абстрактно вели до сих пор наши переговоры и наши дела с вами. В таком случае, разрешите нам перейти к более конкретным действиям. Как вам известно, мисс Аделаида Ледлоу так же талантлива, как и прекрасна по внешности. Она — дочь вашего старого, лучшего друга, судьи Ледлоу, и нам случайно стало известно, что вы носили ее на руках, когда она была ребенком. Она — близкая подруга вашей дочери и в настоящее время гостит у вас в доме. Так вот, разрешите довести до вашего сведения, что в настоящую минуту, когда вы читаете это письмо, пребыванию мисс Ледлоу в вашем доме пришел преждевременный конец.

Сердечно преданные вам

Любимцы Мидаса».

Вы можете себе представить, Джон, что было с нами, когда мы прочли эти строки. Мы бросились в гостиную, но там девушки не оказалось. Тогда мы поспешили в ее комнату, в которой она всегда останавливалась, когда приезжала к Хэлям.

Дверь была заперта, но мы высадили ее тяжестью наших собственных тел. Аделаида Ледлоу была мертва. Видно было, что она переодевалась; она должна была в этот вечер поехать в театр. Ее задушили подушками, снятыми с кровати. Тело ее еще сохранило теплоту, и со щек не успел сбежать румянец. Разрешите мне не продолжать описания этого ужаса. Я не сомневаюсь, что вы ясно помните все газетные отчеты по этому делу.

Поздно вечером мистер Хэль пригласил меня к себе и взял с меня клятву, что я всегда буду помогать ему работать в том же направлении, что я не скомпрометирую его имени, если бы даже для этого пришлось пожертвовать всем его имуществом до последнего цента.

На следующий день он поразил меня своим превосходнейшим настроением. Я думал, что последнее трагическое происшествие должно было страшно потрясти его (только впоследствии я узнал, до чего он действительно был потрясен), а он весь день оставался веселым, шутливым, остроумным, словно нашел, наконец, выход из создавшегося ужасного положения. На следующее утро он был найден мертвым в постели, с ясной улыбкой на похудевшем лице, — он покончил самоубийством, призвав на помощь светильный

газ. Полиция и власти пошли нам навстречу, так что удалось объяснить обществу смерть Эбена Хэля разрывом сердца. Мы полагали, что будет осторожнее скрыть правду, но это не принесло нам никакой пользы. Впрочем, никто и ничто не могло уже помочь нам.

Едва только я вышел из комнаты покойного, как — увы, слишком поздно! — мне подали следующее необычайное письмо:

«Канцелярия „Л. М.“
Февраля 17, 1900 года.
Мистеру Эбену Хэлю, Денежному Королю.

Многоуважаемый сэр! Мы надеемся, что вы простите наше столь скорое обращение к вам после печального происшествия. Но то, что мы должны сказать вам, не терпит отлагательства, — это заявление крайней важности. Мы подумали, что вы, может быть, пожелаете скрыться от нас. Само собой разумеется, для этого имеется только один путь, который для вас так же ясен, как и для нас. Но мы хотим уведомить вас, что даже этот единственный путь прегражден для вас.

Вы можете умереть, но умрете вы побежденным и признавшим свое поражение. Обратите внимание на следующее: мы являемся неотъемлемой частью ваших владений. Вместе с вашими миллионами мы перейдем к вашим наследникам навсегда.

Мы неизбежное! Мы — кульминационный пункт промышленной и социальной несправедливости. Мы падаем на голову общества, которое вскормило нас. Мы — удачные неудачники нашей эпохи, мы — бич упадочной цивилизации.

Мы — создание вывернутого наизнанку социального подбора. Силе мы противопоставляем силу. Выдержать и победить может только сила. Мы верим, что выживут только те, кто сумеет приспособиться. Вы втоптали в грязь ваших наемных рабов и поэтому выжили. По вашему приказанию военные генералы во время многочисленных кровавых стычек убивали ваших рабочих, как собак, — и это помогло вам выжить! Мы нисколько не жалуемся на подобные результаты, так как знаем, что и мы подчинены тем же стихийным законам. Теперь возникает вопрос: кто из нас выживет при нынешних социальных условиях? Вы уверены, что вы — наиболее приспособлены. Мы же верим, что мы крепче вас. Разрешить этот вопрос мы предоставляем времени и естественным законам. С сердечным приветом

Любимцы Мидаса».

Джон, вы все еще продолжаете удивляться, почему я избегал веселого общества и уходил от друзей? Стоит ли продолжать объяснения? Этот

рассказ уже все прояснил вам. Три недели назад умерла Аделаида Ледлоу. С тех пор я стал жить в ожидании и страхе. Вчера состоялось мое утверждение в правах наследства, о чем было доведено до всеобщего сведения, а сегодня рано утром довели до моего сведения, что женщина средних лет будет убита в Гольден-Гэтпарке, недалеко от Сан-Франциско. Телеграммы вчерашних газет принесли все подробности кошмарного убийства — подробности, которые вполне сходятся с теми, которые я узнал, так сказать, авансом.

Борьба бесполезна. Бороться с неизбежным я не могу. Я всей душой был предан мистеру Хэлю и сделал все, что было в моих силах. Признаться, я сам не понимаю, почему за мою преданность я должен быть так вознагражден. Я не смею обмануть выраженное мне доверие, как и не смею нарушить данное слово. Но все же я решил, что не буду дольше пассивным виновником этой бойни. Те миллионы, которые я получил на днях, я возвращаю законным наследникам. Пусть крепкие и выносливые сыновья Эбена Хэля попробуют отстоять свои права и свое богатство.

Когда это письмо попадет в ваши руки, меня уже не будет в живых. «Любимцы Мидаса» всемогущи. Полиция абсолютно беспомощна. Я узнал

от нее, что подобные письма получали и получают другие миллионеры. Но неизвестно, как много их, потому что, если один из них уступает «Любимцам Мидаса», на его уста накладывается печать молчания. Те же, кто еще борется, пожинают ту же кровавую жатву, что и мы. Игра подходит к концу. Федеральное правительство ничего не может сделать. Мне сообщили, что такие же организации возникли и в Европе. Общество потрясено в самых основах своих. И малые княжества, и великие державы может не сегодня завтра охватить пожар. Вместо того чтобы массы пошли против классов, класс пошел на класс. Мы, стражи человеческого прогресса, повергнуты в прах. Закон и порядок обанкротились самым постыдным образом.

Власти убедительно просили меня держать все это в глубокой тайне. Пока мог, я делал это; теперь я не в силах больше молчать. Это превратилось в вопрос общественной важности — в вопрос, чреватый чрезвычайно тяжелыми последствиями, и я полагаю, что мой долг заключается в том, чтобы до ухода из жизни предупредить всех о страшной опасности. Последняя моя просьба к вам, Джон, сводится к тому, чтобы вы обнародовали мое письмо. Не бойтесь ничего! Судьба всего

человечества находится ныне в наших руках. Пусть пресса выпустит мое письмо в миллионах оттисков! Пусть электрические провода разнесут эту весть по всему миру! Где бы люди ни встретились и ни разговорились, пусть первым делом заговорят об этом! И тогда, когда общество поймет наконец современное положение, оно всей своей мощью уничтожит это гнусное порождение наших дней.

Примите прощальный привет от вашего

Уэда Этшелера.

1906

Джек Лондон
Золотой каньон

Это было зеленое сердце ущелья. Стены расступились и смягчили свои жесткие очертания, образовав маленький тенистый уголок, где все дышало нежностью и невыразимой сладостью. Здесь все покоилось в глубоком отдыхе. Даже узкий поток замедлял свой стремительный бег, разлившись в тихий пруд. По колено в воде, низко опустив голову, с полузакрытыми глазами, стоял рыжий олень с ветвистыми рогами.

По одну сторону потока, почти у самой воды, раскинулась небольшая зеленая лужайка, подбегавшая к самой подошве суровой горы. А за прудом поднимался холм, примыкавший к горе с другой стороны. Нежные травы покрывали откос — травы, испещренные бесчисленными оранжевыми, пурпурными и золотыми цветами. Внизу ущелье перегораживали скалы. Там не было никакого вида. Стены сближались, и ущелье заканчивалось хаосом скал, затянутых мхом и прикрытых зелеными ширмами из вьющихся лоз и трав. Над ущельем поднимались поросшие

лесом холмы и остроконечные горы.

А еще дальше, напоминая облака на горизонте, возносились белые минареты, где вечные снега Сьерры сурово отражали солнечное сияние.

Пыль не проникала в ущелье, и вся растительность была яркой и девственно свежей. Трава напоминала новый бархат. На берегу пруда три виргинских тополя роняли на землю белоснежные, медленно кружащиеся в застывшем воздухе пушинки. Цветы мансаниты наполняли воздух весенним ароматом, в то время как листья, наученные многолетним опытом, уже начинали свертываться, готовясь к наступающему летнему зною. На открытых местах склона, возвышаясь над тенистыми зарослями мансаниты, стаей мгновенно застывших мотыльков стояли пышные лилии, готовые, казалось, каждое мгновение подняться в воздух. Изредка встречались земляничные деревья — эти арлекины лесов, меняющие свою горохово-зеленую кору на пурпурно-красную. Эти деревья насыщали воздух чудесным дыханием сливочно-белых восковых колокольчиков, похожих на ландыши, и тем нежным запахом, который составляет исключительную привилегию весны.

Ветер замер, и воздух, насыщенный ароматом,

застыл. Повсюду чувствовалась сладость, которая была бы приторной при влажном и душном воздухе. Но воздух был чист и сух. Казалось, в ущелье был растворен звездный блеск, напоенный запахом цветов.

Время от времени над травами мелькала бабочка. Со всех сторон доносилось дремотное жужжание горных пчел — пирующих сибариток, всегда добродушных и никогда не находящих времени для грубых споров и стычек. Поток мирно бежал по ущелью с едва слышным журчанием. Голос его то замирал, то опять слышался как невнятное бормотание.

Внутри ущелья всякое движение принимало характер парения — парили бабочки, и, казалось, даже солнечные лучи парили. Жужжание пчел и журчание ручья казались парящими звуками. Зыбь звуков сливалась с зыбью цветов в одну легкую и нежную ласку. В ущелье царил дух мира и спокойствия, но не смерти; движения, но не действия; тишины, говорящей о жизни, лишенной напряжения и борьбы…

Рыжий олень, подчинившись духу ущелья, задремал, стоя в холодной воде.

Очевидно, мухи не беспокоили его, и он точно впал в забытье от полного покоя. Время от време-

ни, когда ручей просыпался и вновь начинал свой прерванный лепет, уши оленя вздрагивали, но вздрагивали едва заметно — ничего особенного не случилось, просто-напросто ручей залепетал о том, что олень случайно вздремнул.

Но вот наступил момент, когда уши оленя поднялись и стали жадно ловить какие-то звуки. Его голова повернулась к нижнему концу ущелья. Трепетные ноздри втягивали воздух. Его взор никак не мог проникнуть за зеленые ширмы, за которыми пропадал поток, но до его слуха явственно донесся человеческий голос. Кто-то громко и монотонно пел. Олень услышал острый и резкий удар металла о скалу, и при этом звуке он так стремительно рванулся вперед, что один прыжок перенес его из пруда на луг, где его ноги глубоко ушли в свежий зеленый бархат, а уши снова насторожились, и ноздри снова втянули воздух. Затем он стал медленно прокрадываться по маленькой лужайке, время от времени останавливаясь, чтобы прислушаться, и вдруг, как призрак, бесшумно и мягко ступая по траве, исчез в зеленой чаще, окружающей ущелье.

Стук подкованных сапог о камни доносился все явственнее, и голос человека звучал все громче. Человек пел что-то вроде церковного псалма, и

вскоре можно было разобрать слова:

Взгляни кругом, вперед брось взгляд,
Святых холмов пред нами ряд.
(Не страшен дух греха тебе.)
Взгляни кругом, кинь в небо взор
И сбрось грехов своих позор.
(Ты встретишь Бога на заре.)

Песня сопровождалась звуками тяжелых шагов, и дух ущелья бежал отсюда вслед за рыжим оленем.

Зеленая завеса была раздвинута чьей-то дерзкой рукой, и из-за нее появился человек, который окинул проницательным взглядом откос, лужайку и ручей. Сразу можно было определить, что это дельный, толковый человек. После первого общего взгляда последовал обзор более детальный, и только тогда гость раскрыл рот, выразив очень картинное и торжественное одобрение:

— Дым жизни и змеи адовы! Нет, вы только посмотрите, что тут делается! И лес, и вода, и травы, и холмы! Место отдохновения для старателя и рай для дельного человека. Прохладная зелень для усталого взора. Животворные пилюли для слабогрудых людей. Тайное пастбище для

исследователей и место прекрасного отдыха для усталых обезьян. Ах, черт побери, вот так штука!

Пришедший был крупный рыжеватый человек; наиболее характерными чертами его, видимо, являлись добродушие и юмор. У него было очень подвижное лицо, отражавшее каждую мысль и каждую перемену настроения. За ходом его мыслей мог следить всякий, кто взглянул бы на него. Мысли проносились по его лицу, точно порывы ветра по поверхности озера. Волосы, давно не чесанные и довольно редкие, были, в сущности, такого же неопределенного цвета, как и лицо. Казалось, вся окраска его тела сосредоточилась в глазах, которые поражали своей глубокой синевой. Это были веселые, смеющиеся глаза, в которых таилось много чисто детской наивности и удивления; вместе с тем была в них большая доза самоуверенности и твердой воли, выработанной житейским опытом и знанием собственных возможностей. Выбросив вперед кирку, лопату и таз для промывки золота, он вышел на лужайку. На нем были старые брюки, черная ситцевая рубаха, грубые, подбитые гвоздями сапоги и самой неопределенной формы шляпа, говорившая о многолетней борьбе с непогодой, солнцем и дымом костра.

Он выпрямился во весь рост, жадным взором окинул укромный уголок и раздувающимися от восторга ноздрями стал впивать в себя теплое, сладкое дыхание горного сада. Глаза его превратились в узенькие голубые щелки, лицо исказилось от наслаждения, на губах появилась улыбка, и он громко закричал:

— Ну и нравится же мне ваш аромат, веселые одуванчики и счастливые мальвы! Рассказывайте там про ваши одеколоны и розовые масла! Куда вам!

Ясно было, что он привык разговаривать с собой. Его быстро меняющееся лицо немедленно отражало любое его настроение, любую мысль, за которыми спешил язык.

Он опустился на землю, припал к воде и стал медленно пить.

— Ай, как вкусно! — произнес он, подняв голову и глядя через ручей на холмы, и вытер губы. Откос сразу привлек его внимание. Все еще лежа на животе, он пытливо стал вглядываться в него, изучая горные породы. Он долго ощупывал взором склон сверху донизу, до осыпавшейся земли, и было ясно, что это взор опытного, знающего свое дело человека. Наконец он поднялся на ноги и подверг откос вторичному осмотру.

— Очень хорошо! — промолвил он и поднял с земли кирку, лопату и таз.

Ловко переступая с камня на камень, он направился к потоку, несколько пониже пруда. На том месте, где откос почти уходил в воду, старатель взял лопатой немного земли и бросил ее в таз. Затем он присел на корточки, схватил таз обеими руками, слегка опустил в воду и сразу ловко закружил его, отчего все песчинки завертелись в воде. Как только более крупные песчинки поднимались, он немедленно и очень умело, ловким наклоном таза сливал их наружу. Иногда, для ускорения хода дела, он прекращал кружение таза и пальцами вынимал большие песчинки и сор.

Содержимое таза очень быстро уменьшалось, и вскоре на дне остались тонкий песок и мельчайший ил. Тогда человек начал работать более осторожно и медленно. Это была уже настоящая промывка, и он промывал все тщательнее и тщательнее, с возрастающей осторожностью и аккуратностью. Наконец, когда в воде, по-видимому, ничего не осталось, он прежним ловким движением выплеснул ее через край и обнаружил на дне тонкий, похожий на мазок краски, слой черного песка. Он внимательно пригля-

делся к нему. Посреди слоя блеснула маленькая золотая крупинка. Человек краем таза снова зачерпнул немного воды и снова завертел таз, по-прежнему тщательно промывая оставшийся слой песка. Вторая золотая блестка вознаградила его старания.

Теперь промывка сделалась еще более тщательной — даже более тщательной, чем это обычно полагается. Он неторопливо, по частям сливал черный песок через край таза, причем ни единая песчинка не миновала его испытующего глаза, который ревниво, частица за частицей рассматривал песок, прежде чем позволить ему выпасть наружу. У самого края что-то блеснуло. Золотая блестка, не крупнее булавочной головки, но искатель заметил ее и быстрым движением спустил обратно в таз. Точно так же он открыл третью и четвертую блестки. Как пастух, он любовно собирал свое стадо золотых крупинок, любовно и тщательно следя за каждой из них. Наконец ушел весь песок, осталось только золотое стадо. Тогда человек внимательно пересчитал крупинки и затем — после всех своих трудов! — обычным искусным поворотом таза выплеснул их вслед за песком.

Но когда он поднялся на ноги, в глазах его горел

жадный блеск.

— Семь! — прошептал он, повторяя сумму крупинок, которые достались ему с таким трудом и которые он с такой легкостью выплеснул. — Семь! — повторил он с настойчивостью человека, который хочет во что бы то ни стало утвердить какое-то число в своей памяти.

Он долго стоял, не спуская взора с откоса. В его глазах горело жгучее любопытство, а во всем его облике чувствовалось волнение хищного животного, напавшего на свежий след добычи.

Он сделал несколько шагов вниз по ручью и набрал новый таз песка. И снова началась самая тщательная промывка, и тот же ревнивый сбор отдельных золотых крупинок, окончившийся столь же беспечным выбрасыванием их после того, как число их было точно установлено.

— Пять! — прошептал он и повторил: — Пять!

Прежде чем сделать следующий опыт, он тщательнее прежнего осмотрел откос. Золотые стада стали уменьшаться. «Четыре, три, два, два, один!» — отмечала его память, по мере того как он спускался по течению. Когда только одна крупинка вознаградила его старания, он прекратил промывку и разложил костер из сухих сучьев. Он положил в огонь свой таз и обжигал его до тех

пор, пока тот не сделался иссиня-черным. Тогда он вынул его из огня и подверг тщательному и критическому осмотру. Он одобрительно кивнул головой. На таком фоне вряд ли скроется от его глаз самая крохотная крупинка!

Продолжая спускаться по течению, он попутно наполнял таз песком. Снова одна блестка вознаградила его труды. Третий таз совсем не дал золота. Не удовлетворившись этим, он наполнил таз три раза подряд, набирая лопатой песок через фут расстояния. Ни единый из этих последних тазов не принес ему золота, и этот факт, вместо того чтобы обескуражить его, казалось, доставил ему огромную радость. Его радость росла по мере роста неудачи. Наконец он поднялся и с восторгом воскликнул:

— Пусть Господь Бог размозжит мне голову кислыми яблоками, если я не напал именно на то, что мне нужно!

Вернувшись к месту, с которого начал свои исследования, он снова приступил к работе. Здесь его добыча росла — росла чудовищно. «Четырнадцать, восемнадцать, двадцать одна, двадцать две!» — отмечала его память. У самого пруда успех был наибольший — тридцать пять крупинок!

— Достаточно, чтобы сохранить их, — с сожале-

нием заметил он, но тем не менее разрешил воде смыть золото.

Солнце поднялось уже к самому зениту. Человек продолжал работать, поднимаясь по течению и отмечая, что с каждым разом число золотых блесток уменьшается.

«Все идет как нельзя лучше», — сказал он себе, когда последняя промывка дала только одну крупинку.

Когда же несколько следующих тазов ничего не принесли, он выпрямился во весь рост и ласковым, доверчивым взором окинул откос.

— Так-то, госпожа Жила! — воскликнул он, как будто обращаясь к существу, засевшему в глубине откоса. — Так-то, так-то, госпожа Жила! Я пришел, я пришел, и уж будь покойна — я доберусь до тебя! Ты слышишь, госпожа Жила? Я доберусь до тебя! И это так же верно, как верно то, что тыква — не капуста!

Он повернулся и взглядом смерил солнце, повисшее над ним в лазури безоблачного неба. Затем он стал спускаться вдоль ущелья, пробираясь по линии вырытых им ямок, откуда набирал землю для промывки. Он пересек ручеек и исчез за зеленой завесой. Еще не наступило время духу ущелья вернуться обратно и снова принести с

собой мир и покой, потому что голос человека, распевавшего монотонную песню, все еще продолжал звучать в этом горном саду.

Через некоторое время снова послышался стук подкованных сапог о камни, и искатель вернулся. Зеленая завеса заколыхалась, точно сопротивляясь. Затем донеслось звяканье и скрежет металла. Голос человека сделался резче, и в нем зазвучали повелительные нотки. Слышно было, как дышало и пыхтело какое-то большое тело. Раздалось щелканье, с которым смешался стук и треск, и сквозь зеленую завесу прорвалась лошадь, разбросавшая вокруг себя кучи опавших листьев. На ее спине лежал тюк, с которого падали оборванные лозы и стебли вьющихся растений.

При виде открывшегося пейзажа животное широко и удивленно раскрыло глаза, затем опустило голову и с удовлетворением принялось щипать траву. Вслед за первой пробилась и вторая лошадь, которая сразу же остановилась, как только ее копыта соскользнули с мшистых скал на мягкую поверхность лужайки. Она вышла из зеленой чащи без всадника, несмотря на то, что на ней красовалось высокое мексиканское седло, исцарапанное и выцветшее от долголетней службы.

За лошадьми шел человек. Он снял тюк и седло, видимо готовясь к привалу. Он предоставил лошадям полную свободу. Затем достал свою провизию, сковородку и кофейник. Набрав охапку сухого валежника и несколько камней, он приготовился разложить костер.

— Ну, — сказал он самому себе, — здорово есть хочется. Вот, кажется, наелся бы железных опилок и подковных гвоздей и еще поблагодарил бы вас, хозяйка, за славное угощение.

Он выпрямился, и, в то время как руки его искали спички в карманах, его взгляд снова упал на откос подле пруда. Его пальцы уже схватили было коробку со спичками, но тотчас же выпустили ее, и он вынул пустую руку. Видно было, что в его душе происходит борьба. Он поглядел на приготовления к стряпне и снова уставился на откос.

— Нет, пожалуй, придется еще попытаться, — сказал он, спускаясь к воде.

— Я понимаю, что толку из этого выйдет мало, а все же надо попробовать, — прибавил он извиняющимся тоном, — а если обед и опоздает на часок, так это не важно.

На некотором расстоянии от первых ямок он стал прокладывать вторую линию. Солнце уже перешло на западную половину неба, тени удли-

нились, а человек все еще продолжал работать. Он приступил к третьему ряду ямок. Поднимаясь по откосу, он изрезал его целой лестницей продольных рядов ямок. В центре каждого ряда он находил все больше золота, между тем как края давали лишь по одной или по две блестки. По мере того как он поднимался, последующие ряды ямок становились короче. Где-нибудь наверху все ряды сольются, может быть, в точку, логично заключил он. Таким образом, рисунок рядов ямок походил на опрокинутое «V». Стороны, образующие это «V», ограничивали золотоносный песок.

Конечной целью поисков, очевидно, являлась верхушка — вот почему человек часто глядел вверх, стараясь определить, где, наконец, находится эта крайняя точка, за которой уже не было золота. Именно там проживала «госпожа Жила», как фамильярно называл искатель воображаемый центр на холме. Он и теперь время от времени кричал:

— Пожалуйте, пожалуйте, госпожа Жила! Будьте так любезны и добры, пожалуйте ко мне!

— Ну, ладно! — прибавил он несколько позже тоном человека, вынужденного действовать самым решительным образом. — Ладно, госпожа Жила! Я теперь ясно вижу, что мне самому при-

дется взобраться к тебе и открыть твою лысую голову. Ну, что же, так я и сделаю! Так и сделаю! — грозил он.

Каждый таз он сносил вниз для промывки, и, по мере того как он взбирался выше по откосу, пробы становились все богаче. Дошло до того, что он начал ссыпать промытое золото в карман. Он так увлекся своей работой, что совершенно не обратил внимания на надвинувшиеся вечерние сумерки. Только тогда, когда он не мог уже различать крупинки золота на дне таза, он понял, что время позднее. Он внезапно выпрямился, и на лице его отразились комический ужас и удивление.

— Ах, черт побери! Ведь я пропустил обед!

Он с трудом переправился в темноте через ручей и разжег костер. Солонина и подогретые бобы составили его ужин. Поужинав, он зажег трубку от угасавших углей, курил, слушал ночные звуки и шумы и глядел на тихий пруд, освещенный ярким лунным светом. Затем он развернул свою постель, снял тяжелые сапоги и натянул одеяло до подбородка. В лунном сиянии его лицо казалось бледным, как у мертвеца. Но это был мертвец, который знал, что его ждет скорое воскресение, потому что он вдруг приподнялся и

еще раз посмотрел на откос.

— Спокойной ночи, госпожа Жила! — сонно произнес он. — Спокойной ночи!

Он проспал серые утренние сумерки и спал до тех пор, пока солнечные лучи не ударили в его сомкнутые веки. Тогда он вздрогнул, открыл глаза и стал оглядываться, пока не установил непрерывности своего бытия и связи своего «я» с предыдущими днями.

Чтобы оказаться вполне одетым, ему нужно было только натянуть сапоги. Покончив с этим, он поглядел на костер, а затем — на откос, преодолел искушение и занялся костром.

— Смотри, Билл, не торопись! — уговаривал он себя. — Ну, какой смысл в том, чтобы пороть горячку? Стоит ли вгонять себя в седьмой пот! Госпожа Жила никуда не убежит. Она подождет, пока ты приготовишь себе завтрак! Я понимаю, дорогой мой, что тебе хотелось бы чего-нибудь свеженького. В таком случае, ступай похлопочи и раздобудь!

Он срезал у самой воды длинную ветку и вытащил из кармана лесу и измятую муху, которая когда-то была чудесной приманкой.

— Может быть, и клюнет по случаю раннего утра, — произнес он, забрасывая в воду крючок.

Через минуту он весело воскликнул: — Ну, что я говорил тебе? Что я говорил?

Он не мог тратить много времени и, недолго думая, дернул лесу и вытащил из воды десятидюймовую, сверкающую на солнце форель. Три форели, которых он поймал одну вслед за другой, составили его завтрак. Подойдя к камням, через которые ему предстояло перебраться на тот берег, он был остановлен внезапной мыслью.

«А не мешало бы осмотреть берег ручья, — подумал он. — Кто его знает, может быть, поблизости бродит недобрый человек».

Он зашагал по камням, уговаривая себя: «Надо бы посмотреть! Надо бы понюхать!» Однако через короткое время эта мысль выскочила из его головы, и он с прежним рвением принялся за работу.

Он распрямил спину только с вечерними сумерками. Все его тело одеревенело от непрерывной тяжелой работы, и когда он потирал усталые мускулы правой руки, то промолвил:

— Ну, как тебе нравится! Вот черт, ведь я опять забыл про обед! Этак, чего доброго, я еще превращусь в барина, который ест только два раза в день!

— Ничто другое на свете не отшибает у человека память так, как эти проклятые жилы, — про-

бормотал он в этот вечер, снова забираясь под одеяло.

Тем не менее он не забыл крикнуть по направлению к откосу:

— Спокойной ночи, госпожа Жила! Спокойной ночи!

Поднявшись с солнцем и наспех проглотив свой завтрак, он рано принялся за работу. Казалось, им овладела лихорадка, которая отнюдь не уменьшалась по мере того, как все богаче становилась добыча в тазу. Румянец на его щеках был вызван не солнцем, и чем-то иным объяснялось то обстоятельство, что усталость совершенно перестала существовать для него. Как только он наполнял таз землей, он тотчас же бежал вниз, к воде, причем, возвращаясь, пыхтел, задыхался и оглашал воздух самыми отборными словечками из своего лексикона.

Он поднялся уже на сто ярдов над водой, и опрокинутое «V» стало приобретать определенные очертания. Продольные ряды ямок постепенно сокращались, и человек мысленно протягивал стороны «V» до их полного соединения. Вот там была его цель, туда стремились его мысли, и он промывал таз за тазом, желая достичь намеченной цели.

— Вот ровно два ярда над мансанитой и один ярд вправо, — наконец решил он.

Теперь искушение окончательно овладело им.

— Это так просто, как нос на моем лице! — сказал он, оставив свои бесконечные ряды ямок и поднявшись к намеченному месту.

Он наполнил таз и побежал вниз, к воде. Промывка не дала ни единой золотой крупинки. Тогда он вырыл одну ямку поглубже и следующую помельче, наполнил подряд с дюжину тазов, но не был вознагражден ни единой золотой блесткой. Он разъярился при мысли о том, до чего искушение овладело им, и, нисколько не щадя своей чести, выругал себя самым беспощадным образом. После этого он спустился на прежнее место и снова принялся за работу.

— Работай медленно, Билл, работай медленно! — убеждал он себя. — Короткие пути к счастью не про тебя писаны, и пора уже тебе это знать. Будь умницей, Билл, будь умницей! Пойми же, что, чем медленнее ты будешь работать, тем лучше будет для тебя. Имей это в виду!

По мере того как сокращались поперечные линии, указывая, что стороны «V» сходятся, глубина ямок увеличивалась. Золотой след уходил в толщу откоса. Теперь только на глубине тридца-

ти дюймов попадались золотые блестки. Земля, которую старатель набирал на глубине двадцати или двадцати пяти дюймов, ничего не приносила ему. У основания «V», близ воды, он нашел золото у самых корней прибрежных трав. Чем выше он поднимался по откосу, тем глубже залегало золото. Выкопать яму глубиной в три фута только для того, чтобы набрать один таз, было очень нелегко. А между тем искателя отделяло от конечной цели несметное количество подобных же ямок.

— Кто его знает, куда еще уйдет жила, — сказал он, вздыхая и растирая рукой спину.

Весь во власти изнурительной лихорадки, с усталой спиной и ноющими мускулами, он взбирался на откос, разрывая и разбрасывая по сторонам мягкую буроватую землю. Перед ним лежал пологий склон холма, покрытый цветами с благоуханным дыханием. Позади было разрушение. Казалось, какое-то страшное извержение прорвалось сквозь бархатную кожу холма. Медленное продвижение человека напоминало ход улитки, оскверняющей своим безобразным следом красивую зеленую окраску лугов.

Хотя выяснилось, что золото залегает все глубже и глубже, искатель находил известное утешение в том, что пробы в тазу становились богаче.

Двадцать центов, тридцать центов, пятьдесят центов, шестьдесят центов — вот как постепенно повышалась ценность добычи.

А под самый вечер одна лопата земли принесла ему золота на целый доллар. Это был призовой таз.

— Я не сомневаюсь, что какой-нибудь мерзавец пронюхает про это пастбище! — бормотал он вечером, когда, по своему обыкновению, по самый подбородок ушел под одеяло.

Вдруг он поднялся и сел.

— Билл! — резко крикнул он. — Послушай, Билл, что я скажу тебе! Завтра с утра ты должен прогуляться по окрестностям и узнать, что слышно и чем пахнет! Ты понял, что я сказал? Завтра утром — и никаких больше разговоров!

Он зевнул и взглянул на откос.

— Спокойной ночи, госпожа Жила! — крикнул он.

На следующее утро он поднялся раньше солнца, которое, выйдя из-за горизонта, застало его уже готовым, позавтракавшим и взбирающимся вверх по ущелью. Скалистые уступы давали ему прочную опору для ног. Взобравшись на самый верх, он убедился, что находится в центре обширного плоскогорья. Насколько мог охватить его

взор, одна за другой тянулись вдали бесчисленные горные гряды. На востоке, за рядом террас, поднимались к небу белоснежные пики Сьерры — главный западный хребет. К югу и северу разбегались менее высокие горные цепи. На западе горные террасы понижались, словно таяли, и переходили в мягкие холмы, которые, в свою очередь, понижаясь и тая, сбегали в огромную равнину, не видимую для него с той высоты, где он находился.

И на всем этом открывшемся просторе он не нашел ни следов человека, ни результатов его трудов — за исключением откоса, изрытого собственными руками. Искатель долго и тщательно осматривался вокруг. На единый миг ему почудился легкий дымок в конце ущелья. Он пристально вгляделся в ту сторону и в конце концов решил, что это просто багряно-сизая мгла холмов, сгустившаяся в глубине ущелья.

— Это ты, госпожа Жила! — крикнул он в ущелье. — А ну-ка, являйся сюда! Помни, что я иду к тебе, госпожа Жила! Я иду!

Тяжелая обувь делала его чрезвычайно грузным на вид, тем не менее он спустился с головокружительной высоты с легкостью и быстротой горной козы. Камни, срывавшиеся из-под его ног

на самом краю пропасти, не успевали увлечь его за собой. Казалось, он прекрасно учитывал, когда именно может произойти катастрофа, а до тех пор он самым спокойным образом пользовался шаткой опорой для необходимого и мгновенного соприкосновения с землей — соприкосновения, которое обещало ему полную безопасность. Он нисколько не колебался даже там, где откос спускался почти отвесно и где, казалось, ни единой минуты нельзя было удержаться в равновесии. На неуловимую часть опасной секунды нога его прикасалась к этой страшной поверхности и обеспечивала ему тот толчок, который проносил его дальше. Когда же не было уверенности и в этом мгновении, он перебрасывал тело, хватаясь за выступ скалы, за край трещины или за куст. Наконец, испустив громкий вопль, он соскочил на уклон почти отвесной скалы и закончил спуск тем, что вместе с несколькими тоннами осыпавшейся земли и гравия упал на мягкую почву.

Первый таз утренней промывки принес ему золота на два доллара. Эту пробу он взял недалеко от центра «V». Последние ряды ямок сделались совсем короткими. Сходящиеся стороны «V» находились уже на расстоянии нескольких ярдов друг от друга. На таком же приблизительно рас-

стоянии, но повыше, находилась предполагаемая точка их встречи. Золото лежало все глубже и глубже. Около полудня оно стало обнаруживаться только в тех пробах, которые искатель набирал на глубине пяти футов.

Но золотой след превращался в нечто более значительное, чем след. Теперь уже можно было говорить о жиле, и человек решил заняться более основательным изысканием тотчас же после того, как он определит местонахождение этой жилы. Постепенно возрастающее богатство проб начало смущать его. К вечеру каждая проба стала давать ему по три и даже по четыре доллара. Он стал задумчиво почесывать голову и поглядывать вверх по склону, по направлению к мансаните, у которой ему мерещилась вершина «V». Он покачал головой и пророческим тоном произнес:

— Одно из двух, Билл. Одно из двух! Либо госпожа Жила рассеялась по всему холму, либо она так чертовски богата, что тебе ни в коем случае не удастся вывезти ее отсюда целиком. Да, доложу я тебе, штука-то получается дьявольски хитрая — не так ли?

И он хихикнул при мысли о такой соблазнительной дилемме. Вечер застал его у самой воды, где глаза его боролись с надвигавшимся мраком,

разглядывая пятидолларовое содержимое таза.

— Вот бы когда пригодился электрический фонарь! — сказал он.

В эту ночь ему не спалось. Несколько раз он поправлял постель и приказывал себе заснуть, но кровь его горела и бурлила, и сон бежал от него. Он открыл глаза и устало шептал:

— Хоть бы скорее день пришел!

Наконец, сон одолел его, но едва только стали бледнеть звезды, как глаза его открылись, и утренняя заря застала его уже поднимавшимся, после скудного завтрака, по откосу по направлению к таинственному местопребыванию «госпожи Жилы».

В первой линии, которую он вырыл, было всего три ямы — настолько узок сделался след и настолько старатель приблизился к золотому потоку, к которому постепенно шел в продолжение четырех дней.

— Спокойствие, Билл, спокойствие! — снова уговаривал он себя, приступая к последней яме, у которой сошлись, наконец, стороны «V».

— Ну-с, госпожа Жила, теперь-то я вплотную подошел к тебе, и никак уже тебе не избавиться от меня! — произносил он неоднократно, по мере того как яма становилась глубже и глубже.

Четыре фута, пять футов — он все копал и копал. Работа становилась все труднее. Его кирка вдруг ударилась о камень. Человек принялся за самое тщательное исследование этого камня. «Истлевший кварц!» — было его заключение, когда он очистил яму от мелкого камня. Он принялся за кварц, который легко рассыпался под каждым ударом лопаты.

Лопата свободно ушла в рыхлую землю. Вдруг глаз искателя уловил блеск золота. Он бросил лопату и опустился на корточки. Подобно огороднику, который удаляет землю с клубней молодого картофеля, человек стал очищать от земли куски металла.

— Силы небесные! — воскликнул он. — Да ведь здесь его целые глыбы! Целые глыбы! Вот так так!

Искатель ловко работал своими сильными пальцами; через несколько минут земля и размельчившийся камень были удалены, и в его руках искателя оказалось ярко блещущее чистое золото. Один за другим поднимал он самородки, счищал с них землю и затем бросал в свой таз для промывки. Он нашел настоящее сокровище. Один самородок, в самое золотое сердце которого угодила кирка, заискрился и засверкал, и

человек залюбовался прекрасной игрой света на металле.

— Ну-с, а теперь толкуйте мне о ваших замечательных жилах! — презрительно произнес он. — Да ведь все они по сравнению с этим богатством и тридцати центов не стоят! Тут сплошное золото! Да чего там — я просто-напросто назову это место «Ущельем Золотых Самородков».

Все еще на корточках, он продолжал осматривать самородки и бросать их в таз.

Вдруг он ощутил предчувствие какой-то опасности. Ему показалось, что на него упала чья-то тень, а между тем никакой тени не было. Его сердце подскочило чуть ли не к самому горлу и начало душить его. А затем кровь стала медленно стыть, и он почувствовал, как пропотевшая насквозь рубашка стала ледяной на его теле.

Он не вскочил с места и не оглянулся. Он даже не пошевелился. Он изучал природу этого предчувствия, овладевшего им, старался проникнуть в источник таинственной силы, которая предупредила его, и в то же время уловить признаки страшного невидимого существа, нависшего над ним смертельной угрозой. Имеются враждебные токи, слишком тонкие для того, чтобы человек мог определить их характер. Он может

только чувствовать их и поражаться, почему он их почувствовал. Такое состояние появляется у человека при виде того, как солнце затягивается тучей.

Искатель почувствовал что-то угрожающее. Точно между ним и жизнью прошло нечто темное и страшное. Пронеслась тень смерти — его смерти.

Всем своим существом он порывался вскочить и лицом к лицу встретиться с невидимой опасностью, но пересилил инстинктивный страх и по-прежнему сидел на корточках и перебирал самородки золота. Он все еще не решался оглянуться, хотя уже наверное знал, что над ним кто-то стоит.

Тогда он притворился заинтересованным куском золота, который был у него в руках, вертел его, счищал приставшую землю. И в то же время ни на миг не мог отделаться от сознания, что что-то постороннее смотрит через его плечо на то же золото.

Выказывая деланый интерес к золоту, искатель насторожился, пока наконец не почувствовал дыхание того, кто стоял позади. Тут глаза его стали искать какое-нибудь оружие, но видели только золото, которое в эту минуту потеряло

всю свою условную ценность. Правда, под руками был лом, который в некоторых случаях мог бы очень пригодиться, но в настоящее время был не нужен. Искатель отдавал себе полный отчет в создавшемся положении. Он находился на дне узкой ямы в семь футов глубиной. Его голова не достигала уровня земной поверхности. Словом, он попался в западню.

Старатель оставался все еще на корточках. Он был почти спокоен и отлично понимал, что ему грозит. Рассудок его, учитывая каждую мелочь, определенно подсказывал ему, что помощи ждать неоткуда. Он все еще счищал землю с самородков и бросал золото в таз. Ничего другого при данных обстоятельствах ему не оставалось делать. Он прекрасно сознавал, что рано или поздно ему придется подняться и встретиться лицом к лицу с опасностью, или же… или же… И тут снова влажная, насквозь пропотевшая рубашка прикоснулась к его телу, точно лед… Или же придется умереть здесь, над найденным кладом.

Он все сидел и думал, как ему встать. Он мог бы мгновенно повернуться, мгновенно выскочить из ямы и, независимо от рода опасности, броситься на нее так, чтобы принять бой лицом к лицу. Или, быть может, лучше подняться тихо

и неторопливо и, словно невзначай, увидеть то, что дышит за его плечами. Инстинкт посылал его на безумную, страшную схватку на земле. Разум и хитрость подсказывали медленную и осторожную встречу с неизвестной опасностью, которая угрожала ему.

А пока он сидел и боролся с самим собой, он услышал страшный, оглушительный звук. В то же мгновение почувствовал сильный удар в левую часть тела, и ему показалось, что молния пронзила его. Он подпрыгнул на месте, но на полпути его ноги подогнулись и тело свернулось, точно лист на огне. Он упал грудью на таз для промывки золота, уткнувшись лицом в землю и камни. За недостатком места в яме ноги его остались согнутыми. Несколько раз по ним прошла страшная, предсмертная судорога. Как от сильного озноба, задрожало все тело, а затем он глубоко втянул в себя воздух и длительно вздохнул. Легкие медленно, очень медленно выпустили воздух, и тело старателя замерло.

А наверху, наклонившись над ямой, с револьвером в руке стоял другой искатель золота. Он долго смотрел на безжизненное тело, лежавшее под ним. Через некоторое время он уселся на краю ямы с таким расчетом, чтобы не упускать

из виду тела, и положил револьвер на колени. Засунув руку в карман, он вытащил клочок темной бумаги, на которую насыпал несколько крошек табаку; эта комбинация дала ему короткую темную папиросу. Ни на минуту не отрывая взора от дна ямы, он зажег папиросу и с наслаждением наполнил легкие дымом. Курил он медленно. Когда папироса потухла, он снова зажег ее. И все время следил за телом, покоившимся под ним на дне ямы.

Наконец, он бросил окурок в сторону, поднялся на ноги и встал у края ямы. Не выпуская револьвера из правой руки, он обеими руками оперся на край ямы и опустил ноги вниз. Когда до дна осталось не больше ярда, он прыгнул.

Но в тот самый момент, когда его ноги коснулись дна, он увидел, как рука лежащего взлетела кверху и ловким, мгновенным ударом сбила его с ног. Он спускался так, что рука его с револьвером была направлена кверху. Так же быстро, как упал на него удар, он опустил руку книзу и нажал курок. Выстрел наполнил оглушительным ревом яму, а дым так затянул все вокруг, что ничего нельзя было разглядеть. Неизвестный упал на спину, а старатель с проворством кошки навалился на него. Тот, у кого был револьвер, хотел

выстрелить, но старатель ударом локтя подшиб его руку. Дуло направилось кверху, и пуля ударилась в одну из стенок ямы.

В следующее мгновение неизвестный почувствовал, что противник схватил его за кисть. Теперь борьба пошла уже за револьвер. Каждый из соперников старался направить оружие на другого. Дым в яме рассеялся. Незнакомец, лежа на спине, начал уже различать кое-какие предметы. Но вдруг он был ослеплен горстью песка, брошенной в его глаза старателем. Это ослабило его руку, державшую револьвер. В следующий момент страшный, грохочущий мрак объял его мозг, а затем настало небытие.

Но старатель продолжал стрелять до тех пор, пока не выпустил все заряды. Тогда он отбросил оружие в сторону, тяжело перевел дыхание и уселся на ноги убитого.

Дышал он с трудом.

— Вот мерзавец! — задыхаясь, прошептал он. — Ишь, умница какой! Дал мне сделать всю работу, пошел по моему следу, а потом еще в спину стреляет!

Он чуть не плакал от злобы и усталости, пристально и долго вглядываясь в лицо убитого, до того засыпанное землей и гравием, что трудно

было различить его черты.

— Никогда до сих пор глаза мои не видели его! — наконец произнес он, кончив осмотр. — Черт бы его драл! Видно, самый обыкновенный жулик и вор. И позволяет себе стрелять мне в спину. Стрелять в спину!

Он поднял рубаху и стал ощупывать себя спереди и сзади, главным образом с левой стороны.

— Прошла навылет, но никакого вреда не причинила! — торжествующе воскликнул он. — Целился он вполне правильно, но когда спускал курок, то дернул рукою. Зато я как следует расправился с ним! О, ему здорово попало!

Пальцы его опять пощупали рану в боку, и по лицу его пронеслась тень досады.

— Еще, чего доброго, разболится по-настоящему! — пробормотал он. — Надо привести себя в порядок и поскорее убраться отсюда подобру-поздорову!

Он вылез из ямы и отправился вниз по откосу к своей стоянке. Вернулся он через полчаса, ведя под уздцы вьючную лошадь. Расстегнутая рубаха обнаруживала грубую повязку, которую он наложил на свою рану. Он очень медленно и неловко двигал левой рукой, но тем не менее мог пользоваться ею по мере надобности.

С помощью веревки, просунутой под мышки убитого, ему удалось вытащить тело из ямы. Затем старатель начал собирать свое золото.

Он напряженно работал в продолжение еще нескольких часов и лишь время от времени останавливался для того, чтобы дать отдых одеревеневшему плечу и воскликнуть:

— Ах, мерзавец этакий! В спину стрелять мне вздумал! В спину!

Выбрав дочиста все золото, он подсчитал его ценность.

— Будь я готтентотом, если здесь нет четырехсот фунтов. Если отбросить двести фунтов на кварц, все же остается двести фунтов чистого золота. Билл! Проснись! Двести фунтов золота! Сорок тысяч долларов! И все это принадлежит тебе. Тебе одному!

Он с гневным видом подошел к убитому.

— Ты сделал это? — зарычал он. — Ах, ты сделал это? Зато и я здорово угостил тебя! Но все же я почту тебя честным погребением! Уж будь уверен, этого я не дождался бы от тебя!

Он поволок тело к краю ямы и сбросил его вниз. Тело с глухим стуком ударилось о дно, повернулось на бок, но подняло лицо к небу. Искатель снова воззрился на него.

— И ты позволил себе стрелять мне в спину! — обвиняющим тоном повторил он.

С помощью кирки и лопаты он засыпал яму. Затем погрузил свое золото на лошадь. Это была слишком тяжелая ноша для одного животного, поэтому, вернувшись в лагерь, искатель переложил часть поклажи на верховую лошадь. Но все же и при таком распределении ему пришлось оставить на месте часть багажа — кирку, лопату, таз для промывки, излишки провизии, кухонные принадлежности и еще некоторые мелочи.

Солнце стояло в зените, когда старатель пробрался с лошадьми сквозь зеленую завесу. Для того чтобы одолеть большие камни и скалы, лошадям приходилось иногда вставать на дыбы и протискиваться сквозь сплошные заросли. Как-то раз верховая лошадь тяжело упала на передние нога, и старателю пришлось на время снять с нее поклажу. После того как он снова пристроил тюк, он просунул свою голову в зеленую раму и посмотрел в сторону откоса.

— Вот мерзавец какой! — воскликнул он — и исчез.

Снова послышался треск и хруст лоз и кустов. Деревья колыхались, отмечая движение животных. Время от времени доносились стук стальных

подков о скалу, проклятия и резкий окрик. А затем зазвучала прежняя песня:

Взгляни кругом, вперед брось взгляд,
Святых холмов пред нами ряд.
(Не страшен дух греха тебе.)
Взгляни кругом, кинь в небо взор
И сбрось грехов своих позор.
(Ты встретишь Бога на заре.)

Песнь звучала все слабее и слабее, и как только она стихла, дух ущелья снова пробрался на свое прежнее место.

Опять зашептал, зажурчал ручей, опять полусонно зажужжали горные пчелы. В ароматном воздухе, падая и взмывая вверх, плыли белоснежные цветы виргинских тополей. Взад и вперед с едва слышным шелестом мелькали в зеленой листве бабочки. А над всем этим ласково и безмятежно светило солнце. Остались только следы копыт на лугу да изрытый горный откос… Промчалась бурная жизненная струя, возмутила покой горного ущелья и унеслась дальше.

1906

Джек Лондон
Планшетка

— Я должна знать, — сказала девушка.

В голосе ее слышалась железная решимость. В нем не было просительных интонаций, но она долго умоляла, прежде чем эта решимость пришла к ней. По свойствам своего характера она не могла умолять вслух. С губ ее не срывалось ни единого слова, но лицо, глаза, весь облик ее давно уже красноречиво говорили о том, как ей хотелось знать. Мужчина чувствовал это, но ничего не говорил, и теперь она вслух потребовала ответа.

— Я должна, — повторила девушка.

— Понимаю, — сказал он упавшим голосом.

Наступила тишина. Она ждала, что он скажет, и не отрывала глаз от солнечных лучей, которые пробивались сквозь высокие кроны и заливали мягким светом стволы секвой. Эти лучи, смягченные и насыщенные красноватым цветом коры деревьев, казалось, исходили из самих стволов. Девушка глядела на них и ничего не видела, как не слышала она громкого рокота потока, доно-

сившегося со дна глубокого каньона.

Она взглянула на мужчину.

— Ну? — спросила она уверенным, не допускающим возражений тоном.

Девушка сидела, прислонившись спиной к стволу упавшего дерева, а мужчина лежал возле нее на боку, подперев голову рукой.

— Милая, милая Лют, — прошептал он.

Она вздрогнула от звука его голоса, но не потому, что он был ей неприятен, нет, просто ей не хотелось поддаваться его ласковым чарам. Она хорошо знала обаяние этого человека, то состояние покоя и счастья, которое наступало, когда она слышала его ласковый голос или ощущала на своей шее или щеке его дыхание и даже когда он просто касался рукой ее руки. В каждое слово, взгляд, прикосновение он вкладывал свои сокровенные чувства, и всякий раз ей казалось, что ее нежно гладит чья-то заботливая рука. Но эта непременная ласковость не была приторной; она не была порождением болезненной сентиментальности или любовного безумия. Она была властной, ненавязчивой, мужской. В большинстве случаев эта ласковость проявлялась у него бессознательно. Это было заложено в нем, и он, не раздумывая, следовал первому же движению

души.

Но теперь, полная решимости и отчаяния, она старалась оставаться равнодушной. Он попытался заглянуть ей в лицо, но ее серые глаза так сурово смотрели на него из-под нахмуренных бровей, что он не выдержал и положил голову к ней на колени. Она нежно коснулась рукой его волос, и лицо ее стало заботливым и нежным. Но когда он вновь взглянул на нее, глаза ее были суровы, а брови нахмурены.

— Что я могу еще сказать тебе? — спросил мужчина. Он приподнял голову и поглядел ей в глаза. — Я не могу жениться на тебе. Я вообще не могу жениться. Я люблю тебя больше собственной жизни, и ты знаешь это. Ты мне дороже всего на свете. Я отдал бы все, лишь бы ты была моей. Но я не могу… Я не могу жениться на тебе. И никогда не смогу.

Она крепко сжала губы, чтобы не выдать своих чувств. Он хотел было снова положить голову к ней на колени, но она остановила его.

— Ты женат, Крис?

— Нет, нет! — горячо запротестовал он. — И никогда не был женат. Я хочу жениться только на тебе и… не могу.

— Тогда…

— Нет! — перебил он ее. — Не спрашивай меня!

— Я должна знать, — повторила она.

— Я понимаю, — снова перебил он. — Но я не могу сказать тебе.

— Ты не думаешь обо мне, Крис, — нежно продолжала она.

— Я все понимаю, — вставил он.

— Ты должен считаться со мной. Ты не знаешь, что мне приходится выносить от родных из-за тебя.

— Я не думал, что они так плохо относятся ко мне, — сказал он с обидой.

— Да, это так. Они едва выносят твое присутствие. Они не показывают тебе этого, но они почти ненавидят тебя. И терпеть все это приходится мне. Хотя раньше все было иначе. Сначала они любили тебя так же, как… как я люблю тебя. Но это было четыре года тому назад. Время шло… год, два… и их отношение к тебе стало меняться. Их нельзя винить. Ты не говорил решающего слова. Они чувствовали, что ты коверкаешь мне жизнь. Прошло уже четыре года, а ты им не сказал ни слова о женитьбе. Что им оставалось думать? Только то, что ты коверкаешь мне жизнь.

Говоря, она ласково пропускала пальцы сквозь

его волосы, сожалея, что причиняет ему боль.

— Сначала ты им нравился. А кому ты можешь не понравиться? Все живые существа тянутся к тебе, как булавки к магниту. И у тебя это словно врожденное. Тетя Милдред и дядя Роберт считали, что таких людей, как ты, больше нет. Они не чаяли в тебе души. Они считали меня счастливейшей девушкой на свете, потому что я завоевала любовь такого человека, как ты. «Похоже, что дело будет», — говаривал дядя Роберт и лукаво покачивал головой. Конечно, ты им нравился. Тетя Милдред, бывало, вздыхала и, поддразнивая дядю, говорила: «Когда я думаю о Крисе, то почти жалею, что сама не молода». А дядя отвечал: «И я нисколько не осуждаю тебя, дорогая». А потом оба они поздравляли меня и осыпали похвалами за то, что я сумела увлечь такого человека, как ты.

Они знали, что я тоже люблю тебя. Разве это скроешь? Это большое и удивительное, вошедшее в мою жизнь и заполнившее ее! Вот уже четыре года, Крис, я живу только тобой. Каждая минута моей жизни принадлежит тебе. Я просыпаюсь с мыслью о тебе. Я вижу тебя во сне. Что бы я ни делала, я всегда думала: «А как бы это сделал он?» Я всегда ощущала твое незримое присутствие. Не было события в моей жизни, большого или

малого, не связанного с тобой.

— Мне и в голову не приходило навязывать подобное рабство, — пробормотал он.

— Ты ничего не навязывал. Ты всегда предоставлял мне полную самостоятельность. Наоборот, ты был моим покорным рабом. И ты не был навязчив. Ты предупреждал мои желания, но я не замечала этого, таким естественным и неизбежным было все, что ты делал для меня. Я сказала, что ты был ненавязчив. Да, ты не плясал под мою дудку. Ты не носился со мной. Понимаешь? Казалось, ты вообще ничего не делал для меня. Но почему-то все всегда оказывалось сделанным, словно это было в порядке вещей.

Это рабство было рабством любви. Именно любовь к тебе заставила меня посвятить тебе всю мою жизнь. Сам ты не прилагал к этому никаких усилий. Я не могла не думать о тебе, я думала о тебе всегда, ты даже представить себе не можешь, как много я думала о тебе.

Но время шло, и у тети и дяди появилась неприязнь к тебе. Они стали бояться за меня. Что со мной станет? Ты коверкал мне жизнь. А моя музыка? Ты помнишь, как развеялись мои мечты о том, что я буду заниматься музыкой. В ту весну, когда я впервые встретила тебя, мне было два-

дцать лет, и я собиралась поехать в Германию. Я хотела серьезно заниматься. Прошло четыре года, а я все еще в Калифорнии.

У меня были поклонники. Но ты всех разогнал… Нет, нет! Я не то хотела сказать. Я сама отвадила их. Какое мне было до них дело, когда рядом был ты? Но, как я уже говорила, тетя Милдред и дядя Роберт стали бояться за меня. Начались разговоры, сплетни… А время шло. Ты ничего не говорил. Я могла только удивляться. Я знала, что ты любишь меня. Сначала на тебя ополчился дядя, а потом и тетя Милдред. Ты знаешь, они заменили мне отца с матерью, я не могла защищать тебя. Но я тебя не осуждала. Я просто отказывалась говорить о тебе. Я стала замкнутой. В моих отношениях с домашними появился холодок, дядя Роберт ходил с похоронным лицом, а у тети Милдред разрывалось сердце. Но что я могла поделать, Крис? Что я могла поделать?

Мужчина, голова которого снова лежала на коленях у девушки, только тяжело вздохнул.

— Тетя Милдред заменила мне мать. Но я уже больше не делилась с ней своими мыслями. Книга моего детства была прочитана. И это была чудесная книга, Крис. У меня выступают слезы на глазах, когда я думаю о своем детстве. Но что

было, то прошло. Я по-прежнему очень счастлива. Я рада, что могу так откровенно сказать тебе о своей любви. И эта откровенность доставляет мне великую радость. Я люблю тебя, Крис. Я не могу найти слов, чтобы сказать тебе, как сильна моя любовь. Ты для меня все… Ты помнишь рождественскую елку, которую устроили для детишек? Мы еще тогда играли в жмурки? Ты поймал меня за руку и так сильно стиснул ее, что я вскрикнула от боли. Я ничего не сказала тебе, но у меня на руке остались синяки. И ты не можешь себе представить, как это было приятно мне. Здесь остались синяки, отпечатки твоих пальцев… твоих пальцев, Крис, твоих пальцев. Я видела то место, куда они прикоснулись. Синяки не сходили неделю, и я целовала их… часто-часто! Мне не хотелось, чтобы они сходили, у меня даже было желание исщипать свою руку, чтобы не расставаться с синяками. Я испытывала неприязнь к белой коже, проступившей на месте синяков. Это трудно объяснить, но я так любила тебя!

В наступившей тишине она продолжала ласково гладить его волосы и рассеянно следила за подвижной и веселой белкой, скакавшей с дерева на дерево в глубине леса. Потом взгляд ее остановился на дятле с малиновым хохолком,

энергично долбившем поваленное дерево.

Мужчина не поднимал головы. Он еще плотнее уткнулся лицом в ее колени, а его бурно вздымавшиеся плечи указывали на то, как он тяжело дышит.

— Ты должен сказать мне, Крис, — мягко уговаривала девушка. — Эта таинственность… она убивает меня. Я должна знать, почему мы не можем пожениться. Неужели ничего не изменится? И мы останемся просто возлюбленными? Правда, мы часто встречаемся, но какими долгими кажутся промежутки между встречами! Неужели это все, что мы можем взять от жизни? Неужели мы никогда не сможем стать друг для друга чем-то большим? Конечно, я знаю, любить просто так — это тоже очень хорошо… Ты сделал меня безумно счастливой, но человеку временами хочется чего-то большего! Я хочу, чтобы ты весь принадлежал мне. Я хочу всегда быть с тобой. Я хочу, чтобы мы стали неразлучными друзьями, сейчас мы не можем быть ими, но мы будем, когда поженимся… — У нее перехватило дыхание. — Но мы никогда не поженимся. Я забыла. И ты должен сказать мне, почему…

Мужчина поднял голову и поглядел ей в глаза. Он всегда глядел прямо в глаза своему собесед-

нику.

— Я все время думаю о тебе, Лют, — сказал он, насупившись. — Я думал о наших отношениях с самого начала. Я не должен был ухаживать за тобой. Мне следовало удалиться… Я знал это и все же… не уехал. Господи! А что мне было делать? Я любил тебя и не мог уехать. Это было выше моих сил. Я остался. Я давал зароки и нарушал их. Я стал чем-то вроде алкоголика. Я был пьян тобой. Это слабость, я знаю. Я не мог совладать с собой, не мог уехать. Я сделал попытку. Ты помнишь, я уехал, и ты не знала, почему. Теперь ты знаешь. Я уехал, но не мог оставаться вдали от тебя. Зная, что мы никогда не сможем пожениться, я вернулся к тебе. Теперь я здесь, с тобой. Прогони меня, Лют. У меня не хватает сил уйти самому.

— Но почему ты должен уйти? — спросила она. — Должна же я узнать это перед тем, как расстаться с тобой.

— Не спрашивай…

— Скажи мне, — уговаривала она мягко и вместе с тем настойчиво.

— Не надо, Лют, не заставляй меня, — сказал мужчина умоляющим голосом, глаза его молили о том же.

— Но ты должен сказать мне, — настаивала

она. — Будь справедлив ко мне.

Мужчина колебался.

— Если я скажу… — начал он и вдруг решительно закончил, — я никогда не прощу себе этого. Нет, я не могу сказать. Не заставляй меня, Лют. Ты пожалеешь об этом так же, как и я.

— Если есть что-нибудь… если есть препятствия… если это тайна и ее действительно нельзя… — Она говорила медленно, делая большие паузы, стараясь как можно деликатней выразить свою мысль. — Я люблю тебя, Крис. Я уверена, что люблю тебя так сильно, как только может любить женщина. Если бы ты сказал мне сейчас: «Пойдем!», — я бы пошла с тобой. Я бы последовала за тобой, куда бы ты ни повел меня. Я была бы твоим пажом, как в старые времена, когда дамы отправлялись вместе со своими рыцарями в дальние края. Ты мой рыцарь, Крис, и ты не можешь сделать ничего дурного. Я охотно покорюсь твоей воле. Когда-то я боялась, что свет осудит меня. Но теперь, когда ты вошел в мою жизнь, я уже не боюсь. Ради тебя да и ради себя самой я готова посмеяться над светом и над его осуждением. Я посмеялась бы, потому что ты был бы моим, а ты мне более дорог, чем хорошее мнение и одобрение света. Если ты скажешь: «Пойдем!», — я…

— Нет, нет! — воскликнул он. — Это невозможно! Будем ли мы женаты или нет, я не могу сказать тебе: «Пойдем». Я не осмелюсь. Вот увидишь. Я расскажу тебе…

Он решительно уселся рядом с девушкой, взял ее руку и крепко сжал. Он был уже готов сказать. Тайна вот-вот должна была слететь у него с языка. Казалось, воздух дрожал в ожидании решающего слова. Девушка затаила дыхание, словно она собиралась выслушать окончательный приговор. Но он глядел прямо перед собой и молчал. Она почувствовала, как ослабла его рука, и сочувственно, ободряюще пожала ее. Но она ощущала, как расслабилось все его тело, и знала, что дух и тело слабеют одновременно. Решимость его убывала. Она знала, что он не скажет, и в то же время верила, что ему нельзя говорить.

Девушка с отчаянием глядела прямо перед собой, грудь ее теснило, словно она потеряла всякую надежду на счастье. Она смотрела отсутствующим взглядом, как мерцают солнечные блики на стволах деревьев. Она наблюдала за всем как бы издалека, без всякого интереса, словно она была чужая в этом хорошо знакомом уголке земли, среди деревьев и цветов, которые она так любила.

Таким далеким ей показалось все это, что она

стала с каким-то странным, неопределенным любопытством разглядывать окружавшие ее предметы. Она смотрела на росший поблизости, усыпанный цветами каштан так, словно видела его впервые. Она долго рассматривала желтые пучки «диогеновых фонариков», росших на краю полянки. Она всегда испытывала удовольствие, когда видела цветы, но теперь они ее не трогали. Она всматривалась в цветок задумчиво, упорно, как одурманенный курильщик гашиша, наверно, всматривается в причудливое видение, созданное воображением под влиянием наркотика. В уши врывался голос потока — охрипшего сонного великана, невнятно пересказывавшего свои сны. Обычно у нее разыгрывалось воображение, но сейчас она слышала только шум воды, бегущей по камням на дне глубокого каньона.

Она перевела блуждающий взгляд с «диогеновых фонариков» на поляну. Там, на склоне холма, по колено в овсюге паслись две лошади, обе гнедые, превосходно подобранные. На их по-весеннему гладкой, золотистой шерсти временами загорались солнечные блики, сверкавшие, как алмазы. Она вдруг осознала почти с умилением, что одна из этих лошадей ее Долли, спутница ее детства и девичества, уткнувшись в шею которой

она не раз выплакивала свои печали и пела о своих радостях. На глазах девушки выступили слезы, и к ней, как это свойственно всякой страстной натуре, легко поддающейся настроению, вернулась прежняя живость.

Мужчина приподнялся, тело его ослабло, и он со стоном уронил голову к ней на колени. Она склонилась над ним и нежно прижала губы к его волосам.

— Ну пошли, — почти шепотом сказала девушка.

Она всхлипнула, но, встав на ноги, крепко сжала губы. Лицо мужчины было мертвенно-бледным, так тяжело пришлось ему в той борьбе, которую он вел с самим собой. Не глядя друг на друга, они пошли прямо к лошадям. Пока мужчина подтягивал подпруги, девушка прижалась к шее Долли. Потом она сжала в руках поводья и стала ждать. Наклоняясь, он посмотрел на нее, глаза его молили о прощении. Она ответила ему сочувственным взглядом. Он подставил руки, и она, опершись о них ногой, прыгнула в седло. Не говоря ни слова и не глядя больше друг на друга, они повернули лошадей и поехали узкой тропинкой через мрачные лесные чащи и поляны к лежащим внизу пастбищам. Тропинка стано-

вилась все шире и шире. Выехав из лесу, они оказались на проселке, спускавшемся по пологим склонам рыжевато-коричневых калифорнийских холмов к тому месту, где деревянные брусья загораживали въезд на шоссе, проложенное по дну долины. Девушка осталась в седле, а мужчина соскочил с коня и стал разбирать загородку.

— Нет… погоди! — закричала она, когда он взялся за два последних нижних бруса.

Она послала кобылу вперед, и животное легко взяло этот невысокий барьер. Глаза мужчины заблестели, и он зааплодировал.

— Красавица, моя красавица! — воскликнула девушка, перегнувшись в порыве через луку седла и прижимаясь щекой к шее кобылы, лоснившейся на солнце.

— Давай поменяемся лошадьми, — предложила она, когда он вывел лошадь на дорогу и кончил прилаживать загородку. — Ты всегда недооценивал Долли.

— Нет, нет! — запротестовал он.

— Ты думаешь, она слишком стара, слишком степенна, — настаивала Лют.

— Ей уже шестнадцать, но она обгонит девять молодых лошадей из десяти. Только она никогда не горячится. Она слишком спокойна, и поэтому

не нравится тебе… да, да, не отрицайте этого, сэр. Я знаю. И я также знаю, что она обгонит вашего хваленого Уошо Бэна. Ну! Я вызываю тебя на состязание! Более того, ты можешь скакать на ней сам. Ты знаешь, на что способен Бэн, а теперь ты должен сесть на Долли и убедиться сам, на что способна она.

Они поменялись лошадьми, радуясь развлечению и стараясь продлить его как можно дольше.

— Я рада, что родилась в Калифорнии, — заметила Лют, сев верхом на Бэна. — Езда в женском седле неприятна женщине, да и лошади под ним не сладко.

— Ты похожа на юную амазонку, — одобрительно сказал мужчина, бросив нежный взгляд на девушку, разворачивавшую лошадь.

— Ты готов? — спросила она.

— Готов!

— К старой мельнице! — крикнула она, когда лошади рванулись вперед. — Это меньше мили.

— Кто первый? — спросил он.

Она кивнула, и лошади, чувствуя понукания, быстро поняли, чего от них хотят. Они понеслись по ровной дороге, поднимая клубы пыли. Лошади распластались, всадники припали к лукам, им не раз приходилось прижиматься к шеям лоша-

дей, чтобы не задеть за ветви деревьев, росших у самой дороги. Копыта дробно постукивали на маленьких деревянных мостах, гремели на больших железных. Угрожающе потрескивали плохо скрепленные бревна.

Они скакали бок о бок, сберегая силы животных для бурного финиша, но и не снижали темпа скачки, что говорило о большом запасе энергии и выносливости у лошадей. Обогнув дубовую рощицу, дорога выпрямилась, и всадники увидели футах в семистах впереди развалины мельницы.

— Теперь вперед! — воскликнула девушка.

Она всем телом послала лошадь вперед и в то же время, ослабив поводья, дотронулась левой рукой до ее шеи. Она стала обгонять соперника.

— Похлопай ее по шее! — крикнула девушка.

Он послушался, кобыла прибавила ходу и стала постепенно обходить Бэна. Крис и Лют взглянули друг на друга. Кобыла обгоняла, и Крису пришлось уже смотреть на Лют через плечо. До мельницы оставалось ярдов сто.

— Можно пришпорить его? — крикнула Лют.

Крис кивнул, и девушка быстро и резко пришпорила коня, заставив его напрячь все силы, но он уже не мог догнать ее собственную лошадь.

— Обошла на три корпуса! — торжествовала

Лют, когда они пустили лошадей шагом. — Признайтесь, сэр, признайтесь! Вы не думали, что в старой кобыле может таиться такая сила.

Лют наклонилась и положила руку на мокрую шею Долли.

— Да, Бэн по сравнению с ней просто лентяй, — подтвердил Крис. — Долли в прекрасной форме. Она переживает сейчас свое бабье лето.

Лют одобрительно кивнула.

— Хорошо сказано — «бабье лето». Очень точная характеристика. Но она не ленива. Она сохранила свой темперамент и избавилась от всех глупостей. Она очень мудра, а годы здесь ни при чем.

— Все дело именно в годах, — возразил Крис. — Вместе с молодостью прошла и глупость. И много она доставляла тебе неприятностей?

— Нет, — ответила Лют. — Я не помню, чтобы она когда-нибудь по-настоящему капризничала. Единственный раз она заупрямилась, когда я учила ее проходить в ворота. Она пугалась, когда они захлопывались позади нее… возможно, она, как всякое животное, боялась западни. Но она преодолела свой страх. Она никогда не была норовистой, ни разу не понесла, не поскакала сломя голову, не брыкалась.

Лошади продолжали медленно брести, все еще

тяжело дыша после скачки. Дорога вилась по дну долины, то и дело пересекая речку. По обе стороны дороги слышалось монотонное стрекотание косилок, изредка доносились крики людей, убиравших сено. На западной стороне долины возвышались темно-зеленые холмы, а вся восточная сторона была выжжена солнцем и стала рыжевато-коричневой.

— Там лето, а здесь весна, — сказала Лют. — Как прекрасна долина Сонома!

Глаза ее блестели, а все лицо лучилось от переполнявшего ее чувства любви к этому краю. Ее взгляд блуждал по заплаткам садов и широким полосам виноградников, отыскивая багрянку, которая, подобно легкому дымку, казалось, висела в складках холмов и далеких узких ущельях. А еще выше, среди массивных вершин, крутые склоны которых были покрыты мансанитой, она увидела еще зеленую лужайку.

— Ты когда-нибудь слышал о тайном пастбище? — спросила она, не сводя глаз с зеленого пятна.

Испуганное фырканье заставило ее быстро обернуться. Долли, встав на дыбы и раздувая ноздри, с дикими глазами, бешено колотила по воздуху передними ногами. Крис всем телом на-

валился ей на шею, чтобы не дать опрокинуться на спину, и одновременно пришпоривал, чтобы заставить лошадь броситься вперед и опустить передние ноги на землю.

— Что с тобой, Долли! — укоризненно сказала Лют. — Ничего не понимаю.

Но, к ее удивлению, кобыла резко опустила голову, выгнула спину, взвилась в воздух и с силой ударила о землю всеми четырьмя негнущимися ногами.

— Вот так прыжок, — воскликнул Крис, и в следующий же момент кобыла вновь взвилась под ним в воздух.

Лют была ошеломлена необыкновенным поведением своей кобылы и восхищена тем, как был ловок в седле ее возлюбленный. Он не потерял присутствия духа и, по-видимому, сам наслаждался этим приключением. Вновь и вновь, раз пять, Долли выгибалась, взвивалась в воздух и падала на негнущиеся ноги. Потом она вздернула голову, встала на дыбы и начала поворачиваться на задних ногах, колотя передними. Лют тотчас ускакала в более безопасное место. Взглянув на выпученные, готовые выскочить из орбит глаза Долли, она увидела в них слепое звериное бешенство. Розоватые белки ее глаз побелели, теперь

они напоминали тусклый мрамор и, несмотря на это, горели каким-то внутренним огнем.

Сдавленный, испуганный крик сорвался с губ Лют. Одну из задних ног кобылы, казалось, свело судорогой, и какое-то мгновение все ее дрожащее тело, вскинутое на дыбы, встало перпендикулярно земле и начало раскачиваться, и было непонятно, упадет ли она на ноги или на спину.

Крис, соскользнувший с седла вбок, чтобы не быть подмятым, если лошадь упадет на спину, всем телом навалился ей на шею. Этим он нарушил опасное равновесие, и кобыла снова опустилась на ноги.

Но это было еще не все. Долли вытянулась так, что морда казалась продолжением шеи: такое положение позволило ей закусить удила и понестись стрелой по дороге.

В первый раз Лют испугалась по-настоящему. Она пришпорила Уошо Бэна и поскакала за Крисом. Но Бэн не мог догнать взбесившейся кобылы и постепенно отстал. Лют увидела, как Долли остановилась и снова взвилась на дыбы. Как только Лют поравнялась с Долли, та снова понесла. Проскочив мимо поворота, она резко остановилась. Лют увидела, как от неожиданного рывка разжались ноги Криса и, хотя его выброси-

ло из седла, он не упал, и, когда кобыла рванулась вперед. Лют увидела, что Крис висит у нее на боку, вцепившись рукой в гриву и закинув одну ногу через седло. Потом он быстро оказался на спине у лошади и вновь стал пытаться обуздать ее и остановить.

Но Долли свернула с дороги и поскакала по травянистому склону, усеянному бесчисленным множеством желтых полевых лилий. Кустарник на дне долины не мог служить серьезным препятствием. Она проскочила через него, как сквозь паутину, и исчезла в зарослях. Не колеблясь ни секунды, Лют направила Бэна через просвет в кустарнике и нырнула в чащу. Она плотно прижалась к шее коня, чтобы не сорваться, наткнувшись на какую-нибудь ветку или лиану. Она почувствовала, что лошадь соскочила с покрытого листьями склона в русло речки, усыпанное прохладной галькой. Впереди плескалась вода, и Лют увидела Долли, махнувшую на невысокий берег к рощице низкорослых дубов, о стволы которых она пыталась сокрушить своего всадника.

Лют почти догнала Криса у деревьев, но потом безнадежно отстала на вспаханном поле, по которому, не обращая внимания на вязкую землю

и сусличьи норы, мчалась кобыла. Когда лошадь Криса резко повернула в заросли позади поля, Лют поскакала наискосок, обогнула кустарник и остановила Бэна на другой стороне. Она оказалась здесь раньше. Из чащи доносился страшный треск ломаемых кустов и веток. Потом кобыла выскочила на открытое место и в изнеможении рухнула на колени на мягкую землю. Встав на ноги, она, пошатываясь и хромая, сделала еще несколько шагов и остановилась. У нее был жалкий вид, она была вся в мыле и дрожала.

Крис был в седле. Рубаха его была изодрана в клочья, руки в кровоподтеках и царапинах, из глубокой ранки возле виска бежала кровь. До этого Лют не теряла присутствия духа, но теперь она почувствовала приступ тошноты, и у нее закружилась голова.

— Крис! — почти шепотом сказала она. И вздохнула. — Слава богу!

— У меня все в порядке! — крикнул он, бодрясь через силу, так как нервы у него самого были напряжены не меньше, чем у нее.

Реакция наступила, когда он соскочил с седла. Он ловко и смело перенес ногу через круп, но, встав на ноги, был вынужден прислониться к Долли, у которой тоже подкашивались ноги. Лют

живо соскочила с седла и обняла его, радуясь избавлению от опасности.

— Я знаю, где здесь родник, — сказала она немного погодя.

Не привязав лошадей, они пошли в прохладную чащу, где у подножия горы бил кристальный ключ.

— Ну, так что ты говорила о спокойном характере Долли? — спросил Крис, когда кровь была остановлена, а нервы и пульс пришли в нормальное состояние.

— Я поражена, — ответила Лют. — Я ничего не понимаю. Такого не было с ней ни разу в жизни. Все животные так любят тебя. Значит, дело не в тебе. Да на нее можно спокойно посадить даже ребенка. Я была совсем маленькой, когда впервые села на нее, и до сегодняшнего дня…

— Да, сегодня она была чем угодно, только не детской лошадкой, — перебил Крис. — Она превратилась в настоящего дьявола. Она пыталась сбить меня о деревья и вышибить мне мозги сучьями. Она находила самые низкие и узкие проходы. Ты, должно быть, видела, как она продиралась. А как она брыкалась?

Лют кивнула.

— Как необъезженный мустанг.

— Но откуда у нее эти повадки? — спросила Лют. — С ней никогда не было ничего подобного… никогда.

Он пожал плечами.

— Может быть, какой-нибудь позабытый инстинкт, исчезнувший, а потом снова возродившийся.

Девушка решительно встала.

— Я хочу выяснить причину, — сказала она.

Они вернулись к лошадям и подвергли Долли тщательному осмотру, который ничего не дал. Удила, копыта, ноги, рот, круп — все было в порядке. В седле и потнике не было ни шипа, ни колючки; на спине не было потертостей и царапин. Они искали следы укуса змеи или насекомого, но ничего не нашли.

— Одно ясно: какая-то субъективная причина у нее была, — сказал Крис.

— В нее вселился злой дух, — предположила Лют.

При этой мысли оба они рассмеялись, так как были здравомыслящими и нормальными детьми двадцатого века, которые любили погоню за зыбкими идеалами, но никогда не переходили грани, где начинаются суеверия.

— Злой дух, — смеялся Крис, — но что я сделал

дурного, за что меня нужно наказывать?

— Вы слишком много думаете о себе, сэр, — возразила Лют. — Скорее всего это зло, я уж не знаю какое, лежит на совести Долли. Ты поехал на ней совершенно случайно. В этот момент на ней могла оказаться я, или тетя Милдред, или еще кто-нибудь.

Разговаривая, она взяла стремя и стала укорачивать ремень.

— Что ты делаешь? — спросил Крис.

— Обратно на Долли поеду я.

— Нет, ты не поедешь, — возразил он. — Лошадь надо воспитывать. После того, что случилось, я просто вынужден ехать на ней сам.

Но теперь это была слабая и больная лошадь. Она все время спотыкалась и останавливалась, кожа ее нервно подергивалась, мускулы то и дело сводило судорогой — все это было последствием чудовищного напряжения, перенесенного ею.

— Теперь мне бы только книжку стихов — и в гамак… — сказала Лют, когда они въехали в лагерь.

Это был летний лагерь, разбитый в роще высоких секвой соскучившимися по природе горожанами. Солнечные лучи дробились в густых ветвях, и внизу царили рассеянный свет

и прохлада. Кухня и палатки слуг находились в стороне от главного лагеря; между ними была устроена большая столовая, отгороженная сплошной стеной деревьев. Там всегда разгуливал ветерок, и не требовалось никакого навеса для защиты от солнца.

— Бедная Долли, она действительно больна, — сказала Лют после того, как они с Крисом вечером приходили взглянуть последний раз на кобылу. — Но ты цел и невредим, Крис, и для одной маленькой женщины это главное. Я думала, что знаю, какое место ты занимаешь в моем сердце, но по-настоящему я узнала это только сегодня, когда я потеряла тебя из виду, когда ты мчался сквозь заросли и боролся с лошадью, когда я не знала, что с тобой.

— Я думал о тебе, — ответил Крис и почувствовал, как она благодарно сжала его руку.

Лют запрокинула голову и поцеловала его в губы.

— Покойной ночи, — сказала она.

— Милая, милая Лют! — нежно сказал он, когда она скрылась в темноте.

— Кто поедет за почтой? — донесся из-за деревьев женский голос.

Лют закрыла книгу, которую читала вместе с

Крисом, и вздохнула.

— Мы сегодня не собирались кататься, — сказала она.

— Давай я поеду, — предложил Крис. — А ты оставайся здесь. Я слетаю в одно мгновение.

Она отрицательно покачала головой.

— Кто поедет за почтой? — настойчиво вопрошал женский голос.

— А где Мартин? — крикнула Лют.

— Я не знаю, — ответил голос. — Наверное, Роберт взял его с собой покупать лошадь или ловить рыбу… я уж не знаю, куда… Кроме тебя и Криса, здесь никого не осталось. И кроме того, вы нагуляете аппетит перед обедом. Вы валялись в гамаке целый день. А дяде Роберту н е п р е м е н н о нужна газета.

— Хорошо, тетя, мы едем! — крикнула Лют, выбираясь из гамака.

Несколько минут спустя они уже были в костюмах для верховой езды и седлали лошадей. Под палящими лучами полуденного солнца они выехали на проселочную дорогу и свернули к Глен Эллену.

Городок дремал на солнцепеке. Продавец газет и почтмейстер едва разлепили глаза, чтобы вручить пачки писем и газет.

Через час Лют и Крис свернули с дороги и стали спускаться по тропе с высокого берега реки, чтобы напоить лошадей перед возвращением в лагерь.

— У Долли такой вид, словно она и не помнит, что с ней было вчера, — сказал Крис, когда лошади зашли по колено в бурлящую воду. — Взгляни на нее.

Кобыла подняла голову и насторожила уши, услышав, как в чаще зашелестел перепел. Крис наклонился и почесал у нее за ухом. Долли явно наслаждалась, она потерлась головой о плечо Бэна.

— Совсем как котенок, — заметила Лют.

— И все же после вчерашней безумной выходки я никогда не смогу полностью довериться ей, — сказал Крис.

— Понимаю, ты, конечно, на Бэне чувствуешь себя в большей безопасности. — Лют засмеялась. — Странно, мое доверие к Долли совсем не поколебалось. Относительно себя я уверена, но мне ни за что не хотелось бы увидеть тебя вновь верхом на ней. А в Бэна я верю непоколебимо. Погляди, какая у него шея. Как он красив! Он будет таким же мудрым, как Долли, в ее годы.

— Разумеется, — сказал, улыбаясь, Крис. — Уж Бэн-то, наверное, никогда меня не подведет.

Они повернули лошадей и стали выезжать из воды. Долли остановилась, чтобы смахнуть мордой муху, севшую на колено, и Бэн вышел первым на узкую тропинку. Разъехаться, чтобы пропустить вперед Люта, здесь места не было, и Крис не стал останавливать коня. Люта, ехавшая позади, любовалась очертаниями обнаженной шеи и могучих плеч своего возлюбленного.

Вдруг она натянула поводья. Люта не успела даже вскрикнуть, так быстро все произошло. Тропинка проходила по обрывистому берегу, почти отвесно спускавшемуся к воде. По тропинке-карнизу с трудом прошел бы даже пешеход. И вдруг Уошо Бэн встал на дыбы, закрутился и, покачавшись мгновение в воздухе, свалился с тропинки спиной вниз.

Все произошло так быстро и неожиданно, что Крис не успел соскочить на тропинку. Он почувствовал, что падает, и сделал единственно возможную вещь: вынул ноги из стремян и спрыгнул в сторону и вниз. До камней внизу было двенадцать футов. Крис падал вытянувшись, подняв голову и глядя на лошадь, которая валилась прямо на него.

Крис упал на ноги, как кошка, и тут же отпрянул в сторону. В следующее мгновение рядом

с ним рухнул Бэн. Животное стало биться, но вскоре оно издало тот страшный крик, который иногда издают лошади, получив смертельную рану, и затихло. Бэн рухнул на спину и так и остался лежать. Голова его была немного подвернута, задние ноги обмякли и замерли, а передние еще дергались.

Крис взглянул вверх, чтобы подбодрить Лют.

— Я начинаю привыкать к этому, — сказала она, улыбаясь ему. — Я вижу, ты опять цел и невредим. Нужна ли моя помощь?

Он тоже улыбнулся и подошел к упавшему животному, чтобы отпустить подпругу и высвободить подвернувшуюся голову.

— Я так и думал, — сказал он после беглого осмотра. — Я так и думал. Ты слышала, как что-то хрустнуло?

Лют содрогнулась.

— Это был конец. Бэн больше не существует.

Он обошел коня и стал подниматься по тропинке.

— Сегодня я ехал на Бэне в последний раз. Пошли домой.

Поднявшись на берег, Крис обернулся и поглядел вниз.

— Прощай, Уошо Бэн! — крикнул он. — Прощай,

старина!

Животное пыталось приподнять голову. На глазах у Криса выступили слезы. Он отвернулся и увидел, что и Лют всплакнула. Она сочувственно молчала и только крепко сжимала его руку, когда он шел рядом с ее лошадью по пыльной дороге.

— Это было сделано умышленно, — неожиданно вырвалось у Криса. — Не было и намека на то, что он сделает. Он умышленно опрокинулся на спину.

— Да, это было совершенно неожиданно, — согласилась Лют. — Я видела все. Он закрутился и тут же опрокинулся, словно ты сам изо всей силы дернул за поводья.

— Клянусь, это сделал не я. Я даже не думал о коне. Когда он поднимался, я по обыкновению опустил поводья.

— Я бы увидела, если бы ты сделал это, — сказала Лют. — Да ты бы и не успел. Ты не мог этого сделать даже невольно.

— Значит, это сделал кто-то невидимый, протянувший руку неведомо откуда.

Он бросил на небо озорной взгляд и улыбнулся нелепости этого предположения.

Когда они подъехали к той части рощи, где располагались лошади, навстречу им вышел Мар-

тин. Он принял Долли и, казалось, совершенно не удивился при виде Криса, идущего пешком.

Лют пошла, а Крис немного задержался.

— Вы можете застрелить лошадь? — спросил он.

Конюх кивнул, сказал: «Да, сэр», и еще раз кивнул.

— Как вы это делаете?

— Провожу две линии от глаз к ушам… то есть, от каждого глаза к уху на противоположной стороне головы, сэр. И где линии пересекаются…

— Достаточно, — перебил его Крис. — Вы знаете водопой у второго поворота. Там вы найдете Бэна с переломанной спиной…

— А, вот вы где, сэр. Я ищу вас с самого обеда. Вас срочно требуют.

Крис бросил сигару и придавил подошвой светящийся огонек.

— Ты никому не говорила об этом… о Бэне? — спросил он.

Она покачала головой.

— Скоро они сами узнают. Завтра Мартин расскажет обо всем дяде Роберту, — сказала Лют. — Но ты не расстраивайся, — добавила она, помолчав, и взяла его за руку.

— Он мне достался еще жеребенком, — сказал

Крис. — Кроме меня и… тебя, на нем больше никто не ездил. И я сам погубил его. Я знал его с самого рождения. Я знал его как свои пять пальцев, мне были известны все его причуды и шалости, и я даю голову на отсечение, что он не мог сделать ничего подобного. Не было никаких признаков, что это может случиться. Он не закусывал удил, не выходил из повиновения. Я вспомнил все до мельчайших подробностей. Он слушался узды. Все произошло в мгновение ока. Это был импульс, и он с быстротой молнии подчинился ему. Я поражаюсь, как быстро все случилось. Не прошло и секунды, как мы были уже на краю и падали… Это было умышленное… умышленное самоубийство. И покушение на мою жизнь. Это была ловушка, и я был жертвой. В седле был я, и он бросился вниз вместе со мной. Но ненавидеть меня он не мог. Он любил меня, как только может любить лошадь. Не знаю, что и думать. Я разбираюсь в этом не больше, чем ты во вчерашнем поведении Долли.

— Но ты знаешь, Крис, ведь лошади иногда впадают в бешенство, — сказала Лют. — И это чистое совпадение, что под тобой в течение двух дней взбесились две лошади.

— Да, это — единственное объяснение, — согласился он и пошел следом за Лют. — Но для чего я

им срочно понадобился?

— Планшетка.

— Да, помню. Я впервые сталкиваюсь с этим явлением. Когда-то оно было в моде, но я как-то не удосужился заинтересоваться им.

— Мы все тоже, — сказала Лют, — кроме миссис Грантли. Кажется, это ее любимый фантом.

— Таинственная маленькая женщина, — заметил Крис. — Комок нервов с черными глазами. Держу пари, что в ней не более девяноста фунтов, и большая их часть приходится на магнетизм.

— Положительно в ней есть что-то сверхъестественное… временами. — Лют невольно вздрогнула. — Когда я вижу ее, у меня мурашки бегут по коже.

— Столкновение здорового и патологического начал, — сухо объяснил Крис. — И заметь, мурашки появляются всегда у здорового человека, а больному хоть бы что. На то он и больной, чтобы вызывать отвращение. Где это вы ее откопали?

— Не знаю… нет, знаю. Тетя Милдред познакомилась с ней в Бостоне, кажется… а впрочем, не знаю. Во всяком случае, миссис Грантли приехала в Калифорнию и, конечно, сочла своим долгом посетить тетю Милдред. Ты же знаешь, кто только у нас не бывает!

Они остановились под двумя большими секвойями, которые обозначали вход в столовую. Сквозь ветви виднелись звезды. Свечи освещали площадку, огороженную, словно колоннами, могучими стволами деревьев. За столом, изучая устройство планшетки, сидели четыре человека. Крис стал рассматривать их и, почувствовав угрызения совести, задержал на мгновение свой взгляд на тете Милдред и дяде Роберте, добродушной и жизнерадостной пожилой паре. Потом он недоумевающе поглядел на черноглазую хилую миссис Грантли и воззрился на дородного и крупноголового человека, седые виски которого так не вязались с моложавостью лица.

— Кто это? — шепнул Крис.

— Некий мистер Бартон. Поезд опоздал, и потому ты не видел его за обедом. Он всего-навсего капиталист, занимается постройкой линий электропередач от гидроэлектростанций или чем-то в этом роде.

— На вид он пороха не выдумает.

— Ты прав. Свои капиталы он получил в наследство. Но у него достаточно соображения, чтобы не выпускать их из рук и нанимать умных людей. Он очень консервативен.

— Этого и следовало ожидать, — заметил Крис.

Он снова поглядел на мужчину и женщину, которые заменили девушке, стоявшей рядом с ним, отца и мать. — Знаешь, — сказал он, — вчера я расстроился, когда ты сказала мне, что их отношение ко мне изменилось и что они едва выносят меня. После этого вчера вечером, встречаясь с ними, я чувствовал себя виноватым и был вне себя от страха… да и сегодня тоже. Но я не заметил, чтобы их отношение ко мне изменилось.

— Дорогой мой, — вздохнула Лют, — гостеприимство у них в крови. Но не в этом главное. Они настоящие, хорошие люди. Как бы резко они ни осуждали тебя во время твоего отсутствия, стоит тебе появиться, и они сразу отходят и становятся воплощением доброты. Стоит им увидеть тебя, как источники симпатии и любви начинают бить с новой силой. Таков уж ты. Все живые существа, все люди любят тебя. Они не могут не любить. Тебя нельзя не любить. Тебя любят все, и самое примечательное, что ты не знаешь о своем обаянии. Вот я говорю тебе сейчас, а ты не понимаешь, не хочешь понять… И сама твоя неспособность понять является одной из причин, почему тебя так любят. Ты не веришь и трясешь головой, но я ведь знаю, знаю, я, твоя рабыня, и все люди знают, потому что они тоже твои рабы. Вот через мину-

ту мы войдем и присоединимся к ним. Обрати внимание на чувство почти материнской привязанности, которое будет светиться в глазах тети Милдред. Прислушайся, каким тоном дядя Роберт скажет: «Ну как, Крис, мой мальчик?» Погляди, как будет таять миссис Грантли, буквально таять, как снежинка на ладони.

Или возьми мистера Бартона. Ты видишь его впервые. Но ты пригласишь его пройтись с тобой и выкурить сигару перед сном… ты, человек, не имеющий веса, и он, обладающий многими миллионами и облеченный властью, человек тупой и глупый, последует за тобой, как собачонка, твоя маленькая собачонка, трусящая у ног. Он не будет знать, что с ним происходит, но так или иначе он пойдет с тобой. Разве я не знаю, Крис? Я наблюдала за тобой, так часто наблюдала за тобой и люблю тебя все больше и больше, потому что ты так восхитительно не ведаешь, что творишь.

— Я чуть не лопаюсь от тщеславия, слушая тебя.

Крис засмеялся, обнял Лют и прижал ее к себе.

— Да, — прошептала она, — и сейчас, когда ты смеешься надо всем, что я сказала, ты всем своим существом, душой, назови это, как хочешь, требуешь, чтобы я отдала тебе всю свою любовь.

Она прижалась к нему еще крепче и томно вздохнула. Он поцеловал ее в голову, не выпуская из мужественных и нежных объятий.

Тетя Милдред зябко шевельнулась и оторвала взгляд от планшетки.

— Ну, давайте начинать, — сказала она. — Становится прохладно. Роберт, где дети?

— Мы здесь, — отозвалась Лют, выскальзывая из объятий Криса.

— Теперь пошли к этому «комку мурашек», — прошептал Крис, и они вошли.

Предсказание Лют о том, как встретят ее возлюбленного, сбылось. Миссис Грантли, вся какая-то неестественная, болезненная, сверкающая холодным магнетизмом, потеплела и растаяла, словно она действительно была снежинкой на ладони Криса. Мистер Бартон широко осклабился и был сама любезность. Тетя Милдред приветствовала его, излучая, казалось, любовь и материнскую доброту, а дядя Роберт добродушно и сердечно спросил:

— Ну, Крис, мой мальчик, как покатались?

Тетя Милдред поплотнее закуталась в шаль и поторопила их. Ей не терпелось приступить к делу, для которого они собрались. На столе лежал лист бумаги. На бумаге на трех подпорках лежала

треугольная дощечка. Две подпорки представляли собой легко вращающиеся колесики. Третьей подпоркой служил карандаш, закрепленный на вершине треугольника.

— Кто первый? — решительно спросил дядя Роберт.

После секундного колебания тетя Милдред положила руку на дощечку и сказала:

— Кто-нибудь непременно должен быть дураком к удовольствию остальных.

— Храбрая женщина, — одобрительно сказал ее муж. — Ну, миссис Грантли, покажите, на что вы способны.

— Я? — спросила дама. — Я ничего не делаю. Эта сила, или как уж вы ее там назовете, существует вне меня и вне вас. Что она собой представляет, я не могу вам объяснить. Но такая сила есть. У меня есть доказательства ее существования. Вы, несомненно, убедитесь в этом тоже. А теперь прошу вас сохранять тишину. Дотроньтесь до дощечки легонько, но твердо, миссис Стори, только ничего не делайте по собственной воле.

Тетя Милдред кивнула и встала, держа руку на планшетке, остальные молча и выжидающе обступили ее. Однако ничего не случилось. Проходили минуты, а планшетка не двигалась.

— Наберитесь терпения, — посоветовала миссис Грантли. — Не сопротивляйтесь никаким влияниям, которые, как вы, возможно, почувствуете, будут оказываться на вас. Но сами ничего не делайте. Вы почувствуете, как на вас будет действовать влияние. Оно заставит вас что-нибудь делать, и вы будете не в силах ему противиться.

— Хотелось бы, чтобы это влияние поторопилось! — запротестовала тетя Милдред, простояв неподвижно минут пять.

— Еще немного, миссис Стори, еще чуть-чуть, — успокаивающе сказала миссис Грантли.

Вдруг рука тети Милдред стала двигаться. Она озадаченно глядела на движение своей руки и слушала царапанье карандаша, укрепленного на острие планшетки.

Это продолжалось в течение последующих пяти минут, пока тетя Милдред с усилием не оторвала руку и не сказала с нервным смешком:

— Я не знаю, сама я это делала или не сама. Знаю только, что нервничала, стоя здесь буквально как дура. И потом эти ваши торжественные физиономии, обращенные ко мне…

— Как курица лапой, — отметил дядюшка Роберт, рассматривая каракули, которые она нацарапала на бумаге.

— Совершенно неразборчиво, — авторитетно заявила миссис Грантли. — И это вообще не похоже на буквы. Влияния еще не вступили в действие. Попробуйте вы, мистер Бартон.

Названный джентльмен, желая доставить удовольствие присутствовавшим, неуклюже выступил вперед и положил руку на дощечку. И в течение десяти тягучих минут он стоял без движения, как статуя, как окаменелое олицетворение эпохи коммерции.

У дяди Роберта стало что-то твориться с лицом. Он щурился, стискивал зубы, издавал какие-то глухие горловые звуки и, наконец, не выдержал и расхохотался. Смех его заразил всех, включая миссис Грантли. Мистер Бартон смеялся тоже, но он был немного уязвлен.

— Попробуйте вы, Стори, — сказал он.

Лют и тетя Милдред уговорили хохочущего дядю Роберта занять место у дощечки. Вдруг лицо его стало серьезным. Рука его начала двигаться, и слышно было, как карандаш заскрипел по бумаге.

— Черт побери! — пробормотал дядя Роберт. — Это любопытно. Поглядите-ка. Я ведь не пишу. Я знаю, что не пишу. Смотрите, как ходит рука! Вы только поглядите.

— Роберт, прекрати свои шутки, — предупредила его жена.

— Я говорю тебе, что я не пишу, — ответил он с негодованием. — Мной овладела та самая сила. Спроси миссис Грантли. Если ты хочешь остановить меня, попроси ее. Пусть она остановит. Я сам не могу остановиться. Черт побери! Погляди на эти завитушки. Я так не пишу. В жизни никогда не писал с завитушками.

— Постарайтесь быть серьезными, — предупредила миссис Грантли. — Легкомысленная атмосфера не способствует успешной работе планшетки.

— Думаю, пока хватит, — сказал дядя Роберт, убирая руку с дощечки. — Теперь посмотрим.

Он наклонился и надел очки.

— Во всяком случае, здесь что-то написано, и гораздо разборчивей, чем у других. Прочти, Лют, у тебя глаза помоложе.

— Вот это завитушки! — воскликнула Лют, взглянув на бумагу. — И посмотрите, здесь два разных почерка.

Она начала читать:

— «Это первое наставление. Вдумайтесь в такую фразу: „Я дух положительный, а не отрицательный“. Затем сконцентрируйтесь на

положительной любви. После этого мир и гармония будут трепетать в вашем теле и вокруг него. Ваша душа…» Тут начинается другой почерк. Вот что им написано: «Буллфрог 95, Дикси 16, Голден Энкор 65, Голд Маунтин 13, Джим Бутлер 70, Джамбо 75, Норт Стар 42, Рескью 7, Блэк Бьютт 75, Браун Хоуп 16, Айрон Топ 3».

— Акции «Айрон Топ» довольно сильно упали, — пробормотал мистер Бартон.

— Роберт, это все твои шуточки! — осуждающе воскликнула тетя Милдред.

— Нет, нет! — запротестовал дядя Роберт. — Я просматривал биржевой курс. Но за каким дьяволом, простите, он попал на этот клочок бумаги, хотел бы я знать.

— Так подсказало ваше подсознание, — предположил Крис. — Вы, наверное, читали биржевой курс в сегодняшней газете.

— Нет, сегодня я не читал, но на прошлой неделе просмотрел его.

— Для подсознания не имеет значения, прошел ли день или год, — сказала миссис Грантли. — Подсознание ничего не забывает. Но мне кажется, что подсознание здесь ни при чем. Что же касается моих соображений по этому вопросу, то я отказываюсь их изложить.

— А что вы скажете о другой тарабарщине? — спросил дядя Роберт. — По-моему, это что-то вроде христианской науки.

— Или теософии, — вставила тетя Милдред. — Какое-нибудь наставление неофиту.

— Продолжай, читай остальное, — потребовал ее супруг.

— «Это приведет тебя к общению с более могущественными духами, — читала Лют. — Ты станешь одним из нас, и имя твое будет Ария, и ты будешь… Конкэрор 20, Эмпайр 12, Коламбиа Маунтин 18, Мидуэй 140…» и… и это все! Нет! Вот последние завитушки… «Ария из Кандора…» — это должно быть, Махатма.

— Хотелось бы знать, Крис, как вы объясните эту теософскую тарабарщину с точки зрения подсознания, — вызывающе спросил дядя Роберт.

Крис пожал плечами.

— Объяснения нет. Вы, должно быть, получили послание, предназначенное для кого-то другого.

— Провода перепутались, а? — Дядя Роберт захихикал. — Я бы назвал это спиритическим беспроволочным телеграфом.

— Это чепуха, — сказала миссис Грантли. — Ни разу не видела, чтобы планшетка так неистово вела себя. Мешают какие-то посторонние влияния.

Я почувствовала их с самого начала. Наверное, это потому, что вы превратили сеанс в забаву. Вы слишком много смеетесь.

— Некоторая приличествующая торжественность, конечно, должна украсить сие событие, — согласился Крис, кладя руку на планшетку. — Давайте я попробую. И никто из вас не должен смеяться, или хихикать, или даже думать о смехе или хихиканье. И если вы еще раз осмелитесь фыркнуть, дядя Роберт, вся оккультная месть обрушится на вас.

— Я буду вести себя тихо, — ответил дядя Роберт. — Но если мне действительно захочется фыркнуть, можно мне тихонько выскользнуть отсюда?

Крис кивнул. Рука его уже начала двигаться. Не было никаких предварительных подергиваний, никаких пробных росчерков. Рука сразу медленно и плавно повела дощечку по бумаге.

— Поглядите на него, — шептала Лют своей тете. — Смотрите, как он побледнел.

Услышав шепот, Крис беспокойно зашевелился, и вновь воцарилось молчание. Слышно было только непрерывное царапанье карандаша. Неожиданно Крис, как ужаленный, отдернул руку. Зевнув, он отступил от стола и с удивлением, как

только что проснувшийся человек, взглянул на лица окружающих.

— Кажется, я что-то написал, — сказал он.

— Да, вы написали, — с удовлетворением отметила миссис Грантли, взяв лист бумаги и вглядываясь в него.

— Прочтите вслух, — сказал дядя Роберт.

— Тогда слушайте. Запись начинается словом «берегись», повторенным три раза и написанным гораздо большими буквами, чем все остальное. «Б е р е г и с ь! Б е р е г и с ь! Б е р е г и с ь! Крис Донбар, я намерен уничтожить тебя. Я уже дважды покушался на твою жизнь, но потерпел неудачу. И все же я убью тебя. Я так уверен в успехе, что не боюсь сказать тебе об этом. Нет нужды объяснять тебе причину. Ты сам чувствуешь вину за собой. Зло, которое ты делаешь…» На этом запись обрывается.

Миссис Грантли положила бумагу на стол и посмотрела на Криса, на которого и так были устремлены все взоры и который зевал, словно его одолела сонливость.

— Я бы сказал, что дело приобретает кровожадный оборот, — заметил дядя Роберт.

— «Я уже дважды покушался на твою жизнь», — прочла миссис Грантли, вторично просматривая

бумагу.

— На мою жизнь? — спросил Крис между двумя зевками. — Но на мою жизнь никто никогда не покушался. Ох! Как я хочу спать!

— Но, мой мальчик, ты думаешь о людях из плоти и крови, — смеясь, сказал дядя Роберт, — а это дух. Он покушался на твою жизнь невидимым путем. Может быть, какие-нибудь призрачные руки пытались задушить тебя во сне.

— О Крис! — неожиданно воскликнула Лют. — А сегодня днем! Ты говорил, что какая-то невидимая рука схватила поводья!

— Но я пошутил, — возразил Крис.

— И все-таки… — Лют не досказала своей мысли.

Миссис Грантли напала на след.

— А что произошло сегодня днем? Ваша жизнь была в опасности?

Сонливость Криса как рукой сняло.

— Я сам заинтересовался этим, — признался он. — Мы еще ничего не говорили о происшествии. Сегодня днем Бэн сломал себе спину. Он бросился с берега, и я рисковал угодить под него.

— Странно, странно, — размышляла вслух миссис Грантли. — В этом что-то есть… Это — предупреждение… А вчера вы поранились, когда

ехали на лошади мисс Стори! Вот вам и два покушения!

Она с торжеством оглядела присутствующих. Планшетка была реабилитирована.

— Чепуха! — рассмеялся дядя Роберт, но смех его был чуть-чуть нервным. — В наше время таких вещей не случается. Мы живем в двадцатом веке, уважаемая миссис Грантли. А это пахнет по меньшей мере средневековьем.

— У меня были такие удивительные опыты с планшеткой, — начала миссис Грантли, но вдруг замолчала, подошла к столу и положила руку на дощечку.

— Кто вы? — спросила она. — Как вас зовут?

Дощечка стала медленно писать. Тут уж все, за исключением мистера Бартона, склонились над столом и следили за движениями карандаша.

— Это Дик! — вскрикнула тетя Милдред, и в ее голосе прозвучала истерическая нотка.

Муж ее выпрямился, но лицо впервые стало серьезным.

— Это подпись Дика, — сказал он. — Я узнал бы его почерк из тысячи.

— «Дик Кэртис», — прочла вслух миссис Грантли. — А кто такой Дик Кэртис?

— Черт возьми, это удивительно! — присоеди-

нился мистер Бартон. — Почерк в обоих случаях один и тот же. Ловко, скажу я вам, очень ловко, — добавил он с восхищением.

— Дайте я посмотрю, — попросил дядя Роберт, взяв бумагу и внимательно изучая ее: — Да, это почерк Дика.

— Но кто такой Дик? — настаивала миссис Грантли. — Кто этот Дик Кэртис?

— Дик Кэртис, ну, это капитан Ричард Кэртис, — ответил дядя Роберт.

— Это отец Лют, — добавила тетя Милдред. — Лют носит нашу фамилию. Она никогда не видела отца. Он умер, когда ей было всего несколько недель. Это был мой брат.

— Замечательно, великолепно, — сказала миссис Грантли, раздумывая над смыслом записи. — Два покушения на жизнь мистера Данбара б ы л о. Это нельзя объяснить подсознательными явлениями, так как никто из нас не знал о сегодняшнем происшествии.

— Я знал, — ответил Крис, — и я же держал руку на планшетке, когда она писала о покушениях. Все объясняется просто.

— А почерк? — вмешался мистер Бартон. — В вашей записи и в записи миссис Грантли один и тот же почерк.

Крис наклонился и сравнил написанное.

— И кроме того, — воскликнула миссис Грантли, — мистер Стори узнал почерк!

Она взглянула на дядю Роберта, ожидая, что тот подтвердит ее слова.

Дядя Роберт кивнул и сказал:

— Да, это почерк Дика. Готов поклясться.

Перед Лют предстало видение. Пока остальные спорили, пересыпая свою речь терминами «психологические явления», «самогипноз», «остаток необъяснимой истины», «спиритизм», Лют вспоминала, каким ей в детстве рисовался образ отца-солдата, которого она ни разу не видела. У нее была его сабля, несколько старинных дагерротипов. Ей много рассказывали о нем. Всего этого было достаточно, чтобы воссоздать его облик в детском воображении.

— Есть вероятность того, что один ум подсознательно подсказывает другому, — говорила миссис Грантли, а воображение Лют рисовало ей отца, едущего на своем большом чалом боевом коне. Вот он едет впереди своего отряда. Она видела, как он один отправляется в разведку, как он сражается с завывающими индейцами на Соленых Лугах, когда от его отряда осталась только десятая часть. И в созданном ее воображением физи-

ческом облике отца отражались его душевные качества. Со свойственной ей артистичностью она создала образ, пленявший ее своей цельностью, выразительный образ человека храброго, горячего, страстного, страшного в гневе, когда он боролся за правое дело, щедрого, великодушного, отходчивого и благородного, когда дело касалось законов чести, с идеалами примитивными, как у средневекового рыцарства. И все же она видела, что главными его чертами были всепоглощающая страстность и горячность, из-за которых его называли «Отчаянным Диком Кэртисом».

— Разрешите мне проверить это, — услышала она голос миссис Грантли. — Пусть попытается мисс Стори. Планшетка, возможно, напишет новое послание.

— Нет, нет, умоляю вас, — вмешалась тетя Милдред. — Это слишком сверхъестественно. Тревожить мертвецов — это кощунство. И, кроме того, я расстроилась. Пойду-ка я лучше спать, а вы тут продолжайте свои эксперименты без меня. Да, так будет лучше всего, а утром вы мне расскажете, что у вас получилось.

Несмотря на нерешительные протесты со стороны миссис Грантли, она попрощалась.

— Роберт может вернуться, как только прово-

дит меня до палатки, — сказала она и ушла.

— Было бы стыдно отказаться от продолжения сеанса именно сейчас, когда нам еще не сказали, на грани чего мы находимся, — сказала миссис Грантли. — Не хотите ли попробовать, мисс Стори?

Лют подчинилась, но, положив руку на дощечку, она почувствовала какой-то смутный, безотчетный страх перед этим заигрыванием со сверхъестественным. Она была человеком двадцатого века, а эта штука, как говорил ее дядя, в сущности, отдавала средневековьем. И все-таки она не могла избавиться от инстинктивного страха, охватывавшего ее, страха, унаследованного человеком с тех диких и мрачных времен, когда его волосатый, обезьяноподобный предок, для которого стихии были олицетворением страха, боялся темноты.

Но, когда таинственная сила завладела ее рукой и заставила писать, все необычное вдруг отошло на задний план, и она испытывала лишь какое-то смутное чувство любопытства, потому что перед ее глазами предстал еще один образ, на этот раз образ матери, которую она тоже не помнила. Образ матери рисовался не так ярко и отчетливо, как образ отца. Она видела, как в

тумане, головку, окруженную ореолом святости, доброты и кротости, и в то же время что-то говорило о спокойной решимости и воле, упорной и ненавязчивой, которая в жизни выражается главным образом в смирении.

Движение руки Лют прекратилось, и миссис Грантли уже читала запись.

— Это другой почерк, — сказала она. — Рука женщины. Подписано «Мартой». Кто такая Марта?

Лют не удивилась.

— Это моя мать, — просто сказала она. — Что она говорит?

Ее не бросило в сонливость, как Криса, но чувства ее как-то притупились, и она ощутила приятную усталость. И пока читали запись, перед ее глазами все стоял образ матери.

— «Дорогое дитя, — читала миссис Грантли, — не бойся его. Слова и поступки его всегда были необдуманны. Не скупись на любовь. Любовь не причинит тебе вреда. Отвергать любовь грешно. Поступай по велению своего сердца, и ты не совершишь ничего дурного. Если ты будешь подчиняться мирским условностям, прислушиваться к голосу гордыни и тех, кто советует идти против веления сердца, то ты согрешишь. Не

бойся отца. Он теперь раздражен, таким он часто бывал и при жизни, но он еще поймет мудрость моего совета, потому что так тоже бывало при жизни. Люби, дитя мое, и люби сильно. Марта».

— Дайте мне взглянуть, — воскликнула Лют, схватила бумагу и жадно прочла. Ее охватила невыразимая любовь к матери, которую она никогда не видела, и это послание с того света, казалось, придавало больше реальности тому, что она когда-то существовала, чем туманный образ, только что стоявший перед глазами.

— Это замечательно, — повторила миссис Грантли. — Я никогда не видела ничего подобного. Вы только подумайте, милая: и ваш отец и ваша мать — оба они сегодня были с нами.

Лют дрожала. Усталость прошла, и она снова была сама собой, и трепетала от инстинктивного страха перед непонятным. И для нее было оскорбительным, что реальное или иллюзорное присутствие родителей или память о них как-то связаны с присутствием этих двух, по сути дела, чужих людей: миссис Грантли, болезненной и страшной, и мистера Бартона, плотного и глупого, грубого душой и телом. Ей показалось кощунством, что эти чужие оказались посвященными в ее отношения с Крисом.

Она услышала шаги дяди, и ей сразу стало ясно, как быть. Она быстро свернула лист бумаги и засунула его за корсаж.

— Пожалуйста, ничего не говорите ему об этой второй записи, миссис Грантли, и вы, мистер Бартон. И тете Милдред не говорите. Это только расстроит их и напрасно обеспокоит.

Ею руководило также желание защитить своего возлюбленного, так как она знала, что если дядя и тетя прочтут эту странную запись планшетки, то их и без того недоверчивое отношение к Крису бессознательно ухудшится.

— И пожалуйста, не будем больше заниматься планшеткой, — торопясь, говорила Лют. — Давайте забудем всю ту нелепость, которая здесь произошла.

— Нелепость, дитя мое? — с негодованием запротестовала миссис Грантли, но дядя Роберт уже подошел к ним.

— Что здесь происходит? — спросил он.

— Вы опоздали, — сказала Лют беспечным тоном. — На вашу долю не осталось больше записей. Мы уже не занимаемся планшеткой и кончаем обсуждать теорию ее работы. Вы не знаете, который час?

— Ну, что ты делал вчера вечером, когда мы

расстались?

— Я прогулялся.

Глаза Лют лукаво сощурились, словно она спрашивала на всякий случай то, что само собой подразумевалось.

— С мистером… мистером Бартоном?

— Да.

— И вы курили?

— Да, а что?

Лют весело рассмеялась.

— А что я говорила? Чем я не прорицательница? Я уже узнала, что мое предсказание сбылось. Я только что видела мистера Бартона, и он сказал мне, что гулял с тобой вчера вечером. Он клянется всеми своими фетишами и идолами, что ты блестящий молодой человек. Могу представить себе. На него обрушилось все обаяние Криса Данбара. Но я еще не кончила задавать вопросы. Где ты был все утро?

— Там, куда я возьму тебя с собой днем.

— Ты строишь планы, не зная, чего хочу я.

— Твои желания мне хорошо известны. Мы пойдем смотреть лошадь, которую я нашел.

— Это замечательно! — воскликнула Лют, выдавая свой восторг.

— Конь — красавец, — сказал Крис.

Но вдруг ее лицо стало серьезным, а в глазах появился испуг.

— Его зовут Команч, — продолжал Крис. — Он красавец, настоящий красавец, отличный тип калифорнийской ковбойской лошади. А линии… но что с тобой?

— Давай больше не ездить верхом, — сказала Лют, — по крайней мере некоторое время. К тому же, мне кажется, я немножко устала от поездок.

Он удивленно посмотрел на нее, но она смело встретила его взгляд.

— Я вижу гробы и цветы, — начал он, — и слышу похоронные речи, а скоро я увижу конец мира и звезды, падающие с неба, и небеса, свертывающиеся, как свиток; я увижу, как живые и мертвые собираются в судный день, я увижу овец и козлов, козлят и ягнят, одетых в белое, святых и прочих и прочих, я услышу звуки золотых арф и вопли падших душ, проваливающихся в преисподнюю, — все это я увижу и услышу в тот день, когда ты, Лют Стори, не осмелишься больше сесть на лошадь. На лошадь, Лют! На лошадь!

— Погоди хотя бы немного, — умоляла она.

— Смешно! — воскликнул он. — Что случилось? Уж не больна ли ты? Ты, которая всегда была так восхитительно, так непростительно здорова!

— Нет, не потому, — ответила она. — Я знаю, что это смешно, Крис, я знаю, но меня одолевают сомнения. Я ничего не могу поделать. Ты всегда говоришь, что я не витаю в облаках и трезво отношусь к действительности и тому подобное, но… возможно, это — преувеличение, я не знаю… но все, что произошло, записи планшетки, возможность того, что рука отца, уж я не знаю как, схватила поводья Бэна и толкнула его и тебя на смерть, связь между словами моего отца, что он дважды покушался на твою жизнь, и тем, что за последние два дня твоя жизнь дважды была в опасности из-за лошадей,

— а ведь мой отец был хорошим наездником, — все это вызывает у меня сомнения. А вдруг в этом что-то есть? Я не уверена в обратном. Наука, может быть, слишком догматична в своем отрицании невидимых явлений. Невидимые, духовные силы могут быть такими неосязаемыми, такими утонченными, что наука не в состоянии их обнаружить, опознать и объяснить. Разве ты не знаешь, Крис, что в каждом сомнении есть рациональное зерно? Мои сомнения могут быть маленькими… очень маленькими, но я люблю тебя так сильно, что мне не хочется подвергать тебя ни малейшему риску. И, кроме того, я женщина,

что уже само говорит о моей предрасположенности к предрассудкам. Да, да, я знаю, ты назовешь это нереальным. Но я помню твой парадокс о реальности нереального — реальности галлюцинаций больного ума. И, если тебе угодно, то же самое происходит и со мной. Это галлюцинации и нереальность, но для меня, такой, как я есть, все это реальность, как реален кошмар, которым мучается человек, пока не проснется.

— Я никогда не слышал более логичного обоснования нелогичной просьбы,

— сказал, улыбаясь, Крис. — Во всяком случае, это неплохой довод. Ты сумела лучше изложить свои взгляды, чем я. Это напоминает мне Сэма, садовника, который служил у вас года два тому назад. Я случайно подслушал, как они с Мартином спорили в конюшне. Ты знаешь, какой Мартин фанатичный атеист. Так вот Мартин буквально забил Сэма своей логикой. Сэм подумал немного и сказал: «Что же это получается, мистер Мартин, вы все говорите и говорите, а меня не хотите послушать». «А что такое?» — спрашивает Мартин. «Понимаете ли, мистер Мартин, у меня есть два шанса против вашего одного». «Не понимаю», — говорит Мартин. «А вот что получается, мистер Мартин. У вас есть всего один шанс, как

вы говорили, — это стать пищей для червей и пойти на удобрение огорода. А у меня есть один шанс — восславить господа, когда я буду в раю разгуливать по улицам, мощенным золотом, и другой шанс

— пойти на корм червям вместе с вами, мистер Мартин».

— Ты все шутишь, — сказала Лют, одобрительно рассмеявшись.

— А как я могу воспринимать серьезно весь этот вздор с планшеткой? — спросил он.

— Но ты не объяснил, откуда появился почерк моего отца, который узнал дядя Роберт… Ты вообще ничего не объяснил.

— Я не знаю всех тайн человеческого ума, — ответил Крис. — Но я считаю, что все подобные явления в недалеком будущем получат научное объяснение.

— Все равно, у меня есть тайное поползновение узнать у планшетки еще что-нибудь, — призналась Лют. — Дощечка все еще лежит на столе в столовой. Мы можем сейчас ее испробовать. Только ты и я, и никто об этом не узнает.

Крис взял ее за руку и воскликнул:

— Пойдем! Это будет забавно!

Взявшись за руки, они побежали в столовую, в

которой колоннами служили стволы деревьев.

— Лагерь пуст, — сказала Лют, положив планшетку на стол. — Миссис Грантли с тетей Милдред спят, а мистер Бартон уехал с дядей Робертом. Никто нам не помешает.

Она положила руку на дощечку.

— Ну, начнем.

В течение нескольких минут ничего не происходило. Крис пытался было заговорить, но Лют шикнула на него. Сначала она почувствовала, как задергалась рука. Потом карандаш начал писать. Они читали запись, слово за словом:

«Есть мудрость большая, чем мудрость разума. Любовь не является порождением холодного умственного расчета. Любовь рождается в сердце и стоит над разумом, над логикой, над философией. Верь своему сердцу, дочь моя. И если сердце твое приказывает верить возлюбленному, смейся над разумом и холодной мудростью, слушайся сердца и верь в своего возлюбленного. Марта».

— Но ведь вся эта запись продиктована твоим собственным сердцем, — воскликнул Крис. — Разве ты не понимаешь, Лют? Это твоя собственная мысль, а твое подсознание выразило ее на бумаге.

— Одно только мне непонятно, — возразила

она.

— Что?

— Почерк. Взгляни. Он совсем не похож на мой. Он мелкий и старомодный, такой почерк был у женщин прошлого поколения.

— Ты что же, в самом деле хочешь убедить меня в том, что это пишет мертвая? — перебил он.

— Я не знаю, Крис, — заколебалась Лют. — Я ни о чем не могу сказать с уверенностью.

— Это абсурд! — горячился Крис. — Причуды воображения! Когда человек умирает, он становится покойником. Он превращается в прах, становится пищей для червей, как говорит Мартин. Покойники? Я смеюсь над покойниками. Они не существуют. Их нет. Я отрицаю загробные силы, люди умирают, сгнивают и исчезают!

— А что ты скажешь на это? — вызывающе спросила она, положив его руку на планшетку.

В тот же момент рука начала писать. От неожиданности оба вздрогнули. Запись была короткой:

«Б е р е г и с ь! Б е р е г и с ь! Б е р е г и с ь!»

Крис насторожился, но продолжал смеяться.

— Чудеса, да и только! У нас даже смерть подает свой голос из могилы. А где вы, добрые поступки? А родственные чувства? А радость? А дружба? А прочие добродетели?

Но Лют не разделяла его бравады. Лицо ее исказилось от страха. Дрожа, она схватила его за руку.

— Крис, не надо больше. Я сожалею, что мы затеяли это. Оставим покойников в покое. Тут что-то не так. Этого не может быть. Признаюсь, на меня действует все это. Я ничего не могу поделать. Во мне все трепещет: и тело и душа. Эта речь из могилы, эта рука покойника, протягивающаяся из загробного мира, чтобы защитить меня от тебя… А смысл в этом есть. Есть же какая-то тайна, которая не позволяет тебе жениться на мне. Если бы мой отец был жив, он бы защитил меня. Мертвый, он все еще старается защитить меня. Его руки, его мертвые руки хотят лишить тебя жизни!

— Успокойся, — мягко сказал Крис. — Послушай меня. Все это не больше, чем забава. Мы играли с субъективными силами, которые существуют в нас самих, с явлениями, которые наука еще не объяснила, вот и все. Психология еще такая молодая наука! Подсознание, можно сказать, еще только открыто. Еще многое в нем неясно, его законы еще не сформулированы. Явления эти просто еще не объяснены. Но нет никаких причин, из-за которых мы тотчас же должны

приклеивать им ярлык спиритизма. Мы еще не знаем, вот и все. А что касается планшетки…

Вдруг Крис замолчал, потому что в этот момент, жестикулируя, он положил руку на планшетку, и в тот же миг его руку свело, как в пароксизме, и он волей-неволей задергал ею по бумаге. Со стороны казалось, что это пишет рука рассерженного человека.

— Нет, я больше не хочу этого видеть, — сказала Лют, когда он кончил писать. — Это все равно, что быть свидетельницей драки между тобой и живым отцом. Все это очень похоже на драку, на удары.

Она указала на бумагу, на которой было написано: «Ты не уйдешь ни от меня, ни от справедливого наказания, которого заслуживаешь!»

— Быть может, я слишком впечатлительна, но я даже отчетливо представила себе, как его руки тянутся к твоему горлу. Я знаю, что он, как ты говоришь, прах и тлен, но, несмотря на это, я представляю себе его как человека живого и ходящего по земле, я вижу гневное и мстительное выражение его лица и вижу, что его гнев и месть направлены против тебя.

Она скомкала исчерканные листки бумаги и отложила в сторону планшетку.

— Забудем об этом, — сказал Крис. — Не думал, что это подействует на тебя так сильно. Все это чисто субъективное явление, я уверен; возможно, с каким-то намеком на что-то такое… ну, и больше ничего. А сложившееся положение создало необыкновенно благоприятные условия для поразительных явлений.

— Кстати, о сложившемся положении, — сказала Лют, когда они медленно шли по той же дорожке назад. — Не знаю, как нам быть. Неужели все будет оставаться, как прежде? Как сделать лучше? Ты ничего не придумал?

Он молча сделал несколько шагов.

— Я решил сказать твоим родственникам.

— То, что ты не можешь сказать мне? — быстро спросила Лют.

— Нет, — медленно проговорил он, — то же самое, что я сказал тебе. Я не имею права сказать им больше, чем говорил тебе.

На этот раз задумалась она.

— Нет, не говори им, — сказала она наконец. — Они не поймут. Я тоже не понимаю, но я верю в тебя, а у них, само собой разумеется, нет такой слепой веры. Ты сказал мне, что есть тайна, не позволяющая нам жениться, и я верю тебе, но они не смогут поверить тебе и будут сомневаться,

нет ли в твоей тайне чего-то дурного. И потом, они еще больше расстроятся.

— Я должен уйти из твоей жизни, я знаю, — тихо сказал он. — И я могу уйти. Я не слабовольный человек. Один раз мне это не удалось, но нет причин думать, что я снова не выдержу характер.

У Лют перехватило дыхание.

— Мне очень тяжело слышать, что ты уйдешь и не вернешься. Я не могу примириться с мыслью, что не увижу тебя. Это ужасно. И не упрекай себя за слабость. Во всем виновата я. Это я заставила тебя вернуться. Я так хотела, чтобы ты был со мной! Я так хочу, чтобы ты был со мной! Что делать, Крис, оставим все, как есть, а там что будет, то будет. Мы можем быть уверены только в одном: все как-нибудь разрешится.

— Было бы легче, если бы я ушел, — предположил Крис.

— Но я счастлива с тобой!

— Эх, жизнь! — пробормотал он в ярости.

— Уйдешь ты или останешься — это еще ничего не решает. Но я не хочу, чтобы ты уходил, Крис. А теперь хватит об этом. Разговоры ничего не могут изменить. Не будем говорить об этом, пока… пока в один прекрасный день, в один удивительный, счастливый день ты не придешь ко мне и

не скажешь: «Лют, у меня все в порядке. Тайна больше не связывает меня. Я свободен». А до того времени забудем планшетку и все остальное и постараемся взять как можно больше от того малого, что дано нам.

А теперь, чтобы показать, как я собираюсь брать многое от малого, я даже готова поехать с тобой сегодня днем смотреть лошадь… хотя мне не хотелось бы, чтобы ты ездил верхом… во всяком случае, несколько дней или неделю. Как, ты говорил, его зовут?

— Команч, — ответил Крис. — Я знаю, он тебе понравится.

Крис лежал на спине. Голова его покоилась на каменном выступе. Он внимательно наблюдал за тем, что происходило на поросшем деревьями склоне по ту сторону каньона. Трещали ломающиеся кусты, звенели о камни стальные подковы, временами по мшистому склону скатывался вывернутый валун и с плеском обрушивался в поток, несшийся по хаотическому нагромождению камней. То там, то здесь в зеленой листве мелькали золотисто-коричневая вельветовая амазонка Лют и гнедая лошадь, на которой она сидела.

Она выехала на открытое место, на котором оползень не оставил ни деревьев, ни травы. Лют

остановила лошадь на самом краю обрыва и смерила его взглядом. Сорокафутовый обнаженный склон кончался небольшой площадкой с твердым покрытием, которую образовала сползшая земля и камни.

— Здесь я его и испытаю! — крикнула она через каньон. — Я хочу съехать на нем вниз.

Животное осторожно ступило на предательскую почву, перебирая задними ногами и не сгибая передних ног. Оно уверенно и спокойно, без всякой паники и нервозности вытягивало передние ноги, как только они слишком глубоко погружались в оползавшую землю, которая вздымалась небольшой волной перед скатывавшейся лошадью. Достигнув твердой почвы, конь загарцевал на маленькой площадке, играя всеми мускулами, быстро и упруго перебирая ногами, что так не вязалось со спокойными и осторожными движениями его во время спуска.

— Браво! — крикнул Крис, аплодируя.

— Никогда не видела такой умной и осторожной лошади, — отозвалась Лют, сворачивая по усыпанному камнями склону в лесную чащу.

Крис следил за ее продвижением по шуму, изредка он видел ее в просветах листвы по мере того, как она делала зигзаги, спускаясь по кру-

тому, нехоженому склону. Она появилась внизу, на неровном берегу потока, заставила лошадь спрыгнуть с трехфутового обрывчика и остановилась, раздумывая, как ей перебраться через поток.

Над поверхностью воды нависал четырехфутовый выступ. Под ним клокотал бешеный водоворот. Слева от выступа, в нескольких футах ниже, находилась усыпанная гравием площадка. Но путь к ней преграждал огромный валун. Достичь площадки можно было, только прыгнув сначала на выступ скалы. Она внимательно осмотрела все и стиснула поводья, что говорило о принятом решении.

Встревоженный Крис сел, чтобы лучше видеть, что она задумала.

— Не надо! — крикнул он.

— Я верю в Команча! — ответила ему Лют.

— Он не сможет прыгнуть в сторону, на гравий, — предупредил Крис. — Он не удержится на ногах и опрокинется в воду. Вряд ли одна лошадь на тысячу способна на такой трюк.

— И Команч именно такая лошадь, — ответила она. — Смотри.

Она послала коня вперед, и он прыгнул точно на выступ, поставив все четыре ноги на узкую

площадку. И в тот же момент Лют коснулась поводом его шеи, посылая его влево. Конь, осторожно перебирая соскальзывающими в воду ногами, взвился на дыбы и, сделав пол-оборота на задних ногах, прыгнул влево, приземлившись прямо на маленькую усыпанную гравием гряду. Потом он легко перескочил через поток. Лют заставила его выскочить на берег и остановиться перед возлюбленным.

— Хорошо? — спросила она.

— Я так волновался, что даже не дышал, — ответил Крис.

— Купи его во что бы то ни стало, — сказала Лют, слезая с коня. — Это будет выгодная покупка. Я не могу сказать о нем ничего плохого. Ни разу в жизни я не испытывала такого доверия к лошади.

— Его владелец говорит, не было случая, чтобы он оступился.

— Купи его, купи его сейчас же, — посоветовала она, — а то этот человек еще передумает. Если ты не купишь, то куплю я. Какие ноги! Он проворен, как кошка, и очень послушен. Он так хорошо идет на поводу, что я не могу найти слов! Он будет слушаться, даже если вместо поводьев взять шелковые ниточки. Знаю, я очень восторженна,

но если ты не купишь его, Крис, я куплю сама. Только откажись…

Менявший седла Крис улыбнулся в знак согласия.

— Конечно, по масти он не так подходит к Долли, как Бэн, — с сожалением сказала Лют, — но все равно шерсть его тоже весьма великолепна. И подумай, какая лошадь под этой шкурой!

Крис помог ей сесть в седло и последовал за ней вверх по склону на полевую дорогу. Вдруг она натянула поводья и сказала:

— Прямо в лагерь мы не поедем.

— Ты забыла про обед.

— Но я помню о Команче, — возразила Лют. — Мы поедем прямо на ранчо и купим его. Обед подождет.

— А вот кухарка ждать не будет, — сказал, смеясь, Крис. — Она уже грозилась уйти из-за наших опозданий.

— Что ж, — последовал ответ, — тетя Милдред может подыскать себе другую кухарку, но мы во что бы то ни стало купим Команча.

Они повернули лошадей в другом направлении и поехали вверх по дороге, которая вилась по склону каньона Нан, пересекала водораздел и спускалась в долину Напа.

Подъем был крут, и они ехали очень медленно. Иногда они поднимались на сотни футов над руслом реки, потом снова спускались и пересекали ее вновь и вновь.

Они ехали то в густой тени гладкостволых кленов и высоких секвой, то по открытым горным уступам, где земля была суха и потрескалась на солнце.

На одном из таких уступов дорога на протяжении почти четверти мили была ровной. С одной стороны поднималась громада горы, с другой — крутая стена каньона падала почти отвесно до самого потока на дне его. В красивое зеленое и мрачноватое ущелье еле проникали трепещущие солнечные лучи, и лишь местами на стенах каньона лежали широкие полосы солнечного света. В безветренном воздухе стоял грохот бушующего потока и жужжание горных пчел.

Лошади пошли легкой рысью. Крис ехал по краю обрыва и глядел в пропасть, наслаждаясь прекрасным зрелищем. Заглушая жужжание пчел, рос грохот падающей воды. Он нарастал с каждым шагом лошадей.

— Гляди! — крикнул Крис.

Лют наклонилась в сторону, чтобы лучше видеть. Под ними вода, пенясь, скатывалась по

гладкой скале к порогу и оттуда прыгала вниз пульсирующей белой лентой, вечно падающей и никогда не обрывающейся, всегда меняющей свое содержание и никогда форму. Это воздушное русло, бесплотное, как дымка, и вечное, как горы, начиналось в воздухе у самого порога и кончалось далеко внизу у верхушек деревьев, за зеленой завесой которых оно скрывалось, чтобы уйти в невидимый омут.

Всадники пронеслись мимо. Снова раздавался только отдаленный рокот падающей воды и жужжание пчел. А потом и его не стало слышно. Всадников охватили одинаковые чувства, и они взглянули друг на друга.

— О, Крис, как хорошо жить… и видеть рядом тебя!

Он ответил ей нежным взглядом.

Казалось, все способствовало их приподнято-радостному настроению: и движения их тел, покачивающихся в такт лошадиному бегу, и быстро бегущая по жилам кровь, создающая ощущение бодрости и здоровья, и теплый ветер, овевающий лица, нежащий кожу ароматными бодрящими прикосновениями и купающий их в изысканном, немного чувственном восторге, и красота мира, еще более изысканная, перепол-

нявшая их и вызывавшая чувство восхищения, то есть все духовное, все сокровенно личное и святое, что нельзя выразить словами, но можно передать сиянием глаз, в которых светится раскрытая душа.

Так они глядели друг на друга, не замедляя бега лошадей. Весна мира и весна юности разгоняла их кровь, тайна жизни трепетала в их глазах и была вот-вот готова раскрыться и с помощью одного лишь магического слова рассеять все неясности и печали бытия.

На повороте дороги открывался вид на ущелье, дно которого где-то вдалеке круто поднималось вверх. Всадники мчались по повороту, прижимаясь к внутренней стороне и глядя на быстро раскрывавшуюся панораму.

Все произошло внезапно. Лют не услышала ни звука, но еще до того, как лошадь упала, она почувствовала перебой в согласном беге животных. Она так быстро повернула голову, что успела увидеть падающего Команча. Он не оступился, не споткнулся. Он упал, словно вдруг умер на полном скаку или получил ошеломляющий удар.

И в то же мгновение она вспомнила планшетку; мысль о ней, словно ярким светом, пронзила сознание Лют. Она натянула поводья, и лошадь

осела на задние ноги. Взгляд Лют не отрывался от упавшего Команча. Он ударился грудью о полотно дороги, подмяв под себя непослушные, безвольные ноги.

Все произошло в какую-то долю секунды, которая, казалось, длилась целую вечность. Ударившись о землю, тело Команча несильно, но заметно подскочило. От жестокого удара из его больших легких со стоном вырвался воздух. По инерции Команч прокатился к краю обрыва. Под тяжестью всадника, навалившегося на его шею, Команч перевернулся через голову и полетел под уклон.

Не помня себя, Лют соскочила с лошади и бросилась к краю. Ее возлюбленный вылетел из седла, но правая нога его зацепилась за стремя. Склон был так крут, что ни лошадь, ни Крис не могли остановиться. Они увлекали за собой землю и мелкие камни, кативщиеся маленькой лавиной. Лют стояла неподвижно, держась рукой за сердце и глядя вниз. И тут же перед ее глазами возникло видение: ее отец наносит призрачный удар, на полном скаку сбивающий Команча с ног и швыряющий лошадь и всадника к краю обрыва.

Крутизна, по которой катились человек и лошадь, кончалась у небольшого вала, а за ним

начинался новый склон, продолжавшийся до нового вала. Третий склон кончался у последнего вала на дне каньона футах в четырехстах ниже дороги, где стояла и смотрела девушка. Она видела, как Крис дергал ногой, тщетно пытаясь высвободить ее из капкана, в который превратилось стремя. Команч сильно стукнулся о выступ скалы. Это на секунду задержало его падение, и человек успел ухватиться за кустик мансаниты. Лют видела, как он вцепился в кустик и другой рукой. Потом Команч покатился дальше. Она видела, как натянулся ремень стремени, как вытянулось тело и руки ее возлюбленного. Кустик мансаниты был вырван с корнем, лошадь и человек перевалили через пригорок и скрылись с глаз.

Лют увидела их ниже, на следующем склоне; человек и лошадь вновь и вновь перекатывались друг через друга. Крис уже не боролся. Так вместе перевалили они и на третий склон. Почти у самого низа Команч зацепился за каменистый бугорок. Он лежал тихо и рядом с ним, все еще привязанный к нему стремянным ремнем, навзничь лежал всадник.

— Только бы Команч не шевелился, — прошептала Лют, думая, как помочь Крису.

Но Команч снова стал биться, и Лют показалось, что призрачная рука ее отца стиснула поводья и потащила животное. Команч, барахтаясь, перекатился через бугорок, увлекая за собой безжизненное тело Криса, потом и лошадь и человек скрылись с глаз. Больше они не появлялись. Они достигли дна каньона.

Лют оглянулась. Она была одна в целом мире. Ее возлюбленного не стало. Ничто не говорило о том, что он был, кроме следов подков Команча на дороге и отпечатка его тела там, где он соскользнул с края обрыва.

— Крис! — крикнула она, потом еще раз, но это был уже крик отчаяния.

Из глубины доносилось только жужжание пчел и рокот потока.

— Крис! — крикнула она в третий раз и опустилась на пыльную дорогу.

Она почувствовала, как Долли коснулась мордой ее руки, прижалась щекой к шее кобылы и стала ждать. Она не знала, почему она ждет, но ничего другого ей не оставалось делать.

Джек Лондон
Тень и вспышка

Теперь, когда я оглядываюсь назад, я понимаю, как необычна была эта дружба.

Ллойд Инвуд, один из двух моих друзей, был высокий, худощавый, хорошо сложенный, мускулистый брюнет. А другой мой друг — Поль Тичлорн — высокий, худощавый, хорошо сложенный, мускулистый блондин. Они казались точной копией друг друга во всем, кроме цвета волос, глаз и кожи. Глаза у Ллойда были черные, а у Поля — голубые. Ллойд от волнения бледнел, а Поль краснел. В остальном они были похожи, как пара горошин. Оба были порывисты, отличались чрезвычайной выносливостью и легко шли на любые испытания.

Но неразлучных друзей было трое, и третьим — маленьким и толстым, неуклюжим и ленивым, — надобно сознаться, был я. Казалось, Поль и Ллойд родились, чтобы постоянно соперничать, а я — чтобы примирять их.

Мы росли все вместе, и частенько удары, которые они предназначали друг для друга, до-

ставались мне. Всегда они лезли из кожи вон, чтобы заткнуть друг друга за пояс, и когда вступали в борьбу, то их упорству и страсти не было предела.

Этот напряженный дух соперничества присутствовал в их играх и занятиях. Если Поль выучивал одну песнь из «Мармиона», то Ллойд выучивал две; тогда Поль запоминал три, а Ллойд — четыре; в конце концов каждый из них знал всю поэму наизусть.

Я помню один случай, чуть не окончившийся трагедией, случай очень характерный для их постоянной борьбы. Мальчики ныряли на дно пруда глубиной в футов десять и, ухватившись там за корни подводных растений, старались продержаться под водой как можно дольше. Подзадоривания заставили Поля и Ллойда нырнуть вместе. Когда я увидел их сосредоточенные и решительные лица, погружающиеся в воду, меня охватило предчувствие чего-то ужасного.

Текли секунды, сгладилась рябь, поверхность пруда становилась зеркально-спокойной, но ни светлая, ни темная головы не появлялись над водой, чтобы глотнуть воздух. Мы забеспокоились. Уже был побит рекорд, принадлежавший мальчугану с самыми крепкими легкими, но соперники

не появлялись. Сначала были видны пузырьки, медленно всплывавшие на поверхность воды, а потом исчезли и они: стало ясно, что мальчики выпустили из легких весь запас воздуха. Каждая секунда становилась нестерпимо долгой; я не смог вынести томительного ожидания и прыгнул в воду.

Я увидел их на дне. Они крепко вцепились в корни растений, их головы были рядом, глаза широко открыты; каждый впивался взглядом в другого. Они испытывали страшные мучения, корчились и извивались от приступов добровольного удушья, так как ни один из них не желал признать себя побежденным. Я попытался оторвать Поля от корней, но он стал ожесточенно сопротивляться. Тут я начал задыхаться и в полной панике вынырнул. Я поспешно объяснил, что происходит, и человек шесть ребят, ринувшись в воду, с большим трудом вытянули их на берег. Поль и Ллойд были без сознания, и только после долгих встряхиваний и растираний они пришли в себя. Они бы так и остались на дне, если бы их не вытащили.

Когда Поль Тичлорн поступал в колледж, он рассказывал всем, что собирается заниматься специальными науками. Ллойд Инвуд избрал

тот же курс. Однако Поль скрыл от всех свое желание изучать естественные науки и специализироваться по химии; и в последний момент он перешел на другой факультет.

И хотя Ллойд распланировал свою работу на целый год вперед и уже начал посещать лекции, он тотчас же последовал за Полем, начав заниматься естественными науками и, в частности, химией.

Вскоре об их соперничестве знал весь университет. Каждый из них побуждал к работе другого, и они изучили химию гораздо глубже остальных студентов. Еще до получения дипломов они могли бы поставить в тупик любого профессора, за исключением «старика» Мосса, руководителя кафедры, но и его они не раз озадачивали и поправляли. Открытие Ллойдом «смертоносной бациллы» у морской жабы и его опыты над ней с помощью цианистого калия прославили его имя и университет на весь мир. Но не меньший успех выпал и на долю Поля: ему удалось создать искусственные коллоидные растворы, помогающие раскрыть тайны жизни амеб, а также пролить свет на процесс оплодотворения низших форм морских животных, проведя удивительные опыты с растворами простой поваренной соли и магнезии.

Еще во время учебы, когда они были поглощены тайнами органической химии, в их жизнь вошла Дорис Ван Беншотен. Первым ее повстречал Ллойд, но в течение следующих суток Поль также сумел познакомиться с ней. Они, конечно, влюбились, и она стала для них единственным существом, ради которого стоило жить на свете. Они ухаживали за ней с одинаковым рвением и пылом. Их борьба достигла такого напряжения, что половина студентов стала держать пари, кто победит в этой борьбе. Даже «старик» Мосс в один прекрасный день, после того как Поль в его частной лаборатории провел блестящий опыт, не удержался и поставил свое месячное жалованье об заклад, что женихом Дорис Ван Беншотен станет Поль.

В конце концов она разрешила проблему по-своему, ко всеобщему удовлетворению, за исключением Поля и Ллойда. Пригласив их обоих, она сказала, что никак не может выбрать одного из них, потому что любит обоих одинаково, и так как, к сожалению, многобрачие в Соединенных Штатах запрещено, она вынуждена лишить себя чести и счастья стать супругой одного из них.

Каждый обвинял другого в столь плачевном исходе, и ожесточение между ними еще больше

усилилось.

Вспышка произошла довольно быстро. И началось все именно в моем доме, после того как Поль и Ллойд получили ученую степень. Оба они были состоятельными людьми, и у них не было склонности или необходимости стать профессионалами. Дружба со мной и взаимная враждебность являлись теми двумя причинами, которые соединяли их. Частенько, посещая меня, они тщательно старались избегать друг друга, хотя при создавшемся положении им иногда приходилось сталкиваться.

Я помню тот день, когда Поль Тичлорн все утро читал в моем кабинете очередной номер научного журнала. Я был предоставлен самому себе и возился с розами, когда прибыл Ллойд Инвуд. Держа во рту маленькие гвозди, я зажимал, обрезал и прикреплял вьющиеся у веранды растения. Ллойд следовал за мной, временами помогал мне. Мы заговорили о фантастических невидимках, о тех таинственных блуждающих существах, предания о которых дошли до нас. Ллойд с присущей ему энергией стал распространяться о физических свойствах и возможности невидимости. Абсолютно черный предмет, заявил он, стал бы недоступен для самого острого зрения.

— Цвет есть зрительное ощущение, — говорил Ллойд, — он не является объективной реальностью. Без света мы не можем видеть ни цвета, ни самих вещей. В темноте все предметы черны и невидны. Если луч света не падает на них, то и они не отбрасывают свет к нашим глазам, и, таким образом, у нас нет зрительного свидетельства их существования.

— Но мы же видим черные вещи при дневном свете! — возразил я.

— Совершенно верно! — горячо продолжал он. — И это потому, что они не абсолютно черные. Если бы они были абсолютно черными, мы не смогли бы видеть их. Да что там, мы бы не увидели их и в лучах тысячи солнц! Поэтому я считаю, что с помощью правильно выбранных соединений пигментов можно получить абсолютно черную краску, которая сделает невидимыми любые окрашенные ею предметы.

— Это было бы замечательное открытие, — сказал я без особого энтузиазма, так как все рассуждения были слишком фантастичны и имели отвлеченный характер.

— Замечательное! — Ллойд хлопнул меня по плечу. — Еще бы! Ведь если, старина, я покрою себя такой краской, весь мир будет у моих ног. Мне

будут известны секреты королей и правительств, козни дипломатов и политиканов, махинации биржевых дельцов, намерения трестов и корпораций. Я смогу видеть жизнь насквозь и стану величайшей силой на земле. И я…

Он резко оборвал себя, затем добавил:

— Что ж, я уже начал опыты и могу тебе признаться, у меня неплохие шансы добиться удачи.

Смех, донесшийся с порога, заставил нас вздрогнуть. Там стоял Поль Тичлорн. На его губах была насмешливая улыбка.

— Вы кое о чем забываете, дорогой Ллойд, — сказал он.

— Забываю? О чем?

— Вы забываете, — продолжал Поль, — вы забываете о тени.

Я заметил, как у Ллойда вытянулось лицо, но ответил он с издевкой:

— А я, видите ли, могу взять с собой зонтик от солнца.

Затем он неожиданно повернулся и свирепо бросил Полю:

— Послушайте, Поль, для вашего же блага советую лучше не вмешиваться в это дело.

Разрыв казался неизбежным, но Поль добродушно засмеялся:

— Я и пальцем не прикоснусь к вашим грязным пигментам. Если даже оправдаются ваши самые оптимистические надежды, то и тогда вас постоянно будет сопровождать тень. Вам не уйти от нее. А я двинусь совсем другим курсом. У меня совсем не будет тени…

— Прозрачность! — тотчас воскликнул Ллойд. — Но ее невозможно достигнуть.

— Ну, конечно, нет. — И Поль, пожав плечами, зашагал прочь по дорожке, обсаженной кустами роз.

С этого все и началось. Оба взялись за работу с присущей им энергией и с такой ожесточенностью, что я дрожал при одной мысли об успехе кого-либо из них. Каждый полностью доверял мне, и в последовавшие затем долгие недели экспериментов я превратился в доверенное лицо обеих сторон. Я выслушивал их теоретические выкладки и наблюдал демонстрацию опытов, но никогда ни словом, ни знаком я не намекал одному об успехах другого. И они уважали меня за это молчание.

Ллойд Инвуд после длительной и непрерывной работы, когда напряжение духа и тела становилось невыносимым, отдыхал странным образом. Он посещал состязания по боксу. Как-то он за-

тащил меня на одно из таких жестоких зрелищ, чтобы рассказать о результатах последних опытов, и там его теория получила поразительное подтверждение.

— Видишь вон того мужчину с рыжими баками? — спросил он, показывая на человека, сидевшего в пятом ряду по другую сторону ринга. — Не правда ли, между ним и мужчиной в белой шляпе никого нет?

— Конечно, — ответил я. — Место между ними не занято.

Ллойд наклонился ко мне и серьезно заговорил:

— Между человеком с рыжими баками и человеком в белой шляпе сидит Бен Уассон. Ты уже слышал о нем от меня. В своем весе он сильнейший боксер в стране. Он чистокровный караибский негр, и у него самая черная кожа в Соединенных Штатах. На нем сейчас черное, застегнутое на все пуговицы пальто. Я видел, как он вошел и занял свое место. И как только он сел, он исчез. Смотри внимательно, может, он улыбнется.

Я хотел было пойти вперед, чтобы проверить Ллойда, но он задержал меня.

— Подожди, — сказал он.

Я смотрел и ждал до тех пор, пока мужчина с рыжими баками не повернул головы. Казалось, он обращается к пустому месту. И тогда на незанятом месте я увидел вращающиеся белки глаз и двойной полумесяц зубов, и на мгновение мне удалось разглядеть лицо негра. Но с исчезновением улыбки оно снова стало невидимым, и стул, как и раньше, казался свободным.

— Если бы он был абсолютно черным, то, даже сидя рядом с ним, ты не смог бы его увидеть, — сказал Ллойд, и, признаюсь, я почти поверил этому, настолько убедительным был проведенный опыт.

После этого я посещал лабораторию Ллойда много раз и всегда заставал его погруженным в поиски абсолютно черного цвета.

В своих опытах он использовал всевозможные пигменты: ламповую копоть, различные виды смол, сажу от масел и жиров и большое количество обугленных органических веществ.

— Белый свет состоит из семи основных цветов, — доказывал он мне. — Но сам по себе он невидим. И только, когда он отражается от предметов, предметы и он сам становятся видимыми. И только та часть света, которая отражается, становится видимой. Возьмем, например, го-

лубую табакерку. Белый свет освещает ее, и за одним исключением все цвета — фиолетовый, синий, зеленый, желтый, оранжевый и красный — поглощаются. Исключение составляет г о л у б о й. Он не поглощается, он отражается. Почему табакерка дает нам ощущение голубизны? Мы не видим других цветов потому, что они поглощены. Мы видим только голубой цвет. По этой же причине трава з е л е н а я. Световые волны зеленого цвета бьют нам в глаза.

— Когда мы красим дома, мы не накладываем какой-то цвет на них, — говорил он в другой раз. — Мы просто применяем определенные вещества, которые способны поглощать все цвета спектра, за исключением нужных нам цветов. Если вещество отражает все цвета, то оно кажется нам белым. Если оно поглощает их, то оно черное. Но, как я уже говорил, мы не имеем идеально черного цвета. В с е цвета полностью не поглощаются. Идеальный черный цвет даже при ярком свете будет совершенно невидим. Например, посмотри сюда.

На его рабочем столе лежала палитра. Различные оттенки черного цвета были нанесены на нее. Один, в особенности, я едва мог заметить. В глазах начинало рябить, я тер их и смотрел

снова.

— Это, — произнес он выразительно, — самый черный цвет, который ты или любой другой смертный когда-либо видел. Но погоди немного, и я добуду черный цвет такой черноты, что ни один смертный не сможет смотреть на него… и в и д е т ь е г о!

С другой стороны, Поля Тичлорна я обычно заставал погруженным в изучение световой поляризации, дифракции и интерференции, единичной и двойной рефракции и всевозможных удивительных органических соединений.

— Прозрачность есть состояние или свойство тела, которое пропускает сквозь себя любые лучи света, — объяснял он мне. — Вот к чему я стремлюсь. Ллойд натыкается на тень из-за своей непроницаемой глупости. А я сумею избегнуть тени. Прозрачное тело не оставляет тени, оно не отражает также и световых волн… то есть в том случае, если оно абсолютно прозрачно. Поэтому оно будет невидимым.

В другой раз мы стояли у окна. Поль протирал линзы, которые лежали на подоконнике. Неожиданно во время паузы в нашем разговоре он сказал:

— Я уронил линзу. Выгляни в окно, старина,

посмотри, куда она закатилась.

Я подался вперед, но резкий удар в лоб заставил меня отпрянуть. Я потер ушибленную бровь и недоуменно, но с укором уставился на Поля, заливавшегося ликующим мальчишеским смехом.

— Ну что? — сказал он.

— Ну что? — эхом повторил я.

— Отчего бы тебе не разобраться самому? — спросил он.

И я стал разбираться. Перед тем как я попытался высунуться в окно, мои чувства подсказывали мне, что между мной и воздухом снаружи ничего нет, что оконный проем абсолютно пуст. Я протянул руку и почувствовал твердый предмет, гладкий, холодный и плоский, который, судя по ощущению, должен был быть стеклом. Я снова посмотрел перед собой, но положительно ничего не смог увидеть.

— Белый кварцевый песок, — быстро заговорил Поль, — карбонат натрия, гашеная известь, стеклянный бой, перекись магния, и вот, пожалуйста, — французское зеркальное стекло высшего качества, изготовленное знаменитой фирмой Сен-Гобэн, которая производит лучшие стекла в мире. А данное стекло

— их лучшее изделие. Ему нет цены. Взгляни

на него! Оно невидимо. Мы не знаем, существует ли оно, пока не разобьем о него голову.

Так-то, старина! Это просто наглядный урок… Берутся определенные непрозрачные вещества, но смешиваются таким образом, что получается прозрачное тело. Ты скажешь, что это шутка неорганической химии? Совершенно верно. Но я берусь утверждать, держась твердо на обеих ногах, что могу и в органическом мире в точности воспроизвести все, что происходит в неорганическом.

— Вот! — Он подержал пробирку между мной и светом, и я увидел в ней непрозрачную грязноватую жидкость. Он перелил ее в другую пробирку, и почти в то же мгновение она стала прозрачной и сверкающей.

— Или вот! — Быстрыми, порывистыми движениями, смело манипулируя среди массы пробирок, он превратил белую жидкость в раствор винного цвета, а светло-желтый раствор — в темно-коричневый. Он бросил кусочек лакмусовой бумажки в кислоту, и бумажка сразу же покраснела, а, попав в щелочь, она так же быстро стала голубой.

— Лакмусовая бумажка остается лакмусовой бумажкой, — объявил он тоном официального

лектора. — Ни во что другое я ее не превратил. Что же я сделал? Я только изменил расположение ее молекул. И если вначале лакмусовая бумажка поглощала все цвета света, за исключением красного, то затем ее молекулярная структура была изменена таким образом, что она стала поглощать красный цвет и все остальные цвета, кроме голубого. И так можно продолжать ad infinitum. Моя же цель заключается в следующем. — Он сделал небольшую паузу. — Моя цель — искать — и, конечно, найти — надлежащие реактивы, которые, действуя на живой организм, приведут к молекулярным изменениям, аналогичным тем, которые ты сегодня как раз наблюдал. Но реактивы, которые я ищу и обязательно найду, не будут окрашивать живое тело в голубой, красный или черный цвет, они сделают его прозрачным. Свет будет проходить сквозь него. Оно будет невидимым. И оно не будет отбрасывать тени.

Несколько недель спустя мы с Полем отправились на охоту. Незадолго до этого он обещал мне, что я буду иметь удовольствие охотиться с чудесной собакой… действительно с самой чудесной собакой, какую когда-либо имел охотник. Так он утверждал до тех пор, пока не возбудил моего любопытства. Но в то утро я был разочарован,

потому что нигде не было видно собаки.

— Не думай о ней, — невозмутимо проговорил Поль, и мы двинулись по полям.

Я не мог понять, что беспокоило меня, но у меня было ощущение какой-то страшной болезни. Мои нервы были расшатаны, и из-за их удивительных фокусов чувства мои, казалось, взбунтовались. Непонятные звуки приводили меня в замешательство. По временам я слышал шелест раздвигаемой травы, а один раз — топот ног на участке каменистой почвы.

— Поль, ты слышал сейчас что-нибудь? — спросил я.

Но он только покачал головой и неуклонно продолжал идти вперед.

Перелезая через изгородь, я услышал жалобный вой собаки, раздавшийся в паре футов от меня. Но, оглядевшись вокруг, я ничего не увидел.

— Поль, — сказал я, — нам лучше вернуться домой. Боюсь, что я заболел.

— Чепуху городишь, старина, — ответил он. — Солнце, как вино, ударило тебе в голову. Ничего с тобой не случится. Знатная выдалась погодка!

Но на узкой тропе между кустарниками что-то сунулось мне под ноги, я споткнулся и едва не упал. С испугом я взглянул на Поля.

— В чем дело? — спросил он. — Спотыкаешься о собственные ноги?

Я сжал зубы и побрел дальше, хотя голова у меня ходила кругом, и я был твердо убежден, что острый и таинственный недуг поразил мои нервы. Пока еще он не коснулся зрения, но когда мы снова вышли в открытое поле, то даже мои глаза предали меня. Странные вспышки света разных цветов, похожие на радугу, стали появляться и исчезать на пути передо мной. И все-таки мне удавалось держать себя в руках до тех пор, пока эти вспыхивающие разноцветные огни не затанцевали в продолжение добрых двадцати секунд. Тогда, весь дрожа, без сил я опустился на землю.

— Мне конец, — задыхаясь, произнес я и закрыл глаза руками, — я слепну, Поль, отведи меня домой.

Но Поль долго и громко смеялся.

— Что я тебе говорил?.. Самая удивительная собака, а? Ну, как ты думаешь?

Он повернулся слегка в сторону и засвистел. Я услышал топот ног, тяжелое дыхание разгоряченного животного и лай собаки. Поль наклонился и, казалось, стал ласкать воздух.

— Вот! Дай руку.

И он потер мою руку о холодный нос и шею

собаки. Несомненно, это была собака, судя по размерам и гладкой короткой шерсти, пойнтер.

Нечего говорить, что ко мне быстро вернулись душевное равновесие и самоконтроль. Поль надел животному ошейник, а к хвосту привязал платок. И мы стали свидетелями замечательного зрелища. Одинокий ошейник и развевающийся платок метались по полям. Стоило посмотреть, как платок и ошейник прижимали стаю перепелов в рощице белых акаций и как застывали на месте и не двигались до тех пор, пока мы не спугивали птиц.

Снова и снова там, где находилась собака, возникали разноцветные световые вспышки. Поль объяснил, что это единственная вещь, которую он не предвидел и с которою вряд ли сумеет справиться.

— Имеется бесчисленное множество разных ложных солнц, солнечных зайчиков, радуг и сияний, — сказал он. — Они являются результатом преломления световых лучей, проходящих сквозь минералы и кристаллы льда, сквозь туман, дождь, водяную пыль и множество других вещей. И я боюсь, что ими мне придется расплачиваться за достижение прозрачности. Я избежал тени Ллойда и наткнулся на радужную вспышку.

Двумя днями позже, подходя к лаборатории Поля, я почувствовал страшное зловоние. Оно было настолько сильным, что совсем нетрудно было отыскать его источник — массу гниющего вещества на пороге, которая очертаниями напоминала собаку.

Поля поразила моя находка. Это была его невидимая собака, или, вернее, то, что раньше было его невидимой собакой, потому что теперь она была явно видимой. Еще несколько минут назад она играла во дворе, полная сил и здоровья. При внимательном осмотре обнаружилось, что ее череп был проломлен сильным ударом. И если убийство собаки казалось странным, то ее быстрое разложение было уж совсем непонятным фактом.

— Реактивы, введенные в ее тело, безвредны, — объяснил Поль. — Однако они обладают большой силой и, очевидно, с наступлением смерти приводят к мгновенному разложению тела. Замечательно! Это замечательно! Что ж, единственный выход — оставаться живым. И пока ты живешь, они не вредят. Да, но кто размозжил собаке голову, хотел бы я знать!

Все выяснилось, когда испуганная горничная принесла весть о том, что утром, с час назад, с

Джеффером Бедшоу случилось буйное помешательство, что его связали и привели в охотничий домик, где он стал бессвязно рассказывать о битве со свирепым и огромным зверем, которого он повстречал на поле Тичлорна. Он утверждал, будто неизвестное чудовище было невидимым, будто он своими глазами видел, что оно было невидимым; плачущая жена и дочери только качали головами, а он из-за этого все больше выходил из себя, и садовник с кучером связали его еще крепче.

От Поля Тичлорна, который так успешно справлялся с проблемой невидимости, ни на шаг не отставал Ллойд Инвуд. Получив приглашение, я отправился к нему взглянуть, как идут дела. Его лаборатория находилась в уединенном месте посреди его обширных владений. Она была построена на небольшой красивой лужайке, окруженной со всех сторон густым лесом, и вела к ней узкая, петляющая тропа. Но я ходил по ней так часто, что знал каждый изгиб, и представьте мое изумление, когда я вышел на лужайку и не обнаружил лаборатории. Необычного вида строение с красной кирпичной трубой исчезло. И ничто не указывало на то, что оно когда-нибудь было здесь. Не было следов развалин или облом-

ков, вообще ничего не было.

Я решил пересечь место прежней лаборатории.

— Вот здесь, — сказал я себе, — должен был быть порог перед дверью.

Не успели эти слова слететь с моего языка, как я зацепился ногой о какое-то препятствие, подался всем телом вперед и ударился головой о предмет, который по о щ у щ е н и ю очень напоминал дверь. Я выставил вперед руку. Это и б ы л а дверь. Я нащупал ручку и повернул ее. И сразу же, как только дверь стала поддаваться, вся внутренняя часть лаборатории предстала моим взорам. Поздоровавшись с Ллойдом, я закрыл дверь и отступил на несколько шагов назад. Здания совершенно нельзя было заметить. А стоило вернуться и открыть дверь, как сразу же каждая мелочь внутри помещения становилась видимой. Это было действительно поразительно, неожиданный переход от пустоты к свету, формам и краскам.

— Что ты об этом думаешь? — спросил Ллойд, крепко пожимая мне руку. — Вчера я дважды покрыл абсолютно черной краской стены моей лаборатории, чтобы посмотреть, что из этого получится. Как твоя голова? Кажется, ты стукнулся

довольно крепко.

— Ну, хватит, — прервал он мои поздравления. — У меня есть для тебя кое-что поважнее.

Разговаривая, он начал раздеваться и, оставшись голым, сунул мне в руки кружку и кисть.

— Вот, покрась меня, — сказал он.

Это была маслянистая, похожая на шеллак жидкость, которая быстро и легко покрывала кожу и мгновенно высыхала.

— Это только для предохранения кожи, — объяснил он, когда я закончил,

— а теперь основная краска.

Я взял другую кружку, на которую он указал мне, и заглянул внутрь, но увидеть ничего не смог.

— Она пуста, — сказал я.

— Сунь туда палец.

Я послушался и ощутил прохладную жидкость. Вытащив руку, я посмотрел на указательный палец, который окунулся в кружку, но он исчез. Я подвигал им; по напряжению и расслаблению мышц я знал, что двигаю пальцем, но я не видел его. Судя по всему, я был лишен пальца. И я не мог увидеть его до тех пор, пока не подставил его под солнечный свет. Он стал отбрасывать пятнышко тени на пол.

Ллойд хихикнул:

— Ну, а теперь мажь и гляди в оба.

Я погрузил кисть в кружку, казавшуюся пустой, и провел длинную полосу на его груди. По мере движения кисти живая плоть исчезала. Я покрасил его правую ногу, и он оказался одноногим человеком, отрицавшим все законы тяготения. И так мазок за мазком, одну часть тела за другой я выкрасил Ллойда Инвуда в ничто. От переживаний у меня мурашки бежали по коже, и я был рад, когда все исчезло от взора, если не считать горящего взгляда его темных глаз, которые, казалось, сами по себе висели в воздухе.

— Для них у меня есть особый, безвредный состав, — сказал он. — Легкое распыление пульверизатором, и все! Меня нет.

Когда с этим так же успешно было покончено, он сказал:

— А теперь я похожу, а ты говори, что видишь.

— Прежде всего я не вижу тебя, — сказал я, и до меня из пустоты донесся его радостный смех. — Конечно, — продолжал я, — ты не можешь избавиться от своей тени, но этого и следовало ожидать. Если ты проходишь между моими глазами и предметом, то предмет исчезает, но его исчезновение настолько необычно и непостижи-

мо, что взор затуманивается. Когда ты движешься быстро, в глазах начинает непонятно рябить. И это чувство помутнения вызывает боль в глазах, а голова наливается тяжестью.

— Еще что-нибудь указывает на мое присутствие? — спросил он.

— Нет и да, — ответил я. — Когда ты стоишь рядом, у меня появляется чувство, которое бывает в мрачных склепах, пустынных сырых складах и глубоких шахтах. И как моряки чувствуют очертания берега в темные ночи, так и я, как мне кажется, чувствую очертания твоего тела. Но все это очень смутно и неуловимо.

Мы долго беседовали в его лаборатории в то памятное утро. И когда я поднялся, чтобы уйти, он взял своей невидимой рукой мою руку, энергично потряс ее и сказал:

— Теперь я покорю мир!

И я не отважился рассказать ему о таких же успехах Поля Тичлорна.

Дома меня ждала записка от Поля с просьбой немедленно явиться к нему. В полдень я подкатил к нему на своем велосипеде. Поль окликнул меня со стороны теннисного корта. Я слез с велосипеда и направился туда. Но корт был пуст. И пока я стоял там, разинув от удивления рот, и

глазел по сторонам, теннисный мячик ударил меня по руке, а другой, пока я поворачивался, просвистел у меня над ухом. Насколько я мог видеть нападающую сторону, мячи начинали свой стремительный полет за пределами площадки, и я был буквально осыпан ими. Но когда пущенные в меня мячи стали возвращаться для нового удара, я разобрался в обстановке. Схватив ракетку и зорко следя за окружающим, я заметил возникавшую и исчезавшую радужную вспышку, которая металась по площадке. Я бросился к ней и ракеткой нанес ей полдюжины увесистых ударов. Зазвенел голос Поля:

— Хватит! Хватит! Ой! Да ну же! Стой! Ты бьешь по голому телу! А-ай! Больше не буду! Я только хотел, чтобы ты увидел мое превращение, — говорил он жалобным тоном, и мне показалось, что он растирает ушибленные места.

Через несколько минут мы уже играли в теннис. Я был в невыгодном положении, так как не видел Поля на площадке, кроме тех моментов, когда углы между ним, солнцем и мной были в подходящем сочетании. И тогда — но только тогда — он вспыхивал. Вспышки были ярче радуги: чистейшая голубизна, нежность фиолетового цвета, яркость желтого и все переходные цвета,

подобно бриллианту, сверкали, переливались, ослепляли.

Но в середине игры я почувствовал озноб, напоминающий о глубокой шахте или темном склепе, озноб, который я уже испытал в то утро. В следующий момент я увидел, как у самой сетки в воздухе мяч отскочил от пустого места, и в это же время шагах в двадцати Поль Тичлорн возник радужной вспышкой. Он не мог отбить этот мяч, и со смертельным страхом я понял, что Ллойд Инвуд явился к месту действия. Чтобы убедиться в этом, я поискал тень и увидел бесформенное пятно (солнце висело над головой), двигавшееся по земле. Я вспомнил его угрозу и понял, что все долгие годы соперничества должны привести к решительной и жуткой битве.

Я закричал, чтобы предупредить Поля, и услышал рычание, какое может издать дикий зверь. В ответ тоже раздалось рычание. Я увидел, как темное пятно быстро пересекало корт, а ослепительная вспышка многоцветных тонов с такой же быстротой ринулась навстречу тени. И тогда тень и вспышка встретились. Послышались звуки невидимых ударов. Сетка упала у меня на глазах. Испуганный, я бросился к дерущимся, крича:

— Ради бога!

Но их сцепившиеся тела задели меня, и я упал.

— Не вмешивайся, старина! — услышал я голос Ллойда Инвуда из пустоты. А затем раздался голос Поля:

— Да, да, с нас довольно примирений!

По голосам я понял, что они разошлись в разные стороны. Я не мог обнаружить Поля и поэтому приблизился к тени, которая представляла Ллойда. Но с другой стороны я получил ошеломляющий удар по челюсти и услышал сердитый окрик Поля:

— Да уберешься ты наконец?

Затем они снова сошлись. Шум ударов, стоны и тяжелое дыхание, быстрые вспышки и перемещения тени ясно говорили о беспощадности борьбы.

Я начал звать на помощь, и Джеффер Бедшоу прибежал на площадку. Я заметил, что он как-то странно смотрел на меня. Но он столкнулся с дерущимися и полетел на землю головой вперед. С отчаянным воплем, крича «О боже, вот оно!», он вскочил на ноги и понесся вон с площадки.

Мне ничего не оставалось делать, как беспомощно застыть на месте и следить за борьбой. Полуденное солнце с ослепительной яркостью заливало пустой теннисный корт. И он был пуст.

Я мог видеть только радужные вспышки и теневое пятно, пыль, поднятую невидимыми ногами, и колебания проволочной ограды, которую они раз или два задели. И это было все, а скоро и этого не стало. Не было больше вспышек, а тень вытянулась и застыла. И я вспомнил их решительные детские лица, когда они крепко держались за корни растений в холодной глубине пруда.

Меня нашли через час. Случившееся как-то дошло до слуг Тичлорна, и все они разбежались. Джеффер Бедшоу так и не выздоровел после второго потрясения. Он заключен в сумасшедший дом без надежды на выздоровление. Тайны чудесных открытий умерли вместе с Полем и Ллойдом, так как обе лаборатории были разрушены убитыми горем родственниками. Что касается меня, я больше не интересуюсь химическими исследованиями, и о науке в моем доме не говорят. Я возвратился к своим розам. Для меня достаточно хороши краски природы.

Джек Лондон
До Адама

«Это – наши предки, и их история – наша история.
Помните, что однажды мы спустились с деревьев,
А в гораздо более далеком прошлом,
Наши прародители выползли из моря
И начали свой путь по суше.»

ГЛАВА I

Видения! Видения! Видения! Сначала, теряясь в догадках, я недоумевал — откуда это множество видений, роящихся в моих снах — ведь ничего похожего я никогда не видел наяву. Они мучили меня с детства, превращая сны ребенка в череду кошмаров, а позже убедили в том, что я отличаюсь от себе подобных, являясь существом неестественным и проклятым.

Только днем ко мне приходило какое-то подобие успокоения. Ночью же я погружался в царство страха — и какого страха! Я могу с уверенностью предположить, что никто из ныне живущих никогда не испытывал ничего подобного, потому что мой страх — страх далекого прошлого, это ужас, царивший в молодом мире, вернее в пору юности Молодого Мира. Короче, я говорю о страхе, который безраздельно властвовал во времена известные под названием Среднего Плейстоцена. Что это значит? Пожалуй, все же необходимо кое-что объяснить прежде, чем я начну рассказ о своих снах. Иначе, вы не сможете понять того, что мне известно слишком хорошо. Ведь я пишу это, а все персонажи и события того, другого,

мира встают передо мной как величественная фантасмагория, хотя я не сомневаюсь, что для вас они будут всего лишь грубыми, неразумными существами. Да и что для вас дружба Вислоухого, красота Быстроногой, похоть и свирепость Красноглазого? Пустой звук и не более того, так же как и поступки Людей Огня или Древесных Людей, или невнятный говор на Совете Племени — для вас, не знающих спокойствия холодных пещер в отвесных скалах и сумятицы водопоев в конце дня, ведь рассветный ветер никогда не пронизывал вас на вершинах деревьев, и вы не ощущали сладости вкуса молодой коры на ваших губах.

Думаю, вы быстрее поймете, о чем речь, если я начну с рассказа о детстве, ведь для меня именно там все и началось. Днем я был таким же мальчишкой как все остальные. Но во сне я становился другим. С тех самых пор как я себя помню, ночь для меня была подернута ужасом. Лишь изредка мои сны окрашивались в легкие тона радости. Обычно они были наполнены страхом — и страхом таким странным и чуждым, что его не с чем было сравнить. Страх, который я иногда испытывал в обычной жизни не имел ничего общего с ужасом, который охватывал меня во сне. Он выходил далеко за пределы всего,

что я мог ощутить в реальной жизни.

Я был городским мальчишкой, ребенком, которому даже деревня казалась неисследованной землей, но я никогда не видел городов в своих снах, и ни один дом ни разу не возник в моих видениях. Больше того, ни один человек никогда не смог проникнуть сквозь полог моего сна. Я, видевший деревья только в парках и на иллюстрациях книг, блуждал во сне сквозь неоглядные леса. Удивительно, но деревья из сновидений были не туманными пятнами, а пронзительно отчетливыми образами. Я почти ощущал их. Я видел каждую ветку и прутик, я мог различить любой листик на дереве.

Я отлично помню, как впервые увидел дуб. Пока я рассматривал его листья, ветви и бугристый ствол, ко мне вдруг пришло беспокоящее своей живостью понимание того, что точно такое же дерево я видел бесчисленное количество раз в своих снах. И я уже не удивлялся, когда впоследствии, увидев впервые ель, тис, березу или лавр, сразу узнавал их. Я видел их всех прежде, видел точно такими же, каждую ночь, во сне.

Это, как вы уже догадались, нарушает основное правило сновидений, а именно, что во сне каждый видит только то, что он видел в жизни или

же различные комбинации того, что он пережил наяву. Но все мои сны ломали этот закон. В моих снах я никогда не видел НИЧЕГО из того, что видел в жизни. Во сне и наяву я жил разными жизнями, и ничто не могло избавить меня от этого. Я был соединяющим звеном между двумя мирами.

С раннего детства я знал, что орехи берут у бакалейщика, а ягоды у зеленщика, но, несмотря на это, во сне я рвал орехи с деревьев или собирал их на земле и поедал, и точно также я ел ягоды с кустов и с виноградных лоз. А ведь я ничего этого не знал! Помню, как впервые увидел чернику на обеденном столе. Никогда раньше я ее не видел, но и одного взгляда оказалось достаточно, чтобы тотчас пришли воспоминания о снах, в которых я пробирался по болоту, пригоршнями поедая чернику. Моя мать поставила передо мной блюдо. Я зачерпнул ложкой ягод, но прежде чем поднес ее ко рту, уже знал какими они будут на вкус. И не ошибся. Он был точно таким же, каким я ощущал его тысячи раз во сне.

Змеи. Вообще-то я слышал об их существовании, но в снах я был просто замучен ими. Они подстерегали меня на лесных полянах, прыгали, бились под ногами, скользили по сухой траве

или по скалам, преследовали меня на верхушках деревьев, обвивая стволы огромными блестящими телами, загоняя меня все выше и выше, все дальше и дальше на колеблющиеся и потрескивающие ветки, и земля оказывалась на головокружительном расстоянии подо мной. Змеи! — их раздвоенные языки, бусины их глаз и сверкающая чешуя, их шипение и их шуршание — как хорошо я уже знал все это во время своего первого посещения цирка, когда увидел как заклинатель змей заставляет их танцевать.

Они были старыми друзьями, эти враги, наполнявшие мои ночи страхом.

О, эти бесконечные леса, и их постоянно посещаемый ужасом мрак! Ради чего я блуждал в них, робкое, преследуемое существо, замирающее от малейшего шороха, пугающееся собственной тени, запуганный, вечно настороже, готовый мгновенно удрать ради спасения жизни? Ведь я был добычей для всех обитателей леса и трепеща от страха спасался бегством от вышедших на охоту зверей.

Впервые я оказался в цирке, когда мне было пять лет. Домой я пришел в полном изнеможении, но вовсе не от съеденного арахиса и выпитого розового лимонада. Как только мы

вошли под шатер, хриплый рев наполнил воздух. Я вырвался из рук отца и опрометью побежал наружу. Я столкнулся с кем-то, упал и заорал изо всех сил. Отец поднял меня и стал успокаивать. Он показывал на толпу людей, не обращающих никакого внимания на рев, и уверял меня, что я в полной безопасности. При постоянном подбадривании со стороны отца, вздрагивая от страха, я в конце концов смог приблизиться к клетке льва. О, я сразу узнал его. Чудовище! Один из самых опасных! Внутреннее зрение высветило воспоминания из моих снов — полуденное солнце, играющее на высокой траве, спокойно пасущийся дикий буйвол, трава, внезапно расступающаяся от стремительного движения кого-то желто-коричневого, его прыжок на спину быку, короткая схватка, рев и хруст, хруст костей. Или еще. Прохладный покой водной глади, дикая лошадь опускается на колени и тихо пьет, и затем кто-то желто-коричневый — всегда желто-коричневый! — его прыжок, крики и судороги лошади, и хруст, хруст костей. И еще. Мрачные сумерки и грустная тишина конца дня, и затем жуткий рев из разверстой пасти, внезапный, как трубный глас судьбы, и одновременно с ним безумный вопль и чья-то дрожь среди деревьев, и я тоже

трясусь от страха, один из многих вопящих и дрожащих на деревьях.

При виде него, беспомощного, за железными прутьями клетки, я пришел в неистовство. Я скалил на него зубы, подпрыгивал, выкрикивал бессвязные оскорбления и строил рожи. Он отвечал, бросаясь на прутья и рыча на меня в бесплодном гневе. О, он тоже узнал меня, и звуки из далекого прошлого, которые я издавал, они были понятны ему! Родители были напуганы. « Ребенок болен, « сказала моя мать. « У него истерика, « сказал мой отец. Я никогда не рассказывал им о своих снах, и они ничего не знали. Уже тогда я сообразил, что лучше помалкивать об этом своем качестве, вернее, об этом раздвоении личности.

Я еще увидел заклинателя змей, но это было все, что я смог перенести в тот вечер в цирке. Меня отвели домой, возбужденного и уставшего, больного от вторжения в мою реальную жизнь той, другой жизни моих снов.

Я уже упомянул о своем молчании. Только однажды я решился полностью довериться другому человеку. Это был мальчик — мой закадычный друг, нам было тогда по восемь лет. Я развернул перед ним картины своих снов, картины того давно исчезнувшего мира, в котором когда-то, я был

в этом твердо уверен, жил. Я поведал ему о невзгодах того мира, о Вислоухом и о наших проделках, о невнятной болтовне на наших сборищах, и о Людях Огня, и о захваченных ими землях.

Он хохотал и издевался надо мной, а потом стал рассказывать истории о призраках и о мертвецах, гуляющих по ночам. Но главным образом он смеялся над моей жалкой фантазией. Я рассказал ему больше, и он смеялся до упаду. Я поклялся со всей серьезностью, что все это было на самом деле, и тогда он посмотрел на меня как на придурка. После этого он стал рассказывать нашим приятелям мои истории в искаженном до неузнаваемости виде, пока все не стали смотреть на меня как на сумасшедшего.

Это был горький урок, но я его усвоил. Я был другим. Во мне было что-то такое, чего они не понимали и любые мои попытки объясниться могли вызвать только недоумение. Когда вокруг рассказывали истории о призраках и гоблинах, я оставался совершенно равнодушным и мрачно улыбался про себя, вспоминая о своих ночных кошмарах. Я знал, что они-то не выдуманы, а реальны как сама жизнь, в отличие от их худосочных химер и колеблющихся теней. Я не видел ничего ужасного в россказнях о привидениях и

злых людоедах. Падение через покрытые листвой ветви с головокружительной высоты; змеи, бросающиеся на меня, а я уворачиваюсь, стрелой проносясь мимо них в воздухе; дикие собаки, которые охотились за мной на лугах — вот это действительно были настоящие ужасы, реальные, а не воображаемые — живая плоть, пот и кровь. Людоеды и привидения были бы для меня лучшими приятелями в сравнении с тем, что мне пришлось увидеть во сне на своей детской кроватке. И эта «кроватка» все еще со мной, даже теперь, когда я пишу эти строки на склоне лет.

ГЛАВА II

Я уже говорил, что в своих снах никогда не видел людей. Я осознал этот факт очень рано, и остро ощущал отсутствие себе подобных. Даже будучи очень маленьким ребенком, я чувствовал, посреди ужасов моих сновидений, что, если я смогу найти там хотя бы одного человека, я буду избавлен от окружающих меня ужасов и они перестанут преследовать меня. Эта мысль в течение многих лет завладевала мной каждую ночь — как мне хотелось найти этого одного и освободиться от кошмаров!

Повторяю, эта мысль посещала меня в глубине моих снов, и я привожу это как доказательство слияния двух моих личностей, как доказательство контакта между двумя моими разъединенными частями. Моя погруженная в сон личность жила в далеком прошлом, до того как человек стал таким, каким мы привыкли его видеть, а другая моя личность — бодрствующая, пыталась узнать как можно больше о сущности человека, чтобы понять причину моих снов.

Возможно книжные психологи сочтут неправильным то, как я употребляю термин «раздво-

ение личности». Я знаю, что они имеют в виду, когда употребляют это словосочетание, тем не менее я вынужден пользоваться им за неимением лучшего. Меня оправдывает ограниченность английского языка. А теперь перехожу к разъяснению моего употребления или злоупотребления этим термином.

Только в юности, поступив в колледж, мне удалось получить некоторое представление о причинах моих сновидений. До того времени они казались бессмысленными и никак не связанными с реальностью. Но в колледже я открыл для себя эволюцию и психологию и изучил объяснения различных странных умственных состояний и переживаний. Например, падение с высоты — самое распространенное сновидение, известное практически каждому по собственному опыту.

Это, как объяснил мне мой профессор, была эволюционная память. Она вела начало от наших отдаленных предков, живших на деревьях. Для древесных обитателей возможность падения была постоянной угрозой. Многие из них именно так расстались с жизнью, и все испытали наводящие ужас падения, когда, несясь к земле, они спасались, цепляясь за ветки.

Результатом этого ужасного падения, предот-

вращенного таким способом, становился шок. Такой шок вызывает молекулярные изменения в клетках мозга. Эти молекулярные изменения передаются клеткам мозга потомка, становясь эволюционными воспоминаниями. Таким образом, когда вы и я, спящие или дремлющие, испытываем ощущение падения с высоты и просыпаемся в отвратительном состоянии непосредственно перед ударом о землю, мы просто вспоминаем то, что случилось с нашим древесным предком и отпечаталось с помощью изменений в мозге в наследственности вида. В этом нет ничего странного, также как нет ничего странного в обычном инстинкте. Инстинкт — просто привычка, которая всего лишь запечатлена в материале нашей наследственности. Стоит отметить к тому же, что в этих ночных падениях, так хорошо знакомых любому из нас, мы никогда не достигаем конца падения. Ведь иначе это означало бы смерть. Те из наших предков, которые разбивались, умирали немедленно. Конечно, шок от их падения передавался клеткам мозга, но они погибали сразу, до того как у них появлялись потомки. Мы с вами произошли от тех, что не разбились, вот почему и вы и я, в наших снах, никогда не достигаем конца падения.

И вот теперь мы подходим к раздвоению личности. Мы никогда не испытываем этого чувства падения, когда мы полностью бодрствуем. Наша бодрствующая личность ничего не знает об этом. Тогда, и это неопровержимый аргумент — должна быть другая, отличающаяся личность, которая падает, в то время как мы спим, и которая имеет опыт такого падения — короче говоря, у нее есть память о прошлом опыте вида, точно также как наша бодрствующая личность обладает памятью нашего дневного опыта.

На этой стадии своих рассуждений я увидел свет в конце туннеля. И тотчас же этот свет обрушился на меня, он ослепил меня своей яркостью и сиянием, объяснением всего, что до этого было сверхъестественным, странным и противоестественно невозможным в моих впечатлениях от сновидений. Во сне существовала отнюдь не моя бодрствующая личность. Это была другая, отличающаяся от меня личность, обладающая новым и совершенно другим запасом опыта и, как следует из моих снов, имеющая воспоминания о совершенно других переживаниях.

Что это была за личность? Когда она жила обычной для нее жизнью на этой планете, чтобы приобрести запас удивительного жизненного

опыта? Это были вопросы, на которые мои сновидения отвечали сами. Он жил давно, когда мир был молод, в том периоде, что мы называем Средним Плейстоценом. Он падал с деревьев, но не разбился. Он вопил от страха при львином реве. Его преследовали хищники и ядовитые змеи. Он бормотал что-то с такими же как он на сборищах его племени и получил жестокий урок от Людей Огня, в тот день, когда ему пришлось бежать от них.

Но, вы можете возразить мне, почему же эти воспоминания не наши собственные, если мы видим как кто-то неопределенный падает в бездну пока мы спим? Отвечаю вопросом на вопрос. Что такое двухголовый теленок? Причуда природы. Вот и ответ на ваш вопрос. У меня есть эта другая личность и эта полная эволюционная память, потому что я такая же причуда природы.

Я хочу чтобы вы поняли.

Самая распространенная эволюционная память, которая есть у нас, это сновидения с падением. Единственное, что есть у такой неопределенной личности это память о падении. Но многие из нас имеют более четкую, более ясную другую личность. Многие из нас летают во сне, другим снится как их преследует чудовища,

цветные сны, кошмары удушья, сны со змеями и паразитами. Короче говоря, в то время как в большинстве из нас эта вторая личность почти не проявляется, а в некоторых почти стерта, в других она проявляется больше. Некоторые из нас имеют более сильную, более полную эволюционную память, чем остальные. Это вопрос различной степени преобладания другой личности. В моем случае степень преобладания другой личности огромна. Моя вторая личность почти равна по силе моей собственной индивидуальности. И в этом смысле, как я уже сказал, я причуда природы — причуда наследственности.

Я полагаю, что именно преобладание второго «я» — но не в такой сильной степени как у меня — вызывает кое у кого веру в переселение душ. Для них это самое простое объяснение. Когда у них появляются видения того, что они никогда не наблюдали в жизни, воспоминания о поступках и событиях из прошлого, самым очевидным объяснением является то, что они уже жили раньше.

Но они делают ошибку, игнорируя собственную двойственность. Они не узнают своего второго «я». Они думают, что это их собственная личность, что они имеют только одну индивидуальность, а из такой предпосылки они могут заключить

только, что они жили в предыдущих жизнях.

Но они ошибаются. Это — не перевоплощение. Я помню, как иду по дебрям и все же все это видел не я, а тот, который является только частью меня, как мой отец и мой дед частицы меня, только менее отдаленные. Этот « другой я «

— мой пращур, предок моих предков в древней линии моего вида, в свою очередь является непосредственным потомком тех, у кого задолго до него появились пальцы рук и ног, позволившие им вскарабкаться на деревья. Я должен снова, рискуя вызвать раздражение, повторять, что я только в этом могу считаться отклонением от нормы. Не один я обладаю эволюционной памятью в такой огромной степени, но я обладаю памятью одного необычного и очень далекого прародителя. И все же, хотя это весьма необычно, в этом нет ничего сверхъестественного.

Следите за моими рассуждениями. Инстинкт — эволюционная память. Прекрасно. Тогда вы, я и все остальные получаем эти воспоминания от наших отцов и матерей, также как они получили их от своих отцов и матерей. Но в таком случае должна иметься некая среда, посредством которой воспоминания передаются от поколения к поколению. Эта среда — то, что Вайсман называет

«гермоплазмой». Именно она несет в себе память о всей эволюции человечества. Эта память очень тусклая и запутанная, и многое в ней утеряно. Но некоторые участки гермоплазмы несут в себе значительно больше наследственной памяти или, чтобы быть более научным, более атавистичны, чем другие. И такой участок есть во мне. Я — казус наследственности, атавистический кошмар — называйте меня как хотите, но вот он я, во плоти и крови, с отличным аппетитом, и что вы собираетесь с этим делать?

И теперь, прежде, чем я перейду к своему повествованию, я хочу предвосхитить сомнения простаков в психологии. Тех, кто склонен насмехаться, и кто тем не менее уверенно заявляет, что связность моих сновидений обязана слишком усердным занятиям, подсознательной проекции моих знаний об эволюции в мои сны. Во-первых, я никогда не был рьяным студентом. Я был последним в списке закончивших курс. Я уделял больше времени занятиям спортом и — нет никакой причины скрывать это — игре на бильярде.

Далее. Я ничего не знал об эволюции пока не поступил в колледж, а ведь в детстве и юности я уже жил в своих снах со всеми деталями той другой давно исчезнувшей жизни. Я должен

сказать, однако, что эти детали были перемешаны, несвязны до тех пор пока я не изучил науку эволюции. Эволюция стала ключом. Она дала объяснение, внесла здравомыслие в проделки этого моего атавистического мозга, современного и нормального, но вслушивающегося в прошлое столь отдаленное, что оно сравнимо с самым началом человечества.

Из того, что я знаю об этом прошлом следует, что человека в нашем понимании тогда еще не было. Именно в период его становления я должен был жить и выживать.

ГЛАВА III

Самым частым видением моего раннего детства было нечто подобное этому: мне казалось, что я очень маленький и лежу, свернувшись в клубок в своего рода гнезде из множества прутьев и ветвей. Иногда я лежал на спине. В этом положении, кажется, я провел много часов, наблюдая игру солнечного света на листве и покачивание ветром листьев. Часто и само гнездо раскачивалось, когда поднимался сильный ветер .

Но всегда, в то время как я так лежал в гнезде, я ощущал огромное пространство под собой. Я никогда не видел его, я никогда не глядел через край гнезда, но я ЗНАЛ и боялся этого пространства, которое открывалось сразу подо мной и которое всегда угрожало мне подобно утробе какого-нибудь всепожирающего монстра.

Этот сон, в котором я находился в полном покое и который скорее походил на спячку, чем на активную жизнь, я видел очень часто в раннем детстве. Но внезапно, все менялось и я оказывался в самой гуще странных событий и жутких происшествий вроде грома, или сокрушительной бури, или посреди незнакомых пейзажей,

которых я никогда не видел в своей обычной жизни. Результатом этого были замешательство и ночные кошмары. Я ничего не мог понять в происходящем. Там не было логической последовательности событий.

Вы уже поняли, что я видел сны не последовательно. Только что я был крошечным малышом Юного Мира, лежащим в гнезде на дереве, а в следующее мгновение я становился мужчиной Юного Мира, схватившимся в бою с отвратительным Красноглазым, и тут же я осторожно подползаю к водопою в жаркое время дня.

События и годы в Юном Мире, сменялись для меня с калейдоскопической быстротой.

Все перепуталось в моих снах, но я не собираюсь утруждать вас этой сумятицей. Пока я был молод и тысячи раз погружался в свои видения мне казалось, что все уладиться и станет ясно и просто. Потом я понял что получил свернутую в клубок нить времени и должен соединить вместе кусочки событий и поступков в их надлежащем порядке. Только так я могу восстановить ускользающий Юный Мир каким он был в то время, когда я жил в нем — или в то время, когда мое « другое я» жило в нем. Это различие мало что меняет, ведь и я — современный человек тоже

вернулся в прошлое и жил первобытной жизнью в обществе своего второго «я».

Для вашего удобства, так как это не научная статья, я буду объединять различные события в связное повествование. По счастью, есть некая канва, на которую нанизываются все видения. Например, моя дружба с Вислоухим, а также вражда с Красноглазым и любовь к Быстроногой. В целом получилась довольно последовательная и интересная история, я уверен вы с этим согласитесь.

Я почти не помню своей матери. Наверное, самое раннее воспоминание о ней — и, конечно, самое яркое — является следующим: кажется, я лежу на земле. Я несколько старше, чем в те дни, когда лежал в гнезде, но все еще беспомощный. Я возился в куче сухих листьев, играя с ними и издавая вполголоса довольно грубые звуки. Солнышко пригревало, мне было уютно, и я был счастлив. Я лежал на маленькой поляне. Со всех сторон были кусты и папоротники, а надо мной возвышались ветвистые громады лесных деревьев.

Внезапно я услышал звук. Я приподнялся и прислушался. Я застыл. Все звуки замерли у меня в горле, и я сидел в оцепенении. Звук прозвучал

ближе. Он был похож на хрюканье свиньи. Затем я стал слышать звуки, вызванные перемещением чьего-то тела через кустарник. Потом я увидел как колышутся папоротники. Вот они расступились, и я увидел сверкающие глаза, длинную морду и белые клыки.

Это был дикий кабан. Он глядел на меня с любопытством. Он хрюкнул раз или два, переступил всей своей тушей с ноги на ногу, повел мордой из стороны в сторону, раздвигая папоротник. Я продолжал сидеть окаменев, мои глаза не мигая смотрели на него, а страх пожирал мое сердце.

Казалось, что он ожидал от меня этой неподвижности и молчания. Я не должен был кричать перед лицом опасности. Это диктовал инстинкт. И так я сидел там и ждал сам не зная чего. Боров раздвигает папоротники и выходит на поляну. Любопытство пропало из его глаз и они замерцали безжалостно. Он угрожающе наклонил в мою сторону голову и продвинулся на шаг. Потом еще на шаг. И еще.

Тогда я закричал … или завопил — я не могу описать его, но это был пронзительный вой и жуткий крик одновременно. И, по-моему, это тоже было как раз то, что я и должен был сделать. Невдалеке раздался ответный крик. Издаваемые

мной звуки, похоже, на мгновение ошеломили кабана, и в то время как он приостановился в нерешительности, рядом с нами внезапно возник призрак.

Она была подобно большому орангутангу, моя мать, или шимпанзе, и все же, резкими и определенными чертами весьма отличалась от них. Она была более крепко сбита, чем они и менее волосатая. Ее руки были не такие длинные, а ноги толще. На ней не было одежды — только ее собственные волосы. И я уверяю вас — в ярости она была сущей фурией.

И подобно фурии она вылетела на сцену. Она скалила зубы, делая ужасные гримасы, рычала, и все время издавала резкие крики, которые звучали подобно » Кх-ах! Кх-ах! «. Столь внезапным и грозным было ее появление, что кабан ощетинился, непроизвольно заняв оборонительную позицию, когда она повернулась к нему. Он был ошеломлен. Потом она повернулась ко мне. Я знал, что мне нужно делать в это мгновение, которое она подарила мне. Я прыгнул ей навстречу и обхватил за талию руками и ногами — да, ногами, я мог держаться ими также цепко как и руками.. Я чувствовал ее жесткие волосы под моими судорожно сжатыми лапками и как

бугрились под ее кожей напрягшиеся мышцы.

Как я уже сказал, я прыгнул ей навстречу и в то же секунду она подпрыгнула, ловя нависающую ветвь. В следующее мгновение под нами, щелкая клыками, пронесся кабан. Он оправился от столбняка и прыгнул вперед, с визгом, переходящим почти в рев.

Во всяком случае это был зов, потому что он сопровождался звуками несущегося через кусты и папоротники стада.

Со всех сторон дикие кабаны выбегали на поляну — их было десятка два. Но моя мать уже перебросила свое тело через толстый сук в дюжине футов от земли, и мы взгромоздились там в безопасности. Она была очень возбуждена. Она ухала и вопила, осыпая бранью окруживших дерево злобных тварей, ощетинившихся и скрежещущих зубами. Я тоже, дрожа от страха и глядя вниз на рассвирепевших животных, старался подражать крикам моей матери.

Издалека донеслись похожие крики, только поглубже, нечто вроде ревущего баса. Они быстро приближались и вскоре я увидел его, моего отца. Во всяком случае в той мере в какой вообще об этом можно было судить в те времена, я пришел к заключению, что именно он был моим отцом.

Он был не очень-то привлекателен, мой отец. Он казался наполовину человеком и наполовину обезьяной, и все же не обезьяна, и все же не человек. Я не в состоянии описать его. Нет сейчас на земле, под землей, и в земле ничего похожего на него. Он был крупным мужчиной для своего времени, и, должно быть, весил не меньше ста тридцати фунтов. У него было широкое и плоское лицо, брови нависали над глазами. Сами глаза были маленькие, глубоко посаженные близко друг к другу. У него фактически отсутствовал нос. Вернее это было широкое и приземистое сооружение, похоже, без переносицы, где ноздри были просто двумя дырами в лице, смотрящими наружу, а не вниз. Лоб шел назад от глаз, а волосы начинали расти прямо над ними. Голова была нелепо маленькая и держалась на столь же нелепой толстой и короткой шее.

В его теле была стихийная целесообразность — как и у всех остальных обитателей этого мира. Грудь была широкой, это правда, как ворота, но не было красивых мощных выпуклых мышц, широких плеч, стройности тела, красоты линий фигуры. Тело моего отца было воплощенной силой, силой без красоты, свирепой, исконной силой, созданной, чтобы хватать, бить, разрывать

и уничтожать.

У него были худощавые бедра, кривые, тощие и волосатые ноги. Фактически, ноги моего отца были скорее руками. Они были искривлены и бугристы, и столь же походили на мои или ваши ноги как копыта откормленного бычка напоминают изящные ножки красавицы. Я припоминаю, что он не мог наступать поверхностью всей стопы, потому что это была цепкая нога, скорее рука, чем нога. Большой палец ноги, вместо того чтобы находиться на одной линии с другими пальцами, был оттопырен как большой палец руки, и это позволяло ему хватать ногами. Но именно из-за этого он не мог ступать на подошву ноги.

Но, для оседлавших ветку над стадом диких кабанов, меня и моей матери, его внешность и манеры были вполне привычны, когда он несся по деревьям, прыгая с ветки на ветку. Сейчас, когда я пишу эти строки, он стоит у меня перед глазами — качающееся на деревьях, четырехрукое, волосатое существо, воющее в гневе, замолкающее на мгновение, чтобы ударить себя в грудь крепко сжатым кулаком, бесстрашно прыгающее на десять-пятнадцать футов с ветки на ветку на огромной высоте, безошибочно угадывая путь в лесной чаще.

И пока я смотрел на него, я почувствовал в самой глубине своего естества, каждым своим мускулом как волна острого желания также лететь сквозь деревья охватывает меня и одновременно с этим я понял, что когда-нибудь стану таким же как он. А почему бы и нет? Маленькие мальчики наблюдают как их отцы машут топорами и валят деревья и понимают, что когда-нибудь и они тоже будут взмахивать топорами и рубить деревья. Также и со мной. Жизнь, что была во мне, была создана, чтобы делать тоже, что делал мой отец, и она таинственно и горделиво нашептывала мне о воздушных тропах и полетах над лесом.

Наконец мой отец присоединился к нам. Он был чрезвычайно зол. Я помню как он оскалился, когда смотрел вниз на кабанов. Он рычал как собака, и я помню, что его глазные зубы были большие, как клыки, и что они произвели на меня большое впечатление. Своим поведением он только привел кабанов в еще большее бешенство. Он рвал прутья и маленькие ветки и бросал их вниз в наших врагов. Он даже повисал на одной руке, в опасной близости от них, и дразнил их, в то время как они скрежетали клыками в бессильном гневе. Не удовлетворившись этим, он отломил толстую ветку, и, держась рукой и

ногой, тыкал ею в бока, приведенных в бешенство животных, и бил их по мордам. Излишне говорить о том, что я и моя мать с наслаждением наблюдали за этим зрелищем.

Но даже самое приятное занятие рано или поздно наскучивает и в конце концов отец со злым смехом понесся по деревьям. Мои честолюбивые мечты сразу испарились, и я, оробев, крепко прижался к матери, а она вскарабкалась вверх и понеслась над бездной. Я помню, как ветвь сломалась под тяжестью ее тела. Она совершила огромный прыжок и под треск дерева меня охватило вызывающее отвращение чувство падения нас обоих. Деревья и солнце, играющее лучами на шелестящих листьях, исчезли из моих глаз. Образ моего отца, резко остановившегося, чтобы посмотреть в чем дело, стал расплываться и все погрузилось в темноту.

В следующее мгновение я прихожу в себя на своей застеленной чистым бельем кровати, весь в поту, меня бьет дрожь и тошнит… Окно было открыто и прохладный воздух задувал в комнату. Спокойно горела ночная лампа. И я понимаю, что дикие кабаны не добрались до нас, и что мы не разбились, иначе меня бы здесь не было сейчас — через тысячи веков, и я не мог вспоминать

происходившее.

А теперь на мгновение поставьте себя на мое место. Побудьте недолго в моем ласковом детстве, проведите ночь рядом со мной, представьте себе что это вы видите во сне такие непостижимые ужасы.

Поймите, ведь я был всего лишь ребенок. Я никогда не видел диких кабанов. Я и домашних-то свиней не видел. Самое близкое касательство к свиньям, какое я пережил, был бекон, поджаренный к завтраку на собственном сале. И одновременно с этим, реальные как сама жизнь кабаны, проносящиеся в моих снах, и я со своими невообразимыми родителями перелетающий с дерева на дерево.

Может ли теперь вас удивить то, что я был испуган, что меня угнетали мои проникнутые кошмарами ночи? Я был проклят. И хуже всего было то, что я боялся об этом рассказывать. Не знаю почему, но я испытывал чувство вины, хотя сам не знал в чем моя вина. Вот так долгие годы я страдал молча пока не стал взрослым и не узнал в чем же причина моих видений.

ГЛАВА IV

Есть одна странность в моих доисторических воспоминаниях. Это — неопределенная временная последовательность. Я не всегда знаю порядок событий — вернее, сколько лет отделяют одно событие от другого– год, два, четыре или пять. Я могу только грубо определить отрезок времени, сообразуясь с изменениями во внешности и занятиях моих соплеменников.

Кроме того, я могу применить логику к различным событиям. Например, нет никакого сомнения в том, что моя мать и я были загнаны на дерево дикими кабанами, мчались по деревьям, а потом падали, задолго до того как я познакомился с Вислоухим, ставшим потом моим закадычным другом. И то, что в период между двумя этими событиями, я должен был покинуть свою мать является всего лишь логическим умозаключением.

Я не могу вспомнить о своем отце ничего кроме того, что уже рассказал. Никогда за все последующие годы он больше не появился. Из того, что я знаю о тех временах, единственное возможное объяснение в том, что он погиб вскоре после приключения с дикими кабанами. Нечего

и говорить о том, что это была неестественная смерть. Он был полон сил и только внезапная и насильственная смерть могла забрать его. Но я не знаю обстоятельств его ухода — утонул он в реке, или был проглочен змеей, или закончил жизнь в желудке тигра — старого Саблезуба, лежит за пределами моих знаний.

Насколько я понимаю, я помню только то, что видел своими собственными глазами в те доисторические времена. Если моя мать и знала как погиб мой отец, она никогда мне не рассказывала. Вообще-то я сомневаюсь, было ли в ее словаре достаточно слов, чтобы выразить это.

Считается, что в те времена словарный запас человека возможно не превышал тридцать или сорок звуков.

Я называю их ЗВУКАМИ, а не СЛОВАМИ, потому что это и были, скорее всего, именно звуки. Они не имели определенного значения, не различались прилагательные и наречия. Эти части речи еще просто даже не были изобретены. Вместо определения существительных или глаголов с помощью прилагательных и наречий, мы уточняли звуки интонацией, изменениями их долготы и высоты, замедлением и ускорением их произнесения. Продолжительность произнесения определенно-

го звука оттеняла его значение.

Мы не спрягали слова. Судить об употребленном времени можно было только по контексту. Мы говорили только о конкретных вещах, потому что только о них мы и думали. Кроме того, в большом употреблении у нас был язык жестов. Простейшая абстракция была за пределами наших умственных возможностей, и если кого-нибудь случайно посещала мысль, ему было трудно передать ее товарищам. Для этого недоставало звуков. Он был ограничен пределами своего словаря. Если он сам изобретал для этого звуки, его товарищи их не понимали. Тогда ему приходилось прибегать к жестам, чтобы объяснить свою мысль и в тоже время снова и снова повторяя новый звук.

Так обогащался язык. Обладая немногими звуками, мы могли выходить из их пределов только на небольшое расстояние, затем мы нуждались в новых звуках, чтобы с их помощью выразить новую мысль. Иногда, однако, мы удалялись на слишком длинное расстояние за пределы наших звуков, ухитряясь достичь абстрактных понятий (я думаю весьма примитивных), которые мы с большим трудом могли донести до других. В общем, язык в те времена развивался не слишком

быстро.

Да, поверьте мне, мы были удивительно просты. Но мы знали много такого, что неизвестно сейчас. Мы могли двигать ушами, ставить их торчком и опускать вниз, когда нам хотелось. И мы с легкостью чесали у себя между лопатками. Мы могли бросать камни ногами. Я сам делал это много раз. Из-за этого я мог, удерживая колени прямо, и нагибаясь вперед, дотронуться не кончиками пальцев, а локтями до земли. А что до птичьих гнезд, ну, я могу только пожелать, чтобы мальчик живущий в двадцатом веке мог наблюдать за нами. Только мы не клали яйца в коллекцию. Мы их ели.

Вот помню… но я забежал вперед. Сначала позвольте мне рассказать вам о Вислоухом и нашей дружбе. Очень рано я остался без матери. Возможно это произошло потому, что у нее появился другой мужчина. У меня осталось немного воспоминаний о ее втором муже и не все они приятные. Он был паршивый парень. Он был неоснователен и болтлив. Его чертово бормотание достает меня даже сейчас, когда я думаю о нем. Его разум был слишком слаб, чтобы он мог достичь какой-нибудь цели. Обезьяны в клетках всегда напоминают мне его. Он был обезьянопо-

добен. Это — лучшее описание, которое я могу дать ему.

Он возненавидел меня с самого начала. И я быстро научился бояться его и его злобных выходок. Всякий раз, когда он появлялся я подползал поближе к моей матери и цеплялся за нее. Но я рос, и неизбежно, время от времени отходил от нее, и чем дальше тем больше. Это были возможности, которых Болтун ожидал. (Впрочем вы должны знать — у нас не было никаких имен. Ни у кого. Ради удобства, я сам дал имена людям, с которыми общался, и «Болтун» — самая приемлемая кличка, которую я смог подобрать для своего драгоценного отчима. Что до меня, я назвал себя «Большой Зуб». Мои клыки были явно великоваты.).

Но вернемся к Болтуну. Он постоянно терроризировал меня. Он всегда щипал и шлепал меня, и не упускал случая поколотить. Моя мать часто вмешивалась и любо — дорого было посмотреть как его шерсть летела во все стороны. Но в результате завязывалась превосходная нескончаемая семейная ссора, в которой я был яблоком раздора. Нет, моя домашняя жизнь не была счастливой. Я улыбаюсь, когда пишу эту фразу. Домашняя жизнь! Дом! Я не имел никакого дома в совре-

менном смысле этого слова. Моим домом была взаимная привязанность, а не жилище. Я жил в лоне материнской заботы и любви, а не в доме. Моя мать жила, где придется, просто, когда наступала ночь, она взбиралась на ветки.

Она была старомодна и все еще привязана к своим деревьям. По правде говоря, более прогрессивные члены нашего племени жили в пещерах над рекой. Но моя мать была подозрительна и непрогрессивна. Деревья были для нее достаточно хороши. Конечно, у нас было особое дерево, на котором мы обычно устраивались на ночлег, хотя частенько мы делали это и на других деревьях, если нас застигали там сумерки. В удобном разветвлении было нечто вроде грубой площадки из прутьев, веток и травы. Это было скорее огромное птичье гнездо, а не жилище человека, и в то же время оно было в тысячу раз грубее любого птичьего гнезда. Но у него была одна особенность, которой я никогда не видел ни у одного птичьего гнезда — крыша.

О, не та крыша, которую строит современный человек! И даже не та, что строят сегодня самые отсталые дикари. Она была бесконечно более неуклюжей, чем самая неуклюжая ручная работа человека — человека каким мы его знаем. Все бы-

ло свалено случайным, беспорядочным образом. Выше разветвления дерева, где мы отдыхали, была груда сухих веток и прутьев. Четыре или пять смежных развилок, поддерживали то, что я могу называть подпорками. Это были просто крепкие шесты, дюйм или около того в диаметре. На них опирались охапки прутьев и веток. Казалось, их кто-то просто свалил в кучу. Не было заметно чтобы кто-то пытался прикрыть дыры травой. И я должен признать, что в сильный дождь кровля жутко протекала.

Проклятый Болтун. Он сделал домашнюю жизнь невыносимой и для меня и для матери — под домашней жизнью я подразумеваю не дырявое гнездо на дереве, но совместную жизнь нас троих. Больше всего его злоба проявлялась в том, как он преследовал меня. Это была единственная цель, которой он держался стойко более пяти минут. Кроме того, время шло, и моя мать все меньше стремилась защищать меня. Я думаю, что стал ей неприятен из-за непрерывных ссор, затеваемых Болтуном. Во всяком случае, ситуация изменялась от плохого до худшего настолько быстро, что мне надо было вскоре по собственной воле убираться из дома. Но мне не удалось получить удовольствия от столь независимого

поступка. Прежде, чем я собрался уйти, меня выгнали. В буквальном смысле этого слова.

У Болтуна появилась такая возможность в тот день, когда я остался один в гнезде. Моя мать и Болтун ушли вместе к черничному болоту. Он, должно быть, все спланировал, поскольку я слышал как он возвращался один через лес, ревущий от деланного гнева. Подобно всем мужчинам нашей орды, когда они были обозлены или пытались привести себя в это состояние, он время от времени стучал себя в грудь кулаком.

Понимая безвыходность ситуации, я, дрожа, присел в гнезде. Болтун сразу подошел к дереву — я помню это был дуб — и начал подниматься вверх. И ни на миг не прекращал своего адского рыка. Как я уже говорил, наш язык был чрезвычайно скуден, и он должен был подвывать на разные лады, чтобы дать мне почувствовать всю меру его ненависти ко мне, и о том, что он собирается разобраться со мной здесь и сейчас.

Как только он приблизился к разветвлению, я выбежал на большую горизонтальную ветку. Он следовал за мной, и я шел дальше и дальше. В конце концов я оказался среди тонких веток покрытых листьями. Болтун всегда был трусом, и чем больше он показывал свой гнев, тем больше

проявлял осторожность. Он боялся преследовать меня по тонким веткам, опасаясь что под его огромным весом ветки не выдержат, и он свалится прежде, чем поймает меня. Но ему незачем было идти за мной, и он знал это, негодяй! На лице у него было злорадное выражение, его маленькие глазки сверкали жестокостью, и он начал раскачиваться. Раскачиваться! — вместе со мной, стоящим на самом конце ветки, вцепившись в медленно гнущиеся подо мной прутики. В двадцати футах подо мной была земля.

Он раскачивался все сильнее и сильнее, скалясь на меня с ликующей ненавистью. Затем все кончилось. Все четыре ветки, за которые я держался, сломались одновременно, и я упал вниз, продолжая смотреть на него и не выпуская из рук сломанные ветки. К счастью, там не было никаких диких кабанов, а мое падение было смягчено спружинившими нижними ветвями.

Обычно, мои падения разрушают мои видения, нервный шок мгновенно перебрасывает мостик между тысячью веков, и я оказываюсь проснувшимся в моей маленькой кроватке, где я лежу, потея и дрожа и слыша как кукушка на часах оповещает о времени в гостиной. Но этот сон о моем исходе из дома я видел много раз и ни разу

не проснулся от него. Я просто падаю с воплем вниз через крону дерева и шлепаюсь на землю.

Поцарапанный, весь в синяках и хныкающий, я лежал там, где упал. Лежа в кустах, сквозь ветки я видел Болтуна. Он бесновался от радости и самозабвенно отдавался этому, качаясь на ветке. Я быстро перестал хныкать. Я не был больше на дереве, в безопасности, и знал что может мне грозить, если я привлеку к себе внимание вышедших на охоту зверей слишком громким выражением моей печали.

Помню, перестав рыдать, я заинтересовался странными световыми эффектами вызванными морганием моих влажных от слез ресниц. Потом я начал осматриваться и обнаружил, что пострадал при падении не так уж сильно. Несколько царапин и вырванных волос, острый зазубренный конец сломанной ветки вошел на дюйм в предплечье, да правое бедро, на которое я упал, болело невыносимо.

Но все это, в конце концов, были только мелкие повреждения. Ни одна кость не была сломана, а в те времена плоть человека заживала куда лучше чем сейчас. Все же это было чувствительное падение, так что я еще и через неделю хромал из-за своего поврежденного бедра.

Затем, пока я лежал в кустах, ко мне пришло ощущение одиночества, заброшенности, осознание того. что я стал бездомным. Я решил никогда не возвращаться к матери и Болтуну. Я лучше уйду далеко через ужасный лес, и найду какое-нибудь дерево для ночлега. Что касается еды, я знал, где найти ее. Почти год я не был обязан матери пищей. Все, чем она снабжала меня, были защита и руководство.

Я осторожно выполз из кустов. Один раз я оглянулся и увидел Болтуна, который все еще качался на ветке, завывая от радости. Это было неприятное зрелище.

Я умел быть осторожным, и я был чрезвычайно осмотрителен во время этого своего первого выхода в большой мир.

Я шел куда глаза глядят. У меня была только одна цель — оказаться вне пределов досягаемости Болтуна. Я поднялся на дерево и блуждал несколько часов, перебираясь с одного дерева на другое и ни разу не спустившись на землю. Но я не продвигался в каком-то одном определенном направлении, это было перемещение вообще. Это было в моем характере, также как это было в характере моего народа — поступать не задумываясь, без определенной цели. Кроме того, я

был всего лишь ребенок, и часто останавливался поиграть. События, которые случились со мной после того, как я был вынужден уйти из дома, запечатлелись у меня в памяти очень смутно. Не все они появились в моих видениях. Мое другое «я» многое забыло и особенно в этом периоде моей первобытной жизни. К тому же, ведь я не мог вызывать видения по собственному произволу, чтобы соединить промежуток между моим уходом из дома на дереве, и моим приходом в пещеры.

Я помню, что несколько раз выходил на открытые места. Спускаясь на землю, я пересекал их трепеща от страха и на предельной скорости. Я помню, что были дождливые дни и дни солнечные, так что я, должно быть, блуждал один в течение немалого времени. В особенности мне запомнился сон, где я страдаю от сырости и от голода, и как я перенес это. Очень сильное впечатление оставила охота на маленьких ящериц на каменистой вершине открытого холма. Они сновали под камнями, и большинство их убегало, но иногда я переворачивал камень и успевал поймать одну. Я был напуган неподалеку от этого холма змеями. Они не преследовали меня. Они просто грелись на плоских камнях на солнце. Но

таков был мой врожденный страх перед ними, что я сбежал с такой скоростью, как если бы они неслись за мной по пятам. Потом я грыз горькую кору с молодых деревьев. Смутно припоминаю пожирание множества незрелых орехов с мягкой скорлупой и молочно-белой сердцевиной. Наиболее отчетливо я помню как страдал от боли в желудке. Возможно, это было вызвано зелеными орехами, а может быть ящерицами. Не знаю. Но я знаю, что мне посчастливилось не быть съеденным в течение тех нескольких часов, когда я корчился от боли, лежа на земле.

ГЛАВА V

Передо мной внезапно возникает сцена моего появления из леса. Я оказался на краю большого открытого пространства. С одной стороны него возвышались отвесные скалы. С другой была река. Берег круто сбегал к воде, но то тут, то там, в нескольких местах, где обвалилась порода, виднелись тропинки. Это были места водопоев народа, жившего в пещерах. Здесь было главное стойбище племени, на которое я случайно наткнулся. Это была, можно сказать, почти деревня. Моя мать, Болтун, я и несколько таких же простаков были, так сказать, жителями предместья. Мы были частью племени, хотя и жили вне его. Стойбище было не так уж далеко от моего бывшего дома, хотя я и блуждал целую неделю пока набрел на него. Если бы я шел прямо к нему, я мог бы проделать весь путь за час.

Однако продолжим. С опушки леса я увидел пещеры в отвесных скалах, открытую площадку и тропы к водопоям. На этой площадке я увидел многих представителей своего племени.

Я странствовал, брошенный ребенок, в течение недели. В течение этого времени я не видел нико-

го похожего на меня. Я был в страхе и отчаянии. И теперь, при виде своих, меня переполняла радость, и забыв обо всем я бросился к ним.

Потом произошло нечто странное. Кто-то из племени увидел меня и издал крик предупреждения. Мгновенно, с криками панического ужаса, все побежали прочь. Прыжками взбираясь по камням, они скрылись в пастях пещер и исчезли … все кроме одного — маленького ребенка, брошенного в суматохе у самого обрыва. Он горестно взвыл. Выбежала его мать, он прыгнул к ней, крепко вцепился, а она вскарабкалась назад в пещеру.

Я был в полном одиночестве. Переполненная площадка внезапно стала пустынной. Я сел и заплакал в одиночестве. Я ничего не понимал. Почему племя убежало от меня? Позже, когда я узнал их ближе, я все понял. Когда они увидели меня, опрометью мчащегося из леса, они решили, что меня преследует какой-то зверь. Своим необычным появлением я обратил их в бегство.

Пока я сидел, вглядываясь в разверстые пасти пещер, я понял, что Племя наблюдает за мной. Вскоре они высунули головы наружу. Чуть позже спрятались опять, потом снова появились один за другим. В спешке и замешательстве не все

заняли собственные пещеры. Некоторые из детей нашли убежище в других пещерах. Матери не звали их по именам, поскольку мы еще не знали что это такое. Ни у кого из нас не было имен. Матери издавали ворчливые обеспокоенные крики, которые были понятны детям. Если бы моя мать была здесь и звала меня, я должен был признать ее голос среди голосов тысячи матерей, и таким же образом она должна была узнать мой среди тысячи.

Это шевеление туда-сюда, возвращение назад и продвижение вперед, продолжалось еще в течение некоторого времени, но они были слишком осторожны, чтобы выйти из своих пещер и спуститься вниз. Наконец, один решился. Ему предстояло сыграть значительную роль в моей жизни, и в каком-то смысле он уже играл большую роль в жизни всех членов племени. Это был тот, кого я буду звать Красноглазым на страницах этой истории — из-за какой-то болезни глаз, веки у него всегда были красными. Эффект, который производили его глаза, казалось был предназначен предупредить о его ужасающей свирепости. В его глазах была суть его души, если она у него была.

Это был монстр. Великан. Он, должно быть,

весил не меньше ста семидесяти фунтов. Он был самым большим из нашего вида, кого я когда-либо видел. Я не видел таких гигантов ни среди Людей Огня, ни среди Древесных Людей. Иногда, когда в газетах мне случается наткнуться на описание наших современных чемпионов по профессиональному боксу, мне приходит в голову мысль — интересно сколько шансов лучший из них имел бы против него? Боюсь, не много. Одним движением своих железных пальцев, он мог бы вырвать из их тела мышцу, допустим бицепс, с корнями. Небрежный удар его нетренированного кулака разнес бы им черепа как яичные скорлупки. Взмахом быстрых ног (точнее, нижних конечностей) он был способен вспороть им животы. Он мог сломать им шею, и я знаю, что одним движением челюстей он смог бы одновременно прокусить главную артерию спереди и спинной мозг сзади.

Он мог прыгнуть на двадцать футов вперед из сидячего положения. Он был отвратительно волосат. У нас предметом нашей гордости является отсутствие волос. А он весь был покрыт ими — на внутренней поверхности рук также, как и снаружи, и даже в ушах. У него не росли волосы только на ладонях, подошвах ног и под глазами.

Он был страшно уродлив, но его оскаленный в жестокой ухмылке рот и огромная, отвисшая нижняя губа как нельзя лучше подходили к его свирепым глазам.

Таким был Красноглазый. Очень осторожно он выполз из своей пещеры и спустился на землю. Игнорируя меня, он огляделся вокруг. Он согнулся вперед так сильно, а руки у него были такие длинные, что при каждом шаге он касался костяшками пальцев земли. Он казался неуклюжим в этом полусогнутом положении, которое он принимал при ходьбе, и ему действительно, приходилась упираться суставами в землю, чтобы не упасть. Но, я, черт возьми, должен сообщить вам, что он мог бегать на всех четырех конечностях! Современные люди потеряли эту способность, мало кто из нас сможет поддерживать себя руками при ходьбе. Это атавизм, и Красноглазый был еще большим атавизмом.

Именно этим он и был — атавизмом. Это было временем перехода от жизни на деревьях к жизни на земле. В течение многих поколений мы проходили через этот процесс, и наши тела и осанка тоже изменились. Но Красноглазый принадлежал к более примитивному типу обитателей деревьев. Он был рожден в нашей орде

и волей-неволей по необходимости остался с нами, но в действительности он был пережитком прошлого и его место было не здесь.

Очень осторожно и очень осмотрительно он передвигался туда-сюда по площадке, вглядываясь в деревья и пытаясь уловить присутствие зверя, который, как все подумали, преследовал меня. И в то время как он все это проделывал, не обращая на меня никакого внимания, Племя толпилось у отверстий пещер и наблюдало.

Наконец, он, очевидно, решил, что вокруг нет никакой скрытой опасности. Он вернулся к тропе, и бросил взгляд вниз на водопой. Он проходил рядом и все же как бы не замечал меня. Продолжая передвигаться с равнодушным видом, он поравнялся со мной, и, вдруг, без всякого предупреждения и с невероятной стремительностью, отвесил мне затрещину по голове. Я пролетел добрую дюжину футов прежде, чем упасть на землю, и помню, несмотря на то, что был в полубессознательном состоянии после сокрушительного удара, услышал смех, похожий на дикое кудахтанья и вопли, доносившиеся из пещер. Это была отличная, остроумная шутка — по крайней мере в те времена это считалось остроумной шуткой и, право же, племя оценило ее от всего сердца.

Вот так я был принят в орду. Красноглазый не обращал больше на меня внимания, и я мог продолжать и дальше рыдать и хныкать, чтобы прийти в себя. Несколько женщин из любопытства подошли ко мне, и я узнал их. Я видел их в прошлом году, когда мать брала меня с собой в Ущелье Лесных Орехов.

Но они быстро ушли, и их сменила дюжина любознательных детей, принявшихся дразнить меня. Они встали в круг, показывали на меня пальцами, строили рожи, толкали и пинали меня. Я был испуган, и какое-то время сносил все молча, затем злость закипела во мне, и я впился ногтями и зубами в самого смелого из них — это оказался никто иной, как Вислоухий, собственной персоной. Мне пришлось назвать его именно так, потому что он мог двигать только одним из ушей. Другое ухо всегда бессильно висело без движения. Какое-то происшествие повредило мышцы и лишило его возможности пользоваться им.

Он не отступил, и мы схватились с ним, забыв обо всем на свете как всегда бывает, когда дерутся два мальчишки. Мы царапались и кусались, тянули за волосы, наваливались и бросали друг друга на землю. Помню, мне удалось применить

к нему то, что как я узнал в колледже, называлось полунельсоном. Этот прием дал мне решительное преимущество. Но я недолго радовался. Он вывернулся, и ногой(задней ногой, точнее) так надавил на живот, что чуть не выпотрошил мне кишки. Мне пришлось отпустить его, чтобы избежать этого, и мы снова сцепились. Вислоухий было на год старше меня, но я был в несколько раз злее, и в конце концов, он смазал пятки. Я преследовал его на площадке и вниз по тропе к речке. Но он был лучше знаком с местностью и, пробежав по краю воды, поднялся вверх и вернулся назад другой тропой. Он срезал угол и бросился в широкое отверстие пещеры.

Прежде, чем я понял что происходит, я уже влетел следом за ним в темноту. В следующее мгновение я ужасно испугался. Я никогда раньше не был в пещере. Я начал хныкать и кричать. Вислоухий со смехом передразнивая меня, набросился на меня в темноте и швырнул на землю. Однако он не решился проделать это во второй раз и отпрыгнул в сторону. Я был между ним и входом, он не мог пройти мимо незамеченным и все же мне показалось, что он исчез. Я прислушался, но не смог понять, где он. Это озадачило меня, и когда я вышел наружу, то уселся сторожить.

Он так и не вышел из пещеры, я был в этом уверен, и тем не менее через несколько минут он хихикал у меня за спиной.

Снова я бежал за ним, и снова он спрятался в пещере, но на этот раз я остановился у входа. Я отступил на несколько шагов и притаился. Он не вышел, и все же, как в прошлый раз, его смех раздался у меня за спиной и, преследуемый мной, он в третий раз скрылся в пещере.

Это представление повторялось несколько раз. Тогда я последовал за ним в пещеру и безуспешно пытался отыскать его там. Я был любознателен. Я не мог понять, как он исчезал от меня. Он все время входил в пещеру, но ни разу не выходил из нее и несмотря на это постоянно оказывался у меня за спиной и дразнил меня. Вот так наша драка сама собой превратилась в игру в прятки.

Весь полдень, с небольшими перерывами, мы забавлялись этим и незаметно для нас игра протянула между нами нити дружеских чувств. В конце концов он перестал убегать от меня, и мы сели, обнявшись. Немного позже он раскрыл тайну пещеры с широким входом. Взяв за руку, он повел меня внутрь. Она соединялась узкой щелью с другой пещерой и этим путем мы вышли наружу. Теперь мы были друзья. Когда другие

дети собрались вокруг, чтобы дразнить меня, он напал на них вместе со мной. Мы дали им такой отпор, что вскоре меня оставили в покое. Вислоухий познакомил меня с селением. Он мало что мог сообщить мне о взаимоотношениях и обычаях — ему не хватало для этого слов, но, наблюдая за ним, я много понял, а кроме того он показал мне места и вещи.

Он показал мне равнину между пещерами и рекой, и отвел в лес вдалеке, где в траве среди деревьев, мы выкопали и съели дикую морковь. После этого мы напились у реки и поднялись по тропе к пещерам.

Там-то мы и наткнулись снова на Красноглазого.

Я увидел как Вислоухий отпрыгнул в сторону, а потом прижался к скале. Я инстинктивно последовал его примеру. Только после этого я попытался увидеть причину его страха. Это был Красноглазый, важно спускавшийся вниз посередине тропы, свирепо насупя свои горящие глаза.

Я заметил, что вся молодежь шарахалась от него, также как мы, в то время как взрослые осторожно присматривались к нему, когда он приближался, и уступали середину тропы.

Когда наступили сумерки, площадка опустела.

Племя искало безопасности в пещерах. Вислоухий повел меня к месту сна. Мы взобрались высоко на склон, выше всех других пещер, к крошечной щели, которую невозможно было заметить с земли. Вислоухий протиснулся в нее. С большим трудом я последовал за ним, столь узок был вход, и оказался в маленькой каменной полости. Она была очень низкой — не больше пары футов высотой, и наверно три-четыре фута в длину и ширину. Здесь, обняв друг друга, мы проспали всю ночь.

ГЛАВА VI

Хотя самые смелые из детей играли внутри и снаружи пещер с большими входами, я быстро понял, что такие пещеры были незаняты. Никто не проводил в них ночь. Использовались только пещеры с узким входом и чем (уже было отверстие тем лучше. Это происходило из-за страха перед хищными животными, которые преследовали нас в те дни и ночи.

В первое же утро, после ночи проведенной с Вислоухим, я узнал о преимуществе пещер с узким входом. Еще светало, когда старый тигр Саблезуб, вышел из леса. Двое из наших соплеменников уже были снаружи. Они бросились бежать. То ли они запаниковали, то ли он шел за ними по пятам и у них не оставалось времени, чтобы попытаться взобраться повыше, я не знаю, но во всяком случае они бросились в ту пещеру с широким входом, в которой я и Вислоухий играли в прошлый полдень.

Я не видел, что произошло внутри, но без труда пришел к заключению, что два моих соплеменника проскользнули через щель в соседнюю пещеру. Этот проход был слишком узок для Саблезуба, и

он ушел восвояси злым и разочарованным. Было очевидно, что его ночная охота была неудачной, и он рассчитывал полакомиться кем-нибудь из нас. Он снова заметил двоих наших у входа в соседнюю пещеру и прыгнул на них. Они, конечно, бросились через проход в первую пещеру. С рычанием он появился наружу еще более разозленный.

А среди остального племени началось вавилонское столпотворение. На всем пространстве огромного утеса, племя заполнило входы в пещеры и уступы, и мы все орали и вопили на тысячу ладов. И мы все строили рожи — рычащие рожи, это было проявление нашего инстинкта. Мы были столь же разозлены, как и Саблезуб, хотя наш гнев смешался со страхом. Я помню, что вопил и строил рожи не хуже других. И не только потому, что они подавали пример, я и в самом деле чувствовал, что должен делать то же самое, что они. Мои волосы встали дыбом, меня сотрясала лютая, не рассуждающая ярость. В течение некоторого времени старый Саблезуб продолжал носиться из одной пещеры в другую. Но те двое просто проскальзывали взад и вперед через соединяющий пещеры лаз, легко избегая встречи с ним. Тем временем остальные, остававшиеся

на утесе, приступили к действиям. Каждый раз, когда он появлялся снаружи, мы забрасывали его камнями. Сначала мы просто скидывали их на него, но вскоре воздух стали со свистом рассекать брошенные изо всех сил камни.

Этот обстрел привлек к нам внимание Саблезуба и разозлил его еще больше. Он отказался от преследования тех двоих и прыгнул на утес к остальным из нас, цепляясь когтями за осыпающиеся камни и с рычанием прокладывая себе путь наверх. Это жуткое зрелище заставило всех искать убежища в пещерах. Я знаю это, потому что выглянул и увидел опустевший утес, если не считать Саблезуба, который потерял опору и, скользя когтями по камню, свалился вниз.

Я издал вопль одобрения, и снова утес покрылся кричащей ордой, и камни полетели еще быстрее, чем раньше. Саблезуб пришел в бешенство. Снова и снова он бросался на утес. Один раз ему даже удалось зацепиться у входа в первый ряд узких пещер прежде, чем он упал вниз, но он был не в силах забраться выше. С каждым его броском вверх, нас накрывала волна страха. Сначала, в такие моменты, большинство из нас бросалось внутрь пещер, но некоторые оставались снаружи, чтобы долбить его камнями, а вскоре уже и все

из нас оставались на своих местах и усиливали мощь обстрела.

Никогда еще живое существо не было так мастерски одурачено. Его гордость была ужасно уязвлена, ведь его перехитрил маленький и слабосильный народец. Он стоял на земле и смотрел на нас, рыча и хлеща себя хвостом, огрызаясь на камни, которые падали близко к нему. Один раз я швырнул камень и как раз в этот момент он посмотрел вверх. Я попал ему прямо в кончик носа, и он прямо подпрыгнул в воздух, всеми четырьмя лапами, рыча и мяукая от боли и неожиданности.

Он потерпел поражение, и он знал это. Пытаясь сохранить достоинство, он гордо прошествовал из-под града камней. Он остановился на середине пустоши и смотрел на нас задумчиво и с жадностью. Ему крайне не хотелось воздерживаться от еды, а мы были кучей мяса, загнанной в угол, и в то же время недоступной. Этот его вид заставил нас расхохотаться. Мы все смеялись от души. Уже тогда животные не любили насмешек. Осмеяние вызывало у них гнев. Именно так и наш смех подействовал на Саблезуба. Он взревел и снова атаковал утес. Это было то, чего мы хотели. Схватка стала игрой, и мы получали огромное

наслаждение, забрасывая его камнями. Но это нападение длилось недолго. Он быстро опомнился, и кроме того, наши снаряды были весьма чувствительны. Я ярко вспоминаю зрелище одного его заплывшего глаза, почти закрывшегося после прямого попадания камнем. И у меня отчетливо сохранилась в памяти картина того, как он стоит на опушке леса, куда он в конце концов отступил. Он оглядывался на нас, скалил свои огромные клыки, его шерсть вставала дыбом, а хвост бил по земле. Он зарычал на прощание и пропал из вида среди деревьев.

После этого начался сущий бедлам. Все высыпали из своих берлог и стали разглядывать отметины, оставленные его когтями на скале, и кричать одновременно. Один из тех двух, что были загнаны в двойную пещеру был подростком — наполовину ребенок, наполовину юноша. Они гордо вышли из своего убежища, и их окружила восторженная толпа. Потом мать юнца прорвалась сквозь толпу и вцепилась в него в жутком гневе. Она таскала его за уши и волосы, и завывала подобно демону. Это была здоровенная бабища, очень волосатая, и трепка, которую она задала своему отпрыску, пришлась племени по душе. Мы давились от смеха, хватаясь друг

за друга и в изнеможении катаясь по земле. Несмотря на то, что мы жили под господством страха, мои соплеменники любили посмеяться. У нас было чувство юмора. Наше веселье было гомерическим. Оно не знало удержу. Вполсилы мы не веселились. Если что-то забавляло нас, мы были потрясены этим, даже самым простым и грубым. Мы были большие весельчаки, это уж несомненно.

Способ, которым мы обошлись с Саблезубом, был одинаков для всех животных, вторгавшихся в наше селение. Мы сохраняли наши тропы и водопои для себя, делая невыносимой жизнь для животных, которые нарушали границу или забредали на нашу суверенную территорию. Даже самых свирепых хищников мы так мучили, что они научились обходить стороной наше селение. Мы не были бойцами подобно им, мы были хитры и трусливы, и именно из-за нашей хитрости и трусости, и нашей способности чувствовать опасность, мы выжили в этом чрезвычайно враждебном окружении Юного Мира. Я думаю, что Вислоухий был на год старшее меня. О своем прошлом он мне не мог рассказать, но так как я никогда не видел его матери, я уверен, что он был сиротой. Кроме того отцы в нашей орде в расчет

не принимались. Брак был пока еще в зачаточном состоянии, и пары, поссорившись, разделялись. Современный человек, благодаря институту развода, делает тоже самое, но в суде оформляет это юридически. У нас не было законов. Все мы следуем традициям, но наши традиции в этом специфическом вопросе сильно отличались.

Тем не менее, как вы позже увидите из этих набросков, нас уже притягивало мерцание смутных представлений о единобрачии, которое впоследствии дало такую власть и сделало могущественными племена, охваченные им.

Больше того, даже в мое время было несколько преданных пар, живших на деревьях по соседству с моей матерью. Проживание в гуще орды не способствовало единобрачию. Именно по этой причине, несомненно, любящие пары уходили из нее и жили отдельно. В течение много лет эти пары оставались вместе, хотя когда мужчина или женщина умирали или попадали на обед хищникам, оставшийся в живых неизменно находил нового спутника жизни.

Было нечто такое, что сильно озадачивало меня в первые дни моего пребывания в орде. Это был безымянный и непередаваемый страх, который пронизывал всех. Сначала мне показалось, что

это было полностью связано с одной из сторон света. Орда боялась северо-востока. Она жила в постоянном страхе перед этим сектором компаса. И каждый вглядывался туда чаще и с большей тревогой, чем в любом другом направлении.

Когда Вислоухий и я пошли на северо-восток, чтобы полакомиться дикой морковью, которая поспевала в это время года, он стал необычно робким. Он был согласен поедать остатки, большие жесткие морковки и маленькие клейкие, скорее чем рискнуть пройти короткое расстояние туда, где морковь была пока еще нетронутой. Когда я это делал, он ругал меня и ссорился со мной. Он дал мне понять, что в этом направлении была какая-то ужасная опасность, вот, только, что это была за ужасная опасность, бедность его языка не позволяла ему рассказать. Я нашел много хорошей еды, в то время как он тщетно ругал меня и причитал. Я не мог понять в чем дело. Я был начеку, но никакой опасности не было видно. Я постоянно прикидывал расстояние между собой и ближайшим деревом, и знал, что в этом убежище я спасусь и от желто-коричневого и от старого Саблезуба, если кто-нибудь из них внезапно появится.

Однажды в полдень, в стойбище возник пе-

реполох. Орду захватило единственное чувство — страх. Стена утеса была усыпана людьми, все пристально вглядывались и указывали на северо-восток. Я не знал, что это было, но тем не менее вскарабкался в свою высокую маленькую пещеру, ни разу не оглянувшись, чтобы посмотреть в чем дело. Потом, за рекой, вдали на северо-востоке, я впервые увидел загадочные дымы. Это было самое большое животное, которое я когда-либо видел. Мне показалось, что это гигантская змея, вставшая на дыбы, поднимающая голову выше деревьев и раскачивающаяся взад и вперед. И все же, так или иначе, из поведения соплеменников, мне показалось, что дым сам по себе не представлял опасности. Казалось, они боялись этого как предвестника чего-то еще. Чего они ожидали, я не мог себе представить. А они не могли объяснить. Все же я должен был это скоро узнать, и это должно было быть чем-то более ужасным, чем желто-коричневый, чем старый Саблезуб и даже змеи, хотя казалось, что ничего более ужасного существовать не может.

ГЛАВА VII

Сломанный Зуб был еще одним мальчиком предоставленным самому себе.

Его мать жила в пещерах, но вслед за ним родились еще двое детей и его прогнали, чтобы он сам заботился о себе. Мы наблюдали за этим представлением на протяжении нескольких дней, и оно не доставляло нам ни малейшего удовольствия. Сломанный Зуб не хотел покидать семью, и, каждый раз, когда его мать уходила из пещеры, он снова прокрадывался в нее. Когда она возвращалась и находила его там, ее гнев был неописуем. Половина орды с удовольствием наблюдала за происходящим. Сначала, из глубины пещеры раздавались ее крики и брань. Затем доносились звуки трепки, которую задавала ему мать и вопли Сломанного Зуба. Одновременно с этим к хору присоединяли свои голоса двое младших детей. И наконец, подобно извержению маленького вулкана, наружу вылетал Сломанный Зуб.

Через несколько дней он был изгнан окончательно. Он оплакивал свою участь, не привлекая ничьего внимания в центре площадки, в течение по крайней мере получаса, а потом пришел

жить ко мне и Вислоухому. Наша пещера была маленькая, но, потеснившись, нашлось место для троих. У меня не осталось воспоминаний о последующих ночевках Сломанного Зуба, так что все, наверное, случилось на следующий день.

Это произошло в середине дня. Утром мы съели наш запас моркови, и затем, став беспечными, играя, забрели далеко к высоким деревьям. Я не могу понять как Вислоухий преодолел свою обычную осторожность, наверное из-за игры. Мы долго играли в древесные пятнашки. Вот это были пятнашки! Мы совершали десяти– и пятнадцатифутовые прыжки с дерева на дерева как ни в чем не бывало. Спрыгнуть с двадцати или двадцати пяти футов на землю для нас не составляло никакого труда. Я просто боюсь сказать с какой огромной высоты мы прыгали. Став старше и тяжелее, нам приходилось быть более осторожными в своих прыжках, но в том возрасте наши тела были легкими и пружинистыми как струны, и мы могли вытворять все что угодно.

Сломанный Зуб показал замечательное проворство в игре. Он водил реже любого из нас, и в ходе игры изобрел одно такое трудное движение — «проскальзывание» , что ни Вислоухий, ни я не смогли его повторить. По правде говоря, мы

просто боялись это сделать.

Когда водили мы, Сломанный Зуб всегда добегал до конца высокой ветки дерева. От нее до земли было не меньше семидесяти футов, и она могла подломиться в любой момент. А приблизительно в двадцати футах ниже, и в пятнадцати в сторону была толстая ветвь другого дерева.

Когда мы выбегали на ветку, Сломанный Зуб, стоя перед нами, начинал раскачиваться. Это, естественно, препятствовало нашему продвижение, но дело было не только в этом. Раскачиваясь, он готовился к прыжку вниз спиной. Он раскачивался, готовясь к прыжку который задумал. Как только мы приближались к нему, он отпускал ветку. Колеблющаяся ветка была подобна трамплину. Она подбрасывала его, и в полете он переворачивался лицом к той ветке, к которой подлетал. Эта ветка, здорово сгибалась под его весом, и иногда слышался зловещий треск, но она ни разу не сломалось, а в листве мы каждый раз видели лицо торжествующе ухмыляющегося над нами Сломанного Зуба.

Была моя очередь водить, когда Сломанный Зуб попытался сделать это в последний раз. Он ухватился за конец ветки и начал раскачиваться, а я подкрадывался к нему, когда внезапно раздался

глухой предупреждающий крик Вислоухого. Я посмотрел вниз и увидел его, сидящего на нижней ветке дерева, прижавшись к стволу. Инстинктивно я приник к толстой ветке. Сломанный Зуб перестал раскачиваться, но ветка продолжала качаться, и он подпрыгивал на ней вверх и вниз вместе с шелестящими листьями.

Я услышал треск сухой ветки, и, посмотрев вниз, увидел своего первого Человека Огня. Он крался ползком по земле, поглядывая на дерево. Сначала я подумал, что это какой-то зверь, потому что вокруг груди и на плечах у него был кусок рваной медвежьей шкуры. А потом я увидел его руки и ноги, и разглядел его внимательнее. Он был очень похож на нас, За исключением того, что он был менее волосат и его ноги были меньше похожи на руки, чем наши. Вообще, он и его люди, как я позже узнал, были гораздо менее волосаты, чем мы, хотя мы, в свою очередь, были в той же мере менее волосаты, чем Древесные Люди. Как только я посмотрел на него, я сразу все понял. Это был ужас с северо-востока, знаком которого был таинственный дым. Все же я был озадачен. Несомненно, он не представлял из себя ничего особенного, во всяком случае он был не тот, кого следовало бояться. Он не казался достой-

ным противником Красноглазому или любому из наших сильных мужчин. Он был стар, высох от старческой худобы, и волосы на его лице были седые. Еще он сильно хромал на одну ногу. Не было никаких сомнений в том, что он не смог бы догнать нас ни на земле, ни на деревьях. Он никогда не поймал бы нас.

Но он держал что-то в руке, нечто такое, чего я никогда раньше не видел. Это были лук и стрела. Но тогда лук и стрела не имели для меня никакого значения. Откуда мне было знать, что в этом куске согнутого дерева притаилась смерть? Но Вислоухий знал. Он, несомненно, видел Людей Огня прежде и знал кое-что об их повадках. Человек Огня глядел на него и кружил вокруг дерева. А Вислоухий тоже кружил, перебираясь с ветки на ветку и всегда оставляя между собой и Человеком Огня ствол дерева.

Пришелец внезапно бросился в другую сторону. Захваченный врасплох Вислоухий, торопливо попытался последовать его примеру, но не успел скрыться под защиту ствола после того как Человек Огня спустил тетиву.

Я видел как стрела взвилась вверх, пролетела мимо Вислоухого, ударилась о ветку и упала вниз. От восхищения увиденным я стал подпрыгивать

на своем насесте. Это была игра! Человек Огня кидал чем-то в Вислоухого также, как мы иногда бросали чем-нибудь друг в друга.

Игра продолжилась еще некоторое время, но Вислоухий не подставил себя во второй раз. Тогда Человек Огня остановился. А я свесился со своей ветки и заверещал. Я хотел играть. Я хотел сделать так, чтобы он попробовал поразить меня своей вещью. Он видел меня, но проигнорировал, обратив свое внимание на Сломанного Зуба, который все еще слегка раскачивался на не успевшей остановиться ветке.

Первая стрела взмыла вверх. Она достигла своей цели. Сломанный Зуб взвыл от испуга и боли. Это придало происходящему совершенно другую окраску. Мне было больше не до игры, дрожа я притаился у ветки. Вторая и третья стрелы миновали Сломанного Зуба, прошелестели по листьям в кроне дерева и, описав дугу, вернулись на землю.

Человек Огня снова натянул свой лук. Он переменил позицию, отступив на несколько шагов, затем снова переместился. Звякнула тетива, стрела устремилась вверх, и Сломанный Зуб, издав ужасный крик, упал с ветки.

Я видел, как он летел вниз, переворачиваясь

в воздухе всем телом, древко стрелы торчало у него из груди, то появляясь, то исчезая с каждым оборотом.

Он падал семьдесят футов. С криком. Был хорошо слышен глухой удар о землю и хруст, его тело слегка подпрыгнуло от сильного удара и снова упало. Но он был еще жив и корчился, хватаясь руками и ногами за землю. Я помню, как Человек Огня, бросился вперед с камнем в руках и ударил его по голове …, и потом я не помню больше ничего.

Всегда, в детстве, на этом месте своего видения я просыпался, крича от испуга — и часто видел у моей кровати мать или сиделку, озабоченных и испуганных, успокаивающе гладивших меня по голове и говорящих мне, что они здесь и мне нечего бояться.

Мое следующее видение в том же ряду, начинается всегда с того, что мы с Вислоухим несемся по деревьям. Человек Огня, Сломанный Зуб и место трагедии исчезли. Вислоухий и я, в панике, убегаем по деревьям. В моей правой ноге — горящая боль, из нее торчит стрела Человека Огня. Мало того, что она причиняет мне сильную боль, но еще и мешает бежать, заставляя отставать от Вислоухого.

В конце концов я остановился, прячась за веткой дерева. Вислоухий продолжал бежать. Я позвал его — очень жалобно, я помню, и он остановился и оглянулся назад. После этого он вернулся ко мне, залез на ветку и стал обследовать стрелу. Он попробовал вытащить ее, но с одной стороны ее не давал вытащить зазубренный наконечник, а с другой оперение. К тому же, это причиняло мне сильную боль, и я остановил его.

Мы затаились на некоторое время. Вислоухому, возбужденному и испуганному, очень хотелось бежать дальше, в страхе он постоянно бросал взгляды в разные стороны, а я тихо хныкал и всхлипывал. Вислоухий был явно испуган, и все же то, что он остался со мной, несмотря на его страх, я считаю предвестником альтруизма и товарищества, которые помогли человеку стать самым могущественным из животных.

Вислоухий еще раз попробовал вытянуть стрелу из мякоти ноги, и я сердито остановил его. Тогда он наклонился и начал грызть древко стрелы зубами. Делая это, он крепко держал стрелу обеими руками, так чтобы она не двигалась в ране, а я в это время держался за него. Я часто размышляю над этой сценой — два недоразви-

тых детеныша, на заре человечества, и один из них преодолевает свой страх, отбрасывает прочь эгоистичное желание сбежать, для того чтобы остаться рядом и прийти на помощь другому. И я вижу все, что последовало за этим — Дамон и Пифий, спасательные команды и медсестры Красного Креста, мученики и вожди несбывшихся надежд, святого отца Дамиана, и даже самого Христа, и всех людей Земли во всем их величии, берущем начало от чресел Вислоухого и Большого Зуба и других неразвитых и грубых обитателей Юного Мира.

Когда Вислоухий отгрыз наконечник стрелы, ее древко пошло наружу довольно легко. Я встал и хотел идти дальше, но теперь уже он остановил меня. Моя нога сильно кровоточила. Несомненно были задеты некоторые из мелких сосудов. Пробежав до конца ветки, Вислоухий собрал горсть зеленых листьев и приложил их к ране. Они оправдали его ожидания и кровотечение скоро прекратилось. Тогда мы пошли дальше вместе, назад к безопасности наших пещер.

ГЛАВА VIII

Я хорошо помню первую зиму после того, как ушел из дома. Я видел длинные сны о том, как сидел и дрожал от холода. Вислоухий и я сидим рядом, прижавшись друг к другу с посиневшими лицами и стучим зубами. Особенно плохо нам приходилось по утрам. В те холодные ранние часы мы ненадолго засыпали, свернувшись калачиком, и, оцепенев от холода, ожидали восхода солнца, чтобы согреться.

Когда мы выбирались наружу, у нас под ногами хрустела морозная корка. Однажды утром мы обнаружили лед на поверхности заводи, где был наш водопой, и это был для нас «большой привет». Старая Мозговая Кость был самым старым членом племени, но и он никогда прежде не видел ничего подобного. Я помню его мучительно жалобный взгляд, которым он смотрел на лед. (Этот жалобный взгляд всегда появлялся у нас, когда мы не понимали происходящего или когда у нас появлялось неопределенное и невыразимое желание). Красноглазый, тоже, после того как он исследовал лед, выглядел мрачным и унылым, и посмотрел за реку на северо-восток, как будто он

как-то связывал Людей Огня с тем, что случилось. Хотя лед появился лишь однажды, это была самая холодная зима, которую мы испытали. У меня не сохранилось воспоминаний о таких же морозных зимах. Я часто думал о том, что та зима была предвестником будущих бесчисленных холодных зим, поскольку ледники с далекого севера ползли вниз по лицу земли. Правда, мы так никогда и не увидели ледников. Многие поколения, должно быть, сменили друг друга, прежде чем наши потомки ушли на юг или остались и приспособились к изменившимся условиям. Жизнь то била, то отпускала нас, но мы относились к этому беззаботно. Мы почти не строили планов и еще меньше их выполняли. Мы ели, когда были голодными, пили, когда нас мучила жажда, спасались от хищников, укрывались на ночь в пещерах от холода и непогоды, а в остальном это было нечто вроде игры, продолжавшейся всю жизнь.

Мы были очень любопытны, легко удивлялись, любили проказничать и шалить. В нас не было никакой серьезности, кроме тех случаев, когда мы были в опасности или гневе, но это быстро забывалось и заслонялось чем-нибудь другим.

Мы были непоследовательны, нелогичны, и поверхностны. Мы не имели никакой устойчивой

цели, а в это время Люди Огня уже были далеко впереди. У них было много такого, о чем мы не имели никакого понятия. Иногда, однако, особенно в сфере эмоций, мы были способны к долго лелеемой цели. Верность супружеских пар я могу объяснить привычкой, но мое продолжительное желание Быстроногой этим нельзя объяснять, тем более этим нельзя объяснить бесконечную вражду между мной и Красноглазым.

Именно наши беззаботность и тупость особенно угнетают меня, когда я вспоминаю свою первобытную жизнь. Однажды я нашел разбитую тыкву, которая случайно оказалась под дождем отверстием вверх и теперь была полна доверху.Вода была пресная, и я пил ее. Я даже взял ее с собой к реке и наполнил водой, часть которой выпил, а часть вылил на Вислоухого. А потом я отбросил ее прочь. Мне так и не пришло в голову наполнить тыкву водой и отнести в свою пещеру, хотя меня часто мучила жажда по ночам, особенно после дикого лука и жерухи, и никто никогда не осмеливался выходить из пещер по ночам, чтобы напиться. В другой раз я нашел сухую тыкву, внутри который звенели семена. Я некоторое время забавлялся с ней. Но это была всего лишь игрушка, ничего больше. И все же,

прошло немного времени и использование тыкв для хранения воды стало обычным делом для всего племени. Но это была не моя заслуга. Честь изобретения принадлежала старику Мозговой Кости, и справедливость требует признать, что новшество было вызвано к жизни его немощью.

Во всяком случае, первым членом орды использовавшим тыквы, стал Мозговая Кость. Он хранил запас питьевой воды у себя в пещере, принадлежащей его сыну, Лысому, который разрешил ему занять в ней угол. Мы часто видели Мозговую Кость, наполнявшего тыкву у водопоя и с осторожностью относившего ее в пещеру. Страсть к подражанию была сильна в нашем народе, и сначала один, а затем и другой, и еще один добывали тыкву и использовали ее для тех же целей, пока это не стало обычным способом хранения воды.

Иногда старика Мозговую Кость одолевала болезнь, и он не мог выйти из пещеры. Тогда Лысый наполнял для него тыкву. По прошествии некоторого времени, Лысый возложил эту обязанность на своего сына Длинногубого. И после этого, даже, когда Мозговая Кость выздоровел, Длинногубый продолжал носить для него воду. Постепенно, кроме особых случаев, мужчины вовсе перестали

носить воду, предоставив это женщинам и подросткам. Вислоухий и я были независимы. Мы носили воду только для себя и часто дразнили юных водоносов, когда их отрывали от игр, чтобы наполнить тыквы.

Наше развитие шло медленно. Мы играли всю жизнь, даже взрослые играли почти как дети, и играли мы так, как не играли никакие другие животные. То немногое что мы умели, мы обычно узнавали в ходе игры, благодаря нашему любопытству и проницательности. Вот почему единственным значительным изобретением за время моей жизни в племени было использование тыкв. Сначала мы хранили в тыквах только воду — подражая Мозговой Кости. Но однажды одна из женщин — я не знаю кто именно — наполнила тыкву ежевикой и отнесла ее к себе в пещеру. Тут же все женщины стали носить ягоды, орехи и коренья в тыквах. Однажды начатое должно было иметь продолжение. Другое усовершенствование переносного хранилища также произошло благодаря женщине То ли у какой-то женщины оказалась слишком маленькая тыква, то ли она забыла ее где-то, но как бы то ни было, она согнула два больших листа, скрепила их кусочками веток и отнесла домой больше ягод, чем

могла бы вместить самая большая тыква.

Здесь произошла остановка и дальше в переноске припасов мы так и не продвинулись за все те годы, что я провел с племенем. Никому из нас не пришло в голову сплести корзину из ивовых прутьев.

Иногда мужчины и женщины обвязывали гибкой виноградной лозой охапки папоротника и веток, которые они относили в пещеры для подстилок. Возможно через десять или двадцать поколений мы могли бы подняться до плетения корзин. И я уверен в том, что если бы однажды кто-то из нас сплел из ивовых прутьев корзину, следующим и неизбежным шагом был бы пошив одежды. А с появлением одежды, мы стали бы скрывать нашу наготу и появилась скромность. Это был бы сильный толчок для Юного Мира. Но мы остались без этого импульса. Мы были первыми, и не могли далеко продвинуться в течение одного поколения. У нас не было оружия, огня и только грубые зачатки речи.

Изобретение письменности лежало в столь отдаленном будущем, что мне становится страшно, когда я думаю об этом.

Даже я был однажды на грани великого открытия. Чтобы показать вам насколько случайным

было развитие в те дни, я могу без всякого хвастовства утверждать, что если бы не обжорство Вислоухого, я мог бы одомашнить собаку. А этого не смогли сделать даже Люди Огня, жившие на северо-востоке. У них не было собак, я сам это видел. Сейчас я поведаю вам, как вечно голодный Вислоухий, возможно, задержал наше общественное развитие на многие поколения.

На порядочном расстоянии к западу от наших пещер было огромное болото, а к югу протянулась гряда невысоких скалистых холмов. Их редко посещали по двум причинам. Прежде всего, там не было подходящей для нас еды, и, во-вторых, те скалистые холмы кишели логовищами хищников.

Но мы с Вислоухим однажды забрели туда. Мы бы не оказались там, если бы не дразнили тигра. Не смейтесь. Это был сам старый Саблезуб. Мы случайно наткнулись на него в лесу, рано утром, и сидя на ветках, и не опасаясь ничего, излили на него свою ненависть и отвращение. С ветки на ветку, с дерева на дерево мы шли за ним поверху, производя адский шум и предупреждая всех обитателей леса о прибытии Старого Саблезуба.

Охоту мы ему точно испортили. И здорово разозлили. Он рычал на нас и бил хвостом, но иногда

останавливался и долго, спокойно смотрел на нас, как будто обдумывая некий способ, которым он сможет добраться до нас. А мы только смеялись и забрасывали его палками и сломанными ветками. Такая травля тигра была для нашего племени чем-то вроде спорта. Иногда половина племени следовало по деревьям за львом или тигром, который отважился появиться днем. Это была наша месть. Далеко не один член племени, захваченный врасплох, закончил свои дни в желудке льва или тигра. В том числе и страдая от такой беспомощности и позора, мы приучили хищников до некоторой степени избегать наше стойбище. И, кроме того, это было забавно. Это была отличная игра.

Итак, Вислоухий и я преследовали Саблезуба около трех миль лесом. В конце концов он зажал хвост между ног и сбежал от наших издевательств, как побитая собака. Мы преследовали его изо всех сил, но когда достигли края леса, он быстро превратился в неясную точку на горизонте.

Я не знаю, что еще могло толкнуть нас на это, кроме любопытства, но, поиграв какое-то время, Вислоухий и я рискнули пойти через равнину к подножию скалистых холмов. Далеко мы не

пошли. Почти все время мы были не больше, чем в сотне ярдов от деревьев. Зайдя за угол скалы (мы шли очень осторожно, потому что не знали, с кем можем встретиться), мы наткнулись на трех щенков, играющих на солнце.

Они не заметили нас, и в течение некоторого времени мы наблюдали за ними. Это были дикие собаки. В скале была горизонтальная трещина — очевидно логово, где мать оставила их, и где они должны были оставаться, если бы были послушными. Но кипение жизни, которое заставило Вислоухого и меня уйти далеко от леса, позвало щенков наружу, чтобы порезвиться. Представляю себе как мать наказала бы их, если бы поймала за этим.

Но их поймали я и Вислоухий. Он посмотрел на меня, и мы бросились на них. Щенки знали только одно место, где могли укрыться от опасности — свое логово, но мы их опередили и закрыли им дорогу. Один хотел прошмыгнуть у меня под ногами. Я сел на корточки и схватил его. Он вцепился своими маленькими острыми зубками в мою руку, и я выпустил его от резкой боли и неожиданности. В следующее мгновение он скрылся в логове.

Вислоухий, разбиравшийся со вторым щенком,

сердито посмотрел на меня и разнообразными звуками сообщил мне какой я дурак и растяпа. Это устыдило меня и вызвало прилив доблести. Я схватил оставшегося щенка за хвост. Он цапнул меня зубами, но я схватил его за шкирку. Вислоухий и я сели, подняли щенков вверх и со смехом разглядывали их.

Они рычали, тявкали и скулили. Вдруг Вислоухий вскочил. Ему показалось, что он что-то услышал. Мы посмотрели друг на друга со страхом, понимая опасность нашего положения. Единственным, что превращало любого животного в злого демона, была попытка причинить вред его детенышам. А эти щенки, которые производили такой шум, были дикими собаками. Мы хорошо знали их, охотящихся стаями, и наводивших ужас на травоядных. Мы наблюдали, как они следуют за стадами антилоп и бизонов и режут телят, стариков и больных. Они и нас преследовали не однажды. Я видел как одна женщина из нашего племени, была загнана ими у самого леса. Если бы она не была измотана бегом, она могла бы укрыться на дереве. Она и попыталась, но не удержалась и упала на землю. Они разорвали ее на куски.

Мы смотрели друг на друга всего одно мгнове-

ние. Крепко держа нашу добычу, мы помчались к лесу. Оказавшись в безопасности на высоком дереве, мы показали друг другу щенков и рассмеялись. Как видите смех никогда не покидал нас, чтобы не случилось.

Началась одна из самых трудных работ какой мне доводилось заниматься — мы понесли щенков к нашей пещере. Вместо того, чтобы использовать руки по прямому назначению — карабкаться по деревьям, нам приходилось большую часть времени удерживать ими наших барахтающихся пленников. Один раз мы попробовали идти по земле, но была загнаны назад отвратительной гиеной, которая следовала за нами внизу. Это была мудрая гиена.

Вислоухий кое-что придумал. Он вспомнил, как мы связывали охапки листьев, чтобы отнести их домой для подстилок. Сорвав несколько гибких прутьев, он связал своему щенку лапы, а затем повесил его себе на шею и закинул на спину. Это освободило ему руки и ноги. Он возликовал, и не дожидаясь пока я закончу связывать моего щенка, помчался вперед. Однако, его подстерегала одна трудность. Щенок не был прикреплен к спине Вислоухого Он раскачивался из стороны в сторону и в конце концов оказался спереди. Его

зубы не были связаны и в ту же секунду он впился ими в мягкий незащищенный живот Вислоухого. Он издал вопль, едва не упал и судорожно вцепился в ветку обеими руками, чтобы спасти себя. Лоза вокруг его шеи сломалась, и щенок, со все еще связанными лапами, упал на землю. Гиена приступила к обеду.

Вислоухий был в бешенстве. Он обругал гиену и удалился. У меня не было никакой причины нести щенка к пещере, за исключением того, что я этого ХОТЕЛ, и я не отступился. Я намного облегчил себе задачу, развив дальше идею Вислоухого. Я не только связал щенку лапы, но еще просунул палку ему через челюсти и надежно связал их.

Наконец я притащил щенка домой. Полагаю, что мое упрямство превышало средний уровень в племени, иначе я бы не добился успеха. Все смеялись надо мной, когда увидели как я тащу щенка по склону утеса в свою маленькую пещеру, но я не обратил на это внимания. Мои усилия были вознаграждены, щенок был у меня. Это была игрушка, которой не было ни у кого. Он быстро учился. Если я играл с ним, а он кусал меня, я бил его по ушам, и после этого он долго не пытался укусить меня.

Я проводил с ним все свое время, я был совер-

шенно поглощен им. Он был чем-то новым, а отличительной особенностью моего народа была любовь к новому. Когда я у видел, что он отказывается от плодов и овощей, я наловил для него птиц, белок и молодых кроликов. (Мы любили мясо не меньше овощей, мы были всеядны, и имели большой опыт по части охоты на мелкую дичь). Щенок ел мясо и быстро подрастал. Насколько я понимаю. он был у меня чуть больше недели. И вот, вернувшись однажды в пещеру с гнездом, полным только что вылупившихся фазанов, я обнаружил, что Вислоухий убил щенка и уже начал его есть. Я прыгнул на Вислоухого, пещера была небольшой, и в ход пошли зубы и ногти.

Вот так, дракой, закончилась одна из самых ранних попыток приручения собаки. Мы вырывали волосы клочьями, царапались, кусались и наносили друг другу удары. После этого мы надулись друг на друга, а потом помирились и доели щенка. Сырым? Конечно. У нас еще не было огня. И наш подъем по лестнице эволюции до приготовления пищи на огне еще долго вел по туго скрученной спирали времени.

ГЛАВА IX

Красноглазый был пережитком прошлого. Он был главным дезорганизующим элементом в нашей орде. Он был более примитивен, чем любые из нас. Он был чужд нам, а мы были пока настолько примитивны, что не были способны объединить наши усилия и убить его или прогнать прочь. Такой же дикий как и наше примитивное сообщество, он, однако, был слишком необуздан, чтобы жить вместе с нами. Он подвергал опасности разрушения нашу орду своими антиобщественными действиями. Он и в самом деле был возвратом к более раннему типу, и его место было скорее с Древесными Людьми, чем с нами, бывшими на пути превращения в людей.

Он был чудовищно жесток, а такая характеристика в те времена говорила о многом. Он бил своих жен — не потому, что у него когда-нибудь было больше одной жены одновременно, а из-за того что он был женат много раз. Женщины не могли с ним жить и все-таки им приходилось с ним жить по принуждению. Никто не осмеливался противоречить ему. Не было мужчины достаточно сильного чтобы выступить против

него.

Часто меня посещают воспоминания о тихих часах перед сумерками. С водопоя и морковной поляны, с ягодного болота племя толпой выходило на площадку перед пещерами. Мы не смеем задерживаться здесь дольше, из-за приближения страшной темноты, когда мир погружается в пучину кровожадной резни, в то время как предвестники человека скрываются, дрожа в своих берлогах. И все же у нас есть несколько минут перед тем, как мы вскарабкаемся к нашим пещерам. День утомил нас, и мы издаем приглушенные звуки. Даже детеныши, все еще жадные до забав и проделок, сдерживают себя и играют без прежней охоты. Ветер с моря затихает, и тени удлиняются вместе с заходом солнца. В это время, внезапно, из пещеры Красноглазого раздается дикий крик и звуки ударов. Он бьет свою жену.

Сначала мы замолкаем в страхе. Но так как удары и крики не стихают, в нас вспыхивает безумный и беспомощный гнев. Видно, что мужчины возмущены действиями Красноглазого, но они слишком боятся его. Удары прекращаются. Глухой стон замирает, в то время как мы тараторим между собой, а унылые сумерки надвигаются на нас.

Мы, для которых большинство происшествий превращалось в шутку, никогда не смеялись во время избиений Красноглазым своих жен. Мы слишком хорошо понимали весь ужас их положения. Не один раз по утрам у подножия утеса, мы находили тела его жен. Он сбрасывал их туда из пещеры после того как они погибала. Он никогда не хоронил своих жертв. Заботу об удалении тел, которые отравляли наше стойбище, он оставлял племени. Обычно мы сбрасывали их в реку ниже последнего водопоя.

Не один Красноглазый убивал своих жен, но он еще убивал и из-за них, для того чтобы получить их. Когда он хотел новую жену и останавливал свой выбор на жене другого мужчины, он незамедлительно убивал этого человека. Два таких убийства я сам видел собственными глазами. Все племя знало об этом, но ничего не могло сделать. В нашей орде еще не было никого, кому мы могли пожаловаться. У нас были определенные обычаи, и мы обрушивали свой гнев на тех несчастных, которые их нарушали. Если, например, кто-нибудь загрязнял водопой любой очевидец мог проучить его, точно также тот, кто преднамеренно подавал ложную тревогу, получал немало затрещин. Но Красноглазый нагло нарушал все

наши обычаи, а наш страх перед ним не позволял нам объединиться и дать ему отпор. Мы так боялись его, что были неспособны к коллективному действию, необходимому для его наказания.

На шестую нашу зиму совместной с Вислоухим жизни в пещере я понял, что мы и в самом деле растем. Во-первых, потому что стало тяжело протискиваться в расщелину входа. Однако в этом были свои преимущества. Это предотвращало захват нашей пещеры взрослыми. Ведь она была лучшей, выше всех на склоне утеса, самой безопасной, а зимой самой теплой из-за небольшого размера. Чтобы вы могли оценить уровень умственного развития нашего племени, достаточно сказать, что для некоторых из них не составило бы никакого труда выкинуть нас из пещеры и расширить вход. Но им это просто не пришло в голову. Вислоухий и я тоже не думали об этом, пока наш увеличивающийся размер не заставил нас поневоле заняться этой работой. Это произошло, когда лето было в разгаре и мы разжирели от обильной еды. Мы работали над входом, когда нас посещало вдохновение.

Сначала мы попытались рыть потрескавшуюся скалу прямо руками, до тех пор пока не сорвали ногти, потом мне почему-то пришла в голову идея

использовать обломок дерева. Идея сработала. На наше несчастье. Однажды рано утром, мы выломали из стены целую кучу обломков. Я спихнул ее вниз. Мгновение спустя снизу раздался яростный вопль. Смотреть вниз нам не было никакой необходимости. Мы знали этот голос слишком хорошо. Обломки попали в Красноглазого.

Перепуганные, мы забились в пещеру. Через минуту он был у входа, глядя на нас своими воспаленные глазами и бушующий подобно демону. Но он был слишком большой. Он не мог войти к нам. Внезапно он исчез. Это было подозрительно. Прекрасно зная повадки своего племени, мы догадывались, что он должен вернуться и выместить на нас свою злобу. Я подполз к входу и заглянул вниз. Он как раз начал подниматься по склону. В одной руке он нес длинный сук. Прежде, чем я смог разгадать его план, он был у вход и свирепо тыкал в нас палкой.

Его удары были чудовищны. Каждый из них мог бы разорвать нас пополам. Мы старались прижаться к боковым стенам пещеры, где мы были почти вне его досягаемости. Но он с со злобным упорством доставал нас снова и снова — сильно царапая концом палки. Когда мы вскрикивали от боли, он ревел от радости и пытался ударить

посильнее.

Меня начала охватывать злость. В те времена я был весьма вспыльчив, и довольно смел, хотя это была в значительной степени храбрость загнанной в угол крысы. Я схватился за сук, но его сила была такова, что он выдернул меня из пещеры. Он дотянулся до меня одной своей длинной рукой, и его ногти порвали мою плоть, когда я вырвался и отпрыгнул назад, спасаясь у сравнительно безопасной боковой стены.

Он начал тыкать снова, и сильно поранил мне плечо. Дрожащий от страха и вопивший, когда Красноглазый попадал в него, Вислоухий ничем не помогал мне. Я оглянулся по сторонам в поисках палки для ответного удара, но смог найти только кусок ветки толщиной в дюйм и длиной не больше фута. Я бросил его в Красноглазого. Это не причинило ему никакого вреда, но он взвыл с еще большей злобой из-за того, что я осмелился ему сопротивляться. Его удары посыпались безостановочно. Я поднял камень и бросил в него. Удар пришелся в грудь.

Это подбодрило меня, и, кроме того, я был теперь столь же разъярен как он, и растерял все свои страхи. Я выломал из стены кусок скалы весом в два или три фунта. Изо всей силы я запу-

стил им прямо ему в физиономию. Я его чуть не прикончил. Он качнулся назад, выронил сук и едва не свалился вниз.

Вид у него был жуткий. Его лицо было залито кровью, он рычал и скалил клыки как дикий кабан. Он вытер кровь с глаз, увидел меня, и заревел в ярости. Сук он потерял, поэтому стал выламывать куски скалы и бросать их в меня. Он сам снабжал меня боеприпасами. Я отвечал ему тем же, но у меня получалось даже лучше, потому что он представлял из себя хорошую мишень, в то время как меня ему было плохо видно, так как я прижимался к боковой стене.

Внезапно он снова исчез. С порога пещеры я видел его спуск. Вся орда собралась снаружи и в благоговейной тишине наблюдала за происходящим. Пока он спускался, более робкие быстро спрятались в своих пещерах. Я видел как старик Мозговая Кость ковылял на всех парах. Красноглазый спрыгнул с уступа и пролетел последние двадцать футов по воздуху. Он приземлился рядом с матерью, которая пыталась подняться к своей пещере. Она закричала от ужаса, а двухгодовалый ребенок, который цеплялся за нее, отпустил руки и покатился под ноги Красноглазому. И он, и мать оказались около него одновременно, и он

сделал это. В следующее мгновение слабое тельце закувыркалось в воздухе и ударилось в стену. Мать подбежала к нему, подхватила на руки и с плачем склонилось над ним.

Красноглазый бросился искать палку. Трясущийся старик Мозговая Кость оказался на его пути. Длинная рука Красноглазого взлетела и вцепилась сзади старику в шею. Мне показалось что он сломал ему шею. Старик зашатался и попытался повернуться лицом к опасности.

На мгновение Красноглазый заколебался, а Мозговая Кость, дрожа, наклонил голову и закрыл лицо с руками. Тогда Красноглазый ударил его лицом о землю. Старик Мозговая Кость не сопротивлялся. Он издал крик предсмертного ужаса. Я видел Лысого, стоявшего на площадке, бившего себя в грудь, со вставшей дыбом шерстью, но боявшегося выйти вперед. И затем, повинуясь какой-то прихоти своей темной души, Красноглазый бросил старика и подобрал сук. Он возвратился к утесу и начал подниматься вверх. Дрожащий Вислоухий, наблюдавший рядом с мной за происходящим, спрятался назад в пещеру. Было ясно, что Красноглазый был растерян после убийства ребенка. А мне некуда было отступать, я был зол и почти спокоен.

Пробежав по соседним уступам, я набрал камней и сложил их в кучу у входа в пещеру. Красноглазый был уже в нескольких ярдах ниже меня, скрытый на мгновение выступом утеса. Как только показалась его голова, я бросил вниз камень. Он пролетел мимо, ударился в скалу и разлетелся на куски, но пыль запорошила ему глаза, и он пропал из виду.

Хихиканье и болтовня разразились над ордой, которая играла партию зрителей. Наконец, нашелся один член племени, который осмелился противостоять Красноглазому. Как только их одобрение и приветственные возгласы достигли слуха Красноглазого, он зарычал на них, и они сразу онемели. Воодушевленный этим доказательством своей силы, он повернулся в мою сторону и попробовал запугать меня хмуря брови, рыча и оскаливая зубы. Он жутко сдвигал к бровям кожу со лба, а волосы на голове встали у него дыбом и торчали вперед как гребень. Его вид произвел на меня впечатление, но я взял себя в руки, и пригрозил ему, покачивая в руке камень. Он все еще пытался перейти в наступление. Я бросил камень и промахнулся. Но следующая попытка была успешной. Камень ударил его шею. Он исчез из поля моего зрения, но, выглянув, я

увидел, как он, вцепившись одной рукой в выступ стены, другой держит себя за горло. Сук с грохотом свалился на землю.

Я не мог его больше видеть, хотя и мог слышать, как он хрипел и давился от кашля. Публика хранила гробовое молчание. Я присел на уступе у входа и ждал. Давящийся кашель утих, и было слышно как он время от времени прочищал свою глотку. Немного позже он начал спускаться вниз. Он шел очень медленно, постоянно останавливаясь, чтобы повертеть шеей или пощупать ее рукой. При одном его виде вся орда, с дикими криками и воплями, в панике бросилась к лесу. Старик Мозговая Кость, хромающий и шатающийся, плелся сзади. Красноглазый не обратил никакого внимания на беглецов. Спустившись на землю, он обогнул подножие утеса и взобрался в свою пещеру. Он ни разу не оглянулся.

Я посмотрел на Вислоухого, а он на меня. Мы поняли друг друга. Немедленно, с большими предосторожностями и тихо, мы начали подниматься вверх по утесу. Добравшись до вершины, мы оглянулись назад. Стойбище опустело, Красноглазый оставался в своей пещере, а орда исчезла в глубине лесной чащи.

Мы повернулись и побежали. Мы мчались по

равнинам и склонам, забыв о том, что в траве могут быть змеи, пока не достигли леса. Мы вскарабкались на деревья и понеслись, полетели, с ветку на ветку, с дерева на дерево, пока между нами и пещерами не остались мили пространства. И тогда, только тогда, расположившись в безопасности на огромном суку, мы посмотрели друг на друга и рассмеялись. Мы схватили друг друга за руки и ноги, из наших глаз струились слезы, у нас ныли бока, а мы смеялись, смеялись и смеялись.

ГЛАВА X

Придя в себя мы с Вислоухим снова помчались по деревьям и позавтракали на черничном болоте. Это было то же самое болото, к которому я совершил свои первые путешествия, открывая для себя мир, несколько лет назад в сопровождении своей матери. Я мало видел ее за прошедшее время. Обычно, когда она посещала пещерную орду, я был далеко в лесу. Раз или два я мельком видел Болтуна у подножия утеса и имел удовольствие состроить ему рожу и позлить его, стоя у входа в свою пещеру. Я расстался со своей семьей без особой печали. Их жизнь меня не очень интересовала, а мне и без них было неплохо.

Наевшись ягод, с двумя полными гнездами перепелиных яиц на десерт, Вислоухий и я осторожно пробрались через лес к реке. Там был мой старый древесный дом, из которого меня выгнал Болтун. Он был все еще занят. Семейство разрасталось. К моей матери крепко прижимался младенец. Кроме того, была еще девочка, сильно подросшая, внимательно наблюдавшая за нами с нижних ветвей. Это, очевидно, была моя сестра или, точнее, единокровная сестра.

Моя мать узнала меня, но издала предостерегающий крик, когда я попытался взобраться на дерево. Вислоухий, намного более осторожный, чем я, ударился в бегство, и я не смог убедить его вернуться. Позже, однако, моя сестра спустилась на землю, и там среди соседних деревьев мы возились и играли весь день. И затем произошла неприятность. Она была моя сестра, но это не мешало ей обращаться со мной отвратительно, поскольку она унаследовала всю злобу Болтуна. Она внезапно набросилась на меня из-за какой-то ерунды и стала меня царапать, рвать волосы и сильно укусила за руку маленькими острыми зубами. Этого я снести не мог. Я не поранил ее, но это был несомненно самый увесистый шлепок, который она когда-либо получала.

Как она вопила и орала! Болтун, который весь день был далеко и как раз был на пути домой, услышал шум и бросился к месту происшествия. Моя мать тоже устремилась туда, но он добрался первый. Он застал меня и Вислоухого врасплох. Мы бросились наутек, а Болтун охотился за нашими жизнями по деревьям.

После того, как преследование прекратилось, а Вислоухий и я перестали смеяться, мы обнаружили, что опустились сумерки. Наступила ночь со

всеми ее опасностями для нас, а о возвращении в пещеры не могло быть и речи. Красноглазый сделал это невозможным. Мы нашли убежище на дереве, которое стояло в стороне от других деревьев, и провели ночь на высокой развилке веток. Это была печальная ночь. Первые несколько часов шел сильный дождь, потом похолодало и задул ледяной ветер. Промокшие до костей, дрожащие и стучащие зубами мы обнялись и свернулись калачиком в клубок. Мы потеряли удобную, сухую пещеру, которая так быстро нагревалась от теплоты наших тел.

Мы проснулись несчастными, но полными решимости. Больше у нас такой ночи не будет. Вспоминая древесное убежище взрослых, мы принялись за работу, чтобы сделать такое же для себя. Мы собрали грубый остов гнезда, и на верхних ветках даже сумели установить несколько растяжек для кровли. А потом выглянуло солнце, и под его теплом мы забыли ночные невзгоды и ушли в поисках завтрака. После этого, демонстрируя безалаберность первобытной жизни, мы с головой ушли в игры. Мы должно быть, потратили целый месяц, работая время от времени, чтобы построить свой древесный дом и, когда он был закончен, мы не прожили в нем ни дня.

Но я забежал вперед. Когда мы принялись играть, после завтрака, на второй день после ухода из пещер, Вислоухий преследовал меня по деревьям к реке. Мы выбежали к ней там, где большая топь выходила из черничного болота. Устье трясины было огромным, а в ней самой почти не было тока воды. В стоячей воде, прямо в горловине, сбилось в кучу множество древесных стволов. Некоторые из них, давно находившиеся в воде и то несшиеся с потоком, то выбрасывавшиеся течением на песчаные островки, где их калило и сушило солнце, были лишены веток. Они сидели высоко в воде, и качались то вверх, то вниз и переворачивались, когда мы наступали на них.

Тут и там между стволами виднелась вода, и в ней были видны стайки маленьких рыб вроде гольяна, снующих взад и вперед. Вислоухий и я тут же превратились в рыбаков. Улегшись на бревна, мы замирали, ожидая пока рыба не подойдет совсем близко и в мгновение ока хватали ее руками. Сырую извивающуюся добычу мы поедали тут же на месте. Соль нам была не нужна.

Устье топи стало нашим любимым местом игр. Каждый день мы проводили здесь помногу часов за ловлей рыбы и играя на бревнах, и в один из

дней здесь же, мы получили свои первые знания в навигации. Бревно, на котором лежал Вислоухий, мирно покачивалось на стоячей воде у берега. Он свернулся на нем в клубок и уснул. Легкое дуновение ветерка стало медленно сносить ствол от берега, и когда я заметил, что происходит, расстояние было уже слишком большим, чтобы он смог допрыгнуть до берега.

Сначала мне это показалось просто забавным. Но когда один из рассеянных в воздухе страхов, обычных в те времена постоянной опасности, проник в меня, я с ужасом понял, что остался один. Я внезапно осознал, что Вислоухий на расстоянии в несколько футов от меня в таком же одиночестве и издал громкий предупреждающий крик. Он проснулся испуганный, и опрометчиво вскочил на бревне. Оно перевернулось, увлекая его под себя. Еще трижды он оказывался под ним, пытаясь забраться на него. Наконец, ему это удалось, он присел на него и испуганно залопотал.

Я ничего не мог сделать. Также как и он. О возможности плавать мы не знали ничего. Мы были уже настолько далеки от низших форм жизни, что потеряли инстинктивную способность к плаванию, в то же время мы еще не настолько приблизились к человеку, чтобы воспринимать

это как задачу, которую нужно решить. В печали я метался по берегу, пытаясь оставаться к нему как можно ближе, в то время как он продолжал плыть по воле ветра, издавая жалобные вопли, которые должны были собрать здесь всех хищников в радиусе мили.

Время шло. Солнце поднялось в зенит и начало спускаться на запад. Ветерок утих и оставил Вислоухого на бревне, плывущем в сотне футов от берега. И тут, не знаю уж как, но Вислоухий сделал великое открытие. Он начал шлепать по воде руками. Сначала его перемещение было медленным и беспорядочным. Затем он выправился и начал старательно подгребать все ближе и ближе. Я не понимал, что происходит. Усевшись, я наблюдал за ним и ждал пока он достигнет берега. Теперь он знал нечто такое, что мне было недоступно. Не прошло и часа как он нарочно отошел от берега на бревне. А потом убедил и меня присоединиться к нему, и я тоже научился трюку с шлепаньем по воде руками. Несколько дней мы не могли оторваться от болота. Мы были так поглощены нашей новой игрой, что почти не ели. Мы даже устраивались на ночлег на ближайшем дереве.

И забыли о существовании Красноглазого.

Мы постоянно испытывали новые бревна и узнали, что, чем меньше бревно, тем быстрее мы можем заставить его плыть. Также мы выяснили, что небольшие бревна легче переворачиваются и окунают нас в воду. Потом мы узнали еще кое-что о маленьких бревнах. В один из дней мы гребли рядом, каждый на своем бревне. И затем, совершенно случайно, во время игры, мы обнаружили, что когда держимся рукой и ногой за другое бревно, они становятся устойчивыми и не переворачиваются. Когда мы находились в таком положении, наши руки и ноги снаружи оставались свободными для гребли. Наше последнее открытие состояло в том, что такое расположение позволяет нам использовать еще меньшие бревна и таким образом достичь большей скорости. И на этом наши открытия закончились. Сами того не понимая, мы изобрели простейший катамаран. Нам так и не пришло в голову связать бревна вместе гибкой виноградной лозой или волокнистыми корнями. Нам было достаточно удерживать их нашими руками и ногами.

Только после того, как мы преодолели наш первый восторг перед плаванием и начали возвращаться к нашему древесному убежищу для ночлега, мы столкнулись с Быстроногой. Я увидел

ее первый, собирая незрелые желуди на ветках огромного дуба неподалеку от нашего дерева. Она была очень робкой. Сначала она притаилась, но когда поняла, что ее заметили, спрыгнула на землю и умчалась прочь. Изо дня в день она мелькала у нас перед глазами, и мы пытались искать ее, когда шли от нашего дерева к устью болота и обратно.

И пришел день, когда она не убежала. Она ждала нашего прихода, и встретила нас мягкими миролюбивыми звуками. Все же она не подпустила нас близко. Когда ей казалось, что мы слишком приблизились, она внезапно отбегала подальше и с безопасного расстояния снова издавала нежные звуки. Это продолжалось в течение нескольких дней. Потребовалось много времени пока она не привыкла к нам, но в конце концов это произошло, и она иногда присоединялась к нашим играм.

Я полюбил ее с первого взгляда. Она была очень привлекательна. И имела кроткий вид. Ее глаза были самые кроткие, из всех которые я когда-либо видел. В этом отношении она очень отличалась от остальной части девочек и женщин нашего племени, рождавшихся сварливыми. Она никогда не издавала резких, злобных криков, и

казалось, что она лучше убежит подальше от неприятности, чем станет бороться.

Кротость, которую я упомянул, казалось, исходила от всего ее существа. Ее внешность была тому доказательством. Ее глаза были больше, чем у остальных, и не так глубоко посажены, в то время как ресницы были более длинные и пушистые. А ее нос не был таким толстым и приземистым. У него даже была переносица, а ноздри открывались вниз. Ее резцы были небольшими, а верхняя губа не свешивалась вниз и нижняя не торчала вперед. У нее было мало волос на теле, они росли только с наружной стороны рук и ног и на плечах и, хотя она была худощава, ее икры не были искривлены и бугристы.

Я часто вглядываюсь в нее из своего двадцатого столетия через свои сны, и мне приходит в голову, что, возможно, она принадлежала к Людям Огня. Ее отец или мать, вполне могли происходить из более высокоразвитого племени. Хотя такие явления были редкостью, они все же происходили, и я собственными глазами видел этому доказательства, вплоть до превращения членов орды в отступников и их ухода к Древесным Людям.

В результате, они не принадлежали ни к тем, ни к другим. Быстроногая в корне отличалась от

любой из женщин орды, и я сразу почувствовал к ней симпатию. Ее мягкость и доброта привлекали меня. Она никогда не была грубой, и никогда не дралась. Она просто убегала, и именно поэтому она получила свое имя. Она лазила по деревьям лучше Вислоухого и меня. Когда мы играли в салки, мы никогда не могли поймать ее, разве что случайно, в то время как она могла поймать нас, когда хотела. Она была замечательно быстрой во всех ее движениях, и обладала гениальной способностью оценивать расстояния, сравнимой только с ее отвагой. Чрезмерно робкая во всех других делах, она была бесстрашна, когда нужно было карабкаться и бежать по деревьям, и мы с Вислоухим были неуклюжими, тяжеловесными и трусливыми по сравнению с ней.

Она была сиротой. Мы никогда не видели ее ни с кем и понятия не имели сколько она прожила в одиночестве.

Она, должно быть, рано, еще в беспомощном детстве, узнала, что ее спасение в бегстве среди деревьев. Она была очень мудра и очень осторожна. Поиски ее жилища стали своего рода игрой для меня и Вислоухого. Ясно, что у нее было убежище на дереве, причем не очень далеко, но сколько мы не пытались выследить ее, найти

его так и не смогли. Она была согласна присоединиться к нам в играх днем, но тайну своего жилища она охраняла ревниво.

ГЛАВА XI

Не надо забывать, что мое описание Быстроногой не то, что сделал бы Большой Зуб, мое второе «я» из моих видений, мой доисторический предок. Именно при помощи моих снов я, современный человек, могу видеть, используя глаза Большого Зуба. Точно также обстоят дела и со многими другими описанными мною событиями того отдаленного прошлого. Есть некая двойственность в моих впечатлениях, которая может сильно озадачить моих читателей. Я буду просто время от времени прерывать свой рассказ, чтобы указать на эту двойственность, на это сбивающее с толку смешение двух личностей. Именно я, современный, вглядываясь назад через века, оцениваю и анализирую чувства и побуждения Большого Зуба, моего второго «я». А его не заботили сопоставления и анализ. Он был сама простота. Он всего лишь жил без раздумий над тем, почему он живет именно так, а не иначе.

С годами я, мое реальное «я», все больше проникал в суть своих снов. Можно уснуть, и даже посреди сна знать, что спишь, и если сон был плохим, успокаивать себя мыслью, что это — только

сон. Такое случалось с каждым из нас. В то время как я, современный, погружаясь в свои сны, в результате удивительного раздвоения личности, был одновременно и актером и зрителем. И очень часто я, современный, был встревожен и рассержен глупостью, нелогичностью, тупостью, и в особенности изумительной глупостью самого себя

— первобытного.

И еще одно, прежде, чем я закончу это отступление. Снилось когда-нибудь вам, что вы спите? Собаки видят сны, лошади, все животные видят сны. Во времена Большого Зуба, когда полулюди спали, и сны были плохие, они выли во сне. Теперь я, современный, ложусь рядом с Большим Зубом и вижу его сны.

Это почти за пределами разумного, я понимаю, но я действительно уверен, что делаю это. И позвольте мне сообщить вам, что сны Большого Зуба о полетах и ползании по земле, о пресмыкающихся и птицах… были столь же яркими и живыми для него, как падение во сне для вас. У Большого Зуба тоже было второе «я „, и, когда он спал, эта «другая личность“ возвращалась во сне в прошлое, к крылатым рептилиями и битвам драконов, а оттуда в жизнь снующих

грызуноподобных крошечных млекопитающих, или в гораздо более отдаленные времена — к слизи на берегу девственного моря. Я не могу, не осмеливаюсь сказать больше. Это все слишком неопределенно, сложно и ужасно. Я могу только намекнуть на те огромные и потрясающие перспективы, через которые я словно в тумане наблюдал за развитием жизни, не вверх от обезьяны до человека, но вверх от червя.

Но вернемся к моему рассказу. Я, Большой Зуб, знал Быстроногую не как существо с более изящной лицевой и телесной симметрией, с глазами окруженными длинными ресницами, с переносицей и опущенными вниз ноздрями, которые делали ее почти красивой. Я знал ее просто как молодую женщину с кроткими глазами, издающую нежные звуки и не дерущуюся. Я не знал почему, но любил играть с ней, искать еду в ее компании, и воровать птичьи гнезда. И я должен признать, что она научила меня кое-чему из жизни на деревьях. Она была очень умной, очень сильной, и никакие цепляющиеся юбки не стесняли ее движений.

Приблизительно в это время Вислоухий был замечен в некотором отступничестве. У него вошло в привычку бродить неподалеку от дерева, где

жила моя мать. У него появилась привязанность к моей злобной сестре, а Болтун терпел его. Кроме того, там была еще молодежь, отпрыски других пар, живших по соседству, и Вислоухий играл с ними.

Я никогда не мог заставить Быстроногую присоединиться к ним. Всякий раз, когда я подходил к ним, она бросалась прочь и исчезала. Помню, однажды, я приложил особенные усилия, чтобы убедить ее. Но она метнулась назад, бросая обеспокоенные взгляды, а затем удалилась, подзывая меня с дерева. Вот почему я редко сопровождал Вислоухого, когда он шел навестить своих новых друзей. Быстроногая и я были хорошими товарищами, но как я ни пытался, так и не смог найти ее убежище. Нет никакого сомнения, что если бы ничего не случилось, мы бы скоро стали семейной парой, поскольку наша симпатия была взаимной.

Однако, случилось.

Однажды утром, когда Быстроногая не пришла, Вислоухий и я спустились к устью топи поиграть на бревнах. Едва войдя в воду, мы вздрогнули от злобного рева. Это был Красноглазый. Он стоял у горы из древесных стволов и изливал на нас свою ненависть. Мы были ужасно испуганы, ведь

здесь не было пещеры с узким входом, где можно было укрыться. Но лежавшие между нами двадцать футов воды на какое-то время могли нас защитить и дать нам временную безопасность, и мы ощутили прилив мужества.

Красноглазый выпрямился и начал бить кулаком в свою волосатую грудь. Два наших бревна были рядом, мы сели на них и рассмеялись над ним. Сначала наш смех был нерешительный, с оттенком опасения, но как только мы убедились в его бессилии, мы вошли в раж. Он бушевал и бесился глядя на нас, скрипя зубами от неутоленной ярости. Вообразив, что нам ничто не грозит, мы дразнили его изо всех сил. Мы всегда были недальновидными, как и все наше племя.

Красноглазый вдруг перестал бить себя в грудь и скрипеть зубами, и бросился через завал к берегу. И наше веселье сразу сменилось испугом. Не в повадках Красноглазого было легко отказываться от мести. Дрожа от страха мы ждали, что будет дальше. Нам и в голову не пришло отгрести подальше. Он возвратился назад большими прыжками через завал, и одна огромная ладонь у него была полна круглой, обкатанной водой галькой. Наше счастье, что он не смог найти метательных снарядов побольше, я имею в виду

камни весом в два-три фунта, поскольку мы были на расстоянии нескольких шагов, и он, конечно, убил бы нас.

Так что опасность была велика. Ж-жж-и! Крошечная галька просвистела мимо со скоростью пули. Вислоухий и я начали отчаянно грести. Виз-жжи-бум! Вислоухий закричал от внезапной боли. Галька ударила его между плеч. Следующая оказалась моей и завопил уже я. Нас спасло только то, что у Красноглазого иссякли боеприпасы. Он помчался назад к россыпи гальки, чтобы пополнить их, в то время как Вислоухий и я гребли прочь, пытаясь отплыть подальше.

Постепенно мы вышли за пределы его досягаемости, хотя Красноглазый продолжал пополнять свой боезапас и галька по-прежнему свистела рядом с нами. В центре болота было небольшое течение, и в нашем возбужденном состоянии мы проглядели, как оно вынесло нас в реку. Мы гребли, а Красноглазый не отставал, следуя за нами по берегу. Потом он нашел камни побольше. Такие боеприпасы увеличили его дальнобойность. Один кусок, не меньше пяти фунтов весом, ударился в бревно рядом со мной, и сила его удара была такова, что он разлетелся на осколки, которые раскаленными иглами вонзились мне в ногу.

Если бы его бросок достиг цели, он сразил бы меня наповал. А потом речное течение подхватило нас. Мы гребли так самозабвенно, что Красноглазый первым заметил это, и предупреждением нам стал его ликующий вопль победителя. Там, где край течения касался стоячей воды, была цепь маленьких водоворотов. Наши неуклюжие бревна попали в них, и они завертели, закружили нас. Мы отчаянно гребли, пытаясь уйти оттуда, и изо всех сил стараясь удержать бревна рядом. В это время Красноглазый продолжал бомбардировать нас. Куски камня, падали вокруг, поднимая фонтаны воды и угрожая нашей жизни. В то же самое время он злорадствовал над нами, дико вопя…

Случилось так, что на реке оказался крутой поворот в том месте, где болото граничило с рекой, и основная масса речной воды отклонялась к другому берегу. И к этому берегу, северному берегу, мы быстро дрейфовали, одновременно спускаясь вниз по течению. Это быстро вывело нас из зоны досягаемости Красноглазого, и последний раз мы видели его вдали на берегу, скачущего вверх и вниз и распевающего победную песнь.

Кроме попыток удержать бревна рядом, мы с Вислоухим ничего не предпринимали. Мы были предоставлены судьбе. Мы плыли по воле волн, и

это продолжалось до тех пор пока мы не поняли, что дрейфуем вдоль северного берега и на расстоянии от него не больше ста футов. Мы начали грести к нему. В этом месте течение резко поворачивало назад к южному берегу и в результате своих усилий мы пересекли течение в том месте, где оно было самое быстрое и узкое. Придя в себя, мы обнаружили, что выбрались из течения и оказались в тихой заводи. Мы узнали как можно переплыть реку, но не поняли этого. Никто из нашего племени никогда не совершал ничего подобного. Мы были первыми ступившими на северный берег реки и скорее всего последними. Несомненно, наши соплеменники в будущем сделали бы это, но миграция Людей Огня и последовавшее за ним перемещение остатков нашего племени, остановило наше развитие на века.

Вообще-то, мне неизвестно насколько бедственным оказался результат миграции Людей Огня. Лично я склонен думать, что это привело к распаду племени, к тому, что мы, более низкая ветвь эволюции, подающая надежды развиться в человека, были сильно потрепаны и отброшены вниз к ревущей полосе прибоя, туда где река впадала в море. Конечно, все это требует пояснений, но я опережаю свой рассказ, и такое разъяснение

будет сделано в соответствующем месте.

ГЛАВА XII

Я хорошо помню голод, который мы испытали в горах между Длинным Озером и Дальним Озером, и теленка, которого мы застигли спящим в зарослях. Еще там были Древесные Люди, жившие в лесах между Длинным Озером и горами. Это они загнали нас в горы и вынудили идти к Дальнему Озеру.

Сначала, после того, как мы оставили реку, мы шли на запад, пока не дошли до небольшой реки, которая текла через болота. Здесь мы повернули на север, обходя болота и через несколько дней достигли того, что я назвал Длинным Озером. Древесные Люди издавали звуки подобные нашим и похожие по значениям. В конце концов, они и наше Племя не очень отличались внешне.

Я первым нашел его, слабого, усохшего старика, морщинистого, с затуманенным взглядом и трясущегося. Он был законной добычей. В нашем мире не было никакого сочувствия между видами, а он был другим. Он был Древесный Человек, и он был очень стар. Он сидел рядом с деревом — скорее всего это было его дерево, потому что на

ветках было видно дырявое гнездо, в котором он проводил ночь. Я указал на него Вислоухому, и мы бросились на него. Он начал взбираться на дерево, но слишком медленно. Я поймал его за ногу и стащил на землю. Потом мы забавлялись. Мы щипали его, тянули за волосы, дергали за уши, тыкали прутьями, и все это время мы смеялись до слез. Его бессильный гнев был нелеп. У него был комический вид, когда он пытался раздуть пламя в холодном пепле своей юности, чтобы возродить ее силу, мертвую и утекшую сквозь годы. Строящий жалкие рожи вместо свирепых, скрипя остатками зубов. Бьющий в худую грудь немощными кулаками.

Вдобавок ко всему он кашлял, задыхаясь, сипя и разбрызгивая слюну во все стороны. Каждый раз, когда он пробовал подняться на дерево, мы стаскивали его назад, пока, наконец, он не смирился со своей слабостью, сел и заплакал. Вислоухий и я сели рядом, обнялись, и расхохотались над его несчастьем.

От плача он перешел к скулежу, а потом к воплям, пока наконец не дошел до крика. Это встревожило нас, но чем больше мы пытались заставить его остановиться, тем громче он кричал. И затем, недалеко в лесу, раздалось « Гоек! Гоек!

« В ответ прозвучали другие крики, и откуда-то издалека послышалось басом « Гоэк! Гоэк! Гоэк! « А потом призывы « Ху-у!Ху-у! « раздались по всему окружающему лесу.

Затем началось преследование. Казалось, что оно не кончится никогда. Они гнали нас по деревьям, все их племя, и почти поймали нас. Мы были вынуждены спуститься на землю, и здесь у нас было преимущество, поскольку они и в самом деле были Древесными Людьми, жителями деревьев, они имели там преимущество, но зато мы брали над ними верх на земле. Мы бежали на север, а они выли у нас за спиной. Пересекая открытые места, мы отрывались от них, но в кустарнике они догоняли нас и не раз было, что мы шли вровень. Во время преследования мы поняли, что мы тоже не такие как они, и между нами совсем не было взаимного сочувствия.

Погоня продолжалась несколько часов. Лес казался бесконечным. Мы держались поближе к полянам, насколько это было возможно, но они всегда переходили в еще более густой лес. Иногда мы думали, что спаслись, и усаживались отдохнуть, но каждый раз прежде, чем успевали отдышаться, слышали ненавистное « Ху-у!Ху-у! „ и жуткий « Гоэк! Гоэк! Гоэк! « Этот

последний иногда заканчивался свирепым « Ха– ха– ха– ха– хаааааа!!!“ Вот так охотились за нами рассерженные Древесные Люди по лесу. Наконец, к полудню, местность пошла в гору, уклоны стали становиться все выше и выше, а деревья все ниже. И мы оказались на поросших травой склонах гор. Только здесь мы смогли сбавить скорость, потому что Древесные Люди отступили и вернулись в свой лес.

Горы были суровы и неприветливы, и трижды в тот полдень мы пробовали войти в лес. Но Древесные Люди поджидали нас и снова гнали назад. Вислоухий и я спали той ночью на карликовом дереве, не выше кустарника. Оно не давало защиты, и мы могли бы стать легкой добычей для любого хищника бродившего поблизости.

Утром, проникнувшись уважением к Древесным Людям, мы ушли в горы. Я уверен в том, что у нас не было никакого определенного плана или даже мысли о нем. Нами просто двигала опасность, которой мы хотели избежать. У меня сохранились туманные воспоминания о наших блужданиях по горам. Мы провели в этой суровой области много дней, и сильно страдали, особенно от страха, потому что все вокруг было таким новым и странным. Кроме того, нас мучил холод,

а позже и голод.

Это была пустынная земля камней, пенящихся потоков и гремящих водопадов. Мы поднимались вверх и спускались в огромные ущелья и узкие теснины, и везде, повсюду простирались перед нами, во всех направлениях, одна выше другой, нескончаемые горы. Ночи мы проводили в норах и расщелинах, а в одну холодную ночь мы взгромоздилась на узкую вершину скалы, которая чем-то напоминала нам дерево.

И затем, наконец, в один жаркий полдень, с кружащимися от голода головами, мы вышли к водоразделу. С этого позвоночного столба земли, на севере, среди менее высоких гор, мы разглядели проблеск далекого озера. Солнце играло на его поверхности, а вокруг раскинулись широкие и ровные, покрытые травой луга, в то время как на востоке была видна темная линия далеко простирающегося леса.

Мы добирались до озера два дня и совсем ослабели от голода, но на его берегу мы нашли подросшего теленка, безмятежно спавшего в зарослях. Он доставил нам много неприятностей, поскольку мы не знали никакого другого способа убить его, кроме как руками. Когда мы насытились, то отнесли остаток мяса на восток в лес и

спрятали на дереве. Мы никогда не возвратились к тому дереву, потому что берег реки, которая вытекала из Дальнего Озера был завален лососем, который шел от моря, чтобы метать икру.

На запад от озера протянулись покрытые травой равнины, и здесь было множество бизонов и дикого рогатого скота. Там бродили многочисленные стаи диких собак, и так как там не было деревьев, это было для нас не самое безопасное место. Мы шли по берегу реки несколько дней. Затем, не знаю почему, мы ушли от реки и повернули на восток, а потом пошли на юго-восток, через дремучий лес. Я не буду навевать на вас скуку описанием этого перехода. Я говорю обо всем этом только для того, чтобы показать, как мы наконец достигли земель Людей Огня.

Мы вышли к реке, но мы не знали наша ли это река. Мы скитались так долго, что привычка к скитаниям стала нашей второй натурой. Оглядываясь назад, я отчетливо вижу, как наши жизни и судьбы были сформированы самым простым случаем. Мы не знали, что это было наша река — нам ничто не говорило об этом, и если бы мы не переплыли ее, то скорее всего никогда не вернулись к Племени, и я, нынешний, рожденный через тысячи столетий, так никогда бы и не по-

явился на свет.

И все же Вислоухий и я очень хотели вернуться. Мы тосковали по дому во время нашего странствия и жаждали увидеть своих соплеменников и свою землю, а ко мне часто подступал образ Быстроногой, молодой женщины, издававшей нежные звуки, с которой приятно было быть вместе, и которая жила одна в месте, известном только ей. Мои воспоминания о ней были сродни чувству голода, но тоже самое я испытывал, когда не был голоден и сразу после еды.

Но вернемся к реке. Еды было много, в основном ягоды и сочные корни, мы играли на речном берегу и задерживались на одном месте по несколько дней. И затем Вислоухому пришла в голову мысль. Это был видимый процесс– прибытие мысли. Я наблюдал его. Выражение его глаз стало жалобным и обеспокоенным, и он был очень встревожен. Затем его глаза затуманились, как будто мысль ускользнула от него. Это же выражение сохранялось все то время как мысль упорствовала, а он пытался ухватить ее снова. Он смотрел на меня, и на реку и на далекий берег. Он пытался что-то сказать, но у него не было слов, чтобы выразить свою мысль. Результатом его размышлений стала тарабарщина, рассмешив-

шая меня. Это возмутило его, он бросился на меня и повалил на спину. Само собой, мы подрались, и в конце концов я загнал его на дерево, где он вооружился длинной веткой и тыкал в меня ею каждый раз, когда я пробовал добраться до него. И проблеск мысли исчез. Я не знал, а он забыл. Но на следующее утро это произошло с ним снова. Возможно эту мысль пробуждал в нем звериный инстинкт, позволяющий животному находить путь к своей норе. Так или иначе мысль появилась снова и была яснее, чем прежде. Он повел меня к реке, где лежало бревно, выброшенное на берег течением. Я решил, что он хочет поиграть, как мы играли в устье болота. Я не изменил своего мнения, даже когда увидел как он подтащил второе бревно поближе к воде.

Только когда мы оказались на бревнах, сидя рядом и удерживая их вместе и выгребая в стремнину, я понял его замысел. Он остановился, чтобы указать на далекий берег, и снова стал грести, одновременно издавая громкие ободряющие крики. Я понял, и мы начали грести еще энергичнее. Быстрый поток поймал нас и бросил к южному берегу, но прежде, чем мы смогли причалить к берегу, он утащил нас назад к северному берегу.

Здесь возникли разногласия. Видя так близко

северный берег, я начал грести к нему, а Вислоухий пытался грести к южному берегу. Бревна стали плавать по кругу, а лес проносился мимо, пока нас сносило вниз по реке. Подраться мы не могли. Мы знали, что должны держаться за руки и за ноги, удерживая бревна. Но мы поносили друг друга на своем тарабарском языке до тех пор пока поток не бросил нас снова к южному берегу. Теперь это была самая близкая цель, и мы дружно погребли к нему, пристали к берегу рядом с одним из водоворотов, и сразу взобрались на деревья, чтобы посмотреть, где мы находимся.

ГЛАВА XIII

Только ночью, после нашего первого дня на южном берегу реки, мы обнаружили Людей Огня. Наверное, это был отряд бродячих охотников, разбивших свой лагерь недалеко от дерева. где я и Вислоухий устроили себе гнездо на ночь. Голоса Людей Огня поначалу встревожили нас, но позже, когда спустилась темнота, мы были привлечены огнем. Мы ползли осторожно и молча от дерева к дереву пока перед нами не открылась вся сцена происходящего.

На открытом месте недалеко от реки, среди деревьев, горел огонь. Вокруг него сидело полдюжины Людей Огня. Вислоухий внезапно схватил меня, и я почувствовал, что он дрожит. Я пригляделся повнимательнее и рассмотрел маленького, морщинистого, старого охотника, который несколько лет назад своим выстрелом свалил с дерева Сломанного Зуба. Когда он встал и сделал несколько шагов, подбрасывая хворост в костер, я заметил, что он хромает поврежденной ногой. Это была верная примета. Он казался более высохшим и сморщенным, чем раньше и волосы на его лице были совсем седые.

Другие охотники были молоды. Я заметил, лежа рядом с ними на земле, их луки и стрелы, и я знал для чего они предназначены. Люди Огня носили на себе шкуры животных вокруг талии и поперек плеч. Их руки и ноги, однако, были голыми, и они не носили никакой обуви. Как я уже говорил раньше, они были не такие волосатые как мы. Головы у них тоже были небольшие, но между ними и нами было некоторое различие в степени наклона лба назад от глаз.

Они меньше сутулились, их движения были менее резкими. Их позвоночники, бедра и коленные суставы казались менее гибкими. Их руки были не такими длинными как у нас, и я не заметил, чтобы они помогали себе ими при ходьбе, опираясь о землю. Кроме того, их мускулы были более округлые и пропорциональные, чем у нас, и их лица были более привлекательными. Ноздри у них были направлены вниз, соответственно переносица была отчетливее, а сам нос не выглядел таким приземистым или перебитым как наш. Их губы были менее дряблыми и отвислыми, и их глазные зубы не так походили на звериные клыки. Однако, они были такие же узкобедрые как мы, и весили ненамного больше. В общем, они меньше отличались от нас, чем мы от Древесных

Людей. Конечно, все три вида были родственны, и их родство было не таким уж отдаленным.

Огонь, вокруг которого они сидели, особенно привлекал нас. Вислоухий и я просидели несколько часов, наблюдая языки пламени и клубы дыма. Самым восхитительным был момент, когда они подбрасывали свежее топливо и потоки искр летели вверх. Мне хотелось подползти поближе и посмотреть на огонь, но это было невозможно. Мы сидели на ветке дерева, стоявшего у кромки леса, притаившись и не смея обнаружить себя.

Люди Огня сидели на корточках вокруг огня и спали, уткнув головы в колени. Их сон не был крепким. Их уши дергались во сне, а сами они вздрагивали. Постоянно то один, то другой вставал и подбрасывал в огонь дрова. Рядом с кругом света в лесу, в темноте бродили хищники. Вислоухий и я могли узнать их по издаваемым звукам. Там были дикие собаки и гиена, и какое-то время слышался сильный визг и рычание, мгновенно разбудившие весь кружок спящих Людей Огня.

Один раз лев с львицей встали под нашим деревом и уставились на нас, ощетинив шерсть и сверкая глазами. Лев облизывался и был возбужден, ему хотелось продолжать охоту. Но львица была более терпелива, именно она обнаружила

нас. И они продолжали стоять и смотреть на нас, молча, с дергающимися от нашего запаха ноздрями. Потом они зарычали, еще раз посмотрели на огонь и ушли в лес. А мы с Вислоухим еще долго не спали, наблюдая за происходящим. Время от времени были слышны движения тяжелых тел в чаще и подлеске, а из темноты по другую сторону от костра, были видны глаза, мерцающие отраженным светом пламени. Вдали был слышен львиный рык, и совсем издалека донесся крик какого-то раненного животного, плескавшегося и барахтавшегося у водопоя. Также, от реки, долетело громкое хрюканье носорогов.

Проснувшись утром, мы подползли к огню. Костер все еще тлел, а Люди Огня уже ушли. Мы сделали круг по лесу, чтобы удостовериться в этом, а потом подбежали к огню. Мне хотелось рассмотреть что это такое, и я взял большим и указательным пальцами пылающий уголь. Испущенный мною вопль боли и страха обратил Вислоухого в паническое бегство на деревья, а его бегство в свою очередь напугало меня.

Вернувшись, мы стали осторожнее и не трогали раскаленных углей. Мы стали подражать Людям Огня. Сев на корточки у костра, согнули головы к коленям, притворяясь спящими. Потом

стали подражать их речи, пытаясь разговаривать друг с другом на их лад, извергая из себя жуткую тарабарщину. Я вспомнил как сморщенный старый охотник совал в огонь палку. Я стал тыкать палкой в костер, переворачивая кучи тлеющих углей и поднимая облака серого пепла. Это было интересное занятие, и скоро мы стали белыми от пепла.

Рано или поздно мы должны были начать подражать Людям Огня в том, как они подкармливали огонь. Сначала мы пробовали сделать это с помощью маленьких кусочков дерева. У нас получилось. Дерево пылало и потрескивало, и от восхищения мы стали плясать, бормоча нечто невнятное. Потом мы начали подбрасывать куски побольше. Мы бросали и бросали, пока не разгорелся гигантский костер. Взбудораженные, мы носились взад и вперед, подтаскивая сухие сучья и ветки из леса. Пламя поднималось все выше и выше, а столб дыма поднялся над деревьями. Раздался оглушительный хлопок, потом треск и рев. Это была самая впечатляющая работа, которую мы когда-либо делали нашим руками, и мы были горды этим. «Мы тоже Люди Огня», думали мы, обсыпанные пеплом карлики танцующие посреди пожарища.

Загорелась сухая трава и подлесок, но мы не заметили этого. Внезапно большое дерево на краю поляны охватило пламя. Мы испуганно уставились на него. Жар от него отогнал нас назад. Загорелось другое дерево, еще одно, а потом полдюжины. Мы были напуганы. Чудовище вырвалось на свободу. В страхе мы присели, в то время как огонь пожирал все вокруг, и мы оказались в самом пекле. У Вислоухого появился тот жалобный взгляд, который всегда сопровождал непонимание, и я уверен, что мой взгляд был таким же. Мы застыли, обнявшись, пока жар от огня не добрался до нас, и мы не почувствовали запаха горящих волос. Тогда мы ринулись прочь оттуда, и побежали на запад через лес, оглядываясь назад и смеясь на бегу.

К середине дня мы были у перешейка песчаной косы, созданного, как мы позже обнаружили, огромным изгибом реки, почти образовавшей здесь круг. Прямо поперек перешейка лежала гряда из нескольких низких, кое-где поросших лесом, холмов. Мы взобрались на них, оглядываясь назад на лес, превратившийся в море пламени, которое поднявшийся ветер гнал на восток. Мы пошли дальше на запад, по берегу реки, и прежде, чем поняли это, оказались в стойбище Людей

Огня.

У него было прекрасное стратегическое положение. Это был полуостров, защищенный с трех сторон изгибающейся рекой. Только с одной стороны можно было пройти к нему по земле — по узкому перешейку, но и здесь несколько низких холмов были естественным препятствием. Почти изолированные от остального мира, Люди Огня, должно быть, жили и процветали здесь долгое время. Я даже думаю, что именно их благоденствие стало причиной, вызвавшей их последующее переселение, которое привело к таким бедствиям для моего народа. Скорее всего численность Людей Огня росла, до тех пор пока им не стало тесно в прежних границах. Они начали расселяться, в ходе миграции столкнулись с нами и поселились в пещерах, заняв нашу территорию.

Но Вислоухий и я не помышляли ни о чем таком. Нам с ним было не до этого, когда мы оказались в цитадели Людей Огня. Единственным нашим желанием было поскорее убраться подальше оттуда, хотя мы не могли сдержать своего любопытства, подглядывая за жизнью селения. Мы впервые видели женщин и детей Людей Огня. Большинство детей бегали голыми,

но на женщинах были шкуры диких животных.

Люди Огня, как и мы, жили в пещерах. От пещер шел спуск к реке и на нем горело много небольших костров. Но готовили на них еду Люди Огня или нет, я не знаю. Вислоухий и я не видели их за этим занятием. И все же я считаю, что они, конечно, проводили какую-то грубую обработку пищи. Подобно нам, они носили в тыквах воду из реки. У них царила суета и раздавались громкие крики женщин и детей. Последние, играли и шалили точно также, как и дети Племени, и они гораздо больше походили на них, чем взрослые Люди Огня походили на взрослых нашего Племени.

Вислоухий и я не стали мешкать. Увидев как некоторые подростки стреляют из луков, мы, стараясь остаться незамеченными, вернулись назад в лес и прокрались к реке. И там мы нашли катамаран, настоящий катамаран, очевидно построенный кем-то из Людей Огня. Два небольших, ровных бревна были соединены жесткими корнями и крестовинами из веток.

На сей раз идея пришла к нам одновременно. Нам нужно было покинуть территорию Людей Огня. А что могло быть лучше, чем переезд через реку на этих бревнах? Мы поднялись на борт и оттолкнулись от берега. Внезапно что-то дернуло

катамаран и круто развернуло его против берега. Резкая остановка едва не сбросила нас в воду. Катамаран был привязан к дереву веревкой из переплетенных корней. Мы развязали ее, прежде чем снова пуститься в плавание.

Через некоторое время мы выбрались на середину реки и отдрейфовали так далеко вниз по течению, что предстали во всей красе перед стойбищем Людей Огня. Поскольку мы были заняты греблей, а глаза наши были прикованы к противоположному берегу, мы не догадывались об этом, пока наше внимание не привлек вопль с берега. Мы оглянулись. Множество Людей Огня смотрели и показывали на нас, а еще больше лезло из пещер. Мы сидели, уставившись на них, забыв, что надо грести. На берегу поднялся жуткий гвалт. Некоторые из Людей Огня разрядили в нас свои луки и несколько стрел упали рядом, но расстояние было слишком велико.

Это был великий день для Вислоухого и меня. На востоке пожар, виновниками которого мы были, окутал дымом полнеба. А мы были здесь в полной безопасности на середине реки, огибая цитадель Людей Огня. Мы сидели и смеялись над ними, в то время как течение несло нас мимо них то на юг, то на юго-восток и на восток, и

даже на северо-восток, и затем снова на восток, юго-восток и юг и почти на запад, делая большую двойную кривую, где река едва не завязывала узел на самой себе.

Отнесенные к западу, мы оставили далеко позади Людей Огня, и вот перед нашими глазами возникла знакомая картина. Это был большой водопой — место, где мы бродили раз или два, наблюдая за животными, когда они проходили вниз, чтобы напиться. Дальше, мы знали, была морковная поляна, за ней пещеры и стойбище Племени. Мы начали грести к берегу, который стремительно проносился мимо нас, и прежде, чем мы поняли это, оказались у самого водопоя. Там были женщины и дети, водоносы, целая толпа, наполнявшая тыквы. При виде нас они, обезумев, ударились в паническое бегство, оставляя позади себя груды брошенных тыкв.

Мы причалили, и, конечно же, забыли привязать катамаран, который уплыл вниз по реке. Со всей осторожностью мы стали красться вверх по тропе. Все Племя скрылось в своих норах, хотя то здесь, то там мы видели вытаращенные на нас глаза. Красноглазого не было видно. Мы были снова дома. В эту ночь мы спали в нашей собственной маленькой пещере высоко на утесе,

хотя сначала нам пришлось выселить оттуда пару драчливых молодчиков, успевших занять ее.

ГЛАВА XIV

Летели дни. Драма трагичного будущего, конечно, будет сыграна, ну, а тем временем мы кололи орехи и жили. Я помню, что это был урожайный на орехи год. Мы наполняли тыквы орехами и относили их к скале. Там выкладыли их, разбивали камнем и поедали.

Мы с Вислоухим вернулись из нашего опасного путешествия поздней осенью и наступившая зимы была мягкой. Я часто совершал вылазки в окрестности моего старого дома на дереве и частенько обследовал всю территорию, лежавшую между черничным болотом и устьем топи, где Вислоухий и я постигали науку кораблевождения, но так и не смог найти никаких следов Быстроногой. Она исчезла. И я хотел ее. Меня обуревали те чувства, о которых я уже упоминал, и которые хотя и были сродни физическому голоду, часто охватывали меня, когда мой живот был полон. Но все мои поиски были тщетны.

Тем не менее жизнь в пещерах отнюдь не была однообразной. Был Красноглазый, с которым нужно было считаться. Мы с Вислоухим никогда не чувствовали себя в безопасности, если не на-

ходились в нашей маленькой пещере. Несмотря на то, что мы расширили вход, даже нам с трудом удавалось в него протиснуться. И хотя время от времени мы снова принимались за работу, он оставался все еще слишком мал для красноглазого чудовища. Но он больше не пытался штурмовать нашу пещеру. Он хорошо усвоил урок, а на шее у него торчала огромная шишка, в том месте куда я заехал ему камнем. Эта шишища осталась у него навсегда, и она была достаточно большой, чтобы увидеть ее на расстоянии. Я часто испытывал истинное восхищение, наблюдая результат своих трудов, и иногда, когда я был само собой в безопасности, ее вид вызывал у меня приступы веселья.

Хотя соплеменники отнюдь не бросились бы спасать нас в то время, как Красноглазый стал рвать Вислоухого и меня на части у них на глазах, однако они сочувствовали нам. Возможно сами мы им не слишком нравились, но так они выражали свою ненависть к Красноглазому. Во всяком случае они всегда предупреждали нас о его приближении. В лесу ли, на водопое или на площадке перед пещерами, они всегда были готовы предупредить нас. Таким образом у нас было преимущество многих глаз в нашей вражде

с этим ходячим пережитком прошлого.

Однажды он едва не заполучил меня. Было раннее утро и Племя еще не проснулось. Происшедшее стало полной неожиданностью. Мне был отрезан путь вверх по утесу к моей пещере. Прежде, чем я осознал это, ноги сами понесли меня в двойную пещеру — ту, где Вислоухий водил меня за нос много лет назад, и где старый Саблезуб пришел в замешательство, преследуя двоих из нашего племени. Когда я протиснулся через лаз, соединяющий две пещеры, я обнаружил, что Красноглазый не последовал за мной. В следующий момент он проник в пещеру с внешней стороны. Я скользнул назад через проход, а он выскочил наружу, обежал вокруг и снова был передо мной. и мне пришлось повторить все еще раз.

Он караулил меня там полдня, прежде, чем уйти. После этого, если Вислоухий и я были полностью уверены, что успеем достичь двойной пещеры, мы больше не карабкались вверх по утесу к нашей пещере, когда Красноглазый появлялся на сцене. Мы должны были не спускать с него глаз, чтобы видеть, что он не отрезал нам путь к отступлению.

Именно в ту зиму Красноглазый убил свою

очередную жену. Я назвал его пережитком, но в этом он был еще хуже, чем атавизм, даже самцы животных не обращаются так грубо и не убивают своих самок. Поэтому, я думаю, что Красноглазый, несмотря на его огромные атавистические склонности, предвосхищал появление настоящего мужчины, ведь только самцы человеческого рода убивают своих подруг.

Как и следовало ожидать, отделавшись от одной жены, Красноглазый решил заполучить другую. Его выбор пал на Поющую. Она была внучкой старика Мозговой Кости, и дочерью Лысого. Она была молода, очень любила петь у входа своей пещеры в сумерки и только что стала подругой Изогнутой Ноги. Он был тихим существом, никому не досаждал и не дрался с приятелями. В любом случае он не был бойцом. Он был невысок, худ и не столь быстр на ногу как остальные.

Красноглазый никогда не совершал ничего более возмутительного. Все произошло тихим вечером, когда мы начали собираться на площадке перед тем, как начать карабкаться в наши пещеры. Внезапно Поющая бросилась по тропе прочь от водопоя, преследуемая Красноглазым. Она бежала к мужу. Бедный маленький Изогну-

тая Нога был ужасно испуган. Но он был героем. Он знал, что пришла смерть, и все же не стал убегать. Он выпрямился, закричал, ощетинился и оскалил зубы.

Красноглазый взревел от гнева. То, что кто-то из Племени осмелился противостоять ему, было оскорблением. Он вскинул руку и сжал Изогнутой Ноге шею. Тот вонзил зубы Красноглазому в руку, но в следующий момент, со сломанной шеей, Изогнутая Нога бился и корчился на земле. Поющая визжала и бормотала что-то. Красноглазый схватил ее за волосы и потащил к своей пещере. Он грубо обхватил ее, когда начал подниматься вверх, и затолкал в свою берлогу.

Мы были очень сердиты, безумно, громогласно сердиты. Мы били себя в грудь, ощетинивались и скалили зубы, и гнев собрал нас вместе. Мы услышали зов стадного инстинкта, который пытался собрать нас для совместного действия, дать импульс к сотрудничеству. Эту потребность в объединении мы ощущали очень смутно. И не было никакого способа достичь его, потому что не было никакого способа его выразить. Мы не могли броситься, все вместе, и уничтожить Красноглазого, потому что у нас не хватало слов. В нас бродили смутные мысли, для которых не было

определенных слов. Но эти слова все же должны были быть медленно и мучительно изобретены.

Мы пробовали сопоставить звуки с неопределенными мыслями, мелькающими как тени в нашем сознании. Лысый начал громко лопотать. Этими звуками он выражал гнев на Красноглазого и желание причинить вред Красноглазому. Это ему удалось и это мы поняли. Но когда он попробовал выразить стремление к совместным действиям, которое бродило в нем, звуки, которые он издавал превратились в тарабарщину. Тогда залопотал Большое Лицо, с ощетиниванием лба и битьем в грудь. Один за другим мы приняли участие в этой оргии гнева, пока даже старик Мозговая Кость не начал бормотать и шипеть надтреснутым голосом и ссохшимися губами. Кто — то схватил палку и начал колотить по бревну. Случайно он нащупал ритм. Подсознательно наши вопли и восклицания подчинились этому ритму. Это произвело на нас успокаивающий эффект и прежде, чем мы поняли это, наш гнев был забыт, и началось то, что я называю «хэ-хэ сборищами».

Эти «хэ-хэ сборища» блестяще иллюстрируют непоследовательность и бестолковость Племени. Только что мы были объединены гневом и зовом

к совместным действиям и тут же забыли обо всем под воздействием грубого ритма. Мы были общительны и чувствовали потребность в обществе себе подобных, и это совместное пение и веселье нравилось нам. В каком-то смысле «хэ-хэ сборища» были наброском и советов первобытного человека, и больших национальных собраний, и международных съездов современного человека. Но мы

— Народ Юного Мира, испытывали недостаток слов, и всякий раз, когда мы были так объединены вместе, мы извергали гам, из которого возникало единодушие ритма, содержащее в себе суть художественного видения мира.

Так рождалось искусство.

Мы не могли долго следовать отбиваемому ритму. Мы быстро сбивались с него и воцарялась какофония, пока мы снова не находили прежний ритм или не изобретали новый. Иногда до полдюжины ритмов отбивались одновременно, и каждый ритм поддерживался своей группой, каждая из которых отчаянно пыталась заглушить остальные ритмы.

В перерывах этой какофонии каждый лопотал, бранился, кричал, визжал и танцевал, сам себе король, заполненный собственными мыслями и

побуждениями, отгородившийся от всех остальных, истинный центр вселенной, отбросивший на время любое единодушие с другими центрами вселенной, прыгающими и вопящими вокруг него. А потом опять мог возникнуть ритм — из хлопков в ладони, из битья палкой по бревну или например, из того, что кто-то подпрыгивал через определенные промежутки времени или из монотонного пения того, кто произносил отрывисто и регулярно, с то поднимающейся, то падающей интонацией » А-банг, а-банг! А-банг, а-банг!» Один за другим представители эгоцентричного Племени поддавались ему и скоро уже все танцевали или хором подвывали. « Ха — ах, ха — ах, ха– ах– ха !» Это был один из наших любимых припевов, а другим был, « А — вах, а — вах, ех-вах-хах!»

Вот так, с безумными ужимками, прыгающие, раскачивающиеся и дергающиеся, мы танцевали и пели в мрачных сумерках первобытного мира, забывая обо всем, достигая единодушия, и впадая в поэтическое безумие. Так искусство успокоило наш гнев против Красноглазого, и мы выкрикивали свои дикие припевы пока ночь не напомнила нам о ее ужасах, и мы не уползли в наши каменные норы, тихо переговариваясь друг с другом, а в это время взошли звезды и опустилась темнота.

Мы боялись только темноты. Мы не были заражены микробами религии или теориями невидимого мира. Мы знали только реальный мир, и вещи, которых мы боялись, были реальные, конкретные опасности, животные из плоти и крови, которые охотились за нами. Это они заставляли нас бояться темноты, поскольку темнота была временем их охоты. Именно тогда они выходили из логовищ и нападали в темноте, оставаясь невидимыми.

Возможно, из этого страха перед настоящими обитателями темноты происходит страх перед несуществующими, достигший высшей точки в создании могущественного невидимого мира. С развитием воображения, вероятно, увеличивался страх смерти и последующие поколения перенесли этот страх в темноту и населили ее духами. Я думаю, что Люди Огня уже боялись темноты именно в этом смысле, но причинами того, что наше Племя прекращало свои сборища и забивалось в пещеры были старый Саблезуб, львы и шакалы, дикие собаки и волки, все алчущие мяса создания.

ГЛАВА XV

Вислоухий женился. Это была вторая зима после нашего опасного похода и это было совершенно неожиданно. Он не предупредил меня. Я узнал об этом однажды вечером, когда поднялся по утесу к нашей пещере. Я протиснулся внутрь и застыл в изумлении. Для меня не осталось места. Вислоухий и его половина заняли все, к тому же она оказалась никем иным как моей сестрой, дочерью моего отчима, Болтуна.

Я попробовал проложить себе путь домой силой. Место здесь было только на двоих и это место уже было занято. Я тоже стал для них помехой и в результате получил такую взбучку, что был рад убраться прочь. Я спал той ночью, и много других ночей, в проходе, соединяющем двойную пещеру. Исходя из моего прежнего опыта он казался довольно безопасным. Поскольку те двое спаслись от старого Саблезуба, а я от Красноглазого, то мне казалось, что я смогу скрыться от хищников, переходя взад и вперед между этими двумя пещерами.

Я забыл про диких собак. Их размеры позволяли им пройти в любой проход, через который я мог

протиснуться. Однажды ночью они учуяли меня. Если бы они залезли в обе пещеры одновременно, я пропал. Но преследуемый частью стаи по лазу, я вылетел наружу через вход другой пещеры. Там меня поджидали остальные собаки. Они прыгнули на меня, а я прыгнул на стену утеса и начал подниматься. Один тощий, голодный пес перехватил меня в середине прыжка. Он вцепился мне в бедро и едва не стащил назад. Он держался мертвой хваткой, но я не пытался стряхнуть его, а бросил все силы на подъем вверх, туда где я оказывался вне досягаемости остальной части этих тварей.

Только, когда я полностью обезопасил себя от них, я переключил свое внимание на эту живую смерть, повисшую на моем бедре. В дюжине футов над щелкающей зубами стаей собак, царапающих когтями скалу, пытавшихся запрыгнуть на нее и каждый раз сваливавшихся назад, я схватил пса за горло и задушил его. Это произошло не скоро. Он бился в ужасе, рвал меня когтями и все время дергался, пытаясь сбросить вниз.

Наконец его зубы разжались и отпустили мою порванную плоть. Я втащил его на утес, и воссел в ночи у входа в свою старую пещеру, в которой были Вислоухий и моя сестра. Но сначала я должен

был выдержать бурю негодования пробужденной орды, оказавшись причиной ее волнения. Месть была сладка. Время от времени, когда лай стаи внизу затихал, я бросал вниз обломок скалы и все начиналось снова. После чего возмущение доведенного до белого каления Племени разрасталось с новой силой. Утром я поделился добычей с Вислоухим и его женой, и в течение нескольких дней трое из нас не были вегетарианцами.

Брак Вислоухого не был счастливым и единственное утешение в том, что он был не очень продолжительным. Ни он, ни я не были счастливы в то время. Я был одинок. Я страдал от неудобства, выброшенный из своей уютной пещеры, и в тоже время не смог подружиться с кем-нибудь другим из молодых мужчин. Я думаю, что моя долгая дружба с Вислоухим стала привычкой.

Я мог бы жениться, это правда, и скорее всего женился бы, если бы орда не испытывала нехватки в женщинах. И причиной этому была ненасытность Красноглазого, ставшая угрозой существованию племени. Кроме того, еще была и Быстроногая, которую я не забыл.

Во всяком случае, в продолжение всего брачного периода Вислоухого, я слонялся неприкаянный,

проводя в опасности каждую ночь, вздрагивая от каждого шороха. Когда умер один из нашего Племени, а его вдова перешла в пещеру к другому, я занял оставленную пещеру, но у нее был слишком широкий вход и после того, как Красноглазый однажды едва не сцапал меня, я снова стал спать в проходе двойной пещеры. Летом я, правда, частенько неделями не возвращался в пещеры, проводя ночи в древесном гнезде, которое устроил около устья топи.

Я уже говорил, что Вислоухий не был счастлив. Моя сестра была дочерью Болтуна, и она сделала жизнь Вислоухого невыносимой. Ни в какой другой пещере не было столько ссор и препирательств. Если Красноглазый был Синей Бородой, то Вислоухий был мокрой курицей, и я думаю, что Красноглазый не был настолько глуп, чтобы когда-нибудь возжелать жену Вислоухого.

К счастью Вислоухого, она умерла. То лето было необычным — почти в самом его конце поспел второй урожай волокнистых корней моркови. Морковь из этого неожиданного урожая была молода, сочна и нежна, и на какое-то время морковная поляна стала любимым местом еды для всего Племени. Однажды рано утром, несколько таких групп пришли туда на завтрак. С одной

стороны от меня был Лысый. За ним были его отец и сын, старик Мозговая Кость и Длинногубый. С другой стороны от меня были моя сестра и Вислоухий, она была ближе ко мне.

Ничто не предвещало опасности. Внезапно, оба — Лысый и моя сестра подпрыгнули и закричали. Одновременно с этим я услышал глухие удары стрел, которые пронзили их. В следующее мгновение они упали на землю, дергаясь и задыхаясь, а остальные в панике бросились на деревья. Стрела пролетела мимо меня и воткнулась в землю, ее оперенное древко дрожало словно продолжая прерванный полет. Я хорошо помню, как свернул в сторону, чтобы обежать ее, и что я сделал для этого слишком большой крюк. Наверно, так лошадь бросается в сторону от того, что вызывает ее страх.

Вислоухий, бежавший рядом со мной, упал со всего размаха. Стрела пронзила икру его ноги и опрокинула его. Он попытался бежать, но снова повалился. Он сидел на земле дрожа от страха и с мольбой взывал ко мне. Я бегом вернулся к нему. Он показал мне стрелу. Я схватился за нее, чтобы вытащить, но вызванная моим движением боль, заставила его вцепиться мне в руку. Одна стрела пролетела между нами. Другая ударилась в скалу,

раскололась и упала на землю. Это было слишком. Я резко дернул стрелу изо всех сил. Стрела выскочила, а Вислоухий закричал и со злости ударил меня. Но в следующее мгновение мы уже мчались во весь опор.

Я оглянулся назад. Старик Мозговая Кость, оставшийся один далеко позади, едва ковылял в своей безнадежной гонке со смертью. Иногда он почти падал и один раз он все-таки упал, но стрелы в него больше не летели, и он смог, превозмогая слабость подняться на ноги. Тяжек был груз его лет, но он не хотел умереть. Трое Людей Огня, выскочившие теперь вперед из их лесной засады, могли легко прикончить его, но они даже не пытались это сделать. Возможно, он был слишком старый и жесткий. Им были нужны Лысый и моя сестра, потому что когда я залез на дерево, то увидел как Люди Огня бьют камнями им по голове. Одним из них был хромой старый охотник.

Мы направились по деревьям к пещерам — возбужденная и беспокойная толпа, гнавшая перед собой к своим пещерам всех мелких обитателей леса, и испускавшая множество бессмысленных криков. Теперь, когда не было непосредственной опасности, Длинногубый остановился, поджидая деда, Мозговую Кость. Потерявшие соединявшее

их поколение в лице Лысого, старик и юнец пошли последними.

Вот так Вислоухий опять стал холостяком. Той ночью я спал с ним в старой пещере, и возобновились наши прежние жизнь и дружба. Потеря спутницы жизни казалось не вызвала у него никакой печали. По крайней мере он никак не показывал этого, и не заметно было, чтобы он переживал из-за ее отсутствия. Его больше донимала рана в ноге и прошла целая неделя прежде, чем он опять стал таким же резвым как прежде.

Мозговая Кость была единственным стариком в орде. Иногда, вспоминая его, когда образ его наиболее отчетлив, я замечаю, что он поразительно похож на отца нашего садовника. Отец садовника был очень стар, очень морщинист и изможден, и любой признал бы, что, когда он смотрел маленькими подслеповатыми глазками и шамкал беззубым ртом, он выглядел и действовал подобно старику Мозговой Кости. Это сходство часто пугало меня, когда я был ребенком. Я всегда убегал, при виде старика, ковылявшего на двух костылях. У Мозговой Кости даже была белая борода состоявшая из нескольких редких беспорядочно торчавших волосков, похожая на бакенбарды старого отца садовника. Как я уже

сказал, Мозговая Кость был единственным старым членом Орды. Он был исключением. Никто в Племени не доживал до старости. Средний возраст был довольно редок. Насильственная смерть была обычной. Мы умирали также как умер мой отец и Сломанный Зуб, как моя сестра и Лысый — внезапно и жестоко, в полном расцвете сил, когда жизнь еще бьет ключом.

Естественная смерть? Умереть насильственной смертью в те времена и было естественным.

Никто не умер от старости в Племени. Мне неизвестно ни одного такого случая. Даже Мозговая Кость не умер так, а он был единственным в мое время, кто имел этот шанс. Глубокая царапина, любое серьезное ранение или временное ухудшение физических способностей, означало быструю смерть. Как правило, этих смертей никто не видел. Члены Племени просто выпадали из вида. Они уходили из пещер утром и никогда не возвращались. Они исчезали — в голодных утробах хищников.

Набег Людей Огня на морковной поляне был началом конца, хотя мы этого не знали. Время шло и охотники Людей Огня стали появляться все чаще. Они приходили парами и по трое, подкрадываясь через лес со своими летящими

стрелами, способными убивать на расстоянии и сбивать добычу с вершины самого высокого дерева, не поднимаясь на него. Лук и стрела как бы увеличивали их мускулы до невероятных размеров, как будто они могли прыгнуть и убить на расстоянии в сто футов и больше. Это делало их гораздо более опасными, чем сам Саблезуб. И, кроме того, они были очень умны. У них была речь, которая позволяла им рассуждать более эффективно, и к тому же они понимали, что значат совместные усилия.

Мы стали очень осмотрительными, находясь в лесу. Мы стали более настороженными, бдительными и робкими. Деревья перестали быть тем убежищем, которому мы могли довериться. Мы больше не смели, устроившись поудобнее на ветках, смеяться над нашими кровожадными врагами на земле. Люди Огня были плотоядны, с когтями и клыками длиной в сотню футов, самыми опасными из всех хищников, которые водились в первобытном мире.

Одним утром, прежде, чем Племя разбрелось по лесу, началась паника среди водоносов и тех, кто спустился к реке, чтобы напиться. Вся орда понеслась к пещерам. Это было нашей характерной чертой в таких случаях — сначала спасаться

бегством, а уж потом разбираться что к чему. Мы уселись у входов в пещеры и ждали. Через некоторое время один из Людей Огня осторожно вышел на площадку. Это был маленький высохший старый охотник. Он долго стоял и наблюдал за нами, разглядывал наши пещеры и стену утеса, скользя взглядом то вверх, то вниз. Он спустился по одной из тропинок к водопою, а через несколько минут вернулся по другой тропе. Снова постоял и долго пристально смотрел на нас. После этого он круто повернулся и захромал в лес, предоставив нам обеспокоено и горестно взывать друг к другу от входов в пещеры.

ГЛАВА XVI

Я нашел ее внизу, на старом месте около черничного болота, где жила моя мать, и где мы с Вислоухим построили наше первое убежище на дереве. Это произошло неожиданно. Подходя к дереву, я услышал знакомый мягкий звук и посмотрел вверх. Это была она, Быстроногая, сидящая на ветке и болтающая ногами, глядя на меня. Какое-то время я был не в силах пошевелиться. Один ее вид приводил меня в блаженное состояние. А потом беспокойство и боль постепенно привели меня в чувство. Я начал подниматься к ней на дерево, а она медленно отступала с ветки. и как только я приблизился к ней, она прыгнула и оказалась в ветвях соседнего дерева. Она смотрела на меня из шелестевших листьев и издавала нежные звуки. Я прыгнул прямо к ней, и после волнующего преследования, все повторилось вновь — она издавала нежные звуки и смотрела на меня сквозь листья деревьев. Я почувствовал, что происходящее чем-то отличается от наших прошлых встреч перед тем как мы с Вислоухим пустились в свое опасное путешествие. Я хотел ее, и я знал, что хочу ее. И она тоже знала это. Имен-

но поэтому она не позволяла мне приблизиться к ней. Я забыл, что она и в самом деле была Быстроногой, и, что в искусстве древесных полетов, она была моим учителем. Я преследовал ее с дерева на дерево, и каждый раз она ускользала от меня, оглядываясь на меня кроткими глазами, издавая нежные звуки, танцуя, прыгая и раскачиваясь на ветках передо мной, но так что мне ее было не достать. Чем дольше она ускользала от меня, тем больше я хотел поймать ее, и удлиняющиеся тени полудня были свидетелями тщетности моих усилий.

Преследуя ее или иногда отдыхая на соседнем дереве и наблюдая за ней, я заметил как она изменилась. Она повзрослела. Линии ее тела стали более округлыми, ее мускулы налились, в ней появилось нечто похожее на зрелость, и этот ее новый облик возбуждал меня. Три года я ее не видел — три года по крайней мере, и перемена в ней была заметна. Я говорю три года, но это весьма приблизительный срок. Возможно, прошло уже четыре года, и события этих лет перепутались в моей памяти.

Чем больше я думаю об этом, тем больше уверен, что ее не было именно четыре года.

Где она бродила, почему, и что происходило с

нею за это время, я не знаю. У нее не было возможности рассказать мне об этом, не больше чем у меня и Вислоухого поведать Племени о том, что мы видели во время своих странствий. Возможно, подобно нам, она пустилась в опасное путешествие, но только по своей воле. С другой стороны, возможно, что причиной ее ухода был Красноглазый. Очень может быть, что он сталкивался с ней время от времени, бродя по лесу, и, если он преследовал ее, нет ничего странного в том, что этого оказалось достаточно для ее бегства. Из последующих событий, я склонен полагать, что она должно быть ушла далеко на юг, через горную гряду и к берегам другой реки, подальше от себе подобных. Там жило много Древесных Людей, и я думаю, что именно они в конце концов заставили ее вернуться в орду и ко мне. Почему я так думаю, я объясню позже.

Тени становились все длиннее, и я стал преследовать ее настойчивее, чем раньше, но так и не смог поймать. Она притворялась, что изо всех сил пытается убежать от меня, но все время делала так, что я был почти рядом с ней. Я забыл обо всем — о времени, о приближающейся ночи, и моих плотоядных врагах. Я обезумел от любви к ней, и от гнева тоже, потому что она не позволяла

мне приблизиться к ней. Странным образом этот гнев становился частью моего влечения к ней. Как я уже сказал, я забыл обо всем. Пересекая поляну, я влетел прямо в змеиное гнездо. Мне было все равно. Я был безумен. Они бросились на меня, но я увернулся и побежал дальше. Потом я наткнулся на питона, который при обычных обстоятельствах заставил бы меня с воплем залезть на верхушку дерева. Он все таки загнал меня на дерево, но Быстроногая скрылась из виду и я спрыгнул на землю и продолжил погоню. Это была игра со смертью. Затем появился наш старый враг, гиена. Из моего поведения она заключила, что должно что-то произойти и следовала за мной в течение часа. Потом мы вывели из себя стадо диких кабанов, и они бросились за нами. Быстроногая отважилась на огромный прыжок между деревьями, который был для меня невозможен. Мне пришлось спуститься на землю. Но там были кабаны. Мне было все равно. Я приземлился всего в ярде от ближайшего кабана. Они взяли меня в клещи и загнали на деревья в сторону от Быстроногой. Тогда я снова рискнул спрыгнуть на землю, запутывая след, и пересек широкую поляну со всем хрюкающим, ощетинившимся и оскалившимся стадом, едва не хватавшим меня

за пятки.

Если бы я споткнулся или оступился на той поляне, у меня не было бы ни единого шанса. Но я не споткнулся. А самое главное я даже не думал об этом. Я был в таком состоянии, что мог бы встретиться лицом к лицу с самим старым Саблезубом или с отрядом охотников Людей Огня. Такого было безумие любви … у меня. Этого нельзя было сказать о Быстроногой. Она была очень мудра. Она не шла на откровенный риск, и я вспоминаю, возвращаясь сквозь века к той неистовой любовной погоне, что, когда свиньи задержали меня, она не столько убегала, сколько ожидала, когда я вновь начну преследовать ее. В то же время в этой гонке вела она, следуя туда, куда ей было нужно.

Наконец, сгустилась темнота. Быстроногая провела меня вокруг покрытого мхом выступа на склоне каньона, что выдавался среди деревьев. После этого мы проникли через плотную массу подлеска, сильно расцарапавшего меня. Но она не зацепилась там ни единым волоском. Она знала куда идет. Посреди чащи стоял большой дуб. Я был очень близко к ней, когда она поднялась на него и на его ветвях, в убежище, которое я искал столь долго и безуспешно, я поймал ее.

Гиена нашла нас по следу, и теперь сидела на земле и завывала от голода. Но нам было все равно, и мы смеялись над ней, когда она зарычала и ушла в чащу. Это была весенняя пора, и ночь наполняло множество самых разных звуков. Как всегда в это время года среди зверей шли брачные бои. Из гнезда мы слышали как визжали и ржали дикие лошади, трубили слоны, и ревели львы. Взошла луна, и воздух был теплым, а мы смеялись и нам не было страшно.

Я помню, как следующим утром мы натолкнулись на двух взъерошенных петухов, дравшихся так самозабвенно, что я подошел прямо к ним и схватил за шеи. Быстроногая помогла мне и это стало нашим свадебным завтраком. Они были очень вкусные. Как легко ловить птиц по весне! В одну из тех ночей мы с Быстроногой наблюдали с дерева за битвой двух лосей при лунном свете и видели как лев и львица подползли к ним незамеченные, и задрали их, в то время как они продолжали драться.

Никто не знает, как долго мы бы жили в гнезде Быстроногой. Но однажды, когда мы были далеко, в дерево ударила молния. Ветки раскололись и гнездо было уничтожено. Я начал восстанавливать его, но Быстроногая не стала мне помогать.

Насколько я понял, она очень боялась молнии, и я не мог убедить ее снова забраться на дерево. Так закончился наш медовый месяц и нам пришлось идти жить в пещеры. Также как Вислоухий выселил меня из пещеры, когда женился, теперь я выселил его, и мы с Быстроногой стали жить в ней, а ему пришлось спать ночью в проходе двойной пещеры.

С приходом в Племя начались наши невзгоды.

Я не знаю сколько у Красноглазого было жен после Поющей. Ее постигла участь остальных. Теперь у него было маленькое вялое существо, которая постоянно скулила и плакала, независимо от того бил он ее или нет, и ее конец был вопросом очень короткого времени. Еще до того как разделаться с ней, Красноглазый положил глаз на Быстроногую, и когда он отправил свою половину вслед за остальными, началось преследование Быстроногой. Хорошо, что она была Быстроногой, что у нее была удивительная способность к быстрому бегу по деревьям. Ей понадобилась вся ее мудрость и смелость, чтобы избегать лап Красноглазого. Я не мог помочь ей. Он был настолько сильным зверем, что мог в буквальном смысле разорвать меня на части. Из-за этого мне пришлось всю жизнь мучиться с

поврежденным плечом, которое ныло и немело в дождливую погоду и это было делом его рук.

Быстроногая болела в то время, когда я получил увечье. Это, должно быть, был приступ малярии от которой мы иногда страдали, но независимо от того, что это было, это сделало ее вялой и неуклюжей. Она потеряла свою быстроту и действительно была в плохой форме для бегства, когда Красноглазый загнал ее в угол около логовища диких собак, в нескольких милях южнее пещеры. В прежнее время она бы обежала вокруг него, оставив далеко позади и укрылась в нашей пещере с узким входом. Но сейчас она не могла обойти его. Она была слишком вялой и неуклюжей. Каждый раз он опережал ее, пока она не оставила этих попыток и не посвятила все силы тому чтобы увернуться от его лап.

Если бы не болезнь, для нее было бы детской забавой оставить его с носом, но теперь требовалась вся ее осторожность и хитрость. К счастью она могла забираться на более тонкие ветки, чем он, и делать более длинные прыжки. Кроме того, она безошибочно определяла расстояния и инстинктивно ощущала состояние прутьев, веток и подгнивших сучьев.

Это была нескончаемая погоня. Они кружили

по огромным участкам леса взад и вперед. В Племени началось сильное волнение. Они издавали дикие крики, которые был громче всего, когда Красноглазый был дальше всего, и затихали, когда он приближался. Они были беспомощными наблюдателями. Женщины визжали и таратори-ли, а мужчины били себя в грудь в бессильном гневе. Большое Лицо было особенно зол, и хотя он тоже сбавлял тон, когда Красноглазый приближался, но не до такой степени как остальные.

Что касается меня, я не разыгрывал из себя храбреца. Я знаю, что я был кем угодно, только не героем. Кроме того, какая польза была бы мне от схватки с Красноглазым? Он был беспредельно жестоким и чудовищно сильным скотом, и в прямом поединке для меня не оставалось никакой надежды на победу. Он убил бы меня, и все осталось по-прежнему. Он поймал бы Быстроногую прежде, чем она смогла достичь пещеры. А я мог только наблюдать в бессильной ярости, отскакивать в сторону с его дороги и прекращать изливать на него свой гнев, когда он оказывался слишком близко.

Шли часы. День угасал, а погоня все продолжалась. Красноглазый добивался усталости Быстроногой. Он хотел загонять ее. Наконец, она

стала уставать и больше не могла поддерживать прежний темп своего бегства. Тогда она начала уходить далеко на самые тонкие ветки, куда он не мог подойти к ней. Там она могла бы перевести дыхание, но Красноглазый был дьявольски безжалостен. Неспособный следовать за нею, он пытался сбросить ее, раскачивая ветки. Со всей силой и своим весом, он тряс ветку пока не отламывал ее с такой же легкостью с какой другой смахивал муху.

Один раз она спаслась, упав на нижние ветки. В другой раз они не предотвратили ее падения на землю. но смягчили удар. В третий раз, когда он особенно яростно тряс ветку, она просто перелетела на другое дерево. Прыжок, который она совершила ради своего спасения был чем-то выдающимся. Только на том дереве она смогла передохнуть на тонких ветках. Но она была так утомлена, что по-другому уже не могла избавиться от него, и раз за разом она была вынуждена искать спасения на тонких ветках.

Погоня продолжалась, а Племя продолжало визжать, бить в грудь и скрежетать зубами. Потом наступил конец.

Уже почти стемнело. Дрожащая, задыхающаяся, со сбившимся дыханием, Быстроногая едва

зацепилась за высокую тонкую ветку. До земли было тридцать футов и внизу не было ничего, за что можно было зацепиться. Красноглазый раскачивался на той же ветке. Это было похоже на маятник, раскачивавшийся все дальше и дальше под его весом. Внезапно он резко подпрыгнул, как раз перед тем как закончилось движение ветки вниз. Ее пальцы сорвались с ветки, у нее вырвался крик и ее швырнуло к земле.

Но она смогла перевернуться в воздухе и опустилась на ноги. В обычном состоянии при падении с такой высоты ее сильные ноги смягчили бы удар. Но она ослабела и не смогла спружинить ими. Ноги у нее подкосились, лишь ненамного смягчив удар, и она повалилась на бок. Она не разбилась, успев перевернуться в воздухе, но это падение окончательно сбило ее дыхание. Она лежала беспомощная, хватая ртом воздух.

Красноглазый набросился на нее. Он схватил ее за волосы, встал и издал торжествующий и одновременно вызывающий рев, обращенный к запуганному Племени, которое наблюдало за происходящим с деревьев. Наверное, я сошел с ума. Осторожность была отброшена ко всем чертям, также как и желание жить. Красноглазый еще ревел, когда я набросился на него сзади. Мое

нападение было настолько неожиданным, что я сбил его с ног. Я обвился вокруг него руками и ногами, стремясь удержать его внизу. Это было бы невозможно, если бы он не удерживал одной рукой Быстроногую за волосы. Воодушевленный моим примером, Большое лицо превратился в неожиданного союзника. Он перешел в атаку, вцепившись зубами в руку Красноглазому, а руками в лицо. Это было время для остальной части Племени присоединиться. Это был шанс покончить с Красноглазым раз и навсегда. Но они остались трястись от страха на деревьях.

Было неизбежно, что Красноглазый победит в борьбе против нас. Причина, по которой он не мог сделать этого немедленно, заключалась в том, что Быстроногая мешала ему. Она отдышалась и начала сопротивляться. Пока он не отпустил ее волосы это его сдерживало.

Он схватил меня за руку. Это означало для меня скорый конец. Он стал подтягивать меня к себе, чтобы вонзить мне в горло зубы. Его рот был открыт, и он усмехался. И, хотя он только начал проявлять свою силу, в то мгновение он так вывернул мне плечо, что я страдал от этого всю оставшуюся жизнь.

И в этот момент что-то произошло. Произошло

внезапно. Огромное тело упало на нас четверых, вцепившихся друг в друга. Кто-то в ярости разбросал нас в стороны, и от неожиданности мы выпустили друг друга. В самый момент удара страшно закричал Большое Лицо. Я не знал, что случилось, хотя почувствовал запах тигра и успел заметить проблеск полосатого меха, когда прыгал на дерево.

Это был старый Саблезуб. Пробужденный в своем логове шумом, который мы наделали, он подкрался к нам незамеченным. Быстроногая забралась на соседнее дерево, и я немедленно присоединился к ней. Я обнял ее и прижал к себе, в то время как она тихо всхлипывала. С земли доносилось рычание и хруст костей. Это был Саблезуб, ужинавший тем, что недавно было Большим Лицом. Красноглазый смотрел сверху злобно горящими глазами на чудовище еще более страшное, чем он сам. Мы с Быстроногой повернулись и спокойно ушли по деревьям к пещере, в то время как Племя собралось наверху и изливала вниз потоки брани и веток на своего заклятого врага. Он бил хвостом и рычал, но продолжал есть.

Именно так мы и спаслись. Это была просто случайность — самая обычная случайность. Если

бы я погиб, там, в объятьях Красноглазого, то не было бы никакой связи времен через тысячелетия между мной и потомками, которые читают газеты и ездят на автомобилях, и даже описывают события далекого прошлого, что я сейчас и делаю.

ГЛАВА XVII

Это случилось ранней осенью следующего года. После неудачи с Быстроногой, Красноглазый нашел другую жену и, как ни странно она была до сих пор жива. Еще более странным было то. что у них родился младенец и ему было уже несколько месяцев — первый ребенок Красноглазого. Его предыдущие жены никогда не жили достаточно долго, чтобы выносить его детей. Это был удачный год для всех нас. Погода была исключительно мягкой, а еда обильной. Особенно хороша была в том году репа. Урожай ореха тоже был очень обильный, а дикие сливы были больше и слаще, чем обычно. Короче говоря, это был золотой год.

И затем это случилось.

Было раннее утро, и мы были застигнуты врасплох в своих пещерах. В холодном сером свете большинство из нас проснулись, чтобы встретить смерть. Быстроногая и я были разбужены адским шумом — визгом, вперемешку с косноязычным говором. Наша пещера была выше всех на утесе, и мы подползли к входу и заглянули вниз. Площадка была заполнена Людьми Огня. Их крики и вопли вплетались в общую какофонию, но у них

был порядок и план действий, в то время как у нас — Племени, не было ни того, ни другого. Каждый из нас был сам за себя, действовал в одиночку, и никто из нас не осознавал размеров бедствия, которое обрушилось на нас.

Мы стали швырять камни, а Люди Огня сосредоточились у подножия утеса. Наш первый залп, должно быть, расплющил головы некоторым из них, поскольку, когда они отступили от утеса, трое из них остались лежать на земле. Они бились в конвульсиях, а один пытался уползти. Но мы добили их. С гневным ревом, мы, мужчины Племени обрушили град камней на этих троих, лежавших внизу. Несколько Людей Огня вернулись, чтобы оттащить их в безопасное место, но наши камни заставили их отступить Люди Огня разозлились, но стали осторожнее. Несмотря на их сердитые вопли, они держались на безопасном расстоянии и посылали в нас тучи стрел. Это положило конец швырянию камней. Скоро полдюжины из нас были убиты и ранены, а остальные отступили внутрь пещер. Хотя стрелы долетали и до моей высокой пещеры, но расстояние было слишком большим, чтобы вести прицельную стрельбу, и Люди Огня не тратили на меня впустую много стрел. Я был любопытен

и хотел все видеть собственными глазами. Быстроногая забилась поглубже в пещеру, дрожа от страха и глухо подвывая, потому что я не возвращался. А я присел у входа и наблюдал.

Битва приостановилась. Это был своего рода тупик. Мы оставались в пещерах, и перед Людьми Огня встала задача как нас выбить оттуда. Они не смели подойти к нам, а мы не могли высунуться наружу из-за их стрел. Время от времени один из них подбирался к подножию утеса, и тогда кто-нибудь из Племени сбрасывал вниз кусок скалы, но его тут же пронзало несколько стрел. Эта уловка срабатывала несколько раз, но в конце концов в Племени не осталось желающих вылезать под обстрел на верную смерть. Положение стало совершенно безвыходным. Это был полный тупик.

Позади Людей Огня я разглядел старого, маленького, высохшего охотника, который руководил всем этим. Они повиновались ему, и передвигались то туда, то сюда по его команде. Некоторые из них пошли в лес и вернулись с охапками сухих веток, листьев и травы. Люди Огня стали приближаться. В то время как большинство из них стояло с луками и стрелами, приготовившись выстрелить в любого из Племени, кто выглянул бы наружу, несколько Людей Огня наваливали сухую

траву и ветки у входов в нижний ряд пещер. Они собирались вызвать чудовище, которого мы так боялись — ОГОНЬ. Сначала поднялись струйки дыма и поползли вверх по утесу. Потом я увидел красные языки пламени, вырывавшиеся из-под спуда дров, подобно крошечным змеям. Дым стал гуще, а клубы его поднимались все выше, иногда закрывая почти весь склон утеса. Но я был высоко и меня это не очень беспокоило, хотя дым ел мне глаза, и я тер их пальцами.

Старик Мозговая Кость не выдержал первым. Легкий ветерок иногда относил в сторону дым, и мне все было видно. Он выпрыгнул из дыма, наступил на раскаленные угли, закричал от внезапной боли и попытался вскарабкаться на утес. Стрелы градом падали вокруг него. Он застыл на уступе, вцепившись в скалу, задыхающийся, чихающий и трясущий головой. Его шатало. Оперенные концы десятка стрел торчали из него. Он был стар, но не хотел умирать. Он пошатывался все сильнее и сильнее, его колени подгибались, и при каждом колебании, он испускал особенно печальный вопль. Его рука разжалась и он упал вниз. Его старые кости, должно быть, разбились вдребезги. Он стонал и даже пытался приподняться, но один из Людей Огня набросился на

него и размозжил ему голову дубиной.

Участь Мозговой Кости постигла многих из нашего Племени. Не в силах выносить удушье, они выпрыгивали прямо под стрелы. Некоторые женщины и дети остались в пещерах, задохнувшись, но большинство встретило смерть снаружи.

Когда Люди Огня, очистили таким способом первый ряд пещер, они решили применить его и ко второму ряду. Все произошло, когда они поднимались вверх с травой и ветками — Красноглазый, сопровождаемый женой с младенцем, вцепившимся в нее, совершил успешное бегство на вершину утеса. Люди Огня должно быть решили, что в интервале между выкуриванием мы будем оставаться в наших пещерах, так что они были застигнуты врасплох и не стреляли пока Красноглазый и его жена не оказались наверху. Забравшись на вершину, он обернулся и свирепо уставившись на них, заревел и стал бить себя в грудь. Они нацелили в него свои луки и, хотя стрелы не долетали до него, он сбежал.

Я смотрел как выкурили третий ряд, потом четвертый. Несколько человек смогли взобраться на утес, но большинство было застрелено, когда они пытались подняться наверх. Помню Длинногубого. Он почти добрался до моего уступа,

жалобно вскрикивая, со стрелой прямо в груди, оперенный конец торчит сзади, а костяной наконечник спереди. Он упал передо мной, изо рта у него хлынула кровь. Приблизительно в это время верхние ряды стали освобождаться как бы сами собой. Почти все Племя еще не выкуренное в панике взбиралось на утес. Это спасло многих. Люди Огня не смогли стрелять достаточно быстро. Их стрелы летели тучами и множество моих соплеменников были сражены ими и рухнули вниз, но кое-кто все же достиг вершины и спасся.

Позыв к бегству был теперь во мне сильнее, чем любопытство. Стрелы больше не летели. Остатки Племени, похоже, сбежали, хотя, возможно, несколько человек все еще скрывались в верхних пещерах. Быстроногая и я начали карабкаться на вершину утеса. При нашем появлении снизу раздался вопль Людей Огня. Но он был предназначен не мне, а Быстроногой. Они были явно взволнованы и указывали на нее друг другу. Они не пытались стрелять в нее. Не было выпущено ни одной стрелы. Они обращались к ней мягко и призывно. Я остановился и посмотрел вниз. А ей было страшно, она всхлипывала и подгоняла меня. Мы поднялись на вершину и нырнули в листву деревьев.

Этот случай часто заставлял меня удивляться и задаваться вопросом. Если она действительно была одной из них, она, должно быть, была потеряна в то время, когда была слишком мала, чтобы помнить их, а тем более бояться? С другой стороны, вполне могло получиться так, что хотя она и была из их вида, они никогда не теряли ее, ведь она была рождена в диком лесу далеко от их мест, ее отец возможно был изгоем Людей Огня, а ее мать, возможно, была из моего вида, одной из Племени. Но, кто может сказать наверняка? Я был здесь бессилен, а Быстроногая знала об этом не больше меня.

Это был ужасное время. Большинство оставшихся в живых бежали к черничному болоту и искали спасения в окрестных лесах. И весь день отряды охотников из племени Людей Огня направлялись в лес, убивая нас везде, где находили. Это, должно быть, был заранее намеченный план. Выйдя за пределы собственной территории, они решили завоевать нашу. На нашу голову! У нас не было ни единого шанса устоять против них. Это была резня, резня без разбора, ведь они никого не щадили, убивая старых и молодых, быстро избавляя землю от нашего присутствия.

Для нас это было подобно концу света. Мы пы-

тались найти последнее прибежище на деревьях, но это приводило лишь к тому, что нас выслеживали и истребляли семейство за семейством. Мы много видели в тот день, еще и потому, что я хотел это видеть. Мы с Быстроногой никогда не оставались долго на одном дереве, и этим сумели избежать общей участи. Но, казалось, что спасения нет нигде. Люди Огня были всюду, стремясь истребить всех. Куда бы мы не пошли, мы наталкивались на них и поэтому видели многое из того, что они натворили.

Я не знаю, что случилось с моей матерью, но я видел как Болтун свалился с нашего старого домашнего дерева, сбитый стрелой. И боюсь, что это зрелище заставило мое сердце биться чуть быстрее от радости. Прежде, чем я закончу эту часть моего рассказа, я должен сообщить о Красноглазом. Он был настигнут с его женой на дереве около черничного болота. Быстроногая и я прервали свое бегство, чтобы посмотреть. Люди Огня были слишком заняты своим делом, чтобы заметить нас, и, кроме того, мы были хорошо укрыты ветками, в которых затаились.

Весь отряд охотников собрался вокруг дерева, осыпая его стрелами. Они поднимали их, когда стрелы падали на землю. Я не мог видеть Красно-

глазого, но слышал его вой где-то на дереве. После короткой паузы его вой стал приглушенным. Он должно быть заполз в дупло. Но его жене это убежище не досталось. Стрела свалила ее на землю. Она, видимо, была тяжело ранена, так как не сделала никаких попыток убежать. Она прикрыла собой младенца, который упорно цеплялся за нее и издавала умоляющие крики и делала знаки Людям Огня. Они столпились вокруг нее и смеялись над нею — точно также как Вислоухий и я смеялись над старым Древесным Человеком. И, также как мы, тыкали в него прутьями и палками, так и Люди Огня делали это с женой Красноглазого. Они тыкали в нее концами их луков, и кололи ее в ребра. Но она была плохой забавой. Она не хотела сопротивлялась. Она даже не огрызалась. Она продолжила заслонять младенца и умолять. Один из Людей Огня шагнул к ней. В его руке была дубина. Она увидела и поняла все, но продолжала по-прежнему издавать просительные звуки, пока ее не свалил удар.

Красноглазый, сидя в дупле был недосягаем для их стрел. Они постояли, обсуждая что-то, потом один из них полез на дерево. Что там случилось, я сказать не могу, но было слышно как он завопил, и я увидел как разволновались остальные. Через

несколько секунд его тело шмякнулось на землю. Он не двигался. Они подошли к нему и подняли ему голову, но она бессильно упала назад, когда они убрали руки.

Красноглазый показал себя во всей красе.

Они здорово разозлились. В нижней части дерева была трещина. Они собрали хвороста и травы и разожгли костер. Быстроногая и я, обнявшись, ждали и наблюдали из чащи леса.

Иногда они подбрасывали в огонь ветки, покрытые листьями. После чего дыма становилось намного больше.

Мы увидели, как они вдруг отскочили прочь от дерева. Но они оказались недостаточно проворны. Красноглазый приземлился в самой их гуще.

Он был ужасно разъярен, и крушил их направо и налево своими длинными ручищами. Схватив одного из них за лицо, он в буквальном смысле этого слова содрал его с черепа, такова была чудовищная сила, заключенная в его огромных мускулах. Другому он сломал шею. Люди Огня отступили с дикими воплями, а потом бросились на него. Он сумел завладеть дубиной и стал крушить им головы как яичные скорлупки. Он был им не по зубам, и им пришлось снова отступить. Это был удобный момент и, повернувшись спи-

ной к врагам, он побежал, продолжая завывать в гневе. Несколько стрел полетели ему вслед, но он нырнул в чащу и исчез.

Мы с Быстроногой стали потихоньку отползать и натолкнулись на другой отряд Людей Огня. Они загнали нас в черничное болото, но мы знали как пройти по деревьям над топью, куда они не могли последовать за нами по земле, и сумели спастись.

Мы зашли с другой стороны в узкую полосу леса, которая отделяла черничное болото от великого болота, простиравшегося далеко на запад. Здесь мы встретили Вислоухого. Как он спасся, я не могу себе представить, несмотря на то, что он не спал этой ночью в пещерах. Здесь, в этой полоске леса, мы могли бы построить убежища на деревьях и обосноваться, но Люди Огня решили полностью завершить наше истребление.

В полдень Волосатое Лицо и его жена появились из-за деревьев с восточной стороны, пробежали мимо нас и скрылись в лесу. Они бежали молча и осторожно, на их лицах была написана тревога. В том направлении, откуда они пришли, мы услышали крики и вопли охотников и визг кого-то из соплеменников. Люди Огня все-таки проложили себе путь через болото. Быстроногая, Вислоухий

и я побежали вдогонку за Волосатым Лицом и его женой. Когда мы оказались на краю гигантского болота, нам пришлось остановиться. Оно было нам незнакомо, так как лежало за пределами нашей территории и Племя всегда избегало его. Никто никогда не заходил в него, по крайней мере никто из него не вернулся. Для нас оно было загадочным местом и навевало страх своей жуткой чернотой. Как я уже сказал, мы остановились на краю болота. Нам было страшно. Крики Людей Огня приближались. Мы посмотрели друг на друга и Волосатое Лицо побежал прямо по чавкающей трясине. Он сумел достичь твердой опоры в виде поросшей травой кочки в тридцати футах от нас. Его жена осталась на месте. Она хотела последовать за ним, но каждый раз отшатывалась от предательской поверхности и замирала.

Быстроногая не стала ждать меня и не остановилась пока не пробежала футов на сто дальше Волосатого Лица и не нашла большую твердую кочку. К тому времени как мы с Вислоухим присоединились к ней, Люди Огня появились среди деревьев. Жена Волосатого Лица, приведенная их видом в состояние панического ужаса, бросилась вперед. Но она бежала ничего не видя перед собой, без всякой предосторожности и разбила

твердую корку покрывавшую поверхность болота. Мы повернулись в ее сторону и увидели как Люди Огня стреляли в нее пока она погружалась в трясину. Стрелы стали падать вокруг нас. Волосатое Лицо уже присоединился к нам и вчетвером мы продолжили свой путь, сами не зная куда, но все дальше и дальше уходя по болоту.

ГЛАВА XVIII

У меня не сохранилось ясных воспоминаний о наших скитаниях по гигантской трясине. Попытки вызвать воспоминания заканчиваются тем, что я вижу перед собой путаницу несвязных впечатлений и перестаю ощущать течение времени. Я не имею представления о том как долго мы блуждали по этой обширной топи, но должно быть прошло несколько недель. Мои воспоминания о тех днях неизменно принимают форму кошмара. Мне кажется, что я бесконечно блуждаю среди немыслимых опасностей по сырой и дикой пустыне, где на нас нападали змеи, вокруг ревели звери, а трясина чавкала и уходила у нас из под ног.

Я помню, что нам пришлось бесконечное число раз уходить в сторону с нашего пути, чтобы обогнуть потоки, озера, моря вязкой жижи. После бурь вода поднималась и заливала огромные пространства низменностей. Мы умирали от голода, когда становились пленниками деревьев на нескончаемые дни наводнений. Впечатляет одно из моих видений. Огромные деревья окружают нас, с их ветвей свешиваются серые нити

мха, а гигантские лианы как чудовищные змеи обвиваются вокруг их стволов и переплетаются в воздухе. И кругом жижа, сплошная жижа. Сквозь которую поднимаются, лопаясь, пузырьки газа. И посреди всего этого — мы. Нас не больше дюжины. Мы голодны и несчастны, наши кости просвечивают сквозь обтянувшую их кожу. Мы не поем, не лопочем и не смеемся. Нам не до игр. Наш изменчивый и буйный нрав оказался безнадежно утрачен. Мы издаем жалобные ворчливые звуки, смотрим друг на друга и сбиваемся потеснее. Это похоже на встречу горстки спасшихся после дня Страшного Суда.

Как нам удалось пересечь это болото, я не знаю, но в конце концов мы выбрались из него там, где низкая гряда холмов сбегала вниз к берегу реки. Это была наша река, выходящая подобно нам из великого болота. На южном берегу, где река прокладывала себе путь через холмы, мы нашли много пещер, образовавшихся в песчанике. А подальше к западу в песчаную отмель, лежавшую поперек устья реки, бились океанские волны. И здесь, в пещерах мы основали свое стойбище у моря.

Нас осталось немного, но постепенно к нам присоединились другие спасшиеся соплеменни-

ки. Они переходили болото поодиночке, вдвоем и втроем., больше похожие на мертвецов, чем на живых, ходячие скелеты и, наконец, нас собралось около тридцати. Больше никто не вышел из болота. Красноглазый исчез. Нужно заметить, что ни один ребенок не перенес этого ужасного похода.

Я не буду подробно описывать годы нашей жизни у моря. Это было не очень удачное место. Сырой и холодный воздух приводил к тому, что мы непрерывно страдали от кашля и простуды. Мы не могли выжить в такой обстановке. Правда, у нас рождались дети, но они были очень слабы и быстро умирали. Мы вымирали быстрее, чем рождалось новое поколение. Наша численность неуклонно уменьшалась. К тому же радикальная перемена в нашем рационе оказалась для нас не слишком полезной. Мы собирали немного овощей и фруктов, но стали рыбоедами. Здесь были мидии, гигантские моллюски, устрицы и огромные океанские крабы, выброшенные штормом на берег. Кроме того, мы обнаружили несколько видов морских водорослей, пригодных в пищу. Но перемена диеты вызывала боли в животе и никто из нас никогда не жаловался на полноту. Все мы были худы и страдали от плохого пищеварения.

Как раз во время сбора больших моллюсков погиб Вислоухий. Один из них защемил ему пальцы во время отлива, а потом начался прилив, и он утонул. Мы нашли его тело на следующий день, и это стало для нас уроком. Никто из нас больше не совал руки в смыкающиеся раковины гигантских моллюсков.

Быстроногая и я воспитывали одного ребенка — мальчика, мы смогли сохранить лишь его одного в течение нескольких лет. Но я абсолютно уверен, что в конце концов он не смог бы выжить в том ужасном климате. А потом, однажды, Люди Огня появились снова. Они спустились вниз по реке, не на катамаране, а в грубо выдолбленном из ствола дерева челноке. Их было в нем трое и одним из них был маленький высохший старый охотник. Они высадились на нашем берегу, и он захромал по песку, разглядывая наши пещеры. Они ушли через несколько минут, но Быстроногая была сильно напугана. Мы все были испуганы, но никто не был напуган до такой степени как она. Она вздрагивала и плакала и была неспокойна всю эту ночь. Утром она взяла ребенка на руки и резкими криками и жестами заставила меня начать наш второй поход. Восемь человек(все что осталось от Орды) остались позади в пещерах.

У них не было никакой надежды. Несомненно, даже если Люди Огня не вернутся, они должны были скоро погибнуть. Здесь у моря был слишком плохой климат, мы не были приспособлены к жизни на побережье.

Много дней мы шли на юг по краю великого болота, не рискуя заходить в него. Затем мы повернули на запад, пересекли горный хребет и спустились к побережью. Но для нас там не было места. Там не было деревьев, только суровые скалы, гремящий прибой и сильный ветер, который казалось никогда не стихал. Мы повернули обратно, снова перевалили через горы, повернули на юго-восток пока снова не уткнулись в великое болото. Вскоре мы достигли южной оконечности болота и вновь пошли на юго-восток. Это была хорошая земля. В воздухе разливалось тепло, мы снова были в лесу. Потом мы пересекли невысокую гряду холмов и оказались в еще более привлекательной стране лесов. Чем дальше мы уходили от побережья, тем становилось теплее, и мы шли и шли, пока не достигли большой реки, которая кажется была знакома Быстроногой. Должно быть здесь она провела четыре года, исчезнув из нашего леса. Мы пересекли эту реку на бревнах и высадились на крутом берегу.

Здесь мы нашли себе новый дом, в который трудно было забраться и хорошо укрытый от чужих глаз.

Мне осталось рассказать совсем немного. Здесь мы с Быстроногой и обосновались и стали умножать свое семейство. На этом месте мои видения обрываются. Отсюда мы уже не ушли. В моих видениях нет событий, которые бы происходили вне нашей высокой, недоступной пещеры. И здесь, наверняка, был рожден ребенок, унаследовавший мою эволюционную память, впитавший в себя все впечатления моей жизни — вернее жизни Большого Зуба, бывшего моим вторым «я». Его нет, но он столь реален для меня, что иногда я не могу понять в каком времени живу.

Я часто ломаю себе голову над тем, как это произошло. Я, нынешний, бесспорно являюсь человеком и все же я — Большой Зуб, первобытный — не совсем человек. Где-то на лестнице эволюции эти две стороны моей двойственной личности сошлись. Было ли Племя перед его уничтожением в процессе превращения в людей? И прошел ли я через этот процесс? С другой стороны, мог ли какой-то мой потомок уйти к Людям Огня и стать одним из них? Я не знаю. И нет никакой возможности узнать это. В одном лишь я твердо

уверен — в том, что Большой Зуб запечатлел в мозгу одного из своих детей все впечатления его жизни и впечатал их так неизгладимо, что все последующие поколения не смогли их стереть.

Есть еще одно, о чем я хочу сказать, прежде чем завершу свой рассказ. Это сон, который я часто вижу и судя по всему это должно было произойти, когда я жил в пещере на высоком обрывистом берегу реки. Я помню, что ушел в лес далеко на восток. Там я наткнулся на племя Древесных Людей. Укрывшись в чаще, я наблюдал за их играми. Они держали комический совет, подпрыгивая и хором издавая нестройные вопли. Вдруг они замолчали и перестали скакать. Съежившись от страха, они с тревогой искали глазами пути к отступлению. Приближался Красноглазый. Они испуганно отшатывались от него. Но он не пытался напасть на них. Он был одним из них. По пятам за ним следовала на волосатых кривых ногах, упираясь в землю суставами пальцев старая женщина Древесных Людей, его последняя жена. Он уселся в центре круга. Я вижу его сейчас, когда пишу эти строки — нахмурившегося, с горящими глазами, оглядывающего сбившихся в круг Древесных Людей. И разглядывая их, он одновременно сгибает одну из своих ножищ и ее

скрюченными пальцами скребет себе живот. В этом весь Красноглазый — сущий атавизм.

ЛЮБОВЬ К ЖИЗНИ

Потоком времени не все поглощено.
Жизнь прожита, но облик ее вечен.
Пусть золото игры, в волнах погребено
—
Азарт игры как выигрыш отмечен.

Два путника шли, тяжело хромая, по склону холма. Один из них, шедший впереди, споткнулся о камни и чуть не упал. Двигались они медленно, усталые и слабые, и напряженные их лица были покрыты той покорностью, какая является результатом долгих страданий и перенесенных лишений. К плечам их были привязаны тяжелые мешки. Головные ремни, проходящие по лбу, придерживали ношу на шее. Каждый путник нес в руках ружье.

Они шли согнувшись, выдвинув вперед плечи, с глазами, уставленными в землю.

— Если бы только были у нас два патрона из тех, какие мы спрятали в нашей яме, — сказал второй человек.

Его голос звучал тускло. Он говорил без всякого чувства. Первый человек, прихрамывая, пере-

ходил пенящийся между скал ручей — вода его была мутная, молочно-известкового цвета — и ничего ему не ответил.

Второй путник вошел в воду вслед за первым. Они не сняли обуви, хотя вода была ледяная — такая холодная, что их ноги болезненно немели.

В некоторых местах вода доходила до колен, и оба они шатались и теряли равновесие.

Путник, идущий сзади, поскользнулся о камень. Он чуть было не упал, но с большим усилием выпрямился, издав острый крик боли. Его голова кружилась, и он выставил правую руку, как бы ища опоры в воздухе.

Найдя равновесие, он двинулся вперед, но зашатался и снова чуть не упал. Тогда он остановился и посмотрел на своего товарища, который даже не повернул головы.

Он стоял неподвижно в течение минуты, как бы что-то обдумывая. Затем крикнул:

— Послушай, Билл, я вывихнул себе ногу!

Билл шел, шатаясь, по известковой воде. Он не обернулся. Человек, стоявший в ручье, посмотрел вслед уходящему. Его губы немного дрожали, и видно было, как двигались темно-рыжие усы, их покрывавшие. Он пытался смочить губы языком.

— Билл! — крикнул он снова.

Это была мольба сильного человека, очутившегося в беде. Но Билл не повернул головы. Человек смотрел, как спутник его уходит шатающейся походкой, нелепо прихрамывая и качаясь взад и вперед. Билл поднимался по отлогому склону низкого холма и подходил к мягкой линии окаймляющего его неба. Говоривший смотрел на уходящего товарища, пока тот не перевалил через вершину и не исчез за холмом. Тогда он перевел взгляд на окружающий ландшафт и медленно охватил взором мир. Только он — этот мир — остался ему теперь после ухода Билла.

Солнце неясно обозначалось вблизи горизонта, почти скрытое за туманом и паром, поднимающимися из долины. Эти туманные облака казались густыми и плотными, но были бесформенны и не имели очертаний.

Путник, опираясь на одну ногу, вынул часы.

Было четыре часа, и так как стоял конец июля или начало августа — точно он не знал числа, — солнце должно было находиться на северо-западе. Он посмотрел на запад: где-то там, за пустынными холмами, лежало Великое Медвежье озеро. Он знал также, что в этом направлении Полярный круг проходит через проклятую область бесплодных равнин Канады. Ручей, в котором он стоял,

был притоком Медной речки, которая течет к северу и вливается в заливе Коронации в Северный Ледовитый океан. Он никогда не бывал там, но видел эти места на карте Компании Гудзонова залива.

Снова взор его охватил окружающий пейзаж. То было невеселое зрелище. Всюду кругом обрисовывалась мягкая линия неба. Всюду поднимались невысокие холмы. Не было ни деревьев, ни кустов, ни травы — ничего, кроме бесконечной и страшной пустыни, вид которой внезапно заставил его содрогнуться.

— Билл, — прошептал он несколько раз. — Билл!

Он опустился посреди молочной воды, как будто окружающая ширь теснила его неодолимой и суровой своей властью и сокрушала ужасом своей обыденности. Он стал дрожать, словно в сильной лихорадке, пока ружье не выпало из его рук и с плеском не ударилось о воду. Это как будто пробудило его. Подавляя свой страх, он стал шарить в воде, пытаясь найти ружье. Он придвинул ношу к левому плечу, чтобы облегчить тяжесть для поврежденной ноги. Затем он начал осторожно и медленно, корчась от боли, продвигаться к берегу.

Он не остановился. С отчаянием, граничившим с безрассудством, не обращая внимания на боль, он спешил по направлению к холму, за которым исчез его товарищ. Его фигура выглядела еще более нелепой и странной, чем облик ушедшего путника. Снова в нем поднималась волна страха, и преодоление его стоило ему величайших усилий. Но он справился с собой и снова, отодвинув мешок еще дальше к левому плечу, продолжал путь по склону холма.

Дно долины было болотисто. Толстый слой мха, подобно губке, впитывал в себя воду и удерживал ее близко к поверхности. Вода эта проступала из-под ног путника на каждом шагу. Ноги его тонули в мокром мху, и он с большим усилием освобождал их из топи. Он выбирал себе дорогу от одного открытого места к другому, стараясь идти по следу того, кто прошел тут раньше. След этот вел через скалистые площадки, подобные островам в этом мшистом море.

Хотя он был один, но не терял дороги. Он знал, что придет к месту, где сухой карликовый ельник окаймляет берег маленького озера, называвшегося на языке страны «Тичиничили», или Страна Низких Стволов. В это озеро втекал небольшой ручей, вода которого не была молочной, подобно

воде других ручьев этой местности. Он помнил хорошо, что вдоль этого ручья рос тростник. Он решил следовать по его течению до того места, где течение раздваивается. Там он перейдет ручей и найдет другой ручей, текущий к западу. Он пойдет вдоль него, пока не дойдет до реки Дизы, куда впадает этот ручей. Здесь он найдет яму для провизии — в потайном месте, под опрокинутой лодкой, с наваленной на нее грудой камней. В этой яме лежат заряды для его пустого ружья, рыболовные принадлежности, маленькая сетка для лова — одним словом, все приспособления для охоты и ловли пищи. Он найдет там также немного муки, кусок свиного сала и бобы.

Там Билл будет ожидать его, и они вместе отправятся на лодке вниз по Дизе к Великому Медвежьему озеру. Они будут плыть по озеру по направлению к югу, все южнее и южнее, пока не достигнут реки Маккензи. Оттуда они снова двинутся к югу. Таким образом они уйдут от наступающей зимы, от ее льдов и холода. Они дойдут, наконец, до Поста Компании Гудзонова залива, где растут высокие и густые леса и где пищи сколько угодно.

Вот о чем думал путник, продолжая продвигаться. Напряжению его тела соответствовало

такое же усилие его мысли, пытающейся убедиться в том, что Билл его не оставил, что он, наверно, будет ждать его у ямы. Этой мыслью он должен был себя успокаивать. Иначе идти было бесцельно и надо было ложиться на землю и умирать. Мысль его усиленно работала. Наблюдая, как неясный шар солнца медленно опускался к северо-западу, он все снова и снова вспоминал малейшие подробности начала его бегства к югу, вместе с Биллом, от настигавшей их зимы. Снова и снова он мысленно перебирал запасы провизии, спрятанной в яме. Вспоминал он все время и запасы Поста Компании Гудзонова залива. Он не ел два дня, а перед этим долго, очень долго недоедал. Часто он наклонялся, срывал бледные ягоды кустарника, клал их в рот, жевал и глотал. Эти ягоды — семя, заключенное в капсюле с безвкусной жидкостью. На вкус это семя очень горько. Человек знал, что ягоды совершенно непитательны, но терпеливо продолжал жевать.

В девять часов он ушиб большой палец ноги о каменную глыбу, пошатнулся и свалился на землю от усталости и слабости. Он лежал некоторое время без движения, на боку. Затем высвободился из ремней своего дорожного мешка и с трудом принял сидячее положение. Было еще не совсем

темно. В свете длящихся сумерок он ощупью старался отыскать между скалами обрывки сухого мха. Собрав кучу, он зажег огонь — теплящийся, дымный огонь — и поставил на него кипятить свой котелок.

Он развернул свою поклажу и стал считать свои спички.

Их было шестьдесят семь. Для верности он три раза пересчитал их. Он разделил их на небольшие пакеты, которые завернул в непромокаемую вощеную бумагу, и положил одну пачку в пустой кисет для табака, другую — за подкладку измятой шляпы, третью — под рубашку у тела. Сделав это, он вдруг поддался паническому страху, снова развернул их и пересчитал. И снова он насчитал шестьдесят семь.

Он высушил обувь у огня. Его мокасины разлезались на мокрые лоскуты. Шерстяные носки были сплошь в дырках, а ноги — изранены и окровавлены. Лодыжка горела от вывиха. Он посмотрел ее и нашел, что она распухла и стала величиной с колено. Он оторвал длинную полосу от одного из своих двух одеял и туго завязал ногу. Другими полосками он обернул ноги, пытаясь заменить этим мокасины и носки. Затем выпил кипящую воду из котелка, завел часы и полез под

верхнее одеяло. Он спал мертвым сном. Но недолго было темно. Солнце встало на северо-востоке. Вернее, заря забрезжила в этом месте, ибо солнце осталось скрытым за серыми облаками.

В шесть часов он проснулся, лежа на спине. Он глядел прямо вверх в серое небо и чувствовал, что голоден. Повернувшись на локте, он внезапно вздрогнул от раздавшегося вблизи громкого фырканья и увидел карибу, рассматривающего его с живым любопытством. Животное находилось на расстоянии не более пятидесяти футов от него. Мгновенно и мучительно остро он ощутил вкус оленьего филе и увидел его шипящим над огнем. Машинально взял незаряженное ружье, взвел курок и нажал на спуск. Олень фыркнул и отскочил. Его копыта гремели, когда он бежал по скалам.

Путник выругался и отбросил ружье. Он громко застонал, пытаясь встать на ноги. Это была тяжелая и медленная работа. Его суставы напоминали ржавые шарниры. Они двигались с трудом, задерживаемые трением связок. Чтобы согнуть какой-нибудь член, требовалось огромное усилие воли. А после того как он встал окончательно на ноги, целая минута пошла на то, чтобы выпрямиться.

Он вполз на небольшое возвышение и обо-

зрел местность. Не было ни деревьев, ни кустов — ничего, кроме серого моря мхов, где изредка выделялись такие же серые скалы, серые озерки и серые ручьи. Не было даже намека на солнце. Он не имел понятия о том, где находится север, и забыл дорогу, по которой накануне вечером пришел в это место. Но он знал, что не потерял пути. Скоро он придет в Страну Низких Стволов. Он чувствовал, что она лежит где-то налево, недалеко — быть может, сейчас же за соседним низким холмом.

Он вернулся, чтобы уложить свою поклажу для путешествия. Затем удостоверился в существовании трех отдельных пачек спичек, хотя не пересчитывал их. Но он колебался, раздумывая, при виде плоского мешка из лосиной кожи. Его размеры были невелики, и он мог покрыть его обеими руками. Но он знал, что мешок весит пятнадцать фунтов — столько же, сколько вся остальная поклажа. Это беспокоило его. Он отложил мешок и стал свертывать поклажу. Но скоро взор его снова вернулся к кожаному мешку, и он снова за него схватился, бросив вызывающий взгляд на окружающую местность, словно упрекая пустыню в желании украсть его добро. Когда же он встал на ноги, с тем чтобы двинуться

дальше, и пошел вперед, тяжело ступая, — мешок был включен в ношу на его спине.

Он двигался влево, останавливаясь изредка, чтобы собирать ягоды с кустов. Его нога окоченела, и прихрамывание стало более заметным. Но боль эта была незначительна в сравнении с болью в животе. Голод мучил его с такой остротой, что он не мог удерживать в мысли направление, ведущее в Страну Низких Стволов. Ягоды не утишали этих мук и в то же время своей едкостью болезненно раздражали полость рта.

Он вышел в долину и вспугнул там несколько птармиганов[74], сидевших на скалах и на кустах. Они поднялись, хлопая крыльями, издавая звуки «кер-кер-кер». Он бросал в них камни, но попасть не мог. Тогда он положил свою поклажу на землю и начал к ним подкрадываться, подобно тому, как кошка подкрадывается к воробью. Острые скалы ранили ноги, и колени его оставляли за собой на земле кровавый след. Но боль эта была несравнима с мучениями голода. Он полз по мокрому мху, и одежда его пропитывалась водой, леденившей его члены. Его голод был так мучителен, что он ничего этого не замечал. Но птармиганы удаля-

[74] notes: 74

Птицы из породы тетеревов, зимой меняющие свою черную или коричневую окраску на белую.

лись все дальше и дальше, и наконец их крик стал для него словно насмешкой. Он проклинал их и кричал, подражая их «кер-кер-кер».

Наконец он дополз до одной птицы, которая, вероятно, спала. Он не видал ее, пока она не вылетела из своего убежища в скалах и не порхнула мимо его лица. Он пытался схватить ее, и в руке остались три пера из ее хвоста. Глядя вслед улетающей птице, он остро и мучительно ее ненавидел. Затем вернулся к прежнему месту и навьючил на себя мешок.

В течение дня он вышел в долину, где дичи было еще больше. Стадо северных оленей — их было больше двадцати — прошло мимо, дразня его своей близостью. Он ощущал сумасшедшее желание бежать за ними и был почти уверен, что сможет их настигнуть. Черно-бурая лисица бежала ему навстречу, неся в зубах птармигана. Путник закричал. Это был страшный крик, и лисица испуганно метнулась в сторону, но птармигана не бросила.

Поздно, после полудня, он шел вдоль ручья, молочного от извести, пробегающего между редкими зарослями тростника. Крепко ухватившись за тростник у самого его корня, он вытащил нечто вроде молодой луковицы, размером не больше

кровельного гвоздя. Она была нежна, и зубы с наслаждением в нее вонзились. Но волокна корня были крепки и пропитаны водой. Как и ягоды, тростник был непитателен. Путник отбросил свою поклажу и на четвереньках вполз в заросли, вырывая луковицы и перетирая их зубами, подобно травоядному животному.

Он очень устал и часто ощущал желание лечь и заснуть. Но его подгонял голод — гораздо острее, чем желание достичь Страны Низких Стволов. Он искал лягушек в лужах и рыл ногтями землю, отыскивая червей, хотя знал, что так далеко на севере не существует ни лягушек, ни червей.

Он тщетно искал в каждой луже. Наконец, уже в сумерках, он нашел в одной из луж одинокую рыбу — небольшого пискаря[75]. Он погрузил в воду свою руку до плеча, но рыба увильнула. Тогда он опустил обе руки и поднял со дна молочно-известковый ил. В своем возбуждении он упал в лужу и вымочился до пояса. Но вода стала слишком мутной, чтобы в ней можно было разглядеть рыбу, и он должен был ждать, пока ил уляжется.

---

[75] notes: 75

Пискарь (пискун, вьюн) — род рыбы из подсемейства вьюновых. Живет в озерах и реках с илистым дном; при высыхании воды зарывается в ил и может долго просуществовать вне воды. Не следует смешивать пискаря с пескарем, обитателем чистых проточных вод, рыбой из семейства карповых.

Преследование продолжалось, пока вода не стала снова мутной. Но он не мог ждать. Он отстегнул от своего мешка ведро и стал вычерпывать воду из лужи. Сперва он вычерпывал, яростно плеща на себя водой и выливая ее на такое небольшое расстояние, что она текла обратно в лужу. Тогда он стал работать более внимательно, пытаясь оставаться хладнокровным, хотя сердце его билось в груди и руки дрожали. Через полчаса в луже воды не осталось. Но рыбы не было. Он нашел скрытую щель между камнями, через которую она ушла в соседнюю большую лужу… И из этой лужи нельзя было бы вычерпать воду в течение суток. Знай он только об этой щели — он мог бы закрыть ее камнем в самом начале — и поймал бы рыбу.

Так думал он и опустился, съежившись, на мокрую землю. Сперва он плакал вполголоса, а затем громко, словно обращаясь с жалобой к беспощадной пустыне. И долго еще потом он всхлипывал без слез.

Он зажег костер и согрелся тем, что пил горячую воду. Затем, как и накануне, устроил себе ночлег на сухой каменной площадке; осмотрел — сухи ли спички, и завел часы. Одеяла были мокры и липки. Его нога болезненно ныла. Но он сознавал

только, что голоден. Он спал тревожно и видел во сне нескончаемые пиры и празднества, видел тонкие яства.

Проснулся он простуженным и больным. Солнца не было. Серая земля и серое небо еще больше потемнели. Дул сырой ветер, и первые снежинки покрывали белеющим покровом вершины холмов.

Воздух вокруг него сгущался и белел в то время, как он раскладывал костер и кипятил воду. Это был не то снег, не то дождь: хлопья были большие и мокрые. Сперва они таяли, как только прикасались к почве; но их падало все больше и больше, и белый покров постепенно расстилался кругом. Снег тушил огонь и портил собранный путником запас сухого мха.

Это послужило сигналом для отправки в путь. Он двинулся с поклажей на спине. Он не знал, куда идет. Его больше не заботила мысль о Стране Низких Стволов, и он перестал думать о Билле и о яме под перевернутой лодкой около реки Дизы. Он помнил только одно, и это был глагол «есть». Он сходил с ума от голода. Он не обращал внимания на направление своего пути, стараясь только держаться вдоль дна долины. Он прокладывал себе путь через мокрый снег к ягодам на

кустах и шел, ощупывая тростники и вырывая их корни. Но последние были совсем безвкусны. Он нашел какую-то кислую траву и съел все ее побеги. Но ее видно было очень мало, так как это была ползучая поросль, исчезающая под тонким покровом снега.

В этот вечер он не разводил огня и не имел горячей воды. Он лег спать под одеяло и спал беспокойным голодным сном. Снег превратился в холодный дождь. Он несколько раз просыпался и ощущал его капли на своем лице.

Проглянул день — серый день без солнца. Дождь перестал. Острота голода исчезла. Чувствительность, поскольку она вызывала стремление насытиться, была истощена. Осталась тупая, тяжелая боль в желудке, но это не особенно ему мешало. Он стал рассудительней и был снова озабочен мыслью о Стране Низких Стволов и складе у реки Дизы.

Он разорвал остатки одного из своих одеял и обмотал ими свои израненные ноги. Затем снова перевязал больную ногу и приготовился продолжать путешествие. Осматривая поклажу, он долго раздумывал над плоским мешком из лосиной кожи, но в конце концов захватил его с собой.

Под действием дождя снег растаял, и только вершины холмов продолжали белеть. Солнце показалось. Ему удалось определить по компасу направление, и он знал теперь, что потерял дорогу. Быть может, в блужданиях последних дней он подался слишком далеко влево. Поэтому он ударился вправо, с тем чтобы уравновесить возможное отклонение от правильного пути.

Хотя мучения голода были уже не столь остры, но он был очень слаб и сознавал это. Он должен был часто останавливаться для отдыха и в это время жевал ягоды и корни тростника. Язык его был сух и распух; казалось, он покрылся тонким пухом. Во рту было горько. Сердце также причиняло ему много хлопот. Когда он ступал несколько шагов — оно начинало сильно биться, а затем словно прыгало вверх и вниз в мучительных перебоях, от которых ему трудно дышалось и голова его кружилась.

В середине дня он нашел двух пискарей в большой луже. Было невозможно вычерпать воду, но теперь он был хладнокровнее, и ему удалось поймать их в жестяное ведро. Они были не длиннее мизинца, но он не ощущал особенного голода. Тупая боль в животе постепенно стала исчезать. Казалось, что желудок его дремлет. Он съел рыб

сырыми, заботливо разжевывая их, ибо еда теперь была делом простого благоразумия. Есть он не хотел, но знал, что должен есть, чтобы жить.

Вечером он поймал еще трех пискарей. Он съел двух и оставил третьего про запас для завтрака. Солнце высушило клочки мха, и он мог согреться горячей водой. В этот день он сделал не больше десяти миль. В следующий день, двигаясь только тогда, когда сердце ему позволяло, он сделал не более пяти миль. Но желудок не причинял ему ни малейшего беспокойства. Он собрался спать. Страна была неведомая.

Все чаще встречались карибу, попадались и волки. Нередко их вой проносился по пустыне, и раз он увидел впереди трех крадущихся волков.

Еще одна ночь прошла. Утром, будучи более рассудительным, он развязал ремень, связывавший плоский мешок из лосиной кожи. Из последнего высыпался золотой песок и выпали слитки. Он разделил золото на две половины и спрятал одну часть на выступе скалы, завернув слитки в кусок одеяла. Другая часть была положена обратно в мешок. Оторвав полосы единственного оставшегося одеяла, он обернул ими свои ноги. Он все еще цеплялся за ружье, так как в яме у реки Дизы находились заряды.

День был туманный. В этот день голод в нем снова проснулся. Он был очень слаб, а голова кружилась так сильно, что временами он переставал видеть. Теперь он часто спотыкался и падал. Раз, споткнувшись, он свалился как раз над гнездом птармигана. В гнезде было четыре птенчика, накануне вылупившихся из яйца, — маленькие комочки трепещущей жизни, достаточные только для одного глотка. Он жадно съел их, запихивая живыми в рот и раздавливая зубами как яичную скорлупу. А мать с криком летала вокруг него. Он пытался сшибить ее ружьем, но тщетно. Он стал бросать в нее камнями и случайным ударом перебил крыло. То перепархивая, то волоча разбитое крыло, она пыталась спастись.

Цыплята только обострили его аппетит. Он неловко подпрыгивал на своей больной ноге, бросая в нее камни и дико крича; затем замолкал, продолжая за ней гнаться, падая и терпеливо поднимаясь или протирая глаза руками, когда голова его слишком кружилась. Охота увлекла его на болотистое место на дне долины, где он увидел на мокром мху следы человека. Это не были его следы — он хорошо это видел. Должно быть, здесь проходил Билл. Но остановиться он не мог, так как птармиган убегал все дальше. Он

сперва его поймает, а затем расследует это дело.

Птицу он загнал. Но и его силы иссякли. Судорожно двигаясь, она лежала на боку. И он также лежал на боку, шагах в десяти от нее, задыхаясь и не имея сил, чтобы подползти к ней. Когда же он оправился, она тоже собралась с силами и упорхнула в то время, когда его жадная рука уже готовилась ее схватить. Долго продолжалось преследование. Но ночь наступила, и птица спаслась. Он споткнулся от слабости и упал лицом вниз, с мешком на спине. Падая, он разрезал себе щеку. Долгое время он не двигался. Затем перевернулся на спину, завел часы и лежал там до утра.

Еще один туманный день. Половина одеяла ушла на обмотки для ног. Он не нашел следов Билла. Впрочем, это было безразлично. Голод гнал его слишком властно. Он спрашивал себя только — не потерялся ли также и Билл в этой пустыне. К полудню ему невмоготу стало тащить свою ношу. Снова он разделил золото, высыпав на этот раз половину прямо на землю. Днем он выбросил остальную часть и оставил только половину одеяла, жестяной котелок и ружье.

Он стал галлюцинировать. Ему казалось, что у него остается один нетронутый заряд: лежит, случайно незамеченный, в затворе ружья. А

вместе с этим он знал, что затвор пуст. Но галлюцинация ежеминутно возобновлялась. Устав бороться с нею, он открыл затвор — и нашел его пустым. Разочарование его было так же велико, как если бы он в самом деле твердо надеялся найти патрон.

Это повторялось много раз, и он то и дело открывал затвор, чтобы убедиться, что в нем нет заряда. Временами его мысль блуждала в еще более фантастических грезах. Он шел точно автомат, а в это время странные идеи и представления копошились, словно черви, в его мозгу. Впрочем, эти уходы в область нереального длились недолго: снова и снова муки голода возвращали его к действительности. Раз он внезапно пробудился от такого сна наяву и увидел зрелище, которое чуть-чуть не заставило его упасть в обморок. Перед ним стояла лошадь! Он не верил своим глазам и усиленно стал протирать их, чтобы отогнать густой туман, окутавший его зрение. Постепенно он разобрал, что это не лошадь, а большой бурый медведь. Зверь глядел на него с воинственным любопытством.

Человек инстинктивно поднял ружье на половину расстояния до плеча, и только несколько секунд спустя к нему вернулась способность со-

ображения. Он опустил ружье и вынул из ножен у бедра охотничий нож, попробовал пальцем его лезвие и убедился, что оно отточено. Он бросится на медведя и убьет его! Но сердце его начало отбивать угрожающее: тук-тук-тук. Затем — ряд перебоев, и он почувствовал, что словно железный обруч сжимает его лоб и туман овладевает его мозгом.

Его смелость стала исчезать, сменяясь волной великого испуга. А что если зверь нападет на него — такого слабого, почти беззащитного?

Он выпрямился и принял возможно более внушительную позу, держа нож и глядя прямо в глаза медведю. Медведь неловко подвинулся на несколько шагов, встал на задние лапы и зарычал. Если бы человек побежал, он бросился бы за ним. Но человек не бежал: его обуяло мужество страха. Он тоже издал яростный крик, и в голове его билась неизбывная любовь к жизни и звучал непреоборимый страх, столь неразрывно связанный с этой любовью.

Медведь слегка отступил, рыча, но явно боясь этого таинственного существа, стоящего перед ним твердо и бесстрашно. Человек не двигался; он застыл как изваяние, и только когда медведь скрылся и опасность миновала, им овладел

припадок нервной дрожи, и он свалился в изнеможении на мокрый мох.

Но вскоре, собравшись с силами, он двинулся дальше, охваченный новым страхом. Теперь он боялся уже не смерти от недостатка пищи, но был одержим ужасной мыслью, что звери разорвут его раньше, чем голод истощит последнюю частицу его жизненной силы. Вокруг бродили волки. Их вой слышался отовсюду, наполняя воздух угрозой; от этой угрозы, в своем начинающемся безумии, он слабо отмахивался руками — словно отталкивал от себя колеблемый ветром тент палатки.

Волки то и дело приближались по двое и по трое, пересекая путь, каким он шел. Но они все же держались от него на достаточном расстоянии — видимо, их было немного. Они привыкли охотиться за карибу, который оказывает мало сопротивления, и с опаской относились к человеку — странному животному, ступающему на задних ногах и способному, быть может, защищаться когтями и зубами.

К вечеру он дошел до места, где лежали кости, недавно оставленные волками. Их добычей был молодой карибу — час назад он был еще жив. Путник осмотрел кости, начисто обглоданные и

вылизанные, розоватые — клеточная ткань, видимо, еще не отмерла. Неужели и он превратится в эту груду костей до конца дня? Так вот что такое жизнь?! Умереть — разве это не значит уснуть? В смерти — великое успокоение и мир. Так почему же он не хочет умереть?

Но он не долго философствовал. Он присел на мху, высасывая из костей соки, еще сохранившиеся в клетках. Сладкий вкус мяса, тонкий и неуловимый, как воспоминание, выводил его из себя. Ломая зубы, он принялся разгрызать кости, затем стал разбивать кости камнем и истолок их в порошок, который проглотил. Второпях он ударил себя по пальцам и порою недоумевал, почему не чувствует боли.

А затем наступили ужасные дни со снегом и дождем. Он не знал уж, когда устраивает стоянку и когда снимается с лагеря. Шел он и по ночам и днем, отдыхал везде, где ему случалось падать; и когда жизнь вновь вспыхивала, полз дальше. Сознательно он уже не боролся. Жизнь — сама жизнь, не желавшая умирать, — гнала его вперед. Он уже больше не страдал. Его нервы притупились, онемели, а в сознании проплывали жуткие видения и сладостные сны.

На ходу он сосал и жевал истолченные кости

карибу, которые собрал и унес с собою. Он не переходил больше через холмы и ущелья, но машинально шел вдоль большого потока, протекавшего по дну широкой и неглубокой долины. Но он не видел ни воды, ни долины. Он ничего не воспринимал, кроме своих видений. Душа и тело его как будто шли — вернее, ползли рядом, — оставаясь разъединенными и связанными одною тонкою нитью.

Он проснулся в полном сознании, лежа на спине на выступе скалы. Солнце ярко сияло. Неподалеку слышалась поступь карибу. В уме его проносились смутные воспоминания о дожде, ветре и снеге, но он не знал — боролся ли с бурей два дня, либо две недели.

Он лежал некоторое время без движения, отогревая на солнце свое изможденное тело. Хороший день, думал он. Может быть, ему удастся определить свое местонахождение? Под ним, внизу, текла широкая и спокойная река. Он не знал ее и был удивлен. Медленно проследил он взглядом ее течение, вьющееся изгибами между пустынными, голыми холмами; холмы эти выглядели более оголенными и низкими, чем виденные им ранее. Медленно и внимательно, без возбуждения и даже без обычного интереса

он следил за течением этой незнакомой реки и увидал, что оно вливается в яркое и блестящее море. Это не произвело на него особенного впечатления. Галлюцинация или мираж, подумал он, — вероятнее всего, галлюцинация — следствие его расстроенного душевного состояния! И словно в подтверждение, он увидел корабль, стоявший на якоре в открытом море. На мгновение он закрыл глаза и затем снова раскрыл. Странно — видение не исчезало! Но как перед тем он знал, что не могло быть зарядов в пустом затворе ружья, так и теперь был уверен в призрачности моря: кораблей в сердце пустыни быть не могло. И вдруг он услыхал за собою странное сопение и как бы задыхающийся кашель. Медленно, очень медленно, едва двигаясь от слабости и окоченения, он перевернулся на другую сторону. Вблизи ничего не было видно, но он терпеливо ждал. Снова раздались сопение и кашель, и в нескольких десятках шагов он увидел между двумя скалами серую голову волка. Острые уши его, однако, не стояли приподнятыми вверх, как обычно у волков, глаза выглядели мутными и налились кровью, а голова уныло и безнадежно была опущена. Животное все время мигало на солнечном свете и казалось больным. В то время как он на

него смотрел, оно снова засопело и закашляло.

«Это, по крайней мере, — действительность», — подумал он и повернулся в другую сторону, чтобы убедиться, что галлюцинации уже нет. Но море все еще блестело вдали, и корабль был ясно виден. «Неужели это в самом деле действительность?» Он закрыл глаза и некоторое время размышлял. И вдруг понял. Он шел не на север, а на восток, уходя от реки Дизы, двигаясь в направлении Долины Медных Рудников. Этот широкий и медленный поток — Медная река. Мерцающее море — Ледовитый океан. Корабль — китоловное судно, зашедшее далеко на восток из устья реки Маккензи. Оно стояло на якоре в заливе Коронации.

Он вспомнил карту, виденную им когда-то в конторе Компании Гудзонова залива, и все стало для него ясным и понятным.

Он обратился к делам, не терпящим отлагательств. Обмотки оказались сношенными, и ноги его превратились в бесформенные куски мяса. Одеяло он уже потерял; ружья и ножа тоже не было. Он потерял где-то шапку с пачкой спичек в подкладке. Но спички на его груди сохранились сухими в табачном кисете и в пакете из вощеной бумаги. Он посмотрел на часы. Они показывали

четыре часа и все еще шли. Очевидно, он их машинально заводил.

Спокойствие и хладнокровие не покидали его. Несмотря на чрезвычайную слабость, боли он не ощущал. И голоден он не был. Мысль о еде не особенно его тревожила, и сознания он не терял. Оторвав материю брюк снизу до колен, он обмотал ее вокруг ног. Каким-то образом ему удалось сохранить жестяной котелок. Он сознавал, что ему предстоит тяжелый путь к кораблю, и решил сперва напиться горячей воды.

Его движения были медленны, и он дрожал, как в лихорадке. Решившись встать, чтобы идти собирать сухой мох, он обнаружил, что не может подняться. Он повторил попытку — так же безуспешно — и затем удовольствовался тем, что пополз на руках и ногах. Пришлось проползти мимо больного волка. Животное неохотно отодвинулось, облизывая губы ослабевшим языком. Он заметил, что язык этот был не красный, как обычно, а желто-бурый и покрыт каким-то сухим налетом.

Выпив котелок горячей воды, путник нашел, что может не только стоять, но даже двигаться — так, впрочем, как мог бы передвигаться и умирающий. Уже ежеминутно он был вынужден

отдыхать. Его поступь была слабой и неверной, и его движения похожи на движения больного волка. Шел он медленно, и когда темнота скрыла мерцающее море, оказалось, что за весь день он прошел только четыре мили.

Ночью он не раз слышал кашель больного волка и мычание оленей.

Он знал, что больной волк тащится по его следу, надеясь, что человек умрет первым. Утром он увидел зверя, наблюдавшего за ним жадным и голодным взглядом. Зверь полулежал-полустоял, с хвостом между ногами — как несчастная, брошенная собака, — и дрожал от холода, безжизненно скаля зубы, когда человек обратился к нему хриплым шепотом.

Взошло яркое солнце, и путник, шатаясь и падая, шел все утро к кораблю. Погода была исключительная. То было короткое индейское лето Дальнего Севера. Оно могло длиться неделю и в любой день исчезнуть.

После полудня путник напал на след. Это был след человека, который уже не мог идти, а тащился на четвереньках. Путник сообразил, что это мог быть Билл, но думал об этом без особенного интереса. Он не испытывал любопытства, ибо давно уже потерял способность ощущать и чув-

ствовать по-настоящему. Он стал нечувствителен к боли. Желудок и нервы его заснули. Но трепетавшая в нем жизнь неустанно гнала его вперед. Он чувствовал себя совершенно изможденным, а жизнь не сдавалась. Подстегиваемый ею, он продолжал есть ягоды, ловить пискарей и пить горячую воду и с опаской следил за идущим по пятам волком. Скоро след тащившегося впереди человека пресекся, и он наткнулся на несколько свежеобглоданных человеческих костей. Вокруг них сырой мох сохранил следы волчьей стаи, а на мху лежал плоский мешок из лосиной кожи — точь-в-точь такой же, как и его. Мешок был разорван острыми зубами. Он поднял его, хотя мешок был слишком тяжел. Билл нес его до конца! Ха-ха! Вот когда можно было посмеяться! Он — оставленный позади — выживает и понесет мешок к мерцающему морю! Его смех звучал хрипло и жутко — подобно карканью ворона. Больной волк присоединился к нему унылым воем. Но человек вдруг замолк. Как может он смеяться над Биллом, когда это, лежащее здесь — Билл? Эти кости, розово-белые и чистые;— Билл!..

Он отвернулся. Да, конечно, Билл его бросил. Но все же он не возьмет золота и не будет сосать его костей. Впрочем, подумал он, Билл это сделал

бы — случись только все наоборот.

Он подошел к луже воды, наклонился над ней, ища пискарей, и вдруг отдернул голову, как будто его ужалили. В воде он увидел свое собственное отражение — такое страшное, что он был потрясен. В луже плескались три пискаря, но она была слишком велика, чтобы можно было вычерпать из нее воду. После нескольких неудачных попыток поймать их котелком, он оставил это намерение. Был он так слаб, что боялся упасть в воду и утонуть. Поэтому он и не решался довериться реке и продолжать путешествие на каком-нибудь странствующем бревне, выброшенном на песчаный берег.

За этот день расстояние между ним и кораблем уменьшилось приблизительно на три мили. В следующий день — на две, ибо он уже мог только ползти, подобно тому, как полз Билл. В конце пятого дня корабль находился еще в семи милях от него, а он не в силах был делать больше одной мили в день. Но индейское лето все еще держалось, и он продолжал ползти, временами падая от слабости, перекатываясь с бока на бок. Все время за собой он слышал кашель и сопение больного волка. Колени человека превратились — так же, как и его ноги, — в сырое мясо, и хотя

он завертывал их в куски рубашки, оторванные от ее спины, они оставляли за собой на мху и на камнях красный след. Раз, обернувшись, он увидел, что волк жадно лижет этот кровяной след, и он вдруг понял, что ждет его, если… если он не поймает этого зверя! И тогда разыгралась одна из самых страшных трагедий: больной ползущий человек, больной прихрамывающий волк — два живых существа — тащились, умирающие, через пустыню, охотясь друг на друга.

Если бы волк был здоров — пожалуй, было бы легче. Но мысль о том, что он послужит пищей для этого отвратительного полумертвого существа, была ему противна. Он стал разборчив. Он снова начал галлюцинировать, и проблески сознания становились все реже и короче.

Раз он проснулся от сопения у самого его уха. Волк неловко отпрыгнул, теряя устойчивость и падая от слабости. Это было нелепо, почти смешно, но отнюдь его не забавляло. Впрочем, он не боялся. Ему было уже не до этого. Но мысль его оставалась ясной, и, лежа, он обдумывал положение. Корабль был не более как в четырех милях от него. Он видел его явственно, протерев глаза для того, чтобы смахнуть расстилавшийся туман. Он видел также парус небольшой лодки, про-

резывавшей воду блестящего моря. Но ему уже не проползти этих четырех миль! Сознание это давало ему своего рода спокойствие. Он знал, что не может проползти даже и одной мили. И все же он страстно хотел жить. Было бы бессмысленно умереть после всего того, через что он прошел! Он не мог примириться с такой судьбой. Умирая, он отказывался умереть. То было явное безумие: находясь в самых когтях смерти, он бросал ей вызов и вступал с нею в решительную схватку!

Он закрыл глаза и стал тщательно собираться с силами, пытаясь не отдаваться смертельной слабости, постепенно охватывавшей — подобно нарастающему приливу — все его существо. Эта смертельная усталость была в самом деле похожа на морской прилив. Она двигалась, приближалась и постепенно затопляла сознание. Иногда он чувствовал себя почти затопленным ею, и ему удавалось осиливать беспамятство только моментами. В результате какого-то странного душевного процесса воля его напрягалась и он мог сопротивляться настигающему его забытью.

Терпение волка поражало. Но не менее поразительно было терпение человека. В течение половины дня он лежал без движения, борясь с забытьем. По временам томление нарастало в

нем, и он снова начинал галлюцинировать. Но все время — и бодрствуя и в полузабытьи — он прислушивался к хриплому дыханию вблизи себя.

Вдруг он перестал его слышать. Он медленно очнулся от сна и почувствовал, что чей-то язык лижет его руку. Он ждал. Зубы, схватившие его тело, медленно сжимались; давление их постепенно увеличивалось. Волк напрягал последние силы, чтобы вонзить зубы в добычу, которую он так давно поджидал. Но человек тоже долго ждал, и укушенная рука схватила волка за челюсть. Медленно — волк едва-едва боролся, а рука слабо его держала — другая рука тоже потянулась, чтобы схватить зверя. Через несколько минут человек всем своим весом опрокинулся на зверя. Руки были слишком слабы, чтобы задушить волка, но он прижался лицом к пушистому горлу, и рот его был полон шерсти. Через полчаса человек почувствовал в своем горле какую-то теплую струю. Это не было приятно… Словно растопленный свинец вливался ему в желудок. Он глотал, напрягая всю свою волю. Затем он перевернулся на спину и заснул.

На борту китобойного судна «Бедфорд» находилась научная экспедиция. С палубы кто-то

заметил на берегу странное существо. Оно двигалось по песку к воде. Определить, что это за существо, члены экспедиции не могли и, будучи любознательными, сели в лодку и отправились к берегу. Там они увидели некое существо — правда, еще живое, но которое едва можно было назвать человеком. Слепое и без сознания — оно извивалось по земле точно громадный червяк. Большинство его движений было безрезультатно, но оно все же проявляло большое упорство. Извиваясь и перекатываясь, оно подвигалось вперед со скоростью приблизительно нескольких десятков футов в час.

Три недели спустя человек лежал на постели китобойного судна «Бедфорд» и со слезами, струящимися по исхудалому лицу, рассказывал, кто он и что пережил. Он говорил несвязно о своей матери, о солнечной местности в Южной Калифорнии, о доме среди апельсинных рощ и цветов.

Через несколько дней он сидел за столом с учеными и офицерами корабля. Он наслаждался видом большого количества поданных блюд, ревниво следя за тем, как исчезала пища. Каждый съедаемой кусок он провожал взглядом, полным глубокого сожаления. Его преследовал страх, что

запасы провизии иссякнут. Он был в здравом уме, но за едой ненавидел этих людей и постоянно расспрашивал повара, юнгу, капитана про запасы провизии. Они его успокаивали бесчисленное число раз. Но он не верил и подглядывал в кладовую, чтобы удостовериться собственными глазами.

Заметили, что человек этот полнеет. Он становился толще с каждым днем. Ученые качали головами и строили теории. Они ограничили его порции за столом, но, несмотря на это, он все полнел — словно распухал под своей одеждой.

Матросы смеялись. Они знали, в чем тут дело. И когда ученые стали за ним следить, они тоже узнали. Они увидели, как он крадется после завтрака и, подобно нищему, с протянутой рукой, упрашивает матроса. Матрос смеется и дает ему кусок морского сухаря. Тот жадно его схватывает, любуется им, как скупец золотом, и прячет за пазуху. То же он проделывал и с подачками других матросов.

Ученые не показали виду. Они оставили его в покое, но незаметно осмотрели его постель. Она была обложена кругом сухарями, и в матрасе оказались сухари, каждый уголок и щель были забиты крошками. И однако он был в здравом

уме. Он только принимал меры против возможного голодания. Он должен выздороветь от этой навязчивой идеи, говорили ученые. И в самом деле, он выздоровел раньше даже, чем якорь «Бедфорда» загремел в бухте Сан-Франциско.

БУРЫЙ ВОЛК

Трава была еще покрыта росою, и она задержалась несколько, чтобы надеть калоши. Выйдя из дому, она нашла мужа, погруженного в созерцание распускающегося миндального бутона. Она окинула ищущим взором высокую траву и местность вокруг фруктовых деревьев.

— Где же Волк?

— Он только что был здесь. — Уолт Ирвин мигом оторвался от поэтических и метафизических раздумий, вызванных чудом органического развития цветка, и посмотрел вдаль. — Я видел, как он гнался за кроликом.

— Волк! Волк! Сюда! Волк!.. — закричала Мэдж. Они миновали расчищенную полянку и пошли по лесной тропинке, украшенной восковыми колокольчиками манзаниты.

Ирвин всунул в рот мизинцы обеих рук и помог ей резким свистом.

Закрыв уши ладонями, она сделала гримасу.

— Однако для поэта, нежно настроенного, ты умеешь издавать довольно-таки некрасивые звуки. Мои барабанные перепонки… знаешь, они

полопались. Ты свистишь громче, чем…

— Орфей?

— Нет, я хотела сказать: чем уличный бродяга, — заключила она строго.

— Поэзия не мешает быть практичным. Мне, по крайней мере, она не мешает. Я не обладаю ведь тем легкомысленным гением, который неспособен продавать свои перлы журналам.

Он принял шутливо-напыщенный вид и продолжал:

— Я не певец чердаков, но я и не салонный соловей. Почему? Да потому, что я практичен. Песнями я богат; а их я могу превращать — конечно, обменивая — в домик, увитый цветами, в прекрасный горный луг, в рощицу… Наконец, во фруктовый сад из тридцати семи деревьев, в длинную грядку ежевики да в две короткие грядки земляники, не говоря уже о четверти мили журчащего ручья. Я — торгаш красоты, продавец песен, и о пользе я не забываю. Нет, моя дорогая Мэдж, я не забываю. Я пою песни и, благодаря издателям журналов, превращаю их в дыхание западного ветра, шепчущего в наших рощах, и в журчание струй и ручейков между мшистых камней. И от журчащих струй и дыханий ветерка зарождается песнь: то снова моя песнь возвраща-

ется ко мне: она не та, какую я пел, она другая, но вместе с тем она та же самая, но только чудесно преображенная…

— О, если бы все твои превращения были так удачны! — засмеялась она.

— Назови хоть одно неудачное.

— Эти два великолепных сонета, которые ты превратил в корову, оказавшуюся потом по дойности худшей в округе.

— Она была прекрасна… — начал он.

— Но она не давала молока, — прервала его Мэдж.

— Но она была красива, не правда ли? — настаивал он.

— Вот тут-то и видно, что не всегда красота приносит пользу. А вот и Волк.

В чаще, покрывающей склон холма, раздался треск сухостоя, и вслед за этим, в сорока футах над ними, на краю скалистой стены, показалась волчья голова. Его передние лапы сдвинули камешек, и с настороженными ушами и неподвижными глазами он наблюдал падение камня, пока тот не ударился о землю у их ног. Тогда Волк перевел на них взгляд, оскалил зубы и словно ухмыльнулся.

— Волк! Волк, хороший Волк! — звали его муж-

чина и женщина.

При звуке их голосов собака прижала уши, и голова ее как будто ластилась под лаской невидимой руки.

Они смотрели, как она лезла обратно в чащу, и продолжали идти. Несколько минут спустя на повороте дороги, где спуск был не так крут, Волк присоединился к ним. Он сдержанно проявлял свои чувства. После того как мужчина потрепал его около ушей, а женщина приласкала, он вырвался и помчался вперед по тропинке; скоро он был уже далеко. Он бежал, без усилий — совсем по-волчьи — скользя по земле.

Сложением и тяжестью он походил на крупного волка. Но окраска говорила за то, что волком он не был. Эта окраска выдавала в нем собаку — бурая, темно-коричневая, с красноватым оттенком. Спина и плечи были темно-бурой окраски, которая светлела на боках, а на животе становилась темно-желтой. Белые пятна на горле, на лапах и над глазами казались грязноватыми, ибо в них также проглядывал бурый оттенок. Глаза его напоминали топазы.

И женщина и мужчина одинаково любили эту собаку. Быть может, отчасти это было связано с теми усилиями, каких стоило им завоевать ее

расположение. Когда собака впервые странным образом попала в их горный домик, приручение ее оказалось далеко не легким делом. Голодная, с израненными ногами, она прибежала неизвестно откуда и тотчас же изловила кролика под самыми их окнами. Затем она потащилась вниз и заснула у ручья, около кустиков ежевики. Когда Ирвин подошел, чтобы осмотреть гостя, тот и на него злобно зарычал; такая же встреча ждала Мэдж, когда она спустилась, чтобы предложить ему, в знак мира, большую тарелку моченного в молоке хлеба.

Гость этот оказался очень необщительной собакой и отвергал все их попытки сближения, не позволяя себя тронуть, всякий раз угрожающе скаля зубы и ощетинивая шерсть. И все же собака осталась. Она ночевала у ручья и съедала пищу, которую они ей приносили, предварительно удостоверившись, что они отошли на достаточное расстояние. Очевидно, она оставалась у них только потому, что находилась в необычайно жалком физическом состоянии. Когда же она немного поправилась, то сразу исчезла.

Тем бы все и кончилось, если бы Ирвин вскоре не поехал по делам в северную часть штата. Проезжая в поезде на границе между Калифорнией и

Орегоном, он посмотрел случайно в окно и вдруг увидел своего необщительного гостя, бегущего вдоль дороги, подобно бурому волку. Собака бежала, усталая, но неутомимая, покрытая пылью и грязью от двухсотмильного пробега.

Ирвин был очень импульсивен — как настоящий поэт. Он слез с поезда на следующей станции, купил у мясника мяса и поймал бродягу в окрестностях города. Обратный путь был совершен в багажном вагоне, и таким-то образом Волк вторично вернулся в горный коттедж. Здесь он был привязан в течение недели и обласкан обоими супругами. Но ласка их оставалась вынужденно осторожной. Далекий и чуждый, как пришелец с другой планеты, Волк отвечал рычанием на их нежные слова. Он никогда не лаял. За все время его пребывания у них они никогда не слышали его лая.

Приручить его было нелегко. Но Ирвин любил такого рода задачи. Он заказал металлическую пластинку с надписью: «Возвратите Уолту Ирвину. Глен Эллен, Округ Сонома, Калифорния». Эта пластинка была привинчена к ошейнику, надетому на шею собаки. Затем ее отпустили, после чего она немедленно исчезла. День спустя была получена телеграмма из Мендосинского округа.

В двадцать часов собака пробежала сто миль к северу и все еще бежала, когда ее поймали.

Она вернулась со скорым поездом из Уэльс-Фарго, была привязана в течение трех дней; на четвертый — ее освободили, и она снова убежала. На этот раз она достигла Южного Орегона раньше, чем ее поймали и вернули. Всегда, как только ей давали свободу, собака убегала, и всегда — в северном направлении. Как будто какая-то навязчивая идея гнала ее к северу. Ирвин назвал это «инстинктом дома», истратив гонорар за целый сонет на уплату за возвращение собаки из Северного Орегона.

В другой раз бурому страннику удалось пробежать всю Калифорнию, Орегон и большую часть Вашингтона раньше, чем его вернули. Путешествовал он с замечательной скоростью. Поев и отдохнув, собака, как только ее освобождали, пускалась изо всех сил бежать через обширные пространства. В первый день она могла пробежать полтораста миль. Затем двигалась с ежедневной скоростью приблизительно в сто миль — и так вплоть до поимки. Она всегда возвращалась и всегда уходила свежей и сильной, пробиваясь на север, гонимая каким-то непонятным влечением.

Но наконец, после года тщетных попыток к бегству, она примирилась с неизбежностью и стала жить в коттедже, где в первый день задушила кролика и заснула у ручья. Но даже после этого долгое время прошло, пока она позволила новым своим хозяевам себя погладить. Это было великой победой, ибо они одни могли ее трогать. Ни один из гостей в коттедже подойти к ней не мог. Глухое ворчание раздавалось при приближении каждого незнакомца. Если бы кто-нибудь имел смелость подойти ближе, обнажались зубы, а ворчание превращалось в столь свирепое и злобное рычание, что даже испытанные храбрецы поспешно отступали.

Собаки фермеров боялись ее, ибо знали рычание собак, но никогда еще не слышали рычания волка.

Ничего не известно было хозяевам коттеджа о прошлом этой собаки. Они знали только, что к ним она пришла с юга, но ровно ничего не знали о ее прежнем владельце, от которого она, по-видимому, убежала. Миссис Джонсон — их ближайшая соседка и поставщица молока — уверяла, что это собака — из Клондайка. Ее брат искал золото в этой ледяной стране, и она считала себя авторитетом во всем, что касалось этого вопроса.

Они не спорили с ней. Концы ушей Волка, видимо, были когда-то отморожены, и так сильно, что вылечить их было уже нельзя. Вместе с тем он походил на снимки с собак Аляски, помещаемые в журналах и газетах. Уолт и Мэдж часто обсуждали его прошлое и старались угадать, руководствуясь тем, что они слышали и читали, какова была его жизнь на Севере. Они знали, что Север все еще его привлекает. Ночью они слышали по временам, как он тихо скулит. Когда же дул северный ветер и ударял легкий морозец — им овладевало сильнейшее беспокойство, и он поднимал жалобный вой, похожий на волчий. Но он никогда не лаял. И никакими способами нельзя было заставить его залаять.

Они долго спорили о том, кому из них принадлежит собака. Каждый предъявлял на нее права, указывая на признаки ее преданности к нему. Но мужчина, по-видимому, имел преимущество. Главным образом потому, что он был мужчиной. Было ясно, что Волк не имел никакого опыта в обращении с женщинами. Он их не понимал и никогда не мог примириться с юбками Мэдж. Их шелест всегда внушал ему беспокойство, а в ветреный день она не могла даже подойти к нему.

Но с другой стороны — именно Мэдж его кор-

мила. В ее распоряжении была кухня, и только по ее милости Волку разрешалось переступить священные пределы. Это позволило ей заслужить его расположение, несмотря на препятствие, заключавшееся в ее одежде. Но тогда Уолт постарался приучить Волка лежать у его ног, пока он писал; он потратил на ласки и уговоры немало времени, но в конце концов все-таки игру выиграл. Его победа объяснилась главным образом тем, что он был мужчиной; Мэдж, однако, уверяла, что если бы Уолт по-настоящему занимался превращением песен, — вместо того чтобы приручать Волка, — они смогли бы приобрести за это время еще четверть мили журчащего ручья.

— Пора бы мне получить известие об этих триолетах, — сказал Уолт после пятиминутного молчания, продолжая идти по тропе. — В почтовом отделении, наверное, будет чек, и мы превратим его в великолепную гречневую муку, в кленовый сироп и в новую пару галош для тебя.

— И в великолепное молоко великолепной коровы миссис Джонсон, — добавила Мэдж. — Ведь завтра первое число.

Уолт слегка нахмурился, но затем его лицо повеселело, и он ударил рукой по боковому карману.

— Ничего, у меня здесь в кармане чудесная

новая корова — первая дойная корова Калифорнии.

— Когда ты написал это? — живо спросила она. Но тут же добавила с укором: — И ты мне даже не показал!

— Я оставил это стихотворение с тем, чтобы прочесть его тебе на пути в почтовое отделение, как раз вот в таком местечке, — отвечал он, указывая на сухое бревно, где можно было усесться.

Небольшой ручеек вытекал из густых папоротниковых зарослей, скользил по мшистому камню и перебегал дорогу у их ног. Из долины поднималась звонкая песня жаворонка. Вокруг путников, порхая из солнечных просторов в тенистые места, мелькали большие желтые бабочки.

Во время чтения рукописи на дороге под ними послышались тяжелые шаги. Уолт только что окончил чтение стихов и обратился за одобрением к жене, когда незнакомец показался на повороте тропинки. Он был без шапки и сильно вспотел. Одной рукой он вытирал себе лицо платком, в другой — держал новую шляпу и крахмальный воротничок, снятый с шеи. Был он крепкого сложения, и казалось, что от его мускулов вот-вот треснет его костюм, купленный, видимо, готовым.

— С жарким днем! — приветствовал его Уолт. Он пользовался каждым случаем, чтобы установить хорошие отношения с сельскими жителями.

Человек остановился и кивнул.

— Я не особенно привык к жаре, — отвечал он, как бы извиняясь. — Скорее больше привык к температуре на нуле.

— Ее вы не найдете в западной стране, — засмеялся Уолт.

— Да, но я ведь не для этого пришел. Я стараюсь найти свою сестру. Быть может, вы знаете, где она живет? Ее имя Джонсон — миссис Вильямс Джонсон.

— Вы ее брат из Клондайка? — живо воскликнула Мэдж. — Мы о нем так много говорили!

— Да, это я, — ответил он сдержанно. — Мое имя Миллер — Скифф Миллер. Я бы хотел сделать ей сюрприз.

— Вы идете правильно, только свернули на тропинку. — Мэдж встала, чтобы показать ему дорогу, идущую около четверти мили вдоль ущелья. — Вы видите этот хвойный лес? Идите по тропинке — она несколько сворачивает направо. Это приведет вас вскоре прямо к ее дому.

— Благодарю вас, — сказал он. Он хотел тронуться, но, казалось, прирос к земле. Он глядел

на Мэдж с восхищением, которое не пытался даже скрыть. Вместе с тем видно было, что это приводит его в смущение.

— Мы хотели бы, чтобы вы нам рассказали про Клондайк, — сказала Мэдж. — Нельзя ли нам прийти как-нибудь, когда вы будете у вашей сестры? А еще лучше — не придете ли вы с нею к нам пообедать?

— Благодарю вас, — проговорил он как бы машинально. Затем, овладев собою, прибавил: — Я не могу долго оставаться. Я должен снова ехать на Север. Видите ли, я заключил контракт с правительством для поставки почты.

Мэдж выразила сожаление. Он сделал новую тщетную попытку уйти, но не мог оторвать своих глаз от ее лица. В своем восхищении он даже пересилил смущение, и теперь, в свою очередь, Мэдж вспыхнула и почувствовала себя неловко.

И как раз в тот момент, когда Уолт готовился что-нибудь сказать, чтобы помочь выйти из затруднительного положения, Волк вышел из кустов и предстал перед ними.

Рассеянность Скиффа Миллера сразу пропала. Красивая женщина мгновенно исчезла из поля его зрения. Он смотрел только на собаку, и изумление было написано на его лице.

— Черт возьми! — произнес он медленно и значительно.

Он уселся на бревно, предоставляя Мэдж стоять рядом.

При звуке его голоса уши Волка отогнулись, и он радостно оскалил зубы. Затем медленно подбежал к незнакомцу, понюхал его руки и стал лизать их.

Скифф Миллер погладил голову собаки и медленно и значительно повторил:

— Черт меня возьми!.. Извините, — тотчас же поправился он, обращаясь к Мэдж. — Я несколько удивлен, вот и все.

— Мы тоже удивлены, — ответила она. — Мы никогда не видели раньше, чтобы Волк подошел к незнакомцу.

— Вы его называете Волком? — спросил тот.

Мэдж утвердительно кивнула.

— Я не понимаю, однако, его дружбы к вам. Может быть, это потому, что вы из Клондайка. Он ведь клондайкская собака.

— Да, — сказал Миллер рассеянно. Он взял Волка за переднюю лапу, поднял ее и осмотрел пальцы. — Что-то мягкие, — заметил он. — Он давно не возил.

— Послушайте, — не удержался Уолт, — заме-

чательно, как он позволяет вам с собой обращаться!

Скифф Миллер поднялся, позабыв свое недавнее смущение при виде Мэдж, и спросил резким деловым тоном:

— Давно она у вас?

Но как раз в этот момент собака, ластившаяся к Миллеру, залаяла. Это был взрыв лая — короткий и радостный — но несомненно лай.

— Это ново для меня, — заметил Скифф Миллер.

Уолт и Мэдж с удивлением глядели друг на друга. Чудо совершилось — Волк залаял.

— Смотрите, он лает, но это в первый раз, — сказала Мэдж.

— Да, я тоже впервые слышу его лай, — подтвердил Миллер.

Мэдж улыбнулась. Человек этот, очевидно, был шутник.

— Конечно, — сказала она, — ведь вы его видите всего пять минут.

Скифф Миллер быстро на нее взглянул, как бы стараясь угадать, что она хотела этим сказать.

— Я думал, что вы поняли, — сказал он медленно. — Я думал, вы поняли при виде того, как она со мной обходится. Это — моя собака. Ее зовут не

Волком, а Бурым.

Уолт сразу занял оборонительную позицию.

— Откуда вы знаете, что это ваша собака? — спросил он.

— Потому что она моя, — был ответ.

— Это голословно, — сказал Уолт резко.

Скифф Миллер со своей обычной медлительностью посмотрел на него и затем, показывая кивком на Мэдж, спросил:

— Откуда знаете вы, что она ваша жена? Вы можете ответить: «Потому что она моя». И я ведь могу тоже сказать, что это голословно. Собака — моя. Я вырастил и воспитал ее, и потому думаю, что могу знать. Я вам это докажу.

Скифф Миллер обратился к собаке:

— Бурый!.. — Его голос прозвучал громко и повелительно, и при этом окрике уши собаки отогнулись, словно от ласки. — Ги! — Собака плавно повернула направо. — Ну, теперь вперед! — И собака сразу приостановила свое круговое движение и пошла прямо, послушно останавливаясь, когда он приказывал.

— Я могу сделать это также и свистом, — сказал Скифф Миллер с гордостью. — Она была у меня вожаком.

— Но вы не возьмете ее с собой? — спросила

Мэдж с дрожью в голосе.

Человек утвердительно кивнул.

— Назад, в этот ужасный Клондайк, в этот мир страданий?

Он кивнул и прибавил:

— О, там вовсе не так уж плохо. Посмотрите на меня. Мне кажется, я достаточно здоров.

— Но для собак! — продолжала Мэдж. — Лишения, тяжелый труд, голод, мороз… О, я читала об этом и знаю!

— Я чуть его раз не съел, — мрачно заметил Миллер, — если бы я не убил в тот день лося, был бы ему капут.

— Я умерла бы скорее! — воскликнула Мэдж.

— Ну, здесь-то все обстоит иначе, — объяснил Миллер. — Вы не должны здесь есть собак. Но когда вы попадаете туда, вы начинаете рассуждать иначе. Ведь вы никогда там не были и потому ничего в этом не понимаете.

— Ну, вот именно, в этом-то и дело, — доказывала она, — в Калифорнии не едят собак. Почему бы вам его не оставить здесь? Он счастлив. Он никогда не будет нуждаться в пище — вы это видите. Он никогда не будет страдать от холода и лишений. Здесь его ласкают. Нет дикости ни в людях, ни в природе. Больше он никогда не узна-

ет бича. Что же касается погоды, здесь никогда не бывает снега.

— А зато нестерпимая жара летом, — засмеялся Скифф Миллер.

— Но вы не отвечаете, — продолжала возбужденно Мэдж. — Что можете вы ему предложить в вашей жизни на Севере?

— Пищу, когда она у меня есть.

— А когда нет?

— Когда нет — не едят.

— А работа?

— Работы всегда много! — крикнул Миллер нетерпеливо. — Работа без конца, и голод, и мороз… вот что Бурый получит, когда пойдет со мной. Но он это любит. Он привык к этому. Он знает эту жизнь, родился там и вырос; а вы ничего в этом не понимаете. Вы не знаете, о чем говорите. Собака — из того края, и там только будет счастлива.

— Собаку не отдадим, — сказал Уолт решительно. — А потому — что толку в дальнейшем споре…

— Что такое? — спросил Скифф Миллер, нахмурившись и покраснев.

— Я сказал, что не отдам собаки, — и дело с концом… Не верю я, что она ваша. Вы, быть мо-

жет, когда-нибудь и видели Волка, да, пожалуй, ездили на нем вместе с его владельцем. А то, что он подчиняется обычным приказаниям аляскинской возки, вовсе еще не доказывает, что он ваш. Любая собака с Аляски вас бы слушалась. Но с аляскинской точки зрения — Волк, по-видимому, собака очень ценная, и потому-то вы и хотите заполучить ее в собственность. Во всяком случае вам еще придется доказать, что эта собака ваша.

Скифф Миллер спокойно и хладнокровно оглядел поэта с ног до головы, как бы оценивая его сложение. Только румянец на его лбу еще более обозначился и громадные мускулы, казалось, напряглись, выпирая из-под черного сукна его платья. Затем лицо клондайкского обитателя приняло презрительное выражение, и он сказал внушительно:

— Я не вижу ничего, что могло бы мне помешать сейчас же взять собаку.

Уолт покраснел, и мускулы его рук также напряглись. Но его жена опасливо вмешалась.

— Быть может, мистер Миллер прав, — сказала она. — Я боюсь, что он прав. Волк как будто в самом деле его знает и во всяком случае отвечает на кличку Бурый. Он сразу с ним подружился, и ты знаешь, что он никогда раньше ни с кем так не

обходился. Затем вспомни, как он лаял. Он прямо ликовал от радости. Отчего? Несомненно оттого, что нашел мистера Миллера.

По виду Уолта заметно было, что он также потерял надежду.

— Пожалуй, ты права, Мэдж, — сказал он. — По-видимому, Волк — не Волк, а Бурый, и должен принадлежать мистеру Миллеру.

— Может быть, мистер Миллер продаст его? — предложила она. — И мы сможем его купить.

Скифф Миллер покачал головой. Он отбросил свою воинственность и, казалось, готов был в свою очередь проявить великодушие.

— У меня пять собак, — объяснил он, выискивая самый лучший довод, чтобы смягчить свой отказ. — Бурый был их вожаком. Они были лучшей сворой по всей Аляске. Ничто их не брало. В девяносто восьмом году я отказался продать их за пять тысяч долларов. Тогда собаки высоко ценились. Но не это было причиной такой высокой оценки. Уж очень хороша была свора. И Бурый был лучше всех. В ту зиму я отказался взять за него тысячу двести. Я не продал его тогда и не продам сейчас. Кроме того, я очень его люблю. Три года я его искал. Я почти заболел от огорчения, когда узнал, что Бурого украли, — дело не

в потере денег, а в том, что дьявольски я к нему привязан, извините за выражение. Я не мог поверить своим глазам, когда увидел его у вас. Думал, что мне снится. Видите ли, я его выкормил. Каждую ночь я укладывал его спать. Мать-то у него околела, и я поил его сгущенным молоком по два доллара за жестянку, в то время как сам пил кофе без молока. Он никогда не знал другой матери, кроме меня. Он постоянно сосал мой палец; сосал, как маленький дьявол. Вот этот самый палец.

Скифф Миллер был слишком взволнован, чтобы продолжать свою речь. И он выставлял палец, приговаривая: «Вот этот самый палец». Казалось, это должно было окончательно доказать его право собственности на собаку и его чувство привязанности к ней.

Он все еще глядел на свой вытянутый палец, когда Мэдж заговорила:

— Но собака… Вы не подумали о собаке!

Скифф Миллер смотрел на нее в недоумении.

— Подумали ли вы о ней? — повторила она.

— Я не понимаю, о чем вы говорите?

— Может быть, и собака имеет право на выбор, — продолжала Мэдж. — Быть может, и у нее есть свои вкусы и желания. Вы не считаетесь с ней. Вы не даете ей выбора. Вы не подумали, что

она может предпочесть Калифорнию Аляске. Вы считаетесь только с собственным желанием, а с нею поступаете, как с мешком картофеля или охапкой сена.

Такая постановка вопроса была несколько неожиданной, и она, по-видимому, произвела впечатление на Миллера. Он задумался, и Мэдж воспользовалась его нерешительностью.

— Если вы в самом деле любите ее — вы должны быть счастливы тем, что дает счастье ей.

Скифф Миллер продолжал размышлять про себя, и Мэдж бросила радостный взгляд на мужа. На лице его она прочла горячее одобрение.

— Как же вы думаете? — внезапно спросил житель Клондайка.

Она в свою очередь не поняла.

— Что вы хотите сказать? — спросила она.

— Думаете ли вы, что Бурый захочет остаться в Калифорнии?

Она утвердительно кивнула головой.

— Я в этом уверена.

Скифф Миллер снова принялся размышлять, но на этот раз вслух, внимательно осматривая при этом живой предмет спора.

— Бурый был хорошим работником. Он много для меня поработал. Он никогда не ленился и ве-

ликолепно обучал свежие своры. У него голова на плечах. Он все может сделать — только говорить не может. Он понимает то, что вы ему говорите. Посмотрите на него сейчас. Он знает, что мы говорим о нем.

Собака лежала у ног Скиффа Миллера, положив голову на лапы. Глаза ее, казалось, следили за собеседниками, по мере того как они поочередно говорили.

— Он еще много может поработать. Он будет годен еще много лет. И я поистине привязан к нему. Я люблю его, дьявольски люблю!

Несколько раз вслед за этим Скифф Миллер открывал рот и закрывал, но ничего не говорил. Наконец он сказал:

— Вот что я сделаю. Ваши замечания, — обратился он к Мэдж, — в самом деле имеют вес. Собака хорошо работала и, пожалуй, заработала себе отдых и имеет право выбирать. Во всяком случае, дадим ей решать. Что бы она ни решила — пусть так и будет. Вы оба оставайтесь сидеть здесь. Я прощусь с вами и пойду. Если она хочет со мной идти — пусть идет. Я не позову ее, и вы не зовите. — Он внезапно посмотрел с подозрением на Мэдж: — Только должна быть честная игра. Без уговоров, когда я поверну спину.

— Мы будем честны… — начала Мэдж.

— Я знаю манеры женщин, — прервал ее Скифф Миллер. — Их сердца мягки. Когда женщина растрогана — она способна подтасовать карты, подсматривать и лгать как черт, извините за выражение. Я говорю о женщинах вообще.

— Я не знаю, как благодарить вас, — сказала Мэдж с дрожью в голосе.

— Я не вижу пока оснований для вашей благодарности, — ответил он. — Бурый еще не решил. Вам все равно, если я уйду медленно? Это только справедливо, так как уже за сто ярдов меня не будет видно…

Мэдж согласилась и прибавила:

— Я вам даю обещание, что мы ничего не сделаем, чтобы повлиять на него.

— Ну, в таком случае, я могу двинуться, — сказал Скифф Миллер тоном уходящего собеседника.

Уловив изменение его голоса, Волк быстро поднял голову и еще быстрее вскочил. И в то время, как мужчина и женщина обменивались рукопожатием, он поднялся на задние лапы, поставив передние ей на бедро. В то же время он лизал руки Скиффа Миллера. Когда последний подал руку Уолту, Волк повторил то же самое. Он опирался всем телом на Уолта и лизал руки

обоих мужчин.

— Это не праздник. Во всяком случае, это не праздник, — были последние слова жителя Клондайка. Он повернулся и медленно пошел вверх по тропинке.

Волк наблюдал за ним на расстоянии двадцати футов, как будто ожидая, что тот повернет обратно. Затем, с глухим воем, Волк бросился за ним, нагнал его, поймал его руку зубами и мягко пытался его остановить.

Ничего не добившись, Волк прибежал обратно к месту, где сидел Уолт Ирвин, поймал зубами его рукав и пытался потащить его за уходящим человеком.

Недоумение Волка быстро возрастало. Он хотел быть в двух местах одновременно — со старым и новым хозяином, — в то время как расстояние между ними росло. Он бросался возбужденно из стороны в сторону; неровно прыгал, подбегая то к одному, то к другому, в мучительной нерешительности — не зная, чего хочет, желая сохранить обоих и не будучи в состоянии выбрать. Он резко повизгивал и тяжело дышал.

Внезапно он сел на задние лапы и поднял нос кверху, открывая рот все шире и шире. Вслед за этим из горла его вылетел низкий звук, еле

уловимый для человеческого уха. Все это была прелюдия к вою.

Но как раз когда вой должен был раздаться, рот собаки закрылся, и она снова посмотрела внимательно на уходящего человека. Затем Волк повернул голову и так же внимательно посмотрел на Уолта. Вопрошающий взгляд его остался без ответа. Собака не встретила ни одного знака внимания, не услышала ни одного слова, которое могло бы разрешить ее сомнение.

Вид старого хозяина, приближавшегося к повороту, казалось, окончательно смутил Волка. Он вскочил на ноги и завизжал. Затем, как бы пораженный новой мыслью, он обратил свое внимание на Мэдж. До этой минуты она для него как бы не существовала. Но теперь, когда он, видимо, потерял обоих хозяев-мужчин, — она одна как будто для него оставалась. Он подошел к ней и положил голову ей на колени, уткнувшись носом в ее руку, — любимый его способ добиться ее расположения. Затем он отбежал от нее и стал игриво вертеться, то поднимаясь на задние лапы, то опуская передние на землю. Весь он был в движении — от умоляющих глаз и прижатых ушей до виляющего хвоста, и этим он как будто хотел выразить мысль, которую не мог иначе

высказать.

Но и это пришлось оставить. Он был удручен холодностью этих людей, которые никогда раньше не были так невнимательны к нему. Он не получал от них ни тени ответа, ни помощи. Они не обращали на него внимания. Они как будто умерли. Волк повернулся и снова молча посмотрел на старого хозяина, уже поворачивающего за угол. Через мгновение он должен был вовсе скрыться из виду. Но Скифф Миллер ни разу не обернулся. Он шел вперед медленно и твердо, как будто совершено не заинтересованный в том, что происходило за его спиной.

Так он дошел до поворота — и исчез из виду. Волк ждал, чтобы он снова появился. Он ждал долгое время, молча, неподвижно, как бы обратившись в камень — но камень, словно одухотворенный волей. Он издал короткий лай и затем ждал. Потом он повернулся и побежал к Уолту Ирвину. Он понюхал его руку и затем тяжело опустился к его ногам, наблюдая пустую тропинку, там, где она вела к повороту.

Маленький ручей, падающий с мшистого камня, как будто громче журчал. Не было других звуков, кроме пения жаворонков в лугах. Большие желтые бабочки медленно пролетали сквозь

полосы солнечного света и терялись в тени. Мэдж взглянула на мужа с торжеством.

Но через несколько мгновений Волк поднялся на ноги. Решимость и сознание обозначились в каждом его движении. Он не посмотрел ни на мужчину, ни на женщину. Его глаза были прикованы к тропинке. Он решился, и они это знали. И они знали, что для них испытание только началось.

Он побежал рысью, и Мэдж невольно сжала губы, готовясь его позвать, но она не позвала. Она посмотрела на своего мужа и встретила его строгий взгляд. Затем она разжала губы и громко вздохнула.

Мелкая рысь Волка перешла в быстрый бег. Он бежал все быстрей и быстрей и ни разу не обернулся. Его волчий хвост был выпрямлен. Он круто повернул за угол тропинки — и исчез.

ВСТРЕЧА В ХИЖИНЕ

Наплыв людей был невероятный — никогда я такого не видел. Тысяча собачьих упряжек неслась по льду. Их не видно было за дымом. Двое белых и один швед замерзли в ту ночь, и человек двенадцать застудили легкие. Но разве не видел я собственными глазами дна ямы? Оно было желто от золота, словно покрыто горчичным пластырем. Вот почему я сделал заявку на Юконе, и вот чем вызван был такой наплыв. А потом ничего из этого не вышло. Говорю вам — ничего. И я все еще не могу найти разгадку.

Рассказ Шорти

Ухватившись одной рукой за шест, управляющий движением собак, Джон Месснер удерживал сани на тропе. Другой рукой он тер себе щеки и нос; временами, когда их онемение чувствовалось сильнее, он тер еще чаще и крепче. На лоб его был надвинут козырек меховой шапки со спущенными наушниками. Остальная часть его лица была защищена густой бородой, по природе

своей темно-рыжей с золотыми отливами, а в настоящее время — белой от инея.

Перед ним плелась свора из пяти собак, впряженная в тяжело нагруженные юконские сани. Постромки саней то и дело терлись о ноги Месснера, и на поворотах он вынужден был через них переступать. Делал он это с большой неловкостью — он очень устал; то и дело он задевал за веревки и спотыкался, а сани наезжали на него сзади.

Когда они наконец добрались до места, где тропа шла без изгибов и сани могли двигаться некоторое время без его помощи, — он оставил шест висеть на привязи и онемевшей правой рукой стал усиленно о него колотить.

Надо было поддерживать кровообращение в этой руке, но вместе с тем и не забывать носа и щек.

— Пожалуй, для езды слишком холодно… — сказал он. Говорил он громко — как люди, привыкшие к одиночеству. — Только безумец может ездить при такой температуре. Если сейчас не восемьдесят градусов ниже нуля, то уж наверное семьдесят девять.

Он вынул часы и затем с трудом положил их обратно в карман толстой шерстяной куртки. Потом взглянул на небо и окинул взглядом белую

полосу горизонта к югу.

— Двенадцать часов, — пробормотал он. — Чистое небо, и нет солнца.

Он шел молча около десяти минут, после чего прибавил, словно продолжая:

— Я проехал очень мало. И вообще слишком холодно, чтобы ездить.

Внезапно он заревел на собак: «Уоа!» — и остановился. Его охватил панический страх за правую руку, и он начал снова усиленно колотить ею по шесту.

— Бедные вы черти, — обратился он к собакам, которые грустно легли на лед, чтобы отдохнуть. Он говорил нескладно и прерывисто, продолжая бить по шесту онемевшей рукой. — Чем это вы провинились, что другое животное завладело вами, впрягло в упряжь, сломило ваши естественные наклонности и превратило во вьючных животных?

Он тер нос уже не задумчиво, а неистово, чтобы усилить кровообращение; затем снова погнал собак. Сани ехали по замерзшей поверхности большой реки. Она тянулась за ними широкой лентой, расстилавшейся на много миль и уходящей вдаль — в фантастическое нагромождение молчаливых снежных гор. Впереди река разделя-

лась на множество рукавов, которые окаймляли острова, вырастающие в ее русле. Острова были белы и молчаливы. Ни одно животное или насекомое не нарушало молчания. Ни одна птица не пролетала в замерзшем воздухе. Не слышно было никаких звуков, и не видно признаков жилья.

Мир спал, и казалось, что это — сон смерти.

Мало-помалу Джон Месснер как будто сам начал приобщаться к равнодушию всего, что его окружало. Мороз все больше и больше подавлял его. Он шел с опущенной головой, апатичный, машинально потирая нос и щеки и изредка, когда можно было оставить сани без управления, ударяя рукой по шесту.

Но чуткость собак не дремала. Внезапно они остановились, обернувшись, и с серьезным вопрошающим видом уставились на хозяина. Их ресницы и морды были покрыты инеем, и сами они выглядели дряхлыми от усталости и холода.

Человек хотел было снова понудить их двинуться, но сперва остановился и, сделав усилие, посмотрел вокруг. Собаки остановились у проруби. Это была не естественная трещина во льду, а отверстие, старательно прорубленное сквозь три с половиной фута льда топором человека. Толстый ледяной слой показывал, что прорубью

уже долгое время никто не пользовался. Месснер продолжал оглядываться. Собаки показывали дорогу, повернувшись своим заиндевелым телом в сторону неясной тропинки в снегу, идущей от главного речного тракта к одному из островов.

— Хорошо, я знаю, что ноги у вас болят, — сказал он. — Я разузнаю. Не меньше вашего я хочу отдохнуть.

Он влез на берег и исчез. Собаки не ложились; держась на ногах, они напряженно ждали его возвращения. Он вернулся и впрягся в сани посредством особой веревки с ремнем, который перекинул себе через плечи. Он двинул собак направо и погнал их бегом вверх на берег. Тянуть было очень тяжело, но усталость как будто исчезла.

В своем усердии вынести сани они напрягали последние силы, пригибаясь к земле и издавая радостный визг. Когда какая-нибудь собака скользила или останавливалась, идущая за нею кусала ей зад. Человек же поощрял их и грозил и также напрягал силы, чтобы вывезти тяжелую ношу.

Они стремительно поднялись на берег, повернули направо и подъехали к маленькой бревенчатой хижине. Это был домик в одну комнату, размером в восемь футов на десять. Он,

по-видимому, был покинут обитателями. Месснер выпряг собак, разгрузил сани и вступил во владение хижиной. Последний случайный ее житель оставил запас дров. Месснер поставил свою небольшую железную печь и зажег огонь. Он положил пять кусков сушеной семги для собак в печь, для того чтобы рыба оттаяла, а затем наполнил кофейник и котелок водой из проруби.

Выжидая, когда закипит вода, он наклонился над печью. Влага от его дыхания замерзла в его бороде сплошным куском льда, который начал таять. Капли стекали на печь, шипели и превращались в пар. Он очищал бороду руками, извлекая мелкие куски льда и бросая их на пол, и был погружен в это занятие, когда на улице раздался громкий лай его собак, сопровождаемый рычанием и лаем чужой своры и звуком голосов. Вскоре в дверь постучали.

— Войдите, — глухо пробормотал Месснер, обсасывая лед со своих усов.

Дверь отворилась, и он увидел за облаками пара мужчину и женщину, остановившихся на пороге.

— Войдите, — повторил он кратко, — и закройте дверь.

Завеса из пара мешала ему разглядеть во-

шедших. Покрывала, окутывавшие нос, щеки и голову женщины, позволяли видеть только ее два черных глаза. Мужчина был гладко выбрит, за исключением усов, покрытых инеем до такой степени, что его рот не был виден.

— Мы хотели бы знать, нет ли здесь другой хижины, — сказал он, оглядывая голую комнату. — Мы думали, что эта хижина пустая.

— Хижина это не моя, — ответил Месснер, — я набрел на нее только несколько минут назад. Входите, устраивайте ваш ночлег. Места хватит, и вам не нужно будет ставить вашу печь.

При звуке его голоса женщина быстро на него посмотрела.

— Снимай шубу, — обратился к ней спутник. — Я разгружу сани и принесу воды, чтобы приготовить еду.

Месснер вынес оттаявшую семгу и покормил собак. Он должен был отделить их от своры чужих собак. Возвратившись в хижину, он увидел, что незнакомец уже разгрузил свои сани и принес воду. Котелок кипел. Он насыпал в него кофе, разбавил чашкой холодной воды и снял с печи. Затем положил оттаивать в печь несколько бисквитов из кислого теста и согрел горшок с бобами, который сварил накануне и вез целое

утро в мерзлом виде.

Сняв свою посуду с печи, чтобы пришельцы могли приступить к варке пищи, он, усевшись на своем постельном свертке, принялся за обед, разложенный на ящике с провизией. Между глотками он вел разговор о езде и собаках с незнакомцем, который наклонил голову над печкой и освобождал свои усы от засевшего в них льда. В хижине были две лежанки. Окончив прочищать свои усы, незнакомец бросил на одну из них свои постельные принадлежности.

— Мы будем спать здесь, — сказал он. — Если только вы не хотите занять эту лежанку. Вы пришли первый, значит, вам и выбирать.

— Занимайте какую хотите, — ответил Месснер. — Обе лежанки одинаковы.

Он разложил свои постельные вещи на другой лежанке и сел на нее с краю. Незнакомец сунул маленький складной ящик с медицинскими принадлежностями под одеяло так, чтобы тот мог служить подушкой.

— Вы врач? — спросил Месснер.

— Да, — был ответ. — Только могу вас уверить, что приехал я в Клондайк не для практики.

Женщина занялась-варкой обеда, в то время как мужчина резал сало и подкладывал дрова в

печку. Внутренность хижины была слабо освещена, ибо свет проглядывал через небольшое окно, сделанное из просаленной бумаги, и Джон Месснер не мог разглядеть женщину.

Впрочем, Месснер и не особенно старался это сделать. Казалось, он не интересуется ею. Но она изредка глядела с любопытством в темный угол, где он сидел.

— О, это замечательная жизнь, — с восторгом сказал доктор, останавливаясь, чтобы поточить нож о печную трубу. — Больше всего мне нравится в ней эта борьба, этот физический труд. Все это так первобытно и так реально.

— Температура достаточно реальна, — засмеялся Месснер.

— Знаете ли вы точно, сколько сейчас градусов? — спросил доктор.

Тот покачал головой.

— Я скажу вам. Спиртовой термометр на санях показывает семьдесят четыре ниже нуля.

— Слишком холодно для езды, не правда ли?

— Это подлинное самоубийство, — вынес приговор врач. — Вы напрягаетесь, вы тяжело дышите, вбирая в легкие ледяной воздух. Легкие охлаждаются, и верхушки их замерзают. Ткани отмирают, и вы начинаете кашлять сухим кашлем. В сле-

дующее лето вы умираете от воспаления легких, удивляясь, откуда оно могло взяться. Я останусь в этой хижине неделю, если только температура не поднимется по крайней мере, до пятидесяти ниже нуля.

— Скажи-ка, Тесс, — заговорил он минуту спустя, — не думаешь ты, что кофе достаточно уже прокипел?

При звуке женского имени Джон Месснер внезапно насторожился. Он быстро на нее взглянул, и по лицу его мелькнула тень, как бы воскресший призрак давно забытой печали. Но тотчас же усилием воли он отогнал призрак. Его лицо было так же спокойно, как и раньше, хотя он оставался настороже и внутренне досадовал на слабое освещение, не позволявшее разглядеть лица женщины.

Она машинально отставила кофейник; затем взглянула на Месснера. Но он уже овладел собою. Она увидела только человека, сидящего на краю лежанки и изучающего без особенного внимания носки своей обуви. Но в тот момент, когда она снова повернулась, чтобы заняться приготовлением пищи, он бросил на нее другой быстрый взгляд.

Глаза их на мгновение встретились, но он перевел взор на доктора, разглядывая его с еле

заметной усмешкой.

Она вынула свечу из ящика с провизией и зажгла. Для Месснера было достаточно одного взгляда на ее освещенное лицо. Хижина была мала, и в следующее мгновение она была рядом с ним. Она медленно подняла свечку к его лицу и пристально на него посмотрела, как будто боялась и вместе с тем хотела его узнать. Он спокойно улыбался.

— Что ты ищешь, Тесс? — крикнул доктор.

— Шпильки, — ответила она, проходя мимо Месснера и делая вид, что отыскивает что-то в платяном мешке.

Они разложили обед на своем ящике и уселись на ящик Месснера — прямо против него. А Месснер растянулся на своей лежанке, подперев голову рукою. Было так тесно, что казалось, будто все трое сидят вместе за столом.

— Откуда вы едете? — спросил Месснер.

— Из Сан-Франциско, — ответил доктор. — Но я здесь уже два года.

— Я сам из Калифорнии, — сказал Месснер.

Женщина посмотрела на него умоляюще, но он улыбнулся и продолжал:

— Из Берклевского университета, знаете?

— Да, вы похожи на ученого, — сказал доктор.

— Жалею об этом, — засмеялся Месснер в ответ, — я предпочел бы, чтобы меня приняли, например, за золотоискателя или погонщика собак.

— Он не более похож на профессора, чем ты на доктора, — заметила женщина.

— Благодарю вас, — сказал Месснер. Затем, обратившись к ее спутнику, он спросил: — Между прочим, могу ли я узнать ваше имя?

— Хейторн, — если вы мне поверите на слово. Я оставил визитные карточки вместе с цивилизацией.

— А это миссис Хейторн? — улыбнулся Месснер, слегка кланяясь ей.

Хейторн хотел спросить имя собеседника. Он уже раскрыл рот для вопроса, но Месснер продолжал:

— Кстати, доктор, быть может, вы сумеете удовлетворить мое любопытство. В академических кругах, года два-три назад, произошел скандал. Жена одного из профессоров английского языка, — простите мне этот легкомысленный рассказ, миссис Хейторн, — исчезла с каким-то доктором из Сан-Франциско, хотя я не помню его имени. Вспоминаете вы этот инцидент?

Хейторн кивнул головой:

— Да, в свое время это произвело большой шум. Его имя было Уомбл — Грехэм Уомбл. У него была громадная практика. Я несколько был с ним знаком.

— Очень хотел бы знать, что́ с ними сталось? Быть может, вы что-нибудь слышали? Они не оставили никаких следов.

— Они очень ловко скрыли все следы. — Хейторн откашлялся. — Был слух, что они отправились в южные моря и там погибли на торговом судне во время тайфуна.

— В первый раз об этом слышу, — сказал Месснер. — Вы помните этот случай, миссис Хейторн?

— Отлично, — отвечала она, и спокойный ее тон совершенно не вязался с лицом, искаженным гневом. Она отвернулась, чтобы Хейторн не заметил.

Тот снова хотел было спросить имя Месснера, но последний продолжал:

— Я слышал, что этот доктор Уомбл был очень красив и имел большой успех у женщин.

— Ну, во всяком случае, эта история прикончила его, — проворчал Хейторн.

— А женщина была, кажется, очень сварлива. Я слышал в Беркли, что жизнь ее мужа была не

из приятных.

— Я ничего об этом не слышал, — возразил Хейторн. — В Сан-Франциско говорили совершенно другое.

— Женщина-мученица? Распятая на кресте замужества?..

Доктор утвердительно кивнул. Серые глаза Месснера казались сдержанно любопытными. Он продолжал:

— Как и следовало ожидать, были две точки зрения. Живя в Беркли, я знал только одну сторону дела…

— Пожалуйста, еще кофе, — сказал Хейторн своей спутнице.

Женщина наполнила его чашку и рассмеялась легким смехом.

— Вы сплетничаете, как две старые дамы.

— Это очень интересно, — улыбнулся ей Месснер и продолжал разговор с доктором.

— Муж, по-видимому, имел неважную репутацию в Сан-Франциско.

— Наоборот — он был педантичен, — выпалил Хейторн с несколько излишней горячностью, — маленький ученый сухарь, без единой капли красной крови в теле.

— Знали вы его?

— Нет, я никогда его не видал. Я никогда не вращался в университетских кругах.

— И опять одностороннее мнение, — заметил Месснер. — Хотя он и не представлял собой ничего особенного в физическом отношении, все-таки едва ли был так уж плох. Он принимал деятельное участие в студенческом спорте. И не лишен был некоторого таланта. Он написал однажды пьесу, имевшую крупный местный успех. А потом я слышал, что его должны были назначить заведующим секцией английского языка. Но произошел этот казус[76], и он вынужден был уехать. Это разбило его карьеру — так, по крайней мере, казалось. Во всяком случае, мы считали, что он окончательно выбит из строя. Думали также, что он очень любит свою жену.

Хейторн кончил свою чашку и, зажигая трубку, неясно пробормотал, что все это его мало интересует.

— Хорошо, что у них не было детей, — продолжал Месснер.

Но Хейторн взглянул на печь и сказал, надевая шапку и перчатки:

— Я пойду за дровами. Тогда можно будет снять

---

[76] notes: 76
Казус — случай.

обувь и расположиться поудобнее.

Дверь с шумом за ним затворилась. Целую минуту длилось молчание. Мужчина продолжал сидеть в том же положении на кровати. Женщина сидела на ящике, лицом к нему.

— Что вы собираетесь делать? — резко спросила она.

Месснер посмотрел на нее как будто с ленивой нерешительностью.

— Как вы думаете, что должен я сделать? Ничего театрального, надеюсь? Видите ли, я устал и окоченел от дороги, а эта лежанка очень удобна для отдыха.

Она кусала свою нижнюю губу, и видно было, что ей стоит большого труда сдержаться.

— Но… — начала она возбужденно, затем сжала кулаки и остановилась.

— Я надеюсь, вы не хотите, чтобы я убил мистера Хейторна? — сказал он мягко, почти умоляюще. — Это было бы очень грустно и, уверяю вас, совершенно не нужно.

— Но вы должны что-нибудь сделать! — воскликнула она.

— Наоборот, можно себе представить, что я ничего не должен сделать.

— Вы останетесь здесь?

Он кивнул.

Она взглянула с отчаянием вокруг и остановила взор на неразвернутом постельном свертке.

— Ночь приближается. Вы не можете здесь остаться. Вы не можете! Я говорю вам: вы не можете!..

— Конечно могу. Я мог бы вам напомнить, что я первый нашел эту хижину и вы мои гости.

Снова ее глаза оглядели комнату и остановились на второй кровати.

— Тогда мы должны уйти, — заявила она решительно.

— Это невозможно. У вас сухой, прерывистый кашель, — мистер Хейторн так умело его описал. Вы уже отчасти простудили себе легкие. Он — доктор и никогда не допустит этого.

— Тогда что же вы намереваетесь сделать? — тихо спросила она. В ее тоне была такая напряженность, что казалось — скоро должен был последовать взрыв.

Месснер смотрел на нее почти по-отечески: так много было в его взгляде сострадания.

— Дорогая Тереза, я уже сказал вам, что не знаю. Я еще об этом не думал.

— О! Вы сводите меня с ума! — Она вскочила на ноги в бессильном гневе. — Вы никогда не

были таким!..

— Я весь был — мягкость и нежность, — согласился он. — Не поэтому ли вы меня оставили?

— Вы так изменились, вы так ужасно спокойны. Вы пугаете меня. Я чувствую, что вы задумали что-то ужасное. Но что бы вы ни сделали, не делайте ничего безрассудного. Не выходите из себя.

— Я никогда больше не волнуюсь, — прервал он ее. — С тех пор, как вы ушли.

— Вы стали гораздо лучше, — ответила она.

Он усмехнулся.

— Пока я обдумываю, что должен сделать я, слушайте, что должны сделать вы. Вы должны сказать мистеру… Хейторну, кто я. От этого наше пребывание в хижине может стать более… приятным, я бы сказал.

— Зачем вы последовали за мной в эту ужасную страну? — спросила она неожиданно.

— Не думайте, Тереза, что я приехал сюда искать вас. Подобными предположениями ваше самолюбие не должно обольщаться. Наша встреча — чистая случайность. Я бросил академическую жизнь и должен был куда-нибудь поехать. Откровенно говоря, я очутился в Клондайке, так как меньше всего рассчитывал здесь вас встретить.

В дверях раздался шум у замка, затем дверь открылась, и Хейторн вошел, неся охапку дров. При первом же звуке за дверью Тереза принялась убирать посуду. Хейторн снова вышел, чтобы принести еще дров.

— Почему вы нас не представили друг другу? — спросил Месснер.

— Я скажу ему, — она гордо откинула голову. — Не думайте, что я боюсь.

— Я не помню случая, чтобы вы чего-нибудь боялись.

— И я не боюсь признаться в своей вине, — добавила она. И голос и лицо ее стали мягче.

— Боюсь только, что исповедь ваша едва ли не будет преследовать корыстные цели.

— Я не хочу спорить, — сказала она с недовольным видом, но почти нежно. — Я скажу только, что не боюсь просить у вас прощения.

— Нечего прощать, Тереза. Я должен был бы вас благодарить. Правда, вначале я страдал. А затем вдруг понял, что счастлив, очень счастлив. Это было изумительнейшее открытие.

— Но что если я вернусь к вам? — спросила она.

— Я был бы, — он посмотрел на нее с легкой усмешкой, — очень этим озадачен.

— Я — ваша жена. Вы не позаботились о разводе.

— Да, — сказал он задумчиво. — Я упустил это из виду. Это одна из первых вещей, какие я должен сделать.

Она подошла к нему и положила руку ему на плечо.

— Ты не хочешь меня, Джон? — Ее голос был мягок и ласков, и прикосновение ее руки обожгло его. — Если бы я сказала тебе, что сделала ошибку? Если бы я сказала, что очень несчастна? Да, я несчастна; я сделала ошибку.

Понемногу Месснером стал овладевать страх. Он чувствовал, что колеблется под этой легкой рукой, лежащей на его плече. Казалось, он терял почву, и все его прекрасное спокойствие исчезло. Она глядела на него влажными глазами, а он, казалось, тоже как будто таял. Он почувствовал, что стоит на краю пропасти и не может противиться силе, влекущей его в бездну.

— Я возвращаюсь к тебе, Джон. Я возвращаюсь сегодня… сейчас.

Как в кошмаре, он метался под ее рукой. Она говорила, и ему казалось, что он слышит нежные

переливы песни Лорелей[77]. Словно где-то заиграло фортепиано…

Она пыталась обнять его; но вдруг он вскочил, оттолкнул ее и отступил к двери. Он весь дрожал.

— Я не ручаюсь за себя! — крикнул он.

— Я говорила вам — не выходите из себя! — Она рассмеялась и приступила со спокойным видом к мытью посуды. — Успокойтесь. Вы мне не нужны. Я только играла вами. Я гораздо счастливее там, где сейчас нахожусь.

Но Месснер не поверил. Он вспомнил, с какою легкостью она меняет свое настроение. Он хорошо знает, что на самом деле она несчастна с тем — другим. И она признает свою ошибку! Эта мысль доставила ему удовлетворение. И вместе с тем он не хотел возвращения жены. Его рука опустилась на дверную ручку.

— Не убегайте, — смеялась она. — Я вас не укушу!

— Я не убегаю, — отвечал он с некоторым вызовом. Он натянул свои перчатки. — И только иду за водой.

Он собрал пустые ведра и посуду и, открыв

---

[77] notes: 77

Лорелей — по немецкой легенде — волшебница, жившая на скале у Рейна и завлекавшая путников чарами песен.

дверь, обернулся:

— Не забудьте, что вы должны сказать мистеру… Хейторну, кто я.

Месснер пробил лед, образовавшийся на проруби, и наполнил ведра. Но он медлил возвращаться в хижину. Оставив ведра на тропе, он начал шагать по ней. Шел быстро, чтобы не замерзнуть.

Мороз щипал и жег, словно огнем. Борода Месснера была уже белой от инея, когда наконец нахмуренные его брови расправились и выражение решимости появилось у него на лице. Он обдумал свой план действий и не мог удержаться от улыбки при мысли об этом плане.

Ведра были уже подернуты легким слоем льда, когда он поднял их и пошел по направлению к хижине. Войдя, он увидел, что спутник Терезы ждет его, стоя у печи. Во всем его облике была какая-то нерешительность и неловкость. Месснер поставил на пол ведра с водою.

— Очень рад встретиться с вами, Грехэм Уомбл, — сказал он вежливо, как бы отвечая на представление.

Месснер не подал руки. Уомблу было очень не по себе. Он ощущал неловкость создавшегося положения и чувствовал вместе с тем к собеседнику ту ненависть, которую обычно обидчик питает к

своей жертве.

— Так это вы — тот самый человек, — сказал Месснер вежливо-удивленным тоном. — Ну хорошо. Видите ли, я действительно рад вас встретить. Мне было несколько любопытно знать, что Тереза в вас нашла — чем, так сказать, вы были привлекательны. Ну-ну!..

И он обмерил своего соперника с ног до головы, как осматривают при покупке лошадь.

— Я представляю себе, что вы должны ко мне питать… — начал Уомбл.

— Не стоит упоминать об этом, — прервал его Месснер с преувеличенной любезностью. — Мне хочется знать, как вы нашли ее? Оказалась ли она такой, какой вы ее ожидали встретить? Была ли ваша жизнь с тех пор счастливым сном?

— Нельзя ли без глупостей? — вмешалась Тереза.

— Я не могу не быть естественным.

— Но вы все-таки можете не тянуть, — резко сказал Уомбл. — Мы хотим знать, что вы хотите делать.

Месснер притворился беспомощным.

— Я положительно не знаю. Это одно из тех невозможных положений, из которых нет выхода.

— Мы трое не можем остаться на ночь в этой хижине.

Месснер кивнул утвердительно.

— Тогда кто-нибудь должен уйти, — продолжал Уомбл.

— Это тоже неопровержимо, — согласился Месснер. — Так как три тела не могут одновременно занимать одно и то же пространство — кто-то должен уйти.

— И это будете вы, — угрожающе заявил Уомбл. — До ближайшего лагеря десять миль, но вы можете их сделать.

— Вот тут-то вы, пожалуй, и ошибаетесь, — возразил Месснер. — Почему же непременно я должен уйти? Ведь я первый нашел эту хижину.

— Но Тесс не может выйти, — объяснил Уомбл. — Ее легкие простужены.

— Я согласен с вами. Она не может пройти десять миль по морозу. Она, во всяком случае, должна остаться.

— Тогда дело обстоит именно так, как я сказал, — заявил Уомбл.

Месснер кашлянул.

— Ваши легкие здоровы? Не правда ли? — спросил он.

— Да, но что же из этого?

Снова Месснер откашлялся и сказал, выговаривая слова с особой надуманной медлительностью:

— А из этого только то, что, как вы сами изволили рассуждать, нет никаких препятствий для вашего ухода и прогулки в десять миль по морозу.

Уомбл взглянул на Терезу и уловил в ее глазах что-то вроде удовольствия.

— Ну? — спросил он ее.

Она колебалась, и он весь покраснел от ярости. Затем обратился к Месснеру.

— Довольно! Вы не можете здесь остаться!

— Нет, могу и останусь!

— Я не позволю вам. — Уомбл выпрямился.

— Все-таки я останусь.

— Я вас выброшу!

— Я вернусь!

Уомбл остановился на минуту.

— Имейте в виду, Месснер, если вы не уйдете, я вас побью. Здесь не Калифорния. Я вас изобью.

Месснер пожал плечами.

— Если вы это сделаете, я созову золотоискателей, и вас повесят на первом дереве. Вы сказали правильно, что здесь не Калифорния. Они простые люди — эти золотоискатели, — и

мне довольно будет показать им следы ваших ударов и заявить притязание на свою жену.

Женщина пыталась что-то сказать, но Уомбл в бешенстве повернулся к ней.

— Ты держись в стороне.

Месснер, наоборот, обратился к ней с изысканной вежливостью:

— Пожалуйста, Тереза, не вмешивайтесь.

Но гнев и необходимость сдерживаться оказали свое действие. Она начала кашлять сухим, прерывистым кашлем; с налитым кровью лицом и рукой, прижатой к груди, она ждала, чтобы припадок прошел.

Уомбл мрачно посмотрел на нее, как бы измеряя степень ее болезни.

— Что-нибудь надо сделать, — сказал он. — Ее легкие не выдержат путешествия. Она не может двинуться, пока температура не поднимется. Но я ее не уступлю.

Месснер снова кашлянул, невнятно что-то пробурчал и затем сказал, как бы наполовину извиняясь:

— Я нуждаюсь в деньгах.

Лицо Уомбла тотчас же выразило презрение. Наконец-то его противник оказался подлее его!

— У вас полный мешок золотого песку, — про-

должал Месснер. — Я видел, как вы снимали его с саней.

— Сколько вам надо? — спросил Уомбл презрительно.

— Я оценил бы ваш мешок в двадцать фунтов. Что вы сказали бы о четырех тысячах?

— Но это все, что у меня есть! — вырвалось у Уомбла.

— Вы имеете ее, — ответил Месснер, как бы утешая его. — Она должна этого стоить. Подумайте, что я отдаю. Это разумная цена.

— Хорошо! — Уомбл бросился через комнату за мешком. — Хоть бы поскорее с вами развязаться, подлый змееныш!

— Ну, в этом вы ошибаетесь, — ответил Месснер с улыбкой. — С точки зрения этики, человек, который дает взятку, так же виновен, как тот, кто ее получает. Укрыватель так же дурен, как вор. Поэтому вам не следует в этом маленьком деле воображать, что вы имеете какое-то моральное преимущество.

— К черту вашу этику! — крикнул Уомбл. — Идите сюда и проверьте вес золота. Я могу вас надуть.

И женщина, в бессильной ярости опираясь о лежанку, вынуждена была присутствовать при том,

как ее самое — в желтых слитках и песке — взвешивали на весах. Последние были небольшого размера, и поэтому потребовалось несколько операций. Месснер с особой тщательностью проверял каждую кладку.

— В нем слишком много серебра, — заметил он, завязывая мешок с золотом. — Думаю, дадут не больше шестнадцати за унцию. Для вас сделка очень выгодна, Уомбл!

Он любовно ощупал мешок и, как бы проявляя особое внимание к его ценности, отнес его в свои сани. Вернувшись, он собрал свою посуду и завернул постель. Когда сани были нагружены и визжащие собаки впряжены, он вернулся в хижину за перчатками.

— Прощайте, Тесс, — сказал он, стоя в открытой двери.

Она повернулась к нему, пылая гневом, пытаясь что-то сказать, но не способная говорить от душившей ее злобы.

— Прощайте, Тесс, — нежно повторил он.

— Негодяй! — удалось ей выговорить. Она отвернулась и бросилась на постель лицом вниз, рыдая и повторяя: — Негодяй! Негодяй!..

Джон Месснер тихо закрыл за собой дверь и, понукая собак, облегченно бросил последний

взгляд на хижину. Он остановил сани у берега, около проруби. Там он вынул мешок с золотом и понес его к проруби. Он разбил лед кулаком и, развязав ремни зубами, высыпал содержимое мешка в воду. Река была неглубока в этом месте, и в свете сумерек он мог видеть желтое дно на глубине двух футов от поверхности. Сделав свое дело, он плюнул в воду.

Он направил собак по Юконской тропе. Визжа и пыхтя, они шли неохотно. Месснер шел за ними, держась за шест правой рукой и потирая левой щеки и нос. Изредка, на поворотах, он задевал о постромки и переступал веревку.

— Вперед, мои бедные, усталые звери! — кричал он. — Вперед!

ПУТЬ БЕЛОГО ЧЕЛОВЕКА

Войдя в хижину старого Эббитса, я обратился к нему с обычным заявлением:

— Я пришел варить у твоего огня и спать эту ночь под твоей крышей.

Эббитс посмотрел на меня мутными и пустыми глазами; Зилла же встретила меня довольно кисло и презрительно ворча. Зилла была его женой и считалась самой злой и ядовитой старухой на всем Юконе.

Я бы ни за что у них не остановился, если бы мои собаки не так устали и будь только остальная часть деревни заселена. Но обитателей я нашел только в этой хижине, и потому был вынужден именно в ней искать убежища.

Старый Эббитс то и дело словно пробуждался от своей умственной спячки. Тогда в его глазах зажигались проблески понимания. Несколько раз даже, во время приготовления моего ужина, он пытался гостеприимно узнать о моем здоровье, о числе и состоянии моих собак и о расстоянии, пройденном мною в этот день. Зилла же все более и более хмурилась и еще презрительней

ворчала.

Нужно признаться, что у них не могло быть особенных оснований для веселья. Они лежали, скорчившись, у огня и в этом положении, по-видимому, должны были оставаться до конца своей жизни. Они были дряхлы и беспомощны, страдали от ревматизма и голода. С завистью вдыхали они аромат жарящегося мяса. Они качались вперед и назад медленно и безнадежно, и через каждые пять минут Эббитс испускал тихий стон. Это был не столько стон страдания, сколько усталости от страдания. Он был подавлен бременем и мучительностью того, что называется жизнью, а еще больше подавлял его страх смерти. Он переживал вечную трагедию старости, потерявшей радость жизни и не приобретшей еще успокоения смерти.

Когда мое жаркое из лося зашипело на сковороде, я заметил, что ноздри старого Эббитса стали дрожать и раздуваться, по мере того как он ловил запах еды. Он перестал раскачиваться и стонать, и лицо его сделалось осмысленнее.

Зилла наоборот, качалась все быстрее, и страдание ее прорвалось в ряде коротких, резких возгласов. Мне пришло на мысль, что их образ действия напоминает поведение голодных со-

бак, и я не удивился бы, если бы у Зиллы вдруг появился хвост и она стала бы им бить по полу — по-собачьи. Изредка Эббитс переставал раскачиваться, для того чтобы нагнуться вперед и приблизить свой трепещущий нос к источнику вкусового возбуждения.

Когда же я подал каждому из них тарелку жареного мяса, они стали жадно есть его, производя ртом громкие звуки; они чавкали изношенными зубами, не переставая бормотать. После этого я дал им по чашке горячего чая, и чавканье прекратилось. Стянутый рот Зиллы расправился, и она удовлетворенно вздохнула. Больше они уже не раскачивались и как будто впали в состояние тихой задумчивости. Глаза Эббитса увлажнились: знак сострадания к самому себе.

Они долго искали свои трубки, и это служило доказательством того, что уже давно не имели табаку. Старик так сильно хотел курить, что впал в состояние беспомощности, и я должен был зажечь его трубку.

— Почему вы одни в деревне? — спросил я. — Поумирали все другие, что ли? Или у вас была повальная болезнь и вы одни остались в живых?

Старый Эббитс покачал головой:

— Нет, болезни не было. Деревня ушла на охоту.

А мы слишком стары, наши ноги недостаточно сильны, и мы не можем носить на спине поклажу. Вот мы и остаемся здесь и ждем, чтобы те, кто помоложе, вернулись с мясом.

— Что ж из того, если они вернутся с мясом? — резко спросила Зилла.

— Они могут принести много мяса, — проговорил он с надеждой.

— Хорошо, пусть будет много мяса, — продолжала она еще более резко. — Но разве это для нас? Нам, беззубым от старости, дадут грызть несколько костей. А жир, почки, языки — все это попадет в другие рты.

Эббитс опустил свою голову и тихо всхлипнул.

— Нет никого, кто охотился бы для нас, — крикнула она с ожесточением, обращаясь ко мне.

В ее словах как будто было обвинение, и я пожал плечами в знак того, что не виновен в этом неведомом, приписываемом мне преступлении.

— Знай же, белый человек, что это из-за твоего рода, из-за всех белых людей мой муж и я не имеем в старости мяса и сидим без табаку и в холоде!

— Нет, — возразил Эббитс серьезно, как бы желая восстановить справедливость. — Верно, что нас обидели; но белый человек не хотел нам зла.

— Где Моклан? — спросила она. — Где твой сильный сын Моклан и рыба, которую он постоянно тебе приносил?

Старик покачал головой.

— И где Бидаршик, твой крепкий сын? Он был всегда могучим охотником и всегда приносил тебе добрый спинной жир и сладкие сушеные языки лося и карибу. Я не вижу теперь жира и сладких сушеных языков. Твой желудок целыми днями пуст, и тебя накормил человек дурного и лживого племени.

— Нет, — вмешался Эббитс, желая быть мне приятным. — Племя белого человека не лживое. Белый человек говорит правду. Белый человек всегда говорит правду. — Он остановился, подбирая слова, чтобы облечь свое мнение в более мягкую форму. — Но белый человек говорит правду по-разному. Сегодня — одну правду; завтра — говорит другую… Потому и нельзя понять его.

— Сегодня говорить одну правду, а завтра другую, — это значит лгать, — таков был приговор Зиллы.

— Никак нельзя понять белого человека, — настаивал Эббитс.

Еда, чай и табак как будто вернули его к жизни, и он крепко цеплялся за мысли, проносящиеся в

его мозгу, за ширмой мутных от старости глаз. Он как-то даже выпрямился, перестал всхлипывать, и голос его окреп.

Он обратился ко мне уже с достоинством и говорил, как равный с равным.

— Глаза белого человека открыты, — начал он, — белый человек все видит и много думает, и поэтому он очень умен. Но белый человек сегодня — непохож на белого человека завтра, и потому никак нельзя его понять. И он поступает всегда по-разному. Индеец всегда поступает одинаково. Когда наступает зима, лось всегда спускается с высоких гор. Лосось появляется весною, когда лед уходит с реки. Всегда все совершается одинаково, и потому индеец знает и понимает. Но белый человек поступает по-разному, и индеец не знает и не понимает.

— Табак очень хорошая вещь. Это то же, что пища для голодного. Сильного он делает сильней и того, кто рассердился, заставляет забыть свой гнев. И потому табак имеет цену. Цена его очень большая. Индеец дает большого лосося за лист табаку и жует табак долгое время. Вкусен сок табака. Когда он течет в глотку человеку — хорошо. Что же делает белый человек? Что делает он, когда рот его полон табачного сока? Он выпле-

вывает его на снег, и этот сок пропадает! Любит ли белый человек табак? Я не знаю. Но если он любит табак, почему он выплевывает его в снег? Это очень неразумно.

Он замолк, потянул трубку и, увидя, что она тухнет, передал Зилле. Ее губы, застывшие в насмешливой улыбке по адресу белого человека, плотно зажали трубку.

Не окончив рассказа, Эббитс, казалось, снова одряхлел. Я спросил:

— Что же твои сыновья Моклан и Бидаршик? Почему ты и твоя старуха остаетесь в старости без мяса?

Он очнулся как бы от сна и с усилием выпрямился.

— Нехорошо красть, — сказал он. — Когда собака крадет твое мясо, ты бьешь ее палкой. Таков закон. Человек установил его для собаки, и собака должна так жить; иначе палка причиняет боль. Когда человек берет твое мясо, или твою лодку, или твою жену — ты убиваешь того человека. Это закон, хороший закон. Нехорошо красть, и потому, по закону, укравший должен умереть. Всякий, кто нарушает закон, должен нести кару. Величайшая же кара — смерть.

— Но если ты убиваешь человека, то почему не

убить собаку? — спросил я.

Старый Эббитс посмотрел на меня с ребяческим удивлением, а Зилла, словно отвечая на мой глупый вопрос, усмехнулась.

— Вот взгляд белого человека, — пробормотал Эббитс, как бы примиряясь с моим неразумением.

— Это безрассудство белого человека, — огрызнулась Зилла.

— Пусть в таком случае старый Эббитс научит белого человека разуму, — сказал я кротко.

— Собаку не убивают, потому что она должна тащить сани человека. Ни один человек не везет саней другого. Поэтому человека убивают.

— А! — заметил я.

— Это — закон, — продолжал старый Эббитс. — Теперь слушай, белый человек, я тебе расскажу про большую глупость. Есть один индеец, по имени Мобитс. Он украл у белого человека два фунта муки. Что же делает белый человек? Бьет ли он Мобитса? Нет. Убивает ли он его? Нет. Что же делает он с Мобитсом? Я скажу тебе, белый человек. У него есть дом. Он сажает туда Мобитса. Крыша дома хорошая. Стены толстые. Он зажигает огонь, чтобы Мобитсу было тепло. Он дает Мобитсу много пищи. И пища хорошая. Никогда за всю свою

жизнь Мобитс не ел такой пищи. Дают свиное сало, хлеб и бобы. И Мобитсу очень хорошо.

— На двери большой замок, чтобы Мобитс не убежал. Это тоже глупость. Мобитс не убежит. Здесь отличная пища, теплые одеяла, жаркий огонь. Очень глупо бежать. Мобитс не глуп. Он остается в этом месте три месяца. Он украл два фунта муки. За это белый человек хорошо о нем позаботился. Мобитс съел много фунтов муки, много фунтов сахара, свиного сала, бобов. Мобитс пил много чаю. Через три месяца белый человек открывает дверь и говорит Мобитсу, что он должен уйти. Мобитс не хочет уходить. Он как собака, которую долго кормили в одном месте. Он хочет там остаться, и белый человек должен его прогнать. После этого Мобитс вернулся в деревню, и с тех пор очень растолстел. Вот что делает белый человек, и нельзя его понять. Это глупость, большая глупость.

— Но твои сыновья? — настаивал я. — Они сильные, а ты стар и голодаешь.

— Был Моклан, — начал Эббитс.

— Он был сильный человек, — прервала мать. — Он мог грести целый день и потом всю ночь без отдыха и пищи. Он знал все о ловле лососей.

— Был Моклан, — повторил Эббитс, не обращая внимания на ее слова. — Весной он спустился с юношами по Юкону, чтобы торговать в форте Кэмбел. Там есть пост, где много товаров белых людей, и там есть торговец, по имени Джонс. Там же есть белый знахарь — тот, кого вы называете миссионером. Но около форта Кэмбел — опасная вода в том месте, где Юкон суживается, и вода течет быстро, и течение разделяется и снова соединяется. Там есть водоворот, и все время течение меняется. Моклан — мой сын, и потому он храбрый человек.

— Разве мой отец не был храбрым? — спросила Зилла.

— Твой отец был храбрым, — согласился Эббитс с таким видом, словно во что бы то ни стало хотел сохранить семейный мир. — Моклан — мой сын и твой сын, и потому он храбрый. Может, из-за храбрости твоего отца Моклан был слишком смел. Когда много воды налито в котел, она переливается через край. И в Моклане слишком много было смелости, и она переливалась через край.

— Юноши боятся опасного места у форта Кэмбел. Но Моклан не боится. Он громко смеется и пускается в самые опасные места. Но там, где сталкиваются встречные течения, лодка опро-

кидывается. Водоворот затягивает Моклана, крутит его, тянет вниз, еще вниз — и больше его не видно.

— Ай-ай!.. — заплакала Зилла. — Он был ловок и умен, мой первенец.

— Я — отец Моклана, — сказал Эббитс, терпеливо выждав, пока женщина успокоится. — Я сажусь в лодку и еду в форт Кэмбел, чтобы получить долг.

— Долг? — прервал я. — Какой долг?

— У Джонса, главного торговца, — был ответ. — Таков закон, когда попадаешь в чужую страну.

Я покачал головой в знак непонимания, и Эббитс посмотрел на меня с сожалением. Зилла же, как всегда, презрительно фыркнула.

— Слушай, белый человек. В твоем лагере собака, которая кусается. Когда собака кусает человека, ты даешь этому человеку подарок, потому что ты сожалеешь и потому что это твоя собака. Так же, если в твоей стране опасная охота или опасная вода. Ты должен платить. Это справедливо. Это закон. Брат моего отца отправился в страну Тананау и был там убит медведем. И разве племя Тананау не заплатило моему отцу, не подарило ему много одеял и дорогих мехов? Это было справедливо. Это была дурная охота, и

люди племени Тананау заплатили.

— Вот я, Эббитс, отправился к форту Кэмбел, чтобы получить долг. Джонс, главный торговец, посмотрел на меня и засмеялся. Он много смеялся и не хотел платить. Тогда я пошел к тому, которого вы называете миссионером, и рассказал ему про дурную воду и про долг. Но миссионер говорил о другом. Он говорил о том, куда ушел Моклан после своей смерти. Там большие костры, и если миссионер говорил правду, Моклану никогда больше не будет холодно. А потом миссионер говорил о том, куда я отправлюсь после смерти. И он говорил неправильные вещи. Он сказал, что я слеп. Это — ложь. Он сказал также, что я в великой темноте. Это — ложь. И я ответил: день и ночь проходят одинаково для всех, и в моей деревне не больше темноты, чем в форте Кэмбел. Также я сказал, что темнота, свет и место, куда мы отправимся после смерти, — это одно; а уплатить за дурную воду — совсем другое. Тогда миссионер сильно рассердился и назвал меня нехорошими, темными именами и велел мне уйти. И я вернулся из форта Кэмбел, не получив платы. Моклан же умер, и в старости я остался без рыбы и мяса.

— Из-за белого человека, — сказала Зилла.

— Из-за белого человека, — согласился Эб-

битс. — Из-за белого человека вот что еще случилось. У меня был сын Бидаршик. Белый человек с ним поступил совсем не так, как с Ямиканом. И прежде всего должен я тебе рассказать про Ямикана. Это был юноша нашей деревни, и ему случилось убить белого человека. Нехорошее дело — убить человека другого племени. Тогда всегда бывает беда. Но Ямикан убил белого человека не по своей вине. Ямикан всегда говорил мягкие слова и убегал от ссоры, как собака от палки. Но этот белый человек выпил много виски и ночью пришел в дом Ямикана и дрался с ним. Ямикан не мог убежать, и белый человек хотел его убить. Ямикан не хотел умереть, и сам убил белого человека.

— Тогда деревня наша очутилась в большой беде. Мы очень боялись, что придется много платить племени белого человека, и спрятали одеяла, и меха, и все наше имущество, как будто мы бедные люди и не можем много платить. Прошло много времени, и пришли белые люди. Это были солдаты, они взяли Ямикана с собою. Его мать громко кричала и сыпала себе пепел на голову. Она знала, что Ямикан умер, и вся деревня это знала и радовалась, что не нужно платить.

— Это было весной, когда лед сошел с реки.

Один год проходит, два года проходят. Снова вернулась весна, и снова лед сошел с реки. И тогда Ямикан, который умер, вернулся к нам. Он был жив и очень растолстел, и мы узнаем, что он спал словно белый человек. Он стал мудрым и скоро сделался первым человеком деревни.

— И он рассказал странные вещи про белых людей, о том, как он долго был с ними и совершил большое путешествие в их страну. Сперва белые солдаты везли его долгое время вниз по реке. Всю дорогу, до конца реки, везли они его, до того, где река впадает в большое озеро, — больше, чем земля, и широкое, как небо. Я не знал, что Юкон такая большая река, но Ямикан видел своими глазами. Я не думаю, что есть озеро больше, чем земля, и широкое, как небо; но Ямикан его видел. Он говорил также, что вода в озере соленая. Это удивительно и непонятно.

— Но белый человек, наверное, сам знает про все эти чудеса, и я не буду утомлять его рассказом о них. Я только расскажу ему то, что случилось с Ямиканом. Белые люди очень хорошо кормили Ямикана. Ямикан все время ест, и все время дают ему пищу. Белый человек живет в стране под солнцем, рассказывает Ямикан, где много тепла и на зверях только волосы, а не мех. И растут

большие зеленые растения, и становятся они мукой, бобами и картофелем. И там, под солнцем, никогда не бывает голода. Там всегда много пищи. Я про это не знаю. Так говорил Ямикан.

— И странно то, что случилось с Ямиканом. Ни один белый человек не сделал ему зла. Они дали ему теплую постель на ночь и много хорошей пищи. Они повезли его через Соленое озеро, величиной с небо. Он ехал на огненной лодке белых, которую вы называете пароходом. Только лодка эта в двадцать раз больше, чем пароход на Юконе. Лодка эта сделана из железа — и все-таки не тонет. Я этого не понимаю, но Ямикан сказал: «Я ехал на железной лодке, и смотри — я все еще жив». Это была военная лодка белых людей, и на ней было много белых солдат.

— Долго они плыли, и наконец Ямикан приехал в страну, где нет снега. Я не могу поверить этому. Не может же быть, чтобы зимою не было снега. Но Ямикан видел. Я расспрашивал и белых людей, и они сказали: «Да, в этой стране нет снега!» Но я не могу поверить и спрашиваю тебя — бывает ли когда-нибудь снег в этой стране? И я хотел бы узнать, как зовут эту страну. Я уже слышал ее имя, но хотел бы снова его услышать. Так я узнаю, правда то была или ложь.

Старый Эббитс посмотрел на меня вопросительно. Он хотел знать правду во что бы то ни стало. Он добивался правды, хотя ему и хотелось сохранить веру в чудо.

— Да, — ответил я. — Ты слышал истину. В этой стране нет снега, и она называется Калифорния.

— Ка-ли-фор-ни-я-я, — пробормотал он два или три раза, внимательно прислушиваясь к каждому слогу. Он кивнул головой в знак подтверждения. — Да, это та самая страна, о которой говорил Ямикан.

Я догадался, что случай с Ямиканом мог легко произойти в те дни, когда Аляска только-только перешла к Соединенным Штатам. За такое убийство в те времена, когда не было еще территориального закона и должностных лиц, могли судить в Соединенных Штатах — в Федеральном суде.

— Когда Ямикан прибыл в эту страну, где нет снега, — продолжал старый Эббитс, — его повели в большой дом. Там было много людей. Они долго разговаривали и ставили много вопросов Ямикану. Затем они заявили Ямикану, что ему не будут больше делать плохого. Ямикан не понимал, так как ему вообще не делали плохого. Они все время давали ему теплую постель и много еды.

— Но после этого они дали ему еще лучшую пищу, дали ему денег и повели его в разные места в стране белых людей. Там он видел много чудес, которых не понять Эббитсу, — ведь он старик и никогда далеко не ездил. Через два года Ямикан вернулся в эту деревню и был в ней первым человеком и был мудрым, пока не умер.

— Но прежде чем он умер, он часто сидел у моего костра и рассказывал про странные вещи, какие он видел, и мой сын Бидаршик сидел также у огня и слушал.

— Раз ночью, после ухода Ямикана, Бидаршик встает во весь рост и, ударив себя в грудь кулаком, говорит: «Когда я буду мужчиной, я поеду в далекие места, в эту землю, где нет снега, и увижу все это собственными глазами».

— Бидаршик всегда путешествовал по далеким местам, — прервала его Зилла с гордостью.

— Это правда, — с серьезным видом согласился Эббитс. — И он всегда возвращался, чтобы сидеть у костра и мечтать о других, еще более неизвестных, далеких местах.

— Он всегда помнил Соленое озеро величиной с небо и страну под солнцем, где нет снега, — вставила Зилла.

— И он всегда говорил: «Когда у меня будет

сила взрослого мужчины, я пойду сам, чтобы убедиться в правде рассказов Ямикана», — сказал Эббитс.

— Но не было способа дойти до земли белых людей, — сказала Зилла.

— А разве не дошел он до Соленого озера величиной с небо? — спросил Эббитс.

— Но не было способа перейти через Соленое озеро, — ответила Зилла.

— Кроме как на железном пароходе белых людей, большем, чем двадцать пароходов на Юконе, — продолжал Эббитс и, нахмурившись, посмотрел на Зиллу, пытавшуюся снова что-то сказать, и заставил ее замолкнуть. — Но белые люди не позволили ему переехать Соленое озеро на пароходе, и он вернулся домой и продолжал сидеть у костра и по-прежнему томился тоской по стране под солнцем, где совсем нет снега.

— Но все же на Соленом озере он видел железный пароход, который не тонет, — не удержалась Зилла.

— Да, — сказал Эббитс. — И он увидел, что Ямикан рассказал правду. Не мог никак Бидаршик поехать в страну белых людей под солнцем, и он заболел и сделался дряхлым, как старик, и не уходил от костра.

— И он не касался больше мяса, поставленного перед ним, — заметила Зилла, — он качал головой и говорил: «Я хочу есть только пищу белых людей и растолстеть, как Ямикан».

— Да, он не ел мяса, — продолжал Эббитс. — И болезнь его становилась все сильнее и сильнее, и я боялся, чтобы он не умер. Это не тело его болело, а голова. Я, Эббитс, его отец, стал раздумывать. У меня нет больше сыновей, и я не хочу, чтобы Бидаршик умер. Это болит у него голова, и есть одно только средство вылечить ее. Бидаршик должен поехать через озеро величиной с небо в ту землю, где нет снега. Иначе он умрет. Я очень много думал и наконец придумал, как Бидаршику туда отправиться.

— И вот, однажды вечером, когда он сидел у костра в унынии, с опущенной головой, я сказал: «Мой сын, я уже знаю, как тебе можно отправиться в землю белых людей!» Он посмотрел на меня с радостным лицом. «Поезжай, — сказал я, — так же, как поехал Ямикан!» Но Бидаршик не понимает и снова уныл. «Пойди, — говорю я ему, — найди белого человека и так же, как Ямикан, убей его! Тогда придут белые солдаты и возьмут тебя, как они взяли Ямикана, и повезут тебя через Соленое озеро на землю белых людей. И так же, как

Ямикан, ты вернешься очень толстый, мудрый и с глазами, полными удивительных вещей, какие ты там увидел».

— И Бидаршик быстро поднялся и протянул руку за ружьем. «Куда идешь?» — спросил я. «Я иду убить белого человека», — сказал он. И я увидел, что слова мои достигли ушей Бидаршика и что он наконец выздоровеет. Также знал я, что слова мои были хороши и разумны.

— В это время в деревне находился белый человек. Он не искал золота в земле или мехов в лесу. Он все время искал букашек и мух. Почему он искал букашек и мух, раз он их не ел? Я не знаю. Я знаю только, что это был забавный белый человек. И он искал также птичьи яйца, но не ел этих яиц. Он вынимал все, что было внутри, и сохранял только одну скорлупу. Но скорлупу нельзя есть. И он не ел скорлупы, но клал ее в мягкие коробки, чтобы она не разбилась. Он ловил много маленьких птиц. Но он не ел и птиц. Он брал их кожу и клал в коробки. Любил он также и кости. Костей не едят. Этот странный человек больше всего любил очень старые кости, которые он выкапывал из земли.

— Но он был не свирепый белый человек, и я знал, что он умрет очень спокойно. Поэтому я

сказал Бидаршику: «Мой сын, вот белый человек, которого ты можешь убить!» — Бидаршик же ответил, что мои слова мудры. Он пошел к месту, где были кости в земле. Он вырыл много таких костей и принес их в палатку странного белого человека. Белый человек был очень рад. Его лицо сияло, как солнце, и он улыбался, радостно глядя на кости. Она наклонился, чтобы хорошо их осмотреть, и в это время Бидаршик сильно ударил его топором по голове — р-раз! — и странный человек задергал ногами и умер. «Теперь, — сказал я Бидаршику, — придут белые солдаты и увезут тебя на землю под солнцем, где не бывает снега. Там ты будешь много есть и растолстеешь». И Бидаршик был счастлив. Его болезнь уже оставила его, и он сидел у костра и ждал прихода белых солдат.

— Как мог я знать, что белые люди поступят по-разному? — спросил старик, с яростью поворачиваясь ко мне. — Как мог я знать о том, что белый человек сегодня поступает не так, как вчера; а завтра не так, как сегодня? — Эббитс грустно наклонил голову. — Невозможно понять белого человека. Вчера он увез Ямикана в страну под солнцем и кормил его до отвала хорошей пищей. Сегодня он берет Бидаршика; и что же он

с ним делает? Позволь мне рассказать тебе, что он делает с Бидаршиком. Я, отец его, Эббитс, расскажу тебе. Он берет Бидаршика в форт Кэмбел и обвязывает веревку вокруг его шеи. И когда ноги его уже не касаются земли — Бидаршик умирает!

— А-а-а, — плакала Зилла. — И никогда не перешел он озера величиной с небо и не увидел земли под солнцем, где не бывает снега.

— И потому, — продолжал Эббитс с достоинством, — нет никого, кто бы охотился за мясом для меня, когда я стал стар. И я сижу голодный у моего костра и рассказываю это все белому человеку, который дал мне еду и крепкий чай и табак для моей трубки.

— Это все из-за лживого и дурного белого племени, — объявила Зилла.

— Нет, — ответил старик тихо, но твердо. — Это все из-за того, что белый человек поступает всегда по-разному и понять его нельзя.

ИСТОРИЯ КИША

Давно-давно, в незапамятное время жил некто Киш у берегов Полярного моря. Был он первым человеком в своей деревне и умер, всеми оплакиваемый. Он жил так давно, что только старики помнят его имя и историю его жизни — историю, какую они слышали от отцов и дедов. Они расскажут ее своим детям, а потом она перейдет к детям их детей, и так из века в век. А слушать эту повесть о Кише — о том, как он поднялся к власти и почему из самой бедной хижины в деревне, — лучше всего тогда, когда проносятся над ледяными полями северные метели, когда в воздухе кружатся снежные вихри и ни один человек не смеет высунуться из дома.

Живым мальчиком был Киш, так начинается повесть, — здоровым и сильным. Он видел тринадцать солнц — так считали в деревне. Ибо каждую зиму солнце оставляет землю в темноте, а на будущий год новое солнце возвращается, чтобы снова давать тепло и освещать лица людей. Отец Киша был смелым охотником. Пытаясь в голодное время спасти жизнь своих одноплемен-

ников, он погиб, охотясь на полярного медведя. Он вступил с медведем в рукопашную, и тот смял его под себя. Зверь был очень жирный, и народ был спасен.

Киш — он был единственным сыном этого охотника — остался один со своей матерью; но люди забывчивы, и скоро из памяти их изгладился подвиг его отца. А затем забыли и Киша с матерью, и они вынуждены были жить нищенски и в жалкой хижине.

Но вот однажды вечером, на Совете в большой хижине Клош-Квана, главы племени, Киш показал, какая кровь течет в его жилах. Он показал себя мужчиной. С достоинством взрослого человека он поднялся и ждал, когда прекратится шум.

— Это верно, что нам выдается наша доля мяса, — сказал он. — Но мясо это старое и жесткое, и в нем много костей.

Охотники — и седовласые и молодые — были изумлены. Ничего подобного раньше не случалось. Ребенок выступал как взрослый человек и говорил им прямо в лицо такие вещи!

Но Киш продолжал говорить твердо и серьезно:

— Я говорю это, потому что знаю, что мой отец,

Бок, был великим охотником. Говорят, что Бок приносил домой больше мяса, чем любой из охотников, и собственными руками распределял его и смотрел, чтобы последний старик и старуха получили справедливую долю.

Охотники кричали:

— Прогоните ребенка! Пошлите его спать. Не смеет он так разговаривать с мужчинами и стариками!..

Он спокойно ждал, пока волнение улеглось.

— У тебя жена, Уг-Глук, — сказал он, — и ты за нее говоришь. А ты, Массук, имеешь также мать — и выступаешь за обоих. Моя же мать никого не имеет, кроме меня. Вот почему я за нее и вступаюсь. Я повторяю: Бок умер, так как был слишком храбр. И потому справедливо, чтобы я — его сын — и Айкига — моя мать и его жена — не терпели нужды в мясе, пока оно имеется у племени. Я, Киш, сын Бока, сказал.

Он сел, внимательно прислушиваясь к возмущенным возгласам, вызванным его словами.

— Мальчишка смеет так говорить на Совете! — шамкал старый Уг-Глук.

— Могут ли сосунцы нас учить? — спросил громко Массук. — Я — мужчина, и могу ли я быть посмешищем для каждого мальчишки, который

просит мяса.

Гнев их дошел до белого каления. Они приказали ему идти спать; пригрозили, что он вовсе будет лишен мяса, и обещали крепко высечь за дерзость. Глаза Киша засверкали, и темный румянец залил его щеки. Он вскочил на ноги.

— Слушайте меня! — крикнул он. — Никогда больше не буду я выступать на Совете, никогда, пока вы сами не придете ко мне и не будете упрашивать: «Киш, говори! Мы хотим этого!» Так вот вам мое последнее слово. Бок, мой отец был великим охотником. Я — его сын — пойду и стану также охотиться, чтобы добыть себе мяса. И пусть знают все: раздел того, что я убью, будет справедлив. И ни вдова, ни слабый старик не будут плакать ночью от голода, в то время как сильные мужчины стонут в великих муках обжорства. И в будущем да будет стыдно сильным мужчинам, которые объедаются! Так сказал я, Киш.

Насмешки и бранные возгласы проводили его до порога хижины. Но на его лице была написана решительность, и он шел вперед, не глядя по сторонам.

На следующий день он пошел вдоль берега. Заметили, что он несет лук и большой запас стрел с костяными наконечниками. Через плечо было

перекинуто отцовское охотничье копье. Много смеялись и говорили по этому поводу. Случай был из ряда вон выходящий. Мальчики в этом возрасте никогда не отправлялись охотиться, в особенности одни. Многие поэтому качали головами и делали зловещие предсказания, а женщины с сожалением глядели на Айкигу, лицо которой стало грустным и серьезным.

— Он скоро вернется, — утешали они ее.

— Пусть идет, — говорили охотники. — Это будет для него хорошим уроком. Он скоро вернется, и тогда речь его будет другой — робкой и вежливой.

Но прошел день, а за ним другой. На третий разразилась сильная буря, а Киш все не появлялся. Айкига рвала на себе волосы и покрыла лицо сажей, в знак горя и скорби. Женщины осыпали мужчин упреками за то, что они своим дурным обращением послали мальчика на смерть. Мужчины ничего не отвечали, готовясь, когда буря утихнет, идти в поиски за телом.

Но на следующий день, ранним утром, Киш вернулся в деревню. И шел он, далеко не смущенный. Он нес на плечах свежее мясо убитого зверя, и поступь его была торжественна, а слова звучали гордо.

— Вы, мужчины, идите с собаками и санями по моему следу, — сказал он. — Там, через день пути, вы найдете на льду много мяса — медведицу и двух полугодовалых медвежат.

Айкига была несказанно обрадована, но он встретил ее радость по-мужски.

— Идем, Айкига, дай мне есть. И потом я лягу спать. Я очень устал.

Он прошел в хижину и, поев, заснул. Спал он двадцать часов подряд.

Сперва в деревне было много сомнений и споров. Опасно убить медведя, но трижды — нет, в три раза трижды — опасней убить медведицу с медвежатами. Мужчины поверить не могли, что мальчик Киш, один, совершил такой подвиг. Но женщины рассказывали про свежее мясо, которое он принес на спине, и это должно было убедить сомневающихся. Наконец они пустились в путь. «Даже если он действительно убил этих зверей, — ворчали они, — то уж во всяком случае не позаботился разрезать туши». А на Севере это необходимо сделать немедленно; в противном случае — мясо замерзнет так, что его не берет самый острый нож. Положить же на сани трехсотфунтового медведя в замерзшем состоянии и везти его по неровному льду — не легкое дело. Но,

придя на место, они, вопреки своим сомнениям, нашли добычу и увидели также, что Киш вынул внутренности и разрезал туши на четыре части как образцовый охотник.

С той поры Киш повел себя загадочно, и загадочность эта день ото дня становилась все таинственней. Во вторую свою охоту он убил молодого медведя — почти взрослого; а в следующий раз — громадного самца и медведицу. Он обычно уходил на три или четыре дня, но иногда оставался на льду целую неделю. Он всегда отказывался от спутников, и все не переставали изумляться.

— Как он это делает? — спрашивали они друг друга. — Он никогда не берет с собой собак, а собака на охоте очень нужна…

— Почему ты охотишься только на медведя? — однажды решился спросить его Клош-Кван. Но Киш дал ему надлежащий ответ:

— Всем известно, что на медведе больше мяса.

В деревне поговаривали о волшебстве.

— Он охотится вместе со злыми духами, поэтому-то охота всегда удачна.

— Может быть, это не злые, а добрые духи? — говорили другие. — Отец его был великим охотником. Может быть, с ним охотится отец

и обучает его пониманию, терпению и другим качествам охотника. Кто знает?

Так или иначе, но его успехи продолжались, и менее удачливые охотники были постоянно заняты доставкой его добычи. Что же касается раздела добычи — в этом он всегда был справедлив. Подобно отцу своему, он следил за тем, чтобы последний старик и старуха получили равную со всеми долю. Себе же он оставлял ровно столько, чтобы удовлетворить свои потребности. Вот поэтому, а также и потому, что он был охотником смелым и сильным, Киш стал пользоваться почетом и даже внушать своим соплеменникам страх. Шли разговоры о назначении его главой племени после Клош-Квана. Ввиду же совершенных им подвигов современники хотели видеть его снова на заседаниях Совета; но он там не появлялся, а им совестно было просить.

— Я хочу построить себе новую хижину, — сказал однажды Киш Клош-Квану и кое-кому из охотников. — Мне нужна большая иглоо[78], где Айкига и я смогли бы удобно расположиться.

— Хорошо, — кивали они головой в знак одобрения.

---

[78] notes: 78
Индейская хижина.

— Но у меня нет свободного времени. Мое занятие — охота, и оно отнимает все мое время. Будет справедливо, если мужчины и женщины, которых я кормлю, построят мне иглоо.

И хижина была выстроена, а размерами она превосходила даже иглоо Клош-Квана. Киш и его мать переехали в нее, и Айкига, впервые после смерти Бока, зажила в довольстве. Она не только была материально обеспечена, но, во внимание к ее удивительному сыну и положению, какое он ей создал, на нее все стали смотреть как на первую женщину в деревне. Женщины посещали ее, спрашивали ее советов и приводили ее изречения в спорах между собой и со своими мужьями.

Но загадочность чудесной охоты Киша не переставала всех занимать. А раз Уг-Глук даже бросил ему в лицо обвинение в волшебстве.

— Мы думаем, — сказал Уг-Глук многозначительно, — что ты имеешь дело со злыми духами и потому твоя охота удачна.

— Разве мясо нехорошее? — был ответ Киша. — Или кто-нибудь в деревне заболел, поевши его? Знаешь ли ты что-нибудь о моем волшебстве или же просто гадаешь из-за снедающей тебя зависти?

И Уг-Глук отошел посрамленный, а женщины

смеялись ему вслед.

Но однажды вечером на Совете, после долгого обсуждения, решили проследить Киша, когда он отправится на охоту, чтобы научиться его способам охоты. Поэтому в следующую его экспедицию двое юношей — одни из лучших охотников — по имени Бим и Баун последовали за ним, стараясь идти так, чтобы он их не заметил. Через пять дней они вернулись с расширенными зрачками и языками, дрожащими от нетерпения рассказать то, что увидели. Наскоро был собран Совет в иглоо Клош-Квана, и Бим приступил к своему рассказу.

— Братья, — начал он, — как было нам приказано, мы шли по следу Киша, шли со всею осторожностью, так что он об этом не знал. В середине первого дня он встретил большого медведя-самца. Это был очень большой медведь.

— Больше не бывает, — поддержал Баун и продолжал рассказ. — Но медведь не хотел драться и, повернувшись, стал уходить по льду. Мы видели это, спрятавшись за скалы на берегу. Медведь шел по направлению к нам, и за ним шел Киш, без всякого страха. Он кричал на медведя, ругал его крепкими словами и махал руками и производил большой шум. Тогда медведь рассердился, встал на дыбы и зарычал. Но Киш пошел прямо

к медведю.

— Да, — продолжал Бим. — Киш прямо шел на медведя. Медведь бросился на него, и Киш побежал. Но, убегая, он уронил на лед маленький шарик. Медведь остановился, понюхал и затем проглотил шарик. Киш же продолжал бежать и ронять маленькие круглые шарики, и медведь продолжал их глотать.

Послышались недоверчивые возгласы, а Уг-Глук открыто заявил, что не верит.

— Мы это видели собственными глазами, — утверждал Бим.

— Да, собственными глазами, — продолжал Баун. — И это длилось, пока медведь вдруг не выпрямился и не стал громко реветь от боли и бешено колотить лапами. Киш же продолжал бежать от него, оставаясь все время на достаточном расстоянии. Но медведь его не замечал, так как сильно страдал от той боли, какую причинили его внутренностям маленькие шарики.

— Да, в его внутренностях была нестерпимая боль, — прервал Бим. — Он царапал себя и прыгал по льду, как игривый щенок; по тому, как он рычал и метался, было ясно, что это не игра. Никогда не видел я такого зрелища.

— Никогда не было такого зрелища, — повторял

Баун, — и к тому же это был огромный медведь.

— Волшебство, — сказал Уг-Глук.

— Не знаю, — отвечал Баун. — Я рассказываю только то, что видели мои глаза. Спустя немного медведь ослабел и утомился, так как был очень тяжел и сильно скакал. Он пошел по береговому льду, качаясь из стороны в сторону, и временами садился и выл. А Киш шел за медведем, а мы за Кишем; и так в течение всего дня и трех других дней. Медведь ослабел и не переставал реветь от боли.

— Это волшебство, — вскричал Уг-Глук. — Несомненно, это волшебство.

— Может быть.

Бим сменил Бауна:

— Медведь блуждал, двигаясь то сюда, то туда, возвращаясь вперед и назад и кружась по своему следу, и в конце концов вернулся к тому месту, где Киш впервые его встретил. Теперь он был так слаб, что едва полз. Тогда Киш подошел к нему и копьем добил его до смерти.

— И тогда? — спросил Клош-Кван.

— Мы оставили Киша в то время, как он снимал с медведя шкуру, и прибежали, чтобы сообщить об этой охоте.

После полудня женщины притащили тушу

медведя, а мужчины продолжали заседать в Совете. Когда Киш пришел, ему послали сказать чтобы он явился в Совет. Но он ответил, что устал и голоден, а хижина его достаточно велика, и в ней может поместиться много народу.

Любопытство было так сильно, что весь Совет, с Клош-Кваном во главе, отправился в иглоо Киша. Он ел, но встретил их с почетом и усадил их соответственно положению каждого. Айкига была горда и вместе с тем смущена, но Киш держался совершенно спокойно.

Клош-Кван рассказал про то, что сообщили Бим и Баун, и строго закончил:

— Киш, ты должен объяснить, как ты охотишься. Это волшебство?

Киш посмотрел на них и улыбнулся.

— Нет, Клош-Кван, — сказал он, — не мальчику заниматься чародейством. Я ничего не знаю о колдовстве. Я только придумал средство убивать медведя без труда, вот и все. Это ум, а не волшебство.

— И каждый может сделать то же самое?

— Да, каждый.

Молчали долго. Мужчины глядели друг на друга, а Киш продолжал есть.

— И… и… ты нам расскажешь, Киш? — спросил

Клош-Кван дрожащим голосом.

— Да, я вам расскажу. — Киш кончил высасывать мозг из кости и встал на ноги. — Дело совсем простое. Смотри!

Он достал тонкий кусок китового уса и показал его. Концы были остры как иглы. Он свернул ус так, что тот исчез в его руке. Затем разжал ее, и ус с силой выпрямился. Потом он поднял кусок тюленьего жира.

— Вот так, — сказал он. — Ты берешь маленький кусок тюленьего жира и делаешь в нем отверстие. Туда всовываешь китовый ус, туго свернутый, и покрываешь другим куском жира. Затем ты выносишь его на воздух, где он замерзает и превращается в круглый шарик. Медведь проглатывает шарик; жир тает; китовый ус выпрямляется; медведь чувствует боль и начинает метаться взад и вперед. Когда ему делается очень плохо, ты убиваешь его копьем. Это совсем просто.

Уг-Глук сказал: «О!», а Клош-Кван протянул: «А!» — каждый сказал по-своему, и все поняли.

Такова история Киша, жившего давно у края Полярного моря. Не колдовство, а ум помог ему оставить самую жалкую хижину и стать первым человеком в своей деревне.

Рассказывают, что, пока он жил, племя его благоденствовало; и ни одна вдова, ни одно слабое существо не плакали ночью от голода.

НЕОЖИДАННОЕ

Замечать то, что очевидно, и не совершать неожиданных поступков — дело простое. Жизнь каждого отдельного человека — понятие скорее статическое, чем динамическое[79], и такая тенденция жизни индивида укрепляется и развивается цивилизацией. В последней преобладает обыденное, а необычайное случается редко. Когда же происходит неожиданное — а особенно, если оно значительно, — существа неприспособленные погибают. Они не видят того, что не является обычным; поступать непривычным образом они не способны и не могут приладить свою жизнь к другим, новым условиям. Жизнь таких людей течет как бы по определенному руслу и, достигнув его предела, они погибают.

И, наоборот, есть люди, способные выжить во всех условиях. Это те, кто умеет приспособляться, уйти из-под власти обыденщины и приноровить свою жизнь к любым необычным условиям, в каких, случайно или по принуждению, они могут

[79] notes: 79

Статический — устойчивый, неподвижный. Динамический — подвижный, находящийся в движении.

очутиться. Такой была Эдит Уитлси. Она родилась в сельской местности в Англии, где жизнь подчиняется заранее установленным правилам и все необычайное настолько неожиданно, что представляется безнравственным. Она рано начала работать по найму и еще молодой женщиной поступила на должность горничной.

Цивилизация механизирует и всю окружающую жизнь. То, что нежелательно, устраняется, а неизбежное всегда бывает заранее известно. Можно защитить себя и от дождя и от мороза. Смерть же, вместо того чтобы быть явлением страшным и случайным, принимает характер заранее установленной церемонии, продвигая свои жертвы, словно по хорошо убитой колее, к семейному склепу. Металлические части последнего тщательно очищаются от ржавчины, и пыль вокруг заботливо сметается.

Такова была обстановка, окружавшая Эдит Уитлси. Событий не было. Едва ли можно было счесть событием ее поездку. Ей было тогда двадцать пять лет, и ехала она, сопровождая свою хозяйку, в Соединенные Штаты. Но это было просто изменением направления колеи — не больше, а колея все же оставалась и была по-прежнему хорошо укатана. Атлантический

океан не имел возможности проявить себя каким-нибудь неожиданным образом, и пароход, на котором совершалось путешествие, был не судном, брошенным в морские просторы, а громадным удобным отелем. Благодаря огромным размерам парохода, ехали быстро и спокойно — океан словно превратился в тихий пруд. А там, при выходе на берег, опять ждала их хорошо укатанная колея, приводящая в пути к отелям на колесах, а на остановках — к комфортабельным гостиницам.

По приезде в Чикаго, в то время как ее хозяйке раскрывалась одна сторона жизни, Эдит Уитлси узнавала другие ее стороны. И когда, наконец, она покинула свою службу и превратилась в Эдит Нелсон, она стала обнаруживать — правда, в слабой еще степени — свою способность бороться с необычайными явлениями жизни и выходить из борьбы победительницей. Ганс Нелсон, ее муж, швед по происхождению, был эмигрантом. По профессии он был столяр. Он проявлял то беспокойство тевтонской расы, которое гонит ее на запад в поисках приключений. Это был крепкий мужчина с сильно развитыми мускулами; воображение у него было небольшое, но зато он обладал громадной инициативой.

Был он честен и верен, и эти два качества были столь же ярко выражены, сколь и его огромная физическая сила.

— Когда я хорошенько поработаю и сделаю кой-какие сбережения, я поеду в Колорадо, — сказал он Эдит на следующий день после свадьбы.

Год спустя они очутились в Колорадо, где Ганс Нелсон впервые познакомился с работой на приисках и заболел горячкой золотоискателей. В погоне за золотом он проехал страну Дакотов, Айдахо и Восточный Орегон. Оттуда он пошел в горы Британской Колумбии. Эдит Нелсон все время была с ним — и в пути и на стоянках, — разделяя его удачу, его труды и лишения. Свои мелкие шажки женщины, воспитанной в городе, она променяла на уверенную походку горной жительницы. Она научилась смотреть в лицо опасности ясными глазами и с полным хладнокровием. Она перестала ощущать паническую боязнь, воспитанную незнанием и овладевающую в известные минуты городскими жителями. Боязнь эта делает людей столь же неразумными, как неразумны животные, которые, оцепенев от ужаса, ждут удара судьбы, вместо того чтобы бороться, либо спасаются бегством в слепом страхе.

Эдит Нелсон сталкивалась с неожиданностями

на каждом шагу трудного пути золотоискателя. Она воспитала свое зрение так, чтобы видеть в окружающем не только то, что представляется, но также и то, что скрыто от поверхностного взгляда. Раньше она не имела понятия об искусстве приготовлять пищу и, несмотря на это, научилась делать хлеб без дрожжей и хмеля и умела печь его на сковороде над костром. Когда же исчезала последняя горсть муки и последний ломтик свиного сала, она оставалась на высоте положения и умела из мягких кусков кожи мокасинов или дорожного мешка приготовить какое-то подобие пищи, годной, пожалуй, для того, чтобы обмануть желудок голодающего путника и поддержать его неровные шаги. Она научилась самому трудному искусству, недоступному для городского жителя, — искусству навьючивать лошадь и справлялась с любой поклажей. В проливной дождь она могла разжечь огонь из сырых поленьев и сохранить хорошее расположение духа. Короче, она с честью выходила из всех неожиданных положений. Но подлинное неожиданное было для нее еще впереди — ей предстояло еще большое и решительное испытание.

Поток золотоискателей двигался в северном направлении. Ганс Нелсон и его жена были за-

хвачены этим течением и увлечены в Клондайк. Конец 1897 года застал их в Дайе, но они не имели еще достаточно средств, чтобы приобрести нужное снаряжение и провезти его через Чилкутский проход, а затем водою в Доусон. Поэтому Ганс Нелсон целую зиму работал плотником по сооружению городка золотоискателей в Скагуэйе. Все это время в его душе звучал волнующий призыв Аляски. Больше всего привлекал его Латуйский залив. Наконец летом 1898 года он очутился вместе с женою в пути вдоль изломанной береговой линии. Они плыли в больших сивашских челнах. С ними было трое индейцев и трое других золотоискателей. Индейцы высадили их, вместе со снаряжением и запасами, в пустынной местности, приблизительно в ста милях за Латуйским заливом, и вернулись в Скагуэйе; трое золотоискателей остались, ибо все вместе они составляли организованную партию. Каждый из них вложил долю в покупку снаряжения, и добычу предполагалось разделить поровну. А так как Эдит Нелсон приняла на себя приготовление пищи для всей партии, то ей также полагалась мужская доля добычи.

Прежде всего были срублены ели, и из них построили хижину в три комнаты. На Эдит было

возложено ведение хозяйства. Искать золото — такова была задача мужчин. Правда, крупной добычи здесь не было. Долгие часы упорной работы давали каждому из участников в среднем от пятнадцати до двадцати долларов в день. Короткое аляскинское лето длилось в этом году дольше, чем обычно, и они пользовались этим, откладывая свое возвращение в Скагуэй до последней минуты. И в конце концов они опоздали. Предполагалось отправиться вместе с местными индейцами во время их — последней в этом году — торговой поездки на лодках к берегу моря. Индейцы-сиваши ждали белых людей до последней возможности и затем отправились одни.

Теперь для партии золотоискателей оставалось ждать какой-нибудь оказии. Они занялись поэтому очисткой своего участка и заготовкой дров для предстоящих холодов.

Все еще не кончалось индейское лето, а затем внезапно, как бы по трубному сигналу, наступила зима. Она пришла сразу — в одну ночь, — и золотоискатели, проснувшись утром, увидели снежную, ревущую метель. Неистовый ветер дул порывами, и изредка наступала тишина, нарушаемая только плеском волн на пустынном берегу, где соленые брызги ложились на песке

точно зимний снег.

В хижине все было благополучно. Золота добыли приблизительно на восемь тысяч долларов, и это не могло не давать им удовлетворения. Мужчины соорудили себе лыжи, ходили на охоту и добывали свежее мясо для стола. А долгие вечера они проводили за бесконечной игрой в вист и в педро. И так как работа по добыванию золота кончилась, то Эдит Нелсон передала мужчинам заботу о топке печей и мытье посуды и занялась штопаньем их носков и починкой платья.

Не было ни недовольства, ни ссор в маленькой хижине, и обитатели ее часто выражали свою радость по поводу счастливой совместной жизни. Ганс Нелсон отличался добродушием. Он безгранично восхищался способностью Эдит ладить с людьми. Харки, длинный и худой американец из Техаса, был очень миролюбив, несмотря на свою природную угрюмость. Он был прекрасным товарищем, если только не возражали против его любимой теории, что золото обладает способностью расти. Четвертый член компании, Майкл Деннин, оживлял общество своим ирландским остроумием. Это был большой человек, могучего сложения, вспыльчивый из-за пустяков, но способный переносить большие невзгоды с

неизменно веселым расположением духа. Пятый и последний участник, Дэтчи, веселил всю компанию. Для поддержания общего веселья он даже не прочь был самого себя выставить в смешном виде. Казалось, что он поставил целью своей жизни вызывать смех. Итак, ни одна серьезная ссора не омрачала спокойствия обитателей хижины; теперь, когда каждый из участников заработал в течение короткой летней работы тысячу шестьсот долларов, казалось, все они должны были быть довольны и миролюбиво настроены.

И вот тогда-то и случилось неожиданное. Они только что уселись за стол для утреннего завтрака. И хотя было уже восемь часов — завтракали утром поздно, так как работа прекратилась, — свеча, воткнутая в бутылку, еще освещала стол. Эдит и Ганс сидели на двух концах стола. С одной стороны, спиной к двери, помещались Харки и Дэтчи. Место с другой стороны оставалось незанятым. Деннина не было.

Ганс Нелсон посмотрел на пустое место, медленно покачал головой и произнес с потугами на остроумие:

— Он всегда первый за столом. Это странно. Может быть, он болен?

— Где Майкл? — спросила Эдит.

— Он встал немного раньше нас и вышел, — ответил Харки.

Лицо Дэтчи сияло лукавой улыбкой. Он сделал вид, что знает причину отсутствия Деннина, и принял таинственный вид, в то время как его товарищи продолжали удивляться. Ганс посмотрел на Эдит, и она покачала головой.

— Он никогда раньше не опаздывал к столу, — заметила она.

— Ничего не понимаю, — сказал Ганс. — У него всегда был лошадиный аппетит.

— Очень жалко, — сказал Дэтчи, грустно кивнув.

Они стали шутить по поводу отсутствия товарища.

— Почему жалко? — спросили они хором.

— Бедный Майкл, — был печальный ответ.

— Разве что-нибудь случилось? — спросил Харки.

— Он уже не голоден, — простонал Дэтчи. — Он потерял аппетит. Эта еда ему больше не нравится.

— Что-то незаметно, когда он с головой уходит в тарелку, — заметил Харки.

— Он это делает исключительно из вежливости по отношению к миссис Нелсон, — живо возразил

Дэтчи, — я знаю, я знаю, и мне его очень жалко. Почему его здесь нет? Потому что он вышел. Почему он вышел? Для того, чтобы нагулять себе аппетит. Чем он нагуливает себе аппетит? Тем, что ходит босиком по снегу. Разве я не знаю? Богатые люди всегда таким образом гонятся за своим аппетитом, в то время как он от них убегает. У Майкла тысяча шестьсот долларов. Он богатый человек. Он потерял аппетит. Поэтому он за ним гонится. Откройте дверь, и вы увидите его, идущего босиком по снегу. В этом вся его беда. Но когда он увидит свой аппетит — он его поймает и придет завтракать.

Всеобщий громкий смех встретил болтовню Дэтчи. Звуки его еще не замерли, когда вошел Деннин. Все обернулись, чтобы посмотреть на него. В руках у него было охотничье ружье. Внезапно он прицелился и выстрелил два раза. После первого выстрела Дэтчи тяжело опустился на стол, опрокидывая чашку с кофе. Головой он попал в тарелку и поднял ее почти под прямым углом. Харки вскочил на ноги при звуке второго выстрела и упал лицом на пол, с криком: «Боже!», замирающим в его хрипящем горле.

Так разразилось неожиданное. Ганс и Эдит остолбенели. Они сидели за столом, напряжен-

ные, с глазами, пригвожденными к убийце. Смутно видели они его сквозь пороховой дым, и в тишине ничего не было слышно, кроме капанья пролитого на пол кофе Дэтчи. Деннин открыл затвор ружья, выбрасывая пустые патроны. Держа ружье одной рукой, он сунул другую в карман, чтобы достать свежие заряды.

Он всовывал патроны в ружье, когда Эдит поняла, что надо действовать.

Было очевидно, что теперь он намерен убить Ганса и ее. Три секунды она была совершенно парализована, ошеломленная непредвиденной формой, в которой ворвалось к ним Неожиданное. Затем она пришла в себя и начала бороться за жизнь Ганса и свою. Это действительно была борьба, ибо она прыгнула, подобно кошке, на убийцу и вцепилась в его воротник обеими руками. Он пошатнулся и пытался отбросить ее и удержать в руках ружье. Но это было трудно, так как ее крепкое тело приобрело кошачью силу и ловкость. Она всем корпусом откинулась назад и, цепляясь за его горло, чуть не повалила его на пол. Он выпрямился и быстро повернулся, увлекая ее за собой; ноги ее отделились от пола, но она не разжала рук, вцепившихся в воротник. Не рассчитав движения, он наткнулся на стул и

грохнулся вместе в женщиной на пол.

Ганс Нелсон реагировал на полсекунды позже жены. Его нервные и умственные процессы протекали несколько медленнее, чем ее. Его организм был грубее, и понадобилось на полсекунды больше для того, чтобы он понял, решил и приступил к действию. Она уже налетела на Деннина и схватила его за горло, когда Ганс вскочил на ноги. Но он не обладал ее хладнокровием и не владел собой от бешенства. Вскочив со стула, он издал какой-то странный звук — не то заревел, не то зарычал. И затем бросился к Эдит и Деннину. Он настиг их, когда они упали на пол, обрушил свои кулаки на распростертого человека. Удары были жестокие — словно удары молотом, и скоро Эдит почувствовала, что тело Деннина слабеет и перестает двигаться. Тогда она отпустила его воротник и слегка отодвинулась. Она лежала на полу, тяжело дыша и широко раскрыв глаза. Страшные удары все еще сыпались на лежащего убийцу. Деннин как будто их не замечал. Он не двигался. Тогда она сообразила, что он потерял сознание. Она крикнула Гансу, чтобы тот остановился, — раз и второй. Но он ее не слышал. Тогда она схватила его за руку, но это только замедлило его удары, которые все еще продолжали сыпаться

на Деннина.

Эдит пыталась удержать мужа отнюдь не сознательно. Говорило в ней не чувство жалости и не воспоминание религиозного запрета, гласящего: «Ты не должен». Скорей всего — смутное чувство законности, этическое наследие ее расы и окружающей среды заставили ее встать между мужем и беспомощным убийцей. И только тогда, когда Ганс понял, что бьет свою жену, он перестал сыпать удары. Он позволил ей оттащить себя, приблизительно так, как рассерженная, но послушная собака позволяет своему хозяину себя отвести. Но ярость его еще не утихла и выражалась в каких-то нечленораздельных звуках, вырывающихся из его горла.

Все дальше и дальше отталкивала Эдит своего мужа. Она никогда еще не видала его в таком состоянии и теперь боялась его почти больше, чем Деннина в разгар их схватки. Она не могла поверить, что этот бешеный зверь — ее Ганс. Ей казалось, что он может вцепиться в ее руку зубами, подобно дикому зверю. В течение нескольких секунд, не желая делать ей больно, но упорно пытаясь продолжать избиение, Ганс тянулся к лежащему человеку. Но она решительно становилась между ними, пока к нему не вернулся

первый проблеск рассудка и он не пришел в себя.

Оба стояли у тела Деннина. Ганс, пошатываясь, с судорожно искривленным лицом прислонился к стене. Наступила реакция. Ломая руки, Эдит стояла посреди хижины. Она тяжело дышала и тряслась всем телом.

Ганс уставился в одну точку, но глаза Эдит дико блуждали, изучая подробности того, что случилось.

Деннин лежал без движения. Опрокинутый стул, брошенный на пол во время отчаянной борьбы, лежал рядом с ним. Из-под тела убийцы виднелось ружье с приоткрытым замком. Из его правой руки выпали два патрона, которые он не успел вложить в затвор.

Харки лежал на полу, лицом вниз — там, где свалился. Детчи по-прежнему наклонялся над столом, а его желтые волосы были прикрыты наполовину тарелкой, все еще приподнятой под углом в девяносто градусов. Эдит не могла оторвать глаз от этой тарелки. Почему она не падала? Это было нелепо. Разве нормально, чтобы тарелка стояла на столе вертикально даже если при этом произошло убийство?

Она взглянула снова на Деннина, но ее глаза

вернулись к приподнятой тарелке. Это было в самом деле нелепо. Ей хотелось истерически хохотать. Затем она ощутила жуть мертвой тишины, и ей остро захотелось, чтобы, что-нибудь случилось. Однообразное капанье кофе на пол только подчеркивало тишину. Почему Ганс ничего не делал? Почему он ничего не говорил? Она смотрела на него и пыталась что-то сказать, но язык отказывался повиноваться. У нее как-то особенно болело горло и во рту было сухо и терпко. Она могла только смотреть на Ганса, который, в свою очередь, смотрел на нее.

Вдруг острый металлический звон нарушил тишину. Она вскрикнула и бросила взгляд на стол. Тарелка упала. Ганс вздохнул, как будто просыпаясь после сна. Звон тарелки пробудил их к жизни в новом мире. Вся хижина очутилась в этом новом мире — отныне единственном для них существующем. Старая хижина исчезла навсегда. Жизнь стала новой и неведомой. Неожиданно окутало волшебной дымкой все, меняя перспективу, спутывая ценности, переплетая реальное с нереальным.

— Боже мой! Ганс! — были первые слова Эдит.

Он не ответил, но в ужасе глядел на нее. Его глаза медленно ощупали комнату, впервые схва-

тывая все детали случившегося. Он надел шапку и направился к двери.

— Куда ты идешь? — спросила Эдит, охваченная страхом.

Его рука была на дверной ручке. Он повернулся вполоборота.

— Рыть могилы.

— Не оставляй меня, Ганс…

— Все равно придется рыть могилы, — сказал он.

— Но ты не знаешь, сколько нужно могил, — возразила она в отчаянии. Она заметила его колебание и прибавила: — Я пойду с тобой и помогу.

Ганс вернулся к столу и машинально оправил свечу. Затем приступили к осмотру. Харки и Дэтчи — оба были мертвы, и благодаря тому, что стреляли с близкого расстояния, — вид их был ужасен.

Ганс отказался подойти к Деннину, и Эдит должна была одна осмотреть его.

— Он не умер! — крикнула она Гансу. Тот подошел и взглянул на убийцу. — Что ты сказал? — спросила Эдит, услышав нечленораздельные звуки.

— Я говорю: дьявольски жалко, что он не

умер, — ответил он.

Эдит наклонилась над телом.

— Оставь его, — приказал Ганс резко: голос его звучал странно.

Она взглянула на него в внезапном страхе. Он поднял ружье, брошенное Деннином, и вкладывал в него патроны.

— Что ты хочешь сделать? — крикнула она, быстро приподнимаясь.

Ганс не ответил, но она увидела, что он прикладывает ружье к плечу. Она схватила дуло и отвела его.

— Оставь меня в покое! — крикнул он глухо.

Он пытался вырвать у нее ружье, но она подошла к мужу и обхватила его руками.

— Ганс, Ганс! Очнись! — кричала она. — Не будь сумасшедшим.

— Он убил Дэтчи и Харки! И я убью его!

— Но так нельзя. Есть закон.

Он выразил сомнение в реальной силе закона здесь — в этой глуши и продолжал твердить бесстрастно и упорно:

— Он убил Дэтчи и Харки.

Она долго убеждала, но он только повторял: «Он убил Дэтчи и Харки». В ней сказались ее воспитание и кровь. Она унаследовала созна-

ние законности. Ей казалось невозможным оправдать новое убийство, как и преступление Деннина. Два нарушения закона не создадут права. Существует только один способ наказать Деннина: посредством легальных мер, установленных обществом. Наконец Ганс сдался.

— Хорошо, — сказал он. — Пусть будет по-твоему. Но завтра или послезавтра он убьет нас.

Она покачала головой и протянула руку, чтобы взять ружье. Он было хотел отдать его, но снова заколебался.

— Лучше позволь мне застрелить его, — молил он.

Опять она покачала головой, и опять он сделал движение, чтобы передать ей ружье. В это время дверь отворилась, и вошел индеец — без стука. Порыв ветра и снежный вихрь ворвались за ним в хижину… Они обернулись к нему лицом. Ганс все еще держал в руке ружье. Посетитель сразу, не вздрогнув, охватил всю сцену. И сразу увидел убитых и раненого. Он не выказал ни изумления, ни даже любопытства. Харки лежал у его ног. Но он не обратил на него ни малейшего внимания.

— Очень ветрено, — заметил индеец в виде приветствия. — Все хорошо. Очень хорошо.

Ганс, все еще держа в руках ружье, был уверен,

что индеец считает его убийцей. Он посмотрел с немой мольбой на жену.

— Доброе утро, Негук, — сказала она, делая над собой страшное усилие. — Нет, не очень хорошо. Большая беда.

— До свидания, я теперь ухожу. Нужно спешить, — сказал индеец. Не торопясь, хладнокровно обойдя красную лужу на полу, он открыл дверь и вышел.

Мужчина и женщина посмотрели друг на друга.

— Он думает, что это сделали мы, — воскликнул Ганс, — что это сделал я!

Эдит молчала несколько секунд. Затем сказала кратко, деловым тоном:

— Безразлично, что он думает. Об этом после. Теперь мы должны копать могилы. Но прежде всего мы должны привязать Деннина так, чтобы он не убежал.

Ганс отказался дотронуться до Деннина, и Эдит связала крепко его руки и ноги. После этого они вышли. Почва замерзла и не поддавалась ударам лома. Они собрали дров, соскребли снег с поверхности земли и на мерзлом грунте зажгли костер. Целый час пылал он, прежде чем оттаяло небольшое пространство. Они вырыли яму и

затем рядом разложили новый костер. Таким образом, яма увеличивалась медленно — на два-три дюйма в час.

Работа была тяжелая и невеселая. Снег мешал костру разгореться. Холодный ветер пронизывал их. Подавленные ужасом совершившейся трагедии, они почти не разговаривали — мешал ветер, — обмениваясь лишь возгласами удивления по поводу того, что могло привести Деннина к убийству. В час Ганс заявил, что он голоден.

— Нет, только не сейчас, Ганс. Я не могу вернуться в хижину — такую, какой она осталась, и готовить там обед.

В два часа Ганс предложил пойти вместе с ней. Но она побуждала его продолжать работу, и в четыре часа могилы были готовы.

Они были неглубоки — не больше двух футов глубиной, но этого было достаточно. Наступила ночь. Ганс достал санки, и трупы были доставлены к их морозным могилам. Похоронное шествие не имело парадного вида. Полозья глубоко врезывались в сугробы, и санки тащили с трудом. Оба — мужчина и женщина — ничего не ели со вчерашнего дня и ослабели от голода и усталости. Они не имели сил противостоять ветру, и его порывы чуть не валили их с ног. Несколько раз

санки перевертывались, и они снова нагружали на них печальную поклажу. Последние сто футов до могил вели вверх по крутому склону, и здесь они двигались на четвереньках, подобно собакам, впряженным в сани. Хотя они и цеплялись руками за снег, но сани своей тяжестью дважды увлекали их назад; и дважды они скатились с горы все вместе — живые и мертвые.

— Завтра я поставлю столбы с их именами, — сказал Ганс, когда могилы были зарыты.

Эдит плакала навзрыд. Она произнесла несколько несвязных фраз — это заменяло надгробную службу, — и теперь муж должен был почти отнести ее обратно в хижину.

Деннин пришел в сознание и катался по полу, в тщетных попытках освободиться. Он смотрел на Ганса и Эдит блестящими глазами, но не пробовал заговорить. Ганс все еще отказывался дотронуться до убийцы и тупо глядел на Эдит, в то время как она тащила Деннина по полу в мужскую спальню. Но, несмотря на все ее усилия, она не могла поднять его с пола на лежанку.

— Позволь мне его застрелить, у нас не будет больше возни с ним, — наконец проговорил Ганс.

Эдит снова отрицательно покачала головой и

продолжала свою работу. Вскоре Ганс одумался и помог ей. Затем они приступили к чистке кухни. Но с пола не исчезали следы трагедии, пока Ганс не состругал поверхности досок. Стружки он сжег в печке.

Дни проходили и уходили. Вокруг обитателей хижины царила тьма и тишина, нарушаемая только метелями и шумом моря, разбивающегося о ледяной берег. Ганс послушно исполнял малейшие приказания Эдит. Вся его необыкновенная способность к инициативе вдруг исчезла. Она настояла на своем способе обращения с Деннином, и потому он предоставлял ведение дела всецело ей.

Убийца оставался для них постоянной угрозой. Во всякое время можно было ожидать, что он освободится от связывающих его веревок. Ввиду этого мужчина и женщина были вынуждены сторожить его днем и ночью. Один из них всегда сидел с ним рядом, держа в руках заряженное ружье. Сперва они испробовали восьмичасовые дежурства, но напряжение было слишком велико, и впоследствии Эдит и Ганс сменяли друг друга каждые четыре часа. Но так как спать было надо, а дежурства продолжались и ночью — все время они тратили на то, чтобы сторожить

Деннина, — они едва успевали готовить пищу и добывать дрова.

После несвоевременного посещения Негука индейцы избегали хижину. Эдит послала Ганса в их деревню просить увезти Деннина в лодке до ближайшего поселка или торговой станции белых людей, но просьба эта встретила отказ. Эдит сама пошла, чтобы просить Негука. Он — старшина маленькой деревушки — был полон сознанием своей ответственности и в нескольких словах объяснил свою точку зрения.

— Это — беда белых людей, — сказал он, — не беда сивашей. Мы поможем, и тогда это станет бедой сивашей. Когда соединятся беда белого человека и беда сивашей, будет большая беда. Мои люди ничего не сделали плохого. Почему же им помогать и попасть в беду?

Итак, Эдит вернулась в страшную хижину с ее бесконечными перемежающимися четырехчасовыми сменами. Иногда, когда наступала ее очередь и она сидела рядом с Деннином с заряженным ружьем на коленях, ее глаза слипались, и она начинала дремать. Затем внезапно пробуждалась, хваталась за ружье и быстро оглядывала пленника. То были периодические нервные потрясения, и ничего хорошего они ей не сулили.

Она так боялась этого человека, что даже в состоянии полного бодрствования — если только он двигался под одеялом — не могла удержаться от дрожи и быстро схватывала ружье.

Ей грозило нервное переутомление, и она это знала. Сперва она ощущала дрожь в глазах, заставлявшую ее закрывать веки, затем не могла уже справиться с нервным миганием век. Вдобавок, она никак не могла забыть происшедшую трагедию. Она ощущала весь ужас трагедии почти так же остро, как в то утро, когда Неожиданное ворвалось в их хижину.

Ганс был тоже подавлен, но по-иному. У него была навязчивая идея, что его долг — убить Деннина; и всегда, когда он что-нибудь делал для связанного человека или наблюдал за ним, Эдит боялась, что кровавый список жертв пополнится еще одним именем. Он постоянно яростно проклинал Деннина и обращался с ним очень резко. Ганс пытался скрыть свою жажду убить и иногда говорил жене: «Когда-нибудь ты захочешь, чтобы я его убил, а тогда я не смогу». Но не раз, входя украдкой в комнату в свободное от дежурства время, она находила обоих мужчин, обменивающихся свирепыми взглядами — подобно двум диким зверям. На лице Ганса было написано

желание убить, на лице Деннина — ярость пойманной крысы. «Ганс! — кричала она в таких случаях. — Очнись!» — и он смущенно приходил в себя; однако лицо его совсем не выражало раскаяния.

Таким образом, Эдит, призванная разрешить проблему Неожиданного, должна была учитывать и состояние Ганса. Вначале эта задача сводилась к правильному поведению по отношению к Деннину; нужно было задержать его до передачи властям. Но теперь возникал вопрос о Гансе, и она видела, что умственное равновесие и спасение также были поставлены на карту. И вместе с тем она скоро обнаружила, что ее собственная сила сопротивления имеет пределы. Ее левая рука нервно подергивалась. Она расплескивала ложку с супом и не могла уже вполне рассчитывать на больную руку. Вероятно, думала она, это нечто вроде пляски святого Витта[80]; и боялась развития этой болезни. Что будет, если она не выдержит? И картина будущего — хижина с Деннином и Гансом и без нее — наполняла ее

[80] notes: 80

Пляска святого Витта — нервная болезнь, выражающаяся в судорожных движениях головы, рук и ног при полном сознании. Названа по имени святого, к которому в старину суеверные люди обращались на Западе с молитвой об исцелении этой болезни.

ужасом.

На четвертый день Деннин заговорил. Его первый вопрос был: «Что вы со мной сделаете?» И он повторял этот вопрос много раз в течение дня, и всегда Эдит отвечала, что с ним будет поступлено по закону. В свою очередь она ежедневно его допрашивала: «Почему вы это сделали?» На это он не давал ответа, а вопрос этот вызывал в нем припадок ярости. Он метался, пытаясь разорвать связывавшие его кожаные ремни, и угрожал ей расправой, — вот только он освободится, а ведь это — рано или поздно — должно случиться. В такие минуты она взводила оба курка и готовилась встретить его свинцом, если ему удастся вырваться. При этом она все время была охвачена дрожью, и у нее кружилась голова от напряженности нервного возбуждения.

Но понемногу Деннин сделался более сговорчивым. Она увидела, что вечное пребывание в лежачем положении его сильно утомляет. Он стал умолять, чтобы его освободили. Он давал сумасшедшие обещания. Он не причинит им вреда. Он сам спустится по берегу и передаст себя властям. Свою часть золота он им отдаст и уйдет в дикую глушь, и никогда больше не появится перед лицом цивилизации. Он покончит

самоубийством — только бы она его освободила. Его мольбы всегда кончались почти бессознательным бредом — казалось, что с ним делается припадок. В ответ она все же всегда качала головой и отказывала ему в свободе, которой он добивался с такой страстью.

Но недели шли, и он становился все более и более сговорчивым. И вместе с тем усталость его все больше и больше сказывалась. «Я так устал, я так устал», — шептал он, вертясь на лежанке, как капризный ребенок. Немного позже он стал выражать желание умереть, умоляя убить его, освободить от мучений, чтобы он мог наконец отдохнуть.

Положение становилось невозможным. Нервность Эдит возросла, и она знала, что катастрофа с ней может наступить в любой момент. Она не могла даже выспаться по-настоящему, так как ее преследовал страх, что Ганс поддастся своей мании и убьет Деннина во время ее сна. Хотя был уже январь, много месяцев должно было пройти раньше, чем какое-нибудь коммерческое судно могло заглянуть в бухту. А ко всему тому они стали ощущать недостаток пищи, так как не рассчитывали провести всю зиму в хижине. При этом Ганс не мог поддерживать запасы охотой.

Они были прикреплены к хижине необходимостью сторожить пленника.

Надо было на что-нибудь решиться. Она это сознавала. Она заставила себя вновь продумать весь вопрос. Она не могла заглушить чувство законности, свойственное ей по крови и воспитанию. Она знала, что все, что она сделает, должно соответствовать этому инстинкту права. В долгие часы бдения, с ружьем на коленях, — рядом метался убийца, а за окном ревела буря — она проделала самостоятельное социологическое исследование и выработала свою точку зрения на зарождение и эволюцию права. Ей пришло на ум, что право есть не что иное, как воля группы людей. Размеры группы не имеют значения. Есть маленькие группы, рассуждала она, как, например, Швейцария, и большие, как Соединенные Штаты. И совсем неважно, если группа очень мала. В стране могло быть всего десять тысяч человек, и тем не менее их коллективная воля будет правом этой страны. Но тогда почему тысяча человек не может составить группу? А если так, то почему не сто? Почему не пятьдесят? Почему не двое?..

Она испугалась собственного вывода и переговорила об этом с Гансом. Сперва он не понял.

Когда же понял, то добавил еще кое-какие соображения, которые как будто разрешали вопрос. Он говорил о собраниях золотоискателей; на этих собраниях все обитатели той или иной местности соединялись, обсуждая законы, и приводили их в исполнение. Могло быть всего десять или пятнадцать человек, и тем не менее воля большинства становилась законом для всех десяти или пятнадцати человек, и всякий, кто нарушал эту волю, нес соответствующую кару.

Наконец Эдит все стало ясно. Деннин должен быть повешен. Ганс согласился с нею. Они составляли вдвоем большинство данной социальной группы. Воля этой группы была направлена к тому, чтобы Деннина повесили. Проявляя эту волю, Эдит усиленно старалась соблюдать установленные формы. Но группа была так мала, что Ганс и она одновременно должны были являться свидетелями, присяжными, судьями и исполнителями приговора. Она предъявила Деннину формальное обвинение в убийстве Дэтчи и Харки. Пленник лежал на своей лежанке и слушал показания свидетелей — сперва Ганса, потом Эдит. Он отказался отвечать на вопрос о своей виновности или невиновности и молчал, когда она спросила его, имеет ли он что сказать в

свое оправдание. Она и Ганс, не вставая с места, вынесли вердикт присяжных: да, виновен. Затем, уже как судья, она определила меру наказания. Ее голос дрожал, ее веки нервно мигали, ее левая рука судорожно дергалась, но она выполнила то, что было необходимо.

— Майкл Деннин, через три дня вы будете повешены.

Таков был приговор. У него вырвался как бы невольный вздох облегчения. Затем он засмеялся и сказал:

— Тогда, по крайней мере, эта проклятая лежанка не будет больше давить мне спину. Это все-таки утешение.

После произнесения приговора они все как будто почувствовали облегчение. Это в особенности было заметно в настроении Деннина. Вся его суровость и вызывающий тон исчезли. Он говорил вполне приветливо со своими тюремщиками и даже проявлял порывами старое свое остроумие. Он выражал большое удовлетворение, когда Эдит читала ему вслух Библию. Она читала выдержки из Нового Завета, и он особенно интересовался рассказами о блудном сыне и о разбойнике на кресте.

Накануне дня казни, когда Эдит поставила

ему обычный вопрос: «Почему вы это сделали?» — Деннин ответил: «Очень просто. Я думал…»

Но Эдит прервала его, просила его подождать и поспешила к лежанке Ганса.

Это было время его отдыха после дежурства, и он проснулся, протирая глаза и ворча.

— Иди, — сказала она ему, — и приведи Негука и еще одного индейца. Майкл признается во всем. Заставь их прийти. Возьми ружье и, если нужно, приведи их силой.

Полчаса спустя Негук и его дядя Хэдикван вошли в комнату приговоренного. Они шли неохотно, понукаемые вооруженным Гансом.

— Негук, — сказала Эдит, — не будет никакой беды для тебя и твоего народа. Вы должны сесть и ничего не делать, только слушать и понимать.

Тогда Майкл Деннин, приговоренный к смерти, исповедался в своем преступлении. Пока он говорил, Эдит записывала его рассказ, в то время как индейцы слушали, а Ганс сторожил у двери, из боязни, что свидетели убегут.

Деннин объяснил, что он не был на родине в течение пятнадцати лет. В его намерение всегда входило вернуться с большой суммой денег домой и обеспечить свою старую мать в последние годы ее жизни.

— Как же мог я это сделать с тысячью шестьюстами долларов? — спросил он. — Мне нужно было все золото, все восемь тысяч. Тогда я мог вернуться в настоящем виде. Я подумал, что ничего не будет легче, как убить вас всех, донести в Скагуэй, что это сделали индейцы, и отправиться в Ирландию. Я и попробовал вас всех убить, но, согласно поговорке, я отрезал слишком большой кусок и не мог его проглотить. Вот мое признание. Я исполнил свой долг перед дьяволом, и теперь, если позволит Господь, я исполню свой долг перед Богом.

— Негук и Хэдикван, — обратилась Эдит к индейцам. — Вы слышали слова белого человека. Его слова здесь на бумаге, и вы должны на этой же бумаге поставить знаки, чтобы белые люди, которые потом придут, знали, что вы это слышали.

Индейцы поставили кресты против своих подписей и получили приглашение явиться на следующий день со всем своим племенем для засвидетельствования того, что должно произойти. После этого им позволили уйти. Ремни на руках Деннина были ослаблены, и он подписал документ. После этого в комнате наступило молчание. Гансу было не по себе, и Эдит тоже нервничала. Деннин лежал на спине и глядел вверх, на крышу

с щелями, забитыми мхом.

— А теперь я исполню свой долг перед Богом, — шептал он. Он повернул голову по направлению к Эдит.

— Прочтите мне, — продолжал он, — из книги. Может быть, — прибавил он полушутливо, — это поможет мне забыть про лежанку.

День казни выдался ясным и холодным. Термометр показывал 25 градусов ниже нуля. Холодный ветер пронизывал до костей. Впервые после многих недель Деннин стоял на ногах. Его мускулы так долго не работали, а он так давно не принимал стоячего положения, что едва мог стоять. Он качнулся вперед и назад, пошатнулся и схватил Эдит связанными руками, чтобы не упасть.

— У меня как будто кружится голова, — засмеялся он слабо.

Минуту спустя он сказал:

— И рад же я, что все это кончено. Эта проклятая лежанка меня все равно бы уморила.

Когда же Эдит надела ему на голову меховую шапку и начала натягивать на уши наушники, он засмеялся и сказал:

— Для чего вы это делаете?

— На улице мороз, — ответила она.

— Да, но через десять минут не безразлично

ли будет бедному Майклу Деннину отморозить ухо? — спросил он.

Она напрягла все свои слабые силы для последнего испытания. Но его замечание нарушило ее самообладание. До сих пор все казалось призрачным — как бы сном, — а суровая правда его слов внезапно и мучительно открыла ей глаза на реальность того, что происходило.

Ирландец заметил ее отчаяние.

— Я жалею, что расстроил вас своим глупым разговором, — сказал он с сожалением. — Я не хотел ничего этим сказать. Это великий день для Майкла Деннина, и он весел, как жаворонок.

Он весело засвистел, но свист его скоро стал унылым и замер.

— Хотелось, чтобы был священник, — сказал он с грустью, а затем быстро добавил: — Но Майкл Деннин слишком привык к походу, чтобы нуждаться в роскоши, отправляясь в путь.

Он был так слаб, что, выйдя, чуть не упал от порыва ветра. Эдит и Ганс шли рядом с ним и поддерживали его с двух сторон. Все время он шутил и старался их приободрить. Свою долю золота он просил послать его матери в Ирландию.

Они взобрались на высокий холм, вышли на открытую поляну, окруженную деревьями. Здесь,

у бочки на снегу, торжественно стояли Негук и Хэдикван во главе сивашей. Они привели всю деревню — вплоть до грудных младенцев и собак, чтобы увидеть исполнение закона белых людей. Вблизи была открытая могила, которую Ганс, предварительно оттаяв почву, вырыл в мерзлой земле.

Деннин деловито осмотрел приготовления, оглядел могилу, бочку, веревку и сук, через который она была перекинута.

— Я бы сам не мог лучше сделать, Ганс, если бы это было для тебя.

Он громко рассмеялся собственной остроте, но лицо Ганса замерло в угрюмом оцепенении, которое ничто, казалось, не могло нарушить — разве только трубный глас последнего суда. Ганс чувствовал себя больным. Он совсем себе не уяснил трудности задачи отправить на тот свет другого человека. Зато Эдит действовала в полном сознании. Но это задачи ей не облегчало. Она сомневалась, удастся ли ей держать себя в руках, чтобы довести дело до конца. Она чувствовала нарастающую потребность кричать, упасть в снег, закрыть руками глаза или убежать в лес, куда-нибудь, только — вон отсюда, С величайшим напряжением удавалось ей держаться

прямо и делать то, что она должна была сделать. И во всем этом она была признательна Деннину за его помощь.

— Дай мне руку, — сказал он Гансу, влезая с его помощью на бочку.

Он нагнулся так, что Эдит могла накинуть веревку ему на шею. Затем выпрямился, в то время как Ганс подтянул веревку через сук над его головой.

— Майкл Деннин, имеете ли вы что сказать? — спросила Эдит. Голос ее, несмотря на всю ее волю, дрожал.

Деннин глядел с бочки вниз, застенчиво, как человек, который произносит свою первую речь. Он откашлялся.

— Я рад, что это кончено, — сказал он, — вы обращались со мной как с христианином, и я сердечно благодарю вас за всю вашу доброту.

— Да примет тебя, кающегося грешника, Господь, — сказала она.

— Да, — прозвучал в ответ его низкий бас. — Да примет меня Господь, кающегося грешника.

— Прощай, Майкл, — крикнула она, и в голосе ее прозвучало отчаяние.

Она навалилась всей тяжестью на бочку, но не могла ее сдвинуть.

— Ганс! Скорее! Помоги мне, — слабо крикнула она.

Она чувствовала, что последние силы оставляют ее, а бочка не двигалась.

Ганс поспешил к ней, и бочка вылетела из-под ног Майкла Деннина.

Она повернулась к нему спиной, затыкая уши пальцами. Затем начала смеяться резким, металлическим смехом. И Ганс был этим потрясен больше, чем всей трагедией.

Кризис наступил. Даже в своем истерическом состоянии она это понимала и была рада, что сумела выдержать до того момента, когда все было кончено. Внезапно она покачнулась…

— Отведи меня в хижину, Ганс, — с трудом выговорила Эдит. — И дай мне отдохнуть… отдохнуть…

Ганс повел ее — совсем беспомощную — по снегу, поддерживая за талию.

Но индейцы оставались, чинно наблюдая за тем, как действует закон белых людей, заставляющий человека плясать в воздухе.

ПУТЬ ЛОЖНЫХ СОЛНЦ

Ситка Чарли курил и глядел задумчиво на иллюстрацию, вырезанную из «Полицейской газеты» и прикрепленную к стене. В течение получаса разглядывал он картину, и в течение всего этого получаса я незаметно за ним наблюдал. Что-то происходило в его уме, и я знал, что во всяком случае его мысли заслуживают интереса. Он жил деятельной жизнью и видел многое на своем веку. Он совершил самое большое чудо — отказался от собственного народа и, насколько это вообще возможно для индейца, обратился, по всему своему складу, в белого человека. Сам он, повествуя об этой перемене, говорил, что сел у наших огней и сделался одним из наших. Он никогда не учился читать и писать, но обладал обильным запасом слов. Еще более замечательной была точность, с какой он воспринял взгляды белых людей и отношение их ко всем вещам.

Мы напали на эту покинутую хижину после дня тяжелого пути. Собаки были накормлены; обеденная посуда вымыта; постели приготовлены. Мы наслаждались тем приятным часом, который

наступает на аляскинском пути ежедневно, но лишь раз в течение дня. Это час, когда усталый путник, перед тем как улечься, выкуривает свою вечернюю трубку.

Кто-то из прежних обитателей хижины украсил ее стены иллюстрациями, вырезанными из журналов и газет. Эти-то картины и привлекли внимание Ситки Чарли с момента нашего прихода, два часа назад.

Он напряженно изучал их, переходя от одной к другой и снова возвращаясь к прежним. Лицо его было озадачено.

— Ну? — прервал я наконец молчание.

Он вынул трубку изо рта и сказал просто:

— Я не понимаю.

Затем снова закурил и снова вынул трубку, чтобы указать ею на картину из «Полицейской газеты».

— Это картина… что она значит? Я не понимаю.

Я посмотрел на рисунок. Человек с преувеличенно злым лицом падал навзничь на пол, прижимая руку театральным жестом к сердцу. Над ним, с лицом не то падшего ангела, не то

Адониса[81], стоял другой человек с дымящимся после выстрела револьвером в руке.

— Один человек убивает другого, — ответил я, чувствуя, что и я разделяю его недоумение и нуждаюсь в объяснении.

— Почему? — спросил Ситка Чарли.

— Я не знаю, — признался я.

— В этой картине только конец, — сказал он. — Она не имеет начала.

— Это — жизнь, — сказал я.

— Жизнь имеет начало, — возразил он.

Я не знал, что сказать. В это время его глаза остановились на соседней иллюстрации. Это была репродукция чьей-то картины «Леда и Лебедь»[82].

— Это картина, — сказал он, — не имеет ни начала, ни конца. Я не понимаю картины.

— Посмотри на ту картину, — сказал я, показывая на третий рисунок. — Она имеет смысл. Скажи же мне, что она означает.

Он несколько минут изучал рисунок.

---

[81] notes: 81

Адонис — один из любимцев Венеры, страстный охотник. В переносном смысле — красавец.

[82] notes: 82

Леда — по греческой мифологии — жена спартанского царя, соблазненная Зевсом под видом лебедя.

— Маленькая девочка больна, — сказал он наконец. — На нее смотрит доктор. Они всю ночь не ложились, смотри, в лампе нет масла, первые лучи утреннего света входят в окно. Это очень опасная болезнь; может быть, она умрет. Поэтому доктор смотрит так сурово. Это ее мать. Это очень опасная болезнь, потому что голова матери лежит на столе и она плачет.

— Как ты знаешь, что она плачет? — прервал я его. — Ты не видишь ее лица. Может быть, она спит.

Ситка взглянул на меня, словно внезапно удивившись, а затем внимательно посмотрел на картину.

Очевидно было, что он не обдумал своего впечатления.

— Может быть, она спит, — повторил он. Он внимательно изучал изображение. — Нет, она не спит. Плечи показывают, что она не спит. Я видел плечи плачущей женщины. Мать плачет. Это очень опасная болезнь.

— И ты понимаешь картину? — воскликнул я.

Он покачал головой и спросил:

— Маленькая девочка — она умрет?

В свою очередь я молчал.

— Умрет она? — повторил он. — Ты — худож-

ник. Может быть, знаешь.

— Нет, я не знаю, — признался я.

— Это — не жизнь, — категорически заявил он. — В жизни девочка умрет или выздоровеет. В жизни что-нибудь случится. На картине ничего не случится. Нет, я не понимаю картины.

Он был явно разочарован. Он хотел понять все, что понимают белые люди, и здесь — в этом вопросе — это ему не удавалось. Я чувствовал вместе с тем, что в его вопросах был вызов. Он хотел во что бы то ни стало заставить меня разъяснить ему мудрость картины.

Нужно сказать, что у него были поразительные способности мыслить образами. Он видел жизнь в образах, чувствовал ее в образах, обобщал посредством образов. Но он не понимал образов, выраженных при помощи красок и линий другими людьми.

— Картина — кусок жизни, — сказал я. — Мы рисуем жизнь так, как ее видим. Представь себе, Чарли, что ты идешь по тропе. Ночь. Ты видишь хижину. Окно освещено. Ты смотришь в окно в течение одной или нескольких секунд, ты видишь что-то и затем продолжаешь путь. Быть может, ты увидел человека, который писал письмо. Ты видел что-то, не имевшее ни начала, ни

конца. Ничего не случилось. И все же ты видел кусок жизни. Ты запомнил его. Этот кусок жизни — словно картина в твоей памяти. Окно — рамка картины.

Он, видимо, заинтересовался, и я знал, что в то время, как я говорил, он представил себе окно и, заглянув, видел человека, пишущего письмо.

— Есть одна картина, которую ты нарисовал. Я ее понимаю, — сказал он. — Это правдивая картина. В ней много смысла. Она в твоем домике в Доусоне. Это стол игры в «фараон». За столом люди играют. Игра идет большая. Играют без ограничения ставки.

— Почему ты знаешь, что играют без ограничения? — спросил я с интересом. Я был рад услышать беспристрастное суждение о моей работе такого человека, который знал только жизнь, а не искусство и был исключительно художником действительности. К тому же я очень гордился этой картиной. Я назвал ее «Последняя ставка» и считал, что это одно из лучших моих произведений.

— На столе нет золота, — пояснил Ситка Чарли. — Люди играют на марки. Это значит, что нет ограничений. Один человек играет желтыми марками. Может быть, одна желтая фишка стоит

тысячу долларов, а может быть, и две. Другой играет красными. Может быть, каждая из этих — пять тысяч долларов, а может быть — тысячу. Это очень большая игра. Все ставят очень высоко. Почему я это знаю? Ты нарисовал банкомета с румянцем на лице (я был в восторге). Ты нарисовал понтера[83] наклоненным к столу. Почему он наклонился вперед? Почему его лицо так напряженно? Почему его глаза так блестят? Почему банкомету жарко — у него на лице румянец? Почему все так молчаливы — и человек с желтыми марками, и человек с белыми марками, и человек с красными? Почему никто не разговаривает? Потому что игра на большие деньги. Потому что это — последняя ставка.

— Но почему ты думаешь, что это последняя ставка? — спросил я.

— Король вышел, семерка открыта, — отвечал он. — Никто не ставит на другие карты. Все другие карты ушли. Все думают об одном. Все теряют с королем, выигрывают с семеркой. Может быть, банк потеряет двадцать тысяч; может быть, выиграет. Да, я понимаю эту картину.

— И, однако, ты не знаешь окончания! — вос-

---

[83] notes: 83

Понтер — в азартной игре — ставящий на карту известную сумму против банкомета.

кликнул я, торжествуя. — Это последняя ставка, но не все карты открыты. И на картине они никогда не будут открыты. Никто не узнает никогда, кто выиграет и кто проиграет.

— И люди будут сидеть там и молчать, — сказал он с каким-то страхом. — И понтер будет наклоняться вперед, и румянец будет на лице у банкомета. Это странная вещь! Всегда будут они там сидеть, всегда! И карты никогда не будут открыты.

— Это картина, — сказал я. — Это жизнь. Ты сам видел нечто подобное.

Он посмотрел на меня в раздумье и затем очень медленно протянул:

— Да, ты говоришь — здесь нет конца. Никто никогда не узнает конца. И, однако, это правда. Я видел это. Это жизнь.

Долгое время он молча курил, обдумывал смысл и значение картин у белых людей, и, проверяя их на жизненных фактах, он несколько раз кивал головой и несколько раз кряхтел. Затем высыпал пепел из трубки, заботливо наполнил ее и после некоторого раздумья снова зажег.

— Я тоже видел в жизни много картин, — начал он, — не нарисованные картины, а виденные глазами. Я смотрел на них так же, как через окно

на человека, пишущего письмо. Я видел много обрывков жизни, и все эти обрывки были без начала, без конца, без смысла.

Внезапно изменив свое положение, он уставился прямо на меня и стал внимательно разглядывать.

— Скажи, — сказал он, — ты художник. Как нарисовал бы ты то, что я видел, картину без начала и с непонятным для меня концом? Северное сияние служило ей свечой и Аляска — рамкой.

— Это большое полотно, — заметил я.

Но он не обратил на меня внимания. Картина, казалось, была у него перед глазами.

— Много можно дать названий этой картине, — сказал он. — Но я назову ее «Путь Ложных Солнц», так как в ней на небе рядом с настоящим было два ложных солнца. Это было давно, лет семь назад, в конце 1897 года. Тогда я в первый раз увидел эту женщину. У меня была на озере Линдерман очень хорошая лодка из Петерборо. Я приехал с Чилкутского прохода с двумя тысячами писем для Доусона. Тогда я перевозил почту. В это время все устремлялись в Клондайк. Много людей путешествовало на собаках. Многие рубили деревья и строили лодки. Скоро река должна была замерзнуть. Было много снега в воздухе, много снега

на земле; на озере был лед, на реке — там, где водовороты, — тоже лед. С каждым днем было все больше и больше снега, больше льда. Через день, или через три дня, или через шесть дней можно было ожидать, что река станет. Тогда всем придется передвигаться пешком. А Доусон находился в ста милях; прогулка, значит, была большая. Лодка же плывет очень быстро. Поэтому все хотели ехать на лодке. Каждый обращался ко мне, говоря: «Чарли, за двести долларов возьми меня в свою лодку», «Чарли, я дам четыреста долларов». Я же говорил: «Нет!» — все время говорил: «Нет! Я перевожу почту».

Утром достиг озера Линдерман. Я шел всю ночь и очень устал. Я сварил завтрак, поел и затем спал три часа на берегу. Когда я проснулся, было десять часов. Снег падал. Дул ветер, очень сильный ветер. Рядом со мной, на снегу, сидит женщина. Она была белая женщина, молодая, очень красивая — может быть, двадцати лет, может быть, двадцати пяти. Она смотрит на меня. Я смотрю на нее. Она, вероятно, очень устала. Она не танцовщица. Я это хорошо вижу.

Она порядочная женщина и очень устала.

«Вы — Ситка Чарли, — говорит она. Я встаю и свертываю одеяла, чтобы снег в них не попал. — Я

еду в Доусон, — говорит она. — Я еду в вашей лодке. Сколько?»

Я не хочу никого брать в свою лодку. Но мне не хочется сказать — нет. Поэтому я говорю: «Тысяча долларов!» Я говорю это в шутку, чтобы женщина не могла со мной поехать. Это лучше, чем сказать — нет. Она смотрит на меня пристально. Затем спрашивает: «Когда вы едете?» Я говорю ей. Тогда она заявляет, что даст мне тысячу долларов.

Что я могу сказать? Я не хочу брать эту женщину, но я ведь сказал, что она может ехать за тысячу долларов. Я удивлен. Может быть, она тоже шутит? Поэтому я говорю: «Покажите мне тысячу долларов». И тогда эта женщина — эта молодая женщина, совсем одинокая на тропе золотоискателей — вынимает тысячу долларов в зеленых бумажках. Я смотрю на деньги, смотрю на нее. Я говорю: «Нет, моя лодка очень маленькая. В ней нет места для багажа». Она смеется. Она говорит: «Я опытная путешественница. Вот мой багаж!» Она толкает ногой в снег маленький узел. В нем две шубы, зашитые в парусину, и внутри несколько платьев. Я поднимаю поклажу. Она весит, может быть, тридцать пять фунтов. Я очень удивлен. Она берет ее из моих рук и говорит: «Давайте отправляться!» Она несет узел в

лодку. Что я могу сказать? Я кладу одеяла в лодку. Мы отправляемся.

Вот так-то я впервые увидел эту женщину. Ветер был попутный. Я поднял маленький парус. Лодка шла очень быстро, летела как птица по большим волнам. Женщина очень боялась. «Для чего вы приехали в Клондайк, если боитесь?» — спрашиваю я. Она смеется резким смехом. Она все еще боится и к тому же очень устала. Я провожу лодку между порогами озера Беннет. Вода очень опасная, и женщина кричит от страха. Мы спускаемся по озеру Беннет. Ветер сильный — совсем буря. Много снега и льда. Но женщина очень устала, она засыпает.

В эту ночь мы разбиваем стоянку у Мыса Ветров. Женщина сидит у огня и ужинает. Я смотрю на нее. Она красива. Она причесывается. У нее много волос коричневого цвета; иногда они делаются золотыми, как огонь костра. Когда она поворачивает голову, они вспыхивают, как пламя. Глаза ее большие и карие; иногда темные, как свеча за занавеской; иногда твердые и блестящие, как расколотый лед, освещаемый солнцем. Когда она смеется, — как бы мне это сказать, — я знаю, что в это время белому человеку, наверное, хочется ее поцеловать. Она никогда не делает черной

работы. Ее руки мягки, как руки ребенка. Она вся мягкая, как маленький ребенок. Она не худая — она круглая, как ребенок; ее руки, ноги, мускулы круглы и мягки, как у ребенка. Ее талия тонкая, и когда она стоит, когда она ходит, — я не знаю, как это выразить, — но на нее приятно смотреть. Я сказал бы, что она построена правильно, как хорошая лодка. Именно так. Когда она двигается — как будто хорошая лодка скользит по спокойной воде или прыгает по сердитым волнам с белыми хлопьями. Приятно на нее смотреть.

Почему она одна в Клондайке — одна, с такими большими деньгами? Я не знаю. На следующий день я спрашиваю ее. Она смеется и говорит: «Ситка Чарли, это не твое дело. Я даю тебе тысячу долларов, чтобы привезти меня в Доусон. Это все, что тебя касается». День спустя я спрашиваю, как ее зовут. Она смеется и говорит: «Мое имя — Мэри Джонс». Я не знаю ее имени, но я знаю хорошо, что ее имя не Мэри Джонс.

Очень холодно в лодке, и она плохо себя чувствует из-за холода. Иногда ей хорошо, и она поет. Ее голос — как серебряный колокольчик, и я чувствую себя добрым, совсем таким, как тогда, когда иду в церковь в Миссии Святого Креста. Когда она поет, я чувствую себя сильным и гребу как дьявол.

Затем она смеется и спрашивает: «Чарли, думаешь ли ты, что мы доедем до Доусона раньше, чем вода станет?» Иногда она сидит в лодке и думает о чем-то далеком, и ее глаза становятся пустыми. Она не видит ни Ситки Чарли, ни льда, ни снега. Она — далеко. Она очень часто так задумывается. Иногда, когда она так думает, ее лицо делается нехорошим. Оно похоже на сердитое лицо, на лицо человека, когда он хочет убить другого.

Последний день до Доусона был очень труден. Уже появился лед с берега на реке. Я не мог грести. Лодка примерзла ко льду. Нельзя было выйти на берег. Было очень опасно. Мы все время шли вниз по Юкону среди льдов. Ночью был большой шум ото льда. Затем лед остановился, лодка остановилась, все остановилось. «Сойдем на берег», — говорит женщина. Но я говорю: «Лучше подождать». Скоро все опять понеслось вниз по течению. Много снега. Я не вижу. В одиннадцать часов ночи опять все стало. В час ночи снова все понеслось. В три часа снова все стало. Лодку выбрасывает словно скорлупу; но под ней лед, и она не тонет. Я слышу вой собак. Мы ждем. Мы спим. Мало-помалу наступает утро. Нет больше снега. Все стало; но мы в Доусоне. Лодка остановилась как раз в Доусоне. Ситка Чарли приехал с двумя

тысячами писем; больше никто приехать не мог. Река стала.

Женщина наняла хижину на горе, и целую неделю я ее не видал. Затем, однажды, она приходит ко мне. «Чарли, — говорит она, — хочешь для меня поработать? Ты будешь вести собак, устраивать стоянки, ездить со мной». Я отвечаю, что зарабатываю довольно, перевозя письма. Она говорит: «Чарли, я дам тебе больше денег». Я объясняю ей, что на приисках чернорабочий получает пятнадцать долларов в день. Она говорит: «Это четыреста пятьдесят в месяц». А я говорю: «Ситка Чарли — не чернорабочий». Тогда она говорит: «Я понимаю, Чарли. Я дам тебе семьсот пятьдесят долларов в месяц». Это хорошая цена, и я соглашаюсь для нее работать. Я покупаю для нее собак и сани. Мы едем вверх по Клондайку, по Бонанзе и Эльдорадо; переходим к Индейской реке, к Серной Бухте, к Доминиону; возвращаемся к Золотому Дну и к Золотому Изобилию и затем назад, в Доусон. Все время она что-то ищет; а я не знаю что. «Что вы ищете? — спрашиваю я. Она смеется. — Вы ищете золото?» — спрашиваю я. Она смеется и говорит: «Это не твое дело, Чарли!» После этого я никогда больше не спрашиваю.

Она носит у пояса маленький револьвер. Ино-

гда в пути она учится стрелять. Я смеюсь. «Почему вы смеетесь, Чарли?» — спрашивает она. «Для чего вы играете с этим, — говорю я, — ведь это детская игрушка?» Когда мы возвращаемся в Доусон, она просит меня купить ей хороший револьвер. Я покупаю кольт-44. Он очень тяжелый, но она все время носит его у пояса.

В Доусоне появляется мужчина. Откуда он пришел, я не знаю. Только я знаю, что он — «чеча-квас», то, что мы называем «неженка». Его руки мягки так же, как ее. Он никогда не выполняет тяжелой работы. Он весь мягкий. Сперва думаю — это ее муж. Но он слишком молод. И на ночь они ставят две кровати. Ему, быть может, двадцать лет. У него глаза голубые, светлые волосы и маленькие белокурые усы. Его зовут Джон Джонс. Может быть, он ее брат. Я не знаю. Я больше не спрашиваю, только мне кажется, что его имя не Джон Джонс. Некоторые люди называют его мистер Джирвэн. Я не думаю, чтобы это было его имя. Я не думаю, что ее имя мисс Джирвэн, как называют ее некоторые. Я думаю — никто не знает их имен.

Раз, ночью, я сплю в Доусоне. Он будит меня. Он говорит: «Приготовьте собак. Мы отправляемся». Я не спрашиваю ни о чем, впрягаю собак, и мы

едем. Мы едем вниз по Юкону. Ноябрьская ночь. Очень холодно — шестьдесят пять градусов ниже нуля. Они — неженки. Мороз кусает. Они устают. Они тихо плачут.

Я предлагаю остановиться и устроить ночлег. Но они говорят, что поедут дальше. И после этого я три раза советую разбить лагерь и отдохнуть, но они каждый раз отвечают, что едут дальше. Тогда я молчу.

И вот изо дня в день повторяется то же самое. Они оба — неженки. Они коченеют, и им делается больно. Они не понимают, как надо носить мокасины, и ноги их очень болят. Они хромают. Они шатаются, как пьяные. Они тихо плачут. И все время они говорят: «Вперед, вперед! Едем дальше!»

Они как будто сошли с ума. Они все время едут дальше и дальше. Почему? Я не знаю. Только они все едут дальше. Что они ищут? Я не знаю. Они здесь не за золотом. Они не больны золотой горячкой. Кроме того, они тратят очень много денег. Но я больше не спрашиваю. Я тоже еду вперед, потому что я силен и привычен к дороге, и мне хорошо платят.

Мы доезжаем до Сёркл. Там нет того, что они ищут. Я думаю, теперь, может быть, мы отдохнем

и дадим передохнуть собакам. Но мы не останавливаемся ни на один день. «Едем, — говорит женщина мужчине, — едем дальше». И мы едем дальше. Мы оставляем Юкон. Мы переезжаем водораздел налево и поворачиваем в страну Тананау. Там новые прииски. Но того, что мы ищем, там нет, и мы возвращаемся в Сёркл.

Путь очень трудный. Декабрь уже кончается, и дни коротки. Холодно, очень холодно. Раз утром термометр показывает семьдесят ниже нуля. «Лучше сегодня не ехать, — говорю я. — Мороз прихватит края наших легких. Мы будем сильно кашлять, и будущей весной можем заболеть воспалением легких». Но они — че-ча-квас'ы. Они не понимают трудностей пути. Они — словно мертвые от усталости, но говорят: «Едем дальше». Мы едем дальше. Мороз кусает их легкие, и они начинают сухо кашлять. Они плачут, и слезы сбегают по их щекам. Когда жарится сало, они должны убегать от огня и полчаса кашлять. Они отмораживают себе слегка щеки, кожа их становится черной и очень болезненной. Мужчина отмораживает себе большой палец так, что кончик едва не отваливается; он должен надеть толстые варежки, чтобы отогреть руку. Когда мороз сильно щиплет и пальцу очень холодно,

он снимает варежку и кладет руку между ногами, вплотную к телу, чтобы согреть палец.

Мы насилу добираемся до Сёркл, и даже я, Ситка Чарли, утомлен. Это канун Рождества. Я танцую, пью, веселюсь. Завтра — Рождество, и мы отдохнем. Но не тут-то было. Пять часов утра в день Рождества. Я спал два часа. Мужчина стоит у моей постели. «Едем, Чарли, — говорит он, — запрягай собак. Мы едем!»

Кажется, я говорил, что уже перестал задавать вопросы. Они платят мне семьсот пятьдесят долларов в месяц. Они — мои хозяева. Если они скажут мне: «Идем, Чарли, поедем в ад», — я запрягу собак, щелкну бичом и поеду в ад. Итак, я запрягаю собак, и мы отправляемся вниз по Юкону. Куда мы едем? Они не говорят. Они только говорят: «Дальше! Дальше!..»

Они очень устали. Они проехали сотни миль и совершенно не понимают, как на Севере ездят. К тому же их кашель очень усилился. Этот сухой кашель заставляет сильных мужчин ругаться, а слабых — плакать. Но они едут дальше. Они никогда не дают собакам отдохнуть. Всюду они покупают новых собак. В каждом лагере, на каждой почтовой станции, в каждой индейской деревне они отпускают усталых собак и впрягают

свежих. У них много денег, и они тратят их без конца. Они сумасшедшие? Иногда я так думаю, ибо в них сидит дьявол, который гонит их вперед. Что они стараются найти? Это не золото. Они никогда не копаются в земле. Я долго думаю. И наконец я прихожу к убеждению, что они ищут человека. Но какого человека? Мы его не видим. Они вроде волков, идущих по следу, чтобы убить. Но они странные волки — слабые волки, волчата, не понимающие, как надо идти по следу. Ночью, во сне, они громко плачут, стонут и жалуются на боль и усталость. А днем они, шатаясь, идут по тропе и тихо плачут. Они странные волки.

Мы проезжаем форт Юкон. Мы переезжаем форт Гамильтон. Мы проезжаем Минук. Январь на исходе. Дни очень коротки. В девять часов светает. В три часа темнеет. Очень холодно. И даже я, Ситка Чарли, утомлен. Неужели они будут так ездить без конца? Я не знаю. И всегда я ищу на тропе то, что они стараются найти. Мало людей на тропе. Иногда мы едем целых сто миль и не встречаем следа жилья. Тишина. Ни одного звука. Иногда идет снег, и мы подобны блуждающим призракам. А иногда ясно, и в полдень солнце на мгновение выглядывает из-за южных холмов. Северное сияние вспыхивает на небе. Солнце,

окруженное ложными солнцами. Воздух полон морозной пыли.

Я, Ситка Чарли, — сильный человек. Я вырос на тропе и провел на ней всю мою жизнь. И все же эти волчата меня утомили. Я худ, как голодная кошка. С радостью ложусь я в постель, а утром встаю усталый. И все-таки мы всегда выступаем еще задолго до рассвета, и сумерки застают нас всегда в пути.

Что за волчата! Если я худ, как голодная кошка, то они худы, как кошки, которые никогда не ели и уже подохли. Их глаза глубоко ушли в глазные впадины. Они блестят иногда лихорадочным огнем; а иногда они мутны и туманны, как глаза мертвеца. Их щеки провалились, словно пещеры в скалах. И кожа на щеках почернела и отморожена. Иногда женщина по утрам шепчет: «Я не могу встать; я не могу двинуться. Дай мне умереть!» Мужчина же стоит рядом с ней и говорит: «Едем дальше!» И они едут дальше. А иногда мужчина не может встать, и женщина говорит: «Едем дальше!» И всегда они отправляются дальше. Вперед и вперед.

На некоторых торговых станциях мужчина и женщина получали письма. Я не знаю, что было в этих письмах. Но это был след, по которому они

шли, — эти письма. Раз индеец дал им письмо. Я поговорил с ним незаметно. Он рассказал мне, что получил письмо от человека с одним глазом, который быстро едет вниз по Юкону. Вот и все. Но я узнал, что волчата идут за одноглазым человеком.

Наступил февраль. Мы прошли тысячу миль и приближаемся к Берингову морю. Метель. Путь очень труден. Мы прибываем в Анвиг. Я не видел, но убежден, что они получили письмо в Анвиге, потому что очень возбуждены. Они говорят: «Скорей, скорей… едем дальше!» Я отвечаю, что надо купить провизию. Но они хотят ехать быстро и налегке. Они говорят, что мы найдем провиант в хижине Чарли Мак-Киона. Из этого я узнаю, что они хотят идти широкой боковой тропой, потому что Чарли Мак-Кион живет у Черной Скалы на этой тропе.

Раньше чем отправиться, я говорю две минуты с анвигским священником. Да, мимо проехал человек с одним глазом, и двигается он очень быстро. И я знаю, что они ищут одноглазого человека. Мы выезжаем из Анвига с маленьким запасом провианта, едем быстро и налегке. Мужчина и женщина словно сошли с ума. По утрам мы выступаем еще раньше, а вечером едем еще

дольше. Я иногда ожидаю, что эти два волчонка умрут, но они не умирают. Они едут все дальше и дальше. Когда сухой кашель начинает их душить, они прижимают руки к животу и, сидя в снегу, кашляют, кашляют, кашляют. Они не могут ходить, не могут говорить. Десять минут, а не то так и целые полчаса, они кашляют, затем выпрямляются, с замерзшими от кашля слезами на лицах, и говорят все те же слова: «Едем дальше!»

Даже я, Ситка Чарли, сильно устал и думаю, что семьсот пятьдесят долларов — очень дешевая плата за такую работу. Мы сворачиваем на боковую тропу; эта тропа не убита. Волчата держат нос по следу и говорят: «Спешим! — все время они говорят: — Спешим! Скорее, скорее!» Собакам тяжело. У нас мало еды; мы не можем их хорошо кормить, и они слабеют. Несмотря на это, они должны везти без передышки. Женщина их жалеет, и часто из-за них слезы навертываются у нее на глазах. Но дьявол сидит в ней и не позволяет ей остановиться и дать отдохнуть собакам.

Скоро мы настигаем человека с одним глазом. Он лежит со сломанной ногой на снегу около тропы. Из-за ноги он не мог разбить настоящей стоянки и три дня лежал на снегу, поддерживая огонь. Когда мы находим его, он ругается. Ругает-

ся как черт. Никогда не слышал я такой ругани. Я рад. Теперь, думаю я, они нашли то, что искали, и мы отдохнем. Но женщина опять говорит: «Едем! Скорее!»

Я удивлен. Но одноглазый человек говорит: «Не обращайте на меня внимания. Дайте мне вашу провизию. Вы найдете завтра провизию в хижине Мак-Киона. Пошлите Мак-Киона за мной. Но поезжайте дальше». Вот еще один волк — старый волк, — и он тоже думает только об одном — ехать дальше, все дальше. И мы даем ему нашу провизию, которой остается у нас немного, рубим дрова для костра, берем самых сильных собак и едем. Мы оставляем одноглазого человека лежать, и он умер там на снегу, так как Мак-Киона за ним не пришел. Я не знаю, кто был этот человек и почему он там очутился. Но я думаю, что мужчина и женщина ему, как и мне, хорошо заплатили, чтобы он для них работал.

В этот день и ночь у нас не было никакой пищи. Весь следующий день мы ехали очень быстро и ослабели от голода. Скоро мы подошли к Черной Скале, которая возвышается на пятьсот футов над тропой. День кончался. Уже сгущалась темнота, и мы не могли найти хижину Мак-Киона. Мы спали голодные и утром приступили к поис-

кам хижины. Ее там не было, и это было очень странно, так как все знали, что Мак-Кион живет в хижине у Черной Скалы. Мы были недалеко от морского берега, где ветер дует очень сильно и падает много снега. Всюду были снежные холмы — снег был нанесен ветром. У меня возникла одна мысль, и я стал разрывать эти холмы. Скоро я нашел стены хижины и открыл дверь. Я вошел и увидел, что Мак-Кион мертв. Быть может, он умер две или три недели тому назад. Он заболел и не мог оставить хижину. Ветер завалил ее снегом. Чарли съел весь свой провиант и умер. Я искал в его кладовой и еды не нашел.

«Едем дальше!» — воскликнула женщина. Глаза у нее были голодные, и рукой она держалась за сердце, как будто внутри у нее что-то болело. Стоя там, она качалась взад и вперед, как дерево на ветру. «Да, едем дальше», — сказал мужчина. Его голос звучал глухо, как карканье старого ворона, и он, казалось, сошел с ума от голода. Его глаза были как огненные угли, и тело его раскачивалось из стороны в сторону. Казалось, что и душа его тоже мечется. Я тоже сказал: «Едем дальше». Ибо эти слова, которые хлестали меня тысячу миль, въелись, наконец, мне в душу. И я думаю, что я также сошел с ума. К тому же нам оставалось

только продвигаться дальше, так как у нас не было пищи. И мы отправились, не задумываясь о судьбе человека с одним глазом.

По этой боковой тропе мало ездят. Иногда в течение двух или трех месяцев никто не пройдет по ней. Вся тропа была завалена снегом, и казалось, что этой дорогой никогда не шли. Целый день ветер дул и снег падал, и целый день мы ехали, пока наши желудки не стали ныть от голода и мы совсем не ослабели. Наконец женщина начала спотыкаться и падать. Затем и мужчина. Я не падал, но мои ноги отяжелели, и я много раз спотыкался.

Это была последняя ночь февраля. Я убил трех белых птармиганов из револьвера женщины, и мы снова несколько окрепли. Но собаки не были накормлены. Они пытались съесть свою упряжь из оленьей и моржовой кожи, и я должен был отогнать их палкой и повесить упряжь на дерево. Всю ночь они выли и дрались вокруг дерева. Но мы не обращали на это внимания. Мы спали как убитые, а утром встали — как мертвые встают из могилы — и пошли по тропе.

В это первое мартовское утро я увидел наконец признаки того, за чем охотились волчата. Была ясная и холодная погода. Солнце дольше остава-

лось на небе; а ложные солнца сияли по обеим его сторонам. Воздух блестел морозной пылью. Снег перестал падать на тропу, и я увидел свежие следы собак и саней. В санях едет, по-видимому, один человек, и видно, что он слаб. Он тоже не имел достаточно пищи. И волчата замечают свежий след. Они очень возбуждены. «Спешим! — говорят они и все повторяют: — Спешим! Скорее! Чарли, скорее!»

Но спешить мы не можем. Мужчина и женщина все время спотыкаются и падают. Когда они пытаются ехать на санях, собаки тоже падают — они слишком слабы. К тому же так холодно, что если волчата сядут на сани, то непременно замерзнут. Очень легко замерзнуть голодному человеку. Когда женщина падает, мужчина помогает ей встать. А иногда женщина подымает мужчину. Но скоро, падая, они оба не могут встать, и я должен помогать им. Иначе они не встанут и умрут на снегу. Это трудная работа, и я очень устаю. Они совсем выбились из сил и очень тяжелы. К тому же я должен управлять собаками. Наконец я тоже валюсь в снег, и некому помочь мне встать. Но я встаю сам, помогаю им и понукаю собак двинуться вперед.

В эту ночь я застрелил только одного птар-

мигана, и мы очень голодны. И в эту же ночь мужчина говорит мне: «В котором часу мы завтра отправляемся, Чарли?» Его голос звучит как голос привидения. Я отвечаю: «Мы все равно отправляемся в пять часов. — Смеюсь и говорю с горечью: — Ведь вы — уже мертвый человек». Но он шепчет: «Завтра мы отправляемся в три часа».

И мы в самом деле пускаемся в путь в три часа, так как я их слуга и исполняю их приказания. Ясно и холодно, нет ветра. Когда светает, мы видим далеко вперед. Очень тихо. Мы ничего не слышим, кроме биения наших сердец. В этой тишине их хорошо слышно. Мы словно лунатики, бродящие во сне. Мы блуждаем во сне, пока не падаем. Тогда мы знаем, что должны встать, и снова видим тропу и слышим стук своего сердца. Иногда, идя вот так, я вижу странные сны, мне приходят на ум странные мысли. Зачем живет Ситка Чарли, спрашиваю я себя. Зачем Ситка Чарли так работает, голодает, мучится? Потому что получает семьсот пятьдесят долларов в месяц — ведь это глупый ответ. И однако — это ответ. Потом я никогда в своей жизни не обращал внимания на деньги. Потому что с этого дня в меня вошла большая мудрость. Словно яркий свет осенил меня, и я ясно увидел, что человек живет

не ради денег, но ради счастья, которое не может быть ни подарено, ни куплено, ни продано и стоит дороже золота всего мира.

Утром мы приходим к месту ночной стоянки человека, который едет впереди нас. Вид брошенной стоянки говорит о том, что человек страдает от голода и слабости. На снегу разбросаны куски одеял и парусины, и я понимаю, что произошло. Его собаки съели свою упряжь, и он сделал новую упряжь из своих одеял. Мужчина и женщина смотрят пристально на эти следы, и я чувствую, глядя на них, что мороз пробирает меня по коже. Их глаза горят нездоровым блеском от утомления и голода. Их лица похожи на лица людей, умерших от голода, а их отмороженные щеки чернеют. «Идем вперед», — говорит мужчина. Но женщина кашляет и падает на снег. Это сухой кашель от мороза, захватившего легкие. Она кашляет долго. Затем, словно выползая из могилы, она с трудом встает на ноги. Слезы замерзли на ее щеках, и она дышит тяжело, со свистом, но говорит: «Идем вперед!»

Мы отправляемся дальше. Мы идем как во сне, в этой тишине, и не испытываем страданий. Падая, мы как будто пробуждаемся и видим снег и горы и свежий след человека, едущего впере-

ди. И тогда мы снова начинаем страдать. Мы приходим к месту, где перед нами расстилается широкое открытое пространство, и на снегу, впереди, мы видим того, кого ищем. На расстоянии мили от нас по снегу двигаются черные точки. Мои глаза мутны, и я собираюсь с силами, чтобы рассмотреть. Я вижу одного человека с собаками и санями. Волчата также видят. Они уже не могут говорить и только шепчут: «Вперед, вперед, скорее!»

Они падают, но встают и идут дальше. У человека, едущего впереди, часто рвется упряжь из одеял, и он вынужден останавливаться и чинить ее. Наша упряжь в порядке, так как я вешал ее на деревья каждую ночь. В одиннадцать часов человек находится за четверть мили от нас. Он очень слаб. Мы видим, что он часто падает в снег. Одна из его собак не может идти дальше. Он перерезает упряжь, чтобы освободить ее. Но он не убивает собаки. Когда мы проходим мимо лежащей собаки, я убиваю ее топором; убиваю я также и одну из своих собак, упавшую и не могущую дальше идти.

Теперь нас разделяют триста ярдов. Мы двигаемся очень медленно. Может быть, со скоростью одной мили в два или три часа. Мы не идем. Мы

все время валимся с ног. Мы встаем и делаем, шатаясь, два или три шага и затем снова падаем. Все время я должен помогать мужчине и женщине. Иногда они поднимаются на колени и падают лицом вниз, несколько раз, раньше чем могут встать на ноги, сделать еще несколько шагов и снова упасть. Но, стоя на ногах или на коленях, они всегда валятся вперед и таким образом продвигаются по следу дальше на длину их собственного тела.

Иногда они ползут на руках и ногах, как звери. Мы подвигаемся со скоростью улиток, со скоростью умирающих улиток. И все же мы идем быстрее, чем человек, который впереди нас. Он тоже все время падает, и у него нет Ситки Чарли, чтобы помочь ему встать. Теперь он всего в двухстах ярдах от нас. Наконец между нами только сто ярдов.

Это забавное зрелище. Мне хочется громко смеяться, так это забавно. Это — шествие смерти. Гонки мертвых людей и мертвых собак. Это похоже на ночной кошмар, когда стараешься бежать изо всех сил, спасая жизнь, а передвигаешься очень медленно. Мой спутник сошел с ума. Моя спутница сошла с ума. Я сошел с ума. Весь мир сошел с ума, и мне хочется смеяться,

так это забавно.

Незнакомец оставляет своих собак и идет один по снегу. Спустя немного, мы подходим к его собакам. Они впряжены в сани и в упряжи из одеял лежат, бессильные, на снегу. Когда мы проходим мимо, они скулят, как голодные дети.

Тогда мы тоже оставляем собак и идем одни по снегу. Мужчина и женщина почти мертвы. Они стонут и плачут, но идут вперед. Я тоже иду вперед. У меня только одна мысль — настигнуть незнакомца. Тогда — и только тогда — я смогу отдохнуть, и мне кажется, что я лягу к засну и буду спать тысячу лет — так я устал.

Незнакомец в пятидесяти ярдах — один на белом снегу. Он падает и ползет, встает, шатается и снова падает и ползет. Он похож на тяжело раненного зверя, пытающегося убежать от охотника. Теперь он ползет на руках и на коленях. Он больше не встает. Но мужчина и женщина также уже не могут встать. Они тоже ползут за ним на руках и коленях. Но я встаю. Иногда я падаю, но всегда снова поднимаюсь на ноги.

Это странная картина. Тишина и снег, и по снегу ползут мужчина и женщина, а впереди незнакомец. Около солнца, по одному с каждой стороны, — ложные солнца. На небе, таким об-

разом, три солнца. Морозная пыль похожа на алмазную, и воздух наполнен ею. Женщина кашляет и лежит на снегу, пока припадок проходит. Мужчина смотрит прямо перед собой и должен тереть свои помутневшие глаза, чтобы увидеть незнакомца. Незнакомец смотрит назад через плечо. А Ситка Чарли то стоит на ногах, то падает и снова встает.

Но вот через большой промежуток времени видно, что незнакомец перестал ползти. Он медленно становится на ноги, качаясь взад и вперед. Он снимает одну перчатку и ждет с револьвером в руке, сильно раскачиваясь. Лицо его — только кожа и кости и почернело от мороза. Это лицо голодающего. Глаза глубоко впали, а губы приоткрылись — он что-то злобно рычит. Мужчина и женщина также встают на ноги и медленно подвигаются к нему. Вокруг снег и тишина. На небе три солнца, и морозный воздух сверкает алмазной пылью.

Тут увидел я, как волчата настигли свою добычу.

Никто не говорит ни слова. Только незнакомец издает злобное рычание. Он качается взад и вперед, со сгорбленными плечами и согнутыми коленями, широко расставив ноги, чтобы не

упасть. Мужчина и женщина останавливаются в пятидесяти шагах от него. Они тоже качаются, и ноги их широко расставлены, чтобы не упасть. Незнакомец очень слаб. Его рука трясется в то время, как он стреляет в мужчину. Пуля попадает в снег. Мужчина не может снять варежку. Незнакомец снова в него стреляет. Мимо. Тогда мужчина зубами стаскивает варежку. Но его рука замерзла, и он не может держать револьвер, который падает в снег. Я смотрю на женщину. Она сняла варежку. В ее руке большой кольт. Она стреляет три раза — раз за разом. Незнакомец все еще издает какие-то звуки, падая лицом вниз — в снег.

Они не смотрят на убитого. «Идем дальше», — говорят они. И мы идем вперед. Но теперь, когда они нашли то, что искали, они — как мертвые. Последние силы их оставили. Они больше не могут стоять на ногах. Они не хотят и ползти, они хотят спать. Вблизи я вижу место, пригодное для стоянки. Я ударяю их ногою. Я беру собачий бич и бью их. Они громко кричат, но вынуждены ползти. Так доползают они до лагерного места. Я развожу костер, чтобы они не замерзли. Затем возвращаюсь к саням. Я убиваю собак незнакомца, чтобы было что есть. Я заворачиваю мужчину

и женщину в одеяла, и они спят. Иногда я бужу их и даю им немного поесть. Они дремлют, но принимают пищу. Женщина спит тридцать шесть часов. Затем просыпается и снова засыпает. Мужчина спит два дня, просыпается и снова засыпает. Потом мы спускаемся вместе к побережью. И когда лед уходит из Берингова моря, мужчина и женщина уезжают на пароходе. Но сперва они платят мне семьсот пятьдесят долларов в месяц. И дают мне еще подарок — тысячу долларов. Это было в том самом году, когда Ситка Чарли дал много денег в Миссию Святого Креста.

— Но почему они убили этого человека? — спросил я.

Ситка Чарли медлил с ответом, пока не зажег своей трубки. Он взглянул на иллюстрацию «Полицейской газеты» и кивком головы указал на нее. Затем сказал медленно и вразумительно:

— Я много об этом думал. Я не знаю. Я знаю только, что это случилось. Я помню эту картину. Как будто мы смотрим в окно и видим человека, пишущего письмо. Они вошли в мою жизнь и ушли из моей жизни. Картина эта, как я сказал, не имеет начала. А конец непонятен.

— Ты нарисовал в этом рассказе много картин, — сказал я.

— Да, — кивнул он головой, — но они были без начала и без конца.

— Последняя картина имела конец.

— Да, — ответил он, — но какой конец?

— Это был кусок жизни.

— Да, — согласился он, — это был кусок жизни.

ТРУС НЕГОР

Одиннадцать дней он шел по следу своего племени. Все племя — мужчины, женщины и дети — убегало от преследования. Спасался бегством и он сам. Он знал, что за ним идут эти ужасные русские. Через болота и крутые овраги двигались они вперед, и целью их было полное уничтожение всего его народа. Он шел налегке. Вся его поклажа состояла из заячьей шубы, ружья центрального боя и нескольких фунтов сушеного лосося. Несмотря на это, он с трудом нагонял свое племя. И это не удивляло его, так как он знал, что страх, внушаемый русскими, способен гнать вперед с неимоверной быстротой целый народ.

Было это в прежние времена, в половине XIX века, когда русские владели Аляской. Наконец летней ночью Негор настиг беглецов у истока Пилата. В полночь было светло, как днем, он проходил через усталый лагерь. Многие видели его, все знали, но почти никто его не приветствовал.

— Трус Негор, — услышал он слова Иллихи, молодой женщины. Она засмеялась, и вместе с нею смеялась Сонни, дочь его сестры.

Прилив гнева охватил его. Но он не подал виду. Он пробирался между лагерными кострами, пока не дошел до огня, возле которого сидел старик. Молодая женщина умело массировала утомленные мускулы его ног.

Старик поднял свое слепое лицо и внимательно прислушался к шагам Негора, ступающего по сухим веткам.

— Кто идет? — заскрипел его старческий голос.

— Негор, — ответила молодая женщина, не отрываясь от работы.

Лицо Негора было бесстрастно. В течение нескольких минут он стоял и ждал. Старик склонил голову на грудь. Молодая женщина, стоя на коленях, с головой, спрятанной в облаке густых черных волос, продолжала массировать его усталые мускулы. Негор смотрел на ее стройное тело, сгибающееся у талии подобно телу рыси. Она была похожа на тонкий ствол березы, но вместе с тем в ней чувствовалась вся сила молодости. Он смотрел, и весь был охвачен глубокой тоской по ней, почти подобной физическому голоду. Наконец он спросил:

— Разве нет приветливого слова для Негора, который так долго отсутствовал и теперь только вернулся?

Она посмотрела на него холодно. Старик насмешливо засмеялся.

— Ты моя жена, Уна, — сказал Негор твердо и с тенью угрозы.

Она встала внезапно и мягко, по-кошачьи, выпрямилась. Ее глаза сверкали, ее ноздри трепетали, как у оленя.

— Я должна была быть твоей женой, Негор. Но ты — трус. Дочь Старого Кинуза не может быть женой труса.

Он пытался говорить, но она заставила его замолчать властным жестом.

— Старый Кинуз и я пришли к вам из далекой страны. Ваше племя приняло нас к своим кострам и согрело, не спрашивая, откуда мы и почему странствуем. Они думали, что Старый Кинуз потерял зрение от старости. И ни Старый Кинуз, ни я этого не опровергали. Старый Кинуз был храбрый человек, но он не хвастун. Теперь, когда ты узнаешь, как он ослеп, ты поймешь, что дочь Кинуза не может быть матерью детей такого труса, как ты, Негор.

Она снова не дала ему заговорить.

— Знай, Негор, если сложить все твои переходы в здешней стране, и то ты не дошел бы до Ситки на Великом Соленом озере. Там много русских

людей, и закон их суров. Из этой Ситки бежал Старый Кинуз, который в те дни был молодым Кинузом. Он бежал со мной — маленьким ребенком на руках, вдоль островов, находящихся посреди моря. Моя убитая мать могла бы рассказать о его обиде. Убитый русский, с копьем, пронзившим ему грудь и спину, мог бы рассказать об исполненной мести Кинуза.

— Но всюду, куда мы бежали и как бы далеко мы ни уходили, везде мы находили ненавистных русских. Кинуз не боялся их, но видеть их не мог. Поэтому мы бежали все дальше и дальше, через озера и реки, пока не пришли к Великому Туманному морю, о котором ты слышал, но которого ты никогда не видел. Мы жили среди разных племен, и я выросла и стала женщиной. Но Кинуз, сделавшись стар, не взял себе другой женщины, и я не взяла себе мужа. Наконец мы пришли в Пэстилик, туда, где Юкон вливается в Великое Туманное море. Здесь мы долго жили на краю моря среди народа, ненавидевшего русских. Но иногда они приходили, эти русские, на больших кораблях и заставляли жителей Пэстилика показывать им дорогу между бесчисленными островами у устья Юкона. И иногда люди, которых они брали с собою, чтобы показать им дорогу, не возвращались.

Наконец народ этот не мог выносить дольше и задумал великое дело.

— И когда пришел корабль, Старый Кинуз выступил и сказал, что покажет русским путь. Он был тогда уже стариком, и волосы его были седы. Но он был бесстрашен. И он был хитер, ибо повел корабль туда, где море стремится к берегу и где волны бьют белой пеной о гору, называемую Романовой. Море унесло корабль туда, где волны бьют о берег; он был выброшен на берег и разбился о скалы. Тогда пришли люди из Пэстилика (ибо в этом заключался их замысел) с копьями, стрелами и немногими ружьями. Но перед этим русские выкололи глаза Старому Кинузу, чтобы он никогда больше не мог указывать дорогу. И затем началось сражение там, где волны бьют о берег, с людьми из Пэстилика.

— Во главе этих русских был Иван. Он сам, своими двумя большими пальцами, выдавил глаза Старого Кинуза. Затем с двумя людьми, оставшимися из всего его отряда, он пробился сквозь ряды противника, прошел через бурные воды и ушел вдоль берега Великого Туманного моря к северу. Он бежал от моря вверх по великому неведомому Юкону до Нулато. И я бежала с ним. Так поступил старик, мой отец. Но что сделал юноша Негор?

Снова она жестом заставила его молчать.

— Моими собственными глазами я видела в Нулато, перед воротами большой крепости, всего несколько дней назад, я видела, как тот самый русский Иван, который ослепил моего отца, ударил тебя собачьим кнутом и избил, как собаку. Я видела это и узнала, что ты трус. Но я тебя не видела в ту ночь, когда все твое племя — да, даже мальчики, не способные к охоте, — напало на русских и всех их перебило.

— Только не Ивана, — сказал спокойно Негор. — И сейчас он гонится за нами, и с ним много русских из-за моря.

Уна не пыталась скрыть своего удивления и сожаления, что Иван не убит. Но она продолжала:

— Днем я увидела, что ты трус; ночью, когда все мужчины и даже мальчики сражались, я тебя не видела и вторично убедилась в том, что ты трус.

— Ты кончила? Все сказала? — спросил Негор.

Она кивнула головой и посмотрела на него — как это он может что-нибудь вообще сказать.

— Знай же, что Негор — не трус, — так начал он спокойно и небрежно. — Знай, что когда я был еще мальчиком, я ходил один к месту, где Юкон вливается в Великое Туманное море. Я доходил до Пэстилика и даже дальше, вдоль края

моря. Я сделал это, когда я был мальчиком, и это показывает, что я не был трусом. И я не был также трусом, когда ходил молодым, совсем один, вдоль Юкона, дальше, чем кто-либо когда-нибудь заходил, — так далеко, что я пришел к другому народу, с белыми лицами, но говорящему на другом, чем русские, языке. Я убил также большого, очень большого медведя в стране Тананау, куда не заходил никто из моего народа. И я сражался с нуклукиетами и калтагами и с таксами в далеких местностях, — и все один. Об этих делах, о которых ни один человек не знает, я сам рассказываю. Пусть мои соплеменники расскажут о том, что я сделал и что им известно. Они не скажут, что Негор — трус.

Он с гордостью кончил и ждал ответа.

— Это случилось до моего прихода в эту страну, — сказала она, — и я ничего об этих делах не знаю. Я знаю только то, что видела, а я видела, как тебя избивали. Ночью же, когда великая крепость горела и люди убивали и сами умирали, я тебя не видела среди них. И люди твои теперь называют тебя — Негор-трус. Это теперь твое имя — Негор-трус.

— Это нехорошее имя, — проскрипел старик.

— Ты не понимаешь, Кинуз, — Негор говорил

незлобиво, — но я объясню тебе. Знай же, что я был на охоте за медведем с Камо-Та, сыном моей матери. И Камо-Та боролся с большим медведем. Мы не имели мяса в течение трех дней, и Камо-Та был недостаточно силен и ловок. Большой медведь сдавил его так, что кости его хрустели, как сухие палки. Я нашёл его, больного и стонущего, на земле. И не было мяса, и я не мог ничего убить, что он мог бы есть.

— Тогда я сказал: «Я пойду в Нулато и принесу тебе пищу, а также приведу сильных людей, чтобы отнести тебя в стоянку». Но Камо-Та сказал: «Иди в Нулато и принеси пищу, но не говори ни слова о том, что со мной случилось. Тогда я вернусь с честью в Нулато, и никто не будет смеяться и не скажет, что Камо-Та был побежден медведем». Я послушался моего брата, и, когда вернулся и русский, по имени Иван, ударил меня кнутом, я знал, что не могу сопротивляться. Ибо никто не знал про Камо-Та, больного, стонущего и голодного. Если бы я дрался с Иваном и умер бы, мой брат также бы умер. Поэтому-то, Уна, ты и видела, что меня били, как собаку. В это время я слышал разговор шаманов и вождей о том, что русские разнесли среди наших людей неведомую болезнь, что они убили многих из нас

и похитили наших женщин. Говорили, что земля должна быть очищена от этих пришельцев. Я слышал этот разговор и знал, что это добрые речи и что в эту ночь русские должны быть убиты. Но мой брат Камо-Та был болен и не имел пищи. И поэтому я не мог остаться и сражаться вместе с мужчинами и мальчиками, не способными еще к охоте.

Я унес с собой мясо и рыбу и следы от ударов Ивана. Но я нашел, что Камо-Та уже не стонет — он умер. Тогда я вернулся в Нулато, но не было уже Нулато — только пепел чернел и валялись трупы многих людей в том месте, где стояла великая крепость. И я видел, как русские поднимались вверх по Юкону в лодках. Было много русских, пришедших с моря. И я видел, как Иван выполз из того места, где прятался, и вел с ними разговор. И на следующий день я видел, что Иван ведет их по следу нашего племени. И сейчас они идут по этому следу. Я же здесь, я, Негор. Ия — не трус.

— Я слышу этот рассказ, — сказала Уна, и голос ее звучал мягче, чем прежде. — Но Камо-Та умер и не может сказать за тебя слова. И я знаю только то, что я видела. Я должна собственными глазами увидеть, что ты не трус.

Негор сделал нетерпеливое движение.

— По-разному можно это сделать, — продолжала она. — Хочешь сделать не менее того, что сделал Старый Кинуз?

Он кивнул головой и ждал.

— Ты сказал, что эти русские и сейчас нас ищут. Негор, покажи им путь так же, как когда-то Старый Кинуз. Пусть придут они, ничего не подозревая, к тому же месту, где мы их будем ждать, — к проходу между скалами. Ты знаешь место, где скалистая стена высока и изломана. Там мы их уничтожим, во главе с Иваном. Когда они будут, подобно мухам, цепляться за скалы, наши люди нападут на них с обеих сторон с копьями, стрелами и ружьями. Сверху женщины и дети будут скатывать на них обломки скал. Это будет великий день. Русские погибнут, и страна наша будет очищена. Иван же, тот самый Иван, который ослепил моего отца и избил тебя плетью для собак, будет также убит. Он умрет, как бешеная собака, раздавленный скалами. А когда начнется сражение, ты, Негор, должен тайком уползти, так, чтобы тебя не убили.

— Хорошо, — ответил он. — Негор покажет им дорогу. А потом?

— Тогда я буду твоей женой, Негор, — женой храброго человека. Ты будешь охотиться для

меня и Старого Кинуза, и я буду готовить тебе пищу и шить тебе теплое, крепкое платье и сделаю тебе обувь по образцу моего народа — она будет лучше, чем та, которую у вас носят. И я буду с этого дня всегда твоей женой. Я сделаю твою жизнь радостной, так что все твои дни будут полны песнями и смехом, и ты узнаешь, что Уна не похожа на других женщин. Она путешествовала в далеких странах и видела неведомые места, и она стала мудрой — мудрой, как мужчина, такой мудрой, что умеет доставлять им радость. И в старости твоей она будет давать тебе радость. И твои воспоминания о ней, о том, какой была она в дни твоей молодости, будут сладки. Ибо ты будешь знать всегда, что она была для тебя облегчением, миром, отдыхом и была лучшей для тебя женой, чем другие женщины для других мужчин.

— Пусть будет так, — сказал Негор, и страсть по ней съедала его сердце, и объятия его раскрывались для нее — как руки голодного человека тянутся за пищей.

— Только тогда, когда покажешь им дорогу, Негор… — остановила она его. Но глаза ее были нежны и влажны, и он знал, что она смотрит на него так, как никогда еще женщина на него не смотрела.

— Хорошо, — сказал он и повернулся решительно. — Я пойду сейчас переговорить с вождями. Пусть они знают, что я иду показать дорогу русским.

— О, Негор, мой муж! Мой муж! — прошептала она вполголоса, глядя ему вслед. Но она сказала это тихо — даже Старый Кинуз не услышал, несмотря на то, что слух его со времени ослепления стал очень чуток.

Через три дня русские вытащили Негора, как крысу, из ущелья, куда он спрятался. Его привели к Ивану, «Ивану Грозному», как звали его те, кто за ним следовал. Негор был вооружен плохим копьем с костяным наконечником. Он кутался в свой заячий тулуп и дрожал как в лихорадке, несмотря на то, что день был жаркий. Он качал головой, показывая, что не понимает слов Ивана, и делал вид, что очень устал и болен и хочет только отдохнуть. Он указывал на свой желудок, объясняя, где у него болит, и продолжал сильно дрожать. Но с Иваном был человек из Пэстилика, говоривший на языке Негора. Они долго тщетно расспрашивали Негора про его племя, пока, наконец, человек из Пэстилика, по имени Кардук, не сказал:

— Иван приказал, чтобы тебя засекли до смер-

ти, если ты не будешь говорить. И знай, мой незнакомый брат, что слово Ивана — закон. Я — твой друг, а Иван — враг. Ибо я не добровольно покинул свою страну у моря. Но я хочу жить и поэтому подчиняюсь воле моего повелителя. И ты будешь исполнять его приказания, если ты разумен и хочешь жить.

— Незнакомый брат мой, — ответил Негор, — я в самом деле не знаю, куда ушел мой народ, ибо я был болен и мои ноги изменили мне и я отстал от них.

Негор ждал, пока Кардук говорил с Иваном. Затем он увидел, что лицо русского потемнело, и, по знаку его двое людей подошли к Негору с двух сторон, щелкая в воздухе тяжелыми плетьми. Тогда он представился сильно испуганным и громко кричал, что он больной человек и ничего не знает, но он скажет то, что знает. И так хорошо он им рассказал, что Иван приказал своим людям двинуться вперед. Рядом же с Негором шли люди с плетьми, чтобы он не мог убежать. И когда он говорил, что ослабел от болезни, и отставал от них, они его секли до тех пор, пока он не кричал от боли и не находил сил идти дальше. Когда же Кардук сказал ему, что все для него изменится к лучшему, как только они догонят его племя,

он спросил: «И тогда я смогу отдохнуть и не двигаться?»

Он постоянно повторял этот вопрос: «И тогда мне можно будет отдохнуть и не двигаться?»

В то же время, прикидываясь очень больным и осматриваясь мутными глазами по сторонам, он подсчитывал людей, входивших в отряд. Вместе с тем он убедился, что Иван не узнал в кем человека, которого бил перед воротами крепости. Странное сборище представилось его глазам. Здесь были охотники славянского происхождения с белой кожей и могучими мускулами; короткие, коренастые финны со сплющенными носами и круглыми лицами; уроженцы Сибири, чьи носы были похожи на орлиные клювы; были и худые люди с раскосыми глазами, в жилах которых монгольская и татарская кровь смешивалась со славянской. Это все были полудикие искатели приключений из далеких стран за Беринговым морем. Огнем и мечом они завоевывали новые земли и жадно захватывали их богатства — пушнину и кожу. Негор глядел на них с удовлетворением, мысленно представляя себе, как они лежат раздавленные и безжизненные в скалистом проходе. И всегда рядом с этим он видел лицо и облик Уны, ожидающей его наверху

в скалах, и постоянно голос ее звучал в его ушах, и он чувствовал на себе теплый и нежный блеск ее глаз. Но вместе с тем он не забывал прикидываться больным и спотыкался там, где путь был труден. И по-прежнему кричал под ударами плети. При этом он все время опасался Кардука, так как знал, что ему доверяться нельзя. У него был фальшивый взгляд и слишком болтливый язык, слишком болтливый и гладкий, думал Негор, не похожий на простую, честную речь.

Весь день они шли. На следующий день, когда Кардук, по приказу Ивана, задал вопрос Негору, последний ответил, что вряд ли они встретят племя раньше завтрашнего дня. Но Иван, с тех пор как он доверился указаниям Старого Кинуза и жестоко за это поплатился, ни во что больше не верил. Поэтому, когда они пришли к проходу среди скал, он остановил свои сорок человек и спросил через Кардука: «Свободна ли дорога?» Негор осмотрел ее покорным взглядом. Это был широкий спуск, ведущий вдоль скалы, и весь он был покрыт кустарником и ползучими растениями, где могли хорошо спрятаться десятки племен.

Он покачал головой.

— Там ничего нет, — сказал он, — дорога сво-

бодна.

Снова Иван переговорил с Кардуком, и последний сказал:

— Знай, незнакомый брат, что если твои указания неправильны, если твой народ загородит путь или нападет на отряд Ивана, ты тотчас же умрешь.

— Я указываю правильно, — сказал Негор, — дорога свободна.

Но Иван не доверял и приказал двум из своих охотников подняться на вершину скалы. Двое других стали, по его приказу, по обе стороны Негора. Они приставили свои ружья к его груди и остановились, выжидая. Весь отряд ждал. И Негор знал, что если вылетит хоть одна стрела или копье, — он умрет. Два охотника лезли все выше и выше. И когда они дошли до вершины и махнули шапками в знак того, что все в порядке, они казались маленькими черными точками на фоне светлого неба.

Ружья были отведены от груди Негора, и Иван приказал двинуться вперед. Иван молчал, задумавшись. Около часа он шел, как бы что-то обдумывая, и тогда, через Кардука, спросил Негора:

— Как ты знал, что дорога свободна, не осмот-

рев ее?

Негор подумал о птицах, которых он видел сидящими на скалах и в кустах, и улыбнулся: это было так просто. Но он пожал плечами и ничего не ответил. Он думал о другом проходе в скалах, куда они направились, и где птиц уже не будет. И он был рад, что Кардук — уроженец берегов Великого Туманного моря, где нет деревьев и кустарников и где люди обучаются морскому искусству, а не искусству равнин и леса.

Три часа спустя, когда солнце было высоко на небе, они пришли ко второму проходу в скалах, и Кардук сказал:

— Смотри во все глаза, незнакомый брат, ибо Иван на этот раз не намерен ждать, пока люди пройдут вперед осмотреть дорогу.

Негор посмотрел, а рядом с ним стояло двое людей с ружьями, приставленными к его груди. Он увидел, что все птицы улетели, и в одном месте он заметил блеск ружейного дула на солнце. И он подумал об Уне и вспомнил ее слова: «Когда сражение начнется, ты должен тайком скрыться, чтобы не быть убитым».

Два дула упирались в его грудь. Это было не совсем то, на что она рассчитывала. Очевидно, нельзя будет никуда уйти. Он умрет первым,

когда начнется сражение. И он сказал твердым голосом, но как бы от болезни продолжая дрожать:

— Дорога свободна.

Иван двинулся вперед со своими сорока людьми из далеких стран за Беринговым морем. За ним шел человек из Пэстилика, Кардук, и Негор, к груди которого приставлены были ружья. Подъем был долгий, и они не могли двигаться быстро. Но Негору казалось, что они очень быстро приближаются к середине прохода, где была засада.

В скалах направо раздался выстрел. Негор услышал боевой клич своего племени и в течение секунды успел увидеть, что скалы и кусты как бы ощетинились выступившими из-за них толпами его одноплеменников.

Затем он почувствовал, что внезапно огненный взрыв словно разрывает его пополам. Он упал, ощущая острую боль: в его изнемогающем теле жизнь боролась со смертью.

Он держался за свою жизнь с жадностью скупого, цепляющегося за свои сокровища. Он все еще дышал, и воздух наполнял его легкие мучительной сладостью. Смутно до его сознания доходили проблески света и волны звуков. И смутно он видел, как падают, умирая, охотники Ивана, и как со всех сторон стекаются к месту избиения

его братья, наполняя воздух криками и шумом оружия. А сверху женщины и дети сбрасывают громадные глыбы, которые прыгают, как живые существа, и с грохотом падают вниз.

Солнце плясало над ним в небе; огромные скалы колебались и качались, а он все еще смутно слышал и видел. Когда же грозный Иван упал у его ног, безжизненный, раздавленный упавшей глыбой, он вспомнил слепые глаза Старого Кинуза — и радовался.

Затем звуки замерли, глыбы больше не скатывались мимо него, и он видел, как люди его племени подходят все ближе и добивают раненых копьями. Он смутно различал, как рядом с ним могучий русский охотник поднимается в последней схватке за свою жизнь и падает, пронзенный десятками копий.

Затем он увидел над собою лицо Уны и ощутил ее объятья. И на мгновение солнце остановилось и громадные колеблющиеся стены скал застыли.

— Ты храбрый человек, Негор, — услышал он ее голос. — Ты мой муж, Негор.

И в это мгновение он пережил всю ту жизнь радости, какую она ему сулила, и обещанные ею смех и песни. И в то время как в небе медленно исчезало для него солнце и жизнь его постепенно

отливала, он был объят сладостным воспоминанием об Уне. И по мере того как память его тускнела и бледнела и проблески ее сменялись нарастающей темнотой, он узнавал в объятьях любимой действительность предвещанного ему отдыха, исполнение предсказанного ему покоя. Когда же черная ночь охватила его, лежащего на ее груди, он ощутил великий мир, проникающий вселенную, он познал в замирании уходящих сумерек таинственное наступление Тишины.

ДЖЕК ЛОНДОН
«ДОРОГА» (СБОРНИК РАССКАЗОВ)

Признание

В штате Невада есть женщина, которой я однажды на протяжении нескольких часов лгал упорно, последовательно и нагло. Я не винюсь перед ней — упаси бог! Но объяснить ей кое-что мне бы хотелось. К сожалению, я не знаю ни имени ее, ни тем более теперешнего адреса. Может, ей случайно попадутся эти строки, и она не откажется черкнуть мне несколько слов.

Это было в городе Рено, штат Невада, летом тысяча восемьсот девяносто второго года. Время стояло ярмарочное, и пропасть жулья и всякого продувного народа наводнила город, не говоря уж о бродягах, налетевших голодной саранчой. Собственно, голодные бродяги и делали город «голодным». Они так настойчиво толкались в двери с черного хода, что двери притаились и молчали.

«В таком городе не больно разживешься», — говорили бродяги. Мне, во всяком случае, то и дело приходилось «забывать про обед», хоть я мог с кем угодно потягаться, когда надо было «перехватить взаймы», «пострелять», забрести «на дымок», «напроситься в гости» или подцепить на улице

«легкую монету». И так не повезло мне в этом городишке, что в один прекрасный день, увернувшись от проводника, я вторгся очертя голову в неприкосновенный вагон, личную собственность какого-то бродячего миллионера. Поезд как раз тронулся, когда я вскочил на площадку вагона и устремился к его хозяину, преследуемый по пятам проводником, который уже простирал руки, готовясь меня схватить. Гонка была отчаянная: не успел я настичь миллионера, как мой преследователь настиг меня. Тут уж было не до обмена приветствиями. Задыхаясь, я выпалил: «Дайте четвертак — пожрать!» И, клянусь вам, миллионер полез в карман и дал мне… ровным счетом… двадцать пять центов. Мне думается, он был так ошеломлен, что действовал машинально. Я по сю пору простить себе не могу, что не нагрел его на доллар. Уверен, что он дал бы и доллар. Я тут же соскочил на ходу, к великому разочарованию проводника, который всячески норовил залепить мне по физиономии, без особого, впрочем, успеха. Но незавидное, скажу я вам, положение: представьте, что вы висите на поручне вагона и прыгаете с нижней ступеньки, стараясь не разбиться, а в это самое время разъяренный эфиоп, стоя на площадке, тычет вам в лицо сапожищем

сорок шестого размера! Но как бы там ни было, а деньгами я разжился!

Однако вернемся к женщине, которой я так безбожно лгал. В тот день я уже намеревался отбыть из Рено. Дело было под вечер. Я задержался на бегах

— любопытно было поглядеть на тамошних лошадок — и не успел, что называется, «перекусить», вернее, не ел с утра. Аппетит у меня разыгрался, а между тем мне было известно, что в городе организован комитет безопасности и что ему надлежит избавить жителей от голодных бродяг, вроде меня, грешного. Немало бездомных моих собратьев попало уже в руки Закона, и солнечные долины Калифорнии тем неотступнее звали меня перемахнуть через хмурые гребни Сиерры. Но прежде чем отрясти от ног своих пыль города Рено, мне надо было решить две задачи: первая — еще этим вечером забраться на «глухую» площадку в поезде дальнего следования, идущем на запад, и вторая — слегка подкрепиться на дорогу. Ибо, даже если вы молоды, вам не понравится на голодный желудок трястись целую ночь напролет где-нибудь на площадке или крыше вагона, мчащегося во весь опор сквозь бураны и тоннели, мимо устремлен-

ных в небо снеговых вершин.

Но подкрепиться было не так-то просто. Меня уже «попросили» из десятка домов. По моему адресу то и дело летели нелестные замечания вроде того, что по мне скучает некий уютный уголок за решеткой и что это самое подходящее для меня место. Увы, все эти замечания были недалеки от истины. Потому-то я и собирался этим вечером податься на запад. В городе хозяйничал Закон, он охотился за сирыми и голодными, этими повседневными жильцами его владений за решеткой.

Были дома, где двери захлопывались у меня перед носом, обрывая на полуслове мою учтивую, нарочито смиренную просьбу пожертвовать что-нибудь на пропитание. В одном доме мне и вовсе не открыли. Я стоял на крыльце и стучался, а в окне стояли люди и глазели на незваного гостя. Кто-то поднял на руки упитанного бутуза, чтобы и он через головы взрослых полюбовался на бродягу, которого в этом доме не намерены были покормить.

Я уже подумывал перенести свои поиски в кварталы бедняков. Бедняк — это последний и верный оплот голодного бродяги. На бедняка всегда можно положиться: он не прогонит голодного от своего порога. Как часто, странствуя по

Штатам, я безуспешно стучал в двери роскошных особняков на вершине холма; но не было случая, чтобы где-нибудь в речной низине или на гнилом болоте из лачуги с разбитыми окошками, заткнутыми тряпьем, не показалась изнуренная работой женщина и по-матерински приветливо не предложила мне зайти. О вы, лицемеры, проповедующие милосердие! Ступайте к беднякам и поучитесь у них, ибо только бедняк знает, что такое милосердие. Бедняк дает — или отказывает — не от избытков своих. Какие у него избытки! Он дает — и никогда не отказывает — от бедности своей и часто делится последним. Кость, брошенная псу, не говорит о милосердии. Милосердие — это кость, которую делишь с голодным псом, когда ты так же голоден, как и он.

Особенно запомнился мне разговор в одном доме, где меня в этот вечер выставили за порог. Окна столовой выходили на террасу, и я увидел человека, который, сидя за столом, уписывал пудинг — большущий мясной пудинг. Я стоял у двери, и, разговаривая со мной, он ни на минуту не отрывался от еды. Это был преуспевающий делец, с вершин успеха презрительно взиравший на тех, кому не повезло в жизни.

Он грубо оборвал мою просьбу дать мне поесть,

прорычав сквозь зубы:

— Работать, небось, не хочешь?

Странный ответ! Ведь я и не заикнулся о работе. Речь шла о еде. Я и в самом деле не намерен был работать: я собирался этой же ночью поймать поезд, идущий на запад.

— Дай тебе работу, ты наверняка откажешься, — язвительно продолжал он.

Я взглянул на его робкую жену и понял, что только присутствие этого цербера мешает мне получить свою долю угощения. А между тем цербер продолжал уплетать пудинг. Обстоятельства требовали уступок, и я скрепя сердце сделал вид, будто согласен с его моралью о необходимости работать.

— Разумеется, я хочу работать, — солгал я.

— Враки! — презрительно фыркнул он.

— А вы испытайте меня, — настаивал я с задором.

— Ладно, — сказал он. — Приходи завтра туда-то и туда-то (я забыл куда), ну, где погорелый дом. Я поставлю тебя разбирать кирпич.

— Слушаюсь! Приду непременно.

Он что-то хрюкнул и опять уткнулся в тарелку. Я не уходил. Прошла минута, другая, и он воззрился на меня: какого, дескать, черта тебе еще надо?

— Ну! — властно гаркнул он.

— Я… А вы не покормите меня? — спросил я как можно деликатнее.

— Так я и знал, что ты не хочешь работать! — заорал он.

Положим, он был прав, но ведь это значит заниматься чтением мыслей; с точки зрения логики, его рассуждения никуда не годились. Однако нищему у порога приличествует смирение, и я принял его логику, как раньше его мораль.

— Видите ли, — продолжал я так же деликатно. — Я уже сейчас голоден. Что же будет со мной завтра! А ведь мне предстоит таскать кирпич, легко ли целый день работать на голодный желудок? Покормите меня сегодня, и завтра мне будет как раз в пору возиться с вашим кирпичом.

Не переставая жевать, он как будто задумался над моими словами. Я видел, что робкая жена готова за меня заступиться, но она так и не собралась с духом.

— Вот что я сделаю, — сказал он, дожевав один кусок и принимаясь за другой. — Выходи утром на работу, а в полдень, так и быть, дам тебе немного вперед, чтобы ты мог пообедать. Тогда будет ясно, хочешь ты работать или нет.

— А пока что… — начал я, но он не дал мне

договорить.

— Нет, голубчик, — сказал он. — Я вашего брата знаю. Вас накорми, а потом ищи ветра в поле. Посмотри на меня: я никому ни гроша не должен. Я в жизни ни у кого крошки хлеба не попросил и счел бы это за унижение. Я всегда жил на свои заработки. А твоя беда в том, что ты ведешь беспутную жизнь и бежишь от работы. Сразу видно, стоит на тебя посмотреть! Я всегда жил честным трудом. Я одному себе обязан тем, что вышел в люди. И ты можешь добиться того же, возьмись только за ум и стань честным тружеником.

— Таким, как вы? — спросил я.

Увы, заскорузлая душа этого человека, болтавшего о труде, была недоступна юмору.

— Да, — буркнул он, — таким, как я.

— И вы это каждому посоветуете?

— Да, каждому, — сказал он убежденно.

— Но если все станут такими, как вы, кто будет таскать для вас кирпич, позвольте вас спросить?

Клянусь, в глазах его жены мелькнуло некое подобие улыбки. Что касается его самого, то он был взбешен — то ли пугающей перспективой жить в новом, преображенном обществе, где некому будет таскать для него кирпич, то ли моей наглостью, — затрудняюсь сказать.

— Довольно! — взревел он. — Я не намерен больше с тобой разговаривать! Вон отсюда, щенок неблагодарный!

Я переступил с ноги на ногу в знак того, что не стану утруждать его своим присутствием, и только спросил:

— Значит, вы меня не покормите?

Он вскочил. Это был человек внушительных размеров. Я же чувствовал себя чужаком на чужой стороне, и за мной охотился Закон. Надо было убираться подобру-поздорову. «Но почему же неблагодарный? — спрашивал я себя, с треском захлопывая калитку. — За какие милости должен я его благодарить?» Я оглянулся. Его фигура все еще маячила в окне. Он опять набросился на пудинг.

Но тут мужество оставило меня. Я проходил мимо десятка дверей, не решаясь постучать. Все дома были на одно лицо, и ни один не внушал доверия. Только пройдя несколько кварталов, я приободрился и взял себя в руки. Попрошайничество было для меня своего рода азартом: если мне не нравилась моя игра, я всегда мог стасовать карты и пересдать. Я решил сделать новую попытку — постучаться в первый попавшийся дом. Сумерки спускались на землю, когда, обойдя

вокруг дома, я остановился у черного хода.

На мой робкий стук вышла женщина средних лет, и при первом же взгляде на ее милое, приветливое лицо меня словно осенило: я уже знал наперед, что я ей расскажу. Ибо, да будет это известно, успех бродяги зависит от его способности выдумать хорошую «историю». Попрошайка должен прежде всего «прикинуть на глазок», что представляет собой его жертва, и сообразно с этим сочинить «историю» применительно к нраву и темпераменту слушателя. Главная трудность здесь в том, что, еще не раскусив свою жертву, он уже должен приступить к рассказу. Ни минуты не дается ему на размышление. Мигом изволь разгадать стоящего перед тобой человека и придумать нечто такое, что брало бы за сердце. Бродяга должен быть артистом. Он импровизирует по наитию и тему черпает не в преизбытке своего воображения,

— тему подсказывает ему лицо человека, вышедшего на его стук, будь то лицо мужчины, женщины или ребенка, иудея или язычника, человека белой или цветной расы, зараженного расовыми предрассудками или свободного от них, доброе или злое, приветливое или отталкивающее, говорящее о щедрости или о скупости,

о широте мировоззрения или мещанской ограниченности. Мне не раз приходило в голову, что своим писательским успехом я в значительной мере обязан этой учебе на дороге. Чтобы добыть дневное пропитание, мне вечно приходилось что-то выдумывать, памятуя, что рассказ мой должен дышать правдой. Та искренность и убедительность, в которых, по мнению знатоков, и заключается искусство короткого рассказа, рождены на черной лестнице жестокой необходимостью. Я убежден, что писателем-реалистом сделала меня школа бродяжничества. Реалистическое искусство — это единственный товар, за который вам на черной лестнице дадут кусок хлеба.

Всякое искусство в конечном счете — изощренное надувательство, и только известная ловкость помогает рассказчику сводить концы с концами. Помню, как мне пришлось изворачиваться и лгать в полицейском участке города Виннипега, в провинции Манитоба. Я направлялся на запад по Канадско-Тихоокеанской дороге. Разумеется, полисмены пожелали услышать мою биографию, и я стал врать напропалую. Это были сухопутные крысы, не нюхавшие моря, а в таких случаях нет ничего лучше, нежели морской рассказ. Тут уж

ври, что бог на душу положит, никто не придерется. И я рассказал им чувствительную историю о том, как мне пришлось служить на судне «Гленмор» (в Сан-Францисском заливе я видел судно с таким названием).

Я отрекомендовался англичанином и сказал, что служил на корабле юнгой. Мне возразили, что говорю я отнюдь не как англичанин. Надо было как-то выкрутиться, и я сказал, что родился и вырос в Соединенных Штатах, но после смерти родителей был отослан к дедушке и бабушке в Англию. Они-то и отдали меня в учение на «Гленмор». И — да простит мне капитан «Гленмора»

— досталось же ему в тот вечер в виннипегском полицейском участке: это был злодей, изверг, мучитель, наделенный изуверской изобретательностью. Вот почему в Монреале я дезертировал с корабля.

Но если дедушка и бабушка у меня живут в Англии, почему же я оказался здесь, в самом сердце Канады, и держу путь на запад? Не долго думая, я вывел на сцену замужнюю сестру, проживающую в Калифорнии: сестра хочет взять меня к себе. И я вдался в подробное описание этой превосходной, добрейшей женщины. Однако жестокосердые полисмены этим не удовлетворились. Допустим,

что я в Англии нанялся на пароход. В каких же морях побывал «Гленмор» и какую он нес службу за истекшие два года? Делать нечего, я отправился с этими сухопутными крысами в дальнее плавание. Вместе со мной их трепало бурями и обдавало пеной разбушевавшихся стихий, вместе со мной они выдержали тайфун у японских берегов. Вместе со мной грузили и разгружали товары во всех портах Семи Морей. Я побывал с ними в Индии, в Рангуне и Китае, вместе со мной они пробивались через ледяные поля у мыса Горн, после чего мы наконец благополучно ошвартовались у Монреаля.

Тут они предложили мне подождать, и один из полисменов нырнул в темноту ночи, оставив меня греться у огня и безуспешно гадать, какую еще ловушку мне готовят.

Сердце у меня екнуло, когда я увидел его на пороге, за плечом вернувшегося полисмена. Нет, не цыганская любовь к побрякушкам продела в эти уши серьги из тончайшей золотой проволоки; не ветры прерий дубили эту кожу, превратив ее в измятый пергамент; не снежные заносы и горные кручи выработали эту характерную с развальцем походку. И разве не солнце Южных морей выбелило эти устремленные на меня глаза? Передо

мной — увы! — повелительно встала тема, на которую мне предстояло импровизировать под бдительным оком пяти полисменов, — мне, никогда не бывшему в Китае, не огибавшему мыса Горн, не видевшему ни Индии, ни Рангуна.

Отчаяние овладело мной. На лице этого закаленного бурями сына морей с золотыми серьгами в ушах я читал свой приговор. Кто он и что собой представляет? Я должен был разгадать его еще до того, как он разгадает меня. Мне надо было взять твердый курс, прежде чем стервецы-полисмены возьмут курс на то, чтобы переправить меня в тюремную камеру, в полицейский суд, в энное число тюремных камер. Если он первым начнет задавать вопросы, прежде чем я узнаю, что он знает, мне крышка.

Но выдал ли я свою растерянность виннипегским блюстителям порядка, сверлившим меня рысьими глазками? Как бы не так! Я встретил моряка восторженно, сияя от радости, с видом величайшего облегчения, какое испытывает тонущий, когда последним, судорожным усилием хватается за спасательный круг. Вот кто поймет меня и подтвердит мой правдивый рассказ этим ищейкам, не способным ничего понять, — таков был смысл того, что я всячески старался изобра-

зить. Я буквально вцепился в моряка и забросал его вопросами: кто он, откуда? Я как бы ручался этим судьям за честность своего спасителя еще до того, как он меня спасет.

Это был добродушный человек, его ничего не стоило обвести вокруг пальца. Наконец полисменам надоел учиненный мной допрос, и мне было приказано заткнуться. Я повиновался, а между тем голова моя напряженно работала над сценарием следующего акта. Я знал достаточно, чтобы отважиться на дальнейшее. Это был француз. Он плавал на французских торговых кораблях и только однажды нанялся на английское судно. А главное — вот удача! — он уже двадцать лет не выходил в море.

Полисмен торопил его, предлагая приступить к экзамену.

— Бывал в Рангуне? — осведомился моряк.

Я утвердительно кивнул.

— Мы оставили там нашего третьего помощника. Сильнейший приступ горячки.

Если бы он спросил, какой горячки, я сказал бы «септической», а сам, хоть убей, не знал, что это такое. Но он не спросил. Вместо этого он поинтересовался:

— Ну как там, в Рангуне?

— Недурно. Все время, пока мы там стояли, дождь лил как из ведра.

— Отпускали тебя на берег?

— А то как же! Мы, трое юнг, ездили на берег вместе.

— Храм помнишь?

— Это который же? — сманеврировал я.

— Ну, самый большой, с широкой лестницей.

Если бы я помнил храм, мне бы предложили описать его. Подо мной разверзлась бездна.

Я покачал головой.

— Да его видно с любого места в гавани, — пояснил он. — Даже не сходя с корабля.

Я всегда был равнодушен к храмам. Но этот рангунский храм я просто возненавидел. И я расправился с ним без сожаления.

— Ошибаетесь, — сказал я. — Его не видно из гавани. Его не видно из города. Его не видно даже с вершины лестницы. Потому что, — я остановился, чтобы усилить впечатление, — потому что там нет никакого храма.

— Но я видел его собственными глазами! — воскликнул моряк.

— Это в котором же году? — допрашивал я.

— В семьдесят первом.

— Храм был уничтожен великим землетрясе-

нием тысяча восемьсот восемьдесят седьмого года, — объявил я. — Он был очень старый.

Наступило молчание. Перед потускневшим взором моего собеседника оживало видение юношеских лет: прекрасный храм на берегу далекого моря.

— Лестница сохранилась, — поспешил я утешить его. — Ее видно из любой точки гавани. А помните небольшой остров, направо, у самого входа в порт?

— Очевидно, там был такой остров (я уже приготовился перенести его налево), потому что он кивнул в ответ. — Его точно языком слизало! Там теперь семь морских саженей глубины.

Я перевел дыхание и, пока он размышлял о том, как все меняется на свете, придумывал для своей повести заключительные штрихи.

— А помните Бомбейскую таможню?

Да, он ее помнил.

— Сгорела дотла, — объявил я.

— А ты помнишь Джима Уона? — спросил он, в свою очередь.

— Помер, — сказал я, хоть я понятия не имел, кто такой Джим Уон.

Опять подо мной затрещал лед.

— А помните в Шанхае Билли Харпера? — пере-

шел я в наступление.

Старый моряк тщетно ворошил свои поблекшие воспоминания — ничто не напоминало ему о мифическом Билли Харпере.

— Ну, ясно, вы помните Билли Харпера, — настаивал я. — Его ж все знают! Он уже сорок лет там безвыездно. Ну, так представьте, он и сейчас там, ничего ему не делается.

И тут случилось чудо. Старый моряк вспомнил Билли Харпера! Может, и правда был такой Билли Харпер, может, он и правда сорок лет назад приехал в Шанхай и живет там поныне. Для меня, во всяком случае, это была новость.

Еще битых полчаса толковали мы с ним, и все в таком же роде. Наконец он сказал полисмену, что я гот, за кого себя выдаю. Я переночевал в участке и даже получил утром завтрак и мог без помехи продолжать свое путешествие к замужней сестре в Сан-Франциско.

Но вернемся к женщине в городе Рено, открывшей мне дверь в тихий вечерний час, когда на землю ложились сумерки. Достаточно было взгляда на ее милое, приветливое лицо, и я уже знал, какую роль мне придется играть перед ней. Я почувствовал себя славным, простодушным малым, которому не повезло в жизни. Я откры-

вал и закрывал рот, показывая, как трудно мне заговорить: ведь я в жизни ни к кому не обращался за куском хлеба. Мною владела крайняя, мучительная растерянность. Мне было стыдно. Я, смотревший на попрошайничество, как на забавное озорство, вдруг обернулся этаким сынком миссис Грэнди[84], зараженным всеми ее буржуазными предрассудками. Только пытки голода могли толкнуть меня на постыдное и унизительное попрошайничество. И я старался изобразить на лице тоску и смятение бесхитростного юноши, доведенного до отчаяния длительной голодовкой и впервые протягивающего руку за подаянием.

— Бедный мальчик, вы голодны, — сказала она.

Я-таки заставил ее заговорить первой.

Я кивнул и проглотил непрошенные слезы.

— Мне еще никогда, никогда не приходилось... просить, — пробормотал я.

— Да заходите же! — Она широко распахнула дверь. — Мы, правда, отужинали, но плита еще топится, я приготовлю вам что-нибудь на скорую руку.

Когда я вступил в полосу света, она пристально

---

[84] notes: 84

Миссис Грэнди — персонаж популярной пьесы английского драматурга Мортона (1764 — 1838), олицетворение ханжества.

поглядела на меня.

— Экий вы статный и крепкий, — сказала она. — Не то что мой сынок. Он у меня страдает припадками. Вот и сегодня упал бедняжка и разбился.

В ее голосе было столько материнской ласки, что я потянулся к ней всем существом. Я взглянул на ее сына. Он сидел против меня за столом, худой и бледный, голова в бинтах. Он не шевелился, и только его глаза, в которых отражался свет лампы, испытующе удивленно уставились на меня.

— Точь-в-точь мой бедный папа, — сказал я. — Он тоже падал. Это такая болезнь — кружится голова. Доктора не знали, что и думать.

— Ваш папа умер? — осторожно спросила она, ставя передо мной тарелку, на которой лежал пяток сваренных всмятку яиц.

— Умер. — Я снова проглотил воображаемые слезы. — Две недели назад. Вдруг, у меня на глазах. Мы переходили улицу, он упал на мостовую… И так и не пришел в сознание. Его отнесли в аптеку: там он и скончался.

И я стал рассказывать ей грустную повесть о моем отце, как после смерти матушки мы оставили наше ранчо и поселились в Сан-Франциско. Как его пенсии (он был старый солдат) и неболь-

ших сбережений нам не хватало, и он сделался агентом по распространению печатных изданий. Я рассказал также о собственных злоключениях, как после смерти отца я очутился на улице и несколько дней, одинокий и потерянный, бродил по городу. Пока добрая женщина разогревала мне бисквиты, жарила ломтики грудинки и варила новую партию яиц, я, расправляясь со всем этим, продолжал набрасывать портрет бедного, осиротевшего юноши, вписывая в него все новые детали. Я и в самом деле превратился в этого бедного юношу. Он был для меня такой же действительностью, как яйца, которые я уплетал. Я готов был плакать над собственными горестями, и раза два голос мой прерывался от слез. Это было здорово, скажу я вам!

И положительно каждый мазок, которым я оживлял этот портрет, находил отзвук в ее чуткой душе, и она удесятеряла свои милости. Она собрала мне еды в дорогу, завернула крутые яйца, перец, соль и еще какую-то снедь да большое яблоко в придачу. Подарила мне три пары красных плотных шерстяных носков, надавала чистых носовых платков и еще невесть чего — всего и не упомнишь. И все время она готовила мне новые и новые блюда, которые я исправно уни-

чтожал. Я обжирался, как дикарь. Перевалить через Сиерру на положении бесплатного груза было весьма серьезным предприятием, а ведь я понятия не имел, когда и где приведется следующий раз пообедать. И все время, подобно черепу, напоминающему за пиршеством о смерти, ее собственный злосчастный сын сидел тихо, не шелохнувшись, и не сводил с меня немигающих глаз. Должно быть, я был для него воплощенной загадкой, романтическим приключением — всем тем, на что не мог его подвигнуть слабый огонек жизни, чуть теплившийся в тщедушном теле. И все же на меня нет-нет да и нападало сомнение: а не видят ли эти глаза насквозь все мое фальшивое, изолгавшееся нутро?

— Куда же вы едете? — спросила женщина.

— В Солт-Лейк-Сити, — ответил я. — Там живет моя сестра. Она замужем (у меня был минутный соблазн объявить сестру мормонкой, не я вовремя одумался). У зятя водопроводная контора, он берет подряды.

Я тут же спохватился, что водопроводчики, берущие подряды, как будто недурно зарабатывают, но слово уже сорвалось с языка, — пришлось пуститься в объяснения.

— Если б я написал, они, конечно, выслали б

мне на дорогу. Но оба они болеют, а теперь и дела у них пошатнулись. Зятя обобрал компаньон. Мне не хотелось вводить их в лишние расходы. Я знал, что как-нибудь доберусь, и написал, что наскребу на проезд до Солт-Лейк-Сити. Сестра у меня красавица, редкой доброты женщина. И очень ко мне привязана. Очевидно, я начну работать у шурина и со временем изучу дело. У сестры две девочки, обе меня моложе. Младшая — совсем еще ребенок.

Из всех замужних сестер, которых я рассеял по городам Соединенных Штатов, особенно близка моему сердцу сестра в Солт-Лейк-Сити. Это, можно сказать, вполне реальная личность. Рассказывая о ней, я воочию вижу ее, ее мужа водопроводчика и их маленьких девочек. Сестра — видная, рослая женщина с добрым лицом и заметной склонностью к полноте, — ну, знаете, одна из тех милых женщин, которых невозможно вывести из себя и которые славятся своим умением печь всякие вкусные штуки. Она цветущая брюнетка. Муж ее — тихий, покладистый человек. Порой мне кажется, что мы с ним старые приятели. Как знать, быть может, когда-нибудь я повстречаюсь с ним. Припомнил же тот старый моряк Билли Харпера! Так и я не теряю надежды встретиться с

мужем моей сестры, живущей в Солт-Лейк-Сити.

Зато я совершенно уверен, что никогда не увижу во плоти моих многочисленных родителей, а также бабушек и дедушек, да и не мудрено: ведь я неизменно спроваживал их на тот свет. Матушка преимущественно умирала от сердца, хотя иной раз я кончал с ней при помощи таких болезней, как чахотка, воспаление легких или тиф. Правда, виннипегские полисмены скажут вам, что в Лондоне у меня есть бабушка и дедушка и что они благополучно здравствуют, но ведь это бог весть когда было; можно сказать с уверенностью, что они давно умерли. Тем более, что писем от них я не получаю.

Надеюсь, моя добрая покровительница в городе Рено, прочтя эти строки, не прогневается на меня за некоторые отступления от истины и добропорядочности. Я не винюсь: мне нисколько перед ней не совестно. Юность, жизнерадостность и жажда приключений привели меня к ее порогу. Встреча с ней много дала мне. Она открыла мне естественную доброту человеческого сердца. Надеюсь, и ей эта встреча пошла на пользу. Во всяком случае, теперь, когда этот эпизод предстанет перед ней в новом, истинном свете, она, может быть, посмеется от души.

Но тогда мой рассказ не вызвал у нее сомнений. Она уверовала в меня и в мое семейство, и ее крайне заботила предстоявшая мне нелегкая поездка. Ее забота чуть не наделала мне беды. Когда я собрался уходить, нагрузившись припасами и рассовав носки по карманам, отчего последние заметно оттопырились, она вспомнила о племяннике, или дяде, или дальнем родственнике, возившем почту: он должен был этой ночью проследовать через Рено тем самым поездом, на котором мне предстояло ехать зайцем. Как это кстати! Она проводит меня на станцию, расскажет ему мою историю, и он спрячет меня у себя в почтовом вагоне. Таким образом, я в полной безопасности и без особых хлопот доберусь до Огдена, а оттуда рукой подать до Солт-Лейк-Сити. Сердце у меня упало. Она с все большим увлечением развивала мне свой план, а я слушал ее со стесненной душой и делал вид, что в восторге от этой удачи, разрешающей все мои затруднения.

Нечего сказать, удача! Мне надо было в тот же вечер сматываться на запад, а тут ни с того ни с сего, здорово живешь, отправляйся на восток! Это была форменная ловушка, но у меня не хватило мужества сказать моей покровительнице, что я бессовестно ее надул. И вот, прикидываясь, что я

счастлив и доволен, я тщетно ломал голову в поисках выхода. Но положение было безвыходное, она вознамерилась самолично посадить меня в почтовый вагон, а там ее родственник доставит меня в Огден. Изволь потом всеми правдами и неправдами пробираться назад через пустыню, которая тянется в этих местах на сотни миль.

Однако счастье благоприятствовало мне в тот вечер. Добрая женщина уже собиралась надеть шляпу, чтобы отвести меня на станцию, как вдруг спохватилась, что все перепутала. У ее родственника недавно изменилось расписание, его ждали в Рено не этой ночью, а лишь через двое суток. Итак, я был спасен, ибо какой нетерпеливый юнец согласится отложить выполнение своих планов на целых двое суток! Я самонадеянно заверил свою добрую покровительницу, что доберусь до Солт-Лейк-Сити скорее, если выеду сегодня же, и расстался с ней, напутствуемый ее благословениями и сердечными пожеланиями, которые еще долго отдавались в моих ушах.

Но каким сокровищем оказались ее шерстяные носки! Я убедился в этом той же ночью, путешествуя на глухой площадке в поезде дальнего следования, держащем путь на запад!

Держись!

Если не подведет шальная случайность и если — непременное условие — дело происходит ночью, всякий стоящий бродяга, молодой и проворный, может удержаться на поезде, вопреки стараниям кондукторов его ссадить. Достаточно такому бродяге проявить упорство, и он удержится, разве уж очень не повезет. Избавиться от него можно только одним из противозаконных образов, включая убийство. Среди бродяг утвердилось мнение, будто поездная прислуга не останавливается и перед убийством. За верность не ручаюсь, в бытность мою бродягой мне лично сталкиваться с этим не приходилось.

Но вот что я слышал о дорогах, пользующихся репутацией «скверных». Уж если бродяга «забрался под вагон», иначе говоря, устроился на раме, и поезд идет полным ходом, ничего с ним, по-видимому, не поделаешь — до самой остановки. Бродяга, прикорнувший на оси, в уютном соседстве с колесами и иными приспособлениями, плюет на всех — или так ему кажется, — пока не случится ему путешествовать по «скверной дороге». Скверная дорога обычно та, где незадол-

го был убит бродягами один, а то и несколько железнодорожных служащих. Горе бродяге, застигнутому под вагоном на такой дороге, — все равно ему крышка, делай поезд хоть шестьдесят миль в час.

Кондуктор, запасшись веревкой и муфтой сцепления, влезает на площадку впереди вагона, где едет бродяга. Прикрепив муфту к веревке, он спускает ее вниз между вагонами и начинает орудовать. Муфта, отлетая от шпал, стукается о платформу заднего вагона и опять ударяется о шпалы. Кондуктор травит веревку, посылая свой снаряд то вперед, то назад, то направо, то налево, предоставляя ему самое обширное поле действия. Каждый удар такого маятника смертелен, а при скорости шестьдесят миль в час он выбивает настоящую зорю смерти. Завтра путевой сторож соберет на полотне останки безбилетного пассажира, и в местной газете промелькнет несколько строк о том, что найден труп неизвестного, предположительно бродяги, должно быть, заплутавшегося, не иначе как в нетрезвом виде, и уснувшего на рельсах.

В качестве примера того, как бывалый бродяга может постоять за себя, приведу случай из своего опыта. Я направлялся из Оттавы на запад по

Канадско-Тихоокеанской, собираясь проехать по этой линии три тысячи миль Была поздняя осень, а мне предстояло пересечь Манитобу и Скалистые Горы. Каждый день могли ударить холода, и любая проволочка грозила путнику всеми прелестями зимней непогоды. К тому же я был в мерзейшем настроении. Между Монреалем и Оттавой всего лишь сто двадцать миль: мне ли не знать — ведь я только что проделал их, ухлопав ни много ни мало шесть дней. По оплошности я вместо главной магистрали угодил на какую-то паршивую ветку, по которой только дважды в день курсировали местные поезда. И все эти шесть дней я жил впроголодь, питаясь черствым хлебом, — единственное, что можно было выпросить у французских фермеров.

Мерзкое настроение мое еще усилилось после однодневной задержки в Оттаве, где я надеялся раздобыть хотя бы самую необходимую одежонку для предстоящей дальней дороги. Да будет известно миру, что для попрошайки, желающего освежить свой гардероб, Оттава, за одним-единственным исключением, самый никудышный город в Канаде и Соединенных Штатах. Исключение я делаю для Вашингтона, Вашингтон — это предел! Две недели промыкался я там, пытаясь

выпросить какие-нибудь опорки, и пришлось катать за ними до самого Нью-Джерси.

Но вернемся в Оттаву. Ровно в восемь утра отправился я в поход за одеждой. Я трудился, как колодник! Клянусь, я отшагал не менее сорока миль. Я обошел тысячи квартир и в каждой беседовал с хозяйкой. Я не дал себе времени даже пообедать. И вот к шести часам пополудни, после изнурительного трудового дня, мне все еще не хватало рубашки, а уж что до штанов, та неприглядная пара, которой удалось разжиться, была мне тесна и являла все признаки преждевременного распада.

В шесть я пошабашил и отправился на станцию, рассчитывая перекусить по дороге. Но меня по-прежнему преследовала неудача. Я заходил в один дом за другим и повсюду слышал отказ. Наконец мне вынесли «подаяние». Я воспрянул духом — такого объемистого подаяния мне еще не приходилось видеть за всю мою жизнь многоопытного попрошайки. Это был пакет, завернутый в несколько газетных листов, размером с небольшой чемодан. Я кинулся с ним на ближайший пустырь и развернул его. Первое, на что я наткнулся, были пирожные, затем еще пирожные, а там еще и еще, — словом, целый ас-

сортимент пирожных! Ничего, кроме пирожных! Тщетно искал я среди них основательного бутерброда с толстым аппетитным ломтем мяса — это были сплошь пирожные, а между тем, если есть что-нибудь, от чего у меня с души воротит, так это пирожные. Когда-то, в иные времена и при иных обстоятельствах, некий народ сидел и плакал на реках вавилонских; так и я, сидя на одном из пустырей канадской столицы, обливался слезами… над горою пирожных. Как злосчастный отец взирает на умершего сына, так я смотрел на эту кучу кондитерских изделий. Видно, я и в самом деле неблагодарный бродяга — я отказывался вкусить щедрых даров богатого дома, созвавшего вчера гостей на обильное угощение. Впрочем, гости, должно быть, тоже не обожали пирожных.

Пирожные знаменовали вершину моих несчастий. Хуже ничего уже не могло случиться; с этой минуты дела мои должны были пойти на поправку. И действительно, уже в следующем доме я был «приглашен к столу». Такое «приглашение» — нечаянная радость в трудном быту бродяги. Вас просят войти и даже ведут умыться, а потом сажают за стол. Бездомному бродяге приятно посидеть за столом. Я вошел в просторный уютный особняк, стоявший в глубине двора с обширными

лужайками и раскидистыми деревьями. Хозяева только что отобедали, и меня провели прямо в столовую, а это величайшая редкость в жизни бродяги — в лучшем случае его угощают на кухне. Пока я насыщался, со мной беседовал радушный седовласый англичанин, его добросердечная жена и прехорошенькая молодая француженка.

Интересно, помнит ли еще эта прелестная молодая особа, или уже забыла за давностью лет, как насмешило ее одно мое вульгарное выражение, — я имею в виду слово «трояк». Как видите, не довольствуясь угощением, я решил позондировать почву насчет чего-то посущественнее. Тут-то я и назвал упомянутую сумму денег. «Что такое?!» — спросила она. «Трояк», — ответил я. «Как?» — переспросила она, еле сдерживая улыбку. «Трояк», — повторил я снова. Она разразилась смехом «Пожалуйста, повторите», — попросила она, немного успокоившись. «Трояк», — повторил я. Новый безудержный взрыв серебристого смеха. «Простите ради бога, — взмолилась она, — но что… что вы сказали?» «Трояк, — повторил я еще раз. — Или, может, я что не так говорю?» «Да нет, что вы! — пролепетала она, задыхаясь от смеха. — Просто я вас не совсем понимаю». Я объяснил ей, но так и не припомню, удалось ли

мне выудить у нее названную монету. Однако частенько потом я спрашивал себя, кто же из нас двоих был более провинциал.

Придя на станцию, я, к великому своему огорчению, увидел по меньшей мере человек двадцать босяков, намеренных, как и я, зайцем прокатиться на «глухой» площадке поезда дальнего следования. Два-три бесплатных пассажира

— это еще куда ни шло. Они незаметны. Но нас собралась целая орава. Значит

— жди беды! Никакая поездная бригада этого не потерпит.

Но не мешает объяснить, что такое «глухая площадка». Некоторые почтовые вагоны лишены дверей по обоим концам. Эти вагоны называются «глухими». А если в почтовых вагонах даже имеются двери на площадку, то их всегда держат на запоре. Предположим, что перед отходом поезда бродяге удается забраться на такую площадку. Двери в вагоне нет — или она заперта. Ни один кондуктор или проводник сюда не проникнет, чтобы потребовать билета или ссадить вас. Ясно, что бродяга сидит себе и посмеивается в кулак — до следующей остановки. Там он соскакивает и бежит вперед, чтобы укрыться в темноте, а как только поезд с ним поравняется, опять прыгает

на глухую площадку. Но тут всяко бывает, как вы сейчас увидите.

Поезд тронулся, и два десятка бродяг роем налетели на передние три вагона. Некоторые были уже на площадке, когда поезд не прошел и десяти шагов. Я видел, что это — дубье, совершеннейшие болваны, и что скоро им крышка. Конечно, поездная прислуга начеку, и на следующей же остановке начнутся неприятности. Я соскочил и побежал вперед вдоль рельсов. Вскоре я заметил, что нахожусь в довольно большой компании. Все это были, очевидно, бывалые бродяги. Когда вы едете поездом дальнего следования, держитесь на остановках впереди паровоза на порядочном расстоянии. Я бежал во всю прыть, и мало-помалу мои спутники начали отставать. В этом состязании измерялась ловкость и выдержка в искусстве брать приступом поезд.

Ибо правила игры состоят в следующем. При отходе поезда кондуктор стоит на глухой площадке. Единственный способ для него возвратиться к своим — это соскочить на ходу и сесть на площадку обычного вагона. Пока поезд не набрал большой скорости, он соскакивает, пропускает несколько вагонов и садится где-нибудь посередине. Бродяге поэтому надо оказаться настолько

впереди, чтобы, когда глухая площадка с ним поравняется, кондуктор уже ее покинул.

Я опередил ближайшего бродягу футов на пятьдесят и теперь ждал. Поезд тронулся. Я заметил фонарь кондуктора на первой глухой площадке. Он стоял на ней, отъезжая от станции. Я заметил группу давешних болванов, в растерянности стоящих у полотна. Они не делали ни малейшей попытки сесть. Они вышли из строя в самом начале игры по причине собственной тупости и бездарности. За ними, поближе ко мне, стояли бродяги, которые кое-что смыслили в игре. Они пропустили первую глухую площадку, занятую кондуктором, и вскочили на вторую и третью. Разумеется, кондуктор, соскочив, взобрался на вторую площадку, как только она с ним поравнялась, и принялся расправляться с безбилетными пассажирами, спихивая их на полотно. Мое преимущество заключалось в том, что я был впереди, и, когда первая глухая площадка со мной поравнялась, кондуктор возился с пассажирами второй. Пяток бродяг поопытнее, успевших отбежать достаточно далеко, забрались вместе со мной на первую глухую площадку.

На следующей остановке, когда все мы устремились вперед, я насчитал лишь пятнадцать

человек. Пятеро отсеялось. Это прореживание, начатое с таким успехом, продолжалось на каждой станции. Позже нас осталось четырнадцать, потом двенадцать, одиннадцать, девять, восемь человек. Мне вспомнилась детская песенка о десяти негритятах, число которых раз от разу убывает, и я твердо решил, что буду последним уцелевшим негритенком. А почему бы и нет? Разве не был я молод, здоров, проворен? (Мне исполнилось восемнадцать, и я был, что называется, в форме.) Разве не мог я похвалиться железной выдержкой? И, наконец, разве я не бродяга из бродяг? Все мои случайные попутчики попросту болваны, новички и любители по сравнению со мной. Если я не достоин быть последним негритенком, значит, пора мне выходить в отставку, засесть где-нибудь на ферме и заняться разведением люцерны.

К тому времени, как нас осталось четверо, вся поездная бригада включилась в погоню. С этой минуты борьба приняла характер состязания в хитрости и ловкости, — неравного состязания, с решительным перевесом сил на стороне бригады. Вскоре все мои уцелевшие товарищи вышли из строя, увеличив список потерь, и я остался в единственном числе. Ну и гордился же я! Ни один

крез так не гордился своим первым миллионом. Я удерживал свои позиции, несмотря на превосходящие силы противника — два кондуктора, обер-кондуктор, кочегар и машинист.

Вот несколько эпизодов, показывающих, как я держался, несмотря ни на что. Забираюсь вперед, в темноту, так далеко, что кондуктор вынужден соскочить с первой площадки, прежде чем она со мной поравняется, — и сажусь на ходу. Отлично — я выиграл еще перегон. Когда поезд приходит на следующую станцию, я повторяю свой маневр. Поезд трогается. Я слежу за его приближением. На первой глухой площадке что-то не видно фонаря. Неужели бригада так легко сдалась? Я не знаю. В такой борьбе никогда ничего не знаешь наверняка, приходится каждый миг быть начеку. Но вот вагон передо мной, я вскакиваю с разбегу и в то же время напряженно вглядываюсь, — а вдруг кондуктор прячется? Возможно, что он там, с притушенным фонарем, и стоит лишь вскочить на подножку, как тебе размозжат фонарем голову. Мне ли этого не знать? Ведь меня уже два-три раза били фонарем.

Нет, нет, первая площадка безусловно пуста. Поезд набирает скорость. Я спасен — до следующей остановки. Но так ли? Чувствую, что поезд

опять замедляет ход. Я начеку. Что-то готовится против меня, но что? Нужно смотреть в оба — и влево, и вправо, и вперед, где тендер. Нападение возможно с любой стороны, если не со всех одновременно.

Ага, вот оно что: оказывается, кондуктор был на паровозе. Я увидел его в ту минуту, когда он вскочил на подножку справа от меня. С быстротой молнии соскакиваю налево, бегу вперед, минуя паровоз, и теряюсь в темноте. Словом, я все в том же положении, в каком был все время, с самой Оттавы. Я нахожусь впереди, поезд, продолжая свой путь, пройдет мимо меня, и я, как всегда, рассчитываю на него сесть.

Наблюдаю внимательно. Вижу, как фонарь движется к паровозу, но не вижу, чтобы он оттуда возвратился. Очевидно, он так и остался на паровозе, а с ним, надо полагать, и кондуктор. Кондуктор изрядный ротозей: ему бы погасить фонарь, а он прикрывает его ладонью. Поезд трогается. Первая площадка пуста, и я вскакиваю на нее. Как и раньше, поезд замедляет ход, кондуктор, соскочив с паровоза, поднимается на площадку с одной стороны, а я соскакиваю с другой и со всех ног мчусь вперед.

Я стою в темноте, и сердце у меня бьется от

горделивого сознания: поезд дальнего следования дважды останавливался — и ради кого же? Ради меня — нищего, бездомного бродяги. Я дважды остановил поезд дальнего следования, с его многочисленными вагонами и пассажирами, с его правительственной почтой и паровозом, из которого так и прут две тысячи лошадиных сил. А ведь во мне всего сто шестьдесят фунтов веса, и у меня и пяти центов нет в кармане!

Снова я вижу, как фонарь движется к паровозу. На этот раз он движется открыто, не таясь. Слишком открыто, как мне кажется, и я дивлюсь — к чему бы это? Но тут возникает новая опасность. Поезд тронулся, и я только вознамерился вскочить на первую площадку, как вижу там темную фигуру другого кондуктора, без фонаря. Пропускаю эту площадку и готовлюсь вскочить на вторую. Но кондуктор с первой площадки уже соскочил наземь и бежит за мной следом. Краешком глаза успеваю заметить фонарь кондуктора, ехавшего на паровозе. Фонарь соскочил на полотно, и теперь все мы по одну сторону поезда. Подходит второй вагон, я вскакиваю на площадку, но не задерживаюсь на ней. У меня готов контрход. Бросаюсь через площадку и слышу, как у меня за спиной вскакивает на подножку

кондуктор. Я соскакиваю на противоположную сторону и бегу вперед рядом с движущимся составом. Мой план состоит в том, чтобы забраться на первую глухую площадку. Бегу во весь опор, потому что поезд набирает скорость. К тому же следом во весь дух поспешает кондуктор. Но где ему за мной угнаться! Я вскакиваю на подножку первой глухой площадки и с этой позиции наблюдаю за своим преследователем. Он отстал шагов на десять и пыхтит вовсю. Поезд идет уже довольно быстро, и сколько бы кондуктор ни старался, он по отношению ко мне не подвигается ни на пядь. Я кричу ему, чтобы потарапливался, и даже протягиваю руку; но он разражается несусветной бранью и, махнув на меня рукой, садится несколькими вагонами дальше!

Поезд идет полным ходом, я все еще втихомолку посмеиваюсь, как вдруг откуда ни возьмись струя воды окатывает меня с головы до ног. Это кочегар угостил меня из паровозной кишки. Но я перехожу с площадки на тендер и здесь, под навесом, чувствую себя в безопасности. Струя, не задевая меня, описывает дугу над моей головой. Меня так и подмывает влезть наверх и запалить в кочегара увесистым куском угля. Но я знаю: стоит мне поддаться соблазну, и кочегар с кон-

дуктором не успокоятся, пока не укокошат меня, — и я отказываю себе в этом удовольствии.

На следующей остановке опять соскакиваю и бегу в темноту. На этот раз, когда поезд трогается, оба кондуктора торчат на первой площадке. Мне ясна их игра. Они хотят блокировать мой предыдущий ход. Мне больше не удастся сесть на вторую площадку, пересечь ее, соскочить и броситься на первую. Увидев, что я пропустил мимо первую площадку, оба кондуктора соскакивают в противоположные стороны. Я прыгаю на вторую и при этом знаю, что уже в следующую минуту мои преследователи застукают меня с двух сторон. Это ловушка. Оба выхода отрезаны. И все же остается еще один выход

— наверх.

Итак, я не жду появления своих преследователей. Цепляясь за какие-то части, карабкаюсь вверх по отвесной стене и становлюсь на баранку ручного тормоза. Но вот спасительная передышка кончилась. Сапоги моих преследователей с двух сторон с цоканьем ударяются о подножку. Я не удостаиваю их взгляда. Поднимаю руки и упираюсь в закругленные края вагонов: одна рука на одной крыше, другая — на другой. Кондукторы уже поднялись на площадку. Я знаю это, хоть и не

смотрю на них: у меня нет времени на них смотреть. Ведь все это — дело нескольких секунд. Я подпрыгиваю и подтягиваюсь на руках. Не успел я поджать ноги, как кондукторы бросаются к ним, но хватают руками пустоту. Я знаю это, потому что смотрю теперь вниз и все вижу. Я слышу, как они разносят меня на все корки.

Положение не из веселых: я держусь за края закругленных крыш двух смежных вагонов. Быстрым решительным рывком перевожу ноги на закругление одной крыши, а руки — на закругление другой. Потом, уцепившись покрепче за края, передвигаюсь с покатости на плоскость крыши и присаживаюсь, чтобы отдышаться, держась за выступающий вверх вентилятор. Итак, я «на падубе», как говорят бродяги, а в целом это называется — «лезть на палубу». К вашему сведению, только молодой и сильный бродяга мажет залезть на палубу пассажирского поезда, да и то при железном выдержке.

Поезд идет, ускоряя ход, и я чувствую себя в безопасности — до ближайшей остановки. Если я вовремя не уберусь с крыши, кондукторы на станции забросают меня камнями. Здоровенный кондуктор может зашвырнуть на крышу камешек весом от пяти до двадцати фунтов. С другой

стороны, не исключено, что мои преследователи поджидают меня на площадке, с которой я поднялся вверх; они, возможно, думают, что я здесь и слезу. Значит, спуститься надо где-нибудь подальше.

Всей душой уповая, что на расстоянии ближайшей полумили нам не встретится ни один тоннель, я вскакиваю и пробегаю по крышам примерно десяти вагонов. Тот, кто отважится на такую прогулку, должен забыть, что такое страх. Крыши пассажирских вагонов — это вам не аллея для романтических прогулок при свете луны. А если кто со мной не согласен. пусть попробует. Пусть прогуляется по крыше вихляющего, подскакивающего вагона, когда единственное, за что можно ухватиться, это пустой черный воздух, и пусть не забудет ускорить шаг, когда, приближаясь к покатому, скользкому краю, он готовится перепрыгнуть на край соседней крыши, такой же покатый и скользкий. Поверьте, это будет для него серьезным испытанием: не дрогнет ли сердце, не закружится ли голова?..

Когда поезд замедляет ход перед станцией, я спускаюсь на площадку шестого вагона, считая от того, где «взобрался на палубу». На площадке ни души. Поезд останавливается, и я соскакиваю

наземь. Впереди, между мной и паровозом, два движущихся фонаря. Кондукторы ищут меня на крыше. Я замечаю, что вагон, у которого стою, двухосный, то есть у него четыре колеса. (Когда вы лезете «под поезд», избегайте трехосных вагонов; они крайне опасны.) Я ныряю под поезд и стараюсь освоиться в потемках, благо остановка здесь порядочная. Мне еще не приходилось ездить под поездом на этой линии, и я не знаю устройства ходовых частей. Стараюсь протиснуться в щель между тележкой и кузовом, но здесь так узко, что не пролезть. Это для меня новость. В Соединенных Штатах я на полном ходу забирался под поезд — достаточно было ухватиться за край платформы и, забросив ноги под тормозной брус, пролезть поверху, а потом спуститься в глубь платформы и устроиться на поперечной оси.

Пошарив рукой в темноте, устанавливаю, что под тормозным брусом есть пространство. Это узкая щель. Ложусь плашмя и ползу по-пластунски. Попав внутрь платформы, усаживаюсь на оси и начинаю размышлять, что думают теперь кондукторы. Они, верно, считают, что избавились от меня. Поезд трогается. Значит, кондукторы и думать про меня забыли.

Но так ли это? На ближайшей станции я вижу,

что под следующим вагоном кто-то шарит фонарем. Они ищут меня на осях. Надо убираться, и как можно скорее. Опять проползаю на животе под тормозным брусом. Они заметили меня и подбегают, но я на четвереньках пробираюсь по шпалам на другую сторону, а там вскакиваю и — бегом, к началу состава. Миную паровоз и прячусь в спасительной темноте. И снова я на исходной позиции. Я — впереди поезда, и он должен пройти мимо меня.

Поезд отходит от станции. Замечаю фонарь на первой глухой площадке. Я притаился и вижу, как мимо проплывает кондуктор, пристально вглядываясь в темноту. На следующей площадке тоже фонарь. Этот кондуктор заметил меня и окликнул другого, проехавшего на первой площадке. Оба соскакивают. Не беда! Я устремляюсь к третьей площадке, чтобы оттуда переправиться на палубу. Но черт дери этих иродов, — на третьей площадке тоже фонарь. Это — обер-кондуктор. Пропустим и его! По крайней мере вся их братия теперь позади. Поворачиваю и бегу на этот раз против движения поезда. Оглядываюсь назад — все три фонаря спустились наземь и, покачиваясь, бегут за мной. Я припускаю вовсю. Половина вагонов проплыла мимо, и поезд идет довольно

быстро; тогда я вскакиваю на какую-то подножку, хоть и понимаю, что через одну-две секунды оба кондуктора, во главе со старшим, накинутся на меня, как кровожадные псы. Взбираюсь на баранку руля, упираюсь в закругленные края крыш и на руках подтягиваюсь на палубу, меж тем как мои разочарованные преследователи, сгрудившись внизу, точно собаки, загнавшие кошку на дерево, бранят меня на чем свет стоит, поминая крепким словцом также и всю мою родню.

Но что из этого? Ведь их пятеро против одного, считая машиниста и кочегара, не говоря уже о том, что на их стороне Его Величество закон и могущество влиятельнейшей корпорации. А все же где им со мной тягаться! Но я слишком далеко забрался назад и теперь бегу вперед по крышам вагонов, пока не добегаю примерно до пятой, шестой площадки от паровоза. Осторожно выглядываю и вижу на площадке кондуктора. Он тоже заметил меня, — я догадываюсь по тому, как быстро он юркнул в вагон и спрятался там. Я знаю, что он стоит за дверью, готовый сцапать меня, как только я спущусь. Но не подаю и виду — пусть воображает, что я в его руках. Я не вижу его, а только слышу, как он чуть-чуть приоткрывает дверь, чтобы удостовериться, здесь ли я еще.

Поезд замедляет ход, приближаясь к станции. Я нарочно свешиваю ноги. Поезд останавливается. Я слегка болтаю ногами. Слышу, как тихонько щелкает дверной замок. Кондуктор притаился и ждет: вот-вот он бросится на меня. Вскакиваю и бегу вперед. Поезд стоит. Ночь безмолвствует, а я стараюсь возможно громче топать ногами по железной крыше. Трудно сказать наверняка, но мне кажется, что кондуктор бежит за мной, надеясь поймать, когда я буду спускаться с крыши. Но я и не думаю здесь спуститься. Дойдя до половины крыши, я поворачиваю и быстро и бесшумно бегу к той площадке, которую мы вместе с кондуктором только что покинули. Путь свободен. Я соскакиваю на перрон по другую сторону поезда и прячусь в темноте. Ни одна душа меня не видела.

Я перелезаю через изгородь у края насыпи и наблюдаю. Это еще что? Ага! Я вижу, как огонек фонаря передвигается поверху от паровоза к хвосту поезда. Они думают, что я на палубе, и ищут меня по всем крышам. Мало того, по обе стороны поезда движутся еще два фонаря в ряд с тем, что на крыше. Это напоминает травлю кролика, и я сейчас в роли этого животного. Когда тот, наверху, спугнет кролика, эти, внизу, схватят

его. Свертываю папироску и провожаю шествие глазами. Как только оно проследовало мимо, я преспокойно направляюсь в сторону паровоза. Поезд трогается, и я беспрепятственно сажусь на первую глухую площадку. Но поезд еще не пошел полным ходом и только я закуриваю папиросу, как вижу кочегара: он перелез через гору угля в тендере и уставился на меня. Дело дрянь: со своего места ему нетрудно забросать меня углем и превратить в лепешку. Однако вместо этого он заговаривает со мной, и я улавливаю в его голосе нотку восхищения.

— Ах ты сволочь, сволочь! — произносит он.

Это — лестное обращение, и я трепещу от восторга, как школьник, удостоившийся первой награды.

— Приятель, — говорю я ему, — брось ты эти шутки с кишкой.

— Идет, — говорит он и возвращается к своей работе.

Итак, с кочегаром мы поладили, но кондукторы так и шныряют — ищут меня. На следующей станции все трое опять размещаются по первым трем площадкам, а я снова взбираюсь на палубу где-то посередине состава. Но мои гонители закусили удила. Поезд, пройдя немного, останавливается

среди поля. Кондукторы ни с чем не считаются, только бы меня зацапать. Три раза на этом перегоне огромный поезд задерживается ради какого-то бродяги, и каждый раз я обманываю кондукторов и спасаюсь на палубе. Но положение ухудшается. Кое-чему они все-таки научились. Я доказал, что им не уберечь поезд от меня. Придется им придумать что-нибудь новенькое.

Так они и делают. Когда поезд останавливается в третий раз, они пускаются за мной следом. Ага, догадываюсь, они решили меня затравить! Сначала меня гонят к хвосту состава, но я понимаю, в чем опасность. Стоит мне оказаться позади, как поезд уйдет и оставит меня одного, в поле. Я бросаюсь туда-сюда, сгибаюсь в три погибели и, внезапно повернув, ныряю между ними и стрелой несусь назад. Один кондуктор все же увязывается за мной. Погоди, голубчик, я загоняю тебя до смерти, будешь знать; небось легкие-то у меня получше, чем у тебя. Я бегу и бегу себе по насыпи. Мне-то что! Пусть гонится за мной хоть десять миль, — когда-нибудь ему придется сесть на поезд, а там, где он вскочит, вскочу и я.

Так я и бегу, сохраняя дистанцию, и зорко посматриваю в темноте, чтобы не наткнуться на шлагбаум и не споткнуться о стрелку. Но, к со-

жалению, смотрю вперед, а спотыкаюсь о что-то под ногами, — сам не знаю обо что, какое-то незаметное препятствие, — и растягиваюсь во весь рост. В следующую минуту я уже на ногах, но и кондуктор тут как тут, хватает меня за шиворот. Я не сопротивляюсь. Стараюсь отдышаться и понять, что представляет собой мой противник. Он узкоплечий, я вешу на добрых тридцать фунтов больше. К тому же он выдохся не меньше моего, и если он вздумает влепить мне затрещину, я в долгу не останусь.

Однако у него, видно, другое на уме, и, значит, не будем торопиться. Он ведет меня обратно к поезду, и передо мной возникает новая угроза. Я вижу в отдалении фонари его приятелей-кондукторов. Мы приближаемся к ним. Но не зря я побывал в науке у нью-йоркских полисменов. Не зря, сидя где-нибудь в товарном вагоне, в тюремной камере или на путях под водокачкой, слушал страшные рассказы о бесчеловечных расправах с бездомными бродягами. А что, если эта тройка собирается так же поступить со мной? Видит бог, я дал им достаточно оснований. Мысль моя лихорадочно работает. Мы все ближе и ближе подходим к обоим железнодорожникам. Я примериваюсь к правой скуле и животу моего

конвойного и готовлюсь двинуть его правой и левой при первом признаке тревоги.

Вздор! Лучше испытаю другой прием. Эх, что бы мне сразу догадаться! Покажу ему, как хватать меня за шиворот! Его пальцы клещами вцепились мне в ворот. Моя куртка застегнута на все пуговицы. Видели ли вы, как закручивают жгуты? Вот это-то я и имею с виду. Единственное, что требуется, это нырнуть под вытянутую руку моего стража и несколько раз повернуться волчком. Вертеться надо быстро, возможно быстрее. Я знаю в точности, как это делается. Вы вертитесь с силою, рывками, ныряя противнику под руку при каждом повороте. Не успеет он опомниться, как его пальцы, зажавшие ваш ворот тисками, сами окажутся в тисках. Он не сможет высвободить их, даже если захочет, — вот какое это мощное орудие! Через двадцать секунд после того, как вы начнете свои пируэты, кровь брызнет у него из-под ногтей, порвутся нежные связки, помятые, раздавленные нервы превратятся в вопящее крошево. Испытайте мой прием, когда кто-нибудь схватит вас за шиворот. Но проделайте это молниеносно. И не забудьте защитить лицо — прикройте его согнутой левой, а живот правой. Вашему противнику может прийти в голову дви-

нуть вас как следует свободной рукой. Вертеться надо не в сторону угрожающей вам свободной руки, а от нее. Удар настигающий всегда предпочтительнее встречного удара.

Мой конвойный никогда не узнает, какая опасность ему угрожала. Его спасло то, что избить меня, оказывается, не входило в его планы. Когда мы приблизились, он крикнул своим, что поймал меня и что поезд может трогаться. Мы видим, как проплывает паровоз и три первых глухих площадки. Обер-кондуктор и его помощник не спеша садятся. Мой тюремщик все еще держит меня за шиворот. Мне ясен его план. Он будет держать меня, пока не подойдет последний вагон. А тогда он вскочит на подножку, а я останусь за бортом.

Но поезд тронул слишком энергично, машинисту, видно, не терпится наверстать потерянное время. К тому же это какой-то бесконечный состав, вагоны проворно мелькают, и я чувствую, что кондуктор не без опасения глядит на эту прыть.

— Думаешь поспеть? — спрашиваю я невинно.

Он отпускает мой ворот и с разбегу повисает на поручне. Его вагон — далеко не последний, и он это знает. Поэтому он не сходит с подножки, а, вытянув шею, наблюдает за мной. Мой план созрел:

я вскочу на последнюю площадку. Правда, поезд все набирает скорость. Ну что ж, в крайнем случае сорвусь и вываляюсь в пыли. Я не вешаю носа. Меня поддерживает мой юношеский оптимизм. Стою, понурив голову, и всем видом показываю, что уже ни на что не надеюсь. И в то же время пробую ногой, хорошо ли слежался гравий. Да, гравий утоптан как следует. И наблюдаю за обращенной ко мне головой кондуктора. Но вот она спряталась. Кондуктор уверился, что поезд идет слишком быстро и что мне на него не вскочить.

Поезд и в самом деле идет быстро — сесть довольно мудрено, это будет первый такой случай в моей практике. Когда подходит последний вагон, я изо всех сил пускаюсь бежать в том же направлении. Короткая, но сильная пробежка. Я не надеюсь сравняться с ним скоростью, но надеюсь разницу наших скоростей довести до минимума и тем самым ослабить силу толчка, когда ноги мои коснутся подножки. В этот стремительный миг я не успеваю различить в темноте железный поручень вагона, хватаюсь за него наобум, и в ту же секунду ноги мои отрываются от земли. Все происходит словно в каком-то головокружительном вихре. Уже в следующее мгновение я могу оказаться на земле со сломанными руками

ребрами или головой. Но пальцы мои крепко хватаются за поручень, руки выдерживают рывок, от которого весь корпус отбрасывает в сторону, а ноги с грохотом ударяются о ступеньку.

Сажусь с горделивым чувством в душе. Это самый мастерский прыжок за всю мою бродяжническую жизнь! Я знаю, что поздней ночью можно без особого риска проехать несколько станций на последней платформе, но мне кажется небезопасным оставаться в хвосте поезда. Поэтому я на первой же остановке бегу вперед по второму перрону, пропустив спальные вагоны, лезу под обыкновенный пассажирский и устраиваюсь внизу на оси. На следующей станции опять пропускаю несколько вагонов и опять устраиваюсь на оси.

Теперь я в относительной безопасности. Кондукторы считают, что ссадили меня. Утомительный день и переживания этой ночи начинают сказываться. К тому же внизу тепло и не дует. Я начинаю клевать носом. Плохо дело! Уснуть, сидя на оси, — значит неминуемо оказаться под колесами. Делать нечего, вылезаю на станции и направляюсь ко второй глухой площадке. Здесь я могу привалиться к стене и заснуть.

Как долго я спал, затрудняюсь сказать, — меня

разбудил фонарь, поднесенный к самому моему носу. Оба кондуктора удивленно таращат на меня глаза. Я вскакиваю и сжимаю кулаки, не зная, с какой стороны ждать удара. Но они, видимо, не помышляют о мордобое.

— Я думал, ты там и застрянешь, — говорит мой давешний конвойный.

— Если б ты не отпустил меня, мы застряли бы там вместе, — отвечаю я.

— Это как же так? — спрашивает он.

— А так, говорю — что я бы повис на тебе, и никуда б ты от меня не делся.

С минуту они совещаются и выносят приговор:

— Что ж, так и быть, поезжай, приятель. С тобой, как видно, не сладишь.

И, уйдя, оставляют меня в покое до большой узловой станции, где должна заступить новая бригада.

Я привел это как пример того, что значит держаться, невзирая ни на что. Разумеется, я выбрал особенно благоприятную ночь и умолчал о других, весьма многочисленных ночах, когда меня подводила какая-нибудь случайность и кондукторам удавалось меня ссадить.

Расскажу в заключение, что случилось со мной на узловой станции. На одноколейных транскон-

тинентальных линиях товарные поезда ждут на узловых станциях отхода пассажирских. Добравшись до первого узлового пункта, я покинул свой поезд и отправился на поиски идущего следом товарного. Я нашел его готовым к отправлению на запасном пути, забрался в крытый вагон, наполовину груженный углем, и устроился в углу. Нечего и говорить, что я мгновенно уснул.

Проснулся я оттого, что дверь с шумом отлетела. Занимался холодный, пасмурный день, а поезд все еще стоял на месте.

В проеме двери показалась голова кондуктора.

— Проваливай отсюда, такой-растакой! — заорал он.

Я послушно вылез и, стоя на путях, наблюдал, как он обходит вагон за вагоном. Когда кондуктор исчез из виду, я рассудил, что он не станет больше искать меня там, откуда благополучно выкурил, — такой наглости он от меня, разумеется, не ждет. Итак, я вернулся в вагон и расположился на полу.

Однако мысли кондуктора, видимо, работали в том же направлении. Он, видимо, не сомневался, что я именно так и поступлю, и вскоре вернулся, чтобы опять меня выгнать.

Но уж теперь-то, сказал я себе, ему и в голову

не придет, что я в третий раз отважусь на то же самое. И я снова залез в вагон, на этот раз приняв меры предосторожности. Из двух боковых дверей вагона только одна открывалась наружу. Другая была забита гвоздями. Взобравшись на гору угля, я вырыл себе нору у заколоченной двери и лег. Слышу, отворяется противоположная дверь. Кондуктор залез наверх и внимательно огляделся. Увидеть он меня не увидел, но потребовал, чтобы я вылез из норы. Я, конечно, притаился и молчу. Но когда он стал забрасывать меня кусками угля, пришлось сдаться. Я вылез из своего убежища и был выставлен в третий раз. В самых энергичных выражениях кондуктор предупредил меня, что со мной будет, попадись я ему в четвертый раз.

Тогда я изменил тактику. Если у человека мысли движутся в одинаковом с тобой направлении, ссади его или сам сверни на другой путь. Так я и сделал. Спрятался между соседними вагонами и жду. И, конечно, кондуктор опять наведался в полюбившийся мне вагон. Он открыл дверь, забрался наверх, окликнул меня и снова закидал углем вырытое мною убежище. Он даже подполз к нему на четвереньках, но, убедившись, что меня там нет, успокоился. Пять минут спустя паровоз дал свисток. Кондуктор больше не пока-

зывался. Я побежал за вагоном, отодвинул дверь и залег. Кондуктор, должно быть, и думать обо мне забыл. Я проехал в этом вагоне ровно тысячу двадцать две мили и почти все время спал, выходя только на больших станциях (где товарные составы стоят по часу и по два), чтобы выпросить что-нибудь на пропитание. И лишь на тысяча двадцать третьей миле потерял свой вагон — на этот раз по счастливой случайности. Я был приглашен «к столу», а уж такой возможности ни один бродяга не упустит, куда бы и как срочно он ни направлялся.

Картинки

Не важно, где и как мы умрем, — Было бы здоровье, чтобы все увидеть

«Бродяга из бродяг», секстина

Быть может, величайшая прелесть бродяжнической жизни в том, что она не знает однообразия. В Царстве Бродяг жизнь постоянно меняет свою личину; это причудливая фантасмагория, где невозможное становится возможным и за каждым поворотом дороги прячется неожиданное — вот-вот оно выглянет из-за куста. Бродяге неведомо, что ждет его в ближайшую минуту, и живет он только настоящим. Он познал тщету земных усилий, и величайшая для него радость — бездумно плыть по течению, отдаваясь на волю капризного случая.

Часто вспоминаются мне дни, когда я вел жизнь бесприютного бродяги, и я не перестаю дивиться быстрой смене возникающих в памяти картин. Неважно, на чем остановить свой выбор: ни один день не похож на другой, каждый — сам по себе, у каждого свой калейдоскоп впечатлений. Помню, например, ясный летний день в Харрисбурге,

штат Пенсильвания, а особенно его многообещающее начало. Я «напросился в гости» к двум почтенным старым девам, и они угощали меня — не на кухне, а в столовой, посадив с собой за стол. Мы ели яйца из рюмок для яиц. До этого я не видел яичных рюмок и даже не подозревал об их существовании. Признаюсь, я был в затруднении, но голод не тетка, и дело быстро пошло на лад, — я стал так ловко управляться и с рюмкой и с яйцами, что мои девы только глазами хлопали.

Еще бы! Сами они клевали, как канарейки, без конца возились каждая со своим единственным яйцом и отщипывали крохотные кусочки от ломтиков поджаренного хлеба, более похожих на облатки. Жизнь еле билась в их сердцах; в их жилах текла не кровь, а розовая водица, а ночью они спали в теплых постелях. Я же всю ночь тащился пешком из города Эмпориума в северной части штата, и уйма жизненной энергии ушла у меня только на то, чтобы окончательно не продрогнуть. Какие-то облатки вместо хлеба! Что это для меня! Такого сухарика хватало мне на глоток, а сколько глотков нужно сделать человеку, чтобы насытиться!

Мальчишкой я получил в подарок крохотную собачонку, которая отзывалась на кличку «Панч».

Я сам заботился о ее пропитании. Кто-то у нас дома настрелял прорву дичи, и мы вволю поели мяса. После обеда я набрал целую тарелку костей и лакомых объедков для Панча. Вышел я с тарелкой во двор, а тут, на беду, прискакал к нам сосед с ближайшего ранчо, и с ним прибежала собака — большущий ньюфаундленд с теленка. Я поставил тарелку на землю, и Панч, умильно виляя хвостом, принялся за еду. Он рассчитывал по меньшей мере на полчаса неизъяснимого блаженства, как вдруг сзади поднялся какой-то вихрь. Панч отлетел, как пушинка, сдунутая ураганом, и огромный ньюфаундленд устремился к тарелке. Несмотря на свои внушительные размеры, он, должно быть, привык закусывать на скорую руку, ибо в то короткое мгновение, какое мне понадобилось, чтоб дать ему пинка в бок, он сожрал все приготовленное для Панча. На прощание он еще раз любовно прошелся по тарелке языком, после чего на ней не осталось даже жирного пятнышка.

Подобно тому, как огромный пес распорядился с тарелкой Панча, так я расправился со всем, что было на столе у добрых харрисбургских дев. Я не оставил на нем ни единой крошки. Я ничего не разбил, но зато уничтожил все яйца, весь поджа-

ренный хлеб и кофе. Служанка то и дело убегала за новой порцией, но я не унимался и требовал все новых и новых подкреплений. Кофе был отличный, но придет же в голову разливать его по таким крошечным чашкам! Пока я наливал себе еще и еще, у меня положительно не оставалось времени на еду.

Тем исправнее работал мой язык. Обеим старым дамам с их бело-розовой комплекцией и седыми буклями никогда еще не приходилось так близко заглядывать в сияющее лицо приключения. Всю свою жизнь, как говорится в «Бродяге из бродяг», они «просидели на одном стуле». В душную атмосферу и узкие рамки их тоскливого существования я внес свежее дыхание ветра, насыщенное терпким запахом борьбы и пота, ароматами цветов и пряностей чуждых стран и полей. Я безжалостно мял их нежные пальчики в своих шершавых ладонях с мозолями в полвершка толщиной, какие натираются, когда вы подолгу тащите из воды канат, выбирая его обеими руками, или когда часами ласкаете и нежите ручку лопаты. И то была не юношеская похвальба, — я хотел доказать им, что право на их подаяние куплено мной ценою тяжелого труда.

Как сейчас вижу перед собой этих милых ста-

рушек, с которыми я завтракал двенадцать лет назад. Я рассказываю им, как носило меня по свету, отмахиваюсь от их ласковых советов с беспечностью заправского сорвиголовы и повергаю их в дрожь повестью о своих приключениях вперемешку с приключениями других бродяг, с которыми я делил кочевую жизнь и обменивался рассказами о пережитом. Теперь я их себе все присвоил. Я имею в виду приключения других бродяг. Если бы почтенные старушки не были так наивны и легковерны, они бы мгновенно обнаружили путаницу в моей хронологии. Неважно! Это был честный обмен. Я уплатил им сполна за их бесчисленные чашки кофе и яйца и невесомые ломтики хлеба. Я предложил им поистине королевское угощение. Мои рассказы за чайным столом были величайшим приключением их жизни, — а чего не отдашь за настоящее приключение!

Я расстался с милыми старушками, вышел на улицу и, прихватив газету, торчавшую в дверях какого-то любителя поспать, завернул на сквер, прилег на зеленую травку и погрузился в события, происшедшие в мире за последние сутки. Здесь же, в парке, я столкнулся с другим бродягой. Он начал с того, что рассказал мне

историю своей жизни, а кончил тем, что стал подбивать завербоваться вместе с ним в армию Соединенных Штатов. Сам он сдался на уговоры офицера-вербовщика; не сегодня-завтра ему идти в солдаты, и он не видел причины, почему бы мне не составить ему компанию. Несколько лет назад он с армией Кокси[85] ходил в Вашингтон и пристрастился в походе к лагерной жизни. Я и сам ветеран этой кампании, ибо разве не был я рядовым роты «Л», второй дивизии рабочей армии Келли? Правда, наша рота была более известна как «Невадская босая команда». Но мой армейский опыт оказал на меня обратное действие. И я предоставил своему коллеге присоединяться к кровавым псам войны, а сам побрел промышлять себе обед.

Покончив с этим делом, я направился по мосту на противоположный берег Сасквеханны. Не припомню названия железной дороги, проходившей на той стороне, — помню только, что, валяясь этим утром на траве, я надумал ехать в Балтимору. Итак, в Балтимору лежал мой путь по

[85] notes: 85

Кокси, Джекоб Селер (1854 — 1951) — американский политический деятель. В 1894 году стал во главе так называемой «армии Кокси» — армии безработных, отправившейся в Вашингтон требовать от правительства помощи.

железной дороге, название которой так прочно ускользнуло из моей памяти. День стоял жаркий, и, пройдя немного, я увидел группу молодых парней, нырявших с мостовых ферм. Мгновение — и моя одежда полетела на перила, а я — в воду. Выкупался я на славу, но когда вылез из воды и начал одеваться, оказалось, что меня обокрали. Кто-то побывал в моих карманах. А теперь посудите сами: разве быть ограбленным — это не приключение, которого человеку вполне хватит на день? Я знал людей, которых обокрали и которые ни о чем другом не говорили до конца жизни. Правда, вор, забравшийся в мой карман, унес не бог весть какую добычу: двадцать — тридцать центов мелочью, пачку табаку да несколько листков папиросной бумаги. Но ведь это было все мое достояние, а не всякий ограбленный скажет это о себе; другого ограбят, зато у него есть кое-что дома, а у меня и дома-то не было. Видать, решил я, эти купальщики

— озорной народ. Присмотревшись к ним поближе, я понял, что нарвался, и почел за лучшее промолчать. Скромненько попросил на закурку, и бумага, из которой я свернул козью ножку, показалась мне до странности знакомой.

Итак, я перешел на тот берег. А вот и железная

дорога. Но станции что-то не видно. Возникал вопрос: как сесть на товарный, не давая себе труда тащиться на станцию? Я заметил, что железнодорожное полотно идет здесь в гору и что я нахожусь на его высшей точке — значит, тяжелый товарный состав особой скорости тут не разовьет. Да, но какую все же скорость? По ту сторону полотна возвышалась крутая насыпь. На краю ее из густой травы выглядывала чья-то голова. Может, этот малый знает, как быстро идут здесь поезда, а также когда ждать товарного в южном направлении? Напрягая голос, чтоб быть услышанным, я обратился с этими вопросами к незнакомцу, но он вместо ответа поманил меня к себе.

Я повиновался и, взобравшись на откос, увидел, что рядом с ним на траве расположились пятеро мужчин. Оглядевшись, я понял, что попал в табор американских цыган. На открытой поляне, окруженной деревьями и начинавшейся у самой насыпи, стояло несколько фургонов необычного вида. Стайка оборванных, полуголых ребятишек носилась по поляне, но, как я заметил, все они с опаской обходили лежавших мужчин, стараясь их не беспокоить. Несколько худых, поблекших, изнуренных работой женщин были заняты кто

чем, а одна, забравшись в фургон, сидела, понуро свесив голову, обхватив колени безжизненными руками. Видно было, что несладко ей живется. Казалось, все кругом ей безразлично, — впрочем, вскоре выяснилось, что я неправ: были вещи, которые она принимала близко к сердцу. Лицо ее, напоминавшее трагическую маску, говорило, что она испила полную чашу страданий и новые страдания ей уже не под силу. «Ничто не способно возмутить эту отчаявшуюся душу», — подумал я, но и тут оказался неправ.

Я лежал на траве, на краю насыпи, и разговаривал с мужчинами. Мы были членами одной семьи, братьями: я американский бродяга, и они американские цыгане. Я достаточно знал их наречие, чтобы понимать их, а они не хуже — тот жаргон, на котором изъяснялся я. Двое из табора, по их словам, ушли в Харрисбург «на промысел». Официально их занятием считалась починка зонтов, но чем они промышляли на самом деле, никто не счел нужным мне объяснить, а я считал неудобным спрашивать.

День был великолепный — ни малейшего ветерка. Мы нежились под лучами солнца, прислушиваясь к дремотному жужжанию насекомых. Воздух был напоен свежестью земли

и ароматом полевых трав и цветов. Разомлев, мы молча лежали на припеке и только изредка обменивались отрывистыми замечаниями. И вдруг эта благостная тишина была кощунственно нарушена человеком.

Два босоногих мальчугана лет восьми-девяти в чем-то провинились, погрешив — надо полагать, не особенно серьезно — против законов табора. В чем заключалась их вина, я так и не узнал. Цыган, лежавший рядом со мной, вдруг приподнялся и грозно окликнул их. Это был «вожак», человек с низким лбом и глазками-щелками. Достаточно было взглянуть на его тонкогубый рот и перекошенное надменной гримасой лицо, чтобы понять, почему мальчуганы, едва заслышав его голос, вздрогнули и застыли на месте, как почуявшие опасность олени. На их настороженных лицах был написан слепой страх, и первым их движением было бежать без оглядки. Но властный голос звал ослушников назад, и я заметил, что один из мальчиков замедляет шаг. Все его маленькое тельце в выразительной пантомиме выдавало борьбу, которую вели в нем страх и рассудок. Он хотел вернуться. Разум и горький опыт говорили ему, что вернуться — меньшее зло, чем бежать. Но хоть и меньшее — оно было

достаточно велико, чтобы страх безотчетно толкал его в спину, а ноги сами бежали вперед.

Не в силах ни на что решиться, он все подвигался вперед, пока не остановился в тени деревьев. Цыган не преследовал беглеца. Он пошел к фургону, взял тяжелый кнут, затем вернулся и стал посреди поляны. Он больше не произнес ни слова, не сделал ни одного движения. Он был воплощением Закона, безжалостного, всемогущего Закона. Он застыл на месте и ждал. И я знал, и все мы знали, и двое мальчиков, стоявших под деревьями, знали, чего он ждет.

Мальчуган, тащившийся сзади, повернул обратно. Лицо его говорило о трепетной решимости. Он не колебался больше: он решил понести заслуженную кару. И, заметьте, наказание ожидало его уже не за первоначальную провинность, а за то, что он посмел убежать. Вожак лишь следовал примеру высококультурного общества, в котором мы живем, — мы так же караем своих преступников, а когда им удается бежать, преследуем и караем их вдвойне.

Мальчик без колебаний подошел к вожаку и остановился на таком расстоянии, чтобы кнут мог развернуться. Кнут просвистел, и я вздрогнул от неожиданности — так велика была сила обру-

шившегося удара. Тоненькие, худенькие ножки мальчика были до ужаса тоненькие и худенькие. Там, где сыромятный ремень впивался в тело, оно вздувалось белой полосой, которая тут же сменялась страшным багровым рубцом с маленькими сочащимися алыми трещинками в тех местах, где лопнула кожа. И снова кнут взвился в воздух, и тельце мальчика судорожно скорчилось в ожидании удара — но он не сдвинулся с места. Он держался крепко. Вздулся второй рубец, потом третий. И только когда кнут просвистел в четвертый раз, мальчик вскрикнул. Больше у него не было сил стоять и молчаливо сносить удары; они сыпались один за другим, а он приплясывал на месте, отчаянно вопя, но не делал все же попытки бежать. И если этот непроизвольный танец уводил его за невидимую черту, где его уже нельзя было достать кнутом, он, все так же приплясывая, возвращался обратно. Получив свои двенадцать ударов, он, плача и повизгивая, скрылся между фургонов.

Вожак стоял неподвижно и ждал. Тогда из-за деревьев вышел второй мальчик. Но у этого не хватило мужества пойти на казнь с поднятой головой. Он приближался чуть ли не ползком, как трусливая собачонка, охваченная смертель-

ным страхом, который заставляет ее то и дело поворачивать и сломя голову бросаться обратно. И каждый раз он возвращался, описывая вокруг своего палача все меньшие и меньшие круги, скуля и повизгивая, как звереныш. Я заметил, что он ни разу не взглянул на цыгана. Глаза его были неотступно прикованы к кнуту, и в них стоял такой ужас, что все во мне переворачивалось от сострадания, — безысходный ужас ребенка, не понимающего, за что его мучают. Я видел, как справа и слева от меня падают в бою крепкие мужчины, корчась в предсмертных судорогах; видел, как раворвавшийся снаряд превращает десятки человеческих тел в кровавое месиво, но, поверьте, видеть это было забавой, совершеннейшим пустяком по сравнению с тем, что я испытывал, глядя на несчастного ребенка.

Началась порка. Избиение, которому подвергся первый мальчик, бледнело перед карой, постигшей его товарища. Не прошло и минуты, как его худенькие ножки залила кровь. Он приплясывал, извивался и сгибался пополам, — казалось, это не мальчик, а зловещий картонный паяц, которого дергают за нитку. Я говорю «казалось», но его отчаянные вопли не оставляли сомнений в реальности этой казни. Это был звенящий,

пронзительный визг, без единой хриплой ноты, — невинная, надрывающая душу жалоба ребенка. Наконец силы изменили ему, разум померк, и он кинулся бежать. Но на этот раз человек бросился за мальчиком, щелканьем кнута отрезая ему дорогу, загоняя его на открытое место.

И тут произошло замешательство. Я услышал дикий, сдавленный вопль: женщина, сидевшая на козлах фургона, бежала к мальчику, чтобы помешать расправе. Она бросилась между мужчиной и ребенком.

— Что, и тебе захотелось? — проворчал цыган. — Получай, коли так!

Он замахнулся. Длинная юбка закрывала ей ноги, и он целился выше, ладил хлестнуть ее по лицу, — а она защищалась, как могла, закрываясь руками и локтями, втянув голову, подставляя под удары худые руки и плечи. Героическая мать! Она знала, что делает. Мальчик, повизгивая, побежал к фургонам, чтобы там укрыться.

И все это время четверо мужчин, лежавших со мной рядом, смотрели на это истязание и не двигались с места. Не шелохнулся и я, — говорю это без ложного стыда, хотя моему рассудку пришлось выдержать нелегкую борьбу с естественным побуждением — вскочить и вмешаться. Но я до-

статочно знал жизнь. Не много пользы принесло бы этой женщине или мне, если бы пятеро цыган на берегу Сасквеханны избили меня насмерть! Я однажды видел, как вешали человека, и хотя все во мне кричало от негодования, не проронил ни звука. При первой же попытке протеста мне раскроили бы череп рукояткой револьвера, ибо повесить этого человека повелевал Закон. А здесь, в цыганском таборе, Закон требовал, чтобы непокорная жена была наказана плетью.

По правде сказать, в обоих случаях причиною того, что я не вмешался, было не столько уважение к Закону, сколько то, что Закон был сильнее меня. Не будь здесь четырех цыган, с какой радостью бросился бы я на человека, вооруженного кнутом. И уж, конечно, сделал бы из него котлету, — разве только кто из женщин поспешил бы к нему на выручку с ножом или дубиной. Но рядом со мной на траве лежало четверо цыган, а это означало, что перевес на стороне Закона.

Поверьте, я жестоко страдал. Мне и раньше случалось видеть, как избивают женщин, но такого избиения я еще не видел. Платье у нее на плечах было изодрано в клочья. Один удар, от которого она не смогла увернуться, пришелся по лицу и рассек ей всю щеку до самого подбородка.

Не один, не два, не десять и не двадцать — удары сыпались без счета, без конца, кнут снова и снова обвивался вокруг тела несчастной, сыромятный ремень обжигал, язвил. Пот лил с меня градом, я тяжело дышал и судорожно цеплялся за траву, выдирая ее с корнем. И все время рассудок твердил мне: «Дурак ты, дурак!» Удар, рассекший ей щеку, чуть не погубил меня. Я рванулся было с места, но рука соседа тяжело легла мне на плечо.

— Полегче, приятель, полегче, — пробормотал цыган.

Я посмотрел на него, и он тоже уставился на меня. Это был атлет, огромный детина, широкоплечий, с налитыми мускулами, лицо вялое, невыразительное — не злое, но без искорки чувства, без проблеска мысли. Темная душа, не ведающая добра и зла, душа тупого животного. Да это и было животное, почти без проблесков сознания, добродушное животное, с мозгом и мускулами гориллы. Рука его тяжело давила мне на плечо, и я чувствовал всю силу его мышц. Я взглянул на остальных скотов: двое из них были безучастны и не проявляли ни малейшего любопытства, между тем как третий пожирал глазами это зрелище. И тогда здравый смысл вернулся ко мне, мускулы мои обмякли, я снова повалился

на траву.

Добрые девы, накормившие меня утром, невольно пришли мне на ум. Всего каких-нибудь две мили по прямой отделяли их от этой сцены. Здесь, в этот тихий безветренный день, под благодатным солнцем такую же слабую женщину, их сестру, истязал брат мой. Вот страница жизни, которой им не увидеть. Что ж, тем лучше, хотя, оставаясь слепыми, они никогда не поймут ни сестер своих, ни себя, ни того, из какой глины они вылеплены. Ибо женщине, живущей в тесных, надушенных комнатах-коробочках, не дано быть маленькой сестрой большого мира.

Но вот казнь кончилась, смолкли крики, и цыганка поплелась назад, на свое место в фургоне. Никто из подруг не решался к ней подойти — сразу по крайней мере. Их удерживал страх. И лишь выждав, сколько требовало приличие, они окружили ее. Вожак убрал кнут на место и, возвратившись к нам, снова растянулся на земле, по правую руку от меня. Он притомился после своей работы и тяжело дышал. Утирая рукавом пот, заливавший ему глаза, он вызывающе уставился на меня. Я равнодушно встретил его взгляд: то, что он сделал, ни в малейшей степени меня не касалось. Я не сразу ушел, а пролежал еще с полчаса,

что при данных обстоятельствах предписывал такт и этикет. Я свернул себе две-три папиросы из их табака. И когда я спустился с насыпи на полотно, у меня уже были все сведения насчет того, как лучше сесть на ближайший товарный, идущий на юг.

Подумаешь, невидаль! Самая обыкновенная страничка жизни — не больше! Бывает куда страшнее. Когда-то я доказывал (в шутку, как полагали слушатели), что главное отличие человека от других тварей в том, что человек — единственное животное, которое дурно обращается со своей самкой. На это не способны ни волк, ни трусливый койот, ни даже собака, природу которой изгадил приручивший ее человек. По крайней мере в этом собака верна первобытному инстинкту, тогда как человек растерял их все — в первую очередь инстинкты благодетельные.

Есть ли что-нибудь страшнее здесь описанного? Прочтите любой очерк о детском труде в Соединенных Штатах на востоке и западе, на севере и юге — везде, и вы убедитесь, что все мы, причастные и подвластные царству чистогана, печатаем и выпускаем в свет куда более страшные страницы жизни, чем эта скромная страничка об избиении женщины на откосе Сасквеханны.

Я спустился футов на сто под уклон и нашел место, где плотно слежался гравий; здесь я мог сесть на товарный, когда он замедлит ход на подъеме. На насыпи человек шесть бродяг карауливали поезд. Кое-кто из них, чтобы убить время, резался в карты, которые были необыкновенно истрепаны. Я присоединился к ним. Сдавал молодой веселый негр, толстяк, с круглым, как луна, лицом, излучавшим добродушие. Добродушие так и сочилось из него. Бросив мне первую карту, он вдруг остановился и спросил:

— Эй, дружок, а ведь мы с тобой вроде встречались?

— Встречаться-то встречались, — отвечал я, — только, сдается, на тебе была другая амуниция.

Он озадаченно посмотрел на меня.

— Помнишь Буффало? — спросил я.

Тут он вспомнил — и восторженно приветствовал меня как старого товарища, ибо в Буффало он носил полосатую куртку и отбывал свой срок в исправительной тюрьме округа Эри. Что до меня, то я тоже носил тогда полосатую куртку и тоже отбывал свой срок.

Игра продолжалась, и я узнал, на что играют. Внизу под насыпью, где протекала река, футах в двадцати пяти от нас, виднелся источник; к

нему бежала крутая узкая тропка. Мы играли в карты, примостившись на краю насыпи. Проигравший должен был сбежать вниз, набрать воды в небольшую жестянку из-под сгущенного молока и напоить желающих.

После первой партии в дураках остался негр. Он взял жестянку и полез вниз, а мы сверху глядели, как он набирает воду, и потешались над ним. Ну и пили же мы, скажу я вам! Как лошади! Четыре раза ходил он в оба конца для меня одного, да и другие пили не стесняясь. Тропинка была крутая, негр то и дело где-нибудь на полдороге тыкался носом в землю, проливал воду и снова спускался вниз. Однако он ничуть не сердился и хохотал не меньше нас, а потому, должно быть, и падал. Впрочем, он клялся, что еще возьмет свое: пусть только кто-нибудь проиграет, — он будет пить, как бездонная бочка!

Когда все напились вволю, сыграли второй кон, и опять проиграл негр, и опять мы хлебали воду, сколько влезет. Третий и четвертый кон — то же самое, и каждый раз негр, с круглым, как луна, лицом от души хохотал над тем, как отчаянно ему не везет. И мы тоже надрывали животики. Мы смеялись, как дети, как беспечные боги, примостясь на краю железнодорожной насыпи. Я по

крайней мере хохотал до слез и так накачался, что вода подступала мне к горлу. Кто-то сказал, что с таким грузом нам не вскочить на поезд, когда он на подъеме замедлит ход. Мы всесторонне обсудили этот вопрос, и разгоревшиеся прения так насмешили негра, что чуть его не доконали. Он даже перестал носить воду и добрых пять минут катался по земле от смеха.

Тени, удлиняясь, все дальше наползали на противоположный берег. Тихие прохладные сумерки спускались на землю, а мы по-прежнему дули воду, и наш черный виночерпий приносил нам еще и еще. Забыта была бедная женщина, судьба которой так занимала меня какой-нибудь час назад. Эта страница была прочтена, открылась другая. Теперь я был увлечен ею, а когда внизу, на подъеме, закричит паровоз, придет к концу и эта страница и начнется новая. Так, пока мы молоды, перелистываем мы книгу жизни — страница за страницей,

— и нам кажется, что им конца нет.

Но тут — наконец-то! — повезло негру: проиграл бледный, испитой бродяга, должно быть, страдавший затяжной желудочной болезнью. Он, кстати сказать, смеялся меньше других. Мы в один голос заявили, что больше не хотим на-

ливаться, да так оно и было. Никакие богатства Ормуза и Инда не заставили бы меня сделать еще глоток, никаким самым мощным насосом нельзя было бы накачать в мою раздутую утробу еще хотя бы каплю жидкости. Я видел, что негр огорчен, однако он не растерялся и заявил, что выпил бы самую малость. И он постоял за себя. Он выпил малость, потом еще малость, потом еще и еще и все не мог напиться. И сколько бы воды ни приносил ему унылый бродяга, сновавший по откосу вниз и вверх, негр был не прочь выпить еще. В конце концов он выпил больше всех нас, вместе взятых. Ночь сменила сумерки, в небе высыпали звезды, а негр все пил и пил. Если бы не внезапно разорвавший тишину паровозный свисток, он, думается, так без конца и хлестал бы воду, упиваясь местью, а унылый бродяга все таскался бы вверх и вниз.

Но паровоз просвистел. Кончилась и эта страница. Мы вскочили и растянулись шеренгой вдоль рельсов. Паровоз подходил, пыхтя и отдуваясь на подъеме, и его огненный глаз превращал ночь в день, отчего наши силуэты казались еще чернее. Но вот он проскочил; мы побежали рядом с вагонами, кто цепляясь за ступеньки, кто раздвигая двери крытых вагонов и вваливаясь

внутрь. Я забрался на платформу с лесными материалами, прополз между досок и приткнулся в уютном уголке. Сложив газету, я сунул ее под голову вместо подушки. Звезды надо мной мерцали в вышине и стайками шарахались куда-то в сторону, когда поезд делал дугу на повороте. Так, наблюдая звезды, я и уснул. Еще один день пришел к концу — один из многих моих дней. Завтра будет новый: ведь я молод.

«Сцапали»

Я прибыл на Ниагарский водопад в «пульмановском вагоне с боковым входом», или, говоря общепринятым языком, в товарном. Кстати сказать, открытая товарная платформа именуется у нашей братии «гондолой», причем на втором, протяжно произносимом слоге делается энергичное ударение. Но к делу. Прибыл я под вечер и как вылез из товарного поезда, так прямо пошел к водопаду. Когда моим глазам открылось это чудо — эта масса низвергающейся воды, я пропал. Я уже не мог оторваться от него и упустил время, пока еще можно было «прощупать» кого-нибудь из «оседлых» (местных жителей) на предмет ужина. Даже «приглашение к столу» не могло бы отвлечь меня от этого зрелища. Наступила ночь — дивная лунная ночь, а я все сидел у водопада и очнулся только в двенадцатом часу, когда надо было уже идти искать, куда бы «шлепнуться».

«Шлепнуться», «приткнуться», «завалиться», «дать храпу» — все это означает одно: поспать. Что-то подсказывало мне, что это «плохой» город — то есть малоподходящий для бродяг, и я взял курс на предместье. Перелез через какую-то огра-

ду и «двинул» в поле. «Уж здесь-то господин Закон не доберется до меня!» — решил я; повалился в траву и заснул, как младенец. Благоуханный воздух и теплынь так разморили меня, что я ни разу не проснулся за всю ночь. Но как только стало светать, я открыл глаза и тут же вспомнил изумительный водопад. Я опять перелез через ограду и пошел взглянуть на него еще разок. Было совсем рано, не больше пяти часов утра, а раньше восьми нечего было и думать раздобыть завтрак. Я мог побыть у реки еще добрых три часа. Но увы! Мне не суждено было больше увидеть ни реки, ни водопада!

Город спал. Бредя пустынной улицей, я увидел, что навстречу мне по тротуару идут трое людей. Они шагали все в ряд. «Такие же бродяги, как я; и тоже встали спозаранку», — мелькнула у меня мысль. Но я несколько ошибся в своих предположениях. Я угадал только на шестьдесят шесть и две трети процента. По бокам шли действительно бродяги, но тот, кто шагал посередине, был отнюдь не бродяга. Я отступил на край тротуара, чтобы пропустить эту троицу мимо. Но они не прошли мимо. Идущий посередине что-то сказал, все трое остановились, и он обратился ко мне.

Я мигом почуял опасность. Это был фараон,

а двое бродяг — его пленники! Господин Закон проснулся и вышел на охоту за первой дичью. А я был этой дичью. Будь у меня тот опыт, который я приобрел несколько месяцев спустя, я тотчас повернул бы назад и бросился наутек. Фараон мог, конечно, выстрелить мне в спину, но ведь он мог и промахнуться, и тогда я был бы спасен. Он никогда не погнался бы за мной, ибо двое уже пойманных бродяг всегда лучше одного, удирающего во все лопатки. Но я, дурак, стал как вкопанный, когда он окликнул меня! Разговор у нас был короткий.

— В каком отеле остановился? — спросил он.

Тут он меня и «застукал». Ни в каком отеле я не останавливался и даже не мог назвать наугад какую-нибудь гостиницу, так как не знал ни одной из них. Да и слишком уж рано появился я на улице. Все говорило против меня.

— Я только что приехал! — объявил я.

— Ну поворачивайся и ступай впереди, только не вздумай слишком спешить. Здесь кое-кто хочет повидаться с тобой.

Меня «сцапали»! Я сразу понял, кто это хочет со мной повидаться. Так я и зашагал — прямо в городскую тюрьму; двое бродяг и фараон шли за мной по пятам, и последний указывал дорогу. В

тюрьме нас обыскали и записали наши фамилии. Не помню уж, под какой фамилией был я записан. Я назвал себя Джеком Дрэйком, но они обыскали меня, нашли письма, адресованные Джеку Лондону. Это создало некоторую трудность, и от меня потребовали разъяснений… Подробности я уже забыл и так и не знаю «сцапали» ли меня как Джека Дрэйка или как Джека Лондона. Во всяком случае, либо то, либо другое имя и по сей день украшает собой списки арестантов упомянутой городской тюрьмы. Наведя справки, можно это выяснить. Дело происходило во второй половине июня 1894 года. Через несколько дней после моего ареста началась крупная железнодорожная забастовка.

Из конторы нас повели в «хобо» и заперли. «Хобо» — та часть тюрьмы, где содержат в огромной железной клетке мелких правонарушителей. Так как хобо, то есть бродяги, составляют главную массу мелких правонарушителей, то эту железную клетку и прозвали «хобо». Здесь уже находилось несколько бродяг, арестованных в это утро, и чуть ли не каждую минуту дверь отворялась и к нам вталкивали еще двух-трех человек. Наконец, когда в клетке набралось шестнадцать хобо, нас повели наверх, в судебную

камеру. А теперь я добросовестно опишу вам, что происходило в этом «суде», ибо тут моему патриотизму американского гражданина был нанесен такой удар, от которого он никогда не мог вполне оправиться.

Итак, в судебной камере находились шестнадцать арестантов, судья и два судебных пристава. Судья, как выяснилось, исполнял одновременно и обязанности секретаря. Свидетелей не было. Граждан Ниагара-Фоллс, которые могли бы тут увидеть воочию, как в их городе совершается правосудие, также не было. Судья заглянул в список «дел», лежавший перед ним, и назвал фамилию. Один из бродяг встал. Судья посмотрел на судебного пристава.

— Бродяжничество, ваша честь, — проговорил тот.

— Тридцать дней! — сказал его честь.

Бродяга сел. Судья назвал другую фамилию — встал другой бродяга.

Суд над ним занял ровно пятнадцать секунд. Следующего осудили с такой же быстротой. Судебный пристав произнес: «Бродяжничество, ваша честь», а его честь изрек: «Тридцать дней». Так оно и шло, как по хронометру: на каждого хобо пятнадцать секунд… и тридцать дней ареста.

«Какая смирная, бессловесная скотинка! — подумал я. — Вот погодите: дойдет до меня черед, так я задам перцу его чести!» В разгар этой судебной процедуры его честь по какой-то минутной прихоти дал одному из подсудимых возможность заговорить. И это как раз оказался не настоящий хобо. Он ничем не напоминал профессионального отпетого бродягу. Подойди он к нам, когда мы ждали товарного поезда у водокачки, мы бы сразу распознали в нем «котенка». В царстве бродяг «котенками» называют новичков. Этот хобо-новичок был уже немолод — лет сорока пяти с виду. Сутулый, с морщинистым обветренным лицом.

Он, по его словам, много лет работал возчиком у какой-то фирмы — если память мне не изменяет, в Локпорте, в штате Нью-Йорк. Дела фирмы пошатнулись, и в тяжелый 1893 год она закрылась. Его держали до последних дней, хотя под конец работа уже стала нерегулярной. Он рассказал, как в течение нескольких месяцев не мог никуда устроиться, — кругом было полно безработных. Наконец, решив, что скорее можно найти какую-нибудь работенку на Великих Озерах, отправился в Буффало. Дошел, как водится, до полной нищеты — и вот попал сюда. Все было ясно.

— Тридцать дней! — объявил его честь и вызвал

следующего.

Тот встал.

— Бродяжничество, ваша честь, — сказал судебный пристав.

— Тридцать дней, — объявил его честь.

Так оно и шло: пятнадцать секунд — и каждый получал тридцать дней. Машина правосудия работала без заминки. Весьма вероятно, что в этот ранний час его честь еще не успел позавтракать и потому спешил.

Кровь во мне закипела. Я услышал голос моих американских предков. Одной из привилегий, за которые они сражались и умирали, было право на суд с присяжными. Это право, освященное их кровью, я получил от них в наследие и считал своим долгом отстаивать его. «Ладно, — грозил я мысленно судье, — пусть только дойдет до меня очередь!»

И вот очередь дошла до меня. Одна из моих фамилий — не помню которая

— была названа, и я встал. Судебный пристав произнес:

— Бродяжничество, ваша честь!

И я заговорил! Но в ту же секунду заговорил и судья. Он изрек:

— Тридцать дней!

Я было запротестовал, но его честь, бросив мне: «Молчать!» — уже называл фамилию следующего по списку. Пристав заставил меня сесть на место. Новый бродяга получил свои тридцать дней, и поднялся следующий, чтобы получить столько же.

Когда с нами расправились, дав каждому по тридцать суток ареста, судья уже хотел отпустить нас, но вдруг обратился к возчику из Локпорта — единственному из подсудимых, которому была дана возможность что-то сказать.

— Зачем ты бросил работу? — спросил судья.

Возчик уже объяснял, что не он бросил работу, а она уплыла от него, и вопрос судьи его озадачил.

— Ваша честь, — растерянно начал он, — чудно как-то вы спрашиваете…

— Еще тридцать дней за то, что бросил работу! — изрек его честь, и на этом судопроизводство закончилось. В итоге возчик получил по совокупности шестьдесят суток, а все мы — по тридцати.

Нас свели вниз, заперли в клетку и принесли нам завтрак. Для тюремного завтрака он был не так уж плох, — потом мне целый месяц ни разу не довелось так позавтракать.

Я был потрясен: меня лишили не только права предстать перед судом присяжных, но даже права

обратиться к суду и заявить о своей невиновности и после какой-то пародии на суд вынесли мне приговор. Тут меня осенило: есть еще одно право, за которое дрались мои предки, — право на неприкосновенность личности. Я им покажу! Но когда я потребовал адвоката, меня подняли на смех. Право существовало; но мне от этого было мало проку, раз я не мог снестись ни с кем вне тюрьмы. И все-таки я им покажу! Они не могут вечно держать меня в тюрьме. Ладно, подождите, дайте мне только выйти на свободу. Тут они у меня попляшут! Я немножко знаю законы и свои права и докажу, что здесь нарушают правосудие! Когда тюремщики пришли и погнали нас в главную канцелярию, я уже воображал себе, как предъявлю иск за убытки, и перед глазами у меня мелькали сенсационные газетные заголовки.

Полисмен надел нам наручники, соединив мою правую руку с левой рукой какого-то негра. («Ага, — подумал я, — новое оскорбление! Погодите же, дайте мне только выйти на свободу!..») Негр был очень рослый, наверное выше шести футов, и, когда нас сковали, его рука немного подтягивала мою кверху. Это был самый оборванный и самый веселый негр, каких я когда-либо встречал!

Так сковали нас всех попарно. По окончании

этой операции принесли блестящую цепь из никелерованной стали, пропустили ее через звенья всех наручников и замкнули на замок. Теперь мы представляли собою «кандальную шеренгу». Был отдан приказ трогаться, и мы зашагали по улице под охраной двух полицейских. Рослому негру и мне досталось почетное место — во главе процессии.

После могильного мрака тюрьмы солнечный свет ослепил меня. Никогда еще он не казался мне таким отрадным, как теперь, когда я брел, позвякивая кандалами, и знал, что скоро расстанусь с ним на целых тридцать дней.

Под любопытными взглядами прохожих мы шли по улицам городка к железнодорожной станции; особенно заинтересовалась нами группа туристов на веранде одного отеля, мимо которого мы проходили.

Цепь была довольно длинная, и мы со звоном и лязгом расселись попарно на скамьях вагона для курящих. Как ни горячо негодовал я по поводу издевательства, учиненного надо мною и моими предками, все же я был слишком практичен и благоразумен, чтобы терять из-за этого голову. Все было так ново для меня. А впереди еще целый месяц чего-то неизведанного… Я стал озираться

кругом, ища кого-нибудь поопытнее меня. Я уже знал, что нас везут не в маленькую тюрьму с сотней арестантов, а в настоящий исправительный дом с двумя тысячами узников, заключенных на сроки от десяти дней до десяти лет.

На скамейке позади меня сидел здоровенный, коренастый мужчина с могучими мускулами. На вид ему было лет тридцать пять — сорок. Я присмотрелся к нему. В выражении его глаз заметны были юмор и добродушие, в остальном он больше походил на животное, и можно было предположить, что он совершенно аморален и наделен звериной силой и всеми звериными инстинктами. Но выражение его глаз — это веселое добродушие зверя, когда его не трогают, — искупало многое, во всяком случае для меня.

Он был моей «находкой». Я «нацелился» на него. И покуда скованный со мной верзила-негр жаловался, что из-за ареста он потеряет обещанную ему работу в прачечной, перемежая, впрочем, свои сетования шутками и смехом, и покуда поезд мчался в Буффало, я разговорился с этим человеком, сидевшим позади меня. Его трубка была пуста. Я набил ее табаком из моего драгоценного запаса, — этого табаку хватило бы на десяток папирос. Да что там, чем дольше мы

с ним беседовали, тем больше я убеждался, что это действительно находка, и в конце концов разделил с ним весь мой табак.

Надо вам сказать, что я довольно покладистый малый и достаточно знаком с жизнью, чтобы приноровиться к любому положению. Я поставил себе целью приноровиться к этому человеку, еще не подозревая даже, до чего удачен мой выбор. Он никогда не сидел в той «исправилке», куда нас везли, но успел отсидеть в других тюрьмах — где год, где два, а где и целых пять

— и был начинен арестантской премудростью. Мы довольно быстро освоились друг с другом, и сердце мое дрогнуло от радости, когда он посоветовал мне во всем его слушаться. Он называл меня «малый», и я называл его так же.

Поезд остановился на станции в пяти милях от Буффало, и мы сошли, гремя цепями. Не помню точно, как называлась эта станция, — надо думать, что это было что-то вроде Роклина, Роквуда, Блэкрока, Роккасля или Ньюкасля. Но как бы она там ни звалась, нас сначала немного прогнали пешком, а затем посадили в трамвай. Это был старомодный вагон с сиденьями по обе стороны. Всех пассажиров попросили разместиться на одной стороне вагона, а мы, громко лязгая цепями,

заняли места на другой. Мы сидели прямо против них, и я, как сейчас, помню выражение ужаса на лицах женщин, которые, наверное, приняли нас за осужденных на каторгу убийц и банковых громил. Я постарался напустить на себя самый свирепый вид, но мой компаньон по наручникам, развеселый негр, не переставал вращать глазами и повторять со смехом: «О боже! Боже милостивый!»

Мы вылезли из вагона и пешком дошли до канцелярии исправительной тюрьмы округа Эри. Здесь нас переписали, и в этом списке вы можете найти одну из моих двух фамилий. Нам объявили также, что мы должны сдать все ценности: деньги, табак, спички, карманные ножи и прочее.

Мой новый приятель взглянул на меня и отрицательно покачал головой.

— Если вы не оставите ваших вещей здесь, их все равно конфискуют потом, — предупредил чиновник.

Но мой приятель продолжал мотать головой. Он делал какие-то движения руками, пряча их за спиной других арестантов (наручники с нас уже сняли). Я наблюдал за ним и, последовав его примеру, связал в носовой платок все, что хотел взять с собой. Эти узелки мы сунули себе за рубашки.

Я заметил, что и прочие арестанты, за исключением одного или двух, у которых имелись часы, не отдали своих вещей чиновнику канцелярии. Они решили довериться случаю, надеясь так или иначе пронести их контрабандой; но они были не так опытны, как мой товарищ, и не связали своих пожитков в узелки.

Конвойные, забрав наручники и цепь, удалились, а нас под охраной новых стражей отправили в тюрьму. Пока мы ожидали в канцелярии, к нам присоединили еще несколько партий вновь прибывших арестантов, так что теперь наша процессия насчитывала сорок — пятьдесят человек.

Знаете ли вы, гуляющие на свободе, что движение в большой тюрьме так же затруднено, как была затруднена торговля в средние века! Попав в исправительный дом, вы уже не можете расхаживать здесь, как вам вздумается. На каждом шагу вы наталкиваетесь на огромные железные двери или ворота, которые всегда на запоре. Нас повели в парикмахерскую, но на нашем пути все время возникали преграды в виде запертых дверей. В первом же «вестибюле» нам пришлось ждать, пока отпирали дверь. «Вестибюль» — это не вестибюль и не коридор. Представьте себе огромный прямоугольный кирпичный брус

высотою в шесть этажей: в каждом этаже ряды камер — скажем, по пятьдесят камер в ряду. Еще лучше, вообразите себе огромный пчелиный сот. Поставьте его на землю, обнесите стенами и покройте крышей — и вы получите представление о «вестибюле» исправительной тюрьмы округа Эри. Для полноты картины представьте себе и узенькие висячие галерейки с железными перилами, бегущие вдоль каждого ряда камер. Галерейки с обоих концов соединяются между собой — на случай пожара — узенькими железными лестницами.

Итак, мы задержались в первом «вестибюле», ожидая, пока сторожа отопрут двери. Мимо проходили заключенные с бритыми головами, в полосатой тюремной одежде. Одного такого заключенного я заметил над нами, на галерее третьего этажа. Он стоял, наклонившись вперед, опираясь о перила, и, казалось, совершенно не замечал нашего присутствия. Он смотрел куда-то в пространство. Мой новый приятель издал тихий шипящий звук. Заключенный глянул вниз. Они обменялись какими-то сигналами. Узелок моего приятеля взвился вверх. Заключенный поймал его, мгновенно сунул за пазуху и снова безучастно уставился в пространство. Приятель

посоветовал мне последовать его примеру. Я улучил минуту, когда сторож повернулся к нам спиной, и мой узелок тоже полетел вверх и исчез у заключенного за пазухой.

Через минуту дверь отперли, и нас ввели в парикмахерскую. Здесь тоже были люди в волосатой одежде — тюремные цирюльники. Были тут и ванны, и горячая вода, и мыло, и щетки. Нам приказали раздеться и вымыться, причем каждому велено было потереть спину соседу. Это обязательное омовение оказалось совершенно излишним, так как тюрьма кишела паразитами. После мытья каждому дали по холщовому мешку для одежды.

— Сложите свою одежду в мешки, — сказал нам конвойный. — И не пытайтесь протащить, чего не велено! Строиться для осмотра будете голыми. У кого тридцать суток и меньше — оставляйте себе башмаки и подтяжки. У кого больше тридцати суток — не оставляйте ничего.

Это всех смутило: как может голый человек пронести «чего не велено»? Только мой приятель и я чувствовали себя спокойно. Но тут за дело принялись цирюльники. Они обходили вновь прибывших, любезно предлагая взять на свое попечение их драгоценные пожитки и обещая

вернуть их в тот же день. Послушать их — это были сущие филантропы. Кажется, нигде еще людей так быстро не освобождали от излишнего груза, если не считать случая с Фра Филиппо Липпи[86]. Спички, табак, папиросная бумага, трубки, ножи, деньги — все решительно исчезло у цирюльников за пазухой и вместилось там. Цирюльники раздулись, как пузыри, от своей добычи, а сторожа делали вид, что ничего не замечают. Короче говоря, все это так и пропало. Да цирюльники и не собирались ничего отдавать. Они считали захваченное добро своей законной добычей. Это был побочный доход парикмахерской! В тюрьме, как я потом установил, процветали самые разнообразные виды незаконных поборов. Мне пришлось испытать это на собственном опыте, — все благодаря моему приятелю.

В парикмахерской стояло несколько стульев, и цирюльники работали быстро. Я никогда еще не видел, чтобы людей так проворно брили и стригли! Намыливались заключенные сами, а цирюльники брили их с молниеносной быстротой — по одному человеку в минуту. Стрижка головы занимала чуть побольше времени. В три

---

[86] notes: 86

Фра Филиппо Липпи — итальянский художник X века; был, как утверждает предание, похищен пиратами.

минуты исчез весь мой пушок восемнадцатилетнего юнца, и голова моя стала гладкой, как бильярдный шар, но с зачатками новой поросли. Нас лишили бороды и усов с таким же проворством, как и нашей одежды и ценностей. Можете мне поверить — после того как нас так обработали, мы приобрели вид настоящих злодеев! Я даже и не подозревал, до чего же мы все гнусные личности!

Потом нас выстроили в шеренгу. Сорок — пятьдесят человек стояли нагишом, подобно героям Киплинга, бравшим приступом Лунгтунпен. Это чрезвычайно облегчило обыск, на нас были только башмаки. Двое-трое отчаянных голов не решились довериться цирюльникам, и у них сразу нашли их добро — табак, трубки, спички, мелкую монету — и тут же конфисковали. Покончив с этим, нам принесли новое одеяние: грубые тюремные рубашки, куртки и штаны — все полосатое. Оказывается, я всю жизнь пребывал в заблуждении, полагая, что в полосатую арестантскую одежду облачают лишь уголовных преступников. Тут я со своим заблуждением расстался, надел на себя эту одежду позора и получил первый урок маршировки.

Выстроившись тесной вереницей, в затылок

друг другу, причем задний держал руки на плечах переднего, мы перешли в другой большой «вестибюль». Здесь нас выстроили у стенки, приказав обнажить левую руку. Студент-медик, молодой парень, практиковавшийся на такой скотине, как мы, обошел ряд. Он делал прививку еще вчетверо проворней, чем цирюльники свое дело. Нам велели соблюдать осторожность, чтобы не задеть за что-нибудь рукой, пока не подсохла кровь и не образовался струпик, и развели нас по камерам. Здесь меня разлучили с моим новым приятелем, но он все же успел шепнуть мне: «Высоси!»

Как только меня заперли, я начисто высосал ранку. Потом я видел тех, кто не высосал: у них на руках образовались ужасные язвы, в которые свободно вошел бы кулак! Сами виноваты! Могли бы высосать…

В моей камере находился еще один заключенный. Нам предстояло отбывать срок вместе. Это был молодой, крепкий парень, несловоохотливый, но очень дельный, в общем, превосходный парень, какие встречаются не так уж часто,

— нужды нет, что он только что отбыл двухлетний срок в одной из «исправилок» штата Огайо.

Не прошло и получаса, как по галерее прошел заключенный и заглянул в нашу камеру. Это

был мой приятель. Оказывается, он получил право свободно расхаживать по «вестибюлю». Его камеру отпирали в шесть часов утра и не запирали до девяти вечера. У него здесь нашелся приятель, и его уже сделали доверенным лицом, носившим наименование «коридорного». В эту должность определило его другое доверенное лицо из заключенных, именовавшееся «первым коридорным». В нашем корпусе было тринадцать коридорных — на каждую из десяти галерей по одному, — а над ними начальствовали первый, второй и третий коридорные.

Мой приятель объяснил мне, что нас, новоприбывших, оставят сидеть в камерах весь остаток дня, чтобы не мешать «приниматься» прививке. А утром поведут на тюремный двор, на принудительные работы.

— Но я вызволю тебя, как только можно будет, — пообещал он. — Добьюсь, чтоб уволили одного из коридорных, а тебя назначили на его место!

Сунув руку за пазуху, он вытащил оттуда платок с моими драгоценными пожитками и передал его мне сквозь решетку. Затем пошел дальше по галерее.

Я развязал узелок. Все оказалось на месте! Не пропало ни единой спички. Я поделился табач-

ком с моим товарищем по камере. Когда я хотел зажечь спичку, он удержал меня. На каждой из наших коек валялось по ветхому, грязному одеялу. Он оторвал узенькую полоску ткани, плотно скрутил ее и поднес к ней драгоценную спичку. Бумажная ткань не воспламенилась, но край обуглился и начал тлеть; он мог тлеть несколько часов. Товарищ мой по камере называл это «трутом». Когда трут догорал, стоило только сделать новый трут, приложить его к догорающему, подуть — и огонек воскресал. Как видите, по части хранения огня мы могли дать сто очков вперед самому Прометею!

В двенадцать часов подали обод. В двери нашей клетки внизу было небольшое отверстие, вроде тех, что делают в курятниках. В это отверстие нам сунули два ломтя сухого хлеба и две мисочки «супа». Порция супа состояла приблизительно из кружки кипятку, на поверхности которого одиноко плавала капля жира. Было в этой воде и немного соли.

Мы выпили суп, но не притронулись к хлебу. Не потому, что были не голодны или хлеб оказался несъедобным, — нет, он был довольно сносный, но у нас имелись на то свои причины. Мой товарищ обнаружил, что наша камера

кишит клопами! Во всех щелях и промежутках между кирпичами, где осыпалась штукатурка, жили огромные колонии этих насекомых. Старожилы дерзали появляться даже среди бела дня; их были сотни — на стенах и на потолке… Но мой товарищ обладал некоторым опытом по этой части; бесстрашно, как Чайлд-Роланд[87], вызывал он клопов на бой. Разгорелась небывалая битва. Она длилась за часом час. Она была беспощадна. Но, когда разбитый наголову неприятель бежал в свои штукатурные и кирпичные твердыни, наше дело было сделано еще только наполовину. Мы жевали хлеб, превращали его в замазку и, как только обращенный в бегство воин скрывался в расселину меж кирпичами, тотчас залепляли ее жеваным хлебом. Трудились мы так до самых сумерек, пока все отверстия, щели и трещины не оказались закупоренными. Не могу без содрогания подумать о сценах голодной смерти и каннибализма, которым суждено было разыграться за крепостными стенами из жеваного хлеба.

Измученные и голодные, мы повалились на койки и стали дожидаться ужина. За один день

[87] notes: 87

Чайлд-Роланд — герой одноименной поэмы английского поэта XIX века Роберта Браунинга.

было проделано достаточно. Теперь мы не будем по крайней мере страдать от полчищ паразитов! Пришлось пожертвовать обедом, спасти, так сказать, шкуру за счет желудка, но мы были довольны. Увы! Сколь тщетны человеческие старания! Едва был окончен наш долгий труд, как надзиратель отпер дверь: затеяли перераспределение заключенных — нас перевели двумя галереями выше, в другую камеру.

На другой день рано утром наши камеры отперли, и несколько сот узников выстроились гуськом в нижнем «вестибюле» и пошли на тюремный двор работать. Канал Эри проходил как раз мимо заднего двора исправительной тюрьмы округа Эри. Мы разгружали приплывшие по каналу суда и перетаскивали в тюрьму на спине огромные, похожие на шпалы, распорные болты. Работая, я изучал обстановку, ища возможность дать тягу. Но на это не было и тени надежды. По стенам расхаживали часовые, вооруженные автоматическими винтовками, а в сторожевых башнях, как мне сказали, стояли еще и пулеметы.

Впрочем, я не очень огорчался. Тридцать суток не такой уж большой срок! Потерплю. У меня только прибавится материала против этих гарпий правосудия, который я пущу в ход, как

только выйду на свободу. Я покажу, что может сделать американский юноша, когда его права и привилегии растоптаны так, как были растоптаны мои! Меня лишили права предстать перед судом присяжных — не спросили даже, считаю ли я себя виновным или нет; меня, в сущности, осудили без суда (ибо не мог же я считать судом фарс, разыгранный в городе Ниагара-Фоллс!); мне не дали возможности снестись с юристом или с кем бы то ни было и, стало быть, лишили права обжаловать приговор; меня наголо обрили, облачили в полосатую одежду каторжника, держали на воде и хлебе, заставили выполнять каторжную работу и ходить под вооруженным конвоем. И все это — за что? Что я сделал? Какое преступление совершил я по отношению к гражданам города Ниагара-Фоллс, что на меня обрушили все эти кары? Я даже не погрешил против постановления, запрещающего ночевать на улице. Я спал не на улице, а в поле. Я даже не просил хлеба и не выклянчивал «легкую монету» у прохожих. Я только прошелся по их тротуарам и поглядел на их грошовый водопад. Так в чем же тут преступление? Юридически я не совершил ни малейшего проступка. Ладно, я им покажу, дайте мне только выйти на волю!

На следующий день я обратился к надзирателю. Я потребовал адвоката. Надзиратель высмеял меня. Надо мной смеялись все, к кому бы я ни обращался. Фактически я был отрезан от мира. Я вздумал написать письмо, но узнал, что письма читаются, подвергаются цензуре или конфискуются тюремными властями и что «краткосрочникам» вообще не разрешено писать писем. Тогда я попробовал переслать письма тайком через заключенных, выходивших на волю, но узнал, что их обыскали, нашли мои письма и уничтожили. Ладно, все это лишь отягчит обвинение, которое я предъявлю, выйдя на свободу!

Но шли дни, и я мало-помалу «умнел». Я наслушался невероятных, чудовищных рассказов о полицейских, об адвокатах, о полицейских судах. Заключенные рассказывали мне вещи поистине страшные о своих столкновениях с полицией в больших городах. Еще страшнее были ходившие среди них истории о людях, которые погибли от рук полиции и, следовательно, не могли уже поведать о себе. Несколько лет спустя в докладе «Комиссии Лексоу» мне пришлось читать правдивые повести, еще более жуткие, чем те, каких я наслушался в тюрьме. А ведь в первые дни заключения я недоверчиво усмехался, слушая эти,

как мне казалось, россказни.

Но дни проходили, и я начинал верить. Я собственными глазами увидел в этой «исправилке» вещи невероятные и чудовищные. И чем больше я узнавал, тем сильнее проникался трепетом перед ищейками закона и перед всей машиной правосудия.

Возмущение испарялось, а страх все глубже пускал корни в моей душе. Я отчетливо понял, наконец, против чего я восстал. Я присмирел, утихомирился и с каждым днем все более укреплялся в решении не поднимать шума, когда выйду на волю. Единственное, чего мне теперь хотелось, — это смыться куда-нибудь подальше. Именно это я и сделал, когда меня освободили. Я придержал язык, ушел тихо и смирненько — умудренный опытом и покорный — и стал пробираться в штат Пенсильвания.

Исправительная тюрьма

На тюремном дворе я трудился не покладая рук два дня. Это была тяжелая работа, и хотя я отлынивал при каждом удобном случае, я совершенно выбился из сил. В этом виновата еда. На таких харчах никто не смог бы как следует работать. Хлеб да вода — вот все, что нам давали. Раз в неделю нам полагалось мясо, но мы не всегда его получали, а если и получали, то после того, как из него предварительно вываривали все питательные вещества: они уходили в «суп», так что уже не имело значения, попадалось ли тебе это мясо или нет.

Кроме того, эта хлебно-водяная диета имела еще один существенный недостаток. Воду нам давали в неограниченном количестве, но хлеба не хватало. Порция хлеба была примерно величиной с два кулака, и такую порцию каждому заключенному давали три раза в день. Должен сказать, что у воды было одно положительное качество — она была горячая. По утрам ее именовали «кофе», в полдень величали «супом», а вечером выдавали за «чай». Но это была все та же, старая как мир, вода. Заключенные называли

ее «заколдованной» водой. Утром она была черной, потому что ее кипятили с поджаренными корками хлеба. Днем ее подавали бесцветной со щепоткой соли и каплей жира. Вечером она приобретала багрянисто-каштановый оттенок, происхождение которого оставалось тайной; это был отвратительный чай, но вода все же была отменно горяча.

Мы были всегда голодны в исправительной тюрьме округа Эри. Только «долгосрочники» ели досыта. Причина заключалась в том, что если бы они получали такой же паек, как и мы, осужденные на короткие сроки, они бы умерли до окончания сроков своего заключения. Я знаю, что долгосрочники получали пищу более существенную, потому что в нашем здании они занимали весь первый этаж, и я таскал у них продукты из их запасов, когда был коридорным. Нельзя же быть сытым одним только хлебом, да еще когда его получаешь так мало!

Мой приятель выполнил свое обещание. Я проработал во дворе только два дня, а потом меня назначили доверенным, «коридорным». Утром и вечером мы разносили хлеб по камерам, но в полдень раздача производилась несколько иначе. Длинная шеренга заключенных маршем

возвращалась с работы. В коридоре они уже не шли в ногу, каждый снимал руки с плеч впереди идущего товарища. Возле самого входа стояли большие лотки с хлебом, тут же находился главный староста и два коридорных. Я был одним из этих двух. Мы должны были держать перед проходящими заключенными лотки с хлебом. Вот опорожняется лоток, который держу я, вместо меня с полным лотком становится другой коридорный. А когда опустеет его лоток, я заменяю его с полным лотком. Таким образом арестанты безостановочно шли мимо, каждый протягивал правую руку и брал одну порцию хлеба.

У главного старосты были другие обязанности. Он орудовал дубинкой. Он стоял у лотка и наблюдал. Изголодавшиеся бедняги никогда не могли отделаться от ошибочной мысли, что в один прекрасный день им удастся взять с лотка два куска хлеба. Однако на моей памяти такого случая не было. Дубинка главного старосты молниеносно, как лапа тигра, опускалась на провинившуюся руку. У главного старосты был отличный глазомер, он изувечил этой дубинкой столько рук, что действовал безошибочно. Он ни разу не промахнулся и в наказание отбирал у провинившегося арестанта и ту порцию, что ему полагалась, и

отправлял его в камеру обедать горячей водой.

И в то время, когда эти несчастные валялись голодные в своих камерах, я видел, как сотни лишних порций хлеба перекочевывали в камеры коридорных и старост. Наше стремление присвоить себе этот хлеб может показаться абсурдным. Однако это был один из видов наших доходов. В стенах нашего коридора мы были экономическими магнатами, проделывая операции, во многом схожие с теми, которые осуществляют экономические магнаты государственного масштаба. Мы держали под контролем снабжение населения продовольствием, и совершенно так же, как это делают наши собратья-бандиты на воле, мы заставляли население дорого платить за это. Мы торговали лишним хлебом. Раз в неделю заключенные, работающие во дворе, получали пятицентовый кусок жевательного табака. Этот жевательный табак и был денежной единицей нашего царства. Мы давали две-три порции хлеба за кусок табака, и они шли на это не потому, что табак любили меньше, но потому, что они больше любили хлеб. О, я знаю, это все равно, что отнять у ребенка конфету. Но что поделаешь? Нам надо было жить. И, конечно, инициатива и предприимчивость требовали вознаграждения.

Кроме того, мы всего-навсего подражали нашим более преуспевшим собратьям на воле, которые в несоизмеримо больших масштабах и под респектабельной маской купцов, банкиров и магнатов индустрии делали то же самое, что и мы. Я даже не могу себе представить, что было бы без нас с этими несчастными заключенными. Мы пустили в оборот хлеб в исправительной тюрьме округа Эри, тому свидетель небо. Да, и мы поощряли умеренность и бережливость… у этих бедняг, которые отказывали себе в табаке. И кроме того, мы подавали им пример. В душе каждого арестанта мы зародили стремление возвыситься до нашего положения и тоже брать дань. Я полагаю, мы были попросту спасителями человечества.

Вот вам голодный мужчина, у которого не было табаку. Может быть, он дошел до такого разврата, что сам его сжевал. Отлично, но у него была пара подтяжек. Я ему за них предлагал полдюжины кусков хлеба или целую дюжину, если подтяжки очень хороши. Сам я никогда не носил подтяжек, но это не имело значения. За углом обитал долгосрочник, осужденный на десять лет за непреднамеренное убийство. Он носил подтяжки, и ему нужна была одна пара. Я мог поменять их на мясо. А мне нужно было

мясо. Или, может быть, у него был какой-нибудь старый, потрепанный роман без обложки. Это было целое состояние. Я мог его прочесть и потом отдать пекарям за пирожное, или поварам за мясо и овощи, или кочегару за приличный кофе, или еще кому-нибудь в обмен на газету, которые изредка к нам попадали бог весть какими путями. Повара, булочники и кочегары были такими же арестантами, как и я; и они размещались в нашем здании этажом выше.

Короче говоря, в исправительной тюрьме округа Эри процветала прекрасно организованная система товарообмена. В обороте были даже деньги. Эти деньги иногда контрабандой приносили с собой краткосрочники, чаще всего они попадали к нам от цирюльника, который обирал вновь прибывающих, но в подавляющем большинстве случаев они шли из камер долгосрочников, хотя я совершенно не понимаю, как они туда попадали.

Положение главного старосты было исключительным еще и потому, что его считали богатым. Помимо прочих источников дохода, он еще обирал нас. Мы взяли на откуп всю массу несчастных, а главный староста был генеральным откупщиком над всеми нами. Мы получали свои доходы с его разрешения и должны были платить ему за

это. Как я уже сказал, его считали человеком состоятельным, но мы никогда не видели его денег, он жил в своей камере в блестящем одиночестве.

Но я утверждаю с полной ответственностью, что в исправительной тюрьме можно было добыть деньги, я знаю это потому, что мне пришлось жить в одной камере с третьим старостой. У него было больше шестнадцати долларов. Каждый вечер после девяти часов, когда нас запирали, он имел обыкновение пересчитывать свои капиталы. Он также имел обыкновение каждый вечер рассказывать мне, что он со мной сделает, если я донесу на него другим коридорным. Видите ли, он боялся, что его ограбят, и опасность угрожала ему с трех сторон. Существовала охрана. Два охранника могли наброситься на него, избить как следует под предлогом «неподчинения» и посадить в «одиночку» (карцер), а в суматохе эти шестнадцать долларов улетучились бы. Опять же их мог отобрать главный староста, пригрозив, что разжалует его и снова направит на тяжелые работы в тюремный двор. И кроме того, было десять человек нас, простых коридорных. Если бы кто-нибудь намекнул коридорным о его богатстве, то скорее всего в один прекрасный день вся наша братия загнала бы его в угол и выпотрошила. О,

смею вас уверить, мы были волки, точно как те парни, которые делают бизнес на Уолл-стрите.

У него были все основания бояться нас, и, следовательно, у меня были все основания бояться его. Это был грубый, неграмотный верзила, бывший чесапикский устричный пират, «рулевой», который отсидел в тюрьме Синг-Синг пять лет, и вообще он был олицетворением непроходимой тупости плотоядного животного. Он постоянно ловил воробьев, которые залетали в наш коридор сквозь прутья решеток. Когда ему удавалось схватить жертву, он спешил с ней в свою камеру, где пожирал ее живьем. Я сам видел это — косточки хрустели у него на зубах, а он только выплевывал перья. О нет, я никогда не доносил на него другим коридорным. Сейчас я впервые рассказал о его шестнадцати долларах.

Но тем не менее я брал с него взятки. Он был влюблен в одну заключенную, которая находилась в «женском отделении». Он не умел ни читать, ни писать, и я обычно читал ему ее письма и писал от его имени ответы. И ему приходилось платить за это. Но это были хорошие письма. Я вкладывал в них свою душу, я делал все, что было в моих силах, и я покорил ее для него, хотя я отлично понимаю, что она полюбила

не его, а безвестного автора писем. Повторяю, письма были потрясающие.

Другой статьей наших доходов был «трут». В этом железном мире решеток и засовов мы были посланцами небес, приносившими священный огонь. Когда по вечерам арестантов приводили с работы и запирали в камерах, они жаждали закурить. Тогда-то мы и разжигали божественную искру, перебегавшую с этажа на этаж, из камеры в камеру с нашего тлеющего фитиля. Тот, кто был поумнее или с кем мы вели дела, держал свой трут наготове. Однако не каждый получал божественную искру. Парень, который отказывался с нами сотрудничать, ложился спать без огня и без курева. Но какое нам до этого дело? Нам была ниспослана вечная власть над ним, и если он пытался дерзить нам, двое-трое наших брали его в оборот и объясняли ему что к чему.

Как видите, у коридорных была своя философия. Нас было тринадцать. В нашем коридоре было что-то около полутысячи заключенных. Считалось, что мы работаем и поддерживаем порядок. Последнее было делом надзирателей, но они передоверили это нам. Поддерживать порядок было нашим кровным делом; если бы мы этого не делали, нас бы тут же отправили на

тяжелые работы, и мы, конечно, не миновали бы и карцера. Но до тех пор, пока все было в порядке, мы могли обделывать свои собственные делишки.

Остановитесь на минутку и постарайтесь представить себе ситуацию. Нас было тринадцать животных на полтысячи других животных. Это был сущий ад — наша тюрьма, — и мы должны были править ею. Немыслимо было, учитывая природу этих животных, держать их в повиновении и проявлять к ним доброту. Мы правили при помощи террора. Разумеется, у нас за спиной, поддерживая нас, стояла охрана. В крайних случаях мы обращались к ним за помощью, но им бы скоро надоело, если бы мы беспокоили их слишком часто, и возникла бы угроза, что они найдут на наше место более толковых коридорных. Но мы обращались к ним редко, в тех случаях, когда нужно было действовать решительно и спокойно: если требовалось отпереть камеру и подойти к взбунтовавшемуся узнику. В таких случаях надзиратель только отпирал дверь и тут же уходил, чтобы не видеть, как полдюжины коридорных врывались в камеру и избивали заключенного.

Что же касается подробностей этой операции, то я лучше не буду на них останавливаться. В

конце концов среди неописуемых ужасов тюрьмы округа Эри избиение заключенных было самым незначительным явлением. Я сказал «неописуемых», и ради справедливости я должен еще добавить «невообразимых». Я не верил, что существуют подобные зверства, пока не убедился в этом собственными глазами, а я не был желторотым юнцом и знал жизнь и глубины человеческих пороков. Чтобы измерить эту глубину в тюрьме округа Эри, понадобился бы очень длинный лот, а здесь я только слегка и игриво касаюсь явлений, которые я там наблюдал.

Временами, например, по утрам, когда заключенные шли вниз умываться, мы, тринадцать человек, фактически оказывались среди них в полном одиночестве, самый последний из арестантов понимал, что они могут с нами расправиться.

Тринадцать против пятисот, и мы правили с помощью террора. Мы не могли допустить ни малейшего нарушения правил, ни малейшей дерзости. Если бы мы это позволили, мы бы погибли. У нас было свое правило: бить человека, едва он раскроет рот: бить сильно, бить чем попало. Метла, рукоятью в лицо, производила весьма отрезвляющее действие. Мало того, в

назидание другим надо было еще как следует избить его, и второе правило — броситься за ним, преследовать его в толпе. Все, конечно, знали, что каждый коридорный, который увидит погоню, немедленно присоединится к карателям, потому что это тоже входило в правила. Всякий раз, когда коридорный схватывался с заключенным, все остальные коридорные должны были немедленно пустить в ход свои кулаки. Не имеет значения в чем дело — набрасывайся и бей наповал, бей чем попало, одним словом, уложи его на месте.

Мне запомнился один красавец мулат лет двадцати, у которого была идиотская идея отстаивать свои права. В данном случае он действительно был прав, но это ему ни в какой мере не помогло. Его камера находилась на самом верхнем этаже. Восемь надсмотрщиков выбили из его головы зазнайство ровным счетом за полторы минуты, потому что этого времени было достаточно, чтобы протащить его до конца коридора и спустить с пятого этажа вниз по стальным ступеням. Этот путь он проделал всей поверхностью своего тела, кроме ног, и восьмерка надсмотрщиков не теряла времени зря. Мулат грохнулся о каменный пол неподалеку от того места, где я стоял, наблюдая все это. Он поднялся на ноги и простоял какую-то

долю секунды. В то же мгновение он широко раскинул руки, и из груди его вырвался страшный крик ужаса и боли. И тут же, как в сцене с превращениями, его крепко сшитая арестантская одежда свалилась с него, разорванная в клочья, он оказался голым, все его тело обагрилось кровью, и, потеряв сознание, он рухнул на пол, как подкошенный. Так он получил свой урок, и одновременно каждый узник в этих стенах, который слышал его крик, тоже получил урок. И для меня это было уроком. Не очень-то приятно видеть, как за полторы минуты у человека разрывается сердце.

Следующий пример пояснит вам, как мы выколачивали прибыль из тлеющего трута. Партию новеньких размещают в ваших камерах. Вы проходите мимо решеток со своим трутом. «Эй, бо (хобо), дай огоньку!» Ну, это равносильно заявлению, что у него есть табак. Вы передаете ему трут и идете своей дорогой. Немного погодя вы возвращаетесь и невзначай останавливаетесь у его решетчатой двери. «Послушай, бо, ты не одолжишь нам немного табачку?»

— вот что вы говорите. Если он недостаточно искушен в этой игре, все шансы за то, что он торжественно объявит, что у него не осталось

табаку. Очень хорошо. Вы посочувствуете ему и пойдете своей дорогой. Но вам известно, что вашего фитиля ему хватит только на один день. На следующий день вы проходите мимо, и он снова спрашивает: «Эй, бо, дай огоньку». А вы отвечаете: «У тебя нет табаку, и тебе не нужен огонь». И вы ему ничего не даете. Спустя полчаса, или час, или два, или три часа вы будете проходить мимо, и человек этот окликнет вас размягченным голосом: «Поди-ка сюда, бо». И вы подойдете. Вы просунете руку сквозь решетку, и вашу ладонь наполнят драгоценным табаком. Тогда вы дадите ему огня.

Бывает иногда, что прибывает новенький, на котором ничего нельзя заработать. Таинственное предписание, что с ним надо обращаться как следует, сопутствует этому человеку. Я никак не мог докопаться, откуда исходило подобное приказание. Одно было очевидно: этот человек имел протекцию. Может быть, он был связан с одним из вышестоящих надсмотрщиков, может быть, с кем-нибудь из охраны, может быть, за это хорошее обращение было заплачено высшим инстанциям, но как бы то ни было, мы знали, что нам следует хорошо с ним обращаться, если мы не хотим нажить себе неприятностей.

Мы, коридорные, были и посредниками и обыкновенными посыльными. Мы налаживали торговлю между узниками, размещенными в разных частях тюрьмы, и мы осуществляли товарообмен. При этом мы брали причитающееся нам комиссионное вознаграждение с тех, кто покупает, и с тех, кто продает. Порой предметы купли-продажи проходили через руки полдюжины посредников, каждый из которых брал свою долю, и не одним, так другим способом получал за свои услуги.

Случалось, человек оказывался в долгу за оказанные ему услуги, бывало и так, что ему были должны. Так, я, поступая в тюрьму, стал должником человека, который контрабандой протащил мои вещи. Прошло около недели, и один из истопников вложил мне в руку письмо. Оно попало к нему от цирюльника. Цирюльник получил его от заключенного, который пронес мои вещи. Так как я был у него в долгу, я должен был передать его письмо. Но письмо это писал не он. Настоящим его отправителем был долгосрочник из того же коридора, что и он. Письмо надо было передать одной заключенной из женского отделения. Но предназначалось ли оно ей самой, или она, в свою очередь, была лишь одним из звеньев в

цепи посредников, я не знал. Единственное, что мне было известно, — ее приметы, все остальное зависело от меня: я должен был передать письмо ей в руки.

Прошло два дня, в течение которых я держал письмо у себя, затем представился удобный случай. Женщины занимались починкой белья для заключенных. Несколько наших коридорных должны были идти в женское отделение, чтобы принести огромные узлы с бельем. Я договорился с главным старостой, что пошлют меня. Перед нами отпирали дверь за дверью, и мы шли через тюрьму к камерам женщин. Мы вошли в большую комнату, где сидели за работой женщины. Я стал искать глазами ту, которую мне описали. Я обнаружил ее и стал к ней пробираться. Две матроны с ястребиными глазами были начеку. Я держал письмо в ладони и многозначительно посмотрел на женщину, чтобы определить, знает ли она о моем намерении. Она знала, что у меня для нее что-то есть, она, вероятно, ожидала послания и с момента нашего прихода старалась угадать, кто из нас посыльный. Но одна из матрон стояла в двух шагах от нее. Коридорные уже собирали узлы с бельем, которое мы должны были унести. Время уходило. Я замешкался со

своим узлом, делая вид, что он плохо увязан. Неужели эта матрона никогда не отвернется? Или я потерпел неудачу? И как раз в это время другая женщина начала заигрывать с одним из коридорных, вытянула ногу и наступила ему на башмак, или ущипнула его, или что-то в этом роде. Матрона посмотрела в ту сторону и резко ее осадила. Не знаю, было ли это специально придумано, чтобы отвлечь внимание матроны, но я знал одно: такой случай не повторится. Рука женщины, за которой я следил, соскользнула с колен. Я наклонился, чтобы поднять свой узел. Наклонившись, я положил ей в руку письмо и взамен получил другое. В следующий момент узел был на моем плече, взгляд матроны снова остановился на мне, потому что я был последним коридорным, оставшимся в комнате, и я заспешил за своими приятелями. Письмо, полученное от той женщины, я передал истопнику, потом оно через руки цирюльника попало к заключенному, пронесшему мои вещи, и дальше — долгосрочнику в другой конец тюрьмы.

Часто мы передавали письма по таким запутанным каналам, что не знали ни отправителей, ни получателей. Мы были всего лишь звеньями цепи. Где-то каким-нибудь образом вложит, бывало,

узник мне в руку письмо с поручением передать его следующей инстанции. За все подобные услуги я впоследствии получал плату: сталкиваясь непосредственно с главным агентом по передаче писем, я получал от него вознаграждение. Вся тюрьма была охвачена сетью связи, что вполне естественно, так как мы, являясь точной копией капиталистического общества, взимали за это с наших клиентов немалую дань. Это были услуги только ради выгоды, хотя временами мы были готовы оказать услугу не в службу, а в дружбу.

Во время пребывания в тюрьме я старался ладить со своим приятелем. Он много для меня сделал и, в свою очередь, ожидал, что я так же много сделаю для него. Когда мы вышли на свободу, мы уехали вместе и, само собой разумеется, должны были вместе «работать». Дело в том, что мой приятель был преступником, ну не первого класса, а обыкновенным мелким преступником, которые воруют и грабят, совершают кражи со взломом и не остановятся перед убийством, если не будет другого выхода. В течение многих часов мы с ним сидели и мирно толковали. На ближайшее будущее у него на примете были два или три дела, в которых я должен был принять участие, и мы вместе разрабатывали детали. Я знал многих

преступников, меня частенько видели с ними, и моему приятелю не приходило в голову, что я морочил ему голову, водил его за нос в течение тридцати дней. По его мнению, я был для него находкой, он симпатизировал мне, потому что я был неглуп и вообще, по-моему, я ему нравился. У меня, разумеется, не было ни малейшего желания связываться с ним и заниматься жалкими, убогими преступлениями, но я был бы последним идиотом, если бы отказался от всех благ, которые мне сулила дружба с этим человеком. Когда опускаешься в ад и ноги твои ступают по раскаленной лаве, уже не выискиваешь прямую тропинку и не обдумываешь каждый свой шаг; именно так и случилось со мной в исправительной тюрьме округа Эри. Я должен был оставаться в шайке или идти на тяжелые работы, чтобы заработать себе на хлеб и воду, а чтобы остаться в шайке, я должен был ладить со своим приятелем.

Жизнь в исправительной тюрьме не отличалась однообразием. Каждый день что-нибудь происходило: то с кем-нибудь из заключенных случится припадок, глядишь, кто-нибудь сойдет с ума, подерется, или коридорные напьются! Джек Ровер, один из рядовых коридорных, был нашей звездой первой величины. Это был заяд-

лый бродяга, «профессионал», продувная бестия, и поэтому он пользовался всевозможными поблажками надсмотрщиков, облеченных властью. Джо Питсбург, который был вторым коридорным, обычно звал Джека Ровера на свои попойки, и у этой парочки была поговорка, что тюрьма округа Эри — это единственное место, где человек может напиться, не опасаясь ареста. Я не знаю, так ли это, но мне рассказывали, что бромистый калий, добытый при помощи всевозможных ухищрений из аптеки, и был тем наркотиком, которым они опьянялись. Но каковы бы ни были средства опьянения, мне доподлинно известно, что они добывали таковые и время от времени напивались.

Наше отделение было настоящим притоном, его наполняла всякая мразь, отщепенцы общества, подонки, отбросы. Здесь были потомственные бездельники, дегенераты, калеки, психопаты, слабоумные, эпилептики, уроды, идиоты — словом, воплощение кошмара, до которого может дойти человечество. Поэтому у нас постоянно случались припадки истерии. Казалось, эти припадки были инфекционным заболеванием. Когда у кого-нибудь начинался припадок, другие следовали его примеру. Я видывал, как по семь человек

сразу бились в припадке, они оглашали воздух неистовыми криками, и вокруг них метались и бормотали еще столько же помешанных. Никто никогда не оказывал припадочным никакой помощи, если не считать того, что их обливали из ведра холодной водой. Бесполезно было посылать за врачом или за студентом-медиком. Их не полагалось беспокоить по такому незначительному поводу.

Там был мальчик-датчанин, восемнадцати лет от роду, у него припадки случались чаще, чем у других. Обычно он падал каждый день. По этой причине мы держали его на первом этаже в самом конце коридора, подальше от того места, где размещались мы. После того, как с ним случилось несколько припадков в тюремном дворе, охрана отказалась с ним возиться, и чтобы он не оставался один, его все время держали взаперти с одним англичанином, посаженным к нему для компании. Не то, чтобы от этого простака была какая-нибудь польза. Каждый раз, когда у мальчика начинался припадок, англичанин от ужаса находился в состоянии шока.

Датчанин не знал ни слова по-английски. Он был крестьянским парнем и получил девяносто дней за то, что ввязался в какую-то драку. Перед

припадками он дико выл. Он выл по-волчьи. К тому же во время припадков он стоял, что было пагубно для него, так как в конце припадка он падал навзничь на пол. Заслышав протяжный волчий вой, я обычно хватал метлу и бежал к его камере. Коридорным из заключенных не доверяли ключей от камер, так что я не мог к нему войти. Он обычно стоял в центре своей узкой камеры, содрогаясь от конвульсий, глаза его закатывались все больше и больше, пока зрачки совсем не исчезали. Это был вопль загубленной души.

Как я ни старался, я не мог заставить англичанина протянуть ему руку. Все время, что он стоял и выл, простачок дрожал на верхних нарах, его застывший от ужаса взгляд был прикован к страшной фигуре с закатившимися глазами, которая выла и выла. Для него это тоже было тяжело, для этого бедняги англичанина. Его собственный рассудок был не совсем в порядке, и это чудо, что он не сошел с ума.

Единственное, что я мог сделать, я делал с помощью моей метлы. Я просовывал ее сквозь решетку к груди датчанина и ждал. С приближением кризиса он начинал раскачиваться взад и вперед. Я двигал следом за ним свою метлу, потому что нельзя было предугадать, когда он рухнет

лицом вниз. Но когда происходило это ужасное падение, я был здесь со своей метлой, подхватывая его и смягчая удар. Как я ни старался, он ни разу не упал без сильных ушибов, и на лице его всегда были синяки и кровоподтеки — следы падений на каменный пол. Он начинал корчиться в конвульсиях, и тут я выливал на него ведро воды. Не знаю, ведро воды — это верное средство или нет, но так было принято делать в тюрьме округа Эри. Больше для него никто ничего не делал. Он обычно лежал промокший около часу, а потом уползал на свои нары. Я знал, что лучше не бежать за помощью к охране. В конце концов что такое человек в припадке?

В соседней камере жил странный тип — мужчина, который получил шестьдесят дней за то, что съел помои из ушата в цирке Барнама, во всяком случае, он излагал свою историю именно так. Голова у него была не совсем в порядке, но первое время он был тих и скромен. Все, что с ним случилось, произошло именно так, как он рассказывал. Он заблудился где-то возле цирка и, будучи голоден, подошел к ушату, куда бросали объедки со стола циркачей. «И это был действительно хороший хлеб, — часто уверял он меня, — а мяса совсем не было видно». Полицейский

заметил его и арестовал, и вот он попал к нам.

Однажды я проходил мимо его камеры с тонкой стальной проволокой в руках. Он попросил дать ему эту проволоку с таким серьезным видом, что я просунул проволоку сквозь его решетку. Быстро, не имея никаких инструментов, кроме своих пальцев, он разделил ее на короткие куски и скрутил из них полдюжины очень хороших английских булавок. Он заострил их концы о каменный пол. Тогда я открыл настоящую торговлю английскими булавками. Я доставал сырье и реализовывал готовую продукцию, а он работал. Что же касается платы, то я давал ему лишние порции хлеба, а иногда куски мяса или мозговую кость из супа.

Но пребывание в тюрьме плохо сказывалось на его здоровье, и изо дня в день он становился все более ненормальном. Надсмотрщикам доставляло удовольствие дразнить его. Его помутившийся рассудок жадно впитывал их россказни об огромном состоянии, которое будто бы он должен был получить. Они уверяли, что его арестовали и бросили в тюрьму для того, чтобы ограбить. Он, разумеется, и сам знает, что нет такого закона, который запрещает питаться отбросами из ушата. Следовательно, его не имели права лишать сво-

боды. Это сделали заговорщики с целью лишить его наследства.

Я узнал об этом от коридорных, которые были в восторге от своей выдумки. Вскоре он устроил со мной очень серьезное совещание, во время которого рассказал мне о своих миллионах, о заговоре, связанном с этими миллионами, и сообщил, что назначает меня своим сыщиком. Я приложил все силы, чтобы его успокоить, не очень убедительно рассказал ему об ошибке и о том, что настоящим наследником является его однофамилец. Я оставил его совершенно спокойным, но я не мог изолировать его от остальных коридорных, а они продолжали дразнить его пуще прежнего. В конце концов после дичайшей сцены он меня отверг, лишил меня звания частного сыщика и объявил забастовку. Моя торговля английскими булавками прекратилась. Он отказался делать булавки и швырнул в меня сырьем, когда я проходил мимо его решетки.

Я уже не мог с ним ладить. Другие коридорные сказали ему, что я являюсь платным агентом заговорщиков. И в то же время своими выдумками они доводили его до безумия. Эти вымышленные истории взбудоражили его мозг, и в конце концов он превратился в опасного сумасшедшего,

одержимого мыслью об убийстве. Охранники отказывались выслушивать его рассказы о похищенных миллионах, и он обвинил их в том, что они участвуют в заговоре. Однажды он запустил в одного из них кружкой с кипятком, и тогда расследовали его дело. Начальник тюрьмы поговорил с ним несколько минут через решетку. Затем его взяли для медицинского освидетельствования. Больше его никто не видел, и я часто думаю: умер он или все еще бредит о своих миллионах в каком-нибудь сумасшедшем доме.

Наконец настал долгожданный день моего освобождения. В этот же день выходил на свободу и третий коридорный, а девушка, отбывавшая краткосрочное наказание, та, которую я покорил для него, ожидала его у стен тюрьмы. Они блаженно пошли рядом.

Я и мой приятель вышли вместе и вместе направились в Буффало. Будем ли мы всегда вместе? В тот день мы вместе выпрашивали монетки на хлеб на «главном проспекте», и то, что мы получили, было истрачено на суперпиво, я не знаю, как пишется это слово, но произносится оно так, как я его написал, и стоит оно три цента. Я все время ждал удобного случая, чтобы улизнуть. От одного парня на дороге мне удалось узнать, в

какое время проходит товарный поезд. В соответствии с этим я все рассчитал. В этот час я со своим приятелем сидел в салуне. Перед нами стояли две пенящиеся кружки. Мне очень хотелось с ним попрощаться. Он много для меня сделал. Но я не рискнул. Я вышел через черный ход и перемахнул через забор. Это было молниеносное бегство, и несколько минут спустя я был уже в товарном вагоне и мчался на юг по Западной Нью-Йоркско-Пенсильванской железной дороге.

Бродяги, которые проходят ночью

Когда я скитался по стране, я встречал сотни бродяг, которых я приветствовал или они приветствовали меня, вместе с которыми у водокачек я ожидал поездов, кипятил воду, готовил изысканные обеды, попрошайничал по дорогам и у кухонных дверей, цеплялся на подножки, — мы расставались, и я их больше никогда не встречал. Но были бродяги, которые исчезали и снова попадались на моем пути поразительно часто, а были еще и такие, которые проходили совсем рядом, невидимые, как призраки, и я с ними никогда не встречался.

К числу таких бродяг принадлежал человек, за которым я мчался через Канаду по железной дороге больше трех тысяч миль и ни разу не видел его в глаза.

Кличка его была Джек-Парус. Впервые я наткнулся на это имя в Монреале. Большим складным ножом на водокачке был вырезан верхний парус корабля. Выполнено это было превосходно. Под рисунком стояла подпись «Джек-Парус» и ниже «Н. З. 10-15-94». Последнее значило, что он отбыл из Монреаля в направлении на запад

15 октября 1894. Нас разделяли одни сутки. Как раз тогда у меня была кличка «Джек-Матрос», и я тотчас же вырезал ее рядом с его именем, поставил дату и сообщил, что я тоже направляюсь на запад.

Следующие сто миль меня преследовали неудачи, и я напал на след Джека-Паруса только через неделю в трехстах милях западнее Оттавы. Его знак был нацарапан на водокачке, и по дате я понял, что он тоже задержался. Он обогнал меня только на два дня. Я был «кометой» и «королем бродяг», так же как и Джек-Парус. Из гордости и чтобы укрепить свою репутацию, я решил догнать его. Я ехал по железной дороге день и ночь и перегнал его, потом он, в свою очередь, перегнал меня. Иногда он вырывался вперед на один-два дня, иногда впереди был я.

От бродяг, направлявшихся на восток, я иногда слышал о нем, они же мне рассказали, что он заинтересовался Джеком-Матросом и наводил обо мне справки.

Мы были бы с ним великолепной парой, если бы когда-нибудь встретились, я в этом уверен, но встретиться нам так и не удалось. Когда мы пересекали Манитобу, я был впереди, а в Альберте впереди все время был он, и в одно отвратитель-

ное хмурое утро на границе провинции Альберта, чуть восточнее перевала Брыкливой Лошади, я узнал, что его видели минувшей ночью между Брыкливой Лошадью и перевалом Роджерса. Сведения эти поступили ко мне довольно странным путем. Всю ночь я ехал в «пульмановском вагоне с боковым затвором» (то есть в товарном) и замерз до полусмерти. На остановке я вылез попросить что-нибудь поесть. Холодный туман застилал все вокруг в депо; я набрел на нескольких кочегаров. Они дали мне остатки своего завтрака, и вдобавок я получил от них около кварты замечательного кофе «Ява». Кофе я подогрел, и, когда принялся за еду, с запада появился товарный поезд. Я увидел, как открылась боковая дверь и из вагона вылез бездомный мальчишка. Сквозь пелену тумана он заковылял ко мне. Он совершенно окоченел от холода, губы у него посинели. Я разделил с ним мой кофе и остальную еду, расспросил о Джеке-Парусе и потом о нем самом. Представьте, он был из моего родного города Окленда в Калифорнии, и он был членом знаменитой шайки Боу, шайки, к которой я иногда примыкал. Мы второпях за полчаса поели и поговорили. Потом мой состав тронулся, и я вскочил на него, чтобы продолжать путь на запад по следам Джека-Паруса.

Я застрял между горными перевалами, два дня шел без еды, а на третий день, прежде чем раздобыть еду, проделал путь в одиннадцать миль, и все-таки мне удалось перегнать Джека-Паруса на реке Фрезер, в Британской Колумбии. Я ехал на пассажирском и сэкономил время, но он, должно быть, тоже ехал на пассажирском, и с большей ловкостью или с большей удачей, чем я, потому что в Мишн он прибыл раньше меня.

Мишн — это узловая станция в сорока милях к востоку от Ванкувера. С этой станции можно было отправиться и на юг через Вашингтон и Орегон по Северной-Тихоокеанской. Я гадал, какой путь изберет Джек-Парус, я был уверен, что он от меня отстал. Сам-то я все еще пробирался на запад, к Ванкуверу. Я подошел к водокачке, чтобы начертать это сообщение, и увидел там помеченную тем же днем свежую отметину Джека-Паруса; я поспешил в Ванкувер, но он исчез.

Он тут же сел на корабль и уже летел на запад в своем кругосветном приключении. Право, Джек-Парус, ты король бродяг, и твоим другом был «ветер, бродяжничающий по всему свету». Я снимаю перед тобой шляпу. Ты профессионал, продувная бестия. Неделей позже я тоже сел на свое судно, на пароход «Уматилла». На его палубе

я отработал свой проезд на юг, к Сан-Франциско. Джек-Парус и Джек-Матрос! Эх, если бы мы только встретились!

Водокачки — адресные книги бродяг. Не от дури и не просто так пишут бродяги свои прозвища, даты и указания, куда они направляются. Не один раз встречал я хобо, которые настойчиво выспрашивали, не видел ли я где-нибудь такую-то и такую-то персону или его факсимиле. И я часто мог вспомнить кличку, которую видел накануне, и бак, где она была написана, и направление, куда он следовал. И тотчас же бродяга, которому я сообщал эти сведения, мчался вдогонку своему приятелю. Я встречал бродяг, которые, пытаясь догнать товарища, пересекали весь континент туда и обратно и продолжали поиски.

Клички — это nom-de-rails, которые бродяга присваивает себе сам или которые дают ему его товарищи. Джо Трус, например, был робок, и так его назвали приятели. Ни один уважающий себя бродяга не выберет себе кличку Копченая Туша. Очень немногие бродяги любят вспоминать те позорные времена, когда они работали, так что клички, происходящие от названия профессии, очень редки, хотя, мне помнится, я встречал следующие: Литейщик Блэкки, Рыжий Маляр,

Жестянщик Ши, Котельщик, Матрос и Печатник. Между прочим, «Ши» на жаргоне означает «Чикаго»[88].

Больше всего бродяги любят придумывать себе клички, указывающие на местность, откуда они родом, как, например, Нью-йоркский Томми, Тихоокеанский Слим, Смит из Буффало, Кантонский Тим, Питсбургский Джек, Сиракузский Блеск, Мики из Трои, Коннектикутский Джимми. Был еще «Слим Джим с Виноградного холма, никогда не работал, хоть дел там тьма».

«Блеск» — всегда прозвище негра, называют их так, вероятно, из-за бликов света на черных негритянских физиономиях. Техасский Блеск или Блеск Толедо указывает сразу и национальность и происхождение.

Среди тех, кто включал в кличку свою национальность, я запомнил Фриско-еврея, Нью-йоркского Ирландца, Француза из Мичигана, Джека-Англичанина, Кокни-Кида, Голландца из Миллуоки. Другие брали свои клички по цвету кожи: Ши Белый, Краснокожий из Нью-Джерси, Черный-бостонец, Коричневый из Сиэттла и Желтый Дик и Желтобрюхий, последний креол с

---

[88] notes: 88
Американцы произносят не Чикаго, а «Шикагоу».

Миссисипи, которому, по-моему, насильно навязали эту кличку.

Король Техаса, Счастливчик Джо, Бесстрашный Коннорз, Бо-Силач, Мрачный торнадец, Мак Кол-Гроза проявляли больше выдумки, когда пришлось вторично окрестить себя. Другие, у кого фантазии было меньше, пытались произвести имена от своих физических недостатков, как-то: Ванкуверская каланча, Детройтский коротышка, Толстяк из Огайо, Длинный Джек, Большой Джим, Маленький Джим, Заморыш из Нью-Йорка, Носатый Ши и Горбатый Бэн.

Отдельно стоят клички бездомных мальчишек, к которым прибавляли слово «малыш» — «Кид». Я, например, припоминаю следующие: Кид-Щеголь, Слепой Кид, Кид-Карапуз, Нудный Кид, Кид-Гуляка, Шустрый Кид, Кид-Поваренок, Кид-Мартышка, Кид из Иовы, Кид-Плисовые Штаны, Кид-Оратор (который может рассказать, «как это произошло») и Кид-Нахал (который был грубияном, можете не сомневаться).

На водокачке в Сан-Марсиал, штат Нью-Мексико, лет десять назад красовался следующий путеводитель для бродяг:

1. Главная дорога — лафа.
2. «Быки» не жлобы.

3. Паровозное депо — годится поспать.
4. Поезда на север плохие.
5. В частные не заходи.
6. Рестораны хороши только для поваров.
7. Вокзал хорош только для ночной работы.

Пункт первый сообщает, что стоит просить милостыню на главной улице; пункт второй — что полиция не беспокоит бродяг; пункт третий — что можно поспать в депо. Пункт четвертый, однако, можно понимать по-разному. На поезда, идущие на север, может быть, было неудобно садиться, а может, в них нельзя ничего выпросить. Пункт пятый означал, что в особняках нищим не подают, а пункт шестой — что только бывшие повара могут получить пищу в ресторанах. Пункт седьмой меня смутил. Я не мог понять, является ли вокзал подходящим местом, где любой бродяга может по ночам просить милостыню, или там могут поживиться ночью только бродяги-повара, или любой бродяга, повар или не повар, может там ночью рассчитывать на помощь, сделав на кухне черную работу и получив в качестве платы за труд что-нибудь съестное.

Но вернемся к бродягам, которые проходят ночью. Мне запомнился один, я его встретил в Калифорнии. Он был швед, но так давно жил в Со-

единенных Штатах, что трудно было угадать его национальность. Он должен был сам говорить об этом. В самом деле, его привезли в Соединенные Штаты, когда он был грудным ребенком. Впервые я с ним столкнулся в горах, в городе Тракки. «Куда направляешься, хобо?» — приветствовали мы друг друга. «На восток», — был ответ, последовавший с обеих сторон. Целая орава отпетых бродяг пыталась в тот вечер уехать из города, и среди этого стада я потерял шведа. Потерял я и поезд.

Добрался я до Рено, в штате Невада, в крытом товарном вагоне, который сразу загнали на запасный путь. Было воскресное утро, и после того, как я раздобыл себе кое-что на завтрак, я пошел в лагерь Пиут посмотреть индейские игры. И там стоял швед, захваченный этим зрелищем. Конечно, мы оба были рады. Он был единственным знакомым, какого я имел во всей округе, а он, кроме меня, тоже никого не знал. Мы бросились друг другу навстречу, как двое отшельников, которым надоело одиночество, и мы провели вместе весь этот день, вместе пустились на поиски обеда и под вечер пытались прыгнуть на один и тот же поезд. Но его сбросили, и я уехал один, чтобы оказаться сброшенным в канаву на пустыре в 20 милях от этого города.

Из всех захолустных мест то, в котором меня сбросили, было самым пустынным. Это была станция, где поезд останавливается только по особому требованию. На станции не было ничего, кроме хибарки, стоявшей прямо на песке среди редкого кустарника. Дул холодный ветер, надвигалась ночь, и единственная живая душа — телеграфист, что жил в этой хибарке, смертельно меня боялся. Я знал, что не получу от него ни еды, ни крова. Он так меня боялся, что я ему не поверил, когда он сказал, что поезда, идущие на восток, никогда не останавливаются на этой станции. Кроме того, разве пять минут назад меня не сбросили в этом самом месте с поезда, идущего на восток? Он уверял меня, что поезд остановился по специальному требованию и что может пройти целый год, пока остановится следующий. Он сказал, что до Водсворта всего двенадцать или пятнадцать миль и что мне лучше всего добираться туда пешком. Однако я предпочел ждать и имел удовольствие видеть два товарных состава, промчавшихся без остановки на запад, и один — на восток. Не в этом ли поезде ехал швед? Мне ничего не оставалось делать, как отправиться пешком в Водсворт, и я пошел, к великому облегчению телеграфиста, поскольку

я отказался от возможности сжечь его хибарку и убить его самого. Телеграфистов вообще есть за что благодарить.

Я прошел не более шести миль, как мне пришлось сойти с пути и пропустить поезд, шедший на восток. Он мчался на полной скорости, но я уловил смутные очертания какой-то фигуры, очень похожей на шведа, в слепом тамбуре первого вагона.

После этого я долго не видел его. Я неплохо провел этот рейс — сотни миль по пустыням Невады, для быстроты путешествовал ночью в пассажирских, а днем отсыпался в товарных вагонах. Было начало года, и на этих высокогорных пастбищах было очень холодно. В долинах осталось еще много снега, а горы были совершенно белые, и по ночам с них дул самый отвратительный из всех ветров на свете. Это был не тот край, где стоило задержаться. И не забывайте, дорогой читатель, бродяга идет по этой земле без крова, без денег, выпрашивая подаяние, чтобы продолжать путь, и ночью спит без одеяла. Такие вещи познаются только на собственном опыте.

Под вечер я прибыл в Огденское депо. Пассажирский поезд Трансконтинентальной Тихоокеанской отходил на восток, и я ломал голову, как

быть. За паровозом, среди сплетения стрелок, я увидел бредущую во мраке человеческую фигуру. Это был швед. Мы пожали друг другу руки, как братья после долгой разлуки, и обнаружили, что мы оба в перчатках. «Это у тебя откуда?» — спросил я. «Из паровозной будки, — ответил он. — А у тебя?» «Они принадлежали кочегару, — объяснил я, — он был растяпа».

Мы забрались на слепую площадку почтово-багажного вагона, когда поезд тронулся. Там было страшно холодно. Дорога поднималась по узкому ущелью между покрытыми снегом горами, и мы дрожали и стучали зубами и рассказывали друг другу, как мы прошли это расстояние между Рено и Огденом. Накануне ночью я спал не больше часа, и в почтово-товарном вагоне вздремнуть было трудно. Поезд остановился, и я пошел вперед к паровозу. К нашему составу прицепили второй паровоз, так как поезд поднимался к перевалу.

Я знал, что на предохранительной решетке первого паровоза слишком холодно, потому что он будет пробиваться против ветра, поэтому я выбрал решетку второго паровоза, который шел под прикрытием первого. Я забрался на решетку и обнаружил, что она занята. В темноте я разглядел очертания мальчишеской фигуры. Мальчик

крепко спал. Если лечь вплотную друг к другу, на решетке хватит места для двоих, я заставил его потесниться и лег рядом с ним. Это была «хорошая» ночь, тормозные кондукторы нас не беспокоили, и мы моментально уснули. Время от времени я просыпался от сильного толчка или из-за горячей угольной пыли; тогда я еще ближе подвигался к мальчику и дремал под стук колес и всех этих механизмов.

Состав миновал Эванстон, Вайоминг и дальше не пошел. Путь был закрыт: впереди произошло крушение. Принесли мертвого машиниста. Это наглядно свидетельствовало, что путь опасен. Еще был убит какой-то бродяга, но его труп остался на снегу. Я заговорил с мальчиком. Ему было 13 лет. Он убежал от своих родителей где-то в Орегоне и пробирался на восток к бабушке. Его рассказ о жестоком обращении в доме, который он оставил, звучал правдиво, кроме того, ему незачем было лгать мне, бездомному бродяге на дороге.

Этот мальчик страшно спешил. Ему все хотелось ехать скорее. Когда железнодорожные смотрители решили послать состав обратно до развилки по той дороге, по которой он только что прошел, а потом перевести его на Орегонскую

ветку и по ней выехать на Трансконтинентальную Тихоокеанскую выше места крушения, этот паренек снова забрался на решетку и заявил, что он на ней останется. Для шведа и для меня это было уж слишком. Это означало пропутешествовать весь остаток холодной ночи, чтобы выиграть миль двенадцать, не больше. Мы ответили, что будем ждать, пока очистят путь, и тем временем хорошенько отоспимся.

Что ж, устроиться в чужом городе двум измученным людям — нелегкое дело. Полночь, холод, и надо искать место для ночлега. У шведа не было ни пенса. Весь мой капитал состоял из двух монет по десять центов и одной пятицентовой. Городские мальчишки нам рассказали, что пиво здесь стоит пять центов и что бары открыты всю ночь. Это нас устраивало. Два стакана пива обойдутся в десять центов, там будет печь и стулья, и мы проспим до утра. Мы направились к огням салуна, шли быстро, снег поскрипывал под ногами, холодный, порывистый ветер продувал нас насквозь.

Увы, я неправильно понял городских мальчишек. Во всем городе только в одном баре торговали пивом по пять центов, и мы не попали в этот бар. Но тот, в который мы зашли, был хо-

рош. Благословенная печь рокотала, раскаленная докрасна, в баре были уютные кресла с плетенными из камыша сиденьями и не особенно приятного вида хозяин, который с подозрением рассматривал нас с момента нашего появления. Человек не может проводить все дни и ночи в одной и той же одежде — цепляться на поезда, коптиться в тучах сажи и угля, спать где попало — и сохранить приличный «фасад». Наш внешний облик говорил решительно не в нашу пользу, но нам не о чем было волноваться: в кармане у меня были деньги.

— Два пива, — сказал я хозяину бесстрастным голосом, и пока он его наливал, мы со шведом облокотились на стойку, втайне мечтая о креслах возле печки.

Хозяин поставил перед нами две пенящихся кружки, а я с гордостью выложил десять центов. Тут моя карта была бита. Как только я увидел, что ошибся в цене, я собирался выудить другую десятицентовую монету. Неважно, что у меня осталось бы только пять центов и я был чужой в чужом городе. Я бы все равно заплатил. Но хозяин не дал мне возможности это сделать. Как только он разглядел, какую я положил монету, он схватил обе кружки и выплеснул их содержимое в

отлив за стойкой. При этом, смерив нас злобным взглядом, он заявил:

— У вас на носу короста. У вас на носу короста. У вас на носу короста. Смотрите!

Ничего такого не было ни у меня, ни у шведа. Наши носы были в порядке. Прямое значение его слов было для нас совершенно непонятно, но косвенное их значение было ясно, как день: мы ему не понравились, и кружка пива, очевидно, стоила десять центов.

Я порылся в кармане и положил на стойку другую десятицентовую монету, небрежно заметив:

— О, я думал, что эти стаканы по пять центов.

— Ваши деньги здесь не помогут, — ответил он, швыряя мне через стойку мои монеты.

Печально опустил я их снова в карман, печально мы шли мимо благословенной печки и кресел и печально вышли за дверь в морозную ночь.

Но когда мы были уже в дверях, хозяин, все еще сверливший нас взглядом, крикнул нам вслед:

— У вас на носу короста, смотрите!

С тех пор я многое повидал в мире, путешествовал по диковинным странам, видел разные народы, открывал множество книг, сидел во многих аудиториях, но по сей день, хотя я об этом много и усиленно размышлял, я не в силах

понять смысл таинственного высказывания того хозяина в Эванстоне, штат Вайоминг. Наши носы были в полном порядке.

В ту ночь мы спали над котлами в электростанции. Как мы наткнулись на этот «ночлег», я не помню. Мы, должно быть, двигались к нему инстинктивно, как лошади к водопою или почтовые голуби к своей голубятне. Но это была ночь, которую не очень приятно вспоминать.

Над котлами еще до нас устроилось человек десять бродяг, и всем там было слишком жарко. В довершение всех наших бед механик не разрешил нам стоять внизу у котлов. Он предоставил нам выбор: или над котлами, или на снегу.

— Вы утверждали, что хотите спать, ну так черт с вами, спите, — заявил он мне, когда, совершенно разбитый и обезумевший от жары, я зашел в котельную.

— Воды, — попросил я, вытирая залитые потом глаза, — воды.

Он указал мне на дверь и заверил, что где-то там в темноте я найду речку. Я отправился к реке, заблудился во тьме, раза два или три падал в сугробы, поднимался и вернулся к котлам замерзший до полусмерти. Когда я оттаял, мне захотелось пить еще больше. Вокруг меня стона-

ли, вздыхали, всхлипывали, охали, задыхались, хрипели, барахтались, метались и тяжело переворачивались с боку на бок в этой нескончаемой пытке бродяги. Мы, заблудшие души, нещадно поджаривались на этой адской сковородке, и механик — олицетворение сатаны — давал нам единственный выход — замерзнуть на улице.

Швед сел и принялся страстно проклинать любовь человека к перемене мест, которая довела его до бродяжничества и тяжких страданий, вроде этого.

— Когда я вернусь в Чикаго, — клялся он, — поступлю на работу и не брошу ее, пока ад не потрескается от мороза. Тогда я снова пойду бродяжничать.

И — такова ирония судьбы — на следующий день, когда последствия аварии были устранены, мы со шведом выехали из Эванстона в ящиках для льда вагона-холодильника, предназначенного «специально для апельсинов», скорого товарного состава для фруктов из солнечной Калифорнии. Ящики, конечно, были пустые из-за холодной погоды, но от этого они не стали теплее. Мы проникали в них через люки на крышах вагонов, ящики были сделаны из оцинкованного железа, и в такой холод прикасаться к их стенкам было

не очень-то приятно. Мы лежали в ящиках для льда и дрожали, у нас зуб на зуб не попадал. Мы держали совет и решили оставаться в холодильнике день и ночь, пока не проедем район негостеприимного плоскогорья и не спустимся в долину Миссисипи.

Но мы должны были чем-то питаться и решили на следующей остановке вылезти за едой и тут же бежать обратно. Мы прибыли в город Грин Ривер слишком рано для ужина. Время перед едой — это худшие часы для того, чтобы стучаться в кухонные двери, но мы взяли себя в руки и, как только состав подошел к сортировочной, спустились по боковым лесенкам и побежали к домам. Мы сразу направились в разные стороны, но условились встретиться в холодильнике. Вначале мне не везло, но под конец мне насовали в руки всякой всячины, и я помчался к поезду. Он уже тронулся и шел довольно быстро. Тот рефрижератор, в котором мы должны были встретиться, был уже далеко, и я повис на боковой лесенке другого холодильника, на расстоянии шести вагонов от него. Я быстро поднялся на крышу и влез в ящик.

Но проводник из служебного вагона заметил меня и через несколько миль на следующей остановке в Рок Спрингсе он просунул свою голову

в мой ящик и крикнул: «Пошел вон, жабий сын! Пошел вон!» Он схватил меня за ноги и выволок из ящика. Я благополучно смотался, и «специальный апельсиновый» вместе со шведом укатил без меня.

Пошел снег. Приближалась холодная ночь. Когда стемнело, я начал рыскать по станционным путям, пока не нашел пустой вагон-рефрижератор. Я влез в него, не в ящик для льда, а прямо в вагон. Я задвинул тяжелые двери, и их края, обшитые резиновыми полосами, надежно закупорили вагон. Стены были толстые. Никакая стужа не могла проникнуть вовнутрь вагона. Но в нем был такой же холод, как и снаружи. Мне предстояло разрешить проблему — как поднять температуру. Но профессональный бродяга знает свое дело. Я извлек из карманов три или четыре газеты. Я сжег их одну за другой на полу вагона. Дым поднялся к потолку. Все тепло осталось в вагоне, и я чудесно провел ночь: в тепле и с удобствами. Я не просыпался ни разу.

Утром все еще шел снег. Отправившись на поиски завтрака, я прозевал восточный поезд. Днем я дважды садился на поезда, и дважды меня сбрасывали. После полудня на восток не шел ни один поезд. Снег повалил сплошной пеленой,

но в сумерках я вскочил на первый почтовый вагон поезда дальнего следования. Когда я прыгал в тамбур, кто-то вскочил туда же с другой стороны. Это был мальчишка, который убежал из Орегона.

Однако поездка в тамбуре первого вагона для перевозки почты в разбушевавшейся снежной буре — не летний пикник. Ветер пронизывает вас насквозь, бьет в стенку вагона и снова набрасывается на вас. На первой остановке, в сгустившейся темноте, я пошел вперед и представился кочегару. Я предложил подбрасывать уголь до конца его смены, то есть до Роулинса, и мое предложение было принято. Работал я на тендере, на снегу, разбивая лопатой глыбы угля и перетаскивая уголь в паровозную будку. Но так как я не должен был работать все время, я снова и снова входил в будку и грелся.

— Послушай, — сказал я кочегару в первый свой короткий перерыв, — там, в первом тамбуре, маленький парнишка. Он совсем замерз.

Паровозные будки на Трансконтинентальной Тихоатлантической вполне просторны, и мы уложили мальчишку в теплый угол перед высоким стулом кочегара, где мальчик моментально заснул. Мы прибыли в Роулинс в полночь. Снег

повалил еще сильнее. Здесь паровоз уходил в депо, а вместо него подавали новый. Как только состав подошел к остановке, я соскочил с паровозной лесенки и плюхнулся в объятия огромного мужчины в огромном пальто. Он начал задавать мне вопросы, а я напрямик спросил у него, кто он такой. Он тут же объяснил мне, что он шериф. Я присмирел, выслушал его и отвечал ему.

Он начал перечислять приметы мальчика, который в это время спал в кабине. Я сразу сообразил, в чем дело. Очевидно, семья напала на след мальчика, и шериф получил телеграфные инструкции из Орегона. Да, я видел этого ребенка. Первый раз я встретил его в Огдене. Дата совпала с теми сведениями, которые имел шериф. Но мальчишка был еще где-то далеко от этих мест, объяснил я, потому что минувшей ночью его сняли с этого самого состава, когда он отходил из Рок Спрингса. И все это время я молил бога, чтобы мальчишка не проснулся, не вылез из будки и не испортил мне все дело.

Шериф оставил меня, чтобы пойти расспросить проводников, но, уходя, сказал:

— Слушай, бродяга, в этом городе тебе нечего делать. Ясно? Ты поезжай на этом поезде дальше и не вздумай задерживаться. Если я поймаю тебя

после отхода поезда…

Я заверил его, что попал в его город отнюдь не по собственному желанию, очутился в нем только из-за остановки поезда и что он не должен ломать себе голову над тем, каким образом выкурить меня из его проклятого города.

Как только он пошел разговаривать с проводниками, я вскочил обратно в будку. Мальчик проснулся и протирал глаза. Я рассказал ему, что произошло, и посоветовал ехать на паровозе в депо. Короче говоря, мальчишка уехал на этом самом поезде, на защитной решетке, я велел ему на первой же остановке попросить кочегара, чтобы он пустил его в кабину. Что же касается меня, то меня высадили. Новый кочегар был молод и еще слишком прилежен, чтобы нарушать правила компании, запрещающие пускать на паровоз бродяг, так что он отверг мое предложение подбрасывать уголь. Я надеюсь, мальчишке с ним повезло, потому что в такой буран ночь на решетке означала верную смерть.

Странное дело, я теперь не могу припомнить со всеми подробностями, как меня сбросили в Роулинсе. Помню только, что поезд мгновенно был поглощен снежной бурей, а я отправился на поиски салуна, чтобы согреться. Там были свет

и тепло. Дело шло полным ходом. За столами играли в фараон, рулетку, кости, покер, какие-то сумасшедшие погонщики скота веселились. Только я с ними побратался и допил первую стопку за их счет, как тяжелая рука опустилась на мое плечо. Я оглянулся и тяжело вздохнул. Это был шериф.

Не говоря ни слова, он вывел меня на улицу.

— Там в депо стоит «специальный апельсиновый», — сказал он.

— Чертовски холодная ночь, — сказал я.

— Он отойдет через десять минут, — сказал он.

Все. Никаких дискуссий. И когда «специальный апельсиновый» тронулся, я сидел в ящике для льда. Я думал, что к утру отморожу ноги, и последние двадцать миль до Ларами я стоял в люке и танцевал на месте. Снег шел такой густой, что проводники не могли меня заметить, но мне было безразлично, даже если бы они и заметили.

За свои четверть доллара я позавтракал в Ларами и после этого моментально вскочил в тамбур почтового вагона, который взбирался на перевал через основной хребет Скалистых гор. Ехать на открытой площадке почтового вагона днем невозможно, но я надеялся, что проводники не будут так бессердечны, чтобы высадить меня в

эту снежную бурю на вершине Скалистых гор. И они не высадили. У них вошло в правило на каждой остановке идти и смотреть, замерз я уже или нет.

У монумента Амесу, на вершине Скалистых гор, я не помню, какова их высота, проводник подошел ко мне в последний раз.

— Послушай, бродяга, — сказал он, — видишь, на втором пути стоит товарный поезд, который пропускает наш состав вперед?

Я видел. Он стоял на соседнем пути в шести шагах от меня. Будь он на несколько шагов дальше, в такую метель я бы ничего не мог разглядеть.

— Ну, так в одном из вагонов остатки банды Келли. У них там на полу два фута соломы, и их так много, что в вагоне не холодно.

Это был хороший совет, и я ему последовал, хотя решил, что если проводник задумал сыграть со мной какую-нибудь злую шутку, то я вернусь на свое место, когда тронется его состав. Но все обошлось благополучно. Я нашел вагон — большой вагон-рефрижератор с дверью, которая была широко раскрыта для вентиляции. Я залез туда. Я наступил кому-то на ногу, потом кому-то на руку. В сумеречном свете я ничего не мог разглядеть, кроме запутанного клубка из чьих-то рук, ног

и тел. Никогда еще я не видел такого человеческого месива. Все они лежали на соломе, друг на друге, друг под другом, один возле другого. Восемьдесят четыре здоровых бродяги заняли бы все пространство вагона, если бы они разлеглись как следует. Те, на которых я наступил, возмутились. Их тела заходили у меня под ногами, как волны на море, я покачнулся и шагнул вперед. Я не мог найти свободного кусочка соломы, чтобы поставить свою ногу, поэтому я снова наступил на каких-то людей. Негодование возрастало, меня продолжали переталкивать все дальше.

Я потерял равновесие и со всего маху сел. К несчастью, я сел на чью-то голову. Человек этот в ярости приподнялся на четвереньки, и я взлетел на воздух. То, что подбрасывают, должно опуститься, и я опустился на голову другого человека.

Я смутно помню, что произошло потом. Похоже было, что я попал в молотилку.

Меня перебрасывали из одного конца вагона в другой. Эти восемьдесят четыре человека бросали меня до тех пор, пока то немногое, что от меня осталось, каким-то чудом не нашло клочок соломы, на котором можно было отдохнуть. Я был принят, причем в веселую компанию. Оста-

ток дня мы ехали сквозь бурю и, чтобы убить время, решили, что каждый должен что-нибудь рассказать. Было поставлено условие, что каждая история должна быть интересной и, более того, чтобы ее никто раньше не слышал. Наказанием для неудачника будет молотилка. Неудачников не было. И здесь я должен сразу сказать, что никогда в жизни я не присутствовал на таком грандиозном литературном пиршестве. Здесь было восемьдесят четыре человека со всего света — я был восемьдесят пятым, — и каждый рассказ был шедевром. Он должен был им быть, потому что выбор был таков: либо шедевр, либо молотилка.

Поздно вечером мы прибыли в Шайенн.

Буран достиг предельной силы, и, хотя последний раз мы ели утром, ни один человек не рискнул отправиться на поиски ужина. Всю ночь мы мчались сквозь бурю и утром следующего дня обнаружили, что мы находимся уже среди прелестных равнин Небраски и продолжаем ехать. Горы и буран остались позади. Благодатное солнце сияло над улыбающейся землей, и у нас вот уже сутки ничего не было во рту. Мы выяснили, что наш состав около полудня прибывает в город, который, если я не ошибаюсь, назывался Гранд Айленд.

Мы собрали деньги и послали телеграмму городским властям. Текст телеграммы гласил, что восемьдесят пять здоровых голодных бродяг прибывают в полдень и что было бы неплохо приготовить им заранее обед. У властей Гранд Айленда было два выхода. Они могли накормить нас или бросить в тюрьму. В последнем случае они также должны были нас накормить, и они мудро решили, что один обед обойдется дешевле.

Когда наш поезд в полдень прибыл в Гранд Айленд, мы сидели на крышах вагонов, свесив ноги, и грелись на солнышке. Вся городская полиция была включена в комитет по встрече. Они нас построили отрядами, и мы маршем отправились в отели и рестораны, где для нас был приготовлен обед. Тридцать шесть часов мы пробыли без пищи, и нас не надо было учить, что делать. После этого мы промаршировали обратно на станцию. Полиция благоразумно задержала поезд до нашего прибытия. Состав медленно тронулся, и восемьдесят пять человек атаковали боковые лестницы. Мы «захватили» поезд.

В тот вечер мы были без ужина, во всяком случае, вся банда, за исключением меня. Как раз когда пришло время ужина и состав отходил от маленького городка, в вагон, где я с тремя бродя-

гами играл в педро, влез человек. Рубашка этого человека подозрительно оттопыривалась. В руке он держал помятую литровую кружку, из которой поднимался пар. До меня дошел аромат «Явы». Я отдал свои карты одному бродяге, который следил за игрой, и извинился перед партнерами. Потом в другом конце вагона, сопровождаемый завистливыми взглядами, я сел рядом с этим человеком и разделил с ним его «Яву» и содержимое пакета, что был спрятан под его сорочкой. Это был швед.

Мы прибыли в Омаху часов в десять вечера.

— Давай поохотимся? — сказал мне швед.

— Конечно, — ответил я.

Когда поезд подходил к Омахе, мы приготовились к высадке. Но население Омахи тоже приготовилось. Мы со шведом повисли на боковых лестницах, готовые к прыжку. Но поезд не остановился. Более того, длинные ряды полисменов, чьи медные пуговицы и звезды поблескивали в электрическом освещении, вытянулись по обеим сторонам пути. Мы со шведом знали, что произойдет, если только мы попадем им в руки. Мы прильнули к лестницам, и поезд помчался по мосту над рекой Миссури к городу Каунсил Блафс.

«Генерал» Келли с двухтысячной армией бродяг

разбил лагерь в нескольких милях оттуда, в парке Шатокуа. Наша банда двигалась в арьергарде армии генерала Келли, и, высадившись из поезда в Каунсил Блафс, мы двинулись к лагерю. Ночью похолодало, и от сильного штормового ветра с дождем мы промокли и продрогли. До самого лагеря нас эскортировали и подгоняли многочисленные полицейские. Мы со шведом дождались удобного случая и благополучно улизнули.

Дождь лил как из ведра, и в кромешной тьме, когда не видно собственных рук, как двое слепцов, мы искали укрытия. Нам помог инстинкт, потому что мы сразу наткнулись на салун — не на такой, который был открыт и торговал или который был просто заперт на ночь, и даже не на такой, который имел постоянный адрес, а на салун, который стоял на больших балках с роликами: его перевозили с места на место. Двери были заперты. Шквал ветра и дождя подтолкнул нас. Мы не колебались. Рухнула выбитая дверь, и мы вошли в салун.

Мне в своей жизни приходилось устраиваться на разные ночевки в самых адских условиях: я ночевал в лужах, засыпал в снегу под двумя одеялами, когда спиртовой термометр показывал 74 градуса ниже нуля (что соответствует 106 граду-

сам мороза), но я хочу сказать без обиняков, что у меня никогда не было привала хуже, чем тот, что был у нас со шведом в этом передвижном салуне в Каунсил Блафс.

Это была самая несчастная ночь в моей жизни. Во-первых, постройка, приподнятая над землей, будто висела в воздухе, и в бесчисленные щели в полу задувал ветер. Во-вторых, салун был пуст, не было в нем огненной жидкости, закупоренной в бутылки, которая дала бы нам тепло и помогла бы забыть о наших бедствиях. У нас не было одеял, и в нашей сырой одежде, промокшие до мозга костей, мы пытались уснуть. Я свернулся в комок под стойкой. Швед скорчился под столом. Ветер из щелей и дыр не дал нам сомкнуть глаз, и через полчаса я полез на стойку. Немного погодя швед взобрался на стол.

Так мы дрожали и молили бога, чтобы скорее настало утро. Я только одно знаю: я дрожал до тех пор, пока уже дрожать не было сил. Осталась только резкая, ноющая боль. Швед охал и стонал, и все время шептал, стуча зубами: «Никогда, никогда». Он повторял эту фразу без конца, повторял ее тысячу раз, и, когда задремал, он продолжал повторять ее во сне.

Лишь только забрезжило утро, мы покинули

нашу обитель страданий и попали в туман, изморозь и стужу. Мы брели, пока не наткнулись на железнодорожную линию. Я решил ехать обратно в Омаху, чтобы стрельнуть себе завтрак, мой спутник собирался в Чикаго. Настало время прощаться. Мы протянули друг другу онемевшие руки. Мы дрожали. У нас так стучали зубы, что мы не могли сказать ни слова. Мы были одни, отрезанные от всего мира, мы ничего не могли разглядеть, кроме небольшого участка пути, оба конца которого исчезали в тумане. Мы молча глядели друг на друга, сочувственно пожимая руки. Лицо шведа было синим от холода, и я знал, что выглядел так же.

— Что никогда? — с трудом произнес я.

Слова застряли в горле у шведа, потом откуда-то из глубины его заледеневшего сердца раздались еле слышные звуки:

— Никогда не буду бродягой.

Он помолчал, а когда снова заговорил, его голос, обретая уверенность, становился все громче и сильнее.

— Никогда не буду бродягой. Пойду работать. Тебе бы лучше сделать то же самое. Такие ночи, как эта, приводят к ревматизму.

Он пожал мою руку.

— Прощай, друг, — сказал он.

— Прощай, друг, — сказал я.

Нас сразу же разъединила мгла. Таково было наше последнее прощание. Но это написано для вас, мистер швед, где бы вы ни находились. Я надеюсь, что вы устроились на работу.

Бездомные мальчишки и бродячие коты

Время от времени в газетах, журналах и биографических словарях мне попадаются очерки о моей жизни, из которых я, если можно так выразиться, узнаю, что я стал бродягой ради того, чтобы изучить социологию. Это очень мило и внимательно со стороны биографов, но это неверно. Я стал бродягой, — что ж, этого требовала моя натура, в моей крови была жажда скитаний, которая никогда не давала мне покоя. Социология пришла потом, она была следствием, а не причиной, так же, как мокрая кожа является следствием купания. Я вышел на Дорогу, потому что я не мог иначе, потому что у меня в кармане не было денег на билет, потому что я был так устроен, что не мог всю жизнь «работать в одной смене», потому что — словом, потому, что легче было это сделать, чем не делать.

Это случилось в моем родном городе Окленде, когда мне было шестнадцать лет. К этому времени у меня была сногсшибательная репутация в избранном кругу авантюристов, которые дали мне кличку «Принц устричных пиратов». Прав-

да, за пределами этого круга честные матросы, работавшие в бухте, портовые грузчики, лодочники и законные владельцы устриц называли меня головорезом, хулиганом, бандитом, вором, грабителем и всевозможными другими не совсем лестными словами, но все они звучали для меня как комплименты, они только подчеркивали головокружительную высоту моего положения.

В ту пору я еще не читал «Потерянный рай», и позже, когда я прочитал у Мильтона[89] слова: «лучше править в аду, чем прислуживать на небесах», я окончательно убедился, что мысли великих умов текут по одному руслу.

Именно в это время случайное сцепление обстоятельств привело меня к моему первому приключению на Дороге. Случилось так, что устричное дело в тот период замерло, что в Бенишии, в сорока милях от Окленда, для меня были приготовлены одеяла, которые я хотел забрать, а в нескольких милях от Бенишии, в Порт-Коста, под охраной констебля стояла на якоре украденная лодка. Так эта вот лодка принадлежала моему

---

[89] notes: 89

Мильтон, Джон (1608 — 1674) — великий английский поэт и публицист, участник английской буржуазной революции XVII в. Поэмы «Потерянный рай» (1667) и «Возвращенный рай» (1671) — лучшие произведения поэта.

другу Дични Мак-Кри. А украл ее и оставил в Порт-Коста другой мой друг, Виски Боб (бедный Виски Боб! Прошлой зимой его тело было выброшено на берег, сплошь продырявленное пулями, и убийцу так и не нашли). Я как раз вернулся с верховьев реки и сообщил Динни Мак-Кри, где находится его лодка. Динни Мак-Кри сразу предложил мне десять долларов, если я доставлю ее в Окленд.

Времени у меня было сколько угодно. Мы сидели на пристани и толковали с Никки-Греком, еще одним бездельничающим устричным пиратом. «Давай поедем!» — сказал я, и Никки охотно согласился. Он был на мели. Я обладал пятьюдесятью центами и маленькой лодчонкой. Деньги я вложил в дело и истратил на продукты, которые и погрузил в лодку: я купил крекер, мясные консервы и десятицентовую банку французской горчицы (мы тогда очень увлекались французской горчицей). Затем ближе к вечеру мы подняли свой маленький шпринтов-парус и легли на курс. Мы шли всю ночь, и на следующее утро, на первой волне отличного прилива, подгоняемые веселым попутным ветром, мы понеслись вверх по Каркинезскому проливу к Порт-Коста. Там футах в двадцати пяти от пристани стояла украденная лодка. Мы встали рядом

с ней, быстро спустили большой парус. Я послал Никки поднять на лодке якорь, а сам начал спускать малый парус.

На пристань выскочил человек и окликнул нас. Это был констебль. И тут я вдруг сообразил, что не удосужился взять у Динни Мак-Кри письменное разрешение на то, чтобы забрать его лодку. Кроме того, я знал, что констебль захочет получить не меньше двадцати пяти долларов за то, что он отобрал эту лодку у Виски Боба и потом стерег ее. А мои последние пятьдесят центов вылетели на мясные консервы и французскую горчицу, да и все мое вознаграждение составляло десять долларов. Я взглянул на Никки. Он изо всех сил тянул якорную цепь, а та не поддавалась.

— Тащи скорее! — зашипел я на Никки, повернулся к констеблю и прокричал ему что-то в ответ.

Мы с констеблем говорили одновременно, наши высказанные вслух мысли сталкивались в воздухе, и получалась какая-то тарабарщина.

Голос констебля становился все более властным, и волей-неволей мне пришлось его слушать. Никки тащил якорную цепь с таким напряжением, что я подумал, как бы у него не полопались жилы. Когда констебль покончил со своими угро-

зами и предупреждениями, я спросил у него, кто он такой. Время, которое он потратил на ответ, дало возможность Никки поднять якорь. Я быстро сделал кое-какие вычисления. У ног констебля начиналась лестница, которая вела прямо к воде. К этой лестнице была привязана шлюпка. В ней были весла. Но цепь от лодки была на замке. От этого замка зависел успех всей игры. В лицо мне дул бриз, я видел высокую воду прилива, глянул на частично свернутый малый парус, мой взгляд пробежал от фалов к блокам, и я понял, что все готово. Я перестал притворяться.

— Отчаливай! — крикнул я Никки и прыгнул к сезеню. Я опустил нижний край паруса, благословляя судьбу, что Виски Боб завязал сезень не морским, а простым узлом.

Констебль кинулся вниз по лестнице и замешкался с замком. Якорь был поднят, и последний парус был поставлен в то самое мгновение, когда констебль освободил лодку и прыгнул к веслам.

— Дирик-фал! — скомандовал я своему экипажу, одновременно разворачивая гафель.

Парус пошел вверх. Я закрепил снасти и бросился на корму к румпелю.

— Так держать! — крикнул я Никки.

Констебль как раз поравнялся с нашей кормой.

Порыв ветра подхватил нас, и мы понеслись. Это было здорово. Если бы у меня был черный флаг, я бы поднял его в знак торжества. Констебль стоял в своей лодке и осквернял великолепие дня отборнейшей бранью. Он проклинал себя за то, что не захватил с собой оружия. Как видите, нам и здесь повезло.

Во всяком случае, мы не крали этой шхуны. Она не принадлежала констеблю. Мы только лишили его вознаграждения, которое для него было особой формой взятки. И вознаграждение это мы украли не для себя, а для моего друга Динни Мак-Кри.

Через несколько минут мы уже были в Бенишин, а еще через несколько минут мои одеяла были на борту. Я повернул лодку к дальнему концу пароходной пристани. Этот наблюдательный пункт имел одно преимущество: мы видели всех, кто входил в гавань. Все было ясно без слов. Ведь могло случиться, что констебль из Порт-Коста позвонил констеблю в Бенишию. У нас с Никки состоялся военный совет. Мы лежали на палубе под теплыми лучами солнца, свежий бриз дул нам в лицо, волны прилива с журчанием и плеском набегали на берег. Идти к Окленду можно было только после полудня, когда начнется от-

лив. Но мы знали, что в это время констебль будет следить за Каркинезским проливом и что нам остается только одно: ждать следующего отлива в два часа ночи, когда мы сможем проскользнуть в темноте мимо цербера.

Так мы и лежали на палубе, покуривая сигареты и радуясь тому, что живы. Я перегнулся за борт, чтобы определить скорость течения.

— При таком ветре с этим приливом можно дойти до Рио-Виста, — сказал я.

— На реке самый разгар фруктового сезона, — сказал Никки.

— И низкая вода, — сказал я. — Это — лучшее время года для поездки в Сакраменто.

Мы сели и посмотрели друг на друга. Чудесный западный ветер опьянял нас, как вино. Мы одновременно перегнулись через корму, чтобы посмотреть, каково течение. Теперь я убежден, что всему виной были прилив и попутный ветер. Они пробудили в нас морские инстинкты. Если бы не они, не было бы всей цепи событий, которые привели меня на Дорогу.

Мы поняли друг друга без слов. Снялись с якоря и подняли паруса. Наши приключения на реке Сакраменто заслуживают особого повествования, здесь я не буду о них распространяться. Мы при-

были в город Сакраменто и пришвартовались у пристани. Вода была отличная, и большую часть времени мы купались. На песчаной косе чуть повыше железнодорожного моста мы очутились среди целой компании купающихся мальчишек. В перерывах между купаниями мы лежали на песке и разговаривали. Они говорили совсем не так, как мальчики, с которыми я раньше общался. Это был новый жаргон. Это были бездомные мальчишки, дети Дороги, и каждое произнесенное ими слово усиливало мое влечение к Дороге. Это влечение все более и более овладевало мной.

То вдруг один из них начинал: «Когда я был в Алабаме», или другой: «Когда я ехал из Канзас-Сити по Чикаго-Альтонской», на что третий паренек отвечал: «О, на Чикаго-Альтонской нет лесенок к слепым площадкам!» А я все лежал на песке и слушал. «Это было в небольшом городке в Огайо на озере Шор, на Южно-Мичиганской ветке», — начинал мальчишка, а другой продолжал: «А ты когда-нибудь ездил на „пушечном ядре“ по Уобашу?», и кто-нибудь продолжал: «Нет, но я выезжал на белом почтовом из Чикаго», «Пока не побываешь в Пенсильвании, не заикайся о железных дорогах: четыре колеи, никаких водокачек, воду набирают на ходу, вот это штука!», «А

Северная тихоокеанская теперь стала дрянной дорогой», «Салинас начеку, „быки“ такие, что лучше не подступайся», «Меня сцапали в Эль Пазо вместе с Моук-Кидом», «Прежде чем рассказывать нам, что такое „стрельнуть“, ты сначала поброди вокруг Монреаля, где живут французы, — по-английски никто ни слова, ты говоришь: „Манже, мадам, манже, ноу спик де френч“, и трешь свое пузо, и показываешь ей, что подыхаешь с голоду, а она тебе сует кусок свиной требухи и ломоть сухого хлеба».

А я все лежал на песке и слушал. В присутствии этих бродяг мое устричное пиратство превращалось в пустяковое занятие. Каждое их слово звучало в моих ушах как призыв нового мира — мира вагонных тележек и буферов, «слепых» тамбуров и «пульмановских вагонов с боковым затвором», «быков» и кондукторов, мира, где «влипают» и «смываются», где есть мертвая хватка и бродяги, желторотые и забубенные. И от всего этого веяло приключениями. Прекрасно, я вступлю в этот новый мир. Я поставил себя в один ряд с этими бездомными мальчишками. Я ведь был таким же крепышом, как любой из них, таким же быстрым, таким же самоуверенным, и сообразительности у меня было не меньше,

чем у них.

После купания, когда наступил вечер, они оделись и пошли к городу. Я пошел с ними. Мальчишки начали закидывать удочку за монетками на прямой, иными словами, попрошайничали на главной улице. Я ни разу в жизни не просил подаяния, и это оказалось для меня самым трудным делом, когда я впервые вступил на Дорогу. У меня были совершенно нелепые представления о попрошайничестве. Моя философия в ту пору сводилась к тому, что лучше украсть, чем просить милостыню, и что грабеж еще лучше, потому что риск и возмездие соответственно больше. Если бы я отбыл положенный мне за устричное пиратство срок заключения, мне бы пришлось сидеть не меньше тысячи лет. Грабить — это по-мужски, побираться — презренно и убого. Но со временем я стал умнее, все утряслось, когда я начал смотреть на попрошайничество как на веселую проделку, игру ума, упражнение для нервной системы.

Как бы то ни было, в ту первую ночь я еще до этого не поднялся, в результате чего, когда парни собрались идти в ресторан, я не пошел. Я был без гроша. Минни-Кид, кажется, это был он, дал мне денег, и мы поужинали все вместе. Но во время

еды я продолжал размышлять. Говорят, тот, кто принимает краденое, сам не лучше вора. Минни-Кид клянчил милостыню, а я пользуюсь ею. Я пришел к выводу, что принимающий краденое хуже вора и что больше это никогда не повторится. И это не повторилось. На следующий день я вышел вместе с ними и не отставал от других в попрошайничестве.

У Никки-Грека не хватило честолюбия пойти на Дорогу. Он не умел попрошайничать, и однажды ночью он удрал на барже вниз по реке к Сан-Франциско. Я встретил его как раз неделю назад на боксе. Он преуспевает. Он сидел у ринга на почетном месте. Он стал антрепренером крупных боксеров и очень этим гордится. В общем, среди местных спортсменов в этом маленьком мирке он стал вполне заметным светилом.

Парень не бродяга, пока он не побывает за холмом, — таков был закон Дороги, который мне растолковали в Сакраменто. Ладно, я переберусь через холм и буду принят в это общество. Кстати, «холм» — это Сиерра-Невада. Вся банда собиралась отправиться в турне через холм, и я, разумеется, к ним присоединился. Для Кида-Француза это тоже было первое крещение. Он только что удрал от родителей из Сан-Франциско.

Мне и ему нужно было показать себя. Замечу мимоходом, что мой старый титул «Принца» исчез. Я получил другую кличку. Теперь я стал «Кидом-Моряком», позднее, когда между мной и моим родным штатом пролегли Скалистые горы, я превратился во Фриско-Кида.

В десять часов двадцать минут вечера от станции Сакраменто Трансконтинентальной Тихоокеанской железной дороги отошел поезд на восток

— этот пункт расписания неизгладимо врезался в мою память. В нашей компании было человек десять, и мы выстроились вдоль линии впереди поезда, готовые к штурму. Все местные босяки, каких мы знали, явились поглазеть на наш отъезд и «сбросить нас в канаву», если это им удастся. В их представлении это была милая шутка, и чтобы претворить ее в жизнь, их собралось человек сорок. Возглавлял эту компанию опытный дорожный бродяга Боб. Он был родом из Сакраменто, но исколесил всю страну вдоль и поперек. Отведя в сторону меня и Кида-Француза, он дал нам приблизительно такой совет: «Мы собираемся спустить в канаву всю вашу банду. Вы оба еще не сильны, а остальные могут сами о себе позаботиться. Так что, как только прицепитесь к

слепому вагону, полезайте на крышу. И лежите там, пока не проедете Роузвиль, потому что там такие свирепые констебли, что хватают всех, кто попадается им на глаза».

Паровоз свистнул, и поезд тронулся. В нем было три слепых багажных вагона, то есть достаточно места для нас всех. Наша десятка предпочла бы сесть на поезд без лишнего шума, но сорок провожающих вскакивали в вагоны с наглой демонстративностью, устраивали невообразимый шум. Следуя совету Боба, я сразу же залез на крышу одного из почтово-багажных вагонов и оттуда с замиранием сердца следил за происходившей внизу баталией и прислушивался ко всей этой катавасии. Вся поездная бригада была на ногах, яростно и поспешно сбрасывая с вагонов нашего брата. Пройдя полмили, поезд остановился. Снова явилась бригада и сбросила в канаву уцелевших. Я, один я остался на поезде.

Позади у депо лежал без обеих ног Кид-Француз, возле него стояли два или три приятеля из шайки, которые видели, как все это произошло. Кид-Француз не то споткнулся, не то поскользнулся, и все остальное сделали колеса. Это было мое посвящение. Теперь я принадлежал Дороге. Года два спустя я встретился с Кидом-Французом

и осмотрел его культяпки. Это был акт вежливости. Калеки страшно любят показывать свои обрубки. Встреча двух калек на Дороге — одно из самых любопытных зрелищ. Их общее несчастье является для них неисчерпаемой темой разговоров, и они подробно рассказывают, как это случилось, описывают все, что им известно об ампутации, отпускают критические замечания о своем собственном и о других хирургах и обязательно отходят в сторону, снимают бинты и повязки и сравнивают свои обрубки.

Но я узнал о несчастье Кида-Француза только через несколько дней, когда шайка догнала меня в Неваде. Шайка тоже пострадала. Во время снежного бурана она попала в крушение. Счастливчик Джо ходил на костылях — ему раздробило обе ноги, — а все остальные получили раны и ушибы.

А я во время всех этих несчастий лежал на крыше багажного вагона, стараясь вспомнить, первой или второй остановкой будет станция Роузвиль. Это была станция, о которой меня предупреждал Боб, и, чтобы не ошибиться, я решил не спускаться на платформу, пока не проеду вторую остановку. Однако я не спустился и после нее. Я был новичком в этой игре, и я чувствовал себя в большей безопасности на крыше. Однако

своим товарищам я не сказал, что пробыл на крыше всю ночь, когда поезд шел через туннели и снежные перевалы Сиерры, и что я спустился на платформу только в семь часов утра уже по ту сторону гор. Подобное поведение позорно, я бы стал всеобщим посмешищем. Я только теперь впервые рассказываю о своем первом путешествии через горы. Моя компания решила, что я парень подходящий, и, когда я снова пересек горы и вернулся в Сакраменто, я был уже вполне оперившимся дорожным птенцом, бездомным мальчишкой.

Однако мне еще многому нужно было научиться. Моим ментором был Боб, и он отлично справлялся с этой ролью. Мне запомнился один вечер (в Сакраменто как раз была ярмарка, и мы слонялись по городу, весело проводя время), когда я в драке потерял шапку. Мне пришлось бы ходить по городу с непокрытой головой, но Боб пришел на помощь. Он отвел меня в сторону и объяснил, что нужно делать. Его совет немного испугал меня. Я только что вышел из тюрьмы, где провел три дня, и отлично понимал, что, если меня снова сцапает полиция, мне здорово достанется. Но, с другой стороны, нельзя было показать, что я струсил. Я уже побывал за хол-

мом, меня считали своим в этой компании, и я должен был доказать, что я это заслужил. Словом, я принял совет Боба, и он отправился вместе со мной, чтобы проследить, как я справлюсь с этим делом.

Мы заняли позицию на углу Пятой улицы, если мне не изменяет память. Дело было к вечеру, и улица была полна народу. Боб стал внимательно разглядывать головные уборы каждого проходившего мимо нас китайца. Я все удивлялся, откуда у бездомных мальчишек новые пятидолларовые стэтсонские шляпы, а теперь я понял, в чем дело. Они доставали их у китайцев тем же способом, каким я сам собирался это сделать. Я нервничал: на улице было слишком много народу, но Боб был спокоен, как айсберг. Несколько раз, когда я, взвинченный и решительный, направлялся к какому-либо китайцу. Боб возвращал меня на место. Он хотел, чтобы я достал хорошую шляпу и чтобы она подошла мне по размеру. То появлялась шляпа нужного размера, но не новая, а после того, как проходил мимо десяток совершенно непригодных шляп, нам попадалась на глаза новая, но не того размера. И когда проходила шляпа и новая и подходящего размера, то поля ее были или слишком широкими, или слишком узкими.

Мой бог, Боб привередничал! Все это меня так измотало, что я готов был схватить любую шляпу.

Наконец появилась подходящая шляпа — для меня это была единственная шляпа во всем Сакраменто. Как только я взглянул на нее, я понял: это то, что нужно. Я посмотрел на Боба. Он оглянулся, нет ли поблизости полиции, затем кивнул мне. Я снял шляпу с китайца и надел на собственную голову. Она идеально подошла мне по размеру. Тогда я побежал. Я слышал, как Боб что-то закричал, и, оглянувшись, увидел, что Боб сначала удерживал рассвирепевшего монгола, а потом подставил ему ногу. Я бежал. Я повернул за угол, потом снова повернул за угол. Эта улица была не так многолюдна, как другие, и я спокойно пошел шагом, стараясь отдышаться, и поздравил себя со шляпой и с удачным побегом.

И вдруг сзади из-за угла неожиданно выскочил китаец без шляпы. За ним по пятам бежала еще целая куча китайцев и с полдесятка мужчин и мальчишек. Я снова шмыгнул за угол, пересек улицу и еще раз свернул за угол. Я был уверен, что на этот раз перехитрил его, и опять пошел спокойно. Но настырный монгол снова выскочил из-за угла. Повторялась сказка о зайце и черепахе. Он не мог бежать так же быстро, как я, но зато

он бежал, не сбавляя скорости, и его неуклюжая рысца придавала его бегу кажущуюся медлительность. От непрерывных ругательств он еще больше задыхался. Он призывал весь Сакраменто в свидетели своего несчастья, и добрая часть Сакраменто услышала его и бросилась за ним следом. Я бежал, как заяц, и все-таки этот настырный монгол со своей все увеличивающейся толпой настигал меня. Но в конце концов, когда к числу его последователей присоединился полицейский, я пустился бежать во весь дух. Я мчался зигзагами, сворачивал в переулки и, клянусь, на этот раз пробежал по крайней мере десятка два кварталов. Китайца я больше никогда не видел, моя щегольская шляпа, совершенно новый стэтсон, только что из магазина, была предметом зависти всей нашей компании.

«Бездомные мальчишки» — славные парни, но только, когда они одни и когда они рассказывают вам, «как это случилось». Но, поверьте моему слову, их надо остерегаться, когда они ходят стаей. Тогда они превращаются в волков и могут, подобно волкам, повалить и растерзать самого сильного человека. В такие минуты они не знают страха. Они бросаются на человека, наваливаются на него всей силой своих жилистых тел, пока он

не падает. Я не раз наблюдал это и знаю, что говорю. У них обычно одна цель — грабеж. И особенно опасайтесь «мертвой хватки». Все мальчишки, с которыми мне приходилось путешествовать, владели этим приемом в совершенстве. Даже Кид-Француз успел этому научиться до того, как ему отрезало ноги.

Особенно ярко запечатлелась в моей памяти одна сцена в «Ивах». Ивы — это купа деревьев на пустыре близ железнодорожного депо и всего в нескольких минутах ходьбы от центра Сакраменто. Ночь, сцена освещена тусклым мерцанием звезд. Я вижу, как огромный детина-рабочий отбивается от целой стаи «бездомных мальчишек», окруживших его. Он злится, ругается, но не испытывает никакого страха, так он уверен в своих силах. Он весит около ста восьмидесяти фунтов, у него литые мускулы, но он не знает, с кем имеет дело. Мальчишки наскакивают на него. Это весьма неприятно. Они нападают со всех сторон, и он вертится на месте и размахивает руками. Рядом со мной стоит Кид-Парикмахер. Когда мужчина отворачивается, Кид-Парикмахер бросается вперед и пускает в ход испытанный прием. Он упирается коленом в спину человека, сзади обхватывает правой рукой его шею, крепко

надавливая кистью руки на сонную артерию. Кид-Парикмахер всем телом откидывается назад. Этот прием действует безотказно. Особенно потому, что у человека остановлено дыхание. Это и есть «мертвая хватка».

Мужчина не сдается, но практически он уже беспомощен. Бездомные мальчишки хватают его со всех сторон, виснут на его руках, ногах, а Кид-Парикмахер не отпускает и тянет назад, как волк, схвативший за горло лося. Под грудой тел человек падает навзничь. Кид-Парикмахер выскальзывает из-под него, но по-прежнему держит его за горло. Пока одни ребята обыскивают жертву, другие наваливаются ему на ноги, так что он не может сбросить их или ударить. Пользуясь случаем, они стаскивают с человека башмаки. Он сдается. Он побежден. К тому же рука прижимает его сонную артерию, и он задыхается. Страшный хрип вырывается из его горла, и ребята спешат. Они и в самом деле не хотят, чтобы он умер. Дело сделано. По команде все мигом оставляют жертву и бросаются врассыпную. Один тащит башмаки, он знает, где ему дадут за них полдоллара. Человек садится и беспомощно, изумленно озирается. Даже если бы у него было желание бежать за ними в темноте, он не мог бы их догнать босиком.

На мгновение я останавливаюсь и наблюдаю за ним. Он прикасается рукой к горлу, откашливается и как-то странно вытягивает шею, будто хочет убедиться, цела ли она. Потом я догоняю свою компанию. Этого человека я никогда больше не видел, хотя он навсегда остался у меня перед глазами — освещенный слабым мерцанием звезд, сидящий в каком-то изумлении, испуге, страшно взъерошенный, и голова его как-то странно, конвульсивно вытягивалась.

Пьяные — особая статья доходов «бездомных мальчишек». Грабить пьяницу называется у них «качать обрубок», и где бы ребята ни находились, они постоянно выискивают пьяных. Как муха — добыча паука, так и пьяные — добыча специально для них. Ограбление пьяного — подчас довольно забавное зрелище, особенно если пьяный невменяем и нет опасности, что кто-нибудь может помешать. При первом натиске исчезают деньги и ценности пьяницы. После этого ребята усаживаются вокруг пьяного, словно на конференции. Одному из них понравился галстук пьянчуги — галстук моментально снимают. Другому нужно белье. Белье снимают и ножом отрезают слишком длинные рукава и штанины. Если куртка и штаны слишком велики для маль-

чишек, их отдают знакомым бродягам. В конце концов все исчезают, оставив возле пьянчуги кучу сброшенных с себя лохмотьев.

Еще одна картина возникает перед моими глазами. Темная ночь. Моя шайка идет вдоль тротуара на окраине города. Впереди нас под фонарем человек переходит на другую сторону улицы. В его походке нет уверенности и четкости. Ребята издали почуяли добычу. Человек пьян. Он бредет по противоположному тротуару и исчезает в темноте, свернув на пустырь. Ни одного воинственного клича, но вся компания бросается по его следам. В середине пустыря она настигает пьяного. Маленькие, угрожающе рычащие фигурки возникают между шайкой и ее добычей. Это другая стая «бездомных мальчишек». Наступает напряженная пауза, мы узнаем, что это их добыча, они преследуют ее больше десяти кварталов, и нам здесь делать нечего. Но мы живем в первобытном мире. Перед нами не волки, а волчата. (На самом деле ни одному из них не было больше двенадцати-тринадцати лет. Потом я встречал кое-кого из них и узнал, что в тот день они только что вернулись из-за холма и что родом они были из Дэнвера и из Солт-Лейк-Сити.) Наша стая бросается вперед. Волчата визжат, царапаются и

дерутся, как чертенята. Вокруг пьяного идет борьба за обладание им. В разгаре битвы он падает на землю, и борьба продолжается, подобно тому, как греки и троянцы дрались над поверженным воином, отвоевывая тело и доспехи сраженного героя. С криками, с визгом и со слезами волчата отогнаны, и пьяного обирает наша стая. Но я никогда не забуду несчастного забулдыгу и его недоумение: почему вдруг разразилась баталия на заброшенном пустыре. Я вижу его, едва различимого во мраке, заикающегося от изумления. Он добродушно старался взять на себя роль миротворца в этой всеобщей свалке, абсолютно не понимал, в чем смысл драки, и искренне обиделся, когда он, ни в чем не повинный человек, был схвачен множеством рук и под давлением кучи тел опрокинут на землю.

Самая любимая добыча «бездомных мальчишек» — «грузные узлы». Грузным узлом называется работающий бродяга. Название свое он получил от узла, что носит с собой. В узле — скатанное одеяло. Так как он работает, то всегда можно рассчитывать, что у него есть в кармане кое-какая мелочь, за этой-то мелочью и охотятся бездомные мальчишки. За грузным узлом лучше всего охотиться в сараях, в конюшнях, на дровя-

ных складах, в железнодорожных депо и тому подобных местах на окраинах города, а лучшее время для охоты — ночь, потому что грузный узел приходит в эти места на ночь, чтобы развязать здесь свое одеяло и уснуть.

«Веселые коты» тоже нередко страдают от бездомных мальчишек. Попросту говоря, веселые коты — это новички, чечако, вновь прибывшие, новое пополнение. Веселый кот — это новенький на Дороге, но по летам совершенно взрослый мужчина или юноша. С другой стороны, мальчик на Дороге, даже если он зеленый новичок, никогда не будет веселым котом, он бездомный мальчишка или «босяк», а если он путешествует с каким-нибудь «профессионалом», он получает звание ученика.

Я никогда не был учеником бродяги, мне это было неприятно. Сначала я был бездомным мальчишкой, а потом сразу стал профессионалом. Так как я начал молодым, то фактически перескочил через годы ученичества. Когда я менял свою юношескую кличку «Фриско-Кид» на кличку полноправного взрослого бродяги — «Джек-Матрос», меня заподозрили в том, что я веселый кот. Однако когда те, которые заподозрили меня в этом, поближе со мной познакомились, они поняли,

что ошиблись, и я в кратчайший срок приобрел манеры и повадки настоящего профессионала. И да будет известно отныне и навеки, что профессионалы — это аристократия Дороги. Они господа и владыки, предприимчивые люди, истинные аристократы, белокурые бестии, которых так любил Ницше.

Когда я возвратился из Невады в Сакраменто, я обнаружил, что какой-то речной пират украл оставленную мной шхуну Динни Мак-Кри. (Как это ни странно, я не могу вспомнить, куда девалась лодчонка, на которой мы с Никки-Греком отправились в Порт-Коста. Мне известно, что констеблю она не досталась, что мы не взяли ее с собой в Сакраменто — это мне тоже известно, а больше я ничего о ней не знаю.) С утратой лодки Динни Мак-Кри мне оставалось только одно — идти на Дорогу. А когда мне надоело Сакраменто, я распрощался с нашей компанией (из дружеских чувств они сделали все, что было в их силах, чтобы меня сбросили в канаву с товарного поезда, на котором я уезжал из города) и пустился в путь в долину Сан-Хоакин. Дорога захватила меня и больше не отпускала, и впоследствии, когда я избороздил все моря, принимался то за одно, то за другое дело, я возвращался на Дорогу

на более длительное время, чтобы прослыть «кометой» и профессионалом, чтобы окунуться в социологические проблемы и пропитаться ими до мозга костей.

Две тысячи бродяг

Хобо — это бродяга.

Однажды по прихоти судьбы я несколько недель скитался с бандой в две тысячи хобо. Она была известна как «Армия Келли». По всему дикому Западу, от самой Калифорнии, генерал Келли и его герои захватывали поезда, но их разбили, когда они переправились через Миссури и двинулись на цивилизованный Восток. Восток не имел ни малейшего желания предоставлять свободу передвижения двум тысячам босяков. «Армия Келли» некоторое время беспомощно сидела в Каунсил Блафс. В день, когда я к ней присоединился, доведенная до от чаяния вынужденной задержкой, она двинулась маршем захватывать поезд.

Это было внушительное зрелище. Генерал Келли восседал на великолепном черном боевом коне, и с развевающимися знаменами, под звуки военного марша, исполняемого соединением флейтистов и барабанщиков, отряд за отрядом, двумя дивизиями, две тысячи хобо маршировали перед ним и двинулись по проселочной дороге к небольшому городку Уэстону, в семи милях от Каунсил Блафс. Будучи последним рекрутом, я

попал в последнее отделение последнего полка Второй дивизии и, мало того, в последний ряд арьергарда. Армия разбила лагерь в Уэстоне у железнодорожной линии, вернее, у железнодорожных линий, потому что там пересекались две дороги: Чикаго — Милоуоки — Сент-Пол и дорога на Рок-Айленд.

Мы намеревались взять первый же поезд, но железнодорожные власти разгадали наш план и вышли победителями из игры. Первого поезда не было. Они перекрыли обе дороги и остановили движение. Тем временем, пока мы лежали у замерших путей, добрые люди в Омахе и Каунсил Блафс энергично взялись за дело. Были приняты меры, чтобы организовать толпу, захватить в Каунсил Блафс поезд, подвести этот поезд и подарить его нам. Железнодорожные власти сорвали и этот план. Они не стали ждать, пока соберется толпа. На рассвете следующего дня паровоз с одним вагоном первого класса прибыл на станцию и остановился на запасном пути. При этом признаке возрождения жизни на мертвых путях вся армия вытянулась вдоль линии.

Но никогда еще жизнь на мертвом пути не возрождалась так чудовищно, как на этих двух дорогах. С запада донесся свист локомотива. Он

шел к нам, на восток. Нам тоже надо было на восток. Наши ряды заволновались, готовясь к посадке. Прозвучал неистовый гудок, и поезд прогрохотал мимо на полной скорости. Еще не родился тот бродяга, который бы мог на него вскочить. Засвистел другой локомотив, и другой поезд промчался на полной скорости, и еще, и еще, поезд за поездом, поезд за поездом, пока под конец не пошли поезда, составленные из пассажирских, крытых товарных, из платформ, вышедших из строя, из мертвых паровозов, тормозных вагонов, почтовых, поломанных вагонов-лабораторий и всего прочего хлама — изношенного лома на колесах, который скопляется в депо больших станций. Когда депо Каунсил Блафс совершенно опустело, паровоз с вагоном первого класса ушел на восток, и пути опять замерли.

Прошел день и еще один день, но ничего не изменилось, а между тем, исхлестанные мелкими льдинками, мокрым снегом и дождем две тысячи бродяг лежали у дороги. Но в ту ночь добрые люди из Каунсил Блафс перехитрили железнодорожных чиновников. Толпа, организованная в Каунсил Блафс, пересекла реку и отправилась в Омаху, там соединилась с другой толпой, направлявшейся к депо Тихоокеанской железной

дороги. Вначале они захватили паровоз, затем сколотили поезд, погрузились на него, пересекли Миссури и двинулись по Рок-Айлендской ветке, чтобы предоставить поезд в наше распоряжение. Железнодорожные чиновники пытались сорвать этот план, но это им не удалось, к великому ужасу начальника участка пути и одного члена бригады в Уэстоне. Эта парочка по секретному телеграфному приказу пыталась пустить под откос поезд с нашими доброжелателями. Случилось так, что мы заподозрили что-то неладное и выставили патрули. Пойманные на месте преступления, когда они разводили рельсы, и окруженные двумя тысячами рассвирепевших бродяг, начальник участка пути и его помощник приготовились встретить смерть. Не помню, что их спасло, кажется, прибытие поезда.

Теперь настала наша очередь потерпеть неудачу, и неудачу жестокую. В спешке наши избавители не позаботились прицепить достаточное количество вагонов. Там не было места для двух тысяч бродяг. Так что горожане и бродяги поговорили, побратались, спели песни и расстались, горожане на своем захваченном поезде отправились обратно в Омаху, бродяги же на следующее утро выступили в стосорокамильный марш на

Де-Мэйн. До того, как армия Келли пересекла Миссури, она не передвигалась пешком, а теперь ей уже не пришлось ездить на поездах. Это стоило железным дорогам уйму денег, но они не отступали от своих принципов и победили.

Андервуд, Лола, Менден, Авока, Уолнат, Марно, Атлантик, Вайото, Анита, Адэр, Адам, Кейзи, Стюарт, Декстер, Карлхем, Де-Сото, Ван-Метер, Буневиль, Коммерс, Валли-Джанкшен — названия городов так и нахлынули на меня, когда я взглянул на карту и проследил наш путь по плодородным землям Айовы!

А гостеприимные айовские фермеры! Они приезжали со своими фургонами и везли наши вещи, в полдень устраивали нам на дороге горячие завтраки, мэры уютных маленьких городков встречали нас приветственными речами и помогали нам двигаться дальше, нам навстречу выходили делегации маленьких девочек и девушек, и сотни честных граждан, взявшись за руки, маршировали с нами вдоль главных улиц своих городов. Когда мы входили в город, создавалось впечатление, что приехал бродячий цирк, и каждый день был для нас таким цирковым праздником, потому что на нашем пути было множество городов.

По вечерам местное население заполоняло наш лагерь. Каждая рота разводила свой костер, и у каждого костра что-нибудь происходило. Повара моей роты «Л» были мастерами пения и танцев и организовывали для нас большинство зрелищ. В другом конце лагеря веселый клуб обычно затягивал песню — один из лучших запевал был «Дантист» из роты «Л», и мы им очень гордились. Кроме того, он рвал зубы у всей армии, и поскольку операции обычно происходили в часы еды, наше пищеварение стимулировалось разнообразными происшествиями. У «Дантиста» не было анестезина, но двое-трое из нас с великой охотой были готовы держать пациента. В добавление к развлечениям для полков и веселых клубов постоянно производились богослужения; их совершали местные священники, и всегда в большом количестве произносились политические речи. Это шло непрерывной чередой, в непрерывных увеселениях мы уже прошли полпути. Среди двух тысяч бродяг можно было откопать массу талантов. Помню, у нас была отборная девятка для бейсбола, и мы ввели в правило выставлять ее по воскресеньям против всех местных команд. Иногда мы играли в одно воскресенье по две игры.

В прошлом году во время лекционной поездки

я прибыл в Де-Мойн в пульмановском вагоне — я имею в виду не «пульмановский вагон с боковым затвором», а настоящий пульмановский вагон. В предместьях города я увидел сушилки старого кирпичного завода, и у меня сжалось сердце. Это здесь, у старого кирпичного завода, двенадцать лет назад расположилась наша армия и торжественно поклялась больше не идти пешком, потому что наши ноги были стерты до крови и мы не могли больше идти. Мы заняли сушилки и заявили Де-Мойну, что мы пришли сюда, чтобы здесь остаться, что мы пришли, но будь мы прокляты, если мы уйдем.

Де-Мойн был гостеприимен, но для него это было слишком. Давайте займемся устным счетом, дорогой читатель. Две тысячи бродяг, которые должны три раза в день плотно поесть, это шесть тысяч порций еды в день, сорок две тысячи порций в неделю или сто шестьдесят восемь тысяч порций в кратчайшем месяце календаря. Это кое-чего стоит. Денег у нас не было. Это целиком ложилось на Де-Мойн.

Де-Мойн был в отчаянии. Мы разбили лагерь, произносили политические речи, устраивали концерты духовой музыки, вырывали зубы, играли в бейсбол и в семерку, съедали наши шесть

тысяч порций еды в день, и Де-Мойн за них платил. Де-Мойн с мольбой обратился к железной дороге, но те были упрямы, они заявили, что мы не поедем по железной дороге, что это вопрос решенный. Разрешить нам ехать — значило бы допустить прецедент, а они не собирались допускать какие бы то ни было прецеденты. А мы тем временем продолжали поглощать пищу. Это было устрашающим обстоятельством в данной ситуации. Мы направлялись в Вашингтон, и Де-Мойн должен был бы выпустить местный заем, чтобы оплатить все наши железнодорожные расходы, даже по специальному тарифу, а если бы мы оставались здесь еще, город все равно должен был выпускать заем, чтобы прокормить нас.

Тогда какой-то местный гений разрешил эту проблему. Мы не пойдем пешком. Очень хорошо. Мы должны ехать. Де-Мойн стоит на реке Де-Мойн, которая впадает в Миссисипи у города Кеокук. Расстояние между этими двумя городами равнялось тремстам милям. Мы можем проплыть это расстояние, заявил местный гений, и, имея в своем распоряжении суда, мы можем спуститься по Миссисипи до того места, где в нее впадает река Огайо, и затем вверх по Огайо. Там, где Огайо ближе всего подходит к Вашингтону, мы выса-

димся на берег и, перейдя через горы, доберемся до столицы.

Де-Мойн провел подписку. Высокосознательные граждане пожертвовали несколько тысяч долларов. Строевой лес, веревки, гвозди и пакля, чтобы конопатить щели, были куплены в огромных количествах, и на берегах Де-Мойна началась невиданная эра кораблестроения. Сейчас Де-Мойн — пустяковый приток, неизвестно почему удостоенный названия «река». На наших обширных западных землях его бы называли «ручей». Старейшие жители города качали головами и говорили, что у нас ничего не выйдет, что в реке слишком мало воды. Де-Мойну было безразлично, лишь бы только избавиться от нас, а мы были такими заядлыми оптимистами, что нам тоже было безразлично.

В среду 9 мая 1894 года мы отправились в путь. Это было начало нашего грандиозного пикника, Де-Мойн легко отделался. Город, конечно, должен был поставить бронзовую статую местному гению, избавившему Де-Мойн от затруднений. Правда, Де-Мойн должен был заплатить за наши суда; пока мы жили в сушилках, мы уничтожили шестьдесят шесть тысяч порций еды и взяли в дорогу дополнительно двенадцать тысяч порций

еды — чтобы предотвратить голод в пустыне, но вы только подумайте, что бы произошло, если бы мы оставались в Де-Мойне одиннадцать месяцев вместо одиннадцати дней. Уезжая, мы пообещали Де-Мойну, что вернемся, если река нас не вынесет.

Иметь двенадцать тысяч порций еды в провиантской лодке очень хорошо, и, несомненно, провиантские растратчики отведали этой еды, потому что провиантская лодка сразу исчезла, и, например, моя лодка так ее и не видела. Во время плавания военный строй был безнадежно нарушен. В любой компании людей всегда есть определенный процент симулянтов, недотеп, прожженных дельцов и обыкновенных смертных. В моей лодке было десять человек, и это были сливки отделения «Л». Каждый был дельцом. Я был включен в эту десятку по двум причинам. Во-первых, я был мастер в любое время достать провизию, и, во-вторых, я был «Джек-Матрос» Я понимал толк в лодках и в морском деле. Наша десятка забыла о существовании остальных сорока человек отделения «Л», и когда мы не получили первого обеда, то забыли и о провиантской лодке. Мы ни от кого не зависели. Мы двигались вниз по реке сами по себе, прокладывая путь на нашей

«скорлупке», обгоняя все лодки нашей флотилии, и, увы, я должен признаться, иногда присваивая себе продукты, заготовленные фермерами для всей армии.

На протяжении большей части трехсотмильного пути мы перегнали армию на сутки или полсуток. Нам удалось раздобыть несколько национальных американских флагов. Когда мы подплывали к небольшому городку или группе фермеров, собравшихся на берегу, мы поднимали наши флаги и, назвавшись флагманом флотилии, настойчиво допытывались, какая провизия заготовлена для армии. Мы, разумеется, представляли армию, и провизию приносили нам. Но в этом с нашей стороны не было никакой низости. Мы никогда не брали больше, чем могли взять с собой. Но мы брали все самое лучшее. Например, если какой-нибудь филантропически настроенный фермер жертвовал на несколько долларов табаку, мы его брали себе. Мы также забирали сахар и масло, кофе и консервы, но когда запасы состояли из мешков муки, или бобов, или из двух-трех окровавленных воловьих туш, мы от них решительно отказывались и продолжали свой путь, распорядившись погрузить всю эту провизию на интендантские лодки, которые

обязаны были следовать за нами.

Боже, наша десятка как сыр в масле каталась! Генерал Келли долго и безрезультатно пытался перегнать нас. Он послал двух гребцов в легкой лодчонке с выгнутым дном, чтобы они настигли нас и положили конец нашей пиратской деятельности. Они действительно нас догнали, но их было двое, а нас — десять. Генерал Келли уполномочил их арестовать нас, и они нам об этом сказали. Когда мы выразили нежелание стать узниками, они спешно направились вперед, к близлежащему городу, чтобы просить власти о помощи. Мы немедленно сошли на берег, приготовили ранний ужин, а потом под прикрытием темноты проскочили мимо города и его властей.

Во время путешествия я иногда вел записи в дневнике, и когда я перечитываю их теперь, мне попадается одна настойчиво повторяющаяся фраза, а именно: «Живем чудесно». Мы действительно жили чудесно. Мы дошли до того, что не стали варить кофе на воде. Мы считали это ниже своего достоинства и варили свой кофе на молоке, называя чудесный напиток, если мне не изменяет память, кофе «по-венски».

Пока мы плыли впереди, снимая сливки, провиантская лодка затерялась где-то далеко позади, а

основная армия, двигаясь между нами, голодала.

Признаю, для армии это было тяжело, но в конце концов мы, десять человек, были индивидуалистами. Мы были изобретательны и предприимчивы. Мы были твердо убеждены, что еда принадлежит тому, кто первый ее берет, кофе «по-венски» достается сильнейшим. В одном месте армия проплыла без пищи сорок восемь часов и затем подошла к деревне, в которой было сотни три жителей, названия ее я не помню, но мне кажется, что это был Ред Рок. Этот городок, следуя примеру всех городов, мимо которых проплывала наша армия, назначил комитет безопасности. Если считать, что в семье в среднем пять человек, Ред Рок состоял из шестидесяти хозяйств. Городской комитет был в страшной панике из-за вторжения двух тысяч голодных бродяг, которые поставили свои лодки вдоль берега в два-три ряда. Генерал Келли был справедливым человеком. Он не хотел ввергать деревню в беду. Он не ожидал, что шестьдесят хозяйств приготовят шесть тысяч порций еды. Кроме того, у армии имелась своя казна.

Но комитет безопасности потерял голову. У них была программа: «Никакой поддержки захватчикам», — и когда генерал Келли захотел купить

провизию, комитет ему отказал. Им нечего было продавать, деньги генерала Келли тут не помогут. Тогда генерал Келли начал действовать. Затрубили тревогу. Армия оставила лодки и построилась на берегу в боевом порядке. Комитет был тут же и все видел. Речь генерала Келли была краткой.

— Ребята, — сказал он, — когда вы последний раз ели?

— Позавчера, — закричали они.

— Вы голодны?

Громовое «да», вырвавшееся из двух тысяч глоток, грянуло, как выстрел! Тогда генерал Келли повернулся к комитету безопасности.

— Джентльмены, вы видите, какое положение. Мои люди сорок восемь часов ничего не ели. Если я выпущу их на ваш город, я не отвечаю за последствия. Это отчаянные головы. Я хотел купить у вас для них провизию, но вы отказались продавать. Сейчас я беру свое предложение обратно. Теперь я буду требовать. Даю вам пять минут на размышление. Или зарежьте для меня шесть быков и дайте четыре тысячи рационов, или я предоставлю своим людям свободу действий. Пять минут, джентльмены.

Напуганный до полусмерти комитет безопасности взглянул на две тысячи голодных бродяг

и сдался. Ему не потребовалось пяти минут. Положение было безвыходное. Быки были убиты, полным ходом шла реквизиция съестных припасов, и армия пообедала.

А десять обнаглевших индивидуалистов неслись впереди и забирали все, что попадалось им на глаза. Но генерал Келли поставил нас в трудное положение. Вдоль каждого берега он послал всадников, которые предостерегали против нас фермеров и горожан. Они делали свое дело как следует, хорошо делали. Некогда гостеприимные фермеры оказывали нам ледяной прием. Кроме того, когда мы причаливали к берегу, они вызывали констеблей и спускали собак. Я-то знаю. Две собаки настигли меня однажды, когда между мной и рекой был забор с колючей проволокой. Я нес два ведра молока для кофе по-венски. Я не причинил никаких повреждений забору, но мы пили плебейский кофе, заваренный на вульгарной воде, а мне пришлось отправиться на поиски новой пары брюк.

Интересно, дорогой читатель, пытались ли вы когда-нибудь быстро влезть на забор, обнесенный колючей проволокой, держа в каждой руке по ведру молока? С тех пор у меня предубеждение против колючей проволоки, и я собираю стати-

стический материал по этому предмету.

Не имея возможности вести честный образ жизни, пока генерал Келли гнал впереди нас двух своих всадников, мы возвратились в армию и подняли восстание. Дело было пустяковое, но оно взорвало отделение «Л». Капитан отделения «Л» отказался нас признать, заявил, что мы дезертиры, предатели и жулики, и, когда привозили от интендантов провизию для отделения «Л», он нам ничего не давал. Этот капитан нас недооценивал, иначе бы он не оставлял нас без пищи. Мы незамедлительно завели интригу с первым лейтенантом. Он присоединился к нам вместе с десятком рядовых его лодки, а мы, в свою очередь, избрали его капитаном отделения «М». Капитан отделения «Л» поднял шум. Против нас выступили генерал Келли, полковник Спид и полковник Бейнер. Наша двадцатка держалась крепко, и наше отделение «М» получило признание.

Но мы никогда не связывались с провиантскими комиссарами. Наши молодцы добывали у фермеров продукты намного лучше. Однако наш новый капитан нам не доверял. Когда мы утром пускались в путь, он всегда сомневался, увидит ли он нас еще; словом, чтобы окончательно закрепить за собой свое капитанское звание, он

пригласил кузнеца. На корме нашей лодки, по одной с каждой стороны, были приделаны две внушительные железные скобы для болтов. Соответственно на носу его лодки были укреплены два солидных железных крюка. Лодки притянули одну к другой — носом к корме — крючья опустили в скобы, так мы и оставались прикованные наглухо и накрепко. Мы никуда не могли деться от этого капитана. Но мы были неукротимы. Даже наш капкан мы превратили в непобедимое приспособление и получили возможность подчинить себе любую другую лодку нашей флотилии.

Как все великие открытия, наше изобретение было случайным. Впервые мы это обнаружили, когда налетели на подводную корягу на стремнине. Первая лодка прочно села днищем, а вторую течение заносило вперед, и она заставляла первую лодку вращаться на камне. Я управлял задней лодкой и находился на корме. Напрасно мы старались сдвинуть ее с места. Тогда я приказал всем с первой лодки перейти во вторую. Первая лодка моментально всплыла, и ее команда вернулась на место. После этого происшествия мы уже не боялись подводных рифов, коряг, перекатов и мелей. В тот миг, когда первая лодка обо что-нибудь ударялась, ее команда моментально

перебиралась во вторую лодку. Первая, конечно, сразу же всплывала над препятствием, и тогда садилась на мель вторая лодка. Двадцать человек, как автоматы, перескакивали из второй лодки в первую, и вторая лодка свободно проплывала над препятствием.

Лодки нашей флотилии были все одинаковы, сделаны они были грубо. Они были плоскодонны, прямоугольной формы. Каждая лодка имела шесть футов в ширину, и десять футов в длину, и полтора фута в высоту. Следовательно, когда обе лодки были сцеплены, я сидел на корме, направляя приспособление двадцати футов длиной, вмещающее двадцать предприимчивых бродяг, сменяющих друг друга на веслах, и еще одеяла, кухонные принадлежности и наши собственные вещи.

Мы по-прежнему причиняли генералу Келли неприятности. Он отозвал своих всадников и заменил их тремя полицейскими лодками, которые шли в авангарде и не разрешали ни одной лодке обгонять их. Судно отделения «М» жестоко расправилось с полицейскими лодками. Мы могли легко обойти их, но это было бы нарушением правил. Так что мы шли на почтительном расстоянии за ними и ждали. Мы знали, что впереди

лежит девственная фермерская страна

— великодушная страна, где еще никто не попрошайничал, но мы ждали. Пороги

— это единственное, в чем мы нуждались, и когда на излучине реки показались пороги, мы поняли, что наступил долгожданный момент. Удар! Полицейская лодка номер один врезается в гальку и садится на мель. Банг! Полицейская лодка номер два следует за первой. Хлоп! Полицейская лодка номер три разделяет судьбу первых двух. Конечно, наша лодка делает то же самое, но раз-два — все перешли в хвостовую лодку, раз-два — все перепрыгнули из хвостовой в головную, и раз-два — те, кто сидел в хвостовой лодке, заняли свои места, и, подхваченные течением, мы помчались дальше. «Стой! Стой, проклятые!» — вопили с полицейских лодок. «Как? Остановите проклятое течение!» — с грустью отвечали мы, когда проносились мимо, подхваченные безжалостным течением, которое увлекло нас вниз, скрыло из виду и примчало к гостеприимному фермерскому краю, пополнившему наши личные запасы лучшей частью своих пожертвований. Мы снова пили кофе по-венски и рассуждали, что еда дается тому, кто ее хватает.

Бедный генерал Келли! Он разработал новый

план. Весь флот шел впереди нас. Отделение «М» Второй дивизии плыло на отведенном ему месте, то есть сзади всех. Нам понадобился только один день, чтобы этот план рухнул. Нам предстояло пройти двадцать пять миль трудного пути — сплошные пороги, мели, перекаты и валуны. Это был тот самый участок реки, где сворачивали себе шеи коренные жители Де-Мойна. Около двухсот судов вошли в эти воды, и через некоторое время течение перемешало их. Это было причудливое нагромождение лодок. Мы шли сквозь недвижную флотилию, как нож сквозь масло. Мы не обходили отмели, перекаты и коряги, мы иногда шли прямо через них, раз-два, раз-два, головная лодка, хвостовая лодка, головная лодка, хвостовая лодка, все гребцы сзади, потом впереди, потом снова сзади. В ту ночь мы стали на привал в одиночестве и бездельничали весь следующий день, пока армия латала и чинила свои искалеченные лодки и с трудом пробивалась к нам.

Упрямство наше было безгранично. Мы соорудили мачту, натянули паруса из одеял и плыли по нескольку часов, как на прогулке, пока армия напрягала все силы, чтобы не отстать от нас. Тогда генерал Келли решил прибегнуть к дипломатии. В тот момент ни одна лодка не могла нас

тронуть. Бесспорно, мы были самым бесшабашным экипажем, когда-либо спускавшимся по Де-Мойну. Полицейские лодки были упразднены. Полковник Спид был водворен к нам на борт, и с этим выдающимся офицером нам выпала честь первыми прибыть в Кеокук на Миссисипи. И здесь я сразу хочу сказать генералу Келли и полковнику Спиду — вот вам моя рука. Вы были героями, вы оба, и вы были мужчинами. И я раскаиваюсь по крайней мере в десяти процентах тех огорчений, которые доставила вам головная лодка отделения «М».

В Кеокуке все лодки флотилии соединили в огромный плот, и после однодневной задержки из-за дувшего нам навстречу ветра пароход потянул нас на буксире вниз по Миссисипи, к городу Куинси, штат Иллинойс, где мы разбили лагерь посреди реки на Гусином острове. Здесь от идеи большого плота отказались, лодки были соединены по четыре штуки и покрыты общей палубой. Кто-то сказал мне, что Куинси — самый богатый среди маленьких городов Соединенных Штатов. Когда я это услышал, меня моментально охватило непреодолимое стремление направить туда свои стопы. Вероятно, ни один заправский профессионал не пропустит такого многообещающего

города. Я пересек реку к Куинси в маленьком челноке, а вернулся на большой речной лодке, доверху нагруженной подарками, полученными во время моего путешествия. Я, конечно, оставил себе все деньги, которые собрал, хотя пришлось брать лодку внаем, я также выбрал себе белье, носки, поношенную одежду, рубашки, и после того, как отделение «М» взяло все, что им хотелось, там все еще оставалась солидная куча, которую передали отделению «Л». Увы, в те дни я был молод и щедр! Я рассказал тысячу историй добрым жителям Куинси, и все рассказы были «хорошими», но с тех пор как я начал писать для журналов, я часто сожалею о бесценных сюжетах, о богатом воображении и великолепных историях, которые я расточал в тот день в Куинси, штат Иллинойс.

Мы были в Ганнибале, штат Миссури, когда рассыпалась десятка непобедимых. Это случилось неожиданно. Мы совершенно естественно поплыли в разные стороны. Жестянщик и я сбежали тайно. В тот же день Скотти и Дэви быстро скрылись на иллинойском берегу, не стало также Мак-Авоя и Фиша. Такова судьба шестерых из десяти, что же произошло с остальными четырьмя, я не знаю. Чтобы показать, что такое

жизнь на Дороге, я привожу выписки из своего дневника, относящиеся к дням, следующим за моим бегством.

«Пятница, 25 мая. Мы с Жестянщиком оставили лагерь на острове. Мы направились к иллинойскому берегу на лодке и прошли шесть миль на север к Чикагско-Берлингтонской железной дороге к Фел-Крику. Мы сделали пешком шесть миль, а потом сели на дрезину и проехали шесть миль к Халлу, Уобаш. Там мы встретили Мак-Авоя, Фиша, Скотти и Дэви, которые тоже убежали из армии.

«Суббота, 26 мая. В 2 ч. 11 м. ночи мы сели на „пушечное ядро“, когда оно замедляло ход на скрещении линий. Скотти и Дэви сняли. Нас четверых сняли в Блафсе, в сорока милях от места посадки. В полдень Фиш и Мак-Авой сели на товарный поезд, в то время как мы с Жестянщиком ходили за провизией.

«Воскресенье, 27 мая. В 3 ч. 21 м. ночи мы сели на „пушечное ядро“ и в тамбуре багажного вагона наткнулись на Скотти и Дэви. Днем в Джексонвилле нас всех высадили. Здесь проходят поезда Чикаго-Альтонской дороги, мы с ними и отправимся. Жестянщик ушел и не возвратился. Наверно, попал на товарный.

«Понедельник, 28 мая. Жестянщик не показы-

вается. Скотти и Дэви пошли отсыпаться и не вернулись вовремя, чтобы успеть в 3 ч. 30 м. ночи на пассажирский из города Канзас-Сити. Я сел на него и ехал до рассвета, пока не оказался в городе Мейсон-Сити с населением в 25 000 человек. Сел в поезд для перевозки скота и ехал в нем всю ночь.

«Вторник, 29 мая. В 7 часов утра приехал в Чикаго…»

Много лет спустя, будучи в Китае, я с огорчением узнал, что приспособление, которое мы применяли для плавания среди порогов Де-Мойна — наше раз-два, раз-два, выполняемое по схеме: головная лодка — хвостовая лодка, — было изобретено не нами. Я узнал, что китайские лодочники уже тысячи лет употребляют такое же приспособление, чтобы плавать на трудных участках реки. Все равно это неплохая штука, даже если нам никто не скажет за нее спасибо. Она отвечает мерилу истины доктора Джордана: «Принесет это пользу? Посвятите ли вы этому свою жизнь?»

«Быки»

Если бы в Соединенных Штатах вдруг начисто перевелись бродяги, это принесло бы неисчислимые бедствия многим американским семьям. Тысячи добропорядочных граждан благодаря бродяге имеют возможность честно кормиться и растить детей в страхе божием, в усердии к труду. Мне ли не знать этого! Мой отец был одно время констеблем и средства к существованию добывал ловлей бродяг. Община платила ему за пойманных с головы, да сверх того как будто бы и прогонные. А так как финансы всегда были нашим узким местом, то от охотничьей фортуны моего родителя зависело решительно все: от новой пары сапог и куска говядины в супе до воскресных развлечений и школьных учебников. Помню, с каким нетерпением я ждал по утрам рассказов отца о его ночных трудах — о том, сколько бродяг удалось ему изловить и можно ли надеяться упечь их за решетку. Вот отчего впоследствии, когда я и сам сделался бродягой и не раз, случалось, ускользал от силков прохвоста-констебля, я испытывал невольное сочувствие к его бедным ребятишкам: мне казалось, что я

виноват перед этими славными мальчиками и девочками, ведь это из-за меня они лишились какой-то своей доли жизненных благ.

Но так уж устроена жизнь: бродяга противопоставляет себя обществу, а сторожевые псы общества кормятся им. Однако бывает, что бродяга сам дается в лапы такому сторожевому псу, особенно в зимнюю пору. Конечно, он старается избирать такие общины, где тюрьмы пользуются репутацией «приличных», где не заставляют работать и более или менее сносно кормят. К тому же не раз бывало, а может, бывает и сейчас, что констебли делятся полученной мздой со своей дичью. Такому констеблю и охотиться не нужно: стоит лишь свистнуть — и дичь тут как тут.

Вы не поверите, какой прибыльной статьей дохода являются бродяги-каменоломы. По всему югу, по крайней мере когда я там бродяжил, существовали лагеря заключения и плантации, где бродяга был просто рабочей скотинкой и труд его продавался окрестным фермерам. Да и на севере немало таких мест, как, скажем, Ретлендские каменоломни в штате Вермонт, где эксплуатируется труд бродяги и где «жирок», который он нагулял, меся грязь, граня мостовую и толкаясь в чужие двери, приносится на алтарь зацапавшей

его общины.

Ничего не сумею вам рассказать о пресловутых Ретлендских каменоломнях. Говорю это с тем большим удовлетворением, что сам был на волосок от того, чтобы угодить туда. У босяков свой беспроволочный телеграф; впервые я услышал про Ретлендские каменоломни в далекой Индиане. Когда же мне довелось побывать в Новой Англии, я только про них и слышал, и всякий раз в виде предостережения. «В каменоломнях не хватает рабочих рук! — били тревогу встречные бродяги. — Нашим там дают не меньше трех месяцев». К тому времени, как я добрался до штата Нью-Хемпшир, мне столько наговорили про каменоломню, что я буквально шарахался от кондукторов, быков и констеблей.

Как-то вечером, заглянув на станцию Конкорд, я увидел готовый к отправлению товарный. Недолго думая, я разыскал пустой вагон, открыл раздвижную дверь и забрался внутрь. Я мечтал к утру попасть в Уайт-Ривер; это привело бы меня в штат Вермонт — на расстояние не более тысячи миль от страшного Ретленда. Однако дальнейший мой путь лежал на север, и расстояние это должно было с каждым днем увеличиваться. В вагоне я до смерти напугал спрятавшегося

там «новичка». Он принял меня за кондуктора, но, признав во мне своего брата бродягу, стал расписывать всякие ужасы насчет Ретлендских каменоломен: мол, не удивительно, что он так перетрусил. Это был простой деревенский парень, он шатался по своей округе и никуда дальше носа не казал.

Товарный тронулся, мы примостились в углу вагона и уснули. Часа два-три спустя я проснулся на остановке: кто-то, стараясь не производить шума, отодвигал дверь справа от меня. Мой товарищ спал как убитый. Я притворился спящим, зажмурил глаза, но оставил щелочку. Сперва в открытую дверь просунулся фонарь, а за ним голова кондуктора. Он увидел нас и с минуту внимательно разглядывал. Я ждал уже взрыва площадной брани или обычного: «Вытряхивайтесь отсюда, сукины дети!», — но он вместо этого осторожно убрал фонарь и тихонько притворил дверь. Поведение его показалось мне крайне странным и подозрительным. Я насторожился и услышал, как тихонько стукнул засов. Итак, дверь заперта, и нам изнутри не отворить ее. Один выход у нас отрезан. Никуда это не годится! Подождав минуту, я подполз к противоположной двери и подергал ее. Дверь подалась. Тогда я открыл ее,

соскочил вниз и опять закрыл; потом пролез под буферами на другую платформу, отворил дверь, запертую кондуктором, влез в вагон и прикрыл за собой дверь. Оба выхода теперь действовали. Новичок продолжал храпеть.

Поезд снова тронулся. Вот и следующая станция. По гравию заскрипели шаги. С шумом отворилась дверь слева. Мой спутник проснулся; я сделал вид, что протираю глаза. Мы присели на полу и уставились на кондуктора и на его фонарь. Кондуктор, не теряя драгоценного времени, приступил к делу.

— Уплатите мне три доллара! — потребовал он.

Мы вскочили и подошли ближе для переговоров. Выразив полную и безоговорочную готовность дать ему просимое, мы сослались на житейские неудачи, мешающие нам привести в исполнение это горячее желание. Кондуктор нам не верил. Он стал торговаться и сбавил до двух долларов. Мы с прискорбием намекнули на крайние денежные затруднения. Тут он наговорил нам всяких нелестных вещей, сказал, что он таких прохвостов еще не видывал, и прошелся по адресу всей нашей родни. Потом пустил в ход угрозы: если мы не отсчитаем ему денежки сполн-

на, он запрет нас в вагоне и отвезет в Уайт-Ривер, а там сдаст властям. И, конечно, он не поленился растолковать нам все насчет Ретлендских каменоломен.

Кондуктор считал, что мы у него в руках. Разве не караулил он единственный выход и не запер вторую дверь всего десять минут назад? Как только он помянул каменоломни, новичок перетрусил и стал бочком подвигаться к другому выходу. Кондуктор захохотал и долго не мог успокоиться.

— Не смеши меня, — сказал он, — я запер ее еще на той остановке.

Он так слепо верил в эту запертую дверь, что мог убедить кого угодно. Новичок поверил и был близок к отчаянию. Кондуктор предъявил нам ультиматум: либо подавай ему два доллара, либо он запрет нас и выдаст в Уайт-Ривер констеблю, а это верных три месяца тюрьмы и работа на каменоломне. Итак, дорогой читатель, вообразите наше положение, если бы вторая дверь действительно была заперта. Вот она, превратность в жизни человеческой! Только потому, что у меня не нашлось доллара, мне предстояло отправиться на каменоломню и протрубить три месяца на каторжных работах. То же самое и новичку.

Ну, скажем, я отпетая голова, туда мне и дорога! Ну, а новичок? Ведь отбыв свои три месяца, он вышел бы из тюрьмы законченным прощелыгой, пожизненным преступником. Когда-нибудь он, глядишь, разнес бы дубиной и ваш драгоценный череп, покушаясь на ваш кошелек, а если не ваш лично, то череп другого, такого же безобидного существа, как вы.

Но выход был свободен, и я один это знал. Мы с новичком запросили пардону. Трудно сказать, что заставило меня присоединиться к его униженным мольбам. Должно быть, чистейшее озорство. Но я старался, как мог. Я рассказал «историю», которая из камня исторгла бы слезы, но она не тронула каменного сердца живодера-кондуктора. Убедившись, что у нас нет денег, он закрыл дверь на засов, но уходить медлил: вдруг мы его надули, а теперь одумаемся и предложим ему два доллара.

Тогда я малость дал себе волю. Я крикнул ему, что он распоследняя сволочь, и вернул ему все его бранные слова да еще от себя кое-что прибавил. Я родился и вырос на Западе, где искусство сквернословия стоит чрезвычайно высоко, так неужто я позволю какому-то вшивому кондуктору с какой-то поганой новоанглийской чугунки

перещеголять меня по части сочности и выразительности языка! Кондуктор пытался отделаться смехом, но затем не пожелал остаться в долгу и допустил этим величайшую тактическую ошибку. Тут я маленько наддал: загнул ему такое, от чего он взревел, как ошпаренный, да еще подсыпал ему на больное место парочку отборных, свеженьких, с пылу с жару, эпитетов. Ярость моя была непритворной: меня приводил в бешенство подлец, который ради какого-то паршивого доллара готов обречь нас на три месяца каторжных работ. Мало того, у меня шевелилось подозрение, что он с констеблем на паях и получает с него процент.

Ну и всыпал же я ему! Я оскорбил его и насмеялся над ним по меньшей мере на несколько десятков долларов. Он пытался угрожать, кричал, что вытряхнет из меня душу. На это я пообещал расквасить ему физиономию, пусть только сунется. Перевес был на моей стороне, и он понимал это. Поэтому он не открыл дверь, а стал звать других кондукторов на подмогу. Я слышал, как они откликались на его зов, слышал, как гравий хрустит под их сапогами. И все время выход слева был свободен, а они ни о чем не догадывались, и новичок дрожал как осиновый лист.

О да, я вел себя героем, заранее обеспечив себе путь к отступлению, и не переставал поносить кондуктора и всю их поездную братию, пока они не открыли дверь и в свете фонарей не возникли перед нами их разъяренные лица. Они думали, что мы у них в руках; сейчас они ворвутся и расправятся с нами. И они и в самом деле полезли в вагон. Но я не стал лупить их по мордасам. Я дернул противоположную дверь, и мы с новичком пустились наутек. Бригада — за нами.

Помнится, нам пришлось перемахнуть через каменную ограду, но куда мы тут попали, ввек не забуду. В темноте я споткнулся о могильную плиту. Новичок растянулся во весь рост на другой. И пошла у нас тут катавасия! Мы припустили через кладбище, словно табун чертей. Покойники, должно быть, думали, что мы рехнулись. То же самое, видно, решили и наши преследователи: когда мы выбежали с кладбища и бросились через дорогу в темный лес, бригада прекратила погоню и вернулась на поезд.

Несколькими часами позже мы с новичком набрели на колодец возле какой-то фермы. Нам захотелось пить, и наше внимание привлекла тонкая веревка, спущенная вниз по стенке колодца. Мы вытащили веревку; к концу ее был

привязан литровый бидон со сметаной. Вот, пожалуй, случай, когда я был особенно близок к тому, чтобы угодить в Ретлендскую каменоломню в штате Вермонт.

Если среди бродяг проносится слух, что в такомто городе «вредный климат», что «с быками там каши не сваришь», лучше туда не соваться, и уж, во всяком случае, извольте вести себя смирно. Есть города, которые этим славятся. Таким городом в мое время считался Шейенн на железной дороге Юнион-Пасифик. О том, что в Шейенне «вредный климат» и что «с быками там каши не сваришь», известно было по всей Америке, город прославился этим, так сказать, в общенациональном масштабе, а создал ему такую репутацию (если я верно запомнил его имя) некий Джефф Карр. Джефф Карр не вступал в пререкания. Он узнавал бродягу с первого взгляда: для этого ему достаточно было мгновения, в следующее он уже пускал в ход кулаки, дубинку или что попало. Проучив бродягу, чтобы долго помнил, он приказывал ему убираться из города, обещая еще не так его отделать, попадись он ему в другой раз. Джефф Карр знал свое дело. На север, на юг, на запад и восток — во все концы Соединенных Штатов (а также Канады и Мексики) разносили бродяги

весть, что «климат» в Шейенне никудышный. По счастью, я никогда не встречал Джеффа Карра. Мне пришлось побывать в Шейенне проездом, в сильную метель. Мы путешествовали большой компанией в восемьдесят четыре человека и, полагаясь на свои силы, плевали на всех, исключая Джеффа Карра. Одно уж имя его повергало нас в трепет, оглушало, как удар дубинки, и вся наша команда смертельно трусила перед встречей с ним.

С таким полисменом нет смысла пускаться в объяснения. Лучше заблаговременно дать тягу. Я узнал это на горьком опыте, но окончательно наставил меня на разум один нью-йоркский полисмен. С тех пор у меня рефлекс: стоит быку грозно посмотреть на меня, и я даю тягу. Бессознательная реакция, определяющая мое поведение в таких случаях, напоминает действие спусковой пружины, послушной малейшему нажатию. Я с этим бессилен бороться. И пусть мне минет восемьдесят лет и я стану немощным старцем, ковыляющим на костылях, — достаточно будет быку грозно на меня глянуть, как я побросаю костыли и пущусь наутек, подобно робкому оленю.

Завершающий урок в науке о быках был преподан мне в Нью-Йорке однажды знойным полднем.

Всю эту неделю стояла умопомрачительная жара. В ту пору я имел обыкновение промышлять утром, а вторую часть дня проводил в небольшом скверике по соседству с Ньюспейпер-Роу и городской ратушей. Здесь можно было за несколько центов купить с ларьков книгу современного автора, пущенную в брак из-за какого-нибудь изъяна в брошюровке или переплете. А в сквере продавалась в киосках простокваша или стерилизованное молоко, прямо со льда, пенни стакан. Всю вторую половину дня я просиживал на скамье, читая книжку и потягивая молоко. Я выдувал его от пяти до десяти стаканов в день. Как я уже говорил, жара стояла несусветная.

Таким-то образом я, скромный бродяга и усердный книгочий, жил на молочной диете, и послушайте, чем это кончилось. Как-то после полудня направился я в сквер, как обычно, со свежей книгой в руке и неутолимой жаждой простокваши под манишкой. Пробираясь к киоску, я увидел перед Ратушей на мостовой большое скопление народу. Я как раз переходил улицу и остановился посмотреть, на что толпа зевает. Сначала я ничего не понимал, но, уловив кое-что краешком глаза и разобрав отдельные выкрики, догадался, что компания ребятишек затеяла игру в «камушки».

Надо сказать, что в Нью-Йорке играть в камушки на улице воспрещено. Тогда я еще не знал этого; но вскоре весьма близко столкнулся с этим. И минуты не прошло, как я остановился; я только успел узнать, чем вызвано стечение народа, как кто-то из мальчишек крикнул: «Бык!» Ребята, народ ученый, пустились наутек. Я нет.

Толпа мгновенно рассеялась, отхлынул к тротуарам. Я тоже направился к тротуару, в сторону сквера. Человек пятьдесят публики, рассыпавшись по мостовой, устремились туда же. И тут я увидел быка. Это был рослый детина в серой форме полисмена. Он шел посреди мостовой неспешной, гуляющей походкой. Я заметил, что он вдруг изменил направление и идет наискось к тому тротуару, к которому я подвигался напрямик. Он шел не спеша, пробираясь через толпу, и я видел, что пути наши вот-вот пересекутся. Но хоть я и знал быков и их повадки, я был слишком уверен в своем благомыслии и на душе у меня было спокойно. Мне в голову не приходило, что бык нацелился на меня. Я уже хотел остановиться и из уважения к закону пропустить его вперед; и я действительно остановился, но только помимо своей воли, и так же невольно отлетел назад. Полисмен без предупреждения обоими кулачи-

щами двинул меня в грудь и одновременно в словесном выпаде коснулся чести моей матушки, набросив тень на чистоту моей родословной.

Кровь свободного американца вскипела во мне. Возопили все мои вольнолюбивые предки. «Что это значит?» — спросил я. Как видите, я требовал объяснений. И получил их. Бац! — огрел он меня по голове дубинкой, и я, шатаясь, отступил назад, словно пьяница, который не держится на ногах, и физиономии любопытствующих качались передо мной, словно в волнах прибоя, и драгоценная книжка, выскользнув, шлепнулась в грязь, и бык, замахнувшись, приготовился снова огреть меня дубинкой. В этот миг, когда все плыло передо мной, как в тумане, меня посетило видение. Я увидел, как дубинка гуляет по моей голове, увидел себя, измятого, залитого кровью, глядящего волком, перед трибуной полицейского суда; услышал, как клерк читает обвинительный акт, где упомянуто злостное хулиганство, словесное оскорбление, сопротивление властям и прочее и прочее, а потом увидел себя уже в Блэкуэллайлендской тюрьме. О, я недаром побывал у них в науке. Я мигом потерял интерес к объяснениям. Я даже не дал себе труда поднять свою драгоценную, еще не читанную книгу и пустился

наутек. Меня черт знает как мутило, но это не мешало мне удирать во все лопатки. И так уж, видно, суждено мне удирать до самой смерти, как только полисмен захочет объясниться со мной при помощи дубинки.

Да что там! Много лет спустя, когда годы странствий для меня миновали и я учился в Калифорнийском университете, я как-то вечером собрался в цирк. И представление и концерт давно кончились, а я все еще слонялся по площади в надежде увидеть, как перевозится оборудование огромного цирка: в эту ночь вся труппа покидала город. У костра на площади собралась ватага ребятишек человек в двадцать. Из их разговоров я понял, что они собираются бежать, присоединившись к труппе. Сами цирковые, разумеется, ничего, кроме неприятностей, от этого не ждали, и звонок в полицейское управление спутал мальчуганам их игру. Был выслан отряд полисменов арестовать сорванцов, которые-де нарушают постановление о полицейском часе. Быки залегли в темноте, вокруг костра. По сигналу они набросились на ребят и стали их хватать, как хватают юрких угрей в полной корзине.

Мне ничего не было известно о готовящейся облаве. И когда в воздухе замелькали медные пу-

говицы, шлемы и кулаки полисменов, я утратил всякое самообладание, все сдерживающие центры во мне рухнули, остался один только импульс — бежать! И я обратился в бегство. Я понятия не имел, что бегу. Я ни о чем понятия не имел; как я уже говорил, в эту минуту я не владел собой. У меня не было никаких оснований удирать. Я не был бродягой. Я был полноправным гражданином и находился в родном городе. Я не знал за собой никакой вины. Я был студентом университета. Обо мне даже упоминали местные газеты. И на мне был приличный костюм, в котором никто не спал ночью. И все же я бежал, повинуясь слепому инстинкту, ничего не сознавая, бежал, как испуганный олень, целых полтора квартала. Придя в себя, я заметил, что все еще бегу. Потребовалось усилие, чтобы остановить мои бегущие ноги.

Нет, никогда мне с этим не справиться! Это сильнее меня. Как только полисмен бросит в мою сторону грозный взгляд, я — бежать! Кроме того, у меня злосчастная способность вечно попадать в участок. И это даже чаще случается со мной с тех пор, как я перестал быть бродягой, чем в разгар моих скитаний. Так, например, отправляюсь я в воскресенье утром в обществе некой молодой особы покататься на велосипеде.

И не успеваем мы выбраться из города, как нас волокут в отделение за то, что мы позволили себе обогнать какого-то пешехода на тротуаре. Я даю себе слово быть осторожней. Следующий раз выезжаю я на велосипеде вечером, и мой ацетиленовый фонарь вдруг портится. Помня об обязательном постановлении, я глаз не свожу с мерцающего огонька, боясь, что он вот-вот угаснет. Времени у меня в обрез, но приходится ехать черепашьим шагом, чтобы сберечь этот слабый язычок пламени. Наконец я за чертой города. Здесь постановление недействительно, и я наддаю изо всех сил, чтобы наверстать упущенное время. И что же? Не проехал я и мили, как угодил в лапы полисмена, а наутро в участке с меня благополучно содрали штраф. Оказывается, город предательски раздвинул свои границы, отторгнув с милю пространства от пригорода, а мне это было неизвестно, вот и вся недолга. Памятуя о дарованной американскому гражданину свободе слова и собраний, я поднимаюсь на уличную трибуну, чтобы преподать слушателям некую экономическую теорию — предмет моего последнего увлечения, — как вдруг бык стаскивает вашего покорного слугу с этой вышки и отводит в городскую тюрьму, откуда его

выпускают только на поруки, и увы, ненадолго! В Корее я попадался чуть ли не ежедневно. То же самое в Маньчжурии. Когда я последний раз ездил в Японию, меня упекли там в тюрьму под предлогом, будто я русский шпион. Не я выдумал эту чепуху, а в тюрьму посадили меня. Словом, нет спасения! Боюсь, что мир еще увидит меня в роли Шильонского узника. Предрекаю это.

Как-то раз мне удалось загипнотизировать полисмена в Бостоне. Было уже далеко за полночь, и он хотел меня забрать. Но не успел я поговорить с ним толком, как он полез в карман за четвертаком да еще объяснил мне, где ближайший ночной ресторан. Другой полисмен в городе Бристоле, штат Нью-Джерси, тоже отпустил меня подобру-поздорову, хотя у него было более чем достаточно оснований меня арестовать. Я задал ему такую встряску, что он ввек не забудет. Вот как это произошло. Однажды в Филадельфии часов в двенадцать ночи я только что устроился на товарном, как кондуктор ссадил меня. Но пока поезд осторожно прокладывал себе дорогу среди бесчисленных путей и стрелок сортировочной станции, я снова забрался в него — и снова был ссажен. Дело в том, что устраиваться приходилось снаружи, так как весь состав состоял из

запертых и запломбированных вагонов.

Ссаживая меня вторично, кондуктор прочитал мне наставление. Он сказал, что я рискую жизнью, это, мол, не обыкновенный товарный, — это такой лихой поезд, что только держись! Я сказал ему, что я и сам лихой, но это его не убедило. Он заявил, что не позволит мне совершить самоубийство, и пришлось слезть. В третий раз я сел, устроившись на буферах, но таких неудобных буферов, как на этом товарном, мне еще не случалось видеть, — я, конечно, имею в виду не те буфера, которые при движении поезда стукаются и трутся друг о друга, а так называемые буферные брусья — железные планки, отходящие от вагонной рамы над буферами. Путешествуя «на буферах», вы, в сущности, забираетесь на буферные брусья смежных вагонов, собственно же буфера остаются внизу под вашими ногами.

Но те брусья, или планки, на которых я сейчас стоял, были отнюдь не похожи на удобные, основательные брусья, обычно встречавшиеся в то время на товарных вагонах. Эти были невозможно узкие, не более полутора дюйма в ширину, — даже половина моей подошвы на них не умещалась; к тому же и ухватиться было не за что. Правда, по обе стороны от меня находились

стены вагонов, но это были абсолютно ровные отвесные стены — попробуйте за них держаться! Единственное, что я мог сделать, — это упереться ладонями. И это бы еще куда ни шло, будь у меня под ногами надежная опора.

Как только товарный вышел из Филадельфии, он начал набирать скорость. И тут я понял, что разумел кондуктор, говоря о самоубийстве. Мы мчались все быстрее и быстрее. Это был сквозной поезд, он не делал остановок. На этом участке Пенсильванской линии бегут рядом четыре колеи, и нашему поезду, шедшему на восток, нечего было бояться встречных составов, следующих на запад, или экспрессов, торопящихся на восток. Путь был всецело в нашем распоряжении, и поезд, очевидно, этим пользовался. Я был в отчаянном положении. Только краешком ног держался я на узких брусьях, упираясь ладонями в совершенно гладкие, отвесные стены вагонов. При этом каждый вагон дергался на свой лад — вверх-вниз, вперед-назад. Видели вы циркового наездника, который носится по арене, стоя на двух лошадях? Примерно то же было и со мной, с той существенной разницей, что наездник держит в руках поводья, мне же не за что было держаться; он упирается всей подошвой, а я упи-

рался краешком; он сгибает колени и корпус, и все тело его приобретает устойчивость арки, причем центр тяжести перемещается вниз, а мне приходилось стоять стоймя, не сгибая колен; он мчится лицом к движению, а я мчался боком; и, наконец, случись ему упасть, он разве что вываляется в опилках, тогда как я был бы раздавлен колесами.

Да, доложу я вам, это и вправду был лихой товарный; он летел во весь опор, наполняя воздух гулом и скрежетом, молодецки огибая закругления, с громом проносясь по эстакадам, при этом один конец вагона подскакивал вверх, а другой проваливался вниз, один конец бросало вправо, а другой заносило влево, — и я только молил в душе, чтобы поезд остановился. Но он не останавливался. Ему и не полагалось останавливаться. И вот в первый раз за мои скитания по путям-дорогам — в первый и последний — я почувствовал, что с меня хватит. Кое-как перелез я с буферов на боковую лесенку. Это была адова работа, и, глядя на гладкие стены, я только диву давался, что за скряга их строил, — ни выступа, ни выемки, не за что ухватиться!

Но тут паровоз свистнул, и я почувствовал, что поезд замедляет ход. Я знал, что остановки не

предвидится, но готов был попытать счастья, если он хотя бы умерит свой аллюр. Железнодорожное полотно в этом месте делало дугу, взлетало на мост, перекинутый через канал, и врывалось в город Бристоль. Эти обстоятельства и вызвали замедление. Я прилип к лесенке и ждал. Я понятия не имел, что мы подъезжаем к Бристолю. Я понятия не имел, чем вызвано замедление. Я знал одно: хватит с меня этой езды! В темноте я тщетно напрягал глаза, ища какого-нибудь перекрестка. Мой вагон был в хвосте, — не успел он въехать в город, как паровоз миновал станцию и я почувствовал, что поезд прибавляет ходу.

Но вот и улица. В темноте не скажешь, широкая ли и что там, на другой стороне. А между тем я знал: для того, чтобы спрыгнуть и не упасть, чем шире она, тем лучше. Я спрыгнул, пока вагон был еще на этой стороне. Легко сказать — «спрыгнул»! На деле это означало следующее. Прежде всего, стоя на лесенке, я выбросился всем телом насколько возможно вперед по ходу поезда, чтоб было куда, соскакивая, отклониться назад, потом изо всех сил высунулся наружу и стал откидываться все больше и больше назад, — и из этого положения прыгнул, словно собираясь треснуться затылком. Все это должно было ослабить

инерцию, которую движение поезда сообщило моему телу. Когда ноги мои коснулись земли, тело полулежало в воздухе под углом в сорок пять градусов. Это означало, что я в известной степени преодолел инерцию, толкавшую меня вперед, — иначе, едва мои ноги стали бы на землю, я тут же клюнул бы носом. Вместо этого тело мое только приняло вертикальное положение и начало клониться вперед. Дело в том, что корпус мой еще сохранял инерцию движения, в то время как ноги, коснувшись земли, полностью ее утратили. И вот эту-то утраченную инерцию мне и надо было наверстать, заставляя ноги со всей возможной быстротой бежать, чтобы они поспевали за устремленным вперед туловищем. В результате они стали отбивать резкую и быструю дробь через всю улицу. Я не мог позволить им остановиться. Если бы они остановились, я ткнулся бы носом в мостовую. Главное было не дать им остановиться.

Я был своего рода метательным снарядом, который летит помимо своей воли и тревожится, что ждет его на той стороне улицы? Лишь бы не каменная стена и не телеграфный столб! И тут я напоролся на что-то. О ужас! Что это такое, я разобрал лишь за миг до катастрофы. И надо же,

чтобы это оказался бык, стоящий в полном одиночестве в темноте! Мы вместе полетели на землю и кубарем покатились по мостовой. Полицейский автоматизм в этом несчастном был так силен, что в момент столкновения он вцепился в меня, как клещами, и уже больше не отпускал. Оба мы были ни живы ни мертвы от сотрясения; придя в себя, он мог убедиться, что вцепился мертвой хваткой в кроткого, как агнец, бродягу.

Если бык не лишен был фантазии, он, верно, принял меня за гостя из других миров, за только что прибывшего на землю марсианина, — в темноте он не видел, что я прыгнул с поезда. Ибо первым делом он спросил: «Откуда тебя принесло?» — и тут же, не дав мне ответить: «А в участок не хочешь?» Мне думается, последний вопрос был тоже задан автоматически. В сущности, это был на редкость добродушный бык. После того как я преподнес ему очередную «историю» и помог почиститься, он дал мне время до следующего товарного, чтобы убраться из города. Я выговорил два условия: во-первых, это должен быть состав, направляющийся на восток; во-вторых, это не будет поезд прямого назначения с наглухо запертыми и запломбированными вагонами. Он милостиво согласился, и этому «Бристольскому»

договору я обязан тем, что не был посажен.

Вспоминается мне еще один вечер в тех же краях, когда я едва избежал столкновения с другим полисменом. Если б я свалился ему на голову, я смял бы его в лепешку, — я летел стремглав, а следом за мной, на расстоянии шага, поспешало несколько полисменов. Вот как это получилось. Я жил в Вашингтоне и квартировал на извозчичьем дворе. В моем единоличном распоряжении было стойло с ворохом лошадиных попон. В возмещение за такие удобства мне полагалось каждое утро ухаживать за лошадьми. Если бы не быки, я, возможно, оставался бы там и поныне.

Однажды, часов в девять вечера, я вернулся к себе в конюшню, собираясь лечь спать, и застал там необычайное оживление. Шла игра в кости. День был базарный, и у негров имелись деньги. Но не мешает обрисовать вам обстановку. Конюшня выходила на две улицы. Войдя с главного хода, я миновал конторское помещение и попал в коридор, по обе стороны которого во всю длину здания были расположены стойла; другим концом он выходил на соседнюю улицу. Посреди коридора, под газовым рожком, сгрудилось около сорока негров. У меня не было ни гроша, и я присоединился к играющим лишь в качестве

зрителя. Игра шла азартная, ставки все время удваивались. На полу валялись деньги, монеты разного достоинства. Все, затаив дыхание, следили за игроками. И тут раздался громовый стук: кто-то ломился в ворота, выходящие на соседнюю улицу.

Несколько игроков кинулись к противоположному выходу. Я задержался на секунду, чтобы сгрести в охапку валявшиеся на полу деньги. Это не считалось воровством — таков был обычай: кто не бежал очертя голову, прикарманивал деньги.

Ворота затрещали, обе створки распахнулись настежь, и в них ворвался отряд быков. Мы ринулись в противоположную сторону. В конторе было темно. Узкий проход не вмещал хлынувшую в него толпу. Давка была отчаянная. Какой-то негр выпрыгнул в окно вместе с рамой, кое-кто — за ним. Позади полиция хватала отставших. Я очутился в дверях одновременно с рослым негром. Негр был сильнее. Толкнув меня так, что я невольно сделал пируэт, он выскочил первым. В ту же секунду его оглушил удар дубинкой, и он рухнул, как вол под обухом мясника. Оказывается, полисмены караулили и за этой дверью. Они понимали, что голыми руками такую лавину не

остановишь, и усердно действовали дубинками. Я переступил через тело негра, увернулся от дубинки, нырнул под ноги какому-то полисмену и очутился на свободе. Ну и удирал же я! Впереди улепетывал поджарый мулат, и я пристроился к нему в затылок. Мулат, как видно, неплохо знал город, и я рассчитывал, что он выведет меня куда-нибудь на безопасное место. Он же принял меня за преследующего его быка и удирал во все лопатки. Я бежал без напряжения у него на хвосте и чуть не загнал его насмерть. Наконец он оступился и, грохнувшись на колени, сдался мне. Когда он увидел, что я не бык, меня спасло только то, что он совсем выдохся.

Так мне и пришлось проститься с Вашингтоном — не из-за мулата, конечно, а из-за быков. Я отправился на вокзал и на этот раз забрался на первую глухую площадку пенсильванского экспресса. Когда поезд развил полную скорость, меня взяло сомнение. Полотно было в четыре колеи, и паровозы брали воду во время хода. Приятели давно предупреждали меня, чтобы я не садился на первую площадку тендера в поездах, берущих воду во время хода. Но не мешает объяснить, что это значит. Между рельсами проложены неглубокие металлические желоба. Когда паровоз на

полной скорости проходит над желобом, вниз опускают шланг, и вода из желоба бурно устремляется по шлангу в тендер.

И действительно, где-то на перегоне Вашингтон — Балтимора я, сидя на площадке тендера, вдруг ощутил в воздухе тончайшую изморозь. «Какие пустяки, — подумал я. — Значит, рассказы о неприятностях, подстерегающих нашего брата на тендере, чистейший вздор. Эка важность, если тебя чуть-чуть обрызжет водичкой». И я стал размышлять: до чего это хорошо придумано! Вот уж поезда так поезда! Не то что наши допотопные колымаги на Западе. Но тут бак наполнился, а мы еще не миновали желоб, — вода пенистым потоком хлынула через край и обдала меня с головы до ног. Я промок до костей, с меня лило, как с утопленника.

Мы приближались к Балтиморе. Поезда проходят здесь ниже уровня мостовой, по дну глубокой выемки, как почти во всех крупных городах Восточных штатов. Когда паровоз подошел к освещенной платформе, я весь съежился, — всего охотнее я забился бы в щель. Но станционный бык сразу меня заметил и пустился за мной в погоню. По дороге к нему пристало еще двое. Из-под станционного навеса я выбежал прямо на полот-

но. В сущности, я угодил в ловушку: по обе его стороны возвышались гладкие стены выемки, и я знал, что если полезу наверх и сорвусь, то полечу прямехонько в объятия полисменов. Я бежал все дальше и дальше, оглядываясь по сторонам: авось, попадется место, где можно выбраться. И, наконец, нашел — сейчас же за мостом, по которому проходила улица над выемкой. Я полез вверх по скату, цепляясь руками и ногами; и за мной таким же манером полезли все три моих преследователя.

Вскарабкавшись наверх, я очутился на пустыре. Невысокая стена отделяла его от улицы. У меня не было времени раздумывать — за мной гнались по пятам. Я бросился к стене и перемахнул через нее. Но тут ждало меня нечто и вовсе непредвиденное. Естественно предположить, что стена одинаковой высоты как с одной, так и с другой стороны. Но эта стена была особенная. Пустырь, куда я попал, лежал много выше, нежели улица. И хотя с этой стороны стена была невысока, зато с другой… По правде говоря, когда я взмыл вверх, мне показалось, что подо мной разверзлась пропасть. И в этот миг внизу на тротуаре, в свете фонаря, я увидел быка. Теперь-то я понимаю, что до тротуара было всего девять-десять футов. Но

от полнейшей неожиданности, да притом сверху, мне показалось, что вдвое больше.

Я выпрямился в воздухе и благополучно стал на землю. Я думал, что лечу прямо на полисмена, и я действительно задел его полой пиджака, когда мои подошвы гулко ударились о тротуар. До сих пор не понимаю, как только бык остался жив, — ведь я летел бесшумно, точно призрак. Это был все тот же трюковый номер — полет марсианина на землю. Ну и подскочил же он! Он так и прянул от меня, как лошадь от автомобиля! И тут же назад ко мне. Однако я не стал вступать с ним в объяснения. Я предоставил это моим преследователям, которые с величайшей опаской спускались со стены. Они еще задали мне гонку. Я удирал от них во всю прыть — сначала по одной улице, потом по другой, петляя и сворачивая за углы, пока не ушел от погони.

Потратив немного денег из тех, что остались у меня как воспоминание об игре в кости, и скоротав с приятностью часок, я снова вернулся к железнодорожному полотну и остановился на почтительном расстоянии от станционных огней. Я уже успел остыть и дрожал всем телом в моей мокрой одежде. Но вот и поезд. Я притаился в темноте и, когда он поравнялся со мной,

благополучно влез, отдав на сей раз предпочтение второй площадке тендера, — хватит с меня одного душа во время хода! Пройдя сорок миль, поезд подкатил к станции. Я соскочил на освещенный перрон, показавшийся мне до странности знакомым. Увы, я вернулся в Вашингтон! В Балтиморе от волнений, вызванных погоней, от беспорядочной беготни по улицам, оттого что я прятался за углами, кружил и сбивал с толку своих преследователей, я сам заплутался и потерял направление. И в результате сел на обратный поезд. Я не спал ночь, вымок до нитки, удирал, как проклятый, спасаясь от погони, и после всех этих мытарств вернулся на старое место. О, скитаться по путям-дорогам отнюдь не значит срывать цветы наслаждений! Однако я не вернулся к себе в конюшню. Я довольно удачно подработал на игре в кости и не хотел держать ответ перед неграми. Поэтому я сел на ближайший поезд и позавтракал уже в Балтиморе.

ДЖЕК ЛОНДОН «ПОТЕРЯВШИЙ ЛИЦО» (СБОРНИК РАССКАЗОВ)

Потерявший лицо

Это был конец. Стремясь, подобно перелетным птицам, домой, в европейские столицы, Субьенков проделал длинный путь, отмеченный страданиями и ужасами. И вот здесь, в русской Америке, дальше, чем когда-либо, от желанной цели, этот путь оборвался. Он сидел на снегу со связанными за спиной руками и ожидал пытки. Он с ужасом смотрел на распростертого перед ним огромного казака, стонущего от боли. Мужчинам надоело возиться с этим гигантом, и они передали его в руки женщин. И женщины, как о том свидетельствовали вопли жертвы, сумели превзойти мужчин в своей дьявольской жестокости.

Субьенков наблюдал за этим и содрогался от отвращения. Он не боялся смерти. Он слишком часто рисковал жизнью на протяжении тягостного пути от Варшавы до Нулато, чтобы испытывать страх при мысли о смерти. Но все его существо восставало против пытки. Это вызывало отвращение — не потому, что придется перенести нечеловеческие страдания, — вызывало отвращение то жалкое зрелище, когда он, корчась от боли,

будет просить, умолять, выпрашивать, точно так же, как это делал Большой Иван и другие. Это отвратительно. Встретить смерть мужественно, оставаясь самим собой, с улыбкой и шуткой на устах — вот это было бы достойно! Но потерять самообладание, когда дух твой раздавлен физической болью, визжать и корчиться, как обезьяна, превратиться в животное — вот что ужасно.

Никаких шансов спастись не было. С самого начала, загоревшись страстной мечтой о свободе Польши, он оказался игрушкой в руках судьбы. И с самого начала — в Варшаве, в Санкт-Петербурге, в сибирских рудниках, на Камчатке, на утлых суденышках охотников за пушным зверем — судьба вела его к этому концу. Поистине еще при сотворении мира ему была назначена именно такая смерть — ему, такому утонченному и чувствительному ко всему, что окружало его, для него, который был мечтателем, поэтом и художником. Он еще не родился на свет, а уже было предопределено, что трепещущий комок нервов, который он собой представлял, будет обречен жить среди звериной вопиющей жестокости и умереть в этой далекой стране северной ночи, в этом мрачном уголке на самом краю света.

Он вздохнул. Неужели то, что он видит сейчас

перед собой, и было Большим Иваном — человеком без нервов, словно выкованным из железа, казаком, ставшим морским грабителем, существом флегматичным, как бык, со столь примитивной нервной системой, что какой-нибудь удар, причинявший нормальному человеку боль, воспринимался им едва ли не как простая щекотка. И все-таки эти индейцы из Нулато нашли у Большого Ивана нервы и прощупали их до самых корней его трепещущей души. Они добились своего. Казалось непостижимым, что человек может перенести такое и еще оставаться живым. Большой Иван дорого расплачивался за примитивность своей нервной системы. Он продержался вдвое дольше, чем все остальные.

Субьенков чувствовал, что ему не вынести мучений казака. Почему Иван не умирает? Субьенкову казалось, что он сойдет с ума, если не прекратится этот душераздирающий вопль. Но ведь когда вопль прекратится, настанет его, Субьенкова, очередь. А вон там стоит, ожидая того момента, Якага, уже ухмыляющийся в предвкушении пытки, тот самый Якага, которого какую-нибудь неделю назад он выгнал из форта, хлестнув по лицу бичом. Якага о нем позаботится. Якага, конечно, припас для него самые

изощренные пытки, самые утонченные мучения. Очевидно, эта новая пытка была особенно хороша, судя по тому, как взвыл Иван. Женщины, склонившиеся над ним, расступились, смеясь и хлопая в ладоши. Субьенков увидел чудовищное дело, которое они сделали, и начал истерически хохотать. Индейцы смотрели на него, изумляясь, что он способен смеяться. Но Субьенков не мог сдержаться.

Нет, этого делать нельзя. Он кое-как справился с собой, спазматические судороги в горле постепенно затихли. Он заставил себя думать о чем-нибудь постороннем и принялся вспоминать свою прошлую жизнь. Он представил себе мать и отца, своего маленького, в яблоках, пони, гувернера-француза, который учил его танцам и однажды тайком принес ему старый, затрепанный томик Вольтера. Вновь Субьенков видел перед собой Париж, сумрачный Лондон, веселую Вену, Рим. Вновь ему представилась компания отчаянных молодых людей, которые, как и он, мечтали о свободной Польше с польским королем на троне в Варшаве. Вот откуда начался этот долгий путь. Что ж, он остался последним из всех. Одного за другим вспоминал Субьенков этих погибших в пути храбрецов, начиная с тех двух, которые бы-

ли казнены в Санкт-Петербурге. Один был забит насмерть тюремщиком, другой, отправленный по этапу, свалился где-то на далеком, кровью политом тракте, которым они шагали бесконечные месяцы, подгоняемые ударами казаков-конвоиров. И всегда их окружала жестокость, дикая, звериная жестокость. Они умирали — от лихорадки, в рудниках, под кнутом. Последние двое погибли уже после побега, во время схватки с казаками, и только он один добрался до Камчатки, украв у какого-то путника документы и деньги и оставив его умирать на снегу.

Он не видел ничего, кроме жестокости. Все эти годы, когда сердце его жило прошлым, — в мастерских художников, в театрах, на светских приемах — его окружала жестокость. Он покупал свою жизнь ценой крови. Убивали все. И он убил того путника ради документов. Он показал, на что способен, когда в один и тот же день дрался на дуэли с двумя русскими офицерами. Ему приходилось как-то проявлять себя, чтобы занять достойное место среди охотников за мехами. Он должен был завоевать себе это место. Позади лежал долгий, отнявший, казалось, тысячу лет, путь через всю Сибирь и всю Россию. Тем путем бежать было невозможно. Он мог идти только

вперед — через мрачное, покрытое льдами Берингово море на Аляску. Путь этот вел в мир, где дикость с каждым шагом становилась все более ужасающей. На суденышках охотников за мехами, среди свирепствующей цинги, без пищи и воды, в борьбе с бесконечными морскими штормами люди превращались в животных. Трижды он отплывал на восток от Камчатки. И трижды, после невероятных трудностей и страданий, оставшиеся в живых возвращались назад. Путь к бегству был закрыт, а идти назад тем путем, которым он попал сюда, Субьенков не мог, ибо там его ждали рудники и кнут.

Наконец в четвертый и последний раз он поплыл на восток. Он отправился с теми, кто впервые открыл легендарные Котиковые острова, но он не вернулся с ними, чтобы принять участие в дележе добычи и в диких оргиях на Камчатке. Он поклялся никогда не возвращаться туда. Он знал: чтобы добраться до дорогих его сердцу европейских столиц, он должен идти вперед. Поэтому он переходил на другие суда и остался в этих незнакомых полуночных краях. Его спутниками были охотники-славяне и русские — искатели приключений, монголы, татары и исконные жители Сибири; они кровью прокладывали путь среди

дикарей этого нового света. Они вырезали целые становища за то, что эскимосы отказывались платить им дань мехами, а на них в свою очередь нападали команды других кораблей. Субьенков вместе с одним финном оказался единственным, кто в конце концов спасся из всей их шайки. Они провели одинокую и голодную зиму на одном из пустынных Алеутских островов, а весной им выпал один шанс из тысячи — их подобрало какое-то судно охотников за пушниной.

Но всегда его окружали ужасающая жестокость и дикость. Переходя с одного судна на другое и ни за что не желая возвращаться назад, он попал наконец на судно, отправившееся на юг. Они шли вдоль побережья Аляски и всюду наталкивались на толпы дикарей. Каждый раз, когда они бросали якорь у островов или у мрачных утесов материка, их встречала битва или шторм. Либо на них обрушивалась буря, угрожая разбить судно, либо появлялись боевые каноэ, переполненные завывающими туземцами с раскрашенными боевой краской лицами, которые подплывали, чтобы испытать на себе убойную силу ружей пиратов. Так они пробирались на юг, в сказочную страну Калифорнию. Говорили, что там обретаются испанцы, искатели приключений, пробившиеся

туда из Мехико. Он возлагал свои надежды на этих испанцев. Только бы удрать к ним, дальше уже будет проще: через год или два — это уже не имеет значения, — но рано или поздно он доберется до Мехико, затем корабль — и он в Европе. Но они не встретили испанцев. Вновь и вновь они наталкивались на ту же неприступную стену дикости. Обитатели этого края, с лицами, раскрашенными для войны, отгоняли их прочь от берега. Под конец, когда одно судно было захвачено и вся команда перебита, капитан решил прекратить поиски и повернул обратно на север.

Шли годы. Субьенков служил под началом Тебенкова, когда строился Михайловский редут. Два года он провел в низовьях Кускоквима. Два раза летом, в июне месяце, ему удавалось побывать в устье залива Коцебу, где в такую пору собирались племена для меновой торговли. Здесь можно было найти шкуры пятнистых оленей из Сибири, кость с островов Диомида, моржовые шкуры с берегов Северного океана, какие-то удивительные, неизвестно откуда, каменные светильники, переходившие от одного племени к другому, однажды ему даже попался охотничий нож английской работы. Субьенков знал, что здесь та школа, где можно изучить географию. Ведь здесь

он встречал эскимосов из пролива Нортон, с острова Кинг и с островов Святого Лаврентия, с мыса Принца Уэльского и с мыса Барроу. Здесь эти места именовались по-иному и расстояние до них мерилось не километрами, а днями пути.

Туземцы сходились сюда для торговли с огромной территории, а каменные светильники или стальной нож, переходя из рук в руки, попадали из еще более отдаленных мест. Субьенков запугивал эскимосов, улещивал, подкупал. Каждого дальнего путника или представителя неизвестного племени приводили к нему. Они рассказывали ему о несчетных и невероятных опасностях, подстерегавших путешественника, о диких зверях, враждебных племенах, непроходимых лесах и высоких горных хребтах, но во всех этих рассказах непременно фигурировали белые люди с голубыми глазами и белокурыми волосами, которые сражались, как дьяволы, и постоянно искали меха. Они находились на востоке, далеко-далеко на востоке. Никто не видел их. Это были только слухи, которые передавались из уст в уста.

Тяжелой была эта школа. Нельзя изучать географию через посредство непонятных диалектов, от людей, в чьем темном мозгу факты мешаются с вымыслом, людей, измеряющих расстояния

ночевками, колеблющимися в зависимости от трудности перехода. В конце концов Субьенков узнал то, что придало ему мужества. На востоке есть большая река, где и обретаются эти голубоглазые люди. Река эта называется Юконом. Южнее Михайловского редута в море впадала река, известная русским под названием Куикпак. Ходили слухи, что это одна и та же река.

Субьенков вернулся на Михайловский редут. В течение года он добивался, чтобы организовали экспедицию вверх по Куикпаку. Тут выделился Малахов, наполовину русский, возглавивший отряд самых отчаянных и жестоких авантюристов, которые когда-либо переправлялись сюда с Камчатки. Субьенков стал его помощником. Они пробрались сквозь лабиринт дельты Куикпака, миновали первые невысокие холмы на северном берегу и в обитых кожей каноэ, груженных до планшира товарами и боевыми припасами, на протяжении пятисот миль плыли против сильного, в пять узлов, течения по реке, ширина которой колебалась от двух до десяти миль, и глубиной в много сажен. Малахов решил построить форт в Нулато. Субьенков поначалу уговаривал плыть дальше, но потом примирился с Нулато. Приближалась долгая зима. Лучше было переждать. Как

только наступит лето и сойдет лед, он отправится вверх по Куикпаку и будет пробиваться к факториям Компании Гудзонова залива. До Малахова никогда не доходили слухи о том, что Куикпак и есть Юкон, а Субьенков не рассказывал ему об этом.

Началось строительство форта. Они заставили работать местных жителей. Стены из тесаных бревен вырастали под аккомпанемент вздохов и стонов нулатских индейцев. По их спинам гулял бич, и держала этот бич железная рука морских грабителей. Кое-кто из индейцев убегал, но когда их ловили, то возвращали назад и раскладывали перед фортом, и тут они вместе с соплеменниками узнавали на своей шкуре силу кнута. Двое индейцев умерли под кнутом, другие остались калеками на всю жизнь. А остальные усвоили этот урок и больше не пытались бежать. Снег выпал еще до того, как был закончен форт, и настало время для добычи пушнины. На племя была наложена тяжелая дань. Индейцев продолжали избивать и пороть кнутами, а для того, чтобы дань поступала, женщин и детей взяли в качестве заложников и обращались с ними с той жестокостью, на которую способны только охотники за мехами.

Что ж, то был кровавый посев, а теперь пришла пора жатвы. Форт был спален. При зловещем свете пожара половина партии была перебита. Остальные были подвергнуты пыткам. Остался только Субьенков, или, точнее, Субьенков и Большой Иван, если это стонущее и визжащее существо на снегу можно было назвать Большим Иваном. Субьенков заметил, как ухмыляется, глядя на него, Якага. Ему нечего было сказать Якаге. На лице у того до сих пор виднелся след от бича. В конце концов Субьенков не мог осуждать его, но ему была противна мысль о том, что с ним сделает Якага. Он подумал было просить вождя племени Макамука, но разум подсказал ему, что такая просьба окажется бесполезной. Тогда он решил разорвать ремни и погибнуть в схватке. Такой конец был бы скорым. Но разорвать их он не мог. Ремни из оленьей кожи оказались сильнее его. Он продолжал искать выход, и в голову ему пришла новая идея. Он сделал знак Макамуку, чтобы привели переводчика, знающего наречие прибрежных жителей.

— О, Макамук, — сказал Субьенков, — я не собираюсь умирать. Я великий человек, и глупо было бы мне умирать. Да я и не умру. Я ведь не то, что вся эта падаль.

Он глянул на стонущее существо, которое когда-то было Большим Иваном, и презрительно пнул его ногой.

— Я слишком мудр, чтобы умереть. Я знаю великое лечебное снадобье. Только я один знаю это снадобье. Поскольку я не собираюсь умирать, я готов в обмен дать тебе это средство.

— Что это за средство? — потребовал ответа Макамук.

— Это особенное средство.

Субьенков сделал вид, словно он колеблется, стоит ли делиться своим секретом.

— Ладно, тебе я скажу. Если каплей этого зелья помазать кожу, то она становится твердой, как скала, и прочной, как железо, и никакое оружие не может его рассечь. Самый сильный удар ничего не может с ней сделать. Костяной нож против нее все равно что комок грязи, от нее отскочит даже стальной нож, какие мы раздавали вам. Что ты мне дашь за секрет этого зелья?

— Я подарю тебе жизнь, — ответил Макамук через переводчика.

Субьенков презрительно расхохотался.

— И ты будешь до смерти рабом в моем доме, — продолжал Макамук.

Поляк расхохотался еще более презрительно.

— Пусть мне развяжут руки и ноги, и тогда мы будем разговаривать.

Вождь сделал знак, и когда Субьенкову освободили руки, он сделал самокрутку и закурил.

— Это глупые слова, — сказал Макамук, — нет такого зелья. Не может быть. Нож сильнее любого зелья.

Вождь был настроен скептически, но все-таки он колебался. Он не раз видел, как охотникам за мехами удавались всякие дьявольские фокусы. Он не мог ни в чем быть уверен.

— Я сохраню тебе жизнь, и ты не будешь рабом, — заявил он.

— Этого мало.

Субьенков играл свою роль абсолютно хладнокровно, как будто торговался за лисий мех.

— Это великое снадобье. Много раз оно спасало мне жизнь. Я хочу получить нарты и собак, и чтобы шестеро твоих охотников сопровождали меня вниз по реке и в безопасности проводили до последней ночевки перед Михайловским редутом.

— Ты должен жить здесь и обучить нас всем твоим дьявольским штукам, — был ответ.

Субьенков молча пожал плечами. Он выпускал табачный дым в морозный воздух и с любопытством рассматривал то, что осталось от

казака-гиганта.

— А это? — неожиданно сказал Макамук, показывая на шею Субьенкова, где виднелся синеватый шрам от ножевого удара, который ему нанесли на Камчатке во время какой-то ссоры. — Твое зелье — плохое зелье. Лезвие было сильнее, чем твое средство.

— Тот, кто нанес удар, был очень сильный человек. — Субьенков оценивающе взглянул на Макамука. — Сильнее, чем ты, сильнее самого сильного твоего охотника, сильнее, чем был он.

И опять он пнул носком своего мокасина казака; тот являл собой отвратительное зрелище. Хотя Большой Иван и потерял сознание, его измученное пытками тело еще цеплялось за жизнь.

— И, кроме того, зелье было слабым. В тех местах не было нужных мне ягод, которых полно, как я вижу, в ваших краях. Здесь средство будет сильным.

— Я отпущу тебя вниз по реке, — сказал Макамук, — и дам тебе нарты, собак и шестерых охотников.

— Ты слишком долго раздумываешь, — последовал холодный ответ. — Ты оскорбил мое средство тем, что не сразу принял мои условия. Слушай же, теперь я требую большего. Я хочу получить

сотню бобровых шкур. — Макамук насмешливо усмехнулся. — Я хочу получить сотню фунтов сушеной рыбы. — Макамук кивнул головой, рыбы было вдоволь, и она мало чего стоила. — Я хочу получить двое нарт, одни для меня и вторые для моих мехов и рыбы. Кроме того, пусть мне вернут ружье. Если тебя не устраивает моя цена, то имей в виду, что она вскоре увеличится.

Якага что-то шепнул на ухо вождю.

— А как я узнаю, что твое зелье настоящее? — спросил Макамук.

— Это очень легко. Прежде всего я пойду в лес…

Якага опять стал шептать на ухо Макамуку, который недоверчиво покачал головой.

— Ты можешь послать со мной двадцать охотников, — продолжал Субьенков. — Я должен найти ягоды и корни; из которых варится средство. Потом ты приготовишь нарты, нагрузишь их рыбой и бобровыми шкурами, положишь туда ружье и отберешь шестерых охотников, которые пойдут со мной, а когда все будет готово, я натру зельем шею и положу голову вот на это бревно. И тогда пусть самый сильный твой охотник возьмет топор и трижды ударит меня по шее. Ты сам можешь трижды ударить меня.

Макамук стоял с разинутым ртом, дивясь этому новому для него и самому удивительному чуду охотников за мехами.

— Но имей в виду, — торопливо добавил поляк, — что перед каждым ударом я должен заново смазывать шею своим зельем. Топор — штука тяжелая и острая, и я не хочу, чтобы произошла ошибка.

— Ты получишь все, что требуешь, — торопливо закричал Макамук. — Готовь свое зелье.

Субьенков постарался скрыть свою радость. Он вел отчаянную игру, и оступиться было нельзя. Он высокомерно произнес:

— Ты слишком медлил. Мое средство оскорблено. Чтобы смыть это оскорбление, ты должен отдать мне свою дочь.

И он показал пальцем на девушку, несчастное создание, у которой был кривой глаз и торчащие по-волчьи зубы. Макамук был рассержен, но поляк невозмутимо свернул и закурил новую самокрутку.

— Поспеши, — с угрозой в голосе сказал он, — если ты будешь медлить, я потребую большего.

В наступившем молчании Субьенков перенесся мысленным взором от мрачной картины северной природы, расстилавшейся перед ним, к своей

родине и к Франции и, взглянув на эту девушку с торчащими зубами, он вспомнил другую девушку, певицу и балерину, которую знал, когда юношей впервые попал в Париж.

— Зачем тебе нужна девушка? — спросил Макамук.

— Чтобы она поплыла вместе со мной вниз по реке. — Субьенков критически оглядел ее. — Из нее выйдет хорошая жена, и честь жениться на девушке твоей крови — достаточная плата за мое средство.

Он вновь вспомнил певицу и балерину и принялся мурлыкать песню, которой та научила его. Он заново переживал всю свою жизнь, но на этот раз рассматривая сцены из своего прошлого как будто со стороны, словно это были картинки в книге, рассказывающей о чьей-то чужой судьбе. Голос вождя неожиданно нарушил молчание, и он вздрогнул.

— Все будет сделано, — сказал Макамук. — Девушка отправится вместе с тобой вниз по реке. Но имей в виду, что я сам трижды ударю топором по твоей шее.

— Но я каждый раз буду заново намазываться своим средством, — отозвался Субьенков, изображая плохо скрытое беспокойство.

— Ты будешь намазываться своим зельем перед каждым ударом. Вот охотники, которые будут следить, чтобы ты не сбежал. Отправляйся в лес и собирай свое зелье.

Макамука убедила в ценности зелья именно жадность поляка. Конечно, только величайшее средство могло дать силу человеку, над которым нависла тень смерти, упорствовать и торговаться, как старая баба.

— Кроме того, — шепнул Якага, когда поляк вместе со своей стражей исчез среди елей, — когда ты узнаешь средство, ты легко сможешь убить его.

— Как же это я смогу убить его? — спросил Макамук. — Средство не даст мне убить.

— Будут какие-то места, которые он не натрет своим зельем, — ответил Якага. — Мы и умертвим его через такое место. Может быть, это будут его уши. Тогда мы воткнем ему копье в одно ухо, а выйдет оно в другое. Очень хорошо. А может быть, это будут глаза. Наверняка зелье слишком сильное, чтобы он намазал им глаза.

Вождь кивнул головой.

— Ты мудр, Якага. Если у него в запасе нет других дьявольских штук, мы убьем его.

Субьенков не тратил много времени для сбора составных частей для своего зелья. Он поднимал

все, что попадется под руку, — еловую хвою, ивовую кору, бересту и множество клюквы, которую он заставлял охотников выкапывать из-под снега. К своим запасам он добавил несколько замерзших корней и направился обратно в лагерь.

Макамук и Якага не отходили ни на шаг, тщательно запоминая количество и вид составных частей, которые он кидал в чан с кипящей водой.

— Заметьте, клюкву надо класть в первую очередь, — объяснил Субьенков. — Ах да, еще одна вещь, человеческий палец. Дай-ка, Якага, я отрежу у тебя палец.

Но Якага спрятал руки за спину и сердито посмотрел на него.

— Всего только мизинец, — просил Субьенков.

— Якага, дай ему свой палец, — приказал Макамук.

— Здесь вокруг много пальцев, — проворчал Якага, показывай на валявшиеся на снегу остатки замученных насмерть.

— Это должен быть палец живого человека, — возразил поляк.

— Ну так ты получишь палец живого человека. — Якага нагнулся над казаком и отсек у него палец.

— Он еще не умер, — объяснил Якага, швыряя свой кровавый трофей к ногам поляка. — И вообще это хороший палец, потому что он большой.

Субьенков бросил палец в пламя под чаном и начал петь. Это была французская любовная песенка, и он исполнял ее с необычайной торжественностью.

— Без этих слов зелье не будет иметь силы, — пояснил он. — Эти слова составляют его главную силу. Ну вот, готово!

— Повтори слова медленно, чтобы я мог запомнить их, — приказал Макамук.

— Только после испытания. Когда топор трижды отскочит от моей шеи, тогда я раскрою тебе секрет этих слов.

— А если средство окажется плохим средством? — с беспокойством спросил Макамук.

Субьенков в гневе обернулся к нему.

— Мое средство не может оказаться плохим. А если оно окажется плохим, тогда сделайте со мной то же, что вы сделали с остальными. Разрежьте меня на куски, как вы разрезали его. — Он кивнул на казака. — Зелье уже остыло. Итак, я натираю им шею и говорю при этом заклинания.

Субьенков с самым серьезным лицом медленно пропел строку из «Марсельезы», одновременно

натирая себе шею отвратительным варевом.

Его представление было прервано диким воплем. Огромный казак, в котором в последний раз вспыхнула его чудовищная жизненная сила, приподнялся на колени. Индейцы принялись смеяться, кричать от удивления, хлопать в ладоши, а Большой Иван бился на снегу в страшных судорогах.

Субьенкову стало нехорошо от этого зрелища, но он справился с приступом тошноты и притворился рассерженным.

— Так дело не пойдет, — сказал он, — прикончите его, и тогда мы приступим к испытанию. Ну-ка, Якага, прекрати этот шум.

Когда это было исполнено, Субьенков повернулся к Макамуку.

— И помни, что ты должен бить изо всех сил. Это занятие не для детей. Возьми-ка топор и ударь по бревну, чтобы я мог видеть, что ты делаешь это как мужчина.

Макамук повиновался и дважды со всего маху ударил по бревну, отколов порядочный кусок.

— Хорошо! — Субьенков оглядел лица туземцев, которые словно символизировали ту стену варварства, которая окружала его с тех пор, как царская полиция арестовала его в Варшаве.

— Бери топор, Макамук, и стань вот здесь. Я лягу. Когда я махну рукой, бей что есть мочи. И смотри, чтобы никто не стоял позади тебя. Мое средство крепкое, и топор может отскочить от моей шеи и вылететь у тебя из рук.

Он посмотрел на две собачьи упряжки с нартами, нагруженными мехами и рыбой. Сверху на бобровых шкурах лежало его ружье. Шестеро охотников, которые должны были составлять его охрану, стояли у нарт.

— А где девушка? — спросил поляк. — Приведите ее сюда прежде, чем мы приступим к испытанию.

Когда девушку привели, Субьенков опустился на снег и положил голову на бревно, словно усталый ребенок, собирающийся уснуть. Он пережил столько тяжелых лет, что и в самом деле чувствовал себя смертельно уставшим.

— Я смеюсь над тобой и над твоей силой, о Макамук, — сказал он, — бей, бей изо всех сил!

Он поднял руку. Макамук поднял топор, огромный топор, которым обтесывают бревна. Блестящая сталь сверкнула в морозном воздухе, на какое-то едва уловимое мгновение топор задержался над головой Макамука и затем обрушился на обнаженную шею Субьенкова. Топор рассек

мышцы и позвоночник и глубоко вонзился в бревно. Изумленные дикари увидели, как голова отскочила на добрый ярд от кровоточащего туловища.

Все стояли в страшном замешательстве и молчали, пока постепенно не начали соображать, что никакого средства и не было. Охотник за мехами перехитрил их. Единственный из всех пленников он избежал пытки. Такова была ставка, ради которой он вел игру. И тут все разразились хохотом. Макамук от стыда опустил голову. Охотник за мехами обманул его. Макамук потерял лицо, потерял уважение в глазах своих соплеменников. Они продолжали хохотать. Макамук повернулся и побрел прочь. Он знал, что отныне он никогда не будет зваться Макамуком. Его будут звать Потерявший лицо, и ему не искупить своего позора до самой смерти, и когда бы ни собирались окрестные племена, — весной ли для лова лосося или летом для меновой торговли, — повсюду, у всех костров, будут вновь и вновь рассказывать историю о том, как спокойно, с одного удара умер охотник за мехами от руки Потерявшего лицо.

И он словно заранее слышал, как какой-нибудь наглый юнец будет спрашивать:

— А кто такой Потерявший лицо?

— Потерявший лицо? — скажут в ответ. — Его звали Макамуком до того, как он отрубил голову охотнику за мехами.

Поручение

Отдали швартовы, и «Сиэтл-4» стал медленно отходить от берега. Его палубы были битком забиты грузами и багажом, на них кишела разношерстная толпа индейцев, собак, погонщиков, торговцев и возвращающихся домой золотоискателей. Добрая часть населения Доусона выстроилась на берегу, провожая отъезжающих. Когда сходни были убраны и пароход начал выходить на фарватер, прощальные возгласы стали еще оглушительнее. Все в последний момент вспомнили, что не сказали еще чего-то важного, и громко кричали, стараясь, чтобы их услышали по ту сторону разделявшей их полосы воды, которая с каждой минутой становилась шире. Луи Бонделл, покручивая одной рукой свои рыжие усы, а другой вяло махая друзьям, остающимся на берегу, внезапно что-то вспомнил и бросился к борту.

— Эй, Фред! — завопил он. — Фред!

Фред растолкал плечами стоящую на берегу толпу и протиснулся вперед, стараясь разобрать, что хочет передать ему Луи Бонделл. У того уже лицо побагровело от крика, но слов все равно

не было слышно. Между тем полоса воды между пароходом и берегом становилась все шире.

— Эй, капитан Скотт! — крикнул Бонделл, обернувшись к капитанской рубке. — Остановите пароход!

Звякнул сигнальный колокол, большое колесо под кормой крутанулось в обратную сторону и остановилось. Все находившиеся на борту и на пристани воспользовались этой задержкой, чтобы прокричать друг другу последние и уже окончательные пожелания. Тщетно Луи Бонделл пытался, чтобы его услышали. «Сиэтл-4» потерял ход, его начало сносить течением, капитан Скотт вынужден был дать передний ход и во второй раз остановить машины. Голова его скрылась в капитанской рубке, и через мгновение он вынырнул с большим мегафоном в руках.

Теперь у капитана Скотта голос приобрел необычайную силу, и когда он рявкнул толпе на палубе и на берегу «Заткнитесь!», то его, вероятно, было слышно на вершине Оленьей горы и даже на улицах Клондайка. От этого официального призыва из капитанской рубки шум стих.

— А теперь говорите, что вы хотите передать, — приказал капитан Скотт.

— Передайте Фреду Черчиллю… Он там, на

берегу… Скажите ему, чтобы он зашел к Мак-Дональду. У него на хранении мой маленький саквояж. Передайте ему, чтобы он захватил его и привез с собой.

В наступившем молчании капитан Скотт проревел это сообщение через мегафон на берег:

— Эй, вы, Фред Черчилль, пойдите к Мак-Дональду… У него на сохранении маленький саквояж… Принадлежит Луи Бонделлу… Это очень важно… Привезите его с собой… Поняли?

Черчилль помахал рукой в знак того, что понял. Впрочем, если бы Мак-Дональд, живший в полумиле отсюда, открыл окно, он бы тоже разобрал, в чем дело. Вновь воздух огласился прощальными приветствиями, раздался удар судового колокола, «Сиэтл-4» двинулся вперед, развернулся на стремнине и пошел вниз по Юкону. Бонделл и Черчилль до последней минуты махали друг другу, выказывая свою взаимную симпатию.

Это происходило летом. А в конце года двинулся вверх по Юкону «У. Х. Уиллис» с двумя сотнями возвращающихся домой путников на борту. Среди них был и Черчилль. В его каюте в мешке с одеждой лежал и саквояж Луи Бонделла. Это был небольшой прочный кожаный чемоданчик, весил он фунтов сорок, и это обстоятельство

заставляло Черчилля нервничать каждый раз, когда ему приходилось хоть ненадолго отлучаться от саквояжа. Человек в соседней каюте вез с собой уйму золотого песка, спрятанного просто в чемодане с бельем, и они в конце концов договорились караулить поочередно. Если один из них спускался поесть, другой не спускал глаз с дверей обеих кают. Когда Черчиллю хотелось сыграть в вист, его сосед оставался на посту, а когда тому хотелось отвести душу, Черчилль принимался за чтение газет четырехмесячной давности, сидя на откидном стульчике в проходе между двумя дверьми.

Зима, судя по всем признакам, сулила быть ранней, и пассажиры с утра и до темноты и еще далеко за полночь толковали об одном: удастся ли им выбраться до того, как река станет, или они вынуждены будут оставить пароход и двинуться дальше по льду. А тут еще случались всякие раздражающие задержки. Дважды ломалась машина, и ее приходилось чинить на скорую руку, и оба раза начинался снегопад, предупреждая их о скором приходе зимы. Девять раз «У. Х. Уиллис» пытался со своей слабенькой машиной преодолеть пороги Пяти Пальцев, а когда это наконец удалось, выяснилось, что пароход опаздывает

на четыре дня даже против своего весьма приблизительного расписания. Тогда встал вопрос, будет ли пароход «Флора» дожидаться их повыше Ящичного ущелья. Отрезок реки между Ящичным Ущельем и порогами Белой Лошади был недоступен для судов, и пассажиры перебирались здесь в обход порогов пешком, чтобы пересесть с одного парохода на другой. В ту пору телефона в этих местах не существовало, и поэтому предупредить «Флору» о том, что «Уиллис» хотя и с опозданием на четыре дня, но все же подходит, никакой возможности не было.

Когда «Уиллис» вошел в Белую Лошадь, стало известно, что «Флора» ожидала его три дня сверх положенного срока и ушла всего несколько часов назад. Передали также, что «Флора» будет стоять у поста Тагиш до девяти часов утра воскресенья. Дело происходило в четыре часа дня в субботу. Пассажиры собрали митинг. На борту «Уиллиса» находилось большое канадское каноэ, предназначавшееся для полицейского поста у входа в озеро Беннет. Пассажиры договорились, что они берут на себя ответственность за это каноэ и за его доставку. После этого стали вызывать добровольцев. Для того, чтобы догнать «Флору», решено было выбрать двоих. Тотчас же вызвалось десят-

ка два желающих. Среди них был и Черчилль, уж такой у него характер, что он вызвался прежде, чем подумал о саквояже Бонделла. Когда же он вспомнил о нем, то у него затеплилась надежда, что его не выберут, но человек, прославившийся, как капитан футбольной команды в колледже, как президент атлетического клуба, считавшийся одним из лучших погонщиков собак и ходоков на Юконе, да еще обладавший такими плечами, как он, не мог рассчитывать, что ему не окажут чести быть избранным. Поручение было возложено на него и на гиганта-немца Ника Антонсена.

Пока толпа пассажиров поспешно тащила на своих плечах каноэ, Черчилль бросился в каюту. Он вытряхнул содержимое своего чемодана на пол и схватил саквояж, намереваясь передать его на сохранение соседу. Но тут же его взяло сомнение: ведь это была чужая вещь, и он, пожалуй, не имел права выпускать ее из рук. Поэтому он схватил саквояж и побежал по берегу, то и дело перекладывая его из одной руки в другую и гадая про себя, не весит ли саквояж в действительности больше сорока фунтов.

Была половина пятого пополудни, когда Черчилль и Антонсен отправились в путь. Течение на Тридцатимильной было настолько сильным,

что им почти не удавалось пользоваться веслами. Им приходилось идти по берегу с бечевой на плече, спотыкаясь о камни, продираясь сквозь поросль кустарника, пробираясь по колено и по пояс в воде, то и дело срываясь и падая, а когда на пути вставали непреодолимые скалы, приходилось опять садиться в каноэ, стремительно грести к другому берегу, пока не снесло течением, и вновь тащить лодку на бечеве. Это была изнуряющая работа. Антонсен трудился изо всех сил, безропотно и упорно, как и подобает такому гиганту, но Черчилль, наделенный мощным телом и неукротимой волей, вконец загонял его. Они ни разу не остановились на отдых. Они шли и шли вперед и только вперед. В лицо дул резкий ветер, руки стыли, и приходилось время от времени колотить рука об руку, чтобы восстановить кровообращение в онемевших пальцах.

Когда наступила ночь, пришлось положиться на волю случая. Они то и дело были вынуждены высаживаться на берег и брести по бездорожью, разрывая в клочья одежду о кустарник. У обоих все тело было исцарапано и кровоточило. Раз десять переплывая от берега к берегу, они напарывались на коряги, и лодку опрокидывало. Когда это случилось в первый раз, Черчилль ны-

рял и на глубине в три фута искал в воде саквояж. Он потерял полчаса на поиски и в конце концов для сохранности привязал его к лодке. Таким образом, пока каноэ сохраняло плавучесть, саквояж находился в безопасности. Антонсен издевался по поводу саквояжа, а к утру начал проклинать его, но Черчилль не удостаивал спутника объяснениями.

Задержки и неудачи преследовали их на каждом шагу. На одной излучине реки, перерезанной мощным порогом, они потеряли два часа на бесчисленные попытки преодолеть стремнину, и лодка дважды переворачивалась. По обоим берегам здесь вздымались из глубины воды отвесные скалы, так что не было никакой возможности ни протащить лодку на канате, ни пройти с помощью багра, а преодолеть течение на веслах никак не удавалось. Они напрягали все силы, так налегая на весла, что, казалось, сердце выскочит из груди от напряжения, но каждый раз их сносило назад. В конце концов им удалось одолеть этот порог только благодаря чистой случайности. На самой стремнине, когда они терпели очередную неудачу, течение вырвало рулевое весло из рук Черчилля и швырнуло лодку к утесу. Черчилль наугад прыгнул на скалу и, ухватившись од-

ной рукой за расщелину, другой придерживал тонущую лодку, пока Антонсен выбирался из воды. Затем они вытащили каноэ и передохнули. Двинувшись со свежими силами с этого критического места, они перешли пороги. Они пристали к берегу чуть повыше, немедленно выбрались на сушу и побрели через кустарник, волоча за собой лодку на бечеве.

Рассвет застал их еще далеко от поста Тагиш. В девять часов утра они услышали прощальный гудок «Флоры». А когда в десять часов они добрались до поста, то увидели лишь дымок парохода, уходящего на юг. Капитан Джонс из конной полиции принял этих двух совершенно изнуренных оборванцев и накормил, а впоследствии уверял, что никогда в жизни не видел, чтобы люди ели с таким чудовищным аппетитом. Поев, они свалились тут же у плиты, не снимая своих лохмотьев, и заснули. Через два часа Черчилль встал, отнес саквояж Бонделла, служивший ему подушкой, в каноэ, растолкал Антонсена, и они снова пустились вдогонку за «Флорой».

— Мало ли что может случиться? — отвечал Черчилль на все уговоры капитана Джонса. — Машина может сломаться или еще что-нибудь. Я должен догнать пароход и вернуть его, чтобы

забрать ребят.

Озеро Тагиш побелело от сильного, по-осеннему, встречного ветра. Волны обрушивались на лодку, заставляя одного из них все время вычерпывать воду, и на веслах, таким образом, мог сидеть только один гребец. Двигаться вперед при таких обстоятельствах было невозможно. Они прибились к пологому берегу, вылезли из каноэ, один взялся за бечеву, а второй подталкивал лодку. Они боролись с ветром, пробираясь по пояс в ледяной воде, частенько по самую шею; огромные валы то и дело покрывали их с головой. Они не знали ни отдыха, ни минутной передышки в той нечеловеческой, жестокой схватке. В эту ночь у выхода из озера Тагиш во время снежной бури они нагнали «Флору». Антонсен свалился на палубу и тут же захрапел. Черчилль выглядел совершенно ужасно. Одежда едва держалась на плечах, лицо было отморожено и распухло, после непрерывной работы в течение двадцати четырех часов вены на руках вздулись, и он не мог сжать кулак. Ноги болели так, что стоять было невероятным мучением.

Капитан «Флоры» ни за что не соглашался возвращаться обратно к Белой Лошади. Черчилль был настойчив и решителен, но капитан за-

упрямился. В качестве последнего аргумента он заявил, что ничего они не достигнут, даже если «Флора» вернется, потому что единственный океанский пароход в Дайе, «Афинянин», должен отплыть во вторник утром и «Флора» не успеет подобрать застрявших в Белой Лошади путешественников и обернуться до ухода «Афинянина».

— Когда отплывает «Афинянин»? — спросил Черчилль.

— Во вторник, в семь часов утра.

— Ладно! — сказал Черчилль, отбивая ногой сигнал подъема по ребрам храпящего Антонсена. — Возвращайтесь к Белой Лошади. Мы отправимся вперед и задержим «Афинянина».

Обалдевшего от сна и ничего толком не соображавшего Антонсена спихнули в каноэ, и немец не мог сообразить, что происходит, до тех пор, пока его не окатила огромная ледяная волна и он не услышал крик Черчилля:

— Ты что, разучился грести? Или хочешь, чтобы нас затопило?

Рассвет застал их у Оленьего перевала, ветер стих, но Антонсен был уже совершенно неспособен работать веслами. Черчилль вытащил каноэ на пологий берег, и они решили поспать. Черчилль подвернул руку под голову так, что каждые

несколько минут рука немела; тогда он просыпался от боли, смотрел на часы и подкладывал другую руку. Через два часа он растолкал Антонсена, и они двинулись дальше. Озеро Беннет, тридцати миль в длину, было спокойным, словно пруд, но на полпути налетел южный ветер, и вода побелела от пены. Час за часом вели они ту же борьбу, что и на озере Тагиш, волоча и подталкивая каноэ по пояс и по шею в ледяной воде, которая то и дело окатывала их с головой, пока здоровенный Антонсен не выбился из сил совершенно. Черчилль безжалостно подгонял его, но когда Антонсен шагнул вперед и чуть не захлебнулся на глубине трех футов, Черчилль втащил его в каноэ. Черчилль продолжал борьбу один и около полудня добрался до полицейского поста у входа в озеро Беннет. Он пытался вытащить Антонсена из каноэ, но не смог. Он прислушивался к тяжелому дыханию совершенно измученного товарища и позавидовал ему, когда подумал, что предстоит ему самому впереди. Антонсен может лежать и спать, а он, чтобы не опоздать, должен еще подняться на высоченный Чилкут и спуститься к морю. Настоящие трудности были еще впереди, и Черчилль почти пожалел о том, что в теле у него еще достаточно сил, потому что

из-за этого его телу предстояли немалые муки.

Черчилль вытащил каноэ на берег, подхватил саквояж Бонделла и, прихрамывая, рысцой направился к полицейскому посту.

— Там внизу каноэ из Доусона, предназначенное для вас, — выпалил он офицеру, открывшему на его стук дверь, — и человек в нем, еле живой. Ничего опасного, просто выбился из сил. Позаботьтесь о нем. А я должен спешить. До свидания. Хочу захватить «Афинянина».

Между озером Беннет и озером Линдерман лежит перемычка в милю длиной, и последние слова Черчилль бросил через плечо, почти на бегу. Бежать было очень больно, но он сжал зубы и несся вперед. Он даже забывал о боли, настолько его переполняла жгучая ненависть к саквояжу. Это было тяжкое испытание. Черчилль перекладывал саквояж из руки в руку. Он засовывал его под мышки. Он закидывал руку с саквояжем через плечо, и тот при каждом шаге колотил его по спине. Было ужасно трудно держать саквояж разбитыми и распухшими руками, и он несколько раз ронял его. Один раз, когда он перекладывал саквояж из руки в руку, тот выскользнул и упал, Черчилль споткнулся и тоже свалился на землю.

Добравшись до конца перемычки, Черчилль

купил за доллар старые ремни и привязал саквояж к спине. Там же он нанял баркас, который доставил его за шесть миль к верхней оконечности озера Линдерман, куда Черчилль добрался к четырем часам дня. «Афинянин» должен был отплыть из Дайи в семь часов утра на следующий день. До Дайи было двадцать восемь миль, и перед ним высился Чилкут. Черчилль присел, чтобы поправить обувь перед долгим подъемом, и проснулся. Он заснул в ту же секунду, как только присел. Хотя спал он не больше тридцати секунд, он испугался, что в следующий раз задремлет надолго, и кончал приводить обувь в порядок уже стоя. И даже стоя он не мог побороть слабость сразу. На какое-то мгновение он потерял сознание; он понял это, когда ослабевшее тело начало валиться на землю, но тут же вернул себя в чувство судорожным усилием мышц и удержался на ногах. Этот резкий переход от состояния бессознательности оставил по себе тошноту и дрожь. Черчилль принялся бить себя кулаком по голове, возвращая бодрость отупевшим мозгам.

Вьючный караван Джека Бэрнса возвращался налегке к озеру Кратер, и Черчиллю предложили ехать на муле. Бэрнс хотел погрузить саквояж на другого мула, но Черчилль оставил его при

себе, пристроив на луке седла. Однако то и дело дремота охватывала его, и саквояж упорно соскальзывал то на одну сторону седла, то на другую, и каждый раз Черчилль мучительно просыпался. Затем, когда уже начало темнеть, мул задел за выступавшую ветку, и Черчиллю разодрало щеку. В довершение всего мул сбился с дороги и упал, сбросив седока и саквояж на скалы. Дальше Черчилль предпочел идти, точнее сказать, тащиться, по отвратительной, едва ли достойной своего названия тропе, ведя за собой мула. Ужасающий смрад, доносившийся с обочин, говорил о том, сколько лошадей полегло тут жертвами людской погони за золотом. Но Черчилль ничего не чувствовал. Он слишком хотел спать. Однако к тому времени, когда они добрались до Долгого озера, он оправился от сонливости; у Глубокого озера он поручил саквояж Барнсу, с которого при тусклом свете звезд не спускал глаз. С саквояжем не должно было ничего случиться.

У озера Кратер караван остался в лагере, а Черчилль, привязав саквояж к спине, принялся карабкаться по склону к перевалу. На этой почти отвесной крутизне он впервые почувствовал, как он устал. Он полз на четвереньках, как краб, яв-

ственно ощущая тяжесть своих рук и ног. Каждый раз для того, чтобы поднять ногу, ему приходилось до боли напрягать всю волю. Черчиллю начало казаться, что на ногах у него свинцовые башмаки, как у водолаза, и он едва перебарывал желание нагнуться и пощупать свинец руками. Что касается саквояжа Бонделла, то казалось непостижимым, как могут сорок фунтов весить так много. Саквояж давил на него так, словно он тащил на спине гору, и Черчилль не верил сам себе, вспоминая, как год назад он поднимался на этот самый перевал с грузом в сто пятьдесят фунтов за плечами! Если в тот раз он тащил сто пятьдесят фунтов, то саквояж Бонделла весил, наверное, фунтов пятьсот.

Первый подъем от озера Кратер к перевалу пролегал через небольшой ледник. Тропа здесь была хорошо видна. Но выше, за ледником, являвшимся границей лесной зоны, не было ничего, кроме хаоса голых скал и огромных валунов. Тропинку в темноте не было видно, и он двигался вслепую, ощупью, затрачивая раза в три больше усилий, чем обычно. Он добрался до перевала в разгар снежной бури и, на свое счастье, натолкнулся на маленькую заброшенную палатку, в которую немедленно заполз. Там он нашел несколько

старых и засохших картофелин и полдюжины сырых яиц, которые с аппетитом проглотил.

Когда снег и ветер стихли, он начал почти немыслимый спуск. Тропинки здесь не было, и он брел наугад, спотыкаясь, то и дело в самый последний момент обнаруживая, что находится у края какого-нибудь обрыва или ущелья, глубину которых он даже представить не мог. Вскоре тучи вновь закрыли звезды, и в наступившем мраке он поскользнулся и катился вниз футов сто, очутившись исцарапанным и окровавленным на дне большой ямы. Здесь стояло зловоние от лошадиных трупов. Яма была поблизости от тропинки, и погонщики обычно сбрасывали сюда разбитых и умирающих лошадей. От зловония Черчилля затошнило и, словно в каком-то кошмаре, он стал карабкаться наверх. На полпути он вспомнил о саквояже. Саквояж свалился в яму вместе с Черчиллем, ремни, видимо, лопнули, и он совсем забыл про него. Опять ему пришлось лезть в эту вонючую яму и полчаса ползать на коленях, на ощупь отыскивая саквояж. Прежде чем он наткнулся на саквояж, он насчитал семнадцать дохлых лошадей и одну живую, которую пристрелил из револьвера. Оглядываясь на прошлое, в котором он не раз проявлял храбрость и

одерживал победы, Черчилль, не задумываясь, заявил сам себе, что это возвращение за саквояжем было самым героическим поступком в его жизни. Настолько героическим, что прежде чем выбраться из ямы, он дважды оказывался на грани обморока.

Когда наконец он добрался до ступеней и крутой спуск Чилкута остался позади, дорога стала легче. Нельзя сказать, чтоб это была очень хорошая дорога даже в лучших местах, но вполне приемлемая тропинка, по которой он мог бы идти нормально, если бы не был изнурен до последней степени, если бы у него оказался фонарь, чтобы светить под ноги, и если бы не саквояж Бонделла. Черчилль находился в таком состоянии, когда саквояж оказался для него той соломинкой, которая, как говорит пословица, переломила спину верблюду. У него едва хватало сил нести самого себя, но добавочный вес валил его на землю почти каждый раз, когда он спотыкался. А когда удавалось удержаться на ногах, откуда-то из темноты высовывались ветки, цеплялись за саквояж на спине и тащили Черчилля назад.

Постепенно у Черчилля крепло убеждение, что если он упустит «Афинянина», то только из-за саквояжа. Вообще в сознании у него осталось

только два предмета: саквояж и пароход. Он думал только о двух этих предметах, и они казались почему-то неотделимы от некой суровой миссии, ради которой он странствовал и трудился в течение долгих столетий. Он шел и боролся, как будто во сне. Словно во сне вошел он в Овечий Лагерь. Он ввалился в салун, высвободил плечи от ремней и начал опускать саквояж на пол. Тот выскользнул у него из пальцев и упал на пол с тяжелым стуком, который не остался незамеченным двумя мужчинами, собиравшимися уходить. Черчилль выпил стакан виски, сказал хозяину бара, чтобы тот разбудил его через десять минут, и уселся, поставив ногу на саквояж и опустив голову на колени.

Его измученное тело так было сковано от усталости, что, когда его разбудили, потребовалось еще десять минут и еще один стакан виски, чтобы он смог распрямить члены и расправить мускулы.

— Эй, да не туда пошел! — крикнул ему хозяин бара, потом вышел вслед за Черчиллем и в темноте вывел его на дорогу на Каньон-сити. Какие-то проблески сознания подсказали ему, что он идет в правильном направлении, и по-прежнему, как во сне, Черчилль брел по тропинке через ущелье.

Он сам не знал, что его насторожило, но в этот момент путешествия, прошагав, казалось, уже несколько столетий, он почуял опасность и вытащил револьвер. Все еще будто во сне он увидел, как на тропинку вышли двое мужчин и потребовали, чтобы он остановился. Его револьвер выстрелил четыре раза, и он увидел вспышки их револьверов и услышал выстрелы. Кроме того, он понял, что ранен в бедро. Он увидел, как один из мужчин упал, а когда второй подбежал поближе, Черчилль ударил его тяжелым револьвером в лицо. Потом повернулся и бросился бежать. Вскоре он очнулся от своего полусонного состояния и обнаружил, что бежит, прихрамывая, по тропинке. Он был уверен, что все это ему только приснилось, пока он не стал шарить в поисках револьвера и убедился, что револьвер пропал. Потом он почувствовал острую боль в бедре и ощупал себя: рука у него была влажная от крови. Да, он ранен, правда, рана оказалась несерьезной. Тогда он окончательно проснулся и припустился к Каньон-сити.

Там он нашел человека с лошадьми и фургоном, который за двадцать долларов выбрался из постели и пошел запрягать. Черчилль свалился в фургоне на лавку и заснул, не снимая саквояжа

со спины. Фургон с грохотом катился по скользким от дождя валунам вниз, по долине, ведущей к Дайе, но просыпался Черчилль только в тех случаях, когда колеса наскакивали на самые высокие валуны. Когда же его подбрасывало ниже, чем на фут, это его ничуть не беспокоило. Последняя миля дороги оказалась более ровной, и он крепко заснул.

Когда на рассвете они прибыли на место, возчик варварски растолкал Черчилля и прокричал ему в ухо, что «Афинянин» ушел. Черчилль тупо смотрел на опустевшую гавань.

— Вон там виден дымок у Скагуэя, — сказал возчик.

Черчилль ничего не видел, так как веки у него распухли, но он сказал:

— Это он, достаньте мне лодку.

Возчик оказался человеком обязательным, раздобыл ялик и нашел человека, который за десять долларов — деньги вперед — взялся грести. Черчилль заплатил, и ему помогли сойти в ялик. Сам он сойти был не в состоянии. До Скагуэя было шесть миль, и у него была блаженная мечта поспать. Но человек, поехавший с ним, не умел грести, и Черчилль сам еще несколько столетий работал веслами. Шесть миль никогда

прежде не оказывались такими длинными и мучительными. Не сильный, но свежий бриз дул им навстречу и гнал ялик назад. Черчилль ощущал слабость в желудке, его мучила тошнота, руки и ноги совершенно окоченели. По его приказанию спутник зачерпнул соленой воды и плеснул ему в лицо.

Когда они подплыли к «Афинянину», якорь уже был поднят, а Черчилль вконец выбился из сил.

— Остановите! Остановите! — хрипло закричал он. — Важное сообщение! Остановите!

И он уронил голову на грудь и уснул. Когда шесть человек переносили его вверх по сходням, он проснулся, потянулся за саквояжем и уцепился за него, как утопающий цепляется за соломинку.

На палубе все смотрели на Черчилля с ужасом и любопытством. Одежда, в которой он отправился из Белой Лошади, превратилась в жалкие лохмотья, да и сам он был не в лучшем состоянии. Он находился в пути пятьдесят пять часов при невероятном напряжении сил. За это время он спал всего шесть часов и потерял двадцать фунтов в весе. Лицо, руки и все тело его были исцарапаны и избиты, глаза почти ничего не видели. Черчилль попытался встать, но не смог удержаться на ногах, свалился на палубу, не выпуская из рук

саквояж, и передал свое сообщение.

— А теперь положите меня спать, — закончил он, — есть я буду, когда проснусь.

Черчиллю оказали честь и поместили грязного, в лохмотьях в каюте для новобрачных, которая была самой большой и самой роскошной каютой на пароходе. Он проспал двое суток, потом принял ванну, побрился, поел и стоял у поручней, покуривая сигару, когда прибыли двести путников из Белой Лошади.

К тому времени, когда «Афинянин» прибыл в Сиэтл, Черчилль вполне оправился и бодро сошел на берег с саквояжем Бонделла в руках. Он гордился этим саквояжем. В нем для Черчилля воплощалось представление о подвиге, честности и доверии. «Я выполнил поручение» — такими словами выражал он для себя эти высокие понятия. Было еще не поздно, и Черчилль направился прямо к дому Бонделла. Луи Бонделл встретил его радостно, обеими руками пожал ему руку и потащил в дом.

— О, спасибо, старик, хорошо, что ты привез его, — сказал Бонделл, получая саквояж.

Он небрежно бросил саквояж на кушетку, и Черчилль понимающе заметил, как саквояж всей тяжестью подпрыгнул на пружинах. Бонделл

закидал Черчилля вопросами.

— Как ты живешь? Как там ребята? Что случилось с Биллом Смитерсом? Что, Дел Бишоп все еще в компании с Пьерсом? Продал он моих собак? Как на Серном Ручье, нашли что-нибудь? Ты прекрасно выглядишь. На каком пароходе ты приехал?

Черчилль обстоятельно отвечал на все вопросы; так прошло полчаса, и в разговоре наметилась первая пауза.

— Не лучше ли тебе посмотреть его? — предложил Черчилль, кивая на саквояж.

— Да там все в порядке, — ответил Бонделл. — Скажи мне, что, россыпь Митчелла действительно дала так много, как ожидали?

— Я все-таки думаю, что тебе следует посмотреть, — настаивал Черчилль. — Когда я передаю доверенную мне вещь, я хочу быть уверен, что все в порядке. Могло случиться, что кто-нибудь залез в твой саквояж, пока я спал, или еще что-нибудь.

— А там нет ничего важного, старик, — со смехом ответил Бонделл.

— Ничего важного, — повторил Черчилль едва слышно. Потом решительно сказал: — Луи, что находится в этом саквояже? Я хочу знать.

Луи с удивлением посмотрел на него, вышел из

комнаты и вернулся со связкой ключей. Он запустил руку в саквояж и вытащил оттуда кольт 44-го калибра. За ним последовало несколько коробок с патронами для револьвера и для винчестера.

Черчилль взял саквояж и заглянул в него. Затем он перевернул и легонько потряс.

— Револьвер заржавел, — заметил Бонделл. — Наверное, попал под дождь.

— Да, — ответил Черчилль. — Жаль, что туда проникла сырость. Видимо, я был неосторожен.

Он поднялся и вышел. Через десять минут вышел из дома и Луи Бонделл. Черчилль сидел на ступеньках, подперев подбородок руками, и пристально смотрел в темноту.

Меченый

Не очень-то я теперь высокого мнения о Стивене Маккэе, а ведь когда-то божился его именем. Да, было время, когда я любил его, как родного брата. А попадись мне теперь этот Стивен Маккэй — я не отвечаю за себя! Просто не верится, чтобы человек, деливший со мной пищу и одеяло, человек, с которым мы перемахнули через Чилкутский перевал, мог поступить так, как он. Я всегда считал Стива честным парнем, добрым товарищем; злобы или мстительности у него в натуре и в помине не было. Нет у меня теперь веры в людей! Еще бы! Я выходил этого человека, когда он помирал от тифа, мы вместе дохли с голоду у истоков Стюарта, и кто, как не он, спас мне жизнь на Малом Лососе! А теперь, после стольких лет, когда мы были неразлучны, я могу сказать про Стивена Маккэя только одно: в жизни не видал второго такого негодяя!

Мы собрались с ним на Клондайк в самый разгар золотой горячки, осенью 1897 года, но тронулись с места слишком поздно и не успели перевалить через Чилкут до заморозков. Мы протащили наше снаряжение на спинах часть

пути, как вдруг пошел снег. Пришлось купить собак и продолжать путь на нартах. Вот тут и попал к нам этот Меченый. Собаки были в цене, и мы уплатили за него сто десять долларов. Он стоил этого — с виду. Я говорю «с виду», потому что более красивого пса мне еще не доводилось встречать. Он весил шестьдесят фунтов и был словно создан для упряжки. Эскимосская собака? Нет, и не мэлмут и не канадская лайка. В нем было что-то от всех этих пород, а вдобавок и от европейской собаки, так как на одном боку у него посреди желто-рыжих и грязновато-белых разводов — преобладающая окраска этого пса — красовалось угольно-черное пятно величиной со сковородку. Потому мы и прозвали его «Меченый».

Ничего не скажешь, — на первый взгляд пес был что надо. Когда он был в теле, мускулы так и перекатывались у него под кожей. Во всей Аляске не сыскалось бы пса более сильного с виду. И более умного — тоже с виду. Попадись этот Меченый вам на глаза, вы бы сказали, что в любой упряжке он перетянет трех собак одного с ним веса. Может, и так, только видеть этого мне не приходилось. Его ум не на то был направлен. Вот воровать и таскать что ни попало — это он

умел в совершенстве. Кое в чем у него был особый, прямо-таки необъяснимый нюх: он всегда знал заранее, когда предстояла работа, и всегда успевал улизнуть. Насчет того, чтобы вовремя пропасть и вовремя найтись, у Меченого был положительно какой-то дар свыше. Зато когда доходило до работы, весь его ум мгновенно испарялся и вместо собаки перед вами была жалкая тварь, дрожащая, как кусок студня, — просто сердце обливалось кровью, на него глядя.

Иной раз мне кажется, что не в глупости тут дело. Быть может, подобно некоторым, хорошо знакомым мне людям, Меченый был слишком умен, чтобы работать. Не удивлюсь, если при своей необыкновенной сметливости он просто-напросто нас дурачил. Может, он прикинул все «за» и «против» и решил, что лучше уж трепка раз-другой и никакой работы, чем работа с утра до ночи, хоть и без трепки. На это у него ума хватило бы. Говорю вам, иной раз сижу я и смотрю в глаза этому псу — и такой в них светится ум, что мурашки по спине побегут и дрожь пробирает до самых костей. Не могу даже объяснить, что это такое, словами не передашь. Я видел это — вот и все. Да, посмотреть ему в глаза было все равно, как заглянуть в человеческую душу. И

от того, что я там видел, на меня нападал страх и всякие мысли начинали лезть в голову — о переселении душ и прочей ерунде. Говорю вам, я чувствовал нечто очень значительное в глазах у этого пса: они говорили со мной, но во мне самом не хватало чего-то, чтобы их понять. Как бы там ни было (знаю сам, что, верно, кажусь дураком), но, как бы там ни было, эти глаза сбивали меня с толку. Не могу, ну вот никак не могу объяснить, что я в них видел. Не то чтобы глаза у Меченого как-то особенно светились: нет, в них словно появлялось что-то и уходило в глубину, а глаза то сами оставались неподвижными. По правде сказать, я не видел даже, как там что-нибудь появлялось, а только чувствовал, что появляется. Говорящие глаза — вот как это надо назвать. И они действовали на меня… Нет, не то, не могу я этого выразить. Одним словом, у меня возникало какое-то чувство сродства с ним. Нет, нет, дело тут не в сантиментах. Скорее это было чувство равенства. У этого пса глаза никогда не молили, как, например, у оленя. В них был вызов. Да нет, не вызов. Просто спокойное утверждение равенства. И вряд ли он сам это сознавал. А все же факт остается фактом: было что-то в его взгляде, что-то там светилось. Нет, не светилось, а появлялось. Сам

знаю, что несу чепуху, но если бы вы посмотрели ему в глаза, как это случалось делать мне, вы бы меня поняли. Со Стивом происходило то же, что со мной. Короче, я пытался однажды убить Меченого — он никуда не был годен — и провалился с этим делом. Завел я его в чащу, — он шел медленно и неохотно, знал, верно, какая участь его ждет. Я остановился в подходящем местечке, наступил ногой на веревку и вынул свой большой кольт. А Меченый сел и стал на меня смотреть. Говорю вам, он не просил пощады, — он просто смотрел. И я увидел, как нечто непостижимое появилось — да, да, появилось — в глазах у этого пса. Не то чтобы я в самом деле что-нибудь видел, — должно быть, просто у меня было такое ощущение. И скажу вам напрямик: я спасовал. Это было все равно, как убить человека — храброго, сознающего свою участь человека, который спокойно смотрит в дуло твоего револьвера и словно хочет сказать: «Ну, кто из нас струсит?» И потом мне все казалось: вот-вот я уловлю то, что было в его взгляде. Надо бы поскорее спустить курок, а я медлил. Вот, вот оно — прямо передо мной, светится и мелькает в его глазах. А потом было уже поздно. Я струсил. Дрожь пробрала меня с головы до пят, под ложечкой засосало, и тошнота подступила к горлу.

Тогда я сел и стал смотреть на Меченого, и он тоже на меня смотрит. Чувствую, еще немного, и я свихнусь. Хотите знать, что я сделал? Швырнул револьвер и со всех ног помчался в лагерь — такого страху нагнал на меня этот пес. Стив поднял меня на смех. Однако я приметил, что неделю спустя Стив повел Меченого в лес, как видно, с той же целью, и вернулся назад один, а немного погодя приплелся домой и Меченый.

Как бы там ни было, а только Меченый не желал работать. Мы заплатили за него сто десять долларов, последние деньги наскребли, а он не желал работать, даже постромки не хотел натянуть. Стив пробовал уговорить Меченого, когда мы первый раз надели на него упряжь, но пес только задрожал слегка, — тем дело и кончилось. Хоть бы постромки натянул! Нет! Стоит себе как вкопанный и трясется, точно кусок студня. Стив стегнул его бичом. Он взвизгнул — и ни с места. Стив хлестнул еще раз, посильнее. И Меченый завыл — долго, протяжно, словно волк. Тут уж Стив взбесился и всыпал ему еще с полдюжины, а я выскочил из палатки и со всех ног бросился к ним.

Я сказал Стиву, что нельзя так грубо обращаться с животными, и мы немного повздорили — пер-

вый раз за всю жизнь. Стив швырнул бич на снег и ушел злой, как черт. А я поднял бич и принялся за дело. Меченый задрожал, затрясся весь и припал к земле, прежде даже чем я взмахнул бичом. А когда я огрел его разочек, он взвыл, словно грешная душа в аду, и лег на снег. Я погнал собак, и они потащили Меченого за собой, а я продолжал лупить его. Он перекатился на спину и волочился по снегу, дрыгая всеми четырьмя лапами и воя так, словно его пропускали через мясорубку. Стив вернулся и давай хохотать надо мной. Пришлось мне попросить у него прощения за свои слова.

Никакими силами нельзя было заставить Меченого работать, но зато я еще сроду не видал более прожорливой свиньи в собачьей шкуре. И в довершение всего это был ловкий вор. Перехитрить его было невозможно. Не раз оставались мы без копченой грудинки на завтрак, потому что Меченый успевал позавтракать раньше нас. По его вине мы чуть не подохли с голоду в верховьях Стюарта: он ухитрился добраться до наших мясных запасов и чего не смог сожрать сам, прикончила сообща его упряжка. Впрочем, его нельзя было упрекнуть в пристрастии — он крал у всех. Это была беспокойная собака, вечно рыскавшая вокруг да около или спешившая куда-

то с деловым видом. Не было ни одного лагеря на пять миль в окружности, который не подвергся бы его набегам. Хуже всего было то, что к нам поступали счета за его трапезы, которые, по справедливости, приходилось оплачивать, ибо таков был закон страны. И нас это прямо-таки разоряло, особенно в первую зиму на Чилкуте, — мы тогда сразу вылетели в трубу, платя за все свиные окорока и копченую грудинку, которых никто из нас не отведал. Драться этот Меченый тоже умел неплохо. Он умел делать все что угодно, только не работать. Сроду не натянул постромок, но верховодил всей упряжкой. А как он заставлял собак держаться от него на почтительном расстоянии! На это стоило посмотреть — поучительное было зрелище. Он вечно нагонял на них страху, и то одна, то другая собака всегда носила свежие отметины его клыков. Но Меченый был не просто задира. Никакое четвероногое существо не могло внушить ему страха. Я видел, как он один-одинешенок ринулся на чужую упряжку, без малейшего повода с ее стороны, и расшвырял вверх тормашками всех собак. Я, кажется, говорил вам, какой он был обжора? Так вот, как-то раз я поймал его, когда он жрал бич. Да, да, именно так. Начал с самого кончика и, когда я застал его

за этим занятием, добрался уже до рукоятки и продолжал ее обрабатывать.

Но с виду Меченый был хорош. В конце первой недели мы продали его отряду конной полиции за семьдесят пять долларов. У них были опытные погонщики, и мы думали, что к тому времени, когда Меченый покроет шестьсот миль до Доусона, из него выйдет приличная упряжная собака. Я говорю «мы думали», потому что в то время наше знакомство с Меченым только начиналось. Потом уже у нас не хватало наглости что-нибудь «думать», когда дело касалось этого пса. Через неделю мы проснулись утром от такой неистовой собачьей грызни, какой мне ни разу не приходилось слышать. Это Меченый возвратился домой и наводил порядок в упряжке. Смею вас уверить, что мы позавтракали без особого аппетита, но часа через два снова воспрянули духом, продав Меченого правительственному курьеру, отправлявшемуся в Доусон с депешами. На сей раз пес пробыл в отлучке всего трое суток и, как водится, отпраздновал свое возвращение хорошей собачьей свалкой.

Переправив наше снаряжение через перевал, мы всю зиму и весну занимались тем, что помогали переправляться всем желающим, и здорово

на этом заработали. Кроме того, неплохой доход приносил нам Меченый: мы продавали его не раз и не два, а все двадцать.

Он всегда возвращался к нам, и ни один покупатель не потребовал своих денег. Да нам эти деньги тоже были не нужны, — мы сами рады были хорошо заплатить всякому, кто помог бы нам навсегда сбыть Меченого с рук. Нам нужно было отделаться от него, но ведь даром собаку не отдашь — сразу покажется подозрительным. Впрочем, Меченый был такой красавец, что найти на него покупателя не составляло никакого труда.

— Не обломался еще, — говорили мы, и нам платили за него, не торгуясь. Иной раз мы продавали его всего за двадцать пять долларов, а однажды выручили целых сто пятьдесят. Так вот, этот самый покупатель возвратил нам нашего пса лично и даже деньги отказался взять обратно. И уж как он нас поносил — страшно вспомнить! Это совсем недорогая плата, сказал он, за удовольствие выложить напрямик все, что он о нас думает. Да мы и сами понимали, что он прав, и крыть нам было нечем. Но только с того дня, выслушав все, что говорил этот человек, я навсегда потерял уважение к самому себе.

Когда с рек и озер сошел лед, мы погрузили наше снаряжение в лодку на озере Беннет и поплыли в Доусон. У нас была неплохая упряжка, и мы, разумеется, и ее погрузили в лодку. Меченый был тут же, отделаться от него не представлялось никакой возможности. В первый же день он раз десять затевал с собаками драку и сбрасывал в воду всех своих противников по очереди, — в лодке было тесновато, а он не любил, когда его толкают.

— Этой собаке необходим простор, — сказал Стив на следующий день. — Давай-ка высадим его на берег.

Так мы и сделали, причалив ради этого к берегу у Оленьего перевала. Еще две собаки — очень хорошие собаки — последовали за ним, и мы потеряли целых два дня на их розыски. Так мы этих собак больше и не видели. Но у нас словно гора с плеч свалилась: мы наслаждались покоем и, как тот человек, который отказался взять обратно свои сто пятьдесят долларов, считали, что дешево отделались. Впервые за несколько месяцев мы со Стивом снова смеялись, насвистывали, пели. Мы были счастливы, беспечны, как мотыльки. Черные дни остались позади. Кошмар рассеялся. Меченого больше не было.

Три недели спустя, как-то утром мы со Стивом стояли на берегу реки в Доусоне. Подошла небольшая лодка, только что прибывшая с озера Беннет. Я увидел, что Стив вздрогнул, и услышал, как он произнес нечто не вполне цензурное и притом отнюдь не вполголоса. Смотрю на лодку и вижу: на корме, навострив уши, сидит Меченый. Мы со Стивом немедленно дали тягу, как трусы, как побитые дворняжки, как преступники, скрывающиеся от правосудия. Верно, это последнее пришло в голову и полицейскому сержанту, который видел, как мы улепетывали. Он решил, что в лодке прибыли представители закона и что они охотятся за нами. Не теряя ни минуты на выяснения, сержант погнался за преступниками и в салуне припер нас к стенке. Произошел довольно веселый разговор, так как мы наотрез отказались спуститься к лодке и встретиться с Меченым. В конце концов сержант приставил к нам другого полисмена, а сам пошел к лодке. Отделавшись наконец от полиции, мы направились к своей хижине. Подошли — видим: Меченый уже поджидает нас, сидя на крылечке. Ну как он узнал, что мы тут живем? В то лето в Доусоне было тысяч сорок жителей. Как же ухитрился он среди всех других хижин разыскать именно нашу? И откуда,

черт возьми, мог он знать, что мы вообще находимся в Доусоне? Предоставляю вам решить это самим. Не забудьте только то, что я говорил о его уме. Недаром что-то светилось в его глазах, словно этот пес был наделен бессмертной душой.

Теперь уж мы потеряли всякую надежду избавиться от Меченого: в Доусоне было слишком много людей, покупавших его в Чилкуте, и молва о нем быстро распространилась повсюду. Раз шесть мы сажали его на пароход, спускавшийся вниз по Юкону, но он просто-напросто сходил на берег на первом же причале и не спеша трусил обратно. Мы не могли ни продать его, ни убить (оба пробовали, да ничего не вышло). Никому не удавалось убить Меченого, он был точно заколдован. Я видел как-то его на главной улице, в самой гуще собачьей свалки. На него налетело штук пятьдесят разъяренных псов, а когда эти псы рассыпались в разные стороны, Меченый стоял на всех четырех лапах, целый и невредимый, а две собаки из своры валялись на земле без всяких признаков жизни.

Я видел, как Меченый стащил из погреба у майора Динвидди такой тяжеленный кусок оленины, что еле-еле ухитрялся прыгать с ним на шаг впереди краснокожей кухарки, гнавшейся за

похитителем с топором в руке. Когда он взобрался на холм (после того как кухарка отказалась от преследования), сам майор Динвидди вышел из дому и разрядил свой винчестер в расстилавшийся перед ним пейзаж. Он дважды заряжал ружье, расстрелял все патроны — и ни разу не попал в Меченого. А потом прибежал полисмен и арестовал майора за стрельбу из огнестрельного оружия в черте города. Майор Динвидди уплатил положенный штраф, а мы со Стивом уплатили ему за оленину по одному доллару за фунт вместе с костями. Он сам покупал ее по такой цене, — мясо в тот год было дорогое.

Я рассказываю только то, что видел собственными глазами. И сейчас расскажу вам еще кое-что. Я видел, как этот пес провалился в прорубь. Лед был толщиной в три с половиной фута, и Меченого, как соломинку, сразу затянуло течением вниз. Ярдов на триста ниже была другая прорубь, из которой брали воду для больницы. Меченый вылез из этой больничной проруби, облизал с себя воду, обкусал сосульки между пальцами, выбрался на берег и задал трепку большому ньюфаундленду, принадлежавшему приисковому комиссару.

Осенью 1898 года, перед тем как стать рекам, Стив и я поднимались на баграх вверх по Юко-

ну, направляясь к реке Стюарт. Собаки были с нами — все, кроме Меченого. Мы решили: хватит кормить его! С ним было столько хлопот, мы столько потратили на него времени, денег, корма… Особенно корма, а ведь этого ничем не окупишь, хоть мы и немало выручили, продавая этого пса на Чилкуте. И вот мы со Стивом привязали Меченого в хижине, а сами погрузили в лодку наше снаряжение. В эту ночь мы сделали привал в устье Индейской реки и вдоволь повеселились, на радостях, что наконец-то избавились от Меченого. Стив был мастер на всякие штуки, а я сидел, завернувшись в одеяло, и помирал со смеху. Вдруг в лагерь ворвался ураган. У нас волосы встали дыбом, когда мы увидели, как Меченый налетал на собак и разносил всю стаю в клочья. Ну как, скажите на милость, как удалось ему освободиться? Гадайте сами — у меня нет никаких соображений на этот счет. А как он переправился через Клондайк? Вот вам еще одна загадка. И главное, откуда он мог знать, что мы отправились вверх по Юкону? Ведь мы плыли по воде, значит, нас нельзя было найти по следу. Мы со Стивом сделались прямо-таки суеверными из-за этого пса. К тому же он действовал нам на нервы, и, признаться вам по секрету, мы его

немножко побаивались.

Когда мы прибыли к ручью Гендерсона, реки стали, и нам удалось продать Меченого за два мешка муки одной группе, направлявшейся вверх по реке Белой за медью. Так вот, вся эта группа пропала. Сгинула бесследно: никто больше не видел ни людей, ни собак, ни нарт — ничего. Все они словно сквозь землю провалились. Это было одно из самых таинственных происшествий в здешних местах. Стив и я двинулись дальше, вверх по реке Стюарт, а шесть недель спустя Меченый притащился к нам в лагерь. Пес был похож на скелет, он еле волочил ноги, а все же добрался до нас. А теперь пусть мне скажут: кто это сообщил ему, что мы отправились вверх по Стюарту? Мы могли направиться в тысячу других мест. Как он узнал? Ну, что вы на это скажете?

Нет, избавиться от Меченого было невозможно. В Мэйо он затеял драку с одной собакой. Ее хозяин-индеец бросился на него с топором, промахнулся и убил свою собственную собаку. Вот и толкуйте о разной там магии и колдовстве, которыми отводят в сторону пули! На мой взгляд, куда трудней отвести в сторону топор, в особенности если за его рукоятку уцепился здоровенный индеец. И вот я видел, своими глазами видел, как Меченый

это сделал. Тот индеец вовсе не хотел убивать собственную собаку, можете мне поверить.

Я рассказывал вам, как Меченый добрался до наших мясных запасов? Вот тут уж нам прямо конец пришел. Охота кончилась; кроме этого мяса, у нас ничего не было. Лоси ушли за сотни миль, индейцы со всеми припасами — следом за ними. Прямо хоть ложись и помирай. Приближалась весна. Оставалось только ждать, когда вскроются реки. Мы здорово отощали, прежде чем решились съесть собак, и в первую очередь решено было съесть Меченого. Так что же вы думаете, как поступил этот пес? Он улизнул. Ну как он мог знать, что было у нас на уме? Мы просиживали ночи напролет, подстерегая его, но он не вернулся, и мы съели остальных собак, съели всю упряжку.

Теперь послушайте, чем все это кончилось. Видели вы когда-нибудь, как вскрывается большая река и миллионы тонн льда несутся вниз по течению, теснясь, перемалываясь и наползая друг на друга? И вот, когда река Стюарт с ревом и грохотом ломала лед, в самой гуще ледяного месива мы углядели Меченого. Он, должно быть, пытался переправиться через реку где-нибудь выше по течению, и в эту минуту лед тронулся. Мы со Стивом носились по берегу взад и вперед,

вопя и улюлюкая что было мочи и размахивая шапками. Потом останавливались и душили друг друга в объятиях; мы бесновались от радости, видя, что Меченому пришел конец. У него не было ни единого шанса выбраться оттуда! Как только лед сошел, мы сели в челнок и поплыли вниз по течению до Юкона и вниз по Юкону до Доусона, остановившись всего лишь раз — в поселке у ручья Гендерсона, чтобы немного подкормиться. А когда в Доусоне мы причалили к берегу, на пристани, навострив уши и приветливо помахивая хвостом, сидел Меченый и скалил зубы, словно говорил нам: «Добро пожаловать!» Ну как он выбрался? И откуда мог узнать, когда мы приплываем в Доусон? А ведь встретил нас на пристани минута в минуту!

Чем больше я думаю об этом Меченом, тем бесповоротнее прихожу к убеждению, что есть такие вещи на свете, которые не по плечу науке. Никакая наука не в силах объяснить Меченого. Это совсем особое физическое явление, или даже мистическое, или еще что-нибудь в этом роде, и, насколько я понимаю, с прибавлением солидной доли теософии. Клондайк — хорошая страна. Я мог бы и сейчас жить там и стать миллионером, если б не этот пес. Он действовал мне на нервы.

Я терпел эту собаку целых два года, а потом, как видно, силы мои истощились. Летом 1899 года мне пришлось выйти из игры. Я ничего не сказал Стиву. Я просто удрал, оставив ему записку и приложив к ней пакетик «Смерть крысам», с объяснением, что с этим надо делать. Я совсем отощал из-за этого Меченого и стал таким нервным, что вскакивал и оглядывался по сторонам, когда кругом не было ни души. И просто удивительно, как быстро я пришел в себя, стоило мне только избавиться от этого пса. Двадцать фунтов прибавил, прежде чем попал в Сан-Франциско, а когда сел на паром, чтобы добраться до Окленда, то уже настолько оправился, что даже моя жена тщетно старалась найти во мне хоть какую-нибудь перемену.

Как-то раз я получил письмо от Стива, и в этом письме сквозило некоторое раздражение: Стив принял довольно близко к сердцу то, что я оставил его с Меченым. Между прочим, он писал, что использовал «Смерть крысам» согласно инструкции, но ничего путного из этого не вышло.

Прошел год. Я опять вернулся в свою контору и преуспевал как нельзя лучше, даже раздобрел слегка. И вот тут-то и объявился Стив. Он не зашел повидаться со мной. Я прочел его имя в

списке пассажиров, прибывших с пароходом, и был удивлен, почему он не показывается. Но долго удивляться мне не пришлось. Как-то утром я вышел из дому и увидел Меченого: он был привязан к столбу калитки и держал молочника на почтительном расстоянии от себя. В то же утро я узнал, что Стив уехал на Север в Сиэтл. С тех пор я уже не прибавлял в весе. Моя жена заставила меня купить Меченому ошейник с номерком, и не прошло и часа, как он выразил ей свою признательность, придушив ее любимую персидскую кошку. Никакие силы теперь не освободят меня больше от Меченого. Этот пес будет со мной до самой моей смерти, ибо он-то никогда не издохнет. С тех пор как он объявился, у меня испортился аппетит, и жена говорит, что я чахну на глазах. Прошлой ночью Меченый забрался в курятник «мистеру Харвею (Харвей — это мой сосед) и задушил у него девятнадцать самых породистых кур. Мне придется заплатить за них. Другие наши соседи поссорились с моей женой и съехали с квартиры: причиной ссоры был Меченый. Вот почему я разочаровался в Стивене Маккэе. Никак не думал, что он окажется таким подлецом.

Костер

День едва занимался, холодный и серый — очень холодный и серый, — когда человек свернул с тропы, проложенной по замерзшему Юкону, и стал подыматься на высокий берег, где едва заметная тропинка вела на восток сквозь густой ельник. Подъем был крутой, и, взобравшись наверх, он остановился перевести дух, а чтобы скрыть от самого себя эту слабость, деловито посмотрел на часы. Стрелки показывали девять. Солнца не было — ни намека на солнце в безоблачном небе, и поэтому, хотя день выдался ясный, все кругом казалось подернутым неуловимой дымкой, словно прозрачная мгла затемнила дневной свет. Но человека это не тревожило. Он привык к отсутствию солнца. Оно давно уже не показывалось, и человек знал, что пройдет еще несколько дней, прежде чем лучезарный диск на своем пути к югу подымется над горизонтом и мгновенно скроется из глаз.

Человек посмотрел через плечо в ту сторону, откуда пришел. Юкон, раскинувшись на милю в ширину, лежал под трехфутовым слоем льда. А лед был прикрыт такою же толстой пеленой

снега. Девственно белый покров ложился волнистыми складками в местах ледяных заторов. К югу и к северу, насколько хватал глаз, была сплошная белизна; только очень тонкая темная линия, обогнув поросший ельником остров, извиваясь, уходила на юг и, так же извиваясь, уходила на север, где исчезала за другим поросшим ельником островом. Это была тропа, снежная тропа, проложенная по Юкону, которая тянулась на пятьсот миль к югу до Чилкутского перевала, Дайи и Соленой Воды, и на семьдесят миль к северу до Доусона, и еще на тысячу миль дальше до Нулато и до Сент-Майкла на Беринговом море — полторы тысячи миль снежного пути.

Но все это — таинственная, уходящая в бесконечную даль снежная тропа, чистое небо без солнца, трескучий мороз, необычайный и зловещий колорит пейзажа — не пугало человека. Не потому, что он к этому привык. Он был чечако, новичок в этой стране, и проводил здесь первую зиму. Просто он, на свою беду, не обладал воображением. Он зорко видел и быстро схватывал явления жизни, но только явления, а не их внутренний смысл. Пятьдесят градусов ниже нуля означало восемьдесят с лишним градусов мороза. Такой факт говорил ему, что в пути будет

очень холодно и трудно, и больше ничего. Он не задумывался ни над своей уязвимостью, ни над уязвимостью человека вообще, способного жить только в узких температурных границах, и не пускался в догадки о возможном бессмертии или о месте человека во вселенной. Пятьдесят градусов ниже нуля предвещали жестокий холод, от которого нужно оградиться рукавицами, наушниками, мокасинами и толстыми носками. Пятьдесят градусов ниже нуля были для него просто пятьдесят градусов ниже нуля. Мысль о том, что это может означать нечто большее, никогда не приходила ему в голову.

Повернувшись лицом к тропинке, он задумчиво сплюнул длинным плевком. Раздался резкий внезапный треск, удививший его. Он еще раз сплюнул. И опять, еще в воздухе, раньше чем упасть на снег, слюна затрещала. Человек знал, что при пятидесяти градусах ниже нуля плевок трещит на снегу, но сейчас он затрещал в воздухе. Значит, мороз стал еще сильнее; насколько сильнее — определить трудно. Но это неважно. Цель его пути — знакомый участок на левом рукаве ручья Гендерсона, где его поджидают товарищи. Они пришли туда с берегов индейской реки, а он пошел в обход, чтобы посмотреть, можно ли бу-

дет весной переправить сплавной лес с островов на Юконе. Он доберется до лагеря к шести часам. Правда, к этому времени уже стемнеет, но там его будут ждать товарищи, ярко пылающий костер и горячий ужин. А завтрак здесь — он положил руку на сверток, оттопыривавший борт меховой куртки; завтрак был завернут в носовой платок и засунут под рубашку. Иначе лепешки замерзнут. Он улыбнулся про себя, с удовольствием думая о вкусном завтраке: лепешки были разрезаны вдоль и переложены толстыми ломтями поджаренного сала.

Он вошел в густой еловый лес. Тропинка была еле видна. Должно быть, здесь давно никто не проезжал — снегу намело на целый фут, и он радовался, что не взял нарт, а идет налегке и что вообще ничего при нем нет, кроме завтрака, завязанного в носовой платок. Очень скоро он почувствовал, что у него немеют нос и скулы. Мороз нешуточный, что и говорить, с удивлением думал он, растирая лицо рукавицей. Густые усы и борода предохраняли щеки и подбородок, но не защищали широкие скулы и большой нос, вызывающе выставленный навстречу морозу.

За человеком по пятам бежала ездовая собака местной породы, рослая, с серой шерстью, ни

внешним видом, ни повадками не отличавшаяся от своего брата, дикого волка. Лютый мороз угнетал животное. Собака знала, что в такую стужу не годится быть в пути. Ее инстинкт вернее подсказывал ей истину, чем человеку его разум. Было не только больше пятидесяти градусов, было больше шестидесяти, больше семидесяти. Было ровно семьдесят пять градусов ниже нуля. Так как точка замерзания по Фаренгейту находится на тридцать втором градусе выше нуля, то было полных сто семь градусов мороза. Собака ничего не знала о термометрах. Вероятно, в ее мозгу отсутствовало ясное представление о сильном холоде — представление, которым обладает человеческий мозг. Но собаку предостерегал инстинкт. Ее охватывало смутное, но острое чувство страха; она понуро шла за человеком, ловя каждое его движение, словно ожидая, что он вернется в лагерь или укроется где-нибудь и разведет костер. Собака знала, что такое огонь, она жаждала огня, а если его нет — зарыться в снег и, свернувшись клубочком, сберечь свое тепло.

Пар от дыхания кристаллической пылью оседал на шерсти собаки; вся морда, вплоть до ресниц, была густо покрыта инеем. Рыжая борода и усы человека тоже замерзли, но их покрывал

не иней, а плотная ледяная корка, и с каждым выдохом она утолщалась. К тому же он жевал табак, и намордник изо льда так крепко стягивал ему губы, что он не мог сплюнуть, и табачный сок примерзал к нижней губе. Ледяная борода, плотная и желтая, как янтарь, становилась все длинней; если он упадет, она, точно стеклянная, рассыплется мелкими осколками. Но этот привесок на подбородке не смущал его. Такую дань в этом краю платили все жующие табак, а ему уже дважды пришлось делать переходы в сильный мороз. Правда, не в такой сильный, как сегодня, однако спиртовой термометр на Шестидесятой Миле в первый раз показывал пятьдесят, а во второй — пятьдесят пять градусов ниже нуля.

Несколько миль он шел лесом по ровной местности, потом пересек поле и спустился к узкой замерзшей реке. Это и был ручей Гендерсона; отсюда до развилины оставалось десять миль. Он посмотрел на часы. Было ровно десять. Он делает четыре мили в час, значит, у развилины будет в половине первого. Он решил отпраздновать там это событие — сделать привал и позавтракать.

Собака, уныло опустив хвост, покорно поплелась за человеком, когда тот зашагал по замерзшему руслу. Тропа была ясно видна, но

следы последних проехавших по ней нарт дюймов на десять занесло снегом. Видимо, целый месяц никто не проходил здесь ни вверх, ни вниз по течению. Человек уверенно шел вперед. Он не имел привычки предаваться размышлениям, и сейчас ему решительно не о чем было думать, кроме как о том, что, добравшись до развилины, он позавтракает, а в шесть часов будет в лагере среди товарищей. Разговаривать было не с кем, и все равно он не мог бы разжать губы, скованные ледяным намордником. Поэтому он продолжал молча жевать табак, и его янтарная борода становилась все длиннее.

Время от времени в его мозгу всплывала мысль, что мороз очень сильный, такой сильный, какого ему еще не приходилось переносить. На ходу он то и дело растирал рукавицей щеки и нос. Он делал это машинально, то одной рукой, то другой. Но стоило ему только опустить руку, и в ту же секунду щеки немели, а еще через одну секунду немел кончик носа. Щеки будут отморожены, он знал это и жалел, что не запасся повязкой для носа, вроде той, которую надевал Бэд, собираясь в дорогу. Такая повязка и щеки защищает от мороза. Но это, в сущности, не так важно. Ну, отморозит щеки, что ж тут такого? Поболят и перестанут,

вот и все; от этого еще никто не умирал.

Хотя человек шел, ни о чем не думая, он зорко следил за дорогой, отмечая каждое отклонение русла, все изгибы, повороты, все заторы сплавного леса, и тщательно выбирал место, куда поставить ногу. Однажды, огибая поворот, он шарахнулся в сторону, как испугавшаяся лошадь, сделал крюк и вернулся обратно на тропу. Он знал, что ручей Гендерсона замерз до самого дна — ни один ручей не устоит перед арктической зимой, но он знал и то, что есть ключи, которые бьют из горных склонов и протекают под снегом, по ледяной поверхности ручья. Самый лютый мороз бессилен перед этими ключами, и он знал, какая опасность таится в них. Это были ловушки. Под снегом скоплялись озерца глубиной в три дюйма, а то и в три фута. Иногда их покрывала ледяная корка в полдюйма толщиной, а корку, в свою очередь, покрывал снег. Иногда ледяная корка и вода перемежались, так что если путник проваливался, он проваливался постепенно и, погружаясь все глубже и глубже, случалось, промокал до пояса.

Вот почему человек так испуганно шарахнулся. Он почувствовал, что наст подается под ногами, и услышал треск покрытой снегом ледяной кор-

ки. А промочить ноги в такую стужу не только неприятно, но и опасно. В лучшем случае это вызовет задержку, потому что придется разложить костер, чтобы разуться и высушить носки и мокасины. Оглядев русло реки и берега ее, он решил, что ключ бежит справа. Он постоял немного в раздумье, потирая нос и щеки, потом взял влево, осторожно ступая, перед каждым шагом ногой проверяя крепость наста.

Миновав опасное место, он засунул в рот свежую порцию табака и зашагал дальше со скоростью четырех миль в час.

В ближайшие два часа он несколько раз натыкался на такие ловушки. Обычно его предостерегал внешний вид снежного покрова: снег над озерцами был ноздреватый и словно засахаренный. И все-таки один раз он чуть было не провалился, а в другой раз, заподозрив опасность, заставил собаку идти вперед. Собака не хотела идти. Она пятилась назад до тех пор, пока человек не подогнал ее пинком. И тогда она быстро побежала по белому сплошному снегу; вдруг ее передние лапы глубоко ушли в снег; она забарахталась и вылезла на безопасное место. Мокрые лапы мгновенно покрылись льдом. Собака стала торопливо лизать их, стараясь снять ледяную кор-

ку, потом легла в снег и принялась выкусывать лед между когтями. Она делала это, повинуясь инстинкту. Если оставить лед между когтями, то лапы будут болеть. Она этого не знала, она просто подчинялась таинственному велению, идущему из сокровенных глубин ее существа. Но человек знал, ибо составил себе суждение об этом на основании опыта, и, скинув рукавицу с правой руки, он помог собаке выломать кусочки льда. Пальцы его оставались неприкрытыми не больше минуты, и он поразился, как быстро они закоченели. Мороз нешуточный, что и говорить. Он поспешил натянуть рукавицу и начал яростно колотить рукой по груди.

К двенадцати часам стало совсем светло. Но солнце, совершая свой зимний путь, слишком далеко ушло к югу и не показывалось над горизонтом. Горб земного шара заслонял солнце от человека, который шел, не отбрасывая тени, по руслу ручья Гендерсона под полдневным безоблачным небом. В половине первого, минута в минуту, он достиг развилины ручья. Он порадовался тому, что так хорошо идет. Если не убавлять хода, то к шести часам наверняка можно добраться до товарищей. Он расстегнул куртку, полез за пазуху и достал свой завтрак. Это заняло не

больше пятнадцати секунд, и все же его пальцы онемели. Он несколько раз сильно ударил голой рукой по ноге. Потом сел на покрытое снегом бревно и приготовился завтракать. Но боль в пальцах так скоро прошла, что он испугался. Не успев поднести лепешку ко рту, он опять заколотил рукой по колену, потом надел рукавицу и оголил другую руку. Он взял ею лепешку, поднес ко рту, хотел откусить, но не мог — мешал ледяной намордник. Как же это он забыл, что нужно разложить костер и оттаять у огня. Он засмеялся над собственной глупостью и тут же почувствовал, что пальцы левой руки коченеют. И еще он заметил, что пальцы ног, которые больно заныли, когда он сел, уже почти не болят. Он не знал, отчего проходит боль, оттого ли, что ноги согрелись, или оттого, что они онемели. Он пошевелил пальцами в мокасинах и решил, что это онемение.

Ему стало не по себе, и, торопливо натянув рукавицу, он поднялся с бревна. Потом зашагал взад и вперед, сильно топая, чтобы отогреть пальцы ног. Мороз нешуточный, что и говорить, думал он. Тот старик с Серного ручья не соврал, когда рассказывал, какие здесь бывают холода. А он еще посмеялся над ним! Никогда не нужно

быть слишком уверенным в себе. Что правда, то правда — мороз лютый. Он топтался на месте и молотил руками, пока возвращающееся тепло не рассеяло его тревоги. Потом вынул спички и начал раскладывать костер. Топливо было под рукой — в подлесок во время весеннего разлива нанесло много валежника. Он действовал осторожно, бережно поддерживая слабый огонек, пока костер не запылал ярким пламенем. Ледяная корка на его лице растаяла, и, греясь у костра, он позавтракал. Он перехитрил мороз хотя бы на время. Собака, радуясь огню, растянулась у костра как раз на таком расстоянии, чтобы пламя грело ее, но не обжигало.

Кончив есть, человек набил трубку и спокойно, не спеша, выкурил ее. Потом натянул рукавицы, поплотнее завязал тесемки наушников и пошел по левому руслу ручья. Собака была недовольна — она не хотела уходить от костра. Этот человек явно не знал, что такое мороз. Может быть, все поколения его предков не знали, что такое мороз в сто семь градусов. Но собака знала, все ее предки знали, и она унаследовала от них это знание. И она знала, что не годится быть в пути в такую лютую стужу. В эту пору надо лежать, свернувшись клубочком, в норке под снегом,

дожидаясь, пока безбрежное пространство, откуда идет мороз, не затянется тучами. Но между человеком и собакой не было дружбы. Она была рабом, трудом которого он пользовался, и не видела от него другой ласки, кроме ударов бича и хриплых угрожающих звуков, предшествующих ударам бича. Поэтому собака не делала попыток поделиться с человеком своими опасениями. Она не заботилась о его благополучии; ради своего блага не хотела она уходить от костра. Но человек свистнул и заговорил с нею голосом, напомнившим ей о биче, и собака, повернувшись, пошла за ним по пятам. Человек сунул в рот свежую жвачку и начал отращивать новую янтарную бороду. От его влажного дыхания усы, брови и ресницы мгновенно заиндевели. На левом рукаве ручья Гендерсона, по-видимому, было меньше горных ключей, и с полчаса путник не видел угрожающих признаков.

А потом случилась беда. На ровном сплошном снегу, где ничто не предвещало опасности, где снежный покров, казалось, лежал толстым, плотным слоем, человек провалился. Здесь было не очень глубоко. Он промочил ноги до середины икр, пока выбирался на твердый наст.

Эта неудача разозлила его, и он выругался

вслух. Он надеялся в шесть часов уже быть в лагере среди товарищей, а теперь запоздает на целый час, потому что придется разложить костер и высушить обувь. Иначе нельзя при такой низкой температуре — это, по крайней мере, он знал твердо. Он повернул к высокому берегу и вскарабкался на него. В молодом ельнике, среди кустов, нашлось хорошее топливо — не только прутья и ветки, но и много сухих сучьев и высохшей прошлогодней травы. Он бросил на снег несколько палок потолще, чтобы дать костру прочное основание и чтобы слабое, еще не разгоревшееся пламя не погасло в растаявшем под ним снегу. Потом достал из кармана завиток березовой коры и поднес к нему спичку. Кора вспыхнула, как бумага. Положив ее на толстые сучья, он стал подкладывать в огонь сухие травинки и самые тонкие сухие прутики.

Он работал медленно и осторожно, ясно понимая грозившую ему опасность. Мало-помалу, по мере того как пламя разгоралось, он стал подкладывать сучки потолще. Он сидел в снегу на корточках, выдергивал хворостинки из кустарника и клал их в костер. Он знал, что должен с первого раза развести костер. Когда термометр показывает семьдесят пять ниже нуля, человек

должен без задержки разжечь костер, если у него мокрые ноги. Если ноги у него сухие, он может пробежать с полмили и восстановить кровообращение. Но никакой пробежкой не восстановишь кровообращение в мокрых, коченеющих ногах при семидесяти пяти градусах ниже нуля. Как быстро ни беги, мокрые ноги будут только еще пуще мерзнуть.

Все это человек знал. Тот старик с Серного ручья говорил ему об этом осенью, и теперь он оценил его совет. Он уже не чувствовал своих ног. Чтобы разложить костер, ему пришлось снять рукавицы, и пальцы тотчас же онемели. Быстрая ходьба со скоростью четырех миль в час заставляла его сердце накачивать кровью все сосуды на поверхности тела. Но как только он остановился, действие насоса ослабело. Полярный холод обрушился на незащищенную точку земного шара, и человек, находясь в этой незащищенной точке, принял на себя всю силу ударов. Кровь в его жилах отступала перед ними. Кровь была живая, так же как его собака, и так же, как собаку, ее тянуло спрятаться, укрыться от страшного холода. Пока он делал четыре мили в час, кровь волей-неволей приливала к конечностям, но теперь она отхлынула, ушла в тайники его тела. Пальцы рук и

ног первые почувствовали отлив крови. Мокрые ноги коченели все сильнее, пальцы оголенных рук все сильнее мерзли, хотя он еще мог двигать ими. Нос и щеки уже мертвели, и по всему телу, не согреваемому кровью, ползли мурашки.

Но он спасен. Пальцы ног, щеки и нос будут только обморожены, ибо костер разгорается все ярче. Теперь он подбрасывал ветки толщиной с палец. Еще минута, и уже можно будет класть сучья толщиной с запястье, и тогда он скинет мокрую обувь и, пока она будет сохнуть, отогреет ноги у костра, после того, конечно, как разотрет их снегом. Костер удался на славу. Он спасен. Он вспомнил советы старика на Серном ручье и улыбнулся. Как упрямо он уверял, что никто не должен один пускаться в путь по Клондайку, если мороз сильнее пятидесяти градусов. И что же? Лед под ним проломился, он совсем один и все-таки спасся. Эти бывалые старики, подумал он, частенько трусливы, как бабы. Нужно только не терять головы, и все будет в порядке. Настоящий мужчина всегда справится один. Но странно, что щеки и нос так быстро мертвеют. И он никак не думал, что руки подведут его. Он едва шевелил пальцами, с большим трудом удерживая в них сучья, и ему казалось, что руки где-то очень да-

леко от него и не принадлежат его телу. Когда он дотрагивался до сучка, ему приходилось смотреть на руку, чтобы убедиться, что он действительно подобрал его. Связь между ним и кончиками его пальцев была прервана.

Но все это неважно. Перед ним костер, он шипит и потрескивает, и каждый пляшущий язычок сулит жизнь. Он принялся развязывать мокасины. Они покрылись ледяной коркой, толстые шерстяные носки, словно железные ножницы, сжимали икры, а завязки мокасин походили на клубок побывавших в огне, исковерканных стальных прутьев. С минуту он дергал их онемевшими пальцами, потом, поняв, что это бессмысленно, вытащил нож.

Но он не успел перерезать завязки — беда случилась раньше. Это была его вина, вернее, его оплошность. Напрасно он разложил костер под елью. Следовало разложить его на открытом месте. Правда, так было удобнее вытаскивать хворост из кустарника и прямо класть в огонь. Но на ветках ели, под которой он сидел, скопилось много снегу. Ветра не было очень давно, и на вершине дерева лежал снег. Каждый раз, когда человек выдергивал хворост из кустов, ель слегка сотрясалась — едва заметно для него, но

достаточно сильно, чтобы вызвать катастрофу. Одна из верхних ветвей сбросила свой груз снега. Он упал на ветви пониже, увлекая за собой их груз. Так продолжалось до тех пор, пока снег не посыпался со всего дерева. Этот снежный обвал внезапно обрушился на человека и на костер, и костер погас! Там, где только что горел огонь, лежал свежий слой рыхлого снега.

Человеку стало страшно. Словно он услышал свой смертный приговор. С минуту он сидел не шевелясь, пристально глядя на засыпанный снегом костер. Потом вдруг сделался очень спокоен. Быть может, старик с Серного ручья все-таки был прав. Будь у него спутник, ему не грозила бы опасность — спутник развел бы костер. Что ж, значит, надо самому сызнова приниматься за дело, и на этот раз не должно быть ошибок. Даже если ему удастся развести огонь, он, вероятно, лишится нескольких пальцев на ногах. Ноги, должно быть, сильно обморожены, а новый костер разгорится не скоро.

Таковы были его мысли, но он не предавался им в бездействии. Он усердно работал, пока они мелькали у него в голове. Он сделал новое основание для костра, теперь уже на открытом месте, где ни одна предательская ель не могла

загасить его. Потом набрал прошлогодней травы и сушняку из подлеска. Пальцы его не двигались, поэтому он не выдергивал отдельные веточки, а собирал их горстями. Попадалось много гнилушек и комков зеленого мха, которые для костра не годились, но другого выхода у него не было. Он работал методически, даже набрал охапку толстых сучьев, чтобы подкладывать в огонь, когда костер разгорится. А собака сидела на снегу и неотступно следила за человеком тоскливым взглядом, ибо она ждала, что он даст ей огонь, а огня все не было.

Приготовив топливо, человек полез в карман за вторым завитком березовой коры. Он знал, что кора в кармане, и, хотя не мог осязать ее пальцами, все же слышал, как она шуршит под рукой. Сколько он ни бился, он не мог схватить ее. И все время его мучила мысль, что ноги у него коченеют сильней и сильней. От этой мысли становилось нестерпимо страшно, но он отгонял ее и преодолевал страх. Он зубами натянул рукавицы и, сначала сидя, а потом стоя, принялся изо всех сил размахивать руками, колотить ими по бедрам, а собака сидела на снегу, обвив пушистым волчьим хвостом передние лапы, насторожив острые волчьи уши, и пристально глядела на

человека. И человек, размахивая руками и колотя ладонями по бедрам, чувствовал, как в нем поднимается жгучая зависть к животному, которому было тепло и надежно в его природном одеянии.

Немного погодя он ощутил первые отдаленные признаки чувствительности в кончиках пальцев. Слабое покалывание становилось все сильнее, пока не превратилось в невыносимую боль, но он обрадовался ей. Он скинул рукавицу с правой руки и вытащил кору из кармана. Голые пальцы тотчас же снова онемели. Потом он достал связку серных спичек. Но леденящее дыхание мороза уже сковало его пальцы. Пока он тщетно старался отделить одну спичку, вся связка упала в снег. Он хотел поднять ее, но не мог. Омертвевшие пальцы не могли ни нащупать спички, ни схватить их. Он старался не спешить. Он заставил себя не думать об отмороженных ногах, скулах и носе и сосредоточил все внимание на спичках. Он следил за движением своей руки, пользуясь зрением вместо осязания, и, увидев, что пальцы обхватили связку, сжал их, вернее, захотел сжать, но сообщение было прервано, и пальцы не повиновались его воле. Он натянул рукавицу и яростно начал бить рукой по бедру. Потом обеими руками сгреб спички вместе со снегом себе

на колени. Но этого было мало.

После долгой возни ему удалось зажать спички между ладонями и поднести их ко рту. Лед затрещал, разламываясь, когда он нечеловеческим усилием разжал челюсти. Он втянул нижнюю губу, приподнял верхнюю и зубами стал отделять спичку. Наконец это удалось, и спичка упала ему на колени. Но и этого было мало. Он не мог подобрать ее. Потом выход нашелся. Он схватил спичку зубами и стал тереть о штанину. Раз двадцать провел он спичкой по бедру, раньше чем она зажглась. Когда пламя вспыхнуло, он, все еще держа спичку в зубах, поднес ее к березовой коре. Но едкий дым горящей серы попал ему в ноздри и в легкие, и он судорожно закашлялся. Спичка упала в снег и погасла.

Старик был прав, подумал он, подавляя отчаяние: если температура ниже пятидесяти градусов, нужно идти вдвоем. Он снова заколотил руками, но они не оживали. Тогда он зубами стащил рукавицы с обеих рук. Подхватил ладонями всю связку спичек. Мышцы предплечья не замерзли, и, напрягая их, он крепко сжал спички в ладонях. Потом провел всей связкой по штанине. Вспыхнуло яркое пламя — семьдесят серных спичек запылали как одна! И ни малейшего ветра, мож-

но было не опасаться, что ветер задует огонь. Он отвернул голову, чтобы не вдохнуть удушливый дым, и поднес пылающую связку к березовой коре. Вдруг он почувствовал, что пальцы правой руки оживают. Запахло горелым мясом. Где-то глубоко под кожей он ощущал жжение. Потом жжение превратилось в острую боль. Но он терпел, стиснув зубы, неловко прижимая горящие спички к коре; его собственные руки заслоняли пламя, и кора не вспыхивала.

Наконец, когда боль стала нестерпима, он разжал руки. Пылающая связка с шипением упала в снег, но кора уже горела. Он начал подкладывать в огонь сухие травинки и тончайшие прутики. Выбирать топливо он не мог, потому что ему приходилось поднимать его ладонями. Замечая на хворосте налипший мох или труху, он отгрызал их зубами. Он бережно и неловко выхаживал огонь. Огонь — это жизнь, и его нельзя упускать. Отлив крови от поверхности тела вызвал озноб, и движения человека становились все более неловкими. И вот большой ком зеленого мха придавил едва разгорающийся огонек. Он хотел сбросить его, но руки дрожали от озноба, и он, ковырнув слишком глубоко, разрушил слабый зародыш костра: тлеющие травинки и прутики рассыпались

во все стороны. Он хотел снова сложить их, но, как ни старался, не мог преодолеть дрожи, и крохотный костер разваливался. Хворостинки одна за другой, пыхнув дымком, погасали. Податель огня не выполнил своей задачи. Когда человек с равнодушием отчаяния посмотрел вокруг, взгляд его случайно упал на собаку, сидевшую в снегу напротив него, по другую сторону остатков костра; сгорбившись, она беспокойно ерзала, поднимая то одну, то другую переднюю лапу, и выжидательно, с тоской смотрела на него.

Вид собаки навел его на безумную мысль. Он вспомнил рассказ о человеке, который был застигнут пургой и спасся тем, что убил вола и забрался внутрь туши. Он убьет собаку и погрузит руки в ее теплое тело, чтобы они согрелись и ожили. Тогда он разложит новый костер. Он заговорил с собакой, подзывая ее; но его голос звучал боязливо, и это испугало животное, потому что человек никогда не говорил с ней таким голосом. Что-то было неладно, врожденная подозрительность помогла ей почуять опасность, — она не знала, какая это опасность, но где-то в глубине ее сознания зашевелился смутный страх перед человеком. Она опустила уши и еще беспокойнее заерзала, переступая передними лапами,

но не трогалась с места. Тогда человек стал на четвереньки и пополз к собаке. Это еще больше испугало ее, и она опасливо подалась в сторону.

Человек сел на снегу, стараясь вернуть себе спокойствие. Потом зубами стянул рукавицы и встал. Прежде всего он посмотрел вниз, чтобы убедиться, что он действительно стоит, потому что его онемевшие ноги не чувствовали земли. Стоило ему стать на ноги, как подозрения собаки рассеялись; а когда он повелительно заговорил с ней голосом, напомнившим ей о биче, она выполнила привычный долг и подошла к нему. Как только она очутилась в двух шагах от него, самообладание покинуло человека. Он бросился на собаку — и искренне удивился, когда оказалось, что руки его не могут хватать, пальцы не сгибаются и не держат. Он забыл, что они отморожены и все больше и больше мертвеют. Но в ту же секунду, прежде чем собака успела убежать, он стиснул ее в объятиях. Потом сел на снег, прижимая ее к себе, а животное вырывалось, рыча и взвизгивая.

Но это было все, что он мог сделать: сидеть в снегу и сжимать собаку в объятиях. Он понимал, что ему не убить ее. Это было невозможно. Своими бессильными руками он не мог ни ударить

ее ножом, ни задушить. Он выпустил ее, и собака кинулась прочь, поджав хвост и все еще рыча. В двадцати шагах она остановилась и с любопытством, подняв уши, оглянулась на него. Он искал глазами свои руки и, только скользнув взглядом от локтя к запястью, нашел их. Странно, что приходится полагаться на зрение, чтобы найти свои руки. Он начал неистово размахивать ими, колотя себя ладонями по бедрам. Через пять минут кровь быстрее побежала по жилам, и озноб прекратился. Но кисти рук по-прежнему не действовали; у него было такое ощущение, словно они гирями висят на запястьях, — откуда взялось это ощущение, он не мог бы сказать.

Гнетущая мысль о близости смерти смутно и вяло шевельнулась в его мозгу. Но тотчас же этот неопределенный страх превратился в мучительное сознание опасности: речь шла уже не о том, отморозит ли он пальцы на руках и ногах, и даже не о том, лишится ли он рук и ног, — теперь это был вопрос жизни и смерти, и надежды на спасение почти не было. Его охватил панический ужас. Он повернулся и побежал по занесенной снегом тропе. Собака последовала за ним. Он бежал без мысли, без цели, во власти такого страха, какого ему еще никогда не приходилось испытывать.

Мало-помалу, спотыкаясь и увязая в снегу, он снова начал различать окружающее — берега реки, заторы сплавного леса, голые осины, небо над головой. От бега ему стало легче. Он уже не дрожал от холода. Может быть, если и дальше бежать, ноги отойдут; может быть, он даже сумеет добежать до лагеря, где его ждут товарищи. Конечно, несколько пальцев на руках и ногах пропали, и лицо обморожено, но товарищи позаботятся о нем и спасут, что еще можно спасти. И в то же время рассудок говорил ему, что никогда он не доберется до товарищей, что до лагеря слишком далеко, что ноги его слишком закоченели и что скоро он будет мертв и недвижим. Но он не позволял этой мысли всплыть на поверхность и отказывался верить ей. Иногда она вырывалась наружу и требовала внимания, но он отталкивал ее и изо всех сил старался думать о другом.

Его удивляло, что он вообще может бежать, потому что ноги совсем омертвели и он не чувствовал, как они несут его тяжесть и как касаются земли. Тело словно скользило по поверхности, не задевая ее. Он как-то видел на картинке крылатого Меркурия, и ему пришло в голову, что, должно быть, у Меркурия было такое же ощущение, когда он скользил над землей.

В его плане добежать до лагеря имелся существенный изъян; у него не было сил выполнить его. Он то и дело оступался, потом ноги у него стали заплетаться, и наконец он свалился в снег. Встать он уже не мог. Надо посидеть и отдохнуть, решил он, а потом просто пойти шагом. Посидев и отдышавшись, он почувствовал, что хорошо согрелся. Его не трясло, и по всему телу даже разливалась приятная теплота. Но, дотронувшись до щек и носа, он убедился, что они все еще бесчувственны. Даже от бега они не отошли. Потом его поразила мысль, что отмороженная площадь тела, вероятно, становится все больше. Он хотел отогнать эту мысль, забыть ее, старался думать о другом; он понимал, что это внушает ему ужас, и боялся поддаться ужасу. Но мысль не уходила, она сверлила мозг, пока он не увидел себя полностью закоченевшим. Это было свыше его сил, и он снова как безумный бросился бежать по снежной тропе. Потом перешел на шаг, но мысль о том, что он замерзнет насмерть, подгоняла его.

А собака неотступно бежала за ним по пятам. Когда он упал во второй раз, она села против него, обвив хвостом передние лапы, зорко и настороженно приглядываясь к нему. Увидев собаку, которой было тепло и надежно в ее шкуре, он

пришел в ярость и до тех пор ругал и проклинал ее, пока она не повесила уши, словно прося прощения. На этот раз озноб возобновился быстрее, чем после первого падения. Мороз брал верх над ним, вползал в его тело со всех сторон. Он принудил себя встать, но, пробежав не больше ста футов, зашатался и со всего роста грохнулся оземь. Это был его последний приступ страха. Отдышавшись и придя в себя, он сел на снег и стал готовиться к тому, чтобы встретить смерть с достоинством. Впрочем, он думал об этом не в таких выражениях. Он говорил себе, что нет ничего глупее, чем бегать, как курица с отрезанной головой, — почему-то именно это сравнение пришло ему на ум. Ну что же, раз все равно суждено замерзнуть, то лучше уж держать себя пристойно. Вместе с внезапно обретенным покоем пришли первые предвестники сонливости. Неплохо, подумал он, заснуть насмерть. Точно под наркозом. Замерзнуть вовсе не так страшно, как думают. Бывает смерть куда хуже.

Он представил себе, как товарищи завтра найдут его, и вдруг увидел самого себя: он идет вместе с ними по тропе, разыскивая свое тело. И вместе с ними он огибает поворот дороги и видит себя лежащим на снегу. Он отделился от самого

себя и, стоя среди товарищей, смотрел на свое распростертое тело. А мороз нешуточный, что и говорить. Вот вернусь в Штаты и расскажу дома, что такое настоящий холод, подумал он. Потом ему пригрезился старик с Серного ручья. Он ясно видел его, тот сидел, греясь у огня, и спокойно покуривал трубку.

— Ты был прав, старый хрыч, безусловно прав, — пробормотал он, обращаясь к старику.

Потом он погрузился в такой сладостный и успокоительный сон, какого не знавал за всю свою жизнь. Собака сидела против него и ждала. Короткий день угасал в долгих, медлительных сумерках. Костра не предвиделось, да и опыт подсказывал собаке, что не бывает так, чтобы человек сидел на снегу и не разводил огня. Когда сумерки сгустились, тоска по огню с такой силой овладела собакой, что она, горбясь и беспокойно переступая лапами, тихонько заскулила и тут же прижала уши в ожидании сердитого окрика. Но человек молчал. Тогда собака заскулила громче. Потом, подождав еще немного, подползла к человеку и почуяла запах смерти. Собака попятилась от него, шерсть у нее встала дыбом. Она еще помедлила, протяжно воя под яркими звездами, которые кувыркались и приплясывали в мороз-

ном небе. Потом повернулась и быстро побежала по снежной тропе к знакомому лагерю, где были другие податели корма и огня.

Золотая Зорька

Лон Мак-Фейн был несколько раздражен из-за того, что потерял свой кисет, иначе он рассказал бы мне хоть что-нибудь о хижине у Нежданного озера до того, как мы добрались туда. Весь день напролет, вновь и вновь сменяя друг друга, шли мы впереди нарт, утаптывая в снегу тропинку для собак. Это тяжелая работа — утаптывать снег, и она не располагает к болтливости, но все-таки в полдень, когда мы сделали остановку, чтобы сварить кофе, Лон Мак-Фейн мог бы перевести дух и кое-что рассказать мне. Однако он этого не сделал. Нежданное озеро? Для меня это оказалась Нежданная хижина. Я ничего до тех пор о ней не слышал. Признаться, я немного устал. Я все ждал, когда Лон устроит привал на часок, но я был слишком горд, чтобы самому предложить передохнуть или спросить, что он намеревается делать, хотя, между прочим, он служил у меня и я платил ему немалые деньги за то, чтобы он погонял моих собак и выполнял мои приказания. Пожалуй, я и сам был немного раздражен. Он ничего не говорил, а я решил ничего не спрашивать у него, даже если придется идти всю ночь.

Мы наткнулись на хижину совершенно неожиданно для меня. За неделю нашего путешествия мы не встретили ни одной живой души, и что касается меня, то я полагал, что у нас весьма мало шансов встретить кого-нибудь и в предстоящую неделю. И вдруг прямо перед носом оказалась хижина, в окошке пробивается слабый свет, а из трубы вьется дымок.

— Почему же вы мне не сказали?.. — начал я, но Лон прервал меня, проворчав:

— Нежданное озеро… Оно в полумиле отсюда, за небольшой речкой. Это всего-навсего пруд.

— Но эта хижина… кто в ней живет?

— Женщина, — услышал я в ответ.

В ту же минуту Лон постучал в дверь, и женский голос пригласил его войти.

— Вы не встречали за последнее время Дэйва? — спросила она.

— Нет, — небрежно отозвался Лон, — я был в других краях, за Серклом. А Дэйв ведь ушел вверх, к Доусону?

Женщина кивнула, и Лон принялся распрягать собак, а я развязал нарты и перенес спальные мешки в хижину. Хижина представляла собой одну большую комнату, и женщина была здесь одна. Она показала на печку, где кипела вода, и

Лон занялся приготовлением ужина, а я открыл мешок с сушеной рыбой и стал кормить собак. Я ожидал, что Лон представит меня хозяйке, и был раздосадован, что он этого не делает, — ведь совершенно очевидно, что они были старыми друзьями.

— Вы ведь Лон Мак-Фейн? — услышал я ее вопрос. — Я припоминаю вас. Последний раз я, кажется, видела вас на пароходе. Я помню…

Она внезапно запнулась, словно увидела нечто ужаснувшее ее. Я понял это по тому страху, который мелькнул у нее в глазах. К моему удивлению, слова и поведение женщины сильно взволновали Лона. На лице у него появилось отчаяние, но голос прозвучал очень сердечно и мягко.

— Последний раз мы с вами виделись в Доусоне, когда отмечался не то юбилей бракосочетания королевы, не то день ее рождения. Разве вы не помните; на реке устраивались гонки на каноэ и были еще гонки на собаках с препятствиями по главной улице?

Ужас исчез из ее глаз, и вся она словно обмякла.

— Ах да, теперь я припоминаю, — сказала она. — И вы выиграли один заплыв.

— Как дела у Дэйва за последнее время? Навер-

ное, напал на новую жилу?

— спросил Лон без всякой связи.

Женщина улыбнулась и кивнула, потом, заметив, что я развязал спальный мешок, показала в дальний конец комнаты, где я мог разложить его. Ее собственная койка, я заметил, находилась к другом углу.

— Когда я услышала лай собак, я подумала, что это Дэйв приехал, — сказала она.

Больше она не сказала ни слова и только смотрела, как Лон готовит ужин, и словно прислушивалась, не раздастся ли на тропе лай. Я растянулся на одеялах, курил и ждал. Здесь была какая-то тайна, это я сообразил, но больше ничего не мог понять. Какого черта Лон ничего мне не намекнул до того, как мы приехали? Она не видела, что я разглядываю ее, а я смотрел на ее лицо, и чем дольше я смотрел, тем труднее было отвести глаза. Это было необыкновенно красивое лицо. Я бы сказал, в нем было что-то неземное, оно озарялось каким-то светом, особенным выражением или чем-то, чего «не встретишь ни на суше, ни на море». Страх и ужас совершенно исчезли, и сейчас оно было безмятежно и прекрасно, если словом «безмятежность» можно охарактеризовать то неуловимое и таинственное, что не назовешь ни

сиянием, ни озаренностью, ни выражением.

Неожиданно она повернулась, словно впервые заметив мое присутствие.

— Вы видели последнее время Дэйва? — спросила она.

У меня с языка уж готов был сорваться вопрос: «А кто такой Дэйв?» — как вдруг Лон, окутанный дымом от жарящегося сала, кашлянул. Может быть, он закашлялся от дыма, но я воспринял это как намек и проглотил свой вопрос.

— Нет, не видел, — ответил я, — я новый человек в этих краях…

— Вы на самом деле не слышали о Дэйве, о Большом Дэйве Уолше? — прервала она меня.

— Видите ли, — сказал я извиняющимся тоном, — я новичок в этих краях. И жил я большей частью в Низовьях, поближе к Ному.

— Расскажите ему про Дэйва, — обратилась она к Лону.

Лона эта просьба, видимо, вывела из себя, но он принялся рассказывать с той же сердечной и мягкой интонацией, которую я заметил и раньше. Она показалась мне чересчур сердечной и мягкой, и это меня раздражало.

— О, Дэйв — это замечательный парень, — рассказывал Лон. — Настоящий мужчина с ног

до головы, а росту в нем шесть футов и четыре дюйма — без башмаков. Слово его нерушимо, что долговое обязательство. И если кто-нибудь попробует утверждать, что Дэйв хоть раз солгал, то он сам лжец. И этому человеку придется иметь дело со мной, конечно, если от него хоть что-нибудь останется после того, как с ним разделается сам Дэйв. Потому что Дэйв — это боец. Да, да, он боец, каких теперь не встретишь! Он добыл гризли с хлопушкой тридцать восьмого калибра. Тот его, правда, немного порвал, но Дэйв знал, на что идет. Он нарочно полез в пещеру, чтобы выкурить оттуда этого гризли. Он ничего не боится. С деньгами он не жмется, а если у него нет денег, так готов поделиться последней рубашкой, последней спичкой. Разве он за три недели не осушил Нежданное озеро и не выкачал из него золота на девяносто тысяч?

Женщина вспыхнула от гордости и закивала. Она с глубочайшим интересом следила за каждым словом рассказчика.

— И должен еще сказать, — продолжал Лон, — что я очень огорчен, что не встретил здесь сегодня Дэйва.

Лон поставил ужин на стол из струганых еловых досок, и мы принялись за еду. Женщина

услышала лай собак, пошла к двери и, приоткрыв ее, стала прислушиваться.

— А где Дэйв Уолш? — тихо спросил я.

— Умер, — ответил Лон. — Может быть, в аду. Я не знаю. Заткнитесь.

— Но вы ведь только-что сказали, что надеялись встретить его здесь сегодня? — настаивал я.

— Да заткнитесь вы наконец, — так же тихо отозвался Лон.

Женщина прикрыла дверь и вернулась, а я сидел и размышлял над тем, что человек, только что предложивший мне заткнуться, получает у меня жалованья двести пятьдесят долларов в месяц да еще питание.

Лон взялся мыть посуду, а я курил и наблюдал за женщиной. Она казалась еще обворожительнее, хотя красота ее была удивительной и необычной. Я, не отрываясь, в течение пяти минут смотрел на нее и лишь потом заставил себя вернуться в мир реального и взглянуть на Лона Мак-Фейна. Это дало мне возможность бесспорно сознать тот факт, что женщина тоже существо реальное. Сначала я принял ее за жену Дэйва Уолша, но если, как сказал Лон, Дэйв Уолш умер, то она могла быть только его вдовой.

Мы рано улеглись спать, ибо наутро нам пред-

стоял трудный день. Как только Лон заполз под одеяла рядом со мной, я отважился задать ему вопрос.

— Эта женщина помешанная?

— Она вроде лунатика, — ответил он.

И прежде чем я успел сформулировать следующий вопрос, Лон Мак-Фейн, могу в том поклясться, уже спал. Он всегда засыпал таким образом: заберется под одеяло, закроет глаза — и готов, только легкий пар от дыхания виден. Лон никогда не храпел.

Утром мы на скорую руку позавтракали, накормили собак, нагрузили опять нарты и двинулись в путь. Мы попрощались с женщиной, она долго стояла в дверях, провожая нас взглядом. Я унес с собой образ этой неземной красоты; он словно запечатлелся в моих глазах, и для того, чтобы увидеть ее, мне стоило только опустить веки. Нежданное озеро лежало вдалеке от обычных дорог, и тропа здесь была не протоптана. Лон и я по очереди уминали нашими широкими плетеными лыжами пушистый снег, чтобы собаки не проваливались. Множество раз у меня на языке вертелся вопрос: «Но ведь вы сказали, что думали встретить Дэйва Уолша в хижине?» Я удержался. Я решил подождать, пока мы сделаем привал в

середине дня. Но когда наступила середина дня, мы продолжали идти, потому что, как объяснил Лон, у соединения Тили с другой речкой находится лагерь охотников за лосями и мы можем добраться туда засветло. Однако добраться туда до темноты нам не удалось, так как наш вожак Брайт сломал себе лопатку и мы, провозившись с ним целый час, вынуждены были пристрелить беднягу. Потом, когда мы пробирались через завал бревен на замерзшей Тили, опрокинулись нарты, и пришлось устраивать стоянку и чинить полозья. Я приготовил ужин и накормил собак, пока Лон занимался починкой, а потом мы вместе отправились собрать дров и льда на ночь. После этого мы уселись на своих одеялах, наши мокасины сушились на веточках перед огнем, и закурили.

— Вы не знали ее? — неожиданно спросил Лон.

Я отрицательно покачал головой.

— Вы обратили внимание на цвет ее волос и глаз, на ее фигуру? Так вот отсюда она и получила свое имя. Она вся была, как первая теплая зорька золотого восхода. Ее так и прозвали — Золотой Зорькой. Неужели вы никогда не слышали о ней?

Где-то в глубине памяти у меня было смутное

и неясное ощущение, что я когда-то слышал это имя, и все же оно ничего не говорило мне.

— Золотая Зорька? — повторил я. — Это похоже на имя какой-нибудь танцовщицы.

Лон покачал головой.

— Нет, она была порядочной женщиной, во всяком случае, в том смысле, хотя и совершила ужасный грех.

— Но почему вы говорите о ней в прошедшем времени, как будто она умерла?

— Потому что ее сознание покрыто мраком, а это все равно, как мрак смерти. Золотая Зорька, которую я знал, которую знал Доусон, а еще раньше

— Сороковая Миля, умерла. Молчаливое, рехнувшееся существо, которое мы вчера видели, не Золотая Зорька.

— А Дэйв? — спросил я.

— Он построил эту хижину, — ответил Лон. — Он построил эту хижину для нее… и для себя. Он умер. А она ждет его. Она наполовину уверена, что он жив. Кто может понять капризы безумного ума? А может, она и вполне уверена, что он не умер. Во всяком случае, она ждет его там, в хижине, которую он построил. Зачем тревожить мертвых? И кто станет будить живого, который,

по существу, умер? Мне это, во всяком случае, ни к чему, и поэтому я сделал вид, будто думал встретить Дэйва Уолша вчера вечером. Держу пари, что я удивился бы гораздо больше, чем она, если бы действительно встретил его.

— Я ничего не понимаю, — сказал я. — Расскажите мне всю историю с самого начала, как подобает белому человеку.

И Лон начал рассказывать.

— Был такой старик француз, Виктор Шове, родился он на юге Франции. В Калифорнию он приехал в дни золотой лихорадки. Был из пионеров. Золота он не нашел, но вместо этого стал вырабатывать золото в бутылках, короче говоря, он стал разводить виноград и делать вино. Он шел за золотоискателями. Поэтому он перевалил через Чилкут и отправился вниз по Юкону на Аляску задолго до находки Кармака. Участок, где стоит старый поселок Десятой Мили, был открыт Шове. Он привез первую почту в Арктик-сити. Он сделал заявку на угольные копи в Поркюпайне лет двенадцать назад. Он открыл прииск Лофтус в стране Ниппеннука. Надо сказать, что Виктор Шове был ревностным католиком, который любил в жизни две вещи — вино и женщину. Вино он любил всех сортов, а женщину только одну, и

это была мать Мари Шове.

Тут я громко вздохнул, теряя самообладание при мысли, что плачу этому человеку двести пятьдесят долларов в месяц.

— В чем дело? — спросил Лон.

— В чем дело, в чем дело? — недовольно проворчал я. — Я думал, вы расскажете мне историю Золотой Зорьки. Мне не нужно жизнеописание вашего старого пьяницы-француза!

Лон спокойно раскурил трубку, глубоко затянулся и отложил ее.

— А вы ведь просили меня начинать с самого начала, — сказал он.

— Да, — подтвердил я, — с самого начала.

— А начало истории Золотой Зорьки и есть старый пьяница-француз, потому что он отец Мари Шове, а Мари Шове — Золотая Зорька. Что вы еще хотите? Виктору Шове никогда по-настоящему не везло. Он кое-как сводил концы с концами и воспитывал Мари, которая напоминала ему единственную и любимую им женщину. Он души в ней не чаял. Он-то и прозвал ее ласково Золотой Зорькой. Ручей Золотой Зорьки назван в ее честь, и поселок Золотая Зорька тоже. Старик был великим мастером находить места для поселков, только он никогда не заселял их.

— А теперь скажите честно, — продолжал Лон, по своему обыкновению неожиданно меняя тон, — вы вот видели ее, что вы о ней думаете, о ее внешности, я имею в виду? Как она с точки зрения вашего чувства прекрасного?

— Она удивительно прекрасна, — отвечал я. — Никогда в жизни не видел ничего подобного. Вчера вечером, хотя я и предполагал, что она сумасшедшая, я не мог отвести от нее глаз. И это было не любопытство. Это было изумление, абсолютное изумление, она так необычайно красива.

— Она была еще красивее до того, как мрак завладел ее сознанием, — мягко сказал Лон. — Она воистину была Золотой Зорькой. Она разбивала сердца мужчин и кружила им головы. Она едва вспомнила, что однажды я выиграл гонку на каноэ в Доусоне, а ведь я любил ее и она говорила мне, что любит меня. Ее красота покоряла всех мужчин. Парис наверняка присудил бы ей яблоко Эриды, и никакой Троянской войны не было бы, а она ко всему бросила бы Париса. А теперь эта женщина живет во мраке. Та, которая всегда была само непостоянство, впервые хранит верность — верность тени, мертвецу, человеку, в чью смерть она не верит.

Вот как это все случилось. Вы помните, что я

вчера рассказывал о Дэйве Уолше, о Большом Дэйве Уолше? Он был именно таким, как я говорил, и еще во много раз лучше. Он приехал в эти края в конце восьмидесятых годов, для вас он пионер. Ему тогда было двадцать лет. Он был здоров и смел, как бык. Когда ему исполнилось двадцать пять, он мог поднять тринадцать пятидесятифунтовых мешков с мукой. Поначалу голод гнал его отсюда каждый раз на исходе года. В те времена это была пустынная страна. Ни речных пароходов, ни продовольствия, ничего, кроме лососей и кроличьих следов на снегу. Но после того, как голод трижды выгонял его, он заявил, что с него хватит, и на следующий год остался. Дэйв питался одним мясом, когда выпадало счастье на охоте. В ту зиму он съел одиннадцать собак, но не уехал. Остался он и на следующую зиму и еще на одну. С тех пор он не уезжал отсюда. Здоров он был, как бык. Он мог работать так, что самые сильные мужчины в стране валились с ног. Он мог тащить на себе больше груза, чем любой чилкутский индеец, умел работать веслами лучше любого индейца стика, мог находиться в пути целый день с промокшими ногами, когда термометр показывал пятьдесят ниже нуля, а это, должен вам сказать, кое о чем говорит. Вы

отморозите себе ноги при двадцати пяти ниже нуля, если промочите их и не переобуетесь.

Дэйв Уолш был силен, как бык. И при этом он был мягким и простодушным человеком. Любой мог надуть его, последний прохвост в лагере мог вытянуть из него последний доллар. «Это меня не огорчает, — смеялся Дэйв, когда ему говорили, что он рохля, — от этого я не просыпаюсь по ночам». Только не подумайте, что у него не было характера. Помните, я рассказывал, как он полез на медведя с каким-то паршивым ружьишком? Когда дело доходило до схватки, Дэйв бывал неукротим. Остановить его, когда он вступал в бой, было невозможно. Со слабыми он бывал мягок и добр, но сильный должен был уступать ему дорогу. Словом, он был таким мужчиной, которых любят мужчины, а это наивысшая похвала.

Дэйв не ринулся за всеми к Доусону, когда Кармак наткнулся на жилу в Бонанзе. Дэйв в ту пору промышлял на Маммон-Крик. Там он открыл золотые россыпи. В ту зиму он намыл золота на восемьдесят четыре тысячи и застолбил участок, который обещал на следующую зиму дать пару сот тысяч. А когда пришло лето и почва раскисла, он отправился вверх по Юкону, в Доусон, чтобы посмотреть, что представляет собой участок

Кармака. Там-то он и увидел Золотую Зорьку. Я помню эту ночь. Я ее никогда не забуду. Это произошло совершенно неожиданно. Страшно подумать, что такой могучий человек стал совершенно беспомощным при одном ласковом взгляде слабой белокурой женщины, какой была Золотая Зорька. Это произошло в хижине ее отца, старого Виктора Шове. Какой-то приятель затащил туда Дэйва, чтобы потолковать о расположении поселков на Маммон-Крик. Однако Дэйв говорил нехотя и маловразумительно. Я вам говорю, один вид Золотой Зорьки совершенно лишил Дэйва разума. Старик Виктор Шове уверял после ухода Дэйва, что тот был пьян. А он и вправду был пьян. Но крепким напитком, вскружившим ему голову, была Золотая Зорька.

Это решило дело, тот первый взгляд, который он бросил на нее. Дэйв не отправился через неделю вниз по Юкону, как собирался. Он задержался на месяц, на два месяца, на все лето. А мы, пострадавшие от ее чар, все понимали и гадали, чем же это кончится. Мы не сомневались, что Золотая Зорька обрела наконец своего господина. А почему бы и нет? О Дэйве Уолше ходили легенды. Он был король Маммон-Крика, человек, открывший золотые россыпи Маммон-Крика, старатель

старой закваски, один из пионеров в этих краях. Мужчины оборачивались, когда он проходил, и почтительно шептали: «Это Дэйв Уолш». Почему бы и нет? В нем было шесть футов и четыре дюйма роста, белокурые волосы спадали ему на плечи, и он был великолепным белокурым гигантом, которому только что пошел тридцать первый год.

Дэйв пришелся по сердцу Золотой Зорьке, она танцевала с ним на вечеринках, и к концу лета стало известно об их помолвке. Настала осень, и Дэйв должен был возвращаться, чтобы вести зимние работы на Маммон-Крике, но Золотая Зорька захотела повременить со свадьбой. Дэйв послал Даски Бэрнса заниматься разработкой россыпей на Маммон-Крике и сам остался в Доусоне. Толку от этого было мало. Ей взбрело в голову еще на некоторое время сохранить свою свободу, и она решила отложить замужество до следующего года. В результате Дэйв отправился по первому льду со своей упряжкой вниз по Юкону в уверенности, что свадьба состоится, когда на следующий год он вернется с первым пароходом.

Дэйв был постоянен, как Полярная звезда, а она переменчива, как магнитная стрелка подле железного груза. Дэйв был настолько же устой-

чив и верен, насколько она была непостоянна и ветрена, и вот он, который всем верил, стал сомневаться в ней. Может быть, это была ревность, а может, он что-то предчувствовал, но только Дэйв боялся ее непостоянства. Он опасался, что она не будет ему верна до будущего года, боялся доверять ей и был вне себя. Кое-что я узнал потом от старого Виктора Шове и, сопоставив все сведения, понял, что перед тем, как Дэйв тронулся на север со своими собаками, там произошла какая-то сцена. Стоя рядом с Золотой Зорькой, Дэйв заявил старому французу, что они принадлежат друг другу. Старик Виктор говорил, что вид у Дэйва был весьма драматический, глаза сверкали. Он говорил что-то вроде того, что «разлучит их только смерть», и особенно запомнилось Виктору, как Дэйв, схватив Мари своей огромной лапищей за плечо, притянул ее к себе так, что она чуть не упала, и сказал: «Даже после смерти ты будешь принадлежать мне, и я приду за тобой из могилы». Старик отчетливо запомнил эти слова: «Даже после смерти ты будешь принадлежать мне, и я приду за тобой из могилы». Он говорил мне потом, что Золотая Зорька была ужасно испугана и что он после этого отвел Дэйва в сторонку и сказал ему, что таким путем нельзя

завоевать Золотую Зорьку, что если он хочет удержать ее, то должен приноравливаться к ней и быть помягче.

Я ничуть не сомневаюсь, что Золотая Зорька была перепугана. Она жестоко обращалась с мужчинами, а мужчины носились с ней, считали ее существом мягким, нежным, которое уж никоим образом нельзя обидеть. Она не знала, что такое грубость, пока Дэйв Уолш, этот здоровяк шести с лишним футов ростом, не схватил ее своей ручищей и не поклялся, что она будет принадлежать ему до самой смерти и даже после. Между тем в ту зиму в Доусоне был музыкант-итальяшка, один из этих макаронников со слащавым голосишком, и Золотая Зорька влюбилась в него. Может быть, она только воображала, что влюбилась, я уж не знаю. Иногда мне кажется, что в действительности-то она любила Дэйва Уолша. Быть может, так случилось потому, что Дэйв перепугал ее, заявив, что она принадлежит ему до самой смерти и что он придет за ней из могилы, но как бы там ни было, она в результате подарила свою благосклонность тому итальяшке-музыканту. Впрочем, все это были догадки, а нам известны факты. Он был вовсе не итальянец, а русский граф. Это точно, и никаким профессиональным пианистом не был.

Да, он играл на скрипке, на пианино, пел, пел хорошо, но только ради собственного удовольствия и ради того, чтобы доставить удовольствие другим. Кроме того, у него водились деньжата, но здесь я должен оговориться, что Золотая Зорька не гналась за деньгами. Она была непостоянна, это верно, но не корыстолюбива.

Но слушайте дальше. Она была обручена с Дэйвом, и Дэйв должен был приехать с первым рейсом, чтобы жениться на ней. Это было летом девяносто восьмого года, и первый пароход ожидали в середине июня. А Золотая Зорька боялась порвать с Дэйвом и после этого встретиться с ним. Вот тут-то она и задумала одну штуку. Русский музыкант, граф, был ее послушным рабом. Так что это она все придумала, я знаю. Потом я все выяснил у старого Виктора. Граф, выполняя ее распоряжения, взял билеты на первый пароход, идущий вниз по реке. Это была «Золотая ракета». На этот же пароход села и Золотая Зорька. Там же оказался и я. Я направлялся в Серкл-сити и был совершенно поражен, когда на борту встретил Золотую Зорьку. В списке пассажиров я не видел ее фамилии. Она все время была вместе с графом, счастливая и веселая, и я узнал, что в списке пассажиров граф значится с женой. Там был указан

номер каюты и все такое прочее. Тогда я впервые узнал, что он женат, только я не видел никакой жены… если не считать таковой Золотую Зорьку. Я подумал, что, может быть, они успели пожениться до того, как отправились путешествовать. Понимаете, в Доусоне о них ходили разные слухи, кое-кто даже держал пари, что граф-таки отбил ее у Дэйва.

Я поговорил с пароходным экономом. Однако он знал не больше моего, он вообще ничего не слышал о Золотой Зорьке и был до смерти замучен своими обязанностями. Вы ведь знаете, что такое юконские пароходы, но вы и представить не можете, что творилось на «Золотой ракете», когда она вышла из Доусона в июне 1898 года. Чистый улей! Поскольку это был первый рейс, то на пароход собрали всех цинготных больных и покалеченных из больницы. Кроме того, на нем везли миллиона на два клондайкского золотого песку и самородков, не говоря уже о пассажирах, набившихся в каютах, как сельди в бочке, о невероятном количестве палубных пассажиров, о бесчисленных индейцах со своими скво и собаками. А трюмы были загромождены товарами и багажом. Горы багажа высились и на нижней палубе, и с каждой остановкой на пути парохода

эти горы росли. Я видел, как на перекате Тили на борт погрузили ящик, и догадался, для чего он, хотя меньше всего я мог предполагать, что за сюрприз скрыт там. Ящик затолкали на самый верх багажа на нижней палубе и даже не привязали как следует. Помощник капитана собирался заняться им потом, но запамятовал. Мне тогда еще чудилось что-то знакомое в большой эскимосской собаке, которая вскарабкалась наверх и улеглась рядом с ящиком. Вскоре мы встретили «Глендейль», который шел вверх к Доусону. Когда «Глендейль» приветствовал нас гудком, я подумал о Дэйве, который спешит на нем в Доусон к Золотой Зорьке. Я обернулся и посмотрел на нее. Она стояла у борта. Глаза ее блестели, но при виде того парохода она, видимо, слегка испугалась и прижалась к графу, словно прося защитить ее. Ей незачем было так прижиматься к нему, а мне не следовало с такой уверенностью думать о том разочаровании, которое постигнет Дэйва, когда он приедет в Доусон. Дело в том, что Дэйва Уолша на «Глендейле» не было. Я не знал тогда многого, что мне предстояло узнать впоследствии. Не знал, например, что эти двое вовсе не были женаты. Не прошло, однако, и получаса, как начались приготовления для бракосочетания. В центральной

кают лежали больные, и при перенаселенности «Золотой ракеты» единственным подходящим местом для этой церемонии оказалась передняя часть нижней палубы, где было свободное место, а рядом возвышалась гора багажа, на самой верхушке которой находились тот большой ящик и рядом спящая собака. На борту парохода нашелся миссионер, направлявшийся в Игл, а так как до Игла оставался один перегон, то надо было торопиться. Вот, оказывается, что они задумали — обвенчаться на пароходе!

Однако я забегаю вперед. Дэйв Уолш не был на борту «Глендейля» по той простой причине, что он находился на «Золотой ракете». Вот как это произошло. Задержавшись в Доусоне из-за Золотой Зорьки, Дэйв по льду отправился на Маммон-Крик. Там он обнаружил, что Даски Бэрнс так отлично справляется с делом, что ему самому нет никакой необходимости торчать на прииске. Тогда он нагрузил нарты продовольствием, запряг собак, взял с собой индейца и двинулся к Нежданному озеру. Его всегда привлекали те места. Вы, наверное, не знаете, что ручей оказался пустышкой, но тогда думали, что за ним большое будущее, и Дэйв решил построить там хижину для себя и для Золотой Зорьки. Это та

самая хижина, в которой мы с вами ночевали. Закончив хижину, Дэйв с индейцем отправился к развилине Тили охотиться на лосей.

И вот что случилось. Ударил трескучий мороз. Ртуть в термометре упала до сорока ниже нуля, потом до пятидесяти, потом до шестидесяти. Как сейчас помню этот мороз — я был тогда на Сороковой Миле, — даже день запомнился. К одиннадцати часам утра термометр на лавке Компании Н. А. Т. и Т. показывал семьдесят пять ниже нуля. В это утро Дэйв вместе с индейцем — будь он проклят — охотился за лесом у развилки Тили. Я узнал все это потом от этого индейца, нам случилось вместе путешествовать по льду до Дайи. Так вот в то утро этот господин индеец провалился сквозь лед и промок по пояс. Конечно, он сразу начал замерзать. По-настоящему надо было тут же развести костер. Но ведь Дэйв Уолш был упрям. До стоянки, где полыхал костер, оставалось всего полмили. Так зачем было раскладывать новый костер? Он взвалил господина индейца на спину и бежал полмили, когда термометр показывал семьдесят пять ниже нуля. Вы знаете, что это означает. Самоубийство — вот что! Иначе не назовешь. Паршивый индеец весил больше двухсот фунтов, и Дэйв бежал с ним

полмили. Естественно, что он застудил себе легкие. Они, наверное, просто смерзлись в ледышку. Это была непростительная глупость. Во всяком случае, провалявшись несколько недель, Дэйв Уолш умер.

Индеец понятия не имел, как ему поступить. Если бы он имел дело с обычным человеком, он бы его просто закопал, и все тут. Но индеец знал, что Дэйв Уолш большой человек, у него много денег, важная фигура среди белых людей. Ему уже не раз приходилось видеть, как везли через всю страну трупы умерших белых людей, как будто они представляли какую-то ценность. Вот он и решил привезти труп Дэйва на Сороковую Милю, где была главная стоянка Дэйва. Знаете, как здесь промерзает дерн? Так вот индеец накрыл тело Дэйва слоем земли толщиной в фут, иначе говоря, положил его в лед. Дэйв мог оставаться там тысячу лет и ни капельки не измениться. Это все равно что холодильник. Потом этот индеец притащил из хижины на Нежданном озере пилу и напилил досок. Ожидая оттепели, он продолжал охотиться и добыл десять тысяч фунтов лосиного мяса, которое он тоже положил на лед. Началась оттепель, Тили вскрылся. Тогда он сколотил плот, погрузил мороженое мясо, ящик с телом Дэйва,

упряжку собак, принадлежавшую Дэйву, и поплыл вниз по Тили.

Плот застрял у завала леса и сидел там двое суток. Началась жара, и у господина индейца чуть не пропало все его мясо. Так что, когда он добрался до переката Тили, он сообразил, что на пароходе он попадет на Сороковую Милю быстрее, чем на своем плоту. Он погрузил все имущество на пароход. Так вот оно получилось: на нижней палубе «Золотой ракеты» Золотая Зорька собирается венчаться, а на нее падает тень от большого ящика с телом Дэйва Уолша. Еще одну штуку я забыл вам рассказать. Ничего удивительного, что эскимосская собака, которую погрузили на борт у переката Тили, показалась мне знакомой. Это был Пилат, вожак в упряжке Дэйва и его любимец, к тому же отчаянный драчун. Он лежал рядом с ящиком.

Золотая Зорька, заметив меня, подозвала к себе, поздоровалась и представила меня графу. Она была восхитительна. Я был так же без ума от нее, как и прежде. Она улыбнулась мне и сказала, что я должен расписаться в качестве одного из свидетелей. Отказать ей было невозможно. Она всегда оставалась ребенком, жестоким ребенком, как все дети. Кроме того, она тут же сообщила

мне, что является счастливой обладательницей двух бутылок шампанского — единственных в Доусоне, вернее, тех, которые были в Доусоне накануне вечером; и не успел я оглянуться, как уже был включен в число тех, кто должен был выпить за здоровье новобрачных. Все пассажиры столпились вокруг, во главе с капитаном парохода, который все старался пролезть вперед, верно, ради вина. Странная это была свадьба. На верхней палубе столпились больные, стоящие одной ногой, а кто и двумя, в могиле, и глазели вниз. Вокруг сгрудились индейцы — мужчины, женщины, дети, — не говоря уже о рычащих собаках, которых тут насчитывалось штук двадцать пять. Миссионер попросил обоих бракосочетающихся стать рядом и начал церемонию. И как раз в этот момент наверху, на груде багажа, началась драка между Пилатом, лежавшим у большого ящика, и свирепой белой собакой, принадлежавшей кому-то из индейцев. Драка началась не сразу. Собаки издали рычали друг на друга, ну, знаете, как это у них бывает, словно вызывая друг друга. Шум этот, конечно, мешал, но голос миссионера тем не менее был слышен.

Прогнать собак было нелегко, до них можно было добраться только с другого края груды. Но

там никого не было: все, конечно, столпились здесь, чтобы поглазеть на церемонию. И даже тогда все обошлось бы, не швырни капитан в собак дубинкой. С этого началось. Да, если бы капитан не швырнул в собак дубинкой, ничего бы не случилось.

Миссионер только начал произносить слова: «...в болезни и в здравии» и потом: «пока смерть не разлучит нас». И как раз в этот момент капитан швырнул дубинку. Я все видел своими глазами. Дубинка попала в Пилата, и в ту же секунду белый пес бросился на него. Дубинка словно подстегнула их. Собаки, схватившись, толкнули ящик, и он начал медленно сползать одним концом вниз. Это был большой длинный ящик, он медленно сползал, пока не принял вертикального положения, уперевшись в пол. Зрители, толпившиеся с этого края, успели отскочить в сторону. Золотая Зорька и граф стояли на противоположной стороне круга, лицом к ящику, а миссионер спиной к нему. Ящик съехал с высоты в десять футов и встал торчком на палубу.

Заметьте, никто не знал, что Дэйв Уолш умер. Мы были уверены, что он находится на «Глендейле», идущем в Доусон. Миссионер отскочил в сторону, и таким образом Золотая Зорька ока-

залась прямо перед ящиком. Так чисто вышло, как в театре. Лучше не придумать. Ящик встал на торец и как раз на тот торец, какой нужно, крышка ящика отлетела, и оттуда вывалился Дэйв Уолш, — он был завернут в одеяло, белокурые волосы развевались и сверкали в солнечных лучах. Он словно выскочил из ящика на Золотую Зорьку. Она не знала, что он умер, но это было несомненно; он ведь пролежал два дня у затора и теперь восстал из мертвых, пришел за ней из могилы. Возможно, так она и подумала. Во всяком случае, она окаменела, увидев его. Она не могла двинуться с места, только растерянно смотрела, как Дэйв Уолш двигался к ней. Он пришел за ней. Это выглядело так, словно он обхватил ее руками, и было это или не было, но на палубу они упали вместе. Чтобы освободить ее, нам пришлось сначала оттащить тело Дэйва Уолша. Она была в обмороке, и, пожалуй, было бы лучше, если бы она никогда не приходила в себя, потому что, придя в себя, она начала кричать, как безумная. Она кричала несколько часов, пока не выбилась из сил. Да, теперь она выздоровела. Вы видели ее вечера и знаете, насколько она выздоровела. Она не буйная, но она живет во мраке. Она уверена, что Дэйв Уолш жив, и ждет его в хижине, которую

он построил для нее. Теперь она удивительно постоянна. Вот уже девять лет, как она верна Дэйву Уолшу, и похоже на то, что она будет верна ему до конца дней своих.

Лон Мак-Фейн отогнул край одеяла и приготовился залезть в постель.

— Мы каждый год привозим ей продукты, — добавил он, — и вообще присматриваем за ней. Хотя вчера она впервые узнала меня.

— Кто это, мы? — спросил я.

— Гм… тот граф, старый Виктор Шове и я, — последовал ответ. — Знаете, я думаю, что граф — единственный человек, который пострадал во всей этой истории. Ведь Дэйв Уолш так и не узнал, что она обманула его. Да и она не страдает. Безумие спасает ее.

Несколько минут я молча лежал под одеялом.

— А что, граф все еще живет здесь? — спросил я.

В ответ я услышал ровное, глубокое дыхание и понял, что Лон Мак-Фейн уже спит.

Исчезновение Маркуса О'Брайана

— Итак суд выносит решение, что вы должны покинуть лагерь… обычным путем, сэр, обычным путем.

Судья Маркус О'Брайен несколько замечтался, и Муклук Чарли легонько толкнул его в бок. Маркус О'Брайен откашлялся и продолжал:

— Взвесив всю тяжесть преступления, сэр, и смягчающие обстоятельства, суд пришел к решению и вынес приговор, что вы получите с собой трехдневный запас продовольствия. Этого, я думаю, будет достаточно.

Аризона Джек бросил мрачный взгляд на Юкон — вздувшийся, мутно-шоколадный поток шириною в милю и с глубиной, которую никто не мерял. Берег, где стоял Аризона Джек, обычно возвышался на дюжину футов над водой, но сейчас река бурлила уже у самого края, каждую минуту отрывая и унося куски верхнего слоя почвы. Эти куски земли попадали в широко разинутые пасти бесчисленных бурых водоворотов и исчезали в них. Если вода поднимется еще на несколько дюймов, Ред Кау затопит.

— Нет, недостаточно, — с горечью возразил

Аризона Джек. — На три дня продовольствия — это мало.

— А как было с Манчестером? — важно ответил Маркус О'Брайен. — Он вообще не получил никакого продовольствия.

— Ну да, и его останки нашли у Нижней реки, наполовину обглоданные собаками, — отпарировал Аризона Джек. — И, кроме того, когда он убил, то это было без всякого повода. Джо Дивс ничего худого не делал, никогда не пытался петь. Только из-за того, что у Манчестера был не в порядке желудок, он взорвался и всадил нож в Джо. Я тебе прямо заявляю, что ты несправедлив ко мне. Дайте мне продовольствия на неделю, и я попробую выиграть. А на три дня — это я наверняка загнусь.

— Ну за что ты укокошил Фергюсона? — потребовал ответа О'Брайен. — Терпения моего уже не хватает, то и дело убивают без всякого повода. Пора с этим покончить. В Ред Кау не так уж много жителей. У нас хороший лагерь, и никогда здесь не случалось убийств. А теперь просто эпидемия какая-то. Мне жаль тебя, Джек, но этот случай с тобой должен стать примером. Фергюсон не провоцировал тебя настолько, чтобы убивать его.

— Провоцировал! — фыркнул Аризона Джек.

— Да ведь ты просто ничего не понимаешь, О'Брайен. У тебя нет никакого артистического чутья. Зачем Фергюсон пел «Я хотел бы стать маленькой птичкой»? Вот что я хочу знать. Ответь мне. Зачем он пел «маленькой птичкой, маленькой птичкой»? Одной птички было вполне достаточно. Одну птичку я еще мог выдержать. Я ведь дал ему возможность подумать. Я подошел к нему и совершенно вежливо и ласково попросил его выбросить одну птичку. Я умолял его. Были же свидетели, которые подтвердят это.

— А голос у Фергюсона был совсем не как у соловья, — добавил кто-то из толпы.

О'Брайен заметно заколебался.

— Разве человек не имеет права иметь музыкальный слух? — настаивал Аризона Джек. — Я ведь предупреждал Фергюсона. Его маленькие птички оскорбляли все мое существо. Тонкие ценители музыки могут убить и не за такое. Ну что ж, я готов расплачиваться за свое артистическое чувство. Я могу принять лекарство и облизать ложку, но давать продовольствия на три дня — это значит прямым ходом отправлять меня на тот свет. Валяйте, хороните меня, чего уж там!

О'Брайен колебался. Он вопросительно посмотрел на Муклука Чарли.

— Я бы сказал, судья, что на три дня продовольствия — это несколько сурово, — высказался Муклук Чарли, — но здесь вы решаете. Когда мы избрали вас судьей, мы договорились подчиняться вашим решениям, и, видит бог, мы им подчинялись и будем подчиняться и дальше.

— Может, я действительно был слишком строг, Джек, — извиняющимся голосом начал О'Брайен, — но я не собираюсь больше терпеть этих убийств. Я согласен, чтобы продовольствия было на неделю. — Он торжественно откашлялся и быстро огляделся вокруг. — А теперь мы можем покончить с этим делом. Лодка готова. Леклер, пойди принеси продовольствие. Остальное мы решим потом.

Аризона Джек с благодарностью глянул на него и, бормоча что-то насчет «этих проклятых маленьких птичек», шагнул в лодку, бившуюся о берег. Это была довольно большая лодка, сколоченная из неотесанных сосновых досок, распиленных вручную из сосен у озера Линдерман за несколько сот миль отсюда, у подножия Чилкута. В лодке лежали пара весел и одеяла Аризоны Джека. Леклер притащил продовольствие, увязал его в мешок из-под муки и положил в лодку, шепнув:

— Я положил тебе хорошую порцию, Джек. Тебя вызвали на это.

— Отпускайте! — крикнул Аризона Джек.

Кто-то отвязал конец и бросил в лодку. Течение подхватило ее и понесло прочь. Убийца не собирался браться за весла, он сидел на корме и сворачивал себе самокрутку. Потом он зажег спичку и прикурил. Стоявшие на берегу могли видеть тонкий дымок. Они стояли на берегу до тех пор, пока лодка, обогнув излучину реки полумилей ниже, не исчезла из виду. Правосудие свершилось.

Жители Ред Кау сами устанавливали законы и приводили приговоры в исполнение без проволочек, свойственных мягкотелому цивилизованному обществу. На Юконе не было других законов, кроме тех, что они сами устанавливали для себя. Они были вынуждены это делать. Расцвет Ред Кау относился к 1887 году — к тем ранним дням, когда еще никто не предполагал, что будет открыт Клондайк и многолюдные толпы устремятся туда. Жители Ред Кау не знали даже, находится ли их лагерь в Аляске или на Северо-Западной территории и под сенью какого флага они живут — звездно-полосатого или британского. Топографы не добирались сюда,

чтобы сказать, на какой широте и долготе они расположены. Ред Кау находился где-то на Юконе, и этого для них было достаточно. Что касается государственных флагов, то жители здесь были вне всякой юрисдикции. Что касается законов, то они жили на Ничейной земле.

Они установили свой собственный закон, и закон этот был весьма прост. Юкон исполнял их приговоры. Где-то тысячи за две миль вниз от Ред Кау Юкон впадал в Берингово море, разливаясь дельтой шириной в сотни миль. Каждая миля из этих двух тысяч представляла собой совершенно дикую страну. Правда, за Полярным кругом, там, где Поркюпайн впадал в Юкон, имелась фактория Компании Гудзонова залива. Но до нее было много сотен миль. Ходили также слухи, что на много сотен миль ниже есть миссии. Но это были только слухи, люди из Ред Кау никогда там не были. Они попадали в эту заброшенную страну через Чилкут и верховья Юкона.

Всякие мелкие преступления обитатели Ред Кау не считали за преступления. Напиваться, буянить и ругаться последними словами считалось здесь естественным и неотъемлемым правом каждого. Жители Ред Кау были ярыми индивидуалистами и почитали только две вещи

— собственность и жизнь. Здесь не было женщин, которые могли бы усложнить их простую мораль. В Ред Кау было всего три хижины — большинство населения, состоявшего из сорока человек, жило в палатках или шалашах. Здесь не было тюрьмы, в которой можно было бы держать злоумышленников, а жители были слишком заняты добычей или поисками золота, чтобы потратить хоть день на строительство тюрьмы. Кроме того, первостепенной важности вопрос о продовольствии исключал возможность такой сложнейшей процедуры. Поэтому, когда человек нарушал права собственности или жизни, его швыряли в лодку и отправляли вниз по Юкону. Запас продовольствия, который он получал, зависел от тяжести содеянного им преступления. Таким образом, обычный воришка мог получить продовольствия недели на две, крупный же вор — не больше половины такого запаса. Убийца вообще не получал ничего. Человек, виновный в непредумышленном убийстве, получал продовольствие на срок от трех дней до недели. Маркус О'Брайен, избранный судьей, определял, на сколько дней давать продовольствие. Человек, нарушивший закон, знал, на что он идет. Юкон уносил его прочь, и ему или удавалось, или не удавалось добраться

до Берингова моря. Запас продовольствия давал ему возможность бороться за свою жизнь. Отказ в продовольствии означал практически смертную казнь, хотя и тогда оставался ничтожный шанс на спасение — все зависело от времени года.

Избавившись от Аризоны Джека и поглазев вслед, пока он не скрылся из виду, обитатели Ред Кау покинули берег и вернулись к работе на своих участках, за исключением Кэрли Джима, который владел единственной на всем севере колодой карт для фараона и спекулировал золотоносными участками.

В этот день произошли два крупных события. К середине дня Маркусу О'Брайену повезло. С одного лотка он намыл золотого песку на доллар, со второго — на полтора, с третьего — на два доллара. Он напал на жилу. Кэрли Джим заглянул в шурф, самолично промыл несколько лотков и предложил О'Брайену за все права на участок десять тысяч долларов — пять тысяч в золотом песке, а вместо остальных пяти тысяч — половинное участие в прибылях от фараона. О'Брайен отказался. Он с жаром заявил, что находится здесь для того, чтобы выжимать деньги из земли, а не из своих товарищей. И вообще, он не любит фараон. Кроме того, он оценивает свой участок

немного больше, чем в десять тысяч.

А второе событие произошло к концу дня, когда Сискью Перли причалил на своей лодке к берегу. Он только что прибыл из цивилизованного мира и имел в своем распоряжении газету четырехмесячной давности. Кроме того, он привез полдюжины бочек виски, предназначавшихся для Кэрли Джима. Жители Ред Кау тут же побросали работу. Они опробовали виски — по доллару за порцию, отвешивая золотой песок на весах Кэрли Джима и обсуждая новости. И все было бы в порядке, если бы Кэрли Джим не замыслил подлый план, который заключался, во-первых, в том, чтобы напоить Маркуса О'Брайена, а во-вторых, — выкупить у него участок.

Первая половина плана удалась блестяще. Начали они ранним вечером, а к девяти часам О'Брайен достиг той стадии, когда горланят песни. Он обнимал Кэрли Джима за шею и дошел до того, что во всю глотку распевал ту самую песню покойного Фергюсона о маленьких птичках. Он полагал, что может распевать ее совершенно спокойно, ибо единственного в лагере человека с артистическим чутьем несло сейчас вниз по Юкону со скоростью пять миль в час.

Но вторая половина плана не сработала. Сколь-

ко бы виски ни вливалось в его глотку, О'Брайен никак не мог осознать, что его святой и дружеский долг заключается в том, что он должен продать свой участок. По правде сказать, он колебался и порой готов был согласиться. В глубине своего затуманенного сознания он посмеивался. Он понимал игру Кэрли Джима и был доволен своими картами. Виски было отличным. Его наливали из особой бочки, и оно было раз в десять лучше того, которое пили из остальных пяти.

Сискью Перли бойко продавал в баре виски остальному населению Ред Кау, в то время как О'Брайен и Кэрли за стаканчиком решали свои дела на кухне. Но у О'Брайена была широкая душа. Он пошел в бар и вернулся вместе с Муклуком Чарли и Перси Леклером.

— Мои компаньоны, мои компаньоны, — заявил он, подмигнув своим приятелям и выдав невинную улыбку в сторону Кэрли. — Я всегда прислушиваюсь к их мнению, всегда доверяюсь им. Хорошие люди! Налей им огненной водицы, Кэрли, и давай поговорим.

Компаньоны явно напрашивались на угощение, но Кэрли Джим, памятуя о заявке и о том, что с последнего лотка он намыл на семь долларов, сообразил, что дело стоит того, чтобы потра-

титься на лишнее виски, даже когда в соседней комнате оно идет по доллару за порцию.

— Я даже не хочу обсуждать это, — икая, объяснил О'Брайен своим друзьям существо дела. — Кто, я? Продать за десять тысяч долларов? Да никогда! Я сам буду добывать золото, а потом я поеду в эту райскую страну, в Южную Калифорнию… вот место, где я хочу провести остаток своих дней… а потом я начну… как я уже говорил, я начну… а что я говорил вам, что я начну?

— Заведешь страусовую ферму, — предположил Муклук Чарли.

— Вот именно, вот это я и собираюсь завести. — О'Брайен словно протрезвел и с благоговейным ужасом взглянул на Муклука Чарли. — А откуда ты знаешь? Я ведь никогда не говорил об этом. Я только думал сказать. Чарли, ты умеешь читать мысли. Давай еще по одной.

Кэрли Джим наполнил стаканы и имел удовольствие видеть, как виски на сумму в четыре доллара было проглочено вмиг, причем на один доллар он наказывал сам себя, потому что О'Брайен настаивал, чтобы хозяин пил наравне с гостями.

— Бери лучше деньги сейчас, — убеждал его Леклер. — Ведь у тебя уйдет два года на то, что-

бы начисто выбрать эту дыру, а тем временем ты преспокойненько будешь выводить малюток-страусят и выщипывать перья из больших страусов.

О'Брайен взвесил это предложение и кивнул в знак согласия. Кэрли Джим с благодарностью глянул на Леклера и вновь наполнил стаканы.

— Нет, постойте, — пробормотал Муклук Чарли, у которого язык уже совершенно заплетался, — как твой духовный отец... я должен... как твой брат... а, черт! — Он замолк и собрался с духом. — В качестве твоего друга... я бы сказал, в качестве твоего товарища по делу, я скорее предложил бы тебе... я позволил бы себе заметить... я хочу заметить, что там может быть больше страусов... А, черт! — Он опрокинул еще один стаканчик и продолжал, более тщательно подбирая слова. — Я хочу сказать, что... А что я, собственно, хочу сказать? — Тут он несколько раз стукнул себя рукой по затылку, чтобы выколотить оттуда свою мысль. — Поймал! — торжествующе заорал он. — А вдруг в этой заявке больше, чем на десять тысяч?

Тут О'Брайен, который, судя по всему, был уже готов заключить сделку, неожиданно повернул курс.

— Правильно! — воскликнул он. — Блестящая идея! Мне она в голову не пришла. — Он нежно обнял Муклука Чарли. — Дружище! Хороший товарищ! — И он с воинственным видом обернулся к Кэрли Джиму. — Может, в этом шурфе долларов тысяч на сто. Ты ведь не захочешь обокрасть своего старого друга, Кэрли, так ведь? Конечно, не захочешь. Я тебя знаю… лучше, чем сам себя знаешь, да-да, лучше. Давай-ка выпьем еще по одной. Мы все здесь хорошие друзья, все, говорю я, все!

Так оно и шло, виски убывало, а надежды Кэрли Джима то возрастали, то падали. Снова Леклер доказывал необходимость немедленно заключать сделку и почти убедил О'Брайена, но и на этот раз его блестящие доводы натолкнулись на еще более блестящие доводы Муклука Чарли. А потом Муклук Чарли выдвигал убедительные аргументы в пользу продажи, а Перси Леклер упрямо тянул в другую сторону. Через некоторое время сам О'Брайен настаивал на продаже своего участка, а оба друга со слезами и проклятиями старались разубедить его. Чем больше виски они поглощали, тем необузданнее становилась их фантазия. Против любого трезвого довода за или против продажи они находили множество пьяных возражений, и им так легко удавалось

каждый раз убедить друг друга, что они непрерывно меняли свои позиции.

Наконец наступил такой момент, когда и Муклук Чарли и Леклер оба настаивали на продаже и с легкостью разбивали любое возражение О'Брайена тут же, как только он его выдвигал. О'Брайен уже приходил в отчаяние. Он исчерпал свой последние аргументы и сидел молча. Он только умоляюще поглядывал на своих друзей, которые покинули его в трудную минуту. Он толкнул под столом Муклука Чарли, но этот ренегат немедленно выдвинул еще один, самый разумный довод в пользу продажи. Кэрли Джим принес чернила, бумагу и составил купчую. О'Брайен сидел в нерешительности с пером в руке.

— Налей-ка нам еще по одной, — попросил он. — Еще по одной, прежде чем я подпишу и откажусь от ста тысяч долларов.

Торжествующий Кэрли Джим наполнил стаканы. О'Брайен опрокинул свою порцию и придвинулся, готовясь поставить трепещущей рукой свою подпись. Он успел только посадить кляксу, как вдруг поднялся на ноги, словно его подбросила мысль, внезапно озарившая его сознание. Он стоял, покачиваясь из стороны в сторону, и в его растерянных глазах отражался

мыслительный процесс, происходивший у него в голове. Наконец он пришел к выводу. Весь он засветился доброжелательностью. Он повернулся к владельцу карточной колоды, взял его за руку и торжественно произнес:

— Кэрли, ты мой друг. Вот тебе моя рука. Пожми ее. Старик, я это не сделаю. Не продам. Я не могу ограбить друга. Ни один прохвост не скажет, что Маркус О'Брайен ограбил друга, когда тот был пьян. Ты пьян, Кэрли, и я не стану грабить тебя. Я только что подумал… до сих пор мне это в голову не приходило. Не знаю, что со мной случилось, но мне это и в голову не приходило. Ты представь себе, Кэрли, ты только представь себе, а если во всем этом проклятом участке нет десяти тысяч! Ты же будешь разорен. Нет, сэр, я этого не сделаю. Маркус О'Брайен добывает деньги из земли, а не из своих друзей!

Перси Леклер и Муклук Чарли заглушили все возражения владельца фараона аплодисментами по поводу благородства друга. Они с двух сторон упали на О'Брайена, любовно обнимая его за шею; им так много хотелось сказать, что они не слышали предложения Кэрли внести в документ оговорку, что если в шурфе окажется меньше, чем на десять тысяч, то он получит разницу между

продажной ценой и добычей. Чем дальше они говорили, тем более сентиментальным и благородным становился спор. Всякие корыстные соображения были отброшены прочь. Сейчас они являли собой трио филантропов, стремившихся уберечь Кэрли Джима от него самого и его филантропических побуждений. Они настаивали на том, что он филантроп. Они отказывались даже на мгновение предположить, что в мире могут иметь место хоть какие-нибудь низменные чувства. Они поднимались, карабкались и забирались в недосягаемые сферы этики или тонули в метафизическом море сентиментальности.

Кэрли Джим потел, пыхтел и вновь и вновь наливал виски. Его завалили доводами, и ни один из них не имел ничего общего с золотоносным участком, который он хотел приобрести. Чем больше они говорили, тем дальше они удалялись от золотого участка, и к двум часам ночи Кэрли Джим понял, что он потерпел поражение. Одного за другим он вывел своих беспомощных гостей через кухню и вытолкал на улицу. Последним вышел О'Брайен, и все трое, покачиваясь и уцепившись друг за друга, чтобы не упасть, смело ступили на крыльцо.

— Ты деловой парень, Кэрли, — говорил О'Брай-

ен, — я должен сказать, что мне нравится твой стиль в делах… деликатный и благородный, твое щедрое госте… госте… гостеприимство. Это делает тебе честь. В твоих поступках нет ни тени низменного или корыстного. Я уже говорил…

Но тут владелец фараона захлопнул дверь. Все трое захохотали, стоя на крыльце. Они долго смеялись. Потом Муклук Чарли произнес речь.

— Смешно… посмеялись на славу… но я не то хотел сказать. Я хотел сказать… что же я хотел сказать? А, поймал! Чудно, как ускользают мысли. Мысль удирает… поймать ее… это трудное дело. Перси, друг мой, ты когда-нибудь охотился на кроликов? Была у меня собака… замечательная собака для охоты на кроликов. Как же ее звали? Не помню… никогда не запоминаю имен… забыл имя… Удрало имя… поймать ускользнувшее имя… нет, мысль… удрала мысль… но я поймаю ее… что же я хотел сказать?.. Ах, дьявол!

После этого наступило долгое молчание. О'Брайен выскользнул из их объятий и тихо заснул, сидя на крылечке. Муклук Чарли разыскивал ускользнувшую мысль по всем извилинам и закоулкам своего мозга. Леклер, словно очарованный, ждал, когда же он вновь заговорит. Вдруг приятель стукнул его по спине.

— Нашел! — громовым голосом возопил Муклук Чарли.

Встряска от удара прервала мыслительный процесс Леклера.

— Сколько с лотка? — спросил он.

— Лоток здесь ни при чем! — рассердился Муклук Чарли. — Мысль… я поймал ее… поймал плутовку… догнал ее…

На лице Леклера появилось восхищение и обожание, и он весь обратился в слух.

— Ах, дьявол! — пробормотал Муклук Чарли.

В этот момент кухонная дверь открылась и Кэрли Джим заорал:

— Убирайтесь домой!

— Смешно, — сказал Муклук Чарли, — та же идея… именно та же идея, что и у меня. Пойдем домой.

Они с двух сторон подхватили О'Брайена и тронулись в путь. Муклук Чарли во весь голос припустился за новой мыслью. Леклер с восторгом следил за погоней. Один только О'Брайен никак не мог уследить за мыслью своего друга. Он ничего не слышал, ничего не говорил и ничего не знал. Он представлял собой просто покачивающийся автомат, любовно и бережно поддерживаемый своими компаньонами.

Они шли по тропинке, которая вела по берегу Юкона. Их дома были в противоположной стороне, но идея ускользала, видимо, по этой тропинке. Муклук Чарли хихикал над идеей, но никак не мог ее поймать, чтобы высказать в назидание Леклеру. Они дошли до того места, где стояла лодка Сискью Перли. Канат, которым она была привязана, тянулся поперек тропинки к сосновому пню. Трое друзей споткнулись о канат и повалились, причем О'Брайен оказался внизу. Слабый проблеск сознания озарил его мозг. Он почувствовал на себе тяжесть тел и в тот же момент принялся, как безумный, работать кулаками. Потом он тут же опять заснул. Окрестности огласились легким храпом, Муклук Чарли вдруг захихикал.

— Новая идея, — предложил он, — колоссальная новая идея. Только что поймал ее… без всякого труда. Шла прямо на меня, и я ухватил ее в голову. Теперь она моя. О'Брайен пьян… нализался, как скот. Позор… стыд и позор… надо его проучить. Вон лодка Перли. Положим О'Брайена в лодку Перли. Отвяжем ее… пусть плывет вниз по Юкону. О'Брайен проснется утром. Течение слишком сильное, на веслах против течения не пойдешь… придется ему пешком топать! Придет злой, как

черт. Мы с тобой проявим себя как люди высоких моральных качеств. Пусть это будет ему хорошим уроком.

В лодке Сискью Перли не было ничего, кроме пары весел. Она терлась бортом о берег как раз у того места, где свалился О'Брайен. Друзья перекатили его в лодку. Муклук Чарли отвязал канат, а Леклер оттолкнул лодку на стремнину. После чего, утомленные трудами, они свалились тут же на берегу и захрапели.

На следующее утро весь поселок знал о шутке, которую сыграли с Маркусом О'Брайеном. Заключались даже крупные пари насчет того, что будет с обоими озорниками, когда вернется их жертва. После полудня выставили наблюдательный пост, чтобы узнать заранее, когда он покажется. Всем хотелось увидеть, как он будет возвращаться. Но Маркус О'Брайен не появился, хотя они ждали до полуночи. Не появился и на следующий день и через день. Ред Кау никогда больше не видел Маркуса О'Брайена, и хотя строилось множество предположений, ключ к разгадке тайны его исчезновения так никогда и не был найден.

Знал тайну один только Маркус О'Брайен, но он не вернулся, чтобы раскрыть ее. Он проснулся на следующее утро в ужасных мучениях. Желудок

у него был обожжен невероятным количеством выпитого накануне виски, все внутри пересохло и горело. Голова раскалывалась на части, и, что, пожалуй, хуже всего, страшно болело лицо. В течение шести часов мириады москитов питались им, и лицо чудовищно опухло от укусов. Только невероятным напряжением воли сумел он приоткрыть узенькие щелочки, сквозь которые мог глянуть на белый свет. Он случайно пошевелил руками и почувствовал, как они болят. Скосил глаза и не узнал своих рук, настолько они распухли от укусов москитов. Он потерял себя или, вернее сказать, потерял свое обличье. Он не находил в себе ничего знакомого, такого, что помогло бы ему путем ассоциаций восстановить в сознании свое существование. Он оказался абсолютно отрезан от своего прошлого, ибо ничто в нем не напоминало о том прошлом. Кроме того, он чувствовал себя таким больным и несчастным, что у него не хватало ни сил, ни желания выяснить, кем и чем он был.

Так продолжалось до тех пор, пока он не обнаружил у себя кривой мизинец — результат перелома, и тогда он начал догадываться, что является Маркусом О'Брайеном. В то же мгновение он стал быстро припоминать прошлое. А когда

он нашел кровоподтек под ногтем на большом пальце, который он посадил на прошлой неделе, он уже не сомневался в том, кто он такой, и достоверно знал, что эти незнакомые руки принадлежат Маркусу О'Брайену, или, наоборот, что Маркус О'Брайен принадлежит этим рукам. Первая его мысль была, что он болен, что у него лихорадка. Было мучительно больно открывать глаза, и он лежал с закрытыми глазами. Проплывавшая мимо ветка стукнула по борту лодки. Он решил, что кто-то стучит в дверь хижины, и сказал: «Войдите». Подождав немного, он раздраженно сказал: «Тогда оставайтесь там, черт вас побери». Но все-таки ему хотелось, чтобы они вошли и сказали ему, чем он болен.

Пока он так лежал, в мозгу у него начали восстанавливаться события прошлой ночи. Ему пришла в голову мысль, что он вовсе не болен, а просто напился и что пора вставать и приниматься за дело. Дело было связано с представлением о шурфе, и он вспомнил, что отказался продать свой участок за десять тысяч долларов. Он резко приподнялся, сел и через силу открыл глаза. Он увидел, что находится в лодке посреди бурного и вздувшегося Юкона. Поросшие хвойным лесом берега и острова были незнакомы ему. Некоторое

время он сидел совершенно ошеломленный. Он не мог ничего понять. Он помнил вчерашнюю выпивку, но между ней и его нынешним положением не находил никакой связи.

Он сомкнул глаза и уронил ноющую голову на руки. Что же произошло? Постепенно в голову ему закралась страшная мысль. Он сопротивлялся ей, старался отогнать ее прочь, но она настойчиво возвращалась: он кого-то убил. Только этим можно было объяснить, почему он находился в лодке, которую несет вниз по Юкону. Закон Ред Кау, который он так долго применял в отношении других, теперь был применен к нему. Он кого-то убил, и его отправили вниз по течению. Но кого? Он напрягал память, но единственное, что всплыло в его затуманенном мозгу, было воспоминание о телах, навалившихся на него, и о том, как он отбивался, выбираясь из-под них. Но кто это был? Быть может, он убил не одного, а нескольких. Он потянулся к поясу. Ножа там не оказалось. Сомнений не оставалось, он прикончил кого-то ножом. Но должны же были быть какие-то причины для убийства. Он открыл глаза и в панике начал осматривать лодку. Продовольствия в ней не было, ни одной унции продовольствия. Он опустился на дно лодки со стоном. Это значило,

что он убил кого-то без всякого повода. К нему применили закон во всей его строгости.

С полчаса сидел он неподвижно, держась руками за разламывающуюся от боли голову и пытаясь сообразить что-нибудь. Затем он успокоил свой желудок глотком воды из-за борта и почувствовал себя лучше. Он поднялся на ноги, и, стоя в лодке посреди широко разлившегося Юкона, где некому было услышать его, кроме первобытной дикой природы, проклял алкогольные напитки. Потом он прицепился к проплывавшей мимо большой сосне, которую течение несло быстрее, потому что она глубже сидела в воде. Он вымыл лицо и руки, уселся на корме и принялся размышлять. Был конец июня. Расстояние до Берингова моря составляло две тысячи миль. Лодка делала в среднем пять миль в час. В это время года здесь, на этих высоких широтах, было светло круглые сутки, и он мог плыть все двадцать четыре часа. Таким образом, за сутки он будет делать сто двадцать миль. Отбросим двадцать миль на всякие задержки, остается сто миль в сутки. За двадцать дней он доплывет до Берингова моря. И ему не потребуется тратить никакой энергии, работать за него будет река. Он может лежать на дне лодки и беречь силы.

В течение двух дней он ничего не ел. Потом он причалил к одному из пологих островков и набрал яиц диких гусей и уток. Спичек не было, и он яйца ел сырыми. Они были довольно питательны и поддерживали в нем силы. Когда он пересек Полярный круг, он натолкнулся на факторию Компании Гудзонова залива. Отряд еще не прибыл из Маккензи, и в фактории не оказалось ни крошки продовольствия. Ему предложили яйца диких уток, но он в ответ сообщил, что у него в лодке имеется целый бушель такой еды. Предложили выпить виски, но он отказался, и на лице его выразилось неподдельное отвращение. Однако он достал спички и теперь мог варить яйца. В низовьях реки встречные ветры задержали его, и он пробыл на яичной диете двадцать четыре дня. К несчастью, он оба раза спал, когда проплывал мимо миссий Святого Павла и Святого Креста. Поэтому он мог со всей искренностью уверять и уверял впоследствии, что все разговоры о миссиях на Юконе — пустые слухи. Никаких миссий там нет, уж он-то это точно знает.

Попав в Берингово море, он получил возможность сменить яичную диету на тюленью и никак не мог решить, которая же из них хуже. К концу года его подобрал таможенный катер

Соединенных Штатов, и на следующую зиму он завоевал своими лекциями в Сан-Франциско репутацию рьяного поборника трезвенности. На этом поприще он обрел свое призвание. «Избегайте бутылки»

— таков его лозунг и боевой клич. Он намекает, что в его собственной жизни бутылка послужила причиной ужасной катастрофы. Он даже упоминает о потере состояния из-за этой приманки дьявола, но слушатели чувствуют, что за рассказом об этом случае кроется какое-то ужасное и загадочное злодеяние, причиной которого послужила бутылка. Он делает большие успехи на этом поприще, поседел в крестовом походе против крепких напитков и заслужил всеобщее уважение. Но на Юконе исчезновение Маркуса О'Брайена так и осталось легендой. Это тайна, которая стоит в одном ряду с исчезновением сэра Джона Франклина.

Шутка Порпортука

Эл-Су выросла в миссии. Ее мать умерла, когда она была совсем крошкой, и сестра Альберта однажды летним днем подобрала ее, как головню, выхваченную из пожара, увела в миссию Святого Креста и посвятила служению богу. Эл-Су была чистокровной индианкой, но превзошла в успехах всех девочек, в которых текла половина или четверть белой крови. Сестрам миссии никогда еще не приходилось иметь дела с такой легко приспосабливающейся и в то же время такой одаренной девочкой.

Эл-Су была живой, способной и умной девочкой, но самое главное — она была как огонь, в ней билось пламя жизни, светилась яркая индивидуальность, сочетавшая в себе волю, нежность и смелость. Ее отец был вождем, и кровь его текла в ее жилах. Эл-Су повиновалась только тогда, когда добровольно соглашалась на это. Она ко всем относилась как к равным, и, быть может, поэтому она преуспевала в математике.

Впрочем, она преуспевала и по другим предметам. Она выучилась читать и писать по-английски так, как не удавалось ни одной девочке

в миссии. Она пела лучше других, и в пение она вкладывала свою страсть к справедливости. Она была художественной натурой, и огонь ее души стремился к творчеству. Родись она в более благоприятной среде, она, наверное, посвятила бы себя литературе или музыке.

Но ее звали Эл-Су, и она была дочерью Клаки-На, вождя, и жила она в миссии Святого Креста, где не было людей искусства, а только непорочные сестры, интересовавшиеся чистотой, праведностью и благополучием души в мире бессмертия, там, на небесах.

Шли годы. Эл-Су было восемь лет, когда она попала в миссию, теперь ей исполнилось шестнадцать, и сестры как раз вступили в переписку со своим начальством по Ордену, хлопоча о том, чтобы послать одаренную ученицу в Соединенные Штаты для завершения образования, когда в миссию прибыл человек из ее родного племени и пожелал поговорить с ней.

Вид его несколько напутал Эл-Су. Он был грязен. Он смахивал на Калибана — этакое безобразное существо с копной никогда не чесанных волос. Он посмотрел на нее неодобрительно и отказался сесть.

— Твой брат умер, — кратко сказал приезжий.

Эл-Су не была особенно потрясена этим известием. Она почти не помнила своего брата.

— Твой отец — старый человек, и он одинок, — продолжал посланец, — его большой дом пустует, и он хочет слышать твой голос и смотреть на тебя.

Отца, Клаки-На, она помнила — он был вождем деревни, приятелем миссионеров и торговцев, огромным мужчиной, обладавшим гигантской силой, добрыми глазами и властным характером, поведение которого отличала примитивная величественность.

— Передай ему, что я приду, — таков был ответ Эл-Су.

К великому огорчению сестер-миссионерок, головешка, выхваченная из пожара, возвращалась обратно на свое пепелище. Все попытки отговорить Эл-Су оказались тщетными. Было много увещеваний, разговоров и слез. Сестра Альберта даже сообщила Эл-Су, что ее думают послать в Соединенные Штаты. Широко раскрытыми глазами глядела Эл-Су на открывающиеся перед ней блестящие дали и качала головой. Перед ней стояло другое видение. Это была мощная излучина Юкона у Танана, где по одну сторону стоит миссия Святого Георга, а по другую — фактория,

между ними индейская деревушка и знакомый большой бревенчатый дом, в котором живет старик, окруженный слугами.

Все обитатели берегов Юкона на две тысячи миль знали этот большой бревенчатый дом, старика, живущего в нем, и ухаживающих за ним рабов; сестры-миссионерки тоже прекрасно знали этот дом, царящий там нескончаемый разгул, пиры и веселье. Вот почему поднялся плач в миссии Святого Креста, когда уезжала Эл-Су.

С приездом Эл-Су в доме была устроена грандиозная уборка. Клаки-На, который привык сам быть хозяином, поначалу протестовал против порядков, устанавливаемых его властной юной дочерью, но в конце концов, на свой варварский манер мечтая о величии, занял тысячу долларов у старого Порпортука, самого богатого индейца на Юконе. Кроме того, он на большую сумму набрал в фактории товаров. Эл-Су словно возродила старый дом. Она придала ему новое великолепие, в то время как Клаки-На поддерживал здесь древние традиции гостеприимства и разгула.

Все это было необычным для юконских индейцев, но Клаки-На недаром был необычным индейцем. Он не только любил щедрое гостеприимство, он мог и позволить себе это, будучи

вождем и имея много денег. В те дни, когда здесь шла еще меновая торговля, он был владыкой своего народа и выгодно торговал с белыми. Впоследствии вместе с Порпортуком он открыл золотую россыпь на Коюкуке. По натуре и по привычкам Клаки-На был аристократом. Порпортук же был типичным буржуа, и он выкупил у Клаки-На золотую россыпь. Порпортук довольствовался тем, что упорно трудился и копил деньгу, а Клаки-На вернулся в свой большой дом и продолжал тратить их. Порпортук был известен как самый богатый индеец на Аляске. Клаки-На был известен как самый благородный. Порпортук занимался ростовщичеством. Клаки-На был анахронизмом — осколком средневековья, любителем боев и пиров, поклонником вина и песен.

Эл-Су привыкла к большому дому и к его порядкам с такой же легкостью, с какой она до того привыкла к миссии Святого Креста и тамошним порядкам. Она не пыталась переделать своего отца и направить его на стезю господа бога. Правда, она корила его, когда он слишком много пил, но делала она это ради его здоровья и во имя благополучного пребывания на грешной земле.

Двери большого дома никогда не запирались. Жизнь в нем не замирала ни на минуту: люди

то приезжали, то уезжали. Стропила просторной комнаты постоянно сотрясались от шума пирушек и песен. За столом сидели вожди далеких племен и люди со всех концов света: англичане и жители колоний, худощавые торговцы-янки и толстяки-чиновники крупных компаний, ковбои с Запада, моряки, охотники и погонщики собак самых разных национальностей.

Эл-Су дышала этой атмосферой космополитизма. По-английски она говорила так же хорошо, как и на родном языке, пела английские песни и баллады. Она знала уходящие в прошлое индейские обряды и умирающие традиции. Если случалась необходимость, она умела нарядиться в традиционную одежду дочери вождя. Но обычно она одевалась на манер белых женщин. Ведь не напрасно ее учили в миссии шить, и не зря она обладала художественным вкусом. Она носила свои платья, как носят их белые женщины, и шила себе такие, которые шли ей.

Эл-Су была по-своему столь же необычным явлением, как и ее отец, и положение, которое она занимала, было столь же необычным, как и его положение. Она была единственной индианкой, с которой держались как с равной те немногие белые женщины, что жили в Танане. Она была

единственной индианкой, которой белые мужчины делали предложения руки и сердца. И, наконец, она была единственной индианкой, которую никогда не пытался оскорбить ни один белый.

Дело в том, что Эл-Су была очень красива — не так, как бывают красивы белые женщины, и не так, как бывают красивы индианки. Красота ее была в том внутреннем огне, который не зависит от черт лица. Если же говорить о чертах лица, то она являла собой классический тип индианки. У нее были черные волосы и кожа цвета бронзы, черные глаза, блестящие и смелые, острые как отблеск стали, маленький орлиный нос с тонкими трепещущими ноздрями, чуть выдающиеся, но не слишком широкие скулы и в меру тонкие губы. Но что было в ней главным — это внутренний огонь, то необъяснимое пламя в душе, что наполняло теплым светом ее глаза или сверкало в них, пробивалось румянцем щек, раздувало ноздри, срывалось смехом с губ и даже, если она была серьезна, пряталось в уголках рта, всегда готовое рассыпаться веселым смехом.

Эл-Су была остроумна, шутки ее редко бывали обидными, но она быстро подмечала маленькие слабости у окружающих. Ее веселый смех, как

искрящийся огонек, зажигал людей, и они отвечали ей такими же веселыми улыбками. И тем не менее она никогда не оказывалась в центре внимания. Этого она не допускала. И самый дом, и его слава были созданы ее отцом, радушным хозяином, повелителем пирушек, законодателем, и его героическая фигура царила здесь до последних его дней. Правда, по мере того как силы оставляли его, она понемногу принимала всю тяжесть дел из слабеющих рук отца. Но внешне все оставалось по-прежнему, он правил, как и встарь, хотя частенько дремал, даже за столом, — былой гуляка лишь по видимости оставался еще хозяином пирушек.

А по большому дому между тем бродила зловещая фигура Порпортука, который неодобрительно покачивал головой, осуждая этот разгул, но платил за все. Нельзя сказать, что он особенно тратился, ибо какими-то таинственными путями ему удавалось соблюдать собственные интересы, и постепенно год за годом прибирать к рукам имущество Клаки-На. Один-единственный раз Порпортук взял на себя смелость упрекнуть Эл-Су за расточительный образ жизни, царящий в большом доме, — это произошло как раз тогда, когда он поглотил уже почти все богатство Клаки-На, но

больше он никогда не отваживался попрекать ее. Эл-Су, как и ее отец, была аристократкой, подобно своему родителю, она с презрением относилась к деньгам и ставила честь превыше всего.

Порпортук продолжал с неохотой одалживать деньги, но деньги эти тут же таяли золотой пеной. Эл-Су твердо решила одно: отец должен умереть так же, как и жил. Он не должен ощущать падения своего величия, пиры не должны стихать, не должно иссякать щедрое гостеприимство. Когда случался голод, страдающие индейцы, как и в былые времена, приходили к большому дому и уходили оттуда сытые. Если в доме не было денег, их занимали у Порпортука, и индейцы все равно уходили довольные. Эл-Су могла бы повторить вслед за аристократами иных времен и иных стран, что после нее хоть потоп. В данном случае для нее потопом был старый Порпортук. С каждым разом, одалживая деньги, он смотрел на нее с растущим чувством собственника и ощущал, как разгораются в нем старые, как мир, желания.

Но Эл-Су не смотрела на него. Впрочем, точно так же она не смотрела и на белых мужчин, которые предлагали обвенчаться с ней, как принято среди белых — с кольцами, священником и клятвой на Библии. Дело в том, что в Танане

жил юноша по имени Акун, одной крови с ней, одного племени и из одного селения. Ей он казался самым сильным и самым красивым, он был великий охотник, но так как часто и далеко путешествовал, то не нажил богатств. Он побывал в неизведанных и диких местах, путешествовал на Ситху и даже в Соединенные Штаты, пересекал материк до Гудзонова залива и обратно, охотился на тюленей и доплывал на судне до Сибири и Японии.

Вернувшись с золотых приисков в Клондайке, он, как обычно, пришел в большой дом, чтобы рассказать старому Клаки-На обо всем, что повидал на белом свете, и там он впервые встретил Эл-Су, которая вот уже три года как приехала из миссии. После этого Акун больше не уходил в странствия. Он отказался работать лоцманом на больших пароходах, хотя ему предлагали двадцать долларов в день. Он понемногу охотился и удил рыбу, но никогда не забирался далеко от Тананы и часто подолгу бывал в большом доме. Эл-Су сравнивала его со многими мужчинами и нашла, что он лучше всех. Он пел для нее песни, загорался и пылал страстью, и скоро все селение знало, что он влюблен в Эл-Су. Порпортук только щерил зубы и давал еще денег на содержание

большого дома.

И вот наступил последний предсмертный пир Клаки-На. Он сидел за столом, и в горле у него застряла смерть, которую нельзя было залить вином. Вокруг раздавались смех, шутки и песни. Акун рассказал такую историю, что стропила дрогнули от хохота. За этим столом не было ни слез, ни вздохов. Всем казалось совершенно естественным, что Клаки-На должен умереть так, как жил, и никто не знал этого лучше, чем Эл-Су, с ее артистическим чутьем. На пир, как и в былые времена, собралась вся старая компания и, кроме того, трое пообмороженных матросов, только-только вернувшихся из далекого путешествия в Арктику, единственных спасшихся из команды в семьдесят четыре человека. Позади Клаки-На стояли четверо стариков — последние из слуг, которые прислуживали ему в молодости. Слезящимися глазами они следили за каждым жестом вождя, дрожащими руками наполняли ему стакан и колотили его между лопатками, когда смерть поднимала голову и тот начинал кашлять и задыхаться.

Это была разгульная ночь, шли часы, кругом царило веселье и хохот, но вот смерть снова зашевелилась в горле у Клаки-На. Тогда он послал за

Порпортуком. И Порпортук пришел сюда с мороза и неодобрительно смотрел на стол, уставленный мясом и вином, за которые он заплатил. Но когда он обвел глазами длинный ряд разгоряченных лиц и в дальнем конце стола увидел лицо Эл-Су, глаза его загорелись и на миг осуждение исчезло с его лица.

Его посадили рядом с Клаки-На и поставили перед ним стакан. Собственной рукой Клаки-На наполнил ему стакан огненным напитком.

— Пей! — закричал он. — Разве он не хорош?

И глаза у Порпортука увлажнились, он склонил голову в знак согласия и причмокнул губами.

— Разве ты в своем доме пил когда-нибудь такой напиток? — спросил Клаки-На.

— Я не буду отрицать, что этот напиток хорош для моего старого горла, но… — ответил Порпортук и помедлил, словно не желая высказываться до конца.

— Но он слишком дорого стоит, — расхохотался Клаки-На, заканчивая за него.

Порпортук вздрогнул от хохота, который прокатился вдоль всего стола. Глаза его вспыхнули недобрым огоньком.

— Мы росли вместе, и мы с тобой одного возраста, — сказал он, — но в твоем горле сидит смерть,

а я жив и полон сил.

Среди собравшихся послышался угрожающий ропот. Клаки-На закашлялся, начал задыхаться, и старики слуги принялись колотить его между лопатками. Он с трудом перевел дух и поднял руку, чтобы успокоить раздраженных гостей.

— Тебе было жалко разводить огонь в собственном доме, потому что дрова были слишком дороги! — крикнул он. — Ты скупился жить. Жизнь стоит слишком дорого, а ты не хотел платить эту цену. Твоя жизнь похожа на хижину, в которой нет огня и нет одеял на полу. — Он подал слугам знак наполнить стакан и поднял его. — А я жил! И жизнь согревала меня, как никогда не согревала тебя. Это правда, ты проживешь долго. Но самые длинные ночи — холодные ночи, и тогда человек дрожит и не может уснуть. Мои ночи были короткими, но я спал в тепле.

Он осушил свой стакан. Дрожащие руки слуг не успели подхватить стакан, и он упал на пол. Клаки-На откинулся назад, тяжело дыша, и следил глазами, как все осушают свои стаканы, и губы его слегка улыбались в ответ на крики одобрения. Он подал знак, и двое слуг попытались вновь посадить его прямо. Но они были старыми и слабыми, а он был могуч телом, и тогда на помощь

пришли еще двое слуг и вчетвером они с трудом усадили его.

— Но мы говорим не о том, кто как живет, — продолжал Клаки-На. — У нас с тобой, Порпортук, сегодня есть другое дело. Долги — это несчастье, а я тебе должен. Сколько же я задолжал тебе?

Порпортук порылся в своей сумке и вытащил оттуда бумажку. Он отхлебнул из стакана и начал:

— Вот расписка от августа тысяча восемьсот восемьдесят девятого года на триста долларов. Проценты не были уплачены. Расписка за следующий год на пятьсот долларов. Этот долг был включен в расписку, которую ты выдал мне через два месяца на тысячу долларов. Потом есть расписка…

— К дьяволу все эти расписки! — нетерпеливо закричал Клаки-На. — У меня от них голова идет кругом, и все в ней путается. Сколько всего? Сколько я тебе должен?

Порпортук заглянул в свои записи.

— Пятнадцать тысяч девятьсот шестьдесят семь долларов и семьдесят пять центов, — прочитал он.

— Пусть будет шестнадцать тысяч, — великодушно бросил Клаки-На, — считай, что шестна-

дцать тысяч. Некруглые числа меня путают. А теперь — для этого я и позвал тебя — пиши новую расписку на шестнадцать тысяч, и я подпишу ее. Мне все равно, какие проценты ты будешь брать с меня. Пиши, какие хочешь, и пометь, что этот долг я верну тебе в том мире, где мы встретимся с тобой у костра Великого Отца всех индейцев. Там я заплачу тебе по этой расписке. Это я тебе обещаю. Даю слово Клаки-На.

Порпортук был озадачен, а громкий хохот присутствующих потряс стены комнаты. Клаки-На поднял руку.

— Нет! — воскликнул он. — Это не шутка. Я честно говорю. Я для этого и послал за тобой, Порпортук. Пиши расписку.

— Я не веду никаких дел с тем миром, — медленно произнес Порпортук.

— Разве ты не уверен, что встретишь меня перед лицом Великого Отца? — потребовал ответа Клаки-На и добавил: — Я наверняка буду там.

— Я не веду дел с тем миром, — раздраженно повторил Порпортук.

Умирающий смотрел на него с искренним изумлением.

— Я ничего не знаю про тот мир, — пояснил Порпортук. — Я делаю дела здесь, на земле.

Лицо Клаки-На прояснилось.

— Это оттого, что ночи твои холодны, — рассмеялся он, помолчал некоторое время и потом сказал: — Значит, ты хочешь получить свой долг здесь, на земле. Ну что ж, у меня остается этот дом. Бери его и сожги долговые расписки на свече.

— Это старый дом, он не стоит таких денег, — отозвался Порпортук.

— У меня есть еще прииск у Кривого Лосося.

— Он никогда не окупал себя.

— Тогда у меня есть доля в пароходе «Коюкук». Я владею половиной его.

— Он лежит на дне Юкона.

Клаки-На вздрогнул.

— Правда, я забыл об этом. Это случилось прошлой весной, когда сошел лед.

Клаки-На задумался, никто не притрагивался к стаканам, ожидая, пока он заговорит.

— Выходит, что я должен тебе такие деньги, которые я не могу заплатить… здесь, на земле?

Порпортук кивнул головой и огляделся.

— Тогда получается, что ты, Порпортук, плохой делец, — насмешливо сказал Клаки-На.

Порпортук нагло ответил:

— Нет, это не так. У тебя есть еще собственность.

— Как? — воскликнул Клаки-На. — У меня есть еще имущество? Назови его, и оно твое, и долг будет погашен.

— Вот оно. — Порпортук показал на Эл-Су.

Клаки-На не понял. Он посмотрел туда, куда показывал Порпортук, протер глаза и опять посмотрел.

— Твоя дочь Эл-Су… Отдай ее мне, и долг будет заплачен. Я тут же сожгу твои расписки на этой свече.

Могучая грудь Клаки-На заколыхалась.

— Ха! Ха! Вот так шутка! Ха-ха-ха! — Клаки-На разразился гомерическим хохотом. — Это с твоей-то холодной постелью и с дочерьми, которые годятся в матери Эл-Су! Ха-ха-ха!

Он закашлялся, начал задыхаться, и старики-слуги принялись похлопывать его по спине.

— Ха-ха-ха! — вновь захохотал Клаки-На, и опять его схватило удушье.

Порпортук терпеливо ждал, потягивая из своего стакана и изучая лица сидевших по обе стороны стола. Наконец он сказал:

— Это не шутка. Я говорю дело.

Тут Клаки-На протрезвел, глянул на Порпортука и потянулся за своим стаканом, но не сумел достать его. Один из слуг подал ему стакан, и

Клаки-На швырнул этот стакан вместе с содержимым в лицо Порпортука.

— Вытолкайте его вон! — загремел Клаки-На, обращаясь к сидевшим за столом, которые подобно своре охотничьих собак, рвущихся с поводка, только и ждали его сигнала. — И вываляйте его в снегу!

Когда взбесившийся клубок людей прокатился мимо него и вывалился за дверь, Клаки-На подал знак своим слугам, и четверо трясущихся стариков помогли ему встать на ноги и встретить возвращающихся бражников стоя, с поднятым стаканом, провозглашающим тост за короткие ночи, когда человек спит в тепле.

Для того, чтобы разобраться в запутанных делах Клаки-На, потребовалось совсем немного времени. Эл-Су пригласила для помощи англичанина Томми, младшего агента фактории. От Клаки-На не осталось ничего, кроме долгов, просроченных долговых расписок, залоговых квитанций на собственность и заложенной собственности, которая ничего не стоила. Все долговые расписки и залоговые квитанции находились у Порпортука. Томми, изучая проценты, которые брал Порпортук, каждый раз обзывал его ворюгой.

— Это долг, Томми? — спрашивала Эл-Су.

— Это грабеж, — отвечал Томми.

— И все-таки это долг, — настаивала Эл-Су.

Кончилась зима, наступила весна, а долг Порпортуку все еще не был уплачен. Он частенько заходил к Эл-Су и каждый раз пространно объяснял ей, как объяснял однажды ее отцу, каким путем может быть погашен этот долг. Он даже привел с собой старого шамана, который растолковал ей, что если долг не будет уплачен, то ее отцу суждено вечное проклятие. И наконец после одного такого посещения Эл-Су объявила Порпортуку свое окончательное решение.

— Я скажу тебе две вещи, — сказала она. — Во-первых, я никогда не буду твоей женой. Запомни это. А во-вторых, ты получишь свои шестнадцать тысяч долларов — все, до последнего цента…

— Пятнадцать тысяч девятьсот шестьдесят семь долларов и семьдесят пять центов, — поправил Порпортук.

— Мой отец сказал, шестнадцать тысяч, — был ее ответ, — ты их получишь.

— Каким образом?

— Я сейчас еще не знаю, каким образом, но я найду способ. А теперь уходи и не надоедай мне больше. А если будешь приставать ко мне… — она помедлила, придумывая подходящее наказание,

— если ты будешь приставать ко мне, я прикажу опять вывалять тебя в снегу, как только выпадет первый снег.

Разговор этот происходил ранней весной, и вскоре Эл-Су удивила всю страну.

В июне, когда пойдет лосось, Эл-Су, дочь Клаки-На, будет продавать себя с аукциона, чтобы расплатиться с долгом Порпортуку. Слух об этом разнесся по всему Юкону, от Чилкута до дельты Юкона, его передавали от лагеря к лагерю, до самых отдаленных стоянок. Попытки разубедить ее были напрасны. Священник из миссии Святого Георга долго и горячо убеждал ее, но она ответила:

— На том свете расплачиваются с долгами только перед господом богом. Долги людям должны уплачиваться здесь, на земле, — здесь они и будут уплачены.

Акун пытался переубедить ее, но она ему ответила:

— Да, я люблю тебя, Акун, но честь выше любви. Разве я могу опозорить моего отца?

Сестра Альберта прибыла на первом пароходе из миссии Святого Креста, но тоже ничего не добилась.

— Мой отец блуждает в дремучем и бесконеч-

ном лесу, — ответила ей Эл-Су, — и ему суждено блуждать там среди рыдающих и неприкаянных душ до тех пор, пока не будет выплачен долг. Тогда, только тогда, сможет войти он в дом Великого Отца.

— И ты веришь в это? — спросила сестра Альберта.

— Не знаю, — ответила Эл-Су, — в это верил мой отец.

Сестра Альберта недоверчиво пожала плечами.

— А кто знает, — продолжала Эл-Су, — может быть, иной мир и в самом деле окажется таким, как мы верим? Почему бы и нет? Для вас иной мир — небеса, где играют на арфах… потому что вы верите в небеса с арфами. А для моего отца иной мир — это большой дом, где он вечно будет пировать вместе с богом.

— А ты? — спросила сестра Альберта. — Каким ты представляешь иной мир?

Эл-Су на мгновение помедлила с ответом.

— Мне бы хотелось и того и другого понемногу, — сказала она, — мне хотелось бы встретить там и вас и моего отца.

Настал день аукциона. Танана стала весьма многолюдной. Согласно обычаю, здесь в эту пору

собирались индейские племена и ожидали, когда пойдет лосось, а пока что развлекались танцами и играми, торговали и сплетничали. Сюда съехались искатели приключений, торговцы, золотоискатели и, помимо них, еще множество белых, которых привело сюда любопытство или свой расчет.

Весна в этом году была поздней, и лосось запоздал. Эта задержка только разжигала всеобщий интерес. А в день аукциона напряженность стала еще больше благодаря Акуну. Он в присутствии множества людей торжественно заявил, что тот, кто купит Эл-Су, немедленно умрет. При этом он потряс в руке своим винчестером, показывая, откуда придет эта смерть. Эл-Су рассердилась, но он отказался разговаривать с ней и отправился в факторию, чтобы запастись патронами.

Первого лосося выловили в десять часов вечера, а в полночь начался аукцион. Он происходил на высоком берегу Юкона. Скрытое за горизонтом солнце спешило на север, и небо было зловеще-багрового цвета. У самого обрыва поставили стол и два стула, а вокруг собралась огромная толпа. В первых рядах расположились многочисленные белые и несколько вождей племен. А на самом видном месте в первом ряду стоял Акун с ружьем

в руке. Томми по просьбе Эл-Су взял на себя обязанности аукционера, но открыла аукцион сама Эл-Су, которая описала товар, выставленный для продажи. Одетая в национальный костюм, в одежду дочери вождя, по-варварски великолепную, она поднялась на стул, чтобы все могли хорошенько рассмотреть ее.

— Кто хочет купить себе жену? — обратилась она к толпе. — Посмотрите на меня. Мне двадцать лет, и я девушка. Я буду хорошей женой тому, кто купит меня. Если это будет белый мужчина, я буду одеваться, как одеваются белые женщины, если он будет индеец, я буду одеваться… — она заколебалась на мгновение, — как скво. Я умею шить себе платья, умею стирать и штопать. Меня восемь лет учили всему этому в миссии Святого Креста. Я умею читать и писать по-английски и играю на органе. Кроме того, я знаю арифметику и немного алгебру, совсем немножко. Меня купит тот, кто предложит самую высокую цену, и я выдам ему расписку, что продала себя. Да, забыла сказать, что хорошо пою и ни разу в жизни не болела. Вес мой — сто тридцать два фунта, отец умер, других родственников нет. Кто хочет купить меня?

Горящим и смелым взглядом она обвела толпу

и сошла со стула. Томми предложил ей опять стать на стул, а сам он вскарабкался на другой и открыл аукцион.

Вокруг Эл-Су стояли четверо старых слуг ее отца. Старость скрючила их, сделала беспомощными; представители давно ушедшего поколения, которые без всякого интереса взирали на проделки молодости, они думали только о пище. Впереди толпы заняли места несколько королей Бонанзы и Эльдорадо, рядом с ними, на костылях, распухшие от цинги, стояли двое неудачливых золотоискателей. Вот из гущи толпы высунулась, широко раскрыв от любопытства глаза, скво с Верхней Тананы, забредший с побережья индеец ситка был рядом со стиком с озера Ле-Барж, а неподалеку от них особняком стояли человек шесть проводников-канадцев. Издалека доносился приглушенный гомон бесчисленных диких птиц с их гнездовий. Ласточки проносились низко над головами и над спокойной поверхностью Юкона, пели зорянки. Косые лучи невидимого солнца пробивались сквозь дым, поднимавшийся от лесных пожаров где-то за тысячу миль отсюда, и окрашивали небо в мрачно-багровые тона; отраженный свет солнца делал и землю красноватой. Этот отраженный свет ложился на

лица собравшихся и придавал всему сборищу какой-то потусторонний и фантастический вид.

Поначалу ставки поднимались весьма туго. Ситка, который был впервые в этих краях и прибыл сюда всего за полчаса до начала аукциона, уверенно предложил сто долларов и был крайне удивлен, когда Акун с ружьем в руке угрожающе обернулся к нему. Никто не назначал новую цену. Потом индеец-лоцман с Тоцикакаты предложил сто пятьдесят долларов, а через некоторое время некий игрок, изгнанный с Верховий Юкона, поднял цену до двухсот долларов. Эл-Су переживала, самолюбие ее было уязвлено, но она и виду не подала, а лишь еще более вызывающе оглядывала толпу.

Толпа зрителей зашевелилась, когда вперед пробился Порпортук.

— Пятьсот долларов! — громко выкрикнул он и оглянулся с гордостью, чтобы посмотреть, какой эффект произвела его сумма.

Он решил использовать свое огромное богатство в качестве дубинки, с помощью которой он мог пришибить всех соперников с самого начала. Но один из проводников, глядя на Эл-Су горящими глазами, повысил ставку еще на сотню.

— Семьсот! — немедленно отозвался Порпор-

тук.

И с той же готовностью ему ответил проводник:

— Восемьсот!

Тогда Порпортук вновь пустил в ход свою тяжелую дубину:

— Тысяча двести! — выкрикнул он.

На лице проводника отразилось горькое разочарование, и он вынужден был признать себя побежденным. Никто не повышал ставок. Томми старался изо всех сил, но не мог добиться новых предложений.

Эл-Су обратилась к Порпортуку:

— Порпортук, тебе следует хорошенько взвесить то, что ты делаешь. Разве ты забыл, что я тебе сказала, — что я никогда не буду твоей женой?

— Это публичный аукцион, — возразил Порпортук, — и я куплю тебя как полагается. Я предложил тысячу двести долларов. Ты пока что ценишься дешево.

— Слишком дешево, черт побери! — выкрикнул Томми. — Что из того, что я аукционер? Никто не запретит мне самому принять участие в торге. Я предлагаю тысячу триста.

— Тысяча четыреста, — отозвался Порпортук.

— Я куплю тебя, и ты будешь мне сестрой, шеп-

нул Томми Эл-Су и громко сказал:

— Тысяча пятьсот!

Когда ставка дошла до двух тысяч, в торг вступил один из королей Эльдорадо, а Томми вышел из игры.

В третий раз Порпортук пустил в ход тяжелую дубинку своего богатства и поднял ставку сразу на пятьсот долларов. Гордость короля Эльдорадо оказалась задетой. Кто посмел перебить его? И он поднял ставку еще на пятьсот долларов.

Теперь за Эл-Су давали три тысячи долларов. Порпортук поднял ставку до трех тысяч пятисот и раскрыл от изумления рот, когда король Эльдорадо накинул сразу тысячу долларов. Порпортук опять набавил пятьсот долларов и опять ахнул, когда король Эльдорадо прибавил еще тысячу долларов.

Порпортук начинал злиться. Его задело, что кто-то бросил вызов его могуществу, которое для него воплощалось в богатстве. Он не мог позволить, чтобы его унизили перед лицом людей. Дело было уже не в Эл-Су. Он готов был бросить на ветер все, что скопил за все холодные долгие ночи своей жизни. Цена Эл-Су поднялась уже до шести тысяч. Порпортук назвал семь тысяч. После этого ставки стали расти по тысяче с такой быстротой,

что участники торга едва успевали называть сумму. Когда цена подскочила до четырнадцати тысяч, оба замолчали, чтобы перевести дыхание.

Но тут произошло нечто неожиданное. В борьбу вступила еще более увесистая дубинка. Игрок с Верховий Юкона, который почуял выгодное дельце, организовал в наступившей паузе синдикат из нескольких своих приятелей и поднял цену до шестнадцати тысяч долларов.

— Семнадцать тысяч, — слабеющим голосом произнес Порпортук.

— Восемнадцать тысяч, — парировал король.

Порпортук собрался с силами.

— Двадцать тысяч.

Синдикат выбыл из игры. Король Эльдорадо поднял ставку еще на тысячу, Порпортук тоже, и пока они попеременно повышали цену, Акун поворачивался то к одному, то к другому, он посматривал на них угрожающе и одновременно с любопытством, словно желая выяснить, что же представляет собой человек, которого он должен сейчас убить. Король собирался назвать очередную надбавку, Акун стал пробираться поближе к нему, и тот, прежде чем назвать сумму, сначала высвободил висевший на боку револьвер.

— Двадцать три тысячи.

— Двадцать четыре тысячи, — ответил Порпортук. При этом он злорадно ухмыльнулся, заметив, что его уверенность, с которой он поднимал цену, поколебала короля. Тот подошел поближе к Эл-Су и долго и внимательно рассматривал ее.

— И еще пятьсот, — наконец сказал он.

— Двадцать пять тысяч, — вновь поднял цену Порпортук.

Король долго смотрел на Эл-Су и покачал головой. Потом глянул еще раз и неохотно процедил:

— И еще пятьсот.

— Двадцать шесть тысяч! — выпалил Порпортук.

Король отвернулся, чтобы не видеть умоляющих глаз Томми. Между тем Акун стал пробираться поближе к Порпортуку. Острые глаза Эл-Су заметили это, и пока Томми убеждал короля Эльдорадо еще раз повысить ставку, она нагнулась и сказала что-то на ухо старому слуге. И в то время, пока слова Томми «Продается… Продается… Продается» звучали в воздухе, слуга подошел к Акуну и тоже шепнул ему что-то на ухо. И хотя Эл-Су с нетерпением смотрела на него, но Акун не подал вида, что расслышал хоть что-нибудь.

— Продана! — прозвучал голос Томми. — Продана Порпортуку за двадцать шесть тысяч

долларов.

Порпортук с опаской посмотрел на Акуна. Все глаза были устремлены туда же, но он стоял недвижимо.

— Пусть принесут весы, — сказала Эл-Су.

— Я буду расплачиваться у себя в доме, — произнес Порпортук.

— Пусть принесут весы, — повторила Эл-Су. — Оплата должна быть произведена здесь, чтобы все видели.

Из фактории принесли весы, а Порпортук тем временем сходил к себе и вернулся в сопровождении человека, который тащил на спине мешки из лососиной кожи, набитые золотым песком. Кроме него за Порпортуком следовал еще один человек с ружьем в руках, который не сводил глаз с Акуна.

— Вот здесь долговые расписки и закладные на пятнадцать тысяч девятьсот шестьдесят семь долларов и семьдесят пять центов.

Эл-Су взяла документы у него из рук и сказала Томми:

— Пусть они считаются за шестнадцать тысяч.

— Остается выплатить еще десять тысяч золотым песком, — сказал Томми.

Порпортук кивнул в знак согласия и развязал

свои мешки. Эл-Су, стоя у самой воды, разорвала бумаги на клочки и пустила их по ветру, дувшему вдоль Юкона. Начали отвешивать золото, но тут произошла заминка.

— Считать будем, конечно, по семнадцати долларов, — сказал Порпортук Томми, когда тот начал регулировать весы.

— Нет, по шестнадцати долларов, — резко сказала Эл-Су.

— Повсюду принято считать золотой песок по семнадцать долларов за унцию, — ответил Порпортук, — у нас здесь деловая сделка.

Эл-Су рассмеялась.

— А это новый обычай, — сказала она, — он заведен с этой весны. В прошлом году и раньше считали по шестнадцати долларов за унцию. Когда мой отец одалживал деньги, считали по шестнадцати долларов. Когда он покупал в лавке товары, то за унцию золотого песка, который он одалживал у тебя, он получал муки на шестнадцать долларов, а не на семнадцать. Поэтому и ты должен считать мне по шестнадцати долларов, а не по семнадцати.

Порпортук проворчал что-то и приказал отвешивать песок.

— Развешивай его на три части, Томми, — ска-

зала Эл-Су, — сюда на тысячу долларов, сюда на три тысячи, а сюда на шесть.

Это была медленная процедура, и, пока развешивали песок, присутствующие не сводили глаз с Акуна.

— Он ждет, когда будут отданы деньги, — предположил кто-то, и эти слова облетели всех, и толпа ждала, что же будет делать Акун.

Наконец Томми закончил развешивать, и золотой песок лежал на столе тремя темно-желтыми кучками.

— Мой отец остался должен Компании три тысячи долларов, — сказала Эл-Су, — возьми их, Томми, и передай Компании. Теперь здесь остаются четверо стариков. Ты их знаешь. Вот тысяча долларов. Возьми ее и сделай так, чтобы старики всегда были сыты и у них всегда был табак.

Томми высыпал золото в отдельные мешки. На столе осталась кучка песка на шесть тысяч долларов. Эл-Су подхватила его совком и, неожиданно повернувшись, высыпала золотым дождем в Юкон. Когда она во второй раз воткнула совок в золотой песок, Порпортук схватил ее за кисть.

— Это мое, — спокойно сказала она, и он отпустил ее руку, но пока она швыряла песок в реку, Порпортук смотрел на нее и скрежетал зубами,

весь почернев от злости.

Толпа смотрела только на Акуна; слуга Порпортука, стоявший в ярде от Акуна, направил ружье на него, держа палец на спуске. Но Акун стоял спокойно.

— Пишите бумагу о продаже, — мрачно сказал Порпортук.

И Томми составил купчую, согласно которой все права на женщину по имени Эл-Су получал человек по имени Порпортук. Эл-Су подписала документ, Порпортук сложил его и спрятал в мешочек. Вдруг глаза его вспыхнули, и он обратился к Эл-Су с неожиданной речью.

— Это не был долг твоего отца, — сказал он, — то, что я заплатил, я заплатил за тебя. Ты продавала себя сегодня, а не вчера, не в прошлом году или еще раньше. За каждую унцию песка, которым я заплатил за тебя, сегодня в фактории дают муки на семнадцать долларов. Я потерял доллар на каждой унции. Я потерял шестьсот двадцать пять долларов.

Эл-Су раздумывала мгновение и поняла, что ошиблась. Она рассмеялась.

— Ты прав, — смеясь, сказала она, — я ошиблась. Но теперь уже поздно. Ты заплатил, и золота уже больше нет. Ты стал тугодумом. И потому

прогадал. Твой хитрый ум стал неповоротлив. Ты стареешь, Порпортук.

Порпортук ничего не ответил. Он опасливо посмотрел на Акуна и успокоился. Потом поджал губы, и в лице появилась жестокость.

— Пойдем, — сказал он, — пойдем в мой дом.

— Разве ты забыл те две вещи, которые я сказала тебе весной? — спросила Эл-Су, не выказывая желания следовать за ним.

— Я бы давно свихнулся, если бы помнил все, что говорят женщины, — ответил он.

— Я сказала, что ты получишь свой долг, — старательно продолжала Эл-Су, — и я еще сказала, что никогда не буду твоей женой.

— Но это было до того, как ты подписала купчую, — ответил Порпортук и потрогал пальцами хрустящую бумагу. — Я купил тебя на глазах у всех. Ты принадлежишь мне. Ты не можешь отрицать, что ты моя.

— Да, я твоя, — спокойно подтвердила Эл-Су.

— Ты принадлежишь мне.

— Я принадлежу тебе.

Голос Порпортука зазвучал чуть громче, в нем послышались торжествующие нотки.

— Ты принадлежишь мне, как собака принадлежит хозяину.

— Я принадлежу тебе, как собака принадлежит хозяину, — спокойно сказала Эл-Су, — но ты, Порпортук, забыл то, что я тебе говорила. Если бы меня купил любой другой мужчина, я стала бы его женой. Я была бы хорошей женой. Так я решила. Но твоей женой я никогда не буду. Поэтому я только твоя собака.

Порпортук знал, что играет с огнем, и решил быть твердым.

— Тогда я буду говорить с тобой не как с Эл-Су, а как с собакой, — сказал он, — и я приказываю тебе идти со мной.

Он хотел было взять ее за руку, но Эл-Су оттолкнула его.

— Не спеши, погоди, Порпортук. Ты купил собаку. А собака убегает. Я ведь только твоя собака. Что, если я убегу?

— Я побью тебя, как хозяин бьет собаку…

— Когда поймаешь меня?

— Когда поймаю тебя.

— Тогда лови меня.

Порпортук быстро подскочил к ней, но Эл-Су увернулась. Она смеялась, бегая вокруг стола.

— Лови ее! — крикнул Порпортук индейцу с ружьем; который оказался неподалеку от Эл-Су.

Но как только индеец пытался схватить ее,

король Эльдорадо сбил его с ног ударом кулака по скуле. Ружье звякнуло о землю. Тут, казалось бы, наступил черед Акуна. Глаза его сверкнули, но он остался на месте.

Порпортук был старый человек, но холодные ночи помогли ему сохранить силы. Он не стал бегать вокруг стола. Он неожиданно перескочил прямо через стол. Эл-Су оказалась застигнутой врасплох. Она отскочила назад с испуганным криком, и Порпортук поймал бы ее, если бы не Томми. Тот вытянул ногу, Порпортук споткнулся и свалился на землю. Эл-Су бросилась бежать.

— Тогда лови меня, — смеясь бросила она ему через плечо, убегая.

Она бежала легко и быстро. Порпортук был в ярости. Он бежал быстрее ее. В молодости он считался самым лучшим бегуном среди юношей. Но Эл-Су была хитрее и изворотливее. Она была в туземном костюме, и юбка не путалась у нее в ногах, а ее гибкое тело оказалось слишком увертливым для цепких пальцев Порпортука.

С хохотом и шумом огромная толпа рассыпалась, чтобы поглазеть за погоней. Эл-Су и Порпортук бежали по становищу и, делая круги, то исчезали, то вновь появлялись среди палаток. Эл-Су размахивала руками, чтобы сохранить рав-

новесие при беге, и временами ее тело, казалось, отрывалось от земли, когда она делала крутые повороты. А Порпортук все бежал в каком-нибудь шаге позади или сбоку от нее, как тощая гончая собака.

Они миновали открытое место позади становища и скрылись в лесу. Танана ждала их возвращения, ждала долго, но тщетно.

Тем временем Акун ел, спал и подолгу шатался у пароходной пристани, оставаясь глух к растущему возмущению обитателей становища по поводу того, что он ничего не предпринимал. Через сутки Порпортук вернулся. Он устал и был в ярости. Он не стал разговаривать ни с кем, кроме Акуна, и попытался вызвать его на ссору. Но Акун пожал плечами и ушел прочь. Порпортук не терял времени. Он нанял шесть юношей, отобрав лучших следопытов и проводников, и вместе с ними отправился в лес.

На следующий день пароход «Сиэтл», направлявшийся вверх по реке, пристал к берегу, чтобы запастись топливом. Когда концы отдали и пароход отошел от берега, Акун находился в лоцманской рубке. Прошло немного часов, и, встав на вахту у руля, он увидел маленькое каноэ из березовой коры, отчалившее от берега. В каноэ

виднелась одна-единственная человеческая фигура. Акун пристально вглядывался, повернул руль и скомандовал замедлить ход.

В рубку вошел капитан парохода.

— Что случилось? — спросил он. — Здесь нет мелей.

Акун проворчал что-то. Он увидел, как от берега отвалило большое каноэ, в котором было несколько человек. Как только «Сиэтл» отклонился от фарватера, Акун повернул рулевое колесо еще круче. Капитан рассердился.

— Там всего-навсего скво, — запротестовал он.

Акун не отвечал. Он, не отрываясь, смотрел на женщину и преследующее ее каноэ. Там шесть человек сидели на веслах; женщина гребла куда медленнее.

— Ты посадишь пароход на мель! — заорал капитан, хватаясь за рулевое колесо.

Но руки Акуна с железной силой держали рулевое колесо, а сам он посмотрел капитану прямо в глаза. Тот медленно отпустил колесо.

— Чудак человек, — пробормотал он.

Акун держал пароход у самого мелководья и выжидал, пока не увидел, как женщина уцепилась за передние поручни. Тогда он скомандовал полный вперед и завертел рулевое колесо обрат-

но. Большое каноэ было уже совсем рядом, но расстояние между ним и пароходом стало быстро увеличиваться.

Женщина расхохоталась и перевесилась через поручни.

— Так лови меня, Порпортук! — крикнула она.

Акун сошел с парохода в Форте Юкон. Он нанял небольшую лодку и отправился вверх по реке Поркюпайн. С ним была Эл-Су. Это было тяжелое путешествие, путь их лежал через хребет, пересекавший страну, но Акун раньше путешествовал этим путем. Когда они добрались до истоков Поркюпайна, они оставили лодку и пешком отправились через Скалистые горы.

Акуну очень нравилось идти позади Эл-Су и любоваться ее походкой. В ней была музыка, которую он любил. И особенно он любил смотреть на ее округлые икры, завернутые в мягко выделанную кожу, стройные лодыжки и маленькие, одетые в мокасины ножки, не знающие усталости на протяжении многих дней пути.

— Ты легкая, как воздух, — говорил Акун, глядя на нее, — тебе совсем не трудно идти. Ты словно плывешь, так плавно поднимаются и ступают твои ноги. Ты похожа на лань, Эл-Су, ты похожа на лань, и глаза у тебя, когда ты смотришь на

меня или когда оглядываешься на шорох, тоже как у лани. Вот и сейчас, когда ты смотришь на меня, глаза твои похожи на глаза лани.

И Эл-Су, сияющая и растроганная, поворачивалась и целовала Акуна.

— Когда мы доберемся до индейцев маккензи, мы не будем задерживаться,

— сказал Акун, — мы двинемся на юг раньше, чем зима застанет нас. Мы пойдем с тобой на солнечные земли, где нет снега. Но мы вернемся. Я видел много стран, но нет другой такой земли, как Аляска, нигде нет такого солнца, как наше солнце, и после долгого лета хорошо увидеть снег.

— И ты научишься читать, — сказала Эл-Су.

И Акун ответил:

— Конечно, я научусь читать.

Однако, когда они добрались до озера Маккензи, им пришлось задержаться. Они встретились с группой индейцев, и во время охоты Акуна случайно ранили. Стрелял юноша, пуля пробила Акуну правую руку и сломала два ребра. Акун знал примитивную медицину индейцев, а Эл-Су в миссии Святого Креста немного научилась оказывать помощь пострадавшим. В конце концов кости вправили, и Акун лежал у огня, ожидая,

пока кости срастутся. Он лежал у огня так, чтобы дымом табака отгонять москитов.

И вот сюда добрался Порпортук со своими шестью молодцами. Акун стонал, сознавая свое бессилие, и обратился за помощью к индейцам маккензи. Но Порпортук предъявил свои претензии, и маккензи были озадачены. Порпортук хотел увести Эл-Су, но маккензи воспротивились. Спор нужно было рассудить, и поскольку дело касалось мужчины и женщины, был созван совет из стариков: молодые, у которых горячие сердца, могли вынести несправедливое решение.

Старики уселись вокруг костра. Лица у них были худы и изборождены морщинами, они тяжело дышали, хватая ртом воздух. Дым мешал им дышать. Время от времени они дрожащими руками били москитов, которые отваживались лететь на дым. После таких упражнений они глухо и надрывно кашляли. Некоторые из них отхаркивались кровью, а у одного старика, сидевшего чуть поодаль с опущенной головой, безостановочно текла изо рта кровь: у всех у них была горловая чахотка. Это были умирающие люди, жить им оставалось совсем немного. Это был совет мертвецов.

— И я заплатил за нее огромную цену, — заклю-

чил Порпортук свою жалобу, — таких денег вы никогда не видели. Продайте все, что у вас есть,

— продайте ваши копья, стрелы и ружья, продайте ваши шкуры и меха, продайте ваши палатки, лодки и собак — продайте все, и вы вряд ли наберете тысячу долларов. А я заплатил за эту женщину Эл-Су цену в двадцать шесть раз большую, чем стоят все ваши копья, стрелы и ружья, ваши шкуры и меха, ваши палатки, лодки и собаки. Это очень высокая цена.

Старики важно кивали головами, хотя их ссохшиеся глазные щелочки расширялись от удивления, что какая-то женщина вообще может стоить таких денег. Тот, у которого изо рта шла кровь, вытер губы.

— Это правда? — спросил он по очереди каждого из молодых охотников, сопровождавших Порпортука. И каждый ответил, что это правда.

— Это правда? — спросил он у Эл-Су, и та ответила:

— Это правда.

— Но Порпортук не сказал, что он старик, — вмешался Акун, — и что дочери у него старше, чем Эл-Су.

— Это правда, Порпортук старый человек, — сказала Эл-Су.

— Это уже дело Порпортука мерить силы своего возраста, — сказал старик, у которого текла изо рта кровь. — Все мы стареем. Но помни, старость никогда не бывает настолько слаба, как это кажется юности.

И все старики, сидевшие кругом, жевали беззубыми деснами, одобрительно кивая и кашляя.

— Я сказала ему, что никогда не буду его женой, — настаивала Эл-Су.

— И все-таки ты взяла у него в двадцать шесть раз больше, чем все, что мы имеем? — спросил одноглазый старик.

Эл-Су молчала.

— Это правда? — И его единственный глаз вонзился в нее, как буравчик.

— Это правда, — сказала она.

Но через мгновение ее взорвало, и она со страстью воскликнула:

— Я все равно опять убегу! Я всегда буду убегать от него!

— Это уже забота Порпортука, — заметил другой старик, — наше дело — вынести решение.

— А какую цену ты за нее уплатил? — спросили у Акуна.

— Я ничего за нее не платил, — ответил он, — ибо она дороже любых денег. Я не могу оце-

нить ее ни на золотой песок, ни на собак, ни на палатки или меха.

Старики принялись спорить о чем-то между собой приглушенными голосами.

— Эти старики, как лед, — сказал Акун по-английски, — я не буду слушать их решения, Порпортук. Если ты возьмешь Эл-Су, я непременно убью тебя.

Старики перестали разговаривать и подозрительно смотрели на Акуна.

— Мы не понимаем языка, на котором ты говоришь, — сказал один из них.

— Он сказал, что убьет меня, — поспешил ответить Порпортук, — так что лучше отобрать у него ружье и посадить рядом кого-нибудь из ваших юношей, чтобы он не причинил мне вреда. Он молод, а что такое для молодого поломанные кости!

У беспомощного Акуна отобрали ружье и нож, и по бокам сели два молодых индейца маккензи. Одноглазый старик встал и выпрямился.

— Нас поражает цена, которая уплачена за женщину, — начал он, — но разумность этой цены нас не касается. Мы здесь для того, чтобы вынести решение, и мы выносим решение. У нас нет никаких сомнений. Всем известно, что

Порпортук заплатил высокую цену за женщину Эл-Су. Поэтому женщина Эл-Су принадлежит Порпортуку и никому другому.

Он тяжело опустился на землю и закашлялся. Старики закивали и тоже закашлялись.

— Я убью тебя! — закричал по-английски Акун.

Порпортук усмехнулся и встал.

— Вы вынесли справедливое решение, — сказал он судьям, — и мои люди дадут вам много табаку. А теперь пусть подведут ко мне эту женщину.

Акун заскрежетал зубами. Молодые индейцы схватили Эл-Су — она не сопротивлялась, только лицо ее горело мрачным огнем — и притащили к Порпортуку.

— Сиди здесь, у моих ног, пока я буду говорить, — приказал он. Потом он помолчал мгновение. — Это правда, — сказал он, — что я старый человек. Но я еще могу понять пути молодости. Огонь еще не погас во мне. И все-таки я уже не молод и не собираюсь все годы, которые мне осталось прожить, гоняться на своих старых ногах за Эл-Су. Она бегает быстро и хорошо. Она похожа на лань. Я это хорошо знаю, потому что я видел это и гнался за ней. Плохо, когда жена бегает так быстро. Я заплатил за нее большую цену, а она убегает от меня. Акун ничего не заплатил за нее,

а она бежит к нему.

Когда я пришел к вам, люди маккензи, у меня была одна мысль в голове. Когда я слушал ваш суд и думал о быстрых ногах Эл-Су, у меня было много мыслей в голове. Теперь у меня опять только одна мысль, но совсем не та, с которой я пришел сюда. Я скажу вам, о чем я думаю. Если собака однажды убежала от хозяина, она всегда будет убегать от него. Сколько бы раз ее ни возвращали, она каждый раз будет убегать. Когда нам попадается такая собака, мы ее продаем. Эл-Су вроде такой собаки, которая убегает. Я продам ее. Кто из совета купит ее?

Старики кашляли и молчали.

— Акун купил бы Эл-Су, — продолжал Порпортук, — но у него нет денег. Поэтому я отдам ему эту женщину без всякой платы. Я отдам ему ее сейчас же.

Нагнувшись, он взял Эл-Су за руку и повел ее через круг, туда, где лежал на спине Акун.

— У нее есть дурная привычка, Акун, — сказал он, усаживая Эл-Су у ног Акуна. — Раньше она убегала от меня, а впредь она может убежать и от тебя. Но ты можешь не бояться, Акун, что она когда-нибудь убежит от тебя. Я позабочусь, чтобы она не сделала этого. Она никогда не убежит от

тебя, даю слово Порпортука. Она очень любит шутить. Я знаю это, она часто шутила надо мной. И все-таки я решил один раз тоже пошутить. И благодаря этой шутке я сохраню ее для тебя, Акун.

Нагнувшись, Порпортук скрестил ноги Эл-Су так, что одна нога лежала на другой, и, прежде чем успели разгадать его замысел, разрядил свое ружье так, что пуля прошла через обе лодыжки. Когда Акун пытался подняться под тяжестью двух навалившихся на него юношей, послышался хруст вновь ломающихся костей.

— Это справедливо, — сказал один старик другому.

Эл-Су не издала ни звука. Она сидела и смотрела на свои раздробленные ноги, на которых она уже никогда не сможет ходить.

— У меня крепкие ноги, Эл-Су, — сказал Акун, — но они никогда не унесут меня прочь от тебя.

Эл-Су посмотрела на него, и в первый раз за все время, что он ее знал, Акун увидел в ее глазах слезы.

— У тебя глаза, как у лани, Эл-Су, — сказал он.

— Это ведь справедливо? — спросил Порпортук, собираясь уходить и злобно ухмыляясь сквозь дым.

— Это справедливо, — сказали старики и про-

должали сидеть молча.

ДЖЕК ЛОНДОН «КОГДА БОГИ СМЕЮТСЯ» (СБОРНИК РАССКАЗОВ)

Когда боги смеются

О боги, боги! Времени молва
Смолкает перед ними. Сколько спето
Им страстных гимнов, сколько рук воздето
В молитве к ним! Да будет так, Фелица!
Ведь это — божества!

Каркинес наконец-то улыбнулся и придвинул стул к огню. Он посмотрел на стекла, дребезжавшие в оконных рамах, перевел взгляд на бревенчатый потолок и прислушался к диким завываниям юго-восточного ветра, дышавшего на мой домик своей свирепой пастью. Потом поднял стакан и радостно засмеялся, глядя сквозь золотистое вино на огонь в камине.

— Какая красота! — сказал он. — И какая в нем сладость! Это вино создано для женщин, его же и монахи приемлют!

— Оно родом с наших согретых солнцем холмов, — сказал я с простительной калифорнийцу гордостью. — Вы же проезжали вчера по здешним виноградникам.

Каркинеса стоило немного расшевелить. Да откровенно говоря, он становился самим собой

лишь в те минуты, когда искрометное вино горячило ему кровь. Правда, он был художник — художник всегда и во всем. Но без вина мысль его работала вяло, и, трезвый, он бывал подчас удручающе скучным, точно английское воскресенье; разумеется, не таким, какими бывают по-настоящему скучные люди, а скучным по сравнению с тем Монте Каркинесом, который неизменно блистал остроумием, когда становился самим собой.

Из всего этого не следует делать вывод, будто Каркинес — мой любимый друг и верный товарищ — пил горькую. Отнюдь нет! Обычно он не позволял себе никаких излишеств. Как я уже сказал, Каркинес был художник. Он знал меру во всем, и этой мерой ему служило равновесие — то душевное равновесие, которым обладаем мы с вами, когда бываем трезвы.

Мудрая, инстинктивная воздержанность Каркинеса сближала его с эллинами, но во всем остальном он был далек от эллинов. Помню, он говаривал мне: «Я ацтек, я инка, я испанец». И действительно, в асимметричных, резких чертах его смуглого лица приглядывало что-то родственное этим древним племенам. Его широко расставленные глаза поблескивали дикарским блеском под крутым изломом бровей, и на них падала прядь

черных волос, сквозь которую он выглядывал, точно плутоватый сатир из густых зарослей. Каркинес всегда ходил в бархатной куртке и фланелевой рубашке с красным галстуком. Этот последний предмет его туалета символизировал собой красный флаг (в Париже Каркинес близко сошелся с социалистами) и кровное братство всех людей. На голове он носил только сомбреро с кожаной лентой — ни в чем другом его не видели. Злые языки даже утверждали, будто он так и появился на свет в этом головном уборе. Мне же лично доставляло огромное удовольствие смотреть, как это мексиканское сомбреро подзывает кеб на Пиккадилли и как его швыряет из стороны в сторону в толпе, берущей приступом поезд нью-йоркской надземной железной дороги.

Я уже сказал раньше, что Каркинес оживал под действием вина — «подобно тому (говорил он сам о себе), как ожила глина, когда господь вдохнул в нее дыхание жизни». Увы! К богу Каркинес относился с кощунственной фамильярностью, хотя вообще-то в кощунстве его никто не мог обвинить. Он был натура прямодушная, но вся сотканная из противоречий, и людям, мало с ним знакомым, это мешало разобраться в нем. Да разве разберешься сразу в человеке то необуз-

данном, как дикарь, то нежном, как девушка, то изысканном, как испанец! Но ведь он и сам называл себя ацтеком, инкой, испанцем!

А теперь я должен попросить извинения, что уделил ему здесь столько места. (Он мой друг, и я люблю его.) Итак, мой домик дрожал под порывами ветра, а Каркинес придвинул стул к камину и рассмеялся, подняв на свет свой стакан с вином. Он посмотрел на меня, и по тому, как весело блеснули его и без того блестящие глаза, я понял, что наконец-то мой друг настроился на должный лад.

— Итак, вы думаете, будто вам удалось обыграть богов? — спросил он.

— При чем тут боги?

— А кто, как не они, обрекают человека постоянно испытывать чувство пресыщения?

— Не знаю. Я стараюсь избежать его по собственной воле! — торжествующе воскликнул я.

— Нет, без богов и тут не обошлось, — со смехом сказал он. — Банк мечут боги. Они тасуют колоду, сдают… и, глядишь, загребают себе все ставки. Не думайте, будто ваше бегство из отравленных безумием городов спасет вас. Что они вам дадут, эти одетые виноградниками холмы, эти закаты, восходы, простая пища, буколический образ

жизни? Ничего! Я наблюдаю за вами с первого дня, как приехал сюда. Вы не обыграли богов. Вы сдались. Вы сдались на милость противника. Вы признались, что не можете больше бороться, и выбросили белый флаг. Вы прибили к стене объявление, в котором признаете, что силы ваши иссякают. Вы убежали от жизни. Уловка! Жалкая уловка! Отказавшись продолжать игру, вы швырнули карты под стол и спаслись бегством сюда, под защиту этих холмов.

Он откинул со лба прямую черную прядь, упавшую на его сверкающие глаза, и умолк только на секунду, чтобы свернуть длинную мексиканскую сигарету.

— Нет, богов не проведешь. Ваша уловка стара, как мир. Ее пускали в ход из поколения в поколение, но она никого не спасла. Боги знают, как поступать с вами и вам подобными. Погоня ведет к обладанию, а обладание ведет к пресыщенности. И вот вы, мудрец, решили поставить крест на всех своих стремлениях. Вы предпочли отказаться от всего. Что ж, прекрасно! Но этот отказ вскоре будет вам в тягость. Вы утверждаете, что уберегли себя от пресыщения. Неправда! Оно просто пошло у вас в обмен на старческую дряхлость. А старческая дряхлость — синоним

пресыщения. Это маска, под которой прячется пресыщение. Вот так-то!

— Да вы взгляните на меня! — воскликнул я.

Каркинес, как никто другой, умел залезть человеку в душу и разодрать ее в клочья.

Уничтожающим взглядом он смерил меня с головы до ног.

— Где вы видите во мне признаки старческой дряхлости? — с вызовом бросил я ему.

— Увядание подкрадывается незаметно, — отвечал он. — Вы перезрели и гниете с сердцевины.

Я рассмеялся и простил этого задиру. Впрочем, он вовсе не нуждался в моем прощении.

— Как будто я не знаю! — продолжал Каркинес. — Боги всегда выигрывают. Мне приходилось наблюдать людей, которые годами вели игру — по их разумению, верную игру, — и в конце концов теряли все.

— Неужели вы никогда не ошибались? — спросил я.

Прежде чем ответить, он в раздумье пустил дым колечками.

— Да, однажды меня чуть было не провели. Вот, послушайте. Был такой Марвин Фиск. Помните его? Дантовский профиль, поэтическая душа, песнопения во славу плоти — истинный жрец

любви. И была такая Этель Бейрд, которую вы тоже должны помнить.

— Святая с лучистыми глазами?

— Совершенно верно! Олицетворение сладостной любви. Женщина, созданная для любви и вместе с тем… как бы это выразиться?.. дурманящая своей святостью, как здешний воздух дурманит вас ароматом цветов. Так вот, они поженились. Они вступили в игру, партнерами по которой у них были боги…

— И выиграли, блистательно выиграли! — перебил его я.

Каркинес с состраданием посмотрел на меня, и, когда он заговорил снова, его слова прозвучали, как погребальный звон.

— Они остались в проигрыше, в бесславном проигрыше.

— В обществе придерживаются другого мнения на этот счет, — холодно заметил я.

— Общество основывается на догадках. Обществу видно только то, что на поверхности. А я — я знаю… Вы никогда не задумывались над тем, почему Этель Бейрд постриглась в монахини, заживо похоронила себя в обители скорби?

— Потому, что она любила его, и когда он умер…

Презрительная усмешка Каркинеса заставила меня умолкнуть.

— Ответ стандартный, словно отштампованный на машине, — сказал он. — Суд общества! Много общество знает! Этель Бейрд, как и вы, бежала от жизни. Она потерпела поражение и выкинула белый флаг. И ни один осажденный город не выкидывал белого флага с такой горечью, с такими слезами.

Выслушайте эту историю от меня, из первоисточника, — я знаю, о чем говорю. Марвин Фиск и Этель Бейрд размышляли над угрозой пресыщения. Они любили Любовь. Они знали ей цену, как никто другой. Они так дорожили Любовью, что им хотелось удержать ее, чтобы она всегда согревала их сердца своим горячим трепетом. Они радовались ее приходу и боялись, как бы она не покинула их.

Любовь — это желание, это сладостная боль, которая жаждет утоления и, найдя его, умирает. Так говорили они. Любовь жаждущая продолжает жить вечно; Любовь утоленная умирает. Вы понимаете, к чему я веду? Они знали, что людям претит то, чего они вкусили вволю. Насыщаться и испытывать одновременно чувство голода — этого человеку никогда не удавалось

достичь. Угроза пресыщения! Да! Вот в чем вся суть. Насыщаться, сидя за уставленным яствами столом, и удерживать голод на самой острой его грани — вот какая задача стояла перед ними, ибо они любили Любовь. Сколько раз они говорили об этом, и взоры их источали сладкое томление Любви, ее алая кровь румянила им щеки, ее голос звучал в их голосах, то дрожа где-то глубоко в груди, то, оттеняя слова той невыразимой нежностью, которая ведома одной лишь ей.

Вы спросите, откуда мне известно все это? Я видел, многое видел сам, а еще больше узнал из дневника Этель Бейрд. Вот какую цитату из Феоны Маклауда я нашел там: «Истинно говорю вам, что этот прерывистый голос, этот сумеречный шепот, это сладостное, свежее дыхание, этот огненнокрылый Кифаред, который предстает пред людским взором только на мгновение в радужных переливах счастья или во внезапной, слепящей вспышке страсти, — этот таинственный чудотворец, которого мы зовем Эрос, открывается лишь избранникам, ясновидцам, и приходит он не с громкой песней на устах, не под звуки веселой скрипки, а неслышно, тайком, и немота его яснее слов говорит о желании».

Как же удержать этого огненнокрылого Кифаре-

да, чье безмолвие яснее слов говорит о желании? Насытить его — значит, расстаться с ним. Марвин Фиск и Этель Бейрд любили друг друга великой любовью. Их богатства были несметны, и все же им хотелось, чтобы чувство их не оскудевало.

И ведь вы не назвали бы их неоперившимися птенцами, которые пускаются в рассуждения, стоя у порога Любви. Нет! Это были сложившиеся, разумные люди. Оба они любили и раньше, до своей встречи, и задушили Любовь ласками, отняли у нее жизнь поцелуями и погребли ее в могиле пресыщенности.

Этель и Марвин были не бесплотные духи, а люди, живые люди. В их жилах бежала кровь, алая, как закатное небо, — кровь, не разбавленная англосаксонской трезвостью. По темпераменту они скорее походили на французов; в их идеализме брал верх галльский дух с его приверженностью плотским радостям. Этот идеализм не охлаждала ледяная мутная жидкость, которая заменяет англичанам кровь. Аскетизм был чужд им. Они были американцы — прапраправнуки англичан, и все-таки в них совсем не чувствовалось ни английской склонности к самообузданию, ни английской выспренности.

И вот люди, которых я описываю, — люди, со-

зданные для радостей Любви, возымели некую идею. Будь они прокляты, все эти идеи! Марвин Фиск и Этель Бейрд затеяли игру с логикой, а логика их была такова… Но сначала надо вам рассказать о беседе, которая завязалась у нас однажды вечером. Речь шла о «Мадмуазель де Мопэн». Помните эту героиню Теофиля Готье? Она поцеловала мужчину один раз в жизни — один-единственный раз, и дала себе зарок никогда больше не целоваться, боясь, что поцелуи потеряют для нее свою сладость. Опять пресыщение! Мадмуазель де Мопэн отважилась понтировать против богов, ничего не поставив на карту, что противоречит правилам, установленным самими богами. Но правила эти негласные, и, чтобы усвоить их, смертные должны продолжать игру.

Теперь вернемся к этой игре с логикой. Марвин Фиск и Этель Бейрд рассуждали так: ограничиться одним поцелуем? Но, если мадмуазель де Мопэн поступила мудро, они будут еще большими мудрецами и откажутся от этого единственного поцелуя… Тогда Любовь не умрет. Вечно жаждущая, она никогда не устанет стучаться в их сердца.

Откуда к ним пришла эта нечестивая идея? Уж не наследственность ли тому виной? Ведь порода

сказывается иногда самым фантастическим образом. Может быть, на сей раз проклятый Альбион надел обличье коварной распутницы, потаскушки, действующей с холодным расчетом? В конце концов откуда мне это знать? Но что я знаю, то знаю: во имя своего поистине безудержного стремления к радости они отказались от нее.

Вот как говорил об этом Марвин Фиск (я читал потом его письма к Этель): «Держать тебя в объятиях, такую близкую и в то же время такую далекую! Томиться по тебе и никогда не обладать тобою и так — обладать тобою вечно». А она отвечала ему: «Пусть мои руки будут всегда протянуты к возлюбленному и никогда не коснутся его! Каждый час, каждую минуту стремиться к тебе, недостижимому, чтобы новизна и свежесть нашего чувства и первый радостный стук наших сердец навеки остались с нами!»

Я привожу все это по памяти и поневоле искажаю философию их любви. Но кто я такой, чтобы копаться в душах этих людей! Я лягушка, которая сидит у края непроглядной тьмы, уставившись выпученными глазами на чудо и тайну двух пламенеющих сердец.

И ведь по-своему они были правы. Все прекрасное прекрасно до тех пор, пока ты не обладаешь

им. Пресыщенность и обладание — кони смерти, они бегут у нее в одной упряжке.

Нас учит время: пламени на смену
Придет привычки предвечерний луч.

Они прочитали это у Альфреда Остина. Совет «Мудрость любви». Все тот же один-единственный поцелуй мадмуазель де Мопэн. Как там дальше?

Целуем мы и гаснем постепенно,
А лучше смерть, чем путь в низины с круч.

Но Марвин Фиск и Этель Бейрд считали себя мудрее. Они не хотели, чтобы поцелуи привели их к разлуке. Не надо ни единого поцелуя, и тогда они всегда будут стоять на горной вершине Любви. И вот брачные узы соединили их. Вы жили тогда в Англии. Такой супружеской четы больше нигде не было и не будет. Они никому не открыли своей тайны. В то время я ничего не знал. Их чувство не только не остывало, но разгоралось все ярче и ярче. Я впервые видел такую пару. Время шло: проходили месяцы, годы, а огненнокрылый Кифаред становился все лучезарнее.

Люди удивлялись, глядя на Марвина Фиска и Этель Бейрд. Их называли изумительной парой,

им завидовали. Правда, кое-кто из женщин жалел Этель, потому что у нее не было детей, но какую только форму не принимает зависть…

А я, не догадываясь об их тайне, размышлял и дивился. Сначала я ждал, вероятно, подсознательно, когда же их любовь пройдет. Потом убедился, что проходит Время, а Любовь остается. И наконец во мне проснулось любопытство. В чем же их тайна? Какими волшебными оковами приковали они к себе Любовь? Почему этот своенравный эльф не убегает от них? Может быть, они, подобно любовникам глубокой древности — Тристану и Изольде, испили из одной чаши эликсир вечной любви? Но чьи же руки приготовили им этот чудодейственный напиток.

Итак, я любопытствовал и наблюдал за ними. Любовь опьяняла их. Это был какой-то нескончаемый праздник любви. Они справляли его торжественно, пышно, упиваясь утонченностью и поэтичностью своего чувства. Никому не пришло бы в голову обвинять их в неврастении, истеричности. Нет! Это были разумные, вполне здоровые люди, художники по натуре. Но им удалось достичь недостижимого. Они добились того, что их желание не умирало.

А я? Я часто встречался с ними все эти годы, и

перед моими глазами было непреходящее чудо их любви. Оно поражало меня, не давало мне покоя, и вот в один прекрасный день…

Каркинес вдруг оборвал свой рассказ и спросил меня:

— Вы читали «Любовь, помедли»?

Я покачал головой.

— Если не ошибаюсь, это стихотворение Пейджа — Куртиса Хиддена Пейджа. Вот оно-то и послужило мне ключом к отгадке тайны. В один прекрасный день на диване в оконной нише, возле которой у них стоял рояль… Вы помните, как Этель Бейрд играла? Подсмеиваясь иногда надо мной, она говорила, что я хожу к ним не ради них самих, а ради музыки, и называла мою меломанию запоем, одержимостью. А какой голос был у Марвина! Когда он пел, я начинал верить в бессмертие, мое отношение к богам становилось чуть ли не покровительственным, и в голове у меня зарождались всякие планы, с помощью которых можно было бы перехитрить их.

Какое великолепное зрелище являли собой этот мужчина и эта женщина! После стольких лет супружеской жизни они пели любовные песни с той целомудренной свежестью, которая под стать только новорожденной любви, с той

пылкостью и зрелостью чувства, которой не знают юные любовники! Да! Юные любовники показались бы бледными и вялыми рядом с этой немолодой четой. Сколько пылкой ласки было в каждом их взгляде, слове, жесте и даже в самом молчании! Покорные любви, они, словно бабочки, летели на огонек свечи, которым каждый из них был друг для друга, и в каком-то сумасшедшем вихре кружились по этой орбите. И мне казалось, что, повинуясь неведомому нам тайному закону, более могущественному, чем закон земного притяжения, тела их сольются и растают у меня на глазах. Надо ли спрашивать, почему все поражались им и называли такую любовь беспримерной!

Но я отвлекся. Давайте вернемся к тому, что послужило мне ключом к отгадке тайны. Итак, в один прекрасный день я нашел у них на диване около рояля томик стихов. Он раскрылся у меня в руках сам собой на стихотворении «Любовь, помедли», очевидно, много раз читанном. Уголки у страницы были захватанные, истертые. И вот что я прочитал:

Так сладко рядом быть и чуть поодаль.
Узнать друг друга лучше… Сохранить
Всю сладость первого прикосновения…

Любовь?.. О, нет еще!.. Позволь ей быть
Окутанной в туман священной тайны
И в ожиданье тайн грядущих лет,
Не близких, нет еще… не у порога, нет…
О, пусть любовь растет еще, еще!
Чуть расцветет — умрет. Питай ее
Мечтой слиянья уст, пускай поспит
Еще хоть чуть в строжайшем отреченье.
О, пусть еще чуть-чуть, еще мгновенье…

Я захлопнул книжку, заложив эту страницу пальцем, и долго сидел молча, не двигаясь. Меня ошеломила ясность открывшейся мне картины. Это было настоящее озарение — вспышка молнии в кромешной тьме. Они хотели насильно удержать Любовь, эту капризную сильфиду, эту предвестницу новой жизни — новой жизни, которая нетерпеливо ждет часа своего рождения!

Я повторил мысленно эти строки: «Любовь?.. О, нет еще!.. Питай ее мечтой слиянья уст…» — и громко рассмеялся. Их непорочные души предстали предо мной в ясном свете дня. Какие дети! Они ничего не понимали! Они играли с огнем и клали на свое ложе обнаженный меч. Они смеялись над богами. Они тщились остановить космический ток крови. Они выдумали какую-то свою систему и сели за игорный стол жизни в надежде, что эта

система принесет им выигрыш. «Берегитесь! — крикнул я. — Боги только притаились! На каждую новую систему они отвечают новыми правилами игры. Вам у них никогда не выиграть!»

Но все это было сказано не им в глаза, а мысленно, про себя. Я ждал, что будет дальше. Откроется же им когда-нибудь вся ложность их системы! Они отбросят ее, удовольствуются своей долей счастья и не будут пытаться вырвать у богов больше.

Я наблюдал за ними. Наблюдал молча. Месяцы бежали один за другим, а страсть их становилась все острее. Ни разу не позволив себе притупить эту страсть узаконенными объятиями, они точили и правили ее на оселке голода. Наконец даже меня взяло сомнение. «Что же боги — спят или умерли? — думал я и тихо смеялся. — Этот мужчина и эта женщина сотворили чудо. Они перехитрили богов. Им удалось посрамить нашу добрую мать Природу. Они играли с ее огнем и не обожглись. Им ничто не страшно. Они сами стали как боги, познав разницу между добром и злом и не вкусив от зла».

«Значит, вот как смертные становятся богами? — спрашивал я самого себя. — Я лягушка, и не будь глаза мои залеплены тиной, сияние этого

чуда ослепило бы меня». Я пыхтел и надувался, гордясь собственной мудростью, и осмеливался высказывать свое мнение о богах.

Но я ошибся, положившись на свою вновь обретенную мудрость. Марвин Фиск и Этель Бейрд не стали богами. Это были всего лишь мужчина и женщина — мягкая глина, которая исходила вздохами, дрожала, пронзенная желанием, и никла от слабости, неведомой богам.

Прервав свой рассказ, Каркинес свернул вторую сигарету и громко рассмеялся. Смех этот, резнувший мой слух какой-то сатанинской ноткой, перекрыл рев ветра, который бушевал в мире, но до нас долетал приглушенным.

— Я лягушка, — извиняющимся тоном повторил Каркинес. — Где им было понять все это — им, художникам, а не биологам? Они имели дело с глиной только у себя в студии, а о существовании той, из которой были слеплены сами, даже не подозревали. Но отдадим должное этим любовникам: они вели большую игру. Так до них никто не играл и вряд ли будет играть. Никто до них не знал такого упоения любовью. Поцелуй не убил их любви. Своим отказом удовлетворить ее они сообщали ей все новую жизнь. И любовь их безумствовала, раздираемая на части жела-

нием. Огненнокрылый Кифаред веял им в лицо своими крыльями, так что сердце у них почти переставало биться. Поистине это было любовное исступление, и оно не только не утихало, но разгоралось с каждой неделей, с каждым месяцем.

Они жаждали друг друга и томились той сладостной болью, той упоительной мукой, которой никто не знал и никто не узнает.

Но вот задремавшие боги встрепенулись. Они подняли голову и посмотрели на мужчину и женщину, которые насмеялись над ними. А те посмотрели однажды утром друг другу в глаза и поняли — что-то ушло. Ушел тот, Огненнокрылый. Он улетел тайком, среди ночи, покинув их отшельнический кров.

Они посмотрели друг другу в глаза и прочитали там не любовь, а безразличие. Желание умерло. Вы понимаете? Умерло желание. А они ни разу не обменялись поцелуем. Ни единого разу. Любовь ушла. Им не суждено больше гореть, томиться ею. Исчезло все: дрожь, трепет и сладостная мука; исчезли вздохи, волнение, горячий стук сердца, песни. Желание умерло. Оно умерло ночью на холодном, никому не нужном ложе, и они не уследили за тем, как его не стало. Они впервые прочитали это в глазах друг у друга.

Боги — недобрые существа, но милосердие все же не чуждо им. Они пустили по кругу шарик слоновой кости и лопаткой сгребли банк со стола. И все, что осталось после игры, были мужчина и женщина, холодно смотревшие в глаза друг другу. А потом Марвин Фиск умер. Вот он, акт милосердия. Не прошло и недели после этого, как Марвин Фиск умер. Вы, вероятно, помните… несчастный случай. И много лет спустя я прочел в ее дневнике запись, сделанную в те дни, — две строки из стихотворения Митчелла Кеннерли:

О, был ли час, когда б могли
Мы целоваться и не целовались!

— Боже, какая насмешка судьбы! — воскликнул я.

А Каркинес — настоящий Мефистофель в отблесках огня, падавших из камина на его бархатную куртку, устремил на меня пронзительный взгляд своих черных глаз и сказал:

— И вы говорите, будто они остались в выигрыше? Суд общества! Вы слышали мой рассказ, а я знаю все. Они выиграли так же, как выиграете вы, сидя здесь, среди ваших любимых холмов.

— А вы сами! — с жаром воскликнул я. — К чему приведет вас ваше буйство чувств? Что вам дадут

ваши города с царящим в них бедламом?

Он медленно покачал головой.

— Если вы с вашим размеренным, буколическим образом жизни обречены на проигрыш, это еще не значит, что я останусь в выигрыше. Мы никогда не выигрываем. Иной раз нам это кажется, но такова маленькая любезность, которой удостаивают нас боги.

Отступник

Вот я на работу дневную иду.
Господь, укрепи мои мышцы к труду.
А если мне смерть суждена, я творца
Молю дать работу свершить до конца.
Аминь.

— Вставай сейчас же, Джонни, а то есть не дам!

Угроза не возымела действия на мальчика. Он упорно не хотел просыпаться, цепляясь за сонное забытье, как мечтатель цепляется за свою мечту. Руки его пытались сжаться в кулаки, и он наносил по воздуху слабые, беспорядочные удары. Удары предназначались матери, но она с привычной ловкостью уклонялась от них и сильно трясла его за плечо.

— Н-ну тебя!..

Сдавленный крик, начавшись в глубинах сна, быстро вырос в яростный вопль, потом замер и перешел в невнятное хныканье. Это был звериный крик, крик души, терзаемой в аду, полный бесконечного возмущения и муки.

Но мать не обращала на него внимания. Эта женщина с печальными глазами и усталым ли-

цом привыкла к своей ежедневно выполняемой обязанности. Она ухватилась за одеяло и попыталась стянуть его с мальчика, но он, перестав колотить кулаками, отчаянно вцепился в него. Сжавшись в комок в ногах кровати, он не желал расставаться с одеялом. Тогда мать попробовала стащить всю постель на пол. Мальчик сопротивлялся. Она тянула изо всех сил. Перевес был на ее стороне — постель поползла на пол вместе с мальчиком, который инстинктивно держался за нее, спасаясь от холода нетопленной комнаты.

Он повис на краю кровати, и казалось, вот-вот свалится на пол. Но сознание его уже пробудилось. Он выпрямился и сохранил равновесие; потом спустил ноги на пол. Мать тотчас же схватила его за плечи и встряхнула. Мальчик снова выбросил кулаки, на этот раз с большей силой и меткостью. Глаза его открылись. Мать отпустила его — он проснулся.

— Ладно, — пробормотал он.

Мать взяла лампу и поспешно вышла, оставив его в темноте.

— Вычтут, будешь знать! — бросила она, уходя.

Темнота ему не мешала. Одевшись, он вышел на кухню. Поступь у него была слишком грузная для такого худого, щуплого тела. Ноги тяжело

волочились, и это казалось странным: очень уж они были тоненькие и костлявые. Он придвинул к столу продавленный стул.

— Джонни! — резко окликнула его мать.

Он так же резко поднялся и молча пошел к раковине. Она была грязная и сальная, из отверстия шел скверный запах. Мальчик не замечал этого. Зловонная раковина была для него в порядке вещей, так же как и то, что в мыло въелась грязь от кухонной посуды и оно плохо мылилось. Да он и не очень-то старался намылиться. Несколько пригоршней холодной воды из-под крана довершили умывание. Зубов он не чистил. Он даже никогда не видал зубной щетки и не подозревал, что существуют на свете люди, способные на такую глупость, как чистка зубов.

— Хоть бы раз в день сам догадался помыться, — упрекнула его мать.

Придерживая на кофейнике разбитую крышку, она налила две чашки кофе. Джонни не отвечал на ее упрек, ибо это являлось вечной темой разговоров и единственным, в чем мать была тверда, как кремень. «Хоть раз в день» умыть лицо считалось обязательным. Джонни утерся засаленным, рваным полотенцем, от которого на лице у него остались волокна.

— Уж очень мы далеко живем, — сказала мать, когда Джонни сел к столу.

— Да все ведь думаешь — как лучше. Сам знаешь. Зато тут попросторней и на доллар дешевле, а он тоже на улице не валяется. Сам знаешь.

Джонни едва слушал. Все это говорилось уже много раз. Круг ее мыслей был ограничен, и она вечно возвращалась к тому, как неудобно им жить так далеко от фабрики.

— Доллар — это значит еды прибавится, — заметил он рассудительно. — Лучше пройтись, да зато поесть побольше.

Он торопливо ел хлеб, запивая непрожеванные куски горячим кофе. За кофе сходила горячая мутная жидкость, но Джонни считал, что кофе превосходный. Это была одна из немногих сохранившихся у него иллюзий. Настоящего кофе он не пил ни разу в жизни.

В добавление к хлебу он получил еще кусочек холодной свинины. Мать налила ему вторую чашку. Доедая хлеб, Джонни зорко следил, не дадут ли еще. Мать перехватила его выжидающий взгляд.

— Не будь обжорой, — сказала она. — Ты свою долю получил. А что младшим останется?

Джонни ничего не ответил на ее упрек. Он

вообще не отличался словоохотливостью. Но его голодный взгляд больше не выпрашивал добавки. Мальчик не жаловался, и эта покорность была так же страшна, как и школа, где его этому обучили. Он допил кофе, вытер рот и встал со стула.

— Погоди-ка, — поспешно сказала мать. — Еще один тоненький ломтик, пожалуй, можно отрезать от краюхи.

Это была просто ловкость рук. Делая вид, что отрезает ломоть от краюхи, мать убрала ее в хлебную корзинку, ему же подсунула один из своих собственных кусков. Она думала, что обманула сына, но он заметил ее хитрость и все же без зазрения совести взял хлеб. Он считал, что мать при ее болезненности все равно много не съест.

Мать, увидев, что он жует сухой хлеб, потянулась через стол и вылила ему кофе из своей чашки.

— Что-то мутит меня сегодня от него, — пояснила она.

Отдаленный гудок, пронзительный и протяжный, заставил обоих вскочить. Мать взглянула на жестяной будильник, стоявший на полке. Стрелки показывали половину шестого. Весь фабричный люд сейчас еще только пробуждался от сна. Она накинула на плечи шаль и надела

старую, помятую, засаленную шляпку.

— Придется бегом, — сказала она, прикручивая фитиль и задувая огонь.

Они ощупью вышли из комнаты и спустились по лестнице.

День был ясный, морозный, и Джонни поежился, когда его охватило холодным воздухом. Звезды еще не начали бледнеть, и город был погружен во тьму. Джонни и его мать тащились пешком, тяжело волоча ноги. Не хватало сил, чтобы твердо ступать по земле.

Минут через пятнадцать мать свернула вправо.

— Смотри не опоздай! — донеслось из темноты ее последнее предостережение.

Он не ответил, продолжая идти своей дорогой. Во всех домах фабричного квартала отворялись двери, и скоро Джонни влился в толпу, двигавшуюся в темноте. Раздался второй гудок, когда он входил в фабричные ворота. Он взглянул на восток. Над ломаной линией крыш небо начало слегка светлеть. Вот и весь дневной свет, который доставался на его долю. Он повернулся к нему спиной и вошел в цех вместе со всеми.

Джонни занял свое место в длинном ряду станков. Перед ним над ящиком с мелкими

шпульками быстро вращались шпульки более крупные. На них он наматывал джутовую нить с маленьких шпулек. Работа была несложная, требовалась только сноровка. Нить так стремительно перематывалась с маленьких шпулек на большие, что зевать было некогда.

Джонни работал машинально. Когда пустела одна из маленьких шпулек, он, действуя левой рукой, как тормозом, останавливал большую шпульку и одновременно большим и указательным пальцами ловил свободный конец нити. Правой рукой он в это время захватывал конец с новой маленькой шпульки. Все действия производились обеими руками одновременно и быстро. Затем молниеносным движением Джонни завязывал узел и отпускал шпульку. Вязать ткацкие узлы было просто. Он как-то похвалился, что мог бы делать это во сне. В сущности, так оно и было, ибо сплошь и рядом Джонни всю долгую ночь вязал во сне бесконечные вереницы ткацких узлов.

Кое-кто из мальчиков отлынивал от дела, не заменял мелкие шпульки, когда они кончались, и оставлял станок работать вхолостую. Но мастер следил за этим. Однажды он накрыл соседа Джонни и влепил ему затрещину.

— Погляди на Джонни! Почему ты не работаешь, как он? — грозно спросил мастер.

Шпульки у Джонни вертелись вовсю, но его не порадовала эта косвенная похвала. Было время… но то было давно, очень давно. Ничто не отразилось на равнодушном лице мальчика, когда он услышал, что его ставят в пример. Да, он был образцовым рабочим. Он знал это. Ему говорили об этом, и не раз. Похвала стала привычной и уже ничего для него не значила. Из образцового рабочего он превратился в образцовую машину. Если работа у него не ладилась, это, как и у станка, обычно вызывалось плохим качеством сырья. Ошибиться было для него так же невозможно, как для усовершенствованного гвоздильного станка неточно штамповать гвозди.

И неудивительно. Не было в его жизни времени, когда бы он не имел тесного общения с машинами. Машины, можно сказать, вросли в него, и, во всяком случае, он вырос среди них. Двенадцать лет назад в ткацком цеху этой же фабрики произошло некоторое смятение. Матери Джонни стало дурно. Ее уложили на полу между скрежещущими станками. Позвали двух ткачих. Им помогал мастер. Через несколько минут в ткацкой стало на одну душу больше. Это новая

душа был Джонни, родившийся под стук, треск и грохот ткацких станков и втянувший с первым дыханием теплый, влажный воздух, полный хлопковой пыли. Он кашлял уже в первые часы своей жизни, стараясь освободить легкие от пыли, и по той же причине кашлял и по сей день.

Мальчик, работавший рядом с Джонни, хныкал и шмыгал носом. На лице его была написана ненависть к мастеру, который продолжал бросать на него издали грозные взгляды; но пустых шпулек уже не было. Мальчик выкрикивал отчаянные ругательства вертевшимся перед ним шпулькам, но звук не шел дальше — его задерживал и замыкал, как в стенах, грохот, стоявший в цеху.

Джонни ни на что не обращал внимания. В нем выработалось бесстрастное отношение к вещам. К тому же от повторения все приедается, а подобные происшествия он наблюдал много раз. Ему казалось столь же бесполезным перечить мастеру, как сопротивляться машине. Машины устроены, чтобы действовать определенным образом и выполнять определенную работу. Также и мастер.

Но в одиннадцать часов в цеху началось волнение. Какими-то таинственными путями оно мгновенно передалось всем. Одноногий мальчонка,

работавший рядом с Джонни по другую сторону, быстро заковылял к порожней вагонетке, нырнул в нее и скрылся там вместе с костылем. В цех входил управляющий в сопровождении какого-то молодого человека. Последний был хорошо одет, в крахмальной сорочке — джентльмен, согласно той классификации людей, которую создал для себя Джонни; это был инспектор.

Проходя по цеху, инспектор зорко поглядывал на мальчиков. Иногда он останавливался и задавал вопросы. Ему приходилось кричать во всю мочь, и лицо его нелепо искажалось от натуги. Инспектор сразу заметил пустой станок возле Джонни, но ничего не сказал. Джонни также обратил на себя его внимание. Внезапно остановившись, он схватил Джонни за руку повыше локтя, оттащил на шаг от машины и тотчас же отпустил с удивленным восклицанием.

— Худощав немного, — тревожно хихикнул управляющий.

— Одни кости! — последовал ответ. — А посмотрите на его ноги! У мальчишки явный рахит, в начальной стадии, но несомненный. Если его не доконает эпилепсия, то лишь потому, что еще раньше прикончит туберкулез.

Джонни слушал, но не понимал. К тому же его

не пугали грядущие бедствия. В лице инспектора ему угрожало бедствие более близкое и более страшное.

— Ну, мальчик, отвечай правду, — сказал, вернее, прокричал инспектор, наклоняясь к его уху. — Сколько тебе лет?

— Четырнадцать, — солгал Джонни, и солгал во всю силу своих легких. Так громко солгал он, что это вызвало у него сухой, судорожный кашель, поднявший всю пыль, которая осела в его легких за утро.

— На вид все шестнадцать, — сказал управляющий.

— Или все шестьдесят! — отрезал инспектор.

— Он всегда был такой.

— С каких пор? — быстро спросил инспектор.

— Да уж сколько лет. И все не взрослеет.

— Не молодеет, я бы сказал. И все эти годы он проработал здесь?

— С перерывами. Но это было до введения нового закона, — поспешил добавить управляющий.

— Станок пустует? — спросил инспектор, указывая на незанятое место рядом с Джонни, где вихрем вертелись полусмотанные шпульки.

— Похоже на то! — Управляющий знаком подозвал мастера и прокричал ему что-то в ухо,

указывая на станок. — Пустует, — доложил он инспектору.

Они прошли дальше, а Джонни вернулся к работе, радуясь, что беда миновала. Но одноногий мальчик был менее удачлив. Зоркий инспектор заметил его и вытащил из вагонетки. Губы у мальчика дрожали, а в глазах было такое отчаяние, словно его постигло страшное, непоправимое бедствие.

Мастер недоуменно развел руками, словно видел калеку впервые в жизни, а лицо управляющего изобразило удивление и недовольство.

— Я знаю этого мальчика, — сказал инспектор. — Ему двенадцать лет. За этот год по моему распоряжению он был уволен с трех фабрик. Ваша четвертая.

Он обернулся к одноногому:

— Ты ведь обещал мне, что будешь ходить в школу, дал честное слово!

Мальчик залился слезами.

— Простите, господин инспектор! У нас уже померло двое маленьких, в доме такая нужда.

— А отчего ты кашляешь? — громко спросил инспектор, словно обвиняя его в тяжком преступлении.

И, точно оправдываясь, одноногий ответил:

— Это ничего. Я простудился на прошлой неделе, господин инспектор, только и всего.

Кончилось тем, что мальчик вышел из цеха вместе с инспектором, за которым следовал встревоженный и смущенный управляющий. После этого все вошло в обычную колею. Наконец долгое утро и еще более долгий день пришли к концу, раздался гудок к окончанию работы. Было уже темно, когда Джонни вышел из фабричных ворот. За это время солнце успело взойти по золотой лестнице небес, залить мир благодатным теплом, спуститься к западу и исчезнуть за ломаной линией крыш.

Ужин был семейным сбором — единственной трапезой, за которой Джонни сталкивался с младшими братьями и сестрами. Это поистине было столкновением, ибо он был очень стар, а они оскорбительно молоды. Его раздражала эта чрезмерная и непостижимая молодость. Он не понимал ее. Его собственное детство было слишком далеко позади. Как брюзгливому старику, Джонни претило это буйное озорство, казавшееся ему отъявленной глупостью. Он молча хмурился над тарелкой, утешаясь мыслью, что и им тоже скоро придется пойти на работу. Это их обломает, сделает степенными и солидными, как он сам.

Так, подобно всем смертным, Джонни мерил все своей меркой.

За ужином мать на разные лады и с бесконечными повторениями объясняла, как она для них старается; поэтому, когда кончилась скудная трапеза, Джонни с облегчением отодвинул стул и встал. Мгновение он колебался, лечь ли ему спать или выйти на улицу, и наконец выбрал последнее. Но далеко он не пошел, а уселся на крыльце, ссутулив узкие плечи, уперев локти в колени, уткнувшись подбородком в ладони.

Он сидел и ни о чем не думал. Он просто отдыхал. Сознание его дремало. Его братья и сестры тоже вышли на улицу и вместе с другими ребятами затеяли шумную игру. Электрический фонарь на углу бросал яркий свет на дурачившихся детей. Они знали, что Джонни сердитый и всегда злится, но словно какой-то бесенок подстрекал их дразнить его. Они взялись за руки и, отбивая ногами такт, пели ему в лицо бессмысленные и обидные песенки. Сначала Джонни огрызался и осыпал их ругательствами, которым научился от мастеров. Увидя, что это бесполезно, и вспомнив о своем достоинстве взрослого, он вновь погрузился в угрюмое молчание.

Заводилой был десятилетний брат Вилли, вто-

рой после Джонни. Джонни не питал к нему особо нежных чувств. Его жизнь была рано омрачена необходимостью постоянно в чем-нибудь уступать Вилли и от чего-то ради него отказываться. Джонни считал, что Вилли в большом долгу перед ним и что он неблагодарный мальчишка. В ту отдаленную пору, когда Джонни сам мог бы играть, необходимость нянчить Вилли отняла у него большую часть детства. Вилли тогда был младенцем, а мать, как и сейчас, целыми днями работала на фабрике. На Джонни ложились обязанности и отца и матери.

И то, что Джонни уступал и не отказывался, видимо, пошло Вилли впрок. Он был розовощекий, крепкого сложения, ростом с Джонни и даже плотнее его. Словно вся жизненная сила одного перешла в тело другого. И не только в тело. Джонни был измотанный, апатичный, вялый, а младший брат кипел избытком энергии.

Дурацкая песенка звучала все громче и громче. Вилли, приплясывая, сунулся ближе и показал язык. Джонни выбросил вперед левую руку, обхватил брата за шею и стукнул его кулаком по носу. Кулачок был жалкий и костлявый, но о том, что он бил больно, красноречиво свидетельствовал отчаянный вопль, который за этим

последовал. Дети подняли испуганный визг, а Дженни — сестра Джонни и Вилли — кинулась в дом.

Джонни оттолкнул от себя Вилли, свирепо лягнул его, потом сбил с ног и ткнул лицом в землю. Тут подоспела мать, обрушив на Джонни вихрь бессильных упреков и материнского гнева.

— А чего он пристает! — отвечал Джонни. — Не видит разве, что я устал?

— Я с тебя ростом! — кричал Вилли, извиваясь в материнских объятиях, обратив к брату лицо, залитое слезами, перепачканное грязью и кровью. — Я уже с тебя ростом и вырасту еще больше! Достанется тебе тогда! Вот увидишь, достанется!

— А ты бы шел работать, раз вырос такой большой, — огрызнулся Джонни.

— Вот чего тебе не хватает — работать пора. Пусть мать пристроит тебя на работу.

— Да ведь он еще мал, — запротестовала она. — Куда ему работать, такому малышу.

— Я был меньше, когда начинал.

Джонни открыл уже было рот, собираясь дальше изливать свою обиду, но передумал. Он мрачно повернулся и вошел в дом. Дверь его комнаты была открыта, чтобы шло тепло из кухни. Раздеваясь в полутьме, он слышал, как мать

разговаривает с соседкой. Мать плакала, и слова ее перемежались жалкими всхлипываниями.

— Не пойму, что делается с Джонни, — слышал он. — Никогда я его таким не видала. Смирный да терпеливый был, как ангелочек. Да он и сейчас хороший, — поспешила она оправдать его. — От работы не отлынивает; а на фабрику, верно ведь, пошел слишком рано. Да разве я виновата? Все ведь думаешь, как лучше.

Снова послышались всхлипывания. А Джонни пробормотал, закрывая глаза:

— Вот именно — не отлынивал.

На следующее утро мать снова вырвала его из цепких объятий сна. Затем опять последовал скудный завтрак, выход из дома в темноте и бледный проблеск утра, к которому он повернулся спиной, входя в фабричные ворота. Еще один день из множества дней — и все одинаковые.

Но в жизни Джонни бывало и разнообразие: когда его ставили на другую работу или когда он заболевал. В шесть лет он нянчил Вилли и других ребят. В семь пошел на фабрику наматывать шпульки. В восемь получил работу на другой фабрике. Новая работа была удивительно легкая. Надо было только сидеть с палочкой в руке и направлять поток ткани, текущей мимо. Поток

этот струился из пасти машины, поступал на горячий барабан и шел куда-то дальше. А Джонни все сидел на одном месте, под слепящим газовым рожком, лишенный дневного света, и сам становился частью механизма.

На этой работе Джонни чувствовал себя счастливым, несмотря на влажную жару цеха, ибо он был еще молод и мог мечтать и тешить себя иллюзиями. Чудесные мечты сплетал он, наблюдая, как дымящаяся ткань безостановочно плывет мимо. Но работа не требовала ни движений, ни умственных усилий, и он мечтал все меньше и меньше, а ум его тупел и цепенел. Все же он зарабатывал два доллара в неделю, а два доллара как раз составляли разницу между голодом и хроническим недоеданием.

Но когда ему исполнилось девять, он потерял эту работу. Виною была корь. Поправившись, он поступил на стекольный завод. Здесь платили больше, зато требовалось умение. Работали сдельно; и чем проворней он был, тем больше получал. Тут была заинтересованность, и под влиянием ее Джонни стал замечательным работником.

Ничего сложного тут тоже не было: привязывать стеклянные пробки к маленьким бутылоч-

кам. На поясе у Джонни висел пучок веревок, а бутылки он зажимал между колен, чтобы действовать обеими руками. От сидячего и сгорбленного положения его узкие плечи сутулились, а грудная клетка была сжата в течение десяти часов подряд. Это вредно сказывалось на легких, но зато он перевязывал триста дюжин бутылок в день.

Управляющий очень им гордился и приводил посетителей поглядеть на него. За десять часов через руки Джонни проходило триста дюжин бутылок. Это означало, что он достиг совершенства машины. Все лишние движения были устранены. Каждый взмах его тощих рук, каждое движение костлявых пальцев было быстро и точно. Такая работа требовала огромного напряжения, и нервы Джонни начали сдавать. По ночам он вздрагивал во сне, а днем тоже не мог ни отвлечься, ни отдохнуть. Он был все время взвинчен, и руки у него судорожно подергивались. Лицо его стало землистым, и кашель усилился. Кончилось тем, что Джонни заболел воспалением легких и потерял работу на стекольном заводе.

Теперь он вернулся на джутовую фабрику, с которой в свое время начал. Здесь он мог рассчитывать на повышение. Он был хороший

работник. Со временем его переведут в крахмальный цех, а потом в ткацкую. Дальше останется лишь увеличить производительность.

За эти годы машины стали работать быстрее, а ум Джонни — медленнее. Он уже больше не мечтал, как бывало в прежние годы. Однажды он был влюблен. Это случилось в тот год, когда его поставили направлять поток ткани, текущей на барабан. Предметом его любви была дочь управляющего, взрослая девушка, и он видел ее только издали и всего каких-нибудь пять-шесть раз. Но это не имело значения. На поверхности ткани, которая текла мимо, Джонни рисовал себе светлое будущее — он совершал чудеса производительности, изобретал диковинные машины, становился директором фабрики и в конце концов заключал свою возлюбленную в объятия и скромно целовал в лоб.

Все это относилось к давним временам, когда он не был таким старым и утомленным и еще мог любить. К тому же девушка вышла замуж и уехала, а его чувства притупились. Да, то было чудесное время, и он частенько вспоминал его, как другие вспоминают детство, когда они верили в добрых фей. А Джонни верил не в добрых фей и не в Санта-Клауса — он простодушно верил в те

картины счастливого будущего, которыми его воображение расписывало дымящуюся ткань.

Джонни очень рано стал взрослым. В семь лет, когда он получил первое жалованье, началось его отрочество. У него появилось известное ощущение независимости, и отношения между матерью и сыном изменились. Он зарабатывал свой хлеб, жил своим трудом и тем как бы становился с нею на равную ногу. Взрослым, по-настоящему взрослым, он стал в одиннадцать лет, после того как полгода проработал в ночной смене. Ни один ребенок, работающий в ночной смене, не может оставаться ребенком.

В жизни его насчитывалось несколько важных событий. Однажды мать купила немного калифорнийского чернослива. Два раза она делала заварной крем. Это были очень важные события. Он вспоминал о них с нежностью. Тогда же мать рассказала ему об одном диковинном кушанье и пообещала когда-нибудь приготовить его; кушанье называлось «плавучий остров». «Это будет получше заварного крема», — сказала мать. Джонни годами ждал того дня, когда он сядет к столу и будет есть «плавучий остров», пока и эта надежда не отошла в область несбыточных мечтаний.

Как-то раз он нашел на улице двадцатипятицентовую монету. То было тоже крупное, даже трагическое событие в его жизни. Он знал, как должен поступить, еще раньше, чем подобрал монету. Дома, как всегда, было нечего есть, домой ему и следовало принести ее, как он приносил по субботам получку. Правильный путь был ясен, но Джонни никогда не имел карманных денег, и его мучила тоска по сладкому. Он изголодался по конфетам, которые доставались ему лишь по особо торжественным дням.

Джонни не пытался себя обманывать. Он знал, что совершает грех, и, пустившись в разгул на свои пятнадцать центов, грешил сознательно. Десять он отложил на вторую оргию, но, не имея привычки хранить деньги, потерял их. Это несчастье, словно нарочно, случилось как раз в то время, когда угрызения совести особенно жестоко терзали его, и оно представилось ему возмездием свыше.

Он с ужасом ощутил близость грозного и разгневанного божества. Бог видел — и бог покарал, лишив его даже плодов содеянного им греха.

Мысленно Джонни всегда оглядывался на это событие, как на единственное свое преступление, и всякий раз при этом заново испытывал

угрызения совести. То была его греховная тайна. Вместе с тем по складу своего характера он при подобных обстоятельствах не мог не испытывать сожалений. Он был недоволен тем, как употребил найденные деньги. На них можно было купить больше; знай он быстроту божьего возмездия, он обошел бы бога, потратив все двадцать пять центов сразу. Он тысячу раз мысленно распоряжался этими двадцатью пятью центами, и с каждым разом все выгоднее.

Было еще одно воспоминание, далекое и туманное, но навеки втоптанное в его душу безжалостными ногами отца. Это был скорей кошмар, чем воспоминание о действительном событии, — нечто вроде той атавистической памяти, которая заставляет человека падать во сне и восходит ко временам, когда предки его жили на деревьях.

Воспоминание это никогда не посещало Джонни при дневном свете, когда он бодрствовал. Оно являлось ночью, в тот момент, когда сознание его гасло, погружаясь в сон. Он просыпался в испуге, и в первую страшную минуту ему казалось, что он лежит поперек кровати, в ногах. На кровати — смутные очертания отца и матери. Он не мог припомнить, как выглядел отец. Об отце он знал лишь одно: у него были грубые, безжалостные

ноги.

Ранние воспоминания еще сохранились в его мозгу, но более поздних не существовало. Все дни были одинаковы. Вчерашний день или прошлый год были равны тысячелетию — или минуте. Ничего никогда не случалось. Не было событий, отмечающих ход времени. Время не шло, оно стояло на месте. Двигались лишь неугомонные машины, да и они никуда не шли, хотя и вертелись все быстрее.

...Когда ему минуло четырнадцать, он перешел в крахмальный цех. Это было громадным событием. Случилось наконец нечто такое, что не забудется за одну ночь и даже за неделю. Наступила новая эра. Это было для Джонни как бы олимпиадой, началом летосчисления. «Когда я стал работать в крахмальном» или «до», или «после того как я перешел в крахмальный» — вот слова, которые не сходили у него с уст.

Свое шестнадцатилетие Джонни отметил переходом в ткацкую, к ткацкому станку. Здесь снова была заинтересованность, так как платили сдельно. Он и тут отличился, ибо фабричный горн давно переплавил его плоть в идеальную машину. Через три месяца Джонни работал на двух станках, а затем на трех и на четырех.

После двух лет, проведенных в этом цехе, он вырабатывал больше ярдов ткани, чем любой другой ткач, и вдвое больше, чем многие из его менее проворных товарищей. И теперь, когда он начал работать в полную силу, дома зажили лучше. Впрочем, нельзя сказать, чтоб его заработок перекрывал потребности семьи. Дети подрастали. Они ели больше. Они пошли в школу, а учебники стоят денег. И почему-то чем быстрее Джонни работал, тем быстрее подымались цены. Повысилась даже квартирная плата, хотя дом разваливался на глазах.

Джонни вырос и казался от этого еще более тощим. Нервы его совсем расшатались, он стал раздражителен и брюзглив. Дети на горьком опыте научились сторониться старшего брата. Мать уважала его как кормильца семьи, но к этому уважению примешивался страх.

В жизни Джонни не было радостей. Дней он не видел. Ночи проходили в беспокойном забытьи. Остальное время он работал, и сознание его было сознание машины. Вне этого была пустота. Он ни к чему не стремился и сохранил только одну иллюзию, что он пьет превосходный кофе. Это была рабочая скотинка, лишенная всякой духовной жизни. Но где-то глубоко в подсознании,

неведомо для него самого, откладывался каждый час работы, каждое движение рук, каждое сокращение мускулов, — и все это подготовило развязку, которая повергла в изумление и его самого, и весь его маленький мирок.

Однажды, поздней весной, Джонни вернулся с работы, чувствуя себя еще более усталым, чем обычно. За столом царило приподнятое настроение, но он этого не замечал. Он ел в угрюмом молчании, машинально уничтожая то, что стояло перед ним. Дети охали, ахали, причмокивая губами. Но Джонни был глух ко всему.

— Да знаешь ли ты, что ты ешь? — не выдержала наконец мать.

Он рассеянно поглядел в тарелку, потом на мать.

— «Плавучий остров»! — объявила она с торжеством.

— А-а, — сказал Джонни.

— «Плавучий остров»! — хором подхватили дети.

— А-а, — повторил он и после двух-трех глотков добавил: — Мне сегодня что-то не хочется есть.

Он положил ложку, отодвинул стул и устало поднялся.

— Я, пожалуй, лягу.

Проходя через кухню, Джонни волочил ноги тяжелее обычного. Раздевание потребовало титанических усилий и показалось таким ненужным, что он заплакал от слабости и полез в постель, не сняв второго башмака. Он чувствовал, как в голове у него словно растет какая-то опухоль, и от этого мысли становились расплывчатыми. Его худые пальцы, казалось, стали в толщину запястий, а кончики — ватными и такими же непослушными, как его мысли. Невыносимо ломило поясницу. Болели все кости. Болело все. А в мозгу начался стук, свист, грохот миллиона ткацких станков. Мировое пространство заполнилось снующими челноками. Они метались взад и вперед, петляя среди звезд. Джонни работал на тысяче станков, и они всё ускоряли ход; челноки сновали всё быстрее и быстрее, а мозг его все быстрее разматывался и превращался в нить, которую тянула тысяча снующих челноков.

На следующее утро Джонни не вышел на работу. Он был занят другой работой — на тысяче ткацких станков, стучащих в его голове. Мать ушла на фабрику, но прежде послала за врачом. «Тяжелая форма гриппа», — сказал тот. Дженни ухаживала за братом и выполняла все предписания врача.

Болезнь протекала тяжело, и только через неделю Джонни смог одеться и с трудом проковылять по комнате. Еще неделя, сказал врач, и он вернется на работу. Мастер ткацкого цеха посетил их в воскресенье, в первый день, когда Джонни полегчало.

— Лучший ткач в цеху, — сказал он матери. — Место за ним сохранят. Может встать на работу через неделю, в тот понедельник.

— Ты бы хоть поблагодарил, Джонни, — озабоченно сказала мать. — Он так был плох, до сих пор в себя не пришел, — виновато объяснила она гостю.

Джонни сидел сгорбившись, пристально глядя в пол. Он оставался в этой позе еще долго после ухода мастера. На дворе стемнело, и после обеда он вышел посидеть на крыльце. Иногда губы его шевелились. Казалось, он был погружен в какие-то бесконечные вычисления.

На следующий день, когда в воздухе потеплело, Джонни снова уселся на крыльце. В руках у него был карандаш и бумага, и он долго с натугой и поразительным старанием высчитывал что-то.

— Что идет после миллионов? — спросил Джонни в полдень, когда Вилли вернулся из школы. — И как их считают?

К вечеру вычисления были закончены. Каждый день, уже без карандаша и бумаги, Джонни выходил на крыльцо. Он пристально смотрел на одинокое дерево, которое росло на другой стороне улицы. Он разглядывал это дерево часами; и особенно занимало его, когда ветер раскачивал ветви и шевелил листья. Всю эту неделю Джонни словно вел долгую беседу с самим собой. В воскресенье, все так же сидя на крыльце, он несколько раз громко рассмеялся, к великому смятению матери, которая уже много лет не слыхала смеха своего старшего сына.

На следующее утро, в предрассветной тьме, она подошла к кровати, чтобы разбудить его. Он успел выспаться за неделю и проснулся без труда. Он не сопротивлялся, не тянул на себя одеяло, а лежал спокойно и заговорил:

— Ни к чему это, мама.

— Опоздаешь, — сказала она, думая, что он еще но проснулся.

— Я не сплю, мама, но все равно — ни к чему это. Ты лучше уйди. Я не встану.

— Да ведь работу потеряешь! — вскричала она.

— Сказал, не встану, — повторил он каким-то чужим, бесстрастным голосом.

В то утро мать сама не пошла на работу. Эта

болезнь была похуже всех, дотоле ей известных. Лихорадку и бред она могла понять, но это же было явное помешательство. Она накрыла сына одеялом и послала Дженни за врачом. Когда тот явился, Джонни мирно спал и так же мирно проснулся и дал ощупать свой пульс.

— Ничего особенного, — сказал доктор, — очень ослабел, конечно. Кожа да кости!

— Да он всегда был такой, — сказала мать.

— Теперь уйди, мама, дай мне поспать.

Джонни сказал это кротко и спокойно, так же спокойно повернулся на другой бок и заснул.

В десять часов он проснулся, встал с постели и вышел на кухню. Мать с испугом посмотрела на него.

— Я ухожу, мама, — объявил он. — Давай простимся.

Она закрыла лицо передником, опустилась на стул и заплакала. Джонни терпеливо ждал.

— Вот дожила! — проговорила она сквозь слезы; потом, отняв передник от лица, подняла на Джонни испуганные глаза, не выражавшие даже любопытства. — Да куда же ты пойдешь?

— Не знаю… куда-нибудь.

Перед внутренним взором Джонни ярким видением возникло дерево, которое росло на другой

стороне улицы. Оно так запечатлелось в его сознании, что он мог увидеть его в любую минуту.

— А как же работа? — дрожащим голосом проговорила мать.

— Не буду я больше работать.

— Господь с тобой, Джонни! — заголосила она. — Что ты говоришь! Это казалось ей кощунством. Слова Джонни потрясли ее, как хула на бога в устах сына потрясает набожную мать.

— Да что на тебя нашло? — спросила она, делая слабую попытку проявить строгость.

— Цифры, — ответил он. — Цифры, только и всего. Я за эту неделю подсчитал — и просто сам удивился.

— Не пойму, при чем тут цифры? — всхлипнула она.

Джонни терпеливо улыбнулся, а мать со страхом подумала: куда девалась его обычная раздражительность?

— Сейчас объясню, — сказал он. — Я вымотался. А отчего? От движений. Я их делал с тех самых пор, как родился. Я устал двигаться, хватит с меня. Помнишь, когда я работал на стекольном заводе? Пропускал триста дюжин в день. На каждую бутылку приходилось не меньше десяти движений. Это будет тридцать шесть тысяч дви-

жений в день. В десять дней — триста шестьдесят тысяч. В месяц — миллион восемьдесят тысяч. Отбросим даже восемьдесят тысяч, — он сказал это с великодушием щедрого филантропа, — отбросим даже восемьдесят тысяч, и то останется миллион в месяц, двенадцать миллионов в год! За ткацкими станками я делаю вдвое больше движений. Это будет двадцать пять миллионов в год. И мне кажется, я уже миллион лет их делаю.

А эту неделю я совсем не двигался. Ни одного движения по нескольку часов подряд. До чего ж хорошо было сидеть, просто сидеть и ничего не делать. Никогда мне не было счастья. Никогда у меня не было свободного времени. Все время двигайся. А какая в этом радость? Не буду я больше ничего делать. Буду все сидеть да сидеть, все отдыхать да отдыхать… а потом опять отдыхать.

— А что будет с Вилли и с ребятишками? — в отчаянии спросила мать.

— Ну конечно, Вилли и ребятишки… — повторил он.

Но в голосе его не было горечи. Он давно знал, какие честолюбивые мечты лелеяла мать в отношении младшего сына, но уже не чувствовал обиды. Ему теперь все было безразлично. Даже это.

— Я знаю, мама, что ты задумала для Вилли, чтобы он окончил школу и стал бухгалтером. Да нет, будет с меня. Придется ему работать.

— А я-то тебя растила, — заплакала она и опять подняла передник, но так и не донесла его до лица.

— Ты меня не растила, — сказал он кротко и грустно. — Я сам себя растил, мама. И Вилли я вырастил. Он крепче меня, плотнее и выше. Я, должно быть, недоедал с малых лет. А пока он подрастал, я работал и добывал для него хлеб. Но с этим кончено. Пусть Вилли идет работать, как я, или пусть пропадает, мне все равно. Хватит с меня. Я ухожу…

Мать не отвечала. Она снова плакала, уткнув лицо в передник. Джонни приостановился в дверях.

— Я ведь делала все, что могла, — всхлипывала мать.

Джонни вышел из дому и зашагал по улице. Слабая улыбка осветила его лицо, когда он взглянул на одинокое дерево.

— Теперь я ничего не буду делать, — сказал он самому себе негромко и нараспев; потом задумчиво поглядел на небо и зажмурился — яркое солнце ослепило его.

Ему предстояла долгая дорога, но он шел не спеша. Вот джутовая фабрика. До ушей его донесся приглушенный грохот ткацкого цеха, и он улыбнулся. Это была кроткая, тихая улыбка. Он ни к кому не чувствовал ненависти, даже к стучащим, скрежещущим машинам. В душе у него не было горечи — одна безграничная жажда покоя.

Чем дальше он шел, тем реже попадались дома и фабрики, тем шире раскрывались просторы полей. Наконец город остался позади, и Джонни вышел к тенистой аллее, тянувшейся вдоль железнодорожного полотна. Он шел не как человек и не был похож на человека. Это была пародия на человека — заморенное, искалеченное существо ковыляло, свесив плети рук, сгорбившись, как больная обезьяна, узкогрудая, нелепая, страшная.

Он миновал маленькую станцию и повалился в траву под деревом. Весь день он пролежал там. Иногда он дремал, и мускулы его подергивались во сне. Проснувшись, лежал без движения, следя глазами за птицами или глядя в небо сквозь ветви над головой. Раз или два он громко рассмеялся — видимо, без всякой причины.

Когда сумерки сгустились в ночную тьму, к станции с грохотом подкатил товарный состав.

Пока паровоз перегонял часть вагонов на запасной путь, Джонни подкрался к поезду. Он открыл дверь пустого товарного вагона и неуклюже, с трудом забрался туда. Потом закрыл за собой дверь. Паровоз дал свисток. Джонни лежал в темноте и улыбался.

Безнравственная женщина

Лоретта отправилась гостить в Санта-Клару, потому что решила окончательно порвать с Билли. А Билли не мог понять этого. Его сестра сообщила, что он всю ночь ходил по комнате и плакал. Лоретта тоже ни на минуту не сомкнула глаз и проплакала почти всю ночь. Дейзи это было доподлинно известно, ибо как раз у нее на груди Лоретта выплакала свое горе. Знал об этом и муж Дейзи, капитан Китт. Слезы Лоретты и утешения Дейзи лишили и его драгоценных минут сна.

А капитан Китт, конечно, не собирался бодрствовать по ночам. Кроме того, ему вовсе не хотелось, чтобы Лоретта вышла замуж за Билли или за кого-нибудь другого. Он считал, что Лоретта должна помогать своей старшей сестре по хозяйству. Но вслух он этого не высказывал. Лоретта слишком молода, утверждал он, чтобы думать о замужестве. Именно поэтому капитану Китту и пришла в голову мысль отправить Лоретту гостить к миссис Хемингуэй. Там-то уж не будет никакого Билли.

Не успела Лоретта прожить в Санта-Кларе и недели, как убедилась, что идея капитана Китта

была весьма разумной. Во-первых, хотя Билли и не поверил бы этому, ей действительно не хотелось выходить за него замуж. И, во-вторых, хотя капитан Китт и не поверил бы этому, ей действительно не хотелось расставаться с Дейзи. А прожив в Санта-Кларе целых две недели, Лоретта окончательно уверилась в том, что не хочет выходить за Билли. Однако она была далеко не так уверена в том, что не желает расставаться с Дейзи. Отнюдь не потому, что она стала меньше любить Дейзи, нет, просто у нее появились некоторые сомнения.

В день приезда Лоретты в голове миссис Хемингуэй начал складываться некий план. На следующее утро она заметила своему мужу Джеку Хемингуэю, что Лоретта до смешного наивна и что если бы не присущее ей милое простодушие, то ее можно было бы назвать просто глупой. И в доказательство миссис Хемингуэй сообщила мужу столь пикантные подробности из поведения Лоретты, что он был не в силах удержаться от хохота. На третий день план миссис Хемингуэй принял весьма определенные очертания. И вот тогда-то она и сочинила письмо. На конверте был написан адрес: «Сан-Франциско, Афинский клуб, мистеру Эдварду Бэшфорду».

«Дорогой Нед!» — так начиналось письмо. Когда-то, еще до ее замужества, он в течение трех недель пылал к ней страстной любовью. Но она соединила свою судьбу с Джеком Хемингуэем, первым сделавшим заявку на ее руку и сердце. Однако столь коварный удар судьбы не разбил сердце философски настроенного Неда Бэшфорда. Он просто добавил этот факт к длинному перечню подобных переживаний, на основе которых создал свою философию. По темпераменту и художественному вкусу он был эллином, разочарованным эллином. Он очень любил цитировать Ницше в знак того, что тоже пережил тяжкое разочарование, которое неминуемо следует за пламенными поисками истины, и вышел из него достаточно опытным, достаточно проницательным и достаточно мудрым, чтобы когда-нибудь вновь впасть в безумие юности с ее любовью к истине. «Поклоняться видимости, — часто цитировал он, — верить в формы, тона, слова, в целый Олимп видимости!» Эту выдержку он неизменно заканчивал словами: «Греки были поверхностными в силу своей глубины!»

Он был настоящим молодым эллином, разочарованным и усталым. Женщины вероломны и лживы, утверждал он в те дни, когда наступал

рецидив и на смену философскому спокойствию приходил пессимизм. Он не верил в искренность женщин, но, следуя заветам своего немецкого кумира, не срывал с них того воздушного флера, который прикрывал их вероломство. Он довольствовался тем, что воспринимал их как чистую видимость и старался наилучшим образом приспособиться к этому факту. Он был поверхностным в силу своей глубины.

«Джек просит обязательно передать вам, что здесь великолепное купание, — писала в своем письме миссис Хемингуэй, — и советует захватить с собой снасти». Миссис Хемингуэй писала еще кое о чем. Она сообщала ему, что может наконец познакомить его с совершенно искренней и простодушной девушкой, обладающей восхитительной репутацией. «Еще никогда не расцветал на нашей планете бутон более чистый и более безупречный», — такова была одна из тех многочисленных фраз, в которые миссис Хемингуэй облекала свое искушение. А мужу она с торжеством заявила: «Если и на этот раз мне не удастся женить Неда…» — и не договорила, оставив в неизвестности предположение столь страшное, что губы ее отказывались его произнести, а воображение — представить.

Вопреки своим дурным предчувствиям Лоретта обнаружила, что ей совсем не так плохо в Санта-Кларе. Билли, правда, ежедневно писал, но эти письма раздражали ее значительно меньше его присутствия. Кроме того, испытание, заключавшееся в разлуке с Дейзи, оказалось не таким суровым, как она ожидала. Впервые в жизни ее не затмевала блестящая и зрелая красота старшей сестры. При столь благоприятных условиях Лоретта быстро выдвинулась на передний план, в то время как миссис Хемингуэй скромно и без стеснения удалилась в глубину сцены.

Лоретта начала понимать, что она не просто тусклое светило, сияющее лишь отраженным светом. Совершенно бессознательно она стала центром небольшого круга событий. Когда она садилась к роялю, тотчас кто-нибудь был готов переворачивать страницы нот и выказывать предпочтение тем или иным песенкам. Когда она роняла носовой платок, тотчас кто-нибудь жаждал его поднять. Ее всегда были рады сопровождать на прогулку или помогать ей собирать цветы. Она научилась забрасывать удочку с приманкой на крючке в тихие заводи и под коряги и не запутывать лесу в кустарнике.

Джек Хемингуэй не любил обучать новичков

и во время рыбной ловли старался уединиться, а то и вовсе оставался дома, предоставляя Неду Бэшфорду полную возможность воспринимать Лоретту как видимость. В этом качестве она вполне удовлетворяла всем требованиям его философии. Ее голубые глаза смотрели по-мальчишески прямо, и он любовался ими, забывая содрогнуться перед коварством, которое, согласно его философии, скрывалось в их взоре. Она обладала грацией стройного цветка, нежностью красок и хрупкостью тонкого фарфора. Эти качества очаровывали его, заставляя забывать о сокрытой под ними жизненной силе и о Бернарде Шоу, в которого он верил.

Лоретта расцветала. Она быстро становилась самостоятельной. У нее появились собственная воля и собственные желания, которые не были навечно связаны с волей и желаниями Дейзи. Джек Хемингуэй баловал ее, Элис Хемингуэй лелеяла, а Нед Бэшфорд был предельно внимателен. Они потворствовали ее прихотям и смеялись над ее проказами, в то время как она развивала в себе замашки маленького тирана, который всегда скрыт в каждой изящной и хорошенькой женщине. Окружающие постепенно гасили в ней желание никогда не разлучаться с Дейзи. Это же-

лание теперь не мучило ее так, как в дни дружбы с Билли. Чем чаще она видела Билли, тем больше убеждалась в том, что не может жить вдали от Дейзи. Чем чаще она видела Неда Бэшфорда, тем больше забывала о настоятельной потребности быть рядом с Дейзи.

И Нед Бэшфорд начал кое о чем забывать. Он путал поверхность с глубиной, а видимость с реальностью до такой степени, что вскоре стал считать их одним и тем же. Лоретта совсем не была похожа на других женщин. Ей было чуждо притворство. Она была реальной. Все это и более того он высказал миссис Хемингуэй, которая согласилась с ним, не преминув в то же время заметить, как выразительно подмигнул ей ее муж.

Как раз в тот день Лоретта получила от Билли письмо, которое несколько отличалось от его прежних писем. В сущности, как и все его письма, оно было патологическим. Это был длинный перечень симптомов и страданий, волнений, бессонниц и сердечных приступов. Затем следовали упреки, но такие, каких он никогда не позволял себе раньше. Их резкость вызвала у нее слезы, а так как они к тому же были справедливы, на ее лице появилось трагическое выражение. Это выражение она принесла с собой к столу, когда

спустилась к завтраку. Взглянув на нее, Джек и миссис Хемингуэй задумались, а Нед забеспокоился. Супруги вопросительно поглядели на Неда, но он лишь недоуменно покачал головой.

— Вечером я все узнаю, — сказала миссис Хемингуэй мужу.

Но Неду удалось еще днем застать Лоретту одну в большой гостиной. Она попыталась отвернуться. Но он взял ее за руки и увидел, что ресницы ее были влажными, а губы дрожали. Он добрым взором посмотрел на нее. Ее ресницы стали еще более влажными.

— Ну, ну, успокойтесь, малышка, — ласково сказал он.

И, словно защищая ее, он обнял ее за плечи. А она, как обиженный ребенок, положила голову к нему на грудь. Его охватил трепет, необычный для эллина, оправившегося от длительного разочарования.

— О Нед, — всхлипнула она, прильнув к нему, — если бы вы только знали, какая я безнравственная!

Он снисходительно улыбнулся и глубоко вздохнул, впитывая в себя аромат ее волос. Подумав о своей опытности в отношениях с женщинами, он еще раз глубоко вздохнул. Она, казалось, исто-

чала детскую сладость — «дуновение невинной души», как выразился он мысленно.

Но она всхлипывала все чаще.

— В чем дело, малышка? — спросил он ласково, почти отеческим тоном. — Не обидел ли вас Джек? Или ваша любимая сестрица забыла написать очередное послание?

Она не ответила, и он почувствовал, что непременно должен поцеловать ее волосы и что ни за что не отвечает, если такое положение вещей будет продолжаться и дальше.

— Расскажите мне все, — мягко сказал он, — быть может, я сумею помочь вам.

— Нет. Вы будете презирать меня. О Нед, мне так стыдно!

Он недоверчиво рассмеялся и легко коснулся губами ее волос, так легко, что она даже не заметила этого..

— Дорогая моя девочка, давайте забудем обо всем, что бы это ни было. Я хочу сказать вам, как я люблю…

Она вскрикнула от радости, но тут же простонала:

— Слишком поздно!

— Слишком поздно? — изумленно переспросил он.

— О, зачем я это сделала? Зачем? — стонала она.

Он почувствовал холодную дрожь в сердце.

— Что сделали? — спросил он.

— Я… он… Билли… Я такая безнравственная женщина, Нед. Я знаю, вы никогда больше не будете разговаривать со мной.

— Этот… этот Билли, — начал он, запинаясь. — Это ваш брат?

— Нет… он… Я не знаю. Я была так молода. Я ничего не могла сделать. О, я сойду с ума! Я сойду с ума!

И тогда Лоретта почувствовала, что обнимающие ее руки вдруг обессилели. Он мягко отодвинулся и бережно усадил ее в большое кресло, где она, опустив голову, снова отчаянно зарыдала. Он свирепо подкрутил усы, затем подвинул к ней другое кресло и сел.

— Я… я не понимаю, — сказал он.

— Я так несчастна! — всхлипывала она.

— Почему несчастна?

— Потому что… он… он хочет, чтобы я стала его женой.

На мгновение его лицо прояснилось, и он успокаивающе положил свою руку на ее руки.

— Это не может сделать девушку несчастной,

— глубокомысленно заметил он. — Раз вы не любите его, нет причины… Вы, разумеется, не любите его?

Лоретта энергично затрясла головой и плечами.

— Не любите?

Бэшфорду хотелось добиться полной ясности.

— Нет, нет! — воскликнула она. — Я не люблю Билли! Я не хочу любить Билли!

— А раз вы не любите его, — уверенно заключил Бэшфорд, — значит, нет причины считать себя несчастной только потому, что он сделал вам предложение.

Она снова зарыдала и в самый разгар своих рыданий воскликнула:

— В том-то и вся беда. О, если бы я любила его! О, как мне хочется умереть!

— Мое дорогое дитя, напрасно вы волнуетесь. — Вторая его рука потянулась вслед за первой и тоже легла на ее руки. — Женщины поступают так ежедневно. Только потому, что вы передумали или не решаетесь, только потому, что вы — я должен употребить нехорошее слово — увлекли мужчину и обманули его…

— Увлекла и обманула! — Подняв голову, она взглянула на него полными слез глазами. — О

Нед, если бы только это!

— Только? — переспросил он глухим голосом, а руки его медленно сползли с ее рук. Он хотел что-то сказать, но раздумал и промолчал.

— Но я не хочу выходить за него замуж! — протестующе вырвалось у Лоретты.

— Ну и не выходите, — посоветовал он.

— Но я обязана выйти за него.

— Обязаны?

Она кивнула головой.

— Это очень сильное выражение.

— Я знаю, — согласилась она, тщетно пытаясь подавить рыдания. Затем добавила более спокойным тоном: — Я безнравственная женщина, ужасно безнравственная. Никто не знает, какая я безнравственная, никто, за исключением Билли.

Наступила пауза. Нед Бэшфорд помрачнел и странно взглянул на Лоретту.

— А… Билли знает? — наконец спросил он.

Несмелый кивок и пылающие щеки послужили ответом на его вопрос. Минуту он оставался в нерешительности, словно пловец, не решающийся нырнуть.

— Расскажите мне об этом. — Он говорил твердо. — Вы должны рассказать мне об этом.

— А вы… вы простите мне? — спросила она

слабым, чуть слышным голосом.

Он заколебался, потом глубоко вздохнул и нырнул.

— Да, — сказал он отчаянным голосом. — Я прощу вас. Рассказывайте.

— Некому было предостеречь меня, — начала она. — Мы так часто бывали вместе. Я в ту пору еще ни в чем не разбиралась.

Задумавшись, она замолчала. Бэшфорд нетерпеливо кусал губы.

— Если бы я только знала…

Она снова замолчала.

— Продолжайте, — настаивал он.

— Мы виделись почти каждый вечер.

— С Билли? — спросил он с яростью, напугавшей ее.

— Конечно, с Билли. Мы так часто бывали вдвоем… Если бы я только знала… Некому было предостеречь меня… Я была так молода…

Она хотела еще что-то добавить и со страхом взглянула на него.

— Подлец!

Задыхаясь от гнева, Нед Бэшфорд вскочил на ноги. Теперь это уже был не усталый эллин, а разъяренный молодой человек.

— Билли не подлец! Он хороший, — сказала

Лоретта с твердостью, поразившей Бэшфорда.

— Не собираетесь ли вы сказать мне, что вина всецело на вашей стороне? — саркастически заметил он.

Она кивнула головой.

— Что? — вскричал он.

— Я сама виновата во всем, — решительно сказала она. — Мне не следовало позволять ему. Я одна заслуживаю порицания.

Бэшфорд, до сих пор ходивший взад и вперед по комнате, остановился, и, когда он заговорил, голос его звучал смиренно.

— Хорошо, — сказал он. — Я ни в чем не упрекаю вас, Лоретта. Вы были честны со мной. Билли прав, неправы вы. Вы обязаны выйти замуж.

— За Билли? — спросила она слабым, едва слышным голосом.

— Да, за Билли. Я помогу вам. Где он живет? Я заставлю его.

— Но я не хочу выходить за него замуж! — в страхе вскричала она. — О Нед, вы не сделаете этого!

— Сделаю, — сурово ответил он. — Вы обязаны. И Билли обязан. Понятно?

Лоретта спрятала лицо в спинку кресла и разразилась новыми рыданиями.

Сначала Бэшфорд, прислушиваясь, мог понять только одно:

— Но я не хочу покидать Дейзи! Я не хочу покидать Дейзи!

Он мрачно ходил по комнате, затем остановился, с любопытством прислушиваясь.

— Откуда я могла знать? — плакала Лоретта. — Он не сказал мне. Раньше меня никто не целовал. Я никогда не думала, что поцелуй может быть так ужасен… пока… пока он не написал мне. Я получила письмо только сегодня утром.

Его лицо прояснилось. Казалось, будто свет изнутри озарил его.

— Об этом вы и плачете?

— Н-нет.

Сердце его вновь упало.

— Тогда почему же вы плачете? — спросил он безнадежно.

— Вы сказали, что я обязана выйти замуж за Билли. А я не хочу быть его женой. Я не хочу расставаться с Дейзи. Я не знаю, чего я хочу. Я хочу умереть.

Он решился сделать еще одну попытку.

— Послушайте, Лоретта, будьте благоразумны. Что там такое насчет поцелуев? Вы не рассказали мне всего.

— Я… я не хочу рассказывать вам всего.

В наступившей тишине она смотрела на него молящим взором.

— Я должна оказать? — наконец пролепетала она дрожащим голосом.

— Должны! — выкрикнул он повелительно. — Вы должны сказать мне все.

— Ну, ладно… Обязательно?

— Обязательно.

— Он… я… мы… — с трудом начала она. И затем выпалила: — Я позволила, и он поцеловал меня.

— Дальше, — отчаянно приказал Бэшфорд.

— Это все, — ответила она.

— Все? — В его голосе звучало сомнение.

— Все? — В ее голосе было не меньше вопроса.

— Я хочу сказать… И больше ничего? — Он был почти подавлен своей неловкостью.

— Больше? — Она была искренне удивлена. — Как будто может быть еще что-нибудь! Билли сказал…

— Когда он сказал это? — резко спросил Бэшфорд.

— В письме, которое я получила сегодня утром. Билли сказал, что мои… наши поцелуи ужасны, если мы не поженимся.

У Бэшфорда голова шла кругом.

— Что еще сказал Билли? — спросил он.

— Он сказал, что, если женщина позволила мужчине поцеловать ее, она обязана стать его женой. Она совершит преступление, если не сделает этого. Таков обычай, оказал он. А я говорю, что это жестокий, несправедливый обычай, он мне совсем не нравится. Я знаю, я ужасная женщина, — добавила она вызывающе, — но ничего не могу поделать с собой.

Бэшфорд машинально достал сигарету.

— Вы позволите мне курить? — спросил он, зажигая спичку.

И в этот момент он пришел в себя.

— Простите меня! — вскричал он, отбрасывая в сторону и сигарету и спичку. — Я вовсе не хочу курить. Я совсем не собирался этого делать. Я хотел…

И, склонившись над Лореттой, он взял ее руки в свою и, присев на ручку кресла, нежно обнял девушку другой рукой.

— Лоретта, я дурак. Да, да, именно это я хочу сказать. И еще кое-что. Я хочу, чтобы вы стали моей женой.

Наступило молчание. Он с тревогой ждал ее ответа.

— Я согласна… если…

— Говорите. Если что?

— Если я не обязана выйти замуж за Билли.

— Но вы не можете выйти замуж за двоих! — почти закричал он.

— А нет такого обычая… как… как сказал Билли?

— Нет, такого обычая не существует. Ну, Лоретта, согласны вы стать моей женой?

— Не сердитесь на меня. — Она надула губки и в то же время кротко поглядела на него.

Он прижал ее к себе и поцеловал.

— Хорошо, если бы такой обычай существовал, — еле слышным голосом сказала Лоретта, лежа в его объятиях, — потому что тогда я была бы обязала выйти за вас, Нед дорогой, правда?

«Просто мясо»

Он дошел до угла и осмотрелся по сторонам, но кроме островков света у фонарей на перекрестках ничего не заметил. Той же дорогой он побрел обратно. Он скользил в полутьме словно призрак — бесшумно и без лишних движений. Он был осторожен, наблюдателен и чуток, как крадущийся в джунглях зверь. Он бы не заметил посторонних движений, лишь окажись они призрачней его собственных.

Кроме того, что он видел и слышал, он обладал еще каким-то неуловимым чувством — о щ у щ е н и е м окружающего. Он чувствовал, например, что в доме, рядом с которым он остановился, есть дети. Ощущение это возникло у него без каких-либо сознательных усилий мысли. Если на то пошло, он и понятия не имел об этом ощущении — настолько оно было неосознанным. Однако потребуй от него обстоятельства каких-то действий, он действовал бы так, словно точно знал, что дети в доме есть. Он и не подозревал, насколько хорошо изучил соседние дома.

То же подсознательное чувство подсказывало ему, что звук шагов на соседней улице не

таит в себе никакой опасности. Прежде чем он увидел идущего, он уже знал, что это запоздалый пешеход, спешащий домой. Увидев огонек, вспыхнувший в окне углового дома, он понял, что там зажгли спичку. Сознание привычно фиксировало знакомые явления: «Хотели узнать, который час». В другом доме светилось только одно окно. Свет горел тускло и ровно, и он был убежден, что это комната больного.

Больше всего его занимал дом в центре квартала на противоположной стороне улицы. Этим домом он особенно интересовался. Куда бы он ни смотрел, куда бы ни шел, взгляды и шаги его возвращались к этому дому. Если не считать распахнутого над портиком окна, в доме не было ничего необычного. Никто не входил и не выходил. Все было спокойно. Окна были не освещены. Нигде не зажигался и не гас свет. Тем не менее все его внимание было сосредоточено на этом доме. И всякий раз после очередного осмотра окрестностей он возвращался к нему.

Несмотря на свою обостренную чувствительность, он не был спокоен. Он прекрасно сознавал всю ненадежность своего положения. И хотя его не тревожили шаги случайных прохожих, он был взвинчен, напряжен и готов к бегству, словно

пугливый олень. Он знал, что в окружающей его темноте, возможно, бродят и другие разумные существа — такие же бесшумные, настороженные и чуткие, как он.

В конце улицы что-то мелькнуло, и чутье подсказало ему, что на сей раз это уже не замешкавшийся пешеход, а нечто, таящее в себе угрозу и опасность.

Он дважды свистнул, подавая знак кому-то в доме напротив, и бесшумно исчез за углом. Здесь он остановился и внимательно огляделся. Убедившись, что все спокойно, он выглянул из-за угла и осмотрел приближавшегося. Предчувствие его не обмануло — это был полицейский.

Он дошел до следующего угла и, выглядывая оттуда, принялся следить за перекрестком, который только что покинул. Он увидел, что полицейский прошел мимо, направляясь дальше. Тогда он двинулся по улице, параллельной той, по которой шел полицейский, и со следующего угла проследил, как тот удаляется. Затем той же дорогой вернулся обратно. У дома он свистнул один раз, а немного погодя — второй. На этот раз в свисте чувствовалось ободрение, в то время как первый — двойной — свист звучал, как сигнал тревоги.

На крыше портика появилось что-то темное

и медленно сползло по колонне. Спустившись со ступеней и миновав небольшую железную калитку, оно приняло человеческие очертания и двинулось по тротуару. Наблюдавший поспешил к перекрестку, держась своей стороны улицы. Дойдя до угла, он перешел дорогу и присоединился к появившемуся человеку. Рядом с ним он казался совсем маленьким.

— Ну как, Мэтт? — спросил он.

Тот что-то невнятно буркнул. Несколько шагов они прошли молча.

— Кажется, я все добро разыскал, — сказал он.

В темноте Джим сдавленно рассмеялся. Затем замолк, ожидая продолжения. Они проходили квартал за кварталом, и наконец терпение его лопнуло.

— Ну, так как же насчет добра? — спросил он. — Какой у тебя все-таки улов?

— Мне некогда было считать, но жирный. Это-то я точно могу сказать, Джим. Страшно подумать, до чего жирный. Подожди, пока доберемся до дому.

Как только они поравнялись с фонарем, Джим впился в приятеля глазами. Он заметил, что вид у того был довольно угрюмый, а левая рука как-то странно подвернута.

— Что у тебя с рукой? — спросил он.

— Этот паршивец меня укусил. Хоть бы не взбеситься. Говорят, можно взбеситься и от человеческих укусов. Не слыхал такого?

— Что, дал тебе жизни? — пытаясь расшевелить собеседника, поинтересовался Джим.

Тот что-то пробурчал.

— Из тебя разве что-нибудь вытянешь? — раздраженно взорвался Джим. — Давай выкладывай. От этого тебя не убудет.

— Я его малость придушил, — последовал ответ. — Он проснулся, — пояснил Мэтт немного погодя.

— Здорово сработал. Я не слыхал ни звука.

— Джим, — заговорил тот серьезно. — Дело пахнет виселицей. Я его прикончил. Пришлось. Он проснулся. Придется нам с тобой на время притихнуть.

Джим понимающе свистнул.

— Ты слыхал, как я свистел? — вдруг спросил он.

— Конечно. Я уже кончил. Как раз собирался вылезать.

— Это был фараон. Только он ни о чем не догадывался. Прошел мимо и все топал копытами, пока не исчез. Тут я вернулся и опять свистнул. А

что ты потом так долго возился?

— Подождал для верности, — пояснил Мэтт. — Я страшно обрадовался, когда ты свистнул второй раз. Тяжкое это дело — ждать. Я сидел себе там и думал, думал… так, обо всякой всячине. Удивительно, какие только мысли в голову не лезут! К тому же там была какая-то сволочная кошка, которая все бродила по дому, шуршала и действовала мне на нервы.

— Так, значит, улов жирный! — радостно и без всякой видимой связи с предыдущим воскликнул Джим.

— Провалиться мне, Джим, жирный. Мне так и не терпится разглядеть все хорошенько.

Бессознательно оба ускорили шаги. Но осторожность их не покидала. Дважды они сворачивали с дороги, чтобы избежать полицейских, и, прежде чем нырнуть в темную прихожую дешевых городских меблирашек, оба удостоверились, что за ними не следят.

Только добравшись до своей комнаты на верхнем этаже, они зажгли спичку. Пока Джим возился с лампой, Мэтт запер дверь на ключ и закрыл задвижки. Обернувшись, он увидел выжидательную позу Джима и внутренне усмехнулся его нетерпению.

— Прожектор подходящий, — сказал он, вынимая и рассматривая карманный фонарик. — Только надо достать новую батарейку. Эта уже садится. Раза два я было подумал, что останусь в темноте. Странный какой-то этот дом. Я там чуть не заблудился. Его комната оказалась слева, и это меня сбило.

— Я же говорил, что она слева, — прервал Джим.

— Ты говорил, что справа, — возразил Мэтт. — Уж я-то знаю, что ты мне говорил, а вот и план, который ты чертил.

Порывшись в жилетном кармане, он вытащил сложенную бумажку и развернул ее. Джим склонился над планом.

— Я и вправду ошибся, — признался он.

— Еще как! Я сначала ни черта понять не мог.

— Теперь это уже не важно! — воскликнул Джим. — Давай поглядим, что там у тебя.

— Нет, важно, — возразил Мэтт. — Очень даже важно для меня. Я рискую всем. Я сую голову в петлю, в то время как ты прохлаждаешься на улице. Ты должен взять себя в руки и быть повнимательней. Ладно, давай покажу.

Он сунул руку в брючный карман и вытащил пригоршню мелких бриллиантов. На грязный

стол вылился сверкающий ручеек камней. Джим смачно выругался.

— Это все пустяки, — торжествующе и снисходительно произнес Мэтт. — Считай, что ты еще ничего не видел.

Он продолжал вытаскивать добычу изо всех карманов. Часть бриллиантов, завернутых в замшу, оказалась крупнее камешков из первой пригоршни. Из одного кармана он извлек горсть очень мелких граненых камней.

— Бриллиантовая пыль, — заметил он, высыпая их на стол поодаль от остальных.

Джим изучал их.

— Ну что же, сойдут по паре долларов за штуку, — сказал он. — Все?

— А что, тебе мало? — обиженно спросил приятель.

— Да нет, хватает, конечно, — ответил Джим одобрительно. — Больше, чем я думал. За всю кучу надо взять десять тысяч и ни цента меньше.

— Десять тысяч! — возмутился Мэтт. — Они стоят вдвое больше, верно тебе говорю, хотя я тоже ни шута не понимаю в драгоценностях. Погляди, какой красавчик!

Он выбрал камень из сверкающей груды и с видом знатока, взвесив его на руке, поднес к лампе.

— Этот, пожалуй, тыщонку потянет, — быстро оценил Джим.

— Тыщонку за твою бабушку! — презрительно возразил Мэтт. — Его не купишь и за три.

— Ущипни меня! Мне все это снится! — В глазах Джима отражался блеск камней; он принялся выбирать из кучи самые крупные и рассматривать их. — Да ведь мы же богачи, Мэтт, мы с тобой станем шикарными господами!

— Сколько еще лет пройдет, пока их сплавишь, — рассудил более практичный Мэтт.

— Зато увидишь, как мы заживем! Знай трать себе денежки да сори ими, сколько душе угодно.

Под конец даже у флегматичного Мэтта заблестели глаза.

— Я же говорил тебе, что просто подумать боюсь, до чего это жирно, — тихо проворчал он.

— Ну и удача! Вот подвалило, так подвалило! — восторженно восклицал Джим.

— Да, чуть было не забыл, — проговорил Мэтт, запуская руку во внутренний карман пиджака.

Из тонкой бумаги и замши показалась нитка жемчуга. Джим едва взглянул на нее.

— Стоящая вещь, — сказал он, возвращаясь к бриллиантам.

Наступило молчание. Джим играл камнями, то

погружая в них пальцы, то складывая в кучки, то разбрасывая по столу. Это был тощий, слабосильный человечек — нервный, раздражительный, взвинченный и малокровный, — типичное дитя трущоб, с некрасивым дергающимся личиком и маленькими глазками, с вечно голодным ртом и лихорадочным видом; в нем чувствовалась вкрадчивая жестокость, и на всем его облике лежала печать вырождения.

Мэтт не притрагивался к бриллиантам. Он сидел, облокотившись о стол, подперев ладонями подбородок, и, тяжело моргая, смотрел на сверкающие ряды камней. Он был полной противоположностью Джиму. Его никак нельзя было назвать порождением города. Мускулистый и волосатый, мощью и видом своим он напоминал гориллу. Для него в жизни все было просто и ясно. У него были широко расставленные выпуклые глаза, в которых светилось какое-то дерзкое дружелюбие. Они внушали доверие. Однако, присмотревшись, можно было заметить, что глаза его, пожалуй, чересчур навыкате и слишком уж широко расставлены. В нем все было чрезмерным, переходящим границы нормального. Черты лица были лживы: они не отражали его сущности.

— Эта куча стоит пятидесяти тысяч, — внезапно заговорил Джим.

— Ста тысяч, — возразил Мэтт.

Молчание возобновилось и тянулось долго, пока Джим снова его не нарушил.

— Хотел бы я знать, какого черта он держал их дома? Я думал, что он их хранит в магазине в сейфе.

Как раз в эту минуту Мэтт представил себе удушенного, каким видел его в последний раз при тусклом свете фонарика. Однако при упоминании о нем он даже не вздрогнул.

— А кто его знает, — ответил он. — Может, он собирался улизнуть от своего компаньона. Может, кабы не мы, он смылся бы неизвестно куда. Небось, среди честных людей не меньше воров, чем среди воров. О таких вещах постоянно пишут в газетах, Джим. Компаньоны то и дело всаживают друг другу нож в спину.

Что-то виноватое мелькнуло в глазах Джима. Мэтт не подал виду, что заметил, однако спросил:

— О чем ты сейчас подумал, Джим?

На мгновение Джим почувствовал себя неловко.

— Ни о чем, — ответил он. — Подумал просто,

как странно, что все эти драгоценности оказались у него дома. А почему ты спрашиваешь?

— Да так. Просто поинтересовался, вот и все.

Воцарилась тишина, изредка прерываемая слабым и нервозным хихиканьем Джима. Он был ослеплен обилием камней. Не потому, что чувствовал их красоту. Он понятия не имел, что они прекрасны сами по себе. Но его бурная фантазия уже рисовала те радости жизни, какие эти камни смогут ему дать. Чего только они не сулили всем желаниям и страстям, живущим в его хилом теле и больном воображении. Из их сверкающих огней он воздвигал великолепные замки, в которых ему мерещились пышные оргии, и сам поражался увиденному, потому-то он и хихикал. Нет, это не могло быть правдой. Но вот они, сверкая, лежат на столе, разжигая в нем огонь сладострастия. И он снова хихикал.

— Надо бы их сосчитать, — вдруг заговорил Мэтт, отрываясь от собственных видений. — Ты смотри и следи, чтобы все было без обмана. Потому что между нами все должно быть без обмана, Джим. Понял?

По глазам Джима было видно, что ему это не пришлось по душе. Мэтту же не понравилось то, что он увидел в глазах своего партнера.

— Понял? — повторил Мэтт почти угрожающе.

— А разве у нас не всегда без обмана? — спросил тот, защищаясь. Предательство уже зрело в нем.

— Эка невидаль быть честным в трудные времена, — возразил Мэтт. — Вот если ты честен в добрые — это другое дело. Когда у нас ни черта нет, нам ничего не остается, как быть честными. Теперь мы с тобой разбогатели, и нам надо стать деловыми людьми — честными деловыми людьми. Понял?

— Это мне подходит, — одобрил Джим, но где-то в глубине его жалкой душонки против его воли, словно звери в клетке, поднимались необузданные и алчные мысли.

Мэтт подошел к кухонной полке, висевшей за двухфитильной керосинкой. Он высыпал из бумажного пакетика чай, потом из другого — красный перец. Вернувшись с пакетиками к столу, он сложил в них мелкие камни, в один — покрупнее, в другой — помельче. Затем пересчитал крупные камни и каждый из них завернул в папиросную бумагу и замшу.

— Сто сорок семь довольно крупных, — сообщил он результат инвентаризации. — Двадцать по-настоящему больших, два здоровенных и один огромный, да парочка пригоршней крошечных

и пыли.

Он взглянул на Джима.

— Верно, — подтвердил тот.

Он записал счет на листке блокнота и сделал с него копию; один листок он отдал своему партнеру, а другой оставил себе.

— Для памяти, — сказал он.

Мэтт опять направился к полке и высыпал из большого бумажного пакета сахар. Сунув в него бриллианты — и крупные и мелкие, — он обернул пакет в пестрый набивной платок и спрятал сверток под подушку. Потом сел на краешек кровати и снял ботинки.

— И ты думаешь, они стоят сто тысяч? — спросил Джим, подняв глаза и перестав расшнуровывать ботинок.

— Еще бы, — последовал ответ. — Знавал я в Аризоне одну танцовщицу, так у нее было несколько больших камушков. Поддельных. Она говорила, что, будь они настоящие, они бы стоили не меньше пятидесяти тысяч, и ей бы не пришлось танцевать. А у нее их и дюжины-то не набралось бы.

— Кому ж будет охота трудиться из-за куска хлеба? — торжествующе вопросил Джим. — С киркой да лопатой... — сказал он презрительно.

— Да проработай я, как собака, всю жизнь, откладывай я все свои заработки, все равно не собрал бы и половины того, что мы огребли сегодня.

— Мыть тарелки — вот на что ты способен, а на этом больше двадцатки в месяц с харчами не заработаешь. Со счетом ты не в ладах, но мысль у тебя верная. Кому нравится, пусть тот и работает. Когда я был молод и глуп, я служил ковбоем за тридцатку в месяц. Но теперь я стал постарше и больше не желаю быть ковбоем.

Мэтт влез в постель. Джим потушил свет и улегся с другой стороны кровати.

— Как твоя рука? — любезно осведомился Джим.

Такая забота была необычной, и Матт это заметил.

— Кажется, не сбешусь. Почему ты спросил?

Джим почувствовал смущение и беспокойство и в душе проклял другого за способность задавать неприятные вопросы, но вслух сказал:

— Да так просто. Вначале ты как будто струхнул. Что ты собираешься делать со своей долей, Мэтт?

— Куплю ранчо в Аризоне, осяду и буду платить другим, чтобы они служили ковбоями у меня. Хотелось бы мне поглядеть, как парочка своло-

чей, будь они прокляты, станет клянчить у меня работу. А теперь заткнись, Джим. Еще не скоро я куплю это ранчо. А сейчас я буду спать.

Но Джим долго не мог уснуть; нервничая и ерзая, он переворачивался с боку на бок, а когда ему удавалось уснуть, он спал неспокойно и тут же просыпался. Ему все еще мерещился блеск камней, и от этого блеска болели глаза. Несмотря на свою тупость, Матт спал чутко, как дикое животное, настороженное даже во сне. И Джим, переворачиваясь, все время замечал, как напрягается тело лежащего рядом с ним человека, словно он вот-вот проснется. По правде говоря, Джим часто не мог понять, спит тот или нет. Раз даже Мэтт проговорил тихо и совсем не сонно: «Да спи ты, Джим! Нечего думать об этих камнях. Никуда они не денутся». А ведь именно в эту минуту Джим был уверен, что Мэтт спит.

Поздно утром Мэтт проснулся при первом движении Джима и потом просыпался и засыпал одновременно с ним до полудня, когда оба встали и оделись.

— Я пойду куплю газету и хлеб, — сказал Мэтт. — А ты свари кофе.

Слушая, Джим бессознательно перевел взгляд с лица Мэтта на подушку, под которой лежал свер-

ток, завернутый в пестрый платок. Мгновенно лицо Мэтта исказилось от ярости.

— Смотри, Джим! — прорычал он. — Тебе придется играть без обмана. Если ты меня подведешь, я тебя прикончу. Ясно? Я тебя сожру. Ты сам это знаешь. Прокушу тебе глотку и сожру, как бифштекс.

Его загорелая кожа побагровела, а оскаленный рот обнажил прокуренные зубы. Джим вздрогнул и невольно сжался. На него смотрела сама смерть. Только прошлой ночью этот темнокожий человек собственными руками задушил другого, и от этого он не стал спать хуже. Где-то в глубине души у Джима было трусливое сознание вины, потому что весь ход его мыслей оправдывал угрозу приятеля.

Мэтт вышел, оставив его дрожащим от ужаса. Потом лицо его искривилось от злобы, и шепотом он бросал неистовые проклятия в сторону закрытой двери. Вспомнив о драгоценностях, он кинулся к постели, нащупывая под подушкой сверток. Он сжал его в пальцах, чтобы удостовериться, что бриллианты на месте. Убедившись, что Мэтт не унес их, он, виновато вздрогнув, посмотрел на керосинку. Потом быстро зажег ее, наполнил у раковины кофейник и поставил его

на огонь.

Когда Мэтт вернулся, кофе уже кипел. Пока он резал хлеб и выкладывал на стол масло, Джим разлил кофе.

Лишь усевшись за стол и отхлебнув несколько глотков кофе, Мэтт извлек из кармана утреннюю газету.

— Мы угодили пальцем в небо, — сказал он. — Я говорил тебе, что боюсь подумать, до чего богатый улов. Погляди-ка сюда. — Он указал на заголовки первой страницы:

БЫСТРОКРЫЛАЯ НЕМЕЗИДА НАСТИГАЕТ БУЯНОВА, УБИТ ВО СНЕ ПОСЛЕ ОГРАБЛЕНИЯ КОМПАНЬОНА.

— Вот оно! — воскликнул Мэтт. — Он обокрал своего компаньона, обокрал его, как самый последний вор.

— «Пропало драгоценностей на полмиллиона», — прочел Джим вслух. Он опустил газету и изумленно воззрился на Мэтта.

— А что я тебе говорил? Много мы понимаем в драгоценностях! Полмиллиона! А я-то от силы рассчитывал на сто тысяч. Валяй, читай дальше.

Они читали молча, склонив головы над газетой. Стыл нетронутый кофе. То и дело кто-то из них громогласно изумлялся какому-нибудь ошело-

мившему его факту.

— Хотел бы я посмотреть на рожу Метцнера, когда он сегодня утром открыл сейф, — злорадствовал Джим.

— Он сразу указал властям на дом Буянова, — пояснил Мэтт. — Читай дальше.

— «Собирался отплыть вчера вечером на „Саджоде“ в Индийский океан — отъезд задержался из-за непредвиденной погрузки…»

— Вот почему мы застали его в постели, — перебил Мэтт. — Это такая же удача, как выигрыш в лотерее.

— «Саджода» отчалила сегодня в шесть утра».

— А он не поспел на нее, — заметил Мэтт. — Я видел, что будильник поставлен на пять часов. Времени у него вполне бы хватило — только тут подоспел я и сыграл с его временем шутку. Читай.

— «Адольф Метцнер в отчаянии — знаменитая Хейторнская нитка жемчуга — великолепно подобранные жемчужины — оценивается специалистами от пятидесяти до семидесяти тысяч долларов».

Джим передохнул, скверно и торжествующе выругался и заключил:

— И эти чертовы устричные яйца стоят такую

уйму денег! — Он облизнул губы и добавил: — Они и впрямь красавчики!

— «Большой бразильский бриллиант, — продолжал он. — Восемьдесят тысяч долларов — много ценных камней чистой воды — несколько тысяч мелких бриллиантов стоимостью не менее сорока тысяч».

— Да, стоит все как следует разузнать о бриллиантах, — добродушно усмехнулся Мэтт.

— «Точка зрения сыщиков, — читал Джим. — Воры, очевидно, были в курсе дела — ловко следили за действиями Буянова, — вероятно, знали о его замысле и выследили его до самого дома, куда он возвратился с награбленным».

— Ловко, черта с два! — взорвался Мэтт. — Вот так и создается слава… в газетах. Откуда мы могли знать, что он обокрал компаньона?

— Как бы то ни было, товар у нас, — ухмыльнулся Джим. — Давай еще разок поглядим.

Пока Мэтт доставал пестрый сверток и развязывал его на столе, Джим проверил, заперта ли дверь и закрыты ли задвижки.

— Ну, разве не красота! — воскликнул Джим, взглянув на жемчуг. Некоторое время он не мог оторвать от него глаз. — Выходит, он стоит пятьдесят, а то и все семьдесят тысяч.

— И женщины любят эти штучки, — заметил Мэтт. — Они все сделают, чтобы их заполучить, — продадут себя, пойдут на убийство, на все что угодно.

— Как и мы с тобой.

— Ничего подобного! — возразил Мэтт. — На убийство я пошел не ради этих камешков, а ради того, что я смогу за них получить. В этом-то вся разница. Женщинам нужны эти драгоценности для себя, а мне они нужны ради женщин и всего остального, что я за них получу.

— Счастье, что мужчины и женщины не хотят одного и того же, — заметил Джим.

— Из этого и складывается коммерция, — согласился Мэтт. — Из того, что люди хотят разное.

Среди дня Джим вышел за продуктами. Пока его не было, Мэтт убрал со стола драгоценности, завернул их, как раньше, и спрятал под подушку. Потом он зажег керосинку и стал кипятить воду для кофе. Через несколько минут вернулся Джим.

— Удивительно, — сказал он. — Все, как всегда, — и улицы, и магазины, и люди. Ничего не изменилось. А я иду себе миллионером, и никто ни о чем не догадывается.

Мэтт что-то угрюмо буркнул. Ему были непонят-

ны тщеславные мечты и причуды воображения его партнера.

— Принес мясо? — спросил он.

— Конечно, да такой мягкий кусок. Прелесть. Посмотри-ка.

Он развернул мясо и поднял его для обозрения. Затем, пока Мэтт жарил мясо, Джим сварил кофе и накрыл на стол.

— Только не клади слишком много красного перца, — предупредил Джим. — Я не привык к твоей мексиканской стряпне. Вечно ты переперчиваешь.

Мэтт хмыкнул и продолжал стряпать. Джим налил кофе, но сначала высыпал в треснутую чашку порошок, который лежал у него в жилетном кармане, завернутый в тонкую бумагу. На мгновение он повернулся спиной к своему напарнику, но оглянуться на него не посмел. Мэтт расстелил на столе газету и поставил на нее горячую сковородку. Он разрезал мясо пополам и положил Джиму и себе.

— Ешь, пока горячее, — посоветовал он и, подавая пример, взялся за нож и вилку.

— Объедение, — заявил Джим после первого куска. — Но одно я тебе сразу скажу. Я никогда не приеду на твое ранчо в Аризоне, так что можешь

меня не приглашать.

— А что случилось? — поинтересовался Мэтт.

— Ничего не случилось, — последовал ответ. — Просто ты меня доконаешь своей мексиканской кухней. Если мне уж суждено попасть в ад на том свете, мне не хочется, чтобы мои потроха терзались на этом. Проклятый перец!

Он улыбнулся, с силой выдохнул, чтобы остудить пылающий рот, глотнул кофе и снова принялся за мясо.

— А что ты вообще думаешь о том свете, Мэтт? — спросил он несколько позже, втайне удивляясь, что тот еще не притронулся к кофе.

— Нет никакого того света, — ответил Мэтт, отрываясь от еды, чтобы глотнуть кофе. — Ни рая, ни ада, ничего. Все, что тебе причитается, ты получишь здесь, на этом.

— А потом? — спросил Джим с нездоровым любопытством: ведь он знал, что смотрит на человека, которому скоро суждено умереть. — А потом? — повторил он.

— Видел когда-нибудь покойника, который уже пролежал две недели? — спросил тот.

Джим покачал головой.

— Ну, а я видел. Он был похож на мясо, которое мы с тобой едим. Когда-то это был теленок, ко-

торый бегал по траве. А теперь это просто мясо. Просто мясо, вот и все. Это то, во что и ты, и я, и все остальные превратятся — в мясо.

Мэтт проглотил весь кофе и снова наполнил чашку.

— Ты боишься умереть? — спросил он.

Джим покачал головой.

— Что толку? Я все равно не умру. Я исчезну и появлюсь снова.

— Чтобы воровать, лгать и хныкать в новой жизни и так на веки вечные?

— презрительно спросил Мэтт.

— Может, я исправлюсь, — предположил Джим. — Может, в другой жизни не будет нужды воровать?

Он вдруг замолчал и испуганно уставился в пространство.

— В чем дело? — окликнул его Мэтт.

— Ни в чем. Просто раздумывал о смерти, вот и все. — Джим с трудом приходил в себя.

Но он не мог отделаться от нахлынувшего на него чувства ужаса. Казалось, мимо него пронеслось что-то неуловимо мрачное, осенив его своей тенью. У него было дурное предчувствие. Надвигалось что-то зловещее. Несчастье висело в воздухе. Он пристально посмотрел через стол на

партнера. Он чего-то не понимал. Не мог же он ошибиться и отравить самого себя. Нет, треснутая чашка у Мэтта, а яд он, безусловно, всыпал в треснутую чашку.

Он подумал, что все это — его больное воображение. Оно не раз играло с ним шутки. Глупец! Конечно, это — воображение. Конечно, что-то надвигается, но надвигается на Мэтта. Разве Мэтт не выпил полной чашки кофе?

Джим повеселел, доел мясо и, обмакивая хлеб, подобрал подливку.

— Когда я был мальчишкой, — начал было он, но вдруг замолчал.

Опять пролетело что-то мрачное, и все существо его содрогнулось в предчувствии неотвратимого несчастья. Он ощущал в себе действие какой-то разрушающей силы, казалось, все его мышцы сейчас сведет судорога. Вдруг он резко откинулся назад и так же резко наклонился вперед, опираясь о стол локтями. По всему его телу прошел легкий трепет. Это напоминало шуршание листвы перед порывом ветра. Он стиснул зубы. Вот опять это судорожное напряжение мышц. Его охватила паника, когда он понял, что мышцы больше ему не повинуются. Они снова судорожно напряглись, несмотря на все усилия его воли. Его

собственная плоть восстала — началась анархия. Его словно сжали в судорожных объятиях: по спине пробежала дрожь, а на лбу выступила испарина. Ужас бессилия охватил его. Он обвел взглядом канату. Все вещи казались странно знакомыми, как будто он только что вернулся из далекого путешествия. Он посмотрел на своего приятеля. Мэтт наблюдал за ним и улыбался. На лице Джима появилось выражение ужаса.

— Господи, Мэтт! — завизжал он. — Ты мне что-то подсыпал?!

Мэтт продолжал улыбаться и наблюдать за ним. Во время последовавшего за этим припадка Джим не потерял сознания. Мышцы напрягались, судорожно дергались, собирались узлами, причиняя страшную боль и будто сжимая его в чудовищных объятиях. Среди всего этого ужаса до него вдруг дошло, что Мэтт ведет себя странно. С ним происходило то же самое. Улыбка исчезла с его лица, на нем появилось выражение сосредоточенности, будто он прислушивался к чему-то в себе самом и пытался в этом разобраться. Мэтт встал, прошелся взад и вперед по комнате и опять сел.

— Это твоя работа, Джим, — пробормотал он тихо.

— Только я не думал, что ты меня решил прикончить, — сказал Джим с упреком.

— На этот счет можешь не сомневаться, — ответил Мэтт, стиснув зубы и дрожа всем телом. — Что ты мне дал?

— Стрихнину.

— То же, что и я тебе, — сообщил Мэтт. — Хорошенькая история, а?

— Ты врешь, Мэтт, — умоляюще проговорил Джим. — Скажи, что ты мне ничего не подсыпал!

— Подсыпал, Джим, и лишнего не дал. Я все аккуратненько зажарил в твоей половинке мяса. Постой! Ты куда?

Джим бросился к двери и начал отдирать задвижки. Мэтт подскочил и оттолкнул его.

— В аптеку, — задыхаясь, вымолвил Джим. — В аптеку.

— Не выйдет. Ты останешься здесь. Нечего бегать по улице и разыгрывать там сцены, когда все эти камни валяются под лодушкой. Ясно? Даже если ты не умрешь, ты попадешь в лапы полиции, и тебе придется многое объяснить. Рвотное, вот что нужно при отравлении. Мне не лучше, чем тебе, и я приму рвотное. Все равно в аптеке тебе бы дали то же самое.

Он отшвырнул Джима на середину комнаты

и снова захлопнул задвижки. Направляясь к кухонной полке, он провел рукой по лбу и стряхнул капельки пота. Было слышно, как они брызнули на пол. Джим в ужасе следил за тем, как Мэтт схватил банку с горчицей, чашку и бросился к раковине. Он намешал полную чашку горчицы с водой и выпил. Джим пошел следом и дрожащими руками потянулся к пустой чашке. Мэтт опять отпихнул его. Намешивая вторую чашку, он спросил:

— Думаешь, мне хватит одной чашки? Можешь подождать, пока я кончу.

Джим, шатаясь, побрел к двери, но Мэтт его одернул.

— Если будешь дурить с дверью, я сверну тебе шею. Ясно? Выпьешь, когда я кончу. И если ты выкрутишься, я все равно оверну тебе шею. И так и эдак тебе крышка. Я тебя сто раз предупреждал о том, что с тобой будет, если ты меня предашь.

— Но ты ведь тоже меня предал, — с трудом произнес Джим.

Мэтт не ответил: он пил вторую чашку. Пот заливал Джиму глаза, почти на ощупь он добрался до стула и взял себе чашку. Но Мэтт, который приготовлял уже третью, снова оттолкнул его.

— Я велел тебе ждать, пока я не кончу! — про-

рычал Мэтт. — Убирайся с дороги.

Уцепившись за раковину и этим поддерживая свое корчащееся тело, Джим мечтал о желтоватой смеси, сулившей жизнь. Он держался на ногах одним только напряжением воли. Собственная плоть норовила согнуть его пополам и свалить на пол. Мэтт выпил третью чашку и сел, с трудом добравшись до стула. Первый приступ проходил. Мучившие его спазмы утихли. Он приписал это горчице с водой. Теперь он по крайней мере в безопасности. Он вытер с лица пот и, воспользовавшись затишьем, нашел в себе силы для любопытства. Он взглянул на своего партнера.

Судорога выбила из рук Джима банку с горчицей, и ее содержимое разлилось по полу. Он нагнулся, чтобы наскрести чашкой немного горчицы, но очередная судорога свалила его на пол. Мэтт улыбнулся.

— Хватай ее, — подзадоривал он. — Верное средство. Мне помогло.

Джим услышал его слова и обратил к нему свое искривленное страданием и мольбой, измученное лицо. Теперь судороги следовали одна за другой, пока он не забился по полу в конвульсиях, пачкая лицо и волосы горчицей.

При этом зрелище Мэтт хрипло засмеялся, но

смех внезапно оборвался. По его телу пробежала дрожь. Начинался новый приступ. Он встал и, пошатываясь, добрался до раковины, где с помощью пальца безуспешно пытался помочь действию рвотного. В конце концов он так же, как раньше Джим, ухватился за раковину, боясь упасть на пол.

К этому времени у Джима кончился приступ, и он сел, обессиленный и изнемогающий, слишком слабый, чтобы подняться, с потным лбом и клочьями пены на губах, желтоватой от горчицы, по которой он катался. Он протер кулаками глаза, и стоны, похожие на вой, вырвались из его груди.

— Чего ты хнычешь? — спросил Мэтт, корчившийся в судорогах. — Все, что от тебя требуется, — это умереть. А когда ты умер, ты мертв.

— Я… вовсе… не… хнычу… горчица… щиплет глаза, — прерывисто с безнадежной медлительностью сказал Джим.

Это было его последней успешной попыткой заговорить. Потом он только невнятно бормотал, шаря дрожащими руками в воздухе, пока новые конвульсии не свалили его на пол.

Согнувшись пополам, Мэтт добрался до стула и, обняв колени руками, пытался справиться с разрывающимся на части телом. После приступа

он был слаб и спокоен. Он взглянул на другого, чтобы узнать, что с ним, и увидел, что тот неподвижен.

Он пытался произнести монолог, в последний раз мрачно посмеяться над жизнью, но губы издавали только невнятные звуки. Он понял, что рвотное не помогло и что единственной надеждой оставалась аптека. Он посмотрел на дверь и поднялся. Уцепившись за стул, он сумел удержаться на ногах. Начался новый приступ, когда все тело его и все его части разрывались в клочья, извивались и вновь собирались в узлы, а он продолжал цепляться за стул и толкать его вперед. Последние остатки воли покидали его, пока он добирался до двери. Он повернул ключ и отодвинул одну задвижку. Он пытался нащупать вторую, но безуспешно. Тогда всем телом он прислонился к двери и мягко сполз на пол.

Он их создал

Она встретила его у дверей.

— Я не ждала вас так рано.

— Сейчас половина девятого. — Он взглянул на часы. — Поезд отходит в девять двенадцать.

Он держался очень деловито, пока не заметил, что у нее задрожали губы, и она резко отвернулась и первой пошла в комнаты.

— Все будет хорошо, крошка, — попытался он ее успокоить. — Бодино — настоящий доктор. Он поставит его на ноги, вот увидите.

Они вошли в гостиную. Он окинул тревожным взглядом комнату, затем повернулся к ней.

— Где Эл?

Вместо ответа она вдруг рванулась к нему и застыла неподвижно. Это была хрупкая темноглазая женщина: жизнь, полная трудностей и испытаний, оставила на ее лице неизгладимые следы. Но не одни только заботы были виною мелких морщинок на лице и беспокойства в ее глазах. Когда он глядел на нее, он знал, кто был этому виною. Знала и она, когда смотрелась в зеркало.

— Бесполезно, Мэри, — сказал он и положил

руку ей на плечо. — Мы ведь перепробовали все. Это унизительно, я знаю, но что еще нам остается делать? Вы потерпели неудачу. Значит, надежда только на доктора Бодино.

— Если бы я могла попытаться еще раз… — начала она нерешительно.

— С этим покончено, — сказал он строго. — Теперь вы должны проявить твердость. Вы знаете, к какому решению мы пришли. И знаете, что ваши попытки все равно обречены на неудачу.

Она мотнула головой.

— Я знаю. Но страшно даже подумать, что он должен уехать и вести борьбу в одиночку.

— Он будет не один. Там есть доктор Бодино. И, кроме того, там очень красивая местность.

Она молчала.

— Это единственное средство, — сказал он.

— Единственное средство, — механически повторила она.

Он поглядел на часы.

— Где Эл?

— Я пришлю его.

Когда дверь закрылась за ней, он подошел к окну и, глядя на улицу, стал рассеянно барабанить пальцем по стеклу.

— Добрый день!

Он обернулся и ответил на приветствие вошедшего. Тот, заметно волоча ноги, направился было к окну, но в нерешительности остановился на полдороге.

— Я передумал, Джордж, — объявил он торопливо и нервозно. — Я не еду.

Он дернул себя за рукав, затоптался на месте и опустил глаза, потом опять с трудом поднял их, чтобы встретиться взглядом с собеседником.

Джордж молча глядел на него; ноздри его раздувались, а тонкие пальцы бессознательно скрючились, словно когти орла, готового к схватке.

В чертах лица у обоих мужчин было большое сходство, и все же они резко отличались друг от друга. У обоих были черные глаза, но у того, что стоял у окна, взгляд был проницательный и прямой, тогда как у стоящего посредине комнаты — туманный и бегающий. Он боялся поглядеть в глаза первому, хотя старательно — и все же напрасно — пытался сделать это. У того и у другого были выдающиеся скулы и впалые щеки, только фактура их казалась разной. Их тонкие губы были отлиты в одной форме, однако у Джорджа рот был решительный, сильный, у Эла — мягкий, безвольный, с опущенными углами — рот аскета,

охваченного чувственностью. В нем намечалась склонность к полноте, заметной особенно в очертаниях его орлиного, с горбинкой носа, когда-то, наверное, такого же, как у Джорджа, но теперь, в отличие от Джорджа, утратившего свою классическую форму.

Стоя посреди комнаты, Эл мучительно старался обрести твердость духа. Молчание беспокоило его. Ему казалось, что он вот-вот потеряет равновесие. Он облизал губы.

— Я остаюсь, — произнес он с безнадежностью в голосе.

Он опустил глаза и снова дернул себя за рукав.

— Тебе всего двадцать шесть лет, — наконец вымолвил Джордж, — а ты бедный, слабый старик.

— Напрасно ты так думаешь, — возразил Эл с вызовом.

— Помнишь, как мы переплывали канал в полторы мили?

— Да, ну и что из этого? — Эл помрачнел лицом.

— А помнишь, как мы после уроков боксировали на гумне?

— Я мог вынести любой твой удар.

— Любой удар! — Голос Джорджа на секунду зазвенел. — Да ты побивал меня четыре раза из

пяти! Ты был сильнее меня вдвое, нет, втрое. А теперь я побоялся бы бросить в тебя диванной подушкой, чтобы ты не скорчился, как прошлогодний лист, не умер бы, жалкий, несчастный старик.

— Ты не должен оскорблять меня только потому, что я переменил свое мнение, — запротестовал тот с плачущей ноткой в голосе.

Вошла его жена, и он с мольбой поглядел на нее, но человек у окна вдруг шагнул к нему и выпалил:

— Ты не помнишь своего собственного мнения и двух минут подряд! У тебя вообще нет своего мнения, бесхребетный, пресмыкающийся червяк!

— Тебе не удастся меня разозлить. — Эл хитро улыбнулся и торжествующе взглянул на жену. — Тебе не удастся меня разозлить, — повторил он опять, словно мысль эта пришлась ему весьма по душе. — Знаю я твои уловки. И говорю тебе: все из-за моего желудка. Ничего не могу с этим поделать. Видит бог, не могу! Все из-за желудка, правда, Мэри?

Она взглянула на Джорджа и спокойно заговорила, спрятав дрожащие руки в складках юбки.

— Не пора ли? — спросила она мягко.

Муж повернулся к ней взбешенный.

— Я не намерен уезжать! — закричал он. — Только что я заявил об этом вот… ему. И снова заявляю вам всем: я не уеду! Вам меня не запугать!

— Но, Эл, милый, ты же говорил… — начала она.

— Мало ли что я говорил! — отрезал он. — А теперь я говорю другое, ты это слышала, и делу конец.

Он пересек комнату и тяжело опустился в моррисовское кресло[90]. Но Джордж тут же оказался рядом. Хищные пальцы впились в плечо, заставили Эла подняться и так стоять.

— Ты дошел до точки, Эл, и я хочу, чтобы ты это понял. Я пробовал обращаться с тобой, как… как с братом, но отныне я буду обращаться с тобой, как ты того заслуживаешь. Понял?

В голосе его звучал холодный гнев. В глазах сверкал холодный огонь. Это оказалось куда сильнее, чем любая вспышка ярости, и Эл съежился под этим взглядом и под мертвой хваткой, сжавшей его плечо.

---

[90] notes: 90

Моррисовское кресло — легкое кресло с мягкой откидной спинкой и мягким сиденьем; названо в честь английского писателя и художника Уильяма Морриса (1834—1896). Глубокий интерес Морриса к домашней архитектуре положил начало художественному конструированию.

— Только благодаря мне у тебя есть этот дом и пища, которую ты ешь. Твоя служба? Другому на твоем месте показали бы на дверь еще год назад, если не два. Я сохранил ее тебе. Твое жалованье — это милостыня. Его брали из моего кармана. Мэри… ее платья… то, в котором она сейчас, перелицовано; она донашивает старые платья своих сестер, моей жены. Милостыня, — ты понимаешь? Твои дети — они донашивают платья моих детей или детей моих соседей, которые думают, что отдают свои старые вещи в какой-нибудь сиротский приют. Да чего там, этот дом и есть приют… или скоро им будет.

И с каждым новым словом он незаметно для себя все крепче сжимал в тисках плечо Эла. Эл корчился от боли. На лбу у него выступил пот.

— Теперь слушай меня внимательно, — продолжал его брат. — Через три минуты ты скажешь мне, что едешь со мной. В противном случае у тебя отберут Мэри и детей, сегодня же. Ты навсегда потеряешь службу. Этот дом закроется для тебя. А через полгода я буду иметь удовольствие тебя хоронить. Даю тебе три минуты на раздумье.

Эл сделал вид, словно задыхается, и прикоснулся слабыми пальцами к руке, сжимавшей его плечо.

— Мое сердце… пусти меня… ты меня убьешь, — с трудом выдавил он.

Рука с силой толкнула его в кресло и отпустила.

Часы на камине громко тикали. Джордж взглянул на них, потом на Мэри. Она опиралась на стол, не в силах скрыть свою дрожь. Он с неприязнью ощутил прикосновение пальцев брата к своей руке. И бессознательно вытер руку о пиджак. Часы продолжали тикать в тишине. Джорджу казалось, что комната резонирует на его голос. Ему все еще слышались его собственные слова.

— Я поеду, — донеслось с кресла.

Голос был слабый, разбитый — слабым, разбитым был и человек, поднявшийся с кресла. Он направился к двери.

— Куда ты? — спросил Джордж.

— Чемодан… — был ответ. — Сундук Мэри пришлет потом. Сейчас вернусь.

Дверь захлопнулась за ним. Через секунду, охваченный внезапным подозрением, Джордж открыл ее и заглянул в комнату. Брат его стоял у буфета: в одной руке он держал графин, другой опрокидывал в рот стакан с виски.

Через стакан Эл увидел, что за ним следят. Это повергло его в панику. Он лихорадочно поспе-

шил наполнить его снова и поднес к губам, но и стакан и графин, выбитые у него из рук, полетели на пол. Он зарычал. Это был рык дикого зверя. Но рука, сжимавшая в тисках его плечо, заставила его сникнуть и подчиниться. Джордж подтолкнул его к двери.

— Чемодан… — задыхался Эл. — Он там… в комнате. Дай мне взять его.

— Где ключ? — спросил брат, когда тот принес чемодан.

— Он не заперт.

В следующий миг чемодан был раскрыт, и рука Джорджа обшарила его содержимое. Из одного угла он вытащил бутылку с виски, из другого — флягу. Он захлопнул чемодан.

— Пошли, — сказал он. — Если мы пропустим хоть один трамвай, мы опоздаем на поезд.

Он вышел в прихожую, оставив Эла наедине с женой. Точно похороны, подумал Джордж в ожидании.

Его брат зацепился своим пальто за ручку входной двери, и, задержавшись, чтобы закрыть ее, они услышали, как разрыдалась Мэри. Тонкие губы Джорджа были плотно сжаты, когда он спускался по лестнице. В одной руке он нес чемодан. Другой поддерживал брата под локоть.

Дойдя до угла, он услышал за квартал шум трамвая и поторопил брата. Эл тяжело дышал. Он тащился, еле волоча ноги, и отстал.

— Ты черт, а не брат, — ныл он.

Брат резко дернул его за руку. Это напомнило ему детство, когда кто-нибудь из рассерженных взрослых подгонял его. Эла, словно ребенка, пришлось подсаживать в трамвай. Продолжая ныть, он опустился на сиденье, весь взмокнув от проделанного усилия. Он следил за глазами Джорджа, когда тот оглядывал его с головы до ног.

— Это ты черт, а не брат, — заметил Джордж, кончив осмотр.

На глаза Эла навернулись слезы.

— Все из-за желудка, — проговорил он, жалея самого себя.

— Ничего удивительного, — последовал жесткий ответ. — Он выжжен, словно кратер вулкана. Всегда в огне, разве это годится?

Больше они не разговаривали. Когда доехали до пересадки, Джордж сразу очнулся. Он улыбнулся. Уставившись в одну точку и не видя домов, проплывавших мимо него, он задумался, полный жалости к самому себе. Он помог брату сойти с трамвая и поглядел вдоль поперечной улицы. Их трамвая еще не было видно.

Взгляд Эла случайно упал на бакалею и бар, расположенные на противоположном углу улицы. Он тут же забеспокоился. Руки перестали его слушаться, он страстно рвался на ту сторону к двери, которая как раз распахнулась, чтобы впустить счастливого путника. В тот же миг он увидел буфетчика в белой куртке на фоне выстроенных в ряд сверкающих бокалов. Он машинально поднялся, намереваясь перейти улицу.

— Стой! — Рука Джорджа легла на его руку.

— Мне надо выпить, — ответил он.

— Ты уже и так выпил.

— То было несколько часов назад. Пожалуйста, Джордж, разреши мне выпить. Это последний день. Не запрещай мне, пока мы туда не приехали, видит бог, недолго уже осталось.

Джордж с отчаянием поглядел вдоль улицы. Вдалеке показался трамвай.

— Ты уже не успеешь выпить, — сказал он.

— Я не хочу пить там, я хочу взять бутылку. — Голос Эла звучал заискивающе. — Ну, Джордж! Это последняя, самая последняя.

— Нет. — Джордж произнес свой отказ со всею строгостью, на какую были способны его тонкие губы.

Эл поглядел на приближающийся трамвай. И

вдруг сел на край тротуара.

— Что с тобой? — спросил брат, на минуту испугавшись.

— Ничего. Я хочу виски. Мой желудок…

— Ну же, вставай!

Джордж подал ему руку, но брат опередил его и растянулся во весь рост на мостовой, не обращая внимания на грязь и на удивленные взгляды прохожих. Трамвай зазвонил на перекрестке за один квартал от них.

— Ты его пропустишь, — ухмыльнулся Эл, лежа на мостовой, — и будешь сам виноват.

Джордж крепко сжал кулаки.

— С удовольствием вздул бы тебя сейчас.

— И пропустил бы трамвай, — последовал торжествующий ответ с мостовой.

Джордж взглянул на трамвай. Тот уже прошел полквартала. Джордж посмотрел на часы. Еще секунда раздумья.

— Хорошо, — сказал он. — Я куплю бутылку. Но ты должен сесть в трамвай. Если только пропустишь, я разобью бутылку о твою голову.

И он кинулся на ту сторону улицы прямо в бар. Трамвай подошел и остановился. Никто из пассажиров сходить не собирался. Эл не спеша взобрался по ступенькам и сел. Он улыбнулся,

когда кондуктор дал звонок и вагон тронулся. Вращающаяся дверь бара распахнулась. Держа в руках чемодан и пинту виски, Джордж пустился вдогонку. Кондуктор держал руку на шнурке звонка на случай, если бы пришлось остановить трамвай. Но не потребовалось. Джордж легко вспрыгнул на площадку, сел рядом с братом и протянул ему бутылку.

— Мог бы и кварту взять, — сказал Эл с упреком.

Он откупорил бутылку с помощью карманного штопора и поднес к губам.

— Мне плохо… желудок, — извиняющимся тоном пояснил он сидящему рядом с ним пассажиру.

В поезде они сели в вагон для курящих. Джордж почувствовал, что так надо. К тому же, благополучно успев на поезд, он в душе смягчился. Он почувствовал к брату некоторую нежность и даже ругал себя за излишнюю резкость. Стараясь загладить ее, он начал говорить об их матери, о сестрах и всяких мелких семейных делах и заботах. Но Эл оставался безучастен и впился в бутылку. Постепенно рот его обмяк, мешки под глазами словно набухли, а мышцы лица расслабли.

— Это все желудок, — опять сказал он, опустошив бутылку и закинув ее под сиденье; но посуровевшее вдруг лицо брата не поощряло его к дальнейшим разглагольствованиям.

Коляска, высланная за ними на станцию, обладала всеми достоинствами и роскошью, присущими частному экипажу. Острый взгляд Джорджа не упускал из виду ни одной детали внешнего вида заведения, куда они прибыли, и с каждой минутой опасения его все более рассеивались. А когда они въехали через широкие ворота и покатили по обширному парку, он почувствовал уверенность, что порядки этого заведения не будут раздражать брата. Оно скорее походило на летнюю гостиницу или, вернее, даже на загородный клуб. Пока они катили в лучах весеннего солнца, слушая пение птиц и вдыхая ароматы цветов, Джордж замечтался о недельном отдыхе в таком вот месте, и перед глазами его возникла невеселая перспектива — лето в городе, на службе. Его доходов не хватало и на него и на брата.

— Давай пройдемся по парку, — предложил он после того, как они повидались с доктором Бодино и осмотрели комнату, предназначенную для Эла.

— Экипаж отправляется на станцию через пол-

часа, так что у нас есть время.

— До чего красиво! — произнес он через минуту. Под его ногами лежала бархатная трава, над головой аркой сплетались верхушки деревьев; он стоял, словно осыпанный солнечными бликами. — Я бы с радостью прожил здесь месяц.

— Готов поменяться с тобой местами, — тут же откликнулся Эл.

Джордж отшутился, но сердце у него сжалось.

— Погляди вон на тот дуб! — воскликнул он. — И на дятла! Какой красавец, верно?

— Мне здесь не нравится, — услышал он, как пробормотал брат.

Джордж поджал губы, приготовившись к сражению, однако проговорил:

— Я думаю отправить Мэри с детьми в горы. Ей это необходимо, им тоже. А когда ты поправишься, я и тебя отправлю туда, к ним. И ты проведешь там свой летний отпуск перед тем, как вернуться на службу.

— Я не собираюсь оставаться в этой проклятой дыре, что бы ты ни говорил, — вдруг объявил Эл.

— Нет, ты останешься, и ты вновь обретешь здоровье и силы, чтобы к щекам Мэри вернулся прежний румянец, когда она увидит тебя.

— Я уеду вместе с тобой. — Голос Эла звучал

твердо. — И тем же самым поездом. Кажется, уже пора подавать эту коляску.

— Я еще не успел изложить тебе все мои планы, — пытался продолжать Джордж, но Эл его оборвал:

— Можешь оставить их при себе. И нечего меня подмасливать: не желаю! Ты обращаешься со мной, как с ребенком. А я не дитя. Решение принято, и ты увидишь, что я умею стоять на своем. И не надо меня уговаривать. Мне наплевать на все, что ты скажешь!

Глаза его горели злым огнем, и он показался брату чем-то вроде загнанной крысы, доведенной до отчаяния и готовой к бою. Глядя на него, Джордж вспомнил детство и подумал, что вот наконец у Эла прорвалось его былое упрямство, благодаря которому еще ребенком ему удавалось противостоять любой силе и уговорам.

Джордж потерял всякую надежду. Он проиграл эту игру. Перед ним был уже не человек. В этом существе угас последний добрый человеческий инстинкт. Это было животное, тупое и ленивое, не способное к действию, — никчемное существо, драчливое, упрямое, неукротимое. И, разглядывая брата, Джордж почувствовал, как и в нем самом просыпается такое же животное. Он вдруг

обнаружил, что пальцы его напряглись и скрючились, словно когти, и он познал жажду убийства. Да и разум, в конце концов изменивший ему, советовал убить, ибо это было единственное, что ему оставалось.

Он встрепенулся, когда из-за деревьев донесся крик слуги, что экипаж подан. Он откликнулся. Потом, поглядев прямо перед собой, увидел Эла. Еще мгновение назад он позабыл, что это его брат, тот был для него всего только вещью. Теперь он начал говорить и постепенно обретал нужную ясность. Нет, разум не изменил ему. Животное, проснувшееся в нем, лишь помогло разуму найти выход.

— Ты ни на что не годен, Эл, — сказал он. — И сам это знаешь. Ты превратил жизнь Мэри в ад. Ты проклятие для своих детей. Да и для нас всех ты не сделал жизнь раем.

— Что толку в этих разговорах, — перебил Эл. — Я не собираюсь оставаться здесь.

— К этому я и веду, — продолжал Джордж. — Тебе нет надобности оставаться здесь.

Лицо Эла просветлело, и он невольно рванулся, словно готовый в любую минуту направиться к экипажу.

— С другой стороны, и нет нужды возвращаться

со мной. Есть иной выход.

Рука Джорджа опустилась в задний карман и появилась назад с револьвером. Револьвер лежал на ладони, ручкой к Элу, и Джордж протянул его брату. Одновременно он кивком головы указал Элу на ближайшие заросли.

— Брось запугивать! — огрызнулся Эл.

— Я не запугиваю, Эл. Взгляни на меня. Я говорю серьезно. И если ты сам этого не сделаешь, то придется мне за тебя.

Они поглядели друг другу в глаза; револьвер все еще лежал на протянутой руке. Одно мгновение Эл колебался, затем глаза его загорелись. Быстрым движением он схватил револьвер.

— Ей-богу! Я это сделаю, — сказал он. — Я покажу тебе, на что еще я способен.

Джордж вдруг почувствовал смертельную усталость. Он отвернулся. Он не видел, как брат вошел в заросли, только слышал шелест листьев и ветвей, раздвигаемых его телом.

— Прощай, Эл! — крикнул он.

— Прощай! — донеслось из зарослей.

Джордж почувствовал, как пот выступил у него на лбу. Он вытер лицо платком. Словно издалека услышал он, как слуга опять кричит ему, что экипаж подан. Дятел соскользнул вниз сквозь

солнечные блики и уселся на стволе дерева, футах в двенадцати от него. Джорджу казалось, что все это сон, и при этом он чувствовал высшую справедливость происходящего. То был единственный выход.

Он вздрогнул всем телом, так, словно раздался выстрел. Но это был голос Эла у него за спиной.

— Вот твой револьвер, — сказал Эл. — Я остаюсь.

Среди деревьев показался слуга, он очень спешил и нетерпеливо окликал Джорджа. Джордж спрятал в карман оружие и сжал руки брата в своих.

— Благослови тебя господь, старина, — прошептал он. — И, — он в последний раз сжал руки брата, — желаю счастья!

— Иду! — крикнул он слуге, повернулся и бросился через заросли к экипажу.

А Чо

«Коралл разрастается, пальма тянется ввысь, а человек исчезает».

Таитянская пословица

А Чо не понимал по-французски. Отупев от усталости и скуки, он сидел в переполненном зале суда, прислушиваясь к картавой сухой трескотне французских слов, которыми сыпал то тот, то другой чиновник. Для А Чо это была чистейшая тарабарщина, и он дивился глупости французов, которые потратили столько времени, доискиваясь, кто убил Чун Га, и ничего в конце концов не доискались. Каждый из пятисот работавших на плантации кули знал, что это сделал А Сань, а его даже не арестовали. Правда, кули сговорились не доносить друг на друга властям, но, возьмись французы за дело как следует, они без особого труда дознались бы, что убийца — А Сань. До чего же это глупый народ — французы!

А Чо ничего дурного не сделал, и ему нечего было бояться. В убийстве он участия не принимал. Правда, он при этом присутствовал, и управляющий Шеммер, ворвавшись в барак, застал его

там вместе с четырьмя-пятью другими китайцами. Ну и что ж? На теле Чун Га были только две раны. Ясно, что пять или шесть человек не могли нанести две ножевые раны. Даже если бы убийцы нанесли по одному удару, их не могло быть больше двух человек.

Так рассуждал А Чо, когда он и четверо его товарищей, отвечая на вопросы судьи, лгали, отпирались и путались в своих показаниях. Они услышали пронзительный вопль и, как и Шеммер, бросились к бараку, где совершалось убийстве. Но очутились они там раньше Шеммера, вот и все. Правда, в своих показаниях Шеммер утверждал, что, случайно проходя мимо барака, он остановился, привлеченный шумом ссоры, и простоял за дверью по меньшей мере минут пять, а когда вбежал в комнату, то уже застал там всех обвиняемых. Незадолго до него они никак не могли туда попасть, потому что он все время находился у единственного входа в барак. Ну и что ж? А Чо и четверо других обвиняемых настаивали на том, что Шеммер ошибся. В конце концов их все-таки отпустят. Они в этом не сомневались. Ведь нельзя же казнить за убийство пять человек, если на теле убитого только две ножевые раны. К тому же ни один белый дьявол не видел, как был

убит Чун Га. Но эти французы такие глупые.

«То ли дело в Китае, — думал А Чо, — там судья велел бы их всех пытать и сразу узнал бы правду. Пыткой очень легко добиться истины. Но французы не применяют пыток, вот дурачье-то! Тем хуже для них, так они никогда не узнают, кто на самом деле убил Чун Га».

Однако А Чо понимал не все. Плантация принадлежала английской компании, и компания привезла на Таити пятьсот кули, потратив на это большие деньги. Акционеры требовали дивидендов, а компания пока ничего не выплачивала и вовсе не желала, чтобы законтрактованные рабочие, которые ей очень дорого обошлись, убивали друг друга. Наряду с этим и французским властям не терпелось доказать китайцам силу и превосходство французских законов. А в таких случаях лучше всего действует наглядный пример. Да и для чего же существует Новая Каледония, как не для того, чтобы ссылать туда пожизненно, на горе и муки, несчастных, повинных только в том, что они люди и подвержены соблазнам.

А Чо всего этого не понимал. Он сидел в зале суда и ждал, когда бестолковые судьи вынесут свое решение, которое освободит его с товарищами из тюрьмы и позволит им вернуться на

плантацию отрабатывать оставшийся по контракту срок. Теперь уже скоро будет приговор. Разбор дела подходит к концу. Это по всему видно. Свидетелей больше не опрашивают, да и французские дьяволы перестали трещать. Даже они наконец уморились и ждут не дождутся решения суда. И в ожидании приговора А Чо стал припоминать, как он подписал контракт и сел на пароход, отправлявшийся на Таити. В приморской деревушке, откуда А Чо был родом, прокормиться становилось все трудней и трудней, и он не помнил себя от счастья, когда ему представился случай завербоваться на пять лет в южные моря, чтобы зарабатывать там по пятьдесят мексиканских центов в день. Мало ли взрослых мужчин в его деревне гнули спину целый год за десять мексиканских долларов, и мало ли женщин за половину этой суммы плели сети круглый год. В домах богатых лавочников служанкам платили в год четыре доллара. А он будет получать целых пятьдесят центов в день; за день, один-единственный день, такая куча денег! Не беда, что работа тяжелая! Через пять лет его отправят домой — так это и в контракте написано, — и больше он никогда не станет работать. Он вернется богатым, у него будут собственный

дом, жена, дети, и ребятишки будут расти и почитать его… Да, вот еще что: за домом он разобьет маленький садик, уединенный уголок для размышлений и отдыха. Там у него будет крохотный пруд с золотыми рыбками и три или четыре деревца, а на них колокольчики, и чуть подует ветерок — они зазвенят. А сад свой он обнесет высокой стеной, чтобы ничто его не тревожило и он мог бы спокойно думать и отдыхать…

Что ж, три года из положенных пяти он уже отработал. Своим трудом сколотил себе состояние: на родине он и теперь считался бы богатым человеком. Еще каких-нибудь два года, и он навсегда расстанется с плантацией на Таити и сможет хоть до самой смерти все только думать и отдыхать у себя дома. Но сейчас он терпит убыток из-за того, что, на свою беду, оказался свидетелем убийства Чун Га. Три недели он провалялся в тюрьме и каждый день терял по пятьдесят центов. Ну, ничего, скоро суд решит, и он вернется на плантацию.

А Чо было двадцать два года. Добродушный, всегда веселый, он то и дело улыбался. Как и все азиаты, он был худощав, но лицо у него было полное, круглое, как луна, и излучало такое благодушие и душевную теплоту, какие редко встретишь у его соотечественников. И характер

его соответствовал внешности. Никогда он никому не досаждал, никогда ни с кем не ссорился. Азартных игр не любил. Игрок должен быть черствым, а у него была очень нежная душа. Он довольствовался теми маленькими радостями и невинными утехами, которые доставляла ему сама жизнь. Он наслаждался тишиной и покоем прохладного вечера после изнурительного рабочего дня на хлопковом поле под палящим солнцем; мог часами сидеть, созерцая цветок, и философствовать о тайнах и загадках бытия. Голубая цапля на узкой косе песчаного берега, серебристые всплески летучих рыб или жемчужно-розовый закат над лагуной приводили его в такой восторг, что он забывал о веренице тягостных дней и о тяжелой плетке Шеммера.

Шеммер! Карл Шеммер был грубое животное, бездушная скотина. Но жалованье, которое платила ему компания, он окупал с лихвой, выколачивая все, что только можно было выколотить из пятисот ее рабов, ибо кули, пока не кончался срок их контракта, были те же рабы. Однако выжать всю силу из пятисот обливающихся потом тел и превратить эту силу в тюки готового на экспорт пушистого хлопка не так-то легко, и Шеммеру приходилось усердно трудиться. Осуществить

это превращение он мог только благодаря своей первобытной грубости, бездушию и властному характеру. Немалую помощь оказывал ему при этом толстый кожаный ремень, с которым он постоянно разъезжал по плантации. Ремень этот, шириной в три дюйма и длиной в целый ярд, мог нежданно-негаданно опуститься на голую согнутую спину кули с треском, похожим на выстрел из пистолета. Когда Шеммер находился в поле, такие выстрелы слышались довольно часто.

Однажды, это было вскоре после того, как китайцев доставили на плантацию, Шеммер одним ударом кулака убил кули. Нельзя сказать, чтобы череп кули треснул, как яичная скорлупа, под кулаком Шеммера, но в голове у него что-то испортилось, и, проболев с неделю, он умер. Однако китайцы не пошли жаловаться к французским дьяволам, управлявшим Таити. Шеммер — это их собственная забота. И больше никому до этого дела нет. Нужно беречься его гнева, как бережешься ядовитого укуса сколопендр, что прячутся в траве и в дождливые ночи заползают в бараки. И китаезы — как прозвали их ленивые смуглокожие жители острова — старались не слишком раздражать Шеммера. Иными словами, они трудились до седьмого пота, лишь бы выполнить свой урок.

Тяжелый кулак Шеммера повысил прибыли компании на десятки тысяч долларов, а ему лично не доставил ни неприятностей, ни хлопот.

Французы, вообще неумелые колонизаторы, не могли использовать природные богатства острова, и им оставалось только довольствоваться тем, что хоть английская компания преуспевает. Что им за дело до Шеммера и его страшного кулака? Смерть рабочего? Стоит ли говорить о каком-то китаезе! Да и умер-то он от солнечного удара, как показывало свидетельство врача. Правда, никто до сих пор еще не умирал на Таити от солнечного удара. Смерть этого китайца — исключительный случай. Именно так врач и написал в своем заключении, и он был вполне беспристрастен. Дивиденды должны быть выплачены, или же еще одно банкротство присоединится к длинному списку банкротств на Таити.

Этих белых дьяволов никак не поймешь. Сидя в зале суда и ожидая приговора, А Чо размышлял о загадочности этих людей. Никогда не знаешь, что у них на уме. И сколько он белых дьяволов ни встречал, все они были одинаковы: офицеры и матросы на корабле, французские чиновники, служащие на плантации, тот же Шеммер. Ход их мысли неуловим. Они приходят в ярость без

всякой видимой причины, и ярость их всегда опасна. В такие минуты они не лучше диких зверей. Белые дьяволы расстраиваются из-за сущего пустяка, а при случае могут своей выдержкой превзойти даже китайца. Китайцы умеренны в пище и питье, а эти — обжоры, едят непомерно много, а пьют и того больше. Китаец никогда не может быть уверенным, ублаготворит он их или разгневает. Да разве это угадаешь? Что сегодня понравилось, завтра может привести в бешенство. Глаза белых дьяволов — словно окна, задернутые занавесками, скрывающими от взора китайца их внутренний мир. Но поразительнее всего невероятная энергия этих белых дьяволов, их умение делать вещи, вершить дела, добиваться желаемого и подчинять своей воле не только все, что живет и копошится на земле, но даже силу самих стихий. Да, белые люди — странные и удивительные существа! Ясно, что они дьяволы. Взять хотя бы того же Шеммера.

А Чо удивлялся, почему они так долго возятся с приговором. Никто из обвиняемых и пальцем не тронул Чун Га. А Сань убил его один, собственноручно. Он подскочил к Чун Га, одной рукой ухватил его за косу и запрокинул ему голову назад, а другой всадил в него нож. Всадил раз,

потом еще раз. Сидя в зале суда с закрытыми глазами, А Чо снова видел перед собой всю сцену убийства: ссора, взаимная ругань, сквернословие, которым оба они марали память почтенных предков, проклятия, сыпавшиеся на не зачатых еще потомков, прыжок А Саня, его рука, вцепившаяся в косу Чун Га, удар ножом — раз и еще раз, распахнувшаяся дверь, неожиданное появление Шеммера, сутолока у выхода, исчезновение А Саня, ремень Шеммера, загнавший остальных в угол, и наконец выстрел из револьвера, на который к Шеммеру сбежались люди. Переживая все это сызнова, А Чо весь дрожал. Ударом ремня ему рассекло щеку и содрало с нее кожу. На эти следы указал Шеммер, когда, вызванный в качестве свидетеля, он опознал А Чо. Только теперь ссадина зажила. Вот это был удар! Еще полдюйма выше, и он остался бы без глаза. А потом картина убийства уступила место видению сада — собственного сада А Чо, где, вернувшись на родину, он будет предаваться размышлениям и покою.

Когда судья читал приговор, лицо А Чо было бесстрастно. Такими же бесстрастными были лица его товарищей. И они остались бесстрастными даже тогда, когда переводчик объяснил, что всех пятерых признали виновными в убийстве Чун

Га и что А Чоу отрубят голову. А Чо сошлют на каторгу в Новую Каледонию на двадцать лет. Вон Ли — на двенадцать лет и А Тона — на десять. Что толку волноваться? А Чоу, и тот продолжал сидеть невозмутимый, как мумия, словно вовсе не ему собирались отрубить голову. Судья прибавил еще несколько слов, и переводчик разъяснил: физиономия А Чоу, всех больше пострадавшая от ремня Шеммера, настолько облегчила его опознание, что решили казнить его, поскольку все равно одного из обвиняемых казнить надо. Далее, так как лицо А Чо тоже сильно пострадало, что неопровержимо доказывает его присутствие при убийстве и его несомненное соучастие, то он присуждается к двадцати годам каторжных работ. И так вплоть до А Тона, получившего десять лет, каждому из осужденных объяснили, почему ему дается именно такой срок наказания. Пусть китайцы навсегда запомнят этот урок, сказал в заключение судья, и впредь пусть знают, что никакие силы не могут воспрепятствовать соблюдению закона на Таити.

Пятерых китайцев увели обратно в тюрьму. Они не были ни потрясены, ни опечалены. Неожиданность приговора их не удивила: имея дело с белыми дьяволами, они давно привыкли

ничему не удивляться. От белых дьяволов, кроме неожиданного, нечего было и ожидать. Тяжкая кара за содеянное другим преступление не представлялась китайцам более странной, чем все остальные странные поступки белых дьяволов. В последующие недели А Чо часто с задумчивым любопытством приглядывался к А Чоу. Ему отрубят голову на гильотине, которую строят сейчас посреди плантации. Для него не будет ни преклонных лет, ни сада, где можно наслаждаться покоем. А Чо философствовал и размышлял о жизни и смерти. Собственная судьба его не волновала. Двадцать лет — это всего двадцать лет. С садом придется подождать, вот и все. А Чо был молод и, как все азиаты, терпелив. Он в силах ждать двадцать лет, к тому времени кровь у него поостынет, и он лучше сумеет оценить мирный покой своего сада. А Чо придумал ему название: он назовет его садом Утренней Тишины. Весь день радовался он своей выдумке и, вдохновившись, даже сочинил нравоучительную сентенцию о пользе терпения, каковая сентенция послужила немалым утешением для Вон Ли и А Тона. А Чоу, однако, сентенция не понравилась. Голову его должны были отделить от туловища через такой короткий срок, что ему не требовалось особого

терпения, чтобы дождаться этого события. Он с наслаждением курил, с аппетитом ел, сладко спал и вовсе не находил, что время тянется слишком медленно.

Крюшо был жандарм. Он прослужил двадцать лет в колониях, побывал всюду — от Нигерии и Сенегамбии до островов южных морей, однако не видно было, чтобы за эти двадцать лет у него прибавилось сообразительности или ума. Крюшо был так же туп и ограничен, как и в дни своей юности, когда пахал землю где-то на юге Франции. Он преклонялся перед дисциплиной, боялся начальства, и вся разница между богом и каким-нибудь сержантом жандармерии заключалась для него лишь в степени рабского повиновения, которую им надлежало оказывать. По существу, если не считать воскресных дней, когда слово принадлежало служителям церкви, сержант значил для Крюшо неизмеримо больше, чем бог. Бог обычно был где-то далеко, а сержант большей частью находился поблизости.

Этому-то Крюшо и был вручен приказ судьи, предписывавший тюремщику сдать заключенного А Чоу жандарму для препровождения к месту казни. Но, как на грех, накануне вечером судья давал обед капитану и офицерам французского

военного корабля. Рука у него дрожала, когда он писал приказ, а глаза так нестерпимо болели, что он не стал его перечитывать. В конце концов дело шло о жизни какого-то китаезы. И судья не заметил, что не дописал последней буквы в имени А Чоу. В приказе стояло «А Чо», и когда Крюшо предъявил документ, тюремщик и вывел к нему означенное лицо. Крюшо усадил это лицо рядом с собой в тележку, запряженную парой мулов, и уехал.

А Чо радовался, что попал на вольный воздух, на солнышко. Он сидел рядом с жандармом и блаженно улыбался. Заметив, что мулы повернули на юг, к Атимаоно, он весь просиял от счастья. Шеммер за ним послал. Шеммер хочет, чтобы он работал. Что же, за этим дело не станет. Шеммеру не на что будет пожаловаться. День выдался жаркий, пассата не было. Потели мулы, потел Крюшо, потел А Чо. Но А Чо переносил жару легче всех. Под таким солнцем он три года работал на плантации. Он все улыбался, и в улыбке его было столько непритворного благодушия, что даже в неповоротливом мозгу Крюшо шевельнулось сомнение.

— Какой ты, право, чудной, — сказал он наконец.

А Чо закивал и заулыбался еще радостнее. Не в пример судье Крюшо заговорил с ним на канакском наречии, которое А Чо наравне со всеми китайцами и иностранными дьяволами хорошо понимал.

— Что ты все зубы скалишь? — пожурил его Крюшо. — Плакать надо в такой день, а не смеяться.

— Я радуюсь, что вышел из тюрьмы.

— Только-то? — Жандарм пожал плечами.

— А разве этого мало? — последовал ответ.

— Значит, ты радуешься не тому, что тебе отрубят голову?

А Чо в полном недоумении уставился на жандарма, а потом сказал:

— Как? Ведь я же возвращаюсь на плантацию, в Атимаоно, я буду работать на Шеммера. Разве вы везете меня не в Атимаоно?

Крюшо в раздумье погладил свои длинные усы.

— Так, так, — проговорил он наконец, стегнув правого мула. — Выходит, ты ничего и не знаешь?

— А что я должен знать? — А Чо начинал одолевать какой-то смутный страх. — Неужели Шеммер не позволит мне больше работать?

— После того, что с тобой приключится сегодня, едва ли! — Крюшо от души рассмеялся своей остроумной шутке. — Видишь ли, после нынешнего дня ты уже не сможешь работать. Человек без головы, какой же это работник? — Тут он ткнул китайца большим пальцем под ребро и густо захохотал.

Мулы добрую милю трусили по самому солнцепеку, но А Чо все молчал. Потом он спросил:

— Разве Шеммер собирается отрубить мне голову?

Крюшо, ухмыляясь, кивнул.

— Это ошибка, — степенно проговорил А Чо. — Я совсем не тот китаеза, которому нужно отрубить голову. Я А Чо. По решению почтенного судьи я должен отбыть двадцать лет каторги в Новой Каледонии.

Жандарм так и покатился со смеху. Ну и умора с этим китаезой! Кого, чудак, вздумал надуть — гильотину! Мулы той же мелкой рысцой успели пробежать рощу кокосовых пальм и не меньше полумили по берегу сверкающего на солнце моря, прежде чем А Чо снова заговорил:

— Уверяю вас, я не А Чоу. Почтенный судья не говорил, что мне нужно отрубить голову.

— Да ты не бойся, — сказал Крюшо с похваль-

ным намерением утешить своего пленника. — Это самая легкая смерть. А главное, скорая. — Он выразительно щелкнул пальцами. — Чик! Совсем не то, что болтаться на веревке, дрыгать ногами и строить рожи целых пять минут. Видел ведь, как режут цыплят тяпкой? Один удар — и голова прочь. То же самое и с человеком. Раз — и готово! Совсем не больно. Даже и подумать не успеешь, что больно. Вовсе не думаешь. Головы нет — значит, и думать нечем. Прекрасная смерть! Лучшей смерти и себе не пожелаешь. Я хотел бы так умереть — быстро, сразу. Тебе, прямо сказать, повезло. Ты бы мог заболеть проказой и медленно, по частям разлагаться: сначала один палец на руке сгниет и отвалится, потом другой, а там, глядишь, и на ногах началось. Я знал человека, которого ошпарили кипятком. Так он два дня не мог умереть. А как кричал-то — за километр было слышно. А ты? Ты отделаешься легко. Нож резнет по шее — чик, и все кончено. Еще, может, щекотно будет. Почем знать? Те, кто этим манером отправлялся на тот свет, назад не возвращались, не рассказывали.

Свои последние слова Крюшо счел превосходной шуткой и с полминуты корчился от смеха. Веселость его была отчасти притворная, но он по-

читал долгом человеколюбия ободрить китаезу.

— Но, послушайте, ведь я же А Чо, — настаивал тот. — И я не хочу, чтобы мне отрубили голову.

Крюшо нахмурился. Этот китаеза чересчур много себе позволяет.

— Я не А Чоу… — заикнулся было А Чо.

— Довольно! — прервал его жандарм и надул щеки, стараясь придать себе грозный вид.

— Но, послушайте, ведь я же не… — снова начал А Чо.

— Молчать! — рявкнул на него Крюшо.

После этого они ехали молча. От Папеэте до Атимаоно двадцать миль, и, когда А Чо снова решился заговорить, более полпути было уже сделано.

— Я видел вас на суде, когда почтенный судья разбирал наше дело, — начал он. — Так вот, не потрудитесь ли вы вспомнить, что А Чоу, которому должны отрубить голову… Да вы, конечно, помните, что он — я хочу сказать А Чоу — высокого роста? А теперь посмотрите на меня…

Он вдруг поднялся, и Крюшо увидел, что его спутник — человек низкорослый. Так же внезапно в памяти Крюшо возникла длинная фигура А Чоу. Конечно, А Чоу высокого роста. Для жандарма все китайцы были на одно лицо и как две

капли воды походили друг на друга. Но отличить высокого от низкорослого он все же мог и теперь вынужден был признать, что рядом с ним в тележке сидит не тот заключенный. Крюшо так резко осадил мулов, что дышло выперло вперед и приподняло хомуты.

— Теперь вы видите, что это ошибка? — вежливо улыбаясь, сказал А Чо.

Но Крюшо размышлял. Он уже пожалел, что остановил мулов. Об ошибке судьи он ничего не знал и не мог разобраться в ней своим умом; одно только он знал твердо: ему сдали на руки этого китаезу, чтобы отвезти его в Атимаоно, и туда его и надо доставить по долгу службы. Может быть, это и не тот человек, и ему зря отрубят голову. Но ведь это только китаеза, а что такое китаеза в конце концов? Кроме того, тут, может быть, и нет никакой ошибки. Почем он знает, что на уме у начальства? Это — их дело, им видней. И кто он такой, чтобы думать за них? Когда-то он попробовал за них подумать, так сержант сказал ему: «Ты, Крюшо, олух! Заруби себе это на носу. Твое дело — не думать, а повиноваться, — думать предоставь тем, кто поумнее тебя». Вспомнив об этом, Крюшо даже покраснел от досады. Потом, если он повернет назад в Папеэте, казнь в Атимаоно

задержится, а если он к тому же окажется неправ, то получит хороший нагоняй от сержанта. Да и в Папеэте ему не избежать выговора.

Крюшо хлестнул мулов, и тележка покатила дальше. Он взглянул на часы. И так уж опоздали на полчаса, и сержант, конечно, будет ругаться. Он погнал мулов еще быстрей. И чем настойчивее А Чо твердил ему об ошибке, тем упорнее молчал Крюшо. Уверенность, что он везет не того заключенного, не могла улучшить его настроение. Но сам-то он тут ни при чем: значит, поступая неправильно, он поступает по правилам! А Крюшо, лишь бы не навлечь на себя гнева сержанта, с готовностью препроводил бы на тот свет хоть с десяток ни в чем не повинных китаез.

Что же касается А Чо, то, после того как жандарм ударил его по голове рукояткой кнута и грозно приказал замолчать, ему ничего другого не оставалось. Так они продолжали свой долгий путь молча. А Чо размышлял о том, как непонятны все поступки белых дьяволов. Им не найдешь никакого объяснения. То, что они делают с ним сейчас, под стать всем прочим их действиям. Сперва они обвинили в убийстве пятерых невинных людей, теперь хотят отрезать голову тому, кого даже сами в своем невежестве признали

заслуживающим только двадцати лет каторги. И он ничего не может поделать. Ему остается только сидеть сложа руки и ждать, что решат за него эти повелители жизни и смерти. Была минута, когда его охватил ужас и по всему телу выступил холодный пот, потом он пересилил себя. Он старался покориться своей судьбе, вспоминая и повторяя отрывки из «Инь цзи вэнь» («Трактата о пути к спокойствию»); но вместо этого ему упорно представлялся сад Покоя и Размышлений. Это сбивало его, и наконец он отдался своей мечте и очутился в саду. Он сидел там, прислушиваясь к нежному звону колокольчиков. И что же! Стоило ему перенестись туда в своих грезах, как он тотчас вспомнил и повторил отрывки из «Трактата о пути к спокойствию».

Погруженный в эти приятные размышления, А Чо и не заметил, как они достигли Атимаоно, и очнулся только тогда, когда тележка остановилась у подножия эшафота, в тени которого их с нетерпением ожидал сержант. А Чо быстро повели по лесенке на помост. Очутившись там, он увидел внизу море голов. Тут собрались все кули с плантации. Считая, что это зрелище послужит кули хорошим уроком, Шеммер велел им прекратить работу, и всех их пригнали смотреть

на казнь. Увидев А Чо, кули начали между собой перешептываться. Они заметили ошибку, но не захотели вмешиваться. Непостижимые белые дьяволы, видимо, передумали и вместо того, чтобы казнить одного невинного, казнят теперь другого. А Чо или А Чоу — все едино! Никогда китайцам не понять этих белых собак, так же как и белым собакам никогда не понять китайцев. А Чо отрубят голову, но сами они, проработав оставшиеся два года, возвратятся обратно в Китай.

Шеммер сам соорудил гильотину. Он никогда не видел этой машины, но, будучи мастером на все руки, смело принялся за дело, расспросив предварительно французских чиновников об ее устройстве. По его предложению французские власти распорядились, чтобы казнь состоялась в Атимаоно, а не в Папеэте. Убийца должен понести заслуженную кару там, где было совершено преступление, доказывал Шеммер, а, кроме того, зрелище казни окажет благотворное влияние на пятьсот кули, работающих на плантации. Шеммер вызвался также взять на себя обязанности палача и теперь стоял на помосте, проверяя действие построенного им механизма. Под гильотину подложили банановое дерево толщиной примерно в человеческую шею. А Чо, как зача-

рованный не мог отвести от него глаз. Немец повернул небольшой ворот, поднял нож до верхней перекладины, потом дернул веревку, и нож, сверкнув, упал вниз. Ствол банана был аккуратно разрезан на две части.

— Ну, как? — спросил, поднявшись на помост, сержант.

— Работает на славу, — с гордостью ответил Шеммер. — Сейчас я вам покажу.

Он снова повернул ворот, подымающий нож, дернул веревку, и нож стремительно скользнул вниз. На этот раз он врезался в мягкое дерево только на две трети его толщины.

Сержант насупился.

— Это не годится, — сказал он.

Шеммер вытер выступивший на лбу пот.

— Надо сделать поувесистей, — сказал он и, подойдя к краю помоста, приказал кузнецу подать ему двадцатипятифунтовый железный брус.

Когда Шеммер стал прилаживать брус к верхнему широкому краю ножа, А Чо взглянул на сержанта и решил: теперь или никогда.

— Почтенный судья сказал, что голову отрубят А Чоу, — начал он.

Сержант нетерпеливо кивнул. Он думал о предстоящей ему в этот день поездке за пятнадцать

миль к наветренной стороне острова и о дожидавшейся его там хорошенькой мулатке Берте, дочери торговца жемчугом Лафьера.

— А я не А Чоу. Я А Чо. Почтенный тюремщик нас перепутал. А Чоу высокого роста, а я, как видите, низкого.

Сержанту достаточно было одного взгляда, чтобы убедиться в ошибке.

— Шеммер! — повелительно крикнул он. — Подите сюда.

Немец что-то буркнул, но не тронулся с места до тех пор, пока брус не был укреплен как следует.

— Ну, готов ваш китаеза?

— Да вы взгляните на него, — последовал ответ. — Разве это тот?

Шеммер сперва даже опешил. Несколько секунд он забористо ругался, с сожалением поглядывая на сооруженную собственными руками машину, которую ему очень хотелось испытать.

— Вот что, — сказал он наконец, — откладывать никак нельзя. Мои пятьсот китайцев лодырничают здесь уже три часа. Не могу же я терять еще три часа работы из-за того, что нам подсунули другого кули. Так или иначе, дело надо довести до конца. Ведь это же всего-навсего китаеза.

Сержант вспомнил предстоящую ему утоми-

тельную поездку, вспомнил хорошенькую дочь торговца жемчугом и призадумался.

— Даже если это раскроется, все свалят на Крюшо, — настаивал немец. — Но как это может раскрыться? А Чоу, во всяком случае, не пойдет жаловаться.

— Крюшо тут ни при чем, — возразил сержант. — Видимо, тюремщик спутал.

— Так нечего и откладывать. Как бы там ни было, мы не виноваты. Разве этих китаез отличишь одного от другого? Скажем, что выполняли инструкцию, а какого нам китаезу прислали, это уж дело не наше. Да я просто не могу вторично отрывать всех кули от работы.

Они разговаривали по-французски, и, хотя А Чо не понимал ни слова из их разговора, ему было ясно, что сейчас решается его судьба. Ему также было ясно, что последнее слово принадлежит сержанту, и он, не отрываясь, смотрел ему в рот.

— Так и быть, — решился наконец сержант. — Валяйте! Ведь это всего-навсего китаеза.

— Испытаем еще раз для верности. — Шеммер пододвинул ствол банана и снова поднял нож к верхней перекладине.

А Чо пытался вспомнить изречение из «Трактата о пути к спокойствию». «Живи в мире со

всеми», — пришло ему на ум, но тут это было неприменимо. Жить ему не придется. Сейчас он умрет. «Прощай злобствующих»... но чью злобу ему прощать? Шеммер да и все остальные действовали без всякой злобы. Для них это была работа, которую нужно выполнить, — такая же, как расчистка джунглей, постройка плотины, разведение хлопка. Шеммер дернул веревку, и А Чо позабыл про «Трактат о пути к спокойствию». Нож опустился, начисто отделив кусок ствола.

— Чудесно! — воскликнул сержант, поднося спичку к папиросе. — Чудесно, друг мой!

Шеммеру было приятно, что его похвалили.

— Поди сюда, А Чоу! — приказал он на таитянском наречии.

— Но я не А Чоу, — начал было тот.

— Молчать! — прервал его грозный окрик Шеммера. — Раскрой только рот, я тебе голову проломлю.

Немец погрозил А Чо кулаком, и тот замолчал. Что толку спорить? Все равно белые дьяволы сделают по-своему. А Чо дал себя привязать к поставленной стоймя доске вышиной в человеческий рост. Шеммер так туго стянул ремни, что они врезались в тело А Чо. Ему было больно, но он не жаловался. Боли скоро не станет. Он почувство-

вал, что доска опрокидывается, и закрыл глаза. В тот же миг перед ним предстал его сад Размышления и Покоя. Ему казалось, что он сидит в саду. Ветер навевал прохладу, и колокольчики нежно звенели в ветвях. Птицы сонливо чирикали, а из-за высокой стены доносился приглушенный шум деревенской жизни.

Потом А Чо почувствовал, что доска остановилась, и по тому, как напряглись одни и расслабились другие мышцы, понял, что лежит на спине. Он открыл глаза. Прямо над ним, сверкая на солнце, висел нож. Он увидел подвешенный Шеммером брус и заметил, что один из узлов распустился. Потом он услышал резкий голос сержанта, отдававшего команду. А Чо поспешно закрыл глаза. Ему не хотелось видеть, как опустится нож. Но он его почувствовал — на одно мимолетное и бесконечное мгновение. И в это мгновение он вспомнил Крюшо и то, что Крюшо говорил. Но Крюшо ошибся. Нож не щекотал. Это было последнее, о чем он подумал, перед тем как навсегда перестал думать.

Держи на запад

«Чего бы это ни стоило, — держи на запад, держи на запад!»

(Лоция для мыса Горн)

Семь недель «Мэри Роджерс» болталась на пятидесятом градусе южной широты между Атлантическим и Тихим океаном. А это значит, что она целых семь недель тщетно пыталась обогнуть мыс Горн. Долгих семь недель корабль боролся со штормом или уходил от шторма, за исключением одного случая, когда он нашел прибежище у грозных берегов Огненной Земли после ужасающего шестидневного шторма и едва не разбился там о скалы во время мертвой зыби, когда вдруг наступил полный штиль. Семь недель «Мэри Роджерс» воевала с седыми бурунами у мыса Горн, и они порядком ее потрепали. Корабль был деревянный, и от непрерывных ударов волн он в конце концов дал течь, так что дважды в день вахтенные сменяли друг друга у насосов.

«Мэри Роджерс» устала, экипаж устал; устал и Дэн Каллен, капитан. Он, пожалуй, устал больше всех: ведь на нем лежала вся ответственность за

эту титаническую борьбу. Спал он урывками, да и то не раздеваясь. По ночам он бродил по палубе как тень, — огромный, грузный, коренастый призрак, дочерна обожженный солнцем за тридцать лет плавания, и волосатый, как орангутанг. Одна мысль неотступно преследовала его — строка из лоции для капитанов, огибающих мыс Горн: «Чего бы это ни стоило, — держи на запад, держи на запад!». Эти слова неизменно звучали в его мозгу. Он не мог думать ни о чем другом и лишь временами отводил душу, кощунственно проклиная бога за такую мерзкую погоду.

«Держи на запад!» Он рвался к мысу, заходил и так и этак, снова и снова, а этот неприступный Горн все так же маячил в десяти милях на северо-востоке или северо-северо-востоке. И всякий раз проклятый западный ветер отбрасывал корабль назад и гнал его на восток. Капитан преодолевал один порыв ветра за другим, отклоняясь к югу до 64° в антарктические плавучие льды, и готов был продать душу дьяволу за то, чтоб хоть на милю продвинуться на запад, за малейшее дуновение попутного ветра, а корабль все гнало на восток. Совсем отчаявшись, Дэн Каллен попытался пройти проливом Ле-Мэра, но на полпути подул сильнейший северо-западный ветер, барометр

упал до 28,88"[91], и капитан поспешно повернул и помчался, подгоняемый яростным циклоном; еще секунда — и «Мэри Роджерс» разбилась бы о черные клыки скал. Дважды корабль шел на запад прямо на скалы Диего Рамирес, причем первый раз его спасло то, что в промежутках между двумя снежными шквалами перед глазами капитана мелькнули в четверти мили впереди остовы погибших кораблей.

Ветер! Капитан перебрал в памяти все тридцать лет, что он провел в море, — нет, такого ветра еще не бывало. Пока он об этом думал, волны кидали корабль вверх и вниз и в довершение всего погрузили его в воду по самую палубу. Ветер сорвал новехонький грот-марсель[92] и только что поставленный спенкер[93], как папиросную бумагу, а у пяти зарифленных парусов лопнули

---

[91] notes: 91

Здесь давление дается в дюймах ртутного столба; нормальное давление — 30 дюймов (760 мм).

[92] notes: 92

Грот-марсель — второй снизу прямой парус на второй от носа судна мачте (грот-мачте).

[93] notes: 93

Спенкер (контр-бизань) — четырехугольный косой парус, поднимаемый на задней мачте (бизань-мачте) судна с полным прямым парусным вооружением.

двойные сезни[94], и они, разорванные в клочья, хлопали на ветру. И за эту ночь «Мэри Роджерс» еще дважды погружалась в волны — пришлось даже пробить отверстия в фальшборте[95], чтобы хоть немного облегчить палубу от воды, которой ее заливал бушующий океан.

Примерно раз в неделю капитан Дэн Каллен видел солнце. Однажды оно сияло в полдень целых десять минут, а спустя еще десять минут бушевал новый шторм, обе вахты убирали паруса, и все окутывали мглой бешено налетавшие снежные шквалы. Однажды капитан целых две недели кряду не мог определить свое местонахождение, и вообще ему редко удавалось определиться точнее, чем в пределах полградуса, разве только, когда вдалеке мелькала земля, ибо солнце и звезды были скрыты облаками и вокруг царил такой мрак, что невозможно было ничего разглядеть. Мгла серым саваном окутывала весь мир. Серы были облака, свинцово-серы огромные волны; на их дымящихся гребнях вскипала серая пена. Даже

---

[94] notes: 94

Сезни (риф-сезни) — завязки, служащие для уменьшения в случае необходимости площади парусов.

[95] notes: 95

Фальшборт — продолжение борта, возвышающееся по краям открытых палуб для защиты их от воды и предохранения людей от падения за борт.

редкие альбатросы казались серыми, и снежные хлопья под хмурой пеленою безнадежно серого неба из белых превращались в серые.

И вся жизнь на борту «Мэри Роджерс» была серой и мрачной. Иссиня-серыми стали лица матросов; соленая вода разъедала малейшие ссадины, мучительно жгла незаживающие язвы. Люди превратились в тени. Все семь недель, на вахте и на отдыхе, одежда на них никогда не просыхала. Они забывали, что значит выспаться; то и дело раздавалась команда: «Все наверх!». Спали урывками, забываясь тревожным сном, поминутно ожидая команды и не снимая брезентовую робу.

Люди так выбились из сил, что работу одной вахты приходилось выполнять обеим, и матросы почти круглые сутки были на палубе, а уклониться от работы не может даже тень матроса, разве что сломает себе руку или ногу; таких искалеченных и избитых бушующим морем на борту было двое.

Джордж Дорти тоже походил скорее на тень, нежели на человека. Он был другом владельца судна и единственным пассажиром, а отправился он в это путешествие, чтобы поправить свое здоровье. Однако семь недель близ мыса Горн

не пошли ему на пользу. Долгими ночами качки он задыхался и пыхтел в своей каюте, а выходя на палубу, наматывал на себя для тепла столько всякого барахла, что походил на лавку бродячего старьевщика. Днем, когда он обедал в кают-компании, где вечно горели висячие лампы — такая кругом стояла тьма, — Дорти казался таким же иссиня-серым, как самый больной и несчастный матрос в кубрике[96]. Не веселила его и физиономия капитана Дэна Каллена, сидевшего за столом напротив него. Капитан жевал, хмурился и молчал. Хмурился он по адресу господа бога и с каждым глотком вновь и вновь повторял про себя все ту же единственную для него заповедь: «Держи на запад!» Вид этого грузного, волосатого верзилы совсем отбивал у Джорджа Дорти аппетит. Капитан же был убежден, что именно от этого пассажира и пошли у него все беды, как от библейского Ионы[97], и всякий раз напоминал ему об этом за едой, злобно хмурясь то ли на господа бога, то ли на злополучного Дорти.

---

[96] notes: 96

Кубрик — общее жилое помещение для команды на судне. На парусных судах обычно располагался в носовой части судна под полубаком.

[97] notes: 97

Иона — библейский пророк, который, по преданию, был проглочен морским чудовищем и через три дня выброшен им обратно живым.

Старший помощник Джошуа Хиггинс тоже не прибавлял ему аппетита. Это был моряк по профессии и призванию, но при этом горький пьяница, жестокий, наглый и себялюбивый; бездушный трус, он до смерти боялся капитана и помыкал матросами, которые знали, что за ним стоит Дэн Каллен — судья и жандарм, господин и повелитель, один стоивший целой дюжины самых свирепых боцманов. В эту бушующую непогоду у южного края земли Джошуа Хиггинс перестал умываться, и его закоптелая физиономия окончательно лишала Джорджа Дорти всякого аппетита. В другое время капитан заметил бы грязные наносы на лице помощника и высказался бы по этому поводу. Но теперь он был поглощен одним: «Держи на запад!» — и не замечал ничего, что не имело к этому отношения. Умыт ли Хиггинс или грязен, от этого курс корабля не изменится. Позднее, когда судно доберется до 50° южной широты в Тихом океане, Джошуа Хиггинс живо умоется, но пока в кают-компании, где тусклый свет ламп сменялся серым полумраком, когда лампы заправляли керосином, Джордж Дорти сидел за столом между капитаном и помощником — тигром и гиеной — и удивлялся, зачем только бог сотворил их.

Второй помощник Мэтью Тернер был настоящий человек и настоящий моряк. Но Джордж Дорти не мог обрести утешения в его обществе: второй помощник обедал один, когда все вставали из-за стола.

В субботу, 24 июля, проснувшись поутру, Джордж Дорти почувствовал, что корабль ожил и уверенно идет вперед. Выйдя на палубу, он обнаружил, что резкий попутный ветер гонит «Мэри Роджерс» на северо-запад. Все паруса были убраны, кроме нижних марселей[98] и фока[99].

— Больше ей не выдержать, и все-таки она делает четырнадцать узлов![100] — прокричал Тернер в ухо Дорти, когда тот поднялся на палубу.

Наконец-то они шли на запад. «Мэри Роджерс» наконец обогнет мыс Горн… если ветер не переменится. Тернер сиял. Кажется, близок был конец отчаянной борьбы со стихией. Но капитан Каллен вовсе не сиял. Проходя мимо Дорти, он

---

[98] notes: 98

Марсели — вторые снизу прямые паруса на мачтах с прямым парусным вооружением.

[99] notes: 99

Фок — здесь самый нижний прямой парус на передней мачте (фок-мачте).

[100] notes: 100

Узел — здесь единица скорости на море, равная одной миле (1852 м) в час.

злобно нахмурился. Капитан Каллен боялся показать господу богу, как радует его этот ветер. Он полагал, что бог — существо весьма коварное, и в глубине души не сомневался, что если он поймет, как нужен ему, Каллену, этот ветер, то сейчас же уберет его и нашлет злейший шторм с запада. Поэтому остерегаясь бога, Дан всячески старался скрыть свою радость. Он хмурился и бормотал проклятия, пытаясь обмануть господа бога, ибо, кроме бога, Дан Каллен ничего и никого на свете не боялся.

Всю субботу и ночь на воскресенье «Мари Роджерс» мчалась на запад со скоростью четырнадцати узлов и к утру прошла триста пятьдесят миль. Если ветер продержится, то они обогнут мыс Горн, если же налетит шторм откуда-нибудь с юго-запада или севера, ее вновь отшвырнет назад, и все придется начинать сначала, словно и не было этих семи недель борьбы. И в воскресенье утром ветер начал спадать. Ветер утихал, море успокаивалось. Обе вахты поспешно ставили парус за парусом. А капитан Каллен разгуливал по палубе с довольным видом, курил большую новую сигару и торжествующе улыбался, как будто он был просто счастлив, что ветер спадает, но в глубине души он готов был проклинать бога,

который отнимает силы у такого долгожданного ветра. «Держи на запад!» Конечно, он будет держать на запад, если только бог оставит его в покое. Втайне он снова склонен был продать душу дьяволу, если только тот поможет ему обогнуть этот мыс. Впрочем, капитану было очень легко клясться в этом: он не верил в сатану, он, в сущности, верил только в бога, хотя сам этого и не знал. И в этом извращенном веровании бог казался ему самим Князем Тьмы. Капитан Каллен поклонялся дьяволу, но называл его другим именем. Вот и все.

В полдень, когда пробили восемь склянок[101], капитан Каллен приказал ставить бом-брамсели[102]. Ни разу за все эти недели матросы не взлетали на мачты с такой быстротой, но они проявили чудеса проворства не только потому, что «Мэри Роджерс» шла наконец на запад, — ласковое солнце светило на них и согревало их окоченевшие тела. Джордж Дорти стоял на

---

[101] notes: 101

…пробили восемь склянок… — Бить склянки — отмечать время ударами в судовой колокол (рынду). Один удар соответствует получасу, двойной удар — часу. Через каждые четыре часа счет склянок начинался сначала. Здесь восемь склянок соответствуют полудню.

[102] notes: 102

Бом-брамсели — четвертые снизу прямые паруса на мачтах с прямым парусным вооружением.

мостике рядом с капитаном не такой укутанный, как прежде, благодарно впитывал в себя желанное тепло и наблюдал за происходящим.

И вдруг это случилось. Никто и глазом не успел моргнуть, как раздался крик с бом-брам-рея[103]:

— Человек за бортом!

Кто-то бросил в море спасательный круг, и в ту же секунду до мостика донесся торопливый, взволнованный голос второго помощника:

— Руль на ветер![104] Живо!

Рулевой не повернул штурвал, он даже не шелохнулся — капитан Каллен стоял рядом с ним. Он бы с радостью повернул штурвал и на один и на триста шестьдесят градусов на ветер, ведь в море погибал его товарищ. Он украдкой бросил взгляд на капитана, но тот и бровью не повел.

— На ветер! Давай на ветер! — завопил второй помощник, взбегая на мостик, но остановился как вкопанный, когда увидел у штурвала капитана Каллена. А капитан попыхивал своей сигарой

---

[103] notes: 103

Бом-брам-рей — четвертая снизу горизонтальная поворотная перекладина (рей) на мачте с прямым парусным вооружением, служащая для крепления к ней прямого паруса — бом-брамселя.

[104] notes: 104

На ветер — в сторону, откуда дует ветер. Команда «Руль на ветер» подается в том случае, когда нужно повернуть судно в ту сторону, откуда дует ветер.

и молчал. Матрос в море отставал все больше и больше. Он поймал спасательный круг и теперь цеплялся за него. Все застыли в молчании. Матросы на мачтах, прильнув к снастям, с ужасом глядели вниз, а «Мэри Роджерс» мчалась вперед, на запад. Прошла долгая томительная минута.

— Кто это был? — спросил капитан Каллен.

— Мопс, сэр, — поспешно ответил рулевой.

На Мопса набежала волна, и на минуту он скрылся под водой. Волны были большие, но это не были буруны[105]. Маленькая шлюпка легко держалась бы на таких волнах, и «Мэри Роджерс» вполне могла бы подойти к бедняге, но она не могла одновременно идти к нему и на запад.

Впервые в жизни Джордж Дорти был свидетелем такой трагедии — жизнь или смерть неизвестного матроса по прозвищу «Мопс» была брошена на весы против нескольких миль западной долготы. Дорти сначала смотрел на матроса за бортом, но теперь он перевел взгляд на Дэна Каллена, а этот мрачный волосатый верзила, в чьих руках здесь были жизнь и смерть, молча курил сигару.

Капитан курил еще бесконечную томительную

---

[105] notes: 105

Буруны — волны, разбивающиеся о берег или подводные скалы.

минуту. Затем он вынул сигару изо рта, глянул вверх, на рангоут, потом на море.

— Выбрать бом-брам-шкоты[106]! — крикнул он.

Пятнадцать минут спустя они сидели за столом, уставленным едой. По одну сторону от Дорти сидел Дэн Каллен — тигр, по другую — Джошуа Хиггинс — гиена. Все молчали. Наверху матросы ставили уже трюмсели[107], Джордж Дорти слышал их крики, но перед его глазами неотступно стоял человек по прозвищу «Мопс» — живой и здоровый, на много миль позади, в пустынном океане, он все еще цеплялся за спасательный круг.

Дорти взглянул на капитана, и к горлу его подступила тошнота. Капитан жадно уплетал стоявшую перед ним еду.

— Капитан Каллен, — сказал Дорти, — вы командир этого корабля, и мне не пристало судить о ваших поступках. Но одно я должен вам сказать: на том свете вам будет жарко.

---

[106] notes: 106

Бом-брам-шкоты — снасти, служащие для управления нижними углами бом-брамселей — четвертых снизу прямых парусов на мачтах с прямым парусным вооружением. Выбрать бом-брам-шкоты — натянуть их так, чтобы растянуть парус по нижележащему рею.

[107] notes: 107

Трюмсели — здесь самые верхние прямые паруса.

Капитан даже не нахмурился. В его голосе звучало сожаление, когда он ответил:

— Дул свежий ветер. Спасти матроса было невозможно.

— Он упал с бом-брам-рея, — сказал Дорти, — когда ставили бом-брамсели. А через пятнадцать минут все уже ставили трюмсели.

— Дул свежий ветер. Ведь верно, мистер Хиггинс? — сказал капитан, повернувшись к старшему помощнику.

— Если бы вы повернули корабль, он потерял бы скорость, — ответил тот. — Вы поступили правильно, капитан. Мопса было все равно не спасти.

Джордж Дорти промолчал, и до конца обеда никто больше не произнес ни слова. Но после этого Дорти ел у себя в каюте. Капитан Каллен больше не хмурился при виде пассажира, хотя они не обменялись ни единым словом, пока «Мэри Роджерс» спешила на север к теплым водам. Через неделю Дэн Каллен застал Дорти на палубе.

— Что вы намерены делать, когда мы придем в Сан-Франциско? — спросил он напрямик.

— Я намерен добиться ордера на ваш арест, — спокойно ответил Дорти. — Я намерен обвинить вас в убийстве и увидеть вас на виселице.

— Больно уж вы самоуверенны, — буркнул капитан, круто повернулся и пошел прочь.

Прошла еще неделя. Однажды утром Джордж Дорти стоял в сходном люке перед полуютом[108], окидывая привычным взглядом палубу. «Мэри Роджерс» шла полным ходом, подгоняемая крепким ветром; все паруса были надуты, включая стакселя[109]. Капитан Каллен в раздумье шагал по полуюту, искоса поглядывая на пассажира. Дорти смотрел в другую сторону, его голова и плечи высунулись из люка, и капитан видел только его затылок. Капитан быстро взглянул на грота-стаксель-блок[110] и голову Дорти и прикинул расстояние. Затем он огляделся — никто не смотрел в их сторону. На корме мерным шагом расхаживал Хиггинс, и он только что повернулся к ним спиной. Капитан резко наклонился и

---

[108] notes: 108

Полуют — возвышенный уступ (надстройка) в кормовой части судна. Под полуютом обычно располагались каюты капитана и его помощников.

[109] notes: 109

Стаксели — косые треугольные паруса, поднимаемые на наклонных снастях — штагах, удерживающих мачты спереди.

[110] notes: 110

Грота-стаксель-блок — блок снасти, служащий для управления нижним задним углом стакселя, поднимаемого на штаге, второй от носа судна мачты (грот-мачты).

сорвал стаксель-шкот[111] с нагеля[112]. Тяжелый блок мелькнул в воздухе, расколол голову Дорти, как яичную скорлупу, и стал раскачиваться взад и вперед, а парус заполоскал и захлопал на ветру. Джошуа Хиггинс обернулся взглянуть, что случилось, и получил от капитана залп отборных ругательств.

— Я сам закрепил этот парус, — пролепетал Хиггинс, когда капитан на мгновение умолк, — и еще завернул шкот за нагель лишний раз, для верности, как сейчас помню.

— Закрепил! — рявкнул капитан, чтобы слышали вахтенные: они пытались поймать бьющийся на ветру парус, пока он не успел разорваться в клочья. — Да ты бы свою бабушку не сумел закрепить, дубина ты безрукая! Если ты сам закрепил этот парус, какого дьявола шкот соскочил с нагеля, хотел бы я знать? Какого дьявола он не удержался?

Хиггинс плел что-то невнятное.

---

[111] notes: 111

Стаксель-шкот — снасть, служащая для управления нижним задним углом стакселя.

[112] notes: 112

Нагели — гладкие, без резьбы, длинные болты, вставляемые в отверстия специальных планок с внутренней стороны фальшборта или в обоймы у основания мачты и служащие для крепления на них различных снастей.

— Заткнись! — оборвал его капитан.

Через полчаса он с таким же изумлением, как я все остальные, уставился на труп Джорджа Дорти, который нашли у нижних ступенек трапа[113]. А вечером у себя в каюте капитан открыл судовой журнал и состряпал следующую запись:

«Порывом ветра снесло в море с мачты матроса второй статьи Карла Бруна. Корабль в то время находился в шторме, и ради его безопасности я не решился повернуть на ветер. Спасательная шлюпка тоже не могла быть спущена при таком шторме».

На другой странице он записал:

«Я не раз предупреждал мистера Дорти, что он недостаточно осторожен на палубе и подвергает себя опасности. Я сказал ему однажды, что когда-нибудь блок проломит ему голову. Небрежно закрепленный стаксель оказался причиной несчастного случая, о котором все глубоко сожалеют, так как мистер Дорти был всеобщим любимцем на корабле».

Дэн Каллен с восхищением перечитал свое литературное произведение, аккуратно промокнул чернила и закрыл журнал. Потом закурил сигару

---

[113] notes: 113
Трап — лестница на судне.

и устремил взгляд в пространство. Он чувствовал, как ровно и уверенно, легко покачиваясь, бежит по волнам «Мэри Роджерс», и знал, что она делает девять узлов. По его темному заросшему лицу медленно расползалась довольная улыбка. Что ж, во всяком случае, он обогнул мыс Горн и надул господа бога.

Semper Idem

Доктор Бикнел пребывал в удивительно благодушном настроении. Прошлой ночью по чистой случайности — пустая небрежность, и только — умер человек, который мог выжить. И хотя то был всего лишь матрос, один из огромной армии немытых, заведующему приемным покоем все утро было не по себе. Не то чтобы его беспокоил сам факт смерти — нет, для этого он слишком хорошо знал доктора, но в том-то и дело, что операция удалась блестяще. Одна из сложнейших операций, и выполнена столь же успешно, сколь искусно и дерзко. Следовательно, все зависело уже от ухода, от сиделок, от него, заведующего. И человек умер. Лишь пустая небрежность, однако теперь доктор Бикнел мог обрушить на него свой гнев специалиста и сделать невыносимой работу всего персонала в течение суток.

Но, как уже сказано, доктор пребывал в удивительно благодушном настроении. Когда заведующий, трепеща от страха, сообщил ему, что человек неожиданно скончался, с губ доктора не сорвалось ни слова упрека; они были плотно сжаты, пропуская лишь обрывки какой-то игривой

песенки, и разомкнулись только для того, чтобы шутливо осведомиться о здоровье первенца самого заведующего. Последний, полагая, что доктор еще не понял, в чем дело, повторил сообщение.

— Да, да, — с нетерпением подтвердил доктор Бикнел. — Я понял. Ну, а как Semper Idem? Готов к выписке?

— Да. Ему как раз помогают одеваться, — ответил заведующий, возвращаясь к кругу своих обязанностей и довольный, что покой еще царил в этих стенах, пропитанных йодом.

Выздоровление Semper Idem — вот что полностью возмещало доктору Бикнелу потерю матроса. Человеческая жизнь была для него ничем, — иметь с нею дело было неприятной, но неизбежной обязанностью лиц его профессии, тогда как трудные случаи — о! трудные случаи — это было все. Люди, испытавшие на себе его искусство, готовы были называть его мясником, однако коллеги его единодушно сходились в одном: никогда еще не склонялся над операционным столом врач более смелый и одаренный. Он не обладал богатым воображением. Душевные волнения не одолевали его, и потому он оставался к ним нетерпим. Он был точным и педантичным, истым приверженцем чистой науки. Люди ка-

зались ему пешками без индивидуальности, без личных достоинств. Но трудный случай — это другое дело. Чем сильнее пострадал человек, чем слабее была его связь с жизнью, тем больший вес он приобретал в глазах доктора Бикнела. Он с готовностью променял бы поэта-лауреата, страдающего какой-нибудь заурядной болезнью, на безвестного искалеченного бродягу, который самим своим отказом умереть нарушал все законы жизни, так же как ребенок предпочел бы цирк Петрушке.

Так произошло и в случае с Semper Idem. Доктора Бикнела привлекло не молчание этого человека, овеянное романтикой, не его тайна, в которую бесплодно пытались проникнуть репортеры желтой прессы, распространявшие о нем сенсационные сообщения во многих воскресных выпусках своих газет. Нет, у Semper Idem было перерезано горло. В этом было все дело. Это и привлекло доктора. От уха до уха, и ни один хирург из тысячи не дал бы за его жизнь и ломаного гроша. Но благодаря «Скорой помощи» и доктору Бикнелу он насильно вернулся в мир, из которого хотел уйти. Сотрудники доктора только покачали головами, когда был доставлен этот трудный пациент. «Безнадежно», — сказали они.

Глотка, дыхательное горло, шейная вена — все рассечено почти до конца, потеря крови огромная. Услышав это заключение, доктор Бикнел применил новые методы и проделал такое, что заставило содрогнуться даже опытных врачей. И вот человек выздоровел!

Поэтому в то утро, когда Semper Idem, здоровый и окрепший, должен был покинуть клинику, хорошее настроение доктора Бикнела ни мало не было нарушено сообщением заведующего, и он бодро занялся тяжелыми ранами ребенка, попавшего под трамвай.

Многие, вероятно, помнят, что случай с Semper Idem возбудил весьма неприличное, однако вполне естественное любопытство. Его нашли в какой-то трущобе, с горлом, перерезанным, как было уже сказано, причем кровь просочилась в комнату нижнего этажа и испортила пиршество ее жильцов. Он, очевидно, проделал это стоя, нагнув голову вперед, чтобы бросить прощальный взгляд на фотографию, прислоненную к подсвечнику на столе. Именно это и дало возможность доктору Бикнелу спасти ему жизнь. Он так глубоко полоснул бритвой, что, откинь он только голову назад, как и следовало поступить, чтобы работа вышла чистая, и тогда шея была бы

вытянута, эластичные стенки сосудов растянуты и он почти обезглавил бы себя.

В клинике за все время, что он против своей воли совершал обратный путь в жизнь, он не произнес ни слова. Ничего не сказал о нем и тщательный сыск, произведенный начальником полиции. Никто его не знал и никогда прежде не видел и не слышал о нем. Он принадлежал исключительно сегодняшнему дню. Одежда и обстановка говорили за то, что он просто чернорабочий, тогда как руки выдавали джентльмена. Не было найдено ни одного исписанного клочка бумаги, ничего, что указывало бы на его прошлое или на его социальное положение, кроме одной примечательной вещи.

Этой примечательностью была фотография. Если она хоть сколько-нибудь отражала оригинал, женщина, открыто глядевшая на вас с портрета, в действительности была поразительно хороша. Это оказался любительский снимок, на нем не значилось ни имени фотографа, ни названия ателье, что поставило в тупик сыщиков. В углу, на паспарту, изящным женским почерком наискосок стояло: «Semper Idem, semper fidelis»[114]. И

[114] notes: 114
Всегда та же, всегда верная (лат.).

эта надпись была ей под стать. Как многие помнят, лицо ее невозможно было забыть. Тогда же все ведущие газеты поместили удивительно схожие отчеты, написанные ловко и в сдержанном тоне; но это не привело ни к чему, лишь вызвало необузданное любопытство публики да послужило образцом для подражания бесчисленным мелким репортерам.

За неимением другого имени персонал клиники да и все прочие назвали спасенного самоубийцу Semper Idem. Так он и остался Semper Idem. Репортеры, сыщики и медсестры в бессилии отступились от него. Не могли добиться от него ни слова, хотя живой огонь в его глазах ясно говорил, что уши его слышат и сознание схватывает каждый вопрос.

Но не эта таинственная романтичность занимала доктора Бикнела, когда он задержался на работе, чтобы сказать своему пациенту несколько слов на прощание. Он, доктор, сотворил с этим человеком чудо, нечто поистине беспрецедентное в истории хирургии. Ему было все равно, кто этот человек, — скорее всего он никогда его больше не увидит; но, подобно художнику, взирающему на свое законченное произведение, он желал в последний раз взглянуть на творение

своих рук и ума.

Semper Idem продолжал хранить молчание. Казалось, он хотел поскорее уйти. Доктору тоже не удалось услышать от него ни слова, впрочем, доктора это не так уж и беспокоило. Он тщательно осмотрел горло выздоравливающего, не спеша оглядывая безобразный шрам с ласковой, почти отеческой нежностью. Зрелище было не особенно привлекательное. Воспаленный рубец обтекал горло, так что любому могло показаться, будто человека только что вынули из петли палача, и исчезал с обеих сторон за ушами, — впечатление было такое, словно этот огненный круг смыкается на затылке.

Продолжая упорно отмалчиваться, Semper Idem позволил осматривать себя с покорностью связанного льва и выказывал лишь одно желание — поскорее уйти от надзора общественного ока.

— Ладно, не буду вас больше задерживать, — сказал наконец доктор Бикнел, положив руку ему на плечо и даря последний взгляд творению рук своих. — Только разрешите дать вам один совет. В следующий раз запрокиньте голову вот так. Не прижимайте подбородок и не режьте себя, словно корову. Помните: точность и быстрота, точность и быстрота.

У Semper Idem сверкнули глаза в ответ на то, что он услышал, и через мгновение дверь клиники захлопнулась за ним.

День для доктора Бикнела выдался тяжелый; уже близился вечер, когда он закурил сигару, собираясь покинуть операционный стол, на который пострадавшие, казалось, так сами и просились. Но уже унесли последнего дряхлого старьевщика с переломанным плечом, — и первое кольцо ароматного дыма завилось над головою доктора, когда в открытое окно с улицы ворвались звуки сирены «Скорой помощи», вслед за которыми появились неизбежные носилки со зловещим грузом.

— Положите на стол, — приказал доктор, на секунду отвернувшись, чтобы положить в укромное место сигару. — Что там такое?

— Самоубийство — перерезано горло, — ответил один из санитаров. — Найден на Аллее Моргана. Кажется, надежды мало, сэр. Он уже почти мертв.

— А? Что ж, все равно поглядим.

Он склонился над человеком как раз в тот миг, когда в том чуть вспыхнула последняя искра жизни и угасла.

— Вот Semper Idem и вернулся, — сказал заве-

дующий.

— Да, — ответил доктор Бикнел. — И снова ушел. На этот раз никакой мазни. Чисто сработано, клянусь жизнью, сэр, чисто сработано. Мой совет выполнил в точности. Я здесь не нужен. Унесите в морг.

Доктор Бикнел достал свою сигару и снова зажег ее.

— Этот, — бросил он заведующему между двумя затяжками, — этот в уплату за того, которого вы проморгали прошлой ночью. Теперь мы квиты.

Нос для императора

На заре существования государства корейского, когда благодаря царящим в нем миру и тишине оно могло быть справедливо названо своим старинным именем «Чосен»[115], в нем жил государственный деятель по имени И Цин Хо. Это был человек способный и — кто знает? — быть может, умом не слабее заморских политиков. Но не в пример своим собратьям из других стран И Цин Хо был лишен свободы. Он сидел в тюрьме не за то, что по неосторожности присвоил общественные деньги, а за то, что — опять-таки по неосторожности — присвоил их слишком много. Неумеренность пагубна даже тогда, когда берешь взятки, поэтому проявленная И Цин Хо жадность и привела к тому, что он очутился за решеткой.

Десять тысяч связок монет задолжал он казне и теперь сидел в тюрьме, ожидая смертной казни. В его положении было одно преимущество: времени для размышлений у него хватало с избытком. И он сумел кое-что придумать. А потом позвал к

[115] notes: 115

«Чосен» (кор.) — «Страна утреннего спокойствия», одно из названий Кореи.

себе тюремщика и сказал:

— О достойный из достойнейших, ты видишь перед собой несчастного из несчастнейших! И все же я мог бы снова стать счастливым, если бы ты позволил мне уйти отсюда нынче ночью лишь на один короткий час. Тебе никогда не придется жалеть о сделанном тобой благодеянии, ибо я позабочусь о твоем продвижении по службе, и ты станешь в конце концов смотрителем всех тюрем в Чосене.

— Что-что? — переспросил тюремщик. — Что за глупости ты болтаешь! Отпустить тебя на один короткий час? А ведь ты ждешь лишь минуты, когда тебя поведут на плаху. И ты просишь человека, у которого на руках престарелая достопочтенная матушка, не говоря уж о жене и малолетних детях? Ну и негодяй!

— От Священного города до всех восьми побережий нет места, куда я мог бы спрятаться, — ответил И Цин Хо. — Я человек мудрый, но зачем в тюрьме мудрость? Будь я на свободе, я бы сумел отыскать деньги, чтобы вернуть свой долг государству. Мне известен нос, который выручит меня из беды.

— Нос?! — воскликнул тюремщик.

— Да, нос, — подтвердил И Цин Хо. — Необыкно-

венный нос, если можно так выразиться, самый необыкновенный нос.

Тюремщик воздел руки к небу.

— Ах, какой ты плут, какой плут! — засмеялся он. — И подумать только, что эта умнейшая голова должна вот-вот скатиться с плахи!

С этими словами он повернулся и вышел. Но в конце концов, будучи по природе своей человеком жалостливым и добросердечным, с наступлением ночи он позволил И Цин Хо уйти.

И Цин Хо направился прямо к правителю и, застав его одного, тотчас поднял ото сна.

— Да ведь это сам И Цин Хо, не будь я правитель! — вскричал тот. — Что ты делаешь здесь, в то время как должен сидеть в тюрьме, ожидая, когда тебя поведут на плаху?

— Прошу ваше превосходительство выслушать меня, — сказал И Цин Хо, присаживаясь на корточки у постели правителя и раскуривая свою трубку от жаровни. — От мертвеца мало пользы, и совершенно справедливо, что я, который уже должен считать себя покойником, бесполезен правительству, вам, ваше превосходительство, и самому себе. Но если ваше превосходительство даст мне, так сказать, свободу…

— Это невозможно! — закричал правитель.

— Ты приговорен к смерти!

— Вашему превосходительству хорошо известно, что, если я сумею возвратить казне десять тысяч связок монет, правительство помилует меня, — продолжал И Цин Хо. — Итак, как я уже сказал, если ваше превосходительство даст мне свободу на несколько дней, то я, человек сообразительный, сумею возвратить общественные деньги и буду в состоянии услужить вашему превосходительству. Я мог бы порядком услужить вашему превосходительству.

— А у тебя уже есть план, по которому ты намерен достать эти деньги?

— спросил правитель.

— Есть, — ответил И Цин Хо.

— Тогда приходи ко мне завтра ночью и принеси свой план. А сейчас я хочу спать, — сказал правитель, возобновив свой храп на том самом месте, где он прервал его.

На следующую ночь, снова отпросившись у тюремщика, И Цин Хо опять появился у постели правителя.

— Это ты, И Цин Хо? — спросил правитель. — Принес свой план?

— Да, ваше превосходительство, — ответил И Цин Хо, — план здесь.

— Говори! — приказал правитель.

— План здесь, — повторил И Цин Хо. — Он у меня в руках.

Правитель приподнялся с подушек и открыл глаза. И Цин Хо протянул ему листок бумаги. Правитель взял листок и поднес к свету.

— Какой-то нос и больше ничего, — сказал он.

— Немного курносый нос, ваше превосходительство, — заметил И Цин Хо.

— Да, пожалуй, как ты говоришь, немного курносый, — согласился правитель.

— К тому же это чрезвычайно мясистый нос, особенно на кончике, — продолжал И Цин Хо. — Ваше превосходительство может исходить всю землю вдоль и поперек, но такого носа не найдет.

— Своеобразный нос, — заметил правитель.

— И на нем бородавка, — добавил И Цин Хо.

— Весьма своеобразный нос, — повторил правитель. — Никогда не видел ничего подобного. Но что ты намерен делать с этим носом, И Цин Хо?

— Я разыщу его и с его помощью возвращу государству мой долг, ответил И Цин Хо. — Я найду его, чтобы отблагодарить ваше превосходительство и спасти собственную ничего не стоящую голову. А потому я прошу ваше превосходитель-

ство приложить печать к этому рисунку.

Правитель рассмеялся, но приложил государственную печать, и И Цин Хо удалился. Месяц и еще один день шел он по Королевской дороге, что ведет к побережью Восточного моря, и однажды ночью, войдя в богатый город, громко постучался в ворота большого дворца.

— Мне нужен сам хозяин этого дома, — заявил он перепуганным слугам. — Я приехал по делу императора.

Его тотчас же провели во внутренние покои дворца, где перед ним, протирая заспанные глаза, предстал поднятый с постели хозяин дома.

— Ты Пак Чун Чан — городской голова? — спросил И Цин Хо суровым голосом, не предвещавшим ничего хорошего. — Я явился к тебе по делу императора.

Пак Чун Чан задрожал. Он хорошо знал, что дело императора означает беду. Колени его затряслись, он чуть не упал на пол.

— Сейчас уже поздно, — заикнулся было он. — Не лучше ли будет…

— Дело императора не ждет! — загремел И Цин Хо. — Удалимся в уединенное место, да поскорей! Мы должны обсудить с тобой один важный вопрос. Он касается самого императора, — добавил

он еще более грозно.

Серебряная трубка Пак Чун Чана выпала из его обессилевших пальцев и покатилась по полу.

— Да будет тебе известно, — начал И Цин Хо, когда они остались наедине, — что наш государь тяжко болен. Придворный лекарь за то, что не сумел вылечить императора, был ни более ни менее как обезглавлен. Из всех восьми провинций съехались врачи лечить государя. Они долго совещались и постановили, что в качестве лекарства от этой болезни императору требуется не что иное, как человеческий нос, но нос необыкновенный, весьма своеобразный нос.

И тогда позвал меня к себе сам его превосходительство первый министр нашего императора. Он дал мне листок бумаги. На этом листке, скрепленном государственной печатью, был нарисован медиками восьми провинций не похожий на другие нос.

«Иди, — сказал его превосходительство первый министр двора его величества, — ищи этот нос, ибо положение государя становится очень серьезным. И где бы ты ни отыскал человека с таким носом на лице, сразу же отрежь этот нос и беги во дворец, ибо император должен быть здоров. Иди и не возвращайся до тех пор, пока поиски твои не

увенчаются успехом».

И вот я отправился в путь, — продолжал И Цин Хо. — Я обошел самые отдаленные уголки нашего государства. Я прошел по восьми дорогам, обыскал восемь провинций и проплыл моря, омывающие восемь побережий. И вот я здесь.

Вытащив из-за пояса бумагу, он долго и старательно разворачивал ее и затем величественным жестом сунул в лицо Пак Чун Чану. На листке бумаги был нарисован нос.

Пак Чун Чан уставился на него выпученными от страха глазами.

— Никогда не приходилось мне видеть такой нос… — начал он.

— На нем бородавка, — заметил И Цин Хо.

— Никогда не доводилось мне… — снова затянул Пак Чун Чан.

— Приведи сюда своего отца! — грозно перебил его И Цин Хо.

— Мой достопочтенный престарелый родитель спит, — ответил Пак Чун Чан.

— К чему притворяться? — спросил И Цин Хо. — Тебе известно, что это нос твоего отца. Приведи отца сюда, чтобы я мог отрезать его нос и уйти. Торопись, иначе я донесу на тебя.

— Пощади! — вскричал Пак Чун Чан, падая на

колени. — Это невозможно! Это невозможно! Ты не должен лишать моего отца носа. Он не может сойти в могилу, не имея носа. Он станет посмешищем и притчей во языцех, и все дни и ночи мои будут преисполнены скорби. О, сжалься! Доложи, что ты не смог отыскать такой нос. У тебя ведь тоже есть отец.

Пак Чун Чан обхватил колени И Цин Хо, и слезы его закапали на туфли пришельца.

— Мое сердце смягчается при виде твоих слез, — оказал И Цин Хо. — Я тоже питаю сыновнюю почтительность и уважение к родителям. Но... — Он остановился в нерешительности и затем добавил, как бы думая вслух: — Это цена моей головы.

— А во что оценивается твоя голова? — спросил Пак Чун Чан тоненьким, тихим голосом.

— Ничем не примечательная голова, — сказал И Цин Хо. — Удивительно непримечательная голова. Но такова уж моя глупость, я ценю ее не меньше, чем в сто тысяч связок монет.

— Да будет так, — согласился Пак Чун Чан, подымаясь на ноги.

— Мне понадобятся лошади, чтобы увезти деньги, — заметил И Цин Хо, — да и охрана, так как придется переправляться через горы. В стране

полно разбойников.

— В стране полно разбойников, — грустно подтвердил Пак Чун Чан. — Но да будет так, как ты желаешь, поскольку нос моего достопочтенного престарелого родителя остается на предназначенном ему месте.

— Не говори никому об этом, — предупредил его И Цин Хо, — иначе другой, более преданный государю слуга, чем я, будет послан сюда отрезать нос у твоего отца.

Итак, И Цин Хо с радостью в сердце и песней на устах двинулся в путь через горы, прислушиваясь к веселой мелодии, которую вызванивали колокольчики нагруженных деньгами пони.

Остается добавить очень немногое. И Цин Хо процветал из года в год. Благодаря его стараниям тюремщик стал смотрителем всех тюрем в Чосене. Правитель в дальнейшем явился в Священный город и занял пост первого министра при государе, а сам И Цин Хо сделался первым сотрапезником императора и сидел с ним за одним столом до конца своей веселой, сытной жизни. А вот Пак Чун Чан впал в меланхолию, и всякий раз, когда ему случалось взглянуть на столь дорогостоящий нос своего достопочтенного престарелого родителя, он печально покачивал

головой, и на глазах у него появлялись слезы.

«Френсис Спейт»

«Френсис Спейт» шел под одним крюйселем[116], когда все это произошло. Причину нужно искать не столько в случайной небрежности, сколько в расхлябанности всей команды, в которой не было ни одного хорошего моряка. А рулевой, ирландец из Лимерика, — тот совсем не бывал еще в море, если не считать перегонку плотов от квебекских судов к берегу в устье Шаннона. Он боялся огромных волн, которые поднимались из мрака за кормой и устремлялись на него; он не привык встречать их удары, стоя у штурвального колеса и не давая судну уклоняться от курса: чаще он сползал вниз, прячась от грозящего удара.

В три часа ночи его недостойная моряка трусость вызвала катастрофу. Увидев огромную волну, возвышающуюся над остальными, он пригнулся, отпустив ручки штурвального колеса. «Френсис Спейт» начал поворачиваться, а в это время волна подняла вверх его корму и со всей силой обрушилась на нее. В следующее мгнове-

---

[116] notes: 116

Крюйсель (или крюйс-марсель) — второй снизу прямой парус на задней мачте (бизань-мачте).

ние судно очутилось в ложбине между волнами, накренившись в подветренную сторону[117] так, что вода залила палубу вровень с комингсами люка[118]. А через наветренный борт[119] перекатывался вал за валом, ледяные потоки сметали с палубы все, что было на их пути.

Матросы, отупев от страха и замешательства, беспомощные и отчаявшиеся, вышли из повиновения; энергии у них хватало только на то, чтобы отказываться выполнять команды. Одни из них громко причитали, другие молча ежились, вцепившись в ванты[120] наветренного борта, третьи бормотали молитвы или выкрикивали гнусные проклятия, и ни капитан, ни помощник капитана не могли заставить их взяться за откачку воды или поставить остатки парусов. Меньше чем че-

---

[117] notes: 117

Подветренная сторона — сторона, противоположная той, откуда дует ветер.

[118] notes: 118

Комингсы люка — сплошное вертикальное ограждение люка в целях лучшей защиты его от заливания водой и предохранения людей от падения в трюм.

[119] notes: 119

Наветренный борт — борт судна, в который дует ветер.

[120] notes: 120

Ванты — снасти, удерживающие с боков мачты и их верхние продолжения — стеньги. Стоящие рядом тросы — вантины, образующие ванты, соединяются горизонтальными ступеньками — выбленками, по которым матросы поднимаются на мачты.

рез час судно легло набок, а эти трусы неуклюже вскарабкались на борт и повисли на снастях.

Момент, когда судно начало крениться, застиг помощника капитана в кормовой каюте, и он захлебнулся там так же, как и два матроса, которые нашли прибежище под полубаком[121].

Помощник капитана был самым опытным моряком на судне, и теперь капитан растерялся едва ли не больше, чем его матросы, проклиная их за бездеятельность, он сам не предпринимал ничего; рубить фок-[122] и грот-мачты[123] пришлось матросу из Белфаста по имени Маэни и юнге О'Брайену из Лимерики. Они сделали это, рискуя жизнью, стоя на круто наклонившейся палубе. В общем хаосе рухнула за борт и крюйс-стеньга[124]. «Френсис Спейт» выпрямился. Хорошо, что в трюмах был лес, иначе судно затонуло бы, так как вода уже поднялась до палубы. Грот-мачта

---

[121] notes: 121

Полубак — возвышенный уступ (надстройка) в носовой части судна. Под полубаком обычно располагались жилые помещения для матросов.

[122] notes: 122

Фок-мачта — передняя мачта на двух— и более мачтовом судне.

[123] notes: 123

Грот-мачта — на двух— и трехмачтовом судне вторая от носа мачта.

[124] notes: 124

Крюйс-стеньга — верхнее продолжение самой задней мачты (бизань-мачты) на трех— и более мачтовом судне.

все еще держалась на вантах у борта; она била по корпусу, как огромная, оглушительная кувалда, и каждый удар исторгал стоны у матросов.

Рассвет забрезжил над разъяренным океаном, и в холодном, утреннем, сером свете над волнами можно было разглядеть лишь корму «Френсиса Спейта», сломанную бизань-мачту[125] да изуродованные фальшборты.

Это происходило в Северной Атлантике в конце декабря; несчастные моряки были еле живы от холода, но укрыться им было негде. Волны, перекатываясь через судно, смывали налипшую на их тела соль и покрывали их новым налетом соли.

Вода в кормовой каюте еще стояла по колена, но тут по крайней мере не гулял пронзительный ветер. Здесь-то и собрались оставшиеся в живых; они стояли, прислонясь друг к другу и держась за что попало.

Напрасно Маэни старался заставить матросов нести поочередно вахту на марсе[126] бизань-мачты на случай встречи с каким-нибудь судном.

---

[125] notes: 125

Бизань-мачта — самая задняя мачта на трех— и более мачтовом судне.

[126] notes: 126

Марс — на парусных судах площадка, устраиваемая в месте соединения мачты с ее верхним продолжением — стеньгой — и служащая для разноса в сторону бортов судна вант, удерживающих последнюю.

Жгучий ветер был для них слишком сильным испытанием; они предпочитали оставаться в каюте. Юнга О'Брайен, которому исполнилось только пятнадцать лет, сменял Маэни на крохотной площадке, где было смертельно холодно. В три часа дня юнга закричал, что видит парус. Это известие заставило всех выйти из каюты; люди столпились на корме, облепили наветренные бизань-ванты[127], всматриваясь в незнакомое судно. Но его курс проходил далеко; когда оно исчезло за горизонтом, матросы вернулись в каюту, дрожа от холода, и ни один не вызвался сменить дозорного на марсе.

К концу второго дня Маэни и О'Брайен отказались от своих попыток, и с этого времени судно, отданное на волю волн, дрейфовало в штормовом океане без вахтенных.

В живых осталось тринадцать. Трое суток они стояли по колено в бурлящей воде, полузамерзшие, без еды; на всех было лишь три бутылки вина. Все продовольствие и пресная вода остались в затопленном трюме, и к ним не было никакого доступа. Шли дни, а еды не было ни крошки. Пресную воду в небольших количествах

---

[127] notes: 127

Бизань-ванты — снасти, удерживающие с боков заднюю мачту судна (бизань-мачту).

они набирали, подвешивая крышку от супового бачка под бизань-мачту. Но дождь шел редко, и им приходилось нелегко.

Во время дождя они, кроме того, пропитывали водой носовые платки, а потом выжимали их надо ртом или в свои башмаки. Когда шторм стихал, им удавалось собирать тряпками воду с тех частей палубы, куда не захлестывали волны, и таким способом увеличивать свои запасы воды. Но пищи у них не было вовсе и не было никакой возможности ее достать, хотя морские птицы часто пролетали над судном.

Шторм утих, и они, простояв на ногах четверо суток, смогли наконец лечь на обсохший каютный настил[128]. Но долгие часы, проведенные стоя по колено в морской воде, не прошли даром: на ногах стали образовываться язвы. Эти язвы нестерпимо болели. Малейшее прикосновение вызывало жестокую боль, а в этой тесноте ослабевшие люди то и дело задевали друг друга. Стоило кому-нибудь пройти по каюте или просто встать, как ему вслед неслись оскорбления, проклятия, стоны. В этом великом несчастье сильные стали притеснять слабых, безжалост-

---

[128] notes: 128
Каютный настил — палуба, пол в каюте.

но прогоняя их с сухих мест в сырость и холод. Особенно плохо приходилось юнге О'Брайену. Хотя, кроме него, было еще трое юнг, О'Брайену доставалось больше всех. Объяснить это можно только тем, что, обладая более сильным и властным характером, чем остальные юнги, он чаще других отстаивал свои права и восставал против мелких обид, которые матросы наносили юнгам.

Каждый раз, когда О'Брайен подходил к матросам в поисках места посуше, где можно было бы выспаться, или просто проходил вблизи, его отталкивали, пинали, лягали. В ответ он проклинал их тупой эгоизм, и вновь на него сыпались удары, пинки и брань. Все они попали в беду, но на его долю выпали адские мучения, и только пламя жизни, горевшее в нем необыкновенно ярко, давало ему силы переносить все.

С каждым днем матросы слабели, становились раздражительнее и злее. Это, в свою очередь, ухудшало их обращение с О'Брайеном и увеличивало его страдания. На семнадцатый день голод стал нестерпим; матросы собирались небольшими кучками и переговаривались вполголоса, время от времени бросая взгляды на О'Брайена. Ровно в полдень совещание подошло к концу. Капитан был выбран, чтобы высказать общее

мнение, все собрались на юте.

— Матросы, — начал капитан, — вот уже две недели и два дня, как мы голодаем, а кажется, что прошло два года и два месяца. Так мы долго не протянем. Голодать дальше — выше человеческих сил. Нужно решить вопрос: что лучше — умереть всем или умереть одному. Все мы стоим на краю могилы. Если один из нас умрет, остальные смогут жить, пока не встретится какое-нибудь судно. Что вы на это скажете?

— Это верно! — выкрикнул Майкл Биэйн, тот, что стоял у штурвала, когда «Френсис Спейт» потерял управление. Другие его поддержали.

— Пускай это будет юнга! — закричал Салливен, матрос из Тарберта, бросив многозначительный взгляд на О'Брайена:

— Я считаю, — продолжал капитан, — что если один из нас умрет ради остальных, он сделает доброе дело.

— Да, да! Доброе дело! — прервали его криками матросы.

— Я также считаю, что умереть лучше всего кому-то из юнг. У них нет семей, которые нужно кормить, и друзья их не будут оплакивать так, как нас

— наши жены и дети.

— Это верно. Правильно. Так и нужно сделать, — переговаривались матросы.

Но юнги громко протестовали против несправедливого решения.

— Помирать нам не хочется так же, как и всем вам, — заявил О'Брайен.

— И родных своих мы любим не меньше. А насчет жен и детишек — так ведь ты сам из Лимерика, Майкл Биэйн, и хорошо знаешь, что моя мать — вдова и, кроме меня, о ней позаботиться некому. Это нечестно. Пусть жребий тянут все — и матросы и юнги.

Один лишь Маэни выступил в защиту юнг, сказав, что по справедливости в жеребьевке все должны участвовать на равных правах. Салливен и капитан настаивали на том, чтобы жребий тянули только юнги. Начался спор; в разгар его Салливен обрушился на О'Брайена:

— Мы правильно сделаем, если покончим с тобой! Ты этого заслуживаешь. Мы с тобой расплатимся.

Он подскочил к О'Брайену, намереваясь схватить его и тут же с ним расправиться. Еще несколько матросов двинулись к юнге, протягивая к нему руки. О'Брайен отпрянул и, увертываясь от них, закричал, что согласен на то, чтобы

жребий тянули только юнги.

Капитан выбрал четыре щепки разной длины и подал их Салливену.

— Ты, может быть, думаешь, что жеребьевка будет нечестной, — сказал тот, ухмыляясь, О'Брайену. — Ну, что ж, тогда ты сам будешь назначать жребий.

О'Брайен согласился. Ему накрепко завязали носовым платком глаза, и он встал на колени, повернувшись спиной к Салливену.

— Умрет тот, кому ты назначишь самую короткую щепку, — сказал капитан.

Салливен поднял вверх одну из щепок. Короткая она или нет, догадаться было нельзя, потому что остальные щепки он прятал в руке.

— Чья это будет щепка? — спросил Салливен.

— Маленького Джонни Шиэна, — ответил О'Брайен.

Салливен отложил щепку в сторону. Окружающие не могли увидеть, была ли это та щепка, которая означала смерть. Салливен поднял другую щепку.

— Это чья щепка?

— Джорджа Бернса.

Щепка была отложена в сторону, как и первая; Салливен поднял третью.

— А эта для кого?

— Для меня, — сказал О'Брайен.

Быстрым движением Салливен смешал все щепки в кучу. Никто ничего не видел.

— Ну, так ты сам себе ее и выбрал, — провозгласил Салливен.

— Хорошо. Правильно, — вполголоса заговорили несколько матросов.

О'Брайен был очень спокоен. Он встал на ноги, снял повязку и огляделся.

— Где она? — спросил он. — Где короткая щепка? Та, что я выбрал для себя?

Капитан указал на четыре щепки, лежащие на палубе.

— Откуда вы знаете, что моя щепка короткая? — спросил О'Брайен. — Джонни Шиэн, ты ее видел?

Джонни Шиэн, самый младший из всех них, молчал.

— А ты видел ее? — Теперь О'Брайен спрашивал Маэни.

— Нет, я ее не видел.

Матросы тихо переговаривались и недовольно ворчали.

— Жеребьевка была правильной, — сказал Салливен. — Ты мог выиграть, но ты проиграл — вот и все.

— Честная жеребьевка, — поддержал его капитан. — Я сам видел. Короткая щепка досталась тебе, О'Брайен, и ты бы лучше готовился. Где кок? Горман, поди сюда. Эй, кто-нибудь, принесите крышку от бачка! Горман, выполняй свой долг, как подобает мужчине.

— Но как я это сделаю? — спросил кок. Он был подслеповат, нерешителен, с маленьким, безвольным подбородком.

— Это подлое убийство! — выкрикнул О'Брайен.

— Я не притронусь к нему, — заявил Маэни. — Я не съем ни куска.

— Тогда твоя доля достанется другим, не таким трусам, как ты, — насмешливо заметил Салливен. — Делай свое дело, кок!

— Убивать мальчишек не мое дело, — нерешительно запротестовал Горман.

— Если ты нам не хочешь помочь, обойдемся без тебя! — угрожающе заговорил Биэйн. — Кто-нибудь должен будет умереть — не он, так ты!

Джонни Шиэн заплакал. О'Брайен встревоженно прислушивался. Он был бледен. Губы его дергались, а по временам все его тело била дрожь.

— Я нанимался на должность кока, — произнес

Горман. — Был бы камбуз, я бы в камбузе и работал. Но марать руки убийством я не буду. Такого пункта в контракте нет. Я кок…

— И ты им останешься не больше минуты! — зловеще проговорил Салливен и в тот же миг схватил кока за голову и круто, сколько хватало сил, заломил ее назад.

— Где твой нож, Майк? Давай-ка его.

Почувствовав прикосновение стали, Горман захныкал:

— Я согласен, но только подержите юнгу!

Жалкий вид кока, казалось, каким-то образом придал сил О'Брайену.

— Все в порядке, Горман, можешь начинать, — сказал он. — Я-то ведь знаю, что ты не хочешь этого делать. Все в порядке, сэр (это в сторону капитана, чья рука крепко сдавила его плечо). Вам не нужно держать меня, сэр. Я буду стоять спокойно.

— Перестань галдеть и принеси крышку от бачка, — приказал Биэйн Джонни Шиэну, сопроводив эти слова затрещиной.

Юнга, еще совсем мальчик, принес крышку. Он шатался и падал, идя по палубе, так он ослабел от голода; по его щекам катились слезы. Биэйн взял у него крышку и снова ударил его.

О'Брайен снял куртку и оголил правую руку до плеча. Его нижняя губа все еще дрожала, но он держался изо всех сил. Горману дали уже раскрытый перочинный нож капитана.

— Маэни, если ты вернешься домой, расскажи моей матери, что со мной случилось, — попросил О'Брайен.

Маэни кивнул.

— Это — мерзкое, подлое убийство, — сказал он. — Не ждите добра от крови юнги. Попомните мои слова: проку от него никому из вас не будет.

— Приготовьтесь! — приказал капитан. — Ты, Салливен, держи крышку — вот так, вплотную. Не пролей ничего. Это дорогая штука.

Горман начал. Нож был тупой, а он был вконец измотан. Кроме того, его рука тряслась так неистово, что он чуть не уронил нож. Юнги стояли поодаль, плача и всхлипывая. За исключением Маэни, все матросы окружили жертву, вытягивая шеи, чтобы лучше видеть.

— Будь мужчиной, Горман! — предостерегающе сказал капитан.

Несчастный кок с отчаянной решимостью пилил лезвием кисть О'Брайена. Вот уже перерезаны вены. Салливен подставил крышку от бачка. Разрезы вены широко зияли, но из них не

лился ярко-красный поток. Крови не было вовсе. Вены были пустыми, иссякшими.

Никто не проронил ни слова. Мрачные и безмолвные фигуры раскачивались в едином ритме с поднимающейся и оседающей вниз палубой. Никто не мог отвести глаз от этого непостижимого и чудовищного зрелища: пустые, обескровленные вены человека, который еще был жив.

— Это — предостережение свыше! — закричал Маэни. — Оставьте юнгу в покое. Попомните мои слова. Его смерть не поможет вам.

— Попробуй у локтя, у левого локтя, он ближе к сердцу, — невнятно, охрипшим, изменившимся голосом заговорил капитан.

— Дай мне нож, — сурово сказал О'Брайен и взял его из руки кока. — Я не могу смотреть, как ты мучаешь меня.

Он совершенно спокойно надрезал вену у левого локтя, но и ему не удалось вызвать кровотечение.

— Все это зазря, — сказал Салливен. — Надо пустить ему кровь из горла, чтобы он не мучился.

Для юнги это было слишком.

— Не режьте горло! — закричал он. — В горле тоже не будет крови. Дайте мне немного отдохнуть. Это оттого, что я замерз и ослабел. Позвольте

мне лечь и поспать немного. Тогда я согреюсь, и кровь потечет.

— Бесполезно, — возразил Салливен. — Как будто ты сейчас сможешь спать! Ты и не заснешь и не согреешься. Посмотри на себя. Тебя же бьет озноб.

— Однажды в Лимерике я заболел, — торопливо заговорил О'Брайен, — и доктор не смог отворить мне кровь. Но после того, как я поспал несколько часов и согрелся в постели, кровь потекла свободно. Я вам говорю святую правду, не убивайте меня.

— Его вены вскрыты, — сказал капитан. — Нет смысла оставлять его в покое, когда он мучается. Давайте кончать с этим сейчас же.

Матросы бросились к О'Брайену, но он отскочил в сторону.

— Я вас сживу со света! — пронзительно закричал он. — Убери руки, Салливен! Я еще вернусь! Я буду вам являться — во сне и наяву я буду вам являться, пока вы не подохнете!

— Это позор! — заорал Биэйн. — Если бы короткая щепка досталась мне, я бы дал ребятам отрубить себе голову и умер спокойно.

Салливен прыгнул в круг и схватил несчастного юнгу за волосы. За Салливеном ринулись

остальные матросы. О'Брайен отчаянно отбивался руками и ногами, кусал тех, кто его держал. Маленький Джонни Шиэн неистово завопил, но матросы не обращали на него никакого внимания. О'Брайена повалили навзничь на палубу, а крышку от бачка подставили под голову. Гормана вытолкнули вперед. Кто-то отстегнул от пояса большой нож и всунул его в руку Гормана.

— Делай свое дело! — закричали матросы. — Живее!

Кок склонился над юнгой, но, встретив его взгляд, дрогнул.

— Ну же! — заорал Биэйи. — Или я убью тебя собственными руками.

На кока посыпался град ругательств и угроз. Но он все еще не решался.

— Может быть, в его жилах окажется больше крови, чем у О'Брайена, — многозначительно произнес Салливен.

Биэйн схватил Гормана за волосы, заломил его голову назад и оттащил в сторону, а в это время Салливен попытался отнять у него нож. Но Горман отчаянно сжимал рукоять ножа.

— Пустите, я сам все сделаю! — визжал он исступленно. — Не режьте мне горло! Я сделаю это!

Горман, не сопротивляясь, позволил снова

вытолкнуть себя вперед. Взглянув на юнгу, он закрыл глаза и стал бормотать молитву. Потом, не открывая глаз, он совершил то, что выпало на его долю. О'Брайен издал пронзительный крик, быстро сменившийся булькающим всхлипыванием.

Матросы держали его до тех пор, пока агония не прекратилась. Потом тело опустили на палубу. Матросы были возбуждены и полны нетерпения и пыла; с проклятиями и угрозами они заставляли Гормана быстрее приготовить им еду.

— Довольно, проклятые убийцы, — негромко сказал Маэни. — Довольно, говорю я вам. Теперь вам ничего не нужно. Я ведь говорил: кровь этого парня не принесет вам пользы. Вылей ее за борт, Биэйн. Вылей ее за борт.

Биэйн, все еще держа крышку в обеих руках, взглянул в наветренную сторону. Затем он пошел к поручням и бросил крышку с ее содержимым в море.

На расстоянии меньше мили к ним шел корабль под всеми парусами. Матросы были так поглощены тем, что происходило на палубе, что никто не поднял глаз, чтобы взглянуть на море. Теперь вся команда следила за тем, как приближался корабль. Его обитый светлой медью

форштевень[129] рассекал воду, словно золотой нож, большие нижние паруса лениво полоскались, когда волна опускала корабль, а парящие в вышине полотняные ярусы верхних парусов салютовали и кланялись при каждом величавом колебании океана. Никто не промолвил ни слова.

Когда корабль стал в кабельтове от «Френсиса Спейта», капитан пришел в себя и приказал набросить брезент на тело О'Брайена. С незнакомого корабля была спущена шлюпка, которая направилась к «Френсису Спейту». Джон Горман засмеялся. Вначале он смеялся тихо, но с каждым ударом весел его смех становился все громче. Этот исступленный смех помешанного встретил спасательную шлюпку, когда она подошла к борту и старший помощник капитана поднялся на палубу.

[129] notes: 129

Форштевень — вертикальный брус, образующий острие носа судна и соединенный внизу с килем.

Любопытный отрывок

Капиталист, или, вернее, олигарх-промышленник[130], Роджер Вандеруотер, о котором будет речь в этом повествовании, является, как установлено, девятым из рода Вандеруотеров, заправлявших хлопчатобумажной промышленностью в Южных Штатах в течение нескольких сотен лет.

Этот Роджер Вандеруотер процветал в последние десятилетия двадцать шестого века христианской эры, то есть в пятый век ужасающей олигархии промышленников, созданной на развалинах прежней Республики.

У нас достаточно данных утверждать, что нижеследующее повествование не было начертано ранее двадцать девятого столетия. Не только закон запрещал писать или печатать подобные вещи в течение этого периода, но и рабочий класс был настолько неграмотен, что лишь в редких случаях члены его умели читать и писать. То было мрачное царство главного надсмотрщика, на языке которого огромное большинство народа

---

[130] notes: 130
Олигарх — член олигархии, правления немногих.

обозначалось кличкой «стадных животных». На грамотность косились и старались искоренить ее. Из законодательства того времени вспоминается страшный закон, считавший уголовным преступлением для каждого (независимо от класса) обучение рабочего хотя бы азбуке. Такое узкое сосредоточение просвещения в одном только правящем классе было необходимо, чтобы этот класс мог оставаться у власти.

Одним из результатов этого мероприятия было создание типа профессионального сказителя. Эти сказители оплачивались олигархами, и рассказываемые ими сказки были легендарного, мифического, романтического — словом, безобидного содержания. Но дух свободы никогда иссякнуть не мог, и агитаторы под видом сказителей проповедовали восстание в среде рабов. Нижеследующая повесть была запрещена олигархами. Доказательством служит протокол уголовного полицейского суда в Эшбери. Из этого протокола мы видим, что 27 ноября 2734 года некто Джон Терней, признанный виновным в рассказывании этой истории в рабочем трактире, был присужден к пяти годам каторжных работ в рудниках Аризонской пустыни. *Примечание*

издателя.[131]

* *

Послушайте, братья, я расскажу вам историю о руке. То была рука Тома Диксона; а Том Диксон был первоклассный ткач на фабрике этого адского пса, хозяина Роджера Вандеруотера. Эта фабрика носила название «Дно Ада»… среди рабов, на ней служивших; и я думаю, они знали, что говорили. Она была расположена в Кингсбери, на конце города, противоположном тому, где высился летний дворец Вандеруотера. Вы не знаете, где находится Кингсбери? Много есть вещей, о братья, которых вы не знаете, и это очень грустно.

Вы — рабы именно потому, что не знаете. Когда я расскажу вам эту историю, я охотно организую у вас курсы изучения писанной и печатной речи. Наши хозяева читают и пишут; у них много книг. Вот почему они — наши хозяева и живут во дворцах и не работают. Когда рабочие — все рабочие — научатся читать и писать, они станут сильными. Тогда они используют свои силы для того, чтобы разорвать оковы, и не будет больше ни господ, ни рабов.

---

[131] notes: 131
Фактически — примечание автора.

Кингсбери, братья мои, находится в древнем штате Алабама. В течение трехсот лет Вандеруотеры владеют Кингсбери и его загонами для рабов и фабриками, а также загонами для рабов и фабриками во многих других городах Штатов. Вы слышали о Вандеруотерах. Кто о них не слышал? Но позвольте мне рассказать вам вещи, о которых вы ничего не знаете. Первый Вандеруотер был рабом, как мы с вами. Понимаете? Он был рабом; это было более трехсот лет тому назад. Его отец был машинистом в загоне Александра Бюрелля, а мать его была прачкой в этом же загоне. Это несомненный факт. Я говорю вам правду. Это — история. Она дословно напечатана в исторических книгах наших хозяев, которых вы не можете прочесть, ибо хозяева запрещают вам учиться читать. Вы легко можете понять, почему они не позволяют вам учиться читать, раз в книгах написаны такие вещи. Они это знают; они очень мудры. Если бы вы читали такие вещи, вы ведь могли бы потерять уважение к вашим господам, а это было бы очень опасно… для ваших господ. Но я это знаю, ибо я умею читать; и вот я рассказываю вам то, что я собственными глазами прочел в исторических книгах наших хозяев.

Имя первого Вандеруотера было не «Вандеруо-

тер»; он звался Вэндж, Билль Вэндж, сын Иергиса Вэнджа, машиниста, и Лауры Карнли, прачки. Молодой Билль Вэндж был силен. Он мог бы остаться среди рабов и вывести их на свободу. Вместо этого, он служил хозяевам и получал хорошее вознаграждение. Он начал свою службу еще малым ребенком — в качестве шпиона в своем родном загоне. Известно, что он донес на собственного отца за крамольные речи. Это — факт. Я собственными глазами читал это в протоколах. Он был слишком хорошим рабом для рабского загона. Александр Бюррель взял его оттуда, и он обучился читать и писать. Его обучили многим вещам, и он поступил на тайную правительственную службу. Разумеется, он уже не носил рабской одежды, кроме тех случаев, когда переодевался, чтобы выведать секреты и заговоры рабов. Это он — всего восемнадцати лет от роду — предал великого героя и товарища Ральфа Джэкобуса и обрек его суду и казни на электрическом стуле. Конечно, все вы слышали священное имя Ральфа Джэкобуса, все вы знаете о его казни на электрическом стуле, но для вас является новостью, что погублен он был первым Вандеруотером, имя коего было — Вэндж. Я знаю. Я читал это в книгах. В книгах есть много таких

интересных вещей.

И вот, после того как Ральф Джэкобус умер позорной смертью, имя Билля Вэнджа стало подвергаться тем многочисленным изменениям, которые ему суждено было претерпеть. Его знали повсюду под кличкой «Пройдоха-Вэндж». Он сильно выдвинулся на секретной службе, и его щедро награждали; но все же он еще не был членом класса господ. Мужчины соглашались на его вступление; но женщины господствующего класса отказались допустить Пройдоху-Вэнджа в свою среду.

Пройдоха-Вэндж поспевал всюду, проникал во все замыслы и планы, доводя эти замыслы и планы до провала, а вождей до электрического стула. В 2255 году ему переменили имя. Это был год Великого Восстания. В местности, лежащей на запад от Скалистых гор, семнадцать миллионов рабов храбро сражались, чтобы свергнуть своих господ. Кто знает, если бы не было в живых Пройдохи-Вэнджа, они бы, может быть, восторжествовали. Но, увы, Пройдоха-Вэндж был жив. Хозяева вручили ему командование. В течение восьми месяцев борьбы было убито миллион триста пятнадцать тысяч рабов. Вэндж, Билль Вэндж, Пройдоха-Вэндж убил их и сломил Вели-

кое Восстание. Его щедро вознаградили, и руки его были так красны от крови рабов, что с тех пор его стали называть «Кровавым Вэнджем».

Кровавый Вэндж дожил до преклонного возраста и все время — до самого конца своих дней — он участвовал в Совете господ; но самого его господином не сделали; он, видите ли, увидел свет в рабском загоне. Но как хорошо его вознаградили! У него была дюжина дворцов, в которых он мог жить. Не будучи господином, он владел тысячами рабов. У него была на море яхта — настоящий плавучий дворец; ему принадлежал целый остров, где десять тысяч рабов работали на его кофейной плантации. Но на старости лет он был одинок — ненавидимый своими братьями-рабами и презираемый теми, которым он служил и которые не захотели стать его братьями. Господа презирали его, ибо он родился рабом.

Но иначе обстояло дело с его детьми. Они не родились в рабском загоне, и специальным приказом Верховного Олигарха были причислены к государственному классу. И тогда-то имя Вэндж исчезло со страниц истории. Оно превратилось в Вандеруотер, а Джэсон Вэндж, сын Кровавого Вэнджа, в Джэсона Вандеруотера — основателя рода Вандеруотеров.

А теперь, братья, я возвращаюсь к началу своего рассказа — к истории о руке Тома Диксона. Фабрика Роджера Вандеруотера в Кингсбери по заслугам была названа «Дном Ада», но люди, там работавшие, были, как вы сейчас увидите, настоящими людьми. Там же работали женщины и дети — маленькие дети. Все работавшие там пользовались установленными правами перед законом, но… только перед законом, ибо многих из этих прав лишали их двое безжалостных надсмотрщиков «Дна Ада» — Джозеф Клэнси и Адольф Мюнстер.

Это — длинная история, но я не стану рассказывать ее вам целиком. Я расскажу только о руке. Было такое правило, что часть нищенской оплаты работ ежемесячно удерживалась и отчислялась в некий фонд. Этот фонд предназначался для помощи злополучным товарищам, потерпевшим от несчастных случаев или заболевшим. Как вы сами знаете, такие фонды находятся в ведении надсмотрщиков. Таков закон. Потому-то фонд в «Дне Ада» находился в ведении этих двух, проклятой памяти, надсмотрщиков.

Так вот Клэнси и Мюнстер пользовались этим фондом для личных надобностей. Когда с отдельными рабочими приключались несчастья, их

товарищи, по обычаю, решали выдать им субсидии из фонда; но надсмотрщики отказывались выплачивать эти субсидии. Что могли поделать рабы? У них были права — по закону; но доступа к закону не было. Те, которые жаловались на надсмотрщиков, подвергались наказанию. Вы сами знаете, в какую форму облекается такое наказание: штраф за недоброкачественную работу, которая на самом деле — доброкачественна; перегружение отчетностью; плохое обращение с женой и детьми рабочего; назначение его к плохим станкам, за которыми — работай, как хочешь, все равно умрешь с голоду.

Однажды рабы «Дна» запротестовали перед Вандеруотером. Это было в то время года, когда он проводил несколько месяцев в Кингсбери. Один из рабов умел писать; мать его была грамотна — случайно, и она втайне его обучила, так же, как ее мать обучила ее. Итак, этот раб написал коллективное заявление, содержавшее все их жалобы, и все рабы подписались знаками. Снабдив конверт подобающими печатями, они отправили его Вандеруотеру. А Роджер Вандеруотер взял да и передал заявление обоим надсмотрщикам. Клэнси и Мюнстер взбесились. Ночью они напустили стражу на загон. Стража была вооружена рукоят-

ками от заступов. И на следующий день только половина рабов была в состоянии работать на «Дне». Их хорошо отколотили. Раб, умевший писать, был так избит, что прожил только три месяца. Но перед смертью он написал еще раз, и вы сейчас услышите, с какой целью.

Четыре или пять недель спустя некоему рабу, по имени Том Диксон оторвало на «Дне» руку приводным ремнем. Его товарищи, по обыкновению, постановили дать ему субсидию из средств фонда; а Клэнси и Мюнстер — тоже по обыкновению — отказались ее выплатить. Раб, умевший писать, находившийся тогда как раз при смерти, снова написал перечень их жалоб. Этот документ вложили между пальцев руки, оторванной от тела Тома Диксона.

Случилось так, что Роджер Вандеруотер лежал больной в своем дворце на противоположном конце Кингсбери. Это была не та безжалостная болезнь, которая сбивает с ног нас с вами, братья мои, а просто маленькое разлитие желчи или, может быть, сильная головная боль, оттого, что он слишком плотно поел или выпил лишнее. Но для него этого было достаточно, ибо он был нежен и мягкотел от слишком тонкого воспитания. Такие люди, всю жизнь завернутые в вату, чрезвычайно

нежны и мягкотелы. Верьте мне, братья, Роджер Вандеруотер так же страдал — или думал, что страдал, — от головной боли, как Том Диксон от своей руки, оторванной у самого плеча.

Роджер Вандеруотер был большим любителем сельского хозяйства, и на своей ферме, в трех милях от Кингсбери, ему удалось вырастить новый вид клубники. Он очень гордился своей клубникой и охотно поехал бы посмотреть на нее и сорвать первые зрелые ягоды; но ему мешала болезнь. Из-за этой болезни он приказал старому рабу с фермы лично принести ему корзину с ягодами.

Раб, умевший писать, почти умирающий от избиения, сказал, что он понесет руку Тома Диксона. Он сказал также, что все равно должен умереть и что неважно, если он умрет немного раньше.

Итак, пятеро рабов в ту ночь украдкой вышли из загона после последнего обхода стражи. Одним из них был тот, что умел писать. Они пролежали в валежнике на краю проезжей дороги до самого утра, пока старый раб с фермы не подъехал в повозке, везя драгоценные ягоды для своего хозяина. Так как раб с фермы был стар и страдал ревматизмом, а раб, умевший писать, был искалечен от побоев, — то походка их была почти

одинакова. Раб, умевший писать, переоделся в платье старика, надвинул на глаза его широкополую шляпу и поехал в город.

Тем временем Роджер Вандеруотер лежал, в ожидании ягод, в своей великолепной опочивальне. Там были такие чудеса, которые, наверное, ослепили бы глаза вам или мне, никогда ничего подобного не видавшим. Раб, умевший писать, после рассказывал, что это было нечто вроде райского видения. Почему бы и не так? Труд и жизнь десяти тысяч рабов были отданы на создание этой спальни, в то время как сами они валялись в гнусных логовищах, как дикие звери. Раб, умевший писать, внес туда ягоды на серебряном подносе. Роджер Вандеруотер хотел лично поговорить с ним о клубнике.

Раб, умевший писать, протащил свое умирающее тело через чудесную комнату и опустился на колени у ложа Вандеруотера, держа перед собой поднос. Большие зеленые листья сверху покрывали поднос. Камердинер, стоявший рядом, снял их.

И Роджер Вандеруотер, приподнявшись на локте, увидел. Он увидел свежие, дивные ягоды, лежавшие подобно драгоценным камням, а среди них лежала рука Тома Диксона, такая же, какой

она была оторвана от тела, но, разумеется, братья мои, хорошо вымытая и резко отличавшаяся белизной от кроваво-красных ягод. И тут же он увидел зажатое в окостенелых мертвых пальцах прошение.

— Возьмите и прочтите, — сказал раб, умевший писать. И в тот же миг, когда хозяин взял прошение, камердинер, застывший вначале от изумления, ударил коленопреклоненного раба по зубам.

— Бросьте его живьем на съедение собакам, — закричал он в великом гневе, — живьем на съедение собакам!

Но Роджер Вандеруотер, забыв про головную боль, приказал всем замолчать и продолжал читать прошение. И пока он читал, царило молчание; все стояли на ногах: сердитый камердинер, дворцовая стража и среди них раб с окровавленным ртом, все еще державший руку Тома Диксона. А когда Роджер Вандеруотер дочитал, он повернулся к рабу со словами:

— Если в этой бумаге есть хоть крупица лжи, — ты пожалеешь о том, что родился на свет.

А раб сказал:

— Вы сделали со мной самое худшее, что могли сделать. Я умираю. Через неделю я буду мертв.

Поэтому мне все равно — убьете вы меня теперь или нет…

— Куда ты денешь это? — спросил хозяин, указывая на руку, а раб ответил:

— Я отнесу ее назад в загон, чтобы предать погребению. Том Диксон был мне другом. Мы работали бок о бок у станков.

Мне немного осталось рассказать вам, братья. Раб и рука были отвезены на телеге обратно в загон. Никто из рабов не был наказан за то, что они сделали. Напротив, Роджер Вандеруотер приказал произвести расследование и покарал обоих надсмотрщиков — Джозефа Клэнси и Адольфа Мюнстера. Их имущество было отобрано, обоим выжгли клейма на лбу, отрезали правые руки и выпустили на большую дорогу, чтобы они до смерти скитались, прося подаяние.

После этого фонд некоторое время функционировал… только некоторое время, братья мои. Ибо после Роджера Вандеруотера воцарился его сын Альберт, который был жестоким хозяином и наполовину сумасшедшим.

А весть, которую я несу вам, братья, заключается в том, что близятся времена, когда все на свете будет хорошо, и не будет ни господ, ни рабов. И вы должны приготовиться к этим хорошим

временам, выучиться читать. Есть сила в печатном слове. И здесь я, чтобы научить вас читать; а когда я пойду своей дорогой, — найдутся другие, которые позаботятся о том, чтобы вы доставали книги — исторические книги. Из них вы узнаете все о своих господах и научитесь быть сильными, как они.

Примечание издателя: Извлечено из «Исторических фрагментов и очерков», впервые изданных в 15 томах в 4427 г. и теперь, по истечении двухсот лет, ввиду исторической ценности переизданных Национальным Комитетом Исторических Изысканий.

Кусок мяса

Последним кусочком хлеба Том Кинг подобрал последнюю каплю мучного соуса, начисто вытер им тарелку и долго, сосредоточенно жевал его. Из-за стола он встал с гнетущим ощущением голода. А ведь только он один и поел. Обоих ребятишек уложили спать пораньше в соседней комнате в надежде, что во сне они забудут о пустых желудках. Жена не притронулась к еде и сидела молча, озабоченно наблюдая за мужем. Это была худая, изможденная женщина, дочь рабочего, сохранившая еще остатки былой привлекательности. Муку для соуса она заняла у соседей. Последние два полпенни ушли на покупку хлеба.

Том Кинг присел у окна на расшатанный стул, затрещавший под его тяжестью, и, машинально сунув в рот трубку, полез в боковой карман. Отсутствие табака вернуло его к действительности, и, обругав себя за беспамятность, он отложил трубку в сторону. Движения его были медленны, почти неуклюжи-казалось, он изнемогает под тяжестью собственных мускулов. Это был человек весьма внушительного вида и внушительного сложения; наружность его не слишком

располагала к себе. Грубая поношенная одежда висела на нем мешком. Ветхие башмаки были подбиты слишком тяжелыми подметками, тоже отслужившими свой век. Ворот дешевой, двухшиллинговой рубашки давно обтрепался, а покрывавшие ее пятна уже не поддавались чистке.

Профессию Тома Кинга можно было безошибочно определить по его лицутипичному лицу боксера. Долгие годы работы на ринге наложили на него свой отпечаток, придав ему какую-то настороженность зверя, готового к борьбе. Это угрюмое лицо было чисто выбрито, словно для того, чтобы все его черты выступили как можно резче. Бесформенные губы складывались в крайне жесткую линию, и рот был похож на шрам. Тяжелая, массивная нижняя челюсть выдавалась вперед. Глаза под набрякшими веками и кустистыми бровями двигались медленно и казались почти лишенными выражения. Да, несомненно, было что-то звериное в наружности Кинга и особенно— в его глазах-сонных с виду глазах льва, готового к схватке. Низкий лоб был покат, а под коротко остриженными волосами отчетливо проступал каждый бугор на обезображенной голове. Нос, дважды сломанный,

исковерканный бессчетными ударами на все лады, и оттопыренное, всегда распухшее ухо, изуродованное так, что оно стало вдвое больше своей нормальной величины, тоже отнюдь его не красили, а уже проступавшая на недавно выбритых щеках борода придавала коже синеватый оттенок.

Словом, у Тома Кинга была внешность человека, которого можно испугаться гденибудь в темном переулке или в каком-либо уединенном месте. А между тем он вовсе не был преступником и никогда ничего преступного не совершал. Иногда побранитсяэто дело обычное в его среде, а вообще-то он никому не делал вреда. Никто никогда не видел, чтобы он затеял ссору. Том Кинг был боксер-профессионал и всю свою боевую свирепость сохранял для профессиональных выступлений. Вне ринга он был флегматичен, покладист, а в молодые годы, когда у него водились деньги, раздавал их щедрой рукой, не заботясь о себе. Он не страдал злопамятностью и имел мало врагов. Бой на арене являлся для него средством к жизни. На ринге он наносил удары, чтобы причинить повреждения, чтоб изувечить противника, уничтожить его, но делал это без злобы. Для него это было обыкновенным деловым

занятием. Зрители собирались и платили деньги, чтобы посмотреть, как противники нокаутируют друг друга.

Победителю доставалась большая часть денежного приза. Когда Том Кинг встретился двадцать лет назад с Улумулу Гуджером, он знал, что нижняя челюсть Гуджера, сломанная в ньюкаслском состязании, всего месяца четыре как зажила. И он метил именно в эту челюсть и опять сломал ее на девятом раунде, но не потому, что питал к Гуджеру вражду, а потому, что это был наиболее верный способ вывести Гуджера из строя и получить большую часть приза. И Гуджер не обозлился на него. Таков был закон игры, оба они знали его и следовали ему.

Том Кинг был несловоохотлив. Сидя у окошка, он молчал, угрюмо разглядывая свои руки. На тыльной стороне кистей выступали толстые, вздутые вены, а расплющенные и изуродованные суставы пальцев свидетельствовали о службе, которую они несли. Том Кинг никогда не слыхал, что жизнь человека-это жизнь его артерий, но что значат эти толстые, набухшие вены, было ему очень хорошо известно. Его сердце гнало по ним слишком много крови под слишком высоким давлением. Они уже не справлялись со своей

работой. Задавая им непосильную задачу, он заставил их потерять эластичность, а вместе с этим утратил и свою былую выносливость. Теперь он легко уставал и уже не мог двадцать бешеных раундов биться, биться, биться, как одержимый, от гонга до гонга, то прижавшись к канатам, то сам отбрасывая к канатам противника и с каждым раундом усиливая ярость своих атак, чтобы в двадцатом, последнем, раунде, когда весь зал, вскочив, ревет, собрать воедино всю свою стремительность и всю мощь и нападать, бить, увертываться, снова и снова обрушивая на противника град ударов и получая такой же град ударов в ответ, в то время как сердце безотказно гонит по упругим венам бурно приливающую кровь. Вздувавшиеся во время боя вены потом всегда опадали, но не совсем, — каждый раз, незаметно для глаза, они становились чуточку шире прежнего.

Том Кинг смотрел на свои вены и на искалеченные суставы пальцев, и на мгновение ему припомнилось, какой юношески-безупречной формой обладали эти руки до того, как он впервые размозжил одну из костяшек о голову Бенни Джонса, известного под кличкой «Валлийское Страшилище». Голод снова заговорил в нем.

— Эх! Неужели нельзя достать кусок мяса!-пробормотал он, сжимая свои огромные кулаки, и тихонько выругался.

— Я пробовала, просила и у Берка и у Соулея…— виновато сказала жена.

— Не дали?-спросил он.

— Ни на полпенни. Берк сказал…— Она запнулась.

— Договаривай! Что он сказал?

— Да что мы и так уж много забрали у него продуктов в долг и что Сэндл, наверное, задаст тебе нынче трепку.

Том Кинг хмыкнул, но промолчал. Ему вспомнился вдруг бультерьер, которого он держал, когда был помоложе, и закармливал до отвала мясом. Тогда Берк поверил бы ему, Кингу, тысячу бифштексов в долг. Но времена изменились. Том Кинг старел, а старые боксеры, выступающие в состязаниях во второразрядных клубах, не могут рассчитывать на сколько-нибудь порядочный кредит у лавочников.

Том Кинг встал в это утро с тоской по куску говядины, и тоска эта не утихала. К тому же он знал, что недостаточно натренирован для предстоящей борьбы. Этот год в Австралии выдался засушливый, дела у всех шли туго, и даже случай-

ную работу нелегко было подыскать. Партнера для тренировки у Тома не было, питался он плохо, редко ел досыта. Иногда он по нескольку дней работал чернорабочим, если удавалось устроиться, а по утрам обегал кругом весь парк Домен для тренировки ног. Но трудно тренироваться без партнера, да еще когда у тебя жена и ребятишки, которых надо прокормить. Предстоящее состязание с Сэндлом не слишком-то подняло его кредит у лавочников. Секретарь Гейети-клуба выдал ему вперед три фунта-ту часть приза, которая причитается побежденному, — но дать что-либо сверх этого отказался. Время от времени Кингу удавалось перехватить несколько шиллингов у старых приятелей; они одолжили бы ему и больше, если бы не засуха, из-за которой им самим приходилось туго. Нет, что уж правду таить,-он плохо подготовлен к состязанию. Следовало бы лучше питаться и не иметь столько забот. К тому же в сорок лет труднее входить в форму, чем в двадцать.

— Который час, Лиззи? Жена побежала к соседям через площадку узнать время и тотчас вернулась.

— Без четверти восемь.

— Первый бой начнется через несколько ми-

нут,-сказал он.-Это только пробный. Потом пойдет бой в четыре раунда между Диллером Уэллсом и Гридли, потом в десять раундов-между Скайлайтом и каким-то матросом. Мне выступать не раньше чем через час. Посидев молча еще минут десять, он поднялся.

— Правду сказать, Лиззи, у меня не было настоящей тренировки. Взяв шляпу, Кинг направился к двери. Он не поцеловал жену,-он никогда не целовал ее на прощание, — но в этот вечер она сама решилась его поцеловать и, обхватив руками за шею, заставила нагнуться к ней; она выглядела совсем маленькой рядом со своим громадиной мужем.

— Желаю удачи. Том,-шепнула она.-Ты должен его одолеть.

— Да, я должен его одолеть, — повторил он. — Тут и говорить не о чем. Я должен его одолеть, вот и все. Он засмеялся с притворной веселостью, а жена еще теснее прижалась к нему. Поверх ее плеча он окинул взглядом убогую комнату. Здесь было все, чем он обладал в этом мире: комната, за которую давно не плачено, жена и ребятишки. И он уходил в ночь, покидал их, чтобы добыть пропитание для своей подруги и детенышей, но не так, как добывает его современный рабочий,

направляясь на однообразную, изнурительную работу к своему станку, а древним, царственно-первобытным, звериным способом-в бою.

— Я должен его одолеть, — повторил он, на этот раз с ноткой отчаяния в голосе. — Если побью, получу тридцать фунтов, расплачусь со всеми долгами, и еще куча денег останется. Не побью-не получу ничего, ни единого пенни, даже на трамвай до дому не получу. Ну, прощай, старуха. Если побью, вернусь прямо домой.

— Я не лягу, буду дожидаться!-крикнула она ему вдогонку, выглянув на лестницу.

До Гейети-клуба было добрых две мили, и, шагая по улице, Том Кинг вспомнил, как в былые, счастливые дни он, чемпион тяжелого веса Нового Южного Уэлса, ездил на состязания в кебе, и кто-нибудь из тех, кто ставил на него тогда большие суммы, сопровождал его и платил за кеб. И вот теперь Томми Берне и этот негр-янки Джек Джонсон катаются в автомобилях, а он тащится пешком! А ведь отмахать добрых две мили— неважная подготовка к бою, кто ж этого не знает. Он стар, а жизнь не милует стариков. Ни на что он больше не годен, разве только на черную работу, да и тут сломанный нос и изуродованное ухо оказывают ему плохую услугу. Жаль, что

он не выучился какому-нибудь ремеслу. Да, как видно, так было бы лучше. Но никто в свое время не дал ему такого совета, да и в глубине души он знал, что все равно не стал бы никого слушать. Ведь жизнь давалась ему тогда так легко! Уйма денег, жаркие, славные бои, а в промежутках-долгие периоды отдыха, безделья… целая свита, услужливых льстецов… Похлопывания по спине, рукопожатия… светские щеголи, наперебой угощавшие его виски, только бы добиться высокой чести-пятиминутного разговора с ним… И венец всего-неистовствующая публика, бурный финал, судья, объявляющий: «Победил Кинг!»,-и его имя на столбцах спортивной хроники в газетах на следующий день. Да, славное было времечко! Но сейчас, после того Как он, по своему обыкновению, медленно и долго размышлял над этим, ему стало ясно, что он в ту пору сталкивал с дороги стариков. Он был тогда восходящей звездой, Молодостью, а они-близившейся к закату Старостью. Не мудрено, что победа над ними давалась ему легко: у них были вздувшиеся жилы, искалеченные сустары, крепко засевшая в теле усталость от бесчисленных проведенных ими боев. Ему вспомнилось, как в Раш-Каттерс Бэй он побил старого Стоушера Билла на восемнадцатом

раунде и как тот, словно ребенок, плакал потом у себя в раздевалке. Быть может, Билл просрочил плату за квартиру? Может, дома его ждали жена, ребятишки? И может, Билл в день состязания был голоден и тосковал по куску мяса? Старик не хотел сдаваться, и он страшно его разделал. Теперь, сам находясь в его шкуре, Том Кинг понимал, что в тот вечер, двадцать лет назад, Стоушер Билл ставил на кон куда больше, чем юный Том, сражавшийся ради славы, ради легко достававшихся ему денег. Что ж мудреного, если Стоушер Билл плакал потом в раздевалке! Да, каждому, как видно, отпущено сил на определенное число схваток, не больше. Таков железный закон боя. Один может выдержать сотню тяжелых боев, другойтолько двадцать; каждого, в соответствии с его сложением и темпераментом, хватает на определенное время, а потом он конченый человек. Что ж, его. Тома Кинга, хватило на большее, чем многих других, на его долю выпало больше жестоких, изнурительных боев, которые задавали такую работу легким и сердцу, что они, казалось, готовы были лопнуть, и артерии лишались эластичности, мягкая гибкость гладких юношеских мышц превращалась в жесткие узлы мускулов, нервы изматывались, выносливость подрывалась, тело

и мозг утомлялись от непосильного напряжения. Да, он еще дольше продержался, чем другие! Все его старые товарищи уже сошли с ринга. Он был последним из старой гвардии. Они выбывали из строя у него на глазах, и подчас он сам прикладывал к этому руку.

Его выпускали против стариков, и он сметал их с дороги одного за другим, смеясь, когда они, как старый Стоушер Билл плакали в раздевалке. А теперь он сам стар, и юнцы пробуют на нем свои силы. Вот, к примеру, хоть этот малый, Сэндл. Он приехал из Новой Зеландии, где уже прославился. Но здесь, в Австралии, о нем никто ничего не знает, и его выпускают против старого Тома Кинга. Если Сэндл себя покажет, ему дадут противников посильнее и увеличат приз, так что он, без сомнения, будет сегодня биться до последнего. Ведь в этом бою он может выиграть все-деньги, славу, карьеру. И преградой на этом широком пути к славе и богатству стоит старый, седой Кинг. А Том Кинг ничего уже больше не может выиграть-только тридцать фунтов, чтобы расплатиться с домохозяином и с лавочниками. И когда он подумал об этом, в его неповоротливом мозгу возник образ сияющей Молодости, ликующей и непобедимой, с гибкими мышцами, шелковистой

кожей и здоровыми, не знающими усталости легкими и сердцем. Молодости, которая смеется над тем, кто бережет силы. Да, Молодость-это Возмездие! Она уничтожает стариков, не задумываясь над тем, что, поступая так, уничтожит и самое себя. Ее артерии вздуются, суставы на пальцах расплющатся, и ее, в свой черед, уничтожит победоносная Молодость. Ибо Молодость всегда юна. Стареют только поколения.

На Кеслри-стрит он свернул налево и, пройдя три квартала, подошел к Гейетиклубу. Толпа молодых сорванцов, торчавших у входа, почтительно расступилась перед ним, и он услышал за своей спиной:

— Это он! Это Том Кинг! Направляясь в раздевалку, он встретил секретаря — востроглазого молодого человека с лисьей мордочкой; тот пожал ему руку.

— Как вы себя чувствуете. Том?»-спросил он.

— Превосходно! Свеж, как огурчик!-ответил Кинг, хотя знал, что лжет и что, будь у него сейчас в кармане фунт стерлингов, он отдал бы его, не задумываясь, за хороший кусок мяса.

Когда он вышел из раздевалки ив сопровождении своих секундантов двинулся по проходу между скамьями к квадратной, огороженной

канатами площадке в центре зала, томящиеся в ожидании зрители встретили его бурными аплодисментами и приветствиями. Том Кинг раскланивался направо и налево, но замечал мало знакомых лиц. Большинство зрителей составляли зеленые юнцы, которых еще на свете не было, когда он пожинал первые лавры на ринге. Нырнув под канат, Кинг легко вскочил на площадку, прошел в свой угол и опустился на складной стул. Судья Джек Болл направился к нему-пожать ему руку. Болл, сошедший с ринга боксер, не выступал уже свыше десяти лет. Кинга обрадовало, что судьей назначен Болл. Оба они были старики. Том знал-на Болла можно положиться. Если он обойдется с Сэндлом не совсем, по правилам, Болл с него не взыщет.

Молодые тяжеловесы один за другим поднимались на площадку, судья представлял их публике и тут же объявлял их ставки. — Молодой Пронто из Северного Сиднея, — выкликал он,-вызывает победителя. Ставит пятьдесят фунтов!

Публика аплодировала. Когда Сэндл, перескочив через канат, уселся в своем углу, его тоже встретили аплодисментами. Том Кинг с любопытством поглядел на противника. Еще несколько минут-и они сойдутся в беспощадном бою, в ко-

тором каждый из них приложит все силы, чтобы измолотить другого до бесчувствия. Но рассмотреть Сэндла хорошенько он не мог, потому что тот, как и он сам, был в длинных брюках и свитере, надетых поверх спортивного костюма. Лицо Сэндла было мужественно и красиво, над лбом вились золотистые кудри, крепкая, мускулистая шея говорила о большой физической мощи.

Юный Пронто прошел из угла в угол, чтобы обменяться рукопожатиями с противниками, и спрыгнул с ринга. Вызовы продолжались. Юнцы один за другим проскакивали под канат-еще безвестные, но полные задора, спеша объявить на весь мир о своей готовности померяться с победителем силой и ловкостью. Несколько лет назад непобедимому Тому Кингу, достигшему апогея славы, все предшествующие бою церемонии казались смешными и скучными. Но теперь он сидел как зачарованный, не в силах оторвать глаз от этого парада Молодости. Так было всегда-все новые и новые юнцы проскакивали под канат и бросали свой вызов всем. И старики неизменно склонялись перед ними, побежденные. Молодые карабкались к успеху по телам стариков. Их прибывало все больше и больше. То была Молодость-ненасытная, непобедимая. И всегда

они сметали с дороги стариков, а потом сами старели и катились вниз, следом за стариками, а за ними, неустанно напирая на них, бесконечной чередой шли новые и новые поколения. И так будет до скончания веков, ибо Молодость идет своим путем и никогда не умирает.

Кинг бросил взгляд на ложу журналистов и кивнул Моргану из «Спортсмена» и Корбетту из «Рефери». Потом протянул руки своим секундантам, Сиду Сэлли-вену и Чарли Бейтсу. Они надели на него перчатки и туго затянули их под внимательным взором одного из секундантов Сэндла, который сначала придирчиво проверил обмотки на суставах Кинга. Секундант Кинга выполнил ту же обязанность по отношению к Сэндлу. С Сэндла стянули брюки, он встал, с него стащили через голову свитер, и Том Кинг увидел перед собой воплощение Молодости — с могучей грудью и крепкими мускулами, которые играли, перекатываясь, как живые, под атласистой кожей. Жизнь била ключом в этом теле, и Том Кинг знал, что оно не растратило еще своей свежести, что жизнь еще не уходила из него по капле через все поры в долгих, изнурительных боях, в которых Молодость платит свою дань, выходя из них всякий раз уже не столь юной. Противники двинулись на-

встречу Друг другу; прозвучал гонг, секунданты спрыгнули вниз, унося складные стулья. Том Кинг и Сэндл обменялись рукопожатиями и встали в стойку. И сразу же Сэндл, действуя подобно хорошо слаженному механизму из стали и пружин, сделал выпад, отступил, повторил выпад, левой ударил Тома в глаза, правой под ребра, нырнул, чтобы избежать ответного удара, легко, словно танцуя, отскочил назад и так же легко сделал угрожающий бросок вперед. Он был стремителен и ловок. Зрелище показалось увлекательным. Зал огласился восторженными криками. Но Кинг не был ослеплен этим зрелищем. Он провел уже столько боев, с таким множеством молодых боксеров, что знал цену подобным ударам, чересчур быстрым и чересчур ловким, чтобы быть опасными. По-видимому, Сэндл намеревался развязать бой сразу. Этого следовало ожидать. Так действует Молодость, щедро расточая свое несравненное превосходство, свою дивную красу в бешеных натисках и яростных схватках и подавляя противника великолепием своей силы и жажды победы. Сэндл-легконогий, горячий, живое чудо сверкающего белизной тела и разящих мускулов — наступал и отступал, мелькая то тут, то там, повсюду, скользя и ныряя, как снующий челнок,

сплетая тысячу движений в ослепительный натиск, устремленный к одной цели-уничтожить Тома Кинга, стоящего на его пути к славе. И Том Кинг терпеливо это сносил. Он знал свое дело и теперь, когда сам уже не был молод, понял, что такое Молодость. Сейчас оставалось только выжидать, пока противник не выдохнется. И, порешив так, он ухмыльнулся, пригибаясь, умышленно подставляя свое '"темя под тяжелый удар. Это был предательский прием, но разрешенный правилами бокса. Каждый должен сам беречь свои суставы, а если противник упорно старается треснуть тебя по макушке, пусть пеняет на себя. Кинг мог избежать удара, нагнувшись ниже, но ему припомнились его первые бои и то, как он впервые расплющил сустав пальца о голову Валлийского Страшилища. Теперь он платил той же монетой. Этот маневр был рассчитан на то, что Сэндл разобьет себе костяшку о его голову. Пусть даже Сэндл и не заметит этого сгоряча, — с той же великолепной беззаботностью он будет снова и снова наносить такие же тяжелые удары до конца боя. Но когда-нибудь впоследствии, когда долгие бои начнут сказываться на нем, Сэндл оглянется назад и пожалеет о^том, что раздробил этот сустав о голову Тома Кинга.

Весь первый раунд нападал один Сэндл, и зрительный зал гудел, восхищаясь молниеносностью его ураганных атак. Он обрушивал на Кинга лавину ударов, а Кинг не отвечал. Он не нанес ни одного удара, только прикрывался, блокировал, нырял, входил в клинч, спасаясь от нападения. Он двигался неторопливо, временами делал ложный выпад, тряс головой, получив увесистый удар, и ни разу не сделал ни одного прыжка, ни одного отскока, не потратил ни капли сил. Пусть в Сэндле осядет пена Молодости, прежде чем осторожная Старость решится отплатить ей. Все движения Кинга были размеренны, неспешны, а прикрытые тяжелыми веками глаза и застывший взгляд придавали ему вид. человека, который оглушен или движется в полусне. Но глаза его видели все — за двадцать с лишним лет работы на ринге они приучились ничего не упускать. Они не жмурились, встречая удар, в них не мелькало боязни, они смотрели холодно, измеряя дистанцию.

В минутный перерыв по окончании раунда Том Кинг отдыхал в своем углу. Вытянув ноги, широко раскинув руки и положив их на канаты, он глубоко дышал всей грудью и животом, в то время как секунданты обмахивали его полотен-

цами. Закрыв глаза, он прислушивался к голосам в публике.

— Почему ты не дерешься, Том? — кричали некоторые из зрителей.-Боишься ты его, что ли?

— Скованность мускулов!-заявил кто-то в первом ряду.-Он не может двигаться быстрее. Два фунта против одного за Сэндла!

Прозвучал гонг, и противники двинулись из своих углов.

Сэндл прошел три четверти разделявшего их расстояния-ему не терпелось начать, а Кинг был доволен, что на его долю осталось меньше. Это отвечало его тактике экономии сил. Он не получил хорошей тренировки, скудно питался, и каждый шаг надо было беречь. К тому же он уже отмахал две мили пешком до ринга! Этот раунд был повторением предыдущего: Сэндл налетал на противника, как вихрь, и зрители орали, возмущаясь, почему Кинг не дерется. Кроме нескольких вялых, безрезультатных ударов и ложных выпадов, Кинг ничего не предпринимал,-только увертывался, блокировал и входил в клинч. Сэндл стремился навязать бой в бешеном темпе, но Кинг, умудренный опытом, не шел на это. Он продолжал беречь силы, ревниво, как бережет только Старость, и усмехался с выражением ка-

кого-то грустного торжества на изуродованном в схватках лице. А Сэндл был сама Молодость и расточал силы с великолепной беспечностью Молодости. Кингмастер ринга-обладал мудростью, выработанной в многочисленных тяжелых боях на ринге. Движения его были неторопливы. Ни на секунду не теряя головы, он холодным взглядом следил за Сэндлом, дожидаясь, когда у него остынет боевой задор. Большинству зрителей казалось, что Кинг безнадежно слаб, потерял класс, и они громко выражали свое мнение, ставя три против одного за Сэндла. Но кое-кто, поопытней, знавший прежнего Кинга-таких нашлось не много,-принимал пари, считая, что выигрыш ему обеспечен.

Третий раунд начался так же, как и предыдущие,-активность принадлежала Сэндлу, он все время шел в нападение. Раунд длился уже с полминуты, когда Сэндл в пылу самонадеянности раскрылся. Глаза Кинга сверкнули, и в то же мгновение его правая рука взметнулась вверх. Это был его первый настоящий удар-хук, нанесенный полусогнутой в локте рукой для придания ей жесткости, усиленный всей тяжестью тела, описавшего полукруг. Словно притворяющийся спящим лев молниеносно выбросил разящую

лапу. Удар пришелся Сэндлу в челюсть сбоку и повалил его на пол, как вола на бойне. Зрители ахнули, и по залу прошел благоговейный шепот одобрения. Оказывается, этот старик вовсе не страдает скованностью мускулов, его правая бьет, как кузнечный молот!

Сэндл был ошеломлен. Он повернулся, намереваясь встать, но секунданты закричали, чтобы он выждал счет, и остановили его. Привстав на одно колено, он ждал, готовый подняться, пока судья, стоя над ним, громко отсчитывал секунды у него над ухом. На девятой секунде он уже стоял, готовый к бою, и Том Кинг, взглянув на него, пожалел, что удар не пришелся дюймом ниже-точно в подбородок. Тогда это был бы нокаут, и он пошел бы домой, к жене и ребятишкам, с тридцатью фунтами в кармане. Раунд продолжался, пока не истекли положенные три минуты. Сэндл, казалось, впервые почувствовал уважение к своему противнику, а Кинг был все так же нетороплив, и его глаза снова приобрели прежнее сонное выражение. Когда секунданты уже присели на корточки у ринга, готовясь проскочить под канат, Кинг, поняв, что раунд близится к концу, стал направлять бой к своему углу. С ударом гонга он уже опускался на стул, в то время как Сэндлу нужно

было еще пересечь по диагонали всю площадку, чтобы добраться до своего угла. Это была мелочь, но мелочи, складываясь вместе, приобретают немалое значение. Сэндлу пришлось сделать несколько лишних шагов, потратить на это какую-то энергию и потерять частицу драгоценного отдыха. В начале каждого раунда Кинг медленно подвигался вперед из своего угла и тем самым заставлял противника пройти большую часть расстояния. А к концу раунда он маневрировал так, чтобы перенести бой поближе к своему углу, где он мог сразу опуститься на стул.

В последующих двух раундах Кинг расходовал силы все так же бережливо, Сэндл-все так же расточительно. Сэндл сделал попытку форсировать бой, и Кингу пришлось довольно туго, ибо немалая часть обрушившихся на него бесчетных ударов попали в цель. И все же Кинг упорно оставался пассивен, хотя молодежь в зале шумела и коекакие горячие головы требовали, чтобы он принял бой. В шестом раунде Сэндл опять допустил промах, и снова страшная правая рука Кинга мелькнула в воздухе, и снова Сэндлу, получившему удар в челюсть, были отсчитаны девять секунд.

В седьмом раунде Сэндл чувствовал себя уже

не столь блеч тяще; он понял, что ввязался в тяжелый, беспримерный бой. Том Кинг был старик, но с таким стариком ему ни разу еще не приходилось меряться силами; он никогда не терял головы, был поразительно искусен в защите, а удар его обладал силой тяжелой дубинки, и казалось, в каждом кулаке у него скрыто по нокауту. Тем не менее Кинг не отваживался часто наносить удары. Он ни на минуту не забывал о своих искалеченных суставах, зная, что каждый удар должен быть на счету, чтобы костяшки пальцев выдержали до конца боя. Сидя в своем углу и поглядывая через площадку на противника, он подумал вдруг, что молодость Сэндла в соединении с его собственным опытом могла бы дать мирового чемпиона тяжелого веса. Но в том-то и вся суть: Сэндлу никогда не стать чемпионом мира. Сейчас ему не хватает опыта, а приобрести его он может только ценой своей молодости, но, когда он его приобретет, молодость уже будет позади. Кинг пользовался всеми преимуществами, какие давал ему опыт. Он ни разу не упустил случая перейти в клинч, и при этом почти всегда его плечо основательно надавливало противнику на ребра. Философия ринга гласит, что плечо и кулак одинаково хороши, когда надо нанести повре-

ждение, но в смысле экономии сил первое имеет несомненные преимущества. К тому же в клинчах Кинг отдыхал, наваливаясь всей тяжестью на противника, и весьма неохотно расставался с ним. Всякий раз требовалось вмешательство судьи, разъединявшего их с помощью самого Сэндла, еще не научившегося отдыхать. Сэндл же не мог удержаться, чтобы не пускать в ход своих стремительно взлетающих рук и играющих муску лов. Когда Кинг входил в клинч, с силой заезжая Сэкдлу плечом в ребра и пряча голову под его левую руку, тот почти неизменно заносил правую руку за спину и бил в торчащее из-под его подмышки лицо. Это был ловкий Прием, чрезвычайно восхищавший публику, но неопасный и, следовательно, приводивший лишь к бесполезной трате сил. И Кинг только ухмылялся, стойко снося удары.

Сэндл правой нанес Кингу яростный удар в корпус. Со стороны могло показаться, что Кингу на этот раз здорово досталось, но кое-кто из завсегдатаев ринга сумел оценить ловкое прикосновение левой перчатки Кинга к бицепсу противника перед самым ударом. Правда, каждый удар Сэндла попадал в цель, но всякий раз прикосновение Кинга к его бицепсу лишало удар

силы. В девятом раунде согнутая в локте правая рука Кинга трижды на протяжении одной минуты наносила Сэндлу удар в челюсть, и трижды Сэндл всей своей тяжестью грохался на пол. И всякий раз он, использовав положенные девять секунд, поднимался на ноги-оглушенный, но все еще сильный. Однако он заметно утратил свою стремительность и действовал осмотрительнее. Лицо его стало угрюмо, но он по-прежнему делал.ставку на свой главный капитал-молодость. Главным же капиталом Кинга был опыт. С тех пор как силы его стали сдавать и боевой дух слабеть, Кинг заменил их мудростью и хитростью, приобретенными в многолетних боях, и расчетливой экономией сил. Он научился не только избегать лишних движений, но и выматывать вместе с тем силы противника. Снова и снова обманными движениями ноги, руки, корпуса он принуждал Сэндла отскакивать назад, уверты-ваться, наносить контрудары. Кинг отдыхал, но ни на минуту не давал отдохнуть Сэндлу. Такова была стратегия Старости.

В начале десятого раунда Кинг начал парировать атаки Сэндла прямыми ударами левой в лицо, и Сэндл, став осторожнее, прикрывался левой, а затем отвечал длинным боковым ударом

правой в голову. Удар этот приходился слишком высоко, чтобы иметь роковые последствия, но, когда он впервые был нанесен, Кинг испытал давнишнее, знакомое ощущение,-словно какая-то черная пелена заволокла его мозг. На мгновение-вернее, на какую-то долю мгновения-Кинга словно не стало. Противник исчез из глаз, исчезли и белые выжидающие лица на заднем плане; но тут же он снова увидел и противника и зрительный зал. Словно он на миг заснул и тотчас открыл глаза. Миг этот был так короток, что Кинг не успел упасть. Зрители видели, как он пошатнулся, колени у него подогнулись, но он тут же оправился и уткнул подбородок поглубже, прикрываясь левой.

Сэндл повторял этот удар несколько раз подряд, держа Кинга в полуоглушенном состоянии, а затем тот выработал особый способ защиты, служивший одновременно и контратакой. Сосредоточив внимание противника на своей левой, он отступил на полшага назад и в то же мгновение нанес ему что было сил апперкот правой. Удар был так точно рассчитан, что угодил Сэндлу прямо в лицо в ту самую минуту, когда он наклонился, и Сэндл, подброшенный кверху, упал, стукнувшись головой и плечами об пол. Кинг

повторил этот прием дважды, затем перестал беречь силы и, обрушив на противника град ударов, прижал его к канату. Он не давал Сэндлу опомниться, не давал ему передохнуть, бил и бил его под рев зрителей, вскочивших с мест, и несмолкающий гром аплодисментов. Но сила и выносливость Сэндла были великолепны, и он все еще держался. Нокаут казался неизбежным, и полисмен, увидев, что это может кончиться плохо, появился возле площадки, намереваясь прекратить бой. Гонг возвестил об окончании раунда, и Сэндл, шатаясь, добрался до своего угла, заверив полисмена, что он в полном порядке. В доказательство он дважды подпрыгнул, и тот сдался.

Кинг сидел в своем углу, откинувшись назад, тяжело дыша. Он был разочарован. Если бы бой прекратили, судье пришлось бы вынести решение в его пользу, и приз достался бы ему. Он, не в пример Сэндлу, дрался не ради славы или карьеры, а ради тридцати фунтов. А теперь Сэндл оправится за эту минуту отдыха. «Молодость свое возьмет!» — промелькнуло у Кинга в уме, и он вспомнил, что услышал впервые эти слова в ту ночь, когда убрал с дороги Стоушера Билла. Это сказал какой-то франт, угощая его после боя

виски и похлопывая по плечу: «Молодость свое возьмет!» Франт оказался прав. В тот вечер-как он далек!-Кинг был молод. А сегодня Молодость сидит напротив него, вон в том углу. И он ведет с ней бой уже целых полчаса, а ведь он старик. Если б он бился, как Сэндл, ему бы и пятнадцати минут не выдержать. Все дело в том, что у него не восстанавливаются силы. Эти вот вздувшиеся артерии и усталое, измотанное сердце не дают ему набраться сил в перерывах между раундами. Да, по правде сказать, у него и перед состязанием сил было уже маловато. Он чувствовал, как отяжелели ноги и как по ним пробегает судорога. Да, нельзя было идти пешком целых две мили перед самым боем! И еще с утра он тосковал по куску мяса! Великая, лютая ненависть поднялась в нем против лавочников, отказавшихся отпустить ему мяса в долг. Трудно старику выходить на ринг, не поев досыта. И что такое кусок говядины? Мелочь, и цена-то ему несколько пенни. А вот для него этот кусок мог бы превратиться в тридцать фунтов стерлингов.

Едва гонг возвестил о начале одиннадцатого раунда, как Сэндл ринулся в атаку, демонстрируя бодрость, которой у него уже и в помине не было. Кинг понимал, что это блеф, старый, как самый

бокс. Сначала, спасаясь от противника, он ушел в клинч, затем, оторвавшись, дал возможность Сэндлу сделать стойку. Это было Кингу на руку. Притворно угрожая противнику левой, он заставил его нырнуть, вызвал на себя боковой удар снизу вверх и, отступив на полшага назад, сокрушительным апперкотом опрокинул Сэндла на пол. С этой минуты Кинг не давал Сэндлу передохнуть. Он сам получал удары, но наносил их неизмеримо больше, отбрасывая Сэндла к канатам, осыпая его прямыми и боковыми, короткими и длинными ударами, вырываясь из его клинчей или своевременно отражая попытки войти в клинч, подхватывая его одной рукой всякий раз, когда он готов был упасть, а другой отбивая к канатам, которые удерживали его от падения.

Зрители обезумели; теперь они все были на стороне Тома и чуть ли не каждый вопил:

— Давай, Том! Жарь! Наддай, Том! Всыпь ему! Твоя взяла, Том!

Финал обещал быть очень бурным, а ведь за это публика и платит деньги. И Том Кинг, в течение получаса сберегавший силы, теперь расточительно расходовал их в едином мощном натиске, на который, он знал, его еще могло хватить. Это был его единственный шанс-теперь или никогда.

Силы его быстро убывали, и он надеялся лишь на то, что успеет свалить противника прежде, чем они иссякнут. Но, продолжая нападать и бить, бить, холодно оценивая силу ударов и размеры наносимых повреждений, он начинал понимать, как трудно нокаутировать такого малого, как Сэндл. Запас жизненных сил и выносливости был в нем неисчерпаем-нерастраченных жизненных сил и юношеской выносливости. Да, Сэндл, несомненно, далеко пойдет. Это прирожденный боксер. Только из такого крепкого материала и формируются чемпионы. Сэндла кружило и шатало, но и у Тома Кинга ноги сводило судорогой, а суставы пальцев отказывались служить. И все же он заставлял себя наносить яростные удары, из которых каждый отзывался мучительной болью в его искалеченных руках. Но хотя на его долю сейчас почти не доставалось ударов, он слабел так же быстро, как противник. Его удары попадали в цель, но в них уже не было силы, и каждый стоил ему огромного напряжения воли. Ноги словно налились свинцом, и стало заметно, что он с трудом волочит их. Обрадованные этим симптомом, сторонники Сэндла начали криками подбадривать своего фаворита.

Это подхлестнуло Кинга, заставило его собрать-

ся с силами. Он нанес Сэндлу один за другим два удара: левой-в солнечное сплетение, чуть повыше, чем следовало, и правой-в челюсть. Удары были не тяжелы, но Сэндл уже так ослаб и выдохся, что они свалили его. Он лежал, и по телу его пробегала дрожь. Судья стал над ним, громко отсчитывая роковые секунды. Сэндл проиграл бой, если не встанет прежде, чем будет отсчитана десятая. Зрители затаили дыхание. Кинг едва держался на ногах; он испытывал смертельную слабость и головокружение: море лиц колыхалось у него перед глазами, а голос судьи, отсчитывавшего секунды, долетал откуда-то издалека. Но он был уверен, что выиграл бой. Не может быть, чтобы человек, избитый подобным образом, поднялся.

Только Молодость могла подняться-и Сэндл поднялся. На четвертой секунде он перевернулся лицом вниз и ощупью, как слепой, ухватился за канат. На седьмой он привстал на одно колено и отдыхал; голова у него моталась из стороны в сторону, как у пьяного. Когда судья крикнул: «Девять!»-Сэндл уже стоял на ногах, в защитной позиции, прикрывая левой лицо, правой-живот. Охранив таким образом наиболее уязвимые места, он качнулся вперед, к Кингу, в надежде на

клинч, чтобы выиграть время. Едва Сэндл встал, как Кинг ринулся к нему, но два нанесенных им удара были ослаблены подставленными руками Сэндла. В следующее мгновение Сэндл был в клинче и прилип к противнику, отчаянно противясь попыткам судьи разнять их. Кинг старался освободиться. Он знал, как быстро восстанавливает силы Молодость и что, только помешав Сэндлу восстановить силы, он может его побить. Один хороший удар довершит дело. Сэндл побежден, несомненно, побежден. Он побил его, превзошел его боевым умением, набрал больше очков.

Выйдя из клинча, Сэндл пошатнулся,-судьба его висела на волоске. Опрокинуть его одним хорошим ударом, и ему конец! И снова Том Кинг с горечью подумал о куске мяса и пожалел, что не пришлось ему подкрепиться для последнего, решающего натиска. Собравшись с силами, он нанес этот удар, но он оказался недостаточно сильным и недостаточно быстрым. Сэндл покачнулся, но не упал и, привалившись к канатам, ухватился за них. Кинг, шатаясь, бросился к противнику и, преодолевая нестерпимую боль, нанес ему еще один удар. Но силы изменили ему. В нем уже не оставалось ничего, кроме борющегося сознания, тускнеющего, гаснущего от изнеможе-

ния. Удар, направленный в челюсть, пришелся в плечо. Кинг метил ; выше, но усталые мускулы не повиновались, и он сам едва устоял на ногах. Кинг повторил удар. На этот раз он и вовсе промахнулся и, совершенно обессилев, привалился к Сэндлу, обхватив его руками, чтобы не упасть.

Кинг уже не пытался оторваться. Он сделал все, ,что мог, и для него все было кончено. А Молодость взяла свое. Привалившись к Сэндлу в клинче, он почувствовал, что тот крепнет. Когда судья развел их, Кинг увидел, как Молодость восстанавливает силы у него на глазах. Сэндл набирался сил с каждым мгновением; его удары, сперва слабые, не достигавшие цели, становились жесткими и точными. Том Кинг, как в тумане, заметил кулак в перчатке, нацеленный ему в челюсть, и хотел защититься, подставив руку. Он видел опасность, хотел действовать, но рука его была слишком тяжела. Казалось, в ней тонны свинца, она не могла подняться, и Кинг напряг всю волю, чтобы поднять ее. Но в это мгновение кулак в перчатке попал в цель. Острая боль пронизала Кинга, как электрическим током, и он провалился в темноту.

Открыв глаза, он увидел, что сидит на стуле в своем углу, и услышал рев публики, доносив-

шийся до него, словно шум морского прибоя у Бонди-Бич. Кто-то прикладывал влажную губку к его затылку, а Сид Сэлливен поливал ему лицо и грудь живительной струей холодной воды. Перчатки были уже сняты, и Сэндл, нагнувшись над ним, пожимал ему руку. Кинг не испытывал недоброжелательства к этому человеку, который убрал его с дороги, и ответил таким сердечным рукопожатием, что его искалеченные суставы напомнили о себе. Потом Сэндл вышел на середину ринга, и адский шум на мгновение стих, когда он заявил, что принимает вызов юного Пронто и предлагает поднять ставки до ста фунтов. Кинг безучастно глядел, как секунданты вытирают его тело, залитое водой, прикладывают ему полотенце к лицу, готовят его к уходу с ринга. Кинг чувствовал голод. Не тот обычный грызущий голод, который он часто испытывал, а какую-то огромную слабость, болезненную мелкую дрожь под ложечкой, передававшуюся всему телу. Его мысли снова вернулись к бою, к той секунде, когда Сэндл едва держался на ногах и был на волосок от поражения. Да, кусок мяса довершил бы дело! Вот чего не хватало ему, когда он наносил свой решающий удар, вот из-за чего он потерял бой! Все из-за этого куска мяса!

Секунданты поддерживали его, помогая пролезть под канат. Но он отстранил их, пригнувшись, проскочил между канатами без их помощи и тяжело спрыгнул вниз. Он шел по центральному проходу, запруженному толпой, следом за секундантами, прокладывавшими ему дорогу. Когда он вышел из раздевалки и, пройдя через вестибюль, отворил наружную дверь, какой-то молодой парень остановил его.

— Почему ты не уложил Сэндла, когда он был у тебя в руках?-спросил парень.

— А поди ты к черту!-сказал Том Кинг и сошел по ступенькам на тротуар.

Двери пивной на углу широко распахнулись, и он увидел огни и улыбающихся официанток, услышал голоса, судившие и рядившие о бое, и вожделенный звон монет, ударявшихся о стойку. Кто-то окликнул его, предлагая выпить. Поколебавшись, он отказался и побрел своей дорогой.

У него не было и медяка в кармане, и две мили до дома показались ему бесконечными. Да, он стареет! Пересекая парк Домен, он внезапно присел на скамейку, сразу утратив присутствие духа при мысли о своей женушке, которая не спит, дожидается его, чтобы узнать исход боя. Это было тяжелее любого нокаута, и ему показалось

невозможным встретиться с ней лицом к лицу.

Он ощутил невероятную слабость, а боль в искалеченных суставах напомнила ему, что, если и отыщется какая-нибудь работа, пройдет не меньше недели, прежде чем он сможет взять в руки кирку или лопату. Голодная судорога под ложечкой вызывала тошноту. Несчастье сломило его, и на глазах выступили непривычные слезы. Он закрыл лицо руками и, плача, вспомнил про Стоушера — Билла, вспомнил, как отделал его в тот давно прошедший вечер. Бедный, старый Стоушер Билл! Теперь Кинг хорошо понимал, почему Билл плакал в раздевалке.

Джек Лондон
Лютый зверь

Глава первая

Сэм Стюбнер просматривал свою корреспонденцию быстро и небрежно. Как и полагается менеджеру профессионального бокса, он привык к самым разнообразным, самым диковинным письмам. Казалось, не было того чудака спортсмена, любителя бокса или фантазера, который не пытался бы навязать ему свои выдумки. Сэм знал наизусть всю ту нелепую чепуху, какая попадалась ему почти в каждой почте. То это были угрозы — от самой мрачной: покончить с ним раз и навсегда, до более миролюбивой: просто разбить ему морду, — то всякие талисманы — от кроличьей лапки до счастливой подковы, то безответственные предложения каких-то незнакомцев,

— начиная от заключения пари на незначительные суммы до ставки в четверть миллиона долларов. С тех пор как он однажды получил ремень для правки бритв из кожи линчеванного негра и сморщенный, высохший на солнце палец белого человека, чей труп нашли в Долине смерти, Сэм считал, что вряд ли почтальон сможет еще чем-нибудь удивить его. Но в это утро ему

попалось такое письмо, что он перечитал его дважды, сунул в карман, затем снова вытащил и перечитал в третий раз. На штемпеле стояло название какого-то совершенно неизвестного почтового отделения в округе Сискью, а в самом письме было написано вот что:

«Дорогой Сэм!

Вы меня не знаете, разве что по имени. Пришли вы на ринг, когда я уже давным-давно выбыл из игры. Но я от жизни не отстал, верьте слову. Я и за спортом следил и за вами лично с того матча, когда вас нокаутировал Кэл Ауфмен, до вашей последней встречи с Натом Белсоном, и, по-моему, другой такой менеджер, как вы, еще не родился на свет.

И вот я хочу предложить вам одно дело. У меня есть небывалый, замечательный боксер. Я не выдумываю. Тут все чисто, без обмана. Представьте себе силача весом побольше двухсот двадцати фунтов, от роду двадцати двух лет, и с таким ударом, какой мне и в лучшие мои годы не снился. Это мой собственный сын, Пат Глендон-младший, — пусть под таким именем и выступает. Я все обдумал и решил. Самое лучшее, садитесь сейчас же в поезд и приезжайте скорей к нам.

Я сам его воспитал, сам обучил. Я научил его всему, что сам умел. Верите ли, он теперь лучше меня все знает. Он родился боксером. По быстроте, по глазомеру — он чудо природы. До секунды чувствует время, до дюйма знает дистанцию, — ему и думать не надо. У него самый короткий удар сильнее полного свинга всяких мазил.

Вот говорят: «Надежда белых» [132]*. Это про него. Приезжайте, сами посмотрите. Помню, вы любили поохотиться, еще когда разъезжали с Джеффрисом. Приезжайте, и я вам тут устрою такую охоту, такую рыбную ловлю, что перед ними всякие ваши киносъемки побледнеют. Пошлю с вами Пата-младшего. Я-то уже не ходок, потому и вызываю вас сюда. Сначала я сам собирался вывести его на ринг, но ничего не выходит. Я совсем сдал, видно скоро мне нокаут. Так что поторапливайтесь. Хочу передать его вам. Для вас обоих это дело — клад. Только уж контракт я составлю сам.*

С уважением, ваш П а т Г л е н д о н».

Стюбнер не знал, что и подумать. С первого взгляда все это было очень похоже на попытку разыграть его, — боксеры, как известно, великие

---

[132] notes: 132

С 1908 года абсолютным чемпионом мира был негр Джек Джонсон, и каждого, кто пытался его победить, называли «Надеждой белых».

шутники, — и, вчитываясь в письмо, он пытался разглядеть в нем тонкий почерк Корбетта[133] или тяжелую добродушную лапу Фитцсиммонса. Но если письмо не подделка, то стоило им заняться, — это было ясно. Пата Глендона он уже не застал среди боксеров, хотя однажды, еще совсем мальчишкой, он видел, как Пат тренировался с Джеком Демпсеем. Его и тогда уже звали «Старый Пат», и он уже давно сошел с ринга. Он появился еще при Салливене и начал выступать, когда в ходу были лондонские правила бокса, и только на исходе своей карьеры он уже дрался по новейшим правилам маркиза Квинсберри.

Да разве был хоть один любитель бокса, который не слышал бы о Пате Глендоне? Конечно, теперь мало осталось людей, видевших его в расцвете славы, да и тех, кто вообще видел его, уже осталось немного. Однако его имя вошло в историю бокса, и не было справочника, где бы оно не упоминалось. Правда, слава его была какая-то необычная. Он был в чести как никто другой, но ни разу не стал чемпионом. Ему очень не везло, и его считали боксером-неудачником.

Четыре раза он чуть не завоевал звание чем-

[133] notes: 133

Корбетт и другие — знаменитые боксеры. Салливен — первый чемпион мира, остальные — абсолютные чемпионы мира с 1898 по 1919 год.

пиона в тяжелом весе, и, надо сказать, вполне по заслугам. В первый раз на барже в Сан-Франциско, — но в тот момент, когда его противник совсем было сдался, Пат вывихнул руку. Потом на островке, на Темзе, когда вода поднялась до шести дюймов, он вдруг в такой же момент — перед самой победой — сломал ногу. Всем памятен и провал матча в Техасе: там полиция устроила облаву как раз в ту минуту, когда Пат взял своего соперника в оборот. И, наконец, в том бою в Сан-Франциско в клубе железнодорожников, когда Пата с самого начала исподтишка подсиживал судья — подлец и бандит, которого подкупила компания игроков, ставивших на противника Пата. Пат Глендон в этой встрече дрался благополучно, но когда он нокаутировал своего соперника ударом правой в челюсть, а левой — в солнечное сплетение, судья спокойно дисквалифицировал его за запрещенный удар. Все секунданты, все специалисты по боксу, весь спортивный мир — все знали, что ни о каком неправильном ударе и речи быть не могло. Но, по боксерским традициям, Пат Глендон согласился признать решение судьи. Пат принял его и отнес и эту неудачу за счет обычного своего невезения.

Таков был Пат Глендон. Стюбнера смущало

только одно: кто написал письмо — Пат или не Пат? Он захватил письмо с собой на работу. «Где Пат Глендон и что с ним сталось?» — спрашивал он в это утро у всех спортсменов. Но никто ничего не знал. Некоторые думали, что Пат умер, хотя наверняка никто этого не утверждал. Редактор спортивного отдела одной из утренних газет просмотрел свой архив и не нашел никаких сообщений о смерти Пата. Узнал Стюбнер о нем только от Тима Доновена.

— С чего ему помирать? — заявил Доновен. — Разве такой помрет, с его силищей, да еще если он не пил и вообще жил тихо, мирно. Он много зарабатывал и зря денег не мотал — все копил и выгодно пускал в оборот. Знаете, сколько у него было салунов? Целых три! А какую кучу денег он за них получил! Погодите, вот тогда-то я и виделся с ним в последний раз, — когда он все распродал. Лет двадцать, а то и больше. Жена у него только-только скончалась. Мы встретились у парома. «Ты куда, старина?» — спрашиваю. «Подамся в леса, говорит. Я все бросил! Прощай, говорит, Тим, дружище!» Больше я его с той поры не видел. Но жив-то он безусловно!

— Говоришь, у него жена умерла? — спросил Стюбнер. — А ребята у него были?

— Был один, совсем еще маленький. Он его нес на руках, когда я его встретил.

— Мальчик?

— А я почем знаю!

Вот тут-то Сэм Стюбнер и решился окончательно и вечером уже летел курьерским в самую глушь Северной Калифорнии.

Глава вторая

Ранним утром Сэм Стюбнер соскочил с поезда на глухом полустанке Дир-Лик и целый час околачивался на улице, пока не открыли единственный местный салун. Нет, хозяин заведения ничего не знал о Пате Глендоне, даже и не слыхал о нем. Наверно, живет где-нибудь в горах, если вообще тут есть такой. И случившийся тут же завсегдатай салуна ничего не слыхал о Пате Глендоне. Не знали о нем и в гостинице. И только когда открылись почта и лавка, Стюбнеру удалось напасть на след. Конечно, Пат Глендон живет тут, только бог знает где! Надо ехать сорок миль дилижансом до Олпайна — это лагерь дровосеков, от Олпайна, верхом, по Антилопьей долине, а там, через перевал, к Медвежьему ручью. Где-то за ручьем и живет этот Глендон. В Олпайне вам скажут, где. Да, есть и сын, тоже Пат. Лавочник его видел. Он приезжал в Дир-Лик года два назад. Старого Пата уже лет пять не видно. Бывало, покупал все припасы в лавке и платил чеками. Седой такой старик, чудаковатый. Больше лавочник ничего не знал, но сказал, что в Олпайне ребята направят Сэма куда надо.

Стюбнер был очень доволен. Значит, действительно существует Пат Глендон-младший, и живут они со стариком в горах.

Переночевав у дровосеков в Олпайне, Сэм на рассвете выехал на индейской лошаденке вверх по Антилопьей долине и, перебравшись через перевал, спустился к Медвежьему ручью. Ехал он весь день, — никогда не доводилось ему бывать в таких диких, глухих местах, и только к вечеру стал подыматься вверх по долине Пинто, по такой узкой и крутой тропе, что не раз приходилось слезать с лошади и идти пешком.

К одиннадцати часам ночи он остановился у бревенчатого дома, где два огромных волкодава встретили его оглушительным лаем. Но тут открылась дверь, и Пат Глендон бросился ему на шею и потащил в дом.

— Знал, что ты приедешь, Сэм, братец ты мой! — приговаривал Пат, ковыляя по комнате, пока не разгорелся огонь, не вскипел кофе и не поджарился огромный кусок медвежатины. — Мой малый сегодня на ночь не вернется. У нас все мясо вышло, он и пошел с вечера пострелять оленей. Больше я про него ни слова не скажу — сам увидишь, вот погоди! Утром, как вернется, ты его прощупаешь… Вон и перчатки висят. Погоди,

сам увидишь!

...Я-то человек конченый. Восемьдесят первый год пошел с января. Для старого бойца не так-то плохо. Да я себя всегда берег, Сэм, по ночам не шлялся, свечку, как говорится, с двух концов не жег. Много мне было дано. Посмотри на меня и сам скажи, плохо я сохранился, а? Я и сына так воспитал. Только подумай: ему двадцать два года, а он ни разу не выпил и вкуса табака не знает! Вот он какой у меня! Ростом — великан; всегда жил на воле. Вот подожди, он возьмет тебя с собой на охоту. Ты налегке пойдешь

— и запыхаешься, а он будет нести все снаряжение да еще громадного оленя впридачу — и хоть бы что... Вырос на воздухе, ни зимой, ни летом под крышей не спал. Всегда его учил: вольный воздух — вот главное! Меня только это и беспокоит: как он привыкнет спать в доме, как выдержит прокуренный воздух на ринге? Страшная это штука — табачный дым, когда разойдешься в бою, а воздуха не хватает. Ну ладно, Сэм, братец мой, хватит болтать, тебе спать пора. Устал, наверно? Погоди-ка, увидишь его, только погоди!..

Но на старости лет Пат стал болтлив и долго не давал Стюбнеру заснуть.

— Он может оленя загнать на бегу, мой ма-

лый, — снова заговорил старик. — Нет лучше тренировки для легких, чем охотничья жизнь. Он мало чего знает, хоть и читал всякие книжки, даже стишки почитывает. Настоящее дитя природы. На него только взглянешь — сразу поймешь. Закваска в нем старая, ирландская. Иногда посмотрю на него — витает где-то, мечтает! Ну, думаю, не иначе, как верит во всякую чертовщину — в разных фей там или леших. А природу любит, как никто; и города боится. Он про все читал, а сам нигде, кроме как в Дир-Лике, и не был. Очень ему не понравилось, что там людей много: «Не мешало бы, говорит, прополоть их хорошенько». Побывал там года два назад, — в первый раз увидел настоящий поезд, — а больше нигде и не был.

…Иногда мне думается: может, зря я его воспитал таким дикарем? Но зато у него и дыхание и выдержка другие, и сила, как у быка. С ним ни одному городскому человеку не совладать. Конечно, скажем, Джеффрис, когда он был в форме, — тот еще мог бы слегка потрепать мальчишку, но именно слегка… Мой сломил бы его, как соломинку. А ведь с виду никогда не скажешь. Прямо чудо какое-то. С виду он просто красивый малый — молодой, сильный. Но у него мышцы не такие,

как у всех. Погоди, сам увидишь, все поймешь.

…Удивительно, до чего он любит всякие там цветочки, лужайки или сосны, когда на них месяц светит, или еще облака на закате; а то смотрит с Лысой горы, как солнце встает. И вечно его тянет рисовать картинки или бормотать стишки — про Люцифера, про ночь… Ему книжки давала рыженькая учительница. Но это, конечно, по молодости лет. Он втянется в игру, нам бы только направить его. Вначале, пока не привыкнет жить в больших городах, он, может, и поворчит малость, — ты будь к этому готов.

…Хорошо, что он женщин боится. Он о них и думать не станет в ближайшие годы. Ничего в них не понимает, в этих существах, да и не видал их почти совсем. Была тут одна учительница с Самсоновой поляны — та, которая ему голову забила стишками. Влюбилась в парня как сумасшедшая, а он ни черта не понимал. Волосы у нее были — чистое золото… Сама не здешняя, а оттуда, из долины. Дальше — больше, совсем голову потеряла, так и бегала за ним, бесстыдница. И что же, по-вашему, этот мальчишка выдумал, когда понял, что делается? Перепугался хуже зайца! Схватил одеяла, ружье и удрал в самую глушь, в леса. Целый месяц я его не видел. Потом он как-

то прокрался домой ночью, а на рассвете опять удрал. На письма ее и смотреть не хотел: «Сожги ты их», говорит. Ну, я, конечно, все сжег. Два раза она приезжала к нам верхом, — это с самой Самсоновой поляны! До чего мне ее жаль было, бедняжку. По лицу было видно, истосковалась она по мальчишке. А через три месяца бросила школу и уехала к себе на родину. И только тогда малый совсем вернулся ко мне сюда, домой.

Да, многих хороших боксеров сгубили женщины. Но с ним этого не будет. Он краснеет, как девчонка, стоит только какой-нибудь молоденькой мигнуть ему разок-другой или просто посмотреть попристальней. А на него все так и заглядываются. Зато когда он дерется — ох, как он дерется, боже ты мой! В нем ирландская кровь закипает, дикая кровь, так и бросается ему в кулаки! И не то чтобы он терял выдержку. Как бы не так! У меня даже в молодости такого хладнокровия не бывало. Боюсь, что только от вспыльчивости со мной и случались всякие несчастья. Но он — как льдина! Лед, а под ним — огонь. Будто электрический провод под током в холодильнике.

Стюбнер совсем задремал, но проснулся от бормотания старика. Сквозь сон он стал слушать,

что тот говорит:

— Да, я сделал из него настоящего человека, клянусь богом! У него и кулаки настоящие, и ноги крепкие, и глаз отличный. Я-то знаю бокс. И от времени не отстаю, слежу за всеми новшествами. Говоришь, низкая стойка? Ясно, знает, — он все стили знает, все приемы, как экономить силу: никогда не сдвинется на два дюйма, если можно и на полтора. Захочет — прыгнет, как кенгуру. А ближний бой! Сам увидишь, погоди! Лучше, чем на дальней дистанции, а ведь он наверняка потягался бы с Питером Джексоном и превзошел бы Корбетта в самом его расцвете. Говорю тебе: я его всему научил, нет такого трюка, чтобы он не знал; но он ушел еще дальше. Он в боксе просто гений. А тут, в горах, у него было на ком себя испытать, — силачей тут сколько угодно! Я его обучил всем тонкостям, а они показали, что значит драться. Думаешь, они с ним стеснялись или деликатничали? Так стиснут в клинче, так швырнут в схватке, что впору дикому медведю или бешеному быку. А он с ними играет. Ты слышишь? Играет, как мы с тобой играли бы со щенками!

Стюбнер опять заснул, но проснулся от голоса старика:

— И самое смешное — ведь он не принимает бокс всерьез. Ему все до того легко дается, что для него это вроде забавы. Но погоди, пока ему не подвернется сильный противник. Ты только погоди, вот увидишь! Он как включит ток в этом своем холодильнике, как пойдет бить по всем правилам искусства… Нет, ты такой красоты еще не видел!

В зябком рассвете горного утра старый Пат вдруг стал тащить Стюбнера из-под одеяла.

— Вон он идет по тропке! — хрипло зашептал он. — Скорей, иди, взгляни на лучшего боксера в мире, таких ринг еще не видал и через тысячу лет не увидит!

Менеджер выглянул в открытую дверь, протирая заплывшие от сна глаза, и увидел, как на просеку вышел молодой гигант. В одной руке он нес ружье, на плечах у него лежал огромный олень, но шел он так, будто добыча ничего не весила. На нем был грубый синий комбинезон без куртки, расстегнутая у ворота шерстяная рубашка и мокасины вместо башмаков. Стюбнер заметил, что ступал он легко, как кошка; совсем не чувствовалось, что он весит двести двадцать фунтов, не считая тяжелой ноши. На менеджера он сразу произвел огромное впечатление. Сила

действительно потрясающая. Но к тому же в нем было что-то необыкновенное, особенное. Это был новый, еще не виданный тип бойца. Он больше походил на сказочного великана или героя старинной народной легенды, блуждающего по ночам в лесных дебрях, чем на обыкновенного юношу двадцатого века.

Стюбнеру вскоре пришлось убедиться, что Пат-младший не очень-то разговорчив. Он молча пожал гостю руку, когда старый Пат их познакомил, и так же молча принялся за работу — развел огонь, приготовил завтрак. На прямые вопросы отца он отвечал односложно, и когда тот спросил, где он убил оленя, только обронил: «На Южном перевале».

— Одиннадцать миль по горам, — с гордостью пояснил Стюбнеру старик. — А тропа такая, что сердце может лопнуть!

Завтракали черным кофе, лепешками и огромными кусками медвежатины, зажаренной на углях. Молодой Пат вовсю уплетал жаркое, и Стюбнер понял, что оба Глендона привыкли жить почти на одной мясной пище. Весь разговор вел старый Пат; но только после еды он заговорил о том, что у него лежало на душе.

— Пат, сынок, — начал он, — знаешь, кто этот

джентльмен?

Пат-младший кивнул головой, и его умный взгляд на миг остановился на госте.

— Так вот, он заберет тебя с собой в Сан-Франциско.

— Лучше я тут останусь, отец, — ответил Пат.

Стюбнера кольнуло разочарование. Видно, он зря сюда тащился. Какой же это боксер, если ему и драться неохота. Правда, он силач, но мало ли что! Старая история! Вот такие-то великаны чаще всего и обрастают жирком от лени.

Но в старом Пате вдруг вспыхнула ярость древних кельтов. Голос его зазвучал повелительно и грозно:

— Нет, ты поедешь в город и будешь драться, слышишь? Для того я тебя и учил, чтобы ты дрался!

— Ладно! — неожиданно грудным баском пробурчал юнец.

— И дрался, как черт! — добавил старик.

И снова Стюбнер с разочарованием заметил, что глаза юноши не вспыхнули, не загорелись задором, когда он ответил:

— Ну ладно. Когда едем?

— Сэм сначала поохотится тут у нас, половит рыбку, да и тебя испытает. — Старик посмотрел

на Стюбнера, тот утвердительно кивнул. — Ну-ка, раздевайся, покажи ему себя!

Не прошло и часа, как Стюбнеру все стало ясно. Сам бывший боксер, к тому же тяжеловес, он был отличным знатоком боксеров, но никогда еще он не видел такого великолепного тела, как у Пата-младшего.

— Ты погляди, какая в нем упругость, — старый Пат разливался соловьем, — все настоящее, то, что нужно. А какой разворот плеча, а легкие какие! Весь насквозь чистый, как стеклышко, до последней кровинки. Вот перед тобой человек, Сэм, каких и в природе не бывало! Все мускулы высвобождены. Это тебе не борец из цирка или гимнаст какой-нибудь! Смотри, какие у него мышцы круглые, — ну чем не змеи, так и переливаются, так и сворачиваются клубком. Вот погоди, увидишь, как они развернутся для удара,

— что твоя гремучая змея! Он хоть сейчас выдержит сорок раундов, а то и все сто! Ну-ка, начинай! Засекаю время!

Они начали. Несколько трехминутных раундов с минутными перерывами — и все опасения Стюбнера как рукой сняло. Ни следа лени, никакой апатии — просто добродушная, неторопливая игра перчатками, увертки, и вдруг — ловкий,

точный удар, сильная, острая защита при столкновениях, — так дерутся только отлично тренированные, прирожденные боксеры.

— Потише, сынок, потише! — предостерег старый Пат. — Сэм уже не тот, что был…

Сэм был явно задет, а старик только этого и добивался, — и в ход был пущен самый знаменитый прием Стюбнера, самый любимый его удар: ложный клинч и внезапный выпад прямо в живот. Но, несмотря на молниеносную быстроту, Пат-младший сразу понял и успел отскочить, ослабив силу удара. В следующий раз он уже не стал увертываться; он двинулся прямо под удар и подставил левое бедро. Всего каких-нибудь несколько дюймов, но удар был парирован. С этой минуты Сэму не помогали никакие ухищрения: каждый раз его перчатка натыкалась на бедро Пата.

Стюбнеру не раз приходилось меряться силами с крупными боксерами, и на пробных матчах он всегда умел постоять за себя. Но тут и речи об этом не могло быть. Пат-младший просто играл с ним, и в клинче Сэм чувствовал себя беспомощным младенцем, — тот делал с ним что хотел: мастерски брал его в обхват, точным и ловким маневром загонял в угол, и при этом как будто

даже не замечал его существования. Казалось, что Пат-младший вообще смотрит по сторонам и мечтательно любуется природой. И тут Стюбнер сделал еще одну ошибку. Он решил, что это — прием, которому старый Пат научил сына, и попытался незаметно дать короткий удар с близкой дистанции, но тут же его руку молниеносно зажали и за все старания еще ударили по уху.

— Чутье на удар! — рассмеялся старик. — И не притворяется, ей-богу! Он просто колдун. Чует удар не глядя, чувствует — откуда идет и куда метит; и быстроту, и дистанцию, и силу, и точность — все чувствует. Я его и не учил этому. Все сам, по вдохновению. У него это врожденное.

Раз, в клинче, Стюбнер двинул перчаткой в рот Пата-младшего, и тот ощутил какую-то злобу в этом прикосновении. Еще минута — и в новом клинче Сэм почувствовал перчатку Пата на своих губах. Удар был несильный, однако этот нажим, неторопливый, но упорный, заставил Сэма так откинуть голову, что все суставы затрещали, и на миг он подумал, что повредил себе шею. Он обмяк всем телом, опустил руки, в знак того, что сдается, и с внезапным облегчением, шатаясь, отошел в сторону.

— Он… он молодчина! — пробормотал он зады-

хаясь; и хоть у него не хватало дыхания для слов, по лицу было видно, в каком он восхищении.

Глаза старого Пата блестели слезами гордости и торжества.

— Ну, а как, по-твоему, что он сделает, если какой-нибудь мерзавец попробует подшутить над ним и пустит в ход запрещенные приемы?

— Он такого на месте уложит, будьте покойны, — сказал Стюбнер.

— Вряд ли! Слишком уж он хладнокровен. А проучить за грязные проделки

— это он проучит!

— Что ж, давайте писать контракт! — сказал менеджер.

— Погоди, ты раньше узнай ему настоящую цену! — возразил старый Пат.

— Условия я поставлю нелегкие. Пойди поохоться с ним в горах, проверь его выдержку, дыхание. Тогда и подпишем по-настоящему, как говорится, нерушимый договор.

Два дня провел Стюбнер на охоте и за эти дни увидал все, что сулил ему старый Пат, и даже больше, и вернулся очень усталый, и очень присмиревший. Стюбнер был человек бывалый, и его очень удивила полнейшая наивность юноши в житейских делах, хотя он отлично понял, что

малый далеко не дурак. Правда, ум у него был совсем нетронутый, кругозор ограничен замкнутой жизнью в горах, но в нем чувствовалась врожденная проницательность и незаурядная смекалка.

Одно в нем было для Стюбнера загадкой: его потрясающее, непоколебимое спокойствие. Его ничем нельзя было разозлить, вывести из себя, — в нем жило какое-то первобытное неисчерпаемое терпение. Он ни разу не выругался даже теми бесцветными, невыразительными словечками, какими бранятся примерные мальчики.

— Захотел бы — выругался б, — объяснил он, когда Сэм стал его поддразнивать. — Только зачем мне ругаться? А понадобится — сумею!

Старый Пат, как и говорил, попрощался с ними на пороге своей хижины.

— Скоро буду читать про тебя в газетах, Пат, сынок. Мне бы и самому хотелось поехать, да, пожалуй, я уж отсюда до конца жизни не выберусь.

Потом, отозвав менеджера в сторону, он надвинулся на него сурово, почти с гневом:

— Помни, что я тебе долбил не раз и не два. Малый он чистый, честный. Он даже не подозревает, сколько грязи в боксерском деле. Я все от него скрыл, понимаешь? Он и не знает, какие бывают сделки. Для него бокс — это отвага, романтика,

путь к славе, — не зря я ему рассказывал о прежних героях ринга; и только одному богу известно, почему в нем все-таки не разгорелась настоящая страсть к боксу. Но ты пойми: я скрывал от него газетные сплетни о состязаниях, вырезывал их тайком, — а он думал, что я их берегу как память! Он не знает, что боксеры нарочно сговариваются, сдаются. Смотри же, не путай его в грязные делишки! Не вызови в нем отвращения. Для того я и включил пункт о недействительности договора: первое жульничество — и договор расторгается. Никаких полюбовных дележей, никаких тайных сговоров с кинооператорами насчет заранее намеченных дистанций и прочее. Денег у вас обоих будут кучи. Только веди игру честно, не то все потеряешь! Понял?

— А ты всегда помни одно: что бы ни делал — берегись женщин, — наставительно сказал старый Пат сыну, когда тот уже вскочил в седло и покорно придержал лошадь, чтобы выслушать отца. — В женщинах — грех и погибель, помни это! Но уж если найдешь ту самую, единственную и настоящую, — держи ее крепче! Такая дороже славы, дороже денег. Только сначала проверь себя, а когда проверишь — не упускай ее! Хватай двумя руками и держи крепче! Держи, хоть

бы тут конец света настал! Да, Пат, да, сынок, хорошая женщина — это… это… — ну, словом, хорошая женщина. Вот тебе мое первое и последнее слово.

Глава третья

По приезде в Сан-Франциско для Сэма Стюбнера начались беспокойные дни. И не то, чтобы Пат-младший злился или ворчал, как боялся его отец, — наоборот, он был удивительно приветлив и покладист. Но он тосковал по родным горам. И, конечно, в глубине души он был потрясен огромным городом, хотя даже в грохоте улиц умудрялся сохранять невозмутимое спокойствие краснокожего индейца.

— Я приехал сюда биться, — заявил он через неделю. — Где ваш Джим Хэнфорд?

Стюбнер насмешливо свистнул:

— Да такой великий чемпион на тебя и глядеть не станет! «Сначала создай себе имя!» — вот что он скажет.

— Я могу его побить!

— Но публика-то этого не знает. Если бы ты его побил, ты стал бы чемпионом мира, а разве за одно состязание можно стать чемпионом?

— Мне можно.

— Да ведь публике это неизвестно, Пат. Никто не придет на твое выступление. А большой сбор, деньги дает только зритель, толпа. Вот почему ты

для Джима Хэнфорда — пустое место. Какой ему смысл с тобой возиться? Кроме того, он сейчас выступает в обозрении — три тысячи в неделю, договор на полгода. Думаешь, он все бросит для встречи с человеком, о котором никто и слыхом не слыхал? Тебе сначала надо выступить, сделать себе имя. Надо начать с мелочи, с местных мазил, о которых никто ничего не знает, — таких, как Пузан-Коллинз, Летучий Голландец, Келли-Буян. Расправишься с ними — значит, подымешься на первую ступеньку. А потом уже пойдешь вверх, как воздушный шар.

— Так давайте этих трех, вот про которых вы сказали. В один вечер всех подряд. — Голос Пата звучал решительно. — Устраивайте-ка поскорее!

Стюбнер рассмеялся.

— Чего вы? Думаете, не справлюсь?

— Справиться ты справишься, — уверил его Стюбнер. — Но так дело не делается. Надо их выбить с ринга по очереди. Помни одно: бокс я знаю насквозь, и я твой менеджер. Тут нужна постепенность, подготовка, а я в таких делах дока. Если нам повезет, годика через два будешь чемпионом и богачом.

Пат грустно вздохнул, но тут же лицо его просветлело.

— И тогда можно будет все бросить и вернуться домой, к моему старику,

— сказал он.

Стюбнер хотел возразить, но удержался. Хоть он и чудак, этот кандидат в чемпионы, однако Сэм был уверен, что стоит мальчику достигнуть славы, он станет таким же, как и все его предшественники. Да и мало ли что будет через два года, а до тех пор надо было многое сделать.

Но когда Пат затосковал и начал бесцельно слоняться по комнатам или без конца читать стихи и романы, взятые из библиотеки, Стюбнер отправил его на дальнее ранчо, по ту сторону залива, под бдительный надзор Спайдера Уолша. Через неделю Спайдер сообщил по секрету, что «надзирать» за малым нечего. С утра до вечера он пропадает в горах, ловит форелей в горных речках, стреляет перепелов и зайцев и гоняется за тем самым знаменитым оленем-одиночкой, которого вот уже лет десять не мог взять ни один охотник; Спайдер толстел и жирел, а его питомец оставался в полной форме.

Как и ожидал Стюбнер, все владельцы боксерских клубов подняли его на смех, с его «новичком». Да их в лесах сколько угодно, этих «новичков», и у всех зуд — стать чемпионом.

Ладно, можно дать ему пробный матч, раунда на четыре. А настоящее выступление — нет, не выйдет! Но Стюбнер твердо решил, что Пат-младший будет дебютировать только в настоящем состязании; и в конце концов благодаря своему имени Сэм этого добился. Очень неохотно Воскресный клуб согласился дать Пату Глендону матч на пятнадцать раундов с Келли-Буяном и сто долларов победителю. Молодые боксеры часто принимали имена ветеранов ринга, поэтому никто не подозревал, что Пат был сыном великого Пата Глендона. Стюбнер до поры до времени молчал. Эту сенсацию эффектней будет пустить для рекламы попозже.

Наконец, после месяца ожиданий наступил вечер матча. Стюбнер волновался не на шутку. Вся его профессиональная репутация зависела от того, как покажет себя Пат. И он был поражен, когда увидел, что Пат, просидев пять минут в своем углу на ринге, вдруг из свежего и румяного стал совсем бледным до какой-то болезненной желтизны.

— Смелей, братец! — Стюбнер хлопнул его по плечу. — В первый раз на ринге всегда страшно, а Келли нарочно заставляет противника ждать, — авось его возьмет страх перед публикой.

— Нет, — сказал Пат, — тут накурено. Я не привык, меня от табака мутит.

У Сэма гора спала с плеч. Если человеку становится плохо от неуверенности, от нервов, то, будь он хоть Самсоном, ему никогда не видать славы на ринге. А к табачному дыму малый должен будет привыкнуть — вот и все.

Появление Пата на ринге было встречено молчанием, но, когда под канат пролез Келли-Буян, раздался рев приветствий. Видно, Буяна не зря прозвали так. Свирепый, весь обросший черными волосами, с громадной узловатой мускулатурой, он весил, наверно, не меньше двухсот фунтов. Пат с любопытством посмотрел на него, и тот в ответ злобно нахмурился. Их представили публике, они пожали друг другу руки. И когда их перчатки встретились, Келли злобно скрипнул зубами, лицо его исказилось, и он проворчал:

— Хватает же у тебя нахальства! — Он грубо отбросил руку Пата. — Я тебя съем, щенок!

Зрители захохотали, увидев этот жест; посыпались веселые выкрики, — каждый старался угадать, что сказал Келли.

Сидя в углу в ожидании гонга, Пат спросил Стюбнера:

— За что он на меня злится?

— Да он не злится, — ответил тот, — это у него такой прием, пробует запугать. Всегда так болтают.

— Какой же это бокс! — бросил Пат; и Стюбнер, взглянув на него, заметил, что глаза у мальчика невозмутимо синие, как всегда.

— Осторожней! — предупредил Сэм, когда прозвучал гонг к первому раунду и Пат вскочил на ноги. — Он может наброситься, как людоед.

И верно, Келли ринулся вперед, как разъяренный людоед, одним махом пролетев через весь ринг. Пат спокойно и легко вышел на несколько шагов, рассчитал дистанцию, развернулся и сделал выпад правой прямо в челюсть Келли, потом остановился и с нескрываемым любопытством посмотрел на него. Матч кончился. Келли рухнул, как убитый бык, и лежал неподвижно, пока судья, наклонившись над ним, отсчитывал полагающиеся десять секунд. Когда секунданты Келли подошли поднять его, Пат их опередил. Он взял на руки огромное неподвижное тело, отнес в угол и, опустив на стул, сдал на руки секундантам.

Через полминуты Келли поднял голову и заморгал глазами. Он бессмысленно озирался, потом посмотрел на секунданта.

— Что это стряслось? — хрипло пробормотал

он. — Потолок обвалился, что ли?

Глава четвертая

После победы над Келли, хотя все и считали ее случайностью, Пат встретился с Руфом Мэйсоном. Встреча произошла через три недели, и публика Сиерра-клуба даже не успела разглядеть, что, в сущности, произошло. Руф Мэйсон был тяжеловес, прославившийся в своем кругу ловкостью и хитростью. Когда прозвучал первый гонг, противники встретились посреди ринга. Оба не торопились. Ни одного удара — они кружили друг около друга, согнув руки в локтях, так близко, что их перчатки почти соприкасались. Это продолжалось секунд пять. И вдруг что-то случилось, да так быстро, что из ста присутствующих, может быть, понял только один. Руф Мэйсон сделал ложный выпад правой. Выпад, очевидно, был не совсем ложный, скорее это была угроза, предвещавшая атаку. Вот в этот момент Пат и пустил в ход свой удар. Бойцы стояли так близко, что кулак Пата прошел не больше восьми дюймов. Короткий прямой толчок левой от плеча — вот и все. Удар пришелся прямо в подбородок, и обалдевшая публика увидела только, как у Руфа Мэйсона подкосились ноги и он упал на пол. Но судья понял

все и стал быстро считать секунды. И снова Пат отнес своего противника на его место; и прошло чуть ли не десять минут, пока Руф Мэйсон, к великому удивлению недоумевающих, растерянных зрителей, смог двинуться при поддержке секундантов по проходу к себе в уборную, согнувшись в три погибели и ворочая остекленелыми глазами и не разгибая колен.

— Я теперь понимаю, почему Келли решил, что на него обвалился потолок, — заявил Мэйсон репортеру.

Но после того как Пузан-Коллинз был выбит с ринга на двенадцатой секунде пятнадцатираундового матча, Стюбнеру пришлось поговорить с Патом.

— Знаешь, как тебя называют? — спросил он.

Пат пожал плечами.

— Глендон-Вышибала.

Пат вежливо усмехнулся. Его совершенно не интересовало, какие ему дают прозвища. Ему надо было выполнить определенную задачу, прежде чем удастся вернуться в любимые горы, и он равнодушно делал то, что положено.

— А так нельзя, — менеджер многозначительно покачал головой. — Не годится вышибать противника так быстро. Надо дать ему больше

возможностей, больше времени.

— А для чего же я дерусь? — удивился Пат.

Стюбнер снова покачал головой.

— Пойми, в чем дело, Пат. В боксе надо быть человеком широким, великодушным. Зачем обижать других боксеров? И по отношению к публике это нечестно. Они хотят побольше видеть за свои деньги. Да, кроме того, с тобой никто не захочет драться. Ты всех распугаешь. И разве соберешь публику на десятисекундный бой? Сам посуди: разве ты стал бы платить доллар, а то и пять, чтобы десять секунд смотреть на бокс?

Этот довод убедил Пата, и он обещал, что в будущем публика за свои деньги сможет смотреть на бой подольше, хотя добавил, что он лично предпочел бы пойти на рыбную ловлю, чем сидеть и глазеть на сто раундов бокса.

И все же Пат ничего путного еще не добился. Завсегдатаи бокса только смеялись, когда слышали его имя. Сразу вспоминались его нелепые победы и ядовитое замечание Келли насчет обвала потолка. Никто не знал, как он умеет драться, его не видели в бою. Какое у него дыхание, какая выдержка, как он сможет выстоять против сильных, грубых противников в долгих изматывающих схватках. Пока знали только, что у него отличный

удар и что ему отчаянно, непростительно везет.

В такой обстановке и было организовано четвертое выступление Пата — встреча с португальцем Питом Соссо, боксером, бывшим мясником, который славился на ринге больше всего тем, что выкидывал неожиданные трюки. К этому бою Пат не тренировался. Ему пришлось срочно поехать в горы и с болью в душе похоронить отца. Видно, старый Пат знал, что сердце у него выдержит недолго; оно и остановилось сразу, как часы.

Пат-младший едва поспел в Сан-Франциско к самому началу матча, так что ему пришлось прямо с поезда идти переодеваться для боя, да и то публика ждала минут десять.

— Помни же, дай ему возможность подраться, — предупредил Стюбнер, когда Пат нырнул под канат. — Поиграй с ним всерьез десять, а то и двенадцать раундов, а потом бери его!

Пат послушно выполнил указание. И хотя ему было бы очень легко нокаутировать Соссо, тот был так хитер и ловок, что Пату гораздо труднее было не поддаться ему и вместе с тем его не трогать. Зрелище было великолепное, публика пришла в восторг. Все искусство Пата потребовалось на то, чтобы отражать молниеносные атаки Соссо, его бешеные выпады, отступления и

наскоки, и молодому боксеру все-таки досталось как следует.

В перерывы Стюбнер хвалил Пата, и все пошло бы отлично, если бы на четвертом раунде Соссо не выкинул один из своих ошеломляющих трюков. Когда Пат в одной из схваток отбил Соссо хуком в челюсть, тот, к величайшему удивлению юноши, опустил руки и стал отступать, выпучив глаза и еле держась на ногах, как пьяный. Пат ничего не понимал. Удар был совсем слабый, — а противник вот-вот упадет на пол. Пат тоже опустил руки, растерянно следя за оглушенным противником. Соссо отступал покачиваясь и трясясь, чуть не упал, но удержался на ногах и подался вперед боком, словно вслепую.

И тут, в первый и последний раз за всю свою боксерскую карьеру, Пат был застигнут врасплох. Он даже посторонился, чтобы дать пройти оглушенному Соссо. И вдруг тот, все еще шатаясь, сделал выпад правой. Кулак попал Пату прямо в челюсть, так что у него все зубы затрещали. Зрители взревели от восторга. Но Пат ничего не слышал. Он только видел перед собой презрительно ухмыляющегося Соссо, — теперь-то он ничуть не шатался! Пату было больно, но еще больше он разозлился за подлый трюк. Вся

ярость, унаследованная от отца, вдруг вспыхнула в нем со страшной силой. Он тряхнул головой, как будто приходя в себя, и надвинулся на противника. Это был молниеносный выпад: сперва Пат отвлек внимание Соссо, потом ударил левой по солнечному сплетению и одновременно — правой в челюсть. Этот удар разбил Соссо рот, прежде чем португалец рухнул на пол. Полчаса клубные врачи не могли привести его в чувство. Потом они наложили на губы Соссо одиннадцать швов и отправили его в больницу.

— Нехорошо вышло, — сказал Пат своему менеджеру. — Зря я так вспылил. Больше со мной на ринге этого не будет. Отец всегда предостерегал меня, говорил, что сам был такой, оттого и проигрывал. Не думал я, что настолько могу выйти из себя. Теперь-то я знаю, что надо держать себя в руках.

И Стюбнер ему поверил. Стюбнер теперь уже верил своему питомцу решительно во всем.

— Чего же тебе злиться, — сказал он. — Все равно ты можешь побить любого.

— В любую секунду и на любой дистанции, — подтвердил Пат.

— Когда захочешь, тогда и нокаутируешь, верно?

— Конечно. Не хочу хвастать, но это у меня врожденное. Сразу вижу, что надо делать, и делаю верно. Чувство времени и глазомер у меня — вторая натура. Отец, бывало, говорил: «Это талант». А я думал — он меня дурачит. Теперь, когда я потягался с другими боксерами, я понимаю, что он был прав, когда говорил, что у меня полная координация мозга и мышц.

— Значит, в любую секунду и на любой дистанции? — задумчиво повторил Стюбнер.

Пат только кивнул в ответ, и Стюбнер, сразу и безоговорочно поверив ему, вдруг увидел перед собой такое блистательное будущее, что старый Пат, наверно, встал бы из гроба, если бы узнал, что тот задумал.

— Главное, не забывай, что публика за свои деньги хочет получить полное удовольствие, — сказал Стюбнер. — Мы с тобой договоримся, сколько раундов будет в каждом матче. Вот ты скоро будешь драться с Летучим Голландцем. Пусть он продержится, скажем, все пятнадцать раундов, а на последнем ты его выбьешь. Так ты и себя сможешь показать.

— Что ж, ладно, Сэм, — ответил Пат.

— Но это рискованная штука, — предупредил Стюбнер. — Может быть, тебе и не удастся уло-

жить его в последнем раунде.

— А вот послушайте! — сказал Пат и, сделав выразительную паузу, торжественно поднял томик Лонгфелло. — Если я его не уложу, никогда в жизни не буду читать стихи! А для меня это не пустяк.

— Знаю, знаю, — радостно согласился менеджер, — хоть и понять не могу, что ты в них находишь!

Пат вздохнул, но промолчал. За всю жизнь он встретил только одного человека, любившего стихи, — ту самую рыженькую учительницу, от которой он удрал в лес.

Глава пятая

— Ты куда собрался? — удивленно спросил Стюбнер, смотря на часы.

Не выпуская дверной ручки, Пат остановился и обернулся к Сэму.

— В научный лекторий, — сказал он. — Там сегодня один профессор читает лекцию о Броунинге, а Броунинг такой поэт, что его без объяснений понять нелегко. Вообще я иногда думаю, что не мешало бы мне походить в вечернюю школу.

— Фу, черт! Да ведь ты сегодня дерешься с Летучим Голландцем!

Менеджер был в совершенном ужасе.

— Помню, помню. Но я на ринг раньше половины десятого, а то и без четверти десять не выйду. А лекция кончится в четверть десятого. Хотите, заезжайте за мной на машине для верности.

Стюбнер беспомощно пожал плечами.

— Не бойтесь, не подведу! — успокоил его Пат. — Отец всегда говорил: боксер чувствует себя хуже всего перед самым боем. Люди часто проигрывали исключительно из-за того, что им перед боем нечего было делать, — только волновались и думали, что будет. А обо мне вам

беспокоиться нечего. Вы должны радоваться, что я могу спокойно посидеть на лекции.

В этот вечер во время боя — пятнадцать блестящих раундов — Стюбнер не раз ухмылялся про себя при мысли, что сказали бы любители бокса, если бы знали, что этот изумительный молодой боксер приехал на ринг прямо с лекции о поэзии Броунинга.

Летучий Голландец, швед по происхождению, обладал удивительной напористостью и вместе с тем феноменальной выдержкой. Он никогда не отдыхал, все время шел в нападение и от гонга до гонга осыпал противника градом ударов. С дальней дистанции он молотил кулаками, как цепом, на ближней — изворачивался, толкал плечом и бил, как только мог. Он вихрем носился от старта до финиша, оттого и был прозван Летучим Голландцем. Но у него не хватало чувства времени, чувства дистанции. И все же он выигрывал не одно состязание: из града ударов, которыми он осыпал противника, какой-нибудь да попадал в цель. Твердо помня, что ему нельзя нокаутировать Голландца до пятнадцатого раунда, Пат вел нелегкий бой. И хотя ему ни разу не попало всерьез, он должен был вовремя уходить от вихря ударов противника. Но это была непло-

хая тренировка, и ему такой бой даже доставлял удовольствие.

— Ну как, можешь его выбить? — шепнул ему на ухо Стюбнер во время минутной передышки в конце пятого раунда.

— Конечно, — ответил Пат.

— Имей в виду, что его до сих пор еще никто не мог нокаутировать, — предупредил Стюбнер еще раунда через два.

— Что ж, придется разбить руку, — улыбнулся Пат. — Я-то знаю силу своего удара, и уж если я попаду — кому-нибудь крышка: не ему, так моим суставам!

— А сейчас ты мог бы его взять? — спросил Сэм после тринадцатого раунда.

— Да я же вам сказал — в любую минуту!

— Ну, тогда продержи его до пятнадцатого раунда, Пат!

В четырнадцатом раунде Летучий Голландец превзошел самого себя. При первом же ударе гонга он ринулся через весь ринг прямо на Пата, спокойно подымавшегося в своем углу. Публика взревела, — Голландец налетел вовсю! Пату стало интересно, и он для забавы решил встретить бешеную атаку только пассивной защитой и ни разу не ударить самому. Он и не ударил ни разу

под трехминутным градом ударов. Редко кому приходилось видеть такое искусство защиты: то он просто закрывал лицо левой и живот правой, то, с переменой тактики нападения, менял позицию, и обе его перчатки закрывали лицо с двух сторон, или он защищал середину тела локтями. И при этом он делал переходы, то с нарочитой неловкостью выставляя плечо, то налегая на противника, чтобы помешать ему развернуться. Но сам он ни разу не ударил, даже не угрожал ударом, хотя его и покачивало под бешеными кулаками противника, который пытался барабанным градом ударов сломить его защиту. Тот, кто сидел близко к рингу, все видел, все оценил, но остальная публика совсем ничего не поняла, и весь зал, вскочив на ноги, орал и хлопал, думая, что растерявшегося Пата бьют вовсю. Конец раунда — и зрители в недоумении сели, увидев, что Пат как ни в чем не бывало идет в свой угол. Все решили, что он избит до полусмерти, а ему, оказывается, все нипочем.

— Когда же ты его вышибешь? — с тревогой спросил Стюбнер.

— Через десять секунд, — уверенно бросил Пат. — Вот увидите!

Все было очень просто. Когда Пат при звуке

гонга вскочил с места, он явно дал понять, что впервые за весь бой серьезно берется за противника. И зрители это поняли. Понял и сам Летучий Голландец, и когда они с Патом сошлись на середине ринга, он в первый раз за всю свою карьеру на ринге почувствовал нерешительность. Какую-то долю секунды оба стояли друг перед другом в позиции. Потом Летучий Голландец прыгнул на противника, и Пат точным правым кроссом нокаутировал его на прыжке.

После этого матча и началось головокружительное восхождение Пата Глендона на пути к славе. О нем заговорили любители бокса и репортеры спортивных газет. Он первый нокаутировал Летучего Голландца. Он гениально защищался. Все его победы — не просто счастливый случай. У него изумительно работают обе руки. Этот великан далеко пойдет. Нечего ему попусту тратить время на третьесортных боксеров и подставных драчунов, утверждали репортеры. Где Бен Мензис, Ридж Рид, где Билл Таруотер и Эрнст Лоусон? Пора бы им встретиться с этим новичком, который вдруг показал себя таким отличным боксером. И о чем только думает его менеджер, почему не шлет вызовов?

И вдруг в один прекрасный день пришла и

слава; Стюбнер открыл секрет: да, его боксер — сын Пата Глендона, старого Пата, знаменитого героя ринга! Мальчика сразу окрестили Патом-младшим, вокруг него толпились поклонники, репортеры делали ему рекламу в газетах, его превозносили, им восхищались.

Четыре второстепенных претендента на звание чемпиона, начиная с Бена Мензиса и кончая Биллом Таруотером, приняли вызов, и Пат нокаутировал их. Для этого ему пришлось поездить: он дрался в Голдфилде, Денвере, Техасе и Нью-Йорке. Времени на это ушло порядочно, потому что не так легко было организовать серьезные матчи, да и тренировка обоих противников отнимала немало времени.

На второй год у Пата уже была надежная репутация — он победил всех крупных боксеров, которые заступали ему дорогу к званию чемпиона в тяжелом весе. На вершине этой лестницы крепко держался Великий Джим Хэнфорд, непобедимый чемпион мира. По верхним ступенькам Пат подымался уже не так быстро, хотя Стюбнер неутомимо посылал вызовы и подзуживал общественное мнение, чтобы заставить боксеров драться с Патом. С Биллом Кингом Пат расправился в Англии, а за Томом Гаррисоном он гонялся

чуть ли не вокруг света, чтобы побить его на рождестве в Австралии.

А призы становились все крупнее и крупнее. Вместо сотни, которую Пат получал за первые выступления, ему платили от двадцати до тридцати тысяч долларов за матч, и столько же он получал от кинокомпаний. Стюбнер брал свой процент, как менеджер, согласно условиям контракта, составленного старым Патом; и оба, он и Глендон, несмотря на огромные издержки, постепенно богатели. Деньги накапливались потому, что оба вели здоровую, простую жизнь. Их никак нельзя было назвать расточителями.

Стюбнер интересовался недвижимой собственностью. И Глендону даже не снилось, насколько велико было состояние Сэма, вложенное в постройку доходных домов в Сан-Франциско. Существовал тайный тотализатор, целый синдикат, принимавший ставки на пари, и там довольно точно знали, сколько нажил Стюбнер, да, кроме того, Сэм получал немалые куши от киностудий, но Глендон никогда об этом и не слыхал.

Самой главной задачей Стюбнера было держать своего юного гладиатора в полном неведении, и это ему было совсем не так трудно. Глендон вовсе не касался деловой стороны бокса, да она

его, в сущности, и не интересовала. Куда бы им ни приходилось ездить, Пат все свободное время проводил на охоте или на рыбной ловле. Он мало общался со спортсменами, славился своей застенчивостью и молчаливостью и предпочитал картинные галереи и стихи всяким спортивным разговорам и сплетням. Его менеджер строго-настрого приказал его тренерам и партнерам по тренировке держать язык за зубами и ни словом не намекать о сделках и сговорах на ринге. Стюбнер старался изолировать Пата от внешнего мира как только мог. Даже интервьюировали Глендона только в присутствии его менеджера.

И только один раз к Глендону обратились непосредственно. Это было как раз перед ответственной встречей с Гендерсоном: кто-то в коридоре гостиницы сдавленным торопливым шепотом предложил Глендону сто тысяч. К счастью для этого человека, Пат сдержался и, отодвинув его плечом, молча прошел к себе. Он рассказал о встрече Стюбнеру, но тот успокоил его:

— Все подстроено, Пат. Проверить тебя хотели. — Он увидел, как в синих глазах вспыхнул гнев. — А может, и кое-что похуже. Если бы им удалось тебя поймать на взятке, они бы подняли страшный шум в газетах — такая сенсация! — и

прикончили бы твою карьеру. Впрочем, я не уверен, что это так. Раньше, в давние времена, действительно в истории ринга такие вещи случались, но сейчас все это отошло в область преданий. Когда-то бывали и подкупы и мошенничество, но в наши дни ни один уважающий себя боксер или менеджер ничего подобного себе не позволит. Пойми, Пат, что бокс такая же чистая и честная игра, как, скажем, профессиональный бейсбол, а ведь чище и честнее бейсбола не найдешь!

Но, уговаривая Пата, Стюбнер отлично помнил, что в предстоящем матче с Гендерсоном будет никак не меньше двенадцати раундов, — так условились с киностудией, — и не больше четырнадцати. Мало того, он знал, что ставки огромные и сам Гендерсон заинтересован в том, чтобы продержаться не более четырнадцати раундов.

А Глендон, к которому больше никто не посмел обращаться, совершенно забыл об этом разговоре и уходил на целые дни заниматься цветной фотографией. Это было его последнее увлечение. Влюбленный в живопись, он сам не умел рисовать, и ему пришлось довольствоваться цветной фотографией. Он всегда возил с собой целый чемодан всяких руководств и подолгу просиживал в

темной комнате, учась проявлять и увеличивать. Никогда еще не бывало на ринге знаменитого боксера, который бы так мало интересовался боксом. И оттого, что ему не о чем было говорить со случайными знакомыми, его считали мрачным и необщительным. Отсюда и пошла его газетная репутация

— не просто преувеличенная, а уже совершенно ложная. Из всего, что о нем писали, выходило, будто он сильный, как бык, бессмысленно тупой зверь, и один дрянной репортеришка обозвал его как-то лютым зверем. Прозвище пошло в ход. Вся пишущая братия подхватила его с восторгом. И с тех пор имя Глендона почти никогда не появлялось в печати без этого прозвища. Часто в заголовках или под фотографиями так просто и писали с большой буквы, без кавычек и даже без фамилии: Лютый Зверь. И весь мир знал, кто этот «зверь». А Пат от всего этого только еще глубже уходил в себя, и в душе его росли горечь и озлобление против газетных писак.

Но к боксу он стал относиться иначе — с гораздо большим интересом. Теперь его противники были отличные боксеры, и победа доставалась не так легко. Он дрался с избранными мастерами, властителями ринга, и каждый бой был сложной

задачей. Случалось, что он никак не мог выбить их на условленном раунде до самого конца боя. Так было с Сульцбергером, гигантом немцем: как Пат ни старался, он не смог взять его ни на восемнадцатом раунде, ни на девятнадцатом и только на двадцатом ему удалось сломить изумительную защиту немца и добиться нокаута. Глендон не только стал находить все больше и больше удовольствия в боксе, он и тренировался все серьезней и продолжительней. Он не позволял себе никаких излишеств, много времени проводил на охоте в горах и поэтому всегда был в наилучшей форме. Ни разу его карьеру не прерывали несчастные случаи, как бывало с его отцом, ни разу он не раздробил себе сустава, не повредил даже пальца; и Стюбнер со скрытой радостью отметил: его молодой боксер уже перестал говорить, что навсегда вернется в горы, как только отнимет звание чемпиона у Джима Хэнфорда.

Глава шестая

Решающий этап его карьеры приближался. Прославленный чемпион мира открыто заявил о своей готовности встретиться с Глендоном, как только тот победит трех или четырех соперников, которые стояли между ними. За шесть месяцев Пат убрал со своего пути Кида Мак-Града и филадельфийца Джека Мак-Брайда, ему осталось только победить Ната Пауэрса и Тома Кэннема. И все сошло бы великолепно, если бы одна светская барышня из любви к приключениям не стала репортером, а Сэм Стюбнер не согласился бы дать интервью корреспондентке «Курьер Сан-Франциско».

Она всегда подписывалась «Мод Сенгстер», — кстати, это было ее настоящее имя. Сенгстеры были известные богачи. Основатель семьи, Джейкоб Сенгстер, пришел на Запад с одним одеялом — наниматься в батраки. В Неваде он открыл неистощимые запасы буры и, начав вывозить ее на мулах, со временем смог построить и собственную железную дорогу. На прибыль с продажи буры он скупил сотни тысяч квадратных миль строевого леса в Калифорнии, Орегоне и штате

Вашингтон. Затем он занялся не только делами, но и политикой: подкупал государственных деятелей, судей, занимался политическими махинациями и стал крупнейшим промышленным магнатом. Наконец, он умер в зените славы, разочаровавшись во всем, пусть будущие историки стирают грязное пятно с его имени, а четверо его сыновей — передерутся из-за наследства в несколько сот миллионов. Целое поколение калифорнийцев потешалось над боем, который развернулся между наследниками Сенгстера в судах, в промышленности, в политике, посеяв между ними смертельную вражду. Самый младший, Теодор, будучи уже немолодым человеком, вдруг пережил нравственный перелом, распродал все свои скотоводческие фермы и скаковые конюшни и в донкихотской попытке искоренить и изничтожить прогнившую систему, которую ввел старый Джейкоб Сенгстер, с головой ушел в борьбу, с продажными заправилами своего родного штата, в том числе и со многими миллионерами.

Мод Сенгстер была старшей дочерью Теодора. В роду Сенгстеров почти все мужчины были задирами, а все женщины красавицами. И Мод не составляла исключения. К тому же она явно

унаследовала от предков любовь к приключениям и, не успев вырасти, натворила дел, никак не подобавших барышне ее круга. Замуж она не выходила, хотя такая невеста попадается одна на десять тысяч. Она побывала в Европе, но и оттуда не привезла с собой титулованного супруга. Да и всех своих многочисленных претендентов на родине она тоже отвергла. Мод занималась спортом, стала чемпионом штата по теннису, и вся светская пресса затаив дыхание следила за ее выходками: то она на пари прошла пешком из Сан-Матео в Сан-Крус, то вызвала невероятную сенсацию, сыграв в поло на закрытых состязаниях в Берлингеме в составе мужской команды. Между прочим, она увлекалась живописью, и у нее была своя студия в Латинском квартале Сан-Франциско.

Все это не имело особого значения, пока реформаторская блажь папаши не обрушилась и на нее. Гордая и независимая, она до сих пор еще не встретила человека, которому сама подчинилась бы с радостью, а те, кто пытался ее покорить, были ей невыносимо скучны. Возмущенная вмешательством отца в ее жизнь, она бросила бесповоротный вызов общественному мнению и, порвав с семьей, поступила на службу

в «Курьер». Начала она с двадцати долларов в неделю, но вскоре стала получать пятьдесят. Она писала главным образом рецензии на спектакли, концерты, выставки, но не отказывалась и от рядовой репортерской работы, если предвиделся интересный материал. Так, например, ей удалось вырвать большое интервью у Моргана, — до нее за ним безуспешно гонялись десятки самых знаменитых нью-йоркских журналистов; так, она в водолазном костюме спускалась на дно залива у Золотых Ворот и летала вместе с Рудом — Человеком-Птицей, когда он побил все тогдашние рекорды на беспосадочный полет, долетев до Риверсайда.

Но не думайте, что Мод Сенгстер была мужеподобной амазонкой. Наоборот, это была сероглазая тоненькая девушка двадцати трех — двадцати четырех лет, среднего роста, с удивительно маленькими, особенно для спортсменки, руками и ногами. К тому же, — что не так часто встречается среди спортсменок, — она умела быть изысканно-женственной и изящной.

Она сама предложила редактору своего отдела проинтервьюировать Пата Глендона. Кроме Боба Фитцсиммонса, которого она мельком видела на балу, во фраке, ей никогда в жизни не приходи-

лось встречаться с настоящим боксером. Да она и не проявляла к ним особого интереса до того дня, как Пат Глендон приехал в Сан-Франциско тренироваться для встречи с Натом Пауэрсом. Тут сыграла роль репутация, созданная ему в прессе. Любопытно поглядеть, что это за Лютый Зверь! Из того, что ей пришлось о нем читать, Глендон представлялся ей чудовищным силачом, невыразимо тупым, упорным и свирепым, как зверь из джунглей. Правда, по его фотографиям в журналах этого сказать было нельзя, но и по ним видно было его мощное сложение, чему вполне могли соответствовать и другие звериные качества. И вот в сопровождении газетного фотографа Мод отправилась в тренировочные залы Клифф-клуба, в час, назначенный Стюбнером.

А этому владельцу всяких недвижимостей сейчас приходилось солоно: Пат взбунтовался; он сидел, перекинув ногу через ручку кресла, на колене у него лежал раскрытый томик сонетов Шекспира переплетом кверху, и он разносил современных женщин.

— Ну к чему они всюду лезут? — возмущался он. — Разве бокс — их дело? Что они в нем понимают? Мужчины и те пишут что попало. Я ей не выставка. Зачем ей нужно меня расписывать?

Не выношу женщин в тренировочной, все равно — репортеры они или не репортеры.

— Да разве она просто репортер? — уговаривал его Стюбнер. — Слыхал про Сенгстеров? Ну тех, миллионеров?

Пат кивнул головой.

— Она — дочка одного из них. Высший свет, и все такое. Могла бы и не зарабатывать деньги, а прожигать жизнь как вздумается. Ее папаша стоит миллионов пятьдесят, не меньше.

— Зачем же она работает в газете? Только хлеб отбивает у какого-нибудь бедняка.

— Да она с отцом в ссоре, — поругались из-за чего-то, когда он занялся чисткой Сан-Франциско. Совсем порвала с ним. Ушла из дому и поступила на работу. И вот что я тебе скажу, Пат: пишет она так здорово, что с ней ни одному газетчику на всем побережье не сравняться!

Пат уже слушал с некоторым интересом, и Стюбнер заторопился:

— Она и стихи пишет, помешана на всяких таких штучках, не хуже тебя! Только у нее по-настоящему выходит, она даже книжку выпустила. И на все спектакли пишет рецензии. Пойми, ей поручают интервью с самыми знаменитыми актерами, какие сюда ездят!

— Да, я видел ее имя в газетах, — подтвердил Пат.

— А как не видеть! И для тебя, Пат, настоящая честь, что ей поручено о тебе написать. Ты не беспокойся: я тут буду и все ей объясню! Сам знаешь, я всегда брал это дело на себя!

Пат с благодарностью посмотрел на менеджера.

— И вообще, Пат, не забывай одного: надо тебе привыкать к этим интервью. Это часть твоей работы. Громкая реклама — и к тому же бесплатно! Такой рекламы ни за какие деньги не купишь. Публика прислушивается — на то и газета, — расхватывает билеты, а к нам плывут денежки.

Он остановился, прислушался, взглянул на часы.

— Наверно, это она пришла. Пойду встречу, приведу ее сюда. Я ей скажу, чтобы она тебя долго не мучила, нечего ей рассиживаться! — В дверях он обернулся. — И будь человеком, Пат. Не прячься, как улитка в раковину, не молчи. Поговори с ней немножко, отвечай на вопросы.

Пат отложил сонеты, взял газету со стола и погрузился в чтение, но тут Стюбнер вошел с Мод, и ему пришлось встать. Обоих потрясла эта встреча. Синие глаза встретились с серыми, и казалось,

что оба — и юноша и девушка — вдруг радостно вскрикнули, словно нашли то неожиданное, чего искали всегда. Но это длилось мгновение. Они совсем не такими представляли себе друг друга, и поэтому первый ясный зов признания сменился полнейшей растерянностью. Как всякая женщина, Мод первая овладела собой, ничем не выдав своего смущения. Она сама пошла навстречу Глендону, чтобы поздороваться с ним. А он даже не понимал, что бормочет, когда их знакомили. Вот это была женщина — та, единственная! Он и не знал, что такие бывают на свете! Те, что встречались ему раньше, ничем не походили на нее. Интересно, понравилась бы она старому Пату? Что сказал бы он о ней? А вдруг это и была та самая, про которую он говорил: «Держи ее обеими руками!» Пат вдруг обнаружил, что каким-то образом рука Мод очутилась в его руке. Он смотрел на эту руку с восторгом и недоумением, пораженный ее хрупкостью.

А она между тем старалась подавить в себе даже отзвук неожиданного зова, прозвеневшего в ней так ясно, так отчетливо. Никогда она не испытывала такого удивительного ощущения — этой внезапной тяги к чужому человеку. И к кому — к этому Лютому Зверю, огромному тупому

кулачному бойцу, который бил кулаками таких же грубых скотов, как он сам. Но она улыбнулась, увидев, что Пат не выпускает ее руку.

— Пожалуйста, отпустите мою руку, мистер Глендон! Она… она мне самой нужна!

Он растерянно посмотрел на нее, перевел взгляд на ее пальцы, крепко стиснутые в его ладони, и так неловко выпустил их, что вся кровь хлынула ему в лицо.

Девушка увидела, как он вспыхнул, и вдруг подумала, что он совсем не похож на тупого зверя, каким она его себе представляла. Разве «зверь» может так покраснеть? И ей очень понравилось, что он не стал развязно просить прощения. Но как он пожирает ее глазами — просто делается неловко! Уставился на нее, словно оглушенный, а щеки покраснели еще гуще.

Но Стюбнер уже подставил ей стул, и Глендон машинально тоже опустился на свое место.

— Он в превосходной форме, мисс Сенгстер, в отличной форме, — говорил менеджер. — Верно я говорю, Пат, а? Чувствуешь себя отлично, правда?

Но Пату это не понравилось. Он сердито нахмурил брови и промолчал.

— Я давно хотела познакомиться с вами, мистер

Глендон, — сказала мисс Сенгстер. — Мне до сих пор не приходилось интервьюировать кулачного бойца, так что вы простите, если я сначала не сумею как следует вас расспросить.

— Не лучше ли вам сначала посмотреть, как он работает? — предложил Стюбнер. — А пока он будет переодеваться, я вам все сообщу — все новейшие данные. Сейчас позовем Уолша, Пат, и покажем два-три раунда.

— Ничего мы не покажем! — настоящим зверем буркнул Пат. — Продолжайте ваше интервью.

Но интервью никак не ладилось. Стюбнер все время говорил, подсказывал, что писать, и это страшно раздражало Мод Сенгстер. А Пат не принимал никакого участия. Мод внимательно изучала его тонкое лицо, ясные, синие, широко раскрытые глаза, прямой, чуть с горбинкой нос, крепкий целомудренный рот с нежным и мужественным изгибом в уголках губ. Нет никакого намека на угрюмую тупость! Загадочная личность, если только газеты пишут о нем правду. Тщетно искала она в нем хотя бы малейшего признака «лютости» и так же тщетно пыталась установить с ним хоть какой-нибудь контакт. Начать с того, что Мод слишком мало понимала в боксе и боксерах, а как только она пробовала

навести Пата на разговор, сразу вмешивался всезнающий Стюбнер.

— Наверно, жизнь боксера — интересная штука! — сказала она, наконец, и, вздохнув, добавила: — Жаль, что я так плохо себе представляю ее. Ну вот, скажите мне, почему вы деретесь?.. Нет, нет, я не о денежной стороне говорю, — поторопилась она, чтобы отмахнуться от Стюбнера, — но вам бокс доставляет удовольствие? Вас увлекает соперничество с другими мужчинами? Я как-то не умею выразить то, что мне хочется сказать, но вы уж мне подскажите!

Пат со Стюбнером заговорили вместе, но тут Пат взял верх над своим менеджером:

— Сначала мне было неинтересно…

— Ему просто было слишком легко, — перебил Стюбнер.

— …но потом, — продолжал Пат, — когда пришлось столкнуться с лучшими бойцами, по-настоящему умелыми, ловкими, когда мне пришлось больше… больше…

— …рассчитывать на себя? — подсказала Мод.

— Вот именно рассчитывать на себя, тогда мне стало интереснее, гораздо интересней. И все-таки бокс не захватывает меня так, как мог бы. Понимаете, каждый бой для меня, конечно, задача, и я

должен ее решить своим умом, своими мускулами, но исход боя для меня всегда предрешен…

— Ни разу ни одного сомнительного исхода, — заявил с гордостью Стюбнер. — Всегда чистый нокаут, и победа за ним!

— И вот эта уверенность в победе, возможно, и отнимает самое увлекательное, что, вероятно, есть в боксе, — закончил Пат.

— Ничего! Надеюсь, встреча с Джимом Хэнфордом тебя раззадорит! — сказал Стюбнер.

Пат улыбнулся, но ничего не сказал.

— Расскажите побольше о себе, — попросила Мод, — расскажите подробней, что вы чувствуете во время боя.

И тут Пат поразил не только своего менеджера и мисс Сенгстер, но и сам поразился, как это он вдруг выпалил:

— По правде сказать, мне не об этом хочется говорить с вами. Ведь мы, наверно, можем рассказать друг другу много более важного, интересного. Вот я…

Он вдруг замолчал, понимая, что он говорит, но не отдавая себе отчета, почему он вдруг так заговорил.

— Да, да! — горячо подхватила она. — Вы правы! Только тогда и получается интересное интервью,

когда человека видишь по-настоящему…

Но Пат опять ушел в себя, а Стюбнер забросал ее цифрами, сравнивая объем, вес, рост своего чемпиона с Сэндоу, Грозой Турции, Джеффрисом и другими современными тяжеловесами. Мод Сенгстер скучно было слушать его, и она этого не скрывала. Случайно ее взгляд остановился на сборнике сонетов Шекспира. Она взяла книгу и вопросительно взглянула на Стюбнера.

— Это Пат читает, — сказал тот. — Помещан на стихах, занимается цветной фотографией, бегает по выставкам и всякое такое. Только, ради бога, не пищите об этом, вы всю его репутацию погубите.

Мод укоризненно посмотрела на Пата, и он совсем смутился.

«Какая прелесть! — Подумала она. — Он, этот гигант, король боксеров, робок, как мальчишка, читает стихи, ходит на выставки и занимается цветной фотографией! Нет, никакого „лютого зверя“ тут и в помине нет». Она поняла, что и робеет он от застенчивости и впечатлительности, а вовсе не от тупости. Сонеты Шекспира! Да, в это нужно вникнуть по-настоящему. Но Стюбнер не дал им сказать ни слова и опять забросал ее своими дурацкими цифрами.

Однако через несколько минут, она, сама того

не сознавая, вдруг затронула самую животрепещущую тему. Когда она узнала, что он читает сонеты, в ней снова шевельнулось то мгновенное острое влечение к нему, которое она испытала при встрече. Этот великолепный стан, прекрасное лицо, эти губы, такие целомудренные, и эти ясные глаза, высокий спокойный лоб под светлым коротким ежиком, атмосфера здоровья и чистоты, которая окружала юношу, — весь он неудержимо и почти подсознательно притягивал ее так, как никогда до сих пор не притягивал ни один человек. И в то же время она не могла отмахнуться от скверных сплетен, которые ей пришлось услышать еще вчера, в редакции «Курьера».

— Да, вы правы, — сказала она. — Нам с вами действительно есть о чем поговорить. Меня мучает одна мысль, помогите мне разобраться. Поможете?

В ответ Пат наклонил голову.

— Можно, я буду говорить откровенно, откровенно до грубости? В разговорах о боксе то и дело упоминают о каких-то заранее намеченных раундах, о каких-то ставках, пари. Правда, я никогда не обращала на это особенного внимания, но мне казалось, что люди принимают как должное

всякое жульничество и обман, связанные с боксом. И вот, глядя на вас, я никак не могу понять: неужели вы можете участвовать в обмане? Можно допустить, что вы любите спорт ради спорта, ну… и ради денег, которые он вам приносит, но мне совершенно непонятно…

— Да тут и понимать нечего, — перебил ее Стюбнер, заметив, как мягкая, снисходительная улыбка тронула губы Пата. — Все это сказки, болтовня — про подтасовки, договоренность и всякую прочую галиматью. Ерунда все это, мисс Сенгстер, уверяю вас. Дайте я вам лучше расскажу, как я открыл мистера Глендона. Получаю я письмо от его отца…

Но Мод Сенгстер не так-то легко было отвлечь, она обратилась прямо к Пату:

— Слушайте, я отлично помню один такой случай. Несколько месяцев назад, — я забыла, кто там выступал, — один из сотрудников «Курьера» сообщил мне, что завтра выиграет большие деньги. Не то что надеется выиграть — нет, прямо так и сказал: «Выиграю». Объяснил, что ему кое-что подсказали и что он ставит на определенное число раундов. Он мне точно сказал: «Матч закончится на девятнадцатом раунде». Разговаривали мы с ним накануне боя. А на следующий день он

торжествовал и сразу объявил мне, что матч действительно закончился на том самом раунде. Я как-то над этим и не задумалась. Меня бокс тогда совершенно не интересовал. А теперь интересует. Тот случай вполне соответствовал моему, правда, довольно смутному, представлению о боксе. Как видите, не все тут выдумки и сказки, правда?

— Я помню этот матч, — сказал Глендон. — Дрался Суэн и Маргуэзер. И действительно — закончили на девятнадцатом раунде, Сэм. А она говорит, что ей накануне назвали именно этот раунд. Как вы это объясните, Сэм?

— А как объяснить, если человек вытащит в лотерее счастливый билет? — уклончиво сказал Стюбнер, торопливо соображая, как бы ему получше выпутаться. — В этом-то все дело. Если как следует разбираться в боксе — учитывать состояние боксера и его опыт, знать все правила, весь ход состязания, — то нетрудно точно предсказать число раундов. Предсказывают же люди, какая лошадь придет на скачках первой, и выигрывают иногда при этом один на сто! И не забывайте главного: на каждого выигравшего приходится свой проигравший — тот, что не сумел угадать нужный раунд. Нет, мисс Сенгстер, клянусь честью, что всякие сделки, всякое мошенничество

в боксе — это… да этого просто не существует.

— А ваше мнение, мистер Глендон? — спросила она.

— Он вполне со мной согласен, — перехватил ответ Стюбнер. — Он знает, что я говорю правду, чистую правду. Сам он всегда дрался честно и чисто. Верно я говорю, Пат?

— Да, верно! — подтвердил Пат.

И самое странное — Мод Сенгстер была убеждена, что он не лжет. Она провела рукой по лбу, будто прогоняя назойливую мысль, не дающую ей покоя.

— Слушайте, — сказала она, — вчера вечером тот же сотрудник говорил мне, что и ваш предстоящий матч предрешен вплоть до того раунда, на котором он окончится.

Стюбнер с перепугу не знал, что и сказать, но Пат предупредил его.

— Лжет он, ваш сотрудник! — прогремел он полным голосом.

— Но ведь про тот матч он не лгал? — с вызовом бросила она.

— А на каком раунде, по его словам, закончится моя встреча с Натом Пауэрсом?

Но тут Стюбнер вмешался со всей решительностью, он даже не дал ей ответить.

— Что за чушь, Пат! — крикнул он. — Замолчи! Все это обычные сплетни, слухи! Давайте лучше закончим интервью.

Глендон даже не взглянул в его сторону: он пристально смотрел на девушку, и глаза у него были совсем не те — синие и ласковые, — в их взгляде было что-то суровое, повелительное. Теперь она знала твердо, что случайно напала на след какого-то потрясающего открытия, чего-то такого, что ей все объяснит. Она вся затрепетала от повелительного взгляда и голоса Пата. Вот настоящий мужчина! Он-то сможет взять жизнь в руки и вырвать у нее все, что захочет.

— Так на каком раунде, как вам сказал сотрудник? — властно спросил он.

— Да брось ты эти глупости, ради всего святого! — опять перебил Стюбнер.

— Дайте же мне ответить! — попросила Мод Сенгстер.

— Я и сам могу поговорить с мисс Сенгстер, — добавил Глендон. — Уйдите-ка отсюда, Сэм. Ступайте займитесь фотографом!

Минуту оба молча, с напряжением смотрели друг другу в глаза. Потом менеджер не спеша подошел к двери, открыл ее, остановился и стал слушать.

— Ну, какой же раунд?

— Надеюсь, что я не ошибаюсь, — ее голос дрогнул. — Но, по-моему, он сказал: на шестнадцатом раунде.

Она увидела, как удивление и гнев отразились на лице Глендона, как он с возмущением и укором посмотрел на Стюбнера, и поняла, что удар попал в цель.

Да, Глендон имел все основания рассердиться на Стюбнера. Он помнил, как разговаривал с ним и как они решили дать публике за ее деньги вволю полюбоваться дракой, но зря не затягивать матч и закончить его на шестнадцатом раунде. И вдруг приходит женщина из редакции газеты и называет именно этот раунд!

У Стюбнера, стоявшего в дверях, был совершенно растерянный вид. Он побледнел и с трудом держал себя в руках.

— Я с вами потом поговорю, — бросил ему Пат, — закройте-ка за собой дверь!

Дверь закрылась. Они остались вдвоем. Глендон молчал, по лицу его было видно, как он расстроен и огорчен.

— Ну, что? — спросила Мод.

Он поднялся, посмотрел на нее с высоты своего роста, потом опять сел и стал кусать пересохшие

губы.

— Одно я вам могу сказать, — проговорил он решительно. — На шестнадцатом раунде матч не закончится!

Она промолчала, но ее недоверчивая, ироническая улыбка обидела его.

— Погодите, мисс Сенгстер, вы сами увидите, что ваш редактор ошибся!

— Вы хотите сказать, что измените программу? — вызывающе спросила она.

Он вздрогнул от ее слов, как от удара.

— Я не привык лгать, — сказал он холодно, — даже женщинам.

— Да вы мне и не солгали. Однако вы не отрицаете, что программа будет изменена. Может быть, это глупо с моей стороны, мистер Глендон, но я, право, не вижу разницы, на каком раунде закончится бой. Важно, что этот раунд заранее предрешен и кое-кому известен.

— Нет, я назову этот раунд только вам, и ни одна живая душа об этом не узнает.

Она пожала плечами, улыбнулась:

— Вот так на бегах подсказывают фаворита. Ведь это обычно так и делается, не правда ли? Но вообще-то я не столь уж глупа, я понимаю, что тут что-то неладно. Почему вы рассердились, когда я

назвала раунд? Почему вы накинулись на своего менеджера? Зачем вы его выгнали отсюда?

Вместо ответа Глендон подошел было к окну, как будто хотел посмотреть на улицу, потом передумал, обернулся к Мод; и она, даже не глядя, почувствовала, что он изучает ее лицо. Он снова подошел к ней, сел на место.

— Вы подтвердили, что я вам не лгал, мисс Сенгстер. Вы были правы. Я не врал. — Он остановился, словно с трудом подбирая верные слова для объяснения. — Можете вы поверить тому, что я вам расскажу? Поверите слову, честному слову боксера?

Она серьезно кивнула головой, глядя ему прямо в глаза и веря до глубины души, что он ей скажет одну только правду.

— Я всегда дрался честно и правильно. Никогда я не тронул ни одного грязного доллара, не участвовал ни в одной грязной сделке. Теперь дальше. Ваши слова были для меня настоящим ударом. Не знаю, как это все понять. Я не могу так сразу объяснить, в чем дело. Я просто не понимаю. Но что-то тут нечисто. И это меня мучает. Понимаете, мы со Стюбнером действительно обсуждали предстоящий матч и решили — между собой, конечно, — что я закончу его на шестнадцатом

раунде. И вдруг вы назвали тот же раунд. Откуда же узнал сотрудник вашей редакции? Ясно — не от меня. Значит, выдал Стюбнер, если… если только… — Он вдруг остановился, словно решая задачу: — …Если только ваш сотрудник и впрямь не угадал, на свое счастье. Я никак не могу понять. Придется мне понаблюдать, выждать, разобраться, в чем дело. Но все, что я вам сказал, — чистая правда, вот вам моя рука.

Он снова встал во весь рост и наклонился к девушке. Она поднялась ему навстречу, и ее маленькая рука потонула в его огромной ладони. Они посмотрели друг другу в глаза прямо и откровенно и вдруг невольно взглянули на свои руки. Никогда в жизни Мод так отчетливо не ощущала, что она — женщина. Таким поразительным символом мужского и женского начала казались эти соединенные руки — нежные, хрупкие женские пальцы в тяжелой, сильной мужской ладони. Глендон заговорил первый:

— Как легко сделать вам больно, — сказал он; и она почувствовала, как его крепкое пожатие превращается в ласковое прикосновение.

Ей вдруг вспомнился рассказ из истории про прусского короля и его великанов гвардейцев, и, засмеявшись нелепой и неожиданной ассоциа-

ции, она отняла руку.

— Хорошо, что вы пришли сегодня, — сказал он и тут же неловко стал объяснять свою мысль, в то время как его глаза, полные горячего восхищения, говорили совсем другое. — Я хочу сказать — я потому рад, что вы, может быть, открыли мне глаза на всякие махинации, которые проделывали вокруг меня.

— Но вы меня поражаете, — настаивала она, — я была уверена, что всякие сделки и подтасовки в профессиональном боксе — вещи само собой разумеющиеся, и мне абсолютно непонятно, каким образом вы, один из главных участников, могли оставаться в таком неведении? Мне казалось вполне естественным, что вы все это знаете, а теперь вы убедили меня, что вам эти проделки и не снились. Нет, вы, очевидно, совсем непохожи на других боксеров.

Он утвердительно кивнул.

— Видно, так оно и есть. А вышло это из-за того, что я держусь в стороне от всей этой компании — и от других боксеров, и от их хозяев, и вообще от всех любителей спорта. Им легко было одурачить меня. Но мы еще посмотрим, окончательно они меня одурачили или нет. Погодите, я сам во всем разберусь!

— И все измените? — взволнованно спросила она; ей казалось, что он может сделать все, что захочет.

— Нет, все брошу! Если игра нечестная, я не желаю в ней участвовать. Но одно могу сказать вам наверняка: этот мой матч с Натом Пауэрсом на шестнадцатом раунде не окончится. Если вашего сотрудника и вправду кто-то предупредил, то он и все они останутся в дураках. Не стану я его нокаутировать на шестнадцатом, я ему дам продержаться до двадцатого. Вот увидите!

— Значит, мне ничего не говорить в редакции? — Она встала, собираясь уходить.

— Конечно, не говорите. Если тот сотрудник просто гадает — что ж, пусть надеется на счастье. А если тут какое-нибудь мошенничество, пускай проиграет, так ему и надо! Но пусть это останется нашей с вами тайной. Знаете, что я сделаю? Я назову вам раунд. Не буду я держаться до двадцатого раунда, выбью Ната Пауэрса на восемнадцатом.

— А я никому об этом ни слова! — пообещала она.

— У меня к вам еще одна просьба, — нерешительно сказал Пат, — большая, очень-очень большая просьба!

Он увидел по ее лицу, что она уже согласна, и

продолжал:

— Конечно, я понимаю, что вы ничего не напишете в интеврью об этих подтасовках. Но я прошу не только об этом. Мне вообще не хочется, чтобы вы обо мне писали.

Ее проницательные серые глаза пристально взглянули на него, и, неожиданно для самой себя, она вдруг согласилась.

— Ну конечно! — сказала она. — В газете ничего не будет. Я не напишу ни строчки!

— Я так и знал! — просто подтвердил он.

В первую секунду Мод была разочарована: как это он ее не поблагодарил, но тут же обрадовалась, что он не произнес ни слова благодарности. Она почувствовала, что он хочет придать совсем другое значение этой их короткой встрече, и смело решила все выяснить.

— Откуда же вы знали? — спросила она.

— Сам не понимаю, — он тряхнул головой. — Не могу объяснить. Это как-то ясно само собой. Мне кажется, я вообще много чего знаю о нас обоих.

— Но почему вам не хочется, чтобы напечатали интервью? Как говорит ваш менеджер — реклама отличная!

— Знаю, — медленно сказал он. — Но мне не хочется быть связанным с вами таким образом. Мне

было бы обидно, если бы появилось интервью. Не хочется думать, что я познакомился с вами только как с репортером. Хотелось бы вспоминать эту нашу встречу просто, как встречу двух людей — мужчины и женщины. Не знаю, понимаете ли вы, о чем я говорю. Но я так чувствую. Хочу вспоминать нашу встречу только как встречу мужчины с женщиной.

При этих словах он посмотрел на нее так, как смотрит мужчина на женщину. Она ощущала его силу, его порыв, и ей самой было странно, что она не может сказать ни слова от неловкости и смущения, — и это ему, человеку, прославившемуся своей неловкостью и молчаливостью. Нет, он умел выражать свои мысли гораздо откровеннее, гораздо убедительней, чем многие другие; и ее поражало, что она внутренне до конца убеждена, что в нем говорит наивная искренность и непосредственность, а не притворство, не поза.

Он проводил ее к машине и снова удивил ее на прощание. Когда их руки сошлись в пожатии, он вдруг сказал:

— Мы еще с вами встретимся. Я хочу вас видеть. И я чувствую, что мы еще не все сказали друг другу.

И когда ее машина отъехала, она испытала

такое же чувство. Да, она еще непременно встретится с ним, с этим человеком, так задевшим ее воображение, — с Патом Глендоном, королем боксеров, Лютым Зверем.

В тренировочной Пата уже ожидал злой и растерянный Стюбнер.

— Ты зачем меня выставил? — сердито спросил он. — Теперь нам конец. Черт знает что ты натворил! Главное, никогда раньше ты не разговаривал с репортерами наедине. Вот увидишь, что будет, когда напечатают интервью!

Глендон взглянул на него спокойно и насмешливо, повернулся было к двери, но передумал и остался.

— Никакого интервью не напечатают! — сказал он.

Стюбнер удивленно поднял брови.

— Я сам ее просил, — объяснил Глендон.

Стюбнера просто взорвало:

— Так она и откажется от лакомого кусочка!

Глендон смерил его ледяным взглядом, и голос его зазвучал резко и неприятно:

— Сказано — не напечатают. Она мне обещала. Вы что же, хотите сказать, что она лжет?

Древний ирландский огонь вспыхнул в его глазах, кулаки бессознательно сжались в страстном

гневе, и Стюбнер, знавший силу этих кулаков и характер этого человека, уже ни в чем не посмел сомневаться.

Глава седьмая

Стюбнеру нетрудно было догадаться, что Глендон намерен продлить матч, хотя никак не удалось выпытать, на каком раунде Пат собирается этот матч закончить. Тогда Сэм, естественно, не стал зря терять время и частным образом кое о чем договорился с Натом Пауэрсом и его менеджером. У Пауэрса были свои верные поклонники, ставившие на него, да и синдикат игроков, куда входил Сэм, нельзя было лишить обычного куша.

В тот вечер, когда был назначен матч, Мод Сенгстер решилась на поступок, уже окончательно нарушающий всякие правила приличия, хотя никто о нем не разболтал и общество шокировано не было. Сотрудник редакции провел ее под своим покровительством на место у самого ринга. Волосы и лоб она спрятала под широкополой мягкой шляпой, а длинное мужское пальто закрывало ее всю до самых пят. В густой толпе никто ничего не заметил, и даже газетчики, хотя и сидели на скамьях прессы, прямо против Мод, совсем не узнали ее.

По новым правилам, никаких предваритель-

ных выступлений не полагалось, и не успела Мод сесть, как рев и аплодисменты встретили появление Ната Пауэрса. Он шел по проходу, окруженный секундантами, и девушка почти со страхом смотрела на его огромную тушу. Но он, ухмыляясь бурным приветствиям публики, нырнул под канат с такой легкостью, будто весил вполовину меньше. Красотой он похвалиться не мог. Все в нем напоминало о его профессии, о присущей ей зверской грубости — и расплющенные уши и сломанная переносица, — видно, хрящи были так исковерканы, что никакое искусство хирурга не смогло бы восстановить форму носа.

Снова взрыв аплодисментов и крики — это приветствовали выход Глендона. И Мод с волнением следила, как он нырнул под канат в свой угол. Прошла скучная церемония представлений, взаимных приветствий и вызовов, и только тогда боксеры сбросили халаты и в одном трико встали лицом к лицу. Сверху их заливал яркий свет юпитеров — готовилась киносъемка; и, смотря на обоих противников, так непохожих друг на друга, Мод угадывала чистокровную породу в Пате, а лютого зверя — в Пауэрсе. Оба как нельзя лучше воплощали эти два понятия. Глендон — безукоризненно сложенный, с тонким лицом,

весь плавный, мощный, прекрасный; и Пауэрс — почти бесформенный, узловатый, густо поросший шерстью.

Когда оба застыли в позиции перед камерой кинооператора, Глендон случайно посмотрел под канат и остановил взгляд на лице девушки. И хотя он ничем не подал виду, сердце у нее дрогнуло, — Пат явно узнал ее. Но тут прозвучал гонг, распорядитель крикнул: «Время!» — и бой начался.

Это был великолепный матч. Ни крови, ни грубых ударов — оба противника бились ловко, умело. В начале первого раунда они только прощупывали друг друга, но для Мод Сенгстер вся эта игра, ложные выпады, хлопки перчаток — все казалось необыкновенно увлекательным. А потом, во время самых решительных схваток, ее спутнику то и дело приходилось касаться ее плеча, чтобы сдержать ее и напомнить, кто она такая и где находится.

Пауэрс боролся легко и чисто, как и подобало победителю в десятках состязаний, и его восторженные поклонники аплодировали каждому искусному выпаду. Но он зря не расходовал силы и только иногда, в напряженной схватке, дрался так, что вся публика с ревом вскакивала

на ноги, в уверенности, что он сейчас положит противника.

Именно в такой момент, когда Мод по неопытности не могла понять, что Глендон только что ушел от серьезной опасности, сотрудник редакции наклонился к ней и сказал:

— Пат непременно победит, будьте уверены. Он бьет наверняка, ему никто не страшен! Но побьет он Пауэрса на шестнадцатом раунде, не раньше!

— А может быть, и позже? — спросила Мод.

Она чуть не расхохоталась, когда ее спутник решительно отвел это предположение; ей-то лучше было знать!

Пауэрс славился своим умением наступать на противника без передышки, от раунда к раунду, и Глендон охотно принимал эту тактику. Защищался он изумительно и только изредка, чтобы подогреть интерес в публике, переходил в наступление. Правда, Пауэрс заранее знал, что ему предстоит нокаут, но все же он достаточно давно выступал на ринге и понимал, что незачем ему отказываться от победы, если представится возможность. Слишком часто его самого подводили и предавали, — чего же ему стесняться с другими? Удастся нокаутировать противника — хорошо, и пусть весь синдикат проваливает к чертям.

Благодаря ловкой подготовке в печати публика была убеждена, что наконец-то Глендон-младший встретил более сильного противника. Но в душе Пауэрс отлично сознавал, что на сей раз он сам столкнулся со своим победителем. Не раз в бурной схватке он чувствовал тяжесть его кулака и знал, что Пат нарочно смягчает силу удара.

Для самого Глендона несколько раз во время боя наступали такие моменты, когда малейшая оплошность, малейший просчет могли подставить его под удар тяжелого, как молот, кулака противника и принести ему поражение, но в нем жила почти сверхъестественная способность точно ощущать время и дистанцию, и он не терял уверенности в себе, хотя несколько раз попадал в очень трудное положение. Никогда еще он не проигрывал, ни разу не был сбит с ног и всегда чувствовал себя настолько сильнее противника, что даже не помышлял о нокауте.

К концу пятнадцатого раунда оба бойца были в отличной форме, разве только дыхание у Пауэрса стало чуть прерывистее, и многие зрители в первых рядах уже бились об заклад, что он «выдохнется».

Перед ударом гонга, возвестившим шестнадцатый раунд, Стюбнер наклонился к самому уху

Глендона, сидевшего в углу, и прошептал:

— Возьмешь его сейчас, а?

Глендон только тряхнул головой и насмешливо расхохотался в лицо перепуганному менеджеру.

Прозвучал гонг, и с первой секунды шестнадцатого раунда Пат с удивлением почувствовал, что Пауэрс разошелся вовсю. Настоящий вихрь ударов обрушился на Глендона, и он с трудом избегал серьезных повреждений. Он блокировал удары, входил в клинч, уклонялся, отступал, а противник прижимал его к канату и встречал новым градом ударов, как только он бросался в центр ринга. При этом Пауэрс неоднократно открывался кулаку противника, но Глендон никак не желал нанести свой знаменитый молниеносный удар, — он приберегал этот удар для восемнадцатого раунда. За весь бой он ни разу не выказал всю свою мощь, ни разу не ударил в полную силу.

В течение первых двух минут Пауэрс не давал Пату передышки, он словно с цепи сорвался. Еще минута — раунд будет окончен и синдикат игроков потеряет все ставки. Но эта минута так и не наступила. Вот боксеры сошлись в клинче посреди ринга — самом обыкновенном клинче, каких уже было много; Пауэрс рвался и нажимал

все крепче. Глендон отвел его ударом левой — коротким и легким ударом в скулу. Таких ударов по ходу боя он уже наносил десятки. К величайшему своему удивлению, он почувствовал, как Пауэрс сначала повис у него на руках, потом стал опускаться все ниже, словно его не держали обмякшие, дрожащие ноги. С грохотом упал он на пол, перевернулся на бок и остался лежать без движения, закрыв глаза. Судья, склонившись над ним, отсчитывал секунды.

При возгласе «девять!» Пауэрс затрепетал, как будто тщетно пытаясь встать.

— Десять — и аут! — крикнул судья.

Он схватил руку Глендона и высоко поднял ее над беснующимся залом, в знак того, что Пат победил.

Впервые в жизни Пат растерялся в ринге. Его удар не мог нокаутировать противника, Глендон готов был поручиться головой. Ведь он ударил не в челюсть, а просто сбоку, по скуле, он знал, что удар пришелся именно по лицу, — безвредный удар. А между тем его противник упал. Как здорово он разыграл нокаут! С каким артистическим стуком он грохнулся на пол! Для публики это был несомненный нокаут, и кинооператоры закрепили эту комедию на пленке! Да, редактор

правильно все предвидел! И какое же это оказалось жульничество!

Глендон посмотрел под канат, прямо в лицо Мод Сенгстер. И она тоже смотрела на него в упор, но глаза у нее были холодные и чужие, — будто она не узнает его, не видит. Встретив его взгляд, она небрежно отвернулась и что-то сказала своему соседу.

Секунданты Пауэрса вынесли его на руках, — казалось, это бесчувственный труп, а не живой человек. Секунданты Глендона уже бежали к нему с поздравлениями, но всех опередил Стюбнер. С сияющей физиономией он охватил обеими руками правую перчатку Глендона и закричал:

— Молодец, Пат! Я так и знал — сделаешь!

Глендон вырвал руку. И впервые за все годы, которые им пришлось провести вместе, Стюбнер услыхал, как Пат выругался.

— Убирайтесь к чертовой матери! — буркнул он и протянул руки секундантам, чтобы те сняли с него перчатки.

Глава восьмая

В этот вечер, выслушав безапелляционное утверждение редактора отдела, что на свете нет ни одного честного боксера, Мод Сенгстер тихонько поплакала в подушку, потом разозлилась и, наконец, заснула, горько негодуя и на себя, и на боксеров, и на весь мир в целом.

На следующий день она села писать статью о Генри Аддисоне, которой так и не суждено было увидеть свет. Занималась она в кабинетике, выделенном для нее в редакции «Курьера». Тут все и произошло. Отложив на минуту статью, Мод смотрела на заголовок в дневном выпуске: объявляли о матче Глендона с Томом Кэннемом, — как вдруг мальчишка-рассыльный подал ей карточку. Мод прочла имя Глендона.

— Скажи, что я занята, — приказала она мальчику.

Тот через минуту вернулся:

— Он сказал, что все равно войдет сюда, только лучше бы вы ему сами разрешили.

— А ты сказал, что я занята? — спросила она.

— Как же, сказал; а он говорит, что все равно зайдет.

Мод промолчала, но мальчик в полном восторге от настойчивого посетителя объяснил, захлебываясь и торопясь:

— Я его знаю. Он сильней всех! Захочет — такого тут наделает, что всю редакцию разнесет! Это же Глендон-младший, тот, что вчера победил!

— Ну, что поделаешь, зови его. Зачем нам нужно, чтобы разнесли всю редакцию!

Она даже не поздоровалась с Патом, когда он вошел. Хмурая и неприветливая, как ненастный день, она не предложила ему сесть, не подняла на него глаз. Она осталась сидеть за своим столом вполоборота, ожидая, пока он скажет, зачем пришел. Он не подал виду, насколько его обидело это презрительное отношение, а прямо приступил к делу.

— Мне надо с вами поговорить, — сказал он сухо, — про матч. Он окончился на том самом раунде.

Мод пожала плечами.

— Я так и знала.

— Нет, не знали, — возразил он. — И вы не знали, и я не знал.

Она повернулась и посмотрела на него с подчеркнуто скучающим видом.

— Да стоит ли об этом вспоминать? — бросила

она. — Профессиональный бокс — это профессиональный бокс, и мы все понимаем, что это значит. Потому-то матч и окончился именно на том самом раунде, как я вам говорила.

— Верно, — сказал он. — Но вы не могли знать, что так будет. Во всем мире только мы с вами твердо знали, что я не выбью Пауэрса на шестнадцатом раунде.

Она промолчала.

— Ведь знали, правда? — голос его звучал властно и требовательно; и когда она снова упрямо промолчала, Пат подошел к ней вплотную: — Отвечайте

— знали?

Она кивнула.

— Но все же он был нокаутирован именно на этом раунде, — настойчиво повторила она.

— Нет, не был! Он вообще не был нокаутирован! Понимаете или нет? Я вам сейчас все объясню, только выслушайте меня! Я вам не солгал. Понимаете? Не солгал! Я был болваном, и они меня провели, да заодно со мной и вас! Вам показалось, что вы сами видели нокаут. А мой удар был слишком слаб для этого. Да и попал я не по опасному месту. Пауэрс просто притворился. Он разыграл нокаут, понятно?

Пат остановился и выжидательно посмотрел на Мод. И вдруг по биению сердца, по внутреннему трепету она поняла, что верит ему безоговорочно, и ей сразу стало тепло и радостно оттого, что вернулось это доверие к нему, чужому ей человеку, которого она видела всего второй раз в жизни.

— Ну, так как же? — спросил он, и от этого властного голоса что-то еще более сокровенное дрогнуло в ней.

Она встала и протянула ему руку.

— Я вам верю, — сказала она. — И я рада! Так рада!

Он задержал ее руку гораздо дольше, чем она ожидала. Под его загоревшимся взглядом бессознательно вспыхнули в ответ и ее глаза. «Вот это настоящий человек», — впервые в жизни подумала она. Она первая опустила глаза, его взгляд последовал за ними — и оба, как и в тот раз, посмотрели на крепко сжатые руки. Невольным движением он порывисто всем телом подался к ней, как будто хотел обнять ее, и сразу, с видимым усилием, сдержал свой порыв. Она поняла все, почувствовала, как его рука притягивает, привлекает ее. И, к великому своему изумлению, ей вдруг захотелось подчиниться, неудержимо захотелось почувствовать сильное объятие этих

рук. Будь он настойчивей, она не стала бы сопротивляться. И когда он овладел собой и, сжав ее руку так, что чуть не раздробил пальцы, отпустил, — нет, почти что оттолкнул ее, — Мод почувствовала, что у нее кружится голова.

— Боже мой, — шепнул он, — да вы созданы для меня!

Он отвернулся, провел ладонью по лбу. Она чувствовала: если он посмеет пробормотать хоть одно слово извинения или оправдания, она возненавидит его навсегда. Но какое-то безошибочное чутье руководило им, когда дело касалось Мод, — он понимал, как вести себя с ней. Она снова села к своему столу, а он, повернув стул так, чтобы видеть ее, сел напротив.

— Вчера я весь вечер пробыл в турецких банях, — сказал он. — Я послал за одним стариком, бывшим боксером; он старинный приятель моего отца. Я был уверен, что нет таких вещей, которых он бы не знал про бокс. И я заставил его рассказать мне все. Самое смешное — я его никак не мог убедить, что не знаю того, о чем спрашиваю. Он назвал меня «лесным зверенышем». Оно и правильно. Ведь я вырос в лесу и только и знаю, что лес.

Зато в этот вечер старик меня кое-чему научил.

Бокс, оказывается, грязное дело, хуже, чем вы думаете. Выходит так, что все, кто с ним связан, — жулики! Начиная с чиновников, разрешающих состязания, все берут взятки, все рвут друг у друга — менеджеры, устроители, распорядители, сами боксеры, — каждый старается урвать свое, а потом обдирают публику. С одной стороны, это целая система, а с другой — вы знаете, что значит «обставить»? (Она кивнула головой.) Так вот, они никогда не упускают случая обставить друг друга и где только можно ведут двойную игру.

У меня горло сдавило, когда я слушал старика. Сколько лет я варился в этом котле — и даже не подозревал, что творится. Действительно «лесной звереныш», не иначе. Но теперь я, по крайней мере, понял, как меня дурачили. Сила во мне такая, что со мной никому не справиться. Я непременно побеждал. И благодаря Стюбнеру от меня скрывали все махинации. Сегодня утром я прижал к стенке Спайдера Уолша и заставил его все выложить. Он — мой первый тренер… понимаете, он-то и выполнял все стюбнеровские указания. Меня держали в полном неведении. С другими боксерами и любителями я не знался, время проводил на охоте, на рыбной ловле, возился с фотоаппаратом и все такое. Знаете, как Уолш

и Стюбнер звали меня между собой? «Девочка». Мне Уолш только утром это сказал. Он будто зуб у меня выдернул! Что ж! Выходит, они были правы. Я и был этаким невинным барашком.

Стюбнер и меня втянул в свои мошеннические проделки, только я об этом понятия не имел. Теперь-то, задним числом, я понимаю, что он со мной делал. Но раньше у меня и тени подозрения не было, — слишком мало меня интересовал бокс, понимаете? Родился я с крепким телом и ясной головой, вырос на вольном воздухе, а учил меня мой отец — другого такого знатока бокса свет не видал. Вот почему мне все давалось так легко. Ринг меня не захватывал: ведь я никогда не сомневался в исходе боя. Но теперь кончено!

Мод молча показала на объявление о матче с Томом Кэннемом.

— Это работа Стюбнера, — объяснил Пат. — Он с полгода, как затеял этот матч. А мне дела нет. Уезжаю в горы. Я с боксом покончил.

Она посмотрела на недописанную статью на столе и вздохнула.

— Какие мужчины властные! — проговорила она. — Хозяева своей судьбы! Делают, что им хочется…

— Судя по тому, что я про вас слыхал, — вы тоже

всегда делали то, что вам хотелось. Это-то мне в вас и нравится. Меня с первого раза поразило, до чего мы с вами понимаем друг друга…

Он вдруг оборвал фразу и посмотрел на Мод загоревшимися глазами.

— За одно я благодарен рингу, — сказал он. — За то, что мы с вами встретились. А когда находишь женщину, ту самую, единственную, остается только одно — схватить ее обеими руками и не выпускать. Знаете что — уедем вместе в горы!

Словно громом ударили ее эти слова, и тут же она почувствовала, что ждала их. Сердце заколотилось так, что она дышала с трудом, — но это было счастье. Вот оно, наконец, — простое до примитивности, то самое счастье. И вдруг все показалось ей сном. Разве случаются такие вещи в самой обыкновенной, современной редакции? Разве так объясняются в любви? Нет, так бывает только на сцене или в романах.

Он встал, протянул ей обе руки:

— Я не смею, — сказала она шепотом, и не ему — себе. — Не смею…

На миг в его глазах вспыхнуло презрение, оно словно ужалило ее, — и Пат проговорил с откровенным недоверием:

— Вы бы все посмели — только бы вам захотеть!

Вы хотите?

Она встала, шатаясь, как во сне. Мелькнула мысль: уж не гипноз ли это? Надо оглядеть знакомые вещи, стоящие в комнате, надо вернуться к действительности. Но она не могла отвести глаза от Пата. И сказать тоже ничего не могла.

Он подошел к ней, рука его легла на ее плечо; и она невольно подалась к нему. Все это было сном, и не ей спрашивать, что это такое. Надо посметь, надо бросить вызов. Он прав. Она всегда решалась, стоило ей только захотеть. Да, она хочет уйти. Пат уже помогал ей надеть пальто. Вот она прикалывает шапочку, вот, едва соображая, что делается, она уже выходит вместе с ним за дверь… Она вдруг вспомнила «Бегство герцогини», «Памятник и статую». Потом всплыли строчки стихов.

— «Куда ж исчез наш Уорен?» — прошептала она.

— «На суше он иль в море?» — закончил он.

И в этом мгновенном понимании, в этой родственности ощущения она как бы нашла оправдание своего безумия.

У выхода из редакции он поднял руку, чтобы позвать такси, но она удержала его за рукав.

— Куда мы едем? — чуть слышно спросила она.

— На пристань. Оттуда мы как раз поспеем на поезд в Сакраменто.

— Но я не могу так уехать. У меня… у меня даже носового платка на смену нет!

Он поднял руку и остановил такси, прежде чем ответить:

— Все купим в Сакраменто. Мы там обвенчаемся и ночным поездом уедем на север. Я все устрою — с поезда дам телеграмму.

Такси уже стояло у тротуара. Мод торопливо оглянулась на знакомую улицу, знакомую толпу и почти со страхом посмотрела в глаза Глендону.

— Но я вас совсем не знаю! — проговорила она.

— Нет, мы знаем друг о друге все! — сказал он.

Она чувствовала, как его рука поддерживает и ведет ее, и ступила на подножку. В тот же миг дверца захлопнулась, и вот она уже рядом с ним, и машина мчит их по Маркет-стрит. Пат обнял девушку одной рукой, привлек ее к себе и поцеловал. И когда она опять смогла взглянуть ему в лицо, она увидела, как он медленно краснеет.

— Говорят… говорят… целоваться — тоже наука, — запинаясь, пробормотал он. — Я ничего… ничего в этом не понимаю. Но я научусь… Понимаете… вы… вы — первая, до вас я ни одной женщины не целовал.

Глава девятая

Там, где над девственной чащей дремучих лесов высится голый горбатый утес, у камней прилегли мужчина и женщина. Внизу, на опушке леса, паслись привязанные лошади. К каждому седлу были приторочены два небольших вьюка. Ровной громадой вставали деревья. На сотни футов подымались они к небу, в обхвате не меньше восьми, а то и десяти и двенадцати футов. А попадались и совсем гиганты. Все утро путники ехали верхом по ущелью сквозь непроходимую чащу, и только тут, у скалы, они впервые вышли из лесу, — и только тогда увидали весь лес.

Под ними, вдаль, куда только хватало глаз, в красноватой дымке кряж за кряжем тянулись далекие горы. Не видно было ни конца ни краю этим горам. Они вставали грядой до самого горизонта и таяли в тумане, а за ними смутно чудились бесконечные дали. И лес стоял сплошной стеной, простираясь на север, на юг, на восток и запад, — нетронутый, нерушимый, мощным покровом одевал он землю.

Не открывая глаз, впивали путники эту красоту, и рука мужчины крепко сжимала руку

подруги: так праздновали они медовый месяц тут, в краснолесье Мендочино. Они проехали верхом, с вьюками у седла, от самой Шасты, через перевалы, вниз, на глухое побережье, без всякого плана, — просто ехали куда глаза глядят, пока не придет в голову какой-нибудь другой маршрут. Одежда на них была самая простая: на ней — видавший виды костюм защитного цвета, на нем комбинезон и шерстяная рубашка. Его загорелая шея была открыта, и весь он, большой и сильный, казался настоящим лесным жителем, под стать этим лесным гигантам. Жить с ним тут, в его лесу, было для нее настоящим счастьем.

— Да, здесь еще изумительней, чем ты обещал, милый ты мой Великан, — сказала она, опершись на локоть, чтобы лучше видеть его. — И мы тут вместе, вдвоем, видим все это.

— А сколько нам с тобой еще предстоит увидеть на свете! — добавил он и, повернувшись к ней, взял ее руку в обе ладони.

— Нет, сначала побудем здесь! — попросила она. — Мне никогда не наскучит темный лес… с тобой!

Он легко выпрямился, сел и притянул ее к себе на колени.

— Любимый мой! — шепнула она. — А я-то уже

потеряла надежду встретить настоящую любовь.

— Я и не думал об этом. Наверно, чувствовал всегда, что встречу тебя. Ты рада?

В ответ она только нежнее обвила руками его шею, и оба долго молча смотрели на необъятные леса и думали о своем.

— Помнишь, я тебе рассказывал, как я удрал от рыженькой учительницы? Тогда я и попал сюда в первый раз. Шел пешком, но для меня сорок — пятьдесят миль в день были игрушкой. Настоящий краснокожий, верно? О тебе я тогда и не думал. Дичи тут было мало, зато форели сколько угодно. Вот тогда я и жил на этих скалах. Я и мечтать не мог, что вернусь сюда с тобой

— с т о б о й!

— Да еще чемпионом бокса! — подсказала она.

— Нет, об этом я совсем тогда не думал. Правда, отец мне всегда говорил, что так будет, и я ему верил. Знаешь, он был очень умный. Большой человек!

— Но он не предполагал, что ты бросишь ринг.

— Не знаю. Он так тщательно скрывал от меня все темные стороны бокса,

— наверно, боялся за меня. Я ведь тебе говорил про его договор со Стюбнером. Отец особо оговорил в нем вопрос о сделках. Первая нечестная

сделка — и договор автоматически расторгается.

— И все-таки ты хочешь драться с этим самым Томом Кэннемом. Стоит ли?

Он пристально поглядел на нее:

— А ты не хочешь?

— Любимый мой, я хочу, чтобы ты делал все, что тебе угодно!

Ей самой вдруг показалось странным, что это говорит она, чуть ли не самая упрямая и своевольная из Сенгстеров. Но она чувствовала, что говорит правду, и это ее радовало.

— Вот будет потеха! — сказал он.

— Не понимаю, какая тут может быть особенная потеха?

— Я и сам еще как следует не придумал. Ты мне можешь помочь. Во-первых, я обязательно обставлю и Стюбнера и синдикат игроков. Я их здорово разыграю. Уложу Кэннема на первом же раунде. По-настоящему буду злой, первый раз в жизни! Бедняга Том Кэннем! Придется ему быть главной жертвой, хоть он не хуже всех остальных жуликов. Понимаешь, я собираюсь сказать речь на ринге! Этого еще не бывало, но успех будет потрясающий, — я открою публике все тайны бокса! Бокс — дело чистое, отличный спорт, но они превратили его в коммерческую игру, а это

все губит. Смотри-ка, я уже перед тобой начинаю говорить речь, как на ринге.

— Вот бы мне пойти послушать, — сказала она.

Он посмотрел на нее, словно взвешивая все «за» и «против».

— Я был бы только рад. Но, видно, так гладко не сойдет. Неизвестно, что может случиться, когда я заговорю. Зато обещаю: как только все кончится, я прибегу к тебе. И это будет последнее выступление Глендона-младшего на ринге, самое последнее!

— Но ведь ты никогда в жизни не говорил речей, милый, — сказала она с сомнением. — А вдруг провалишься?

Он решительно тряхнул головой.

— Ведь я ирландец. А какой ирландец не умеет говорить? — Он вдруг расхохотался. — Стюбнер считает, что я спятил. Говорит, женатый человек тренироваться не может. Да что он понимает в женитьбе, во мне, в тебе? Он вообще только одно понимает — скупать недвижимость да заранее подстраивать матчи. Вот я ему покажу на этот раз, и бедному Тому тоже! Право, мне жалко Тома.

— Видно, мой дорогой Лютый Зверь на этот раз и вправду собирается лютовать и зверствовать! — сказала она.

Он рассмеялся.

— Постараюсь! Последнее выступление — понимаешь, последнее! А потом — ты, ты одна! Но, может быть, тебе хочется, чтобы я вообще не выступал? Тогда скажи!

— Как не хочется? Ведь я люблю моего Великана таким, как он есть, — пусть и будет самим собой. Если тебе нужно выступить, значит, и мне это нужно — и для тебя и для себя. Ну вот представь себе, я вдруг скажу: «Хочу поступить на сцену или поехать на Тихий океан, на Северный полюс?»

Он ответил вдумчиво и серьезно:

— Конечно, я бы сказал: «Делай, как знаешь! Ты — это ты, всегда будь сама собой и делай, что хочешь». Я и люблю тебя за то, что ты — это ты!..

— И оба мы — влюбленные дураки! — прошептала она, когда он выпустил ее из объятий.

— Вот и чудесно! — крикнул он.

Он встал, измерил глазом высоту солнца и протянул руку к дремучему лесу, укрывшему цепи гор, озаренных закатом.

— Придется заночевать в лесу. До ближайшей стоянки миль тридцать, не меньше.

Глава десятая

Кто из любителей бокса, присутствовавших в тот вечер на Голден-Гейтском ринге, забудет матч, когда Глендон-младший нокаутировал Тома Кэннема и еще одного боксера, посильнее Тома Кэннема? Кто забудет, как Пат в течение часа сдерживал огромный зал, где готов был вспыхнуть настоящий бунт, и как вслед за этим началось расследование, проверка всех злоупотреблений на ринге и связанные с этим процессы комиссионеров и подрядчиков-строителей, — словом, дело кончилось полным провалом всех, кто спекулировал на боксе. Эта история была для всех полнейшей неожиданностью. Даже Стюбнер ничего не подозревал. Правда, его питомец после истории с Натом Пауэрсом совсем вышел из повиновения, удрал, женился, но все это уже отошло в прошлое. Как и надо было ожидать, Пат проглотил обиду, простил ту мошенническую проделку на ринге и вернулся к боксу.

Голден-Гейтский ринг был выстроен совсем недавно. Сан-Франциско никогда еще не видел такого гигантского здания, и этот матч был первым в новом зале. Все двадцать пять тысяч мест были

распроданы. Со всего мира съехались любители бокса и за лучшие места платили по пятидесяти долларов. Самый дешевый билет стоил пять долларов.

Знакомый гул аплодисментов встретил старейшего из судей — Билла Моргана, когда он, пройдя под канат, обнажил свою седую голову. Но только он раскрыл рот, раздался оглушительный треск — это неподалеку от ринга провалился целый ряд скамей. Толпа громко захохотала, послышались шутливые соболезнования и советы пострадавшим, хотя никто не ушибся всерьез. Услышав треск сломанных скамей и бурный хохот зрителей, дежурный капитан полиции многозначительно поднял бровь и покосился на своего помощника — в знак того, что надо быть начеку: вечер обещает быть нелегким.

Под громкие аплодисменты, ныряя друг за другом под канат, на ринг вышли семь маститых ветеранов бокса. Их представили публике — все они были экс-чемпионами в тяжелом весе. Представляя их, Билли Морган не скупился на лестные характеристики. Одного он назвал «честным Джоном, надежным малым», другого «бескорыстнейшим бойцом, какого свет не видал». И об остальных говорил так же пышно: «герой сотен

боев, непобедимый, стойкий», «самый сильный из всей старой гвардии», «единственный, кто всегда возвращался на ринг», «самый боевой и храбрый» и, наконец, — «орешек, который никому не разгрызть!».

Времени на это ушло порядочно. От каждого требовали слова, и все они что-то буркали и бормотали в ответ, краснея от гордости и неловко переступая с ноги на ногу. Дольше всех говорил «надежный малый» — его речь длилась целую минуту. Потом их надо было фотографировать. На ринге столпились все знаменитости — чемпионы, знаменитые тренеры, опытнейшие секунданты, распорядители и судьи. Шумели боксеры легкого и среднего веса, передавали друг другу вызовы, предложения матчей. Был тут и Нат Пауэрс, требовавший реванша у Глендона-младшего. Реваншей требовали и все остальные светила бокса, которых побил Глендон. Каждый считал своим долгом вызвать Джима Хэнфорда, которому в свою очередь пришлось официально заявить, что он согласен на встречу с тем, кто победит в сегодняшнем матче.

— Глендон! — заорали зрители.

— Кэннем! — завопили другие, стараясь перекричать тех.

В самом разгаре этого неистового гама провалился еще один ряд скамей, и законные владельцы билетов подняли страшный скандал, крича на капельдинеров, пропустивших за изрядную мзду толпы безбилетных. Капитан полиции спешно позвонил в управление, требуя выслать дополнительные наряды.

Публика веселилась. А когда Кэннем и Глендон вышли с двух сторон на ринг, в зале поднялась настоящая буря. Добрых пять минут воздух дрожал от приветственных возгласов. На ринге, кроме участников, уже никого не оставалось. Глендон, окруженный секундантами, сел в свой угол. Стюбнер, как и всегда, стоял за его спиной. Сначала публике представили Кэннема. Он потоптался на месте, наклонив голову, зрители кричали и шумели, требуя от него речи. Кэннему пришлось выступить. Он запинался, то и дело умолкал, но все же сумел пробормотать две-три фразы.

— Я счастлив и горд, что выступаю сегодня, — сказал он и воспользовался громом аплодисментов, чтобы выдавить из себя еще одну мыслишку. — Я всегда бился честно. Всю жизнь бился честно. Никто не будет отрицать. И сегодня буду биться изо всех сил!

— Верно, Том! — заорали с мест. — Мы тебя

знаем! Молодчина, Том! Он урвет свой кусочек сальца!

Потом вышел Глендон. И от него потребовали речь, хоть это и было против правил: обычно победитель в предыдущих боях никогда с речью не выступал. Билли Морган поднял руку, требуя тишины, и в притихшем зале загремел звучный и ясный голос Глендона.

— Все тут говорили, как они горды и счастливы, что выступают перед вами. Я этого не скажу. — Он посмотрел на изумленных зрителей и нарочно сделал паузу, чтобы его слова дошли до их сознания. — Я не горжусь и своими товарищами по профессии. Вы хотели, чтобы я сказал что-нибудь. Я вам и выскажу все. Сегодня мое последнее выступление. После него я совсем ухожу с ринга. Вы спросите — почему? Я уже вам сказал. Мне не нравятся те, кто занимается боксом. Ринг стал прибежищем таких мошенников, что по сравнению с их выкрутасами даже пробочник покажется прямым! Все прогнило, все продажно — начиная с мелких профессиональных клубов и кончая сегодняшним матчем!

Сдержанный гул удивления, нараставший в зале, при этих словах перешел в настоящий рев. Послышалось шиканье, крики возмущения,

возгласы: «Начинай матч!», «Давайте скорее!», «Почему не дерешься!». Глендон молча огляделся и увидел, что главные зачинщики шума — сами устроители матча, игроки и боксеры, сидевшие в первых рядах. Публика тоже разделилась — половина кричала: «Матч!», остальные вопили: «Говори!», «Говори!».

Десять минут буйствовал весь зал. Стюбнер, судья, владелец спортивного зала — все умоляли Глендона начинать матч. Когда он отказался, судья крикнул, что присудит победу Кэннему, раз Глендон не желает драться.

— Не имеете права, — спокойно возразил Пат. — Только попробуйте, и я подам на вас жалобу во все суды, да и публика не выпустит вас отсюда живьем, если вы лишите ее зрелища. А драться я буду обязательно. Только сначала я кончу свое слово!

— Это против правил! — крикнул судья.

— Неправда! Нет правила, запрещающего выступать перед матчем. Сегодня все знаменитые боксеры выступали тут.

— Так то было несколько слов! — судье пришлось уже кричать Глендону прямо в ухо. — А вы лекцию читаете!

— И лекции не запрещены! — ответил Глен-

дон. — Ну-ка, вы все, уходите с ринга, не то я вас сам вышвырну.

Устроитель матча наступал на него, красный, как рак, и Пат, схватив его за шиворот, перекинул через канат. Публика взревела от восторга, увидев, как Глендон без всяких усилий, одной рукой, вышвырнул этого громадного толстяка. Еще больше народу стало требовать продолжения речи. Стюбнер и владелец зала благоразумно отступили. Глендон поднял руки, прося слова, и тут заорали пуще прежнего те, кто требовал матча. Еще несколько рядов скамей подломилось, и люди, оставшиеся без места, напирали на передние скамьи, пытаясь втиснуться между сидевшими, а задние ряды, которым эта толкучка заслоняла ринг, орали и требовали, чтобы все сели.

Глендон наклонился через канат и подозвал капитана полиции. Ему пришлось совсем перегнуться и кричать полисмену в самое ухо.

— Если я не договорю, толпа разнесет зал! — крикнул он. — Вам ее ничем не удержать, сами понимаете! Помогите же мне! Никого не пускайте на ринг, а я успокою толпу.

Он снова встал посреди ринга и поднял обе руки.

— Хотите меня слушать? — прогремел его го-

лос.

Сначала его услышали только две-три сотни, сидевшие у самого ринга.

— Хотим! — закричали они.

— Кто хочет слушать, пусть заткнет глотку соседу!

Его сразу послушались, и, когда он повторил эти слова, они долетели уже и до самых дальних рядов. Он крикнул еще и еще раз, и постепенно, ряд за рядом, зал начал стихать, слышалась только заглушенная перебранка, возня, толчки, даже падение чьего-то тела, — это каждый утихомиривал своего буянившего соседа. И только этот шум затих, как с треском подломились скамьи у самого ринга. Новый взрыв хохота встретил это происшествие, потом смех замер сам собой, так что все услыхали негромкий голос из задних рядов:

— Говори, Глендон! Слушаем тебя!

Глендон чутьем понимал психологию толпы — недаром текла в нем кельтская кровь. Он знал, что уже крепко держит в руках притихших зрителей, которые только что были буйной и дикой ордой. Для пущего воздействия он нарочно выдержал паузу — ровно столько, сколько нужно, ни секундой больше. С полминуты царила полная

тишина, от нее становилось жутко. И как только вновь послышался легкий гул начинающегося волнения, Глендон заговорил.

— Кончу — будем драться с Кэннемом, — сказал он. — Обещаю вам настоящую схватку. Вам такие матчи редко приходилось видеть. Я нокаутирую противника в самый короткий срок. Билли Морган вам, наверно, объявит, что матч рассчитан на сорок пять раундов. Так вот, разрешите вам сказать, что он не продлится и сорока пяти секунд.

Когда меня перебили, я вам объяснял, что профессиональный бокс — сплошное мошенничество. Да, тут все прогнило снизу доверху. Все построено на делячестве, — а вы сами знаете, что это такое. Без слов понятно. Всех вас тут обжуливают, всех, кто ни наживается на этом деле. Почему сегодня трещат скамьи? И тут кто-то нажился. Зал тоже выстроен дельцами, они на этом заработали, как и на боксе.

Он чувствовал, что держит толпу в руках еще крепче, чем минуту назад.

— Смотрите, везде на двух местах сидят трое. Вон я отсюда вижу. А что это значит? Опять нажива. Ведь капельдинерам жалованья не платят. Считается, что они сами наживутся. Опять сделка! А расплачиваетесь, вы! Ну да, вы за все платите!

Как достают разрешение на матч? За взятку! Позвольте же спросить вас: если владельцы зала наживаются, и капельдинеры наживаются, и чиновники берут взятки — почему бы не наживаться устроителям и участникам матчей? Они и наживаются. А платите вы!

Но я хочу вам сказать, что сами боксеры тут ни при чем. Не они устраивают матчи. Все в руках хозяев ринга и менеджеров, — они-то и заворачивают делами. А боксеры — только боксеры. Начинают они всегда честно, но бывает, что менеджеры и устроители матчей втягивают их в грязные дела, а если они не соглашаются — их выкидывают вон. Бывали честные боксеры — и теперь есть, но зарабатывают они, как правило, совсем немного. Бывали, наверно, и честные менеджеры. Мой, например, один из лучших во всей их лавочке. А спросите его, сколько он вложил в дома и всякую недвижимость, сколько скопил про черный день?

Толпа сразу зашумела, заглушая голос Пата.

— Ну-ка, кто хочет меня слушать, успокойте крикунов! — скомандовал Глендон.

По залу волной прокатился приглушенный шум, в воздухе стояла брань, посыпались толчки, удары, потом все успокоилось.

— Почему каждый боксер из кожи лезет вон, чтобы доказать, как честно он дерется? Почему у всех такие прозвища: «Честный Джон», «Честный Билл», «Честный Блексмит» и все в том же роде? Разве вам не кажется, что они чего-то боятся? Если человек бьет себя в грудь и во все горло кричит, какой он честный, вы, наверно, подумаете, — что-то тут неладно. А когда профессиональный боксер норовит втереть вам очки, вы и уши развешиваете!

«Победа — достойнейшему!» Сколько раз Билли Морган провозглашал это перед вами! А я вам скажу, что вовсе не всегда побеждает лучший боксер, да и когда он побеждает, это бывает подстроено. И всякие состязания на личное первенство, — вы их видели или слыхали о них, — все они тоже подстроены. Все идет по плану. Весь бокс идет по плану, по намеченной программе. Думаете, хозяева ринга и менеджеры занимаются этим ради удовольствия? Ничего подобного! Все они прожженные дельцы.

Скажем, перед вами три боксера — Том, Дик и Гарри. Дик — самый лучший. Он мог бы в двух матчах доказать это. А как проводятся встречи? Том побеждает Гарри, Дик — Тома, а Гарри — Дика. Ничего не доказано. Потом идут встречные

матчи. Гарри бьет Тома, Том бьет Дика, Дик бьет Гарри. И опять ничего не доказано. Тогда начинают сызнова. Дик скандалит: требует, чтобы ему дали возможность показать себя. И тут уже Дик побивает Тома, и он же, Дик побивает Гарри. Понадобилось восемь матчей, чтобы доказать, что Дик лучше всех, когда достаточно было и двух встреч. Все было подстроено. Разработан план. А вы за это платите; и если под вами не проваливаются скамьи, вас со всех сторон жмут «зайцы», которых насажали капельдинеры.

А ведь бокс — отличный спорт, если бы он велся по-честному. И боксеры дрались бы честно — дай им только возможность! Но слишком уж велика нажива, если кучка людей за три матча может поделить между собой три четверти миллиона долларов.

Дикий рев заставил его замолчать. Весь зал неистовствовал, но только отдельные выкрики долетали до Глендона: «Какой миллион?», «Какие три матча?», «Расскажи!», «Продолжай!». А с других мест кричали, топали, свистали: «Доносчик!», «Клеветник!».

— Будете слушать? — крикнул Глендон. — Тогда тише!

Он снова выдержал внушительную паузу.

— Что задумал Джим Хэнфорд? Какой план выработали его менеджеры и секунданты с моими? Они отлично знают, что я его побью. Я могу нокаутировать его в первом же раунде. Но ведь он чемпион мира. Если я отступлю от их плана, мне вообще не устроят встречи с ним. А по плану у нас должно быть три состязания. Мне предоставят выиграть первую встречу. Не удастся уговорить на это сан-францисские клубы — придется ехать в Неваду. Встреча должна быть серьезной. Для того чтобы повысить ставки пари, каждый из нас тоже поставит заклад в двадцать тысяч. Деньги-то будут настоящие, но в игре мы на самом деле участвовать не будем. Нам обоим тайком вернут наши деньги. То же самое произойдет с кассой. Мы ее поделим поровну, хотя для публики победитель получит шестьдесят пять, а побежденный — тридцать пять процентов. В общем, касса, гонорар с кинофильмов, объявления и всякие другие доходы составят не меньше двухсот пятидесяти тысяч. Мы их поделим, потом назначим реванш. На этот раз победит Хэнфорд, а деньги мы опять разделим поровну. Наконец, дело дойдет до третьего матча. Тут уж я выйду победителем, как мне и полагается по праву. Но пока что мы вытянули из любителей бокса три

четверти миллиона долларов. Вот какой план они наметили, но деньги эти — грязные деньги. Поэтому я и бросаю ринг навсегда…

Но в эту минуту Джим Хэнфорд, отшвырнув повисшего на нем полисмена прямо на зрителей, перекинул свою громадную тушу через канат и проревел:

— Это ложь!

Как бешеный бык, ринулся он на Глендона, но тот отскочил назад и, вместо того чтобы встретить натиск, ловко увернулся. Гигант боксер по инерции, не удержавшись, налетел на канаты. Его отбросило назад, как пружиной, и он повернулся, чтобы кинуться на Глендона, но тот перехватил его. Зоркий, хладнокровный Глендон идеально рассчитал удар прямо по челюсти противника — первый полновесный удар за всю его боксерскую карьеру. Вся его сила, весь ее неиспользованный запас ушли в этот сокрушительный разряд мышечной энергии.

Хэнфорд замертво взлетел на воздух — если только бесчувственное тело можно приравнять к телу мертвому. А чувств он лишился в момент соприкосновения с кулаком Глендона. Ноги его оторвались от пола, и он взлетел вверх и ударился о канат. Его неподвижное тело повисло,

закачалось и рухнуло вниз, прямо на головы репортеров в первом ряду.

Весь зал точно с цепи сорвался. Большего зрители за свои деньги и не могли желать: сам великий Джим Хэнфорд, чемпион мира, был нокаутирован одним ударом. Хоть это и не был официальный матч, но удар-то как-никак был один-единственный. Никогда в истории бокса таких случаев не бывало. Глендон огорченно посмотрел на ушибленные суставы пальцев, потом взглянул на ошалелого Хэнфорда, который уже приходил в себя, и снова поднял руки. Он завоевал право говорить, и публика сразу стихла.

— Когда я начал выступать, публика называла меня Глендон-Вышибала. Вы сами сейчас видели, как я его вышиб одним ударом. Владел я этим ударом всегда. Я сразу нападал на противника и тут же укладывал его, хотя старался не бить изо всей силы. Потом меня стали учить. Мой менеджер объяснил, что нехорошо так подводить публику. Он советовал мне драться подольше, чтобы публике хоть было бы на что посмотреть за свои деньги. Я был дурак, болван. Чего вы хотите от парня, выросшего в горах, в глуши? Клянусь, я принимал все его слова за чистую монету. И вот мой менеджер стал обсуждать со мной, в

каком бы раунде мне выбить противника. А сам потихоньку сообщал об этом синдикату игроков, и те ставили на этот раунд. А платили, конечно вы! Одно могу сказать с радостью: никогда ни к одному центу из этих денег я не прикасался! Они и не смели предлагать мне деньги

— тогда бы все их махинации выплыли на свет.

Помните мою схватку с Натом Пауэрсом? Я и не думал его нокаутировать! Я уже начинал что-то подозревать. Тогда вся эта шайка договорилась с ним заранее. Я ничего не знал. Я только собирался не трогать его на шестнадцатом, условленном, раунде, а дать ему продержаться еще два-три раунда. На шестнадцатом я его только чуть тронул, — он и не покачнулся. А он разыграл нокаут и всех вас одурачил.

— А как сегодня? — выкрикнул чей-то голос. — Тоже подстроено?

— Конечно! — подтвердил Глендон. — На какой раунд ставил синдикат? Наверно, на четырнадцатый?

Вой и крики заглушили его голос. Глендон снова поднял руку.

— Сейчас кончаю! Скажу только одно: синдикат сегодня сядет в лужу. Бой будет честным.

Том Кэннем не продержится до четырнадцатого раунда. Он и первый раунд не продержится.

Кэннем вскочил на ноги; он задыхался от бешенства.

— Не выйдет! — крикнул он. — Нет человека, который выбьет меня в одном раунде!

Глендон даже не взглянул на него.

— Только что, впервые в жизни, я ударил изо всей силы. Все видели, как я сшиб Хэнфорда. Сегодня я второй раз буду бить изо всех сил, если только Кэннем вовремя не выскочит с ринга и не удерет… Ну, вот и все. Я готов.

Он пошел в свой угол и протянул руки секундантам, чтобы они надели ему перчатки. В другом углу бесновался Кэннем, и секунданты тщетно пытались успокоить его. Наконец, Билли Моргану удалось объявить начало боя.

— Матч идет не дольше сорока пяти раундов! — крикнул он. — По правилам маркиза Квинсберри! Пусть победит сильнейший! Время!

Ударил гонг. Противники сошлись. Глендон протянул, как полагалось, правую руку, но Кэннем, сердито мотнув головой, отказался ее пожать. Ко всеобщему удивлению, он не торопился. Сдерживая злость, он дрался осмотрительно и осторожно — его самолюбие было задето: те-

перь он изо всех сил старался продержаться весь первый раунд. Несколько раз он делал выпад, но бил осторожно, не ослабляя защиты. Глендон настигал его везде, неумолимо наступая, двигаясь короткими толчками левой ноги. Однако он ни разу не ударил и не пытался бить. Он даже опустил руки и, не защищаясь, наступал на противника, стараясь вызвать его на удар. Кэннем презрительно ухмылялся, но не шел на вызов и не пробовал воспользоваться выгодным положением.

Прошла минута, потом вторая — и вдруг в Глендоне произошла перемена. Каждым своим мускулом, каждой черточкой лица он показывал всем, что настал момент рассчитаться с противником. Да, он как будто играл роль, и хорошо играл. Казалось, он превратился в стальную пружину, весь твердый и неумолимый, как сталь. Кэннем явно почувствовал это и стал еще осторожней.

Глендон безжалостно загнал его в угол и не выпускал оттуда. И все-таки он не бил и не хотел нанести удар, держа Кэннема в болезненном напряжении. Тщетно Кэннем бился, чтобы выйти из угла, не решаясь, однако, схватиться с Глендоном, сделать попытку передохнуть в клинче.

И тут началось — ряд молниеносных выпадов, замелькавших в воздухе. Кэннем был ослеплен. Весь зал был ослеплен, не было двух зрителей, которые потом одинаково описывали бы то, что произошло. Кэннем уклонился от одного выпада, вскинул перчатку, защищая лицо от другого. Он попытался переместить опору с одной ноги на другую. Сидевшие в первых рядах потом клялись и божились, что видели, как Глендон развернулся с правого бедра и, прыгнув, как тигр, всей своей тяжестью налетел на Кэннема. Удар пришелся Кэннему прямо в подбородок в тот момент, когда он менял позицию. И он, как и Хэнфорд, взлетел в воздух бесчувственной глыбой, ударился о канаты и грохнулся вниз, на голову репортеров.

Ни в одной газетной статье не сумели по-настоящему описать то, что произошло в тот вечер на Голден-Гейтском ринге. Полиции удалось оцепить подмостки, но спасти зал уже было нельзя. Это был не бунт, это была оргия. Ни одна скамья не уцелела. Толпа напирала, выворачивая столбы, балки, ломая соединенными усилиями стены огромного здания. Боксеры искали защиты у полисменов, но никаких нарядов не хватало, чтобы вывести их в безопасное место, и толпа избивала в кровь боксеров, менеджеров, хозяев

ринга. Только Джима Хэнфорда пощадили. Над ним сжалились, увидев его чудовищно распухшую челюсть. И когда толпу, наконец, вытеснили на улицу, она накинулась на автомобиль одного из крупнейших менеджеров и превратила новехонькую семитысячную машину в груду щепок и железного лома.

Глендону даже не удалось одеться, — все раздевалки были снесены, и он выбежал к своей машине, накинув халат на трико. Но удрать ему не удалось. Огромная толпа окружила и задержала его машину. Полиция из всех сил старалась успокоить толпу, и, наконец, та пошла на компромисс: Глендону позволили сесть в машину и медленно двинуться по улице под восторженный рев пяти тысяч обезумевших поклонников.

Только к полуночи эта буря прошла через Юнион-сквер, вниз к Сен-Франсис. У самого входа в гостиницу толпа стала требовать речь, и Глендона никак не выпускали из машины. Он даже пытался перескочить через головы восторженных обожателей, но ему не дали коснуться мостовой. На головах, на плечах, на руках, стараясь хотя бы притронуться к нему, его отнесли опять к машине. Отсюда он произнес речь. И Мод Глендон видела из окна, как ее муж, словно юный

Геркулес, возвышался над толпой, и знала, что он, как и всегда, говорит чистую правду, прощаясь с публикой и повторяя, что сегодня он дрался в последний раз и навсегда уходит с ринга.